

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

ТОМАС МАНН

Иосиф и его братья



IM WERDEN VERLAG
МОСКВА - МЮНХЕН 2004

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЛОГ. СОШЕСТВИЕ В АД.....	9
-----------------------------	---

БЫЛОЕ ИАКОВА

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. У КОЛОДЦА

ИШТАР	30
СЛАВА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.....	31
ОТЕЦ.....	33
НЕКТО ИЕВШЕ.....	35
ДОНОСЧИК.....	38
ИМЯ.....	43
О ДУРАЦКОЙ ЗЕМЛЕ ЕГИПЕТСКОЙ	46
ИСПЫТАНИЕ	49
О МАСЛЕ, О ВИНЕ И О СМОКВЕ	51
ДВУГОЛОСНАЯ ПЕСНЬ	54

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ИАКОВ И ИСАВ

ЛУННАЯ ГРАММАТИКА	57
КТО БЫЛ ИАКОВ.....	58
ЕЛИФАЗ	62
ВОЗНЕСЕНИЕ ГЛАВЫ.....	65
ИСАВ	67

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИСТОРИЯ ДИНЫ

ДЕВОЧКА.....	70
БЕСЕТ.....	71
ОТПОВЕДЬ.....	73
ДОГОВОР	74
ИАКОВ ЖИВЕТ У ШЕКЕМА.....	76
СБОР ВИНОГРАДА.....	77
УСЛОВИЕ	79
ПОХИЩЕНИЕ.....	80
ПОДРАЖАНИЕ	82
ПОБОИЩЕ	83

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. БЕГСТВО

ДРЕВНЕЕ БЛЕЯНЬЕ	85
КРАСНЫЙ	87

О СЛЕПОТЕ ИЦХАКА	90
ВЕЛИКАЯ ПОТЕХА.....	92
ИАКОВ ДОЛЖЕН УЕХАТЬ	99
ИАКОВ ДОЛЖЕН ПЛАКАТЬ	100
ИАКОВ ПРИБЫВАЕТ К ЛАВАНУ	103
ПЕРСТЬ ЗЕМНАЯ.....	107
УЖИН.....	109
ИАКОВ И ЛАВАН ЗАКЛЮЧАЮТ СОГЛАШЕНИЕ.....	111

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. НА СЛУЖБЕ У ЛАВАНА

КАК ДОЛГО ПРОБЫЛ ИАКОВ У ЛАВАНА	113
ИАКОВ И ЛАВАН СКРЕПЛЯЮТ ДОГОВОР	114
О ВИДАХ ИАКОВА.....	116
НАХОДКА ИАКОВА	118
ИАКОВ СВАТАЕТСЯ К РАХИЛИ	120
О ДОЛГОМ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ	122
О ЛАВАНОВОЙ ПРИБЫЛИ	127

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. СЕСТРЫ

НЕЧИСТЫЙ.....	131
СВАДЬБА ИАКОВА	134
О РЕВНОСТИ БОГА.....	145
О СМЯТЕНИИ РАХИЛИ.....	147
МАНДРАГОРОВЫЕ ЯБЛОКИ.....	149

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ. РАХИЛЬ

ГАДАНИЕ НА МАСЛЕ	153
РОДЫ	158
КРАПЧАТЫЙ СКОТ.....	160
ВОРОВСТВО	164
ПОГОНЯ	166
БЕНОНИ	172

ЮНЫЙ ИОСИФ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ТОТ

О КРАСОТЕ	179
ПАСТУХ.....	180
УЧЕНИЕ	182
О ТЕЛЕ И ДУХЕ.....	186

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. АВРААМ

О СТАРШЕМ РАБЕ.....	191
КАК АВРААМ ОТКРЫЛ БОГА	193
ГОСПОДИН ПОСЛАНЦА	198

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИОСИФ И ВЕНИАМИН

РОЩА АДОНИСА.....	200
НЕБЕСНЫЙ СОН	209

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. СНОВИДЕЦ

РАЗНОЦВЕТНАЯ ОДЕЖДА.....	213
БЫСТРОНОГИЙ	220
ОБ ИСПУГЕ РУВИМА	223
СНОПЫ.....	228
СОВЕЩАНИЕ.....	233
СОЛНЦЕ, ЛУНА И ЗВЕЗДЫ.....	235

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ПОЕЗДКА К БРАТЬЯМ

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	238
ИОСИФ ЕДЕТ В ШЕКЕМ.....	241
ЧЕЛОВЕК В ПОЛЕ	244
О ЛАМЕХЕ И ЕГО РУБЦЕ.....	250
ИОСИФА БРОСАЮТ В КОЛОДЕЦ	252
ИОСИФ КРИЧИТ ИЗ ЯМЫ	258
В ПЕЩЕРЕ.....	261

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. КАМЕНЬ ПЕРЕД ПЕЩЕРОЙ

ИЗМАИЛЬЯНЕ.....	266
О ЗАМЫСЛЕ РУВИМА.....	270
ПРОДАЖА	272
РУВИМ ПРИХОДИТ К ПЕЩЕРЕ	280
КЛЯТВА.....	284

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ. РАСТЕРЗАННЫЙ

ИАКОВ СКОРБИТ ОБ ИОСИФЕ.....	286
ИСКУШЕНИЯ ИАКОВА.....	294
ПРИВЫКАНИЕ	298

ИОСИФ В ЕГИПТЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ПУТЬ ВНИЗ

О МОЛЧАНИИ МЕРТВЫХ	302
У ГОСПОДИНА	304
НОЧНОЙ РАЗГОВОР	309
СОБЛАЗН	316
ВСТРЕЧА.....	318
КРЕПОСТЬ ЗЕЛ.....	322

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ВСТУПЛЕНИЕ В ШЕОЛ

ИОСИФ ВИДИТ ЗЕМЛЮ ГОСЕН И ПРИБЫВАЕТ В ПЕР-СОПД	328
КОШАЧИЙ ГОРОД	330
УЧЕНЫЙ ОН	331
ИОСИФ У ПИРАМИД.....	336
ЖИЛИЩЕ ЗАКУТАННОГО	340

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ПРИБЫТИЕ

ПО РЕКЕ	346
ИОСИФ ПРОХОДИТ ПО УАЗЕ.....	350
ИОСИФ ПРИБЫВАЕТ К ДОМУ ПЕТЕПРА	355
КАРЛИКИ.....	357
МОНТ-КАУ	360
ПОТИФАР	367
ИОСИФА ОПЯТЬ ПРОДАЮТ, И ОН ПАДАЕТ НИЦ	369

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. САМЫЙ ВЫСОКИЙ

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОЖИЛ ИОСИФ У ПОТИФАРА.....	373
В СТРАНЕ ВНУКОВ	376
ЦАРЕДВОРЕЦ.....	382
ПОРУЧЕНИЕ.....	386
ГУИЙ И ТУИЙ	389
ИОСИФ РАЗМЫШЛЯЕТ ОБ ЭТИХ ДЕЛАХ.....	399
ИОСИФ ГОВОРИТ ПЕРЕД ПОТИФАРОМ	401
ИОСИФ ЗАКЛЮЧАЕТ СОЮЗ	410

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. БЛАГОСЛОВЕННЫЙ

ИОСИФ ПРИСЛУЖИВАЕТ И ЧИТАЕТ ВСЛУХ.....	413
ИОСИФ РАСТЕТ СЛОВНО У РОДНИКА.....	419
АМУН КОСИТСЯ НА ИОСИФА	424
БЕКНЕХОНС	428
ИОСИФ ВСЕ БОЛЬШЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЕГИПТЯНИНА.....	434
ОТЧЕТ О СКРОМНОЙ СМЕРТИ МОНТ-КАУ	443

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. ОДЕРЖИМАЯ

СЛОВО НЕВЕДЕНЬЯ	454
ОТВЕРЗАНИЕ ГЛАЗ	458
СУПРУГИ.....	464
ТРИ РАЗГОВОРА.....	482
В ТИСКАХ УДАВА	491
ПЕРВЫЙ ГОД.....	494
ВТОРОЙ ГОД	506
О ЧИСТОТЕ ИОСИФА.....	514

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ. ЯМА

ЗАПИСОЧКИ	519
БОЛЬНОЙ ЯЗЫК (ИГРА И ПРОИГРЫШ)	524
ДОНОС ДУДУ	535
УГРОЗА	544
ПРИЕМ ДАМ	547
СУКА.....	556
НОВЫЙ ГОД	561
ПУСТОЙ ДОМ	565
ЛИЦО ОТЦА.....	570
СУД.....	573

ИОСИФ-КОРМИЛЕЦ

ПРОЛОГ В ВЫСШИХ СФЕРАХ	579
------------------------------	-----

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ДРУГАЯ ЯМА

ИОСИФ ЗНАЕТ СВОИ СЛЕЗЫ	585
НАЧАЛЬНИК ТЕМНИЦЫ	590
О ДОБРОТЕ И УМЕ	598
ГОСПОДА	603
О ЗМИЕ КУСЛИВОМ.....	609
ИОСИФ ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ КАК ТОЛКОВАТЕЛЬ	611

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПРИЗЫВ

НЕБ-НЕФ-НЕЗЕМ	615
СПЕШНЫЙ ГОНЕЦ	619
О СВЕТЕ И ЧЕРНОТЕ	621
СНЫ ФАРАОНА	626

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. КРИТСКАЯ БЕСЕДКА

ВВЕДЕНИЕ	634
ДИТЯ ПЕЩЕРЫ	638
ФАРАОН ПРОРОЧЕСТВУЕТ	648
«НЕ ВЕРЮ!»	653
СЛИШКОМ БЛАЖЕННО	659
МУЖ РАЗУМНЫЙ И МУДРЫЙ	664

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ПОРА ДОЗВОЛЕНИЙ

СЕМЬ ИЛИ ПЯТЬ	670
ОЗЛАЩЕНИЕ.....	671
УТОПЛЕННОЕ СОКРОВИЩЕ	674
ВЛАДЫКА НАД ЗЕМЛЕЮ ЕГИПЕТСКОЙ.....	677

УРИМ И ТУММИМ.....	680
ДЕВУШКА	683
У ИОСИФА СВАДЬБА.....	687
ОМРАЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	690

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ФАМАРЬ

ЧЕТВЕРТЫЙ.....	694
АСТАРОТ	698
ФАМАРЬ УЗНАЕТ МИР	700
ИСПОЛНЕННАЯ РЕШИМОСТИ.....	704
«НЕ БЛАГОДАРЯ НАМ!»	706
СТРИЖКА ОВЕЦ	709

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. СВЯЩЕННАЯ ИГРА

О ДЕЛАХ ВОДНЫХ.....	712
ИОСИФУ НРАВИТСЯ ЖИТЬ	714
ОНИ ПРИДУТ.....	716
ДОПРОС	722
«ОНА ВЗЫСКИВАЕТСЯ».....	730
ДЕНЬГИ В МЕШКАХ.....	734
В НЕПОЛНОМ СОСТАВЕ.....	737
ИАКОВ БОРЕТСЯ У ИАВОКА.....	741
СЕРЕБРЯНАЯ ЧАША.....	744
ЗАПАХ МИРТА, ИЛИ ОБЕД С БРАТЬЯМИ	746
ЗАПЕРТЫЙ КРИК.....	753
У ВЕНИАМИНА!	756
ЭТО Я	758
НЕ ССОРЬТЕСЬ!.....	763
ФАРАОН ПИШЕТ ИОСИФУ	766
КАК НАМ НАЧАТЬ?	769
ВОЗВЕЩЕНИЕ	771

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ. ВОЗВРАЩЕННЫЙ

ПОЙДУ И УВИЖУ ЕГО	780
ИХ СЕМЬДЕСЯТ	783
ПРИНЕСИТЕ ЕГО!.....	784
ИАКОВ УЧИТ И ВИДИТ СОН	786
О ЛЮБВИ ОТКАЗЫВАЮЩЕЙ.....	788
УГОЩЕНИЕ.....	793
ИАКОВ СТОИТ ПЕРЕД ФАРАОНОМ	795
О ПЛУТОВАТОМ СЛУГЕ	798
ИЗ ПОСЛУШАНИЯ.....	803
ЕФРЕМ И МАНАССИЯ.....	808
СОБРАНИЕ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ	812
ИАКОВА ЗАКУТЫВАЮТ	820
ВЕЛИКОЕ ШЕСТВИЕ	824

ПРОЛОГ. СОШЕСТВИЕ В АД

1

Прошлое — это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его просто бездонным?

Так будет вернее даже в том случае и, может быть, как раз в том случае, если речь идет о прошлом всего только человека, о том загадочном бытии, в которое входит и наша собственная, полная естественных радостей и сверхъестественных горестей жизнь, о бытии, тайна которого, являясь, что вполне понятно, альфой и омегой всех наших речей и вопросов, делает нашу речь такой пылкой и сбивчивой, а наши вопросы такими настойчивыми. Ведь чем глубже тут копнешь, чем дальше проберешься, чем ниже спустишься в преисподнюю прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы рода человеческого, его истории, его цивилизации совершенно недостижимы, что они снова и снова уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружительные глубины времени мы ни погружали его. Да, именно «снова и снова»; ибо то, что не поддается исследованию, словно бы подтрунивает над нашей исследовательской неумностью, приманивая нас к мнимым рубежам и вехам, за которыми, как только до них доберешься, сразу же открываются новые дали прошлого. Вот так же порой не можешь остановиться, шагая по берегу моря, потому что за каждой песчаной косой, к которой ты держал путь, тебя влекут к себе новые далекие мысы.

Поэтому практически начало истории той или иной людской совокупности, народности или семьи единоверцев определяется условной отправной точкой, и хотя нам отлично известно, что глубины колодца так не измерить, наши воспоминания останавливаются на подобном первоисточке, довольствуясь, какими-то определенными, национальными и личными, историческими пределами.

Юный Иосиф, к примеру, сын Иакова и миловидной, так рано ушедшей на Запад Рахили, Иосиф, что жил в ту пору, когда на вавилонском престоле сидел весьма любезный сердцу Бел-Мардука коссейнин Куригальзу, властелин четырех стран, царь Шумера и Аккада, правитель строгий и блестящий, носивший бороду, завитки которой были так искусно уложены, что походили на умело выстроенный отряд щитоносцев; а в Фивах, в преисподней, которую Иосиф привык называть «Мицраим» или еще «Кеме, Черная», на горизонте своего дворца, к восторгу ослепленных сынов пустыни, сиял его святейшество добрый бог, третий носитель имени «Амун-доволен», телесный сын Солнца; когда благодаря могуществу своих богов возрастал Ассур, а по большой приморской дороге, что вела от Газы к перевалам Кедровых гор, между двором фараона и дворами Двуречья, то и дело ходили царские караваны с дарами вежливости — лазуритом и чеканным золотом; когда в городах амореев, в Бет-Шане, Аялоне, Та'Анеке, Урусалиме служили Аштарти, когда в Сихеме и в Бет-Лахаме звучал семидневный плач о растерзанном Истинном Сыне, а в Гебале, городе Книги, молились Элу, не нуждавшемуся ни в храме, ни в обрядах; итак, Иосиф, что жил в округе Кенана, в земле, которая по-египетски называлась Верхнее Ретену, неподалеку от Хеврона, в отцовском стойбище, осененном теребинтами и вечнозелеными скальными дубами, этот общеизвестно приятный юноша, унаследовавший, к слову сказать, приятность от матери, ибо та была прекрасна, как луна, когда она достигает полноты, и как звезда Иштар, когда она тихо плывет по ясному небу,

но, кроме того, получивший от отца недюжинные умственные способности, благодаря которым он даже превзошел в известном смысле отца, — Иосиф, стало быть, в пятый и шестой раз называем мы это имя, и называем его с удовольствием: в имени есть что-то таинственное, и нам кажется, что, владея именем, мы приобретаем заклинательскую власть над самим этим мальчиком, канувшим ныне в глубины времени, но когда-то таким словоохотливым и живым, — так вот, для Иосифа, например, все на свете, то есть все, что касалось лично его, началось в южноавилонском городе Уру, который он на своем языке называл «Ур Кашдим», что значит «Ур Халдейский».

Оттуда в далеком прошлом — Иосиф не всегда мог толком сказать, как давно это было, — отправился в путь один пытливый и беспокойный искатель; взяв с собой жену, которую он из нежности, по-видимому, любил называть сестрою, а также других домочадцев, этот человек, по примеру божества Ура, Луны, пустился в странствия, поскольку такое решение показалось ему самым верным, наиболее сообразным с его неблагополучным, тревожным и, пожалуй, даже мучительным положением. Его уход, явившийся, несомненно, знаком недовольства и несогласия, был связан с некими строениями, запавшими ему в душу каким-то обидным образом, которые были, если не воздвигнуты, то, во всяком случае, обновлены и непомерно возвышены тогдашним царем и Нимродом тех мест, радевшим, как втайне был убежден пращур из Ура, не столько о вящей славе божественных светил, которым эти постройки были посвящены, сколько о том, чтобы воспрепятствовать рассеянию своих подданных и вознести к небесам знаки своей двойной — Нимрода и властелина земного — власти, власти, из-под которой предок из Ура как раз и ушел, ибо рассеялся, пустившись вместе со своими близкими куда глаза глядят. Предания, дошедшие до Иосифа, не вполне сходились в вопросе о том, что именно вызвало гнев недовольного странника: громадный ли храм бога Сина, имя которого, звучавшее в названии страны Синеар, слышалось также в более привычных словах, например, в наименовании горы Синай; или, может быть, само капище Солнца, Эсагила, огромный Мардуков храм в Вавилоне, достигавший, по воле Нимрода, неба своей вершиной и хорошо известный Иосифу по устным описаниям. Этому искателю претило, конечно, и многое другое, начиная от нимродовского могущества вообще и кончая отдельными обычаями, которые другим представлялись священными и незыблемыми, а его душу все больше и больше наполняли сомнениями; а так как с душою, полной сомнений, не сидится на месте, то он и тронулся в путь.

Он прибыл в Харран, город Луны на Севере, город Дороги в земле Нахараин, где провел много лет и собирал души тех, кто вступал в близкое родство с его приверженцами. Однако родство это почти ничего, кроме беспокойства, не приносило, — беспокойства души, которое, хоть и выражалось в непоседливости тела, все-таки не имело ничего общего с обычным скитальческим легкомыслием и бродяжнической подвижностью, а было, скорее, изнурительной неугомонностью избранника, в чьей крови только-только завязывались дальнейшие судьбы, между подавляющей значительностью которых и снедавшей его тревогой существовало, должно быть, какое-то точное и таинственное соответствие. Поэтому-то Харран, куда еще простиралась власть Нимрода, и в самом деле оказался всего только «городом Дороги», то есть местом промежуточной остановки, с которого этот подражатель Луны вскоре опять снялся, взяв с собой Сару, свою сестру во браке, и всех своих родных, и их и свое имущество, чтобы в качестве их вождя и махди продолжать свою хиджру к неведомой цели.

Так он пришел на Запад, к амореям, что населяли Кенану, где тогда правили сыны Хатти, пересек эту землю в несколько переходов и продвинулся далеко на юг, под другое Солнце, в Страну Ила, где вода бежит вспять, не так, как воды рек Нахарины, и где по течению плывешь на север; где косный от старости народ поклонялся своим мертвецам и где беспокойному урскому страннику нечего было искать или добиваться. Он вернулся на Запад, то есть в край, лежащий между Страной Ила и Нимродовым царством, и, поладив с тамошними жителями, обрел относительную оседлость на юге этого края, неподалеку от пустыни, в гористой местности, бедной пашнями, но зато богатой пастбищами для его коз и овец.

Предание утверждает, будто его бог, бог, над чьим образом трудился его дух, высочайший среди богов, на безраздельное служение которому подвигали его любовь и гордость, бог вечности, которому он никак не находил достойного имени, а потому соотнес с ним множественное число и называл его на пробу Элохим, то есть божество, — предание утверждает, будто Элохим дал ему некие далеко идущие, но вместе с тем и вполне определенные обещания, в том смысле, что он, странник из Ура, должен был стать народом, многочисленным, как песок и звезды, и благословением всем народам, а земля, где покамест он жил чужестранцем и куда привел его из Халдеи Элохим, должна была целиком и навеки перейти в его и его потомков владение, причем бог богов поименно перечислил нынешних владельцев этой земли, народы, «врата» которых должны были принадлежать потомкам человека из Ура, то есть которым бог, заботясь об урском страннике и его семени, назначил рабство самым недвусмысленным образом. Эти сведения нужно принять с осторожностью или, во всяком случае, правильно понять. Перед нами позднейшие нарочитые вставки, и задача их — узаконить политические отношения, сложившиеся только благодаря войне, ссылкой на давнишний замысел бога. В действительности нрав этого лунного странника был совсем не таков, чтобы от кого-либо получать или у кого-либо вымогать политические обещания. Нет никаких доказательств, что, покидая родину, он уже заранее облюбовал для себя страну амурреев; а то, что он в виде опыта посетил также страну могил и курносой девы-львицы, говорит, скорее, как раз о противном. И если сперва он покинул могучее государство Нимрода, а потом поспешил уйти из многославного царства двухвенцового владыки оазисов и вернулся оттуда на Запад, то есть в страну, обреченную из-за своей раздробленной государственности на политическое убожество, то это отнюдь не свидетельствует о его пристрастии к имперскому величию и о его склонности к политическим прозрениям. Силой, заставившей его сняться с места, была тревога духовная, забота о боге, и если он сподоблялся каких-то обетованию, в чем сомневаться непозволительно, то относились они к распространению того нового и особого восприятия бога, которому он с самого начала и старался приобрести сторонников и радетелей. Он страдал и, сопоставляя меру своего внутреннего беспокойства с мерой его у огромного большинства людей, заключал, что его страдания служат будущему. Не напрасно, говорил ему новооткрытый бог, твоя мука, твоя тревога. Она оплодотворит множество душ, родит себе столько приверженцев, сколько песка на дне морском, и повлечет за собой великое множество событий, зародыш которых в ней заключен, — одним словом, ты будешь благословением. Благословением? Вряд ли это слово верно передает смысл того, что предстало ему в видении и что соответствовало его душевному складу, его ощущению самого себя. В слове «благословение» есть та оценка, которая не подходит для деятельности таких натур, как он, людей внутренне беспокойных и непоседливых, чьи новые представления о боге призваны определить будущее. Жизнь тех, с кого начинается та или иная история, очень и очень редко бывает чистым и несомненным «благословением», и совсем не это нашептывает им их самолюбие. «И будешь судьбою» — вот более четкий и более верный перевод слова обета, на каком бы языке оно ни было сказано: а уж означает ли эта судьба благословение или нет, это вопрос другой, вопрос, второстепенность которого явствует из того, что на него всегда и без всяких исключений можно ответить по-разному, хотя на него отвечали, конечно, утвердительно члены той возраставшей физически и духовно семьи, которая признавала бога, выведшего из Халдеи урского странника, истинным Баалом и Адду круговорота, семьи, образование которой Иосиф считал началом своей собственной, духовной и физической жизни.

2

Иногда он даже считал лунного странника своим прадедом, что, однако, решительно выходит за пределы возможного. Да он и сам отлично знал из всяческих наставлений, что все это дела более давние. Не такие, однако, давние, чтобы тот владыка земной, чьи пограничные, со знаками зодиака столпы оставил позади себя странник из Ура, был и в самом деле Нимродом,

первым царем на земле, породившим синеарского Бела. Судя по таблицам, это был законодатель Хаммурагаш, обновивший упомянутые города Луны и Солнца, и если юный Иосиф отождествлял его с древнейшим Нимродом, то это была игра мыслей, которая придавала Иосифу известную прелесть, но нам совсем не к лицу. Точно так же он порой путал урского странника с дедом своего отца, носившим то же или почти то же имя. Между мальчиком Иосифом и странствием его духовного и физического предшественника был, согласно времяисчислительным выкладкам, отнюдь не чуждым ни его эпохе, ни его культуре, промежуток поколений в двадцать, то есть примерно в шестьсот вавилонских солнечных лет — такой же, как между нами и готическим средневековьем — такой же и все-таки не такой же.

Хотя время по звездам мы отсчитываем в точности так же, как там и тогда, то есть как отсчитывали его задолго до урского странника, и хотя мы, в свою очередь, передадим этот счет самым далеким нашим потомкам, значение, вес и насыщенность земного времени не бывают одинаковы всегда и везде; у времени нет постоянной меры даже при всей халдейской объективности его измерения; шестьсот лет тогда и под тем небом представляли собой нечто иное, чем шестьсот лет в нашей поздней истории; это была полоса более спокойная, более тихая, более ровная; время было менее деятельно, в ходе его не так сильно, не так резко менялись вещи и мир, — хотя, конечно, за эти двадцать человеческих веков оно произвело очень существенные изменения и перевороты, даже перевороты в природе, изменившие земную поверхность в поле зрения Иосифа, как то известно нам и было известно ему. В самом деле, куда девались к его времени Гоморра и резиденция Лота, человека из Харрана, вступившего в близкое родство с урским искателем, — Содом, куда девались эти сластолюбивые города? Щелочное, свинцово-серое озеро разливалось там, где процветало их беззаконие, ибо на местность эту обрушился такой страшный, такой на вид всегубительный ливень смолы и серы, что дочери Лота, вовремя с ним бежавшие, те самые, которых он хотел выдать похотливым содомлянам взамен неких высоких гостей, — что они, вообразив, будто кроме них не осталось людей на земле, в женской своей заботе о продолжении рода человеческого совокупились с собственным отцом.

Вот, значит, какие зримые преобразования эти века все же произвели. Бывали времена благословенные и недобрые, изобилие и недород, бушевали войны, менялись правители, появлялись новые боги. И все-таки в целом то время было консервативней, чем наше, — образом жизни, складом ума и привычками Иосиф куда меньше отличался от своего предка из Ура, чем мы от рыцарей крестовых походов; воспоминания, основанные на устных, передававшихся из поколения в поколение рассказах, были непосредственнее, интимнее и вольнее, а время однороднее и потому обозримее; короче говоря, юного Иосифа нельзя было осуждать за то, что он мечтательно уплотнял время и порой, в часы меньшей собранности ума, например, ночью, при лунном свете, считал урского странника дедом своего отца — причем этой неточностью дело даже не ограничивалось. Вероятно, добавим мы теперь, этот пращур вовсе не был в действительности выходцем из Ура. Вероятно (днем, в часы ясности, это казалось вероятным и юному Иосифу), этот урский предок вообще не видел лунного города Уру, ибо ушел оттуда на север, в Харран, что в земле Нахарин, еще его отец и, значит, тот, кто ошибочно назван выходцем из Ура, отправился в землю аморреев, как то указал ему владыка богов, всего только из Харрана, вместе с тем осевшим позднее в Содоме Лотом, которого родовое предание мечтательно объявило сыном брата урского странника на том основании, что Лот был «сыном Харрана». Разумеется, содомлянин Лот был сыном Харрана, коль скоро он, как и урский предок, там родился. Но, если Харран, город Дороги, превращали в брата, а прозелита Лота соответственно в племянника урского предка, то это была, конечно, чистейшая игра мечтательного воображения, невозможная при дневном свете, но способная объяснить, почему юному Иосифу так легко давались эти замены.

Он делал их с такой же спокойной совестью, с какой, например, синеарские звездочеты и жрецы, соблюдавшие в своих гаданьях правило равнозначности светил, заменяли одно не-

бесное тело другим, например, Солнце, когда оно заходило, планетой Нинурту, влияющей на государственные и военные дела, или планету Мардук созвездием Скорпиона, называя в таких случаях это созвездие просто «Мардуком», а Нинурту «Солнцем», он делал это ради практического удобства, ибо его желание установить начало событий, к которым он себя приобщал, встречало ту же помеху, с какой всегда сталкивается такое стремление: помеха состоит в том, что у каждого есть отец, что ни одна вещь на свете не появилась сама собой из ничего, а любя от чего-то произошла и обращена назад, к своим далеким первопричинам, к пучинам и глубинам колодца прошлого. Иосиф, конечно, знал, что и у отца урского странника, у истинного, стало быть, выходца из Уру, тоже наверняка был отец, с которого, значит, в сущности и начиналась его, странника, личная история, а у того отца — свой отец, и так далее, хотя бы вплоть до Иавала, сына Ады, до праотца живущих в шатрах и разводящих скот. Но ведь уход из Синеара был и для Иосифа только условным и частным началом, и благодаря песням и учению он прекрасно представлял себе, какие общие события этому началу предшествовали и через какое множество историй восходили они к Адапе или Адаме, первому человеку, который, согласно одной лживой вавилонской поэме, — куски ее Иосиф знал даже наизусть, — был сыном Эй, бога мудрости и водных глубин, и служил богам пекарем и виночерпием, но о котором у Иосифа имелись более священные и более точные сведения; к саду на Востоке, где стояли два дерева — древо жизни и нечистое древо смерти; к самому началу, когда мир, небо и землю сотворило из тоху и боху Слово, что носилось над водою и было богом. Но разве и это не было только условным и частным началом вещей? Ведь уже тогда восхищенно и удивленно взирали на творца разные существа: сыны бога, звездные ангелы, о которых Иосиф знал много любопытных и даже веселых историй, и гнусные демоны. Они остались, значит, еще от той предыдущей вечности, что, одряхлев, превратилась в неотесанное тоху и боху, — но была ли она началом начал?

Тут у юного Иосифа кружилась уже голова, в точности как у нас, когда мы наклоняемся над колодцем, и, несмотря на маленькие неподобающие нам неточности, которые позволяла себе его красивая и хорошенькая головка, мы чувствуем, как он близок нам и современен перед лицом той бездонной преисподней прошлого, куда и он, далекий, уже заглядывал. Он был, нам кажется, таким же человеком, как мы, и, несмотря на раннее свое время, отстоял от начал человечества (не говоря уж о началах вещей вообще) математически так же далеко, как мы, потому что начала эти на поверку уходят в темную пасть колодца, и в своих изысканиях мы должны либо отправляться от каких-то условных и мнимых начал, путая их с началом действительным в точности так же, как путал Иосиф урского странника, с одной стороны, с отцом этого предка, а с другой — со своим собственным прадедом, либо брести назад от одного мыса к другому в бесконечную даль.

3

Мы упомянули, к примеру, что Иосиф знал наизусть красивые вавилонские стихи из одной большой, запечатленной письмом поэмы, исполненной лживой мудрости. Он слышал их от путников, которые заворачивали в Хеврон и с которыми он со свойственной ему общительностью обычно беседовал, и от своего домашнего учителя, вольноотпущенника отца, старого Елиезера — не следует путать его (как порой случалось путать Иосифу и даже самому этому старику, к его удовольствию), не следует путать его с Елиезером, старшим рабом урского странника, тем, что сватал некогда у колодца Исааку дочь Вафуила. Так вот, мы знаем эти стихи и сказания; у нас есть таблицы с их текстами, найденные в Ниниве, во дворце Ашшурбанапала, царя вселенной, сына Ассархаддона, сына Синахериба, и иные из этих глиняных, серо-желтых скрижалей, покрытых затейливой клинописью, представляют собой первоисточник предания о великом потопе, которым господь истребил первых людей за их растленность, потопе, игравшем и в личной истории Иосифа такую важную роль. Но если говорить правду, то слово

«первоисточник», особенно его первая, наиболее яркая часть, выбрана не совсем точно; ведь поврежденные эти таблички являются копиями, которые всего за каких-нибудь шестьсот лет до нашей эры Ашшурбанапал — владыка, весьма благорасположенный к письменности и к закреплению мыслей, «премудрый», как выражались вавилоняне, и усердный собиратель богатств ума, — велел изготовить ученым рабам, а подлинник был на добрую тысячу лет старше и восходил, следовательно, ко временам законодателя и лунного странника, отчего прочесть и понять его писцам Ашшурбанапала было примерно так же легко или так же трудно, как нам, ныне здравствующим, рукопись из времен Карла Великого. Неуклюжие, давным-давно устаревшие письма этой иератической грамоты было, конечно, трудно разобрать уже и тогда, и за то, что смысл их передан безупречно, поручиться нельзя.

Однако и этот подлинник тоже, собственно, не был подлинником, настоящим подлинником, если присмотреться получше. Он и сам уже был списком с документа бог весть какой давности, который, хоть мы и не знаем толком времени его изготовления, можно было бы наконец признать истинным подлинником, если бы и тот, в свою очередь, не был снабжен примечаниями и приписками, сделанными рукой писца для лучшего понимания опять-таки какого-то сверхдревнего текста, но способствовавшими, вероятно, напротив, обновительно-му искажению его мудрости, — мы могли бы продолжить эту цепь, не смей мы надеяться, что нашим слушателям уже и так ясно, что мы имеем в виду, когда говорим о далеких мысах и о жерле колодца.

У жителей земли Египетской это понятие обозначалось особым выражением, которое Иосиф знал и при случае употреблял. Хотя дом Иакова был закрыт для хамитов из-за их надругавшегося над своим отцом и сплошь почерневшего предка и еще потому, что к обычаям Мицраима Иаков относился с религиозным неодобрением, мальчик по своему любопытству все-таки часто общался с египтянами в городах, в Кириаф-Арбе, в Сихеме, и подцепил кое-какие словечки их языка, в котором позднее ему довелось так блестяще усовершенствоваться. Так вот, о делах неопределенной, но очень большой, — короче, незапамятной — давности египтяне говорили: «Это случилось в дни Сета» — так звали одного из их богов, коварного брата их Мардуга или Таммуза, которого они именовали Усири, страдальцем; прозвище это объяснялось тем, что Сет, во-первых, заманил брата в гробовой ларь и бросил в реку, а потом, как лютей зверь, растерзал его на куски и убил окончательно, после чего Усир, жертва Сета, стал повелителем мертвых и царем вечности в преисподней... «В дни Сета» — людям Мицраима часто доводилось пользоваться этим речением, ибо все их дела уходили своим началом в непроглядный мрак той поры.

На краю Ливийской пустыни, близ Мемфиса, лежал, вытянув перед собой огромные кошачьи лапы, высеченный из скалы великан, пятидесятитрехметровой высоты полулев-полулева, с женскими грудями, с козлиной бородой и вздыбившимся у головной повязки удавом, и нос этого каменного исполина был притуплен временем. Он лежал там всегда, и всегда его нос был источен временем, и никто не помнил поры, когда нос его еще не был так туп или когда этого сфинкса вообще не существовало. Тутмос Четвертый, золотой коршун и могучий бык, любимец богини Правды, царь Верхнего и Нижнего Египта, из той же восемнадцатой династии, что и Амун-довольный, велел во исполнение некоего наказа, полученного им во сне перед своим восшествием на престол, вырыть это исполинское изваяние из песка пустыни, которым его уже почти совсем занесло. Но уже за полторы тысячи лет до того царь Хуфу, из четвертой династии, выстроивший себе поблизости гробницу в виде огромной пирамиды и приносивший сфинксу жертвы, застал его весьма обветшалым, а о временах, когда его вообще не было или когда хотя бы нос его был цел, и вовсе никто не помнил.

Не сам ли Сет высек из камня этого чудо-зверя, которого позднее считали изображением солнечного бога и называли «Гор на светозарной горе»? Это вполне возможно, ибо Сет, как и жертва Усири, был, вероятно, не всегда богом: когда-то он, по-видимому, был человеком, и притом царем земли Египетской. В часто повторявшемся уверении, что первую египетскую

династию основал примерно за шесть тысяч лет до нашей эры некто Менес или Гор-Менес, а до того была «преддинастическая эпоха»; что этот Менес впервые объединил две страны, нижнюю и верхнюю, папирус и лилию, красный и белый венцы, и был первым царем Египта, история которого и начинается с его правления, — во всем этом утверждении нет, вероятно, ни одного слова правды, и, если взглянуть пристальнее, то первопрародитель Менес — это просто-напросто завеса времени. Геродоту египетские жрецы сообщили, что письменная история их страны началась за 11340 лет до его эры, а это составляет для нас примерно четырнадцать тысяч лет и делает царя Менеса совсем не такой первобытной фигурой. История Египта распадается на периоды разлада и упадка и на периоды могущества и великолепия, на эпохи безвластия и многовластия и на эпохи величественного единоначалия, и становится все яснее, что уклады эти слишком часто чередовались, чтобы царь Менес мог быть и в самом деле первым единодержцем. Разобщенности, которую он исцелил, предшествовало более раннее единство, а единству более ранняя разобщенность; сколько раз нужно в данном случае употребить слова «более ранний», «опять-таки» и «предшествовать» — сказать нельзя; сказать можно только, что впервые единство царило при божественных династиях, отпрысками которых, по всей вероятности, и были Сет и Усири, и что история об убийстве и растерзании Усири, жертвы, мифически намекала на борьбу за престол, при которой дело не обходилось без коварства и преступлений. Это до одухотворенности, до призрачности далекое прошлое, ставшее уже мифом и богословием, сделалось предметом почтительного поклонения, приняв образ определенных животных, нескольких соколов и шакалов, которых хранили в древних столицах стран, Буто и Энхабе, животных, в которых будто бы таинственным образом продолжали жить души тех первобытных существ.

4

«В дни Сета» — это выражение нравилось юному Иосифу, и мы разделяем удовольствие, которое оно доставляло ему; нам тоже, как и людям земли Египетской, оно кажется очень удобным и уместным поистине во всех случаях: ведь на какие дела человеческие ни кинешь взгляд, всегда оно так и просится на язык, и все на свете, если взглянуть как следует, уходит своим началом действительно «в дни Сета».

В тот момент, когда начинается наша повесть, — момент этот выбран, правда, весьма произвольно, но ведь надо же с чего-то начать и что-то опустить, а не то нам самим бы пришлось начать «со дней Сета», — итак, в ту пору Иосиф уже пас скот со своими братьями, хотя эта обязанность была возложена на него в щадящем объеме: когда ему хотелось, он пас вместе с ними на выгонах у Хеврона овец, коз и коров своего отца. Каков же был вид этих животных и чем отличались они от тех, которых пасем и содержим мы? Ровно ничем. То были такие же добрые и мирные твари, прирученные в такой же мере, как ныне, и вся история разведения, скажем, крупного рогатого скота, ведущего свой род от диких буйволов, была во времена юного Иосифа уже такой древней, что просто смешно, говоря о подобных отрезках времени, употреблять слово «давно»: крупный рогатый скот был, как известно, приручен уже в самом начале той эпохи каменных орудий, которая предшествовала железному и бронзовому векам и от которой амуррейский мальчик Иосиф, получивший вавилонско-египетское образование, отстоял почти так же далеко, как мы, ныне здравствующие, — разница тут ничтожна.

Если же мы спросим о дикой овце, приручением которой была «некогда» выведена Иаковлева и наша порода овец, то узнаем, что дикая овца полностью вымерла. Ее «давно» не существует вообще. Она стала домашним животным не иначе как в дни Сета, и приручение лошади, осла, козы и свиньи, предком которой был растерзавший овчара Таммуза дикий кабан, относится к той же туманной дате. Наши исторические записи охватывают около семи тысяч лет, и за это время, во всяком случае, ни одно дикое животное не было одомашнено. Это лежит за пределами человеческой памяти.

Тогда же произошло и превращение диких и тощих трав в благородные хлебные злаки. Наша ботаника, к величайшей своей досаде, не в состоянии возвести наши зерновые растения, которыми питался также Иосиф, — ячмень, овес, рожь, кукурузу и пшеницу, — к их дикорастущим предкам, и ни один народ не может похвастаться, что он первым стал сеять и разводить эти злаки. Нам известно, что в каменном веке в Европе было пять разновидностей пшеницы и три разновидности ячменя. Что же касается открытия виноградарства, достижения беспримерного, если смотреть на это как на завоевание человека, отвлекаясь от всяких других возможных по этому поводу суждений, то предание, несущее отголосок головокружительных глубин времени, приписывает эту заслугу Ною, пережившему потоп праведнику, тому самому, кого вавилоняне называли Утнапиштим и еще Атрахасис, премудрый, и кто поведал о началах вещей позднему своему потомку Гильгамешу, герою упомянутых клинописных поэм. Этот праведник, как Иосиф тоже знал, прежде всего насадил виноградники, — что, кстати, казалось Иосифу не таким уж праведным делом. Неужели тот не мог посадить что-нибудь действительно полезное? Смоковницы, например, или маслины? Так нет же, он вырастил сперва виноград и опьянел от вина, и когда он был пьян, над ним надругались и оскопили его. Но если Иосиф думал, что чудовищный этот случай произошел не очень давно и что виноградарством люди начали заниматься всего за какой-нибудь десяток поколений до его «прадеда», то это было мечтательным заблуждением, благочестиво приближавшим невообразимую древность, — причем и эта древность, добавим мы с тихим изумлением, была, в свою очередь, уже настолько поздней, уже настолько далекой от начала рода человеческого, что могла родить премудрость, способную на такой подвиг цивилизации, как облагороженье дикой лозы.

Где истоки человеческой цивилизации? Каков ее возраст? Мы задаем этот вопрос, глядя на далекого Иосифа, чей уровень развития, если не считать маленьких мечтательных неточностей, вызывающих у нас дружелюбную улыбку, существенно уже не отличался от нашего. Но стоит только задать этот вопрос, как сразу же дразняще открываются все новые и новые мысы. Когда мы говорим о «древности», мы обычно имеем в виду греческо-римский мир, то есть мир сравнительно свежей новизны. Дойдя до так называемых «коренных» жителей Греции, пеласгов, мы видим, что острова, где они осели, были дотоле заселены настоящими коренными жителями, племенем, которое овладело морем еще раньше, чем финикияне, и, значит, финикияне как «первые морские разбойники» — это только очередная завеса, очередной мыс. Мало того, наука все увереннее предполагает, что эти «варвары» были колонистами с Атлантиды, затонувшего материка по ту сторону Геркулесовых столпов, который некогда соединял Европу и Америку. Но вот чтобы он был первой обитаемой областью земли, — это предположение настолько сомнительно, что граничит с невероятностью и лишь наводит на мысль, что начальная история цивилизация, а также история премудрого Ноя связана с какими-то гораздо более древними, намного раньше погибшими землями.

Это недостижимые мысы, которые можно только туманно обозначить упомянутым египетским выражением, и народы Востока поступали умно и благочестиво, считая зачинателями своей культуры богов. Красноватые люди Мицраима видели в страдальце Усири благодетеля, который первым обучил их земледелию и дал им законы и чья деятельность прервалась только из-за козней Сета, уподобившегося дикому кабану. Китайцы считали основателем своей державы императора-полубога по имени Фу-Хи, который будто бы ввел у них разведение крупного скота и обучил их прекрасному искусству письма. Для астрономии они тогда, в 2852 году до нашей эры, явно еще, по мнению этого высшего существа, не созрели, ибо, согласно их летописям, эта наука была преподана им только тринадцать столетий спустя великим чужеземным императором Таи-Ко-Фоки, хотя синейские жрецы-звездочеты разобрались в знаках зодиака, несомненно, уже за много веков до этого, и у нас есть даже сведения, что один из участников похода Александра Македонского в Вавилон послал Аристотелю нацарапанные на обожженной глине халдейские астрономические выкладки, которым сегодня было бы 4160 лет. Это вполне возможно; ведь очень вероятно, что наблюдением небесных светил и

календарными вычислениями занимались уже в стране Атлантиде, исчезнувшей, по Солону, за девять тысяч лет до рождения этого ученого, и что, значит, уже за одиннадцать с половиной тысяч лет до нашей эры человек дорос до усвоения этих высоких искусств.

Что искусство письма не моложе, а, вероятно, значительно старше — ясно само собой. Мы упоминаем о нем потому, что Иосиф был особенно к нему привержен и, в отличие от всех своих братьев, рано стал в нем совершенствоваться, постигая, поначалу с помощью Елиезера, и вавилонскую, и финикийскую, и хеттскую грамоту. Он питал прямо-таки пристрастие, прямо-таки слабость к тому богу или, вернее, идолу, которого на Востоке называли Набу, писцом историй, а в Тире и Сидоне — Таутом и повсюду считали изобретателем знаков и летописцем древнейших событий, — к египетскому Тоту из Шмуна, письмоводителю богов и покровителю науки, чья должность почиталась там внизу больше всех других должностей, — к этому правдивому, умеренному и заботливому богу, то принимавшему облик седовласой обезьяны приятной наружности, то появлявшемуся с головой ибиса и, что было опять-таки во вкусе Иосифа, поддерживавшему самые нежные и торжественные отношения с главным светилом ночи. При Иакове, своем отце, юноша не смел и заикнуться об этой склонности, ибо тот сурово осуждал такое заигрывание с идолами, проявляя, пожалуй, большую строгость, чем даже некие высшие инстанции, ради которых он, собственно, и был так строг; ведь история Иосифа показывает, что они не очень-то или, во всяком случае, недолго обижались на него за такие маленькие отступления от дозволенного.

Что касается письма, то, намекая на туманность его происхождения, можно слегка изменить известный уже египетский оборот и сказать, что оно появилось во дни Тота. Изображения рукописного свитка имеются на самых древних египетских памятниках, и нам известен папирус, принадлежавший Гор-Сенди, царю второй тамошней династии, но уже тогда, шесть тысяч лет назад, считавшийся таким древним, что говорили, будто Сенди получил его в наследство от Сета. В царство Снофру и уже упомянутого Хуфу, сыновей Солнца четвертой династии, когда строились пирамиды в Гизехе, грамотность была распространена в низших слоях народа настолько, что ныне ведется изучение нехитрых надписей, нацарапанных рабочими на исполинских каменных глыбах. Однако в столь широкой распространенности знаний в такие далекие времена нет ничего удивительного, если вспомнить, что сообщали о возрасте письменной истории Египта жрецы.

Но уж если так несметны века запечатляемой знаками речи, то в каких веках отыщешь начало речи устной? Говорят, что древнейшим языком, праязыком, был индоевропейский язык, санскрит. Но можно не сомневаться, что этот «первоисток» выбран так же опрометчиво, как всякий другой, и что существовал опять-таки еще более древний язык, содержащий в себе корни не только арийских, но также семитских и хамитских наречий. Вероятно, на этом языке говорили на Атлантиде, очертания которой маячат последним, еще кое-как различимым мысом в тумане прошлого, но которая тоже вряд ли является самой первой родиной говорящего человека.

5

Некоторые находки заставляют специалистов-историков считать, что человек как биологический вид появился пятьсот тысяч лет назад. Это не такой уж большой срок, если, во-первых, иметь в виду, что, по данным нынешней науки, человек как животное является древнейшим млекопитающим и уже на поздней заре жизни, до того, как стал развиваться головной мозг, существовал на земле в различных зоологических личинах — в виде земноводных и пресмыкающихся; во-вторых, если представить себе, какое огромное нужно было время, чтобы тот полусогбенный, со сросшимися пальцами, потрясаемый проблесками зачаточного еще разума, чтобы тот похожий на сумчатое животное, бродящий, как во сне, зверь, каким, по видимому, был человек до появления премудрого Утнапиштира-Ноя, изобрел стрелы и лук,

научился пользоваться огнем, ковать метеорное железо, выращивать хлеб, разводить домашних животных и виноград, — одним словом, стал тем смышленным, умелым и во всех решающих отношениях современным существом, каким предстает перед нами человек уже на самых первых порах своей истории. Один саисский жрец истолковал Солону греческое предание о Фээтоне в том смысле, что человечество было свидетелем какого-то отклонения вращающихся вокруг Земли небесных тел, следствием которого был опустошительный пожар на земле. И правда, становится все несомненное, что смутные воспоминания человечества, бесформенные, но приобретающие в мифах все новые и новые формы, восходят к катастрофам огромной древности, предание о которых, питаемое позднейшими и менее крупными событиями подобного рода, прижилось у разных народов и образовало ту самую череду мысов, те самые кулисы, что так влекут к себе и волнуют всякого, кто устремляется в глубь времен.

Упомянутые уже стихи, которые Иосиф заучил с чужих слов, излагали среди прочего историю великого потопа. Иосиф все равно узнал бы об этой истории, даже если бы и не познакомился с нею на вавилонском языке и в вавилонской передаче; она бытовала на его Западе вообще и в кругу его близких в частности, хотя в несколько другой форме и с другими подробностями, чем в Двуречье. Как раз во времена его юности она закреплялась у него дома в отличном от восточного изложение, благодаря чему Иосиф прекрасно знал о тех днях, когда всякая плоть, не исключая и животных, неопишимо извратила свой путь, так что даже сама земля растлилась и, если сеяли пшеницу, плодила плевелы, а так как все это продолжалось вопреки предостережениям Ноя, то в конце концов господь и творец, чьи ангелы и те замарались подобными мерзостями, не выдержал и по истечении последней двадцатилетней отсрочки вынужден был, к собственному огорчению, обрушить на землю карающие хляби! И о том, как господь бог по величественному своему добродушию (которого ангелы отнюдь не разделяли) все-таки оставил для жизни спасительную лазейку в виде осмоленного ковчега, куда вошел Ной со своими животными, — об этом Иосиф знал тоже. Знал он и день, когда живые твари вошли в ковчег: то был десятый день месяца хешвана, а потоп начался в семнадцатый, в самую пору весеннего таяния снегов, когда засветло восходит звезда Сириус и прибывает вода в колодцах. Иосиф узнал эту дату от старика Елиезера. Но сколько прошло с тех пор годовщин? Об этом он не задумывался, об этом не задумывался и старик Елиезер, и тут-то начинаются всякие сокращения, смешения и смещения, которых так много в этом предании.

Одному небу известно, когда именно столь опустошительно разлился Евфрат, река и вообще-то довольно беспокойная и буйная, или столь глубоко, с таким вихрем и землетрясением, вторгся в сушу Персидский залив, чтобы эти события не скажем: породили, нет, но, во всяком случае, в последний раз освежили предание о потопе, оживили его ужасающей достоверностью и прослыли в последующих поколениях великим потопом. Возможно, что последнее бедствие такого рода случилось и в самом деле не так уж давно, и чем оно ближе, тем любопытней вопрос, удалось ли и как удалось поколению, испытавшему его на собственной шкуре, спутать это современное событие с преданием, с великим потопом. Да, удалось, но это не дает ни малейшего повода для удивления и не свидетельствует о недостатке ума. Главное было не в том, что какое-то событие прошлого повторилось, а в том, что оно произошло вот сейчас. А произойти сейчас оно могло потому, что условия, которые его вызвали, были налицо во всякое время. Во всякое время пути плоти были извращены или могли быть извращены даже при самых благочестивых побуждениях; откуда людям знать, праведны или неправедны они перед богом, и не мерзко ли небожителям то, что кажется человеку праведным? Глупые люди не знают бога и не знают приговора преисподней; во всякое время может иссякнуть долготерпение, начаться суд, тем более что их предостерег уже один мудрец и дока, который умел толковать знаменья и, благодаря хитроумной своей предусмотрительности, единственный из множества тысяч ускользает от гибели, но сперва доверяет земле скрижали своего знания, как семена будущей мудрости, чтобы потом, когда вода схлынет, от этого письменного посева все пошло снова. Во всякое время — таков девиз этой тайны. У тайны этой нет времени; но форма вневременности — это Вот Сейчас и Вот Здесь.

Итак, потоп был у Евфрата, однако в Китае он тоже был. Там около 1300 года до нашей эры чудовищно разлилась река Хуанхэ, что, кстати сказать, дало повод искусственно изменить ее русло. Этот разлив был повторением потопа, случившегося на тысячу пятьдесят лет раньше, при пятом императоре, и Ноя этого потопа звали Яу. Но и то наводнение по времени отнюдь не было настоящим, великим, первым потопом, ибо память об этом событии-подлиннике сохранилась у самых различных народов; подобно тому как вавилонская поэма о потопе, которую знал Иосиф, представляла собой лишь список со все более и более древних подлинников, сама идея потопа восходит ко все более отдаленным прообразам, и последним, истинным ее прообразом люди — с наибольшим, по их мнению, основанием — считают погружение в морскую пучину земли Атлантиды; эта ужасная весть, считают они, проникла во все уголки земли, заселенной некогда выходцами с Атлантиды, и навсегда закрепилась в человеческой памяти изменчивым преданием. Однако это мнимый предел, промежуточный, а не конечный рубеж. По подсчетам халдеев, от великого потопа до начала первой исторической династии Двуречья прошло 39180 лет. Следовательно, гибель Атлантиды, происшедшую всего лишь за девять тысяч лет до Солона, то есть катастрофу с точки зрения истории земли весьма позднюю, никак нельзя считать великим потопом. Она тоже была только повторением, только претворением прошлого в настоящее, только ужасающим напоминанием; истинное же начало этой истории надо отнести по меньшей мере к той неизмеримо далекой поре, когда огромный остров под названием «Лемурия», в свою очередь представлявший собой лишь остаток древнего материка Гондваны, исчез в волнах Индийского океана.

Нас занимают не числовые выражения времени, а то уничтожение времени в тайне взаимозаменяемости предания и пророчества, которое придает слову «некогда» двойное значение прошлого и будущего, и тем самым заряжает это слово потенцией настоящего. Здесь корни идеи перевоплощения. Цари Вавилона и обоих Египтов, упомянутый уже курчавобородый Куригальзу, а равно и Гор, что блистал во дворе в Фивах и носил имя «Амун-доволен», и все их предшественники и преемники были плотскими ипостасями бога Солнца, — то есть миф становился в них мистерией, и грань между «быть» и «значить» стиралась начисто. Времена, когда можно было спорить, «является» ли просфора телом жертвы или только «означает» его, наступили только три тысячи лет спустя; но и эти весьма праздные словопрения ничуть не поколебали того факта, что суть тайны по-прежнему заключена во вневременном настоящем. В этом и состоит смысл обрядов, праздника. Каждое рождество заново родится на свет младенец-спаситель, которому суждено страдать, умереть и воскреснуть. И когда в Сихеме или Бет-Лахаме во время летнего солнцестояния Иосиф на «празднике плачущих женщин», «празднике зажженных светильников», празднике в честь Таммуза, под всхлипывания флейт и крики радости, переживал, как будто все это случалось при нем, — и убийство «пропавшего сына» отрока-бога, Усира-Адонаи, и его воскресение, — то тут как раз и происходило то уничтожение времени в тайне, которое нас занимает, — занимает потому, что оно доказывает логическую состоятельность мышления, сразу узнававшего во всяком бедственном полноводье великий потоп.

6

К истории потопа примыкает история Великой Башни. Будучи, как и первая, общим достоянием, она оживала в разных местах и давала поводы для образования кулис и мечтательной путаницы не меньше, чем первая. Что, например, башню вавилонского храма Солнца, носившую название Эсагила, или Дом Вознесения Глав, Иосиф считал той самой великой башней, — это столь же несомненно, сколь и простительно. Уже странник из Ура, безусловно, считал ее великой башней, да и не только в окружении Иосифа, а прежде всего в самой земле Синеар на этот счет не было никакого другого мнения. Древняя и громадная башня Эсагила, воздвиг которую, как полагали, с помощью первых своих созданий — черноголо-

вых — сам Бел, творец, а обновил и достроил законодатель Хаммурагаш, семиуступная эта башня, о финифтяном великолепии которой слышал Иосиф, была для всех халдеев зримо-реальным воплощением понятия, дошедшего до них от незапамятно давних времен — Великой Башни, творения рук человеческих, высотой до небес. Если в узком кругу Иосифа сказание о башне связывалось с какими-то другими, по существу не относящимися к делу представлениями, например, с идеей «рассеяния», то объясняется это только личным отношением к башне лунного странника, его обидой и его уходом; для людей Синеара между мигдалами, крепостными башнями их городов, и названным нами понятием не было ничего общего: напротив, законодатель Хаммурагаш велел оговорить в особой надписи, что он затем и сделал их такими высокими, чтобы «вновь сплотить» под своим, посланца неба, владычеством рассеивающийся народ. Лунный предок, однако, усмотрел в этом нечто обидное в божественном смысле и вопреки единодержавным намерениям Нимрода рассеялся; поэтому то прошлое, которое реально воплощалось в Эсагиле, приобрело привкус будущего, привкус пророчества. Суд витал над этим строптиво поднявшимся до небес памятником царской Нимродовой дерзости; камня на камне не должно было от него остаться, а его строителей должен был смешать и рассеять владыка богов. Так учил сына Иакова старый Елиезер, сохраняя двойной смысл слова «некогда», то единство предания с пророчеством, плодом которого была вневременная реальность, халдейская башня.

С ней, таким образом, и связывалось у Иосифа предание о Великой Башне. Но совершенно ясно, что Эсагила — это только кулиса, только один из многих мысов на неизмеримом пути к подлинной башне. Для людей Мицраима эта башня тоже была реальностью и воплощалась в стоявшем среди пустыни поразительном надгробье царя Хуфу. Но и в землях, о существовании которых ни Иосиф, ни старый Елиезер даже не подозревали, посреди Америки, тоже имелась своя «башня» или, вернее, своя аллегория башни, огромная пирамида в Халуле, размеры которой, судя по развалинам, непременно вызвали бы у царя Хуфу досаду и зависть. Жители Халулы всегда отрицали, что это исполинское сооружение — дело их рук. Они утверждали, что пирамида сооружена действительно исполинами: какой-то, по уверениям тамошних жителей, пришедший с востока и одержимый тоской по солнцу искусный народ, истово трудясь, воздвиг это здание из глины и горной смолы, чтобы приблизиться к любимому своему светилу. Многие говорят в пользу предположения, что эти высокоразвитые чужеземцы были колонистами с Атлантиды, и похоже на то, что куда бы ни прибывали эти солнцепоклонники и ярые астрономы, у них не находилось более срочного дела, чем сооружать на глазах у изумленных аборигенов огромные обсерватории по образцу высочайших отечественных построек, и в частности, Горы Богов посреди их страны, о которой рассказывает Платон. Возможно, стало быть, что прообраз Великой Башни следует искать в Атлантиде. Во всяком случае, мы не в состоянии проследить более давнюю историю Башни и потому кончаем свои рассуждения об этом странном предмете.

7

Где же находился рай, «сад на востоке», место покоя и счастья, родина человека, где он вкусил от дурного древа и откуда был изгнан или, вернее, изгнал и рассеял себя самого? Юный Иосиф знал это не хуже, чем историю потопа, и из тех же источников. Он только улыбался, когда жители пустыни из Сирии объявляли раем большой оазис Дамаск, не в силах представить себе ничего более чудесного, чем бойкий торговый город, расположенный среди луговых озер, царственных гор и плодовых рощ, утопающий в прекрасно орошенных садах и кишмя кишущий самым разнообразным людом. Не пожимал он из вежливости плечами, но внутренне пожимал ими и тогда, когда жители Мицраима заявляли, что сад этот находился, само собой разумеется, в Египте, ибо середина и пуп вселенной — Египет. Курчавородые синеарцы тоже считали, что их столица, которую они называли «Врата бога» и «Союз

Неба и Земли» (мальчик Иосиф повторял за ними эти слова на их очень ходовом тогда языке: «Вав-илу, маркас шаме у ирситим», — произносил он быстро и ловко) — что Вавилон, стало быть, — это священная середина вселенной. Но у Иосифа были насчет пупа вселенной более подробные и точные сведения, почерпнутые из истории его доброго, задумчивого и торжественного отца, который, еще в молодости, отправившись к дяде в страну Нахараим, на пути в Харран от «Семи колодцев», где жила его семья, неожиданно-негаданно набрел на истинные врата неба, на подлинный пуп вселенной: то был холм Луз со священным каменным кругом, место, которое отец затем назвал Вефиль, Дом Божий, ибо здесь, убегая от Исава, он сподобился самого потрясающего в своей жизни откровения. Здесь, на холме, где Иаков поставил памятником и полил маслом каменное свое изголовье, здесь была с тех пор для близких Иосифа середина вселенной и пуповина, связующая небо и землю; но рай был и не здесь, а на изначальной родине, он, по ребяческому убеждению Иосифа, убеждению, впрочем, широко распространенному, находился где-то там, откуда некогда вышел странник лунного города, в нижнем Синеаре, где разделялась река и где влажная земля между ее рукавами поныне еще изобиловала деревьями, приносящими лакомые плоды.

Мнение, что Эдем нужно искать где-то здесь, в Южной Вавилонии, и что тело Адама было сотворено из вавилонской земли, надолго осталось господствующим богословским учением. Однако и в этом случае перед нами опять знакомая нам кулиса-преграда, та же система наслоений и соотнесенных с определенным местом древних прообразов, которую нам уже не раз доводилось наблюдать, — только на этот раз тут есть что-то необычное, в точнейшем смысле слова заманчивое и уводящее за пределы земного; только на этот раз колодец человеческой истории показывает всю свою глубину, неизмеримую глубину — вернее, бездонность, к которой уже не подходит понятие глубины или темноты, а подходит, наоборот, представление о высоте и о свете, — о светлой высоте, откуда и произошло падение, история которого неразрывно связана с памятью нашей души о саде блаженства.

Дошедшее до нас описание рая в одном отношении точно. Из Эдема, сказано там, выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки: Фисон, Гихон, Евфрат и Хидекель. Фисон, как добавляют толкователи, зовется также Гангом; он обтекает всю землю индов и несет с собой золото. Гихон — это Нил, величайшая река мира, а обтекает он землю мавров. Что же касается Хидекеля, реки быстрой, как стрела, то это Тигр, протекающий перед Ассирией. Последнее ни у кого не вызывает возражений. Возражения, и притом веские, вызывает отождествление Фисона и Гихона с Гангом и Нилом. Полагают, что речь идет об Араксе, впадающем в Каспийское, и о Галисе, впадающем в Черное море, и что рай, следовательно, хоть и был в поле зрения вавилонян, находился на самом деле не в Вавилонии, а в той горной области Армении, севернее Месопотамской равнины, где соседствуют истоки упомянутых четырех рек.

Это мнение представляется вполне разумным. Ведь если, как то утверждает достопочтеннейший источник, «Фрат», или Евфрат, выходил из рая, то никак нельзя допустить, что рай находился где-то близ устья Евфрата. Но, признав это и отдав пальму первенства стране Армении, мы всего-навсего сделаем шаг к следующей правде и остановимся только на одну кулису, только на одну путаницу дальше.

Четыре стороны — так учил Иосифа уже старик Елиезер — дал миру бог: утро, вечер, полдень и полночь, хранимые у самого престола господня четырьмя священными животными и четырьмя ангелами, не спускающими глаз с этой основы основ. И разве не в точности на четыре страны света глядят нижнеегипетские пирамиды своими покрытыми блестящим цементом гранями? Так же расположены и райские реки. В своем течении они подобны змеям с соприкасающимися остриями хвостов и направленными к четырем разным странам света, а потому далекими одна от другой головами. Это явное заимствование. В Переднюю Азию перенесена география, хорошо знакомая нам по описанию другой, исчезнувшей земли, а именно — Атлантиды, где, по Платону, посреди острова возвышалась Гора Богов, а от нее точно так же, то

есть крестом, на четыре стороны света, растекались те же четыре реки. Всякий ученый спор о географическом значении «главных рек» и о местонахождении самого сада приобретает успокоительно праздный характер благодаря сведениям, из которых явствует, что соотносимая с разными местами идея рая обязана своей наглядностью памяти народов об исчезнувшей земле, где, живя по священным и кротким законам, благоденствовало высокочудное человечество. Совершенно ясно, что предание о рае в узком смысле слова смешалось с легендой о золотом веке. Память об этом веке по праву, видимо, связана с той гесперийской страной, где, если не врут все наши источники, какой-то великий народ вел в неповторимо благоприятных условиях мудрую и благочестивую жизнь. Но «садом в Эдеме», прародиной и местом падения, эта страна вовсе не была; она лишь кулиса, лишь мнимый конец пространственно-временных поисков рая; ибо первобытного человека, адамита, история земли относит ко временам и пространствам, канувшим в прошлое еще до заселения Атлантиды.

О, дразнящая обманчивость поисков! Если еще допустимо, если еще простительно, хотя и ошибочно было отождествлять с раем страну золотых яблок, где текли четыре реки, — то как можно было при полной даже готовности к самообману упорствовать в таком заблуждении, зная о мире лемууров, составляющем самый близкий и самый далекий пласт, мире, где жалкое подобие человека, существо, в котором прекрасный лицом и станом Иосиф отказался бы с понятным негодованием узнать себя, томилось одновременно сладким и страшным сном своей жизни в отчаянной борьбе с огромными броненосными саламандрами и летающими ящерами? Это не был «сад в Эдеме», это был ад. Это была, скорее, первая после паденья, несчастная полоса. Нет, не здесь, не у начала времени и пространства, был сорван и съеден плод с дерева вожделья и смерти. Это случилось раньше. Колодец времен целиком пройден, а мы еще не достигли той конечной, той начальной цели, к которой стремились; история человека древнее, чем материальный мир, являющийся делом его воли, она древнее, чем жизнь, на его воле основанная.

8

Очень древняя традиция, возникшая на почве правдивейшего самоощущения человека и воспринятая религиями, пророчествами и сменяющими друг друга гносеологиями Востока, авестой, исламом, манихейством, гностицизмом и эллинизмом, связана с образом первого или совершенного человека, древнееврейского *adam gadmon*; его нужно представлять себе юношей из чистого света, созданным до начала мира как символ и прототип человечества; образ этот разные ученья и преданья варьируют, но в самом существенном они совпадают. По смыслу их, в начале начал прачеловек был избранником бога и борцом против проникавшего в новосозданный мир зла, но потерпел поражение, был скован демонами, заключен в материю и оторван от своего корня; правда, второй посланец божества, который таинственным образом был тем же самым избранником, высшей его частью, освободил узника от мрака телесно-земного существования и вернул его в царство света, однако частицу собственного света тот вынужден был оставить, и она пошла в ход при создании материального мира и земных веков. Чудесные истории! В них уже различим элемент веры в спасенье, но он еще прячется за космогоническими целями: оказывается, в своем теле богорожденный прачеловек содержал семь металлов, которым соответствуют семь планет — те самые металлы, из которых построен мир. По другой версии, этот возникший из отцовской первопричины светочеловек прошел через семь планетных сфер и был приобщен их владыками к природе каждой из них. Взглянув затем вниз, он будто бы увидел в материи свое отражение, полюбил его, спустился к нему и таким образом попал в узы дольней природы. Этим-то будто бы и объясняется двойственная человеческая природа, неразделимо соединяющая в себе признаки божественного происхождения и органической свободы с тягостной прикованностью к дольному миру.

В этом нарциссовском образе, полном трагической прелести, проясняется смысл занимающего нас предания; ведь такое прояснение наступает в тот миг, когда уход сына-бога из

горнего царства света в низменную природу перестает быть простым исполнением высшей воли, невинным, следовательно, поступком, и приобретает характер самостоятельно-добровольного, вожделенного действия, характер, стало быть, какой-то провинности. Одновременно перестает быть загадкой значение «второго посланца», в высшем смысле тождественного светочеловеку и прибывшего для того, чтобы освободить его от пут темноты и вернуть восво-яси. В этот момент предание делит мир на три действующих лица — материю, душу и дух, — между каковыми, с участием божества, и разыгрывается тот роман, настоящим героем которого является склонная к авантюризму и благодаря авантюризму творческая душа человека, роман, который, как самый заправский миф, соединяет весть о начале с предвестием конца и дает ясные сведения об истинном месте рая и о «падении».

Получается, что душа, то есть прачеловеческое начало, была, как и материя, одной из первооснов бытия и что она обладала жизнью, но не обладала знанием. В самом деле, пребывая вблизи бога, в горнем мире покоя и счастья, она беспокойно склонилась — это слово употреблено в прямом смысле и показывает направление — к бесформенной еще материи, одержимая желанием слиться с ней и произвести из нее формы, которые доставили бы ей, душе, плотское наслаждение. Однако после того, как душа поддавалась соблазну и спустилась с отечественных высот, муки ее похоти не только не унялись, но даже усилились и стали настоящей пыткой из-за того, что материя, будучи упрямой и косной, держалась за свою первобытную беспорядочность, наотрез отказывалась принять угодную душе форму и всячески сопротивлялась организации. Тут-то и вмешался бог, решив, по-видимому, что при таком положении дел ему ничего не остается, как прийти на помощь изначально существовавшей с ним рядом, а теперь сбившейся с пути душе. Он помог ей в ее любовном борении с неподатливой материей; он сотворил мир, то есть создал в нем, в угоду первобытно-человеческому началу, прочные, долговечные формы, чтобы от этих форм душа получила плотскую радость и породила людей. Но сразу же после этого, следуя своему замысловатому плану, он сделал еще кое-что. Из субстанции своей божественности, как дословно сказано в цитируемом нами источнике, он послал в этот мир, к человеку, дух, чтобы тот разбудил уснувшую в человеческой оболочке душу и по приказу отца своего разъяснил ей, что в этом мире ей нечего делать и что ее чувственное увлечение было грехом, следствием которого сотворение этого мира и нужно считать. О том дух и твердит, о том и напоминает без устали заключенной в материю душе, что, если бы не ее дурацкое соединенье с материей, мир не был бы сотворен и что, когда она отделиться от материи, мир форм сразу же перестанет существовать. Убедить в этом душу и есть задача духа, и все его надежды, все его усилия устремлены на то, чтобы одержимая страстью душа, поняв эту ситуацию, вновь признала наконец горнюю свою родину, выкинула из головы дольний мир и устремилась в отечественную сферу покоя и счастья. В тот миг, когда это случится, дольний мир бесследно исчезнет; к материи вернется ее косное упрямство; не связанная больше формами, она сможет, как и в правечности, наслаждаться бесформенностью, и значит, тоже будет по-своему счастлива.

Таково это учение, таков этот роман души. Здесь, несомненно, достигнуто последнее «раньше», представлено самое дальнее прошлое человека, определен рай, а история грехопадения, познания и смерти дана в ее чистом, исконном виде. Прачеловеческая душа — это самое древнее, вернее, одно из самых древних начал, ибо она была всегда, еще до времени и форм, как всегда были бог и материя. Что касается духа, в котором мы узнаем «второго посланца», призванного возвратить домой душу, то он каким-то неопределенным образом глубоко родствен душе, но не является полным ее повторением, ибо он моложе; он порожден и послан богом, чтобы образумить и освободить душу, уничтожив для этого мир форм. А если некоторые формулы изложенного учения утверждают высшую тождественность души и духа или иносказательно на нее намекают, то для этого есть основания. Дело не только в том, что поначалу прачеловеческая душа выступает божьим соратником в битве против зла и что, следовательно, приписываемая ей роль весьма сходна с той, которая потом достается духу, посланному освободить ее самое. Учение недостаточно обосновывает это подобие скорей по-

тому, что не вполне раскрывает роль, исполняемую в романе души духом, и в этом пункте явно должно быть дополнено.

Задача духа в этом мире форм и смерти, возникшем благодаря бракосочетанию души и материи, обрисована совершенно ясно и четко. Миссия его состоит в том, чтобы пробудить в душе, самозабвенно отдавшейся форме и смерти, память о ее высоком происхождении; убедить ее, что она совершила ошибку, увлекшись материей и тем самым сотворив мир; наконец, усилить ее ностальгию до такой степени, чтобы в один прекрасный день она, душа, полностью избавилась от боли и вождельня и воспарила домой, — что незамедлительно вызвало бы конец мира, вернуло материи ее былую свободу и уничтожило смерть. Бывает, однако, что посол заживется в чужой вражеской державе и, растлившись, погибнет для собственной: приглядываясь, приноравливаясь и привыкая понемногу к чужим обычаям, он настолько порой проникается интересами и взглядами врага, что уже не может защищать интересы своей родины, и его приходится отозвать. То же самое или примерно то же происходит и с выполняющим свою миссию духом. Чем больше он ее выполняет, чем дольше он занят дипломатией здесь внизу, тем заметнее — таково уж тлетворное влияние чужбины — какой-то внутренний надлом в его деятельности, надлом, который вряд ли замалчивался бы в высшей сфере и, по всей вероятности, привел бы к отзыванию духа, если бы не так трудно было решить вопрос о целесообразной замене.

Нет ни малейшего сомнения, что по мере того как игра затягивается, дух начинает не на шутку стыдиться своей роли губителя и могильщика мира. Приноравливаясь к окружающей среде, дух меняет свою точку зрения на вещи до такой степени, что теперь он, считавший своей задачей уничтожение смерти, ощущает себя, наоборот, смертельным началом, несущим миру смерть. Это в самом деле вопрос позиции, точки зрения, решить его можно и так и этак. Только надо знать, какой взгляд на вещи тебе к лицу и отвечает твоей задаче, иначе с тобой произойдет то, что мы, не обвиняясь, назвали растленьем, и ты не исполнишь естественного своего назначения. Тут обнаруживается известная слабыхарактерность духа, ибо своей славой смертельного начала и разрушителя форм — славой, которой он к тому же обязан главным образом собственной натуре, собственной, оборачивающейся даже против себя самой воле к рассуждению, — этой славой он очень тяготится и считает делом своей чести избавиться от нее. Не то чтобы он умышленно изменял своему долгу; но, поддаваясь этой тяге к рассуждению и порыву, который можно назвать недозволенной влюбленностью в душу и в ее страсти, он говорит совсем не то, что собирался сказать, поощряет душу и ее увлечение и, прихотливо глумясь над своими чистыми целями, защищает формы и жизнь. Идет ли на пользу духу такое предательское или граничащее с предательством поведение; не продолжает ли он все равно, даже и таким способом, служить цели, ради которой послан, то есть уничтожению материального мира изъятием из него души, и не отдает ли себе в этом полнейшего отчета сам дух, а значит, не ведет ли он себя так лишь потому, что, в сущности, знает, что может себе позволить подобное повеление, — этот вопрос остается открытым. Во всяком случае, в этом глумливо-самоотступническом слиянии воли духа с волей души можно найти объяснение той иносказательной формуле учения, согласно которой «второй посланец» есть второе «я» светочеловека, посланного побороть зло. Да, вполне возможно, что в этой формуле скрыт пророческий намек на тайные решения бога, показавшиеся нашему учению слишком священными и неясными, чтобы сказать о них прямо.

Если все как следует взвесить, то о «грехопадении» души или изначального светочеловека можно говорить только при чрезмерной нравственной скрупулезности. Согрешила душа, во всяком случае, только перед самой собой — легкомысленно пожертвовав своим первоначально спокойным и счастливым состоянием, но не перед богом, — нарушив, к примеру, его запрет страстным своим порывом. Никакого запрета, по крайней мере согласно принятому

нами учению, от бога не исходило. Если же благочестивое предание и упоминает о запрете, о том, что бог запретил первым людям есть от древа познания «добра и зла», то, во-первых, речь здесь идет о каком-то вторичном и уже земном событии, о людях, возникших при творческом содействии самого бога, в результате познания материи душой; и если бог действительно подверг их этому испытанию, то можно не сомневаться, что ему был наперед известен его исход, и непонятно только, зачем это богу понадобилось, установив запрет, которым наверняка пренебрегут, вызывая злорадство у ангельского своего окружения, настроенного в отношении человечества весьма недоброжелательно. А во-вторых, поскольку слова «добро и зло» несомненно представляют собой, как всеми и признано, глоссу и добавление к чистому тексту и на самом деле речь идет просто о познании, следствием которого является не нравственная способность различать добро и зло, а смерть, — то вполне вероятно, что и само упоминание о «запрете» тоже представляет собой благонамеренную, но неудачную вставку.

В пользу этой догадки, помимо всего прочего, говорит то, что бог не разгневался на душу за ее любопытное поведение, не отрекся от нее и не подверг ее какой-либо каре, более жестокой, чем ее добровольное страдание, возмещавшееся как-никак удовольствием. Наоборот, при виде увлечения души он явно проникся к ней если не симпатией, то, уж во всяком случае, жалостью, — ведь он сразу, не дожидаясь зова, пришел к ней на помощь, он лично вмешался в ее познавательно-любтивное единоборство с материей, создав из материи смертный мир форм, чтобы они доставляли наслаждение душе, а при таком поведении бога границу между симпатией и жалостью провести и впрямь очень трудно или даже вообще невозможно.

Говорить о грехе, подразумевая под грехом неуважение к богу и выраженной им воле, в данном случае не вполне правомерно, особенно если учесть своеобразное пристрастие бога к племени, возникшему благодаря совокуплению души с материей, к человеческому роду, с самого начала явно, и притом не без основания, вызывавшему ревность ангелов. На Иосифа производили глубокое впечатление рассказы старого Елиезера об этих отношениях, а старик говорил о них примерно то же, что мы и сегодня можем прочесть в древнееврейских комментариях к первобытной истории. Если бы, сказано там, бог мудро не умолчал о том, что в роду человеческом будут не только праведники, но и носители зла, царство строгости никогда не допустило бы сотворения человека. Эти слова проливают свет на многое. Прежде всего, они показывают, что «строгость» присуща не столько богу, сколько его окружению, от которого он, конечно, не в решающей мере, но все же до некоторой степени зависит, если, опасаясь препятствий с этой стороны, не сказал о своей затее всей правды, а кое-что предал огласке и кое-что скрыл. Но не указывает ли это скорее на то, что сотворение мира отвечало его желанию, чем на то, что оно произошло вопреки его воле? Значит, хотя и нельзя сказать, что бог прямо-таки толкнул душу на ее авантюру, действовала душа все же не наперекор ему, а лишь наперекор ангелам, которые с самого начала относятся к человеку недружелюбно. То, что бог сотворил этот мир добра и зла и принимает участие в нем, представляется ангелам барской причудой и вызывает у них обиду, так как они — и, наверно, не без основания — подозревают, что богу просто наскучила их величальная чистота. Изумленные, полные упрека вопросы, вроде: «Что есть человек, господи, и какой тебе от него прок?» — не сходят у них с языка, и бог отвечает ангелам осторожно, уклончиво, примирительно, но иногда вдруг раздраженно и в явно оскорбительном для них смысле. Не так-то просто, конечно, объяснить низвержение Семаила, очень важного лица среди ангелов, судя по тому, что у него было двенадцать пар крыльев, а у священных животных и у серафимов всего по шести, но между его падением и этими разногласиями существует прямая связь, как явствовало из уроков Елиезера, которым напряженно внимал Иосиф. Именно Семаил всегда подзуживал ангелов против человека или, вернее, против того пристрастия, какое бог питал к человеку; и когда однажды господь повелел рати небесной поклониться Адаму за его разум и за то, что он назвал вещи их именами, все, хоть и пряча усмешку или насупив брови, повиновались этому приказу, и только Семаил его ослушался. С безумной откровенностью он заявил, что это нелепость, что незачем со-

творенным из сияния славы божией падать ниц перед тем, кто создан из праха земного, — и тут-то как раз он и был низвергнут, что, по описанию Елиезера, издали походило на паденье звезды. Хотя остальные ангелы, разумеется, испугались и с тех пор зарубили себе на носу, что с человеком нужно держаться крайне осторожно, все-таки совершенно ясно, что всякое усиление греховности на земле, такое, например, как перед потопом или в Содоме и Гоморре, — это очередное торжество для святой рати и очередная незадача для творца, который вынужден в таких случаях производить ужасную чистку — не столько по собственному почину, сколько под моральным давлением небес. Но если все эти догадки справедливы, как же обстоит дело с задачей «второго посланца», духа? Действительно ли он послан затем, чтобы уничтожить материальный мир, освободив из его плена душу и вернув ее в родные пределы?

Можно предположить, что это не входит в замысел бога и что на самом деле, вопреки своей славе, дух был послан к душе вовсе не для того, чтобы стать могильщиком мира форм, созданного ею при дружественном пособничестве бога. Тайна тут, возможно, другая, и ключ к ней, возможно, дают слова учения о том, что второй посланец — это все тот же посланный прежде на борьбу со злом светочеловек. Мы давно знаем, что тайна вольно обращается с грамматическими временами и вполне может употребить прошедшее, имея в виду будущее. Слова о том, что душа и дух были едины, возможно, должны означать, что некогда они будут едины. Да, это тем более вероятно, что дух сам по себе представляет собой в основном принцип будущего, утверждение «будет», «должно быть», меж тем как душа, находясь в плену форм, благочестиво верна прошлому, священному «было». Где тут жизнь и где смерть, трудно сказать; обе стороны — и слившаяся с природой душа, и находящийся вне мира дух, принцип прошлого и принцип будущего, — обе стороны, каждая по-своему, претендуют на звание живой воды и обвиняют друг друга в содействии смерти — и обе правы, потому что ни природу без духа, ни дух без природы, пожалуй, не назовешь жизнью. Тайна же и тихая надежда бога состоит, вероятно, в их слиянье, в настоящем приходе духа в мир души, во взаимопроникновенье обоих начал, в том, что они, оставив друг друга, станут человечеством, благословенным свыше благословением неба и снизу благословением бездны.

Вот, быть может, каков тайный, сокровеннейший смысл этого ученья, — хотя сомнительно, чтобы уже известное нам, самоотверженно-угодливое поведение духа, вызванное чрезмерной его чувствительностью к упреку в служении смерти, было верным путем к выше-обрисованной цели. Сколько бы дух ни старался наделить немую страсть души своим остроумием, чтя могилы, называя прошлое единственным источником жизни, а себя самого выставляя злодеем-фанатиком, губительно притесняющим жизнь, — кем бы он ни прикидывался, он все равно остается самим собой: напоминающим гонцом, тем принципом осуждения, противоречия, непоседливости, что, выбрав среди довольных и ублаженных кого-то одного, родит в его груди тревогу сверхъестественно огромной беды, гонит его из ворот состоявшегося и данного в авантюрно-неведомое и уподобляет камню, который, покотившись, кладет начало необозримому множеству перемен и свершений.

10

Так образуются те самые глубинные пласты прошлого, откуда смело можно начинать частную историю, как начинал свою от города Ура и от ухода пращура Иосиф. Традиция духовного беспокойства, — она была у Иосифа в крови, это она определяла близкую ему жизнь, мир и поступки его отца, и это ее узнавал он, когда бормотал стихи клинописной поэмы:

Ты почему вселил в Гильгамеша тревогу,
Сына зачем наделил ты душой мятежной?

Незнание покоя, пытливость, настороженность искателя, радение о боге, горькое, полное сомнений раздумье об истинном и праведном, о началах и концах, о собственном имени,

о собственной сущности, о подлинной воле всевышнего — как отражалось все это, унаследованное через поколения от урского странника, на высоколобом стариковском лице Иакова и в тревожно-задумчивом взгляде карих его глаз и как любил Иосиф этот душевный склад, исполненный сознания своей благородной недюжинности и который как раз благодаря этой, гордившейся собой высшей тревоге, придавал отцу неотъемлемую от его облика степенность, внушительность и торжественность! Неумоимость и достоинство — это печать духа, и без робости, с детской доверчивостью узнавал Иосиф на челе своего повелителя и отца наследственный этот чекан, хотя сам обладал более веселым и беспечным нравом, унаследованным, скорее, от его прелестной матери, и по природной своей общительности был более словоохотлив и говорлив. Да и отчего ему было робеть перед своим задумчивым и озабоченным отцом, если он знал, что тот горячо его любит? Привычка быть любимым и получать предпочтение определила характер Иосифа и стала его натурой; она определила и его отношение ко всевышнему, которого, если только дозволено было приписывать богу какой-то образ, Иосиф представлял себе в точности таким же, как Иаков, видя в нем, так сказать, высшее повторенье отца и будучи искренне убежден, что бог любит его, Иосифа, так же горячо, как отец. Забегая вперед, назовем его отношение к Адону неба отношением невесты — по аналогии с посвятившими себя Иштар или Милитте вавилонскими женщинами, о которых Иосиф знал, что они давали обет безбрачия, жили в кельях при храмах и назывались «чистыми» или «святыми», а также «невестами бога», «эниту». В его мироощущении было что-то от этих эниту, какая-то строгость, какое-то сознание своей обрученности, и еще, в связи с этим, какое-то игривое фантазерство, — оно еще задаст нам, когда мы спустимся к Иосифу, немало хлопот, — представлявшее собой, вероятно, форму, в которой проявилось наследие духа в его случае.

Однако, при всей своей привязанности к Иакову, он не вполне понимал и одобрял форму, какую оно приняло в случае отца: озабоченность, тоску, нервозность, проявлявшиеся в непреодолимой неприязни к фундаментально-оседлому быту, который, казалось бы, подобал его степенности, в его всегда лишь временном, походно-бивачном и полубездомном укладе жизни. Ведь и отца он тоже, несомненно, любил, о нем он тоже заботился и если оказывал предпочтение — больше того, если он покровительствовал Иосифу, то делал это безусловно прежде всего ради отца. Бог Шаддаи обогатил Иакова в Месопотамии скотом и всяким добром, — и, окруженный сыновьями, женами, пастухами, рабами, тот мог бы быть князем среди князей страны, да и был им, был не только по внешнему своему весу, но и по богатству духа, как «наби», то есть «глашатай», как вещей, сведущий в боге мудрец, как один из тех старцев и духовных вождей, к кому перешло наследие халдеянина и кого каждый раз принимали за его телесных потомков. При переговорах и заключении торговых сделок с ним объяснялись не иначе, как в самых изысканных и кудрявых оборотах речи, называя его «господин мой» и говоря о себе лишь в самых уничижительных выражениях. Почему он не жил со своими домашними как состоятельный горожанин в самом Хевроне, в Урусалиме или в Сихеме, в прочном доме из камня и дерева, в доме, под которым он мог бы хоронить своих мертвецов? Почему, словно измаильтянин и бедуин пустыни, раскинул он свои шатры вне города, на вольном просторе, так что не видел даже крепостных стен Кириаф-Арбы, почему он раскинул их возле колодца, пещерных могил, дубов и скипидарных деревьев, готовый сняться с места когда угодно, как будто не смел осесть и пустить корни, как все, а должен был с часу на час ждать знака, который заставит его разобрать хижины и стойла, навьючить на верблюдов шесты, войлок и шкуры и двинуться дальше? Иосиф, конечно, знал почему. Так жил отец потому, что служил богу, далекому от покоя и житейских удобств, богу помыслов о грядущем, богу, чья воля требовала становления каких-то неясных, но великих и многообещающих дел, который и сам-то вместе со своей волей и вынашиваемыми замыслами находился еще в становление и был поэтому богом беспокойства, хлопотным богом: он хотел, чтобы его искали, и ради него всегда приходилось быть свободным, подвижным и начеку.

Короче говоря, это дух, возвышающий, но и унижающий дух запрещал Иакову жить оседлой городской жизнью, и если маленький Иосиф, отнюдь не равнодушный ко всякой свет-

ской представительности и даже пышности, об этом порой сожалел, то таков уж был его нрав, а с некоторыми свойствами его нрава нас примиряют другие свойства. Что же касается нас, приступающих к рассказу обо всем этом и, значит, без внешнего принуждения бросающихся в очень рискованное дело (слово «бросающихся» употреблено здесь в прямом смысле и показывает направление), то мы не станем скрывать своего органического и безоговорочного сочувствия беспокойной враждебности старика к идее пребывания на одном месте, долговременной остановки. Разве не знакомо такое и нам? Разве и нам не суждена неугомонность, не дано сердце, не знающее покоя? Светило повествователя — разве это не Луна, владыка дороги, путник, идущий от стоянки к стоянке? Кто повествует, тот с приключениями добирается и до стоянок; но там он делает лишь короткий привал, дожидаясь нового путеводного указания, и вскоре уже вновь колотится его сердце, колотится и от любопытства, и от испуга, от плотского страха, но, во всяком случае, в знак того, что вот и опять пора в путь-дорогу, на новые приключения, которые предстоит пережить во всех их неисчислимых подробностях, ибо такова воля беспокойного духа.

Мы уже давно в пути, и уже далеко позади стоянка, где мы ненадолго замешкались, мы уже забыли ее, мы уже издали, по обычаю путешественников, завязали отношения с ожидаемым нами и ожидающим нас миром, чтобы, оказавшись там, не чувствовать себя в нем совсем чужими, растерянными и беспомощными. Оно уже затянулось, наше путешествие, правда? Не диво, ибо на сей раз это путешествие в ад! В глубокое, очень глубокое жерло спустимся мы, бледнея, в бездонный и непроглядный колодезь прошлого.

Отчего мы бледнеем? Отчего у нас колотится сердце, и колотится-то не с тех пор, как мы тронулись в путь, а с первого же путеводного указания, и не только от любопытства, но и куда сильнее от плотского страха? Разве минувшее не родная стихия рассказчика, разве прошедшее время глагола для него не то же, что для рыбы вода? Да, все это так, но почему наше любопытно-трусливое сердце не успокаивается от этого резона? Потому, наверно, что та стихия минувшего, к которой мы привыкли и которая нас так далеко, так весьма далеко уносила, отличается от того прошлого, в какое мы сейчас дрожа погружаемся, — от прошлого жизни, от исчезнувшего, умершего мира, куда и наша жизнь будет уходить все глубже и глубже и куда уже довольно глубоко уходят ее начала. Умереть — это значит, конечно, утратить время и выйти из времени, но это значит обрести взамен вечность и вездесущность, то есть действительно жизнь. Ибо суть жизни — настоящее, и только в мифическом преломлении тайна ее предстает в прошедшем и будущем временах. Это как бы популярная форма самораскрытия жизни, а тайна ее принадлежит посвященным. Пускай твердят народу, что душа странствует. Знатоку известно, что это учение есть лишь одежда, в которую облачена тайна вездесущности души, и что душе принадлежит вся жизнь, когда смерть прекращает ее, души, одиночное заключение. Мы причащаемся смерти и познанию смерти, отправляясь в прошлое на правах авантюристов-повествователей, и отсюда наше любопытство и наша испуганная бледность. Но любопытство сильней, и мы не отрицаем, что идет оно от плоти, ибо предмет его — альфа и омега всех наших речей и вопросов, всех наших интересов — человек, которого мы ищем в преисподней и в смерти, как искала там Иштар Таммуза, а Исет — Усири, ищем, чтобы познать его там, где находится минувшее.

Ибо оно есть, есть всегда, хотя народ и пользуется словом «было». Так говорит миф, а миф только одежда тайны, но торжественный ее наряд — это праздник, который, повторяясь, расширяет значения грамматических времен и делает для народа сегодняшним и бывшее, и будущее. Удивительно ли, что на празднике люди всегда распускались и по скрепленному обычаем праву доходили до непотребства, если тут происходит взаимопознание смерти и жизни?..

Праздник повествования, ты торжественный наряд тайны жизни, ибо ты делаешь вне-временность доступной народу и заклинаешь миф, чтобы он протекал вот сейчас и вот здесь. Праздник смерти, сошествие в ад, ты поистине праздник и утеха облеченной плотью души, которая недаром тяготеет к прошлому, к могилам и к благочестивому «было». Но да пребудет

с тобой, да войдет в тебя также и дух, чтобы ты был благословен благословениями небесными свыше и благословениями бездны, лежащей долу!

Итак, без боязни вниз! Разве мы собираемся прыгнуть напропалую в колодец? Отнюдь нет. Мы спустимся чуть глубже, чем на три тысячи лет, — а что это по сравнению с бездонностью времени? Там у людей нет ни глаз на лбу, ни рогов, и они не сражаются с летающими ящерами: это такие же люди, как мы, если не считать некоторой мечтательной неточности их мышления, а ее им легко можно простить. Так, бывает, подбадривает себя тяжелый на подъем человек, у которого начинаются озноб и сердцебиенье, когда приходит пора отправляться в задуманную поездку. В конце концов, говорит он себе, разве я собрался на край света, в неведомые места? Ничего подобного, я еду туда-то и туда-то, где уже многие побывали, да и езды-то туда всего день или два. То же самое можно сказать и о стране, что нас ожидает. Добро бы это была страна, где растет перец, страна Га-га, такая диковинная, что за голову схватишься от изумления! Так нет же, это страна как страна, средиземноморская, не то чтоб уж очень похожая на родные наши места, немного пыльная и каменистая, но совсем не сумасшедшая, и над ней ходят знакомые нам звезды. Так, с горами и долами, с городами, дорогами и холмами виноградников, со своей рекой, хмуро и торопливо бегущей в зеленых рощах, она простирается в прошлом, как луга из сказки о волшебном колодце. Откройте глаза, если вы зажмурились перед спуском! Мы на месте. Вот они, смотрите, — резкие лунные тени на мирных холмах! Вот она, ощутите, мягкая свежесть по-летнему звездной весенней ночи!

БЫЛОЕ ИАКОВА

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. У КОЛОДЦА

ИШТАР

То было за холмами к северу от Хеврона, немного на восток от дороги, что шла из Урусалима, в месяце адаре, лунным весенним вечером, до того светлым, что можно было читать без огня и каждый лист, каждый похожий на кисть цветков одиноко стоявшего здесь теребинта, дерева старого и кряжистого, невысокого, но развесистого, вырисовывался донельзя четко, хотя в то же время и расплывался в мерцающем свете. Прекрасное это дерево было священным; получить в тени его наставление можно было по-разному: либо из уст человеческих (кто хотел поделиться какими-либо соображениями о божественном, собирал слушателей под его ветвями), либо на более высокий лад. Не раз, например, сподоблялись во сне совета и вразумления те, кто засыпал, склонив голову к его стволу, а всеожжения, которые, судя по каменному, с почерневшей плитой, жертвеннику, где, слегка курясь, теплился огонь, совершались у подножья старого теребинта, пользовались особым вниманием, что подтверждалось поведением дыма, многозначительным полетом птиц и даже небесными знаменьями.

Поблизости были еще деревья, хотя и не такие достопочтенные, как это, стоявшее особняком: и той же породы, и крупнолиственные смоковницы, и скальные дубы, пускавшие в утопанную землю ростки из стволов, вечнозеленые, промежуточные между хвойными и лиственными деревья, ветви которых, выбеленные луной, свисали колкими опахалами. За деревьями, к югу, по направлению к закрывавшему город холму и немного дальше по его склону находились хижинки и стойла, и в ночной тишине оттуда порой доносились глухое мычанье коровы, фыркание верблюда или надсадные стоны осла. А на север вид был открыт, и сразу же за поросшей мохом оградой, сложенной из двух слоев почти неотесанных камней и уподоблявшей место вокруг священного дерева небольшой, с низкими перилами террасе, до самого горизонта, волнисто очерченного отлогими холмами, в сиянье уже высокого и на три четверти полного светила, простиралась равнина — ближе вся в масличных деревьях и кустах тамариска, изрезанная проселками, а дальше сплошь голые выгоны, где виднелись огни пастушеских костров. На каменном парапете цвели цикламены, краски которых, лиловая и розовая, блекли от лунного света, во мху и в траве под деревьями — белые крокусы и красные анемоны. Пахло цветами и пряными травами, влажными испарениями деревьев, дровяным дымом, навозом.

Небо было прекрасно. Широкий венец окружал Луну, свет которой при всей своей мягкости был так силен, что глядеть на нее было почти больно, и щедрым посевом рассыпались по ясному небосводу звезды, то реже, то гуще роясь мерцающими скоплениями. Ярко, живым голубоватым огнем, лучистым самоцветом сверкал на юго-западе Сириус-Нинурту, составлявший, казалось, одну фигуру с Прокионом Малого Пса, находившимся несколько южнее и выше. Царь Мардук, который взошел вскоре после захода Солнца и собирался светить всю ночь, мог бы сравниться с Нинурту в великолепии, если бы его блеска не затмевала Луна. Неподалеку от зенита, чуть юго-восточнее, горел Нергал, семиименный враг, приносящий чуму

и смерть эламитянин, которого мы называем Марсом. Но Сатурн, любящий постоянство и справедливость, поднялся над горизонтом раньше, чем он, и блистал южнее, в полуденном круге. Клонясь к западу красной звездой главного своего светоча, красовался знакомыми глазами очертаньями Орион, тоже препоясанный и вооруженный на славу ловец. Там же, только южнее, парил Голубь. Регул в созвездии Льва посылал привет из зенита, к которому уже поднялась воловья упряжка Колесницы, тогда как желто-красный Арктур Волопаса стоял еще низко на северо-востоке, а желтое светило Козы с созвездьем Возничего село уже в вечерне-полуночной стороне. Но всех прекраснее, ярче всех предвестников и всей рати кокабимов была Иштар, сестра, супруга и мать, Астарта, идущая за Солнцем царица, низко на западе. Она серебрилась, испускала улетающие лучи, сверкала вспышками, и продолговатое пламя, подобное острию копья, словно бы устремлялось из нее вверх.

СЛАВА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Были глаза здесь, достаточно наметанные, чтобы все это различать и с толком разглядывать, темные, направленные к небу глаза, в которых отражалось все это многообразное сиянье. Они скользили по валу зодиака, прочной плотины, смиряющей небесные волны, валу, где бодрствовали определители времени; по священным знакам, которые после кратких сумерек этих широт показывались один за другим, начиная с Тельца: когда жили эти глаза, солнце в начале весны стояло под знаком Овна, и потому это созвездие ушло в бездну с ним вместе. Они улыбнулись, сведущие эти глаза, Близнецам, спускавшимся с высоты на вечер; они покосились на восток и отыскивали колос в руке Девы, но возвратились в световые пределы Луны и к ее серебряному, мерцающему щиту, неодолимо притягиваемые чистым и мягким его блеском.

Они принадлежали юноше, сидевшему на краю каменного, со сводчатым навесом, колодца, который, неподалеку от священного дерева, открывал свою влажную глубину. К жерлу его поднимались круглые, выщербленные ступени, и на них покоились босые ноги молодого человека, мокрые, как и сами ступени по эту сторону, где с них капала пролитая вода. Сбоку, где было сухо, лежали его верхнее платье, желтое, с широким красно-бурым узором, и его воловьей кожи сандалии, почти башмаки, так как они имели откидные стенки, охватывавшие пятки и щиколотки. Широкие рукава спущенной своей рубахи из беленого, но по-сельски грубого полотна юноша обмотал вокруг бедер, и смуглая кожа его туловища, казавшегося, по сравнению с детской еще головкой, тяжеловатым и полноватым, его по-египетски высокие и лежесные плечи масляно лоснились при свете луны. Ибо после омовенья очень холодной колодезной водой, многократных, совершенных с помощью ведра и ковши, обливаний, которые после знойного уже дня были одновременно удовольствием и соблюдением религиозного предписанья, мальчик умастил свою кожу смешанным с благовониями оливковым маслом из тускло поблескивавшей рядом с ним склянки, не сняв с себя при этом ни редко сплетенного миртового венка, который он носил в волосах, ни амулета, что свисал у него на бронзовой цепочке с шеи на грудь — ладанки с отворотными корешками.

Сейчас он, казалось, совершал молитву, ибо с обращенным к Луне и залитым ее светом лицом, прижав к бокам локти, подняв к небу руки ладонями вверх и слегка раскачиваясь, вполголоса нараспев произносил одними губами не то слова, не то просто звуки... На левой руке у него было синее фаянсовое кольцо, а ногти его на руках и ногах носили кирпично-красные следы хны, которой он, как щеголь, окрасил их, должно быть, по случаю своего участия в последнем городском празднике, чтобы понравиться сидевшим на крышах женщинам, — хотя вполне мог бы пренебречь такими косметическими ухищрениями и положиться на дарованное ему богом хорошенькое личико, которое, при детской еще округлости, было и в самом деле, главным образом благодаря доброму выражению черных, немного раскосых глаз, весьма привлекательно. Красивые люди считают нужным усилить естественную красоту и «прихора-

шиваться», вероятно, из какого-то послушанья отраднему своему жребию, в каком-то служенье природному своему дару, и служенью этому нельзя отказать в благочестии, а значит, и в правомерности, тогда как расфуфыренный урод — зрелище грустное и нелепое. К тому же ведь красота никогда не бывает совершенна, и как раз поэтому она склонна к тщеславию; она стыдится того, чего ей недостает, чтобы достичь идеала, ею же установленного, — а это стыд ложный, потому что тайна ее, собственно, и состоит в притягательности несовершенства.

Вокруг молодого человека, которого мы сейчас видим воочию, молва и сказанье создали настоящий ореол славы неповторимо прекрасного юноши, и подлинный его облик дает нам некоторый повод слегка удивиться этой славе — хотя неверные чары лунной ночи скорей подкрепляют ее лукавым обманом. Какая только хвала не воздавалась по прошествии многих дней его внешности в песнях и легендах, в апокрифах и псевдоэпиграфах, хвала, способная вызвать у нас, видящих его собственными глазами, только улыбку! Что лицо его могло посрамить красоту солнца и луны — это еще самое скромное из таких славословий. В одном из текстов сказано буквально, что он должен был прятать под покрывалом щеки и лоб, чтобы сердца людей не сожгли землю, воспылав любовью к посланцу бога, и что те, кому случалось увидеть его без покрывала, «погружались в блаженное созерцание» и уже не узнавали этого мальчика. Восточное предание, не обинуясь, утверждает, что половина всей имеющейся на свете красоты досталась этому юноше, а уж другая половина разделена между остальным человечеством. Один особенно авторитетный персидский певец побивает этот образ прихотливой картиной монеты весом в шесть лотов, в которую могла бы слиться вся красота нашего мира: тогда пять из них, фантазирует поэт, пришлось бы на долго этого несравненного красавца.

Такая слава, кичливая и не знающая меры, потому что уже не рассчитывает на то, что ее подвергнут проверке, в какой-то степени смущает и подкупает видящего, мешая ему трезво рассмотреть факты. Есть много примеров гипнотизирующего действия чрезмерно высокой, но уже общепринятой оценки, которую каждый усваивает с какой-то слепой и даже безумной готовностью. Лет за двадцать до той поры, где мы сейчас находимся, в Месопотамии, в округе Харрана, один очень близкий этому юноше человек разводил и продавал, как мы еще услышим, овец, и слава его овец была такова, что люди платили ему за них поистине бешеные деньги, хотя было совершенно очевидно, что дело шло вовсе не о небесных, а о самых простых и обыкновенных, если даже и превосходных овцах. Такова сила человеческой потребности в подчиненье! Но, не позволяя позднейшей славе исказить то, что мы в состоянии сравнить с реальной действительностью, мы не должны впадать и в противоположную крайность, не должны быть слишком придирчивы. Такой посмертный энтузиазм, как тот, что угрожает сейчас трезвости нашей оценки, конечно, не возникает на голом месте; он уходит своими корнями в действительность и, по достоверным сведениям, в большой мере был выказан уже живому. Чтобы это понять, нужно прежде всего учесть какой-то арабский неясный нам вкус, стать на ту эстетическую точку зрения, — а она практически и была определяющей, — с которой наш мальчик действительно казался настолько красивым, настолько прекрасным, что с первого взгляда его часто принимали чуть ли не за бога.

Итак, будем осторожны в словах и, не склоняясь ни к безвольной покорности молве, ни к чрезмерному критицизму, скажем, что лицо сидевшего у колодца и глядевшего на луну молодого мечтателя было приятно даже своими неправильностями. Например, ноздри его довольно короткого и очень прямого носа были слишком широки; но от этого крылья носа казались раздутыми, что придавало его лицу какое-то живое, взволнованное и неуловимо гордое выражение, хорошо сочетавшееся с приветливостью его глаз. Не станем порицать выражения надменной чувственности, которым он был обязан толстым губам. Оно бывает обманчиво, а кроме того, как раз говоря о форме губ, мы должны сохранять угол зрения тех стран и людей. Зато мы были бы вправе назвать часть лица между ртом и носом слишком одутловатой — если бы именно это не сообщало особого обаяния уголкам рта, в которых от одного лишь смыкания губ, без всякого напряжения мышц, появлялась спокойная улыбка. Лоб в нижней своей по-

ловине, над широкими, красивого рисунка бровями, был гладок, но выпукло выдавался выше, под густыми, черными, забранными светлой кожаной повязкой и вдобавок украшенными миртовым венком волосами, падавшими копной на затылок, но не закрывавшими ушей, которые можно было бы назвать хорошо вылепленными, если бы не чересчур мясистые мочки, явно растянутые непомерно большими серебряными серьгами, продетыми в них еще в детстве.

Молился ли юноша в самом деле? Но для этого поза его была слишком удобна. Ему следовало бы стоять. Его бормотанье и однозвучное, вполголоса, пенье с поднятыми руками походили, скорее, на самозабвенную беседу, на тихий разговор с тем высоким светилом, к которому он обращался. Раскачиваясь, он лопотал:

— Аву... Хамму... Аоф... Аваоф... Авирам... Хаам... ми... ра... ам...

В этой импровизации смешивались самые разнообразные области и понятия, ибо если он говорил сейчас Луне вавилонские нежности, называя ее «аву» — отец, и «хамму» — дядя, то в то же время в речь его вкрадывалось имя Аврама, его истинного и мнимого предка, и, как расширенный вариант этого имени, другое, почтительно сохраненное преданием, легендарное имя законодателя — «Хамму-раби», означающее: «Мой божественный дядя величествен», а кроме того, еще междометия, которые, неся в себе понятие отца, выходили из круга свойственного прародительскому Востоку звездопоклонства и семейных воспоминаний и с запинками примерялись к тому новому, что свято вынашивалось, творилось и постигалось духом его близких.

— Яо... Аоф... Аваоф, — звучал его напев. — Ягу, Ягу! Я-а-ве-илу, Я-а-ум-илу...

И когда он так, подняв руки, раскачиваясь, кивая головой и любовно улыбаясь светящей Луне, в одиночестве пел, глядеть на него было странно и чуть ли не страшно. Занятие это, чем бы оно ни было: молитвой, лирической беседой или еще чем-то, — явно увлекало его, и при виде забытья, в которое он все полнее впадал, становилось не по себе. Участие голоса в его пенье было невелико, да и не могло быть большим. Он был незрелым и ломким, этот еще резкий, полудетский, по-юношески неполнозвучный голос. Но вдруг голос у него и вовсе пропал, сорвался неожиданно и судорожно; слова «Ягу, Ягу!» были произнесены задышающимся шепотом, при совершенно пустых легких, которые юноша забыл наполнить воздухом, отчего сразу преобразился внешне: запала грудь, ходуном заходила брюшная мышца, съежились затылок и плечи, задрожали руки, выступили узлы плечевых мышц, и мгновенно закатились глаза — пустые белки жутковато сверкнули на лунном свету.

Надо сказать, что такой непорядок в поведении этого мальчика удивил бы любого. Его приступ, или как там это назвать, воспринимался как неожиданность, как тревожный сюрприз, он совершенно не вязался с тем убедительным впечатлением приветливой разумности, которое приятная, разве только чуть фатоватая внешность мальчика производила с первого взгляда. Если все это не было шуткой, то впору было спросить, на ком лежала забота о его душе, ибо в этом случае душа его, может быть, и сподобилась призвания свыше, но, несомненно, находилась в опасности. Если же все это было просто баловством и капризом, то и тогда поводов для спасенья оставалось достаточно, — а что доля игры тут безусловно была, явствовало из поведения нашего юного лунолюба при вот каких обстоятельствах.

ОТЕЦ

Со стороны холма и жилищ донеслось его имя: «Иосиф! Иосиф!», донеслось дважды и трижды, каждый раз с меньшего расстоянья. Он услышал этот зов на третий раз, во всяком случае только на третий раз признал, что слышит его, и, быстро опомнившись, пробормотал: «Вот я». Глаза его вернулись, он опустил руки и голову и застенчиво улыбнулся, прижав подбородок к груди. Это был мягкий и, как всегда полный чувств, слегка жалующийся голос отца. Он звучал уже совсем рядом. Отец повторил, хотя уже увидел сына у колодца: «Иосиф, где ты?»

Так как на нем было длинное платье и еще потому, что неверность и призрачная ясность лунного света способствует преувеличенным представлениям, Иаков — или Иаков бен Ицхак, как он подписывался, — казался человеком величественного, чуть ли не сверхъестественного роста, когда стоял между колодцем и деревом наставленья, ближе к дереву, испещрившему его одежды тенями своих листьев. Еще большую внушительность — то ли сознательно, то ли безотчетно — приобретал он благодаря своей позе: он опирался на длинный посох, обхватив его пальцами очень высоко, отчего просторный рукав его крупноборчатой, в узкую бледную полоску, верхней одежды, плаща из подобия шерстяного муслина, сполз с поднятой выше головы, уже стариковской руки, украшенной на запястье медным браслетом. Предпочтенному близнецу Исава было тогда шестьдесят семь лет. Его борода, негустая, но длинная и широкая, сливаясь с волосами головы у висков, торчала на щеках тонкими прядями и падала на грудь во всю ее ширину; нестриженная, незавитая, никак не причесанная и не приглаженная, она серебрилась на лунном свете. Узкие губы были видны в ней. Глубокие морщины уходили в бороду от крыльев тонкого носа. Глаза, глядевшие из-под куколя темно-узорчатой ханаанской ткани, который, закрывая наполовину лоб, падал на грудь складками и был переброшен через плечо — маленькие, карие, блестящие глаза, с дряблыми, в прожилках, нижними веками, вообще-то уже ослабевшие от старости и зоркие только душевной зоркостью, озабоченно следили за мальчиком у колодца. Подобравшийся и распахнувшийся из-за поднятых рук плащ открывал одеянье из крашеной козьей шерсти, край которого, с длинной бахромой, доставал до носков матерчатых туфель, косо спускаясь к ним слоями складок, создававшими впечатление нескольких, выглядывающих один из-под другого нарядов. Одет старик был, таким образом, плотно и основательно, хотя довольно прихотливо и неоднородно: черты восточной культуры сочетались в его платье с признаками, свойственными скорее измаильтянско-бедуинскому быту и миру пустыни.

На последний оклик Иосиф по праву не отозвался, поскольку вопрос был задан явно после того, как отец заметил его. Мальчик ограничился улыбкой, которая разомкнула его полные губы и показала блеск зубов — очень белых, какими всегда кажутся зубы при смуглом лице, но не частых, а с просветами, — и прибавил к улыбке обычные приветственные телодвиженья. Он снова поднял руки, как прежде — к луне, покачал головой и, в знак восторга и восхищенья, прищелкнул языком. Затем коснулся рукою лба, чтобы, выпрямив пальцы, опустить ее оттуда к земле, изящным и округлым движеньем; полузакрыв глаза и запрокинув голову, прижал обе ладони к сердцу, после чего, не разнимая рук, несколько раз протянул их к старику и снова приложил к сердцу, словно отдавая его отцу. Не преминул он указать пальцами и на свои глаза, а также коснуться ими колен, темени и ступней, каждый раз повторяя благоговеино-приветственное движение рук. Все это было красивой игрой, которая исполнялась, как того требовали правила хорошего воспитания, непринужденно и заученно, но в то же время с особой ловкостью и грациозностью — в них сказывался услужливый, приветливый нрав — и с неподдельным чувством. Эта задушевная, благодаря сопровождавшей ее улыбке, игра была пантомимой благочестивой покорности родителю и господину, главе рода, но оживлялась искренней радостью по поводу того, что представился случай почтить отца. Иосиф знал, что отец не всегда играл в жизни героическую и полную достоинства роль. Его тягу к величественности в речах и поведении посрамляла порой кроткая пугливость его души; он знал часы униженья, бегства, отчаянного страха, такие переделки, в каких его не хотел представлять себе тот, кого он любил, хотя в них-то как раз и проглядывала милость господня. И даже если в улыбке этого любимца и была доля кокетства и победительной самоуверенности, то улыбался он в общесте от радости, которую доставляли ему и приход отца, и прикрасы освещенья, и выигрышно-царственная поза старика, опершегося на длинный посох; и в ребяческом этом удовлетворенье проявилась большая слабость к внешней эффектности, независимо от ее подоплеки.

Иаков не сошел с того места, где стоял. Может быть, он заметил и хотел продлить удовольствие сына. Голос его, который мы называли полным чувств, потому что в нем слыша-

лась дрожь внутренней озабоченности, раздался снова. На этот раз он полувопросительно сказал:

— Дитя сидит у бездны?

Странные слова, они были произнесены неуверенно и как бы в мечтательной оплошности. Они прозвучали так, словно говорящий находит что-то неподобающее или удивительное в том, что в столь юном возрасте человек сидит у какой бы то ни было бездны; словно понятия «дитя» и «бездна» несовместимы. В действительности в этих словах звучало и хотело заявить о себе нянечье, если можно так сказать, опасение, что Иосиф, который в глазах отца был гораздо меньше и ребячливее, чем на самом деле в то время, упадет ненароком в колодец.

Мальчик улыбнулся еще шире, отчего стало видно еще больше редких его зубов, и кивнул головой вместо ответа. Но он быстро изменил выражение своего лица, ибо второе замечанье Иакова прозвучало строже. Тот приказал:

— Прикрой свою наготу!

Подняв и округлив руки, Иосиф оглядел себя с полушутливым смущением, потом поспешно распутал связанные узлом рукава полотняной рубахи и натянул ее на плечи. Теперь и в самом деле могло показаться, что старик держался на некотором расстоянии от сына из-за его наготы, ибо сейчас он подошел ближе. При этом он усиленно опирался на длинный посох, поднимая и опуская его, потому что хромал. Вот уже двенадцать лет, после одного дорожного приключения, которое он претерпел при довольно плачевных обстоятельствах, в пору великого испуга и страха, Иаков хромал на одно бедро.

НЕКТО ИЕВШЕ

Они виделись не так уж давно. Как обычно, Иосиф ужинал в благоухавшем мускусом и миррой шатре отца, с теми своими братьями, точнее сказать — сводными братьями, что как раз находились на месте: другие, присматривая за другими стадами, жили несколько поодаль, на полночь, в долине, на которую глядели горы Гевал и Гаризим, близ одного укрепленного города и священного места, называвшегося Сихем или Шекем, «затылок», а также Мабарфа, то есть «проход». С жителями Шекема Иакова связывали и религиозные дела; ибо хотя почитаемое там божество было разновидностью сирийского овчара и прекрасного владыки Адониса и того изуродованного вепрем цветущего юноши, Таммуза, которого внизу звали Усири, жертвой, но уже очень давно, во времена Авраама и сихемского первосвященника царя Мелхиседека, божество это приобрело особый духовный облик, закрепивший за ним имя Эль-эльон, Баалберит, то есть Всевышний, Глава завета. Творец и Владыка неба и земли. Такой взгляд казался Иакову правильным и приемлемым, и он был склонен видеть в шекемском растерзанном сыне истинного всевышнего бога, бога Авраама, а в сихемитах своих единоверцев, тем более что, согласно надежному, переходившему из поколения в поколение преданию, сам первопришелец назвал однажды в разговоре — это была ученая беседа с содомским старостой — познанного им бога «Эльэльон», а значит, отождествил его с Баалом и Адонисом Мелхиседека. Сам Иаков, духовный внук первопришельца, много лет назад, возвратись из Месопотамии и раскинув свой стан перед Сихемом, поставил там жертвенник этому богу. Он построил там также колодец и купил право выпаса, хорошо заплатив за него шекелями серебра.

Позднее между Сихемом и людьми Иакова пошли нелады, последствия которых оказались ужасны для города. Но мир был восстановлен, и прежние связи возобновились, так что часть скота Иакова всегда паслась на шекемских выгонах, а часть его сыновей и пастухов всегда находилась вдали от лица его из-за этих стад.

В ужине, кроме Иосифа, участвовали два сына Лии, костлявый Иссахар и Завулон, который ни во что не ставил пастушескую жизнь, но и не хотел быть землепашцем, а желал только одного — стать моряком. С тех пор как он побывал на море, в Аскалуне, он не представлял

себе ничего более высокого, чем это занятие, и любил рассказывать всякие небылицы о приключениях и о двуполых чудовищах, что жили по ту сторону вод, куда можно было добраться на корабле: о людях с бычьими или львиными головами, двуглавых, двуликих, у которых были сразу и человеческое лицо, и морда овчарки, так что они попеременно лаяли и разговаривали, о ластоногих и о всяких других диковинках... Еще ужинали в шатре Иакова расторопный Нэффалим, сын Валлы, и оба отпрыска Зелфы, прямодушный Гад и Асир, который, как обычно, старался захватить лучшие куски и всем поддакивал. Что касалось единоутробного брата Иосифа, ребенка Вениамина, то он жил еще при женщинах и был слишком мал, чтобы ужинать с гостями; а сегодня в доме был гость.

Человек по имени Иевше, который называл свое место Таанак и рассказывал за едой о голубях тамошнего храма и о рыбках в его прудах, уже несколько дней находившийся в пути с черепком, поскольку таанакский градоправитель Ашират-яшур — его называли царем, но это было преувеличением — сплошь исписал этот черепок посланьем своему «брату», князю Газы, по имени Рифат-Баал; пожелав Рифат-Баалу, чтобы тот был счастлив в жизни и чтобы все сколько-нибудь влиятельные боги дружно воспеклись о его благе, а также о благе его дома и его детей, Ашират-яшур сообщал, что не может послать «брату» леса и денег, которых тот более или менее справедливо от него требует, поелику первого у него нет, а вторые крайне нужны ему самому, но зато посылает ему с Иевше необычайно могущественное глиняное изваяние своей личной и общетаанакской покровительницы, богини Ашеры, дабы таковое принесло ему благодать и помогло преодолеть потребность в деньгах и лесе, — так вот, этот Иевше, человек с козлиной бородкой, от шеи до лодыжек закутанный в яркую шерсть, вернулся к Иакову, чтобы узнать его суждения, преломить его хлеб и переночевать у него перед дальнейшим путешествием к морю, а Иаков радушно принял гонца, попросив его только, чтобы изваянье Ашарты, фигурку женщины в шароварах, с венцом и покрывалом, охватившей обеими руками крошечные свои груди, тот держал в некотором отдалении от него, Иакова. Вообще же он встретил гостя без предубеждения, памятуя старинное предание об Аврааме, который в гневе прогнал от себя в пустыню одного дряхлого идолопоклонника, но получил за свою нетерпимость выговор от господина и вернулся в свой дом ослепленного старика.

Обслуживаемые двумя рабами в свежестиранных полотняных балахонах, старым Мадаи и молодым Махалалиилом, сотрапезники, сидя на подушках вокруг циновки (Иаков твердо держался этого обычая отцов и слышать не хотел о том, чтобы сидеть на стульях, как то было заведено у городской знати по образцу великих царств Востока и Юга), поужинали маслинами, жареным козленком и добрым хлебом кемахом, а запили эту еду отваром из слив и изюма, поданным в медных кружках, и сирийским вином, разлитым в чаши цветного стекла. Хозяин и гость вели рассудительные беседы, к которым, во всяком случае, Иосиф прислушивался очень внимательно, — беседы частного и общественного характера насчет божественных и земных дел, а также по поводу политических слухов; о семейных обстоятельствах Иевше и его служебном положении при Ашират-яшуре, владыке города; о его путешествии, для которого он воспользовался дорогой, идущей через Изреельскую равнину и нагорье, причем по горному водоразделу ехал верхом на осле, а продолжать путь отсюда вниз, к стране филистимлян, намерен был на верблюде, приобретя его завтра в Хевроне; о ценах на скот и на зерно у него на родине; о культе Цветущего Шеста Ашеры Таанакской, и о ее «персте», то есть оракуле, через посредство которого она разрешила отправить в путь одно из своих изваяний в качестве Ашеры Дорожной, чтобы оно усладило сердце Рифат-Баала в Газе; о ее празднике, отмеченном недавно всеобщими, весьма необузданными плясками и съедением огромного количества рыбы, а также тем, что мужчины и женщины поменялись одеждами в знак провозглашенной жрецами двуполости Ашеры, ее причастности и к женской, и к мужской стати. Тут Иаков погладил бороду и перебил гостя несколькими каверзными вопросами: кто защитит место Таанак, куда изваяние Ашеры будет в пути; как понимать отношение путешествующего изваяния к владычице города и не нанесет ли отсутствие части ее естества заметного урона ее могущест-

ву? На это Иевше отвечал, что если бы дело действительно так обстояло, то вряд ли бы перст Ашеры велел отправить ее в дорогу, и что по учению жрецов вся сила божества заключена в любом его изваянии. Еще Иаков мягко указал на то, что если Аширта является и мужчиной и женщиной, то есть сразу и Баалом и Баалат, и матерью богов, и царем небесным, ее следует приравнять не только к почитаемой в Синеаре Иштар, не только к Исет, почитаемой в нечистой земле Египетской, но также к Шамашу, Шалиму, Адду, Адону, Лахаме и Даму, короче говоря, к владыке мира и высочайшему богу, и получается, что дело идет в общем-то об Эль-эльоне, боге Авраама, создателе и отце, а его ни в какое путешествие отправить нельзя, потому что он царит надо всем, и служат ему вовсе не тем, что едят рыбу, а только тем, что живут в чистоте и падают перед ним ниц. Но такое соображение не встретило у Иевше особого сочувствия. Подобно тому как солнце, возразил он, всегда оказывает свое действие через какое-то путеводное светило и в нем предстает, подобно тому как оно уделяет от своего света планетам, а уж они, каждая на свой лад, влияют на судьбы людей, так и божественное начало сказывается в отдельных божествах, среди которых владыка-владычица Ашират, например, являет божественную силу, как известно, в земном плодородье и выходе природы из преисподней, ежегодно превращаясь из сухого шеста в цветущий, а по такому случаю вполне уместны некоторая необузданность в еде и плясках и даже кое-какие иные, связанные с праздником Цветущего Шеста утхи и вольности, поскольку чистота присуща лишь Солнцу и неделимой прабожественности, но отнюдь не ее планетным ипостасям, и четко разграничивая понятия «чистый» и «священный», разум обнаруживает, что священность не связана или не обязательно связана с чистотой... Иаков отвечал на это очень вдумчиво: он, Иаков, не хочет никого обижать, а тем более гостя своей хижины, закадычного друга и посла могущественного царя, порицая взгляды, внушенные тому родителями и писцами таблиц. Но и Солнце — это только творенье Эль-эльона, и как таковое хоть и божественно, но не является богом, что разуму и надлежит различать. Тот не в ладу с разумом и рискует прогневить ревнивого господя, кто поклоняется какому-либо его творению, а не ему самому, и гость Иевше сам расписался в том, что местные боги — это производные бога, — от более обидного обозначения, он, Иаков, из любви к гостю и вежливости воздержится. Если бог, сотворивший Солнце, путеводные знаки, планеты и землю, — бог высочайший, то он также и единственный бог, а о других в этом случае лучше вообще не говорить, не то их пришлось бы обозначить этим нежелательным именем, поскольку понятие «высочайший бог», разум должен приравнять к понятию бога единственного... Вопрос о различье и тождестве этих двух понятий, высочайшего и единственного, вызвал долгие словопрения, которые хозяин готов был вести до бесконечности и, дай ему волю, продолжал бы до полуночи или даже всю ночь. Однако Иевше перевел разговор на дела мира и его царств, на раздоры и происки, о которых он как друг и родственник ханаанского градодержца знал больше, чем обыкновенный человек: речь пошла о том, что на Кипре, который он называл Алашией, свирепствует чума, что она унесла множество людей, но не всех, как то утверждал правитель этого острова в своем письме фараону преисподней, чтобы оправдать почти полное прекращение поставок меди; что царь государства Хетта или Хатти носит имя Шуббилулима и располагает столь большой военной силой, что грозит захватить богов митаннийского царя Тушратты, хотя тот состоит в свойстве с великой фиванской династией; что вавилонский кассит стал как огня бояться ассурского первосвященника, стремящегося выйти из-под власти законодателя и основать на реке Тигре особое государство; что благодаря сирийской контрибуции фараон сильно обогатил жречество своего бога Аммуна и на эти же деньги построил Аммуна новый храм с тысячью колонн и ворот, но что довольно скоро приток этих средств уменьшится, так как города Сирии страдают от опустошительных набегов разбойников-бедуинов, а на севере все шире распространяется хеттская держава, оспаривающая у людей Аммуна господство в Ханаане, и многие аморитские князья поддерживают этих чужеземцев в их борьбе против Аммуна. Тут Иевше подмигнул одним глазом, вероятно, затем, чтобы по-дружески намекнуть слушателям, что и Ашират-яшур не чурается

такой политики, но как только перестали говорить о боге, интерес хозяина к беседе заметно убыл, разговор заглох, и сидевшие поднялись: Иевше — чтобы удостовериться, что с Астартой Дорожной ничего не стряслось, и затем лечь спать; Иаков — чтобы с посохом обойти свой стан, взглянуть на женщин и на скот в стойлах. Что касается его сыновей, то у шатра Иосиф отделился от остальных пятерых, хотя сначала собирался пойти с ними. Прямодушный Гад внезапно сказал ему:

— Убирайся, шалопай и паскудник, ты нам не нужен!

Иосифу не понадобилось долго думать, чтобы ответить:

— Ты похож на бревно. Гад, по которому еще не прошелся струг, и на бодливого козла в стаде. Если я передам твои слова отцу, он накажет тебя. А если я передам их Рувиму, нашему брату, он, по своей справедливости, задаст тебе жару. Но пусть будет так, как ты говоришь: если вы пойдете направо, я пойду налево, и наоборот. Я-то вас люблю, но вам я, увы, внушаю отвращение, а сегодня — особенно, потому что отец подал мне кусок козленка и ласково на меня поглядывал. Поэтому я одобряю твое предложение, чтобы избежать свары и чтобы вы нечаянно не впали во грех. Прощайте!

Гад слушал это с презрительным выражением лица, не поворачивая головы, но все же ему было любопытно, какой сейчас опять найдется у мальчишки ответ. Затем он сделал грубый жест и ушел с остальными, а Иосиф пошел один.

Он совершил небольшую вечернюю прогулку — если только то удрученное состояние, в каком из-за грубости Гада, при всей удовлетворенности удачным своим ответом, находился сейчас Иосиф, позволяет назвать это хождение словом «прогулка», обозначающим нечто все же приятно-увеселительное. Он побрел вверх по холму, по отлогому восточному склону, и, быстро достигнув гребня, откуда открывался вид на юг, увидел слева в долине белый от лунного света город, его толстые стены с четырехгранниками угловых башен и ворот, колоннаду его дворца, окруженный широкой террасой массив его храма. Он любил смотреть на город, где жило так много людей. Смутно видна была отсюда и усыпальница его семьи, купленная некогда по всем правилам Авраамом у хеттеянина Двойная Пещера, где покоился прах предков, праматери-вавилонянки и позднейших старейшин: карнизы каменных ворот двойного склепа вырисовывались у обводной стены в левой ее части; и благоговейные чувства, источником которых является смерть, смешались в его сердце с симпатией, которую внушил ему вид многолюдного города. Потом он вернулся, отыскал колодец, освежился, вымылся и умастил свое тело, после чего и начал то несколько вольное заигрывание с луной, за которым застал его озабоченный каждым его шагом отец.

ДОНОСЧИК

Теперь он подошел к нему, старик, положил правую руку ему на голову, взяв посох в левую, и заглянул своими старыми, но пронзительными глазами в прекрасные, черные глаза юноши, которые тот сначала поднял к нему, снова блеснув финифтью редких своих зубов, но потом опустил — и просто из почтительности, и в то же время из смутного чувства вины, связанного с приказаньем одеться. Он и вправду помешкал с одеваньем не ради приятной воздушной ванны или не только ради нее и подозревал, что отец понял, какие побуждения и представленья заставили его приветствовать небеса полуголым. Ему было действительно радостно и заманчиво открыть свою юную наготу луне, с которой он и благодаря гороскопу и по разным другим догадкам и соображениям чувствовал себя связанным, он был убежден, что это ей понравится, и рассчитывал подкупить и расположить к себе этим ее — или высшую силу вообще. Ощущение прохладного света, коснувшегося с вечерним воздухом его плеч, он воспринял как успех ребяческих своих действий, которые нельзя назвать бесстыдными по той причине, что они имели целью жертвоприношение стыдливости. Нужно иметь в виду, что об-

ряд обрезания, перенятый как внешний обычай в царстве Египетском, давно приобрел в роду и кругу Иосифа особый мистический смысл. Он был установленным по требованию бога бракосочетанием человека с божеством и совершался над той частью плоти, которая представлялась средоточием ее сущности и участвовала во всех связанных с телом обетах. Мужчины часто носили или писали имя бога на своем детородном члене перед совокуплением с женщиной. Союз с богом был половым, он заключался с вождедеющим, стремящимся к безраздельному обладанию творцом и владыкой, а потому усмирять и ослаблял человеческую мужественность, сводя ее к женственности. Кровавый жертвенный обряд обрезания в идее еще ближе к оскоплению, чем физически. Освящение плоти — это символ одновременно девственности и жертвоприношения девственности, то есть начала женского. Кроме того, Иосиф был, как он знал и ото всех слышал, красив и прекрасен, а в сознании своей красоты есть уже и без того что-то женское; и так как «прекрасный» было прилагательным, которое относили обычно прежде всего к луне, луне полной, не затемненной и чистой, так как оно было эпитетом луны, определенным из небесной, собственно, сферы и к человеку могло быть отнесено, строго говоря, только метафорически, то для Иосифа понятия «прекрасный» и «нагой» почти сливались, и ему казалось, что он поступает умно и благочестиво, отвечая прекрасной красоте светила собственной наготой, чтобы удовольствие и восхищение были взаимны.

Мы не беремся судить, сколь тесно или сколь отдаленно связана была известная вольность его поведения с этими туманными мыслями. Шли они, во всяком случае, от первоначального смысла культового обнажения, свидетелем которого ему еще то и дело случалось бывать, и как раз потому вызвали у него при виде отца и после отцовского замечанья смутное чувство вины. Ибо он любил духовность старика и боялся ее, прекрасно зная, что она отвергает, как греховный, почти весь тот мир представлений, с которым он, Иосиф, пусть только баловства ради, был еще связан, что она проникнута гордым сознанием доавраамовской его отсталости и всегда готова заклеить его словом самого страшного своего осуждения, ужасным словом «идолопоклоннический». Иосиф ждал решительного и резкого выговора такого рода. Но из забот, которые, как всегда, задавал ему этот сын. Иаков выбрал другие. Он начал так:

— Право, было бы лучше, если бы дитя уже сотворило молитву и спало под защитой хижины. Мне неприятно видеть его одного среди ночи, которая становится все более глубокой, и под звездами, которые светят добрым и злым. Почему оно не присоединилось к сыновьям Лии и не пошло туда, куда пошли сыновья Валлы?

Он знал, конечно, почему Иосиф опять этого не сделал, а Иосиф знал, что только озабоченность этими известными обстоятельствами заставила отца задать подобный вопрос. Он отвечал, надув губы:

— К такому уж полюбовному соглашенью пришли мы с братьями.

Иаков продолжал:

— Случается, что лев пустыни и тот, что живет в камышах реки, ближе к соленому морю, наведывается сюда, когда бывает голоден, и ищет добычи в загонах, когда его тянет на кровь. Не далее как пять дней назад пастух Альдмодад лежал передо мною на брюхе и признался, что ночью какой-то хищный зверь задрал из молодняка двух ярок и одну уволок, чтобы сожрать. Альдмодад был чист предо мною без клятвы: он представил зарезанную овцу в крови ее, и разуму ясно было, что другую утащил лев, так что урон этот падет на мою голову.

— Он невелик, — польстил отцу Иосиф, — и ничего не значит при том богатстве, каким наделил моего господина в Месопотамии возлюбивший его господь.

Иаков опустил голову и вдобавок склонил ее несколько набок в знак того, что он не кичится благословением, хотя оно дало себя знать не без мудрого содействия сего стороны. Он ответил:

— Кому много было дано, у того может быть и отнято многое. Если господь сделал меня серебряным, то он может сделать меня глиняным и бедным, как выброшенный черепок; ибо прихоть бога могущественна и пути его справедливости нам непонятны. У серебра бледный

свет, — продолжал он, стараясь не смотреть на луну, на которую зато Иосиф сразу же бросил косой взгляд. — Серебро — это печаль, а самый жестокий страх страшщегося — это легкомыслие тех, о ком он печется.

Мальчик сопроводил просительный взгляд утешающим и ласковым жестом, которого Иаков не дал закончить, сказав:

— Подкравшийся лев растерзал ягнят старой матери вон там, на выгоне, в ста шагах отсюда или двухстах. А дитя ночью в одиночестве сидит у колодца, сидит неосторожно, нагое, беспечное, незащищенное, забыв об отце. Разве ты создан для опасности и снаряжен для сраженья? Разве ты похож на своих братьев Симеона и Левия, да хранит их бог, которые с криком на устах и с мечом в руках бросаются на врагов и уже сожгли город аморитян? Или ты, как твой дядя Исав, живущий на диком юге в Сеире, степняк и охотник, и у тебя красная кожа, и ты космат, как козел? Нет, ты благочестивое дитя хижины, ибо ты плоть от плоти моей, и когда Исав подходил к броду с четырьмя сотнями человек и душа моя не знала, чем все это кончится перед господом, впереди я поставил служанок с детьми их, твоими братьями, за ними Лию с ее сыновьями, а тебя — тебя я поставил позади всех вместе с Рахилью, твоею матерью...

Глаза его были уже полны слез. Имя жены, которую он любил больше всех на свете, Иаков не мог произнести без слез, хотя прошло уже восемь лет с тех пор, как ее непонятным образом отнял у него бог, и голос его, и так-то всегда взволнованный, всхлипнул и задрожал.

Юноша протянул к нему руки, а потом поднес сложенные ладони к губам.

— Ах, как напрасно, — сказал он с нежным упреком, — тоскует сердце папочки моего и милого господина и ах, как преувеличены его спасенья! Когда гость простился с нами, чтобы проведать драгоценное свое изваянье, — он насмешливо улыбнулся, чтобы порадовать Иакова, и прибавил: — которое показалось мне довольно бедным, бессильным и жалким, ничем не лучше грубых гончарных изделий на рынке...

— Ты его видел? — перебил сына Иаков. Даже это было ему неприятно и омрачило его.

— Я попросил гостя показать его мне перед ужином, — сказал Иосиф, презрительно выпячивая губы и пожимая плечами. — Работа средней руки, и бессилье прямо-таки написано у этой фигурки на лбу... Когда вы закончили беседу, ты и гость, я вышел с братьями, но один из сыновей Линой служанки — кажется, это был честный и прямодушный Гад — предложил мне держаться от них подальше и причинил мне некоторую душевную боль, назвав меня не моим именем, а ненастоящими, дурными именами, на которые я не отзываюсь...

Нечаянно и вопреки своему намерению сбился он на наушничество, хотя знал за собой эту самому же ему неприятную склонность, искренне желал ее побороть и только что было успешно превозмог. При его неладах с братьями безудержность его общительности как раз и создавала порочный круг, отделяя его от братьев и сближая с отцом, эти нелады ставили Иосифа в промежуточное, подстрекавшее к ябедничеству положение, ябедничество, в свою очередь, обостряло разрыв, так что трудно было сказать, в чем корень зла — в неладах или в ябедничестве, но как бы то ни было, старшие уже не могли глядеть на сына Рахили, не исказившись в лице. Первопричиной раздора было, несомненно, пристрастие Иакова к этому ребенку — такой объективной справкой мы не хотим обидеть этого человека чувства. Но чувство по природе своей склонно к необузданности и к избалованному самоублажению; оно не хочет таиться, оно не признает умолчания, оно старается показать себя, заявить о себе, «выставиться», как мы говорим, перед всем миром, чтобы занять собой всех и вся. Такова неводержность людей чувства; а Иакова еще поощряло в ней господствовавшее в его преданиях и в его роду представление о неводержности самого бога, о его величественной прихотливости во всем, что касается чувств и пристрастий: предпочтение, оказываемое Эль-эльном отдельным избранныкам совсем незаслуженно или не совсем по заслугам, было царственно, непонятно и по человеческому разумению несправедливо, оно было высшей волей, которую надлежало слепо, с восторгом и страхом, чтить, лежа во прахе; и сознавая, — сознавая, прав-

да, в смиренье и страхе, — что и сам он является предметом такого пристрастия, Иаков в подражание богу всячески потрафлял своему пристрастью и давал ему полную волю.

Избалованная несдержанность человека чувства была наследством, доставшимся Иосифу от отца. Нам придется еще говорить о его неспособности обуздывать свои порывы, о недостатке у него такта, оказавшемся для него таким опасным. Это он, девяти лет, ребенком еще, пожаловался отцу на буйного, но доброго Рувима, когда тот, всплыв из-за того, что после смерти Рахили Иаков раскинул постель не у матери Рувима Лии, которая с красными своими глазами притаилась, отвергнутая, в шатре, а у ставшей тогда любимой женой служанки Валлы, сорвал отцовское ложе с нового места и, с проклятьями его истоптал. Это было сделано сгоряча, ради Лии, из оскорбленной сыновней гордости, и раскаянье не заставило себя ждать. Можно было тихонько водворить постель на прежнее место, так что Иаков ни о чем не узнал бы. Но Иосиф, оказавшийся свидетелем провинности Рувима, поспешил сообщить о ней отцу, и с этого часа Иаков, который и сам обладал первородством не от природы, а лишь номинально и юридически, подумывал о том, чтобы проклясть Рувима и лишиться его первородства, передав, однако, этот чин не следующему по старшинству, то есть не Симеону, второму сыну Лии, а по полному произволу чувства — первенцу Рахили, Иосифу.

Братья были несправедливы к мальчику, утверждая, что его болтливость имела целью такие решенья отца. Иосиф просто не умел молчать. Но что и в следующий раз, зная уже об отцовском намеренье и об упреке братьев, он снова не сумел промолчать, это было еще непростительнее и подкрепило подозрение старших сильнейшим образом. Немногим известно, как Иаков узнал о том, что Рувим «пошутил» с Валлой.

То была история, гораздо худшая, чем история с постелью, и случилась она еще до того, как они осели возле Хеврона, на одной из стоянок между Хевроном и Вефилем. Рувим, которому был тогда двадцать один год, не сумел под напором переполнявших его сил воздержаться от жены своего отца — той самой Валлы, на которую он так разозлился из-за отставки Лии. Он подглядел, как она купалась, — сначала случайно, потом — ради удовольствия унижить ее без ее ведома, затем — с возрастающим вождельем. Грубое, порывистое желанье овладело этим сильным юношей при виде зрелых, но искусно ухоженных прелестей Валлы, ее упругих еще грудей, ее изящного живота, и похоти его не могла утолить ни одна служанка, ни одна послушная любому его знаку рабыня. Он прокрался к побочной и тогда любимой жене отца, бросился на нее, и если не овладел ею силой, то соблазнил ее, как ни трепетала она перед Иаковым, полнотой своей силы и молодостью.

Из этой сцены страсти, страха и преступления маленький Иосиф, праздно, хотя и без всякого намеренья шпионить, повсюду слонявшийся, подслушал достаточно много, чтобы с простодушным воодушевленьем, как странную и любопытную новость, сообщить отцу, что Рувим «шутил» и «смеялся» с Валлой. Он употребил эти слова, в прямом своем смысле не выражавшие всего, что ей понял, но своим вторым, обиходным значением выразившие все. Иаков побледнел и стал тяжело дышать. Спустя несколько минут Валла лежала в ногах у главы рода и со стонами признавалась в содеянном, раздирая ногтями груди, которые смутили Рувима и были теперь навсегда осквернены и неприкосновенны для ее повелителя. А затем в ногах у него лежал сам преступник, опоясанный в знак полного своего провала и позора одной дерюгой, и с искреннейшим сокрушеньем, подняв руки и уткнув в землю посыпанную пылью голову, внимал величавой грозе отцовского гнева, над ним бушевавшей. Иаков назвал его Хамом, осквернителем отца своего, змеем хаоса, бегемотом и бесстыжим гиппопотамом: в последнем эпитете сказалось влияние египетского поверья, будто у гиппопотамов существует мерзкий обычай убивать своих отцов и насильственно совокупляться со своими матерями. Изображая дело так, будто Валла действительно приходится матерью Рувиму, только потому, что он, отец его, сам с нею спал, громыхавший Иаков проникся древним и смутным представленьем, что, совокупляясь с собственной матерью, Рувим хотел стать господином над всеми и всем, — и назначил ему как раз противоположное. С простертыми руками отнял он у стонав-

шего Рувима его первородство — только, правда, отнял это почетное звание, но покамест не передал его дальше, так что с тех пор в этом вопросе царила неопределенность, при которой величественно-откровенное пристрастие отца к Иосифу заменяло до поры до времени всякие юридические факты.

Любопытно, что Рувим не только не затаил злобного чувства к мальчику, но относился к нему терпимей, чем все братья. Он совершенно справедливо не считал его поступка просто злым, внутренне признавая за братом право заботиться о чести отца, тем более что тот так любит его, и оповещать Иакова о делах, постыдность которых он, Рувим, вовсе не собирался оспаривать. Сознавая свою неправоту, Рувим был добродушен и справедлив. Кроме того, будучи при своей большой физической силе, как все Лиины сыновья, довольно дурен собой (слабые глаза он тоже унаследовал от матери и часто, хотя и без пользы, мазал мазью гноившиеся веки), Рувим ценил общепризнанную миловидность Иосифа больше, чем другие, он находил в ней по контрасту с собственной неуклюжестью что-то трогательное и чувствовал, что переходящее наследство глав рода и великих отцов, избранность, благословенье божье досталось скорее этому мальчику, чем ему или кому-либо другому из двенадцати братьев. Поэтому отцовские желания и замыслы, связанные с вопросом о первородстве, были понятны Рувиму, хотя и наносили тяжелый удар ему самому.

Таким образом, у Иосифа были основания пригрозить сыну Зелфы, тоже, впрочем, благодаря своему прямодушию не самому худшему из братьев, справедливостью Рувима. Рувим не раз уже, хотя и пренебрежительно, заступался за Иосифа перед братьями, неоднократно защищал его от обиды силой своих рук и бранил их, когда они, возмущенные очередным его предательством, собирались жестоко с ним рассчитаться. Ибо из ранних неприятностей с Рувимом этот дуралей не извлек никакого урока, великодушие брата тоже не сделало его лучше, и когда Иосиф подрос, он стал еще более опасным соглядатаем и доносчиком, чем в детстве. Опасным и для себя самого, и главным образом для себя самого; усвоенная им роль с каждым днем обостряла его отлученность и обособленность, мешала его счастью, взваливала на него бремя ненависти, нести которое было противно его природе, и давала ему повод бояться братьев, а это оборачивалось новым искушеньем обезопасить себя от них, подольстившись к отцу, — и все это продолжалось, несмотря на то что Иосиф не раз давал себе слово придерживать язык, чтобы этим простым способом оздоровить свои отношения с десятью братьями, ни один из которых не был злодеем и которые, составляя вместе с ним и его маленьким братом число зодиакальных созвездий, были, в сущности, как он чувствовал, связаны с ним священной связью.

Напрасные обещания! Стоило Симеону и Левию, людям горячим, затеять невыгодную для семьи драку с чужими пастухами, а бывало, и с горожанами; стоило Иегуде, которого мучила Иштар, гордому, но несчастному человеку, не находившему в том, что было для других смехом, решительно ничего смешного, запутаться в неугодных Иакову тайных приключениях с дочерьми страны; стоило кому-либо из братьев провиниться перед Единственным и Всевышним, тайком покадив изваянью, что ставило под угрозу плодovitость скота и навлекало на него болезни — оспу, паршу или веретенницу; стоило сыновьям, здесь или под Шекемом, попытаться при продаже выбракованного скота выторговать и тайком от Иакова разделить между собой какой-то дополнительный барыш — отец узнавал это от своего любимчика. Он узнавал от него даже неправду, совершеннейший вздор, но склонен был верить прекрасным глазам Иосифа. Тот утверждал, что некоторые братья вырезали у живых овец и баранов куски мяса и тут же съедали их; так, по его словам, поступали все четыре сына наложниц, но чаще других — Асир, который и в самом деле отличался прожорливостью. Аппетит Асира был единственным доводом в пользу этого обвинения, которое и само по себе казалось весьма неправдоподобным и никак не могло быть доказано. Объективно это была клевета. С точки зрения Иосифа, поступок его не вполне, может быть, заслуживал такого названия. Вероятно, эта история ему приснилась; вернее, он заставил ее присниться себе в момент резонного ожи-

дания порки, чтобы с помощью этой небылицы заручиться отцовской защитой, а потом уже не мог и не хотел отличить правду от наваждения. Но понятно, что в этом случае возмущение братьев было особенно бурным. Оно обладало привилегией невиновности, на которую напирало с несколько чрезмерным ожесточением, словно в ней можно было все-таки сомневаться и в видениях Иосифа содержалась какая-то доля правды. Больше всего нас уязвляют обвинения, которые хоть и вздорны, но не совсем...

ИМЯ

Иаков вспыхнул было, услышав о дурных именах, которыми Гад назвал Иосифа, ибо старик готов был сразу же усмотреть в них преступное оскорбление священного своего чувства. Но быстро повеселевший Иосиф сумел так мило и ловко отвлечь и успокоить отца, заговорив о другом, что гнев Иакова, не успев разгореться, остыл, и он мог уже только глядеть, мечтательно улыбаясь, в черные, чуть раскосые, лукаво сузившиеся глаза говорившего.

— Это пустяки, — слышал он резкий и хрупкий голос, который любил, потому что многое в нем напоминало голос Рахили. — Я по-братски побранил его за грубость, и поскольку он принял к сведению мои увещания, это его заслуга, что мы разошлись полюбовно. Я ходил на холм поглядеть на город и на двойной дом Ефрона; здесь я омылся водой и молитвой, а что касается льва, которым папочка изволил мне пригрозить, распутника преисподней, исчадия черной луны, то он остался в зарослях Иардена (название реки Иосиф произнес не так, как мы, с другими гласными; он сказал: «Иарден», — с небным, но не раскатистым «р» и с довольно открытым «е») и нашел свой ужин в лощинах под обрывом, а дитя не видело его ни вблизи, ни вдали.

Он назвал самого себя «дитя», зная, что особенно растрогает отца этим прозвищем, сохранившимся от более ранней поры. Он продолжал:

— Но даже если бы он и пришел, колотя хвостом, и даже если бы голос его гремел от голода, как голоса серафимов, когда они поют свою хвалебную песнь, мальчик ни чуточки не испугался бы его ярости или только чуть-чуть. Ведь он, конечно, опять набросился бы на ягненка, разбойник, если бы Альдмодад не прогнал его трещотками и огнями, а детеныша человеческого зверь мудро обошел бы стороной. Разве мой папочка не знает, что звери боятся и избегают человека, потому что бог наделил его духом разума и указал ему разряды, на которые все делится, разве не знает он, как возопил Семаил, когда человек, созданный из праха земного, назвал всякое творенье, словно сам был повелителем его и творцом, и как изумились, как опустили глаза все слуги огненные, которые только и знают, что хором кричат на разные голоса «свят, свят!», а ничего не смыслят в разрядах и подразрядах? Звери тоже стыдятся нас и поджимают перед нами хвост, потому что мы знаем их и, владея их именем, лишаем силы рычащую их единичность. Посмей он явиться сюда со злобно раздутыми ноздрями, я бы все равно не потерял голову от ужаса и не оробел бы перед его загадкой. «Имя твое, наверно, Жажда Крови? — спросил бы я, чтобы над ним подшутить. — Или, может быть, тебя зовут Смертельный Прыжок?» Но потом я приосанился бы и воскликнул: «Лев! Ты — лев, вот кто ты по своему разряду и подразряду, и тайна твоя мне открыта, и видишь, мне ничего не стоит ее назвать». И он заморгал бы глазами от страха перед именем, он сник бы перед словом и убрался бы прочь, не в силах ответить мне. Ведь он же полный невежда и понятия не имеет о письменных принадлежностях...

Иосиф начал играть словами, в чем всегда находил удовольствие, но сейчас он хотел этим, точно так же как и предшествовавшей похвальбой, рассеять отца. Имя его своим звучанием напоминало слово «сефер», книга, письменная принадлежность, — к неизменному его удовлетворению, ибо, в отличие от всех своих братьев, ни один из которых писать не умел, Иосиф любил это занятие и был в нем настолько искусен, что вполне мог бы служить писцом

в таких местах скопления документов, как Кириаф-Сефер или Гевал, если бы можно было представить себе, что Иаков одобрит подобную деятельность.

— Пусть папочка, — продолжал он, — приблизится, пусть он непринужденно и удобно сядет рядом с сыном у бездны, вот здесь, например, на краю, а грамотное это дитя село бы несколько ниже, у его ног, что дало бы довольно приятный порядок их размещенья. Затем дитя развлекло бы своего господина, рассказав ему одну небольшую сказку-басню об имени, которую они выучило и может занимательно изложить. Во времена поколения потопа ангел Семазай увидел на земле одну девицу, которую звали Ишхара, и, обезумев от ее красоты, сказал ей: «Послушайся меня!» А она сказала в ответ; «Не смей и надеяться, что я тебя послушаюсь, если ты не откроешь мне прежде то настоящее и неизменное имя бога, силой которого ты возносишься, когда произносишь его». Обезумевший гонец Семазай и вправду открыл ей это имя, до того ему не терпелось, чтобы она послушалась его. Но как думает папочка, что сделала Ишхара, как только завладела именем, и каким образом непорочная эта девушка оставила в дураках назойливого гонца? Это самое интересное место в моей истории, но, увы, я вижу, что папочка не слушает, что уши его закрыты мыслями и он погрузился в раздумья?

Действительно, Иаков не слушал, он «задумался». Это была на редкость выразительная задумчивость, воплощение задумчивости, задумчивость, так сказать, образцовая, высшая степень патетически-сосредоточенной отрешенности, — тут уж он ничего не слышал; если уж он задумался, то это должна была быть настоящая, видная и за сто шагов, великолепная, могучая задумчивость, чтобы каждому было ясно, что Иаков погрузился в раздумье, больше того, чтобы каждый только сейчас вообще узнал, что такое подлинная задумчивость, и благоговел перед этим состоянием и этой картиной: старик, обеими руками опершийся на высокий посох, склоненная к плечу голова, полные сокровенно-мечтательной грусти губы в серебряной бороде, карие, старческие, упорно роющиеся в глубинах воспоминаний и мыслей глаза, их глухой, обращенный внутрь взгляд снизу вверх, почти теряющийся в нависших бровях... Людям чувства свойственна внешняя выразительность, ибо она вытекает из тщеславия чувства, которое откровенно и без стеснения о себе заявляет; выразительность — это порождение большой и нежной души, где Слабость и смелость, бесстыдство и благородство, естественность и нарочитость сплавляются в актерство высшей марки, которое внушает людям благоговение, хотя и слегка веселит их. Иакову была очень свойственна внешняя выразительность — к радости Иосифа, любившего взволнованную эту приподнятость и ею гордившегося, но к испугу и страху всех других, кто сталкивался с ним в жизни, и особенно остальных его сыновей, которые при размолвках с отцом ничего так не боялись, как именно этой выразительности. Так было с Рувимом, когда ему пришлось держать ответ перед стариком по поводу истории с Валлой. И хотя страх и благоговение перед выпяченной выразительностью были тогда глубже и безотчетней, чем у нас, обыкновенный человек, которому грозили такие эффекты, и тогда проникался тем обывательским защитным чувством, которое мы выразили бы словами: «Бог ты мой, это не доведет до добра!»

Яркая выразительность душевных движений Иакова, и взволнованность его голоса, и высокопарность его речи, и торжественность его повадки вообще — была связана с той его чертой, которой объяснялось также столь свойственное его лицу живописное выражение задумчивости. Это была склонность связывать мысли, настолько подчинившая себе внутреннюю его жизнь, что стала прямо-таки ее формой, и его мышление почти совсем ушло в такие ассоциации. На каждом шагу душу его поражали, отвлекали и далеко увлекали соответствия и аналогии, сливавшие в одно мгновение прошлое и обещанное и придававшие взгляду его как раз ту расплывчатость и туманность, которая появляется в минуты раздумья. Это был род недуга, но недуг этот не был личным его уделом, он был, хотя и в разной степени, очень широко распространен, и можно сказать, что в мире Иакова духовное достоинство и «значение» — употребляя слово «значение» в самом прямом смысле, — определялось богатством мифических ассоциаций и силой, с какой они наполняли мгновение. В самом деле, как странно,

как выпретенно и многозначительно прозвучали слова старика, когда он намеком выразил свое опасение, что Иосиф упадет в водоем! А получилось так потому, что Иаков не мог подумать о глубине колодца, чтобы к этой мысли не примешалась, углубляя и освящая ее, идея преисподней и царства мертвых, — идея, которая играла важную роль, правда, не в религиозных его воззрениях, но, как древнейшее мифическое наследство народов, в глубинах его души и фантазии, — представление о дольной стране, где правил Усири. Растерзанный, о местопребывании Намтара, бога чумы, о царстве ужасов, родине всех злых духов и повальных болезней. Это был мир, куда погружались небесные светила после захода, чтобы в назначенный час снова подняться, но ни одному смертному, проделавшему путь в эту обитель, вернуться оттуда не удавалось. Это был край грязи и кала, но также золота и богатств; лоно, куда бросали зерно и откуда оно всходило питательным злаком, страна черной луны, зимы и обуглившегося лета, куда спустился и ежегодно спускался растерзанный вепрем вешний овчар Таммуз, после чего земля переставала родить и, оплаканная, скудела до той поры, покуда Иштар, его супруга и мать, не отправлялась на поиски его в ад, не ломала пыльных запоров его застенка и с великим смехом не выводила из ямы возлюбленного красавца, владыку новорасцветшей флоры.

Как было не трепетать голосу Иакова, как мог его вопрос не приобрести странного и многозначительного отголоска, если он, пусть не умом — чувством, видел в колодце вход в преисподнюю, если все эти и еще иные образы ожили в нем при слове «бездна»? Какой-нибудь глупец и невежда, человек ничтожной души, может быть, и произнес бы такое слово бездумно и невзначай, не имея в виду ничего, кроме самого близкого и конкретного. Поводке Иакова оно придало величавость и духовную торжественность, оно сделало ее чуть ли не устрашающе выразительной. Невозможно передать, как ужаснулся провинившийся Рувим, когда отец в свое время бросил ему в лицо недоброе имя Хама! Ибо не таков был Иаков, чтобы употребить это бранное прозвище только как слабый намек. Волей могучего его духа настоящее растворилось, и притом самым жутким образом, в прошлом, однажды случившееся вступило в полную силу, и сам он, Иаков, слился с Ноем, униженным, поруганным, обесчещенным сыновней рукой отцом; и Рувим заранее знал, что так случится, что он и вправду будет Хамом, валяющимся в ногах у Ноя, и именно поэтому его так ужаснула предстоявшая сцена.

Ну, а сейчас причиной столь очевидной задумчивости старика были воспоминанья, к которым побудила его болтовня сына об «имени», — томительные, как сон, возвышенные и страшные воспоминания тех давних дней, когда он, в великом страхе телесном, готовясь к встрече с обманутым и, несомненно, жаждавшим мести дикарем-братом, так страстно желал обрести духовную силу и боролся за имя с тем, особенным человеком, что напал на него. Томительный, ужасный, исполненный сладострастья сон отчаянной прелести, но не из тех веселых и мимолетных снов, от которых ничего не остается, а до того осязаемый, до того явственный, что от него осталось два следа на всю жизнь, как остаются на суше дары моря в часы отлива: увечье вертлюжного сустава бедра, на которое Иаков и хромал с той поры, как некто вывихнул его в схватке, и, во-вторых, имя — но не имя этого странного человека: оно не было открыто даже на заре, даже под угрозой мучительнейшей задержки, как ни донимал незнакомца, как ни наседали на него запыхавшийся Иаков, а его, Иакова, собственное, другое, второе имя, прозвище, которое дал ему в бою незнакомец, чтобы Иаков отпустил его до восхода солнца и уберег от мучительного опоздания, почетный титул, которым с тех пор величали Иакова, когда хотели ему польстить или вызвать у него улыбку — Израиль, то есть «Бог ведет войну»... Он снова видел перед собой иавокский брод, тот заросший кустами берег, где он, Иаков, пребывал в одиночестве, после того как уже перевел через поток женщин, одиннадцать сыновей и скот, предназначенный в искупительный дар Исаву; видел тревожное, в тучах, небо той ночи, когда он, между двумя попытками задремать, полный тревоги, как это небо, бродил по берегу, еще дрожа от объяснения с одуроченным отцом Рахили, которое, впрочем, сошло, с помощью бога, благополучно, и уже терзаясь мыслью о приближении еще одного обманутого и обиженного. Как он молил элохимов помочь ему, как он прямо-таки вменял им это в обязанность!

И незнакомца, с которым он, бог весть почему, нежданно-негаданно вступил в борьбу не на жизнь, а на смерть, он тоже увидел сейчас вплотную перед собой в ярком свете выплывшей вдруг из-за туч тогдашней луны: его широко расставленные, немигающие воловььи глаза, его лицо, подобное, как и плечи, лощеному камню; и в сердце Иакова снова вошло что-то от той жестокой радости, которую он тогда ощущал, выпытывая у него имя кряхтящим шепотом... Как был он силен! Отчаянно, как то может только присниться, силен и вынослив, такие неожиданные запасы силы открылись в его душе. Он держался всю ночь, до зари, пока не увидел, что незнакомец запаздывает, пока тот смущенно не попросил его: «Отпусти меня!» Ни один из них не одолел другого, но разве это не значило, что верх одержал Иаков, который ведь не был каким-то особенным человеком, а был человеком здешним, рожденным от семени человеческого? Иакову казалось, что волоокий усомнился в этом. Жестокий удар в бедро походил на испытание. Нанося его, борющийся, может быть, хотел установить, действительно ли перед ним подвижный сустав, а не неподвижное сочленение, как у тех, кто подобен ему и никогда не садится... А потом незнакомец умудрился не открыть своего имени, но зато нарек имя Иакову. Так же отчетливо, как тогда, старик мысленно слышал сейчас высокий металлический голос, который сказал ему: «Отныне имя тебе будет Израиль», — после чего он, Иаков, выпустил из рук своих обладателя этого особенного голоса, так что тот, надо надеяться, все-таки поспел с грехом пополам...

О ДУРАЦКОЙ ЗЕМЛЕ ЕГИПЕТСКОЙ

Закончил свои размышленья и очнулся от отрешенности величавый этот старик не менее выразительно, чем им предался. Глубоко вздохнув, со степенным достоинством, он выпрямился, стряхнул с себя задумчивость и, подняв голову, огляделся по сторонам, словно проснулся и теперь явно собирался с мыслями, возвращаясь к действительности. Приглашение Иосифа присесть рядом с ним было, казалось, пропущено мимо ушей. Да и не время было сейчас рассказывать забавные сказки, как пришлось, к стыду своему, признать Иосифу. Старику нужно было еще серьезно поговорить с ним. Лев был не единственной заботой Иакова. Иосиф дал повод и для других опасений, и ему ничего не было спущено. Он услышал:

— Далеко внизу есть страна, страна служанки Агари, она зовется еще страной Хама или черной, дурацкая земля Египетская. Люди ее черны душой, хотя и красноваты лицом, и выходят старыми из материнского чрева, а поэтому младенцы их похожи на маленьких стариков в уже через час начинают болтать о смерти. Они, как я слышал, проносят по улицам под бой барабанов и звуки струн мужеский член своего бога длиною в три локтя и блудят в могилах с нарумяненными мертвецами. Все, как один, они надменны, печальны и похотливы. Одеваются же они согласно проклятию, что пало на Хама, которому ведено было ходить нагим, оголив срам, ибо тонкий, как паутина, холст лишь прикрывает их наготу, но не прячет ее, и этим они еще похваляются, утверждая, что носят сотканный воздух. Ибо не стыдятся они плоти своей, и нет у них ни слова «грех», ни такого понятия. Животы своих мертвецов они начиняют пряностями, а вместо сердца по праву кладут изваяние навозного жука. Они богаты и бесстыдны, как люди Содомы и Аморы. Им ничего не стоит раскинуть постель у постели соседа ила обменяться женами. Если женщина, проходя по рынку, увидит юношу, который вызовет у нее желание, она ложится с ним. Они и сами как животные, и поклоняются животным в глубине своих древних храмов, и я слышал, что одна девственница отдалась там на глазах у всего народа козлу по имени Биндиди. Одобряет ли сын мой эти обычаи?

Понимая, каким его проступком вызваны такие речи, Иосиф опустил голову и оттопырил нижнюю губу, как маленький мальчик, которого бранят. За покаянно-обиженным выражением лица он скрывал, однако, усмешку) он знал, что нравы Мицраима Иаков изобразил слишком обобщенно, односторонне и сгустив краски. После нескольких мгновений сокрушенного

молчания он, прежде чем ответить, просительно поднял глаза, стараясь найти в отцовских глазах первый проблеск примирительной улыбки, и даже попытался вызвать ее осторожным сближением, то смело выставляя напоказ, то вновь пряча собственную веселость. Глаза Иосифа уже походатайствовали за него, когда он сказал:

— Если там внизу, дорогой господин мой, такие порядки, то, конечно, одобрить их не-совершенное это дитя остережется в душе своей. Тем не менее мне кажется, что тонкость египетского полотна и то, что оно как воздух, свидетельствует об искусности этих дряхлых навозных жуков в ремесле и могло бы, с другой стороны, при известных условиях, говорить и в их пользу. И если они не стыдятся плоти своей, то человек, склонный к чрезмерной снисходительности, мог бы, наверно, заметить в их оправданье, что они по большей части довольно худы и поджары, а у жирной плоти больше причин для стыда, чем у тощей, потому что...

Теперь сохранять серьезность должен был Иаков. Он отвечал голосом, в котором осуждающее нетерпенье и нежность взволнованно боролись друг с другом:

— Ты говоришь, как дитя! Ты умеешь складно изъясняться, и речь твоя завлекательна, как речь торговца, хитро набивающего цену верблюду, но смысл ее — это чистейшее ребячество. Не хочу думать, что ты решил посмеяться над моим страхом, а я трепещу от страха, что ты вызовешь недовольство господина и навлечешь его гнев на себя и на Авраамово семя. Глаза мои видели, что ты сидел нагой при луне, как будто всевышний не вложил в наше сердце разуменья греха, как будто на этих высотах ночи весны совсем не прохладны после дневного зноя и ты не можешь ночью простыть и замертво свалиться от лихорадки, прежде чем запоет петух. Поэтому я хочу, чтобы ты сейчас же надел поверх рубахи верхнее платье по благочестному обычаю детей Сима. Ведь оно шерстяное, а со стороны Гилеада дует ветер. И я хочу, чтобы ты не пугал меня, ибо глаза мои видели еще кое-что, и я боюсь, что они видели, как ты посылал звездам воздушные поцелуи...

— Нет, нет! — воскликнул Иосиф, не на шутку испугавшись. Он вскочил с края колодца, чтобы надеть свой коричнево-желтый, длиной до колен халат, поднятый и поданный ему отцом; но одновременно стремительный этот подъем был, казалось, его отпором подозрению старика, которое нужно было опровергнуть во что бы то ни стало — и всеми средствами. Будем внимательны, тут все было очень характерно! Ассоциативная многослойность мышления Иакова сказалась в том, как он в одном упреке соединил три: в гигиенической неосторожности, в недостатке стыдливости и в религиозном атавизме. Последний был самым глубоким и самым неприятным слоем этого комплекса тревог, и, наполовину просунув обе руки в рукава халата и от волнения не найдя его верхнего выреза, Иосиф своей борьбой с одеждой старался нагляднее показать, как важно ему отречься от действий, которые он тут же сумел самым лукавым образом оправдать.

— Вот уж нет! Вот уж чего не было, так не было! — уверял он отца, пытаясь продеть свою красивую и прекрасную голову в вырез халата; и чтобы придать своему протесту большую убедительность изысканностью словесной, Иосиф прибавил:

— Сужденье папочки, право, огорчительно отклонилось от истины!

Взволнованно оправив халат движением плеч и одернув его обеими руками, он сбросил с головы растрепавшийся миртовый венок и стал, не глядя, завязывать тесемки, которыми стягивался халат под шейным вырезом.

— О воздушных поцелуях не может быть и... Неужели я сотворил бы такое зло? Пусть господин мой соблаговолит разобраться в моих оплошностях, и он убедится, что они ничтожны! Я глядел вверх, это верно. Я видел, как лучится, как великолепно плывет по небу светило ночи, и глаза мои, израненные огненными стрелами солнца, купались в отдохновенно-прохладном ночном сиянье. Ибо, как поется в песне и как передают люди из уст в уста:

Чтоб мерили время твои перемены,
Он брачным союзом связал тебя с ночью,

О Син, и заставил сиять и украсил
Венцом торжество твоего завершения.

Иосиф произнес это нараспев, стоя на одну ступеньку выше, чем старик, вытянув вперед, ладонями вверх, кисти рук и при каждом первом полустушии наклоняя туловище в одну сторону, а при каждом втором — в другую.

— Шапатту, — сказал он. — Это день торжества завершения, день красоты. Он близок, он наступит завтра или на завтра после завтрашнего дня. И в субботу я даже украдкой, даже невзначай не стану посылать воздушных поцелуев мерилу времени, ведь сказано же, что сияет оно не само по себе, а заставил его сиять и дал ему венец Он...

— Кто? — спросил Иаков тихо. — Кто заставил его сиять?

— Мардук-Бел! — опрометчиво выпалил Иосиф, но тотчас же, отрицательно качая головой, протянул: «Э... э...» — и продолжил:

— ...Как называют его в историях. Однако, — и папочка мой отлично знает это и без жалкого своего дитяти, — это владыка богов, более могучий, чем всякие ануннани и местные баалы, бог Авраама, побивший змея и сотворивший тройной мир. Если он, разозлившись, отвернется, он уже не повернет шеи обратно, а если разгневадается, ни один бог не воспротивится его ярости. Он великодушен и всеведущ, нечестивцы и грешники — это зловоние для его носа, но того, кто вышел из Ура, он возлюбил и поставил меж ним и собою завет, что будет богом ему и его семени. И благословение бога перешло к Иакову, моему господину, заслуженно носящему, как известно, прекрасное имя — званье Израиля, а он великий и рассудительный вестник и вот уж не станет учить своих детей посылать звездам воздушные поцелуи, которые причитались бы единственно господе, если ошибочно предположить, что посылать ему воздушные поцелуи прилично, но поскольку такое предположение нелепо, то можно сказать, что сравнительно все же приличней посылать их сияющим звездам. Но хотя это и можно сказать, я этого не скажу, и если я поднес пальцы ко рту для воздушного поцелуя кому бы то ни было, пусть не придется мне больше подносить их ко рту, чтобы есть, и пусть я умру голодной смертью. Но я и тогда откажусь есть и предпочту умереть голодной смертью, если папочка сейчас же не устроится поудобней и не сядет рядом с сыном на краю бездны. Тем более что господин мой все стоит и стоит на ногах, а ведь бедро у него поражено священной слабостью, и все прекрасно знают, сколь своеобразным способом он ее приобрел...

Он осмелился спуститься к Иакову и осторожно обнять его за плечи в уверенности, что обворожил и смягчил его своей болтовней; и старик, который, играя висевшей у него на груди каменной печаткой, все еще стоял и предавался раздумьям о боге, со вздохом уступил легкому этому нажиму, поставил ногу на круглую ступеньку и, опустившись на край колодца, обнял одной рукой посох, оправил одежду и теперь тоже повернул лицо к луне, которая ярко осветила нежную величавость старческих его черт и зажгла зеркальным блеском его озабоченно-умные каштановые глаза. У ног его сидел Иосиф — согласно картине, которую уже раньше облюбовал и предложил. И, чувствуя на волосах у себя руку Иакова, непроизвольно, по-видимому, опустившуюся, чтобы погладить их, он продолжал голосом более тихим:

— Вот теперь стало хорошо и приятно, я просидел бы так все три ночные стражи подряд, мне давно этого хотелось. Мой господин глядит вверх, в лицо луны, но и мне несколько не хуже, потому что я с величайшим удовольствием гляжу в его собственное лицо, которое тоже кажется мне лицом бога и светится отраженным светом. Скажи, разве не показалось тебе лицом луны лицо моего косматого дяди Исава, когда он, по твоим словам, так неожиданно кротко и по-братски встретил тебя у брода? Но и это был только отсвет кротости на космато-багровом лице, отсвет твоего, дорогой господин мой, лица, которое на вид такое же, как лицо луны и пастуха Авеля, чья жертва была угодна господе, но не Каина и не Исава, чьи лица — как поле, выжженное солнцем, как земля, потрескавшаяся от засухи. Да, ты Авель, ты луна и пастух, и мы, члены твоей семьи, — мы все пастухи-овчары, а не люди возделывающего поля Солнца,

как местные землепашцы, что, обливаясь потом, ходят за сохой и за волами сохи и молятся местным баалам. Нет, мы глядим вверх на Владыку Дороги, на странника, который сейчас поднимается, сияя, в белом наряде... Скажи мне, — продолжал он скороговоркой, почти не переводя дыхания, — разве наш отец Авирам не ушел огорченный из Ура Халдейского, разве не покинул он в гневе родную свою лунную твердыню, потому что законодатель мощно вознес главу своему богу Мардуку — палящему Солнцу, и поставил его выше всех богов Синеара к огорчению людей Сина? И скажи мне, разве его люди, что там живут, не называют его также Симом, когда хотят по-настоящему возвысить его, — как звали того сына Ноя, чьи дети черны, но миловидны, как была миловидна Рахиль, и живут в Эламе, Ассуре, Арфаксаде, Луде и Едоме? Погоди-ка, послушай-ка, о чем подумало дитя! Разве не звали Сахарь, что значит «луна», жену Авраама? А теперь, погляди, какой я сделаю расчет. Семь раз по пятидесяти дней и еще четыре дня составляют кругооборот. В каждом, однако, месяце есть три дня, когда люди не видят луны. Осмелюсь попросить моего господина отнять от тех трехсот пятидесяти четырех дней эти трижды двенадцать. Получится триста восемнадцать ночей видимой Луны. Но как раз триста восемнадцать рабов, рожденных в доме его, было у Авраама, когда он побил царей Востока и прогнал их за Дамаск, освободив брата своего Лота из плена энамитянина Кудур-Лаомера. Как же любил Авирам, отец наш, луну и как же он был ей предан, если отобрал рабов для сраженья точно по числу дней видимой луны. И предположим, что я послал ей воздушный поцелуй, и даже не один, а целых триста восемнадцать, хотя на самом деле я их вовсе не посылал, — скажи, неужели это была бы такая уж большая беда?

ИСПЫТАНИЕ

— Ты умен, — сказал Иаков, снова и даже еще энергичнее, чем прежде, приведя в движение лежавшую на голове Иосифа руку, которая во время этих расчетов остановилась, — ты умен, Иашуп, сын мой. Голова твоя внешне красива и прекрасна, как когда-то голова Мами (он употребил ласкательное, вавилонского происхождения имя, которым маленький Иосиф называл мать, фамильярно-обиходное имя Иштар), а внутри полна остроумья и благочестья. Такой же бойкой была и моя голова, когда мне было не больше годов, чем тебе, но сейчас она уже немного устала от историй, не только от новых, но и от старых, которые нам достались и требуют размышленья; устала она и от трудностей, от Авраамова наследства, которое заставляет меня задумываться, ибо понять господа нелегко. Если даже лицо его подобно лицу кротости, то все же оно подобно и палящему солнцу и жаркому пламени; он как-никак сжег Содом, и чтобы очиститься, человек должен пройти через господний огонь. Господь наш — это жадное пламя, что пожирает в праздник равноденствия тук первородных перед шатром, когда наступают сумерки и мы в страхе сидим в шатре и едим ягненка, окрасив его кровью столбы шатра, потому что мимо проходит ангел-губитель...

Он запнулся, и рука его отстранилась от волос Иосифа. Взглянув вверх, тот увидел, что старик закрыл лицо руками и весь дрожит.

— Что с моим господином? — воскликнул он пораженно и, резко повернувшись к старику, взметнул руки к его рукам, но дотронуться до них не осмелился. Ему пришлось после некоторого ожидания повторить свой вопрос. Иаков переменял позу нескоро. Когда он открыл лицо, оно было искажено скорбью, горестный его взгляд, скользя мимо мальчика, уходил в пустоту.

— Я подумал о боге с ужасом, — сказал он так, словно губы его отказывались шевелиться. — Мне почудилось, будто рука моя — это рука Авраама и лежит она на голове Ицхака. И будто доносится до меня голос его и его повеленье...

— Повеленье? — спросил Иосиф, вызывающе и по-птичьи отрывисто мотнув головой...

— Повеленье и указанье, ты это знаешь, ибо ты сведущ в историях, — отвечал срывающимся голосом Иаков, который сидел теперь наклонившись вперед и припав лбом к державшей посох руке. — Я услышал их, ибо разве Он слабее, чем бык Мелех, царь баалов, которому в беде приносят в жертву первенцев человеческих и отдают младенцев на тайном празднике? И разве не вправду Он требовать от своих почитателей того же, чего требует Мелех от тех, кто верит в него? Вот Он и потребовал этого, и я услышал голос Его и сказал ему: «Вот я!» И мое сердце остановилось, мое дыхание замерло. И оседлал я осла рано утром и взял тебя с собой. Ибо ты был Исаак, поздний мой первенец, и господь учинил нам смех, когда объявил о тебе, и ты был для меня всем на свете, и все будущее было в тебе! И наколол я дров для всежжения, и взвалил их на осла, и посадил сверху дитя, и вместе с работниками шел три дня из Беэршивы к Едому и к земле Муцри и к горе этой земли — Хореву. И когда издали увидал я гору господню и вершину горы, я оставил осла с отроками, чтобы они нас ожидали, и возложил на тебя дрова для всежжения и взял в руки огонь и нож, и дальше мы шли одни. И когда ты заговорил со мной: «Отец мой?» — я не сумел сказать тебе: «Вот я», — потому что горло мое неожиданно застонало. И когда ты сказал своим голосом: «Вот огонь и дрова; где же овца для всежжения?» — я не сумел ответить тебе, как должен был, что господь усмотрит себе овцу, и мне сделалось так худо и так больно, что со слезами я чуть не изверг из себя душу, и я опять застонал, и тогда ты стал искоса глядеть на меня своими глазами. И когда мы пришли на место, я построил из камней жертвенник и разложил на нем дрова, и связал дитя веревкой и положил его поверх дров. И взял нож и закрыл тебе левой рукою оба глаза. И когда я приставил нож и лезвий ножа к твоему горлу — вот тогда я послушался господа, и рука моя опустилась, и нож выскользнул, и я пал на лицо свое и грыз зубами землю и траву земли, и колотил их ногами и кулаками, и кричал: «Заколи, заколи его ты, господь и губитель, ибо он для меня все на свете, и я не Авраам, и душа моя отказывается повиноваться тебе!» И когда я кричал и колотил землю, гром прокатился по небу от этого места и укатился вдаль. И был у меня сын, и не было больше господа, ибо я не нашел в себе силы выполнить его волю, да, да, не нашел, — простонал он, качая лбом, по-прежнему прижатым к руке, в которой был посох.

— Неужели в, последнее мгновенье, — спросил, поднимая брови, Иосиф, — душа твоя дрогнула? Ведь в следующее мгновенье, — продолжал он, так как старик только молча немного повернул голову, — ведь в ближайшее же мгновенье раздался бы голос и воззвал бы к тебе: «Не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего!», и ты бы увидел овна в чаще.

— Я этого не знал, — ответил старик, — ибо я был как Авраам, и эта история еще не произошла.

— Но разве ты сам не сказал, что воскликнул: «Я не Авраам»? — с улыбкой возразил Иосиф. — А раз ты им не был, значит, ты был Маковым, моим папочкой, и эта история была стара, и тебе был известен ее исход. Ведь и мальчик же, которого ты связал и хотел заколоть, не был Ицхаком, — прибавил он опять с тем же изящным движением головы. — Таково уж преимущество позднего времени, что мы уже знаем круги, по которым движется мир, знаем обоснованные отцами истории, в которых он предстает. Ты мог вполне положиться на голос и на овна.

— Речь твоя хитроумна, но неверна, — отвечал старик, забывая за спором свою боль. — Во-первых, если я был Иаковым, а не Авраамом, то не было уверенности, что все пойдет так же, как тогда, и я не знал, не пожелает ли господь довершить то, что он некогда отложил. Во-вторых, посуди, чего стоила бы моя твердость перед господом, если бы источником ее был расчет на ангела и на овна, а не великая покорность, не вера, что бог может провести будущее через огонь целым и невредимым и взломать запоры смерти и что воскресение во власти бога? В-третьих, разве меня испытывал бог? Нет, он испытывал Авраама, и тот выдержал испытание. Меня же Авраамовым испытанием испытывал я сам, и душа моя не выдержала его, ибо

любовь моя была сильнее, чем моя вера, и я не нашел в себе силы совершить это, — проstonал он снова и снова склонил к посоху лоб; ибо, оправдав свой разум, он снова отдался чувству.

— Конечно, я говорил вздор, — смиренно отвечал Иосиф, — глупостью я, несомненно, превосхожу большинство овец, а уж верблюд, в сравнении с этим бестолковым юнцом — это просто сам Ной премудрый по рассудительности. Ответ мой на твое устыдившее меня замечание будет не умнее, ко тупоголовое это дитя думает, что, испытывая себя самого, ты был не Авраамом и не Иаковом, а — страшно сказать — господом, который испытывал Иакова Авраамовым испытанием, и ты обладал мудростью господина и знал, какому испытанию намеревался он подвергнуть Иакова — тому, которое с Авраамом он не намерен был доводить до конца. Ведь он сказал ему: «Я царь баалов, бык Мелех. Принеси мне в жертву своего первенца!» Но когда Авраам приготовился принести его в жертву, господь сказал: «Посмей только! Разве я царь баалов, бык Мелех? Нет, я бог Авраамов, чье лицо не похоже на землю, потрескавшуюся от солнца, а похоже на лик луны, и то, что я приказал, я приказал не затем, чтобы ты это сделал, а затем, чтобы ты узнал, что не должен этого делать, ибо это просто мерзость перед лицом моим, и кстати вот тебе овен». Мой папочка, развлеченья ради, испытывал себя, хватит ли у него сил сделать то, что господь запретил Аврааму, и огорчается, выяснив, что на это у него никогда и ни при каких обстоятельствах сил не хватило бы.

— Как ангел, — сказал Иаков, выпрямляясь и растроганно качая головой. — Как ангел, витающий близ престола, говоришь ты, Иегосиф, божий мой мальчик! Хотел бы я, чтобы тебя послушала Мама: она хлопала бы в ладоши, а глаза ее, твои глаза, сияли бы от смеха. В словах твоих только половина правды, а на другую половину остается в силе то, что сказал я, ибо я оказался слаб в вере. Но свою долю правды ты приправил изяществом и умастил миррой остроумия, ты доставил удовольствие разуму и пролил бальзам на мое сердце. Как только умудряется дитя говорить так хитро, что речь его весело перехлестывает скалу правды и льется в сердце, заставляя его прыгать в груди от радости?

О МАСЛЕ, О ВИНЕ И О СМОКВЕ

— Дело тут вот в чем, — отвечал Иосиф. — Остроумие обладает природой гонца на посылках, посредника между солнцем и луной, между властью Шамаша и властью Сина над человеческим телом и духом. Это я узнал от Елиезера, мудрого твоего раба: он открыл мне науку о звездах и об их встречах и об их власти над часом, которая зависит от того, как они друг на друга глядят, и составил гороскоп моего рожденья в Харране, в Месопотамии, в месяце Таммуза в полдень, когда Шамаш стоял в высшей своей точке и в знаке Близнецов, а на востоке восходил знак Девы.

Взглянув вверх, он указал пальцем на эти созвездия, одно из которых склонялось к западу, а другое и сейчас поднималось на востоке, и продолжал:

— Это, да будет известно папочке, знак Набу, знак Тота, писца таблиц, легкого, подвижного бога, который устанавливает мир между вещами и поощряет обмен. И значит, солнце тоже стояло под знаком Набу, он был владыкой часа и пребывал на свиданье с луной, — благотворном для него, как считают жрецы и гадатели, ибо оно делает его хитрость кроткой, а сердце мягким. Но посреднику Набу противостоял Нергал, злокозненный лукавец, из-за которого владычество Набу принимает жестокий характер, отмеченный печатью на свитке судьбы. Так же обстояло дело и с Иштар, чей удел — мера и привлекательность, любовь и милосердие: в тот час она находилась в высшей своей точке и приветливо переглядывалась с Сином и с Набу. К тому же она пребывала в знаке Тельца, а опыт учит, что это залог спокойного нрава, терпеливой храбрости и занятого ума. Но и с ней, по словам Елиезера, находился в треугольном соотношении стоявший под Дельфином Нергал, и Елиезер этому порадовался, потому что, по

его мнению, сладость ее вследствие этого не приторна, а полна душистой пряности меда. Луна стояла тогда в знаке Рака, ее собственном, а все переводчики — если не в своих собственных, то в дружественных знаках. А сочетание сильной позиции Луны с умником Набу означает, что родившийся далеко пойдет в мире, и если солнце, как и было в тот час, находится в треугольном соотношении с воителем и ловчим Нинурту, то это предвещает участие в делах земных царств и обладание властью. Так что по правилам гороскоп получается неплохой, если только нелепое это дитя не погубит все своей глупостью.

— Гм, — промычал старик, бережно проводя рукой по волосам Иосифа и глядя в сторону. — Это зависит от господя, — сказал он, — который направляет звезды. Но то, что он сообщает нам через их посредство, не может всякий раз иметь одно и то же значение. Будь ты сыном человека важного и могучего в мире, тогда, пожалуй, можно было бы прочесть, что тебе суждено участие в делах государственных и правительственных. Но поскольку ты всего лишь пастух и сын пастуха, то разуму ясно, что все это следует толковать иначе, по более мелкому счету. Но почему же ты назвал остроумие гонцом на посылках?

— Сейчас я к этому подойду, — отвечал Иосиф, — и в этом направлении я поведу свою речь. Благословенье отца моего — это было солнце, стоявшее в час рожденья в зените, соотносившееся с Мардуком в знаке Весов и с Нинурту в одиннадцатом знаке, а также взаимоотношение обоих этих отцовских переводчиков, царя и ратника. Это могучее благословение! Но по сильным позициям Сина и Иштар господин мой может судить, сколь могучим было и благословение материнское, благословение Луны! Вот тут-то и создается остроумие, создается, например, соотношением, в каком находились Набу и Нергал, могущественный писец и суровое светило снижающегося злодея под знаком Дельфина; а создается оно затем, чтобы посредничать между отцовским и материнским наследием, уравнивать власть Солнца властью Луны и весело примирять дневное благословение с благословением ночи...

Улыбка, с которой он вдруг умолк, была чуть кривой, но Иаков, сидевший выше и позади Иосифа, этого не увидел. Он сказал сыну:

— Старик Елиезер — человек знающий, он накопил много всяческой мудрости и, так сказать, читал камни, оставшиеся от допотопных времен. Он дал тебе много правдивых и почтенных сведений о началах, о родословьях и о всяких других вещах, а также много полезных знаний, которые могут пригодиться в мире житейском. Но об ином не скажешь с уверенностью, можно ли его причислить к правдивому и полезному, и сердце мое сомневается в том, что он поступил правильно, познакомив тебя с искусствами синеарских звездочетов и колдунов. Я, конечно, считаю голову моего сына достойной всяческих знаний, но я не слышал, чтобы наши отцы читали по звездам или чтобы бог велел делать это Адаму, а потому не уверен, что это не равнозначно звездослуженью, и боюсь, что это мерзость перед лицом господя и демонически двойственная смесь благочестия с поклонением идолам.

Он озабоченно покачал головой, погрузившись в наиболее свойственное ему состояние — печали о надлежащем и праведном, задумчивой тревоги о непонятности бога.

— Многое на свете сомнительно, — отвечал Иосиф, если то, что он говорил, было ответом. — Например, что за чем скрывается — день за ночью или, наоборот, ночь за днем? Это было бы важно определить, и я часто размышлял об этом в поле и в хижине, чтобы прийти к какому-то решению и сделать из него выводы о достоинствах солнечного благословения и благословения лунного, а также о прекрасных особенностях отцовского и материнского наследия. Моя матушка, чьи щеки благоухали, как лепестки роз, сошла вниз, в ночь, когда родила брата, который живет еще в шатрах женщин, и, умирая, она хотела назвать его Бен-Они, так как известно, что в Оне египетском пребывает любимый сын Солнца, Усири, царь преисподней. Ты же назвал младенца Бен-Иамин, чтобы все знали, что он сын праведной и самой любимой, и это тоже прекрасное имя. Однако я не всегда тебя слушаю. И иногда называю брата Бенони, и он охотно отзывается на это имя, ибо знает, что, уходя, Мама одно мгновение хотела назвать его именно так. Она теперь в царстве ночи и шлет нам свою любовь

из царства ночи, малышу и мне, и ее благословение — это лунное благословение и благословение бездны. Господин мой, конечно, знает о двух деревьях в саду мира? От одного из них идет масло, которым помазывают царей земли, чтобы они жили. От другого идет смоква, зеленая и розовая, полная сладких гранатовых зерен, и кто вкусит от нее, тот умрет. Из широких его листьев Адам и Гева сделали себе набедренники, чтобы прикрыть свой срам, потому что уделом их стало познание, а оно стало им под полной луной летнего солнцеворота, когда она справляет брачное свое торжество, чтобы потом пойти на убыль и умереть. Масло и вино посвящены Солнцу, и хорошо тому, у кого мирра каплет со лба и чьи глаза светятся хмельным светом от красного вина! Ибо слова его будут умны, они будут смехом и утешеньем народам, и он усмотрит для них овна в чаше, чтобы принести его в жертву господу вместо первенца, и они оправятся от Муки и страха. Сладкий же плод смоковницы посвящен луне, и хорошо тому, кого матушка кормит из царства ночи смоковной плотью. Ибо он будет расти словно у родника, и душа его пустит корни, откуда пойдут родники, и слово его будет телесным и веселым, как тело земли, и пребудет с ним дух прорицанья...

Как говорил он? Шепотом. Это было такое же, как прежде, до прихода отца, странное бормотанье, при виде которого становилось не по себе. Он подергивал плечами, руки дрожали у него на коленях, он улыбался, но при этом у него некстати закатывались глаза до белков. Иаков этого не видел, но он слушал. Он наклонился к нему, и руки его висели одна над, а другая рядом с головой мальчика, осторожно, на некотором расстоянии, прикрывая ее. Затем он, однако, опять положил левую на его волосы, что сразу же дало возбуждению Иосифа разрядку, и, пытаясь другой своей рукой найти на коленях сына правую его руку, с настороженной доверительностью сказал:

— Вот что, Иашуп, дитя мое, хочу я спросить у тебя, ибо это вселяет мне в сердце тревогу о скоте и о благополучии стад! Ранние дожди были приятны, и выпали они до наступления зимы, и тучи не лопались, затопляя поля и только наполняя колодцы кочевников, а все время тихо накрапывало, что всего благодатней для почвы. Но зима была сухая, и море не посылало нам дуновения своей кротости, а налетали ветры из пустыни и степи, и небо было ясно, глаза-то оно радовало, но сердце тревожило. Беда, если и поздних дождей не будет, тогда пропали урожай земледельца и посев хлебопашца, и травы засохнут до срока, и скот не найдет себе корма, и вымя у маток вяло повиснет. Пусть же скажет дитя, что оно думает о ветре и о погоде и о видах на погоду, и какого оно мнения о том, успеют ли еще поздние дожди выпасть вовремя?

Он еще ниже склонился над сыном, отвернув при этом лицо и держа ухо над его головой.

— Ты прислушиваешься ко мне, — сказал Иосиф, хотя этого не видел, — а дитя направит слух свой дальше, наружу и внутрь, и передаст твоему слуху нужную весть. Чует ухо мое, как падают капли с ветвей и как журчит по долам вода, хотя луна светит куда как ясно и ветер идет от Гилеада. Сейчас этих звуков нет во времени, но они близки во времени, и я слышу нюхом, и слышу уверенно, что еще до того, как луна ниссана уменьшится на одну четверть, земля понесет от мужского семени неба и взопреет и изойдет, слышится мне, паром от радости, и луга наполнятся овцами, и заколосятся хлеба на нивах, так что хоть пой и пляши. Я слышал и усвоил, что сначала землю поил поток Тави, который выходил из Вавилона и орошал ее раз в сорок лет. Но затем господь положил поить ее с неба — по четырем причинам, и одна из них та, чтобы глаза глядели у всех вверх. Вот мы и будем с благодарностью взирать на небо престола, где находятся двигатели погоды и кладовые вихрей и гроз, такие, какими я их увидел во сне, когда задремал вчера под деревом наставленья. Один херуву, он назвал себя Иофилом, дружелюбно повел меня туда за руку, чтобы я осмотрелся там и кое с чем познакомился. И я видел пещеры, полные пара, с дверями из пламени, и видел, как трудятся там и хлопчут подручные. И я слышал, как они говорили друг другу: отдан приказ о тверди и облачном небе. Засуха одолела запад, великая сушь поразила равнину и пастбища плоскогорья. Надо принять

меры, чтобы как можно скорее прошли дожди в земле амореев, аммонитян и фереситян, мидианитов, хевитов и иегвуситов, особенно же в окрестностях места Хеврона на возвышенности водораздела, где пасет бесчисленные свои стада сын мой Иаков, по прозванию Израиль! Это привиделось мне с не допускающей никаких насмешек живостью, и вдобавок под священным деревом, так что господин мой может быть совершенно спокоен насчет орошенья.

— Хвала элохимам, — сказал старик. — Во всяком случае, мы отберем скот для всеожженья и сотворим пред ними трапезу, будем жечь требуху с ладаном и медом, чтобы сбылось то, что ты сказал. А то я боюсь, что горожане и здешние жители все испортят, учинив, плодородия ради, очередное непотребство в честь Баалат, какой-нибудь праздник совокупленья с обычной трескотней кимвалов и громкими криками. Это прекрасно, что мой мальчик благословен сновиденьями; недаром он первенец мой от праведной и самой любимой. Я тоже сподаблялся кой-каких откровений, когда был моложе, и то, что я увидел во сне, когда против своей воли уехал из Беэршивы и, не подозревая того, набрел на известное место и на известный подступ, может, пожалуй, потягаться с тем, что показали тебе. Я люблю тебя, потому что ты успокоил меня насчет орошенья, но не говори всем и каждому, что ты видишь сны под священным деревом, не говори этого детям Лии и не рассказывай об этом детям служанок, у них может вызвать раздраженье твой дар!

— Клянусь тебе в этом и кладу руку под твоё стегно, — отвечал Иосиф. — Слово твоё — печать на моих устах. Я знаю, что я болтун, но когда разум этого требует, я прекрасно владею собой; и владеть собой мне будет тем легче, что мои виденья и вправду ничтожны по сравнению с тем, что выпало на долю моему господину у места Луза, когда гонцы восходили и нисходили между землею и воротами и когда элохим открылся ему...

ДВУГОЛОСНАЯ ПЕСНЬ

— Ах, папочка, дорогой господин мой! — сказал он, обращившись со счастливой улыбкой и обнимая одной рукой отца, к его восхищенью. — Как чудесно, что бог любит нас и благоволит к нам и что он допускает дым наших жертв до своих ноздрей! И хотя Авель не успел родить детей и был убит в поле Каином из-за их сестры Ноэмы, мы все-таки из колена жителя шатров Авеля и из колена Исаака, последнего, кто был благословен. Вот почему нам даны и разум и сновиденья, и оба эти дара — великая радость. Ибо отраднее обладать мудростью и владеть словом, благодаря чему ты способен говорить и возражать и в состоянье назвать любую вещь. Но столь же отраднее быть глупцом перед господом и, ровно ничего не подозревая, набрести на место, что связует небо и землю, и во сне узнать замыслы совета и уметь толковать видения, если они указывают, что будет делаться из месяца в месяц. Таким был премудрый Ной, которому господь объявил о потопе, чтобы тот спас жизнь. Таким был и Енох, сын Цареда, потому что он жил непорочно и умывался в живой воде. Это был отрок Ханок, а ты знаешь о нем? Я доподлинно знаю все, что с ним было, и знаю, что любовь бога к Авелю и к Ицхаку была слабой по сравнению с его любовью к Ханоку. Ибо Ханок был настолько умен и благочестив и начитан в таблицах тайны, что отделился от людей и господь взял его, и больше его не видели. И сделал его ангелом перед лицом своим, и он стал метатроном, великим писцом и князем мира...

Он умолк и побледнел. Под конец он говорил задыхаясь и теперь, оборвав свою речь, спрятал лицо на груди отца. Тот был рад укрыть его там. Бросая над ним слова в серебряную вышину, Иаков сказал:

— Да, я знаю о Ханоке, из первого колена людского, сыне Иаред, а Иаред был сыном Магалалеила, а тот — сыном Каинана, а тот — сыном Еноса, а Енос был сыном Сифа, а тот сыном Адама. Вот родословие Еноха до самого начала. Внуком же его сына был Ной, второй первочеловек, а Ной родил Сима, чьи дети черны, но милостивы, а от Сима в четвертом колене родился Евер, и поэтому Сим — отец всех детей Евера и всех евреев и наш отец...

Это было известно, ничего нового он не сообщил. Каждый в роду и семье с детства знал назубок родословную предков, и старик просто воспользовался случаем развлечься ее повторением и подтверждением. Иосиф понял, что разговор их собьется на «прекраснословие», то есть превратится в такую беседу, которая служит уже не для полезного обмена мнениями о тех или иных практических или религиозных делах, а только для перечисленья известных обоим истин, только для напоминанья, подтвержденья и назиданья, и представляет собой разговорную двуголосицу, подобную той переключке, какую заводили ночами у полевых костров рабы-пастухи: «Знаешь ли ты об этом?» — «Знаю доподлинно». — И выпрямившись, Иосиф подхватил:

— А от Евера родился Фалек, а тот родил Серуха, а сын Серуха Нахор, отец Фарры, о радость! А Фарра родил Авраама в Уре Халдейском, и вышел оттуда с сыном своим Авраамом и с женой сына своего, которая звалась, как луна, Сахарью и была бесплодна, и с племянником сына своего Лотом. И взял их, и вывел их из Ура, и умер в Харране. И тогда бог повелел Аврааму, чтобы тот, вместе с душами, которых он приобрел господу, шел дальше через равнину и через поток Фрат по дороге, что связывает Синеар с землей Амуррейской.

— Знаю доподлинно, — сказал Иаков и взял опять слово. — То была земля, которую господь пожелал ему указать. Ибо другом бога был Авраам, и открыл он духом своим воистину высочайшего владыку среди богов. И пришел в Дамаск, и родил там со служанкой Елиезера. И пошел дальше по этой земле со своими людьми, что принадлежали богу, и в согласии с духом своим заново освящал святыни людей той земли, и жертвенники, и каменные круги и наставлял народ под деревьями, и учил его, что придет благословенное время, и прибывали к Аврааму окрестные жители, и пришла к нему служанка — египтянка Агарь, мать Измаила. И пришел он в Шекем.

— Я это знаю так же, как ты, — пропел Иосиф, — и двинулся отец наш из долины к горе и пришел в славное место, что нашел Иаков, и поставил между Вефилем и прибежищем Гаем жертвенник Иагу, всевышнему. И пошел оттуда к югу, к земле Негев, а это вот здесь, где горы отлого сбегают к Едому. И сошел совсем вниз и пришел в грязную землю Египетскую и в страну царя Аменемхета и стал там золотым и серебряным, и был очень богат скотом и всяким добром. И поднялся снова к Негеву и там отделился от Лота.

— И знаешь почему? — спросил Иаков для формы. — Потому, что и Лот был очень богат и мелким и крупным скотом, и шатрами, и непомерительна была земля для них, чтобы жить вместе. Но заметь, как кроток был наш отец, когда пошел между их пастухами спор из-за пастбищ, ибо решено было дело не так, как то принято у разбойников-степняков, что приходят и убивают людей, чьим пастбищем и колодцем хотят завладеть, нет, он сказал племяннику своему Лоту: «Пусть не будет раздора между твоими людьми и моими! Земля широка, и лучше нам разделиться, и один пусть пойдет налево, а другой — направо без злобы». И двинулся Лот к востоку и избрал себе всю пойменную окрестность Иорданскую.

— Так оно и было воистину, — снова вступил Иосиф. — И стал Авраам жить у четырехградия Хеврона, и освятил дерево, что доставляет нам тень и сны, и путнику было пристанище, а бездомному — кров. Он давал жаждущим воду, и выводил на дорогу заблудшего, и защищал от разбойников. И не требовал за это ни платы, ни благодарности, а только учил поклоняться своему богу, Эль-эльону, владыке дома, отцу милосердному.

— Ты сказал это верно, — нараспев подтвердил Иаков. — И поставил господь завет с Авраамом, когда тот приносил жертву при захождении солнца. И взял Авраам телицу, козу и овна трехлетних, и горлицу, и молодого голубя. И рассек он всех четвероногих пополам, и положил одну часть против другой, и положил по птице слева и справа, и оставил открытым путь связи между частями и следил за орлами, что налетели на мясо. И тут напал на него сон, непохожий на сон, и охватили его ужас и мрак. И господь говорил с ним во сне и дал ему увидеть дали мирские и царство, что вышло из семени духа его и простерлось из беспокойства и правды его духа, и великие дела, о каких знать не знали князья и цари Вавилона, Ассура,

Элама, Хатти и земли Египетской. И прошел в ночи пламенем по пути связи между частями жертвы.

— Ты знаешь это поистине бесподобно, — снова подал голос Иосиф, — но мне известно еще кое-что. И пало на Исаака и на господина моего Иакова наследие Авраама — завет и обетованье. И не было его со всеми детьми Евера, и не досталось оно ни аммонитянам, ни моавитянам, ни едомитянам, а выпало в удел только избранному богом колену, где господь усмотрел себе первородных — не плотью, не милостью материнской утробы, а духом. И были избранники его кротки и мудры.

— Да, да! Ты рассказываешь все, как было, — заговорил Иаков. — И то, что случилось однажды с Авраамом и Лотом, — которые разошлись, случалось и после, и народы расходились в разные стороны. И рожденные от Лота собственной его плотью Моав и Аммон не остались на его пастбищах вдвоем, ибо Аммон привязался к пустыне и к жизни пустыни. А на пастбищах Исаака не остался Исав, он ушел со своими женами, сыновьями, дочерьми и домочадцами, и с имуществом своим, и со своим скотом в другую землю и стал Едомом на горе Сеир. А что не стало Едомом, было Израилем, и это — особый народ, не похожий ни на бродяг из земли Синайской, ни на голодранцев-разбойников из страны Аравайя, но не похожий также на людей Ханаана, ни на земледельцев, ни на жителей городов. Нет, это владыки и пастухи и свободные люди, которые пасут свои стада и берегут свои колодцы и помнят о господе.

— А господь помнит о нас и о нашей исключительности, — воскликнул Иосиф, запрокидывая голову и обнимая вытянутыми руками отца. — И поэтому дитя ликует в отцовских объятьях, оно в восторге от этих знакомых истин и упоено этим взаимным поученьем! Знаешь ли ты мой самый сладостный сон, который снился мне тысячи раз? Это сон о преимуществе и о сыновстве. Много будет даровано божьему сыну, ему будет удача во всем, что он ни начнет, он будет находить благоволение в глазах у всех, и цари будут наперебой хвалить его. Знаешь, мне хочется пропеть хвалебную песнь владыке рати небесной, и чтобы язык мой при этом был так же проворен и ловок, как писчая палочка! Они посылали мне свою ненависть и ставили силки, чтобы меня поймать, они выкопали яму перед моими ногами и бросили жизнь мою в яму, где моей обителью была темнота. Но я выкликнул его имя из мрака ямы, и он исцелил меня и вырвал меня у преисподней. Он сделал меня великим среди чужеземцев, и народ, которого я не знал, служит мне на лбу. Сыны чужеземцев подольщаются ко мне, ибо без меня они бы умерли с голоду...

Грудь его тяжело поднималась и опускалась. Иаков глядел на него широко открытыми глазами.

— Что ты видишь, Иосиф? — спросил он тревожно. — Дитя говорит внушительно, но не сообразно с разумом. Как понимать, что чужбина служит ему на лице своем?

— Это были просто красивые слова, — отвечал Иосиф. — Я хотел попышнее прославить господа. А луна немного морочит мне голову.

— Береги свою душу и будь разумен, — сказал Иаков ласково. — Тогда и получится так, как ты говоришь: ты найдешь благоволение в глазах у всех. А я собираюсь подарить тебе одну вещь, которой порадуется твое сердце и которая оденет тебя. Господь пролил на уста твои сладость, и я молюсь, чтобы он освятил тебя навеки, мой агнец!

Сверкая чистым светом, преобразившим ее материальность, луна продолжала высокий свой путь во время их разговора, а звезды, повинувшись закону своего часа, тихо переместились. Ночь дышала миром, тайной и будущим. Старик еще немного посидел у колодца с сыном Рахили. Он назвал его «даму», ребенком, и «думузи», истинным сыном, как жители Синеара называли Таммуза. Еще он назвал его лестным именем «незер», что на языке Ханаана значит «росток» и «цветущий побег». Когда они вернулись к шатрам, он настоятельно посоветовал ему не хвастаться перед братьями и не говорить ни сыновьям Лии, ни сыновьям служанок, что отец так долго сидел с ним и так душевно беседовал; и тот обещал молчать. Однако на следующий же день он не только рассказал им об этом, но и опрометчиво выболтал сон о по-

годе, что очень их разозлило, тем более что сон этот сбылся: поздние дожди были обильны и благодатны.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ИАКОВ И ИСАВ

ЛУННАЯ ГРАММАТИКА

В «прекраснословной» беседе, нами подслушанной, в этой вечерней антифонной песни, спетой у колодца Иаковом и его небезгрешным любимцем, старик между прочим упомянул о Елиезере, рожденном какой-то рабыней праотцу, когда тот со своими людьми находился в Дамашки. Яснее ясного, что, говоря об этом Елиезере, Иаков не мог иметь в виду того ученого старика, тоже, правда, вольноотпущенного сына рабыни, вероятно даже Иаковлева сводного брата, что жил в собственном его доме, был тоже отцом двух сыновей — Дамасека и Элиноса, и под деревом наставленья совершенствовал мальчика Иосифа во многих полезных и сверхполезных науках. Ясно, как день, что Иаков имел в виду того Елиезера, чьего первенца Авраам, этот странник из Ура или Харрана, до поры до времени вынужден был считать своим наследником — точнее сказать, до того времени, пока не появились на свет сначала Измаил, а потом, самым смешным образом, ибо обыкновенное женское у Сарры уже прекратилось, да и сам Авраам был так стар, что его можно было назвать столетним, — а потом, самым смешным образом, истинный сын, Ицхак или Исаак. Однако ясность дня, солнечная, так сказать, ясность — это совсем не то, что ясность лунная, а она-то и царила на диво во время этого сверхполезного разговора. При ясности лунной вещи кажутся иными, чем при ясности солнечной, а там и тогда первая могла представляться ясностью истинной. Поэтому, признаемся по секрету, что, сказав: «Елиезер», Иаков все-таки имел в виду собственного своего домоправителя и первого раба — вернее сказать, и его тоже, обоих, стало быть, сразу, и не только обоих, но Елиезера вообще, со времен старейшего Елиезера в домах глав рода довольно часто имелся вольноотпущенник Елиезер, и у него часто были сыновья, которых звали Дамасек и Елинос.

Такой взгляд Иакова — в этом старик мог быть уверен — вполне разделял Иосиф, который был очень далек от того, чтобы четко, с солнечной ясностью, отличать от прауправляющего Елиезера старого своего учителя, тем более что учитель и сам был от этого очень далек и, говоря о «себе», в большой мере имел в виду Авраамова домочадца. Так, например, он не раз рассказывал Иосифу историю о том, как он, Елиезер, сватал Ицхаку в Месопотамии у родственников Авраама Ревекку, дочь Вафуила и сестру Лавана, причем рассказывал с мельчайшими подробностями, такими, как бубенцы в виде маленьких лун и полумесяцев на шеях его десяти дромадеров или точная цена в шекелях всех носовых серег, запястий, нарядов и пряностей, отданных в выкуп за деву Ревекку и в приданое ей, рассказывал как случай из своей жизни, как собственную историю, не уставая расписывать ту очаровательную кротость Ревекки, с какой она у колодца перед Нахоровым городом опустила в тот вечер кувшин свой с головы на руку и напоила его, жаждущего раба, назвав его — и это он особенно ставил в заслугу ей — «господин мой»; ту стыдливую скромность, с какой она при виде Исаака, который вышел в поле поплакать о своей недавно умершей матери, прыгнула с верблюда и закуталась покрывалом. Иосиф слушал это с удовольствием, не ослаблявшимся никакими недоумениями по поводу грамматической формы рассказа Елиезера, ничуть не смущаясь тем, что «я» старика не имело достаточно четких границ, а было как бы открыто сзади, сливалось с прошлым, лежавшим за пределами его индивидуальности, и вбирало в себя переживания, вспоминать и воссоздавать которые следовало бы, собственно, если смотреть на вещи при солнечном свете, в форме третьего лица, а не первого. Но что значит «собственно»? Разве человеческое «я» — это вообще нечто замкнутое, строго очерченное, не выходящее из четких

границ плоти и времени? Разве многие элементы этого «я» не принадлежат миру, который ему предшествовал и находится вне его, разве констатация, что тот-то и тот-то есть он самый и больше никто, не представляет собой допущения, сделанного лишь для удобства и для порядка и умышленно пренебрегающего всеми переходами, которые связывают индивидуальное сознание с всеобщим? В конце концов идея индивидуальности находится в том же ряду понятий, что идея единства, целостности, совокупности, общности, и различие между сознанием вообще и индивидуальным сознанием далеко не всегда занимало умы в такой большой мере, как в том «сегодня», которое мы покинули, чтобы повести рассказ о другом «сегодня», чья манера выражаться давала верную картину его представлений, если понятия «личность» и «индивидуальность» оно обозначало лишь такими точными словами, как «религия» и «верование».

КТО БЫЛ ИАКОВ

Именно в этой связи мы и заводим речь об обогащении Авраама. По прибытии в Нижний Египет (это случилось, по-видимому, во времена двенадцатой династии) он еще отнюдь не был так богат, как в ту пору, когда отделился от Лота. С необычайным его обогащением дело обстояло вот как. С самого начала Авраам испытывал величайшее недоверие к нравственности египтян, которая, справедливо или нет, представлялась ему поросшей камышом топью, — вроде рукавов нильского устья. Он боялся египтян, боялся из-за своей жены Сары, которая сопровождала его и была очень красива. Его пугала разнузданная похотливость тамошних жителей, он опасался, что при виде Сары они сразу воспылают желаньем и убьют его, чтобы завладеть ею; в преданье запечатлено, что об этом, то есть о своих опасеньях насчет собственного благополучия, он говорил с ней, как только вступил в Египет, где и велел ей назваться не его женой, а его сестрой, чтобы отвести от него зависть бесстыжего населения, — что она могла сделать, даже не солгав, ибо, во-первых, возлюбленную часто, особенно в Египте, называли сестрой, а во-вторых, Сара была сестрой Лота, которого Авраам считал своим племянником и называл братом. Поэтому он-то, во всяком случае, мог смотреть на Сару как на свою племянницу и называть ее в общепринятом широком смысле слова сестрой, чем он и воспользовался для обмана и самозащиты. Действительность не только подтвердила, но и превзошла его ожидания. Сумрачная красота Сары привлекает к себе в этой стране внимание знатных и незнатных, весть о ней доходит до престола властителя, и знойнооую азиатку забирают у ее «брата» — не силой, не по-разбойничьи, а за хорошую плату, то есть покупают, признав, что она достойна обогатить отборный запас фараоновых жен. Туда ее и доставляют, а ее «брату», который, по общему мнению, не то что не обижен, а просто очастливлен таким ходом событий, разрешают находиться вблизи нее; мало того, двор непрестанно осыпает его благодеяньями, подарками и наградами, и тот, невозмутимо их принимая, вскоре становится богат и мелким и крупным скотом, и ослиами и рабами, и рабынями, и ослицами, и верблюдами. А тем временем при дворе фараона — и это старательно скрывают от народа — разыгрывается беспрецедентный скандал. Аменемхета (или Сенусерта; нельзя с полной определенностью сказать, какой победитель Нубии одарял тогда благодатью своего господства обе страны) — одним словом, бога во цвете лет. Его Величество, и как раз тогда, когда он собирается отведать новинку, поражает бессилие — причем не один раз, а снова и снова, и одновременно, как мало-помалу выясняется, все его окружение, всех высших сановников и вельмож царства постигает эта же позорная и — учитывая высшее космическое значение детородной силы — ужасающая беда. Совершенно ясно, что тут что-то неладно, что допущен какой-то промах, что это дают себя знать какие-то чары, какое-то высшее противодействие. Брата еврейки призывают к престолу, его допрашивают, и допрашивают настойчиво, и он наконец открывает правду. Поведение его святейшества выше всяких похвал: это — само благоразумие, само достоинство. «Почему, — спрашивает он, — сделал ты это со мной? Почему

уготовил ты мне такую неприятность двусмысленной речью?» И, даже не подумав лишить Авраама даров, столь щедро ему пожалованных, фараон возвращает пришельцу его жену и заклинает их богами идти своей дорогой, причем дает им еще надежную охрану, чтобы та сопровождала людей Авраама до границ Египта. Праотцу же, который не только вернул себе Сару нетронутой, но и стал куда богаче, чем прежде, остается только радоваться удавшейся пастушеской плутне. А ведь допустить, что он с самого начала рассчитывал на то, что бог так или иначе уберезит Сару от осквернения, допустить, что подарки он принимал только на этом наперед известном условии, будучи уверен, что такой его образ действий посрамит египетскую блудливость лучше всего, — допустить это тем соблазнительнее, что только при такой точке зрения все его действия: отрицание своего супружества, пожертвование Сары ради собственного благополучия — предстают в правильном свете — весьма остроумными.

Такова эта история, правдивость которой предание особо еще подчеркивает и подтверждает тем, что приводит ее вторично, с той лишь разницей, что на сей раз она разыгрывается уже не в Египте, а в земле филистимлян и в ее столице Гераре, при дворе царя Авимедеха, куда халдеянин с Сарой пришел из Хеврона и где все, начиная от просьбы Авраама к жене и кончая счастливой развязкой, протекает в точности так же, как изложено выше. Повторение рассказа, как средство подчеркнуть правдивость его — прием необычный, но он не очень бросается в глаза. Гораздо примечательней то, что предание, которое письменно было закреплено, правда, в более позднюю пору, но как предание существовало, конечно, всегда, восходя к рассказам и сообщениям самих патриархов, — что, излагая это же приключение в третий раз, предание приписывает его Исааку и что, следовательно, Исаак оставил память об этом приключении, как о своем собственном, случившемся с ним — или и с ним тоже. Ибо, спасаясь от голода, Исаак тоже (это было вскоре после рождения его близнецов) пришел со своей красивой и умной женой в страну филистимлян, к герарскому дворцу; там он тоже по тем же причинам, что Авраам Сару, выдал Ревекку за свою «сестру» — не совсем не по праву, поскольку она была дочерью его двоюродного брата Вафуила — а дальше в его случае история пошла вот как: «через окно», то есть как тайный лазутчик и соглядатай, царь Авимелех увидел, как Исаак «шутит» с Ревеккой, и был этим так испуган и разочарован, как только может быть испуган и разочарован влюбленный, узнав, что предмет его желаний, который он считал свободным, на самом деле находится в крепких руках. Слова Авимелеха выдают его с головой. Когда призванный к ответу Исаак открыл ему правду, филистимлянин с упреком воскликнул: «Какую опасность навлек ты на нас, чужеземец! Один из народа моего чуть не совокупился с твоей женой, и какая бы тогда пала на нас вина!» Выражение «один из народа» не допускает никаких кривотолков. Кончилось дело, однако, тем, что супруги оказались под особым и личным покровительством этого благочестивого, хотя и сластолюбивого царя, и что благодаря его покровительству Исаак разбогател в земле филистимской так же, как некогда там или в Египте разбогател Авраам, и нажил столько скота и рабов, что филистимлянам стало уже невмогуту видеть это, и они осторожно выпроводили его из своей страны.

Если предполагать, что Авраамово приключение случилось в Гераре, то невероятно, чтобы Авимелех, с которым имел дело Ицхак, был все тем же Авимелехом, который оказался не в состоянии лишить Сару супружеской чистоты. Тут два разных характера: если державный поклонник Сары направил ее прямоком в свой гарем, то Исааков Авимелех вел себя гораздо более робко и застенчиво, и полагать, что это было одно и то же лицо, может разве лишь тот, кто объясняет осторожное поведение царя в случае с Ревеккой тем, что, во-первых, со времен Сары он сильно постарел, а во-вторых, история с Сарой послужила ему уроком. Но интересует нас не личность Авимелеха, а личность Исаака, вопрос о его, Исаака, отношении к изложенной истории, да и этот вопрос беспокоит нас, строго говоря, лишь косвенно, лишь ради следующего вопроса — кто был Иаков, тот Иаков, что беседовал при нас со своим сыном Иосифом, Иашупом или Иегосифом лунной ночью.

Взвесим имеющиеся возможности. Допустим, что в Гераре Ицхак пережил примерно то же, что пережил там или в Египте его отец. В этом случае налицо явление, которое можно

назвать подражанием или преемственностью, налицо мировосприятие, видящее задачу индивидуума в том, чтобы наполнять современностью, заново претворять в плоть готовые формы, мифическую схему, созданную отцами. Возможно, однако, что муж Ревекки пережил эту историю не «сам», не в узких физических рамках своего «я», но тем не менее считал ее частью своей жизни и как таковую передал ее потом. Нам, потому что отличал «я» от «не-я» менее четко, чем это (со сколь сомнительным правом, было уже намеком замечено) делаем мы — или делали до того, как вступили в это повествование; потому что для него жизнь отдельного существа отграничивалась от жизни рода поверхностнее, рождение и смерть не были для него такими глубокими сдвигами бытия — вспомним позднего Елиезера, рассказывавшего Иосифу приключения пра-Елиезера в первом лице; это было явление откровенной идентификации, которое сопутствует явлению подражания или преемственности и, слившись с ним, определяет чувство собственного достоинства.

Нисколько не заблуждаясь относительно того, как трудно повествовать о людях, не знающих толком, кто они такие, мы не сомневаемся в необходимости учитывать такую зыбкость сознания, и если Исаак, заново переживший египетское приключение Авраама, считал себя тем Исааком, которого хотел принести в жертву странник из Ура, то для нас это еще не есть убедительное доказательство, что он им и был, — разве только попытка жертвоприношения входила в схему и повторно предпринималась. Пришелец из Халдеи был отцом Исаака, которого он хотел заколоть, но насколько невероятно, чтобы этот Исаак был отцом Иосифова отца, сидевшего на наших глазах у колодца, настолько вероятно, что Исаак, подражательно повторивший или вобравший в личное свое бытие Авраамову плутню, пусть отчасти, а все же путал себя с Исааком, чуть не погибшим на жертвеннике, хотя в действительности был куда более поздним Исааком и его отделяло от урского Авраама не одно поколение. Не нужно доказывать, — это и так сразу видно, — нужно только ясно сказать, что история предков Иосифа в том виде, как ее излагает предание, есть благочестивое сокращение действительных обстоятельств дела, то есть той череды поколений, что должна была заполнить века, отделявшие Иакова, которого мы видели, от урского Авраама; и подобно тому как Елиезер, внебрачный сын и домоправитель урского Авраама, сватавший Ревекку молодому своему господину, после того сватовства часто существовал во плоти, часто высватывал за Евфратом какую-нибудь Ревекку и как раз теперь снова здравствовал в качестве учителя Иосифа — много Авраамов, Исааков и Иаковок ходило с тех пор под солнцем, не проявляя в одиночку склонности к педантической точности в определении границ плоти и времени, не отличая свою действительность от прежней с солнечной ясностью и не проводя такой уж четкой грани между своей «индивидуальностью» и индивидуальностью более ранних Авраамов, Исааков и Иаковок.

Имена эти были наследственными — если это слово уместно и достаточно точно, когда речь идет о сообществе, в котором они повторялись. Ведь сообщество это росло не как семья, а как группа семей, а кроме того, рост его издавна и в значительной мере основывался на присоединении новообращенных, на пропаганде веры. В пришельце из Ура, Аврааме, нужно видеть главным образом родоначальника духовного, и чтобы Иосиф, чтобы отец Иосифа на самом деле состояли с ним в физическом родстве — а тем более таком прямом, как они полагали, это очень и очень сомнительно. Сомнительно, впрочем, было это и для них самих; только сумеречность их собственного и всеобщего сознания позволяла им сомневаться в этом мечтательно-сонно, благочестиво-оцепенело, принимая слова за действительность, а действительность наполовину только за слово, и называть халдеянина Авраама своим дедом или прадедом примерно в таком же смысле, в каком тот сам называл Лота из Харрана своим «братом», а Сару своей «сестрой», что тоже было одновременно правдой и неправдой. Но даже и во сне люди Эль-эльона не могли приписать своему сообществу цельность и чистоту крови. Вавилонско-шумерская, а значит, не совсем семитская порода прошла тут через быт Аравийской пустыни, еще сюда прибавились элементы из Гера, из земли Муцри, даже из Египта — в лице, например, рабыни Агари, которую удостоил своего ложа сам великий ро-

доначальник и сын которой женился опять же на египтянке; а сколько горя принесли Ревекке хеттейские жены ее Исава, дочери племени, тоже не считавшего своим прародителем Сима, а вторгшегося когда-то в Сирию из Малой Азии, из урало-алтайской сферы, — это всегда было слишком хорошо известно, чтобы распространяться сейчас и на этот счет. Некоторые колена рано отпали. Известно, что и после смерти Сары урский Авраам производил на свет детей, неразборчиво вступив в связь с ханаанейской Хеттурой, хотя сам же не хотел, чтобы его Ицхак женился на ханаанейке. Одним из сыновей Хеттуры был Мидиан, чьи потомки жили южнее округа Исава, Едома-Сеира, на краю Аравийской пустыни, подобно тому как дети Измаила жили перед Египтом; ибо Ицхак, истинный сын, был единственным наследником, а от детей побочных отделялись подарками и сплавляли их куда-нибудь на восток, где они теряли всякие связи с Эль-эльоном, если вообще когда-либо признавали его, и служили собственным своим богам. Божественное же, то есть наследственная работа над идеей бога, было связующим обручем, скреплявшим при всей ее генеалогической пестроте ту духовную семью, что, в отличие от других евреев, сыновей Моава, Аммона и Едома, называла себя этим племенным именем в особом и узком смысле, тем более что как раз теперь, как раз в то время, в которое мы вступили, она стала связывать это имя с другим — Израиль — и им обуславливать первое.

Имя и звание, добытое некогда Иаковом, не было изобретением странного его противника. Богоборцами всегда называло себя одно разбойничье-воинственное и отличавшееся весьма первобытными нравами племя пустыни, отдельные части которого, меняя степные пастбища, пригнали свой мелкий скот к селеньям плодородных земель, перешли от чисто кочевой жизни к полуоседлому быту и после вероучительной вербовки вошли в семью Авраамовых единомышленников. Их богом в родной пустыне был злобный воитель и громовержец по имени Иагу, крайне несговорчивый дух, с чертами скорее демоническими, чем божественными, хитрый, деспотичный, лукавый, перед которым смуглый его народ, кстати сказать, гордившийся им, трепетал, хотя и пытался колдовством и кровавыми обрядами как-то обуздать и обратить на пользу себе бешеный нрав этого демона. Иагу мог без какого-либо видимого повода напасть среди ночи на человека, к которому у него были все основания относиться доброжелательно, — чтобы его удушить; существовал, однако, способ заставить Иагу отказаться от его страшного намерения: жена того, на кого он напал, должна была, не мешкая, обрезать своего сына каменным ножом и, прикоснувшись крайней плотью к срамным частям демона, прошептать ему некую мистическую формулу, более или менее вразумительный перевод которой на наш язык сопряжен с не преодоленными до сих пор трудностями, но которая смягчала и прогоняла убийцу. Вот каков был Иагу. И все же этому темному, в образованном мире совершенно неизвестному божееству суждено было большое теологическое поприще как раз благодаря тому, что часть его паствы оказалась в сфере Авраамова богомыслия. Если, приобщившись к идеям, пущенным в ход урским странником, пастушеские эти семьи усилили своей плотью и кровью человеческую базу богословских традиций халдеянина, то, с другой стороны, какая-то доля неистовства их бога проникла в то божество, что стремилось обрести действительность в человеческом духе, божество, в формировании которого участвовали своими красками и духовным своим материалом также ведь и Усири Востока, Таммуз, и Адонай, растерзанный сын и овчар Мелхиседека и его сихемитов. Разве мы не слышали, как его, Иагу, имя, бывшее некогда боевым кличем, слетало лирическим лепетом с красивых и прекрасных губ? И в той форме, в какой принесли его из пустыни смуглые ее сыновья, и в своих сокращенных и производных формах, связывавших его с местными, ханаанскими условиями, имя это принадлежало к звукам, которыми примеривались к невыразимому. Так, например, одна здешняя местность издавна называлась «Бети-йа», «дом Иа», то есть точно так же, как «Бетель» или «Вефиль», «дом бога», и достоверно известно, что переселявшиеся в Синар амурреи еще до эпохи законодателя носили имена, включавшие в себя обозначение бога «Иа'ве», — мало того, еще урский Авраам назвал дерево у святилища Семь Колодцев «Иа-

гве эль олам», «Иагве бог всех времен». Имени же, которым называли себя бедуины-воины Иагу, суждено было стать отличительным признаком наиболее чистого и наиболее высокого еврейства, приметой духовного потомства Авраама, как раз благодаря тому, что Иаков добыл его в трудную ночь над Иавоком...

ЕЛИФАЗ

Такие люди, как Симеон и Левий, сильные сыновья Лии, могли, пожалуй, втайне посмеиваться над тем, что отец завоевал себе, как бы отторгнув его у неба, именно это разбойничье-дерзкое имя. Ибо Иаков не был воинствен. Никогда бы он не сделал того, что сделал урский Аврам, который, когда наемники Востока, войска Элама, Синеара, Ларсы и левобережья Тигра, вторглись из-за не выплаченной вовремя дани в долину Иордана, разграбили ее города и увели в плен Лота Содомского, смело и решительно вооружил несколько сот рожденных в доме рабов и окрестных единоверцев, людей Эль-берита, всевышнего, двинулся с ними большими переходами из Хеврона, догнал уходивших эламитов и гоев и, приведя в смятение их арьергард, освободил множество пленников, а Лота и похищенное его имущество с триумфом доставил домой. Нет, на такие дела Иаков не был способен, тут он спасовал бы, в чем мысленно и признался себе, когда Иосиф завел речь об этой старой, часто упоминавшейся истории. Он «не нашел бы в себе силы на это», как не нашел бы в себе, по собственному его признанию, силы сделать со своим сыном то, чего потребовал господь. Освободить Лота он предоставил бы Симеону и Левию; но если бы те, со своим обычным в таких случаях ужасным криком, устроили бы лунопоклонникам кровавую баню, он закутал бы свое лицо покрывалом и сказал: «Душа моя не с ними!» Ибо душа эта была пугливой и кроткой; она гнушалась насилия и страшилась претерпеть насилие и была полна воспоминаний о посрамленьях своего мужества, но воспоминания эти не шли в ущерб ее достоинству и ее торжественности, потому что именно в такие часы физического униженья ее каждый раз озарял луч духа, она сподоблялась нового, утешительнейшего подтверждения милости, которая давала ей полное право вознести голову, потому что она, душа, сама же рождала и завоевывала эту мысль в неуниженной своей глубине.

Как было дело с Елифазом, великолепным сыном Исава? Елифаза родила Исаву одна из тех его хеттейско-ханаанских жен, баалопоклонниц, которых он рано ввел в дом в Беэршиве и о которых Ревекка, дочь Вафуила, говаривала: «Я жизни не рада от дочерей хеттейских». Иаков уже не помнил, кого из этих хеттеянок Елифаз называл своей матерью; кажется, это была Ада, дочь Елона. Во всяком случае, тринадцатилетний, рано возмужавший внук Ицхака был молодой человек необыкновенно приятный: простодушный, но храбрый, чистосердечный, благородных мыслей, здоровый душой и телом, полный гордой любви к обиженному своему отцу. Жилось Елифазу трудно — причем не только из-за сложных семейных отношений, но также из-за религиозных разногласий. Ибо не меньше чем три вероисповедания оспаривали друг у друга его душу: дедовский Эль-эльон, баалы материнской родни и мечущее грома и стрелы божество по имени Куцах, почитавшееся горцами юга, сеирцами или людьми Едома, к которым Исав издавна тяготел, а позднее и окончательно перешел. Огромная скорбь и бессильная ярость этого космача по поводу разительных событий, разыгравшихся по воле Ревекки в темном шатре подслеповатого деда и погнавших затем Иакова от родного очага на чужбину, потрясли мальчика Елифаза до глубины души, в его ненависти к своему ложно благословенному дяде было что-то иссушающее, что-то прямо-таки опасное для его собственной жизни: казалось, что такая ненависть превосходила силы нежного его возраста. Дома, под бдительным оком Ревекки, против похитителя благословения нельзя было предпринять вообще ничего. Но когда выяснилось, что Иаков бежал, Елифаз бросился к Исаву и рьяно стал призывать его догнать и убить изменника.

Но обреченный пустыне Исав был слишком подавлен, он слишком ослаб от горького плача о своей преисподней судьбе, чтобы пойти на такое дело. Он плакал, потому что ему полагалось плакать, потому что это соответствовало его роли. Его манера смотреть на вещи а на себя самого обуславливалась к определялась врожденными канонами мышления, которые связывали его, как всех на свете, и отражали круговращение космоса. Благодаря отцовскому благословию Иаков стал окончательно человеком полной и «прекрасной» луны, а Исав — темной луной, а значит — человеком солнца, а значит — жителем преисподней, а в преисподней полагалось плакать, хотя бы ты там и разбогател. Если потом он совсем перевернулся к горцам юга и к их богу, то сделал он это потому, что так ему подобало поступить, ибо юг ассоциировался с преисподней, как, кстати сказать, и пустыня, куда пришлось удалиться соответствующему брату Исаака Измаилу. Отношения же с людьми Сенра Исав завязал давно, задолго до того, как на него пало беэршивское проклятие, а это доказывает, что благословение и проклятие были всего только неким подтверждением, что его характер, то есть его роль на земле, была определена издавна и что он всегда прекрасно сознавал эту свою роль. В отличие от Иакова, который жил в шатрах и был пастухом луны, он стал охотником, бродячим гостем чистого поля, и стал им, спору нет, в силу своей природы, на основании своей ярко выраженной мужественности. Но мы ошиблись бы и не отдали должного мифически-схематическому складу его ума, полагая, будто его самоощущение, его сознание своей роли опаленного солнцем сына преисподней было лишь следствием его охотничьего призвания. Наоборот, как раз наоборот, он избрал это занятие потому, что так ему и подобало поступить, то есть из-за своей мифической просвещенности, из покорности схеме. На просвещенный взгляд — а у Исава, при всей его грубости, такой взгляд на вещи всегда был — его отношение к Иакову повторяло и переносило в настоящее время — во вневременную действительность — отношение Каина к Авелю; а уж тут Исаву доставалась роль Каина, она доставалась ему как старшему брату, который, хотя новый закон мира и на его стороне, прекрасно чувствует, что со времен седой материнской древности глубокой симпатией человечества пользуется младший и самый младший. Да, если известная история о чечевичной похлебке соответствует действительности, а не была присочинена задним числом для оправдания обмана с благословением (почему Иаков все равно вполне мог верить в ее правдивость), то кажущееся легкомыслие Исава объясняется несомненно таким чувством. Уступая так дешево первородство Иакову, он надеялся завоевать хотя бы симпатию, которая по традиции принадлежит младшему.

Словом, красный, волосатый Исав плакал и выказал полное нежелание мстить и преследовать. Он совсем не хотел еще и убить авелевского своего брата, что только довело бы до предела то сходство, к которому с самого начала клонили дело родители. Но когда Елифаз вызвался или, вернее, решительно пожелал догнать в таком случае и убить благословенного на собственный страх и риск, у Исава не нашлось против этого никаких доводов, и он сквозь слезы кивнул сыну головой в знак согласия. Ибо убей племянник дядю, это было бы приятным для него, Исава, нарушением досадной схемы, историческим новшеством, которое могло бы стать эталоном для позднейших мальчиков Елифазов, а его, Исава, избавило бы от роли Каина хотя бы в последней ее части.

Итак, Елифаз собрал пять или шесть человек, державших сторону его отца и обычно сопровождавших его при отлучках в Едом, вооружил их имевшимися в доме длинными камышовыми копьями с очень опять-таки длинными и опасными остриями над пестрыми пучками волос, затемно вывел из стойл Ицхака верблюдов, и прежде чем наступил полдень, Иакова, ехавшего, благодаря заботам Ревекки, тоже на верблюде, и притом в сопровождении двух рабов, с большим количеством съестных припасов и меновых ценностей, — Иакова преследовал по пятам отряд мстителей.

Всю свою жизнь Иаков не забывал ужаса, который охватил его, едва до него дошел смысл этой погони. Поначалу, когда показались всадники, он польстил себя надеждой, что Ицхак слишком рано заметил его исчезновение и хочет его вернуть. Но, узнав сына Исава,

он понял всю серьезность положения и пришел в отчаяние. Начались гонки не на жизнь, а на смерть — лежесно были вытянуты шеи быстро бежавших, храпевших от усердия, увешанных кистями и лунами дромадеров. Но Елифаз и его люди ехали с меньшей поклажей, чем Иаков; он видел, как с каждым мгновением сокращалось расстояние, от которого зависела его жизнь, и когда его перегнали первые копыта, он сделал знак, что сдастся, спешился со своими людьми, и, пав лицом на землю, с поднятыми пустыми руками, застыл в ожидании своего преследователя.

То, что произошло затем, было самым плачевным и оскорбительным из всего, что вообще случалось в жизни Иакова, и могло бы, наверно, у кого-нибудь другого навсегда подорвать чувство собственного достоинства. Он должен был, если хотел остаться в живых, — а остаться в живых он хотел любой ценой, не просто из трусости, что нужно настоятельно напомнить, а потому, что был посвящен, потому что на нем лежал завещанный Авраамом обет, — он должен был этого разъяренного мальчика, собственного племянника, такого по сравнению с ним молодого, такого третьестепенного члена семьи, который уже — и не один раз — заносил над ним меч, — он должен был постараться смягчить его мольбами, самоунижением, слезами, лестью, жалобными призывами к его великодушию, тысячами извинений, — одним словом, убедительным доказательством того, что не стоит труда пронзать мечом такое ничтожество. Он это и делал. Он, как безумец, целовал ноги мальчика, он осыпал свою голову целыми пригоршнями пыли, и его подгоняемый страхом язык, не перестававший уговаривать и заклинать, двигался с величайшим проворством, которое должно было удержать и действительно удержало озадаченный, поневоле ошеломленный таким словоизверженьем рассудок мальчика от поспешных действий.

Разве он желал этого обмана? Разве это был его замысел, его изобретенье? Пусть из него выпустят потроха, если он хоть в чем-нибудь виноват! Только мать, только бабушка все это придумала и подстроила — из чрезмерной любви, из незаслуженного пристрастия к нему, Иакову, а он всячески противился ее затее, пугая ее тем, что Исаак откроет правду и проклянет не только его, но и ее, не в меру находчивую Ревекку. С проникновенностью отчаянья вопрошал он ее, каково ему будет стоять перед величавым лицом своего первородного брата, если даже хитрость удастся! Не радостно, не весело и не дерзко, о нет, а дрожа и робея вошел он в шатер отца, в шатер любимого деда с кушаньем из козленка и вином, одетый в праздничное платье Исава, со шукурами на запястьях и на шее. Пот так и побежал у него по бедрам от смущенья и страха, голос так и замер у него в горле, когда Исаак спросил его, кто он, когда тот ощупал и обнюхал его — но даже умастить его благовонным, пахнущим полевыми цветами маслом Исава не забыла Ревекка! Это он-то обманщик? Ах, скорее он жертва женской хитрости, Адам, совращенный Гевой, подругой змея! И пусть мальчик Елифаз всю свою жизнь — да продлится она много сот лет и долее — остерегается советов женщины и мудро обходит ловушки ее лукавства! Он, Иаков, попался, ему теперь конец. Это он-то благословен? Во-первых, какое же это отцовское благословение, если оно дано по ошибке, если сын выкрал его против собственной воли? Разве оно имеет какую-то ценность, какой-то вес? Разве оно обладает какой-либо силой? (Он прекрасно знал, что благословение — это благословение и что оно обладает полным весом и полной силой, но он спрашивал так, чтобы сбить Елифаза с толку.) А во-вторых, разве он, Иаков, проявил хоть малейшую готовность воспользоваться ошибкой, завладеть домом по праву благословенного и вытеснить Исава, своего господина? О нет, как раз наоборот! Он добровольно ретируется, Ревекка, раскаявшись, прогнала его сама, он навсегда удаляется в чужие, неведомые края, уходит в изгнание, прямехонько в преисподнюю, и доля его — вечные слезы! И его-то хотел поразить острым своим мечом Елифаз — голубь светлкрылый, молодой тур во цвете своей красоты, прекрасный олень? Но разве господь не обещал Ною взysкивать пролитую человеческую кровь, и разве не прошли времена Каина и Авеля, разве не правят ныне в стране законы, нарушив которые благородный и юный Елифаз может оказаться в величайшей опасности? О нем и печется его достаточно

уже наказанный дядя, и если он, Иаков, униженный и обедневший, идет теперь на чужбину, где станет рабом, то пусть зато Елифаз будет богат и счастлив, а его мать благословенна среди детей Хета, потому что рука его не пролила крови, а душа отвернулась от злодеянья...

Вот каким потоком хлынули многословные от страха мольбы Иакова, и Елифаз только диву давался, у него голова шла кругом от этого разлива речей. Он готовился встретить смеющегося разбойника, а увидел несчастного человека, чье унижение, казалось, целиком восстанавливало честь Исава. Мальчик Елифаз был добродушен, как, собственно, и его отец. В сердце его одно пламенное чувство быстро сменилось другим, злоба отступила перед великодушием, и он воскликнул, что пощадит дядю, и тогда Иаков заплакал от радости, покрывая поцелуями край Елифазова платья и его руки и ноги. К волнению мальчика примешивались неловкость и легкое отвращенье. Немного досадуя на собственную нерешительность, он резко заявил, что беглецы должны отдать ему свою поклажу, ибо все, что сунула дяде Ревекка, принадлежит обиженному брату Исаву. Иаков попытался было вкрадчивой речью изменить и это решение, но Елифаз на него презрительно прикрикнул, а затем так основательно обобрал Иакова, что у того и вправду осталась только голова на плечах: золотые и серебряные сосуды, кувшины с лучшим вином и маслом, малахитовые и сердоликовые запястья и бусы, куренья и медовые конфеты — все это пришлось отдать Елифазу; даже оба раба, тайком ушедшие со двора, один из которых был, кстати сказать, ранен копьем в плечо, а также их верблюды должны были отправиться с преследователями обратно — и в полном одиночестве, приторочив к седлу несколько глиняных кувшинов с водой, Иаков мог — кто знает в каком состоянии духа, — продолжать сумрачный свой путь на восток.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГЛАВЫ

Он спас свою жизнь, свою драгоценную, обетованную жизнь, для бога и для будущего — что значили в сравнении с ней золото и сердолик? Жизнь — это было самое главное, и юный Елифаз был обманут, в сущности, еще великолепно, чем его родитель, но чего это стоило! Не просто дорожной клади, а всей, без остатка, мужской чести; нельзя было опозориться больше, чем Иаков, который валялся в ногах у какого-то молокососа и скулил с искаженным от слез и от размазанной пыли лицом. А что было потом? А что было сразу же после такого униженья?

Сразу же или через несколько часов после этого, вечером, при свете звезд, он достиг места под названием Луз, дотоле ему неизвестного, так как вообще вся эта сторона была для него уже чужой, — расположенного на одном из уступчатых, засаженных виноградом холмов, которые повсюду возвышались окрест. Немногочисленные кубики домов этой деревни теснились на середине испещренного тропинками склона, и так как внутренний голос посоветовал обедневшему путнику остановиться здесь на ночлег, он погнал своего норовистого, еще совершенно оторопелого после недавних плачевно-бурных событий верблюда, перед которым ему было немного стыдно, к этому холму. У колодца, который находился с внешней стороны глинобитной ограды, он напоил животное и смыл с лица своего следы позора, что уже значительно улучшило его настроение. Однако просить приюта у жителей Луза он все-таки не стал, чувствуя себя нищим, а повел в поводу живую свою собственность, единственное теперь свое достоянье, мимо селенья вверх по холму, к его тупой вершине, вид которой заставил его пожалеть, что пришел он сюда не раньше, не своевременно. Ибо священный каменный круг, гилгал, показывал, что место это — убежище для преследуемых, и тому, кто остановился бы здесь, юный Елифаз, разбойник с большой дороги, не посмел бы причинить никакого вреда.

Посредине гилгала, торчком, стоял особый камень, угольно-черный, конический, явно упавший с неба, так что в нем дремали звездные силы. Своей формой он напоминал детородный член, и поэтому Иаков благочестиво поднял кверху глаза и руки и почувствовал новый

прилив сил. Здесь он решил провести ночь, покуда ее снова не скроет день. Изголовьем Иаков избрал одну из каменных глыб круга. «Ну-ка, — сказал он, — отраднѣй старѣй камень, вознеси на ночь голову беспокойному страннику!» Он подстелил головное покрывало, вытянулся на земле лицом к фаллическому высланцу неба, поглядел, щурясь, на звезды и уснул.

Тут-то и началось, тут-то и пошло, тут-то и в самом деле, должно быть, среди ночи, после нескольких часов глубокого забытья, голова его была вознесена от всякого позора к величественнейшему видению, где соединились все таившиеся в его душе представления о царственном и божественном, которыми она, эта униженная, но втайне смеявшаяся над своим унижением душа, наполнила, чтобы утешиться и подкрепиться, пространство своего сна... Ему не снилось, что он находится в каком-то другом месте. Он и во сне опирался головою на камень и спал. Но сквозь веки его проникало ослепительное сиянье; он видел сквозь них, видел Вавилон, видел пуповину, связывающую небо и землю, лестницу, ведущую к высочайшему дворцу, ее бесчисленные, огненные и широкие, уставленные астральными стражами ступени, поднимавшиеся на невероятную высоту, к верховному храму и к престолу верховного владыки. Они не были ни каменными, ни деревянными, ни из какого-либо другого земного вещества; казалось, что они сооружены из раскаленной руды, из звездного огня; планетное их сиянье безмерно широко разливалось по земле, переходя выше и дальше в ослепительный блеск, глядеть на который можно было только сквозь веки, потому что открытые глаза его не выдержали бы. Пернатые человекозвери, херувимы, коровы в венцах с лицами дев и со сложенными крыльями неподвижно стояли по обеим сторонам лестницы, глядя прямо вперед, а пространство между их расставленными ногами было заполнено металлическими плоскостями, на которых рдели священные письма. Скорчившиеся боги-быки с жемчужными пронизьями на лбу и локонами такой же длины, как свисавшие у них со щек бахромчатые, завитые внизу бороды, поворачивали головы наружу и глядели на спящего спокойными глазами из-под длинных ресниц — в чередованье с сидевшими на хвостах львами, выпуклые груди которых были покрыты огненной шерстью. Эти, казалось, фыркали четырехугольниками разверстых своих пастей, отчего и топорщились их усы под свирепыми и тупыми носами. А между зверями кишмя кишели служители и гонцы, поднимавшиеся и спускавшиеся по ступеням медленной чередой, которая несла в себе счастье звездного закона. Нижняя часть тела была у них окутана платьем, покрытым остроконечными письменными знаками, а груди их казались слишком мягкими для юношеских и слишком плоскими для женских грудей. Одни, подняв руки, несли на головах чаши, другие, поддерживая согнутой рукою скрижаль, указующе водили по ней пальцем; многие играли на арфах, флейтах и лютях, иные били в литавры; а следом за ними двигались песнопевцы, которые наполняли пространство своими высокими, металлически звонкими голосами, прихлопывая в лад пенью в ладоши. Согласные звуки гремели по всей длине этого вселенского подъема, оглашая его снизу доверху вплоть до того ярчайшего сиянья, где находилась узкая огненная арка, ворота дворца с пристенными столбами и высокими башнями. То были столбы из золотых кирпичей с выпуклыми изображениями чешуйчатых зверей, чьи передние лапы были как у барса, а задние — как у орла, а огненные ворота подпирали с обеих сторон существа с бычьими ногами, четырехрогим венцом, алмазными глазами и завитой, курчавыми прядями, бородой на щеках. Перед воротами стояли престол царской мощи и золотая скамеечка для ее ног, а позади престола — лучник с колчаном, державший опахало над венцом мощи. А одета она была в наряд из лунного света с бахромой из маленьких языков огня. Руки бога были чрезвычайно жилистыми и сильными, и в одной он держал знак жизни, а в другой — чашу для питья. Синюю его бороду сжимали в жгут медные кольца, и лицо его с нависающими бровями было грозно в суровой своей доброте. Перед ним стоял еще кто-то с широким обручем вокруг головы, похожий на визиря и главного приближенного престола; и он-то, заглянув в лицо мощи, указал ладонью на спавшего на земле Иакова. Господь кивнул головой и спустил со скамеечки жилистую свою ступню, а главный помощник поспешно нагнулся и убрал скамеечку, чтобы господь встал. И бог встал с престола и протянул в сторону

Иакова знак жизни и выпятил грудь, набрав в нее воздух. И голос его был великолепен, потому что сливался в нежно-могучей гармонии со звуками арф и со звездной музыкой тех, что спускались и поднимались. А сказал он: «Я есмь! Я господь Авирама и Ицхака и твой. Око мое взирает на тебя, Иаков, с дальновидной приязнью, и семя твое будет многочисленно, как песок земной, и благословен ты у меня перед всеми, и овладеешь вратами врагов своих! И буду хранить тебя там, куда ты пойдешь, и верну тебя богатым в ту землю, где ты сейчас спишь, и никогда тебя не покину. Я есмь, и такова моя воля!» И голос царя растворился в гармонии звуков, и Иаков проснулся.

Вот это был сон, вот это было вознесенье главы! Иаков плакал от радости и нет-нет да смеялся над Елифазом, бродя под звездами по кругу камней и глядя на тот из них, который приподнял ему голову для такого виденья. На какое место, думал он, я случайно набрел! Ему было холодно, и, дрожа от ночной прохлады и от волнения, он говорил: недаром дрожу я, недаром! Жители Луза плохо представляют себе, что это за место, и хотя они устроили здесь убежище и соорудили гилгал, они не знают, как не знал я, что это самое настоящее место присутствия, ворота величия, соединенье неба с землей! Затем, полный тайного смеха, он проспал крепким и гордым сном еще несколько часов, но на рассвете встал, спустился в Луз и направился к торговым рядам. Ибо в складке пояса у него был припрятан перстень с яркосиней лазуритовой печаткой, которого не нашли Елифазовы слуги. Он продал его ниже цены, за толику сухой пищи и несколько кувшинов масла, ибо именно масло нужно было ему, чтобы сделать то, что он считал теперь своим долгом. Прежде чем продолжить свой путь на восток и к воде Нахарина, он еще раз поднялся на место, где видел сон, поставил камень, на котором спал, памятником, стоймя, и щедро полил его маслом с такими словами: «Вефиль, Вефиль пусть зовется отныне это место, а не Луз, ибо это дом присутствия и бог-вседержитель открылся здесь униженному и укрепил его душу сверх меры. Ведь конечно, он впал в преувеличение и превзошел всякую меру, воскликнув в лад арфам, что семя мое умножится, как песок, а имя мое будет в почете и славе. Но если Он будет со мной, как Он обещал, и сохранит шаги мои на чужбине; если Он даст мне хлеб и одежду для моего тела, позволит мне вернуться в дом Ицхака целым и невредимым, то пусть богом моим будет Он, а не кто другой, и я буду отдавать Ему десятую часть всего, что Он мне дарует. Если же вдобавок сбудутся и те слова, какими Он, превосходя всякую меру, укрепил мою душу, то пусть этот камень превратится в святилище, где Ему будут непрестанно приносить пищу и, кроме того, неукоснительно ублажать его нюх пряными воскуреньями. Это обет, это обещанье за обещанье, и пусть бог, пусть бог-вседержитель действует теперь по своему усмотренью».

ИСАВ

Вот как было с Елифазом, жалким все же птенцом по сравнению с Иаковом, униженной жертвой его гордости, который, благодаря неведомым Елифазу запасам душевных сил, с легкостью восторжествовал над оскорблениями, нанесенными ему каким-то мальчишкой, да и всегда сподоблялся откровений как раз в самые плачевные свои часы. И разве с отцом получилось не то же, что с сыном? Мы имеем в виду ту встречу с самим Исавом, на которую наемкнул Иаков в разговоре, нами подслушанном. В этом случае вознесенье главы и великое ободрение состоялось заранее — в Пенизэле, в ту страшную ночь, когда он добыл себе имя, над которым посмеивались Симеон и Левий. И, уже обладая именем, то есть наперед зная, что победа за ним, он пошел навстречу своему брату, защищенный в глубине души от любого, если уж его не удастся избежать, униженья, защищенный даже от унижительность своего страха перед встречей, которая должна была так убедительно доказать непохожесть одного близнеца на другого.

Он не знал, в каком настроении приближается к нему Исав, оповещенный через гонцов им самим же, так как выяснить отношения казалось необходимым. От лазутчиков ему

было известно, что тот идет во главе четырехсот человек, а это одинаково могло означать и почесть, как следствие подобострастной лестии его, Иакова, посольства, и большую опасность. Он принял меры предосторожности. Самое дорогое, Рахиль и ее пятилетнего сына, он спрятал позади, среди вьючного скота, дочь свою Дину, дитя Лии, положил, как мертвую, в сундук, где она чуть не задохнулась, а других детей с их матерями разместил у себя за спиной, выставив вперед наложниц и их потомство. Он выстроил предназначенный в подарок скот и пропустил его с пастухами вперед, двести коз и козлов, столько же овец и баранов, тридцать дойных верблюдиц, сорок коров с десятью бычками, двадцать ослиц с их ослятами. Он велел гнать их отдельными гуртами, с промежутками, чтобы, встречая очередной гурт, Исав, в ответ на свой вопрос, узнавал, что это подарок ему, господину, от Иакова, его раба. И если в час, когда Исав покидал Сеирские горы, его отношение к возвращавшемуся на родину брату было очень еще неопределенно, двойственно и неясно ему самому, то в час, когда он впервые после двадцатипятилетней разлуки увидел Иакова воочию, Исав находился уже в самом веселом расположении духа.

Но как раз эта веселость, хотя он сам же всячески ее добивался, была Иакову крайне неприятна, и едва поняв, что теперь, что по крайней мере сию минуту, бояться ему нечего, он уже с трудом скрывал свое отвращение к безмозглому Исавову благодушию. Он навсегда запомнил, как тот приближался... Близнецам Ревекки, «душистой траве» и «колючему кусту», как называли их уже в детстве в местах между Хевроном и Беэршивой, было тогда по пятидесяти пяти лет. Но «душистая трава», гладкокожий Иаков, никогда не отличался особенной молодостью, будучи с самого детства шатролюбив, задумчив и робок. А теперь он уже многое испытал на своем веку, Иаков, человек на вершине лет, полный достоинства, благодаря своим историям, исполненный духовной тревоги и отягощенный возросшим своим богатством, — тогда как Исав, хотя он и поседел не меньше, чем брат, казался все тем же бездумным и непримечательным малым, который то воеет, как зверь, то полон животного легкомыслия и даже лицом несколько не изменился; ведь внешнее возмужание большинства товарищей нашей юности в том и состоит, что у них на мальчишеском лице вырастает борода и появляется морщина-другая, и оно остается таким же мальчишеским, только что с бородой и морщинами.

Первым, что услышал Иаков от Исав, была его игра на свирели, с детства вошедшее у него в привычку высокое и глухое гуденье на связке тростниковых, скрепленных поперечными бечевками дудок разной длины — излюбленном инструменте сеирских горцев, вероятно, ими же изобретенном, из которого Исав, еще в детстве переняв его у них, довольно искусно извлекал звуки толстыми своими губами. Глупая и дикая поэзия этих звуков, это безответственное, прижившееся на преисподнем юге «тра-ля-ля» было издавна ненавистно Иакову, и в нем разыграло презренье, когда он услышал его снова. Вдобавок Исав плясал со своей дудкой у рта, с луком за спиной и клоком козлиной шкуры на чреслах, но без всякой другой одежды, в которой он и впрямь не нуждался, будучи волосат настолько, что шерсть буквально свисала у него с плеч седовато-рыжими космами, он плясал и подпрыгивал, остроухий, с приплюснутым к безусой губе носом, пешком идя по равнине впереди своего ополчения навстречу брату, он дудел, кивал головой, смеялся и плакал, и со смесью презренья, стыда, жалости и отвращения Иаков повторял про себя что-то похожее на «Боже мой, боже мой!».

Спешился, впрочем, и сам он, чтобы, насколько позволяло отечное его бедро, поспешить, подобрав платье, навстречу этому пляшущему козлу и уже на ходу представить ему все предусмотренные свидетельства самоунижения и самоуничужения, каковые после ночной победы мог позволить себе без истинного ущерба для собственного достоинства. Раз семь, несмотря на боль, падал он ниц, поднимая разжатые руки над опущенной головой, и так и подполз к ногам Исав, к которым прижался лбом, меж тем как руки его гладили поросшие шерстью колени брата, а язык твердил слова, определявшие отношения между братьями, несмотря на благословение и проклятье, недвусмысленно выгодным для Исав, образом, слова, которые должны были обезоружить его и смирить: «Господин мой, я раб твой!» Но Исав держался не

только миролюбиво, но и ласково сверх всякого и даже, вероятно, собственного ожидания; ибо весть о возвращении брата привела его в состояние общей и неясной взволнованности, которая еще перед самой встречей легко могла обернуться не растроганностью, а яростью. Он силой поднял брата из праха, прижал его, громко всхлипывая, к своей волосатой груди и принялся, чмокая, целовать его в щеки и в губы, так что столь щедро обласканному стало вскоре невмоготу. Однако он тоже плакал — отчасти потому, что теперь в нем разрядилось напряженье неопределенности и страха, отчасти же по нервной своей мягкости, о времени, о жизни, о судьбе человеческой вообще. «Братец мой, братец мой! — лепетал Исав между поцелуями. — Забудем все! Забудем всякие пакости!» — такое неприятно откровенное великодушье способно было скорей унять слезы Иакова, чем вызвать новые их потоки — а затем стал расспрашивать брата, отложив покамест вопрос, который, собственно, и беспокоил его, — о встреченных им стадах, и для начала с высоко поднятыми бровями осведомившись о женщинах и детях, сидевших на верблюдах позади Иакова. Они спешили и были представлены: сначала перед космачом склонились наложницы со своими четырьмя детьми, затем Лия со своими шестью и, наконец, прекрасноокая Рахиль с Иосифом, которых привели из дальнего тыла, и при каждом новом имени Исав прикладывался к свирели толстыми своими губами, он хвалил детей за их складность, а женщин за их груди, и, громко удивившись близорукости Лии, предложил ей какое-то едомское снадобье для ее, как всегда, воспаленных глаз, за что та, кипя от злости, поблагодарила его, поцеловав ему пальцы ног.

Даже чисто внешне братьям было трудно друга друга понять. Беседуя, оба искали в памяти слова своего детства и находили их лишь насилу; Исав объяснялся на грубом сеирском наречии, отличавшемся от говора тех мест, где прошло их детство, синайскими и мидианитскими примесями, а Иаков привык в стране Нахараим говорить по-аккадски. Оба то и дело прибегали к жестам, но Исав сумел все-таки довольно ясно выразить свой интерес к встреченным на дороге тучным стадам, и то, как он церемонно отказывался принять этот роскошный подарок, когда Иаков заявил, что надеется снискать им милость перед лицом своего господина, — свидетельствовало о хороших манерах. Он придал своей церемонности форму беспечного равнодушья к имуществу, богатству и всякой такой докуче.

— Ах, братец мой, что за глупости, ничего мне не нужно! — восклицал он. — Оставь себе свои стада, и владей ими, и храни их, я дарю их тебе обратно, я и без них готов забыть и простить эту гнусную старую шалость! Я забыл, я простил ее, я примирился со своей участью и доволен жизнью. Ты думаешь, мы в преисподней только и знаем, что вешаем носы? Хи-хи, ха-ха, это совершенно неверное представление! Мы, конечно, не шествуем, закатив глаза, с благоговением на челе, но мы тоже живем, и живем, поверь мне, по-своему довольно весело! Нам тоже доставляет удовольствие спать с женщиной, и в сердце нам тоже вложена любовь к ребятишкам. Ты думаешь, проклятие, которым я обязан тебе, дорогой ты мой мошенник, сделало меня шелудивым нищим и я подыхаю в Едоме с голоду? Прямо! Я там господин, я велик среди сыновей Сеира. У меня вина больше, чем воды, и вдоволь меда, а масла, плодов, ячменя и пшеницы больше, чем я могу съесть. Те, кто подо мной, меня кормят, они, что ни день, шлют мне хлеб, мясо и птицу, и все уже приготовлено, так что садись да ешь, и дичи у меня хоть отбавляй, — и сам добываю, и они охотятся со своими псами в пустыне, — а молочной пищи столько, что, бывает, полночи рыгаешь, поевши. Стада в подарок? Чтобы искупить и предать забвению старую пакость, которую учинили мне ты и та женщина? Плевал я на это — тьфу! — И он сделал губами соответствующее движение. — Зачем нам с тобой подарки? Главное — это сердце, а мое сердце простило и забыло эту давнюю подлость, когда ты, плут ты этакий, обложил себя козлиными шкурами, чтобы старик принял их за мои патлы, я смеюсь над этим сегодня, на старости лет, а ведь тогда я плакал кровавыми слезами и послал Елифаза тебе вдогонку, к великому твоему страху, бабий ты смех!

И он опять обнял брата и снова принялся чмокать его в лицо, что Иаков только, страдая, терпел без всяких ответных объятий и нежностей. Речь Исавы вызвала у него глубокое

отвращенье, он нашел ее в высшей степени неприятной, глупой и безалаберной и желал одного — поскорее избавиться от этого чужого родственника, прежде, однако, окончательно с ним рассчитавшись и еще раз откупив у него первородство считанной данью, тем более что Исаву и самому хотелось, чтобы его уговорили принять ее. Поэтому последовали новые вежливости, свидетельства смиренья и настойчивые просьбы, и когда Исав наконец согласился благосклонно принять подарок из рук брата, добрый этот бес был и в самом деле полон расположения к благословенному и относился к примирению гораздо серьезнее и добросовестнее, чем это казалось допустимым тому.

— Ах, братец мой, — воскликнул он, — теперь ни слова больше об этом старом, несчастном деле! Разве мы не вышли из чрева одной матери, один за другим, почти одновременно? И ты, как тебе известно, держался за мои пятки, а я, как более сильный, вытянул тебя на свет за собой. Мы, правда, немного толкали друг друга в утробе, да и вне утробы тоже толкали, но не станем больше об этом вспоминать! Будем жить вместе по-братски, как близнецы перед господом, будем есть из одной миски и не будем разлучаться никогда в жизни! Итак, направимся в Сеир и поселимся вместе!

«Благодарю покорно! — думал Иаков. — Чтобы и я стал в Едоме козлом-дударем и вечно жил рядом с тобой, остолоп? Не того хочет бог, не того хочет моя душа. Все, что ты говоришь, — это неприятный для моего слуха вздор, ибо то, что произошло между нами, незабываемо. Ты сам упоминаешь об этом при каждом движении языка и мнишь, убогая голова, что сможешь забыть это и простить?»

— Слова моего господина, — сказал он вслух, — восхитительны, и каждое в отдельности отвечает сокровеннейшим желаньям его раба. Но господин мой видит, что со мной малые дети и даже младенцы, как вот этот пятилетний, Иегосиф по имени, и он плохо переносит дорогу; затем мертвое, узы, дитя в ларе, мчаться с которым очертя голову было бы неблагочестиво, и еще дойный скот, мелкий и крупный. Все это погибнет, если я погоню их вперед. Поэтому пусть господин мой пойдет впереди, а я медленно пойду за ним, сообразуясь с силами своего скота и своих детей, и приду в Сеир немного позднее, и мы будем жить вместе в задушевном согласии.

Это был отказ в мягкой форме, и выпучивший глаза Исав сразу почти так это и понял. Он сделал, правда, еще одну попытку, предложив брату оставить с ним для охраны несколько человек из своего отряда. Но Иаков ответил, что это совершенно не нужно, если только он приобрел благоволения в очах своего господина, и тут уж стала совсем ясна неискренность его согласия с предложением жить вместе. Исав пожал волосатыми плечами, повернулся спиной к нежному и неверному Иакову и направился в свои горы со скотом и со свитой. Иаков сперва поплелся за ним, но при первой же возможности повернул и ушел в сторону.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИСТОРИЯ ДИНЫ

ДЕВОЧКА

Поскольку пришел он тогда в Сихем, то сейчас уместно будет изложить сихемские истории и тяжкие передраги, причем изложить их в соответствии с действительностью, то есть отказавшись от тех маленьких исправлений правды, какие позднее предпринимались в «прекраснословных беседах», построенных по формуле «Знаешь ли ты об этом? — Знаю доподлинно», — исправлений, с какими они потом и вошли в родовое и мировое предание. Если мы описываем печальные и в конечном счете кровавые события той поры, которые запечатлелись на усталом и полном значительности лице Иакова наряду с другими, составляя с ними почетное бремя воспоминаний его старости, то делаем это лишь ради нашего рассмотрения его душевного склада, тем более что его поведение в этом деле может лучше всего объяснить,

почему Симеон и Левий тайком толкали друг друга в бок, когда отец пускал в ход свое торжественное, данное от бога звание.

Несчастной героиней шекемских приключений была Дина, единственная дочка Иакова, рожденная Лией в начале второго периода плодovitости, — да, именно в начале, а не в конце, не после Иссахара и Завулону, как то было записано много позднее. Письменная эта хронология не может быть верна, потому что если бы она была верна, то ко времени своего несчастья Дина физически еще не созрела бы для него, была бы ребенком. В действительности она была на четыре года старше Иосифа, и значит, в момент прибытия людей Иакова в Сихем ей было девять, а в момент катастрофы тринадцать лет — на два весьма и весьма важных года больше, чем получилось бы при вычислительной проверке традиционной хронологии, ибо как раз за эти два года она расцвела, стала женщиной, и женщиной такой привлекательности, какой только можно было ожидать от дочери Лии, а на время даже еще привлекательнее, чем того в общем-то можно было ожидать от этой крепкой, но некрасивой породы. Она была истинное дитя месопотамской степи, которой дана ранняя и чрезвычайно богатая цветами весна, но где за весной не следует полного жизни лета; ведь уже в мае все это волшебное великолепие выжигается безжалостным солнцем. Таковы были физические задатки Дины; а события, со своей стороны, способствовали тому, чтобы превратить ее до срока в усталую и увядшую женщину. Что же касается ее места в ряду потомков Иакова, то указание писцов на этот счет ничего не значит. Их рукой водили небрежность и равнодушие, когда они ставили имя этой девочки просто в конце перечня детей Лии, а не на подобающем ему месте — чтобы не прерывать перечисления сыновей такой несущественной и даже докучливой мелочью, как имя девочки. Кому нужна точность, когда речь идет о девочке? Разница между рождением девочки и настоящей бездетностью была незначительна, и появление на свет Дины, если верно определить его время, послужило как бы переходом от недолгого бесплодия Лии к новому периоду плодovitости ее чрева, который всерьез начался лишь тогда, когда родился Иссахар. Каждый школьник знает сегодня, что у Иакова было двенадцать сыновей, и помнит наизусть их имена, а о существовании несчастной маленькой Дины широкая публика понятия не имеет и удивляется, когда упоминают о ней. Между тем Иаков любил ее так, как только мог он любить дитя несправедливой, он спрятал ее от Исава в похоронном ларе, и когда пришло время, страдал за нее всей душой.

БЕСЕТ

Итак, Израиль, благословенный перед господом, с домочадцами и с имуществом, со своими стадами, где одних овец было пять с половиной тысяч голов, с женами и детьми, со служанками, рабами, погонщиками, пастухами, козами, ослами, вьючными и верховыми верблюдами, — итак, держа путь от Иавока после встречи с Исавом, Иаков, отец, переступил Иарден и, довольный, что ушел от нестерпимого зноя речной долины, а также от кабанов и барсов в ее ивняках, оказался в умеренно гористом краю плодородных, богатых цветами и журчащими ключами долин, где рос дикий ячмень и в одной из которых он набрел на место Шекем, уютное, многовековой древности, затененное скалой Гаризим селенье с толстой, построенной из нескрепленных каменных глыб обводной стеной, охватывавшей с юго-востока Нижний город, а с северо-запада — Верхний, который назывался Верхним и потому, что стоял на насыпи высотой в пять двойных локтей, но, кроме того, именовался так и в переносно-почтительном смысле, потому что весь почти состоял из дворца местного князя Еммора и прямоугольной глыбы храма Баал-берита — как самые высокие, оба эти здания и были первым, что бросилось в глаза людям Иакова, когда они вступили в долину, приближаясь к восточным воротам города. В Шекеме было около пятисот жителей, не считая египетского гарнизона человек в двадцать, начальник которого, очень молодой офицер родом из Дельты, был назначен сюда

только для того, чтобы каждый год взыскивать непосредственно с князя Еммора и косвенно с купцов Нижнего города несколько кольцевидных золотых слитков, которые пересылались затем вниз в город Амуна, и непоступление которых сулило бы юному Усер-ка-Бастету (так звали этого военачальника) большие личные неприятности.

Можно представить себе, с какими тревожными чувствами узнали о приближении кочевого племени люди Шекема, оповещенные своими дозорными и возвращавшимися в город согражданами. Неизвестно было, что на уме у этих бродяг — добро или зло; в последнем случае им достаточно было обладать некоторой военной сноровкой и некоторым разбойничьим опытом, чтобы поставить Шекем, несмотря на его мощную стену, в незавидное положение. Дух этого места не отличался отвагой, тяготея скорее к торговле, покою и миру, князь Еммор был брюзгливым стариком с большими, узловатыми суставами, а сын его, молодой Сихем — избалованным барчонком, имевшим собственный гарем, хлыщом, сластолюбом и неженкой, и при этих обстоятельствах жители с радостью доверились бы военной доблести оккупационного гарнизона, будь хоть малейшая возможность довериться ей. Однако этот сплоченный вокруг штандарта с изображением сокола и павлиньими перьями гарнизон, именовавший себя «отрядом, блестящим, как солнечный диск», не внушал никаких надежд в случае серьезной опасности, и прежде всего не внушал их начальник, упомянутый уже Усер-ка-Бастет, походивший на воина весьма отдаленно. Большой друг княжеского сынка Сихема, он знал две страсти, в служении которым доходил до сумасбродства: это были кошки и цветы. Родом он был из нижнеегипетского города Пер-Бастета, название которого здешнее произношение переделало в «Пи-Бесет», отчего сихемиты называли и его, начальника отряда, просто «Бесет». Местным божеством его города была кошачьеголовая богиня Бастет, и в своем кошкопоклонстве он был неистов: его постоянно окружали эти животные, не только живые, всех возрастов и мастей, но и мертвые, ибо множество закутанных кошачьих мумий стояло, опираясь о стены, в его жилище, и он плача приносил им в жертву молоко и мышей. С этой слабостью сходилась его любовь к цветам, которая, если бы она дополняла и уравнивала какие-то более мужские склонности, могла бы быть названа прекрасной чертой, но из-за отсутствия таковых производила удручающее впечатление. Он неизменно носил широкий воротник из живых цветов, и даже самый пустяковый предмет его обихода непременно увенчивался цветами, что в отдельных случаях было просто смешно. Одевался он самым штатским образом: ходил в белом батистовом платье, сквозь которое просвечивал набедренник, а руки его и торс были обвиты лентами, и никто никогда не видел его в латах, да и вообще единственным его оружием была тросточка. Только благодаря известной грамотности «Бесет» вообще стал офицером.

Что касается его подчиненных, о которых он, кстати сказать, не очень-то пекся, то они хоть и постоянно, с таким же хвастовством, как и надписи, твердили о воинских подвигах прежнего царя их страны, Тутмоса Третьего, и египетского войска, завоевавшего под его руководством в семнадцати боевых походах все земли до реки Евфрата, но сами отличались главным образом по части гусиного жаркого и пива, а в остальных случаях, например во время пожара или при нападении бедуинов на примыкавшие к городу неукрепленные поселения, оказывались самыми настоящими трусами — особенно коренные египтяне, ибо среди них были еще желтоватые ливийцы и даже несколько нубийских мавров. Когда они, только чтобы показать себя, пригнувшись и быстрым шагом, словно спасаясь бегством, проходили с деревянными своими щитами, копьями, серьгами и кожаными треугольниками поверх набедренников по узким шекемским улицам, сквозь толчею верховых ослов и верблюдов, продавцов арбузов и дынь, торгующихся у лавок купцов, — горожане обменивались у них за спиной презрительными взглядами. Еще воины фараона развлекались играми «Сколько пальцев» и «Кто тебя ударил?» и пением песен о тяжелой доле бойца, особенно бойца, которому приходится коротать свою жизнь в горемычном краю Аму, вместо того чтобы радоваться ей на берегах богатого стругами жизнетворца, и под узорчатыми колоннами «Но», просто города, города, не имеющего себе равных, Но Амуна, города бога. Что судьба и защита Шекема имела для них не больше значенья, чем зернышко хлеба, в этом, увы, сомневаться не приходилось.

ОТПОВЕДЬ

Беспокойство горожан было бы еще сильнее, если бы они могли подслушать разговоры, которые вели между собой старшие сыновья приближающегося вождя — те слишком близко касавшиеся Шекема планы, которые вполголоса обсуждали эти запыленные и на вид предприимчивые молодые люди, прежде чем сообщили о них отцу, отчитавшему их, правда, со всей решительностью за такие намеренья. Рувиму, или Ре'увиму, как звали, собственно, самого старшего, было в ту пору семнадцать лет, Симеону и Левию — соответственно шестнадцать и пятнадцать, пятнадцать лет было также Дану, сыну Баллы, мальчику изобретательному и хитрому, а стройному, подвижному Неффалиму столько же, сколько сильному, но мрачному Иуде, — четырнадцать. Эти-то сыновья Иакова и участвовали в упомянутых тайных совещаниях. Гад и Асир, хотя и они в свои одиннадцать и десять лет были уже крепкими и умственно зрелыми парнями, оставались тогда еще в стороне, не говоря уже о трех самых маленьких.

О чем шла речь? О том самом, о чем тревожились и в Шекеме. Те, что шушукались вне городской стены, эти до черноты загоревшие под нахаринским солнцем юнцы в подпоясанных лохматых кафтанах и со слипшимися от жары волосами, были довольно дикими, всегда готовыми взяться за нож и за лук сынами пастушеской степи, привыкшими к встречам с дикими быками и львами, а также к жестоким дракам с чужими пастухами из-за пастбищ. От кротости и богомыслия Иакова они мало что унаследовали, ум их имел направленье сугубо практическое и, отличаясь юношеской строптивостью, которая прямо-таки ищет обиды и повода к драке, был полон племенного гонора, гордости религиозным своим благородством, хотя им-то как раз оно совсем не было свойственно. Прожив долгое время бездомно, в пути, в движенье, они чувствовали себя рядом с жителями плодородной страны, куда пришли, кочевниками, которым их свобода и смелость дают преимущество перед оседлым людом, и стали подумывать о разбое. Дан был первый, кто шепотом предложил захватить и разграбить Шекем. Рувим, при всей своей порядочности всегда поддававшийся внезапным порывам, быстро увлекся этой затеей; Симеон и Левий, самые большие драчуны, закричали и заплясали от удовольствия и боевого задора; воодушевление других было усилено гордым сознанием своего участия в заговоре.

Ничего неслыханного в их замыслах не было. Набеги на города и даже временный захват их вторгавшимися с юга или с востока жадными сынами пустыни, хабирами или бедуинами, если и не были в порядке вещей, то, во всяком случае, представляли собой явление не такое уже редкое. Но предание, идущее не от горожан, а от хабиров или иврим в узком смысле слова, от сыновей Израиля, — это предание со спокойной совестью, не сомневаясь в дозволенности такого эпического очищения действительности, утаивает от мира тот факт, что с самого начала в стане Иакова намечали определить отношения с Шекемом военным путем и что только сопротивление главы рода отсрочило реализацию этих планов на несколько лет, то есть до печального случая с Диной.

Спротивление это было, правда, величественно и непреодолимо. Иаков находился тогда в особенно приподнятом настроении, что объяснялось его образованностью, значительностью его души, его склонностью к далеко идущим ассоциациям. Последние двадцать пять лет его жизни виделись выпренному его уму в свете космического соответствия, они представлялись подобием кругооборота, сменой вознесения, сошествия в ад и воскресения, счастливейшим заполнением мифической схемы роста. Из Беэршивы он пришел некогда в Вефиль, в место, где ему привиделась великая лестница, это было вознесение. Оттуда — в степь преисподней, где ему пришлось служить, потеть и мерзнуть дважды семь лет, но где он стал затем очень богат, одурачив одного хитрого и в то же время глупого беса по имени Лаван, — по своей образованности он не мог не видеть в своем месопотамском тесте демона черной луны и злого

дракона, который его обманул, но которого он потом тоже основательно обманул и обокрал, после чего со всем украденным, а главное, со своей освобожденной Иштар, прекрасноокой Рахилью, смеясь в сердце своем великим и благочестивым смехом, он сломал запоры преисподней, поднялся из нее и пришел к Сихему. Сихемская долина могла и не быть такой цветущей, какой он действительно увидел ее в час прибытия, чтобы показаться задумчивому его воображению местом весеннего обновления в круговороте его жизни; авраамитские воспоминания об этом месте тоже наполняли его сердце кротким благоговением перед ним. Да, если отпрыски Иакова вспоминали о воинственности Авраама, о смелом его нападении на полчища Востока и о том, как он обломал бока звездопоклонникам, то сам он, Иаков, вспоминал о дружбе праотца Авраама с Мелхиседеком, сихемским первосвященником, о благословении, полученном им от Мелхиседека, о дани признанья и симпатии, отданной Авраамом сихемскому божеству; и поэтому, когда большие его сыновья в осторожной и почти поэтической форме намекнули на грубую свою затею, они встретили у него самый скверный прием.

— Прочь от меня, — воскликнул он, — и немедленно! Позор вам, сыновья Лии и Валлы! Разве мы разбойники пустыни, которые налетают на страну, как саранча, как бич божий, и пожирают урожай земледельца? Разве мы бродяги, без имени и без рода, и нам нужно выбирать между попрошайничеством и воровством? Разве Авраам не был князем среди князей этой земли и братом владык? Или вы хотите добыть себе власть над городами мечом окровавленным и жить в постоянных войнах и страхах, — как будете вы пасти ягнят наших на лугах, которые против вас, а коз наших — в горах, которые оглашены ненавистью? Прочь, болваны! Посмейте только! Поглядите, все ли в порядке в хозяйстве, и нельзя ли уже отнять от маток трехнедельных ягнят, чтобы сберечь молоко. Пойдите, соберите верблюжьей шерсти, чтобы у нас была плотная одежда для пастухов и рабов, ведь как раз об эту пору верблюды линяют! Пойдите, говорю я, проверьте веревки шатров и петли на крышах шатров, не прогнило ли что-нибудь, чтобы не случилось беды, не рухнул дом над Израилем. А я, знайте это, препояшусь и пойду под ворота города для мирной и мудрой беседы с горожанами и пастырем их Еммором, чтобы заключить с ними письменный договор и получить у них землю и вести с ними торговлю себе на пользу и им не в убыток.

ДОГОВОР

Произошло это так. Иаков раскинул свой стан неподалеку от города, у купы старых шелковичных и скипидарных деревьев, показавшейся ему священной, среди волнистого простора лугов и пашен, откуда видны были голые утесы горы Эвал и где возвышался скалистый вверх, но благословенный у своего подножья Гаризим; послав отсюда к пастырю Еммору в Шекем трех человек с хорошими подарками — связкой голубей, лепешками из сушеных фруктов, светильником в виде утки и несколькими красивыми кувшинами с изображениями рыб и птиц, — он велел передать, что великий странник Иаков хотел бы переговорить под воротами с главами города насчет проживания и прав. Был назначен час встречи, и когда он наступил, подагрик Еммор со своими домочадцами и со своим сыном Сихемом, вертлявым юнцом, вышли из восточных ворот; вышел из любопытства и Усер-ка-Бастет — в воротнике из цветов и с несколькими кошками; с другой стороны прибыл исполненный достоинства Иаков бен Ицхак — в сопровождении старшего своего раба Елиезера и в окружении великовозрастных своих сыновей, которым ведено было вести себя в этот час безупречно вежливо; таким образом, стороны встретились под воротами, и там же, под воротами и перед ними, состоялись переговоры, ибо ворота эти представляли собой тяжелое строение, палатообразно выступавшее наружу и внутрь, а внутри была рыночная и судная площадь, и туда набилось много народу, чтобы из-за спин знати наблюдать за совещанием, которое началось, как того требовала учтивость, со всяческих церемоний, да и вообще отнюдь не

спешило приступить к делу, так что продлилось шесть часов и торговцы на рыночной площади успешно распродали свой товар. После первого обмена любезностями стороны сели друг против друга на походные сиденья, циновки и коврики; было подано угощение: пряное вино и простокваша с медом; долго говорили только о здоровье глав и их близких, затем о дорожных условиях по обе стороны «стока», затем о еще более посторонних вещах; к тому, ради чего встретились, подбирались словно бы нехотя, пожимая плечами, снова и снова отвлекаясь от этого, как будто предлагая друг другу совсем об этом не говорить, именно потому, что это и было существом разговора, делом, предметом, которому, ради высшей человечности, непременно следовало придать видимость чего-то презренного. Ведь, в сущности, роскошь неделовитости и мнимое, чисто почетное господство прекрасной формы, а значит, благородно-беспечная трата времени на нее — это и есть достойное человека благо, даруемое цивилизацией, а не просто природой.

Впечатление, произведенное Иаковом на горожан, было самым благоприятным. Если не с первого взгляда, то вскоре после начала переговоров они поняли, с кем имеют дело. Это был владыка и князь милостью божьей, аристократ по духовным своим качествам, облагораживавшим и его внешность. Тут оказало свое действие то самое благородство, которое в глазах народа издавна было приметой преемников или новых воплощений Авраама и, нисколько не завися от рожденья, основываясь на духе и форме, обеспечивало этому типу людей религиозный авторитет. Волнующая кротость и глубина взгляда Панова, совершенное его благообразие, изысканность его жестов, дрожанье его голоса, его просвещенная и цветистая, построенная на тезисах и антитезисах, созвучиях мыслей и мифических намеках речь настолько расположила к нему в первую очередь подагрика Еммора, что тот вскоре поднялся и, подойдя к шейху, поцеловал его, чем снискал громкое одобрение народа, толпившегося во внутренней палате ворот. Что касалось просьбы чужеземца, которая была известна заранее и имела в виду право постоянного жительства, то она была для градоправителя несколько затруднительна, ибо, если бы дальней и высшей инстанции донесли, что он, Еммор, отдает свою землю хабирам, это навлекло бы на его старость немалые неприятности. Однако взгляды, которыми он безмолвно обменялся с начальником гарнизона, проникшимся таким же теплым чувством к Иакову, как он сам, успокоили его в этом отношении, и, открыв переговоры красивым и, разумеется, не принятым всерьез, а вызвавшим лишь ответный поклон предложением, чтобы Иаков взял землю и права просто в подарок, Еммор назвал довольно высокую цену: он потребовал сто шекелей серебром за клин в три квадратных десятины и, готовый к упорному торгу, прибавил, что это, конечно, пустяки для такого покупателя и продавца. Но Иаков не торговался. Душа его была взволнована и окрылена подражаньем, повтореньем, возобновленьем. Он был Авраамом, который пришел с востока и покупал у Ефрона поле, двойную усыпальницу. Разве прародитель спорил о цене с главой Хеврона и детьми Хета? Столетий как не бывало. Что было когда-то, происходило сейчас. Богатый Авраам и богач с востока Иаков платили с достоинством сразу: рабы-халдеяне притащили весы и каменные гири. Старший раб Елиезер вышел вперед с глиняным сосудом, полным серебра в кольцах; подбежавшие писцы Еммора, присев, стали составлять мирную и торговую грамоту по всем правилам. Была взвешена мзда за поле и пастбище, договор имел священную силу, и проклят был тот, кто его нарушит. Люди Иакова были сихемитами, полноправными гражданами. Они могли входить и выходить через городские ворота когда угодно. Они могли свободно передвигаться по стране и вести в ней торговлю. Их дочерей могли брать в жены сыновья Шекема, а дочери Шекема — их сыновей в мужья. Таков был закон, и нарушитель его на всю жизнь лишал себя чести. Деревья на купленном поле принадлежали также Иакову — и враг закона тот, кто это оспорит. Усер-ка-Бастет, как свидетель, оттиснул на глине жука своего перстня, Еммор — свой камень, Иаков — печатьку, висевшую у него на шее. Свершилось. Последовал обмен поцелуями и любезностями. Вот как поселился Иаков у места Сихем в стране Ханаан.

ИАКОВ ЖИВЕТ У ШЕКЕМА

«Знаешь ли ты об этом? — Знаю доподлинно». И вовсе не знали этого, а тем более доподлинно, пастухи Израиля, когда поздней, у костров, делали это предметом «прекрасно-словных бесед». Со спокойной совестью искажали они одни события и умалчивали о других ради чистоты этой истории. Не упоминая о том, как криво усмехнулись тогда же, при подписании договора, сыновья Иакова, особенно Левий и Симеон, они изображали дело так, будто договор был заключен только тогда, когда история с Диной и княжеским сыном Сихемом уже началась, — да и началась-то она не совсем так, как они это «знали». По их рассказу выходило, что известное условие, поставленное Сихему касательно дочери Иакова, составляло одну из статей документа о братстве, — а условие это было поставлено совершенно особо и совсем не в тот момент, который они будто бы «доподлинно знали». Сейчас мы это объясним. Началом всего был договор. Без него люди Иакова вообще не поселились бы близ Шекема и дальнейшее не могло бы произойти. Они уже почти четыре года прожили в шатрах близ Шекема, у входа в долину, когда начались неурядицы; они растили свою пшеницу на пашне и свой ячмень в поле; они собирали масло своих деревьев, пасли свои стада и торговали этим в стране; они выкопали там, где поселились, колодец в четырнадцать локтей глубиной и очень широкий, и выложили его кирпичом, колодец Иакова... Колодец — такой глубины и ширины? Зачем вообще понадобился колодец детям Израиля, если у дружественных им горожан имелся колодец перед воротами, а в долине было полно родников? Да ведь сразу он им и не понадобился, они начали рыть его не тотчас по прибытии, а несколько позднее, когда оказалось, что для них, иврим, жизненно необходимо иметь в своем распоряжении большой, не иссякающий и при величайшей засухе запас воды на собственной территории. Орудие братского сближения было создано, и кто сомневался в нем, из того надлежало выпустить потроха. Но создано оно было главарями, хотя и под одобрительные возгласы соответственно настроенного тогда народа, а в глазах людей Шекема люди Иакова оставались все-таки чужаками, пришельцами — к тому же не очень приятными и безобидными, а весьма чванными и склонными поучать, убежденными в религиозном своем превосходстве надо всем миром и умевшими при продаже скота и шерсти заботиться о своей выгоде так, что у тех, кто имел с ними дело, страдало чувство собственного достоинства. Словом, братство не было глубоким, оно ослаблялось разными помехами, в частности тем, что уже вскоре евреям, чтобы немного их ограничить, запретили пользование наличными водоемами, не упомянутое, кстати сказать, и в орудии, — отчего и появился большой колодец Иакова, свидетельствующий о том, что еще до тяжелых раздоров отношения между племенем Израиль и жителями Шекема были такими, какими они обычно бывали между вторгшимися хабирскими племенами и коренными жителями страны, а не такими, какими они должны были стать согласно договору, заключенному под городскими воротами.

Иаков знал это и не знал этого, то есть он не обращал на это внимания, направляя кроткий свой ум на дела религиозные и семейные. Тогда у него еще была жива Рахиль, прекрасная, тяжело доставшаяся, опасно похищенная и спасительно уведенная в страну отцов, праведная и самая любимая, услада глаз его, радость сердца, утеха души. Иосиф, отпрыск ее, истинный сын, тогда подрастал; он превращался — о дивная пора! — из младенца в мальчика, и притом в такого красивого, смышленного, приятного, обворожительного, что при виде его у Иакова душа переполнялась восторгом, и уже тогда старшие его сыновья стали переглядываться по поводу сумасбродства, до которого доходил старик в своей любви к этому языкастому шалуни. Кроме того, Иаков часто отлучался от хозяйства, бывал в отъезде, в пути. Он установил связи с городскими и сельскими единоверцами, посещал посвященные Авраамову богу места на горах и в долинах, выяснял в беседах природу единственного и всевышнего. Можно не сомневаться, что прежде всего он спустился к полудню, чтобы после разлуки, длившейся почти

целый человеческий век, обнять отца и, показав ему себя богатым, подтвердить перед ним свою благословенность, которая столь очевидным образом пошла ему, Иакову, впрок. Ибо Ицхак был тогда еще жив, он был очень стар, и давно совершенно ослеп, а Ревекка уже сошла в царство мертвых. По этой-то причине Исаак и перенес место своих жертвоприношений, находившееся прежде у дерева «Иагве эль олам» близ Беэршивы, к пророческому теребинту возле Хеврона — чтобы находиться в непосредственной близости от «двойной пещеры», где он похоронил дочь двоюродного своего брата и свою сестру во браке, и где вскоре он сам, Ицхак, негодная жертва, был после долгой и богатой историей жизни погребен и оплакан своими сыновьями Иаковом и Исавом, когда Иаков, подавленный, пришел туда из Вефиля после смерти Рахили, с маленьким ее убийцей, новорожденным Бен-Они, Вениамином...

СБОР ВИНОГРАДА

Четыре раза зеленели, а затем и желтели пшеница и ячмень на нивах Шекема, четыре раза цвели, а затем увядали анемоны долины, и восемь раз уже люди Иакова стригли овец (крепчал молодняк Иакова, отращивал руно в мгновение ока и дважды в году щедро приносил ему шерсть: и в месяце сиване, и в осеннем месяце тишри). И вот однажды жители Шекема собирали виноград и справляли праздник винограда в городе и на ступенчатых склонах Гаризима, и было это в полнолуние осеннего равноденствия, когда год обновлялся. В городе и долине только и знали, что веселились, устраивали шумные шествия и воздавали хвалу урожаю, ведь виноград они уже с пенем собрали, уже голышом растоптали его в давяльне, вырубленной в скале, отчего ноги их делались пурпурными по самые бедра, а сладкая кровь текла по желобу в чан, и они, стоя возле него на коленях, со смехом наполняли ею кувшины и бурдюки, чтобы она забродила. И вот теперь, когда вино было разлито, они справляли семидневный праздник, приносили в жертву десятую часть первин, и от крупного, и от мелкого скота, и от зерна, и от масла, и от виноградного сусла, пили и ели, приводили на поклон к Адонаи, великому баалу, в дом к нему, меньших богов, и процессией, под бой барабанов и звон кимвалов, носили его самого в ладье на плечах по стране, чтобы он снова благословил гору и поле. А на середину праздника, на третий его день, они назначили пляски и хороводы перед городом, в присутствии княжеского двора и всякого, кто пожелает прийти, не исключая детей и женщин. И вот прибыли сюда старик Еммор, которого принесли качалочники, и вертлявый Сихем, тоже в носилках, со всем персоналом жен и скопцов, с чиновниками, купцами и челядью, и из шатрового своего стана пришел сюда в сопровождении жен, сыновей и рабов Иаков, и все они собрались и уселись у того места, где раздалась музыка, и близ того, где должен был начаться хороводный пляс — под масличными деревьями, в долине, где открывался широкий простор, плавно изгибалась каменистая свержу, но приятная в нижней своей части Гора Благословенья, а в ущелье Горы Проклятья, щипая сухую траву, бродили козы. Вечер был синий и теплый, закатный свет украшал всех и вся и покрывал позолотой тела танцовщиц, которые, в вышитых повязках на бедрах и волосах, с насурмленными ресницами и удлиненными краской глазами, плясали перед музыкантами, поводя животом и отворачивая голову от гремевшего под их пальцами бубна. Музыканты, сидя, играли на лирах и лютнях и оглашали окрестность пронзительным плачем коротких флейт. Другие, находившиеся позади игравших, только отбивали, хлопая в ладоши, такт, а третьи пели, теребя при этом кожу на горле рукой, чтобы звуки получались сдавленные и трогательные. Мужчины тоже выходили плясать; они были бородатые и нагие, с подвязанными бычьими хвостами, и прыгали, как козлы, ловя девушек, которые, извиваясь, убегали от них. Еще играли в мяч, а еще девушки ловко жонглировали несколькими шарами, скрестив руки или сидя на бедре у подружки. Всем было очень весело, и горожанам, и жителям шатров, и хотя Иаков не любил трезвона и шума, потому что они его оглушали и рассеивали мысли о боге, он ради остальных делал довольное лицо и из вежливости иногда отбивал такт хлопками.

Вот тогда-то княжеский сын Сихем и увидел Дину, тринадцатилетнюю дочь иврита, а увидев, пожелал ее так, что больше уже не переставал желать ее. Она сидела со своей матерью Лией на циновке, сразу возле музыкантов, напротив сиденья Сихема, и он неотрывно глядел на нее смущенными глазами. Она не была красива, красив не был никто из детей Лии, но какое-то очарование исходило в то время от ее молодости, сладостное, вязкое, словно бы тягучее, как финиковый мед, и, глядя на Дину, Сихем уподобился вскоре мухе на липучке: он повел лапками, чтобы узнать, сумеет ли он освободиться, если пожелает, хотя всерьез этого не желал, потому что слишком уж сладкой была липучка, но испугался до смерти, поняв, что освободиться не сумеет и при желании, и заерзал на походном своем сиденье, то и дело заливаясь румянцем и снова бледнея. У нее было смуглое личико с черной челкой на лбу, под головным покрывалом, продолговатые, сумрачно-томные, клейкой черноты глаза, которые от непрерывных взглядов влюбившегося невольно начинали косить, широконоздрый нос, в перепонке которого висело золотое кольцо, широкий, красный и пухлый рот, скорбно изогнутый, и почти не было подбородка. Ее непрепоясанное платье из синей и красной шерсти прикрывало только одно плечо, а другое, голое, было очаровательно узко, оно было самым очарованием — причем дело не улучшалось, а лишь ухудшалось, когда она поднимала со стороны этого плеча руку и заносила ее за голову, так что Сихем видел влажные завитки в маленьких ямках ее подмышек, а сквозь рубашку и платье проступали очертанья ее изящно твердых грудей. Очень опасны были и ее смуглые ножки с медными пряжками на лодыжках и мягкими золотыми колечками на всех пальцах, кроме больших. Но, пожалуй, опасней всего были маленькие, золотисто-коричневые руки с накрашенными ногтями, когда они играли у ее лона, тоже в кольцах, детские и в то же время умные, и стоило Сихему подумать, как это было бы, если бы эти руки ласкали его в постели, у него кружилась голова и спирало дыхание.

А о том, чтобы лечь с ней в постель, он подумал сразу же и ни о чем другом больше не думал. Поговорить с самой Диной и польстить ей иначе, чем взглядами, обычай ему не позволил. Но уже на обратном пути и затем дома он стал твердить отцу, что не может жить и зачахнет без этой хабирянки и чтобы старик Еммор отправился и купил ее в жены для его постели, а не то он, Сихем, вскоре зачахнет. Что тут было делать подагрику, как не велеть двум рабам отнести себя к волосяному дому Иакова, как не склониться перед ним, назвать его братом и, рассказав ему после всяких околичностей о жестокой сердечной страсти своего сына, посулить богатое вено, если отец Дины согласится на этот союз? Иаков был застигнут врасплох и озадачен. Это предложение вызвало у него двойственные чувства, смутило его. С житейской точки зрения оно было почетно, влекло за собой установление родственных отношений между его домом и домом местного князя и могло принести ему и его племени известную пользу. Новость эта взволновала его еще и как напоминание о далеких днях, о том, как он сам сватал Рахиль у беса Лавана и как тот сначала медлил исполнить, а потом использовал и обманул это его желание. Теперь он сам оказался в роли Лавана, теперь его дочери желал юноша, и он, Иаков, не хотел ни в каком отношении вести себя, как Лаван. С другой стороны, он сильно сомневался в высшей дозволенности этого союза. Он никогда до сих пор особенно не пекся о девушке Дине, так как чувства его принадлежали восхитительному Иосифу, и никогда не получал свыше никаких указаний на ее счет. Но она была как-никак его единственной дочерью, а притязания княжеского сына повысили ее достоинство в его, Иакова, глазах, и ему показалось опасным растрчивать перед богом это не пользовавшееся особенным вниманием имущество. Разве не велел Авраам Елиезеру положить руку свою под его стегно в том, что не возьмет Ицхаку, истинному сыну, жены из дочерей ханаанеев, среди которых он, Авраам, жил, а добудет жену на востоке, на родине его и из его родни? Разве Ицхак не передал этого запрета ему самому, праведному своему сыну, разве не сказал он: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских»? Дина была всего лишь девочкой, и притом дочерью неправедной и, конечно, вопрос о том, с кем она вступит в брак, не был так важен, как вопрос о браке благословенных. Но дорожить собой перед богом все-таки следовало.

УСЛОВИЕ

Иаков позвал на совет десятерых своих сыновей, вплоть до Завулона, и они все сидели перед Еммором, поднимали руки и качали головами. Старшие, которые задавали тон, были не такими людьми, чтобы сразу принять это предложение, как будто о лучшем они и мечтать не могли. Без всяких объяснений между собой они сходились на том, что нужно не спеша обдумать, как лучше поступить при таких обстоятельствах. Дину? Их сестру? Дочь Лии, только что достигшую зрелости, прелестную, бесценную Дину? За Сихема, сына Еммора? Тут, само собой разумеется, было над чем подумать. Они испросили себе срок на размышление. Они сделали это потому, что вообще любили заключать сделки не торопясь, однако у Симеона и Левия были еще свои особые задние мысли и смутные надежды. Ведь они отнюдь не отказались от старых своих замыслов, и то, чего еще не повлек за собой запрет на водоемы, могло, так думали они, приспеть благодаря Сихемовым желаньям и домогательствам.

Итак, три дня на размышление. И Еммора, несколько обиженного, унесли домой. По истеченье же этого срока Сихем сам приехал на белом осле в стан Иакова, чтобы довести до конца свое дело, как того потребовал от него потерявший охоту продолжать переговоры отец и как то вполне отвечало его, Сихемову, нетерпению. Он вел дело не по-торгашески, совершенно не кривя душой и не скрывая, что буквально сгорает от желания обладать девочкой Диной.

— Просите чего хотите! — сказал он. — Просите не стесняясь — дары и вено! Я Сихем, княжеский сын, меня великолепно содержат в отцовском доме, и, клянусь баалом, я дам, что ни скажете мне!

Тогда они сказали ему свое условие, выполнить которое надлежало до продолжения каких бы то ни было переговоров, условие, на котором они тем временем успели сойтись.

Тут нужно быть очень внимательным к истинной последовательности событий, отличной от той, в какой их позднее располагали и передавали пастухи в «прекраснословных беседах». Если верить пастухам, то Сихем сделал свое злое дело сразу и неожиданно и вызвал коварный ответный удар; в действительности же он решился действовать явочным порядком только тогда, когда люди Иакова несправедливо с ним поступили и он увидел, что его водят за нос, а то и вообще обманули. Итак, они сказали ему, чтобы прежде всего он обрезался. Это необходимо: таковы уж их убеждения, в их глазах было бы мерзостью и позором отдать свою дочь и сестру человеку необрезанному. Поставить это условие посоветовали отцу братья, и, довольный оттяжкой, которую оно сулило, Иаков не мог не согласиться с ним и по существу, хотя он и удивился такому благочестию сыновей.

Сихем прыснул со смеху и тут же извинился, прикрыв рот руками. И это все? — спросил он. — Больше ничего им не нужно? Ну, знаете! Да за то, чтобы обладать Диной, он готов отдать глаз, правую руку, а не то что такую безразличную часть тела, как крайняя плоть! Сутех свидетель, это действительно сущий пустяк! Его друг Бесет тоже обрезан, и его, Сихема, никогда это не смущало. Ни одна из маленьких сестер Сихема в доме игр и утех не посетует на такую нехватку. Можно считать, что дело сделано — и притом руками одного искусного во врачеванье священника из храма всевышнего! Как только тело его выздоровеет, он вернется! И он выбежал из шатра, делая знаки своим рабам, чтобы те поскорее подали ему белого осла.

Когда он снова явился, явился как можно скорее, неделю спустя, почти больной, еще не совсем оправившись от своего жертвоприношенья, но сияя надеждой, оказалось, что глава семьи в отъезде. Иаков уклонился от встречи с Сихемом. Он предоставил действовать сыновьям. Получалось, что он все-таки целиком принял роль беса Лавана, и он предпочел сыграть ее заочно. И что же сказали сыновья бедному Сихему в ответ на его бодрое сообщение, что ус-

ловие выполнено, что это не такой пустяк, как ему представлялось, а дело довольно тягостное, но что дело это все-таки сделано и теперь он ждет сладчайшей награды? Сделано-то сделано, сказали они. Очень может быть, что и сделано, они охотно верят. Но сделано не в надлежащем духе, без высшего смысла и понимания, поверхностно, без значенья. Сделано? Возможно. Но сделано только ради брака с Диной, с женщиной, а не в смысле бракосочетания с «Ним». К тому же сделано, вероятно, не каменным ножом, как то необходимо, а металлическим, что уже само по себе ставит все под вопрос или даже сводит на нет. А кроме того, у княжеского сына Сихема есть ведь уже главная сестра во браке, есть ведь уже первая и праведная, Рехума, хевитянка, так что Дина, дочь Иакова, стала бы только одной из наложниц, а об этом нечего и думать.

Сихем заметался. Откуда они знают, вскричал он, в каком духе и с каким значеньем сделал он это неприятное дело, и почему они заговорили о каменном ноже только теперь, хотя обязаны были сказать об этом сразу? Наложница? Но ведь сам царь Митанни отдал свою дочь, Гулихипу по имени, замуж за фараона и отправил ее к нему с великой пышностью не в качестве царицы стран, царица стран — богиня Тейе, а в качестве побочной жены, и уж если сам царь Шутарна?..

Ну, что ж, отвечали братья, то были Шутарна и Гулихипа. А сейчас речь идет о Дине, дочери Иакова, князя от бога, семени Авраамова, и уж она-то не может быть наложницей при шекемском дворе, до этого Сихем, подумав как следует, дойдет и своим умом.

И это Сихем должен считать последним их словом?

Они пожали плечами, развели руками. Не могут ли они порадовать его подарком, скажем, двумя-тремя барашками?

Тут его терпение лопнуло. Он вынес много неприятного и тяжкого из-за своего желания. Священник из храма оказался вовсе не таким искусником, каким он себя выставлял, и не избавил сына Еммора ни от воспаления, ни от лихорадки, ни от жестоких болей. И вот награда за все? Он выкрикнул проклятие, сводившееся к пожеланию, чтобы сыновья Иакова сделались столь же невесомы, как свет и воздух, проклятие, которое те быстрыми и ловкими движениями постарались отвести от себя, — и бросился прочь. Четыре дня спустя исчезла Дина.

ПОХИЩЕНИЕ

«Знаешь ли ты об этом?» Надо соблюдать последовательность! Сихем был только распутным юнцом, падким на лакомства, не приученным отказываться от каких бы то ни было плотских желаний. Но это не основание всегда к величайшей его невыгоде принимать на веру каждое слово некоторых тенденциозных пастушеских сказок. Если история эта оставила на озабоченном лице Иакова такие глубокие следы, то как раз потому, что, хотя он первый же рассказал ее сокращенно и приукрашенно, веря в нее в таком виде, откуда рассказывал, — втайне Иаков отлично знал, кто первый помышлял о разбое и о насилии, кто с самого начала к этому и клонил, знал, что сын Еммора не просто похитил Дину, а начал с честного сватовства и, лишь будучи обманут, счел себя вправе сделать свое счастье основой дальнейших переговоров. Одним словом. Дина была украдена, похищена. Среди бела дня, в открытом поле и даже на виду у ее родни, к ней подкралась несколько горожан, когда она играла с ягнятами, заткнули ей рот платком, вскинули ее на верблюда и успели далеко продвинуться с нею к городу, прежде чем Израиль оседлал для погони верховых животных. Дина исчезла, запертая в доме игр и утех, где ее окружали, впрочем, неведомые ей дотоле городские удобства, и Сихем поспешно лег с ней в постель, против чего она даже не могла убедительно возразить. Она была существо серое, покорное, без собственного мнения и безответное. То, что с нею произошло, когда это произошло самым явным и энергичным образом, она приняла как нечто непреложное и естественное. Кроме того, Сихем ведь не причинил ей никакого зла, напротив, да и остальные его сестрички, не исключая Рехумы, первой и праведной, были приветливы с ней.

Но братья! Но Симеон и Левий, особенно они! Их ярость, казалось, не знала границ — Иакова, смущенного и подавленного, они просто измучили. Обещана, изнасилована, гнусно растлена — и кто? Их сестра, черная горlinkа, непорочнейшая, единственная, Авраамово семя! Они изломали свои нагрудные украшения, изорвали свое платье, надели мешки, рвали на себе волосы и бороды, выли, делали себе на лице и теле длинные порезы, придававшие им ужасный вид. Они падали на живот, били кулаками землю и клялись, что не будут ни есть, ни испражняться до тех пор, пока не спасут Дину от похоти содомитов и не превратят в пустыню место, где над ней надругались. Мечь, мечь, нападение, смертоубийство, кровопролитие — только об этом они и твердили. Потрясенному, озадаченному, мучительно растерянному Иакову, который, впрочем, чувствовал, что вел себя по-лавановски, и прекрасно понимал, что братья ждут скорого исполнения первоначальных своих желаний, было трудно сдерживать их, не рискуя получить упрек в недостатке чувства чести и отцовского чувства. Он тоже до известной степени участвовал в демонстрациях скорбной их ярости, облачившись в грязное платье и немного растрепав себе волосы, но потом постарался объяснить им, сколь мало толку в насильственном освобождении Дины, которое ведь не решит, а только поставит вопрос о том, как быть с изнасилованной и опозоренной. После того как она побывала в руках Сихема, ее возвращение, если хорошенько подумать, нежелательно, и гораздо мудрее обуздать свое горе и подождать действовать — на разумность такого поведения указывает ему, Иакову, как он считает, и печень заколотой для гаданья овцы. Несомненно, что при тех взаимоотношениях, какие сложились на основе договора между городом и племенем, Сихем вскоре снова даст знать о себе, обратится к ним с новыми предложениями и предоставит возможность придать этому безобразному делу если не прекрасный, то хоть мало-мальски пристойный вид.

И вот, к удивлению самого Иакова, сыновья неожиданно умолкли и согласились подождать княжеского посольства. Их уступчивость сразу встревожила его чуть ли не больше, чем их неистовство, — что крылось за нею? Он с тревогой следил за ними, но в их совете он не участвовал и о новом их решении узнал не раньше посыльных Сихема, каковые, в точности как он ожидал, явились к ним через несколько дней, чтобы вручить написанное на вавилонском языке и потребовавшее нескольких глиняных дощечек письмо, по форме весьма учтивое, а по своему смыслу тоже очень любезное и предупредительное. Оно гласило:

«Иакову, сыну Ицхака, князя от бога, отцу моему и господину, которого я люблю и чьей любовью донельзя дорожу. Говорит Сихем, сын Еммора, Твой зять, который Тебя любит, княжеский наследник, которого народ приветствует криками ликования! Я здоров. Да будешь здоров и Ты! Да пребудут в отменном здоровье также Твои жены. Твои сыновья. Твои домочадцы, Твой крупный и мелкий скот и все, что Тебе принадлежит! Некогда отец мой Еммор учредил и скрепил с Тобой, другим моим отцом, договор о дружбе, и горячая дружба между нами и вами длилась четыре кругооборота, во время которых я непрестанно думал: пусть боги устроят, чтобы все было так, как теперь, а не иначе, то есть чтобы, по воле моего бога Баал-берита и Твоего бога Эль-эльона, которые суть почти один и тот же бог и отличаются друг от друга лишь мелочами, в отношении теплоты нашей дружбы все обстояло во веки веков так, как теперь!

Когда же глаза мои увидели дочь Твою Дину, дитя Лии, дочери Лавана, халдеянина, я от всей души пожелал, чтобы наша дружба, без ущерба для своей бесконечной длительности, стала в тысячу тысяч раз крепче. Ибо дочь Твоя подобна молодой пальме у воды и цветущей гранатовой яблони в саду, и сердце мое дрожит от вожделения к ней, и я понял, что без нее мне и дыханье не в радость. Тогда, как Ты знаешь, князь города Еммор, которого народ приветствует криками ликования, прибыл к Тебе, чтобы поговорить со своим братом и посоветоваться с моими братьями, Твоими сыновьями, и ушел обнадеженный. И когда я пришел сам, чтобы посвататься к Дине, дочери Твоей, и попросить у Вас воздуха, которым я мог бы дышать. Вы сказали: «Дорогой, Ты должен обрезать, прежде чем Дина станет Твоей, иначе это будет для нас мерзость перед нашим богом». И я не ранил обидой сердце отца моего и братьев моих, а ответил по-дружески: «Я исполню Ваше желанье». И я радовался сверх меры и велел Яраку,

писцу книги божьей, поступить со мною так, как Вы наказали, и натерпелся такой боли под его руками и после, что у меня лились слезы, и все ради Дины. Когда же я пришел к Вам снова, оказалось, что все напрасно. Тогда, поскольку условие было выполнено. Дина, дитя Твое, пришла ко мне, чтобы я показал ей любовь на своей постели — к величайшему своему и не меньшему ее удовольствию, как я узнал из ее собственных уст. Но чтобы из-за этого не вышло распри между Твоим и моим богом, пусть отец мой поспешит назначить цену и условия моего брака с милой моему сердцу Диной, дабы устроить великий праздник в стенах Шекема и сыграть свадьбу всем вместе, со смехом и песнями. И на память об этом дне и вечной дружбе между Шекемом и Израилем отец мой Еммор велит отчеканить триста каменных жуков с моим именем и именем Дины, моей супруги. Дано в городе в двадцать пятый день месяца сбора урожая. Мир и здоровье получателю!»

ПОДРАЖАНИЕ

Таково было это письмо. Иаков и его сыновья изучали его поодаль от шекемских посланцев, и когда Иаков взглянул на сыновей, те сказали ему, как они положили вести себя при таком обороте дела, и он удивился, но не мог не согласиться по существу с их предложением; он понимал, что выполнение нового условия, ими намеченного, будет, во-первых, важной религиозной победой, а во-вторых, удовлетворительным искуплением учиненного злодеянья. Поэтому, когда они снова вышли к посыльным, он предоставил слово обиженным братьям Дины, и слово взял Дан, который и сообщил посольству принятое решение. Они, сказал он, богаты милостью божьей и не придают большого значения размерам выкупа за Дину, которую Сихем очень удачно сравнил с пальмой и с душистым гранатовым цветом. Это пусть Еммор и Сихем определяют сами, как велит им их честь. Но Дина вовсе не «пришла» к Сихему, как тот пожелал выразиться, а была украдена, чем создано новое положение, с которым они, братья, просто так не помирятся. Помирятся они с ним лишь при условии, что вслед за похвально обрезавшимся Сихемом обрежется весь мужской пол в Шекеме, старики, мужчины и мальчики, причем не далее как через три дня и непременно каменными ножами. Когда это произойдет, можно будет и в самом деле сыграть свадьбу и устроить в Шекеме великий праздник со смехом и гамом.

Условие это казалось нескромным, но в то же время выполнить его было легко, и посыльные сразу выразили свою уверенность в том, что их владыка Еммор не преминет отдать необходимые распоряжения. Но едва они удалились, у Иакова внезапно возникли такие ужасные догадки насчет смысла и цели этого притворно благочестивого требования, что внутренности у него перевернулись от страха и он предпочел бы вернуть горожан. Он не верил ни в то, что братья забыли свои старые, первоначальные желанья, ни в то, что они отказались от мести за похищение и позор Дины; а сопоставив это с недавней их внезапной уступчивостью и с высказанным ими теперь требованием и вспомнив, какие выражения приняли их изрезанные в знак скорби лица, когда их оратор упомянул о свадьбе и о праздничном шуме, которые будут устроены в Шекеме по выполнении условия, он подивился своей несообразности, тому, что не сразу, не тогда же, когда они говорили, увидел их черные задние мысли.

Радость подражания и преемственности — вот что его ослепило. Он вспомнил Авраама, — как тот по велению господина и для союза с ним обрезаю однажды весь свой дом, Измаила и всех рабов, рожденных в доме или купленных у иноплеменников, весь мужской пол своего дома, он, Иаков, был уверен, что и сыновья, выставляя свое требование, опирались на эту историю, — да, опирались-то они на нее, замысел пришел к ним оттуда, но как намеревались они довести его до конца! Он повторял про себя рассказ о том, как на третий день, когда Авраам был в болезни, господь пришел проведать его. Бог стоял перед хижинкой, и Елиезер не заметил его. Но Авраам-то заметил и настоятельно пригласил войти. Однако, видя, что Авра-

ам перевязывает рану свою, господь сказал: «Не подобает мне здесь останавливаться». Вот как кротко отнесся господь к священносрамному недугу Авраама, — ну, а они, какую кротость собирались они явить горожанам на третий день, когда те будут в болезни? Иаков содрогнулся при мысли о таком подражанье, и он содрогнулся снова, увидев их лица, когда из города сообщили, что условие принято без раздумий и что точно в срок, на третий день от вчерашнего, будет принесена эта всеобщая жертва. Ему не раз хотелось воздеть к ним руки с мольбой; но он боялся силы их возмущенной братской гордости, боялся их обоснованного права на месть и понимал, что затея, которую он мог некогда подавить торжественным своим запрещением, теперешними обстоятельствами сильно подкреплена. Был ли он — если спросить осторожно — даже чуть-чуть благодарен им втайне за то, что они не посвящали его в свои замыслы, не впутывали его в них, так что при желании он мог ни о чем не знать или даже ни о чем не догадываться и предоставить случиться тому, что случиться должно было? Разве не возгласил в Вефиле под звуки арф бог-вседержитель, что он, Иаков, овладеет воротами, воротами врагов своих, а не значило ли это, что, несмотря на личное его миролюбие, завоевания, война и разбой все-таки написаны ему на роду?.. Он перестал спать от страха, тревоги и сокровеннейшей гордости коварным мужеством своих отпрысков. Не спал он и в ту страшную ночь, третью по истечении срока, когда, закутавшись в плащ, лежал в шатре и с ужасом внимал глухому гулу вооруженного приступа...

ПОБОИЩЕ

Мы подходим к концу правдивого нашего изложения шекемского эпизода, дававшего позднее столько поводов для песен и прикрашенных сказаний, — прикрашенных в израильском понимании, в отношении последовательности приведших к резне событий, но вовсе не в отношении самой резни — тут прикрашивать было нечего, и на ужасных ее подробностях в прекраснословных беседах настаивали с каким-то даже щегольством и хвастовством. Благодаря кощунственной своей хитрости люди Иакова, численностью значительно уступавшие горожанам, ибо нападающих было всего человек пятьдесят, справлялись с Шекемом довольно легко — и при перелезании через стену, которая почти не охранялась и на которую они, пока еще молча, взобрались с помощью веревочных и приставных лестниц, и во время суматохи, которую они затем, перестав вдруг таиться, учинили внутри города, к полной растерянности поневоле нерасторопных жителей. Все шекемцы мужского пола, от мала до велика, не исключая и большей части военного гарнизона, томились лихорадкой, страдали и «перевязывали рану свою». Люди же племени иврим, здоровые телом и морально сплоченные девизом «Дина!», который они то и дело выкрикивали во время своей кровавой работы, неистовствовали как львы, они казались вездесущими и, с самого начала вселив в души горожан представление о неотвратимой каре, не встречали почти никакого сопротивления. Особенно главари, Симеон и Левий, вызывали своим криком, заученным, переворачивавшим внутренности бычьим ревом тот страх божий, жертвы которого видели средство уйти от смерти разве что в ошалелом бегстве, но ни в коем случае не в борьбе. Горожане кричали: «Горе! Это не люди! Среди нас Сутех! Во все их члены вселился многославный баал!» И, пускаясь наутек, погибали под ударами дубинок. Огнем и мечом, в буквальном смысле слова, вершили расправу евреям; город, крепость и храм дымились, улицы и дома были залиты кровью. Только здоровых и крепких молодых людей брали в плен, остальных убивали, и если при этом жестокость убийц не ограничивалась простым умерщвлением, то в оправдание их нужно учесть, что в своих действиях они руководствовались поэтическими представлениями не в меньшей мере, чем те несчастные; им виделась борьба с драконом, победа Мардука над змеем хаоса Тиаматом, и с этим было связано отрезание «подлежавших предьявлению» членов — увечье, которым они часто сопровождали убийство, отдавая дань мифу. К концу этого побоища, не продолжавшегося и

двух часов, княжеский сын Сихем торчал вниз головой в сточной трубе своей купальни, изуверенный самым отвратительным образом, да и труп Усера-ка-Бастета, лежавший в растерзанном цветочном ожерелье прямо на улице, в луже крови, тоже был в большой мере неполным, что с точки зрения его родной веры имело особую важность. Что касается старика Еммора, то он просто умер от ужаса. Дина, этот ничтожно-безвинный повод такой беды, находилась в руках своих соплеменников.

Грабеж длился еще долго. Старая мечта братьев сбылась: они могли потешить сердце разбоем, победителям досталась превосходная добыча — весьма и весьма значительное богатство города, так что их возвращение домой, на исходе последней ночной стражи, с пленными, которых вели на привязи, с большим грузом золотых жертвенных чаш и кувшинов, мешков с кольцами, обручами для волос, поясами, пряжками и бусами, изящной домашней утвари из серебра, янтаря, фаянса, алебаstra, корналина, слоновой кости, не говоря уж об обилии плодов земледелия и всевозможных припасов, льна, масла, муки мелкого помола и вина, — превратилось в затяжной триумф. Иаков не вышел из шатра, когда они прибыли. Ночью он долго занимал свое беспокойство искупительным жертвоприношением бескумирному богу под священными деревьями стана, окропляя камень кровью молочного ягненка и сжигая жир с благовониями и пряностями. Теперь, когда сыновья, довольные собой, еще не остывшие, явились к нему со столь мерзостно возвращенной Диной, он, закутавшись, лежал ничком и долго не соглашался даже взглянуть ни на нее, злосчастную, ни на них, изуверов.

— Прочь! — сделал он знак. — Болваны проклятые!..

Они упрямо стояли на месте, надув губы.

— Разве можно было, — спросил один из них, — поступить с нашей сестрой, как с блудницей? Пойми, мы омыли душу свою. Вот дитя Лии. Оно отомщено семидесятикратно.

И так как он по-прежнему молчал и не открывал лица своего:

— Пусть господин наш поглядит на добро, что снаружи. И это еще не все, ибо мы оставили нескольких человек, чтобы они собрали в поле стада горожан и привели их к шатрам Израиля.

Он вскочил и занес над ними сжатые кулаки, и они попятнулись.

— Будь проклят ваш гнев, — закричал он изо всей силы, — ибо он жесток, и ярость ваша, ибо она свирепа! Несчастные, что вы со мной сделали, ведь я теперь смержу перед жителями этой земли, как падаль, к которой слетаются мухи. А что, если они теперь соберутся, чтобы отомстить нам, что тогда? Нас жалкая горстка. Они побьют нас и истребят, меня, и мой дом, и Авраамово благословение, которое вы должны нести потомкам, в грядущие времена, и все, что создано, пойдет прахом! Слепцы! Они идут в город, убивают больных, добывают нам богатство на миг, и нет у них ума подумать о будущем, о завете, об обетовании!

Они только и делали, что надували губы. Они только и знали, что повторяли:

— Разве мы должны были поступить с нашей сестрой, как с блудницей?

— Да! — крикнул он вне себя, заставив их ужаснуться. — Лучше так, чем ставить под угрозу жизнь и обетование! Ты беременна? — крикнул он Дине, которая униженно притаилась на полу.

— Откуда мне знать уже? — завывала она.

— Ребенку не жить, — отрезал он, и она завывала опять.

— Израиль снимается с места со всем своим достоянием, — сказал он спокойно, — и уходит с богатствами и стадами, которые вы добыли мечом в отместку за Дину. Он не останется на месте этих ужасов. У меня было ночью видение, и господь сказал мне во сне: «Встань и пойдешь в Вефиль!» Долой отсюда! Укладывать вещи!

Видение и наказ ему действительно были, были тогда, когда он, после ночной жертвы, в то время как сыновья грабили город, задремал на постели. То было разумное видение, оно пришло из глубины его сердца; ибо прибежище Луз, которое он так хорошо знал, обладало

для него большой притягательной силой при таких обстоятельствах, и, уходя туда, он как бы спешил припасть к стопам вседержителя бога. Ведь беглецы, спасшиеся от кровавой свадьбы, направились в разные окрестные города, чтобы сообщить там о судьбе своего, а кроме того, как раз в это время до города Амуна дошли наконец некие письма, изготовленные отдельными главами и пастырями городов Ханаана и Еммора, и письма эти пришлось, к сожалению, представить Гору, во дворце, священному его величеству Аменхотепу Третьему, хотя тогда этот бог был не только изнурен одним из часто допекавших его зубных нарывов, но и настолько поглощен строительством своего собственного храма смерти на западе, что просто не мог уделить внимания таким досадным известиям из горемычной страны Аму, как «потеря городов царя» и «завоевание страны фараона хабирами, грабящими все страны царя» (ибо именно это говорилось в письмах глав и пастырей). А потому эти документы, показавшиеся при дворе к тому же из-за их плохого вавилонского языка довольно смешными, были сданы в архив раньше, чем в уме фараона успели созреть решения о мерах против названных разбойников, да и вообще люди Иакова могли считать, что им повезло. Окрестные города, повергнутые в страх божий необычайной дикостью их поведенья, ничего против них не предприняли, и после всеобщего очищения, после того как он собрал и собственноручно зарыл под священными деревьями многочисленных идолов, проникших за эти четыре года в его стан, Иаков, отец, мог без помех тронуться в путь с людьми и кладью и, удаляясь от страшного места Сихема, над которым кружили коршуны, податься с богатством вниз в Вефиль по торным дорогам.

Дина и мать ее Лия ехали вдвоем на умном и сильном верблюде. По обе стороны горба висели они в украшенных корзинах, под противосолнечным, натянутым на тростниковые шесты покрывалом, которое Дина почти все время целиком опускала, так что сидела в темноте. Она была беременна. Ребенок, которого она, когда пришел ее час, родила, был, по решению мужчин, подкинут. Сама она высохла от горя задолго до срока. В пятнадцать лет злосчастное ее личико было похоже на лицо старухи.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. БЕГСТВО

ДРЕВНЕЕ БЛЕЯНЬЕ

Тягостные истории! Иаков, отец, был так же богат и почетно отягощен ими, как имуществом и собственностью, — и новыми, свежепрошедшими, и старыми, и стариннейшими, историями и историей.

История — это то, что произошло и что продолжает происходить во времени. А тем самым она является наслоением, напластованием под почвой, на которой мы стоим, и чем глубже уходят корни нашего бытия в бесконечные пласты того, что находится вне и ниже плотских границ нашего «я», но это «я» все-таки определяет собой и питает, отчего в менее точные часы мы порой говорим об этих пластах в первом лице, словно они составляют часть нашей плоти, — тем больше смысла в нашей жизни и тем почтеннее душа нашей плоти.

Когда Иаков вернулся в Хеврон, или, как его еще называли, четырехградие, когда он вернулся к дереву вразумления, посаженному и освященному Аврамом, — тем Авирамом или другим, неизвестно каким, — когда он воротился к отцовской хижине после самого тяжкого, о чем будет поведано в надлежащее время, — Исаак пошел на убыль и умер, Исаак, слепой и древний старик с наследственным этим именем, Ицхак, сын Авраама, и в священный час смерти, перед Иаковым и всеми, кто был рядом, он с жутковатой выпренностию и со сбивчивостью ясновидца говорил о «себе» как о неугодной жертве и о крови овна, как о его, истинного сына, собственной крови, пролитой, искупленья ради, за всех. А перед самым своим концом он с редкостным успехом заблеял овном, и одновременно бескровное лицо его приобрело поразительное сходство с физиономией этого животного, — вернее, вдруг обнаружилось, что

сходство это существовало всегда, — и все в ужасе поспешили пасть ниц, чтобы не видеть, как сын превратится в овна, хотя он, заговорив снова, назвал овна отцом и богом.

— Заколоть надо бога, — бормотал он слова древней песни и, запрокинув голову, широко раскрыв пустые глаза и растопырив пальцы, продолжал бормотать, — чтобы все пировали, чтобы все ели мясо и пили кровь заколотого овна, как сделали это некогда Авраам и он, отец и сын, которого заменило собой богоотчее это животное.

— Да, его закололи, — лопотал, хрипел и вещал Исаак, и никто не отваживался глядеть на него, — закололи отца и овна, вместо человека и сына, и мы ели. Но воистину, говорю вам, заколют человека и сына вместо животного и взамен бога, и вы снова будете есть.

Затем он еще раз очень похоже проблеял и скончался.

Они долго еще не отрывали лбов от земли, после того как он умолк, не зная, действительно ли он мертв и не будет больше вещать и бляеть. Всем казалось, что у них перевернулись внутренности и нижнее становится верхним, так что их вот-вот вырвет; ибо в словах и поведении умирающего было что-то первобытно-непристойное, что-то мерзостно-древнее, священно-досвященное, таившееся под всеми наслоениями цивилизации в самых заброшенных, забытых и внеличных глубинах их души и тошнотворно поднятое теперь на поверхность кончиной Ицхака: непристойный призрак глубочайшей древности — животное, которое было богом, овен, который был богом-родоначальником племени, овен, чью божественную кровь они когда-то, в непристойные времена, проливали и высасывали, чтобы освежить свое животное-божественное племенное родство, — прежде чем пришел Он, бог из далекой дали, элохим, бог вездесущий, бог пустыни и луны в зените, который, избрав их, отрезал связь с их первобытной природой, обручился с ними кольцом обрезанья и основал новое божественное начало во времени. Поэтому их мутило от овноподобного вида умирающего Ицхака, от его бляения; Иакова тоже мутило. Но и тяжелой торжественности была полна его душа, когда он, босой, запыленный и остриженный, заботился теперь о похоронах, об обрядовых плачах и о чашах для жертвенных приношений умершему, — заботился вместе с Исавом, козлом-дударем, который прибыл с Козьих гор, чтобы проводить с ним отца в двойную пещеру, заливая слезами бороду и подвывая плакальщикам и плакальщицам «Хойадон!» с ребяческой несдержанностью. Они вместе зашили Ицхака с подтянутыми к подбородку коленями в баранью шкуру и отдали его так на съедение времени, которое пожирает своих детей, чтобы они не возносились над ним, но вынуждено вновь извергать их из своего чрева, чтобы они жили в старых и тех же самых историях теми же самыми детьми. (Ведь великан этот не замечает на ощупь, что умная мать отдает ему только похожий на камень предмет, завернутый в шкуру, а не дитя.) «Горе, господин умер!» — это не раз восклицалось над Ицхаком, неугодной жертвой, а он снова жил в своих историях и по праву рассказывал их от первого лица, ибо истории эти были его историями: отчасти потому, что его «я», расплываясь, уходило в прошлое и сливалось со своими прообразами, отчасти же потому, что прошлое могло в его плоти снова стать настоящим и, согласно установлению, вновь повториться. Так это и услышали, так это и поняли Иаков и все, когда он, умирая, еще раз назвал себя неугодной жертвой: услышали словно бы двойным слухом, а поняли просто — как мы и в самом деле слушаем двумя ушами, глядим двумя глазами, а слышим и видим что-то одно. К тому же Ицхак был древний старик, а говорил он о маленьком мальчике, которого чуть не закололи, и был ли им когда-то он сам или кто-то более ранний, знать это и думать об этом не стоило уже потому, что даже чужое жертвенное дитя не могло быть более чужим его старости и находиться в большей степени вне его, чем дитя, которым он некогда был.

КРАСНЫЙ

Итак, задумчивой и тяжелой торжественности полна была душа Иакова в те дни, когда он хоронил с братом отца, ибо все истории встали перед ним вновь и обрели настоящее время в его духе, как некогда, следуя шаблонному прообразу, обретали его во плоти, и ему казалось, что он находится на какой-то прозрачной тверди, которая состоит из бесконечного множества уходящих в бездонную глубину слоев хрустала, просвечиваемых горящими между ними светильниками, а он, Иаков, нынешний, находится наверху в историях своей плоти и наблюдает за Исавом, проклятым благодаря хитрости, который тоже, согласно своему шаблону, находится с ним вместе, будучи Едомом, Красным.

Этим словом фигура его определена, несомненно, безошибочно, — «несомненно» в известном смысле и «безошибочно» с оговоркой, ибо верность этого «определенья» есть верность лунного света, а в ней много обманчивого, дурачаще-двусмысленного, и довольствоваться ею со слегка углубленным задумчивостью простодушием нам, в отличие от действующих лиц нашей истории, не к лицу. Мы рассказали о том, как красношерстный Исав еще в юные годы, живя в Беэршиве, завязал и поддерживал связи со страной Едомом, с людьми Козьих гор, сеирских горных лесов, и о том, как позднее он совсем перешел к ним и к их богу Куцаху с чадами и домочадцами, с ханаанскими своими женами Адой, Оливемой и Васемафой, а также с их сыновьями и дочерьми. Значит, козий этот народ уже существовал на свете неведомо как давно, когда Исав, дядя Иосифа, прибил к нему, и если предание, то есть прошедшее через много поколений прекраснословие, закрепленное позднее в виде хроники, называет Исаву «отцом едомитов», их, следовательно, родоначальником, и, так сказать, архикозлом, то верно это только магически-двусмысленной лунной верностью. Им Исав не был, этот Исав, лично он, — если даже прекраснословие и считало его таковым, как, при известных обстоятельствах, наверно, и он сам. Народ Едома был гораздо старше, чем дядя Иосифа, — мы повторно называем его дядей Иосифа, потому что куда вернее будет определить это лицо по нисходящей, а не по восходящей линии родства, — народ Едома был неизмеримо старше, чем он, ведь с изначальностью того Белы, сына Беора, которого таблица называет первым царем Едома, дело обстоит явно не лучше, чем с перводержавием Мени Египетского, общеизвестного временного мыса. Итак, строго говоря, родоначальником Едома теперешний Исав не был; и если в песнопевческом порядке о нем настойчиво говорится: «Он Едом», а не: «Он был Едом», то настоящее время этого утверждения выбрано не случайно, оно служит вневременной типизации, поднимающейся над всякими индивидуальными чертами. В историческом и, следовательно, индивидуализирующем аспекте архикозлом козьегорцев был несравненно более древний Исав, по чьим следам теперешний Исав и шагал, — следам, надо прибавить, хорошо утоптаным и сильно исхоженным, которые, чтобы уж сказать все до конца, не были даже, наверно, собственноножными следами того, о ком прекраснословие могло бы по праву сказать: «Он был Едом».

Тут, однако, речь наша доходит до тайны, и наши путеводные указатели теряются в ней, — теряются в бесконечности прошлого, где любое начало оказывается на поверку мнимым пределом, а вовсе не окончательной целью пути, в бесконечности, таинственная природа которой основана на том, что она, бесконечность, не прямолинейна, а сферична. У прямой нет тайны. Тайна заключена в сфере. А сфера предполагает дополнение и соответствие, она представляет собой единство двух половин, она складывается из верхнего и нижнего, из небесного и земного полушарий, которые составляют целое таким образом, что все, что есть наверху, есть и внизу, а все, что происходит на земле, повторяется на небе и небесное вновь обретает себя в земном. Это взаимосоответствие двух половин, образующих вместе целое и сливающихся в округлость шара, равнозначно их взаимозамене, то есть вращению. Шар катится: такова природа шара. Верх становится низом, а низ верхом, если при таких услови-

ях можно во всех случаях говорить о верхе и низе. Небесное и земное не только узнают себя друг в друге, — в силу сферического вращения небесное превращается в земное, а земное в небесное, а из этого явствует, из этого следует та истина, что боги могут становиться людьми, а люди снова богами.

Это так же верно, как то, что растерзанный страдалец Усири был некогда человеком, царем земли Египетской, а потом стал богом — с постоянной, правда, склонностью снова сделаться человеком, как ясно показывает уже сама форма существования египетских царей, каждый из которых был богом во плоти человека. Если же спросить, кем был Усир сначала и в первую очередь, богом или человеком, то на это ответить нельзя; у катящейся сферы нет начала. Так же ведь обстоит дело и с его братом Сетом, который, как нам давно известно, убил его и растерзал. У этого злодея была, по имеющимся сведениям, ослиная голова, кроме того, он отличался будто бы воинственным нравом, любил охоту и в Карнаке, близ города Аммона, учил царей Египта стрелять из лука. Другие называли его Тифоном, а еще раньше в его веденье отдали сухой и горячий ветер пустыни хамсин, солнечный зной и самый огонь, отчего он стал Баал Хаммоном, или богом палящей жары, и назывался у финикийян и евреев Молохом или Мелехом, быкообразным царем баалов, чье пламя пожирает детей и первенцев, тем самым Мелехом, которому Авраам чуть было не принес в жертву Ицхака. Кто скажет, что в начале начал или в конце концов Тифон-Сет, красный ловец, обитал на неба и был не кем иным, как Нергалом, семиименным врагом, Красным, огненную планетою Марсом? С таким же правом можно утверждать, что первоначально и в конечном счете он был человеком. Сетом, братом царя Усири, которого он свергнул с престола и убил, а уж потом сделался богом и звездой, всегда, правда, готовый снова стать человеком сообразно вращению сферы. Он и то и другое попеременно, сразу — и божественная звезда, и человек, но ни то, ни другое в первую очередь. Поэтому к нему нельзя отнести никакое глагольное время, кроме как вневременное настоящее, заключающее в себе вращение сферы, и о нем по праву всегда говорится: «Он Красный».

Но если стрелок Сет и огненная планета Нергал-Марс находятся в отношениях небесно-земной взаимности, то совершенно ясно, что такие же отношения подвижного соответствия существуют между убитым Усиром и царственной планетой Мардуком, той, которую тоже приветствовали недавно черные глаза у колодца и бог которой назван также Юпитером-Зевсом. А о нем рассказывают, что своего отца Крона, того самого божественного великана, который пожирал собственных детей и лишь благодаря находчивости матери не сожрал также и Зевса, он, сын его, оскопил серпом и сбросил с престола, чтобы самому сесть царем на его место. Это важно для всякого, кто, познавая истину, не останавливается на полпути, ибо это явно означает, что Сет или Тифон был не первым цареубийцей, что уже и сам Усир был обязан своей властью убийству и что как царь он претерпел то, что совершил как Тифон. В том и состоит часть сферической тайны, что благодаря вращению шара цельность и однообразие характера уживаются с изменением характерной роли. Ты Тифон, покуда притязал на престол, вынашивая убийство; но после убийства ты царь, ты само величие успеха, а тифоновские шаблон и роль достаются другому. Многие утверждают, что оскопил и свергнул Крона не Зевс, а красный Тифон. Но это пустой спор, ведь при вращении все едино: Зевс — это Тифон, пока он не победил. Вращение распространяется, однако, и на взаимоотношение отца и сына; и не всегда сын закалывает отца: в любой миг роль жертвы может выпасть сыну, которого тогда, наоборот, закалывает отец. Тифона-Зевса, стало быть, Крон. Это хорошо знал пра-Аврам, собираясь принести в жертву красному Молоху единственного своего сына. Он явно держался того грустного мнения, что ему надлежит опираться на эту историю и выполнить эту схему. Но бог отверг его жертву...

Одно время Исав, дядя Иосифа, постоянно общался со своим собственным дядей Измаилом, изгнанным сводным братом Исаака, поразительно часто навещал его в преисподней его пустыне и строил с ним планы, о чудовищности которых мы еще услышим. Эта привязанность

была, разумеется, не случайна, и, говоря о Красном, надо сказать и об Измаиле. Мать его звали Агарь, что значило «странница» и уже само по себе призывало прогнать ее в пустыню, чтобы имя ее оправдалось. Непосредственный повод к этому доставил, однако, Измаил, чьи преисподние склонности всегда были слишком очевидны, чтобы рассчитывать на длительное его пребывание на верхнем свету богоугодности. О нем написано, что он был «насмешник», но это не означает, что он был дерзок, — такой недостаток еще не сделал бы его непригодным для верхней сферы, — нет, слово «насмехаться» в его случае значит, по сути дела, «шутить», и однажды Аврам увидел «через окно», как Измаил весьма преисподним образом шутил со своим младшим единокровным братом, что было отнюдь не безопасно для истинного сына Ицхака, ибо Измаил был прекрасен, как закат в пустыне. Поэтому будущий отец множества испугался и нашел, что ситуация созрела для решительных мер. Отношения между Сарой и Агарью, которая некогда возгордилась своим материнством перед еще бесплодной первой женой и однажды уже бежала от ее ревности, были давно самыми скверными, и Сара все время добивалась изгнания египтянки и ее отпрыска, — добивалась не в последнюю очередь из-за неясности и спорности порядка наследования при наличии старшего сына от побочной жены и младшего от праведной: стоял вопрос, не является ли Измаил равноправным с Ицхаком, а то и вовсе первым по порядку наследником — ужасный для одержимой материнской любовью Сары и щекошливый для Авраама вопрос. Поэтому замеченный проступок Измаила пал на колебавшиеся весы Авраамовых решений последней гирей, и, дав кичливой Агари ее сына, а также немного воды и лепешек, праотец велел ей посмотреть белый свет и не возвращаться. А как же иначе? Неужели Ицхак, негодная жертва, должен был в конце концов пасть все-таки жертвой огненного Тифона?

Вопрос этот нужно понять верно. Он звучит оскорбительно для Измаила, но по праву. Ибо нечто оскорбительное есть в самом Измаиле, и то, что он шел по нечистым следам и, так сказать, «имел опыт», неоспоримо. Достаточно чуть-чуть изменить первый слог его имени, чтобы стало видно, насколько оно высокомерно, и то, что в пустыне он стал таким искусным лучником, это тоже явно произвело впечатление на учителей, уподобивших его дикому ослу, животному Тифона-Сета, убийцы, злого брата Усири. Да, он злодей, он Красный, и хотя Авраам выдворил его и защитил благословенного своего сыночка от огненно-беспутных его преследований, — когда Исаак излил семя в женское лоно, Красный вернулся снова, чтобы жить в своих историях рядом с угодным богу Иаковом, ибо Ревекка произвела на свет двух братьев, «душистую траву», и «колючий куст», красношерстного Исава, которого учителя и знатоки поносили куда ожесточеннее, чем того заслуживала его обывательски-земная повадка. Они называют его змеей и сатаной, и еще кабаном, диким кабаном, чтобы изо всех сил намекнуть на вепря, который растерзал овчара и владыку в ливанских ущельях. Даже «чужим богом» называет его их ученая ярость, чтобы неуклюжее добродушие обывательской его повадки никого не ввело в заблуждение насчет того, чем он является в круговращении сферы.

Она вращается, и они бывают иной раз отцом и сыном, эти двое несходных. Красный и благословенный, и сын оскотливает отца или отец закалывает сына. Но иной раз — и никто не знает, кем они были сперва, — они бывают братьями, как Сет и Усир, как Каин и Авель, как Сим и Хам, и случается, что они втроем, как мы видим, образуют во плоти обе пары: с одной стороны, пару «отец — сын», а с другой стороны, пару «брат — брат». Измаил, дикий осел, стоит между Авраамом и Исааком. Для первого он сын с серпом, для второго — красный брат. Но разве Измаил хотел оскотить Авраама? Конечно, хотел. Ведь он готов был склонить Исаака к преисподней любви, а если бы Исаак не излил семени в женское лоно, то не было бы на свете Иакова и двенадцати его сыновей, и что стало бы тогда с обещаньем бесчисленного потомства и с именем Авраама, которое означает «отец множества»? А сейчас они существовали в реальности своей плоти как Иаков и Исав, и даже болван Исав знал примерно, какие за ним водятся свойства, — насколько же лучше знал это образованный и многоумный Иаков?

О СЛЕПОТЕ ИЦХАКА

Угасшим и туманным взглядом смотрели умные, карие, уже немного усталые глаза Иакова на ловчего, его близнеца, когда тот помогал ему хоронить отца, и все истории вставляли в нем, Иакове, заново и становились мысленной действительностью: и детство, и то, как после долгой неопределенности разрешились проклятье и благословение, а потом и все дальнейшее. Глаза Иакова были сухи в задумчивости, у него лишь изредка дрожала грудь от горестей жизни, и он шумно втягивал воздух. Исав же во время всех этих приготовлений хныкал и выл, и все-таки ему не за что было благодарить старика, которого они сейчас зашивали, кроме как за обречение пустыне — единственное, что для него, Исава, осталось после благословенья — к великому горю отца, как заставлял себя верить, как не мог не заставлять себя верить Исав, отчего он и желал время от времени слышать это, хотя бы из собственных уст и, покуда братья зашивали Исаака, то и дело приговаривал среди вытья.

— Тебя, Иекев, любила женщина, а меня любил отец, и моя дичь приходилась ему по вкусу, вот как дело было. «Ах ты, космач, — говорил он, бывало, — ах ты, мой первенец, до чего же хороша дичина, которую ты добыл для меня и зажарил, вздувши огонь. Да, она мне по вкусу, рыжеволосый сынок мой, спасибо тебе за твое старанье! Ты всегда будешь моим первенцем, и я век буду это помнить». Вот как, а не иначе говорил он сотни, тысячи раз. Но тебя любила женщина, и она тебе говорила: «Иекев, любимчик мой!» А любовь матери, видят боги, греет сильнее, чем любовь отца, в этом я убедился.

Иаков молчал. Поэтому Исав опять вставлял в свои вопли то, что необходимо было слышать его душе:

— И ах, как ужаснулся старик, когда я пришел после тебя и принес ему то, что я приготовил, чтобы он подкрепился для благословенья, и когда он понял, что прежде приходил не Исав! Ужасу его не было меры, и он восклицал то и дело: «Кто же был этот ловчий, кто же он был? Теперь он останется благословен, ведь я же хорошо подкрепился для благословения! Исав мой, Исав, что нам теперь делать?»

Иаков молчал.

— Не молчи, гладкий! — крикнул Исав. — Не молчи своекорыстным своим молчаньем, молча выдавая его за кроткую бережность, это меня бесит и злит! Разве старик меня не любил, разве он тогда не ужаснулся безмерно?

— Ты это говоришь, — отвечал Иаков, и Исаву пришлось на том помириться.

Но от того, что он так говорил, это не становилось более правдивым, чем было в действительности, и не делалось менее запутанным, а оставалось двусмысленной полуправдой, и то, что Иаков либо молчал, либо отвечал односложно, было не ехидством и не лукавством, а бессилием перед запутанностью и трудностью положения, которое нельзя было поправить ни подвываньями, ни простоватой сентиментальностью — приукрашивающей и самообманной сентиментальностью живого, который задним числом изображает отношение к нему умершего в самом привлекательном свете. Конечно, Исаак и вправду мог ужаснуться, когда Исав пришел после того, как он, Иаков, уже побывал в шатре. Ведь старик мог испугаться, что в темноте у него побывал кто-то чужой, какой-то совсем посторонний обманщик, и что тот похитил благословение, а это, разумеется, следовало бы считать великим несчастьем. Но пришел ли бы он в такой же, то есть в такой же искренний ужас, зная наверняка, что опередил Исава и получил благословенье Иаков, это вопрос особый и решить его было не так просто, как то отвечало душевной потребности Исава; решать этот вопрос следовало в том же примерно плане, что и другой — действительно ли любовь родителей распределялась так четко, как то, в угоду своей потребности, изображал Исав: с одной стороны, материнской, «любимчик Иекев», с другой, отцовской, «рыжеволосый сынок». У Иакова имелись причины сомневаться в этом, хотя ему и не подобало ссылаться на них перед голосившим Исавом.

Бывало, когда младший ласкался к матери, она рассказывала ему, как тяжело ей было носить близнецов в последние месяцы перед их появлением на свет, как задыхалась она, обезображенная, с трудом волоча свои перегруженные ноги, как донимали ее толчками братья, которые, вместо того чтобы мирно сидеть в утробе, спорили о том, кому из них выйти первым. Вообще-то бог Исаака, утверждала она, назначил первородство ему, Иакову, но так как Исав упорствовал в своих притязаниях, Иаков по доброте и из вежливости отступил — втайне сознавая, наверно, что для близнецов ничтожная разница в возрасте сама по себе не очень важна, что она ничего, в сущности, не решает, что истинное религиозное первородство и то, чей жертвенный дым поднимется перед господом прямо — это определится только снаружи и лишь со временем. Рассказ Ревекки звучал правдоподобно. Так он, Иаков, конечно, вполне мог вести себя, и ему самому казалось, будто он помнит, что так он себя и вел. Но, излагая события таким образом, мать проговаривалась, что маленькое и к тому же узурпированное преимущество Исаву родители никогда не считали решающим и что долго, до самого возмужания братьев, до самого дня судьбы, не было ясно, кого из них благословят, так что Исав мог жаловаться разве что на несчастный свой жребий, но никак не на ущемление в правах. Долгое время, особенно для отца, фактическое его первородство как-то уравнивало неприглядность его стати — подразумевая под словом «стать» и физические качества, и духовно-нравственные, — долгое время, но все-таки до поры до времени. Он появился на свет весь в рыжеватой шерстке, как детеныш козули, и с полными зубов челюстями; но зловещие эти приметы Исаак заставил себя приветствовать, истолковав их в самом великолепном смысле. Он очень хотел дружить с первенцем и сам был основоположником и многолетним защитником мнения, за которое цеплялся Исав, — что это его сын, а Иаков, наоборот, маменькин сынок. С этим гладким, беззубым, говорил он, делая над собой усилие, — ведь маленькая фигурка как раз этого второго так и светилась кротостью, и он улыбался смышенной и мирной улыбкой, в то время как первый весь содрогался от истошного визга, корча премерзкие гримасы, — с этим гладким дело обстоит явно скверно, почти, безнадежно, но зато у косматого, кажется, задатки героя и он, несомненно, преуспеет пред господом. Исаак твердил это изо дня в день, машинально, в одних и тех же, поговорочно-устойчивых выраженьях, правда, вскоре уже дрожащим подчас от скрытой досады голосом; ибо своими отвратительными ранними зубами Исав жестоко искусал груди Ревекки, так что вскоре оба соска болезненно воспалились, и маленького Иакова тоже пришлось кормить разбавленным водой молоком дойных животных. «Он будет героем, — говаривал по этому поводу Ицхак, — он мой сын и мой первенец. Но гладкий — твой, дочь Вафуила, сердце груди моей!» «Сердце груди моей» он именовал ее в этой связи, называя приятное дитя ее сыном, а косматое — своим. Которому же оказывал он предпочтенье? Исаву. Так говорилось позднее в пастушеской песне, и так уже тогда думали окрестные жители. Ицхак любит Исаву, а Ревекка Иакова — таково было общее мнение, которое Исаак создал словами и сохранил в слове, маленький миф внутри мифа куда более великого и могучего, но противоречивший этому более великому и могучему мифу до такой степени, что... Ицхак ослеп из-за этого.

Как это понимать? Понимать это надо в том смысле, что единение тела и души гораздо полнее, что душа намного более телесна, а телесные свойства зависят от движения души куда больше, чем смели порой думать. Исаак был слеп или почти слеп, когда умирал, от этого мы не отказываемся. Но когда близнецы его были детьми, его зрение далеко еще не притупилось от старости, и если в пору их юности он уже сильно продвинулся к слепоте, то объясняется это тем, что он годами запускал свое зрение, не упражнял, не напрягал и даже попросту выключал его, оправдываясь предрасположенностью к воспалению конъюнктивы, очень в его сфере распространенному (ведь и Лия, и многие ее сыновья страдали от этого всю жизнь), но на самом деле из-за своего недовольства. Может ли человек ослепнуть или настолько приблизиться к слепоте, насколько Ицхак действительно приблизился к ней в старости, оттого что ему не хочется видеть, оттого что зрение для него — источник мук, оттого что он лучше

чувствует себя в темноте, где могут произойти некие вещи, которые произойти должны? Мы не утверждаем, что такие причины оказывают такое действие; нам достаточно установить, что причины были.

Исав созрел рано, как созревают животные. В отроческом, так сказать, возрасте он женился несколько раз подряд: на дочерях Ханаана, хеттеянках и евеянках, как известно, сначала на Иегудифе и Аде, затем на Оливеме и Васемафе. Он поселил этих женщин на отцовской шатровой усадьбе, был плодовит с ними и тем невозмутимее позволял им и приплоду их поклоняться, по наследственному их обычаю, природе и истуканам на глазах у родителей, что и сам был равнодушен к высокому Аврамову наследию и, заключив на юге охотничье-религиозный союз с сеирцами, открыто служил громовержцу Куцаху. Это, как пелось потом в песне и все еще говорится в предании, «было в тягость» Исааку и Ревекке — обоим, таким образом, причем Ицхаку, несомненно, гораздо больше, чем его сестре во браке, хотя недовольство высказывала она, а он молчал. Он молчал, а если говорил, то такие слова: «Красный — мой. Он — первенец, я люблю его». Но Исаак, благословенный хранитель завоеванного Аврамом, Исаак, которого единоверцы считали сыном халдеянина и его воплощением, тяжело страдал от того, что он видел или, вернее, из-за чего закрывал глаза, чтобы не видеть этого, он страдал от собственной слабости, которая мешала ему положить конец этому бесчинству, выдав Исава пустыне, как то сделали с Измаилом, его дикарски красивым дядей. Исааку мешал «маленький» миф, ему мешало фактическое Исавово первородство, которое тогда, при не решенном еще вопросе о призванном избраннике, было существенным доводом в пользу Исава; поэтому Исаак жаловался на свои глаза, на то, что они слезятся, на жжение в веках, на то, что взгляд его тускл, как умирающая луна, на то, что свет причиняет ему боль, — и искал темноты. Утверждаем ли мы, что Исаак стал «слеп», чтобы не видеть идолопоклонства своих невесток? Ах, это было самым незначительным из всего, что отбивало у него охоту видеть, что заставляло его желать слепоты, — потому что только при ней могло произойти то, что произойти должно было.

Ибо чем больше мальчики созревали, тем явственнее вырисовывались черты «большого» мифа, внутри которого «маленький», вопреки всей принципиальной приверженности отца к старшему сыну, становился все более неестественным и несостоятельным; тем яснее становилось, кто они были, по чьим стопам шли, на какие истории опирались, — Красный и Гладкий, Ловчий и Домосед, — как же мог Исаак, который и сам противостоял своему брату, дикому ослу Измаилу, Исаак, который и сам был не Каином, а Авелем, не Хамом, а Симом, не Сетом, а Усиром, не Измаилом, а Ицхаком, истинным сыном, — как же мог он, оставаясь зрячим, хранить верность общему мнению, будто он предпочитает Исава? Поэтому глаза его пошли на убыль, как умирающий месяц, и он пребывал в темноте, чтобы его обманули вместе с Исавом, его старшим.

ВЕЛИКАЯ ПОТЕХА

По правде сказать, обманут не был никто, не исключая Исава. Если мы, самым затруднительным для себя образом, повествуем сейчас о людях, которые не всегда вполне точно знали, кто они такие, и если Исав тоже не всегда знал это вполне точно, так что иногда считал себя архиозлом сеирцев и говорил о нем в первом лице, — то эта имевшая порой место нечеткость касалась все же только каких-то индивидуальных и временных обстоятельств и была как раз следствием того, что вневременную, мифическую и типическую свою сущность каждый знал превосходно, в том числе и Исав, о котором недаром было сказано, что по-своему он был так же благочестив, как Иаков. Да, он плакал и негодовал после «обмана», да, он готовил своему благословенному брату еще более жестокую месть, чем Измаил своему, да, это правда, что он обсуждал с Измаилом планы убийства Исаака и Иакова. Но делал он все это потому,

что именно этого требовала его характерная роль, он делал это благочестиво и точно зная, что все случается лишь во исполнение предначертанного, и случившееся случилось потому, что должно было случиться по сложившемуся шаблону. Иными словами, это не было новинкой, это случилось по всем правилам, по готовому образцу, приобрело сиюминутность, словно бы в празднике, и возвратилось, как возвращаются праздники. Ведь Исав, дядя Иосифа, не был родоначальником Едома.

Поэтому, когда настал час и братьям было почти по тридцати лет; когда Ицхак выслал из темноты своего шатра раба-прислужника, одноухого малого, которому отрезали одно ухо за его легкомысленные провинности, что очень его исправило; когда тот скрестил на черноватой своей груди руки перед Исавом, трудившимся вместе с рабами на пашне, и сказал ему: «Господина моего требует господин», — Исав так и прирос к земле, и красное его лицо побледнело под потом, который его покрыл. Он пробормотал формулу повинования: «Вот я». А в душе он думал: «Сейчас начнется!» И душа эта была полна гордости, страха и торжественной грусти.

Он вошел после солнечной полевой работы к отцу, который лежал в полумраке с двумя пропитанными примочкой тряпочками на глазах, поклонился и сказал:

— Господин мой звал меня.

Исаак отвечал несколько жалостливо:

— Я слышу голос моего сына Исава. Это ты, Исав? Да, я звал тебя, ибо час настал. Подойди ближе, старший мой, я хочу удостовериться, что это ты!

И Исав, в набедреннике из козьей кожи, стоял на коленях возле постели, он сверлил глазами тряпочки, словно хотел проникнуть сквозь них в глаза старика, а Исаак, ощупывая его плечи, руки и грудь, говорил:

— Да, это твои космы, это красная Исавова шерсть. Я вижу это руками, которые волей-неволей научились довольно исправно исполнять должность слабеющих глаз. Слушай же, сын мой, широко и гостеприимно открыв уши слову твоего слепого отца, ибо час настал. Так вот, я уже настолько покрыт годами и днями, что вскоре, наверно, исчезну под ними, и поскольку зренье мое давно уже идет на убыль, то очень вероятно, что скоро я полностью сойду на нет и исчезну во мраке, так что жизнь моя превратится в ночь и не будет видна. А потому, чтобы мне не умереть, не отдав благословенья, не оставив своей силы и не перепоручив наследства, пусть будет так, как не раз бывало. Ступай, сын мой, возьми орудия свои для стрельбы, которыми ты так ловко и жестоко владеешь пред господом, и пойдешь в поля и луга, настреляй дичи. И приготовь мне из нее кушанье, как я люблю, сварив мясо в кислом молоке на живом огне и тонко приправив, и принеси мне, чтобы я поел и попил и подкрепились душа моего тела и я благословил тебя зрячими своими руками. Таков мой наказ. Иди.

— Уже исполнено, — пробормотал Исав машинально, но остался стоять на коленях и низко опустил голову, над которой продолжали глядеть в пустоту слепые тряпочки.

— Ты еще здесь? — осведомился Исаак. — Одно мгновение я думал, что ты уже ушел, это меня не удивило бы, ведь отец привык, чтобы все исполняли его приказы не мешкая, с любовью и страхом.

— Уже исполнено, — повторил Исав и поднялся. Но, уже приподняв шкуру, завешивавшую выход из шатра, он отпустил ее и вернулся, еще раз стал на колени у постели и срывающимся голосом проговорил:

— Отец мой!

— Что такое, что еще? — спросил Исаак, поднимая брови над тряпочками. — Ничего, — сказал он затем. — Ступай, сын мой, ибо час настал, великий для тебя и для всех нас великий. Ступай, убей и сvari, чтобы я благословил тебя!

И тут Исав вышел с поднятой головой и, со всей гордостью этого часа покинув шатер, громко объявил всем, кто мог его слышать, о почете, в котором он сейчас пребывал. Ведь истории возникают не сразу, они происходят последовательно, у них есть свои этапы развития, и было бы совсем неверно называть их сплошь печальными только потому, что у них печальный

конец. У истории с печальной развязкой тоже есть свои почетные часы и стадии, которые нужно рассматривать не с точки зрения конца, а в их собственном свете; ведь их действительность ни чуть не уступает по своей силе действительности конца. Поэтому в свой час Исав был горд и во весь голос кричал:

— Слушайте, люди усадьбы, слушайте, дети Аврама и кадилыщики Иа, слушайте и вы, кадилыщичицы Баала, жены Исава со своими чадами, плодами чресел моих! Час Исава настал. Господин хочет благословить своего сына еще сегодня! Исаак посылает меня в поля и луга, чтобы я луком своим добыл ему пищи для подкрепления ради меня! Падите же ниц!

И те, кто находился поближе, пали ниц, а одна служанка, увидел Исав, пустилась бежать куда-то с такой быстротой, что у нее даже груди запрыгали.

Эта-то служанка и рассказала, задыхаясь, Ревекке, чем похвалялся Исав. И эта же служанка, уже едва дыша, прибежала к Иакову, который в обществе остроухого пса по кличке Там пас овец и, опираясь на свой длинный, изогнутый сверху посох, стоял в раздумье о боге, и прохрипела, плюхнувшись лбом в траву:

— Госпожа!..

Иаков взглянул на нее и после долгого молчания тихо ответил:

— Вот я.

А пока он молчал, он думал в душе: «Сейчас начнется!» И душа его была полна гордости, страха и торжественности.

Он оставил свой посох под охраной Тама и вошел к Ревекке, которая уже с нетерпением ждала его.

Ревекка, преемница Сарры, была статной, широкой в кости пожилой женщиной в золотых серьгах, с крупными чертами лица, сохранявшими еще многое от той красоты, которая когда-то подвергла опасности Авимелеха Герарского. Черные глаза ее глядели из-под высоких, разделенных резкими складками и симметрично подведенных свинцовым блеском бровей умно и твердо, нос у нее был крепкий, мужской вылепки, с сильными ноздрями, орлиный, голос низкий и полнозвучный, а верхнюю ее губу покрывал темный пушок. Волосы Ревекки, причесанные на прямой пробор и спускавшиеся на лоб густыми серебристо-черными прядями, окутывало коричневое, низко свисавшее за спиной покрывало, зато янтарно-смуглых ее плеч, гордой округлости которых, как и ее благородных рук, годы почти не изменили, — плеч ее не прятали ни покрывало, ни узорчатое, без пояса, шерстяное, до щиколоток платье, которое она носила. Еще недавно ее маленькие, жилистые кисти рук, быстро исправляя огрехи, сновали между руками женщин, которые, сидя у ткацкого стана, — навои его были колышками прикреплены к земле под открытым небом, — пальцами и палочками продевали и протягивали сквозь основу льняные нити утка. Но она велела прервать работу и, отпустив служанок, ждала сына внутри своего шатра госпожи, под волосяным скатом и на циновках которого встретила почтительно вошедшего Иакова живым и нетерпеливым взглядом.

— Иекев, дитя мое, — сказала она тихо низким своим голосом, прижимая поднятые его руки к своей груди. — Время пришло. Господин хочет благословить тебя.

— Меня? — спросил Иаков, бледнея. — Он хочет благословить меня, а не Исава?

— Тебя в нем, — сказала она нетерпеливо. — Сейчас не до тонкостей! Не рассуждай, не мудри, а делай то, что тебе велят, чтобы не вышло ошибки и не случилось несчастья!

— Что прикажет мне моя матушка, благодаря которой я живу, как жил в то время, когда находился в ее утробе? — спросил Иаков.

— Слушай! — сказала она. — Он велел ему настрелять дичи и приготовить из нее кушанье по своему вкусу, чтобы подкрепиться для благословения. Ты можешь сделать это быстрее и лучше. Сейчас же пойди в стадо, отбери двух козлят, заколи их и принеси мне. Из того, который окажется лучше, я приготовлю отцу такое кушанье, что он у тебя ничего не оставит. Ступай!

Иаков задрожал и так и не переставал дрожать, пока все не кончилось. В иные мгновенья ему приходилось делать над собой большое усилие, чтобы у него не стучали зубы. Он сказал:

— Милосердная мать людей! Каждое твое слово подобно для меня слову богини, но то, что ты говоришь, страшно опасно. Исав сплошь волосат, а дитя твое, за небольшими исключениями, гладко. Вдруг господин дотронется до меня и почувствует мою гладкость — кем я окажусь перед ним? Самым настоящим обманщиком, — и не успею я оглянуться, как навлеку на себя проклятье вместо благословенья.

— Ты, значит, опять мудришь? — прикрикнула она на него. — Проклятье падет на мою голову. Я отвечаю. Прочь, и давай козлят. Беда будет...

Он уже бежал. Он помчался к склону горы, где неподалеку от стойбища паслись козы, схватил двух весеннего приплода козлят, прыгавших возле матки, и перерезал им горло, крикнув пастуху, что это для госпожи. Он спустил их кровь перед богом, перекинул их себе через плечо за задние ноги и пошел обратно с колотящимся сердцем. Козлята висели у него сзади, поверх кафтана — с детскими еще головками, кольчатыми рожками, рассеченными глотками и остекленевшими глазами, — рано принесенные в жертву, предназначенные для великой цели. Ревекка стояла уже и делала ему знаки.

— Скорее, — сказала она, — все готово.

Под ее крышей находился сложенный из камней очаг, где под бронзовым котлом уже горел огонь, и все кухонные и хозяйственные принадлежности были на месте. И мать взяла у него козлят и стала их поспешно свежевать и разделявать, она усердно и ловко орудовала вилок у пылающего очага, помешивала, посыпала, приправляла, и они молчали во время всей этой работы. И когда кушанье еще варилось, Иаков видел, как она доставала из своего ларя сложенные одежды, рубаху и халат. То были Исавовы праздничные одежды, которые она, как узнал Иаков, прятала; и он побледнел снова. Затем он увидел, как она разрезает ножом на куски и на полосы шкурки козлят, еще влажные и липкие от крови с внутренней стороны, и задрожал при виде этого. Но Ревекка велела ему снять с себя длинный кафтан с полудлинными рукавами, который он в то время обычно носил, и надела на его гладкие, дрожавшие члены короткую исподнюю одежду брата, а поверх нее — его тонкий красно-синий шерстяной халат, державшийся только на одном плече и не закрывавший рук. Потом она сказала: «А теперь подойди ко мне!» И в то время, как губы ее двигались в шепоте, а резкие складки между ее бровями застыли, она обложила все голые и гладкие места его тела, шею, руки, голени и тыльные стороны ладоней, кусками шкур и крепко привязала их нитками, хотя они и без того прилипли неприятнейшим образом. Она бормотала:

— Дитя обовью, закутаю сына, изменят дитя, переменят мне сына шкуры коз, козий мех.

И бормотала снова и снова:

— Дитя обовью, обовью господина: ощупай, отец, поешь, господин мой, а братья из бездны тебе покорятся.

Затем она собственноручно вымыла ему ноги, как делала это, наверно, когда он был маленьким, взяла благовонное масло, которое пахло лугом и цветами луга и было благовонным маслом Исав, и умастила Иакову сначала голову, а потом вымытые ноги, приговаривая сквозь зубы:

— Дитя умашу, умашу я камень, слепой да поест, и падут тебе в ноги братья из бездны, братья из бездны!

Потом она сказала: «Готово!» — и, покуда он растерянно и неловко поднимался в животном своем облачении, покуда он стоял, растопырив руки и ноги, и стучал зубами, она положила сдобренное пряностями мясо в миску, прибавила пшеничного хлеба и золотисто-прозрачного масла, чтобы макать в него хлеб, а также кувшин вина, вручила ему все это и сказала:

— Теперь иди своей дорогой!

И он пошел, нагруженный, неуклюжий, толстоногий, боясь, что противно прилипшие шкурки сползут под нитками, с громко стучащим сердцем, перекошенным лицом и опущенными глазами. Многие домочадцы видели его, когда он так шел по усадьбе, они воздевали руки, прищелкивали языком, качали головами, целовали кончики своих пальцев и говорили: «Глядите-ка, господин!» Так подошел он к шатру отца, приложил рот к занавеске и сказал:

— Это я, отец мой! Дозволено ли рабу твоему войти к тебе?

Из глубины шатра донесся голос Исаака, он звучал жалостливо:

— Но кто же ты? Не разбойник ли ты и не сын ли разбойника, если приходишь к моей хижине и говоришь о себе «я»? «Я» может сказать всякий; кто это говорит — вот что важно.

Отвечая, Иаков не стучал зубами, потому что сейчас он их сжал:

— «Я» говорит твой сын, он настрелял тебе дичи и приготовил кушанье.

— Это другое дело, — ответил Ицхак из шатра. — Если так, то войди.

Иаков вошел в полумрак шатра, в глубине которого возвышалась глинобитная, покрытая подстилкой лавка, где, закутавшись в плащ, с тряпочками на глазах, лежал Исаак; лежал на подголовнике с бронзовым полукольцом, который возносил ему голову. Он спросил снова:

— Кто же ты?

И отказывающимся служить голосом Иаков ответил:

— Я Исав, космач, больший твой сын, и сделал, как ты велел. Приподнимись, сядь и подкрепи душу свою, отец мой. Вот кушанье.

Но Исаак еще не приподнимался. Он спросил:

— Неужели так скоро встретишься тебе дичь, неужели так быстро оказалась она перед тетивой твоего лука?

— Твой господь, бог твой, послал мне удачу, — отвечал Иаков, и голос прозвучал только в отдельных слогах, остальные были произнесены шепотом. Он сказал «твой бог» из-за Исав; ведь бог Исаака не был богом Исав.

— Что чудится мне? — спросил Исаак снова. — Твой голос невнятен, старший мой сын Исав, но мне слышится в нем голос Иакова.

От страха Иаков не знал, что ответить, и только дрожал. Но Исаак кротко сказал:

— Голоса братьев бывают сходны, и слова звучат в их устах совсем одинаково. Подойди же ко мне, я ощупаю тебя и погляжу зрячими своими руками, Исав ли ты, старший мой сын, или нет.

Иаков повиновался. Он поставил все, что ему вручила мать, и подошел ближе, давая ощупать себя. Подойдя, он увидел, что отец привязал к голове тряпочки ниткой, чтобы они не упали, когда он приподнимется, — точно так, как прикрепила Ревекка противные шкурки.

Растопырив остропалые свои руки, Исаак немного пошарил в пустоте, прежде чем наткнулся ими на приблизившегося к постели Иакова. Затем эти худые, бледные руки нашли его, и, ощупывая не прикрытые платьем места, шею, плечи, тыльные стороны ладоней, прикасались повсюду к шерсти козлят.

— Да, — сказал он, — конечно, теперь я убедился, это — твое руно, это красные космы Исав, я вижу их зрячими своими руками. Голос похож на Иаковлев, но волосы Исавовы, а они решают дело. Ты, значит, Исав?

— Ты это видишь и говоришь, — ответил Иаков.

— Так дай мне поесть! — сказал Исаак и сел.

Плащ повис у него на коленях. Иаков взял миску с едой, сел на корточки у ног отца и протянул ему миску. Но Исаак сначала склонился над ней, с обеих сторон положив руки на волосатые руки Иакова, и понюхал кушанье.

— Хорошо! — сказал он. — Хорошо приготовлено, сын мой! В кислых сливках, как я приказал, и с кардамоном, и с тимьяном и с тмином.

И он назвал еще несколько пущенных в дело приправ, которые различал его нюх. Затем он кивнул головой и принялся есть.

Он съел все, и длилось это долго.

— Есть ли у тебя и хлеб, Исав, сын мой? — спросил он, не переставая жевать.

— Разумеется, — отвечал Иаков. — Пшеничные лепешки и масло.

И, отломив кусок хлеба, он обмакивал его в масло и клал в рот отцу. Тот жевал и снова принимался за мясо, он поглаживал себе бороду и одобрительно кивал головой, а Иаков

глядел вверх, в лицо ему, и рассматривал его лицо, покуда он ел. Оно было так нежно и так прозрачно, это лицо с маленькими впадинами щек, поросших жидкой седой бородой, и с большим, хрупким носом, ноздри которого были продолговаты и тонки, а изогнутая переносица походила на лезвие отточенного ножа, — такая была в нем, несмотря на тряпки с примочкой, священная одухотворенность, что ни это жеванье, ни эта убогая трапеза никак не вязались с ним. Было даже немного совестно видеть, как он ест, и казалось, что ему и самому должно быть совестно, когда его видят за этим занятием. Но возможно, что тряпочки на глазах защищали его от такой неловкости; во всяком случае, он спокойно жевал своей хрупкой, в жидкой бороде, нижней челюстью, и так как в миске были только лучшие куски, он вообще ничего не оставил.

— Дай мне пить! — сказал он затем.

И тогда Иаков поспешно подал ему кувшин с вином и сам поднес его к губам одержимого послеобеденной жаждой отца, а тот снова положил руки на шкурки, привязанные к тыльным сторонам рук Иакова. Но когда Иаков оказался так близко от отца, тот почуял своими тонкими, продолговатыми ноздрями запах нарда, исходивший от его волос, и запах полевых цветов, исходивший от его платья, оторвался от вина и сказал:

— Это поистине поразительно, как благоухают нарядные одежды моего сына! Точно так же, как поля и луга в молодом году, когда господь благословит их цветами во множестве, чтобы усладить наши чувства.

И, чуть приподняв с краю двумя острыми пальцами одну из тряпочек, он сказал:

— Ты в самом деле Исав, больший мой сын?

Иаков засмеялся смехом отчаяния и ответил вопросом:

— Кто же еще?

— Тогда все хорошо, — сказал Исаак и надолго приложился к вину, отчего нежный его кадык поднимался и опускался под бородой. Затем он приказал полить ему воды на руки. Когда же Иаков сделал и это и вытер ему руки, отец сказал:

— Да свершится же!

И, могуче взбодренный едой и питьем, с покрасневшимся лицом, он возложил руки на съезжившегося и дрожавшего, чтобы благословить его изо всех сил, и так как душа его была сильно подкреплена трапезой, слова его были полны всей мощи и всего богатства земли. Он отдал ему тук ее и женскую ее пышность, и в придачу росу и влагу мужскую неба, отдал все плоды полей, деревьев и лоз, и непрестанное умножение стад, и по два настрига шерсти в году. Он поручил ему завет, возложил на него обетование, велел передать созданное будущим временам. Как поток, лилась его речь и звенела. Главенство в борьбе света и тьмы завещал он ему и победу над змеем пустыни, он нарек его прекрасной луной, а также источником перемени, обновленья и великого смеха. Застывшим заклятием, которое уже бормотала Ревекка, он тоже воспользовался; древнее, ставшее уже тайной, оно по точному своему смыслу не совсем подходило к данному случаю, поскольку братьев налицо было только два, но все-таки Исаак торжественно произнес и его: пусть служат благословенному сыны его матери и пусть падут все его братья к умашенным его ногам. Затем он трижды выкликнул имя бога, сказал: «Да будет так!» — и выпустил Иакова из своих рук.

Тот помчался прочь, к матери. А немного позже вернулся Исав с диким козленком, которого он убил из лука, — и тут эта история приняла веселый и страшный оборот.

Ничего из того, что последовало, Иаков не видел собственными глазами, да и не хотел видеть; он тогда спрятался. Но с чужих слов он знал все доподлинно и вспоминал обо всем так, словно сам был при этом.

Возвращаясь, Исав находился еще в почетном своем положении; о том, что за это время произошло, он решительно ничего не знал, ибо для него эта история еще не продвинулась настолько далеко. Радостно-самодовольный, напыщенный, шагал он с козлом на спине и с луком в волосатой руке, красуясь собой, рисуясь: он очень высоко вскидывал ноги и, хмуро

сияя, вертел головой во все стороны — поглядеть, видят ли его в час его славы и возвышенья, и уже издали снова принялся бахвалиться и разглагольствовать — на досаду и на потеху всем, кто слышал его. А сбежались и те, кто видел, как входил к господину и выходил от него окосмаченный Иаков, и те, которые не видели этого сами. Но жены и дети Исава не вышли, хотя он опять призывал их в свидетели своего величия и чванства.

Люди сбегались и смеялись, глядя, как он печатает шаг, они окружали его тесной толпой, чтобы посмотреть и послушать, что будет дальше. А он, не переставая во всеуслышанье похваляться, стал на виду у всех свежевать, потрошить и разрубать на части свою добычу, высек огонь, поджег хворост, повесил котел над костром и принялся выкрикивать приказанья смеявшимся зрителям, посылая их за другими предметами, необходимыми для его почетной стряпни.

— Эге-гей, зеваки благоговеющие! — покрикивал он хвастливо. — Принесите-ка мне большую вилку! Принесите мне кислого овечьего молока, ведь в молоке он упишет это за милую душу! Принесите мне соли с соляной горы, лодыри, тащите сюда кишнец, мяту, чеснок и горчицу — пощекотать ему глотку, я накормлю его так, что сила из него хлынет! Еще принесите мне хлеба из муки шолет, чтобы он заедал им, и еще, бездельники, масла, выдавленного из плодов, и процеженного вина, только чтоб в кувшин не попало гущи, а не то залягай вас белый лошак! Бегом, живее! Ведь сегодня праздник кормленья Исаака и благословения, праздник Исава, сына, которого господин послал за дичью для кушанья, героя, которого он благословит в шатре еще до того, как кончится этот час!

Он продолжал орудовать языком и руками, крича «эге-гей», выпренне жестикулируя и громогласно разглагольствуя о любви к нему отца и насчет большого дня космача, и дворян только корчилась, только животы надрывала от смеха, только хохотала до слез, до упаду. А когда он отправился со своим фрикасе, когда он понес его перед собой, как дарохранительницу, снова так же фиглярски вскидывая ноги и хвастаясь в продолжение всего пути до шатра отца, они заорали от восторга, захлопали в ладоши, затопали ногами, а потом притихли. И у занавески шатра Исав сказал:

— Это я, отец мой, я несу тебе, чтобы ты благословил меня.

Изнутри донесся голос Исаака:

— Кто говорит «я» и хочет войти к слепому?

— Это Исав, твой космач, — отвечал Исав. — Он застрелил и сварил что нужно для подкрепленья, как ты приказал.

— Ах ты, глупец и разбойник, — послышалось в ответ. — Зачем ты лжешь мне? Исав, первенец мой, давно уже побывал здесь, он накормил меня, и напоил, и ушел с благословением.

От ужаса Исав чуть не уронил всю свою ношу, он зашатался и задрожал, и подливка из кислого молока расплескалась и замарала его. Домочадцы оглушительно хохотали. В изнеможенье от этой потехи они качали головами, вытирали кулаками слезы и стряхивали их наземь. Исав же незвано ринулся в шатер, и наступила тишина, во время которой стоявшие снаружи зажимали себе ладонями рты и толкали друг друга локтями. Вскоре, однако, из шатра донесся вопль, совершенно неслыханный, и оттуда выбежал Исав — не с красным, а с фиолетовым лицом и с высоко поднятыми руками.

— Проклятье, проклятье, проклятье, — кричал он изо всех сил, как ныне порой скороговоркой выкрикивают при какой-нибудь маленькой неприятности. Но тогда и в косматых устах Исава это был новый и свежий возглас, полный первоначального смысла, ибо он сам был действительно проклят и торжественно обманут, а не благословен, и стал небывалым посмешищем.

— Проклятье, — кричал он, — проклятье, обман и позор!

Затем он сел на землю и выл, далеко высунув язык и роняя крупные, как орешины, слезы, а люди кружком стояли около него и держались за поясницы, — так они ныли у них от великой потехи: ведь у Исава, у красного, обманом отняли благословенье отца.

ИАКОВ ДОЛЖЕН УЕХАТЬ

Затем было бегство, уход Иакова из дому, придуманный и устроенный Ревеккой, решительной и исполненной самых высоких побуждений родительницей, которая поступалась своим любимцем и шла на то, чтобы, может быть, никогда больше не увидеть его, лишь бы только он получил благословенье и передал его будущим временам. Она была слишком умна и дальновидна, чтобы не предусмотреть неизбежных последствий торжественного обмана; но она сознательно взяла их на себя, сознательно навязав их сыну, и пожертвовала своим сердцем.

Она сделала это молча, ведь и в ее подготовившем все необходимом разговоре с Исааком они обходили суть дела молчанием и о главном не заикались ни разу. Что Исав затевал месть в бестолковой своей душе, что в меру отпущенного ему воображения он старался найти способ поправить дело, не подлежало сомнению и было, так сказать, записано издавна. Способ, каким он делал Каиново свое дело, стал ей вскоре известен. Она узнала, что он бунтарски установил связь с Измаилом, человеком пустыни, сумрачным красавцем, отверженным. Ничего не могло быть естественнее. Оба были одного племени обездоленных: брат Ицхака, брат Иакова; они шли по одним и тем же стопам, неугодные, отставленные; они должны были найти друг друга. Дело обстояло хуже, и опасность шла дальше, чем предвидела Ревекка, ибо кровавые желанья Исава распространялись не только на Иакова, но и на Исаака тоже. Она узнала, что Исав предложил Измаилу, чтобы тот убил слепого, после чего он, Исав, взялся бы за гладкого. Исав боялся Каинова преступления, боялся стать из-за него еще больше, еще явственнее самим собой. Поэтому он хотел, чтобы дядя ободрил его своим примером. Несговорчивость Измаила дала его невестке время действовать. Тому не понравилось предложение Исава. Трогательные воспоминания о чувствах, которые он когда-то испытывал к нежному своему брату и которые послужили поводом к его, Измаила, изгнанию, мешают ему, намекнул он, поднять руку на Исаака. Пусть Исав сделает это сам, а потом он, Измаил, пустит стрелу в затылок Иакову с такой меткостью, что она вылетит через кадык и уложит на месте обласканного подобным способом.

Это было похоже на дикого Измаила — затеять такое. Он придумал что-то новое, а у Исава на уме было только традиционное братоубийство. Он вообще не понимал, о чем говорит Измаил, и думал, что тот заговаривается. Отцеубийство — такой возможности его мышление не допускало, такого никогда не случалось, такого на свете не было, предложение Измаила было нелепо, это было предложение, по природе своей бессмысленное. Отца можно было разве что оскотить серпом, как оскотили Ноя, но убить его — это была беспочвенная болтовня. Измаил смеялся над остолбенелой несообразительностью племянника. Он знал, что его предложение совсем не беспочвенно, что такое бывало, и еще как, и было, возможно, началом всего, что Исав просто слишком недалеко идет вспять, довольствуясь слишком поздними началами, если думает, что такого не бывало на свете. Он сказал ему это, он сказал ему еще больше. Измаил сказал ему такое, что у Исава, едва он это услышал, шерсть встала дыбом и он убежал. Он рекомендовал ему, убив отца, обильно поесть его мяса, чтобы присвоить себе мудрость его и силу, благословенье Аврамово, которое тот носит, причем для этой цели мясо Исаака не следовало варить, а надо было съесть сырым с костями и кровью, — после чего Исав и убежал.

Он пришел, правда, снова, но переговоры племянника и дяди о распределении кровавых ролей затянулись, и Ревекка выиграла время для предупредительных мер. Она ничего не сказала Исааку о том, что, по ее сведениям, замышляли — пока еще туманно — близкие родственники. Супруги говорили только об Иакове, да и о нем не по поводу опасности, которая ему, как Исаак тоже, наверно, знал, угрожала, — вне всякой связи, следовательно, с недавним обманом и гневом Исава (об этом молчали, и только), а лишь в том смысле, что Иаков

должен уехать, и уехать в Месопотамию, в гости к арамейской родне, ибо если он останется здесь, то можно опасаться, что он — и он тоже! — вступит в какой-нибудь пагубный брак. Если Иаков, говорила Ревекка, возьмет себе жену из дочерей этой земли, хеттеянку, которая, как жены Исава, притащит в дом мерзостных своих идолов, то она, Ревекка, спрашивает Исаака всерьез, для чего ей тогда и жить. Исаак кивал головой и соглашался: да, она права, Иакову действительно следует поэтому на время уехать. На время — Иакову она тоже сказала так, и она верила в эти слова, она надеялась, что она вправе в них верить. Она знала Исава, это был человек взбалмошный, но легкий, он забыл бы. Сейчас он жаждал крови, но легко мог отвлечься. Она знала, что, навещая Измаила в пустыне, он по уши влюбился в его дочь Махалафу и собирался взять ее в жены. Возможно, что уже теперь мирное это дело занимало его недалекий ум больше, чем план мести. Когда он совсем забудет о нем и успокоится, она уведомит об этом Иакова, и тот снова припадет к ее груди. А покамест его с распростертыми объятьями примет ради нее брат ее Лаван, сын Вафуила, живущий в семнадцати днях пути отсюда, в земле Арам Нахараим. Так было устроено бегство, так был Иаков тайно снаряжен для путешествия в Арам. Ревекка не плакала. Но она долго не отпускала его в тот рассветный час, гладила его щеки, увешивала амулетами его и его верблюдов, прижимала его к себе и думала в глубине души, что, если ее или другой какой-нибудь бог захочет того, она, может быть, не увидит Иакова больше. Так и вышло. Но Ревекка ни в чем не раскаивалась ни тогда, ни позднее.

ИАКОВ ДОЛЖЕН ПЛАКАТЬ

Мы знаем, что было с путником в первый же день, нам известны его унижение и возвышение. Но возвышение было внутренним, оно было великим виденьем души, а унижение, наоборот, физическим и реальным, как путешествие, которое ему пришлось проделать под знаком этого унижения и в роли его жертвы: нищим и в одиночестве. Дорога была далека, а он не был Елизером, которому «земля скакала навстречу». Он много думал об этом старике, Аврамовом старшем рабе и гонце, который похож был на праотца лицом, как все говорили, и проделал этот же путь с великой миссией — привезти Исааку Ревекку. Тот ехал совсем по-другому, представительно и сообразно своему положению, у того было десять верблюдов и вдоволь всего необходимого и лишнего, как у него, Иакова, самого перед этой проклятой встречей с Елифазом. Почему так угодно было вседержителю богу? Почему он наказывал его столькими тяготами и невзгодами? А что дело идет о наказанье, об искупительной каре за Исава, казалось ему несомненным, и во время утомительно-убогого своего путешествия он много думал о нраве господина, который, конечно, хотел того, что случилось, и содействовал этому, а теперь мучил его, Иакова, и взывал с него горькие Исавовы слезы, правда, как бы только приличия ради и в доброжелательно неточной пропорции. Ведь как ни были тягостны все его злоключения, разве можно было оплатить ими по достоинству его преимущество и вечную обиду брата? Задавая себе этот вопрос, Иаков усмехался в бороду, которая выросла во время пути на его уже темно-коричневом и худом, блестящем от пота, окутанном влажным и грязным покрывалом лице.

Был разгар лета, месяц ав, стояла безнадежная жара и сушь. Слой пыли, толщиной с палец, лежал на кустах и деревьях. Расслабленно сидел Иаков на хребте своего нерегулярно и плохо кормившегося верблюда, чьи большие, мудрые, облепленные мухами глаза глядели все утомленнее и печальнее, и закутывал лицо, когда мимо проезжали встречные путники. Или же, чтобы облегчить животное, он вел его в поводу, и тогда верблюд шагал по одной из параллельных тропинок, из которых состояли дороги, а сам он шел по соседней, месая ногами каменистую пыль. Ночевал он под открытым небом, в поле, у подножья дерева, в масличной роще, у деревенской стены, где придется, и часто ему приходилось прижиматься к своему животному, чтобы согреться добрым теплом его тела. Ибо ночи часто случались холодные, как в

пустыне, и, будучи неженкой и сыном хижины, он сразу же простудился во сне и вскоре, как чахоточный, кашлял среди дневного зноя. Это очень мешало ему, когда он добывал пропитание; для того чтобы есть, он должен был говорить, рассказывать, занимать людей описанием злосчастливого приключения, из-за которого он, сын такого славного дома, впал в нищету. Он рассказывал об этом приключении в селеньях, на рынках, у наружных колодцев, водой которых ему разрешалось поить своего верблюда и умываться. Мальчики, мужчины и женщины с кувшинами обступали его и слушали его прерываемую кашлем, но вообще-то искусную и живую речь. Он называл себя, хвалил свое происхождение, подробно описывал барскую жизнь, которую вел дома, особо останавливаясь на жирной и душистой еде, которую ему подавали, а затем живописал ту любовь и богатую обстоятельность, с какой он, первородный сын, был снаряжен для этого путешествия, путешествия в Харран, что в земле Арам, на восход и на полночь, по ту сторону воды Прата, где живут его родственники, чье почетное среди тамошних жителей положение не удивительно, так как родственники эти владеют несметным количеством мелкого скота. К ним-то его и послали из дому, а мотивы его миссии были частью торгово-деловые, частью же религиозно-дипломатические, но все — необычайной важности. Он подробнейшим образом описывал подарки и меновые ценности, находившиеся в его клади, украшения своих верблюдов, оружие княжеской своей охраны, лакомые припасы для него и для свиты, и его жадные до впечатлений слушатели, которые хорошо знали, что иной и прилгнет, но дружно отказывались отличать от правды складную ложь, широко раскрывали рты и глаза. Вот, стало быть, как он выехал, но, увы, некоторые местности кишмя кишат разбойниками. На него напали совсем юные разбойники, но невероятно наглые. Когда его караван проходил по ложбине, они, пользуясь огромным своим численным превосходством, отрезали ему путь вперед и назад и не дали возможности отойти в сторону, и начался бой, который останется в памяти человечества самым волнующим событием этого рода, бой, который Иаков описывал во всех подробностях, останавливаясь на каждом ударе, броске и рывке. Ложбина наполнилась трупами людей и животных; он один уложил семижды семерых юных разбойников, и без малого столько же уложил каждый его провожатый. Но, увы, превосходящие силы врагов были неодолимы; один за другим падали его люди вокруг него, и после многочасовой борьбы, оставшись в полном одиночестве, он вынужден был наконец просить позволения дышать.

Почему же, спросила одна женщина, не убили и его?

На это и был расчет. Главарь разбойников, самый юный и самый наглый из них, занес уже над ним меч, чтобы поразить его насмерть, но тогда, в бедственный этот миг, он, Иаков, призвал своего бога и выкликнул имя бога своих отцов, и меч кровожадного юнца распался в воздухе на семижды семьдесят мелких частей. Такой оборот дела ошеломил мерзкое дитя, поразил его страхом, и оно пустилось наутек со своими молодчиками, забрав, однако, все имущество Иакова, почему тот и оказался нищим и голым. Нищий и голый, он преданно продолжал свое путешествие, у цели которого его ждали сплошной бальзам, молоко и мед, а в качестве одежды пурпур и тонкое полотно. Но покамест, увы, ему негде даже приклонить голову и нечем унять пронзительный крик своего желудка, ведь в животе у него давно не было ни травинки.

Он бил себя в грудь, и то же делали его слушатели у рыночных лотков и у водопоев, его рассказ будоражил их и волновал; они называли позором то, что такие случаи еще бывают на свете и что дороги настолько опасны. У них здесь, говорили они, есть караулы на дорогах, через каждые два часа — караул. А потом они кормили побитого лепешками, клецками, огурцами, чесноком и финиками, иной раз даже голубями или уткой, а верблюду его задавали сена или даже зерна, так что животное тоже подкреплялось для дальнейшего путешествия.

Так двигался он вперед, против течения Иордана, во впалую Сирию, к теснине Оронта и к подножию Белых гор, но продвижение было медленным, ибо способ, каким он добывал себе хлеб, требовал много времени. В городах он захаживал в храмы, беседовал со жрецами о делах божественных и располагал их к себе своей образованностью и остроумной речью, так что

они разрешали ему подкрепиться и пожить в кладовых бога. На своем пути он видел много прекрасного и священного, видел, как сверкает словно бы огненными камнями царственная гора крайнего севера, и молитвенно восхитился ею, видел земли, превосходно орошенные горными снегами, где высокие, тонкие стволы пальм подражали чешуйчатым драконьим хвостам, где темнели кедровые и смоковые рощи, а иные деревья угощали его гроздьями сладких, мучнистых плодов. Он видел кишевшие людьми города, видел Димашки, утопавший в плодовых лесах и волшебных садах. Там он увидел солнечные часы. Оттуда же он со страхом и отвращением увидел пустыню. Она была красная, как и полагалось. Одета багровой дымкой, она уходила на восток, море порока, обиталище злых духов, преисподняя. Да, преисподняя была теперь уделом Иакова. Бог посылал его в пустыню за то, что он исторг у Исава громкий и горький вопль — как того пожелал бог. Круг его пути, приведший его на взгорье Вефиля к такому отрадному вознесению, привел его теперь к закату, к спуску в ад, и кто знал, какие беды, какие драконы ждали его там, внизу! Он заплакал, когда, качаясь на горбе верблюда, достиг пустыни. Впереди него бежал шакал, длинный, остроухий, грязно-желтый, лежесивно вытянув хвост, зверь печального бога, недобрая тварь. Он бежал перед ним, временами подпуская всадника так близко, что тот слышал едкий его запах, он поворачивал к Иакову собачью свою морду, глядел на него своими маленькими, безобразными глазками и трусил дальше, издав короткий смешок. Знания и мышление Иакова были слишком богаты ассоциациями, чтобы он не узнал его, открывателя вечных путей, проводника царства мертвых. Иаков был бы очень удивлен, если бы тот не бежал впереди него, и он несколько раз прослезился, следуя за шакалом в те пустынные, безотрадные места, где сирийская земля переходит в нахаринскую землю, и проезжая то среди осыпей и проклятых скал, то через каменные поля, то по глинистому песку, то по выжженной степи, то сквозь высохшие заросли тамариска. Он довольно хорошо знал свой путь, путь, которым когда-то в обратном направлении следовал праотец, сын Фарры, когда он, посланный на запад, пришел оттуда, куда теперь направлялся Иаков, посланный на восток. Мысль об Аврааме несколько утешала его среди безлюдья, нет-нет да являвшегося, впрочем, следы человеческого попеченья и ухода за дорогой. Иногда на пути попадалась глиняная башня, на которую можно было взобраться, во-первых, для обозрения местности, а также при угрозе нападения на путника диких зверей. Время от времени встречались даже хранилища дождевой воды. Но больше всего было дорожных указателей, столбов и камней с надписями, позволявших передвигаться даже ночью, при хоть сколько-нибудь прекрасной луне, и служивших, несомненно, еще Авраму во время его путешествия. Воздавая хвалу богу за блага цивилизации и руководствуясь Нимродовыми путеводными знаками, Иаков двигался к воде Прату, а именно к тому месту, к которому он предполагал и куда ему действительно надлежало выйти, — где Широчайший, прорезав с полуночи горы, вырывается из ущелий на равнину и успокаивается. О, этот великий час, когда Иаков, стоя наконец в иле и камышах, поил бедное свое животное желтой водой! Реку пересекал плавучий мост, а на том берегу лежал город; но это не был еще дом лунного бога, город дороги и город Нахора. Тот был еще далеко на востоке, за степью, которую надо было пересечь с помощью дорожных знаков, под небесными светилами ава. Семнадцать дней? Ах, для Иакова дней набегало гораздо больше из-за необходимости непрестанно повторять свою кровавую разбойничью сказку, он не знал, сколько именно, он перестал их считать, он знал только, что земля отнюдь не скакала ему навстречу, а скорее уж делала обратное, и по мере сил отдаляла цель его усталого странствия. Но он навсегда запомнил, — он говорил об этом и на смертном одре, — как потом, когда он полагал эту цель еще далекой, в тот миг, когда он меньше всего надеялся достигнуть ее, она вдруг нечаянно оказалась достигнута или почти достигнута, как цель эта все-таки словно бы вышла ему навстречу вместе с самым лучшим и дорогим, что могла показать и что Иаков некогда, после нежданно долгой задержки, увел оттуда.

ИАКОВ ПРИБЫВАЕТ К ЛАВАНУ

Однажды — дело шло уже к вечеру, солнце садилось у него за спиной в бледное ма-рево, и слитная тень всадника и верблюда, плывшая по степи, вытянулась в длину, — итак, однажды, на исходе дня, не становившегося, однако, прохладнее, а пылавшего под медным небосводом безветренным зноем, от которого воздух, как будто он вот-вот вспыхнет, мерцал над сухой травой, а у Иакова язык присыхал к небу, ибо со вчерашнего дня у него не было во рту ни капли воды, — он увидел, отупело качаясь в седле, между двумя холмами, служившими воротами в длинной волнистой гряде, что-то живое далеко на равнине, и его зоркие, несмотря на усталость, глаза тотчас же разглядели сгрудившееся вокруг колодца овечьё стадо, собак, пастухов. Он испуганно встрепенулся от счастья и послал благодарственный вздох Иа, но на уме у него было только одно: «Вода!», и, прищелкивая пальцами, во всю мощь пересохшего горла, он кричал это слово своему животному, которое и само почуяло уже эту благодать, вытянуло шею, раздуло ноздри и, напрягши от радости силы, ускорило шаг.

Вскоре он был уже так близко, что мог различить цветные метки на спинах овец, лица пастухов под наголовниками от солнца, волосы у них на груди, браслеты у них на руках. Псы зарычали и залаяли, не переставая следить за овцами, чтобы те не разбредались; но пастухи беззаботно прикрикнули на собак, потому что не боялись одинокого путника и видели, вероятно, что он еще издали мирно и вежливо приветствовал их. Пастухов было четверо или пятеро, как помнилось Иакову, с двумя примерно сотнями овец из породы крупных курдючных, как он определил наметанным глазом, и пастухи праздно стояли или сидели вокруг колодца, который был еще закрыт круглым камнем. Все они были вооружены пращами, а один из них пощипывал струны лютни. Иаков тогда сразу же заговорил с ними, назвав их «братьями», и, приложив руку ко лбу, крикнул наудачу, что бог их велик и могуч, хотя не знал толком, под каким они богом. Но в ответ на это, как и в ответ на все другое, что он говорил, они только переглядывались и качали головами, вернее, водили ими от плеча к плечу, с сожаленьем прищелкивая языком. Удивляться тут было нечему, они, конечно, его не поняли. Но среди них нашелся один, с серебряной монетой на груди, он назвал свое имя — Иерувваал и был, по его словам, родом из страны Амурру. Он говорил не совсем так же, как Иаков, но очень похоже, так что они друг друга понимали, и пастух Иерувваал мог служить толмачом, переводя слова Иакова на их тарабарское наречие. Они поблагодарили его за дань уваженья, отданную силе их бога, пригласили его посидеть с ними и представились по именам. Их звали Вулутту, Шамаш-Ламасси. Пес Эй и еще как-то в подобном роде. После этого им не пришлось спрашивать у Иакова, как его зовут и каково его происхождение; он сам поспешил сообщить им то и другое, не преминув горько намекнуть для начала на дорожное приключение, ввергшее его в нищету, и попросил прежде всего воды для своего языка. Ему подали глиняную бутылку, и хотя вода в ней была уже теплая, он осушил ее с великим блаженством. Верблуду же его пришлось подождать, да и овец тоже, казалось, еще не поили, поскольку камень еще лежал на дыре колодца и по какой-то причине никому не приходило на ум отвалить его.

Откуда родом его братья, спросил Иаков.

— Харран, Харран, — отвечали они. — Бел-Харран, владыка дороги. Великий, великий. Самый великий.

— Во всяком случае, один из самых великих, — сказал Иаков с достоинством. — Но как раз в Харран я и направляюсь! Это далеко отсюда?

Он был совсем недалеко. Город находился за поворотом гряды холмов. С овцами до него можно было добраться за час.

— Чудо господне! — воскликнул Иаков. — Значит, я на месте! После более чем семнадцати дней пути! Просто не верится!

И он спросил их, знают ли они, коль скоро они из Харрана, Лавана, сына Вафуила, Нахорова сына.

Они отлично его знали. Он жил не в городе, а всего в полчаса ходьбы отсюда. Они ждали его овец.

Здоров ли он?

Вполне здоров. А что?

— А то, что я о нем слышал, — сказал Иаков. — Вы ощипываете своих овец или стрижете их ножницами?

Они все надменно отвечали, что, конечно, стригут. Неужели у него дома их ощипывают?

— Нет, как можно, — отвечал он. — В Беэршиве и вообще в тех местах ножницы тоже никому не в диковинку.

Затем они вернулись к Лавану и сказали, что ждут Рахиль, его дочь.

— Об этом я и хотел вас спросить! — воскликнул он. — Насчет ожидания! Я давно уже дивлюсь на вас. Вы сидите вокруг закрытого колодца и камня колодца, как сторожа, вместо того чтобы отвалить камень от скважины и напоить скот. В чем тут дело? Правда, сейчас еще немного рано гнать стадо домой, но раз уж вы здесь, раз уж вы пришли к скважине, вы бы все-таки могли отвалить камень и напоить овец вашего господина, вместо того чтобы бить баклуши, даже если эта девица, которую вы назвали, как бишь ее, Лаванова дочь, еще не явилась.

Он говорил с рабами наставительно и как человек, стоящий выше их, хотя и называл их «братьями». Вода взбудрила его тело и душу, и он чувствовал свое превосходство над ними.

Посоветовавшись на своем тарабарском наречье, они сказали ему через Иерувваала: так уже заведено, что они ждут, так оно и положено. Они не могут отвалить камень, напоить стадо и погнать его домой, пока не придет Рахиль с овцами своего отца, которых она пасет. Сначала нужно собрать все стада, а потом уже гнать скот домой, и когда Рахиль приходит к колодцу первой, раньше, чем они, она тоже ждет, чтобы они пришли и отвалили камень.

— Охотно верю, — усмехнулся Иаков. — Она делает это потому, что ей одной не отвалить крышку, тут нужны мужские руки.

Но они отвечали, что это безразлично, по какой причине она их ждет, так или иначе она ждет их, и поэтому они ждут ее тоже.

— Ладно, — сказал он, — пожалуй, вы даже правы, и пожалуй, иначе вам и не подобает вести себя. Жаль только, что моему верблюду приходится столько времени терпеть жажду. Как, сказали вы, зовут эту девицу? Рахиль? — повторил он. — Иерувваал, объясни-ка им, что это значит на нашем языке! Разве она и впрямь уже объяснилась, эта овечка, которая заставляет нас ждать?

О нет, сказали они, она чиста, как лилия в поле весной, как лепесток розы в росе, и мужские руки ей еще незнакомы. Ей двенадцать лет.

Видно было, что они относятся к ней почтительно, и невольно Иаков тоже проникся почтеньем к ней. Он, улыбаясь, вздохнул, ибо сердце его слегка екнуло от радостного любопытства при мысли о предстоявшем знакомстве с дочерью дяди. Через посредство Иерувваала он еще немного поболтал с ними о здешних ценах на овец, о том, что можно выручить за пять мин шерсти и сколько сила зерна в месяц жалуют им хозяева — покуда один из них не сказал: «Вот и она». Для времяпрепровождения Иаков уже начал рассказывать кровавую свою сказку о юных разбойниках, но при этих словах он умолк и повернулся туда, куда указывала рука пастуха. Тут он и увидел ее впервые, судьбу своего сердца, невесту своей души, ту, ради глаз которой ему пришлось служить четырнадцать лет, овцу, мать агнца.

Рахиль шла посреди своего стада, которое плотно сбилось вокруг нее, потому что это скопище шерсти все время обегал, высунув язык, пес. В знак приветствия она подняла, держа его за середину, свой посох, пастушеское оружие, металлическая часть которого состояла из серпа или мотыги, при этом она склонила голову к плечу и улыбнулась, и впервые, издали уже, Иаков увидел ее очень белые, редкие зубы. Приблизившись, она перегнала семенивших перед нею овец, проложив себе дорогу концом посоха, и вышла из их толпы.

— Вот и я, — сказала она и, сначала сощуриив глаза, как это делают близорукие люди, а потом подняв брови, добавила удивленно и весело: «Ба, чужеземец!» Чужой верблюд и незнакомая фигура Иакова должны были уже давно броситься ей в глаза, если она не была сверхблизорука, однако она не сразу показала, что заметила их.

Пастухи у колодца молчали и держались в стороне при встрече господских детей. Иерувваал тоже, казалось, решил, что они как-то уж договорятся между собой, и глядел в пустоту, жуя какие-то зерна. Под тьяканье пса Рахили Иаков приветствовал ее поднятыми руками. Она ответила быстрым словом, а потом, в косом, цветном свете уходящего дня, окруженные овцами и окутанные их добродушным дыханьем, под высоким и широким бледнеющим небом, они стояли с самыми серьезными лицами друг против друга.

Дочь Лавана была сложена изящно, этого не могла скрыть и мешковатость ее длинного желтого одеяния с красной, в крапинах черных лун, каймой от шеи до подола над маленькими босыми ногами. Нехитро скроенное и даже не подпоясанное, оно сидело на ней приятно, наивно-удобно, но тесно облегая плечи, показывало трогательную их тонкость и хрупкость и имело узкие, кончавшиеся гораздо выше локтей рукава. Черные волосы девушки были скорее взлохмачены, чем кудрявы. Она была подстрижена очень коротко, во всяком случае короче, чем Иаков когда-либо видел дома у женщин, оставлены были только две длинные пряди, которые, падая от ушей и по обе стороны щек на плечи, завивались внизу. С одной из них она и играла, покуда стояла и глядела. Какое милое лицо! Кто опишет его обаянье? Кто расчленил совокупность всех отрадных и счастливых сочетаний, из каких жизнь, широко пользуясь наследственным добром и добавляя неповторимое, создает прелесть человеческого лица — очарование, которое держится на лезвии ножа, всегда висит, хотелось бы сказать, на волоске, ибо изменись лишь одна черточка, лишь один крохотный мускул, и уже ничего не останется и весь покорявший сердце обворожительный морок исчезнет начисто? Рахиль была красива и прекрасна. Она была красива красотой одновременно лукавой и кроткой, которая шла от души, видно было, — Иаков тоже видел это, ибо глядела Рахиль на него, — что за этой миловидностью кроются, как источник ее, дух и воля, обернувшиеся женственностью храбрость и ум. Так была она выразительна, так полна воплощенной готовности к жизни. Она смотрела прямо на него, держа одну руку у косицы и сжав другой посох, который был выше ее, и разглядывала похудевшего в дороге молодого человека в пропыленном, выцветшем, изношенном кафтане, с каштановой бородой на потемневшем от пота лице, которое не было лицом раба, — и несколько толстоватые крылья ее носика, казалось, потешно надувались, а верхняя губа чуть нависала над нижней, самопроизвольно, без всякого напряженья мускулов, образуя с ней в уголках рта нечто в высшей степени милое — спокойную улыбку. Но самым красивым и самым прекрасным было то, как она глядела, смягченный и своеобразно просветленный близорукостью взгляд ее черных, пожалуй, чуть косо посаженных глаз: этот взгляд, в который природа, без преувеличения, вложила всю прелесть, какой она только может наделить человеческий взгляд, — глубокая, текучая, говорящая, тающая, ласковая ночь, полная серьезности и насмешливости; ничего подобного Иаков еще не видел или полагал, что не видел.

— Тихо, Мардука! — воскликнула она, с укором наклонившись к неумолкавшему псу. А потом задала вопрос, который Иаков, и не понимая языка, легко угадал:

— Откуда пришел господин мой?

Он указал через плечо на закат и сказал:

— Амурру.

Она поискала глазами Иерувваала и, смеясь, кивнула ему подбородком.

— Какая даль! — сказала она лицом и устами. А затем явно попросила точнее назвать место, откуда он родом, заметив, что запад обширен, и назвав два или три тамошних города.

— Беэршива, — ответил Иаков.

Она насторожилась, она повторила. И ее рот, который он уже начал любить, назвал имя Исаака.

Лицо его дрогнуло, кроткие глаза увлажнились слезами. Он не знал людей Лавана и не торопился вступить с ними в общенье. Он был бесприютным пленником преисподней, он оказался здесь не по своей воле, и оснований для умиления было немного. Но нервы его сдали, истощенные передрыганиями странствия. Он был у цели, и девушка с глазами сладостной темноты, которая назвала имя далекого его отца, была дочерью брата его матери.

— Рахиль, — сказал он, всхлипывая, и протянул к ней дрожащие руки, — можно мне поцеловать тебя?

— С какой стати тебе целовать меня? — сказала она и, смеясь, удивленно попятилась от него. Она еще не признавалась, что о чем-то догадывается, как прежде не сразу призналась, что заметила чужеземца.

А он, все еще протягивая к ней одну руку, упорно указывал на свою грудь.

— Иаков! Иаков! — говорил он. — Я! Сын Ицхака, сын Ревекки, Лаван, ты, я, дитя матери, дитя брата...

Она тихо вскрикнула. И хотя она, упираясь ладонью в его грудь, еще отстраняла его от себя, они, смеясь и оба со слезами на глазах, перечисляли друг другу общую родню, кивали головами, выкликали имена, знаками поясняли друг другу родословные, складывали указательные пальцы, скрещивали их или прикладывали левый лежесвесно к кончику правого.

— Лаван — Ревекка! — восклицала она. — Вафуил, сын Нахора и Милки! Дед! Твой, мой!

— Фарра! — восклицал он. — Аврам — Исаак! Нахор — Вафуил! Авраам! Прадед! Твой, мой!

— Лаван — Адина! — восклицала она. — Лия и Рахиль! Сестры! Двоюродные сестры! Твои!

Они кивали головами и смеялись сквозь слезы, договорившись насчет кровной своей родни со стороны обоих его родителей и ее отца. Она подставила ему щеки, и он торжественно поцеловал ее. Три собаки с лаем прыгали вокруг них в том возбужденье, какое овладевает этими животными, когда люди, с добрыми или со злыми намерениями, друг до друга дотрагиваются. Пастухи дружно хлопали в ладоши и весело, глухим фальцетом, кричали: «Лу, лу, лу!» Так поцеловал он ее, сначала в одну щеку, потом в другую. Он запретил своим чувствам ощущать при этом прикосновении к ней что-либо, кроме нежности ее щек; он поцеловал ее благочестиво и церемонно. Но как все-таки ему повезло, что он смог поцеловать ее сразу, ведь ему уже вскружила голову приветливая ночь ее глаз! Иному приходится долго поглядывать, желать и служить, прежде чем ему будет даровано то умопомрачительное разрешение, которое на Иакова просто с неба свалилось, потому что он был двоюродным братом из дальних краев.

Когда он отпустил ее, она, смеясь, потерла ладонями места, где ее оцарапала дорожная его борода, и воскликнула:

— Эй, Иерувваал! Шамаш! Буллуту! Скорей отвалите камень от ямы, чтобы овцы попили, и смотрите, чтобы они напились, ваши и мои, и напоите верблюда моего двоюродного брата Иакова, и будьте расторопны и сметливы, а я, не мешкая, побегу к Лавану, отцу моему, и скажу ему, что прибыл Иаков, его племянник. Отец в поле, недалеко отсюда, и он прибежит сюда в спехе и радости, чтобы его обнять. Управляйтесь побыстрей — и трогайтесь за мной, а я бегом...

Все это Иаков понял в общих чертах из жестов и тона, а кое-что и дословно. Он уже начал учиться местному языку ради ее глаз. И когда она побежала, он громко, чтобы она успела услышать, остановил пастухов и сказал:

— Эй, братья, прочь от камня, это забота Иакова! Вы охраняли его, как добрые сторожа, а я отвалою его от ямы для Рахили, двоюродной своей сестры, я один! Ибо дорога поглотила не всю силу мужских рук, и силу их мне пристало одолжить Лавановой дочери, отвалив этот камень, чтобы снять с луны черноту и чтобы круг воды стал прекрасен.

Они уступили ему место, а он стал изо всех сил отодвигать крышку, и хотя для этой работы требовался не один человек, а руки его были не самыми сильными, отвалил один увесистый

этот камень. Толпясь и толкая друг друга, многогласно заблеяли бараны, овцы и ягнята, и, фыркая, встал на ноги верблюды Иакова. Пастухи зачерпывали и разливали по колодам живую воду. Вместе с Иаковом они следили за овцами, отгоняли напившихся и подпускали к воде еще не пивших, и когда все утолили жажду, водрузили камень на яму и, прикрыв его дерном, чтобы места этого не было видно и колодцем без спроса никто не пользовался, погнали овец всех вместе домой — и Лавановых, и тех, что принадлежали их господам, а Иаков на своем верблюде возвышался среди толпившихся на ходу стад.

ПЕРСТЬ ЗЕМНАЯ

Вскоре довольно близко подбежал и потом остановился какой-то человек в шапке с затыльником. Это был Лаван, сын Вафуила. Он всегда подбегал при таких обстоятельствах, — несколько десятилетий, один недолгий человеческий век тому назад, он подбегал точно так же, — в тот раз, когда, застав у колодца свата Елиезера с его десятью верблюдами и людьми, сказал ему: «Войди, благословенный господом!» Теперь, с седой уже бородой, он подбежал снова, когда Рахиль сказала ему, что прибыл Иаков из Беэршивы — не раб, а внук Авраамов, его племянник. Остановился же он и предоставил приезшему самому подойти к нему по той причине, что на лбу у Рахили не увидел никакой золотой пряжки, а на руках у нее никаких запястий, как тогда на Ревекке, и еще оттого, что чужак этот прибыл явно не во главе богатого каравана, а совершенно один, и притом на ободранном, тощем верблюде. Поэтому Лаван не захотел ронять свое достоинство, побежав слишком далеко навстречу новоявленному племяннику, с недоверьем остановился, скрестил руки и стал ждать его приближенья.

Иаков прекрасно понимал это, со стыдом и болью сознавая свою нищету и жалкую свою зависимость. Ах, он явился не богатым посланцем, который мог шествовать уверенным шагом, обвораживая всех многотысячными подарками из своих вьюков и заставляя просить себя погостить лишней день или десяток дней. Он пришел с пустыми руками, бесприютным беглецом, который не может оставаться у себя дома и просит крова, и у него были все основания для робкой униженности. Но он сразу распознал хмуро стоявшего перед ним человека и понял, что было бы неумно показаться ему таким уж несчастным. Поэтому он спешил без особенной торопливости, подошел к Лавану со всем достоинством своего рода и чинно приветствовал его, сказав:

— Отец мой и брат! Ревекка, твоя сестра, в знак своего внимания к тебе, послала меня сюда пожить некоторое время под твоей крышей, и я приветствую тебя от ее имени, как и от имени Ицхака, ее и моего господина, а также от имени общих отцов и призываю бога Авраама хранить твое здоровье, а равно здоровье твоей жены и детей.

— Я тоже, — ответил Лаван, который понял суть сказанного. — Ты, значит, в самом деле сын Ревекки?

— В самом деле! — отвечал Иаков. — Я первенец Ицхака, ты сказал это верно. Не смотри ни на мое одиночество, ни на мою одежду, которую солнце превратило в лохмотья. Уста мои объяснят тебе все это в должное время, и ты увидишь, что, хотя у меня нет ничего, кроме главного, главное все-таки со мной, и что, обратись ты ко мне словами: «Благословенный господом!» — ты попал бы в самую точку.

— Позволь же обнять тебя, — хмуро сказал Лаван, после того как пастух Иерувваал передал ему эти слова по-тарабарски, и, положив руки на плечи Иакову, наклонился рядом с ним сначала направо, потом налево и поцеловал воздух. У Иакова сразу сложилось весьма двойственное впечатление от этого дяди. Между глазами у него было несколько недобрых складок, и один его глаз все время щурился, а в то же время казалось, что как раз этим, почти закрытым глазом он видит больше, чем другим, открытым. Это дополнялось, на той же стороне лица, явно преисподним изгибом рта, угол которого, в черно-седой бороде, паралично свисал,

что походило на кислую ухмылку и тоже показалось Иакову сомнительным. Вообще же Лаван был человек сильный, его густые поседевшие волосы торчали и ниже затыльника, а одет он был в длинный, до колен, кафтан, за поясом которого торчали плетка и нож; узкие рукава не закрывали ниже локтя жилистых рук. Они, как и его мускулистые ноги, поросли черно-седым волосом, а заканчивались широкими, теплыми, тоже волосатыми кистями, кистями ограниченного кругом угрюмо-земных мыслей собственника, настоящей персти земной, как подумалось Иакову. При этом дядя мог бы быть даже красивым, у него были густые, совсем еще черные брови, мясистый нос, продолжавший линию лба, полные, заметные и в бороде губы. Глаза Рахиль унаследовала явно от него, — Иаков установил это с тем смешанным чувством узнавания, растроганности и ревности, с каким знакомишься с наследственными чертами и естественной историей дорогого тебе существа: знакомство это радостно, поскольку позволяет нам проникнуть внутрь этого существа и как бы увидеть его насквозь, но чем-то, с другой стороны, и оскорбительно, а потому наше отношение к таким прообразам представляет собой странную смесь уваженья и неприязни.

Лаван сказал:

— Ну, что ж, добро пожаловать, ступай за мной, чужеземец, называющий себя — хочу верить, по праву — моим племянником. Нашлось ведь у нас когда-то место для Елиезера, нашлись ведь солома и корм для его десяти верблюдов, найдутся они и для тебя и для этого верблюда, кроме которого у тебя, кажется, ничего нет. Подарков мать, значит, не послала с тобой, золота, одежд, пряностей или еще чего-нибудь?

— Она щедро нагрузила меня ими, можешь в этом не сомневаться, — отвечал Иаков. — А почему я прибыл без них, ты услышишь, когда я помою ноги и немного поем.

Он говорил нарочно нескромно, чтобы не уронить своего достоинства перед этой перстью земной, и тот удивился такой самоуверенности при такой нищете. Они больше не говорили, пока не дошли до усадьбы Лавана, где чужие пастухи отделились от них, чтобы погнать свой скот дальше, к городу, а Иаков помог дяде распределить овец по глинобитным загонам, увеличенным в высоту, для защиты от хищников, плетнями из камыша. С крыши дома за их работой следили три женщины; одна была Рахиль, другая — жена Лавана, третья — Лия, старшая дочь, страдавшая косоглазием. Дом, как и вообще весь поселок (ибо жилое здание было окружено еще несколькими хижинами из камыша и похожими на большие ульи амбарами), произвел большое впечатление на Иакова, жителя шатров, который, правда, на своем пути видел в городах дома куда лучшие, да и не хотел показывать ни малейшего восхищенья. Он даже с ходу побранил этот дом, небрежно бросил, что деревянная лесенка, которая вела на крышу снаружи, недостаточно хороша, и нашел, что ее следует заменить кирпичной лестницей, а к стати оштукатурить стены и снабдить нижние окна деревянными решетками.

— Лестница есть со стороны двора, — сказал Лаван. — Я своим домом доволен.

— Не говори так! — возразил Иаков. — Если человек доволен малым, то и бог не беспокоится о нем, не желает ему большего и не осеняет его благословляющей дланью. Сколько овец у моего дяди?

— Восемьдесят, — ответил хозяин.

— А коз?

— Около тридцати.

— А крупного скота совсем нет?

Лаван раздраженно кивнул бородой на глинобитно-камышовый загон, служивший, очевидно, хлевом для крупного скота, но не назвал числа.

— Будет больше, — сказал Иаков. — Больше скота, и притом всяческого.

И Лаван бросил на него хоть и мрачный, но за этой мрачностью испытующе-любопытный взгляд. Потом они направились к дому.

УЖИН

Дом этот, стоявший среди множества более высоких, чем он, тополей, один из которых был сверху донизу опален молнией, представлял собой грубое, довольно скромное по размерам, уже несколько обветшалое строение из кирпича, хотя воздушность верхней его части придавала ему какое-то архитектурное изящество: его покрытая землей крыша с маленькими, из камыша, надстройками, только частично, посредине и по углам, опиралась на кирпичную кладку, а в промежутках — на деревянные столбы. Вернее было бы говорить о нескольких крышах, ибо и посредине дом был открыт и замыкал четырехугольником своих крыльев маленький дворик. Ступеньки из утрамбованной глины вели к входной двери пальмового дерева.

Два или три раба-ремесленника, один гончар и один пекарь, прилепывавший куски ячменного теста к внутренней стенке маленькой своей духовки, трудились среди служб надворья, через которое проходили дядя и племянник. Служанка в набедреннике несла воду. Она набрала ее в ближайшей водоотводной канаве под названием Бел-Канал, орошавшей огороженные неподалеку Лавановы посева ячменя и кунжута и получавшей воду, в свою очередь, из другой канавы — Эллил-Канала. Бел-Канал принадлежал одному городскому купцу, который прорыл его на свои средства и за потребление воды взимал с Лавана обременительную плату маслом, зерном и шерстью. По ту сторону поля открытая степь волнисто убегала к самому горизонту, над которым возвышалась уступчатая башня харранского храма Луны.

Женщины, спустившись с крыши, ждали хозяина и его гостя в передней, куда те через пальмовую дверь и вошли и где в глиняный пол была вделана большая ступа, чтобы толочь зерно. Адина, жена Лавана, была довольно невзрачная пожилая женщина в ожерелье из разноцветных камней и в длинном покрывале поверх плотно облегавшего ее волосы чепца, своей безрадостностью выражение лица ее напоминало выражение лица ее супруга, только рисунок ее рта был не столько брюзглив, сколько горек. У нее не было сыновей, и этим тоже можно было отчасти объяснить мрачность Лавана. Позднее Иаков узнал, что в начальную пору брака у этой четы был самый настоящий сынок, но его, по случаю постройки дома, они принесли в жертву, то есть живьем, в глиняном кувшине, в придачу к светильникам и чашкам, похоронили в подстенье, чтобы снискать дому и хозяйству удачу и процветанье. Мало того, однако, что жертва эта не принесла особой удачи, Адина с тех пор была не в состоянии произвести на свет мальчика.

Что касается Лии, то сложеньем она отнюдь не уступала Рахили, а ростом и статностью даже превосходила сестру, но могла служить примером того, как безупречное телосложение странно обесценивается некрасивым лицом. Правда, у Лии были необычайно пышные пепельные волосы, тяжелыми узлами падавшие на затылок из-под покрывавшей их сверху скуфейки. Но ее серо-зеленые глаза печально косились на длинный и красноватый нос, и красноватые были струпистые веки больных этих глаз, и руки ее, которые она старалась спрятать, как прятала и косою свой взгляд, постоянно опускала ресницы с каким-то стыдливым достоинством. «Вот, пожалуйста, тусклая луна и луна прекрасная», — подумал Иаков, разглядывая сестер. Заговорил он, однако, с Лией, а не с Рахилью, пересекая с Лаваном мощный дворик, посреди которого высился камень для жертвоприношений, но та только с сожаленьем щелкнула языком, как это уже делали пастухи в поле, и, по-видимому, посоветовала Иакову прибегнуть к помощи толмача, чье ханаанское имя она произнесла несколько раз — домочадца, которого звали Абдхебой, того самого, как оказалось, что пек лепешки на внешнем дворе. Ибо он подал Иакову воду для ног и рук, когда по кирпичной, поднимавшейся дальше, до самой крыши лестнице все прошли в открытую верхнюю комнату, где протекал ужин, и сообщил, что родился в одной из урусалимских деревень, но был продан своими родителями в рабство только из-за нужды, и за двадцать сиклей — устойчивая эта цена явно определяла его умеренное чувство

собственного достоинства — прошел уже через много рук. Он был мал ростом, седоволос и со впалой грудью, но речист и сразу же переводил все, что говорил Иаков, на местный язык, после чего с такой же легкостью и быстротой передавал ему смысл ответа.

Длинное, узкое помещение, где они расположились, было местом довольно приятным и полным воздуха: сквозь опорные столбы крыши с одной стороны видна была темнеющая степь, а с другой — мирный четырехугольник вымощенного булыжником и завешенного цветными полотнищами внутреннего двора и деревянная его галерея. Смеркалось. Служанка в набедренной повязке, та, что тащила воду, принесла теперь огня от очага и зажгла три глиняных, на треногах, светильника. Затем она вместе с Абдхебой подала еду: горшок густой, заправленной кунжутным маслом мучной похлебки («Паппасу, паппасу!» — повторяла Рахиль с ребяческим ликованием, забавно и сладострастно облизывая губы и хлопая в ладоши), не остывшие еще ячменные лепешки, редьку, огурцы, пальмовую капусту, а также напитки — козье молоко и воду из канала, запас которой висел в большой глиняной амфоре на одной из подпорок крыши. У наружной стены комнаты стояли два ларя, тоже глиняных, уставленных медными чашками, сосудами для смешиванья жидкостей, кружками; и ручная мельница была там. Кто как, сидели члены семьи вокруг низкого, обтянутого бычьей кожей стола: Лаван и его жена устроились рядом на лавке с прислоном, дочери, поджав ноги, — на камышовых, покрытых подушками сиденьях, а у Иакова были расписной глиняный стул без спинки и такая же скамеечка для ног. Паппасу ели двумя изготовленными из коровьего рога ложками, пользуясь ими поочередно: опорожнив ложку, каждый тотчас же наполнял ее из горшка и передавал соседу. Иаков, сидевший возле Рахили, всякий раз наполнял ей ложку до края, чем очень смешил ее. Лия видела это и косила сильнее, совсем уж удручающе.

За едой ничего сколько-нибудь значительного не говорилось, все замечания касались только самой пищи. Например, Адина говорила Лавану:

— Кушай, муж мой, все принадлежит тебе!

Или она говорила Иакову:

— Угощайся, чужеземец, услади усталую свою душу!

Или же кто-нибудь из родителей говорил одной из дочерей:

— Я вижу, ты норовишь съесть побольше и ничего не оставить другим. Если ты не умеришь свою жадность, ведьма Лабарту перевернет тебе внутренности, и тебя вырвет.

Абдхеба неукоснительно и самым точным образом переводил Иакову и эти мелочи, и тот поддерживал беседу уже на местном наречии, говоря, например, Лавану:

— Кушай, отец мой и брат, все твое!

Или Рахили:

— Угощайся, сестра, услади свою душу!

Абдхеба, как и служанка в набедреннике, ужинали одновременно с хозяевами, которым прислуживали, но с перерывами, присаживаясь время от времени на пол, чтобы наспех съесть редьку-другую и по очереди, из одной чашки, запить ее козьим молоком. Служанка — ее звали Ильтани — то и дело стряхивала кончиками пальцев обеих рук хлебные крошки с длинных своих грудей.

Когда с едой было покончено, Лаван велел принести хмельного себе и гостю. Абдхеба притащил мех с перебродившим полбенным пивом, и когда им были наполнены две кружки, в которых торчали соломинки, потому что на поверхности во множестве плавали зерна, Лаван, торопливо коснулся руками голов женщин, и те удалились, оставив мужчин одних. С Иаковым они тоже простились на ночь, и когда с ним прощалась Рахиль, он еще раз заглянул в приветливую ночь ее глаз и поглядел на белые, редкие зубы ее рта, когда она, улыбаясь, сказала:

— Много паппасу... в ложке... доверху!

— Авраам... прадед.», твой, мой! — отвечал он ей как бы для объяснения, снова попеременно кладя один указательный палец на кончик другого, и они закивали головами, как тогда в поле, и мать горько улыбнулась, Лия скосилась на свой нос, а лицо отца застыло в хмуром

прищуре. Затем дядя и племянник остались одни в этой полной воздуха комнате, и только Абдхеба сидел возле них на полу, тяжело дыша после своих трудов, и переводил взгляд с губ одного на губы другого.

ИАКОВ И ЛАВАН ЗАКЛЮЧАЮТ СОГЛАШЕНИЕ

— Говори же, гость, — сказал хозяин, выпив, — и открой мне обстоятельства твоей жизни!

И тогда Иаков подробно рассказал ему все, совершенно правдиво и в точности так, как было на самом деле. Он разве что несколько приукрасил встречу с Елифазом, хотя и тут, считаясь с очевидными фактами, внешней своей наготой и нищетой, держался, по существу, правды. Время от времени, выложив достаточную, но еще обозримую толику сведений, он прерывал свой рассказ и делал рукой знак Абдхебе, который переводил, и Лаван, часто прикладывая пиву во время рассказа, слушал все это, угрюмо щурясь и качая изредка головой. Иаков повествовал объективно. Он не давал никаких оценок тому, что произошло между ним. Исавом и их родителями, он сообщал об этом свободно и богобоязненно, ибо все это сводилось к тому великому и решающему факту, который так или иначе был налицо во всей своей важности и лишал нынешнюю наготу его и нищету какого бы то ни было высшего значения, — к тому факту, что благословенье было с ним а не с кем-то другим.

Лаван слушал это с тяжелым прищуром. Через свою соломинку он втянул в себя уже столько пива, что лицо его уподобилось ущербной луне, когда та поздно, зловеще-багровая, выходит в свой путь, а тело разбухло, отчего он расстегнул пояс, скинул кафтан и сидел в одной рубашке, скрестив свои мускулистые руки на полуобнаженной, мясистой, в завитках седовато-черных волос груди. Неуклюже наклонившись вперед, с круглой спиной, он сидел, поджав ноги, на своей лавке и, как человек искушенный в делах практических и хозяйственных, собирал сведенья об имуществе, которым хвалился его визави и которое он, Лаван, остерегался признать таким уж завидным. Он нарочно сомневался в этом имуществе. Оно казалось ему не свободным от долгов. Разумеется, Иаков на это всячески напирал: конечном счете Исав человек проклятья, а благословен его брат. Но и с благословеньем, если учесть способ, каким оно было получено, связана доля проклятья, которая, несомненно, как-то скажется. Таковы уж боги. Все они одинаковы — здешние ли, с которыми Лаван, конечно, должен был ладить, или безымянный, вернее, не имеющий определенного имени бог Исааковых близких, которого он, Лаван, знал и тоже, до известной степени, признавал. Боги желают и заставляют действовать, а расплачивается человек. Над достояньем, на которое полагается Иаков, тяготеет долг, и спрашивается, с кого он взыщется. Иаков уверял, что он совершенно свободен и чист. Он почти не действовал, он просто предоставил случиться тому, что случиться должно было, и то с тяжелым внутренним сопротивленьем. Бремя лежит разве что на деятельной Ревекке, которая все подстроила. «Проклятье падет на мою голову!» — сказала она, сказала, правда, только на всякий случай, на случай, если отец распознает обман, но слова эти выражали ответственность, которую она взяла на себя, а его, дитя, она по-матерински считала ни в чем не повинным.

— Да, по-матерински, — сказал Лаван. После пива он тяжело дышал ртом, и верхняя часть его туловища косо осела вперед. Он выпрямил ее, и она, качнувшись, повалилась в другую сторону. — По-матерински, как все матери и родители. Как все боги.

Родители и боги благословляли своих любимцев одинаково двусмысленно. Благословенье их было силой и шло от силы, ведь и любовь была только силой, а боги и родители благословляли своих любимцев из любви сильной жизнью, сильной и своим счастьем и своим проклятьем. Вот как обстояло дело, вот что такое было благословение. «Проклятие падет на мою голову» — это только красивые слова, материнская болтовня, не знающая, что лю-

бовь — это сила, и благословенье — сила, и жизнь — это сила, и ничего больше. Ревекка — всего только баба, а он, Иаков, — благословенный, на имуществе которого лежит главное бремя расплаты за обман.

— С тебя взыщется, — сказал Лаван отяжелевшим языком и указал на племянника отяжелевшей рукой и отяжелевшим пальцем. — Ты обманул, и тебя обманут. Абдхеба, пошевели языком и переведи ему это, несчастный. Я купил тебя за двадцать шекелей, и если ты будешь спать, вместо того чтобы переводить, я на неделю закопаю тебя в землю по самые губы, болван!

— Тьфу ты, — сказал Иаков и плюнул. — Уж не проклинает ли меня отец мой и брат? В конце-то концов, я, по-твоему, кость от кости твоей и плоть от плоти твоей или нет?

— Да, — отвечал Лаван, — ничего не скажешь, ты действительно кость от кости и плоть от плоти моей. Ты правдоподобно рассказал мне о Ревекке, об Исааке и о красном Исаве, ты Иаков, сын моей сестры, это доказано. Дай мне обнять тебя. Но рассмотрим положение вещей на основе твоих же данных и извлечем, каждый для себя, выводы по законам хозяйственной жизни. Я убежден в правдивости твоего рассказа, но у меня нет повода восхищаться твоей откровенностью, ведь чтобы объяснить свое положение, тебе только и оставалось, что быть откровенным. Итак, ты сказал раньше неправду, заявив, что Ревекка послала тебя сюда для того, чтобы оказать мне внимание. Тебе просто нельзя было оставаться дома, потому что Исав мог убить тебя за твои действия и за действия твоей матери, успеха которых я не хочу отрицать, но которые пока что сделали тебя нагим и нищим. Ты пришел ко мне не добровольно, а потому, что тебе негде было приклонить голову. Ты зависишь от меня, и я должен извлечь из этого вывод. Ты не гость в моем доме, а раб.

— Речь дяди моего правомерна, — сказал Иаков, — но его справедливость не сдобрена солью любви.

— Глупости, — отвечал Лаван. — Такова уж та естественная суровость хозяйственной жизни, с которой я привык считаться. Купцы из Харрана — это два брата, сыновья Ишуллану, — тоже требуют с меня, чего захотят, потому что мне очень нужна вода и они знают, что она мне нужна; вот они и требуют, что им заблагорассудится, и если я не заплачу, они продадут меня со всем моим добром, а выручку возьмут себе. Я тоже не хочу быть в мире простофилей. Ты от меня зависишь, значит, я тебя потрясу. Я не настолько богат и благословен, чтобы тешиться своим любвеобилием и устраивать в своем доме приемы всяким бездомным. Рабочих рук у меня всего-то и есть, что вот этот мозгляк да еще Ильтани, служанка, которая глупа, как курица и как квочка, а горшечник человек бродячий, он пробудет у меня только десять дней, по нашему договору, и когда приходит время жатвы или стрижки овец, я не знаю, где взять рабочие руки, — ведь платить я не могу. Давно уже не пристало Рахили, меньшей моей дочери, пасти овец, томясь днем от жары, а ночью от стужи. Ты будешь делать это за кров и за овощную пищу и ни за что больше, ибо тебе некуда податься и ты не волен назначать мне условия, — вот как обстоит дело.

— Я охотно буду ходить за овцами для дочери твоей Рахили, — сказал Иаков, — и служить ради нее, чтобы ей легче жилось. Я с детства пастух, я умею обращаться со скотом и думаю, что дело у меня пойдет. Я и так не собирался бить баклуши и сидеть у тебя на шее; тем более готов я служить тебе, зная, что это пойдет на благо дочери твоей Рахили и что мужские мои руки потрудятся для нее.

— Вот как? — спросил Лаван и, тяжело прищурившись, с отвисшим уголком рта, поглядел на него. — Ну, что ж, — сказал он. — Ты должен служить мне волей-неволей, таковы требования хозяйственной жизни. Но если ты будешь делать это с охотой, то и ты в выигрыше, и я не внакладе. Завтра мы составим письменный договор.

— Вот видишь, — сказал Иаков, — оказывается, существуют на свете обоюдные выигрыши, которые смягчают естественную суровость жизни. А тебе это было невдомек. Ты не

хотел ничем сдобривать правовой разговор, и я сам, из собственного запаса, сдобрил его, не смотря на всю свою теперешнюю легкость и наготу.

— Глупости, — заключил Лаван. — Мы скрепим договор печатью, чтобы все было как полагается и никто не мог нарушить его незаконными действиями. Теперь ступай, меня клонит ко сну и пучит от пива. Гаси светильники, мозгляк! — сказал он Абджебе, вытянувшись на своей лавке, укрылся кафтаном и уснул с открытым вперекос ртом.

Иакову предоставлено было самому искать себе место для ночлега. Он поднялся на крышу, лег на подстилку под полотнища камышовой палатки, которая там была сооружена, и думал о глазах Рахили, покуда его не поцеловал сон.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. НА СЛУЖБЕ У ЛАВАНА

КАК ДОЛГО ПРОБЫЛ ИАКОВ У ЛАВАНА

Так началось пребывание Иакова в Лавановом царстве и в стране Арам Нахараим, которую он про себя задумчиво называл страной Курунгией: во-первых, потому, что страна, куда ему пришлось бежать, была для него преисподней вообще и заранее, но еще потому, что, как выяснилось с годами, эта замкнутая меж двух потоков земля задерживала и, по-видимому, так и не отпускала того, кто в нее попадал, что она действительно и буквально была Страной, Откуда Никогда Не Возвращаются. Ведь что значит «никогда не возвратиться»? Это значит не возвратиться до тех пор, пока человек хотя бы приблизительно сохраняет еще свое состояние и свою форму и остается еще самим собой. Возвращение через двадцать пять лет уже не имеет никакого касательства к тому человеку, который, отправляясь в путь, рассчитывал вернуться через полгода, на худой конец годика через три, и собирался после эпизодической этой отлучки продолжить свою жизнь там, где она прервалась, — такое возвращение для этого человека равнозначно невозвращению. Двадцать пять лет — это не эпизод, это сама жизнь, это, если они начались в пору мужской молодости, основа и костяк жизни, и хотя после своего возвращения Иаков жил еще долго, хотя он изведаль потом самое тяжкое и самое величественное из всего, что ему довелось пережить, — ведь когда он, опять-таки в преисподней стране, торжественно умер, ему было, по нашим точным подсчетам, сто шесть лет, — то сон своей жизни он видел все-таки, можно сказать, у Лавана, в стране Арам. Там он любил, там он женился, там, от четырех женщин, родились все его дети, кроме меньшего, двенадцать человек, там стал он богат имуществом и почтенен возрастом, и тот юноша так и не вернулся, а вернулся и направился к Шекему стареющий, пятидесятипятилетний человек, странствующий восточный шейх с огромными стадами, который пришел на запад, как в чужую страну.

Что Иаков прожил у Лавана двадцать пять лет, можно доказать, это убедительнейше подтверждается трезвым исследованием. Песня и предание обнаруживают в этом вопросе такую неточность мышления, какой мы не простили бы себе так же легко, как им. Они утверждают, будто Иаков пробыл у Лавана в общей сложности двадцать лет: четырнадцать и шесть. Этим делением они как раз и отмечают, что еще за несколько лет до того, как Иаков сломал покрытые пылью запоры и бежал, он потребовал, чтобы Лаван отпустил его, но не был отпущен и обязался остаться на новых условиях. Момент, когда он так поступил, обозначен словами «после того как Рахиль родила Иосифа». Когда же это было? Если бы к тому времени прошло только четырнадцать лет, то за эти четырнадцать лет, вернее, за последние семь из них, у него должны были бы родиться все двенадцать детей, включая Дину и Иосифа и, за исключением только Вениамина, что само по себе, при участии четырех женщин, не было невозможно, но назначенному богом порядку рождений никак не соответствовало бы. Согласно этому порядку уже лакомка Асир, который был на пять лет старше Иосифа, родился по истечении дважды семи лет, то есть на восьмом году брака, и, как выяснится в деталях, Иосиф не мог родиться у

Рахили раньше, чем через два года после появления на свет морелюбивого Завулона, а именно на тринадцатом году брака или на двадцатом харранском году. Как же иначе? Иосиф был сыном старости Иакова, и, значит, тому должно было уже исполниться пятьдесят, когда родился его любимец, а следовательно, к тому времени Иаков должен был прожить у Лавана двадцать лет. Но так как из двадцати лет годами службы были, собственно, только дважды семь, то есть четырнадцать лет, то между ними и моментом, когда Иаков заявил о своем уходе и договор был заключен заново, остается еще шесть бездоговорных, молча прожитых у Лавана лет, каковые, однако, с точки зрения конечного богатства Иакова, нужно причесть к последним пяти, снова прошедшим под знаком договора годам. Ибо хотя эти пять лет дают самое лучшее и самое важное объяснение непомерного богатства Иакова, их просто-напросто не хватило бы, чтобы нажить состояние, которое так пышно всегда расписывалось в песне и в учении. Спору нет, дело не обошлось без сильных преувеличений, и несостоятельность, например, утверждения, что у Иакова было двести тысяч овец, сразу бросается в глаза. Но все-таки у него были их тысячи, не говоря уж о всяком другом скоте, о металлических ценностях и рабах, и слова Лавана, который, догнав бежавшего зятя, потребовал, чтобы тот вернул ему все, что «украл» днем и «украл» ночью, были бы внутренне совершенно не оправданны и вообще не имели бы смысла, если бы Иаков обогатился только на основании нового договора, если бы он и раньше уже — как раз в те промежуточные шесть лет — не хозяйничал в довольно большой мере по собственному усмотрению и не заложил таким образом основы позднейшего своего благосостояния.

Двадцать пять лет — а для Иакова они прошли, как сон, как проходит жизнь для живущего — в желаниях и достижениях, в ожидании, разочарованиях, удачах, складываясь из дней, которых он не считает и каждый из которых приносит свое; коротаемые один за другим, в надеждах и усилиях, терпеливо и в нетерпении, дни сплавляются в большие единицы — месяцы, годы, ряды лет, — каждая из которых похожа в конечном счете на один день. Трудно сказать, что лучше и быстрее убивает время — однообразие или членившие перемены; дело сводится, во всяком случае, к тому, что его убивают; живущее стремится вперед, стремится оставить время позади, оно стремится, в сущности, к смерти, полагая, будто стремится к целям и поворотам жизни; и хотя его время расчленено и разделено на эпохи, оно, будучи именно его временем, протекает все же под неизменным знаком его «я», отчего время и жизнь коротаются всегда при участии обеих сил — однообразия и расчлененности.

В конечном счете деление времени весьма произвольно и мало чем отличается от проведения линий в воде. Их можно проводить и так, и этак, но пока ты их проводишь, все успевает сомкнуться в одно целое. Пятижды пять харранских лет Иакова мы уже разделили по-разному — один раз на двадцать и пять, другой раз на четырнадцать, шесть и пять лет; но он мог делить их также на первые семь до брака, затем на тринадцать, в течение которых рождались дети, и, наконец, на пять дополнительных, подобных пяти високосным дням солнечного года, не укладывавшимся в число двенадцатью тридцать. И так, стало быть, и еще как-нибудь мог он вести счет харранским годам. Всего их было, во всяком случае, двадцать пять, однообразных не только потому, что все они сплошь были Иаковлевыми годами, но и потому, что по всем внешним обстоятельствам они были до неразличимости похожи один на другой, и перемена аспектов, под которыми они были прожиты, не могла уменьшить расплывчатого их однообразия.

ИАКОВ И ЛАВАН СКРЕПЛЯЮТ ДОГОВОР

Разделом, своего рода эпохой в жизни Иакова сразу явилось то, что договор, который он заключил с Лаваном в первый же по прибытии день, уже через месяц был отменен и заменен новым, совсем другого рода, связавшим его, Иакова, гораздо сильнее. На следующее же

утро после прибытия Иакова Лаван действительно потрудился узаконить то отношение племянника к своему дому, которое было определено за пивом с земной деловитостью. Они рано вышли из дому и верхом на ослах отправились в город, в Харран: Лаван, Иаков и раб Абдхеба, который должен был служить свидетелем перед писцом и законником. Судья этот заседал во дворе, где толпилось множество людей, ибо многим нужно было скрепить или обжаловать соглашение о купле-продаже, об откупе, найме, обмене, браке или разводе, и судья-заседатель со своими двумя писарями или помощниками, сидевшими на корточках по бокам от него, должен был трудиться не покладая рук, чтобы справиться с наплывом городских и сельских просителей, так что Лавановым людям пришлось долго ждать, пока дошла очередь до их вообще-то незначительного и несложного дела. За некоторую толику зерна и масла Лаван заранее нанял второго свидетеля, какого-то человека, слонявшегося здесь как раз в ожидании такого случая, и тот вместе с Абдхебой поручился за соблюдение сделки, после чего оба скрепили ее печатями, вдавив ноготь большого пальца в глину выпуклой на обороте дощечки. У Лавана был перстень с печаткой, а Иаков, который своего перстня лишился, оттиснул на грамоте край своего кафтана. Так был заверен нехитрый текст, нацарапанный одним из писарей под машинальную диктовку судьи: овцевод Лаван брал в рабы на неопределенный срок бездомного уроженца страны Амурру такого-то, сына такого-то, и тот обязан был отдавать все силы своего тела и ума Лаванову хозяйству и дому, не получая никакого другого вознаграждения, кроме пищи насущной. Ни отмене, ни пересмотру, ни обжалованию договор не подлежал. Всякий, кто в нарушение закона воспротивился бы этому договору или попытался оспаривать его, проиграл бы дело и был бы наказан взысканием пяти мин серебра. И точка. Лаван должен был возместить издержки, связанные с изготовлением грамоты, и он оплатил их несколькими медными пластинками, которые, бранясь, швырнул на весы. Втайне он считал, однако, что закабаление Иакова на столь выгодных условиях вполне стоит маленьких этих расходов, ибо придавал Ицхакову благословию куда больший вес, чем показал это в разговоре с племянником, и недооценил бы его деловой сметки тот, кто подумал бы, что он не сразу, не с самого начала понял, что приобщение Иакова к делам его дома — большая удача. Он был человек угрюмый, богам неугодный, он не полагался на свое счастье, а потому и не сподобливался до сих пор особого успеха в делах. Он всегда прекрасно сознавал, как полезно ему сотрудничество с человеком благословенным.

Поэтому после заключения договора он был в сравнительно хорошем настроении и, делая на улицах кое-какие покупки — он покупал ткани, съестные припасы и разную мелкую утварь, — призывал своего спутника восхититься городом и шумной его жизнью; толщиной его стен и бастионов; прелестью обильно орошаемых садов, его окружавших, где гирлянды винограда вились среди финиковых пальм; священным великолепием храма Э-хулхула, обнесенного валом, и его дворов с обитыми серебром воротами, которые охранялись бронзовыми быками; величавостью башни, которая ступенчато, ярусами, возвышалась на огромной насыпи — семицветная изразцовая громада, вверху лазоревая, отчего тамошнее святилище, временная резиденция бога, где ему было приготовлено брачное ложе, сливалось, сияя, с синевой неба. Но у Иакова все эти достопримечательности вызывали только уклончивое «гм» или «ну-ну». Он не был охотником до городской жизни и не любил ни гама, ни суеты, ни кичливой огромности зданий, притворявшихся вечными, но, как он понимал, обреченных на гибель, и притом через самый ничтожный хотя бы лишь перед богом срок, сколь бы хитроумно ни была укрепленна эта гора кирпича смолой и циновками и как бы искусно от нее ни отводилась вода. Он тосковал по родным пастбищам Беэршивы; но хвастливая пышность города, угнетавшая пастушескую его душу, заставляла его теперь думать о Лавановом доме чуть ли не как о родине, тем более что он оставил там пару черных глаз, которые смотрели ему навстречу с поразительной готовностью и с которыми, как ему казалось, надо было договориться о чем-то весьма важном. О них думал он, рассеянно глядя на брентную пышность, о них и о боге, обещавшем охранять его шаги на чужбине и вернуть богатым домой, об Аврамовом боге, из-за которого

испытывал ревнивое чувство при виде дома и двора Бел-Харрана, охраняемых дикими быками и змеядными грифами, твердыни идолопоклонства, где в самой внутренней, сверкавшей камнями каморке из золоченых кедровых балок, на серебряном цоколе, стояло бородатое изваяние идола, которому кадили и льстили по тщательно разработанному, достойному царя церемониалу, — тогда как Иаковлев бог, которого тот считал величайшим из всех, величайшим до единичности, вообще не имел дома на земле и принимал незамысловатые знаки почтения под деревьями или на высоких местах. Ничего другого ему, несомненно, и не было нужно, и, конечно, Иаков гордился тем, что его бог презирает и осуждает всякий городской, житейский, земной блеск, потому что никаким блеском не может довольствоваться. Но к этой гордости примешивалось подозрение, вместе с которым она и создавала чувство ревности, — подозрение, что бог, в сущности, тоже охотно жил бы в доме из финифти, золоченых кедров и карбункулов, которому, конечно, следовало быть в семь раз прекрасней, чем дом этого лунного идола, и осуждает подобные хоромы только потому, что еще не может иметь их, только потому, что народ его слишком еще малочислен и слаб, чтобы их построить. «Дайте срок, — думал Иаков, — а пока что кичитесь пышностью высокого своего владыки Бела! Мой бог обещал мне в Вефиле сделать меня богатым, и в его воле сделать тяжелыми от богатства всех, кто в него верует, и, когда мы разбогатеем, мы построим ему дом, который будет сплошь из золота, сапфира, яшмы и горного хрусталя внутри и снаружи, и перед этим домом померкнут дома всех ваших владык и владычиц. Прошедшее ужасно, а настоящее могущественно, ибо оно бросается в глаза. Но самое великое и священное — это, несомненно, будущее, и оно утешает удрученную душу того, кому оно суждено».

О ВИДАХ ИАКОВА

Как ни было поздно, когда дядя с племянником возвратились из города домой, Лаван счел нужным этой же ночью спрятать дощечку с договором в подвале дома, служившем хранилищем для таких документов; Иаков, тоже с горящим светильником в руке, сопровождал Лавана. Помещение это находилось под полом нижней комнаты левого крыла дома, напротив галереи, где вчера ужинали, и представляло собой некое сочетание архива, часовни и склепа; здесь, в глиняном ларе, стоявшем посредине подполья в окружении чаш, жертвенной снеди и треног с курильницами, покоились кости Вафуила, и где-то здесь же, еще глубже под землей или в стене, должен был находиться большой глиняный кувшин с останками принесенного в жертву Лаванова сына. В глубине подвала была ниша со сложенным из кирпичей жертвенником и низкими, узкими лавками, на одной из которых, по правую руку от жертвенника, лежали дощечки со всевозможными расписками, счетами и договорами, здесь сберегаемыми. На другой стояли в ряд десять — двенадцать маленьких истуканов, очень странного вида, частью в высоких шапках и с бородатыми детскими лицами, частью без бород и плешивые, иные в чешуйчатых юбочках и с обнаженным туловищем, на котором, почти у самого подбородка, были мирно сложены ручки, а иные в складчатых, не очень искусно скроенных одеждах, не закрывавших маленьких и топорных пальцев ножек. То были домовые и вещицы Лавана, его терафимы, к которым он был сильно привязан и с которыми угрюмый этот человек советовался здесь внизу по каждому важному поводу. Они хранили дом, как он объяснил Иакову, довольно надежно предсказывали погоду, давали ему советы относительно купли и продажи, могли указать, в каком направлении ушла отбившаяся от стада овца, и так далее.

Иакову было не по себе вблизи костей, расписок и истуканов, и он был рад, когда, поднявшись по стремянке к люку, они вернулись из этой преисподней в верхнюю, чтобы лечь спать. Лаван отдал дань благоговения раке Вафуила, поставив там для услаждения умершего свежую воду, то есть сотворив ему «возлияние водой», а также почтил поклонами терафимов и не помолился, таким образом, только деловым документам. Иаков, не одобрявший ни ка-

ких бы то ни было приношений мертвым, ни идолопоклонства, был огорчен той религиозной неясностью и неуверенностью, которая явно царила в этом доме, хотя от Лавана, внучатого племянника Авраама и брата Ревекки, можно было ожидать куда более просвещенного богосмыслия. На самом деле Лаван знал о религиозной традиции своих западных родственников, но к этому его знанию примешалось столько местных поверий, что они стали, по сути, основой его убеждений, а наследие Авраама, наоборот, примесью. Хотя он жил у первоисточника религиозной истории или именно потому, что он остался там жить, Лаван чувствовал себя самым настоящим подданным Вавилона и его государственной веры и, обращаясь к Иакову, называл Иа-Элохима только «бог твоего отца», причем он еще самым нелепым образом путал его с верховным божеством Синеара, Мардуком. Это было разочарованием для Иакова, ибо нравы Лаванова дома рисовались ему, как явно и пославшим его сюда родителям, более передовыми, и это особенно огорчало его из-за Рахили, в красивой и прекрасной головке которой царил, конечно, такой же сумбур, как в головах ее близких, и он с первого же дня не упускал случая приобщить ее к истинному и праведному. Ибо с первого дня, с того, собственно, мгновения, как он увидел ее у колодца, он смотрел на нее как на свою невесту, и не будет преувеличением сказать, что и Рахиль, уже тогда, когда она тихо вскрикнула, узнав, что перед ней стоит ее двоюродный брат, увидела в нем своего жениха.

Брак между родственниками, супружеский союз между членами одного и того же рода был тогда вообще — и на то имелись причины — делом обычным; он считался единственно пристойным, разумным и надежным видом брака, и мы прекрасно знаем, как сильно напортил себе своими эксцентричными женитьбами бедный Исав. Это не было личной прихотью Авраама — настоять на том, чтобы Ицхак, истинный сын, взял себе жену непременно из его, Авраамова, рода и дома его отца, а именно из дома Нахора в Харране, дабы знать наверняка, что он получит; и когда теперь в этот дом, где были дочери, пришел Иаков, он следовал по стопам Исаака, вернее, свата Елиезера, и идея сватовства была для него, как и для Исаака и Ревекки, с его визитом естественно связана, она сразу связалась бы с этим визитом и у Лавана, если бы этот очерствевший в хозяйственных делах человек мог сразу заставить себя узнать в нищем беглеце жениха. Лавану, как всякому другому отцу, показалось бы весьма нежелательным и опасным отпустить своих дочерей в совершенно чужой и незнакомый род, «продать их», как он выразился бы, «на чужбину». Гораздо безопаснее и достойнее было оставить их в лоне рода и в качестве жен, и так как налицо был двоюродный брат с его, отца, стороны, то этот двоюродный брат, Иаков, был, значит, для них — то есть не только для одной из них, но для обеих сразу — естественным, прямо-таки в буквальном смысле слова суженым мужем. Таково было молчаливо-всеобщее мнение в Лавановом доме, когда появился Иаков, мнение, в сущности, и хозяина дома, но прежде всего мнение Рахили, которая хоть и первой встретила пришельца, хоть и достаточно хорошо понимала свою роль на земле, чтобы знать, что она красива и прекрасна, а Лия, напротив, дурна лицом, — но все-таки, глядя тогда на Иакова у колодца тем испытующим, полным готовности взглядом, который так его взволновал, думала отнюдь не о себе одной. Жизнь пожелала, чтобы с прибытием двоюродного брата она, Рахиль, вступила в женское соревнование со своей сестрой и подругой, но соревнование это не имело отношения к вопросу, кого он выберет (на первых порах ей и положено было, наверно, привлекать его особенно сильно ради них обеих); соревнование это предстояло ей, собственно, лишь позднее, и касалось оно вопроса о том, кто из них будет брату-супругу лучшей, более усердной, более плодотворной и более любимой женой, вопроса, следовательно, в котором у нее не было никаких преимуществ перед сестрой и которого более или менее преходящая привлекательность отнюдь не решала.

Вот как смотрели на вещи в доме Лавана, и только сам Иаков — а это-то и было источником многих недоразумений — смотрел на них не так. Прежде всего он знал, что, кроме праведной жены, можно иметь побочных жен и наложниц-рабынь, от которых рождаются полужаконные дети, но ему не было известно и стало известно лишь много позже, что в этих мес-

тах, и как раз в Харране и его окрестностях особенно, браки с двумя равноправными женами заключались очень часто, а при благоприятном имущественном положении даже как правило; кроме того, его сердце и мысли были слишком заполнены обаянием Рахили, чтобы думать еще о ее старшей, более статной и менее красивой сестре, — он не думал о ней даже тогда, когда из вежливости с ней разговаривал, и она это видела и с печальным достоинством, горько усмехаясь, опускала веки косых своих глаз, и Лаван тоже это видел и проникался ревностью из-за своей старшей, хотя договором превратил этого брата-жениха в раба-наемника, чему радовался из сочувствия обойденной его вниманием Лии.

НАХОДКА ИАКОВА

Итак, Иаков не упускал случая поговорить с Рахилью, но такие случаи представлялись довольно редко, ибо весь день у обоих было много обязанностей, и что касается Иакова, то он находился в положении человека, который полон большого чувства и хочет сделать это чувство единственной своей заботой, но, кроме того, вынужден тяжело трудиться, и притом как раз ради своей любви, — хотя, с другой стороны, труд наносит ей ущерб, потому что за работой он о ней забывает. Для человека чувства, каким был Иаков, это тяжело, ведь ему хочется покоиться в своем чувстве и жить только для него, а он должен, наоборот, не давать себе роздыха как раз в честь своего чувства, ибо какая же честь его чувству, если он даст себе роздых? Поистине это было одно и то же, его чувство к Рахили и его работа в хозяйстве Лавана; как утвердил бы он свое чувство, если бы ему не было удачи в работе? Нужно было, чтобы Лаван, окончательно убедившись в высокопробности достояния, на которое опирался его племянник, загорелся желанием привязать его к себе. Одним словом, нужно было не посрамить благословение Исаака, ибо такова обязанность мужчины: приложить усилие, пошевелить руками, чтобы благословение, доставшееся ему в наследство, не было посрамлено, а стяжало честь чувству его сердца.

Тогда, в начале службы Иакова, пастбище, куда он, с запасом еды в суме, пращой за поясом и длинным посохом в руке, гнал по утрам овец Лавана, чтобы весь день стеречь их там с помощью пса Мардуки, находилось недалеко от дома дяди, всего в каком-нибудь часе ходьбы от него, и в этом было то преимущество, что Иаков не должен был ночевать в поле, а мог с заходом солнца пригнать стадо домой и здесь на усадьбе, словом и делом, показать себя во всем блеске. Он был рад этому, ибо поначалу пастушья его работа предоставляла ему мало возможностей создать у дяди впечатление, что с ним, беглецом, в хозяйство вошла удача. Правда, не было случая, чтобы хоть одного ягненка не оказалось на месте, когда он вечером, перед загонами, на глазах у Лавана пересчитывал стадо, пропуская его под своим посохом, кроме того, Иаков необычайно быстро отнял от маток летний приплод, что дало Лавану больше молока и простокваши, и очень любовно и умело вылечил от парши одного из двух баранов стада, породистого производителя. Но Лаван принимал эти и другие услуги без изъявлений благодарности, относясь к ним как и обычной работе дельного пастуха, и, когда Иаков, едва приступив к службе, оградил нижние окнища дома красивыми деревянными решетками, он тоже принял это как должное. На штукатурку наружных кирпичных стен он по скупости отказался тратиться, и поэтому столь очевидное украшение усадьбы Иакову связать со своим прибытием не удалось. Ему было довольно трудно найти способ подтвердить свою благословенность; но внутреннее напряжение настойчивых этих поисков как раз, может быть, и подготовило его к откровению, как раз, может быть, и сделало его героем того важного по своим последствиям события, о котором он всю жизнь с радостью вспоминал.

Он нашел воду вблизи пашни Лавана, живую воду, подземный ключ, нашел, как хорошо знал, с помощью своего бога, хотя это сопровождалось явлениями, которые, собственно, должны были претить господу и походили на уступку чистой его природы духу места, ходовым

в этой стране представленьям. Иаков только что, с глазу на глаз, поговорил возле дома с милой Рахилью, поговорил столь же галантно, сколько и чистосердечно. Он сказал ей, что она прелестна, как египетская Хатхор, как Исет, что она прекрасна, как телица. Она светится светом женственности, выразился он поэтически, она кажется ему матерью, питающей влажным огнем добрые семена, и взять ее в жены и родить с нею сыновей — это самая большая его мечта. Рахиль держалась при этом очень приятно, честно и целомудренно. Брат и супруг пришел, она испытала его глазами и любила его всей своей молодой готовностью к жизни. И когда теперь, держа в ладонях ее голову, он спросил ее, была ли бы и она рада подарить ему сыновей, она молча кивнула ему со слезами в своих прекрасных черных глазах, и слезы эти он вытер ей поцелуем, — губы его были еще мокры от них. Он гулял в поле при двойном свете луны и угасавшего дня, как вдруг что-то потянуло его за ногу и какая-то жгучая судорога, словно его поразила молния, пробежала у него от плеча до ступни. Вытаращив от удивления глаза, он увидел перед собой очень странное существо. У него было туловище рыбы, серебристо-скользко мерцавшее в свете луны и дня, и рыба же голова. А под ней, покрытая ею, как шапкой, была человеческая голова с вьющейся бородой, и еще были у этого существа человеческие ножки в виде коротких наростов на рыбьем хвосте и такие же короткие ручки. Оно стояло сгорбившись и, держа обеими руками ведро, что-то усердно черпало из земли и выливалось, выливалось и черпало. Затем, семена на своих коротеньких ножках, оно отбежало в сторону и скользнуло в землю, во всяком случае, скрылось.

Иаков мгновенно понял, что это был Эа-Оаннес, бог водяной бездны, владыка срединной земли и океана над нижней, которого здешние жители считали источником чуть ли не всех своих знаний и богом величайшим, таким же великим, как Эллил, Син, Шамаш и Набу. Иаков, со своей стороны, знал, что по сравнению со всевышним он не был так уж велик, не был хотя бы потому, что обладал внешним обликом, и притом отчасти даже смешным. Он знал, что если Эа сейчас явился и что-то ему указал, то случиться это могло только по почину Иа, единственного бога, бога Исаакова, который был с ним. А что указал ему меньший этот бог своим поведением, это тоже открылось ему сразу же — открылось не только само по себе, но и во всех своих связях и следствиях, и он побежал на усадьбу за бурильными принадлежностями и, призвав на помощь двадцатишекельного Абдхебу, рыл землю полночи, затем поспал всего один час и снова копал затемно, после чего, себе на муку, должен был погнать стадо на выпас, бросив свою работу на целый день, — ему не стоялось, не лежалось и не сиделось на месте, когда он пас Лавановых овец в этот день.

До начала зимних дождей и полевых работ было еще далеко. Все было выжжено солнцем, Лаван забросил свое поле, он трудился на усадьбе и не ходил туда, где копал Иаков, а потому ничего не заметил и не подозревал о работе, которую тот возобновил вечером и продолжал при свете странствующей луны, пока не появилась Иштар. Иаков делал разведочные скважины в разных местах небольшого участка, в поте лица своего пробиваясь через глину и камень. И вот, когда на востоке ожило небо, хотя верхний край солнца еще не поднялся над землей, вода вдруг брызнула, ключ забил, забил мощной, высотой в три пяди, струей, наполняя неровно и наспех вырытую скважину и окропляя землю вокруг себя, и вода его пахла сокровищами преисподней.

Тут Иаков стал молиться и, еще продолжая молиться, помчался уже за Лаваном. Но, увидев его издали, замедлил шаг, подошел к нему с приветствием и, тяжело дыша, сказал:

— Я нашел воду.

— Что это значит? — ответил вопросом Лаван, и рот его при этом отвисал паралично.

— Подземный ключ, — был ответ Иакова, — который я откопал между усадьбой и полем. Он бьет на локоть от земли.

— Ты помешался.

— Нет. Господь, бог мой, сподобил меня его найти согласно благословию отца моего. Пусть мой дядя пойдет и поглядит.

Лаван побежал, как побежал, когда ему доложили о прибытии богатого посла Елиезера. Задолго до Иакова, который неторопливо за ним следовал, подойдя к клокочущей яме, он стоял и смотрел.

— Это вода жизни, — сказал он потрясенно.

— Ты это говоришь, — подтвердил Иаков.

— Как это тебе удалось?

— Я верил и рыл.

— Эту воду, — сказал Лаван, не отрывая взгляда от ямы, — я смогу отвести по канаве к моему полю и оросить его.

— Наилучшим образом, — сказал Иаков.

— Я смогу, — продолжал Лаван, — расторгнуть договор с сыновьями Ишуллану, потому что мне больше не нужна их вода.

— И у меня, — сказал Иаков, — мелькнула уже такая мысль. А кроме того, при желании ты можешь устроить пруд и заложить сад, посадить финиковые пальмы и всякие плодородные деревья, например, смоковницу, гранат, шелковицу. А если вздумаешь и тебе загорится — то и фишашки, груши, миндаль и, пожалуй, еще несколько земляничных деревьев, и финики дадут тебе и мякоть, и сок, и косточки, и вдобавок у тебя будут и пальмовое масло, и листья для плетеных поделок, и ветки для всяких хозяйственных надобностей, и луб для веревок и пряжи, и лес для построек.

Лаван молчал. Он не обнял благословенного, не пал перед ним ниц. Он ничего не сказал, постоял, повернулся и ушел. Иаков тоже поспешил к Рахили, она сидела в хлеву у вымени и доила. Он ей все рассказал и говорил, что теперь, вероятно, им суждено будет родить друг с другом детей. И они взялись за руки и немного поплясали, напевая «Аллилу-Иа!».

ИАКОВ СВАТАЕТСЯ К РАХИЛИ

Прожив у Лавана месяц, Иаков снова пришел к нему и сказал, что так как гнев Исава, в опаснейшей своей части, наверно, уже остыл, он, Иаков, хотел бы переговорить с дядей.

— Прежде чем говорить, — отвечал Лаван, — выслушай меня, ибо я со своей стороны собирался сделать тебе одно предложение. Ты живешь у меня уже месяц, и мы уже приносили жертвы на крыше и в новолунье, и при половинном сиянье, и при прекрасной полноте, и в день исчезновенья. За это время я нанял, кроме тебя, на некоторый срок еще трех рабов, которым и плачу как положено. Ибо не без твоего содействия была найдена вода, и мы начали облицовывать камнем жерло источника и строить из кирпича отводной желоб. Мы наметили также границы пруда, который надо вырыть, и если придется закладывать сад, то будет много работы и мне потребуются сильные руки — и твои, и тех, дополнительно нанятых, которых я кормлю и одеваю, платя им, кроме того, ежедневно по восьми сила зерна. До сих пор ты служил мне, по нашему договору, безвозмездно, из родственных чувств. Так вот, мы заключим новый договор, ибо неудобно перед богами и людьми чужим рабам платить жалованье, а собственному племяннику — нет. Итак, скажи, что ты с меня спросишь. И я дам тебе, что даю другим, и еще немного больше того, если ты обяжешься прожить у меня столько лет, сколько дней в неделе и сколько лет остается под паром поле, когда земля отдыхает от посевов и жатв. Семь, стало быть, лет придется тебе служить за ту плату, которую ты назначишь.

Таковы были слова Лавана и таков был ход его мыслей — слова правомерные, поскольку служили одеждой правомерных мыслей. Но даже мысли человека земного, не говоря уж о его словах, — это только одежда, только украшение его домогательств и интересов, которым он, думая, придает правомерную форму, так что обычно он лжет еще раньше, чем говорит, и слова его звучат так честно потому, что ложь заключена, собственно, не в них, а в самих мыслях. Лаван очень испугался, когда ему показалось, что Иаков хочет уйти, ибо с тех пор,

как забил ключ, он знал, что Иаков действительно носитель благословенья и человек благословенной руки, и теперь ему было чрезвычайно важно привязать к себе племянника, чтобы и впредь его, Лавана, делам шло на пользу благословенье, которое тот приносил туда, куда приходил. Открытие воды было великой удачей, настолько богатой последствиями, что освобождение Лавана от уплаты обременительного оброка сыновьям Ишуллану явилось лишь первым, но не самым важным из них. Сыновья Ишуллану, конечно, всячески изворачивались, ссылаясь на то, что без воды их канала Лаван вообще не смог бы возделывать поле, и утверждая, что, независимо от того, нуждается ли он в этой воде теперь или нет, он поэтому вечно обязан платить им зерном, шерстью и маслом. Но судья-заседатель побоялся богов и решил тяжбу в пользу Лавана, что тот равным образом склонен был объяснить вмешательством бога Иакова. Теперь было затеяно и начато множество дел, для успешного завершения которых благодатное присутствие Иакова оказалось необходимо. Хозяйственное соотношение сил изменилось в пользу племянника: Лаван считал, что нуждается в нем, и для Иакова, прекрасно это знавшего, возможность пригрозить своим уходом была оружием, с которым земной ум Лавана не мог не считаться. Поэтому, предупреждая события, еще до того, как Иаков пустил свое оружие в ход, Лаван в глубине души поспешил найти условия, на которых работал на него сын Ревекки, недостойными, и перебил его правомерными предложениями. Иаков, который в действительности не смел думать о том, чтобы вернуться домой уже теперь, так как лучше всех знал, что условия для этого далеко еще не созрели, был рад, что дядя заблуждается относительно расстановки сил, и признателен ему за его предупредительность, хотя и понимал, что вызвана она не правомерностью и не любовью к нему, Иакову, лично, а только заинтересованностью. Признателен, значит, он был ему, собственно, за заинтересованность, привязывавшую Лавана к нему, благословенному; ведь так уж устроен человек, что на радушие, в которое облачается такая заинтересованность, он произвольно отвечает любовью. Помимо этого, Иаков любил Лавана за то, что дядя должен был отдать и что он, Иаков, намерен был у него потребовать; и это было дороже всяких сил и сиклей. Он сказал:

— Отец мой и брат, если ты хочешь, чтобы я остался и еще не возвращался к умиротворившемуся Исаву, а служил тебе, то отдай за меня Рахиль, дитя твое, и пусть она будет наградой за мою службу. Ибо красотой она подобна телице, и она тоже смотрит на меня с приязнью, и мы сошлись в беседе на том, что хотели бы вместе родить детей по образу своему. Поэтому отдай ее мне, и я твой.

Лаван несколько не удивился. Мысль о сватовстве, мы уже это сказали, была с самого начала тесно связана с прибытием племянника и двоюродного брата и только из-за бедственного положения Иакова отошла в мыслях Лавана на задний план. Что Иаков теперь, когда соотношение сил изменилось в его пользу, высказал ее, было понятно и даже обрадовало Лавана, персть земную, который сразу увидел, что этим Иаков снова, и в довольно большой мере, лишает себя преимущества перед ним. Ибо своим признанием, что Рахиль ему по сердцу, он снова отдал себя в руки Лавана в такой же степени, в какой тот был в его руках, и ослабил свое оружие, каким была угроза ухода. Но что Иаков говорил о Рахили, только о ней, и даже не заикнулся о Лии, это отца злило. Он отвечал:

— Ты хочешь, чтобы я отдал тебе Рахиль?

— Да, ее. И она сама этого хочет.

— А не Лию, старшее мое дитя?

— Нет, эта мне не так по сердцу.

— Она старше, и сначала нужно сватать ее.

— Спору нет, она немного старше. К тому же она статна и горда, несмотря на некоторые недостатки ее наружности или как раз благодаря им, и возможно, что она смогла бы родить мне детей, каких я хочу. Но так уж случилось, что сердцем я привязался к Рахили, меньшей твоей дочери, ибо она кажется мне подобной Хагхор и Исет, она поистине светится для меня светом женственности, словно сама Иштар, и милые глаза ее всегда со мною, куда бы я ни

пошел. И знаешь, однажды губы мои были мокры от слез, которые она ради меня пролила. Отдай же мне ее, и я буду тянуть у тебя ляжку.

— Разумеется, лучше отдать ее тебе, чем кому-то чужому, — сказал Лаван. — Но, по-твоему, я должен отдать кому-то чужому Лию, старшее мое дитя, или, может быть, пускай она засохнет без мужа? Возьми сначала Лию, возьми обеих.

— Ты очень щедр, — сказал Иаков, — но хотя это может показаться непонятным, Лия нисколько не разжигает моих мужских желаний, и даже совсем наоборот, и рабу твоему нужна только Рахиль.

Лаван поглядел на него своим паралично сощуренным глазом и грубо сказал:

— Как хочешь. Обязуйся прожить у меня и служить мне за эту плату семь лет.

— Семижды семь! — воскликнул Иаков. — Хоть до лета оставления! Когда свадьба?

— Через семь лет, — ответил Лаван.

Представьте себе ужас Иакова!

— Что? — сказал он. — Я должен служить тебе за Рахиль семь лет, прежде чем ты отдашь мне ее?

— А как же иначе, — отвечал Лаван, изображая крайнее удивление. — Я был бы дураком, если бы отдал тебе ее сразу, чтобы ты ушел с ней, когда тебе заблагорассудится, а я бы остался ни с чем. Что-то ты не вручаешь мне ни вена, ни выкупа, ни надлежащих подарков, чтобы я привязал их к поясу невесты и, как велит законодатель, оставил себе, если бы ты отказался от сговора? Они при тебе, мина серебра и все прочее, или они у тебя где-нибудь спрятаны? Ты же беден, как мышь в поле, и даже того беднее. Поэтому надо записать у судьи, что я продаю тебе девку за семь лет службы и расплачусь с тобой после того, как ты отслужишь свое. И дощечку эту мы спрячем под землей, в домашнем святилище, и вверим ее терафимам.

— Сурового, однако, дядю, — сказал Иаков, — даровал мне господь!

— Глупости! — ответил Лаван. — Я суров настолько, насколько мне это позволяют обстоятельства, а если обстоятельства того требуют, то я мягок. Ты хочешь взять в жены мою девку — так вот, либо уходи без нее, либо отслужи.

— Отслужу, — сказал Иаков.

О ДОЛГОМ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ

Вот как обозначилась первая, краткая и предварительная полоса долгого пребывания Иакова у Лавана, пролог, длившийся всего один месяц и закончившийся заключением нового договора, уже на определенный срок, и притом на очень большой. Это был и брачный договор, и вместе договор о службе, смесь того и другого, с какой чиновник машким, или судья-заседатель, вероятно, еще не часто, но все-таки уже раз-другой имел дело, — во всяком случае, он признал этот документ правомочным и, по воле обеих сторон, имеющим законную силу. Грамота в двух экземплярах была для вящей ясности составлена в виде разговора; речь Иакова и речь Лавана приводилась дословно, и благодаря этому было ясно, как они пришли к своему любовному соглашению. Такой-то сказал такому-то: «Отдай мне свою дочь в жены», — и тот спросил: «А что ты мне дашь за нее?» И у первого ничего не было. Тогда второй сказал: «Коль скоро у тебя нет ни вена, ни даже залога, который я мог бы повесить невесте на пояс в знак сговора, прослужи мне столько лет, сколько дней в неделе. Это и будет твое выводное, и, когда истечет срок службы, ты получишь невесту, чтобы спать с ней, и в придачу мину серебра и служанку, которую я дам девице в приданое, причем две трети мины будут покрыты стоимостью служанки, а одну треть я выплачу наличными или же дарами поля». Тогда первый сказал: «Пусть будет так». Именем царя быть по сему. Оба взяли по дощечке. Кто нарушит этот договор незаконным своим поведением, тот не жди добра.

Соглашение это было убедительно, судья мог признать его справедливым, и с чисто хозяйственной точки зрения Иакову тоже не на что было жаловаться. Если он должен был дяде мину серебра в шестьдесят шекелей, то семи лет службы даже не хватало, чтобы погасить этот долг; среднее жалованье наемного раба составляло всего шесть шекелей в год, и значит, семилетний заработок долга не покрыл бы. Иаков, правда, хорошо чувствовал, что хозяйственный аспект в данном случае обманчив и что если бы существовали на свете какие-то справедливые, божьи весы, то чаша, на которую брошено семь лет жизни, высоко взметнула бы чашу с миною серебра. Но в конце концов эти годы ему предстояло прожить вблизи Рахили, а это делало его жертву любовно-радостной, и, кроме того, с первого же дня действия договора Рахиль становилась его законной невестой, благодаря чему никакой другой мужчина не смел к ней приблизиться, не взяв на себя столь же тяжкой вины, как соращение замужней женщины. Увы, они должны были ждать друг друга семь лет, двоюродные брат и сестра; они должны были перейти на совсем другую, чем нынешняя, возрастную ступень, прежде чем смогут родить друг с другом сынов, а это было горькое требование, свидетельствовавшее либо о жестокости Лавана, либо о недостатке у него воображения, во всяком случае, снова и самым выразительным образом показывавшее, что это человек бессердечный и лишенный симпатии. Вторым неприятным обстоятельством были необычайная скупость и стремление обчитать ближнего, заявлявшие о себе в той части договора, что касалось приданого, этого отцовского, отсроченного на семь лет дара, который не сулил бедному Иакову никакой выгоды, ибо какая-то служанка неведомых качеств была бессовестно оценена вдвое дороже в денежном выражении, чем стоил вообще-то здесь или на западе средней руки раб. Но и с первой, и со второй неприятностью приходилось мириться. Время более выгодных сделок, Иаков это ощущал, должно было еще прийти, — он чувствовал в душе у себя обетование выгодных сделок и тайную, необходимую для них силу, несомненно превосходившую ту, что была в груди у этого беса преисподней — его тестя, у этого арамеянина Лавана, чьи глаза стали прекрасны в Рахили, его дочери. А что касалось семи лет, то их нужно было начать и прожить. Легче было бы их проспять; но не только ввиду невозможности этого Иаков подавлял в зародыше такое желание, а еще и находя, что лучше все-таки деятельно бодрствовать.

Это он и делал, и это же надо бы делать рассказчику, а не воображать, будто, сказав: «Прошло семь лет», он может проспять время и через него перепрыгнуть. Рассказчикам, спору нет, свойственно говорить такие общие слова, но все же подобное заклинанье, раз уж к нему приходится прибегать, должно произноситься не иначе, как со значением, не иначе, как с робостью от почтительного уважения к жизни, чтобы и для слушателя оно прозвучало веско и осмысленно и он удивился бы, как же они все-таки умудрились пройти, эти необозримые или обозримые только для разума, но не для души семь лет — и притом так, словно это были не годы, а дни. Известно же предание, что семь лет, которых Иаков сначала боялся до отчаяния, показались ему за несколько дней, и предание это, само со бой разумеется, восходит в конечном счете к собственным его словам, оно, как говорится, аутентично, да и совершенно понятно. Тут не было никакого сна наяву и вообще никакого волшебства, кроме волшебства самого времени, большие отрезки которого проходят так же, как малые — ни быстро, ни медленно, а просто проходят. В сутках двадцать четыре часа, и хотя час — это значительный промежуток, охватывающий изрядный кус жизни и тысячи ударов сердца, от утра до утра, во сне и бдении, — двадцать четыре таких промежутка все же проходят неведомым тебе образом, и столь же неведомым образом проходят семь таких суток жизни, то есть неделя, а всего четырех таких отрезков достаточно для того, чтобы луна пробежала через все свои фазы. Иаков не рассказывал, что семь лет прошли для него «так быстро», как несколько дней, он не хотел умалять вес одного дня жизни этим сравнением. И день проходит не «быстро», но он проходит со своими временами дня: утром, полднем, послеполуденными часами и вечером, — проходит такой же, как многие другие, и так же, со своими временами года, от начала до начала, такой же, как многие другие, столь же не поддающимся определению образом проходит и год. Вот почему Иаков и передал, что семь лет показались ему за несколько дней.

Незачем напоминать, что год состоит не только из своих времен, не только из круговращения от весны, зеленых лугов и стрижки овец через жатву и летний зной, первые дожди и осеннюю пахоту, снег и заморозки снова к розовым цветам тамариска; что это только обрамление, а год — это внушительная вязь жизни, море происшествий. Такую же вязь из мыслей, чувств, дел и событий образует и день, и час тоже — в меньшем масштабе, если угодно; но различия в величине между отрезками времени довольно условны, и масштаб их определяет заодно и нас, наше восприятие, нашу настроенность, нашу приспособляемость, так что при случае семь дней или даже часов — это море, плавание в котором требует больше сил и смелости, чем плавание в море целого семилетия. Впрочем, при чем тут смелость! Как ни входи в этот поток — с веселой отвагой или робея, — чтобы жить, надо ему отдаться, а больше ничего и не требуется. Уносит он нас стремительно, однако стремительность эта ускользает от нашего внимания, и когда мы оглядываемся, то оказывается, что место, где мы вошли в него, давно позади, на расстоянии от нас, например, в семь лет, которые прошли, как проходят и дни. Больше того, нельзя даже заключить и различить, как отдается человек времени — с радостью или с робостью; необходимость отдаться времени выше таких различий, она их сводит на нет. Никто не утверждает, что Иаков приступил к этим семи годам с радостью; ведь только по их истечении он приобретал право родить с Рахилью детей. Но это была умственная печаль, которую в большой мере ослабляли и устраняли факторы чисто органические, определявшие его отношение ко времени — и времени к нему. Ведь Иакову суждено было прожить сто шесть лет, и если ум его этого не знал, то тело его и душа его плоти знали это, а потому семь лет были для него хоть и не таким малым сроком, как для бога, но все же и далеко не столь долгим, как для того, кому суждено прожить только пятьдесят или шестьдесят лет, и душа его могла относиться к ожиданию спокойней. И наконец, для всеобщего успокоения, нужно указать еще на то, что время ожидания, ему назначенное, не являлось чистым временем ожидания — для этого оно было слишком долгим. Чистое ожидание — это пытка, и никто не в силах в течение семи лет или хотя бы семи дней сидеть или ходить взад-вперед и ждать, как порой случается ждать в течение часа. В большем и большем масштабе это невозможно потому, что тогда ожидание настолько разбавляется и разжижается, а с другой стороны, так сильно смешивается с жизнью, что на долгие отрезки времени оно вообще предается забвению, то есть отступает в глубины души и уже не осознается. Поэтому полчаса сплошного и чистого ожидания могут быть ужаснее и представлять собой более жестокое испытание терпенья, чем необходимость ожидания в оболочке семи лет жизни. Если то, чего мы ждем, близко, то как раз в силу своей близости оно раздражает наше терпенье гораздо острее и непосредственнее, чем издалека, превращая его в нетерпенье, истощающее нервы и мышцы, и делая из нас больных, которые буквально не находят себе места, тогда как ожидание, рассчитанное на долгий срок, не нарушает нашего покоя и не только позволяет нам, но и заставляет нас думать о других делах и делать другие дела, ибо мы должны жить. Вот как получается то поразительное положение, что независимо от страстности ожидания оно дается тебе не тем трудней, а тем легче, чем дальше во времени то, чего ждешь.

Правдивость этих утешительных рассуждений — истина, сводящаяся к тому, что природа и душа всегда находят выход из трудного положения — обнаружилась и подтвердилась в случае Иакова даже особенно ясно. Он служил Лавану главным образом в качестве пастуха-овчара, а у пастуха, как известно, много свободного времени; по меньшей мере несколько часов, а то и полдня удел его — праздная созерцательность, и если он чего-то ждет, то оболочка деятельной жизни на его ожидание не очень толста. Но тут-то и сказались необременительность ожидания, рассчитанного на долгий срок; ведь об Иакове никак не скажешь, что он не находил себе места или бегал по степи, схватившись за голову. Нет, на душе у него было очень спокойно, хотя вместе и немного печально, и ожидание составляло не верхний голос, а лишь генерал-бас его жизни. Конечно, он думал также о Рахили и о детях, которых надо было родить с ней, когда вдали от нее, в обществе пса Мардуки, опершись локтем о землю, а щекой на ла-

донь или скрестив на затылке руки и закинув ногу на ногу, он лежал где-нибудь в тени скалы или куста или же, опираясь на посох, стоял среди широкой равнины и следил за овцами, — но все-таки думал он не только о ней, а еще и о боге, и обо всех историях, близких и далеких, о своем бегстве и странствии, о Елифазе и о гордом сновиденье в Вефиле, о празднике проклятия Исава, о слепом Ицхаке, об Авраме, о башне, о потопе, об Адапе или Адаме в райском саду... и тут вспоминал о саде, заложить который благословенно помог бесу Лавану к великой пользе для его хозяйства и достатка.

Нелишне знать, что в первый договорный год Иаков еще не пас или только изредка пас овец, предоставляя это по большей части двадцатишекельному Абдхебе или даже Лавановым дочерям; что же касалось его самого, то по желанью и приказанью дяди он участвовал в работах, явившихся следствием его благословенной находки, — в устройстве водоотвода и пруда, для чего была использована естественная лощина, стены которой, выровняв ее лопатой, обмуровали, а дно зацементировали. Наконец, появился сад — а Лаван придавал очень большое значение тому, чтобы и к этому начинанью племянник непосредственно приложил свою благословенную руку, ибо теперь Лаван уже убедился в действительности выманенного благословенья и радовался, что так умно и на такой долгий срок заставил эту действительность служить своим хозяйственным интересам. Разве не было яснее ясного, что сын Ревекки приносит счастье чуть ли не вопреки собственной воле, что одним своим присутствием он дает толчок и неожиданный ход делам, обреченным, казалось, на вечный застой? Какая вдруг пошла работа, какая многообещающая деятельность закипела на усадьбе Лавана и на его поле: тут и копали, и стучали молотками, и пахали, и сажали деревья! Лаван занял денег, чтобы сделать необходимые для расширения хозяйства закупки: сыновья Ишуллану из Харрана дали ему ссуду, хотя они и проиграли судебное дело против него. Это были люди холодные, трезво-деловые, к личным обидам совершенно нечувствительные, отнюдь не считавшие поражение в тяжбе причиной не заключать с человеком, выигравшим у них эту тяжбу, новой сделки, и притом как раз потому, что хозяйственный козырь, которым он их побил, сделал его в их глазах надежным должником, и давать ссуду под этот козырь они могли без опаски. Так оно и бывает в хозяйственной жизни, и Лаван этому не удивлялся. Заем нужен был ему хотя бы для того, чтобы оплачивать и кормить трех новых домочадцев, наемных рабов, которых он взял напрокат у одного городского владельца и которым Иаков давал заданья, после чего, не щадя и собственных рук, следил за стараньями их мышц как надсмотрщик и как начальник. Ведь его положение в доме, и без всяких договоров на этот счет, не шло, разумеется, ни в какое сравнение с положением этих остриженных и клейменных наемников, у которых имя их хозяина было написано на правой руке несмываемой краской. Нет, семилетний договор, хранившийся внизу у терафимов в глиняном ларце, никоим образом не ставил его на одну доску с этими рабами. Он был хозяйским племянником, был женихом, он был, кроме того, владыкой источника и потому главным строителем водоотвода и главным садовником — Лаван сразу признал за ним эти права, и на это у Лавана были причины.

Он полагал также, что у него есть причины поручать Иакову большую часть закупок всяческих орудий, строительных материалов, семян и рассады, закупок, в которые ввиду затеянных новшеств и вкладывались ссудные деньги. Он верил в легкую руку племянника, и по праву; ибо так он все же тратился меньше и получал лучший товар, чем если бы он, человек неблагословенный и мрачный, закупал его сам, хотя Иаков и наживался на этом и уже тогда начал закладывать слабую еще, правда, основу позднейшего своего благосостояния. Ибо, ведя торговые дела в городе и в отдаленных селениях, он не сковывал себя ролью только Лаванова уполномоченного и посредника, а действовал, скорее, как перекупщик и свободный купец, и притом купец такой умелый, ловкий, обходительный, обаятельный, что всегда, платя ли наличными или, как это часто бывало, совершая обмен, он урывал большую или меньшую прибыль себе, так что фактически небольшое собственное стадо овец и коз было у него еще до того, как он по-настоящему начал ходить за стадом Лавана. Бог-вседержитель под звуки

арф возгласил, что в дом Ицхака Иаков должен вернуться богатым, и это было одновременно обетованием и приказом, — приказом постольку, поскольку без содействия человека обетования, конечно, не могут исполниться. Неужели он должен был выставить лжецом вседержителя бога, преступно посрамив его слово из чистого разгильдяйства, да еще из непомерной щепетильности в отношении дяди, который мрачно мирился со всеми суровостями хозяйственной жизни, хотя никогда по-настоящему не умел извлекать из них прибыль? У Иакова даже в мыслях не было брать на себя такую вину. Не нужно думать, что он лгал Лавану и тайно его обсчитывал. Тот в общем знал, как ведет себя Иаков, а в частных случаях, когда это поведение бывало очевидным, закрывал на него в переносном смысле глаза, а буквально — один глаз, и притом с отвисшим уголком рта. Он видел, что почти всегда все равно получает большую выгоду, чем получил бы, действуя на свой незадачливый риск, да и было у него основание бояться Иакова и смотреть на его проделки сквозь пальцы. Тот был очень обидчив, и обращаться с ним надо было осторожно, шадя его благословенную статью. Он сам заявил об этом со всей откровенностью и раз навсегда предупредил Лавана на этот счет.

— Если ты, господин мой, — сказал он, — будешь браниться и спорить со мной из-за каждой мелочи, которая перепадет мне при торговле у тебя на службе, и будешь косо глядеть на меня, когда иной раз хитроумие раба твоего принесет выгоду не только тебе, ты расстроишь мне сердце в груди и благословение в теле и добьешься только того, что твои дела перестанут мне удаваться. Торговцу Белану, у которого я купил для тебя семенное зерно, необходимое для расширения твоего поля, господь, бог мой, сказал во сне: «Ты торгуешь не с кем иным, как с Иаковом, благословенным, чью главу и чьи стопы я храню. Поэтому ты берегись и клади ему на каждый из пяти гур зерна, которые он хочет купить у тебя за пять шекелей, двести пятьдесят сила, а не двести сорок и, уж конечно, не двести тридцать, как ты мог бы, пожалуй, положить Лавану, — а не то смотри у меня! Вместо первого шекеля Иаков даст тебе девять сила масла, вместо второго — пять мин шерсти, и еще ты получишь хорошего кладеного барана, который стоит полтора шекеля, а на остальные деньги — ягненка из его стада. Вот чем он заплатит тебе за твои пять гур зерна вместо пяти шекелей, а еще он заплатит тебе приветливыми взглядами и поднимающими настроенье речами, так что тебе будет приятно иметь дело с твоим покупателем. Но если ты вздумаешь содрать с него больше, то берегись! Тогда я подберусь к твоему скоту и напущу на него всяческую заразу, а на жену твою — бесплодие, а на детей, которые у тебя уже есть, слабоумие и слепоту, и ты попомнишь меня!» И Белану испугался господя, бога моего, и поступил так, как тот ему велел, так что ячмень достался мне дешевле, чем достался бы кому-либо, и особенно моему дяде. Пусть он, и правда, посудит сам и спросит себя, приняли бы у него или нет девять сила масла за шекель и пять мин овечьей шерсти за второй, если на рынке на эту сумму можно купить двенадцать, а то и больше сила масла и шесть мин шерсти, а об исчислении гура я не говорю. И разве за оставшиеся полтора шекеля ты не отдал бы за милую душу трех ягнят или свинью и ягненка? Поэтому я и взял себе двух ягнят из твоего стада и отметил их своим знаком, и они мои теперь. Но какое это имеет значение для нас с тобой? Разве я не жених твоей дочери и разве все, что у меня есть, не принадлежит, благодаря ей, и тебе? Если ты хочешь, чтобы мое благословение шло тебе на пользу и я служил тебе с охотой и лукавством, то нужно, чтобы я мог рассчитывать на награду и получал поощрения, а иначе душа моя утратит силу и бодрость, и мое благословение не сослужит тебе никакой службы.

— Оставь себе этих ягнят, — отвечал Лаван; и объяснялись они так несколько раз, куда Лаван не предпочел умолкнуть и предоставить Иакову свободу действий. Ведь, конечно, он не хотел, чтобы душа племянника утратила силу и бодрость, и вынужден был ему потворствовать. Но все-таки он был рад, когда водоотвод был достроен, пруд наполнен, сад заложен, а поле расширено и он смог посылать Иакова с овцами в степь, прочь от двора, сначала недалеко, а потом и подальше, так что Иаков, бывало, целыми неделями и месяцами не являлся домой, под Лаванову крышу, соорудив в поле, вблизи какой-то цистерны, собственное легкое

укрытие от солнца и дождя, а также загоны из глины и камыша и рядом легкую вышку для защиты и наблюдения. Там жил он впроголодь со своим посохом-багром и своей пращой, следил вместе с псом Мардукой за разбредавшим по пастбищу стадом и отдавался времени, разговаривал с Мардукой, делавшим вид, что понимает его, и отчасти действительно его понимавшим, поил овец и загонял их по вечерам за загородки, сносил жару и стужу и мало спал; ибо ночами, чуя запах ягнят, выли волки, и если подкрадывался лев, то приходилось шуметь и кричать за десятерых, чтобы обмануть этого разбойника и отогнать его от овец.

О ЛАВАНОВОЙ ПРИБЫЛИ

Когда он в один или в два дневных перехода пригонял стадо домой, чтобы дать хозяину отчет о его сохранности и приросте и пропустить на виду у Лавана овец под посохом, он видел Рахиль, которая тоже ждала во времени, и они, рука об руку, уходили туда, где никто их не видел, и горячо обсуждали свой жребий, они говорили о том, как долго должны они дожидаться друг друга, все еще не смея родить друг с другом детей, и утешать приходилось то ему ее, то ей его. Чаще, однако, утешать приходилось Рахиль, ибо для нее это время было длиннее и представляло собой для ее души более суровый искус, так как ей суждено было дожить не до шести лет, а только до сорока одного года, и значит, в ее жизни семь лет весили в два с лишним раза больше, чем в его. Поэтому во время тайных встреч жениха и невесты слезы лились у нее поистине из глубины души и обильно текли из ее милых черных глаз, когда она жаловалась:

— Ах, Иаков, двоюродный брат мой с чужбины, обещанный мне, как болит у маленькой твоей Рахили сердце от нетерпенья! Смотри, месяцы чередуются, и время проходит, и это и хорошо и печально, ибо мне уже четырнадцатый год, а должно стать девятнадцать, прежде чем для нас зазвучат тимпаны и арфы и мы пойдем в спальню, и я буду перед тобой как Непорочная в верхнем храме перед богом, и ты скажешь: «Я сделаю эту женщину плодоносной, как плоды сада». По воле отца, который продал меня тебе, до этого еще так далеко, что к тому времени я уже буду совсем другой, и, кто знает, не коснется ли меня раньше какой-нибудь демон, так что я заболею и болезнь поразит даже корешок языка и человеческая помощь будет напрасна? И если я даже оправлюсь от порчи, то произойдет это, может быть, ценой потери волос, и кожа у меня испортится, пожелтеет и покроется пятнами, так что друг мой и не узнает меня? Этого я боюсь несказанно и не могу спать, и сбрасываю с себя одеяло, и брожу по дому и по двору, когда родители забываются сном, и ропщу на время за то, что оно проходит и не проходит, ибо ясно чувствую, что могла бы плодоносить тебе, и к девятнадцати моим годам у нас могло бы быть уже шесть сыновей или даже восемь, ибо иногда, наверно, я приносила бы тебе двойню, и я плачу, что до этого еще так далеко.

Потом Иаков сжимал ее голову ладонями и целовал ее ниже обоих глаз, — Лавановых глаз, которые в ней стали прекрасны, — он вытирал ей поцелуями слезы, так что губы его были мокры от них, и говорил:

— Ах, моя маленькая, добрая, умная, нетерпеливая овечка, не беспокойся! Смотри, эти слезы я возьму с собой в поле и в одиночество, как залог и свидетельство того, что ты моя и близка мне и ждешь меня с терпеньем и нетерпеньем, как я тебя. Ибо я люблю тебя, и ночь твоих глаз мне милее всего на свете, и тепло твоей головы, когда ты прижимаешь ее к моей голове, трогает меня до глубины души. Волосы твои своей шелковистостью и темнотой походят на шерсть козых стад, что пасутся на склонах Гилеада, зубы твои белы, как свет, а щеки твои поразительно напоминают мне нежность персика. Рот твой подобен молодым смоквам, когда они алеют на дереве, и когда я закрываю его поцелуем, то дыхание ноздрей твоих благоухает яблоками. Ты необыкновенно красива и прекрасна, но ты будешь еще лучше, когда тебе исполнится девятнадцать, поверь мне, и груди твои будут как гроздь фиников и гроздь спелого винограда. Ибо кровь твоя чиста, любимица моя, и никакая хворь к тебе не пристанет,

и никакой демон тебя не коснется; господь, бог мой, который привел меня к тебе и сберег тебя мне, этого не допустит. Что же касается меня, то моя любовь и нежность к тебе неиссякаемы, они — пламя, которого не погасят дожди даже великого множества лет. Я думаю о тебе, когда лежу в тени скалы или куста или стою, опираясь на посох; когда брожу в поисках отбившейся от стада овцы, когда хожу за больным ягненком или несую на руках усталого; когда оказываю сопротивление льву или черпаю воду для стада. За всем этим я думаю о тебе и убиваю время. Ибо за всеми моими делами и занятиями оно непрестанно проходит, и бог не разрешает ему остановиться хотя бы на один миг, нахожусь ли я в покое или в движении. Мы с тобой ждем не напрасно, не на авось, мы знаем свой час, и наш час знает нас, и он к нам придет. А в известном отношении это, может быть, совсем и не плохо, что между ним и нами есть еще некоторое поле деятельности, ибо когда он придет, мы уйдем отсюда в ту землю, куда ушел праотец, и хорошо будет, если к тому времени я стану благодаря удаче в делах еще немного состоятельнее, чтобы исполнилось обетование моего бога, что он вернет меня богатым в Ицхаков дом. Ведь глаза твои для меня как глаза Иштар, богини объятий, которая сказала Гильгамешу такие слова: «Овцы твои и козы принесут двойни». Да, если нам и нельзя еще обнимать друг друга и быть плодоносными, то скот тем временем плодоносит и дает ради нашей любви хороший приплод, так что я поправлю дела Лавана и свои собственные и стану состоятелен перед господом, прежде чем мы отправимся в путь.

Так утешал он ее, чутко попадая своими словами об овцах и об их как бы заменительной плодovitости в самую точку; действительно, можно было подумать, что местная богиня объятий, скованная мрачной Лавановой суровостью в области человеческой, отводит душу и отыгрывается на бессловесных тварях, а именно на порученном Иакову Лавановом мелком скоте, который процветал, как никакой другой, так что на нем благословенье Иакова сказывалось еще сильнее, чем на чем-либо до сих пор, и Лаван все больше радовался тому, что приобрел раба в лице этого племянника, ибо польза от него была велика, он поражался этому расцвету, когда верхом на воле выезжал на расстояние одного или двух дней пути для осмотра отар, но не говорил ничего, воздерживаясь и от одобрительных и от неодобрительных замечаний, — да, и от неодобрительных тоже, потому что простейшее благоразумие велело ему спускать такому благословенному животноводу, даже если тот и преследовал свою выгоду и, торгуя, прибирал кое-что к рукам из соображений принципиальных, откровенно изложенных. Было бы неумно возражать против этого принципа, если им не злоупотребляли; обращаться с таким человеком следовало осторожно, расстраивать благословение у него в теле нельзя было.

Став скотоводом и владыкой овчарни, Иаков действительно был в своей стихии в гораздо большей степени, чем прежде на усадьбе, в качестве владыки воды и сада. Он был пастухом по крови и по складу характера, человеком луны, а не человеком солнца и пашни; пастушеская жизнь, при всех ее неудобствах и даже опасностях, соответствовала его природе, она была полна достоинства и созерцательна, она давала ему досуг, чтобы думать о боге и о Рахили; что же касается животных, то их он любил всей душой, — да, всей своей кроткой и сильной душой был он им предан, он любил их тепло, их разбросанность по выгону и их скученность, идиллическое многоголосье их бляенья под небесным простором, — любил их кроткие, замкнутые физиономии, лежесвесно торчащие лопасти их ушей, их широко расставленные, зеркальные глаза, между которыми шерстистая челка закрывала верхнюю часть приплюснутого носа, мощную священную голову барана, более нежную и более изящную головку овцы, детскую несмышленную морду ягненка, — любил космато-курчавый, драгоценный товар, который они мирно с собой носили, всегда подраставшее руно, которое он весною и осенью, вместе с Ливаном и рабами, мыл у них на спине, чтобы потом отстричь; и его симпатия к ним оборачивалась мастерством в уходе за ними и в разумном регулировании их течи и размноженья, которое он с благоговейной добросовестностью, на основе точного знания пород и особей, свойств шерсти и организма, подчинял требованиям своей скотоводческой сметки — хотя достигнутые им необыкновенные результаты мы не склонны приписывать только ей. Ведь мало того что

он улучшал породу и получал великолепнейшие экземпляры шерстистых и убойных овец, — рост поголовья и многоплодность стада превзошли под его опекой все привычные меры и были огромны. В загонах его не было ялового скота, овцы ягнились все, как одна, они приносили двойни и тройни, они оставались плодовиты и в восьмилетнем возрасте, и течка продолжалась у них два месяца, а суягными они ходили только четыре, их ягнята достигали детородной зрелости за один год, и чужие пастухи уверяли, что в стаде этого пришедшего с Запада Иакова даже кладеные бараны шалют при полной луне. Это была суеверная шутка; но она свидетельствует о разительной необычайности успехов Иакова на этом поприще, явно выходящих за грани простого знания дела. Нужно ли было и в самом деле привлекать местную богиню объятий для объяснения этого вызывавшего зависть успеха? Мы держимся мнения, что источник его был в самом владыке овчарни. Он любил и ждал; ему еще нельзя было плодоносить с Рахилью; и если уже не раз бывало на свете, что желанья и сила, когда их тормозили и сдерживали, находят выход в великих подвигах духа, то в данном случае такой видоизмененной отдушиной оказался расцвет подведомственной опеке и симпатии страдавшего естественной жизни.

Предание, представляющее собой ученый комментарий к первоначальному тексту, который, в свою очередь, является позднейшей письменной обработкой пастушеских антифонных песен и прекраснословных бесед, приводит свехотрадные сведения об удачах Иакова в торговле овцами; для вящего прославления Иакова преданье это допускает преувеличения, на которые мы, однако, окончательно проясняя эту историю, не должны делать слишком больших скидок, чтобы не исказить истину снова. В большой мере преувеличение идет не от позднейших справок и примечаний, оно идет, на поверку, от самих событий или, собственно, от людей; мы же знаем, как склонны они всегда к чрезмерности при оценке и оплате вещей, которые по прихоти моды вызывают у них восхищение и вожделье. Так обстояло дело и с выращенным Иаковым стадом. Слух о его беспримерных достоинствах распространился со временем в ближних и дальних окрестностях Харрана, среди таких же, как Иаков и Лаван, и мы не беремся исследовать, в какой мере сказалось тут известное ослепление, вызванное благословенностью этого человека. Как бы то ни было, желаньем заполучить хотя бы одну Иаковлеву овцу одержимы были решительно все. Из этого сделали вопрос чести. Люди прибывали издалека, чтобы с ним торговать, и, убедившись на месте, что молва привирает и дело идет о самых обыкновенных, хотя и очень хороших овцах, все-таки заставляли себя, в угоду моде, видеть в них каких-то чудесных животных и даже сознательно позволяли ему обманывать себя, принимая только на основании его уверенья овцу, у которой уже явно выпали передние зубы и которой, следовательно, было по меньшей мере шесть лет, за годовалую ярку или за матку. Они платили ему столько, сколько он требовал. Утверждают, что он получал за овцу осла, даже верблюда, и даже раба или рабыню, — это преувеличение, если выдавать подобные сделки за общее правило; но такого рода уступки при обмене бывали, и даже в сведеньях о расплате рабами есть доля правды. Ведь со временем Иакову потребовалась подсобная рабочая сила, подпаски, и он нанимал их у своих контрагентов, возмещая стоимость найма натурой: шерстью, сметаной, шкурами, жилами, а также скотом. С годами он даже предоставил иным из этих подпасков полную самостоятельность в выборе пастбищ, в уходе за скотом и охране его, договорившись с ними о твердом оброке: ежегодно от шестидесяти шести до семидесяти ягнят или одна сметана за сотню овец, или по полторы мины шерсти с головы, — доход этот принадлежал, конечно, Лавану, но, проходя через руки Иакова, частично оставался в них потому хотя бы, что Иаков снова пускал его в оборот.

Исчерпывалась ли этим удача, которую принес Иаков Лавану, персти земной? Нет — если предположить, что самая счастливая и самая неожиданная Лаванова прибыль была связана с присутствием племянника причинной связью, а такое предположение обоснованно безусловно и в любом случае, дадим ли мы этому радостному феномену разумное объяснение или усмотрим в нем что-то загадочное. Если бы мы сочиняли истории, если бы мы, в молчаливом

сговоре с публикой, считали своим делом придавать лжи на какой-то занимательный миг видимость правды, все, что мы сейчас должны сообщить, было бы, несомненно, воспринято как вранье и наглость и нас упрекнули бы в том, что мы лжем без зазрения совести, только чтобы пустить в ход лишний козырь и ошеломить легковерьье слушателей, имеющее как-никак свой предел. Тем лучше, стало быть, что такой роли мы на себя не берем, а опираемся на факты преданья, незыблемость которых ничуть не страдает от того, что не все они всем известны и что иные из них для иных новость. И мы можем вести свой рассказ голосом, который, будучи спокойным, но в то же время решительным и уверенным, с самого начала устраняет реальную иначе опасность таких возражений.

Одним словом, Лаван, сын Вафуила, в течение первых семи лет службы у него Иакова стал снова отцом, причем отцом сыновей. Богатевшему этому человеку была возмещена его неудачная и явно отвергнутая некогда жертва, младенец в кувшине, и возмещена не просто, а в тройном размере. Ибо три раза подряд, на третьем, четвертом и пятом году службы Иакова, Адина, невзрачная жена Лавана, зачинала, затем, с гордым побряхтываньем, вынашивала плод, нося на шее символ своего состоянья, полый камешек, внутри которого перекачивался еще один, меньший, наконец с воем и молитвами разрешалась от бремени в доме Лавана и в его присутствии, стоя на коленях, под которые подкладывали по два кирпича, чтобы ребенку было просторнее перед вратами ее чрева, и одна повитуха охватывала ее руками сзади, а другая сидела на корточках при вратах. Роды проходили благополучно и, несмотря на пожилой возраст Адины, не осложнялись никакими опасностями для ее жизни. Каждый раз ставилось угощение красному Нергалу, его задабривали пивом, полбенными хлебами и даже приносили ему в жертву овец, чтобы он запретил четырнадцати своим слугам-хворобоносцам вмешиваться в это дело. Поэтому ни в одном из трех случаев внутренности роженицы не переворачивались и ведьме Лабарту не приходило в голову запереть ее чрево. Родила она трех здоровых мальчиков, чья неугомонность превратила давно уже скучный Лаванов дом в подлинную колыбель жизни. Одного назвали Беором, второго Алубом, а третьего Мурасом. Естеству же Адины эти непрерывно следовавшие друг за другом беременности и роды не только не повредили, но даже пошли на пользу: она казалась после них даже моложе и не такой невзрачной и старательно украшала себя повязками, поясами и ожерельями, которые Лаван покупал ей в Харране-городе.

Заскорузлое сердце Лавана радовалось. Он сиял, насколько это было ему дано. Параличное отвисанье уголка рта не придавало теперь его лицу кислого выраженья, а приобрело вид сытой и самодовольной усмешки. Если соотнести процветанье его хозяйства, прекрасный ход его дел со счастливой плодовитостью его чресел, с милостивой отменой проклятия, так долго тяготевшего над его домом из-за ошибочной религиозной спекуляции, то его напыщенность довольно понятна. Он не сомневался в том, что, как и все его счастье, рождение сыновей теснейшим образом связано с близостью и причастностью к дому Иакова, с благословением Ицхака, и был бы очень несправедлив, если бы сомневался в этом. Даже если брачную деятельность супругов, снова открыв творила их плодовитости, оживило их собственное, особенно Лавана, приподнятое настроенье, то, поскольку поднялось оно благодаря деловым успехам племянника, конечной причиной этого плодотворного оживленья был, разумеется, Иаков. Но это не мешало Лавану гордиться собой. Ведь это он сумел так ловко, искусно и мудро привязать к дому носителя благословения — нищего беглеца, от которого явно исходило преуспеянье, куда бы он ни подался, желал он этого или нет. А что он не так уж сильно желал отцовского счастья своему дяде, Лаван заключил из той сдержанности, с какой Иаков считал нужным выразить ему свою радость и восхищенье по поводу рождений Беора, Алуба и Мураса.

— Скажи мне, племянник и зять, — говорил в таких случаях Лаван, когда, верхом на воле, приезжал в поле поглядеть на стада или когда Иаков навещал усадьбу, чтоб отчитаться. — Скажи, разве я не счастливее, скажи, улыбаются боги Лавану или нет, если на старости

лет они дают мне силу зачинать сыновей и моя жена Адина родит их одного за другим, хотя она уже казалась невзрачной?

— Ну, что ж, радуйся! — отвечал Иаков. — Но ничего такого уж особенного для нашего бога тут нет. Авраму было сто лет, когда он родил Ицхака, а у Сарры, как известно, давно уже прекратилось обыкновенное женское, когда господь уготовил им этот смех.

— У тебя есть неприятная привычка, — говорил Лаван, — умалять большие дела и отравлять человеку радость.

— Нам не подобает, — холодно возражал Иаков, — поднимать слишком большой шум из-за удач, которые мы вправе поставить себе в заслугу.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. СЕСТРЫ

НЕЧИСТЫЙ

И вот, когда семь лет подошли к концу и приблизилось время, чтобы Иаков познал Рахиль, ему казалось это невероятным, и он радовался безмерно, и сердце его билось изо всех сил, стоило ему подумать об этом часе. Ибо Рахили было теперь девятнадцать, и она дожидалась его в чистоте своей крови, защищенная этой чистотой от порчи и хвори, которая могла бы погубить ее для жениха, и, таким образом, в части ее цветенья и миловидности исполнилось все, что Иаков нежно ей предвещал, и она была очаровательна среди дочерей страны со своими в изящных размерах совершенными и приятными формами, со своими мягкими косами, с толстыми крыльями своего носика, с близоруко-ласковым взглядом своих раскосых, наполненных приветливой ночью глаз и особенно с той своей улыбкой, которая, благодаря прекрасной лепке уголков ее рта, создавалась простым смыканием губ. Да, миловидна она была среди всех; если же мы скажем, как это всегда говорил про себя Иаков, что особенно миловидна она была рядом с Лией, то это не значит, что Лия была всех безобразней; просто она служила ближайшим поводом для сравнения, и неблагоприятно для Лии оно было только в части миловидности, так что вполне можно представить себе мужчину, который, придавая этому свойству меньше значенья, чем Иаков, отдал бы старшей, несмотря на болезненную воспаленность ее косивших голубых глаз, которые она гордо и горько прятала под опущенными веками, даже предпочтенье ради светлой пышности ее сплетенных в тяжелый узел волос и статности ее хорошо приспособленного для материнства тела. Кроме того, к чести маленькой Рахили необходимо подчеркнуть, что ей и в голову не приходило ставить себя выше сестры, кичась перед ней своим хорошеньким личиком только потому, что она, Рахиль, была дитя и подобие прекрасной луны, а Лия — луны ущербной. Нет, Рахиль не была столь невежественна, чтобы не уважать и тусклое светило, чье состоянье тоже имело свои права, и в глубине своей совести она даже сетовала на то, что Иаков совсем пренебрегал сестрой и так необузданно-односторонне направил все свое чувство на нее одну, хотя, с другой стороны, не могла полностью освободить свое сердце от женского удовлетворенья по этому поводу.

Праздник брачного ложа был назначен на полнолуние летнего солнцеворота, и Рахиль тоже признавалась, что с радостью ждала этого большого дня. Но на самом деле она была и явно печальна в последние перед свадьбой недели и тихо проливали слезы у щеки и плеча Иакова, не отвечая на его настойчивые расспросы ничем, кроме напряженной улыбки и покачивания головой, настолько быстрого, что слезы отрывались от ее глаз; Что было у нее на сердце? Иаков не понимал этого, хотя и он тогда часто бывал печален. Печалилась ли она о своем девичестве, потому что кончалось время ее цветенья и она должна была стать деревом, которое приносит плоды? Это была, пожалуй, та печаль жизни, что вполне совместима со счастьем, та же печаль, какую в то время часто испытывал Иаков. Ведь брачная вершина жизни есть начало смерти и праздник поворота, когда луна вступает в день величайшей своей

высоты и полноты и снова поворачивается лицом к солнцу, в которое потом и канет. Иакову предстояло познать ту, кого он любил, и начать умирать. Ибо отныне вся жизнь была уже не в одном Иакове, и он уже переставал быть единственным и одиноким владыкой мира; ему предстояло раствориться в своих сыновьях, а самому умереть. И все-таки он любил бы их, тех, кто нес бы его разделенную и разрознившуюся жизнь, потому что это была его жизнь, которую он, познавая, излил в лоно Рахили.

В то время ему приснился сон, надолго запомнившийся Иакову своей особой, примитивной и мирной печалью. Он видел его в теплую ночь месяца Таммуза, проводя ее в поле возле загонов, когда по небу, низкобокой ладьей, плыла уже та луна, которая должна была, разросшись до прекрасной округлости, освещать ночь блаженства. Иакову примерещилось, будто бегство его из дому не то продолжается, не то повторяется; будто он снова должен въехать в красную пустыню, а впереди него, лежесвесно вытянув хвост, трусит рысцой остроухий, с головой пса, оглядывается и посмеивается; все это одновременно продолжалось и повторялось; не получив некогда настоящего развития, эта ситуация восстановилась, чтобы найти завершение.

Дорога Иакова была усеяна камнями-окатышами, и ничего, кроме сухого кустарника, кругом не росло. Нечистый зигзагами обегал валуны и кусты, исчезал за ними, показывался опять и оглядывался. Когда тот однажды исчез, Иаков прищурился. И только он прищурился, как это животное оказалось вдруг перед ним: оно сидело на камне и все еще было животным, если судить по его голове, скверной собачьей голове с наостренными ушами и клювообразно вытянутой мордой, оскал которой доходил до ушей; но тело, вплоть до почти незапылившихся пальцев ног, было у него человеческое и приятное для глаза, как тело тонкого и легкого пальчика. Он сидел на камне в небрежной позе, немного нагнувшись вперед, положив одну руку на бедро подтянутой к туловищу ноги, так что на животе над самым пупком у него образовалась складка, и вытянув перед собой, пяткой в землю, другую ногу. Эта вытянутая нога с изящным коленом и длинной, слегка выпуклой, тонкой голенью была всего приятней для глаз. Но уже на узких плечах, на верхней части груди и на шее у бога росли волосы, переходившие в глиняно-желтую шерсть песьей головы с широким разрезом пасти и маленькими, злобными глазками, головы, которая подходила к нему так, как может подходить безобразная голова к статному телу, каковое она печальным образом обесценивает, так что все это, нога и грудь, только могли бы быть милovidны, но при этой голове милovidны не были. К тому же, подъехав поближе, Иаков услышал во всей его остроте едкий шакалий запах, самым печальным образом исходивший от этого полупса-полумальчика. И уж совсем было печально и странно, когда тот раскрыл свою широкую пасть и заговорил надсадным, гортанным голосом:

— Ап-уат, Ап-уат.

— Не затрудняй себя, сын Усири, — сказал Иаков. — Я знаю, ты Ануп, проводник и открыватель дорог. Я удивился бы, если бы не встретил тебя здесь.

— Это была ошибка, — сказал бог.

— Ты о чем? — спросил Иаков.

— Они породили меня по ошибка, — пояснил тот, надсаживая свою пасть, — владыка запада и моя мать Небтот.

— Сожалею об этом, — отвечал Иаков. — Но как же это случилось?

— Она не должна была стать моей матерью, — продолжал юноша, и пасть его шевелилась уже ловчее. — Не она должна была ею стать. Ночь была виновата. Она корова, ей все равно. Она носит между рогами солнечный диск в знак того, что в нее время от времени входит солнце, чтобы породить с нею молодой день, но и рождая такое множество светлых сыновей, она всегда оставалась такой же тупой и равнодушной.

— Я постараюсь осознать, что это опасно, — сказал Иаков.

— Очень опасно, — закивал головой бог. — Готовая по коровьей своей доброте слепо объять все, что в ней ни произойдет, она принимает происходящее с тупым равнодушием, хотя бы это и происходило только потому, что темно.

— Худо, — сказал Иаков. — Но кто же должен был зачать тебя, если не Небтот?

— Ты этого не знаешь? — спросил собакоголовый.

— Я не могу различить, — отвечал Иаков, — что я сам знаю и что узнаю от тебя.

— Того, чего ты не знаешь, — возразил юноша, — я не мог бы тебе и сказать. В начале, не в самом начале, но поближе к началу были Геб и Нут. Это были бог Земли и богиня Неба. Они произвели на свет четырех детей: Усира, Сета, Исет и Небтот. И Исет стала сестрой во браке Усира, а Небтот — красного Сетеха.

— Это ясно, — сказал Иаков. — И что же, эта четверка недостаточно строго соблюдала такой порядок?

— Половина из них — нет, — отвечал Ануп. — К сожалению, нет. Что поделаешь, мы рассеянны, невнимательны и беспечно-мечтательны с детства. Заботливость и осторожность — это грязно-земные качества, но, с другой стороны, чего только не натворила уже беспечность в жизни!

— Совершенно верно, — подтвердил Иаков. — Нужно быть осторожным. Но если говорить откровенно, то все дело, по-моему, в том, что вы только идолы. Бог всегда знает, чего он хочет и что делает. Он дает слово и держит его, он ставит завет и остается верен ему навеки.

— Какой бог? — спросил Ануп.

Но Иаков ответил ему:

— Ты притворяешься. От совокупленья Земли с Небом, может быть, и родятся великие цари и герои, но только никак не боги, будь то четыре или один. Ты ведь и сам признаешь, что Геб и Нут были не в самом начале. Откуда же они появились?

— Из Тефнет, великой матери, — не задумываясь, отвечал сидевший на камне.

— Хорошо, — продолжал Иаков во сне, — ты говоришь это потому, что я это знаю. Но была ли Тефнет началом? Откуда появилась Тефнет?

— Ее призвал Невозникший, Сокрытый, чье имя Нун, — ответил Ануп.

— Я не спрашивал у тебя его имени, — сказал Иаков. — Но теперь, полумальчик-полусобака, ты начинаешь говорить разумные вещи. Я не собирался спорить с тобой. Как-никак ты идол. Так как же вышла оплошность у твоих родителей?

— Ночь была виновата, — повторил дурнопахнущий, — и он, носящий бич и пастушеский посох, был беспечно рассеян. Величество этого бога влекло к его сестре во браке Исет, но случайно, в слепой ночи, оно набрело на Небтот, сестру Красного. И великий этот бог обнял ее, ошибочно полагая, что это его жена, и ночь любви, с полным своим равнодушием, объяла обоих.

— Случится же такое! — воскликнул Иаков. — Что стряслось?

— Такое легко может случиться, — отвечал мальчик. — В своем равнодушии ночь знает правду, и ей наплевать на бойкие предрассудки дня. Ведь тело у одной женщины такое же, как и у другой, пригодное для любви, пригодное для зачатия. Только лицо отличает одно тело от другого и внушает нам, будто это тело мы хотим оплодотворить, а то — нет. Лицо — достояние дня, у которого бойкое воображение, а для ночи, которая знает правду, лицо ничего не значит.

— Речь твоя груба и бесчувственна, — удрученно сказал Иаков. — Для столь тупоумных суждений есть, видно, основанья у обладателя такой головы, как твоя, и лица, которое нужно заслонить рукой, чтобы вообще заметить, не говорю уж — признать, что нога твоя красива и прекрасна, когда она вот так вытянута.

Ануп опустил глаза, подтянул к туловищу вторую ногу и спрятал руки между коленями.

— Не обо мне речь! — сказал он затем. — Я еще избавлюсь от своей головы. Так хочешь ты знать, что было дальше?

— Что же? — спросил Иаков.

— В ту ночь, — продолжал собакоголовый, — владыка Усир был для Небтот как Сет, Красный, ее супруг, а она для него — совсем как владычица Исет. Ибо он пригоден был для

того, чтобы оплодотворять, а она для того, чтобы зачинать, а до всего остального ночи не было дела. И они услаждали друг друга, оплодотворяя и зачиная, ибо, полагая, что они любят, они только оплодотворяли чрево. И понесла меня эта богиня, а не Исет, праведная, как надо бы.

— Печально, — сказал Иаков.

— Когда настало утро, они разошлись, — продолжал человекопес, — и все могло бы кончиться хорошо, если бы величество этого бога не забыло у Небтот своего венка из лотов. Красный Сет увидел этот венок и заревел. С тех пор он посягал на жизнь Усира.

— Ты рассказываешь то, что я знаю, — вспомнил Иаков. — Затем произошла история с ларем, не правда ли, куда Красный заманил брата, и с помощью этого ларя он убил его, и Усир, мертвый владыка, поплыл вниз по реке к морю в запаянном гробу.

— А Сет стал царем стран на престоле Геба, — добавил Ануп. — Однако на этом я не собираюсь задерживаться, и не это накладывает отпечаток на сегодняшнее твоё сновиденье. Ведь Красный недолго оставался царем стран, потому что Исет родила мальчика Гора, который его побил. Но заметь, когда она искала по свету убитого и потерянного, когда она, не переставая, кричала: «Приди в свой дом, приди в свой дом, возлюбленный! О прекрасное дитя, приди в свой дом!» — с нею была Небтот жена его убийцы, которую принесенный в жертву обнимал по ошибке, она не отставала от нее ни на шаг, их сблизил боль, и они плакали вместе: «О ты, чье сердце уже не бьется, я хочу тебя видеть, о прекрасный властитель, я хочу тебя видеть!»

— Это была мирная и печальная картина, — сказал Иаков.

— Но это-то, — отвечал сидевший на камне, — и накладывает отпечаток. Ведь кто еще был с ней и помогал ей в ее поисках, блужданиях и плачах, и тогда, и позднее, когда Сет, найдя найденное и спрятанное тело Усира, расчленил его на четырнадцать частей, которые Исет пришлось искать, чтобы собрать тело владыки? Еще с нею был я, Ануп, сын несправедливой, отпрыск убитого, я был с нею в ее блужданиях и поисках, я не отставал от Исет, и в пути она опиралась на меня, обнимая меня за шею одной рукой, и мы плакали вместе: «Где ты, левая рука моего прекрасного бога, и где ты, правая лопатка и правая его стопа, где ты, благородная его голова, где священный уд, который пропал, кажется, совсем, так что нам придется заменить его подделкой из смокового дерева?»

— Ты говоришь непристойно, совсем как мертвецкий бог обеих стран, — сказал Иаков.

Но Ануп возразил ему:

— В твоём положении следовало бы знать толк в таких вещах, ведь ты жених и должен оплодотворить и умереть. Ибо в детородном члене заключена смерть, а в смерти заключен детородный член, такова тайна могилы, и детородный член разрывает пелены смерти и восстает против смерти, как это и случилось у владыки Усири, над которым Исет парила, как самка коршуна: она заставляла мертвеца изливаться семя и совокуплялась с ним, плача.

— Пожалуй, лучше всего проснуться, — подумал Иаков.

И когда ему еще казалось, что он видит, как этот бог взлетает с камня и исчезает, причем взлетает и исчезает одним рывком, он проснулся среди звездной ночи возле загонов. Сон о шакале Анупе померк вскоре у него в памяти, словно бы уйдя со своими подробностями назад, в простое и подлинное дорожное приключение, так что только оно Иакову и запомнилось. И лишь умиротворяющая печаль осталась еще не надолго в его душе от этого сна, печаль о том, что оплошно обнятая Небтот искала и плакала вместе с Исет, а та, обойденная, опиралась и полагалась на ошибочно зачатого.

СВАДЬБА ИАКОВА

Часто совещаясь тогда с Лаваном насчет предстоявших событий и насчет подробностей праздника брачного ложа, Иаков слышал, что тот задумал пышное торжество и намерен устроить свадьбу на славу, не считаясь с расходами.

— Раскошелиться, конечно, придется, — говорил Лаван, — потому что ртов на усадьбе стало много, а накормить надо всех. Но жалеть об этом не стоит, ведь хозяйственное наше положение не совсем скверно, нет, оно более или менее благоприятно по разным причинам, среди которых, надо, пожалуй, назвать и благословенье Исаака, с тобой пребывающее. Потому-то я и смог увеличить рабочую силу и купил двух служанок вдобавок к этой неряхе Ильтани — Зелфу и Валлу, девок отменных. В день свадьбы я подарю их дочерям: Зелфу — Лии, старшей моей, а моей второй — Валлу. И поскольку жених — ты, то и служанка будет твоя, ты получишь ее в приданое, и две трети мины серебра войдут в ее стоимость, согласно нашему договору.

— Прими ласковую мою благодарность, — говорил Иаков, пожимая плечами.

— Это еще пустяк, — продолжал Лаван. — Ведь праздник я устрою целиком за свой счет, я приглашу отовсюду людей на шабаш, найму музыкантов, чтобы они играли и плясали! Уложу двух коров и четырех овец и напою гостей допьяна, так что у них будет двоиться в глазах. На это придется мне раскошелиться, но я понесу расходы безропотно, ведь это же свадьба моей дочери. Кроме того, я собираюсь сделать невесте один подарок, который оденет ее и которому она очень обрадуется. Я давно уже купил эту вещь у одного странствующего торговца и хранил ее в ларе, ибо она дорого стоит: это покрывало, чтобы невеста, покрывшись им, посвятила себя Иштар и чтобы ты поднял его с посвященной. Говорят, что когда-то оно принадлежало дочери какого-то царя и служило брачным нарядом какой-то девушке знатного рода, очень уж искусно вышито оно всевозможными знаками Иштар и Таммуза; и пусть она покроется им, непорочная. Ведь она непорочна, и пусть она будет как одна из Эниту, как невеста небесная, которую на празднике Иштар в Вавилоне жрецы ежегодно приводят к богу: они ведут ее вверх при всем народе по лестницам башни и через семь ворот, и у каждых ворот снимают с нее что-нибудь из ее украшений и ее одежд, а у последних — срамной плат, и священной нагую уводят в верхнюю спальню башни Этеменанки. Там на постели она принимает бога в крошечной темноте ночи, и тайна эта велика чрезвычайно.

— Гм, — отозвался Иаков, ибо Лаван вытаращил глаза, растопырил по обеим сторонам головы пальцы и принял такой торжественный вид, какой, на взгляд племянника, был этой персти земной совсем не к лицу.

Лаван продолжал:

— Приятно, конечно, и славно, когда у жениха есть собственный дом и двор или когда он ни в чем не знает отказа в родительском доме и прибывает во всем своем великолепии, чтобы взять невесту и с пышностью отвезти ее по суше или по воде в наследственные свои владенья. Но ты, как тебе известно, всего-навсего бездомный беглец, ты поссорился со своей семьей и останешься жить у меня, став моим зятем, — ну, что ж, помирюсь и на том. Никакого брачного путешествия — ни по суше, ни по воде — не будет, после ужина и попойки вы останетесь у меня; но когда я стану между вами и прикоснусь к вашим лбам, мы не нарушим здешнего обычая и с пеньем поведем тебя вокруг двора в спальню. Ты будешь там сидеть на кровати, с цветком в руке, и ждать невесты. Ибо ее, непорочную, мы тоже проведем вокруг двора с факелами и пеньем, а у двери спальни факелы мы погасим и я подведу к тебе посвященную и оставлю вас одних, чтобы ты подал ей в темноте этот цветок.

— Так принято и это законно? — спросил Иаков.

— Везде и всюду, ты это говоришь, — отвечал Лаван.

— Ну, что ж, не стану перечить, — сказал Иаков. — Полагаю, впрочем, что хоть один-то факел или светильник будет гореть, чтобы я мог видеть свою невесту, когда протяну ей цветок и после.

— Замолчи! — воскликнул Лаван. — Как это тебе приходит в голову вести такие бесстыдные речи, и к тому же при отце, которому и так горько и тяжело вести свою дочь к мужчине, чтобы он снял с нее покрывало и спал с ней. Прикуси же, по крайней мере, свой похотливый язык и замкни в себе свое безмерное сластолюбье! Разве у тебя нет рук, чтобы видеть,

и тебе нужно пожирать непорочную глазами, чтобы полней насладиться ее стыдом и трепетом ее девственности? Уважай тайну верхней храмины башни!

— Извини, — сказал Иаков, — прости меня! Мои мысли не были такими бесстыдными, какими они выглядят в твоём изложении. Мне просто хотелось бы видеть невесту глазами. Но если везде и всюду принято поступать так, как ты предписываешь, то я пока удовлетворюсь этим.

Так приближался день полнолуния и праздник брачного ложа, и во дворе и доме Лавана, удачливого овцевода, резали скот, варили, жарили, стряпали, и было угарно, стоял треск, и у всех слезились глаза от едкого дыма, валившего из-под котлов и из-под жаровен: чтобы не тратиться на древесный уголь, Лаван топил почти одними колючками и навозом. Хозяева и челядь, в том числе и сам Иаков, не покладая рук готовили угощение для пира не только многолюдного, но и продолжительного, ибо свадьба должна была длиться семь дней, и дом навлек бы на себя позор и насмешки, если бы преждевременно иссякли запасы пирожных, кренделей, пирогов с рыбой, похлебок, киселей, молочных блюд, пива, фруктовых напитков и крепких водок, не говоря уже о жареной баранине и телячьих окороках. За работой пели песни во славу толстяка Удунтамку, ведающего едой бога чревоугодия. Трудились и пели все — Лаван и Адина, Иаков, и Лия, и неряха Ильтани, и служанки дочерей Валла и Зелфа, и двадцатишестельный Абдхеба, и рабы новокупленные. Поздние сыновья Лавана, в одних рубашонках, с восторгом бегали среди этой суеты взад и вперед, падали, поскользнувшись, в лужи пролитой крови заколотых животных и пачкались в ней, после чего отец надирал им уши, а они, как шакалы, выли; и только Рахиль тихо и праздно сидела одна в доме, ибо теперь ей не полагалось видеть жениха, а ему невесту, и разглядывала подаренное ей отцом драгоценное покрывало, которое должна была надеть на праздник. Оно было великолепно, это чудо ткацкого и вышивального искусства — казалось незаслуженной удачей, что такая вещь попала в Лаванов дом и ларец; человек, который ему дешево ее уступил, не мог не быть в очень стесненных обстоятельствах.

Длинное и просторное, сразу и просто платье и платье верхнее, с широкими рукавами, в которые можно было при желании просунуть руки, покрывало это было скроено так, что часть его надевалась на голову или обматывалась вокруг головы и плеч, но могла быть также откинута за спину. До странного трудно было определить вес девичьего этого одеянья на ощупь, оно было одновременно легким и тяжелым, неодинаковой тяжести в разных местах: легкое благодаря своей голубоватой основной ткани, бесплотной, как воздух и туман, и такой невесомой, что покрывало, казалось, можно спрятать в одной руке, — оно было в то же время полно тяжелых вкраплений блестящей и пестрой вышивки, плотной и выпуклой, выполненной золотыми, бронзовыми, серебряными и всяких других цветов нитками — белыми, пурпурными, розовыми, оливковыми, которые встречались также в похожих на эмалевые краски черно-белых и пестрых сочетаньях и составляли нагляднейшие картины и знаки. Многократно и на разные лады изображена была Иштар-Мами: нагая и маленькая, она руками выжимала молоко из своих груди, а по бокам у нее располагались Луна и Солнце. То и дело повторялось также многокрасочное изображение пятиконечной звезды, означавшей «бога», и во многих местах серебряно сияла голубка — птица богини любви и материнства. Герой Гильгамеш, на две трети бог и на треть человек, был вышит со львом, которого он душил одной рукой. Легко было узнать и двух скорпионочеловеков, охраняющих на краю света ворота, через которые уходит в преисподнюю солнце. Показаны были также разные животные, в каких превратила Иштар своих любовников — волк, например, и летучая мышь, та самая, что когда-то была садовником Ишаллану. В пестрой птице нетрудно было узнать овчара Таммуза, первого персника сладострастных забав Иштар, уделом которого та сделала ежегодный плач, и налицо был также огнедышащий бык небесный, которого Ану наслал на Гильгамеша из сочувствия неутоленному желанью Иштар и в ответ на ее пылкие жалобы. Перебирая руками ткань, Рахиль видела также мужчину и женщину, сидевших по обе стороны дерева и протягивавших

руки к его плодам; а за спиной женщины дыбила уже змея. Вышито было и некое священное дерево; возле него, друг против друга, стояли два бородатых ангела, прикасаясь к нему, чтобы оплодотворить его чешуйчатыми шишками мужского цветенья; а над деревом жизни, окруженный солнцем, луной и звездами, парил знак женского естества. Еще были вышиты изречения — широкими, заостренными знаками, которые либо лежали, либо косо или прямо стояли, разнообразно пересекая друг друга. И Рахиль разбирала слова: «Я сняла платье свое, не надеть ли мне его снова?»

Она подолгу играла пестрой этой тканью, этим ослепительным покрывалом; она закутывалась в него, вертелась и оглядывала себя, изобретательно драпируясь узорной его прозрачностью. Это было ее развлечением, покуда она уединенно ждала, а другие готовили праздник. Иногда ее навещала Лия, ее сестра. Та тоже примеряла прекрасный этот наряд, а потом они сидели рядом, с плащаницей на коленях, и плакали, глядя одна другую. Почему они плакали? Это было их дело. Скажем только, что плакали они каждая о своем.

Когда Иаков с расплывающимся взглядом предавался воспоминаньям и все истории, запечатлевшиеся на его лице и придававшие его жизни вес и достоинство, воскресали в нем и делались его мысленным настоящим, как это произошло, когда он с красным своим близнецом хоронил отца, — самыми яркими оказывались тот день и та история, которые нанесли его чувству такое умопомрачительное поражение и оскорбление, что душа его долго не могла оправиться и выздоровела, вновь обретя веру в себя, только, в сущности, благодаря новому чувству, воскресившему прежнее, растоптанное и поруганное, — ярче всего оживали тогда для него история и день его свадьбы.

Они все вымыли голову и тело, Лавановы домочадцы, в благословенной воде пруда, умастились и завились должным образом, надели праздничное платье и сожгли много душистого масла, чтобы встретить приглашенных гостей приятным запахом. Гости прибывали пешком, верхом на ослах и в повозках, запряженных волами или лошаками, и одни мужчины, и мужья с женами, и даже дети, если их не с кем было оставить дома, — окрестные крестьяне и скотоводы, тоже умощенные, завитые и в праздничном платье, люди такого же, как Лаван, тяжелого нрава, и с таким же хозяйственным направлением ума. Они кланялись, прикладывая руку ко лбу, справлялись о здоровье, а затем располагались в доме и во дворе, у котлов и накрытых столов, чтобы, ополоснув руки и прищелкнув языком, призвав на помощь Шамаша и воздав хвалу хозяину дома и отцу невесты Лавану, приступить к долгому пиршеству. Пир шел и в наружном дворе, между амбарами, и в мощеном, внутреннем, вокруг камня для жертвенных даров, на крыше дома и на деревянной его галерее, а у самого жертвенника разместились нанятые в Харране музыканты, арфисты, тимпанщики и кимвалисты, которые были также и плясунами. День выдался ветреный, а вечер и вовсе, скользившие мимо луны облака порою целиком ее прятали, что многим, хотя они этого и не высказывали, казалось недобрый знак; ведь то были люди простые, и для них не было разницы между затемняющей лик облачностью и настоящим затмением. Душный ветер, со вздохами ходивший по дому, свистевший в камышовых крышах амбаров и заставлявший скрипеть и шелестеть тополя, ворошил запахи свадьбы, испаренья умощенных застолец, кухонный чад, смешивал их, развеивал и, казалось, так и норовил сорвать дымное пламя с треног, на которых сжигали нард и смолу будулу. Этот едкий, взбаламученный ветром дух пряностей, праздничного пота и жареного мяса Иаков ощущал в носу неизменно, когда он вспоминал о тогдашнем.

Он сидел с Лавановыми домочадцами среди других пирующих в верхней горнице, там, где семь лет назад впервые преломил хлеб с чужеземной родней, сидел с хозяином дома, его плодовицей женой и их дочерьми за нагроможденными на скатерти десертом и лакомствами, опресноками, финиками, чесноком и огурцами, и чокался с гостями, поднимавшими перед ним и перед хозяевами хмельную чашу. Рахиль, невеста его, которую он должен был сейчас получить, сидела с ним рядом, и время от времени он целовал край покрывала, окутывавшего ее тяжелыми от вышивки складками. Она ни разу не подняла его, чтобы прикоснуться к еде и к

напиткам: посвященную накормили, по-видимому, перед торжественным ужином. Она сидела тихо и молча и только смиренно склоняла закутанную голову, когда он целовал покрывало, и он, Иаков, тоже сидел молча, оглушенный праздничной суетой, с цветком в руке, с белоцветной веточкой мирта из орошенного Лаванова сада. Он выпил пива и финикового вина, в голове у него кружилось, и душа его не растворялась в мыслях и не воспаряла к созерцательной благодарности, а отяжелела в его умощенном теле, и тело было его душой. Он очень хотел думать и постигать размышленьем, как бог устроил все это, как он явил некогда беглецу возлюбленную, дитя человеческое, которую тому достаточно было увидеть, чтобы навеки избрать ее сердцем и полюбить навсегда, полюбить не только в ней самой, но и в детях, которых она принесет его нежности. Он очень хотел радоваться своей победе над временем, над горьким временем ожидания, назначенным ему, надо полагать, во искупление обиды Исава и горьких его слез; он хотел с хвалой на устах положить ее, эту победу, это свое торжество, к стопам господним, ибо принадлежала она не кому иному, как богу, который через него, Иакова, и через его деятельное терпенье поборол время, чудовище семиглавое, как некогда змея хаоса, отчего все, что было затаенным желаньем, стало теперь действительностью и Рахиль сидела рядом с ним в покрывале, которое он скоро поднимет. Он очень хотел участвовать в своем счастье душой, Но со счастьем дело обстоит так же, как и с его ожиданьем, которое, чем дольше длилось, тем больше утрачивало свою чистоту, смешиваясь с житейскими заботами и деловыми усилиями. И когда деятельно ожидаемое приходит, оно тоже совсем не эфирно, как то казалось при взгляде в будущее, нет, оно становится физической реальностью и обладает физической тяжестью, как всякая жизнь. Ибо жизнь во плоти никогда не бывает сплошным блаженством, она противоречива и отчасти неприятна, и когда счастье становится физической жизнью, то вместе с ним становится ею душа, его дожидавшаяся; и теперь она уж не что иное, как тело с напоенными маслом порами, от которого и зависит ныне это когда-то далекое и блаженное счастье.

Иаков сидел, напрягши бедра, и думал о своей мужской стати, от которой зависело теперь счастье и которая вскоре могла и обязана была показать себя в священной темноте спальни. Ибо счастье его было счастьем свадьбы и праздником Иштар, оно было чадным, обжорливым, пьяным, хотя когда-то зависело от бога и находилось в его руках. И если раньше Иакову бывало жаль ожидания, когда оно невольно забывалось в суете жизни, то сейчас ему было жаль бога, который, будучи верховным владыкой жизни и всего, какого только можно желать, будущего, отдавал власть над часом свершенья тем божкам и идолам плоти, под знаком которых этот час находился. Поэтому Иаков целовал голое изображение Иштар, когда поднимал край покрывала Рахили, которая сидела рядом с ним, как чистая жертва продолжению рода.

Напротив него, наклонившись к нему и опершись тяжелыми руками на доску стола, сидел Лаван и глядел на него тяжелым, пристальным взглядом.

— Радуйся, сын и племянник, ибо пришел твой час и наступил день расплаты, и тебе будет заплачено по закону и договору за семь лет, которые ты служил дому моему и хозяйству к большому или меньшему удовлетворенью хозяина. Заплачено не деньгами и не товаром, а девчоночкой, дочерью моей, которой желает твоя душа, ты получишь ее, как того желаешь, и она будет послушна твоим объятьям. Сердце стучит у тебя, наверно, всюду, ведь это великий час для тебя, час поистине жизненно важный, равный, как я полагаю, самым великим часам твоей жизни, такой же великий, как час, когда ты получил у отца благословенье в шатре, как ты мне когда-то рассказывал, хитрый сын хитрой матери!

Иаков не слушал. А Лаван, грубо подтрунивая над ним при гостях, продолжал:

— Скажи-ка, зятек, каково у тебя на душе? Не в ужасе ли ты от счастья, что обнимешь невесту, и не страшно ли тебе, как тогда, когда ты, позарившись на благословенье, вошел к отцу с трясущимися коленками? Не говорил ли ты, что у тебя пот катился по бедрам от страха и даже голос, кажется, пропал у тебя, когда нужно было опередить проклятого твоего брата? Смотри же, счастливец, чтобы радость не сыграла с тобой шутку и у тебя не пропала детородная сила! Невеста не простила бы тебе этого.

Верхнюю горницу огласил оглушительный хохот, и тогда Иаков еще раз поцеловал, улыбаясь, изображение Иштар, которой отдал этот час бог. А Лаван тяжело поднялся и, не совсем твердо держась на ногах, сказал:

— Ну, что ж, пора, уже полночь, подойдите ко мне, я вас сведу.

Тут все столпились, чтобы поглядеть, как жених и невеста стоят на коленях перед отцом невесты на каменном полу, и послушать, как Иаков держит ответ, согласно обычаю. И Лаван спросил его, будет ли эта женщина его женой, а он ее мужем и протянет ли он ей цветок, и на это Иаков отвечал утвердительно. И еще спросил, доброго ли он рода и намерен ли он сделать эту женщину богатой, а чрево ее плодородным. И на это Иаков отвечал, что он сын великого человека и наполнит подол этой женщины серебром и золотом, и сделает ее плодоносной, как плоды сада. Тогда Лаван дотронулся до их лбов, стал между ними и возложил на них руки. Затем он велел им встать и обнять друг друга, и брак их был заключен. И посвященную он отвел назад к матери, а зятя взял за руку и под пенью напивавших сзади гостей повел по кирпичной лестнице на мощный двор, где шествие возглавили музыканты. За ними двинулись рабы с факелами, а за рабами — дети в рубашках, с маленькими, подвешенными к цепочкам курильницами. В клубах поднимавшегося от них благовонного дыма, ведомый Лаваном, шагал Иаков, держа белоцветную миртовую ветку в правой руке. Он не участвовал в сопровождавшем шествие традиционном пенье и только, когда Лаван толкал его в бок, чтобы он раскрыл рот, что-то мычал. Сам же Лаван подпевал тяжелым басом, назубок зная все нежные и томные песни о нем и о ней вообще, о влюбленных, которые собираются разделить ложе и оба ждут не дождутся этого часа. О процессии, в которой все действительно участвовали, пелось, что она приближается со стороны степи и окутана лавандовым и мирровым дымом. Это шествовал жених, на голове его был венец, его мать украсила его дряхлыми своими руками в день его свадьбы. К Иакову это не могло относиться: его мать была далеко, он был всего только беглецом; и никак не подходили к частному его случаю слова о том, что жених уводит любимую в дом своей матери, в покои тех, кто его родил. Но именно поэтому, казалось, Лаван и подпевал так истово, чтобы возвеличить этот прекрасный образец перед несовершенной действительностью и заставить Иакова почувствовать эту разницу. Затем в песне шли речи жениха и полные страсти ответы невесты, обменивавшихся восторженными похвалами и нежностями. Наконец, ходатайствуя друг за друга, влюбленные заклинали всех не будить их до срока, когда они блаженно уснут, и дать жениху отдохнуть, а невесте поспать до тех пор, покуда они сами не пробудятся. Сернами и полевыми ланями заклинали они людей в этой песне, которую, шагая, все пели с большим внутренним участием, и даже кадившие дети, толком не понимая ее, пронзительно ей вторили. Так, среди ветреной, темнолунной ночи, процессия обошла усадьбу Лавана один раз и два раза, и подошла к дому и пальмовой двери дома, протиснувшись вслед за музыкантами в дом и подошла к спальне на первом этаже, у которой тоже была дверь, и Лаван провел туда Иакова за руку. Он велел посветить факелами, чтобы Иаков осмотрелся в комнате и увидел, где стоят стол и кровать. Затем он пожелал ему благословенной мужской силы и повернулся к столпившемуся в дверях эскрту. Они удалились, снова затянув песню, а Иаков остался один.

И через много десятилетий, даже в глубокой старости и даже на смертном одре, где он торжественно об этом вещал, он ничего не помнил отчетливей, чем тот час, когда он стоял один в темноте спальни, на сквозняке; ибо ночной ветер с силой врвался в оконные проемы под потолком и, устремляясь к окнищам, выходящим на внутренний двор, теребил ковры и занавески, которыми, как увидел при свете факелов Иаков, украсили стены, и наполнял комнату шорохами и хлопаньем. Как раз под ней находились архив и склеп с терафимами и расписками; сквозь тонкий ковер, постеленный здесь по случаю свадьбы, Иаков нащупал ногой кольцо опускной двери, которая туда вела. Он успел разглядеть и кровать и подошел к ней с протянутой вперед рукой. Это была лучшая кровать в доме, одна из трех, Лаван и Адина сидели на ней во время того первого ужина семь лет назад: диван на ножках, облицованных

металлом, и округлый подголовник тоже был из лощеной бронзы. Деревянный остов, как на ощупь определил Иаков, был застелен одеялами и сверху полотном, а подголовник обложен подушками; только ширины не хватало этой кровати. Рядом, на столике, стояли пиво и закуска. Еще в комнате были два табурета, тоже покрытые материей, и подставки для светильников у изголовья кровати. Но масла в светильниках не было.

Все это Иаков исследовал и установил в ветреной темноте, пока его провожатые, отправившись за невестой, наполняли гамом и топотом дом и двор. Затем, с цветком в руке, он сел на кровать и стал прислушиваться. Они снова покинули дом для шествия, с кимвалами и арфами впереди и с Рахилью, возлюбленной, которой принадлежало все его сердце и которая шла с ними под покрывалом. Лаван вел ее за руку, как раньше его, и Адина, может быть, тоже, и томные свадебные песни снова звучали хорами, то ближе, то дальше. Окончательно приблизившись, они пели:

Мой любимый принадлежит мне, он мой целиком.
Я — запертый сад, полный манящих плодов,
благоуханья тонкого полный:
Приди в свой сад, возлюбленный мой!
Смело собери манящие плоды, освежись их сладостным соком!

Но вот ноги тех, кто это пел, были уже у двери, и дверь приоткрылась, так что один миг бречанье и пенье проникали внутрь без препятствий, закутанная была уже в комнате, куда ее ввел Лаван, который сразу снова захлопнул дверь; и они были одни в темноте.

— Это ты, Рахиль? — спросил Иаков после короткого молчания, подождя, чтобы те немного рассеялись... Он спросил это так, как спрашиваешь порой: «Ты вернулся?», хотя тот, к кому обращены эти слова, стоит перед тобой и, значит, не мог не вернуться, так что вопрос твой бессмыслен, это пустой звук, и спрошенный может только рассмеяться вместо ответа. Но Иаков услышал, как она утвердительно кивнула головой: он заключил это из мягкого шелеста и шуршанья легко-тяжелого покрывала.

— Милая, маленькая, голубка моя, зеница моего ока, сердце моей груди, — сказал он ласково. — Здесь так темно и так дует... Я сижу на кровати, если ты этого не заметила, прямо в глубь комнаты и немного направо. Иди же сюда, но не наткнись на стол, а то потом на твоей нежной коже будет черное с синевой пятно, и ты опрокинешь к тому же пиво. Я вовсе не хочу пива, я не к тому, я хочу только тебя, гранатовое мое яблоко, — как хорошо, что тебя привели ко мне и я больше не сижу один на ветру. Ты идешь? Я с радостью пошел бы тебе навстречу, но, кажется, мне нельзя, ведь закон и обычай требуют, чтобы я подал тебе цветок сидя, и хотя нас никто не видит, лучше нам соблюдать правила, чтобы мы были настоящими мужем и женой, как того непреклонно желали в течение стольких лет ожидания.

От избытка чувств голос его сорвался. Представление о времени, которое он ради этого часа с терпеньем и нетерпеньем преодолел, наполнило его глубокой растроганностью, а мысль, что она ждала вместе с ним и сейчас тоже видела себя у цели своих желаний, заставляла его растроганное сердце биться еще сильнее. Такова любовь, если она совершенна: это сразу и растроганность и радость, нежность и чувственность, и в то время как у Иакова от потрясения лились слезы, он чувствовал, как напряжена его мужественность.

— Вот и ты, — говорил он. — Ты нашла меня в темноте, как я нашел тебя после более чем семнадцатидневного путешествия, когда ты пришла среди овец и сказала: «Ба, чужеземец!» И мы избрали друг друга среди людей, и я служил за тебя семь лет, и время это лежит у наших ног. Вот он, серна моя, моя голубица, вот он цветок! Ты не видишь и не находишь его, поэтому я приложу твою руку к веточке, чтобы ты взяла ее, и я дам ее тебе, и мы будем едины. Но руку твою я не отпущу, потому что люблю ее и люблю косточку ее запястья, хорошо мне знакомую, так что я к радости своей узнаю ее в темноте, и для меня рука твоя как ты сама и

как все твое тело, а оно как пшеничный снопок, увенчанный розами. Любимая, сестра моя, ляг же рядом со мной, я подвинусь, и теперь места хватит для двух, и хватило бы для трех, будь в том нужда. Но как добр господь, что позволяет нам быть вдвоем, удалившись от всех, мне с тобой, а тебе со мной! Ибо я люблю только тебя за твое лицо, которого я сейчас не вижу, но которое тысячу раз видел и от любви целовал, ибо это его милость увенчала твое тело, как розами, и стоит мне подумать, что ты Рахиль, с которой я часто бывал, но так — еще никогда; которую ждал и которая ждала, да и теперь ждет меня и моей нежности, меня охватывает восторг, и он сильнее меня, и я изнемогаю от него. Темнота окутывает нас плотнее, чем покрывало, которым украсила себя непорочная, она лежит повязкой у нас на глазах, и они вне себя ничего не видят, они ослепли. Но ослепли, слава богу, только они, но ни одно из других наших чувств. Ведь мы же слышим друг друга, когда говорим, и темнота нас больше не разделяет. Скажи мне, душа моя, ты тоже восхищена величием этого часа?

— Для меня блаженство быть твоей, возлюбленный господин мой, — сказала она тихо.

— Это могла бы сказать Лия, старшая твоя сестра, — отвечал он. — Не по смыслу, а по произношению, разумеется. Видно, голоса сестер похожи, и слова звучат в их устах родственно. Ведь один и тот же отец зачал их в одной и той же матери, и хотя между ними есть некоторая разница во времени и живут они порознь, в лоне начал они едины. Знаешь, я немного боюсь слепых своих слов, ведь вот я сказал, что темнота не властна над нашими речами, а сам чувствую, что мрак проникает в мои слова и их пропитывает, и они меня немного пугают. Хвала же способности различать и тому, что ты Рахиль, а я Иаков, а не, к примеру сказать, Исав, красный мой брат! Отцы и я — мы не мало времени размышляли у загонов о том, что такое бог, и наши дети и дети наших детей будут об этом размышлять вслед за нами. Но в этот час я скажу, и речь моя будет светла, чтобы темнота перед ней отступила: бог — это способность различать! Поэтому я сниму с тебя покрывало, любимая, чтобы увидеть тебя видящими руками, и положу его осторожно на кресло, которое здесь стоит, ибо покрывало это драгоценно своими изображениями, и мы будем передавать его по наследству из поколения в поколение, и носить его будут те из несметного множества, кто взыскан любовью. Вот они, твои волосы, черные, но красивые, я так хорошо знаю их, я знаю их благоуханье, которому нет равного, я прижимаю их к своим губам, и что может сделать тут темнота? Она не может втиснуться между моими губами и твоими волосами. Вот они, твои глаза, улыбающаяся ночь в ночи, и нежные их впадины, и я узнаю те отлогости под ними, с которых я так часто стирал поцелуями слезы нетерпенья, отчего губы мои делались влажными. Вот они, твои щеки, мягкие, как пух и как тончайшая шерсть чужеземных коз. Вот они, твои плечи, которые предстают моим рукам чуть ли не более статными, чем днем глазам, вот руки твои, а вот...

Он умолк. Когда видящие его руки покинули ее лицо и нашли ее тело и кожу ее тела, Иштар проняла их обоих, бык небесный дохнул, и дыханье обоих смешалось в его дыханье. И всю эту ветреную ночь напролет Лаванова дочь была Иакову прекрасной подругой, недюжинной в сладострастье, неутомимой в труде зачатья, и принимала его снова и снова, так что они не считали, а пастухи отвечали друг другу, что девять раз.

Потом он спал на ее руке, сидя на полу, ибо постель была узка, а он хотел, чтобы отдыхать ей было просторно и удобно. Поэтому он спал, примостившись у кровати, щекой на ее руке, лежавшей у края. Забрезжил рассвет. Пасмурно-красный, притихший, он стоял за окнами, медленно наполняя светом брачную спальню. Первым проснулся Иаков — от света зари, проникшего под его веки, и от тишины, ибо до глубокой ночи в доме и во дворе не утихал шум и смех продолжавшегося застолья и угомонились все только под утро, когда новобрачные уже спали. Кроме того, он устроился неудобно, хотя и с радостью, — потому ему легче было проснуться. Он встрепенулся, почувствовал ее руку, вспомнил, как все обстояло, и повернулся к ней ртом, чтобы поцеловать руку. Затем он поднял голову, чтобы поглядеть на любимую и на ее сон. Он взглянул на нее тяжелыми, слипавшимися от дремоты глазами, которые еще закатывались и видели еще плохо. И оказалась перед ним Лия.

Он опустил глаза и, улыбаясь, покачал головой. Вот еще, — думал он, хотя у него уже похолодели желудок и сердце, — вот еще новость! Язвительный морок, потешное наваждение! Глаза застилала темнота, и теперь, когда ее покров спал, они прикидываются незрячими. Может быть, сестры втайне очень похожи друг на друга, хотя сходства никак нельзя усмотреть в их чертах, но когда они спят, оно, может быть, становится видно? Поглядим-ка получше!

Но он медлил взглянуть на нее, потому что боялся, и все, что он говорил про себя, было только суесловием ужаса. Он уже видел, что у нее светлые волосы и красноватый нос. Он протер глаза суставами пальцев и заставил себя посмотреть. Перед ним спала Лия.

Голова у него пошла кругом. Как попала сюда Лия и где Рахиль, которую к нему впустили и которую он познал этой ночью? Он попятился от кровати, проковылял к середине комнаты, он стоял там в рубашке, прижав кулаки к щекам.

— Лия! — крикнул он со сдавленным горлом.

Она уже приподнялась. Она поморгала глазами, улыбнулась и опустила веки, как он это много раз видел. Одно плечо и одна грудь ее были обнажены; они были красивы и белы.

— Иаков, муж мой, — сказала она, — пусть будет так по воле отца. Ибо он этого хотел и это устроил, и я молю богов, чтобы ты еще поблагодарил за это его и их.

— Лия, — пробормотал он, указывая на свое горло, на лоб и на сердце, — с каких пор это ты?

— Это все время была я, — отвечала она. — Я была твоя этой ночью, с тех пор как вошла сюда в покрывале. Я всегда ждала тебя с нежностью, как и Рахиль, с тех пор, как впервые увидела тебя с крыши, и, надеюсь, я доказала это тебе всей этой ночью. Скажи сам, разве я не служила тебе, как только может служить женщина, и разве не была добросовестна в сладком труде? Я глубоко уверена, что понесла от тебя, и у нас будет сын, сильный и добрый, и пусть его зовут Ре'увим.

Иаков задумался и вспомнил, как этой ночью принимал ее за Рахиль, и подошел к стене, и положил на стену руку, а на руку лоб и горько заплакал.

Он долго стоял так, растерянный, и каждый раз, стоило ему подумать о том, как он верил и познавал, как все его счастье было обманом, как осквернен был час исполненья, час, ради которого он служил и победил время, ему казалось, что внутренности у него перевернутся, и он отчаивался в душе своей. А у Лии больше не было слов, она только плакала время от времени тоже, как уже плакала прежде с сестрой. Ибо она видела, в сколь малой мере была той, которая многократно его принимала, и только мысль, что, вероятно, она все-таки понесла от него сильного сына по имени Рувим, нет-нет да поддерживала ее дух.

Затем он оставил ее и бросился прочь из комнаты. Он чуть не споткнулся о тела, которые лежали за дверью и по всему дому и во дворе, среди беспорядка вчерашнего пира, на циновках и одеялах или на голой земле, и спали, упившись.

— Лаван! — крикнул он, шагая через спящих, которые недовольно бурчали, ворочались и продолжали храпеть. — Лаван! — повторил он свой оклик тише, ибо мука, ожесточенье и неистовая жажда привлечь Лавана к ответу не могли подавить в нем оглядку на тех, кто спал в этот ранний час после тяжелой попойки. — Лаван, где ты?

И он подошел к каморке Лавана, хозяина дома, где тот лежал со своей женой Адиной, постучался и позвал:

— Выйди, Лаван!

— Что такое! — отвечал Лаван изнутри. — Кто зовет меня ни свет ни заря, после того как я напился?

— Это я, выходи! — ответил Иаков.

— Вот оно что, — сказал Лаван. — Это мой зять. Он говорит, правда, «я», как малый ребенок, словно это одно уже определяет человека, но я узнаю его голос и выйду послушать, что ему нужно сообщить мне в такую рань, хотя сейчас у меня был как раз самый сон. — И он вышел в рубашке, с растрепанными волосами и хмурясь.

— Я спал, — повторил он. — Я спал превосходно и благотворно. Почему ты не спишь тоже или не занят тем, чего требует от тебя твоё положение?

— Это Лия, — сказал Иаков дрожащими губами.

— Само собой разумеется, — ответил Лаван. — И поэтому ты прерываешь на рассвете законный мой сон после тяжелой попойки, чтобы сообщить мне то, что я знаю не хуже твоего?

— Ах ты змей, тигр, бесовское отродье! — закричал Иаков, теряя самообладание. — Я говорю тебе это не затем, чтобы ты узнал это, а для того, чтобы показать тебе, что и я это теперь знаю, и призвать тебя к ответу за мою муку.

— Прежде всего обрати внимание на свой голос и понизь его! — оказал Лаван. — Это я вынужден тебе приказать, если тебе не приказывают это обстоятельства. а они все говорят в пользу этого. Ведь мало того, что я твой дядя и тесть и к тому же твой хлебодатель, на которого тебе отнюдь не подобает орать, дом и двор, как ты видишь, полны спящих гостей, которые через несколько часов отправятся со мной на охоту, чтобы повеселиться в пустыне и в камышах болота, где мы расставим сети птицам, куропатке и дудаку, или поймем и заколем кабана, чтобы совершить над ним возлиянье. Для этого мои гости подкрепляются сном, который для меня свят, а вечером будет продолжение попойки. Что же касается тебя, то когда ты на пятый день выйдешь из спальни, ты тоже присоединишься к нам для веселой охоты.

— Знать не хочу ни о какой веселой охоте, — отвечал Иаков, — не тем занят бедный мой ум, который ты вопиюще опозорил и помутил. Ведь ты же сверх меры меня обманул, позорно обманул и жестоко, ты тайком впустил ко мне Лию, старшую свою дочь, вместо Рахили, за которую я тебе служил. Что мне теперь делать с собой и с тобой?

— Послушай, — возразил Лаван. — Есть слова, которых тебе не следовало бы употреблять, и лучше бы ты поостерегся произносить их вслух, ведь в земле Амурру живет, как я знаю, один космач, он плачет и рвет на себе шерсть и посягает на твою жизнь, и уж он-то мог бы говорить об обмане. Неприятно, когда одному человеку приходится стыдиться за другого, потому что тот не стыдится, а именно так обстоит сейчас дело у нас с тобой из-за твоих опрометчиво выбранных слов. По-твоему, я тебя обманул. Но в чем же? Может быть, я привел к тебе невесту, до которой уже дотрагивались и которая была бы недостойна прошесть в объятья бога через семь лестниц? Или я доставил тебе невесту, которая оказалась нерадива телом и жаловалась на боль, что ты причинил ей, а не была услужлива и усердна в любви? Может быть, я обманул тебя в этом?

— Нет, — сказал Иаков, — в этом нет. Лия отменна в труде зачатья. Обманул и провел ты меня в том, что я ничего не видел и всю эту ночь принимал Лию за Рахиль и отдал не той душу свою и лучшую свою силу, и раскаянья моего не передать никакими словами. Вот что ты сделал со мной, волк ты этакий.

— И это ты называешь обманом и безбоязненно сравниваешь меня со зверями пустыни и злыми духами, если я держался обычая и как человек, уважающий закон, не осмелился противиться установлению, освященному временем? Не знаю, как заведено в земле Амурру или в земле царя Гога, но в нашей земле не принято выдавать младшую дочь прежде старшей, это было бы ударом по старинному правилу, а я чту закон и соблюдаю приличия. Поэтому я и поступил так, как поступил, мудро пойдя наперекор твоему неразумию и действуя как отец, который знает свой долг перед детьми. Ибо ты гнусно обидел меня в моей любви к старшей, когда сказал: «Лия не разжигает моих мужских желаний». Разве за это тебя не следовало прочесть и осадить? Вот теперь ты увидел, разжигает она их или нет!

— Я ничего не видел! — воскликнул Иаков. — Та, кого я обнимал, была Рахилью.

— Да, это выяснилось на рассвете, — насмешливо возразил Лаван, — но это-то и значит, что младшей моей, Рахили, не на что жаловаться. Ведь Лии принадлежала действительность, а помыслы принадлежали Рахили. Но теперь я научил тебя помышлять и о Лии, и той, которую ты будешь обнимать в дальнейшем, будут принадлежать и помыслы, и действительность.

— Разве ты собираешься отдать мне Рахиль? — спросил Иаков...

— Само собой разумеется, — сказал Лаван. — Если ты желаешь ее и согласен заплатить мне за нее законный выкуп, ты получишь ее.

Тогда Иаков воскликнул:

— Но я же служил тебе за Рахиль семь лет!

— Ты служил мне, — ответил Лаван с твердостью и достоинством, — за мою дочь. А если ты хочешь получить и вторую дочь, что мне было бы приятно, плати второй раз!

Иаков молчал.

— Я добуду что нужно, — сказал он потом, — и соберу тебе вено. Мину серебра я займу у людей, знакомых мне по торговым делам, да и за подарки, чтобы повесить их невесте на пояс, тоже тебе заплачу, ведь я неожиданно кое-что нажил за это время и теперь уже не так нищ, как в свое время, когда сватался в первый раз.

— Опять в твоих речах нет никакой чуткости, — сказал Лаван, с достоинством качая головой, — и ты без стеснения говоришь о вещах, которые тебе пристало бы таить в своей груди, и ты должен быть доволен, если другие не заговаривают о них и не спорят с тобой, а не болтать о них вслух, снова создавая в мире такое положение, что одному человеку приходится стыдиться за другого, потому что тот не способен на это. Не хочу знать ни о какой неожиданной наживе и тому подобных неприятностях. Не нужно мне от тебя ни серебра на выкуп, ни какого-либо товара, кому бы он ни принадлежал, в подарок невесте, нет, за вторую мою дочь тебе придется служить мне столько же времени, сколько и за первую.

— Волк ты, а не человек! — воскликнул Иаков, теряя самообладание. — Значит, ты хочешь отдать мне Рахиль только еще через семь лет?

— Кто это говорит? — надменно ответил Лаван. — Кто хотя бы лишь намекал на что-либо подобное? Ты один городишь чушь и преждевременно сравниваешь меня с оборотнем, ибо я отец и не хочу, чтобы дочь моя томилась по мужчине до тех пор, покуда он не состарится. Ступай на свое место и отбуди там чин чином неделю. А потом ты без шума получишь и вторую и, став ее мужем, прослужишь у меня за нее еще семь лет.

Иаков промолчал и опустил голову.

— Ты молчишь, — сказал Лаван, — и не можешь заставить себя упасть к моим ногам. Мне, право, любопытно, удастся ли мне еще смягчить твое сердце до благодарности. Что я ни свет ни заря стою здесь в одной рубашке, поднятый на ноги среди необходимого сна, и улаживаю с тобой дела, этого явно недостаточно, чтобы вызвать у тебя подобное чувство. Так вот, я еще не упомянул, что вместе с другой дочерью ты получишь и вторую из купленных мною служанок. Ибо Зелфу я дарю в приданое Лии, а Валлу — Рахили, и во втором случае мне тоже зачтутся две трети той мины серебра, которую я собираюсь вам дать. Вот видишь, одним махом ты приобрел четырех женщин, и теперь у тебя гарем, как у царя Вавилона или царя Элама, а ведь только что ты жил на усадьбе в бедности и в одиночестве.

Иаков все еще молчал.

— Жестокий ты человек, — сказал он наконец со вздохом. — Ты не знаешь, что ты сделал со мной, не знаешь и не замечаешь, как я убеждаюсь, и не можешь вообразить этого тупым своим умом! Душу свою и лучшую свою силу растратил я на несправедную этой ночью, и сердце мое разрывается из-за праведной, которой это предназначалось, и еще неделю я должен ублажать Лию, и когда плоть моя утомится, ибо я только человек, когда она насытится, а душа станет слишком вялой, чтоб испытать восторг, я получу праведную, сокровище мое Рахиль. А ты думаешь — все уладится. Но этого никогда не заглядить — того, что ты сделал со мной и с Рахилью, своей дочерью, и, наконец, с Лией, которая сидит на кровати и плачет, потому что думал я не о ней.

— Значит ли это, — спросил Лаван, — что после свадебной недели с Лией у тебя не хватит мужественности сделать плодоносной вторую?

— Нет, нет, не приведи бог, — отвечал Иаков.

— Все остальное — чепуха, — заключил Лаван, — и пустое мудрствование. Доволен ли ты новым нашим договором и порешим мы с тобой на том или нет?

— Да, на том и порешим, — сказал Иаков и пошел к Лии.

О РЕВНОСТИ БОГА

Таковы Иаковлевы истории, запечатлевшиеся на его стариковском лице, так проходили они перед его полными слез, заблудившимися в бровях глазами, когда он погружался в торжественное раздумье — будь то в одиночестве или на людях, которыми при виде такого выражения его лица неизменно овладевал священный страх, так что они украдкой толкали друг друга и говорили: «Тише, Иаков вспоминает свои истории!». Некоторые из них мы уже подробно изложили и окончательно уточнили, даже такие, которые относятся к гораздо более позднему времени, в том числе возвращенье Иакова на запад и то, что было после его прибытия туда; но семнадцать лет остается еще заполнить богатыми их историями и перипетиями, главными из которых явились двойная женитьба Иакова на Лии и на Рахили и появление Рувима.

Ре'увим был от Лии, а не от Рахили; Лия родила Иакову первенца, который позднее промотал свое первородство, потому что бушевал, как вода, зачала его, выносила и подарила Иакову не Рахиль, невеста его чувства, и не она, по воле бога, родила ему Симеона. Левия, Дана, Иегуду или кого-либо из десяти до Завулону, хотя по истечении праздничной недели, когда Иаков на пятый день покинул Лию и несколько освежился на ловле, она тоже была отдана ему в жены, о чем мы распространяться не станем. Ведь уже рассказано, как принял Иаков Рахиль; из-за беса Лавана он принял ее сперва в Лии, и женитьба его была тогда и в самом деле двойной, он спал тогда с двумя сестрами: с одной действительно, но мысленно — с другой; а что тут значит «действительно»? В этом смысле Ре'увим был, конечно, сыном Рахили, зачатым с ней. И все же она, которая так полна была готовности и усердия, осталась ни с чем, а Лия пополнела и округлилась и довольно складывала руки на животе, смиренно склоняя голову набок и опуская веки, чтобы не видно было, как она косит.

Она разрешилась от бремени на кирпичях с величайшей легкостью, роды продолжались несколько часов. Это было чистое удовольствие. Ре'увим, как вода, сразу устремился наружу; когда Иаков, поспешно оповещенный, пришел с поля (ибо стояла пора уборки кунжута), новорожденный был уже выкупан, протерт солью и завернут в пеленки. Иаков возложил на него руку и при всех домочадцах произнес: «Мой сын». Лаван выразил ему свое уваженье. Он пожелал ему быть таким же молодцом, как он сам, и производить на свет сыновей три года подряд, а роженица на радостях воскликнула, со своего ложа, что она будет плодовита двенадцать лет — и без перерыва. Рахиль это слышала.

Ее нельзя было оторвать от колыбели, подвешенной к потолку таким образом, чтобы Лия, лежа в постели, могла покачивать ее рукой. По другую сторону сидела Рахиль и разглядывала ребенка. Когда он плакал, она брала его на руки, подносила к набухшей, в голубоватых жилках, груди сестры, ненасытно смотрела, как та кормила его, пока он не багровел и не раздвинулся от сытости, и, глядя на это, прижимала руки к собственной своей нежной груди.

— Бедная малышка, — говорила ей тогда Лия. — Не огорчайся, придет и твоя очередь. И возможности твои несравненно лучше моих, ибо на тебя, а не на меня глядят глаза нашего господина и на каждое его пребыванье в моем шатре приходится четыре или шесть ночей, когда он спит у тебя, как же тебе не понести?

Но если возможностей у Рахили и было больше, то реализовались они, по воле бога, у Лии, ибо, едва оправившись от первых родов, она опять зачала и, нося на спине Рувима, носила в животе Симеона, и ее почти не тошнило, когда плод стал расти, и она не роптала, когда он обезобразил ее, а была предельно бодра и весела и трудилась в саду Лавана до того часа,

когда, чуть изменившись в лице, велела подставить ей кирпичи. И тогда Симеон с легкостью вышел на свет и чихнул. Все восхищались им; больше всех — Рахиль, и как больно ей было им восхищаться! С ним дело обстояло уже несколько иначе, чем с первым; не по неведению, не из-за обмана родил его Иаков с Лией, он принадлежал ей полностью и несомненно.

А Рахиль, что случилось с этой малышкой? Ведь как серьезно и весело глядела она на двоюродного брата, с какой милой отвагой, с какой готовностью к жизни; как уверенно ждала и чувствовала, что будет родить ему детей по образу их обоих, иной раз и близнецов. И вот она оставалась ни с чем, а Лия качала уже второго, — как это вышло?

Буква предания — единственное, на что мы можем опереться, пытаюсь объяснить печальное это положение. А смысл ее вкратце таков: поскольку Лия не была любима Иаковом, бог сделал ее плодотворной, а Рахиль бесплодной. Именно поэтому. Эта попытка объяснения не хуже любой другой; она носит предположительный, а не безапелляционный характер, ибо прямого и директивного заявления Эль-Шаддаи о смысле этих его действий, которое было бы сделано Иакову или другому заинтересованному лицу, — такого заявления нет и, несомненно, не было. И все же нам пристало бы отвергнуть это объяснение и заменить его другим, если бы у нас было лучшее, а его у нас нет; напротив, имеющееся объяснение представляется нам по сути верным.

Суть в том, что решение бога было направлено не против или не в первую очередь против Рахили и не было принято ради Лии, а являлось назидательным наказанием самому Иакову, которому этим путем указывалось, что изнеженность, прихотливость и самовлюбленность его чувства, высокомерие, с каким он лелеял его и обнаруживал, не пользовались одобрением элохима — хотя эта избирательность и необузданная пристрастность, эта гордость чувства, не считающаяся ни с чьим мнением и жаждущая всеобщего благоговейного признания, могла сослаться на более высокий образец и фактически была земным подражанием ему. Хотя? Нет, как раз потому, что Иаковлева самоупоенность чувства была подражанием, она и была наказана. Кто берется говорить о таких вещах, должен выбирать выраженья; но и после боязливой проверки предстоящего слова не остается сомнений в том, что первопричиной разбираемого нами распоряженья была ревность бога, который, унижая самоупоенное чувство Иакова, показывал, что упоение собственным чувством является его, господа, привилегией. Это объяснение, наверно, вызовет нарекания и, конечно, нам скажут, что такой мелкий и страстный мотив, как ревность, неприменим для толкования божественных назначений. Однако тем, кого наше толкование коробит, представляется возможность считать это неприличное, на их взгляд, побуждение лишь не уничтоженным духовностью пережитком более ранних и более диких стадий образа бога — тех начальных стадий, на которые мы пролили кое-какой свет в другом месте и на которых облик Иагу, владыки войны и погоды у смуглой оравы сынов пустыни, называвших себя его бойцами, был наделен чертами куда более страшными и чудовищными, чем простая священность.

Завет, союз бога с бодрствовавшим в страннике Авраме человеческим духом был союзом ради взаимного освящения, союзом, в котором человеческие и божественные нужды так сплетены, что трудно сказать, с какой стороны, божественной или человеческой, последовал первый толчок к такому содружеству, но, во всяком случае, союзом, установление которого свидетельствует о том, что освящение бога и освящение человека представляют собой двуединый процесс и связаны друг с другом теснейшими узами. Для чего же еще, спрашивается, нужен союз? Наказ бога человеку «Будь свят, как я!» уже предполагает освящение бога в человеке и означает собственно: «Пусть стану я свят в тебе, а потом будь и сам свят!» Другими словами, очищение бога от мрачного коварства и его освящение очищает и освящает человека, в котором, по настоятельному желанию бога, происходит этот процесс. Но эта общность интересов, когда бог обретает истинное свое достоинство только с помощью человеческого духа, а тот, в свою очередь, не может обладать достоинством, не созерцая реальности бога и с ней не считаясь, — эта поистине брачная взаимосвязанность, воплощенная и скрепленная

кольцом обрезанья, делает понятным, что именно ревность оказалась самым долговечным пережитком досвященной страстности бога, будь то ревность к идолам или ревнивое отношение к своей привилегии на роскошество в чувствах, — что по сути одно и то же.

Ведь что иное, как не идолопоклонство, такое необузданное чувство человека к человеку, какое Иаков позволял себе питать к Рахили, а затем, в измененном и, пожалуй, усиленном виде, к ее первенцу? То, что претерпел Иаков из-за Лавана, еще можно отчасти хотя бы считать необходимым восстановлением справедливости с точки зрения судьбы Исава, взысканьем с того, в угоду кому справедливость потерпела ущерб. Но стоит задуматься о мрачной доле Рахили, а тем более узнать о том, что должен был вынести юный Иосиф, которому только благодаря его величайшему уму и обаятельнейшей ловкости в обращении с богом и людьми удалось повернуть все к добру, — и не останется никаких сомнений, что дело идет о самой настоящей, чистейшей воды ревности — не об общей и отвлеченной ревности к привилегиям, а ревности в высшей степени личной — к объектам идолопоклоннического чувства, на которые и падали удары, мстительно наносимые этому чувству, — одним словом, о страсти. Пусть это назовут пережитком пустыни, все равно именно в страсти сбывается и оправдывается неистовое слово о «боге живом». Наши слушатели увидят и согласятся, что Иосиф как ни вредили ему вообще-то его ошибки, чувствовал эту живость бога даже острее и приспособлялся к ней ловчей, чем его родитель...

О СМЯТЕНИИ РАХИЛИ

А маленькой Рахили все это было совершенно непонятно. Она висла у Иакова на шее и плакала:

— Дай мне детей, не то я умру!

Он отвечал:

— Что это, голубка моя? Твое нетерпенье делает немного нетерпеливым твоего мужа, а я никак не думал, что подобное чувство когда-либо поднимется против тебя в моем сердце. Право же, неразумно докучать мне слезами и просьбами. Ведь я же не бог, который не дает тебе плодов твоего тела.

Сваливая это на бога, он намекал на то, что за ним, Иаковым, дело не стало и что он, как это уже доказано, не виноват вообще; ведь в Лии же он был плодит. Но кивать на бога значило утверждать, что все дело в ней, Рахили, и в этом-то, а также в дрожании его голоса, выражалось его нетерпенье. Конечно, он раздражался, ибо глупо было со стороны Рахили молить его о том, чего он сам так пламенно желал себе, не коря ее, однако, при этом за обманутые свои надежды. И все-таки в ее горе бедняжку многое оправдывало, ибо покуда она оставалась бесплодной, ей приходилось плохо. Она была: сама ласковость, но не завидовать сестре было бы не по силам женской природе, а зависть — это такая совокупность чувств, куда, кроме восхищенья, входит, увы, и нечто другое, вызывающее не самые лучшие ответные чувства. Это не могло не подточить сестринских отношений и уже их подтачивало. Положение матери семейства Лии было в глазах окружающих намного выше положения бесплодной сожительницы, все еще как бы ходившей в девушках, и потому Лия, пожалуй, даже лицемерила бы, если бы никак не показывала, что сознает почетное свое превосходство. Жену, благословенную детьми, принято было, не мудрствуя, называть «любимой», а бездетную попросту «ненавистной»; для слуха Рахили такое словоупотребление было ужасно, ужасно своей несообразностью с ее действительным положением, и поэтому по-человечески ее можно понять, если бы она не довольствовалась безгласной правдой, а высказывала эту правду вслух. Так оно, к сожаленью, и было; бледная, со сверкающими глазами, она ссылалась на никогда не таившееся пристрастие к ней Иакова и на его частые ночные приходы, а это было больным местом Лии, и на прикосновение к нему можно было только, вздрогнув, ответить: «А что толку?» И дружба прощай!

Стоявший между ними Иаков был удручен.

Лаван тоже хмурился. Он был, конечно, доволен, что его дитя, которым хотел пренебречь Иаков, оказалось в таком почете; но, с другой стороны, ему было жаль Рахили, а кроме того, он начал опасаться за свою мощну. Законодатель установил, что если жена не родит детей, тесть обязан возратить мужу выкуп за нее, ибо такой брак признается неудавшимся. Лаван надеялся на то, что Иаков этого не знает, но узнать об этом тот мог в любой день, и однажды, когда у Рахили не останется никаких надежд, ему, Лавану, или его сыновьям придется заплатить Иакову за семь лет службы наличными, а с этой мыслью Лаван никак не мог примириться.

Поэтому, когда Лия забеременела и на третий год брака — тогда заявил о себе мальчик Левий, — а у Рахили никакого прибавленья не наметилось, Лаван был первым, кто счел нужным помочь беде и высказался за то, чтобы принять меры, назвав имя Валлы и потребовав, чтобы Иаков сошелся с ней и она родила на колени Рахили. Было бы ошибкой думать, будто Рахиль сама подала или особенно отстаивала эту вообще-то напрашивавшуюся мысль. Чувства, которые эта мысль у нее вызывала, были слишком двойственны, чтобы Рахиль могла сделать что-либо большее, чем просто смириться с ней. Но правда, что с Валлой, своей служанкой, существом привлекательным, перед прелестями которой Лии пришлось позднее окончательно отступить, Рахиль была очень дружна и близка; а ее жажда материнской славы победила даже естественное ее нежеланье сделать собственноручно то, что сделал некогда ее суровый отец, и привести к двоюродному супругу ночную свою заместительницу.

Собственно говоря, все было наоборот: она за руку ввела Иакова к Валле, поцеловав, как сестра, непомерно надушенную девочку, соевем потерявшую голову от счастливого смятенья, и сказав ей: «Если уж так должно случиться, то пусть это будешь ты. Умножься тысячекратно!» Утрирующее это напутствие было просто поздравлением и пожеланием, чтобы Валла зачала вместо своей госпожи, и Валла незамедлительно это сделала: она сообщила о полной удаче матери своего плода, чтобы та, в свою очередь, оповестила об этом его отца и своих родителей; в последующие месяцы утроба ее лишь незначительно отставала в росте от лона Лии, и Рахиль, которая все это время была очень нежна к Балле, часто гладила ее округлый живот и прикладывала к нему ухо, могла теперь видеть в глазах у всех то уваженье, какое снискал ей успех ее жертвы.

Бедная Рахиль! Была ли она счастлива? Признанный обычай помог ей смягчить до некоторой степени верховную волю, но ее слава, к смятению ее полной готовности и ожидания души, росла все-таки в чужом теле. Это были половинная слава, половинное счастье, половинный самообман, с грехом пополам опирающиеся на обычай, но без опоры в ее собственной плоти и крови, и полунастоящими были бы дети, сыновья, которых родит ей Валла, ей и ее бесплодно любимому мужу. Рахили досталась радость, а боли достались бы другой. Это было удобно, но была в этом отвратительная пустота, какая-то скрытая мерзость не для ее ума, который повиновался обычаю и закону, а для честного и храброго ее сердечка. Она растерянно улыбалась.

Впрочем, все, что ей позволено и положено было сделать, она сделала радостно и благочестиво. Она дала Валле родить себе на колени — этого требовал церемониал. Рахиль обняла ее сзади и много часов подряд участвовала в ее усилиях, столах и криках, став повитухой и роженицей в одном лице. Маленькой Валле пришлось нелегко, роды продолжались целые сутки, к концу которых Рахиль измучилась почти так же, как мать во плоти, но это как раз и было ей по душе. Так появился на свет отпрыск Иакова, названный Даном, — всего через несколько недель после Лииною Левия, на третьем году брака. А на четвертом, когда Лия разрешилась тем, кого называли Хвалою Богу, или Иегудой. Валла и Рахиль общими силами принесли супругу второго своего сына, который, как им показалось, обещал стать хорошим борцом, отчего его и называли Неффалим. Так, волей божьей, появились у Рахили два сына. Затем рожденья временно прекратились.

МАНДРАГОРОВЫЕ ЯБЛОКИ

Первые годы брака Иаков провел почти полностью на усадьбе Лавана и, предоставив управляться на выгонах издольщикам и подпаскам, устраивал время от времени строгую проверку вторым, а с первых взимал оброк скотом и товарами, которые принадлежали Лавану, но не целиком и даже не всегда в большинстве; ибо в поле и даже на усадьбе, где Иаков соорудил несколько новых сараев для хранения собственного добра, многое принадлежало уже Лаванову зятю, и дело шло, в сущности, о слиянии двух цветущих хозяйств, о весьма и весьма запутанной системе взаимных расчетов, которая была явно понятна и подвластна Иакову, по давно уже темна для тяжелого взгляда Лавана, хотя тот и не признавался в этом: отчасти из опасения посрамить свой разум, отчасти же из-за старой боязни расстроить благословение в крови своего вершителя дел мелочными придирками. Слишком уж хорошо при всем этом жилось ему самому; он вынужден был глядеть на все сквозь пальцы и фактически уже почти не вмешивался ни в какие дела — настолько потрясающе-убедительно подтверждалась богоизбранность Иакова. Шестерых сыновей — дарителей воды народил он себе за четыре года; это было вдвое больше того, на что оказался способен Лаван при благословенном соседстве. Тайное уважение Лавана к Иакову было почти беспредельно; оно лишь чуть-чуть ослаблялось бесплодием Рахили. Этому человеку следовало предоставить свободу действий, и это было просто счастье, что он как будто перестал думать об уходе и об отъезде.

В действительности мысль о возвращении домой, о воскресении из этой ямы и преисподней Лаванова царства никогда не была чужда душе Иакова; через двенадцать лет она была ей так же близка, как через двадцать и двадцать пять лет. Но он не спешил, органически сознавая, что время у него есть (ведь ему суждено было прожить сто шесть лет), и отвык связывать мысль об отъезде с моментом предположительного прекращения Исавова гнева. К тому же он поневоле в известной мере укоренился в нахаринской земле, ибо здесь он многое пережил, а истории, которые с нами где-либо происходят, подобны пущенным нами на этом месте корням. Прежде всего, однако, Иаков считал, что не извлек еще достаточной выгоды из своего сошествия в Лаванов мир, не стал еще в нем достаточно богат. Преисподняя таила в себе две вещи — грязь и золото. Грязь он изведаль: в виде жестокого срока ожидания и еще более жестокого обмана, которым этот бес Лаван расколол ему душу в брачную ночь. Богатством он тоже начал обрастать, но недостаточно, не в должной мере; все, что можно было унести, надо было взять с собой, а бес Давав должен был дать еще золота, они не рассчитались, его следовало обмануть основательней: не ради мести Иакова, а просто потому, что так полагалось, чтобы и бес-обманщик был в итоге обманут самым издевательским образом, — только наш Иаков не видел еще решающего средства исполнить положенное.

Это его задерживало, а дела занимали его. Теперь он подолгу бывал вне дома, в степи и в поле, возле пастухов и стад, поглощенный хозяйством и торговлей в Лавановых и своих интересах; и это могло быть одной из причин, почему приостановился поток рождений, хотя жены со своими мальчиками, как и подросшие уже Лавановы сыновья, нередко бывали с ним вместе на выгонах и жили при нем в хижинах и шатрах. С грехом пополам добившись своего, Рахиль не подавляла больше своей ревности к выручившей ее Валле и не терпела уже общения господина и служанки, которые, кстати сказать, ничего не имели против ее запрета. Сама она оставалась бесплодна на пятом, на шестом году, навсегда, как то злосчастно казалось; и Лиино тело тоже пустовало — к великой ее досаде, но оно просто отдыхало, год и два года, и она говорила Иакову:

— Не знаю, что стряслось и за что мне такой позор, что я хожу праздно и бесполезно! Если бы у тебя была только я, этого бы не случилось, я бы не оставалась без ноши целых два года. Но сестра, которая нашему господину дороже всего на свете, отнимает у меня моего

мужа, и я лишь с трудом удерживаюсь от того, чтобы проклясть ее, а ведь я же ее люблю. Наверно, этот разлад портит мне кровь, и поэтому я не могу понести, и твой бог не хочет больше вспоминать обо мне. Но что Рахили дозволено, то и мне не заказано. Возьми Зелфу, мою служанку, и спи с ней, чтобы она родила на мои колени и у меня были сыновья благодаря ей. Если я уже не имею цены для тебя, то все равно пусть у меня так или иначе родятся дети, ибо дети — это бальзам для ран, которые наносит мне твоя холодность.

Иаков почти не оспаривал ее жалоб. Его возражение, что ее он тоже ценит, откровенно носило характер пустой вежливости. Это следует осудить. Неужели он не мог сделать над собой небольшое усилие и быть добрее к женщине, из-за которой он, правда, претерпел жестокий обман души, неужели любое теплое слово, которое он мог бы сказать ей, он должен был сразу счесть ограблением драгоценного и холеного своего чувства? Ему суждено было горько поплатиться за это высокомерие своего сердца; но тот день был еще далек, и раньше еще чувству его суждено было даже пережить день величайшего своего торжества...

Предложение насчет Зелфы Лия сделала, вероятно, только для формы, чтобы облечь в него истинное свое желание — чтобы Иаков чаще ее навещал. Но одержимый чувством не почувствовал этого, он оказался тут высокомерно нечувствителен и попросту заявил, что готов и согласен призвать Зелфу для оживления благословенности детьми. Он получил необходимое освобождение у Рахили, которая не могла отказать в нем, тем более что высокогрудая Зелфа, немного похожая на свою госпожу и тоже так и не добившаяся настоящего расположения Иакова, на коленях просила у нее, как у самой любимой, прощения. И, приняв господина с покорностью и рабским усердием, служанка Лии забеременела и родила на колени своей госпожи, которая ей помогала стонать. На седьмом году брака, четырнадцатом году лавановского времени Иакова, она родила Гада и препоручила его удаче; а на восьмом и пятнадцатом — ланкомку Асира. Так стало у Иакова восемь сыновей.

В ту пору, когда родился Асир, произошел случай с мандрагоровыми яблоками. Найти их посчастливилось Ре'увиму — тогда уже восьмилетнему, это был сумрачный, мускулистый мальчик с воспаленными веками. Он уже участвовал в начале лета в уборочных работах, на которые, покончив со стрижкой овец, выходили также Лаван с Иаковом, работах, требовавших большого напряжения от домочадцев, а также от нескольких нанятых на это время батраков. Лаван, овцевод, чьи земледельческие занятия к моменту прибытия Иакова ограничивались обработкой кунжутного поля, сеял с тех пор, как тот нашел воду, также ячмень, просо, полбу и особенно пшеницу; пшеничное поле, обнесенное глинобитной оградой, изрезанное канавами и насыпями, было самой важной его пашней. Площадью почти в полторы десятины, оно изгибалось отлогой грядой холмов, и земля его была тучной и мощной: если ее время от времени оставляли вод паром, как это, следуя священному и разумному правилу, делал Лаван, она давала урожай больше чем сам-тридцать.

В тот раз год был благословенный. Доброчестный труд возделывания, труд плуга и сеющей руки, мотыги, бороны и водоливной бадьи вознагражден был божественно. Пока не взошли колосья, у Лаванова скота было прекрасное пастбище, ни газель не прикоснулась к всходам, ни ворон, не налетела на поле саранча и не размыл землю паводок. Богатая была в тот год жатва, тем более что Иаков, хоть и не землепашец, как известно, проявил благословенную свою находчивость и в этой области и советом, и делом добился более густого, чем обычно, засева, отчего число зерен в колосе, правда, немного уменьшилось, но общий урожай оказался больше — настолько больше, что Лаван, как, во всяком случае, сумел втолковать ему Иаков, все равно оставался в барыше, если определенная часть урожая и отошла в личную собственность его зятя.

Все были на работе в поле, даже Зелфа, в промежутках кормившая грудью Гада и Асира, и только дочери остались дома готовить ужин. В камышовых, от солнца, наголовниках и лохматых набедренных повязках, лоснясь от пота и распевая божественные песни, размахивали серпами жнецы. Другие резали солому или вязали снопы, нагружали их на ослов или на за-

пряженные волами повозки, чтобы доставить эту благодать на ток, где ее с помощью крупного рогатого скота молотили, а потом веяли, просеивали и ссыпали. Мальчик Рувим не отставал уже на этом празднике труда от детей Лавана. Когда же у него онемели руки, золотым вечером, он пошел побродить по краю поля. Там, у глинобитной стены, он нашел мандрагору.

Чтобы углядеть ее, нужны были острое зрение и сноровка. Шершавая ботва с овальными листьями едва-едва поднималась над землей, незаметная для неискушенного глаза. Но по темным, с орех, ягодам, которые и назывались мандрагоровыми яблоками, Рувим узнал, что здесь прячет земля. Он засмеялся и поблагодарил. Схватив тотчас же нож, он начертил кружок и окопал корневище, так что оно повисло только на тонких волокнах. Затем, произнеся заклинание из двух слов, он рывком отделил корешок от земли. Он ожидал, что тот закричит, но этого не случилось. И все-таки он держал за вихор самого настоящего волшебного человечка: телесного цвета, с двумя ножками, ростом с детскую ладонь, бородатый и сплошь покрытый волокнистым пушком, — это был гном удивительный и смешной. Мальчик знал его свойства. Они были многочисленны и полезны; но особенную пользу — так слышал Рувим — они приносили женщинам. Поэтому он сразу предназначил свою находку Лии, своей матери, и побежал вприпрыжку домой, чтобы отдать ей корень.

Лия очень обрадовалась. Она ласково похвалила своего старшего, сунула ему в кулак фиников и наказала не хвастаться этой удачей перед отцом, да и перед дедом.

— Молчать не значит лгать, — сказала она и добавила, что всем вовсе незачем знать о находке: достаточно того, что они почувствуют ее благотворное действие. — Я уж постараюсь, — заключила она, — выманить у корешка все, что он может дать. Спасибо тебе, Рувим, мой первенец и сын первой. Спасибо за то, что ты о ней вспомнил. Другие не о ней вспоминают. Удачливость досталась тебе от них. А теперь ступай!

С этими словами она отпустила его, надеясь оставить себе свое сокровище. Но Рахиль, сестра ее, подглядывала и все увидела. Кто позднее тоже вот так подглядывал и чуть не поплатился головой за свою болтовню? Эта черта, при всем ее обаянии, была ей свойственна, и она передала ее по наследству своей плоти и крови. Она сказала Лии:

— Что же это принес тебе наш сын?

— Мой сын, — отвечала Лия, — не принес мне ничего, кроме сущей безделицы. Ты случайно оказалась поблизости? По глупости своей он принес мне жука и пестрый камешек.

— Да ведь он же принес тебе земляного человечка с травой и ягодами, — сказала Рахиль.

— Да, это тоже, — ответила Лия. — Вот он. Гляди, какой забавный и толстый! Мой сын нашел его мне.

— И в самом деле, какой забавный и толстый! — воскликнула Рахиль. — А сколько на нем яблок, полных семян!

Она уже сложила вытянутые пальцы возле красивого своего лица и прижалась к ним щекой. Не хватало только, чтобы она просительно протянула руки вперед.

— Что ты с ним сделаешь?

— Я, конечно, надену на него рубашечку, вымыв его и умастив, — отвечала Лия, — а потом помещу его в коробку и стану ходить за ним, чтобы он приносил пользу дому. Он будет благорастворять нам воздух, чтобы не было порчи ни человеку, ни скоту в стойле. Он будет предсказывать нам погоду и узнавать то, что в данное время скрыто или произойдет в будущем. Он сделает неуязвимыми мужчин, которым я подсуну его, принесет им удачу в промысле и устроит так, что судья признает их правыми, даже если они не правы.

— Что ты мне рассказываешь? — сказала Рахиль. — Я и сама знаю, что он на это годится. А что ты еще сделаешь с ним?

— Я отстригу от него ботву и яблоки, — отвечала Лия, — и приготовлю из них отвар, который усыпит человека, как только он понюхает его, а если будет нюхать долго, то лишит языка. Это крепкая настойка, дитя мое, — кто хлебнет лишнего, мужчина ли, женщина ли,

тот умрет, но малая толика хорошо помогает при укусе змеи, а если тебя режут по живому телу, то кажется, что тело чужое.

— Это же все совсем не главное, — воскликнула Рахиль, — а о том, что у тебя на уме прежде всего, об этом ты ни слова ни говоришь! Ах, Лия, сестрица моя, — воскликнула она, ласкаясь к ней и клянча руками, как малый ребенок, — зеница моего ока, самая статная среди дочерей! Удели мне от мандрагор твоего сына, чтобы я стала плодовита, ибо разочарование от того, что я до сих пор бесплодна, сокращает мне жизнь, и своей неполноценности я горько стыжусь! Лань моя, златокудрая среди черноголовых, ведь ты же знаешь, что это за отвар и как он воздействует на мужчин, ведь он же как влага небесная на женскую засуху, и женщины с его помощью зачинают счастливо и разрешаются от бремени с легкостью! У тебя в общем шесть сыновей, а у меня двое, и те не мои, зачем же тебе мандрагоры? Отдай их мне, дикая моя ослица, если не все, то хоть несколько, и я благословлю тебя и паду тебе в ноги, ибо я изнемогаю от желания их получить!

Лия, однако, прижала корень к груди и покосилась на сестру угрожающе.

— Вот так так! — сказала она. — Значит, милая моя пришла, все разведав, и ей нужны мои мандрагоры. Мало того что ты ежедневно и ежечасно отнимаешь у меня моего мужа, ты хочешь завладеть еще и мандрагорами моего сына? Стыда у тебя нет.

— До чего же гнусно ты говоришь, — возразила Рахиль, — неужели ты и при усилении не можешь говорить по-другому? Не выводи меня из себя, выставляя все в безобразном свете, в то время как мне хочется быть нежной с тобой ради нашего детства! Разве я отняла у тебя Иакова, нашего мужа? Это ты отняла его у меня в ту священную ночь, когда украдкой проникла к нему вместо меня и он слепо влил в тебя Рувима, которого должна была понести я. Поэтому, если бы все делалось честно, Рувим был бы сейчас моим сыном и принес бы мне эту зелень, и если бы ты попросила у меня часть ее, я бы дала тебе.

— Вот оно что! — сказала Лия. — Ты действительно зачала бы моего сына? Почему же ты не зачинала после, а теперь хочешь помочь своей беде колдовством? Ничего бы ты мне не дала, знаю доподлинно! Когда Иаков говорил тебе нежные слова и хотел взять тебя, разве ты хоть раз сказала ему: «Милый, подумай и о сестре»? Нет, ты млела и сразу же позволяла ему играть своими грудями, и ни до чего тебе не было дела, кроме как до собственного удовольствия. А теперь ты клянчишь: «Я бы дала тебе!»

— Ах, как гнусно! — отвечала на это Рахиль. — Как отталкивающе гнусно то, что ты вынуждена по природе своей говорить, — я страдаю от этого, но мне жаль и тебя. Ведь это же проклятье — выставлять все в безобразном свете, как только откроешь рот. Если я не посылала Иакова к тебе, когда он хотел спать у меня, то вовсе не оттого, что не могла заставить себя уступить его тебе, свидетели тому его бог и боги нашего отца! А оттого, что уже девятый год я, к безутешному своему горю, бесплодна пред ним, и каждую ночь, в которую он меня избирает, я страстно надеюсь на удачу, и я не вправе упускать случай. А у тебя, которая вполне может и пропустить раз-другой, какие у тебя мысли? Ты хочешь приворожить его мандрагорами и не даешь их мне, чтобы он забыл меня, и тогда у тебя будет все, а у меня ничего. Ведь у меня была его любовь, а у тебя — дети, и в этом еще была какая-то справедливость. А ты хочешь иметь и то и другое, и любовь и детей, а я пусть в прахе лежу. Вот как думаешь ты о сестре!

И она села на землю и громко заплакала.

— Я беру корешок своего сына и ухожу отсюда, — сказала Лия холодно.

Тогда Рахиль вскочила на ноги, забыла свои слезы и заговорила негромко и горячо:

— Ради бога, не делай этого, а останься и послушай меня! Он хочет быть со мной этой ночью, он сказал мне это утром, когда уходил от меня. «Милая, — сказал он, — спасибо за этот раз! Сегодня нужно жать пшеницу, но после страды дня я приду, любимая, и омоюсь в лунной твоей ласковости». Ах, как он говорит, наш муж! Речь его образна и торжественна. Разве мы не любим его обе? Но я отдам его тебе на ночь за мандрагоры. Я определенно отдам

его тебе, если ты уделишь мне несколько ягод и я спрячусь где-нибудь, а ты скажешь: «Рахиль не хочет, она сыта поцелуями. Она сказала, чтобы ты спал у меня».

Лия покраснела и побледнела.

— Это правда, — сказала она, запинаясь, — ты хочешь продать мне его за мандрагоры моего сына, чтобы я могла сказать ему: «Сегодня ты мой»?.

Рахиль ответила:

— Ты это сказала верно.

Тогда Лия отдала ей мандрагору — и ботву, и корневище, все сразу сунула она в спехе ей в руку и сказала шепотом, с колыхавшейся грудью:

— Возьми и уходи, чтобы мне не видеть тебя!

А сама, когда рабочий день кончился и жнецы возвращались с поля, вышла навстречу Иакову и сказала:

— Ты будешь ночевать со мной, потому что наш сын нашел черепаху, и Рахиль выпросила ее у меня за эту цену.

Иаков ответил:

— Неужели я стою столько же, сколько черепаху или шкатулка с разводами, которая получается из ее панциря? Не помню, чтобы я был так уж твердо намерен провести эту ночь у Рахили. Она купила, значит, нечто определенное за нечто неопределенное, а за это я не могу не похвалить ее. Если вы полюбовно договорились насчет меня, то пусть так и будет. Ибо не должен мужчина противиться женской воле и бунтовать против того, что решено женщинами.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ. РАХИЛЬ

ГАДАНИЕ НА МАСЛЕ

Зачата была тогда девочка Дина, дитя несчастное. Но благодаря ей чрево Лии снова отверзлось; после четырехлетнего перерыва рачительная эта родильница опять разошлась. На десятом году брака она родила Иссахара, осла крепкого, а на одиннадцатом Завулону, который не хотел быть пастухом... Бедная Рахиль! Мандрагоры были у нее, а рожала Лия. Так хотел бог, и хотел он так еще некоторое время, а потом воля его изменилась или, вернее, достигла новой ступени; потом открылась дальнейшая часть его судьбоопределяющего замысла, и благословенному Иакову выпало счастье — такое живое и чреватое такими страданиями, что его связанное временем человеческое разумение ничего подобного и представить себе не могло, когда он принимал это счастье. Прав был, видно, Лаван, персть земная, когда тяжело вещал за пивом, что благословенье — это сила, и жизнь — это сила, и ничего больше. Ибо плоское суеверие полагать, будто жизнь благословенных — сплошное счастье и пошлое благоденствие. Благословение составляет, собственно, только основу их естества, проглядывающую как бы золотым проблеском сквозь всяческие невзгоды и муки.

На двенадцатом году брака или на девятнадцатом лавановского времени Иакова детей не рождалось. Но на тринадцатом и двадцатом Рахиль забеременела.

Какой поворот и какая завязка! Представьте себе ее испуганно-недоверчивое ликованье и коленопреклоненный восторг Иакова! Ей был тогда тридцать один год; никто не думал, что этот смех припасен ей еще у бога. В глазах Иакова она была Саррой, которая, по предсказанью триединого мужа, должна была родить сына вопреки всякой вероятности, и он, у ног ее, называл ее именем праматери, глядя сквозь слезы благоговенья на ее бледнеющее лицо, казавшееся ему милей, чем когда-либо. А ее плод, зачатый наконец, долгожданный, дитя, в котором годами отказывала ее вере непонятная воля, он называл, в то время как она носила его, древним, архаическим именем официально уже почти не признаваемого, но все еще любимого в народе юного божества: Думузи, настоящий сын. Лия слышала это. Она родила ему шестерых настоящих сыновей и одну опять-таки самую настоящую дочь.

Она и без того понимала, что происходит. Своим четверем старшим, — им было тогда от десяти до тринадцати лет, это были почти взрослые, коренастые и очень дельные молодые люди мужественного склада, хотя лицом довольно некрасивые и все со склонностью к воспалению век, — старшим своим сыновьям она сказала ясно и откровенно:

— Сыновья Иакова и Лии, нам пришел конец. Если она родит ему сына — а я желаю ей добра, пусть хранят мою душу боги, — наш господин на нас не станет глядеть — ни на вас, ни на младших, ни на детей служанок, а на меня и вовсе, хотя бы я и десять раз была первая. А я первая, и его бог и боги моего отца семикратно одаряли меня материнской удачей. Но любимая — она, и потому она для него и первая, и единственно праведная, такое уж у него гордое чувство, и сына ее, который еще не появился на свет, он называет Думузи, вы это слышали. Думузи! Это как удар ножом в мою грудь, как пощечина мне, как удар в лицо любому из вас, но мы должны это терпеть. Вот как обстоят дела, мальчики. Мы должны сохранять самообладанье, вы и я, и держать свои сердца обеими руками, чтобы они не одичали, вознегодовав на несправедливость. Мы должны любить и чтить своего господина, даже если мы будем впредь отброшены в его глазах и он будет глядеть сквозь нас, как будто мы воздух. И ее я тоже буду любить и сожму свое сердце, чтоб ее не проклясть. Ведь сердце мое полно нежности к сестрице и приязни к подруге детства, но любимую жену, которая родит Думузи, оно очень склонно проклясть, и мои чувства к ней настолько двойственны, что телу моему дурно и тошно и я сама не своя.

Рувим, Симеон, Левий и Иуда неловко ласкались к ней. Они размышляли, моргая красноватыми глазами, и покусывали нижнюю губу. Тогда-то и началось. Тогда-то и подготовился в сердце Рувима тот горячий поступок, который был им позднее со зла совершен ради Лии и явился началом конца его первородства. Тогда-то и зародилась в сердцах братьев ненависть к жизни, что и сама находилась еще в зародыше; тогда-то и было посеяно то, чему суждено было взойти несказанной болью для Иакова, благословенного. Неужели так должно было непременно случиться? Неужели в Иаковлевом племени не могли царить безмятежность и мир и невозможен был иной ход событий, спокойный, ровный, согласный? Увы, нет, если должно было случиться то, что случилось, и если тот факт, что это случилось, является и доказательством того, что случиться это должно было. Происходящее в мире величественно, и так как мы не можем предпочесть, чтобы ничего не происходило, мы не вправе проклинать страсти, которые все и вершат; ибо без вины и без страсти не происходило бы вообще ничего.

Сколько шуму подняли по поводу состоянья Рахили, — это одно уже вызывало досаду и отвращенье у Лии, до чьих здоровых беременностей никому никогда не было дела. Рахиль же сразу стала как бы священна — такой взгляд шел, конечно, от Иакова, но все в доме, от Лавана до последнего скотника и дворового, невольно его разделяли. Вокруг нее ходили на цыпочках, с ней говорили не иначе, как слащаво-жалостливым голосом, склонив голову набок и словно бы оглаживая руками окружающий ее воздух. Оставалось только устилать ее путь пальмовыми ветками и коврами, чтобы нога ее не споткнулась о камень; и, бледно улыбаясь, она терпеливо сносила эти ухаживанья — не столько из себялюбия, сколько ради Иаковлева плода, которым она была наконец благословлена: во имя Думузи, настоящего сына. Но кто отличит у благословенных смиренье от высокомерия?

Увешанная амулетами, она не смела братья ни за какую работу ни в доме, ни во дворе, ни в саду, ни в поле. Иаков это запретил. Он плакал, если она не могла есть или удержать съеденное; целыми неделями она чувствовала себя скверно, и все очень опасались губительного влияния какой-нибудь нечисти. Адина, ее мать, постоянно накладывала ей повязки, пропитанные изготовленной по старинным рецептам мазью, которая оказывала двойное действие: и как волшебное, защитное и отворотное средство, и как обычное смягчающее лекарство. Она растирала паслен, чернокорень, режуху и корень растения Намтара, владыки шестидесяти болезней, добавляла в порошок чистого, надлежаще заговоренного масла и массировала этой смесью живот беременной возле пупка снизу вверх, бормоча непонятные, сумбурные и наполовину бессмысленные заклятия:

— Зловредный Утукку, зловредный Алу, долой ступайте; зловредный дух смерти, Лабарту, Лабашу, сердечная хворь, резь в животе, боль в голове, зубная боль, Ассакку, грозный Намтару, из дому прочь, заклинаю вас небом, заклинаю землей.

На пятом месяце Лаван настоял на том, чтобы отвезти Рахиль в Харран, к гадателю Э-хулхула, храма Сина, и послушать, что тот предскажет ей и ребенку. Внешне Иаков остался верен своим убеждениям, высказавшись против этой поездки и отказавшись участвовать в ней, но в глубине души он ждал прорицания с не меньшим любопытством, чем родственники, и, более чем кто бы то ни было, боялся какого-либо упущенья. Кроме того, старый прорицатель, жрец Риманни-Бел, что значит «Бел, помилуй меня», сын и внук прорицателей, о котором шла речь, был особенно искусным и популярным пророком и масловедом и, по всеобщему мнению, гадал мастерски, так что у него отбоя не было от клиентов; и если Иаков, само собой разумеется, отказался предстать перед ним в качестве вопрошателя и принести жертву Луне, то все же ему было слишком любопытно чье бы то ни было суждение о состояний и видах Рахили, чтобы не отнестись к действиям родителей достаточно снисходительно.

Это они, Лаван и Адина, держали по дороге в Харран с обеих сторон узду осла, на котором сидела беременная, и осторожно вели его, чтобы он не оступился и не потряхнул немощную. А за ними, на поводу, тащилась овца, которую они собирались принести в жертву. Иаков помахал им рукой и остался дома, чтобы не видеть мерзостной пышности Э-хулхула и не раздражаться, глядя на примыкающий к храму дом блудниц и мальчиков для любви, которые, во славу своего идола, отдавались за большие деньги кому угодно. Он, не оскверняясь, дождался слова потомственного провидца, пророчества, которое Рахиль и ее родители задумчиво привезли домой, и молча выслушал рассказ их о том, что произошло с ними на территории храма и перед лицом масловидца Риманни-Бела, или Римута, как он для краткости позволил себя называть.

— Зовите меня просто Римут! — сказал этот кроткий гадатель. — Меня назвали, правда, Риманни-Бел, чтобы Син был ко мне милостив, но я сам полон милости к тем, кто готов принести жертву ввиду своих нужд и сомнений, а потому, обращаясь ко мне, говорите просто-напросто «милость», такое сокращение мне к лицу.

Затем он осведомился, что из необходимых предметов они привезли, удостоверился в безупречности даров и наказал им купить у лотков главного двора пряностей для сожженья.

Приятный был человек этот Риманни-Бел, или Римут, — в белом, полотняном платье и островерхом колпаке, тоже полотняном, уже старик, но стройный, не ожиревший, с седой бородой, красноватым, картошкой, носом и лукавыми глазками, в которые весело глядеть.

— Сложен я на славу, — сказал он, — и члены, и внутренности у меня безукоризненны, как у жертвенного животного, когда оно угодно, и как у овцы, к которой нельзя придраться. Все у меня складно и соразмерно, и ноги не искривлены ни наружу, ни внутрь, и зубы все, как один, на месте, и не могу пожаловаться ни на косоглазие, ни на шулятную хворь. Вот только нос, как видите, у меня красноват, но не от чего другого, как от веселого нрава, потому что я трезв, как прозрачная вода. Я мог бы ходить нагим перед богом, как принято было, говорят и пишут, когда-то. Теперь мы стоим перед ним в белом полотне, и это мне тоже нравится, потому что оно тоже чисто и трезво и подходит к моей душе. Я не завидую своим братьям, жрецам-заклинателям, которые правят службу в сплошь красных одеждах, чтобы запугивать пышностью своего облаченья демонов, пакостников и всякую нечисть. Эти жрецы тоже нужны и полезны и тоже не даром едят хлеб, но Риманни-Бел (это я) не хотел бы быть ни в их числе, ни жрецом омовенья и умощенья, ни бесноватым, ни жрецом-плакальщиком, ни таким, чью мужественность Иштар превратила в женственность, как это ни священо. Все они не вызывают у меня ни малейшей зависти, настолько доволен я своим уделом, и никакими гаданьями, кроме гаданья на масле, я бы не хотел заниматься, ибо это самый разумный, самый ясный и самый лучший способ гадать. Говоря между нами, гаданье по печени, да и по стрелам, допускает всяческий произвол, а при толковании снов и судорог вполне возможны ошибки, так что

я порой смеюсь про себя надо всем этим. Что же касается вас, отец, мать и беременное дитя, то вы избрали правильный путь и постучались в надлежащую дверь. Ибо мой предок — Энемедуранки, который был до потопа царем в Сиппаре, мудрец и хранитель, обученный великими богами искусству наблюдать масло на воде и узнавать будущее по поведению масла. От него-то, по прямехонькой линии, от отца к сыну, я и веду свой род, и преемственность эта ни разу не нарушалась, ибо каждый отец заставлял своего любимого сына присягнуть Шамашу и Адад на письменных принадлежностях, а также изучить книгу «Когда сын прорицателей», и так продолжалось вплоть до веселого, безупречного Римута (это я). А от овцы, предупреждаю заранее, вам придется уделить мне заднюю часть, шерсть и горшок мясного отвара; затем сухожилия и половину всей требухи, согласно скрижалям и сообразно установленьям. Почечная часть, правый окорок и хорошая вырезка пойдут богу, а остальное мы все вместе съедим за храмовой трапезой. Согласны?

Так говорил Римут, потомственный прорицатель. И они принесли жертву на крыше, окропленной священной водой, поставили на стол господень четыре кувшина вина, двенадцать хлебов, кисель из простокваши и меда, насыпали соли. Затем накрошили в курильницы пряностей, закололи овцу — держал ее жертвователь, а удар нанес жрец — и отдали богу что полагалось. Как изящно, какими размеренными прыжками двигался безупречно сложенный старик Римут, исполняя заключительный танец у алтаря! Лаван и женщины не могли на него нахвалиться Иакову, который молча их слушал, скрывая нетерпеливое свое желание узнать наконец, что же тот предсказал.

Да, что касается пророческих указаний масла, то они были темны и многозначны; получив их, нельзя было похвастаться намного большей, чем прежде, осведомленностью, ибо звучали они одновременно и утешительно, и угрожающе, но так, наверно, и должно звучать заговорившее будущее, а оно, как-никак, прозвучало, хотя и невнятно, как бы не разжимая губ. Взяв в руки кедровый посох и чашу, Риманни-Бел молился и пел, наливал масло в воду и воду в масло и, склонив голову, разглядывал узоры, образуемые маслом в воде. Из масла получилось два кольца, большое и маленькое; это значило, что Рахиль, дочь овцевода, родит, по всей вероятности, мальчика. Из масла получилось кольцо, которое поплыло на восток и остановилось: это значило, что роженица будет здорова. Из масла при встряхивании получился пузырь: это значило, что покровительствующий ей бог поможет ей в беде, ибо придется ей тугу. От беды человек уйдет, ибо масло погрузилось на дно и поднялось, когда влили воду, оно разделилось, но, всплывая, снова слилось, а это значило, что человек, хоть и после жестоких страданий, будет здоров. Но так как масло, когда в него влили воду, сначала опустилось, а затем поднялось и коснулось края чаши, то больной встанет на ноги, а здоровый умрет. «Но не мальчик же!» — не удержавшись, вскрикнул Иаков... Нет, судя по указаниям масла, которые, впрочем, именно в данном случае были невразумительны, ребенка ждала скорее противоположная участь. Ребенок попадет в яму и все-таки останется жив, он будет как зерно, которое не приносит плода, если само не умрет. Это, заверил Римут, не подлежит сомнению, ибо, когда налили воду, масло сначала разделилось на две части, а потом снова соединилось и поверхность его слишком уж своеобразно блеснула на солнце, а это означает вознесение главы из смерти. Все это не очень понятно, сказал прорицатель, он сам этого не понимает и не хочет изображать себя перед ними мудрей, чем он есть, но это указание надежно. Что же касается женщины, то гаданье и проверочное гаданье показало, что она не увидит звезды своего мальчика в высшей ее точке, если не станет остерегаться числа 2. Это число, несчастливое и вообще, дочери овцевода опасно особенно, и, судя по маслу, ей не следует отправляться в путь под знаком 2, не то она будет подобна войску, которое не доходит до поля боя.

Вот каковы были оракул и бормотанье оракула, слушая которое Иаков кивал головой и одновременно пожимал плечами. Что можно было отсюда извлечь? Услышать это было важно, потому что относилось это к Рахили и к ее ребенку, но в общем-то приходилось принять это к сведению и предоставить будущему распорядиться бормотаньем по своему усмотренью. Все равно судьба и будущее сохраняли за собой полную свободу действий. Многое могло случить-

ся и не случиться, и все можно было так или иначе согласовать с этим оракулом и при желании считать, что именно это имелось в виду. Иаков часами размышлял о сущности пророчества как такового и заговаривал об этом с Лаваном, но тот и слышать ничего не хотел. Чем оно было по природе своей — разгадкой грядущего, в котором ничего нельзя изменить, или призывом к осторожности, велящим человеку делать все от него зависящее, чтобы предотвратить предсказанное несчастье? Последнее означало бы, что судьба не предопределена, что человеку дано влиять на нее. Но в таком случае будущее находится не вне человека, а внутри его, и как же оно тогда поддается прочтению? Часто, кстати, случалось, что предупредительные меры прямо-таки навлекали на человека на пророченную беду, которая, не прими он этих мер, явно не стряслась бы, так что и предостережение и судьба оказывались на поверку посмешищем демонов. Масло предсказало, что Рахиль, хотя и очень тяжело, но все же благополучно произведет на свет сына. Но если лишить роженицу ухода, не произносить заклинаний, прекратить необходимые растиранья, как тогда ухитрится судьба сохранить верность своему доброму предсказанию и остаться самой собой? Тогда, наперекор судьбе, греховно восторжествовало бы зло. Но не греховно ли тогда добиваться наперекор судьбе торжества добра?

Лаван не одобрял такой дотошности. Это, сказал он, заумное усложнение простых вещей. Будущее — оно и есть будущее, иными словами, его еще нет, и значит, оно неопределенно, но однажды оно наступит, такое-то и такое-то, и значит, в одном отношении оно определено — в том, что оно будет, и больше тут ничего не скажешь. Сведения о нем просвещают и умудряют душу, и жрецов-провидцев содержат для того, чтобы они, после многолетнего обучения, его предсказывали, и покровительствует им не кто иной, как царь четырех стран света в Вавилоне-Сиппаре, раскинувшемся по обеим сторонам реки, взысканец Шамаша и любимец Мардука, царь Шумера и Аккада, живущий во дворце с глубочайшими подвалами и неопишимо роскошным престольным покоем. Поэтому не мудствуй!

Иаков уже молчал. К Нимроду Вавилонскому он всегда относился с глубокой иронией, унаследованной еще от странника-прародителя. Поэтому в его глазах оракул не стал священнее, оттого что Лаван сослался на могущественного властелина, который не делал ни шагу, не посоветовавшись со жрецами-гадателями. Лаван заплатил за пророчество овцой и съестными припасами для лунного истукана и уже потому вынужден был держаться за свое приобретение. Иаков, который ничего не платил, естественно, чувствовал себя вольнее; но с другой стороны, он был доволен, что, не платя, кое-что услышал, а что касается будущего, то по крайней мере в одном вопросе — кого носит Рахиль: мальчика или девочку, — оно, считал Иаков, определилось уже сейчас. В лоне Рахили это решилось, только видеть этого еще нельзя было. Значит, существовало на свете определенное будущее, и то, что масло Риманни-Бела предвещало мальчика, было все же отрадно. Кроме того, Иаков был благодарен за практические указания гадателя; ибо, как полагалось жрецу и служителю храма, тот был сведущ и во врачебном искусстве и, хотя эти его качества, несомненно, противоречили одно другому (ведь что медицина против будущего?), не поскупился на испытанные советы роженице, в которых врачебные предписания и ритуальное заклинательство дополняли друг друга самым действенным образом.

Маленькой Рахили было нелегко. Задолго до того, как пришел ее час, едва не ставший потом смертным ее часом, началось врачеванье; и ей приходилось пить такие, например, невкусные жидкости, как масло, содержавшее порошок из толченых «беременных» камней, и носить на теле всяческие примочки, повязки, пропитанные мазью из горной смолы, свиного жира, рыбы и трав, и даже целые части нечистых животных, привязанные, как и примочки, нитками к ее членам. Кроме того, когда она спала, у нее в головах всегда лежал козленок, искупительная жертва жадным духам. Возле нее днем и ночью стояла глиняная кукла с поросычьим сердцем во рту, изваяние болоторожденной Лабарту, чтобы выманить эту отвратительную богиню из тела беременной, если она вселилась в него, и загнать ее в ее изображение, каковое каждые три дня раскалывали мечом и хоронили в стене, в самом углу, не смея при

этом оглядываться. Меч торчал в пылавших углях жаровни, которая, несмотря на теплую уже погоду и приближение месяца Таммуза, тоже должна была находиться вблизи Рахили и днем и ночью. Кровать ее была окружена маленькой стеной из густого киселя, и в ее камерке лежало три кучи зерна, что тоже соответствовало наставленью Риманни-Бела. Когда начались схватки, края кровати были поспешно обмазаны пороссячьей кровью, а дверь дома — асфальтом и гипсом.

РОДЫ

Тогда стояло лето, миновало уже несколько дней месяца владыки загонов, Растерзанного. С тех пор как великий час, когда настоящая и любимейшая родит ему сына, заявил о своем приближенье, Иаков уже не отходил от нее; теперь он собственноручно участвовал в уходе за ней, меняя примочки и однажды даже расколов и похоронив изваянье Лабарту. Эти обряды и меры шли, правда, не от бога его отцов, но через идола и его пророка могли все-таки идти от него, и, уж во всяком случае, никаких других не было предусмотрено. Бледная, изможденная и крепкая только своим чревом, где плод со слепой безжалостностью вытягивал из нее все соки и силы, Рахиль, улыбаясь, клала руку мужа туда, где ощущались глухие толчки ребенка, и сквозь покров плоти Иаков приветствовал Думузи, настоящего сына, и уговаривал его поскорее собраться с духом и выйти на свет, но выйти из своего укрытия ловко и осторожно, не причиняя чрезмерных страданий своей укрывательнице. Когда же ее бедное, улыбающееся лицо исказилось и она, задыхаясь, сказала, что сейчас начнется, он пришел в величайшее волнение, позвал родителей и служанок, велел приготовить кирпичи, забегал, засуетился, и сердце его было полно мольбы.

Нельзя нахвалиться на готовность и бодрое усердье Рахили. С радостной отвагой, не боясь никаких усилий и мук, приступила она к назначенному природой труду. Не напоказ и не потому, что теперь она переставала слыть бездетной и ненавистой, была она так деятельна, а по более глубоким, более материальным причинам, связанным с честью; ибо чувством чести обладает не только общество, это чувство знакомо, и притом еще лучше, чем обществу, самой плоти, как то узнала Рахиль, когда безболезненно и постыдно стала матерью в Валле. Теперь, когда ее час пришел, она улыбалась уже не прежней, смущенной улыбкой, в которой давала себя знать печальная совесть ее плоти. И, сияя от счастья и близорукости, глядели теперь ее красивые и прекрасные глаза в глаза Иакову, для которого ей предстояло родить на этот раз с честью; ибо именно этот час маячил перед ней, именно его ждала она со спокойной готовностью к жизни, когда однажды в поле пред нею впервые стоял чужеземец, двоюродный брат из чужой земли.

Бедная Рахиль! Она была так бодра, так полна добросовестной решимости не жалеть себя в назначенном природой труде, а природа была к ней так недоброжелательна, обошлась с ней, отважной, так круто! Неужели Рахиль, которая так честно жаждала материнства и так верила в свою способность к нему, в действительности, то есть во плоти, совсем не годилась для этого, не годилась, в отличие от нелюбимой Лии, настолько, что во время родов над ней нависал меч смерти и уже во второй раз упал на нее и убил ее? Неужели природа может вступить в такое противоречие с самой собой и так глумиться над теми желаньями, над той радостной верой, которые она сама же и вселила в сердце? Да, несомненно. Готовность Рахили не была принята, а вера ее была опровергнута, такова была участь этой усердной. Семь лет она, уповая, ждала вместе с Иаковым, а потом, в течение тринадцати лет, надежды ее непонятным образом не сбывались. Но теперь, исполняя наконец ее мечту, природа брала с нее за свою уступку такую ужасную цену, какой не заплатили за всю свою материнскую славу Лия, Валла и Зелфа, вместе взятые. Сутки с половиной, от полуночи до полудня и еще целую ночь, до следующего полудня продолжался этот страшный труд, и продлись он еще час или полчаса,

она испустила бы дух. Уже с самого начала Иакову было горько видеть разочарование Рахили; ведь она надеялась справиться быстро, ловко и весело, а дело никак не двигалось. Первые признаки были, по-видимому, обманчивы; схватки следовали с многочасовыми перерывами, бесплодными промежутками пустоты и тишины, в которые Рахиль не страдала, а стыдилась и скучала. Она часто говорила Лии: «У тебя, сестра, все было иначе!», и та соглашалась, бросая при этом взгляд на Иакова, господина. Затем у роженицы начинались боли, с каждым разом все более жестокие и длительные, но когда они прекращались, казалось, что тяжкая эта работа пропала даром. Она перебиралась с кирпичей на постель, а с постели снова на кирпичи. Часы, ночные стражи, времена дня приходили и уходили; ей было стыдно и горько из-за ее неспособности. Рахиль не кричала, когда началась боль, которая ее уже вообще больше не отпускала; сжав зубы, она трудилась с безмолвным рвением, в полную меру своих сил, ибо, зная его мягкое сердце, не хотела пугать господина, который в промежутки изнеможения сокрушенно целовал ей руки и ноги. Что толку было в ее рвении? Оно не было принято. Когда боль стала нестерпима, она все-таки закричала, закричала дико, чудовищно, так, что это было ей не к лицу и с маленькой Рахилью никак не вязалось. Ибо в то время — а тогда наступило второе утро — она была уже не в себе и не была уже самой собой, и по ее отвратительному воплю слышно было, что кричала не она, ибо голос был совершенно чужой, а демоны, которых поросычье сердце во рту глиняной куклы никак не могло выманить из нее в куклу.

То были схватки, ничуть не ускорявшие дела я только изводившие священной несчастную нескончаемой адской мукой, от которой кричащая маска ее лица посинела, а пальцы судорожно сжимались и разжимались. Иаков блуждал по дому и двору, повсюду спотыкаясь обо что-нибудь, потому что он заткнул себе уши большими пальцами и не отнимал от глаз восьми остальных. Он молил бога — уже не о сыне, Иакову было теперь не до сына, а о том, чтобы Рахиль умерла, чтобы она мирно опочила, избавившись наконец от адской пытки. Видя, что их зелья, мази и растиранья не помогли. Лаван и Адина в полной растерянности бормотали заклятья и под вопли роженицы, в ритмических фразах, напоминали Сину, богу Луны, о том, как он однажды помог при родах корове: пусть же он развяжет узел этой женщины и пособит девушке разрешиться от бремени. Лия стояла в углу родильного покоя, оттопырив от бедер кисти опущенных рук, и молча глядела своими синими, косящими глазами на беззаветную борьбу любимой Иакова.

А потом из Рахили вышел последний стон, полный предельной демонской ярости, стон, который нельзя издать дважды и остаться в живых и услышать дважды и не лишиться рассудка, — и вместо причитаний о корове Сина у жены Лавана появились другие дела, ибо из кроваво-темного лона жизни вышел наружу сын Иакова, его одиннадцатый и первый, Думузи-Абсу, праведный сын бездны. Это Валла, мать Дана и Неффалима, бледная и смеющаяся, выбежала во двор, куда в беспамятстве метнулся Иаков, и, захлебываясь, доложила господину, что у нас родилось дитя, что нам дарован мальчик и что Рахиль жива; и он, дрожа всем телом, побрел к родильнице, упал к ее ногам и заплакал. Покрытая потом и словно преображенная смертью, она пела задыхающуюся песню изнеможенья. Врата ее тела были разорваны, язык искусан, а жизнь ее сердца еле теплилась. Так была вознаграждена ее ретивость.

У нее не было силы повернуть к нему голову и даже улыбнуться ему, но она гладила его темя, когда он стоял возле нее на коленях, а потом скосила глаза на колыбель, чтобы он поглядел на жизнь ребенка и возложил руку на сына. Выкупанное дитя уже перестало кричать. Оно спало, завернутое в пеленки. У него были гладкие черные волосы на головке, разорвавшей при выходе мать, длинные ресницы и крошечные ручки с четко вылепленными ногтями. Оно не было красиво в то время; да и как можно говорить о красоте, когда дело идет о столь малом ребенке. И все же Иаков увидел нечто такое, чего он не видел в детях Лии и не замечал в детях служанок, он с первого взгляда увидел то, что, чем дольше он глядел, тем сильнее переполняло его сердце благоговейным восторгом. Было в этом новорожденном что-то не поддающееся определенью, какое-то сияние ясности, миловидности, соразмерности, богоприятности и

симпатии, которое Иаков, как ему казалось, пусть не понял, но различил. Он положил свою руку на мальчика и сказал: «Мой сын». Но как только он дотронулся до младенца, тот открыл глаза, которые были тогда синими и отражали солнце его рожденья в вершине неба, и крошечными, четко вылепленными ручками схватил палец Иакова. Он держал его в нежнейшем объятье, продолжая спать, и Рахиль, мать, тоже спала глубоким сном. А Иаков, столь нежно задержанный, стоял согнувшись и, должно быть, целый час глядел на ясного своего сыночка, покуда тот плачем не потребовал пищи; тогда он поднял его и передал матери.

Они назвали его Иосифом, или Иашупом, что означает умножение и прирост, как наше имя Август. Его полное имя, с упоминанием бога, было Иосиф-эль или Иосип-иа, но и в первом слогe тоже им уже слышался намек на самое высшее, и они называли его Иегосиф.

КРАПЧАТЫЙ СКОТ

После того как Рахиль родила Иосифа, Иаков был полон нежности и пребывал в самом радужном настроении; он говорил не иначе как торжественно-взволнованным голосом, и это самодовольство его чувства было непозволительно. Поскольку в тот полуденный час, когда родился ребенок, на востоке восходил зодиакальный знак Девы, который, как знал Иаков, находился в положении соответствия со звездой Иштар, планетным олицетворением небесной женственности, Иаков упрямо видел в Рахили, родительнице, какую-то небесную деву и мать-богиню, какую-то Хатхор и Исет с ребенком у груди, а в мальчике — чудо-дитя и помазанника, с чьим появлением связано начало радостной и благодатной поры и с которым пребудет сила Иагу. Нам ничего не остается, как осудить его за несоблюденье меры и за несдержанность. Мать и дитя — это, конечно, священный образ, но самый простой учет некоторых деликатных обстоятельств должен был бы помешать Иакову делать из этого образа «образ» в зазорнейшем смысле слова, а из маленькой Рахили — астральную деву-богиню. Он знал, конечно, что дева она не в обычном, земном значенье этого слова. Да и как она могла ею быть! Когда он говорил «дева», то был мифически-астрологический разговор. Но он настаивал на этом иносказании со слишком уж буквальным восторгом, и глаза его увлажнялись слезами упрямства. Точно так же, поскольку он был овцеводом, а возлюбленная его сердца звалась к тому же Рахилью, прозвище «агнец», данное им ее младенцу, могло сойти за вполне сносную и даже не лишнюю обаяния игру мысли. Но тон, каким он произносил это прозвище и говорил об агнце, который вышел из девы, не имел ничего общего с шуткой и явно приписывал малышу в колыбели священность и непорочность жертвенного первенца стада. Все дикие звери, грезились ему, нападут на его агнца, но он победит всех, — на радость ангелам и человекам на всей земле. Еще он называл своего сына ростком и побегом, который пущен нежнейшим корнем, ибо с этим в его сверхпоэтическом уме связывалось представление о всемирной весне и том начавшемся теперь благословенном времени, когда отрок небесный побьет притеснителей посохом своих уст.

Какие преувеличенныя чувства! И при этом для Иакова «начало благословенного времени», в той мере, в какой дело касалось его собственного, личного времени, имело вполне практическое значенье. Оно означало благословенность богатством — Иаков твердо считал рождение сына от праведной порукой в том, что теперь его дела на службе у Лавана, и раньше потихоньку обогащавшей его, решительно и очень резко улучшатся, что после этого поворота грязная преисподняя щедро отдаст ему все золото, которое в ней есть; а уж с этим тесно была связана более возвышенная и более проникнутая чувством мысль — мысль о возвращении с богатством наверх, в землю отцов. Да, появление Иегосифа было тем поворотом в звездном круговороте его жизни, с которым, по существу, должно было бы совпасть его восшествие из царства Лавана. Но сразу это никак не могло получиться. К передвиженью не были способны ни Рахиль (бледная и обессилевшая, она с большим трудом управлялась от страшных родов),

ни — до поры до времени — ребенок, грудной младенец, которого нельзя было подвергать тяготам более чем семнадцатидневного Елизерова путешествия. Удивительно и просто даже смешно, как бездумно порою судят и повествуют об этих делах! Так, утверждают, будто Иаков провел у Лавана четырнадцать лет, семь и семь; и будто на исходе их родился Иосиф, после чего Иаков отправился домой. Между тем сказано ясно, что при встрече с Исавом у Иавока Рахиль и Иосиф тоже подошли и поклонились Едому. Но как же может грудное дитя подойти и поклониться? Тогда Иосифу было пять лет, и эти пять лет Иаков прожил там дополнительно к двадцати и по новому договору. Он не мог отправиться в путь, но он мог сделать вид, будто намерен тотчас отправиться, чтобы оказать нажим на Лавана, персть земную, на которого только и можно было воздействовать нажимом и упорным использованием суровости хозяйственной жизни.

Поэтому Иаков пришел к Лавану и сказал:

— Пусть мой отец и дядя соблаговолят склонить свое ухо к моему слову.

— Прежде чем ты начнешь говорить, — поспешно перебил его Лаван, — послушай, что я скажу, ибо я должен сообщить тебе нечто более важное. Так дальше не может продолжаться, отношения между людьми не узаконены, я больше не могу терпеть эту мерзость. Ты служил мне за жен семь и семь лет согласно нашему договору, который хранится у терафимов. Но вот уже несколько лет, кажется шесть лет назад, срок нашего письменного соглашения кончился, и царит у нас уже не право, а только привычка и рутина, так что никто не знает, чем ему руководствоваться. Наша жизнь стала походить на дом, который строится без отвеса, и еще, говоря откровенно, на жизнь животных. Я прекрасно знаю, ибо боги даровали мне зоркость, что ты свое получил, когда служил мне без всяких условий и без наперед определенного жалованья; ведь ты прибрал к рукам немало добра и всяких хозяйственных ценностей, которых я не стану перечислять, поскольку они уже все равно твои, и когда дети Лавана, мои сыновья Беор, Алуб и Мурас, корчили по этому поводу кислые рожи, я их одергивал. Ведь по труду и оплата, только нужно установить порядок оплаты. Поэтому давай сходим и заключим Новое соглашение, покамест еще на семь лет, и я готов вести с тобой переговоры обо всех условиях, которые ты мне поставишь.

— Это невозможно, — качая головой, отвечал Иаков. — К сожалению, мой дядя тратит свои драгоценные слова понапрасну, чего он избежал бы, выслушай он меня тотчас же. Ибо не о новом договоре пришел я говорить с Лаваном, а об уходе и увольнении. Я служил тебе двадцать лет, а как я служил, об этом я предоставляю высказаться тебе, сам я не могу это сделать, потому что мне не пристало употреблять выраженья единственно тут уместные. А тебе они были бы очень даже к лицу.

— Кто это отрицает? — сказал Лаван. — Ты служил мне вполне сносно, речь не об этом.

— И состарился и поседел я у тебя на службе без всякой нужды, — продолжал Иаков, — ибо причина, по которой я ушел из дома Ицхака и покинул свое место — гнев Исав, — она давно ушла в прошлое, и при ребяческом своем нраве этот охотник вообще не помнит старых историй. Я давным-давно мог в любой час уйти в свою землю, но я этого не сделал. А почему я этого не сделал? На это можно опять-таки ответить словами, употреблять которые я не вправе, ибо они хвалебны. Но вот Рахиль, небесная дева, в которой ты стал прекрасен, родила мне Думузи, Иосифа, моего и ее сына. Я возьму его вместе с другими своими детьми, Лииными и служанок, соберу все, что приобрел у тебя на службе, сяду на верблюда и поеду, чтобы вернуться в свою землю и на свое место и наконец зажить своим домом, после того как я столько времени корпел исключительно ради тебя.

— Я сожалел бы об этом в самом полном смысле слова, — отвечал Лаван, — и готов сделать все, что от меня зависит, чтобы этого не случилось. Пусть же мой сын и племянник, не стесняясь, выложит мне, чего он хочет ввиду новых обстоятельств, и клянусь Ану и Эллилом, я благосклонно выслушаю и самые большие его требования, если они хоть мало-мальски разумны.

— Не знаю, что ты найдешь разумным, — сказал Иаков, — если вспомнишь, чем ты владел до моего прихода и как все это умножилось в моих руках. Прирост не обошел даже твоей жены Адины, которая с неожиданной прытью принесла тебе на старости лет троих сыновей. Но с тебя станет, что ты объявишь мое требование неразумным, а поэтому я лучше помолчу и уберусь восвояси.

— Говори, и ты останешься, — ответил Лаван.

И тогда Иаков изложил свое требование и высказал условие, на котором он согласился бы остаться еще на год-другой. Лаван ожидал чего угодно, только не этого. В первое мгновение он был ошеломлен, и ум его судорожно заработал, стараясь, во-первых, уразуметь это требование, а во-вторых, немедленно ограничить его значение самыми необходимыми ответными ходами.

Это была знаменитая история с крапчатыми овцами, которую тысячи раз пересказывали у костров и колодцев, тысячи раз повторяли и воспевали в прекраснословных беседах во славу Иакова и как образец остроумной пастушеской находчивости, история, которую в старости, когда он обо всем размышлял, Иаков и сам не вспоминал без того, чтобы его тонкие губы не ухмыльнулись в бороду... Одним словом, Иаков потребовал в награду за свой труд двуцветных черно-белых овец и коз — не тех, что уже имелись налицо, — в этом вся суть, — а будущий пестрый приплод Лаванова стада, чтобы приобщить его к личному своему имуществу, которое он исподволь нажил на службе у дяди. Речь шла, таким образом, о дележе всего выращиваемого впредь поголовья между хозяином и работником — правда, не поровну; в подавляющем большинстве овцы были белые, и пятнистых было немного, так что Иаков сделал вид, будто дело идет о некоей выбраковке. Но оба отлично знали, что крапчатый скот намного ярее и плодovitее белого, и Лаван не преминул с уважением и ужасом высказать это, огорошенный ловкостью и вымогательским бесстыдством племянника.

— Ну и взбрдет же тебе в голову! — отвечал он. — От твоих условий просто глаза слепнут и уши глохнут! Крапчатых, стало быть, самых ярких? Ловко. Я не отказываю тебе, не думай! Я обещал согласиться с любым твоим требованием и не пойду на попятный. Если ты настаиваешь на этом условии, если ты иначе уедешь, оторвав от моего сердца моих дочерей, Лию и Рахиль, твоих жен, так что мне, старику, никогда уже больше не придется увидеть их, то пусть будет по-твоему. Хотя, сказать по правде, ты меня просто губишь.

И Лаван сел на землю, словно его хватил удар.

— Послушай! — сказал Иаков. — Я вижу, тебе нелегко согласиться с моим требованием, и оно тебе не совсем по вкусу. Так вот, поскольку ты родной брат моей матери и родил мне Рахиль, звездную деву, праведную а любимейшую, я так обусловлю свое условие, что оно испугает тебя меньше. Мы пройдем по твоему стаду и отберем весь крапчатый и пестрый скот, а также черный, и отделим его от белого, так что одни не будут и знать о существовании других. После этого весь двуцветный приплод пойдет мне. Теперь ты доволен?

Лаван поглядел на него, прищурившись.

— Три дня пути! — воскликнул он вдруг. — Три дня пути должно быть между белым скотом и всем остальным, пятнистым и черным, и пасти их надо отдельно, чтобы одни не знали даже о существовании других! И заверить договор у судьи в Харране и спрятать в подвал к терафимам — вот мое неперемное встречное условие.

— Нелегкое для меня! — сказал Иаков. — Да, очень-очень нелегкое и неприятное. Но я уже с самого начала привык к тому, что в делах хозяйственных мой дядя суров и строг и не считается ни с какими родственными отношениями. Поэтому я принимаю твое условие.

— И хорошо делаешь, — ответил Лаван, — потому что я все равно не отказался бы от него. Но скажи мне, какое стадо собираешься ты пасти и растить для себя — крапчатое или белое?

— Само собой разумеется, — сказал Иаков, — что каждый должен заботиться о том имуществе, которое принесет ему прибыль, — я, следовательно, о пятнистых овцах.

— Так нет же! — воскликнул Лаван. — Что нет, то нет! Ты выставил свое требование, и притом весьма жесткое. А теперь моя очередь, и яставляю свое, самое скромное, на мой взгляд, и самое необходимое для сохранения хозяйственной чести. Этим договором ты снова подряжаешься ко мне на службу. Но коль скоро ты мой работник, то интересы хозяйства требуют, чтобы ты растил тот скот, который пойдет мне, а не тот, что пойдет тебе, — белый, стало быть, а не пятнистый. Пятнистый же будут пасти Беор, Алуб и Мукас, мои сыновья, которых мне в обилии принесла Адина на старости лет.

— Гм, — сказал Иаков, — ну что ж, пойду и на это, не стану с тобой пререкааться, ты знаешь мой мягкий нрав.

Так они пришли к соглашению, и Лаван не подозревал, какую он играл роль и что обманутым бесом был на этот раз он. Расчетливый тугодум! В первую очередь он хотел извлечь пользу от Ицхакова благословения, надеясь, что оно будет сильнее естественной плодовитости пятнистых овец. Под надзором Иакова, полагал он, белое стадо, от которого после отделения пестрых и черных овец не приходилось ждать крапчатых ягнят, будет расти быстрее, чем двуцветное под надежной, но неталантливой опекой его сыновей. Персть земная! Он осмелительно учитывал благословение, но учитывал его недостаточно, чтобы надлежаще представить себе остроумие и изобретательность Иакова и хотя бы отдаленно догадаться о замысле, скрывавшемся за требованием зятя и за его уступками — о глубокомысленной, заранее проверенной обстоятельными опытами идее, которая и была всему подоплекой.

Ибо не следует думать, будто на свой хитрый способ получать пестрый приплод даже от целиком белого стада Иаков набрел только после заключенья сделки, чтобы извлечь из нее выгоду. Первоначально эта идея не преследовала никакой цели, она была просто игрой ума и проверялась из чистой любознательности, а договор с Лаваном был лишь деловым ее применением. Она возникла еще до свадьбы Иакова, в те времена, когда его любовь жила ожиданием, а его животноводческое чутье обладало наибольшей тонкостью и остротой, — она была плодом длительного этого состояния сочувственного вдохновенья и интуитивной проныцательности. Приходится поистине восхищаться чуткостью и догадливостью, с какими он побудил природу открыть ему одну из ее чудеснейших тайн и экспериментально проверил свое открытие. Он обнаружил явление материнской впечатлительности. Он установил, что если во время течки животное глядит на пятнистый предмет, то это сказывается на зачатом потомстве, которое родится пятнисто-двуцветным. Его любопытство, следует подчеркнуть, носило лишь отвлеченный характер, и многочисленные случаи подтверждающего успеха он отмечал в ходе своих опытов с чисто умственным удовольствием. Какой-то инстинкт заставил его скрыть от всех, и в том числе от Лавана, что ему удалось заглянуть в это волшебство соперничанья; но хотя мысль о том, чтобы сделать свое тайное знание источником решительного самообогащения, со временем и пришла, то все же она была вторична и окрепла только тогда, когда подошло время нового договора с тестем.

Конечно, в прекраснословной беседе пастухов занимала только практическая сторона дела, ловкая, достойная величайшего пройдохи плутня. Как устроил Иаков подвох Лавану и систематически его обирал; как взял он прутьев тополевых и миндальных и, сняв кору, вырезал на них белые полосы, после чего положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, к которым скот приходил пить и возле которых, придя пить, начинал; как начинал скот перед прутьями и от одноцветных родителей рождались крапчатые ягнята и козлята; и как делал это Иаков только во время течки рожденного весной скота, оставляя поздний, то есть менее ценный скот Лавану, — обо всем этом пастухи пели и повествовали друг другу под звуки лютни, держась за бока от смеха по поводу такого великолепного мошенничества. Ведь они не обладали ни набожностью Иакова, ни его знанием мифов и не догадывались об истинных причинах его поведения: во-первых, по долгу человека он должен был помочь вседержителю богу, который обетовал ему благосостояние, исполнить этот обет, а во-вторых, он должен был обмануть Лавана, беса, который обманул его в темноте, послав к нему статную, но песьеголо-

вую Лию; он должен был соблюдать устав, по которому преисподнюю полагалось покидать не иначе как нагрузившись сокровищами, которые навалом валялись там среди грязи.

Итак, паслось три стада: белое — под присмотром Иакова, пестрое и черное — под надзором Лавановых сыновей, и личный скот Иакова, накопившийся у него за годы торговых дел, за которым ходили его подпаски и рабы и к которому постоянно присоединяли пятнистый приплод крапчатых и околдованных белых. И таким путем этот человек стал настолько богат, что по всему краю с благоговением говорили о том, сколько овец, служанок и рабов, ослов и верблюдов было теперь в его владении. Он сделался наконец намного богаче Лавана, персти земной, и всех хозяев, которых тот некогда пригласил на свадьбу.

ВОРОВСТВО

Ах, как помнил все Иаков, как глубоко и ясно он помнил! Это понимал каждый, кто видел, как он стоит в торжественной задумчивости, и каждый старался вести себя тише из благоговения перед жизнью, настолько наполненной историями. И вот положение богатого Иакова стало весьма щекотливым — сам бог, Эль, всевышний, признал, что из-за сплошной благодати оно стало непрочным, и дал ему соответствующие указания в видении. До благословенного доходили сведенья — слишком достоверные сведенья — об отношении к нему, разбогатевшему, его шуринов, наследников Лавана, Беора. Алуба и Мураса: злобные речи этих троих, угрожающие их речи, передаваемые подпасками и рабами, слыхавшими их, в свою очередь, при встречах на усадьбе от челяди этих двоюродных братьев, речи, немалая правдивость которых не делала их менее тревожными ни в коей мере.

— Этот Иаков, дальний наш родственник, — говорили они, — явился сюда, когда нас еще на свете не было, бездомным нищим, ничего не имея за душой, и отец наш, по доброте душевной, приветил и приютил ради богов этого тунеядца. И глядите-ка, как обернулось дело! Он высосал из нас все соки, завладел добром нашего отца и до того разжирел и разбогател, что просто тошно становится, потому что это воровство перед богами и преступление перед наследниками Лавана. Пора что-то предпринять, пора тем или иным путем восстановить справедливость во имя здешних богов. Ану, Эллина и Мардука, а равно и Бел Харрана, которым мы верны по обычаю наших отцов, меж тем как наши сестры, жены этого чужеземца, отчасти почитают, увы, и его бога, господя его племени, который учит его колдовать, чтобы получать крапчатый весенний приплод, завладевая добром нашего отца по какому-то гнусному договору. Посмотрим, однако, кто на этой земле и в этом краю окажется сильнее в решительный час — местные боги, которые здесь испокон веков дома, или его бог, у которого нет дома, кроме Вефиля, а это просто камень на холме. Ведь вполне возможно, что, справедливости ради, с ним что-то случится на этой земле, что его растерзает лев где-нибудь в поле, и это не будет ложью, ибо мы поистине львы в своем гневе. Правда, Лаван, наш отец, слишком боязливо блюдет договор, что хранится у домовых божков. Но ему можно будет сказать, что Иакова задрал лев, и отец на том помирится. Вот только у этого разбойника с запада дюжие сыновья, двое из которых, Симеон и Левий, рыкают иногда так, что просто дрожь берет. Но и нам тоже боги дали железную силу удара, хотя мы дети старого человека, и мы могли бы напасть ночью, когда он уснет, без предупреждения, внезапно, а потом все свалить на льва, — отец нам легко поверил бы.

Вот какие речи вели между собой сыновья Лавана; речи эти не предназначались для слуха Иакова, но их передавали ему за вознаграждение рабы и подпаски; и он качал головой, не одобряя подобных разговоров по существу и думая, что без Исаакова благословения, которое было началом всему Лаванову процветанию, этих парней вообще не было бы на свете и что им следовало бы стыдиться строить такие козни ему, истинному их родителю. Но, кроме того, он встревожился и стал теперь присматриваться к Лавану, стараясь определить по его физио-

номии, как настроен он сам, хозяин, — захочет ли он поверить, что Иакова растерзал зверь, если это заявят шурья. Он взгляделся в лицо Лавана, когда тот прибыл на воле осмотреть стадо, и, найдя, что нужно еще раз взглядеться в него, съездил верхом на усадьбу, чтобы обсудить стрижку овец, и снова взгляделся в тяжелое это лицо. И вот оно показалось ему не таким, как было вчера и третьего дня, тот вообще не отвечал на его испытующие взгляды, тяжело супясь, он ни разу не поднял на Иакова глаз, а прятал их под надбровьями и потуплял в сторону, когда волей-неволей должен был выдать несколько слов, и поэтому после второй проверки Иакову стало совершенно ясно, что этот человек не только поверит в хищного зверя, но даже будет мрачно благодарен ему в душе.

Теперь Иаков знал достаточно, и, засыпая, каждый раз слышал во сне голос бога, и тот говорил: «Уходи!» И торопил его: «Собери все, что у тебя есть, лучше сегодня, чем завтра, возьми своих жен и детей и все, что, благодаря мне, стало за это время твоим, и, отягощенный богатством, подайся на родину, взяв направление на гору Гилеад, и я буду с тобой».

Это было указание самое общее; предусмотреть и обдумать частности было делом человека, и с тихой осмотрительностью начал Иаков подготавливать свое бегство из преисподней. Прежде всего он вызвал в поле, где пас стадо, Лию и Рахиль, дочерей дома, чтобы договориться с ними и заручиться их согласием. Что же касается побочных жен, Валлы и Зелфы, то их мнение не имело значения, им оставалось только повиноваться.

— Вот как обстоит дело, — сказал он женам, когда они втроем, поджав под себя ноги, сидели перед шатром, — вот как оно обстоит. Ваши поздние братья посягают на мою жизнь, зарясь на мое имущество, которое принадлежит вам и будет наследством ваших детей. И, взглядываясь в лицо отца, чтобы узнать, защитит ли он меня от злодейства, я убеждаюсь, что он не смотрит на меня, как вчера и третьего дня, и вообще не смотрит; ибо одна половина его лица тяжело обвисает, словно ока у него отнялась, и другая тоже не хочет обо мне знать. А почему? Я служил ему, не жалея сил. Я служил трижды семь лет и четыре года, а он меня обманывал, как только мог, и переменял мне награду, как ему заблагорассудится, ссылаясь на суровость хозяйственной жизни. Но бог в Вефиле, бог моего отца, не допустил, чтобы он причинил мне вред, и обратил все мне на пользу. И когда было сказано: «пестрые будут тебе в награду», бараны тотчас покрыли овец, и все стадо родило пестрых, так что имущество отца вашего было отнято у него и отдано мне. Поэтому я должен умереть, и скажут: «Его растерзал лев». Но господь в Вефиле, бог, для которого я возлил масло на камень, хочет, чтобы я жил и дожил до глубокой старости, а потому он повелел мне во сне взять все мое достояние и тайно уйти за поток в землю моих отцов. Я сказал. Теперь говорите вы!

И оказалось, что обе жены держатся мнения бога — как могли они быть иного мнения? Бедный Лаван! Он проиграл бы, даже если бы у них и был выбор, а его у них не было. Они принадлежали Иакову. Выкуп за них был выплачен в четырнадцать лет. При обычных условиях их покупатель и господин давно увез бы их из отцовского дома в лоно своего собственного рода. Они успели стать матерями восьми его детей, до того как дело пошло естественным ходом и он воспользовался правами, которые давно приобрел. Неужели они отпустили бы его с сыновьями и Диной, дочерью Лии, а сами остались бы с отцом, который их продал? Неужели он должен был бежать один с богатством, которое его бог отнял у их отца и отдал им и их детям? Или, может быть, они должны были выдать замысел Иакова отцу, братьям и погубить его? Нет, все это невозможно. Одно невозможнее другого. Ведь прежде всего, они любили его, любили, соревнуясь со дня его прихода, а для соревнования в преданности не было еще мгновения, более благоприятного, чем это. Поэтому они прижались к нему с обеих сторон и сказали одновременно:

— Я твоя! Не знаю и знать не желаю, что на уме у другой. Но я твоя, где бы ты ни был и куда бы ты ни пошел. Если ты тайно уйдешь, то укради и меня вместе со всем, что даровал тебе бог Авраама, и да будет с нами Набу, вожатый и бог воров!

— Спасибо вам, — отвечал Иаков. — Одинаковое спасибо обеим! На третий день от нынешнего Лаван прибудет сюда стричь вместе со мной свое стадо. Затем он поедет дальше,

на расстояние трех дней пути, стричь своих пестрых вместе с Беором, Алубом и Мурасом. Пока он будет в дороге, я соберу свой скот, дарованное мне богом стадо, которое пасется между этими двумя стадами, и на шестой день от нынешнего, когда Лаван будет далеко, мы тайно уйдем со всем своим богатством к потоку Прату и к Гилеаду. Ступайте, я люблю вас почти одинаково! Но ты, Рахиль, зеница моего ока, возьми на себя заботу об агнце девы, об Иегосифе, истинном сыне, чтобы ему было как можно удобнее в пути, и приготовь ему теплые пелены на случай холодных ночей, ибо этот росток нежен, как корень, из которого он среди болей и корчей вышел на свет. Ступайте же и обдумайте все, что я сказал.

Так и еще подробнее было обсуждено бегство, о котором Иаков и в старости вспоминал с лукавым весельем. Но растроганно вспоминал он и говорил до смерти о том, что сделала тогда маленькая Рахиль по милой своей простоте и проницательности. Она сделала это совершенно самостоятельно, без чьего-либо ведома, и даже ему, Иакову, призналась в этом только позднее, чтобы не обременять его совесть своим поступком и чтобы он мог поклясться Лавану с чистой душой... Что же она сделала? Поскольку они бежали украдкой и мир находился под знаком Набу, она тоже украла. Когда Лаван уехал со двора стричь овец, она выбрала тихий час, спустилась через западную дверцу в кладовую могил и грамот, взяла, одного за другим, Лавановых домовых божков, терафимов, за их бородатые и женственные головки, сунула их под мышку и в поясной кошель, оставив двух-трех в руках, и незаметно пробралась с ними в женские покои, чтобы прикрыть глиняных истуканов домашней утварью и взять их с собой в воровскую дорогу. Ибо в головке ее была путаница, и это как раз и растрогало сердце Иакова, когда он обо всем узнал, — растрогало и огорчило. С одной стороны, на словах, она из любви к нему приняла веру в его бога, всевышнего и единственного; отказалась от местных верований. Но, с другой стороны, в глубине души она еще поклонялась идолам и, уж конечно, думала, что лишняя зарука не помешает. На всякий случай она забрала у Лавана его советчиков и вещунов, чтобы те не открыли ему путей беглецов, а наоборот, защитили их от погони, обладая, по распространенному поверью, в числе прочих достоинств и такой способностью. Она знала о привязанности Лавана к этим человечкам и к фигуркам Иштар, знала, как он дорожил ими, и все-таки она украла их у него ради Иакова. Не диво, что Иаков, прослезившись, поцеловал ее, когда она позднее призналась ему в своем поступке, и только ласково пожурил ее за ее нетвердость в вере и за то, что она заставила его поклясться Лавану своими кровными, когда тот их догнал: ибо по неведению Иаков поручился тогда жизнью их всех в том, что богов этих нет под его крышей.

ПОГОНЯ

Ведь своих защитных свойств терафимы в этом случае отнюдь не явили, — может быть, потому что не хотели обращать их против законного своего хозяина. Что сын Ицхака со своими женами, служанками, двенадцатиголовым потомством и всем своим имуществом бежал, и бежал, разумеется, в западном направлении, Лаван узнал уже на третий день, едва лишь приехав стричь пятнистых и черных овец, узнал от рабов-пастухов, надеявшихся получить за верность своего языка лучшую награду, чем та, которая им досталась, ибо их чуть даже не поколотили. Разъяренный Лаван поспешил домой, где обнаружил похищение идолов, и оттуда, вместе со своими сыновьями и несколькими вооруженными родственниками, тотчас же пустился в погоню.

Да, все было совершенно так же, как двадцать пять лет назад, на пути Иакова в Месопотамию, когда его преследовал по пятам Елифаз: снова он бежал от страшной погони, тем более опять-таки страшной, что его преследователи были подвижнее, чем он со своей медленно тянущейся в пыли вереницей мелкого скота, вьючных животных и воловьих упряжек, и к ужасу, который его охватил, когда дозорные его тыла донесли ему о приближение Лавана,

прибавилось духовное удовлетворение этим соответствием и сходством. Семь дней, как известно, потребовалось Лавану, чтобы догнать своего зятя, который прошел уже самую трудную часть пути, пустыню, и добрался уже до лесистых круч Гилеада, откуда ему нужно было только спуститься, чтобы оказаться в долине Иордана, что течет в море Лота, или Соленое море, — когда его настигла погоня и ему не удалось избежать встречи и объяснения.

Место действия, сохранившийся вид окрестностей, поток, море и горы в дымке — вот свидетели и молчаливые поручители историй, которыми была богата и горда душа Иакова, которые внушали такую робость перед его задумчивостью и которые мы обстоятельно, то есть со всеми их обстоятельствами, излагаем, — так, как они происходили с ними здесь доподлинно, в убедительном согласии с горой и долиной. Здесь это было, все точно и правильно, мы сами с трепетом спускались в бездну и с западного берега зловонного моря Лота удостоверились воочию, что все сообразно и верно. Да, эти синеватые возвышенности на востоке по ту сторону щелочного моря — Моав и Аммон, земли детей Лота, отверженных, которых прижили от него его дочери. А там, далеко на юг от моря, виднеется область Едом, Сеир, Козлиная земля, откуда в смятении выступил навстречу брату Исав, который встретился с ним у Иавока. Верно ли указаны Гилеадские горы, как место, где Лаван догнал зятя, и их положение относительно потока Иавока, к которому затем пришел Иаков? Совершенно верно. Название Гилеад распространялось, правда, и на земли, уходящие восточнее Иордана далеко на север, вплоть до реки Иармук, сливающей свои бурные воды с водами Иордана близ озера Киннерет или Геннисарет. Но горы Гилеад в узком смысле — это высоты, тянущиеся с запада на восток, по обоим берегам Иавока, и с них можно спуститься к его кустарникам и к броду, который и выбрал Иаков, чтобы перевести через реку свою семью, а сам он остался на ночь и в одиночестве пережил приключение, навсегда сделавшее его походку прихрамывающей. Как естественно, кстати, что, вступив здесь в жаркое поречье, он не стал со своими усталыми людьми и животными спускаться в собственно родные места, а направился прямо на запад, в долину Сихема у подножий Гаризима и Гевала, где надеялся передохнуть. Да, все в точности сходится и надежно свидетельствует, что не лгут песни пастухов и прекраснословные их беседы...

Навсегда останется неясно, каково же, собственно, было на душе у Лавана, персти земной, во время его ожесточенной погоня; ибо его поведение у ее цели было для Иакова приятным сюрпризом, что, как он, Иаков, поздней отмечал, находилось опять-таки в прекрасном соответствии с неожиданным поведением Исава во время их встречи. Да, пускаясь в путь, Лаван явно пребывал в таком же смятении, как Красный. Он негодовал и гнался с оружием за беглецом, но потом он назвал его действия всего-навсего безрассудными и в ходе беседы признался племяннику, что во сне его посетил бог, бог его сестры, и предостерег его, чтобы он не сказал Иакову ничего худого. Это вполне возможно, ибо Лавану достаточно было знать о существовании бога Авраама и Нахора, чтобы уже признавать этого бога таким же действительным, как Иштар или Адад, даже не причисляя себя к его почитателям. Но мог ли он, иноверец, и в самом деле услышать и увидеть во сне Иего, единственного, — это вопрос спорный; учителя и комментаторы высказывали свое недоумение по этому поводу, и всего вероятней, что видением он для выразительности назвал какие-то охватившие его в дороге тревожные чувства, какие-то соображения, возникшие у него в глубине души, — Иаков тут тоже толком не разобрался и удовлетворился этой формулировкой. Двадцать пять лет научили Лавана считаться с тем, что перед ним — человек благословенный, и если вполне понятно, что он вознегодовал, когда Иаков вместе с собой похитил у него силу своего благословения, ради которой Лаван принес столько жертв, то не менее понятно, что первое его побуждение — применить силу — вскоре было заглушено робостью. Не было в общем-то никаких доводов и против ухода жен, его дочерей. Они были куплены, они принадлежали Иакову душой и телом, и Лаван сам когда-то презирал нищего, которому некуда было увести их из дома родителей в свадебном шествии. Как, однако, боги все изменили и позволили этому человеку его обогнать! Яростно догоняя Иакова, Лаван едва ли собирался отнять у него богатство силой оружия, влекла

Лавана вперед, скорее, смутная потребность смягчить ужас окончательной утраты всего, что перешло из его рук в Иаковлевы, хотя бы прощением с удачливым вором и миром с ним: тогда ему стало бы легче. И только одним он был действительно возмущен, и только с одним не намерен был примириться — с кражей терафимов. Среди туманных и темных мотивов преследовательской его ярости это был единственно определенный и четкий: своих божков он хотел вернуть себе, и кто, несмотря на всю грубую черствость этого халдейского законника и деляги, способен хоть как-то ему посочувствовать, тому и сегодня еще будет неприятно и грустно, что он так их и не получил обратно.

Встреча беглеца и преследователя протекала на редкость мирно и тихо, хотя, судя по ярости, с какой Лаван пустился в погоню, можно было ожидать чуть ли не схватки. На Гилеад опустилась ночь, и, раскинув свой лагерь на влажном горном лугу, Иаков только что велел привязать верблюдов и кучно согнать мелкий скот, чтобы животные согревали друг друга, когда молча появился Лаван, молча, как тень, разбил по соседству шатер и исчез в нем, чтобы этой ночью вообще не показываться.

А наутро он тяжелой поступью подошел к палатке Иакова, перед которой тот несколько растерянно ждал его, и они прикоснулись пальцами ко лбу и груди и опустили наземь.

— Какая удача, — начал Иаков щекотливую беседу, — что я еще раз вижу своего отца и дядю. Надеюсь, что тяготы путешествия не нанесли ни малейшего ущерба здоровью его тела!

— Я не по годам прыток, — ответил Лаван. — И ты, несомненно, помнил об этом, навязывая мне эту поездку.

— Как это понимать? — спросил Иаков.

— Как это понимать? Милый мой, углубись в себя и спроси себя, как ты со мной поступил, если тайком убежал от меня и от нашего договора и безжалостно увел от меня моих дочерей, как пленниц, добытых мечом! По моему представлению, ты должен был навсегда остаться у меня по договору, который стоил мне крови, но которого я, по обычаю нашей земли, свято держался. Но уж если тебе так не терпелось уйти в свою вотчину, почему ты не раскрыл рта и не поговорил со мной по-сыновнему? Мы бы с опозданием сделали то, что помешали нам своевременно сделать твои обстоятельства, и проводили бы вас, как подобает, с кимвалами и арфами, по сухопутью или же по воде. А ты что сделал? Неужели ты всегда должен красть, и днем и ночью, неужели у тебя нет сердца и чувствительных внутренностей, если ты не позволил мне, старику, поцеловать своих детей напоследок? Я тебе скажу, как ты поступил, ты поступил совсем безрассудно — вот как я определил бы твои действия. А если бы я захотел и если бы я вчера не услышал во сне голоса, — возможно, что то был голос твоего бога, — и этот голос не отговорил меня ссориться с тобой, то, поверь, у моих сыновей и рабов хватило бы железа в руках, чтобы отплатить тебе за твое безрассудство, поскольку мы догнали тебя как вора.

— О да, — отвечал тогда Иаков, — что правда, то правда. Сыновья моего хозяина — это вепри и юные львы, и будь их воля, они давно бы обошлись со мной, как вепри и львы, если не днем, то ночью, когда я спал бы, а ты бы охотно поверил, что меня растерзал зверь, и оплакивал бы меня, не щадя сил. Ты спрашиваешь, почему я ушел потихоньку, без долгих разговоров? А как же мне было не опасаться, что ты не отпустишь меня и отнимешь у меня моих жен, твоих дочерей, и уж, во всяком случае, навяжешь мне новые условия за разрешение уехать и заберешь у меня все мое добро? Ведь мой дядя суров, и его бог — это неумолимый закон хозяйства.

— А зачем ты украл моих богов? — внезапно вскричал Лаван, и на лбу у него набухли жилы от гнева...

Иаков онемел от удивленья, о чем и сказал. В сущности, у него стало даже легче на душе, оттого что такое вздорное утверждение сделало Лавана неправым, — это было Иакову на руку.

— Богов? — переспросил он удивленно. — Терафимов? Я, значит, похитил у тебя из подвала твоих кумиров? В жизни не слышал ничего нелепее и смешнее! Образумься же, чело-

вече, подумай хорошенько, в чем ты меня обвиняешь! Какая корысть мне от глиняных твоих идолов, чтобы идти из-за них на преступление? Я знаю, что они сделаны на гончарном стане и высушены на солнце, как всякая другая посуда, и по мне, они не годятся даже на то, чтобы вытереть нос какому-нибудь сопливому рабскому пащенку. Я говорю о себе, ты, наверно, судишь несколько иначе. Но поскольку они у тебя, по-видимому, пропали, было бы неблагородно набивать им цену в твоих глазах.

Лаван ответил:

— Ты хитришь, делая вид, будто они для тебя ничего не значат, чтобы я поверил, будто ты их не крал. Не может человек настолько не ценить терафимов, чтобы ему не хотелось их украсть, это невозможно. И так как их нет на месте, то, значит, украл их ты.

— Выслушай же меня! — сказал Иаков. — Очень хорошо, что ты здесь, что, не пожалев столько дней, ты все-таки догнал меня из-за этого дела, ибо его нужно выяснить до конца. Этого требую я, обвиняемый. Вот перед тобою мой стан. Обойди его, как пожелаешь, и обыщи! Перевороши все без страха по своему усмотрению, я предоставляю тебе полную свободу. И у кого ты найдешь своих богов, будь то я сам или кто-либо из моих людей, тот пусть умрет на месте у всех на глазах, и ты волен сам определить, примет ли он смерть от железа или от огня или будет зарыт живьем. Начни с меня и смотри как следует! Я настаиваю на самом тщательном обыске.

Он был доволен, что все свелось к терафимам, что речь шла вообще только о них и что после обыска он вправе будет принять вид оскорбленного достоинства. Он не подозревал, сколь зыбка почва у него под ногами и какое смертельно наглое предложение он сделал. В этом была без вины виновата Рахиль; но она с величайшей ловкостью и твердостью взяла на себя все последствия своего легкомыслия.

Лаван ответил: «И правда, пусть будет так!», ретиво поднялся и приступил к обыску. Нам точно известен порядок, в каком он действовал — сначала с запальчивой обстоятельностью, а затем, после нескольких часов напрасного труда, постепенно устав и приуныв; ибо солнце как раз поднималось, и ему стало очень жарко, и хотя на нем не было верхнего платья, а была лишь рубаха с открытой грудью и засученными рукавами, под шапкой у него вскоре выступил пот, а лицо так покраснелось, что впору было опасаться, что тяжелого этого старика хватит удар — и все из-за терафимов! Неужели Рахили не было жаль отца, если она могла так мучить и так невозмутимо дурачить его? Но нельзя забывать о силе переосмысляющего внушения, исходившей от незаурядной личности Иакова и религиозных его представлений и подчинявшей себе всех, кто его окружал, и особенно тех, кто его любил. Волей упрямого его духа Рахиль сама играла священную роль, роль звездной девы и матери несущего благодать небесного отрока; тем более склонна была она, значит, глядеть глазами Иакова на остальной мир и на своего отца, признавая отведенную ему в мире законную роль. Для Рахили, как для ее возлюбленного, Лаван был бесом-обманщиком и демоном черной луны, которого в конечном счете обманывали, и притом еще основательнее, чем обманывал он сам; потому-то Рахиль и глазом не моргнула, что акт совершался благочестивый, разумный, законный, в котором и Лаван более или менее сознательно и покорно играл свою священную роль. Она сочувствовала ему не больше, чем Ицхакова челядь Исаву во время великой потехи.

Лаван прибыл ночью и направился к Иакову утром, — несомненно, чтобы потребовать у него то, что она украла. Что отец кончил беседу и начал искать, сообщила ей девочка-служанка, которую она вовремя послала подглядывать и которая, чтобы быстрее домчаться, закусала подол своей одежды, совсем заголившись спереди на бегу. «Лаван ищет!» — сказала она громким шепотом. Рахиль засуетилась, схватила завернутых в платок терафимов и вынесла их из темноватого своего шатра, неподалеку от которого были привязаны ее и Лиин верблюды, изысканные, карикатурно красивые животные с мудрыми змеиными головами на изогнутых шеях и широкими, как подушки, не проваливающимися в песок ступнями. Рабы щедро насыпали им соломы, на которой они и лежали, надменно жуя. Сунув сверток в солому

и целиком зарыв его, Рахиль уселась сверху, перед верблюдами, которые, продолжая жевать, выглядывали у нее из-за плеч. Так дожидалась она Лавана.

Тот, как мы знаем, начал поиски с шатра Иакова; он перевернул вверх дном весь дорожный скарб зятя, вытряхнул циновку для ног, поднял тюфяк складной кровати, переворошил рубахи, плащи и шерстяные одеяла и уронил ящик с шашками для игры «Злой взгляд», в которую Иаков любил играть с Рахилью, так что пять фигурок сломалось. Оттуда, злобно пожимая плечами, он направился в шатер Лии, а затем в шатры Зелфы и Валлы, где, чиня обыск без всякой пощады к маленьким тайнам женщин, впопыхах укололся их щипчиками и замарал бороду зеленой краской, которой те подводили глаза, чтобы они казались длиннее, так неловок он был от гнева и от смутного сознания, что это его роль — выставить себя на смех.

Потом он пришел туда, где сидела Рахиль, и сказал!

— Здравствуй, дитя мое! Ты не думала, что увидишь меня?

— Доброго здоровья! — отвечала Рахиль. — Мой господин ищет?

— Я ищу украденное, — сказал Лаван, — по всем вашим шатрам и загонам.

— Да, да, какая неприятность! — кивнула она, и оба верблюда, с высокомерно лукавой улыбкой, выглянули у нее из-за плеч. — Почему же Иаков, наш муж, не помогает тебе искать?

— Он ничего не нашел бы, — ответил Лаван. — Мне приходится искать одному и трудиться под восходящим солнцем на горе Гилеад.

— Да, да, какая неприятность! — повторила она. — Моя хижина вон там. Осмотри ее, если считаешь нужным. Но будь осторожен с моими горшками и ложками! У тебя борода и так уже немного позеленела!

Лаван, нагнувшись, вошел в шатер. Вскоре он вернулся оттуда к Рахили и к верблюдам, вздохнул и умолк.

— Там нет украденного? — спросила она.

— Для моих глаз — нет, — ответил он.

— Значит, оно в каком-нибудь другом месте, — сказала Рахиль. — Мой господин, конечно, давно уже удивляется, что я не встаю перед ним, как того требуют почтительность и приличие. Но это только потому, что я неважно себя чувствую и стеснена в движениях.

— Что значит «неважно»? — пожелал узнать Лаван. — Тебя бросает то в жар, то в холод?

— Нет, мне просто нездоровится, — отвечала она.

— Но что же это за нездоровье такое? — спросил он снова. — Зубная боль или, может быть, чирей?

— Ах, дорогой господин, у меня обыкновенное женское, месячные, — отвечала она, и в высшей степени высокомерно и лукаво улыбнулись верблуды у нее за плечами.

— Только и всего? — сказал Лаван. — Ну, это не в счет. Мне приятно, что у тебя месячные, приятнее, чем если бы ты была беременна. Ведь рожать ты не особенно ловка. Прощай! Мне надо искать украденное.

С этими словами он удалился и искал до потери сил, до того часа, когда лучи солнца стали косыми. Затем, грязный, измученный и отчаявшийся, он снова пришел к Иакову и опустил голову.

— Ну, где же оказались твои идолы? — спросил Иаков.

— Кажется, их нигде нет, — ответил тот и развел руками.

— Кажется? — ожесточился тогда Иаков; он был теперь хозяином положения и мог дать волю своему языку. — Ты говоришь мне «кажется» и не хочешь признать доказательством моей невиновности то, что ты ничего не нашел, хотя искал десять часов подряд и перерыл весь мой стан, горя желаньем убить меня или кого-нибудь из моих людей? Ты перебрал весь мой скарб — спору нет, с моего позволения, ибо я предоставил тебе такое право, но то, что ты на это решился, все-таки очень неблагородно с твоей стороны. И что же ты нашел из своих

вещей? Предъяви их и уличи меня в краже перед твоими и перед моими людьми, чтобы нас рассудил народ! Как ты потел и марался, чтоб только меня погубить! А что я тебе сделал? Я был юнцом, когда пришел к тебе, а теперь я уже в почтенном возрасте, хотя и надеюсь, что Единственный дарует мне долгую жизнь, — вот сколько времени провел я у тебя на службе и был тебе домоправителем, каких мир не видел, — это я говорю тебе в гневе, а вообще-то я из скромности замыкался в себе. Я нашел тебе воду, и ты освободился от сыновей Ишуллану и, сбросив ярмо долгов, расцвел, как роза в Саронской долине, и оброс плодами, как финиковая пальма в низменном Иерихонском краю. Твои козы стали плодиться вдвое чаще, а овцы стали приносить двойни. Если я съел хоть одного барана из твоего стада, убей меня, ибо я щипал траву с газелями и утолял свою жажду со стадом на водопое. Так я жил для тебя и служил тебе четырнадцать лет за твоих дочерей, и шесть ни за что ни про что, и пять за приплод твоего стада. Я томился днем от жары, а ночью дрожал от стужи в степи, а спать я вообще не спал из-за своей бдительности. Но если, на беду, в стаде случался мор или овцу задирали лев, ты не позволял мне снять с себя вину клятвой, а взыскивал с меня недостачу и держался со мной так, словно я краду денно и ночью. И еще ты переменял мне награду, как тебе заблагорассудится, и подсунил мне Лию, когда я думал, что обнимаю праведную, и этого я не забуду до конца своих дней! Если бы не был со мною бог моих отцов, всемогущий Иагу, и если бы он не уделил мне кое-чего, то я, упаси боже, ушел бы от тебя таким же голым, каким пришел к тебе. Но этого Он все-таки не пожелал и не посрамил благословения. Он никогда не обращался к чужим, а к тебе он обратился ради меня и наказал тебе не говорить мне ничего худого. Вот так «ничего худого»: ты приходишь и кричишь, что я похитил твоих богов; но ты не нашел их, несмотря на неумеренные поиски, и смеешь говорить «кажется»!

Лаван помолчал и вздохнул.

— Ты так двуличен и мудр, — сказал он устало, — что с тобою не сладить, и лучше вообще не связываться с тобой, потому что ты так или иначе всегда окажешься прав. Когда я оглядываюсь, мне все кажется сном. На что ни погляжу — все мое, дочери, дети, стада, повозки, верблюды, рабы — все мое, но все, сам не знаю как, перешло в твои руки и ты уходишь от меня с моим достоянием, и это как сон. Ты видишь, я мирно настроен, я хочу договориться с тобой и заключить с тобою союз, чтобы мы разошлись полюбовно и я не терзался из-за тебя всю жизнь.

— Это другое дело, — отвечал Иаков, — и когда ты говоришь так, то это приятнее слышать, чем всякие «кажется». Твои слова мне очень по душе. И правда, ты родил мне деву, мать сына, в которой ты стал прекрасен, и не к лицу мне отмахиваться от страха Лаванова. Только чтобы избавить тебя от тягостного прощанья, ушел я со своим добром украдкой и молча, но я буду очень рад, если мы разойдемся по-хорошему, и я тоже смогу вспоминать о тебе со спокойной душой. Я воздвигну камень — хочешь? Я сделаю это с удовольствием. И пусть четыре твоих раба и четыре моих сделают памятник, насыпав камней, и мы поедем перед богом и заключим перед ним договор, — идет?

— Пожалуй, да, — сказал Лаван. — Ничего другого я не вижу.

Тогда Иаков взял прекрасный продолговатый камень и поставил его, чтобы призвать бога в свидетели; восемь человек насыпали холм из щебня и мелких окатышей, и на этом холме они вдвоем ели кушанье из баранины с курдюком в середине горшка. Впрочем, почти весь курдюк Иаков оставил Лавану, а сам только отведал кусочек. Так поели они вдвоем, одни под небом, а затем скрепили свой договор рукопожатием и взглядами поверх разделительного холма. Предметом клятвы Лаван избрал своих дочерей, потому что не знал, что еще можно избрать. Иаков должен был поклясться богом своих отцов и страхом Исаака, что не обидит своих жен и не возьмет себе жен, кроме них, — свидетелями были холм и трапеза. Однако Лавана не так уж заботила судьба дочерей; она была для него предлогом, чтобы как-то покончить счеты с благословенным и спать спокойно.

Он еще раз переночевал на горе со своими родственниками. Наутро он обнял женщин, напутствовал их и отправился восвояси. Иаков же вздохнул один раз — облегченно, и один

раз — сразу же вслед за тем — опять озабоченно. Недаром говорится, что стоит человеку уйти от льва, как он встречает медведя. И тогда настала очередь Красного.

БЕНОНИ

Две женщины были беременны в обозе Иакова, когда он после тяжелых шекемских событий устремился к Вефилю, а оттуда — дальше, по направлению к Кириаф-Арбе и к дому Исаака, — две из тех, на кого падает свет описываемых событий, а были ли еще беременные среди неразличимой для нас челяди, на этот счет ничего сказать нельзя. Беременная была Дина, несчастное дитя: понесла она от несчастного Сихема, и суровый приговор тяготел над горестной ее ношей, и поэтому ехала она с закрытым лицом. И беременна была Рахиль.

Какая радость!.. Ах, умерьте свое ликование, опомнитесь и умолкните! Рахиль умерла. Так хотел бог. Милая воровка, она, которая подошла к Иакову у колодца, выступив из толпы Лавановых овец и по-детски храбро глядя вперед, она родила в пути и не перенесла родов, перенесла их и в первый раз с великим трудом, ей не хватило дыханья, и она умерла. Трагедия Рахили, праведной и самой любимой, — это трагедия отвергнутой храбрости.

Трудно найти в себе мужество вчувствоваться в душу Иакова на этом месте, когда невеста его сердца угасла и пала жертвой ради его двенадцатого, — представить себе, какой удар поразил его разум и как глубоко втоптана была в прах мягкая надменность его чувства. «Господи! — кричал он, видя, как она умирает. — Что ты делаешь?» Кричать ему было хорошо. Но опасно — и это заранее пугает нас — было то, что гибель Рахили отнюдь не заставила Иакова поступиться дорогим ему чувством, этим самоупоенным пристрастьем, что он вовсе не зарыл его вместе с ней в придорожную, наспех вырытую могилу, а словно бы желая доказать всемогущему, что жестокостью тот ничего не добьется, перенес это пристрастье во всем его буйном упрямстве на первенца Рахили, девятилетнего красавца Иосифа, которого полюбил, следовательно, двойной и вовсе уже высокомерной любовью, снова тем самым страшно обезоружив себя перед судьбой. Вряд ли человек чувства сознательно пренебрегает свободой и покоем, нарочно бросает вызов року и хочет жить не иначе как в страхе и под занесенным мечом. Такая дерзкая воля, по-видимому, просто присуща разгулу чувства, ведь для всех очевидно, что он предполагает большую готовность к страданию и что нет большей неосторожности, чем любовь. Сказывающаяся тут противоречивость природы состоит только в том, что подобную жизнь выбирают нежные души, неспособные нести взваленное на себя бремя, — а кому оно пришлось бы по силам, те и не думают подвергать опасности свое сердце, и поэтому с ними ничего не может случиться.

Рахили было тридцать два года, когда она в священных муках родила Иосифа, и тридцать семь лет, когда Иаков, сломав покрытые пылью запоры, увел ее из дому. Ей было сорок один год, когда она снова забеременела и в таком состоянии вынуждена была покинуть Шекем и пуститься в дорогу, — то есть годы считаем мы; у нее же самой и в ее сфере такого обыкновения не было; ей пришлось бы долго соображать, чтобы хоть приблизительно ответить, сколько ей лет, — на это не обращали особого внимания. В утреннем краю мира почти не знают естественной для человека Запада летосчислительной чуткости, там куда равнодушнее предоставляют время и жизнь самим себе, не поверяя их мерой и счетом, и вопрос о личном возрасте настолько там поразителен, что задавший его должен быть готов к недоуменно-беззаботному ответу, колеблющемуся в пределах целых десятилетий, такому, например, как: «Может быть, сорок, а может быть, семьдесят...». Иаков тоже весьма неясно представлял себе свой возраст, нисколько, однако, этим не смущаясь. Иным годам, проведенным в земле Лавана, он, правда, вел счет, зато других не считал. Кроме того, он не знал и не задавался вопросом, сколько лет ему было, когда он прибыл к Лавану. Что касается Рахили, то неизменность любви и совместной жизни не давала ему заметить даже те естественные измененья, которым время, учтенной

или неучтенное, не преминуло подвергнуть ее красивую и прекрасную внешность, превратив Милого полурбенка прежних дней в зрелую женщину. Для него, как это часто бывает, Рахиль все еще оставалась невестой, которая встретила его у колодца, которая ждала вместе с ним семь лет и которой он поцелуями вытирал веки, мокрые от слез нетерпенья; он видел ее словно бы дальнорезкими глазами, нечетко, в том образе, который когда-то нежно впивали в себя его глаза, а самого главного в этом образе время и не коснулось: сохранились ласковая ночь глаз, близоруко прищуривающихся, толстоватые крылья носика, вылепка уголков рта, покойная их улыбка, этот особый смык губ, передавшийся обоготворенному мальчику, но прежде всего — лукавство, кротость и храбрость в повадке Лавановой дочери, то выражение выжидательной готовности к жизни, которое у колодца сразу, с первого взгляда, всколыхнуло Иакову душу и так сильно, так мило проступило опять, когда она в становой перед Шекемом поведала ему о своей беременности.

«Еще одного!», «Умножь его, господи!» — таков был смысл имени, которое смертельно усталая роженица дала своему первенцу. И теперь, когда Иосиф должен был умножиться, она не боялась, а была радостно готова выдержать все, что выдержала тогда, ради этого умноженья и женской своей чести. Бодрости ее пришла, вероятно, на помощь и своеобразная органическая забывчивость женщин, иные из которых в родовых муках громко клянутся никогда больше не познавать мужчину, чтобы не испытывать этих страданий еще раз, — а уже через год снова беременны; ибо впечатление от той боли ослабевает у этого пола особым образом. Иаков зато отнюдь не забыл тогдашнего ада и испугался, когда подумал, что после девятилетнего покоя лоно Рахили еще раз подвергнется такому жестокому натиску. Конечно, его радовало торжество ее чести, и мысль, что число его сыновей сравняется теперь с числом храмов зодиака, тоже поддерживала его дух. Но в то же время он воспринял как непорядок то, что за младшим, явным любимцем, осмелился последовать еще меньший; ведь быть любимцем больше всего подходит самому младшему, и к отцовскому ожиданию Иакова примешалось поэтому что-то вроде обиды за восхитительного Иосифа, — короче говоря, после сообщенья Рахили он с самого начала не был особенно счастлив, словно понятное предчувствие недоброго возникло у него сразу.

Она сказала ему об этом еще в пору зимних дождей, в месяце кислее, задолго до событий, случившихся с девочкой Диной. Он, как никогда, оберегал беременную и почтительно о ней заботился, горестно хватался за голову, когда ее рвало, и призывал бога, видя, как она бледнеет и чахнет и только живот ее становится все больше и больше; ибо грубое природное своекорыстие плода показало тут всю свою бессознательную жестокость. Существо, скрытое в чреве, хотело окрепнуть во что бы то ни стало, оно безжалостно и себялюбиво высасывало все соки и силы из беременной, оно пожирало ее, не испытывая при этом ни злых, ни добрых чувств, и если бы оно могло выразить свою точку зрения или хотя бы обладать ею, она заключалась бы в том, что мать — это только средство его ублаженья, только защитница и кормящая хранительница его роста и что ее доля — упасть на дорогу ненужной оболочкой и шелухой, как только оно, единственно важное существо, вырвется наконец на свет. Оно не могло ни подумать так, ни сказать, но таково было несомненно глубочайшее его убеждение, и Рахиль извиняюще улыбалась по этому поводу. Не всегда материнство в такой степени равнозначно жертве, это не обязательно. Однако в Рахили природа проявила такую склонность, она уже в Иосифовом случае обнаружила ее, достаточно ясно, но все же не столь решительным и не столь ужасным для Иакова образом, как в этот раз.

Его злость на старших сыновей, особенно на неразлучных забияк Симеона и Левия, за их шекемское злодеяние шла прежде всего от страха за Рахиль. Он не подумал бы пуститься в дорогу с немощной роженицей, силен в которой был только плод. И вот эти сорвиголовы наделали ему дел ради своей чести и мести. Безумцы! Именно теперь потребовалось им убивать в гневе мужей и по прихоти своей перерезать жилы тельцам. Они были Лииными детьми, как и Дина, за которую они мстили. Какое им дело было до хрупкости любимой и праведной

и до отцовской заботы о ней? Об этом их буйные головы и думать не думали. И вот пришлось сняться с места. Больше восьми лун миновало уже с тех пор, как Рахиль сообщила ему о своей беременности; это были сосчитанные луны, луны Рахили; покуда они росли и убывали, в ней росло дитя и убывала она. В цветах начал свой круг новый год, стоял шестой месяц, элул, разгар летнего зноя, для путешествий эта пора была не очень-то хороша, но у Иакова не было выбора. Рахили пришлось сесть в седло — он дал ей умного осла, чтобы уберечь беременную от качки, неизбежной при езде на верблюде. Она сидела на крупе, где меньше всего трясет, и осла вели два раба, которым грозила порка, если животное споткнется или хотя бы заденет копытом камень. Так двинулись они со стадами. Конечной целью путешествия был Хеврон, куда большая часть племени прямо и направилась. Для себя же, для жен и для некоторых домочадцев Иаков наметил промежуточной целью и ближайшим прибежищем место Вефиль, которое, будучи священным, защитило бы его от преследования и нападения, а кроме того, он хотел снова там побывать потому, что помнил ночь вознесенья главы и тогдашний сон.

Это была ошибка Иакова. У него было две страсти: бог и Рахиль. Тут они стали поперек дороги одна другой, и, отдавшись страсти духовной, он обрек земную на скверную участь. Он мог бы направиться прямо в Кириаф-Арбу, которой без остановок можно было достичь за четыре или за пять дней; если бы даже Рахиль умерла там, это не была бы, по крайней мере, такая беспомощная и убогая смерть при дороге. А он задержался с ней на несколько дней близ места Луз, на холме Вефиле, где он когда-то в горе уснул и увидел великий сон; ибо, находясь и теперь в беде и опасности, он был очень расположен снова сподобиться вознесенья главы и великого утешенья свыше. Гилгал, с черноватым звездным камнем посередине, был цел и невредим. Иаков показал его своим родственникам и указал им также то место, где он тогда спал и удостоился удивительного виденья. Камня же, что служил ему изголовьем и который он полил маслом, на месте не было, и это огорчило его. Он воздвиг другой и тоже окропил маслом и вообще все эти дни напролет совершал всякие богослужебные действия, всесожженья и возлиянья, приготовившись к ним самым тщательным образом; ибо, настаивая на достойном и удобном для службы благоустройстве места, которое он, сверх того значенья, какое оно издревле имело в этом краю, узнал как место свершений, Иаков счел нужным не только соорудить земляной очаг, чтобы превращать на нем в дым пищу для Иа, но и высечь в торчавшей на вершине холма скале алтарь со ступеньками и площадкой, а в середине площадки выдолбить чашу для приношений и пробуровать отверстие для стока крови. Это требовало труда, и руководивший работами Иаков не жалел времени. Его люди внимательно выполняли его указания; но и из городка Луза на холм пришло много любопытных, которые, лежа или сидя на пятках, заполнили все свободное пространство перед алтарем и, вполголоса обмениваясь замечаниями, задумчиво наблюдали за действиями странствующего провозвестника и вольнослужителя бога. Они не видели ничего разительно нового, но им было ясно намеренье этого почтенного чужеземца придать обыкновенному исключительно глубокий и даже иной смысл. Например, он объяснил им, что рога по четырем углам его жертвенника — это не рога луны, ни в коем случае не бычьи рога Мардук-Баала, а рога овна. Они удивлялись этому и многократно это обсуждали. Когда он призвал господина, Адонаи, они подумали было, что речь идет о прекрасном, растерзанном и воскресшем юноше, но вскоре убедились, что имеется в виду кто-то другой. Имени Эля они не узнали. Предположение, что его зовут Израиль, оказалось ошибочным; так звали, скорее, самого Иакова — и лично его, и всех единоверцев, которых он возглавлял; поэтому возникло было мнение, что он сам и есть бог рогов овна и выдает себя за него, но это не подтвердилось. Выяснилось, что образа бога нельзя создать, ибо у него хоть и было тело, но не было формы; он был огнем и тучей. Некоторым это понравилось, другим не пришлось по душе. Во всяком случае, заметно было, что этот Иаков полон высоких мыслей о своем божестве, хотя умное и торжественное лицо его выдавало известную озабоченность, какую-то грусть. У него был необыкновенный вид, когда он там наверху собственноручно заколол козленка, выпустил кровь и обмазал ею рога, которые не были рогами луны. Кроме того, не-

ведомому божеству были обильно возлиты вино и масло и принесены хлебы — жертвователю был, видимо, богат, что многих расположило в его пользу и в пользу его бога. Лучшие куски козленка он сжег, и дым благоухал самим и бесамим; из остального мяса было приготовлено кушанье, и, отчасти чтобы получить право участвовать в трапезе, отчасти же действительно покоренные величавым обликом странника, многие горожане изъявили желание приносить в будущем жертвы богу Израиля, хотя лишь между прочим и сохраняя исконный культ. Во время этих дел и этого общенья почти всех очаровала невероятная красота младшего сына Иакова — Иосифа. При виде его люди целовали кончики своих пальцев, всплескивали руками над головой, благословляли свои глаза и изнемогали от смеха, когда он с пленительной беззащитностью называл себя любимцем родителей и объяснял преимущественное свое положение своим телесным и умственным обаяньем. Игривым этим зазнайством они наслаждались с той педагогической безответственностью, что определяет наше отношение к чужим детям.

Поздние часы этих дней Иаков проводил в созерцательном уединении, готовясь к вещим снам, которые могли быть ему дарованы ночью. Они и в самом деле явились, хотя и не такие потрясающе наглядные, как тот, что он увидел здесь в юности. Торжественно и общо, возвышенно и туманно говорил ему голос о плодовитости и о будущем, о плотском союзе с Авраамом, и всего настоятельнее — об имени, которое спящий с исполненной страха силой завоевал себе когда-то у Иавока и которое голос могущественного подтверждал, как бы запрещая и уничтожая старое, первоначальное его имя и делая новое единственно действительным, что наполняло слушавшего волнующим чувством обновленья, как будто старое обрывалось и отпадало и начиналась новая молодость мира и времени. Это отражалось на его лице среди дня, и все перед ним робели. В своей глубокой и утомительной занятости он, казалось, забыл об опасном состоянии Рахили, и никто не решался напомнить ему о нем, и уж тем более сама роженица, которая любяще-скромно поступалась телесной своей заинтересованностью в быстрейшем возобновлении путешествия ради духовных его забот... Наконец он велел тронуться с места.

С Масличной горы близ Иевуса, который назывался также Уру-шалим и где по поручению египетского Амуна хеттеянин Путихепа исполнял обязанности пастыря и сборщика налогов, можно было увидеть, да, наверно, и увидели, как, изгибаясь крошечной цепочкой, караван Иакова двигался из Вефиля среди по-летнему выжженных холмов и, оставив Иевус слева, направился на юг к Дому Лахамы, или Бет-Лакхему. Иаков был бы не прочь завернуть в Иевус, чтобы побеседовать со жрецами о солнечном божестве Шалим, которое обитало на западе этой страны и в честь которого город получил свое второе название; ибо разговоры о чужих и ложных богах тоже возбуждали у него религиозный интерес и шли на пользу внутренней его работе над образом Истинного и Единственного; но шекемские истории и слух о расправе сыновей с тамошним гарнизоном и его начальником Бесетом вполне могли давно дойти до ушей Амунова посланца и пастыря Путихепы, и это заставляло нашего путника соблюдать осторожность. Зато в Бет-Лакхеме, Доме Хлеба, он хотел выяснить с калильщиками Лахамы сущность этой разновидности воскресшего и кормильца, с чьим культом заинтересованно поддерживал дружеские и до известной степени родственные отношения уже Авраам. Иаков был рад, когда этот город наконец показался. Вечерело. Склонившееся к западу солнце выбрасывало из-под стены синеватых, грозových туч, его закрывавших, широкие пучки света на гористые дали, и в лучах его огороженное это селенье забелело вверху. Пыль и камень были преобразены этим смягченным и торжественно преломленным сияньем, наполнившим сердце Иакова гордым и благочестивым чувством божественного. Справа, за каменной, грубой кладки стеной, тянулись фиолетовые виноградники. Небольшие пашни заполняли просветы между осыпями слева от дороги. Дальние горы бледнели и растворялись в каком-то прозрачном сумраке. Очень старая, почти сплошь дуплистая шелковица склоняла над дорогой свой подпертый камнями ствол. Как раз мимо нее и проезжали, когда Рахиль в обмороке упала с седла.

Слабые боли начались уже несколько часов назад, но, чтобы не беспокоить Иакова и не задерживаться в пути, она это скрыла. Теперь ее вдруг пронзила такая резкая, такая дикая

боль, что ослабевшая роженица, из которой крепкий ее плод высосал уже все, сразу потеряла сознание. Дромадер Иакова, с высоким, роскошным седлом, догадливо стал на колени, помогая спешиться своему всаднику. Иаков кликнул старую рабыню, гутеянку из затигрских земель, сведущую в женских делах и уже не раз исполнявшую труд повитухи в Лавановом доме. Роженицу положили под шелковицей и принесли подушки. Если не благодаря пряности, которую ей дали понюхать, то из-за нового приступа боли она пришла в сознание и обещала не терять его больше.

— Теперь я буду бдительна и прилежна, — сказала она, тяжело дыша, — чтобы ускорить дело и не задерживать тебя надолго в пути, дорогой господин. Как досадно, что это началось именно сейчас, когда мы почти на месте! Но ведь нам не дано выбирать час.

— Ничего, голубка моя, — бодро ответил Иаков. И непроизвольно он стал бормотать слова, с которыми в Нахарине обращались в беде к богу Эа: «Вы сотворили нас, так отвратите болезнь, болотную лихорадку, озноб, несчастье». Подобные заклинания произносила и гутеянка, надевая на свою госпожу, вдобавок к уже надетым, испытанный амулет из собственного запаса; но так как у бедной Рахили опять начались жестокие боли, рабыня принялась успокаивать ее на своем ломаном вавилонском языке:

— Не робей, плодовитая, выдержи, как бы ни было тяжело! Этого сына ты тоже родишь, в придачу к первому, поверь моей мудрости, не вытек бы только у тебя глаз, прежде чем ты увидишь его: такое уж это бойкое дитя.

Да, оно было бойко, это единственно важное существо. Оно решительно полагало, что его час настал, и рвалось на свет, стремясь сбросить материнскую оболочку. Оно как бы само рождало себя в нетерпеливом натиске на узкое лоно, почти без всякого, несмотря на искреннюю готовность, пособничества со стороны той, что радостно зачала и вскормила его своей жизнью, но никак не могла произвести на свет. Напрасно старуха, бормоча советы и причитая, придавала ее членам нужное положение, наставляла ее, как дышать, как держать колени и подбородок. Приступы боли срывали всякую дисциплину, и несчастная беспорядочно корчилась и металась в холодном поту и с посиневшими губами. «Ай! Ай!» — кричала она, призывая попеременно богов Вавилона и бога ее мужа. Когда наступила ночь и над горами всплыла серебряная ладья луны, она сказала, очнувшись от обморока:

— Рахиль умрет.

Все вскрикнули, кто сидел рядом, — Лия, матери-служанки и другие допущенные к родильнице женщины, — и заклинающе протянули к ней руки. Затем с большой силой возобновилось ее однозвучное бормотанье, которое, подобно гудению пчелиного роя, сопровождало роды почти непрерывно. Иаков, который поддерживал голову отчаявшейся, лишь после долгой паузы вымолвил:

— Что ты говоришь!

Она покачала головой, пытаясь улыбнуться. Наступило затишье, во время которого падающий словно бы призадумался в своем укрытии. Так как повитуха сочла этот перерыв чуть ли не добрым знаком и заявила, что он может затянуться надолго, Иаков предложил воспользоваться передышкой и, сделав для Рахили мягкие носилки, добраться до близкого уже Бет-Лахема и остановиться на постоялом дворе. Но Рахиль с этим не согласилась.

— Здесь началось, — сказала она усталыми губами, — здесь пусть и кончится. Да и кто знает, найдется ли для нас место на постоялом дворе! Повитуха ошибается. Сейчас я опять бодро примусь за дело и принесу тебе нашего второго сына, Иаков, мой муж.

Бедняжка, ни о какой ее бодрости не могло быть и речи, и она не тешила себя на этот счет такими словами. То, что она в глубине души понимала и знала, она уже высказала, и это тайное ее пониманье и знание обнаружилось снова, когда она, среди ночи, между двумя попытками, уже отекавшими от сердечной слабости, едва шевелящимися губами заговорила об имени, которое следовало дать второму сыну. Она спросила у Иакова его мнение, и тот ответил:

— Это сын единственно праведной, и поэтому пусть он зовется Бен-Иамин.

— Нет, — сказала она, — не сердись, но мне лучше знать. Имя этому живому пусть будет Бен-Они. Так и зовите господина, которого я тебе принесу, и пусть он помнит о Мами, которая сотворила его прекрасным по твоему и по своему образу и подобию.

Нужна была искушенность Иакова в сложных комбинациях ума, чтобы понять ее, почти не задумываясь. Мами или «мудрая Ма-ма» было распространенным именем Иштар, матери богов и родительницы людей, о которой говорили, что прекрасными она делает мужчин и женщин по собственному образу и подобию; и вот от слабости и шутки ради Рахиль неясно отождествила божественную родительницу с собой как мать, тем более что Иосиф часто называл ее «Мами». Имя же «Бен-Они» означало для сведущего, чьи мысли шли верным путем, «сын смерти». Она, конечно, не помнила, что уже проговорилась, и хотела осторожно подготовить Иакова к тому, что, как она знала, приближалось, чтобы его не лишил рассудка внезапный удар.

— Вениамин, Вениамин, — сказал он, плача. — Никакой не Бенони!

И тогда в первый раз, как бы признаваясь, что он все понял, он бросил над ней в серебристую ночь вселенной вопрос:

— Господи, что ты делаешь?

В подобных случаях ответа не следует. Но тем и славна человеческая душа, что после этого молчания она не ошибается в боге, а способна понять величие непостижимого и подняться еще выше. В стороне причитали и колдовали рабыни-халдеянки, надеясь направить желательным для человека образом могучие и неразумные силы. Но никогда Иаков так ясно не понимал, как в эти часы, почему это неверно и почему Аврам двинулся в путь из Ура. Он смотрел на этот кошмар с ужасом, но и со всей остротой взгляда, и его труд над богом, всегда отражавшийся на его лице выражением тревоги, продвинулся в эту страшную ночь, и его продвижение находилось в известном родстве с мукой Рахили. Ведь это вполне отвечало сути ее любви, — чтобы Иаков, ее муж, был в религиозном выигрыше и от ее умиранья.

Ребенок появился на свет к концу последней ночной стражи, когда бледно посветлело небо, перед зарей. Старухе пришлось с силой вырвать его из бедного лона, ибо он задышался. Рахиль, у которой уже не было сил кричать, потеряла сознание. Вытекло много крови, и пульс на ее руке уже не бился, а трепетал замиравшей струйкой. Но она увидела жизнь ребенка и улыбнулась. Она жила еще час. Когда к ней подвели Иосифа, она не узнала его.

В последний раз она открыла глаза, когда заалел восток, и на ее лицо тоже пал алый отсвет. Она взглянула на лицо Иакова, которое было над ней, неплотно смежила веки и зашептала:

— Ба, чужеземец!.. Зачем тебе меня целовать? Потому что ты мой двоюродный брат с чужбины и мы оба дети одного праотца? Ну что ж, поцелуй меня, и пусть радуются пастухи у колодца: лу, лу, лу!

Он, дрожа, поцеловал ее в последний раз. Она продолжала говорить:

— Ты отвалил мне камень мужской рукою, Иаков, любимый мой. Отвали же его еще раз от яму и положи в нее Лаванову дочь, ибо я ухожу от тебя. Вот и снято с меня всякое бремя, бремя ребенка, бремя жизни, и наступает ночь... Иаков, муж мой, прости, что я была бесплодна и принесла тебе только двух сыновей, но уж двух-то я принесла, Иегосифа, благословенного, и сыночка смерти, новорожденного, — ах, мне так тяжело от них уходить. И от тебя мне тоже тяжело уходить, Иаков, возлюбленный, ибо мы были друг для друга праведными. Без Рахили будешь ты теперь, размышляя, определять, кто есть бог. Определяй это и прощай... И прости, — прошептала она напоследок, — что я украла терафимов.

И смерть осенила ее лицо и погасила его.

Бормотанье заклинательниц умолкло по знаку Иакова. Все пали лбами на землю. А он сидел, все еще обнимая ее голову, и слезы его тихо и неиссякаемо падали на ее грудь. Через некоторое время его спросили, не нужно ли соорудить носилки и отнести умершую в Бет-Лехем или Хеврон, чтобы похоронить ее там.

— Нет, — сказал он, — здесь началось, здесь пусть и кончится, и где Он это сделал, там пусть она и лежит. Выкопайте яму, выройте ей могилу вон там, у стены! Достаньте из кладки тонкое полотно, чтобы ее закутать, и выберите камень, чтобы поставить его памятником на могилу. Затем Израиль двинется дальше — без Рахили, с ребенком.

Пока мужчины копали могилу, женщины распустили волосы, обнажили груди, смешали пыль с водой, чтобы выпачкаться в знак горя, и запели под флейту плач «Скорбь о сестре», вскидывая одну руку на темя, а другой ударяя себя в грудь. А Иаков обнимал голову Рахили, покуда у него не отняли ее тело.

Когда над самой любимой, в том месте у дороги, где бог отнял ее у него, сомкнулась земля, Израиль двинулся дальше и временно раскинул шатры у Мигдал Эдера, башни первобытных времен. Там Рувим согрешил с наложницей Валлой и был проклят.

ЮНЫЙ ИОСИФ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ТОТ

О КРАСОТЕ

Сказано так: Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. Это верно, и если в Прекраснословной Беседе прибавлено далее, что он доводил худые о них слухи до отца их, то нам известны тому примеры. Нетрудно найти такой угол зрения, при котором он предстал бы несносным малым. Такова и была точка зрения братьев. Мы не разделяем ее, вернее, приняв ее на мгновение, тотчас же от нее отказываемся; ибо Иосиф был чем-то большим. А данные эти, при всей их точности, нужно последовательно пояснить, чтобы получилась отчетливая картина и раскрылось по-настоящему то, что за давностью скомкано.

Иосифу было семнадцать лет, и в глазах всех, кто видел его, он был красивейшим из детей человеческих. Признаться по чести, о красоте мы говорим без всякой охоты. Разве от этого слова и этого понятия не веет скукой? Разве красота — это не идея величественной бесцветности, не блажь педантов? Говорят, она основана на законах; закон обращается к разуму, а не к чувству, которое у разума не ходит на поводу. Отсюда и унылость совершенной красоты, при которой нечего прощать. А чувство непременно хочет что-то прощать, иначе оно, зевая, отворачивается. Чтобы восторгаться только совершенным, нужно любить все головное и образцовое, а это — унылый педантизм. Головному этому восторгу трудно приписать глубину. Закон назидателен, ему повинуются внешне, повиновения внутреннего добивается лишь волшебство. Красота — это магическое воздействие на чувства, всегда наполовину иллюзорное, очень ненадежное и зыбкое именно в своей действенности. Стоит приставить к красивому телу гадкую голову, и тело уже перестает быть красивым в смысле какого-либо воздействия на чувства — оно остается им разве что в темноте, но тогда дело идет об обмане. Сколько обмана, мошенничества, надувательства связано с областью красоты! А почему? Потому, что это одновременно и в равной мере область любви и желанья; потому что здесь замешан пол, который определяет понятие красоты. Мир вымысла полон историй о том, как юноши, переодетые женщинами, кружили головы мужчинам, а девицы в штанах вызывали страсть у себе подобных. Как только обман обнаруживался, всякое чувство гасло, потому что красота становилась практически ненужной. Человеческая красота как воздействие на чувство есть, наверно, не что иное, как волшебство пола, наглядность идеи пола, так что правильнее говорить о совершенном мужчине, об очень женственной женщине, чем о красивом мужчине или о красивой женщине, и женщина может назвать красивой другую женщину, а мужчина — красивым другого мужчину только при известном усилии разума. Случаи, когда красота торжествует над своей явной практической ненужностью и сохраняет безусловную действенность, крайне редки, но все же, несомненно, встречаются. Тут ввязывается в игру фактор молодости, волшебство, которое чувство очень склонно путать с красотой, отчего молодость, если только ее не лишают привлекательности слишком уж заметные недостатки, обычно и воспринимается просто как красота — причем и она сама так воспринимает себя, о чем ясно свидетельству-

ет ее улыбка. У молодости есть обаяние — разновидность красоты, занимающая по природе своей промежуточное положение между мужским и женским началами. Семнадцатилетний юноша красив не своей совершенной мужественностью. Красив он, однако, вовсе и не своей практически ненужной женственностью, — это мало кого привлекло бы. Но нужно признать, что красота как обаяние молодости всегда чуть-чуть тяготеет к женственности — и внешне, и внутренне; это объясняется ее сущностью, нежным ее отношением к миру и мира к ней и отражается в ее улыбке. В семнадцать лет, это правда, можно быть красивее, чем женщина и мужчина, красивым, как женщина и мужчина, красивым и так и этак, на все лады, красивым и прекрасным на удивление и загляденье мужчинам и женщинам.

Так оно и было с сыном Рахили, и потому говорится, что он был красивейшим из детей человеческих. Это, однако, преувеличенное восхваление, ибо таких, как он, было и есть сколько угодно, и с тех пор как человек не выступает в роли земноводного или пресмыкающегося, а уже весьма продвинулся на пути к телесной божественности, нет ничего необычного в том, что семнадцатилетний юноша являет восхищенным взорам такие стройные ноги и узкие бедра, такую ладную грудь, такую золотисто-смуглую кожу; что он оказывается не долговязым и не приземистым, а как раз приятного роста, что у него полубожественная осанка и поступь и его сложенье обаятельно сочетает в себе силу и нежность. Нет ничего диковинного и в том, что на таком теле покоится не песья голова, а нечто в высшей степени привлекательное, улыбающееся почти божественным человеческим ртом — это встречается сплошь да рядом. Но в мире и окружение Иосифа именно его вид оказывал на чувства воздействие красоты, и все находили, что на его губы, которые, не шевелились они во время разговора и при улыбке, были бы несомненно слишком полными, пролил милость Предвечный. Эта милость не раз вызвала нападки и неприязнь, но неприязнь ничего не отрицала, и нельзя сказать, что она, по существу, отмежевывалась от господствующего чувства. Много, во всяком случае, говорит за то, что ненависть братьев была, в сущности, не чем иным, как всеобщей влюбленностью с отрицательным знаком.

ПАСТУХ

Вот что можно сказать по поводу красоты Иосифа и его семнадцати лет. Сведения о том, что он пас скот вместе со своими братьями, а именно сыновьями Валлы и Зелфы, тоже нужно пояснить: с одной стороны, дополнить, с другой — ограничить.

Иаков, благословенный, был чужим в этой земле, гером, как говорили, почтительно терпимым гостем, — не потому, что он так долго жил в другой земле, а от рождения, по своему происхождению, как сын своих отцов, которые были тоже герами. Не являясь оседлым домохозяином из городской знати, Иаков был обязан почетным положением своей мудрости, своему богатству и тому отпечатку, который они накладывали на его облик и поведение, а не своему образу жизни, который был полукочевым и хоть и законным, но, так сказать, упорядочение двусмысленным. Он жил в шатрах перед стенами Хеврона, как жил прежде у ворот Сихема, и мог в один прекрасный день сняться с места, чтобы искать других колодцев и пастбищ. Так, значит, он был бедуином и отпрыском Каиновым с печатью непостоянства и разбоя на лбу, страшилищем для горожан и крестьян? Никоим образом. Смертельной своей враждой к Амалеху его бог не отличался от местных баалов — он. Иаков. многократно это доказывал, вооружая своих домочадцев, чтобы те, вкуче с горожанами и разводившими крупный рогатый скот крестьянами, отбивали верблюдоводческие, размалеванные племенными гербами орды южной пустыни, устраивавшие грабительские набеги. Однако крестьянином он не был — не был сознательно и подчеркнуто; это противоречило бы его религиозному самолюбию, которое было не в ладу с верой обогранных солнцем оратаев. А кроме того, как гер и гостеприимно терпимый чужестранец, он не имел права владеть землей сверх той, на которой жил. Он брал

в аренду небольшие участки земли, то ровные, то скалисто-обрывистые, с плодородной меж камней почвой, родившей пшеницу и ячмень. Возделывать их он предоставлял сыновьям и работникам — так что Иосифу случалось быть и сеятелем, и жнецом, а не только, как это всем известно, пастухом. Но непрочное это хозяйство не определяло жизненного уклада Иакова, оно было побочным делом, которым он занимался без душевного участия, чтобы хоть как-то прижиться к месту. Что действительно придавало ему вес, так это его кишасщее, подвижное богатство, его стада, на доход с которых он приобретал вдоволь зерна и виноградного сусла, масла, смокв, гранатовых яблок, меду, а также серебра и золота, — и эта собственность определяла его отношения с горожанами и сельскими жителями, обусловленные множеством договоров и узаконивавшие его полукочевой образ жизни.

Для того чтобы содержать стада, нужны были дружественно-деловые связи с коренными жителями, с торговцами-горожанами и крестьянами, которые платили им оброк или отбывали барщину. Чтобы не жить на птичьих правах и в постоянной опасности, скитальцем-разбойником, врывающимся в чужие угодья и опустошающим их, Иаков должен был вступать в любовные сделки с людьми Баала и покупать у них права на выпас за определенную плату, выправляя письменное разрешение выгонять стада на жнивье или на пустоши. Последних, однако, в этих горах становилось тогда все меньше и меньше; мир и процветание царили уже давно, дороги были оживленны, горожане-землевладельцы наживались на караванной торговле, на складских, перегрузочных и охранных пошлинах с товаров, которые шли из страны Мардука через Дамаск и по дороге восточное Иардена следовали через эти места к Большому Морю, а оттуда в Страну Ила или в противоположном направлении; они приобретали все новые земли и сажали на них купленных или долговых рабов, и доходы с земли обогащали горожан помимо торговой наживы, так что они могли, ссужая деньги, подчинять себе, как сыновья Ишуллану — Лавана, и свободных крестьян; заселялась, распахивалась новина; выгонов оставалось не так уж много, и постепенно земля стала непоместительна для Иакова, как некогда стали непоместительны для Авраама и Лота луга содомские. Ему пришлось разделиться; большая часть его стад паслась, согласно договору, не здесь, а севернее, на расстоянии пяти дней пути, там, где прежде жил Иаков, в богатой ключами шекемской долине, и обычно там пасли скот сыновья Лии, от Рувима до Завуллона, а с отцом оставались только четыре сына Баллы и Зелфы и два отпрыска Рахили, и это напоминало знаки зодиака, из которых тоже только шесть видны одновременно, а другие шесть скрыты от глаз, каковое сходство и не преминул отметить Иосиф. Это не значит, что сыновья Лии не являлись к отцу, когда близ Хеврона шли какие-либо особые работы, например, что даже важно, во время сбора урожая. Но большей частью они находились на расстоянии от четырех до пяти дней пути. Это столь же важно, и поэтому-то и сказано, что мальчик Иосиф жил с сыновьями служанок.

Что же касается работы, которую Иосиф выполнял с братьями в поле и на пастбище, то ею он занимался не каждый день — не следует преувеличивать ее значение. Не всегда он пас скот или пахал под озимь мягкую от дождя землю, а только от случая к случаю, между прочим, когда у него появлялось такое желание. Его отец Иаков оставлял ему много свободного времени для более возвышенных занятий, которые сейчас предстоит описать. Но как он трудился с братьями, если уж с ними трудился, — как их помощник или же как надсмотрщик над ними? Это было до неприличия неясно братьям, ибо, понукаемый ими, и притом довольно грубо, как младший, он хоть и оказывал им мелкие услуги, но держался с ними не как равный с равными, не как единомышленник и участии содружества противопоставляющих себя старику сыновей, а, скорее, как отцовский посланец и представитель, так что они не любили его общества, но, с другой стороны, и сердились, когда он, стоило ему захотеть, оставался дома.

УЧЕНЬЕ

Что он там делал? Сидел со стариком Елиезером под божьим деревом, высоким теребинтом по соседству с колодцем, и занимался науками.

О Елиезере люди говорили, что он походит лицом на Аврама. По сути, они не могли этого знать, ибо никто из них не видел предка-халдеянина, а века не сохранили никакого образа и подобия его внешности, и утверждение насчет сходства с ним Елиезера следовало понимать только в обратном смысле: тому, кто хотел представить себе первооткрывателя и друга бога, могли, пожалуй, помочь черты Елиезера — не потому, что они были величавы и полны достоинства, как вообще вся стать его и повадка, а по той, главным образом, причине, что была в них какая-то спокойная безличность, какая-то божественная нехарактерность, позволявшая придать его образ достопочтенной неизвестности первобытных времен. Он был почти одних лет с Иаковом, немного старше его и, сходно с ним одеваясь наполовину как бедуин, наполовину по образцу людей Синеара, носил платье с бахромчатыми оборками и кушаком, за который засовывал письменные свои принадлежности. Лоб у него, насколько позволял видеть наголовник, был чистый и без морщин. Узкими и плавными дугами тянулись от широкой и едва вдавленной переносицы к вискам его темные еще брови, а глаза под ними были такие, что верхние и нижние, почти без ресниц, веки, тяжелые и словно набухшие, производили впечатление губ, между которыми выпукло чернели глазные яблоки. Широкий, с тонкими ноздрями нос опускался к узким усам, которые, убегая вниз, ложились на желто-седую бороду и нависали над красноватой, не утоньшавшейся к углам рта нижней губой. Кромка бороды под желтоватыми, со множеством морщинок скулами, была до того ровной, что казалось, будто борода прикреплена к ушам и ее можно снять. Более того, все его лицо казалось личиной, которую нужно снять, чтобы увидеть настоящее лицо Елиезера; в детстве у Иосифа часто бывало такое впечатление.

Насчет Елиезера и его происхожденья было в ходу много всяких ошибочных сведений, и против них нам предстоит выступить ниже. А пока достаточно сказать, что он был управляющим Иакова и старшим его рабом, умел читать и писать и был учителем Иосифа.

— Скажи-ка мне, сын праведной, — спрашивал он его, когда они, бывало, сидели вдвоем в тени дерева наставленья, — по каким трем причинам бог создал человека последним, после всех растений и животных?

И тогда Иосиф отвечал:

— Бог создал человека самым последним, во-первых, затем, чтобы никто не мог сказать, будто он участвовал в сотворении мира; во-вторых, ради унижения человека, чтобы он твердил себе: «Навозная муха, и та создана раньше меня», а в-третьих, чтобы он мог сразу же приступить к трапезе, как гость, для которого все приготовлено.

На это Елиезер удовлетворенно отвечал:

— Ты это говоришь.

А Иосиф смеялся.

Но это пустяк. Это только один вместо многих примеров тех упражнений остроумия и памяти, какие должен был выполнять мальчик, а также пример тех историй и побасенок, которые он узнал от Елиезера уже в нежном возрасте и прекрасноустым пересказом которых Иосиф обвораживал потом людей, и без того терявших голову от его красоты. Так пытался он у колодца развлечь и отвлечь отца сказкой-басней об имени, о том, как дева Ишхара выведала его у похотливого вестника. А она не сразу узнала тогда то истинное и неизменное имя, выкрикнув которое вознеслась на небо, сохранила девственность и одурачила сладострастника Семазаи. Господь принял ее там наверху весьма благосклонно и сказал ей: «Поскольку ты избежала греха, мы поместим тебя среди звезд». И отсюда произошло созвездие Девы. Вестник же Семазаи не мог больше подняться, а пребывал во прахе до того дня, когда Иаков, сын Иц-

хака, увидел в Вефиле сон о небесной лестнице. Только по этой лестнице он и сумел вернуться домой, глубоко посрамленный тем, что удалось ему это лишь в человеческом сне.

Можно ли было назвать это наукой? Нет, это не очень походило на правду и служило лишь украшением ума, но способно было подготовить душу к восприятию более строгих, священно точных знаний. Так узнал Иосиф от Елиезера о вселенной, вселенной небесной, трехчастной, состоявшей из верхнего неба, небесной земли зодиака и южного небесного моря, по образцу которой, в точном соответствии с ней, делилась на три части — воздушное море, суша и земной океан — и земная вселенная. Океан, учил Иосиф, охватывал диск земли обручем, но был и под ней, так что во время великого потопа он мог прорваться сквозь все щели и слить свои воды с водами низвергнувшегося небесного моря. Суша же была на вид совсем как твердь и небесная земля там наверху и походила на горную страну с двумя вершинами, вершиной Солнца и вершиной Луны, Хоривом и Синаем.

Солнце и Луна составляли вместе с пятью другими блуждающими светилами число семь; семь планет и приказаноносцев двигались по семи разновеликим кругам вокруг зодиакального вала, похожего, следовательно, на круглую семиступенную башню, кольцевые уступы которой вели к высшему северному небу и престолу царя. Там находился бог, и его священная гора сверкала словно бы огненными камнями, как сверкал на севере покрытый снегом Гермон. Излагая это, Елиезер указывал на белевшую вдали царственную гору, которая была видна отовсюду, в том числе и от их дерева, и тогда Иосиф уже не отличал небесного от земного.

Он узнавал чудо и тайну числа, число шестьдесят, число двенадцать, число семь, число четыре, число три, божественность меры, и до чего все на свете было согласно и сообразно, так что приходилось только удивляться и благоговеть перед этой великой гармонией.

Двенадцать было число знаков зодиака, а они представляли собой стоянки большого круговорота. Это были двенадцать месяцев по тридцати дней. Но большому кругу соответствовал малый, и стоило разделить его тоже на двенадцать частей, как получался отрезок времени, в шестьдесят раз больший, чем солнечный диск, и это был двойной час. Он был месяцем дня и поддавался такому же остроумному делению. Ибо видимая во время равноденствий орбита Солнца содержала ровно столько поперечников его диска, сколько дней было в году, а именно триста шестьдесят, и как раз в дни равноденствий восход Солнца, от мгновенья, когда над горизонтом появляется верхний его край, до мгновенья, когда показывается весь диск, продолжался одну шестидесятую часть двойного часа. А это была двойная минута; и если из зимы и лета складывался большой круговорот, а из дня и ночи — малый, то из двенадцати двойных часов двенадцать простых приходилось на день и двенадцать на ночь, а на каждый час дня и ночи — по шестидесяти простых минут.

Это ли не были гармония, порядок и лад?

Слушай же дальше, Думузи, истинный сын! Пусть ум твой будет ясным, острым и светлым!

Подвижных светил и передатчиков приказов насчитывалось семь, и у каждого из них имелся свой день. Но семь было в особенности числом Луны, прокладывающей дорогу своим братьям богам: числом семидневных ее четвертей. Солнце и Луна давали число два, как все в мире и в жизни, как «да» и «нет». Поэтому планеты можно было распределить на две и пять — на что и у пяти было большое право! Ведь пять прекрасно соотносилось с двенадцатью, поскольку пятью двенадцать — это шестьдесят, число, священное значение которого было уже доказано, а всего лучше — со священной семеркой, ибо в сложении пять и семь давали двенадцать. И это все? О нет, при таком распределении и обособлении получалась пятидневная планетная неделя, и таких недель в году оказывалось семьдесят две, и именно на пять нужно было умножить семьдесят два, чтобы получить великолепные триста шестьдесят — число не только дней в году, но и поперечников Солнца, помещающихся на его орбите.

Это было блестяще.

Однако планеты можно было распределить и на три и четыре, на что у обоих чисел имелись самые почтенные полномочия. Ибо три было числом правителей зодиака — Солнца,

Луны и Иштар. Кроме того, это было число вселенной, оно определяло членение мира вверху и внизу. С другой стороны, четыре было числом стран света, которым соответствовали части суток; оно являлось также числом делений орбиты Солнца, каждым из которых управляла своя планета, а кроме того — числом Луны и звезды Иштар, показывавшихся в четырех положениях. А что получалось, если перемножить три и четыре? Получалось двенадцать!

Иосиф смеялся. А Елиезер воздевал руки и говорил:

— Адонай!

Как это так выходило, что число дней Луны, разделенное на число ее положений, то есть на четыре, давало снова семидневную неделю? Это был Его перст.

Как мячиками, играл всеми этими числами под надзором старика юный Иосиф и забавлялся с пользой. Он понимал, что человек, которому бог дал разум, чтобы улучшать священное, но не вполне точное, должен уравнивать триста шестьдесят дней с солнечным годом, добавив в конце пять дней. Это были злые, несчастные дни, дни проклятья и змея, похожие на зимние ночи; только когда они проходили, наступала весна и начиналась благословенная пора. Пятёрка представала тут в неприглядном свете. Но очень скверным числом было и тринадцать. А почему? Потому что в двенадцати лунных месяцах было только триста пятьдесят четыре дня и время от времени приходилось вставлять добавочные месяцы, соответствовавшие тринадцатому знаку зодиака, Ворону. Излишность их делала тринадцать несчастливым числом, да и ворон был птицей недоброй. Бенони-Вениамин чуть не умер, проходя через ворота рожденья, как через теснину между вершинами вселенской горы, и чуть не пал в борьбе против сил преисподней, потому что был тринадцатым ребенком Иакова. Однако, как искупительная жертва, была принята Дина, и она погибла.

Хорошо было понимать необходимое, постигая при этом нрав бога. Ибо его чудо чисел было не вполне безупречно, и человек должен был с умом устранять всякие несообразности; над таким исправленьем, однако, тяготели беда и проклятье, и даже двенадцать, число вообще-то прекрасное, становилось в этом случае зловещим, ибо именно оно дополняло триста пятьдесят четыре дня года лунного до трехсот шестидесяти шести дней солнечно-лунного года. Если же принять за число дней триста шестьдесят пять, то каждый раз, как пришлось подсчитать Иосифу, не хватало бы четверти дня, а с течением лет это несоответствие так увеличилось бы, что составило бы целый год через тысячу четыреста шестьдесят кругооборотов. А это был период звезды Пса; и пространственно-временные наблюдения Иосифа вырывались в область сверхчеловеческого, переходя от малых кругов ко все более огромным, далеко обогнавшим их, к замкнутым годам ужасающей протяженности. Даже день был маленьким годом со своими временами, с летним светом и зимней темнью, а дни входили в большой кругооборот. Но большой кругооборот был велик лишь сравнительно, и тысяча четыреста шестьдесят этих кругооборотов охватывал год звезды Пса. А вселенная состояла из сверхогромных кругов величайших — или, наверно, опять-таки не предельно величайших — годов, у каждого из которых были свое лето и своя зима. Зима наступала тогда, когда все светила сходились под знаком Водолея или Рыб, а лето — когда они встречались под знаком Льва или Рака. Каждая зима начиналась потопом, каждое лето — пожаром, так что все обороты вселенной и большой кругооборот совершались между исходной и конечной точкой. Каждый большой кругооборот охватывал четыреста тридцать две тысячи лет и являлся точнейшим повторением всего прошедшего, так как, возвратясь в прежнее положение, звезды должны были оказать одинаковое действие в большом и в малом. Поэтому кругообороты вселенной назывались «обновлениями жизни», а также «повторениями прошлого», а также «вечным повторением». Кроме того, имя им было «олам», «вечность», а бог был господом вечности, Эль Оламом, живущим в вечности, Хай Оламом, и это Он вселил в душу человеческую «олам», то есть способность понимать вечность и тем самым в известном смысле тоже возвышаться до господства над нею...

Это была гордая наука. Иосиф забавлялся с большим размахом. Ведь чего еще только не знал Елиезер! Он знал тайны, которые потому и превращали ученье в большое и лестное

удовольствие, что это были тайны, известные на земле лишь небольшому числу молчаливых мудрецов, которые жили при храмах и святилищах, но никак не толпе. Так, например, Елиезер знал и учил, что вавилонский двойной локоть — это длина маятника, делающего шестьдесят двойных колебаний в двойную минуту. При всей своей болтливости Иосиф никому не говорил этого; ибо это вновь доказывало священность шестидесяти, числа, которое, будучи умножено на прекрасное число шесть, давало священнейшее число триста шестьдесят.

Он изучал меры длины и пути, производя их одновременно и от своего собственного движения и от движения Солнца, что, как заверил его Елиезер, не было дерзостью, ибо человек являлся малым миром, в точности соответствовавшим большому, и поэтому священные числа кругооборота были неотделимы от всего, что касалось меры, а также от времени, которое становилось пространством.

Оно становилось пустым пространством и, благодаря этому, весом; Иосиф запоминал меры веса и сравнительную стоимость золота, серебра и меди по обычному и по царскому, по вавилонскому и по финикийскому расчету. Он упражнялся в торговом счете, выражал одну и ту же цену в меди и в серебре, менял вола на такие количества масла, вина и пшеницы, которые соответствовали его стоимости в переводе на металл, и обнаруживал при этом такую сообразительность, что Иаков, когда ему случалось слушать сына, прищелкивал языком и говорил:

— Как ангел! Совсем как ангел Аработа!

Кроме всего этого, Иосиф изучал самое необходимое о болезнях и лекарствах, о человеческом теле, которое, по примеру космической тройственности, состояло из твердых, жидких и воздухообразных веществ. Он учился соотносить части тела со знаками зодиака и планетами, придавать особое значение окологлавному жиру, ибо охватываемый им орган был связан с деторождением и являлся средоточием жизненной силы, считать печень возбудителем душевных движений и с помощью глиняной модели, разделенной на участки и разрисованной, усваивал ученье, по которому внутренности были зеркалом будущего и источником надежных знамений... Еще он изучал народы земли.

Их было семьдесят или, может быть, семьдесят два, ибо таково было число пятидневных недель года, и образ жизни и вера некоторых из них были чудовищны. В первую очередь это относилось к варварам Крайнего Севера, населявшим страну Магог, что находилась далеко за вершинами Гермона и даже за страной Ханигалбат, севернее Тавра. Но ужасен был и Дальний Запад, называвшийся Таршиш, куда без страха добрались люди Сидона, переплыв за бесконечное множество дней Большую Зеленую Воду в длину. Также и в Киттим, то есть в Сицилию, проникли этим путем одержимые страстью к неведомым далям и к меновой торговле люди Сидона и Гевала и основали там поселения. Они немало способствовали познанию земного круга — не для того, конечно, чтобы доставить мудрому Елиезеру учебный материал, а из стремленья побывать на краю земли и всучить тамошним жителям свои червленые ткани и замысловатые вышивки. Были ветры, которые как бы сами несли их на Кипр, или Алашию, и на Доданим, то есть Родос. Оттуда, без особых опасностей, они продвигались до страны Муцри, Египта, а из Египта их корабли доставляло на родину какое-то благосклонное к духу торговли морское течение. Но и сами египтяне подчинили себе и открыли наука Куш, негритянские земли в полуденном верховье Нила. Они тоже собрались с духом, вышли в плаванье и обнаружили в самом низу Красного моря богатые благовониями земли, Пунт, царство Феникса. На крайнем Юге находился Офир, страна золота, если верить молве. Что касалось востока, то в Эламе был царь, которого покамест не удалось расспросить, есть ли за ним в этой стране света еще что-нибудь. Наверно, нет.

Это лишь часть того, что втолковывал Иосифу Елиезер под божьим деревом. И все это, по указанию старика, юноша записывал, а затем, склонив голову к плечу, читал про себя до тех пор, пока не запоминал наизусть. Чтение и письмо были, разумеется, основой всего и сопровождали все; ведь без них у людей ничего не оставалось бы в памяти. Поэтому Иосифу прихо-

дилось очень прямо сидеть под деревом, растопырив колени, и держать у живота письменные принадлежности, глиняную дощечку, в которой он делал палочкой клинообразные углубленья, либо склеенные листы тростниковой ткани, либо лощеный кусок овечьей или козьей кожи, на которые он наносил свои каракули расщепленной или же заостренной тростинкой, макая ее в красную и черную чашечки тушевальницы. Он пользовался то местным и человеческим письмом, годившимся для закрепленья обыденной его речи и наиболее удобным для начертанья по финикийскому образцу торговых писем и договоров, то божественным, официально-священным письмом Вавилона, письмом закона, науки и сказаний, требовавшим глины и палочки. У Елиезера было много прекрасных образцов такого письма — писаний о звездах, гимнов Луне и Солнцу, хронологических таблиц, летописей погоды, налоговых списков, а также отрывков из больших стихотворных сказаний первобытной древности, сказаний хотя и лживых, но изложенных с такой дерзновенной торжественностью, что для духа они становились правдой. Сказанья эти повествовали о сотворении мира и человека, о борьбе Мардука со змеем, о том, как Иштар сделалась из служанки царицей и о ее сошествии в ад, о родильной траве и живой воде, об удивительных приключениях Адапы, Этаны и того Гильгамеша, чье тело было божественной плотью, но которому все же не удалось снискать бессмертие. Все это Иосиф читал, водя по строкам указательным пальцем, я переписывал в пристойной позе — не горбясь и только опустив веки. Он читал и писал о дружбе Этаны с орлом, который понес его к небу Ану; и они действительно поднялись так высоко, что суша казалась им оттуда лепешкой, а море — хлебницей. Но когда и суша и море скрылись из виду, Этаной, к сожаленью, овладел страх, и он вместе с орлом упал в бездну — позорный исход! Иосиф надеялся, что он при таких обстоятельствах вел бы себя иначе, чем герой Этана; но больше, чем история Этаны, нравилась ему история укрощенья лесного дикаря Энкиду блудницей из города Урука, которая учила этого полужверя прилично есть и пить, умащать тело и носить одежду — словом, походить на человека я горожанина. Эта история занимала Иосифа, он восхищался тем, как блудница усмирила дикаря, подготовив его шестью днями и семью ночами любовных утех к восприятию просвещенного образа жизни. Во всей своей сумрачной красе лилась с его губ вавилонская речь, когда он читал наизусть эти строки, и Елиезер, целуя край платья ученика, восклицал:

— Благо тебе, сын миловидной! Успехи твои блестящи, еще немного — и ты будешь мацкиром какого-нибудь князя и советчиком какого-нибудь великого царя! Вспомни обо мне, когда ты получишь свое царство!

После этого Иосиф опять отправлялся к братьям в поле или на пастбище, чтобы быть у них на посылках. А они, скаля зубы, говорили:

— Смотрите, вот он явился, шалопай с чернилами на пальцах, читатель допотопных камней! Не соизволит ли он подоить коз, или он пришел только поглядеть, не вырезаем ли мы у животных мясо кусками себе на похлебку? Ах, будь все дело за нашим желаньем отдубасить его, он бы свое получил, но это, к сожаленью, невозможно из-за страха Иакова!

О ТЕЛЕ И ДУХЕ

Если, говоря о тех тягостных отношениях между Иосифом и его братьями, что сложились с годами, перейти от частного к общему, от отдельных размолвок и ссор к их основополагающим причинам, то причины эти сведутся к зависти и самомненью; и тому, кто любит справедливость, трудно будет решить, который из двух этих пороков, то есть, конкретнее говоря, кто же — один человек или ватага, все грознее на него ополчавшаяся, — несет главную долю вины во всех бедах. Ведь справедливость и честное желание не быть, несмотря ни на какой соблазн, пристрастным, побудит, наверно, такого наблюдателя назвать главным злом и источником всех бед самомненье; но опять-таки именно справедливость заставит его признать, что не часто бывает на свете столько поводов для самомненья, а тем самым, конечно, и для зависти, сколько было их в данном случае.

Красота и знание редко соединяются на земле. Волей-неволей мы привыкли представлять себе ученость безобразной, а привлекательность серой, и серой непременно, — иначе вся привлекательность исчезнет, — со спокойной совестью, потому что привлекательность не только не нуждается в книгах, уме и мудрости, но даже рискует быть разрушенной и загубленной ими. Поэтому наглядное преодоление пропасти, существующей между духом и красотой, сочетание обоих отличий в одном лице словно бы разрешает противоречие, заложенное, как мы привыкли считать, в человеческой природе, и невольно наводит на мысль о божественности. Беспристрастный глаз всегда созерцает такое явление божественной гармонии с чистейшим восторгом, но оно может вызвать самые горькие чувства у тех, кто вправе считать, что они обидно меркнут в его свете.

Так тут и было. Счастливое согласие, вызываемое в душе человеческой определенными явлениями — его принято называть попросту их красотой, — ощущалось в данном случае настолько неукоснительно; первенца Рахили находили — разделяем ли мы этот восторг или нет — настолько красивым, что его привлекательность рано и уже очень давно вошла в поговорку. И привлекательности этой дано было включить в себя духовность и ее искусства, овладеть ею с веселым азартом, вобрать в себя и, наложив на нее свою печать, печать привлекательности, снова пустить в мир, так что противоположность между красотой и духом уничтожалась и разница между ними почти исчезала. Мы сказали, что разрешение природного их противоречия должно было казаться божественным. Пусть нас поймут правильно. Разрешалось оно не божеством, — ведь Иосиф был человеком, и притом с недостатками, и притом слишком здравомыслящим, чтобы постоянно не сознавать этого в глубине души; но разрешалось оно в божестве, а именно — в Луне.

Мы были свидетелями сцены, весьма показательной для тех телесно-духовных отношений, что поддерживал Иосиф с этим волшебным светилом — разумеется, втайне от отца, который, придя, первым делом побранил свое сокровище за то, что он любезничал с голой красавицей небес, обнажившись. Но с луной у мальчика связывалась не только мысль о волшебстве красоты; столь же тесно у него связывалась с ней идея мудрости и письма, ибо луна была небесной ипостасью Тота, белого павиана и изобретателя знаков, посредника и писца богов, записывающего их речи и покровительствующего тем, кто пишет. Волшебство красоты одновременно и в единстве с волшебством знаков — вот что, следовательно, опьяняло его тогда и накладывало отпечаток на его одинокий культ — культ несколько извращенный, сумбурный и отдававший вырождением, вполне способный обеспокоить отца, но потому-то и пьянящий, что чувство телесности и чувство духовности смешивались в нем восхитительным образом.

Несомненно, что каждый человек, более или менее сознательно, вынашивает в себе какое-то представление, какую-то излюбленную мысль, составляющую источник тайного его восторга, питающую и поддерживающую его жизнеощущение. Для Иосифа этой пленительной идеей было сожитие тела и духа, красоты и мудрости и взаимоусиливающее сознание того и другого. Халдеи, путешественники и рабы, рассказывали ему, как Бел, чтобы создать людей, велел отрубить себе голову, как его кровь смешалась с землей и из кровавых комков земли были сотворены живые существа. Иосиф не верил этому; но когда он хотел ощутить свое бытие и тайно ему порадоваться, он вспоминал о кровавом смешении земного с божественным, чувствовал, к странному своему счастью, что и сам он состоит из этого вещества, и, улыбаясь, думал, что сознание тела и красоты должно быть улучшено и усилено сознанием духа, и наоборот.

А верил он, что дух бога, которого жители Синеара называли «мумму», носился над водами хаоса и создал мир словом. Он думал: подумать только, словом, свободным и сторонним словом сотворен мир, и даже сегодня еще, — если какая-то вещь и существует, то воистину она начинает существовать, собственно, только тогда, когда человек назовет ее и дарует ей словом бытие. Как тут даже красивой и прекрасной головке не убедиться в том, сколь важна словесная мудрость?

Но как же должны были подобные склонности и их развитие, поощряемое Иаковом по многим причинам, о которых сейчас пойдет речь, как должны были они обособлять Иосифа от сыновей Лии и служанок, и сколько ростков высокомерья, с одной стороны, и недоброжелательства — с другой, несло в себе это обособление! У нас не поднимается перо охарактеризовать братьев и родоначальников колен, чьи имена в порядке старшинства и сегодня еще по праву заучивают наизусть дети, всех чохом, как весьма заурядных парней. Кстати, о некоторых из них, например об Иуде, натуре сложной и несчастной, да и о глубоко порядочном Рувиме, такой отзыв был бы и не совсем точным. Но, во-первых, их никак нельзя было назвать красивыми — ни тех, кто был по возрасту ближе к Иосифу, ни тех, кому было уже далеко за двадцать, когда ему минуло семнадцать, — хотя они отличались крепким сложением, а отпрыски Лии, прежде всего Ре'увим, но также Симеон, Левий и Иуда, к тому же и богатырским ростом; а уж что касалось слова и мудрости, то братья все как один прямо-таки гордились тем, что ни в грош этого не ставили и ничего в этом не смыслили. Правда, о сыне Валлы Неффалиме давно было сказано, что он «говорит прекрасные изречения», но это мнение основывалось на обывательски-скромных требованиях, и в общем-то все красноречие Неффалима заключалось в довольно посредственном острословии, не сдобренном ученостью и чуждом высоких предметов. Все они были тем, кем должен был бы стать и Иосиф, чтобы раствориться в их обществе, — пастухами, а при случае, во вторую очередь, земледельцами; весьма искусные в обоих занятиях, они терпеть не могли того, кто с отцовского разрешения воображал, что может работать спустя рукава, одновременно корча из себя писца и читателя таблиц. До того как у них появилась для Иосифа кличка «Сновидец», которая была в ходу в пору их сильнейшей к нему ненависти, братья глумливо называли его премудрым Ноем-Утнапиштимом и читателем допотопных камней. А он в ответ называл их «Собачьи головы» и «Невежды, не знающие, что такое добро и зло», — называл в глаза, защищенный единственно их страхом перед Иаковом: если бы не этот страх, они избили бы его до синяков. Нас это огорчило бы; но ради прекрасных глаз Иосифа мы не должны считать его ответ менее достойным порицания, чем их насмешки. Напротив; ибо что толку в мудрости, если она даже от гордыни не защищает?

А как относился ко всему этому Иаков, отец? Он не был ученым. Кроме своего южно-ханаанского наречия, он говорил, конечно, и даже еще лучше, по-вавилонски, но египетским не владел, не владел уже потому, что, как мы успели отметить, все египетское ненавидел и осуждал. То, что он знал об этой стране, заставляло его считать ее родиной и кабального гнета, и вместе безнравственности. Подчиненность государству, явно определявшая там всю жизнь, оскорбляла его наследственную любовь к независимости и самостоятельности, а процветающий там внизу культ животных и мертвецов казался ему мерзким и глупым, — особенно культ мертвецов, ибо всякое служение подземному миру, начинавшемуся, впрочем, уже очень рано, уже в мире земном, уже в зерне, плодотворно истлевающим в почве, было для Иакова равнозначно распутству. Эту илистую страну там внизу он называл не «Кеме» и не «Мицраим», он называл ее «Шесл», то есть ад, царство мертвых; такое же религиозно-нравственное отвращение внушал ему и преувеличенный почет, которым, как говорили, пользовалось в той стране все связанное с письмом. Собственный его опыт в этой области почти исчерпывался умением начертать свое имя при подписании правовых договоров, да и то в таких случаях он чаще просто ставил печать. Все же прочие дела подобного рода он возлагал на Елиезера, старшего своего раба, и вполне мог так поступать; ведь способности наших слуг — это наши способности, а достоинство Иакова зиждилось не на них. Оно носило независимый, врожденный и личный характер, основываясь на могуществе его чувств и переживаний, которые были умным и значительным исполнением историй: оно вытекало из той природной духовности, которую он ощутимо излучал, и было преимуществом человека вдохновенного, смелого в мечтах, близкого к богу, а такой человек мог легко обойтись и без умения писать как такового. Не очень-то красиво предлагать сравнения, которые самому Елиезеру никогда в жизни и в голову не пришли бы. Но разве тому пристало бы увидеть сон о небесной лестнице или же с

помощью бога сделать такое открытие в царстве природы, как волшебство сопереживания, дающее крапчатый скот? Никоим образом!

Но почему же Иаков поощрял литературные занятия Иосифа с рабом-писцом и одобрительно наблюдал за учением, опасности которого для мальчика и его отношений с братьями не мог не видеть? На то имелись две причины, и обе были причинами любви, но одна носила честлюбивый характер, а другая — заботливо-воспитательный. Лия, постылая, как в воду глядела, когда перед рождением Иосифа напороочила себе и сыновьям своего чрева, что теперь для Иакова они все превратятся в ничто и станут легки, как воздух. С того дня, как ему было подарено дитя праведной, Думузи, росток, сын Девы, Иаков помышлял только об одном — поставить этого запоздалого сына выше его предшественников, во главе их, впереди них, и отдать ему, который был первенцем только Рахили, первородство вообще. Когда Ре’увим так скверно провинился с Валлой, гнев Иакова был достаточно искренним, но при всей своей несомненной искренности и неподдельности немного и напускным, нарочито подчеркнутым. Иосиф не знал этого или знал смутно, но когда он, с детским злорадством, рассказал отцу о случившемся, первой мыслью Иакова было: теперь я могу проклясть большого, и место для маленького будет свободно! Именно потому, что Иаков отдал себе отчет в том, что так подумал, да еще, наверно, из боязни ожесточить тех, кто следовал по старшинству за Рувимом, он не решился воспользоваться случаем сразу же в полной мере и не обвиняя поставить Иосифа на место проштрафившегося. Он не принимал окончательного решения, но, выжидая, как бы оставлял открытым для своего любимца почетное место наследника и избранника. Ибо дело шло об избрании наследника, о благословении Авраама, которое носил Иаков, получив его вместо Исава у слепого; и, передавая благословение, он тоже не хотел действовать по правилам, но на поверку неправильно. При малейшей возможности это высокое наследие следовало отдать Иосифу, явно лучшему, и телом и духом, преемнику, чем тяжеловесный и вместе легкомысленный Рувим; и чтобы сделать его превосходство очевидным и внешне, и для других, и для самих братьев, годилось любое средство, к примеру, наука. Времена менялись: до сих пор духовным наследникам Авраама не требовалось учености. Иаков сам вполне обходился без нее. Но в будущем, кто знает, могло оказаться если не необходимым, то все же полезным и желательным, чтобы благословенный был и ученым. Большое ли, малое ли, но какое-то преимущество это давало, а преимуществ перед братьями Иосифу следовало иметь как можно больше.

Такова была первая причина одобрительного отношения Иакова к ученым занятиям Иосифа. Вторая шла от более глубокой отцовской озабоченности, она была связана с душеспасением мальчика, с религиозным его здоровьем. Мы слышали, как вечером, у колодца, Иаков с нежной осторожностью заставил своего любимца высказаться о близком, по всей вероятности, будущем, об орошении земли дождями, словно бы защищая осеменя при этом сына рукой. Иакову не хотелось спрашивать. Только великая жажда узнать что-либо о жизненно важных видах на погоду побудила его воспользоваться тем настроением, в каком он, если и не вовсе без восхищения, то все же с большей долей тревожного неудовольствия, его застал.

Он знал о предрасположенности Иосифа к слегка экстатическим состояниям, к не очень глубокому и наполовину наигранному, но наполовину и настоящему пророческому трансу и еще не совсем ясно определил свое отцовское к этому отноше́ние, чувствуя недоброе священную двусмысленность подобных склонностей. Братья — о нет, ни один из них не обнаруживал ни малейшего признака такой избранности, они, видит бог, не походили на одержимых и ясно-видящих. За них можно было не беспокоиться, восторженность, недобрая ли, священная ли, была им чужда, и то, что Иосиф и в этом существенным, хотя и небезопасным образом разнился от них, отчасти устраивало Иакова, ибо могло быть истолковано как отличие, которое в сочетании со столькими другими преимуществами делало понятным выбор наследника.

Однако просто приятными эти наблюдения для Иакова не были. Жили в стране такие люди, что отцовское сердце не пожелало бы Иосифу принадлежать к их числу. Это были юро-

дивые, бесноватые, блаженные, делавшие свою способность пророчествовать в исступленном состоянии источником заработка, — вещуны, которые, странствуя с места на место или же сидя в пещерах, добывали деньги и съестные припасы указанием благоприятных для тех или иных дел дней или предсказаньем неведомого. Иаков не любил их по долгу перед богом, да и никто, собственно, их не любил, хотя все остерегались их обижать. Это были грязные, шальные и дикие люди; дети бегали за ними и кричали им вдогонку: «Авласавлалакавля», ибо примерно так звучали вещания этих безумцев. Они наносили себе раны и увечья, ели тухлятину, ходили с ярмом на шее или с железными рогами на лбу, а иные и голыми. Это им подобало — и рога и нагота. Их повадка была известна, и конечной основой ее было не что иное, как бааловское распутство, обрядовый блуд, колдовство, которым местные хлебопашцы домогались плодородия земли, исступленное оскотление как жертва Мелеху, царственному быку. Это ни для кого не было тайной; все сознавали, какая тут подоплека; только окружающие сознавали это с каким-то добродушным благоговеньем, не обладая той повышенной чувствительностью, которой отличалась религиозная традиция Иакова. Он ничего не имел против разумного гаданья с помощью стрелы или жребия для определения благоприятствующего тому или иному делу часа и, принося жертву, приглядывался к полету птиц и к направлению дыма. Но где разумение бога заменялось похотливым бредом, там для него начиналось то, что он называл «дуростью», очень резким словом в его устах, достаточно резким, чтобы выразить крайнюю степень неодобрения. Это было «Ханааном», с которым связывалась темная история, случившаяся с его дедом в шатре, «Ханааном», который, по преданию, ходил голый, с обнаженным срамом, и не отставал в блуде от местных баалов. Обнажение, хороводы, праздничное обжорство, обрядовое распутство с храмовыми прислужницами, культ Шеола и «авласавлалакавля», и бьющиеся в судорогах прорицатели — все это было «Ханааном», относилось к одной области, представляло собой одно и то же и было для Иакова дуростью.

Страшно подумать, что из-за своей ребяческой склонности к закатыванию глаз и полусомнамбулическим речам Иосиф соприкасался с этой нечистой сферой души. Иаков тоже, спору нет, был сновидцем, — но к своей чести! Да, во сне увидел он вседержителя бога и его ангелов и услышал от него отраднейшее обетование под звуки арфы. Но ведь ясно же было, сколь сильно отличалось разумной своей мерой и религиозной пристойностью подобное вознесенье главы после печали и крайнего униженья от недоброго морока. Разве это было не горе, не наказание, что почетные дары, которых сподобились отцы, мельчали в нестойких сыновьях и оборачивались утонченной испорченностью? Ах, они были приятны, отцовские черты в облике сына, но они поражали, они пугали своим измелчаньем, своей нестойкостью! Одно утешенье, что Иосиф был еще так молод; его нестойкость должна была смениться закаленностью, твердостью и незыблемостью, созреть до почтенности в разумении бога. Но что склонность юноши к сомнительному восторгу связана с наготой, а значит, с отступничеством, а значит, с Баалом и Шеолом, с загробным колдовством и преисподним неразумием — это не ускользало от нравственной пронизательности Иакова, отца, и как раз поэтому он был доволен влияньем книгочия на своего любимца. Очень хорошо было, что Иосиф чему-то учился и под руководством сведущего наставника регулярно упражнялся в письме и слове. Он, Иаков, в этом не нуждался; даже величайшие его сны были добропочтенны и воздержны. Сны же Иосифа — это чувствовал старик — требовали обуздания разумной точностью: она благотворно способствовала бы его стойкости, лишив его, человека образованного, всякого сходства с рогатыми, голотелыми и блажными.

Вот как рассуждал Иаков. Темные начала природы его любимца требовали, казалось ему, очистительного растворенья в интеллекте, и получается, таким образом, что на свой озабоченный лад он разделял мальчишескую спекуляцию Иосифа насчет того, что сознание тела должно быть исправлено и улучшено сознанием духа.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. АВРААМ

О СТАРШЕМ РАБЕ

Возможно, что у Авраама и впрямь была такая же внешность, как у Елиезера, — но может быть, и совсем другая, может быть, он был маленький, несчастный, мрачный и весь дергался от с недавнего его беспокойства; и когда говорили, что Елиезер, учитель Иосифа, походит на лунного странника, то это не имело, собственно, никакого отношения к нынешнему облику ученого раба. Люди употребляли настоящее время, имея в виду прошедшее и перенося прошлое в настоящее. Считалось, что Елиезер «походил» на Авраама лицом, и этот слух вполне мог соответствовать действительности ввиду происхождения Исаакова свата. Ибо он был, вероятно, Авраамовым сыном. Утверждали, правда, будто Елиезер был рабом, которого Нимрод Вавилонский подарил Аврааму, отправляя того в изгнание; но это маловероятно, и можно даже быть уверенным, что это не соответствует истине. С властелином, при владычестве которого Авраам покинул Синеар, у него никогда не было личного соприкосновения; тому вообще не было до него дела; конфликты, заставившие духовного предка Иакова покинуть страну, разыгрывались тихо, они были внутреннего свойства, и все сведения о личных столкновениях между ним и законодателем, о его мученичестве, о его пребывании в узилище, о том, что его пытали огнем в печи для обжига извести, — все эти истории, на которые мы здесь лишь намекаем и которыми Елиезер тоже занимал Иосифа, основывались если не на свободном вымысле, то, во всяком случае, на гораздо более древних событиях, перенесенных из седой старины в позднейшее, всего лишь шестисотлетней давности прошлое. Ведь царя Авраамовых времен, того, что обновил и надстроил башню, звали не Нимрод, что было лишь родовым понятием и обозначало сан, а Амрафел или Хаммурапи, а собственно Нимрод был отцом того Бела из Вавилона, о котором было известно, что он построил город и башню, и который, подобно египетскому Усиру, стал царем у богов, после того как побывал царем у людей. Фигура пранимрода принадлежит, следовательно, к доусиловским временам, на основании чего и можно измерить ее историческое расстояние от Нимрода Авраамова, вернее, увидеть неизмеримость этого расстояния; а уж какие истории при нем случились, — действительно ли его звездочеты предсказали ему рождение очень опасного для его владычества мальчика и он решил убивать всех без разбора младенцев мужского пола, а какой-то мальчик Авраам спасся от этого страшного душегубства и был вскормлен в пещере ангелом, чьи пальцы сочлись молоком и медом, и так далее — научно это вообще невозможно установить. Как бы то ни было, с фигурой царя Нимрода дело обстоит точно так же, как с фигурой Едома, Красного: это настоящее, сквозь которое просвечивают все более далекие фигуры прошлого, теряющиеся среди богов, опять-таки восходящих в дальнейших глубинах времени к людям. Придет время заметить, что так же обстояло дело и с Авраамом. А пока что лучше не отвлекаться от Елиезера.

Итак, Елиезер не был подарен Аврааму «Нимродом» — это утверждение нужно считать вымыслом. По всей вероятности, он был родным сыном Авраама, прижитым с рабыней и родившимся, надо полагать, в Дамашки во время пребывания людей Авраама в этом цветущем городе. Позднее Авраам даровал ему свободу, и его положение в семье было лишь не намного ниже, чем положение Измаила, сына Агари. Старшего из двух его сыновей, Дамасека и Елиноса, халдеянин, который, как известно, долго оставался бездетным, должен был первоначально считать своим наследником — покуда не родились сперва Измаил, а затем и Ицхак, истинный сын. Но и потом Елиезер оставался важным лицом среди людей Авраама, и именно ему выпала честь отправиться в Нахарину за невестой для Исаака, отвергнутой жертвы.

Он часто и охотно, как мы уже знаем, рассказывал Иосифу об этой поездке — да, мы поддаемся, и поддаемся, может быть, слишком легко соблазну написать здесь просто «он», хотя Елиезер, который говорил с Иосифом, по нашему же собственному представлению не

был Аврамовым Елиезером. Нас соблазняет естественность, с какой он, упоминая об этом сватовстве, употреблял местоимение «я», и беспрекословность, с какой его ученик принимал эту связанную со светом луны грамматическую форму. Он улыбался, правда, но кивал головой, и неясно было, означала ли его улыбка какую-то критику, а кивки — только любезную снисходительность. Если разобраться подробнее, то его улыбке мы верим, пожалуй, больше, чем его кивкам, и склонны предполагать, что его отношение к форме Елиезерова рассказа было несколько яснее и четче отношения к ней самого старика, достойного сводного брата Иакова.

Мы называем так Елиезера сознательно и не всуе, ибо он был им. До того как Ицхак, истинный сын, ослеп и одряхлел, он обладал здоровой чувственностью и отнюдь не ограничивался дочерью Вафуила. Уже одно то, что она, подобно Саре, долго оставалась бесплодной, заставило его своевременно позаботиться о наследнике, и уже за много лет до появления Иакова и Исава у него от одной красивой служанки родился сын, которому он позднее даровал свободу и который был назван Елиезером. Было принято, чтобы такого рода сын в один прекрасный день получал свободу и чтобы он носил имя Елиезер. Да, тем простительней было Ицхаку, отвергнутой жертве, иметь этого сына, что Елиезера полагалось иметь — он всегда имелся при дворах Авраамова религиозного потомства и всегда играл там роль домоправителя и Первого Раба, при случае его посылали также сватать невесту сына праведной, и обычно сам глава семьи давал Елиезеру жену, от которой у него бывало два сына — Дамасек и Единое. Одним словом, это было такое же установление, как Нимрод Вавилонский, и когда юный Иосиф смотрел на Елиезера в часы занятий, когда они сидели вдвоем близ колодца, в тени дерева наставленья, и мальчик, охватив колени руками и слушая, глядел в лицо вещавшего старика, который «походил на Авраама» и с такой великолепной непринужденностью употреблял слово «я», у него часто возникало странное чувство. Взгляд его красивых и прекрасных глаз тогда преломлялся, он глядел сквозь повествовавшего в бесконечную перспективу Елиезеров, которые все устами сидевшего перед ним говорили «я», и так как дело происходило в сумраке тенистого дерева, а за спиной Елиезера стояло марево знойного дня, эта перспектива тождеств терялась не в темноте, а в сиянии света...

Шар катится, и никогда нельзя будет установить, где берет свое начало какал-то история — на небе или на земле. Истине служит тот, кто утверждает, что все они соответственно и одновременно разыгрываются здесь и там и только нашему глазу кажется, будто они опускаются и вновь поднимаются. Истории опускаются, подобно тому как бог становится человеком, они становятся земными и, так сказать, омещаниваются, — в качестве примера можно снова припомнить историю, которой любили хвастаться люди Иакова, так называемую борьбу с царями, историю о том, как Аврам побил полчища царей Востока, чтобы освободить своего «брата» Лота. Ранние редакторы и ученые толкователи историй патриархов считают непреложной истиной, что этих царей Аврам преследовал, побил и отогнал за Дамаск не с тремястами восемнадцатью воинами, как то знал Иосиф, а с одним лишь своим рабом Елиезером; что за них, за Аврама и Елиезера, сражались звезды, благодаря чему они победили и обратили в бегство врагов. Случалось, что и сам Елиезер рассказывал Иосифу эту историю так — мальчик привык к этому варианту. Но нельзя не заметить, что в таком виде этот рассказ теряет тот земной, хотя и героический характер, который придали ему балагуриящие пастухи, и приобретает взамен другой. Когда слушаешь его, кажется, — и такое впечатление довольно определенно складывалось также у Иосифа, — будто это два бога, господин и слуга, побили в бою полчища великанов или меньших элохимов; а это, несомненно, означает правомерное и полезное для истины возведение данного события к его небесной форме и его восстановление в ней. Но следует ли поэтому отрицать его земную действительность? Напротив, его надземная истинность и действительность подтверждает земную. Ибо то, что вверху, опускается вниз; но то, что происходит внизу, и не смогло бы случиться, оно, так сказать, не додумалось бы до себя без своего небесного образца и подобья. В Авраме стало плотью то, что прежде

было звездной субстанцией, и когда он победоносно прогонял заевфратских разбойников, он опирался и полагался на божественный образец.

Не было ли, например, и у истории о сватовстве Елиезера своей собственной истории, на которую она опиралась и на которую мог положиться ее герой и рассказчик, переживая ее и рассказывая? Ее старик тоже порою странно видоизменял, и через хранителей предания она дошла до нас также и в измененном виде. Так вот, хранители эти утверждают, что, будучи послан Авраамом за невестой для Исаака в Месопотамию, Елиезер затратил на дорогу из Беэр-шивы в Харран — а на дорогу эту требуется двадцать, самое меньшее семнадцать дней, — что Елиезер затратил на нее три дня, потому что «земля скакала ему навстречу». Это можно понимать только в переносном смысле, ибо точно известно, что земля никому не бежит и не скачет навстречу; но тому, кто движется по ней с большой легкостью, как бы на крылатых ногах, кажется, будто она это делает. Кстати, учителя и не говорят, что это путешествие проходило обычно, караваном, с навьюченной на животных поклажей; о десяти верблюдах они не упоминают. Свет, какой они бросают на эту историю, создает несомненное впечатление, что родной сын и гонец Авраама проделал свой путь один и притом каким-то окрыленнейшим способом — со скоростью, для объяснения которой недостаточно крылышек на ногах, так что невольно представляешь себе крылышки и на его шапочке... Короче, в этом освещении плотски-земное путешествие Елиезера предстает опустившейся историей, в которой он опирался на историю надземную, отчего позднее, в присутствии Иосифа, путал не только грамматические формы, но немного и формы самой истории и говорил, что земля «скакала ему навстречу».

Да, в сиянии света, не в темноте, терялось то, что проглядывало сквозь достопочтенного Елиезера, когда упирившийся в небо взгляд ученика задумчиво преломлялся, и одновременно то же самое происходило с тождествами других людей — можно уже догадаться, каких других. Заметим только сейчас, заглядывая вперед в историю жизни Иосифа, что впечатления этого рода были самыми прочными и действенными из всех, какие он вынес из ученья у старика Елиезера. Ведь дети вовсе не невнимательны, когда их учителя бранят их за невнимательность; просто вниманье их приковано к иным и, может быть, более важным вещам, чем те, к которым его хочет привлечь деловитость наставников, а Иосиф, при всей кажущейся невнимательности расплывавшегося его взгляда, проявлял это детское внимание даже в повышенной мере — всегда ли себе на благо, это уже другой вопрос.

КАК АВРААМ ОТКРЫЛ БОГА

Говоря о «других людях», мы тем самым заранее осторожно намекнули на Авраама, господина посланца. Что знал о нем Елиезер? Многое — и самого разного рода. Он говорил о нем словно двойным языком — то так, то этан. Иной раз халдеянин был просто-напросто человеком, который открыл бога, после чего тот на радостях поцеловал себе пальцы и воскликнул: «До сих пор никто из людей не называл меня Господом и Всевышним, а теперь меня так зовут!» Путь к этому открытию был очень труден, даже мучителен; праотец хлебнул немало горя. Его труды и поиски определялись и вызывались одним личным, свойственным именно ему представлением — представлением, что знать, кому или чему человек служит, необычайно важно. Это произвело на Иосифа впечатление, он понял все тотчас же, и в особенности насчет сознания важности. Чтобы приобрести какое-то уважение, какой-то вес у бога и у людей, нужно проникнуться сознанием важности вещей — или хотя бы одной вещи на свете. Праотец проникся сознанием безусловной важности вопроса, кому должен служить человек, и замечательно ответил на этот вопрос: одному Всевышнему. В самом деле, замечательно! Этот ответ был исполнен достоинства, граничившего с дерзостью и запальчивостью. Ведь праотцу вольно было сказать себе: «Чего еще требовать от меня, а во мне — от человека! Довольно того, что я буду служить какому-нибудь эленку, идолу или божку, это не имеет значения». Так

ему было бы удобнее. А он сказал: «Я, Аврам, а во мне человек, вправе служить исключительно Всевышнему». С этого началось все. Иосифу это нравилось.

Началось с того, что Аврам подумал, что служить и поклоняться нужно одной земле, ибо она приносит плоды и поддерживает жизнь. Но тут он заметил, что она нуждается в дожде с неба. Тогда он взглянул на небо, увидел солнце во всем его великолепии, во всей мощи его благодати и проклятия, и решил было уже служить ему. Тут, однако, оно закатилось, и он убедился, что, значит, оно не может быть высшим в мире. Тогда он обратил взор свой к лупе и заездам — к ним даже с особой готовностью и надеждой. Наверно, первым поводом к его недовольству и толчком к перемене мест и было оскорбление, наносимое его любви к Луне, божеству Уру и Харрана, теми преувеличенными государственными почестями, которые, в ущерб Сину, пастуху звезд, оказывал солнечному началу, Шамашу-Белу-Мардуку. Нимрод Вавилонский. Возможно даже, что это была хитрость бога, который, рассчитывая возвеличиться в Авраме и приобрести благодаря ему имя, вызвал в нем через его любовь к Луне первое несогласье и беспокойство, использовал их для собственных целей и сделал их тайным началом своей карьеры. Ибо когда вошла утренняя звезда, пастух и стадо исчезли, и Аврам заключил: «Нет, и эти боги тоже недостойны меня». Душа его была отягощена заботой, и он заключил: «Хоть они и высоки, но не будь над ними владыки, который ими управляет, как могли бы одни из них восходить, а другие заходить? Мне, человеку, не пристало служить им, а не тому, кто ими повелевает». И ум Авраама доискивался истины с такой озабоченной настойчивостью, что господь бог, глубоко растрогавшись, сказал про себя: «Я помажу тебя миром радости обильнее, чем твоих сотоварищей!»

Так, из стремленья к высшему, Авраам открыл бога и, уча других, сформировал его и придумал, и облагодетельствовал этим все заинтересованные стороны — бога, себя самого и людей, чьи души, уча, завоевывал. Бога — тем, что дал ему осуществиться в человеческом познании, себя же и своих прозелитов тем, что свел множественное и устрашающее неведомое к единичному и успокаивающе известному, к определенному владыке, от которого шло все, — и добро и зло, и внезапное, ужасное и благодатно привычное, — к владыке, которого следовало держаться в любых обстоятельствах. Авраам собрал разные силы в одну силу и назвал ее господом — ее одну и раз навсегда, а не только для праздника, когда в льстивых гимнах приписывают всю силу и отдают все почести какому-то одному богу, Мардуку, Ану или Шамашу, чтобы на следующий же день и в соседнем храме пропеть другому богу это же самое. «Ты единственный и высочайший, без тебя не вершится никакой суд и ничего не решается, ни один бог ни на земле, ни на небе не в силах тебе противиться, ты выше всего их сонма!» Это из угодливости и от поглощенности мгновеньем часто твердили и пели в царстве Нимрода; Авраам же открыл и объяснил, что на самом деле это может быть сказано лишь одному, всегда одному и тому же, притом вполне известному, поскольку все шло от него, и делавшему, следовательно, известным начало всего на свете. Люди, среди которых вырос Авраам, были очень озабочены тем, чтобы их благодарность или мольба дошла до этого начала. Покаянную молитву в беде они начинали целым перечнем богов, старательно призывая на помощь всех, чьи имена им только были известны, чтобы ни в коем случае не пропустить того, кто послал им эту напасть и как раз ею ведал; ибо они не знали, кто же он. Авраам знал и учил этому. То был всегда только Он, самый высокий, единственный, кто мог быть для человека настоящим богом и к кому по прямому назначению попадали и крик человека о помощи, и его хвалебная песнь.

Иосиф, как ни был он юн, отлично понимал смелость и силу души, которые выразились в богооткрытии праотца и от которых с ужасом отшатнулись многие, от кого тот требовал этих же качеств. В самом деле, был ли Аврам высокого роста и по-стариковски красив, как Елиезер, или же он был маленький, худой и согбенный, — он все равно обладал мужеством, всем мужеством, необходимым для того, чтобы возвести все многообразие божественного, и всякий гнев, и всякую милость к нему, непосредственно к нему, своему богу, следовать только за ним и безраздельно подчинить себя самому высшему. Даже Лот сказал ему, побледнев:

— Но ведь если твой бог покинет тебя, ты будешь совсем одинок!

На это Аврам ответил:

— Верно, и ты это говоришь. Тогда никакое одиночество ни на небе, ни на земле не сможет сравниться с моим одиночеством — оно будет совершенным. Но ведь зато если я умилюсь Ему и Он станет моим щитом, у меня не будет ни в чем недостатка, и я завладею воротами моих врагов!

Тогда Лот приободрился и сказал ему:

— Если так, я хочу быть твоим братом.

Да, Аврам умел заражать близких своей отвагой. Его звали Авирам, что могло равно означать и «Мой отец величествен», и «Отец величественного». Ибо в известной мере Авраам был отцом бога. Он увидел его и выносил мыслью; могущественные свойства, которые он ему приписал, были, конечно, изначально присущи богу, Аврам не был их творцом. Но разве он не был им все же в известном смысле, если он их познавал, преподавал и, мысля, осуществлял? Великие свойства бога, спору нет, объективно существовали вне Авраама, но в то же время они существовали в нем и благодаря ему; мощь его собственной души была в иные мгновенья почти неотличима от них, она, познавая, соединялась и сплавлялась с ними в одно целое, и отсюда произошел завет, заключенный потом господом с Авраамом и явившийся лишь категорическим подтверждением факта внутреннего; но отсюда пошло и своеобразие Авраамова страха перед богом. Поскольку величие бога было чем-то до ужаса объективным и существовало вне Авраама, но в то же время в известной мере совпадало с его собственным, Авраамовым, душевным величием и было его порождением, то этот страх божий не был страхом в обычном смысле слова, он был не только дрожью и трепетом, но одновременно и чувством союза, доверия и дружбы; и действительно, иногда праотец обходился с богом так, что это, если не учитывать особой сложности их отношений, должно было бы вызвать удивление земли и неба. Например, панибратство, с каким он напустился на господу перед гибелью Содома и Аморры, было, принимая во внимание ужасное могущество и величие бога, почти шокирующим. Но кого, собственно, оно могло шокировать, если не бога? А бог воспринял это добродушно. «Послушай, господи, — заявил тогда Аврам, — либо так, либо этак, одно из двух! Если ты хочешь, чтобы у тебя был мир, не требуй праведности: если же тебе нужна праведность, то миру конец. Ты гонишься за двумя зайцами, ты хочешь и мира, и праведности в мире. И если ты не смячишься, мир не сможет существовать». Даже в коварстве уличил и обвинил он тогда господу: пообещав некогда не насылать на землю потопа, тот насылал на нее теперь огонь. Бог, однако, который после случившегося или чуть было не случившегося с его гонцами в Содоме, наверно, уже не мог поступить с этими городами иначе, выслушал Авраама если не одобрительно, то, во всяком случае, без гнева; он окутал себя доброжелательным молчаньем.

Это молчанье было выражением одной поразительной особенности, свойственной одновременно и объективному бытию бога, и Авраамову душевному величию, порождением которого она, может быть, и являлась, той особенности, что противоречие между миром жизни и праведностью заложено было в самом величии бога, что он, бог живой, не был добрым или был добрым лишь наряду с прочими качествами, а кроме того, и злым, что его живая природа включала в себя и зло, будучи при этом не просто святой, а самой святостью и требуя святости от других!

Поразительно! Это Он разбил Тиамата, рассек на части дракона хаоса; это Ему, его богу, причитался крик ликования, которым при сотворении мира приветствовали боги Мардука, крик, который повторяли в день нового года Авраамовы земляки. Порядок и все благодетельно надежное шло от него. Ранние и поздние дожди выпадали в надлежащее время благодаря Ему. Он указал страшному морю, остатку потопа, жилищу Левиафана, пределы, которых оно и при самом яростном натиске не могло перейти. Он заставил животворное солнце вставать, подниматься к вершине и совершать свое вечернее сошествие в ад, а луну — отмерять время неиз-

менным чередованием состояний. Он усеял небо звездами, соединил их в прочные созвездья и измерил жизнь животных и людей, питая их сообразно временам года. Из краев, где никто не был, падал снег и увлажнял землю, диск которой Он поместил на воде, благодаря чему суша не колебалась и не шаталась, разве что изредка. Сколько блага, пользы, добра!

Но как человек, убивающий врага, прибавляет, благодаря победе, его качества к своим, так бог, рассекая на части чудовище хаоса, усвоил, по-видимому, его естество и, возможно, только благодаря этому достиг законченности и совершенства, дорос до полного величия своей живой природы. Борьба между светом и тьмой, добром и злом, ужасом и благом на земле не была, как думали люди Нимрода, продолжением давнишней борьбы Мардука против чудовища Тиамата; и тьма, и зло, и все непредвидимо-страшное, землетрясение, грохочущая молния, затмевающие солнце рои саранчи, семь злых ветров, пыльная буря абубу, шершни и змеи тоже были от бога, и если его называли владыкой повальных болезней, то потому, что он и насылал их и врачевал. Он был не добром, а всем вместе. И он был свят! Свят не своей добротой, а своей живой и сверхживой природой, свят своим величием и своей страшностью, он был жуток, грозен, смертельно опасен, так что всякая оплошность, всякая ошибка, малейшая неосторожность в обращении с ним могли иметь самые ужасные последствия. Он был свят; но он и требовал святости, и то, что он требовал ее самим фактом своего существования, придавало святому более значительный смысл, чем если бы оно сводилось к простой мнительности; осторожность, к которой он призывал, становилась в силу того, что он к ней призывал, благочестием, а живая величавость бога — мериллом жизни, источником чувства вины, богобоязненностью, которая была хождением в чистоте перед величием бога.

Бог существовал, и Авраам ходил перед ним, освященный в душе объективной Его близостью. Они были двуедины, это были «я» и «ты», которое тоже говорило «я» и называло другого «ты». Верно, что свойства бога Аврам открыл благодаря собственному душевному величию — без него он не сумел бы открыть и назвать их, и они остались бы скрыты. Но поэтому бог все-таки оставался вне Авраама и вне мира могущественным «ты», которое говорит «я». Он был в огне, но не был огнем, — отчего было бы большой ошибкой поклоняться огню. Бог сотворил мир, в котором встречались такие огромности, как буря или Левиафан. Это следовало принимать во внимание, чтобы иметь представление или если не представление, то хоть какое-то суждение о его, бога, собственной объективной величине. Он непременно должен был быть гораздо больше всех своих творений и так же непременно вне таковых. Он назывался Макомом, пространством, потому что он был пространством мира, но мир не был его пространством. Он был и в Аврааме, который познал Его благодаря Ему. Но это-то и придавало силу и вес собственному «я» праотца, и это веское, сильное богом «я» отнюдь не собиралось исчезнуть в боге, слиться с Ним и перестать быть Авраамом, нет, оно очень смело и твердо противостояло Ему — разумеется, на огромном расстоянии от Него, ибо Авраам был только человеком, перстью земной, хотя и связанной с Ним познанием и освященной величественным существованием бога в качестве «ты». На такой основе бог заключил с Авраамом вечный завет, этот многообещающий для обеих сторон договор, к которому Господь относился настолько ревниво, что требовал от Своего народа безраздельного, без какого бы то ни было заигрыванья с другими богами, которых был полон мир, поклоненья. Это было примечательно: с Авраамом и с его заветом в мире появилось нечто такое, чего прежде в нем не было и чего народы не знали, — проклятая возможность нарушить завет, отпасть от бога.

Многому еще относительно бога мог научить праотец, но он не мог ничего рассказать о боге — как могли рассказать о своих богах другие. О боге не было никаких историй. Это было, может быть, самое примечательное — мужество, с каким Аврам сразу, без церемоний и без историй, установил и выразил существование бога, сказав «бог». Бог не возник, он не был рожден, не вышел из женского чрева. Да и не было рядом с ним на престоле никакой женщины, — никакой Иштар, Баалат и богоматери. Как это могло быть? Достаточно было призвать на помощь свой разум, чтобы понять, что в свете всех качеств бога иначе и быть не

могло. Он посадил в Эдеме древо познания и смерти, и человек отведал его плодов. Родить и умирать было делом человека, но не бога, и рядом с ним не было никакой божественной женщины, потому что он не нуждался в познании, будучи сразу в одном лице и Баалом и Баалат. Не было у него и детей. Ибо не были ими ни ангелы и Саваоф, которые служили ему, ни подавно те исполины, которых родили несколько ангелов с дочерьми человеческими, соблазнившись распутством оных. Он был один, и это был признак его величия. Но если одиночество безбрачно-бездетного бога объясняло его повышенно ревнивое отношение к союзу с человеком, то, конечно, с одиночеством же были связаны отсутствие у него историй, невозможность что-либо о нем рассказать.

Однако невозможность эта была, с другой стороны, лишь относительна, она относилась лишь к прошлому, но не к будущему, — если предположить, что слово «рассказывать» применимо к будущему и будущее можно рассказывать, пусть даже в форме прошлого. Одна история у бога, во всяком случае, была, но она касалась будущего, будущего, настолько для бога прекрасного, что его настоящее, как ни было оно великолепно, не могло с ним сравниться; и то, что оно не могло с ним сравниться, придавало величие и священному могуществу бога, вопреки им самим, оттенок ожидания и неисполненного обета, попросту говоря — страдания, и, пренебрегая этим оттенком, нельзя было вполне понять союз бога с человеком и его, бога, ревнивое к нему отношение.

Настал день, самый поздний и самый последний, и лишь он принесет осуществление бога. Этот день был концом и началом, уничтоженьем и возрождением. Мир, этот первый или, может быть, не первый мир, рассыпался прахом во всеобъемлющей катастрофе, хаос, первобытное безмолвие вернулись опять. Но затем бог начнет все заново, и еще чудеснее — владыка уничтоженья и воскресения. Из тоху и боху, из ила и мрака слово его вызвало новый космос, и громче, чем в прошлый раз, ликовали зрители-ангелы, ибо обновленный мир превосходил старый во всех отношениях, и бог восторгается в нем над всеми своими врагами.

Вот оно что: по скончании дней бог будет царем, царем царей, царем над людьми и богами. Но разве он не был им уже сегодня? Был, но незаметно, в сознании Авраама. А не явно, не общепризнанно, не вполне, следовательно, осуществившись. В последний и первый день, день уничтоженья и воскресения, назначено было осуществиться неограниченному владычеству бога; из оков, в которых оно еще находилось покамест, его безусловное величие восстанет во всевиденье. Никакой нимрод не поднимет на Него своих бесстыдных уступчатых башен, только перед Ним будут люди преклонять колени, и никого другого не станут славить человеческие уста. А это значило, что наконец и в действительности бог станет владыкой и царем над всеми богами, каким он вправду был искони. Под звуки десяти тысяч косо воздетых труб, под пенье и грохот пламени, под град молний, величественный и ужасный, он грядет через мир, оцепеневший в земном поклоне, к престолу, чтобы у всех на виду и навеки взять власть над действительностью, которая была Его правдой.

О, день апофеоза господня, день обетования, ожидания и исполненья! Он включит в себя, это следовало заметить, и апофеоз Авраама, чье имя станет впредь благословением, которым будут приветствовать друг друга поколения людей. Таков был обет. Но то, что громовой этот день был не в настоящем, а в конечнейшем будущем и его нужно было дожидаться, — это-то и вносило в сегодняшней лик бога оттенок страдания, оттенок никак не сбывающейся надежды. Бог был в оковах, бог страдал. Бог был в неволе. Это смягчало его величие, делало его предметом утешительного поклонения для всех страждущих и ожидающих, не великих, а малых в мире, вселяло в сердца их презрение ко всему похожему на Нимрода, ко всему бесстыдно громадному. Нет, у бога не было таких историй, как у Усира, страдальца земли Египетской, растерзанного на куски, похороненного и воскресшего, или как у Адона-Таммуза, оплакиваемого флейтой в ущельях, владыки овчарни, которому Ниниб, вопреки, разорвал бок и который спустился в темницу, чтобы воскреснуть. Запретно было и думать, что бог имел какое-либо отношение к историям природы, которая чахла в печали и цепенела в страдании, чтобы, согласно

закону и обету, обновиться среди смеха и буйства цветов; к зерну, что гнило во мрака земли, чтобы пустить росток и восстать; к смерти и к полу; к порочной священности Мелех-Баала и его культа в Тире, где мужчины в исступлении помешательства с мертвецким бесстыдством приносили в жертву этому чудовищу свое семя. Не дай бог, чтобы Он имел что-либо общее с такими историями! Но то, что он томился в оковах и был ожидающим богом будущего, создавало известное сходство между Ним и теми страждущими божествами, и именно поэтому Аврам вел в Сихеме с Мелхиседеком, священником Баала завета и Эльэльона, долгие беседы о том, тождественны ли этот Адон и Авраамов господь, и если да, то до какой степени.

А бог поцеловал кончики своих пальцев и, к тайной досаде ангелов, воскликнул: «Просто невероятно, до чего основательно эта персть земная меня познает! Кажется, я начинаю делать себе имя с ее помощью? Право, помажу ее!»

ГОСПОДИН ПОСЛАНЦА

Вот каким в общем-то человеком изображал Авраама Елиезер ученику своим языком. Но, говоря, этот язык внезапно раздваивался и говорил о нем также и по-другому, совсем иначе. Тот, о ком говорил этот достопочтенно змеиный язык, был все еще Авраамом, человеком из Уру или, собственно, Харрана, — и язык этот называл его прадедом Иосифа. Что при трезвом взгляде на дело Аврам им не был — тот Авраам, о котором еще только что говорил язык Елиезера, беспокойный подданный Амрафела, царя Синеарского, — что ни один прадед не жил за двадцать поколений до своего правнука, это знали оба — и старик и мальчик. Но смотреть сквозь пальцы им надо было не только на эту неточность; ибо Авраам, о котором, сбиваясь, путаясь и раздваиваясь, говорил теперь этот язык, не был и тем, кто жил в те давние времена и стряхнул со своих ног прах Синеара, а был, пожалуй, еще более далекой фигурой, просвечивавшей сквозь образ беспокойного синеарца, и взгляд мальчика так же терялся в этой прозрачности, как и в той, что звалась «Елиезер», — прозрачности, естественно, все более светлой; ибо то, что просвечивает, есть свет.

Тогда всплывали все истории, принадлежавшие тому полушарию, где господин и слуга прогнали врагов за Дамашки не с тремястами восемнадцатью рабами, а вдвоем, но с помощью высших сил, и где посланцу Елиезеру «земля скакала навстречу»; история о предсказанном рождении Авраама, о том, как из-за него убивали всех мальчиков, о том, как он провел детство в пещере и его кормил ангел, а мать его бродила и искала его. Это походило на правду; в чем-то и как-то это соответствовало действительности. Матери всегда бродят и ищут; у них много имен, но они бродят по свету и ищут бедное свое дитя, уведенное в преисподнюю, убитое, растерзанное. На сей раз она звалась Амафлой или Эмтелай, — пользуясь этими именами, Елиезер допускал, вероятно, вольное переосмысленье, мечтательно путал одно с другим; ибо больше, чем матери, они подходили кормящему ангелу, который, для вящей наглядности этого эпизода, принимал также, согласно раздвоенности языка, облик козы. Когда мать халдеянина называли «Эмтелай», это Иосифу тоже казалось верхом мечтательности и сказывалось на выражении его глаз, ибо имя это недвусмысленно означало «Мать моего возвышенного», то есть попросту «богоматерь».

Заслуживал ли почтенный Елиезер какого-либо упрека за то, что он так говорил? Нет. Истории опускаются, подобно тому как бог становится человеком, они как бы омещаниваются и делаются земными, но из-за этого не перестают разыгрываться и наверху, и могут быть рассказаны также и в небесной их форме. Иногда, например, старик утверждал, что сыновья Хеттуры, которую Аврам на старости лет взял в наложницы, — Медан, Мадан, стало быть, Иокшан, Симран, Ишбак и как там их еще звали, — что эти сыновья «сверкали, как молнии» и что Аврам выстроил им и их матери железный город такой высоты, что в него никогда не заглядывало солнце и он освещался одними лишь самоцветами. Слушатель Елиезера должен

был быть совершенным тупицей, чтобы не понять, что под этим тускло светящимся городом подразумевается преисподняя, царицей которой Хеттура, значит, и представляла в этой картине. В этой неоспоримой картине! Да, Хеттура была простой ханаанейской, которую Авраам на старости лет удостоил своей постели, но она была матерью ряда аравийских родоначальников и владык пустыни, как была матерью одного из таких владык египтянка Агарь; и если Елиезер говорил о сыновьях, что они сверкали, как молнии, то это значило только, что он видел их двумя глазами, а не одним, под знаком одновременности и единства двух качеств: и главарями бедуинов, бродягами, и сыновьями и князьями преисподней, как то было с Измаилом, неправедным сыном.

Бывали мгновенья, когда и о Сарре, жене праотца, старик говорил в странных тонах. Он называл ее «дочерью оскопленного» и «высочайшей на небе». Он добавлял, что она носила копье, а с этим как нельзя лучше вязалось то, что первоначально она звалась Сарой, то есть «героиней», и лишь бог низвел и уменьшил ее до Сарры, то есть до простой «госпожи». То же самое случилось и с ее братом-супругом; ибо «Аврам», что значит «высокий отец» и «отец высоты», был уменьшен и низведен до «Авраама», то есть отца множества, огромного религиозно-физического потомства. Но разве поэтому он перестал быть Авраамом? Отнюдь нет. Шар катился, только и всего; и язык, раздвоившийся в Авраме и Аврааме, говорил о праотце то так, то этак.

Отец страны Нимрод хотел его сожрать, но он ушел от его алчности, был вскормлен в пещере козю-ангелом, а подросши, сыграл с этим прожорливым царем и его истуканьим величьем такую шутку, что тот, можно было сказать, познакомился с серпом. Прежде чем праотец сел в каком-то смысле на Нимродово место, ему пришлось многое претерпеть. Он содержался в узилище, и весело было слышать, что даже это местопребыванье он использовал для того, чтобы нанебовать прозелитов и обратить к высшему богу стража ямы-темницы. Его будто бы отдали в жертву тифоническому жару, то ли сунув в печь для обжига извести, то ли — Елиезер рассказывал об этом по-разному — отправив на костер, и это тоже было отмечено печатью правды, ибо Иосиф отлично знал, что и поныне еще во многих городах справлялся «праздник костра». Но разве существуют праздники, не основанные на том или ином воспоминании, беспочвенные, нереальные праздники? Разве на благочестивом маскараде в день Нового года и сотворения мира люди воспроизводят события, высосанные из пальца у себя или у кого-либо из ангелов и никогда не происходившие? Человек ничего не выдумывает. Спору нет, он премудр с тех пор, как поел от дерева, и в этом отношении ему не так уж и далеко до бога. Но как ему, при всей его премудрости, додуматься до чего-то, чего на свете нет? И значит, с костром все так и было.

По Елиезеру, Авраам являлся основателем и первопрародителем города Дамашки. Это свидетельство просто излучало свет; ведь обычно города закладываются не людьми, и у тех, кого называют их первопрародителями, обычно не бывает облика человека. Даже Хеврон, именуемый Кириаф-Арбой, возле которого они с Елиезером сейчас находились, был заложен не человеком, а как, по крайней мере, утверждала молва, великаном Арбой или Арбаалом. Елиезер, впрочем, твердо стоял на том, что Авраам основал и Хеврон. Но этим старик, возможно, вовсе не противоречил и не собирался противоречить распространенному мнению; что праотец обладал исполинским ростом, вытекало уже из того, что он, по словам Елиезера, делал шаги шириной в версту.

Удивительно ли, что в иные туманно-мечтательные мгновенья образ его предка, основателя городов, сливался у Иосифа в прозрачной далекости с образом того вавилонского Бела, который построил башню и город и стал богом, после того как побывал человеком и был похоронен в могиле Бела? У Авраама все было, казалось, наоборот. Но что значит в данном случае «наоборот» и кто скажет, кем он был сперва и где родина историй — вверху или внизу? Они — это настоящее время того, что вращается, единство двоичности, памятник под названием «Одновременность».

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИОСИФ И ВЕНИАМИН

РОЩА АДОНИСА

В получасе ходьбы от широко раскинувшегося поселенья Иакова, от его шатров, хлебов, загонов и амбаров, ближе к городу, был овраг, весь заросший крепкоствольными, похожими на невысокий лес кустами мирта и считавшийся у жителей Хеврона священной рощей Астарот-Иштар или скорей даже ее сына, брата и мужа — Таммуза-Адони. Там воздух был полон приятной, хотя летом и душной пряности, и пахучая эта чаща не составляла сплошного массива зарослей, а была переплетением случайных извилистых прогалин, которыми можно было пользоваться как тропинками, и в самой глубокой точке лощины находилась возникшая несомненно благодаря корчеванью поляна святилища: посреди нее была сооружена четырехгранная, выше человеческого роста, каменная пирамида с высеченными символами плодovitости, маццеба, являвшаяся, видимо, и сама символом плодovitости, а на цоколе пирамиды стояли дары — глиняные сосуды с землей, пускавшей зеленовато-белые ростки, и приношения более затейливые, например, склеенные четырехугольником деревянные планки с натянутым на них холстом, на котором странно выдавалась нескладная, зеленая, словно бы закутанная человеческая фигура: покрыв контур мертвеца на холсте перегнутом, женщины-дароносительницы засеяли его пшеницей, которую поливали, а когда она взошла, подстригали, и поэтому фигура лежала на земле зеленым рельефом.

Сюда Иосиф часто приходил с Вениамином, родным своим братом, который, достигнув уже восьмилетнего возраста, начал выходить из-под опеки женщин и охотно присоединялся к первенцу своей матери, — толстощекий малыш, не разгуливавший уже голышом, а носивший длинное, до колен, одеянье из синей или бурой шерсти с вышивкой по краю и короткими рукавами. У него были красивые серые глаза, которые он поднимал к старшему брату с выраженьем яснейшего доверья, и густые, металлического отлива волосы, покрывавшие его череп от середины лба до затылка, как толстый зеркальный шлем с вырезами для ушей, таких же маленьких и крепких, как его нос и короткопалые руки, одну из которых он всегда давал брату, когда они вместе шагали. Нрава он был ласкового, приветливости Рахили была в нем. Но на маленьком этом человечке лежала и тень робкой грусти, ибо учиненное им в досознательном состоянии не осталось ему неизвестным: он знал час и причину смерти матери, и его постоянное чувство трагически невинной вины подкреплялось отношением к нему Иакова, которое отнюдь не было лишено нежности, но определялось мучительной робостью. Так что отец скорее избегал, чем искал его общества, но время от времени горячо и подолгу прижимал к сердцу своего младшего, называл его Бенони и говорил ему на ухо о Рахили.

Поэтому малышу, когда он перестал держаться за юбки женщин, было не очень легко с отцом. Тем сильнее привязывался он к своему единоутробному брату, которым всячески восхищался и который, хотя всякий при виде его улыбался и поднимал брови, был довольно одинок, а значит, мог нуждаться в такой привязанности, да и сам остро чувствовал естественное свое единство с малышом, отчего и взял его в друзья и поверенные — настолько даже пренебрегая разницей в возрасте, что Вениамина это больше, пожалуй, смущало и затрудняло, чем наполняло счастьем и гордостью. Да, умный и распрекрасный «Иосеф» — так произносил Бенони имя брата — рассказывал и доверял ему больше, чем вмещало его младенчество, и как ни старался он вобрать в себя эти речи, они сгущали тень меланхолии, лежавшую на маленьком матерубийце.

Рука в руке, уходили они подальше от масличного сада Иакова на холме, где сыновья служанок собирали и давили маслины. Они прогнали оттуда Иосифа после того, как он донес отцу, который сидел на скотном дворе и принимал отчет у стоявшего перед ним Елиезера, что

по их вине почти на всех деревьях перезрели плоды и масло поэтому получалось грубое, и к тому же братья, по его мнению, слишком рьяно давили и мяли плоды в маслобойнях, вместо того чтобы осторожно выжимать из них сок. После того как отец отчитал братьев, Дан, Неффалим, Гад и Асир, с простертыми руками и перекошенными ртами, велели доносчику, или даже клеветнику, убраться прочь. Иосиф позвал Вениамина и сказал ему:

— Пойдем на наше место.

По дороге он говорил:

— Я выразился: «почти на всех деревьях» — согласен, это было преувеличение, обычное дело, когда говоришь. Скажи я «на многих», получилось бы точнее, это я признаю, ведь я же сам взбирался на то старое, трехствольное дерево, что за оградой, я собирал маслины и бросал их на подстилку, а братья, увы, сбивали плоды камнями и палками, и я собственными глазами видел, что уж на старых-то деревьях — не буду говорить об остальных — плоды действительно перезрели. А они делают вид, будто я вообще лгу и будто можно получить хорошее масло, швыряя, как они, в священный дар камнем и все раздрызгивая. Мыслимо ли видеть такое и не пожаловаться?

— Нет, — отвечал Вениамин, — ты разумнее их, и ты должен был пойти к отцу, чтобы он обо всем узнал. Я очень рад, что ты поссорился с ними, маленький Иосеф, ведь поэтому ты позвал брата правой руки.

— Статный Бен, — сказал Иосиф, — давай теперь с разбегу перемахнем через эту ограду, раз, два, три...

— Хорошо, — отвечал Вениамин. — Только не отпускай меня! Прыгать вместе мне, малолетнему, и веселее, и безопаснее.

Они разбежались, перепрыгнули через ограду и пошли дальше. Когда рука Вениамина в его руке становилась слишком горячей и влажной, Иосиф обычно брал ее за запястье, которого Вениамин не напрягал, и размахивал ею, чтобы она высохла на ветру. Малыша всегда так смешило это проветривание, что он даже спотыкался от хохота.

Достигнув миртового оврага и рощи бога, они должны были разнять руки и пойти друг за другом: тропинки между кустами были слишком узки. Они составляли лабиринт, блуждание в котором всегда забавляло братьев; было любопытно, далеко ли удастся продвинуться по какой-нибудь петляющей дорожке, прежде чем она упрется в непроходимые заросли, и можно ли в обход, в гору или под гору, пробраться дальше, или же нужно повернуть назад, рискуя, впрочем, сбиться и с этой, так далеко уведшей дороги и снова зайти в тупик. Они болтали и смеялись, продираясь сквозь заросли и защищая лицо от ударов и царапин, и порою Иосиф отламывал от куста, по-весеннему белевшего цветами, ветку-другую, набирая их в руку: здесь запасался он миртом для венков, которые любил носить в волосах. Сначала Вениамин пытался подражать брату, он тоже набирал себе веток и просил Иосифа сплести венок и ему. Но он заметил, что Иосиф бывал недоволен, когда и он, Вениамин, украшал себя миртами, что тот, не высказываясь прямо, оберегал особое свое право на это убранство. Малышу казалось, что тут крылись какие-то тайные мысли, которые и вообще — это Вениамин тоже замечал — водились у Иосифа: ведь как раз при нем, братце, Иосиф не всегда держал язык за зубами. Бенони подозревал, что невысказанная, но заметная ревность брата к украшению миртами каким-то образом связана с избранием наследника, с номинальным первородством, с благословением, которое было, как известно, предназначено ему отцом и маячило перед ним, — однако этим делом явно не исчерпывалось.

— Не беспокойся, малыш! — говорил Иосиф, целуя своего спутника в прохладный шлем его волос. — Я сделаю тебе дома венок из дубовых листьев или из пестрых колючек или рябиновый с красными бисеринами, — ладно? Ведь он будет еще красивее, правда? Зачем тебе мирты! Они тебе не к лицу. Нужно уметь выбирать подходящие украшения.

И Вениамин отвечал:

— Верно, ты прав, и я согласен с тобой, Иосифа, Иашуп, мой Иегосиф. Ты безмерно умен, и я не смог бы сказать того, что говоришь ты. Но когда ты что-либо говоришь, я вижу

это и соглашаюсь с твоими мыслями, и они делаются моими, и я становлюсь умным твоим умом. Мне совершенно ясно, что нужно умеючи выбирать украшения и что не каждое из них подходит каждому. Я вижу, ты хочешь на этом остановиться и оставить меня не более умным, чем я сейчас стал. Но даже если бы ты пошел дальше и пустился перед братом в более подробные объяснения, я бы постарался поспевать за тобой. Поверь маленькому Вениамину, на него можно положиться.

Иосиф промолчал.

— Я слышал от людей, — продолжал Вениамин, — что мирт — это знак юности и красоты. Так говорят взрослые, а когда так говорю я, это смешит и тебя, и меня, ведь ни по звучанию, ни по их смыслу такие слова мне не подходят. Юн-то я юн, то есть я мал, о да, меня нельзя назвать юным, я просто карапуз, юн ты, а красив ты так, что весь мир только об этом и говорит. Я же, скорее, забавен, чем красив, — если поглядеть на мои ноги, то они слишком коротки по сравнению со всем остальным, и живот у меня еще вздутый, как у сосунка, и щеки круглые, словно я надул их, не говоря уж о волосах на моей голове, которые похожи на выхухолевую шапку. Так что если мирт подобает юности и красоте и в этом все дело, то, конечно, он подобает тебе, и я совершил бы ошибку, украсившись им. Я прекрасно знаю, что в таких вещах можно ошибиться и причинить себе вред. Видишь, я и сам, без твоих слов, кое-что понимаю, но, конечно, не все, ты уж помоги мне.

— Милый ты мой человек, — сказал Иосиф и обнял его одной рукой. — Мне очень нравится твоя выхухолевая шапка, да и животик и щечки, по мне, вполне хороши. Ты мой братец правой руки и одной со мной плоти, ибо мы вышли из одной и той же пучины, которую вообще-то называют «Абсу». А для нас имя ее — Мами, прекрасная, за которую служил Иаков. Давай-ка спустимся к камню и отдохнем!

— Давай, — отвечал Вениамин. — Мы поглядим на садики женщин на холстах и в горшках, и ты объяснишь мне насчет погребенья, я люблю это слушать. Разве только потому, что Мами умерла из-за меня, — добавил он, спускаясь, — и половиной своего имени я сынок смерти, разве только поэтому мне тоже были бы к лицу мирты, ибо я слышал, что они украшают и смерть.

— Да, мир скорбит о юности и красоте, — сказал Иосиф, — по той причине, что Ашера заставляет плакать своих избранников и губит тех, кого она любит. Наверно, поэтому мирт и слывет кустарником смерти. Понюхай, однако, эти ветки, — слышишь, какой острый запах? Горек и терпок миртовый убор, ибо это убор полной жертвы, он сбережен для сбереженных и назначен назначенным. Посвященная юность — вот имя полной жертвы. Но мирт в волосах — это растение не-тронь-меня.

— Теперь ты уже не обнимаешь меня, — заметил Вениамин. — Ты отнял свою руку, и малыш идет отдельно от тебя.

— Изволь, вот моя рука! — воскликнул Иосиф. — Ты мой праведный братец, и дома я совью тебе венок из самых разных полевых цветов, такой венок, что кто ни увидит тебя, засмеется от радости, — хочешь, сразу на том и порешим?

— Это очень мило с твоей стороны, — сказал Вениамин. — Дай-ка твой кафтан, чтобы я прикоснулся губами к его краю!

Он подумал: «По-видимому, он имеет в виду избранье наследника и первородство. Но это уже что-то новое и странное — насчет полной жертвы и растения не-тронь-меня. Возможно, что он думает об Исааке, когда говорит о полной жертве и о посвященной юности. Во всяком случае, он дает мне понять, что мирт — это украшение жертвы; это меня немало пугает».

Вслух он сказал:

— Ты еще красивее, когда говоришь так, как сейчас, и мне, по глупости моей, невдомек, откуда исходит этот запах мирта, который я слышу, — от деревьев или от твоих слов. Вот мы и пришли. Гляди, с прошлого раза даров прибавилось. Появилось два божка на холстах и два сосуда с ростками. Женщины здесь побывали. Перед гротом они тоже поставили садики, надо

будет их осмотреть. А камень остался нетронутым, его не сдвигали с могилы. Там ли владыка, прекрасный образ, или он в другом месте?

Чуть поодаль, в склоне оврага, была скалистая, заросшая кустами пещера; невысокая, но длиной с человеческий рост, неплотно затворенная камнем, она служила женщинам из Хеврона для праздничных обрядов.

— Нет, — отвечал Иосиф на вопрос брата, — образ не здесь, и целый год его вообще никто не видит. Он хранится в храме Кириаф-Арбы, и только в праздник, в день солнцеворота, когда солнце начинает убывать и свет покоряется преисподней, его выносят, и женщины правят над ним обряд.

— Они хоронят его в пещере? — допытывался Вениамин.

Однажды он спросил это впервые, и тогда Иосиф объяснил ему все. Позднее малыш делал вид, будто забыл объяснения брата, — чтобы получить их снова и послушать рассказы Иосифа об Адонаи, убитом овчаре и владыке, которого оплакивал мир. Ибо при этом Вениамин вслушивался не столько в слова брата, сколько в самый тон и ход его речи, и у него возникало смутное ощущение, что он улавливает тайные мысли Иосифа, которые — так казалось — были растворены в его речи, как соль в море.

— Нет, хоронят его позже, — ответил Иосиф. — Сначала они ищут его.

Он сидел у подножья камня Астарот, черноватой, шершавой, словно бы в волдырях, пирамиды, и его руки, на тыльной стороне которых, двигаясь, проступали тонкие пясти, начали вить венки из собранных веток.

Вениамин разглядывал его сбоку. Тусклый блеск у него под виском и на подбородке показывал, что Иосиф уже брил бороду; он делал это с помощью смеси масла и щелока и каменного ножа. Ну, а если бы он отпускал бороду, что тогда? Можно было представить себе, что это очень бы его изменило. Длинную бороду он, пожалуй, не успел бы еще отрастить — но все-таки что стало бы тогда с его красотой, особенно красотой его семнадцати лет? Да носи он на шее собачью голову, это преобразило бы его, по сути, не больше! Хрупкая вещь красота, надо признать.

— Они ищут его, — сказал Иосиф, — ибо он их величественная пропажа. Даже те женщины, что спрятали образ в кустах, ищут вместе со всеми, они и знают, и не знают, где он, они нарочно сбиваются с пути. Они блуждают, ищут и плачут, плачут все вместе и в то же время каждая в одиночку: «Где ты, прекрасный мой бог, мой супруг, мой сын, мой пестрый овчар? Я тоскую о тебе! Что стряслось с тобой в роще, в мире, среди зеленых деревьев?»

— Но ведь они же знают, — вставил Вениамин, — что владыка растерзан и мертв?

— Нет еще, — возразил Иосиф. — На то и праздник. Они знают это, потому что это однажды было открыто, и еще не знают этого, потому что еще не настал час открыть это снова. У каждого часа праздника свое знание, и каждая женщина — ищущая богиня, куда она не нашла.

— Но потом они находят владыку?

— Ты это говоришь. Он лежит в кустах, и один бок у него растерзан. Столпившись вокруг него, они все воздевают руки и пронзительно кричат.

— Ты слышал и видел это?

— Ты знаешь, что я уже дважды слышал это и видел, но я взял с тебя слово, что ты ничего не расскажешь отцу. Ты не проговорился?

— Ни единым словом! — заверил его Бенони. — Зачем мне огорчать отца? Я достаточно огорчил его своей жизнью.

— Я опять схожу, когда подойдет время, — сказал Иосиф. — Сейчас мы находимся на одинаковом расстоянии от прошлого раза и от следующего. Когда давят маслины, остается как раз половина круговорота. Это чудесный праздник. Владыка лежит в кустах, вытянувшись, со смертельной, зияющей раной.

— Каков же он на вид?

— Я тебе описывал его. Он хорош собой и сделан из масличного дерева, воска и стекла, ибо зрачки его сделаны из стекла, и у него есть ресницы.

— Он юн?

— Я же говорил тебе, что он юн и прекрасен. Прожилки желтого дерева похожи на тонкие сплетения жил его тела, кудри у него черные, на нем пестротканая набедренная повязка, украшенная финифтью и жемчугами, с червленной бахромой по краю.

— А что у него в волосах?

— Ничего, — коротко ответил Иосиф. — Его губы, ногти и родимые пятна сделаны из воска, и страшная рана от клыка Ниниба тоже выложена красным воском. Она кровоточит.

— Ты сказал, что женщины очень убиваются, когда его находят?

— Очень. До сих пор был только плач о пропаже, а теперь начинается великий плач о находке, куда более пронзительный. Владыку Таммуза оплакивают флейты, ибо здесь же сидят дудочники и что есть силы дуют в короткие флейты, рыданье которых пробирает тебя насквозь. Женщины распускают волосы и делают нескромные телодвиженья, причитая над мертвецом: «О супруг мой, дитя мое!» Ибо каждая из них подобна богине, и каждая плачет: «Никто не любил тебя больше, чем я!»

— Я не могу удержаться от слез, Иосиф. Для такого маленького, как я, смерть владыки — слишком уж страшное горе, и слезы так и подступают у меня к горлу. Зачем же понадобилось, чтобы этот юный красавец был растерзан в роще, в мире, среди зеленых деревьев, если теперь о нем так скорбят?

— Ты этого не понимаешь, — отвечал Иосиф. — Он страдалец и жертва. Он спускается в пропасть, чтобы выйти из нее и прославиться. Аврам знал это, когда заносил нож над истинным сыном. Но когда он нанес удар, на месте сына оказался овен. Поэтому, принося в полную жертву овна или агнца, мы вешаем на него ярлык с изображением человека — в знак замены. Но тайна замены глубже, она заключена в звездном соотношении человека, бога и животного и есть тайна взаимозаменяемости. Как человек приносит в жертву сына в животном, так сын приносит себя в жертву через посредство животного. Ниниб не проклят, ибо сказано: нужно заколоть бога, и намеренье животного есть намеренье сына, который, как на празднике, знает свой час, и знает тот час, когда он разрушит жилище смерти и выйдет из пещеры.

— Скорее бы дело дошло до этого, — сказал малыш, — и начался праздник радости! И что же, они кладут владыку вон в ту могилу и в ту пещеру?

Продолжая вить венок, Иосиф слегка раскачивал туловище и напевал в нос:

Во дни Таммуза играйте на цевнице яшмовой,
Бренчите на сердоликовых кольцах!..

— Они с плачем несут его к этому камню, — сказал он потом, — и дудочники играют все громче и громче, так что звуки их флейт надрывают сердце. Я видел, как женщины хлопотали над образом, лежавшим у них на коленях. Они омыли его водой и умастили нардовым маслом, отчего лицо владыки и его испещренное жилками тело сильно лоснились. Затем они обмотали его полотняными и шерстяными повязками, закутали в червленые ткани и положили на носилки у этого камня, не переставая плакать и причитать в лад дудочникам:

Скорблю о Таммузе!
Скорблю о тебе, возлюбленный сын мой, весна моя, свет мой!
Адон! Адонаи!
Мы садимся на землю в слезах,
Ибо ты мертв, о мой бог, супруг мой, мой сын!
Ты — тамариск, которого не вспоила на грядке вода,
Который не поднял своей вершины над полем,

Росток, которого не посадили в водоотводе,
Побег, которого корень вырван,
Трава, которой не вспоила вода в саду!
Скорблю о тебе, мой Даму, дитя мое, свет мой!
Никто не любил тебя больше, чем я!

— Ты, видно, знаешь весь плач дословно?

— Знаю, — сказал Иосиф.

— И тебя тоже он очень трогает, как мне кажется, — прибавил Вениамин. — Когда ты пел, у тебя один или два раза был такой вид, словно и ты вот-вот зарыдаешь, хотя женщины города справляют праздник по-своему, и сын — вовсе не Адонаи, бог Иакова и Авраама.

— Он сын и возлюбленный, — сказал Иосиф, — и он — жертва. Что за вздор, я вовсе не думал рыдать. Ведь я же не маленький и не такой плаксивый, как ты.

— О нет, ты юн и прекрасен, — покорно сказал Вениамин. — Сейчас будет готов венчик, который ты плетешь для себя. Я вижу, ты сделал его спереди выше и шире, чем сзади, наподобие диадемы, — чтобы доказать свою ловкость. Я рад тому, что ты наденешь его, больше, чем рябиновому венку, который ты собираешься мне сплести. И стало быть, этот прекрасный бог лежит на носилках четыре дня?

— Ты это говоришь, и ты не забыл этого, — отвечал Иосиф. — Твой разум растет, и скоро он станет круглым и полным, так что с тобой можно будет говорить решительно обо всем. Да, он лежит там вплоть до четвертого дня, и каждый день в рошу приходят горожане с дудочниками, бьют себя в грудь при виде его и плачут:

О Дузи, властелин мой, как долго ты здесь лежишь!
О бездыханный владыка овчарни, как долго ты здесь лежишь!
Я не стану есть хлеб, я не стану пить воду,
Ибо юность погибла, погиб Таммуз!

Так они плачут и в храме и в домах, но на четвертый день они приходят и кладут его в ковчег.

— В ящик?

— Нужно говорить «ковчег». Вообще-то «ящик» тоже достаточно точное слово, но в этом случае оно неуместно. Искони говорят «ковчег». Владыке он приходится как раз впору, его делают по мерке из свилеватого, красно-черного дерева, и он пригнан к образу как нельзя лучше. Положив Его в ковчег, они приколачивают крышку, просмаливают доски и со слезами хоронят владыку вон в той пещере, затем заваливают вход в нее камнем и возвращаются домой.

— И больше уже не плачут?

— Это ты плохо запомнил. Плач продолжается в храме и в домах еще два дня с половиной. А на третий день, когда стемнеет, начинается праздник горящих светильников.

— Этому я заранее радовался. Они зажигают несколько плошек?

— Бесчисленное множество плошек и повсюду, — сказал Иосиф, — все, сколько у них есть. Вокруг домов, под открытым небом, и на дороге, ведущей сюда, и здесь, и в этих кустах — везде горят плошки. Люди приходят к могиле и плачут снова, и это даже самый горький плач, до сих пор флейты ни разу так душераздирающе не вторили причитанью: «О Дузи, как долго ты здесь лежишь!» — и долго еще после этого плача у женщин не заживают царапины на груди. Но в полночь все стихает.

Вениамин схватил руку брата.

— Все стихает внезапно? — спросил он. — И все молчит?

— Они стоят, не шевелясь, и безмолвствуют. Стоит тишина. Но вот издали доносится голос, одинокий, звонкий и радостный голос: «Таммуз жив! Владыка воскрес! Он разрушил жилище смерти и тени! Слава владыке!»

— О, какая весть, Иосиф! Я знал, что они дождутся своего торжества, и все-таки я дрожу от волнения, как будто я услышал об этом впервые. А кто же кричит?

— Девочка с тонкими чертами лица, особо избираемая каждый год заново. Ее родители очень гордятся этим и пользуются большим почетом. Вестница приходит с лютней в руке, она играет и поет:

Таммуз жив, Адон воскрес!
Слава Ему, слава, слава владыке!
Вежды свои, что смерть сомкнула. Он их отверз,
Уста свои, что смерть сомкнула. Он их отверз,
Ноги Его, что скованы были, ходят опять,
Цветы и травы повсюду, куда Он ни ступит, растут.
Слава владыке, слава Адонаи!

И покуда девочка идет и поет, они все бросаются к могиле. Они отваливают камень, и ковчег оказывается пуст.

— Где же Растерзанный?

— Его уже нет. Могила не удержала его, он пробыл в ней только три дня. Он воскрес.

— О!.. Но, Иосиф, как же... Прости меня, пухлощекого карапуза, но что ты говоришь? Прощу тебя, не обманывай сына своей матери! Ведь ты же сам не раз говорил мне, что прекрасный образ хранится в храме от года до года. Как же понимать слово «воскрес»?

— Дурачок, — отвечал Иосиф, — нескоро еще твой разум станет круглым и полным. Хоть он и растет, он похож на челнок, который качают и носят волны небесного моря. Разве я говорю тебе не о празднике, у которого есть определенные часы? И люди, что справляют его час за часом, зная следующий час, но освящая текущий, тоже, по-твоему, себя обманывают? Ведь все они знают, что образ хранится в храме, и все-таки Таммуз воскресает. Ты, пожалуй, думаешь, что поскольку образ не бог, то и бог не образ. Будь осторожнее, ты ошибаешься! Ибо образ — это орудие настоящего времени и праздника. А Таммуз, владыка, — это владыка праздника.

С этими словами он надел себе на голову венок, потому что закончил его.

Вениамин глядел на него широко раскрытыми глазами.

— Бог наших отцов, — воскликнул он в восторге, — как идет тебе диадема из миртовых веток, которую ты сделал для себя при мне умелыми своими руками! Только тебе она и к лицу, и я, когда представляю себе ее на моей выхухолевой шапке, понимаю, какая бы это была ошибка, если бы ты не оставил ее для себя. Скажи мне правду, — продолжал он, — и расскажи мне еще: когда люди города находят ковчег и могилу пустыми, они, наверно, задумчиво, тихо и радостно расходятся по домам?

— Тогда-то и начинается ликование, — возразил Иосиф, — это самый разгар веселого праздника. «Пуста, пуста, пуста!» — кричат они наперебой. «Могила пуста, Адон воскрес!» Они целуют девочку и кричат: «Слава владыке!» Затем они целуются друг с другом и кричат: «Славен Таммуз!» А затем, при свете плошек, пляшут и водят хороводы вокруг этого камня Астарот. В ярко освещенном городе тоже царят веселье и радость, люди едят и пьют, и воздух непрерывно оглашается счастливой вестью. И даже на следующий день горожане, встречаясь, дважды целуют друг друга и восклицают: «Воистину воскрес!»

— Да, — сказал Вениамин, — так оно и есть, так ты мне и рассказывал. Только я забыл это и почему-то решил, что они тихо расходятся по домам. Какой чудесный праздник, чудесный в каждый свой час! И значит, на этот год владыке вознесена глава, но он знает час, когда Ниниб снова поразит его среди зеленых деревьев.

— Не «снова», — поправил его Иосиф. — Это всегда один и тот же и первый раз.

— Как ты говоришь, милый брат, так и есть. Я выразился неудачно, это была незрелая речь карапуза. Всегда один и тот же и первый раз, ибо Он владыка праздника. Но если задуматься, то для того, чтобы установился этот праздник, прекрасный Таммуз, наверно, должен был один раз и первый раз умереть — или нет?

— Когда Иштар исчезает с неба и спускается, чтобы разбудить сына, это событие как раз и происходит.

— Ну да, наверху. А как обстоит дело здесь, внизу? Ты называешь событие. А ты назови мне историю.

— Они говорят, что в Гебале, у подножья покрытой снегом горы, — отвечал Иосиф, — жил царь, у которого была миловидная дочь, и Нана, как там зовут Астарот, наслала на него дурость потехи ради, и он, охваченный вождельем к родной плоти и крови, познал собственную свою дочь.

С этими словами Иосиф указал назад от себя, на знаки, высеченные в памятнике, у которого они сидели.

— Она забеременела, и когда царь увидел, что он — отец своего же внука, его охватили смятенье, гнев и раскаянье, и он решил убить ее. Но боги, прекрасно зная, что это подстроила Ашрат, превратили беременную в дерево.

— В какое дерево?

— Это было не то дерево, не то куст, — сказал Иосиф недовольно, — не то куст, могучий, как дерево. Я там не был, и поэтому не могу тебе сказать, какой был нос у царя и какие серьги у няньки его дочери. Хочешь слушать — так слушай и не бросай мне незрелых вопросов, как камни в огород!

— Если ты будешь браниться, я заплачу, — жалобно сказал Вениамин, — тогда тебе придется меня утешать. Поэтому лучше не бранись и поверь, что я больше всего хочу слушать!

— Через десять месяцев, — продолжал Иосиф свой рассказ, — дерево вдруг растворилось. Да, после этого срока оно распахнулось, и из него вышел мальчик, Адонаи. Его увидела Ашера, которая все это подстроила, и решила никому его не уступать. Поэтому она спрятала его в Дольнем Царстве у владычицы Эрешкигаль. Но и та не захотела никому его уступать и сказала: «Я никогда не выпущу его отсюда, ибо это — страна, откуда нет возврата».

— Почему нее оба владычицы никому не уступали его?

— Никому и друг другу тоже. Ты можешь обойтись без расспросов. Но если из одного вытекает другое, достаточно сказать первое, а второе уже и так понятно. Адон был сыном миловидной, и Нана была сама причастна к его рождению, а значит, ясно без слов, что он должен был стать предметом зависти. Поэтому, когда владычица вожделья пришла в Дольнее Царство, чтобы его потребовать, владычица Эрешкигаль донельзя испугалась и сказала привратнику: «Поступи с ней так, как положено по обычаю!», и владычице Аштарти пришлось проследовать через семь ворот, оставляя у каждого в руках привратника какую-либо часть своего наряда — то покрывало, то ожерелье, то кушак или пряжку, а у последних ворот — срамной плат, так что она явилась к владычице Эрешкигаль за Таммузом нагой. Тут обе владычицы согнули пальцы крючками и бросились друг на друга.

— Они царапались ногтями из-за него?

— Да, они трепали друг друга за волосы, намотав их себе на руку, вот до чего довела их зависть. А потом владычица Эрешкигаль заперла владычицу Аштарти в Дольнем Царстве на шестьдесят замков и наслала на нее шестьдесят болезней, и земля напрасно Ждала ее возвращения, и все перестало расти и цвести. Ночью нивы становились белыми, поля урождали соль. Не всходили травы, не колосились хлеба. Быки не покрывали больше коров, ослы не склонялись над ослицами, мужчины над женщинами. Материнское чрево не отверзалось. Жизнь, из которой ушло вожделение, застыла в тоске.

— Ах, Иосифиа, перейди поскорее к другим часам истории, не празднуй больше этого ее часа! Я не в силах слышать, что ослы не склонялись над ослицами и что земля покрылась язвами соли. Я заплачу, и тогда у тебя будут хлопоты из-за меня.

— Гонец бога тоже заплакал, когда это увидел, — сказал Иосиф, — и со слезами доложил об этом владыке богов. Тот сказал: «Не годится, чтобы ничего не цвело. Придется вмешаться». И вмешался и, выступив посредником между владычицами Астарот и Эрешкигаль, установил, что одну треть года Адони будет отныне проводить в Дольнем Царстве, одну треть на земле и одну треть там, где ему самому захочется. Так Иштар вывела своего возлюбленного на землю.

— Где же отпрыск дерева проводил третью треть года?

— Это трудно сказать. В разных местах. Он был предметом зависти и происков зависти. Астарот любила его, но многие боги уводили его к себе и не хотели никому уступить.

— Боги мужского пола, сходные со мной? — спросил Вениамин.

— Какого ты пола, — отвечал Иосиф, — это ясно и общепонятно, но с богами и полубогами дело обстоит не так просто. Многие называют Таммуза не владыкой, а владычицей. Они имеют при этом в виду богиню Нану, но в то же время и бога, который с нею находится, или его вместо нее, ибо разве Иштар — женщина? Я видел ее кумир с бородой. Но почему же я не говорю: «его кумир»? Иаков, отец наш, кумиров себе не творит. Не творить кумиров — это, несомненно, самое умное. Но нам приходится говорить, и неловкая однозначность наших слов грешит против правды. Скажи, Иштар — это утренняя звезда?

— Да, и вечерняя.

— Значит, она и то и другое. А на одном камне я прочитал о ней: «Вечером женщина, утром мужчина». Как же тут сотворишь кумир? И какое тут слово употребишь, — «он» или «она», — чтобы не погрешить против правды? Я видел кумир бога воды, которая орошает поля Египта, и одна грудь у него была женская, а другая — мужская. Таммуз, возможно, был девой и стал юношей только в силу своей смерти.

— Разве смерть способна изменить пол?

— Мертвец — бог. Он — Таммуз, пастух, которого здесь зовут Адонисом, а там, внизу — Усири. Там он с бородкой, даже если при жизни и был женщиной.

— Ты говорил, что у Мами были очень нежные щеки и что они благоухали, как лепестки роз, когда ты их целовал. Я не хочу представлять себе ее бородатой! И если ты потребуешь этого от меня, я тебя не послушаюсь.

— Дурачок, я вовсе не требую этого от тебя, — со смехом сказал Иосиф. — Я просто рассказываю тебе о людях, что живут там, внизу, и о том, что они думают о необщепонятном.

— Пухлые мои щеки тоже нежны и мягки, — заметил Вениамин и погладил ладонями свои щеки. — Это потому, что я еще даже не юн, а мал. Ты же — юн. Поэтому ты брешься и держишь лицо свое в чистоте, покуда не станешь мужчиной.

— Да, я держу себя в чистоте, — ответил Иосиф, — а ты и так чист. У тебя щеки так же нежны, как у Мами, потому что ты еще подобен ангелу всевышнего, бога, владыки, господу, который обручен с нашим племенем и с которым оно обручено во плоти через завет Авраама. Ибо Он — наш кровный и ревнивый жених, а Израиль — невеста. Но это еще вопрос — невеста Израиль или жених. Это не общепонятно, и кумиром этого нельзя представлять, ибо Израиль — это, во всяком случае, обрезанный, посвященный и назначенный в невесты жених. Представляя себе элохима мысленно, я вижу его похожим на отца, который любит меня больше, чем моих товарищей. Но я знаю, что любит он во мне Мами, потому что я жив, а она мертва, — значит, она живет для него в другом поле. Я и мать — одно целое. Но глядя на меня, Иаков имеет в виду Рахиль, подобно тому как здешние жители имеют в виду Нану, когда называют Таммуза владычицей. — Я тоже, я тоже имею в виду Мами, когда я нежен с тобой, Иосифиа, милый мой Иегосиф! — воскликнул Вениамин, обнимая брата обеими руками. — Понимаешь, это замена и замещение. Ведь прекраснощекой суждено было уйти на

запад ради моей жизни, поэтому малыш от рожденья — сирота и преступник. Но ты мне как она, ты ведешь меня за руку в рощу, в мир, под зеленые деревья, ты рассказываешь мне праздник по всем его часам и сплетаешь мне венки, как сплетала бы их она, хотя, само собой разумеется, жалуешь меня не всякими ветками, приберегая иные для себя самого. Ах, если бы с ней не случилась в дороге эта беда и она осталась жива! Ах, если бы она была подобна дереву, которое без труда распахнулось и растворилось и выпустило отпрыска! Какое, ты сказал, это было дерево? Память моя коротка, как мои ножки и пальчики.

— Пойдем, пора! — сказал Иосиф.

НЕБЕСНЫЙ СОН

Тогда братья еще не называли его «сновидцем», но вскоре дело дошло до этого. Если они пока называли его только «Утнапиштим» и «Читатель камней», то добродушие этих, бранных по замыслу, кличек объясняется только недостатком у молодых людей изобретательности и воображенья. Они бы с удовольствием дали ему более ехидные прозвища, но им ничего не приходило в голову, и поэтому они обрадовались, когда представился случай прозвать его «сновидцем», что звучало уже все-таки ехиднее. Но этот день еще не настал; болтливое изложение сна о погоде, которым он утешил отца, казалось недостаточно, чтобы обратить их внимание на это его дерзкое свойство, а об остальных снах, давно уже посещавших его, он им покамест еще не говорил. Самых разительных снов он им вообще так и не рассказал, ни им, ни отцу. Те, что он им, на беду свою, рассказал, были еще сравнительно скромными. Зато уж Вениамину все выкладывалось; в часы откровенности тому случалось выслушивать и вовсе нескромные сны, умалчивать о которых вообще-то у Иосифа хватало сдержанности. Нечего и говорить, что малыш, будучи любопытен, выслушивал их с живейшим удовольствием и даже порой выпытывал. Но и без того, уже несколько омраченный смутными тайнами мирта, на него взваленными, он не мог, слушая брата, избавиться от чувства боязливой подавленности, которое приписывал своей незрелости, и поэтому старался преодолеть. Оно имело, однако, слишком объективные основания, и любой, пожалуй, встревожится перед лицом вопиющей нескромности такого сна, как нижеследующий, который Вениамину — и только ему — привелось слушать неоднократно. Но как раз это его особое, ни с кем не разделяемое общинничество, естественно, очень угнетало малыша, хотя он признавал его необходимость и был им польщен.

Этот сон Иосиф рассказывал чаще всего с закрытыми глазами, тихим, но временами порывисто повышающимся голосом, прижав кулаки к груди и явно волнуясь, хоть и просил Вениамина слушать как можно спокойнее.

— Смотри, не пугайся, не прерывай меня никакими возгласами, не плачь и не смейся, — говорил он брату, — иначе я не стану рассказывать.

— Как можно! — отвечал Вениамин каждый раз. — Я, правда, карапуз, но я не дурак. Я знаю, как мне быть. Покуда я буду спокоен, я постараюсь забыть, что это сон, чтобы как следует позабавиться. Но как только мне станет страшно или не по себе, я вспомню, что это ведь всего-навсего сон. Это сразу меня охладит, и я ничем не помешаю рассказу.

— Мне снилось, — начал Иосиф, — будто я был в поле со стадом, один среди овец, что паслись вокруг холма, на котором я лежал, и по его склонам. А лежал я на животе, с соломинкой во рту, болтая ногами, и мысли мои были так же ленивы, как мое тело. Вдруг на меня и на холм упала тень, как будто солнце закрыла туча, и одновременно воздух наполнился могучим трепетом, и когда я взглянул вверх, оказалось, что надо мною кружит огромный орел, величиной с быка и с бычьими рогами на лбу, — от него-то, оказывается, и падала тень, Меня сразу обдало ветром, ибо орел был уже надо мной, он схватил меня лапами за бедра и, гребя крылами, понес вверх, прочь от земли и от стада отца.

— О чудо! — восклицал Вениамин. — Не подумай, что я боюсь, но неужели ты не закричал: «На помощь, люди!»

— Нет, и по трем причинам, — отвечал Иосиф. — Во-первых, во всем поле не было никого, кто мог бы меня услышать; во-вторых, у меня захватило дух, и поэтому я никак не сумел бы закричать, если бы захотел, а в-третьих, мне вовсе не хотелось кричать. Наоборот, на душе у меня было так радостно, словно я давно этого ждал. Схватив меня сзади за бедра, орел держал меня когтями перед собой так, что его голова была над моей, а мои ноги свисали вниз, овеваемые ветром быстрого взлета. Время от времени он склонял свою голову к моей и глядел на меня своим мощным глазом. Потом он раскрыл свой железный клюв и сказал: «Хорошо ли я держу тебя, мальчик, и не слишком ли крепко сжал я тебя неодолимыми своими когтями? Знай, я за ними слежу, чтобы не причинить вреда твоему телу, ибо горе мне, если я причиню тебе вред!» Я спросил: «Кто ты?» Он ответил: «Я ангел Амфиил, которому дан этот образ для сегодняшней надобности. Ибо ты, дитя мое, не останешься на земле, ты будешь переселен, так решено». — «Но почему же?» — спросил я. «Молчи, — сказал шумнокрылый орел. — Держи язык за зубами и не задавай вопросов, как никто не задает их на небесах. Такова воля могущественного пристрастия, и тут не помогут никакие мудрствования, слова и расспросы тут бесполезны; лучше не обжигать язык о непостижимость!» После такого предупреждения я замолчал. Но сердце мое было полно ужасающей радости.

— Хорошо, что ты сидишь рядом со мной и что, значит, это был сон, — говорил Вениамин. — Но не было ли тебе немного грустно улетать от земли на орлиных крыльях и не было ли тебе немного жаль покинуть всех нас, например, меня, малыша?

— Я вас не покидал, — возражал Иосиф. — Я был отнят от вас и не мог ничего изменить, но мне казалось, что я этого ожидал. К тому же во сне ощущаешь не все, а только что-то одно, и я ощущал ужасающую радость. Она была велика, и великим было то, что происходило со мной, и поэтому то, о чем ты спрашиваешь, могло показаться мне малым.

— Я не сержусь на тебя за это, — говорил Вениамин, — я только удивляюсь тебе.

— Спасибо, маленький Бен! Прими еще во внимание, что от подъема у меня могла отняться память, ибо орел неустанно уносил меня все выше и выше. После двух двойных часов полета он сказал мне: «Погляди вниз, мой друг, на сушу и на море, какими они стали!» И суша была величиной с гору, а море шириной с реку. Еще через два двойных часа орел опять сказал: «Погляди, мой друг, какими стали суша и море!» И суша стала как сад, а море — как канава садовника. Когда же орел Амфиил показал их мне еще через два двойных часа, то суша, представь себе, была размером с лепешку, а море — с корзину для хлеба. После этого он еще два двойных часа нес меня вверх, а затем сказал: «Погляди вниз, мой друг, суша и море исчезли!» И они действительно исчезли, но мне не было страшно.

Через облачное небо Шеяким поднимался со мною орел, и крылья его насквозь промокли. Но в окутавшей нас серо-белой пелене виднелись золотые проблески, ибо на влажных островах то там, то сям стояли уже в своих золотых доспехах сыны неба и воины рати. Они глядели на нас из-под руки, а звери, лежавшие на подушках, поднимали носы и ловили ими ветер нашего полета.

Когда мы поднимались через звездное небо Ракия, в ушах моих стоял тысячеголосый гул благозвучья, ибо вокруг нас, под чудесную музыку своих чисел, ходили светила и планеты, а меж ними, на огненных подногах, с дощечками в руках, полными чисел, стояли ангелы и, не смея оборачиваться, пальцем указывали путь пролетающим с рокотом звезд. И кричали друг другу: «Хвала величию господу на месте его!» Но когда мы пролетали мимо них, они умолкали и опускали глаза.

Мне было и страшно и радостно, и я спросил орла: «Куда же и на какую еще высоту понесешь ты меня?» Он ответил: «На самую высшую высоту, на самый север вселенной, дитя мое. Ибо мне ведено напрямик и без проволочки доставить тебя на последнюю высоту в пределы Аработа, где находятся сокровищницы жизни, мира и благословенья, к верхнему своду,

в самую середину Великого Дворца. Это место колесницы и престола величия, который ты будешь отныне каждодневно обслуживать. Ты будешь стоять перед ним и владеть ключами, отпирающими и запирающими покои Аработа, и выполнять все, что тебе повелят еще». Я сказал: «Если я избран и выделен среди смертных, то так и быть. Это для меня не совсем неожиданно».

Тут я увидел страшную, из хрустального льда, крепостную стену, зубцы которой были усыпаны небесными воинами; они до пят прикрывали себя крыльями, и ноги у них были прямые, а ступни, так сказать, округлые, блестящие, как начищенная медь. Два смелого вида воина с гордыми складками между бровями стояли рядом, опираясь руками на изогнутые мечи. Орел сказал: «Это Аза и Азаил, из серафимов». И я услышал, как Аза сказал Азаилу: «За шестьдесят пять тысяч верст почую я его запах. Скажи мне, однако, чем пахнет рожденный женщиной и в чем достоинство того, кто возник из капли белого семени, если ему дозволено подняться на Высшее Небо и нести службу среди нас?» Азаил испуганно приложил палец к губам. А Аза сказал: «Нет, я полечу с ними и, представ перед Единственным Лицом, отважусь сказать свое слово, ибо я ангел молний, и мне не заказано говорить». И оба полетели за нами следом.

И через какие небеса, через какие сферы, полные восхвалявших господ сонмов огненных слуг ни мчал меня вцепившийся в мои бедра орел, везде, когда мы приближались, хвалебная песнь на миг умолкала, и каждый раз к нам присоединялось по несколько детей высоты, так что вскоре, спереди и сзади, нас сопровождали уже целые стаи крылатых существ, и крылья их шумели, как шумит полноводный поток.

О Вениамин, верь мне! Я видел семь огнезданных покоев Севула, и было в них семь ратей ангелов и семь огненных алтарей. Там главенствовал Верховный Князь по имени «Кто как бог?», облаченный в роскошные священнические одежды. Он приносил жертвы, и столбы дыма вздымались над алтарем всеожжения.

Не знаю, сколько прошло двойных часов и сколько мы пролетели верст, когда мы достигли высот Аработа и Седьмого Неба и ступили на его почву. Светлая и мягкая, она была так приятна моим подошвам, что подымавшаяся во мне волна восторга докатилась до самых глаз, и я заплакал. Перед нами и позади нас, ведя нас, стало быть, за собой и следуя за нами, двигались дети света. Меня взял и повел за руку некто сильный, голый до пояса, в золотой, по щиколотки, юбке, украшенный запястьями и бусами, в круглом шлеме на волосах, и кончики крыльев касались его пяток. У него были тяжелые веки и мясистый нос, и когда я глядел на него, красный его рот улыбался, но он не поворачивал ко мне головы.

И, подняв во сне глаза, я увидел, что повсюду сверкают доспехи и крылья и бесконечные полчища ангелов, сгрудившись вокруг своих хоругвей, в полный голос поют хвалебную и военную песнь, и все плыло передо мной золотом, молоком и розами. И я увидел вращающиеся колеса, ужасной высоты и с ужасными, горевшими, как яхонты, ободьями, и одно колесо вращалось в другом, а было их четыре, и они не смели поворачиваться. И ободья всех четырех колес были сплошь усеяны глазами.

А посредине искрилась огненными камнями гора, на которой стоял дворец, выстроенный из света сапфира, и туда-то мы и направились с сопровождавшими нас сзади и спереди толпами. Залы дворца кишели гонцами, стражами и распорядителями. Мы вошли в срединный колонный зал, которому не было видно конца: меня вели вдоль него, а по обе стороны колонн и между ними стояли херувимы, и у каждого было по шести крыл, и все они были сплошь покрыты глазами. Не знаю, как долго следовали мы между ними к престолу величия. И воздух был переполнен кликами тех, что стояли под колоннами, и тех, что стаями обступили престол: «Свят, свят, свят господь Саваоф, — кричали они, — мир исполнен славой его!» А толпились вокруг престола серафимы, которые, закрыв себе двумя крыльями ноги и двумя — лицо, все-таки нет-нет да поглядывали сквозь перья. И тот, что вел меня, сказал мне: «Спрячь и ты лицо свое, так полагается!» Я закрыл руками лицо, но тоже нет-нет да поглядывал сквозь пальцы.

— Иосиф, — восклицал Вениамин, — скажи ради бога: ты видел Единственное Лицо?

— Я видел, как оно сидело на престоле в сапфировом свете, — говорил Иосиф, — похожее на человека мужского пола, и была в нем доверительная величественность. Ибо борода и волосы на висках у него светились, и все оно было в добрых и глубоких морщинах. Подглазья у него были нежные и усталые, а глаза не очень большие, но карие и блестящие, они озабоченно вглядывались в меня, когда я приблизился.

— Мне кажется, — говорил Вениамин, — будто я вижу, как на тебя глядит Иаков, отец наш.

— То был отец вселенной, — отвечал Иосиф, — и я пал на лицо свое. Тогда я услышал голос, который сказал мне: «Встань на ноги, дитя человеческое! Ибо отныне ты будешь стоять у моего престола метатроном и отроком бога и ходить в ключах — отпирая и запирая мой Аработ. И под началом твоим будет все воинство, ибо господь благосклонен к тебе». И по толпе ангелов прошел рокот, словно зашевелилась несметная рать.

Но вот выступили вперед Аза и Азаил, разговор которых я уже слышал, и Аза, сараф, сказал: «Владыка миров, кто таков этот, чтобы явиться в высшие сферы и нести службу среди нас?» А Азаил, прикрыв глаза двумя крыльями, чтобы смягчить свои слова, — прибавил: «Разве он возник не из капли белого семени, и разве он не из племени тех, что пьют нечестье, как воду?» И я увидел, как омрачилось гневом лицо господя, и слова его прозвучали очень надменно, когда он в ответ сказал: «Кто вы такие, чтобы мне перечить? Кому хочу — потакаю и кого хочу — милую! И право, скорее, чем любого из вас, я назначу его князем и повелителем небесных высот!»

Тут по воинству снова прошел рокот, но это было похоже на поклон и на отступление. Херувимы ударили крыльями, и вся небесная рать громогласно воскликнула: «Хвала величию господя на месте его!»

А царь, не признавая никакой меры, добавил: «На него я кладу длань свою и благословляю его тремястами шестьюдесятью пятью тысячами благословений и дарую ему могущество и величие. Я воздвигну ему престол, подобный моему собственному, и покрою этот престол ковром, сотканным сплошь из блеска, света, красоты и величия. А посажу я его на этот престол у входа на Седьмую Высоту, ибо не знаю и не желаю знать меры. Пусть перед ним, от неба к небу, прогремит клич: «Внемлите и трепещите! Еноха, раба своего, я назначил владыкой и князем надо всеми князьями моего царства и надо всеми детьми неба, кроме разве что тех восьми могущественных и ужасных царей, к царскому имени которых прибавляется имя «бог». И с любым делом, требующим моего решения, любой ангел должен прежде всего явиться к нему и переговорить об этом деле с ним. Всякому же слову, которое он вам скажет от моего имени, вы обязаны внимать и повиноваться, ибо ему помогают князья мудрости и ума!» Вот какой клич пусть прогремит перед ним. Дайте мне одеяние и венец!»

И господь накинул на меня великолепное платье, сотканное из света разных цветов, и одел меня. И взял тяжелый обруч с сорока девятью камнями несказанного блеска. Перед лицом всего небесного воинства он собственноручно надел его мне на голову, вдобавок к платью, и назвал меня полным моим званием; Иагу-маленький, Внутренний князь. Ибо он не знал меры.

Тут снова отпрянули, содрогнулись и склонили головы все сыны неба, а также князья ангелов, могущественные, многосильные, и львы бога, которые выше, чем вся небесная рать, и те, что несут службу перед престолом величия, и еще ангелы огня, града, молнии, ветра, гнева и ярости, бури, снега и дождя, дня, ночи, луны и планет, держащие в своих руках судьбы мира, — и они тоже задрожали и ослепленно закрыли лицо.

А господь поднялся с престола и, не признавая совсем уже никакой меры, изрек: «Пробился однажды в долине нежный росток кедра, и я пересадил его на высокую, величественную гору и превратил в дерево, под которым живут птицы. И этого мальчика, что моложе всей рати годами, месяцами и днями, я, в непостижимости своей, возвеличил надо всеми из благо-

волею к нему и пристрастия! Я вверил его надзору все драгоценности покоев Арабита и все сокровища жизни, хранящиеся в высотах неба. Кроме того, его обязанностью стало надевать венцы на голову священным животным, украшать силой многопышные колеса, облекать великолепием херувимов, сообщать блеск и яркость огненным столпам и окутывать гордостью серафимов. Каждое утро, когда я собирался взойти на престол моего величия, дабы обозреть все высоты могущества моего, он надлежащим образом убирал мое место. Я закутал его в прекрасный наряд и надел на него плащ славы и гордости. Тяжелым обручем увенчал я его голову и уделил ему от величия, великолепия и блеска моего престола. Жаль только, что я не смог сделать его престол больше, чем мой собственный, и его величие еще больше, чем мое собственное, ибо оно бесконечно! Имя же ему было Маленький Бог!»

После этой речи загрохотал гром, и все ангелы пали на лицо свое. Но так как господь удостоил меня столь радостного избрания, плоть моя превратилась в пламя, жилы мои запылали, кости загорелись, как можжевеловый, ресницы засверкали молниями, глазные яблоки уподобились метеорам, волосы на моей голове — языкам пламени, члены мои — огненным крыльям, и я проснулся.

— Я весь дрожал, — говорил Вениамин, — слушая твой сон, Иосиф, ибо он превосходит все меры. Да и сам ты, кажется, тоже слегка дрожишь и немного побледнел, я сужу об этом по тому, как усилился тусклый блеск в тех местах, где ты скоблишь лицо бритвой.

— Смешно, — отвечал Иосиф. — Чтобы я дрожал от собственного своего сна?

— И что же, ты был вознесен на небо навсегда, безвозвратно, и больше вообще не вспоминал своих близких, например, меня, малыша? — спрашивал Вениамин.

— При всей своей простоте, — отвечал Иосиф, — ты можешь представить себе, что я был немного смущен этим произволом и благоволением и что мне некогда было предаваться воспоминаниям. Но еще немного — в этом я уверен, — и я вспомнил бы о вас и послал бы за вами, чтобы и вас возвысили вместе со мной — отца, женщин, братьев и тебя. При моей власти мне, конечно, это ничего не стоило бы. Послушай, однако, что я тебе скажу, Вениамин, которому я, ввиду твоей зрелости и твоего разума, все доверяю! Не вздумай болтать отцу или, того хуже, братьям о сне, который я тебе рассказал, ибо они могут его превратно истолковать!

— Ни в коем случае! — отвечал на это Вениамин. — Накажи меня дракон! Ты слишком легко забываешь разницу между карапузом и дураком, а она очень существенна. Я даже во сне не вздумаю проболтаться о том, что тебе вздумалось увидеть во сне. Но ты сам, Иосиф, прошу тебя, будь еще осторожнее, сделай мне, дорогой мой, такую милость! Ведь мне легче молчать, мне мешает проговориться благодарностью за твое доверие. А тебе она не мешает, потому что ты сам видел этот сон и полон им больше, чем я, которому ты лишь уделил от его великолепия и блеска. Поэтому думай о малыше, когда тебе очень захочется рассказать о том, какого радостного избрания тебя сподобил господь! Что касается меня, то я нахожу это избрание вполне заслуженным и злуюсь на Азу и Азаила за то, что они говорили господа под руку. Но отец, по своему обыкновению, наверно, встревожился бы, а братья стали бы отплевываться и наказали бы тебя от зависти. Ведь они же грубияны пред господом, как нам обоим известно.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. СНОВИДЕЦ

РАЗНОЦВЕТНАЯ ОДЕЖДА

Не к уборке урожая, как предполагалось, а уже к ночи весеннего полнолуния, второпях, вернулись сыновья Лии с пастбищ Шекема в Хеврон. Они явились якобы для того, чтобы поесть с отцом мяса пасхальной овцы и вместе с ним наблюдать луну, а на самом деле потому, что получили волнующее, касавшееся всех братьев известие, в правдивости которого долж-

ны были тотчас же и воочию убедиться, чтобы определить на месте, можно ли тут что-либо изменить или нет. Дело было настолько важное и пугающее, что сыновья служанок поспешили отрядить одного из своей среды в четырехдневную поездку из Хеврона в Шекем только для того, чтобы оповестить остальных братьев. Само собой разумеется, что гонцом назначили быстрого Неффалима. Вообще-то, с точки зрения скорости, было совершенно безразлично, кто отправится в путь. Неффалим тоже ехал верхом на осле, и какие ноги будут свисать с боков осла — короткие или длинные, это, строго говоря, ни малейшего значения не имело: на дорогу требовалось так или иначе около четырех дней. Но так уже повелось, что понятие быстрого передвижения связывалось с Неффалимом, сыном Валлы; должность гонца, по общему твердому мнению, принадлежала ему; а так как он был скор и в речах, то действительно получалось, что, по крайней мере, в последний миг братья узнали бы о положении дел от него немного быстрее, чем от любого другого.

Что же случилось? А то, что Иаков сделал подарок Иосифу. Ничего нового в этом не было. «Агнцу», «ростку», «небесному отроку», «сыну девы», или как там еще звучали все эти полные своенравного чувства прозвища, какими отец наделял читателя камней, издавна доставались при случае особые дары и всякие знаки нежного вниманья: то какие-нибудь лакомства, то красивые гончарные изделия, то приворотные камни, то червленые перевязки, то скарабеи, которыми он потом небрежно владел на глазах у хмурившихся, считавших себя обделенными братьев; к несправедливости, возведенной в правило, к чуть ли не назидательно подчеркиваемой несправедливости у них было уже время привыкнуть. Но этот подарок был необычного, тревожного свойства и имел, как приходилось опасаться, решающий смысл; он означал для всех для них оскорбление.

Дело было так Стояла пора поздних дождей, когда люди обычно отсиживались в шатрах. После полудня Иаков удалился в свой «волосяной дом», черный, из козьей шерсти, войлок которого, растянутый на девяти крепких шестах и привязанный прочными бечевками к вколотым в землю колышкам, вполне и надежно защищал от благодатной влаги. Это был самый большой шатер довольно широко раскинувшегося поселка, и как человек богатый, считавший нужным предоставить женщинам отдельный кров, глава семьи жил в нем один, хотя занавеска, протянутая от входа до задней стенки и укрепленная на средних шестах, делила его на два помещения. Одно из них служило личным складом и кладовой: здесь лежали верблюжьи седла и вьюки, неиспользуемые, скатанные и сложенные ковры, ручные мельницы и другая утварь, висели бурдюки с зерном, маслом, питьевой водой и пальмовым, выжатым из моченых фиников вином.

Другое отделение шатра было жильем благословенного и казалось, если принять во внимание его полукочевой образ жизни, весьма уютным. Уют нужен был Иакову. При всем своем нежелании связать и изнежить себя городским бытом, он нуждался в некоторых удобствах, когда отрешенно предавался своим раздумьям, мыслям о боге. Открытое спереди на высоту человеческого роста, это помещение было для тепла устлано войлоком, а поверх войлока еще и пестроткаными коврами, и такими же коврами были облицованы даже стенки. В глубине шатра стояла кедрового дерева кровать на железных ножках, покрытая подушками и одеялами. Здесь всегда и во множестве горели глиняные, на затейливых подставках светильники, плоские с короткими рыльцами для фитиля, ибо зазорным для благословенного убожеством было бы спать в темноте, и даже днем слуги подливали в них масла, чтобы даже и в прямом значении нельзя было употребить имевшую недобрый смысл поговорку и сказать, что светильник Иакова погас. Расписные известчатые кувшины с ручками стояли на плоской крышке смокового ларя, украшенного по стенкам синими, муравлеными накладками из глины. Крышка другого, резного и разрисованного ларя на высоких ножках была, в отличие от той, выпуклая. В углу стояла раскаленная жаровня, ибо Иаков отличался зябкостью. Не было недостатка и в табуретках, которые, однако, редко служили для сиденья, а больше употреблялись как подставки для всяких предметов обихода; на одном из них стояла маленькая

курильница, из окошкообразных отверстий которой клубился тонкий, пахнувший корицей, стираксой и камедью дымок; на другом покоился предмет, свидетельствовавший о достатке владельца, — дорогое, финикийского происхождения, изделие, неглубокая золотая чаша на изящной подставке, изображавшей в рукояточной своей части женщину-музыкантшу.

Сам Иаков сидел на подушках с Иосифом вблизи входа за низким табуретом, на бронзовой резной плите которого были разложены шашки. Для этого времяпрепровождения — прежде его партнером в подобных случаях бывала Рахиль — он и позвал сына к себе. На дворе шумел дождь, поливая маслины, кусты и камни и милостью божьей неся злакам долины влагу, необходимую им для того, чтобы продержаться до жатвы под солнцем раннего лета. Ветер побрякивал деревянными кольцами на крыше шатра, через которые продевались растяжные веревки.

Иосиф дал отцу выиграть. Он нарочно угодил на поле «Злой взгляд», чем поставил себя в такое затруднительное и невыгодное положение, что Иаков, к приятному своему удивлению, — ибо он играл очень невнимательно, — в конце концов одержал победу. Он признал, что играл рассеянно и что своим выигрышем обязан больше везенью, чем своей сообразительности.

— Если бы ты, дитя мое, так вовремя не оплошал, — сказал он, — я бы непременно проиграл, ибо мысли мои все время разбегались, и я допустил, несомненно, много грубых ошибок, а ты ходил умно и не упускал случая вознаградить себя за каждую неудачу. Твоя игра очень напоминает игру Маами, которая часто ставила меня в тупик. Я с умиленьем узнаю в тебе и ее привычку покусывать, размышляя, мизинец, и ее пристрастие к некоторым уловкам и хитростям.

— Что из того? — ответил Иосиф и выпрямился, откинув голову, отведя одну руку в сторону и прижав другую к плечу. — Исход игры говорит не в мою пользу. Если папочка одержал верх, играя рассеянно, то чего могло ждать дитя, напряги он вниманье? Игра быстро закончилась бы.

Иаков усмехнулся.

— Мой опыт, — сказал он, — старше, да и выучка у меня лучше, ибо еще мальчиком игрывал я с Ицхаком, дедом твоим с моей стороны, а позднее довольно часто с Лаваном, дедом твоим со стороны миловидной, в стране Нахараим, по ту сторону вод, который тоже был цепок и осторожен в игре.

Он тоже не раз нарочно проигрывал Ицхаку и Лавану, когда хотел привести их в хорошее настроение, но не догадался, что Иосиф поступил сейчас так же.

— Я в самом деле, — продолжал он, — играл сегодня не лучшим образом. Меня то и дело отвлекали от доски мои мысли, а мысли мои были о наступающем празднике, о близкой уже ночи жертвоприношения, когда мы после захода солнца закалываем овцу, окунаем в кровь пучок синего зверобоя и мажем ею притолоку, чтобы губитель прошел мимо нас. Ибо в эту ночь он проходит мимо нас и щадит нас ради нашей жертвы, и кровь на притолоках умиротворяет его и служит знаком, что первенец принесен в жертву взамен человека и скотины, которых ему хотелось убить. Об этом-то я и задумывался многократно, ибо многое человек творит, сам не понимая, что он творит. А пойми он это, у него, может быть, перевернулись бы внутренности, и то, что внизу, тошнотворно бы поднялось наверх, как это со мной случалось много раз в жизни, а впервые случилось в Синеаре за Пратом, когда я узнал, что Лаван заколол над жертвенником своего первенца и похоронил его в кувшине в подстенье для защиты дома. И думаешь, это принесло ему благополучие? Нет, только злополучие, проклятие и застои, и если бы я не пришел и не оживил его хозяйства и дома, то все бы так и погрязло в запустении, и он никогда не стал бы вновь плодовит в своей жене Адине. Но Лаван не заложил бы камнем сыночка, если бы в другие времена это не приносило удачи его предкам.

— Ты это говоришь, — отвечал Иосиф, который успел скрестить на затылке пальцы, — и объясняешь мне, как это произошло. Лаван действовал по отжившему обычаю и совершил

тем самым большую ошибку. Ведь господу отвратительны пережитки, от которых он хочет избавиться или уже избавил нас, и он клеймит их презрением и проклятьем. Поэтому, если бы Лаван умел жить в ладу с господом и со временем, он вместо мальчика заколол бы козленка и помазал его кровью порог и притолоку. Тогда он был бы угоден богу, а дым его жертвы вознесся бы прямо к небу.

— Ты говоришь это снова, — отвечал Иаков, — и опережаешь мою мысль и мои слова. Губитель зарится не только на скот, но и на человеческую кровь, и не только ради стада унимаем мы его алчность кровью животного на притолоках и жертвенным пиршеством, которое мы истово и поспешно творим ночью, чтобы к утру от жаркого ничего не осталось. Что это за жаркое, если призадуматься, и только ли за стадо расплачивается ягненок, когда мы его закалываем? Кого бы мы закалывали и съедали, будь мы так же невежественны, как Лаван, и кого закалывали и съедали в дикарские времена? Мы знаем, стало быть, какой обряд правим, когда пируем, так не должно ли то, что внизу, подняться наверх, не должно ли нас вырвать?

— Мы можем спокойно пировать, — сказал Иосиф легкомысленно высоким голосом и покачиваясь с запрокинутыми руками. — Обряд и жаркое превосходны, и если они сулят избавление, то с их помощью мы весело избавляемся и от дикарства, живя в ладу с господом и со временем! Вот перед тобой дерево, — воскликнул он, указывая вытянутой рукой в глубину шатра, как будто там можно было увидеть то, о чем он говорил, — у него прекрасный ствол и прекрасная вершина, оно посажено отцами на радость потомкам. Его вершина, сверкая, колыхается на ветру, потому что его корни глубоко застряли во мраке земном, в камнях и в пыли. Много ли знает веселая вершина о грязных корнях? Нет, благодаря господу, она поднялась над ними и качается себе, о них не задумываясь. Так же, по-моему, обстоит дело с обрядом и дикарством, и поэтому мы можем спокойно наслаждаться благочестивым своим обычаем, а то, что внизу, пускай и остается внизу.

— Красивое, красивое сравненье, — отвечал Иаков, кивая головой, и погладил себе бороду, собрав ее в ладонь, — меткое и удачное! Но это не значит, что не нужно раздумий, что напрасны заботы и беспокойство, которые были суждены Авраму и навеки суждены нам, чтобы мы освобождались от того, от чего нас хочет избавиться и, быть может, уже избавил господь, — вот в чем забота. Вот скажи, кто таков губитель и как понимать то, что он проходит мимо? Не проплывает ли прекрасная и полная луна в ночь праздника через самую северную, самую высшую точку своего пути, где и совершает, во всей своей полноте, назначенный поворот? Но самая северная точка принадлежит Нергалу, убийце; ему принадлежит ночь, Син управляет ею ради него, Син — это Нергал в этот праздник, и губитель, который проходит мимо и которого мы умиротворяем, — это Красный.

— Конечно, — сказал Иосиф. — Мы об этом не задумываемся, но это так.

— И вот какая забота, — продолжал Иаков, — отвлекала меня от игры. Меня беспокоила мысль, что наш праздник определяют светила, Луна и Красный, который в эту ночь занимает ее место. Но должны ли мы посылать светилам воздушные поцелуи и праздновать их истории? Не следует ли нам сокрушаться о том, что мы живем не в ладу с господом и со временем и грешим перед ними, не отступаясь по косной своей привычке от дикарства, от которого они хотят нас избавиться? Я не перестаю задаваться вопросом, не следует ли мне стать под дерево наставленья и, созвав людей, поделиться с ними своими заботами и тревогами относительно праздника Песах.

— Папочка, — сказал Иосиф, наклоняясь вперед и кладя возле шашечницы, свидетельствовавшей о его поражении, свою руку на руку старика, — папочка мой слишком щепетилен, его следует попросить воздержаться от опрометчивых и губительных поступков. Если дитя вправе считать себя спрошенным, то оно посоветовало бы пощадить праздник и не спешить нарушать его из-за его историй, ибо со временем они могут быть заменены другой историей, которую и будут потом рассказывать за ночной трапезой, — например, историей о том, как бог сохранил Исаака, она вполне подошла бы. Но лучше положиться на время и подождать,

не явит ли нам господь своего могущества каким-нибудь великим спасеньем и избавленьем: это мы и положим тогда в основу праздника, как его историю, и будем петь хвалебные песни. Благотворна ли речь глупца?

— Как бальзам, — ответил Иаков. — Она очень умна и утешительна, что я и определяю словами «как бальзам». Ты высказался в пользу обычая и одновременно в пользу будущего, — к чести своей. И высказался в пользу покоя, который все же является движеньем, поэтому душа моя отвечает тебе радостным смехом, Иосиф-эль, отпрыск нежнейшего дерева, — дай я тебя поцелую!

И, обняв над шашечницей ладонями прекрасную голову Иосифа, он поцеловал ее, счастливый своим достояньем.

— Мне и самому невдомек, — сказал Иосиф, — откуда у меня сейчас взялись ум и кое-какая сообразительность, чтобы встретить ими в беседе мудрость моего господина. Если твои мысли, как ты сказал, отвлеклись от игры, то и мои, откровенно говоря, отвлекались не меньше — и все в одну сторону, и одним лишь элохимам ведомо, как удалось мне даже так долго сопротивляться!

— Куда же убегали твои мысли, дитя мое?

— Ах, — отвечал юноша, — тебе легко это угадать. У меня днем и ночью стоят в ушах слова, которые мне отец мой недавно сказал у колодца. Они отняли у меня покой, и любопытство просто снедает меня, ибо это были слова обещанья.

— Что же я сказал и какое дал обещанье?

— О, ты сам знаешь! Я вижу по тебе, что ты знаешь! Ты сказал, что собираешься... помнишь? «Я собираюсь, — сказал ты, — сделать тебе один подарок... которому порадуеться твое сердце... и который оденет тебя». Так ты сказал, точь-в-точь. Твои слова так и застряли в ушах у меня. Что же мой папочка имел в виду своим обещаньем?

Иаков покраснел, и от Иосифа это не ускользнуло. Слабый румянец окрасил по-стариковски сухощавые щеки Иакова, а глаза его затуманились в легком смущенье.

— Пустое! — сказал он уклончиво. — Дитя напрасно об этом думает. Это было сказано невзначай, без каких-либо твердых намерений. Разве я и так не делаю тебе всяких подарков, когда мне велит сердце? Я просто хотел сказать, что есть одна нарядная вещица, которую я тебе при случае...

— Вот так пустое! — воскликнул Иосиф и, вскочив на ноги, обнял отца. — Слыханное ли дело, чтобы этот добрый мудрец говорил что-либо невзначай? Как будто по нему не было видно, что он вовсе не болтал вздор, а имел в виду одну определенную красивую вещь, и не просто какую-то, а особую, прекрасную, предназначенную именно мне. Но ты мне ее не только предназначил, но и пообещал, посулил. Неужели мне нельзя узнать, что же это такое принадлежит мне и меня дожидается? Неужели, по-твоему, я успокоюсь и отстану от тебя, не узнав этого?

— Как ты напираешь и нападаешь на меня! — сказал старик, страдая. — Не трясни меня и не держись за мочки моих ушей, а то можно подумать, что ты со мной совсем запанибрата! Узнать — ну что ж, можешь узнать, я действительно имею в виду нечто определенное, а не вообще что-то. Да сядь же наконец! Ты знаешь о кетонет пассим Рахили?

— Одежда Маами! Какой-то праздничный наряд? А, понимаю, ты хочешь мне из ее платья...

— Выслушай меня, Иегосиф! Ты не понимаешь. Сейчас я тебе объясню! Когда я прослужил за Рахиль семь лет и подошел день, в который я должен был принять ее во имя господне, Лаван сказал мне: «Я подарю тебе покрывало, чтобы невеста, покрывшись им, посвятила себя Нане. Я давно, — сказал он, — купил его у одного странствующего купца и хранил в ларе, ибо оно дорого стоит. Говорят, что когда-то оно принадлежало дочери какого-то царя и служило брачным нарядом какой-то девушке знатного рода, что вполне вероятно: очень уж искусно расшито оно всевозможными знаками всяческих идолов. И пусть она покроется им и

будет, как одна из Эниту, как невеста небесная в спальном покое башни Этеменанки». Такие или подобные слова сказал мне этот бес. И он не солгал, ибо Рахиль получила это покрывало и была в нем чудо как хороша, когда мы сидели на свадебном пиру, и я целовал изображение Иштар. Но когда я протянул невесте цветок, я поднял покрывало, чтобы увидеть ее видящими руками. Это оказалась Лия, которую бес коварно впустил в спальню, так что я только мнил себя счастливым, но не был им вправду, — от такого заблуждения любой обезумеет, и об этом я умолчу. Но в мнимом своем счастье я был разумен и, бережно положив священный наряд на стул, сказал невесте такие слова: «Мы будем передавать его по наследству из поколения в поколение, и носить его будут те из несметного множества, кто взыскан любовью».

— И Мами тоже надела это покрывало, когда пришел ее час?

— Это не покрывало, это чудо. Это наряд, который можно носить как угодно, по щиколотки длиной, с рукавами, так что человек волен приспособить его к своему вкусу и своей красоте. Мами? Да, она надела его и оставила у себя. Она тщательно сложила его и уложила, когда мы обманули Лавана, сломали покрытые пылью запоры и тронулись в путь. Этот наряд был с нами всегда, и мы берегли его так же, как Лаван, с давних пор заботливо хранивший его в своем ларе.

Глаза Иосифа обшарили шатер и остановились на сундуках. Он спросил:

— Далеко ли от нас находится это покрывало?

— Не очень далеко.

— И господин мой подарит мне его?

— Я предназначил его тебе, дитя.

— Предназначил и обещал!

— Но позднее! Не сейчас! — с тревогой воскликнул Иаков. — Образумься, дитя, и удовольствуйся до поры до времени обещанием! Пойми, решение еще не принято, господь еще не сказал своего последнего слова в сердце моем. Твой брат Рувим пал, и я вынужден был лишиться его первородства. Твой ли теперь черед, чтобы я облек тебя первородством и отдал тебе кетонет? На этот вопрос можно ответить «нет», ибо после Ре'увима родился Иуда, родились Левий и Симеон. Но можно ответить и «да», ибо если первенец Лии пал и был проклят, то на очереди первенец Рахили. Это спорно и неясно; нужно дождаться каких-то знаков, которые разрешат дело. Если я обряжу тебя в покрывало Рахили, братья ошибочно истолкуют это как избрание и благословение и восстанут против тебя и против меня.

— Против тебя? — изумленно спросил Иосиф. — Право же, я отказываюсь верить собственным ушам! Разве ты не отец, не господин? Разве ты не можешь подняться, если они станут роптать, и надменно отрезать: «Кому хочу — потокаю и кого хочу — милую. Кто вы такие, чтобы мне перечить? Скорее, чем на любого из вас, я надену на него это платье, этот кетонет пассим его матери!» Впрочем, я верю своим ушам; они у меня молодые и надежные. А уж когда говорит папочка, я просто весь превращаюсь в слух. Может быть, ты сказал невесте: «Пусть носят его первенцы из несметного множества»? Или нет? Или нет? Или нет? Кто, сказал ты, пусть его носит?

— Оставь это, бесстыдник! Перестань льстить мне, чтобы твоя глупость не перешла с тебя на меня!

— Отец! Можно мне увидеть его?

— Увидеть? Увидеть не значит получить. Но увидеть значит захотеть получить. Образумься!

— Неужели мне нельзя увидеть того, что мне принадлежит и обещано мне? Сделаем так: я буду сидеть здесь, не шевелясь, как будто я прирос к месту. А ты пойдешь и покажешь мне платье, расправив его перед собой, как это делает в Хевроне купец в лавке, когда показывает свой товар: он набрасывает на себя ткань перед глазами покупателя, который с жадностью на нее смотрит. Но покупатель беден и не может за нее заплатить. И купец убирает товар на место.

— Будь по-твоему во имя господне, — сказал Иаков. — Хотя, глядя со стороны, можно, наверно, подумать, что ты со мной совсем запанибрата. Не двигайся! Сиди, подобрав под себя одну ногу, а руки держи за спиной! Ты сейчас увидишь то, что когда-нибудь, может быть, будет принадлежать тебе, при известных условиях.

— Что уже принадлежит мне! — подхватил Иосиф. — И чего я просто еще не получил!

Он протер себе глаза согнутыми пальцами и приготовился смотреть. Иаков подошел к выпуклому ларю, отпер его и откинул крышку. Он вынул много всяких предметов одежды, лежавших сверху и в глубине, — тут были и плащи, и одеяла, и набедренники, и платки, и рубахи, — и сложил их на полу. Достав покрывало оттуда, где оно было спрятано, он развернул и расправил его.

Мальчик обомлел. Он глотнул воздух открытым, смеющимся ртом. Освещенное плащом шитье сверкало металлом. Блеск серебра и золота порой затмевал в беспокойных руках старика более тусклые краски, багровый, белый, оливковый, розовый, черный цвета изображений и знаков, звезд, голубей, деревьев, богов, ангелов, людей и животных на синева-дымчатой ткани.

— Небесные светлы! — вырвалось у Иосифа. — Как вы прекрасны! Папочка купец, что показываешь ты покупателю в лавке своей? Вот Гильгамеш со львом под мышкой, я узнаю его издали! А там, я вижу, кто-то дерется с грифоном, размахивая дубинкой. Погоди, погоди! О саваофы, что за животные! Это возлюбленные богини, конь, летучая мышь, волк и пестрая птица! Дай же мне поглядеть, — поглядеть же! Бедное дитя, глазам его больно глядеть через разделяющее пространство. А это что, не чета ли людей-скорпионов с колючими хвостами? Я не уверен в этом, но так мне кажется, хотя глаза у меня, разумеется, немного слезятся. Погоди, купец, я подвинусь поближе, сидя на ноге и держа руки за спиной. О элохимы, если приблизиться, это еще прекраснее, и все видно яснее! Что делают эти бородатые духи у дерева? Вижу, они оплодотворяют его... А что там написано? «Я сняла... платье свое... не надеть ли мне его... снова?» Чудесно! И везде Нана с голубем, солнцем и луной... Я должен подняться! Я должен встать, купец, мне не видно того, что вверху — финиковой пальмы, из которой богиня протягивает руки с едой и питьем... Можно мне прикоснуться к платью? Ведь это, я надеюсь, ничего не будет стоить, если я осторожно приподниму его, чтобы, взвесив его в руке, почувствовать его легкость и тяжесть, тяжесть и одновременно легкость... Купец, я беден, я не могу его купить. Подари мне его, купец! У тебя так много товару — отдай мне покрывало! Одолжи мне его, будь добр, чтобы я показался в нем людям во славу твоей лавки! Нет! Это твое последнее слово? Или, может быть, ты колеблешься? Может быть, ты хоть немного колеблешься и при всей своей неуступчивости все-таки хочешь, чтобы я его поносил? Нет, я ошибся, ты не колеблешься, у тебя просто дрожат руки, потому что они устали от напряжения. Ты слишком долго держал его на весу... Дай! Как его носят, как надевают? Так? И вот так? И пожалуй, еще вот так? Каково? Не овчар ли я в пестром наряде? Покрывало Мама — к лицу ли оно сыну?

Конечно, он походил на бога. Такого эффекта естественно было ждать, и тайное желанье добиться его не было на пользу сопротивленью Иакова. Едва лишь Иосиф своими приемами, хитрости и очарованья которых нельзя не признать, выманил платье из рук старика, как оно, двумя-тремя взмахами, свидетельствующими о природном умении наряжаться, было надето самым свободным и выигрышным образом, — покрыло ему голову, окутало плечи, ниспало с юного его стана складками, в которых сверкали серебряные голуби, пылало цветное шитье и долгота которых сделала его выше ростом. Выше ростом? Если бы этим дело исчерпывалось! Нет, ослепительная эта одежда шла ему так, что его славе у людей было бы уже очень трудно противопоставить какое-либо трезво-критическое замечанье, она делала его настолько красивым и прекрасным, что красота его ставила даже в тупик и граничила в самом деле с божественной. Хуже всего было то, что его сходство с матерью, и в очертаниях лба и бровей, и в линиях рта, и во взгляде, никогда так разительно не бросалось в глаза, как благодаря этому

одеянию, — в глаза Иакову, и они у него увлажнились слезами, и ему почудилось, что он видит Рахиль в Лавановой горнице, в день свершенья.

Мать-богиня стояла перед ним в образе мальчика и, улыбаясь, спросила:

— Я надела платье свое, — не снять ли мне его снова?

— Нет, возьми, возьми его! — сказал отец; и бог убежал, а Иаков поднял к небу лицо и руки, и губы его зашевелились в молитве.

БЫСТРОНОГИЙ

Сенсация была огромная. Первым, кому Иосиф показался в покрывале, в разноцветной одежде, был Вениамин; но Вениамин был не один, он пребывал у наложниц, там его и нашел нарядившийся Иосиф. Он пришел к ним в шатер и сказал:

— Привет вам, я зашел случайно. Скажите, женщины, здесь ли мой маленький брат? Ах, вот ты, Бен, привет тебе и еще и еще раз привет! Мне просто захотелось поглядеть, как вы живете-можете. Что вы поделываете, чешете лен? И Туртурра помогает вам по мере сил? Никто не знает, где старик Елиезер?

Туртурра (это значило «малыш»; Иосиф иногда называл Вениамина этим вавилонским ласкательным именем) — Туртурра давно уже издавал протяжные возгласы изумленья. Валла и Зелфа вторили ему. Иосиф надел покрывало довольно небрежно, он слегка скомкал его и продел за кушак своего кафтана.

— Почему вы все расшумелись, — сказал он, — и почему у вас глаза, как колеса повозки? Ах, вот оно что, из-за моего наряда, из-за кетонета Мамаи. Ну да, я теперь иногда буду его носить. Израиль недавно подарил мне его и завещал, да, да, только что.

— Иосиф-эль, милый господин мой, сын праведной! — воскликнула Зелфа. — Иаков завещал тебе это разноцветное покрывало, в котором была Лия, моя госпожа, когда он принял ее впервые? Как это справедливо и мудро, ибо оно так идет к тебе, что просто сердце тает и даже представить себе нельзя, что его может носить кто-то другой. Скажем, один из далеких сейчас сыновей Лии, с лица которой Иаков впервые поднял его? Или мой Гад или Асир, которых я родила на колени Лии? Нет, вообразив себе это, можно только грустно-насмешливо улыбнуться.

— Иосифиа! Красавец! — воскликнула Валла. — Нет ничего прекраснее, чем ты в этом наряде! При виде тебя хочется пасть на лицо свое — особенно простой служанке, как я, хотя меня, как сестру, любила Рахиль, твоя мать, и я, благодаря силе Иакова, родила ей Дана и Неффалима, старших твоих братьев. Они тоже падут ниц или, во всяком случае, будут близки к этому, когда увидят мальчика в праздничном уборе его матери. Пойди же поскорей к ним и покажись братьям, которые ничего не подозревают, не помышляют ни о худом, ни о добром и еще не знают, что господин наш избрал тебя! Тебе следовало бы также поехать показать-ся красноглазым, шестерым сыновьям Лии, чтобы насладиться их ликованием и возгласами «осанна!».

Как ни трудно в это поверить, Иосиф не почувствовал ни слишком явной горечи, ни коварства в словах женщин. В своем упоении, в своей детской, но тем не менее непростительной доверчивости он был глух к ним и невосприимчив к предостережениям. Он принял как должное их приятные речи, будучи убежден, что ничего, кроме приятного, ему и не приходится ждать, и не давая себе ни малейшего труда заглянуть им в душу. Вот это-то и было непростительно! Равнодушие к внутренней жизни людей и незнание ее создают совершенно превратное отношение к действительности, приводят к ослеплению. Со времен Адама и Евы, с тех пор, как из одного человека стало два, никому на свете не удавалось прожить без того, чтобы мысленно не поставить себя на место ближнего и не уяснить истинное свое положение, взглянув на себя чужими глазами. Умение представить себе и угадать чувства других людей, то есть чуткость,

не только похвальна, поскольку она позволяет заглянуть за пределы собственного «я», но и является необходимым средством самосохранения. Но об этих правилах Иосиф понятия не имел. Его доверчивость была своего рода избалованностью, которая, вопреки недвусмысленным свидетельствам обратного, внушала ему, что все люди любят его больше, чем самих себя, и что, следовательно, ему незачем с ними считаться. Кто ради его прекрасных глаз найдет подобное легкомыслие простительным, тот проявит большую слабость.

Несколько иначе обстояло дело с Вениамином. Тут, в виде исключения, беспечность была уместна. Когда он воскликнул:

— Иегосиф, небесный брат! Это словно не явь, а сон, где господь накинул на тебя великолепное платье, сотканное из света разных цветов, облек тебя покровом славы и гордости! Ах, этот малыш, каковым я зовусь, в восторге! Не спеши к сыновьям Валлы, и пусть сыновья Зелфы побудут еще немного в неведении! Останься с братцем правой руки, дай мне еще полюбоваться тобой, дай наглядеться на тебя досыта!

Иосиф мог, конечно, принять это за чистую монету; никакой задней мысли тут не было. Однако даже из одних этих слов можно было извлечь предостережение красавцу, и мы бы очень ошиблись, если бы не услышали в них разумного спасенья встречи Иосифа с братьями и желанья хотя бы немного эту встречу отсрочить. Впрочем, если Иосифу и не хватало благоразумья, то инстинкт все же удержал его от немедленного появления в новом платье перед детьми служанок. Кроме нескольких третьестепенных лиц, которые, случайно встречая Иосифа, не скупилась на похвалы, воздушные поцелуи и славословья, в этот день его привелось увидеть лишь старику Елиезеру, который сначала долго качал головой, что равно могло означать и восторг, и только общее глубокомыслие, а вслед за тем, с божественно-невыразительной миной, пустился в так называемые воспоминанья, которые вызвало у него покрывало: о том, как «он», Елиезер, по должности свата, привел некогда Ревекку из преисподней Харрана и как она, по прибытии наверх, при приближении будущего своего супруга, закуталась в покрывало. А зачем? Затем, чтобы Исаак узнал ее. Как смог бы он узнать ее и снять с нее покрывало, если бы она до того не покрывалась?

— Великий подарок, дитя мое, — сказал он с таким неподвижным лицом, что чудилось, будто это лицо можно снять и под ним окажется другое, — великий подарок сделал тебе Израиль, ибо в покрывале заключены жизнь и смерть, но смерть заключена в жизни, а жизнь — в смерти, — кто это знает, тот посвящен. Сестра и супруга-мать сняла с себя покрывало и обнажилась у седьмых ворот ада и в смерти; но когда она возвратилась к свету, она покрывалась снова, в знак жизни. Погляди на зерно; если оно падет в землю, оно умрет, чтобы воскреснуть для жатвы. Ибо к колосу уже близок серп, что растет в черной луне молодой жизнью, а ведь этот серп — смерть, и он оскопляет отца, оскопляет для нового владычества над миром, и семена жизни и смерти выходят из жатвы серпа. Так и в покрывале после обнажения в смерти заключена жизнь, и уже тем самым — познание и смерть, хотя, с другой стороны, в познании заключены зачатие и жизнь. Великого дара удостоил тебя отец, он даровал тебе свет и жизнь, покрыв тебя покрывалом, которое твоя мать оставила в смерти. Берегись же, дитя, чтобы его никто у тебя не отнял и чтобы тебя не познала смерть!

— Спасибо, Елиезер! — ответил Иосиф. — Большое спасибо тебе, мудрый домоправитель, который с Авраамом побил царей и навстречу которому скакала земля! Ты прекрасно говоришь обо всем сразу, о покрывале, серпе и зерне, прекрасно и по праву, ибо все вещи связаны между собой и едины в боге, хотя для нас они вышиты на покрывале многообразия. Что же касается этого мальчика, то он сейчас снимет платье свое и укроется им на постели своей и задремлет под ним, как дремлет земля под звездным покровом вселенной.

Так он и поступил. И спящим под покрывалом застали его уведомленные уже обо всем матерями дети служанок, когда вошли в шатер, который он с ними делил. Вчетвером стояли они у его постели. Дан, Неффалим. Гад и Асир, и один из них — это был лакомка Асир, самый младший из четырех, едва достигший двадцати двух лет, — держал над ним ручной фонарик, освещающая спящее его лицо и разноцветное платье, которым он был укрыт.

— Вот извольте! — сказал он. — Так оно и есть, женщины ничего не присочинили, когда донесли нам, что этот шалопай явился к ним в кетонет пассиме своей матери! Смотрите, он завернулся в него и спит сном праведника, с ханжеским видом. Какие еще могут быть сомнения? Отец подарил ему покрывало, он выманил его медовыми речами у бедного старика. Тьфу ты! Нас всех одинаково злит это безобразие, и Асир берет нашу злость в свои уста и извергает ее на спящее наше злосчастье, чтобы ему приснились хотя бы недобрые сны.

Он очень любил, этот Асир, быть одного мнения и одних чувств с другими и довольно горячо подкреплять такое единство словом, которое выражало общее настроение и согревающе всех спланивало, так что даже их ярость дышала довольством согласия, — это было связано с его пристрастием к лакомствам, с влажностью его глаз и губ. Еще он сказал:

— Это я-то вырезал куски мяса из живых овец и баранов, это я-то их ел! Он рассказал это нашему бедному, нашему благочестивому и легковверному отцу, и тот, в награду за ложь, отдал ему кетонет пассим! Да, это так: на каждого из нас он что-нибудь да наговорил старику, и покрывало, под которым он спит, это плата за его лживость и за злую клевету на всех нас. Сомкнемся теснее, братья, обнимемся в обиде своей, и я произнесу над ним бранное слово, которое всем нам облегчит душу: ах ты, песик!

Он хотел сказать «ах ты, пес», но в последнее мгновение, испугавшись этого слова из-за Иакова, успел прибавить к нему уменьшительный слог.

— И правда, — сказал Дан, которому было уже двадцать семь лет, столько же, сколько Лиинному Симеону (с козлиной бородой, но без усов, он носил облегчающую вышитую рубаху, и колючие глаза его сидели близко один к другому, у самой переносицы крючковатого носа), — и правда, меня называют змеем и аспидом, считая, что я чуть-чуть хитроват, но что же тогда вот это, что лежит здесь и спит? Самое настоящее чудовище! Он корчит из себя милого мальчика, а в действительности он дракон! Будь проклята его обманчивая внешность, которая заставляет людей пялиться на него и строить ему глазки и околдовала отца! Хотел бы я знать то слово, что вынуло бы его показать нам свой истинный облик!

Лицо коренастого Гаддила, который был на год старше Асира, выражало суровую честность. Он носил островерхую шапку и имел воинственный вид в своем коротком, подпоясанном чешуйчатой перевязью кафтане, на который он нашил медные нагрудники и из коротких рукавов которого высывались его красные, жилистые руки с крепкими и тоже жилистыми кистями. Он сказал:

— Смотри, Асир, следи за своей плоской, чтобы ненароком не упала на него капля кипящего масла и он не проснулся от боли! Ведь если он проснется, я по своей прямоте закачу ему пощечину, это ясно. Спящего не бьют — не знаю, где это написано, но так не поступают. Но стоит ему проснуться, не будь я Гадом, если я сразу же не съезжу его по морде, да так, что у него на девять дней, считая от завтрашнего, словно от клецки во рту, опухнет щека. Ибо мне горько и тошно глядеть на него и на платье, под которым он спит, нагло выманив его у отца. Я не трус, но у меня отчего-то щемит под ложечкой и что-то подступает изнутри к языку. Мы, братья, стоим, а этот мальчишка, этот шут гороховый, этот щеголь, этот птенец, этот молокосос и кривляка преспокойно лежит себе, завладев покрывалом. Уж не склониться ли нам перед ним? У меня так и вертится на языке слово «склониться», точно мне нашептывает его какая-то гнусная тварь. Поэтому-то у меня и руки чешутся ударить его. Это было бы самое лучшее, и боль у меня под ложечкой как рукой бы сняло!

Прямодушный Гад высказался гораздо содержательнее, чем — при всей его потребности в единомыслии и сплочении словом — Асир, заботившийся только о том, чтобы снискать себе любовь и создать согревающее единство дешевым выражением простейших и самоочевиднейших истин. Гад затратил больше труда. Он всячески старался намекнуть на то, что всех их, под покровом простой злости и зависти, пугало и мучило, старался дать имя смутным воспоминаниям, тревогам, угрозам, некоему призрачному кругу ассоциаций, в котором фигурировали такие понятия, как «первородство». «обман», «замена», «владычество над миром»,

«подвластность брату», кругу, который был не то прошлым, не то будущим, не то преданьем, не то возвещеньем и неприятно рождал те самые слова — «склониться», «склонятся перед тобой». Речь Гада произвела на остальных сильное и зловещее впечатление. Особенно потрясла она, донельзя усилив его жажду сорваться с места и побежать, длинного, сутуловатого Неффалима, который давно уже нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Его инстинкт гонца, его потребность уведомить и сообщить мучили его с самого начала, он прямо-таки дергался от зуда в ногах. Пространство и его разделительная природа владели воображением Неффалима. Он считал пространство своим ближайшим врагом, а себя самого — средством, призванным преодолеть его, устранив обусловленные пространством различия в людской осведомленности. Если в том месте, где он находился, что-то случалось, он тотчас же мысленно связывал это место с другим, отдаленным, где о случившемся еще ничего не знали, что было в его глазах несносным прозябаньем, с которым он и стремился покончить с помощью резвых своих ног и быстрого языка, чтобы, чего доброго, вернуться оттуда с новостью, здесь позорным образом еще неизвестной, и тем самым уравнять людскую осведомленность. В данном случае его мысли — его в первую очередь — поспешно связали происходившее с тем отдаленным местом, где находились сыновья Лии. Они, из-за нестерпимого самоуправства пространства, еще ничего не знали, — и им следовало поскорей обо всем узнать. В душе Неффалим уже бежал.

— Послушайте, послушайте, братья, ребята, друзья, — затараторил он тихо и торопливо. — Мы стоим и глядим на то, что случилось, ибо мы на месте. А в этот же самый час красноглазые сидят у костра в долине Шекема и говорят о чем угодно, только не о том, что Иаков, им на позор, вознес главу Иосифу, ибо они ничего не подозревают и, как громко ни вопиет позор, позор их и наш, не слышат ни звука. Но можем ли мы удовлетвориться своим преимуществом и, сказав: «Они далеко, значит, они глупы, ибо дальше глупо», — помириться на том? Нет, их нужно уведомить, чтобы это было там так же, как здесь, и чтобы они не жили, как будто этого нет. Пошлите меня, пошлите меня! Я поеду к ним и подам им весть, я освещу их темноту и заставлю их громко вскрикнуть. А вернувшись, я сообщу вам, как они закричали.

С ним согласились. Красноглазых следовало уведомить. Тех это касалось, пожалуй, еще больше, чем их четырех. Неффалима отрядили в дорогу, решив сказать отцу, что Быстроногий отлучился по срочному торговому делу. От нетерпенья Неффалим почти не спал и оседлал осла еще до рассвета; когда Иосиф проснулся под вселенским своим покрывалом, тот был уже далеко, и знание приближалось к дальним. Спустя девять дней, как раз в полнолуние, они прибыли вместе с гонцом — Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон — и стали мрачно рыскать глазами. Симеон и Левий, которых называли «близнецы», хотя один был на год старше другого, взревели, по уверенью Неффалима, как быки, узнав о случившемся.

ОБ ИСПУТЕ РУВИМА

У Иосифа хватило благоразумья показаться им в новом платье не сразу же, хотя ему и очень хотелось этого. Легкое сомнение в том, что они действительно любят его настолько больше самих себя, что ничего, кроме радости, при виде вознесенной его главы не почувствуют, заставило его до поры до времени спрятать покрывало и приветствовать их в своей обычной рубахе.

— Привет вам, милые сыновья Лии, сильные братья! — сказал он. — Добро пожаловать к отцу! Хоть некоторых из вас я поцелую.

И, пробираясь между ними, он поцеловал в плечо троих или четверых, хотя они стояли как вкопанные и не прикасались к нему. Только Ре'увим, в то время уже двадцатидевятилетний мужчина, рослый и грузный, с могучими, обмотанными ремнями икрами, в меховом набедреннике, с бритым, мясисто-мускулистым, румяным, свирепым лицом, имевшим тупой профиль и смущенно-независимое выражение, с черными волосами, завитки которых ложи-

лись на низкий лоб, — только он один, не меняясь, впрочем, в лице, поднял свою тяжелую руку, почувствовав у себя на плече губы Иосифа, и легко, тайком, так сказать, провел ею по голове брата.

Иегуда, на три года моложе Рувима, такой же рослый, но с несколько сутулой спиной и страдальческой складкой у губ и крыльев носа, был в плаще, под которым он прятал руки. Он носил маленькую, в обтяжку, шапку, не скрывавшую его густых, похожих на гриву волос, таких же темно-рыжих, как его пышная, клином, борода, как узкие усы, оттопыривавшиеся над его красными, пухлыми губами. Губы эти свидетельствовали о чувственности, но тонкий, с горбинкой, и все же сплюснутый внизу нос говорил о чуткой духовности, а в больших, с тяжелыми веками, зеркально-выпуклых оленьих глазах таилась печаль. Иуда был уже тогда женат, как многие его родные и сводные братья: так, Рувим успел взять в жены одну из дочерей этой земли и родить с ней богу Авраама нескольких детей, например, мальчика Ханоха и мальчика Фаллу, которых Иаков порой качал на коленях. Симеон завладел уведенной в качестве военной добычи дочерью шекемского горожанина, по имени Буна, Левий женился на девушке, которая верила в Иагу и считалась внучкой Евера, Неффалим — на молодой женщине, чей род Иаков несколько искусственно возводил к Нахору, брату халдеянина, а Дан — просто на моавитянке. Одними лишь религиозно безупречными браками никак нельзя было обойтись, а что касалось Иуды, то отец должен был радоваться, что своей женитьбой тот добился хоть некоторого порядка и покоя в плотских делах, ибо с юных лет половая его жизнь была хаотична и мучительна. Он состоял с Астарот в безрадостно-напряженных отношениях, страдал под ударами ее бича и подчинялся ей, не любя ее, что вносило в его душу разлад, несогласие с самим собой. Знакомство с кедешами, священными блудницами Иштар, приобщило его к бааловской сфере с ее ужасами и дуростями, к сфере бесстыдного Ханаана, и никого, даже Иакова, отца, это не огорчало больше, чем самого Иегуду, который не только был благочестив и стремился к богоразумной чистоте, не только питал глубокое отвращение к Шеолу со всеми дуростями и тайнами, какими оскверняли себя народы, но и полагал, что у него были основания особенно следить за собой, ибо поскольку Рувим провинился, а так называемых близнецов после шекемской смуты тоже можно было считать проклятыми, существовала реальная возможность, что благословенным носителем завета будет Иуда, четвертый сын, хотя между братьями речи об этом не было, а всякие притязанья проявлялись лишь в форме общей злости на сына Рахили.

Через одного из своих пастухов — это был Хира из местечка Одоллам — Иуда познакомился с одним ханаанянином по имени Шуя, чья дочь ему понравилась, и он взял ее с разрешения Иакова в жены. Сыновей, которых она ему принесла, поначалу двух, он воспитывал в разумении бога. Но они пошли в мать, подобно тому как Измаил уродился не в отца, а в Агарь: так, по крайней мере, представлялось дело Иуде и так он объяснял себе то, что они оказались нечистыми, детьми Ханаана, озорниками Баала, исчадьем Шеола, одержимыми Молеха, хотя виной этой беде была, может быть, не только дочь Шуи. А она обещала уже принести третьего, и его беспокоило, каков будет тот.

Итак, в глазах Иуды была печаль, но она не склонила его к добродушию и не побудила тайком погладить Иосифа по волосам, как это сделал Рувим. Он сказал:

— В каком виде ты вышел к нам, писец? Разве в обычной одежде, да еще покрытой пятнами туши, встречают старших, когда они возвращаются домой после долгой отлучки? Ты всегда только о том и думаешь, как бы очаровать человека и заставить его улыбаться тебе, так неужели же ты совсем не хочешь понравиться нам? Говорят, у тебя в ларе спрятано ослепительно драгоценное платье, достойное чуть ли не княжеского сына? Зачем же ты обижаешь нас, пожалев его для встречи братьев?

Испещренные рубцами, с татуировкой на умашенной груди, Симеон и Левий, сверкая глазами и опираясь на толстенные палицы, засмеялись отрывистым, рычащим смехом.

— С каких это пор обольстительницы выходят на прогулку без покрывала? — воскликнул один из них.

— А храмовые шлюхи без фаты на глазах? — подхватил другой, не обращая внимания на то, что Иуду передернуло.

— Ах, вы говорите о моем вышитом платье? — спросил Иосиф. — Наш брат Неффалим успел, видно, рассказать вам по дороге, какую милость оказал мне Иаков? Простите меня по доброте своей! — сказал он и смиренно-изящным движением, скрестив на груди руки, склонился перед ними. — Тяжело не ошибиться в своих решениях и действиях, и человек впадает во грех, как ни поступит. Ведь я, дурак, думал: пристало ли мне чваниться перед господами моими? Нет, отвечал я себе, не пристало, я выйду к ним в простой одежде, чтобы они не досадовали на мое высокомерие и любили меня. Оказывается, я поступил глупо. Понимаю, мне следовало нарядиться для встречи с вами. Но поверьте мне, в вечер пира, когда вы тоже омоетесь и наденете свои праздничные одежды, я сяду в кетонете по правую руку Иакова, и вы увидите сына нашего отца во всем его великолепии. Согласны?

Снова раздался рычащий смех дикарей-близнецов. Остальные со злостью вглядывались в глаза Иосифа, пытаясь определить, чего в его речи больше — простота или дерзости, но определить это было очень трудно.

— Золотые слова! — сказал Завулон, самый младший, старавшийся походить на финикийнина с окладистой стриженной бородой и короткими вьющимися волосами, в пестроузорчатом кафтане, который прикрывал только одно плечо, а на другом, убегая под мышку, не прятал рубахи; ибо он мечтал о море, о гаванях и не хотел быть пастухом. — Сладкие слова! Не слова, а прямо-таки жертвенная лепешка из пшеничной, мелкого помола муки, да еще с патокой! А знаешь, мне хочется втолкнуть их тебе назад в глотку, чтобы ты подавился ими!

— Опомнись, Завулон, что за грубые шутки! — ответил Иосиф, опустив глаза и смущенно улыбнувшись. — Ты научился им у просмоленных гребцов-рабов в Аскалуне и Газе?

— Он назвал моего брата Завулону просмоленным рабом-гребцом! — вскричал долговязый и кряжистый Иссахар, по прозвищу «Крепкий осел»; ему был двадцать один год. — Рувим, ты слышал это, так осади же его — если не кулаком, как мне бы хотелось, то, по крайней мере, выговором, чтобы он запомнил!

— Ты неточно выразился, Иссахар, — ответил Рувим высоким и нежным голосом, какой подчас бывает у мужчин могучего телосложения, и отвернул голову. — Он не назвал его так, он только спросил его, не у гребцов ли тот научился таким речам. Это было довольно дерзко.

— Насколько я понял, — возразил Иосиф, — ему хотелось задушить меня жертвенной лепешкой, а это было бы и нечестиво, и очень недружелюбно. Если же он этого не сказал или не имел в виду, то и я вовсе его не дразнил, отнюдь нет.

— Разойдемся же в разные стороны, — решил Рувим, — потому что пока мы вместе, нам не избежать новых пререканий и недоразумений.

Они разошлись, десятеро и один. Но Рувим пошел за оставшимся в одиночестве и окликнул его по имени. Огромный, он стоял перед ним и наедине с ним на своих столпоподобных, оплетенных ремнями ногах, и внимательно-вежливо глядел Иосиф в мускулистое лицо, которому сознание силы и виновности придавало смущенно-независимый вид. Красноватый, с воспаленными веками глаза Рувима были совсем рядом с Иосифом. Их взгляд задумчиво терялся в его лице или, вернее, останавливался перед этим лицом и снова уходил в себя, и могучей своей правой рукой Рувим слегка сжимал при этом плечо брата, как это он обычно делал со всеми, с кем говорил.

— Ты спрячешь это платье, мальчик? — спросил он его одними губами, почти не открывая рта.

— Да, Рувим, господин мой, я буду его беречь, — ответил Иосиф. — Израиль подарил мне его, придя в веселое расположение духа после победы в игре.

— Он побил твои шашки? — спросил Рувим. — Ты играешь ловко и сильно, ибо занятия с Елиезером хорошо упражняют твой ум, и это идет тебе на пользу в игре. Часто ли он побивает тебя?

— Случается, — сказал Иосиф и обнажил свои зубы.

— Когда ты захочешь?

— Не все от меня зависит, — уклончиво ответил тот.

«Да, это так, — подумал Рувим молча, и взгляд его еще глубже, чем прежде, ушел в себя. — Так обманывают благословенные, и обманывать им свойственно: они должны держать свое сияние под спудом, чтобы оно не заблестало им во вред, тогда как другим приходится блистать ложным блеском, чтоб продержаться. — Он поглядел на сводного брата. — Дитя Рахили, — подумал он. — Какое оно милое! Люди правы, когда улыбаются ему. У него как раз надлежащий рост, и красивые и прекрасные глаза его глядят на меня, если я не ошибаюсь, с тайной насмешкой, потому что я стою перед ним, башнеподобный великан стад, громадина нескладная, пентюх, у которого, того и гляди, жилы треснут от мощи. Мудрено ли, что я бросился на Валлу, как бык, не заботясь о том, чтобы никто этого не увидел! И он пошел и с невинным коварством донес об этом Израилю, и я обращен в пепел. Ибо он умен, как змея, и кроток, как голубь, а таким-то и надо быть. Коварство в невинности и невинность в коварстве, так что невинность опасна, а коварство священо, — это верные признаки благословенности, и с этим не потягаешься, даже если захочешь, но ты и не хочешь, ибо там бог. Одним-единственным ударом я мог бы уложить его навсегда; сила, которая взяла верх над Валлой, сгодилась бы и на это, и если Валла почувствовала ее как женщина, то похититель моего первородства почувствовал бы ее по-мужски. Но что дало бы мне это? Авель лежал бы мертв, а я стал бы тем, кем не хочу быть, — Каином, которого я не понимаю. Как можно поступить наперекор своему убеждению по-каиновски и с открытыми глазами убить угодного, потому что ты сам неугоден? Я не пойду наперекор своему убеждению, я буду справедлив, это полезней моей душе. Я не дам ей поблажки. Я Ре'увим, у которого в жилах играет сила, первенец Лии, старший сын Иакова, глава всем двенадцати. Я не стану строить ему влюбленные рожи и унижаться перед его привлекательностью, и если я погладил его по волосам, то это было глупостью и ошибкой. Я не прикоснусь к нему ни так, ни этак. Я стою перед ним, как башня, пусть неуклюжий, но сохраняя достоинство».

Он спросил, напрягая мышцы лица:

— Ты выманил у него платье?

— Не так давно он обещал мне его, — отвечал Иосиф, — и когда я напомнил ему об этом, он достал его из ларя и сказал мне: «Возьми, возьми его!»

— Понимаю, напомнил и выклянчил. Он отдал его тебе против своей воли, соблазненный твоею. А знаешь ли ты, что это противно богу — злоупотреблять властью, которая дана тебе над другим, заставляя его соглашаться с несправедливостью и делать то, в чем он потом раскается?

— Какая у меня власть над Иаковым?

— Спрашивая так, ты лжешь. У тебя над ним власть Рахили.

— Но ведь я ее не украл.

— Но и не заслужил.

— Господь говорит; «Кому хочу, потакаю».

— Ну и дерзок же ты! — сказал Рувим, нахмутив брови, и стал медленно покачивать Иосифа, держа его за плечо. — Обо мне говорят, что я бушую, как вода, и грех мне не чужд. Но зато мне чуждо упрямое твое легкомыслие. Ты слишком надеешься на бога и глумишься над сердцем, которое у тебя в руках. Ты знаешь, что ты поверг старика в страх и в тревогу, выманив у него платье?

— В какую тревогу, большой Рувим?

— Я уже вижу, что ты лжешь, если ты спрашиваешь. Неужели тебя так радует, что у человека бывает такая власть?.. Тревогу о тебе, который ему дороже всего на свете, — дороже не из-за твоих заслуг, а по воле его мягкого и гордого сердца. Он отнял благословение у своего близнеца Исава, но разве не выпало на его долю достаточно много горя, когда в одном пере-

ходе от Ефрона у него умерла Рахиль, а кроме того, из-за Дины, его дочери, да и из-за меня, прибавлю это сам, ибо вижу по тебе, что ты способен напомнить мне это?

— Да нет же, сильный Рувим. Я вовсе не думаю о том, что ты однажды пошутил с Валлой и уподобился в глазах расстроенного отца бегемоту.

— Молчи! Как смеешь ты говорить об этом, если я, опередив тебя, заранее заткнул тебе рот? Ты все время изобретаешь новые виды лжи и говоришь: «Я об этом не думаю», — подробно об этом распространяясь. Не в том ли уж и состоит священная наука, которую ты постигаешь, читая камни и упражняясь с Елиезером? И губы создатель дал тебе сам не знаю какие, и зубы сверкают между ними, когда они шевелятся. Но слетают с них одни только дерзости. Эй, малый, берегись! — сказал он и стал трясти его так, что Иосиф закачался, переваливаясь то на пятки, то на носки. — Разве я десятки раз не спасал тебя от рук братьев, от гнева тех, кто из-за обесчещенной растоптал Шекем, да, да, десятки раз, когда они собирались тебя избить за то, что ты наябедничал на них отцу, наврал ему насчет «кусков мяса живых животных» или еще что-нибудь? Как же ты дерзнул выманить у отца покрывало в наше отсутствие и навлечь на себя гнев если не десятерых, то девятерых? Скажи, кто ты такой и откуда у тебя такое высокомерие, что ты отделяешься от всех нас и ставишь себя в особое положение? Ты не боишься, что из-за твоей спеси над тобою сгустится туча, из которой ударит молния? Неужели ты несколько не благодарен тем, кто к тебе милостив, если заставляешь их тревожиться о себе, как какой-нибудь сумасброд, который по гнилым сучьям влезает на дерево и смеется оттуда над теми, что стоят внизу и кричат ему, чтобы он спустился, в страхе, что вдруг ветка подломится и он растеряет свои потроха?

— Послушай, Рувим, перестань меня трясти! Поверь мне, я благодарен тебе за то, что ты, наперекор задиристости братьев, за меня заступился. Я благодарен тебе и за то, что ты меня поддерживаешь, сшибая меня одновременно с ног. Дай мне, однако, стать как следует, чтобы я мог говорить! Вот так! Нельзя объясняться качаясь. Но теперь, когда я твердо стою, я объяснюсь, и я уверен, что ты, как человек справедливый, согласишься со мной. Я не выманивал хитростью покрывало и не украл его. Иаков обещал мне его у колодца, и поэтому я знал о желании и намерении отца отдать мне его. Увидев, однако, что этот кроткий человек и воля его не совсем едины, я взял сторону воли и легко склонил его отдать мне покрывало, — подчеркиваю, отдать, а не подарить, ибо оно уже было мое.

— Почему твое?

— Ты спрашиваешь? Хорошо, я отвечу. Скажи, с кого Иаков впервые снял эту фату, чтобы в тот же час завещать ее потомкам?

— С Лии!

— Да, в действительности. Но по правде это была Рахиль. Лия только надела покрывало, но хозяйкой его была Рахиль, и она-то и хранила его, куда не: умерла в одном переходе от Ефрона. Поскольку, однако, она умерла, где она сейчас?

— Там, где глина — пища ее.

— Да, в действительности. Но правда не такова. Разве ты не знаешь, что смерть обладает способностью менять стать человека и что для Иакова Рахиль живет в другой стати?

Рувим опешил.

— Я и мать — одно целое, — сказал Иосиф. — Разве ты не знаешь, что наряд Мами принадлежит и сыну, что они носят его попеременно, один вместо другого? Назови меня, и ты назовешь ее. Назови то, что принадлежит ей, и ты назовешь то, что принадлежит мне. Так чье же покрывало?

Он говорил с самым скромным видом, держась очень просто, с опущенными глазами. Но затем, уже высказавшись, он вдруг встретил взор брата настезь открытым взором, но не наступательным, напористо в него погружающимся, а тихим, откровенно предлагающим взглянуться в себя, без ответа вбирающим неотрывный, ошеломленно-мигающий взгляд воспаленных Лиинных глаз в свою загадочность.

Башня зашаталась. Большому Рувиму стало жутко. Как выразился этот мальчик, до чего он договорился, как все это получилось? Рувим спросил его, откуда у него такое высокомерие, — теперь он раскаивался в этом, ибо получил ответ. Он злобно задал брату вопрос, кто он такой, — и лучше бы не делал этого! Ибо теперь он получил разъяснение, такое неясное разъяснение, что по огромной его спине мурашки забегали. Случайно ли слетели у мальчика с языка такие слова? Затем ли он намекнул ими на дела божественные и сослался на них, чтобы оправдать свое лукавство, или... И от этого «или» у Рувима засосало под ложечкой так же, как у брата Гаддиила, когда тот, бранясь, пожаловался на это у постели Иосифа; только у Рувима все было еще сильнее, это было еще более глубокое потрясение и вместе восторг, смягченный нежностью и удивлением ужас.

Надо понять Рувима. Не в его нраве было наперекор всему миру пренебрегать вопросом о том, кто таков тот или иной человек, по чьим стопам он идет, с каким прошлым соотносит свое настоящее, чтобы засвидетельствовать его действительность. В ответе Иосифа такое свидетельство было представлено со столь чудовищной дерзостью, что у Рувима голова закружилась. Но благодаря магии слова, низведшей небесное в земное, этой непринужденной и, несомненно, неподдельной податливости языка волшебству замены, следы, по которым шел его юный брат, ярко засверкали перед глазами Рувима. Не то чтобы в этот миг он принял Иосифа за двойное обоюдополое божество в покрывале — не будем заходить так далеко. И все же его любовь была недалеко от веры.

— Дитя, дитя! — сказал он нежным голосом своего могучего тела. — Побереги свою душу, побереги отца, побереги свое сияние! Не выставляй его наружу, не давай ему блистать тебе на погибель!

Затем он попятился на три шага с опущенной головой и лишь после этого отвернулся от Иосифа.

За ужином, однако, Иосиф был в покрывале, и поэтому братья сидели как сычи, а Иаков пребывал в страхе.

СНОПЫ

Через много дней после этих событий жали пшеницу в долине Хеврона, и стояла веселая пора жатвы, радостная страда, и длилась она до дня первин, когда, через семь недель после весеннего полнолуния, в священный дар приносили кислые пшеничные хлебы из новой муки. Да, поздние дожди были обильны, но уже вскоре окна небесные затворились и вода сошла с лица земли. Торжествующее солнце, Мардук-Баал, опьяненное своей победой над мокрым Левиафаном, пылало в небе, меча в синеву золотые копыта, и уже на рубеже второго и третьего месяцев его владычества было так жарко, что пришлось бы опасаться за посевы, если бы не повеяло ветром, отрадное происхождение которого по запаху определил Завулон, шестой сын Лии, сказавший:

— Этот ветер приятно щекочет мне ноздри, ибо он сулит влагу полям и несет облегчительную росу. Вот видите, сколько добра творит море, я всегда это говорю. Хорошо бы жить у Большой Зеленой Воды, по соседству с Сидоном, и ходить по волне, вместо того что бы ходить за ягнятами — что мне вовсе не улыбается. По волне, на изогнутой доске можно добраться до мест, где живут люди с хвостом и со светящимся рогом на лбу. Или люди с такими большими ушами, что они закрывают у них все тело, или еще такие, у которых на коже растет трава, — мне рассказывал это один человек из гавани Хазати.

Неффалим согласился с ним. Недурно было бы обменяться сведениями с травоядыми. Вероятно, ни они, ни хвостатые, ни длинноухие не имели ни малейшего представления о том, что творится на свете. Другие братья возражали им и слушать не хотели о море, даже если оно и родит влажный ветер. Это — область преисподней, полная чудищ хаоса, и с таким же

правом Завулон мог бы почитать и пустыню. Такого мнения держались, в частности, Симеон и Левий, люди грубые, но богобоязливые, хотя и они, в сущности, не очень-то любили пастушескую жизнь, которую вели только ради преемственности, и предпочли бы какой-нибудь более дикий промысел.

Уборочные работы, начавшиеся жатвой ячменя, доставили всем желанную перемену, и братья трудились весело, как обычно и трудится человек в эти недели вознаграждения, так что даже их отношение к Иосифу, который тоже помогал жать и вязать снопы, невольно становилось уже немного спокойней и мягче, как вдруг тот, из-за невероятной своей болтливости, все снова испортил и ухудшил вконец. Об этом чуть дальше. Что касается Иакова, то его мало трогало календарное веселье его окружения, резвость убирающих урожай крестьян, среди которых трудились и его люди. На них его поведение, каждый год одно и то же, оказывало даже какое-то охлаждающее действие, хотя бы он сам и не появлялся в поле. А появлялся он там лишь в исключительных случаях, но как раз в этом году появился, появился по особой просьбе Иосифа, у которого были свои причины просить об этом отца. Вообще же Иаков не пекся о посевах и жатве, занимаясь земледелием спустя рукава, только по расчету, а не по внутренней склонности, ибо его отношение к этой области определялось скорее чем-то противоположным, а именно — религиозным безразличием, даже отвращением лунного пастуха к землепоклонству красного сеятеля. Пора уборки приводила его даже в некоторое смущение; ведь он извлекал личную пользу из культа плодородия, культа, который местные жители из весны в весну посвящали солнечным баалам и красавицам своих храмов и от которого его, Иакова, душа была далека. Такая причастность к этому культу вызывала у него чувство стыда и заставляла его молчать при виде благодарного ликования жнецов.

Итак, после ячменя он велел убирать пшеницу для собственного потребления, и так как каждая пара рук была на счету и Елиезер нанял даже на эти недели нескольких работников со стороны, то Иосиф прервал свои занятия со стариком, чтобы тоже, несмотря на особое свое положение, трудиться в поле от зари до зари, срезая серпом колосья, собранные в пучок левой рукой, связывая снопы соломой и, вместе с братьями и рабами, грузя их на повозки и навьючивая на ослов, которые доставляли их на ток. Нужно признать, что он делал это охотно и весело, не за страх, а за совесть и с величайшей скромностью — каковой, впрочем, резко противоречили некоторые признания относительно своей внутренней жизни, сделанные им как раз в ту пору. В конце концов ему ничего не стоило бы получить у Иакова освобождение от полевых работ, но он не стремился к этому — отчасти потому, что работа доставляла ему здоровую радость, но прежде всего потому, что она сближала его с братьями, и он ликовал и гордился, трудясь с ними вместе, слыша, как они зачем-нибудь зовут его, и стараясь помочь им по мере сил, — да, так буквально и было; совместный труд, практически улучшавший их отношения, наполнял его сердце счастьем, и тут никакие противоречия ничего не опровергают; при всем своем губительном безрассудстве они не уничтожают того факта, что он любил братьев, и каким бы опять-таки безрассудством и даже ослеплением это ни показалось, полагался на их любовь настолько, что счел возможным подвергнуть ее небольшому испытанию, — небольшому, ибо, к несчастью, он думал, что это пустяк.

Работа в поле очень утомляла его, и он часто засыпал среди дня. Уснул он и в тот полуденный час, когда все сыновья Иакова, кроме Вениамина, собрались, чтобы отдохнуть и поесть в тени навеса, коричневого полотнища на неровных шестах. Они преломили хлеб и болтали, сидя на пятках, все в одних набедренниках, с телами, обгагранными силой Баала, полыхавшего среди белых летних облаков над полусжатым полем, колючие плешины которого, там и сям выкроенные в гуще солнечно-желтых колосьев серпом, были уставлены прислоненными друг к другу снопами и которое было обнесено невысокой, из мелких камней стеной, отделявшей его от чужой полосы. В некотором отдалении возвышался холм, служивший людям Иакова током. Видно было, как туда с кладью шагали ослы и как стоявшие на току мужчины разметывали вилами снопы, а волы молотили их своими копытами.

Итак, Иосиф, тоже в одном рабочем набедреннике и с опаленной солнцем кожей, спал под общим навесом, подложив под голову руку. Укладываясь, он простодушно попросил у сидевшего ближе всех к нему Иссахара, прозванного «Крепким ослом», разрешения воспользоваться его коленом как приподнимающей голову опорой; но тот спросил Иосифа, не должен ли он, Иссахар, еще чесать ему голову и отгонять от него мух, и попросил его устраиваться как угодно, только без его помощи. Иосиф по-детски рассмеялся над этими словами как над удачной шуткой и лег спать без вознесенья главы. Таковое, как оказалось, он обрел в иных пределах, но по его виду никто об этом не догадался, тем более что никто не обращал на него внимания. Только Рувим поглядывал на него время от времени. Лицо спящего было обращено к нему. Оно не было спокойно. Брови и веки Иосифа вздрагивали, а приоткрытый рот шевелился, как будто хотел что-то сказать.

Тем временем братья обсуждали достоинства и недостатки нововведенного приспособления для молотьбы, доски с прикрепленными к ней снизу острыми камнями, которые и раздирали колосья, когда доску тянули волю. С тем, что это ускоряет работу, были согласны все. Но многие утверждали, что при таком способе молотьбы на веянье хлеба уйдет больше труда, чем если просто несколько раз прогнать по колосьям волов. Говорили также о молотилке, какой пользовались многие земледельцы, — на катках с режущими железными лопастями. Во время этого разговора Иосиф проснулся и приподнялся.

— Я видел сон, — сказал он и оглядел братьев с удивленной улыбкой.

Они повернули к нему головы, затем снова отвернулись от него и продолжили свой разговор.

— Ну и сон же я видел, — повторил он и провел ладонью по лбу, рассеянно глядя куда-то со все еще смущенной и счастливой улыбкой, — такой правдоподобный и такой чудесный!

— Это твое дело, — ответил Дан и бросил на него короткий колючий взгляд. — Лучше бы ты спал без снов, если уж тебе надо спать, потому что сны не дают спящему отдохнуть.

— Не хотите ли вы услышать мой сон? — спросил Иосиф.

На это никто не ответил. Зато один из них, это был Иегуда, продолжил прерванный сельскохозяйственный разговор таким тоном, который в известной мере содержал в себе надлежащий ответ на подобный вопрос.

— Нужно, — говорил он громко и холодно, — чтобы лопасти всегда были очень острые, иначе они не режут колосьев, а только мнут их, и часть зерна пропадает. Но сами посудите, можно ли положиться на то, что наши жнецы, особенно наемные, будут как следует затачивать ножи. А если колесики слишком остры, они легко разрежут и зерно, и тогда мука...

Несколько мгновений Иосиф прислушивался к их беседе, которой они как бы отмахивались от него. Наконец он прервал ее и сказал:

— Простите, братья, но мне все же хотелось бы рассказать вам сон, который я сейчас увидел, я просто не могу молчать. Он был, правда, короткий, но такой правдоподобный, такой чудесный, что я не в силах таить его и желаю от всей души, чтобы он встал у вас перед глазами, так же как у меня, и вы засмеялись и захлопали себя по ляжкам от удовольствия.

— Послушай-ка! — сказал Иуда снова и покачал головой. — Какая муха тебя укусила, что ты докучаешь нам своими делами, которые нас несколько не трогают? Мало ли что у тебя внутри и что тебе примерещилось и ударило в голову, когда ты набил себе брюхо! Это неприлично и нас не касается, поэтому помолчи!

— Нет, это вас касается! — вскричал Иосиф. — Это всех вас касается, ибо вы все там участвуете, и я тоже, и сон мой для всех нас — такая задача, такое диво, что вы опустите головы и три дня почти ни о чем другом и думать не сможете!

— Пусть он, может быть, расскажет его в нескольких словах, без подробностей, чтобы мы услышали самую суть? — спросил Асир... Лакомки любопытны, да и все они были любопытны и в общем очень любили всякие рассказы, будь то правда или вымысел, сказание, сон или песни первобытной древности.

— Хорошо, — сказал счастливый Иосиф, — если вам угодно, я расскажу вам свое сновиденье, это полезно хотя бы для того, чтобы его истолковать. Ибо толковать сон должен не тот, кто видит его, а кто-то другой. Если вам что-нибудь приснится, то уж я вам дам толкование, это мне ничего не стоит, я попрошу господу, и он ниспошлет его мне. С собственными же снами дело другое.

— Это называется «без околичностей»? — спросил Гад.

— Так слушайте же... — начал Иосиф.

Но Рувим попытался предотвратить это хотя бы в последний миг. Он не спускал глаз с владельца покрывала и не ждал ничего доброго.

— Иосиф, — сказал он, — я не знаю твоего сна, потому что я не был с тобой, когда ты спал, ты спал один. Но мне кажется, что лучше ни с кем не делиться своими снами. Оставь при себе то, что тебе приснилось, и пойдете работать.

— Мы как раз и работали, — подхватил Иосиф, — я видел нас всех в поле, где мы, сыновья Иакова, все вместе убирали пшеницу.

— Превосходно! — воскликнул Неффалим. — Тебе снятся поистине невероятные вещи! Твой сон поразительно далек от действительности. Какое смелое, какое богатое воображение!

— Но это было не наше поле, — продолжал Иосиф, — а другое, удивительно чужое. Но мы об этом не говорили. Мы молча работали, сначала жали, а потом вязали снопы.

— Посылает же господь такие сны! — сказал Завулон. — Бесподобное сновиденье! Уж не следовало ли нам сначала вязать снопы, а потом уже жать, дуралей? Стоит ли, право, дослушивать до конца?

Некоторые, пожимая плечами, уже поднялись и собирались уйти.

— Да, дослушайте до конца! — воскликнул Иосиф, вздевая руки. — Сейчас вы услышите самое чудесное. Каждый из нас вязал по снопу, а всего было нас двенадцать человек, потому что и Вениамин, младший наш брат, тоже оказался на этом поле и вязал свой снопок в одном кругу с вами.

— Думай, что говоришь! — крикнул Гад. — Как же так: «В одном кругу с вами»? Ты хочешь сказать: «В одном кругу с нами»!

— Нет, Гаддиил, дело было не так! Круг составляли вы, одиннадцать братьев, а я стоял и вязал свой снопок посреди круга.

Он умолк и поглядел на их лица. Они все высоко подняли брови и с тихим покачиваньем запрокинули головы, отчего у них выступили кадыки. В этом покачивании голов и взлете бровей были насмешливое удивление, угроза и тревога. Братья выжидали.

— Послушайте же, что было дальше и какой чудесный сон мне приснился! — заговорил Иосиф снова. — Когда мы связали свои снопы, каждый по снопу, мы оставили их и, словно нам больше нечего было делать, пошли прочь, ничего друг другу не говоря. Не успели мы, однако, сделать двадцать или, может быть, сорок шагов, как Рувим оглянулся и молча указал рукой на то место, где мы вязали снопы. Да, Рувим, это был ты. Мы все остановились и, заслонясь от солнца, стали глядеть туда. И что же мы видим? Мой снопок, совершенно прямо, стоит посередине, а ваши — стоят кругом и кланяются моему снопу, да, да, они все кланяются и кланяются, а он все стоит и стоит.

Продолжительное молчание.

— И это все? — коротко и тихо спросил, нарушая тишину. Гад.

— Да, после этого я проснулся, — ответил Иосиф растерянно. Он был несколько разочарован в своем сне, который как таковой, особенно благодаря безмолвному указанию Рувима на самостоятельные действия снопов, носил очень и очень своеобразный, гнетуще-окрыляющий характер, а облекшись в слова, предстал сравнительно скудным, даже нелепым, и, по мнению Иосифа, не мог произвести никакого впечатления на слушателей, и слова Гада «и это все?» только утвердили его в этом чувстве. Ему было стыдно.

— Хорошее дело, — сказал после нового молчания Дан. Он сказал это сдавленным голосом, вернее, голос участвовал лишь в первых слогах его замечанья, а последние заглохли в шепоте.

Иосиф поднял голову. Он приободрился. Кажется, и в его изложении сон все-таки не оставил братьев совсем равнодушными. Если «и это все?» было убийственно, то «хорошее дело» утешало и обнадеживало; это значило «скажи на милость» и «право, недурно», это значило «мать честная» и тому подобное. Он поглядел на их лица. Они все были бледны, и у всех были отвесные складки между бровями, что в сочетании с резкой бледностью производит странное впечатление. Такое же впечатление складывается и в том случае, если при бледном лице очень сильно напряжены крылья носа или закушена нижняя губа, что тут тоже неоднократно имело место. Кроме того, все очень тяжело дышали, и так как дышали они не совсем в лад, то под навесом раздавалось нестройное десятизвучное пыхтенье, которое, будучи, как и всеобщая бледность, следствием его рассказа, могло Иосифа немного смутить.

Оно и смутило его до некоторой степени, но в том смысле, что все это показалось ему продолжением его сна, странная двойственность которого, радостная его жутковатость и жутковатая радость, сохранялась и наяву; ибо хотя впечатление, произведенное его рассказом на братьев, было не совсем благоприятно, оно явно оказалось гораздо сильнее, чем Иосиф осмеливался надеяться, и удовлетворение тем, что его рассказ не потерпел неудачи, как он того опасался, уравновешивало его озабоченность.

Это равновесие не нарушилось, когда Иегуда, который, после того как все долго пыхтели и кусали себе губы, выпалил хриплым, гортанным голосом:

— В жизни не слышал более мерзкого вздора!

Ибо и это было, несомненно, выражением некоей, пусть не совсем благоприятной, взволнованности.

Снова воцарились молчание, бледность и закусыванье губ.

— Чучело! Поганый гриб! Воображала! Вонючий хвостун! — заревели вдруг Симеон и Левий. Сейчас они не могли говорить по очереди, вторя друг другу, как то обычно бывало; они кричали одновременно и наперебой, с багровыми лицами, с набухшими на лбу жилами, и тут подтвердился слух, что от гнева у них щетинятся волосы на груди и щетинились, в частности, во время шекемской резни. Да, так оно и было, теперь можно было убедиться в этом воочию: волосы у них на грудной клетке явно стояли дыбом, когда близнецы кричали наперебой бычьими голосами:

— Ах ты негодяй, бахвал, наглый пустобрех и подлец! Мало ли что ты пожелаешь увидеть во сне, за своими веками, а мы еще объясняй да толкуй тебе твою блажь, гадина ты этакая, заноза в теле, камень преткновенья, сноп мерзости?! «Кланяются, кланяются», — ишь о чем размышлялся, проныра бесстыжий, и мы, честные люди, должны это выслушивать?! Они все так и валяются кругом, наши снопы, а твой знай стоит! Слыхал ли кто-нибудь на свете такую гнусность? Шеол растреклятый, будь ты неладен! Уж не возомнил ли ты себя нашим отцом и царем, потому что ты, ханжа и вымогатель наследства, хитростью завладел кетонетом за спиной старших братьев! Ничего, мы покажем тебе, кому стоять и кому кланяться, мы тебя еще так проучим, что ты назовешь нам свое имя и припомнишь свое бессовестное вранье!

Таков был злобный рев этих неразлучных друзей. Затем все десять вышли из-под навеса и направились в поле, по-прежнему бледные и багровые, с закушенными губами. А Рувим, уходя, сказал:

— Ты это слышал, мальчик.

Иосиф в задумчивости посидел еще несколько мгновений, смущенный и огорченный тем, что братья не поверили в его сон. Это он главным образом и уловил, что они ему не поверили, ибо близнецы все кричали о вранье и обмане. Это огорчило его, и он размышлял, как доказать им, что он не присочинил ни слова и честно рассказал им лишь то, что действительно увидел во сне, находясь среди них. Если бы только они поверили ему, думал он, их досада, которую они

сейчас показали, прошла бы; разве не оказал он им братского, искреннего доверия, уведомив их о том, что было показано ему во сне богом, чтобы они разделили его, Иосифа, изумление и радость и вместе с ним обсудили увиденное? Не могли же они злиться на него за ту веру в незыблемость их союза, которая побудила его поведать им мысли бога. Там он, правда, был вышшен над ними, братьями; но ему и в голову не пришло, что из-за этого для них, старших, на которых он в известном смысле смотрел снизу вверх, мысли бога будут невыносимы: слишком большим разочарованием оказалась бы для него такая догадка. Понимая, однако, что весело и неомраченно работать с ними сегодня, во всяком случае, уже, увы, не удастся, он не пошел в поле, а направился домой и, разыскав Вениамина, родного своего братца, сообщил ему, что он рассказал взрослым братьям один относительно скромный сон, такой-то и такой-то; но что они не поверили ему, а близнецы и вовсе пришли в ярость, хотя по сравнению с небесным сном, о котором он не сказал ни слова, сон о снопах просто верх смиренья.

Туртурра был доволен, что речь шла не о неистовом небесном сне, и сам так искренне порадовался сну о снопах, что Иосиф был вполне вознагражден за несколько превратный успех у старших. Что его, малыша, снопик тоже стоял в кругу и тоже поклонился, это особенно радовало Вениамина, и он прыгал и смеялся от удовольствия — настолько это отвечало его умонастроению.

СОВЕЩАНИЕ

Тем временем десять братьев, столпившись и опираясь на свои орудия, стояли среди поля, под лучами закатного солнца, и в тревоге и ярости держали совет. Сначала — и толчком к этому послужила брань Симеона и Левия — среди братьев царило мнение или, во всяком случае, молчаливая договоренность, что ненавистный Иосиф выдумал свой сон, наврал, когда его рассказывал. Они были рады уцепиться за это предположение, защищавшее их всех внутренне. Но, словно стараясь ничего не упустить в рассуждениях, Иуда указал на возможность того, что мальчик действительно видел такой сон и не лгал; и тогда все не только про себя, но и вслух признали такую возможность и усмотрели внутри ее снова два случая: этот сон, если он действительно приснился, был либо от бога, что представлялось всем, по сути, самой большой катастрофой, либо же не имел к богу никакого отношения и был порожден лишь вопиющим высокомерием этого молокососа, которое, после получения кетонета, непомерно выросло и теперь морочило его такими несносными виденьями. В ходе прений Рувим заявил, что если тут замешан бог, то люди бессильны и остается только молиться — не Иосифу, но господу. Если же сон порожден высокомерием, то можно только пожать плечами и махнуть рукой на сновидца и его глупость. Вместе с тем Рувим вернулся к предположению, что мальчик по-детски выдумал сон и поглумился над ними, за что ему следовало бы дать взбучку.

Действительно, предложенье Рувима предусматривало взбучку в наказание за лживость. Но так как он вместе с тем рекомендовал пожать плечами, то взбучка имела в виду, разумеется, не очень серьезная, ибо, пожимая плечами, хорошей взбучки не дашь. И все-таки могло показаться странным, что Рувим склонен был принять как раз ту версию, которая, по его же собственному мнению, была связана со взбучкой. Стоило, однако, внимательнее прислушаться к его словам, как складывалось впечатление, что этой логикой он хотел отвлечь братьев от других предположений и склонить их к гипотезе вымышленного сна, опасаясь, что их выводом из предположения о вмешательстве бога будет отнюдь не смирение и молитва, а нечто невообразимо худшее, чем простая взбучка. На самом деле он видел, что они не настроены отделять личное от объективного и ставить свое отношение к Иосифу в зависимость от того, вызван ли его сон пустым высокомерием или же он отражает истинное положение вещей, то есть волю и замыслы бога. Из их речей не было ясно, в котором из этих двух случаев Иосиф показался бы им отвратительнее и гаже — скорее, чего доброго, во втором. Если сон действительно был от

бога и являлся знаком избрания, то с богом, конечно, нельзя было спорить, как нельзя было спорить с отцом Иаковом из-за его достопочтенной слабости. Все для них упиралось в Иосифа. Если бог избрал его в ущерб им и заставил их снопы лебезить перед его снопом, то, значит, бог был обманут им, как был им обманут Иаков, и это было следствием того же притворства, каким он подольстился к отцу. Бог был велик, священ и безответствен, но Иосиф был гадина. Ясно (и Рувиму это тоже было ясно), что их представление об отношениях Иосифа с богом как нельзя точнее совпадало с тем, какое было на этот счет у самого Иосифа: оно виделось им таким же, как его отношения с отцом. Да иначе и не могло быть, ибо только одинаковые предпосылки родят настоящую ненависть.

Ре'увим боялся такого направления мыслей; поэтому он не пытался оправдать Иосифа, допустив, что сон был ниспослан ему богом, а стал уговаривать их поверить в то, что Иосиф наврал, и проучить лжеца, хотя и пожимая плечами. В действительности пожимать плечами он был склонен не больше других. Трепет, о котором первым заикнулся прямодушный Гад и который теперь ощущали не только четыре сына служанок, но все десятеро, трепет, который шел от таких глубоких, врожденных, обычно дремавших, но сейчас разбуженных и растревоженных, таких жутких, отдававших преданьем и пророчеством ассоциаций, как обмен первородством, владычество над миром и подвластность братьев, — этого трепета в душе Рувима было, может быть, больше, чем у кого-либо, только у него, в отличие от других, он переродился не в смутную злость на виновника щемящей подавленности, а в столь же смутное умиление болтливой невинностью избранника и в изумленное благоговение перед судьбой.

— Не хватает только, чтобы он сказал «согнулись», — сквозь стиснутые зубы процедил Гаддиил.

— Он сказал «кланялись», — заметил костлявый Иссахар, который, в сущности, любил покой, ради него многое сносил и сейчас ухватился за мелочь, как-никак умиротворяющую.

— Это я знаю, — отвечал Гад. — Но, во-первых, он мог сказать так только из хитрости, а во-вторых, все равно это гнусно.

— Нет, разница все-таки есть, — возразил Дан из въедливости, которая была неотъемлема от его образа и которую он из благочестивой верности этому образу не упускал случая проявить. — «Кланяться» — это не совсем то же самое, что «согнуться», и, говоря между нами, это несколько менее резкое слово.

— Какое там! — закричали Симеон и Левий, полные решимости демонстрировать свою дикость и глупость при любом удобном и неудобном случае.

Дан и некоторые другие, в их числе Рувим, стояли на том, что «кланяться» — слово менее сильное, чем «согнуться». Когда человек «кланяется», говорили они, трудно сказать, происходит ли это по внутреннему побуждению или, что вероятнее, представляет собой внешний, пустой жест. К тому же «кланяются» только один раз или время от времени; «согнуться» же можно в душе надолго и навсегда, откровенно смиряясь перед обстоятельствами, и следовательно, как разъяснил Рувим, можно из хитрости «поклониться», по существу не «согнувшись», но можно и «согнуться», будучи при этом слишком гордым, чтоб «поклониться». Иегуда возразил, что практически это различие исчезает, ибо речь идет о сне, а во сне «поклоны» — это не что иное, как образное выражение того состояния, которое Рувим обозначает словом «согнуться». Снопы во сне, конечно, не так горды, чтобы не «поклониться», если уж тем, кто вязал их, суждено «согнуться». Тогда юный Завулон заметил, что вот они и занялись как раз тем, чего бесстыдно требовал от них Иосиф и до чего они отнюдь не намеревались снисходить, а именно — толкованием позорного сна; его слова вызвали у всех великую досаду, и под крики Симеона и Левина, что все это болтовня и вздор, что оскорбленные не должны ни кланяться, ни сгибаться, а должны положить конец всему, что их оскорбляет, как это они сделали в Шекеме, — совещание тотчас же прекратилось без каких-либо других последствий, кроме неутоленной злости.

СОЛНЦЕ, ЛУНА И ЗВЕЗДЫ

А Иосиф? Не подозревая, какие муки доставил десятерым братьям его сон, он беспокоился только о том, что они ему не поверили, и поэтому хотел только одного — заставить их поверить, поверить и в подлинность его сна, и в его вещую правдивость. Как этого добиться? Он ломал себе голову, задаваясь этим вопросом, и позднее сам удивлялся, что не он нашел ответ, а этот ответ был ему дан, пришел сам собой. Ему просто снова приснился сон, собственно тот же самый, но в куда более пышном виде, отчего это подтверждение было гораздо убедительнее, чем если бы только повторился сон о снопах. Он увидел этот новый сон ночью, под открытым звездным небом, на току, где он часто в то время ночевал с несколькими братьями и рабами, карауля еще не обмолоченный и не убранный в ямы хлеб; мы отнюдь не пытаемся объяснить происхождение сновидений, отмечая, что созерцание перед сном небесных светил могло повлиять на характер его сна, а близость (ибо они спали рядом) некоторых из тех, кого он хотел убедить, могла втайне оказать весьма возбуждающее действие на его орган сна. Упомянем даже, что в этот день он вел со стариком Елиезером под деревом наставленья ученую беседу о конце света, где речь шла о суде над миром и благословенной поре, о конечной победе бога над всеми темными силами, которым так долго кадили народы: о торжестве спасителя над языческими царями, звездными силами и богами зодиака, которых он согнет, свергнет и заключит в преисподнюю, чтобы стать достославно-самовластным правителем мира... Это и приснилось Иосифу, но приснилось настолько сумбурно, что во сне он по-детски спутал и отождествил эсхатологического божественного героя с собой, сновидцем, и фактически увидел себя, мальчика Иосифа, владыкой и повелителем всего зодиакального круговорота мира, вернее, не увидел, а ощутил, — ибо в этом сне не было уже никакой удобоописуемой наглядности, и в рассказе о нем Иосиф вынужден был довольствоваться самыми простыми и скупыми словами, передать лишь внутреннюю сущность пережитого, не описывая его как процесс, что отнюдь не способствовало доступности изложения.

И способ поделиться пережитым озаботил его сразу, когда он проснулся ночью, счастливый тем, что обрел такое веское доказательство достоверности предыдущего сна. Заботил его прежде всего вопрос о том, дадут ли ему вообще братья возможность оправдаться, то есть разрешат ли они ему рассказать еще один сон, — это казалось ему сомнительным. Уже и в первый раз они порывались с самого начала или даже еще раньше отказать ему в своем внимании. Насколько же больше приходилось опасаться этого теперь, когда результат их любопытства оказался для них не таким уж приятным.

Поэтому нужно было предотвратить их отказ, и уже ночью, на току, Иосиф придумал, как это сделать. Наутро он, по своему обыкновению, пошел к отцу, ибо ежеутренне Иакову не терпелось увидеть его, заглянуть ему в глаза, удостовериться в его благополучии и благословить на день, и сказал:

— Доброго тебе утра, папочка, князь божий! Вот и новый день родила ночь, я думаю, он будет совсем теплый. День следует за днем, как жемчужины нанизываются на нитку, и дитя довольно жизнью. А в эту пору жатвы она ему особенно улыбается. В поле сейчас хорошо и работать и отдыхать, и люди сближаются в дружном труде.

— То, что ты говоришь, приятно моему слуху, — отвечал Иаков. — Стало быть, вы ладите между собой на току и в поле и мирно живете в госпде, братья и ты?

— Мы живем превосходно, — сказал Иосиф. — Если не считать мелких неурядиц, которые неизбежно приносит с собой день и родит раздробленность мира, все идет как по маслу; ведь прямодушным словом, пусть иногда несколько грубым, недоразуменья улаживаются, и тогда снова царит согласие. Я бы хотел, чтобы папочка убедился в этом воочию. Ты никогда не бываешь в поле, и у нас часто сожалеют об этом.

— Я не люблю полевых работ.

— Разумеется, разумеется. И все-таки жаль, что люди не видят хозяина и за ними нет глаза, тем более что на наемников нельзя положиться. Недавно, например, мой брат Иегуда доверительно пожаловался мне, что обычно они скверно затачивают колесики молотилки, и те только мнут, а не режут колосья. Вот что бывает, когда хозяин не показывается.

— Я должен, кажется, признать твой упрек справедливым.

— Упрек? Упаси господь мой язык! Это всего лишь просьба, которую от имени одиннадцати осмеливается высказать отпрыск. И тебе вовсе не следует участвовать в нашей работе, в служенье земле, в труде бааловском, никто этого от тебя не требует, — о нет, ты поделишь с нами только славный наш отдых, когда мы, сыновья одного отца и четырех матерей, укрывшись от вершинного солнца в тени и преломив хлеб, заведем по своему обычаю дружную беседу и каждый расскажет что знает — кто потешную небылицу, кто сон. В такие часы мы часто, бывало, толкали друг друга локтем и, кивая головами, говорили, как приятно было бы нам видеть нашего отца и владыку в своем кругу.

— Я навещу вас как-нибудь.

— О радость! Навести нас сегодня же, окажи честь своим сыновьям! Работа уже идет к концу — нельзя терять времени. Итак, сегодня, — решено? Я ничего не скажу красноглазым и не проболтаюсь сыновьям служанок, пусть у них будет неожиданная радость. Одно лишь дитя будет знать, кому они обязаны ею и кто тот преданный хитрец, который все так тонко устроил.

Вот что придумал Иосиф. И действительно, в полдень того же дня Иаков сидел с сыновьями под навесом в поле, осмотрев предварительно ямы для зерна и проверив прикосновением большого пальца остроту колес находившейся на току молотилки. Братья были очень смущены. Все последние дни сновидец не присоединялся к ним в часы отдыха. Теперь он снова был тут как тут: лежал, положив голову на колени отца. Ясно было, что Иосифа не могло не быть здесь, если к ним явился отец, спрашивалось только, что привело вдруг сюда старика. Они сидели довольно натянуто и молча, одетые, из уваженья к его убеждениям, самым благоприличным образом. Иаков удивлялся отсутствию той здоровой задушевности, которая, по словам Иосифа, была свойственна этому часу. Возможно, что ее подавляла почтительность. Даже Иосиф был молчалив. Он боялся, хотя лежал на коленях отца, чье присутствие страховало его и развязывало ему язык. Иосиф был не на шутку озабочен своим сном и успехом своего сна. Его содержание исчерпывалось несколькими словами, к которым решительно нечего было прибавить. Если Гад, например, спросит, все ли это, ему, Иосифу, придется скверно. Краткость имела то преимущество, что можно было выложить все одним духом, не дав никому опомниться и прервать тебя. Но великолепная в известной мере скупость рассказа легко могла лишить его впечатляющей силы. Сердце у Иосифа стучало.

Он чуть не упустил случай проделать задуманное, ибо царившая под навесом скука грозила преждевременным окончанием полуденного отдыха. Но даже такая угроза, вероятно, не поборолась бы справедливой его нерешительности, если бы Иаков не успел добродушно осведомиться:

— Кажется, я слыхал, что в этот час, сидя в тени, вы рассказываете друг другу всякие побасенки и сны?

Они смущенно промолчали.

— Да, побасенки и сны! — взволнованно воскликнул Иосиф. — Как они, бывало иной раз, легко слетали у нас с языка! Никто не знает чего-нибудь нового? — дерзко спросил он братьев.

Они пристально поглядели на него и промолчали.

— А я кое-что знаю, — сказал он, приподнимаясь с колен отца с сосредоточенным видом. — Я знаю сон, который приснился мне на току этой ночью. Сейчас вы услышите его, отец и братья, и удивитесь. Мне снилось, — начал он и запнулся. Он весь как-то странно изменился, затылок и плечи судорожно съежились, руки вывернулись в суставах. Он опустил

голову, и улыбка, появившаяся на его губах, хотела, казалось, скрасить и извинить внезапную белизну его закатившихся глаз. — Мне снилось, — повторил он, задыхаясь, — я видел во сне... вот что я видел. Я видел, что солнце, луна и одиннадцать кокабимов мне прислуживали. Они пришли и склонились передо мной.

Никто не шевельнулся. Иаков, отец, строго потупил взгляд. Стояла тишина; но в тишине возник недобрый, тайный и все же явственно различимый шорох. Это скрежетали зубами братья. Большинство их скрежетало зубами, не размыкая губ. Но Симеон и Левий даже оскалили зубы.

Иаков слышал этот скрежет. Слышал ли его также Иосиф, трудно сказать. Он улыбался скромной и задумчивой улыбкой, склонив к плечу голову. Он высказался, и пусть они теперь поступают как им угодно. Солнце, луна и звезды, одиннадцать звезд, ему прислуживали. Пусть они призадумаются.

Иаков робко взглянул на сыновей. Он увидел то, чего ждал: десять пар глаз были яростно и настойчиво устремлены на него. Он овладел собою, собрался с духом. Резко, как только мог, сказал он за спиной мальчика:

— Иегосиф! Что за сон приснился тебе и что это значит, что такие сны тебе снятся и ты рассказываешь нам подобную чепуху? Неужели я и твоя мать и твои братья придем поклониться тебе? Мать твоя умерла — вот тебе первая нелепость, но далеко не последняя. Стыдись! По человеческому разумению, то, что ты нам преподнес, до того несуразно, что с таким же толком ты мог бы просто пробормотать «авласавлалакавла». Я разочарован в душе своей тем, что в свои семнадцать с лишним лет, несмотря на все просвещение твоего ума премудрой письменностью, возложенное мною на Елиезера, старшего моего раба, ты все еще не преуспел в разумении бога, коль скоро тебе снятся такие недостойные сны и ты выставляешь себя хвастуном перед отцом и братьями. Вот тебе мое наказание! Я наказал бы тебя строже и, может быть, даже больно оттаскал тебя за волосы, не будь болтовня твоя слишком ребяческой, чтобы оскорбить более зрелого и заставить степенного строго тебя проучить. Прощайте, сыновья Лии! Да будет вам трапеза впрок, сыновья Зелфы и Валлы!

С этими словами он встал за спиною Иосифа и ушел. Его укоризненная речь, произнести которую вынудили его взгляды сыновей, далась ему нелегко, и оставалось только надеяться, что она удовлетворила мальчишек. Если в ней был подлинный гнев, то вызван он был тем, что Иосиф не поверил свой сон ему одному, а оказался настолько глуп, что взял братьев в свидетели. Если бы он задался целью поставить отца в неловкое положение, то ничего лучшего, думал Иаков, он не сумел бы сделать. Это он, Иаков, еще скажет ему с глаза на глаз, так как сейчас не мог сказать ему этого, отлично видя, что присутствием братьев этот плут воспользовался для защиты от него, а его присутствием — для защиты от братьев. По дороге домой он с трудом подавлял улыбку умиленного восхищения маленьким этим предательством, мелькавшую в его бороде. И хотя в его порицаниях слышалась и неподдельная тревога о душевном здоровье «дитяти», озабоченность его склонностью к мечтательным сновиденьям и исступленным пророчествам, то все же и это беспокойство, и этот страх были лишь слабыми чувствами по сравнению с той нежно-благоговейной удовлетворенностью, которой наполнило его нескромное виденье Иосифа; самым безрассудным образом он просил бога, чтобы этот сон исходил от него, — что представляло собой совершенно нелепую просьбу, если бог, как то, вероятно, и было, не имел к нему отношенья, — и готов был проливать слезы любви при мысли, что это подлинные, обернувшиеся сновиденьем предчувствия будущего величия, которые по невинности, не сознавая всей их важности, выболтало дитя. Слабый отец! Ему в пору было рассердиться, услышав, что и он, и все они придут молиться на этого бездельника. Слышать это было ему неловко, — ибо разве он не молился на него?

Что касается братьев, то едва Иаков удалился, они тоже тронулись все, как один, в поле. Сделав в ярости шагов двадцать, они остановились для короткого, взволнованного совещания. Говорил большой Рувим: он сказал им, что теперь делать. Прочь отсюда — и только. Уйти

всем вместе от отцовского очага в добровольное изгнание. Это, сказал Рувим, будет достойная и убедительная демонстрация, единственно возможный с их стороны ответ на подобное безобразие. Прочь от Иосифа, думал он, чтобы не случилось беды. Но этого он не сказал, сумев представить предложенную им меру только как гордый, наказующий протест.

В тот же вечер они пришли к Иакову и заявили ему, что уходят. Там, где снятся подобные сны и где можно рассказывать их, рискуя разве что быть оттасканным за волосы, и то лишь на худой конец, — там, сказали они, им нечего делать, и они там не останутся. Уборка, сказали они, с дюжей их помощью закончена, и теперь они направятся в Шекем — не только шестеро, но также и четверо, то есть вдесятером; луга Шекема прекрасны и тучны, и с неизменной, хотя и не вознагражденной преданностью они будут пасти там стада отца, а на хевронском стойбище их впредь не увидят; ибо там снятся совершенно оскорбительные для чести сны. На прощанье, сказали братья, они благоговейно склоняют головы и сгибаются в поклоне (так они и сделали) перед Иаковым, своим отцом. Им нечего бояться, что они причинят ему боль или хотя бы огорчат его своим уходом, ибо известно, что Иаков, их господин, отдаст десятерых за одного.

Иаков опустил голову. Не начал ли он опасаться, что необузданность чувства, которой он подражательно упивался, вызывает неудовольствие в резиденции образца?

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ПОЕЗДКА К БРАТЬЯМ

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сказано было: Иаков склонил голову, когда обиженные сыновья простились с отцовским очагом, и с тех пор он редко ее поднимал. Наступившее тогда время года, время палящего, иссушающего землю зноя — ибо приближался день, когда солнце идет на убыль, и хотя как раз в эту пору, в месяце Таммуза, праведная подарила ему некогда Иосифа, душа Иакова обычно изнывала от безотрадной испепеленности этой четверти круговорота — время года могло, стало быть, способствовать его подавленности и помочь ему объяснить ее самому себе. Истинной причиной его угнетенности была, однако, единодушная демонстрация сыновей, их уход, о котором, впрочем, нельзя было сказать, что он причинил Иакову такую уж острую боль — это было бы преувеличением; в душе он действительно отдавал «десятерых за одного», но другое дело было совершить это в действительности, считаясь с возможностью, что уход братьев из общины будет окончательным и что он, Иаков, оставшись с двумя сыновьями вместо двенадцати, уподобится дереву, с которого осыпались листья. Это, во-первых, наносило ущерб его представительности, но, кроме того, такая перспектива повергала его в тревожное смущение перед богом; ибо он задавался вопросом, сколь велика ответственность, которую он теперь взваливал на себя перед планирующим владыкой обетованья. Разве господь, за которым будущее, благоразумно не воспрепятствовал тому, чтобы все шло только по воле Иакова и чтобы он был плодовит в одной лишь Рахили? Разве он не умножил его вопреки его воле хитростью Лавана и разве все они, в том числе сыновья нелюбимых, не были плодами благословения и носителями необозримого? Иаков прекрасно понимал, что избрание им Иосифа есть неумно-своенравное и глубоко личное пристрастие, которому достаточно было, из-за своих последствий, прийти во вредное противоречие с неопределенно далекими замыслами бога, чтобы оказаться преступной заносчивостью. А так оно, кажется, и получалось: ибо хотя непосредственным поводом к разрыву была глупость Иосифа, на которого Иаков за это горько сетовал, он сознавал, что именно он, Иаков, и никто другой, в ответе за эту глупость перед богом и перед людьми. Споря с Иосифом, он спорил с самим собой. Если случилась беда, то мальчик был только средством, а виною всему было любящее сердце Иакова. Что толку было скрывать это от себя? Бог это знал, а от бога не скроешься. Уважать правду — та-

ково было наследие Авраама, а это означало только одно — не закрывать глаза на то, что известно богу.

Таковы были раздумья, занимавшие Иакова в послеуборочную пору и определившие его решения. Его сердце учинило зло; он должен был заставить себя сделать изнеженный предмет своей слабости, который был средством к недоброму, также и средством возмещения ущерба, предъявив к нему для этого кое-какие требования и обойдясь с ним, чтобы наказать и его и собственное сердце, — посуровее. Поэтому, увидев издали мальчика, он окликнул его довольно резко:

— Иосиф!

— Вот я! — отвечал тот и подошел сразу. Он был рад, что его позвали, так как после ухода братьев отец мало с ним говорил, а от той последней встречи и у него, глупца, осталась полная предчувствий неловкость.

— Послушай, — сказал Иаков, по каким-то причинам напустив на себя рассеянность, задумчиво моргая глазами и собирая бороду в горсть, — если я не ошибаюсь, то все твои старшие братья пасут сейчас скот в долине Шекема?

— Да, — отвечал Иосиф, — я тоже это припоминаю, и если память меня не обманывает, они собирались все вместе податься к Шекему, чтобы ходить там за твоими стадами, что там пасутся, ибо луга там куда как тучны, а эта долина уже непоместительна для твоего скота.

— Да, так оно и есть, — подтвердил Иаков, — и позвал я тебя вот зачем. Я не получаю вестей от сыновей Лии и ничего не знаю о сыновьях служанок. Мне неизвестно, как там идут дела, помогло ли благословение Ицхака летнему окоту или же мои стада разоряют пуча и гниль в печени. Я не знаю, как там живут мои дети, братья твои, мирно ли пасут они скот в округе, где некогда, помнится, разыгрывались тягостные истории. Это меня беспокоит, и из-за этого-то беспокойства я и решил послать тебя к ним, чтобы ты передал им привет от меня.

— Вот я! — воскликнул Иосиф снова. Он сверкнул перед отцом белыми зубами и в знак полной своей готовности ударил, почти подпрыгнув, пятками оземь.

— По моим расчетам, — продолжал Иаков, — тебе идет уже восемнадцатый год, и пора уже обойтись с тобой посуровее и проверить, насколько ты возмужал. Поэтому я и решил послать тебя в эту поездку, отпустив от себя ненадолго к братьям, чтобы ты расспросил их обо всем, чего я не знаю, и, вернувшись ко мне с божьей помощью дней через девять-десять, все рассказал мне.

— Но ведь вот же я! — восхитился Иосиф. — Замыслы отца, милого моего господина, — это золото и серебро! Я совершу путешествие по стране, я навещу братьев и послежу за порядком в долине Шекема, это же сущее удовольствие! Ничего лучшего я и сам не пожелал бы себе!

— Ты не должен, — сказал Иаков, — следить за тем, чтобы у твоих братьев все было в порядке. Они достаточно взрослые люди, чтобы самим следить за порядком, и для этого им не нужно дитя. Ты должен просто учтивейше поклониться им и сказать: «Я провел несколько дней в пути, чтобы приветствовать вас и спросить, как вы живете-можете, — и по собственной воле, и по указу отца, ибо тут наши желанья совпали».

— Дай мне осла Пароша! Он длинноног, вынослив и очень широк в кости, чем напоминает брата моего Иссахара.

— Это свидетельствует о твоём возмужании, — помолчав, отвечал Иаков, — если ты радуешься поездке и не считаешь особой для себя тяготой отлучиться от меня на несколько дней, так что луна превратится из серпа в полукруг, а я тебя все это время не буду видеть. Не забудь, однако, сказать братьям: «Отец этого хотел».

— Ты дашь мне Пароша?

— Хотя я и намерен обойтись с тобой посуровее, сообразно твоему возрасту, осла Пароша я тебе все-таки не дам, ибо он упрям и ум его не соответствует его резвости. Гораздо боль-

ше тебе подойдет белая Хульда, животное ласковое, осторожное и тоже достаточно красивое, чтобы тебе не стыдно было показаться людям, на ней ты и поедешь. А чтобы ты почувствовал, что я чего-то от тебя требую и чтобы братья тоже это почувствовали, ты поедешь отсюда в долину Шекема один. Я не дам тебе слуг и не пошлю Елиезера сопровождать тебя. Нет, поезжай самостоятельно, на свой страх, а братьям скажи: «Я приехал навестить вас один, на белом осле, так хотел отец». И, возможно, что возвращаться ко мне тебе уже не придется в одиночестве, что братья, некоторые или все, поедут с тобой. Во всяком случае, это требование предъявляется к тебе и с такой задней мыслью.

— Это уж я устрою, — обещал Иосиф, — я непременно верну их тебе и готов даже поручиться, что без них не вернусь!

Бездумно сболтнув это, Иосиф стал, приплясывая, кружить отца и славить Иа за то, что ему выпало счастье совершить самостоятельное путешествие и поглядеть на мир. Затем он побежал к Вениамину и к старику Елиезеру поделиться с ними новостью. А Иаков, качая головой, поглядел ему вслед; он видел, что если сейчас и предъявляется какое-то требование, то предъявляется оно к нему самому, и что если он с кем и обходится сурово, то только с самим собой. Но разве это не было в порядке вещей, разве не хотела этого ответственность его сердца за Иосифа? Он не увидит мальчика много дней, и это казалось ему достаточным искуплением своей вины; он не обращался к сновиденьям и понятия не имел о том, какой смысл вкладывался в слова «сурово обойтись» в высшей резиденции. Он не исключал неуспеха поездки Иосифа, допуская, что тот может вернуться без братьев. Ужасающе обратное ему и в голову не приходило, об этом заранее, страхуя себя, позаботилась судьба. Так как все происходит иначе, чем можно предполагать, року очень мешают заблаговременные человеческие спасенья, подобные заклинанию. Поэтому он сковывает опасное воображение, и оно предвосхищает все, что угодно, только не рок, который, не будучи, таким образом, отвращен догадливой мыслью, сохраняет свою стихийную, свою разящую силу во всей полноте.

Во время мелких приготовлений, которых требовала поездка Иосифа, Иакова одолевали глубокомысленные воспоминания о поворотных днях минувшего, о том, как он сам был услан из отчего дома добывшей ему благословение Ревеккой, и душу его наполняло торжественное чувство возврата прошлого. Надо сказать, что сопоставление это было опрометчиво: ведь его роль не выдерживала сравнения с ролью Ревекки, отважной матери, которая сознательно пожертвовала своим сердцем, подстроив обман, поставивший все на свои места, и затем, сознавая вероятность вечной разлуки, отпустила своего любимца на чужбину. Эта тема варьировалась теперь иначе. Иосифа тоже, правда, вынуждала уйти из дома ярость обиженных братьев, однако он не бежал от их ярости, а Иаков, так сказать, отдавал его в руки Исаву: сцена у Иавока — вот к чему он стремился, вот что спешил повторить, сцена у Иавока, внешнее унижение, поверхностный, с грехом пополам, с оговорками, мир, попытка хоть как-то прикрыть вечную уже рознь и мнимо уладить то, чего уладить нельзя. Степенно-мягкий Иаков был очень далек от деятельной, берущей на себя все последствия решительности Ревекки. Единственной целью, которую он преследовал, усылая Иосифа, было восстановление прежнего, хотя и явно шаткого положения; вряд ли можно усомниться в том, что с возвращением десяти братьев беспросветно возобновилась бы и неизбежно привела к тем же результатам старая игра, складывавшаяся из слабости Иакова, слепой заносчивости Иосифа и смертельной ожесточенности братьев.

Как бы то ни было, любимый сын уезжал из-за раздора между братьями, а уж это-то было возвратом прошлого, и, ратуя о дальнейшем сходстве, Иаков назначил отъезд Иосифа на раннее утро, потому что так было когда-то. В нем почти ничего не оставалось от Иакова при этом прощании; он был, скорее, Ревеккой, матерью. Он долго не отпускал сына, бормотал благословения, прижавшись к его щеке, снял с себя охранную ладанку и повесил ее на шею отбывавшему, снова прижал его к себе и вообще вел себя так, словно Иосиф уезжал неведомо на какой срок или даже навсегда, пускаясь в семнадцатидневное, а то и более долгое странс-

твие в чуждедальную страну Нахараим, хотя мальчик, в избытке снабженный съестными припасами, собирался, к величайшему своему удовольствию, совершить короткую и безопасную поездку в близкий Шекем. Из этого видно, что человек ведет себя подчас несоответственно обстоятельствам, если исходить из его собственного сознания, а если взглянуть на его поведение в свете неведомой ему судьбы, то оно оказывается более чем уместным. Это может послужить утешеньем тогда, когда наше сознание прояснится и мы узнаем, что имелось в виду. Поэтому людям никогда не следовало бы легко прощаться друг с другом, чтобы при случае можно было все-таки сказать себе: по крайней мере, я успел еще прижать его к сердцу.

Незачем добавлять, что это прощание в утро отъезда, возле навьюченной, украшенной пестрым сольником и бисером Хульды, было лишь последним актом, которому предшествовало множество советов, напутствий и предостережений: Иаков насколько мог точно описал мальчику дорогу и места привалов, по-матерински предостерег его от перегрева и простуды, назвал ему имена тех людей и единоверцев, у которых тот мог в разных местах пути переночевать, строго-настрого запретил ему, когда он достигнет места Урусалим и увидит у бааловского храма жилища посвященных, которые там служат Ашере, вступать с ними в какие-либо разговоры и прежде всего настоятельно наказал ему быть отменно учтивым с братьями: невредно было бы, так он наставил его, если бы Иосиф семь раз пал перед ними ниц и как можно чаще называл их своими господами, — тогда они, вероятно, решат поладить с ним и не сторониться его всю свою жизнь.

Многое из этого Иаков-Ревекка повторил при последнем прощании, прежде чем позволил мальчику вскочить на ослицу и, щелкнув языком, тронуться на полночь. Продолжая говорить, он даже пошел рядом с полной утренней резвости Хульдой, но вскоре, не поспевая за ней, остановился с большей, чем пристало бы, тяжестью на душе. Поймав последний блик белозубой улыбки сына, он протянул к нему поднятую руку. Затем поворот дороги скрыл от него всадника, и он больше уже не видел Иосифа, который отправился к братьям.

ИОСИФ ЕДЕТ В ШЕКЕМ

А тот, невидимый уже отцовскому глазу, но вполне благополучно пребывая там, где он был, сидел на самом крестце осла и в нежных лучах утреннего солнца, с лихо откинутым туловищем и вытянув вперед стройные, смуглые ноги, ехал рысью через горы, по дороге на Бет-Лахем. Его настроение целиком соответствовало очевидным обстоятельствам, и если отец вел себя при прощании несообразно им, то он принял это с веселой снисходительностью избалованного любовью сына, нисколько не тяготясь сознанием, что при этой первой разлуке он обманул отцовскую заботливость.

Иаков дал подробнейшее напутствие сыну, не забыв никаких наставлений и предостережений; одно лишь он упустил из виду, об одной лишь крайне необходимой предосторожности забыл он из-за какого-то странного и не совсем простительного заскока памяти предупредить юношу и не вспомнил о ней до тех пор, покуда предмет, которого должна была коснуться эта остратка, не предстал его глазам самым ужасным образом: он не приказал ему оставить дома кетонет пассим, и, хитро промолчав, Иосиф этим воспользовался. Он взял покрывало с собой. Ему так хотелось показаться в нем миру, что он буквально дрожал от страха, что в последнюю минуту отец вспомнит об этом запрете, и мы допускаем даже, что в этом случае он бы обманул старика, сказав ему, что священное одеяние лежит в ларе, тогда как в действительности оно было спрятано в его поклаже. На спине его ослицы, трехлетней молочно-белой Хульды, чудесного животного, умного и услужливого, хотя и склонного к безобидным проказам, обладавшего тем трогательным юмором, какой подчас обнаруживают бессловесные твари, с бархатными, выразительными ушами и забавно-мохнатой челкой, доходившей до больших веселых и добрых глаз, уголки которых слишком скоро обсели мухи, — на спине Хульды, по обоим

бокам, висели разные предметы дорожного обихода и съестные припасы: козий мех с кислым молоком на случай жажды, закрытые корзины и глиняные горшки с манными и фруктовыми пирогами, жареным зерном, соленьями, огурцами, печеным луком и свежими сырами. Все это и многое другое, предназначенное для подкрепления путника и в подарок братьям, отец тщательно осмотрел и не заглянул только в один выюк, представлявший собой самую распространенную исстари дорожную принадлежность. Это был круглый кусок кожи, служивший во время еды скатертью или, вернее, столешницей, обшитый по краю металлическими кольцами. Им пользовались даже бедуины пустыни, и именно они ввели его в обиход. Через кольца они продевали веревку и в виде сумы навьючивали этот обеденный стол на верблюда или осла. Так поступил и Иосиф, и в этом полустоле-полукошеле, к воровской его радости, лежал кетнет.

Для чего же принадлежал он ему и был им унаследован, если в нем нельзя было покататься в поездке? Вблизи отчего дома встречавшиеся на дорогах и в полях люди знали Иосифа и радостно окликали его по имени. Но поодаль, после нескольких часов пути, там, где люди уже не знали его, приятно было показать им не только богатыми своими припасами, что всадник, которого они видят перед собой, человек знатный. Поэтому, тем более что и солнце уже поднялось, он вскоре извлек этот ослепительный убор и, прихотливо накинув его, покрыл им голову, так что миртовый венок, который он обычно носил, покоился у него теперь не на волосах, а на окаймлявшем лицо покрывале.

В этот день он не достиг того места, ради которого так нарядился и где, по настойчивому наказу Иакова, да и по собственному побуждению, собирался задержаться, принести жертву и помолиться. Однако от Бет-Лахема, где он переночевал у одного из друзей Иакова, верившего в бога плотника, до этого места оставался всего один переход. На другое утро, простившись со своим гостеприимцем, его женою и подмастерьями, он быстро туда доехал, и Хульда ждала у подпертой шестом шелковицы, покамест Иосиф, в наследственном наряде невесты, творил свои молитвы и возлияния у камня, который некогда воздвигли у этой дороги, чтобы камень напоминал богу о том, что он, бог, однажды здесь совершил.

Среди виноградников и скалистых пашен было по-утреннему тихо, и движение по урусалимской дороге еще не началось. Ветерок бездумно играл лоснящейся листвой шелковицы. Округа молчала, и молча приняло место, где Иаков похоронил когда-то Лаванову дочь, дары и знаки молитвенного благоговения ее сына. Он поставил у камня воду, положил рядом хлеб с изюмом, поцеловал землю, в которую ушла эта полная готовности жизнь, и выпрямился, чтобы, воздев руки, обратив к небу унаследованные от ушедшей глаза и губы пробормотать формулы благочестивой почтительности. Ничто не ответило из глубины. Прошедшее молчало, обреченное на равнодушие, неспособное встревожиться. Единственным, что осталось от него здесь, был он сам, одетый в ее брачный наряд и обративший к небу ее глаза. Неужели материнское начало не могло воззвать к нему и предостеречь его из его собственной плоти и крови, где оно сохраняло жизнь? Нет, там оно было сковано слепым, избалованным мальчишеством и не могло говорить.

И поэтому Иосиф весело продолжал свой путь по дорогам и горным тропам. Это была самая успешная поездка на свете; никакой неудачей, никаким непредвиденным происшествием не омрачалось ее благополучие. Не то чтобы земля скакала ему навстречу; но она услужливо расстилалась перед ним и радостно приветствовала его глазами и устами людей, где бы он ни появлялся. Его давно уже не знали лично, но его тип чрезвычайно популярен в этих краях, и, не в последнюю очередь благодаря чудесному покрывалу, внешность его вызывала у всех, кто его видел, расположение и радость, особенно у женщин. Они сидели, кормя грудью младенцев, у залитых солнцем, саманных, ноздреватых оград деревень, и удовольствие, которое доставляло им кормление детей, усиливалось видом красивого и прекрасного путника.

— Будь здоров, свет очей! — кричали они ему. — Благословенна та, что родила такое сокровище!

— Доброго здоровья! — отвечал, обнажая зубы, Иосиф. — Пусть твой сын будет владыкой над многими!

— Сердечная тебе благодарность! — кричали они ему вдогонку. — Да хранит тебя Астарот! Ты похож на одну из ее газелей!

Ибо все они почитали Ашеру и только и думали о служении ей.

Иные, опять-таки благодаря его покрывалу, но также и из-за обильных его припасов, принимали его прямо-таки за бога и выказывали намерение помолиться ему. Но это случалось только на открытой равнине, а не в обнесенных стенами городах, называвшихся Бет-Шемеш, Кириаф-Аин, Керем-Баалат, или еще как-нибудь в этом роде, у прудов и ворот которых он беседовал с местными жителями, вскоре окружавшими его многолюдной толпой. Ибо он поражал их ценимой горожанами образованностью; рассуждая о божественных чудесах чисел, о вечности, о тайнах маятника и народах земного круга или рассказывая им, чтобы польстить им, о блуднице из Урука, приобщившей к цивилизации лесного дикаря, он делал это с таким словесным изяществом, что слушатели его сходились во мнении, что ему в пору быть мацкиром какого-нибудь князя города или же напоминальщиком какого-нибудь царя.

Он блеснул знанием языков, приобретенным с помощью Елиезера, поговорив под воротами по-хеттски с уроженцем Хатти, по-митаннийски с одним северянином и обменявшись несколькими египетскими фразами с одним скототорговцем из Дельты. Знал он не так уж много, но человек умный управится с десятком слов ловчее, чем глупец с сотней, и он ухитрялся произвести если не на собеседника, то на тех, кто слушал их разговор, впечатление потрясающе одаренного, не знающего никаких затруднений полиглота. Одной женщине он истолковал у колодца приснившийся ей страшный сон. Ей привиделось, будто ее сынок, трехлетний мальчик, стал вдруг больше ее самой и у него выросла борода. Это означает, сказал Иосиф, на мгновение закатив глаза, что ее сын скоро покинет ее и она увидит его лишь через много лет, взрослым и бородатым... Поскольку эта женщина была очень бедна и не исключено было, что ей придется продать своего сына в рабство, толкование Иосифа показалось довольно правдоподобным, и люди подивились тому соединению красоты и мудрости, которое олицетворял собой этот юный путник.

То и дело люди приглашали его погостить у них день-другой. Но он нигде не задерживался дольше, чем того требовала простая приветливость, и по возможности придерживался намеченного отцом распорядка. Из трех ночей, разделявших четыре дня его поездки, он провел еще одну в доме у некоего Абисаи, серебряных дел мастера, который когда-то гостил у Иакова и хотя не служил богу Авраама безоговорочно и безраздельно, относился к этому богу с большим сочувствием и, занимаясь изготовлением идолов из лунного металла, оправдывался тем, что надо же ему в конце концов жить. В этом Иосиф, как человек светский, с ним согласился и переночевал под его крышей. Третью из этих коротких ночей он провел под открытым небом, расположившись в смоковной роще: ибо из-за отчаянной жары он отдыхал днем и добрался до третьей стоянки так поздно, что не захотел проситься в дом. То же самое произошло с ним и под конец, когда он был уже почти у цели. Из-за жары он и на четвертый день в самые знойные часы отдыхал и, выспавшись днем под деревьями, тронулся в путь только к вечеру, так что началась уже вторая ночная стража, когда он очутился в узкой долине Шекема. Но если дотоле его поездка протекала преблагополучно, то теперь началась какая-то чертовщина, — с того часа, как он въехал сюда и при свете луны, что плыла по небу еще долбленой ладьей, увидел стены, крепость и храм города на склоне горы Гаризим, — с этого мига все шло уже кувырком, так что Иосиф готов был связать эту игру и прихоть судьбы с человеком, который встретился ему ночью, не доезжая Шекема, и в последние перед этой полной переменой мгновенья навязался ему в попутчики.

ЧЕЛОВЕК В ПОЛЕ

Сказано, что некто нашел его блуждающим в поле. Но как понимать здесь «блуждающим»? Неужели отец потребовал от него слишком многого и юный Иосиф оказался настолько незадачлив, что сбился с дороги и заблудился? Отнюдь нет. Блуждать не значит заблудиться, и ищущему вовсе не нужно сбиваться с дороги, чтобы ничего не найти. В долине Шекема Иосиф провел несколько лет своего детства, и местность эта не была ему незнакома, хотя узнавал он ее как бы впросонье, тем более что стояла ночь и луна светила тускло. Он не заблудился, он искал; и так как он не находил того, что искал, поиски его превратились в блуждание в темноте. Среди ночного безмолвия, ведя под уздцы свою ослицу, бродил он по волнистой равнине лугов и пашен, на которую глядели едва различимые при свете звезд горы, и думал: где же могут быть братья? Ему попадались, правда, овечьи загоны, где стоял спал скот; но было неизвестно, Иаковлевы ли это овцы, а людей кругом не было — тишина стояла поразительная.

Вдруг он услышал голос: его спрашивал человек, чьих шагов у себя за спиной он не слышал, но который догнал его и оказался с ним рядом. Иди он навстречу Иосифу, тот бы спросил его; а так незнакомец не дал спросить себя и спросил сам:

— Кого ты ищешь?

Он спросил не «Чего ты здесь ищешь?», а сразу «Кого ты ищешь?», и возможно, что отчасти эта решительность вопроса определила довольно ребяческий и необдуманный ответ Иосифа. К тому же голова у мальчика изрядно устала, и он так обрадовался встрече с человеком среди этой окаянной ночи блужданий, что тотчас же, только потому, что это был человек, сделал его объектом простодушно-ласкового и нелогичного доверия. Он сказал:

— Я ищу своих братьев. Скажи мне, милый человек, прошу тебя, где они пасут скот?

«Милый человек» не подсадовал на наивность этого вопроса. Как бы не замечая ее, он не стал указывать ищущему на недостаточность его данных. Он ответил:

— Во всяком случае, не здесь и не поблизости.

Иосиф в замешательстве поглядел на него сбоку. Он видел его довольно хорошо. Незнакомец не был еще настоящим мужчиной, он был лишь на несколько лет старше Иосифа, но выше его ростом, пожалуй, даже долговяз; одет он был в холщовую, без рукавов, рубаху, мешковато подобранную поясом, чтобы не мешать при ходьбе коленям, и в короткий, накинутый на одно плечо плащ. Голова его, покоившаяся на несколько раздутой шее, казалась по сравнению с ней маленькой, каштановые волосы, падая наискось, закрывали часть лба до надбровья. Нос у него был большой, прямой и крепкий, расстояние между носом и маленьким красным ртом очень незначительно, а углубление под нижней губой настолько плавно и велико, что подбородок выдавался каким-то шарообразным плодом. Он несколько жеманно склонил голову к плечу и через плечо, сверху вниз, с вялой вежливостью глядел на Иосифа довольно красивыми, но лишь едва открытыми глазами, тем сонливо-туманным взглядом, какой появляется у человека, когда он перестает моргать. Руки у него были округлые, но бледные и довольно дряблые. Он носил сандалии и опирался на палку, которую явно сам вырезал себе на дорогу.

— Во всяком случае не здесь? — повторил мальчик. — Как же так? Ведь уходя из дому, они вполне определенно сказали, что направляются к Шекему. Ты их знаешь?

— Поверхностно, — отвечал спутник. — Насколько это необходимо. Нельзя сказать, чтобы я был с ними очень близок, о нет. Зачем ты их ищешь?

— Потому что отец послал меня к ним передать им привет и последить у них за порядком.

— Скажи на милость. Значит, ты посыльный. Я тоже посыльный. Я часто шагаю со своим посохом по чьему-либо поручению. Но кроме того, я проводник.

— Проводник?

— Да, конечно. Я провожаю путников и указываю им дорогу, это мое ремесло, и поэтому я и заговорил с тобой и задал тебе вопрос; я увидел, что ты ищешь напрасно.

— Кажется, ты знаешь, что моих братьев здесь нет. Но знаешь ли ты, где они?

— Думаю, что да.

— Так скажи мне!

— Тебе очень хочется к ним?

— Конечно, мне хочется добраться до цели, а цель моя — братья, к которым послал меня отец.

— Ну что ж, я ее укажу тебе, твою цель. Когда я в прошлый раз проходил здесь по своим посыльным делам, я слышал, как братья твои говорили: «Пойдемте для разнообразия к Дофану с частью овец!»

— К Дофану?

— А почему бы и не к Дофану? Так им вздумалось, так они и сделали. Пастбища в долине Дофана сочные, а люди, что живут там на холме, любят торговать; они покупают жиры, молоко и шерсть. Почему ты удивляешься?

— Я не удивляюсь, ничего удивительного тут нет. Но это невезенье. Я был уверен, что найду братьев здесь.

— Ты, видимо, не знаешь, — спросил незнакомец, — что не всегда все делается по твоему желанию? Ты, по-моему, маменькин сынок.

— У меня вообще нет матери, — возразил Иосиф недовольно.

— У меня тоже, — сказал незнакомец. — Значит, ты папенькин сынок.

— Оставь это, — ответил Иосиф. — Посоветуй-ка лучше, что мне теперь делать.

— Очень просто. Поехать в Дофан.

— Но сейчас ночь на дворе, и мы устали, Хульда и я. До Дофана отсюда, насколько мне помнится, больше одного перехода. Если ехать не торопясь, уйдет день.

— Или ночь. Поскольку ты днем спал под деревьями, ты можешь воспользоваться ночью, чтобы добраться до места.

— Откуда ты знаешь, что я спал под деревьями?

— Прости, я это видел. Я проходил со своим посохом мимо того места, где ты лежал, и оставил тебя позади. А теперь я нашел тебя здесь.

— Я не знаю дороги в Дофан, а ночью мне и подавно ее не найти, — пожаловался Иосиф. — Отец не описал мне ее.

— Радуйся же, что я тебя нашел, — отвечал незнакомец. — Я проводник и могу, если хочешь, тебя проводить. Я укажу тебе дорогу в Дофан совершенно безвозмездно, ибо все равно иду туда по своим посыльным делам, и, если тебе угодно, проведу тебя кратчайшим путем. Мы сможем по очереди ехать на твоём осле. Красивое животное! — сказал он, оглядывая Хульду едва открытыми своими глазами, вяло-пренебрежительный взгляд которых не вязался с его замечанием. — Такое же красивое, как и ты. Вот только бабки у твоего осла слабоваты.

— Хульда, — сказал Иосиф, — и Парош — лучшие ослы в стойлах Израиля. Никто не находил, что у нее слабые бабки.

Незнакомец поморщился.

— Лучше бы, — сказал он, — ты мне не перечил. Это неразумно по многим причинам, например, потому, что тебе нужна моя помощь, чтобы добраться до братьев, а во-вторых, я старше тебя. Ты не можешь не согласиться с этими двумя доводами. Если я говорю: у твоего осла хрупкие бабки, значит, они хрупкие, и незачем тебе защищать их, словно ты сделал этого осла. Ведь подойти к нему и назвать его — это все, что ты можешь. Кстати, поскольку мы заговорили об имени, я попросил бы тебя не называть при мне Израилем доброго Иакова. Это неприлично, и меня это раздражает. Называй его настоящим именем и воздержись от высокопарных прозвищ!

Приятным этого человека никак нельзя было назвать. Его вялая, снисходительная вежливость могла, казалось, по непонятным причинам в любой миг перейти в раздраженную мрачность. Эта склонность к дурному настроению противоречила его готовности помочь блуждавшему и в известной мере ее обесценивала, заставляя думать, что она не соответствует внутренним побуждениям. Может быть, он просто хотел воспользоваться ослом случайного попутчика, чтобы облегчить себе путешествие в Дофан? Действительно, первым поехал верхом он, а Иосиф зашагал рядом. Обиженный запрещением называть отца Израилем, Иосиф сказал:

— Но ведь это его почетное звание, которое он завоевал у Иакова, одержав нелегкую победу!

— Мне смешно, — отвечал незнакомец, — что ты говоришь о победе, когда ни о какой победе вообще не может быть речи. Хороша победа, после которой всю жизнь хромаешь на бедро свое, а если даже и получаешь имя, то совсем не того, с кем боролся. Впрочем, — сказал он вдруг и сделал весьма странное движение глазами: он не только раскрыл их, но быстро и как бы косясь, поворачивал ими, — впрочем, я ничего не имею против, называй себе отца Израилем — пожалуйста. На то есть основания, и я возразил тебе просто так, не подумав. Кстати, — добавил он, еще раз поворачивая глазами яблоками, — я, оказывается, сижу на твоём осле. Если хочешь, я слезу, а ты поедешь верхом.

Станный человек. Похоже было, что он раскаивался в своей нелюбезности, но его раскаянье, как и его готовность помочь, не казалось ни полноценным, ни искренним. Иосиф же был неподдельно любезен, считая вообще, что на странное поведение лучше всего отвечать повышенной любезностью. Он сказал:

— Поскольку ты меня ведешь и по доброте своей указываешь мне дорогу к братьям, ты вправе пользоваться моим ослом. Прошу тебя, оставайся в седле, мы поменяемся местами позднее! Ты весь день шел пешком, а я мог при желании ехать.

— Большое спасибо, — отвечал юноша. — Слова твои, правда, всего лишь дань вежливости, но все-таки большое тебе спасибо. Я временно лишен некоторых дорожных удобств, — добавил он, пожимая плечами. — Доставляет ли тебе удовольствие быть гонцом и посыльным? — спросил он затем.

— Я очень обрадовался, когда отец позвал меня, — ответил Иосиф. — А чей посыльный ты?

— Ах, мало ли гонцов снует по этой земле между могучими державами на юге и на востоке, — отвечал молодой человек. — Кто, собственно, тебя послал, тебе невдомек; поручение передается из уст в уста, и нет смысла выяснять, откуда оно исходит, ты должен шагать, и дело с концом. Сейчас мне нужно доставить в Дофан письмо, — сказал он, — которое лежит у меня вот здесь, за пазухой. Но похоже, что мне придется стать еще и сторожем.

— Сторожем?

— Ну да, никто не поручится, что мне не придется сторожить, к примеру, колодец или еще что-нибудь. Посыльный, проводник, сторож — занятие зависит от случая и от обстоятельств тех, кто тебя нанимает. Доставляет ли это тебе удовольствие и считаешь ли ты, что ты создан для этого, — вопрос другой, и я не стану его касаться. Как и вопроса о том, по душе ли тебе изначальный умысел, которому ты обязан полученным поручением. Этих вопросов я, повторяю, затрагивать не буду, но, говоря между нами, дело свое делаешь с непонятным интересом. Ты любишь людей?

Он спросил это без всякого перехода, однако его вопрос не поразил Иосифа; ибо вся вяло-брюзгливая речь его проводника выдавала в нем субъекта, надменно недовольного людьми и тяготящегося необходимостью заниматься среди них своими делами.

— Мы обычно улыбаемся друг другу, люди и я.

— Да, потому что ты, как известно, красив и прекрасен, — сказал проводник. — Поэтому-то они и улыбаются тебе, а ты в ответ улыбаешься им, чтобы они утвердились в своей

глупости. Лучше бы ты корчил кислую рожу и говорил им: «Чему вы улыбаетесь? Эти волосы самым жалким образом выпадут, да и эти белые зубы тоже; эти глаза только студень из крови и воды, они вытекут, а вся эта пустая красота тела увянет и позорно исчезнет». Тебе следовало бы отрезвляюще напоминать им о том, что они и сами знают, но о чем рады забыть в услужливо улыбающемся мгновенья. Такие созданы, как ты, — это не что иное, как мимолетный, пылью в глаза, обман, мешающий видеть внутреннее безобразие всякой плоти, скрытое под ее поверхностью. Я не хочу сказать, что сама оболочка, кожа, так уж аппетитна со своими порами, испареньями и потными волосками; но стоит слегка поцарапать ее, и выступит соленая, бесстыдно красная жижка, а уж глубже плоть и вовсе ужасна, там одни потроха и вонь. Красивое и прекрасное должно быть красивым и прекрасным насквозь, состав его должен быть сплошь благородным, в нем не должно быть места слизи и грязи.

— В таком случае, — сказал Иосиф, — ты должен обратиться к литым и резным изваяньям, например, к прекрасному богу, которого женщины прячут среди зеленых деревьев, а потом с плачем ищут, чтобы похоронить в пещере. Он сплошь красив и сделан целиком из масличного дерева, в нем нет крови, и он не смердит. Но чтобы казалось, что он не сплошь однороден, а истекает кровью, растерзанный клыками кабана, они размалевывают его красными ранами и обманывают самих себя, чтобы поплакать о драгоценной жизни. Так уж устроено: либо жизнь — обман, либо красота. Действительного сочетания красоты с жизнью ты нигде не найдешь.

— Гм! — сказал проводник и, сморщив свой круглый, как плод, подбородок, полузакрытыми глазами, через плечо, сверху вниз, поглядел на Иосифа, шагавшего рядом с ослем.

— Нет, — добавил он после некоторого молчания, — что ты ни говори, это скверное отродье, оно пьет нечестье, как воду, и давно уже заслуживает нового потопа, только без ковчега.

— Насчет нечестья ты прав, — отвечал Иосиф. — Но согласись, что на свете все двойственно, что каждая вещь, различия ради, имеет свою противоположность, и не будь наряду с одним другого, не было бы ни того, ни другого. Без жизни не было бы смерти, без богатства — бедности, и не будь на свете глупости, кто бы стал говорить об уме? Но ведь точно так же, это совершенно ясно, обстоит дело с непорочностью и порочностью. Нечистая тварь говорит чистой: «Ты должна быть мне благодарна, ибо, не будь меня, откуда бы ты знала, что ты чиста, и кто стал бы тебя так называть?» А нечестивец праведнику: «Пади мне в ноги, ибо, не будь меня, в чем состояло бы твое преимущество?»

— В том-то и дело, — сказал незнакомец, — вот в том-то и дело, что я не одобряю его в корне, этот мир двойственности, и не понимаю интереса к отродью, о чистоте которого можно говорить только с оглядкой на прошлое и только в порядке сравнения. Но всегда приходится помнить о них, и всегда с ними связываются невесть какие великие замыслы, и ради куцега их будущего правится такое, что просто слов нет. Вот и тобой, кошель с ветром, мне приходится править, чтобы ты достиг своей цели, — ну, разве это не скучно!

«Вот брюзга, зачем же он направляет меня, если это ему так тягостно? — думал Иосиф. — Ведь глупо же притворяться услужливым, а потом ворчать. Конечно, ему только и нужно было поехать верхом. Он мог бы уже, собственно, спешиться, мы же собирались ехать по очереди. А рассуждает он совсем по-человечески», — подумал он и про себя усмехнулся над этой привычкой людей бранить человеческую природу, исключая при этом самих себя, и судить о людях так, словно они сами не люди. Поэтому он сказал:

— Вот ты говоришь о роде людском и судишь о том, из какого скверного теста он сделан. А ведь было время, когда даже дети бога считали это тесто достаточно доброкачественным и входили к дочерям человеческим, и от этого рождались исполины и богатыри.

Жеманным движением проводник повернул голову к тому своему плечу, которое было обращено к Иосифу.

— Ишь какие истории ты знаешь! — хихикнув, ответил он. — Должен тебе сказать, что для своих лет ты недурно разбираешься в былом. Я лично считаю эту историю чистейшим

вздором. Но если она правдива, то я могу тебе сказать, почему дети света так поступали, почему они обратились к дочерям Каина. Они сделали это из величайшего презрения, да, да. Знаешь ли ты, до чего дошла порочность дочерей Каина? Они ходили нагишом и совокуплялись, как скот. Их распутство на столько перешло все границы, что на него уже невозможно было безучастно глядеть, — не знаю, поймешь ли ты это. Не признавая никакой меры, они сбрасывали с себя одежды и голыми выходили на рынок. Если бы они вообще не знали стыда, тогда дело другое, тогда их вид не взволновал бы так детей света. Но они-то хорошо знали стыд, благодаря богу они были даже очень стыдливы, и в том-то и состояла их радость, что они попирали свой стыд ногами — как же можно было тут устоять? Мужчины открыто, прямо на улицах, соединялись со своими матерями и дочерьми, с женами своих братьев, и на уме у них было в общем только одно — омерзительная радость поруганного стыда. Как же это могло не взволновать детей бога? Они были совращены презрением — способен ли ты это понять? Исчез последний остаток их уваженья к этому племени, которое им посадили на шею, словно миру недостаточно было их самих, и которое, ради высших интересов, они должны были уважать. Они увидели, что человек создан единственно для непотребства, и их презрение приняло любострастный характер. Если ты этого не понимаешь, ты просто теленок.

— На худой конец я могу это понять, — ответил Иосиф. — Но откуда ты, собственно, это знаешь?

— А своего Елизера ты тоже спрашиваешь, откуда он знает то, чему тебя учит? Былое я знаю не хуже, чем он, и, может быть, даже чуточку лучше, ибо, будучи посыльным, проводником и сторожем, поневоле вращаешься в мире и многое узнаешь. Могу тебя заверить, что потоп в конце концов потому лишь последовал, что презрение сынов неба к людям облеклось любострастием: это решило дело; иначе потопа, может быть, никогда и не было бы, и я добавлю только, что дети света как раз и задавались целью вызвать потоп. Но потом, увы, появился ковчег, и человек снова вошел в мир с черного хода.

— Порадуемся же этому, — сказал Иосиф. — В противном случае мы не могли бы, болтая, держать путь в Дофан и поочередно, как договорились, пользоваться ослом.

— Да, в самом деле! — ответил незнакомец и снова, кося, повращал глазами. — За болтовней я все забыл. Ведь я же должен направлять и охранять тебя, чтобы ты добрался до своих братьев. Кто, однако, важнее — охраняющий или охраняемый? Не без горечи отвечаю: охраняемый; ибо не он для охраняющего, а охраняющий для него. Поэтому я сейчас слезу с осла, и ты поедешь, а я буду рядом месить пыль.

— Могу только согласиться с тобой, — сказал Иосиф, садясь на осла. — Ведь это же чистая случайность, что ты хоть время от времени едешь верхом, а не месишь пыль всю дорогу.

Так, под звездами, при тусклом свете луны, продвигались они на север от Шекема к Дофану, то по узким, то по широким долинам, то по крутым, поросшим кедром и акацией горам, мимо спящих деревень. Иосиф тоже временами засыпал, когда он сидел на осле, а его провожатый месил пыль. Проснувшись однажды в седле — дело было уже на рассвете, — он заметил, что среди вьюков недостает двух небольших корзинок — с вялеными фруктами и с печеным луком, и увидел, что пазуха его провожатого соответственно раздулась. Незнакомец воровал! Это было неприятное открытие, показавшее, сколь мало было у того оснований, понося род человеческий, делать для себя исключение. Иосиф не сказал ни слова, тем более что в беседе он сам защищал нечестье ради его противоположности. К тому же ведь этот человек был вожатым, а стало быть, служил Набу, владыке той западной точки круговорота, где начинается преисподняя половина вселенной, богу воров. Напрашивалось предположение, что он совершил некий благочестивый обряд, обокрав своего спящего подопечного. Поэтому Иосиф ни словом не обмолвился о замеченном, отнесясь с уважением к нечестности знакомого, которая могла быть свидетельством его благочестия. Но все-таки было очень неприятно обнаружить, что провожатый явно крадет. Это бросало тень на характер и конечную цель его путеводительства, и у Иосифа осталась какая-то тяжесть на сердце.

Вскоре, однако, случилось нечто худшее, чем воровство. За полями и лесами взошло солнце, и показался зеленый холм Дофана: он высился перед ними чуть правее, селенье находилось на его вершине. Иосиф, который как раз ехал верхом, в то время как вор вел осла в поводу, загляделся на холм. Вдруг он почувствовал резкий толчок и упал. Тут-то оно и случилось: Хульда угодила передним копытом в яму, у нее подсклились ноги, и она никак не могла подняться. Она сломала бабку.

— Перелом! — сказал проводник, после того как оба быстро осмотрели ногу ослицы. — Вот видишь! Разве я не говорил, что у нее слишком тонкие бабки?

— Если ты даже и оказался прав, то перед лицом этого несчастья тебе не следовало бы радоваться, и вообще твоя правота сейчас уже не имеет значения. Ты вел Хульду неосторожно, вот она и оступилась.

— Ах, вот оно что, я был неосторожен, и ты винишь во всем меня? Да, так принято у людей: им непременно нужен виновный, если что-то не заладилось, — это можно было сказать наперед!

— Но и это тоже принято у людей — настаивать на том, что ты предсказывал беду, и бессмысленно торжествовать по этому поводу. Будь доволен, что я виню тебя только в неосторожности; я мог бы обвинить тебя и еще кое в чем. Ты напрасно посоветовал мне ехать всю ночь напролет; мы не переутомили бы Хульду, и умное это животное не споткнулось бы.

— Уж не думаешь ли ты, что от твоего нытья ее бабка заживет?

— Нет, — сказал Иосиф, — этого я не думаю. Но теперь мне снова приходится спросить тебя — что мне делать? Не могу же я оставить здесь своего осла со всеми припасами, которыми я собирался одарить братьев от имени Иакова. Их еще много, хотя кое-что я уже съел, а кое-что исчезло иным образом. Неужели оставить здесь Хульду, чтобы она мучительно издыхала, а полевое зверье тем временем пожирало мое добро? Я готов заплакать от огорчения.

— А ведь я снова сумею тебе помочь, — сказал незнакомец. — Не говорил ли я тебе, что при случае, когда в том бывает нужда, я становлюсь и сторожем? Ступай себе преспокойно! Я останусь здесь охранять твоего осла, а также съестные припасы и не допущу к ним ни птиц, ни разбойников. Считаю ли я, что я был для этого создан, вопрос особый, который сейчас не подлежит обсуждению. Как бы то ни было, я посижу здесь стражем при осле, куда ты не придешь к своим братьям и не вернешься с ними или с рабами, чтобы взять свое добро и решить, лечить ли осла или прикончить его.

— Спасибо, — сказал Иосиф. — Так мы и поступим. Я вижу, ты самый настоящий человек и у тебя есть свои хорошие стороны, а о другом говорить не будем. Я постараюсь как можно скорее вернуться с людьми.

— Полагаюсь на это. Здесь не заблудишься: за холм, потом назад в долину шагов пятьсот через кусты и клевер, — и ты увидишь своих братьев — неподалеку от колодца, в котором нет воды. Припомни, не нужно ли тебе взять с собой что-нибудь из поклажи? Может быть, какой-нибудь головной убор для защиты от солнца, которое уже поднимается?

— Твоя правда! — воскликнул Иосиф. — От неудачи я совсем потерял голову! Этого я здесь не оставлю, — сказал он, извлекая кетонет из кожаного кошель с кольцами, — даже на твое попечение, какие бы у тебя ни были хорошие стороны. Это я возьму с собой в долину Дофана, чтобы явиться к братьям все же в достойном виде, если уж не верхом на белой Хульде, как того хотел Иаков. Сейчас я при тебе закутаюсь в это покрывало — вот так, — так, — и пожалуй, еще вот так! Каково? Не пестрый ли я овчар в этом наряде? Покрывало Мами — к лицу ли оно сыну?

О ЛАМЕХЕ И ЕГО РУБЦЕ

Между тем Лиины сыновья и сыновья служанок, все десять, сидели в долине за холмом у догоревшего костра, на котором они варили утреннюю похлебку, и глядели на золу. Все они давно уже вышли из полосатых своих палаток, стоявших поодаль в кустарнике: поднялись они в разное время, но все очень рано, а иные даже затемно, потому что им не спалось; им редко спалось всласть с тех пор, как они покинули Хеврон, и жажда перемен, заставившая их смелить шекемские выгоны на поля Дофана, шла не от чего другого, как от обманчивой надежды, что в другом месте они будут спать слаще.

Хмурые, нет-нет да спотыкаясь одеревенелыми ногами об узловатые, расползшиеся по земле корни дрека, они сходили к колодцу, находившемуся поодаль, где паслись овцы, в котором была живая вода, тогда как ближайшая к шатрам цистерна в это время года пересыхала и была пуста; они напились, умылись, сотворили молитву, осмотрели ягнят, а потом собрались на том месте, где обычно ели: в тени нескольких красноствольных, развесистых сосен. Отсюда открывался широкий вид на плоскую, испещренную лишь кустами да одинокими деревьями равнину, на холм, увенчанный селеньем Дофан, на далекие скопища овец и на мягкие очертания гор совсем уж вдали. Солнце поднялось довольно высоко. Пахло согретыми травами, укропом, чабрецом, и слышались все прочие, любимые овцами запахи поля.

Сыновья Иакова, поджав под себя ноги, сидели вокруг еле теплившегося под котлом хвороста. Они давно уже покончили с едой и сидели праздно, с красноватыми глазами. Тела их насытились, но их души снедали голод и иссушающая жажда, которых они не сумели бы выразить словом, но которые отравляли им сон и сводили на нет то подкрепление, какое могла бы доставить им утренняя еда. У них, у каждого в отдельности, застряла в теле заноза, и занозы этой нельзя было вытащить, она досаждала им, мучила их и донимала. Они чувствовали себя разбитыми, и у большинства из них болела голова. Когда они пытались сжать кулаки, у них ничего не получалось. Когда те, кто учинил некогда в Шекеме побоище из-за Дины, спрашивали себя, хватило ли бы у них духа на такие дела теперь, сегодня и здесь, они отвечали себе: нет, не хватило бы; эта тоска, этот червь, эта докучливая заноза, этот гложащий душу голод лишали их сил и мужества. Каким позорным должно было казаться такое состояние прежде всего Симеону и Левию, буйным близнецам! Один хмуро ворошил своим посохом последние головешки. Другой, Симеон, раскачивая туловище, негромко затянул в тишине однозвучную песню, и другие стали постепенно вполголоса ему подпевать, ибо это была старинная песня, отрывок полузабытой, не полностью сохранившейся баллады для эпопеи давних времен:

Ламех, богатырь, двух жен себе взял,
Аду жену и Циллу жену.
«Ада и Цилла, послушайте песнь,
Послушайте, жены, слово мое.
Мужчину убил я; меня он обидел.
Юнца уложил я: рубец мне оставил,
Семерицей за зло отверстался Каин,
А Ламех семьдесят раз и семь!»

Ни того, о чем говорилось в песне до этого места, ни того, что следовало за ним, они не знали и вскоре умолкли. Но они были еще во власти отзвучавшего напева и мысленно видели, как богатырь Ламех, в доспехах, исполненный гордого пыла, возвращается домой после содеянного и сообщает согнувшимся перед ним женам, что он омыл свое сердце. Видели они и убитого лежащим на кровавой траве: не очень-то виноватый, он был искупительной жертвой вспыльчивой гордости Ламеха. Сильное слово «мужчина» складно чередовалось с нежным

«юнец», и этот прелестный, истекший кровью «юнец» вызывал сострадание. Во всяком случае, оно пристало бы женщинам. Аде и Цилле, хотя только усиливало бы их благоговенье перед той неподкупно-кровожадной мужественностью и взыскательной мстительностью Ламеха, которая издревле упорно определяла дух этой песни.

— Ламех звали его, — сказал Лиин Левий, кроша посохом обуглившийся хворост. — Как он вам нравится? Я спрашиваю об этом потому, что мне он очень и очень нравится. Это был парень доброй закваски, настоящий человек, львиное сердце, теперь таких нет. Теперь такие остались разве что в песнях, и когда поешь, отводишь душу, думая о былых временах. Этот приходил к своим женам с омытым сердцем, и когда он навещал их, одну за другой, — такой он был сильный, — они знали, кому они отдаются, и трепетали от страсти. Разве так приходишь ты. Иуда, к дочери Шуи, а ты. Дан, к своей моавитянке? Объясните же мне, что стало с человечеством, почему оно родит теперь только умников да святош, а не настоящих мужчин?

Ему ответил Рувим:

— Я тебе скажу, что отнимает у человека его месть и делает нас непохожими на богатыря Ламеха. Тут две причины. И закон Вавилона, и рвение бога — оба говорят: месть за мной. Месть нужно отнять у человека, иначе она, по порочной своей похотливости, будет буйно плодиться, и мир утонет в крови. Какова была участь Ламеха? Ты этого не знаешь, потому что песня об этом уже не сообщает. Но у юноши, которого он убил, был брат или сын, и тот убил Ламеха, чтобы напоить землю и его кровью, а кто-то из чресел Ламеховых, в свою очередь, убил из мести убийцу Ламеха, и так продолжалось до тех пор, пока не перевелось на свете и семя Ламеха и семя первоубитого и насытившаяся земля не закрыла наконец своей пасти. Но ведь это же беда, если месть порочно плодится и сладу с ней нет. Поэтому, когда Каин убил Авеля, бог пометил убийцу своим знаком, чтобы показать, что тот принадлежит ему, и сказал: кто его убьет, тому отомщу семерицей. А Вавилон учредил суд, чтобы судить людей за смертоубийство и не позволить мести тянуть за собой новую месть.

На это сын Зелфы Гад со свойственной ему прямоотой возразил:

— Ты, Рувим, говоришь таким тонким голосом, что каждый раз поражаешься, глядя на твое могучее тело. Будь у меня твоя сила, я не говорил бы, как ты, и не защищал бы тех принесенных временем перемен, что расслабляют богатырей и лишают мир львиных сердец. Где гордость твоего тела, если ты говоришь таким тонким голосом и препоручаешь месть богу или суду? Неужели тебе не стыдно перед Ламехом, который, бывало, говорил: «Это дело касается нас троих — меня, моего обидчика и земли»? Каин сказал Авелю: «Разве бог утешит меня, если Наэма, милая наша сестра, примет твои подарки и улыбнется тебе? Или, может быть, это суд должен определить, чьей она будет? Я родился первым, и значит, она моя. Ты ее близнец, и значит, она твоя. Этого не решит ни бог, ни Нимродов суд. Пойдем в поле и порешим дело!» И они порешили дело, и я за Каина — это так же верно, как то, что я здесь сижу, Гаддиил, сын Зелфы, которого она родила на колени Лии!

— Что касается меня, — сказал Иегуда, — то пусть я не зовусь впредь молодым львом, как меня именует народ, если я тоже не за Каина, а еще больше — за Ламеха. Клянусь честью, этот знал себе цену! «Семерицей? — сказал он. — Как бы не так! Я Ламех, я плачу за зло семидесятисемикратным злом, и вот он лежит, шелопай, в расплату за мой рубец!»

— Что же это был за рубец, — спросил Иссахар, костлявый осел, — и в чем же провинился этот несчастный юнец перед богатырем Ламехом, если тот не доверил мести богу или Нимроду, а собственноручно, и притом с лихвой отомстил?

— Это неизвестно, — ответил ему сводный его брат Неффалим, сын Валлы. — В чем состояла дерзость юнца, никто не знает, и что именно смыл его кровью Ламех, мир уже успел забыть. Но я слышал, что в наше время мужчины проглатывают куда более мерзкие оскорбления, чем то, которое было нанесено Ламеху. Я слышал, что они проглатывают их, жалкие трусы, и подаются в какое-нибудь другое место, где их так мутит от проглоченной обиды, что они не могут ни есть, ни спать, и увидь их Ламех, которым они восхищаются, он поддал бы им ногою под зад, потому что большего они не стоят.

Он сказал это ехидной скороговоркой, с перекошенным лицом. Близнецы крикнули и попытались сжать кулаки, но у них ничего не вышло. Завулон сказал:

— Все дело в Аде и Цилле, женах Ламеха. Ада виновата, поверьте моему слову. Это она родила Иавала, родоначальника тех, кто живет в шатрах и разводит скот, предка Аврама, Ицхака и кроткого нашего отца Иакова. Вот откуда погибель и порча, вот почему мы уже не мужчины, а, пользуясь твоими, брат Левий, словами, умники и святоши, словно нас, не приведи боже, оскотили серпом! О да, будь мы охотниками или, того лучше, моряками, все было бы иначе. Но с Иавалом, сыном Ады, в мире появились благочестивое шатролюбие, пастушеский быт и Аврамовы размышления о боге. Это отняло у нас силу, и вот уже нам страшно причинить боль почтенному своему отцу, и вот уже большой Рувим говорит: месть за богом. Но разве можно положиться на бога и на его справедливость, если он пристрастен к одной из спорящих сторон и через посредство мерзейших снов внушает дерзость ничтожному юнцу? Мы не можем ничего предпринять, — вскричал он с таким страданием, что у него даже голос сорвался, — если они от бога и нам суждено согнуться!

— Но против сновидца-то мы можем кое-что предпринять, — с такой же мукой вскричал Гад, — чтобы сны, — добавил Асир, — лишились хозяина и не знали, как сбыться!

— Все равно, — возразил Ре'увим, — это значило восстать против бога. Ведь это одно и то же — выступить против сновидца или против бога, коль скоро сны от бога.

Он употребил прошедшее время и сказал не «значит», а «значило», в знак того, что этот вопрос исчерпан.

После него заговорил Дан. Он оказал:

— Выслушайте меня внимательно, братья, ибо Дана называют змеем и аспидом и он, благодаря некоторому своему хитроумию, годится в судьи. Рувим действительно прав: расправившись со сновидцем, чтобы сны лишились хозяина и стали бессильны, мы, конечно, навлечем на себя гнев тех, кто признает только свой произвол, и не избежим мести несправедливых, этого нельзя отрицать. Но на это, говорит Дан, следует пойти, ибо ничего не может быть хуже, чем исполнение снов. А так оно будет во всяком случае предотвращено, и как бы ни бесновались поборники произвола, сны напрасно будут искать того, кому они приснились. Надо поставить всех перед совершившимся событием, как учит прошлое. Разве Иаков не пострадал за свой обман, разве он не хлебнул горя на службе у Лавана за горькие слезы Исава? Однако он все это вынес, ибо самое главное, благословение, он все-таки получил и надежно укрыл, и никакой бог, при всем своем желании, не мог тут уже ничего поделаться. Ради доброго исхода дела надо вынести и слезы, и месть, ибо то, что надежно укрыто, того не...

На этом скончалась его речь, начавшаяся весьма хитроумно. Но Рувим ответил, и странно было видеть могучего этого человека столь бледным:

— Ты высказался, Дан, и теперь помолчи. Ведь мы же ушли оттуда и простились с отцовским очагом. То, что нас злило, надежно укрыто, да и мы сами надежно укрыты в Дофане, в пяти днях пути оттуда, вот вам и совершившееся событие.

После этих речей все они опустили головы, опустили их низко, почти до колен, которые выдавались вперед, так как сидели они на пятках, и, сгорбившись, застыли вокруг погасшего костра десятью сгустками тоски.

ИОСИФА БРОСАЮТ В КОЛОДЕЦ

Асир, однако, сын Зелфы, которому любопытство не изменяло даже в печали, нет-нет да окидывал глазами округу, бросая косые взгляды поверх колен. И вот он заметил вдали какую-то серебристую блестку, которая исчезла было, но сразу же сверкнула опять, и, вглядевшись, увидел сперва две, а потом и множество таких блесток, вспыхивавших то порознь, то одновременно, в разных точках, но все-таки близко одна от другой.

Асир толкнул в бок Гада, родного своего брата, сидевшего рядом с ним, и указал ему пальцем на эти пляшущие вспышки, чтобы тот помог ему их понять. Покуда оба всматривались в даль, затеняя глаза рукой и обмениваясь вопросительными взглядами, остальные обратили внимание на их беспокойство; те, кто сидел спиной к холму, повернулись; следя за глазами соседа каждый начинал смотреть туда же, куда и тот, и вот уж все, подняв головы, глядели на приближавшуюся в сиянье фигуру.

— Какой-то мужчина идет и сияет, — сказал Иуда.

Несколько мгновений они выжидательно вглядывались в даль, а фигура эта росла, и тогда Дан сказал:

— Скорее — юнец.

И в тот же миг смуглые лица их стали такими же бледными, как уже раньше лицо Рувима, а сердца застучали, как барабаны, дружно и часто, и мертвая тишина наполнилась глухой музыкой этой бешеной дробы.

Иосиф шагал по равнине, в пестрой одежде, с венком на окутавшем голову покрывале, прямо на них.

Они не верили себе. Вдавлив большие пальцы в щеки, прижав остальные ко рту и упершись локтями в колени, они сидели и выпученными глазами глядели на приближавшийся призрак. Они и надеялись, и боялись, что это им снится. Полные ужаса и надежды, многие отказывались понять, что происходит, даже тогда, когда прибывший улыбнулся им с такого близкого расстояния, что никаким сомненьям уже не могло быть места.

— Да, да, привет вам! — сказал он своим голосом и подошел к ним. — Поверьте же своим глазам, милые братья! По наказу отца я приехал к вам на ослице Хульде, чтобы посмотреть, все ли у вас в порядке, и чтобы...

Он смущенно осекся. Они сидели безмолвно и неподвижно, вытаращив глаза, зловеще заколдованной группой. Они сидели, и хотя это не был ни час утренней, ни час вечерней зари, которая могла бы окрасить их лица, лица их становились багровыми, как витые стволы деревьев у них за спиной, багровые, как пустыня, темно-багровые, как звезда на небе, а из глаз их, казалось, вот-вот брызнет кровь. Он попятился. Тогда раздался громopodobный рев, бычий рык близнецов, от которого сотрясались внутренности, и с протяжным криком ярости, ненависти и облегчения, вырвавшимся словно бы из одной измученной груди, с полным торжествующего отчаянья «а-а», все десять вскочили, остервенев, одновременно и бросились на него.

Они напали на него, как нападает на свою добычу стая голодных волков; их озверелая кровожадность была безудержна и безоглядна, судя по их виду, они хотели разорвать его не меньше, чем на четырнадцать кусков. Разорвать, изорвать, сорвать — это и в самом деле было их главным и сокровенным желаньем.

«Снять, снять, снять!» — кричали они, задыхаясь, — имелся в виду кетонет, разноцветное платье, покрывало, — это его нужно было снять, хотя в такой свалке снять его было трудно: оно обвивалось вокруг туловища и было закреплено на голове и на плечах, а их было слишком много для одного простого действия; они путались друг у друга в ногах, отталкивали один другого от шатавшегося и падавшего от побоев Иосифа и нечаянно наносили друг другу удары, которые предназначались ему, хотя достаточная часть этих ударов все же попадала по назначению. У него тотчас же пошла из носа кровь, а один глаз совсем закрыл синяк.

Этой неразберихой пользовался, однако, Рувим, который, возвышаясь надо всеми, находился в гуще потасовки и тоже кричал: «Снять, снять!» Живя с волками, он выл по-волчьи. Он поступал тая, как всегда поступали люди, которые пытались хоть как-то направить разбушевавшуюся толпу и, чтобы обеспечить себе влияние на ход событий, с притворным усердием участвовали в меньшем зле, стремясь предотвратить большее. Он делал вид, что его толкают, а в действительности сам толкал других, всячески стараясь отбросить от Иосифа тех, кто норовил ударить его и сорвать с него покрывало, и в меру возможности защищал Иосифа. Особенно он следил за Левием, у которого был посох в руке, и упорно подставлял ему ножку.

Но несмотря на ухищренья Рувима, потрясенному мальчику приходилось так худо, как ему, избалованному, никогда и не снилось. С болтающейся головой, с растопыренными локтями, растерянный, он шатался под этим градом разнузданной ярости, который, ужасающе не заботясь о том, куда он угодит, обрушивался на него с ясного неба и вдребезги разбивал его веру, его представление о мире, его непреложную, как закон природы, уверенность, что все на свете любят его больше, чем самих себя.

— Братья! — лепетал он рассеченными губами, кровь из которых, вместе с кровью из носа, растекалась у него по подбородку. — Что вы...

Тумак, вовремя не предотвращенный Рувимом, не дал ему договорить; совсем уже оголтелый удар в подреберье согнул его и скрыл в разъяренной толпе. Не станем отрицать, напротив — подчеркнем, что поведение сыновей Иакова, чем бы оно ни оправдывалось, было самым позорным, можно даже сказать — атавистическим. Теряя человеческий облик, они, чтобы сорвать с тела окровавленного, с помутившимся уже сознанием, Иосифа материнское платье, вспомнили о зубах, ибо для рук их, увы, и так дела хватало. При этом они не молчали, и «снять», «снять!» не было их единственным кличем. Подобно работникам, которые, перетаскивая тяжести, опьяняют себя, чтобы взяться дружнее, однозвучными возгласами, они извлекали из глубин своего ожесточенья отрывочные слова и то и дело выкрикивали их, чтобы подхлестнуть свою ярость и не дать себе отрезветь: «Кланяются, кланяются!», «Посмотри, все ли в порядке!», «Заноза в теле!», «Гадкий проныра!». «Вот они, твои сны!»

Ну, а несчастный Иосиф?

Для него то, что произошло с кетонетом, было ужасней и непостижимей всего; это было для него мучительней и страшнее, чем вся несправедливость сопутствовавшего рукоприкладства. Он делал отчаянные попытки спасти свой наряд, сохранить хоть какие-то его лоскутья и клочья, он кричал: «Мое платье!» — и, со страхом испуганной девственности, умолял: «Не рвите его!» — даже тогда, когда был уже гол. Ибо слишком насильственным было это обнаженье, чтобы ограничиться одним покрывалом. Вслед за кетонетом с него были сорваны кафтан и набедренная повязка, клочки их, вперемешку с остатками венка, валялись во мху, и удары озверелой оравы («Кланяются, кланяются!», «Вот они, твои сны!») обрушивались теперь на голого, который пытался хоть как-то прикрыть руками лицо, — обрушивались безжалостно, отклоняемые и несколько ослабляемые только большим Рувимом, продолжавшим делать вид, что его толкают, и тем временем отталкивавшим от Иосифа других, словно они мешали ему всласть поколотить их общую жертву. Он тоже кричал: «Заноза в теле! Гадкий проныра!» Но затем он прокричал и нечто другое, что вдруг пришло ему в голову, прокричал громко и несколько раз подряд, чтобы все услышали его совет и последовали ему в своем безрассудстве: «Связать! Связать его! По рукам и ногам!» Это был новый боевой клич, придуманный ко благу самым поспешным образом. Он должен был ограничить эти неведомо чем чреватые действия временной целью и дать передышку, означавшую для Рувима, который хотел предотвратить самое страшное, известный выигрыш во времени. В самом деле, покуда Иосифа будут связывать, его не будут бить; а как только его свяжут, позади будет какая-то часть дела, которой можно пока что удовлетвориться, какой-то этап, после которого можно отступить и обдумать дальнейшее. Таков был торопливый расчет Рувима. И поэтому лозунг свой он провозглашал с таким отчаянным пылом, словно ничего более целесообразного и разумного немислимо было сейчас предпринять и словно только дураки могли его не послушаться. «Вот они, твои сны! — кричал он. — Связать, связать его! Болваны вы! Мстить не умеете! Чем толкать меня, лучше свяжите его!..»

— Неужели у нас не найдется веревки? — крикнул он еще раз изо всей мочи.

Как же! Гаддиил, например, всегда носил на теле веревку, и он ее снял с себя. Так как головы их были пусты, лозунг Рувима нашел в них место. Они связали нагого Иосифа, крепко, так что он застонал, опутав ему одной длинной веревкой руки и ноги, и Рувим принимал самое старательное участие в этой работе. Когда она была закончена, он отошел немного назад и, отдуваясь, вытер вспотевшее лицо, словно все время усердствовал больше других.

Они стояли с ним рядом, временно небоеспособные, и пыхтели одичало и праздно. Перед ними, в самом плачевном виде, лежал сын Рахили. Он лежал на связанных своих руках, с запрокинутой в траву головой и вздернутыми коленями, с трепещущими ребрами, весь в шишках и синяках, и по телу его, оплеванному яростью братьев, облепленному пылью и мочом, змеились струйки того красного сока, который вытекает из красоты, если повредить ее наружную оболочку. Его не заплывший отеком глаз с ужасом искал мучителей и порой судорожно закрывался, как бы рефлекторно защищаясь от новых пыток.

Преступники тяжело дышали, преувеличивая свою усталость, чтобы скрыть ту растерянность, которая, едва они опомнились, стала ими овладевать. В подражанье Рувиму, они вытирали тыльной стороной руки пот с лица, отдувались и всем своим видом выражали справедливейшее негодование расквитавшихся, словно бы говоря: «Что бы мы ни натворили, кто может нас в этом упрекнуть?» Это говорили они и словами, которые, для оправданья друг перед другом и перед всяким посторонним мнением, тяжело дыша, из себя выдавливали: «Ну и дурень!», «Ну и заноза!», «Мы ему показали!», «Мы его проучили!», «Кто бы мог подумать?!», «Является сюда!», «Является к нам сюда!», «В пестром наряде!», «Нам на глаза!», «Посмотреть, все ли в порядке!», «Мы сами навели порядок!», «Пусть попомнит!».

Но в то время как они выдавливали из себя эти отрывистые возгласы, их всех — всех одновременно — одолевал ужас, для заглушенья которого все это, собственно, и восклицалось; и если разобраться в тайном этом ужасе, то им была мысль об Иакове.

Боже правый, что они сделали с агнцем отца, не говоря уж о состоянии, в каком оказалось девичье наследье Рахили? Что скажет тот, полный выразительности, если увидит это или узнает, как они посмотрят ему в глаза и что будет с ними со всеми? Реувим вспоминал о Валле. Симеон и Левий вспоминали о Шекеме и ярости Иакова, которая обрушилась на них, когда они вернулись домой после своего подвига. Неффалим, он особенно, находил временное утешенье в том, что Иаков был на расстоянии пяти дней пути и решительно ни о чем не подозревал; да, впервые разделяющее и оставляющее в неведении пространство показалось Неффалиму великим благом. Однако власть пространства, это все понимали, не могла держаться долго. Вскоре, то есть когда Иосиф снова к нему явится, Иаков обо всем узнает, и им не вынести неизбежной тогда бури чувств с молниями проклятий и громовыми раскатами речей. Будучи вполне взрослыми людьми, они испытывали глубокий детский страх перед всем этим, страх и перед чисто внешней стороной проклятья, и перед его смыслом и последствиями. Их всех проклянут, это было ясно, за то, что они подняли руку на агнца, и тогда этот лицемер окончательно-недвусмысленно возвысится над ними избранником и наследником!

Исполнение мерзких снов — и по их же вине! То есть как раз то, что они хотели отнять у бога, поставив его перед совершившимся событием. Они начали понимать, что большой Рувим одурачил их своим боевым кличем. Вот они стояли, и вот он лежал перед ними, похититель благословения, лежал, правда, жестоко проученный и связанный, но разве это можно было назвать совершившимся событием? Другое дело, если бы Иосиф никогда уже не явился к старику, если бы тот узнал о чем-то совершившемся, окончательном. Горе его тогда было бы, правда, еще ужаснее — нельзя и представить себе. Но зато их — это можно было устроить — оно миновало бы. Сделав дело наполовину, они оказывались виноваты. Доведя его до конца, они снимали с себя вину. Об этом все они одновременно размышляли, стоя возле Иосифа, — в том числе и Рувим. Он не мог не признать, что положение именно таково. Хитрость, с которой он остановил братьев, шла у него от сердца. Разум же говорил ему, что дело зашло слишком далеко, чтобы не зайти еще дальше. Что оно должно было и все-таки, во имя бога, любой ценой, не должно было зайти еще дальше — это рождало смятение в его душе. Никогда еще мускулистое лицо большого Рувима не было таким яростным и смущенным.

Он боялся в любой миг услышать то, что неизбежно должно было прозвучать и на что ему нечего было ответить. И вот это прозвучало, и он это услышал. Высказал это кто-то один, не важно кто; Рувим не видел, кто именно оказался случайно первым; мысль эта была у всех: «Он должен исчезнуть».

— Исчезнуть, — кивнул головой Рувим, горько повторив это слово. — Ты говоришь это. Но ты не говоришь — куда.

— Вообще исчезнуть, — отвечал тот же голос. — В яму, чтобы его больше на свете не было. Его давно могло бы не быть на свете, а уж теперь его и вовсе не должно быть.

— Совершенно согласен с тобой! — отвечал Рувим с горькой издевкой. — А потом мы явимся к Иакову, его отцу, без него. «Где мальчик?» — спросит он невзначай. «Его больше нет на свете», — ответим мы. А если он спросит: «Почему его больше нет?» — мы ответим: «Мы убили его».

Наступило молчанье.

— Нет, — сказал Дан, — не так. Послушайте меня, братья. Меня называют змеем и аспидом, и в известной изворотливости мне нельзя отказать. Вот как мы сделаем: мы сведем его в могилу, точнее, бросим в яму, в этот высохший, наполовину засыпанный колодец, в котором нет воды. Так он будет и в безопасности и устранен, и пусть увидит, чего стоят его сны. А Иакову мы солжем и невозмутимо заявим: «Мы не видели его и не знаем, есть ли он вообще на свете. Если нет, значит, его сожрал хищный зверь. О горе!» «О горе» придется прибавить ради лжи.

— Тише! — сказал Неффалим. — Ведь он же лежит рядом и слышит нас!

— Что из того? — ответил Дан. — Он никому этого не расскажет. Если он слышит нас, то это лишний довод в пользу того, что ему нельзя уйти отсюда, но ему и раньше нельзя было уйти отсюда, и значит, все сходится к одному. Мы можем спокойно говорить при нем, ибо он уже почти мертв.

Из вздыбленной груди связанного Иосифа, покрытой красноватыми, нежными родинками, вырвалось всхлипыванье. Он плакал.

— Слышите, и вам не жаль его? — спросил Рувим.

— Что это, Рувим, — ответил ему Иуда, — зачем ты заговорил о жалости, даже если иным из нас жаль его так же, как и тебе? Разве из того, что он сейчас плачет, следует, что этот негодяй не вел себя нагло всю свою жизнь и не порочил нас в глазах отца гнуснейшим лукавством? Разве жалость — достаточное основание пренебречь необходимостью и дать ему уйти отсюда и обо всем донести отцу? Так что толку говорить о жалости, даже если иному из нас и жаль его? Разве он не слышал, как мы собираемся лгать Иакову? А слышал это он уже за пределами своей жизни, независимо от того, жаль нам его или не жаль. Дан сказал правду: он уже почти мертв.

— Вы правы, — сказал тогда Рувим. — Мы бросим его в яму.

Иосиф снова горестно всхлипнул.

— Но ведь он еще плачет, — счел нужным напомнить кто-то.

— Что же ему, и плакать нельзя? — воскликнул Рувим. — Позволь ему хоть поплакать, сходя в могилу!

Тут прозвучали слова, которых мы не воспроизводим буквально, потому что они испугали бы чувствительность новейшего времени и как раз в буквальном воспроизведении выставили бы братьев или некоторых из них в преувеличенно дурном свете. Это факт, что Симеон и Левий, а также прямодушный Гад вызвались без проволочки прикончить связанного. Близнецы хотели воспользоваться для этого посохом, размахнувшись им, по доброму Каинову примеру, во всю силу обеих рук. Гад выразил готовность живехонько перерезать Иосифу горло ножом, как это сделал некогда Иаков с козлятами, шкурки которых потребовались ему для обмана Исаака. Такие предложения были высказаны, этого нельзя отрицать; но мы не хотим, чтобы читатель окончательно отшатнулся от сыновей Иакова и навсегда отказал им в прощении, а потому и не воспроизводим подлинных слов братьев. Это было сказано, потому что не могло не быть сказано, потому что такова, выражаясь нашим языком, была логика вещей. Закономерно было также, что произнесли эти слова и предложили свои услуги те, чьей роли на земле это больше всего отвечало и кто в данном случае повиновался, так сказать, своему мифу, — буйные близнецы и прямой Гад.

Но Рувим не позволил это сделать. Известно, что он оказал им сопротивление и не пожелал, чтобы с Иосифом обошлись, как с Авелем или как с теми козлятами. «Я против этого и воспротивлюсь этому», — сказал он, и сослался на свое первородство по Лиинной линии, которое, несмотря на паденье и проклятье, придавало, как он полагал, слову его особый вес. Ведь они же сами сказали, что мальчик уже почти мертв. Он способен разве что немного поплакать, но ни на что больше, и достаточно бросить его в яму. Пусть они только поглядят на него, ведь это уже не прежний Иосиф-сновидец, он стал совсем неузнаваем после того, что случилось и в чем он, Рувим, участвовал не меньше других, и участвовал бы еще деятельнее, если бы его не толкали со всех сторон. Но то, что случилось, — это именно только случай, а не поступок, поступком случившееся нельзя назвать. Случилось оно, правда, благодаря им, братьям, но они не совершили поступка, все вышло само собой. А теперь они хотят сознательно и обдуманно совершить ужасный поступок и, подняв руку на мальчика, пролить отцовскую кровь, которая до сих пор просто лилась, хотя и благодаря им. Но одно дело литься, другое — проливать. Это в мире такие же разные вещи, как случай и поступок, и если они не видят тут разницы, значит, они обижены разумом. Вправе ли они вершить суд, когда дело касается их самих, и вдобавок собственноручно исполнять приговор? Нет, кровопролитья он не потерпит. Единственное, что им остается после случившегося, — это бросить мальчика в яму и предоставить дальнейшее случаю.

Так говорил большой Рувим, но никто никогда не верил, что он обманывал самого себя, действительно придавал такое огромное значение разнице между поступком и случаем и считал, что оставить мальчика погибать в яме не значит поднять на него руку. Когда Иегуда несколько позднее спросил, что пользы не проливать крови, если брат все равно будет убит, в его вопросе для Рувима не было ничего неожиданного. Человечество давно уже заглянуло в душу Рувима и поняло, что хотел он лишь одного: выиграть время, — он не мог бы сказать зачем, — просто выиграть время как таковое, продлить надежду, что он спасет Иосифа от их рук и так или иначе вернет отцу. Страх перед Иаковом и сурово-застенчивая любовь к ненавистному брату — вот что заставляло его тайно стремиться к этому и помышлять о предательстве — иначе этого не назовешь — в отношении братьев. Но ведь Рувим, бушующая вода, должен был всячески заглаживать свою вину перед Иаковом, а доставь он Иосифа отцу, разве это с избытком не искупило бы истории с Валлой, не сняло бы с него проклятья и не восстановило бы его первородства? Мы не делаем вид, что в точности знаем все помыслы и желанья Рувима, и не хотим умалять мотивы его поведения. Но разве мы умаляем их, допуская возможность, что он втайне надеялся и спасти, и вместе победить сына Рахили?

Надо сказать, что его требование воздержаться от поступков и положиться на случай не вызвало особого сопротивления у братьев. Конечно, они были бы рады, если бы их поступок привел их к цели, оставаясь еще случаем — вслепую, единым махом; но братья на себя всю полноту ответственности за этот поступок, совершив его после отрезвившей их передышки, как обдуманную казнь, не хотелось, в сущности, никому, даже близнецам, при всей их дикости, даже Гаддиилу, при всей его прямоте; они были рады, что им не досталось поручение, касавшееся головы и горла, и что снова восторжествовали авторитет и лозунг Рувима, который прежде призвал их связать Иосифа, а теперь — бросить его в колодезь.

«В яму!» — таково было единодушное решение, и, схватив веревку, которой был связан Иосиф, вцепившись в свою жертву, они через поле потащили несчастного к тому месту, где в стороне от выгона находилась пустая цистерна. Одни тянули его, впрягшись спереди, другие помогали с обоих боков, третьи рысцою бежали сзади. Ре'увим не бежал, он широко шагал в конце шествия, и когда на пути попадались камень, опасный пенек или колючий куст, он подхватывал влекомого и приподнимал его, чтобы не причинять ему лишней боли.

Так тащили они Иосифа к яме с громкими прибаутками, ибо братьями овладела тут своеобразная веселость, бесшабашная удаль дружной работы; они смеялись, шутили, кричали друг другу всяческий вздор, вроде того, что они, мол, волокут хорошо увязанный сноп, кото-

рый сейчас склонится в дыру, в колодец, в бездну. Весело же им было только от облегчавшего душу сознания, что они не должны действовать по образцу истории с Авелем или с козлятами; дурачились они еще и затем, чтобы не слышать воплей и стонов Иосифа, который не переставал взывать к ним рассеченными своими губами:

— Братья! Смилуйтесь! Что вы делаете! Остановитесь! Ах, ах, горе мне!

Это ему не помогало, они волокли его все дальше и дальше по траве и через кусты, пока не достигли поросшего мохом склона; здесь они спустились в прохладную, облицованную камнем лощинку с чахлыми побегими дубов и смоковниц в просветах ветхой кладки и потрескавшихся плит настила, протащив туда по крутым, основательно выщербленным ступеням связанного Иосифа, который отчаянно забился у них в руках, ибо его ужаснули устроенный там колодец, дыра колодца, и особенно замшелый, в выбоинах, камень, лежавший рядом на плитах и служивший крышкой. Но как Иосиф ни сопротивлялся и как ни плакал, с ужасом глядя неотекшим глазом в черноту круглой дыры, они с прибаутками подняли его на край и с силой толкнули, и он полетел в неведомую глубину.

Глубина оказалась достаточно большой, хотя и не пучинной, это не был бездонный провал. Такие колодцы часто уходят в землю на тридцать метров и глубже, но этим никто не пользовался, и он давно уже был сильно засыпан землей и щебнем — возможно, из-за былой борьбы за это место. Иосиф пролетел пять-шесть сажений, не больше, хотя и больше, чем нужно, чтобы выбраться наверх, будучи связанным. Да и падал он с большой осторожностью и сосредоточенностью: цепляясь ногами и локтями за неровности круглой стенки, он старался не рухнуть, а сползти и без особых увечий свалился в мусор к испугу всяких жучков, сверчков и червей, которые никак не ждали подобного гостя. Покуда он, кое-как улегшись, приходил в себя, братья мужскими своими руками делали остальное — заваливали его обитель камнем, помогая работе понукающими возгласами. Ибо камень был тяжел и один человек не смог бы закрыть им яму, и трудились поэтому все, разделив между собой работу, тем более что выполнить ее в один прием все равно нельзя было: старая, зеленоватая от моха крышка, величиной около пяти футов в поперечнике, раскололась на две части, и когда братья водрузили их, каждую в отдельности, на круглый провал, половинки эти не сомкнулись вплотную, и через образовавшуюся щель, местами узкую, а местами широкую, в колодец проникало немного света. На этот свет глядел Иосиф видящим своим глазом, кое-как лежа в круглой глубине, нагой и беспомощный.

ИОСИФ КРИЧИТ ИЗ ЯМЫ

Покончив с работой, братья сели отдохнуть на ступени спуска, и некоторые, собираясь позавтракать, достали из сумок, висевших у них на поясе, хлеб и сыр. Левий, человек хоть и грубый, но набожный, заметил, правда, что нельзя есть рядом с кровью; но ему возразили, что никакой крови нет, что в том-то и штука, что кровь не лилась и не была пролита, и Левий стал есть вместе со всеми.

Они задумчиво жевали, моргая глазами. Задумчивость эта вызывалась покамест одним совершенно второстепенным, но сейчас самым сильным их впечатленьем. Их только что погребавшие руки хранили воспоминанье о прикосновении к обнаженному телу Иосифа, и воспоминанье это было необычайно нежным, хотя прикосновение таковым отнюдь не было, и вносило в их сердца мягкость, которую они, моргая, чувствовали, но объяснить себе не могли. Да и не заводили они об этом речи, а говорили только о том, что Иосиф наконец устранен и вместе со своими снами надежно упрятан, и говорили они это для взаимного успокоения.

— Ну, вот, его уже и нет на свете, — говорили они. — Теперь дело сделано, и можно спокойно спать.

Что теперь можно спокойно спать, они повторяли тем настойчивее, чем сильнее в том сомневались. Да, они могли почивать в полной уверенности, что сновидец, которого теперь не

существовало, ничего не расскажет отцу. Но именно в этой успокоительной мысли содержалась мысль об отце, который будет напрасно, и вечно напрасно, ждать возвращения Иосифа, а такая перспектива, хоть она и сулила полную безопасность, совсем не располагала ко сну. Для всех десятерых, без единого исключения — даже для диких близнецов, — это была ужасная перспектива, ибо сыновний страх перед Иаковом, перед нежностью и могуществом его души, был самым большим их страхом, а молчанье Иосифа было куплено ценой такого удара по этой патетической душе, что они без ужаса не могли о нем и подумать. То, что они сделали с братом, они сделали в конечном счете из ревности; но ведь известно, какое чувство искажается ревностью. Правда, в свете великой грубости Симеона и Левия ссылка на это чувство может показаться довольно-таки неуместной, поэтому-то мы и говорим недомолвками. Есть случаи, когда только недомолвка и нужна.

Они размышляли, жуя и моргая, а руки их сохраняли ощущение нежной кожи Иосифа. Они были и вообще тугодумы, а тут им еще мешали плач и мольбы похороненного, глухо доносившиеся до них из ямы. Ибо после падения он уже настолько оправился, что вспомнил о необходимости вопить, и теперь он молил их из-под земли:

— Братья, где вы? Ах, не уходите, не оставляйте меня одного в могиле, здесь так затхло и жутко! Смилуйтесь, братья, спасите меня еще раз от ночи ямы, где я погибну! Я брат ваш Иосиф! Братья, не будьте глухи к моим стонам и крикам, ибо вы поступили со мной неправильно! Рувим, где ты? Рувим, услышь свое имя из ямы! Они неверно меня поняли! Вы неверно меня поняли, милые братья, так помогите же мне и спасите мою жизнь! Я прибыл к вам по наказу отца, я ехал пять дней верхом на Хульде, на белой ослице, и вез вам подарки, жареное зерно и фруктовые пироги, ах, как нескладно все вышло! Это вина незнакомца, что все так вышло, незнакомца, который меня вел! Братья во Иакове, выслушайте и поймите меня, я приехал не следить за порядком, для этого вам не нужно дитя! Я приехал учтивейше вам поклониться и спросить вас, как вы живете-можете, я приехал, чтобы вывернулись домой, к отцу! А сны, братья... Неужели у меня хватило наглости рассказывать вам свои сны? Поверьте, я рассказывал вам еще сравнительно скромные сны, я мог бы... Ах, не это хотел я сказать! Ах, ах, мои кости и жилы, и слева, и справа, и все мое тело! Я хочу пить! Братья, дитя хочет пить, ибо оно потеряло много крови, и все по недоразумению! Вы еще здесь? Или я уже совсем покинут? Рувим, дай мне услышать твой голос! Скажи им, что я ничего не расскажу отцу, если они меня спасут! Братья, я знаю, вы думаете, что меня нужно оставить в яме, потому что иначе я все расскажу отцу. Клянусь богом Авраама, Ицхака и Иакова, клянусь головами ваших матерей и головой Рахили, моей матушки, что я никогда ничего не расскажу, если вы меня спасете еще раз, еще один только раз!

— Конечно, он все расскажет, если не сегодня, то завтра, — пробормотал сквозь зубы Иуда, и не нашлось никого, кто не разделил бы его убежденности в этом; разделил ее и Рувим, как ни противоречила она его неопределенным надеждам и замыслам. Но тем упорнее должен был он скрывать их и отрекаться от них; поэтому он трубою сложил руки у рта и крикнул:

— Если ты не замолчишь, мы забросаем тебя камнями, и ты совсем погибнешь. Мы не хотим ничего больше знать о тебе, ибо тебя больше не существует!

Услыхав это и узнав голос Рувима, Иосиф ужаснулся и умолк, так что они снова могли без помех моргать глазами и бояться отца. Если бы они намеревались продлить свое добровольное изгнание и жить в постоянном разрыве с отцовским домом, им не было бы дела до ожидания и постепенно растущего отчаянья Иакова, до всего прочувствованного горя, которое назревало в Хевроне. Но намерения у них были как раз противоположные. Погребенье Иосифа могло служить только одной цели: устранить преграду между ними и отцовским сердцем, о завоевании которого все они пеклись самым ребяческим образом; беда была в том, что они оказались вынуждены причинить этому нежному и могущественному сердцу величайшую боль, чтобы им завладеть. С этой точки зренья все они и смотрели сейчас на вещи. Им важно было — это они единодушно чувствовали — не наказать наглеца, не отомстить ему и даже не главным образом покончить со снами, а открыть себе путь к сердцу отца. Он был теперь

открыт, и они могли вернуться — вернуться без Иосифа, как и ушли без него. Где же он? Его послали за ними. Если за тобой посылают того, против чьей жизни ты высказался своим уходом, а ты возвращаешься без него, это подозрительно. По какому-то страшному праву тебе задают тогда вопрос, где же тот, посланный за тобой. Разумеется, в ответ на этот вопрос они могли пожать плечами. Разве они пастухи своего брата? Нет, конечно, но вопрос остался бы без ответа и по-прежнему направлял бы на них свой тяжелый, настойчиво-недоверчивый взгляд, и под этим взглядом, перед глазами вопроса, они стали бы свидетелями мучительного ожидания, тщетность которого была бы им известна, и постепенно растущего отчаяния, в которое, по самой природе вещей, это ожидание только и могло вылиться. Перед таким искуплением они содрогались. Так что же, не возвращаться, куда надежда не истлеет, а ожидание не превратится в сознание, что Иосиф никогда не вернется? Это длилось бы долго, ибо ожидание упрямо, а тем временем ответ на вопрос вполне мог прийти сам собой и стать проклятием для них для всех. Надежду на возвращение мальчика нужно было сразу же и недвусмысленно отнять у отца таким способом, который заключал бы в себе доказательство, что их не в чем подозревать. Об этом они все размышляли, и у Дана, прозванного змеем и аспидом, родилось предложение. Связав прежнюю свою мысль о том, чтобы сказать старику, будто Иосифа загрыз хищный зверь, с некоторыми поползновениями Гаддила и его упоминанием о козлятах, которых некогда, для обмана Ицхака, заколол Иаков, Дан сказал:

— Послушайте меня, братья, я гожусь в судьи и знаю, как нам поступить! Мы возьмем животное стада и перережем ему горло, чтобы выпустить кровь. А кровью мы вымараем это злосчастное разноцветное платье, брачный наряд Рахили, от которого остались уже одни клочки. Одежду эту мы принесем Иакову и скажем ему: «Это мы нашли в поле, разодранным и в крови. Не платье ли это твоего сына?» И пусть он судит о том, что случилось, по виду этого платья, а мы уподобимся пастуху, который считается оправданным и не должен даже клясться в своей невиновности, если предъявит хозяину остатки овцы, зарезанной львом.

— Тише! — пробормотал Иуда, которому вдруг стало неловко. — Ведь он же слышит тебя под камнем и узнает, как мы собираемся поступить!

— Что из того? — возразил Дан. — Неужели я должен говорить шепотом из-за него? Это все уже за пределами его жизни, это уже наше дело, а не его. Ты забываешь, что он уже почти мертв, что с ним покончено. Если даже он слышал, что я сказал, если даже услышит, что говорю сейчас, и говорю, не меняя голоса, то услышанное в нем и останется. Прежде, когда он был среди нас, мы не могли говорить свободно и непринужденно, ибо должны были опасаться, что он донесет отцу и мы будем обращены в пепел. В том-то и дело, что теперь, наконец, у нас появился брат, которому можно доверить все, что угодно, и мне даже хочется послать ему в его яму воздушный поцелуй. Итак, что вы скажете о моем предложении?

Они хотели его обсудить, но Иосиф снова стал плакать, умоляя и заклиная их не следовать совету Дана.

— Братья, — кричал он, — не делайте этого с животным и платьем, не наносите Отцу такого удара, ведь он же его не выдержит! Ах, я пекусь не о себе, тело и душа у меня измучены, и я лежу в могиле. Пощадите отца, не показывайте ему окровавленного платья, он умрет! Ах, если бы вы знали, как боязливо предостерегал он меня от нападения льва, когда ночью застал меня одного у колодца, а теперь ему скажут, что меня загрыз дикий зверь! Если бы вы видели, с каким страхом и как заботливо провожал он меня в дорогу, а я-то еще пропускал его речи мимо ушей! Горе мне, неумно, наверно, говорить вам, как он любит дитя, но что мне делать, милые братья, и как мне вести себя, чтобы не раздражать вас? Почему моя жизнь так сплетена с его жизнью, что, умоляя вас пощадить его жизнь, я поневоле прошу оставить в живых меня? Ах, милые братья, услышьте мои рыдания и не пугайте его боязливости окровавленным платьем, ибо его мягкая душа не вынесет этого и он упадет замертво!

— Нет, — сказал Рувим, — довольно, это невыносимо. — И он поднялся. — Если вы согласны, пойдете куда-нибудь подальше. Из-за его плача невозможно говорить, невозможно собраться с мыслями, слыша его вопли из глубины. Пойдемте к хижинам!

Он сказал это злобно, чтобы выдать бледность мускулистого своего лица за бледность злости. Но бледен он был оттого, что понимал, как прав мальчик в своем страхе за отца. Ибо он, Рувим, тоже предвидел, что, взглянув на платье, тот упадет за смертью, упадет в прямом смысле слова. Но помимо этого на Рувима произвело особое впечатление то, что Иосиф, будучи сам в беде, помнил об отце и со страхом просил пощадить мягкую его душу — прежде всего ее, и только ради нее себя самого. Может быть, он просто ссылаясь на отца, чтобы сохранить собственную жизнь, и прятался за него по старой привычке? Нет, нет, на этот раз дело обстояло иначе. Сейчас из-под Камня кричал другой Иосиф, не тот, которого он когда-то тряс за плечи, чтобы пробудить его от тщеславной глупости. Чего некогда Рувиму не удалось добиться, тряся брата за плечи, то было несомненно достигнуто благодаря падению в яму: Иосиф проснулся, он просил пощадить сердце отца, он уже не глумился над этим сердцем, а думал о нем с раскаянием и тревогой; и это открытие окончательно утвердило большого Рувима в его смутных намереньях, одновременно вдвое усилив чувство их беспомощной и безвыходной неопределенности.

Вот почему он был бледен, когда поднялся и предложил всем покинуть то место, где был упрятан Иосиф. Они так и сделали. Они все ушли оттуда, чтобы, подобрав клочки покрывала на месте расправы, отнести их к шатрам и там уже обсудить замысел Дана. Так Иосиф остался один.

В ПЕЩЕРЕ

В душе ему было страшно оставаться одному в своей дыре, и он долго еще зывал к уходившим братьям и умолял их не покидать его. Он, однако, и сам не знал, что именно кричал им вслед, плача, — не знал потому, что подлинными мыслями его были не с этими машинально-поверхностными мольбами и жалобами, а под ними; а под подлинными их глубинными тенями и басами текли, в свою очередь, еще более подлинными, так что все в целом походило на бурную, вертикально-сложную музыку, которая занимала его ум одновременно своим верхним, средним и нижним потоком. Этим-то и объяснялась ошибка, которую он допустил, зывая к братьям, когда у него вырвалось, что рассказывал он им только очень скромные сны, если сравнить их с другими, тоже ему снившимися. Счесть это хоть на миг смягчающим обстоятельством мог лишь человек, чьи мысли не были целиком заняты тем, что он говорил, и так именно обстояло дело с Иосифом.

Многое уже совершилось в нем с того неожиданного и ужасного мгновенья, когда братья набросились на него, как волки, и он заглянул в их искаженные злобой и тоской лица тем своим глазом, которого они сразу же не закрыли ему ударами кулаков. Лица эти были почти у самого его лица, покуда братья остервенело, ногтями и зубами, срывали с его тела узорчатое покрывало, — они были страшно близко, и мука ненависти, написанная на них, ужаснула его больше, чем все побои. Конечно, страх его не знал границ, и он плакал от боли под их ударами; но и страх, и боль его прониклись сочувствием к той муке ненависти, которую он видел на этих сверхблизких, попеременно возникавших пред ним потных личинах, а сочувствие к страданию, причиной которого мы вынуждены признать себя, равнозначно раскаянию. Рувим оказался совершенно прав: на этот раз Иосифа встряхнули настолько грубо, что глаза его наконец раскрылись и он увидел, что натворил, и что натворил это он. В то время как он метался между кулаками разъяренных братьев, теряя одежду; в то время как он, связанный, лежал на земле, и потом, во время плачевного пути к колодезю, мысли его, хоть он и оцепенел от ужаса, не стояли на месте; они отнюдь не были целиком заняты ужасным настоящим, а стремительно упархивали к тому прошлому, где все это, втайне от его доверчивости и все же не без ее дерзкого ведома, подготовлялось.

Боже мой, братья! До чего же он их довел! Да, он понял, что он сам довел их до этого, довел множеством тяжких промахов, совершенных им в убежденности, что все любят его

больше, чем самих себя, — убежденности, которой он и доверял и не совсем доверял, но в которой, как бы то ни было, жил и которая теперь — это он четко осознал — привела его в яму. По искаженным и потным личинам братьев он ясно прочел одним своим глазом, что такая убежденность требовала от них непосильного человеку, что он перенапряг их души длительным испытанием и причинил им много страданий, прежде чем дело дошло наконец до этого страшного для него, да и, несомненно, для них, конца.

Бедные братья! Что должны были они вытерпеть, прежде чем в отчаянии подняли руку на агнца отца и действительно бросили его в яму! В какое положение они себя поставили этим, — не говоря уже о его собственном положении, безнадежном, как он, содрогаясь, признался себе. Ведь они ни в коем случае не поверили бы ему, что, если его вернут отцу, он не расскажет ему обо всем, — потому что этому нельзя было поверить, потому что он и сам этому не верил, — а значит, они должны были оставить его погибать в яме, у них просто не было другого выхода. Это он понимал, и тем удивительнее может показаться, что ужас перед собственной участью оставил в его душе место для сочувствия своим убийцам. Однако случилось именно так. Сидя на дне колодца, Иосиф доподлинно знал и честно признался себе, что та бесстыжая «убежденность», с какой он жил, была игрой, в которую он сам по-настоящему не верил и не мог верить, и что он — говоря только об этом — не имел никакого права рассказывать братьям свои сны, — это было совершенно недопустимо и до неприличья бестактно. В недопустимости этого, как он теперь признался себе, он всегда и даже в тот миг, когда так поступал, отдавал себе втайне ясный отчет, и все же он это делал. Почему? Какой-то неодолимый зуд заставлял его это делать; он должен был это делать; потому что бог специально создал его таким, чтобы он это делал, потому что у бога были насчет него и в связи с ним именно такие замыслы, одним словом, потому, что Иосиф должен был попасть в яму — и, выражаясь еще проще, хотел попасть в нее. Зачем? Этого он не знал. Судя по всему, затем, чтобы погибнуть. Но, по существу, Иосиф в это не верил. В глубине души он был убежден, что у бога прицел более далекий, чем яма, что замыслы Его, как всегда, идут далеко и преследуют отдаленную будущим цель, ради которой он, Иосиф, и должен был довести братьев до крайности. Они были жертвами будущего, и ему было жаль их, как ни скверно приходилось ему самому. Несчастные, они пошлют отцу его, Иосифа, одежду, вываляв ее в крови козленка, словно в его крови, и тогда Иаков упадет замертво. При мысли об этом Иосиф рванулся вверх, чтобы защитить отца от такого зрелища, — но, пронзенный болью, словно от клыков зверя, он в своих путах, конечно, только рухнул к стенке колодца и снова стал плакать.

Увы, у него было время плакать, испытывать страх, раскаянье и сочувствие и, прощаясь с жизнью, втайне все-таки верить в спасительно-мудрые цели бога в далеком будущем. Ибо, страшно сказать, ему суждено было оставаться в этой темнице три дня, три дня и три ночи, нагим и связанным, среди плесени и пыли, в обществе копошившихся на дне колодца сверчков и червей, без воды и пищи, без всякого утешения, без мало-мальски разумной надежды когда-либо выйти на свет. Тому, кто об этом повествует, важно, чтобы его слушатели все это ясно вообразили и с ужасом представили себе, что это означало, особенно для папенькина сынка, которому подобные испытания никогда и не снились: как томительно тянулись для него часы, пока не погас его скудный свет в трещине камня и какая-то жалостливая звезда не послала взамен к нему в могилу алмазный свой луч; как дважды занимался, мерк и опять угасал свет нового дня; как упорно оглядывал он в полумраке круглую стену строения, надеясь как-то выкарабкаться с помощью выбоин в кладке и гнездившихся в ее швах кустов, хотя каменная крышка и веревка, даже каждая в отдельности, а вместе и подавно, убивали всякую надежду в самом зародыше; как извивался он в своих узах в поисках менее неудобной позы, каковая, однако, если ее и удавалось найти, оказывалась вскоре еще нестерпимее прежней; как мучили его жажда и голод, а пустота в желудке отзывалась у него жжением и болью в спине; как он, подобно овце, замарывался собственными испражнениями, а потом чихал и дрожал от холода, так что у него стучали зубы. Нам крайне важно добиться того, чтобы каждый живо и в полном

соответствии с действительностью представил себе все эти многочисленные неприятности. Но мы обязаны также соблюсти известную меру и как раз ради жизненности и соответствия действительности позаботиться о том, чтобы воображение слушателя не слишком разыгрывалось и не вырождалось в пустую чувствительность. Действительность трезва — именно потому, что она действительность. Воплощенная бесспорность и очевидность, с которой мы вынуждены считаться и соглашаться, она требует приспособления к себе и быстро приравнивает нас к своим потребностям. Сгорая мы готовы назвать какое-то положение невыносимым: это протест возмущеннейшей человечности, доброжелательный к страждущему, да и отрадный для него. И все же подобный протест немного смешон тому, для кого это «невыносимое» и есть действительность. Отношение сострадающего и возмущенного к этой действительности, которая не является ведь его действительностью, эмоционально-непрактично; он ставит себя в положение другого таким, каков есть, а это ошибка, ибо тот уже не подобен ему как раз из-за своего положения. Да и что значит «невыносимо», если приходится выносить, и ничего другого не остается, как выносить, покуда ты в ясном уме?

В совсем ясном уме юный Иосиф, однако, давно уже не был, не был с того мгновенья, как братья у него на глазах превратились в волков. То, что на него обрушилось, ошеломило его и принизило настолько, насколько это необходимо, чтобы «невыносимое» вынести. Побой оглушили его, невероятное путешествие на дно колодца тоже. Состоянье, всем этим вызванное, было мучительным и отчаянным, но на том ужасы, по крайней мере, прекратились, произошла известная стабилизация, и его положение, при всех своих дурных сторонах, получило хоть одно преимущество — безопасность. Укрытый в лоне земли, он мог не бояться новых насилий и получил досуг для той работы ума, которая порой заставляла его совсем забывать о невзгодах своего тела. Кроме того, безопасность (если это слово уместно, когда речь идет о вероятной и даже почти верной смерти; но ведь смерть в определенное время — это всегда дело верное, и все-таки мы чувствуем себя в безопасности) — итак, чувство безопасности благоприятствовало сну. Усталость Иосифа была так велика, что преодолевала крайнее неудобство всех условий и погружала его в сон, так что он надолго впадал в полное или не совсем полное забытье. Просыпаясь, он удивлялся, что сон сам по себе, без помощи еды и питья, способен так восстанавливать силы (ибо некоторое время пища и сон заменяют друг друга), и ужасался, что все еще длится его злополучье, о котором он и во сне не совсем забывал, но которое, надо сказать, становилось все-таки менее суровым, чем было вначале. Любая суровость и напряженность со временем нет-нет да ослабевает и делает маленькие уступки свободе движений. Мы думаем о веревке, о том, что на второй и на третий день ее узлы и петли не были уже такими тугими, как в первый час, что они немного ослабли, приспособляясь к потребностям несчастных конечностей. Это тоже говорится для того, чтобы низвести состраданье на почву трезвой действительности. Даже прибавляя, что Иосиф, конечно, все больше и больше слабел, мы только отчасти стремимся не расхолаживать слушателей, сохранить сострадательную их озабоченность; ведь, с другой стороны, эта возраставшая слабость, этот упадок сил практически облегчали его страданья, так что ему, с его точки зрения, становилось, так сказать, тем лучше, чем дольше длилось это положение, бедственность которого он постепенно переставал ощущать.

При почти замершей жизни тела мысли его, однако, не прекращали деятельного своего хода, причем в музыкальном их строе, благодаря мечтательной слабости Иосифа, все сильнее выделялись глубинные прежде «тени и басы», почти совсем в конце концов заглушившие верхние голоса. Вверху главенствовал страх смерти, выливавшийся, покамест братья были поблизости, в жалобные вопли и стоны. Почему, когда они, десятеро, удалились, этот страх внешне совсем умолк и почему Иосиф уже не молил наудачу о помощи из своей глубины? Потому что он совершенно об этом забыл, захваченный ходом тех мыслей, на которые мы уже намекнули и которые, объясняя внезапное его паденье, касались прошлого и угодных, быть может, богу, но от этого не менее грубых и тяжких ошибок прошлого.

Платье, сорванное с него братьями, и сорванное, о ужас, отчасти зубами, играло тут самую заметную роль. Что ему не следовало красоваться в нем перед ними, мозолить им глаза этим своим достоянием, а самое главное, показываться им в покрывале теперь и здесь, стало ему настолько очевидно, что он ударил бы себя по лбу, если бы не был связан. Но, мысленно делая этот жест, он одновременно признавал его бессмысленность и странное лицемерие; ведь было же ясно, что это он знал всегда и все-таки так поступил. Изумленно вдумывался он в загадку самогубительного зазнайства, заданную ему его собственной непоследовательностью. Разрешить ее было выше его разуменья, но это выше всякого разуменья, ибо слишком тут много не поддающегося учету, противоразумного и, быть может, священного. Как он дрожал от страха, что Иаков заметит спрятанный в столешнице-кошеле кетонет, — от страха перед своим спасением! Ведь не потому же он обманул отца, воспользовался его плохой памятью и украдкой взял с собой свою наследственную одежду, что не разделял его мнения о том, какое действие окажет на братьев ее вид. Нет, он был того же мнения и все-таки взял ее. Разве можно было разгадать это? Но коль скоро он не забыл позаботиться о своей гибели — почему Иаков забыл ее предотвратить? Снова загадка. Любви и страху отца было так же важно оставить разноцветный наряд дома, как его, Иосифа, вождельню было важно украдкой его увезти. Почему же любовь и страх упустили из виду такую важность и не расстроили замысла вождельню? Если Иосифу удалось тогда в шатре выманить у старика эту ослепительную одежду, то только потому, что они вели одну игру, и потому, что Иаков не меньше хотел подарить сыну это покрывало, чем тот — его получить. Практические последствия не заставили себя ждать. Они вместе довели агнца до ямы, и теперь Иаков упадет замертво.

Да, наверно упадет, а затем станет размышлять о грубых, совершенных вместе сшибках прошлого, как это делал сейчас Иосиф здесь, внизу. Он снова признался себе, что его клятвенные обещания ничего не рассказывать отцу, если он будет ему возвращен, были вызваны лишь поверхностным страхом за них обоих и что, восстановись прежнее, домогильное положение, чего Иосиф одной частью своего естества, конечно, очень желал, — он непременно и неизбежно обо всем бы донес, и тогда братья были бы обращены в пепел. Поэтому другой частью своего естества он не желал возврата к прошлому, возврата, впрочем, исключавшегося — в этом он был согласен с братьями, настолько согласен, что готов был даже ответить на воздушный поцелуй, который хотел послать ему в яму Дан за то, что теперь наконец у них появился брат, при котором можно было говорить о чем угодно, даже о крови козленка, которую они выдадут за его кровь, ибо это выходило за пределы его жизни и оставалось в нем, как в могиле.

Мнение Дана, что при Иосифе можно высказываться совершенно свободно, поскольку каждое услышанное им слово — лишний довод против его возвращения, и что поэтому даже желательно говорить при нем о вещах, выходящих за пределы его жизни и тем самым надежно привязать его к преисподней, как наводящий ужас дух мертвеца, — мнение Дана произвело сильное впечатление на Иосифа и играло в его мыслях роль равноценного противовеса той убежденности, в которой он жил до сих пор, убежденности, что он может ни с кем не считаться, потому что-де все любят его больше, чем самих себя. Но вот оказалось, что можно не считаться с ним самим, и это открытие определило ход тех теней и басов его мыслей, которые скрывались под верхним и средним слоями и, по мере того как Иосиф слабел, все полновучнее заглушали верхние голоса.

Но начали свой ход они уже раньше, вместе с другими: уже тогда, когда спровоцированно-непредвиденное стало действительностью, когда он, осыпaeмый пинками и тумакami, метался между братьями, а те срывали с него ногтями и зубами узорчатый наряд, — с самого, стало быть, начала глубинные эти мысли уже звучали наряду с прочими, и среди грохота ужаса слух его в значительной мере принадлежал им. Ошибкой было бы предположить, что при таких смертельно грозных обстоятельствах Иосиф перестал играть и мечтать — если только играть и мечтать при таких обстоятельствах значит еще играть и мечтать. Он был истинным

сыном Иакова, человека высоких помыслов и знатока мифов, который всегда знал, что с ним происходит, который среди всех земных дел взирал на звезды и всегда соотносил свою жизнь с делами божественными. Хотя Иосиф проверял и реализовал свою жизнь, соотнося ее с высшими образцами, менее прочувствованно и более расчетливо, более остроумна, чем Иаков, он тоже был глубоко убежден, что; жизнь и событие, не заверенные высшей реальностью, не основанные на священно-знакомом прообразе я не опирающиеся на него, не отражающиеся ни в каких небесных делах и не узнающие себя в них, вообще не жизнь и вообще не событие; глубоко убежден, следовательно, что внизу ничего не могло бы случиться и додуматься до себя без своего звездного образца и подобья, и единство двойственного, сиюминутность вращения, взаимозаменяемость верха и низа, благодаря которой верх превращается в низ, а низ в верх и боги становятся людьми, а люди — богами, все это было главным воззрением и его жизни. Недаром он был учеником Елиезера, употреблявшего слово «я» с такой свободой и смелостью, что направленный на этого старика взгляд задумчиво преломлялся. Прозрачность бытия как повторенья и возвращенья прообразов — эта вера вошла в его плоть и кровь, и всякая духовная значимость и значительность была для него неотъемлема от такого самосознания. Тут все было по правилу. Если что несколько нарушало правило, игриво отступая от значительно-значимого, так это склонность Иосифа извлекать пользу из общераспространенного умоустройства и ослеплять людей сознательным самовнушением.

Он был начеку с самого начала. Верьте или не верьте, но в головокружительном переполохе внезапного нападения, под отчаянным натиском страха и перед опасностью смерти, он духовно открыл глаза, чтобы поглядеть, что «собственно» происходит. Ни страх, ни опасность от этого вовсе не уменьшались; но к ним прибавилось теперь что-то от радости, даже от смеха, и веселость разума озарила ужас его души.

«Мое платье! — вскричал он и в великом страхе взмолился: — Не рвите его!» Да, они порвали и сорвали его, материнское платье, которое принадлежало и сыну, так что оба носили его попеременно и были благодаря покрывалу едины, бог и богиня. Эти бесноватые безжалостно оголили его, как оголяет любовь невесту в спальне, — такова была их ярость, — и познали его нагим, и его охватил смертельный стыд. В его уме понятия «оголенье» и «смерть» находились в близком соседстве — как же было ему не цепляться в испуге за клочья платья и не просить: «Не рвите его!» — и как было его разуму не проникнуться одновременно радостью, если это соседство понятий подтверждалось происходившим и в нем воплощалось? Никакие невзгоды тела и души не могли лишить его ум чуткости но все новым и новым намекам, которые свидетельствовали о высшей реальности, о прозрачности, о соответствии прообразам, о связанности со вселенским вращением, одним словом, о звездной значительности происходившего. И чуткость эта была очень естественна, ибо намеки такого рода касались подлинной сути вещей, разгадки его «я», которую он недавно Рувиму, к величайшему его смущению, несколько приоткрыл и которая в ходе событий прояснялась все больше и больше. Он горько заплакал, когда большой Рувим согласился с решением братьев бросить его в яму; но в тот же миг разум его засмеялся, словно над шуткой, ибо слово, ими употребленное, было полно намеков: сказав на своем языке «бор», братья выразились односложно-многозначительно; слог этот нес в себе и понятие колодца, и понятие темницы, а последнее, в свою очередь, было настолько тесно связано с понятием низа, царства мертвых, что слова «темница» и «преисподняя» значили одно и то же и употреблялись одно вместо другого, тем более что и колодец в собственном смысле слова был уже подобен входу в преисподнюю и намекал на смерть даже своей круглой каменной крышкой; ибо камень закрывал его жерло, как тень — темную луну. Чуткий ум Иосифа распознал прообраз происходившего — смерть светила: мертвую луну, которой не видно в течение трех дней перед нежным ее воскресением, и особенно умирание богов света, которые на время удаляются в преисподнюю; и когда этот ужас стал реальностью, когда братья приволокли его к кругу колодца, к краю ямы и он, напрягши всю свою ловкость, свалился во мрак, бдительное его остроумие ясно увидело тут намек на звезду, которая вечером — женщина, а утром — мужчина и которая уходит в колодец бездны вечерней звездой.

То была бездна, куда спускается истинный сын, составляющий одно целое со своей матерью и носящий с ней платье попеременно. То была подземная овчарня, Этура, царство мертвых, где владыкой становится сын, пастух, страдалец, жертва, растерзанный бог. Растерзанный? Они порвали ему только губу и лишь кое-где кожу, но зато они сорвали с него одежду и разорвали ее ногтями и зубами, красные убийцы и заговорщики, его братья, а теперь они окутут ее в кровь козла, которую выдадут за его кровь, и покажут отцу. Бог потребовал от отца, чтобы тот принес в жертву сына, — от кроткого отца, с ужасом признавшегося, что «он не нашел бы в себе силы для этого». Бедный, придется ему, видно, собраться с силами, это было так похоже на бога — не очень-то считаться с тем, как судит о себе человек.

Тут Иосиф заплакал в прозрачном своем злополучье, так и не выходявшем из-под надзора разума. Он плакал о бедном Иакове, которому придется собраться с силами, и о смертельном доверии братьев к нему, Иосифу. Он плакал от слабости и из-за сперттого воздуха колодца, но чем плачевнее делалось его состояние в течение тех трех суток, что он провел здесь внизу, тем сильнее звучали самые нижние голоса его мыслей и тем обманчивее отражалась его действительность в сфере образцово-небесного, так что в конце концов он вообще перестал различать верх и низ и в мечтательной надменности смерти видел только единство двоякого. Это по праву можно понять как стремление природы помочь ему перешагнуть через невыносимое. Ведь естественная надежда, за которую до конца цепляется жизнь, требует разумного оправдания, и она находила его в таком смещении сфер. Правда, она выходила за пределы его жизни, надежда на то, что он не совсем погибнет, а будет как-то спасен из ямы, ибо практически он считал себя мертвецом. Что он им был, тому порукой служило доверие братьев, платье в крови, которое получит Иаков. Яма была глубока, и о том, чтобы вернуться из нее назад в жизнь, предшествовавшую падению в эти глубины, нечего было и думать; столь же нелепо было бы думать, что вечерняя звезда может вернуться из бездны, куда она закатилась, или что тень может сойти с черной луны, отчего та снова станет вдруг полной. Но представление о смерти звезды, о затемнении и о закате сына, чьим жилищем становится преисподняя, включало в себя представление о восходе, о новом сиянии и воскресении; и поэтому, естественно, надежда Иосифа на жизнь получала оправдание и перерастала в веру. Эта надежда не предполагала возврата из ямы к прошлому, и все-таки в ней была победа над ямой. Да и питал ее Иосиф не только сам по себе, но и за бедного старика, вместе с которым завел себя в яму и который дома упадет замертво. Конечно, он был за пределами жизни сына, миг, когда Иаков получит окровавленную его одежду. Но если вера отца выйдет, по древнему требованию, за пределы смерти, тогда, думал Иосиф в могиле, кровь животного будет все же, как некогда, принята вместо крови сына.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. КАМЕНЬ ПЕРЕД ПЕЩЕРОЙ

ИЗМАИЛЬТЯНЕ

Мерно покачиваясь в седлах, со стороны Гилеада ехали всадники, ехали с востока, с другого берега реки — четверо или пятеро, с несколькими еще верблюдами, нагруженными только товаром, а также с погонщиками и носильщиками, которые удваивали собой число путников; то были странствующие купцы, родом не отсюда и не из тех мест, откуда они ехали, чужеземцы с очень смуглыми лицами и руками, в схваченных войлочными кольцами наголовниках, закутанные в полосатые, удобные в пустыне плащи, с белыми, неторопливо-внимательными глазами. Один из них был почтенных лет, у него была седая бородка, и ехал он первым; толстогубый мальчишка в белой, измятой бумажной одежде с закутанной в башлык головой, вел его верблюда за длинный повод, а сам он, сложив руки, закутавшись и чинно склонив голову, сидел в высоком седле. Сразу было видно, что он здесь главный. Остальные были его племянник, его зять и его сыновья.

Что же представляли собой эти люди? На это можно дать и более точный, и более общий ответ. Они были родом с юга страны Едом-Сеир, что находилась на краю Аравийской пустыни, перед Египтом, и «Мицраим», как называют Египет, называлась уже и их область, которая вела и переходила в Страну Ила. Но кроме того и по-настоящему она называлась «Муцри», а на другом наречии «Мозар», или еще «Мидиан» по имени сына Аврама и Хеттуры, и была поселением выходцев из страны Ма'ин, что находилась еще южнее, неподалеку от Страны Ладана, людей, которые вели меновую торговлю между Аравией и Царством Животных и Мертвых, а также между западными землями ханаанеев и Междуречьем и, имея в Муцри торговые склады, посредничали на правах жителей Мидиана между народами и нанимались в проводники царских и государственных караванов, следовавших из страны в страну.

Итак, наши путники были ма'ониты из Ма'ина, или, иначе, минейцы, мидианиты. Но так как Медан и Мидиан, дети пустыни, младшие Авраамовы сыновья от Хеттуры, почти ничем не отличались один от другого, то вместо «мидианиты» можно было сказать «меданим», — они на это не обижались. И даже если бы их назвали просто измаильтянами, воспользовавшись самым общим обозначением всех живущих в степях и пустынях и приняв, стало быть, за их прародительницу не Хеттуру, а другую дочь пустыни, египтянку Агарь, то они помирились бы и на этом: им было не так уж важно, как их называют и кто они такие; главным для них было то, что они существовали на свете и могли торговать, разъезжая по разным странам. Были даже основания назвать старика и его спутников измаильтянами; ведь как жители Муцри они были наполовину египтянами, а полугиптянином был также Измаил, красавец огненный, и поэтому с известным правом можно было сказать, что происходят они от него.

Сейчас они ехали с востока не царским и не государственным караваном, отнюдь нет. Они совершали поездку как частные лица, на собственные средства и весьма скромным образом. По случаю праздничных жертвоприношений, к которым обычно приурочивалась торговля на рынке, они доставили жителям заиорданских равнин в большом выборе египетское полотно и украшения из финифти и не без выгоды для себя выменяли эти товары на всякие бальзамические смолы — трагант, ладан, гумми и ладанную камедь. Они были бы вполне довольны поездкой, если бы по эту сторону реки им удалось по сходной цене приобрести еще кое-какого здешнего товару: меду, горчицы, вьюк-другой фисташек и миндаля. Что касалось направления их пути, то они его еще не выбрали. Они еще не решили, поехать ли по дороге, которая шла по гребням гор с севера на юг и вывела бы их через Урусалим и Хеврон к морю у Газы, или же лучше сначала держаться северо-восточной дороги и, быстро выйдя на побережье через равнину Мегиддо, последовать берегом на свою проходную родину.

Пока что, — дело было за полдень, — они гуськом, старик впереди, остальные за ним, въехали в эту долину, чтобы поглядеть, не рыночный ли сегодня день у жителей Дофана и нельзя ли здесь что-либо продать и купить; слева от дороги, по которой шагали их верблюды, был поросший мохом откос, и, обладая неторопливо-внимательными глазами, путники заметили внизу ветхие ступеньки и каменную кладку в кустах; первым увидел это старик со скошенной головой, он сделал знак остальным, велел им остановиться и послал мальчишку в башлыке обследовать это место; ибо все путешественники — исследователи и по природе своей любопытны. Все они должны разузнать.

Мальчишка не замешкался, он только спрыгнул вниз и сразу же поднялся, чтобы толстыми своими губами заявить, что в кустах закрытый колодец.

— Если он закрыт и укрыт, — мудро рассудил старик, — значит, стоит его открыть. Кажется, местные жители страдают ревнивой скарденностью, и вполне возможно, что в этом колодце окажется вода необыденной свежести и превосходного вкуса, которой мы могли бы воспользоваться и наполнить свою посуду; я не вижу никого, кто бы помешал нам в этом, и какие же мы измаильтяне, если упустим случай поживиться чужим добром и не натянем нос скупердяям? Возьмите мех и несколько баклажек, и давайте спустимся туда!

Так они и поступили, ибо воля старика всегда все решала. Они велели верблюдам лечь, отвязали сосуды и спустились к колодцу, дядя, племянник, зять и сыновья с несколькими раба-

ми. Здесь они обнаружили, что на месте нет ни ведра, ни шеста, чтобы зачерпнуть воды; это, однако, их не смутило, они решили опустить в колодец кожаный мех и набрать прямо в него драгоценной, ревниво укрытой воды. Старик сел на обломок камня у стенки, оправил платье и движением смуглой руки дал знак отвалить крышку, разделенную трещиной на две части.

— Хотя этот колодец, — сказал старик, — укрыт и закрыт, он находится в довольно запущенном состоянии. По-видимому, здешние жители, с одной стороны, ревнивы, а с другой — нерадивы. Покамест, однако, я еще не склонен сомневаться в доброкачественности его воды; это было бы преждевременно. Ну, вот, половина камня отвалена. Отвалите же и вторую молодыми своими руками и положите ее на плиты рядом с ее зеленоватой сестрой! Ну, как? Светла ли улыбка водяного круга и чисто ли его зеркало?

Они стояли вокруг колодца на обегавшей его низкой ступени, наклонившись над глубоким жерлом.

— Колодец пересох, — сказал зять, не поворачивая головы к старику и продолжая глядеть вниз. Едва он это сказал, все наострились уши. Из глубины донеслись стоны.

— Не может быть, — сказал старик, — чтобы стоны шли из этого колодца. Я не верю своим ушам. Давайте замрем, чтобы ничем не нарушать тишину, и прислушаемся, не подтвердится ли этот звук повтореньем.

Стоны повторились.

— Теперь я вынужден поверить своим ушам, — решил старик. Он встал и, поднявшись на ступеньку, оттеснил локтями мешавших ему, чтобы самому заглянуть в яму.

Остальные из вежливости ждали, что он скажет, но он был уже слаб глазами и ничего не увидел.

— Видишь ли ты что-нибудь, Мибсам, мой зять? — спросил он.

— Я вижу на дне, — осмелился теперь заявить тот, — что-то беловатое, оно шевелится и похоже на членосоставное существо.

Кедар и Кедма, сыновья, подтвердили это наблюдение.

— Поразительно! — сказал старик. — Полагаясь на вашу зоркость, я окликну это существо — вдруг оно отзовется? Эй! — крикнул он в колодец во весь свой стариковский голос. — Кто там или что там стонет в колодце? Естественно ли для тебя твое место или ты предпочел бы покинуть его?

Они обратились в слух. Прошло мгновенье, другое. Затем они услышали слабый, далекий голос:

— Мать! Спаси сына!

Тут все пришли в величайшее волнение.

— Поднять. И немедленно! — воскликнул старик. — Скорее веревку, мы бросим ее и вытащим на свет это существо, ибо его местопребывание явно не отвечает его природе. Здесь нет твоей матери, — крикнул он снова вниз, — но над тобой добродетельные люди, которые готовы спасти тебя, если ты этого хочешь! Вот видите, — обратился он для разнообразия к своим спутникам, — чего только не случится и с чем только не столкнешься в дороге. Это одно из самых удивительных приключений, какие бывали у меня между потоками. Признайте, что мы правильно поступили, осмотрев этот укрытый и закрытый колодец. Кто, как не я, подал такую мысль? Люди робкого десятка, наверно, сейчас помедлили бы или пустились в бегство, и по вашим более чем смущенным лицам я прекрасно вижу, что и вам не чужды подобные побуждения. Не стану отрицать, что это жутко — услышать голос из бездны, и очень уж напрашивается мысль, что с нами говорила душа этого заброшенного колодца или какой-нибудь другой дух бездны. Однако нужно взглянуть на дело с практической стороны и сделать все, что от нас требуется, ибо в столах мне слышалась крайняя нужда в помощи. Где же веревка? Способно ли ты, существо, — крикнул он в яму, — схватить веревку и обвязаться ею, чтобы мы вытащили тебя?

Снова прошло несколько мгновений, прежде чем последовал ответ. Затем донеслось еле слышно:

— Я связан.

Старик разобрал эти слова только после того, как они были повторены, хотя он и приставил ладони к ушам.

— Вы слышите! — сказал он затем. — Связан! Это в равной мере затрудняет наше вмешательство и увеличивает необходимость его. Нам придется кого-нибудь из вас спустить туда, чтобы он навел там порядок и спас это существо. Где же веревка? Вот и она. Мибсам, зять мой, тебе я назначаю спуститься туда. Я тщательно прослежу за тем, как тебя обвяжут, чтобы тебя, как руку, опустить в глубину и поднять с добычей. Надежно овладев этой добычей, ты крикнешь: «Тяните!» — и общими силами мы вытащим тебя, руку, вместе с добычей.

Мибсаму волей-неволей пришлось согласиться. Это был молодой человек с коротким лицом, довольно длинным, но приплюснутым носом и глазами навывкате, белки которых резко выделялись на его смуглом лице. Он снял со своих курчавых волос покрывало, скинул плащ и поднял руки, давая обвязать себя веревкой, отличавшейся, как он знал, надежной прочностью: это была не пеньковая бечева, а тесьма из египетского папируса, прекрасно отмятого, трепленного и разглаженного, товар не рвущийся; они везли несколько мотков ее и торговали ею.

Вскоре, обвязанный и привязанный, зять был готов к спуску. Обвязывали его все, и Эфер, племянник старика, и сыновья и рабы. Затем Мибсам сел на край колодца, оттолкнулся и нырнул в сухую глубину, а остальные, выставив для упора одну ногу вперед, понемногу отпускали веревку. Прошло всего несколько мгновений, и она перестала натягиваться, ибо Мибсам достиг дна. Они могли теперь не упираться одной ногой и подойти к самой яме, чтобы в нее заглянуть. До них доносились глухие звуки: Мибсам что-то говорил этому существу и, пыхтя, возился с ним. Затем, как ему было наказано, он крикнул: «Тяните!» Они сделали свое дело и под однозвучные возгласы вытащили двойной груз, и старик направлял их работу заботливыми руками. Зять перевалился через стенку с жителем колодца в руках.

Как удивились купцы, увидав связанного мальчика! Они возвели глаза и воздели руки к небу, закачали головами и защелкали языком. Затем они уперлись ладонями в колени, чтобы рассмотреть свою добычу, ибо мальчика опустили на круглую ступеньку и прислонили к стенке колодца. Связанный, с повисшей головой, он сидел, распространяя запах гнили. На нем не было ничего, кроме бронзовой цепочки с амулетом на шее и перстня с приворотным камнем на пальце. Его раны покрылись струпьями и кое-как зажили там внизу, а отек на глазу настолько уменьшился, что он мог уже открыть этот глаз. Время от времени он это и делал. Преимущественно глаза его были закрыты, но иногда он вяло поднимал ресницы и горестно, хотя и с любопытством, косился исподлобья на своих освободителей. Он даже улыбнулся, видя их изумление.

— Милосердная мать богов! — воскликнул старик. — Что же это мы выудили из глубины! Не дух ли это заброшенного колодца, несчастный и полуживой оттого, что вода ушла от него и он оказался на суше? Взглянем, однако, на дело с практической стороны и сделаем все необходимое для этого существа. Ибо с земной точки зрения он представляется мне мальчиком благородной, если не благороднейшей крови, неведомо как угодившим в беду. Поглядите на эти ресницы и на эти ладные члены, хотя они замарались и дурно пахнут от пребывания в глубинах! Кедар и Кедма, вы поступаете невежливо, закрывая ноздри, ибо время от времени он поднимает веки и видит это. Прежде всего освободите его от пут, перережьте их, вот так, и принесите молоко, чтобы его напоить! Повинуется ли тебе язык, сын мой, настолько, чтобы объяснить нам, кто ты таков?

Как ни был слаб Иосиф, он мог говорить. Но у него не было ни малейшего желания посвящать этих измаильтян в семейную распрю, которая совершенно их не касалась. Поэтому он только молча взглянул на старика и беспомощно улыбнулся, показав движеньем освобожденной руки перед губами, что говорить не в силах. Ему принесли молока, и он пил его из глиняного горшка, который держал раб, ибо руки Иосифа онемели от пут. Он пил так жадно,

что, едва он оторвался от горшка, как добрая часть выпитого легко изверглась наружу, как у грудного младенца. Когда, вслед за этим, старик спросил его, сколько же времени он пробыл в колодце, Иосиф показал ему три пальца в знак того, что провел там три дня, и этот ответ, соотнесенный минейцами с тремя днями пребывания в преисподней новой луны, показался им весьма знаменательным и замысловатым. Когда они пожелали узнать, как он попал туда, другими словами, кто его туда бросил, он в ответ опять ограничился знаком, указав лбом вверх, так что осталось неясно, сделали ли это люди или же тут были замешаны небесные силы. Когда же они снова спросили его, кто он такой, он прошептал: «Ваш раб», — и тотчас упал без сил, и они так ничего и не узнали.

— Наш раб, — повторил старик. — Да, конечно, поскольку нашли его мы и без нас он вообще перестал бы дышать; Не знаю, что думаете по этому поводу вы, но, насколько я понимаю, здесь налицо одна из тех тайн, которых так много в мире и на след которых иной раз случается напасть путешественнику, к его удивлению. Нам не остается ничего другого, как взять это существо с собой, ибо мы не можем ни оставить его здесь, ни построить здесь хижину, чтобы дать ему собраться с силами. Я замечаю, — прибавил он, — что этот колодезный мальчик каким-то образом трогает мое сердце и окунает его во что-то приятное, сам не знаю во что. Дело тут не только в сострадании, не только в тайне, которую он носит с собой. Нет, каждого человека окружает нечто такое — темное или светлое, — что не является его плотью, но все-таки от нее исходит. Старые, опытные глаза различают это лучше, чем глупые молодые, которые хоть и видят, а не смотрят. И так как я пристально гляжу на этого найденщика, то, что его окружает, кажется мне на редкость светлым, и я совершенно уверен, что это находка из тех, которыми не бросаются.

— Я умею читать камни и писать клиньями, — сказал Иосиф, чуть приподнявшись. Затем он снова упал на бок.

— Вы слышите? — спросил старик после того, как ему повторили эти слова. — Он умеет писать и хорошо воспитан. Это ценная находка, я же вам говорил, и пренебрегать ею нельзя. Мы возьмем его с собой, ибо благодаря тому, что меня осенило обследовать этот колодец, нашли мальчика именно мы. Хотел бы я видеть, кто посмеет назвать нас разбойниками за то, что мы пользуемся правом нашедшего, и нам дела нет до людей, которые бросили или по небрежности потеряли найденное нами. А если таковые объявятся, мы имеем право потребовать вознаграждения и хорошего выкупа, так что в любом случае дело обещает быть прибыльным. Очнитесь, наденьте на него этот плащ, ибо он вышел из глубины, как из утробы матери, голым и грязным, словно бы заново родившись на свет.

Старик указал на сброшенный плащ зятя Мибсама, и владелец этой одежды ворчливо выразил свое недовольство тем, что ее наденет и совсем замарает колодезный мальчик. Однако зятю это не помогло, воля старика всегда все решала, и рабы отнесли одетое дитя туда, где ждали верблюды. Здесь его усадили: по указанию старика, Кедма, один из его сыновей, юноша с черным кольцом на белом покрывале, отличавшийся спокойно-правильными чертами лица и полной достоинства посадкой головы, так что глядел он на всех и вся сверху вниз из-под полуопущенных век, — помог ему устроиться впереди себя на своем верблюде, и купцы двинулись дальше, по направлению к Дофану, где был, возможно, рыночный день.

О ЗАМЫСЛЕ РУВИМА

В эти дни у сыновей Иакова было тяжело на душе, даже очень тяжело, во всяком случае несколько не легче, чем прежде, когда у них в теле сидела заноза и они тоскливо бродили среди кустов дрока, снедаемые жгучим стыдом. Теперь занозы уже не было, но рана, ею оставленная, не заживала: она продолжала болеть, словно вытасченный из нее шип был отравлен, и ложью было бы с их стороны утверждать, что теперь, когда они отвели душу, им спалось слаще; впрочем, об этом они молчали.

Они вообще стали с недавних пор молчаливы, и если обменивались самыми необходимыми словами, то делали это с усилием и сквозь зубы. Они старались не встречаться глазами, и если один бывал вынужден обратиться к другому, то оба глядели куда угодно, только не в лицо друг другу и после не знали, придавать ли этому разговору какое-либо значение, так как вопрос, который обсуждают одними губами, без участия глаз, вряд ли можно считать действительно выясненным. Но им казалось не столь уж и важным, выяснен он или нет; ибо часто у них вырывались такие слова, как: «Все хорошо», «Все идет правильно», или «Это пустяки!» — хмурые намеки на то существенное, что таилось под спудом всех разговоров и, все еще не разрешившись, отвратительно их обесценивало.

Разрешиться же оно должно было само собой, а это означало опять-таки отвратительный, тягучий и плачевно долгий процесс, медленное умирание где-то там в глубине, о котором нельзя было точно сказать, когда оно кончится, которое, с одной стороны, хотелось ускорить, а с другой — замедлить, чтобы хоть ненадолго сохранить возможность менее безобразного разрешения, как ни трудно было представить себе его. Тут мы снова просим не считать сыновей Иакова какими-то особенно жестокими парнями и не отказывать им в каком бы то ни было участии: даже самая пристрастная слабость к Иосифу (слабость тысячелетий, от которой это правдивое повествование пытается отрешиться), даже она должна остерегаться такого одностороннего взгляда на вещи, ибо он был иного мнения. Право же, они невольно оказались в таких обстоятельствах и предпочли бы, чтобы все сложилось иначе. Не раз в эти мучительные дни, спору нет, они предпочитали, чтобы дело кончилось сразу и решилось полностью, и злились на Рувима за то, что он все расстроил. Но мрачная эта досада вызывалась только затруднительным положением, в котором они оказались, одной из тех безвыходных ловушек, какие создает жизнь, поистине копирующая порой игру в шашки.

Большой Рувим был отнюдь не одинок в своем желании спасти из ямы дитя Рахили; напротив, среди братьев не было ни одного, кем это желание время от времени не овладевало бы настолько, что ему прямо-таки не сиделось на месте. Но было ли это возможно? Увы, нет, — и торопливая решимость умолкала перед неумолимыми доводами рассудка. Что делать со сновидцем, если вытащить его из колодца перед самой его смертью? Это была стена, и выхода не было; он должен был там остаться. Они не только бросили его в могилу, но всячески привязали его к ней и решительно отрезали ему путь к воскресению. Логически он был мертв, и оставалось лишь празднично дожидаться, чтобы он стал мертвецом и воистину, — задача изнурительная и вдобавок без четких границ. Ведь для этих достойных сожаления людей речь вовсе не шла и «трех днях». Они ничего не знали о трех днях. Зато они знали случаи, когда заблудившиеся в пустыне путники томились неделю и даже две недели без воды и без пищи, прежде чем их находили. Знать это было отраднее, ибо это оставляло место надежде. Знать это было отвратительно, ибо надежда была нелепа и опровергала сама себя. Редко бывает такое затруднительное положение, и тот, кого занимают тут только страдания Иосифа, лицепрятствует.

В этот день, во второй его половине, измученные братья сидели на месте расправы, под красными деревьями, там, где они недавно толковали о допотопном богатыре Ламехе и стыдили себя его примером, чего им делать не следовало бы. Сидели они восьмером, ибо двое отсутствовали: быстроногий Неффалим, который куда-то отлучился, чтобы, может быть, узнать какую-нибудь новость и затем широко распространить свое знание, и Рувим, который удалился еще с утра. По делу, как он заявил им сквозь зубы, отправился он в Дофан — обменять, по его словам, их товар на хлеб и на некоторое количество винного сула; и в расчете в особенности на последнее братья деловой поход Рувима одобрили. В эти дни, вопреки своему обыкновению, все они налегали на мирровое вино, которое производилось в Дофане и своей оглушающей крепостью избавляло от мыслей.

Говоря между нами, Рувим отделился от них совсем для другой цели и упомянул о вине только для того, чтобы сделать приемлемым для них свой уход. В эту ночь, когда большой Ру-

вим бессонно ворочался, окончательно созрело его решение обмануть братьев и спасти Иосифа. Три дня сносил он то, что шагавший по таким светлым стопам, что агнец Иакова погибает в колодце, — теперь довольно, дай бог, чтобы он не опоздал! Он украдкой проберется к нему и на свой страх освободит утопленного; он возьмет его, отведет к отцу и скажет Иакову: «Да, я бушую, как вода, и грех мне не чужд. Но погляди, я добушевался до доброго дела и возвращаю тебе твоего агнца, которого они хотели растерзать. Искуплен ли грех мой, и стал ли я снова твоим первородным?»

Тут Рувим перестал ворочаться и недвижно, с открытыми глазами, пролежал остаток ночи, обдумывая каждую подробность спасенья и бегства. Дело было не простое: мальчик был связан и ослабел, он не мог схватить брошенную ему Рувимом веревку; веревки было мало, требовался еще крепкий крюк: зацепившись им за путы Иосифа, можно было бы выудить эту добычу; а еще лучше бы, наверно, иметь целое сплетенье веревок, сеть, которой можно было бы ее выловить; или доску на веревках, чтобы беспомощный Иосиф сел на нее, а он, Рувим, его вытащил. Вот как подробно обдумал Рувим все приспособленья и меры предосторожности; подумал он и об одежде, которую приготовит нагому из собственного запаса, и мысленно выбрал сильного осла, которого для отвода глаз погонит в сторону Дофана с сырами и шерстью, чтобы посадить на него впереди себя мальчика и под покровом темноты беглецами пуститься в пятидневный путь в Хеврон, к отцу. Это решение наполнило сердце большого Рувима горячей радостью, умерявшейся лишь страхом, что Иосиф не доживет до наступленья темноты, и, прощаясь сегодня утром с братьями, он с трудом сохранял в своих речах ту угрюмо-раздраженную односложность, которая вошла у них теперь в привычку.

ПРОДАЖА

Итак, ввосьмером сидели они под развесистыми соснами и, мрачно моргая, глядели в ту даль, где некогда засверкали пляшущие блики, так их смутившие и заманившие их в этот проклятый тупик. И вот они увидели, что справа, через кусты, широко шагая на своих жилистых, подпрыгивающих ногах, к ним приближается их брат Неффалим, сын Валлы, и уже издали увидели, что он несет им какое-то знанье. Но оно не вызывало у них жадного любопытства.

— Эй, братья, ребята, друзья, — выпалил он, — послушайте, что я вам скажу: со стороны Гилеада, сюда носами, движется караван измаильтян, они скоро будут здесь и проедут на расстоянии трех бросков камня от того места, где вы сидите! Кажется, это мирные идолопоклонники, они едут с товаром, и, наверно, с ними можно поторговать, если их окликнуть!

Услыхав это, они устало отвернули головы.

— Ладно, — сказал один из них. — Спасибо тебе за новость, Неффалим.

— Это пустяки, — со вздохом прибавил другой.

И они замолчали в мучительной тоске, не испытывая никакого желания совершать торговые сделки.

Через несколько мгновений, однако, они забеспокоились, зашевелились, и глаза у них забегали. И когда Иегуда — ибо это был он — нарушил молчание и обратился к ним, они вздрогнули и все, как один, повернулись к нему:

— Говори, Иуда, мы слушаем.

И Иуда сказал:

— Сыновья Иакова, я хочу задать вам один вопрос, а именно: какая нам польза убить нашего брата и скрыть его кровь? Я отвечаю за всех вас: никакой пользы. И это отвратительно и нелепо — бросив его в яму, убеждать себя, что тем самым мы пощадили его кровь и можем спокойно есть у колодца, ведь мы же были просто слишком робки, чтобы ее пролить. Осуждаю ли я, однако, нашу робость? Нет, я осуждаю то, что мы обманываем самих себя, устанавливая в мире различие между «поступком» и «случаем», чтобы спрятаться за этим различием, и

все-таки спрятаться за ним не можем, ибо оно сомнительно. Мы хотели поступить по примеру Ламеха из песни и убить юнца за нашу рану. Но вот что получается, когда хочешь поступить, как в песне первобытных времен, по образцу героя. Мы должны были сделать некоторую поправку на современность и вместо того, чтобы убить юнца, мы только обрекаем его на смерть. Позор нам, ибо помесь песни с современностью — это ни то ни се и мерзость! И потому я говорю вам: раз уж мы не смогли поступить по примеру Ламеха и сделали некоторую уступку современности, будем честны до конца и в ладу с современностью и продадим Иосифа!

Тут у всех у них камень свалился с сердца, ибо Иуда сказал то, о чем они все думали, и окончательно открыл им глаза, которые уже шурились от света при молчаливом размышлении об известье Неффалима. Вот где был, наконец, выход из этого тупика, — простой и ясный. Измаильтяне Неффалима указали его: выходом был их путь, путь бог весть откуда в неведомые, чужие, безмерно далекие края, вернуться из которых так же невозможно, как из могилы! До сих пор они не могли вытащить мальчика из колодца, как им этого ни хотелось, — а теперь они вдруг могли это сделать: его нужно было всучить приближавшимся путникам, чтобы он исчез с ними из поля зрения, как исчезает в пустоте падающая звезда вместе со своим следом! Даже Симеон и Левий нашли, что этот выход сравнительно неплох, раз уж героизм старинного образца не удался.

Поэтому все глухо, наперебой, загомонили, спеша выразить свое одобрение: «Да, да, да, да, ты это сказал, Иуда, ты прекрасно это сказал! Измаильтянам — продать, продать, это практично, это выход, это избавит нас от него! Сюда Иосифа, тащите его на свет божий, они уже близко, и в нем еще может быть жизнь, иные выдерживают и по две недели, это известно из опыта. Одни скорее к колодцу, а другие тем временем...»

Но измаильтяне были уже здесь. Сначала, в трех бросках камня отсюда, показался передний, старик, руки под плащом, на высоком верблюде, которого вел мальчик, а за ним, гуськом, остальные: всадники, верблюды с вьюками и погонщики, — не особенно представительная процессия; очень богатыми эти купцы, по-видимому, не были, на одном из верблюдов сидели даже два человека; так, в непоколебимом спокойствии, следовали они своей дорогой, устремив глаза на холм Дофана.

Слишком поздно было бежать за Иосифом, слишком поздно сейчас. Но Иегуда, а с ним и остальные, решили во что бы то ни стало воспользоваться случаем и навязать этим измаильтянам мальчика, чтобы те увели его из поля зрения и освободили братьев, ибо они, братья, просто уже не выдержали бы, если бы все осталось по-прежнему. Родоначальник этих путников — разве он не был послан Авраамом в пустыню с Агарью за свои преисподние шутки с Исааком, сыном праведной? Иосифа хотели сплавить в пустыню с сынами Измаила — ситуация не была лишена корней, она существовала однажды и возвращалась опять. Самобытным нововведением, если угодно, была идея продажи. Однако тысячелетия поставили эту идею в вину братьям по слишком строгому счету. Продать человека! Продать брата! Лучше, однако, обуздать свои оскорбленные чувства, отдавая должное жизни и тому явному оттенку трезвой обыденности, который почти начисто лишал эту идею скверной оригинальности. В крайности человек продавал своих сыновей, — а уж то затруднительное положение, в котором оказались братья, разумеется, можно назвать крайностью. Отец продавал своих дочерей замуж — и этих восьмерых вообще не было бы на свете и они сейчас не сидели бы здесь, если бы Иаков, ценой четырнадцатилетней службы, не купил у Лавана их матерей.

Получалась некоторая нескладность, оттого что предмета продажи не было на месте, что он, так сказать, хранился в некоей полевой яме. Но в надлежащий момент его можно было доставить, а сейчас прежде всего следовало познакомиться с чужеземцами и определить спрос на товар.

Поэтому, приставив раструбом руки к губам, братья огласили простор криками:

— Эй, путники! Откуда? Куда? Погодите немного! Здесь тень от деревьев и люди, с которыми можно поговорить!

Голоса братьев, перелетев через поле, достигли слуха путников. Ибо те отвели глаза от холма Дофана и повернулись к кричавшим; вожак кивнул головой и сделал знак остальным завернуть к местным жителям, которые поднялись и приветствовали путешественников: они приложили пальцы к глазам в знак того, что рады видеть гостей, и коснулись руками лба и груди, показывая, что и тут, и там все как нельзя лучше готово к встрече. Рабы, жестикулируя, бегали между верблюдами и издавали гортанные звуки, заставлявшие животных припадать на колени и ложиться. Путники спешили, стороны обменялись обычными любезностями и сели друг против друга: братья на прежнее свое место, а чужеземцы — перед ними, старик — посредине, а справа и слева члены его семьи — зять, племянник и сыновья. Слуги держались поодаль. А в промежутке между ними и господами, позади чужеземцев, сразу за спинами старика и одного из его сыновей, сидел еще некто в плаще; плащ плотно окутывал голову его и лицо, и только у лба складка этого одеянья немного оттопыривалась.

Почему во время предварительной беседы с гостями братья нет-нет да посматривали на эту закутанную фигуру во втором ряду? Такой вопрос, пожалуй, излишен. Безмолвная ее обособленность невольно привлекала к себе внимание; всякий другой на месте братьев вел бы себя в точности так же, да и в самом деле, зачем среди ясного дня закутывать голову, словно приближается пыльная буря абубу? Братья были беспокойны, в известной мере рассеянны во время беседы. Но не из-за этой странной фигуры, — мало ли какие были у нее причины бояться света. Нет, нужно было доставить предмет продажи, и двоим или троим из них следовало бы сейчас удалиться, чтобы достать его из хранилища и где-нибудь в сторонке несколько освежить перед торгом, как о том и было тихо и быстро договорено, когда измаильтяне свернули с дороги. Почему же никто никуда не шел? Вероятно потому, что не было определено, кто пойдет. Но ведь желающие могли и сами вызваться. Быть может, из боязни показаться невежливыми. Но ведь можно было придумать какое-нибудь оправдание. Дан, Завулон и Иссахар, например, — почему они медлили, почему оставались на месте и рассеянно поглядывали на странную фигуру в промежутке за спинами купца и его сына?

В презрительно-гордых оборотах речи, где самоуничужение и хвастовство взаимно уравновешивались, стороны поведали друг другу о своем житье-бытье. Они самые простые пастухи, заявили Иегуда и его братья, жалкий сброд по сравнению с сидящими перед ними владыками, сыновья одного очень богатого мужа, живущего на юге, истинного царя стад и князя божьего, малую, но тоже едва обозримую толику неисчислимых богатств которого они пасут в этой долине, потому что там, на юге, земля, конечно, непомерительна, чтобы жить вместе. Кого же эти ничтожные люди имеют незаслуженную честь видеть перед собой?

Если, сказал старик, отвернувшись от такого великолепия, обратить взор на него и на его спутников, то нельзя вообще ничего увидеть, ибо, во-первых, ослеплены глаза, а во-вторых, смотреть почти не на что. Они сыновья могучего царства Ма'он, что в стране Аравайя, и живут в стране Мозар или Мидиан, — то есть они мидианиты, которых, однако, вполне допустимо именовать также «меданим» или даже просто «измаильтяне» — не все ли равно, как назвать ничто! Они снаряжают караваны, которые не раз достигали конца мира, и торгуют, путешествуя из страны в страну, сокровищами, на которые зарился уже не один царь, золотом Офира, бальзамами Пунта. С царей они спрашивают царскую цену, но с друзей они дорого не берут. Сейчас их верблюды везут молочно-белый слоистый трагант, такой прекрасной ломкости, какой эта долина, наверно, еще не видела, и ладан, непреодолимо привлекающий к себе носы богов, такой душистый, что, понюхав его, не захочешь никаких других благовоний. Вот каково ничтожество этих иноземцев.

Братья поцеловали кончики пальцев и намекнули на соприкосновение земли с их лбами.

Страна Мозар, полюбопытствовал затем Иегуда, или, скажем, страна Ма'ин находится, наверно, где-то очень далеко в мире, это поистине неведомые края?

— Да, очень далеко отсюда в пространстве, а потому и во времени, — подтвердил старик.

— В семнадцати днях пути? — спросил Иуда.

— В семижды семнадцати, — отвечал старик и добавил, что и это число дней лишь приблизительно соответствует расстоянию, о котором идет речь. И в пути, и на отдыхе — ибо отдых входит в путешествие — нужно без малейшего нетерпения отдаваться на волю времени, предоставляя ему преодолевать пространство. Когда-нибудь, и в конце концов раньше, чем ждешь, оно с ним справится.

Стало быть, заключил Иуда, можно сказать, что эти места находятся вне поля зрения, бог знает где, безмерно далеко?

Так можно выразиться, согласился старик, если ты еще не измерил этого расстояния и не привык объединяться со временем против пространства и пользоваться первым для покорения второго. Если же эта даль тебе знакома, ты думаешь о ней более трезво.

Он и его родные, сказал Иегуда, пастухи, а не странствующие купцы, но не только странствующие купцы, он позволит себе это заметить, знают цену терпеливому союзу со временем против пространства. Как часто приходится пастуху менять пастбище и колодец и, пускаясь в путь, уподобляться владыке дороги — в отличие от землепашцев, оседлых сынов баала! Их отец, царь стад, как уже было сказано, живет в пяти днях пути отсюда на полдень, и это пространство, хотя оно, конечно, не идет ни в какое сравнение с расстоянием семижды семнадцати дней пути, они не раз и в обоих направлениях измеряли, благодаря чему отлично знают здесь каждый межевой камень, каждый колодец и каждое дерево, и ничто на этой дороге не может их удивить. Преодоление пространства, путешествия? Они не собираются тягаться в этих делах с купцами из неведомых краев, но еще мальчиками они переселились в эту страну с востока, из далекой страны рек, где их отец положил некогда начало своему богатству, и жили в долине Шекема, где их отец построил колодец в четырнадцать локтей глубиной и очень широкий, потому что сыны этого города ревниво закрывали доступ к имевшимся водоемам.

— Хула их роду вплоть до четвертого колена, — сказал старик. — Счастье еще, — добавил он, — что сыны долины не покусились на отцовский колодец и не засыпали его в своей ревности, так что он, по крайней мере, не пересох.

Ну, они, братья, сумели им насолить, отвечали девять сыновей Иакова. Хо-хо, они им сильно насолили впоследствии!

— Значит, они жестокие герои, — спросил старик, — твердые и неумолимые в своих решениях?

Они пастухи, гласил ответ, а стало быть, люди боевые, привыкшие защищаться от львов и разбойников и умеющие постоять за себя в споре о выгоне или о колодце. Что же касается пространства, продолжал Иуда, после того как старик отдал должное их мужеству, и что касается подвижности, то еще их предок был странником от природы: он бежал из Ура, что в Халдейской земле, и прибыл в эти долины, которые исходил, не будучи склонен к оседлой жизни, вдоль и поперек, так что если сложить все его странствия, то получилось бы, пожалуй, семижды семьдесят дней. А чтобы сосватать невесту на диво позднему сыну, он послал в Нахараим, то бишь в Синеар, старшего своего раба с десятью верблюдами; раб этот оказался настолько притким путешественником, что земля, без очень уж большого преувеличения, скакала ему навстречу. И, найдя невесту у полевого колодца, он опознал ее по тому, что она опустила кувшин свой на руку и напоила его и десятерых его верблюдов. Вот как путешествовали и покоряли пространство в их роду — не говоря уж об их отце и господине, который еще юношей решительно ушел из дому, тоже в Халдейскую землю, до которой было семнадцать и более дней пути. И когда он подошел к колодцу...

— Простите! — сказал старик, вынув руку из складки платья и знаком прервав говорившего. — Прости, дорогой друг пастух, старому твоему рабу одно маленькое замечанье по поводу сказанного тобой. Когда я слушаю тебя и слышу твои речи о вашем племени и его историях, мне кажется, что колодцы занимают в них такое же важное и приметное место, как путешествия и странствия.

— Это как понимать? — спросил Иуда и выпрямил спину.

Одновременно это же сделали все его братья.

— А вот как, — сказал старик. — Когда ты говоришь, я только и слышу «колодец» да «колодец». Вы меняете пастбища и колодцы. Вы наперечет знаете все колодцы страны. Ваш отец построил очень глубокий и широкий колодец. Старший раб вашего праотца сватал невесту у колодца. Кажется, и отец ваш тоже. У меня просто гудит в ушах от колодцев, тобой упомянутых.

— Господин мой, купец, — отвечал Иуда, спина которого так и застыла, — хочет, стало быть, сказать, что я рассказывал тягуче и однозвучно, и я сожалею об этом. Мы, братья-пастухи, не краснобаи, что сидят у коло... Мы не рыночные пустобрехи, которые учились этому ремеслу и складно врут за плату. Мы говорим без всяких выкрутас, как бог на душу положит. Да и хотел бы я знать, как можно говорить о жизни людей, а тем более о пастушеской жизни, и особенно о путешествиях, не вспоминая о колодцах, без которых и шагу сделать нельзя...

— Совершенно справедливо, — согласился старик. — Мой, друг, сын царя стад, отвечает мне в высшей степени убедительно. В самом деле, какое приметное место в жизни людей занимают колодцы и сколько забавных и достопамятных случаев связано с ними и у меня, старого вашего слуги, будь то с хранилищами живой или стоячей воды или даже с колодцами засыпанными и высохшими. Поверьте мне, слух мой, немного уже ослабленный и утомленный годами, вовсе не был бы так чувствителен к слову «колодец» и к упоминаниям колодцев в ваших речах, не случись со мной совсем недавно, в этой уже поездке, именно у колодца одно странное происшествие, которое я отношу к самым удивительным на моей памяти и объяснение которого, уповая на вашу доброту, надеюсь у вас получить.

Братья опять встрепнулись. Спины их были теперь вогнуты от напряженья, а глаза перестали мигать.

— Не было ли, — спросил старик, — в этой местности, где вы пасете скот, случая, чтобы тот или иной человек вдруг пропал и его родные решили, что он либо кем-то похищен, либо съеден львом или другим кровожадным зверем, ибо вот уже три дня его нет как нет?

— Нет, — отвечали братья. Ничего такого они не слышали.

— А это кто? — сказал старик и, отведя руку назад, снял плащ с головы Иосифа...

Он сидел между стариком и его сыном, позади них, прикрытый складками упавшей одежды, скромно опустив глаза. Выражение его лица немного напоминало тот час, когда он под защитой отца рассказал им в поле бесстыдный свой сон о звездах. Братьям, во всяком случае, оно об этом напомнило.

Многие из них, узнав Иосифа, вскочили на ноги; но они тотчас же снова сели, пожимая плечами.

— Вы этого имели в виду, — спросил Дан, поняв, что настал час показать себя змею и аспидом, — когда говорили о колодце и о пропавших без вести? Больше никого? Ну, что ж, тогда вас действительно можно поздравить. Это — раб-безотцовщина, низкая тварь, мальчишка на посылках, которого мы наказали за повторное воровство, ложь, богохульство, драчливость, упрямство, распутство и всяческие бесчинства. Ибо хотя он еще так юн, его уже можно назвать скопищем пороков. Вы, значит, нашли и вытащили этого прохвоста из ямы, куда мы упрятали его в исправительных целях? Выходит, что вы нас опередили, ибо только что истек срок назначенного ему наказания и мы хотели даровать ему жизнь, чтобы поглядеть, пошла ли ему впрок эта острастка.

Таково было хитроумие сына Валлы. То, что он говорил, было отчаянно смело, ибо сидевший рядом Иосиф мог подать голос в любую минуту. Казалось, однако, что доверие, которым прониклись к нему братья благодаря яме, все еще оставалось в силе; и оно не было утрачено, ибо Иосиф и в самом деле ничего не сказал: он по-прежнему сидел, кротко потупив взор, и вел себя в общем как ягненок, который умолкает, когда его стригут.

— Ох, ох! Ай-ай! — сказал мидианит и закачал головой, глядя то на преступника, то на его суровых карателей: постепенно, однако, это качанье перешло в вопросительное покачива-

ные, ибо что-то тут было не так, и старику хотелось спросить своего найденыша, правда ли все это, но вежливость не позволяла задать подобный вопрос. Поэтому он сказал:

— Что я слышу, что я слышу. Вот он, оказывается, какой негодяй, а мы-то над ним сжалились и вытащили его из ямы в последний миг. Ибо должен вам сказать, что, наказывая его, вы немного переусердствовали и зашли весьма далеко. Когда мы его нашли, он был уже так слаб, что вырыгнул молоко, которым мы его напоили, и мне кажется, вам никак не следовало откладывать его освобождение, если он представляет для вас какую-то ценность, хоть она, разумеется, и ничтожна ввиду его пороков, в которых никак не приходится сомневаться, ибо суровость наказания доказываете-что это редкостный негодяй.

Тут Дан прикусил язык, поняв, что он сболтнул лишнего и, несмотря на надежность Иосифа, говорил крайне неосторожно, отчего Иуда и ткнул его сейчас с досадой кулаком в бок. Дан заботился только о том, чтобы объяснить измаильтянам такое жестокое обращение с мальчиком; Иуда же помышлял о продаже, и согласовать обе точки зрения было трудно. Вопреки торговым соображениям, предмет продажи был разруган перед теми, кому намеревались его навязать! Такого с сыновьями Иакова еще не случалось, и они стыдились своей глупости. Но, имея дело с Иосифом, невозможно было, казалось, и выйти из затруднительных положений. Едва выбравшись из одного, ты сразу попадаешь в Другое.

Иуда взялся спасти купеческую их честь от ловушки. Он сказал:

— Да, признаем, что правда, то правда, наказание было немного суровей, чем следовало, и может, пожалуй, ввести в заблуждение относительно ценности этого раба. Мы, сыновья царя стад, хозяева немного крутые и вспыльчивые, мы строги, а подчас, может быть, слишком строги к виновным в оскорблении нравственности, мы, как это уже было нами признано, довольно тверды и неумолимы в своих решениях. Проступки этого мерзавца были, если взять каждый из них в отдельности, не так уж страшны; только скопление их и подсчет заставили нас призадуматься и определили столь суровую меру наказания, по которой вы можете судить о том, как нас заботит стоимость этого раба, а по тому, как она нас заботит, о самой стоимости. Да, обладая недюжинным умом и способностями и будучи теперь, благодаря нашей строгости, очищен от скверны безнравственности, он представляет собой, несомненно, ценный товар, что я, отдавая дань правде, и отмечаю, — закончил Иегуда; и, стыдясь незадачливого своего хитроумия, Дан поразился, что сын Лии сумел так мудро выбраться из ловушки.

Старик, не переставая качать головой, сказал: «Гм, гм», — и глаза его снова забегали между Иосифом и братьями.

— Способный, значит, прохвост. Гм, гм, скажите на милость! Как же зовут этого негодяя?

— Никак его не зовут, — отвечал Дан. — Да и как его звать? У него покамест вообще нет имени, ведь мы же сказали, что это безотцовщина, пашенок без роду, без племени, и вырос он, как растет на болоте дикий камыш. Мы зовем его «Эй, ты!» или «Поди сюда!», а бывает, и просто свистнем. Вот какие у него имена.

— Гм, гм, значит, этот преступник — исчадьё болота, сорняк, — сказал старик. — Странное дело, странное дело! Как нас порой удивляет правда! Это и неразумно, и невежливо, но мы все-таки удивляемся. Когда мы вытащили его из колодца, этот сын камыша заявил, что он умеет читать по писаному и сам умеет писать. Это было ложью с его стороны?

— Не слишком наглой, — ответил Иуда. — Мы же подтвердили, что он обладает изрядным умом и недюжинными способностями. Пожалуй, он смог бы составлять списки и вести счет кувшинам масла и моткам шерсти. Если он не посулил большего, он избежал лжи.

— Пусть все ее всегда избегают, — отвечал старик, — ибо правда есть бог и царь, и имя ей Неб-ма-ра. Нужно склоняться перед ней, даже если она диковинна. А мои господа и господа этого сына камыша — умеют ли они читать и писать? — спросил он, сощурился глазами.

— Мы считаем, что это — дело рабов, — коротко ответил Иуда.

— Да, иногда этим занимаются рабы, — согласился старик. — Но и боги пишут имена царей на деревьях, и Тот велик. Может быть, он сам очинил тростинки этому сыну болота

и наставил его — да простит мне ибисоголовый такую шутку! Но нельзя не признать, что людьми всех сословий кто-то правит и только писец из книгохранилища правит сам и может не надрываться. Есть страны, где этот сорняк человечества поставили бы выше вас и вашего пота. Если хотите знать, то без особого насилия над своим воображением я могу представить себе и в шутку предположить, что он ваш господин, а вы, поверьте мне, рабы его. Я, видите ли, купец, — продолжал он, — и купец, поверьте мне, опытный; ведь я стар, а я всю жизнь оценивал вещи, их добротность или убожество, и когда дело касается товара, меня нелегко одурачить: чего он стоит, говорят мне мой большой и указательный пальцы, и мне достаточно пощупать ткань, чтобы сказать, толста ли она, тонка или среднего качества, от старой привычки проверять товар у меня уже и голова покосилась, и никто не выдаст мне завали за ценную вещь. Так вот, этот мальчик — штука тонкая, хотя и одичал после сурового наказания — косяголово и безошибочно я определяю это на ощупь. Я говорю не о способностях, не об уме и не об умении писать, а только о матерьяле, о ткани — тут я знаток. Поэтому я и позволил себе смелую шутку, сказав, что не удивился бы, если бы услышал, что этот «Поди сюда!» ваш господин, а вы его слуги. Но все, конечно, наоборот?

— Разумеется! — ответили братья, выпрямляя спины.

Старик помолчал.

— Ну, что ж, — сказал он затем и снова сощурил глаза, — коль скоро он ваш раб, то продайте мне этого мальчика!

Сейчас он их проверял. Что-то тут было ему неясно, и предложенье это он сделал совершенно внезапно, с неясной хитростью, чтобы посмотреть, какое действие оно окажет.

— Возьми его в подарок, — машинально пробормотал Иуда. И когда мидианит показал, что его ум и сердце оценили эту ужимку, Иуда продолжил: — Правда, это несправедливо, что мы мучились с этим мальчишкой, а теперь, когда он очищен нами от скверны безнравственности, вы пожинаете плоды нашего воспитания. Но уж раз вам он понадобился, назначьте ему цену.

— Нет, назовите вашу цену! — сказал старик. — Такой уж у меня порядок.

Тут начался торг из-за Иосифа, продолжавшийся ввиду упорства сторон пять часов, до вечера и до захода солнца. Иуда от имени братьев потребовал тридцать сребреников; но mineец ответил, что это, конечно, шутка, над которой можно посмеяться, и только. Слыханное ли дело, чтобы за какого-то «Поди сюда!», за какого-то болоторожденного мальчишку, который, как то выяснено и признано, страдает тяжелыми нравственными пороками, платили лунным металлом? Тут отомстило за себя чрезмерное усердие Дана, который, объясняя, почему было выбрано наказание колодцем, сильно снизил ценность продаваемого товара. Старик прекрасно использовал эту ошибку, чтобы сбить цену. Но и сам он сделал промах, поспешив похвастаться своим чувством качества и сослаться на свое умение оценивать товар на ощупь, и это пришлось на руку продавцам. Иегуда поймал его на слове и, играя на его самолюбии знатока, напирал на тонкость мальчика с такой настойчивостью, словно ни он, ни его братья никогда не завидовали этой тонкости и не из-за нее бросили Иосифа в яму; в пылу торга они совсем потеряли стыд, Иуда не постеснялся воскликнуть, что такого тонкого мальчика, которому пристало быть не их рабом, а их господином, никак нельзя уступить меньше чем за тридцать шекелей. Он прикинулся совершенно влюбленным в свой товар и, уже согласившись на двадцать пять сребреников, пустился на крайность — подошел и поцеловал в щеку безмолвно моргавшего глазами Иосифа, крича, что даже за пятьдесят шекелей не согласится расстаться с подобным чудом ума и очарования!

Но старик не отступил и перед этим поцелуем и остался сильнее, понимая, что братья хотят во что бы то ни стало и, по существу, на любых условиях избавиться от мальчишки, что легко удалось выяснить путем мнимого прекращения торга. Он предложил пятнадцать шекелей серебра, по более легкому вавилонскому весу; когда же братья, благодаря его промаху, заставили его надбавить до двадцати шекелей, и притом финикийских, он остановился и перестал рядиться. Он заявил, что нашел мальчика, когда тот был на волоске от голодной

смерти, и мог бы просто сослаться на право нашедшего и потребовать выкупа, так что если он не ставит им в счет этой суммы и не вычтет ее из цены, а готов заплатить им двадцать полновесных финикийских шекелей, то это чистая любезность с его стороны. Если ее не оценят, он отказывается от сделки и вообще не хочет больше слышать об этом жуликоватом болотном мальчишке.

Так сошлись они на двадцати сребрениках общепринятым весом, и в честь гостей братья закололи под деревьями ягненка из стада, выпустили кровь и, разведя огонь, зажарили мясо, чтобы торжественно скрепить сделку, протянув к нему руки и вместе поев, причем Иосиф тоже получил от старика-минейца, своего господина, небольшую толику. Но что он увидел? Он увидел, как братья украдкой и между делом, так что измаильтяне ничего не заметили, окунули в кровь лохмотья узорного покрывала и основательно вымарали их в ней. Они сделали это у него на глазах, без смущения, полагаясь, как на смерть, на его немоту; и он ел мясо ягненка, чья кровь должна была заменить его собственную.

Угощение и подкрепление были очень кстати, ибо торг далеко еще не закончился. Когда главная цена была установлена, сделка совершилась лишь по большому счету; а теперь предстоял мелкий торг по поводу товаров, которые покрыли бы установленную цену. Тут нужно опровергнуть одно представление, распространившееся и утвердившееся благодаря всяким благочестивым описаниям, — представление, будто братья, продавая Иосифа, получили свою выручку в звонкой монете, отсчитанной измаильтянами прямо из кошелька. Старик и не думал платить серебром, не говоря уж, по определенным причинам, о «монете» вообще. Да и кто таскает с собой столько металла, и какой купец не предпочтет расплатиться натурой, ведь каждая покрываемая товаром часть платы — это для него новая возможность извлечь прибыль и, продавая, сделать свою покупку более выгодной? Полтора шекеля серебра минеец отвесил пастухам чистоганом на висевших у его пояса изящных весах; остальное оплачивалось товарами, которые тащили его верблюды. Развьючив животных, на траве разложили благовонья и заречные, прекрасной ломкости смолы, а также веяние другие веселые и полезные вещи — медные и кремневые бритвы и ножи, светильники, лопаточки для мазей, инкрустированные трости, голубой бисер, касторовое масло, сандалины. Целый базар, настоящую мелочную лавку раскинули торговцы перед загоревшимися глазами покупателей, которые могли набрать товару на восемнадцать с половиной сребреников, и за каждый предмет шел такой торг, словно из-за него-то и загорелся сыр-бор, так что наступил настоящий вечер, прежде чем дело кончилось и Иосиф был продан за малое количество серебра и множество ножей, кусков душистой смолы, светильников и тростей.

Затем измаильтяне убрали разложенный товар и стали прощаться. Они не спешили, пока шел торг, и не щадили часов; но теперь снова нужно было сделать время пространственно плодотворным, и они собирались проехать вечером еще некоторое расстояние, прежде чем расположиться на ночлег. Братья их не задерживали. Они только дали им кое-какие советы касательно дальнейшего пути и дорог, на которые следует свернуть.

— Не двигайтесь в глубь страны, — говорили они, — по гребню, что разделяет воды, на Хеврон и дальше — мы этого не советуем и предостерегаем от этого наших друзей. Дороги там скверные, верблюды то и дело спотыкаются, и кругом полно всякого сброда. Поезжайте лучше дальше по этой равнине и сверните на дорогу, что ведет через холмы у подножья Плодового Сада, к краю земли. Так вы укроетесь от опасности и сможете двигаться все время по приятному песку моря, и семижды семнадцать дней, и сколько хотите. Это сущее удовольствие ехать вдоль моря, так бы, кажется, все ехал и ехал, и к тому же это самое разумное!

Прощаясь, купцы обещали, что так и сделают. Затем верблюды встали на ноги с всадниками на спинах. Иосиф, проданный, сидел с сыном старика Кедмой. Он не поднимал век, как не поднимал их все время, даже когда ел мясо ягненка. И братья тоже стояли понутив головы, покуда путники не исчезли в стремительно сгущавшихся сумерках. Затем они жадно глотнули воздух и выдохнули его со словами:

— Ну, вот, его уже и нет на свете!

РУВИМ ПРИХОДИТ К ПЕЩЕРЕ

А в сумерках, что сгущались, и под большими звездами шелестящего вечера Рувим, сын Лии, окольными дорогами гнал из Дофана к могиле Иосифа своего нагруженного всем необходимым осла, чтобы сделать то, что решил в порыве любви и страха прошедшей ночью.

В груди его, как ни была она широка и могуча, отчаянно билось сердце; ибо Рувим был силен, но мягок и чувствителен, и боялся, что братья настигнут его и помешают спасенью Иосифа, которое должно было очистить и вновь возвысить его, Рувима. Поэтому его мускулистое лицо было в темноте бледным, а его обтянутые ремнями столпоподобные ноги ступали по земле крадучись. Крепко сжав губы, он не понукал осла возгласами и только время от времени, скорости ради, яростно колол равнодушное это животное острием своего посоха в мякоть бедра. Ибо одного боялся Рувим больше всего — что в колодце будет мертвая тишина, когда он придет и тихо произнесет имя, что Иосиф не протянет так долго, что он уже испустил дух и все его, Рувима, приготовления потому бесполезны, особенно веревочная лестница, которую дофанский канатчик связал у него на глазах.

Да, именно на ней как на орудии спасения остановил в конце концов свой выбор Рувим. Она годилась на разные случаи: по ней можно было вскарабкаться, если хватит сил, а если не хватит, то, по крайней мере, сесть между поперечинами, чтобы тебя вытащили на свет мощные руки Рувима, которые некогда обнимали Валлу и, уж наверно, сумеют вытащить из бездны агнца для Иакова. Захватил Рувим и кафтан, чтобы одеть голого Иосифа, и висели на боках осла выюки с запасом еды на пять дней — пять дней бегства от братьев, которых Рувим решился предать и скопом обратить в пепел: с опущенной головой признался он себе в этом, пробираясь под покровом ночи к могиле. Так дурно, стало быть, поступал большой Рувим, творя доброе дело? Ибо в том, что спасти Иосифа необходимо и что это доброе дело — Рувим был убежден всей душой, а если к добру примешалось зло и своекорыстие, то с этим приходилось мириться; так уж подтасовала жизнь. К тому же и зло Рувим хотел обернуть добром, он верил, что ему и это удастся. Стоит лишь ему обелить себя перед отцом и вернуть себе первородство, и он уж постарается спасти братьев, вырвать их из беды. Его слово будет тогда много значить, и он воспользуется им, чтобы снять вину с братьев и разделить ее между всеми, не исключая даже отца, и все друг друга поймут и простят, и всегда будет царить справедливость.

Так пытался Рувим успокоить свое колотившееся сердце и утешить себя насчет подтасованной жизнью двойственности своих побуждений; и, дойдя до откоса и каменной кладки, он огляделся, не подсматривает ли за ним кто-нибудь, взял лестницу и кафтан и боком спустился к ветхим, поросшим смоковными побегами ступеням, сбегавшим к колодцу.

На изломанные плиты выема падал свет звезд, но не луны, и Рувим глядел себе под ноги, чтобы не оступиться, он уже набрал воздуха в усталую свою грудь, чтобы торопливо, украдкой, в страстно-радостном ожиданье ответа, в тревоге и страхе, что ответа не будет, крикнуть: «Иосиф! Ты жив?» — и вдруг содрогнулся, и задушевный оклик превратился в хриплый возглас испуга. Он был не один здесь внизу. Кто-то сидел рядом, маяча при свете звезд белым пятном.

Что стряслось? Кто-то сидел возле колодца, а колодец был открыт: обе половины крышки лежали на плитах, одна на другой, а на верхней сидел кто-то, одетый в короткий плащ, и, опираясь на посох, молча глядел на Рувима сонными глазами.

Застыв в той неестественной позе, какую он принял, споткнувшись, Рувим пристально глядел на незнакомца. Он так растерялся, что у него мелькнула была мысль, будто он видит перед собой Иосифа, который умер и, став духом, сидит у своей могилы. Однако неприятный этот сосед несколько не был похож на сына Рахили: даже став духом, тот, конечно, не был бы так непривычно долговяз, и у него, по человеческому разумению, не могло быть такой раз-

дутой шеи с маленькой головой. Но почему же тогда был отвален с колодца камень? Рувим вообще перестал что-либо понимать. Он пробормотал:

— Кто ты такой?

— Один из многих, — холодно отвечал сидевший, и под изящным его ртом поднялся подбородок, вылепленный необычайно четко. — Во мне нет ничего особенного, и ты можешь меня не бояться. Кого ты ищешь?

— Кого я ищу? — повторил Рувим, возмущенный этой неожиданностью. — Прежде всего я хочу узнать, чего ищешь здесь ты?

— Ах, вот оно что? Не мне воображать, что здесь можно что-то разыскивать. Меня посадили сторожем этого колодца, и поэтому я сижу здесь и сторожу. Если ты думаешь, что это доставляет мне особое удовольствие и что я сижу в пыли забавы ради, ты ошибаешься. Надо делать, что тебе положено и приказано, не касаясь некоторых горьких вопросов.

Как ни странно, эти слова несколько умилили злость Рувима на присутствие незнакомца. То, что здесь кто-то сидел, вызвало у него большое недовольство и досаду, и Рувиму было приятно услышать, что тому не хочется здесь сидеть. Это их в известной мере объединяло.

— Но кто же посадил тебя? — спросил он с меньшим раздражением. — Ты из местных?

— Из местных, да. Не допытывайся, откуда исходят подобные поручения. Они обычно проходят через множество уст, и мало проку доискиваться до первоисточника, — так или иначе, ты обязан занять свое место.

— Место у пустого колодца! — воскликнул Рувим сдавленным голосом.

— Да, он пуст, — ответил сторож.

— И открыт! — прибавил Рувим и взволнованно, дрожащим пальцем, указал на дыру колодца. — Кто отвалил камень? Уж не ты ли?

Незнакомец, усмехнувшись, скользнул глазами по своей округлой, но слабой руке, которой не скрывало его полотняное платье без рукавов. Нет, в самом деле, не мужские это были руки, чтобы отваливать или наваливать такие камни.

— Я его не наваливал, — сказал незнакомец, с усмешкой качая головой, — и не отваливал. Одно ты знаешь, другое видишь. Здесь потрудились другие, и мне вовсе не пришлось бы исполнять обязанности сторожа, если бы камень, на котором я сижу, оставался на своем месте. Но кто тебе скажет, где настоящее место такого камня? Иногда оно на жерле; но разве крышку не отваливают, когда хотят подкрепиться содержимым колодца?

— Что ты мелешь? — вскричал Рувим, снедаемый нетерпением. — По-моему, ты заговариваешь мне зубы и, болтая, крадешь у меня драгоценное время! Как можно подкрепиться содержимым высохшего колодца, где нет ничего, кроме пыли и плесени!

— Все зависит от того, — отвечал сидевший, невозмутимо выпятив губы и склонив набок маленькую голову, — что было прежде помещено в эту пыль и погружено в ее лоно. Если это была жизнь, то снова, и притом сторицей, из лона ее живительно воспрянет жизнь. Пшеничное зерно, например...

— Послушай, — дрожащим голосом прервал его Рувим и потряс зажатой у него в кулаках веревочной лестницей, в то время как на руке у него висел кафтан, припасенный для Иосифа, — это невыносимо, что ты сидишь здесь и поминаешь азы, которым впору учить младенца и которые знает наизусть каждый. Прошу тебя...

— Ты довольно нетерпелив, — сказал незнакомец, — и похож, если ты согласишься мне такое сравнение, на воду, когда она бушует. А тебе следовало бы научиться терпению и ожиданию, основанным на азах и для всех обязательным, ибо тому, кто, бушуя, отказывается от ожидания, нечего искать ни здесь, ни еще где-либо. Осуществление — дело долгое, требующее все новых и новых попыток, оно начерно уже вершится на небе и на земле, но еще не по-настоящему, а лишь как обетованье и попытка. Осуществление подвигается еле-еле, как подвигается, когда его отваливают от колодца, тяжелый камень. Похоже, что здесь были

люди, которые потрудились, чтобы отвалить камень. Но им придется еще долго трудиться, прежде чем они по-настоящему отвалят его, да и я тоже сижу здесь, так сказать, попытки ради и начерно.

— Нечего тебе здесь вообще больше сидеть! — воскликнул Рувим. — Поймешь ли ты это наконец? Прочь отсюда, ступай своей дорогой, я хочу остаться один у этого колодца, до которого мне больше дела, чем тебе, и если ты сейчас же не встанешь, я сумею тебя поднять! Разве ты не видишь, мозгляк слаборукий, предоставляющий другим отваливать камни и способный только сидеть, разинувши рот, что бог дал мне медвежьё силу и что, кроме того, в руках у меня веревка, которая годится на многое? Вставай и проваливай, а то за горло схвачу!

— Не трогай меня! — сказал незнакомец, вытянув навстречу разъяренному Рувиму свою длинную, округлую руку. — Помни, что я из местных и что тебе придется иметь дело со всем этим местом, если ты поднимешь на меня руку! Разве я не сказал тебе, что нахожусь на службе? Исчезнуть я бы, конечно, мог, и притом с легкостью, но только не по твоему приказу и не ценой измены своему долгу, который велит мне сидеть здесь для упражненья и сторожить. Ты носишься со своим кафтаном и своими веревками и не замечаешь, в какое смешное положение ставишь себя, придя с этими вещами к пустому колодцу — пустому, по собственному твоему определенью.

— Он пуст как колодец! — горячася, пояснил Рувим. — Пуст в том смысле, что в нем нет воды!

— Он пуст вообще, — отвечал сторож. — Когда вы приходите, яма пуста.

Тут Рувим не выдержал, бросился к колодцу, нагнулся над ним и, поспешно понизив голос, крикнул в глубину:

— Эй, мальчик! Тсс! Ты жив и есть ли у тебя еще силы?

Сидевший на камне с улыбкой покачал головой и сочувственно щелкнул языком. Он даже передразнил Рувима, сказав: «Эй, мальчик, тсс!» — и щелкнул языком снова.

— Приходят всякие и говорят с пустой ямой! — сказал он затем. — Что за неразумие! Послушай, здесь нет никакого мальчика, нигде его нет. Если кто здесь и был, то его не удержало его место. Не выставляй же себя на смех своими причиндалами и своими разговорами с пустотой!

Рувим все еще стоял, склонившись над жерлом, из которого не доносилось ни звука в ответ.

— Ужасна — простонал он. — Он умер или ушел. Что мне делать? Рувим, что тебе теперь делать?

И его боль, его разочарование, его страх вырвались наружу.

— Иосиф, — закричал он в отчаянье, — я хотел спасти тебя, своими руками помочь тебе выбраться из ямы! Вот лестница, вот кафтан для твоего тела! Где ты? Дверь твоя открыта! Ты пропал! Я пропал! Куда я денусь, если тебя нет, если ты украден и мертв?.. Эй, юноша из этого места! — воскликнул он в необузданной тоске. — Не сиди как чурбан на этом по-воровски отваленном камне, дай мне совет, помоги! Здесь был мальчик, Иосиф, мой брат, дитя Рахили. Его братья и я, мы бросили его сюда три дня назад в наказание за его высокомерие. Но отец ждет его, — нельзя передать, как он его ждет, и если они скажут ему, что агнца растерзал лев, он упадет замертво. Поэтому я пришел с веревкой и платьем, чтобы вытащить мальчика из колодца и вернуть его отцу, ибо тот должен снова быть с ним! Я старший. Как взгляну я в лицо отцу, если мальчик не возвратится, и куда я денусь? Помоги мне, скажи мне, кто отвалил камень и что случилось с Иосифом?

— Вот видишь? — сказал незнакомец. — Придя к колодцу, ты был недоволен моим присутствием и злился, что я сижу здесь на камне; а теперь ты просишь у меня совета и утешения. Теперь ты поступаешь правильно, и, быть может, ради тебя я и посажен у ямы — чтобы бросить в твой разум семя, которое бы тихо в нем проросло. Мальчика здесь уже нет, ты это видишь. Его дом открыт, он не удержал своего жилища, жилища вы уже не увидите. Но кто-то

один должен хранить росток ожидания, и поскольку спасти брата пришел ты, ты и будешь этим единственным.

— Чего мне ждать, если Иосифа нет, если он украден и мертв!

— Не знаю, что ты называешь «мертвым» и что «живым». Хоть ты и слышать не хочешь об известных всем детям азах, позволь все же напомнить тебе о пшеничном зерне, лежащем в лоне земли, и спросить тебя, считаешь ли ты его «мертвым» или «живым». В конце концов это все слова. Ведь только в том случае, если зерно упадет в землю и умрет, оно принесет много плодов.

— Все слова, все слова, — ломая руки, воскликнул Рувим. — Ты потчешь меня только словами! Скажи, Иосиф мертв или жив. Вот что мне нужно знать!

— Ясное дело, мертв, — ответил сторож. — Вы же его, как ты сам сказал, погребли, а потом его, наверно, еще кто-нибудь украл или же растерзали дикие звери, и вам вообще ничего другого не остается, как сообщить и вразумительно объяснить это отцу, чтобы он привыкал к этому. Но и это все равно остается двусмысленностью, к которой нельзя привыкнуть, она все равно таит в себе росток ожидания. Чего только не делают люди, чтобы приблизиться к этой тайне, каких только торжественных обрядов не правят. Я видел, как один юноша сошел в могилу в венке и праздничном платье, а над ним закололи овцу из стада и окропили его кровью, совсем залив его, и он принял эту кровь всеми своими порами. Затем он восстал божеством и обрел жизнь, — во всяком случае, на некоторое время, а потом ему пришлось снова уйти в могилу, ибо жизнь человека проходит много кругов, вновь и вновь возвращаясь к могиле и к рождению: он должен много раз возникать, откуда возникнет.

— Ах, венки и праздничное платье, — простонал Рувим и спрятал лицо в ладонях, — их растерзали и бросили мальчика в яму голым!

— Потому-то ты и явился с этим кафтаном, — отвечал сторож. — Ты хочешь заново его одеть. Но это может сделать и бог. Он тоже может заново облачить раздетого, и еще лучше, чем ты. Поэтому вот тебе мой совет: ступай домой и возьми с собой свой кафтан! Бог может даже дополнительно облечь нераздетого, и в конце концов, раздевание вашего мальчика не так уж многого стоило. Я хотел бы, с твоего позволения, бросить в лоно твоего ума семя мысли, что эта история — всего лишь игра и праздник, так же как и история окропленного юноши, что это только набросок, только попытка осуществления, преходящая, которой не следует придавать особого веса, что это только шутка, только намек, по поводу которых можно весело толкнуть друг друга в бок, подмигивая и смеясь. Вполне возможно, что эта яма — могила в пределах лишь малого круга и ваш брат только-только возникает и далеко еще не возник, как возникает и еще не возникла вся эта история. Унеси, пожалуйста, эту мысль в лоне своего ума и дай ей спокойно там умереть и пустить росток. А если она принесет плоды, удели от них и отцу, чтобы подкрепить его силы.

— Отец, отец! — вскричал Рувим. — Не напоминай мне о нем! Как покажусь я отцу, если не верну ему дитя?

— Погляди вверх! — сказал сторож. Ибо в выемке вокруг колодца стало светлее, и ладья месяца, темная половина которого, скрытая и все-таки явственная, незримо-зримо вырисовываясь в глубине неба, проплывала сейчас прямо над ним. — Погляди, как он, сияя, уходит вдаль и прокладывает путь своим братьям! Намеки делаются на небе и на земле непрерывно. Кто не туп умом и способен понять их, тот пребывает в ожидании. Однако и ночь идет вперед, и тому, кто не должен сидеть и изображать сторожа, лучше всего лечь на ухо, закутаться в кафтан и поудобнее подтянуть к подбородку колени, чтобы ему утром подняться снова. Ступай, друг мой! Здесь тебе совершенно нечего искать, и по твоему приказу я не исчезну.

Качая головой, Рувим повернулся и в тяжелой нерешительности поднялся по ступеням и по откосу к своему ослу. Почти всю дорогу оттуда до хижин братьев он качал отяжелевшей головой — и в отчаянье, и в смущенной задумчивости, но он не отличал одного от другого, а только качал головой.

КЛЯТВА

Так прибыл он к хижинам, поднял девятерых, которые видели уже первый сон, на ноги и дрожащими губами сказал им:

— Мальчика нет. Куда я денусь?

— Ты? — спросили они. — Ты говоришь так, словно он был братом только тебе, а ведь он был им всем нам. Куда деться нам всем? Вот в чем вопрос. Впрочем, что значит «нет»?

— «Нет» — это значит, что его украли, что он исчез, что он растерзан, мертв! — вскричал Рувим. — Он потерян для отца, вот что это значит. Яма пуста.

— Ты побывал у ямы? — спросили они. — Для чего же?

— Для разведки, — отвечал Рувим в ярости. — Надеюсь, первородному это еще не запрещено! Можно ли после того, что мы сделали, спокойно сидеть на месте? Конечно же, я хотел посмотреть на мальчика и могу вам сообщить, что его нет и что перед нами теперь стоит вопрос, куда нам деться.

— Называть тебя первородным, — отвечали они, — несколько смело, и достаточно называть имя Валлы, чтобы вернуть тебя к действительности. Прежде мы опасались, что первородство достанется сновидцу; а теперь очередь близнецов, да и Дан мог бы притязать на него, ибо он появился на свет в том же году, что и Левий.

Они уже увидели осла с кафтаном и веревочной лестницей, которого Рувим даже не стал прятать, и без труда все сообразили. Так, так, значит, большой Рувим собирался обмануть их и украсть Иосифа — он хотел вознести себе главу, а их обратить в пепел. Очень мило, нечего сказать. Они договаривались без слов, одними взглядами. Но если так, — и об этом они тоже безмолвно договорились, — то они не обязаны были отчитываться перед Рувимом в том, что они сделали в его отсутствие. Измена за измену: теперь Рувиму не следовало знать об измательствах и о том, что те должны были удалить Иосифа из поля зренья. Этот человек был способен пуститься за ними в погоню. Поэтому братья молчали, пожимали плечами по поводу его известия и показывали свое равнодушие.

— Нет так нет, — сказали они, — и совершенно безразлично, что кроется за этим «нет» — украден ли он, исчез ли, растерзан ли, предан ли или продан, — это не важно, и нам на это плевать. Разве мы не мечтали, разве это не было нашим справедливым желанием, чтобы его не стало на свете? Ну, вот, все вышло по-нашему, яма пуста.

Он удивился, однако, что они так хладнокровно приняли эту чудовищную новость, испытующе поглядел им в глаза и покачал головой.

— А отец? — взревел он и воздел руки...

— Этот вопрос решен и улажен, — сказали они, — по умному совету Дана. Отцу не придется ждать и сомневаться, он сразу узнает и осязаемо убедится, что Думузи нет больше на свете, что любимчик погиб. А нас этот знак сплотит перед ним. Погляди, что мы приготовили, покуда ты ходил своими дорогами!

И они принесли лоскутья покрывала, затвердевшие от полувывсохшей крови.

— Это его кровь? — высоким голосом могучего своего тела вскричал Рувим, содрогаясь... Ибо у него мелькнула мысль, что они побывали у колодца раньше, чем он, и убили Иосифа.

Они, улыбаясь, переглянулись.

— Что за вздор ты мелешь! — сказали они. — Все сделано, как договорились, и животное стада отдало свою кровь в знак того, что Иосиф погиб. Это мы принесем отцу и доставим ему самому толковать это, и отцу ничего не останется, как заключить, что Иосифа растерзал в поле напавший на него лев.

Рувим сидел, подняв огромные свои колени, и тер кулаками глаза.

— Горе! — стонал он. — Горе нам! Вы бездумно болтаете о будущем, а сами не видите его и не знаете. Ибо дальнейшее для вас неясно и бледно, и у вас не хватает воображения, чтобы приблизить его и хоть на миг перенестись в тот час, когда оно проявится. Иначе вы ужаснулись бы и предпочли бы, чтобы вас раньше сразила молния или чтобы вас с жерновом на шее бросили в омут, чем расплачиваться за содеянное и расхлебывать кашу, которую вы заварили. Но я-то лежал перед ним, когда он проклинал меня за мою провинность, я-то знаю, как пылает его душа в гневе, и я вижу, и вижу, словно воочию, как страшно поведет она себя в горе. «Это мы принесем отцу, и пусть он толкует». Эх вы, пустомели! Да, он истолкует! Но каково будет глядеть на него во время этого толкованья и кто выдержит, когда заговорит его душа! Ведь бог создал ее мягкой и большой, он научил ее потрясать сердца, изливаясь. Ничего-то вы не видите, ничего-то не представляете себе ясно; поэтому вы и разглагольствуете о будущем без робости. А я боюсь! — воскликнул он, этот человек медвежьей силы, и, встав перед ними во весь свой башенный рост, развел руками. — Куда я денусь во время этого толкованья?!

Остальные девяттеро сидели в смущенье, и глаза у всех были испуганно опущены.

— Ну, что ж, — тихо сказал Иегуда. — Здесь нет никого, кто презирал бы тебя за твой страх, брат Ре'увим, сын моей матери, ибо признаться в своем страхе — это мужество, и если ты думаешь, что у нас легко и беспечально на сердце и что нам незнаком страх перед Иаковом, ты ошибаешься. Но зачем проклинать то, что уже случилось, зачем увиливать от необходимого? Иосифа нет на свете, и эта окровавленная одежда тому доказательство. Знак мягче, чем слово. Поэтому мы передадим Иакову этот знак и избавим себя от слова.

— Разве нужно, если уж речь зашла о передаче, — спросил тогда сын Зелфы Асир и по привычке облизнул губы, — разве нужно нам всем вместе подавать этот знак Иакову и присутствовать при толкованье? Пусть кто-нибудь пойдет вперед с платьем и передаст его отцу; а мы, все остальные, прибудем следом и явимся уже после истолкованья. Так, по-моему, будет легче. Я предлагаю, чтобы нашим носильщиком и гонцом был быстроногий Неффалим. Или пусть определит жеребьевка, кто это понесет.

— Жеребьевка! — поспешил крикнуть Неффалим. — Я за жеребьевку, ибо я не болтаю о будущем, если не способен представить себе его, и мужественно признаюсь, что мне страшно!

— Послушайте меня! — сказал Дан. — Теперь все рассужу и всех вас освобожу я! Ведь это же был мой замысел, и в моих руках он податлив и мягок, как мокрая горшечная глина; ну, так я же и улучшу его. Мы не понесем Иакову одежду Иосифа, ни все вместе, ни кто-то один. Мы отдадим ее каким-нибудь чужим людям, которых найдем, жителям этого места и этой округи, прельстив их добрыми словами и некоторым количеством шерсти и простокваши. Мы им втолкуем, что сказать Иакову: «Так, мол, и так, мы случайно нашли это неподалеку от Дофана, в поле, в пустыне. Приглядиись получше, господин мой, не платье ли это твоего сына?» Или что-нибудь подобное. Как только они отбубнят это, пусть убираются. А мы помешкаем еще несколько дней, чтобы он окончательно истолковал этот знак и понял, что потерял одного, а приобрел десятерых. Вы довольны?

— Это хорошо, — сказали они, — и, во всяком случае, приемлемо. Поэтому давайте так и поступим, ибо в данном случае мало-мальски приемлемое приходится считать уже вполне хорошим.

Все с этим согласилось, Рувим тоже, хотя он горько усмехнулся, когда Дан упомянул о десятерых, которых Иаков приобретет взамен одного. Но и потом они все сидели перед хижинами под звездами и продолжали совещаться; ибо они не были уверены в своем единстве и не доверяли друг другу. Девяттеро глядели на Рувима, который явно хотел украсть похороненного и предать их, и боялись его. А он глядел на девятерых, которые, услышав, что яма пуста, остались на диво спокойны, и недоумевал.

— Мы должны дать страшную клятву, — сказал Левий, отличавшийся, несмотря на свою грубость, набожностью и с великой охотой и знанием дела соблюдавший священные

формальности, — ужасную клятву, что ни один из нас не только не скажет Иакову и вообще никому ни слова о том, что здесь произошло и как мы поступили со сновидцем, но и до конца дней своих ни намеком, ни ненароком не выдаст этой истории, некстати моргнув, кивнув или подмигнув.

— Он это сказал, и он прав, — подтвердил Асир. — И пусть эта клятва сплотит нас десятерых и свяжет, чтобы мы были как одно тело и как одно молчанье, словно нас не много, а один человек, который, сжав губы, не разожмет их и перед смертью и умрет, прикусив язык, но не выдаст тайны. События можно удавить, и уничтожить молчаньем, навалив его на них каменной глыбой: от недостатка воздуха и света события задыхаются, так что они как бы и не состоялись. Поверьте мне, так гибнет многое, было бы только молчание достаточно нерушимо, ибо без дыхания слова не сохраняется ничего на свете. Мы должны молчать, словно мы один человек, и тогда с этой историей будет покончено, а молчать пусть поможет нам страшная клятва Левин — пусть она свяжет нас!

Они были согласны с этим, ибо никому не хотелось молчать в одиночку и каждый предпочитал участвовать в некоей общей, могучей нерушимости и спрятаться за нею от собственной слабости. Поэтому Левий, сын Лии, придумал отвратительную формулу клятвы, и, сгрудившись так, что носы их коснулись друг друга, а дыханье слилось, они сложили в одну кучу руки, и в один голос воззвали к всевышнему, Эль-эльону, богу Авраама, Ицхака и Иакова, но, кроме того, призвали на помощь клятве и многих известных им местных баалов, а также Ану Урукского, Эллина Ниппурского и Бел-Харрана, Сина, Луну; в однозвучном речитативе, почти касаясь губами губ соседа, они поклялись, что, кто «об этом» обмолвится или выдаст «это» хотя бы лишь намеком и ненароком, некстати моргнув, кивнув или подмигнув, тот незамедлительно станет блудницей; дочь Сина, владычица женщин, отнимет у него лук, то есть мужественность, чтобы уподобить его лошаку, вернее, блуднице, которая добывает свой хлеб в переулке; его будут гнать из одной земли в другую, так что ему негде будет приклонить блудливую свою голову, и он не сможет ни жить, ни умереть, ибо и жизнь и смерть будут с отвращением отвергать его во веки веков.

Вот какова была эта клятва. Когда они дали ее, на душе у них стало спокойней и легче, ибо они чудовищно застраховали себя. Стоило, однако, им расступиться и разойтись, чтобы каждому уснуть своим собственным сном, как один из них сказал другому (сказал это Иссахар Завулону):

— Если я кому и завидую, так это Туртурре, малышу Вениамину, нашему младшему, который сейчас дома: он ничего не знает и остался вне этих историй и этого союза. Ему, по моему, хорошо, и я ему завидую. А ты?

— Я тоже, конечно, — отвечал Завулон.

Что же касается Рувима, то он пытался вспомнить слова того назойливого юнца из местных, что сидел на крышке колодца. Вспомнить их было нелегко, ибо очень уж были они расплывчаты и двусмысленны: эта не столько речь, сколько болтовня никак не поддавалась восстановлению. Но в самой глубине сознания Рувима от нее все-таки остался росток, который ничего не знал о себе, как ничего не знает о себе росток жизни во чреве матери, а мать знает о нем. То был росток ожидания, и Рувим тайно питал его своей жизнью во сне и бденье, питал до седых волос, столько лет, сколько прослужил Иаков у беса Ланана.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ. РАСТЕРЗАННЫЙ

ИАКОВ СКОРБИТ ОБ ИОСИФЕ

Мягче ли знак, чем слово? Это очень спорный вопрос. Иуда судил с точки зрения приносящего страшную весть, который, пожалуй, предпочтет знак, потому что знак избавит его от слов. Ну, а тот, кому эту весть приносят? Слово он может отместить от себя в полную силу

своего неведения, он может надругаться над ним, как над ложью, как над гнуснейшим вздором и низвергнуть в преисподнюю невообразимой нелепости, где всякой чуши и место, как спокойно полагает этот несчастный, покуда не заподозрит, что у отвергнутого им слова есть право на дневной свет. Слово доходит до сознания медленно; поначалу оно непонятно, смысл его не сразу улавливается, не сразу становится реальностью, ты волен несколько продлить свое неведение, свою жизнь, свалив ответственность за ту смуту, которую оно хочет учинить в твоём уме и в твоём сердце, на вестника и выставив его обезумевшим. «Что ты говоришь? — можешь спросить ты. — Ты болен? Сейчас я дам тебе воды, и тебе станет лучше. Тогда и расскажешь все толком!» Это обидно слышать, но ради твоего положенья, хозяином которого он является, он прощает тебя, и постепенно его полный разума и жалости взгляд приводит тебя в смятенье. Ты не выдержишь этого взгляда, ты понимаешь, что обмен ролями, которого ты, самосохранения ради, добивался, никак невозможен и что скорей уж тебе впору попросить у него воды...

Вот как позволяет слово бороться против правды, оттягивая ее торжество. Немой знак подобных возможностей не дает. Сосредоточенная его жестокость не допускает никаких отсрочек и никакого самообольщения. Он недвусмыслен, и ему не нужно становиться реальностью, потому что он сам — реальность. Он осязаем и пренебрегает щадящей непонятностью. Он не оставляет вообще никаких временных лазеек для ухода от действительности. Он заставляет тебя самого подумать именно то, от чего ты отмахнулся бы, как от безумия, если бы тебя уведомили о том же словами, а значит, либо счесть безумцем себя самого, либо смириться с правдой. Косвенное и непосредственное сочетаются в слове и знаке по-разному, и трудно решить, где непосредственность более жестока — в знаке или в слове. Знак нем, но лишь по той суровой причине, что он является самой сутью дела и не должен говорить, чтобы быть «понятым». Он молча валит тебя за смертью.

Что Иаков при виде платья, как того и ждали, упал без чувств, факт подлинный. Никто, однако, не видел, как это произошло; ибо, отбубнив свою небылицу, дофанские жители, два бедняка, которые за небольшую толику шерсти и простокваши тупо согласились изображать нашедших остатки одежды Иосифа, не стали дожидаться, какое действие окажет их ложь, и тотчас же дали тягу. Иакова, божьего человека, с затвердевшими от крови лоскутьями в руках, они оставили на том месте, где застали его перед волосяным его домом, и удалились — сначала нарочито медленными шагами, а затем бегом, во весь опор. Никто не знает, как долго он там стоял и глядел на то небольшое, что, как ему пришлось постепенно понять, осталось в этом мире от Иосифа. Но затем он, во всяком случае, упал без чувств, ибо проходившие мимо женщины, жены сыновей, сихемитка Буна, супруга Симеона, и жена Левия, так называемая внучка Евера, увидели его лежащим за смертью. Они в испуге подняли его и отнесли в шатер. То, что было у него в руках, сразу открыло им причину случившегося.

Это был, однако, не обычный обморок, а какое-то оцепенение всех мышц и тканей: ни одного сустава нельзя было согнуть, не сломав, и все тело Иакова совершенно окаменело. Явление это редкое, но как реакция на чрезвычайные удары судьбы оно иногда встречается. Это какая-то судорожная защита, какая-то отчаянно упрямая оборона от неприемлемого, которая прекращается лишь исподволь, не позднее, впрочем, чем через несколько часов — как бы капитулируя перед неумолимой и горестной правдой, как бы открывая ей в конце концов доступ.

Сбежавшиеся и созванные отовсюду домочадцы, мужчины и женщины, со страхом наблюдали, как оттаивает обращенный в соляной столп, превращаясь в открытого горю страдальца. У него еще не было голоса, когда он, словно в чем-то признаваясь, ответил давно ушедшим подателям знака: «Да, это платье моего сына!» Затем он закричал страшным, пронзительным от отчаянья голосом: «Его сожрал дикий зверь, хищный зверь растерзал Иосифа!» И как если бы это слово «растерзал» надоумило его, что теперь делать, он стал раздирать свои одежды.

Так как лето было в разгаре и одежда на нем была легкая, справиться с ней не представляло большого труда. Но хотя он вложил в это занятие всю силу своего горя, из-за жутковато-безмолвной обстоятельности его действий длились они довольно долго. В ужасе, тщетно пытаясь жестами унять это иступление, глядели окружающие, как он, не ограничившись, по скромному их ожиданию, верхней одеждой, явно во исполнение дикого умысла раздирал поистине все, что на нем было, и, срывая с себя лоскут за лоскутом, полностью обнажился. Для человека стыдливого, чье отвращение ко всякой оголенности плоти все всегда уважали, такой образ действий был настолько неестествен и унизителен, что глядеть на это было невозможно, и домочадцы с протестующими стонами отворачивались и, закутав голову, отступали подальше.

То, что гнало их прочь, правомерно назвать словом «стыд» лишь при одном условии, а именно — если понимать это слово в его конечном, изрядно забытом смысле, как односложное обозначение ужаса, рождающегося тогда, когда первобытная древность вдруг прорывается через пласты цивилизации, на поверхности которой она напоминает о себе только глухими намеками и аллегориями. Таким цивилизованным намеком является раздирание верхней одежды в тяжелой скорби. Это мещанское смягчение первоначального или даже первобытного обычая целиком снимать с себя платье, пренебрегая всяким облачением и украшением как знаком человеческого достоинства, которое уничтожено и как бы поругано величайшей бедой, и низводя себя до животного. Именно это и сделал Иаков. Одержимый глубочайшей болью, он вернулся к существу обычая, вернулся от символа к грубой сути в ужасной ее неприкрытости; он сделал то, чего «уже не делают», а это, если вдуматься, и есть источник всякого ужаса: на поверхность выходит то, что скрыто внизу; и вздумай он, чтобы выразить глубину своего горя, заблеять бараном, домочадцам от этого тошнее не стало бы.

Итак, они стыдливо бежали; они покинули его — и мы не уверены, что этого так уж хотел достойный сожаленья старик, что в глубине души он не желал внушать ужас и был вполне доволен, когда его оставили одного во время неистовой демонстрации. Однако он был не один, и его демонстрация не нуждалась в присутствии людей, чтобы остаться верной своей цели и сущности, то есть вызывать ужас. К кому или, вернее, против кого была она обращена, у кого, собственно, должна была она вызывать ужас и кому, будучи выразительным возвратом к первобытному состоянию природы, должна была она показать, сколько атавистически-дикого было в его собственном поведении — это отчаявшийся отец знал доподлинно, и постепенно узнали это и окружающие, в первую очередь заботившийся о нем Елиезер, «Старший Раб Авраама», — тот традиционный старик, который умел так особенно говорить «я» и которому земля скакала навстречу.

Его тоже в самое сердце поразило страшное, вещественно подкрепленное известие, что его красивый и смысленный ученик Иосиф, сын праведной, погиб в дороге, пав жертвой дикого зверя; но, благодаря своей необыкновенной безликости и необычайно широкому чувству собственного достоинства, он сумел принять этот удар довольно невозмутимо, а кроме того, столь необходимые сейчас заботы о горемыке Иакове заставляли его забывать о собственном горе. Это Елиезер приносил своему господину еду, хотя тот целыми днями ничего в рот не брал, это он чуть ли не силой заставлял Иакова прилечь хотя бы ночью в шатре, где тоже не отходил от него. А днем Иаков сидел на куче черепков и пепла в дальнем, совершенно лишенном тени углу поселка, голый, с лоскутьями покрывала в руках, с посыпанными пеплом волосами, бородой и плечами, и время от времени, подобрав черепок, скоблил им свое тело, словно оно было поражено нарывами или проказой, — действия эти носили чисто символический характер, ибо нарывов не было и в помине и скобление тела тоже входило в демонстрацию, на кого-то рассчитанную.

Впрочем, вид этого бедного, изнуренного тела был и без фигурально выраженной оскверненности достаточно плачевен и жалок, и все, кроме старшего раба, с благоговением и страхом избегали места этого самопоругания. Ведь тело Иакова не было уже телом того не-

жно-крепкого молодого человека, который непобедимо боролся с волооким незнакомцем у Иавока и провел с несправедливой полнотой ветра ночь; не было оно и телом того, кто поздно родился с праведной Иосифа. Около семидесяти, пусть не подсчитываемых, но на поверку сказывающихся лет коснулось уже этого тела, обезобразив его теми трогательно-отталкивающими приметам старости, из-за которых и было так больно видеть его нагим. Молодость любит выставлять наготу напоказ; она сильна сознанием своей красоты. Старость степенно-стыдливо закутывается в одежды, и у нее есть на то основания. Если кому и следовало видеть нагими эту красную от жары, поросшую седым волосом и, как то получается с годами, уже почти женскую по очертаниям грудь, эти бессильные руки и бедра, эти складки дряблого живота, то только старику Елиезеру, который принимал все спокойно, без возражений, не желал мешать своему господину в его демонстрации.

Тем более не мешал он Иакову исполнять прочие, не выходявшие за пределы обычного при тяжком горе обряды, особенно сидеть у кучи сора и непрестанно мараить себя пеплом, который смешивался со слезами и потом. Такие действия заслуживали одобрения, и Елиезер позаботился лишь о сооружении на этом месте скорби мало-мальски отвечающего своему назначению навеса, чтобы в самые жаркие часы дня их не так донимало солнце Таммуза. Тем не менее горестное лицо Иакова с отверстым ртом, отвисшей под бородой нижней челюстью и то и дело закатывавшимися, устремлявшимися кверху из непостижимых глубин страдания глазами, побагровело и распухло от жары и от муки, и он сам это отметил, ибо такова уж особенность натур мягких, что они внимательны к своему состоянию и считают своим правом и долгом выразить его словами.

— Побагровело и распухло, — говорил он дрожащим голосом, — лицо мое от плача. Согбенный, сажусь я, и по щекам моим текут слезы.

То не были собственные его слова, это чувствовалось сразу. Так или в этом роде, согласно старинным песням, говорил уже Ной при виде потопа, и слова Ноя Иаков присвоил себе. Ведь это же хорошо и утешительно-удобно, что есть готовые, сохранившиеся от первобытных времен многострадального человечества словосочетания скорби, которые, как по заказу, подходя и к делам позднейшим, дают выход горестям жизни, насколько слова вообще способны дать выход, так что, пользуясь этими формулами, можно соединять собственное горе со старинным, которое всегда налицо. Иаков и в самом деле не мог оказать своему горю большей чести, чем приравняв его к великому потопу и применив к нему слова потопной чеканки.

Вообще в его словах и плачах было, при всем его отчаянии, много чеканного и полученного. Особенно отдавала чеканностью непрестанно вырывавшаяся у него жалоба: «Хищный зверь сожрал Иосифа! Растерзан, растерзан Иосиф!» — хотя не следует думать, будто это сколько-нибудь лишало ее непосредственности. Ах, в непосредственности не было недостатка, несмотря на чеканность.

— Агнец заколот, заколота овца, родившая агнца; — голосил Иаков, раскачиваясь и рыдая. — Сначала овца, а теперь и агнец! Овца покинула агнца, когда до убежища оставался всего один переход; а теперь заблудился, теперь пропал и покинутый агнец! Нет, нет, нет, нет! Это слишком, это слишком! Горе, горе! О любимом сыне я плачу. О ростке, корни которого вырваны, о надежде своей, вырванной, как саженец, — плачу. Мой Даму, дитя мое! Преисподняя стала его жилищем! Я не стану есть хлеб, я не стану пить воду, растерзан, растерзан Иосиф...

Елиезер, время от времени вытиравший ему лицо смоченным водой платком, участвовал в его плачах, поскольку они в большей или меньшей мере восходили, как видим, к готовым формулам и шаблонам: во всяком случае, он всегда, то скороговоркой, то нараспев, подхватывал такие застывшие повторы, как возглас «Горе!» или «Растерзан, растерзан!». Впрочем, часами плакал и весь поселок, как плакал бы и в том случае, если бы скорбь о гибели обаятельного хозяйского сына была не столь непритворна. «Хой ахи! Хой адон! — Бедный брат! Бедный господин наш!» — доносились до Иакова и Елиезера дружные крики, и еще они

слышали, как домочадцы, хотя и не в таком уж буквальном смысле, отказывались есть и пить, оттого что саженец вырван и зеленый росток засох под ветром пустыни.

Хорошая вещь обычай, благотворно размеряющий предписаниями веселье и горе, чтобы они не буйствовали, не выходили из берегов, а твердо держались четкого русла. Иаков тоже чувствовал полезность и благодатность связывающей традиции; но внук Авраама был слишком самобытной натурой и слишком живо связывалось у него общее чувство с личными мыслями, чтобы он удовлетворялся однообразными формулами. Он говорил и плакал также совершенно свободно, не по чекану, и при этом тоже Елиезер вытирал ему лицо, вставляя иногда слова успокоительного одобрения или предостерегающего несогласия.

— То, чего я боялся, — бормотал Иаков слабым от горя, высоким, захлебывающимся голосом, — меня постигло, и то, о чем я тревожился, произошло! Понимаешь ли ты это, Елиезер? Способен ли это постичь? Нет, нет, нет, нет, это непостижимо уму, чтобы действительно случилось то, чего ты боялся. Если бы это меня не тревожило, если бы это стряслось неожиданно, я бы поверил; я бы сказал своему сердцу: ты было беспечно и не предотвратило зла, потому что ты вовремя не углядело его. Понимаешь, неожиданному можно поверить. Но когда сбывается то, чего ты опасался, когда оно все-таки осмеливается сбыться, это, по-моему ужасно и противно уговору.

— Нет никаких уговоров относительно наказаний, — возразил Елиезер.

— Да, по закону их нет. Но ведь у человеческого чувства тоже есть разум, оно тоже способно негодовать! Зачем же даны человеку страх и забота, если не для того, чтобы предотвращать зло и заблаговременно предвосхищать злые мысли судьбы? Судьбе это, конечно, досадно, но, устыдившись, она говорит про себя: «Разве эти мысли еще мои? Нет, это мысли человека, а я от них отказываюсь». Но что же станет с человеком, если его забота ничего не будет стоить и он будет бояться напрасно, то есть по праву? И как жить человеку, если уже нельзя положиться на то, что его опасения не оправдаются?

— Бог свободен, — сказал Елиезер.

Иаков сомкнул губы. Он поднял брошенный было черепок и опять стал скрести свои символические нарывы. Ничем другим он покамест не отозвался на упоминание о боге. Он продолжал:

— Как я тревожился и боялся, что вдруг на дитя мое нападет дикий зверь чащи и загрызет его, я пропускал мимо ушей насмешки людей над моими страхами и мирился с тем, что они называли меня «старая нянька». Я был смешон, как человек, который твердит: «Я болен, я смертельно болен!» — а на вид совершенно здоров и не умирает, так что словам его никто, и наконец даже он сам, не придает никакого значения. Но вот люди узнают, что он умер, и, раскаиваясь в своей насмешливости, говорят: «Оказывается, он был совсем не так глуп». Может ли этот человек хоть теперь порадоваться их посрамлению? Нет, ибо он мертв. И он предпочел бы уж остаться глупцом в их глазах, да и в своих, чем быть оправданным таким безрадостным образом. Вот я сижу среди мусора, лицо мое побагровело и распухло от плача, и по щекам моим, смешиваясь с пеплом, текут слезы. Могу ли я торжествовать над насмешниками, потому что это случилось? Нет, ибо это случилось. Я мертв, ибо мертв Иосиф, он растерзан, растерзан...

— Вот оно, Елиезер, гляди — разноцветное платье, лохмотья покрывала! Я поднял его в спальне с лица любимой и праведной и протянул ей цветок моей души. Но потом оказалось, что это была не она, что Лаван перехитрил меня, и душа моя долго чувствовала себя несказанно поруганной и растерзанной, — куда праведная в жестоких муках не принесла мне моего мальчика, Думузи, мое сокровище. А теперь растерзан и он, и убита отрада очей моих. Можно ли это понять? Приемлемо ли оно, такое испытание? Нет, нет, нет, нет, я отказываюсь жить. Я хочу, чтобы душа моя удавилась и умерли эти кости!

— Не греши, Израиль!

— Ах, Елиезер, не тебе учить меня бояться бога и преклоняться перед его всемогуществом! Он требует платы за имя, за благословение и за горькие слезы Исава, и платы великой!

Он назначает цену по своему произволу и взыскивает ее без поблажек. Он не вступал со мной в торг, не давал мне выговорить сходную цену. Он взымает то, что я, по его мнению, могу уплатить, не спрашивая меня, по силам ли это моей душе. Разве я могу спорить с ним, как равный с равным? Я сижу среди пепла и скребу свое тело — чего еще ему нужно? Губы мои говорят: «Что господь ни сделает, все ко благу». Пусть он глядит на мои губы! А что у меня на сердце, это мое дело.

— Но он читает и в сердце.

— Это не моя вина. Это он, а не я, так устроил, что ему видно и сердце. Лучше бы он оставил человеку убежище, чтобы тот, укрывшись от его всемогущества, мог роптать на неприемлемые испытания и иметь свое мнение о справедливости. Его убежищем было это сердце и его отдохновением. Когда он приходил туда в гости, оно бывало украшено и подметено, и его ждало почетное место. А теперь там нет ничего, кроме пепла, смешанного со слезами, да пакости горя. Пусть он сторонится моего сердца, чтобы не замараться, и глядит на мои губы.

— Не грешил бы ты лучше, Иаков бен Ицхак.

— Перестань толочь воду в ступе, старый слуга! Пекись обо мне, а не о боге, ибо он куда как велик и ему наплевать на твое заступничество, а я — одно сплошное несчастье. Не вразумляй меня извне, а говори со мной от души, никаких других речей я не вынесу. Знаешь ли ты, понял ли ты, что Иосиф погиб и никогда, никогда не вернется ко мне? Только осознав это, ты перестанешь толочь воду в ступе и начнешь говорить со мной от души. Собственными устами я послал его в эту дорогу, сказав: «Поезжай в Шекем и поклонись своим братьям, чтобы они возвратились домой и Израиль не был подобен дереву, с которого осыпались листья». Предъявив к нему и к себе это требование, я обошелся с нами сурово и отправил его одного, без слуг; ибо его неразумие я считал своим неразумием и не скрывал от себя того, что знал бог. Но бог скрыл от меня то, что знал он, ибо он внушил мне приказать мальчику «Поезжай!», утаив свое знание и дикий свой умысел. Вот какова верность могучего бога и вот как он платит правдой за правду!

— Последи хотя бы за своими губами, сын праведной!

— На то и даны мне губы, чтобы выплевывать не съедобное. Не говори извне, Елиезер, говори изнутри! Что себе думает бог, взваливая на меня тяжесть, от которой у меня выкатываются глаза и я теряю сознание, потому что она не по мне? Разве я каменный, разве у меня медная плоть? Сотвори он меня в премудрости своей из железа, тогда другое дело, но так это не по мне... Дитя мое, мой Даму! Господь его дал, господь и взял — лучше бы он не дал его и даже не допустил, чтобы я родился на свет, лучше бы вообще ничего не было! О чем помышлять, Елиезер, куда податься в такой беде? Не будь меня, я ничего бы не знал, и ничего бы не было. Поскольку, однако, я есмь, то все-таки лучше, чтобы Иосиф погиб, чем чтобы его никогда не было, ибо так у меня есть то единственное, что мне остается, — моя скорбь о нем. Ах, бог позаботился о том, чтобы мы не могли быть против него и, говоря «нет», говорили «да». Да, он дал его моей старости, и хвала его имени за это! Он не пожалел рук своих и сделал его прекрасным. Он надоил его, как молоко, и ладно воздвиг его кости, он облек его в кожу и плоть и пролил на него сладость, и вот Иосиф взял меня за мочки ушей и со смехом сказал: «Папочка, дай это мне!» И я дал это ему, ибо я не был ни каменным, ни железным. А когда я послал его в эту дорогу и предъявил это требование, он воскликнул: «Вот я», — и ударил пятками оземь, — как подумаю об этом, так вопль вырывается из груди моей, словно поток! Ибо так же я мог бы возложить на него дрова для всесожжения и, взяв его за руку, понести огонь и нож. О Елиезер, я честно и сокрушенно признался богу, что на это у меня не хватило бы силы. Ты думаешь, он милостиво принял мое смирение и сжалился надо мной из-за моего признания? Как бы не так! Он даже глазом не моргнул и сказал: «Да случится то, чего ты не в силах сделать, и если ты не можешь это отдать, я возьму это сам». Вот что такое бог.

— Вот оно, погляди, его платье, твердые от крови лохмотья. Это кровь его жил, которые вместе с его мясом разорвал зверь. О ужас, ужас! О грех бога! О дикое, слепое, бессмыслен-

ное преступление!.. Слишком большое требование предъявил я к нему, Елиезер, ведь он был еще дитя. Он сбился с дороги и заблудился в пустыне, и тогда на него напало это чудовище и подмяло его под себя, чтобы загрызть, не обращая внимания на его страх. Может быть, он звал меня, может быть — мать, которая умерла, когда он был маленький. Никто не услышал его, об этом уж позаботился бог. Как ты думаешь, на него напал лев или это дикий кабан, вздыбив щетину, вонзил в него свои клыки...

Он содрогнулся, умолк и погрузился в раздумье. Слово «кабан» не преминуло вызвать ассоциации, которые перевели тот единственный в своем роде ужас, что терзал его чувство, в высокую сферу образов, прообразов и вечного коловращения, как бы вознося этот ужас к звездам. Вепрь, свирепый главный кабан — это был Сет, богоубийца, Красный, это был Исав, которого он, Иаков, в виде исключения, сумел умиловить, рыдая у Елифазовых ног, но который, как правило, согласно прообразу, разрывал на части своего брата, а подчас и сам представлял здесь внизу расчлененным на десять частей. В этот миг к сознанию Иакова из бездны, куда он провалился, получив кровавые клочья, чуть было не поднялось некое озарение, некое легендарное подозрение: он смутно догадывался уже, кто был этот проклятый, растерзавший Иосифа вепрь. Однако, прежде чем эта догадка вышла на поверхность, он позволил ей снова исчезнуть во тьме и даже сам немного помог ей туда уйти. Как это ни странно, он не хотел ничего о ней знать и отказывался узнавать горнее в дольном, потому что подозрение в виновности, дай он ему только волю, обернулось бы против него самого. Его мужества, его правдолюбия хватило на то, чтобы признать, что Иосиф должен отбыть наказание, и поэтому он предъявил к себе требование отправить его в дорогу. Но признать свою совиновность в гибели мальчика, — а совиновность эта была бы совершенно очевидна, если бы его подозрение пало на брата, то есть на братьев, — у него, что вполне простительно, ни мужества, ни правдолюбия уже не хватило. Согласиться, что он-то и был главный кабан, который своей самоупоенной, безумной любовью погубил Иосифа, — такое требование он втайне считал чрезмерным и, казнимый жестокой болью, от этой мысли отмахнулся. А между тем невыносимая жестокость этой боли вызывалась именно этим отвергнутым и загнанным в темноту подозрением, да и тяга к пышным демонстрациям горя перед богом шла в основном оттуда же.

А бог Иакова занимал, бог стоял за всем, к богу были устремлены его допытывающиеся, плачущие, отчаявшиеся глаза. Лев ли, кабан ли — задумал, разрешил, словом, совершил это страшное дело бог, и он, Иаков, испытывал определенное, по-человечески понятное удовлетворение оттого, что отчаяние позволяло ему спорить с богом, находиться в возвышенном, по существу, состоянии, которому странно противоречило внешнее унижение в пепле и наготе. Впрочем, унижение это было необходимо для спора. Иаков бередило свое горе — для этого он говорил без обиняков и не следя за своими губами.

— Вот что такое бог! — повторял он с подчеркнутым содроганием. — Господь не спрашивал меня, Елиезер, он не приказывал мне испытания ради: «Принеси мне в жертву сына, которого любишь!» Возможно, что, сверх смиренного моего ожидания, у меня хватило бы на это сил, и я повел бы дитя свое в землю Мориа, хотя бы оно и спросило меня, где же овца для всесожженья; возможно, что я не лишился бы чувств от этого вопроса и заставил бы себя занести нож над Исааком, уповав на овна, — ведь дело шло не только об испытании! Но нет, Елиезер, все было не так. Он даже не удостоил меня испытания. Нет, поскольку я честно признаю за собой долю вины во вражде между братьями, он выманивает у меня дитя и заставляет его заблудиться, чтобы на него напал лев, чтобы кабан вонзил клыки в его мясо и разворошил рылом его кишки. Должен тебе сказать, что этот зверь жрет решительно все. Он сожрал и его. И кусок Иосифа он отнес в свое логово своим детенышам, кабанятам. Можно ли это понять и принять? Нет, это несъедобно. Я выплевываю это, как выплевывает птица перья и пух. Вот оно лежит. Пусть бог делает с этим все, что ему угодно, ибо это не для меня!

— Образуясь, Израиль!

— Нет, не образуюсь, распорядитель в доме моем. Бог отнял у меня рассудок, пусть же он выслушает теперь мои слова! Он мой создатель, я знаю это. Он надоил меня, как мо-

локо, и дал мне сгуститься, как сыру, я это признаю. Но что случилось бы с ним без нас, без праотцев и без меня? Неужели у него короткая память? Неужели он забыл все муки и труды, которые претерпел человек ради него, неужели забыл, как Аврам открыл его и удумал и он, бог, поцеловав себе пальцы, воскликнул: «Наконец-то я назван господом и всевышним!» Я спрашиваю: неужели он забыл о завете, если скрежещет на меня зубами и ведет себя так, словно я враг ему? В чем мое преступление, моя вина? Пусть он укажет их мне! Разве я кадил местным баалам и посылал звездам воздушные поцелуи? Нет, я не кощунствовал, и молитва моя была чиста. Почему же я встречаю насилие вместо справедливости? Пусть бы он, упиваясь своим произволом, сразу уничтожил меня и бросил в яму, ведь для него и такое беззаконие сущий пустяк, а я не хочу больше жить, если торжествует насилие. Уж не глумится ли он над человеческим духом, губя без разбора и благочестивых и злых? Но опять-таки, что случилось бы с ним самим, если бы не дух человеческий? Елиезер, завет нарушен! Не спрашивай меня почему, ибо ответ мой был бы печален: бог подвел — понятно ли тебе это? Бог и человек избрали друг друга и заключили союз, чтобы совершенствоваться и освящаться друг в друге. Но если человек и в самом деле стал в боге нежен и благороден, если он и в самом деле смягчил свою душу, а бог навязывает ему ужасную дикость, если человек не принимает ее, а выплевывает, говоря: «Это не для меня», — это значит, Елиезер, что бог подвел, что он еще недостаточно свят, что он отстал и еще остался чудовищем.

Разумеется, эти слова потрясли Елиезера, он вознес к небу молитву о прощенье своего совсем обезумевшего господина и решительно осудил его.

— Ты сам не знаешь, что говоришь, — сказал он, — тебя невозможно слушать, ты просто непристойно терзаешь одежды бога. Это говорю тебе я, который благодаря помощи бога побил с Аврамом царей Востока, я, которому в пути за невестой земля скакала навстречу. Ты называешь бога диким чудовищем и считаешь себя по сравнению с ним благородным и нежным, но каждое твое слово полно вопиющей дикости, и ты убьешь состраданье к великой своей боли, злоупотребляя им и позволяя себе страшные вольности. Ты хочешь сам решать, что законно и что незаконно, ты хочешь судить того, кто создал не только бегемота, чей хвост огромен, как кедр, не только Левиафана, чьи зубы ужасны, а чешуя подобна медным щитам, но и семизвездие Орион, утреннюю зарю, шершней, змей и пыльную бурю абубу? Разве не дал он тебе благословения Ицхака в ущерб Исаву, который немного старше тебя, разве не сподобил тебя в Вефиле чудесного подтверждения обета, явившись тебе на лестнице во сне? Против этого ты не возражал, в этом ты не находил ничего худого с точки зрения благородного и нежного человеческого духа, ибо это было тебе по душе! Разве он не сделал тебя богатым и тучным в доме Лавана и не отпер тебе покрытых пылью запоров, и ты не ушел с чадами и домочадцами, и Лаван не стоял перед тобой ягненком на горе Гилеад? А теперь, когда у тебя беда, и беда, этого никто не отрицает, тягчайшая, ты встаешь на дыбы, господин мой, ты лягаешься, как упрямый осел, ты опрокидываешь все без разбора и говоришь: «Бог отстал в совершенствовании». Разве свободен ты от греха, если ты плоть, и так ли уж несомненно, что ты был праведен всю свою жизнь? Неужели ты понял то, что выше тебя, и разгадал загадку жизни, если ты поносишь ее своим человеческим словом и говоришь: «Это не для меня, и я более свят, чем бог»? Право, лучше бы мне этого вовсе не слышать, о сын праведной!

— Да, ты, Елиезер, — отвечал Иаков с издевкой, — человек правильный, тебе не о чем беспокоиться! Ты хлебал мудрость ложками и источаешь ее, как пот, всеми своими порами. Это, право, поучительно, как ты бранишь меня и мимоходом упоминаешь, что вместе с Аврамом прогнал восточных царей, чего попросту не могло быть; ведь если рассуждать разумно, то ты мой сводный брат, сын служанки, рожденный в Дамашки, и, так же как я, никогда в жизни не видел Авраама воочию. Вот как обхожусь я с твоими Поученьями в горе своем! Я был чист, но бог вымарал меня в грязи, а такие люди — сторонники разума, им ни к чему благочестивые прикрасы, они предпочитают голую правду. Сомневаюсь и в том, что земля скакала тебе навстречу. Все кончено.

— Иаков, Иаков, что ты делаешь! Ты разрушаешь мир в заносчивости своей скорби, ты разбиваешь его на куски и швыряешь их в лицо увещателю, ибо я не хочу говорить, кому, выражаясь точно, швыряешь ты их в лицо. Разве ты первый, кого постигла беда, разве она не вправе тебя постигнуть? Зачем же ты извергаешь хулу, зачем кобенишься и, взбывшись, нападаешь на бога? Ты думаешь, ради тебя сдвинутся горы и воды потекут вспять? Боюсь, что ты, не сходя с места, лопнешь от злости, если ты называешь бога богопротивным и неправедным величавого!

— Молчи, Елиезер! Прошу тебя, не говори обо мне так лживо, я легко раним в горе, и я этого не вынесу! Кто отдал родного сына на растерзание кабану и детенышам кабана в его логове — бог или я? Зачем же ты утешаешь его и заступаешься за него, а не за меня? Понимаешь ли ты вообще, что я хочу сказать? Ничего ты не понимаешь, а берешься защищать бога. Эх ты, заступник бога, уж он-то отблагодарит тебя за то, что ты защищаешь его и лукаво превозносишь его деяния, потому что он бог! Я хочу сказать: он даст тебе по зубам. Ты хочешь, несправедливо защищая его, обмануть бога, как обманывают человека, и тайком подольститься к сильному. Эх ты, лицемер, он задаст тебе жару, если ты будешь так добиваться его расположения и услужливо защищать его после того, как он причинил мне вопиющее зло и бросил Иосифа на растерзание кабанам. То, что ты говоришь, я тоже мог бы сказать, я не глупее тебя, подумай об этом, прежде чем молоть языком. Но я говорю иначе — и при этом я ближе к нему, чем ты. Ибо нужно заступаться за бога вопреки его заступникам и защищать его от тех, кто его оправдывает. Ты думаешь, он человек, пусть и сверхмогучий, и к нему можно подладиться, став на его сторону, а не на сторону такого червя, как я? Называя его вечно великим, ты просто болтаешь языком, если ты не знаешь, что бог и над богом, что он еще более вечен, чем он сам, и он покарает тебя оттуда, где он мое благо и мое упование и где тебя нет, когда ты выбираешь между ним и мной!

— Все мы жалкая, открытая греху плоть, — тихо отвечал Елиезер. — Каждый должен следовать за богом в меру своего разумения и своей способности тянуться к нему, ибо дотянуться до него не может никто. Возможно, что мы оба говорили неподобающе. А теперь, господин мой, войди в дом свой, довольно многомогущей скорби. Лицо твое совсем распухло от жары у этой кучи черепков, и слишком ты нежен и хрупок для скорби такой мощи.

— От слез! — сказал Иаков. — От слез побагровело и распухло лицо мое, от слез о любимом.

Но все же он дал отвести себя в шатер. Да и не нужны ему были уже мусор, нагота и черепки, ибо требовались они только для того, чтобы поспорить с богом на славу.

ИСКУШЕНЬЯ ИАКОВА

После первых трех дней он, по крайней мере, надел на себя дерюгу и вообще несколько упорядочил свой быт, так что сыновья, когда они прибыли, застали его уже не в таком отчаянном состоянии. А с прибытием они помешкали, и скорбели и плакали вместе с Иаковом, поддерживали и утешали его их жены, поскольку они находились при доме (ибо жена Иуды, дочь Шуи, жила не здесь), а также Зелфа и Валла и маленький Вениамин, с которым он часто, обвив его руками, рыдал. Младшего своего сына он любил далеко не так, как Иосифа, и при взгляде на него глаза Иакова всегда невольно мрачнели, потому что тот стоил ему Рахили. Но теперь он пылко прижимал его к себе, называл, ради матери его, Бенони и клялся, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не пошлет его в дорогу — ни одного, ни даже с охраной; он заклинал его, чтобы тот всегда, даже когда вырастет, даже женатым человеком, жил здесь, на глазах у отца, опекаемый и оберегаемый, не уклоняясь ни на шаг от безопаснейшего пути, ибо в мире ни на что и ни на кого нельзя положиться.

Вениамин не противился этим заклинаниям, хотя они его несколько угнетали. Он вспоминал свои прогулки с Иосифом в рощу Адонаи; и мысль, что любимый и прекрасный никогда

больше не будет с ним прыгать и помахивать вспотевшей его ручкой, никогда больше не будет ему рассказывать великих небесных снов, заставляя его, малыша, гордиться доверием к его разуму, вызывала у Вениамина горькие слезы. По существу, однако, он был неспособен представить себе то, что ему говорили об Иосифе, — что тот никогда не вернется, что брата уже нет на свете, что брат умер, — и он не верил этому, несмотря на наличие страшного знака, с которым не расставался отец. Естественная неспособность поверить в смерть есть отрицание отрицания и заслуживает положительного знака. Она есть беспомощная вера, ибо всякая вера беспомощна и сильна от беспомощности. Что касается Вениамина, то свою неукротимую веру он облакал в представление о каком-то уходе. «Он вернется, — заверял он старика, глядя его. — Или переселит нас к себе». Иаков, однако, не был ребенком, он был обременен историей жизни и слишком горько изведаль безжалостную действительность смерти, чтобы ответить на утешенья Бенони чем-нибудь иным, кроме печальной улыбки. Но, по существу, и он был совершенно не в силах утвердить это отрицание, и попытки Иакова отвергнуть его, уйти от необходимости примириться и с тем и с другим, и с действительностью и с ее невозможностью, — его попытки примириться с этим бесчеловечным противоречием были настолько разнузданны, что в наше время в пору было бы говорить о помешательстве. В его кругу это, несомненно, значило перейти меру; но Елиезеру пришлось помучиться с отчаянными затеями и спекуляциями, которые занимали Иакова.

Известно, что на все уговоры он отвечал только; «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». И тогда и позднее это обычно понимали в том смысле, что он не хочет больше жить и предпочитает умереть, чтобы соединиться с сыном в смерти, — так же понимали и горестные слова о том, что тяжело и прискорбно сводить седину в могилу такой печали. Так понять эти слова, конечно, тоже можно было. Но Елиезер слышал их иначе и полнее. Как ни дико это звучит, Иаков помышлял о возможности спуститься в преисподнюю, то есть к мертвым, и вывести оттуда Иосифа.

Мысль эта была тем нелепее, что освобождала истинного сына из подземной темницы и возвращала его опустевшей земле мать-супруга, а никак не отец. Но в бедной голове Иакова совершались самые смелые отождествления, а склонность к некоторой расплывчатости в понимании пола водилась за ним издавна. Для него никогда не существовало четкого различия между глазами Иосифа и глазами Рахили: то были ведь и в самом деле одни и те же глаза, и некогда он поцелуями стирал с них слезы нетерпенья. В смерти они окончательно слились для него в одну пару глаз, да и сами любимые существа слились в один двуполой желанный образ, так что и тоска о нем была, как все высшее, как сам бог, мужеско-женско-сверхполой тоской. Поскольку, однако, тоска эта жила в Иакове, а он жил в ней, то и сам Иаков был той же породы, — итог, с которым его чувства давно уже пришли в согласие. С тех пор как не стало Рахили, он был Иосифу и матерью и отцом; в этом отношении он взял на себя и ее роль, которая, пожалуй, даже главенствовала в его любви, и отождествление Иосифа с Рахилью дополнялось отождествлением с умершей себя самого. Двойственность бывает вполне любима только двойной любовью; как женская статья, она будит мужское начало, как мужская — женское. Отцовское чувство, которое видит в своем объекте и сына, и любимую сразу и к которому, следовательно, примешивается нежность, свойственная, скорее, любви матери к сыну, является, конечно, мужским, поскольку через сына оно направлено на любимую, однако в нем есть и нечто материнское, поскольку это любовь к сыну. Эта неопределенность благоприятствовала сумасшедшим замыслам Иакова, которыми он прожужжал уши Елиезеру и которые касались возвращения Иосифа к жизни по мифическому образцу.

— Я сойду, — твердил он, — к сыну моему в преисподнюю. Погляди на меня, Елиезер, разве в очертаниях моей груди нет уже чего-то женского? В мои годы природа, видно, уравнивается. У женщин появляются бороды, а у мужчин груди. Я найду дорогу в страну, откуда нет возврата, завтра я и отправлюсь в путь. Почему ты глядишь на меня с таким сомнением? Разве это невозможно? Нужно только идти все время на запад и переправиться через реку Хубур, а

там до семи ворот рукой подать. Прошу тебя, не сомневайся! Никто не любил его больше, чем я. Я буду как мать. Я найду его и спущусь с ним в самый низ, где бьет ключом вода жизни. Я окроплю его и отопру покрытые пылью запоры, чтобы он возвратился. Разве я этого уже однажды не сделал? Разве я не перехитрил Лавана и не ушел от него? С владычицей, что живет там внизу, я справлюсь не хуже, чем с Лаваном, и она еще скажет мне доброе слово. Почему ты качаешь головой?

— Ах, дорогой господин мой, я соглашаюсь с твоими намерениями, насколько могу, и допускаю, что сначала все пойдет по-твоему. Но не позже чем у седьмых ворот, при исполнении необходимых обрядов, неизбежно выяснится, что ты не мать...

— Конечно, — ответил Иаков и, несмотря на всю свою печаль, не смог подавить удовлетворенной улыбки. — Это неизбежно. Там увидят, что я не вскормил его, а родил... Елиезер, — сказал он, следуя за новыми своими мыслями, которые, отвлекшись от материнско-женского начала, перешли в сферу фаллическую, — я порожу его заново! Разве это невозможно — родить его еще раз, точно таким же, как прежде, Иосифом, и этим способом вывести его наверх? Ведь я, от которого он родился, еще жив; так почему же он должен погибнуть? Покуда я жив, я не дам ему погибнуть. Я пробужу его заново к жизни и, бросив семя, восстановлю образ его на земле!

— Но ведь уже нет Рахили, которая делила с тобой этот труд, а для того, чтобы появился на свет этот мальчик, оба ваших начала должны были соединиться. Но даже если бы она и была жива и вы родили бы снова, то все равно не повторились бы тот час и то положение звезд, которые пробудили к жизни Иосифа. Вы произвели бы на свет не его и не Вениамина, а нечто третье, никем не виданное. Ибо ничего не случается дважды, и все здесь навеки тождественно только себе.

— Но в таком случае оно не должно умирать и исчезать», Елиезер! Это же невозможно. То, что бывает на свете лишь один раз, не имеет тождественного себе ни рядом с собой, ни после себя, и не восстанавливается ни с какими круговоротами времен, — это не может быть уничтожено, не может пойти на съедение свиньям, я этого не принимаю. Ты прав, чтобы породить Иосифа, нужна была Рахиль и, кроме того, надлежащий час. Я это знал, я умышленно вызвал у тебя такой ответ. Ибо зачинающий есть лишь орудие творения, он слеп и сам не знает, что делает. Когда мы зачинали Иосифа, праведная и я, мы зачинали не его, а вообще что-то, и это «что-то» стало Иосифом благодаря богу. Зачинать не значит творить, зачинать значит погружать жизнь в жизнь в слепом веселье; а творит Он. О, если бы жизнь моя могла погрузиться в смерть и познать ее, чтобы зачать в ней и возродить Иосифа таким, каким он был! Вот о чем я помышляю, вот что имею в виду, когда говорю: сойду в преисподнюю. Если бы я мог, зачиная, перенестись в прошлое, в тот час, который был часом Иосифа! Зачем ты качаешь головой с таким сомнением? Я же и сам знаю, что это невозможно, но если я этого желаю, не качай головой, ибо бог устроил так, что я жив, а Иосифа нет на свете, и вопиющее это противоречие терзает мне сердце. Знаешь ли ты, что значит растерзанное сердце? Нет, ты этого не знаешь, для тебя это пустые слова, хоть ты и думаешь, что это «весьма прискорбно». А у меня сердце в буквальном смысле слова растерзано, и я вынужден думать наперекор разуму и помышлять о несбыточном.

— Я качаю головой, господин мой, от сострадания, видя, как ты противишься тому, что ты называешь противоречием, — тому, что ты есть, а сына твоего уже нет на свете. Это-то и составляет твою скорбь, которую ты многомощно выразил, предаваясь ей на куче черепков три дня подряд. А теперь тебе следовало бы постепенно покориться воле божьей, собраться с духом и не говорить больше таких нелепостей, как «я хочу зачать Иосифа заново». Возможно ли это? Когда ты его зачинал, ты его не знал. Ибо человек зачинает лишь то, чего он не знает. А если бы он стал зачинать по определенному замыслу, это было бы творенье, и человек возомнил бы себя богом.

— Ну, и что же, Елиезер? А почему бы ему и не возомнить себя богом, и разве он был бы человеком, если бы вечно не жаждал уподобиться богу? Ты забываешь, — сказал Иаков,

понижая голос и наклоняясь поближе к уху Елиезера, — что в делах зачатия я втайне смыслю больше, чем многие: я умею стирать, когда нужно, грань между зачатием и творением и вносить в зачатие нечто от творчества, как в том убедился Лаван, когда белый скот зачинал у меня перед прутьями с нарезкой и рождал, к выгоде моей, пестрых ягнят. Найди мне женщину, Елиезер, похожую на Рахиль глазами и станом, такие, наверно, есть. Я зачну с ней сына, намеренно устремив глаза к образу Иосифа, который я знаю. И она родит мне его заново, отняв его у мертвых!

— Твои слова, — так же тихо отвечал Елиезер, — меня ужасают, и считай, что я их не слышал. Ибо мне кажется, что они идут не только из глубин твоего горя, но и из других, еще больших глубин. Кроме того, ты уже в годах и тебе вообще не пристало думать о зачатии, а тем более о зачатии с примесью творчества, это неприлично во всех отношениях.

— Не суди обо мне превратно, Елиезер! Я живой старик и еще отнюдь не похож на ангела, о нет, это уж я знаю. Я, право, хотел бы зачать. Конечно, — прибавил он тихо после короткого молчания, — силы мои подавлены сейчас скорбью об Иосифе, и возможно, что я от скорби не смог бы зачать, хотя я жажду зачать именно из-за скорби. Вот видишь, какими противоречиями терзает меня бог.

— Я вижу, что твоя скорбь — это сторож, призванный уберечь тебя от великого нечестья. Иаков призадумался.

— В таком случае, — сказал он затем, все еще на ухо своему рабу, — нужно обмануть сторожа и сыграть с ним шутку, что нетрудно, поскольку он одновременно и помеха, и подстрекатель. Ведь можно же, Елиезер, сделать человека, не зачиная его, коль скоро зачать его мешают горе и скорбь. Разве бог зачал человека во чреве женщины? Нет, ибо никаких женщин не было, да об этом и подумать стыдно. Он сделал его таким, как хотел, своими руками, из глины, и вдунул в лицо его дыхание жизни, чтобы он жил на земле. Послушай, Елиезер, согласись! Давай сделаем изваяние из праха земного, из глины, наподобие куклы, длиной в три локтя и со всеми членами, чтобы оно было таким, каким увиделся человек богу, который и создал его по этому образцу. Бог видел человека, Адама, и создал его, ибо он творец. А я вижу одного, Иосифа, таким, каким я его знаю, и пробудить его к жизни мне хочется теперь гораздо сильнее, чем прежде, когда я его зачинал, не зная его. И перед нами, Елиезер, лежала бы кукла длиной с человека, лежала бы на спине, лицом к небу, — а мы бы стояли в ногах у нее и глядели в глиняное ее лицо. Ах, старший мой раб, у меня колотится сердце. Что, если бы мы это совершили?

— Что совершили, господин мой? До каких еще диковин додумалось горе твое?

— Разве я это знаю, старший мой раб, разве я могу это сказать? Только согласись и подтолкни меня к тому, чего я сам еще толком не знаю! Но если бы мы обошли это изваяние один раз и семь раз, я слева направо, а ты справа налево, и вложили листок в его мертвый рот, листок с именем бога... А я бы упал на колени и, заключив глину в объятия, поцеловал ее крепко-крепко, от всего сердца... Вот! — закричал он. — Гляди, Елиезер! Тело его краснеет, оно красно, как огонь, оно пылает, оно опалает меня, а я не отхожу, я держу его в своих объятиях и целую его опять. Теперь оно гаснет, и в глиняное туловище хлещет вода, оно разбухает, оно истекает водой, и вот уже на голове пробиваются волосы, а на руках и на ногах вырастают ногти. А я целую его в третий раз и вдуваю в него свое дыханье, дыханье бога, и эти три стихии, огонь, вода и воздух, заставляют четвертую, землю, пробудиться к жизни, изумленно взглянуть на меня, который ее оживил, и сказать: «Авва, милый отец мой...»

— Мне очень, очень жутко все это слышать, — сказал Елиезер с легкой дрожью, — ибо можно подумать, будто я действительно согласился участвовать в таких сомнительных и диковинных делах и этот голем ожил у меня на глазах. Ты поистине отравляешь мне жизнь и весьма странно благодаришь меня за терпеливое участие в твоем горе и за то, что я служу тебе верной опорой: ты дошел уже до сотворения кумиров и колдовства и заставляешь меня, хочу я того или нет, участвовать в этом нечестии и видеть все собственными глазами.

И Елиезер был рад, когда прибыли братья; но они не были рады.

ПРИВЫКАНИЕ

Прибыли они на седьмой день после того, как Иаков получил знак, тоже в дерюге на бедрах и с пеплом в волосах. На душе у них было скверно, и никто из них не понимал, как это они когда-то могли подумать и убедить себя, будто им будет легко и они завоюют отцовское сердце, как только не станет на свете этого баловня. Они давно и заранее избавились от этого заблуждения и теперь удивлялись, что могли когда-то тешиться им. Уже в пути, молча и недо-молвками, которыми они обменивались, они признались себе, что если иметь в виду любовь к ним Иакова, то устраненье Иосифа было совершенно бесполезно.

Они довольно точно могли представить себе теперешнее отношение Иакова к ним; тя-гостная сложность дальнейшей их жизни была им ясна. Так или иначе, но в глубине души и, возможно, без полной убежденности, он, конечно, считал их убийцами Иосифа, даже если не думал, что они собственноручно убили брата, а полагал, что это выполнил зверь, который вместо них, но по их желанию, совершил кровавое дело, и значит, в его глазах они были еще и безвинными, неуязвимыми, тем более, следовательно, достойными ненависти убийцами. В действительности же, как они знали, все обстояло как раз наоборот: виновны, конечно, они были, но убийцами не были. Но этого они не могли сказать отцу; ведь для того, чтобы снять с себя смутное подозренье в убийстве, они должны были признаться в своей вине, а этому мешала хотя бы связавшая их клятва, которая, впрочем, временами уже казалась им такой же глупой, как и все остальное.

Словом, впереди у них не было светлых дней, вероятно даже, ни одного светлого дня, — это они видели ясно. Нечистая совесть — уже немалое зло, но обиженная нечистая совесть, пожалуй, еще большее; она родит в душе неразбериху, и нелепую, и в то же время мучитель-ную, и настраивает на мрачный лад. Мрачной и будет вся их жизнь близ Иакова, и покоя им ждать не приходится. Они были у него на подозрении, а они узнали, что это такое — подозре-ние и недоверие; человек перестает верить себе в другом человеке, а другому в себе и поэтому, не находя покоя, язвит, говорит колкости, пилит и мучит себя самого, хотя кажется, что он мучит другого, — вот что такое подозрение и неизлечимое недоверие.

Что дело обстоит и впредь будет обстоять именно так, они увидели с первого же взгля-да, как только явились к Иакову, — они поняли это по взгляду, который он бросил на них, чуть приподнявшись над заменявшей ему подушку рукой, — по этому воспаленному от слез, одновременно острому и мутному, испуганному и враждебному взгляду, который хотел в них проникнуть, зная, что это ему не удастся, и длился долго-предолго, прежде чем прозвучали соответствующие ему слова, вопрос, на который не могло быть ответа и был уже дан слиш-ком ясный ответ, чисто патетический, горестно-бессмысленный, чреватый лишь бесплодной мукой вопрос:

— Где Иосиф?

Они стояли, опустив головы перед этим невозможным вопросом, обиженные грешники, мрачные заговорщики, Они видели, что отец хочет причинить им как можно большую боль и что никакой пощады он им не даст. Так как ему доложили об их прибытии, он мог бы пригото-виться и встретить их стоя; а он еще лежал перед ними, лежал через неделю после получения знака, лежал, уткнувшись лицом в руку, с которой он его далеко не сразу поднял, поднял, что-бы по праву своего горя бросить этот дикий взгляд и этот дикий вопрос. Он воспользовался своим горем, они это видели. Он так лежал перед ними, чтобы иметь право задать этот вопрос, чтобы могло показаться, будто этот вопрос вызван не недоверьем, а горем, — они это отлично поняли, Люди всегда хорошо знали друг друга и видели, страдая, насквозь, в те времена не хуже, чем ныне.

Они отвечали с перекошенным ртом (отвечал за них Иегуда):

— Мы знаем, дорогой господин, какое горе и какая великая скорбь тебя постигли.

— Меня? — Спросил он. — А вас нет?

Откровенный вопрос. Каверзно-ехидный вопрос. Конечно же, и их тоже!

— Конечно, и нас тоже, — отвечали они. — Только о себе мы уже не говорим.

— Почему?

— Из почтительности.

Плачевный разговор. Мысль, что так теперь будет вечно, приводила их в ужас.

— Иосифа больше нет, — сказал он.

— К сожалению, — отвечали они.

— Я велел ему отправиться в путь, — заговорил он снова, — и он возликовал. Я послал его в Шекем, чтобы он вам поклонился и побудил ваши сердца к возвращению. Он сделал это?

— К сожалению и к великой нашей печали, — отвечали они, — он не успел этого сделать. Прежде чем он смог бы это сделать, его загрыз дикий зверь. Мы пасли скот уже не в долине Шекема, а в долине Дофана. Вот мальчик и заблудился, и на него напал зверь. Мы не видели его глазами с того дня, когда он рассказывал в поле тебе и нам свои сновиденья.

— Сны, — сказал он, — которые ему снились, вас, кажется, раздражали и вы очень сердились на него в душе?

— Немножко, — отвечали они. — Сердились, конечно, но в меру. Мы видели, что его сны раздражают тебя, ибо ты побранил его и даже пригрозил оттащить за волосы. Поэтому мы тоже сердились на него до известной степени. А теперь, увы, дикий зверь оттащил его куда страшнее, чем ты грозился.

— Он растерзал его, — сказал Иаков и заплакал. — Зачем вы говорите «оттащил», если он растерзал его и съел? Когда говорят «оттащить» вместо «растерзать», это насмешка, да и слово это звучит одобрительно.

— Бывает, что и от горького горя, — возразили они, — скажешь «оттащить» вместо «растерзать», как бы смягченья ради.

— Это верно, — сказал он. — Ваше возражение справедливо, и я умолкаю. Но если Иосиф не успел побудить ваши сердца к возвращению, то почему вы пришли?

— Чтобы плакать вместе с тобой.

— Разве мы плачем? — ответил Иаков.

И, сев рядом с ним, они затаили плач «Как долго ты здесь лежишь», а Иуда положил голову отца к себе на колени и стал вытирать ему слезы. Вскоре, однако, Иаков прервал плач и сказал:

— Не хочу, чтобы ты поддерживал мою голову, Иегуда, и вытирал мне слезы. Пусть это делают близнецы.

Иуда обиженно передал голову отца близнецам, и те, продолжая плач, держали ее до тех пор, пока Иаков не сказал:

— Не знаю почему, но мне неприятно, чтобы Симеон и Левий оказывали мне эту услугу. Пусть это делает Ре'увим.

Очень обиженные, близнецы передали голову Рувиму, который и принялся ухаживать за отцом. Через некоторое время Иаков сказал:

— Мне неудобно, когда Рувим поддерживает мою голову и вытирает мне слезы. Пусть это делает Дан.

Но и Дан не оказался удачливей; он должен был передать голову Неффалиму, а тот, к весьма скорой своей обиде. Гаду. Так продолжалось до тех пор, пока после Асира и Иссахара не пришла очередь Завулону, и каждый раз Иаков говорил примерно так:

— Почему-то мне не нравится, когда имярек поддерживает мою голову; пусть это делает кто-нибудь другой.

Когда все наконец были обижены и отвергнуты, он сказал:

— Теперь прекратим плач.

После этого они уже молча сидели вокруг него с отвисшими нижними губами; ибо они понимали, что он отчасти считает их убийцами Иосифа, каковыми они отчасти и были и оказались не в полной мере чисто случайно. Поэтому им было очень обидно, что он отчасти считает их убийцами в полной мере, и они ожесточились донельзя.

Так, думали они, впредь и придется им жить, непризнанными грешниками, находясь под неусыпленным подозрением, которого не усыпить никогда, — вот и все, чего они добились, устранив Иосифа. Глаза Иакова, блестящие, карие, покрасневшие отцовские глаза с нежными припухольями желез под ними, эти натруженные, обычно погруженные в раздумья о боге глаза, теперь — это братья отлично знали — украдкой, но зорко и пристально, следили за ними с неизбывным недоверием и, моргая, отворачивались от встречного взгляда. За едой он начал опять:

— Если кто наймет вола или осла, а с этим животным что-то случится, или же оно будет насмерть поражено каким-нибудь богом, то наниматель должен поклясться в этом, чтобы очиститься от вины и остаться вне подозрений.

У них похолодели руки, ибо они поняли, к чему он клонит.

— Поклясться? — сказали они хмуро и сдавленным голосом. — Клясться нужно тогда, когда не видно, что случилось с животным, когда нет ни крови, ни ран, какие оставляет лев или другой хищник. А если налицо и кровь и следы когтей, — кто обвинит нанимателя? Тогда дело касается только владельца.

— Так ли это?

— Так записано в законе.

— Нет, записано так: если пастух пасет овец хозяина и на загон нападет лев, то пастух должен дать клятву, чтобы снять с себя подозрение, а ущерб несет хозяин. Так как же? Не должен ли наемный пастух клясться и в том случае, когда кажется совершенно ясным, что овцу загрыз лев?

— И да и нет, — отвечали они, и теперь у них похолодели и ноги. — Скорее, нет, чем да, с твоего позволения. Ведь если лев нападает на загон, он уносит оттуда овцу, но этого никто не видит, и потому нужна клятва. Но если пастух может показать зарезанную овцу и предъявить какие-то останки растерзанного животного, тогда ему незачем клясться.

— Право же, вы годитесь в судьи, так хорошо вы знаете уложение. Ну, а если овца принадлежала судье и была ему дорога, а пастуху не была дорога, — не достаточно ли того, что она не принадлежала и не была дорога пастуху, чтобы потребовать клятвы?

— С тех пор как стоит мир, этого никогда не было достаточно для принуждения к клятве.

— Ну, а если пастух ненавидел овцу? — сказал он, взглянув на них бешеными, испуганными глазами...

С бешенством, испуганно и уныло встретили они его взгляд, и единственным облегчением этой пытки было то, что он мог переводить глаза с одного на другого, а они должны были по очереди, и каждый — недолго, выдерживать этот полный подозрения взгляд.

— Можно ли ненавидеть овцу? — спросили они, и лица у них похолодели и вспотели. — Этого не бывает в мире, уложение этого не предусматривает, так что нечего об этом и толковать. К тому же мы не наемные пастухи, а сыновья царя стад, и если у нас пропадет овца, то мы страдаем так же, как и он, и ни о какой принудительной клятве перед каким бы то ни было судьей вообще не может быть речи.

Трусливые, напрасные, плачевные разговоры! Неужели так будет всегда? Тогда братьям следовало бы снова уйти в Шекем, Дофан или еще куда-нибудь, ибо оказалось, что оставаться здесь без Иосифа так же тяжело, как при нем.

Но ушли ли они? О нет, они остались, и если кто-нибудь из них и уходил куда-либо, то вскоре возвращался. Нечистая их совесть нуждалась в его подозрении, и наоборот. Они были связаны друг с другом в боге и в Иосифе, и если поначалу было великой мукой жить вместе,

то они приняли эту муку как искупление, Иаков и его сыновья. Ибо сыновья знали, что они сделали, и если за ними была вина, то и отец тоже сознавал за собой вину.

Время, однако, шло, заставляя их свыкнуться со своим положением. Оно притупило бурав недоверия во взгляде Иакова и позволило братьям знать не так уж точно, что они сделали; ибо все менее четко отличали они поступок от случая. Случилось так, что Иосиф исчез, а вопрос «как?» медленно отступал для них и для отца на задний план, оставляя на переднем привычный факт. Отсутствие мальчика было данностью, к которой приспособилось и в которой успокоилось их сознание. Братья знали, что он не был убит, как думал Иаков. Но в конце концов эта разница в знании потеряла какое-либо значение, ибо и для них Иосиф был тенью, далеко и безвозвратно ушедшей из поля зрения, — в этом взгляде они были едины, отец и сыновья. Бедный старик, у которого бог отнял его драгоценное чувство, после чего в сердце его уже никогда не бывало весны, а всегда царили летняя сушь и зимняя стужа и он, в сущности, все еще «цепенел», как вначале в обмороке, — бедный старик не переставал оплакивать своего агнца, и когда он плакал, они плакали вместе с ним, ибо у них не было уже их ненависти и лишь смутно удавалось им со временем вспомнить, как злил их этот глупец. Они могли позволить себе и поплакать о нем, твердо зная, что он исчез в мире теней, скрылся вне круга жизни, — Иаков знал это тоже.

Он уже не помышлял о том, чтобы «сойти», как мать, в преисподнюю и вызволить Иосифа; он никого уже не пугал странным намерением зачать Иосифа заново или, строя из себя бога, сделать его из глины. Жизнь и любовь прекрасны, но и смерть имеет свои преимущества, ибо она укрывает и хранит любимое существо в минувшем, в небытии, и на смену тревоге и страху счастья приносит успокоение. Где был Иосиф? В лоне Авраама. У бога, который «взял его к себе». И мало ли какие еще слова найдет человек для определения небытия — все они призваны обозначать величайшую отрешенность надежно и мягко, хотя несколько туманно и беспредметно.

Смерть сохраняет, восстановив. Зачем старался Иаков восстановить Иосифа, если тот был разорван на куски? Смерть сама, и довольно скоро, сделала это, и сделала как нельзя приятнее. Она вновь составила его образ из четырнадцати или более кусков, и образ этот сиял красотой, и таким она сохраняла его, сохраняла великолепно, чем жители скверной земли Египетской сохраняли тело с помощью снадобий и пелен, — она хранила его нерушимым, не подверженным никаким опасностям и неизменным, милого, тщеславного, смышленного, вкрадчивого семнадцатилетнего мальчика, который уехал верхом на белой Хульде.

Не подверженный опасностям и неизменный, не нуждающийся в заботе и всегда семнадцатилетний, как бы ни множились кругообороты после его отъезда и ни росли года оставшихся жить — таким остался Иосиф для Иакова, и кто скажет, что смерть не имеет своих преимуществ, хотя они и носят несколько туманный и беспредметный характер? С тихим стыдом вспоминал он неистовую свою распрю с богом в первом расцвете скорби, усматривая уже отнюдь не отсталость, а истинное благородство и святость бога в том, что он не уничтожил его, Иакова, сразу же, а молча и терпеливо простил ему эту заносчивость горя.

Ах, благочестивый старик! Знал ли ты, какая поразительная прихоть кроется вновь за молчаньем твоего на диво величавого бога и какое непостижимое блаженство растерзает твою душу по Его воле! Когда ты был молод плотью, одно утро обратило твое глубочайшее счастье в обман и безумье. Тебе суждено стать очень старым, чтобы узнать, что точно так же обманом и безумьем была и твоя тягчайшая скорбь.

ИОСИФ В ЕГИПТЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ПУТЬ ВНИЗ

О МОЛЧАНИИ МЕРТВЫХ

— Куда вы меня ведете? — спросил Иосиф Кедму, одного из сыновей старика, когда они ставили шатры для ночлега среди невысоких, освещенных луною холмов у подножья горного кряжа «Плодовый Сад».

Кедма смерил его взглядом с головы до ног.

— Ну и хорош же ты, — сказал он и покачал головой, показывая, что это слово означает в его устах не «хороший», а многое другое, например, «недалекий», «наглый» и «странный». — Куда мы тебя ведем? Да разве мы ведем тебя? Мы вовсе тебя не ведем! Ты случайно оказался с нами, потому что отец купил тебя у твоих жестоких хозяев, и едешь с нами туда же, куда и мы. А это не называется «вести».

— Не называется? Ну, что ж, нет так нет, — отвечал Иосиф. — Я хотел сказать: куда ведет меня бог, когда я еду с вами?

— Чудной ты, однако, малый, — возразил Иосифу ма'онит, — ты так и норовишь поставить себя в самую серединку событий. Не знаю, право, что делать — злиться мне или удивляться. Ты, как там тебя, ты думаешь, мы едем затем, чтобы ты добрался до места, которое облюбовал для тебя твой бог?

— Нет, я этого не думаю, — ответил Иосиф. — Я же знаю, что вы, мои господа, ездите по собственной воле, по своим делам и куда вам заблагорассудится. Своим вопросом я отнюдь не посягаю на вашу честь и на вашу самостоятельность. Но знаешь, у мира множество средин, для каждого существа — своя, и у каждого существа мир ограничен собственным кругом. Ты вот стоишь всего в каком-нибудь полулокте от меня, но вокруг тебя свой, особый мир, середина которого — не я, а ты. Зато я — середина своего мира. Поэтому мы оба правы, каждый по-своему. Ведь наши круги вовсе не так далеки один от другого, чтобы они совсем не соприкасались. О нет, напротив, бог глубоко содвинул их и скрестил, а поэтому, едучи совершенно самостоятельно, по собственной воле и куда вам заблагорассудится, вы, измаильтяне, являетесь, кроме того, в скрещении кругов, средством, орудием, помогающим мне достигнуть места моего назначения. Поэтому-то я и спросил, куда вы меня ведете.

— Так, так, — сказал Кедма; продолжая разглядывать Иосифа с головы до ног, он отвернулся от колышка, который собирался вбить в землю. — Вот, значит, на какие выдумки ты способен, и язык твой снует, как фараонова мышь. Я расскажу старику, отцу моему, как ты умничаешь, негодяй ты этакий. Ведь ты договорился до того, будто у тебя есть какой-то собственный мир, а мы вроде бы назначены твоими проводниками. Имей в виду, я это ему расскажу.

— Сделай милость, — отвечал Иосиф. — Вреда от этого не будет. Мой господин, твой отец, изумится и не продаст меня по дешевке первому встречному, если он вообще намерен меня продать.

— Зачем мы пришли сюда — чесать языки, — спросил Кедма, — или раскинуть шатер?

И он сделал знак Иосифу, чтобы тот ему помогал. Но за работой он сказал:

— Ты поставил меня в тупик, спросив у меня, куда мы держим путь. Я охотно сообщил бы тебе это, если бы знал сам. Но это зависит от старика, отца моего, у него голова устроена особо, и все решается его волей. Ясно, во всяком случае, что мы следуем совету пастухов, твоих жестоких хозяев, и не забираемся в глубь страны по водоразделу, а движемся к морю, к прибрежной равнине, по которой и будем спускаться изо дня в день, пока не достигнем страны филистимлян, где живут в городах купцы, а в крепостях — морские разбойники. Там тебя, возможно, и продадут на какое-нибудь судно гребцом.

— Этого я не хочу, — сказал Иосиф.

— Да уж чего тут хотеть! Все зависит от старика, как он решит, так и будет, а где кончится наша поездка, он, может быть, еще и сам не знает. Но ему хочется, чтобы мы думали, будто он знает решительно все наперед, и мы все делаем вид, что так думаем — Эфер, Мибсам, Кедар и я... Я рассказываю это тебе потому, что мы здесь случайно ставим вместе шатер, а вообще-то у меня нет причины посвящать тебя в такие подробности. Я предпочел бы, чтобы старик не очень спешил обменять тебя на пурпур и кедровое масло. Задержись ты у нас еще на какое-то время и на какую-то часть пути, от тебя можно было бы еще что-нибудь услышать о кругах человеческих миров и о том, как они скрещиваются.

— Всегда к вашим услугам, — отвечал Иосиф. — Вы мои господа, вы купили меня за двадцать сребреников вместе с моим языком и умом. Они теперь в вашем распоряжении, и к сказанному о кругах миров я могу прибавить еще кое-что — о не совсем согласованных богом чудесах чисел, которые человек должен усовершенствовать, а также о маятнике, о годе созвездия Пса и об обновлениях жизни...

— Только не сейчас, — сказал Кедма. — Сейчас нужно во что бы то ни стало поставить шатер, ибо старик, отец мой, устал, да и я тоже устал. Боюсь, что сегодня я уже не смогу угнаться мыслями за твоим языком. Оправился ли ты от голода и болят ли еще твои руки и нога в тех местах, где они были связаны веревками?

— Уже почти не болят, — отвечал Иосиф. — Ведь я же провел в яме только три дня, и ваше масло, которым мне позволили умаститься, очень помогло моим членам. Я здоров, и, таким образом, ваш раб вполне работоспособен и ничего не потерял в цене.

Ему и в самом деле предоставили возможность помыться и умаститься, и он получил от своих повелителей набедренную повязку, а на прохладные часы — такой же белый, измятый плащ с башлыком, какой был на толстогубом мальчишке, что вел верблюда за повод, и после этого выражение «чувствовать себя заново родившимся» можно было отнести к Иосифу с большим правом, чем, вероятно, к любому другому человеку на свете, начиная от сотворения мира и кончая нашими днями, — ибо разве он и впрямь не родился заново? Его настоящее было отделено от прошлого резко и глубоко — могилой. Поскольку умер он молодым, то по ту сторону ямы силы его легко и быстро восстановились, но это не мешало ему четко отделять свое нынешнее бытие от прежнего, закончившегося ямой, и считать себя уже не прежним, а новым Иосифом. Если умереть и быть мертвым значит безвозвратно впасть в состояние, не позволяющее тебе послать назад ни привета, ни взгляда и хоть как-то восстановить свои отношения с прежней жизнью; если это значит исчезнуть и умолкнуть для прежней жизни без малейшей надежды разрушить чары безмолвия каким-либо знаком, — то Иосиф был мертв, и масло, которым он умастился, смыв с себя пыль колодца, было не чем иным, как елеем, который кладут в могилу покойнику, чтобы тот умащался им в иной жизни.

Мы настаиваем на такой точке зрения, ибо нам представляется важным уже здесь раз навсегда отвести упрек, столь часто предъявляемый Иосифу при разборе его истории; мы имеем в виду, собственно, вопрос, но вопрос, разумеется, равнозначный упреку, а именно: почему, выйдя из ямы, Иосиф не приложил всех сил к тому, чтобы установить связь с Иаковом

и известить несчастного отца, что он жив? Ведь, конечно, такой случай ему уже довольно скоро представился, а со временем возможностей сообщить отцу правду становилось у сына все больше и больше, и то, что Иосиф так и не воспользовался ими, многим кажется непонятным и даже предосудительным.

Этот упрек путает внешнюю исполнимость с возможностью внутренней и не принимает во внимание трех черных дней, предшествовавших воскресению Иосифа. Они вынудили его с великой болью увидеть смертельную неправильность прежней его жизни и отказаться от возвращения в эту жизнь; они вразумили его оправдать смертельное доверие братьев, и его решение, его намерение не обмануть этого доверия оказалось только тверже оттого, что оно возникло не по собственной его воле, а было таким же невольным, таким же логически неизбежным, как молчание умершего. Умерший не сообщает о себе своим любимым не из равнодушия к ним, а потому, что он вынужден молчать; и вовсе не по своему жестокосердию не сообщал о себе отцу Иосиф. Это давалось ему даже весьма тяжело, и чем дальше, тем, право же, тяжелее, — и тяжесть эта была не меньше, чем тяжесть земли, покрывающей мертвеца. Сострадание к старику, любившему его, он это знал, больше, чем себя самого, к старику, которого он любил естественнейшей благодарной любовью и вместе с которым он довел себя до могилы, — сострадание к Иакову сильно искушало Иосифа и всячески подбивало его на опрометчивые шаги. Но сострадание к боли, причиняемой другому нашей собственной судьбой, — это сострадание особого рода, оно куда тверже и холоднее, чем сострадание к горю, не имеющему к нам отношения. Иосиф прошел через ужасные муки, он получил жестокое вразумление, и это облегчало ему жалость к Иакову. Сознание их ответственности друг за друга делало горе отца в глазах Иосифа даже в какой-то степени закономерным. Находясь в смертной неволе, Иосиф не мог уличить во лжи кровавый знак, полученный Иаковым. Но то, что Иаков должен был непременно и беспрекословно принять кровь ягненка за кровь Иосифа, это, в свою очередь, влияло на Иосифа, сводя для него на нет практическое различие между словами: «Это моя кровь» и «Это означает мою кровь». Иаков считал его мертвым; и поскольку мнения Иакова ничто не опровергало, то спрашивается; был Иосиф мертв или не был?

Был. И то, что он не подавал вестей отцу, служило самым убедительным доказательством этого. Его захватило в плен царство мертвых — вернее, оно готовилось захватить его в плен, ибо о том, что он пока еще только на пути туда и что на купивших его мидианитов ему следует смотреть как на своих проводников в этот край, он вскоре узнал.

У ГОСПОДИНА

— Ступай к господину, — сказал Иосифу однажды вечером (они уже несколько дней, удалившись от горы Кирмил, ехали по песку вдоль моря) раб, которого звали Ба'алмахар; Иосиф тогда как раз пек лепешки на горячих камнях. Он как-то заявил, что печет их необычайно вкусно, и хотя он ни разу этим не занимался, так как дотоле никто от него не требовал этого, лепешки с божьей помощью получались и в самом деле на славу. На закате путники расположились для ночлега у подножья поросшей камышом гряды дюн, уже несколько дней однообразно сопровождавшей их со стороны суши. Жара стояла сильная, но теперь, когда небо уже угасало, дышалось легче. Берег был цвета фиалок. Замирающее море с шелковым шелестом накатывало плоские, неторопливые волны на его влажную, блестящую кайму, щедро обогренную алым золотом прощальной зари. На привязи дремали верблюды. Неподалеку от берега парусное судно с короткой мачтой, с длинной реей, со множеством снастей и со звериной головой на высоком форштевне, идя на веслах, тащило на юг неуклюжую баржу, груженную, по-видимому, строевым лесом и управляемую только двумя кормчими.

— К господину, — повторил погонщик. — Он зовет тебя моими устами. Он сидит на циновке в шатре и велит тебе явиться к нему. Я проходил мимо, а он окликнул меня по име-

ни — Ба'алмахар — и сказал: «Пришли ко мне этого новокупленного раба, этого наказанного бедокура, этого сына болота, этого, как там его, мальчишку из колодца, я хочу его кое о чем расспросить».

«Ага, — подумал Иосиф, — Кедма рассказал ему о кругах миров, вот и отлично».

— Да, — ответил он, — господин выразился так потому, что иначе он не мог объяснить тебе, Ба'алмахар, кого он имеет в виду. Он должен говорить с тобой, голубчик, понятным тебе языком.

— Конечно, — отвечал тот, — да и как же он мог иначе сказать? Если он хочет видеть меня, он говорит: «Пришли ко мне Ба'алмахара». Ибо таково мое имя. А с тобой труднее, ведь у тебя и имени-то нет.

— Неужели ему так часто хочется тебя видеть, — сказал Иосиф, — хотя у тебя струпья на голове? Ступай же. Спасибо за известие.

— Это что еще за новость! — воскликнул Ба'алмахар. — Ты должен пойти со мной вместе, чтобы я привел тебя к нему, ведь если ты не явишься, мне несдобровать.

— Сначала, — отвечал Иосиф, — нужно допечь эту лепешку. Я возьму ее с собой, чтобы господин мой отведал моего необычайно вкусного печева. Посиди спокойно и подожди!

Под понуканья раба он допек лепешку, затем поднялся с пяток и сказал:

— Иду.

Ба'алмахар проводил его к старику, созерцательно сидевшему на циновке у низкого входа в свой дорожный шатер.

— Слышать значит повиноваться, — сказал Иосиф и поздоровался.

Глядя на меркнувшую зарю, старик кивнул головой и, не поднимая руки, движением одной лишь кисти, показал Ба'алмахару, чтобы тот удалился.

— Я слышал, — начал он, — что ты говорил, будто ты пуп мироздания.

Иосиф с усмешкой покачал головой.

— Какие же это слова, — отвечал он, — я мог невзначай обронить в разговоре, чтобы их так превратно передали моему господину? Дай мне подумать. А, знаю, я сказал, что у мира множество средоточий, столько же, сколько человеческих «я» на земле, для каждого «я» свое.

— Ну, это то же самое, — сказал старик. — Ты, значит, и в самом деле болтал такой вздор. Я никогда не слышал ничего подобного, сколько ни ездил по свету, и теперь вижу, что ты действительно ругатель и наглец, каким мне описали тебя твои прежние хозяева. Что же это получится, если в великой гуще человеческой каждый дурак и молокосос почтет себя, где бы он ни был, пупом мироздания, и куда девать такое множество средоточий? Когда ты сидел в колодце, куда угодил, — как я вижу, вполне заслуженно, — этот колодец и был, по-твоему, священной серединой мира?

— Бог освятил его, — отвечал Иосиф, — наблюдая за ним, не дав мне погибнуть в нем и направив вас как раз по соседней дороге, почему вы меня и спасли.

— Так что тебя и спасли или чтобы тебя спасли? — спросил старик.

— И так что, и чтобы, — ответил Иосиф. — И то и другое, все зависит от точки зрения.

— Ты, однако, болтун! До сих пор и так уже не могли решить, что считать серединой мира — Вавилон с его башней или, может быть, место Абот на великой реке Хапи. А ты делаешь этот вопрос еще сложнее. Какому ты служишь богу?

— Господу богу.

— Значит. Адону, и оплакиваешь заход солнца. Против этого я ничего не имею. Такая вера — это еще куда ни шло. Уж лучше верить в Адова, чем твердить как сумасшедший: «Я средоточие». Что это у тебя в руке?

— Лепешка, которую я испек для моего господина. Я необыкновенно ловко пеку лепешки.

— Необыкновенно? Посмотрим.

И старик взял у него лепешку, повертел ее в руках, а затем откусил от нее кусок коренными зубами, ибо передних у него не было.

Лепешка была не лучше, чем она могла быть; но старик сказал:

— Она очень хороша. Не скажу «необыкновенна», потому что это уже сказал ты. Лучше бы ты мне предоставил это сказать. Но лепешка хороша. Даже превосходна, — прибавил он, продолжая жевать. — Приказываю тебе печь их почаще.

— Так и будет.

— Правда ли, что ты умеешь писать и можешь вести список всяких товаров?

— Мне это ничего не стоит, — отвечал Иосиф. — Я пишу и человеческим, и божественным письмом, и палочкой, и тростинкой, как угодно.

— Кто научил тебя этому?

— Один мудрый раб, управитель дома.

— Сколько раз входит семерка в семьдесят семь? Ты, наверно, скажешь — два раза?

— Два раза лишь на письме. Но по смыслу, чтобы получить семьдесят семь, мне нужно взять семерку сначала один раз, затем два раза, а потом восемь раз, ибо это число составляется из семи, четырнадцати и пятидесяти шести. Но один, два и восемь дают одиннадцать, и вот я решил задачу: семерка входит в семьдесят семь одиннадцать раз.

— Ты так быстро находишь скрытые числа?

— Либо быстро, либо вообще не нахожу.

— Наверно, ты знал это число по опыту. Предположим, однако, что у меня есть участок земли, втрое больший, чем поле моего соседа Дагантакалы, но сосед прикупает еще одну десятину земли, и теперь мое поле больше всего лишь вдвое. Сколько десятин в обоих участках?

— В совокупности? — спросил Иосиф и стал считать.

— Нет, в каждом отдельно.

— У тебя есть сосед по имени Дагантакала?

— Я просто назвал так владельца второго участка в своей задаче.

— Понятно. Дагантакала — это, судя по имени, человек из страны Пелешет, что в земле филистимлян, куда мы, кажется, и спускаемся по твоему мудрому благоусмотрению. Его нет на свете, но он носит имя Дагантакала и скромно возделывает свое теперь уже трехдесятинное поле, не испытывая ни малейшей зависти к моему господину с его шестью десятинами, потому что у этого Дагантакалы стало как-никак три десятины вместо прежних двух, а еще потому, что на свете вообще не существует ни его, ни обоих полей, которые тем не менее — и это самое забавное — составляют вместе девять десятин. А существуют на свете лишь мой господин и его мудрая голова.

Старик в нерешительности заморгал глазами, не сразу сообразив, что Иосиф уже решил и этот пример.

— Ну? — спросил он... — Ах, вот оно что! Ты уже дал ответ, а я и не заметил, ты так вплел его в свою болтовню, что я чуть не пропустил его мимо ушей. Верно, искомые числа — шесть, два и три. Они были скрыты и спрятаны — как же ты их так быстро нашел, не переставая болтать?

— В неизвестное стоит только получше взглядеться, и покровы спадают, и тайное становится явным.

— Мне смешно, — сказал старик, — что ты назвал мне ответ походя, невзначай. Мне это, честное слово, смешно.

И он засмеялся беззубым ртом, склонив голову к плечу, которое у него при этом тряслось. Затем он опять стал серьезен и, заморгав еще влажными от смеха глазами, сказал:

— Послушай, ты, как тебя, ответь мне наконец честно, положи руку на сердце: неужели ты действительно раб-безотцовщина, низкая тварь, мальчишка на побегушках, которого жестоко наказали за всяческие пороки и бесчинства, как заявили мне те пастухи?

Глаза Иосифа затуманились, а губы, как это не раз с ним бывало, сложились трубочкой, причем нижняя несколько выпятилась.

— Ты, господин мой, — сказал он, — задавал мне задачи, чтобы меня испытать, и не спешил сообщить мне ответ, ибо тогда это не было бы испытанием. А когда бог, испытания ради, задает задачу тебе, ты хочешь сразу же узнать решение и вместо спрошенного, по-твоему, должен ответить тот, кто спросил? Нет, это не по правилам. Разве ты не вытащил меня из ямы, где я, как овца, замарался собственным калом? Каким же я должен быть негодяем и как тяжелы должны быть мои проступки! Я, чтобы решить задачу, шевелил мозгами, умножал на два и на три, прикидывал и так и этак. Прикинь же в уме, если угодно, и ты, соотнеси наказание с виной и низким происхождением, и из двух известных условий задачи ты, конечно же, выведешь искомое третье.

— Мой пример был последователен и уже нес в себе решение. Числа чисты и точны. Но кто мне поручится, что жизнь похожа на них и не таит неизвестного под покровом известного? Здесь много несоответствий в условиях.

— Значит, и это нужно учесть. Жизнь не похожа на числа, но зато она перед тобой, и ее можно видеть воочию.

— Откуда у тебя перстень с приворотным камнем?

— Может быть, этот мерзавец его украл, — предположил Иосиф.

— Может быть. Но ты-то должен знать, откуда он у тебя.

— Он у меня спокон веку. Не помню, чтобы его не было у меня на пальце.

— Так, значит, ты вынес его из камыша и болота своего низменного рожденья? Ведь ты же исчадь болота и сын камыша?

— Я — сын колодца, из которого поднял меня мой господин и вскормил меня молоком.

— Ты не знал никакой другой матери, кроме колодца?

— Нет, — сказал Иосиф, — я знал и более прекрасную мать. Ее щеки благоухали, как лепестки роз.

— Вот видишь. А она тебя не называла по имени?

— Я потерял его, господин мой, ибо я потерял свою жизнь. Мне нельзя знать свое имя, как нельзя знать и свою жизнь, которую бросили в яму.

— Скажи мне, какая вина довела твою жизнь до ямы.

— Она заслуживала наказания и называлась доверие. Преступное доверие и слепая требовательность — вот ее имя. Ибо тот слеп и достоин смерти, у кого к людям больше доверия, чем они в силах вынести, и кто предъявляет к ним слишком большие требования, при виде такой любви и такого уважения к ним они выходят из себя и делаются похожи на хищных зверей. Пагубно не знать этого или не хотеть знать. А я этого не знал или, вернее, пренебрегал этим и, вместо того чтобы держать язык за зубами, рассказывал им свои сны, чтобы они удивлялись со мной. Но «чтобы» и «так что» не всегда равнозначны, иногда это совершенно разные понятия, и «чтобы» не осуществилось, а «так что» обернулось колодцем.

— Твоя требовательность, — сказал старик, — превращавшая людей в хищных зверей, была, насколько я могу судить, не чем иным, как самомнением и наглостью, и этого естественно ждать от человека, который говорит о себе: «Я пуп вселенной и средоточие». Однако я много ездил между двумя реками, бегущими в разные стороны, одна — с юга на север, а другая наоборот, и знаю, что в мире, который на вид так бесхитроуен, существует множество тайн и за внешним шумом скрывается странное и неведомое. Мне часто даже казалось, что мир только потому такой шумный, что за этим шумом удобнее скрыть неведомое, сохранить тайну, стоящую за людьми и вещами. Многое обнаруживалось совершенно неожиданно, и я открывал то, чего не искал. Но я не углублялся в свои открытия, ибо я не настолько любопытен, чтобы во все вникать. Мне достаточно было знать, что словоохотливый мир полон тайн. Я привык во всем сомневаться, но не потому, что ничему не верю, а потому, что считаю возможным решительно все. Вот какой я старик. Я знаю истории и случаи, которые кажутся невероятными, а все-таки бывают на свете. Один, я знаю, рядился в царские ризы и умащался елеем радости, а потом, вместо знатности и высокого чина, его уделом стали пустыня и горе...

Тут купец вдруг осекся и заморгал глазами, ибо заданное направление его речи, ее продолжение, которое должно было теперь последовать, хотя он и не предусмотрел, что оно должно будет последовать, заставило его призадуматься. Есть хорошо укатанные колеи мыслей, колеи, из которых не выберешься, если уж ты туда угодил; существуют привычно-устойчивые сочетания понятий, сочлененных друг с другом, как звенья одной цепи, и тот, кто сказал «а», не может, по крайней мере мысленно, не сказать «б»; эти сочетания похожи на звенья цепи еще по одной причине: земное и небесное сцеплены в них таким образом, что одно непременно заставляет заговорить или умолчать о другом. Так уж устроено, что человек думает по преимуществу готовыми формулами, то есть не так, как он пожелает, а как, насколько он помнит, принято, и, едва упомянув о том, чьим уделом вместо величия и блеска стали пустыня и горе, старик уже оказался в области шаблонов божественных. А они неизбежно влекли за собой заключительные слова о возвышении униженного, ставшего спасителем человечества и защителем новой эры, и это-то и привело доброго старика в немое смущение.

Не в такое уж сильное, нет, это была всего лишь пристойная дань уважения, отданная человеком практическим, но от природы порядочным сфере священно-возвышенного. Если это смущение переросло в подобие тревоги, в глубокое замешательство и даже в испуг, испуг, впрочем, мимолетный и едва ли осознанный, то виною тому была лишь встреча, которая произошла тут между глазами моргавшего старика и глазами стоявшего перед ним Иосифа и которая, в сущности, даже не должна быть названа встречей, так как взгляд Иосифа, собственно, не «встретил» взгляда хозяина, то есть не парировал этот взгляд, а только принял его, только тихо и не таясь открыл ему свою многозначительно-укоризненную темноту. Пытаясь понять этот немой укор, уже многие вот так же оторопело моргали глазами, как моргал ими сейчас встревоженный измаильтянин, недоумевая, что это за необычную и, возможно даже, небезопасную сделку заключил он с незнакомыми пастухами и что представляет собою его приобретение. Но ведь выяснению этого вопроса как раз и служил весь вечерний разговор, нами переданный, и если точка зрения, с которой старик его выяснял, на секунду сдвинулась в область небесно-историческую, то в конце концов нет ни одной вещи на свете, на которую нельзя было бы взглянуть и с такой стороны; но человек дельный отлично различает аспекты и сферы и без труда возвращается к практической стороне дела.

Старику достаточно было откашляться, чтобы перейти именно к этой стороне.

— Гм, — сказал он. — Одним словом, твой господин немало поездил между реками и знает, что бывает на свете. Не тебе, сын болота и исчадь колодца, его учить. Я купил твоё тело и твои способности, но вовсе не твоё сердце, которое я не могу заставить открыть мне твои обстоятельства. Не говоря уж о том, что у меня нет никакой нужды в них вникать, любопытство к ним даже неразумно и может пойти мне во вред. Я нашел тебя и вернул тебе жизнь, но покупать тебя не входило в мои намерения хотя бы потому, что я не знал, можешь ли ты быть продан. Я не рассчитывал в данном случае ни на какую сделку, разве только на обычную мзду за возвращение утерянного или на выкуп. Однако из-за твоей особы завязался торг; я начал его для проверки. Испытания ради я сказал: «Продайте мне его», — и если можно считать, что подобное испытание решает дело, то дело решилось, ибо пастухи согласились тебя продать. Я заполучил тебя после тяжкого и упорного торга, ибо они были неуступчивы. Двадцать сиклей серебра общепринятым весом отдал я за тебя и ничего не остался им должен. Что можно сказать о такой цене? Цена средняя, не так чтобы очень» хорошая, однако же и не слишком плохая. Я мог бы добиться скидки на пороки, которые, как заявили пастухи, довели тебя до ямы. По твоим качествам я могу продать тебя дороже, чем купил, и нажиться как пожелаю. Что за корысть мне вникать в твои обстоятельства? Чего доброго, я узнаю, что дела твои ведомы одним лишь богам, а значит, тебя нельзя было, да и сейчас нельзя продавать, и я выбросил деньги на ветер, ибо если я перепродам тебя, то буду виновен в торговле краденым. Ступай, я не хочу ничего знать о твоей жизни, во всяком случае — подробностей, чтобы не пачкаться и не брать на себя вины. С меня довольно догадки, что твоя жизнь несколько необычна и при-

надлежит к тем явлениям, в возможность которых я верю благодаря своей привычке во всем сомневаться. Ступай же, я говорил с тобой слишком долго, а сейчас пора спать. Что касается лепешек, то пеки их почаще, они довольно хороши, хотя необыкновенными назвать их нельзя. Еще я приказываю тебе получить у моего зятя Мибсама письменные принадлежности — листы, тростинки и тушь — и, пользуясь человеческим письмом, составить перечень имеющихся у нас товаров по их разновидностям — смол, мазей, ножей, ложек, тростей, светильников, а также обуви, светильного масла и цветного стекла. Наименования напишешь черной тушью, а вес и количество — красной, только без ошибок и клякс, и принесешь мне перечень не позже, чем через три дня. Понятно?

— Если приказано, то считай: сделано, — сказал Иосиф.

— Ну, так ступай.

— Да будет спокойной и сладкой твоя дремота, — сказал Иосиф. — Пусть в нее время от времени вплетаются легкие, приятные сны.

Минеец улыбнулся. И задумался об Иосифе.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Когда они проехали еще три дня по берегу моря, опять наступили вечер и время привала, и место, где они устроили привал, на вид ничем не отличалось от того, где они расположились три дня назад; оно вполне могло бы сойти за прежнее место. К старику, сидевшему на циновке у входа в свое укрытие, явился Иосиф с лепешками и свитком в руках.

— Некий раб принес господину, что было велено.

Хлебцы старик отложил в сторону, а свиток развернул и, склонив голову набок, просмотрел. Работа Иосифа ему явно понравилась.

— Ни одной кляксы, — сказал он, — это хорошо. К тому же видно, что каждая черточка написана с удовольствием, со вкусом к красоте и со стремлением я изыществу. Список, надо полагать, соответствует действительности, так что он не только живописен, но и полезен. Приятно видеть столь исправный и четкий перечень своих товаров, где так единообразно обозначены разнородные вещи. Товар бывает смолистый и жирный, но купец не касается его руками, а орудует им в его письменном выражении. Вещи находятся там, но в то же время они и здесь, причем здесь они чисты, безуханны и обозримы. Такой список похож на Ка, на духовную плоть вещей, имеющуюся у них наряду с осязаемой плотью. Хорошо, что ты, как тебя, умеешь писать, да и в счете, как я заметил, ты кое-что смыслишь. И в красноречии ты, для твоих обстоятельств, тоже довольно силен: мне было отраднo слышать, как ты попрощался со мной три дня назад. Как ты сказал тогда?

— Не помню, — ответил Иосиф. — Вероятно, я пожелал тебе сладкой дремоты.

— Нет, ты выразился приятнее. Ничего, еще найдется повод и для такого оборота речи. Однако вот что хотел я тебе сказать: если у меня не окажется более важных забот, то на третьем и на четвертом привале я подумаю, как с тобой быть. Твоя участь, видимо, тяжела, ибо ты, конечно же, знавал лучшие дни, а теперь служишь пекарем и писцом у странствующего купца. Поэтому, продавая тебя в другие руки и стремясь благодаря незнанию твоих обстоятельств заработать на тебе как можно больше, я постараюсь и о тебе позаботиться.

— Ты очень добр.

— Я хочу отвести тебя в один известный мне дом, которому я уже не раз, к собственной выгоде и к выгоде этого дома, оказывал всяческие услуги. Это хороший дом, благоухоженный дом, дом почета и высоких отличий. Благословен тот, скажу я тебе, кто принадлежит к этому дому, хотя бы и будучи последним его рабом, и нет на свете дома, где бы слуге скорей представился случай обнаружить свои недюжинные способности. Если тебе повезет и я устрою тебя в этом доме, то, значит, тебе выпал самый счастливый жребий, какой только мог выпасть, если принять во внимание твою вину и достойные наказания качества.

— А кому принадлежит этот дом?

— Вот именно — кому. Одному человеку, и это не просто человек, а владыка. Величайший из величайших, увешанный золотом славы, святой, строгий и добрый, которого ждет его могила на западе, пастырь людей, живое изображение бога. Имя его «носитель опахала одесную царя», но думаешь, он носит опахало? Как бы не так, это он предоставляет делать другим, сам он для этого слишком священное лицо, он носит не опахало, а только звание. Ты думаешь, я знаю этого человека, этот дар солнца? Нет, рядом с ним я всего лишь червяк, он меня вообще не замечает, да и я видел его только один раз, и то издали: он сидел в своем саду на высоком кресле, согнув одну руку в запястье, ибо повелевал, и я стушевался, чтобы не мозолить ему глаза и не мешать ему отдавать приказания, — хорош бы я был иначе! Но с управителем его дома, человеком, под чьим началом находятся челядинцы, амбары и ремесленники и который всем ведаёт, я знаком лично и коротко. Он меня любит и, завидев меня, не упускает случая побалагурить. «Ну, старик, — говорит он обычно, — ты опять здесь, опять пришел со своим товаром к нашему дому, чтобы нас одурачить?» Говорит он это, конечно, в шутку, думая, что купцу льстит, когда его называют продувной бестией, и мы оба смеемся. Ему-то я и хочу показать тебя и предложить, и если мой друг управляющий окажется в добром настроении и пожелает приобрести для дома молодого раба, считай, что ты устроен.

— А как зовут царя, чье золото славы носит хозяин этого дома?

Ему хотелось узнать, куда его везут и где находится дом, для которого предназначил его старик; но такой вопрос он задал не только поэтому. Ход мыслей Иосифа, помимо его сознания, определялся механизмом, восходившим к далеким, изначальным временам пращуров: в нем заговорил Авраам, дерзостно полагавший, что человек должен служить единственно и непосредственно высшему, Авраам, чьи помыслы, с презрением ко всяческим идолам и низшим богам, были устремлены только к высшему, только к всевышнему. В устах потомка этот вопрос получил сейчас более легкое и более светское звучание, и все же это был вопрос предка. С равнодушием слушал Иосиф об управляющем, хотя от того, по словам старика, непосредственно зависела его, Иосифа, судьба. Он испытывал презрение к старику за то, что тот был знаком только с управителем, а не с самим сановником, которому принадлежал дом. Но даже и хозяин дома не очень-то его занимал. Над тем был еще более высокий владыка, самый высокий из всех, кого упомянул старик, и это был царь. К нему-то, единственно и непосредственно, относилось теперь любопытство Иосифа, и именно о нем спросили его уста, не подозревая, что сделали это не случайно и не произвольно, а по наследственному чекану.

— Как зовут царя? — повторил старик вопрос Иосифа. — Неб-ма-ра-Амун-хотпе-Ниммуриа, — сказал он нараспев, словно читая молитву во время священнодействия.

Иосиф обомлел от испуга. До сих пор он стоял, скрестив руки за спиной; теперь он быстро разнял их и приложил ладони к щекам.

— Это фараон! — воскликнул он.

Мог ли он этого не понять? Имя, которое молитвенно пропел старик, было известно во всем мире, вплоть до чужеземных народов, о которых Иосиф знал от Елиезера, вплоть до Таршиша и Киттима, вплоть до Офира и крайнего на востоке Элама. Мог ли всезнайка Иосиф остаться равнодушным к этому имени? Если даже иные части имени, произнесенного стариком минейцем, такие, как «Владыка Правды — Ра» или «Амун-доволен», и были непонятны Иосифу, то сирийское добавление «Ниммуриа», что значит «Он идет к своей судьбе», должно было показать ему, о ком идет речь. Царей и пастырей было на свете много, в каждом городе — свой, и Иосиф потому так спокойно спросил старика, кого он имеет в виду, что ожидал услышать в ответ имя начальника одной из многих приморских крепостей, какого-нибудь Зурата, Рибадди, Абдашарата или Азиру. Задавая свой вопрос, он отнюдь не вкладывал в имя царя такого величественного и высокого смысла, отнюдь не связывал с ним такого божественного великолепия, каким потрясало это, услышанное от старика. Начертанное в продолговатом стоячем кольце, осененное соколиными крыльями, простертыми над ним самим солнцем, и

находясь в конце славного, теряющегося в вечности ряда имен, обведенных такими же продолговатыми кольцами, имен, каждое из которых говорило о победоносных походах, далеко продвинутых пограничных камнях и роскошных, всемирно известных постройках, оно унаследовало такой священный блеск, такое величие и так требовало поклонения, что взволнованность Иосифа нетрудно было понять. Не испытывал ли он, однако, еще каких-то чувств, кроме благоговейного страха, который охватил бы на его месте, наверно, каждого? Да, испытывал, и это были упрямые чувства, они шли из той же дали, что и его вопрос о высшем владыке, и он невольно сразу же попытался исправить ими свои первые ощущения: насмешливое презрение к бесстыдно земному величию, тайный протест во имя бога против всего Нимродова царства — вот что побудило его отнять руки от щек и повторить свой возглас гораздо спокойнее, уже как простое утверждение:

— Это фараон.

— Ну, конечно, — сказал старик. — Это — Великий Дом, благодаря которому велик дом, куда я тебя хочу отвести и где я предложу тебя своему другу — управляющему, чтобы ты попытал там счастья.

— Значит, ты хочешь отвести меня в Мицраим, в самый низ, в Страну Ила? — спросил Иосиф, чувствуя, как у него колотится сердце.

Старик покачал головой, склонив ее к плечу.

— Ты опять за свое, — сказал он. — Я уже слышал от сына Кедмы, что тебе втемяшилась в голову дурацкая мысль, будто мы тебя куда-то ведем, меж тем как мы просто-напросто следуем своей дорогой, как следовали бы ею и без тебя, а тебе суждено оказаться там, куда приведет нас наша дорога, только и всего. Я еду в Египет не для того, чтобы доставить тебя туда, а потому, что хочу там выгодно обделать свои дела. Я накоплю там вещей, которые там превосходно изготавливают и которые пользуются спросом в других местах: муравленых воротников, походных стульев с красивыми ножками, подголовников, игральных шашек и складчатых набедренных повязок из полотна. Это я закуплю в мастерских и на рынках по самой дешевой цене, какую только назначат мне тамошние боги, и повезу обратно через горы Кенана, Ретену и Амора в страну Митанни на реке Фрат и в страну царя Хаттусила, где ценят такие вещи и заплатят за них с великой охотой сколько потребую. Ты говоришь о «Стране Ила», словно это какая-то дрянная страна, не то замешанная, как птичье гнездо, на навозе, не то похожая на невычищенный хлев. А между тем страна, куда я опять держу путь и где, возможно, оставлю тебя, — это благороднейшая страна земного круга, страна таких изысканных обычаев, что там ты покажешься себе диким быком, перед которым играют на лютне. Несчастный аму, ты вытаращишь глаза от удивления, когда увидишь страну на берегах божественного потока, страну, которая называется «страны», потому что она двойная и дважды увенчана, и где Мемпи, дом Птаха, — это весы стран. Там высятся перед пустыней ряды неслыханных взгорий и лежит лев с покрывалом на голове, Гор-эм-ахет, первенец творенья, тайна времен, у груди которого почил царь, дитя Тота, чья глава была вознесена во сне высочайшим обетованием. У тебя глаза на лоб вылезут, когда ты увидишь все чудеса, всю роскошь и тонкость этой страны, именуемой Кеме, потому что земли ее черны от плодородия, а не красны, как несчастные земли пустыни. А благодаря чему они плодородны? Благодаря божественному потоку, и только по его милости. Ибо дождь и мужскую влагу эта страна получает не от неба, а от земли, когда бог Хапи, могучий бык, покрывает ее и целое время года не выпускает из своих благодатных объятий, оставляя ей черноту своей силы, чтобы можно было сеять и собирать стократные урожаи. А ты говоришь об этой стране так, словно это помойная яма.

Иосиф опустил голову. Он узнал, что находится на пути в царство мертвых, ибо эта привычка — считать Египет преисподней, а его население жителями Шеола — родилась вместе с Иосифом, и ничего другого, особенно от Иакова, он о Египте не слышал. Итак, его продадут в печальное подземное царство, вернее, братья уже продали его туда, и колодец был входом в ту дольную область, вполне ей соответствовавшим. Это было очень печально, тут кстати

было проливать слезы. Однако радость, которую доставило Иосифу такое соответствие, уравновесила собою его печаль; ведь он почитал себя мертвым, а кровь ягненка своей настоящей кровью, и слова старика подтверждали теперь этот взгляд самым убедительным образом. Иосиф поневоле усмехнулся, хотя в пору было плакать о себе и об Иакове. Подумать только, его несет именно туда, в страну, внушавшую отцу великое отвращение, на родину Агари, в дурацкую землю Египетскую! Он вспомнил резко пристрастные описания, которыми отец пытался настроить против этой страны и его, Иосифа. Не имея о ней подлинного представления, Иаков видел в ней только такие ненавистные и отвратительные начала, как культ прошлого, заигрывание со смертью, нечувствительность к греху. Иосиф всегда был склонен относиться к этой картине с недоверием и питал к Египту то сочувственное любопытство, что, как правило, и бывает следствием отцовских нравоучений. Если бы только отец, степенный, добрый и всегда верный своим взглядам отец, знал, что его агнец направляется в Египет, в страну обнаженного Хама, как Иаков ее величал, потому что она называлась «Кеме» из-за черной плодородной земли, которую даровал ей ее бог! Такая путаница понятий ясно свидетельствовала о благочестивой предвзятости его суждений, — подумал Иосиф и усмехнулся.

Но его сыновняя близость к Иакову сказалась не только в таком неповиновении. Конечно, в этом путешествии в совершенно запретные края были и плутовская радость, и мальчишеское ликованье, и игривый интерес к ужасным нравам подземного царства. Однако ко всему этому примешивалась еще и некая молчаливая, кровная убежденность, которой бы так порадовался отец, — решимость потомка Аврама не обольщаться чудесами, расписанными измаильянином, и не очень-то восторгаться ожидающей его, Иосифа, пышной цивилизацией. Духовная, издали идущая насмешливость заставила его ухмыльнуться по поводу изысканного быта, который якобы его ждет, и заранее избавила его от ненужной робости, являющейся следствием чрезмерного восхищения.

— Находится ли дом, куда ты меня хочешь доставить, — спросил он, подняв глаза, — в доме Птаха, в Мемпи?

— О нет, — ответил старик, — нам придется подняться дальше, то есть я хочу сказать — спуститься дальше, вверх по реке из Страны Змеи в Страну Коршуна. Вопрос твой нелеп, ибо раз я сказал тебе, что хозяин дома зовется носителем опахала одесную царя, то, значит, он должен быть там же, где его величество добрый бог, и этот дом находится в городе Амуна, в Уазе.

Многое узнал Иосиф в тот вечер на берегу моря, много оказалось у него пищи для размышлений! Значит, его везут в самый Но, Но-Амун, всемирно известный город городов, о котором ведут беседы отдаленнейшие народы, утверждая, что в этом городе сто ворот и больше ста тысяч жителей. А вдруг Иосиф все-таки восхитится, увидев столицу мира? Он понимал, что должен заранее укрепиться в своем решении не предаваться обескураживающим восторгам. Он довольно равнодушно выпятил губы, но как ни старался он, радея о боге, принять невозмутимый вид, ему не вполне удалось подавить смущение. Как-никак он побаивался Но, и главной причиной тому было имя Амуна, могущественное имя, способное испугать кого угодно, властно звучащее и там, где этот бог был чужой. Известие, что ему предстоит вступить в подведомственные этому богу пределы, не на шутку встревожило Иосифа. Амун, как Иосиф знал, был владыкой Египта, державным богом стран, царем богов. Он был величайшим богом — правда, только в глазах сыновей Египта. Но ведь среди сыновей Египта и предстояло жить Иосифу. Поэтому ему показалось полезным заговорить об Амуне, примериться к нему словом, и он сказал:

— Владыка Уазе, пребывающий в своем капище и на своем струге, — это, вероятно, один из самых величественных богов на свете?

— Один из самых величественных? — возмутился старик. — Ты говоришь, право, не лучше, чем соображаешь. Известно ли тебе, сколько хлебов, пирогов, пива, гусей и вина выставляет ему фараон? Это, да будет тебе известно, бог, не имеющий себе равных. У меня

бы просто сил не хватило перечесть все богатства, движимые и недвижимые, которые он считает своей собственностью, а число его писцов, в чьем ведении все это и находится, равно числу звезд.

— Чудеса! — сказал Иосиф. — Судя по твоим словам, это очень богатый бог. Но спросил я тебя, строго говоря, не о его богатстве, а о его величии.

— Склонись перед ним, — посоветовал голос старика, — поскольку тебе предстоит жить в Египте, и не очень-то докапывайся до разницы между богатством и величием, как будто это не одно и то же, Амуну принадлежат все суда на морях и на реках, да и сами моря и реки. Он и море и суша. Он также и Тор-нутер, то есть Кедровые горы, где растет лес для его струга, называющегося «Могучее чело Амуна». В образе фараона он входит к Великой Супруге и зачинает во дворце Гора. Он — баал каждым своим членом, это тебе понятно? Он солнце, и имя ему — Амун-Ра, — это удовлетворяет твоим условиям величия или, может быть, не совсем?

— Я слышал, однако, — сказал Иосиф, — будто в темноте самой задней палаты он делается бараном?

— Слышал, слышал... Ты говоришь в точности так же, как соображаешь, ничуть не лучше. Амун — овн, подобно тому как Бастет в Стране Устий — кошка, а Великий Писец в Шмуне — то ибис, то обезьяна. Ибо они священны в своих животных, а животные — в них. Тебе придется многому научиться, если ты хочешь жить в этой стране и существовать в ней хотя бы на правах последнего из ее молодых рабов. Как ты увидишь бога, ежели не в животном? Существует триединство бога, человека и животного. При совокуплении божественного и животного начал получается человек, что видно на примере фараона, когда он на празднике, по старинному обычаю, нацепляет на себя хвост. А если животное совокупится с человеком, получится бог, и только в таком сочетании и можно увидеть и понять божественное начало. Поэтому Гекет, Великую Повитуху, ты видишь на стенах с головой жабы, а Анупа, Открывателя Дорог, с собачьей головой. В животном, в свою очередь, соединены бог и человек, и животное, будучи священным местом их соприкосновения и союза, по природе своей празднично и достопочтенно. Недаром среди праздников большим почетом пользуется тот, на котором в городе Джедете козел совокупляется с девственницей.

— Об этом я слышал, — сказал Иосиф. — Но одобряет ли господин мой такой обычай?

— Я? — спросил ма'онит. — Оставь старика в покое. Мы — странствующие купцы, посредники, наш дом везде и нигде, мы живем по правилу: «Чей хлеб едим, того и богу кадим». Запомни это мирское правило, тебе оно тоже пригодится.

— В Египте и в доме носителя опахала, — отвечал Иосиф, — я и слова не пророню против праздника покрытия. Но, говоря между нами, в слове «достопочтенный» есть некий подвох, некая западня. Ведь старое люди часто считают достопочтенным только из-за его старости, отождествляя, таким образом, разные вещи. Но достопочтенность старого иной раз обманчива, старое — это подчас просто-напросто пережиток давних времен, и тогда оно только кажется достопочтенным, будучи на самом деле мерзостью перед господом и гнусностью. Обряд, совершаемый над девушками в Джедете, представляется мне, по правде говоря, довольно гнусным.

— Как же это определишь? И вообще до чего мы дойдем, если каждый молокосос объявит себя средоточием мира и станет судить, что в мире священо, а что просто старо, что еще достопочтенно и что уже мерзко? Так, пожалуй, скоро и не осталось бы ничего святого! Не думаю, что ты будешь держать язык за зубами, скрывая свои неблагочестивые мысли. Ведь таким мыслям, как у тебя, свойственно слетать с языка — уж я это знаю.

— Находясь близ тебя, господин мой, легко научиться отождествлять достопочтенность и старость.

— Тра-та-та-та! Не рассыпайся передо мной мелким бесом, ибо я всего-навсего странствующий купец. Лучше намотай на ус мои советы, чтобы не попасть впросак у сынов Египта

и не погубить себя своей болтовней. Ты явно не умеешь держать про себя свои мысли; так позаботься же, чтобы и самые мысли твои были правильны, а не только речи. Нет ничего благочестивее, чем единство бога, человека и животного в жертве. Размышляя о жертве, прими в соображение эти три начала, и они взаимно уничтожатся в ней, ибо в жертве присутствуют все три, и каждое становится на место другого. Вот почему в темноте самой задней палаты Амун оказывается жертвенным овном.

— Не пойму, что со мной творится, господин мой и покупатель, достопочтенный купец. Покуда я слушал твои наставления, совсем стемнело, и звезды сочатся рассеянным светом, похожим на алмазную пыль. Я должен протереть глаза, — прости, что я это делаю, — ибо передо мной все расплывается, и мне, хотя ты и сидишь вот здесь, на циновке, кажется, что у тебя голова квакши, да и вся твоя дородная осанистость совсем как у жабы!

— Теперь ты видишь, что не умеешь держать про себя своих мыслей, как бы предосудительны они ни были? С чего бы это ты вдруг пожелал принять меня за жабу?

— Мои глаза не спрашивают, желаю я этого или нет. При свете звезд ты показался мне поразительно похожим на сидящую жабу. Ибо ты был Гекет, Великой Повитухой, когда меня родил колодец, а ты принял меня из чрева матери.

— Ну и болтун же ты! Тебе помогла появиться на свет отнюдь не великая повитуха. Лягушка Гекет зовется великой потому, что она помогала при втором рождении и воскресении Растерзанного, когда ему, как верят сыны Египта, достался в удел низ, а Гору — верх, и принесенный в жертву Усир стал первым правителем Запада, царем и судьей мертвых.

— Это мне нравится. Уж если уходишь на Запад, то надо, по крайней мере, стать первым среди тамошних жителей. Ответь мне, однако, господин мой: неужели принесенный в жертву Усир столь велик в глазах сыновей Кеме, что Гекет стала Великой Лягушкой, потому что была родовспомогательницей его воскресения?

— Он необычайно велик.

— Более велик, чем Амун?

— Амун велик державностью, его слава устрашает чужеземные народы, и они валят для него свои кедры. Усир же. Растерзанный, велик любовью народа, всего народа от Джанета в устьях до острова слонов Иаба. Нет ни одного человека, начиная от чахоточного раба, таскающего тяжести среди болот и живущего миллионами жизней, и кончая фараоном, который живет в одиночестве одной-единственной жизнью и молится самому себе в своем храме, — так вот, нет никого, кто не знал бы его, не любил и не хотел бы, будь это только возможно, найти свою могилу в Аботе, у могилы Растерзанного. Но хоть это и невозможно, они все любят его от души и твердо надеются, когда настанет их час, стать равными с ним и обрести вечную жизнь.

— Стать как бог?

— Стать как бог и равными ему, то есть слиться с ним полностью. Умерший делается Усиром и получает имя Усир.

— Подумать только! Пощади меня, однако, господин мой, и, поучая меня, помоги моему бедному разуму, как ты помог мне выйти из лона колодца! Не так-то просто понять то, что ты рассказываешь мне здесь, среди ночи, возле уснувшего моря, о взглядах сынов Египта. Верно ли я понял, что, по их убеждению, смерть все видоизменяет и мертвец становится богом с бородой бога?

— Да, таково твердое убеждение всех жителей стран, от Зо'ана до Элефантины, они потому любят его так горячо и так дружно, что добыли его в долгой борьбе.

— Они завоевали это убеждение в тяжелой борьбе и терпели ради него до рассвета?

— Они добились, чтобы оно утвердилось. Ведь на первых порах один только фараон, один только Гор во дворце, приходил после смерти к Усири и, слившись с ним воедино, уподоблялся богу и обретал вечную жизнь. Но все эти чахоточные рабы, таскавшие тяжелые статуи, все эти кирпичники, горшечники, пахари, рудокопы не сидели сложа руки, а боролись

до тех пор, пока не утвердилось и не узаконилось убеждение, что и они, когда наступит их час, сделаются Усиром, будут называться Усир Хнемхотпе, Усир Рехмера и обретут вечную жизнь после смерти.

— Мне опять нравятся твои слова. Ты бранил меня за мое убеждение, что у каждого земного существа есть свой мир, средоточием которого оно и является. Но мне все-таки кажется, что сыны Египта разделяли это мнение, поскольку каждый пожелал стать после смерти Усиром, как на первых порах один фараон, и добились, чтобы оно утвердилось.

— Нет, глупость глупостью и осталась. Ведь у них средоточие мира — это не земное существо, не Хнемхотпе или Рехмера, а твердая надежда и вера, единая у всех, кто живет у Потока, будь то в верховье или в низовье, от устьев и до шестого порога, вера в Усира и его воскресение. Да будет тебе известно, что этот величайший бог умирал и воскресал не один раз; в равномерном чередовании времен он умирает и воскресает для сынов Кеме снова и снова; он спускается в преисподнюю, а затем опять вырывается наверх, ниспосылая стране свою благодать, Хапи, могучий бык, священный поток. Если сосчитать дни зимы, когда поток этот мал, а земля суха, то их окажется семьдесят два, ровно столько, сколько было у злобного осла Сета сподвижников, составивших заговор и заключивших царя в ковчег. Но в назначенный час Поток выходит из преисподней, он растет, набухает, разливается, множится, владыка хлеба, родоначальник всех благ, зачинатель всего живого, носящий имя «Кормилец страны». Ему приносят в жертву быков, из чего и видно, что бог и жертва едины; ведь на земле и в своем доме он сам предстает сыновьям Египта быком, черным быком Хапи со знаком луны на боку. А когда он умрет, его для сохранности начиняют снадобьями и укутают пеленами, и он получит имя Усир-Хапи.

— Скажи на милость! — воскликнул Иосиф. — Значит, он, так же как Хнемхотпе и Рехмера, добился посмертного превращения в Усира?

— Ты что, насмешничаешь? — спросил старик. — Я плохо вижу тебя в мерцающем свете ночи, но на слух мне сдается, что ты насмешничаешь. Смотри же, не насмешничай в стране, куда я тебя, так и быть, отвезу, коль скоро уж я все равно туда еду, не глумись над убеждениями ее сыновей, и не воображай, будто ты со своим Аденом умнее всех. Научись уважать тамошние обычаи, если не хочешь попасть впросак. Я дал тебе кое-какие советы и указания, поболтав с тобой просто рассеяния ради, чтобы скоротать вечер, ибо я уже стар и сон зачастую бежит от меня. Никаких других причин говорить с тобой у меня не было. Теперь можешь попрощаться со мной, чтобы я попытался заснуть. Однако будь внимателен, выбирая обороты речи!

— Если приказано, то считай: сделано, — ответил Иосиф. — Но неужели же я позволил бы себе насмешничать, слушая любезные наставления моего господина, который сегодня вечером многому меня научил, чтобы я не попал впросак в земле Египетской? Он посвятил этого провинившегося негодяя в такие вещи, какие мне, неотесанному чурбану, никогда и не снились, — настолько они новы и не общепонятны. Я не преминул бы тебя отблагодарить, если бы знал — как. Но поскольку я этого не знаю, я еще сегодня сделаю для тебя, моего благодетеля, то, чего не хотел делать, и отвечу, на вопрос, от которого я уклонился, когда ты задал его. Я назову тебе свое имя.

— Назовешь свое имя? — спросил старик. — Сделай это, а лучше, пожалуй, не делай этого; я ничего у тебя не допытывался, потому что я стар и осторожен, и мне лучше вовсе не знать твоих обстоятельств, чтобы не запутаться в них ненароком и не оказаться виновным из-за своего знания в неправом деле.

— Не бойся, — отвечал Иосиф. — Такая опасность тебе не грозит. Ведь должен ты хоть как-то именовать раба, передавая его этому благословенному дому в Амуновом городе.

— Ну, так как же тебя зовут?

— Узарсиф, — ответил Иосиф.

Старик промолчал. Хотя разделяло их только то малое расстояние, какого требовала простейшая вежливость, они видели друг друга смутными тенями.

— Хорошо, Узарсиф, — сказал через некоторое время старик. — Ты назвал мне свое имя. А теперь ступай, ибо с восходом солнца мы тронемся дальше.

— Прощай, — сказал в темноте Иосиф. — Пусть ночь ласково убаюкает тебя в своих объятиях и пусть голова твоя почиет у нее на груди, как некогда твоя детская головка у материнского сердца!

СОБЛАЗН

После того как Иосиф, сказав измаильтянину свое посмертное имя, открыл ему, как он хочет называться в земле Египетской, эти люди ехали вниз сначала еще несколько, потом еще много, а потом и совсем много дней, ехали с неопишуемой невозмутимостью и полным равнодушием ко времени, которое — знали они — раньше или позже, если ему хоть как-то в этом содействовать, одолеет пространство, и особенно успешно при условии, что о нем, о времени, вообще не будут заботиться, предоставляя ему незаметно складывать пройденные отрезки пути, ничтожные по отдельности, и составлять из них большие расстояния, и продолжая жить как живется, почти независимо от того, куда ведет дорога.

Дорога их определялась морем, которое, справа от их песчаной тропы, вечно лежало под небом, спускавшимся в священную даль, то спокойное в своей серебрящейся синеве, то накатывая на привычный берег пенящиеся, могучие, как быки, волны. Туда и садилось солнце, глаз божий, изменчиво-неизменное, иногда в одиночестве чистоты, раскаленным шаром, проводя к берегу и к молящимся путникам сверкающую полосу по бескрайней воде, а иногда в торжественной пышности золотых и розовых красок, с чудесной наглядностью укреплявшей душу в небесных ее упованиях, или же в сумрачном пламени туч, тягостно свидетельствовавшим о грозном унынии божества. Зато восходило солнце не на виду, а за теми холмами и возвышавшимися над ними горами, что сокращали обзор с другой стороны, слева от путников; и туда, в глубь страны, где стелились возделанные поля, где волнистая местность была изрыта колодцами, а по ступенчатым склонам раскинулись сады, — туда тоже, в сторону от моря и локтей на полсотни выше его зеркала, они сворачивали не раз, держа путь между деревень, плативших оброк городам-крепостям, которые были объединены союзом князей — а главой этого союза была Газа, Хазати, могучая крепость на юге.

Они лежали на вершинах холмов, белые, опоясанные стенами и осененные пальмами, оплот и прибежище сельских жителей, крепости сарним, и так же, как на деревенских околицах, мидианиты устраивали торжища у ворот этих богатых людьми и храмами городов, предлагая жителям Экрона, Иабне, Асдода привезенные из-за Иордана товары. Иосиф исполнял в таких случаях обязанности писца. Он сидел и записывал кисточкой каждую сделку, которую удавалось заключить с неуступчивыми сынами Дагона, рыбаками, лодочниками, ремесленниками и княжескими наемными воинами в медных поножах, — Узарсиф, грамотный молодой раб, старающийся угодить своему господину. С каждым днем сердце этого раба тревожилось все сильнее и сильнее, легко догадаться — почему. Не таким он был человеком, чтобы отдаваться потоку впечатлений слепо, бездумно, не уяснив, где он находится и как расположено это место относительно других мест. Он знал, что ему предстоит со многими остановками и неторопливо-мешкотными привалами, по другой стране, несколько западнее, снова, но уже в обратном направлении, в сторону родины, проехать такой же путь, какой он проделал, едуци к братьям верхом на несчастной Хульде, и что скоро, проехав этот путь вторично, он окажется в точке, отстоящей от отцовского очага не больше, чем на половину дороги к братьям. Случиться же это должно было, по-видимому, в Асдоде, доме рыбообразного бога Дагона, здесь почитаемого, в бойком поселке в двух часах езды от моря и гавани, к которой вела шумная от непрестанных криков дорога, забитая людьми, повозками, волами и лошадьми; Иосиф знал, что по мере приближения к Газе линия берега все больше и больше отклоняется к западу, а

следовательно, расстояние до нагорья внутренней, восточной части страны будет с каждым днем возрастать, не говоря уж о том, что скоро они начнут удаляться от Хевронской возвышенности на юг.

Вот почему сердце его было полно такого страха, таких искушений в этих местах и позднее, когда путники исподволь приближались к крепости Аскалуне. Он знал, что это за места: они ехали по Сефеле, низменности, тянувшейся вдоль взморья; а цепи гор, видневшихся на востоке, куда задумчиво глядели сейчас пытливые, такие же, как у Рахили, глаза, составляли вторую, более высокую, изрезанную долинами ступень страны филистимлян, и все круче поднималась к востоку земля, становясь все грубей, все суровей, расстилаясь глубинными пажитями, которых избегала пальма приморских равнин, и дыбась душистыми высокогорными выгонами, где паслись овцы, овцы Иакова... Ах, как все складывалось! Там, наверху, сидел Иаков, отчаявшийся, изошедший слезами, одержимый ужасной скорбью о боге, с кровавым знаком смерти Иосифа в бедных руках, — а здесь, внизу, у его ног, от одного города филистимлян к другому, мимо отцовского дома, молча, как ни в чем не бывало, с чужими людьми, в Шеол, в служилище смерти, спускался Иосиф! Как тут напрашивалась мысль о побеге! Как томило, как пронизывало его это желание, кружа ему голову половинчатыми, а в буйном воображении уже и выполненными решениями — особенно вечерами, после того, как он прощался на ночь с купившим его стариком; а делал он это ежевечерне, ему было уже вменено в обязанность в конце каждого дня желать старому измаильтянину спокойной ночи — причем в самых изысканных оборотах речи и каждый раз новых, ибо иначе старик заявлял, что это он уже слышал. И особенно в темноте, когда они устраивали привал у какого-нибудь филистимского города или деревни и спутников Иосифа сковывал сон, его так и тянуло, так и влекло: сначала к этим вот ночным склонам, затем по лесистым ущельям и кручам, всего каких-нибудь восемь переходов, не больше, а уж дорогу-то, карабкаясь, Иосиф найдет — и выше в горы, в объятия Иакова, чтобы, сказав «вот я», осушить слезы отца и стать снова его любимцем.

Но исполнил ли он свое желанье и убежал ли? Да нет, ведь известно, что этого он не сделал. Призадумавшись, иной раз уже в самый последний миг, он все-таки преодолевал соблазн, отказывался от своего намерения и оставался на месте. Это бывало, кстати сказать, и всего удобнее, ибо бегство на свой страх сулило немало опасностей: он мог умереть с голоду, попасть в руки к разбойникам и убийцам, оказаться в когтях у диких зверей. И все же мы умили бы его самоотречение, объяснив таковое лишь общим правилом, что бездействие, в силу свойственной людям косности, легко одерживает в их решениях победу над действием. Бывали случаи, когда Иосиф отказывался от физических действий, куда более приятных, чем скитания по горам. Нет, отказ, которым теперь, как и в том случае, что мы предусмотрительно имеем в виду, закончилось столь жгучее искушение, коренился в совершенно особом, свойственном именно Иосифу ходе мыслей, выразить который можно примерно так: «Ужели совершу я такую глупость и согрешу перед богом?» Иными словами, за этим отказом крылось сознание глупости и греховности мысли о бегстве, твердая убежденность, что он, Иосиф, совершил бы непростительную ошибку, если бы нарушил замыслы бога своим неповиновением. Иосиф был уверен, что его не напрасно отторгли от дома, что у бога, который вырвал его из старой и теперь уводит в новую жизнь, есть на него, Иосифа, какие-то виды; и что проявить тут строптивость, уклониться от предначертанного, значило бы совершить грех и великую ошибку, а это, в глазах Иосифа, было одно и то же. Представление о грехе как об ошибке и роковом промахе, как о непростительном неповиновении мудрости божьей было в самой природе Иосифа, и опыт необычайно утвердил его в таком взгляде на грех. Он совершил достаточно много ошибок — в яме он понял это. Но поскольку из ямы его вывели и теперь, явно в согласии с неким замыслом, уводили все дальше и дальше, то, значит, и ошибки, совершенные им дотол, тоже входили в этот замысел, а значит, они тоже целесообразны и при всей их слепоте наменены богом. Дальнейшие же ошибки, как, например, бегство домой, будут, несомненно, от лукавого; они будут буквально означать, что он, Иосиф, хочет быть умнее самого бога, а такое желание, по его разумному суждению, было просто-напросто верхом глупости.

Стать снова любимцем отца? Нет, по-прежнему быть им, — но в новом, издавна желанном, издавна возжеленном смысле. Теперь, после ямы, жить надо было под знаком новой, более высокой избранности и предпочтенности, в горьком венце отторгнутости, хранимом для хранимых и отбереженном для отбереженных. Изорванный венчик, украшение жертвы — он, Иосиф, нес его теперь на себе по-новому — уже не в предвосхищающей игре, а воистину, то есть в душе, — так неужели же он откажется от него из-за дурацкого зова плоти? Нет, Иосиф вовсе не был так пошл, настолько лишен мудрости божьей, а в последний миг настолько глуп, чтобы пренебречь преимуществами своего положения. Знал он праздник по всем его частям или не знал? Был он, Иосиф, олицетворением праздника или не был? Должен ли он был с венком в волосах убежать с праздника, чтобы опять пасти скот со своими братьями? Соблазн был силен только для его плоти, но никак не для души. Иосиф преодолел его. Он поехал со своими хозяевами дальше, сначала мимо Иакова, потом прочь от него — Узарсиф, исчадь болота, Иосиф-эм-хеб, что по-египетски значит: «Иосиф на празднике».

ВСТРЕЧА

Семнадцать дней? Нет, это путешествие продолжалось семь раз по семнадцати дней — имея в виду не точный счет, а просто очень большой срок; в конце концов было уже невозможно различить, сколько времени уходило из-за медлительности мидианитов и сколько — на истинное преодоление пространства. Они ехали по густо населенной, плодородной земле, украшенной масличными рощами, осененной пальмами, смоковницами, ореховыми деревьями, засеянной хлебом, орошаемой водой из глубоких колодцев, у которых толпились волы и верблюды. Небольшие крепости здешних царей находились подчас в открытом поле; они назывались стоянками и были укреплены стенами и башнями, где на зубцах стояли лучники, а из ворот выезжали на своих фыркающих упряжках возничие боевых колесниц; и даже с воинами царей измаильтяне без робости вступали в торговые переговоры. Селения, усадьбы, деревни при мигдалах так и манили задержаться, и путники, без долгих раздумий, задерживались на неделю-другую. Пока они добрались туда, где низменная прибрежная полоса перешла в крутую скалистую стену, на вершине которой лежал Аскалун, лето уже почти кончилось.

Священным и сильным городом был Аскалун. Камни его защитных стен, полукругом, так что они охватывали гавань, спускавшихся к морю, были, казалось, взгромождены великанами, его четырехгранный храм Дагона имел множество дворов, очень хороши были его роща и кишевший рыбой пруд его рощи, а его храм Астарот слыл более древним, чем любое другое святилище этой баалат. В песке под пальмами здесь сами собой росли небольшие душистые луковицы, дар Деркето, владычицы Аскалуна. Их можно было продать в каком-нибудь другом месте. Старик велел набрать луку в мешочки, а на мешочках египетскими буквами написал; «Отборный аскалунский лук».

Оттуда, через свилеватые масличные леса, в тени которых паслись многочисленные стада, они добрались до Газы, или Хазати, продвинувшись теперь уже и в самом деле весьма далеко. Здесь они были уже почти в пределах Египта, ибо всякий раз, когда фараон, выступив снизу, с колесницами и пехотой, пробивался через горемычные страны Захи, Амор и Ретену к самому концу мира, чтобы на стенах храмов можно было высечь исполинские изображения, на которых левой рукой он держит за вихры головы пяти варваров сразу, а правой заносит над своими охваченными священным трепетом жертвами палицу, — Газа всегда бывала исходной точкой этого предприятия. Да и в неблагоприятных закоулках Газы можно было увидеть немало египтян. Иосиф внимательно их разглядывал. Они были широки в плечах, ходили в белом и задирали нос. И на побережье, и дальше от моря, в сторону Беэршивы, вино здесь было превосходно и очень дешево. Старик выменял столько кувшинов этого вина, что груза хватило на двух верблюдов, и написал на кувшинах: «Восьмижды доброе вино из Хазати».

Но как ни велик был путь, ими проделанный, прежде чем они достигли крепостенного города Газы — впереди их ждала самая трудная часть путешествия, по сравнению с которой долгое передвижение по стране филистимлян было просто забавой и детской игрой; ибо южнее Газы, где к потоку Египта спускалась песчаная прибрежная дорога, мир — измаильтяне, не раз бывавшие здесь, знали это — становился предельно негостеприимен, и перед плодородными равнинами рукавов Нила открывалось безотрадное подземное царство, ужасная страна, девятидневная мука, проклятая, опасная, омерзительная пустыня, где нельзя было мешкать, где двигаться нужно было как можно скорее, чтобы как можно скорее оставить эти места позади, — так что Газа была последним привалом перед Мицраимом. Поэтому старик, хозяин Иосифа, не торопился в путь, говоря, что торопиться придется и так еще слишком долго, а задержался в Газе на много дней, тем более что к путешествию через пустыню надлежало как следует подготовиться: запастись водой, подыскать проводника, да, собственно, и обзавестись оружием на случай встречи со странствующими разбойниками и недобрыми жителями песков, но от оружия наш старик решительно отказался, — во-первых, потому, что, по мудрости своей, считал его совершенно бесполезным; либо, сказал он, ты счастливо уйдешь от разбойников, — и тогда оружие не нужно, — либо они, на беду, настигнут тебя, а тогда все равно всех не перебеешь и уж кто-нибудь да останется, чтобы до нитки тебя обобрать. Купец, сказал он, должен полагаться на свое счастье, а не на копья и луки: это не его дело.

А во-вторых, проводник, которого он нанял на площади у ворот, там, где подобные люди и предлагали свои услуги путникам, вполне успокоил его насчет бродяг, заверив старика, что при таком вожатом, как он, никакого оружия вообще не нужно, ибо он, безупречный проводник, укажет самый безопасный путь через эти страшные земли, а поэтому было бы просто смешно, заручившись его помощью, тащить с собой еще и оружие. Как поразился Иосиф, как испугался он и вместе обрадовался, когда, не веря своим глазам, узнал в наемнике, присоединившемся к ним в утро отъезда и сразу возглавившем их маленький караван, того неприятно-услужливого юношу, что еще так недавно и уже так давно вел его из Шекема в Дофан.

Это был, вне всякого сомнения, он самый, хотя балахон, в который он был одет, несколько изменял его наружность. Однако маленькая голова и раздутая шея, красный рот и округлый, как плод, подбородок, а особенно усталый взгляд и некая жеманность в осанке исключали возможность ошибки, и остолбеневшему Иосифу показалось даже, что проводник, быстро прикрыв один глаз, но не изменившись в лице, подмигнул ему, что было одновременно намеком на их знакомство и призывом к молчанию. Это очень успокоило Иосифа; знакомство с проводником открывало его прежнюю жизнь больше, чем он считал нужным открыть измаильтянам, а из такого подмигиванья можно было заключить, что тот понимает это.

Но все-таки Иосифу не терпелось перекинуться с ним словом-другим, и когда путники под пенью погонщиков и звон бубенца головного верблюда оставили позади зеленую землю и перед ними легла пустынная сушь, Иосиф попросил у старика, позади которого он ехал, разрешения еще раз на всякий случай узнать у вожатого, вполне ли тот уверен в себе.

— Ты боишься? — спросил купец.

— За всех, — ответил Иосиф. — Что же касается меня, то я впервые еду в этот проклятый край, и поэтому мне в пору проливать слезы.

— Ну, что ж, расспроси его.

Иосиф подъехал к головному верблюду и сказал проводнику:

— Я уста господина. Он хочет знать, уверен ли ты в этой дороге.

Юноша поглядел на него, как и прежде, через плечо, едва приоткрыв глаза.

— Ты мог бы успокоить его своим опытом, — ответил он.

— Тес! — шепнул Иосиф. — Как ты здесь оказался?

— А ты? — спросил проводник.

— А, ладно! Не говори измаильтянам, что я ехал к своим братьям! — прошептал Иосиф.

— Не беспокойся! — ответил юноша так же тихо, и на этом первый их разговор кончился.

Но когда, проехав день и другой, они углубились в пустыню, — солнце уже хмуро село за мертвые горы, и полчища туч, посредине серых, а по краям обогранных вечерней зарей, покрывали небо над желтой, как воск, песчаной равниной, сплошь в невысоких, поросших колочками барханах, — Иосифу опять представился случай поговорить с провожатым наедине. Часть путников расположилась у одного из таких наносных холмов, где из-за внезапного похолодания им пришлось развести костер из хвороста; и так как среди них был проводник, который обычно почти не общался ни с хозяевами, ни с рабами и, не вступая ни с кем в разговоры, только изо дня в день деловито советовался со стариком по поводу дороги, то Иосиф, покончив со своими обязанностями и пожелав господину блаженной дремоты, присоединился к этой компании и, сев рядом с вожатым, стал ждать, когда наконец односложная беседа заглохнет и путники начнут клевать носом. Дождавшись этого, он легонько толкнул своего соседа и сказал:

— Послушай, мне жаль, что я тогда не смог сдержать слово и, оставив тебя в беде, не вернулся к тебе.

Бросив на него через плечо усталый взгляд, проводник сразу же снова уставился на тлеющие угли.

— Ах, вот как, ты не смог? — отвечал он. — Ну, знаешь, такого бессовестного обманщика, как ты, я еще никогда не встречал. Я сиди себе и стереги осла до седьмой пятидесятницы, а он не возвращается, как обещал. Удивляюсь, что я вообще еще с тобой разговариваю, нет, в самом деле, я просто удивляюсь себе.

— Но ведь я же, ты слышишь, прошу извинения, — пробормотал Иосиф, — и я действительно не виноват, но ты этого не знаешь. Все было не так, как я думал, и вышло иначе, чем я ожидал. Я не мог вернуться к тебе при всем желании.

— Так я тебе и поверил. Глупости, пустые отговорки. Я мог бы ждать тебя до седьмой пятидесятницы...

— Но ведь ты же не ждал меня до седьмой пятидесятницы, а пошел своей дорогой, когда увидел, что я задерживаюсь. Да и не преувеличивай бремени, которое я против собственной воли на тебя возложил! Скажи мне лучше, что случилось с Хульдой после моего ухода?

— Хульда? Кто такая Хульда?

— «Кто такая» — сказано слишком громко, — отвечал Иосиф. — Я спрашиваю об ослице Хульде, на которой мы ехали, о моем белом верховом ослике из стойла отца.

— Ослик, ослик, белый верховой ослик, — передразнил его шепотом проводник. — Ты так нежно говоришь о своей собственности, что сразу видно все твое себялюбие. Такие-то люди потом и ведут себя бессовестно...

— Да нет же, — возразил Иосиф. — О Хульде я говорю нежно не ради себя, а ради нее, это было такое ласковое, такое осторожное животное. Отец мне доверил ее, и когда я вспоминаю ее курчавую челку, падавшую ей на глаза, у меня становится тепло на душе. Я не переставал думать о ней, расставшись с тобой, и гадал об ее участи даже в такие мгновения и в такие часы, которые были полны ужаса для меня самого. Да будет тебе известно, что, с тех пор как я добрался до Шекема, несчастья не покидают меня и уделом моим стало горькое злополучье.

— Не может быть, — сказал проводник, — мне просто не верится! Злополучье? Я в полном недоумении, мне кажется, что я ослышался. Ведь ты же ехал к своим братьям? Ведь ты же всегда улыбаешься людям, а люди тебе, потому что ты красив, как резные изображения, да и живется тебе легко?! Откуда же вдруг несчастья и горькое злополучье? Я никак этого не возьму в толк.

— Однако это так, — отвечал Иосиф. — Но, повторяю, несмотря ни на что, я ни на миг не переставал думать о бедной Хульде.

— Ну, что ж, — сказал проводник, — ну, что ж.

И, как прежде, кося, поворачивал глазами — быстро и странно.

— Ну, что ж, молодой раб Узарсиф, ты говоришь, а я слушаю. Вообще-то, пожалуй, не стоило бы вспоминать о каком-то осле при таких обстоятельствах, ибо что в нем проку теперь и что значит он по сравнению со всем остальным? Но я допускаю, что, тревожась об этой твари среди собственных бед, ты вел себя самым похвальным образом и такое поведение зачтется тебе.

— Но что же с ней случилось?

— С тварью-то? Гм, для человека моего пошиба это довольно-таки обидное занятие — сначала понапрасну стеречь какого-то осла, а потом еще отдавать отчет о невостребованном имуществе. Сам не знаю, как я дошел до этого. Но можешь быть спокоен. По последним моим впечатлениям, с бабкой ослицы дело обстояло отнюдь не так плохо, как нам сперва показалось со страху. По всей видимости, она была вывихнута, но не сломана, то есть именно по видимости она была сломана, а на самом-то деле всего лишь вывихнута, пойми меня верно. Покуда я ждал тебя, у меня было предостаточно времени, чтобы заняться ногой ослицы, а когда у меня наконец иссякло терпение, Хульда была уже в состоянии передвигаться, хотя преимущественно только на трех ногах. Я сам приехал на ней в Дофан и пристроил ее в одном доме, которому, к его и к своей выгоде, не раз уже оказывал всяческие услуги, в первом доме этого города, принадлежащем одному тамошнему землевладельцу, в доме, где ей будет не хуже, чем в стойле твоего отца, так называемого Израиля.

— Правда? — воскликнул Иосиф тихо и радостно. — Кто бы мог подумать! Значит, она встала на ноги и пошла, и ты пристроил ее, и ей теперь хорошо?

— Очень хорошо, — подтвердил вожатый. — Ей просто повезло, что я устроил ее в доме этого землевладельца, ей просто выпал счастливый жребий.

— Иными словами, — сказал Иосиф, — ты продал ее в Дофане. А выручка?

— Ты спрашиваешь о выручке?

— Да, поскольку ты что-то выручил.

— Я оплатил ею услуги, которые оказал тебе в качестве проводника и сторожа.

— Ах, вот как! Хорошо, не стану спрашивать, сколько ты выручил. Ну, а что стало со съестными припасами, навьюченными на Хульду?

— Неужели ты действительно думаешь об этой еде при теперешних обстоятельствах и полагаешь, что она хоть что-нибудь значит по сравнению со всем остальным?

— Не так уж много, но все-таки она там была.

— Ею я тоже возместил свои убытки.

— Ну, конечно, — сказал Иосиф, — ведь ты начал заблаговременно возмещать их уже у меня за спиной, — я имею в виду некую толику вяленых фруктов и луку. Но я не в обиде, возможно, что ты сделал это с самыми благочестивыми намерениями, а для меня важнее всего твои хорошие стороны. Ты поставил Хульду на ноги, и за это я действительно благодарен тебе, как благодарен и счастливому случаю, по милости которого я встретил тебя, чтобы об этом узнать.

— Вот и опять, кошель с ветром, мне приходится выводить тебя на дорогу, чтобы ты достиг своей цели, — сказал проводник. — А по сердцу, а к лицу ли мне такое занятие? — спрашиваю я себя иногда в душе, и спрашиваю напрасно, потому что больше никто меня об этом не спрашивает.

— Ты опять начинаешь брюзжать, — ответил Иосиф, — как тогда ночью, на пути в Дофан, когда ты сам вызвался помочь мне найти братьев, а делал это с неудовольствием? Но на сей раз мне незачем упрекать себя в том, что я тебя утруждаю, ибо ты подрядился провести через эту пустыню измаильтян, а уж я оказался здесь по чистой случайности.

— Тебя или измаильтян — все едино.

— Только не говори этого измаильтянам, ибо они пекутся о своей чести и им неприятно слышать, что в известной мере они тронулись в путь только затем, чтобы я достиг места, назначенного мне богом.

Проводник промолчал и погрузил подбородок в шейный платок. Не поворачивал ли он при этом глазами? Вполне возможно, но из-за темноты этого нельзя было определить с уверенностью.

— А кому, — сказал он не без усилия, — кому приятно услышать, что он только орудие? И особенно — услышать такое от какого-то молокососа? С твоей стороны, молодой раб Узарсиф, это просто наглость, но с другой стороны, как раз это я и имею в виду, утверждая, что все едино, и значит, вполне возможно, что измаильтяне тут сбоку припека, а стало быть, я вывожу на дорогу опять же тебя — ну, что ж, ничего не поделаешь! Мне за это время привелось сторожить и колодец, не говоря уж об осле.

— Колодец?

— Как только дело касалось колодца, мне всегда приходилось брать на себя такую службу. Это была самая пустая яма из всех, какие мне когда-либо попадались, более пустой она уже не могла быть, она была прямо-таки до смешного пуста, — посуди сам, какая у меня почетная и лестная роль. Возможно, впрочем, что в данном случае в пустоте-то и было все дело.

— А камень был отвален?

— Конечно, ведь я же сидел на нем и продолжал сидеть, хотя незнакомцу очень хотелось, чтобы я исчез.

— Какому незнакомцу?

— Да тому, который по глупости прокрался к колодцу. Это был громадный детина с огромными, как колонны храма, ножищами, но с тонким голосом при таком могучем теле.

— Рувим! — почти забыв об осторожности, воскликнул Иосиф.

— Называй его как хочешь, но это был глупый великан. Явиться с веревками и кафтаном к такому настораживающе пустому колодцу...

— Он хотел спасти меня! — догадался Иосиф.

— Возможно, — сказал проводник и как-то по-женски зевнул, жеманно прикрыв рукой рот и тихонько вздохнув. — Он тоже играл свою роль, — добавил он уже невнятно, ибо уткнул подбородок и рот в шейный платок, не скрывая, что его клонит ко сну. Потом Иосиф услышал несвязное, ворчливое бормотанье:

— Не придавать значения... Просто шутка и намек... Молокосос... Ожидание...

Никакого толку от него больше нельзя было добиться, и в течение всего дальнейшего путешествия через пустыню Иосиф больше не заговаривал с вожатым и сторожем.

КРЕПОСТЬ ЗЕЛ

Изо дня в день, вслед за бубенцом головного верблюда, от одной колодезной стоянки к другой, они терпеливо ехали через эту мерзость, и когда миновало наконец девять дней, порадоваться не могли своему счастью. Проводник не солгал, он знал свое дело. Он даже тогда не сбивался с пути и не отклонялся от дороги, когда они оказывались среди беспорядка гор, которые были, однако, не настоящими горами, а нагромождениями сероватых, причудливых по очертаниям обломков песчаника и не как камень, а как руда, черновато отсвечивающих глыб, высившихся в тусклом своем блеске наподобие железного города. И даже тогда, когда целыми днями никакой дороги в наземном смысле этого слова вообще не было, когда мир, превратившись в проклятое дно морское, охватывал их своей пугающей беспредельностью, до самой кромки поблекшего от жары неба полный мертвенно-фиолетового песка, и они ехали по барханам, гребни которых волнисто, с гнетущим изяществом, взморщил ветер, а понизу, над равниной, дрожало марево зноя, вот-вот, казалось, готовое вспыхнуть пляшущим пламенем, и в нем, клубясь, вихрился песок, так что путники закутывали головы при виде столь злобного ликования смерти, предпочитая продвигаться вперед вслепую, чтобы только поскорей миновать этот страшный край.

Часто у дороги лежали белые кости, — то клетка ребер, то мосол верблюда, а то и высохшие человеческие останки торчали в этой восковой пыли. Путники морщились и сохраняли надежду. Было два дня, когда между полуднем и вечером впереди них, словно бы указывая им дорогу, двигался огромный огненный столб. Хотя они знали природу этого явления, их отношение к нему определялось не только его естественной стороной. Они знали, что это пламенеет на солнце летучие вихри пыли. Однако они с почтительной многозначительностью говорили друг другу: «Впереди нас движется огненный столп». Если бы столь важное знаменье внезапно исчезло на их глазах, это было бы ужасно, ибо тогда, всего вероятнее, последовала бы пыльная буря абубу. Но столб не падал, а лишь причудливо менял свои очертанья и постепенно рассеялся на северо-восточном ветру. Этот ветер оставался им верен все девять дней; их счастье сковывало южный ветер, не давая ему осушить их мехи и отнять у них влагу жизни. А уж на девятый день они были вне всякой опасности и, уйдя от ужасов пустыни, нарадоваться не могли своему счастью; ибо оставшаяся часть дороги через пустыню была уже обжита Египтом, который, глубоко вторгшись в этот горемычный край, на каждом шагу защищал свои подступы бастионами, сторожевыми башнями у колодцев и земляными валами, где под началом египтян несли службу небольшие отряды нубийских лучников — эти носили в волосах страусовые перья — и секироносцев-ливийцев, неприветливо окликавших путников, чтобы допросить их, откуда и куда они едут.

Весело и умно беседуя с воинами, старик легко убеждал их в чистоте своих намерений и завоевывал их расположение маленькими подарками из своего товара — ножами, светильниками, аскалунским луком. Так и шли они от караула к караулу — хоть и не очень-то быстро, но бодро, ибо шутить с воинами было все-таки много приятнее, чем пробираться через железный город или по белесому дну морскому. Путешественники, однако, отлично знали, что эти стоянки — лишь предварительная проверка, что самое придирчивое испытание их порядочности и благонадежности им еще предстоит, — и что произойдет оно у той могучей и неминуемой заставы, которую старик называл «стеной властителей» и которая еще в древности была воздвигнута на перешейке между горькими озерами на тот случай, если дикари шосу и жители пыли погонят свой скот на фараоновы пастбища.

С возвышенности, где они устроили на закате привал, оглядывали путешественники эти грозные сооружения и приспособления боязливой и надменной обороны, через которые старику, благодаря его приветливой общительности, не раз уже, и при въезде и при выезде, удавалось пройти, так что он не испытывал перед ними особого страха и совершенно спокойно показывал своим спутникам, длинную зубчатую стену с башнями, что поднималась за каналами, соединявшими цепь больших и малых озер. Приблизительно посередине стены, если считать по длине, над водой был переброшен мост, но именно здесь, по обе стороны перехода, крепость была особенно внушительна: окруженные собственными каменными оградами, здесь грузно высились тяжелые двухъярусные укрепления, стены и выступы которых тянулись замысловато изломанной линией и, неприступности ради, завершались парапетами; со всех сторон здесь виднелись зубчатые четырехгранные башни, бастионы, ворота для вылазок, оборонительные площадки, а в узких частях строений решетчатые оконца. Это была крепость Зел, боязливо-могущественная защита изнеженной, счастливой и уязвимой земли Египетской от пустыни, разбоя и восточного горемычья, — старик называл эту твердыню по имени, он не боялся ее, но его слишком уж пространные рассуждения о том, что ему при его чистой совести должно быть, да и в самом деле будет очень легко пройти через эту преграду, создавали впечатление, что он подбадривает себя такими речами.

— Разве, — говорил он, — у меня нет письма от знакомого купца из Гилеада, что за Иорданом, к знакомому купцу в Джанете, или, иначе, Зо'ане, построенном на семь лет позже Хеврона? Нет, у меня есть такое письмо, и вы увидите, что оно отворит нам любую дверь». Ведь важно только предъявить какое-нибудь писание, чтобы дать людям Египта возможность опять что-нибудь написать и послать это куда-нибудь, где это опять-таки переписут учета

ради. Конечно, без письма тебе дорога закрыта; но если ты можешь предъявить им какое-нибудь удостоверение, будь то черепок или свиток, они сразу становятся другими людьми. Ибо хоть они и говорят, что высший их бог — это Амун или Обиталище Ока — Усир, я отлично знаю, что, в сущности, это писец Тот. Вот увидите, если только выйдет на стену Горваз, молодой писец и начальник, с которым я давно уже состою в дружеских отношениях, и мне удастся поговорить с ним, дело сразу уладится и мы пройдем. А уж когда мы окажемся по ту сторону крепости, никто больше не станет проверять нашей благонадежности, и мы свободно проедем через любую область, следуя против течения реки, куда захотим. Давайте раскинем здесь шатры и переночуем, ибо сегодня мой друг Горваз уже не выйдет на стену. А завтра, перед тем как испрашивать пропуск в крепости Зел, мы должны будем умыться водой и стряхнуть пыль пустыни с нашей одежды, а также очистить от нее уши и ногти, чтобы показаться им людьми, а не какими-то грязными зайцами; а еще, ребята, вам придется смазать волосы сладким маслом, подвести глаза и вообще навести лоск на себя, ибо нищета внушает им недоверие, а дикость приводит их в ужас.

И путники поступили так, как сказал старик, они переночевали там, где остановились, а утром навели красоту, поскольку это было возможно после столь долгого путешествия по такому ужасному краю. Во время этих приготовлений случилось, однако, нечто неожиданное: проводника, нанятого стариком в Газе и уверенно ведшего их через пустыню, не оказалось на месте, и никто не мог с определенностью сказать, когда он исчез — еще ночью или куда они прихорашивались перед тем, как появиться у крепости Зел. Когда проводника случайно хватились, его уже не было, хотя тот верблюд с бубенцом, на котором он ехал, остался, да и жалованья незнакомец у старика не получил.

Они не стали горевать, а только покачали головами, тем более что уже не нуждались в проводнике, который к тому же не был приветливым и словоохотливым спутником. Они подивились такому обороту дела, и лишь непонятность случившегося и тревога, какую всегда оставляет у нас не оплаченный нами долг, несколько уменьшали удовольствие старика по поводу этого неожиданного сокращения расходов. Старик, впрочем, полагал, что когда-нибудь проводник еще явится, чтобы получить причитающееся. Иосиф счел возможным, что тот тайком получил уже больше, чем причиталось, и предложил проверить сохранность товаров; но проверка показала, что Иосиф ошибся. Больше всех это удивило его самого: он поразился непоследовательности своего знакомого, его равнодушию к наживе, которое никак не вязалось с его явным корыстолюбием. За дружеские, добровольно оказанные услуги он взыскал непомерную плату, а честно заработанным пренебрег. Но об этих несообразностях нельзя было говорить с измаильтянами, а невысказанное быстро забывается. И потом, у всех было сейчас слишком много других забот, чтобы думать об этом капризном проводнике; ибо, вытерев уши и подведя глаза, они направились к озерам и к Стене Властителей и около полудня достигли предмостной крепости Зел.

Ах, вблизи она была еще страшнее, чем издали, эта двойная крепость, которую нельзя было взять никакой силой, благодаря ее бастионам, башням и вышкам; зубцы ее были усеяны воинами высоты в кольчугах и с меховыми щитами на спинах; они стояли, сжав кулаками копьё и опершись подбородком на кулаки, и поистине свысока глядели на приближавшихся. Позади них сновали начальники в коротких париках и белых рубахах. Эти не обращали на путников никакого внимания; но передние часовые подняли руки, приставили трубой, подпирая плечом копьё, ладони к губам и закричали:

— Назад! Кругом! Крепость Зел! Хода нет! Забросаем копьёми!

— Пускай кричат, — сказал старик. — Сохраняйте спокойствие. Все не так страшно, как можно подумать. Покажем, что мы пришли с мирными намереньями, медленно, но уверенно продолжая свой путь. Разве у меня нет письма от знакомого купца? Уж как-нибудь да пройдем.

И, показывая, что они пришли с мирными намереньями, путники продолжали двигаться прямо к зубчатой стене, к ее середине, где находились ворота, а за этими воротами — боль-

шие ворота из меди, что вели к мосту. Над каменными воротами, высеченное в стене и размазанное огненными красками, светилось огромное изображение голошеего грифона с распростертыми крыльями и с круглой скобой в когтях, а справа и слева от него из кирпичной кладки выступали на цоколях каменные очковые змеи с раздутыми головами — знак обороны; они стояли на животах, достигая высоты четырех футов, и были на вид очень гнусны.

— Поверните назад! — кричали часовые, стоявшие над внешними воротами и над изображением грифона. — Крепость Зел! Назад, грязные зайцы, ступайте в свое горемычье! Здесь хода нет!

— Вы ошибаетесь, воины Египта, — отвечал им, сидя на своем верблюде, старик. — Проход именно здесь, и больше нигде. Да и где же ему еще быть на этом перешейке? Мы люди сведущие, мы едем не наобум, мы отлично знаем, где проходят в вашу страну, ибо уже много раз ездили по этому мосту туда и оттуда.

— Говорят вам — назад! — кричали сверху. — Назад, назад, и только назад в пустыню, вот и весь сказ! В страну нет входа всяким там голодранцам!

— Кому вы это говорите? — отвечал старик. — Мне, которому это не только отлично известно, но который это от души одобряет? Ведь всяких там голодранцев и грязных зайцев я ненавижу не меньше вашего и очень хвалю вас за то, что вы не позволяете им осквернять вашу страну. Но посмотрите на нас, взгляните в наши лица! Разве мы похожи на бродяг и разбойников, разве у нас есть что-нибудь общее с синайской чернью! Разве наш вид внушает подозрение, что мы хотим разведать вашу страну с недобрыми умыслами! Или, может быть, мы гоним свои стада на пастбища фараона? Ничего подобного нет и в помине. Мы минейцы из Ма'она, странствующие купцы, люди самого почтенного образа мыслей, мы везем прекрасные чужеземные товары, которые могли бы вам показать, мы хотим обменять их у сынов Кеме на дары Иеора, или, как его здесь зовут, Хапи, чтобы отвезти эти дары на самый край света. Ибо настала пора обмена и торговых сношений, и мы, путешественники, ее служители и жрецы.

— Ну и чистые же у нее жрецы! Ну и пыльные же у нее жрецы! Все вранье! — кричали воины сверху.

Но старик не сдался, а только снисходительно покачал головой.

— Как будто я их не знаю, — тихонько сказал он своим спутникам. — Они всегда ведут себя так, всегда на всякий случай чинят препятствия, чтобы ты предпочел уйти подобра-поздорову. Но назад я еще ни разу не поворачивал, пройду и на этот раз. Эй, воины фараона, — закричал он им снова, — коричнево-красные добрые воины! Мне доставляет величайшее удовольствие беседовать с вами, ибо вы люди веселого нрава. Но вообще-то мне хотелось бы поговорить с молодым начальником отряда Гор-вазом, который пропустил меня в прошлый раз. Будьте добры, вызовите его на стену! Я предъявлю ему письмо, что везу в Зо'ан. Письмо! — повторил он. — Писание! Тут! Павиан Джхути!

Он прокричал им это с усмешкой, полузадиристо-полуугодливо, как называют людям, в которых видят не столько отдельных лиц, сколько представителей определенного и в общих чертах известного миру народа, какое-нибудь широко распространенное словцо, которое, став уже неким нарицательным именем, шутливо связывается у всех с представлением об этом народе. Они тоже засмеялись, хотя, возможно, всего лишь над обычным для чужеземцев неверным представлением, будто каждый египтянин одержим страстью к писанию, но, конечно, на них произвело впечатление то, что старик знал имя одного из их предводителей; ибо, посоветовавшись между собой, они ответили измаильтянину, что начальник отряда Гор-ваз уехал по служебным делам в город Сент и вернется не раньше, чем через три дня.

— Какая досада! — сказал старик. — Какая это неудача, воины Египта! Три дня, три черных дня новолуния без нашего друга Гор-ваза! Придется подождать. Мы подождем здесь, дорогие копыеносцы, его возвращения. Только соблаговолите вызвать его на стену сразу же по его возвращении из Сента, сказав ему, что его знакомые минейцы из Ма'она прибыли сюда с письмом!

И они действительно разбили шатры в песках перед крепостью и провели три дня в ожидании знакомого начальника, поддерживая добрые отношения с людьми стены, которые время от времени приходили к ним поглядеть на их товар и поторговать с ними. Тем временем были и другие путники: они явились сюда с юга, со стороны Синая, держа путь вдоль горьких озер, и тоже хотели вступить в Египет: это был довольно оборванный, диковатый народ. Они стали ждать вместе с измаильтянами, и когда наконец срок настал и Гор-ваз вернулся, воины отворили ворота стены и впустили всех ожидавших во двор перед воротами моста, где те прождали еще несколько часов, прежде чем этот молодой начальник показался на лестнице и, спустившись на своих тонких ногах, остановился на нижней ступеньке. Начальника сопровождали два человека, один нес его письменные принадлежности, другой — знамя с головой овна. Гор-ваз сделал знак, чтобы просители подошли к нему.

Голову его покрывал каштановый, с прямым обрезом на лбу парик, до ушей зеркально-гладкий, а ниже — в мелких, спускавшихся на плечи завитках. К его панцирному камзолу со знаком отличия в виде бронзовой мухи не очень-то подходили нежные складки видневшейся из-под панциря белоснежной полотняной рубахи с короткими рукавами, равно как и мелкие сборки передника, прикрывавшие наискось его подколенные впадины. Путники приветствовали его самым почтительным образом; но сколь жалки ни были они в его глазах, он ответил на их приветствие, пожалуй, еще вежливее, с какой-то даже нелепой учтивостью, по-кошачьи взгорбив спину, но откинув назад голову с такой любезной улыбкой, как будто он целовал воздух вытянутыми вперед губами, и подняв по направлению к путникам коричневатую, очень длинную и тонкую руку, украшенную у запястья браслетом, а у плеча сборками короткого рукава. Впрочем, движения его были быстры и ловки, так что вся эта витиеватая, преувеличенно выразительная пантомима длилась не больше мгновенья; ясно было, — особенно отметил это Иосиф, — что все это делалось не ради них, а в знак уважения к цивилизации, из чувства собственного достоинства... У Гор-ваза было курносое, мальчишеское и в то же время немолодое лицо с подведенными глазами и резкими морщинами возле все время выпячивавшихся и улыбающихся губ.

— Кто это? — быстро спросил он по-египетски. — Люди горемычья, которые в таком великом множестве хотят вступить в наши страны?

Слово «горемычье» не имело в его устах бранного смысла; он просто называл так чужие земли. Но к «великому множеству» он отнес обе части путников, не отличая мидианитов с Иосифом от синайцев, которые даже пали перед ним наземь.

— Вас слишком много, — продолжал он с укором. — Каждый день отовсюду, будь то из Земли Бога или с гор Шу, прибывают люди, желающие вступить в нашу страну. Ну, если не каждый день, то почти каждый день. Не далее как третьего дня я пропустил нескольких человек из страны Упи и с горы Усер, ибо они везли письма. Я писец больших ворот, который составляет отчеты о делах стран, а это для человека толкового прекраснейшее занятие. Моя ответственность чрезвычайно велика. Откуда вы явились и что вам угодно? Какие у вас намерения — добрые или не очень добрые или, может быть, вовсе злые, так что вас нужно либо прогнать назад, либо сразу же сделать бледными трупами? Вы явились из Кадеша и Тубихи или из города Хэра? Пусть скажет это ваш главарь! Если вы явились из гавани Сура, то мне известно это горемычное место, куда доставляют воду на лодках. Да и вообще мы хорошо знаем чужие земли, ибо мы покорили их и взимаем с них дань... Но прежде всего, сумеете ли вы прожить? Я хочу сказать: есть ли у вас пища и способны ли вы так или иначе себя прокормить, не становясь обузой для государства и не прибегая к воровству? Если способны, то где соответствующее удостоверение, где письменное поручительство в том, что вы сумеете так или иначе прожить? Есть ли у вас письма к тому или иному гражданину стран? Если есть, то предъявите их. А если нет, то вам придется вернуться.

Старик приблизился к нему с умным и кротким видом.

— Ты здесь как фараон, — сказал он, — и если я не пугаюсь твоей важности и не запинаясь от страха при виде твоего могущества, то лишь потому, что стою перед тобой не впервые и уже изведаль твою доброту, мудрый начальник!

И он напомнил ему, что тогда-то и тогда-то, не то два года назад, не то четыре, он, купец-минеец, проходил здесь в последний раз и тогда впервые имел дело с начальником отряда Гор-вазом, который, видя чистоту его намерений, не чинил ему никаких препятствий. Гор-вазу и в самом деле смутно припомнились борода и косо посаженная голова этого старика, который говорил по-египетски как человек; поэтому Гор-ваз благосклонно выслушал его ответы на заданные вопросы: что явился он с самыми добрыми намерениями, а не с не очень добрыми и уж никак не со злыми; что, разъезжая по торговым делам, он переправился через Иордан, миновал страну Пелешет и пустыню и что сумеет со своими людьми отлично прожить и прокормиться, о чем свидетельствуют ценные товары, навьюченные на спины его верблюдов. Что же касается его связей в Египте, то вот письмо — и старик развернул перед начальником свиток лощеной козлиной кожи, на котором один купец из Гилеада написал ханаанским уставом несколько рекомендательных слов одному купцу в Дельте, в Джанете.

Тонкие пальцы Гор-ваза — причем пальцы обеих рук — с нежностью потянулись к письму. Он плохо разбирал написанное, но, узнав в уголке свитка свою собственную пометку, понял, что этот кусок кожи однажды уже предъявляли ему.

— Ты показываешь мне, — сказал он, — всегда одно и то же письмо, старый приятель. Так не годится, оно уже недействительно. Я не хочу больше видеть эти каракули, твое письмо устарело, добудь что-нибудь новое.

На это старик возразил, что его связи вовсе не исчерпываются джанетским купцом. Нет, сказал он, они простираются до самых Фив, до самой Узет, Амунова города, где он и намерен явиться в один дом, дом почета и высоких отличий, с управителем которого Монткау, сыном Ахмоса, он дружит с незапамятных пор, часто поставляя ему чужеземный товар. А дом этот принадлежит великому среди великих, Петепра, носителю опахала одесную.

Упоминание даже о столь косвенной связи со двором произвело на молодого начальника заметное впечатление.

— Клянусь жизнью царя, — сказал он, — выходит, что ты не совсем обычный проситель, и если твой азиатский язык не лжет, то это, конечно, меняет дело. Нет ли у тебя какого-нибудь письменного подтверждения твоего знакомства с сыном Ахмоса Монткау, который управляет домом этого носителя опахала? Очень жаль, ибо тогда твое дело весьма упростилось бы. Но как бы то ни было, ты способен назвать мне эти имена, а твой миролюбивый вид может сойти за свидетельство твоей правдивости.

Он сделал знак, чтобы подали письменные принадлежности, и его помощник поспешил вручить ему деревянную дощечку, на гладком гипсовом покрытии которой начальник отряда обычно делал черновые заметки, а также заостренную тростинку. Гор-ваз окунул тростинку в одну из чернильниц палитры, что держал стоявший возле него воин, стряхнул, творя возлияние, несколько капель на землю, размашисто поднес тростинку к дощечке и принялся писать, заставляя старика повторить все сведения, которые тот представил. Писал он стоя у знамени, уперев табличку в предплечье, изящно наклонившись вперед, слегка прищурился глазами, усердно, самодовольно, с явным наслаждением. «Проходите!» — объявил он затем и, вернув своему помощнику письменные принадлежности, сделал знакомый уже, до нелепого изощренный поклон и взбежал вверх по ступенькам лестницы. Кудлатобородому синайскому шейху, который все это время не поднимал лба от земли, так и не пришлось раскрыть рот. И его, и его людей Гор-ваз причислил к спутникам старика, так что в ведомства Фив, уже на отличном папирусе, должны были поступить весьма неточные сведения. Но из-за этого оплакивать Египет не стоило, ибо это не могло внести беспорядка в дела страны. Измаильтянам, во всяком случае, было всего важнее, что усилиями воинов Зела распахнулись медные створки ворот и открылся плавучий мост, по которому, с верблюдами и товарами, они и вступили в урочища Хапи.

Самым ничтожным из них, никем не замеченный и даже не упомянутый в грамоте Гор-ваза, прибыл Иосиф, сын Иакова, в землю Египетскую.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ВСТУПЛЕНИЕ В ШЕОЛ

ИОСИФ ВИДИТ ЗЕМЛЮ ГОСЕН И ПРИБЫВАЕТ В ПЕР-СОПД

Что он увидел там прежде всего? Это мы знаем с полной определенностью; об этом говорят обстоятельства путешествия. Путь, которым вели его измаильтяне, был предначертан им не только в одном смысле; он был предопределен также и географическими условиями, и хотя об этом мало задумывались, несомненно, что первой пройденной Иосифом областью Египта была земля, обязанная своей известностью, чтобы не сказать: славой, не той роли, которую она играла в истории Египта, а той, которую она играла в истории Иосифа и его близких. Это была местность Госен.

Она называлась также Госем или Гошен, как угодно, как у кого выговаривалось, и принадлежала к округе Аравии, двадцатой округе страны Уто, Змеи, то есть Нижнего Египта. Находилась она в восточной части Дельты, почему Иосиф со своими вожатыми сразу же и вступил в нее, как только оставил позади себя соленые озера и пограничные укрепления; ничего великого и замечательного в ней не было, — Иосиф нашел, что покамест ему еще не очень грозит опасность потерять голову и впасть в ненужную робость при виде умопомрачительных чудес Мицраима.

Дикие гуси летели в хмуром, сеявшем мелкий дождь небе над однообразной, пересеченной канавами и плотинами болотистой местностью, на которой кое-где одиноко торчали то куст терновника, то смоковое дерево. Голенастые птицы, аисты и ибисы, стояли в камышах мутных от ила водоотводов, что тянулись вдоль насыпей, где проходила дорога. Осененные дум-пальмами деревни, с глиняными четырехугольниками своих амбаров, отражались в зеленоватых утячьих прудах точно такие же с виду, как деревни на родине, не ахти какая награда глазам за путешествие продолжительностью в седмижды семнадцать дней. Иосиф видел самую обыкновенную, нисколько не поразительную землю, даже еще не «житницу», какой представлялась Кеме; крутом виднелись одни только луга и выгоны — влажные, правда, и тучные, — сын пастуха с участием это отметил. Паслись здесь и стада — главным образом коров, белых и в рыжих пятнах, безрогих и с изогнутыми наподобие лиры рогами, — но также и овец; пастухи, укрепив на посохах папирусные циновки, прятались под ними от моросившего дождя со своими остроухими, как шакалы, собаками.

Скот, как рассказал старик своим спутникам, был по большей части нездешний. Землевладельцы и управляющие храмовыми стойлами далеких верховьев, где была только пахотная земля, а для скота приходилось сеять клевер, посылали на долгие месяцы свои стада на сочные травы этих болотистых лугов северного низовья, столь тучных благодаря пресноводным, достаточно глубоким для судоходства канавам, а также главному каналу, вдоль которого путники сейчас, кстати, и ехали и который вел их прямо к Пер-Сопду, самому древнему и священному городу этой округи. Там от одного из рукавов Хапи ответвлялась канава, соединявшая дельту потока с Горькими озерами. А озера, как утверждал старик, в свою очередь, соединялись каналом с морем Красной земли, короче говоря, с Красным морем, так что от Нила туда был прямой водный путь и из Амунова города можно было пройти под парусом вплоть до страны ладана Пунт, на что и отважились корабли Хатшепсут, женщины, которая некогда была фараоном и даже носила бороду Озириса.

Старик делился этими знаниями, ведя, как обычно, мудрую, непринужденную беседу. Иосиф, однако, слушал его невнимательно, не вникая в подвиги Хатшепсут, женщины, чье естество изменилось, благодаря ее царскому сану, настолько, что у нее выросла борода. Будет ли преувеличением отметить в его истории, что уже тогда мысли его проложили воздушный мост между этими лоснящимися лугами, с одной стороны, и оставшейся дома родней, отцом

и маленьким Вениамином, с другой? Конечно, нет, — хотя мышление Иосифа было иного рода, чем наше, хотя оно определялось как бы несколькими мечтательными мотивами, составлявшими музыкальную основу его духовной жизни. Сейчас зазвучал один из них, с самого начала тесно связанный с мотивами «отрешения» и «возвышения», — мотив «продолжения и переселения рода». В противовес этому мотиву в музыке мыслей Иосифа выделился другой: мотив отцовской неприязни к стране отрешения; и он примирял их, он объединял оба мотива в стройном созвучии, говоря себе, что эти мирные пажити хоть уже и Египет, а все-таки еще не заправский, еще не во всей своей мерзости, что такой Египет мог бы, пожалуй, прийтись по душе Иакову, царю стад, которому дома едва хватало земли. Он глядел на с гада, посланные сюда землевладельцами верховьев ради сочной травы, и живо ощущал, что мотив отрешения нужно сперва щедро дополнить мотивом возвышения, чтобы скот с верховьев уступил пастбища земли Госен другому скоту, иными словами, чтобы мотив «переселения» оказался на очереди. Он снова все взвесил и еще более утвердился во мнении, что если уж суждено идти на запад, то надо, по крайней мере, стать первым среди тамошних жителей...

А покамест он ехал со своими покупателями глинистым, отлогим, иногда окаймленным чахлыми пальмами берегом благодатного канала, по ровной поверхности которого навстречу им, на восток, медленно скользила вереница судов с очень высокими парусами на шатких мачтах. Двигаясь этим путем, нельзя было не выйти к Пер-Сопду, священному городу, оказавшемуся, когда они наконец достигли его, тесно застроенным, обнесенным непомерно высокими стенами и довольно-таки глухим. Ибо почти все население города составляли наместник-староста, «Тайный знаток царских приказов», величаемый на вполне сирийский лад «рабису», со своими чиновниками и стриженные жрецы бога этой округи Сопда, носившего прозвище «Победитель синайцев»; среди остальных жителей пестрая азиатская одежда и наречья Амора и Захи были куда распространнее, чем белая одежда египтян и их язык. В тесных закоулках Пер-Сопда стоял такой сильный запах гвоздики, что приятен он был лишь поначалу, а потом становился несносен; это была любимая пряность Сопду, и ею обильно приправляли всякую жертву, приносимую в храме этого бога — настолько древнего, что даже его собственные жрецы и пророки, носившие на спине рысьи шкуры и ходившие с потупленными глазами, не могли с уверенностью сказать, какая у него голова — свињи или же бегемота.

Это был оттесняемый, захиревший и, судя по настроению и речам его служителей, довольно-таки озлобленный бог, он давно уже не одерживал побед над синайцами. Небольшое, всего лишь с ладонь, изображение бога стояло в самой глубине его по-старинному топорного храма, двory и притворы которого были украшены совсем уж топорными сидячими изваяниями построившего этот храм фараона первобытных времен. Позолоченные, увешанные пестрыми флагами шести, стоявшие в нишах переднего, с воротами и покатыми расписными стенами притвора, тщетно пытались придать обиталищу Сопда мало-мальски веселый вид. От казны денег на содержание храма почти не поступало, кладовые и сокровищницы, окружавшие главный двор, были пусты, а приношениями бога Сопду мало кто чтит — разве только египтяне, жившие в самом городе, а уж со стороны к нему никто не приходил на поклон; ибо не было такого общего для всей страны праздника, который стягивал бы в низовье, к ветхим стенам Пер-Сопда охваченную священным пылом толпу.

Когда измаильтяне, по купеческой своей обязанности, положили на стол даяний в приземистом притворе храма несколько букетов цветов, купленных ими в открытом переднем дворе, и начиненную гвоздикой утку, жрецы с блестящими, остриженными наголо головами, длинными ногтями и неизменно полуопущенными веками тягуче поведали им о горестном положении их древнего бога и его города. Они жаловались на время великой несправедливости, бросившее с возвышением Уазе все гири власти, блеска и превосходства на одну чашу весов — южную, в верхнем течении, — тогда как прежде они по справедливости священно отягощали северную чашу низовья, страны устий; ибо в справедливые времена древности, когда блистала столица Мемпи, область Дельты была настоящим, истинным Египтом, а верхние

земли, включая Фивы, причислялись чуть ли не к горемычному Кушу и к негритянским странам. Тогда Юг был беден образованностью и духовностью, а также красотой жизни; именно отсюда, с древнего Севера, плодотворно проникли в верховье эти высокие блага; здесь истоки знания, цивилизации и благосостояния, и недаром здесь родились самые почтенные и древние боги страны — хотя бы тот же Сопд, владыка Востока в своем капище, великий бог, которого это несправедливое перемещение гирь совсем отодвинуло в тень. О том, что отвечает и что не отвечает духу Египта, берется сегодня судить сосед негритянских стран, фиванский Амун, — настолько уверен он, что имя Египта и его собственное имя значат одно и то же. Совсем недавно, рассказывали грустные служители Сопда, люди Запада, живущие по соседству с ливийцами, направили к Амуну посольство и заявили, что, по их мнению, они и сами ливийцы, а не египтяне, ибо, живя за пределами Дельты, они служат богам иначе, чем дети Египта, да и вообще ни в чем не походят на тех: они, например, было передано Амуну, любят говядину и хотят ее есть так же свободно, как и ливийцы, разновидностью которых себя считают. Но Амун ответил им, что о говядине не может быть и речи, ибо Египет — это все земли, оплодотворяемые Нижним и Верхним Нилом, а египтянин — всякий, кто живет по сю сторону города Слонов и пьет нильскую воду.

Таков был Амунов ответ, и жрецы бога Сопду воздели руки с длинными ногтями, чтобы измаильтяне поняли, сколь несправедливо такое решение. Почему же по сю сторону Иаба и первого порога? — спросили они насмешливо. Потому что Фивы находятся как раз по сю сторону? Вот какова щедрость этого бога! Если бы Сопд, их повелитель, владыка северного низовья, то есть исконной и настоящей египетской земли, заявил, что египтянами считаются все, кто пьет нильскую воду, то с его стороны это было бы, конечно, проявлением великодушия и щедрости. Но когда это заявляет Амун, бог, которого, мягко говоря, подозревают в нубийском происхождении и в том, что он когда-то был богом горемычного Куша, бог, добывший права исконного владыки народа самовольным отождествлением себя с Атумом-Ра, тогда подобная щедрость мало чего стоит и уж во всяком случае не имеет ничего общего с великодушием...

Одним словом, ревнивая уязвленность пророков Сопда велениями времени и первенством Юга была очевидна; измаильтяне, и в первую очередь старик, отнеслись к их обиде почтительно и, как люди торговые, с ней согласились; они прибавили к своему приношению еще несколько хлебов и кувшинов пива и вообще оказывали оттесненному Сопду всяческое внимание, покуда не двинулись дальше, по направлению к Пер-Бастету, до которого было рукой подать.

КОШАЧИЙ ГОРОД

Здесь так резко пахло кошачьей травой, что непривычного чужестранца прямо-таки тошнило. Этот запах противен любому живому существу, кроме одного — священного животного Бастет, а именно — кошки, которая даже, как известно, очень любит его. Множество образцов этого животного, черных, белых и пестрых, содержалось в святилище Бастет, обширном ядре города, где они с обычным своим ленивым и бесшумным изяществом сновали среди молящихся по стенам и по дворам; и их ублажали этим мерзким растением. А поскольку в Пер-Бастете кошек чтили вообще везде, вообще в каждом доме, то запах валерьяны примешивался здесь поистине ко всему, приправляя кушанья и пропитывая одежду, отчего путников, побывавших в этом городе, узнавали даже в Оне и в Мемпи, где им со смехом и говорили: «Сразу видно, что вы из Пер-Бастета!»

Впрочем, смех этот относился не только к запаху валерьяны, но и к самому кошачьему городу и к тем веселым мыслям, какие с ним связывались. Ибо, составляя полную противоположность Пер-Сопду и, кстати, значительно превышая его размерами и числом жителей, Пер-Бастет, хоть он и находился в самой глубине старозаветной Дельты, пользовался славой

города веселья, но веселья как раз старозаветного, грубого, такого, что одно упоминание о нем смешило уже весь Египет. В отличие от обиталища Сопда, в этом городе справлялся один общий праздник, на который с верховьев, сухопутьем и по реке, съезжались, как хвастались местные жители, «миллионы», что значило, конечно, десятки тысяч людей — людей, уже заранее настроившихся на самый веселый лад, ибо женщины, например, гремели побрякушками, всячески проказничали, и, стоя на палубах кораблей, потешали тех, мимо кого проплывали, весьма старозаветными ругательствами и жестами. Да и мужчины бывали очень веселы, они свистели, пели и хлопали в ладоши. Прибывающие разбивали палатки и устраивали в Пер-Бастете трехдневные сутолочные гулянья с жертвоприношениями, плясками, ряжеными, ярмаркой, глухим барабанным боем, сказителями, фиглярами, заклинателями змей и таким количеством виноградного вина, какое не потреблялось в Пер-Бастете за всю остальную часть года; не диво, что люди приходили в поистине старозаветное расположение духа и временами даже бичевали самих себя, вернее, не бичевали, а пребольно ударяли себя колючими дубинками, — и непременно под общий крик, который, будучи неразрывно связан с древним праздником богини Бастет, как раз и делал смешным всякое упоминание о Пер-Бастете: так кричит кошка, когда к ней ночью приходит кот.

Об этом и рассказали чужестранцам местные жители, хвастаясь обогатительным людским наплывом, один раз в году нарушавшим течение их вообще-то размеренной жизни. Старик, из деловых соображений, пожалел, что не приурочил свой приезд к празднику, приходившемуся, впрочем, на другое время года. Молодой раб Узарсиф слушал эти описания с довольно внимательным видом и, вежливо кивая головой, думал об Иакове. О нем и о бесхрамовом боге своих отцов думал он, когда сверху, с высоты города, в глубине которого в тени деревьев, охватывая священный полуостров двумя рукавами, извивалась река, глядел на жилище богини, что спрятали в старой смоковной роще свое главное здание и раскинулось со своими расписными пилонами, со своими полными шатров дворами и узорчатыми палатами, где возглавляя колонн изображали открытые и закрытые цветки библейских кувшинок, — за высокой оградой у мощеной, уходившей на восток дороги, которая привела сюда с измаильтянами и его, Иосифа; и когда, оказавшись внизу, в храме, ходил по покоям и разглядывал резные настенные изображения, раскрашенные ярко-красной и голубой краской: на этих изображениях фараон воскурял благовония кошке, а под волшебными ясными надписями из птиц, глаз, колонн, жуков и ртов коричнево-красные, хвостатые, в набедренных повязках божества, украшенные светящимися запястьями и воротниками, с высокими венцами на звериных головах и со знаком жизни — крестом в кольце — в руках, дружески дотрагивались до плеча своего земного сына.

Иосиф глядел на все это снизу вверх, маленький возле этих исполинских картин, молодыми, но спокойными глазами. Он был молод, созерцая это величие старости; однако ощущение, что он моложе не только годами, но и в другом, более широком смысле, расправляло ему спину перед лицом этого угнетающего величия, и, вспоминая о старозаветном ночном крике, оглашавшем во время праздника дворы Бастет, он только пожимал плечами.

УЧЕНЫЙ ОН

Как точно известен нам путь, которым вели отторгнутого от дома Иосифа! Вниз ли, вверх ли, это зависит от того, как считать. Ко всем его запутанным обстоятельствам прибавлялась и путаница с «верхом» и «низом». Относительно родины он, как прежде Аврам, двигался, следуя в Египет, «вниз», но зато в самом Египте он стал двигаться «вверх», то есть навстречу течению реки, а текла река с юга, так что в полуденном направлении Иосиф уже не «спускался», а «поднимался». Эта путаница казалась нарочитой, как в игре, когда тебя с завязанными глазами поворачивают на месте несколько раз, чтобы ты не знал, что у тебя спереди и что

сзади... Со временем, то есть со временем года и календарем, здесь, внизу, творилось тоже что-то неладное.

Был двадцать восьмой год правления фараона, и была, выражаясь нашим языком, середина декабря. Люди Кеме говорили, что стоит «первый месяц затопления», который они, к удовольствию Иосифа, называли Тот, или, как они именовали эту лунолюбивую обезьяну, Джхути. Но эти сведения отнюдь не соответствовали естественным условиям. Здешний год был почти всегда в разладе с действительностью; он отличался непостоянством и лишь время от времени, через огромные промежутки, его начало совпадало с действительным, настоящим началом года, когда на утреннем небе опять появляется звезда Пес, а воды готовятся выйти из берегов. Вообще же между условным годом и сроками природы не было никакого закономерного соответствия, так что и теперь ни о каком начале затопления практически нельзя было говорить; поток уже настолько спал, что почти вернулся в старое русло; земля обнажилась, посев многократно свершился, рост начался, — ибо измаильтяне спускались сюда настолько неторопливо, что со времени летнего солнцеворота, когда Иосифа бросили в яму, миновало уже полгода.

Итак, слегка запутавшись в вопросах пространства и времени, он следовал с остановками дальше... С какими остановками? Это нам известно достаточно точно; об этом говорят обстоятельства путешествия. Его вожатые, измаильтяне, по-прежнему не торопясь и по старой привычке вообще не заботясь о времени, а следя только за тем, чтобы при всех задержках хоть как-то двигаться к цели своего путешествия, направились с ним вдоль пер-бастетского рукава на юг, к тому месту, где в самой вершине треугольника устьей этот рукав соединяется с главным потоком. Так прибыли они в золотой Он, расположенный у этой вершины, — поразительный город, самый большой из всех, какие доселе случалось видеть Иосифу, построенный, как показалось ослепленному юноше, преимущественно из золота, обиталище Солнца; а оттуда им предстояло добраться до Мемпи, или, иначе, Менфе, древней столицы, чьих мертвецов не нужно было переправлять через реку, ибо этот город и так уже находился на западном берегу. Вот что было заранее известно о Мемпи путникам. Дальше они собирались следовать уже не по суше, а водным путем и, наняв корабль, доплыть до самого Но-Амуна, города фараона. Так определил старик, чьей волей все и решалось, а покамест, соответственно этому решению, они, не без торговых проволочек, ехали берегом Иеора, именовавшегося здесь Хапи, который бурел в своем русле и лишь кое-где отдельными лужами стоял на полях, зазеленевших уже во всю ширь плодородной полосы между двумя пустынями.

Там, где берега были круты, здешние жители набирали илистую воду рожденья укрепленными на шестах черпалок кожаными кошельми, пользуясь в качестве противовеса комьями глины, и разливали ее по стокам, чтобы она сбегала в канавы и у них было зерно к тому времени, когда за ним явятся писцы фараона. Ибо здесь была служильня египетская, которой не одобрял Иаков, и собиравших оброк писцов сопровождали нубийцы с пальмовыми прутьями.

Измаильтяне выменивали в деревнях у барщинников свои светильники и смолы на воротники и подголовники, а также на холсты, что ткали из льна полей жены этих крестьян и потом забирали сборщики оброка; они беседовали с этими людьми и видели землю Египетскую. Иосиф видел ее и в мирской суете дышал ее воздухом, весьма своеобразным, резким и даже острым, пряно приправленным самобытностью веры, нравов и уклада; не следует, однако, думать, что его ум и чувства изведывали здесь нечто совсем новое, дикое и неведомое. Его родина, — если прииорданскую область с ее горами и те гористые места, где он вырос, принять за некое отечественное единство, — испытывала, будучи промежуточной, проходной страной, в такой же мере влияние юга, египетской цивилизации, как и восточных, подвластных Вавилону земель; по ней проходили войска фараона, оставляя после себя гарнизоны, наместников и постройки. Иосиф уже и раньше видел египтян и их одежду; не был ему в диковину и египетский храм; да и вообще он был не только сыном своих гор, но и сыном большого простран-

твенного единства, средиземноморского востока, где для него не было ничего совсем уж дивного и неведомого, а кроме того, и сыном своего времени, скрытого от нас времени, в котором он жил и в которое мы спустились к нему, как спускалась к сыну Иштар. А время тоже, вместе с пространством, придавало единообразие умонастроению и взгляду на мир; по-настоящему новым в этом путешествии было для Иосифа, пожалуй, только сознание, что он и такие, как он, не одни на земле и не во всем исключение; что многое в помыслах отцов, в их тревожных обращениях к богу и настойчивом размышлении было не столько их отличительным преимуществом, сколько данью времени и пространству и порожденной ими общности — при всех, конечно, существенных различиях в благословенности и успешности ее проявления.

Если Аврам так долго и так подробно беседовал с Мелхиседеком о возможной степени тождества между сихемским баалом завета Эль-эльоном и его собственным Аденом, то это была очень характерная для данного времени и для данного мира беседа, характерен был и самый ее предмет, и та важность, какую ему придавали, и тот интерес, какой к нему публично выказывали. Как раз в то время, когда Иосиф прибыл в Египет, жрецы Она, города владыки солнца Атума-Ра-Горахте, догматически определили отношение своего священного быка Мервера к жителю горизонта как «живое повторение»; эта формула, сочетавшая идею существования с идеей единства, очень занимала весь Египет и произвела сильное впечатление даже на царский двор. Она была притчей во языцех и у маленьких людей, и у знати, так что измаильтяне не могли выменять пяти дебенов ладана на соответствующее количество пива или хорошую воловью шкуру, без того чтобы другой участник сделки, как во вступительном, так и в заключительном разговоре, не коснулся прекрасного нового определения отношения Мервера к Атуму-Ра и не пожелал узнать, что скажут по этому поводу чужеземцы. Он смело мог ждать от них если не восторгов, то во всяком случае интереса к предмету; ибо они прибыли хоть и издалека, но все-таки из того же пространства, не говоря уж о том, что общее время заставляло их выслушивать эти новости с известным волнением...

Итак, Он, обиталище Солнца, вернее, обиталище того, кто утром Хепре, в полдень Ра, а вечером Атум, того, кто открывает глаза — и рождается свет, кто закрывает глаза — и рождается тьма, — того, кто назвал свое имя дочери своей Исет, итак. Он Египетский, тысячелетний город, лежал на пути измаильтян к югу, осиянный золоченым остроконечным четырехгранником огромного лощеного гранитного обелиска, что стоял на широком взголовье великого храма Солнца, где увенчанные цветами лотоса кувшины с вином, пироги, чаши с медом, птица и всяческие плоды покрывали алавастровый алтарь Ра-Горахте, а жрецы в оттопыренных, крахмальных передниках и хвостатых пантерьих шкурах на спинах курили смолкой перед живым повторением бога. Великим быком Мервером, быком с медным затылком, лирообразными рогами и могучими ядрами. Это был город, какого Иосиф еще никогда не видал, не похожий не только на города мира, но и на обычные египетские города, и даже его храм, возле которого стоял высокобортый, сложенный из золоченого кирпича корабль Солнца, совершенно не походил на другие египетские храмы ни видом, ни общими очертаниями. Весь город блестел и сверкал золотом Солнца, отчего у всех местных жителей слезились глаза, а чужестранцы, спасаясь от этого сияния, по большей части накидывали на голову башлыки и плащи. Кровли его обводных стен были из золота, золотые лучи так и сыпались, так и отлетали от фаллических игл, которыми он был утыкан, от золотых, в виде животных, изображений солнца, ото всех этих львов, сфинксов, козлов, быков, орлов, соколов и ястребов, которыми он был наполнен; мало того что любой из его саманных домов, даже самый бедный, сверкал каким-нибудь позолоченным знаком Солнца, будь то крылатый диск, зубчатое колесо, повозка, глаз, топор или жук-скарабей, и красовался золотым шаром или золотым яблоком на своей крыше, — такой же вид имели жилые дома, амбары и склады всех деревень в округе Она: каждый из них сверкал на солнце подобной эмблемой — медным щитом, спиральной змеей, золотым пастушеским посохом или кубком; ибо здесь была область Солнца, край зажмуренных глаз.

Городом, где поневоле зажмуришься, тысячелетний Он был, однако, не только по своему внешнему виду, но и по своей внутренней самобытности, по своему духу. Здесь процветала

премудрая ученость, которую и чужеземец сразу же чувствовал — чувствовал, как говорится, кожей. Ученость эта касалась измерения и строения чисто воображаемых правильных трехмерных тел и определяющих их плоскостей, которые, пересекаясь под равными углами, образуют чистые линии и сходятся в одной точке, не имеющей никакой протяженности и не занимающей никакого пространства, хотя и существующей, — и других священных вопросов такого же рода. Свойственный Ону интерес к чисто воображаемым фигурам, пристрастие к учению о пространстве, отличавшее этот древнейший город и явно связанное со здешним культом дневного светила, сказывались уже в застройке местности. Расположенный как раз у вершины треугольника, образуемого развилкой устьей, город и сам со своими домами и улицами представлял собой равнобедренный треугольник, вершина которого — в воображении точно, а в действительности примерно — совпадала с вершиной Дельты; на этой вершине, покоясь на огромном, огненно-красного гранита ромбе, вздымался четырехгранный, высоко вверху, где его ребра сходились в вершине, покрытый золотом обелиск, ежеутренне вспыхивавший с первым лучом и замыкавший каменной своей оградой всю территорию храма, что начиналась в середине треугольника города.

Здесь, возле увешанных флагами ворот храма, ведших в проходы, расписанные прекрасными изображениями событий и даров всех трех времен года, находилась открытая, усаженная деревьями площадь, где измаильтяне провели почти целый день; ибо эта площадь служила жмурающимся жителям Она, да и чужестранцам, местом сходов и рынком. Выходили на рынок и служители бога со слезившимися, оттого что так часто глядели на солнце, глазами и блестящими головами, носившие, кроме жреческих повязок, лишь короткие набедренники древних времен; они смешивались с толпой и охотно беседовали со всеми, кто желал познакомиться с их премудростью. Казалось даже, что им ведено это свыше, что они только и ждут расспросов, чтобы высказаться в пользу своего почтенного культа и древних ученых преданий своего храма. Наш старик, хозяин Иосифа, не упускал случая воспользоваться этим молчаливым, но явным разрешением и много раз беседовал при Иосифе на площади с учеными служителями Солнца.

Богомыслие и дар законодателей веры, говорили они, передаются в их среде по наследству. Священная изощренность ума является их достоянием издавна. Они, то есть их предшественники по службе, начали с того, что, разделив и измерив время, создали календарь, а это, как и поучительное пристрастие к чистым фигурам, имеет прямое отношение к сущности бога, которому достаточно открыть глаза, чтобы наступил день. Ведь дотоле люди жили в слепом безвременье, не имея меры и не обращая на это внимания. А он, сотворив часы — почему и возникли дни, — открыл им через своих ученых глаза. Что они, то есть их предшественники, изобрели солнечные часы, было ясно само собой. О приборе для измерения ночного времени, водяных часах, этого нельзя было сказать с такой же уверенностью; но, вероятно, они появились благодаря тому, что крокодилообразный водяной бог Собк Омбоский, подобно многим другим почитаемым обликам, был, если как следует взглядеться в него слезящимся глазом, не кем иным, как Ра, только под другим именем, в знак чего и носил оснащенный змеею диск.

Кстати сказать, это обобщение было сделано именно ими, зеркальноголовыми, и входило в их науку; они, по их собственным словам, были очень сильны в обобщениях и в приравнивании всевозможных хранителей отдельных местностей онскому богу Атуму-Ра-Горахте, каковой и так уже был обобщением и созвездием первоначально самостоятельных божеств. Делать из многого одно было излюбленным занятием этих жрецов, и послушать их — так, в сущности, было всего лишь два великих бога: бог живых. Гор на светозарной вершине, Атум-Ра, и владыка мертвых Усир, Стольное Око. Но Оком был также и Атум-Ра, солнечный круг, и таким образом, если как следует вдуматься, оказывалось, что Усир — это владыка ночного струга, на который, как всем известно, после заката садится Ра, чтобы направиться с запада на восток и светить тем, кто внизу. Другими словами, даже оба этих великих бога — это в сущности один и тот же бог. Не меньше, чем остроумием такого обобщения, можно было вос-

хищаться умением этих наставников никого не обижать и, несмотря на свои отождествительные устремления, не посягать на фактическую множественность богов Египта.

Это удавалось им благодаря науке о треугольнике. Известна ли сколько-нибудь их слушателям, спрашивали наставники Она, природа этой великолепной фигуры? Ее основанию, говорили они, соответствует многоименно-многообразные божества, которым молится народ и которых чтят жрецы в городах стран. Но над основанием поднимаются сходящиеся боковые стороны этой прекрасной фигуры, и удивительную площадь, ими ограниченную, можно назвать «площадью обобщения»; отличительное свойство этой площади состоит в том, что она непрерывно сужается, и проводимые по ней новые основания становятся все короче и короче, а наконец и вовсе лишаются протяженности. Ибо боковые стороны встречаются в одной точке, и эта конечная точка, точка пересечения, ниже которой треугольник остается равносторонним при любом основании, и есть владыка их храма Атум-Ра.

Такова была теория треугольника, этой прекрасной фигуры обобщения. Служители Атума считали ее немалой своей заслугой. Они, по их словам, нашли подражателей; повсюду, говорили они, теперь обобщают и отождествляют, но делают это по-ученически, неумело, не в том духе, в каком следовало бы, вернее — вообще неодоухотворенно, с насильственной грубостью. Амун, например, владыка рогатого скота в Фивах, в Верхнем Египте, устами своих пророков отождествил себя с богом Ра и хочет, чтобы в его капище его именовали теперь Амун-Ра — отлично, однако делается это не в духе треугольника и примирения, а в том смысле, что Амун победил, поглотил и вобрал в себя Ра, что Ра был, так сказать, вынужден назвать ему свое имя, — а это не что иное, как надругательство над учением, неумная натяжка, противоречащая самому смыслу треугольника. Что же касается Атума-Ра, то он недаром назывался жителем горизонта; его горизонт был широк и емок, и емким было треугольное пространство его обобщения. Да, он был широк, как мир, и дружен миру, смысл этого древнейшего и давно уже созревшего для веселой кротости бога. Он познает себя, говорили зеркальноголовые, не только в тех меняющихся своих формах, каким служит народ в городах и весях Кеме, нет, он полон веселой готовности вступить в открытый миру союз с солнечными божествами других народов — в полную противоположность молодому Амуну в Фивах, который начисто лишен способности к созерцанию и чей горизонт в действительности настолько узок, что он не только ничего не признает, кроме Египта, но и здесь, не видя, так сказать, дальше своего носа, ни с кем не считается, а всех поглощает и вбирает в себя.

Но они, говорили эти мокроглазые, не хотят распространяться насчет своих разногласий с молодым фиванским Амуну, ибо природе их бога соответствует не рознь, а дружеское согласие. Все чужеземное он любит так же, как себя самого, и потому-то его слуги с таким удовольствием и беседуют с этими чужестранцами, со стариком и его подручными. Каким бы те богам ни служили и какими бы именами ни называли себя, они могут смело и не предав этих богов приблизиться к алавастровому алтарю Горахте и положить на него, в зависимости от своих средств, голубей, хлебцы, плоды или цветы. Стоит им взглянуть на кроткую улыбку отца-первосвященника, который, в золотом колпачке на опушенной сединами лысине и в широком складчатом облачении, сидит в золотом кресле у подножья большого обелиска, перед крылатым диском солнца, и следит за приношениями, полный веселой доброты, — стоит им только взглянуть на него, как они убедятся, что одновременно с Атумом-Ра одаривают и своих отечественных богов, воздавая им должное в свойственном треугольнику духе.

И от имени отца-прорицателя служители Солнца обняли и поцеловали старика и его спутников, включал Иосифа, одного за другим, после чего занялись какими-то другими посетителями рынка, чтобы расположить их к Атуму-Ра, владыке широкого горизонта. А измаильтяне, весьма польщенные, простились с вершиной треугольника Оном и, следуя то ли вниз, то ли вверх, двинулись дальше в землю Египетскую.

ИОСИФ У ПИРАМИД

Нил медленно катил свои воды между отлогими, поросшими камышом берегами, но в зеркальных остатках его преходящего разлива еще виднелись стволы пальм. и в то время как на многих участках благословенной полосы между двумя пустынями уже зеленели всходы пшеницы и ячменя, на другие поля пастухи в белых набедренниках, с посохами в руках, гнали коров и овец, чтобы скот втоптал посев в рыхлую от влаги почву. Коршуны и белые соколы кружили, высматривая добычу, в прояснившемся небе и стремительно снижались над деревнями, чьи крытые навозом дома с пилонообразно сужающимися стенами стояли под высокими, похожими на опахала финиковыми деревьями у оросительного канала, — деревьями, носившими печать того самобытного, всепроникающего, определившего облик здешних людей и вещей духа Египта, духа его форм и божеств, который у себя на родине Иосиф ощущал лишь в отдельных постройках, лишь в каких-то частных житейских случаях и который теперь, безраздельно господствуя, заявлял ему о себе в большом и в малом.

Голые дети играли среди домашней птицы на деревенских пристанях, где были навесы из жердей и веток и куда, отталкиваясь шестами, направляли свои камышовые, с высокой кормой лодки местные жители, возвращавшиеся по каналу из необходимых поездок. Ибо если обильный парусами поток делил страну на две части в направлении от севера к югу, то и поперек нее, между западом и востоком, деля ее на острова и родя оазисы тенистой зелени, повсюду проходили оросительные водоотводы; дорогами же служили запруды, по которым и лежал путь между канавами, полями и рощами, а поэтому измаильтяне двигались на юг среди местного люда, среди всадников, ехавших верхом на ослах, среди грузовых, воловьих и лошачьих упряжек, среди пешеходов в набедренных повязках, несших на шестах, за плечами, уток и рыбу на рынок. Это были тощие, рыжеватые люди со впалыми животами и прямыми плечами, безобидные, смешливые, все с тонкими, выступающими подбородками, широконосые и курносые, с ребяческими щеками, непременно с цветком камыша либо во рту, либо за ухом, либо за краем застиранной, косо запахнутой, спереди более низкой, чем сзади, набедренной повязки, с прямыми волосами, ровно обрезанными на лбу и у мочек. Иосифу нравились эти путники; для жителей царства мертвых и сынов Шеола у них был довольно-таки веселый вид, и при виде дромадеров с хабирскими всадниками они со смехом выкрикивали шуточные приветствия, ибо их забавляло все чужеземное. К ихговору он втайне примеривался языком и, слушая его, упражнялся, чтобы вскоре без труда объясняться с ними на их наречье.

Здесь Египетская земля была тесной, плодородная полоса — узкой. Слева, на востоке, подступая к ней вплотную, тянулись на юг горы Аравийской пустыни, а на западе были Ливийские горы, мертвые пески которых обманчиво-приятно алели, когда за ними садилось солнце. Но там, перед этой цепью, ближе к зеленой земле, у кромки пустыни, перед путниками, если глядеть прямо на запад, высились и другие, особого рода горы, — правильных очертаний, из треугольных плоскостей, чьи ровные грани сбегались к вершинам исполинскими скосами. Перед их глазами были, однако, не богозданные горы, а искусственные; это были великие, всемирно известные возвышенности, о появлении которых на их пути старик заранее предупредил Иосифа, надгробия Хуфу, Хефрена и других древнейших царей, сооруженные в многолетней неволе и священных муках сотнями тысяч кашлявших под бичом рабов из миллионов тяжелых глыб, обтесанных ими по ту сторону Нила, в аравийских каменоломнях, а затем волоком доставленных к реке, переправленных и со стонами перетащенных к ливийской границе, где те же рабы, падая и умирая в знойной пустыне с высунутыми от неимоверного напряжения языками, подняли их особыми приспособлениями на невероятную высоту, чтобы под этими горами, глубоко внутри их, огражденный лишь маленькой каморкой от вечной тяжести пятисот миллионов пудов, покоился божественный царь Хуфу с веточкой мимозы на сердце.

То, что взгромоздили там дети Кеме, не было делом рук человеческих, и все же это было делом рук тех самых людишек, что шагали и ехали по дорогам запруд, их кровотокающих рук, худосочных мышц и кашляющих легких, — делом, которого добились от людей, хотя оно и превосходило силы людские, добились потому, что Хуфу был великим царем, сыном Солнца. А Солнце, что убивало и пожирало строителей, Рахотеп, Довольное Солнце, оно и впрямь могло быть довольно сверхчеловеческим делом рук человеческих; ибо в нагляднейшей связи с ним находились эти идеально чистые фигуры — одновременно надгробные знаки и знаки Солнца; и огромные их треугольные плоскости, вылощенные от оснований до общей вершины, были с благоговейной точностью обращены к четырем странам света.

Широко открытыми глазами глядел Иосиф на стереометрические надгробные горы, воздвигнутые в этой служильне египетской, которой не одобрял Иаков, и, глядя на них, слушал болтовню старика, что рассказывал, повторяя бытовавшие в народе предания о царе Хуфу, всякие истории об этом строителе-сверхчеловеке, мрачные анекдоты, свидетельства недоброй памяти, на тысячу и больше лет оставшейся у людей Кеме о грозном царе, добившемся от них невозможного. Говорили, будто он был злым богом и закрыл ради себя все храмы, чтобы никто не похищал у него времени на жертвоприношения. После этого будто бы он взял весь народ в кабалу, обязав всех без исключения строить ему чудо-гробницу и в течение тридцати лет не жалую никому ни одного часа на собственную жизнь. Десять лет будто бы пришлось им обтесывать и волочить камни, а затем дважды десять лет строить, отдавая этому все свои силы и даже еще немного сверх того. Ибо если бы сложить все их силы, то этих сил оказалось бы недостаточно для такой пирамиды. Необходимый излишек придала им божественность Хуфу, но благодарить тут было не за что. Строительство стоило огромной казны, и поскольку у его величества бога вся казна вышла, он выставил напоказ во дворце собственную дочь и отдавал ее за плату любому мужчине, чтобы пополнить строительную казну выручкой от ее блуда.

Так, по словам старика, говорил народ, и вполне возможно, что через тысячу лет после смерти Хуфу добрую часть рассказов о нем составляли всякие небылицы. Но из этих рассказов, во всяком случае, явствовало, что в народе осталась лишь смешанная со страхом благодарность покойнику за то, что тот, выжав из него все, что в нем было, и еще больше, заставил его совершить невозможное.

Когда путники подъехали ближе, цепь остроконечных гор разомкнулась в песке, и стали видны изъяны в треугольных плоскостях, лошенная облицовка которых уже начала крошиться. Пусто было между этими исполинскими памятниками, поодиночке стоявшими в каменистом песке пустынной равнины, слишком огромными, чтобы время вгрызлось в них глубже. Они одни победоносно состязались с ужасным бременем возраста, давно подмявшим под себя и похоронившим все, что некогда с благочестивой пышностью заполняло и разделяло промежутки между их невероятными глыбами. Ни опиравшихся на их откосы храмов мертвых, где был установлен «вечный» культ тех, кто стал после смерти солнцем; ни крытых расписных проходов, что туда вели, ни широких башенных ворот, что с восточной стороны, на краю зеленой земли, открывали последние пути в волшебное царство бессмертия; ничего этого Иосиф не увидел и даже не знал, что, не увидев, уже не увидел, то есть увидел уничтоженное. Относительно нас он был, правда, довольно близок к тем временам, но если направить это сравнение в другую сторону, то принадлежал к позднему, совсем еще зеленому племени, и его взгляд притрагивался к этой оголенной, но не уничтоженной временем исполинской математике, к этой великой свалке смерти так же, как притрагивается нога к куче тряпья. Не то чтобы он не испытывал удивления и благоговения при виде этих треугольных соборов; но ужасное постоянство, с каким они, покинутые своим временем, лишние, вторгались в нынешний день господень, накладывало на них в его глазах печать какого-то страшного проклятья, и он вспоминал о Башне.

Тайна в головной повязке, великий сфинкс Гор-эмахет, разительный пережиток, тоже лежал здесь где-то в песке, снова уже изрядно завевшем его и покрывшем, хотя еще недавно

последний предшественник фараона, Тутмос Четвертый, в соответствии с одним своим вещим полуденным сновидением, освободил и спас его от песка. Опять у самой груди этой громадины, которая всегда здесь лежала, так что никто не ведал, когда и как она выступила из скалы, опять у самой ее груди косо лежал песок, покрыв уже одну ее лапу и еще не засыпав другую, высотой в три дома. У этой-то гороподобной груди и дремал некогда сын царя, кукольно-маленький в сравнении с безмерно-большим богозверем, и его слуги, в некотором отдалении, стерегли его охотничью повозку, а высоко над крошечным человечком загадочная голова с жестким затыльником, с вечным лбом, с источенным носом, придававшим ей что-то озорное, со сводчатой скалой верхней губы и с широким ртом, застывшим, казалось, в какой-то спокойно-остервенелой и чувственной улыбке, глядела на восток ясными, широко открытыми глазами, глядела умно, слегка опьяненная хмелем времени, как глядела всегда.

Так лежала она и теперь, эта невообразимо древняя химера, во времени, отстояние и отличие которого от того, прежнего времени, было в ее глазах, несомненно, ничтожно, и с остервенело-чувственной неизменностью глядела на восход высоко поверх крошечной горстки людей — хозяев Иосифа. На грудь ее опиралась каменная, выше человеческого роста плита с надписью, и, прочтя эту надпись, минейцы почувствовали облегчение и бодрость. Ибо поздний этот камень давал твердую временную опору; он был подобен узкой площадке, позволяющей остановиться над пропастью: камень был установлен здесь фараоном Тутмосом на память о его сне и об освобождении этого бога от песка. Старик прочитал своим спутникам запечатленный на камне рассказ о том, как в тени этого чудовища, в час, когда солнце находилось в самой высокой своей точке, царского сына одолел сон и во сне он увидел этого прекрасного бога, его величество Гармахиса-Хепере-Атума-Ра, своего отца, который по-отечески с ним разговаривал и назвал его любимым сыном. «Уже много-премного лет, — сказал бог, — мое лицо, а равным образом и мое сердце обращены к тебе. Я дам тебе, Тутмос, царскую власть, ты будешь носить венцы обеих стран и займешь престол Геба, и тебе будет принадлежать вся земля вдоль и вширь и все, что освещает лучистый глаз Вседержителя. Тебе суждено владеть сокровищами Египта и взимать богатую дань со многих народов. Между тем меня, бога, достойного поклонения, угнетает песок пустыни, в которой я стою. Справедливое мое желание явствует из этой жалобы. Я не сомневаюсь, что ты выполнишь его как можно скорее. Ибо я знаю, что ты мой сын и мой спаситель. А я пребуду с тобой». Когда Тутмос проснулся, гласила надпись, он еще помнил слова этого бога и не забывал их до часа своего возвышения. И в тот же час он велел немедленно устранить песок, отягощавший великого сфинкса Гармахиса в пустыне близ Мемпи.

Вот что было сказано в надписи. И, слушая, как старик читает ее, Иосиф старался и словом не обмолвиться по поводу этой истории; он помнил совет старика — держать в Египте язык за зубами и хотел доказать, что на худой конец можно утаить и такие мысли, какие у него сейчас возникали. А про себя он с обидой за Иакова досадовал на этот вещий сон, находя его в своей обиде очень сухим и скудным. Такой памятной надписью, считал Иосиф, фараон поднял слишком большой шум по поводу этого сна. Ведь что, собственно говоря, было ему обещано? Только то, что и так было суждено ему от рожденья, — что он станет царем обеих стран в назначенный час. Бог посулил ему эту заранее определенную будущность, если фараон спасет его кумир от угнетающего песка. Вот и видно, какая это нелепость — творить себе кумиров. Кумира одолело песчаное злополучье, и богу приходится клянчить: «Спаси меня, сын!» — и ставить завет, обетующий в награду за жалкое благодеяние нечто и без того весьма вероятное. С его, Иосифа, отцами господь бог поставил другой, более тонкий завет: тоже в силу потребности, но потребности обоюдной — спасти друг друга от песка пустыни и стать святыми друг в друге! Кстати, царем-то царский сын стал в положенный час, а бога снова уже занесло песком пустыни. Столь кратковременное облегчение, видно, и не стоит лучшей награды, чем такой излишний посул, — подумал Иосиф и с глазу на глаз высказал это сыну старика Кедме, удивившемуся подобной язвительности.

Но хоть Иосиф и язвил, хоть он и насмехался ради Иакова, вид сфинкса так или иначе произвел на него большее впечатление, чем все дотоле увиденное в Египте, и вызвал в его юном сердце тревогу, от которой его не могли избавить никакие насмешки и которая не давала ему уснуть. Покуда они мешкали у великанов пустыни, настала ночь, и путники разбили шатры, чтобы выспаться и поутру тронуться в сторону Менфе. Иосиф же, улегшись было возле своего товарища по ночлегам Кедмы, вышел из шатра под звезды оглашаемой отдаленным воем шакалов пустыни и подошел к исполинскому идолу, чтобы еще раз, самовольно и в полном одиночестве, без свидетелей, в мерцании ночи, внимательно разглядеть и расспросить это чудовище.

Ибо оно было чудовищно, это исчадие времени в скалоподобной царской повязке на голове, чудовищно не только своими размерами и даже не только неведомостью своего происхождения. Как гласила его загадка? Она вообще не гласила. Она состояла в молчании, в том спокойно-хмельном молчании, в каком этот исполин глядел поверх вопрошавшего-вопрошаемого; он глядел невозмутимо и иступленно, отсутствующий нос придавал ему такой вид, словно он надел скуфью набекрень. Да, если бы он был загадкой, вроде загадки доброго старика об участке соседа Дагантакалы, — и если бы даже числа этой загадки были еще хитрее скрыты и спрятаны, можно было бы прикинуть и так и этак, взвесить условия и не только найти решение, но еще и прикрасить его из озорства словесной игрой. А эта загадка была сплошным молчанием; и озорство, судя по ее носу, было ее уделом; и хотя у нее была человеческая голова, человеческой голове, даже самой светлой, она не давала решительно никакой зацепки.

Например... Какого она была пола — мужского или женского? Здешний люд называл ее «Гор на светозарной вершине» и считал ее, как недавно и Тутмос, изображением владыки Солнца. Однако это было современное толкование, не всегда имевшее силу, но даже если бы в этом лежащем кумире и воплощался владыка Солнца — что можно было сказать о поле кумира? Пол его был спрятан и скрыт, ибо кумир лежал. Что явил бы он, если бы поднялся — величественно висящие ядра, как онский Мервер, или, как молодая львица, женскую статью? Ответа на это не было. Ведь даже если он сам и вставал когда-то с песка, он сделал себя таким, какими художники делают или, вернее, не делают, а представляют глазу свои картины, в которых того, что не видно, нет вообще; и явись хоть тысяча каменотесов, чтобы спросить, какого пола это чудовище, молотком и резцом, у него все равно не оказалось бы пола.

Это был сфинкс, а значит, это была загадка и тайна, тайна дикая, с львиными когтями, жадная до молодой крови, опасная для сына господня, западня и угроза отпрыску завета. О жалкая скрижаль царского сына! У этой груди из скал, между лапами женщины-дракона, не снятся обетные сны — разве только если посулы их очень убоги! К обетованию это жестокое, отверстоглазое чудовище с изъеденным временем носом, что лежало здесь в иступлении неизменности, взирая на свою реку, — к обетованию оно не было причастно, и не такова была природа его грозной загадки. Оно, охмелев, продлевало свое бытие в будущее, но это будущее было диким и мертвым, ибо оно было лишь длительностью, лишь ложной вечностью, ничего не сулившей.

Иосиф стоял и искушал свое сердце сладострастно улыбающимся величием длительности. Он стоял близко-близко... Не поднимет ли вдруг это чудовище лапу с песка, не прижмет ли оно его, мальчика, к своей груди? Он закалял свое сердце и думал об Иакове. Любование новизной не имеет прочных корней, это всего лишь юношеский праздник свободы. Оказавшись с запретным наедине, чувствуешь, чей ты духовный сын, и берешь сторону отца.

Долго стоял Иосиф под звездами перед исполинской загадкой, выставив вперед одну ногу, держа локоть в одной руке, а подбородок — в другой. Когда он потом снова улегся в шатре рядом с Кедмой, ему приснилось, что сфинкс сказал ему: «Я люблю тебя. Приблизься ко мне и назови мне свое имя, какова бы ни была моя статья!» Но он ответил: «Ужели сотворю я такое зло и согрешу перед богом?»

ЖИЛИЩЕ ЗАКУТАННОГО

Они ехали по западному берегу, правому по их движению и правильно выбранному. Ибо им не нужно было переезжать через реку, чтобы достигнуть великого Мемпи, который и сам был расположен на западном берегу, — самый большой из всех, что доселе встречались первенцу Рахили, человеческий муравейник, зажатый высокими холмами, где находились каменоломни и где город хоронил своих мертвецов.

Головокружительно стар был Мемпи и, значит, достопочтен, если одно совпадает с другим. Тот, дальше кого не шла память, родоначальник царей, древнейший царь Мени, укрепил это место, чтобы удержать Низовье, насильно присоединенное к Царству; могучий дом Птаха, сложенный из вечных камней, был также построен царем Мени и стоял здесь, следовательно, гораздо дольше, чем пирамиды в пустыне, — с тех дней, дальше которых человеку не дано было заглянуть.

Но в облике Мемпи седая древность представала не как там, оцепенелым безмолвием, а бурлящей жизнью, животрепещущей современностью, огромным городом, насчитывающим более ста тысяч жителей и множество разноименных кварталов — с путаницей извилистых, то на холм, то с холма, улочек, где все так и кишело, так и пахло суетящимся, хлопочущим, чешущим языки людом и где к середине сбегали с обеих сторон ручейки сточных вод. Были здесь и смеющиеся кварталы богачей, где в радушном уединении, в веселых садах, стояли прекраснодверные особняки, и зеленые, с развевающимися флагами, урочища храмов, где в священных прудах отражались затейливо расписанные стены палат. Были здесь и широкие, в пятьдесят локтей, аллеи сфинксов, и обсаженные деревьями улицы, по которым катились повозки богатых; их мчали горячие, украшенные султанами кони, а перед конями бежали запыхавшиеся скороходы, крича: «Абрек!», «Побереги свое сердце!», «Будь начеку!»

Да, «абрек!». Иосифу впору было сказать это себе и взять под надзор свое сердце, чтобы оно не впало в ненужную робость перед таким изысканным бытом. Ибо это был Мемпи или Менфе, как говорили здешние жители, смелым стяжением сокращая название «Мен-нефру-Мира», что значило «Останется красота Мира», — а Мира был царь шестого поколения, который расширил изначальную крепость храма, пристроив к ней свою резиденцию, и соорудил себе неподалеку пирамиду, чтобы в ней и осталась его красота. «Мен-нефру-Мира» и называлась прежде собственно только могила царя, но со временем и весь разросшийся город стал носить это название надгробья — Менфе, весы стран, царская усыпальница.

Как странно, что имя Менфе было смело сокращенным именем могилы! Иосифа это очень занимало. Так небрежно, радея лишь об удобопроизносимости, могли назвать город только эти людишки, эти жители сточных улиц, эти тощие, все ребра наперечет, обитатели трущоб, в одной из которых находилось и пристанище измаильтян — битком набитый разноплеменным людом, сирийцами, ливийцами, нубийцами, митаннийцами и даже критянами караван-сарай с грязным мощеным двором, где всегда было шумно от крика скота или от бречанья и завыванья слепцов-музыкантов. Когда Иосиф выходил оттуда, перед ним открывались картины, знакомые по городам родины, только как бы увеличенные и с египетским отпечатком. По обеим сторонам водостока цирюльники скоблили своих клиентов, а сапожники зубами натягивали полоски кожи. Ловкими, выпачканными землей руками похлопывали горшечники по вертящимся сосудам, распевая песни во славу Хнума, творца, козлиноголового владыки гончарного круга; гробовщики мастерили продолговатые, человекоподобные ящики с бородами, а из шумных пивных, под насмешки совсем еще зеленых мальчишек, выходили, пошатываясь, пьяные. Сколько людей! Все носили одинаковые полотняные набедренники и одинаковую прическу: у всех были одинаковые лежесвесные плечи и тонкие руки, и брови поднимали тоже все одинаково — наивно и бесстыдно. Их было очень много, и однообразная множественность настраивала их на насмешливый лад. Это было похоже на них — потехи

ради упростить приличествующее смерти пышное имя в короткое «Менфе», и это имя снова вызвало в груди Иосифа знакомые чувства, однажды уже им испытанные, когда он глядел с родного холма на город Хеврон и на наследственную усыпальницу предков, двойную пещеру, и благоговение, источником которого является смерть, смешалось в его сердце с приятной, которую вызвал в нем вид многонаселенного города. Это была тонкая и приятная смесь чувств, отличительно ему свойственная и тайно соответствовавшая тем двум назначениям, чьим сыном, а также, шутки ради, посредником он себя ощущал. Такой же шуткой показалось ему и ходовое имя могилы-столицы, и его сердце склонилось к тем, кто упростил это имя, к тощим, все ребра наперечет, жителям сточных улиц, а поэтому он старался болтать с ними на их языке, смеяться с ними и так же бесстыдно, как они, поднимать брови, что, кстати, удавалось ему без труда.

Впрочем, он догадывался, и это было ему по душе, что насмешливость их объясняется не только их многочисленностью и направлена не только наружу, на остальной мир; нет, жители Менфе потешались и над самими собой, зная, чем был когда-то их город и чем он давно уже перестал быть. Их насмешливость была формой, которую в их большом городе приняла та угрюмость, что звучала в речах жителей и брюзгливых жрецов Пер-Сопда: жизнеощущение отставшей от века древности стало здесь веселостью, ироническим сомнением во всем, в том числе и в себе. Дело обстояло так. Некогда, во времена строителей пирамид, Египтом, по праву царской столицы, правил Менфе, весы стран, толстостенный город. Но из Фив на верхнем юге, из Фив, которых никто не знал, когда Менфе уже несметные годы пользовался мировой славой, — оттуда, после черной поры смут и чужеземного господства, усилиями правящего ныне поколения потомков Солнца, пришли освобождение и воссоединение, и скипетр с двойным венцом перешли к Уазе, а Менфе, при прежней своей избыточной многолюдности и великой обширности, стал развенчанным царем, могилой своего величия, всемирно известным городом с дерзко укороченным именем смерти.

Не следует думать, будто Птах, этот владыка в своем капище, был оттесненным и обедневшим богом, как Сопду на востоке. Нет, имя его почиталось повсюду, и не было у человекообразного Птаха недостатка в угодах, приношениях и скоте, это сразу бросалось в глаза при виде сокровищниц, кладовых, стойл и амбаров на усадьбе его храма. Владыка Птах, которого никто не видел, — ибо даже когда он выезжал на своем струге, посещая какое-либо другое здешнее божество, его небольшое изваяние скрывалось за золотыми завесами и только прислуживавшие ему жрецы знали его лицо, — владыка Птах жил в своем храме вместе со своей женой Сахмет, то есть Могущественной, изображенной на стенах храма с львиной головой и, как говорили, любившей войну, и общим их сыном Нефертамом, прекрасным уже благодаря своему имени, но менее понятным богом, чем человекообразный Птах и жестокосердная Сахмет. Он был их сыном, а больше о нем ничего не знали, и ничего другого Иосифу не удалось о нем выяснить. Одно, впрочем, знали о Нефертаме — что он носит на голове цветок лотоса, и поэтому некоторые считали даже, что и сам-то он в общем не что иное, как этакая голубая кувшинка. Но подобное неведение не мешало сыну быть излюбленным представителем менфийской троицы, и поскольку было точно известно, что голубой лотос — любимый его цветок и прямо-таки выражение его сущности, его жилище было всегда украшено букетами этого красивого растения, и измаильяне тоже не преминули преподнести ему голубой лотос, расчетливо отдавая дань его популярности.

Никогда еще похищенный сын Иосиф не приобщался к запретному так сильно, как здесь, если иметь в виду, что внушенный ему запрет выражался в требовании «Не сотвори себе кумира». Птах недаром был богом, создававшим произведения искусства, покровителем каменотесов и ремесленников, о котором говорили, что его желания сбываются, а мысли осуществляются. Большое жилище Птаха было сплошным кумиром; его храм и дворы его храма были полны изображений; высеченные из камня — гранита, известняка или песчаника, — из дерева и из меди, мысли Птаха населяли его палаты, где отсвечивающие росписью,

увенчанные вязанками камыша колонны слоноподобно вздымались от похожих на жернова оснований к позолоченному, покрытому пылью карнизу. Вдвоем, втроем, в обнимку или поодиночке, изваяния стояли, шагали или сидели на престольных скамьях, у которых виднелись их дети, выполненные в гораздо меньшем масштабе; здесь были кумиры царей в венцах и с крючковатыми жезлами, в складчатых, расправленных у живота набедренных повязках или в повязках головных, крылья которых падали на плечи за оттопыренными ушами, кумиры с благородно непроницаемыми физиономиями и нежной грудью, с прижатыми к ляжкам ладонями, кумиры широкоплечих и узкобедрых властителей седой старины, ведомых богинями, которые охватывали мускулистые руки своего подопечного негибкими пальчиками, меж тем как сокол распрямлял крылья за самым его затылком. Опираясь на посох, с мясистым носом и такими же губами, шагал рядом со своим непомерно маленьким сыном высеченный из меди царь Мира, тот самый, кому этот город был обязан своим величием; он, как и другие, не отрывал от земли еще не шагнувшей ступни: он опирался на обе ступни, он шел, стоя на месте, и стоял на месте, идя. На сильных ногах, с поднятой головой, с прямоугольными плечами и свободно опущенными руками, отходили они от каменных пилястров, поднимавшихся с тыльной стороны их подножий, сжимая в кулаке короткие, округлые палочки. Они сидели, как писцы, подобрав под себя ноги, с занятыми руками, и умными глазами глядели на зрителя поверх разложенной на коленях работы. Они сидели рядом, сомкнув колени, мужчины и женщины, раскрашенные в естественнейшие цвета кожи, волос и одежды, они были как бы живыми мертвецами, как бы застывшей жизнью. Многим из них художники Птаха сделали глаза, и глаза страшные, не из того же материала, что все изваяние, а вставные: зрачком служил черный, вплавленный в стекло камешек, а в камешек, в свою очередь, врезался кусочек серебра, и когда оно вспыхивало на свету, широкие глаза кумиров сверкали настолько ужасающе, что под натиском этих мерцающих взоров нельзя было не закрыть руками лицо.

Это были застывшие мысли Птаха, населявшие его дом вместе с ним, со львиноголовой матерью и с лотосом-сыном. Сам этот человекообразный бог был изображен на стенах придела своего капища, стенах, сплошь волшебным образом расписанных, — сотни раз: в облике несомненно человеческом, но странно кукольном и как бы абстрактном, в профиль, так что видна была только одна нога, с удлинённым глазом, в обтягивающем голову капоре, с искусственно укрепленным клином царской бороды. И кулаки его вытянутых вперед рук, сжимавшие скипетр, и весь его стан были как-то странно, как-то очень уж общо и непонятно очерчены; казалось, что он помещен в какой-то футляр, в какую-то тесную, сглаживающую линии оболочку, казалось, если уж признаться по чести, что он закутан и забальзамирован... Что это было такое и как обстояло дело с владыкой Птахом? Выть может, эта древняя столица обязана могильным своим именем не только пирамиде, по которой она названа, и не только своему былому, но еще, и даже главным образом, тому, что она является домом своего владыки? Иосиф знал, куда лежит его путь, когда его покупатели повели его в Египет, в страну, которой Иаков не одобрял. Он был совершенно убежден, что по своему положению он и должен быть здесь, что запретное для него не запрещено, что оно, наоборот, пристало ему и что в этом таится глубокий смысл. Разве в пути он уже заранее не дал себе имени, которое показывало бы, что он человек здешний? И все-таки он никак не мог избавиться от чисто отцовской неприязни к своему новому окружению, и его так и подмывало искутить сыновей этой страны вопросами об их богах и о самом Египте, чтобы они открыли всю правду не только ему, который ее и так знал, но и самим себе, ибо казалось, что они по-настоящему не знают ее.

Так получилось с менфийским булочником Батой, встреченным ими во время жертвоприношения Апису в храме Птаха.

Кроме бесформенного бога, львицы, непонятного сына и застывших мыслей, там жил еще Хапи, великий бык, «живое повторение» господина, зачатый от луча небесного света коровой, которая затем уже никогда не рожала; ядра этого быка были столь же могучи, как ядра Мервера в Оне. Хапи жил за бронзовыми дверями в глубине открытой небу колоннады

с каменными, прекрасной работы парапетами между колоннами, на полувысоте которых и проходили изящные притолоки этой ограды; на плитах двора обычно толпился народ, когда служители выводили сюда Хапи из полумрака его освещенного только светильниками стойла-придела, чтобы люди видели, что бог жив, и приносили ему жертвы.

Один из таких молебнов наблюдал вместе со своими владельцами Иосиф. Это было любопытное, довольно-таки безобразное, но веселое зрелище — веселое благодаря хорошему настроению жителей Менфе, мужчин, женщин и топавших ногами детей — всей этой по-праздничному оживленной толпы, которая в ожидании бога, смеясь и болтая, «целовала» — так говорили они вместо «ела» — смоквы и лук, впивалась зубами, так что текло по щекам, в арбузы и пререкалась с разносчиками, торговавшими возле колонн дарственными хлебцами, жертвенной птицей, пивом, куреньями, медом и цветами.

Возле измаильтян стоял какой-то толстобрюхий человек в лыковых сандалиях, с которым они и разговорились, когда их стиснуло в давке. Он носил холщовый набедренник с треугольным, до колен, подолом, а руки его и туловище были обмотаны всяческими повязками со множеством ритуальных узлов. Его короткие волосы гладко лежали на круглом черепе, а глаза, и без того стеклянно выпученные, выкатывались, и притом с самым добродушным выражением, еще сильнее, когда красивый, бритый рот начинал говорить. Он долго рассматривал старика и его спутников со стороны, прежде чем дал волю своему любопытству к чужеземцам и обратился к ним с вопросом, откуда они прибыли и куда держат путь. Сам он, как он сообщил, был пекарем, но это не значило, что он собственноручно пек хлеб и сам совал голову в печь. Он держал полдюжины подмастерьев и разносчиков, которые на своих головах, в корзинах, разносили по городу его превосходные рогульки и кренделя; и горе им, если они зазевывались и не размахивали рукой над товаром, отчего на него налетали и крали его из корзины птицы небесные! Разносчик, с которым это случилось, получал, как выразился булочник Бата, «урок». Итак, его звали Батой. Было у него за городом и немного земли, дававшей муку для пекарни. Но этой муки было недостаточно, ибо он вел дело с размахом, и ему приходилось прикупать на стороне. Сегодня он вышел из дому поглядеть на бога, что выгодно постольку, поскольку невыгодно этим пренебрегать. А его жена тем временем посетит Великую Матерь в храме Исет и преподнесет ей цветы, ибо она особенно привержена к этой богине, тогда как он, Бата, находит большее удовлетворение здесь. А они, видимо, объезжают страны с деловыми намерениями? — спросил булочник.

Да, это так, отвечал старик. И, находясь в Менфе с его могучими воротами, в Менфе, богатом жилищами и вечными строениями, они уже достигли, так сказать, цели своего путешествия и могли бы с таким же успехом повернуть назад.

Приятно слышать, сказал булочник. Они могли бы повернуть, но не повернут: ибо, как и весь мир, они, конечно же, глядят на это старое гнездо только как на ступеньку, с которой можно подняться к великолепию Амуна. Все так делают, и у всех цель путешествия — новехоньякая Узет, город фараона (да будет он жив и здоров!), куда стекаются богатства и люди, Узет, чьим жителям обветшалое имя Менфе только на пользу, ибо оно помогает им щеголять званиями придворных и великих евнухов фараона: так, например, главный булочник бога, надзирающий за дворцовой пекарней, зовется «князем менфийским», — и зовется, надо признать, не без основания, так как и в те времена, когда люди Амуна довольствовались поджаренным зерном, в Менфе разносили уже по домам сдобу в виде коров и улиток.

Старик отвечал. Ну, конечно, после пребывания по преимуществу в Менфе они, пожалуй, взглянут на Узет — только чтобы посмотреть, насколько опять отстал этот город во всем, что связано с удобствами быта и с искусством хлебопечения, — но тут, под удары ливня, отворились задние ворота, и во двор, на расстояние всего нескольких шагов от распахнутых створок, вывели бога, Толпа пришла в великое возбуждение. Подпрыгивая на одной ноге, люди кричали: «Хапи! Хапи!», а иные, кому это удавалось в такой давке, падали ниц, чтобы поцеловать землю. Кругом были видны изогнутые позвоночники, и воздух дрожал от

гортанного придыхания, каким начиналось вырывавшееся из сотни уст имя бога. Оно было также названием потока, создавшего эту страну и ее кормившего. Это было имя солнечного быка, обозначение всех сил плодородия, свою зависимость от которых эти люди знали, имя существования страны и людей, имя жизни. При всем своим легкомыслии, при всей своей болтливости, они были глубоко взволнованы, ибо их благоговение слагалось из всех надежд и всех страхов, какими наполняет грудь строго обусловленное бытие. Они думали о разливе, который, чтобы жизнь продолжалась, не должен быть ни на локоть ни выше, ни ниже; о живости своих жен и о здоровье своих детей; о своем собственном теле и его подверженных расстройствам отправлениях, доставлявших, если с ними все было в порядке, наслаждение и удовольствие, но причинявших, если они нарушались, жестокие муки, отправлениях, которые следовало застраховать от волшебства волшебством; о врагах страны на юге, на востоке и на западе; о фараоне, которого они тоже называли «сильным быком», и которого, как им было известно, так же ублажали и холили во дворце в Фивах, как Хапи здесь, потому что он защищал их и в своем переменном лице осуществлял связь между ними и тем, от чего зависело все. «Хапи! Хапи!» — кричали они в боязливом восторге, угнетенные сознанием опасности и строгой обусловленности бытия, и с надеждой взирали на четырехугольный лоб, на железные рога, на могучий загривок богозверя, без углублений идущий от спины к голове, на его половые части, залог плодovitости. «Безопасность!» — вот какой смысл вкладывали они в этот крик, — «Защита и благополучие!», «Да здравствует Египетская земля!»

Невероятно красиво было это живое повторение Птаха, — ну, еще бы, если целый год лучшие знатоки придирчиво выбирали самого красивого быка между болотами устья и островом Слонов, то уж такой бык не мог не быть красив! Он был черен; и чудесно, чтобы не сказать божественно, шел к его черноте алый чепрак на спине. Два лысых служителя в плоеных, золотой парчи, набедренниках, спереди не закрывавших пупка, а сзади доходивших до середины спины, держали его с обеих сторон за золоченые поводья, и тот, что стоял справа, немного приподнял чепрак, чтобы показать народу белое пятно на боку Хапи, считавшееся отпечатком серпа луны. Один из жрецов, в леопардовой, с хвостом и лапами шкуре на спине, сделал поклон, выставил вперед одну ногу и, держа за ручки курильницу, протянул ее прямо к быку, который, приняв себя, опустил голову и принялся раздувать толстые, влажные ноздри, раздраженные пряным дымком. Затем он мощно чихнул, и народ стал кричать и подпрыгивать на одной ноге с удвоенным воодушевлением. Воскурение сопровождалось игрой арфистов, которые сидели, подобрав под себя ноги, и с обращенными к небу лицами пели гимны, меж тем как позади них другие певцы хлопали в ладоши в лад музыке. Показались и женщины, храмовые девушки с непокрытыми волосами, одна выходила обнаженная, в одном только кушаке над широкими бедрами, а другая — в длинном, прозрачном, как фата, платье, открытом спереди и равным образом позволявшем увидеть всю ее молодость. Обходя в пляске площадку, они потрясали над головой систрами и бубнами и поразительно высоко задирали вытянутые ноги. Священник-чтец, сидевший у самых копыт быка, начал, качая головой, нараспев читать по своему свитку какой-то текст, в котором повторялись неизменно подхватываемые народом слова: «Хапи — это Птах. Хапи — это Ра. Хапи — это Гор, сын Исет!» Затем, обмахивая его на ходу опахалами из перьев, к быку подвели какого-то явно высокопоставленного жреца в широком и длинном батистовом набедреннике с помочами, лысого и гордого, с золотой, наполненной кореньями и травами чашей в руках, которую он тотчас же, как бы ползком, ловко отводя далеко назад одну ногу и опираясь на пальцы другой, поджатой под себя как можно плотнее, поднес богу обеими руками.

Хапи не обращал на это внимания. Привыкший ко всем этим посвященным ему церемониям, к торжественной скуке, ставшей из-за определенных телесных качеств грустным его уделом, он с тягостным нетерпением, широко расставив ноги, глядел своими маленькими, налитыми кровью глазами поверх жреца на людей, которые, подпрыгивая и подскакивая, прижав одну руку к груди и протянув другую к нему, выкрикивали его священное имя. Им было так

радостно видеть его на золотой привязи и знать, что он находится под надежной охраной храма, в руках прислуживающих ему сторожей. Он был их богом и их пленником. Его пленение и безопасность, которую оно им сулило, собственно, и были причиной их ликования, их веселых подскоков; и, глядя на них с таким нетерпением и с такой злостью, он, наверно, понимал, что, несмотря на все знаки почтения, они относятся к нему вовсе не так хорошо.

Булочник Бата по своей грузности воздерживался от подскоков, но он тоже вторил тещу зычным голосом и, явно взволнованный близостью бога, приветствовал его челобитьями и воздеванием рук.

— Видеть его очень полезно, — объяснял он своим соседям. — Это укрепляет силы и восстанавливает бодрость. Я знаю по опыту, что, увидев Хапи, я могу уже целый день ничего не есть, мне кажется, что я до отвала наелся говядины, такая разливается по всему телу сонливость и сытость. Я ложусь вздремнуть и, проснувшись, чувствую себя так, словно родился заново. Это величайший бог, живое повторение Птаха. Да будет вам известно, что его ждет могила на Западе и что отдано повеление засолить и закутать его после смерти по высшей смете, лучшими смолами и повязками из царского полотна, а затем, согласно обычаю, похоронить его в городе мертвых, в вечном жилище божественных быков. Так было велено, и так будет. Уже два Усара-Хапи покоятся в каменных раках в вечном жилище Запада.

Старик бросил на Иосифа взгляд, который тот истолковал как предложение подсказать хозяину какой-нибудь вопрос, чтобы попытаться булочника.

— Пусть, — сказал он, — этот человек объяснит тебе, почему он говорит, что Усара-Хапи ждет его жилище на Западе, тогда как оно ждет его вовсе не на Западе, а в Менфе, городе живых, который и сам-то расположен на западном берегу, откуда не нужно переправлять мертвецов через реку.

— Этот юноша, — обратился старик к булочнику, — спрашивает то-то и то-то. Можешь ли ты ответить ему?

— Я, — отвечал египтянин, — просто сказал то, что все говорят, и даже не призадумался. Ведь мы же все повторяем это, не думая. Запад — это Запад, и у нас принято называть его городом мертвых. Между тем мертвецы Менфе, в отличие от других мест, вовсе не переправляются через реку, и город живых уже и сам находится на Западе. Если рассуждать разумно, то замечание твоего юноши справедливо. Но в обороте речи я не ошибся.

— Спроси у него еще вот что, — сказал Иосиф. — Если прекрасный бык Хапи — это живой Птах для живых, то что же представляет собой Птах в своем капище?

— Птах велик, — отвечал булочник.

— Скажи ему, что в этом я не сомневаюсь, — возразил Иосиф. — Но Хапи, когда он умрет, зовется Усар-Хапи, а, с другой стороны. Птах на своем струге — это человекообразный Усир, имеющий облик тех бородатых ларей, которые мастерят гробовщики, и, кажется, закутанный. Так что же он все-таки представляет собой?

— Объясни своему юноше, — сказал булочник старику, — что к Птаху ежедневно входит жрец, который особыми приспособлениями открывает ему рот, чтобы он мог есть и пить, и ежедневно подкрашивает ему щеки румянами жизни. Вот как служат ему и вот как ходят за ним.

— Тогда я позволю себе спросить, — отвечал Иосиф, — что делают с мертвецом у его могилы, когда позади него стоит Ануп, и в чем состоит обряд, совершаемый жрецом над мумией?

— Неужели он и этого не знает? — сказал булочник. — Сразу видно, что он житель песков, чужак и новичок в нашей стране. Да будет же ему известно, что этот обряд состоит прежде всего в так называемом отверзании уст, а заключается оно в том, что жрец особым жезлом открывает мертвецу рот, чтобы умерший мог снова есть и пить и вкушать жертвы, которые ему принесут. Кроме того, в знак возвращения к жизни по примеру Усира, на мумию накладывают цветущие румяна, каковые весьма отраднo видеть скорбящим.

— Благодарю, — сказал Иосиф. — Вот в чем, значит, различие между служением богам и служением мертвецам. Спроси же теперь господина Бату, из чего строят в земле Египетской.

— Твой юноша, — отвечал булочник, — красив, но туповат. Для живых строят дома из самана. А обиталища мертвым, как и храмы, строятся из вечных камней.

— Весьма благодарен, — сказал Иосиф. — Но если о двух предметах можно сказать одно и то же, то, значит, эти предметы тождественны, и их можно безнаказанно поменять местами. Могилы Египта — это храмы, а храмы...

— Это жилища богов, — подхватил булочник.

— Ты это говоришь. Мертвецы Египта — это боги, а ваши боги — кто они?

— Боги велики, — отвечал булочник Бата. — Я сужу об этом по сытости и по усталости, овладевающей мною после встреч с Хапи. Пойду-ка я лучше домой да и прилягу, чтобы уснуть тем освежающим сном, после которого заново родишься на свет. А тем временем и жена вернется со службы Матери. Будьте здоровы, чужеземцы! Радуйтесь и отправляйтесь с миром!

И он удалился. А старик сказал Иосифу:

— Он устал от бога, и тебе не следовало докучать ему через меня каверзными вопросами.

— Но ведь должен же раб твой, — оправдывался Иосиф, — все как следует разузнать, чтобы приспособиться к жизни Египта, где ты его намерен оставить и где он надолго задержится. Здесь все внове и все в диковинку твоему молодому рабу. Дети Египта молятся в могилах, как бы они их ни называли — храмами или вечными обиталищами; а мы у себя на родине молимся по обычаю предков под зелеными деревьями. Как не задуматься, как не посмеяться, глядя на этих детей? Живая ипостась Птаха зовется у них Хапи, и она, по-моему, и впрямь нужна Птаху, ибо он явно закутан и мертв. А они не могут успокоиться, пока не закутают и живую ипостась и не сделают из нее тоже Усира и мумию. Без этого им не по себе. Между тем мне нравится Менфе, чьим мертвецам незачем переправляться на другой берег, ибо он и сам уже расположен на западном берегу, этот большой город, полный людей, которые удобопринесимости ради упрощают его могильное имя. Жаль, что тот благословенный дом, куда ты хочешь меня доставить, дом Петепра, носителя опахала, находится не в Менфе, ибо из всех египетских городов мне, пожалуй, подходит именно этот.

— Слишком ты еще зелен, — отвечал старик, — чтобы различать, что тебе полезней. Но я это знаю и помогу тебе, как отец; да ведь таковым я тебе и прихожусь, если считать твоей матерью яму. Завтра чуть свет мы отплываем. Девять дней будем мы плыть на юг, вверх по реке, через землю Египетскую, чтобы ступить на сияющее побережье царской столицы Узетпер-Амуна.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ПРИБЫТИЕ

ПО РЕКЕ

«Блистающий скоростью» назывался корабль, на который по сходне, вместе со своими верблюдами, взошли измаильтяне с причала, после того как они в разбитых там торговых палатках запаслись продовольствием на девять дней. Таково было его имя, написанное по обеим сторонам его украшенного гусиной головой носа, — имя, исполненное египетской хвастливости, ибо это была самая неповоротливая баржа из всех, какие стояли у менфийских причалов, с очень широкими, большей грузоподъемности ради, боками, с деревянными поручнями, с каютой, представлявшей собой всего-навсего сводчатый шалаш из циновок, и с одним-единственным, но очень тяжелым правильным веслом, отвесно укрепленным на брус в кормовой части.

Хозяина судна звали Тот-нофер; это был северянин, он носил серьги, у него были седые волосы на голове и на груди; старик познакомился с ним на подворье и сошелся на небольших прогонных деньгах. Корабль Тот-нофера был нагружен строительным лесом, партией царского и партией обыкновенного полотна, папирусом, воловьей кожей, корабельным канатом, двадцатью мешками чечевицы и тридцатью бочками вяленой рыбы.

Кроме того, на борту «Блистающего скоростью» находилась статуя одного богатого фиванца, стоявшая на носу в опалубке из реек и мешковины. Статуя эта предназначалась для «Доброго Дома», то есть для могилы заказчика на западном берегу, где этот ее обитатель, выходя из мнимой двери, должен был глядеть на свое вечное достояние и на настенные изображения привычной своей жизни. Глаза, которыми ей предстояло это делать, не были еще вставлены, да и сама она еще не была расписана красками жизни, и не было еще палки, которую следовало пропустить сквозь ее кулак возле косо оттопыренного подола набедренника. Но ее прототип считал необходимым, чтобы его двойной подбородок и его толстые ноги были хотя бы начерно выполнены под наблюдением Птаха и руками художников этого бога; окончательный же блеск можно было навести в одной из мастерских фиванского города мертвых.

В полдень корабельщики отчалили и подняли коричневый, в заплатках, парус, который тотчас же наполнился сильным северным ветром. Кормчий, сидевший на краю заднего скоса судна, начал с помощью правила двигать лопасть, его товарищ, стоя на самом носу, принялся промерять шестом глубину, а судовладелец Тот-нофер, заботясь о том, чтобы боги благоприятствовали плаванию, покурил у входа в каюту смолкой, взятой у измаильтян в счет прогонных; и покуда судно с Иосифом, высоко вздыбленное сзади и спереди, так что оно разрезало воду только серединой своего киля, выходило на речной простор, старик, усевшись со своими спутниками позади каюты на сложенных бревнах, разглагольствовал о мудрости жизни, в которой выгоды и невыгоды почти всегда взаимно уравновешиваются и уничтожаются, благодаря чему создается промежуточное совершенство не слишком хорошего и не слишком плохого. Так, например, сейчас они плывут вверх, против течения, но зато ветер, пособнически толкая парус, дует, как почти всегда, с севера, вследствие чего действие и противодействие дают в итоге размеренное продвижение. Если же ты плывешь вниз, то это, с одной стороны, даже весело, потому что течение несет тебя само, но, с другой стороны, твое судно может в любой миг, выйдя из повиновения, стать поперек реки и ты должен, не щадя сил, орудовать веслами и кормилом, чтобы все твое плавание не пошло кувырком. Так всегда в жизни выгоды умеряются невыгодами, а невыгоды покрываются выгодами, и хотя в чисто числовом итоге всегда получается нуль, итог практический — это мудрость уравнивания и промежуточного совершенства, мудрость, перед лицом которой неуместны ни ликование, ни проклятья, а уместно только довольство. Ибо совершенство состоит не в одностороннем скоплении выгод, при котором, с другой стороны, сплошные невыгоды сделали бы жизнь невозможной, а во взаимном уничтожении выгод и невыгод, в превращении их в равнозначное довольству ничто.

Так, подняв палец и косо склонив голову, поучал старик, и его родственники слушали его с разинутыми ртами, обмениваясь растерянно-смущенными взглядами, как то нередко бывает с обыкновенными людьми, когда им твердят о высоких материях, а они предпочли бы не слушать этого. Впрочем, Иосиф тоже слушал отвлеченности старика невнимательно, ибо его радовали новизна плавания, свежий ветер, мелодичный плеск волн под носовым сгибом, плавное, с мягким покачиваньем скольжение по просторной реке, чьи воды, сверкая, скакали им навстречу, как скакала земля навстречу Елизеру во время его путешествия. Непрестанно менялись картины веселых, плодородных и священных берегов; их нередко окаймляли колоннады, иногда в виде пальмовых рощ, но столь же часто это были каменные портики, сооруженные человеческими руками и принадлежавшие городским храмам. Проплывали мимо деревни с высокими голубятнями, потом зеленые нивы, а потом снова появлялось пестрое городское великолепие с золотоблещущими иглами Солнца, флагами на воротах и парами исполинов, что, положив на колени руки, в величественном оцепенении глядели вдаль поверх

воды и земли. Подчас все это оказывалось совсем рядом, а затем снова далеко отступало от судна, — когда они плыли посередине реки, чьи воды то ширились морем, то петляли в излучках, за которыми прятались и открывались все новые и новые картины Египта. Но как занимательна была и жизнь самой этой священной дороги, этого великого пути Египта, сколько парусов, грубых и дорогих, вздувалось на ветру и сколько весел упиралось в нильские воды! Звонкий воздух над рекой был наполнен человеческими голосами, приветствиями и шутками лодочников, криками шестовых, предупреждавших о водоворотах и мелях, напевными приказаниями корабельщиков, стоявших на крышах кают, парусной прислуге и кормчим. Простых судов, таких, как корабль Тот-нофера, было кругом множество, но попадались, перегоняя «Блистающего скоростью» или идя навстречу, и складные, изящные струги — синей окраски, с низкой мачтой и широким, голубино-белым, красиво изгибавшимся при наполнении парусом, со штевнем в виде лотоса и затейливыми павильонами вместо чуланоподобных кают. Встречались храмовые струги с алыми парусами и росписью по всему носу; благороднейшие дорожные суда знати, с двенадцатью гребцами на каждом борту, с надстроенными арками и беседками, на крыши которых грузились поклажа и повозка хозяина, а среди ослепительных ковровых стен, сложив на коленях руки и как бы застыв в своей красоте и своем богатстве, не глядя ни вправо, ни влево, сидел он сам, важный и знатный. Встретилась им и похоронная процессия, три счаленных, один за другим, корабля, на последнем из которых, белом, без паруса и без весел, струге, головой вперед, оплакиваемый скорбящими, на козлах с ножками в виде львиных лап, лежал размалеванный Озирис.

Да, тут многое можно было увидеть, и на берегу, и на реке, и для Иосифа, проданного Иосифа, который впервые совершал путешествие на корабле, да еще такое путешествие, дни пролетали словно часы. Каким обычным должен был стать для него именно этот вид путешествия и каким привычным именно этот отрезок реки между домом Амуна и полным загробной шутливости Менфе! Точь-в-точь как эти знатные господа в их ковровых капищах, суждено было некогда сидеть и ему самому, сидеть в той величавой неподвижности, которой ему предстояло научиться, потому что народ ждал ее от богов и от знати. Ибо так умно повел он себя и так ловко поладил с богом, что стал первым среди людей Запада и волен был сидеть, не глядя ни вправо, ни влево. Но это ему еще предстояло. А покамест он, сколько мог, глядел и вправо и влево, чтобы умом и сердцем постигнуть эту страну и жизнь этой страны, глядел, непрестанно заботясь о том, чтобы его любопытство не выродилось ни в смущение, ни в ненужную робость, а сохранило ему сдержанность и бодрость духа во славу отцов.

Так дни слагались из вечеров и утр, слагались и множились. Менфе и день, когда они оттуда отплыли, остались далеко позади. Когда садилось солнце и пустыня окрашивалась в фиолетовый цвет, когда аравийское небо по левую руку смягчало и отражало ослепительное оранжевое сияние ливийского неба по правую, они причаливали где придется и ложились спать, чтобы наутро двинуться дальше. Ветер был почти все время попутный, исключение составляли дни, когда он вообще затихал. Тогда приходилось ложиться на весла, причем подлежавший продаже Узарсиф и молодые измаильтяне тоже гребли, так как корабельная прислуга была малочисленна; продвижение в эти дни замедлялось, что очень огорчало Тот-нофера, который должен был доставить могильную статую к назначенному сроку. Но такие задержки легко наверстывались, ибо на следующий день полотнище паруса наполнялось с особой силой, и выгода и невыгода взаимно уничтожались, а в итоге оставалось довольство: и на девятый вечер вдали показались зубчатые, прозрачно-пунцовые, словно яхонтовые, вершины, на вид удивительно привлекательные, хотя они, и это все знали, были так же мертвы и губельны, как любые другие горы Египта. Судовладелец и старик узнали горы Амуна, высоты Но; и когда, переночевав, путники снова подняли парус, причем от нетерпения они взялись и за весла, вот тут-то и началось, вот тут-то и засверкало перед ними золото и заиграли все цвета радуги, и они вошли в прославленный фараонов город, оставаясь еще на своем корабле, еще не ступив на землю: река превращалась здесь в дорогу почета, она проходила вдоль вереницы божест-

венных зданий, среди отдохновенной зелени садов, между храмами и дворцами, высившимися справа и слева, на берегу жизни и на берегу смерти, между колоннадами с папирусными оглавьями и с оглавьями в виде лотосов, среди обелисков с золотыми остриями, исполинских статуй, башен с воротами, к которым вели от берега аллеи сфинксов и створки которых, как и шесты для флагов на башнях, были покрыты позолотой; от этого сиянья слепило глаза, и все краски картин и надписей на постройках, коричнево-красная, темно-багровая, изумрудно-зеленая, охряно-желтая и лазурно-голубая, сливались в сплошные яркие пятна.

— Это Эпет-Эсовет, великое жилище Амуна, — сказал, указывая пальцем, старик Иосифу. — Там есть палата, в пятьдесят локтей шириной, с пятьюдесятью двумя колоннами и пилястрами, подобными шатровым шестам, и эта палата, поверишь ли, вымощена серебром.

— Конечно, поверю, — отвечал Иосиф. — Ведь я же знал, что Амур очень богатый бог.

— А это божественные верфи, — заговорил старик снова, указывая на затоны и сухие доки по левую руку, где множество людей в набедренниках, плотников бога, орудовало около остовов кораблей сверлами, молотками и смолой. — Это смертный храм фараона, а это вот — дом его жизни, — продолжал старик, указав дважды на запад, где видны были роскошные здания — одни величественные, другие просто приятные глазу. А это Южный Дом Утех фараона, — сказал старик, переходя снова к другому берегу и направляя палец на продолговатые храмы у самой реки: в их ярко освещенные солнцем фасады вклинивались у выступов резкие треугольные тени; а вокруг этих храмов везде копошились люди, еще явно занятые строительными работами. — Ты видишь эту красоту? Ты видишь, где совершается таинство царского зачатия? Заметил ли ты, что перед покоем и двором фараон строит еще одну палату, колонны которой выше, чем где-либо? Друг мой, это гордая Новет-Амур! Ты, наверно, глядишь на Дорогу овнов, что ведет от Южного Дома Утех к Великим Покоям? Знай же, что длина ее пять тысяч локтей и что слева и справа она сплошь уставлена овнами Амуна, несущими изображение фараона меж ног.

— Все это более чем мило, — сказал Иосиф.

— Мило? — изумился старик. — Ну и слова же ты выбираешь из своего запаса, — до смешного неподходящие, скажу я тебе. Нет, таким отзывом об облике Узет ты меня совсем не обрадовал.

— Я же сказал «более чем мило», — возразил Иосиф. — Насколько угодно более. Но где же дом носителя опахала, куда ты хочешь меня доставить? Можешь ли ты показать мне его?

— Нет, отсюда его не разглядишь, — ответил старик. — Он находится вон там, ближе к восточной пустыне, где город редееет, растворяясь в садах и особняках знатных господ.

— И ты сегодня же доставишь меня в этот дом?

— Тебе, видно, не терпится, чтобы я доставил тебя туда и продал? А откуда ты знаешь, возьмет ли тебя управляющий и достаточно ли он заплатит за тебя, чтобы я не только покрыл свои издержки, но и получил еще какую-то справедливую прибыль? Много раз обновлялась луна с тех пор, как я принял тебя из материнского чрева колодца, и много дней печешь ты мне в дороге лепешки, а прощаясь со мною на ночь, достаешь из запаса слов все новые и новые выражения. Вполне возможно, что тебе это наскучило, что мы надоели тебе и ты стремишься к какой-то новой службе. Но ведь за это множество дней ты равным образом мог настолько привыкнуть к старому минейцу из Ма'она, твоему восприемнику, что теперь тебе было бы тяжело с ним расстаться и ты не торопил бы того часа, когда он удалится, передав тебя в руки чужих людей. Таковы две возможности, вытекающие из множества дней совместного путешествия.

— Действительностью, — сказал Иосиф, — стала последняя, преимущественно последняя из них. Конечно же, я не спешу расстаться с тобой, с моим спасителем. Я только спешу прибыть туда, где меня хочет видеть Господь.

— Потерпи же, — ответил старик. — Высадившись на берег, мы должны будем проделать все хлопоты, которых требуют от приезжих дети Египта, а это обычно длится долго. Затем мы отправимся туда, где город не редок, а густ, на знакомое мне подворье, и там переночуем. А уж утром я доставлю тебя к этому благословенному дому и предложу тебя своему другу, управляющему Монт-кау.

Ведя такие речи, они подошли к гавани, или, вернее, к причалу, куда свернули с середины реки, меж тем как хозяин судна, Тот-нофер, в благодарность за благополучное плавание, снова курил смолкой перед каютой; прибытие оказалось связано с такими долгими, с такими утомительными и нудными хлопотами, с какими только могло или может быть сопряжено завершение плавания. Путников охватила сумятица пристани, где теснилось множество здешних и чужестранных судов, либо уже причаливших, либо ждавших, когда освободится тумба, чтобы закинуть чал; «Блистающего скоростью» взяли штурмом гаванские охранники и таможенные писцы, тотчас принявшиеся переписывать всех и вся, меж тем как на берегу посыльные хозяина статуи с криками протягивали руки к долгожданному изваянию, а рядом раздавались голоса торговцев, расхваливавших новопривывшим свои сандалии, шапки и пряники, слышалось блеянье выгружаемых стад, гремела на набережной музыка скоморохов, пытавшихся обратить на себя внимание приезжих. Притихшие и оглушенные этой великой суматохой, Иосиф и его спутники сидели на бревнах в кормовой части своего судна, дожидаясь того мгновения, когда им позволят сойти на берег и направиться на постоянный двор. А до этого было еще далеко. Таможенники занялись стариком, велев ему представить сведения о себе самом и о своем имуществе и заплатить пошлину за свой товар. Он сумел расположить к себе этих чиновников и направить беседу с ними по руслу мудрой человечности, а не унылой казенности; они посмеялись и, приняв небольшие подарки, не стали придирааться к странствующим купцам; и через несколько часов после того, как чал бы закинут, покупатели Иосифа смогли провести по сходням своих верблюдов и, не привлекая к себе ни малейшего внимания привыкшей к любому цвету кожи и к любой одежде толпы, направиться своей дорогой сквозь толчею ближайших к гавани улиц.

ИОСИФ ПРОХОДИТ ПО УАЗЕ

Город, чье имя в устах греков, старавшихся сделать его родней и привычнее, звучало позднее как «Тебай», — этот город в ту пору, когда там высадился и жил Иосиф, отнюдь не достиг еще вершины своей славы, хотя был уже достаточно знаменит, как то явствовало из восхищения, с каким говорил о нем измаильтянин, и из чувств, овладевших Иосифом, когда он узнал, что цель его путешествия — Фивы. Издавна, еще с темных и скудных дней первобытной древности, этот город все более возвышался, все более приближался к полнолуной красоте; однако многого еще не хватало для того, чтобы его великолепие достигло предела и, не в силах уже больше расти, застыло в своей завершенности, сделав Фивы одним из семи чудес света — и в целом, и главным образом благодаря одной их части — беспримерной колоннаде огромных размеров, которую один позднейший фараон по имени Ра-мессу, что значит «Его породило Солнце», пристроил к ансамблю большого северного храма Амуна, понеся издержки, вполне соответствовавшие тому высочайшему уровню богатства, какого достиг этот бог. Но глаза Иосифа не увидели упомянутой колоннады, как не увидели они раньше и древностей вокруг пирамид, только по противоположной причине: потому что она еще не стала действительностью и ни у кого не было мужества представить себе ее. Ведь для того чтобы она появилась, нужно было сначала возвести много других зданий, которые были бы затем превзойдены уже привыкшей к ним силой человеческого воображения, ибо эта сила возрастающе ненасытна: например, мощенную серебром палату в Эпет-Эсовете, которую знал старик, с пятьюдесятью двумя колоннами, подобными шатровым шестам, построенную третьим пред-

шественником нынешнего бога; или палату, которую сам нынешний бог пристраивал теперь, как видел Иосиф, к Южному Дому Утех Амуна, этому прекрасному храму у реки, оставляя все дотоле построенное далеко позади. Нужно было сначала представить себе и, уверовав в ее предельность, воздвигнуть всю эту красоту, чтобы некогда, взяв ее основанием, человеческая ненасытность представила себе, а затем и осуществила нечто уже совершенно, предельно прекрасное — чудо света, Рамзесову колоннаду.

Но хотя в наше, Иосифа, время оно еще не возникло, а находилось, так сказать, в пути, столица на Ниле Уазе или, иначе, Новет-Амун, вызывала и на этой ступени во всем мире, насколько он тогда сам себя знал, вплоть до самых дальних краев, величайшее восхищение, и слава эта была даже преувеличенной: люди любят дружную хвалу и, повторяя чужие слова, настаивают на ней с единодушным упрямством и прямо-таки приличия ради, и поэтому всякий, кто во всеуслышание усомнился бы в том, что Но в Египте безмерно велик и красив, что это воплощение строительного великолепия и вообще мечта, а не город, — такой человек показался бы всем очень странным и в какой-то мере поставил бы себя вне человечества. Нам, спустившимся к этому городу — «спустившимся» и в пространственном смысле, то есть вместе с Иосифом вверх по реке, и во временном, то есть в прошлое, где этот город, на сравнительно небольшой глубине, все еще шумит, клокочет, блещет и с великой четкостью отражает свои храмы в неподвижных зеркалах священных озер, — нам приходится поступить с этим городом приблизительно так, как поступили мы, когда впервые увидели его у колодца воочию, с самим Иосифом, тоже возведенным в ранг совершенства песнями и преданиями: мы вернули его якобы невероятную красоту к человеческим мерам его времени, и при этом она сохранила достаточно очарования, прежде непомерно разукрашенного молвой.

Так мы поступили и с небесным городом Но, Построен он был не из небесного вещества, а, как всякий другой, из крашеного самана, и улицы его, как установил, к своему успокоению, Иосиф, были такими же узкими, кривыми, грязными и зловонными, какими всегда были и будут в этих местах улицы человеческих селений, больших и малых, — таковы, по крайней мере, были они в обширных кварталах бедноты, которая численностью, как обычно, превосходила богачей, живших, конечно, просторнее и привольнее. Если во всем мире, и на островах моря, и на дальних берегах, твердили и пели, что в Уазе «дома полны сокровищ», то справедливо это было, если не считать храмов, где золото действительно мерили четвериками, лишь в отношении очень немногих домов, которые обогатил фараон; подавляющее же большинство их отнюдь не скрывало сокровищ, а было так же бедно, как жители островов и дальних берегов, гревшиеся в лучах сказочной славы о богатствах Уазе.

Что касается размеров Но, то они слыли огромными и таковыми действительно были, с той оговоркой, что «огромный» понятие не самодовлеюще-однозначное, а относительное, применимое лишь при определенных условиях, целиком зависящее от каких-то общих и субъективных понятий. Но главный признак, по которому мир судил о размерах Уазе, «стовратность» этого города, был чистым недоразумением. На Кипре-Алашии, на Крите, да и повсюду считали, что у столицы Египта сто ворот. В мифическом упоении ее называли «стовратной» и добавляли, что из каждых ворот могут ринуться на врага двести вооруженных конников. Совершенно ясно, что эти болтуны представляли себе каменную ограду такого охвата, что внутри ее должно было вести не пять и не шесть, а сто городских ворот; столь ребяческое представление о столице Египта могло возникнуть, конечно, только у тех, кто не видел Уазе своими глазами, а знал этот город по преданиям, с чужих слов. Идея множества ворот связывалась с образом Амунова города в известном смысле по праву; он и в самом деле имел много «ворот», но это были не крепостные ворота, предназначенные для оборонительных вылазок, а веселые, громадные, сверкающие красками своих волшебных надписей и цветных барельефов, увешанные пестрыми вымпелами на золоченых древках парные пилоны, которыми носители двойного венца постепенно, веками и десятилетиями, украшали и отмечали святилища богов. Их было действительно множество, хотя до самого дня полнолуной и беспримерной

красоты Уазе к ним нет-нет да и прибавлялись новые сооружения такого рода. «Сотни», однако, не набиралось ни теперь, ни позже. Но «сто» — это просто круглое число, которое и в наших-то устах означает часто всего только «очень много». Одно лишь Великое Северное Жилище Амуна, Эпет-Эсовет, уже тогда заключало в себе шесть или семь этих «ворот», по нескольку было и в ближайших к нему храмах меньших размеров — домах Хонсу, Мут, Монта, Мина, бегемотообразного Эпета. Другой большой храм Амуна возле реки, называвшийся Южным Домом Утех или просто «гаремом», тоже насчитывал несколько башенных ворот, и еще были такие ворота в меньших по размеру жилищах не очень-то прижившихся здесь, но все же оседлых и как-никак подкармливаемых богов — в домах Усира и Исета, Птаха Менфийского и других.

Окруженные своими садами, рощами и озерами, усадьбы храмов и составляли ядро города, они-то, по существу, и были самым городом, а все светские и жилые постройки лишь заполняли промежутки между ними; эти постройки тянулись от южного портового квартала и Амунова Дома Утех к ансамблю храмов на северо-востоке, лепясь с обеих сторон к большой парадной дороге бога, Аллее онов, которую старик показал Иосифу еще с корабля. Это была великолепная улица, в пять тысяч локтей длиной, а так как она отклонялась от Нила на северо-восток и застроенный жилыми домами участок между ней и рекой расширялся и так как по другую сторону этой парадной дороги населенная часть города продолжалась, подходя к восточной пустыне, и растворялась в садах и особняках богачей (здесь-то «дома и были полны сокровищ»), — то город был и в самом деле очень велик, даже, если угодно, огромен: говорили, что он насчитывает более ста тысяч жителей; и если применительно к воротам число сто было поэтическим округлением с перебором, то в отношении многонаселенности Уазе большая цифра сто тысяч была тоже не чем иным, как таким округлением, но уже с недобором: жителей, если мы вправе полагаться на свою и на Иосифа оценку, было здесь не просто «больше», а гораздо больше, возможно даже вдвое или втрое, особенно если считать и жителей города мертвых на западе, за рекой, называвшегося «Напротив своего повелителя», — жителей не мертвых, разумеется, а живых, которые обосновались там из-за своей профессии; ибо служили переправленным через реку усопшим по роду своей ремесленной или культовой деятельности. Все они вместе со своими жилищами составляли особый город, который, будучи причислен к Уазе, делал эту столицу необычайно большой. К ним принадлежал и сам фараон; он жил не в городе живых, а на западе, за рекой: воздушно-изящный его дворец и прекрасные вертограды его дворца со своим озером и своими потешными прудами, которых раньше не было, раскинулись у самого края пустыни и под ее красными скалами.

Итак, это был очень большой город — большой не только по размерам и по числу жителей, но прежде всего по напряженности своей внутренней жизни, по своей пестроте и веселой ярмарочной разноплеменности, большой, как ядро и как фокус мира. Он сам считал себя пупом вселенной — хотя это утверждение казалось Иосифу дерзким, да и вообще было спорным. Ведь был же еще на свете Вавилон со своим пятящимся Евфратом, где считали, что пятится, наоборот, река Египта, и не сомневались, что весь мир представляет собой восхищенное окружение Баб-илу, хотя в строительстве там тоже еще не достигли тогда полнолунного совершенства. Недаром говаривали на родине Иосифа об Амуновом городе, что «силу его составляют бесчисленные нубийцы и египтяне, а помогают им ливийцы и люди Пунта». Уже при первом знакомстве с городом, когда Иосиф вместе с измаильтянами направился с пристани на постоянный двор, находившийся в самой глубине городского лабиринта, это при словье подтвердилось множеством впечатлений. На Иосифа и на его спутников никто не глядел, ибо чужеземная внешность была здесь обычным явлением, а его вид был не настолько диковинным, чтобы привлечь внимание. Тем удобнее было смотреть ему самому, и разве лишь опасение, что такой натиск широкого мира смутит его религиозную гордость и заставит его оробеть, придавало его глазам некоторую сдержанность.

Чего он только не увидел по дороге от пристани к подворью! Какие чудесные товары текли из лавок, как кишели улицы адамовыми детьми самых разнообразных пород и званий!

Казалось, что все население Уазе вышло на улицы и зачем-то движется из одного конца города в другой, туда и обратно; в толпе коренных жителей виднелись лица и одежды всех четырех стран света. У самого причала образовалась толча вокруг нескольких эбеново-черных мавров с невероятно выпяченными припухлостями губ и страусовыми перьями на головах — мужчин и зверооких женщин с похожими на бурдюки грудями и смешными детьми в заплечных корзинах. Они вели на цепях отвратительно завывавших пантер и передвигавшихся на четвереньках павианов; были у них и жирафы, спереди высотой с дерево, а сзади всего лишь с лошадь, и борзые собаки; а под золотыми покрывалами эти мавры несли предметы, ценность которых несомненно соответствовала такой оболочке, — по-видимому, из золота или слоновой кости. Это, как узнал Иосиф, явилось с данью одно из посольств страны Куш, что находилась за страной Вевет, к югу от нее, в далеком верховье реки, но посольство маленькое, внеочередное и дополнительное, отправленное попечителем южных стран, кушским наместником и князем, в надежде порадовать сердце фараона и расположить это сердце таким неожиданным даром к нему, князю, дабы его величеству не вздумалось отозвать наместника и заменить его одним из своих приближенных, которые прожужжали ему уши просьбами о доходном месте и вели против сидевшего на этом месте князя заушательские речи в утренних покоях царя. Любопытно было, что глазевший на посольство гаванский люд вплоть до уличных мальчишек, потешавшихся над длинной, как пальма, шеей жирафы, отлично знал всю подоплеку этого спектакля, — и озабоченность наместника, и заушательские речи в утренних покоях, — и в присутствии Иосифа и измаильтян отпускал громкие критические замечания на этот счет. Жаль, думал Иосиф, что из-за такой холодной осведомленности их радость по поводу этого яркого зрелища лишается непосредственности и чистоты. Но, может быть, именно поэтому она приобретает особую остроту, — предположил он тут же и с удовольствием ловил каждое слово, считая полезным наматывать на ус такие интимные подробности здешнего быта, как боязнь кушского принца потерять свою должность, заушательство придворных и любовь фараона к приятным неожиданностям; такое знание укрепляло чувство собственного достоинства и прогоняло робость.

Под охраной и под началом египетских чиновников негры были переправлены через реку, чтобы предстать перед фараоном — Иосиф успел это увидеть; увидел он по дороге и других людей с кожей такого же цвета. Но, кроме того, он увидел здесь все оттенки человеческой кожи, от обсидианово-черной, через ступени коричневого и желтого цветов до белой, как сыр, он увидел даже желтые волосы и лазоревые глаза, он увидел лица и платье самого разного покроя, он увидел человечество. Объяснялось это тем, что многие суда стран, с которыми торговал фараон, не задерживались в гаванях устья, а с ходу, при попутном северном ветре, поднимались сюда по реке, чтобы доставить свой груз, оброк или товар, прямо в то место, куда и так все стекалось, то есть в казнохранилище фараона, обогащавшего, благодаря этим средствам, Амуна и своих друзей, чтобы первый становился все требовательней в делах строительства и оставлял далеко позади уже имеющиеся постройки, а вторые могли беспредельно утончать свой образ жизни, изошряя его настолько, что он становился даже нелепым в своей изысканности.

Вот почему, как объяснил старик, среди людей Уазе Иосиф, кроме мавров из Куша, увидел бедуинов из богохранимой страны у Красного моря; светлолицых, в пестротканых одеждах и с торчащими колтуном косами ливийцев из оазисов Западной пустыни; таких же, как он сам, жителей земли Аму и азиатов, одетых в цветную шерсть; хеттов, что жили по ту сторону гор Амана, — эти люди носили кошель для волос и узкие рубахи; торговцев-митаннийцев в строгом, со множеством сборок, отороченном бахромой вавилонском платье; купцов и моряков с островов и из Микены в белых шерстяных тканях, падавших красивыми складками, с медными кольцами на обнаженных до самого плеча руках. Вот скольких людей увидел он, несмотря на то что старик из скромности вел своих спутников самыми жалкими и будничными закоулками, избегая благородных улиц, чтобы не нарушить их красоты. Совсем ее не нарушить он,

однако, не смог: на прекрасную улицу Хонсу, параллельную улице бога, на «улицу Сына», как ее называли, ибо связанный с луной Хонс был сыном Амуна и его баалат Мут, — он был здесь тем же, кем голубой лотос Нефертам в Менфе, и составлял вместе с великими своими родителями узетскую троицу, — так вот, на его улицу, одну из главных артерий города, сплошной «абрек», где ни на один миг нельзя было выпускать свое сердце из-под надзора, — на нее измайльтянам поневоле пришлось ступить и даже пройти по ней некоторое расстояние, рискуя нанести ущерб ее красоте; и здесь Иосиф увидел дворцы, например, дворец управления казнохранилищами и житницами, а также дворец чужеземных принцев, где воспитывались сыновья сирийских градоправителей, большие, чудесные здания из кирпича и драгоценного дерева, ярко раскрашенные. Мимо Иосифа катились повозки, целиком окованные золотом, в которых, размахивая бичом над спинами мчавшихся с выкаченными глазами коней, стояли гордые ездоки. А кони жарко дышали, брызгая пеной, их ноги походили на ноги оленей, а их прижатые к холке головы были украшены страусовыми перьями. Мимо Иосифа проплывали паланкины; двигаясь быстрым, но осторожно-пружинистым шагом, их несли на плечах рослые юноши в золотых набедренниках; на этих крытых, резных и золоченых носилках, защищенные со спины от ветра камышовой плетенкой и расписным ковром, спрятав руки и опустив веки, сидели мужчины с блестящими, зачесанными со лба на затылок волосами и небольшими бородами, обязанные в силу своего высокого положения хранить полную неподвижность. Кому суждено было некогда вот так же сидеть в паланкине, следуя в свой богатый, по милости фараона, дом? Это сокрыто в будущем, и этот час нашего повествования еще не пришел, хотя на своем месте он уже есть, и о нем знает любой. А сейчас Иосиф только видел, что ему предстояло, только глядел на это глазами, такими же широко раскрытыми и чужими глазами, как те, что будут некогда взирать на него или прятаться от него, великого и чужого, — молодой раб Озарсиф, сын колодца, похищенный и проданный, в бедном плаще и с грязными ногами, которого прижали к стене, когда на улице Сына, гремя трубами, вдруг показались копьеблещущие воины, шагавшие со щитами, луками и дубинками в правильном, четком строю. Он принял этих угрюмо однообразных пехотинцев за отряд фараонова войска; но по их знаменам и по знакам на их щитах старик определил, что это воинство бога, храмовая Амунова рать. Неужели, подумал Иосиф, у Амуна, как и у фараона, есть военная сила? Это ему не понравилось, и не понравилось не только потому, что толпа притиснула его к стене. Он почувствовал ревнивую обиду за фараона при мысли о том, кто же здесь выше всех. Его и так уже угнетала близость Амунова блеска, наличие другого высочайшего владыки, фараона, казалось ему благотворным противовесом, и то, что этот идол тягался с царем на его собственном поприще и содержал войско, вконец разозлило Иосифа; он решил даже, что, наверно, это злит и самого фараона, и стал на его сторону в споре с посягавшим на царские полномочия богом.

Итак, вскоре они покинули улицу Сына, чтобы больше уже не портить ее вида, и тесными, убогими переулками добрались до подворья, которое называлось «Сиппарский двор», так как хозяином его был один халдеянин из Сиппара-на-Евфрате и останавливались здесь преимущественно халдеяне, хотя бывали и всякие другие постояльцы. Двором же оно называлось потому, что и впрямь представляло собой почти не что иное, как двор с колодцем, такой же грязный, шумный, зловонный, оглашаемый мычаньем скота, перебранкой жильцов и брякотней скоморохов, как заезжий двор в Менфе; в тот же вечер старик устроил там небольшое торжище, оказавшееся весьма бойким. Когда же они, укрывшись плащами, поспали, причем каждому из них, кроме старика, который спал всю ночь, приходилось по очереди просыпаться и быть начеку, чтобы пестрые обитатели подворья не поживились их товаром и добром, а потом, после долгого стояния в очереди к колодцу, умылись и подкрепились халдейским утренним кушаньем, что здесь подавалось, мучным киселем с кунжутной приправой, который назывался «паппасу», старик, не глядя на Иосифа, сказал:

— Ну, вот, друзья мои, зять мой Мибсам, племянник Эфер и сыновья Кедар и Кедма! Отсюда мы двинемся со своими товарами и предложениями на восток, в сторону пустыни, где

город барски редее. Там у меня есть постоянные, высокорачительные покупатели, которые, как я смиренно надеюсь, приобретут у нас кое-что для своих кладовых и заплатят нам так, чтобы мы не только покрыли свои расходы, но и, получив справедливую прибыль, обогатились, как то положено на земле нам, купцам. Навьючьте же верблюдов и оседлайте мне моего, чтобы я вас повел!

Так они и поступили и направились из «Сиппарского двора» на восток, к садам богачей. Впереди шел Иосиф, ведя дромадера со стариком на длинном поводу.

ИОСИФ ПРИБЫВАЕТ К ДОМУ ПЕТЕПРА

Они двигались к пустыне и к раскаленным холмам пустыни, где по утрам появлялся Ра, в сторону, следовательно, богохранимого края, что лежал перед морем Красной Земли. Двигались они по выровненной дороге, совсем так же, как некогда в долине Дофана, только теперь верблюда, на котором ехал старик, вел не толстогубый мальчишка по имени Иупа, а Иосиф. Так добрались они до длинной обводной ограды с покатыми стенами, за которыми виднелись прекрасные деревья, смоковницы, колючие акации, финиковые и фиговые пальмы, гранаты, а также верха ослепительно-белых и расписных зданий. Поглядев на них, Иосиф взглянул снизу вверх на своего господина, чтобы по выражению его лица узнать, не дом ли это носителя опахала, ибо благословенным этот дом был вне всяких сомнений. Но старик, склонив набок голову, смотрел, покуда они двигались вдоль стены, прямо вперед, и по его виду ничего нельзя было определить; наконец, достигнув возвышавшейся над стеной башни с воротами, он остановился.

В тени ворот была кирпичная скамья, на которой сидело четверо или пятеро молодых людей в набедренниках, играя руками в какую-то игру.

Старик поглядел на них несколько мгновений со своего верблюда, прежде чем они обратили на него внимание, опустили руки, умолкли и, чтобы смутить его, насмешливо-удивленно уставились на него, высоко подняв брови — все как один.

— Доброго вам здоровья, — сказал старик.

— Радуйся, — ответили они, пожимая плечами.

— Что бы это могла быть за игра, — спросил он, — которую вы прервали из-за моего появления?

Они переглянулись и засмеялись, пожимая плечами.

— Из-за твоего появления? — переспросил один из них. — Мы прервали ее потому, что нам сделалось тошно, когда ты выставил напоказ свою рожу.

— Неужели, старый заяц пустыни, ты больше нигде не можешь пополнить свои знания, — воскликнул другой, — если спрашиваешь об этой игре именно нас?

— Многоеставляю я напоказ, — отвечал старик, — только не рожу, ибо при всем разнообразии моей поклажи этого товара я вообще не знаю, а у вас, судя по вашему отвращению к нему, его более чем достаточно. Отсюда, видно, и вытекает ваше желание убить время, желание, которое вы, если я не ошибаюсь, удовлетворяете веселой игрой «Сколько пальцев».

— Ну, вот видишь, — сказали они.

— Я спросил это невзначай и для начала, — продолжал старик. — Итак, перед нами дом и сад благородного Петепра, носителя опахала одесную?

— Откуда ты это знаешь? — спросили они.

— Мне указывает это моя память, — ответил он, — а ваш ответ подтверждает ее указание. Вы же, сдается мне, поставлены сторожить ворота этого святого мужа и оповещать его, когда к нему приходят в гости знакомые.

— Это вы-то наши знакомые! — сказал один из них. — Прощельги, разбойники с большой дороги! Нет уж, увольте.

— Молодой страж и оповеститель, — сказал старик, — ты ошибаешься, и твое знание жизни незрело, как зеленые фиги. Мы не прощелыги и не грабители, мы сами терпеть их не можем и являемся полной их противоположностью в мире. Мы странствующие купцы, мы разъезжаем между богатыми людьми, и благодаря нам держатся прекрасные связи. Поэтому нас принимают везде, в том числе и в этом многорачительном доме. И если нас здесь еще не приняли, то только по вине твоей суровости. Но послушайся моего совета, не бери на себя вины перед Монт-кау, твоим начальником, который управляет этим домом, считает меня своим другом и ценит мои товары! Исполни обязанность, назначенную тебе в мире, сбегай к управляющему и доложи ему, что его знакомые купцы из Ма'она и Мозара, одним словом, торговцы-мидианиты, снова явились к этому дому с хорошим пополнением для его кладовых.

Привратники переглянулись, когда он назвал имя управляющего. И тот, к кому старик обращался, толстощекий, с узкими глазками, сказал:

— Как же я смогу доложить ему о тебе? Посуди сам, старик, и поезжай-ка лучше своей дорогой! Что же, по-твоему, я прибегу к нему и доложу: «Явились мидианиты из Мозара, а поэтому я покинул ворота, хотя в полдень должен приехать хозяин, и мешаю тебе»? Да ведь он же назовет меня мерзавцем и надерет мне уши. Он сейчас рассчитывается в пекарне и совещается с писцом питейного поставца. У него найдутся дела поважнее, чем возня с твоим хламом. Поэтому убирайся!

— Мне жаль тебя, молодой сторож, — сказал старик, — если ты не допускаешь меня к моему давнишнему другу Монт-кау, встречаая меж нами, как полная крокодилов река или же как гора непреодолимой крутизны. Не зовут ли тебя Шеши?

— Ха-ха, Шеши! — воскликнул привратник. — Меня зовут Тети!

— Это я и имел в виду, — ответил старик. — Если я сказал иначе, то только из-за своего произношения и из-за того, что у меня, старика, уже не осталось зубов. Так вот, Чечи (опять лучше не получается), давай поглядим, не найдется ли брода, чтобы перейти реку, и тропинки, чтобы обойти кручи горы. Ты по ошибке назвал меня хапугой и прощелыгой, — сказал он, извлекая что-то из-под одежды, — но вот и в самом деле одна чудесная вещица, которая тебе достанется, если ты сбегаешь и приведешь Монт-кау сюда. Подойди и возьми ее! Это всего лишь малая толика моих богатств. Вот видишь, рукоятка сделана из самого твердого, отлично моренного дерева, а в ней имеется паз. Теперь вытащим острое, как алмаз, лезвие, и нож не согнется. А стоит лишь нажать на лезвие сбоку, оно защелкнется прежде, чем ты прижмешь его к черенку, и уйдет для безопасности в прорезь, так что эту штуку можно спрятать в набедреннике. Идет?

Молодой человек подошел и принялся разглядывать предложенный ему складной нож.

— Недурен, — сказал он затем. — Значит, он мой?

Он спрятал ножик.

— Из страны Мозар? — спросил он. — И из Ма'она? Торговцы-мидианиты? Погодите минутку!

И он скрылся в воротах.

Старик поглядел ему вслед, с усмешкой качая головой.

— Мы взяли крепость Зел, — сказал он, — мы справились с пограничными стражами фараона и с его писцами. Уж как-нибудь мы проникнем к моему другу Монт-кау.

И он щелкнул языком, веля своему верблюду лечь, а Иосиф помог ему спешиться. Другие всадники тоже слезли с верблюдов, и все стали ждать возвращения Тети.

Он вскоре вернулся и сказал:

— Проходите во двор. Управляющий к вам выйдет.

— Хорошо, — ответил старик, — если ему необходимо нас повидать, мы, так уж и быть, уделим ему некоторое время, хотя у нас есть и другие дела.

И вслед за молодым сторожем они прошли через гулкие ворота в сплошь мощный утоптанной глиной двор, лицом к распахнутым, окаймленным тенистыми пальмами воротам

внутренней, кирпичной, с бойницами, четырехугольной стены, за которой возвышался господский, с расписным колонным порталом, прекрасными карнизами и треугольными, открытыми с запада продухами на крыше дом.

Он стоял посредине участка, охваченный с двух сторон, с южной и с западной, зеленью сада. Двор был просторен, и между зданиями, стоявшими без оград в северной части усадьбы, фасадами к югу, было много свободного места. Самое большое из этих зданий, длинное, изящное, светлое, охраняемое сторожами, тянулось направо от входивших во двор, в дверях его сновали служанки с чашами для фруктов и высокими жбанами. Другие женщины сидели на крыше дома, пряли и пели. За этим зданием, западнее его и ближе к северной стене, был еще один дом, откуда шел дым и перед которым люди хлопотали у пивоварных котлов и у мукомольниц. Еще западнее, за плодовым садом, тоже виднелся дом, и перед ним трудились ремесленники. А уж за этим зданием, в северо-западном углу обводной стены, находились амбары и хлевы.

Дом, вне всяких сомнений, благословенный. Иосиф окинул усадьбу быстрыми, так и норовившими во все проникнуть глазами, но на этот раз ему не довелось как следует осмотреться, ибо он должен был участвовать в работе, которая, по приказанию старика, началась сразу же, как только они вошли во двор: разгружать верблюдов, ставить на глиняном настиле двора, между воротами и господским домом, лоток и раскладывать привезенный товар, чтобы управляющий или любой другой покупатель из его подчиненных мог легко обозреть заманчивые богатства измаильтян.

КАРЛИКИ

Вскоре их в самом деле обступила любопытная челядь, наблюдавшая издали за прибытием азиатов и увидевшая в этом вообще-то не таком уж редком событии приятный повод отвлечься от работы или даже просто от безделья. Пришли сторожа гарема — нубийцы, пришли служанки, женская стать которых, по здешнему обычаю, отчетливо просвечивала сквозь тончайший батист их одежд; слуги из главного дома, на которых, в зависимости от того, какую ступень занимали они на лестнице должностей, был либо один короткий набедренник, либо еще и длинный, поверх короткого, а кроме того, и верхняя одежда с короткими рукавами; кухонная прислуга с какими-то полуощипанными тушками в руках, конюхи, ремесленники из людской и садовники; все они подходили к измаильтянам, глядели и болтали, нагибались к товарам, брали в руки то одно, то другое, осведомлялись о меновой стоимости в мерах меди и серебра. Пришли и два маленьких человечка, карлики: их было как раз двое в доме носителя опахала; но хотя оба были не больше трех футов ростом, вели они себя совершенно по-разному, ибо один был дурак дураком, а другой, что пришел первым со стороны главного здания, человек степенный. На ножках, казавшихся по сравнению с его туловищем особенно маленькими, нарочито деловитой походкой подошел он к лотку, подчеркнуто держась прямо и даже немного откинувшись назад, то и дело озираясь и быстро, ладошками тоже назад, размахивая в такт ходьбе коротенькими ручками. На нем был крахмальный набедренник, торчавший спереди косым треугольником. Его сравнительно большая, с выдававшимся затылком, голова была покрыта короткими волосами, падавшими на лоб и на виски, нос у него был заметный, а выражение лица независимое, даже решительное.

— Это ты главный торговец? — спросил он, подойдя к старику, который сидел возле своего товара, подобрав ноги, что было карлику явно кстати, ибо благодаря этому он хоть в какой-то мере мог говорить с ним как равный с равным. Голос у него был глухой, он старался сделать его как можно ниже, прижимая подбородок к груди и натягивая нижнюю губу на зубы.

— Кто вас пригласил? Привратник? С разрешения управляющего? Тогда все в порядке. Можете здесь остаться и подождать его, хотя неизвестно, когда он сгложет уделить вам вре-

мя. Вы привезли товар, хороший товар? Наверно, все больше хлам? Или есть действительно ценные вещи, стоящие, приличные, доброкачественные? Я вижу смолы, я вижу трости. Мне лично, пожалуй, нужна была бы трость, но только самого твердого дерева и если отделка ее заслуживает внимания. Однако прежде всего, есть ли у вас нательные украшения — цепочки, воротники, кольца? Я смотритель господских нарядов и драгоценностей, управляющий одежной. Меня зовут Дуду. Добротным украшением я мог бы порадовать и мою жену, мою супругу Цесет, в знак благодарности ее материнству. Найдется ли у вас что-нибудь в этом роде? Я вижу цветные стеклышки, я вижу всякую дрянь. А мне нужно золото, мне нужен янтарь, мне нужны хорошие камни, лазурит, корналин, горный хрусталь...

Покуда этот человек подобным образом разглагольствовал, со стороны гарема, где он, должно быть, развлекал своими шутками дам, к лотку скакал другой карлик: слух о прибытии купцов достиг его ушей, видимо, с опозданием, и он помчался к месту происшествия с ребяческим рвением — бегом, во всю мочь своих толстых ножек, прыгая время от времени лишь на одной из них; запыхавшись, он выпаливал слова тонким, резким голосом, полным какой-то судорожной радости:

— Что такое? Что такое? Что творится в мире? Сборище, толкотня? Что вы там увидели? Какие такие диковинки на нашем дворе? Торговые люди... дикие люди... люди песков? Карлик боится, карлику любопытно, гоп, гоп, вот и он...

Одной рукой он придерживал сидевшую у него на плече мартышку, которая, вытянув шею, глядела на окружающих испуганно вытаращенными глазами. Одежда этого коротыша была забавна тем, что представляла собой некий парадный наряд, нелепо превращенный в повседневное платье, отчего тонкие складки его плоеного, с бахромчатым подолом, набедренника, как и его прозрачная, с плоеными опять-таки рукавами курточка были измяты и несвежи. На младенческих своих запястьях он носил золотые спиральные кольца, на шейке растрепанный венок из цветов, в который было вплетено много других, оплечных венков, а на коричневом, из шерсти, парике, покрывавшем его голову, душицу, состоявшую, однако, не из тающего душистого жира, как полагалось бы, а всего лишь из войлочного, пропитанного благовониями валика. В отличие от первого карлика, лицо у него было старообразно-детское, сморщенное, дряхлое и колдовское.

Если хранителя платьев Дуду челядинцы учтиво приветствовали, то появление его товарища по судьбе и собрата по недорослости вызвало у них взрыв веселья.

— Визирь! — кричали они (так его, видимо, называли в насмешку). — Бес-эм-хеб! (Это было имя одного смешного, ввезенного из чужих земель карлика-бога с добавлением эпитета «на празднике», намекавшего на всегдашнюю нарядность коротышки.) — Ты хочешь что-то купить, Бес-эм-хеб? Глядите, как он берет под руки наши ноги! Ступай, Шепсес-Бес! (Это значило «прекрасный Бес», «великолепный Бес». Торопись, приценись, но сперва отдышись! Купи себе, визирь, сандалий да подставь под него голяшки, вот у тебя и выйдет кровать. Вытянуться на ней ты вытянешься, только без подножки, пожалуй, на нее не взберешься!

Так кричали они ему, а он, приближаясь, отвечал им с одышкой, писклявым, словно бы издали доносившимся голосом:

— Пытаетесь, шутить, долговязые? И что же, по-вашему, у вас это получается? Зато визиря одолевает зевота, — фу, фу, — потому что ему скучны ваши шутки, как скучен мир, где его поселил какой-то бог и где все рассчитано на великанов — и товары, и шутки, и сроки. А будь мир сделан по его мерке и будь он ему родным, то мир был бы тоже забавным и не пришлось бы зевать. Годики так и бежали бы, часочки катились, ночные стражи летели стрелой. Тук-тук-тук — стучало бы сердце, и время несло бы на крыльях, и поколения людей так и менялись бы, так и менялись бы: не успеет одно вдосталь порезвиться на свете, а другое уже вот оно, тут как тут. Ну, и веселой была бы эта короткая жизнь. А у нас все затянуто, и карлику остается только зевать. Не стану я покупать ваших грубых товаров, а вашего неуклюжего остроумия мне и даром не нужно. Я только хочу поглядеть, что нового появилось за это исполин-

ское время на нашем дворе. Чужие люди, люди горемычья, люди песков, кочевники, одетые не по-людски... Тьфу! — прервал он внезапно свое стрекотанье, и его лицо гнома исказилось от злости и раздражения. Он заметил своего собрата Дуду, который стоял перед сидевшим стариком и, размахивая ручонками, требовал полноценных товаров.

— Тьфу! — сказал так называемый визирь. — Он, оказывается, здесь, мой многоуважаемый кум! Надо же мне было наткнуться на него, удовлетворяя свое любопытство, — как неприятно! Он уже здесь, господин платьехранитель, он опередил меня и ведет свои нудные, достопочтенные речи... С добрым утром, господин Дуду! — прострекотал он, становясь рядом с другим коротышкой. — Доброго здоровья вашему степенству и всяческое почтение вашей ядрености! Позвольте осведомиться о самочувствии госпожи Цесет, которая охватывает вас одной рукой, а также о самочувствии высоких отпрысков, Эсези и милой Эбеби?..

Дуду весьма пренебрежительно взглянул на него через плечо, но не встретился с ним глазами, а явно отвел взгляд куда-то к ногам «визиря».

— Ах ты, мышь, — сказал он, качая головой как бы над ним и втянув нижнюю губу, отчего верхняя нависла над ней, как крыша. — Что ты там пищишь и копошишься? Мне до тебя не больше дела, чем до какого-нибудь рака или пустого ореха, из которого ничего, кроме трухи, не выколупнешь, право не больше. Как ты смеешь, да еще со скрытой издевкой, спрашивать меня о моей жене Цесет и о моих подрастающих детях Эсези и Эбеби? Не тебе о них спрашивать, потому что это не твое дело, тебе это не пристало, не подобает и не положено, шут и обломок...

— Скажите на милость! — отвечал тот, кого называли «Шепсес-Бес», и его личико сделалось еще раздраженнее. — Ты хочешь возвыситься надо мной и всячески пыжишься, чтобы твой голос звучал как из бочки, а сам не выше кротовины и не дорос до своего же отродья, не говоря уж о той, что охватывает тебя одною рукою. Все равно ты карлик из племени карликов, сколько бы ты ни напускал на себя важности, отчитывая меня за то, что я вежливо осведомился о твоей семье. Мне, говоришь ты, это не подобает. Ну, а тебе, видно, подобает, тебе, видно, к лицу изображать перед долговязыми отца и супруга, если ты женишься на полномерной женщине, отрекаясь от своей крошечности...

Челядь громко смеялась над ссорой этих человечков, чья взаимная неприязнь была для нее, по-видимому, привычным источником веселья, и подстрекала их к перебранке, выкрикивая: «Дай-ка ему, визирь!», «Покажи-ка ему. Дуду, муж Цесет!» Но тот, кого они называли «Бес-эм-хеб», вдруг перестал ссориться и обнаружил полное равнодушие к спору. Он стоял как раз рядом со своим ненавистным собратом, а тот по-прежнему перед сидевшим стариком. Но возле старика стоял Иосиф, так что Бес оказался напротив сына Рахили; заметив юношу, карлик умолк и стал внимательно его разглядывать, отчего его старообразное лицо гнома, еще только что полное досады и злости, сразу разгладилось и приняло самозабвенно-испытующее выражение. Рот у него остался разинут, а места, где должны быть брови (у него их не было), полезли на лоб. Так, снизу вверх, глядел он на молодого хабира, и столь же сосредоточенно, как ее хозяин, глядела на него с плеча карлика обезьянка: вытянув шею, широко раскрытыми, исступленно вытарашенными глазами уставилась она в лицо Аврамова правнука.

Иосиф терпеливо снес это испытание. Он с улыбкой встретился взглядом с гномом, и они продолжали смотреть друг на друга, меж тем как степенный карлик Дуду снова начал перечислять старику свои требования, и всеобщим вниманием опять завладели товары и чужеземцы.

Наконец, ткнув себя в грудь крошечным пальчиком, карлик сказал своим странным, словно бы издали донесшимся голосом:

— Зе'энх-Уэн-нофре-Нетерухотпе-эм-пер-Амун.

— Что вы имеете в виду? — спросил Иосиф...

Карлик еще раз повторил сказанное, продолжая указывать на свою грудь.

— Имя, — объяснил он. — Имя маленького человека. Не визирь. Не Шепсес-Бес. Зе'энх-Уэн-нофре...

И он в третий раз пролепетал эту фразу, свое полное имя, столь же длинное и столь же пышное, сколь ничтожен и мал был он сам. Оно означало: «Пусть благое существо (то есть Озирис) продлит жизнь любимцу богов (или боголюбу) в доме Амуна»; Иосиф понял это.

— Красивое имя! — сказал он.

— Красивое, да неверное, — прошептал издалека коротышка. — Я не благообразен, я не мил богам, я жаба. Ты благообразен, ты Нетерухотпе, так будет и красиво и верно.

— Откуда вы это знаете? — спросил, улыбнувшись, Иосиф.

— Видеть! — донеслось словно из-под земли. — Ясно видеть! — и он поднес пальчик к глазам. — Умный, — прибавил он. — Маленький и умный. Ты не из маленьких, но тоже умный. Добрый, красивый и умный. Ты принадлежишь ему?

И он показал на старика, который разговаривал с Дуду.

— Я принадлежу ему, — ответил Иосиф.

— Сызмала?

— Я был ему рожден.

— Значит, он твой отец?

— Он приходится мне отцом.

— Как тебя зовут?

Иосиф ответил не сразу. Прежде чем ответить, он улыбнулся.

— Озарсиф, — сказал он.

Карлик прищурился. Он думал об этом имени.

— Ты рожден тростником? — спросил он. — Ты Усир в камышах? Мать, блуждая, нашла тебя в болоте?

Иосиф промолчал. Коротышка продолжал шуриться.

— Монт-кау идет! — сказал кто-то из челядинцев, и все начали поспешно расходиться, чтобы управляющий не застал их празднующими. Его можно было увидеть, заглянув через просвет между господским и женским домами в ту часть двора, что виднелась перед строениями в северо-западном углу усадьбы: он ходил там и останавливался, пожилой, в красивой белой одежде, сопровождаемый несколькими рабами-писцами, которые сгибались вокруг него и, с тростинками за ухом, заносили на писчие дощечки его замечанья.

Он приближался. Челядь рассеялась. Старик поднялся. И покуда совершались эти движения, Иосиф услышал тоненький, словно из-под земли шепчущий голосок:

— Останься у нас, молодой житель песков!

МОНТ-КАУ

Управляющий подошел к открытым воротам в зубчатой стене главного здания. Наполовину уже повернувшись к нему, он взглянул через плечо на кучку чужеземцев, на новоявленное торжище.

— Что это такое? — спросил он весьма недовольно. — Что за люди?

О докладе привратника он, казалось, забыл за другими заботами, и поклоны, которые ему издали отвешивал старик, делу не помогали. Один из писцов напомнил ему о торговцах, указав на дощечку, на которой он явно успел уже сделать соответствующую заметку.

— Ах да, купцы из Ма'она или Мозара, — сказал управляющий. — Прекрасно, но я ни в чем не нуждаюсь, кроме как во времени, а его они не могут продать!

И он направился к старику, который, засуетившись, поспешил навстречу ему.

— Ну, старик, как ты поживаешь после столь многих дней? — спросил Монт-кау. — Опять пришел к нашему дому, чтобы всучить нам свой товар?

Они посмеялись. У обоих остались от зубов только нижние клыки, торчавшие теперь одинокими столбиками. Управляющий был крепкий, коренастый человек лет пятидесяти, с

выразительной головой и с решительными манерами, которые вытекали из его положения, но смягчались природной доброжелательностью. У него были широкие, еще совсем черные брови и очень заметные слезные мешки, из-за которых глаза его казались маленькими и заплаканными, чуть ли не щелками. От его приятно вылепленного, хотя и широковатого носа, по обе стороны выпуклой и, как и щеки, до блесна выбритой верхней губы, резко выделяя ее на лице, спускались ко рту глубокие складки. Он носил узкую, прямую, пересыпанную сединой бороду. Спереди он уже сильно полысел, но на затылке волосы у него были густые и веером рассыпались за ушами, в которых поблескивали золотые серьги. Какое-то наследственное крестьянское лукавство и какая-то моряцкая насмешливость была в физиономии Монт-кау, подчеркнута оттенявшей красно-коричневой смуглостью нежную белизну его одежды — неподражаемого египетского полотна, великолепно плоившегося, как о том свидетельствовал передник его длинного, до пят, набедренника, начинавшийся у пупка и широко расхлывшийся книзу, но не до самой кромки подола. В мелких поперечных складках были и просторные коротки рукава заправленного в набедренник камзола. Сквозь батист просвечивало мускулистое, волосатое туловище.

К нему и к старику присоединился карлик Дуду; оба коротышки позволили себе остаться и при появлении управляющего. Дуду подошел к ним с важным видом, подгребая ручонками.

— Боюсь, управляющий, что ты напрасно тратишь время на этих людей, — сказал он Монт-кау, как равный равному, хотя и издалека снизу. — Я осмотрел все, что они выложили. Я вижу ветошь, я вижу дрянь. А ценных, добротных вещей, достойных дома великого мужа, нет и в помине. Ты едва ли заслужишь его благодарность, приобретя что-либо из этого хлама.

Старик огорчился. По выражению его лица было видно, что ему жаль той дружеской, многообещающей веселости, которая возникла после приветственных слов управляющего и была убита суровостью Дуду.

— Нет, у меня есть цепные вещи! — сказал он. — Ценные, может быть, не для вас, людей высокопоставленных, и уж никак не для вашего господина — этого я не говорю. Но ведь сколько слуг в этом доме — пекарей, поваров, оросителей садов, скороходов, сторожей и привратников — им просто числа нет, хотя их все-таки недостаточно и уж никак не слишком много для такого великого человека, как его милость Петепра, друг фараона, и число их всегда можно пополнить тем или иным пригожим и ловким рабом, здешним ли, чужеземным ли, была бы лишь в нем нужда. Но, кажется, я отклоняюсь в сторону, вместо того чтобы сказать без обиняков: тебе, великий управляющий, как их начальнику, положено печься о них и об их нуждах, а поможет тебе в этом деле своими разнообразными товарами старый минеец, странствующий купец. Взгляни на эти прекрасно расписанные глиняные светильники с горы Гилеад, что за рекой Иорданом, — они обошлись мне дешево, так неужели же я запрошу за них с тебя, с моего покровителя, высокую цену? Возьми несколько светильников даром, но яви мне свое благорасположение, и я буду богат! А вот кувшинчики с сурьмилами — подводить глаза, и к ним щипчики и ложечки коровьего рога — ценность их велика, а цена ничтожна. А вот мотыльки, в хозяйстве необходимы: прошу два горшка меду за штуку. А содержимое этого мешочка уже дороже, здесь аскалунский лук из самой Аскалуны, его не так-то просто достать, он придаст приятную кислинку любому кушанью. А в этих кувшинах восьмижды доброе вино из Хазати в стране фенехийцев, как то и написано. Видишь, я располагаю свои предложения лесенкой, поднимаясь от менее ценных товаров к прекрасным, а от них к превосходным, — таков мой продуманный обычай. Вот эти смолы и благовония, астрагальная камедь и коричневатый лабдан — гордость моей торговли, слава моего дома. Мы знамениты этим в мире, и между реками все только и говорят, что в смолах мы сильнее любого купца — и странствующего, и оседлого, сидящего в лавке. «Это, — говорят о нас, — измаильтяне из Мидиана, они везут пряности, бальзамы и мирру с Гилеада в Египет». Вот что говорят люди, а ведь мы, случается, везем с собой и другой товар, и мертвый, и живой, и вещи, и, бывает, предметы одушевленные, так что любой дом мы можем не только снабдить всем необходимым, но также умножить. Но я умолкаю.

— Ты умолкаешь? — удивился управляющий. — Ты болен? Когда ты молчишь, я тебя не узнаю, я узнаю тебя только тогда, когда по твоей бороде текут приятные речи — они еще стоят у меня в ушах с прошлого раза, и по ним я тебя узнаю.

— Не речью ли, — ответил старик, — и славится человек? Кто умело подбирает слова и ловок изъясняться, к тому расположены боги и люди, и он находит благосклонных слушателей. Но твой покорный слуга, скажу по чести, не наделен красноречием и не владеет богатствами языка, а поэтому недостающую его речам изысканность он восполняет их настойчивостью и длительностью. Торговец должен уметь говорить, и его язык обязан подладиться к покупателю, иначе в нем нет проку и купец ничего не сбудет, не то что из семи, а даже из семидесяти семи видов товара...

— Из шести, — слышался словно издали, хотя он стоял совсем рядом, шепоток маленького Боголюбца. — Ты назвал шесть видов товара: светильники, сурьмила, мотыки, лук, мирру и вино. Где же седьмой?

Измаильтянин приложил левую руку раструбом к уху, а правую козырьком ко лбу.

— Что изволил заметить, — спросил он, — этот празднично одетый господин среднего роста?

Один из его спутников разъяснил ему замечание карлика.

— Ну, — ответил он на это, — найдется и седьмой. Кроме мирры, которая у всех на устах, среди товаров, привезенных нами в Египет, есть и еще кое-что, и на этот товар я тоже не пожалею слов, — пусть не изысканных, а только настоячивых, — чтобы сбыть и его и чтобы все говорили об измаильтянах из Мидиана: «Чего они только не привозят в Египет!»

— Простите! — сказал управляющий. — Вы думаете, я могу здесь стоять и слушать вашу болтовню целую вечность? Ра уже почти достиг своей полуденной высоты. Смилуйтесь! С минуты на минуту вернется с запада, из дворца, мой господин. Неужели я положусь на челядь и не проверю, все ли в порядке в столовом покое, хороши ли жареные утки, пирожные и цветы и сможет ли мой господин отобедать, как он привык, вместе с госпожой и священными родителями с верхнего этажа? Поторопитесь или уходите! Мне пора в дом. Старик, мне не нужны твои семь видов товара, совсем не нужны, если уж говорить правду...

— Потому что все это — нищенская дрянь, — вставил карлик-супруг Дуду.

Управляющий мельком взглянул вниз на этого строгого человека.

— Но тебе, как мне показалось, нужен мед, — сказал он старику. — Так вот, я дам тебе горшок-другой нашего меду за две таких мотыки, чтобы только не обижать тебя и твоих богов. А еще дай мне пять мешков этого острого луку, во имя Сокрытого, и пять мер твоего фенехийского вина, во имя Матери и во имя Сына! Сколько ты спросишь за это? Но не будь мелочным, не запрашивай сначала втридорога, чтобы долго не торговаться, а назови хотя бы двойную цену, чтобы мы поскорей дошли до настоящей и я поспел в дом. Предлагаю взамен писчий папирус и домотканое полотно. Если хочешь, можешь получить пиво и хлеб. Только отпусти меня поскорей!

— Тебя обслужат, — сказал старик, отвязывая от своего кушака ручные весы. — Достаточно одного твоего слова, даже знака, и тебя тотчас же, без церемоний, обслужит твой покорный слуга. Да, да, без церемоний, но не бесцеремонно! Если бы мне не нужно было жить, все вещи достались бы тебе безвозмездно. А так приходится назначить им цену, чтобы жить хоть впроголодь, но только сохранить себя для служенья тебе, ибо это самое главное. — Эй, ты, — бросил он через плечо Иосифу. — Возьми список товаров, тобою составленный, где названия написаны черной тушью, а мера и вес красной! Возьми и прочти нам весовую стоимость лука и вина, но переведи ее сразу, в уме, в здешние меры, в дебены и лоты, чтобы мы знали, сколько стоят эти товары в фунтах меди, а благородный управляющий оплатил вычисленное количество меди полотном и писчим папирусом из запасов этого дома! А я, мой покровитель, если захочешь, еще раз, для большей верности, взвешу эти товары.

Иосиф успел уже приготовить свиток и, развертывая его, подошел к старику. От юноши не отставал господин Боголюб, который, конечно, никак не мог заглянуть в эту опись, но внимательно следил за руками, ее разворачивавшими.

— Какую цену прикажет рабу назвать мой господин — двойную или настоящую? — скромно спросил Иосиф.

— Разумеется, настоящую; что ты болтаешь? — побранил Иосифа старик.

— Но ведь благородный управляющий велел тебе назвать двойную цену, — возразил Иосиф с очаровательной серьезностью. — И если я назову настоящую цену, он может принять ее за двойную и предложить тебе только половину, — как же ты тогда будешь жить? Уж лучше бы, пожалуй, он принял двойную цену за настоящую, и если бы он даже немного сбавил ее, ты все-таки мог бы жить не так чтобы впроголодь.

— Хе-хе, — ухмыльнулся старик. — Хе-хе, — повторил он и взглянул на управляющего — как ему это понравится.

Писцы, с тростинками за ушами, засмеялись. Гном Боголюб хлопнул даже ручонками по ноге, которую он, подскакивая на другой, поднял вверх. Его колдовское лицо сморщилось сотнями складок карличьей радости. Зато Дуду, его малорослый собрат, с еще большей важностью выпятил крышу своей губы и покачал головой.

Что касается Монт-кау, то он взглянул на этого умного молодого раба, на которого до толе, понятно, не обращал внимания, с явным удивлением, быстро переросшим в изумление и уже вскоре заслуживавшим несравненно более решительного и сильного названья. Возможно, — мы только высказываем предположение, но не осмеливаемся утверждать, — возможно, что в этот миг, от которого столь многое зависело, бог его праотцев оказал Иосифу особую милость и озарил его светом, способным вызвать в душе смотревшего как раз те чувства, которые и требовались для исполнения его, бога, планов. Конечно, тот, о ком идет речь, дал нам зрение, слух и все прочие чувства на нашу собственную потребу — но все же с условием, что мы будем пользоваться ими еще и как проводниками его намерений, приноравливающими наш дух к его более или менее далеким замыслам. Отсюда-то и следует наше предположение, хотя мы готовы от него отказаться, если его сверхъестественность не вяжется с естественностью этой истории.

Естественные и трезвые объяснения уместны здесь тем более, что трезвость и естественность были присущи самому Монт-кау, жившему в мире, уже весьма далеко от тех, кому ничего не стоило представить себе неожиданную, среди бела дня и, так сказать, на улице, встречу с богом. Но к таким возможностям, к таким допущениям его мир был все же ближе, чем наш, хотя они уже и стали половинчатыми, утратив свою недвусмысленность, определенность, буквальность. Монт-кау взглянул на сына Рахили и увидел, что тот красив. Но понятие красоты, навязавшееся ему через зрение и завладевшее его сознанием, было для него по законам мышления связано с представлением о Луне, каковая, в свою очередь, являлась светиллом Джхути из Хмуну, небесным обличьем Тота, хранителя меры и лада, мудрого волшебника и писца. Иосиф стоял перед ним со свитком в руке и вел весьма хитроумные для раба и даже для раба-писца речи, — а это вносило в ход мыслей управляющего какое-то беспокойство. На плечах у молодого азиата-бедуина не было головы ибиса, и значит, он был, несомненно, человеком, не богом, не Тотом из Хмуну. Но в цепи понятий он был связан с Тотом и являл ту двусмысленность, которая подчас чувствуется в некоторых словах, например, в прилагательном «божественный»: будучи известным ослаблением того высокого имени существительного, от которого оно произведено, не сохраняя всей его полнозначной величественности, а лишь напоминая о ней и приобретая фигуральный, переносный смысл, оно все-таки, хоть и нерешительно, притязает на его полнозначность, поскольку «божественный» обозначает осязаемые качества, то есть самый феномен бога.

Эти двусмысленности поразили управляющего Монткау при первом же взгляде на Иосифа и возбудили его внимание. Сейчас происходило некое повторение. Так или подобным

образом уже поражались другие, а третьим это еще предстояло. Не нужно думать, что пораженный был так уж сильно взволнован. То, что он сейчас испытывал, в общем уложилось бы в наше восклицание: «Черт побери!» Но этого он не сказал. Он спросил:

— А это еще что такое?

Сказав «что такое» из пренебрежения и осторожности ради, он облегчил старику ответ.

— Это, — ответил старик, осклабясь, — Седьмой Товар.

— Что за дикая манера, — сказал египтянин, — говорить загадками!

— Мой покровитель не любит загадок? — ответил старик. — Жаль! У меня их много в запасе. Но эта совсем проста: мне сказали, что у меня только шесть видов товара, а вовсе не семь, как я, мол, для красного словца прихвастнул. Так вот, этот раб, что ведет у меня учет, и есть седьмой товар — это кенанский юноша, которого я привез в Египет вместе с моими знаменитыми смолами и теперь продам. Продам не во что бы то ни стало и не потому, что не вижу в нем проку. Он умеет печь и писать, и у него светлая голова. Но в почтенный дом, в такой дом, как твой, — одним словом, тебе я продам его, если ты мне заплатишь за него так, чтобы я мог хотя бы впроголодь жить. Ибо я желаю ему хорошего пристанища.

— У нас штат заполнен! — не без поспешности сказал управляющий, качая головой. Он не хотел ничего сомнительного ни в обычном, ни даже в высоком смысле и ответил как трезвый практический человек, желающий оградить подведомственный ему круг дел от всяких враждебных порядку, высоких, «божественных», так сказать, посягательств.

— У нас нет вакансий, — сказал он, — и дом ни в ком не нуждается. Нам не требуется ни пекарей, ни писцов, ни светлых голов, ибо моя голова достаточно светла для того, чтобы поддерживать в доме порядок. Возьми свой седьмой товар с собой и пользуйся им в свое удовольствие!

— Потому что он дрянь и нищий и нищая дрянь! — с важным видом прибавил Дуду, муж Цесет.

Но глухому его голоску ответил другой голосок — дурачка Боголюба, который тихонько прострекотал:

— Седьмой товар самый лучший. Прибери его, Монт-кау!

Старик начал снова:

— Чем светлей твоя собственная голова, тем досадней тебе темнота окружающих, ибо из-за них ты страдаешь от нетерпенья. Светлой голове начальника нужны светлые головы подчиненных. Этому слугу я предназначил твоему дому еще тогда, когда между мной и тобой лежали большие отрезки пространства и времени, и привел его сюда, чтобы оказать твоему дому особую, дружескую услугу, предложив тебе подобный товар. Ибо мой юноша так смыслен и речист, что это просто сущее удовольствие, и достает из сокровищницы языка такие затейливые обороты, что просто заслушаешься. Триста шестьдесят раз в году он пожелает тебе в разных выражениях спокойной ночи, и на пять дополнительных дней у него тоже найдется что-нибудь новое. И если он хотя бы два раза скажет тебе одно и то же, можешь вернуть его мне и получить обратно уплаченное.

— Послушай, старик! — отвечал управляющий. — Все это прекрасно. Но коль скоро мы уж заговорили о нетерпении, то мое терпенье, кажется, подходит к концу. Я по доброте своей соглашаюсь взять у тебя несколько совершенно ненужных мне безделиц, — только чтобы не обижать твоих богов и наконец уйти отсюда внутрь дома, а ты сразу же навязываешь мне какого-то слугу для пожелания спокойной ночи, да еще делаешь вид, будто он предназначен дому Петепра чуть ли не со времени основания страны.

Тут смотритель одежды Дуду издал снизу достаточно полновзвучный смешок «хо-хо!», и управляющий бросил на него быстрый, сердитый взгляд.

— Откуда же оно у тебя, это воплощение краснобайства? — продолжал он и, не глядя, протянул руку к свитку, который Иосиф, подойдя, учтиво ему передал. Монт-кау развернул свиток, держа его на большом расстоянии от глаз, ибо был уже весьма дальнорзок.

Тем временем старик отвечал:

— Поистине жаль, что мой покровитель не любит загадок. Я бы мог ответить ему загадкой, откуда у меня этот юнец.

— Загадкой? — рассеянно повторил управляющий, ибо он разглядывал список.

— Отгадай ее, если пожелаешь! — сказал старик. — Что это такое? «Мне родила его бесплодная мать». Сумеешь найти ответ?

— Значит, это он написал? — спросил все еще занятый свитком Монт-кау. — Гм... Отойди-ка в сторонку, ты — как тебя! Ну, что ж, выполнено на совесть и со вкусом, не стану спорить. Это могло бы украсить стену и служить памятной надписью. А уж есть ли здесь лад и склад, судить не берусь, ибо это самая настоящая тарабарщина. — Бесплодная? — переспросил он, так как одним ухом он все-таки слушал старика. — Бесплодная мать? Что ты мелешь? Женщина либо бесплодна, либо родит. Как же может быть сразу и то и другое?

— Вот в этом-то, господин мой, и загадка, — объяснил старик. — Я позволил себе облечь свой ответ в одежду забавной загадки. Если прикажешь, я дам и отгадку. Далеко отсюда на моем пути оказался пересохший колодец, а из колодца доносились жалобные стоны. И я извлек на свет этого малого, который пробыл три дня во чреве, и вспоил его молоком. Вот почему колодец стал матерью, и притом бесплодной.

— Ну, что ж, — сказал управляющий, — загадка так себе. Во все горло над ней, пожалуй, не станешь смеяться. И даже если улыбнешься, но только из вежливости.

— Возможно, — ответил старик тихо и обиженно, — она показалась бы тебе забавнее, если бы ты отгадал ее сам.

— А ты, — не остался в долгу управляющий, — дай мне лучше ответ на другую загадку, гораздо, кстати, более трудную, а именно — почему я все еще здесь стою и болтаю с тобой! Только ты отгадай ее лучше, чем отгадал свою, ибо, насколько мне известно, на свете нет таких нечестивцев, которые изливали бы семя в колодцы, отчего те родили бы. Как же оказалось дитя во чреве, то есть раб в колодце?

— Жестокие хозяева, прежние его владельцы, у которых я его купил, — отвечал старик, — бросили его туда за сравнительно небольшие провинности, каковые несколько не уменьшают его достоинств, ибо относились только к делам премудрым и таким тонкостям, как различие между «чтобы» и «так что» — об этом не стоит и говорить. А я приобрел его, ибо сразу и, можно сказать, на ощупь определил, что этот мальчик — существо благородной выделки, каким бы темным ни было его происхождение. К тому же в колодце он раскаялся в своих провинностях, а наказание очистило его от них настолько, что он стал мне самым полноценным слугой. Он умеет не только хорошо говорить и писать, но также печь на камнях лепешки необычайной вкусности. Не следует расхваливать свой товар самому, пусть лучше назовут его необыкновенным другие; но для разума и проворства этого юноши, очистившегося через жестокую кару, в сокровищнице языка есть только одно определение: они необыкновенны. И уж поскольку твой взгляд упал на него, а я обязан искупить свою глупость, — ведь я же мучил тебя загадками, — прими его от меня в подарок великому Петепра и дому, которым тебя поставили управлять! Я же отлично знаю, что ты не преминешь отдарить меня из богатств Петепра, чтобы я жил и так что я смогу жить, снабжая, а подчас и умножая твой дом и впредь.

Управляющий взглянул на Иосифа.

— Правда ли, — спросил он, с надлежащей резкостью, — что ты речист и умеешь потешно выражаться?

Сын Иакова призвал на помощь все свои познания в египетском языке.

— Слово слуги не в счет, — ответил он распространенной поговоркой. — Ничтожный молчит, когда говорят великие, — гласит начало любого свитка. Да ведь и имя, которое я ношу, — это имя молчания.

— Вот как! Как же тебя зовут?

Иосиф помедлил с ответом. Потом он поднял глаза.

— Озарсиф, — сказал он.

— Озарсиф? — повторил Монт-кау. — Такого имени я не знаю. Его, правда, не назовешь чужеземным, и его можно понять, потому что в нем слышится имя обитателя Абоду, владыки вечного безмолвия. Однако, с другой стороны, у нас оно не встречается, и в Египте нет людей с этим именем, как не было их и при прежних царях. Но хотя твое имя связано с безмолвием, твой хозяин сказал, что ты умеешь приятно говорить, а в конце дня на разные лады прощаться на ночь со своим господином. Так вот, сегодня вечером я тоже пойду спать и улягусь в свою постель в Особом Покое Доверия. Что же ты скажешь мне?

— Сладко почивай, — проникновенно ответил Иосиф, — после дневных трудов! Пусть твои ноги, опаленные жаром своей стези, блаженно ступают по прохладному мху покоя, и журчащие источники ночи усладят твой усталый язык!

— Да, это в самом деле трогательно, — сказал управляющий, и на глазах у него показались слезы. Он кивнул головой старику, который тоже кивнул ему и стал, улыбаясь, потирать руки. — Когда человек намается, как я, и к тому же не очень хорошо себя чувствует, потому что у него ноет почка, такие слова просто трогают. Не может ли нам, во имя Сета, — повернулся он к своим писцам, — понадобится один молодой раб — скажем, зажигать светильники или опрыскивать пол? Как ты думаешь, Ха'ма'т? — сказал он долговязому писцу с опущенными плечами и с несколькими тростинками за каждым ухом. — Не может ли он нам понадобится?

Писцы стали нерешительно жестикулировать; они выражали свои колебания, выпячивали губы, втягивая голову в плечи и приподнимая руки.

— Что значит «понадобиться»? — ответил тот, кого звали Ха'ма'т. — Если это значит «нельзя обойтись», то мы вполне обойдемся и без него. Но понадобится может и то, без чего легко обойтись. Все зависит от цены. Если этот дикарь хочет продать тебе раба-писца, то гони его прочь, ибо нас и так достаточно, и никто нам больше не нужен и не может понадобится. Но если он предлагает тебе раба, который бы ходил за собаками или прислуживал в бане, то пусть назовет свою цену.

— Итак, старик, — сказал управляющий, — поторопись! За какую плату продашь ты сына колодца?

— Он твой! — отвечал старик. — Поскольку мы вообще заговорили о нем и ты спрашиваешь меня о его обстоятельствах, он уже принадлежит тебе. Мне, право, не пристало определять стоимость подарка, которым ты, как я вижу, собираешься меня отдарить. Но если ты велишь — павиан садится возле весов! Кто нарушит меру и вес, того изобличит сила Луны! Двести дебенов меди — вот как надлежит оценить этого слугу ввиду его необыкновенных качеств. А лук и вино из Хазати ты получишь в придачу как дар и привесок дружбы.

Это была очень высокая цена, тем более что дикорастущему аскалунскому луку и широко потребляемому фенехийскому вину старик весьма благоразумно придал характер довеска и, собственно, весь запрос относился к молодому рабу Озарсифу; да, это была дерзкая оценка, даже если признать, что из всех товаров странствующих купцов, не исключая и знаменитых смол, в Египет стоило везти один только этот, и даже если стать на ту точку зрения, что вся торговля измаильтян была только придачей и что самый смысл их жизни состоял единственно в том, чтобы во исполнение неких замыслов доставить в Египет мальчика Иосифа. Не отважимся утверждать, что хотя бы смутное подозрение такого рода могло шевельнуться в душе старика минейца; управляющему Монт-кау, во всяком случае, подобные представления были совершенно чужды, и вполне вероятно, что он сам запротестовал бы против такой завышенной оценки, если бы его не опередил своим вмешательством почтенный карлик Дуду. В полную силу посыпались у него возражения из-под прикрытия верхней губы, и во всю прыть забежали перед грудью кисти его коротеньких ручек.

— Это смешно! — сказал он. — Это в высшей степени и донельзя смешно, управляющий; отвернись же во гневе! Этот старый мошенник имеет наглость говорить о какой-то друж-

бе, как будто возможна дружба между тобой, египтянином, возглавляющим имение великого мужа, и дикарем песков! Что же касается его торговли, то это просто капкан и ловушка. За этого пентюха, — и он протянул ладошку к Иосифу, возле которого уже пристроился, — за этого паршивца пустыни, за этот подозрительный хлам он просит не больше не меньше, как двести дебенов меди. А малый, по-моему, очень и очень подозрителен. Хоть он и ловок болтать о прохладных мхах и журчащих источниках, кто знает, за какие неискоренимые пороки он был в действительности наказан знакомством с ямой, откуда якобы извлек его этот старый плут. Вот тебе мое слово — не приобретай этого шалопая, вот тебе мой совет — не покупай его для Петепра, ибо тот не поблагодарит тебя за такое приобретение.

Так говорил Дуду, смотритель нарядов. Но вслед за его голосом послышался голосок, похожий на стрекотание кузнечика. Это был голос маленького Боголюб в праздничном платье, «визиря», который стоял рядом с Иосифом с другой стороны: юноша оказался между обоими карликами.

— Купи, Монт-кау! — зашептал он, привстав на цыпочки. — Купи этого мальчика из страны песков! Из всех товаров купи только его одного, ибо это самый лучший товар! Доверься маленькому, он видит! Озарсиф добр, красив и умен. Он благословен и будет благословением дому. Послушайся разумного совета!

— Не слушайся дурного совета, а послушайся дельного! — воскликнул тотчас же другой карлик. — А как может дать дельный совет этот сморчок, если в нем самом дельного и путного столько же, сколько в пустом орехе? У него нет в мире ни веса, ни положения, и он, как пробка, всегда торчит на поверхности, этот пустомеля и попрыгун, — так как же он может дать полноценный совет, как же он может судить о делах мира, о товарах и людях и о товаре в виде людей?

— Ах ты, напыщенный дурак, болван ты болваном! — закричал Бес-эм-хеб, и от злости его гномье лицо сморщилось сотнями складок. — Как ты берешься о чем-то судить и как можешь ты дать мало-мальски дельный совет, гнусный отступник? Ты промотал карличью мудрость, отрекшись от своей неполномерной стати. Ты женился на долговязой, произвел на свет длинных, как жерди, детей, Эсези и Эбелл, и строишь из себя важную особу. Но все равно ты остался карликом, и даже межевой камень выше тебя. Зато глупость твоя полноразмерна, и ничего не стоят твои суждения о товарах и людях и о товаре в виде людей...

Трудно представить себе, как взбесили Дуду эти упреки и в какую ярость привела его такая характеристика его умственных способностей. Лицо его позеленело, крыша верхней губы задрожала, и он разразился ядовитыми речами о ветрености и неполноценности Боголюб, на которые тот незамедлительно отвечал ехидными замечаниями о напыщенности, из-за которой утрачивается всякая тонкость ума; так ссорились и бранились эти человечки, уперев руки в колени, по обе стороны от Иосифа; иногда в пылу спора они обегали его, словно дерево, которое отделяло и защищало их друг от друга; и все собравшиеся, и египтяне и измаильтяне, в том числе и управляющий, от души смеялись над этой междоусобицей, разыгравшейся у их ног; но вдруг все прекратилось.

ПОТИФАР

С улицы, издалека и нарастая, донесся шум — цокот копыт, грохот колес, топот семенящих человеческих ног, а также разноголосые призывы к вниманию; все это приблизилось с большой скоростью, было уже у ворот.

— Ну вот, — сказал Монт-кау. — Господин. А порядок в столовой? Великая фиванская троица, я истратил время на сущие пустяки! Тише, слуги, не то отведаете ремня! Ха'ма'т, ты закончишь торговлю, а я пойду с хозяином в дом! Возьми эти товары по сходной цене! Будь здоров, старик! Приходи к нашему дому снова лет через пять или через семь!

И он поспешно повернулся. Сторожа кирпичной скамьи что-то кричали во двор. Со всех сторон сбежались слуги, желавшие упасть ниц при въезде своего повелителя. И вот уже загремела повозка, и топот рысаков гулко отдался в каменной арке: в ворота въезжал Петепра; впереди, задыхаясь, бежали скороходы, предостерегавшие прохожих, сбоку и сзади, тоже задыхаясь, скороходы с опахалами; пара лоснящихся, в красивой сбруе, украшенных страусовыми перьями, резвых на вид гнедых была запряжена в маленькую двуколку — изящный экипаж со слегка изогнутыми поручнями, в котором можно было стоять лишь вдвоем с возничим; но возничий стоял без дела, присутствуя, видимо, только почета ради, ибо друг фараона правил сам: по лицу и по наряду того, кто держал вожжи и бич, видно было, что хозяин именно он; это, как в общих чертах разглядел Иосиф, был чрезвычайно большой и толстый человек с маленьким ртом; но внимание Иосифа было занято главным образом переливавшимся на солнце цветными камнями на спицах повозки — игрой красочно кружащихся отблесков, которой Иосиф охотно позабавил бы маленького Вениамина и которая, хотя и без такого мелькания, повторялась во внешности самого Петепра, а именно на его прекрасном воротнике, подлинном произведении искусства, состоявшем из множества продолговатых, скрепленных в ряды узкими сторонами финифтевых и самоцветных пластинок всех оттенков, что также полыхали всеми цветами радуги на том ярком свете, которым залил и всю Узет и это место достигший своей вершины бог.

Ребра скороходов так и ходили. Сверкающие кони остановившись, били копытами, вращали глазами и фыркали, и слуга, взяв лошадей под уздцы, с ласковыми словами похлопывал их по взмыленным холкам. Повозка остановилась как раз между торговцами и обводной стеной главного здания, у пальм, и Монт-кау, приветственно замерший было перед воротами, теперь, улыбаясь, кланяясь, приняв самый счастливый вид и даже качая головой от восторга, подошел к хозяину, чтобы помочь ему выйти из экипажа. Петепра передал возничему вожжи и бич, оставив в своей маленькой руке только короткий, сделанный из тростника и золоченой кожи с раструбом спереди жезл, облагороженное подобие палицы. «Вымыть вином, хорошенько укрыть, поводить по двору!» — сказал он тонким голосом, указывая на лошадей этим изящным видоизменением дикарского оружия, превратившимся в легкий знак начальственной власти, и, отстранив предупредительно протянутую руку управляющего, ловко для своего сложения спрыгнул с повозки, хотя мог бы и спокойно с нее сойти.

Иосиф отлично видел его и слышал, особенно когда повозка медленно покатила к конюшням, целиком открыв взглядам измаильтян хозяина и домоправителя, провожавших глазами упряжку. Этому сановнику было лет тридцать пять — сорок, и роста он был действительно саженого — Иосиф невольно вспомнил о Рувиме при виде этих столпообразных ног, вырисовывавшихся под царским полотном его не достававшей до щиколоток одежды, сквозь которую просвечивали также складки и свисающие тесемки-набедренника; но эта громада плоти была совсем иной, чем у богатыря брата: она была сплошь очень жирной, и особенно жирной была грудь, которая под тонким батистом верхней одежды выдавалась двумя холмами и во время ненужного прыжка с повозки прямо-таки затряслась. Совсем маленькой по сравнению с таким ростом и такой полнотой была у него голова, благородно вылепленная, с короткими волосами, коротким, нежно изогнутым носом, изящным ртом, приятно выступающим подбородком и подернутыми поволокой глазами, гордо глядевшими из-под длинных ресниц.

Стоя с управляющим в тени пальм, он с удовольствием проводил взглядом удалявшихся шагом жеребцов.

— Очень горячие кони, — донеслись его слова. — Уисер-Мин еще резвее, чем Уэпуавет. Они не слушались, хотели понести. Но я с ними справился.

— Только ты с ними и можешь справиться, — отвечал Монт-кау. — Это поразительно. Твой возничий Нетернахт не отважился бы с ними тягаться. Никто в доме не отважился бы, до того отчаянны эти сирийцы. У них в жилах огонь, а не кровь. Это не лошади, это демоны. А ты их обуздываешь. Они чувствуют руку хозяина — и воля их сломлена, и они покорно бегут

в упряжке. А ты, господин мой, даже не устал от победоносной борьбы с их дикостью и спрыгиваешь с повозки, как смелый юноша.

Петепра усмехнулся углубленными уголками своего маленького рта.

— Я собираюсь, — сказал он, — еще до вечера почтить Себека и поохотиться на воде. Приготовь все необходимое и разбуди меня вовремя, если я усну. В челноке должны быть копья и дротики для рыбной ловли. Но позаботься и о гарпунах, ибо мне доложили, что в проток, где я обычно охочусь, забрел огромный гиппопотам, а он-то и нужен мне в первую очередь; я хочу его уложить.

— Повелительница, — отвечал управляющий с опущенными глазами, — Мут-эм-энет, задрожит от страха, когда об этом услышит. Будь так добр, не убивай гиппопотама, по крайней мере, собственноручно, а предоставь это опасное дело слугам! Госпожа...

— Нет, что мне за радость, — возразил Петепра. — Я сам.

— Но госпожа будет дрожать от страха!

— Пускай дрожит! А в доме, — спросил он, повернувшись к управляющему резким движением, — надеюсь, все благополучно? Никаких неприятностей или происшествий не было? Нет? Что это за люди? Ах, странствующие купцы. Весела ли госпожа? А высокие родители с верхнего этажа — здоровы ли?

— Порядок и благополучие не оставляют желать лучшего, — отвечал Монт-кау. — На исходе утра прелестная госпожа велела отнести себя в гости к Рененутет, супруге главного смотрителя говяд Амуна, чтобы поупражняться с нею в пении. Возвратившись, она велела Тепем'анху, писцу Дома Замкнутых, почитать ей сказки и соблаговолила поцеловать сладости, которые приказал подать ей твой слуга. Что же касается достопочтенных родителей с верхнего этажа, то они соизволили переправиться через реку и принести жертву в погребальном-храме Тутмоса, слившегося с Солнцем отца богов. Вернувшись с запада, высокие брат и сестра Гуйи и Туий чинно и благолепно, рука об руку, сидели в беседке у пруда твоего сада и коротали время в ожидании часа, когда ты вернешься и будет подан обед.

— Им тоже, — сказал хозяин дома, — можешь невзначай сообщить, что я еще сегодня пойду на гиппопотама: пусть знают.

— Но это, — возразил управляющий, — приведет их, увы, в великий страх.

— Неважно, — отвечал Петепра. — Здесь, я вижу, — добавил он, — жили сегодня утром в свое удовольствие, а у меня были при дворе и во дворце Мерима'т всякие неприятности.

— У тебя? — сокрушенно спросил Монт-кау. — Возможно ли это? Ведь добрый бог во дворце...

— Одно из двух, — донеслись слова хозяина, который уже отворачивался от управляющего; при этом он пожимал своими огромными плечами, — одно из двух: либо ты военачальник и глава палачей, либо нет. Если да... а тут какой-то...

Его слов уже не было слышно. Вместе с управляющим, который держался немного позади и, склонившись к хозяину, слушал и отвечал, он прошел между рядами поднимавших руки рабов через ворота к своему дому. А Иосиф увидел «Потифара», как выговаривал он про себя это имя, египетского вельможу, которому его продали.

ИОСИФА ОПЯТЬ ПРОДАЮТ, И ОН ПАДАЕТ НИЦ

Ибо теперь это случилось. Долговязый писец Хамат, в присутствии карликов, совершил от имени управляющего сделку со стариком. Но Иосиф почти не обращал внимания на то, как проходили эти переговоры и за какую цену его наконец продали, настолько был он поглощен своими мыслями и первыми впечатлениями от нового своего владельца. Его сверкающий воротник с золотыми регалиями и его заплывший жиром, но гордый стан; его прыжок с повозки

и льстивые слова, сказанные ему Монт-кау о его силе и смелости в объезжании лошадей; его намерение собственноручно сразить дикого бегемота, беспечно пренебрегая тревогой своей супруги Мут-эм-энет и своих родителей Гуия и Туий (причем слово «беспечность» отнюдь не исчерпывающе определяло его отношение к ним); с другой стороны, его внезапный вопрос о том, все ли в доме благополучно и весела ли госпожа; даже отрывочные намеки на какую-то неудачу во дворце, оброненные им уже на ходу, — все это дало сыну Иакова пищу для самых усердных раздумий, сопоставлений, догадок; он молча старался все это объяснить, истолковать и дополнить, как всякий, кто стремится как можно скорее стать в душе хозяином положения, в которое его ненароком поставили и с которым он обязан считаться.

Будет ли он — так шли мысли Иосифа — некогда стоять возле «Потифара» в двуколке его возничим? Или ездить с ним на охоту в нильском протоке? Да, верьте или не верьте, уже тогда, едва оказавшись перед этим домом и при первом же внимательно-беглом взгляде на свое новое окружение, уже тогда он думал о том, что должен будет раньше или позже непременно приблизиться к своему господину, самому высокому в этом кругу, хотя и не самому высокому в земле Египетской, — а из такого уступительного добавления явствует, что бесконечные трудности, лежавшие на пути к этой первой, еще очень и очень далекой цели уже тогда не мешали ему заглядывать дальше, представляя себе близость к еще более окончательным воплощениям самого высокого.

Так было; мы его знаем. Разве при меньших притязаниях он достиг бы в этой стране того, чего достиг? Он находился в преисподней, входом в которую оказался колодец, он был уже не Иосифом — Озарсифом; и оставаться последним из обитателей преисподней он долго не мог. Он быстро учел благоприятные и неблагоприятные обстоятельства. Монт-кау был добрый человек. Он прослезился, услышав ласковое пожелание приятного сна, потому что порой чувствовал себя не совсем здоровым. Дурачок Боголюб был тоже доброго нрава и явно горел желанием ему помочь. Дуду был враг — доколе он им оставался; но, возможно, существовал способ его обезвредить. Писцы выказали ревность, потому что и он был писцом, — с этим неприязненным чувством следовало снисходительно считаться. Так взвешивал он ближайшие свои возможности, — и неверно было бы осудить его за это и назвать своекорыстным пронырой Им Иосиф не был, и не так надлежит оценивать его мысли. Он думал, он помышлял о высшем долге. Бог положил конец его безрассудной жизни и воскресил его, чтобы он начал новую жизнь. Через посредство измаильтян он привел его в эту страну. Привел, несомненно, с великим, как всегда, замыслом. Он не делал ничего, что не имело бы великих последствий, и нужно было преданно помогать ему в полную силу отпущенного тебе ума, а не сковывать его намерений своей косной бездеятельностью. Бог послал ему сны, которые тот, кому они приснились, обязан был помнить: о снопах, о звездах; такие сны были не столько обетованием, сколько указанием. Они должны были так или иначе исполниться; каким образом — было ведомо одному только богу, но удаление в эту страну было тому началом. Однако сами собой они не могли исполниться — надо было помочь. Жить соответственно своей молчаливой догадке или даже убежденности, что бог назначил тебе какую-то неповторимую долю, — это не своекорыстная пронырливость, и честолюбием это тоже нельзя назвать; ибо если честолюбие относится к богу, оно заслуживает более почтительного названия.

Итак, Иосиф не обращал внимания на то, как именно и за какую цену его во второй раз продают, — настолько он был поглощен разбором своих впечатлений и желанием стать в душе хозяином положения. Долговязый Хамат с тростинками за ухом — этими тростинками он поразительно балансировал, они держались, как приклеенные, и сколько он ни вертелся, торгуясь, ни одна не упала — долговязый Хамат, чтобы сбавить цену, упрямо стоял на различии между «нужен» и «может понадобиться», а старик выдвигал свой старый и убедительный довод: стоимость ответного подарка должна быть достаточно велика, чтобы он мог жить, дабы и впредь служить этому дому; и ему удалось представить эту необходимость такой очевидной, что писец, к своей невыгоде, даже не попытался ее оспаривать. Одного поддерживал смотри-

тель одежной Дуду, который ссылался на разницу между «нужен» и «может понадобиться» применительно ко всем трем товарам: и к луку, и к вину, и к рабу; а другого Шепсес-Бес, который стрекотал насчет своей карличьей прозорливости и советовал приобрести Озарсифа без мелочных проволочек, заплатив первую же спрошенную цену. И лишь под конец, да и то ненадолго, в эти споры вмешался сам их виновник, сказав, что сто пятьдесят дебенов, по его мнению, слишком дешевая плата за него и что сойтись можно было бы, по крайней мере, на ста шестидесяти. Он сделал это из честолюбия в отношении бога, и писец Хамат резко заметил ему, что предмету купли-продажи никак не пристало вмешиваться в переговоры о своей цене; тогда он снова умолк и предоставил делу идти своим чередом.

Наконец он увидел чубарого бычка, которого велел вывести из стойла Хамат; было странно увидеть выражение собственной стоимости в стоящем напротив тебя животном — странно, хотя и не обидно в этой стране, где большинство богов узнавало себя в животных и где в таком почете была идея соединимости тождественного и сходного.

Кстати, бычком дело не ограничилось; его стоимость еще не была тождественна стоимости Иосифа, ибо старик отказался оценить его выше ста двадцати дебенов, и к бычку пришлось приложить еще много всякого добра — латы из воловьей шкуры, несколько штук папируса и грубого полотна, несколько бурдюков из барсовой шкуры, большое количество натра для засаливания мертвецов, связку рыболовных крючков и несколько метелок, — чтобы весы павиана пришли в священное равновесие, пришли, впрочем, скорее по договоренности и на глазок, чем чисто математическим путем; ибо посла долгих споров о каждом отдельном предмете обе стороны в конце концов отказались от числовых расчетов, удовлетворившись ощущением, что в общем они не так уж и прогадали. Обе стороны оценивали совершенную сделку в пределах от ста пятидесяти до ста шестидесяти дебенов меди, и за эту цену сын Рахили вместе с назначенной стариком придачей перешел в собственность Петепра, египетского вельможи.

Свершилось. Измаильтяне из Мидиана выполнили свое назначение в жизни, они сбыли то, что им суждено было доставить в Египет, теперь они могли продолжить свой путь и исчезнуть в мире — в них не было больше нужды. Впрочем, такое положение дел несколько не уязвляло их самолюбия, они были о себе такого же высокого мнения, как прежде, и отнюдь не казались себе лишними и ненужными. И разве отеческие побуждения доброго старика, разве его желание позаботиться о найденныше и устроить юношу в самом лучшем из имевшихся на примете домов, разве они не были нравственно полновесны, даже если, с другой стороны, его настроение было только орудием, только вспомогательным средством достижения каких-то неведомых ему целей? Достаточно удивительно, что он вообще перепродал Иосифа, словно иначе и быть не могло, — с барышом, который, по его словам, «позволял ему не умереть» и лишь с грехом пополам успокаивал его совесть купца. Ведь он же сделал это явно не барыша ради и, в общем-то с удовольствием оставил бы у себя сына колодца, чтобы тот прощался с ним на сои грядущий и пек ему вкусные лепешки. Он действовал не из своекорыстия, как ни старался он добиться для себя хотя бы чисто торговой выгоды. Да и что значит «своекорыстие»? Ему хотелось позаботиться об Иосифе; устроить его в жизни получше, и, удовлетворяя это желание, он попутно служил своей корысти, откуда бы это преимущественное желание ни шло.

Иосиф тоже умел соблюдать то свободное достоинство, которое придает необходимости какую-то человечность; и когда после заключения сделки старик сказал ему: «Ну, вот, Эй-Как-Тебя, или, по-твоему, Узарсиф, теперь ты принадлежишь уже не мне, а этому дому, и я сделал то, что задумал», — Иосиф выказал ему всяческую признательность, поцеловал несколько раз край его платья и назвал его своим спасителем.

— Прощай, сын мой, — сказал старик, — и веди себя достойно благодеянья, тебе оказанного! Будь умен и предупредителен в обращении с людьми и держи язык за зубами, если ему вдруг захочется позлословить и пуститься в такие неприятные тонкости, как различие между почтенным и старым, иначе ты доведешь себя до ямы! Твоим устам дарована

сладость, ты умеешь приятно прощаться на ночь и вообще быть приятным в речах — на том и стой. Радуй людей, вместо того чтобы раздражать их своим злословием, ибо от него не дождешься добра. Одним словом, прощай! Не стоит, пожалуй, напоминать тебе, чтобы ты избегал ошибок, которые и довели твою жизнь до ямы, — преступного доверия и слепой требовательности, ибо уж в этом-то отношении ты, я надеюсь, достаточно умудрен. Я не допытывался до подробностей дела и не пытался проникнуть в твои обстоятельства, ибо знаю, что в многшумном мире скрывается множество тайн. Этим знанием я и довольствуюсь, и мой опыт учит меня считать возможным все, что угодно. Если, как порой говорили мне твои способности и манеры, твои обстоятельства были прекрасны и ты умащался елеем радости, до того как вошел в чрево колодца, то, продав тебя в этот дом, я бросил тебе спасительный канат и предоставил счастливую возможность снова подняться на подобающую тебе высоту. Прощай в третий раз! Ибо я уже сказал это дважды, а чтобы слово имело силу, его нужно произнести трижды. Я стар и не знаю, увижу ли я тебя снова. Пусть бог твой Адон, тождественный, насколько мне известно, заходящему солнцу, хранит каждый твой шаг и не даст тебе оступиться. Будь же благословен!

Иосиф стал на колени перед этим отцом и еще раз поцеловал край его платья, а старик положил руку ему на голову. Попрощался он и со стариковым зятем Мибсамом, поблагодарив его за то, что тот вытащил его из колодца; затем с Нефером, племянником старика, и с его сыновьями Недаром и Кедмой; а также, хотя и более небрежно, с погонщиком Ба'алмахаром и с Иупой, толстогубым мальчишкой, который теперь держал за веревку бычка, это равноценное Иосифу животное. А потом измаильтяне прошли через двор и через гулкие ворота, точно так же, как они явились сюда, только без Иосифа, который теперь стоял и глядел им вслед, не без уныния и боли думая об этой разлуке и обо всем том новом и неизвестном, что его ожидало.

Когда они скрылись из виду, он оглянулся и увидел, что все египтяне разбрелись по своим делам и что он оказался в одиночестве или почти в одиночестве; ибо единственным, кто остался с ним рядом, был Зе'энх-Уэн-нофре-Нетерухотпе-эм-пер-Амун, Боголюб, потешный визирь; он держал на плече рыжую свою мартышку и глядел вверх на Иосифа, сморщив лицо в улыбку.

— Что мне теперь делать и к кому обратиться? — спросил Иосиф.

Карлик не ответил. Он только кивнул ему, продолжая радоваться. Но вдруг он повернул голову и в испуге прострекотал:

— Пади ниц!

Одновременно он сделал это и сам и, прижавшись лбом к земле, скрючился в крошечный, с обезьянкой сверху, комок; ибо, ловко справившись с резким движением своего хозяина, мартышка только перебралась с его плеча на его спинку, где, подняв хвост, и уселась, и теперь широко раскрытыми от страха глазами глядела туда, куда не преминул поглядеть и Иосиф; он хоть и последовал примеру Боголюб, но, застыв в поклоне, уперся локтями в землю и охватил ладонями лоб, чтобы увидеть, к кому или к чему относится выказанное им благоговение.

От гарема к господскому дому, пересекая наискось двор, двигалась небольшая процессия: пять слуг в набедренниках и обтягивающих голову колпаках спереди, пять служанок с непокрытыми волосами сзади, а между ними, плывя на обнаженных плечах рабов-нубийцев, скрестив ноги и откинувшись на подушки золоченых носилок, украшенных звериными мордами с разинутой пастью, — египетская дама, весьма ухоженная, с блестящими драгоценностями в кудрях, с золотом на шее, с кольцами на пальцах и с браслетами на руках, одну из которых — это была очень белая и красивая рука — она небрежно свесила с облокотника качалки, и под диадемой, увенчивавшей ее голову, Иосиф увидел ее особенный, несмотря на печать моды, единично-своеобразный и неповторимый профиль — с подведенными, так что они удлинились к вискам, глазами, с приплюснутым носом, с тенистыми выемками щек, с узким и одновременно пухлым, змеящимся между ямками своих уголков ртом.

Это была Мут-эм-энет, хозяйка дома, которая следовала в столовую, супруга Петепра, женщина роковая.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. САМЫЙ ВЫСОКИЙ СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОЖИЛ ИОСИФ У ПОТИФАРА

Жил-был один человек, у него была строптивая корова. Она не хотела носить ярмо и всегда, когда нужно было пахать поле, сбрасывала ярмо с шеи. Вот он и забери у нее теленка и отведи его в поле, которое нужно было вспахать. Корова услышала мычанье своего детеныша и с ярмом на шее послушно пошла туда, где был теленок.

Теленок в поле, человек отвел его туда, но теленок не мычит, он не издает ни звука, он осматривается в чужом поле, которое кажется ему мертвым. Он чувствует, что еще не пришло время подавать голос; но он определенно представляет себе цели и дальние замыслы своего хозяина, этот телец Иегосиф или Озарсиф. Зная хозяина, он сразу догадывайся и в мечтах своих не сомневается, что его увод в это поле, к которому так строптиво относятся дома, не простая, ни с чем не связанная случайность, а часть некоего замысла, где одно влечет за собой другое. Тема «переселения и продолжения рода» — одна из тех, которые музыкально сочетаются друг с другом в его разумной и вместе мечтательной душе, где, так сказать, солнце и луна, как то и бывает, стоят на небе одновременно, и где мотив луны, которая, мерцая, прокладывает путь своим братьям, звездным богам, тоже присутствует. Иосиф, телец, — разве не размышлял он уже и по собственному почину и на собственный лад, хотя и в соответствии с замыслами хозяина, при виде тучных лугов земли Госем? Преждевременные, слишком далеко — он сам это понимал — забегающие вперед мысли, и покамест им лучше умолкнуть... Ибо многое должно осуществиться, прежде чем они станут осуществимы, и одного увода для этого мало; должно прибавиться и нечто другое, чего он втайне ждал с сокровенной детской уверенностью, но покамест даже и предположить нельзя, как тут пойдет дело. Это зависит от бога...

Нет, Иосиф не забыл оцепеневшего на родине старца; его молчание, молчание стольких лет, ни на миг не должно быть поводом к такому укоризненному мнению — и, уж во всяком случае, не в момент, о котором идет речь и о котором мы повествуем с чувствами, как нельзя более похожими на его собственные, — да это и есть его чувства. Если нам кажется, что мы уже однажды доходили до этого места нашей истории и все это уже когда-то рассказывали, если нами повелительно овладевает какое-то особое ощущение узнавания увиденного уже наяву или в мечтах, — то в точности это же ощущение испытывал теперь наш герой; и такое соответствие, по-видимому, закономерно. Именно теперь чрезвычайно сильно сказалось в Иосифе то, что нам так и хочется назвать на своем языке слитностью с отцом, слитностью тем более неразрывной и полной, что благодаря широкому отождествлению и смешению понятий она была одновременно и слитностью с богом, — да и как могла она в нем не сказаться, если сказалась применительно к нему, на нем и вне его»? То, что он сейчас переживал, было подражанием и преемничеством; в слегка измененном виде все это уже некогда пережил отец. Есть что-то таинственное в феномене преемственности, где субъективная воля настолько сливается с велением обстоятельств, что нельзя различить, кто, собственно, подражает и добивается повторения пережитого — человек или судьба. Внутренние предпосылки отражаются на внешних и как бы помимо желания овеществляются в каком-то событии, которое было уже заложено в этом человеке. Ибо мы идем по стопам предшественников, и вся жизнь состоит в заполнении действительностью мифических форм.

Иосиф любил всякие преемственности и самообольстительно благочестивые путаницы, он умел произвести ими на людей сильное и хотя бы ненадолго самое выгодное для себя впечатление. Но теперь возвращение и воскресение отцовских обстоятельств в нем, Иосифе, заполняло и занимало его целиком: он был Иаковом, отцом, вступившим в Лаваново царство,

похищенным в преисподнюю, нестерпимым дома, бежавшим от братоубийственной ненависти, от остервенелых притязаний Красного на благословение и первородство — правда, на сей раз, в отличие от образца, у Исава было десять облиций, да и Лаван выглядел в этой действительности несколько иным: он появился на сверкающих колесах и в одежде царского полотна, Потифар, укротитель коней, толстый, жирный и такой смелый, что люди дрожали от страха за него. Но он был им, это не подлежало сомнению, хотя жизнь и играла все новыми и новыми формами одного и того же. Снова, согласно давнему предсказанию, отпрыск Аврамов оказался пришельцем в чужой стране. Иосифу предстояло служить Лавану, носившему в этом своем повторении египетское имя и выпренне называвшемуся «даром Солнца», — так сколько же времени он будет ему служить?

Мы задавали этот вопрос по поводу Иакова и ответили на него по своему разумению. Теперь, задавая его применительно к сыну Иакова, мы опять хотим окончательно во всем разобратся и проверить действительностью мечтательный вымысел. Вопрос о соотношении с действительностью времени и возраста в истории Иосифа разбирался всегда очень небрежно. Поверхностно-мечтательное воображение приписывает нашему герою такую неизменяемость и нетронутость временем, какую он приобрел в глазах Иакова, ибо тот считал его мертвым и растерзанным, и которую и в самом деле придает человеку одна лишь смерть. Но умерший, по мнению отца, мальчик был жив, и лета его возрастали, и нужно отчетливо представлять себе, что тот Иосиф, перед чьим креслом предстали и склонились однажды нуждающиеся братья, был сорокалетним мужчиной, которого сделали неузнаваемым не только важность, сан и одежда, но и все те изменения, каким подвергает человека время.

К этому дню прошло уже двадцать три года с тех пор, как его продали в Египет братья-Исавы, — почти столько же, сколько в целом провел Иаков в стране «Откуда Нет Возврата»; страну, где отпрыск Аврамов был чужеземным пришельцем на этот раз, тоже вполне можно было назвать этим именем, и даже, пожалуй, с еще большим правом, чем ту, ибо Иосиф пробыл здесь не четырнадцать, шесть и пять или семь, тринадцать и пять лет, а действительно всю свою жизнь и только по смерти возвратился на родину. Но совершенно неясно, да и не очень-то об этом задумываются, как же все-таки распределяется время, проведенное им в преисподней, между столь резко отличными друг от друга эпохами его благословенной жизни, а именно, первыми, решающими годами, которые он провел в Потифаровом доме, и годами ямы, куда он угодил сызнова.

На оба эти отрезка приходится в сумме тринадцать лет, ровно столько, сколько понадобилось Иакову, чтобы произвести на свет двенадцать своих месопотамских детей, — если допустить, что Иосифу было тридцать лет, когда он возвысился и стал первым среди жителей преисподней. Заметим: нигде не написано, что тогда ему было столько лет, — а если и написано, то, во всяком случае, не там, где эта цифра могла бы служить для нас указанием. И все же это общепризнанный факт, аксиома, которая не требует доказательств, говорит сама за себя и, как солнце, зачинает себя самое с собственной матерью, самым естественным образом притязая на ясное «Так и считать». Ибо это всегда так и есть. Тридцать лет — самый подходящий возраст для того, чтобы достичь той ступени жизни, которой Иосиф тогда достиг; в тридцать лет мы выходим из пустыни и мрака подготовительного периода в деятельную жизнь; это время, когда выявляются задатки, время свершения. Тринадцать лет, стало быть, прошло со дня прибытия в Египет семнадцатилетнего юноши до того дня, когда он предстал перед фараоном, — это не подлежит сомнению. Но сколько из них приходится на пребывание в Потифаровом доме и сколько, следовательно, на яму? Каноническое предание не дает на это ответа; от него ничего, кроме весьма расплывчатых фраз, для выяснения временных отношений внутри нашей истории не добьешься. Какие же временные отношения мы в ней установим? Как же распределим мы в ней годы?

Такой вопрос кажется неуместным. Знаем мы историю, которую рассказываем, или не знаем ее? Разве это полагается, разве это соответствует природе повествования, чтобы рас-

сказчик публично, путем каких-то умозаключений и выкладок, рассчитывал даты и факты? Разве рассказчик — это нечто иное, чем анонимный источник рассказываемой или, собственно, рассказывающей себя самой истории, где все самообусловлено, все совершается именно так, а не этак и ничто не допускает сомнений? Рассказчик, скажут нам, должен присутствовать в истории, он должен слиться с ней воедино, он не должен быть вне ее, не должен рассчитывать ее и доказывать... Ну, а как обстоит дело с богом, которого создал и познал мыслью Аврам? Он присутствует в огне, но он не есть огонь. Значит, он одновременно и в нем, и вне его. Конечно, одно дело — быть какой-то вещью, и другое дело — ее наблюдать. Однако существуют плоскости и сферы, где имеет место и то и другое сразу: рассказчик присутствует в истории, но он не есть история; он является ее пространством, но его пространствам она не является: он находится также и вне ее и благодаря своей двойственной природе имеет возможность ее объяснять. Мы никогда не задавались целью создать ложное впечатление, будто мы являемся первоисточником истории Иосифа. Прежде чем оказалось возможным ее рассказывать, она произошла; она вытекла из того же родника, откуда вытекает все, что творится на свете, и, творясь, рассказывала себя самой. С тех пор она и существует в мире; каждый знает ее или думает, что знает, ибо сплошь да рядом это всего лишь приблизительное, ни к чему не обязывающее, бездумное, мечтательно-поверхностное знание. Она рассказывалась сотни раз и сотнями способов. Здесь и сегодня она рассказывается таким способом, при котором она словно бы приобретает самосознание и вспоминает, как же это на самом-то деле происходило во всех подробностях; она одновременно течет и объясняет себя.

Например, она объясняет, как расчленились тринадцать лет, прошедшие между продажей Иосифа и вознесением его главы. Ведь во всяком случае, точно известно, что Иосиф, когда его бросили в темницу, отнюдь уже не был тем мальчиком, которого доставили израильтяне в дом Петепра, и что львиная доля этих тринадцати лет ушла на его пребывание в этом доме. Мы могли бы и безапелляционно заявить, что так было; но мы доставим себе удовольствие спросить, как же могло быть иначе. По своему общественному положению Иосиф был полным ничтожеством, когда он семнадцати или без малого восемнадцати лет попал на службу к этому египтянину, и для карьеры, которую он сделал в его доме, нужно время, — столько, сколько он там и в самом деле провел. Не через день и не через два поставил «Потифар» рабахабира надо всем, что имел, и отдал это «на руки» Иосифа. Известное время понадобилось уже для того только, чтобы Потифар вообще обратил на него внимание, — Потифар и другие лица, решившие исход этого весьма важного в его жизни эпизода. Да и головокружительная его карьера на поприще управления хозяйством непременно должна была растянуться на несколько лет, чтобы стать для него той подготовительной школой, какой она была задумана: школой управления величайшим хозяйством, затем последовавшего.

Одним словом, десять лет, до двадцатисемилетнего возраста, прожил у Потифара Иосиф, «евреин», как его называют, хотя иные при случае именуют его «рабом-евреем», но это отдает уже отчаянием и обидой, ибо «рабом» он тогда практически давно уже не был. Момент, когда он, по своему весу и положению, перестал им быть, не поддается сегодня точному определению — и никогда, впрочем, не поддавался. Ведь в сущности и в чисто правовом смысле Иосиф всегда оставался «рабом», он оставался им и достигнув высшей своей власти, до самого конца жизни. Мы можем прочесть, что его продавали и перепродавали; но о том, что его отпустили на волю или выкупили, — об этом нигде не написано. Его необычайная карьера не принимала во внимание факта его рабства, а после его внезапного возвышения никто уже об этом не заговаривал. Но даже в доме Петепра он недолго оставался рабом в самом низком смысле этого слова, и на его благословенное продвижение к елиезеровской должности домоправителя уши ли далеко не все его Потифаровы годы. На это хватило семи лет — таково наше твердое убеждение; другое наше твердое убеждение состоит в том, что лишь остаток Потифарова десятилетия прошел под темным знаком волнений, вызванных чувствами несчастной женщины и положивших конец этому периоду. При самом общем и приблизительном

определении времени предание все же дает понять, что эти волнения начались не сразу и даже не вскоре по прибытии Иосифа, что они, таким образом, не совпали с его продвижением, а появились уже после того, как он достиг вершины. Начались они — так написано — «после этого», то есть после завоевания Иосифом высочайшего доверия; следовательно, эта несчастная страсть должна была длиться только три года, — достаточно долго для обеих сторон! — прежде чем закончиться катастрофой.

Итог такой самоповерки нашей истории подтверждается проверочным испытанием. Если, согласно этому итогу, на потифаровский эпизод пришлось десять лет жизни Иосифа, то на следующий ее отрезок, темницу, приходится три — не больше и не меньше. И в самом деле, редко истина и вероятность совпадают убедительнее, чем в этом факте. Что может быть очевиднее и правильнее утверждения, что соответственно тем трем дням, которые Иосиф провел в дофанской могиле, он пробыл ровно три года, не больше, не меньше, в этой дыре? Более того, можно утверждать, что и сам он предполагал и даже знал это наперед, не допуская после всего пережитого, казавшегося ему таким осмысленным и многозначительным, никакой другой возможности и видя в этом подтверждение подчиненности своей судьбы чистой необходимости.

Три года, — мало того что так было, иначе и не могло быть. И, с необычной в мелочах точностью указывая время, предание определяет, как делились эти три года; оно устанавливает, что знаменитые приключения с главным хлебодаром и главным виночерпием, знатными союзниками Иосифа, которым ему пришлось прислуживать, приходятся уже на первый год из этих трех лет. «По прошествии двух лет», говорит предание, фараону приснились сны, и Иосиф растолковал их ему. Через два года — после чего? Об этом можно спорить. Это может означать: через два года после того, как фараон стал фараоном, то есть после вступления на престол того фараона, которому и выпали на долю эти загадочные сны. Или же это означает: через два года после того, как Иосиф растолковал вельможам их сны, а хлебодар был, как известно, повешен. Но такой спор был бы бесполезен, ибо это свидетельство сохраняет свою силу в обоих случаях. Да, фараон увидел загадочные сны через два года после приключений с опальными царедворцами; при этом он увидел их через два года после того, как стал фараоном, ибо как раз во время пребывания Иосифа в темнице, а именно в конце первого года, царь Аменхотеп, третий носитель этого имени, соединился с Солнцем, а его сын, каковому и снились сны, увенчался двойным венцом.

Вот и видно, как правдива эта история, как все верно насчет тех десяти и трех лет, что прошли до того, как Иосифу исполнилось тридцать, и до чего ладно и точно все сходится в правде истинной!

В СТРАНЕ ВНУКОВ

Игра жизни, если иметь в виду отношения между людьми и полное неведение этих людей касательно будущности их отношений, которые при первом обмене взглядами как нельзя более поверхностны, случайны, неопределенны, полны отчужденности и равнодушия, хотя в некий невообразимый день им суждено принять характер жгучей неразрывности и ужасающей близости, — эта игра и это неведение заставили бы, наверно, заранее осведомленного наблюдателя задумчиво покачать головой.

Итак, скрючившись с поджатыми под себя коленями на утопанной глине рядом с карликом Боголюбом, по прозвищу Шепсес-Бес, Иосиф с любопытством глядел из-под ладоней на это драгоценное, совершенно незнакомое существо, проплывавшее в нескольких шагах от него на золотом, украшенном львами ложе, — на это явление высокой цивилизации преисподней, не вызывавшее у него никаких других чувств, кроме благоговения, да и то сильно смешанного с критической неприязнью, и никаких других мыслей, кроме — примерно — та-

ких: «Эге! Это, наверно, и есть госпожа. Жена Потифара, которая должна дрожать за него. Добрый она человек или злой? По ее виду этого не узнаешь. Очень важная египетская дама. Отец не одобрил бы ее. Я менее строг в суждениях, но я тоже не стану робеть...» Вот и все. А ее впечатления были и того бледнее. Проплывая мимо, она на миг повернула свою нарядную головку в сторону застывших в молитвенном поклоне рабов. Она их видела и не видела — такой это был равнодушный и слепой взгляд. Коротышку она, вероятно, узнала, потому что знала его, и возможно, что на какое-то мгновение подобие улыбки мелькнуло в ее финифтевых, подмалеванных глазах и чуть-чуть углубило уголки ее извивчатых губ — но и это можно было оспаривать. Другого раба она не знала, но вряд ли отдавала себе в этом отчет. Он мог обратиться на себя внимание своим застиранным измаильтянским плащом с башлыком (ибо он все еще носил эту одежду), да и прическа его была еще необычной. Видела ли она это? Конечно. Но до ее гордого сознания это не доходило. Если он здесь человек посторонний, то как он попал сюда — это дело богов, — вполне достаточно, чтобы они это знали; она, Мут-эмэнет, или Эни, слишком дорожила собой, чтобы об этом задумываться. Видела ли она, как он красив и прекрасен? Но что толку в этих вопросах! Она видела и не видела, она не догадывалась, ей было невдомек, что сейчас следовало смотреть во все глаза. Ни у него, ни у нее не возникло ни малейшей тени предчувствия, до чего они дойдут через несколько лет и что между ними произойдет. Что этот безвестный застывший в почтительном поклоне комочек станет некогда ее единственным сокровищем, ее блаженством, ее яростью, ее болезненно всепоглощающей мыслью, которая помутит ее разум, толкнет ее на безумные поступки, лишит ее жизнь покоя, почета и привычного уклада — это ей и в голову не приходило. О том, какое она ему уготовит горе, какой великой опасности подвергнет она его обрученность с богом и прекрасный венец его чела и как ее безрассудству почти удастся разлучить его с богом, — об этом наш мечтатель и не мечтал, хотя лилейная ручка, свисавшая с носилок, могла бы заставить его призадуматься. Наблюдателю, знающему эту историю в каждом ее часе, право же, простительно немного покачать головой по поводу неведения тех, кто находится внутри, а не вне ее.

Он спешит извиниться за нескромность, с которой приподнял завесу будущего, и обещает держаться текущего часа праздника. А час этот охватывает семь лет, семь лет столь невероятного поначалу возвышения Иосифа в доме Петепра, начиная с того момента, когда проплывавшая через двор госпожа скрылась из виду, а дурачок Бес-эм-хеб прошептал:

— Надо постричь тебя и переодеть, чтобы ты был таким же, как все, — и отвел его к цирюльникам людской, которые, обмениваясь шутками с карликом, обкорнали Иосифу волосы на египетский лад, после чего он стал похож на путников, сновавших по дорогам запруд; а оттуда на склад набедренников и платья в этом же здании, где писец выдал ему из хозяйских запасов египетскую одежду, рабочую и праздничную, после чего Иосиф совершенно преобразился в юношу Кеме, так что вполне возможно, что уже и тогда братья не узнали бы его с первого взгляда.

Эти семь лет, явившиеся подражанием и повторением отцовских годов в жизни сына и соответствовавшие тому отрезку времени, за который Иаков превратился из нищего беглеца в богатого собственника и необходимого участника благословенно расцветавшего хозяйства Лавана. Теперь пришел час, когда стать необходимым должен был Иосиф, — как же это произошло и как это ему удалось? Нашел ли он, подобно Иакову, воду? Это было совершенно излишне. Воды у Петепра было сколько угодно, ибо, кроме пруда с лотосами в увеселительном садике, между деревьями в плодовом саду и между грядками в огороде имелись четырехугольные водоемы, которые хоть и не сообщались с Кормильцем, но все же питали почву, так как были полны грунтовой воды. В воде не было недостатка; и если по своей внутренней жизни дом Потифара не был благословенным, — напротив, это, как вскоре выяснилось, был при всей своей представительности довольно-таки несуразный, неприятный дом, таивший в себе немало горя, — то зато его хозяйственное благосостояние и так уже не оставляло желать лучшего; стать здесь «множителем» было трудно, да в этом, пожалуй, и не было особой

нужды; достаточно было того, чтобы в один прекрасный день хозяин пришел к убеждению, что в руках этого молодого чужеземца его добро будет в наибольшей сохранности и что при таком управляющем ему, Петепра, можно ни о чем не заботиться и ни во что не вмешиваться самому — как то и подобало его высокому сану и как он, Петепра, привык. Сила благословения должна была, следовательно, сказаться здесь прежде всего в завоевании широкого доверия; и естественное нежелание хоть в чем-либо, а уж тем более в самом щекотливом вопросе, обмануть такое доверие сильно помогло впоследствии Иосифу избежать разлада с господом богом.

Да, для Иосифа начиналось теперь лавановское время, однако на этот раз все было совершенно иным, чем в отцовском воплощении, и совсем по-иному складывались обстоятельства у преемника — сына. Ибо возврат есть видоизменение, и, подобно калейдоскопу, где из одних и тех же стекляшек складываются непрестанно меняющиеся узоры, жизнь, играя, родит все новое и новое из одного и того же, образуя гороскоп сына из тех же частиц, что и планиду отца. Калейдоскоп — поучительная забава; как непохоже сложатся у сына стекляшки и камешки, составившие картину жизни Иакова, — насколько богаче, сложнее, но и злосчастнее лягут они! Он — более поздний, более тонкий «случай», этот Иосиф. Случай сына не только легкомысленней и остроумней, но и труднее, болезненней, интересней, чем случай отца, и нелегко узнать простые прообразы отцовской жизни в том их виде, в каком они возвращаются в жизнь Иосифа. Что станет в ней, к примеру. С идеей Рахили, с этим классически прекрасным первообразом, с этим главным узором жизни отца, — какая тут получится искривленная, смертельно опасная арабеска!.. Не скроем, события, которые сейчас назревают, которые уже налицо, поскольку свершились, когда эта история рассказывала себя самое, но которым по вновь вступившему в силу закону времени и последовательности, покамест еще не пришел черед, — не скроем, они пугающе-властно влекут нас к себе; наше к ним любопытство, любопытство особого рода, ибо оно уже все знает и относится не столько к самим фактам, сколько к их изложению, — наше к ним любопытство никак не уймется; оно то и дело подбивает нас забежать вперед, опередить очередной и правомочный час праздника. Так случается, когда оказывает свое волшебное действие двойной смысл слова «некогда»; когда будущее — это прошлое, когда все давно уже разыгралось и только вновь должно разыграться в доподлинном настоящем!

Чтобы сделать небольшую поблажку нашему нетерпению, мы можем расширить слишком уж узкое понятие настоящего, сливая отдельные совокупности последовательных событий в какое-то приблизительное временное единство. Такому обзору довольно легко поддаются годы, сделавшие Иосифа сначала личным слугой, а потом домоправителем Петепра; более того, именно такого обзора они и требуют, ибо обстоятельства, весьма способствовавшие успеху Иосифа (а не помешавшие ему, как это ни странно) и оказывавшие действие в течение всего этого периода и даже позднее, сыграли решающую роль уже вначале, так что ни о каком начале вообще нельзя говорить, не упомянув этих всепроникающих, как воздух, обстоятельств.

Удостоверив факт перепродажи Иосифа, текст прежде всего прочего устанавливает, что Иосиф «был в доме господина своего Египтянина». Ну, разумеется, он там был. Где же еще? Его продали в этот дом, и в этом доме он был, — кажется, что текст подтверждает нечто и без того известное, что он без нужды повторяет одно и то же. Написанное, однако, нужно верно прочесть. Сообщение, что Иосиф «был» в доме Потифара, говорит нам, что он там остался, а это уже отнюдь не подтверждение прежнего, а новая, заслуживающая, чтобы ее подчеркнули, подробность. Купленный Иосиф остался в самом доме Потифара, а это значит, что волею бога он избежал весьма реальной опасности быть посланным на барщинные работы в полях Египта, где он днем изнывал бы от жары, а ночами дрожал от холода и окончил бы свои дни во мраке и нищете, прозябая в неизвестности под плетью какого-нибудь невежды-надсмотрщика.

Этот меч висел над ним, и нам приходится только удивляться, что он не упал на него. Он вполне мог упасть. Иосиф был чужеземцем, проданным в рабство в Египте, азиатом по рождению, молодым аму, хабиром или евреем, и нужно ясно представить себе то презрение, которое поэтому в принципе грозило ему в этой чванливейшей на свете стране, прежде чем говорить о противодейственных влияниях, ослабивших и даже уничтоживших это презрение. Если в течение нескольких секунд домоправитель Монт-кау готов был принять Иосифа отчасти за бога, то это вовсе не доказывает, что он прежде всего и больше, чем отчасти, принял его за человека. Откровенно признаться, он этого не сделал. Житель Кеме, чьи предки пили воду священной реки и чьей несравненной родиной, изобилующей прекрасными зданиями, архидревными письменами и статуями, некогда самолично правил владыка Солнца, — житель Кеме слишком подчеркнуто называл себя «человеком», чтобы неегиптянам в точном смысле слова, например, неграм из Куша, носившим косы ливийцам и всяким там бородачам-азиатам, досталось так уж много от этого звания. Понятие скверны и мерзости не было изобретением Аврамова семени, оно отнюдь не являлось привилегией детей Сима. Иное вызывало у них и у сынов Египта одинаковое омерзение — свинья, например. Но, кроме того, для египтян были мерзостью сами евреи, так что египтяне считали даже недостойным и непристойным есть с ними хлеб — это оскорбляло их застольный обычай, и лет через двадцать после описываемых сейчас событий, когда Иосиф с разрешения бога стал по всем привычкам и поведению настоящим египтянином, он, угощая обедом неких варваров, велел подавать им особо, а себе и окружавшим его египтянам особо, чтобы не уронить своего достоинства и не оскверниться в глазах своих слуг.

Вот как, в принципе, обстояло дело с людьми из племен аму и хару в земле Египетской; так обстояло оно и с самим Иосифом, когда он прибыл туда. Что он остался в доме, а не погиб на полевых работах, — это чудо или, во всяком случае, удивительно и чудно; ибо чудом господним в полном смысле слова это все-таки не было: слишком уж дали тут себя знать человеческие вкусы, мода, местные нравы, — одним словом, те влияния, о которых мы сказали, что они противодействовали общему правилу, ослабили и даже отменили его. Оно, кстати, не преминуло заявить о себе, — устами Дуду, например, супруга Цесет: его-то он как раз и отстаивал, добиваясь, чтобы Иосифа отправили на барщину. Ибо он был не только человеком — или человечком — полноценно-солидным, он был также сторонником и защитником священной традиционности, этот верный старинным принципам карлик; будучи деятельным их поборником, он примыкал к идейной школе, в которой естественным образом слились всевозможные этические, политические и религиозные течения и которая воинственно отстаивала свои позиции от другого, менее ограниченного и приверженного к старине идейного направления во всей стране, а на усадьбе Петепра находила опору главным образом в гареме, точнее — в личных покоях госпожи, Мут-эм-энет, куда постоянно заходил один твердокаменный человек, по праву считавшийся средоточием этих устремлений, — первый пророк Амуна, Бекнехонс.

О нем позже. Иосиф услышал о нем и увидел его только через некоторое время, сумев лишь постепенно разобраться в отношениях, на которые мы сейчас намекаем. Но будь он даже менее внимателен и более медлителен в учете своих выгод и невыгод, — и тогда он мог бы весьма скоро, собственно при первой же беседе с остальной челядью, получить кое-какие, и даже довольно-таки существенные сведения на этот счет. Он делал при этом вид, что все уже знает заранее и не хуже других разбирается во внутренних тайнах и тонкостях здешней жизни. На своем еще немного смешном для слуха этих людей, но очень осмотрительном и бойком в словоупотреблении египетском языке, явно доставлявшем им удовольствие, отчего он не особенно и спешил придать ему большую правильность, Иосиф рассказал им о «смолоедах», — он щегольнул знанием этой излюбленной клички нубийских мавров, — которых увидел, когда те переправлялись для аудиенции через реку, и прибавил, что на первых порах наговоры завистников в утренних покоях не смогут повредить заместнику Куша, поскольку

тот догадался обрадовать фараоново сердце неожиданной данью и подставить ножку своим противникам. По этому поводу челядинцы смеялись больше, чем если бы Иосиф стал рассказывать им какие-то новости, ибо именно эта старая, общеизвестная сплетня была им по нраву; и то, как они наслаждались, а в известной мере даже и восхищались его чужеземным говором, прислушиваясь к кенанским словам, которые он вспомогательно нет-нет да вставлял в свою речь, — это сразу открыло ему глаза на его выгоды и невыгоды.

Ведь и сами они, в меру своих возможностей, делали то же самое. Они сами пытались пересыпать свою речь иностранными словечками, то аккадско-вавилонскими, то из родной Иосифу стихии языка, и тот сразу, еще не получив никаких подтверждений, почувствовал, что в этом они старались уподобиться знати, каковая предавалась такому дурачеству тоже не по собственному почину, а в подражание еще более высокой сфере — двору. Иосиф, как было сказано, понял эти зависимости еще до того, как проверил их на опыте. Да, так оно и было, и он установил это с тонкой усмешкой: этот народец, безмерно кичившийся тем, что он вспоен нильской водой и живет в стране людей, на единственно подлинной родине богов; народец, который на любое сомнение в исконном и вообще само собой разумеющемся превосходстве своей цивилизации надо всем окружающим миром ответил бы не гневом, а только усмешкой, который помешался на воинской славе своих царей, всех этих Ахмосов, Тутмосов и Аменхотепов, завоевавших всю землю вплоть до попятного Евфрата и продвинувших веи своих рубежей до самого Ретену на севере и до лучников пустыни на юге, — этот весьма самоуверенный народец был, значит, одновременно достаточно слаб и ребячлив, чтобы открыто завидовать ему, Иосифу, в том, что канаанский язык был его родным языком, и невольно, вопреки всякому здравому смыслу, ставить ему в духовную заслугу его естественное владение этим языком.

Почему? Потому что канаанский язык был изысканным. А почему изысканным? Потому что он был иностранным языком. Но ведь все иностранное было жалко и неполноценно? Да, это так, но все-таки оно было изысканным, и основывалась такая непоследовательная оценка, по ее собственному мнению, не на ребяческой слабости, а на вольнодумстве — Иосиф это почувствовал. Он был первым на свете, кто это почувствовал, ибо впервые на свете возникло такое явление. То было вольнодумство людей, которые победили и покоряли жалкое чужеземье не сами, а предоставили это своим предшественникам и теперь позволяли себе находить в нем изысканность. Пример подавала верхушка — дом носителя опяхала отчетливо показал это Иосифу, ибо, приглядываясь к нему, он все больше убеждался, что богатство этого дома составляют главным образом заморские товары, то есть привозные иноземные изделия, преимущественно с большой и малой родины Иосифа, из Сирии и Ханаана. Это льстило ему, хотя одновременно и казалось довольно глупым; во время неторопливого путешествия из области устья к дому Амуна Иосифу не раз случалось наблюдать прекрасные и самобытные промыслы стран фараона. Лошади Потифара, его покупателя, были сирийских кровей — ну, что ж, этих животных удобней всего было ввозить оттуда или из Вавилона; в Египте коневодство было плохо поставлено. Но и его повозки, в том числе и та, с игрой драгоценных камней на спицах, тоже были из чужих краев, и если он получал скот из страны амореев, то уж это при виде великолепных местных говяд с лирообразными рогами, кроткоглазых коров Хатхор, могучих быков, из которых выбирали Мервера и Хапи, никак нельзя было не признать чудачеством моды. Друг фараона опирался на сирийскую трость с насечкой, пил сирийское вино и пиво. «Заморскими» были и кувшины, в которых ему подавались эти напитки, а также оружие и музыкальные инструменты, которыми были украшены его комнаты. Золото высоких, почти с человеческий рост сосудов, стоявших в северной и в западной колонных палатах дома в расписных нишах, а в столовой — по обеим сторонам помоста, было добыто, несомненно, в нубийских рудниках, но изготовлены были эти вазы в Дамаске и Сидоне; в прекрасной гостинице, служившей также местом званых обедов и расположенной перед семейной столовой, так что сюда входили прямо из передней, Иосифу показали другие, довольно-таки странные по форме

и росписи кувшины, привезенные не откуда-нибудь, а из земли Едом, с Козьих гор, и как бы передававшие ему привет от Исава, от его чужеземного дяди, которого здесь тоже явно находили изысканным.

Весьма изысканными находили здесь также богов Емора и Канаана, Баала и Астарту: Иосиф сразу же заметил это по тону, в каком Погифаровы слуги, принявшие их за богов Иосифа, осведомлялись о них, и по тому, как они хвалили ему этих богов. Слабовольным вольнодумством это казалось по той причине, что отношения между странами и народами, как и соотношение сил между ними воплощались по общему разумению в богах и были лишь выражением их личной жизни. Однако что было в данном случае существом дела и что его внешней стороной? Что было действительностью и что ее иносказанием? Было ли только условным оборотом речи утверждение, что Амун победил и обложил данью богов Азии, тогда как, в сущности, фараон подчинил себе царей Канаана? Или же как раз второе было лишь земным и неточным выражением первого? Иосиф прекрасно знал, что это неразлично. Суть дела и его внешняя сторона, точное и описательное его выражение сливались в неразрывное тождество. Но именно поэтому люди Мицраима в какой-то мере предавали Амуна не только тогда, когда они находили изысканными Баала и Ашерат, но уже и тогда, когда уснащали язык своих богов искаженными речениями детей Сима, говоря вместо «писец» — «сепер», а вместо «река» — «негел», потому что в Канаане эти слова звучали «софер» и «нагал». Фактически в основе этих обычаев, настроений и моды лежало вольнодумство, направленное против египетского Амуна. Благодаря этому вольнодумству отвращение ко всему семитско-азиатскому было не таким уж принципиальным; и при учете своих выгод и невыгод Иосиф отнес это к выгодам.

Он взял на заметку приоткрывшиеся ему различия во взглядах и противоположные течения, с которыми, как было сказано, он затем знакомился ближе в той мере, в какой срастался с жизнью страны. Поскольку Потифар был придворным, одним из друзей фараона, нетрудно было предположить, что источник этой вольной, враждебной Амуну приверженности ко всему иноземному, проглядывавшей в его привычках, находится на западе, по ту сторону «негела», в Великом Доме. Не связано ли это как-то, думал Иосиф, с воинством Амуна, с теми копьеблещущими храмовыми ратниками, что прижали его к стене на «улице Сына»? С недовольством фараона, огорченного тем, что Амун, этот слишком богатый державный бог, соревнуется с ним на его собственном, воинском, поприще?

Удивительно далеко идущие связи! Досада фараона на дерзкую мощь Амуна или его храмов была, возможно, конечной причиной того, что Иосиф не угодил в попе, а был оставлен в доме своего господина и приобщился к полевым работам лишь в более поздний час, да и то не как барщинник, а как надсмотрщик и управляющий. Эта зависимость, позволившая ему втихомолку пользоваться такими отдаленно-величественными побуждениями, обрадовала молодого раба Озарсифа и связала его через голову высокого его господина с самым высоким. Но еще сильнее обрадовало его то другое, более общее, чем повеяло на него в этом мире, куда его пересадили, и что, принявшись к своим выгодам и невыгодам, он почуял своим красивым, хотя и немного слишком ноздристым носиком — родная его стихия, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. Это была зрелость, то есть отдаленность общества внуков и наследников от образцов и установлений предков, чьи победы они привели уже в такое состояние, когда побежденное кажется изысканным. Она была Иосифу по сердцу, потому что он и сам был человеком зрелого времени и зрелой души — легкомысленным, остроумным, трудным и интересным образчиком сына и внука. Потому-то он и чувствовал себя здесь как рыба в воде и был полон доброй надежды, что с помощью бога и к вящей его славе он далеко пойдет в фараоновой преисподней.

ЦАРЕДВОРЕЦ

Итак, Дуду, карлик-супруг, действовал в духе доброго старого времени и прямо-таки от имени Амуна, когда глухим голосом, усердно жестикулируя коротенькими ручками, убеждал Монт-кау отправить новоприобретенного раба-хабира на барщину, поскольку на усадьбе, как представителю враждебного богам племени, ему не место. Но управляющий поначалу сказал, что вообще не понимает, о чем идет речь и кого имеет карлик в виду. Раба аму? Купленного у минейцев? По имени Озарсиф? Ах, да! И, показав Дуду своей забывчивостью, сколь равнодушного и пренебрежительного отношения это дело заслуживает, он выразил свое удивление тем, что смотритель одежной тратит на него не только мысли, но даже слова. Он заботится о приличиях, отвечал Дуду. Людям усадьбы было бы омерзительно есть хлеб с таким азиатом. Но управляющий сказал, что они вовсе не так уж чопорны, и сослался на пример вавилонянки Иштарумми, служанки в доме замкнутых, с которой отлично ладили наложницы и жены.

— Амун! — сказал начальник одежной. Он назвал имя бога-хранителя и пристально, даже не без угрозы, снизу вверх поглядел на Монт-кау. Он заботился об Амуне — вот, мол, в чем дело.

— Амун велик, — отвечал домоправитель, довольно заметно пожав плечами. — Впрочем, — прибавил он, — вполне возможно, что я и отправлю его на полевые работы. Может быть, отправлю, а может быть, нет, но если я это и сделаю, то только тогда, когда сам об этом подумаю. Я не люблю, чтобы к моим мыслям привязывали веревочку и вели их на поводке.

Одним словом, он осадил супруга Цесет — отчасти, конечно, потому, что вообще не выносил его, не выносил по причинам явным и тайным. Явной причиной этого отвращения был зливший его заносчивый педантизм карлика; причиной же тайной была его, Монт-кау, большая и неподдельная преданность своему хозяину Петепра, в силу которой его оскорбляла и злила такая заносчивость. Мы поясним это ниже. Однако неприязнь к ядренному карлику была не единственной причиной неподатливости Монт-кау. Ведь дурачка Боголюба, к которому он вообще-то относился вполне терпимо, не столько, впрочем, ради него самого, сколько в противоположность своему отношению к Дуду, — ведь дурачка Боголюба он обрезал в точности так же, когда тот, еще раньше, обратился к нему по поводу Иосифа с ходатайством противоположного свойства. Этот молодой житель песков, — прострекотал Шепсес-Бес, — красив, добр, умен и любим богами; он. Боголюб, который, однако, несмотря на свое имя, богами отнюдь не любим, распознал это благодаря своей неутраченной карличьей пронизательности, и пусть управляющий позаботится о том, чтобы Озарсифу, будь то внутри или вне дома, дали такое занятие, в котором смогли бы проявиться его достоинства. Но и тогда управляющий тоже сначала притворился, что не помнит, о ком идет речь, а потом, довольно сердито, вообще отказался заниматься вопросом об использовании в доме какого-то никому не нужного раба, купленного по случаю, да и то из любезности. Ведь это же, право, не к спеху, а у него, Монт-кау, найдутся другие заботы.

Против этого трудно было что-либо возразить; для перегруженного обязанностями человека, у которого к тому же порой побаливала почка, это был вполне приличный ответ, и Боголюбу ничего не осталось, как замолчать. В действительности же управляющий не хотел слышать об Иосифе и притворялся, что забыл о нем, не только перед другими, но и перед самим собой потому, что стыдился весьма странных мыслей и впечатлений, возникших у него, человека рассудительного, при первом взгляде на этого юношу, которого он тогда наполовину принял за бога, за властителя белой обезьяны. Стыдясь этих своих впечатлений он не хотел, чтобы ему напоминали о них или побуждали к действиям, походившим в его собственных глазах на какую-то уступку. Он отказался и посылать новокупленного раба на барщину, и заботиться о его использовании в доме, потому что вообще не желал думать о нем и с ним связы-

ваться. Чудак, он не замечал, он скрывал от самого себя, что своим невмешательством он как раз и отдавал дань первым своим впечатлениям. Оно шло от робости; оно, между нами говоря, шло от чувства, лежащего в основании мира, а следовательно, лежавшего и в основании души Монт-кау: от ожидания.

Вот почему Иосиф, после того как его обкорнали и одели на египетский лад, еще несколько недель и даже месяцев слонялся без дела или, что то же самое, без определенного дела по усадьбе Пегепра, выполняя то там, то тут, сегодня одни, а завтра другие, но всегда случайные, мелкие и весьма нехитрые поручения, что, впрочем, не очень-то бросалось в глаза, ибо благодаря богатству этого благословенного дома бездельников и праздношатающихся здесь было хоть отбавляй. В известном смысле ему даже нравилось, что на него не обращают внимания, то есть преждевременно, еще без серьезного и почетного интереса к нему. Иосифу важно было не загубить свою карьеру в самом начале, не оказаться, например, приставленным к какому-нибудь из ремесел этого дома, рискуя, что его навеки замкнут в такой убогой деятельности. Он остерегался этого и умел сделаться невидимым в надлежащий момент. Он сиживал и болтал с привратниками на кирпичной скамье, пересыпая свой речь смешившими их азиатскими словечками. Но он избегал пекарни, где выпекали такие чудесные хлебцы, что его необыкновенные лепешки не шли с ними ни в какое сравнение, и старался не показываться ни у сапожников, изготовлявших сандалии, ни у клеильщиков папируса, ни у тех, что сплетали из луба пальм пестрые циновки, ни у столяров, ни у горшечников. Внутренний голос подсказывал ему, что, имея в виду будущее, не следует выступать среди них неумелым, неопытным новичком.

Зато ему раз-другой случалось составлять списки и счета в прачечной и хлебных амбарах, для чего его знания здешнего письма вскоре оказалось вполне достал точно. Внизу он скорописью прибавлял: «Писано молодым иноземным рабом Озарсифом для его великого господина Петепра — да пошлет ему Сокрытый долгую жизнь! — и для Монт-кау, который всему голова и весьма искусно исполняет свои обязанности — да осчастливит его Амун десятью тысячами лет жизни после его кончины! — в такой-то день третьего месяца времени года Ахет, то есть затопления». Столь отступнически приспособляя перед лицом бога свои благословения к местным нравам, он надеялся, что, снисходя к его положению и понимая, как ему необходимо завоевать доверие, бог не взыщет с него за такой способ выражаться. Монт-кау раз-другой видел такие списки и подписи, но не сказал ни слова по этому поводу.

Хлеб Иосиф ел со слугами Потифара в людской и с ними же, слушая их болтовню, пил пиво. По части болтовни он вскоре сравнялся с ними и даже превзошел их, ибо способности у него были к словесному, а не к прикладному творчеству. Слушая, он перенимал у них ходкие обороты речи, чтобы на первых порах болтать с ними, а затем и приказывать им. Он научился говорить: «Чтоб царь так жил!» и «Клянусь великим Хнумом, владыкой Иабским!» Он научился говорить: «В меня вошла величайшая радость земли» и «Он находится в комнатах под комнатами», то есть в подвале, а о злом надсмотрщике: «Он уподобился верхнеегипетскому леопарду». Он привык, повествуя о чем-либо, выказывать по местному обычаю большое пристрастие к указательному местоимению и выражаться по такому способу; «И когда мы подошли к этой непобедимой крепости, этот добрый старик сказал этому начальнику: «Взгляни на это письмо!» Когда же этот молодой начальник крепости взглянул на это письмо, он сказал: «Клянусь Амун, эти чужеземцы пройдут». И слушателям Иосифа это нравилось.

По праздникам, которых в каждом месяце, и по календарю, и по действительному времени года, бывало несколько, например, когда фараон, в знак начала жатвы, собственноручно срезал десяток-другой колосьев, или в день восхождения на престол и объединения обеих стран, или в день, когда под звуки сестров и шум маскараров воздвигали колонну Усира, не говоря уж о лунных днях и великих днях троицы. Отца, Матери и Сына — по праздникам в людской угощались жареными гусями и говяжьими костречами; Иосифу же его маленький покровитель Боголюб приносил, кроме того, всякие лакомства и сладости, припасенные им

для этой цели в гареме, — виноград, винные ягоды, пироги в виде лежащих коров, фрукты в меду — и, принося, шептал:

— Возьми, молодой житель песков, это повкуснее, чем хлеб с луком, малыш взял это для тебя со стола замкнутых после того, как они поели. Ведь от чревоугодия они и так непомерно полнеют. Я пляшу перед стадом раскормленных, гогочущих гусынь. Возьми угощение, которое принес тебе карлик, и пусть оно придется тебе по вкусу, ибо у других этого нет.

— А Монт-кау еще не вспомнил обо мне и не собирается дать мне дело? — спрашивал Иосиф, поблагодарив за гостинец.

— Нет еще, — качая головкой, отвечал Боголюб. — Он не любит, когда ему напоминают о тебе, и становится в таких случаях глух и сонлив. Но малыш, дай ему только срок, устроит твои дела! Он добьется того, чтобы Озарсиф предстал перед Петепра, так и знай.

Ибо Иосиф настойчиво упрашивал его любым способом устроить так, чтобы он, Иосиф, предстал перед Петепра; однако это было и в самом деле почти неосуществимо, и лишь постепенно, лишь путем многих попыток, мог справиться с этой задачей маленький доброхот. Должности, хотя бы и самым отдаленным образом связанные с особой хозяина, а тем более должности его личных слуг, находились в слишком крепких и ревнивых руках. Не могло быть и речи о том, чтобы Иосифа допустили, например, ходить за лошадьми, задавать сирийцам корм, чистить их скребницей, надевать на них сбрую. Если бы это и удалось, ему все равно не разрешили бы подавать упряжку даже возничему Нетернахту, не то что хозяину. Но все-таки это явилось бы ступенькой к цели, а хода и к этой ступеньке не было. Нет, покамест ему еще не приходилось говорить с господином, а приходилось только слушать, что говорят о нем слуги, и расспрашивать слуг о нем и вообще о делах дома, куда его, Иосифа, продали, а также при случае внимательно наблюдать за ними, когда они по служебной надобности общались со своим повелителем, — и в первую очередь, как сразу же в день продажи, за управляющим Монт-кау.

Всякий раз повторялось то же, что и тогда, Иосиф видел это и слышал: Монт-кау льстил хозяину, он гладил его по шерстке, если только это выражение применимо к человеку вообще и к знатному египетскому вельможе, в частности, он заговаривал его, — вот пожалуй, более точное слово, — облекая его жизнь в слова, восхваляя ее богатство и ее почетность, напоминая ему с восхищением о его мужестве охотника и укротителя коней, за которого все на свете так и дрожат — причем все это, как убеждался Иосиф, он делал не для того, чтобы подольститься к хозяину, не ради себя, а ради него, то есть отнюдь не из подхалимства и раболепия, — ибо Монт-кау казался человеком порядочным, который не помыкает подчиненными и не лебезит перед вышестоящими; в данном случае говорить следовало не об угождении, а об угождении, да и то понимать это слово надо в самом невинном его смысле, то есть попросту так, что управляющий любил своего господина и как искренне преданный слуга хотел убажить его душу этими лестными уверениями. Впечатленье Иосифа подтверждалось той слабой, одновременно и грустной и торжествующей улыбкой, с какой друг фараона, этот высокий, как башня, и все же совсем не похожий на Рувима человек, принимал подобного рода услуги; и чем больше Иосиф узнавал обстоятельства этого дома, тем яснее становилось ему, что отношение Монткау к его повелителю было лишь частным примером взаимоотношений между всеми домашними. Они все держались с большим достоинством и относились друг к Другу почти-тельно, с нежностью и предупредительной заботливостью, с чуткой, несколько напряженной и тревожной вежливостью: Потифар к своей супруге Мут-эмэнет, а она к нему; «священные родители с верхнего этажа» — к своему сыну Петепра, а он к ним; они же к своей невестке Мут, а она, в свою очередь, к ним. Похоже было на то, что их чувство собственного достоинства, хотя ему очень благоприятствовали внешние обстоятельства и хотя оно, укрепившись в их сознании, целиком определяло их поведение, — не имело такой уж твердой опоры и было каким-то ненастоящим и пустым, отчего все они всячески стремились утвердить друг друга в этом чувстве щепетильнейшей вежливостью и нежнейшей почтительностью. Если что-либо в

этом благословенном доме было несуразно и неприятно, то корень был именно здесь, и если в этом доме таилось какое-то горе, то сказывалось оно именно здесь. Оно не называло своего имени, но Иосифу казалось, что он узнал это имя. Это имя гласило, как слышалось Иосифу, Пустое Достоинство.

У Петепра было много чинов и званий; фараон высоко вознес его голову и неоднократно, в присутствии царской семьи и всего двора, бросал ему из окна своего появления золото славы, что сопровождалось громким ликованием и церемониальными подскоками слуг. В людской они рассказывали об этом Иосифу. Хозяин именовался носителем опахала одесную и другом царя. Его надежда стать некогда «Единственным Другом Царя» (каковых имелось очень немного) была вполне обоснованной. Он был командующим дворцовой стражей, главой палачей и начальником царских темниц — то есть так он именовался, это были его придворные должности, пустые или почти пустые звания, которые он носил. В действительности, как узнал Иосиф от слуг, командовал телохранителями и распоряжался казнями один солдафон-военачальник по имени Гаремхеб или Гор-эм-хеб, отчасти, правда, подчинявшийся придворному, титулоносному коменданту и почетному смотрителю острога, но и то только формально; и хотя этот жирный рувимоподобный великан с тонким голосом и грустной улыбкой был счастлив, что ему не приходится собственноручно кромсать людям спины пятьюстами ударами палкой и самолично, как говорилось, «вводить их в Дом пыток и казни», чтобы «сделать их бледными трупами», так как это не очень-то подходило к нему и определенно не пришлось бы ему по вкусу, то все же Иосиф понимал, что такое положение чревато для его господина частыми неприятностями и угоняет ему много позолоченных пилюль.

Да, военачальничество и комендантство Потифара, символически воплощенное в изящной и тонкой, с оконечностью в виде сосновой шишки палочке в его маленькой руке, было на самом деле почетной фикцией, гордиться которой ему ежечасно помогал не только верный Монт-кау, но и весь мир, все внешние обстоятельства, и которую он все-таки — пусть втайне, пусть безотчетно, — считал тем, чем она являлась: обманом, пустой видимостью. Но если изящная палочка была символом его пустых чинов, то — так казалось Иосифу — это уподобление можно было продолжить и углубить, отнеся его уже не к служебным, а к коренным, естественно-человеческим качествам: мнимость должностей могла быть, в свою очередь, символом более, так сказать, коренного ничтожества.

У Иосифа были вневеликие воспоминания о том, сколь бессильны условные, установленные обычаем, общественным соглашением понятия о чести против глубинного, темного и безмолвного сознания чести, которого никогда не обманут никакие светлые выдумки дня. Иосиф думал о своей матери — да, как это ни странно, когда он разбирал обстоятельства египтянина Петепра, своего покупателя и господина, мысли его уносились к миловидной Рахили и к ее смятению, о котором он знал, потому что оно было главой его предания и его предыстории и потому что Иаков не раз повествовал о той поре, когда по воле бога Рахиль, несмотря на свою готовность, была бесплодна и должна была заменить себя Валлой, чтобы та родила на ее, Рахили, колени. Иосифу казалось, что он воочию видит смятенную улыбку, появившуюся тогда на лице отвергнутой богом, — эту улыбку гордости материнством, которое, являясь почетной условностью, а не вошедшей в плоть и кровь Рахили действительностью, было наполовину счастьем, наполовину обманом, обманом, хотя и опирающимся с грехом пополам на обычай, но, по сути, все-таки ничтожным, все-таки отвратительным. Это воспоминание Иосиф и призвал на помощь, разбираясь в обстоятельствах своего господина, размышляя о противоречии между совестью плоти и подмогой обычая. Несомненно, всякого рода подтверждений и утешений, возмещающие согласие в мыслях, были в случае Потифара куда сильнее и обильнее, чем в случае подставного материнства Рахили. Его богатство, весь его блестящий, украшенный самоцветами и страусовыми перьями быт, привычное зрелище падающих ниц рабов, битком набитых сокровищами жилых и гостиных покоев, ломящихся от запасов кладовых, гарема, полного щебечущих, кудахчущих, лгущих и лакомящихся атрибутов вельможного быта, пер-

вой и праведной среди которых была лилейнорукая Мут-эм-энет, — все это поддерживало в нем чувство собственного достоинства. И все же в глубине души, в той глубине, где Рахиль стыдилась этого тихого ужаса, он, наверно, не мог не знать, что военачальником он был не на самом деле, а только по званию, коль скоро Монт-кау считал нужным его «ублажать».

Он был царедворцем, слугой и прислужником царя, правда, очень высокопоставленным, осыпанным почестями и благами, но все-таки царедворцем — и только: а это слово имело язвительный оттенок, или, вернее, оно охватывало два родственных понятия, сливавшихся в нем в одно; это было слово, которое сегодня употреблялось уже не — или уже не только — в своем первоначальном значении, а в переносном, но при этом сохраняло и свой истинный смысл, отчего оно приобретало священную двусмысленность почтительной язвительности и давало двойной повод к лести — и своим высоким, и своим низким значеньем. Один разговор, который Иосиф услышал, — не подслушал, а открыто услышал, исполняя свои служебные обязанности, — многое разъяснил ему на этот счет.

ПОРУЧЕНИЕ

Через девяносто, а может быть, и сто дней после его прибытия в дом почета и отличий Иосифу, благодаря карлику Зе'энх-Уэн-нофре-Нетерухотпе — эм-пер-Амуну, досталось одно счастливое и легко выполнимое, хотя и немного тягостное, не очень веселое поручение. Он как раз опять волей-неволей бил баклуши, слоняясь по усадьбе в тихом ожидании своего часа, когда карлик, как всегда в праздничном, но измятом платье и с войлочной душицей на голове, подбежал к нему и шепотом сообщил, что у него есть для Иосифа приятная новость, что вот наконец и счастливый случай, удача, которой необходимо воспользоваться. Он добился этого у Монт-кау: тот не сказал ни «да», ни «нет» и, следовательно, согласился. Нет, перед Петеп-ра Иосиф не предстанет, пока еще нет.

— Послушай, Озарсиф, как тебе повезло благодаря стараниям карлика, который никогда не забывал о тебе. Сегодня в четвертом часу пополудни, отдохнув от трапезы, священ-ные родители с верхнего этажа проследуют в беседку прекрасного сада, чтобы, укрывшись от солнца и ветра, насладиться прохладой вод, а также спокойствием своей старости. Они любят сидеть там, рука об руку, на двух креслицах, и в эти часы их покоя около них нет никого, кроме Немого Слуги, что стоит в углу на коленях и держит в руках угощенье, которым они и подкрепляют свои утомленные мирным сидением силы. Этим Немым Слугой будешь ты, ибо Монт-кау велел или, во всяком случае, не запретил тебе быть им. Но если, стоя на коленях с угощеньем в руках, ты шевельнешься или хотя бы только глазом моргнешь, ты нарушишь их покой своей чрезмерной заметностью. Ты должен быть самым настоящим Немым Слугой, похожим на изваяние Птаха, так уж они привыкли. Но если эти высокие брат и сестра покажут знаками, что они утомились, тогда пошевеливайся и, не вставая на ноги, как можно ловчее, подавай им угощенье, только смотри, не споткнись на коленях и не запутайся в платье. А как только они подкрепятся, ты должен так же тихо и ловко вернуться на коленях в свой угол, всячески сдерживая свое тело и затаив дыхание, чтобы ни в коем случае не приобрести непристойной заметности и снова стать настоящим Немым Слугой. Сумеешь?

— Ну конечно! — ответил Иосиф. — Спасибо тебе, маленький Боголюб, я все сделаю, как ты мне сказал, и даже придам глазам стеклянную неподвижность, чтобы целиком уподобиться изваянию и не быть заметней того пространства, которое занимает в воздухе мое тело, — вот как скромно я буду себя вести. А уши мои будут украдкой открыты, так что священные брат и сестра сами не заметят, как, беседуя между собой в моем присутствии, назовут обстоятельства дома их именами, благодаря чему я стану хозяином этих обстоятельств в своей душе.

— Вот и прекрасно! — отвечал карлик. — Только не думай, что это такое уж легкое дело — долгое время изображать Немого Слугу и статую Птаха и торопливо передвигаться на

коленях с угощением в руках. Тебе следовало бы заранее немного поупражняться в этом без свидетелей. Угощение ты получишь у писца-буфетчика, но не на кухне, а в кладовой господского дома, где оно всегда есть в запасе. Войди через ворота дома в переднюю и поверни налево, где находятся лестница и дверь, ведущие в Особый Покой Доверия, в спальню Монт-кау. Пройдя через нее наискось, отвори дверь справа, и перед тобой откроется длинная, наподобие коридора, комната. Она полна съестных припасов, так что ты догадаешься, что это и есть кладовая. Получив у писца, которого ты там увидишь, все необходимое, ты с благоговением снесешь это через сад к беседке, но загодя, чтобы непременно быть на месте к приходу священных родителей. Ты станешь на колени в углу и будешь прислушиваться. Услыхав, что они идут, ты застынешь и затаишь дыхание до тех пор, пока они не покажут, что утомились. Усвоил ли ты свои обязанности?

— Вполне, — ответил Иосиф. — У одного человека жена превратилась в соляной столп, потому что она оглянулась на гибнущий город. Я буду так же неподвижно стоять с чашей в своем углу.

— Я не знаю этой истории, — сказал Нетерухотпе.

— Как-нибудь при случае я тебе расскажу ее, — отвечал Иосиф.

— Сделай это, Озарсиф, — прошептал карлик, — сделай это в благодарность за то, что я добился для тебя должности Немого Слуги! И расскажи мне еще раз историю о змее на дереве и о том, как нелюбезный богу убил любезного, и о ковчеге предусмотрительного старика! Я с удовольствием послушал бы также еще раз историю о мальчике, не принятом в жертву, а равно и о гладком сыне, которого мать сделала косматым, обвязав его шкурами, и который познал в темноте не ту, что следовало!

— Да, — сказал Иосиф, — наши истории приятно послушать. Но сейчас я хочу поупражняться в ходьбе на коленях, передвигаясь вперед и назад, и взглянуть на тень часов, чтобы, вовремя приодевшись к службе и получив в кладовой угощение, сделать все, как ты мне сказал.

Так он и поступил; найдя свое умение ходить на коленях достаточным, он умастился маслом и принарядился, надел праздничное свое платье, нижний набедренный и верхний, более длинный, через который нижний просвечивал, заправил внутрь курточку из темноватого, небеленого холста, а также, ради почетной службы, которой его удостоили, не преминул украсить венками и лоб и грудь. Затем, взглянув на солнечные часы, стоявшие во дворе между господским домом, людской, кухней и гаремом, он прошел через обводную стену и ворота дома в переднюю Потифара, имевшую семь красного дерева, с широкими полосами инкрустаций, дверей. Потолок здесь покоился на круглых, тоже красного дерева, до блеска выложенных колоннах с каменными основаниями и зелеными возглавиями: пол же передней изображал звездное небо и был испещрен сотнями картинок: в кругу, среди всевозможных богов и царей, здесь можно было увидеть Льва, Бегемота, Скорпиона, Змею, Козерога и Тельца, а также Овна, Обезьяну и венценосного Сокола.

По этому полу, наискось, а затем под лестницей, что вела в комнаты над комнатами, Иосиф прошел к двери в Особый Покой Доверия, где по вечерам укладывался управляющий домом Монт-кау. Оглядывая Особый Покой с изящной, покрытой шкурой кроватью на ножках в виде звериных лап, на изголовной спинке которой были изображены покровительствующие сну божества: скрюченный Бес и беременная бегемотица Эпет, — оглядывая этот покой с ларями, с каменным умывальником, с жаровней, с подставкой для светильников, Иосиф, который спал со слугами в людской, на полу, закутавшись в плащ где-нибудь на циновке, подумал о том, какого большого доверия нужно добиться, чтобы устроиться в земле Египетской с таким особым уютом. Поэтому он поспешил приступить к своим служебным обязанностям и вошел в длинный, слишком узкий, чтобы нуждаться в колоннах и подпорках, коридор кладовой, тянувшийся до задней, западной стены дома, так что к нему примыкали не только комната для приема гостей и столовая, но и третья, западная палата с колоннами; ибо кроме

этой палаты и передней на восточной стороне, имелась еще северная передняя — настолько богато и расточительно был построен дом Петепра. А кладовая, как и сказал карлик, была загромождена многоярусными полками и ящиками с припасами и столовыми принадлежностями — фруктами, хлебами, пирогами, жестянками с пряностями, чашками, бурдюками для пива, длинношеими кувшинами для вина на красивых подставках и цветами, чтобы увенчивать ими эти кувшины; писец же, которого застал здесь Иосиф, оказался долговязым Хаматом: с тростинками за ушами, он сидел в кладовой, что-то подсчитывая и записывая.

— Ну, как поживаешь, молокосос и щеголь пустыни? — сказал он Иосифу. — Что это ты так расфуфырился? Тебе, видно, нравится жить в стране людей и возле богов? Да, ты будешь прислуживать священным родителям, я уже слышал — твое имя значится у меня на дощечке. Наверно, Шепсес-Бес тебе это выхлопотал; ведь как, в общем-то, мог ты добиться этого? Недаром он так хотел, чтобы тебя купили, и до смешного вздул твою продажную цену. Ведь ты, кажется, стоишь быка, теленок?

«Лучше вовремя выбирай выражения, — подумал Иосиф, — ибо я еще наверняка буду твоим начальником в этом доме».

Вслух он сказал:

— Будь так добр, Ха'ма'т, питомец книгохранилища, умеющий читать, писать и колдовать, отпусти этому недостойному просителю угощение для почтенных стариков Гуия и Туий, чтобы я, как Немой Слуга, мог им подать его в тот час, когда они утомятся.

— Это я и обязан сделать, — ответил писец, — поскольку ты значишься на моей дощечке по милости дурака карлика. Предвижу, что ты опрокинешь угощение на ноги священным родителям, а тогда тебя уведут, чтобы угостить и тебя, и угощать тебя будут до тех пор, покуда и ты и тот, кто тобою займется, не утомитесь.

— Я, слава богу, предвижу нечто иное, — ответил Иосиф.

— Ах, вот как? — спросил долговязый Хамат и подмигнул Иосифу. — Ну, что ж, в конце концов все зависит от тебя. Угощение уже приготовлено и записано: серебряная чаша, золотой кувшинчик с кровью гранатов, золотые кубки и пять морских раковин с виноградом, винными ягодами, финиками, плодами дум-пальм и миндальными пирожными. Надеюсь, ты не полакомишься или, того хуже, не украдешь?

Иосиф поглядел на него.

— Не украдешь, значит, — сказал Хамат с некоторым смущением. — Тем лучше для тебя. Я спросил это просто так, хотя и сразу подумал, что ты не захочешь, чтобы тебе отрезали уши и нос, да и вообще, наверно, воровство не в твоих привычках. Но ведь как-никак, — добавил он, поскольку Иосиф молчал, — известно, что прежним твоим хозяевам пришлось подвергнуть тебя наказанию колодцем — не знаю уж, за какие провинности, может быть даже, за незначительные, связанные не с собственностью, а с вопросами мудрости, — чего не знаю, того не знаю. Да и говорят, что наказание пошло тебе впрок, так что я только на всякий случай счел нужным задать тебе этот вопрос...

«Зачем, собственно, я это говорю, — думал он про себя, — зачем шевелю языком? Я сам себе удивляюсь, но, как ни странно, испытываю искреннее желание говорить еще, и говорить вещи, которые никак не должны были бы меня трогать, а все-таки трогают».

— Моя служба велела мне, — сказал он, — спросить так, как я спросил; моя обязанность — удостовериться в честности слуги, которого я не знаю, и сделать это я должен ради себя самого, ибо любая недостача в посуде остается на моей совести. А тебя я не знаю, и происхождение твое темное, поскольку в колодце темно. Возможно, что за колодцем оно светлее, но если я не ошибаюсь, то третьим своим слогом твое имя — ведь тебя же зовут Озарсиф? — показывает, что тебя нашли не то в камышах, не то в камышовой корзинке, которую, может быть, кто-нибудь вытащил, черпая воду, — такие случаи бывают на свете. Впрочем, возможно, что твое имя намекает на что-то другое, я не берусь судить. Во всяком случае, вопрос, который я задал, я задал тебе по обязанности или, если не совсем по обязанности, то по

обычаю и для складности речи. Так уж принято у людей, что с молодым рабом они говорят, как я говорил с тобой, так уж ведется, что они называют его теленком. Я отнюдь не хотел сказать, что ты и в самом деле теленок, — да и как бы могло это быть. Я просто говорил, как все и как принято. И я вовсе не предвижу и не ожидаю, что ты обольешь ноги священных родителей гранатовым соком; я сказал это только обычной грубости ради и в известной мере солгал. Удивительное дело, по большей части человек говорит совсем не то, что у него на уме, а то, что, по его мнению, сказали бы другие, и речь его обычно скована образцом — не правда ли?

— Посуду и остатки угощения, — сказал Иосиф, — я принесу, когда закончу службу, обратно.

— Хорошо, Озарсиф. Можешь выйти прямо через эту дверь в конце кладовой, не возвращаясь через Особый Покой Доверия. Ты выйдешь сразу к обводной стене и к дверце обводной стены. Пройди в эту дверцу, и ты окажешься среди цветов и деревьев, и увидишь пруд, и тебе улыбнется беседка.

Иосиф вышел.

«Ну, и разболтался же я! — подумал оставшийся в кладовой писец. — Не знаю, что и подумает обо мне этот азиат. И добро бы я еще говорил, как все, по общему образцу, так нет же, мне взбрело в голову, что я должен высказывать какие-то самобытные истины, и я, вопреки собственной воле, нагородил такой чепухи, что у меня и теперь еще горят щеки! К свиньям собачьим! Пусть только еще раз попадетс я мне на глаза, я буду с ним груб в полную силу обычая!»

ГУИЙ И ТУИЙ

Тем временем Иосиф вышел через дверцу обводной стены в сад Потифара и оказался среди прекрасных смоковниц, финиковых пальм, дум-пальм, гранатовых и персиковых деревьев, рядами стоявших в зеленом дерне между дорожками из красного песка. На небольшой, с помостом насыпи, полускрытая деревьями, виднелась изящно расписанная беседка, обращенная к четырехугольному, окаймленному зарослями папируса пруду, по зеленоватому зеркалу которого плавали красивые, пестроперые утки. Среди цветков лотоса стоял легкий челнок.

Держа в руках угощение, Иосиф поднялся по ступенькам к потешному домику. Вельможное это урочище было ему знакомо. За прудом отсюда видна была платановая аллея, которая шла к двубашенным воротам южной внешней стены, открывавшим с этой стороны непосредственный доступ к благословенному Потифарову дому. Плодовый сад со своим маленьким, полным подпочвенной воды бассейном продолжался и к востоку от пруда, а дальше шел виноградник. Были здесь и приятные глазу цветники по обеим сторонам платановой аллеи и вокруг беседки. Чтобы подвезти тучную землю, необходимую для столь пышного цветения в этих бесплодных прежде местах, детям служильни египетской пришлось пролить много соленого пота.

Беседка, со стороны пруда совершенно открытая, с маленькими красно-белыми колоннами по обе стороны входа, была весьма благоустроена и представляла собой укромно-изысканный уголок, равно удобный и для того, чтобы наслаждаться созерцанием красот сада в уютном одиночестве, и для того, чтобы вести задушевные беседы или просто коротать время вдвоем, как о том свидетельствовала шашечница, видневшаяся на подставке в сторонке. Белые стены были покрыты веселыми, очень живо написанными картинами, среди которых имелись красочно-нарядные подражания венкам и гирляндам из васильков, желтых цветов персика, виноградных листьев, красного мака и белых лепестков лотоса, и отдельные, опять-таки очень живые сцены: то стадо ослов, крик которых, казалось, доносился до слуха, то — фризом — вереница жирногрудых гусей, то зеленоглазая кошка в камыше, то спесивые светло-

бурые журавли, то люди, закалывающие животных и несущие в жертвенном шествии говяжьи ножки и птицу, то еще какая-нибудь другая улада для глаз. Выполнено все это было великолепно, с таким радостным, умным и слегка насмешливым отношением к натуре, такой смелой и все же благочестивой рукой, что поистине хотелось, рассмеявшись, воскликнуть: «Ах, какая чудесная кошка, бог ты мой, какой надменный журавль!», но при этом с устремленностью в какую-то более строгую и более веселую сферу, в какое-то царство небесное высокого вкуса, царство, которому Иосиф, чьи глаза неотрывно глядели на стены, не смог бы найти определения, но которое было ему хорошо знакомо. То, что улыбалось ему с этих стен, было культурой, и поздний потомок Авраама, младший из сыновей Иакова, отличавшийся некоторой суетностью, склонный к сочувственному любопытству и падкий на мальчишеские триумфы свободы, наслаждался ею с тайной оглядкой на слишком уж непреклонного в своей вере отца, который, конечно же, не одобрил бы такой кумиротворной мази. Это, думал Иосиф, очень красиво, и ты примиришься с этим, старый Израиль, ты не брани того, что создали в суетности своих игристых усилий и своего изощренного вкуса сыновья Кеме, ибо возможно, что это угодно самому богу! Погляди, я с этим в ладу и нахожу это прелестным, хотя в крови моей и живет тайное сознание, что возносить сущее на небо тонкого вкуса не так уж необходимо и важно, важнее божественная забота о будущем.

Так думал он про себя. Убранство домика тоже было исполнено небесного вкуса: изящно-продолговатый диван из черного дерева и слоновой кости с ножками в виде львиных лап, покрытый подушечками, а также шкурами барса и рыси; широкие кресла со спинками золоченой, искусного тиснения кожи, украшенные вышитыми подушками, а перед креслами мягкие скамеечки для ног; бронзированные курильницы, в которых тлели драгоценные благовония. Но, будучи по своему убранству уютным жилым помещением, эта беседка была также модельней, домовым капищем, ибо на скамье-эмпоре у задней стены, среди принесенных им в дар букетов цветов, стояли маленькие серебряные терафимы с венцами богов на головках, а разнообразная культовая утварь показывала, что им здесь служили.

Чтобы быть наготове, Иосиф опустил на колени в углу у входа, поставив покамест угощение перед собой на циновку, дабы побереечь руки. Вскоре, однако, он поспешно подхватил его и застыл, ибо в сад, шаркая остроносыми сандалиями, вошли Гуий и Туий; обоих поддерживали под руку дети-слуги, две девочки с тонкими, как палочки, руками и дурашливо разинутыми ротиками. Только таких и терпели у себя в услужении эти древние старики. Опираясь на своих маленьких поводырей, они поднялись на помост и вошли в домик. Гуий был брат, а Туий сестра.

— Сначала к владыкам, — потребовал хриплым голосом старый Гуий, — чтобы ответить поклон!

— Да, да, — подтвердила старая Туий, у которой оказалось большое, овальное, со светлой кожей лицо. — Прежде всего к серебряным владыкам, чтобы сначала вымолить у них разрешение, а потом уже блаженствовать в креслицах, наслаждаясь покоем беседки!

И, опираясь на руки девочек, они прошли к терафимам, где подняли свои дряхлые руки и согнули свои и без того уже согбенные спины, ибо старость искривила и сгорбила их позвоночники. Брат Гуий, к тому же, сильно качал головой — не только вперед и назад, но иногда и в стороны. У Туий голова еще держалась крепко. Зато у нее были поразительно сморщенные веки, из-за чего ее глаза казались двумя щелками и были совершенно лишены цвета и выражения, а с большого лица ее не сходила неподвижная усмешка.

Когда родители помолились, тонкорукие девочки подвели их к креслицам, приготовленным для них у входа в беседку, и, осторожно усадив не перестававших вздыхать и кряхтеть стариков, поставили их ноги на подушки скамеечек, отороченные золотыми шнурами.

— Ну вот, ну вот, ну вот, вот, вот, вот! — сказал Гуий опять хриплым шепотом, ибо другого голоса у него не было. — Теперь ступайте, слуги-детишки, вы позаботились о нас, как вам положено, ножки стоят, косточки отдыхают, и все хорошо. Ничего, ничего, я сижу. А ты,

Туий, постельная моя сестра, ты тоже сидишь? Вот и хорошо, и вы до поры до времени покиньте нас, удалитесь, ибо мы хотим остаться наедине, чтобы в полном одиночестве насладиться прекрасным послеполуденным и предвечерним часом над камышами и над прудом с утками, а также над аллеей, что доходит до башен ворот в защитной стене. Мы хотим посидеть в полном покое, чтобы никто нас не видел и не услышал тех задушевных слов старости, которыми мы будем обмениваться!

Между тем Иосиф со своей посудой стоял на коленях в углу, почти рядом со стариками, чуть наискось. Но, зная, что он всего лишь Немой Слуга, то есть должен быть столь же незаметен, как неодушевленный предмет, он глядел остекленевшими глазами мимо голов священных родителей.

— Ступайте же, девочки, как вам кротко приказано! — сказала Туий, у которой, в противоположность сиплону голосу ее брата во браке, был довольно мягкий и звучный голос. — Удалитесь и будьте не ближе и не дальше, чем это требуется, чтобы вы услышали, если мы позовем вас, хлопнув в ладоши. Ибо, почувствовав слабость или внезапное приближение смерти, мы хлопнем в ладоши, чтобы вы оказали нам помощь, а при случае и выпустили из наших ртов птиц наших душ.

Девочки пали ниц и ушли. Гуий и Туий сидели в креслицах рядом, соединив на внутренних подлокотниках свои стариковские, украшенные кольцами руки. Их седые, цвета тусклого серебра волосы были причесаны одинаково: у обоих они падали от проредившегося пробора тонкими прядями, закрывая уши и почти доходя до плеч, только у Туий, сестры, была заметна попытка сплести внизу эти пряди по две и по три, хотя из-за того, что волосы у нее были жидки, задуманного подобия бахромы так и не получилось. Зато у Гуия была маленькая, такого же тускло-серебристого цвета борода. Кроме того, он носил золотые, проступавшие сквозь волосы серьги, тогда как старая голова Туий была увенчана широким начельником с черно-белым, в виде лепестков, финифтяным узором — искусно сделанным украшением, которое больше подошло бы к не столь дряхлой головке. Ибо к красивым вещам мы питаем ревность во имя юности, и нам втайне досадно видеть их на голове, похожей уже скорее на череп.

Да и вообще одета была мать Петепра очень изысканно. Ее светлое платье, напоминавшее покроем верхней части пелерину, было подпоясано в талии пестрым, с дорогой вышивкой кушаком, лирообразно изогнутые концы которого спускались почти до пят, а ее старую грудь покрывало широкое ожерелье из такой же черно-белой финифти, что и начельник. В левой руке она держала букетик лотосов, который и поднесла к лицу брата.

— Старое мое сокровище! — сказала она. — Понюхай своим носом эти священные цветы, эту красу болота! Освежись их анисовым благоуханием после утомительного пути с верхнего этажа в этот уголок покоя!

— Благодарю тебя, сестра моя и невеста! — хрипло сказал Гуий, укутанный в большое тонкошерстное белое одеяло. — Довольно, не беспокойся, я уже понюхал и освежился. Желаю тебе благополучия! — сказал он с чопорным, великосветски-стариковским поклоном.

— А я тебе! — отвечала она.

Затем они некоторое время сидели молча и, моргая, глядели на красоты сада, на светлую гладь пруда, на аллею, на цветники и на башни ворот. Он моргал потухшими, натруженными глазами, не переставая жевать своим беззубым ртом, отчего его борода равномерно поднималась и опускалась.

Туий не делала этих жевательных движений. Ее большое, склоненное набок лицо оставалось спокойным, и казалось, что щелки ее глаз участвуют в этой застывшей улыбке. Она, как видно, привыкла пробуждать дух супруга в взбадривать его сознание, ибо она сказала:

— Ну вот, мы и сидим здесь, мой лягушонок, радуясь этому с разрешения серебряных богов. Юные создания усадили нас, достопочтенных, на подушки прекрасных кресел и ушли прочь, чтобы мы остались одни, как чета богов в материнской утробе. Только в нашей обители совсем не темно, и мы можем наслаждаться ее удобствами, ее красивыми картинками,

ее благородным убранством. Погляди, наши ноги поставлены на мягкие, в позументах скамеечки — в награду за то, что они так долго бродили по земле, всегда вчетвером. А если мы поднимем глаза, то над входом нашей обители расправляет свои пестрые крылья оснащенный змеями солнечный диск, владыка лотоса Гор, сын темных объятий. Слева от нас поставили на особое возвышение фигурный светильник, высеченный из алавастра каменотесом Мер-эм-опетом, а справа, в углу, стоит на коленях Немой Слуга со всякими сладостями, которые только и ждут, чтобы нам захотелось к ним прикоснуться. Может быть, тебе уже захотелось, милый выпенок?

Ужасающе сипло брат отвечал:

— Мне уже захотелось, любезная моя полевая мышка, но я подозреваю, что этого требуют только душа и глотка, но не желудок, который, пожалуй, возмутится и восстанет во мне, донимая меня холодным потом и страхом смерти, если я его не вовремя обременю. Лучше подождем, когда мы устанем от сидения и нам действительно понадобится подкрепиться.

— Ты совершенно прав, мой одуванчик, — отвечала она, и после его речи ее голос казался очень мягким и полнозвучным. — Будь умерен, это самое мудрое, тогда проживешь дольше, а Немой Слуга со своими лакомствами все равно никуда от нас не убежит. Погляди, он молод и красив. Он красив такой же изысканной красотой, как все вещи, которыми нам, священным родителям, услаждают глаза. Он увенчан цветами, словно кувшин с вином; это цветы деревьев, цветы тростника и цветы гряд. Его приятные черные глаза глядят мимо твоего уха, они глядят не на то место, где мы сидим, а в глубину этой обители, и следовательно — в будущее. Ты понял мою игру слов?

— Это легко понять, — с усилием прокряхтел старый Гуий. — Твои слова имеют в виду еще одно назначение нашей беседки; ведь в ней некоторое время хранят мертвецов дома, помещая их расписные гробы на прекрасных подставках позади нас и перед серебряными богами, когда умерших выпотрошат, начнут нарядом и закутают пеленами врачи и свивальщики, перед тем как доставить их на корабль и препроводить вниз по реке в Абуду, где покоится он сам и где им будут устроены великолепные похороны по образцу похорон Хапи, Мервера и фараона: их запрут в колонных палатах прекрасного и вечного дома, со стен которого им будет улыбаться их жизнь во всех своих красках.

— Совершенно верно, мой близнец и бобренок, — отвечала Туий. — Ясным умом ты уловил игру и смысл моих слов. Да ведь и я всегда сразу улавливаю, куда ты клонишь, сколь бы кудрява ни была твоя речь, ибо мы отлично сыгрались друг с другом как старые брат и сестра, которые играли вместе во все игры жизни, сперва в игры детства, а потом в игры зрелого возраста, — твоя старая слепышка говорит это не из бесстыдства, а для пущей доверительности и потому, что мы одни в этом домике.

— Ну, разумеется, разумеется, — снисходительно сказал старый Гуий. — Прожита жизнь, жизнь вдвоем от начала и до конца. Мы много бывали в свете и среди людей света, ибо рода мы знатного и близки к престолу. Но по сути мы всегда были наедине в своем домике, в домике нашего родства, как сейчас в этом; сначала в материнской утробе, затем в обители детства и в темном покое брака. А теперь мы, старики, сидим в изящном зданьице своего созерцательного возраста, в весьма легком и недолговечном укрытии. Вечная же защита уготовлена этой священной чете в колонной палате Запада, которая окончательно укроет нас на тысячи лет, и с окутанных мраком стен нам будут улыбаться сны нашей жизни.

— Истинно так, добрый мой бобренок! — отвечала Туий. — Не странно ли, однако, что сейчас мы еще сидим в своих креслицах и беседуем у входа в эту часовенку, но уже вскоре будем лежать у ее задней стены на львиноногих подставках носками вверх, в ларях, на которых у нас будут вторые лица с бородами богов — Усир Гуий и Усир Туий, а над нами склонится остроухий Ануп?

— Наверно, это действительно очень странно, — прохрипел Гуий. — Только я не в силах представить себе это так ясно, а напрягаться боюсь, ибо голова у меня уже устала —

тогда как ты еще отлично владеешь своими мыслями и шея у тебя куда как крепка. Это меня беспокоит, ибо может случиться, что ты, благодаря своей свежести, не почиешь вместе со мной и останешься в своем креслице, когда я буду лежать, и отпустишь меня одного идти по узкой тропе.

— Об этом не беспокойся, совенок! — отвечала она. — Твоя слепышка не отпустит тебя одного, и если ты умрешь первым, она вкусит травы подмаренника, убивающей жизнь, и мы все равно будем вдвоем. Я непременно должна быть возле тебя после смерти, чтобы помочь тебе вразумительно объясниться и оправдать нас, если будет суд.

— А суд будет? — с тревогой спросил Гуий.

— К этому нужно быть готовым, — отвечала она. — Так утверждает учение. Однако неизвестно, вполне ли оно достоверно. Есть учения, похожие на заброшенные дома: они целы и невредимы, но никто в них уже не живет. Я говорила об этом с Бекнехонсом, великим пророком Амуна, и спрашивала его, как обстоит дело с палатой богинь права, с весами сердец и с допросом перед лицом Западного Владыки, рядом с которым сидят сорок два носителя ужасных имен. Бекнехонс не дал мне ясного ответа. Учение сохраняет свою силу, сказал он твоей кротихе. Все должно навсегда сохранять свою силу в земле Египетской, и старое и то новое, что возникло с ним рядом, чтобы страна была до отказа полна изображений, строений и учений, мертвого и живого и чтобы люди почтительно ко всему относились. Ибо мертвое только священнее, оттого что оно мертво, это мумия правды, которую нужно навеки сохранить народу, хотя бы даже приверженцы новых взглядов духовно от нее отошли. Так сказал мудрец Бекнехонс. Но он деятельный слуга Амуна и ратует за своего бога. Царь преисподней, владыка изогнутого посоха и опахала, заботит его меньше, и меньше заботят его истории и учения этого великого бога. Если Бекнехонс называет их заброшенным зданием и закутанной правдой, то это еще не значит, что нам не придется предстать перед судом, как верит народ, и доказывать свою невиновность. И вполне возможно, что наши сердца будут взвешены на весах, прежде чем Тот выправит нам освобождение от сорока двух грехов и Сын за руки отведет нас к Отцу. К этому нужно быть готовым. Потому твоя совушка должна быть непременно рядом с тобой не только в жизни, но также и в смерти, чтобы держать речь перед владыкой престола и носителями ужасных имен и объяснить им все нами содеянное, если вдруг у тебя не найдется вразумительных оправданий в решающий миг. Ибо мой летучий мышонок порою бывает уже несколько туповат.

— Не говори так! — крайне хрипло воскликнул Гуий. — Если я бываю туповат и устаю, то только из-за долгих и тяжких раздумий о вразумительном объяснении; но о причинах своей тупости может говорить и тупица. Разве не я навел нас на эту мысль, разве не я зажег ее в священной темноте, мысль о жертве и примирении? Уж этого ты никак не можешь отрицать, ибо, конечно же, это моя заслуга. Ведь из нас двоих мужчина и плодотворен все-таки я. Пусть я как твой брат и супруг в священной темноте нашего совокупления человек темный, но все-таки именно я, мужчина, зажег в старинно-священной обители мысль о постепенной выплате долга священно-новому.

— Разве я это отрицаю? — возразила Гуий. — Нет, старая твоя супруга вовсе не отрицает, что именно ее темный муж первым завел речь о различии между священным и величественным, то есть тем новым, которым, возможно, повеяло в мире и к которому мы, сами того не зная, стремимся, так что на всякий случай лучше задобрить его примирительной жертвой. Твоя мышка не знала этого, — прибавила она, замотав, как слепая, своей крупнолицей, со щелками глаз головой, — и довольствовалась священной стариной по своей неспособности понять новые веяния.

— Нет, — кряхтя, возразил ей Гуий, — ты отлично все поняла, когда я завел об этом речь, ибо ты очень понятлива, хотя и совсем ненаходчива; но ход мыслей брата и его озабоченность веяниями и веком ты поняла как нельзя лучше — разве иначе ты согласилась бы на уступки и жертвы? Впрочем, «согласилась» — это, пожалуй, не то слово; мне кажется, что я

только научил тебя тревожиться о веке и веяниях, а на мысль, что мы должны посвятить темного сына нашего священного брака величественному и новому, отняв его у старого, — на эту мысль ты напала сама и раньше меня.

— Ну, и хорош же ты! — сказала старуха и зажеманилась. — Ты просто-напросто хитрец-коростель, если ты теперь утверждаешь, что речь об этом завела я, и в конце концов, чего доброго, свалишь все на меня, когда придется держать ответ перед царем преисподней и перед носителями ужасных имен! Ах ты, плутишка! Ведь я же это только поняла — и не больше, только приняла от тебя, мужчины, точно так же, как зачала от тебя нашего сына темноты. Гора, царедворца Петепра, которого мы сделали сыном света и посвятили величественно-новому, как того требовала мысль, от тебя исходившая, а мною, словно матерью Исет, только принятая, выношенная и рожденная. А теперь, когда нужно оправдываться и на суде может оказаться, что мы поступили неверно и совершили промах, теперь ты, проказник, хочешь быть ни при чем и уверяешь меня, что я зачала и родила это совершенно самостоятельно.

— Глупости! — сердито прокряхтел Гуий. — Хорошо еще, что мы одни в этом домике и никто не слышит вздора, который ты городишь. Ведь я же сам признал, что я был мужчиной и зажег в темноте светоч открытия, а ты облыжно приписываешь мне, что я считаю, будто зачатие и рождение могут соединиться, как то, может быть, и случается в болотах и в черноте речного ила, где бурлящее материнское вещество обнимает и оплодотворяет во мраке само себя, но никак не в высшем мире, где самец добропорядочно приходит к самке.

Он безголосо откашлялся и пожевал губами. Его голова сильно качалась.

— Не настало ли время, дорогая жерляночка, — сказал он, — привести в движение Немого Слугу, чтобы он подал нам освежительные лакомства? Мне кажется, что твой лягушонок уже очень устал от этих мыслей и его силы истощены раздумьями о вразумительном оправданье.

Не переставая безучастно глядеть мимо них, Иосиф уже приготовился было побежать на коленях; но надобность в этом миновала, ибо Гуий продолжал:

— Но я думаю, что на мысль о подкреплении сил наводит меня моя взволнованность этими раздумьями, а не настоящая усталость, и встревоженный желудок может его отвергнуть. Нет ничего более волнующего в мире, чем тревога о веяниях и о веке, она важнее всего, и разве только еда занимает еще более важное место. Конечно, сначала человек должен поесть и насытиться, но стоит ему только насытиться и избавиться от этой заботы, как его начинают одолевать тревожные мысли о священном и о том, что оно, может быть, уже совсем не священно, а наоборот — ненавистно, потому что начался новый вен и нужно поскорее усвоить новые веяния и задобрить их какой-нибудь искупительной жертвой, чтоб не погибнуть. Но поскольку мы, супруги и близнецы, богаты и знатны и у нас, разумеется, сколько угодно вкуснейшей еды, то для нас нет ничего более важного и более волнующего, чем эти дела, и у твоего старого лягушонка давно уже качается голова от этого волнения, в котором так легко совершить непростительный промах при попытке любовного соглашения...

— Успокойся, мой дорогой пингвин, — сказала Туий, — и не сокращай без нужды свою жизнь такими волнениями! Если будет суд и учение окажется справедливым, то уж я постараюсь, держа речь от имени нас обоих, объяснить подвиг искупления настолько понятно, что ни боги, ни носители ужасных имен не причислят его к сорока двум провинностям, а Тот выправит нам освобождение от всякой вины.

— Да, очень хорошо, — отвечал Гуий, — что ты будешь держать там речь, ведь ты представляешь себе все это гораздо лучше и не так сильно взволнована всем этим, потому что все это ты не открыла, а только поняла, только приняла от меня, а значит, и говорить тебе легче. Я же, как первооткрыватель и плодотворец, вполне могу сбиться и начать заикаться перед этими судьями, и тогда наше дело проиграно. Ты будешь обоим нам языком; ведь язык, как ты, наверно, знаешь, двуснастен и отвечает в скользкой темноте своего логовища за оба пола, как болото и как бурлящий ил, который сам себя обнимает, тогда как на более высокой ступени миропорядка самец приходит к самке.

— Ты, как то и положено на более высокой ступени, добропорядочно ко мне приходил, — сказала она, с жеманным смущением покачав своей большелицей, с подслеповатыми щелками глаз головой. — Тебе суждено было приходиться долго и часто, прежде чем твоя сестра сподобилась благословенного плодородия. Родители соединили нас браком в весьма раннем возрасте, и потребовалось много лет, чтобы союз брата с сестрой стал плодородным и я понесла, а затем и родила тебе нашего Гора, царедворца Петепра, друга фараона, прекрасный лотос, в чьем доме, в верхнем его этаже, мы, священные родители, и доживаем свои последние дни.

— Сушая правда, сушая правда! — подтвердил Гуий. — Все верно, что ты сказала, — и насчет добропорядочности и даже насчет священности, и все-таки в этих обстоятельствах была некая загвоздка для сокровеннейших догадок и для тайной тревоги, которая внимательно прислушивается к веку и к веяниям. Спору нет, как мужчина и женщина, мы зачинали наше дитя со всей добропорядочностью высших существ, однако мы делали это в темном покое нашего родства, а объятие брата и сестры — скажи, разве оно отличается от самообъятия бездны, разве оно не сходно с тем самооплодотворением бурлящего материнского вещества, которое так ненавистно свету и силам нового века?

— Да, — сказала она, — как супруг ты внушал мне это к моему огорчению, и я даже немного досадовала на тебя за то, что ты называл прекрасный наш брак бурлением ила, хотя он всегда был до святости благочестив и достопочтен, соответствовал самым благородным обычаям и услаждал душу богам и людям. Ведь что может быть благочестивее, чем подражание богам? А они все бросают семя в родную кровь и состоят в браке с матерью и сестрой. Недаром написано: «Я Амун, который сделал беременной собственную мать!» Написано же так потому, что каждое утро небесная Нут родит этого лучезарного бога, а в полдень, возмужав, он зачинает себя самого, нового бога, с собственной матерью. Разве Исет не доводится Усиру и сестрой, и матерью, и женой одновременно? Заранее, еще до своего рождения, совокупились эти высокие брат и сестра в материнской утробе, где, кстати, так же темно и скользко, как в обители языка и как в глубине болота. Но темнота священна, и с большим почтением относятся люди к браку, заключенному по этому образцу.

— Это говоришь ты, и говоришь справедливо, — ответил он хрипло и с заметным усилием. — Но в темноте совокупились и те, кому не следовало совокупляться друг с другом, Усир и Неботот, и это была злосчастная оплошность. Так отомстил за себя величественный владыка света, которому ненавистна темнота материнского чрева.

— Да, ты говоришь и говорил это как мужчина и как владыка, — возразила она, — и ты, конечно, на стороне величественных владык. Я же, как женщина и мать, скорее на стороне священного и старинного, поэтому твои взгляды меня огорчали. Мы, старики, люди благородного звания и близки к престолу. Но разве Великая Супруга не приходилась чаще всего, по божественному примеру, сестрой фараону, разве она не предназначалась в супруги богу именно как сестра? Он, чье имя — благословение, Менхепер-Ра-Тутмос, — с кем совокупился бы он как с матерью бога, если не с Хатшепсут, своей священной сестрой? Она родилась его женой, и они были единой божественной плотью. Муж и жена должны быть единой плотью, и если едины они изначально, то их брак — это сама добропорядочность и никакое не бурление ила. Я тоже рождена в союзе и для союза с тобою, и если наши благородные родители предназначили нас друг другу в день нашего рождения, то, вероятно, они предполагали, что их божественные близнецы обнимали друг друга уже в материнской утробе.

— Об этом я ничего не знаю, да и не могу вспомнить, — хрипло ответил старик. — Столь же вероятно, что в утробе мы ссорились и пинали друг друга ногами, хотя и этого я не могу утверждать, ибо о той поре никаких воспоминаний не остается. Вне утробы, во всяком случае, мы иногда, как ты знаешь, ссорились, хотя, разумеется, и не пинали друг друга ногами, ибо мы были прекрасно воспитаны, вели себя самым достопочтенным образом и жили счастливо, услаждая души людей своей верностью благородным обычаям. И ты, моя сле-

пышка, была, подобно священной корове с довольным обличьем, вполне довольна в душе, и особенно после того, как ты зачала мне Петепра, нашего Гора, не правда ли, сестра, супруга и мать?

— Да, — грустно кивнула она головой. — Я, слепышка и благочестивая корова, была священно довольна в обители нашего счастья.

— А я, — продолжал он, — обладал в лучшие дни моего духа достаточным мужеством и достаточно, как подобает моему полу, тяготел ко всему величественному, чтобы не довольствоваться священно-старинным. Я был сыт, и я думал. Да, это я помню, моя тупая сонливость рассеивается, и я могу облечь этот миг в слова даже перед судом преисподней. Мы жили по образцу богов и царей, услаждая души людей своей верностью благочестивым обычаям. И все-таки меня, мужчину, снедала тревога, меня терзала боязнь мести света. Ибо свет величествен, у него мужская стать, и ему ненавистно бурление темной утробы, к которой все еще так тяготела, ибо была все еще связана с ней пуповиной, наша брачная близость. Эту-то пуповину и нужно перерезать, чтобы телец отделился от коровы-родильницы и сделался быком света! Совершенно не важно, какие учения еще в силе и будет ли вообще суд после нашей смерти. Единственно важный вопрос — это вопрос о веке, в каком мы живем, и о том, соответствуют ли еще мысли, которым подчинена наша жизнь, веяниям века. Только это и имеет значение — коль скоро мы сыты. И вот, как я давно уже предчувствовал, такое время пришло: мужская стать хочет оборвать пуповину между собой и коровой и, возвысившись над материнским естеством, взойти владыкой на престол мира, чтобы основать царство света.

— Да, так ты меня учил, — отвечала Туий. — И как ни спокойно мне было в священной темноте, я загорелась этими мыслями и стала вынашивать их для тебя. Ибо, любя мужчину, женщина любит и принимает также и его мысли, хотя это совсем не ее мысли. Женщина принадлежит священному, но ради величественного владыки мужчины она любит величественное. Так мы и пришли к мысли о жертве и примирении.

— Да, именно таким путем, — согласился старик. — Сегодня я смог бы вполне вразумительно объяснить это царю преисподней. Нашего Гора, которого мы, как брат Усир и сестра Исет, породили во мраке, мы захотели отнять у тьмы и посвятить чистому царству. Это было нашей общей данью новому времени. Не спросив его мнения, мы сделали с ним то, что сделали, и даже если мы совершили ошибку, то намеренья у нас были самые добрые.

— Если это была ошибка, — сказала она, — то виноваты в ней мы оба, ибо мы вместе решили так поступить с нашим темным сыночком: но у тебя были свои соображения, а у меня свои. Я как мать думала не столько о свете и о том, чтобы его задобрить, сколько о земной славе нашего сына: посредством такого ухищрения я хотела сделать из него царедворца и личного слугу царя. Мне хотелось, чтобы самой его статью ему было назначено сделаться высоким сановником и чтобы фараон осыпал милостями и наградами своего всецело посвященного службе вельможу. Вот каковы были, если честно признаться, мысли, примирившие меня с таким примирением, ибо мне оно далось нелегко.

— Это вполне естественно, — сказал он, — что ты по-своему вынашивала мою мысль, прибавляя к ней по собственному почину собственные соображения, благодаря чему и родилось действие, которое мы с любовью учинили над нашим сыночком, когда у него еще не было своего мнения. Я тоже был рад добавочным преимуществам, вытекавшим, по женской твоей мысли, из такой подготовки, но мои мысли были мужскими и были обращены к свету.

— Ах, старый мой братик, — сказала она, — я думаю, что вытекавшие для него преимущества достаточно важны, чтобы сослаться на них не только при испытании сердец в дольней палате, но и при объяснении с ним самим, с нашим сыночком. Ибо хотя он относится к нам, достопочтенным родителям, с нежной почтительностью и хотя мы, благородные старики, занимаем в его доме весьма высокое положение, мне кажется, и порой я даже со страхом читаю это по его лицу, что в глубине души он немного сердится на нас обоих за то, что мы обкорнали его в царедворцы, не спросив его мнения и воспользовавшись его безответностью.

— Невелика беда, — разволновался осипший Гуий, — если он втайне и ропщет на священных родителей с верхнего этажа! Как сын, принесенный в жертву, он должен помирить их с веком и с веяниями, это его задача. К тому же он пользуется самыми лестными преимуществами, которые все искупают, так что пусть не ворчит. Да я и не думаю, чтобы он ворчал, а тем более на нас, ибо по духу и по природе своей он мужчина, а значит, тяготеет к величественному. Я не сомневаюсь, что он одобряет это примирительное деяние священных родителей и горд своей особенной статью.

— Верно, верно, — кивнула она головой. — И все же, старик мой, ты сам не уверен, что мы не перемудрили, перерезав пуповину, связывавшую его с материнской теменью. Разве сын, которого мы принесли в жертву, стал благодаря этому быком солнца? Нет, он стал только царедворцем света.

— Не докучай мне моими же тревогами, — упрекнул он ее хриплым голосом, — ибо они второстепенны. Главная тревога — это тревога о веке и веяниях и о примирительной уступке. Если при самых добрых намерениях эта уступка оказывается не совсем чистой и немного неуклюжей, то такова уж ее природа.

— Верно, верно, — сказала она опять. — Совершенно ясно, что у нашего Гора, как у личного слуги солнца и вельможи самой величественности, нет недостатка ни в утешеньях, ни в возмещениях самого лестного и самого почетного свойства, это не подлежит сомнению. Но существует еще Эни, наша невестка, красавица Мут-эм-энет, первая в доме, законная жена Петепра. Как женщина и мать, я бываю подчас беспокойна и за нее, ибо, хотя она выказывает нам, священным родителям, свою почтительность и любовь, я подозреваю, что в Глубине души она тоже немного сердита на нас за то, что мы сделали своего сына придворным, и военачальник он у нее не настоящий, а только по званию. Поверь мне, она в достаточной мере женщина, наша Эни, чтобы втайне на это досадовать, а я в достаточной мере женщина, чтобы увидеть это недовольство на ее лице, когда она не следит за его выражением.

— Пустое! — отвечал Гуий. — Это было бы сущей неблагодарностью, если бы она скрывала в своей священной груди подобное недовольство! Ведь утешений и возмещений у нее столько же, сколько у Петепра, и даже еще больше, и я не поверю, что ее гложет червь завистливой тоски о земном, когда она живет в близости к божеству и зовется побочной женой Амуна из фиванского дома супруги бога! Разве это пустяк, разве это безделица быть Хатхор, подругой великого Ра, которая вместе с другими носительницами этого звания пляшет перед богом в узком, облегающем тело платье и поет перед ним в сопровождении бубна, покрыв лоб золотым рогатым начальником с изображением солнечного круга между рогами? Нет, это не пустяк и не безделица, а утешение самого величественного свойства, и выпало оно ей на долю как почетной жене нашего вельможного сына. Ее родственники знали, что делали, когда отдали ее нашему сыну, чтобы она была ему первой и праведной, хотя в то время оба были еще детьми и между ними еще не могло состояться плотского брака; это было мудро, ибо их брак был почетным и почетным остался.

— Да, да, — сказала Туий, — таковым он по необходимости и остался. И все же, по женскому моему разумению, это жестокая судьба, при свете дня, может быть даже, почетная и блестящая, но зато ночью сущее горе. Ее зовут Мут, нашу сноху, она носит имя Мут-в-пустынной-долине, имя праматери. Но матерью она из-за придворности нашего сына не может и не должна стать, и я боюсь, что втайне она зла за это на нас и что за нежностью, которую она нам выказывает, скрыта обида.

— Пусти не будет гусыней, — в сердцах воскликнул Гуий, — пусть не будет птицей земли, что чревата водой! Так и скажи ей, нашей невестке, если она дуется! Нехорошо, что ты как женщина и как мать защищаешь ее в ущерб нашему сыну, мне неприятно это слышать. Ты обижаешь не только его, нашего Гора, но также и женскую статью, которую хочешь взять под защиту. Ты принижаяешь ее, как будто у нее нет в мире никакого другого образа, кроме образа беременной бегемотицы. Конечно, по природе своей ты всего-навсего слепая кротиха, и

мысль о новом веке и об искупительном платеже внушил тебе, как мужчина, я. Но все-таки ты не смогла бы ее принять и уразуметь и не согласилась бы совершить это с нашим сыночком, если бы женская статья была совершенно чужда, совершенно непричастна величественному и чистому! Разве ее образ и ее доля — это непременно черная, беременная земля? Отнюдь нет; женщина может предстать и в почетном обличе непорочной, как Луна, жрицы. Так и скажи ей, своей Эни: пусть не будет гусыней! Как первая и праведная нашего сына, она принадлежит к первым женщинам стран; благодаря его величию, она зовется подругой царицы Тейе, жены бога, и сама является женой бога из Южного Гарема Амуна, принадлежа к сословию носительниц звания Хатхор, сословию, возглавляемому супругой Великого Пророка Бекнехонса, первой в гареме. По священному своему положению наша невестка — это просто-напросто богиня с рогами и солнечным кругом, это просто-напросто белая жрица Луны — вот каково ее духовное утешение. Разве земному ее браку не уместно быть почетным и мнимым, а ее супругу искупительной жертвой и царедворцем света? По-моему, очень даже уместно, и теперь ты знаешь, что сказать ей в том случае, если она обнаружит непонимание этой уместности.

Но Туий, качая головой, возразила:

— Я не могу передать ей этого, дорогой мой старичок, ибо она не дает своей свекрови повода для такого напоминания, и у нее, как говорится, глаза бы на лоб полезли, если бы я послушалась тебя и сравнила ее с гусыней. Она горда, наша Эни, она так же горда, как Петепра, ее супруг и наш сын, и кроме своей дневной гордости, они оба, и жрица Луны и постельник Солнца, ничего и знать не хотят. Разве не живут они перед лицом дня в почете и счастье, разве, в согласии с благородными обычаями, они не услаждают души людей? Что им и знать, как не свою гордость? Да если бы они даже и знали что-то другое, они все равно не дали бы себе поблажки, а упорствовали бы в своей гордыне. Как же я назову нашу сноху гусыней от твоего имени, когда она совсем не гусыня, когда она гордится долей избранницы бога и вся ее статья исполнена терпкого благоухания миртовых листьев? Если я говорю об обиде и горечи, то имею в виду не день и не достопочтенный дневной распорядок, а тихую ночь и безмолвную материнскую темноту, которую не пристало оскорблять гусиными кличками. И если из-за нашего темного брака ты боялся мести света, то я, женщина, по временам боюсь мести материнской темноты.

Тут Гуий захихикал — к легкому испугу Иосифа, который со своим угощением в руках даже вздрогнул, утратив на мгновение незаметность Немого Слуги. Он быстро перевел взгляд с задней стены беседки на стариков, чтобы узнать, увидели ли они, как он ужаснулся; но они ничего не увидели; поглощенные разговором об общем своем деле, они обращали на Иосифа так же мало внимания, как и на фигурный алавастровый светильник каменотеса Мер-эм-опета, стоявший противопологием Немого Слуги. Поэтому он снова отвел глаза в сторону, и, остекленев, они снова устремились в заднюю стену беседки мимо уха Гуия. Но у Иосифа все еще немного спирало дыхание; стариковское хихиканье Гуия, в довершение всего услышанного, показалось ему жутковатым.

— Хи-хи, — прохрипел Гуий. — Бояться нечего, темнота нема, она знать не знает о своем недовольстве. Сынок и сноха полны гордости, они и не думают злиться и обижаться на старичков, которые учинили им это, сделав из вепря борова, когда тот еще не имел своего мнения, а только барахтался и не мог защититься. Хи-хи-хи, бояться нечего! Злость и обида надежно упрятаны в темноту, а сюит им хотя бы немного высунуться на свет, как они снова будут упрятаны в благонравное смирение и нежную почтительность к нам, любимым родителям, хотя мы, ради примирения с веком, сыграли однажды шутку с нашими детками! Хи-хи-хи, дважды упрятать, дважды обезопасить, запереть на два замка, благодаря чему милые старички совершенно неуязвимы, — разве это не хитро, не забавно?

Сначала Туий была явно озадачена и встревожена поведением своего брата-супруга, но его слова ее успокоили, и она тоже захихикала, сощуриив свои и без того узкие глазки в слепые щелки. Сложив ручки на животах и втянув свои старые головы в ссутуленные плечи, они сидели в своих пышных креслицах и тихонько кудахтали.

— Хи-хи-хи-хи, ты прав, — кудахтали Туий. — Твоя мышка понимает, какую забавную шутку сыграли мы с нашими детками, а их обида упрятана дважды, заперта на два замка и нам не страшна. Это куда как хитро и мило. И я рада, что мой кротенок весел и что он забыл свою тревогу по поводу допроса в дольней палате. Но, может быть, в твоём естестве появились признаки утомления и мне следует приказать Немому Слуге подать нам лакомства?

— Ни малейшего! — отвечал Гуий. — Ни малейшего признака утомления нет в моём теле. Наоборот, оно прямо-таки посвежело от нашей уютной беседы. Побережем позыв на еду до часа вечерней трапезы, когда Священная Родня соберется в столовой и каждый будет с нежной заботливостью подносить к носу другого букетик лотосов. Хи-хи! А сейчас хлопнем в ладоши прислужницам, чтобы они немного поводили нас по плодовому саду, ибо моим посвежившим членам угодно размяться.

И он хлопнул в ладоши. Девочки, с разинутыми от дурашливого усердия ртами, прибежали, подали старикам тоненькие свои ручки и помогли им спуститься с помоста и удалиться.

Иосиф, переведя дух, опустил угощение на пол. Руки у него затекли почти так же, как тогда, когда измаильтяне вытащили его из колодца.

«Ну и глупцы же они перед господом, — думал он, — эти священные старички. Да и горестные тайны этого благословенного дома такие, что только упаси боже! Вот и видно, что жить на небесах высокого вкуса вовсе не значит быть защищенным от глупости и от ужаснейших промахов. Хорошо бы рассказать отцу о богоглупости этих язычников. Бедный Потифар!»

И прежде чем отнести Хамату оставшееся угощение, он здесь же прилег на циновку, чтобы его до боли натруженное тело отдохнуло от службы Немого Слуги.

ИОСИФ РАЗМЫШЛЯЕТ ОБ ЭТИХ ДЕЛАХ

Он был потрясен и взволнован всем, что услышал, неся свою службу, и это часто занимало тогда его мысли. Его неприязнь к священным старичкам была достаточно пылкой, заперта она была только на замок умной вежливости и почтительности, но никоим образом не на замок темного неведения, ибо ни его досада на безответственную богоглупость родителей, ни его отвращение к уютному спокойствию, которое доставляла им их достойная застрахованность от всяких упреков, отнюдь не были неосознанными и безотчетными.

Но и поучительный смысл, каковым для него, Аврамова отпрыска, обладали эти сделанные им в столь неодушевленном состоянии открытия, — поучительный их смысл от него тоже не ускользнул, и он не был бы Иосифом, если бы не постарался обратить их себе на пользу. То, что он услышал, расширяло его кругозор и предостерегало его от соблазна видеть в своей непосредственной духовной родине, в мире отцов с его заботой о боге, в мире, чьим потомком и питомцем он был, нечто единично-своеобразное и ни с чем не сравнимое. Не один Иаков тревожился в мире. Это происходило с людьми везде, и везде жила тоска о сохранении согласия с господом и со временем, — хотя подчас она и приводила к весьма неуклюжим действиям и хотя, конечно, наследственный помысел Иакова о господе открывал ему тончайшие и труднейшие способы выяснения беспокойного вопроса о возможном разладе между заведенным обычаем, с одной стороны, и волей и ростом этого самого господя, с другой.

И все же как недалеко бывало до ошибки и здесь! Незачем было вспоминать закосневшего в своей первобытности Лавана и его сыночка, упрятанного в кувшин. Там вообще были совершенно глухи, когда дело шло о вырождении обычая в омерзительный грех. Но изощренная чувствительность к таким превращениям — как легко сбивала с толку именно она! Разве грустные раздумья относительно праздника не искушали Иакова вообще отменить праздник со всеми обрядами из-за его, возможно, и уходящих в низменное похабство корней? Сыну пришлось просить отца пощадить праздник пощады, это высокое, тенистое дерево, которое

вместе с господом поднялось над своим грязным корнем, но высохло бы, если бы его выкорчевали. Иосиф был за пощаду, а не за корчевание. Он видел в боге, который в конце концов тоже не всегда был тем, кем он был, бога пощады и снисходительности, даже при потопе не истребившего человечество окончательно, а пробудившего у одного мудреца светлую мысль о спасительном ковчеге. Мудрость и снисходительность — они казались Иосифу идеями-сестрами, которые попеременно носили одну и ту же одежду и носили даже общее имя — имя доброты. Испытывая Аврама, бог потребовал, чтобы тот принес ему в жертву сына, но жертвы этой не принял и поучительно заменил ее овном. В преданиях здешних жителей, хотя и вознесшихся на небеса тонкого вкуса, не было, к сожалению, таких мудрых историй, — к этим людям следовало быть снисходительным, как ни противно они хихикали по поводу неудачной шутки, которую сыграли со своими детьми. В неуверенной и далеко еще не порвавшей с царством темени догадке им тоже было указано отчим духом, что от освященной обычаем старины мы должны воспарить к чему-то более светлому, и они тоже услышали требование жертвы. Но как глубоко, как по-лавановски глубоко увязли они в старине именно тогда, когда попытались уступить новому. Ведь у них, нечестивцев, не оказалось овна, чтобы сделать его холощеным бараном света, и они сделали им Потифара, барахтавшегося своего сыночка.

Это можно было, пожалуй, назвать нечестивым образом действий, глупым и неуклюжим жертвоприношением величественному и новому! Ибо к отчему духу, думал Иосиф, нельзя было приблизиться корчеванием, и велика разница между совершенством двуполости и царедворческой бесполостью. Мужеженственность, соединявшая в себе силы обоих полов, была божественна, как изображение Нила с одной женской и одной мужской грудью и как Луна — для Солнца самка, но самец для Земли, ради которой она лучом своего семени зачинала священного быка в корове-избраннице; двуснастность, считал Иосиф, относилась к царедворству как два к нулю.

Бедный Потифар! Он был нулем при всем великолепии своих огнеблещущих колес и при всем своем величии среди великих Египта. Господином молодого раба Озарсифа был нуль, рувимоподобная, но бессильная и безгрешная башня, неудачная жертва, не отвергнутая, но и не принятая, ни то ни се, нечто внечеловеческое и небожественное, очень важное и гордое среди светлого дня своего почета, но не сомневавшееся в убогом своем ничтожестве среди темной ночи своего естества и крайне нуждавшееся в тех почестях и в той лести, которыми так баловали Потифара его положение и особенно его преданный слуга Монт-кау.

После всего услышанного Иосиф увидел эту льстивую преданность в новом свете и сразу же счел ее достойной подражания. Да, да, из открытий, сделанных им в роли Немого Слуги, он заключил, что, как только и насколько это окажется возможным, он будет «помогать» своему господину по образцу Монт-кау, и даже, в чем он не сомневался, еще тоньше и услужливее, чем тот. Ибо таким образом, говорил он себе, он скорее всего «поможет» другому господину, самому высшему, продвинуть его, молодого раба Озарсифа, в том мире, куда его занесло.

Именно здесь, в интересах истины, следует отвести от Иосифа упрек в холодной расчетливости, который поспешат предъявить ему строгие моралисты. Не так-то просто дать нравственную оценку его решению. Недаром сам Иосиф, давно уже приглядывавшийся к старшему слуге дома Монт-кау, считал его человеком порядочным, чье угодничество перед хозяином верней было бы назвать не угодничеством, а другим, куда более мягким словом, — угождением; а из этого следовало уже, что Петепра, военачальник только по званию, заслуживал, видимо, чтобы ему угождали, и этот вывод подтверждался собственными впечатлениями Иосифа от своего господина. Иосифу этот египетский вельможа казался достойным и благородным человеком доброй и нежной души; а если Потифару хотелось, чтобы все за него дрожало, то это объяснялось вполне естественными для жертвы духовного невежества особенностями его нрава: по мнению Иосифа, Потифар имел право на некоторую озлобленность.

Таким образом, еще до общения с ним Иосиф служил Потифару наедине с собой, в собственных мыслях, когда защищал его и искал случая оказаться ему полезным. Египтянин был

прежде всего его господином, которому его продали, высочайшим в непосредственном окружении лицом; а самая идея господина и высочайшего существа издавна заключала в себе для Иосифа элемент услужливой бережности, который можно было перенести из высшей в низшую сферу, применить к земным делам и к своему непосредственному окружению. Это нужно только хорошенько понять! Идея господина и высочайшего существа уже создавала некое единство, благоприятное для известного смешения и отождествления высшего с низшим. Усиливалась эта склонность понятием «помощи» и уверенностью Иосифа, что лучшей помощью провидящему владыке снов будет «помощь», по примеру Монт-кау, земному владыке — Петепра. Но и нечто иное низводило в известной мере его отношение к владыке небесному до отношения к владыке огнеблещущих колес. Он увидел грустную, гордую и втайне благодарную улыбку, которой ответил Потифар на лесть своего управляющего, — горькое одиночество, вылившееся в эту улыбку. Пусть наше утверждение покажется ребячливым, но между одинокой отрешенностью бога отцов от мира и гордой, увешанной золотыми наградами отрешенностью от человечества убогой рувимоподобной башни Иосиф усматривал обязывающее к сходному сочувствию родство. Да, господь бог тоже был одинок в своем величии, и в крови Иосифа жила память о том, как важно было одиночество неженатого и бездетного бога для понимания великой его ревности к заключенному с человеком завету.

Он помнил, как благотворна для одинокого бережная нежность слуги и как ужасна для него любая неверность. Он, конечно, не забывал, что по природе своей бог лишь потому не имеет никакого отношения к рождению и смерти, что является сразу и Баалом и Баалат; существенная разница между двумя и нулем не ускользала от него ни на секунду. И все же мы только облечем в слова немой факт, если скажем, что некоторые свои сочувственно-бережные привязанности Иосиф мечтательно объединил, то есть что он решил хранить человеческую верность бедному нулю, как привык хранить ее высокой и бедной двойке.

ИОСИФ ГОВОРIT ПЕРЕД ПОТИФАРОМ

И вот мы подходим к той первой и решающей беседе Иосифа с Потифаром в плодовом саду, которой нет и в помине ни в каких изложениях этой истории, ни в восточных, ни в западных, ни в прозаических, ни в стихотворных, — как нет в них и многих других подробностей, мелочей и убедительных объяснений, которыми вправе гордиться наша повесть, ибо именно она обнаружила их и сделала достоянием изящных искусств.

Нам известно, что этой долгожданной встречей, поистине определившей все дальнейшее, Иосиф был снова косвенно обязан Бес-эм-хебу, потешному визирю, хотя карлик не устроил ее в точном смысле этого слова, а только создал необходимые для нее предпосылки. Они состояли в том, что в один прекрасный день празднующийся молодой раб Озарсиф был назначен садовником Потифарова сада, — садовником, разумеется, неглавным: главным садовником был некий Хун-Ануп, сын Деди, прозванный Краснопузым за свой багровый от солнца живот, свисавший, подобно заходящему светилу, над закрепленным ниже пупка набедренником, — человек одних лет с Монт-кау, но более низкого звания, что, однако, не мешало его прочному положению, ибо он был настоящим мастером своего дела: знаток и попечитель растений и их жизни, внимательный не только к их декоративным и хозяйственно полезным качествам, но также к их целебным и ядоносным свойствам, он служил дому не только садовником, лесничим и цветоводом, но также аптекарем и знахарем, заведующим отварами, вытяжками, мазями, клистирами, рвотными средствами и примочками и пользуясь ими заболевших людей и животных, — из людей, впрочем, только слуг, ибо господам помогал в таких случаях выжить или умереть один строгий и сведущий врач из храма бога. Лысина у Хун-Анупа была тоже багровая, поскольку он не признавал шапочек, а за ухом он обычно носил цветок лотоса, как писец тростинку. Из набедренника у него постоянно торчали пучки всевозможных трав

или опытные образцы корневищ и побегов, мимоходом срезанные садовыми ножницами, которые вместе с гравчиком и небольшой пилой побрякивали у него на бедре. Лицо этого коренного человека было румяно и при весьма приветливом выражении имело сосредоточенный вид: с шишковатым носом, к которому поднимался своеобразно искаженный не то довольной, не то, наоборот, недовольной улыбкой рот, оно неравномерно поросло волосами никогда не подстригаемой бороды, висевшими наподобие корневых мочек и подчеркивавшими, несмотря на алый загар, всю землевидность облика Краснопузого. Короткий, цвета киновари и земли палец, которым он грозил нерадивым своим подчиненным, был очень похож на только что вытасченную из грядки морковку.

К нему-то и обратился маленький Боголюб по поводу чужеземного раба, сызмала, как тот шепнул ему, карлику, прекрасно разбирающегося во всем, что касается земли и ее даров, ибо прежде чем его продали в рабство, он ухаживал за масличной рощей своего отца у себя на родине, в горемычном Ретену, и из любви к плодам поссорился со своими товарищами, которые сбивали их с веток камнями и небрежно давили. Кроме того, он сумел уверить его, карлика, что унаследовал дар волшебства, получив так называемое благословение, причем благословение двойное: и сверху, с неба, и из подземной бездны. А поскольку такие качества как раз и нужны садовнику, то пусть Хун-Ануп возьмет этого малого под свое начало, чтобы тот не бездельничал в убыток хозяйству; так советует ему, Хун-Анупу, карличья мудрость, в послушании которой еще никто не раскаивался.

Визирь говорил это, памятуя о желании Иосифа предстать перед господином и отлично зная, что работа в саду как нельзя более благоприятствует исполнению такого желания. Ибо как всякий другой вельможа Египта, носитель опахала любил свой благоорошаемый сад, обладать и наслаждаться которым он надеялся и в жизни после жизни; в самое разное время суток Потифар сживал здесь и прогуливался, а иногда, если приходило такое настроение, останавливался поболтать с садовниками — не только с главным, Краснопузым, но и с другими работниками, землекопами и водоносами; на этом-то и строился замысел карлика, целиком удавшийся.

Иосиф был и в самом деле поставлен Краснопузым ходить за садом; он получил работу в плодовом, а еще точнее — в пальмовом саду, который южнее главного здания примыкал к восточной стороне пруда, а еще восточнее, по направлению к площадке двора, переходил в виноградник. Но уже и сама пальмовая роща была виноградником, ибо между колоннами ее высоко оперенных стволов повсюду вились виноградные лозы, гирлянды которых лишь кое-где открывали проходы через лесок. Это скопление плодов земных — ибо лозы ломились от гроздьев, а пернатые пальмы ежегодно приносили финики сотнями пудов — было поистине райским, оно радовало глаз, и неудивительно, что Петепра был особенно привязан к своему пальмовому саду с его многочисленными водоемами и часто даже приказывал поставить туда диван, чтобы в тени тихо шумящих деревьев послушать своего чтеца или выслушать отчет писцов.

Вот где указано было трудиться сыну Иакова, и занятие, указанное ему, было такого рода, что оно поневоле будило в нем задумчиво-горькое воспоминание об одном дорогом и так ужасно утраченном сокровище прежней его жизни — о покрывале, о разноцветной одежде, о его и его матери кетонет пассиме. Среди вышивок кетонета была одна, которая бросилась ему в глаза при первом же осмотре покрывала в шатре Иакова, когда этот брачный наряд сверкал всеми своими переливами между руками отца: она изображала священное дерево, а возле него, друг против друга, двух бородатых ангелов, оплодотворивших его прикосновением пустоцветной шишки. Иосиф выполнял теперь ту же работу, что и эти духи. Финиковая пальма — двудомное дерево, и опыление ее плодоносных особей семенами тех, у цветков которых нет пестиков и рылец, а есть только тычинки, производит ветер. Но человек издавна брал на себя эту обязанность и совершал искусственное оплодотворение, собственноручно осеменяя отрезанными соцветиями неплодоносного дерева соцветия плодоносных деревьев. Именно этим

и заняты были духи покрывала у священного дерева, и именно это приходилось теперь делать Иосифу; ему задал эту работу Краснопузый, сын Деда, главный садовник Потифара.

Он сделал это ввиду его молодости и расторопности его возраста; ибо выполнять обязанности ветра довольно трудно, для этого нужно быть смелым верхолазом и не знать, что такое головокружение. С помощью особой мягкой бечевы, обвитой вокруг твоего тела и пальмы, нужно, используя сучья, а также другие выступы и неровности чешуйчатого ствола, вскарабкаться с деревянным сосудом или корзинкой к вершине мужского дерева; по мере того как ты поднимаешься, нужно все время движением отпускающего поводья возницы с обеих сторон подбрасывать бечеву вверх, а достигнув вершины, срезать и осторожно собрать в корзинку метелки; затем нужно спуститься, взобраться таким же манером на ствол плодоносного дерева, и еще одного, и другого, и третьего, и везде «подсадить» семяносные метелки, то есть поместить их в соцветия с завязями, чтобы эти соцветия оплодотворились и вскорости принесли светло-желтые финики, которые можно уже собирать и есть, хотя по-настоящему хороши только те из них, что созрели в жаркие месяцы паофи и хатхир.

Своим землисто-морковным пальцем Хун-Ануп указал Иосифу деревья с мужскими цветками, — а их среди пальм было немного, ибо одно такое дерево может опылить до тридцати плодоносных. Он дал ему бечеву, отличного местного изготовления, не пеньковый, а из тростникового луба, превосходно вымоченный, отмятый и ссученный канат, и для первого раза сам проследил за обвязкой; ибо он сознавал свою ответственность и не хотел, чтобы новичок упал с дерева и растерял свои потроха, а хозяин понес убыток. Затем, увидев, что этот юноша весьма ловок и вряд ли даже нуждается в бечеве, что на деревья он карабкается лучше, чем белка, и вообще делает свое дело старательно и с умом, он предоставил его самому себе и пообещал оставить его работать в саду, чтобы сделать из него со временем заправского садовника, если окажется, что это поручение он выполняет успешно и на плодоносных деревьях вскоре появятся обильные плоды.

Честолюбиво, как всегда, заботясь о боге, Иосиф, кроме того, находил удовольствие в этом смелом и разумном труде и выполнял его, чтобы изумить главного садовника такой быстротой и совершенной работой, — а изумить он вообще старался всех и каждого, — с великим усердием; он проработал день и еще один день до самого вечера, так что в час заката, когда на западе, за прудом с лотосами, за городом и за Нилом, заиграли во всем своем ежедневном великолепии алые и тюльпаново-красные краски, а в саду уже больше никого из работников не было, он все еще оставался один возле своих деревьев или, вернее, на них, пользуясь для «подсадки» последним, быстро угасающим светом. Осторожно работая, он сидел среди ветвей голенасто-тонкого плодоносного дерева, когда вдруг услышал внизу чьи-то семенящие шаги и стрекочущий голос; поглядев вниз, он увидел маленького, как гриб, карлика Боголюба, который сначала делал ему знаки обеими ручками, а потом, приставив их раструбом к губам, изо всех сил прошептал: «Озарсиф! Он идет!» — и сразу исчез.

Иосиф поспешно прекратил свои кропотливые манипуляции и скорей съехал, чем слез с дерева, чтобы, оказавшись внизу, убедиться, что со стороны пруда, по тропинке, среди виноградных лоз, сюда шел между пальмами, с небольшим числом провожатых, сам Потафар — рослый и белый под багрянцем неба, в сопровождении управляющего Монт-кау, который следовал чуть наискось позади, смотрителя одежной Дуду, двух писцов дома и Бес-эм-хеба, который, оповестив Иосифа, уже ухитрился присоединиться к ним снова. Вот оно что, подумал Иосиф, увидев хозяина, он выходит в сад с наступленьем вечерней прохлады. И когда они подошли еще ближе, Иосиф пал ниц у подножия дерева, прижавшись к земле лбом и подняв только руки ладонями к подошедшим.

Взглянув на согнутый позвоночник возле тропинки. Петепра остановился, а с ним остановились и прочие.

— На ноги, — сказал он коротко, но мягко, и одним быстрым движением Иосиф выполнил этот приказ.

Он стоял, прижавшись к стволу пальмы, с самым смиренным видом, скрестив руки у шеи и склонив голову. Его сердце было полно бодрости и готовности. Свершилось: он стоял перед Потифаром. Потифар остановился. Нельзя было допустить, чтобы он слишком скоро двинулся дальше. Во что бы то ни стало следовало его изумить. Какой вопрос он задаст? Такой, надо надеяться, на который можно ответить достойным изумления образом.

— Ты из моего дома? — скупое осведомился рядом с ним нежный голос.

Покамест возможности представлялись совсем незавидные. Разве лишь словесными прикрасами, но никак не смыслом ответа можно было добиться того, чтобы этот ответ был выслушан если не с изумлением, то хотя бы с некоторым вниманием и, самое главное, помешал одному — уходу допрашивавшего. Иосиф пробормотал:

— Великий мой господин знает все. Это самый последний и самый ничтожный из его рабов. Самый последний и самый ничтожный из его слуг счастлив славить его.

«Так себе!» — подумал Иосиф. Неужели он сразу уйдет? Нет, сначала он спросит, почему я еще здесь. На это нужно ответить витиевато.

— Ты из садовников? — услышал он после короткого молчания снисходительный голос.

— Все знает и видит мой господин, — как Ра, который его подарил. Из его садовников самый последний.

На это — голос:

— Но зачем ты остаешься в саду в час заката, когда твои товарищи уже отдыхают от трудов и едят свой хлеб?

Иосиф еще ниже опустил голову над руками.

— Господин мой, предводитель войск фараона, величайший из великих мужей стран! — сказал он молитвенно. — Ты подобен Ра, который странствует по небу на своем струге со своими окольными. Ты кормило Египта, и ладья царства повинуется твоей воле. Ты — первое лицо после Тота, что творит суд, невзирая на лица. Оплот бедных, да будет дарована мне твоя милость, как сытость голодному. Подобно платью, что прикрывает наготу, пусть будет даровано мне твое прощение: не взыщи, что, ухаживая за твоими деревьями, я замешкался до того часа, когда ты выходишь в сад, и оскорбил твой взор своим присутствием!

Молчание. Возможно, что Петепра обернулся к сопровождавшим его слугам, удивляясь этой искусной речи, произнесенной хоть и с дикарским еще выговором, но ловко и гладко, несколько скованной, правда, обычными условностями, но все же проникновенной. Иосиф не видел, глядит ли он на своих провожатых, но надеялся на это и ждал. Прислушавшись, можно было определить, что друг фараона тихонько усмехнулся, когда ответил:

— Усердная служба и сверхурочное прилежание в трудах для дома не могут разгневать его хозяина. Не бойся! Ты, значит, усердно работаешь и любишь свое ремесло?

Тут Иосиф счел приличным поднять голову и глаза. Черные и глубокие глаза Рахили встретились на довольно большой высоте с другими, светло-карими, мягкими и немного печальными глазами, которые хоть и сквозь гордую поволоку, но с добродушной пытливостью глядели в них из-за длинных ресниц. Большой, жирный, в тончайшей одежде, Потифар стоял перед ним, положив одну руку на особую опорную рукоять своего высокого посоха, находившуюся чуть ниже хрустального набалдашника, и держа в другой жезл с сосновой шишкой и мухогонку. Пестрый фаянс его воротника подражал своим узором цветам. Его голени были защищены кожаными поножами. Из кожи равным образом, а также из луба и бронзы были и сандалии, на которых он стоял; их завязки проходили между большим и вторым пальцами. Изящно вылепленная его голова, на лоб которой свисал с темени свежий цветок лотоса, наклонилась в ожидании ответа к Иосифу.

— Как же мне, великий мой господин, — отвечал тот, — не любить ремесло садовника и не усердствовать в нем, если оно любезно богам и людям, а работа мотыки превосходит по красоте работу плуга, а также многие другие работы, если не почти все? Она любит умельцев, и в древности ею занимались лишь избранные. Разве не был Ишуллану садовником одного

великого бога и разве не взирала на него благосклонно сама дочь Сина, ибо он каждодневно приносил ей цветы, и поэтому ее жертвенник воссиял? Я знаю о ребенке, которого она посадила в корзинку из камыша, после чего поток отнес его к водочерпию Акки, а тот обучил мальчика тонкому искусству садоводства, и садовнику Шарук-ину Иштар подарила свою любовь и царство в придачу. Я знаю еще одного великого царя, Урраимитти из Исина, он в шутку поменялся местами со своим садовником Эллил-бани и посадил его на свой престол. И что же? Эллил-бани остался сидеть на престоле и сам стал царем.

— Скажи на милость! — воскликнул Петепра и, усмехаясь, снова взглянул на управляющего Монт-кау, который со смущенным видом закачал головой.

С таким же видом закачали головами писцы, а особенно карлик Дуду, и только маленький Боголюб Шепсес-Бес одобрительно закивал головой во всю свою мочь.

— Откуда ты знаешь все эти истории? Ты из Кардуниаша? — спросил царедворец по-аккадски, ибо так он именовал Вавилонию.

— Там родила меня моя мать, — отвечал Иосиф также на языке Вавилона. — Но в стране Захи, в одной из долин Канаана, возле стад своего отца вырос тот, кто тебе принадлежит, господин.

— Да? — рассеянно спросил Потифар. Ему доставляло удовольствие говорить по-вавилонски, и поэтическая интонация ответа, какая-то неясная многозначительность, скрытая в словах «возле стад своего отца», очаровала его — и в то же время смутила. Барское опасение придать своими расспросами излишнюю интимность беседе и услышать то, что его никак не касается, боролось в нем с уже разбуженным любопытством, с желанием услышать еще что-нибудь из этих уст.

— Ты, однако, недурно, — сказал он, — говоришь на языке царя Кадашманхарбе. — И, переходя на египетский: — От кого ты узнал эти предания?

— Я читал их, господин мой, со старшим рабом моего отца.

— Как, ты умеешь читать? — спросил Петепра, довольный, что он может этому удивиться; ибо об отце и о том, что у него был старший раб, а значит, и вообще рабы, он и знать не хотел.

Иосиф скорее опустил, чем склонил голову, так, словно он признавал свою вину.

— И писать тоже?

Голова опустилась еще ниже.

— За какой же работой, — спросил Потифар, немного помедлив, — ты здесь замешкался?

— Я подсаживал цветы, господин мой.

— Да? А это, у тебя за спиной, какое дерево — женское или мужское?

— Это плодоносное дерево, господин мой, и оно даст плоды. А каким его считать — женским или мужским, — толком не выяснено, и у людей существуют на этот счет разные мнения. В Египте плодоносные деревья называют мужскими. Но мне приходилось говорить с жителями островов моря, Алашии-Крита, и у них женскими считаются плодоносные деревья, а мужскими неплодоносные, холостые, у которых есть только пыльца.

— Стало быть, плодоносное, — коротко сказал военачальник. — А сколько ему лет? — спросил он, ибо такой разговор мог иметь целью только проверку профессиональных знаний допрашиваемого.

— Оно цветет уже десять лет, о господин, — улыбнувшись, ответил Иосиф, ответил без воодушевления, которое было отчасти искренним (ибо он знал толк в деревьях), отчасти же казалось ему полезным. — А семнадцать лет назад посадили росток. Через два или три года оно — именно «оно», а не «она» и не «он» — достигнет самой высокой своей плодоносности. Но уже и теперь оно ежегодно приносит тебе около двухсот гин отменных, янтарного цвета плодов чудесной красоты и величины, если, конечно, не полагаться на ветер, а поручить опыление рукам человеческим. Это одно из прекраснейших твоих деревьев, — сказал он, да-

вая волю своему воодушевлению, и положил руку на стройный, столпоподобный ствол, — по мужски гордое своей силой и высотой, так что хочется согласиться с людьми Египта и с их определением, но в то же время по-женски плодовитое, так что можно понять и жителей островов. Короче говоря, это божественное дерево, если ты позволишь своему слуге соединить в одном слове то, что разделено устами людей.

— Ишь ты, — с насмешливым любопытством сказал Петепра, — значит, о делах божественных ты можешь тоже кое-что мне рассказать? Ты, наверно, с детства привык молиться деревьям?

— Нет, господин мой. Под деревьями — да, но не деревьям. Впрочем, к деревьям мы питаем почтение, ибо в них есть что-то священное, и говорят, будто они старше самой земли. Твой раб слышал о дереве жизни, в котором нашлась сила сотворить все, что существует на свете. А какого пола эта всетворная сила — мужского или женского? Возьмем художников Менфе и здешних ваятелей фараона, творящих изображения и наполняющих мир прекрасными образами — какого пола сила, благодаря которой они это делают — мужского или женского, она бросает семя или родит? Этого нельзя решить, ибо она двояка, и древо жизни было, по всей вероятности, однодомным растением, двуполым, как большинство деревьев и как солнечный жук Хепра, родящий себя самого. Мир разделен на два пола, мы говорим о мужском и женском начале и даже расходимся в их определении, и поэтому народы спорят, какое дерево считать мужским — плодоносное или неплодоносное. Но основа мира и древо жизни принадлежат не к мужскому полу и не к женскому, а к тому и другому сразу. Но что значит — и к тому и другому? Это значит — ни к тому, ни к другому. Они девственны, как бородатая богиня, и являются одновременно отцом и матерью сущего, ибо они выше пола к плодовитое их целомудрие не имеет ничего общего с половой разностью.

Потифар молчал, опершись башнеобразной громадой своего тела на прекрасный свой посох, и глядел в землю, под ноги испытуемого. Он чувствовал в лице, в груди и во всех своих членах какое-то тепло, какое-то легкое волнение, которое приковывало его к этому месту и не хотело, чтобы он двинулся дальше, хотя он, при всей своей светской ловкости, не знал, как продолжать такой разговор. Если из барской робости он не стал вникать в личные обстоятельства какого-то раба, то теперь, уже по робости другого рода, эта беседа показалась ему рискованной из-за направления, какое она приняла. Он вполне мог бы удалиться, а молодой чужеземец остался бы стоять у своего дерева; но он не смел, не находил в себе силы так поступить. Он колебался, и в его колебания вторгся степенный голос коротышки Дуду, супруга Цесет, который счел нужным напомнить:

— Не продолжить ли тебе, великий наш господин, свой путь и не повернуть ли к дому? Огни неба уже догорают, и того и гляди, из пустыни повеет холодом. Не подхватить бы тебе насморк, ибо ты без плаща.

К досаде Дуду, носитель опахала пропустил его слова мимо ушей. Тепло в голове сделало его глухим к разумным речам. Он сказал:

— Вдумчивый же ты, однако, садовник, юноша из Канаана.

И, не в силах отвязаться от выражения, которое так запомнилось ему своим звучанием и смыслом, он спросил:

— И много их было — стад твоего отца?

— Очень много. Земля была для них почти что непомерительна.

— Значит, твой отец жил беззаботно?

— Кроме заботы о боге, у него не было забот, господин.

— А что такое забота о боге?

— Она распространена во всем мире, о господин. С большим или с меньшим счастьем, с большей или с меньшей удачей ей предаются все люди на свете. Но на людей моего племени она была возложена с особенно давних пор, и поэтому моего отца, царя стад, называли также князем от бога.

— Ты именуешь его даже царем и князем! Значит, дни детства ты прожил в полном благополучии?

— Твой раб, — отвечал Иосиф, — вправе сказать, что в дни детства он умахался елею радости и жил в почете и достатке. Ибо отец любил его больше, чем его собратьев, и обогащал его дарами своей любви. Так, он подарил сыну один священный наряд с вытканными на нем святилами и высокими знаками, — это было платье обмана, одеяние замены, оно осталось от матери, и сын носил его вместо нее. Но оно было растерзано зубами зависти.

Потифар не думал, что тот лжет. Обращенный в прошлое взгляд юноши, проникновенность его речи свидетельствовали о противном. Некоторую туманность его выражений можно было отнести на счет его иноземности, а кроме того, она явно таила в себе зерно подлинности.

— Как же ты попал... — сказал было носитель опахала, но ему хотелось выразиться помягче, и он спросил: — Как же из твоего прошлого получилось твое настоящее?

— Я умер для прежней жизни, — ответил Иосиф, — и у тебя на службе мне была дарована новая жизнь, господин. Зачем мне утруждать твой слух подробностями моей истории и остановками на моем пути? Я назвал бы себя человеком скорби и радости. Осыпанный дарами был ввергнут в пустыню и горе, похищен и продан. Он вдоволь хлебнул горя после блаженства, его пищей были страданье и скорбь. Ибо его братья послали ему вслед свою ненависть и поставили силки, чтобы его поймать. Они выкопали яму перед его ногами и бросили его жизнь в яму, где его обителью была темнота.

— Ты говоришь о себе?

— О последнем из твоих рабов, господин. Он три дня пролежал связанный в дольном жилище и уже поистине засмердел; ибо, подобно овце, он вымарался в собственных испражнениях. Но путники, кроткие души, вытащили его по доброте сердечной из пропасти. Они накормили новорожденного молоком и прикрыли одеждой его наготу. А затем они привели его к твоему дому, о Акки, и ты, великий водочерпий, сделал его по доброте сердечной своим садовником и помощником ветра при деревьях своего сада. Поэтому его второе рождение можно считать таким же чудом, как и первое.

— Как и первое?

— Господин, от смущения твой слуга провинился в обмолвке. Мой язык не хотел сказать того, что сказал.

— Но ты сказал, что твое рождение было чудом?

— Это, великий мой господин, сорвалось у меня с языка, потому что я стою перед тобой. Мое рождение было девственным.

— Как это может быть?

— Мать моя, — сказал Иосиф, — была миловидна, Хатхор запечатлела на ее челе поцелуй миловидности. Но тело ее не отверзалось многие годы, так что она уже отчаялась стать матерью и никто из людей не надеялся увидеть плод ее миловидности. Однако по истечении двенадцати лет она зачала и, когда на востоке всходило созвездие Девы, родила первенца в сверхъестественных муках.

— Ты называешь такое рождение девственным?

— Нет, господин мой, если это тебе не угодно.

— Нельзя утверждать, что эта мать родила девственно только на том основании, что роды ее происходили под знаком Девы.

— Не только на этом основании, о господин мой. Нужно принять в расчет и другие обстоятельства — поцелуй миловидности и то, что многие годы тело этой божественной девы не отверзалось. Все это вместе с созвездием Девы дает уже достаточно оснований для моего утверждения.

— Но ведь девственных рождений не бывает на свете.

— Нет, господин мой, коль скоро ты это говоришь.

— А разве, по-твоему, такие случаи встречаются в мире?

— Тысячами, господин мой! — радостно воскликнул Иосиф. — Они тысячами встречаются в мире, который разделен на два пола, и вселенная полна возвышающихся над этой рознью зачатий и родов. Разве не луч луны благословляет тело той стельной коровы, что родит Хапи? Разве не учит нас древнее поверье, что пчела сотворена из листьев дерев? Или возьми опять же деревья, питомцев твоего слуги, и их тайну: здесь природа играет принадлежностью к полу, то вовсе не различая, то прихотливо распределяя ее между ними, один раз так, а другой раз иначе, так что никто не знает, какого они пола, да и принадлежат ли они к какому-либо полу вообще, и люди держатся разных мнений на этот счет. Ведь деревья часто продолжают свой род и без участия пола — не через опыление и зачатие, а отводками и отростками или же саженцами, и садовники, кстати, сажают побеги, а не зерна пальмы, чтобы знать, какое получится дерево — плодоносное или неплодоносное. Но и при половом размножении пыльца и зачатие бывают порою сосредоточены в одном цветке, порою же распределены между цветками одного и того же дерева, а иногда между разными, плодоносными и неплодоносными, деревьями сада, и дело ветра — переносить семя с цветка пыльцы на цветок зачатия. А разве это, если разобраться, настоящее половое оплодотворение? Не родственно ли то, что делает ветер, оплодотворению коровы лучом луны, не является ли это уже переходом к более высокому оплодотворению и к девственному зачатию?

— Оплодотворяет не ветер, — сказал Потифар.

— Не говори этого, великий мой господин! Я слышал, что ласковое дуновение зефира иной раз оплодотворяет птиц задолго до запретной для охоты поры. Ибо это дуновение духа божьего, и ветер есть дух, и если о художниках Птаха, которые наполняют мир прекрасными изображениями, никто не может сказать, плодovitы ли они как мужчины или как женщины, ибо плодovitость эта двуполая и беспололая, то есть девственная, то и сам мир полон бесполовых оплодотворений и зачатий от дуновения духа. Бог — отец и творец мира и всего сущего не потому, что они рождаются от семени. Иной силой вложил Предвечный в материю то плодородное начало, которое видоизменяет и размножает ее. Все многообразие вещей существовало сначала в помыслах бога, и творец этого многообразия — слово, несомое дуновением духа.

Такие занятные сцены никогда еще не разыгрывались ни в доме, ни во дворе египтянина. Потифар стоял, опершись на посох, и слушал. Тонкие черты его лица отражали борьбу терпимой насмешливости, которую он в угоду приличиям старался изобразить, с некоей удовлетворенностью, достаточно полной, чтобы назвать ее радостью, даже счастьем, — настолько, в сущности, полной, что вряд ли следовало бы и говорить о какой бы то ни было борьбе с иронией, ибо победа благодарной удовлетворенности была явно предreshена... Рядом с ним стоял остробородый Монт-кау, управляющий, и смущенно, недоверчиво, благодарно, с признательностью, походившей уже скорей на восторг, глядел своими маленькими, покрасневшими, припухшими снизу глазами в говорящее лицо купленного им раба — этого мальчика, который делал нечто такое, что его самого, управляющего, научила делать его верность слуги, его любовь к своему благородному господину, но только делал это куда более возвышенным, нежным и действенным образом... А за Монт-кау стоял Дуду, супруг Цесет, оскорбленный глухотой господина к его словам, но не осмеливавшийся при виде такого внимания к этому молодому рабу вмешаться вторично и прекратить беседу, в которой этот болван явно добился большого успеха, — и добился к его, карлика-супруга, невыгоде. Ибо ему казалось, что бесстыдные и неуместные речи этого раба, столь жадно впиваемые хозяином, наносят какой-то урон его, карлика, достоинству и обесценивают то, что составляло надежную гордость его жизни и его преимущество перед некоторыми как маленькими, так и большими людьми... Если уж речь зашла о маленьких, то здесь был еще сморчок Боголюб, взволнованный и восхищенный успехом своего подопечного, предельно довольный ловкостью, с какой тот воспользовался минуткой и доказал, что он, карлик, не даром за него ратовал... Еще стояли здесь два писца; ничего подобного они никогда не видали, но пытливый взгляд на лица хозяина и управ-

ляющего, а также собственные впечатления не дали им повода для смеха. А у своего дерева, перед этими слушателями, с улыбкой на устах, стоял Иосиф и витийствовал самым очаровательным образом. Он давно уже отказался от рабьей позы, которая его поначалу сковывала, и стоял с приятно непринужденным видом, по-ораторски сопровождая умелыми жестами свои рассуждения о дуновении духа и о высшем зачатъе, лившиеся из его уст плавно и без усилий, с веселой серьезностью. Совсем так же стоял он в темнеющей колоннаде этого сада, как стоит в храме вдохновенное небом дитя, которому бог, прославляя себя его устами, развязывает язык, чтобы оно вещало и поучало на диво учителям.

— Бог единичен, — продолжал он радостно, — но божественное не единично, и не единично в мире плодovitое целомудрие, непричастное ни к мужскому, ни к женскому полу, ибо оно выше пола и не имеет ничего общего с половой рознью. Позволь мне, поскольку я перед тобою стою, господин, произнести краткое похвальное слово подобному целомудрию! Ибо глаза мои открылись во сне, и я увидел благословенный дом, богохранимое надворье в далекой стране, жилые постройки, амбары, сады, поля и мастерские, людей и скот без числа. Там царили рачительность и удача, люди вовремя сеяли и вовремя жали, маслобойные мельницы не стояли без дела, из давилных чанов струилось вино, из сосцов жирное молоко, а из восковых сотов сладкое золото. Но благодаря кому все это ладилось, вершилось и процветало? Благодаря главному хозяину, который всем владел! Стоило ему глазом моргнуть — и все повиновались ему, его вдох был законом, его выдох приказом. Он говорил человеку; «Иди!» — и тот шел, — он говорил ему: «Сделай!» — и тот делал. А без него все остановилось бы, замерло и заглохло. Вся челядь кормилась его щедротами и славилась его имя. Отцом и матерью был он хозяйству и дому, ибо взор его глаза был подобен лучу луны, от которого зачинает родящая бога корова, дуновение слова его походило на ветер, что переносит пыльцу от дерева к дереву, а всякий почин и всякий успех вытекали из лона его естества, как золото меда из сотов. Вот какой сон о плодovitом целомудрии приснился мне далеко отсюда, вот как узнал я, что на свете есть иная, не земного свойства и пола, не плотская, а божественная духовная плодотворность. Я сказал уже, что народы спорят о том, какое дерево назвать мужским, плодоносное или опыляющее, и говорят об этом по-разному. А почему они говорят об этом по-разному? Потому что слово — это дух и потому что спорными вещи становятся в духе. Я видел одного человека — господин мой, он был ужасен мощью своего тела и страшен силой плоти своей, это был великан, сын Энака, и душа его была жестка, как воловья кожа. Он ходил на льва, бил тура, крокодила и носорога и всех их всегда побеждал. И если, бывало, спрашивали его: «Неужели у тебя нет страха?», он отвечал: «А что это такое — страх?» Ибо он не знал страха. Но видел я на свете и другого сына человеческого, душой он был нежен так же, как плотью, и страх был ему куда как знаком. И вот он взял щит и копье и сказал: «Ну-ка, страх мой, попробуй-ка подступись!» И уложил льва, тура, крокодила и носорога. Так вот, если бы ты, господин мой, пожелал испытать своего раба и вздумал спросить его, которого из этих двух следовало бы скорее назвать мужчиной, — бог, может быть, и подсказал бы мне верный ответ.

Потифар стоял, опершись на высокий свой посох и немного наклонившись вперед; по голове и по всему его телу разливалось приятное тепло. Говорили, что такое блаженное чувство испытывают люди, которым, в образе странника, нищего или какого-нибудь родственника или знакомого, является бог, чтобы вести с ними беседы. Это чувство будто бы и помогало им узнать бога или хотя бы проникнуться таким счастливым подозрением. Своеобразное блаженство, их охватывавшее, указывало этим людям, что хотя их собеседник — действительно странник, нищий, действительно тот или иной их знакомый или родственник и что хотя здравый смысл велит считаться с этой действительностью и вести себя соответственно, нужно все же — именно ввиду столь поразительного блаженства — не забывать и о других, одновременно открывающихся возможностях. Одновременность — это природа и форма бытия всех вещей, действительности закутаны одна в другую, и нищий отнюдь не перестает быть нищим от того, что в нем, может быть, скрывается бог. Разве Нил не бог, имеющий облик быка или

венценосного женомужа с двойственной грудью, разве он не создал эту страну и не кормит ее? Но это не исключает делового отношения к его воде, такого же трезвого, как она сама: ее пьют, по ней плавают на судах, в ней стирают холсты, и только блаженство, испытываемое тобою, когда ты пьешь ее или купаешься в ней, равнозначно напоминанию о более возвышенном к ней отношении. Граница между земным и небесным зыбка, и стоит только остановить взгляд на каком-либо явлении, как оно уже начинает двоиться. Кроме того, существуют начальные и промежуточные ступени божественного, наметки, половинчатые и переходные формы. Хотя в рассказе этого юноши о его прежней жизни было много знакомого, хотя в нем было много лукавых напоминаний, походивших до известной степени на литературные реминисценции, трудно было сказать, что тут шло от произвольной подтасовки фактов и что от самой действительности — а эти черты и были свойственны жизни полубожественных благодетелей, приносивших исцеление, утешавших или спасавших. Юный садовник знал эти черты; он духовно овладел ими и сумел приспособить к ним личные свои задатки. Это могло быть заслугой его живого ума; но поразительное чувство блаженства, овладевшее Потифаром, свидетельствовало о том, что и обстоятельства, со своей стороны, по меньшей мере помогли Иосифу. Потифар сказал:

— Итак, друг мой, я тебя испытал, и ты недурно выдержал испытание. Однако, — добавил он поучающе, с дружеской назидательностью, — нельзя говорить о девственном рождении только на том основании, что роды проходили под знаком Девы. Запомни это.

Он сказал это в угоду здравому смыслу, считаясь с практической стороной представшей ему действительности, как бы затем, чтобы не дать богу заметить, что он узнал его.

— Отдохни же теперь от дневных трудов со своими товарищами, — сказал он, — а с новым солнцем примись опять за службу при моих деревьях.

И с улыбкой на раздумывавшемся лице он уже повернулся, чтобы уйти, но, сделав каких-нибудь два шага, еще раз остановил своих окольных, которые следовали за ним по пятам, так как остановился сам, и, чтобы не возвращаться, подозвал к себе Иосифа кивком головы.

— Как тебя зовут? — спросил он. Ибо он забыл об этом спросить.

Не преминув предослать своему ответу паузу, которую никак нельзя было объяснить тем, что он задумался, Иосиф с серьезным видом поднял глаза и сказал:

— Озарсиф.

— Хорошо, — быстро и коротко ответил носитель опахала и торопливо зашагал дальше. Торопливыми были и его слова, когда он (это слышал и почти тотчас же передал Иосифу карлик Боголюб) бросил на ходу Монт-кау, своему управляющему:

— Этот слуга, которого я испытывал, на редкость умен. Думаю, что за деревьями ухаживают умелые руки. Но, пожалуй, не следует его так уж долго задерживать на этой работе.

— Ты сказал, — ответил Монт-кау, зная, что ему теперь делать.

ИОСИФ ЗАКЛЮЧАЕТ СОЮЗ

Неспроста привели мы здесь, слово в слово, в точности как он протекал, со всеми его оборотами и поворотами, этот нигде больше не упоминаемый разговор. С него-то и началась знаменитая карьера Иосифа в Потифаровом доме; благодаря той встрече египтянин сделал его своим личным слугой, а впоследствии поставил его над домом своим и отдал на руки его все, что имел: отчет о ней, как резвый скакун, перенес нас в те семь лет, что привели сына Иакова к новой вершине жизни перед новым смертельным падением. Во время описанного испытания он доказал, что понял, как надо вести себя в этом благословенно-горестном доме, куда его продали, а именно — лгливо помогать друг другу и бережной услужливостью поддерживать его, дома, пустое достоинство. И доказал, что не только понял здешние требования, но и способен выполнять их ловчее и лучше, чем кто-либо.

Таков именно и был вывод Монт-кау, который признал, что своей невероятной ловкостью в услужливой лесте Иосиф оставил его, управляющего, с его преданным радением о душе благородного господина далеко позади, — признал без ревности и с радостью, прибавим мы, чтобы отдать должное его порядочности и существенному различию между угодливостью и угождением. По сути, не было даже нужды в хозяйском распоряжении, чтобы побудить управляющего тотчас же после сцены в саду вытащить купленного им раба из темноты низшей службы и открыть перед ним более светлые возможности. Ведь мы давно знаем, что до сих пор Монткау воздерживался от этого только из-за стыдливой робости перед чувствами, тайно смутившими его при первом взгляде на раба со свитком и весьма родственными ощущениям самого Потифара во время беседы с рабом-садовником.

Поэтому на следующий же день, не успев Иосиф после утреннего киселя вновь приступить к обязанностям подмастерья Хун-Анупа и помощника ветра, Монткау вызвал этого еврея к себе и объявил ему о решительных изменениях в его службе, которые счел нужным назвать запоздалыми и за задержку которых в известной мере упрекнул Иосифа. Каковы, однако, люди и как любят они переворачивать все вверх ногами! Он сделал вид, что чуть ли не сердится, и сообщил ново назначенному о его счастье весьма странным образом, представив дело так, будто по вине Иосифа недопустимо затянулось какое-то неправомерное состояние.

Он принял его неподалеку от стойл, во дворе, между людской, гаремом и кухней.

— Наконец-то! — ответил он на приветствие Иосифа. — Хорошо, что ты, по крайней мере, приходишь, когда тебя зовут. Ты, наверно, думаешь, что так будет всегда и ты до окончания дней сможешь околачиваться среди деревьев? Как бы не так! Теперь мы поговорим по-другому, пора прекратить баловство. Будешь служить в доме — и все тут. Будешь прислуживать господам в столовом покое, подавать блюда и стоять позади кресла фараонова друга. Никто не спрашивает тебя, нравится это тебе или нет. Ты достаточно долго занимался пустяками и уваливал от высших обязанностей. На кого ты похож? Все тело и вся одежда в древесной коре и в пыли сада! Ступай и приведи себя в порядок! Получи в кладовой серебристый набедренник слуг стола, а у цветоводов приличный веночек для волос — или, по-твоему, стоять за креслом Петепра можно и без этого?

— Я не думал, что смогу там стоять, — ответил Иосиф тихо.

— Вот именно, мало ли что ты думал. И еще приготовься: после трапезы, испытания ради, ты считаешь господину из свитков, прежде чем он уснет, это будет в северной колонной палате, где всегда прохладно. Надеюсь, ты сделаешь это сносно?

— Тот мне поможет, — позволил себе ответить Иосиф, уповая на снисходительность того, кто удалил его в Египет, и действуя по правилу; «С волками жить — по-волчьи выть». — А кто читал господину до сих пор?

— До сих пор? Аменемуйе, воспитанник книгохранилища. Почему ты об этом спрашиваешь?

— Потому что, клянусь Сокрытым, я не хотел бы никому перебивать дорогу, — сказал Иосиф, — и не хотел бы обидеть человека, отняв у него дело его чести.

Монт-кау очень порадовала такая неожиданная щепетильность. Со вчерашнего дня — если только со вчерашнего дня — он предчувствовал, что способности молодого человека позволят ему пойти весьма далеко, соревнуясь за должности в этом доме, дальше, чем тот сам предполагал, и уж гораздо дальше места чтеца, с которого он теперь вытеснял Аменемуйе; поэтому такая деликатность была ему приятна, хоть он и принадлежал к людям рувимовского толка, которые видят счастье и честь своей души в том, чтобы быть «справедливыми и честными», иными словами, в том, чтобы радостно подчинять свои намерения, даже в ущерб себе, намерениям высших сил. К такой радости и к такой чести Монт-кау стремился по самой природе своей — может быть, потому, что он был не вполне здоров и у него часто ныла почка. Тем не менее, повторяем, заботливость Иосифа пришлась ему по душе, и он сказал:

— Мне кажется, ты слишком предупредителен для своего положения. О чести и об устройстве Аменемуйе предоставь уж заботиться ему самому и мне! К тому же такая предупредительность — обратная сторона нескромности. Повинуйся приказу, и дело с концом.

— Это приказал великий господин?

— Выполняй то, что тебе приказал управляющий. А что я тебе сейчас приказал?

— Пойти привести себя в порядок.

— Вот и ступай!

Иосиф поклонился и сделал несколько шагов вспять.

— Озарсиф! — сказал управляющий более мягким голосом, и тот снова приблизился к нему.

Монт-кау положил руку ему на плечо.

— Ты любишь господина? — спросил он, и маленькие его глазки с толстыми слезными мешками пытливо и с болью заглянули в лицо Иосифу.

Странно волнующий, связанный со столькими воспоминаниями вопрос, знакомый Иосифу с детства! Так спрашивал Иаков, посадив к себе на колени своего любимца, и так же пытливо, с такой же болью заглядывали в лицо ребенка его карие, с нежными припухлостями железок глаза. И проданный в рабство невольно ответил формулой, которая была уместна в этом всегда повторяющемся случае и предопределенность которой не нанесла ущерба ее внутренней жизни:

— Всею душой, всем сердцем и всеми помыслами.

Управляющий кивнул так же удовлетворенно, как некогда Иаков.

— Это хорошо, — сказал он. — Он добр и велик. Ты говорил с ним вчера в саду самым похвальным образом, не всякий бы так сумел. Я увидел, что ты способен на большее, чем прощаться на сон грядущий. Были у тебя, правда, и ошибки: ты, например, назвал свое рождение девственным только потому, что оно случилось под знаком Девы, но это можно объяснить твоей молодостью. Боги дали тебе тонкие мысли и развязали тебе язык, чтобы высказывать их ладно и складно. Господину это понравилось, и ты будешь стоять за его креслом. Но кроме того, как мой ученик и подручный, ты будешь сопровождать меня во время моих обходов, чтобы освоиться в доме, на усадьбе и в поле, познакомиться с хозяйством и охватить его взглядом, а со временем стать и моим помощником, ибо у меня много забот и порою я чувствую себя не совсем хорошо. Ты доволен?

— Если я определенно никому не перебиваю дорогу, находясь за креслами господина и рядом с тобой, — сказал Иосиф, — то, конечно, я буду очень доволен и благодарен, хотя и не без некоторой робости. Ибо, признаться по совести, кто я такой и что я умею? По милости моего отца, царя стад, меня, правда, немного учили писать и говорить, но вообще-то я просто умащался елеем радости и не знаю ни одного ремесла — ни сапожного, ни клеильного, ни гончарного. Как же отважусь я ходить между теми, которые сидят и знают свое дело: один — одно, а другой — другое, и неужели у меня хватит наглости распорядиться ими и за ними присматривать?

— А я, ты думаешь, умею сапожничать и клеить? — ответил Монт-кау. — Я не умею также делать горшки, кресла или гробы, в этом нет нужды, и никто от меня этого не требует, — и уж во всяком случае, не те, кто умеет. Ибо я другого происхождения и из другого теста, и у меня всеобъемлющая голова, отчего я и стал управляющим. Работники не спрашивают тебя, что ты умеешь, они спрашивают только, кто ты таков, ибо с этим связано другое умение — умение распорядиться. Кто умеет так говорить с господином, как ты, у кого так складно облекаются в слова тонкие мысли, тот не должен сидеть и корпеть над чем-нибудь одним, а должен расхаживать по всей усадьбе рядом со мной. Ибо власть и обобщение заключены в слове, а не в руке. Но может быть, по-твоему, я не прав и ты возразишь против моего мнения?

— Нет, великий управляющий. Я благодарно соглашаюсь с тобой.

— Вот это, Озарсиф, верное слово! Пусть же оно послужит мне и тебе, старику и молодому, порукой нашего согласия в служении нашему господину и в любви к благородному Петепра, военачальнику фараона. Служа ему, давай заключим друг с другом союз, которому каждый будет верен до самого своего конца, так что даже смерть старшего не расторгнет этого союза, ибо подобно тому как сын и преемник оправдывает и защищает отца, оставшийся в живых будет в союзе с мертвым оправдывать и защищать нашего благородного господина. Понятно ли и по сердцу ли это тебе? Или, может быть, тебе это кажется диким и странным?

— Нисколько, отец мой и управляющий, — отвечал Иосиф. — Для меня твои слова вполне приятны и вразумительны, ибо я издавна знаю, что такое союз, который заключают с господом и между собой, служа своей любви к господу, и с моей точки зрения это самая обычная и наименее странная вещь на свете. Клянусь головой своего отца и жизнью фараона — я твой союзник.

Купивший Иосифа все еще держал руку у него на плече и теперь пожал его руку другой рукой.

— Хорошо, Озарсиф, — сказал он, — хорошо. Ступай же и приведи себя в порядок, чтобы прислуживать и читать вслух господину. А когда он тебя отпустит, приходи ко мне, и я познакомлю тебя с хозяйством дома и научу надзирать и обобщать!

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. БЛАГОСЛОВЕННЫЙ

ИОСИФ ПРИСЛУЖИВАЕТ И ЧИТАЕТ ВСЛУХ

Знаете ли вы, как улыбаются и опускают глаза люди низкого звания, когда, непонятным для них образом, на их взгляд несправедливо, возносят и повышают в чине какого-нибудь человека из их среды, с которым у них вот уж никак не связывалось таких ожиданий? Эти улыбки, эти переглядыванья, эти потупленные взоры, то смущенные, то ехидные, то завистливые, а то и снисходительные, пожалуй, даже восхищенные прихотью счастья и начальства, Иосиф замечал в ту пору изо дня в день: впервые заметил тогда в саду, когда сообщили, что его хочет видеть Монт-кау — из всех именно его, какого-то верхолаза, какого-то мальчишку, подсаживающего метелки, — а потом уже замечал на каждом шагу. Ибо теперь началось вознесение, и притом очень многообразное вознесение его главы: если он, как утверждает наша история, сделался приближенным Потифара и тот постепенно отдал весь свой дом на руки еврейки, — то все это было уже подготовлено и, как зародыш, заключено в словах Монт-кау, все это было заложено в них, как заложено в ростке медленно, долгие годы растущее дерево, и требовалось только время, чтобы все это развилось и свершилось.

Итак, Иосиф получил серебристый набедренник и веночек, положенные слугам столовой палаты, и незачем говорить, что это убранство придавало ему весьма привлекательный вид. Именно такой вид и должны были иметь рабы, допущенные прислуживать Петепра и его семье во время трапез; но этот сын миловидной выделялся среди них еще какой-то высшей, не сводившейся к простой миловидности красотой, в которой духовное и физическое начала соединялись и возвышали друг друга.

Ему было указано место позади кресла Петепра на помосте, но сначала — у каменной площадки в противоположной, узкой стороне комнаты, где стена была выложена каменными плитами и где стояли бронзовые кувшин и кружка. Когда члены сиятельной семьи входили в столовую, будь то из северного покоя или из западного, на этом, снабженном ступенькой возвышении, им поливали руки водой; обязанностью Иосифа было сливать воду на маленькие и белые, в перстнях с печатками и в кольцах с жуками руки Потифара и подавать ему благоуханное полотенце. Покуда господин вытирал руки, Иосиф должен был быстро пройти

по циновкам и пестротканым половикам к подмосткам в противоположном конце комнаты, где стояли кресла хозяев — священных родителей с верхнего этажа, а также их сына и Мут-эм-энет, госпожи. Там он становился за креслом Потифара, дожидаясь хозяина и потчевал его кушаньями, которые подавали ему, Иосифу, другие слуги в серебристых набедренниках. Ибо сам Иосиф не бегал взад и вперед, принося и унося блюда, он только передавал то, что вносили другие, другу фараона, который, таким образом, принимал все, что выбирал и ел, из его рук.

Столовый покой был высок и светел, хотя дневной свет проникал сюда не непосредственно, а только из смежных помещений, особенно из западной наружной палаты, через семь имевшихся здесь дверей и через окна над ними, в которые были вставлены плиты из прозрачного, красиво просвечивавшего камня. Дневной свет усиливали очень белые стены с расписными фризами у стель же белого потолка, разлинованного голубыми балками, в которые упирались пестрые возглавья деревянных, окрашенных в голубой цвет и покоившихся на круглых подножьях колонн. Голубые колонны были изящным украшением, да и все в будничной столовой Потифара было изящно, красиво, отличалось веселой нарядностью и роскошеством: хозяйские кресла из черного дерева и слоновой кости, украшенные львиными головами и обложенные вышитыми пуховыми подушками, благородные светильники и треножники для курений у стен, вазы, сосуды для мирры, обвитые цветами кувшины с большими ручками на особых подставках и все другие предметы барского обихода, какими блистала эта палата. В середине ее находился довольно большой поставец, высоко, как жертвенник Амуна, уставленный кушаньями, которые передавались слугами-разносчиками слугам, непосредственно подающим, и которых было слишком много, чтобы вельможная четверка на помосте могла хотя бы с грехом пополам справиться со всеми этими жареными гусями, утками и говядиной, овощами, пирогами и хлебами, огурцами, дынями и сирийскими фруктами, разложенными самым соблазнительным образом. Среди блюд возвышалась золотая настольница, новогодний подарок фараона, изображавшая храм среди диковинных деревьев с обезьянами на ветвях.

Во время трапез в столовой раздавались только приглушенные звуки. Босые ноги слуг неслышно ступали по подстилкам, а беседа господ была, ввиду их взаимной почтительности, немногословной и тихой. Они предупредительно наклонялись один к другому, предлагали друг другу между переменах блюд понюхать цветок лотоса, подносили ко рту соседа то или иное лакомство, и нежная эта заботливость внушала тревогу. Кресла были расставлены попарно, с небольшим промежутком. Петепра сидел рядом с той, что его родила, а Мут, госпожа, рядом со старым Гуием. Не всегда показывалась она в том виде, в каком впервые явилась перед Иосифом во дворе, проплывая мимо него на носилках, — с посыпанными золотой пылью кудрями настоящих своих волос. Она часто носила спускавшийся ниже плеч парик, голубой, золотистый или русый, весь в мелких-премелких завитках, отороченный снизу сученой бахромкой и увенчанный плотно прилегавшей к нему диадемой. Прическа, немного похожая на головную повязку сфинкса, сердцевидно извивалась по белому лбу; с обеих сторон на щеки падало по нескольку прядей или кистей, с одной из которых Мут-эм-энет иногда играла, своеобразно окаймлявших это и без того своеобразное лицо, где глаза никак не соответствовали рту, ибо они были строги, хмуры и малоподвижны, а рот извилист и странно углублен в уголках. Обнаженные, белые, словно бы художниками Птаха высеченные и лощенные, прямо-таки божественные руки, которыми орудовала госпожа за едой, были на близком расстоянии не менее замечательны, чем издали.

Друг фараона ел своим изящным ртом весьма много, отдавая должное каждому блюду, ибо такая башня из плоти требовала и соответствующего подкрепления; кроме того, за любой трапезой приходилось многократно наполнять его кубок содержимым длинношеего кувшина, так как вино усиливало в нем, видимо, чувство собственного достоинства и веру в то, что он, несмотря ни на какие происки Гор-эм-хеба, самый настоящий военачальник.

Госпожа, напротив, обхаживаемая своей изящной и тоже очень нарядной служанкой в тонком, как паутина, платье, под которым — не дай бог увидеть это отцу, Иакову! — на ней не было почти ничего, — Мут-эм-энет, напротив, ела без особой охоты, являясь в столовую, по-видимому, только обычая и порядка ради: она брала, например, жареную утку, откусывала, еле открыв рот, небольшой кусок от грудной части и бросала ее к объедкам... Что же касается священных родителей, которым прислуживали уже знакомые нам дурочки (ибо они терпеть не могли взрослой прислуги), то эти просто ворчали и брюзжали и сидели за трапезой только из приличия, так как им достаточно было двух-трех кусочков какого-нибудь овощного блюда или печенья, причем Гуий всегда беспокоился, как бы не взбунтовался его желудок и его, старика, не прошибло холодным потом... Иногда на ступеньке помоста, у ног хозяев, сидел и грыз что-нибудь Бес-эм-хеб, Боголюб, холостой карлик, хотя вообще-то он ел за лучшим людским столом, где кормились также сам Монт-кау, смотритель одежной Дуду, главный садовник Краснопузый и несколько писцов, одним словом — старшие слуги дома, и где вскоре стал кормиться Иосиф, именуемый Озарсифом слуга-хабир; и иногда этот потешный визирь забавно плясал в своем измятом наряде вокруг поставца. В дальнем углу покоя обычно сидел старик-арфист, который медленно перебирал струны узловатыми пальцами и что-то невнятно напевал. Он был слеп, как полагалось певцу, и немного умел предсказывать будущее, но только с запинками и неточно.

Вот как проходили повседневные трапезы Петепра. Телохранитель часто бывал у фараона во дворце Мерима'т, на другом берегу реки, или же сопровождал бога, когда тот на царском своем струге направлялся вверх или вниз по Нилу для осмотра каменоломен, рудников и построек на суше и на воде. В такие дни застольная служба отменялась, и голубой покой пустовал. Если же господин бывал дома, то по окончании полуденной трапезы с ее многочисленными изъявлениями взаимной нежности, когда священные родители, с помощью своих прислужниц, ковьяляли на верхний этаж, а их невестка, схимница луны, либо уходила в покой, отведенный ей в главном здании и отделенный от спальни ее супруга северной колонной палатой, либо на львиных своих носилках и в окружении слуг удалялась в Дом Замкнутых, — Иосиф следовал за Потифаром в одну из соседних комнат, представлявших собой просторные помещения с расписными полупроемами в трех стенах и с легкими колоннами вместо четвертой, передней: в северную, что переходила в столовую и приемную широкой своей стороной, или в западную, еще более красивую, так как из нее открывался вид на сад, на деревья сада и на возвышение беседки. Зато у северной комнаты было то преимущество, что оттуда господин мог видеть хозяйственный двор, амбары и стойла. К тому же она была прохладнее.

И там и здесь имелись великолепные вещи, которые Иосиф разглядывал с той смесью восторга и насмешливого сомнения, какую всегда вызывала в нем высокая культура земли Египетской: то были милостивые дары фараона своему числящемуся полководцем слуге, вроде той золотой настольницы в трапезной, расставленные по ларям и по полкам и развешанные по стенам, — маленькие статуи из серебра и золота или из черного дерева и слоновой кости, изображавшие все как одна царственного дарителя Неб-ма-ра-Аменхотпе, приземистого толстяка в различных украшениях, венцах и прическах; бронзовые сфинксы — опять-таки с головой этого бога; всяческие изваяния животных — например, бегущее стадо слонов, сидящие павианы, газель с цветами в зубах; драгоценные сосуды, зеркала, опахала и плети; но прежде всего оружие, воинское оружие в большом количестве и всевозможных видов: топоры, кинжалы, чешуйчатая броня, обтянутые мехом щиты, луки и бронзовые серповидные мечи; и было удивительно, что фараон, хоть и преемник великих завоевателей, но сам уже отнюдь не воин, а предприимчивый строитель и богатый князь-миротворец, так подарил боевым снаряжением своего царедворца — этого рувимоподобного великана, который тоже, казалось, отнюдь не рвался топить в крови племена смолоедов и жителей песков.

Среди убранства этих покоев были также красивые, с резными изображениями, подставки для книг, и когда Потифар вытягивал громаду своего тела на изящном диванчике, ка-

завшемся под его тяжестью особенно хрупким, Иосиф подходил к ним, чтобы предложить хозяину выбрать какой-нибудь свиток для чтения, например, приключения моряка с погибшего корабля на острове чудовищ; историю о царе Хуфу и Деди, который мог срastить с туловищем отрубленную голову; правдивую и подлинную историю о завоевании города Иоппе верховным военачальником его величества Мен-хапер-Ра-Тутмоса Третьего Тути, велевшим внести в город пятьсот воинов в мешках и корзинах; сказку о царском сыне, которому хатхоры предсказали, что он примет смерть от крокодила, змеи или собаки, — или еще что-нибудь. Выбор был велик. У Петепра было прекрасное, разностороннее собрание книг, размещенное на поставах обеих палат и состоявшее отчасти из занимательных сказок, подобных «Войне кошек и гусей», отчасти же из сочинений диалектического характера, таких, как воинственно-резкая переписка между писцами Гори и Аменемоне, из религиозных и магических текстов и ученых трактатов на темном, искусственном языке, списков царей от эпохи богов до эпохи иноземных пастушьих владык с указанием времени правления каждого сына Солнца и летописью достопамятных событий, включая чрезвычайные повышения налогов и важнейшие годовщины. Были здесь также «Книга о дыхании», книга «О пути через вечность», книга «Да цветет имя» и ученая топография потустороннего мира.

Потифар знал все это назубок. Если он слушал, то только чтобы еще раз услышать знакомое, как слушают одну и ту же музыку. Такое отношение к книгам было вполне понятно, ибо в подавляющем большинстве этих сочинений содержание и фабула почти ничего не значили и весь упор делался на красоты слога, на изысканность оборотов речи. Иосиф, который либо сидел, подобрав под себя ноги, либо стоял на покоем на кафедре возвышения, читал превосходно: плавно, правильно, внешне непритязательно, со сдержанным драматизмом и столь естественно владея словом, что самые трудные, самые книжные места приобретали в его устах легкость импровизации и разговорную удобопроизносимость. Его чтение проникало в сердце слушателя, и нельзя понять его возвышения в глазах египтянина, возвышения, известного лишь самим своим фактом, упустив из виду эти часы чтений.

Часто, впрочем, Потифар вскоре задремывал, убаюканный этим ломким, но приятным голосом, который говорил с ним так ровно и так умно. Но часто Потифар бдительно вмешивался в чтение, поправляя выговор Иосифа, обращая и свое, и чтеца внимание на художественные достоинства какой-нибудь риторической прикрасы, подвергая услышанное литературной критике или же выясняя точный смысл какого-нибудь темного места вместе с Иосифом, чье остроумие и толковательский дар всегда его восхищали. Со временем обнаружилось личное пристрастие господина к определенным произведениям изящного искусства — например, его слабость к «Песне уставшего от жизни в похвалу смерти», которую он, по мере того как умножались дни чтения, то и дело приказывал читать вслух и где смерть однозвучно-тоскливо сравнивалась со множеством приятных и вызывающих нежность вещей: с выздоровлением после тяжелой болезни, с запахом мирры и лотосов, с сидением под навесом в ветреный день, с прохладным напитком на берегу, с «дорогой под дождем», с возвращением моряка на боевом корабле, с прибытием в отчий дом после многих лет плена и с другими желанными ощущениями. Подобной всему этому, говорил поэт, видится ему смерть; и Потифар слушал его слова, слетавшие со старательных губ Иосифа, как слушают музыку, которую знают до мелочей.

Другим литературным произведением, его увлекавшим и потому часто читавшимся, было мрачное и жуткое предсказание губительного разлада в обеих странах и дикого безвластия в его итоге, ужасной всеохватывающей перемены, при которой бедные станут богатыми, а богатые — бедными, что будет сопровождаться запустением храмов и полным забвением службы богам. Почему, собственно, Петепра так любил слушать это пророчество, было неясно; возможно, что только из-за чувства ужаса, которое было приятно, поскольку богатые покамест еще были богаты, а бедные бедны, да и вообще все могло остаться по-прежнему, если только избегать беспорядка и приносить жертвы богам. На этот счет он не высказывался; не делал он

никаких замечаний и по поводу «Песни уставшего от жизни», да и относительно так называемых «Утешительных песен» с их приторно-ласковыми словами и любовными сетованиями он тоже хранил молчание. Эти романсы говорили о муках и радостях влюбленной девочки-птичницы, тоскующей о юноше и страстно желающей стать его хозяйкой, чтобы его рука всегда покоилась на ее руке. Если он не придет к ней ночью, жаловалась она приторно-ласково, она уподобится лежащей в могиле, ибо он ее здоровье и ее жизнь. Но это было недоразумение, ибо он тоже слег в своей спальне и посрамил искусство врачей своей болезнью, которая была не чем иным, как любовью. А потом она нашла его на ложе, и больше они уже не терзали друг друга душу, а сделали друг друга первыми людьми в мире, идя рука об руку, с пылающими щеками, по цветущему саду своего счастья. Время от времени Петепра приказывал читать вслух это любовное воркование. В таких случаях лицо его оставалось неподвижным, а глаза, которыми он медленно обводил комнату, выражали холодную внимательность, и он никогда не высказывался об этих песнях — будь то одобрительно или неодобрительно.

Но однажды, по прошествии уже многих дней, он спросил Иосифа, какого тот мнения об «Утешительных», и тогда впервые господин и слуга осторожно коснулись снова области того испытательного разговора в саду.

— Ты довольно хорошо, — сказал Потифар, — и словно бы устами самой птичницы и ее мальчика, читаешь мне эти песни. Они нравятся тебе, наверно, больше других?

— Мое стремление, — отвечал Иосиф, — угодить тебе, великий мой господин, независимо от предмета всегда одинаково.

— Возможно. Но, по-моему, такому стремлению помогают ум и сердце чтеца, иногда больше, иногда меньше. Не все предметы одинаково близки нам. Я не хочу сказать, что эту книгу ты читаешь лучше, чем прочие. Но это не мешает тебе читать ее охотней, чем прочие.

— Тебе, — сказал Иосиф, — тебе, господин мой, я читаю с одинаковой охотой решительно все.

— Отлично. Однако мне хотелось бы услышать твое мнение. По-твоему, эти песни красивы?

Лицо Иосифа приняло холодное, надменно-испытующее выражение.

— Да, довольно красивы, — сказал он, поморщившись. — Красивы, пожалуй, и приторно-нежны. Но, может быть, несколько простоваты, да, именно простоваты.

— Простоваты? Но ведь книга, совершенно выразившая простоту и прекрасно передавшая образец самых обычных человеческих отношений, будет жить века и тысячелетия. В твоём возрасте можно уже судить, образцово ли передан в этих речах такой образец.

— Мне кажется, — помедлив, ответил Иосиф, — что в словах этой птичницы и занемогшего юноши образцовая простота довольно удачно передана и прочно запечатлена.

— Тебе это только кажется? — спросил носитель опахала. — А я-то рассчитывал на твой опыт. Ты юн и красив лицом. Но ты говоришь так, словно сам никогда не ходил с такой птичницей по цветущему саду.

— Юность и красота, — возразил Иосиф, — бывают и более строгим украшением, чем то, каким венчает детей человеческих упомянутый сад. Твой раб, господин, знает одно вечно-зеленое растение, которое одновременно олицетворяет юность и красоту и служит украшением жертвы. Тот, кто носит его, сбережен, тот, кого оно украшает, оставлен в сохранности.

— Ты говоришь о мирте?

— О нем. Люди моего племени и я — мы называем его растением не-тронь-меня.

— Ты носишь этот цветок?

— Мое семя и мой род — мы носим его. Наш бог обручился с нами, он кровный наш суженый и очень ревнив, ибо он одинок и жаждет верности. А мы, как верная невеста, посвящены ему и сохранены для него.

— Как, вы все?

— Вообще-то все, господин мой. Но из друзей бога и старейшин нашего рода бог обычно выбирает одного, который должен с ним обручиться еще и особо, во всей красе своей освя-

щенной юности. Отец должен принести сына во всеожжение. Если он может, он делает это. Если не может, это делается без него.

— Мне неприятно, — сказал Потифар, ворочаясь на своем диване, — слышать, что кому-то делают то, чего сам он не хочет и не может сделать. Лучше расскажи о чем-нибудь другом, Озарсиф!

— Я могу смягчить свои слова, — ответил Иосиф, — ибо и всеожжение предполагает некоторую снисходительность и уступчивость. Его требуют, но именно поэтому оно запрещено и считается грехом, и кровь сына заменяется кровью животного.

— Какое ты сейчас употребил слово? Считается... чем?

— Грехом, великий мой господин. Считается грехом.

— А что такое... грех?

— Именно это, мой повелитель, — затребованное, но в то же время запретное, приказанное, но в то же время заказанное под страхом проклятья. Пожалуй, только мы одни в мире и знаем, что это такое — грех.

— Нелегкое это, наверно, знание, Озарсиф, если грех так мучительно противоречив.

— Бог тоже страдает из-за нашего греха, и мы страдаем с ним вместе.

— А ходить в сад птичницы, — спросил Потифар, — это, как я начинаю догадываться, тоже, по-вашему, грех?

— Это имеет к нему близкое отношение, господня. Если ты спросишь меня напрямик, грех это или не грех, я отвечу: грех. Не могу сказать, что мы это так уж любим, хотя и мы, наверно, на худой конец могли бы сочинить песню, подобную «Утешительным». Не то чтобы этот сад был для нас настоящим Шеолом, я не хочу заходить слишком далеко. Он для нас не мерзок, но страшен, ибо это — царство демонов, область затребованного, но запретного, целиком открытая ревности бога. Два зверя лежат у входа в него: одного зовут «Стыд», другого «Вина». А из веток выглядывает и третий, чье имя «Глумливый смех».

— Теперь, — сказал Петепра, — я начинаю понимать, почему ты назвал простоватыми «Утешительные песни». Однако я никак не могу избавиться от мысли, что судьба рода, связывающего образцовую простоту с грехом и глумливым смехом, опасна и странна.

— Это, господин мой, имеет у нас свою историю и свое место во времени и преданиях. Образцовая простота изначальна, а потом дело идет к усложнению. Жил-был один человек, друг бога, он любил свою миловидную так же сильно, как бога, и все было образцово просто в отцовской этой истории. Но бог из ревности отнял ее у него и погрузил ее в смерть, откуда она вышла к отцу уже в ином облике — в облике юноши-сына, в котором он теперь и любил миловидную. Итак, смерть сделала из возлюбленной сына, и возлюбленная жила теперь в сыне, который был юношей только вследствие смерти. Но любовь отца к сыну была иной, видоизмененной смертью любовью, — любовью уже не в образе жизни, а в образе смерти. Господин мой, конечно же, согласится, что обстоятельства этой истории всячески усложнились и утратили свою образцовую простоту.

— А юноша-сын, — сказал Потифар, улыбнувшись, — был, наверно, тот самый, чье рождение ты поспешил объявить девственным только потому, что оно случилось под знаком Девы?

— Может быть, после того, что я сказал, господин, — ответил Иосиф, — ты, по доброте своей, смягчишь или даже — кто знает! — милостиво возьмешь обратно этот упрек? Ведь если сын — юноша только вследствие смерти, если он мать в образе смерти, если он, как написано, вечером женщина, а утром мужчина, — то разве, посуди сам, у меня нет всех оснований говорить о девственности такого рождения? Бог избрал мое племя, и все носят жертвенное украшение суженой. Но один, сохраненный в угоду ревности, носит его еще дополнительно.

— Предоставим эти вещи самим себе, друг мой, — сказал телохранитель. — За болтовней мы далеко ушли от простого к сложному. Если ты просишь об этом, я согласен смяг-

чить и даже почти целиком взять назад свой упрек. А теперь почитай мне что-нибудь другое! Прочти мне о ночном путешествии Солнца по двенадцати домам подземного мира — я давно не слушал этой повести, хотя в ней, помнится, есть превосходные изречения и весьма изящные обороты.

И с большим вкусом Иосиф прочел о путешествии Солнца по преисподней. Голос чтеца и прекрасные слова, произнесенные этим голосом, поддержали в Потифаре то приятное чувство, каким наполнила его предшествующая беседа, как поддерживают пламя жертвенника, питая его снизу дровами, а сверху маслом, — приятное чувство, которое этот раб-еврей умел пробуждать в фараоновом друге снова и снова и которое было равнозначно доверию — будь то доверие к себе самому или к своему слуге. Все дело в этом двойном доверии, какое почувствовал Потифар к Иосифу, и в росте этого доверия, и потому-то мы сейчас и воспроизвели в точности еще вот эту беседу, которая, как и испытание в пальмовом саду, даже не упоминается в прежних изложениях нашей истории.

Мы не можем привести все беседы, которые питали приятное чувство доверия, выросшее до степени той безусловной привязанности, что составила счастье Иосифа. Мы довольствуемся некоторыми яркими примерами, показывающими его метод «льстить», и, прислуживая, «помогать» своему господину согласно договору, заключенному относительно Потифара с добрым Монт-кау. Да, да, мы можем употребить слово «метод», не боясь холода, который от него, возможно, исходит, так как мы знаем, что в искусстве, с каким Иосиф обращался со своим господином, расчетливость и сердечность переходили одна в другую в точности так же, как в его отношении к одиноким существам высшего рода. Да и может ли сердечность вообще обойтись без расчета и умной техники, если дело идет о ее реализации — например, о возбуждении приятного чувства доверия? Люди редко доверяют друг другу; но у людей с потифаровскими телесными свойствами, у номинальных мужей номинальных жен, общее, неопределенно-ревнивое недоверие ко всем иносушным образует даже основу всей жизни, и поэтому ничто так не способно одарить их непривычным, а значит, тем более счастливым чувством доверия, как открытие, что тот или иной представитель ревнотворного человечества носит на волосах строгую зелень, утешительно лишаящую его тревожной обычности. Расчетливо и методично подвел Иосиф Потифара к такому открытию. Но если кто-нибудь считает нужным осудить за это Иосифа, то пусть он воспользуется тем преимуществом, что уже знает рассказываемую нами историю, и, забегая вперед, вспомнит, что Иосиф не обманул добытого этим путем доверия, а сохранил подлинную верность ему под натиском искушения — согласно союзу, который он заключил с Монт-кау, поклявшись головой Иакова и еще жизнью фараона вдобавок.

ИОСИФ РАСТЕТ СЛОВНО У РОДНИКА

Итак, в свободные от службы при господине часы он вместе с управляющим, которого уже называл отцом, как его ученик и подручный, обходил хозяйство и, встречаемый повсюду улыбками и опущенными глазами, учился обобщать. Обычно Мон-кау сопровождали и другие служащие — например, писец буфетной Хамат и некий Менг-па-Ра, писец стойл и зверинцев. Однако это были люди заурядные, довольные тем, что они более или менее сносно справлялись с узким кругом прямых своих обязанностей и к удовлетворению управляющего содержали в порядке людей, животных, утварь, счета, но даже и мысленно не стремившиеся к чему-то более крупному, требующему всеохватывающего ума; вялые души, только и готовые записывать своими тростинками все, что прикажут, они вообще не думали, что могли быть рождены для власти и обобщения, для чего они именно поэтому и не были рождены. Надо только напасть на мысль, что бог уготовил тебе особую долю и что нужно ему помочь, и тогда душа напрягается, а разум приобретает должную силу, чтобы подчинить себе обстоятельства и стать их хозяином, хотя бы они и были так сложны, как положение в благословенном Потифаровом доме в городе Уазе, в Верхнем Египте.

Ибо оно было сложно, и если сначала Иосиф стал Потифару утешительно-незаменимым личным слугой, а потом тот отдал на руки его весь свой дом, то добиться второго было несравненно труднее, чем первого. Монт-кау, под чьим началом Иосиф вникал в хозяйство, недаром сказал, что у него много забот: даже при очень хорошей всеохватывающей голове управлять этим хозяйством, а тем более человеку, который из-за большой почки чувствует себя порой не совсем хорошо, было довольно тяжело, и вполне понятно, что Монт-кау воспользовался удобным случаем обзавестись молодым помощником и подготовить себе замену, так как втайне он, конечно, давно уже об этом мечтал.

Петепра, друг фараона, начальник дворцовых войск и глава палачей (по званию), был очень богатым человеком, — богатым в куда большей мере, чем Иаков в Хевроне, и делался на глазах все богаче и богаче, ибо кроме того, что как царедворец он получал высокое жалование и щедрые подарки царя, его хозяйство, которое было его наследством лишь в малой своей части, а в большей, особенно в отношении земельной собственности, являлось также милостивым подарком бога и к тому же постоянно пополнялось и питалось такими доходами, — его хозяйство приносило ему большую прибыль; он, однако, в него совершенно не вмешивался, заботясь исключительно о подкреплении своего огромного тела едой, своего мужского достоинства — охотой в болотах, а своего ума — книгами и отдав все остальное на руки управляющего, в чьи отчеты, когда тот почтительно заставлял его их проверить, он лишь равнодушно заглядывал, говоря:

— Ладно, ладно, мой старый Монт-кау, все хорошо. Я знаю, ты любишь меня и делаешь свое дело в меру своего умения, а этого уже вполне достаточно, ибо умение твое велико. Верны ли сведения о пшенице и о мякине? Конечно, верны, я уже вижу. Я убежден, что ты надежен, как золото, и предан мне душою и телом. Да и может ли быть иначе? Иначе и быть не может, по самой природе твоей, ибо тебе было бы омерзительно меня обмануть. Из любви ко мне ты заботишься о моих делах, как о своих собственных, и я доверяюсь тебе, зная твою любовь и понимая, что ты не станешь вредить самому себе нерадивостью или каким-либо худшим пороком. Кроме того, это увидел бы Сокрытый, и позднее тебе достались бы только муки. Твой отчет верен. Возьми его, я благодарю тебя от души. У тебя нет уже ни жены, ни детей — ради кого же ты станешь причинять мне убытки? Ради себя самого? Но ведь ты не вполне здоров — правда, тело твое сильно и волосато, но внутри оно с червоточинкой. Недаром ты часто желтеешь и у тебя увеличиваются мешки под глазами. Едва ли тебе придется сильно состариться. Так зачем же тебе подавлять свою любовь ко мне и меня надувать? Вообще-то я от души желаю, чтобы ты состарился у меня на службе, ибо не знаю, кому же еще я смогу доверять так, как тебе? Доволен ли твоим самочувствием лекарь Хун-Ануп? Дает ли он тебе надлежащие корни и травы? Я в этом решительно ничего не смыслю, я здоров, хотя и не так волосат. Если он не сможет тебе помочь и тебе станет хуже, мы пошлем за лекарем в храм. Ибо хотя ты принадлежишь к сословию слуг и вообще-то тебя полагалось бы пользоваться Краснопузому, ты мне достаточно дорог, чтобы я пригласил к тебе ученого врача из книгохранилища, если этого потребует твое тело. Не благодари меня, друг мой, я сделаю это ради твоей любви и потому, что твои счета столь явно верны. Забери же их и впредь делай все в точности так же, как и доселе!

Вот что говорил в таких случаях Потифар управляющему. Ведь сам он не брался ни за какие дела — по барственной своей нежности, по ложности своего положения, заставлявшей его бояться практической жизни, а также из-за своей уверенности в том, что другие полны заботливой любви к нему, священному великану. Что тут он был прав, что управляющий действительно служил ему верой и правдой, непрестанно умножая его богатство своей рачительностью и бескорыстнейшей добросовестностью, это дело другое. Ну, а если бы все было иначе и самовластный домоправитель, наоборот, обирал его и довел его и всю семью до нищеты? Тогда Потифару пришлось бы пенять на самого себя, и его никак нельзя было бы упрекнуть в ленивой доверчивости. Слишком уж полагался Потифар на бережную и умиленную предан-

ность, которую все должны были выказывать такой священной и нежной особе, как царедворец Солнца, — от этой оценки мы не можем удержаться уже и сейчас.

Итак, он не брался ни за какие дела, а только и знал, что ел и пил; зато у Монт-кау было тем больше забот, что его собственные дела шли попутно и даже сплетались с делами его повелителя. Ибо то, что он получал в качестве платы за свою службу — зерно, хлебы, пиво, гусей, холсты и кожу, — он один, разумеется, не мог съесть или потребить и должен был доставлять все это на рынок и обменивать на прочные ценности, умножая тем самым свое состояние. То же самое, только в большем объеме, происходило и с хозяйским добром — как собственного производства, так и прибывавшим извне.

Носитель опахала был одним из наиболее щедро одаряемых слуг фараона, и обильно сыпались на него сверхутешительные вознаграждения за его ложное, основанное на одних званиях бытие. Добрый бог ежегодно платил ему большими количествами золота, серебра и меди, одежды, пряжи, курений, воска, меда, масла, вина, овощей, зерна и льна, пойманных птицеловами птиц, крупного скота и гусей и даже кресел, носилок, зеркал, повозок и целых деревянных судов. Все это шло на нужды дома только частично — как, впрочем, и продукты собственного хозяйства, — изделия ремесленников и плоды поля и сада. Большая часть всего этого продавалась, отвозилась на судах вверх или вниз по реке на рынки и обменивалась у купцов на другие товары, а также на чеканный и нечеканный металл, наполнявший хозяйское казнохранилище. Эта торговля, столь неразрывно связанная с хозяйством в собственном смысле слова, то есть с производством и потреблением, нуждалась во всяческом учете и требовала обобщающего надзора.

Нужно было приготовить и распределить на суточные пайки довольствие работников и слуг: хлеб, пиво, овсяную и чечевичную похлебку в будни, гусей в праздники. Изо дня в день ставило свои требования в части снабжения и расчетов особое хозяйство гарема. Ремесленникам — пекарям, сандалящикам, клейщикам папируса, пивоварам, вязальщикам циновок, столярам и горшечникам, ткачихам и прядильщицам — нужно было отмеривать сырье, а их изделия, так же как и плоды деревьев и овощных гряд, частью распределять для насущных нужд, частью же отправлять в кладовые или на рынок. Ухода и пополнения требовали и животные Потифарова дома — лошади, которые возили хозяина, собаки и кошки, с которыми он охотился, — большие, дикие собаки для охоты в пустыне и тоже очень большие, похожие больше на ягуаров кошки, ходившие с ним на болотную птицу. Было на самой усадьбе и некоторое количество крупного рогатого скота; но большая часть Потифарова стада находилась в поле, на острове посреди реки, чуть ниже в сторону Дендеры и храма Хатхор; этот остров, подаренный ему в знак любви фараоном, имел пятьсот сажений пахотной земли, приносивших ему по двадцати мешков пшеницы и ячменя и по сорока корзин луку, чеснока, дынь, артишоков и бутылочных тыкв каждая, — прикиньте же, сколько добра давали пятьсот сажений и с какими заботами были сопряжены такие доходы! Имелся там, правда, и свой распорядитель, работник весьма умелый, писец урожая и начальник ячменя, переполняющий четверики и отмеривающий пшеницу своему господину, — так самодовольно, в стиле надгробных надписей, именовал себя этот человек; но это отнюдь не значило, что на него можно было целиком положиться; все оставалось на плечах Монт-кау: в конце концов счета, относившиеся к посеву и урожаю, проходили через его руки, точно так же как счета, относившиеся к маслобойням, виноградным давилням, крупному и мелкому скоту — словом, ко всему, что производит, поглощает, вывозит и ввозит такой благословенный дом, и в конечном счете ему еще приходилось самому и присматривать за полевыми работами, так как тот, кому все это принадлежало, царедворец Потифар, по своей изнеженности и в силу ложного своего положенья, не привык во что-либо вникать и за что-либо браться.

Вот как получилось, что в надлежащее время и при надлежащих обстоятельствах Иосиф все-таки попал в поле — и слава богу, что не в другое время и не при других обстоятельствах. Ибо попал он туда не в качестве барщинника, как то случилось бы, если бы победило консер-

вативное мировоззрение карлика-супруга Дуду и молодого жителя песков тотчас же отправили бы туда, не дав ему поговорить с Потифаром, — нет, он появился там, как провожатый и подручный Монт-кау, как его ученик, постигающий мастерство обобщения, — он появился там с тростинками и писчей дощечкой; на парусном струге с гребцами, среди окольных Монт-кау, спустился он по реке к островной житнице Потифара, и в пути управляющий сидел среди ковров своего шалаша так же торжественно-неподвижно, как те знатные путешественники, что скользили мимо Иосифа во время первого его плаванья, а сам он сидел позади управляющего с другими писцами. И все встречные узнавали этот струг и говорили друг другу:

— Это едет Монт-кау, домоправитель Петепра, и едет, как видно, с ревизией. Но кто же этот юноша, выделяющийся среди его провожатых чужеземной своей красотой?

Затем они вышли на берег и пошли по плодородному острову, проверяя посевы и урожай, осматривая скот и пугая того, кто «переполнял четверики», своим пронизательным видом; и тот, удивляясь юноше, которому управляющий все показывал и перед которым как бы даже, в свою очередь, отчитывался, предусмотрительно сгибался перед незнакомцем. А Иосиф, представив себе, как легко мог бы тот сделаться его начальником и надсмотрщиком, попади он в поле в неподходящее время, тихонько говорил распорядителю острова:

— Смотри, не переполняй четвериков так, чтобы самому поживиться! Мы это сразу заметим, и тогда тебя обратят в пепел!

Выражение «обратить в пепел» было в ходу на родине Иосифа, а здесь его вообще не употребляли. Но тем более испугало оно писца урожая...

А дома, обходя с Монт-кау столы ремесленников, глядя на их работу и внимательно слушая отчеты, принимаемые управляющим у нарядчиков и учетчиков, а также объяснения, которые тот давал ему по этому поводу, Иосиф мог поздравить себя с тем, что ему удалось сберечь уважение работников и утаить от них свое невежество; иначе им было бы труднее увидеть в нем всеобъемлющий ум, созданный для начальственного надзора. Но до чего же трудно сделать из себя то, для чего ты создан, и подняться до уровня намерений, связываемых с тобой богом, даже если эти намерения довольно скромны; намерения же, связанные у бога с Иосифом, были очень даже значительны, и Иосифу ничего не оставалось, как поднатужиться. Он подолгу сидел тогда над счетами домашнего хозяйства и промыслов и, глядя на цифры и выкладки, обращал свой внутренний взор к той действительности, из которой они были извлечены. Работал он и вместе с Монт-кау, своим отцом, в Особом Покое Доверия, и тот удивлялся быстроте и пронизательности его ума, способности этой красивой головки не только схватывать и связывать любые дела, но и по собственному почину предлагать всякие улучшения. Так как большие количества собранной в саду смоквы сбывались в город, вернее, в западный город мертвых, где эти плоды, заполнявшие жертвенники храмов смерти и приносимые на могилы для подкрепления умерших, хорошо раскупались, Иосифу пришла в голову мысль заказать гончарам дома глиняные, окрашенные в естественные цвета модели этого плода, которые выполняли бы свое назначение на могилах ничуть не хуже настоящих плодов. А поскольку назначение это было магическим, то как магические символы они выполняли его даже еще лучше, и вскоре в городе появился большой спрос на волшебную смокву, которая поставщику почти ничего не стоила и могла быть изготовлена в любом количестве, вследствие чего этот промысел Потифара вскоре расцвел и, заняв множество рабочих рук, способствовал обогащению господина хоть и не в такой уж значительной по сравнению с прочим, но все-таки в достойной внимания мере.

Управляющий Монт-кау был благодарен своему помощнику за то, что он так добросовестно выполнял договор, заключенный ими однажды ради их благородного господина, и когда он видел ясную целеустремленность этого юноши и находчивость, с какой тот подчинял своему уму любое сложное дело, в нем часто вновь оживали те странные и смутные чувства, которые в свое время, едва тот предстал перед ним со свитком в руках, так двусмысленно разволновали его.

Вскоре, чтобы снять с себя часть трудов, он стал посылать своего молодого ученика и в деловые поездки, и на рынки с товарами — как вниз по реке, в сторону Абоду, усыпальницы Растерзанного, вплоть до Менфе, так и вверх, на юг, к острову Слонов, так что Иосиф бывал хозяином струга или даже многих стругов, нагруженных добром Петепра: пивом, вином, овощами, мехами, холстами, глиняной посудой и касторовым маслом, как светильным, так и очищенным — для внутреннего лощения. Поэтому через короткое время встречные уже говорили:

— Это идет под парусом помощник Монт-кау, что живет в доме Петепра, юноша-азиат, прекрасный лицом и ловкий в поступках. Он везет товары на рынок, ибо управляющий доверяет ему, и доверяет по праву, ибо в глазах у него есть что-то волшебное, а на человеческом языке он говорит лучше, чем мы с тобой. Он располагает людей к своему товару, расположив их к себе, и сбывает его по хорошей цене, чрезвычайно отрадной для фараонова друга.

Вот что говорили корабельщики Нехела, встречаясь с Иосифом. И все так и было, как они говорили; благословение сопутствовало Иосифу, он умел очаровывать покупателей в деревнях и городах, его речь была блаженством для каждого, и поэтому всех так и тянуло к нему и к его товарам, и он привозил управляющему выручку, какой ни тот, ни любой другой поверенный никогда не добились бы. И все-таки Монт-кау не часто посылал Иосифа в деловые поездки, а посылая, наказывал поскорей воротиться; ибо Петепра бывал весьма недоволен, если этого слуги не оказывалось в столовом покое, если кто-то другой сливал ему на руки воду и подавал кубок и кушанья и если он был лишен общества Иосифа в часы послеобеденного чтенья на сон грядущий. Да, только если учесть, что, справляясь с такой многосложной задачей, как изучение хозяйства, Иосиф не переставал быть личным слугой и чтецом Потифара, только если это учесть, можно вполне измерить тяжесть требований, предъявленных в ту пору голове Иосифа и его энергии. Но он был молод и полон готовности и решимости подняться на уровень намерений бога. Последним из тех, кто жил здесь внизу, он больше не был; гнуть перед ним спину начали уже многие. Но все должно было еще пойти совсем по-другому, — по воле божьей. Он проникся этим сознанием, и гнуть перед ним спину должны были не только некоторые, а все, все, кроме одного, самого высокого, единственного, кому он имел право служить, — таково было твердое, беспрекословно определившее его жизнь убеждение Аврамова отпрыска. Как это произойдет, как случится, он не знал и не мог представить себе; но нужно было послушно и мужественно идти указанной богом дорогой, заглядывая вперед ровно настолько, насколько это дано человеку, когда он идет по дороге, и не унывать на крутых подъемах, ибо они-то как раз и указывали на высокую цель.

Поэтому он всячески подчинял своему уму хозяйственные и торговые дела, стараясь стать для Монт-кау с каждым днем все более незаменимым помощником, а кроме того, соблюдал договор, заключенный с управляющим относительно Потифара, доброго господина, самого высокого в ближайшем кругу лица, прислуживая телу его и душе и укрепляясь в его доверии по тому же способу, что в беседе у пальм, и в разговоре о саде птичницы. Нужно было не жалеть ни ума, ни искусства, чтобы так поддерживать господина в глубине его души, подгревая в нем чувство собственного достоинства успешнее, чем это могло бы сделать вино за столом. И добро бы этим исчерпывались заботы Иосифа! Чтобы составить себе полную картину обязанностей, которые должен был выполнять сын Иакова, будучи одновременно помощником управляющего и помощником господина, нужно иметь в виду, что ему еще ежевечерне приходилось прощаться на ночь с Монт-кау, причем добывая каждый раз новые обороты в словарной сокровищнице; ведь ради этого-то сначала его и купили, и слишком приятно был тронут Монт-кау первым, еще чисто проверочным опытом такого прощания, чтобы отказать себе в этом удовольствии впоследствии. К тому же, как свидетельствовали мешки, висевшие у него под глазами и уменьшавшие их, спал он довольно плохо. Натруженная его голова никак не могла успокоиться после хлопотливого дня; да и почка, с которой дело у него обстояло не совсем хорошо, тоже не способствовала быстрому успокоению, и в конце дня он,

конечно, бывал рад этим ласковым пожеланьям и благозвучным внушеньям. Поэтому Иосиф обязан был неукоснительно являться к нему перед наступлением ночи и шептать ему на ухо какие-нибудь успокоительные слова, которые тоже, помимо всех прочих дел, нужно было днем продумать и подготовить; ибо выразиться надлежало изысканно.

— Прими, отец мой, прощальный ночной привел — говаривал он, подняв руки. — Гляди, день отжил свое, он сомкнул вежды, устав от самого себя, и на весь мир снизошла тишина. Прислушайся, что за диво! Разве что в стойле топнет копыто, да еще вдруг где-то залает собака, но от этого безмолвие становится только глубже; несет оно мир и душе человека, его клонит ко сну, и над двором и над городом, над плодородными полями и над пустыней загораются неусыпные светильники бога. Люди радуются, что вовремя, как раз когда они устали, наступил вечер и что завтра, когда они подкрепятся отдыхом, день снова откроет свои глаза. Поистине достойна благодарности премудрость божия! Пусть только представит себе человек, что ночи не существует и пылающая дорога трудов безраздельно и бесконечно простирается перед ним в гнетущем однообразии. Разве это было бы не ужасно, разве он не отчаялся бы? Но бог сотворил дни и назначил каждому из них свою цель, которой мы уверенно и достигаем в положенный час: роща ночи манит нас священным отдохновением, и с раскинутыми руками, с запрокинутой головой, с открытыми губами и блаженно угасшим взором вступаем мы под ее милую сень. Не думай же, дорогой господин мой, на ложе своем, что ты должен уснуть! Нет, думай, что ты волен уснуть, и усмотри в этом великую милость, и тогда мир пребудет с тобой! Вытяни же члены свои, отец мой, и да ниспадет на тебя, да окутает тебя, да наполнит всю душу твою блаженным покоем сладостный сон, и да почиешь ты, избавленный от забот и волнений, у его священной груди!

— Спасибо, Озарсиф, — отвечал управляющий, и как в тот раз, когда Иосиф среди бела дня впервые пожелал ему доброй ночи, у него немного увлажнились глаза. — Отдохни же и ты! Вчера ты говорил, может быть, чуть складнее, но и сегодня речь твоя была отрадна и родственна опию, и я надеюсь, что она поможет мне от бессонницы. Мне особенно понравилось твое утверждение, что я волен спать, а не должен; я буду об этом думать, это будет моей опорой. И как только получается, что слова складываются у тебя в волшебное заклинание: «Да ниспадет на тебя, да окутает тебя, да наполнит всю душу твою...»? Этого ты, пожалуй, и сам не знаешь. Итак, спокойной ночи, мой сын!

АМУН КОСИТСЯ НА ИОСИФА

Вот сколько всяких требований предъявлялось в ту пору Иосифу, и мало того, что он их выполнял, он еще должен был заботиться о том, чтобы ему простили его счастье; ибо улыбки и опущенные взоры, которыми сопровождают люди подобное возвышение, таят в себе много злости, и всех приходится и так и этак задабривать, задабривать с умом, осторожностью и тонким искусством: еще одним требованием больше предъявляется в этом случае к бдительности и собранности. Совершенно невозможно, чтобы тот, кто, подобно Иосифу, растет словно у родника, не перебил кому-то дорогу и не вторгся в чью-либо область; он не может этого избежать, потому что ущемленье других неотвратимо связано с его бытием, и добрая часть его умственных сил всегда должна быть направлена на то, чтобы примирять с фактом своего существования оставленных в тени и придавленных. До ямы Иосиф не понимал таких истин и не был к ним чуток; невосприимчивым к ним сделала его убежденность, что все люди любят его больше, чем самих себя. По смерти и стаз Озарсифом, он сделался смысленее или, если угодно, умнее, ибо смысленость, как и показывает пример юного Иосифа, не защищает от глупости; и щепетильность, проявленная им в беседе с Монт-кау по отношению к Аменемуйе, своему предшественнику по должности чтеца, была рассчитана в первую очередь на самого управляющего, в уверенности, что она приятно тронет его, даже если он

и склоняется к добровольной отставке. Но и на самого Аменемуйе он тоже не пожалел сил, сходил к нему и поговорил с ним так вежливо и так скромно, что этот писец был совершенно задобрен и с искренней охотой поступился своей должностью ради такого обворожительно-го преемника. Прижав руки к груди, в самых трогательных словах, Иосиф объяснил, сколь тягостна ему священная воля господина, изъявлению которой он сознательно ничем не способствовал, будучи — и это лучшее доказательство — убежден, что воспитанник книгохранилища Аменемуйе читает куда лучше, чем он, Озарсиф, хотя бы уже потому, что тот — сын Черной Земли, а он, Озарсиф, коверкающий слова азиат. Но так уж случилось, что, когда ему однажды пришлось говорить в саду с господином, он от смущения стал выкладывать все, что случайно знал о деревьях, о пчелах и птицах, и это вдруг почему-то, совершенно не по достоинству, настолько понравилось господину, что тот со свойственной великим мира сего быстротой принял свое решение, — и принял, как он, Иосиф, должен признать, не на пользу себе. Ибо господин то и дело ставит ему в пример Аменемуйе и говорит: «Вот как и вот с каким ударением читал это Аменемуйе, прежний мой чтец; если хочешь снискать мою милость, читай так же, как он, ибо я избалован хорошим чтением». И тогда Иосиф пытается читать так же, а значит, живет он, собственно, только за счет своего предшественника. И если господин не отменяет этого своего приказа, то только потому, что великие мира сего никогда не хотят, да и не могут признать, что отдали приказ опрометчиво и себе во вред. Поэтому он, Иосиф, пытается утешить его в его тайном раскаянье, ежедневно говоря ему такие слова: «Ты должен, о господин, подарить Аменемуйе два праздничных платья, а кроме того, назначить его на хорошую должность — писцом сладостей и увеселений в Доме Замкнутых, и тогда тебе, да и мне тоже, будет легче при мысли о нем».

Все это было, разумеется, истинным бальзамом для Аменемуйе. Он и не подозревал, что он такой хороший чтец, ибо обычно господин засыпал, стоило ему, Аменемуйе, только раскрыть рот; и, говоря себе, что если бы не отставка, он этого так и не узнал бы, он должен был радоваться своему отстранению от должности. Согревали ему также душу угрызения совести преемника и непризнанное раскаянье господина; и так как он в самом деле получил два праздничных платья и прекрасную должность смотрителя увеселений в гареме, из чего явствовало, что Иосиф действительно замолвил за него слово у господина, то он не питал ни малейшей злобы к этому кенанитянину, относился к нему с приязнью и считал, что тот обошелся с ним, Аменемуйе, чрезвычайно любезно.

А для Иосифа ничего не значило выхлопотать другому хорошую должность, так как сам он вместе с богом не довольствовался малым и при поддержке Монт-кау готовился, пусть еще исподволь, к общенаправляющей деятельности. Точно так же поступил он с работником, обычно сопровождавшим господина во время охоты на птицу и рыбной ловли, с неким Мерабом. На эти мужские развлечения Потифар тоже брал теперь с собой подручным Озарсифа, а не Мераба, что вообще-то, конечно, было для Мераба что нож под ребра, и нож отравленный. Однако Иосиф лишил этот нож отравы и остроты, поговорив с Мерабом так нее, как с Аменемуйе, и равным образом выхлопотав ему взамен почетный подарок и хорошую должность смотрителя пивоварни, после чего Мераб стал Иосифу другом, а не врагом и говорил о нем всем и каждому такие слова:

— Хотя он родом из горемычного Ретену и кочевник пустыни, а малый он все-таки, ничего не скажешь, изящный и ведет себя очень мило. Клянусь всеми тремя божествами, он делает еще ошибки в человеческом языке, и все-таки, если приходится уступать ему место, то уступаешь его с радостью и у тебя при этом еще и глаза светятся. Не объясняйте мне, почему это так, ведь словами тут все равно ничего не объяснишь, — а глаза светятся.

Так говорил этот Мераб, обыкновенный египтянин; и не кто иной, как Зе'энх-Уэн-нофре и так далее, то есть карлик Боголюб, шепотом уведомил Иосифа, что отставной ловчий ведет на людях подобные речи. «Ну, что ж, это хорошо», — ответил Иосиф. Но он отлично знал, что не каждый так скажет; от детского заблуждения, что все должны любить его больше,

чем самих себя, он давно избавился и отлично понимал, что его возвышение в Потифаровом доме, неприятное для многих уже само по себе, вызывает из-за его чужеземности, из-за его принадлежности к «жителям песков», к иврим, еще и особое, требующее от него величайшей тактичности недовольство. Мы снова подходим к той борьбе партий и к тем внутренним противоречиям, которые владели страной внуков и среди которых протекала там карьера Иосифа; к неким религиозным и патриотическим началам, противостоявшим этой карьере и чуть не испортившим ее на самых первых порах, — а равным образом к неким другим, которые можно было бы назвать вольнодумно-терпимыми или модными и уступчивыми и которые благоприятствовали его возвышению. Этим последним принципов домоправитель Монт-кау держался просто-напросто потому, что их держался его господин, великий царедворец Петепра. А Петепра почему? Конечно, потому что их отстаивал двор; потому что там досадовали на обременительное богатство и на могущество храмов Амуна, являвшегося в зрелой стране воплощением патриотически-охранительной строгости нравов, и потому что высшие царедворцы склонялись предпочтительно к другому культу — можно уже догадаться к какому. К культу Атума-Ра, почитаемого на вершине треугольника, в Оне, этого очень древнего и очень кроткого бога, к которому Амун приравнял себя, но приравнял не полюбовно, а силой, назвавшись Амун-Ра, богом царства и Солнца. Они оба, и Ра и Амун, были Солнцем на струге, но в каких разных смыслах были они Солнцем и как не походили они при этом один на другого! На месте, в разговоре с мокроглазыми жрецами Горахте, Иосиф получил представление о гибкой, радостно-ученой солнечной природе этого бога; он знал о его желании расшириться, о его склонности вступить в связь и установить согласие с богами Солнца всех существующих в мире народов, с солнечными юношами Азии, которые, как жених, выходили наружу из своей горенки, как веселый герой, пробегали положенный путь и которых оплакивали женщины, когда они погибали. Похоже было, что Ра не хотел отмежеваться от них, как не хотел в свое время Авраам отмежевать своего бога от Эль-эльона Мелхиседека. Он назывался Атумом в час своей гибели и был в этот час очень красив и достоин плачей; но ныне, благодаря гибкости ума его ученых пророков, он приобрел сходное по звучанию имя, обозначавшее не только час его гибели, но и вообще все его солнечное естество — и утро, и полдень, и вечер: он называл себя Атоном, и ни от кого не мог ускользнуть странный отголосок, звучавший в этом новом имени бога, ибо оно было очень похоже на имя растерзанного вепрем юноши, о котором плакала флейта в ущельях и рощах Азии.

Вот каким иноземным налетом, вот какой гибкостью и дружественной миру универсальностью отличалась солнечная природа Ра-Горахте, которую так почитал двор; ученые фараона не знали лучшего занятия, чем размышление о ней. Зато Амун-Ра, отец фараона в своем могучем и богатом сокровищами доме в Карнаке, был полной противоположностью Атума-Ра. Он был неподвижен и строг, непримиримо враждебен любому обобщающему рассуждению, неприязнен ко всему иноземному, он застыл в своей приверженности к слепому обычаю, к священной исконности — а ведь при этом он был гораздо моложе, чем онский бог, и, следовательно, древнее оказывалось в данном случае, как это ни парадоксально, гибким и дружественным миру, а новое — несгибаемо-косным.

Поскольку же карнакский Амун косо смотрел на успех, который имел при дворе Атум-Ра-Горахте, Иосиф чувствовал, что тот косо смотрит и на него, чужеземца, исполняющего обязанности слуги и чтеца царедворца; и, учитывая свои выгоды и невыгоды, он вскоре пришел к заключению, что солнечная природа Ра благоприятна ему, а природа Амуна — неблагоприятна и что эта неблагоприятность требует от него большого такта.

Ближайшим к нему воплощением природы Амуна был спесивец Дуду, смотритель одежной. Что тот любил его никак не больше, чем себя самого, а значительно меньше, было с самого начала достаточно ясно; невозможно передать, сколько сил ушло у сына Иакова за все это время, за долгие годы, на этого степенного карлика, как старался он, держась отменно учтиво не только с ним, но и с той, что охватывала его одной рукой, с его супругой Цесет, занимав-

шей в гареме высокое положение, и с его длинными, но уродливыми детьми Эсези и Эбеби, умиротворить его и расположить к себе, как тщательно избегал хотя бы в малейшей степени его ущемить. Кто сомневается в том, что при отношениях, сложившихся у него с Потифаром благодаря определенным услугам согревающе-отрадного свойства, Иосифу ничего не стоило оттеснить Дуду и стать самому зрителем платья? Ведь господин был только рад лишнему поводу приблизить его к своей особе, и можно даже с уверенностью сказать, что он без всяких просьб, по собственному почину, предлагал ему должность главного гардеробщика, тем более что этого чванного карлика, как Иосиф заметил, а еще раньше заключил по неприязни к Дуду верного управляющего, Петепра совершенно не выносил. Но столь же решительно, как и скромно Иосиф отклонил это предложение, во-первых, потому, что, готовясь к деятельности обобщающего характера, он не должен был брать на себя новых обязанностей личного слуги, а еще, как он подчеркнул, потому, что не хотел и не мог заставить себя перейти дорогу этому достойному человечку.

И вы думаете, карлик его отблагодарил? Ничуть не бывало — в этом отношении Иосиф дал волю ложным надеждам. Враждебности, которую проявил к нему Дуду в первый же день, нет, в первый же час, когда попытался расстроить сделку с измаильтянами, нельзя было ни преодолеть, ни хотя бы только смягчить ни вежливостью, ни деликатностью; и кто хочет понять подоплеку, движущие силы всей этой истории, тот при объяснении столь упрямой неприязни не остановится на том, что наш египтянин, будучи страстным приверженцем своей партии, не мог примириться с покровительством иноземцу и ростом его значения в доме. Нет, тут, несомненно, нужно принять во внимание и те своеобразные волшебные средства, благодаря которым Иосиф оказался «полезен» господину и расположил его к себе, средства, с которыми Дуду довелось познакомиться. Они были ему крайне ненавистны, потому что в них он усматривал умаление своей полноценности и тех преимуществ, что составляли гордость и оправдание его низкорослой жизни.

Иосиф об этом тоже догадывался. Он не скрывал от себя, что в тех же тайных глубинах души, где ему удалось ублажить одного, он своей речью в финиковом саду чувствительно ранил другого и что, значит, он все-таки, вопреки своему желанию, этого карлика-супруга задел. Поэтому-то он и был так обходителен с женой и с потомством Дуду. Но все было тщетно, тот всячески, снизу вверх, выказывал Иосифу свою недоброжелательность, что особенно удавалось карлику, когда он с достоинством ревнителя старинных обычаев подчеркивал порочность хабирского происхождения Иосифа. За столом, когда старшие слуги дома, и в их числе Иосиф, ели свой хлеб вместе с управляющим Монт-кау, Дуду, с важностью втянув свою нижнюю губу под крышу верхней, упорно требовал, чтобы египтянам подавалось особо, а еврею особо; более того, если управляющий и другие, исходя из солнечной природы Атума-Ра, отказывались от строгого соблюдения такого обычая, то карлик, демонстрируя свою верность Амуно, садился как можно дальше от этой нечисти, а то и отплевывался на все четыре стороны, или произносил очистительные заклинания и осеял себя волшебными знаменьями, явно стараясь обидеть Иосифа.

И добро бы этим все ограничивалось! Так нет же, очень скоро Иосиф узнал, что надменный Дуду ведет самые настоящие происки против него, Иосифа, пытаясь выжить его из дома, — узнал он это сразу же и во всех подробностях опять-таки через своего дружочка Боголюба, Беса-на-празднике, ибо, благодаря своей крошечности, тот умел как нельзя лучше подглядывать и подслушивать; словно бы созданный для незримого присутствия в нужных местах, он знал укрытия, о которых люди обычного роста даже и подозревать не могли. Но Дуду, принадлежавшему к тому же племени карликов и так же, как он, привыкшему к мерам их малого мира, следовало бы проявлять большую осторожность и предусмотрительность, чем полнорослым. Прав был, видно, маленький Боголюб, считавший, что, вступив в брачный союз с миром долговязых. Дуду отказался от многих тонкостей малоразмерной жизни, а в силу своей способности к такому союзу, наверно, и обладал карличьей тонкостью лишь в ограничен-

ной мере. Как бы то ни было, он не заметил соглядатайства своего презренного братца, и тот вскоре узнал, какими именно путями ходил Дуду, пытаясь помешать росту Иосифа: пути эти вели в Дом Замкнутых, они вели к названной супруге Потифара Мут-эм-энет; а то, что сообщал ей карлик, она, в свою очередь, будь то в его присутствии или с глазу на глаз, обсуждала с одним могущественным лицом, завсегдатаем Потифарова гарема и ее личных покоев, — с Бекнехонсом, Первым пророком Амуна.

Из разговора злых старичков, родителей Потифара, известно уже, в сколь близких отношениях находилась госпожа Иосифа с храмом этого богатого державного бога, с домом Амуна-Ра. Как и многие женщины ее сословия, например, как ее подруга Рененутет, жена главного смотрителя говяд Амуна, она принадлежала к аристократическому ордену Хатхор, покровительницей которого считалась Великая супруга фараона, а предводительницей обычно бывала жена верховного жреца карнакского бога, в то время, следовательно, жена, благочестивого Бекнехонса. Средоточием и духовным очагом этого ордена был прекрасный храм у реки, называвшийся «Южным Домом Утех Амуна» или «гаремом» и соединявшийся удивительной аллеей Овнов с Великой Карнакской Обителью, тот самый храм, к которому фараон собирался пристроить не имеющий себе равных колонный зал; члены этого ордена в торжественных случаях именовались «женами Амуна», а их начальница, супруга верховного жреца, соответственно «первой из жен Амуна». Но почему эти дамы назывались «хатхорами», если великую супругу Амуна-Ра звали Мут или «мать», а прекрасная лицом, волоокая Хатхор относилась, скорее, к онскому владыке Ра-Атуму, чьей госпожой она и была? Да, таковы уж были политические тонкости земли Египетской! Поскольку Аму-ну, по соображениям государственным, угодно было отождествить себя с Атумом-Ра, то и Мут, мать его сына, отождествила себя с покорительницей Хатхор, и то же самое сделали земные жены Амуна, знатные фиванские дамы: каждая из них была олицетворением владычицы любви Хатхор, когда они по большим праздникам, в маске супруги Солнца, в узком платье, с коровьими рогами и солнечным диском на золотой диадеме, играли, плясали и пели Аму-ну, — пели, как только могут петь великосветские дамы; ибо выбирались они не за благозвучные голоса, а за богатство и знатность. Впрочем, хозяйка Потифарова дома Мут-эм-энет пела отлично, она даже обучала хорошему пенью других, в частности упомянутую уже смотрительшу говяд Рененутет, и вообще пользовалась почетом в гареме бога, благодаря чему занимала в ордене почти такое же высокое положение, как его настоятельница, чей супруг, то есть Бекнехонс, Великий пророк Амуна, постоянно посещал Мут-эм-энет, будучи ее другом и благочестивым наперсником.

БЕКНЕХОНС

Этого сурового человека Иосиф давно знал в лицо; он не раз видел его во дворе и возле гарема и всегда досадовал за фараона на шумную пышность выездов Бекнехонса: ратники бога с копьями и дубинками шагали впереди его паланкина, длинные шести которого покоились на плечах четырежды четырех зеркальноголовых жрецов; за носилками следовал еще один военный отряд, по обеим их сторонам, как у струга самого Амуна во время торжественных шествий, несли страусовые опахала, а впереди переднего отряда бежали еще скороходы, которые, сообщая о прибытии Бекнехонса, оглашали двор своим требовательным и взволнованным криком, чтобы все сбежались и управляющий, а то и сам Петепра, встретил у порога высокого гостя. Потифар в таких случаях обычно не сказывался дома, но Монт-кау всегда бывал тут как тут, а за ним уже не раз выходил к Бекнехонсу и Иосиф, внимательно разглядывая этого очень важного посетителя, который был для него самым высоким я самым далеким воплощением той враждебной природы Солнца, чьим ближайшим и мельчайшим воплощением являлся Дуду.

Бекнехонс был высокого роста и вдобавок держался очень осанисто, он ходил, выпятив грудь, развернув плечи и задрав подбородок. Его яйцеобразная, всегда непокрытая, гладко выбритая голова была довольно крупна, и заметней всего на ней выделялась глубокая и резкая борозда между глаз, которая никогда не исчезала и не утрачивала своей строгости, даже если он улыбался, а улыбался он только высокомерно и только в награду за особое подобиострастие. Тщательно очищенное от растительности, точено-правильное и неподвижное лицо верховного жреца, с высокими скулами и глубокими, как борозда между глаз, морщинами около ноздрей и рта, обычно глядело мимо людей и предметов; взгляд этот был более чем надменным, он был равнозначен отказу от всего современного мироустройства, отрицанию и осуждению всего векового или даже тысячелетнего хода жизни, да и одежда его, очень тонкая и дорогая, отличалась старозаветностью и по священническому обычаю отставала от моды не меньше, чем на несколько эпох: ясно видно было, что под верхним, начинавшимся под мышками и ниспадавшим до пят платьем он носит простой, узкий и короткий набедренник, какой был принят при первых династиях; к еще более древним и, вероятно, более благочестивым временам восходила священническая шкура леопарда, обвивавшая его плечи таким образом, что голова и передние лапы кошки висели у него за спиной, а задние лапы скрещивались на его груди, где виднелись и другие знаки его сана: голубая повязка и затейливое золотое украшение с бараньими головами.

Леопардовая шкура была, строго говоря, некоей узурпацией, ибо она являлась частью убранства Первого пророка Атума-Ра в Оне и служителям Амуна не полагалась. Но Бекнехонс всегда сам определял, что ему полагается, и все, в том числе Иосиф, отлично понимали, почему он носит первобытную одежду людей, священную шкуру. Он хотел этим показать, что Атум-Ра растворился в Амуне, что он является лишь разновидностью фиванского владыки и в известной мере, да и не только в известной мере, ему подчинен. Ибо Амун, то есть Бекнехонс, добился того, что верховный пророк Ра в Оне принял почетное звание второго жреца Амуна в Фивах, а поэтому здесь, в Фивах, главенство над ним первосвященника и право первосвященника на его знаки отличия были очевидны. Но даже и в Оне, резиденции Ра, это превосходство оставалось в силе. Ибо мало того что Бекнехонс называл себя «предводителем жрецов всех богов в Фивах», он присвоил себе также звание «предводителя жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта» и был, следовательно, сверхпервым и в доме Атума-Ра. Так неужели же он не имел права носить леопардовую шкуру? Нельзя было без страха глядеть на него при мысли о его значении; что же касается Иосифа, то он уже достаточно сжился с землею Египетской, чтобы тревожиться и недоумевать по поводу того, что фараон бесконечными своими дарами непрестанно умножает богатство и гордость этого могучего мужа, теша себя представлением, будто он благодетельствует лишь собственному отцу Амуну, а следовательно, себе самому. Иосиф, для которого, хотя он этого и не показывал, Амун-Ра был таким же идолом, как всякий другой, — отчасти овном в своем приделе, отчасти же куклой в ларце своего капища, которую катали по Иеору в нарядном струге просто потому, что не могли придумать ничего лучшего, — Иосиф судил в данном случае свободнее и острее, чем фараон; он считал, что тот поступает неверно и неумно, безудержно обогащая своего мнимого отца, и, глядя, как князь Амуна исчезает в гареме, Иосиф проникался уже, следовательно, более высокой заботой, чем забота о собственном благе, заботой государственной, хотя и знал, что там, в гареме, ведутся весьма сомнительные речи о нем самом.

От маленького Боголюбя, самого первого его покровителя в Потифаровом доме, ему было известно, что Дуду уже не раз приходил к Мут, госпоже, с жалобами на него, Иосифа: подслушивая эти беседы из самых невероятных укрытий, карлик шепотом передавал их Иосифу с такими подробностями, что тот воочию видел, как смотритель одежной стоял в накрахмаленном набедреннике перед их повелительницей и, напыщенно прикрывая нижнюю свою губу крышей верхней, возмущенно жестикулируя коротенькими ручками и стараясь говорить как можно более низким голосом, жаловался госпоже на это досадное неблагополучие. Раб

Озарсиф, как он невразумительно и, видимо, произвольно называет себя, — говорил карлик, — этот хабирский мошенник, этот молокосос-чужеземец, постыдным образом возвышается в доме и пользуется, на беду, большой благосклонностью — можно не сомневаться, что Сокрытый глядит на это с неодобрением. Вопреки его, карлика, дельному совету. Озарсиф был за слишком дорогую цену, сто шестьдесят дебенов, куплен у мелких торговцев пустыни, укравших его из колодца, куда его бросили в наказание, и благодаря хлопотам этого пустомели, этого холостого шута Шепсес-Беса, попал в дом Петепра. Но вместо того чтобы послать этого мерзкого чужеземца в поле на барщину, как люди почтенные и советовали управляющему, тот сначала предоставил ему слоняться без дела по двору, а затем, в финиковом саду, позволил поговорить с Петепра, чем этот повеса более чем бесстыдно воспользовался. Он прожужжал господину уши своей злокозненной болтовней, которая была поношением Амуну и оскорблением верховной силе Солнца: но этим ему удалось обворожить и преступно околдовать священного повелителя, и тот назначил его своим личным слугой и чтецом; а Монт-кау обращается с ним и вовсе как со своим сыном, вернее даже — как с молодым хозяином, позволяя ему знакомиться со всем в доме, как будто тот достанется ему в наследство, и изображать из себя заместителя управляющего — это паршивому-то азиату в египетском доме! Он, Дуду, осмеливается почтительнейше указать госпоже на эти ужасные обстоятельства, ибо разгневанный ими Сокрытый может отомстить за столь пагубное свободомыслие тем, кто в нем провинился и его терпит.

— И что же ответила госпожа? — спросил Иосиф. — Передай мне все в точности, маленький Боголюб, и постарайся повторить ее собственные слова.

— Вот ее слова, — отвечал карлик. — «Покуда вы говорили, смотритель одежной, — сказала она, — я все думала, кого собственно вы имели в виду и на какого раба вы жаловались, ибо моя память ничего мне не подсказала. Вы не можете от меня требовать, чтобы я помнила всех слуг дома и сразу же догадывалась, на кого вы изволили намекнуть. Но поскольку вы дали мне время подумать, у меня возникло предположение, что вы имеете в виду того еще юного годами слугу, который с некоторых пор за обедом наполняет кубок супругу моему Петепра. Этот серебряный набедренник я при известном усилии смутно припоминаю».

— Смутно? — не без разочарования переспросил Иосиф. — Возможно ли, чтобы у нашей госпожи было такое уж смутное представление обо мне, если я каждодневно нахожусь близ нее и близ господина во время трапез, да и вообще она не может не знать о милости, которой я пользуюсь у него и у Монт-кау? Я удивлен, что ей пришлось так долго и напряженно рыться в памяти, прежде чем она сообразила, о ком говорил этот зловредный Дуду. А что она еще сказала?

— Она сказала, — продолжил свой отчет карлик, — она сказала вот что: «Зачем, однако, вы приходите с этим ко мне, смотритель одежной? Вы же навлекаете на меня гнев Амуна. Ведь вы сами сказали, что он разгневется на тех, кто терпит подобные непорядки. А если я ничего не знаю, то, значит, я ничего не терплю, и вам следовало бы пощадить меня и оставить в неведении, а не подвергать ненужной опасности».

Над этими словами Иосиф посмеялся и горячо их одобрил.

— Какой великолепный ответ и какой умный выговор! Рассказывай дальше о госпоже, маленький Бес! Только повтори мне все в точности, ибо, надеюсь, ты был внимателен!

— А дальше, — отвечал Боголюб, — говорил зловредный Дуду. Он стал оправдываться и сказал: «Я сообщил госпоже об этом ужасном положении не для того, чтобы она терпела его, а для того, чтобы она его прекратила; из любви к ней я предоставил ей возможность оказать услугу Амуну, посоветовав господину выгнать этого нечистого раба из дому и, поскольку он уже куплен, отправить, как то ведется, на барщину, чтобы он не сделался здесь управляющим и, обнаглев, не поставил себя выше детей страны».

— Прескверно, — сказал Иосиф. — Отвратительная, гнусная речь! Но госпожа, что ответила ему госпожа?

— Она, — доложил Боголюб, — ответила так: «Ах, строгий карлик, госпоже редко удастся поговорить по душам с господином. Прими во внимание чинность этого дома и пойми, что у нас с господином не такие отношения, как, например, у тебя с той, что обнимает тебя одной рукою, с твоей задушевной подругой Цесет. Она запросто приходит к тебе, смело говорит с тобой, со своим супругом, обо всем, что касается ее и тебя, и при случае дает тебе те или иные советы. Она мать, она родила тебе двоих пригожих детей, Эсези и Эбеби, а поэтому ты благодарен ей и у тебя есть все основания прислушиваться к голосу такой заслуженной, плодovитой жены и уважать ее желания и ее просьбы. А кто я нашему господину, с какой стати он будет меня слушаться? Ты знаешь, как велико его упрямство, какое у него гордое и глухое сердце; я бессильна перед ним со своими увещеваниями».

Иосиф помолчал, задумчиво глядя поверх своего маленького друга, который озабоченно подпер ручкой измятое личико.

— Ну, а что сказал на это хранитель платья? — спросил через несколько мгновений сын Иакова. — Нашел ли он какой-нибудь ответ и продолжал ли нести свое?

Малыш ответил отрицательно. После слов госпожи Дуду с достоинством умолк; зато госпожа прибавила, что постарается поскорей поговорить об этом с отцом первосвященником. Ведь поскольку Петепра возвысил этого чужеземца, после того как услышал его рассуждения о делах солнечных, здесь явно замешаны политика и религия, а это уже касается Бекнехонса, князя Амуна, ее друга и исповедателя. Он должен обо всем узнать, и в его отцовское сердце изольет она для своего облегчения то, что поведал ей об этом не порядке Дуду.

Вот каковы были новости доброго карлика. Но позднее Иосиф вспоминал, что тогда Бесэм-хеб долго еще сидел у него — в смешном своем наряде, с душницей на парике, опершись подбородком на ручку и мрачно шурясь.

— Что ты шуришься, Боголюб в доме Амуна, — спросил он, — зачем продолжаешь размышлять об этих делах?

А тот ответил своим стрекочущим голоском:

— Ах, Озарсиф, малыш думает о том, как это нехорошо, что наш злой куманек говорит о тебе с нашей госпожой Мут, — это очень и очень нехорошо!

— Конечно, — сказал Иосиф. — Зачем ты говоришь мне об этом? Ведь я и сам знаю, что это совсем нехорошо и даже опасно. Но видишь, я принимаю это с легким сердцем, ибо надеюсь на бога. Разве госпожа не призналась сама, что она не имеет такого уж большого влияния на Петепра? Ее словечка и знака еще далеко не достаточно, чтобы отправить меня на барщину, можешь не беспокоиться!

— Как же мне не беспокоиться, — прошептал Бес, — если это опасно и по-другому, совсем в другом отношении — то, что наш куманек, поговорив с госпожой, прояснил ее смутное представление о тебе.

— Ну, это пойми, кто может! — воскликнул Иосиф. — Я, во всяком случае, этого не понимаю, и мне темна карличья твоя болтовня. Опасна и по-другому, совсем с другой стороны? Что за темные слова ты мне шепчешь?

— Да, я шепчу, шепчу о своем страхе и о своих подозрениях, — слышался снова голос маленького Боголюбa, — я вышептываю тебе беспокойную карличью мудрость, которая до тебя, долговязого, никак не доходит. Куманек хочет сделать тебе худо, но возможно, что он, против собственной воли, сделает тебе доброе дело, и даже слишком доброе, так что опять получится худо, куда хуже, чем рассчитывал сделать.

— Ну, дружок, ты на меня не обижайся, но того, что лишено смысла, человек не может понять. Худо, хорошо, слишком хорошо, еще хуже? Да это какая-то карличья галиматья, какая-то пустяковая тарабарщина, которой я при всем желании не в силах понять!

— А почему ты покраснел, Озарсиф, и почему ты сердисься так же, как раньше, когда я тебе сказал, что у госпожи было о тебе смутное представление? Карличья мудрость предпочла бы, чтобы оно так и осталось смутным, ибо это опасно, дважды опасно, еще опаснее опаснос-

ти, что проклятый куманек заморочит ее своей зловредностью. Ах, — сказал малыш и спрятал лицо в ладошках, — карлик полон страха и ужаса перед врагом, перед быком, чье огненное дыханье опустошает ниву.

— Какую ниву? — спросил Иосиф с подчеркнутым недоумением. — И что это за огнедышащий бык? Ты сегодня немного не в себе, и я ничем не могу тебе помочь. Сходи к Краснопузому, пусть он попотчует тебя успокоительным соком кореньев, который охладит твою голову. А я займусь своими делами. Могу ли я помешать Дуду жаловаться на меня госпоже, даже если это и очень опасно? Однако ты видишь, что я надеюсь на бога, и поэтому ты не должен отчаиваться. Будь и впредь начеку и старайся не пропускать ни одного слова из того, что Дуду будет говорить госпоже, а особенно из ее ответов, чтобы передавать мне все в точности. Ибо мне нужно знать все толком.

Вот как (и позднее Иосиф вспоминал это) проходил тогда разговор, во время которого маленький Боголюб держался так странно испуганно. Но в самом ли деле только благодаря надежде на бога и без всяких иных оснований Иосиф так сравнительно бодро воспринял известие о кознях Дуду?

До сих пор он был для своей повелительницы если не в полном смысле слова пустым местом, то, по крайней мере, незаметным предметом домашней утвари, таким же, каким был в роли Немого Слуги для Гуия и для Туий. Дуду, желая ему зла, во всяком случае изменил это положение. Если теперь во время трапез, когда Иосиф подавал кушанья и наполнял кубок своему господину, на него падал взгляд госпожи, то падал он уже не по чистой случайности, как на предмет неодушевленный, — нет, теперь она глядела на него лично, глядела, как на явление, имеющее свою подоплеку и свои связи, которые дают приятный или неприятный повод задуматься. Одним словом, эта знатная дама Египта стала с недавних пор его замечать. Ее внимание было, разумеется, очень слабым и мимолетным; сказать, что глаза ее задерживались на нем, было бы преувеличением. Но на мгновение, на какой-то миг они не раз испытующе к нему устремлялись — при мысли, впрочем, и при воспоминании о том, что она должна поговорить о нем с Бекнехонсом; а Иосиф, глядя сквозь ресницы, отмечал такие мгновения; ни одно из них, при всем внимании, которое он должен был уделять Петепра, от него не ускользало, хотя всего лишь один или два раза этот взгляд был двусторонним и их глаза, глаза госпожи и слуги, случайно встречались, и тогда ее взор оказывался равнодушным, гордым и строго-неторопливым, а его взгляд, полный сначала почтительного испуга, поспешно скрывался за веками и становился смиренным.

Это стало случаться после того, как Дуду побеседовал с госпожой. Прежде этого не случилось, и, говоря между нами, это было Иосифу не так уж и огорчительно. Он видел в этом известный успех и был почти благодарен своему врагу Дуду за его донос. И когда Бекнехонс явился в гарем в следующий раз, Иосифу была довольно-таки приятна мысль, что речь там пойдет, вероятно, о нем, Иосифе, и о его возвышении. С этой мыслью, при всей ее тревожности, было связано известное удовлетворение, более того — радость.

Какие именно там велись речи, он узнал опять-таки от потешного визиря, умудрившегося подслушать их из какого-то закутка. Сначала жрец и дама из ордена беседовали о делах богослужебных и о светских событиях — они, как, пользуясь вавилонским выражением, говорили дети Египта, «чесали язык», другими словами, перебирали столичные сплетни; и когда потом зашла речь о Петепра и о его доме, госпожа действительно передала своему духовному другу жалобу Дуду и рассказала ему о непорядке с рабом-евреем, которому царедворец и его управляющий столь вызывающим образом мирволят и покровительствуют. Бекнехонс выслушал это сообщение, качая головой, так, словно оно подтверждало его печальные ожидания общего характера и как нельзя лучше соответствовало нравственному облику эпохи, почти вовсе утратившей благочестие тех времен, когда в ходу были такие узкие и короткие набедренники, как у него, Бекнехонса. Это, сказал жрец, несомненно скверный признак. Вот он, разрушительный дух пренебрежения к исконному мироустройству: поначалу изысканный и веселый,

он затем поневоле оборачивается запустением и дикостью и, разрушая самые священные связи, истощает страны, и вот уже скипетр их не внушает страха на побережье, и царство гибнет. По словам маленького Боголюб, первосвященник тотчас же отклонился от темы: он увлекся и, указуя перстами в разные стороны, стал рассуждать о делах государственных, о господстве над миром, о сохранении власти. Он говорил о митаннийском царе Тушратте, которого следует сдерживать с помощью Шуббилулимы, великого правителя царства Хатти на севере, не допуская, однако, чтобы тот сдерживал его слишком успешно. Ведь если воинственная Хета, целиком подчинив себе Митанни, продвинется на юг, то это представит опасность для сирийских владений фараона, добытых завоевателем Мен-хе-пер-Ра-Тутмосом, тем более что она и так может в один прекрасный день, обойдя Митанни, вторгнуться в приморскую страну Амки между Амановыми и Кедровыми горами, если того пожелают дикие боги Хеты. Правда, на шахматной доске мира этому противостоит фигура аморитянина Абдаширту, который, будучи данником фараона, правит землями между Амки и Ханигалбатом и призван препятствовать продвижению Шуббилулимы на юг. Но препятствовать этому продвижению аморитянин станет лишь до тех пор, покуда страх перед фараоном будет в его сердце сильнее, чем страх перед Хатти, — а иначе он непременно столкнется с Хатти и предаст Амуна. Ведь все эти царьки, платящие дань после покорения Сирии, сразу же становятся предателями, стоит лишь хоть немного ослабеть страху, в котором приходится держать всех, в том числе бедуинов и кочевников-степняков, которые, не будь у них страха, кинулись бы на плодородную землю и опустошили бы города фараона. Короче говоря, множество забот требует от Египта решительности и собранности, если он хочет сохранить своему скипетру страх, а своим венцам — царство. А поэтому он должен, как в древние времена, благочестиво блюсти обычаи и не отступать от правил строгой нравственности.

— Сильный человек, — сказал Иосиф, выслушав эту речь. — Вместо того чтобы посвятить себя богу и быть зеркальноголовым слугой господним, который, как добрый отец своего народа, протягивает руку всем, кто оступится, — вместо этого он целиком занят земными делами и политическими вопросами — просто удивительно. Говоря между нами, маленький Боголюб, заботу о царстве и страхе народов он должен был бы предоставить фараону, который для того и сидит во дворце; ведь можно не сомневаться, что во времена, восхваляемые им в ущерб нынешним, отношения между храмом и дворцом были именно таковы. А наша госпожа — она больше ничего не сказала после его слов?

— Я слышал, — сказал карлик, — как она ответила на эти слова. Она ответила так: «Ах, отец мой, разве я ошибаюсь: когда Египет держался благочестивых и строгих обычаев, он был беден и мал, и ни на юг, за пороги реки, в страну негров, ни на восток, к попятнотекущей реке, не уходили его рубежи так далеко по землям платящих оброк народов. Но бедность уступила место богатству, а из тесноты возникло царство. Теперь и страны, и Уазе, великая их столица, кишат чужеземцами, богатства так и текут в Египет, и все стало новым. Но разве тебя не радует и новое, итог и награда старого? Из оброка, выплачиваемого народами, фараон приносит щедрые жертвы отцу своему Амуну, благодаря чему этот бог может строить сколько его душе угодно, наполняясь силой, словно река весной, когда вода ее достигает самого высокого уровня. Так неужели отец мой не одобряет хода событий, последовавшего за благочестивой стариной?»

«Совершенно справедливо, — ответил на это, как передал Боголюб, Бекнехонс, — дочь моя очень верно ставит вопрос о странах, ибо вопрос этот стоит так: добрая старина несла в себе новое, то есть богатство и царство, как свою награду, но награда, то есть богатство и царство, — несет в себе ослабление, истощение, утрату. Как же поступить, чтобы награда не стала проклятием, чтобы добро не вознаградилось в итоге злом? Вот как стоит вопрос, и карнакский владыка, бог царства Амун, отвечает на него так: старое должно властвовать в новом, а править царством должны сила и строгость, и тогда царство не ослабеет и не лишится

заслуженной им награды. Ибо не сыновьям нового, а сыновьям старого по праву принадлежит царство и подходят венцы: и белый, и красный, и синий, и кроме того, венец богов».

— Убедительно, — сказал Иосиф, когда карлик умолк. — Убедительный, сильный ответ довелось тебе услышать благодаря твоему малому росту, дружок Боголюб. Он пугает меня, хотя и не удивляет, ибо, в сущности, я всегда подозревал, что таковы взгляды Амуна, — подозревал уже с тех пор, как впервые увидел его ратников на улице Сына. И едва лишь наша госпожа заикнулась обо мне, Бекнехонс так увлекся, что про меня они, видно, и вовсе забыли. Вернулись ли они, насколько тебе удалось услышать, к разговору обо мне вообще?

Они сделали это, доложил Шепсес-Бес, лишь в самом конце, и на прощанье первосвященник Амуна пообещал в ближайшее время взяться за Петепра и заставить его задуматься о покровительстве рабу-чужеземцу с точки зрения суровых старинных правил.

— В таком случае, — сказал Иосиф, — я должен дрожать, я должен бояться, что Амун положит конец моему возвышению, ибо как мне жить, если он будет против меня? Это очень скверно, дружок Боголюб. Ведь если я окажусь на барщине теперь, после того как писец урожая уже сгибался передо мной, мне придется еще хуже, чем если бы я попал в поле сразу и днем изнывал бы там от зноя, а ночью дрожал от холода. Ты думаешь, Амуну удастся так со мной обойтись?

— Я не настолько глуп, — застрекотал малыш. — Я ведь не женат, чтобы утратить карличью мудрость. Правда, я вырос — если я вправе так выразиться — в страхе перед Амун. Но я давно понял, что за тобой, Озарсиф, стоит бог, который сильнее и умнее Амуна, и я никогда не поверю, чтобы он отдал тебя в его руки и позволил тому, что в капище, указать твоему возвышению иной предел, нежели назначенный им самим.

— А если так, то не горюй, Бес-эм-хеб, — воскликнул Иосиф, осторожно, чтобы не причинить ему боли, ударив по плечу карлика, — и не беспокойся обо мне! В конце концов я тоже могу поговорить с господином с глазу на глаз и заставить его кое о чем призадуматься, тем более что об этом, наверно, задумывается и его господин — фараон. Вот он и послушает нас обоих, Бекнехонса и меня. Первосвященник будет говорить ему о рабе, а раб — о боге, — посмотрим, к кому он отнесется с большим вниманием, то есть я хочу сказать: не к кому, а к какому предмету, пойми меня правильно. А ты, мой друг, будь по-прежнему начеку и, когда Дуду станет снова жаловаться на меня госпоже, благоразумно схоронись в закутке, чтобы я опять услышал и его слова, и ее!

Так и было. Ибо известно, что одной жалобой дело не ограничилось, что смотритель одежной не отступался и время от времени осуждающе напоминал Мут-эмэнет о возмутительном покровительстве какому-то чужеземцу из карающей ямы. Боголюб занимал при этом свой наблюдательный пост и, донося обо всем Иосифу, добросовестно уведомлял его о каждом шаге Дуду. Но даже если бы он и не был столь бдителен, Иосиф все равно узнавал бы о каждой жалобе женатого карлика на его, Иосифа, возвышение; ибо за ней следовали взгляды в столовой. И если они на много дней прекращались, так что Иосиф уже начинал грустить, то их возврат и мгновения, когда эта женщина снова смотрела на него испытующе-строго, как на человека, а не как на вещь, ясно показывали ему, что Дуду опять приходил к ней с жалобами, и тогда Иосиф говорил себе: он напомнил ей обо мне. Как это опасно! А сам думал при этом: «Как это отрадн!» — и был даже до некоторой степени благодарен Дуду за то, что он напомнил о нем.

ИОСИФ ВСЕ БОЛЬШЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЕГИПТЯНИНА

Уже невидимый отцовскому глазу, но живой по-прежнему и оставшийся вдали от него самим собой, Иосиф вглядывался и вживался в египетское бытие: он быстро надел ярмо новых требований, хотя мальчиком, в первой своей жизни, не знал никаких обязанностей и усилий и

коротал дни как придется; теперь он деятельно старался подняться на высоту намерений бога, занятый цифрами, инвентарем, товарами, деловыми частностями, а кроме того, вовлеченный в сеть щекотливых, требующих непрестанного внимания человеческих отношений, нити которой вели к Потифару, к доброму Монт-кау, к карликам и бог весть к кому еще внутри и вне дома, — обо всех этих людях на старом его месте, там, где был Иаков и были братья, никто и знать не знал.

Это было далеко-далеко, дальше, чем в семнадцати днях пути, и еще дальше, чем были удалены от своего сына Исаак и Ревекка, когда Иаков вглядывался и вживался в бытие месопотамское. Тогда они тоже понятия не имели о людях и отношениях, окружающих сына, а ему было совсем чуждо их бытие. Где ты, там и мир — узкий круг, в котором живешь, познаешь и действуешь; остальное — туман. Правда, люди всегда стремились переместиться, чтобы погрузилось в туман то, что примелькалось, и поглядеть на иное бытие. Сильно было среди них и неффалимовское стремление — метнуться в туман и сообщить его жителям, которые знали только свой мир, о мире здешнем, и, наоборот, доставить домой любопытные сведения об их бытии. Короче говоря, сообщение и связи существовали. Существовали они испокон веку и между далекими друг от друга местами людей Иакова, с одной стороны, и Потифаровыми, с другой. Ведь уже и урский странник, привыкший менять поле своего зрения, побывал в Стране Ила, хотя, впрочем не так далеко внизу, как Иосиф теперь, а его супруга-сестра, «прабабка» Иосифа, одно время находилась даже в гареме фараона, который тогда блистал на своем горизонте еще не в Уазе, а выше, несколько ближе к сфере Иакова. Связи между этой сферой и той, что включала теперь в себя Иосифа, существовали всегда: разве мрачный красавец Измаил не взял в жены одну из дочерей ила и разве не этому союзу были обязаны своим существованием полуегиптяне-измаильтяне, избранные и призванные доставить Иосифа вниз? Множество людей, как и они, занималось торговлей между реками, и тысячу лет и дольше сновали по миру гонцы в набедренниках с письмами-кирпичами в складках одежды. Но если эта неффалимовская деятельность была привычной и давней, то расширилась и распространилась она только теперь, в эпоху Иосифа, когда страна его второй жизни и его отрешения стала уже настоящей страной внуков, не замыкаясь более в строгом своеобычии, как того все еще хотел Амун, а приветливо открывшись миру и проникшись такой вольностью нравов, что никому не ведомому мальчику-азиату потребовалось» только известное умение прощаться на ночь и делать из нуля двойку, чтобы стать личным слугой египетского вельможи и всем, чем угодно!

О нет, в возможностях связи между местами Иакова и местами его любимца не было недостатка; но Иосиф, в чьей власти было воспользоваться ими (ведь он знал местонахождение отца, а тот его местонахождения не знал) и которому это ничего не стоило, так как, будучи правой рукой управляющего большим хозяйством и отлично постигнув искусство обобщать и обзирать, он мог прекрасно обзреть и способы снестись с отцом, — Иосиф этого не делал, не делал в течение многих лет, не делал по причинам, давно уже нам известным, ни одна из которых, пожалуй, не будет обойдена, если определить их одним словом: ожидание. Теленок не мычал, он молчал, как мертвый, и, не давая знать корове, на какое поле отвел его человек, он, разумеется, с согласия человека, требовал ожидания и от нее, сколь бы трудным оно ни было именно для нее, ибо корова вынуждена была считать теленка растерзанным.

Нам странно подумать, нас даже смущает мысль, что Иаков, этот скрытый где-то в тумане старик, все это время считал своего сына мертвым, — она смущает нас потому, что, с одной стороны, за него можно порадоваться, так как он заблуждался, а с другой стороны, как раз из-за этого заблуждения его и жаль. Ведь известно, что для того, кто любит, смерть любимого человека имеет и свои преимущества, хотя преимущества, может быть, и несколько унылого характера; и, следовательно, если разобраться, то этот искупающий свою вину старец заслуживает двойного сострадания, коль скоро он считал Иосифа мертвым, а тот даже и не был мертв. Отцовское сердце тешило себя — правда, казнясь тысячей мук, но все же и к

сладостному своему утешению, — уверенностью в его смерти; оно мнило, что он, хранимый и укрытый смертью, неизменен и неуязвим, что он больше не нуждается в опеке и навек остался тем семнадцатилетним мальчиком, который уехал верхом на белой Хульде; а все это было сплошным заблуждением — и муки, и постепенно побеждавшая их утешительная уверенность. Ибо тем временем Иосиф был жив и не был застрахован ни от каких передраг. Хоть и похищенный, он не был отнят у времени и не оставался семнадцатилетним юнцом, а рос и созревал там, где он был: ему исполнялось и девятнадцать, и двадцать, и двадцать один; разумеется, он был по-прежнему Иосифом, но отец уже не узнал бы его, во всяком случае — с первого взгляда. Материя его жизни менялась, сохраняя, однако, свое счастливое благообразие; он созревал и делался шире и крепче, будучи уже не полумальчиком-полуюношей, а полу-юношей-полумужчиной. Еще несколько лет, и от материи того Иосифа, которого обнимал на прощанье Иаков-Ревекка, не останется уже ничего — не больше, чем если бы плоть его была разрушена смертью; только меняла его не смерть, а жизнь, и поэтому облик Иосифа до некоторой степени уцелел. Он уцелел в меньшей мере, чем его могла уберечь в чьем-либо сердце и действительно обманчиво уберегла в сердце Иакова охранница-смерть. Нужно, однако, иметь в виду, что когда речь идет об облике и материи, то вовсе не так и существенно, как нам это кажется, кто удалил из поля нашего зрения то или иное лицо — смерть или жизнь.

Вдобавок и материю, благодаря которой она, меняясь и созревая, приобретала свой облик, жизнь Иосифа извлекала совсем из другой сферы, чем если бы он оставался на глазах у Иакова, а это тоже накладывало отпечаток на его облик. Его питали воздух и соки Египта, он ел пищу Кеме, клетки его тела пропитывались и набухали влагой этой страны, облучались ее солнцем; он одевался в полотно из ее льна, ходил по ее земле, сообщавшей ему свои старые силы и свои безмолвные идеи формы, изо дня в день видел воочию рукотворные воплощения этой безмолвно-решительной всесвязующей главной идеи, наконец, говорил на языке этой страны, который видоизменил его губы и его подбородок настолько, что вскоре Иаков, отец, сказал бы ему: «Отпрыск мой. Даму, что случилось с губами твоими? Я не могу их узнать».

Словом, Иосиф все больше превращался в египтянина лицом и манерами, и происходило это с ним легко, быстро и незаметно, ибо он, как истинное дитя мира, отличался гибкостью души и материи, а кроме того, пришел в эту землю еще очень юным и мягким; тем проще и тем удобней приобретала его натура местные черты, что, во-первых, если говорить о предпосылках физических, — в облике его, бог весть почему, всегда было что-то египетское — тонкие члены, лежесные плечи, а во-вторых, если говорить о нравственных предпосылках, положение приспособляющегося к жизни «детей страны» чужеземца было для него не новым, а издавна знакомым, традиционным: ведь и дома он и его соплеменники, потомки Аврама, всегда жили среди детей страны как гости, как «герим», хоть и давно уже обвыкнув, освободившись, приладившись и прижившись, но все же с какой-то внутренней оговоркой, с отстраненным и трезвым взглядом на мерзкие бааловские обычаи истинных детей Канаана. Так жил теперь и Иосиф в земле Египетской; как дитя мира, он легко примирял внутреннюю оговорку с приспособленчеством, ибо эта-то оговорка и помогала ему приспособляться, не боясь, что он предаст бога, элохима, который привел его в эту страну, и на чье согласие и милосердную снисходительность следовало доверчиво рассчитывать, если он, Иосиф, будет во всех отношениях походить на египтянина и внешне целиком уподобится сынам Хапи и подданным фараона — но, конечно, раз навсегда оговорит эту молчаливую свою оговорку. Удивительная получалась картина: с одной стороны, именно как дитя земное, он бодро приспособлялся к быту сынов Египта и был в ладу с их прекрасной культурой; но, с другой стороны, они-то как раз и были детьми земными, на которых он глядел отрешенно, с доброжелательной снисходительностью, проникнутый духовной иронией своего племени по отношению к затейливой мерзости их обычаев.

Его захватил и закружил египетский год с чередой своих времен, с непрерывным хором своих праздников, началом которого можно было считать любой: новогодний праздник

в начале затопления, невероятно суматошный и богатый надеждами день, оказавшийся, впрочем, как выяснится, роковым для Иосифа; или годовщину вступления на престол фараона, день, когда вновь оживали радостные надежды народа, связанные с первым днем нового правления и новой эпохи: что теперь на смену несправедливости придет справедливость и что люди будут жить, не уставая смеяться и удивляться; или любой другой памятный и праздничный день; ибо это был круговорот повторений.

Иосиф вступил в природу Египта в пору спада воды, когда уже обнажилась земля и совершился посев. В эту пору Иосиф был продан, а потом он последовал дальше в глубь года и вместе с ним закружился: пришла пора урожая, длившаяся, судя по ее названию, вплоть до знойного лета и до тех дней, которые мы называем июнем, когда обмелевшая река, к благоговейному ликованию народа, вновь поднималась и медленно выходила из берегов, тщательно наблюдаемая и измеряемая чиновниками фараона, ибо весьма важно было, чтобы река разливалась правильно, не слишком буйно, но и не слишком вяло, так как от этого зависело, будет ли пища у детей Кеме, выдастся ли удачный для сбора налогов год и сможет ли фараон продолжить строительные работы. Шесть недель поднимался и поднимался кормилец-поток, он поднимался бесшумно, пядь за пядью, и днем, и ночами, когда люди спали, но даже и во сне не переставали верить в него. И лишь позднее, в пору самого жаркого солнца, которую мы называли бы второй половиной июля, а дети Египта называли месяцем паофи, вторым месяцем своего года и своего первого времени года, того, что именовалось ахет, поток набирал полную силу и разливался далеко в обе стороны, затопляя поля и покрывая страну, эту особенную, неповторимую, не имевшую себе равных в мире страну, которая поэтому, на первых порах к веселому изумлению Иосифа, превращалась в одно сплошное священное озеро, где, однако, благодаря возвышенному их положению, выступали, подобно островам, города и деревни, связанные между собой проезжими насыпями. Так, давая своему туку, питательному своему илу, осесть на поля, бог стоял целых четыре недели, вплоть до второго, зимнего времени года, которое называлось перет: тут он начинал чахнуть и вновь входить в свои берега — «воды убывали», так определял это явление глубоко пораженный Иосиф, и к нашему январю уже снова умещались в старом своем русле, где, впрочем, продолжали спадать и убывать до самого лета; и семьдесят два дня — это были дни семидесяти двух заговорщиков, дни зимней засухи, когда бог терял силы и умирал, — проходило до того дня, когда фараоновы стражи потока сообщали, что он вновь стал расти и что начался новый благословенный год, может быть, умеренный, а может быть, и обильный, но во всяком случае, избави Амурн, не голодный и не настолько бедный оброками, чтобы фараон и вовсе перестал строить.

Для Иосифа время от нового года до нового года или от той поры, когда он впервые вступил в эту страну, до другой такой же, летело быстро; быстро, откуда ни считай, летело оно через три поры года, затопление, посев и жатву, через четыре месяца каждой поры, через праздники, которые каждую из них украшали и в которых он, как дитя мира, участвовал, уповая на высшую снисходительность и с внутренней оговоркой; участвовать в них, и притом с самым невозмутимым видом, он должен был хотя бы уже потому, что идолопоклоннические эти празднества были тесно связаны с хозяйственной жизнью, а он, состоя на службе у Петепра и будучи поверенным Монт-кау, не мог избегать приуроченных к священным обрядам рынков и ярмарок, ибо торговая жизнь всегда бьет ключом в больших человеческих скопищах. В преддверьях фиванских храмов торговля, благодаря повседневному жертвоприношениям, велась непрестанно; но и выше и ниже по реке было множество мест паломничества, куда отовсюду толпами стекался народ, если тот или иной бог, справляя свой праздник, украшал свой дом, вещал устами гадателей и одновременно с подкреплением духовным обещал гулянья, веселую толчею, шумные торжища. Не у одной только Бастет, этой почитаемой в Дельте кошки, был свой праздник, о котором Иосиф некогда услышал всякие непристойности. К мендесскому или, как говорили дети Кеме, к джедетскому козлу богомольцы из дальних и ближних мест ежегодно прибывали точно такими же и даже, пожалуй, еще более веселыми толпами, так как грубый

и похотливый козел Биндиди был еще популярнее кошки Бастет и во время своего праздника публично совокуплялся с какой-нибудь девственницей. Мы можем, однако, поручиться за то, что Иосиф, хоть он и совершал деловые поездки на козлиную ярмарку, на это зрелище никогда не оглядывался и, как поверенный своего управляющего, был занят только сбытом папируса, посуды и овощей.

При всех своих свойствах сына мира, на многое в этой стране и в ее обычаях, точнее сказать, праздничных обычаях, ибо праздник — это большой день и апофеоз обычая, — Иосиф, думая об Иакове, не оглядывался или если уж оглядывался, то глядел с самым холодным и отрешенным видом. Так, он не любил любви здешнего люда к хмельному: сочувствовать этому пристрастию ему мешали и воспоминания о Ное, и пример трезвой вдумчивости отца, и собственная природа, которая была веселой и светлой, но питала отвращение к отупляющему дурману. Дети же Кеме только и радовались случаю опьянить себя пивом или вином — и мужчины и женщины. По праздникам у египтян бывало столько вина, что они могли пить четыре дня подряд вместе с детьми и женами и все это время никуда не годились. Но, кроме того, бывали и особые питейные дни, например, большой пивной праздник в честь одной старой истории о том, как Хатхор, эта могущественная богиня, эта львиноголовая Сахмет, чуть не уничтожила, разъярившись, людей и полное истребление нашего рода было предотвращено только вмешательством Ра, ухитрившегося допьяна напоить ее подкрашенным кровью пивом. Поэтому в соответствующий день дети Египта выпивали совершенно невероятное количество пива — темного пива, очень крепкого пива хес, пива с медом, пива заморского и пива, сваренного в самом Египте, главным образом в городе Дендере, местопребывании Хатхор, куда для этой цели и отправлялись и который, как обитель богини пьянства, даже назывался «столицей пьянства».

На это Иосиф не очень-то оглядывался и пил только для виду, только из вежливости, не больше, чем это требовалось для дела и для приспособления к здешним нравам. Весьма отрешенно, памятуя об Иакове, глядел он и на некоторые другие местные обычаи, дававшие знать о себе во время большого праздника владыки мертвых Усира, в самые короткие дни года, когда умирало солнце — хотя вообще-то к этому празднику, к его играм и представлениям Иосиф относился с сочувственным вниманием. Эти дни были годовщиной страданий растерзанного, похороненного и воскресшего бога, чья история, в виде блистательного маскарада, воспроизводилась жрецами и народом со всеми ее ужасами и со всей радостью по поводу воскресения, которая выражалась подпрыгиваньем на одной ноге и всяким традиционным шутковством, включавшим в себя и древние, никому уже толком не понятные лицедейства: например, устраивались очень жестокие потасовки между двумя группами людей, одна из которых изображала «жителей города Пе», а другая — «жителей города Депа», хотя никто понятия не имел, что это за города; или же с насмешливым гогом и опять-таки очень жестоко колотя их по спинам палками, прогоняли вокруг города стадо ослов. В том, что это животное, считавшееся символом фаллической мощи, осыпали насмешками и ударами, заключалось известное противоречие, ибо, с другой стороны, праздник умершего и похороненного бога был также чествованием напряженной мужской силы, которая прорвала свивальники Усира, благодаря чему Исет, в виде самки коршуна, зачала от него сына-мстителя, и в деревнях в эти дни года женщины устраивали величальные шествия с фаллом в локоть длиной, который они приводили в движение с помощью особых веревочек. Таким образом, насмешки и побои противоречили величаниям; противоречили же они им по той понятной причине, что упрямое продолжение рода было, с одной стороны, делом горячо любимой жизни и плодотворного бытия, а с другой стороны, и тут-то вся суть, делом смерти. Ведь Усир был мертв, когда от него зачинала Изида-коршун; все боги обретали в смерти упрямую плодовитость, и в этом-то, говоря между нами, и заключалась причина, почему Иосиф, при всем своем личном сочувствии празднику Усира, Растерзанного, не глядел на некоторые обряды этого праздника и внутренне отрешался от них. Что же это за причина? Говорить о ней щекотливо и трудно, если один ее знает, а другой

еще не видит ее, — что, впрочем, вполне простительно, тем более что сам Иосиф почти не видел ее и она наполовину, если не на три четверти, ускользала от его сознания. Тут сказывался едва ощутимый, почти безотчетный страх его совести перед изменой, изменой «господину» — независимо от того, к кому будет отнесено обозначенное этим словом понятие. Нельзя забывать, что он считал себя мертвым, принадлежащим царству мертвых, где он теперь рос, нельзя забывать, какое имя принял он там с рассудительной дерзостью. Да и не так уж велика была его дерзость, коль скоро дети Мицраима давно уже добились того, чтобы каждый из них, даже самый ничтожный, становился после смерти Усиром и сочетал свое имя с именем Растерзанного, по тому же образцу, по какому бык Хапи превращался по смерти в Сераписа, то есть так, чтобы это сочетание значило «умереть и стать богом» или «быть как бог». А это-то «быть богом» и «умереть» наводило на мысль о прорывающей свивальники мужественности; и полуосознанный страх Иосифа был связан с тайной догадкой, что известные взоры, пугающе и отрадно вкравшиеся тогда из-за Дуду в его жизнь, имеют уже далекое, но опасное отношение к божественной плодовитости смерти, а значит — к измене.

Итак, мы сказали, мы как можно деликатнее объяснили, почему Иосиф старался не видеть обрядов Усирова праздника, — ни шествий деревенских женщин, ни избиваемых палками ослов. А вообще-то, и в городах и в деревнях, он многое видел в украшенном праздниками круговороте года египетского. Случалось ему, по мере того как бежали годы, видеть и фараона... Ибо бывало, что бог являлся людям — не только у «окна появления», где он в присутствии некоторых избранных лиц осыпал счастливых золотыми наградами, но и когда он благоволил воссиять над горизонтом дворца и показаться в полном своем великолепии всему народу, который при этом от радости начинал скакать на одной ноге, как то было предписано, да и вполне отвечало внутренним побуждениям детей Египта. Фараон, как заметил Иосиф, был толст и приземист, цвет лица у него был, по крайней мере когда сын Рахили увидел его во второй или в третий раз, не очень хороший, а выражение его глаз удивительно напоминало Монт-кау, когда у того ныла больная почка.

Действительно, в те годы, которые Иосиф провел в доме Петепра, все больше там возвышаясь, Аменхотеп Третий, Неб-ма-ра, начал хворать, обнаруживая в своем физическом состоянии, по мнению сведущих во врачебном искусстве жрецов храма и волшебников книгохранилища, усиливающуюся склонность к воссоединению с Солнцем. Воспрепятствовать этой склонности пророки-целители никоим образом не могли, поскольку она имела слишком много естественных оснований. Когда Иосиф во второй раз проходил круг египетского года, божественный сын Тутмоса Четвертого и митаннийки Мутемвейе отмечал тот юбилей своего царствования, который назывался хебсед, иными словами, тогда исполнилось тридцать лет с тех пор, как он, с бесчисленными церемониями, точнейшим образом повторявшимися в великую годовщину, надел на свою голову двойной венец.

Великолепная, почти свободная от войн жизнь властелина, отягощенная иератической пышностью и заботами о стране, словно золотыми плащами, наполненная охотничьими радостями, на память о которых он раздавал каменных скарабеев, и гордая своими строительными свершениями, — эта жизнь была у него позади, и теперь его природа претерпевала упадок, как природа Иосифа — рост. Прежде величество этого бога страдало лишь от частой зубной боли, каковой способствовала его привычка грызть смолисто-пахучие сладости, так что оно нередко присутствовало на аудиенциях и на государственных приемах в престольной палате с распухшей щекой. Но после хебседа (когда Иосиф увидел божественный выезд) недомогание пошло уже от других, более глубоко скрытых органов: фараоново сердце временами слабело, временами же стучалось в грудь слишком часто, спирая дыхание; в выделениях бога появились вещества, которые должны были бы задерживаться в его теле, но в нем не удерживались, так как оно содействовало своему разрушению; а еще позднее, помимо щеки, раздалась и разбухли живот и ноги. Тогда дальний собрат и корреспондент бога, тоже считавшийся божеством в своей сфере, митаннийский царь Тушратта, сын Шутарны, отца Мутемвейе, кото-

рую Аменхотеп называл своей матерью, — короче говоря, его евфратский шурина (ибо дочь Шутарны царевну Гилухипу фараон ввел в свой гарем в качестве побочной жены) из своей далекой столицы прислал ему чудодейственное изображение Иштар; услышав о невзгодах фараонова тела, он прислал это изваяние в Фивы с надежной охраной, так как ему, Тушратте, оно всегда являло, в более, правда, легких случаях, свою целебную силу. Вся столица, нет, весь Верхний и Нижний Египет, от негритянских границ и до моря, говорил о прибытии этого посольства во дворец Меримат, и в Потифаровом доме тоже только об этом и шли разговоры целыми днями.

Известно, однако, что владычица дороги Иштар не смогла или не пожелала ослабить одышку и отеки фараона надолго — к удовлетворению, к стати сказать, местных волшебников, чьи зелья тоже не оказывали больному никакой существенной помощи просто потому, что его склонность к воссоединению с Солнцем была сильнее всего на свете и медленно, но верно делала свое дело.

Иосиф видел фараона во время хебседа, когда вся Уазет была на ногах и глядела на выезд бога — одну из тех торжественных процедур, что заполняли этот радостный день. Большая часть этих процедур, всякие облачения, восхождения на престол, очистительные омовения жрецов в масках богов, окуривания и прочие архисимволические манипуляции, совершались внутри дворца, в присутствии только самых знатных людей двора и страны, а народ в это время пил и плясал на улицах, отдавшись представлению, что время отныне коренным образом обновится и начнется эра благоденствия, справедливости, мира, смеха и всеобщего братства. Уже тридцать лет назад радостная эта уверенность была восторженно связана с подлинным днем смены царя; с тех пор каждую годовщину она оживала вновь, хотя, правда, в несколько более слабой и поверхностной форме. Но в хебсед она воскресала в сердцах во всей своей свежести и праздничности как торжество веры над опытом, как культ убежденности, которой не вырвет из души человека никакой опыт, потому что она вложена в его душу свыше... Зато выезд фараона, когда он в полдень направлялся к дому Амуна, чтобы принести жертву, был зрелищем публичным, и толпы народа, в том числе Иосиф, ждали царя на западе, у самых ворот дворца, а другие толпы обступали дорогу, по которой он должен был проследовать через правобережную часть города — в особенности проспект Овнов, главную улицу Амуна.

Царский дворец. Великий Дом, у которого фараон и заимствовал свое наименование, ибо слово «фараон» означало не что иное, как «Великий Дом», хотя в устах детей Египта оно звучало несколько иначе, отличаясь от слова «фараон» так же, как имя «Петепра» от имени «Потифар», — итак, царский дворец находился у края пустыни, у подножья пестроблестящих фиванских скал, посреди просторного круга обводной стены с охраняемыми воротами, которая охватывала также прекрасные сады бога и сверкавшее среди цветов и чужеземных деревьев озеро, возникшее по манию фараона и главным образом на радость Тейе, Великой Супруги, в восточной части садов.

Сколько ни вытягивал шею толпившийся у дворца люд, из ослепительного великолепия Меримата он мало что видел; он видел у ворот стражей с кожаными клиньями над набедренниками и с перьями на шлемах, видел, как блестит на непрестанном ветру освещенная солнцем листва, видел затейливые крыши над пестрыми балясинами, видел, как на золотых шестах развеваются длинные разноцветные флаги, и вдыхал сирийские ароматы, поднимавшиеся от невидимых садовых гряд и как нельзя более согласные с идеей божественности фараона, тал как сладостное благоухание обычно сопутствует божеству. А потом оправдывалось ожидание всех этих балагуров, зубоскалов и зевак перед воротами, и когда струг Ра достигал самой высокой своей точки, раздавался клич, часовые у ворот поднимали копья, и между шестами с флагами распахивались бронзовые створки, открывая вид на посыпанную синеватым песком дорогу сфинксов, которая шла через сад и по которой торжественный поезд фараона мчался через главные ворота в пятящуюся, расступающуюся, кричащую от радости и от страха толпу. Ибо предварительно в нее врывались скороходы с дубинками и расчищали путь колесницам и

коням, пронзительно крича: «Фараон! Фараон! Трепещи! Головы долой! Посторонись! С дороги, с дороги, с дороги!» И народ, пьяный от радости, расступался, подпрыгивал на одной ноге, отчего по толпе ходили волны, как по морю в бурю, протягивал худые руки к солнцу Египта, восторженно посылал воздушные поцелуи; а женщины вздымали в воздух барахтающихся и хнычущих ребятишек или, запрокинув головы, жертвенно поднимали обеими руками груди, оглашая окрестность ликующими и страстными криками: «Фараон! Фараон! Могучий бык своей матери! Крылатый духом! Живи миллионы лет! Живи вечно! Люби нас! Благослови нас! Мы неистово любим и благословляем тебя! Золотой сокол! Гор! Гор! Ты всеми своими членами Ра! Хепре в истинном его облике! Хебсед! Хебсед! Поворот времени! Конец горестям! Восход счастья!»

Такое ликованье народа — зрелище очень волнующее, оно захватывает даже человека постороннего, внутренне отрешенного. Иосиф тоже немного покричал и попрыгал с детьми Египта, но главным образом он глядел, глядел в немом волненье. А глядел он так внимательно и волновался он так потому, что увидел самого высокого, фараона, который выходил из своего дворца, как луна среди звезд, и потому что, согласно древнему, приобретенному у него, Иосифа, несколько земной и мирской характер завету, он всегда устремлялся сердцем к самому высшему, чему единственно и должен служить человек. Еще далеко ему было до того, чтобы предстать перед самым высоким в ближайшем своем окружении, Потифаром, а его помыслы, как мы не преминули заметить, были уже направлены на еще более, так сказать, окончательные и безусловные воплощения этой идеи. Теперь мы увидим, что в своем стремлении забежать вперед он и на этом не останавливался.

Вид фараона был чудом. Его колесница, сплошь из чистого золота — с золотыми колесами, золотыми стенками и золотым дышлом, — была покрыта чеканными изображениями, разглядеть которые, однако, не удавалось, ибо на ярком полуденном солнце она сверкала так ослепительно, что глазам становилось невмоготу; а так как колеса ее и копыта коней взметали густые клубы пыли, то казалось, будто фараон мчится в дыму и пламени, и зрелище это было и страшным, и величественным. Казалось, что и кони, запряженные в колесницу, «большая первая упряжка» фараона, как говорили египтяне, вот-вот выдохнут пламя ноздрями — в таком диком плясе неслись эти налитые мышцами жеребцы в нарядной своей сбруе, с золотыми ярменными нагрудниками, золотыми же львиными головами и качающимися перьями султанов на темени. Фараон правил сам; он стоял один в огненной колеснице и сжимал поводья левой рукой, а правой, торчком, на какой-то священный лад, косо держал перед грудью, у самого низа сверкающего золотом воротника, бич и изогнутый, черно-белый жезл. Фараон был уже довольно дряхл, это было видно по его ввалившемуся рту, по его усталому взгляду, по спине, которая явно горбилась под белой, как лотос, верхней одеждой. Скулы отчетливо выступали на его худощавом лице, и казалось, что он поддумянил щеки. Сколько всяческих амулетов висело у него на боку под платьем — и завязок, разнообразно скрепленных и сплетенных, и талисманов в виде твердых предметов! Голову его, до самого затылка, покрывала голубая тиара, усеянная желтыми звездами. А в лобной ее части, над носом фараона, мерцая разноцветной финифтью, дыбилась ядовитая змея кобра, волшебное отворотное средство Ра.

Так, не глядя ни вправо, ни влево, проехал царь Верхнего и Нижнего Египта мимо Иосифа. Высокие опахала из страусовых перьев качались над ним, воины-телохранители, щитоносцы и лучники, египтяне, азиаты и негры бежали со знаменами рядом с его колесами, а офицеры следовали за ним в повозках, кузова которых были обтянуты пурпурной кожей. А потом весь народ снова молитвенно загомонил, ибо за этими повозками показалась еще одна, особая, с золотыми, сверкавшими в пыли колесами, и в ней стоял мальчик, лет восьми или девяти, тоже под страусовыми опахалами, и сам держал вожжи и бич слабыми, в браслетах руками. Лицо у него было продолговатое, бледное, с полными, малиново-красными, что особенно подчеркивало эту бледность, губами, печально и приветливо улыбавшимися кричавшей толпе, и полукрестными глазами, подернутыми поволокой не то гордости, не то грусти. Это

был Аменхотеп, божественное семя, наследный принц, преемник престола и венцов, когда его предшественник соблаговолит воссоединиться с Солнцем, единственный сын фараона, дитя его старости, его Иосиф. По-детски худое туловище этого возникшего было обнажено, если не считать запястий на руках и тускло поблескивавшего финифтяными цветами воротника на шее. Но его плоеный золототканый набедренник захватывал большую часть спины и доходил до икр, хотя спереди, где сверху висел клапан с золотой бахромой, глубокий дугообразный вырез ниже пупка открывал вздутый, как у негритенка, живот. Золототканая повязка, гладко прилежавшая ко лбу, где у мальчика, как и у отца, торчала змея, окутывала его голову, образуя на затылке кошель для волос, а над одним ухом, в виде широкой бахромчатой ленты, у него свисала детская прядь царских сыновей.

Во всю мощь своих глоток приветствовал народ это уже рожденное, но еще не восшедшее Солнце, это солнце, скрытое горизонтом востока, солнце завтрашнее. «Мир Амуна! — кричали люди. — Многая лета сыну бога! Как ты прекрасен на светозарном небе! О, мальчик Гор с детской прядью! О, волшебный сокол! Защитник отца, защити нас!» Им еще долго нужно было кричать и молиться, ибо вслед за окольными, поспешавшими за солнцем грядущего дня, опять показалась огнеблещущая колесница с высоким навесом, где позади согнувшегося над перилами возницы стояла Тейе, жена бога. Великая Супруга Фараона, владычица стран. Она была мала ростом и смугла лицом; ее подведенные в длину глаза блестели, ее изящно-крепкий божественный носик отличался решительностью изгиба, а ее толстогубый рот улыбался сытой улыбкой. На земле не было ничего, что могло бы сравниться по красоте с ее головным убором, представлявшим собой диадему в виде грифа, целой золотой птицы, чье туловище с вытянутой вперед головой прикрывало темя Тейе, а чудесной выделки крылья спускались к ее щекам и плечам. А к спине птицы был еще прикован обруч, откуда поднималось несколько высоких и жестких перьев, превращавших эту диадему в венец божества; на лбу же царицы, кроме голого, хищного, с крючковатым клювом черепа грифа, торчала и очковая, налившаяся ядом змея. Знаков высшей власти и божественного отличия на жене фараона было более чем достаточно, их было слишком много, чтобы народ не пришел в восторг и не начал самозабвенно кричать: «Исет! Исет! Мут, небесная мать-корова! Богоносное чрево! О ты, что наполняешь дворец любовью, сладостная Хатхор, помилуй нас!» Во весь голос приветствовал он и царских дочерей, которые, обнявшись, стояли в повозке позади скрючившегося в три погибели и в такой позе правившего конями возницы, а также придворных дам, каковые затем проезжали парами с почетным опахалом в руке, равно как и Вельмож Близости и Доверительности, истинных и единственных друзей фараона, посетителей Утреннего Покоя, ехавших следом. Так, сквозь толпы, двигался этот праздничный поезд по суше к реке, где стояли наготове пестрые струги, и среди них небесный струг фараона «Звезда обеих стран», чтобы бог, родительница, семя и весь двор переправились на восточный берег и там, уже на других упряжках, проехали через город живых, где на улицах и на крышах тоже кричал и неистовствовал народ, — к дому Амуна, на великое воскурение.

Так вот и увидал Иосиф «фараона», как однажды, будучи предметом продажи, впервые увидал во дворе благословенного дома «Потифара», самое высокое лицо ближайшего своего окружения; тогда он подумал, что должен будет во что бы то ни стало оказаться с ним рядом. Теперь, благодаря умной словоохотливости, он был рядом с ним; но наша история утверждала, что уже тогда он втайне задался целью вступить в связь с более отдаленными и, так сказать, окончательными проявлениями высочайшего, а затем она приписала его воле стремления, идущие даже еще дальше. Как же понимать это последнее? Разве может быть что-либо еще выше, чем высочайшее? Конечно, может быть, если только в крови у тебя есть вкус к будущему: еще выше высочайшее завтрашнего дня. Среди ликованья толпы, в котором он участвовал с известной сдержанностью, Иосиф достаточно тщательно разглядел фараона. И все же самое глубокое, самое участливое его любопытство относилось не к старому богу, а к тому, кто должен был прийти ему на смену, к мальчику с длинной прядью и болезненно улыбающимся

губами, к Иосифу фараона, к наследному Солнцу. Его провожал он взглядом, его узкую спину и его золотой кошель для волос, его слабые, в браслетах руки, управлявшие лошадьми; его, а не фараона провожал он взглядом души и тогда, когда все уже миновало и толпа хлынула к Нилу; малым, грядущим Солнцем были заняты мысли Иосифа, и это, вероятно, объединяло его с детьми Египта, которые тоже при виде юного Гора кричали и молились еще усерднее, чем когда мимо них проезжал сам фараон. Ибо будущее — это надежда, и человеку из милости отпущено время, чтобы он жил ожиданием. А разве Иосифу не нужно было еще расти и расти на своем месте, чтобы у него появилась хотя бы самая ничтожная, самая общая возможность только предстать перед самым высоким, а не то что стать рядом с ним? Поэтому вполне закономерно, что на празднике хебседа его взгляд устремлялся за нынешний предел высоты в будущее, к еще не восшедшему солнцу.

ОТЧЕТ О СКРОМНОЙ СМЕРТИ МОНТ-КАУ

Семь раз провел Иосифа по своему кругу египетский год, восемьдесят четыре раза прошло любимое им и родственное ему светило через все свои состояния, и от той материи сына Иакова, в которой его, тревожась и благословляя, отпустил от себя отец, действительно ничего уже не осталось в ходе непрерывного обновления; он носил, так сказать, совсем новую одежду, в которую бог облек теперь его жизнь и в которой не было уже ни одного волокна от прежней, принадлежавшей семнадцатилетнему юноше: в этой, сотканной из египетских прибавлений одежде Иаков с трудом узнал бы его, — сыну уже пришлось бы заверить отца: это я, Иосиф. Семь лет прошли у него во сне и в бдении, в раздумьях, в ощущениях, в делах и событиях, как проходят дни, то есть ни быстро, ни медленно, а просто прошли — и все тут, и вот ему было уже от роду двадцать четыре года, и он был прекрасен лицом и станом, этот полуноша-полумужчина, сын миловидной, дитя любви. Уверенней и решительней были теперь его деловая повадка и полновзвучнее некогда ломкий голос, когда он, обходя как надсмотрщик работников и челядинцев дома, распоряжался по-своему или же передавал распоряжения Монт-кау по праву его заместителя и главных уст. Ибо таковым он давно уже был, и с не меньшим правом его можно было назвать также глазом, ухом или правой рукой управляющего. Домочадцы, однако, именовали его просто «уста», ибо так вообще принято было в Египте называть уполномоченных, передающих приказы хозяина, а в данном случае это прозвище напрашивалось на язык еще и благодаря двойному смыслу, который оно приобретало применительно к Иосифу; ведь этот юноша говорил, как бог, и дети Египта, высоко ценившие красноречие и даже считавшие его величайшим наслаждением, отлично понимали, что именно красивыми и умными речами, до каких они сами никогда не додумались бы, он сделал или, во всяком случае, подготовил свою карьеру у господина и у Монт-кау.

Монт-кау доверял ему уже решительно все: и управление хозяйством, и расчеты, и надзор, и торговые сделки, и если в предании говорится, что Потифар отдал весь свой дом на руки Иосифа и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел, то сказано это в широком, переносном смысле: строго говоря, хозяин возложил все на своего управляющего, а уж тот — на новокупленного раба, с которым заключил договор об угождении хозяину; кстати сказать, хозяин и дом могли быть довольны, что такое перепоручение кончалось на Иосифе и что в конце концов вел хозяйство действительно он, а не кто другой, ибо, радея о господе и о его далеко идущих замыслах, он вел хозяйство с умелой преданностью и пекся о выгодах дома и днем и ночью, а потому, в полном согласии с выражением старого измаильтянина и со своим собственным именем, не только снабжал дом, но и умножал его.

Почему к концу этого семилетнего отрезка времени Монт-кау все больше и больше перекладывал на плечи Иосифа надзор за домом, а потом и вовсе ушел от всех дел в Особый Покой Доверия — об этом пойдет речь чуть ниже. А прежде нужно заметить, что зловредно-

му Дуду, сколько он ни старался, никак не удавалось преградить Иосифу путь, которым тот столь счастливо следовал, еще до истечения этих семи лет оставив далеко позади не только всех прочих слуг, но и малорослого Потифарова гардеробщика с его чином и положением в доме. Должность Дуду, доставшаяся этому человечку, несомненно, за его достойную солидность и карличью полноценность, была, конечно, весьма почетна и, предполагая личную близость к господину, по самой природе своей должна была способствовать опасным для Иосифа нашептываниям. Но Потифар терпеть не мог этого женатого карлика; степенность и важность Дуду были ему глубоко противны, и, не считая себя вправе лишить его должности, он всячески старался быть от него подальше, для чего и в одежной, и в Утреннем Покое ставил посредников между собою и карликом, которому предоставил только заведовать украшениями, нарядами, амулетами и почетными знаками, допуская его к себе не чаще и не на больший срок, чем то было совершенно необходимо, так что Дуду не мог ему толком и слова сказать, не то что произнести обвинительное слово против этого чужеземца и его досадного возвышения в доме.

Но даже и представься удобный случай, карлик все равно не отважился бы завести такой разговор — с самим повелителем. Отлично зная, как он противен хозяину — и тайной своей заносчивостью, которой он никак не мог, да и не хотел отрицать перед самим собой, и тем, что он сторонник солнечного главенства Амуна, — Дуду опасался, что его слова не возымеют действия на Петепра. Нужно ли было ему, супругу Цесет, убеждаться в этом на опыте? Нет, он предпочитал идти косвенными путями: через госпожу, которая, по крайней мере, внимательно выслушивала его частые жалобы; через Векнехонса, этого сильного Амунова стража, которого он, когда тот посещал госпожу, мог настропалить против враждебного старинным обычаем покровительства чужеземцу-хабиру; да и Цесет, полномерную свою супругу, которая несла службу у Мут-эм-энет, он заставлял влиять на нее в духе своей ненависти.

Но и усердный подчас не достигает успеха — представьте себе, что Цесет не принесла бы супругу плодов их брака, и вы получите наглядный тому пример. Вот так же и в данном случае были безуспешны старанья Дуду; они не приносили ему плодов. Известно, правда, достоверно, что однажды во дворце, в палате перед покоем фараона, первосвященник Амуна Бекнехонс дипломатически пожурил Петепра за огорчительное для набожных его, Петепра, домохадцев возвышение некоего нечистого чужеземца, сделав ему отечески-вежливое замечание на этот счет. Однако носитель опахала не понял, о ком идет речь, стал напрягать свою память, заморгал глазами, обнаружил свою рассеянность, а задерживаться на частностях, на мелочах, на делах домашних больше, чем на мгновение, Бекнехонс, как человек большого полета, совершенно не был способен: он тотчас же перешел к высоким материям, стал указывать на все четыре стороны света, заговорил о делах государственных, о сохранении власти, не преминув упомянуть иноземных царей Тушратту, Шуббилулиму и Абдаширту, и разговор растекся по общим местам... Что же касается Мут, госпожи, то она даже и заставить себя не могла заговорить об этом с супругом, так как знала его глухое упрямство, да и не привыкла обсуждать с ним какие-либо дела и, обмениваясь с ним лишь сверхпредупредительными нежностями, воздерживалась от предъявления ему каких-либо требований. Этими причинами объяснялось ее молчаливое невмешательство. Для нас, однако, оно является одновременно указанием, что в то время, то есть на исходе этих семи лет, присутствие Иосифа оставляло ее равнодушной и ей еще не было важно прогнать его из дому и со двора. Желание, чтобы он был удален и скрылся прочь с ее глаз, пришло к жене египтянина позднее, пришло одновременно со страхом перед самой собой, которого сейчас ее гордость еще не знала. И еще об одном поразительном «одновременно» придется тут сказать: одновременно с тем, как госпожа поняла, что ей лучше не видеть больше Иосифа, и действительно попросила Петепра его удалить, — Дуду, казалось, переменил свое отношение к молодому хабиру и стал его сторонником; он начал так усиленно подлизываться к нему и прислуживаться, что карлик и госпожа словно бы поменялись ролями — и теперь она переняла его ненависть, а он на все лады

расхваливал ей этого юношу. И то и другое было, однако, притворством. Ибо в тот миг, когда госпожа выразила желание, чтобы Иосифа удалили, она на самом деле уже не могла этого желать и обманывала самое себя, притворяясь, что хочет этого. А Дуду, который, конечно, обо всем догадывался, просто хитрил и надеялся лишь, что, прикинувшись его товарищем, он успешней напакостит сыну Иакова.

К этому мы скоро, немного ниже, вернемся. Событием же, которое уготовило или, во всяком случае, имело своим последствием эти перемены, была злосчастная болезнь управляющего Монт-кау, союзника Иосифа по преданной службе хозяину, — злосчастная для него, злосчастная для Иосифа, привязанного к нему всем сердцем и испытывавшего чуть ли не угрызения совести из-за его болезни, злосчастная для всякого, кто сочувствует этому простому, но прозорливому человеку, даже если сочувствие сочетается тут с пониманием планомерной необходимости его ухода. Ибо в том, что Иосиф оказался в доме, управляющий которого был обречен смерти, нельзя не видеть определенной планомерности, и смерть управляющего была в известной степени жертвенной смертью. Счастье только, что в душе он склонялся к отставке и проявлял ту готовность, которую мы в другом месте пожелали свести к застарелой болезни почек. Вполне, однако, возможно, что его недуг был лишь физическим выражением этой душевной склонности, отличным от нее не больше, чем слово от мысли и письменное начертание от слова, и что, следовательно, в книге жизни Монт-кау почка была иероглифом для обозначения отставки.

Какое нам дело до Монт-кау? Почему мы говорим о нем не без умиления, хотя мало что можем сказать о нем, кроме того, что он был человеком сознательно простым, то есть скромным, и порядочным, то есть одновременно практичным и душевным, что нам за дело до того, кто жил некогда на земле и в стране Кеме, рано ли, поздно ли, но, во всяком случае, в те времена, когда именно его произвела на свет многолюдная жизнь, времена пусть поздние, но все же достаточно ранние, чтобы его мумия давно уже рассыпалась на мельчайшие части и была развеяна по миру всеми ветрами? Он был трезвым сыном земли, который не мнил, что он лучше, чем жизнь, и, в сущности, не желал знать ни о чем высшем и дерзновенном — но не по низости своей, а по скромности, ибо в глубинах души был вовсе не глух к высшим велениям, благодаря чему и сумел сыграть такую немаловажную роль в жизни Иосифа, ведя себя при этом, в сущности, точно так же, как когда-то большой Рувим: ведь образно говоря, Монт-кау тоже отступил с опущенной головой на три шага от Иосифа, а потом от чего отвернулся... И уже одна эта порученная ему судьбой роль обязывает нас отнестись к нему с известным участием. Но и совершенно независимо от нашей обязанности, чисто по-человечески, нас привлекает эта простая и все же душевно тонкая фигура, в силу некоей сочувственной потребности, которую он бы назвал колдовством, восстанавливаемая нами сейчас из праха тысячелетий.

Монт-кау был сыном средней руки чиновника из казнохранилища храма Монгу в Карнаке. Рано, когда ему было всего пять лет, его отец, Ахмос по имени, посвятил его Тоту и отдал его в имевшееся при храме училище, где в великой строгости, на скудном довольствии и щедрых побоях (ибо существовала поговорка, что уши у ученика на спине и что он слушает, когда его бьют) воспитывалось подрастающее поколение чиновников Монту, воинственного бога с головой сокола. Впрочем, это была не единственная задача училища: посещаемое детьми разного происхождения, и знатного и низкого, оно вообще давало основы литературной образованности, обучая божественной речи, то есть письму, искусству тростинки и приятного слога, а это было предпосылкой не только для карьеры чиновника-писца, но и для карьеры ученого.

Что касается сына Ахмоса, то он не хотел стать ученым — не потому, что он был для этого слишком глуп, а из скромности и потому что с самого начала твердо решил довольствоваться умеренно-добропорядочным положением и ни в коем случае не заноситься высоко. И если, в отличие от отца, он не провел всю свою жизнь в канцеляриях Монту, а стал управля-

ющим у вельможи, то даже это произошло почти вопреки его воле; его учителя и начальники рекомендовали его и добыли ему эту прекрасную должность без каких-либо ходатайств с его стороны, из уважения к его способностям и к его сдержанности. Бит он бывал в училище только в пределах неизбежного, причитавшегося и самому лучшему ученику, чтобы он слушался; общую свою смысленность он доказывал быстротой, с которой овладевал великим подарком божественной обезьяны — письмом, умной аккуратностью, с какой он, ведя длинные строки, запечатлевал в своих ученических свитках преподанное, все эти правила приличия, образцы писем, древние наставления, назидательные стихи, увещательные речи и похвалы писцам, а на обороте тем временем подсчитывал заприходованные мешки зерна и делал наброски деловых писем, ибо чуть ли не с самого начала участвовал в практической деятельности управления храмом, — участвовал скорее по собственной воле, чем по воле отца, который был бы рад, если бы его сын достиг большего, чем он сам, и стал каким-нибудь прорицателем бога, волшебником или, например, звездочетом, тогда как Монт-кау сызмала решительно и скромно готовил себя к деловой жизни.

Есть что-то своеобразное в таком врожденном смирении, проявляющемся в добросовестном усердии, в спокойной терпимости ко всяким невзгодам жизни, из-за которых другой возроптал бы и вознегодовал на богов. Монт-кау сравнительно рано женился на дочери одного отцовского сослуживца, горячо ее полюбив. Но его жена умерла во время первых родов, а с ней и ребенок. Монт-кау горько ее оплакивал, однако он не был особенно поражен подобным ударом и не очень донимал богов жалобами на такую судьбу. Он не делал попыток устроить заново свое семейное счастье, а остался вдовцом, и вдовцом одиноким. Сестра его была замужем за одним фиванским лавочником, Монт-кау иногда навещал ее на досуге, до которого он вообще-то не был охотником. Закончив ученье, он сначала работал в канцелярии храма Монту, потом стал управляющим в доме первого пророка этого бога и наконец оказался во главе прекрасного дома царедворца Петепра, где уже десять лет добродушно, но твердо исполнял свои обязанности, когда измаильтяне доставили ему более способного, чем он, помощника в преданном служении нежному господину и одновременно его преемника.

Что Иосифу суждено быть его преемником, он почувствовал рано, ибо при всей своей умышленной простоте был человеком проницательным, и можно сказать, что эта простота, эта склонность к самоограничению и к самоотстранению была даже следствием его проницательности, — проницательности болезни, дремавшей в его крепком теле, болезни, без влияния которой — ибо, подтачивая силы, она утончала душу, — он вряд ли бы оказался способен составить себе те деликатные впечатления, которые у него создались при первом взгляде на Иосифа. В то время он уже знал свое слабое место, так как знахарь Краснопузый, на основании глухой боли, нередко испытываемой Монт-кау в спине и в левом бедре, а также блуждающих болей в области сердца, частых приступов тошноты, замедленного пищеварения, плохого сна и чрезмерного давленья мочи, сказал ему напрямик, что у него червоточина в почке.

Эта болезнь по природе своей часто бывает скрытой и медленной, она иногда пускает корни в самом раннем возрасте и оставляет промежутки кажущегося здоровья, делая вид, что она затихла или даже совсем прекратилась, чтобы затем снова явить признаки своего продвижения. На двенадцатом году жизни у Монт-кау, как ему помнилось, была уже однажды кровь в моче, но только однажды, а потом ее много лет не было, так что этот пугающий и показательный случай постепенно забылся. Лишь когда ему исполнилось двадцать лет, она появилась снова — одновременно с вышеописанными недугами, причем тошнота и головная боль вызвала желчную рвоту. Это тоже прошло; но с тех пор он, человек спокойный и дельный, должен был жить в постоянной борьбе с то отступающей и на целые месяцы, а то и годы отпускающей его, то вновь с большей или меньшей силой овладевающей им болезнью. Скромность, ею вызванная, вырождалась подчас в глубокую вялость, тоску и подавленность, подавленность физическую и душевную, вопреки которой Монт-кау с тихим геройством выполнял свой каждодневный урок и которую люди сведущие или выставлявшие себя сведущими во врачебном

искусстве преодолевали кровопусканиями. И так как аппетит у него был удовлетворительный, язык — чистый, испарение кожи не нарушалось, а частота пульса была достаточно равномерна, то эти лекари не сочли его опасно больным и тогда, когда однажды у него на щиколотках появились бледные пузыри, откуда, когда их прокололи, вышла водянистая жидкость. Более того, так как выделение жидкости явно разгружало сосуды и взбадривало сердце, врачи сочли это явление даже благотворным, означающим, что болезнь выходит наружу и утекает.

Нужно сказать, что с помощью Краснопузого и его садовых лекарств он довольно сносно прожил десятилетие, предшествовавшее появлению Иосифа, хотя своей редко утрачиваемой работоспособностью был скорее обязан скромной силе собственной воли, чем народной мудрости Краснопузого. Первый по-настоящему тяжелый приступ — с такими отеками рук и ног, что ему пришлось их перевязать, с неистовой головной болью, бурными возмущениями желудка и даже помутнением глаз — случился у него почти сразу же после того, как прибыл Иосиф, и, пожалуй, даже во время переговоров со стариком-измаильтянином и осмотра товара это обострение уже начиналось. Так мы, по крайней мере, полагаем; ибо нам кажется, что тонкие предчувствия, возникшие у Монт-кау при виде Иосифа, и та особая растроганность, в которую привело его пробное пожелание спокойной ночи, были уже вестниками припадка и признаками болезненно повышенной чувствительности. Но возможно и другое врачебное толкование, а именно — что, наоборот, эти слишком ласковые прощальные слова вызвали известное ослабление его природы и ее сопротивляемости неизменно осаждающему ее недугу, — и мы действительно склонны опасаться, что ежевечерние пожелания Иосифа, как ни были они приятны управляющему, отнюдь не шли на пользу его жизнеутверждающей воле, которая бессознательно боролась с болезнью.

И то, что Монт-кау поначалу совсем не заботился об Иосифе, тоже объясняется главным образом тогдашним приступом, сковавшим его. Как и многие позднейшие, более слабые или столь же сильные вспышки, этот приступ миновал благодаря Хун-Ануповым кровопусканиям, пиявкам, фантастическим зельям растительного и животного происхождения, а также примочкам из листов исписанного папируса, которыми садовник обвязывал бедра больного, предварительно размягчив папирус в горячем масле. Здоровье или видимость здоровья опять воцарялась на долгие отрезки дальнейшей жизни Монт-кау, когда Иосиф уже был в доме и вырастал в первого помощника и в главные уста управляющего. Но на седьмом году пребывания Иосифа в доме, на похоронах одного своего родственника, точнее сказать — своего зятя, лавочника, приказавшего долго жить, Монт-кау простудился, что сразу свалило его и распахнуло ворота беде.

Это заражение смертью, этот, так сказать, уход вслед за тем, кому отдают последние почести в открытом для сквозняков кладбищенском здании, было очень распространенным явлением во все времена, и тогда не менее, чем сегодня. Стояло лето, и было очень жарко, но, как это часто бывает в Египте, довольно ветрено, а это опасное сочетание, так как ветер, непрестанно обвевая вспотевшую кожу, резко ее охлаждает. Перегруженный делами, управляющий замешкался в доме, и когда спохватился, рисковал уже опоздать на торжественную церемонию. Он стал спешить, вспотел и уже во время переправы через реку на запад в эскорте похоронного струга, будучи недостаточно тепло одет, сильно мерз. Не на пользу пошло ему затем и пребывание у маленького, купленного в рассрочку лавочником, ныне Усиром, sklepa в скале, перед скромным порталом которого один жрец — на нем была собачья маска Анупа — поддерживал мумию, чтобы она стояла, тогда как другой, действуя мистическим «копытцем», производил обряд отверзания уст, а толпа скорбящих, положив руки на посыпанные пеплом головы, наблюдала за этим волшебным актом, — не на пользу из-за холода, которым тянуло от камня и от входа в пещеру. Монт-кау вернулся домой с насморком и с воспалением мочевого пузыря; уже на следующий день он пожаловался Иосифу, что ему как-то странно трудно шевелить руками и ногами; полуобморочное состояние вынудило его отступить от домашних дел и улечься в постель, и когда садовник, чтобы унять невыносимую, сопровождающуюся

рвотой и наполовину ослепившую Монт-кау головную боль, поставил ему на висок пиявки, с управляющим случился апоплексический удар.

Иосиф страшно испугался, поняв намеренья бога. Принять против них человеческие меры не значило, так решил он про себя, пытаться греховно перечеркнуть провидящую волю, а значило лишь подвергнуть ее необходимому испытанию. Поэтому он тотчас же попросил Потифара послать в дом Амуна за ученым врачом, перед которым Краснопузый должен был отступить, — хоть и с обидой, но все-таки с чувством освобождения от ответственности, ибо у него хватало знаний, чтобы понять ее тяжесть.

Ученый из книгохранилища, действительно, отверг большинство назначений садовника, хотя различие между его предписаниями и предписаниями Краснопузого носило, по общему, да и по его собственному мнению, не столько медицинский, сколько общественный характер: эти были для простонародья, которому они вполне могли принести пользу, а те для высших слоев, требовавших более изысканного лечения. Так, например, мудрец из храма отменил размягченные в масле исписанные листы папируса, которыми его предшественник покрыл живот и бедра больного, и предписал компрессы из льняного семени на хороших полотенцах. Он высказал также полное презрение к популярным всеисцеляющим средствам Краснопузого, изобретенным якобы богами для самого Ра, когда тот стал хворать на старости лет, и состоявшим из всяких гадостей, числом от четырнадцати до тридцати семи, таких, как кровь ящерицы, толченые зубы свиньи, жидкость из ушей этого животного, молоко роженицы, всевозможный кал, в том числе антилоп, ежей и мух, человеческая моча и так далее, а кроме того, содержащим снадобья, рекомендованные управляющему, но только без гадостей, и самим ученым врачом, а именно — мед и воск, затем белену, небольшие дозы макового сока, горечавку, толокнянку, соду и рвотный корень. Разжевыванье семян клещевины с пивом, процедура, на которой особенно настаивал садовник, было также одобрено ученым врачом, равно как и применение сильного слабительного средства — некоего смолистого корня. Зато сильнодействующие кровопусканья, которые чуть ли не ежедневно практиковал Краснопузый, ибо мучительный стук в голове и помутнение глаз удавалось ослабить только с их помощью, ученый объявил ошибочными и велел применять их лишь с осторожностью: при такой бледности больного, учил он, потеря питательных и будящих жизнь частиц крови — слишком дорогая плата за временное облегчение.

Это была, видимо, неразрешимая дилемма, ибо именно обедневшая полезными и насыщенная вместо них вредными веществами, но, с другой стороны, все-таки необходимая кровь, вызывая ползучие воспаления, затопляла тело сменяющимися друг друга и одновременными болезнями, которые в ней-то явно и коренились, будучи, как знали оба врача, лишь косвенно связаны с почкой, давно уже работавшей плохо. Поэтому, независимо от того, как называли и как толковали эти неприятные явления врачи, Монт-кау попеременно и одновременно страдал воспалением грудной плевры, брюшины, сердечной сумки и легких; ко всему этому прибавились бедственные мозговые симптомы: рвота, слепота, приливы крови, судороги. Короче говоря, смерть наступала на него со всех сторон и во всеоружии, и было просто чудом, что после того как он слег, он еще несколько недель оказывал ей сопротивление и некоторые из одолевавших его болезней все-таки победил. Он был сильный больной; но как ни стойко он держался, как ни защищал свою жизнь — он все равно должен был умереть.

Иосиф понял это рано, когда Хун-Анун и ученый Амуна еще надеялись помочь управляющему, и очень убивался — не только из-за своей привязанности к этому славному человеку, который делал ему добро и чья судьба была ему по сердцу, так как это была тоже судьба «человека горя и радости», судьба Гильгамеша, и взысканного милостями, и побитого, — но также и прежде всего потому, что он, Иосиф, испытывал угрызения совести при виде его страданий и смерти; ибо они были явно подстроены для его, Иосифа, возвышения, и Монт-кау был жертвой замыслов бога: его убирали с дороги, это было совершенно ясно, и Иосифу так и хотелось сказать владыке замыслов: «То, что ты сейчас творишь, господи, — это только твоя

воля, а не моя. Я решительно заявляю: я к этому непричастен, и то, что это делается для меня, пусть не значит, что я в этом виноват, — вот о чем я смиренно молюсь!» Но это не помогало, он все равно испытывал угрызения совести из-за жертвенной смерти своего друга и понимал, что если тут вообще может быть речь о вине, то, значит, виноват он, получающий выгоду, ибо бог не знает вины. То-то и оно, думал про себя Иосиф, что все делает бог, а испытывать из-за этого угрызения совести дано нам, и мы оказываемся перед ним виноваты, потому что берем на себя вину ради него. Человек берет на себя вину бога, и было бы только справедливо, если бы бог однажды решился взять на себя нашу вину. Как он, свяшенно чуждый вины, делает это, неясно. По-моему, ему пришлось бы стать просто-напросто человеком для этого.

Он не отходил от страдальческого одра жертвы в течение тех четырех или пяти недель, которые она еще сопротивлялась отовсюду наступавшей на нее смерти, — так мучила его совесть из-за этих страданий. И днем и ночью ухаживал он за больным, ухаживал самоотверженно, жертвуя собой, как принято говорить и как в данном случае было бы совершенно справедливо сказать, ибо дело действительно шло об ответной жертве, и, принося ее, Иосиф отказывался от сна и недоедал. Он устроил себе постель возле больного, в Особом Покое Доверия, и ежечасно помогал умирающему, чем мог: согревал компрессы, подносил ему лекарство, втирал в кожу мази, заставлял его, по назначению врача из храма, вдыхать пар от растертых растений, которые разогревал на камнях, держал его конечности, когда у него начинались судороги; от них в последние дни несчастный страдал чрезвычайно сильно, он иногда даже вскрикивал под этим грубым натиском смерти, которая, казалось, дожидаться не могла, чтобы он сдался, и безжалостно теребила его. Особенно наседала она, когда Монт-кау засыпал; она судорогами вздымала с постели усталое тело, как будто говорила: «Ах, вот как, ты хочешь спать? Поднимись же, поднимись и умри!» Сейчас более, чем когда-либо, были уместны успокоительные пожелания спокойной ночи; Иосиф вкладывал в них все свое искусство и ласковым, заклинающим шепотом внушал больному, что теперь он, конечно же, отыщет стезю, ведущую в край утешения, и беспрепятственно последует по этой стезе, а его левая рука и нога, заботливо закрепленные холщовыми бинтами, не вернут его отчаянной болью обратно, в томительный день его муки.

Это оказывало свое действие и помогало в известных пределах. Но Иосиф и сам испугался, когда заметил, что его снотворные речи помогают слишком уж хорошо и управляющий, столько лет страдавший бессонницей, начинает, наоборот, склоняться к сонливости и готов целиком уйти в ядовитое свое забытие, отчего благая стезя становилась роковой и возникала опасность, что путник забудет о возвращении. Поэтому Иосиф пошел по другому пути и, вместо того чтобы сочинять колыбельные песни, пытался задержать друга на этом свете, подкрепляя его силы всякими историями и притчами, точнее сказать, историями и притчами из того обширно-древнего запаса сказок и анекдотов, которым он, Иосиф, благодаря наставлениям Иакова и Елизера, с детства располагал. Управляющий всегда любил слушать о первой жизни своего помощника, о его детстве в стране Канаан, его миловидной матери, что умерла у дороги, о великой и самоупоенной нежности, с которой отец относился сначала к ней, а потом к сыну, так что мать и сын были одним и тем же в праздничном наряде этой любви. Слышал он уже и о дикой зависти братьев, и о вине, заключавшейся в преступном доверии и слепой требовательности, вине, которую Иосиф по-ребячески взвалил на себя, и о том, как он был растерзан, и о колодце. Вообще-то управляющему, как Потифару, да и как всякому другому здесь, в доме, прошлое Иосифа и страна его юности виделись как нечто очень далекое, пыльное и убогое, от чего человек, естественно, быстро отрывается, коль скоро судьба переносит его к людям, в страну богов; поэтому, как и другие, Монт-кау нисколько не удивлялся тому, что египетский Иосиф не делал никаких попыток восстановить связь с варварским миром своего детства, и нисколько не осуждал за это Иосифа. Но истории этого мира Монт-кау всегда любил слушать, а во время последней его болезни самым приятным и самым успокоительным развлечением было для него лежать со сложенными руками и слушать изящно-увлекатель-

ные и торжественно-веселые рассказы своего молодого опекателя — о косматом и гладком и о том, как они пинали друг друга уже в материнской утробе; о празднике обмана и о бегстве гладкого в преисподнюю; о злом дяде и его детях, которых он поменял местами в ночь свадьбы, и о том, как тонкий хитрец, благодаря своему умному сочувствию природе, умудрился получить причитающееся у хитреца грубого. Сплошные обмены, обмены первородством и благословением, подмена невест и обмен богатств. Замена лежащего на жертвеннике сына животным, а животного похожим на него сыном, когда тот заблеял в смертный свой час. Все эти обмены и обманы развлекали, очаровывали и увлекали слушателя; ибо что может быть очаровательнее обмана? К тому же рассказы и рассказчик бросали друг на друга свой свет: от историй, им повествуемых, на него падал очаровательный отсвет обмана, а сам он, в свою очередь, озарял их собой, — ведь это он носил покрывало любви попеременно с матерью и всегда озадачивал Монт-кау какой-то смесью приветливости и лукавства — начиная с того мгновения, когда впервые предстал перед ним со свитком в руках и, улыбаясь, заставил его спутать себя с ибисоголовым богом.

Монт-кау почти лишился зрения и уже не мог сказать, сколько пальцев ему показывают. Но слышать он еще слышал и, слушая странные, чужеземные истории, так умно зазвучавшие у его одра, мог прогнать полуобморочную дремоту, к которой его клонила ядовитая кровь. Он слушал о постоянно наличном Елизере, что вместе со своим господином побил царей Востока и навстречу которому, когда он ехал за невестой для отвергнутой жертвы, скакала земля. О деве, спрыгнувшей с верблюда и накинувшей на голову покрывало при виде того, кому ее высватали. О дикарски красивом брате из пустыни, уговаривавшем Рыжеволосого убить и съесть отца. Об урском страннике, всеобщем отце, и о том, что произошло с ним и с его супругой-сестрой здесь, в Египте. О его брате Лоте, об ангелах перед его дверью и о необычайном бесстыдстве содомлян. О серном дожде, соляном столпе и о том, как поступили озабоченные будущим человечества дочери Лота. О синеарском Нимроде и о дерзостной башне. О хитроумном Ное, об этом втором первом и о его ящике. О самом первом, сотворенном из земли в саду Востока, о женщине из его ребра и о змее. Красноречиво и остроумно расточал Иосиф запасы этой наследной сокровищницы у постели больного, чтобы успокоить свою совесть и еще немного задержать умирающего на этом свете. И охваченный эпическим духом, Монт-кау в конце концов заговорил сам; он попросил приподнять подушки и с взволнованным близостью смерти лицом стал рукою ощупывать Иосифа, как будто он был Ицхаком, ощупывавшим в шатре сыновей.

— Дай мне увидеть видящими руками, — начал он, обратив лицо к потолку, — ты ли это, Озарсиф, сын мой, ибо я хочу благословить тебя перед кончиной, как нельзя лучше подкрепившись историями, которыми ты щедро меня попотчевал! Да, это ты, я вижу, я узнаю тебя, как узнают слепые, и тут не может быть ни сомнения, ни обмана, ибо у меня только один сын, и это ты, Озарсиф, и благословить я могу только тебя. Я полюбил тебя с годами вместо того младенца, которого забрала с собой мать в родильных муках, когда он задохнулся, ибо слишком узко была она сложена. У дороги? Нет, она умерла родами дома, у себя в комнате, и я не отважусь назвать ее муки какими-то сверхъестественными. Но все-таки они были настолько ужасны и настолько жестоки, что я пал на лицо и молил богов о ее смерти, каковую боги и даровали. Даровали они мне и смерть мальчика, хотя об этом я их не молил. Но зачем нужно было мне дитя без нее? Ее звали «Масличное Дерево», дочь Кегбоя, чиновника казначейства, Бекет было имя ее, и я не дерзнул возлюбить ее так, как этот благословенный осмелился возлюбить свою милovidную нахаринянку, твою мать, — на это я не решился. Но и она была милovidна, незабываемо милovidна в убранстве шелковистых ресниц. Она опускала их, когда я говорил ей слова сердца, слова любви, слова песен, на которые никогда не чаял отважиться, но которые стали моими словами в ту пору, в ту прекрасную пору. Да, мы любили друг друга, несмотря на ее узкое сложение, и когда она умерла с ребенком, я плакал о ней много ночей, покуда не высушили моих глаз работа и время — а они высушили их, и я перестал плакать

даже ночами, но и мешки под ними, и то, что глаза мои были такие маленькие, — все это, я думаю, пошло от тех долгих ночей. Не то чтобы я был в этом вполне уверен, может быть, это так, а может быть, и не так, и поскольку я умираю и глаза мои, которые плакали о Бекет, исчезнут, миру будет совершенно безразлично, как тут обстояло дело когда-то. Но сердце мое опустело, с тех пор как глаза мои высохли; оно стало таким же маленьким и таким же узким, как и глаза, оно утратило бодрость, потому что любовь его была так неудачна, и казалось, что теперь в нем осталось место только для отречения. Но сердцу нужно еще что-то, кроме отречения, оно хочет жить заботой более нежного свойства, чем прибыль и выгода. Я был управляющим, я был Старшим Рабом Петепра и ни о чем, кроме процветания и благоденствия этого дома, не думал. Ибо тот, кто от всего отрекся, — хороший слуга, и, понимаешь, это стало заботой моего уменьшенного сердца: служить и с нежностью помогать Петепра, моему господину. Ведь кто больше, чем он, и нуждается в преданной службе? Он сам ни за что не берется, ибо он от всего отчужден и не создан для дела. Он так нежен, так отчужден от всего рода человеческого и так горд, этот титулоносец, что поневоле тревожишься о нем и жалеешь его, ибо он добр. Разве он не был здесь, разве не навестил он меня во время моей болезни? Покуда ты был занят делами, он потрудился прийти к моей постели, чтобы по доброте своего сердца справиться обо мне, больном старике, хотя видно было, что и на болезнь он тоже глядит отчужденно и робко, ибо никогда не бывает болен, хотя трудно назвать его здоровым и представить себе, что он умрет. Я не могу представить себе этого, ибо, чтобы заболеть, нужно быть здоровым, а чтобы умереть, нужно жить. Но разве это уменьшает тревогу о нем, разве поэтому не нужно приходить на помощь его нежной чести? Скорее наоборот! Сердце мое прониклось этой тревогой куда больше, чем заботой о выгоде и о прибыли, оно так пеклось об этой преданной службе, что в меру своего разумения и своих сил я старался помочь его достоинству и угодить его гордости своими речами. Но ты, Озарсиф, делаешь это несравненно лучше, чем я: боги наделили душу твою тонкостью и высшей привлекательностью, которых так не хватает моей душе — то ли потому, что она для этого слишком тупа и черства, то ли потому, что она просто не посягала, не притязала на высшее. Поэтому ради преданной службы я заключил с тобой союз, которому ты обязан быть верен, когда я умру и меня не будет на свете; и если мне суждено благословить тебя и завещать тебе свою должность управляющего, ты должен поклясться у моего смертного одра, что будешь не только в полную меру своих сил и способностей беречь дом и вести дела господина, но и докажешь свою верность нашему нежному союзу преданным служением душе Петепра, защищая и оправдывая его честь со всей своей ловкостью, — не говорю уж о том, что ты никогда не обидишь эту устрашающе ранимую душу и не посрамишь ее ни словом, ни делом. Можешь ли ты торжественно обещать мне это, Озарсиф, сын мой?

— Обещаю торжественно и охотно, — ответил Иосиф на эту предсмертную речь. — Можешь быть спокоен, отец мой. Клянусь тебе, что согласно нашему договору буду помогать его душе бережной преданностью, даю обет верности его нуждам и обещаю тотчас же вспомнить о тебе, если когда-либо почувствую искушение причинить ему ту особую боль, которой поражает одинокого человека измена, — положишься на меня!

— Это меня очень успокаивает, — сказал Монт-кау, — хотя, с другой стороны, предчувствие смерти сильно меня волнует, чего оно не должно было бы делать, ибо на свете нет ничего обыкновеннее смерти, а тем более моей смерти, смерти простого человека, который всегда решительно избегал высшего; поэтому и смерть моя не высшего рода, и я не хочу поднимать из-за нее шум, как не поднимал шума вокруг своей любви к Масличному Деревцу, чьи муки я даже не осмелился назвать сверхъестественными. Но все же я хочу благословить тебя, Озарсиф, вместо сына, и благословить не без торжественности, ибо торжественность заключена в благословении, а не во мне, и поэтому наклонись, чтобы слепой положил руку на твою голову! Дом и усадьбу я завещаю тебе, истинному моему сыну и преемнику, новому управляющему господина моего Петепра, великого царедворца. Я уйду в отставку, уступая место тебе, а это веселит и радует мою душу, — о да, эту радость отставки приносит мне смерть, и волне-

ние мое перед смертью — это волнение, конечно же, радостное. А оставляю я все тебе по воле нашего господина, который, перебирая своих слуг, указывает на тебя перстом и прочит тебя в управляющие после моей смерти. Ибо на днях, когда он по доброте сердечной меня навестил и растерянно поглядел на меня, я заговорил с ним об этом и упросил его направить свой перст на тебя одного и окликнуть по имени, когда я сделаюсь богом, только тебя, чтобы я мог умереть спокойно, без тревоги о доме и обо всех делах. «Хорошо, Монт-кау, — сказал он, — хорошо, милый. Я укажу на него, если ты и в самом деле умрешь, о чем я весьма сожалел бы, — не колеблясь, на него и ни на кого другого, это решено, и всякий, кто вздумает меня отговаривать от этого, убедится, что воля моя тверда, как железо и как черный гранит из каменоломен Рехену. Он сам сказал, что моя воля именно такова, и я должен был с ним согласиться. Он вызывает у меня отрадное чувство доверия, у него это получается даже лучше, чем у тебя во времена твоей жизни, и мне часто казалось, что с ним заодно какой-то бог или много богов, которые все, за что он только ни возьмется, венчают удачей. Пожалуй, он будет еще меньше обманывать меня, чем при всей своей честности ты, ибо он сызмала знает, что такое грех, и как бы носит в волосах украшение жертвы, оберегающее его от греха. Одним словом, это решено, после тебя управлять домом и ведать всеми делами, которыми мне не вмоготу заниматься, будет Озарсиф. На него указывает мой перст». Вот слова господина, я их точно запомнил. А теперь, после того как он благословил тебя, благословляю тебя и я, ибо разве когда-либо поступают иначе? Благословляют всегда только благословенного и желают счастья только счастливому. Ведь и тот слепец в шатре благословил гладкого только потому, что благословение уже и было с гладким, а не с косматым. И ничего большего сделать нельзя. Итак, будь благословен, поскольку ты благословен! У тебя бодрый нрав, ты смело посягаешь на высшее, муки своей матери ты отваживаешься назвать сверхъестественными, а свое рождение без неопровержимого основания девственным, — это признаки благословенности, какой я не обладаю, а значит, и не могу передать. Я могу только, умирая, благословить тебя и пожелать тебе счастья. Пониже наклони голову, сын мой, под мою рукою, голову человека больших устремлений под рукою человека скромного. Я завещаю тебе дом, усадьбу и поле именем Петепра, для которого я управлял ими; поручаю тебе их тук и богатство, чтобы ты распорядился их службами, запасами их кладовых, плодами сада, крупным и мелким скотом, а также урожаем на острове, расчетами и всякой торговлей; а еще отдаю под твое начало посея и жатву, кухню и погреб, стол господина, довольствие гарема, маслобойные мельницы, виноградные тиски и всю челядь. Надеюсь, я ничего не забыл. А ты, Озарсиф, не забывай меня, когда я сделаюсь богом и уподоблюсь Озирису. Будь моим Гором, который защищает и оправдывает отца, следи за тем, чтоб не стерлась моя надгробная надпись, и поддерживай мою жизнь! Скажи, позаботишься ли ты о том, чтобы Мин-неб-мат, пеленальных дел мастер, и его подмастерья сделали из меня отличную мумию, не черную, а прекрасно-желтую, для чего я уже припас все необходимое, — ты присмотришь за ними, чтоб они ничего не прибрали к рукам, а засолили меня чистым натром и взяли ради вечной моей жизни тонкие бальзамы: стираксу, можжевельник, привозную кедровую смолу, а также мастику из сладких фисташек — и закутали мое тело нежнейшими пеленами? Позаботишься ли ты, сын мой, чтобы вечная моя оболочка была красиво расписана, а изнутри сплошь, без единого пробела, покрыта защитными изречениями? Обещаешь ли ты проследить за тем, чтобы жрец Имхотеп, что служит на западе, в городе мертвых, не роздал своим детям запасов хлеба, пива, масла и ладана, которые я оставил ему для жертвоприношений моему телу, дабы отец твой по праздникам всегда имел вдоволь еды и питья? Как хорошо, что ты самым благоговейным голосом обещаешь мне сделать все это, ибо хоть смерть и обычное дело, она влечет за собой большие заботы, и человек должен обеспечить себя со всех сторон. И еще поставь в мою усыпальницу небольшую жаровню, чтобы челядь жарила для меня бычьего окорока! Прибавь к ним еще гусиное жаркое из алавастра, деревянное изображение кувшина для вина и побольше этих твоих глиняных смокв! Я рад, что ты обещаешь мне это в самых благочестивых и успокоительных выражениях. Пос-

тавь на всякий случай возле моего гроба кораблик с гребцами и помести в моем домике нескольких человечков в набедренниках, чтобы они постарались за меня, когда западный бог призовет меня работать на свое плодородное поле, ибо, хотя голова моя и пригодна для обобщающего надзора, сам я не умею орудовать плугом или серпом. О, скольких хлопот требует смерть! Не забыл ли я чего-нибудь? Обещай мне подумать и о том, о чем я не вспомнил, например, позаботься, чтоб вместо сердца в меня вложили прекрасного жука из яшмы, которого мне по доброте сердечной подарил Петепра и на котором написано, что на весах суда мое сердце не должно свидетельствовать против меня! Он лежит в шкатулке тисового дерева, справа, вместе с обоими моими воротниками, которые я оставляю в наследство тебе... Довольно, однако, пора кончать мои предсмертные речи. Ведь всего не предусмотрит, и все равно остается тревога, которую несет с собой сама смерть, хоть нам и кажется, что причина нашей тревоги — это необходимость обо всем позаботиться. Даже незнание того, как мы будем жить после нашей кончины, — это только личина смертной тревоги, только тот облик, который принимает она в наших мыслях, но, как бы то ни было, сейчас это мои мысли, мысли тревоги. Буду ли я сидеть на деревьях, птицею среди птиц? Смогу ли я стать кем захочу — цаплей в болоте, скарабеем, который катит свой шарик, чашечкой лотоса на воде? Буду ли я жить в своем домике, радуясь жертвоприношениям из моего вклада? Или я окажусь там, где светит Ра ночью и где все будет такое же, как здесь, небо, земля, река, поле и дом, а я, по привычке своей, опять стану старшим слугой Петепра? Одни говорят об этом одно, другие — другое, третьи — и то и другое сразу, — и, наверно, одно равнозначно другому, а все вместе нашей тревоге, которая, однако, сходит на нет в хмелю зовущего меня сна. Уложи меня снова пониже, сын мой, ибо я изнемог: на это благословение и на эти заботы ушли последние мои силы. Я хочу отдаться сну, который уже наполняет мою голову хмелем, но прежде чем я предамся ему, мне бы все же хотелось быстренько узнать, свижусь ли я на берегу Нила Запада с Масличным Деревцем, отнятым у меня. Увы, теперь мне приходится думать прежде всего о том, чтобы в последний миг, когда я так хочу опочить, меня опять не схватили и не вернули к жизни судороги. Пожелай мне спокойной ночи, мой сын, как ты это умеешь делать, придержи мои руки и ноги и уйми судороги успокоительным заклинанием! Исполни еще раз изысканную свою обязанность — в последний раз! Нет, не в последний; ведь если на берегу Нила Преображенных все идет так же, как здесь, то, значит, и ты, Озарсиф, окажешься там снова моим подручным и будешь ежевечерне благословлять меня на ночь, каждый раз, благодаря своему дару, приятно разнообразя эту прощальную речь. Ведь ты благословен и можешь одаривать благословением, а я могу только пожелать тебе счастья... Я не в силах больше говорить, друг мой! Кончились мои предсмертные речи. Но не думай, что я тебя уже не слышу!

Правая рука Иосифа лежала на бледных руках умирающего, а левой он придерживал ему бедро.

— Да пребудет с тобой мир! — заговорил Иосиф. — Спокойной тебе ночи, отец мой, блаженного сна! Смотри, я начеку, я позабочусь о твоих членах, и ты можешь без всяких забот последовать стезей утешения, ни о чем больше не беспокоясь, — подумай только и порадуйся, — решительно ни о чем! Ни о своих членах, ни о делах дома, ни о себе, ни о том, что с тобой станет и какова жизнь после жизни, — ведь в том-то и штука, что все это не твое дело и не твоя забота и тебе совершенно незачем об этом тревожиться, пусть будет все как есть, ведь все так или иначе должно быть устроено, если уж оно есть, — об этом отлично позаботились без тебя, а твои заботы кончились, и ты можешь беззаботно прийти на готовое. Разве это не чудесно и не отрадно? Разве сегодняшнее мое вечернее благословение чем-либо отличается от обычного, когда я советовал тебе не думать, что ты должен, а думать, что ты волен, что ты имеешь право уснуть? Представь себе только, имеешь право! Конец горю, муке и всякой докуке. Нет больше ни боли в тебе, ни удушья, ни страха судорог. Ни противных лекарств, ни жгучих припарок, ни червей-кровопийц у тебя на затылке. Отворяется темница твоих тягот. Ты выходишь на волю, ты, счастливый, бредешь налегке стезей утешенья, и каждый твой шаг

утешает тебя все сильнее и сильнее. Ибо сначала идешь ты еще по знакомой долине, ежевечерне встречавшей тебя благодаря моему напутствию, и с тобой еще, хоть ты этого уже не сознаешь, какая-то тяжесть, какая-то затрудненность дыхания, и причиной тому твоё тело, которое сейчас придерживают мои руки. Но вскоре — ты не замечаешь пути, что приводит туда, — вскоре тебя встречают луга полнейшей легкости, где тебя и в самой малой, в самой неосознанной мере не гнетут и не обременяют здешние беды, и ты тотчас же освобождаешься от всяких забот и всяких сомнений насчет того, как обстоит с тобой дело и что с тобой станет, ты удивляешься даже, что когда-то мог мучиться этим, ибо все обстоит так, как обстоит, и находится в естественнейшем, правильнейшем, наилучшем, счастливейшем соответствии как с самим собой, так и с тобой, вековечным Монт-кау. Ибо что есть, то есть, а что было, то будет. Ты не знал, в тяготах своих, найдешь ли ты Масличное Деревце в тех дальних пределах? Ну, что ж, ты посмеешься над своими сомнениями, ибо она — погляди-ка! — с тобой, да и как ей не быть с тобой, если она твоя? Буду с тобою также и я, Озарсиф, умерший Иосиф, как ты меня называешь, — измаильтяне доставят тебе меня. Ты всегда будешь пересекать двор — с клинообразной своей бородкой, со своими серьгами и с большими слезными мешками, что остались у тебя, вероятно, от тех ночей, когда ты тайно и скромно оплакивал Бекет, Масличное твоё Деревце, и всегда будешь спрашивать: «Что это такое? Что за люди?» — а потом говорить: «Вы думаете, я могу слушать вашу болтовню целую вечность?» Ибо и там ты будешь Монт-кау, ты не выйдешь из своей роли и на людях будешь делать вид, словно ты и вправду веришь, что я Озарсиф, чужеземный раб, которого можно продать и купить, хотя втайне, благодаря скромной своей проницательности, ты будешь уже по опыту прошлого раза знать, кто я такой и какой я делаю крюк, идя дорогой своих братьев, богов. Прощай же, мой отец и начальник! Мы увидимся с тобой снова в мире света, блеска и легкости.

Тут Иосиф закрыл рот и прекратил свою речь, ибо он увидел, что ребра и живот управляющего уже не вздымаются и что Монт-кау незаметно вышел из долины в луга. Он взял перо, которое часто подносил к его глазам, чтобы узнать, видит ли он еще, и положил это перо на его губы. Но оно не шелохнулось. Глаза не пришлось закрывать, так как он сам, засыпая, мирно закрыл их.

Прибыли погребальщики, которые сорок дней подряд солили и приправляли всякими снадобьями тело Монт-кау, после чего он был закутан и помещен в ящик, сделанный точно по его росту, и еще несколько дней, пестрым Озирисом, простоял в глубине знакомой нам беседки в обществе серебряных владык. А потом ему еще пришлось спуститься на судне к священной могиле Абоду, чтобы нанести визит западному владыке перед своим не очень пышным переездом в скалистый домик в фиванских горах, предусмотрительно купленный.

Что же касается Иосифа, то у него, когда он вспоминал этого своего отца, неизменно увлажнялись глаза». Они становились при этом поразительно похожи на глаза Рахили, которая плакала слезами нетерпенья в ту пору, когда они с Иаковом ждали друг друга.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. ОДЕРЖИМАЯ

СЛОВО НЕВЕДЕНЬЯ

И после этой истории обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала...

Весь мир знает, что именно сказала Мут-эм-энет, названная супруга Потифара, когда она «обратила взоры» на Иосифа, молодого управляющего своего мужа, и мы не хотим, да и не смеем отрицать, что однажды, в крайнем смятении, в пылу отчаяния, она в конце концов и в самом деле это сказала, действительно прибегнув к той самой ужасающе прямой и откровенной формуле, которую вкладывает ей в уста предание, и прибегнув так непосредственно, как будто дело шло о весьма обычном в ее устах, ничего не стоившем ей, распутно-

недвусмысленном предложении, а не о позднем, глубоко выстраданном крике души и тела. По совести говоря, нас пугает скупая сжатость отчета, не считающегося, как наш источник, с докучливой мелочностью жизни, и редко случалось нам так живо, как в этом месте, ощущать обиду, наносимую истине недомолвкой и лаконизмом. Да не подумают, что нас не трогает угроза упрека, который, либо вслух, либо из вежливости, молча, будет предъявлен всему нашему повествованию, всему нашему спору с этой историей; мы знаем, нам скажут, что убедительнее, чем в первоисточнике, ее нельзя изложить и что все наше затянувшееся предприятие — напрасный труд. Но когда, позволительно спросить, комментарий вызывался соревноваться со своим текстом? И потом, разве ответить на вопрос «как?» менее достойное, менее важное в жизни дело, чем рассказать, что же произошло? И разве сама жизнь не есть прежде всего ответ на вопрос «как»? Нужно вспомнить о том, о чем уже говорилось, а именно — что еще до того, как эта история была впервые рассказана, она рассказала себя самое, — рассказала с такой подробностью, на какую способна одна только жизнь и которой никогда не достигнуть никакому рассказчику. Он может только приблизиться к ней, служа жизни с ее «как» добросовестней, чем это соглашается делать лапидарный дух вопроса «что?». И если вообще оправдывает себя комментаторская добросовестность, то она, конечно же, оправдывает себя в данном случае, когда речь идет о жене Потифара и о том, что она, согласно преданию, так прямо сказала.

Представление о жене Потифара, которое на этом основании складывается или, по крайней мере, напрашивается, а у весьма широких кругов в мире и в самом деле, как мы боимся, сложилось, настолько ошибочно, что привести его в соответствие с истиной значит снискать настоящую заслугу перед подлинником — подразумевая под таковым либо первоначальный текст, либо (что будет вернее) рассказывающую самое себя жизнь. Во всяком случае, ложная эта картина разнузданной похотливости и бесстыжего совращения плохо согласуется с тем, что мы, вместе с Иосифом, услышали в беседке о жене сына из уст почтенной все же старухи Туий, в чьих словах жизнь открылась нам уже немного подробнее. «Гордой» назвала ее мать Петепра, говоря, что не может обругать ее глупой гусыней; она назвала ее жрицей Луны, избранницей, вся статья которой исполнена терпкого благоухания миртовых листьев. Скажет ли такая женщина то, что вкладывает в ее уста предание? И все же она сказала это, сказала даже дословно и не один раз, когда ее гордость была окончательно сломлена страстью, — мы это уже подтвердили. Но предание забывает прибавить, сколько прошло времени, в течение которого она скорее откусила бы себе язык, чем сказала такие слова. Оно забывает прибавить, что в своем одиночестве она и вправду, в самом прямом смысле слова, прикусила себе язык, прежде чем впервые, невнятно от боли, произнесла слово, навсегда заклеившее ее соблазнительницей. Соблазнительницей? Женщина, охваченная такой страстью, как она, становится, разумеется, соблазнительницей: соблазнительность — это внешняя сторона, это наружность ее одержимости; сама природа заставляет ее глаза блестеть призывнее, чем от искусственных капель, вводить которые учит ее искусство туалета; это она придает ее губам тот привлекательно-алый цвет, которого не придаст им никакая помада, и складывает их в задушевно-многозначительную улыбку; это она побуждает ее одеваться и украшаться с невинно-хитрой расчетливостью, это она, и притом нарочно, делает прелестным каждое ее движение, заставляет все ее тело, насколько лишь позволяют его возможности, и подчас даже сверх того, лучиться обещаньем блаженства. Все это с самого начала и означает именно то, что госпожа Иосифа в конце концов и сказала ему. Но разве можно возлагать ответственность за это на ту, которая повинуется внутреннему порыву? Разве она устраивает все это из каких-то дьявольских побуждений? Да и что она знает обо всем этом, кроме нестерпимых мук, которые столь обольстительно прорываются наружу? Короче говоря, если она становится соблазнительна, то значит ли это, что она соблазнительница?

Характер и форма совращения определяются прежде всего происхождением и воспитанием одержимой. Против предположения, что Мут-эм-энет, которую близкие ей люди назы-

вали также Эни или Энти, вела себя в своей одержимости как какая-нибудь потаскуха, говорит уже ее воспитание — самого благородного свойства. Дань, отданная честному Монт-кау, причитается и женщине, оказавшей на судьбу Иосифа совсем иное влияние, чем он, — поэтому самое необходимое об ее происхождении надо сообщить.

Никто не удивится, услышав, что супруга Петепра, носителя опакхала, не была дочерью хозяина пивной или каменотеса. Она происходила не больше не меньше как из древнего княжеского рода, хотя времена, когда ее предки сидели патриархальными царьками и владельцами обширных земельных угодий в одной из областей Среднего Египта, давно прошли. Тогда двойной венец Ра носили чужеземные правители из одного азиатского пастушеского племени, обосновавшиеся на севере страны, и князя Уазе — на юге — в течение многих веков подчинялись этим захватчикам. Но из среды князей Уазе выходили сильные люди, например, Секендженра и его сын Камос, которые восставали против царей-пастухов и упорно сопротивлялись им, подхлестывая воинственное свое честолюбие чужеземным происхождением своих врагов. Брат Камоса, смельчак Ахмос, взял приступом царскую крепость чужеземцев, город Аварис, а потом и совсем изгнал их, освободив страну постольку, поскольку он присвоил ее себе и своему дому и заменил владычество чужеземцев собственной властью. Не все князья страны сразу же соглашались признать героя Ахмоса своим освободителем и отождествить его власть со свободой, как он это привык делать. Многие из них — у них, вероятно, имелись на то свои причины — были на стороне чужеземцев в Аварисе и предпочли бы остаться их вассалами, вместо того чтобы быть освобожденными своим собратом. И даже после полного изгнания их многовековых властителей некоторые из этих не желавших свободы царьков бунтовали против своего освободителя и, как сказано было в документах, «собирали враждебных ему мятежников», так что сначала он должен был победить их в открытом бою, а потом уже водворилась свобода. Что эти повстанцы лишались принадлежавшей им земли, разумелось само собой. Но и вообще все отнятое у чужеземцев фиванские освободители обычно прибирали к рукам, и поэтому тогда начался тот процесс, который ко времени нашей истории еще не закончился, хотя и зашел уже далеко, — процесс отчуждения земельной собственности от древней знати и конфискации богатств фиванским престолом, все более превращавшимся в безраздельного владельца земли, каковую он либо сдавал в аренду, либо раздаривал храмам и фаворитам, подобно тому как фараон подарил Петепра известный нам плодородный остров. А старинные княжеские семьи превращались в чиновную и военную знать, которая составляла свиту фараона и занимала высшие должности в его войске и во всяких других его учреждениях.

Так же обстояло дело со знатным родом Мут-эмзнет. Госпожа Иосифа вела свою родословную прямо от того князя по имени Тети'ан, что в свое время «собирает мятежников» и должен был потерпеть поражение в битве, чтобы признать себя освобожденным. Но к внукам и правнукам Тети фараон не питал из-за этого зла. Их род остался большим и знатным, он поставлял государству военачальников, царских советников и смотрителей казначейств, а двору — стольников, Первых Возничих и смотрителей царской купальни, и некоторые представители этого рода сохранили даже княжеское звание, будучи наместниками таких больших городов, как Менфе или Тине. Так, например, отец Эни, Май-Сахме, занимал высокую должность градоначальника Уазе — одного из двух; ибо их было два: один управлял городом живых, а другой городом мертвых на Западе, и Май-Сахме был князем западного города. При таком чине он жил, говоря языком Иосифа, в почете и славе и мог без всяких ограничений умашаться елеем радости, — могли это делать и его родственники, в том числе Энти, его прекрасно сложенное дитя, хотя она была уже не владетельной княжной, а дочерью служащего нового времени. По решению, принятому относительно Мут ее градоначальными родителями, можно судить о переменах, происшедших в образе мыслей этого рода со времен отцов. Ибо, отдав уже в раннем возрасте, ради больших придворных выгод, свое любимое дитя в жены Петепра, приготовленному для титулоносной деятельности сыну Гуия и Туий, они ясно показали,

что плодолобие их оседло сросшихся с землей предков свойственно им в духе нового времени уже в гораздо меньшей степени.

Мут была ребенком в ту пору, когда ею распорядились примерно так же, как распорядились барахтающимся своим сыночком философствующие родители Потифара, посвятив его в царедворцы света. Притязания ее пола, которыми тогда пренебрегли, эти притязания, символизируемые черной от влаги землей и началом всякой вещественной жизни — лунным яйцом, тихо дремали в ней, находясь еще в зачаточной стадии, ничего не зная еще о себе и нимало не сопротивляясь такому враждебному жизни, хотя и вызванному любовью решению. Она была легкой, веселой, беззаботной, свободной. Она была подобна кувшинке, что плавает по зеркалу воды и улыбается поцелуям солнца, не подозревая, что корень длинного ее стебля уходит в темный ил глубокого дна. Никакого противоречия между ее глазами и ее ртом тогда еще не было; напротив, тут царил тогда по-детски невыразительная гармония, так как задорный взгляд девочки еще не знал омрачающей строгости, а особенная змеистость этого рта с его углубленными уголками была далеко не такой явной. Несоответствие между глазами и ртом возникло лишь постепенно, с годами, прожитыми ею в качестве жрицы Луны и почетной супруги личного слуги Солнца, и возникло, несомненно, в знак того, что рот — более близкое, более родственное низшим силам орудие, чем глаз.

Что касается ее тела, то любой знал его размеры и все его красоты, ибо «сотканый воздух», тончайшая шелковистая ткань, которую она носила, целиком выставлял его, по обычаю этой страны, на всеобщее обозрение. Можно сказать, что главным своим выражением оно больше соответствовало рту, чем глазам; принадлежность к почетному сословию не помешала его расцвету и не сковала его роста: с маленькими и крепкими грудями, с тонкой спиной и шеей, нежными плечами и совершенными по своей вылепке руками, с благородно-стройными ногами, верхние линии которых самым женственным образом переходили в великолепные бедра и зад, оно было, по общему признанию, самым прекрасным женским телом: более достойного похвал Уззе не знала, и при виде его у здешних людей возникали туманные, старинно-отрадные образы, образы начала и праначала, образы, связанные с первозданным лунным яйцом, например, образ прекрасной девы, которая в сущности, — в илесто-влажной своей сущности, — была не кем иным, как гусыней любви в облике девы: это к ее лону, колотя раскинутыми крылами, припадал дивный лебедь, ласково-сильный, белоснежно-пернатый бог, и влюбленно вершил свое дело с польщенной и пораженной красавицей, чтобы та родила яйцо...

Действительно, при взгляде на просвечивающее тело Мут-эм-энет в душах жителей Уззе выплывали из мрака именно такие древние образы, хотя эти люди знали о почетном положении лунной схимницы, в котором она жила и о котором говорили ее строгие глаза. Они знали, что эти глаза свидетельствовали о ее существовании достовернее, чем показывавший, несомненно, нечто иное рот, который мог бы, вероятно, снисходительно улыбнуться по поводу царственной деловитости лебеда; им было известно, что лучшие мгновенья полноты жизни это тело испытывает отнюдь не во время таких визитов, а единственно лишь тогда, когда оно по торжественным дням, потрясая трещоткой, изгибается перед Амуном-Ра в культовой пляске. Короче говоря, они не злословили о ней; не было ни сплетен, ни подмигиваний, которые относились бы к этой женщине и, веря ее рту, уличали бы ее глаза во лжи. Они перемывали кости другим дамам, хотя и замужним в более полной мере, чем внучка Тети'ана, но, если верить молве, сплошь да рядом нарушавшим правила нравственности, в том числе участникам ордена и женам из гарема бога, например, Ренунтет, супруге смотрителя говяд, — о ней знали нечто такое, чего смотритель говяд Амуна не знал или не хотел знать, о ней знали многое и с наслаждением провожали ее носилки и ее повозку, как и другие носилки и повозки, ехидными замечаниями. Зато о первой и, так сказать, праведной жене Петепра в Фивах не знали решительно ничего и были убеждены, что о ней и нечего знать. И в доме Петепра, и вне его ее считали святой, посвященной и сохраненной богу, а это при такой всеобщей, при такой укоренившейся страсти к сплетням и пересудам кое-что значило.

Какого бы мнения ни были на этот счет наши слушатели, мы не считаем своей задачей исследовать обычаи Мицраима, и в частности обычаи но-амунских женщин и дам, — обычаи, о которых нам давно уже довелось выслушать торжественно-резкий отзыв старика Иакова. Его знание мира не было лишено патетически-мифотворческого налета, на который и следует сделать поправку, чтобы не впасть в преувеличение. Но сказать, что его выпренные слова не имели решительно никакого отношения к действительности, конечно, нельзя. От людей, не знающих слова «грех» и расхаживающих в одеждах из сотканного воздуха, людей, чей культ животных и смерти влечет за собой к тому же чрезмерное пристрастие к плотскому началу, можно заранее, еще до опыта, ждать той вольности нравов, которую в таких поэтически громких словах расписывал Иаков. А опыт соответствовал этому ожиданию — мы устанавливаем это скорее с логическим удовлетворением, чем со злорадством. Было бы мелким соглядатайством доказывать это на отдельных примерах из жизни фиванских женщин. В данном случае приходится не столько оспаривать, сколько прощать. Нам достаточно перевести взгляд со смотрительши говяд Рененутет на одного довольно смазливом младшего начальника царской стражи или с этой же высокопоставленной дамы на одного молодого зеркального жреца из храма Хонсу, чтобы намекнуть на обстоятельства, вполне оправдывавшие образные определения Иакова. Не наше дело становиться в позу блюстителей нравственности и осуждать Уазе — такой большой город, где сто с лишним тысяч жителей. Кого нельзя удержать и спасти, тех мы бросим на произвол судьбы. Но за одну мы ручаемся головой и, отстаивая безупречность ее поведения до того момента, когда она, несомненно волей богов, превратилась в неистовую менаду, готовы поставить на карту всю нашу повествовательскую репутацию: это дочь князя Май-Сахме, жена Потифара — Мут-эм-энет. Что она была от природы распутницей, у которой приписываемое ей предложение всегда, так сказать, вертелось на языке и легко и дерзко слетело с него, — это совершенно неверное представление, и мы, истины ради, хотим во что бы то ни стало рассеять его. Когда она, прокушенным языком, в конце концов пролепетала эти слова, она уже не помнила себя; она уже совершенно не владела собой, изойдя в своей муке, жертва бичующей мстительности низших сил, перед которыми она была в долгу из-за своего рта, тогда как ее глаза полагали, что могут отвечать им холодным презреньем.

ОТВЕРЗАНИЕ ГЛАЗ

Известно, что по доброжелательному родительскому согласию невестой и супругой сына Гуия и Туий Мут стала уже в детском возрасте, и для внутренней последовательности об этом необходимо еще раз напомнить; известно, что к формальному характеру своего брака она привыкла давно, и момент, когда ее материальное начало могло ощутить некую недостаточность такого союза, точному определению не поддавался. Нелишне заметить, что номинально ее девственность была нарушена уже раньше — и на том все кончилось. Не став еще по-настоящему девушкой, а будучи, скорее, подростком, она уже оказалась избалованной начальницей великосветского гарема, владычицей всякого изобилия, ее на руках носили в диком своем раболепии голые мавританки и приторно-нежные евнухи, она была первой среди пятнадцати других, утопавших в роскоши местных красавиц самого разного происхождения, которые и сами-то были не чем иным, как пустой роскошью, почетной и показной принадлежностью благословенного дома, ненужной службой любви в хозяйстве царедворца. Повелительница этих мечтательных и болтливых созданий, чутких к каждому ее мановению, грустивших, если она была печальна, облегченно тараторивших, если ей делалось весело, и глупейшим образом ссорившихся друг с другом из-за маленьких, ничего не значащих милостей Петепра, когда тот, сидя среди них за шашечницей и угощая их конфетами и амбровой водкой, играл почетную партию с Мут-эм-энет, звезда гарема, она была вместе с тем главной женщиной в доме,

супругой Потифара в более узком и более высоком смысле, чем эти побочные жены, просто госпожой, которая при других обстоятельствах стала бы матерью его детей; которая, если хотела, занимала собственный покой в главном здании (к востоку от северной колонной палаты, где Иосиф обычно исполнял должность чтеца, разделявшей, стало быть, комнаты супругов); которая, наконец, во время приемов с плясками и музыкой, устраиваемых другом фараона для фиванской знати, изображала хозяйку дома и вместе с ним посещала такие же праздники в других высокопоставленных домах, и прежде всего — при дворе.

Жизнь у нее была напряженная, до отказа заполненная светскими обязанностями, — обязанностями, если угодно, праздными, но не менее обременительными, чем настоящие. Из опыта всех цивилизаций известно, как много сил отнимают у знатных женщин требования света, то есть одной лишь культуры и ее разросшихся частных; известно, что соблюдение внешних форм губит истинную жизнь чувств и души и холодная пустота сердца незаметно для сознания становится не такой уж даже и печальной привычкой. Во все времена и во всех местах земли наблюдался этот феномен бесстрастной женской светскости, и не будет преувеличением сказать, что в подобных случаях не очень существенно, является ли супруг, бок о бок с которым ведется эта дамская жизнь, военачальником в подлинном смысле слова или только по званию. Ритуал туалетного стола, например, всегда одинаково притязателен, независимо от того, должен ли он подогревать желания супруга или является самоцелью, так сказать, общественным долгом. При его исполнении — при кропотливейшем уходе за ее финифтяно отсвечивавшими ногтями рук и ног; во время душистых омовений, удаления волос, умщений и растираний, которым она подвергала прекрасное свое тело; при сложнейших процедурах подмалевыванья и каплевпусканья, производимых над ее и без того красивыми, с металлически-синеватой радужной оболочкой, опытными в многообразной игре, а благодаря высшей школе помады, кисточки и всяческих снадобий и вовсе похожими на драгоценные украшения глазами; при укладывании ее волос, — и собственных, коротких, блестяще-черных, густых кудрей, обычно пересыпанных лазурной или золотой пудрой, и разноцветных, с косами, косичками, галунами и бахромчатыми гирляндами жемчуга париков; при бережной подгонке к тончайшим, как лепестки, одеждам вышитых, лирообразно отглаженных набедренных лент и мелкоскладчатых наплечных накидок; а также при выборе коленопреклоненно предложенных украшений для головы, рук и груди, — не до смеха было при этом нагим мавританкам, цирюльникам-евнухам и служанкам-портнихам, да и сама Мут в такие часы никогда не смеялась, ибо малейшая небрежность в этих делах вызвала бы пересуды в высшем обществе и скандал при дворе.

Были еще визиты подруг, чей образ жизни не отличался от ее собственного и к которым она отправлялась в своем паланкине, если не принимала их у себя. Была еще служба во дворце Меримат, при жене бога Тейе, к чьей свите принадлежала Мут, — она носила опахало, как и ее супруг Петепра, и была обязана участвовать в водных ночных праздниках, устраиваемых зачинательницей Амуна на искусственном озере, возникшем по манию фараона, праздниках, пышные красоты которых бывали погружены в искристые краски недавно изобретенных цветных факелов. Были также — это нам подсказывает имя родительницы бога — упомянутые уже нами благочестиво-почетные обязанности, где светский лоск приобретал религиозно-жреческий оттенок и которые, как никакие другие, придавали надменно-строгое выражение ее глазам, то есть обязанности, вытекавшие из ее принадлежности к ордену Хатхор и ее положения наложницы Амуна, носившей коровьи рога с солнечным диском посередине, короче говоря, из ее положения временной богини. Странно сказать, в какой мере эта роль Эни, эта сторона ее жизни усиливала светскую холодность знатной дамы и закрывала ее сердце для более мягких мечтаний. Такое действие священной должности было связано с номинальностью ее брака, — которой эта должность вообще-то не требовала. Гарем Амуна отнюдь не был гаремом нетронутых. Плотское воздержание было чуждо божественной природе Великой Матери, чьими праздничными воплощениями были Мут и ее подруги. Царица, делившая ложе с

Богом и родившая наследное Солнце, была покровительницей этого ордена. Наставницей его, как уже упоминалось, была замужняя женщина, супруга влиятельного первопророка Амуна, и состоял он по преимуществу из замужних женщин, таких, как Рененутет, смотрительша говяд (если не говорить о прочих ее делах). На самом деле храмовая должность Мут была связана с ее браком лишь постольку, поскольку этой должностью она была обязана положению своего мужа. Но в душе, по собственному почину, она делала то же, что делал в беседе со своей дряхлой сестрой-супругой осипший Гуий: она соотносила свою принадлежность к жрицам с особым характером своего брака, она, не облакая этого прямо в слова, находила пути и способы показать, что, по ее мнению, побочной жене бога вполне подобает и, собственно, даже надлежит иметь такого земного супруга, как Петепра; она сумела сообщить и внушить это представление обществу, которое, в свою очередь, помогало ей его сохранять, видя ее положение среди прочих хатхор в свете ее целомудренной верности богу, благодаря чему, еще больше чем благодаря красивому голосу и танцевальному мастерству Мут, это положение было молча признано привилегированным, почти равным положению высокой наставницы. Это было делом ее воли, заявившей о себе миру и доставившей Мут-эм-энет те сверхутешительные возмещения, которых требовали ее немые глубины.

Нимфа? Распутная бабенка? Смешно, да и только. Мут-эм-энет была элегантной святой, светски-холодной схимницей, чьи силы отчасти поглощались требовательной цивилизацией, отчасти же были, так сказать, храмовой собственностью и тратились на религиозную гордость. Так и жила она первой и праведной женой Потифара, благоухоженная, носимая на руках, укрепленная в своем довольстве собою всеобщим коленопреклоненным уважением, даже и во сне не волнуемая желанием из той сферы, что являла себя в змеистом ее ротике, желанием, выразимся короче и резче, гусяного свойства. Ибо неверно считать сон свободной и дикой областью, где все, что запрещено днем, всегда может с лихвой взять свое. Того, что совершенно неведомо яви и начисто отрезано от нее, не знает и сон. Граница между этими двумя областями зыбка и проницаема; она неуверенно проходит через одно и то же пространство души, а что пространство это для совести и для гордости неделимо, доказало смущение, доказали стыд и тревога, охватившие Мут не только по пробуждении, но уже и во сне, когда ей ночью впервые приснился Иосиф.

Когда это случилось? У нее на родине не ведут такого уж точного счета годам жизни, и, во многом следуя привычкам мира нашей повести, мы тоже удовлетворимся приблизительными определениями. Эни была, несомненно, на много лет моложе своего супруга, который при покупке Иосифа предстал нам на исходе четвертого десятка и которому за это время прибавилось круглым счетом семь лет. Ей, следовательно, не было еще за сорок, как ему, и даже до сорока было еще далеко; но все-таки она была зрелой женщиной и, безусловно, на много лет старше Иосифа — на сколько именно, нам не хочется высчитывать, не хочется из нравственного уважения к высокой, почти стирающей женские возрастные различия косметической культуре, результатам которой, поскольку они воспринимаются чувствами, принадлежит более высокая правда, чем результатам всяких подсчетов и выкладок. С тех пор как Иосиф впервые увидел свою госпожу, когда она проплывала на золотых носилках, он изменился — с точки зрения женского внимания — к лучшему, чего нельзя было сказать и, уж во всяком случае, никак не сказал бы о ней тот, кто видел ее с тех пор непрерывно. Горе рабыням-умастильницам и скопцам-массажистам, если эти годы смогли нанести какой-то ущерб ее осанке! Да и в лице ее, которое при впалой переносице и своеобразных углублениях щек никогда не было в строгом смысле слова красивым, так же как и тогда, спорили согласие и прихотливость, печать моды и живое, не знающее никаких правил очарование; зато явно усилилось за эти годы тревожное противоречие между извилинами рта и глазами, и при склонности усматривать в тревожном красивое можно было даже найти, что она стала красивее.

С другой стороны, красота Иосифа вышла к этому сроку из той ее стадии юношеской пригожести, в которой мы воздавали ей должное в свое время. В двадцать четыре года он все

еще был или, вернее, именно стал чудо как красив, но его красота переросла двойное очарование той ранней поры и, сохранив общую свою обаятельность, куда решительней обратила свою силу в одном направлении — в направлении женских чувств. При этом, став мужественнее, она даже облагородилась. Лицо его уже не было, как прежде, пленительной мордочкой мальчика-бедуина, оно, правда, сохраняло кое-что от нее, особенно когда Иосиф, хотя он отнюдь не был близорук, по-матерински, словно обволакиваясь туманом, прищуривал свои глаза, глаза Рахили, но стало полнее, строже, да и смуглее под верхнеегипетским солнцем и приобрело большую правильность, большее благообразие. Об изменениях, происшедших в его фигуре, а также — следствие не только возраста, но и обязанностей, с которыми он сжился, — в его движениях, в звучании его голоса, мы уже мимоходом упомянули. Но к этому, под воздействием культуры Египта, прибавился внешний лоск, который необходимо принять во внимание, чтобы верно представить себе тогдашний его вид. Его нужно представлять себе в белой полотняной одежде высокопоставленного египтянина: нижнее платье просвечивает сквозь верхнее, широкие и короткие рукава оставляют открытыми руки, украшенные в запястьях финифтяными браслетами; в тех случаях, когда нужно быть строго одетым — ибо в более удобных случаях он не прятал собственных своих гладких волос — голова его покрыта легким париком из лучшей овечьей шерсти, который, будучи чем-то средним между платком и накладкой, прилегает к верхней части головы очень тонкими, равномерной частоты прядями, похожими на рубчатый шелк, а у затылка, начиная от определенной косой линии, меняет свою фактуру и падает на плечи мелкими, симметричными завитками, как черепица, набегающими один на другой; на шее у него, кроме пестрого воротника, плоская цепочка, изготовленная из тростника и золота, на которой висит защитный скарабей; лицо его несколько изменено иератической картинностью, достигнутой теми искусственными приемами, которые он, приспособляясь к египетским нравам, ввел в утренний свой туалет, — симметричным подведением бровей и удлинением линии верхних ресниц к вискам. В таком виде ходил он, выставляя, вероятно, вперед длинный посох, по усадьбе в качестве верховных уст управляющего, в таком виде ездил на рынок, в таком виде, делая знаки слугам, стоял в столовой за креслом Петепра — таким и видела его госпожа, видела либо в обеденном зале, либо когда он появлялся в гареме и, бывало, самым смиренным образом обращался за каким-либо распоряжением к ней самой, — таким она его вообще впервые увидела; ибо прежде, ничтожным новокупленным рабом, и даже во времена, когда он сумел согреть сердце Потифара, она его вообще не видела, и даже когда он рос в доме, словно у родника, все еще нужны были заушательские указания Дуду, чтобы у нее наконец открылись глаза на него.

Но даже и это отвержение глаз, выполненное таким «копытцем», как язык Дуду, было еще далеко не полным: не более чем со строгим любопытством глядела она на раба, о предосудительном возвышении которого ей твердили. Опасность (как приходится выразиться тому, кому дороги ее гордость, ее покой) — опасность заключалась лишь в том, что глаза ее обратились тогда именно на Иосифа, что именно его глаза встречались тогда на какие-то доли секунды с ее глазами, — а это действительно немаловажное обстоятельство, и недаром у маленького Беса, благодаря его карличьей мудрости, сразу же возникла страшная догадка, что злобный Дуду кладет начало чему-то более крупному, чем его злоба, и что отвержение глаз может приобрести гибельную полноту. Врожденный страх, вчуже испытываемый Бесом перед силами, которые виделась ему в образе огнедышащего быка, сделал его скорым на такие догадки. Иосиф же, по nepозволительному легкомыслию — мы не собираемся щадить его в данном случае — не хотел понимать визиря и вел себя так, как будто тот мелет вздор, хотя, в сущности, разделял мнение стрекочущего своего доброжелателя. Ведь и ему, Иосифу, тоже был не так важен смысл этих мгновений в столовой, как то, что они вообще случаются, и в душе он глупейшим образом гордился тем, что перестал быть пустым местом для госпожи и что она обращает внимание, пусть гневное внимание, на него лично... Ну, а наша Эни?

Что ж, она тоже не оказалась умнее. Она тоже не хотела понимать карлика. Если она глядела на Иосифа гневно и строго, то это казалось ей достаточным оправданием того, что она

вообще на него глядела — а это с самого начала величайшее заблуждение, прощительное, покуда она не знала, кого она видит, если видит, но потом все более добровольное и преступное заблуждение. Несчастливая не хотела замечать, что из «строгости любопытства», с которым она глядела на личного слугу своего супруга, строгость постепенно ушла, а оставшееся любопытство вскоре уже заслуживало другого, более счастливого и более злосчастного имени. Она воображала, что ее очень интересует существо жалоб Дуду, досадное возвышение Иосифа; она чувствовала, что имеет право и обязана проявлять такой интерес по своей религиозной или, что одно и то же, политической позиции, в силу своей слитности с Амуном, который должен был счесть оскорбительным для себя главенство в доме раба-хабира, видя в этом уступку азиатским склонностям Атума-Ра. Тяжесть подобного оскорбления помогала оправдывать удовольствие, доставляемое ей этим занятием, удовольствие, которое она называла заботой и беспокойством. Поразительна способность человека к самообману. Когда в короткие летние или более долгие зимние, свободные от светских обязанностей часы, Мут, чтобы собраться с мыслями, ложилась на диван у края четырехугольного, с разноцветными рыбками и плавающими лотосами бассейна, устроенного в полу открытой колонной палаты гарема, у задней стены которой сидела маленькая нубийка, с завитыми, сильно намасленными волосами, обязанная сопровождать мысли хозяйки тихой игрой на лютне, — она бывала убеждена, что собирается подумать, как вопреки упрямству супруга и уклончивой выпренности Бекнехонса не допустить, чтобы раб из страны Захи и племени иврим приобретал столь большой вес в ее доме; из-за важности этого дела она не удивлялась, когда заранее радовалась таким размышлениям, — хотя почти уже знала, что радость эта вызвана лишь тем, что ей предстоит думать об Иосифе. Если бы не было ее жаль, можно было бы рассердиться за такую слепоту. Не удивлялась Мут и тому, что стала с радостью ждать трапез, за которыми она должна была увидеть Иосифа. Она воображала, что радость ее относится к тем гневным взглядам, какими она намеревалась его наказать. Это плачевно, но она не замечала, что змеистый ротик ее растерянно улыбался, когда она думала о том, как испуганно и смиренно гаснет под веками взгляд Иосифа, встретившись со строгостью ее взгляда. Если брови ее одновременно хмурились от досады на такую домашнюю неприятность, она полагала, что этого уже достаточно. И если бы карличья мудрость испуганно предостерегла ее от огнедышащего быка и вздумала указать ей, что искусственный строй ее жизни уже зашатался и грозит рухнуть, ее лицо, вероятно, сразу бы залилось краской, но она, уличив ее в этом кто-нибудь, объяснила бы все своим недовольством такой нелепой болтовней и постаралась бы с лицемерно преувеличенной беззаботностью подчеркнуть, что не понимает таких опасений. Кого хотят обмануть этой неестественной подчеркнутостью? Того, кто предостерегает? Ах, она призвана только прикрыть путь авантюрам, которым, чего бы это ни стоило, хочет идти душа. Морочить себя, покуда не станет поздно морочить себя, — вот в чем задача. Спихватиться, протрезветь, опомниться прежде, чем станет поздно, — вот «опасность», которую стремятся предотвратить в плачевном лукавстве. В плачевном ли? Да не выставит себя человеколюбец в смешном свете своим соболезнаванием. Его легковверное предположение, что человеку, в сущности, важнее всего сохранить покой, мир, защитить от потрясений и тем более от краха свой уклад жизни, создаваемый подчас с великим искусством и большой тщательностью, — это предположение, мягко говоря, не доказано. Не перечислить примеров, свидетельствующих скорее о том, что человек прямо-таки стремится к своему блаженству и к своей гибели и не испытывает ни малейшей благодарности к тому, кто хочет его от этого уберечь. Вот как раз такой случай — пожалуйста!

Что касается Эни, то человеколюбец должен не без горечи отметить, что ей шутя удалось миновать тот момент, когда еще не было поздно и она еще не погибла. Блаженно-ужасное подозрение, что она погибла, внушил ей тот, ранее упомянутый нами сон об Иосифе — и тут уж ее охватил страх. Тут уж ей вспомнилось, что она существо разумное, и она повела себя соответственно этому — то есть она, так сказать, подражала разумному существу, механически поступая по образцу разумного существа, но в действительности уже потеряв разум, она

предприняла шаги, успеха которых на самом деле уже не могла желать, — а это шаги нелепые и недостойные, и человеколюбец предпочел бы закутаться голову, чтобы вовсе не знать о них, если бы не был обязан соваться со своим состраданием.

Облекать сны в слова и рассказывать их почти невозможно, потому что не так важна самая суть сна, — ее-то именно и можно выразить, — как его аромат и флюид, тот непередаваемый дух ужаса или счастья (или того и другого сразу), которым он пропитан и которым порой наполняет душу сновидца еще долгое время спустя. В нашей истории снам принадлежит решающая роль: великие и по-детски яркие сны снились ее герою, будут здесь сниться сны и другим лицам. Но как затрудняла их всех задача хотя бы приблизительно поведать пережитое другим, как не удовлетворяла их самих каждая такая попытка! Достаточно вспомнить сон Иосифа о солнце, луне и звездах и о том, сколь беспомощно и отрывочно изложил Иосиф увиденное. Поэтому нам простят, если нам не удастся, рассказав сон Мут-эмэнет, сделать вполне понятным то чувство, которое у нее возникло после него и осталось. Как бы то ни было, мы намекали на него уже слишком часто, чтобы сейчас снова откладывать его изложение.

Итак, ей приснилось, что она сидит за трапезой в палате голубых колонн, на помосте, на своей скамеечке, рядом со старым Гуием, принимая пищу в той предупредительной тишине, какая во время этой процедуры всегда стояла. Однако на сей раз тишина была особенно предупредительной и глубокой, ибо четверо сотрапезников не только безмолвствовали, но и старались управляться с едой совершенно бесшумно, и поэтому в тишине отчетливо слышалось нестройное дыхание занятых своим делом слуг, настолько отчетливо, что казалось, оно будет слышно и при менее предупредительной тишине, так как походило уже скорей на пыхтенье. Эти торопливо-тихие звуки вызывали тревогу, и то ли потому, что Мут к ним прислушивалась, то ли по какой-то другой причине, она недостаточно внимательно следила за действиями своих рук и нанесла себе рану. Разрезая остро отточенным бронзовым ножичком гранат, она по рассеянности промахнулась, и лезвие довольно глубоко вошло в мякоть руки, между большим и четырьмя остальными пальцами, что привело к обильному кровотечению. Кровь была такая же рубиново-красная, как гранатовый сок, и глядела она на нее со стыдом и печалью. Да, она очень стыдилась своей крови, хотя та была такого прекрасного рубинового цвета, — стыдилась и потому, наверно, что ее белое платье сразу же и самым неизбежным образом замаралось, но, независимо от выпачканного платья, ей было чрезвычайно стыдно, и она всячески старалась скрыть от присутствующих, что у нее идет кровь; это ей, как можно или как должно было заключить, удалось: все тщательно делали вид, что не заметили оплошности Мут, и никто не оказывал ей помощи, что раненую, с другой стороны, и огорчало. Она не хотела показывать, что у нее идет кровь, не хотела, потому что ей было стыдно; но то, что все закрывали на это глаза, что никто палец о палец не ударил, чтобы ей помочь, что все, словно сговорившись, предоставили Мут самой себе — это возмущало ее поистине до глубины души. Ее служанка, нарядное, одетое в паутину создание, деловито склонилась над одностолпным столиком Мут, как будто там срочно нужно было привести что-то в порядок. Сосед ее, старый Гуий, качая головой, беззубо глодал кольчатый валик сладкого печенья, пропитанного вином и нанизанного на позолоченную бедренную косточку, которую он держал за один конец дряхлыми пальцами, и делал вид, что целиком поглощен этим занятием. Петепра протянул через плечо свою кружку сирийцу, своему чашнику и слуге, чтобы тот ее снова наполнил. А мать господина, старуха Туий, та даже ободряюще подмигнула растерянной Мут слепыми шелками своего большого, белого лица, и было неясно, с каким она это сделала смыслом и заметила ли она неловкость Эни. Что же касается Эни, то она, во сне, продолжала постыдно истекать пачкавшей платье кровью, молча досадуя на всеобщее равнодушие и печалась, независимо от этого равнодушия, по поводу самой своей ярко-красной крови. Ибо эта упрямо сочившаяся кровь вызывала у нее неопишуемое чувство раскаянья; ей было жаль ее, ах, как жаль, это была глубокая, несказанная скорбь души, скорбь не о себе и не о своей задаче, а о милой крови, которая так утекала и утекала, и от горя она без слез коротко всхлипывала. Вдруг она

спохватилась, что из-за этой беды она забыла о своей обязанности — бросать во имя Амуна осуждающий взгляд на несчастье дома, на раба-кенанитянина, который возвысился самым неподобающим образом; и она нахмурила брови и строго взглянула на юношу Озарсифа, стоявшего у Петепра за спиной. И тот, словно его позвал ее строгий взгляд, покинул место, указанное ему службой, и приблизился к ней. И он был близко от нее, и близость его была очень чувствительна. А приблизился он к ней для того, чтобы остановить кровь. Он взял раненую ее руку и приложил к своему рту, так что четыре пальца прижались к одной его щеке, большой палец к другой, а рана к его губам. И от восторга кровь у нее остановилась, перестала идти. А в палате, откуда происходило это исцеление, все было противно и страшно. Слуги, все, сколько их там находилось, забегали как безумные, на цыпочках, правда, но дружно пыхтя; Петепра закутал голову, и его, согбенного и закутанного, ощупывала растопыренными пальцами его родительница, сокрушенно качая над ним своим слепым, обращенным кверху лицом. А старик Гуий стоял и грозил Эни своей золотой косточкой, на которой уже не было печенья, и рот его над сероватой бородкой отворялся и затворялся, извергая беззвучную брань. Богам было ведомо, какие ужасные речи слетали с его хлопотливого языка и вылетали из его беззубого рта, но всего вероятней, что они совпадали по смыслу с тем, о чем пыхтели мечущиеся слуги. Ибо в их дружном и громком дыхании можно было различить шепот: «Огню, реке, собакам и крокодилу», — и звуки эти повторялись снова и снова. Этот хор шепчущих голосов еще ясно слышался Эни, когда она пробудилась от сна и сначала похолодела от ужаса, а потом запылала от блаженства такого исцеленья, зная, что жезл жизни ее ударил.

СУПРУГИ

После этого отверзания глаз Мут решила вести себя как существо разумное и сделать шаг, который, имея своей бесспорной и ясной целью убрать Иосифа из ее поля зрения, был бы сочувственно встречен престолом разума. Она изо всех сил стала ходатайствовать перед своим супругом об удаленье его слуги.

День после той ночи, когда ей приснился этот сон, она провела в одиночестве, вне круга своих сестер и не принимая гостей. Она сидела в своем дворе у бассейна и глядела поверх snowавших в воде рыбок «в одну точку», как принято говорить, когда взгляд оцепенело теряется в пустоте и, ни на что не направленный, расплывается в себе самом. Но иногда вдруг, как бы выходя из тупого оцепенения, глаза ее испуганно расширялись, очень широко, словно бы в ужасе, распахивались, хотя и не отрывались от пустоты, а рот ее при этом сразу же отворялся и учащенно заглатывал воздух. Затем глаза ее снова становились спокойными, ужас в них исчезал, но зато рот ее, углубляя свои уголки, оживлялся безотчетной улыбкой и незаметно для Мут продолжал улыбаться под ее задумчивыми глазами, покуда, через минуту-другую, она не спохватывалась и в испуге не прижимала руку к непокорным губам, большим пальцем к одной щеке, а четырьмя другими — к другой. «О боги!» — шептала она при этом. А потом все повторялось опять — оцепенение, учащенное дыхание, самозабвенная улыбка, испуг, когда она замечала ее, — повторялось до тех пор, пока Эни наконец не решила покончить со всем одним махом.

На закате, удостоверившись, что Петепра дома, она велела служанкам нарядить ее для посещения господина.

Царедворец находился в западной палате своего дома, откуда открывался вид на плодовый сад и на боковую стену стоявшей на одном из его холмов беседки. Вечерняя заря, свет которой вливался сквозь легкие и пестрые наружные колонны, стала уже наполнять это помещение, сгущая бледные краски картин, небрежно набросанных каким-то художником на штукатурке пола, стен и потолка; картины эти изображали порхающих над болотом птиц, прыгающих телят, пруды с утками, стадо коров, которое пастухи гонят вброд через реку и за

которым следит притаившийся в воде крокодил. Фрески задней стены, в простенках между дверями, соединявшими эту палату со столовой, показывали жизнь самого хозяина дома, воспроизводя, например, его возвращение домой и старание слуг все приготовить к прибытию хозяина по его вкусу. Прозрачные изразцы окаймляли двери, на которых, сине-красно-зелеными иероглифами по верблюжье-коричневатому грунту, были написаны изречения славных старинных авторов и слова из гимнов богам. Между дверями тянулось подобие эмпоры или террасы со ступенькой-скамеечкой и невысокой, прилегающей к стене спинкой; глиняное это сооружение было покрыто белой штукатуркой и размалевано по передним своим плоскостям цветными надписями. Оно служило и подставкой для всяких вещей, произведений искусства, подарков, которыми были битком набиты палаты Петепра, и просто скамьей для сидения; сейчас наш сановник как раз сидел посредине этого возвышения на подушке, сложив ноги на ступеньке-скамеечке, и по бокам его, справа и слева, громоздились такие чудесные вещи, как животные, боги и царские сфинксы из золота, малахита и слоновой кости, а за спиной его — совы, соколы, утки, зубчатые линии воды и другие символы надписей. Устраиваясь поудобнее, он снял с себя всю одежду, кроме белого, до колен набедренника плотного полотна с широким накрахмаленным кушаком. (Его верхнее платье, его палка и прикрепленные к ней сандалии лежали на львиногомом кресле у одной из дверей.) Однако он не позволил себе совсем распуститься, он сидел подчеркнуто стройно, положив на колени маленькие, почти крошечные в сравнении с массивным телом кисти рук и держа очень прямо свою тоже очень изящную сравнительно с туловищем голову с благородно изогнутым носом и с тонко очерченным ртом, и глядел через зал своими кроткими, карими, в длинных ресницах глазами на алеющий вечер — жирное, но не лишенное достоинства и аристократизма сидячее изваяние, у которого огромные голени высились, как колонны, руки не отличались от рук толстой женщины, а груди подушками выступали вперед. При всей тучности у него не было живота. Он был даже довольно узок в тазу. Зато бросался в глаза его пупок, который был так велик и так вытянут лежесно, что походил немного на рот.

Уже много времени провел Петепра в этой исполненной достоинства неподвижности, в этом облагороженном осанкой безделье. В темноте ожидавшей его могилы, стоя где-нибудь в ложных дверях, его натуральной величины изваяние вечно будет вот так же спокойно и неподвижно, как он сейчас, глядеть своими стеклянными карими глазами на его вечную собственность, на предметы, которые ему дадут, и на те, которые, волшебства ради, изобразят на стене. Его статуя будет тождественна с ним — и он предвосхищал это тождество, он сидел и увековечивал себя. За его спиной и у ступеньки-скамеечки красно-сине-зеленые иероглифы говорили свое; по бокам от него громоздились дары фараона; совершенны, согласно египетской идее формы, были расписные колонны палаты, сквозь которые он глядел на вечернее небо. Окружающее имущество благоприятствует неподвижности. Ему предоставляют покоиться и сиять красотой и, сложив руки, предаются покою в его окружении. К тому же подвижность подобает скорее тем, кто плодотворно открыт миру, кто сеет и расточает и, умирая, растворяется в собственном семени, — а не тем, кто, как Петепра, замкнут в своем бытии. Он сидел, целиком сосредоточившись в себе, лишенный выхода в мир, неподвластный смерти плодозачатия, вечный, он сидел, как сидит в своем капище какой-нибудь бог.

Черная тень бесшумно вплыла между колоннами сбоку, только темный окоемок на багрянце зари, и согбенно скользнув, замерла ничком, ладонями к полу. Он медленно перевел туда взгляд: это была одна из голых мавританочек Мут, настоящий зверек. Он собрался с мыслями, моргая глазами. Потом он слегка, только до запястья, поднял одну руку с колена и приказал:

— Говори.

Она оторвала лоб от каменного настила, поворачивала глазами и выпалила хриплым, дикарским голосом:

— Госпожа близка к господину и хотела бы быть ближе к нему.

Он еще раз собрался с мыслями. Потом ответил:

— Разрешается.

Зверек, пятась, исчез за порогом. Петепра сидел, высоко подняв брови. Прошло несколько мгновений, и на том месте, где прижималась к полу рабыня, уже стояла Мут-эм-энет. Не отрывая локтей от туловища, она протянула к нему обе ладони, словно приносила жертвенный дар. Он увидел, что она плотно одета. Поверх узкого, до щиколоток, нижнего платья на ней было второе, широкое, как плащ, и целиком в складках. Тенистые ее щеки были окаймлены синим платком-париком, падавшим ей на затылок и на плечи и схваченным вышитой лентой. На темени у нее стояла душница, сквозь отверстия которой был продет стебель лотоса. Он изгибался на некотором расстоянии от головы, так что цветок висел надо лбом. Тускло блестели каменья ее воротника и браслетов.

Петепра тоже приветственно поднял маленькие свои руки и одну из них, тыльной стороной, поднес для поцелуя к губам.

— Цветок стран! — сказал он удивленным тоном. — Прекрасноликая, у которой есть место в доме Амуна! Неповторимая красавица с чистыми руками, когда она держит сistr, и со сладостным голосом, когда она поет! — Он сохранял тон радостного изумления, быстро произнося эти заученные формулы. — О ты, которая наполняешь дом красотой, прелестное создание, перед которым все преклоняются, подруга царицы... ты умеешь читать в моем сердце, ибо ты исполняешь его еще не высказанные желания, ты исполняешь их, явившись ко мне... Вот подушка, — сказал он более сухо, извлекая таковую у себя из-за спины и кладя ее на ступеньку-скамеечку у своих ног. — Молю богов, — прибавил он, снова переходя на придворный язык, — чтобы ты, сама ты, пришла ко мне с каким-нибудь желанием, которое я выполнил бы тем радостнее, чем сильнее оно будет!

У него имелись основания для любопытства. Этот визит был чем-то из ряда вон выходящим и встревожил его, потому что нарушал привычный, исполненный бережной предупредительности порядок. Он полагал, что она пришла к нему с просьбой, и это вызывало у него какую-то боязливую радость. Но покамест она говорила только красивые слова.

— Чего мне еще желать, будучи твоею сестрою, господин мой и друг? — сказала она своим мягким, хорошо поставленным голосом певицы, благозвучным альтом. — Тобой только я и живу, но благодаря твоему величию у меня есть все, чего только можно желать. Если у меня есть место в храме, то потому только, что ты выделяешься среди украшений страны. Если я зовусь подругой царицы, то лишь потому, что ты друг фараона и блещешь золотом солнечной милости. Без тебя я была бы покрыта мраком. Будучи же твоей сестрой, я обильно озарена светом.

— Не стоит, пожалуй, противоречить тебе, коль скоро таково твое мнение, — сказал он, улыбаясь. — Постараемся лучше не опровергнуть сразу же сказанного тобой об обилии света.

Он хлопнул в ладоши.

— Зажги свет! — приказал он явившемуся со стороны столовой слуге в набедреннике.

Эни попросила не делать этого:

— Не нужно, супруг мой! Сумерки только наступают. Ты сидел и радовался прекрасному свету этого часа. Ты заставишь меня раскаиваться в том, что я помешала тебе.

— Нет, я настаиваю на своем приказании, — ответил он. — Прими уж это как подтверждение того, в чем меня упрекают, — что моя воля похожа на черный гранит из долины Рехену. Ничего не поделаешь, я слишком стар, чтобы исправиться. Да и не хватало еще, чтобы самую любимую и самую праведную, когда она, угадав сокровеннейшее желание моего сердца, приходит ко мне, я принимал во мраке и сумраке! Разве не праздник для меня твой приход, а разве праздник оставляют неосвещенным? Все четыре! — сказал он двум вошедшим с огнем слугам, которые спешили зажечь стоявшие на подстолбях по углам зала пятиплоскочные светильники. — Да чтобы горели поярче!

— Твоя воля — закон, — сказала она, как бы восхищаясь, и покорно пожала плечами. — Мне и в самом деле известна твердость твоих решений, и пусть упрекают тебя за нее мужчины, которые с ними сталкиваются. Женщины же обычно ценят в мужчине его несгибаемость. Сказать — почему?

— Я был бы рад услышать.

— Потому что только она придает ценность снисходительной уступчивости и превращает ее в подарок, которым мы вправе гордиться, если его получим.

— Очень мило, — сказал он и поморгал глазами — отчасти из-за сильного света, наполнившего теперь палату (ибо фитили двадцати плашек торчали в вошаном жиру и горели широким и ярким пламенем, так что их беловатый свет и багрянец зари залили залу красками молока и крови), отчасти же потому, что задумался о смысле ее слов. Конечно же, она пришла с просьбой, думал он, и с просьбой немалой, иначе она обошлась бы без таких долгих сборов. Это совсем на нее не похоже, ибо она знает, как важно мне, человеку особенному и священному, чтобы меня оставляли в покое и не заставляли ни за что браться. Да и вообще она слишком горда, чтобы чего-то от меня требовать, и, таким образом, ее высокомерие и мой покой живут в добром брачном согласии. Тем не менее было бы приятно и утешительно сделать ей любезность, показав ей свое могущество. Я жажду и боюсь услышать, чего она хочет. Лучше бы это только казалось ей важным, но не было важно для меня, тогда я смог бы порадовать ее без особого ущерба для своего покоя. Оказывается, в груди у меня существует известное противоречие между моим вполне оправданным себялюбием, вытекающим из моей особой священности, в силу которой я особенно не люблю, когда кто-либо задевает или хотя бы только беспокоит меня, и, с другой стороны, желанием показаться этой женщине могущественным и любезным. Она красива в плотной своей одежде, в которой явилась ко мне по той же причине, по какой я приказал осветить эту палату, — красивы ее глаза-самоцветы и ее тенистые щеки. Я люблю ее, насколько это допускает оправданное мое себялюбие; но тут-то, собственно, и заключено настоящее противоречие, ибо я еще и ненавижу, не перестаю ненавидеть ее из-за требования, которого она мне, разумеется, не предъявляет, но которое в общем заключено в нашем союзе. Однако мне не хочется ненавидеть ее, я предпочел бы, чтобы я мог любить ее без ненависти. Если бы она сейчас дала мне удобный случай показать ей мою любезность и могущество, моя любовь хоть на этот раз лишилась бы ненависти, и я был бы счастлив. Поэтому мне весьма любопытно узнать, чего она хочет, хотя одновременно мне страшно за свой покой.

Так думал, моргая глазами, Петепра, покуда рабы зажигали светильники, а затем, с тихой поспешностью, удалялись, держа головешки в скрещенных руках.

— Значит, ты разрешаешь мне присесть рядом с тобой? — услышал он обращенный к нему с улыбкой вопрос Эни и, оторвавшись от своих мыслей, еще раз, со всяческими изъявлениями радости, склонился над подушкой, чтобы поудобнее устроить жену. Она села у его ног на испещренную письменами ступеньку.

— В общем-то, — сказала она, — нам слишком редко случается праздновать такие часы и дарить друг другу свое общество просто подарка ради, без всякой цели, болтая о том, о сем, безразлично о чем, без всякого предмета, — ведь предметность речи обычно связана с какой-то нуждой, а ее беспредметность, напротив, с веселым избытком. Не так ли, по-твоему?

Держа свои могучие женские руки раскинутыми на спинке скамьи-эмпоры, он утвердительно кивнул головой. При этом он думал: «Редко? Не редко, а вообще никогда. Никогда у нас этого не случается, ибо мы, члены благородной и священной семьи, родители и дети-супруги, живем обособленно в своих покоях, мы с нежной предупредительностью избегаем друг друга и разве только едим хлеб вместе; и если сегодня это случилось, то, значит, за этим скрывается какой-то предмет, какая-то нужда, о которых я думаю с тревожным любопытством. Неужели я не прав? Неужели она пришла только затем, чтобы мы одарили друг друга своим обществом, неужели сердце ее пожелало такого времяпрепровождения? Не знаю, чего

мне хотеть, ибо мне хочется, чтобы она не очень-то посягала на мой покой своим делом; но чтобы она пришла ко мне только ради моего общества, этого мне хочется, может быть, даже еще больше...» Думая обо всем этом, он сказал:

— Я совершенно согласен с тобой. Это пристало ничтожным и бедным, чтобы речь служила им для жалкого изъяснения их нужд. А наш удел, удел богатых и благородных, — это прекрасный избыток, и вообще во всем, и в речах наших уст, ибо красота и избыток едины. Удивительно меняется иногда смысл и достоинство слов, когда они, сбросив с себя обычную вялость, вздымаются к гордой своей сущности. Разве суждение «избыточный» не включает в себе осуждающего пожатия плеч, вялого пренебрежения? Но вот это слово вздымается, надевает на себя царский венец, и теперь это уже не суждение, а сама красота и по сути и по названию: «избыток» — вот оно теперь какво. Я часто разбираю такие тайны, когда сижу в одиночестве, и это служит уму моему прекрасным, ненужным занятием.

— Я благодарна моему господину за то, что он позволяет мне участвовать в этом занятии, — отвечала она. — Твой ум светел, как светильники, которые ты велел зажечь ради нашей встречи. Не будь ты личным слугой фараона, ты вполне мог бы быть одним из ученых бога, что живут во дворах храмов и ведут мудрые речи.

— Очень возможно, — сказал он. — Мало ли кем может стать человек, кроме того, кем ему задано стать или предстать. Часто он даже удивляется, как удивляются ряженым, что ему задана именно эта задача, и маска жизни кажется ему такой же тесной и жаркой, какой, наверно, кажется маска бога жрецу на празднике. Понятно ли я говорю?

— Пожалуй, да.

— Наверно, не совсем, — предположил он. — Наверно, вам, женщинам, не так понятна эта беда, потому что по доброте Великой Матери вам дано нечто общее и вы являетесь подобием Великой Матери, женщиной как таковой, в большей мере, чем той или иной женщиной. Поэтому ты Мут-эм-энет в меньшей степени, чем я Петепра, каковым меня обязал быть более строгий отцовский дух. Согласна ли ты со мной?

— Очень уж светло в этой палате, — сказала она, опустив голову, — от огней, которые горят здесь по твоей мужской воле. Мне кажется, за такими мыслями было бы лучше следить при меньшем свете; в сумерках мне было бы, я думаю, легче погрузиться в такую мудрость и быть более женщиной и подобием Великой Матери, чем только Мут-эм-энет.

— Прости! — поспешил он ответить. — Я совершил неловкость, не приспособив должным образом к освещению нашу изящно-бесполезную, не имеющую ни предмета, ни цели беседу. Я сейчас же поверну ее так, чтобы она больше соответствовала освещению, которое я счел подходящим радостному этому часу. Мне это ничего не стоит. Я сделаю переход и переведу речь из области ума и внутренней природы в область осязаемого, озаренного светом постижимого мира. Я уже знаю, как совершить такой переход. Позволь мне только попутно насладиться этой прекрасной тайной, что мир осязаемых вещей есть также мир постижимого. Ведь то, что осязает рука, легко постигается и женским, и детским, и самым заурядным умом, тогда как неосязаемое может постигнуть лишь более строгий отцовский дух. Постигание — это духовный образ осязания, но и осязание, в свою очередь, тоже может быть образом, и о легко постижимом духовном предмете мы обычно говорим, что он осязаем.

— Твои наблюдения, муж мой, и твои бесполезные мысли, — сказала она, — просто великолепы, и я передать не могу той радости, которую ты мне сейчас по-супружески доставляешь. Не думай, однако, что я так уж спешу перейти от неосязаемого к удобопостижимому. Напротив, я была бы рада задержаться с тобой в этой области и внимать твоему избытку, возражая тебе в меру своего женского и детского разумения. Я хотела только сказать, что о делах внутренней природы при менее ярком свете болтаешь сосредоточенней.

Он недовольно помолчал.

— Госпожа этого дома, — сказал он затем, с упреком качая головой, — все время возвращается к одному и тому же, к вопросу, в котором ее воле пришлось уступить некоей

вышей. Это не очень красиво и не делается красивее оттого, что таково уж свойство всех женщин — не обходить подобных вопросов, а упрямо возвращаться к ним и привязываться. Позволь мне заметить, что нашей Эни следовало бы попытаться стать хотя бы в этом отношении больше Мут, больше особенной женщиной, чем женщиной вообще.

— Слушаю и сожалею, — пробормотала она.

— Если бы мы стали упрекать друг друга, — продолжал он изливать свое недовольство, — за наши обоюдные действия и решения, то я мог бы неотвязно язвить тебя за то, что ты, подруга моя, явилась ко мне в густоскладчатом платье-плаще, тогда как желание и радость твоего друга состоят в том, чтобы видеть очертанья твоего лебединого тела сквозь дружественную ткань.

— Ты прав, увы! — сказала она и опустила, краснея, голову. — Лучше мне умереть, чем узнать, что я не избегла ошибки, нарядившись для посещения моего господина и друга. Клянусь тебе, я думала, что этим платьем я сослужу своей красоте наилучшую службу в твоих глазах. Оно драгоценнее и сделано с большим старанием, чем большинство моих платьев. Его изготовила, неусыпно трудясь, рабыня-портниха Хети, и она разделяла мою заботу о том, чтобы я снискала у тебя милость в этом наряде; но разделенная забота — это не ползаботы!

— Ничего, дорогая, — отвечал он. — Не беспокойся! Я же не сказал, что хочу бранить тебя и язвить, я сказал только, что тоже мог бы стать на этот, путь в том случае, если бы ты захотела на него стать. Но я не думаю, что намерение твое таково. Однако оставим это и продолжим нашу беспредметную беседу как ни в чем не бывало, как будто в ней вовсе не наступало разлада по твоей или по моей вине. Ибо теперь я и совершу переход к вещам осязаемого мира, выразив удовлетворение тем, что мой жизненный удел носит печать бесцельного избытка, а не нужды. Царственным назвал я избыток, и он действительно процветает при дворе и во дворце Меримат: это — изысканность, беспредметность формы, витиеватая речь, которой приветствуют бога. И поскольку все это дело придворного, можно сказать, что царедворца маска жизни стесняет меньше, чем ограниченного насущной предметностью нецаредворца и что царедворец стоит ближе к женщинам, потому что его удел — более общее. Спору нет, я не принадлежу к тем людям, с которыми фараон советуется насчет буренья колодца в пустыне, у ведущей к морю дороги, относительно сооружения какого-либо памятника или по поводу того, сколько воинов послать для охраны груза золотой пыли из рудников горемычного Куша, и возможно, что порой это и умаляло мою удовлетворенность собой и я злился на Гор-эм-хеба, который распоряжается дворцовой стражей и исполняет обязанности начальника палачей, почти не обращаясь ко мне, хотя, по званию, этими делами ведаю я. Однако я всякий раз быстро преодолевал такие приступы скверного настроения. Ведь от Гор-эм-хеба я отличаюсь так же, как отличается носитель почетного опахала от того необходимого, но ничтожного человека, который действительно держит опахало над фараоном во время его выездов. Такие дела ниже моего достоинства. Зато мое дело — стоять перед фараоном в утренней его палате вместе с другими титулоносцами и столпами двора, сладкоголосо ублажая этого бога приветственным гимном «Ты равен Ра» и самым замысловатым витийством, как, например: «Язык твой — это весы, о Неб-ма-ра, а губы твои точнее, чем язычок на весах Тота» или такими, к примеру, сверхправдами: «Если ты говоришь воде: взойди на гору! — то сразу же после твоих слов вздымается океан». И все в такой беспредметной, красивой, далекой от каких бы то ни было нужд манере. Ибо мое дело — это чистая форма и бесцельный лоск, благодаря которым и царственна царская власть. Вот почему и не терпит ущерба мое довольство собой.

— Это прекрасно, — отвечала она, — если одновременно не терпит ущерба и правда, а она, несомненно, не терпит его в твоих словах, мой супруг. Только мне кажется, что придворный лоск и витийство в утреннем покое служат для того, чтобы окутать почетом и страхом, ввиду их важности для страны, такие предметно-насущные заботы бога, как колодцы, постройки и золотые прииски, и что царственна царская власть именно благодаря заботе об этих делах.

На эти слова Петепра снова ответил не сразу; несколько мгновений он не раскрывал рта, играя вышитым кушаком своего набедренника.

— Я бы солгал, — сказал он наконец с легким вздохом, — если бы стал утверждать, что ты, моя любимая, подыгрываешь мне в этой беседе очень уж ловко. Я не без искусства совершил переход к мирским, удобопостижимым вещам, заведя речь о фараоне и о его дворе. А ты, вместо того чтобы подхватить мячик и спросить меня, например, кого из нас сегодня, после утреннего приема, при выходе из балдахинной палаты, потрепал за мочку, в знак своей мимолетной милости, фараон, — ты переходишь на всякие неприятные предметы и рассуждаешь о колодцах и рудниках, в которых ты, дорогая моя подруга, говоря между нами, смыслишь, конечно же, еще меньше, чем я.

— Ты прав, — ответила она и покачала головой по поводу своей ошибки. — Прости меня! Слишком любопытно мне было услышать, кого сегодня потрепал за ухо фараон, и я спрятала свое любопытство за другими, не относящимися к делу словами. Пойми меня верно: я хотела оттянуть свой вопрос, ибо оттяжка представляется мне прекрасной и важной частью изящной беседы. Кто же станет сразу показывать, что у него на уме? Но уж поскольку ты предупредил мой вопрос, то скажи, не к тебе ли самому, супруг мой, прикоснулся наш бог при выходе из палаты?

— Нет, — сказал Петепра, — не ко мне. Со мной это тоже часто случалось, но сегодня это случилось не со мной. Но то, что ты мне сказала, прозвучало — сам не знаю как. Это прозвучало так, словно ты склоняешься к мнению, будто Гор-эм-хеб, действующий начальник войск, занимает при дворе и в странах более важное место, чем я...

— Клянусь тебе Сокрытым, муж мой и друг! — воскликнула она в страхе и положила руку в кольца на его колено, куда он и стал глядеть так, словно туда села птица. — Я была бы безнадежно безумна, если бы хоть на миг...

— Это прозвучало действительно так, — повторил, он, с сожалением пожимая плечами, — хотя, вероятно и вопреки твоему намерению. Получилось так, как если бы ты думала... Ну, какой бы пример тебе привести? Как если бы ты думала, что пекарь из придворной пекарни, который действительно печет хлеб для бога и для его дома и сует свою голову в печь, важнее, чем великий начальник царской пекарни, главный булочник фараона, носящий звание «князя Менфийского». Или как если бы ты думала, что я, поскольку я, разумеется, ни за какие дела не берусь, менее важное лицо в доме, чем мой управляющий Монт-кау или даже чем его юные уста, сириец Озарсиф, который распоряжается хозяйством. Это очень меткие сравнения...

Мут вздрогнула.

— Они так метки и так разительны, что я даже вздрогнула, — сказала она. — Видя это, ты, я надеюсь, великодушно ограничишься таким наказанием. Теперь я понимаю, как я запутала нашу беседу своим стремлением к оттяжкам. Однако уйми мое любопытство, которое я хотела скрыть, уйми его, как унимают кровотечение, и скажи мне, кто был сегодня обласкан в престольной палате?

— Нофер-роху, смотритель благовоний из сокровищницы царя, — отвечал он.

— Ах, стало быть, этот князь! — сказала она. — И что же, его окружили?

— Да, по придворному обычаю его окружили и поздравили, — ответил он. — Он сейчас пользуется первостепенным вниманием, и было бы очень важно, чтобы он показался на званом обеде, который мы дадим в следующей четверти месяца. Это придало бы особый блеск нашему обеду и моему дому.

— Несомненно! — согласилась она. — Напиши ему изящное пригласительное письмо с обращениями, которые ему будет воистину приятно читать, такими, например, как «Любимец своего господина!» или «Вознагражденный наперсник своего господина!», и пошли к нему с этим письмом и каким-нибудь подарком особо подобранных для такого случая слуг. Едва ли Нофер-роху ответит тебе на это отказом.

— Я и сам так думаю, — сказал Петепра. — Подарок тоже нужно, конечно, выбрать как следует. Я велю ознакомить меня со всеми возможностями этого рода и сегодня же вечером изготовить письмо с обращениями, которые ему будет воистину приятно читать. Да будет тебе известно, дитя мое, — продолжал он, — что пир я устрою на славу, так что говорить о нем будет весь город и слух о нем пройдет даже по другим, в том числе и далеким городам: на семьдесят примерно гостей, со множеством благовоний, цветов, музыкантов, с великим обилием кушаний и вина. Я достал очень красивое изображение мумии, которое мы в этот раз и покажем гостям, отличная вещица, в полтора локтя длиной, я покажу ее тебе, если ты хочешь увидеть ее заранее: гроб золотой, а мертвец из черного дерева, и надпись «Празднуй этот день!» помещена у него на лбу. Ты слыхала о вавилонских танцовщицах?

— О каких, супруг мой?

— У нас в городе находится сейчас странствующая труппа этих иностранок. Я велел предложить им подарки, чтобы они показались на моем пиру. Судя по отзывам, они отличаются чужеземной красотой и сопровождают свои пляски игрой на бубнах и на глиняных тимпанах. Говорят, им известны какие-то новые, торжественные телодвижения, а глаза у них во время пляски, как и в минуты нежности, светятся яростью. Надеюсь, что они, да и весь мой праздник, вызовут бурное одобрение у наших гостей.

Эни, казалось, задумалась; глаза ее были опущены.

— Намерен ли ты, — спросила она после некоторого молчания, — пригласить на свой праздник и Бекнехонса, первого пророка Амуна?

— Несомненно и всенепременно, — ответил он. — Бекнехонса? Это само собой разумеется. Зачем ты спрашиваешь?

— Тебе кажется, что его присутствие важно?

— Как же не важно? Бекнехонс велик.

— Оно важнее, чем присутствие девушек-вавилонянок?

— Что за сравнения и что за выбор навязываешь ты мне, моя дорогая?

— Одно исключает другое, супруг мой. Предупреждаю тебя, что тебе придется выбирать. Если вавилонские девушки будут плясать на твоём празднике перед первопророком Амуна, то чужеземная ярость их глаз может пойти вразрез с яростью его сердца, и тогда Бекнехонс встанет, позовет своих слуг и покинет твой дом.

— Это невозможно.

— Это очень даже вероятно, мой друг. Он не потерпит, чтобы у него на глазах оскорбляли Сокрытого.

— Пляской танцовщиц?

— Иноземных танцовщиц, — меж тем как Египет богат красотой и сам одаряет ею другие страны.

— Тем скорей может он позволить себе насладиться чем-то новым и редким.

— Строгий Бекнехонс не разделяет этого мнения. Его отвращение ко всему чужеземному не знает границ.

— Но ты-то, я надеюсь, разделяешь это мнение.

— Мое мнение — это мнение моего господина и друга, — сказала она, — которое, конечно, не может угрожать чести наших богов.

— Честь богов, честь богов, — повторил он, шевеля и пожимая плечами. — Должен признаться, что моя душа, увы, омрачается из-за твоих слов, хотя это никак не может быть целью изысканной болтовни.

— Я была бы в отчаянии, — отвечала она, — если бы это явилось следствием моей заботы именно о твоей душе. Ведь каково бы ей было, если бы Бекнехонс в гневе позвал своих слуг и покинул твой праздник, так что в обеих странах только и говорили бы об этой обиде.

— Надеюсь, он не столь мелок, чтобы рассердиться из-за изящной забавы, и не столь смел, чтобы нанести другу фараона такую обиду.

— Он достаточно велик, чтобы предаться великим мыслям и по мелкому поводу, и в предостережение фараону нанесет обиду сначала именно его другу, а не ему самому. Амуну ненавистны расслабляюще-разрушительный дух иноземности и пренебрежение к старинному укладу жизни, потому что они истощают страны и лишают скипетра царство. Это ненавистно Амуну, мы оба это знаем, он стремится к суровости нравов, к тому, чтобы в Кеме царили порядки седой старины, а дети Кеме замкнулись в отечественных обычаях. Но ты знаешь, так же, как я, что там, — и Мут-эм-энет указала на закат, в сторону Нила и другого его берега, где стоял дворец, — что там господствует другая, расслабленно любимая мыслителями фараона идея солнца, — идея венчающего треугольник Она, подвижная, склонная к расширению и слияниям идея Атума-Ра, идея, которую они называют Атоном, хотя в этом названии слышен такой разрушительный отзвук. Как же не гневаться Бекнехонсу в Амуне, если его, Амуна, телесный сын оказывает предпочтение расслабленности и позволяет пытливым своим мыслителям размягчать костный мозг царства, народ, пустой иноземщиной? Фараона он не может отчитывать. Но он отчитает его в тебе, он устроит зрелище для Амуна: увидев девушек-вавилонянок, он разозлится, как верхнеегипетский леопард, вскочит с места и позовет своих слуг.

— Ты болтаешь, дорогая, — возразил он, — точь-в-точь как говорящая птица из Пунта, которая только и знает, что без толку твердит чужие слова. Костный мозг царства, заветы отцов, расслабляющая иноземщина — да ведь это же все безрадостные слова Бекнехонса, и, повторяя их, ты заметно омрачаешь мне душу, ибо твой приход сулил мне уютную беседу с тобой, а не с ним.

— Я напоминаю тебе, — ответила она, — его мысли, хоть ты их и знаешь, чтобы уберечь твою душу, супруг мой, от большой неприятности. Я не говорю, что мысли Бекнехонса — это мои мысли.

— Но это твои мысли, — возразил он. — Я так и слышу его, когда ты говоришь, и это неправда, что ты пересказываешь их мне как что-то чужое, тобою не разделяемое. Нет, ты усвоила их, ты с ним заодно, с этим плешивцем, вы оба против меня, и этим-то и скверно твое поведение. Разве я не знаю, что он твой завсегдатай и навещает тебя каждую четверть, если не чаще? У меня это вызывает тихую досаду, ибо он мне не друг и я его с его нудными словесами терпеть не могу. Моя душа и природа требуют умеренной, изящной и терпимой идеи Солнца, и поэтому сердце мое принадлежит Атуму-Ра, обходительному богу. Но прежде всего оно принадлежит ему потому, что принадлежит фараону, чьим царедворцем я состою, ибо фараон велит своим мыслителям исследовать мыслью дружественную миру идею этого бога. А ты, моя сестра и супруга перед богами и перед людьми, как ведешь себя в этих обстоятельствах ты? Вместо того чтобы быть со мной, то есть с фараоном, и держаться взглядов его двора, ты берешь сторону неподвижного, меднолобого Амуна, выступаешь с ним вместе против меня и милуешься с главным плешивцем этого необходимого бога, не думая об особой неблагоприятности и особой обидности отступничества по отношению ко мне.

— Твои метафоры, господин мой, — сказала она тихим, сдавленным от гнева голосом, — не говорят о хорошем вкусе, что весьма удивительно при твоей начитанности. Ведь только при отсутствии вкуса или при очень скверном вкусе можно сказать, что я милуюсь с пророком, отступаясь тем самым от тебя. Это, позволь мне заметить, очень плохая метафора, на редкость нелепая. По учению предков и по древнейшему поверью народа, фараон — сын Амуна, и поэтому ты отнюдь не изменил бы своему долгу царедворца, если бы, хоть она и кажется тебе нудной, отдал должное священной идее Амуна и принес ему небольшую жертву, поступившись и собственным, и своих гостей любопытством к каким-то жалким, при всей их торжественности, пляскам. Это о тебе. Что же касается меня, то я целиком принадлежу Амуну, для меня преданность ему — дело чести и веры, ибо я невеста его храма и наложница из его гарема, я Хатхор, я пляшу перед ним в наряде богини. Никакой другой чести, никакой другой утехи у меня нет. Это почетное мое положение — единственное, чем я обладаю. А ты ссоришься со мной из-за того, что я верна своему владыке, своему богу и неземному супругу, и пользуешься метафорами вопиющей нелепости.

И, наклонившись, она закрыла лицо краем своей плоеной одежды.

Военачальнику было больше чем неприятно. Он просто дрожал от ужаса, просто похолодел, ибо все сокровенное, все, о чем предупредительно молчали, готово было самым страшным, самым убийственным образом выйти наружу. Со все еще раскинутыми по уступу скамьи руками, он, цепенея, отпрянул от плачущей и теперь в ужасе глядел на нее виновато-смущенным взглядом. «Что будет? — думал он. — Это невероятно, это неслыханно, и мой покой находится в величайшей опасности. Я зашел слишком далеко. Я выдвинул вперед оправданное свое себялюбие, но она его победила собственным себялюбием, — причем победила не только в нашей беседе, но и в моем сердце, которое разбито ее речью и где горе и сострадание смешаны с ужасом перед ее слезами. Да, я люблю ее: я чувствую это, ужасаясь ее слезам, и хочу, чтобы она тоже это почувствовала, услышав то, что я ей скажу». И, сняв руки с уступа, он наклонился к ней почти вплотную и не без боли сказал:

— Теперь ты видишь, милый цветок, это явствует из твоих собственных слов: напоминая мне нудные мысли пророка, ты разделяла их, это на самом деле и твои мысли, и сердце твое с Бекнехонсом и против меня. Ведь ты же, не обвиняясь, сказала мне прямо в лицо: «Я целиком принадлежу Амуну». Разве моя метафора была такой уж неверной? А что касается вкуса, то разве я виноват, что вкус ее для меня, для твоего супруга, так горек?

Она отняла от лица платье и взглянула на него.

— Ты ревнуешь меня к богу, к Сокрытому? — спросила она, и рот ее искривился. Ее глаза-самоцветы, в которых смешались презренье и слезы, были совсем рядом с его глазами и заглядывали в них так зло, что он испугался и быстро выпрямился. «Я должен уступить, — думал он. — Я зашел слишком далеко и должен на шаг-другой отступить, — отступить ради мира, ради покоя в доме, которые неожиданно оказались в такой жестокой опасности. Как это они вдруг очутились под угрозой, как случилось, что ей вдруг все предстало в таком ужасном свете? Казалось, все было так хорошо и устойчиво». И он вспомнил, что всегда, возвращаясь домой из дворца или из путешествия, он первым делом задавал встречавшему его управляющему один и тот же вопрос: «Все ли благополучно? Весела ли госпожа?» Ибо тайное опасение за покой, достоинство и надежность дома, смутное сознание, что они висят на волоске, всегда жило в глубине его души, и при взгляде на злые, заплаканные глаза Эни он понял, что оно всегда в нем жило и что тихие его страхи могут каким-то ужасным образом оправдаться.

— Нет, — сказал он, — от этого я далек, и твое допущение, что я ревную тебя к Амуну, приходится решительно отклонить. Я прекрасно вижу разницу между твоим долгом перед Сокрытым и долгом перед супругом, и поскольку мне показалось, что мое образное определение твоей близости к благородному Бекнехонсу тебе до некоторой степени неприятно; поскольку, далее, я всегда готов и только ищу случая тебя порадовать, я доставляю тебе это удовольствие и беру обратно свою метафору. Считай, что я не употребил ее, что она стерта со скрижали моих речей. Теперь ты довольна?

Мут не смахивала стоявших в ее глазах слез, они высыхали сами, как будто она их вообще не замечала. Ее супруг ждал благодарности за свою уступку, но она не выказала благодарности.

— Это пустяк, — сказала она, качая головой.

«Она видит, что я иду на попятный, что я в страхе за покой своего дома, — думал он, — и, как всякая женщина, хочет использовать это как можно полнее. Она больше женщина вообще, чем какая-то определенная женщина, чем моя жена, и, хоть это и несколько неприятно, не приходится удивляться, видя в своей жене обычную общеженскую простоватую хитрость. Есть в этом что-то смешное и жалкое, что-то очень досадное, когда ты невольно убеждаешься на собственном опыте, что человек воображает, будто его поступки и его поведение зависят от его хитрости, от его ума, и не замечает, что на самом деле он только подчиняется постыдной закономерности. Но что толку в этом сейчас? Об этом можно размышлять, но этого же не скажешь. А сказать, значит, придется вот что». И он ответил, продолжая беседу:

— Вообще-то, конечно, не пустяк, но по сравнению с тем, что я собирался тебе сообщить, и в самом деле пустяк. Ибо я не был намерен ограничиться сказанным, я хотел доставить тебе еще большее удовольствие, признавшись, что в ходе нашей беседы я отказался от мысли о приглашении на свой праздник вавилонских танцовщиц. Мне совсем не хочется обижать столь близкое тебе и столь высокопоставленное лицо. Его суждения можно считать предрассудками, но считаться с ними приходится. Мой праздник будет великолепен и без приезжих танцовщиц.

— И это пустяк, Петепра, — сказала она, назвав его по имени, что заставило его снова насторожиться.

— Что? — спросил он. — И это тоже пустяк? По сравнению же с чем?

— По сравнению с тем, чего должно желать. И даже требовать, — ответила она, вздохнув. — Нужно, непременно нужно изменить порядки в этом доме, супруг мой, чтобы твой дом не вызывал нареканий у благочестивых людей, а служил, наоборот, образцом благочестия. Ты хозяин его палат, и кто не склонится перед твоей властью? Кто откажет твоей душе в мягкости и тонкости кроткой идеи Солнца, определяющей твою жизнь и твои привычки? Я прекрасно понимаю, что нельзя получить сразу и царство, и могучую старину, ибо царство получилось из старины с течением времени, да и живет в царстве, среди богатства, иначе, чем в первобытной древности. Не говори, что я не принимаю во внимание времени и происходящих в жизни перемен. Но всему есть и должна быть своя мера, и всегда нужно благоговейно хранить остаток той священной суровости отцов, которая как раз и создала богатство и царство, чтобы они не пришли в позорный упадок и чтобы не был отнят скипетр у стран. Разве ты отрицаешь эту правду, разве отрицают ее мыслители фараона, которые исследуют мыслью подвижную идею Атума-Ра?

— Правду, — ответил носитель опахала, — нельзя отрицать, и возможно, что иному она милее даже, чем сам скипетр. Ты говоришь о судьбе. Мы дети времени, и, по-моему, нам больше пристало все же следовать той его правде, из которой мы родились, чем приспособляться к какой-то незапамятной правде и, отрекаясь от своей души, разыгрывать из себя могучих поборников старины. У фараона много наемных войск — азиатских, ливийских, нубийских и даже отечественных. Пускай они и охраняют скипетр, покуда это им позволяет судьба. А мы будем жить искренне.

— Искренность, — сказала она, — удобна, а следовательно, неблагородна. Что стало бы с людьми, если бы каждый стремился быть только искренним и возводил свои естественные желания в достоинство правды, совершенно не желая обуздать себя и сделаться лучше? Искренни и воры, и пьяницы, валяющиеся в канавах, и прелюбодеи. Но разве мы спустим им их проступки, если они сошлутся на свою правду? Ты хочешь жить правдиво, супруг мой, как дитя своего времени, а не по старинке. Но там-то как раз и жива дикая старина, где каждый следует правде своих порывов, а развитость требует от каждого ограничения ради высших нужд.

— В чем же я должен, по-твоему, исправиться? — спросил он со страхом.

— Ни в чем, мой супруг. Тебя нельзя изменить, и я не собираюсь выводить тебя из твоего священного состояния косной замкнутости в себе самом. Не стану я также упрекать тебя в том, что ты ни в доме, ни во дворе, да и вообще нигде на свете, ни за какие дела не берешься, а только и знаешь, что ешь да пьешь. Руки твоих слуг делают все за тебя, и то же самое они будут делать в могиле. Единственное твое дело — назначать слуг, и даже не слуг, а только того, кто назначает слуг, своего заместителя, чтобы он управлял твоим домом, домом одного из вельмож египетских, как тебе того хочется. Никаких других дел, кроме этого благородно-легкого дела, у тебя нет, но оно важнее всего. Самое главное — это чтобы ты не ошибся, не указал перстом не туда, куда следует.

— Не помню уж сколько лет, — сказал он, — домом моим управляет Монт-кау, честная душа, который должным образом любит меня и прекрасно понимает, как это было бы

гнусно — меня обидеть. Он, судя по его счетам, вряд ли меня когда-либо крупно обманывал, да и домом управляет он, по-моему, превосходно. Неужели он имел несчастье вызвать твое недовольство?

Она презрительно усмехнулась в ответ на его увертку.

— Ты знаешь, — сказала она, — знаешь не хуже, чем я и чем вся Уазе, что Монт-кау чахнет от червоточины в почке и с некоторых пор, так же как ты, ни за какие дела не берется. Вместо него трудится некто другой, которого называют его устами, человек, чье возвышение до этого чина казалось совершенно невозможным. Мало того, говорят, что после ожидаемой смерти Монт-кау эти так называемые уста целиком и окончательно займут его место и все твое имущество перейдет в его руки. Ты хвалишь своего управляющего за преданную заботу о твоей чести. Позволь же мне признаться, что в его действиях я никак не могу усмотреть этой заботы.

— Ты думаешь об Озарсифе?

Она опустила лицо.

— Как это ни странно, — отвечала она, — я действительно думаю о нем. О Сокрытый, лучше бы его вообще не существовало на свете, ибо тогда можно было бы не думать о нем, а сейчас, по вине твоего управляющего, о нем приходится, как ни совестно, думать. Ведь купив мальчиком того, кого ты назвал, у странствующих торговцев, управляющий не указал ему места, подобающего ничтожному иноплеменнику, а возвысил его в доме и возвеличил, подчинил ему всю челядь, твою и мою, и добился того, что ты, господин мой, говоришь об этом рабе с какой-то смущающей меня непринужденностью, против которой восстает все мое существо. Если бы ты задумался и сказал: «Кажется, ты имеешь в виду этого сирийца, этого жителя горемычного Ретену, этого раба-еврея?», то такой вопрос был бы в порядке вещей. А твои слова показывают мне, до чего дошло дело: ты привычно, словно он твой двоюродный брат, называешь его по имени и спрашиваешь меня: «Ты думаешь об Озарсифе?»

Тут это имя произнесла и она, произнесла с усилием над собой, которое было для нее тайным блаженством. Выкрикнув навсхлип эти загадочные, с отзвуком смерти и обожествления слоги, таившие в себе для нее всю упоительность рока, Мут-эм-энет попыталась вложить в них негодование и, как прежде, закрыла своей одеждой глаза.

Потифар снова искренне испугался.

— В чем дело, в чем дело, моя дорогая? — спросил он, разводя над ней руками. — Опять слезы? Почему — дай разобраться! Я назвал этого слугу так, как он сам называет себя и как все его называют. Разве имя — это не кратчайший способ определить какое-либо лицо? Я вижу, моя догадка верна. Тебя заботит этот юноша-кенанитянин, что служит мне чашником и чтецом, и служит, не стану отрицать, к полному моему удовольствию. Разве это для тебя не причина думать о нем снисходительно? Я не участвовал в его приобретении. Несколько лет назад его купил у почтенных торговцев Монт-кау, уполномоченный мною набирать и увольнять слуг. А потом, испытав его случайно в беседе, когда он подсаживал цветки у меня в саду, я нашел его на редкость приятным малым, одаренным богами примечательным сочетанием прекрасных телесных и духовных качеств. Его красота кажется естественным олицетворением прелести его ума, а прелесть его ума опять-таки другим, невидимым выражением видимого, а это, я надеюсь, ты позволишь мне назвать примечательным, ибо такое суждение вполне уместно. К тому же и по своему происхождению он отнюдь не первый встречный, его рождение можно при желании назвать даже девственным, и уж во всяком случае, известно, что родитель его был чем-то вроде царя стад и божьего князя и что мальчик жил в почете и получал подарки, когда рос при стадах своего отца. Правда, затем пищей его стали всякие беды, и нашлись люди, которые успешно ставили силки, чтобы его поймать. Но история его мук тоже примечательна; в ней есть смысл и толк или, как говорят, лад и склад, и есть в ней что-то похожее на то сочетание, благодаря которому кажется, что его располагающая внешность и его ум — это одно и то же: имея свою собственную, самодовлеющую действительность, его история вместе

с тем словно бы соотносится и согласуется с каким-то высшим предначертанием, так что одно трудно отличить от другого и одно отражается в другом, а все вместе придает этому юноше какую-то привлекательную двусмысленность. Увидев, что он недурно выдержал мое испытание, его назначили моим чашником и чтецом, без моего вмешательства, из любви ко мне, разумеется, и должен признаться, что в этих должностях он стал для меня совершенно незаменим. А затем, опять-таки без всякого моего вмешательства, он возвысился до надзора за делами дома, и тут оказалось, что буквально всему, за что он ни возьмется. Сокрытый посылает удачу через него, — иначе я не могу выразиться. И теперь, когда он стал незаменим для меня и для дома, — чего ты хочешь, что должен я с ним, по-твоему, сделать?

И правда, чего еще можно было хотеть, что можно было еще сделать, после того, как он высказался? Он удовлетворенно, с улыбкой перебирал свои слова в уме. Он надежно окопался, надежно обезопасил себя, заранее представив грозившее ему требование чудовищным и, разумеется, немыслимым преступлением перед любовью к нему. Он не подозревал, что Мутэм-энет почти не заметила этого зашитого, этого оборонительного значения его речи, что она тайно впивала ее, словно мед, что, со все еще спрятанным в одежде лицом, она в глубоком и жадном напряжении ловила каждое слово, сказанное им в похвалу Иосифу. Это сильно ослабило то предостерегающее действие его слов, на которое он рассчитывал, и, как ни странно, не помешало ей остаться искренне верной тому разумно-нравственному намерению, с которым она пришла. Она выпрямилась и сказала:

— Я полагаю, супруг мой, что ты привел мне все доводы в пользу этого слуги, какие только, с большим или меньшим правом, можно было привести в его пользу. Так вот, их недостаточно, они неубедительны для богов Египта, и все, что ты соблаговолил мне сообщить о каких-то присущих твоему слуге сочетаниях и о привлекательных двусмысленностях — никак не удовлетворяет требования, которое должен тебе недвусмысленно предъявить Амун моими устами. Ибо я тоже уста, а не один твой слуга, названный тобой незаменимым для тебя и для дома, что было, конечно, опрометчиво с твоей стороны; ибо как может быть какой-то случайный чужеземец незаменимым в стране людей и в доме Петепра, доме, который благоденствовал и до того, как в нем начал возвышаться этот купленный раб? Ни в коем случае не следовало допускать его возвышения. Купив мальчишку, его нужно было отправить в поле на барщину, а не держать на усадьбе и, уж конечно, нельзя было доверять ему твой кубок, а в книгохранилище и твой слух ради его пленительных способностей. Способности не суть человек; его нужно отделять от них. Тем хуже, если человек неблагородный обладает способностями, заставляющими в конце концов забыть его природное неблагородство. Какие способности могут оправдать возвышение человека неблагородного? Этот вопрос должен был задать себе твой управляющий Монт-кау, который, как ты говоришь, без твоего вмешательства возвысил этого неблагородного раба и позволил ему вырасти в твоём доме, к огорчению всех благочестивых людей. Неужели ты допустишь, чтобы твой управляющий оскорбил богов и на смертном одре, чтобы он указал на этого хабира как на своего преемника, опозорив твой дом перед всем миром и заставив твою отечественную дворню скрежетать зубами от злости под началом этого неблагородного чужеземца?

— Дорогая моя, — сказал слуга фараона, — как ты ошибаешься! Судя по твоим словам, ты плохо осведомлена, ибо о скрежете зубовном не может быть речи! Вся моя челядь, сверху донизу, от смотрителя питейного поставца до псаря и до самой последней твоей служанки, любит Озарсифа и ничуть не стыдится ему подчиняться. Не знаю, откуда ты взяла, что в доме скрежещут зубами по поводу его возвышения, ибо это совершенно неверные сведения. Наоборот, они все так и стараются поймать его взгляд, они радостно, наперерыв друг перед другом, делают свое дело, когда он проходит мимо, и самым внимательным, самым приветливым образом выслушивают его наставления. И даже те, кому пришлось уступить ему свое место, даже они глядят на него не косо, а прямо и открыто, ибо перед его способностями нельзя устоять. А почему? Да потому, что с его способностями дело обстоит вовсе не так, как ты

говорила, и в этом особенно видна твоя неосведомленность. Его способности отнюдь не являются обманчивым придатком к его личности, который можно отделить от нее. Нет, они от нее неотделимы, его способности — это способности человека благословенного, и впору было бы сказать, что он их заслуживает, если бы это опять-таки не было недопустимым разграничением личности и способностей и если бы вообще можно было говорить о какой-то заслуге, когда дело касается природных способностей. Вот почему, встречаясь с ним на суше или на воде, люди узнают его уже издали, вот почему они толкают друг друга в бок и радостно говорят: «Это едет Озарсиф, личный слуга Петепра, уста Монт-кау, прекрасный юноша, он едет по делам своего господина, которые он, как всегда, отлично устроит». И если мужчины глядят на него открыто и прямо, то женщины, наоборот, искоса, а это, насколько мне известно, такой же хороший знак, как прямой взгляд мужчин. И говорят, что когда он показывается на улицах города, возле лавок, девицы обычно взбираются на стены и крыши и бросают в него оттуда золотыми кольцами с пальцев, чтобы обратить на себя его внимание. Но он не обращает на них внимания.

Эни слушала с неопишуемым восторгом. Невозможно передать, как опьяняло ее прославление Иосифа, описание всеобщей любви к нему; радость огнем пробегала у нее по жилам, вздымала ей грудь, вызывала у нее короткие, порывистые, похожие на всхлипывания вздохи, заливала ей краской уши, и если бы не усилие воли, заставила бы ее губы блаженно улыбаться словам Петепра. Человеколюбцу остается только качать и качать головой по поводу подобного безрассудства. Хвала Иосифу укрепляла Эни в ее, если можно так выразиться, слабости к рабу-чужеземцу, оправдывала эту слабость перед ее гордостью, завлекала ее, Эни, еще дальше, мешала ей выполнить намерение, с которым она пришла, — спасти свою жизнь. Разве это основание для радости?.. Для радости — нет, но для блаженства — да, и с этим различием человеколюбцу приходится, качая головой, примириться. Известие о том, что женщины заглядываются на Иосифа и даже бросают в него кольцами, наполнило ее изнурительной ревностью, снова утвердило ее в слабости и внушило ей в то же время отчаянную ненависть ко всем, кто разделял эту слабость. То, что им не удалось обратить на себя его внимание, немного ее утешило и помогло ей вести себя и дальше по образцу существа разумного. Она сказала:

— Не стану говорить, друг мой, что это не очень деликатно с твоей стороны — занимать меня рассказами о дурном поведении девиц Уазе — независимо от того, насколько правдивы такие слухи, распространяемые, возможно, только самим их тщеславным героем или теми, кого он привлек на свою сторону всяческими посулами, для вящей его славы.

Ей было легче, чем то могло бы показаться, говорить так об уже безнадежно любимом. Она делала это совершенно машинально, как будто говорила не она, а какая-то другая женщина, и обычно певучий голос ее звучал сейчас глухо, соответствуя неподвижности ее лица, пустоте ее взгляда и не пытаясь даже скрыть лживости произносимых слов.

— Самое главное, — продолжала она так же глухо, — твой упрек в том, что я неверно осведомлена о делах дома, обращается против тебя самого, так что тебе же было бы лучше его не высказывать. Твоя привычка ни за что не братья и глядеть на всех вчуже и издали должна была бы заставить тебя усомниться в своем знании происходящего рядом с тобой. А правда заключается в том, что засилие этого раба в доме стало предметом жестокой злобы и общего недовольства. Смотритель твоих нарядов, Дуду, уже не раз обращался ко мне по этому поводу. И горько жаловался на владычество нечистого, оскорбительное для всякого благочестивого человека...

— Ну и видного же, — засмеялся Петепра, — ну и мощного же, прости меня, нашла ты себе союзника, милый цветок! Да ведь этот твой Дуду ничтожество, выскочка и хвостун, это же четвертушка человека, смешной недомерок; как можно считаться с его мнением в этом или в любом другом деле?

— Его размеры, — отвечала она, — тут ни при чем. Если его мнение так презренно, а его слово — пустяк, то зачем же ты назначил его своим гардеробщиком?

— Это было скорее шуткой, — сказал Петепра, — ведь придворным карликам почетные должности даются только для смеха. Его товарища, другого шута, называют даже визирем, но ведь этого нельзя принимать всерьез.

— Мне незачем указывать себе на разницу между ними, — возразила она. — Ты достаточно хорошо знаешь ее и только сейчас не хочешь ее замечать. Очень грустно, что мне приходится защищать от твоей неблагодарности самых верных и самых достойных твоих слуг. Господин Дуду, несмотря на свой несколько малый рост, человек достойный, серьезный и положительный, который никак не заслуживает званья шута, и его мнение, когда речь идет о делах дома и чести дома, чрезвычайно важно.

— Он достает мне вот до этих пор, — заметил военачальник, проведя ребром ладони по своей голени.

Мут помолчала.

— Не забывай, — сказала она затем, собравшись с мыслями, — что ты, супруг мой, отличаешься особенно высоким, прямо-таки башнеподобным ростом, и поэтому рост Дуду кажется тебе, наверно, ничтожнее, чем другим, например его жене Цесет, моей служанке, и его детям, которые, будучи тоже обычного роста, возносятся взглядом к родителю с благоговейной любовью.

— Ха-ха, возносятся взглядом!

— Я употребила это выражение обдуманно, в высшем, песенном смысле.

— Ах, вот как, — с издевкой сказал Петепра, — значит, о своем Дуду ты уже говоришь даже на песенный лад. Ты, кажется, жаловалась, что я плохо занимаю тебя. Так имей в виду, что ты уже достаточно долго занимаешь меня разговором о каком-то напыщенном дураке.

— Мы вполне можем оставить этот предмет, — сказала она покорно, — если он тебе неприятен. Я не нуждаюсь в том, чтобы человек, о котором зашла речь, поддерживал ту трижды справедливую по самому своему существу просьбу, с какой я должна обратиться к тебе, а ты не нуждаешься в его почтенном свидетельстве, чтобы понять, что ты должен ее исполнить.

— У тебя есть какая-то просьба ко мне? — спросил он.

«Значит, все-таки есть, — подумал он не без горечи. — Значит, она действительно пришла по какому-то более или менее тяжкому делу. Надежда, что она пришла только ради моего общества, не сбылась. Поэтому я заранее не очень-то благорасположен к этому делу...»

— Какая же это просьба? — спросил он.

— Вот такая, супруг мой. Удали этого раба-чужеземца, чье имя я не хочу повторять, из своего дома, где он, благодаря несправедливому покровительству и преступной небрежности, так нагло возвысился, что и дом твой стал вызывать нарекания, вместо того чтобы служить образцом благочестия.

— Озарсифа? Удалить из своего дома? О чем ты думаешь?

— Я думаю о благе, супруг мой. Я думаю о чести твоего дома, о богах Египта и о твоём долге перед ними — и не только перед ними, но и перед самим собой, да и передо мной, твоей сестрой и супругой, передо мной, посвященной и сбереженной, которая в убранстве Великой Матери улаживает Амуна звуками систра. Я думаю об этих вещах и твердо уверена, что мне достаточно только напомнить тебе обо всем этом, чтобы твои мысли целиком соединились с моими и ты незамедлительно выполнил мою просьбу.

— Удалив Озарсифа... Нет, дорогая, это невозможно, выкинь это из головы, это совершенно вздорная, совершенно дикая просьба, я не могу впустить эту мысль в среду моих мыслей, она им чужда, и они все восстанут против нее в величайшем гневе.

«Ну, вот, — думал он с досадой и болью. — Вот из-за чего пришла она ко мне в этот час, делая вид, что хочет только поболтать со мной, только провести время в изящной беседе. Я ждал этого, и все же до самого последнего мига это не приходило мне в голову, настолько это

противно оправданному моему себялюбию, настолько, увы, непохоже на то, чего я ожидал: что ей это покажется важным, а для меня будет сущим пустяком; ибо, к несчастью, просьба ее кажется пустяковой, наоборот, ей самой, а мне она до крайности неудобна. Недаром я сразу немного встревожился за свой покой. Как жаль, что она не дает мне возможности порадовать ее, ибо мне не хочется ее ненавидеть».

— Твое, мой цветок, предубеждение, — сказал он, — против этого юноши, заставившее тебя обратиться ко мне с такой напрасной просьбой, поистине прискорбно. Ты явно судишь о нем только по наветам и поношениям каких-то недомерков, а не по собственному знакомству с его превосходными качествами, благодаря которым он, несмотря на свою молодость, мог бы, по-моему, занять и более высокое место, чем место управляющего моими владениями. Называй его варваром и рабом — внешнее право на это у тебя есть, но разве этого права тебе достаточно, если оно не подтверждено правом внутренним? Разве у нас принято, разве справедливо судить о человеке по тому, свободный он или раб, местный он уроженец или чужестранец, а не по тому, каков его ум — невежествен и темен или же просвещен словом и облагорожен его волшебством? Как принято у нас поступать, каков в этом отношении опыт наших отцов? А у этого раба чистая и ясная речь, она изысканна и ласкает слух, он пишет красивым почерком, а книги читает так, словно говорит от себя, от собственного ума, и тебе кажется, что вся их мудрость, все остроумие идут от него и принадлежат ему, и ты просто диву даешься. Мне хотелось бы, чтобы ты узнала его достоинства, благосклонно сойдясь с ним и завоевав его дружбу, которая была бы тебе много полезнее, чем дружба этого чванного головастика...

— Я не хочу ни знакомиться с ним, ни сходитьсь, — сказала она упрямо. — Я вижу, что я ошиблась, решив, что ты уже закончил свои восхваленья. Оказывается, ты должен был еще кое-что добавить. Ну, а теперь я жду твоего согласия удовлетворить мою священно-справедливую просьбу.

— Такого согласия, — отвечал он, — я не могу дать, ибо просьба твоя родилась по недоразумению. Она ошибочна и невыполнима во многих отношениях — вопрос только в том, сумею ли я объяснить тебе это; если не сумею, то выполнимее она, поверь мне, от этого все равно не станет. Я уже сказал тебе, что Озарсиф вовсе не первый встречный. Он умножает дом, он незаменимый ему слуга, — кто заставил бы себя выгнать его? Это было бы глупым разорением дома и чудовищной несправедливостью по отношению к благородному юноше, который ни в чем не провинился. Уволить его и ни с того ни с сего прогнать со двора было бы делом на редкость беспокойным, и никто на такое дело легко не отважится.

— Ты боишься этого раба?

— Я боюсь богов, которые с ним заодно, которые посылают ему удачу во всем и делают его приятным миру, — какие это боги, мне невдомек, но несомненно, что в нем обнаруживается их великая сила. Ты бы и думать забыла о том, чтобы бросить его в яму барщины или просто перепродать, если бы не отказалась познакомиться с ним поближе. Ты бы сразу, я в этом уверен, приняла в нем участие и твое сердце перестало бы быть суровым к этому юноше, ибо между твоей жизнью и его жизнью есть не одна точка соприкосновения, и если я люблю видеть его около себя, то люблю это, позволь тебе признаться, потому, что он мне часто напоминает тебя...

— Петепра!

— Я говорю то, что говорю и что, по-моему, совсем не бессмысленно. Разве ты не посвящена и не сбережена богу, перед которым ты пляшешь, будучи священной его наложницей, и разве ты с гордостью не носишь перед людьми жертвенное украшение своей посвященности? Ну, так вот, этот юноша, я узнал это от него самого, тоже носит подобное украшение, такое же невидимое, как и твое, — кажется, тут имеется в виду некое вечнозеленое растение, которое, как явствует из его довольно-таки кудрявого названия, обозначает посвященную юность и целомудрие, ибо его называют «Не-тронь-меня». Это я услышал от Озарсифа, и услышал не без удивления, ибо он сообщил мне нечто новое. Я знал о богах Азии, об Аттисе и Ашрат

и о баалах растительности. Но он и его единовверцы служат одному богу, которого я не знал и ревнивость которого меня поразила. Этот одинокий бог требует верности, он обручился с ними как их кровный жених, — что весьма странно. Вообще-то они все носят это растение и берегут себя для своего бога, подобно невесте. Но одного из них он еще особо выбирает себе в жертву, и тот по-настоящему носит украшение посвященной юности и хранит себя для ревнивого жениха. И подумай, Озарсиф — как раз один из этих избранников. Они, сказал он, знают нечто такое, что они называют грехом и садом греха, а кроме того, они додумались до зверей, которые выглядывают из-за ветвей сада и невообразимо гнусны на вид — их трое, а имена их «Глумливый Смех», «Стыд» и «Вина». А теперь я задам тебе два вопроса. Первый: можно ли желать лучшего слугу и лучшего управляющего, чем человек, который рожден для верности и с детства боится греха? И второй: преувеличивал ли я хоть сколько-нибудь, говоря о точках соприкосновения между тобою и этим юношей?

Ах, как испугалась Мут-эм-энет при этих словах! Если ей было изнурительно-больно слышать о девушках, бросающих в Иосифа кольца, то это был пустяк, это было сущее удовольствие по сравнению с тем холодным мечом, который пронзил ее, когда она узнала, почему дочерям города не удавалось привлечь его внимание. Ужасный страх, словно от предчувствия всего, что ей придется из-за него вытерпеть, овладел ею, и тоскливое отчаяние открыто показалось на ее обращенном кверху лице. Нужно только попытаться войти в ее положение, которое, ко всему прочему, было даже отчасти смешным! За что она здесь боролась, за что сражалась с упрямством Потифара, если он говорил правду? Если сон об исцелении, который открыл ей глаза и который погнал ее сюда, солгал? Если тот, от кого она старалась спасти свою жизнь и жизнь своего господина, названного полководца, был жертвой, обещанной богу и ревниво оберегаемой? В какое заблуждение боялась она впасть? У нее не было сил, да она и не позволяла себе закрыть рукою свои глаза, глядевшие в пустоту и мнившие, что они видят этих трех зверей сада. Стыд, Вину и Глумливый Смех, последний из которых ржал, как гиена. Это было невыносимо. «Прочь, прочь, — думала она торопливо, — теперь-то и прочь его, о ком мне лгут мои сны, сны об исцелении, которые позорны и позорны вдвойне, потому что я напрасно, ах, к тому же еще и совершенно напрасно, бросила бы ему кольцо со своего пальца! Да, я борюсь по праву и должна продолжать борьбу, именно теперь, когда обстоятельства таковы! Но не думаю ли я, не надеюсь ли я втайне с торжествующей уверенностью, что мое желание исцелиться окажется сильнее, чем его обрученность, что оно превозможет ее и он последует за моим взглядом, чтобы остановить мою кровь? Разве я не надеюсь на это, разве не боюсь этого с такой силой, что, по сути, она кажется мне совершенно неодолимой? Ну, что ж, значит, тем более ясно, что он должен исчезнуть с глаз моих и из дома ради моей жизни. Вот сидит мой толсторукий супруг, настоящая башня; чадородный карлик Дуду достает ему только до голени. Он полководец. От него и от его воли должна я ждать, спасенья и исцеленья, от него одного!..» И, словно ища прибежища у своего вялого мужа, который был ближе всех, чтобы испытать на нем силу своего желания исцелиться, она ответила звонким, поющим голосом:

— Позволь мне не согласиться с твоей речью, мой друг, но и не спорить с тобой, чтобы ее опровергнуть. Это было бы бесполезным занятием. Твои слова никак не могут быть предметом спора, тебе даже незачем было произносить их, достаточно было просто сказать: «Не хочу». Все это не что иное, как внешняя оболочка твоей несгибаемости, и за этой оболочкой я вижу только железную твердость твоих решений, твою гранитную волю. Зачем же мне оспаривать их в напрасных словопрениях, если я по-женски восхищаюсь ими с нежностью и с любовью? Сейчас, однако, я ожидаю другого, того, что без них ничего не стоило бы, но что благодаря им приобретает огромную ценность, — я жду твоей снисходительной уступчивости. В этот час, непохожий на другие часы, в этот час нашего уединения, в час ожидания, когда я пришла к тебе с просьбой, мужская твоя воля склонится ко мне и, исполняя мое желание, скажет: «Да будет наш дом избавлен от этого нареkania, да будет Озарсиф уволен, изгнан и перепродан». Услышу ли я такие слова, мой господин и супруг?

— Ты же слышала, дорогая, что этого ты от меня не услышишь, не услышишь при всем моем желании тебя порадовать. Я не могу изгнать и перепродать Озарсифа, я не могу этого желать, такой волей я не располагаю.

— Ты не можешь этого желать? Значит, не ты владеешь своей волей, а твоя воля тобой?

— Дитя мое, это крохоборство. Неужели разница между мной и моей волей такова, что кто-то из нас хозяин, а кто-то раб в кто-то кем-то владеет? Попробуй-ка ты сама овладеть своей волей и пожелать чего-нибудь, что тебе же противно и даже ужасно!

— Я готова на это, — сказала она, откинув голову, — если дело идет о чем-то высшем, о чести, о гордости или о царстве.

— Ни о чем таком в данном случае нет и речи, — ответил он, — или, вернее, речь идет о чести здравого смысла, о гордости ума и о царстве справедливости.

— Не думай о них, Петепра! — сказала она звенящим голосом. — Подумай лучше об этом часе, об этом единственном часе и об его ожиданиях, о часе, когда я, в нарушение обычного порядка и в ущерб твоему уюту, явилась к тебе! Ты видишь, я обнимаю руками твои колени и прошу тебя: выполни своей властью мое желание, супруг мой, выполни один только раз, и дай мне уйти от тебя довольной!

— Как ни приятно мне, — отвечал он, — чувствовать своими коленями твои прекрасные руки, я не могу, выполнить твою просьбу; и лишь ради мягкости твоих рук я столь мягко упрекаю тебя в том, что ты так мало щадишь мой покой, а о моем благополучии, кажется, и вовсе не спрашиваешь. Но хотя ты меня и не спрашиваешь, я хочу кое-что сообщить тебе на этот счет с глазу на глаз в такой единственный час. Знай же, — сказал он с каким-то даже таинственным видом, — что за Озарсифа я должен держаться не только ради дома, который он для меня умножает, и не только потому, что этот юноша читает мне книги мудрецов, как никто другой. Он крайне важен для моего благополучия еще и по другой причине. Сказать, что он вызывает у меня приятное чувство доверия, — это еще не все сказать; я имею в виду нечто более необходимое. Да, ум его горазд на всякие отрадные выдумки; но самое главное состоит в том, что он в любой день, в любой час находит для меня такие слова обо мне, которые показывают меня самому в прекрасном, в божественном свете и укрепляют в моей душе уважение к себе, отчего я чувствую себя...

— В таком случае я хочу побороться с ним, — сказала она, крепко сжимая колени мужа, — и одержать перед тобой победу над тем, кто укрепляет тебя в твоём самолюбии только словами! Я делаю это лучше. Я даю тебе случай укрепить свою душу на самом деле, без чьей-либо помощи, собственной властью, выполнив ожидания этого часа и вернув своего раба пустыне. Вот уж когда ты почувствуешь свою силу, супруг мой, если исполнишь мое желание и я уйду от тебя довольная!

— Ты думаешь? — спросил он, моргая глазами. — Так слушай же! Когда мой управляющий Монт-кау умрет (ибо он близок к тому), я распоряжусь, чтобы управлял домом вместо него не Озарсиф, а кто-нибудь другой, например Хамат, писец питейного поставца. А в доме Озарсиф останется.

Она покачала головой.

— Этим ты не удовлетворишь ни меня, ни, следовательно, своего самолюбия. Ибо такая уступка лишь наполовину или даже в еще меньшей мере выполнила бы мое желание и оправдала ожидания этого часа. Озарсифа не должно быть в доме.

— Тогда, — сказал он быстро, — если этого тебе мало, я отказываюсь от своего предложения, и Озарсиф будет управлять домом.

Она отпустила его колени.

— Это твое последнее слово?

— Другого у меня, к сожалению, нет.

— В таком случае я ухожу, — прошептала она, вставая.

— Наверно, и правда пора, — сказал он. — А в общем-то это был приятный часок. Я пришлю тебе подарок, чтобы тебя порадовать, сосуд для благовоний из слоновой кости с резными изображениями рыб, мышей и глаз.

Она повернулась к нему спиной и направилась к аркам колоннады. Там она на мгновение остановилась и, собрав несколько складок своего платья в руке, которой она оперлась на одну из тонких колонн, прижалась к этой руке лбом и спрятала в складках лицо. Никто не заглядывал за эти складки и в спрятанные глаза Мут...

Потом она всплеснула руками и удалилась.

ТРИ РАЗГОВОРА

Записав эту беседу, мы уже достаточно продвинулись в нашей истории, чтобы вернуться к тому месту, где мы, забегаая вперед, упомянули о странном узоре, в который жизнь смешала тут все обстоятельства. Ведь выше мы сказали, что примерно в то самое время, когда госпожа предпринимала свои мнимо-серьезные попытки удалить Иосифа из Потифарова дома, о чем дотоле и хлопотал гардеробщик Дуду, — что примерно тогда этот женатый карлик начал подлизываться к Иосифу и разыгрывать из себя преданного его друга, причем не только перед ним самим, но и перед госпожой, которой он его всячески расхваливал. Да, именно так все и происходило; в наших словах не было тогда ни малейшего преувеличения. А происходило так потому, что Дуду понял и увидел, как обстоит дело с Мут-эм-энет и чем вызвано ее стремление убрать Иосифа подальше от глаз; он открыл это благодаря солнечной силе, которой был удостоен его малый рост и которую он тем больше ценил и почитал, чем поразительнее была она при таком росте; поэтому Дуду и в самом деле можно было считать изошренным знатоком данной области, у него действительно был очень тонкий нюх на все, что касалось упомянутой сферы, — какой бы доли карличьего остроумия и карличьей мудрости вообще-то ни лишал его именно этот существенный дар.

Итак, прошло немного времени, и он понял, что он натворил или, по крайней мере, ускорил своими патриотическими жалобами на возвышение Иосифа, — он изумленно понял это даже гораздо раньше, чем она сама: сначала ему помогало понять это ее гордое неведение, еще не думавшее ни о каких мерах предосторожности, а потом, когда и у нее уже открылись глаза, ему помогла обычная неспособность всех одержимых и обезумевших скрывать свое состояние. И узнав, что его госпожа самым отчаянным и самым несчастным образом, со всей своей природной серьезностью, влюбилась в чужеземного слугу и чтеца своего супруга. Дуду только потирал руки. Ничего подобного он не ждал и не предвидел, но такой оборот дела, считал он, мог оказаться для этого пришельца ямой более глубокой, чем любая другая, какую ему только можно было бы выкопать; и тогда Дуду вдруг решил взять на себя одну роль, которая после него не раз исполнялась, но которую и он, живя уже, как-никак, в поздние времена человеческие, вряд ли играл первым; сколь ни мало осведомлены мы о его предшественниках, надо полагать, что, заучивая и исполняя ее, он шагал по глубоко вытоптаным следам. Как злорадный покровитель и почтальон пагубной взаимоприязни, начал сновать этот карлик между Иосифом и Мут-эм-энет.

Он ловко изменял свои речи, по мере того как ему удавалось сначала предположительно, а потом и с уверенностью разгадать ее душу. Ибо теперь госпожа вызывала его к себе по тому поводу, по какому он обычно прежде и домогался у нее приема, чтобы пожаловаться, и заговаривала с ним об этом неприятном деле сама, из чего он заключил было, что наконец-то зажег ее своей ненавистью. Но вскоре он почуял, в чем дело, ибо ее манера выражаться показала ему несколько странной.

— Начальник, — говорила она (к его радости, она называла его просто «начальник», хотя он был всего лишь одним из младших смотрителей, а именно смотрителем одежд и ла-

рей), — начальник, я вызвала вас через привратника гарема, послав к нему рабыню-нубийку, потому что так и не дождалась вашего самочинного прихода, хоть нам и необходимо продолжить наши совещания о той заботе, которую я называю так потому, что она вас заботит, и на которую вы обратили мое внимание. Я вынуждена мягко вас упрекнуть, упрекнуть со скидкой на ваши заслуги, с одной стороны, и на вашу карликовость, с другой, в том, что вы не явились ко мне для этого сами, по собственному побуждению, а заставили меня мучительно ждать; ибо ожидание и вообще-то великая мука, но кроме того, оно недостойно женщины моего чина, а значит, мучительно вдвойне. Что это дело не дает мне покоя, — я имею в виду дело этого юноши-чужеземца, чье имя мне поневоле пришлось запомнить, так как он, я слыхала, стал управителем вместо Озириса Монт-кау и, ко всеобщему или почти всеобщему вашему блаженству, обходит обобщающим дозором промыслы дома, выставляя напоказ свою красоту, — так вот, что этот стыд не дает мне покоя, должно было бы тебя радовать, карлик, ибо ты сам внушил мне его своими жалобами и пробудил во мне внимание к неприятности, которая, если бы не ты, меня, наверно, не трогала бы, а теперь стоит у меня перед глазами и днем и ночью. А ты, озаботив меня этим делом, сам не приходишь ко мне поговорить о нем, как то следовало бы, а оставляешь меня наедине с моей печалью, так что мне приходится в конце концов посылать за тобой и приказывать тебе явиться для выяснения этого противного дела, ибо нет ничего несноснее, чем быть одному при таких обстоятельствах. Ты должен бы и сам знать это, друг, ибо что можешь ты один, не имея союзницы в лице госпожи, предпринять против этого ненавистного тебе человека, у которого перед тобой столько всяческих преимуществ, что твою ненависть к нему, хранитель одежд, в пору назвать прямо-таки бессильной, хотя я и одобряю ее. Благорасположение к нему господина, который тебя терпеть не может, совершенно непоколебимо, этот раб покорил его своим остроумьем и обаяньем и еще тем, что его, Озарсифа, боги посылают ему удачу во всяком деле. Как это у них получается? Я не думаю, что его боги, особенно здесь, в странах, где они чужие и не пользуются почетом, настолько сильны, чтобы добиться того, чего он добился, с тех пор как появился у нас. В нем самом заключены, видимо, способности, которые помогли ему, ибо без них последний раб никогда не вырастет в главного надсмотрщика и преемника управляющего, и ясно, как день, что по уму ты, карлик, не годишься ему в подметки, так же как и по внешности, поскольку его вид и осанка, хоть нам с тобой это и непонятно, производят на всех необыкновенное впечатление. Все любят его и ищут его взгляда, не только челядь дома, но и путники, встречающиеся с ним на суше и на воде, и жители города, и мне даже рассказывали, что, когда он появляется в городе, всякие там женщины влезают на крыши, чтобы глазеть на него оттуда и бросать в него кольца с пальцев в знак похоти. А это уже верх мерзости, и поэтому мне особенно не терпелось поговорить с вами, начальник, чтобы услышать ваш совет насчет того, как положить конец такому бесстыдству, или, наоборот, самой дать вам совет по этому поводу. Нынче ночью, лежа без сна, я думала, не следует ли, когда он отправляется в город, посылать с ним лучников, чтобы они сопровождали его и стреляли в лицо женщинам подобного поведения, да, да, именно, прямо в лицо, — и пришла к выводу, что эту меру непременно нужно принять, и так как ты наконец явился, я поручаю тебе немедленно распорядиться об этом на мою ответственность, хотя и не называя меня: ты можешь сделать вид, что эта мысль родилась в твоей собственной голове, и тем украсить себя. Разве только ему одному, Озарсифу, ты можешь сказать, что это я, госпожа, пожелала, чтобы всем этим горожанкам стреляли в лицо, и можешь послушать, что он на это ответит и как он отзовется о моей затее; а потом ты передашь мне его слова, причем передашь их по собственному почину и тотчас же, чтобы мне не пришлось посылать за тобой, претерпев муки ожидания и горечь одиночества в столь тяжком деле. Ибо похоже, увы, что ты, гардеробщик, стал нерадиво относиться к этой заботе, тогда как я неустанно тружусь в Амуне. Как того хотели достопочтенный Бекнехонс и ты, я обняла колени моего супруга, полководца Петепра, и полночи, нарушая его покой и тем унизив себя, боролась с ним за устранение этого неприятного обстоятельства. Однако я не справилась с гранитной его волей и ушла ни

с чем и одна. А за тобой, карлик, приходится посылать гонцов за гонцами, чтобы ты явился ко мне и помог мне, помог, например, сообщив мне те или иные подробности, касающиеся этого мерзкого юноши, этого сорняка в доме, и его поведения: кичится ли он своим новодобытым чином, как отзывается он о домочадцах и господах, в частности обо мне, его госпоже, как упоминает меня вскользь в своих разговорах. Чтобы выступить против него и помешать его возвышению, я должна познакомиться с ним и знать, как он говорит обо мне. А твоя леность оставляет меня в неведении на этот счет. Ты бы пошевелил мозгами, заставил его приблизиться ко мне по службе и искать моей милости, чтобы я получше испытала его и распознала то волшебство, которым он ослепляет людей и привлекает их на свою сторону: ибо тут есть какая-то тайна и причина его побед непонятна. Или, может быть, вы, чистильщик нарядов, видите и скажете, что в нем находят? Затем-то я и позвала вас, чтобы обсудить это с вами, как с человеком опытным, и я задала бы вам этот вопрос еще раньше, если бы ты, карлик, раньше пришел. Разве он такого уже необыкновенного роста и сложения? Отнюдь нет. Он скроен так же, как многие, по обычной мужской мерке: конечно, он не так мал, как ты, но и далеко не так огромен, как мой супруг Петепра. Можно было бы сказать, что роста он как раз надлежащего, но разве таким суждением кого-либо потрясешь? Или он так силен, что способен вынести из амбара пять или больше четвериков семенного зерна, и это вызывает у мужчин уважение, а у женщин восторг? Опять-таки нет, телесная его сила весьма умеренна, ее тоже можно назвать как раз надлежащей, и когда он сгибает руку, то мышца, признак мужской его стати, не вздымается на ней хвастливо и грубо, а напрягается умеренно и с изяществом, которое можно назвать человеческим, но и божественным тоже... Ах, друг мой, вот как обстоит дело. Но ведь все это встречается на свете тысячи раз и никак не оправдывает, значит, его побед! Спору нет, смысл и достоинства телосложения определяются только головой и лицом, и справедливости ради можно признать, что его темные, как ночь, осененные дугами надбровий глаза довольно красивы, красивы и тогда, когда они широко раскрыты, и тогда, когда ему вдруг вздумается сузить их на какой-то особый, несомненно знакомый вам лад, который я назвала бы мечтательным и туманно-лукавым. Но каковы его уста и как можно понять, что он очаровывает ими людей и те даже называют его самого, как я слышала, устами, устами управляющего? Этого понять нельзя, тут таится какая-то еще не разгаданная загадка, ибо губы его, пожалуй, слишком толсты, а улыбка, которой они украшают себя, обнажая блестящие зубы, объясняет ваше ослепление только отчасти, даже если прибавить к ней слетающие с этих губ искусные речи. Я склоняюсь к мнению, что тайна его волшебства — это в первую очередь тайна его уст, у которых ее и следует выведать, чтобы тем вернее поразить этого дерзкого юношу его же оружием. Если мои слуги не будут меня предавать и мне не придется мучительно ждать их помощи, я возьму это на себя — раскусить его и добиться его падения. А если он устоит против меня, тогда, карлик, я, так и знай, прикажу лучникам повернуть оружие и пустить стрелы в другую сторону, ему в лицо, в ночь его глаз, в гибельную прелесть его проклятых уст!

Такие странные слова госпожи Дуду выслушивал с достоинством, убрав нижнюю губу под крышу верхней и в знак своего внимания, которое было непритворным, приставив горстью ладошку к ушной раковине; и его опытность по части чадородия позволила ему толковать их. Когда же он стал разгадывать ее душу, он изменил свои речи, но не чересчур резко, а постепенно, украдкой переходя с одного тона на другой, отзываясь об Иосифе сегодня иначе, чем вчера, но ссылаясь при этом на свои вчерашние слова, словно они звучали столь же благоприятно (тогда как они имели уже, правда, несколько более мягкий, но все-таки еще хулительный смысл), и вообще стараясь все сказанное доселе о молодом управляющем вывернуть наизнанку, сделать из черного белое. Всякого здравомыслящего человека такой грубый подлог оскорбил и разозлил бы своим откровенно-дерзким пренебрежением к человеческому разуму. Но дух чадородия учил Дуду, какие большие требования можно предъявлять к людям, находящимся в состоянии Мут-эм-энет, и он преспокойно предъявлял их этой женщине, которая была слишком поглощена и одурманена своими чувствами, чтобы возмутиться подобной наглостью, более того, была даже признательна карлику за его изворотливость.

— Благороднейшая госпожа, — говорил он, — если преданный твой слуга не явился к тебе вчера, чтобы обсудить с тобой текущие дела (ибо позавчера я был на месте, как ты сразу же вспомнишь, если я напомним тебе, и только священное твое усердие в этом деле увеличивает в твоих глазах длительность моего отсутствия), — если я не явился к тебе вчера, то единственно потому, что был крайне занят служебными своими делами, хотя мысли мои ни на минуту не отвлекались от забот, которые так волнуют тебя — а потому и меня — и касаются Озарсифа, нового управляющего. Мои обязанности смотрителя одежды — ты не станешь меня за это бранить — дороги мне и милы, я прилепился к ним сердцем, как это обычно бывает, когда то, что поначалу было только обузой и долгом, становится со временем предметом сердечной склонности. То же самое можно сказать и о важном деле, которое твой покорный слуга часто имеет честь с тобой обсуждать. Да и как выкинуть из сердца заботу, по поводу которой можно ежедневно или почти ежедневно, по вызову и без вызова, обмениваться с тобой суждениями и ответами? И как не перенести благодарность за столь высокое наслаждение также и на предмет этой заботы, как выкинуть его из своего сердца, того, кому дано было сделаться предметом твоей заботы? Нет, этого не выкинешь из сердца, и слуга твой счастлив припомнить, что об этом предмете, то есть о данном лице, он всегда думал не иначе как о предмете, достойном твоего внимания. Дуду был бы несправедливо обижен предположением, что прекрасная служба в одежной хотя бы на час помешала ему потихоньку размышлять и об этом деле, участвовать в котором ему позволила госпожа.

Ибо, занимаясь одним, нельзя забывать о другом — я всегда держался этого правила и в земных делах, и в божественных. Амун — великий бог, он предельно велик. Но разве поэтому нужно отказывать в почете и пище другим богам страны, особенно таким, которые до тождественности близки ему и называли ему свое имя, как Атум-Ра-Горахте, что живет в Оне, в Нижнем Египте? Когда я в последний раз сподобился говорить со светлейшей своей госпожой, я уже пытался, хотя еще неумело и неудачно, высказаться о том, какой это великий, мудрый и кроткий бог, если ему принадлежат такие открытия, как часы и указатель времен года, открытия, без которых мы были бы подобны животным. С юных лет я втихомолку спрашивал себя, а сегодня спрошу себя вслух, может ли Амун в своем капище обижаться на нас за то, что в душе мы отдаем должное кротости и великодушию этого величавого бога, с чьим именем он соединил свое собственное. Разве досточтимый Бекнехонс не является Первым Пророком и того и другого? Когда на празднике моя госпожа, звеня систром, пляшет перед Амуну по праву его жены, ее зовут уже не Мут, как обычно, а Хатхор, но ведь Хатхор — это священная, украшенная рогами и диском сестра-супруга Атума-Ра, а не Амуна. Учитывая все это, твой верный слуга никогда не забывал о нашей заботе и не упускал случая приблизиться к этому цветущему юноше, отпрыску Азии, выросшему у нас в молодого управляющего, и получше узнать его, чтобы говорить о нем с тобой в этот раз с большей осведомленностью, чем то при всем моем старании удалось в прошлый. В общем, я нашел его очаровательным — в тех пределах, которыми природа ограничивает в данном случае мужское мое одобрение. С бабьем на крышах и на стенах дело обстоит, конечно, иначе, но я нашел, что наш юноша ничего не имел бы против обстрела их лучниками, и поэтому я не вижу причин поворачивать оружие в другую сторону. Ибо случайно я услышал, как он сказал, что только одна женщина имеет право пристально глядеть на него; при этом он направил на меня из-под надбровий весьма и весьма ночной взгляд, сначала открытый и сияющий, а потом, по любопытному своему обычаю, туманно-лукавый. Хотя в этих словах есть уже указание на то, как он о тебе думает, я ими не удовольствовался; привыкши судить о людях по их отношению к тебе, я завел разговор о привлекательности женщин и по-мужски спросил его, кого из встречавшихся ему женщин он считает самой красивой. «Мут-эм-энет, наша госпожа, — отвечал он, — красивее всех и здесь, и в широкой округе. Ибо даже уйдя за семь гор, не найдешь лучшей красавицы». При этом лицо его залилось алой краской Атума, которую я могу сравнить только с той, что окрасила сейчас твое лицо, окрасила, как я себя тещу, от радости по поводу находчивости преданного

твоего слуги в этом важнейшем деле. Более того, я предупредил твое желание, чтобы новый управляющий чаще прислуживал тебе и ты могла разгадать его волшебство и попытаться до тайны его уст, на что я, в силу природы своей, кажется, не гожусь. Я настойчиво призывал его, я убеждал его робость приблизиться к тебе, о женщина, и чем настойчивее, тем лучше, и поцеловать своими устами землю перед тобой, которая это терпит. На это он ничего не ответил. Но краска Атума, сошедшая было с его лица, тотчас же залила его снова, и я увидел в ней признак его боязни предаться тебе и выдать тебе свою тайну. И все же я убежден, что он последует моему совету. Правда, он, тем или иным способом, перерос меня в этом доме и стоит во главе его, но зато по годам и как коренной египтянин я старше. С таким юнцом я поговорю напрямик, как человек простой, каковым и остаюсь, имея честь откланяться своей даме.

С этими словами Дуду весьма чинно поклонился, свесив прямо вниз свои коротенькие ручки, повернулся и, мелко шагая, направился к Иосифу, которого приветствовал такими словами:

— Мое почтение, уста дома!

— Что я вижу, Дуду? — отвечал Иосиф. — Ты приходишь засвидетельствовать мне свое драгоценное почтение? С чего бы это? Ведь еще недавно ты не хотел со мной есть и всячески, на словах и на деле, показывал, что ты ко мне не очень-то расположен.

— Не расположен? — спросил супруг Цесет, запрокинув голову. — Я всегда был расположен к тебе гораздо больше, чем многие, которые притворялись особенно расположенными к тебе в эти семь лет, но я просто виду не подавал. Я человек чопорный, степенный, который не полезет ради прекрасных глаз к первому встречному с изъявлением своего благорасположения и преданности, а сдержит себя, проверит свои чувства, чтобы доверие созревало лет эдак семь. Но уж когда оно созреет, на мою верность вполне можно положиться, и тот, кто выдержал испытание, может ее испытать.

— Прекрасно, — отвечал Иосиф. — Я рад, что завоевал твою приязнь, не очень-то на нее потратившись.

— Потратившись или не потратившись, — сказал, подавляя злость, карлик, — ты отныне, во всяком случае, можешь рассчитывать на мою ретивую службу, — службу прежде всего богам, ибо они явно с тобой заодно. Я человек благочестивый, уважающий мнение богов и судящий о достоинствах человека по его счастью. Покровительство богов достаточно убедительно. Кто столь упрям, чтобы противопоставлять ему свое мнение очень уж долго? Дуду не так глуп и не так косен, и поэтому я весь твой.

— Приятно слышать, — сказал Иосиф. — Поздравляю тебя с твоей богоугодной мудростью. А теперь не будем друг друга задерживать, ибо дела не ждут.

— Мне кажется, — не унимался Дуду, — что господин управляющий еще не оценил всей важности моего признания, которое равнозначно некоему предложению. Иначе ты бы не спешил вернуться к делам, не выяснив смысла и возможных последствий моего заявления и не узнав всех выгод, какие оно сулит тебе. Ведь ты можешь доверять мне и пользоваться моей верностью и находчивостью решительно во всем — и в делах домоводства, и в делах, касающихся тебя самого и твоего счастья. Ты можешь положиться на большую опытность такого светского человека, как Дуду, в изыскании окольных путей, а также во всех видах соглядатайства, тайного подслушивания, посредничества, наущничанья и осведомительства, не говоря уж о его скрытности, которая по своей тонкости и упорству не имеет, пожалуй, равной себе на свете. Надеюсь, теперь у тебя открылись глаза на значение моих предложений.

— Они никогда не были слепы в этом смысле, — заверил его Иосиф. — Ты очень неверного мнения обо мне, если думаешь, что я не понимаю важности твоей дружбы.

— Твои слова удовлетворяют меня, — сказал карлик, — но меня не удовлетворяет тон, каким они были произнесены. Если слух меня не обманывает, в твоем тоне сквозит какая-то натянутость, какая-то сдержанность, которая в моих глазах принадлежит прошлому и должна исчезнуть между тобою и мною сейчас, когда я-то сам целиком от нее отказался. Мне было бы

обидно и больно видеть ее с твоей стороны, ибо у тебя было ровно столько же времени, чтобы дать созреть своему ко мне доверию, сколько было отпущено на созревание моего доверия к тебе, а именно семь лет. Доверие за доверие. Я вижу, мне придется сделать дополнительное усилие и еще глубже открыть тебе свою душу, чтобы и ты без чопорной сдержанности открыл мне свою. Так знай же, Озарсиф, — сказал он, понижая голос, — что мое решение любить тебя и служить тебе верой и правдой родилось не только потому, что я чту богов. Кроме того, и, признаюсь тебе, прежде всего, оно определено волей и указанием одной земной, хотя и очень близкой к богам особы...

И он подмигнул.

— Какой же? — не удержавшись, спросил Иосиф.

— Ты спрашиваешь? — сказал Дуду. — Ну, что ж, своим ответом я как раз и открою тебе свою душу, чтобы ты отплатил мне тем же.

Он стал на цыпочки, приставил ручку ко рту и прошептал:

— Это была госпожа.

— Госпожа? — слишком быстро и так же тихо переспросил Иосиф и склонился к тянувшемуся вверх карлику. Да, так, увы, и было: Дуду ухитрился произнести слово, сразу же заставившее его собеседника вступить в этот разговор с нетерпением и любопытством. Сердце Иосифа, которое Иаков там, дома, считал давно уже сокрытым смертью, но которое здесь, в земле Египетской, продолжало биться и было по-прежнему открыто опасностям жизни, сердце Иосифа остановилось у него в груди; остановилось и в самозабвенье замерло оно на один миг, чтобы затем, по древнейшему своему обычаю, наверстать упущенное убыстренным биением.

Впрочем, он сразу же выпрямился и приказал:

— Убери руку ото рта! Можешь говорить тихо, но руку убери!

Это он сказал, боясь, как бы кто не увидел, что он секретничает с карликом, — а сам был готов секретничать с ним, но только не подавая вида: это было бы для Иосифа слишком противно.

Дуду повиновался.

— Это была Мут, наша госпожа, — подтвердил он, — первая и праведная. Из-за тебя она велела мне явиться к ней и обратилась ко мне со словами «господин начальник» — прости, после обожествления Монт-кау начальник здесь ты, который и занял Особый Покой Доверия, а я, как и прежде, начальствую лишь в одном, почетно ограниченном смысле. «Господин начальник, — сказала она, — что касается юноши Озарсифа, нового управляющего, по поводу которого мы с вами не раз обменивались мыслями, то, мне кажется, вам пора наконец отказаться от той мужественной неприступности, той испытующей сдержанности, которую вы проявляли по отношению к нему вот уже несколько, чуть ли не семь, лет, и начать служить ему не за страх, а за совесть, как вы, в сущности, давно хотели того в глубине души. Проверив все доводы против его неудержимого возвышения, которые вы время от времени считали своим долгом представить мне, я окончательно пренебрегла ими ввиду явных его достоинств, пренебрегла тем охотней и легче, что вы сами выкладывали эти доводы все более вяло и нерешительно, ибо не были в силах, да и не желали скрывать, что любовь к нему давно уже пустила ростки в вашей груди. Перестаньте себя насиловать, — я так и поступлю, — служите ему от чистого сердца, чего страстно желает и мое сердце, сердце госпожи. Ибо больше всего мое сердце должно желать, чтобы лучшие слуги дома любили один другого и сообща, в союзе друг с другом радели о его благоденствии. Заключите же. Дуду, такой союз с молодым управляющим и будьте, как человек опытный, помощником, советчиком, гонцом и вожакom его молодости — таково желание моего сердца. Ибо хоть он и умен, хотя боги обычно даруют ему удачу в делах, кое в чем его молодость является для него помехой и опасностью. Если начать с опасности, то его молодость связана с немалой красотой, которая заключена в соразмерном его росте, а также в его туманных глазах и в прекрасной форме его уст, так что даже за семью

горами и то, наверно, не встретишь юноши такого чудесного вида. Я приказываю вам самолично охранять его от несносного любопытства, а в случае надобности приставить к нему для выходов в город отряд лучников, которые будут отвечать дождем стрел на назойливые налеты со стен и крыш. Что же касается помехи, то в некоторых отношениях его молодость делает его еще слишком робким и нерешительным, и поэтому я вменяю вам также в обязанность помочь ему преодолеть это малодушие. Например, он почти никогда не осмеливается явиться ко мне, своей госпоже, и обсудить со мною текущие дела дома. Это меня огорчает, ибо я отнюдь не похожу на своего супруга Петепра, который вообще ни за что не берется, нет, как госпожа дома, я была бы рада участвовать в хозяйственных хлопотах и всегда досадовала на то, что обоженный ныне Монт-кау, то ли из ложной почтительности, то ли из властолюбия, совершенно меня от них отстранил. В этом отношении я ждала от перемены управляющего некоторой даже выгоды для себя, но поскольку надежда моя покамест не оправдалась, я приказываю вам, друг мой, стать тонким посредником между мною и молодым управляющим и добиться, чтобы он преодолел юношескую свою робость и почаще являлся ко мне для бесед о том и о сем. Считай это прямо-таки главной задачей союза, который тебе надлежит заключить с ним, подобно тому как я, Мут-эм-энет, заключаю союз с тобой. Ведь я пользуюсь твоими услугами ради него, а это можно, пожалуй, назвать тройственным союзом между тобою, мною и им». Вот слова, — заключил Дуду, — которые сказала мне госпожа, и, передав их, я широко открыл тебе свою душу, молодой управляющий, чтобы ты ответил мне тем же. Ибо теперь тебе, конечно, стало понятнее, что означает мое предложение беспрекословно повиноваться тебе и ходить всякими тайными и окольными путями ради тебя и нашего тройственного союза.

— Прекрасно, — ответил Иосиф тихо и с напускным спокойствием. — Я выслушал тебя, начальник ларей, выслушал из уважения к госпоже, которая, как я, по крайней мере, должен поверить, говорила твоими устами, а также из уважения к тебе, изысканно-светскому человеку, уступать которому в выдержке и хладнокровии мне не к лицу. Так вот, я не очень-то верю, что ты вдруг вспылал ко мне нежностью — не обижайся, но, честно говоря, это, по моему, хитрая ложь светского человека. Да и я, друг мой, не пылаю к вам особой любовью и отнюдь не умираю от восторга перед вами, ибо мне, я сказал бы, вы скорее противны. Но мне хочется доказать вам, что своими чувствами я владею с не меньшей, чем вы, светской ловкостью и способен не обращать на них никакого внимания, если этого требует холодный расчет. Такой человек, как я, не всегда может идти только прямой дорогой, при случае он не должен гнущаться и обходной. И не только с людьми порядочными надлежит ему водить дружбу, нет, он должен со светской холодностью пользоваться услугами и прожженных лазутчиков, и гнусных доносчиков. Поэтому я не отклоняю вашего предложения и согласен пользоваться вашими услугами, досточтимый Дуду. О союзе лучше не будем говорить; мне неприятно определять этим словом отношения между вами и мной, даже если предполагается участие госпожи. Но все, что вы сможете мне донести о делах дома и города, пожалуйста, донесите, я постараюсь это использовать.

— Лишь бы ты только доверял моей верности, — возразил коротышка, — а какой ты ее считаешь — светской или чистосердечной, — мне все равно. Я не ищу в мире любви, ее мне хватает и дома — со стороны моей жены Цесет и моих удачных детей Эсези и Эбеби. Но сердце прекрасной госпожи пожелало, чтобы я вступил с тобою в союз и был помощником, советчиком, гонцом и вожаком твоей молодости, — а я и стараюсь быть помощником, советчиком, гонцом и вожаком твоей молодости, — и оно удовлетворится уже одним тем, что ты будешь на меня полагаться, а как ты будешь на меня полагаться — сердцем или светским умом, — это не важно. Не забывай о желании госпожи, чтобы ты посвящал ее в хозяйственные дела больше, чем Монт-кау, и почаще беседуй с ней! Нет ли у тебя каких-либо сообщений, чтобы я передал их на обратном пути?

— Пока мне ничего не приходит в голову, — ответил Иосиф. — Удовлетворись тем, что свое дело ты сделал, а остальное предоставь мне.

— Как тебе будет угодно. Но я могу, — сказал карлик, — и дополнить преданный мой донос. Ибо госпожа невзначай упомянула, что сегодня на закате она для успокоения прекрасного своего духа погуляет в саду и поднимется на насыпь, в укромный домик, чтобы побыть там наедине со своими мыслями. Кто хочет побеседовать с ней, сообщить ей что-либо или обратиться к ней с просьбой, может воспользоваться этим на редкость благоприятным случаем и явиться для аудиенции в садовый домик.

Это Дуду просто соврал. Ничего подобного госпожа не говорила. Но он хотел, если бы Иосиф попался на удочку, пригласить ее туда, в продолжение своей лжи, от его имени и тем самым создать какую-то тайну. И хотя искушаемый на это не поддался, Дуду не отступился от своего замысла.

Иосиф только сухо кивнул в ответ, не говоря, как он воспользуется услышанным, и повернулся к зрителю нарядов спиной. Но сердце его билось, если и не так быстро, как прежде (ибо оно уже наверстало упущенное), то все же очень и очень сильно, и наша история не хочет и не может ни отрицать, ни скрывать, что он был до безумия рад услышанному о госпоже, а равно и тому, что он волен был предпринять на закате. Можно представить себе, сколь настойчив был его внутренний голос, шептавший ему, чтобы он не ходил в беседку; и никто не удивится, услышав, что и рядом с ним, что и вне его об этом тотчас же зашептал знакомый стрекочущий голосок. Ибо когда Иосиф после разговора с Дуду вошел в дом, чтобы собраться с мыслями в Особом Покое Доверия, Зе'энх-Уэн-нофре и так далее, Боголюб Шепсес-Бес, маленький вещун в измятом наряде, проскользнул туда вместе с ним и сразу же зашептал:

— Не делай, Озарсиф, того, что посоветовал тебе этот злой куманек, не делай ни в коем случае!

— Ах, ты здесь, дружок? — спросил Иосиф немного смущенно. А потом спросил его, в каком же это уголке он опять притаился, если знает, что посоветовал Дуду.

— Ни в каком, — отвечал маленький человечек. — Благодаря карличьей остроте моих глаз я увидел издали, как ты запретил Дуду прикрывать рот рукой, но запретил лишь после того, как сам поспешно нагнулся к нему, чтобы услышать его тайны. А тут уж карличья мудрость легко распознала, чье имя он назвал.

— Ну и ловкач же ты! — сказал Иосиф. — А сейчас ты, наверно, проскользнул сюда, для того чтобы поздравить меня с такой прекрасной новостью? Подумать только, врага, который так долго жаловался ей на меня, госпожа сама посылает ко мне с недвусмысленным известием, что я наконец все-таки снискал ее милость и ей угодно обсуждать со мною дела! Признай, что это прекрасная новость, и порадуйся вместе со мной, что сегодня на закате я волен явиться к ней на аудиенцию в беседку, ибо я несказанно этому рад! Я не говорю, что собираюсь туда явиться — на это я отнюдь еще не решился. Но то, что я волен так поступить, что я могу выбирать — явиться туда или не явиться, — это меня необычайно радует, и поэтому ты, малыш, должен меня поздравить!

— Ах, Озарсиф, — вздохнул Боголюб, — если бы ты не хотел явиться в беседку, ты не радовался бы так возможности выбора, и твоя радость указывает карличьей мудрости, что ты, скорее, настроен явиться туда! С этим, видно, карлик и должен поздравить тебя?

— Вот уж поистине карличья болтовня, — стал браниться Иосиф, — вот уж действительно вздорное верещанье! Неужели человеку нельзя порадоваться свободе своей воли, а тем более в таком деле, в каком он никак не рассчитывал на подобную радость? Давай-ка вместе вернемся мыслями к тому дню и часу, когда господин купил меня через бога Монтака, а тот через писца Хамата у моего колодезного отца, старика из Мидиана, я мы остались одни во дворе — я, ты и твоя обезьянка, — помнишь ли ты еще этот час? Ты сказал тогда растерявшемуся рабу: «Пади на землю!» — и на плечах смолоедов высоко и величественно проплыла госпожа купившего меня дома, свесив с носилок свою лилейную руку, как я сумел разглядеть, ибо подпер ладонями лоб. Она бросила на меня, как на вещь, слепой от пренебрежения взгляд, а мальчик взирал на нее, как на богиню, слепым от благоговения взглядом.

Но потом бог пожелал и устроил, чтобы я семь лет рос в этом доме, словно у родника, перерос всю челядь, стал преемником больного Монт-кау и главным в доме. Так прославил себя во мне господь, мой господь бог. Лишь одно пятно было на солнце моего счастья, лишь в одном месте была покрыта окалиной блестящая медь моего блаженства: госпожа была против меня, она была заодно с досточтимым Бекнехонсом, слугой Амуна, заодно с Дуду, женатым калекой, и я бывал уже рад, если она бросала на меня мрачные взгляды: все лучше, чем вообще никаких. А теперь скажи: разве это не довершение моего счастья, разве на нем хоть где-нибудь осталось пятно или окалина, если взоры ее посветлели и она извещает меня о своей новоявленной милости, о своем желании обсуждать со мною дела на особом приеме? Кто мог бы подумать в тот час, когда ты шепнул мальчику: «Пади на землю!», что некогда этот мальчик волен будет выбирать, явиться ему к госпоже или нет? Не забывай же обо всем этом, друг, и не осуждай меня за то, что я радуюсь!

— Ах, Озарсиф, радуйся, когда решишь избежать свиданья, но не раньше того!

— Каждый раз ты начинаешь свою речь с «ах!», сморчок, вместо того чтобы начать ее с «о!», с возгласа удивленья и ликования. Зачем ты-ноешь, упрямишься, ищешь повода для тревоги? Я же говорю тебе, что я скорее склонен не явиться в беседку. Только и не явиться тоже не так-то просто. Ведь в конце концов — можно даже сказать: ведь прежде всего, настолько это обстоятельство важно, — пригласила меня туда госпожа. Такому человеку, как я, приличествуют осмотрительность и расчетливость. Такой человек должен думать о своей выгоде и не вправе щепетильно отказываться от возможности укрепиться еще больше. Посуди сам, как упрочили бы мое положение в доме союз с госпожой и короткие с ней отношения! С другой стороны, скажи мне, кто я такой, чтобы соглашаться или не соглашаться с приказами госпожи и ставить выше ее желаний собственное решение? Хоть я и управляю домом, я принадлежу этому дому, я его собственность, его раб. А она здесь первая и праведная, она госпожа дома, и я обязан повиноваться ей. Никто, будь то живой или мертвый, не смог бы упрекнуть меня, если бы я слепо и покорно выполнил ее волю, и, наверно, меня даже упрекнули бы и живые и мертвые, поступи я иначе. Ибо, конечно же, мне рано распорядиться другими, если я еще не научился даже повиноваться. Поэтому я начинаю спрашивать себя, маленький Бес, не был ли ты прав, когда осуждал мою радость по поводу свободы выбора. Может быть, у меня ее вовсе нет, и я должен явиться в беседку во что бы то ни стало?

— Ах, Озарсиф, — зашуршал голосок карлика, — как же мне не ахать, как же мне не ахать и не охать, слушая вздор, который ты мелешь! Ты был добр, красив и умен, когда появился у нас в качестве Седьмого Товара, и я, наперекор злему куманьку, ратовал за то, чтобы тебя купили, потому что моя карличья, ничем не замутненная мудрость распознала твою благословенность с первого взгляда. Красив и добр ты, в сущности, и сейчас, но о третьем позволь уж мне помолчать! Разве это не горе слушать тебя и думать, каким ты был прежде? До сих пор ты был умен, умен настоящим, неподдельным умом, и мысли твои ходили свободно и прямо, с поднятой головой, веселой походкой, служа единственно лишь твоему духу. Но стоило только дыханью огненного быка, ужасней которого этот карлик ничего не знает на свете, стоило только его дыханию коснуться твоего лица, и ты уже глуп, так глуп, что не приведи боже, глуп, как осел, так что тебя впору, лупцуя, обвести вокруг города, и мысли твои ходят на четвереньках, с высунутым языком, и служат уже не твоему духу, а только твоей недоброй тяге. Ах, ах, до чего это гнусно! Пустословие, увертки, непоследовательность — только этого и жди теперь от униженных мыслей, стремящихся обмануть твой дух и сослужить службу недоброй тяге. И ты еще пытаешься обмануть карлика жалкой хитростью, льстиво заявляя ему, что, вероятно, он был прав, когда порицал твою радость по поводу свободы выбора, потому что-де у тебя и в самом деле нет выбора — как будто не отсюда-то и шла твоя радость! Ах, ах, до чего же это постыдно и жалко!

И маленький Боголюб горько заплакал, закрыв ручками сморщенное свое личико.

— Ну, будет тебе, малыш, будет тебе, — смущенно сказал Иосиф. — Утешься, не плачь! Тяжело видеть, как ты отчаиваешься всего-навсего из-за некоторой непоследовательности,

случайно, может быть, и вкравшейся в речь собеседника! Если тебе легко всегда быть последовательным и подчинять свои мысли чистому духу, будь добрее и не стыдись столь плачевно за человека менее твердого, который иногда и запутывается.

— Это опять твоя доброта, — сказал коротышка, все еще всхлипывая, и вытер глаза измятым батистом своего праздничного наряда, — доброта, которой жаль карличьих моих слез. Ах, милый, пожалей самого себя и вцепись в свой рассудок изо всех сил, чтобы не потерять его в тот миг, когда он всего больше тебе понадобится! Ведь я же предвидел это с самого начала, хотя ты и не желал меня понимать и напускал на себя глупость в ответ на мой испуганный шепот, — ведь я же предвидел, что из жалоб, с которыми ходил к госпоже злой куманек, может вырасти нечто более злополучное, чем само злополучье, и нечто более опасное, чем сама опасность! Он замышлял учинить зло, но учинил такое зло, о каком и не помышлял, он губительно открыл этой бедняжке глаза на тебя, на доброго красавца! А ты, неужели ты закроешь свои глаза, находясь на краю ямы, которая глубже той, первой, куда бросили тебя из зависти брата, разорвав твой венок и твое покрывало, как ты мне неоднократно рассказывал? Никакой мидианский измаильтянин не вытащит тебя из этой ямы, которую выкопал тебе женатый наш куманек, открыв госпоже глаза на тебя! И вот она строит тебе глазки, святая, и ты тоже строишь ей глазки, и в пугливой игре ваших глаз таится огненный бык, опустошитель полей, а потом ничего не остается, кроме пепла и мрака!

— Это ты, бедный малыш, пуглив от природы, — отвечал ему Иосиф, — и мучишь малую свою душу карличьими виденьями! Подумать только, какой вздор внушил ты себе по поводу госпожи, лишь потому, что она обратила внимание на меня! Когда я был мальчиком, мне казалось, что каждый, кто на меня посмотрит, должен сразу же полюбить меня больше, чем себя самого, — такой я был зеленый юнец. Это и привело меня в яму, но из ямы я выбрался и из глупости тоже. Моя глупость, однако, перекинулась, кажется, на тебя, и ты внушаешь себе всякую чепуху. Госпожа если и поглядела на меня, то лишь строго, а я глядел на нее не иначе как с глубоким почтением. Если она требует от меня отчета о делах дома и хочет проверить меня — неужели я должен толковать это соответственно твоему пристрастному мнению обо мне? Оно, кстати, не так уж и лестно, ибо ты воображаешь, что мне достаточно протянуть госпоже мизинец — и я погиб. Но я не настолько робок и не думаю, что я так сразу и сделаюсь сыном ямы. Если бы я захотел потягаться с огненным твоим быком, ты думаешь, у меня не нашлось бы оружия, чтобы встретиться с ним и схватить его за рога? Право же, великий вздор внушил ты себе насчет меня! Ступай, позабавь женщин плясками и шутками и ни о чем не тревожься! Наверно, я не явлюсь в беседку на аудиенцию. Но теперь я должен в одиночестве, как человек полномерный, поразмыслить об этих делах и найти какое-то промежуточное решение, чтобы соединить одну мудрость с другой, то есть не оскорбить госпожу, но и не провиниться в пагубной неверности ни перед живыми, ни перед мертвыми, ни перед... Но этого тебе, малыш, не понять, ибо для вас, детей Египта, третье заключено во втором. Ваши мертвецы — это боги, а ваши боги — это мертвецы, и вы не знаете, что такое бог живой.

Так, довольно самоуверенно, отвечал карлику Иосиф. Но разве не знал он, что сам он, Озарсиф, умерший Иосиф, мертв и обожествлен? Остаться один он, по правде сказать, затем и хотел, чтобы без помех подумать об этом, — об этом и о мысленно неотделимой от этого напряженной готовности, с которой бог ждет самки коршуна.

В ТИСКАХ УДАВА

Как ничтожна по сравненью со временной глубиной мира глубина прошлого нашей собственной жизни! И все же, ограничившись областью частного, чисто личного, наш взгляд так же мечтательно теряется в ее ранних далях, как теряется он и в более величественных далях жизни человечества, взволнованный ее повторяющимся единообразием. Как и самый

род человеческий, мы не в силах проникнуть к началу своих дней, к своему рождению, и тем более еще дальше: оно скрыто мраком, предшествовавшим первому проблеску сознания и памяти, — скрыто в малой временной толще так же, как и в большой. Но в самом начале нашей духовной деятельности, когда мы уже вступили в культурную жизнь, как это некогда сделало человечество, и внесли в нее первый робкий свой вклад, мы находим в себе какое-то сочувствие, какую-то отзывчивость, заставляющую нас ощущать и узнавать это единообразие — и что все неизменно — с радостным изумлением: это идея неумолимого недуга, идея вторжения буйно-разрушительных сил в стройный лад жизни, устремленной всеми своими надеждами к достоинству и условному счастью налаженности. Песнь о добытом и мнимонадежном мире, песнь жизни, которая, смеясь, разоряет искуснейшие сооружения упорства и верности, песнь о растоптанном совершенстве, о приходе чужого бога, — эта песнь была и в начале и в середине. И поздней, зрелой порой, сочувственно заглядывая в ранние дни человечества, мы снова, в знак упомянутого единообразия, находим в себе старую эту отзывчивость.

Ибо и Мут-эм-энет, жена Потифара, что пела таким сладостным голосом, и она, ранняя и далекая, близко увидеть которую любезно позволяет нам дух повествования, она тоже была растоптана неумолимым недугом, неистовая жертва чужого бога, и искусный строй ее жизни был весьма успешно разрушен силами преисподней, над которыми она по неведению осмеливалась смеяться — хотя над всеми утешениями и сверхутешениями в конечном счете посмеялись они. Старому Гуию легко было требовать, чтобы она не была гусыней, не была той птицей черной, чреватой водою земли, которая, когда ее осенит и оплодотворит лебединая сила, довольно гогочет во влажной своей глубине, а была чистой, как Луна, целомудренной жрицей, что, дескать, не менее женственно. Сам он прожил жизнь в болотистой темноте одноутробного брака и, неуклюже усовестившись предчувствуемой новизны мира, окорнал своего сына в царедворцы света; без спросу сделав из человека нуль, он в таком виде отдал его в супруги и повелители женщине, носившей имя праматери: пусть, мол, сами поддерживают теперь свое достоинство нежной предупредительностью! Бесплезно отрицать, что человеческое достоинство воплощается в обоих полах и что тот, кто не принадлежит ни к одному из них, находится уже и вне человеческих категорий — откуда же тут взяться достоинству? Попытки, предпринимаемые, чтобы его все-таки поддержать, заслуживают, спору нет, глубокого уважения, потому что тут дело идет как-никак о начале духовном, а значит — это мы почтительно признаем — несомненно о чем-то в высшей степени человеческом. Однако в угоду правде, сколь она ни горька, приходится признать, что всякая духовность и умственность лишь с грехом пополам, да и то недолго, сопротивляются началу навечноестественному. Как бессильны всякие почетные условности, всякие общественные соглашения перед глубинной, темной и безмолвной совестью плоти, как трудно ее обмануть уму и рассудку — это мы узнали уже в раннюю пору нашей истории, по поводу смятения Рахили. А Мут, ее египетская сестра княжеской крови, была из-за своего союза со слугой Солнца в такой же мере вне женской половины человечества, как он — вне мужской; внутри своего пола она влачила такое же жалкое, такое же бесславное для плоти существование, как он — внутри своего; и честь бога, которой она надеялась не только уравновесить, но и пересилить смутное сознание этого, была такой же хрупкой выдумкой ума, как те вознаграждения и сверхвознаграждения, что добывал себе храбростью, лихо укрощая коней и охотясь на бегемотов, ее дородный супруг — храбростью, которую Иосиф, умело льстя господину, ухитрился представить ему подлинно мужским качеством, хотя храбрость эта была нарочитой, и, находясь в пустыне или на болоте, Петепра, в сущности, всегда тосковал о покое своего книгохранилища — то есть о духовности чистой, а не прикладной.

Однако сейчас речь идет не о Потифаре, а о его Эни, наложнице бога, и о тисках выбора между честью духа и честью плоти, в которых она, к страху своему, оказалась. Черные глаза из далеких краев, глаза миловидной и слишком неумно любимой, вскружили ей голову, и ее покоренность ими была, по существу, не чем иным, как возникающей в последнее или в пред-

последнее мгновение боязнию спасти или, вернее, обрести честь своей плоти, женственную свою человечность, что значило бы пожертвовать честью ума и бога, пожертвовать всей той высокой духовностью, на которой так долго основывалось ее бытие.

Давайте-ка мы сейчас остановимся и хорошенько обдумаем эти обстоятельства! Обдумаем их вместе с ней, которая с возрастающей мукой и радостью думала о них день и ночь! Были ли тиски выбора подлинными тисками, считалась ли когда-либо жертва оскверненной и обесчещенной? В этом-то и заключался вопрос. Равнозначна ли посвященность целомудрию? И да и нет; ибо при вступлении в брак некоторые противоречия уничтожаются, и покрывало, этот признак богини любви, является одновременно признаком целомудрия и его жертвы, признаком схимницы и блудницы. Та эпоха и храмовый ее дух знали так называемую «кедеша», посвященную и непорочную, которая «соблазняла», то есть была просто-напросто уличной девкой. Покрывало ей полагалось; и «непорочны» были эти кадишту, как непорочно животное, именно в силу его непорочности приносимое в жертву богу на праздник. Если ты посвящен Иштар, то твое целомудрие — это лишь одна из стадий жертвоприношения и покрывало, которому суждено быть разорванным.

Мы последовали сейчас за мыслями нашей влюбленной и борющейся со своей любовью Эни, и подслушай их отчужденно и боязливо враждебным влечениям пола маленький Боголюб, он, вероятно, заплакал бы над жалкой хитростью этих покорных влечению, а не уму мыслей. Ему легко было плакать, ибо он был ничтожный червяк, плясун-дурачок, и о человеческом достоинстве понятия не имел. А для Мут дело шло о чести ее плоти, и потому она вынуждена была предаваться мыслям, способным как-то примирить эту честь с честью бога. Поэтому она заслуживала сочувствия и снисхождения, даже если в мыслях ее была некоторая целенаправленность; ведь мысли редко приходят ради самих себя. К тому же ей было очень и очень нелегко с ее мыслями; ибо ее пробуждение к женственности, пробуждение от жреческо-дамского сна чувств, не походило на прообразно-образцовое пробуждение царского дитяти, чей детский покой при виде величия небесного князя сменился мукой и радостью всепоглощающей любви. Ей не выпало довольно-таки зловещее счастье столь величественно подняться в любви над своим сословием (когда в конечном счете приходится мириться и с высшей ревностью, и даже с превращением в корову), нет, она имела несчастье спуститься в любви гораздо ниже — по ее представлениям — своего сословия и узнать страсть благодаря безродному рабу, благодаря купленному, как вещь, слуге-азиатцу. Это мучило дамскую ее гордость куда сильнее, чем о том до сих пор сообщала история. Это долго мешало ей признаться себе в своем чувстве, а когда она наконец призналась себе, то к счастью, которое всегда приносит любовь, примешалась униженность, которая, по какой-то низменной жестокости, так ужасно обостряет желание. Целенаправленные мысли, которыми она пыталась узаконить свою униженность, вертелись вокруг соображения, что кедеша и культовая блудница тоже не выбирает себе любовника, а валится с каждым, кто ей свалится с неба. Но как незаконна была эта законность, и какое насилие делала Мут над собой, приписывая себе столь пассивную роль! Ведь избирающей, помогающей, предприимчивой стороной была тут она, если даже свой выбор она сделала и не вполне самостоятельно, а под влиянием жалоб Дуду, — она была ею и по возрастному своему старшинству, и по своему положению госпожи, которой в данном случае, естественно, и полагалась идти в любовное наступление, ибо не хватало еще, чтобы желание исходило от раба и он поднял на нее глаза по собственному почину, а она только следовала за ним, только повиновалась ему, и ее чувство было только смиренным ответом на его чувство! Нет, этому не бывать! Ее гордость хотела во что бы то ни стало отвести ей, так сказать, мужскую роль в этом деле — что, в сущности, опять-таки никак не получалось. Ибо, как ни верти, этот молодой раб, умышленно или бессознательно, просто в силу своего существования на свете, пробудил ее женственность от охранительного сна и тем самым, пусть безотчетно и невольно, стал господином над госпожой, ввиду чего ее мысли служили ему, а ее надежды зависели от одного его взгляда: она боялась, что он заметит, как она хочет отдаться ему, и одновременно

с трепетом ждала, что вдруг он ответит взаимностью на ее неудобопризнаваемые желания. В общем, это было унижение, полное ужасной сладости. И чтобы уменьшить его, а также потому, что любовь, которая на самом деле вовсе не определяется такими понятиями, как ценность или достоинство, всегда жаждет оправдать себя особой ценностью своего предмета и всячески обольщает себя его достоинствами, Эни, с другой стороны, старалась поднять над его рабством раба, — того, кому она хотела стать госпожой в любви: она мысленно противопоставляла его низкому происхождению его хорошие манеры, ум, его положение в доме и пыталась даже, кстати сказать, под влиянием Дуду, призвать на помощь религию, ища, в угоду своей страсти, поддержки «недоброй тяге», как выразился бы потешный визирь, не у недавнего своего повелителя, строго-отечественного Амуна, а у онского Атума-Ра, кроткого, готового к расширению, благосклонного к чужеземцам бога, и тем самым беря в союзники своей любви и двор, и самое царскую власть, а это давало умствующей ее совести то преимущество, что таким образом она, Эни, духовно приближалась к своему супругу, другу фараона и царедворцу, и делала его, которого ей все мучительней не терпелось обмануть, в известном смысле сторонником своего желания.

Так билась, боролась и задыхалась Мут-эм-энет в путях своей страсти, словно в кольцах посланной богом змеи, которая обвивала ее и душила. Если учесть, что бороться ей приходилось одной и без всякой помощи, что, кроме Дуду — да и с ним дело не шло дальше недомолвок и полупризнаний, — ей некому было открыться — по крайней мере, вначале (ибо позднее она перестала сдерживаться и посвятила в свое безумие всех своих присных); если учесть далее, что в кровной своей беде она напала на уже облюбленного, который, из высших соображений, носил в волосах цветок верности и надменности, а проще сказать — избранности, и поэтому не хотел и не смел поддаваться ее соблазну; и если вдобавок еще учесть, что боль эта длилась три года, от седьмого до десятого года пребывания Иосифа в Потифаровом доме, да и потом была не утолена, а только убита, — то нельзя не признать, что «жене Потифара», этой, согласно молве, бесстыжей совратительнице и приманке зла, судьба досталась довольно-таки тяжелая, и нельзя не отнестись к ней, по крайней мере, с сочувствием, поняв, что орудия испытания несут свою кару в самих себе и сами карают себя сильнее, чем они, ввиду необходимости их действий, того заслуживают.

ПЕРВЫЙ ГОД

Три года: в первый она пыталась скрыть от него свою любовь, во второй она дала ему знать о ней, на третий она ее предложила ему.

Три года: и она была вынуждена или вольна ежедневно видеть его, ибо они жили в близком соседстве на усадьбе Потифара, а это было ежедневной пищей ее безумию и большой милостью для нее, но в то же время и большой мукой. Ведь в любви с необходимостью и возможностью дело обстоит не так утешительно, как в дремоте, даже и в последней дремоте, когда Иосиф, умиротворяя Монт-кау, назвал в своей успокоительной речи необходимость возможностью. Нет, здесь перед нами до боли запутанное противоречие, раздваивающее душу каким-то особым, желанным и окаянным образом, ибо необходимость увидеть предмет своей любви влюбленный проклинаяет не менее пылко, чем благословляет ее как счастливую возможность, и чем сильнее он страдает после последней встречи, тем нетерпеливее ждет он ближайшего случая подогреть свою страсть лицезрением предмета любви — причем именно тогда, когда его страсть, пожалуй даже, идет на убыль, чему одержимый, будь он разумней, мог бы только с благодарностью радоваться. Ведь, действительно, иная встреча с предметом любви делает его почему-либо менее ослепительным, приносит с собой известное разочарование, отрезвление, охлаждение, каковое, казалось бы, должно быть любящему тем приятнее, что с ослаблением его влюбленности, благодаря большей внутренней свободе, возрастает его способность

побеждать самому и заражать другого своей болезнью. Нужно владеть своей страстью, управлять ею, а не быть ее жертвой; обуздание собственного чувства существенно увеличивает виды на покорение предмета любви. Но влюбленный и знать об этом не хочет, и такие преимущества, как возврат здоровья, свежесть и бойкость, составляющие преимущество даже применительно к цели, выше которой для него ничего нет, кажутся ему пустяком по сравнению с тем уроном, который он — так ему кажется — терпит при охлаждении своего чувства. Такое охлаждение вызывает у него душевную опустошенность, как у наркомана — отсутствие возбуждающего снадобья, и он изо всех сил стремится вернуть себе прежнее состояние новыми воспламенительными впечатлениями.

Вот как обстоит дело с необходимостью и возможностью в любовном безумье, — самом большом безумье на свете, на примере которого удобней всего познать сущность безумья и отношение к нему его жертвы. Как ни страдает одержимый от своей страсти, он не только не способен ее не желать, но даже не в состоянии пожелать быть на это способным. Он прекрасно знает, что, не видя предмета любви в течение более или менее длительного и, может быть даже, постыдно короткого срока, он избавится от своей страсти; но именно этого забвенья он больше всего и страшится; да ведь и всякая боль разлуки основана на тайном предвидении неизбежного забвенья, которое, когда оно придет, уже не вызовет боли и которое, следовательно, оплакивают заранее. Никто не видел лица Мут-эм-энет, когда она, после напрасной борьбы со своим супругом за удаление Иосифа, опершись о колонну, спрятала лицо в складках одежды. Но многое и даже решительно все заставляет предполагать, что скрытое это лицо сияло от радости, что она и впредь сможет видеть своего покорителя и что ей не придется его забыть.

Именно для нее это было очень важно, и ее страх перед разлукой и неизбежным затем забвеньем, то есть страх перед угасанием страсти, был особенно силен, потому что женщины ее возрастной зрелости, у которых кровь пробуждается поздно, а без чрезвычайного повода, может быть, и вовсе не пробудилась бы, отдаются своему чувству, первому и последнему, с необыкновенной горячностью и предпочитают умереть, чем променять эту новую, блаженную в страданиях жизнь на свой прежний, кажущийся им теперь прозябаньем покой. Тем ценнее, что добросовестная Мут сделала во имя разума все, что могла, добиваясь от косного своего супруга устранения возлюбленного: если бы его, Петепра, природа оказалась способна на такой подвиг любви, Эни принесла бы ему в жертву свое чувство. Но его-то как раз и нельзя было разбудить и расшевелить, потому что он был безнадежно почетным военачальником; и если сказать уж всю правду, то Эни втайне знала и учитывала это заранее и, таким образом, честную свою борьбу с мужем предприняла, собственно, для того, чтобы, получив отказ, обеспечить свободу своей страсти и всем роковым ее силам.

После супружеской встречи в вечерней палате она могла считать себя и вправду свободной; и если потом она еще так долго обуздывала свое желание, то это было скорее делом гордости, чем делом долга. И вид, с каким она в день трех бесед, на закате, встретила Иосифа у подножья насыпи, в саду, был полон величия, и только самый наметанный глаз, да и то лишь в редкие мгновения, разглядел бы в ее осанке слабость и нежность... Дуду весьма умно и хитро выполнил тогда тайный свой замысел: проследовав от Иосифа опять к госпоже, он уведомил ее, что новый управляющий рад отчитаться перед ней в домашних делах и очень хотел бы сделать это без помех, с глазу на глаз, в любом удобном ей месте и в любой удобный ей час. Кроме того, продолжал Дуду, управляющий сообщил, что сегодня, на вечерней заре, он намерен посетить беседку-часовню, чтобы осмотреть ее убранство и проверить сохранность росписей. Это второе известие Дуду преподнес независимо от первого, наговорив в промежутке всякой всячины и тонко предоставив госпоже самой связать одно с другим. Но несмотря на все уловки, хитрость его удалась в этот раз только наполовину, так как обе стороны ограничились полумерами. Что касается Иосифа, то между двумя открытыми свободному его выбору возможностями он нашел некую среднюю, третью, и решил не заходить в беседку, а только

обойти примыкающий к ее подножью участок сада, чтобы, как то вполне позволяла и даже велела ему его должность, лишний раз посмотреть, находятся ли деревья и цветочные гряды в должном порядке; что же касается Мут, госпожи, то ей тоже не было угодно подняться на насыпь, но она не видела причины отказываться из-за каких-то карличьих, едва коснувшихся ее слуха новостей от своего, возникшего у нее, как она твердо помнила, еще утром намеренья погулять сегодня в закатный час в саду Петепра, чтобы полюбоваться прекрасным заревом, отражающимся в утином пруду, — погулять, как обычно, в сопровождении двух девушек, следовавших за ней по пятам.

Так встретились тогда молодой управляющий и его госпожа на красном песке садовой дорожки, и встреча их протекала следующим образом.

Увидев женщин, Иосиф выказал священный испуг, сложил губы в благоговейное «О!» и с поднятыми руками стал пятиться назад, согнув спину и слегка пружиня ноги в коленях. Что же касается Мут, то она произнесла змеистым своим ротиком, над которым глаза оставались строгими, даже мрачными, короткое, чуть усмешливое, вопросительно-удивленное «А!», и, продолжая идти вперед, дала ему сделать еще несколько церемониальных шагов вспять, а затем, скупым, указывающим вниз движением кисти, приказала ему остановиться. Остановилась и она, а за нею и обе смуглые телохранительницы, у которых светились радостью, как у всех челядинцев при виде Иосифа, подведенные глаза и выглядывали из-под черных курчавых, закрученных внизу бахромою волос большие финифтевые диски серег.

Это не была встреча, способная отрезвляюще разочаровать кого-либо из тех двух, что стояли сейчас друг против друга. Свет падал косо, он был наряден и ярок, он заливал беседку и пруд густыми красками, озарял пламенем сурик дорожек, зажигал цветы, приятно переливался в дрожащей листве деревьев и своим отражением воспламенял глаза людей в точности так же, как поверхность пруда, на которой местные и чужеземные утки были похожи на небесных, а не на простых уток и казались писаными и покрытыми лаком. Небесными, писаными, очищенными от всяких несовершенств казались под этим светом и люди, люди целиком, с головы до ног, а не только их сияющие глаза; подкрашенные и прикрашенные щедротами света, они были похожи на богов и на надгробные изваяния и могли быть довольны друг другом, глядя друг на друга зеркальными глазами, горевшими на их прекрасно освещенных лицах.

Мут была счастлива увидеть того, о ком она знала, что любит его, таким совершенным; ведь влюбленность всегда жаждет оправдания, она болезненно-чувствительна ко всякому изъяну в образе любимого и торжествующе-благодарна за всякое потворство своей иллюзии; и если прелесть возлюбленного, о которой она заботится ради своей чести, причиняет ей великую боль, потому что принадлежит всем, всем очевидна и постоянно тревожит ее угрозой соперничества со всем миром, — то все же такая боль ей дороже всего на свете, и она крепко прижимает это острие к сердцу, отнюдь не желая, чтобы оно притупилось оттого, что померкнет и потускнеет любимый образ. Видя, как похорошел Иосиф, Эни, к великой своей радости, вправе была заключить, что так же похорошела и она сама, и надеяться, что она тоже кажется ему сейчас прелестной и великолепной, хотя при более трезвом, более отвесном свете дело обстояло бы тут не совсем так, как в первой молодости. Разве не знала она, что длинный открытый плащ из белой шерсти, застегнутый пряжкой поверх широкого ожерелья и окутававший ей (ибо надвигалась зима) плечи, делал ее величественней и выше и что ее груди молодому туго натягивали батист узкого платья, отороченного внизу красным стеклярусом? Гляди, Озарсиф! Оно держалось на лентах, это платье, и как же была она уверена в себе, если оно не только оставляло совершенно открытыми ее холеные, словно бы высеченные из мрамора руки, но и позволяло увидеть всю стройность ее чудесных ног! Разве это не было в любви достаточным основанием для того, чтобы высоко поднять голову? Она так и поступила. От гордости она сделала вид, что ей тяжело поднять веки и что поэтому ей приходится запрокинуть голову, чтобы глядеть из-под них. К страху своему, она знала, что ее лицо, окаймленное на этот раз золотисто-коричневым платком-париком с широкой, в разноцветных камешках,

не совсем охватывавшей голову диадемой, было уже не так молодо и к тому же, из-за тенистых щек, вогнутой переносицы и углубленных уголков рта, отличалось весьма прихотливым своеобразием. Однако мысль о том, дан дивно должны светиться на этом бледном, цвета слоновой кости лице самоцветы ее подкрашенных глаз, давала ей твердую надежду, что оно не так уж ослабит впечатление от ее рук, ног и груди.

Со страхом и гордостью памятуя о своей красоте, она глядела на его — сына Рахили — красоту в египетском ее уборе, который, кстати оказать, при всей изысканности был вполне удобен для сада. Правда, голова его была очень тщательно убрана, и особенную аккуратность придавал ей уголок белой полотняной скуфейки, видневшийся рядом с его маленьким ухом из-под черного, шелковисто-рубчатого платка, который, в знак того, что он изображает прическу, оканчивался внизу кудрявыми завитками, — уголок скуфейки, обычно, чистоты ради, поддеваемой Иосифом под этот платок. Но кроме парика и эмалевого гарнитура из воротника и запястий, а также плоской нагрудной, из тростника и золота, цепи со скарабеем, он носил только двойной, до колен, набедренник, весьма, впрочем, изящного покроя, обтягивавший узкие его бедра и красиво оттенявший лепестковой своей белизной сгущенную закатным косым светом бронзовость его разукрашенного туловища, этого очень складного, нежного и сильного юношеского тела, казавшегося при таком освещении прохладным, как воздух, и ярким, причастным не к миру плоти, а я более чистому миру запечатленных помыслов Птаха, что подчеркивалось исполненной ума головой, которой оно принадлежало и вместе с которой являло счастливую слитность красоты и ума, счастливую и для самого ее обладателя, и для всякого, кто увидит ее.

С гордостью и со страхом за себя глядела на него жена Потифара, глядела на его таинственные, такие крупные, по сравнению с ее собственными, черты лица, глядела в ласковую ночь глаз Рахили, острота которых у сына была по-мужски усилена светившимся в них умом; одновременно она увидела золотисто-бронзовый блеск его плеч, его длинную и тонкую, державшую посох руку с умеренно-человечной мышцей возле изгиба — и по-матерински восхищенная, искренняя нежность, доведенная женской ее тоской до самозабвенной восторженности, заставила ее от всей души всхлипнуть, всхлипнуть так неожиданно и так сильно, что грудь ее, обтянутая прозрачной тканью, заметно задрожала, и ей оставалось только надеяться, что барственная ее осанка сделает это всхлипыванье совершенно невероятным и он, вопреки очевидности, не поверит своим глазам.

При таких обстоятельствах она должна была заговорить, и она сделала это с усилием, которое смутило ее, потому что требовало большой отваги.

— Очень не вовремя, как я вижу, — сказала она холодно, — расхаживают праздные женщины по этой дорожке, поскольку они мешают должностным шагам того, кто стоит над домом.

— Над домом, — ответил он сразу же, — стоишь только ты, моя повелительница, ты стоишь над ним, как утренняя и вечерняя звезда, которую в стране моей матери называли Иштар. Она, наверно, тоже праздна, как и полагается божеству, чье спокойное сияние отрадно для нас, когда мы, суетящиеся в трудах, поднимаем к нему свои взоры.

Она поблагодарила движением руки и улыбкой снисходительного согласия. Она была одновременно восхищена и обижена его избалованностью, с какой он, делая ей комплимент, сразу же заговорил о своей никому здесь не ведомой матери, а вместе с тем полна гложущей зависти к этой матери, которая его родила, выпестовала, направляла его шаги, называла его по имени, смахивала ему волосы со лба и целовала его по праву чистой любви.

— Мы отступаем в сторону, — сказала она, — и я, и служанки, сопровождающие меня сегодня, как всегда, — отступаем, чтобы не задерживать управляющего, который, несомненно, хочет проверить засветло, все ли в порядке в саду Петепра, а возможно, осмотрит и беседку на насыпи.

— Сад и беседка, — ответил Иосиф, — мало меня заботят, когда я стою перед своей госпожой.

— Мне кажется, они должны заботить тебя всегда, и ты должен печься о них больше, чем обо всем остальном хозяйстве, — возразила она (и как пугающе сладостно и увлекательно было для нее уже одно то, что она говорила с ним, говорила «мне» и «тебя», «ты» и «я» — преодолевая те два шага, которые разделяли их тела, сближающим и соединяющим дыханием речи), — ведь известно же, что с них-то и началось твое счастье. Я слыхала, что в беседке ты был впервые допущен к обязанностям Немого Слуги, а в саду на тебя впервые упал взгляд Петепра, когда ты занимался посадкой.

— Так оно и было, — засмеялся он, и его смех кольнул ее, словно какое-то легкомыслие. — В точности так оно и было, как ты говоришь, госпожа! При пальмах Петепра я исполнил должность ветра, как было мне наказано нашим знахарем, прозвище которого я не могу при тебе повторить, потому что это смешная, простонародная кличка, недостойная твоего господского слуха...

Она поглядела на шутившего Иосифа без улыбки. Он явно не догадывался, как не расположена она к шуткам и почему она так не расположена к ним, и это было хорошо и важнее всего, но ощущать это было очень больно. Пусть он сочтет ее отмахивающуюся от шуток строгость остатком ее враждебности его возвышению; но пусть он эту строгость заметит...

— По указанию садовника, — сказал он, — я как раз помогал ветру в саду, когда сюда пришел друг фараона и велел мне держать ответ перед ним, и так как я угодил ему, то многое в этот час и решилось.

— Люди, — прибавила она, — жили и умирали ради твоей пользы.

— Все в руках Сокрытого, — ответил он, употребив приемлемое, на его взгляд, обозначение высочайшего повелителя. — Да славится имя его! Но я часто спрашиваю себя, не слишком ли велика его милость ко мне, и втайне страшусь своей молодости, на которую возложены такие обязанности: ведь мне едва минуло двадцать, а я уже управляющий и старший раб этого дома. Я говорю с тобой откровенно, великая госпожа, хотя слушаешь меня не только ты, ибо в сад ты пришла, разумеется, не одна, а, как подобает тебе, в сопровождении почетных прислужниц. Они тоже слышат меня и волей-неволей слушают, как управляющий жалуется на свою молодость и сомневается в том, что созрел для такого главенства. Ну и пусть слушают! Я уж как-нибудь примирюсь с их присутствием, и оно не уменьшит моего доверия к тебе, повелительница моей головы и моего сердца, моих рук и моих ног!

Нет, в этом есть все-таки свои преимущества — влюбиться в человека низшего звания, который нам подчинен, ибо его положение заставляет его прибегать к таким оборотам речи, что они делают нас счастливыми, как ни бездумно он ими пользуется.

— Само собой разумеется, — ответила она, принимая еще более барственный вид, — что я не гуляю без провожатых, — этого не бывает. Но ты можешь говорить смело, не боясь выдать себя моим служанкам Хецес и Ме'эт, ибо их уши — это мои уши. Что же ты, однако, хотел мне сказать?

— Только вот что, великая госпожа. Мои полномочия многочисленнее моих лет, и твой раб не должен удивляться, а должен быть даже доволен, если его быстрый взлет, принесший ему должность управляющего, вызывает здесь в доме не только одобрение, но иной раз и недовольство и нарекания. У меня был отец, который по доброте сердечной меня взрастил, Усир Монт-кау, и лучше бы Сокрытый позволил ему остаться в живых, ибо прежде, когда я считался его устами и его правой рукой, моя молодость была много спокойнее и, я сказал бы, счастливее, чем теперь, когда он вошел в тайные ворота прекрасных чертогов повелителей вечности, а я остался один, и число моих забот и обязанностей больше числа моих лет, и на свете нет никого, с кем бы я мог, по незрелости своей, посоветоваться и кто помог бы мне нести мое бремя, под которым я гнусь в три погибели. Да будет великий наш господин Петепра жив и здоров, но всем известно, что он ни за какие дела не берется, что он только ест и пьет, да еще смело ходит на бегемота, и когда я прихожу к нему со счетами и сметами, он говорит: «Ладно, ладно, Озарсиф, друг мой, ладно тебе. Твои счета, насколько я вижу, верны, и я полагаю, что ты не собираешься меня обсчитывать, ибо ты знаешь, что такое грех, и понимаешь,

что это было бы особенно некрасиво — нанести ущерб мне. Так перестань же мне докучать!» Вот как говорит великий наш господин. Да будет он благословен!

После этого подражания Иосиф поискал на ее лице улыбки. Сейчас, пусть с любовью, пусть с благоговением, он совершил маленькое предательство, осторожно попытавшись установить с ней шутовское согласие через голову господина. Он полагал, что может сделать этот шаг без ущерба для своего союза. Он долго еще полагал, что тот или иной шаг еще не опасен. Улыбки согласия между тем не последовало. Это его одновременно и обрадовало, и немного устыдило. Он продолжал:

— Итак, несмотря на молодость, я должен один, на свой страх, решать множество вопросов, касающихся промыслов и торговли, умножения и даже просто сохранности богатств дома. Сейчас, когда ты меня застала здесь, великая госпожа, голова моя была полна забот, связанных с севом. Ведь река уходит назад, и приближается прекрасный праздник скорби, когда мы копаем землю и хороним бога в ее темноте, вспахивая поля под ячмень и пшеницу. И вот голова твоего раба занята вопросом о нововведении: не следует ли нам на полях Потифара, то есть на острове, сеять вместо ячменя гораздо больше, чем до сих пор, дурры — я имею в виду сорго, негритянское просо, причем белое; ибо коричневую дурру мы и так уже обильно сеяли на корма, и она насыщает коней и идет впрок коровам. Вопрос нововведения заключается в том, не следует ли нам уделить больше внимания белому просу и засеять им более обширные поля для прокорма людей, чтобы вместо ячневой и чечевичной каши дворянка питалась добрым пшеном, подкрепляя свои силы полезной пищей. Ибо зерна метелок этого злака чрезвычайно мучнисты, и в плодах его заключен тук земли, а значит, пшеница работникам потребует меньше, чем ячменя или чечевицы, и мы накормим их, таким образом, быстрее и лучше. Не могу передать, как занята всем этим моя голова, и, увидев в вечернем саду тебя, госпожа, и твоих провожатых, я мысленно сказал себе, словно кому-то другому: «Вот ты один, молодой и незрелый, ломаешь себе голову, и тебе не с кем поделиться заботами дома, ибо господин твой ни за что не берется. Но погляди, вот шествует прекрасная твоя госпожа, сопровождаемая — как того требует ее чин — двумя девушками. Доверься же ей и обсуди с нею свой замысел насчет белого проса, и тогда ты узнаешь ее мнение, и твоей молодости поможет ее прекрасный совет!»

Эни покраснела отчасти от радости, отчасти же от смущенья, ибо она ничего не знала о негритянском просе и ей было невдомек, следует ли его сеять в большем количестве. Она сказала в некотором замешательстве:

— Этот вопрос несомненно заслуживает рассмотренья. Я обдумаю его. Благоприятна ли почва острова для твоего нововведения?

— С какой опытностью осведомляется об этом моя госпожа, — отвечал Иосиф, — и как быстро схватывает она во всяком деле самое важное! Почва на острове достаточно илистая, но все-таки нужно быть готовым к неудачам на первых порах. Ведь наши земледельцы еще не научились выращивать белое пищевое просо, они выращивали до сих пор только кормовое, коричневое. Если бы госпожа знала, как трудно добиться от этих людей, чтобы они мотыжили землю до той рыхлости, какой требует белая дурра, и уразумели, что, в отличие от коричневой, она совершенно не терпит сорняков. Если они не займутся корневыми, все пойдет насмарку, и вместо человеческой пищи мы получим корм для скота.

— Нелегко, видно, с таким бестолковым народом, — сказала она, краснея и бледнея от беспокойства, потому что ничего не смыслила в этих делах и никак не находила сейчас подходящего ответа, хотя пожелала, чтобы он обсуждал с ней хозяйственные вопросы. Ей было очень совестно перед своим слугой, и она чувствовала себя крайне униженной, потому что он говорил ей о таких настоящих, о таких честных делах, о пище для людей, а она при этом ни о чем знать не хотела, кроме того, что она влюблена в него и желает его.

— Да, нелегко, — повторила она со скрытой дрожью. — Но ведь все говорят, что ты умеешь добиваться от них добросовестной службы и точного исполненья обязанностей. Так, наверно, тебе удастся приучить их и к этому нововведению.

Его взгляд показал ей, что он не слушал ее болтовни, и она обрадовалась этому, хотя в то же время это ее ужасно обидело. Он стоял, неподдельно погруженный в хозяйственные свои размышленья.

— Метелки этого злака, — сказал он, — очень прочны и гибки. Из них можно сделать хорошие щетки и веники и для дома и для продажи, так что даже и при неурожае все-таки будет какая-то выгода.

Она промолчала с обидой и болью, заметив, что он уже не думал о ней и говорил сам с собой о вениках, которые были и вправду почтенней ее любви. Но он, по крайней мере, заметил, что она промолчала, и, испугавшись, сказал с той улыбкой, какую всех подкупал:

— Прости мне, госпожа, эту низменную беседу, которой я преступно тебе докучаю! Виною всему незрелое мое одиночество перед лицом ответственных обязанностей и великое искушение посоветоваться с тобой.

— Тут нечего прощать, — отвечала она. — Дело это важное, и возможность изготовления метел делает его менее рискованным. Я сразу так и подумала, когда ты заговорил о своем нововведении, и хочу еще поразмыслить об этом деле.

Ей не стоялось на месте, так рвалась она уйти отсюда, от его близости, которая была ей дороже всего на свете. Это старое противоречие влюбленных — искать и бежать близости. Стары, как мир, и лживые речи о честных делах, речи с нечестными глазами, которые ищут и убегают, и с перекошенными губами. От страха, что он знает, что во время разговора о просе и метлах она думала только об одном: как положить ему руку на лоб и поцеловать его в материнском своем вожделении; от боязливости желая, чтобы он знал это, но не презирал ее, а, наоборот, разделил это ее желание; и еще от великой ее неуверенности в вопросах кормов и пищевого снабженья, вопросах, явившихся предметом разговора, который был для нее только любовной, только лживой беседой (а как лгать, если ты не владеешь мнимым, избранным для отвода глаз предметом, если тебе суждено беспомощно запинаться на каждом слове), — от всего этого ей было неопишимо стыдно, у нее не было сил, ее бросало то в жар, то в холод, ее панически влекло прочь отсюда.

Дрожащие ноги ее так и рвались бежать, а сердце ее не могло оторваться от этого места — такова уж ста рая, как мир, непоследовательность влюбленных. Она плотней обтянула плечи плащом и, задыхаясь, сказала:

— Мы продолжим этот разговор, управляющий, в другое время и в другом месте. Наступает вечер, и мне сейчас показалось, что я слегка дрожу от прохлады. (Ее действительно была легкая дрожь, и, не надеясь совсем это скрыть, она постаралась оправдать это внешними причинами.) Обещаю тебе обдумать твоё нововведение и разрешаю тебе вновь доложить об этом деле своей госпоже, если ты почувствуешь себя слишком одиноким по своей молодости...

Лучше бы она не произносила этого последнего слова; оно застряло у нее в горле, ибо говорило только о нем, об Иосифе, и ни о чем другом; оно было равнозначной, но более сильной заменой того «ты», которое пронизывало лживую эту беседу и составляло ее правду, оно, заключая в себе его, Иосифа, волшебство и ее, Эни, материнское желание, несло груз такой нежности и такой боли, что довело ее до изнеможения и умерло в шепоте.

— Всего тебе доброго, — прошептала она еще и устремилась вперед, впереди своих девушек, мимо благоговейно застывшего Иосифа, чувствуя, как у нее подкашиваются ноги.

Нельзя надивиться на слабость любви, нельзя натешиться странностью этой слабости, если взглянуть на нее свежим глазом, не как на приевшуюся обыденность, а как на нечто новое, невиданное и неповторимое, — ибо так она и поныне каждый раз предстает. Такая важная дама, знатная, высококомерная, неприступная, светская, холодно замкнувшаяся в своем «я», в самомнении своего богоподобия, — и вдруг оказалась во власти «ты», причем «ты» с ее точки зрения совершенно недостойного, — и такая в ней появилась уже слабость и настолько уже утрачена ею барственная уверенность, что она не справилась даже с ролью по-

вельительницы в любви, вызывающе-деятельной поборницы своего чувства, а превратилась в рабу рабьего «ты» и убежала от него с подгибающимися коленями, слепая, дрожащая, с несвязными мыслями, бормоча несвязные слова, без оглядки на горничных, которых она сама же, нарочно, из гордости, взяла с собой на это свиданье:

«Пропала, пропала, выдала, выдала, я пропала, я выдала ему себя, он все заметил, и ложь моих глаз, и спотыкающиеся мои ноги, и то, что я дрожала, он все увидел, он презирает меня, конечно, я должна умереть. Надо сеять больше дурры, корневики нужно отрезать, метелки хороши для веников. Что я ответила? Я выдала себя, что-то промямлив, он смеялся надо мной, ужасно, я должна наложить на себя руки. Была ли я, по крайней мере, красива? Если я была при этом свете красива, тогда еще полбеда, тогда я не должна накладывать на себя руки. Золотая бронза его плеч... О Амун в своем капище! «Повелительница моей головы и моего сердца, моих рук и моих ног»... О Озарсиф! Не говори так своими губами, потешаясь в душе над моим лепетом и над дрожью моих колен! Я надеюсь, надеюсь... если даже все пропало и я должна умереть после этой беды, я все же надеюсь и не отчаиваюсь, ибо не все неприятно, есть и приятное, и очень даже приятное, поскольку я твоя госпожа, мальчик мой, и ты должен говорить мне такие сладостные слова, какие ты мне сказал: «Повелительница моей головы и моего сердца», и пусть это только красноречие, только пустая вежливость. Все равно слова наделены силой, все равно слова нельзя произносить безнаказанно, все равно они оставляют след в душе; если они сказаны и без чувства, они все-таки обращены к чувству того, кто их говорит, и если, произнося их, ты лжешь, то их волшебство все равно немного изменит тебя соответственно их смыслу, и они уже не совсем лживы, коль скоро ты их сказал. А это очень приятно и таит очень много надежд, ибо обработка твоей души, миленький раб мой, словами, которые ты должен мне говорить, сулит хорошую, илистую и рыхлую почву посеву моей красоты, если я имею счастье казаться тебе красивой при этом свете. Тогда из раболепия твоих слов и моей красоты родится мое исцеление и блаженство, ибо они пустят росток преклонения, которое нужно только поощрить, чтобы оно стало желаньем, потому что преклонение, если его поощрить, становится желанием, мальчик... О я, распутная женщина! Проклятие моим змеиным мыслям! Проклятие моей голове и моему сердцу! Прости меня, Озарсиф, юный мой господин и спаситель, утренняя и вечерняя звезда моей жизни! Надо же было сегодня случиться такой неудаче! Подумать только, все пропало по вине моих затрепетавших колен! Но я не наложу на себя руки и не пошлю за ядовитой змеей, чтобы поднести ее к своей груди, ибо у меня много приятных надежд. Завтра, завтра и во все последующие дни! Он остается у нас, он остается управлять домом, Петепра отказался его продать, я всегда буду видеть его, каждый день приносит с собой приятнейшую надежду. «Мы продолжим нашу беседу, управляющий, в другой раз. Я обдумаю это дело и разрешаю тебе доложить о нем снова». Это было удачно, это значило позаботиться о следующем разе. Да, Эни, при всем своем безумье ты оказалась все-таки достаточно сообразительна, чтобы предусмотреть дальнейшее! Он должен явиться снова, а если он из робости замешкается, я пошлю за ним карлика Дуду. Тогда я исправлю сегодняшнюю неудачу, я встречу его милостиво-спокойно, без всякой дрожи в коленях, и если захочу, то, пожалуй, слегка поощрю его преклонение. А вдруг в этот недалекий следующий раз он покажется мне менее красивым, что несколько охладит мое сердце и позволит мне свободно шутить и улыбаться, и я, совершенно не страдая, заставлю его влюбиться в себя?.. Нет, ах, нет, Озарсиф, пусть этого не будет, это змеиные мысли, и я хочу страдать из-за тебя, мой господин и спаситель, ибо ты прекрасен, как первородный бык...»

Несвязная эта речь, отдельные части которой с удивлением услышали служанки Хецес и Ме'эт, была лишь одной из многих, одной из сотни таких речей, вырывавшихся у их госпожи в тот год, когда она еще пыталась скрыть свою любовь к Иосифу; точно так же предшествовавший этому году диалог о просе дает представление о множестве подобных бесед, которые велись в разное время дня и в разных местах: в саду, как та, первая, в фонтанном дворе гарема и даже в беседке на насыпи, куда Эни никогда не являлась без провожатых, а Иосиф обычно

приводил с собой одного или двух писцов, несших за ним свитки папируса с нужными счетами, наметками и сведениями. Ибо речь у них всегда шла о делах хозяйственных, о продовольствии, о полеводстве, о торговле и о ремеслах, по поводу которых молодой управляющий отчитывался перед госпожой, наставлял ее или спрашивал ее совета. Это и был ложный предмет их разговоров, и нужно признать, — хоть признать и с несколько вопросительной улыбкой, — что Иосиф всячески старался выдать эту отговорку за самую суть: он истово посвящал госпожу в деловые подробности, добиваясь от нее — пусть в силу ее влечения к нему, Иосифу, — не притворного к ним интереса.

Это был своего рода план исцеления: молодому Иосифу нравилась роль воспитателя. Он держался мнения (как он мнил), что хочет придать мыслям повелительницы деловой, а не личный характер, отвлечь их от своих глаз и привлечь к своим заботам, а тем самым охладить, отрезвить, исцелить ее, и что, таким образом, он приобретет почетное и приятное преимущество общения с ней и ее благосклонность, не опасаясь попасть в яму, которой по трусости грозил ему маленький Боголюб. Нельзя не усмотреть некоторой заносчивости в этом педагогическом плане молодого управляющего, надеявшегося с его помощью совладать с сердцем своей повелительницы, такой женщины, как Мут-эм-энет. Действительно, предотвратить опасность ямы можно было несравненно более надежным путем — избегая госпожи и не показываясь ей на глаза, вместо того чтобы вести с нею воспитательные беседы. И если сын Иакова оказывал им предпочтение, то это заставляет подозревать, что его спасительный план был вздорным и что его идея превратить отговорку в почтенную суть дела сама была только отговоркой его мыслей, служивших уже не рассудку, а некоему влечению.

Таково было, во всяком случае, подозрение или, вернее, по-карличьи пронизательная догадка маленького Боголюба, и тот не скрывал ее от Иосифа, а чуть ли не ежедневно, ломая ручки, умолял своего друга не унижаться до пустословия и уверток, быть не только красивым и добрым, но еще и умным и спастись бегством от огнедышащего, всесокрушающего быка. Но тщетно, его полномерный друг, управляющий, не слушался его. Ибо кто по праву привык доверять своему уму, для того, когда ум его помрачается, привычное доверие становится великой опасностью.

Тем временем и Дуду, ядреный карлик, образцово играл свою роль, — роль коварного гонца и злокозненного нашептывателя, который снует взад и вперед между двумя, готовыми согрешить, сторонами, здесь подмигнет и кивнет, там намекнет и прищурится, или вдруг станет рядом с тобой, скорчит рожу и, не раскрывая губ, вытряхнув его из уголка рта, словно из кошель, ошарашит тебя сводническим своим сообщением. Он играл эту роль, не зная ни своих предшественников, ни своих последователей, играл, как будто он первый и единственный ее исполнитель, — ведь каждому хочется считать себя первым во всякой, выпавшей ему в жизни роли, — играл словно по собственному почину и усмотрению, однако с тем достоинством и с той уверенностью, которые каждый исполнитель черпает не в мнимой своей невиданности и неповторимости, а, наоборот, в глубоком своем убеждении, что он изображает нечто основательное и правомерное и ведет себя в своем роде образцово, каким бы отвратительным ни было его поведение.

Тогда Дуду еще не ходил тем окольным, тоже предусмотренным его ролью путем, который, ответвляясь от главного, исхоженного, вел в третье место, а именно к Потифару, к нежному господину, — чтобы наябедничать ему о подозрительных встречах. Это еще предстояло, и покамест Дуду считал преждевременным становиться на этот хорошо утопанный путь. Ему не нравилось, что, несмотря на все его уловки, на все полувывымышленные уведомления, которые он, в обоих концах пути, вытряхивал из кошель своего рта, молодой управляющий и госпожа, как правило, беседовали не наедине, а при почетных своих провожатых; не нравилось Дуду и то, о чем они говорили друг с другом. Воспитательный план Иосифа отнюдь не отвечал его, Дуду, целям и злил его, хотя, как и чистый его братец, смотритель нарядов понимал вздорность этого служившего некоему влечению плана. Хозяйственные беседы казались ему

задержкой желательного хода событий, а к тому же Дуду опасался, что метод Иосифа окажется успешным и действительно отвлечет мысли госпожи от существа дела, придав им более чистый и более практический характер. Ибо и с ним, своим лицемерным доброжелателем, она теперь часто говорила о хозяйстве, о промыслах и торговле, о ценах на масло и ценах на воск, о дневных рационах и о складах; и хотя от солнечной его пронизательности не ускользало, что всем этим она только прикрывала свои мысли и втайне говорила только об Иосифе, который ее всему этому научил, он все-таки злился и, ходя взад-вперед, вытряхивал в обоих концах своего пути поощрительные сообщения, утверждавшие в одном конце, например, что молодой управляющий бывает огорчен, когда он, сподобившись после или среди дневных трудов лицезреть госпожу и омыть душу ее красотой, должен говорить с ней опять только о постылых делах хозяйства, вместо того чтобы как-то завести речь о более отрадных и более близких сердцу вещах. А в другом конце — что госпожа недовольна и велела ему. Дуду, уведомить об этом виновника ее недовольства, который так плохо пользуется ее милостью и во время аудиенций говорит всегда только о хозяйстве и никогда не заговаривает о себе самом, не утоляет ее благосклонного любопытства рассказом о прежней своей жизни, о горемычной своей родине, о своей матери, об обстоятельствах девственного своего рождения, о том, как он спустился в преисподнюю и воскрес. Послушать о подобных вещах, говорил Дуду, такой даме, как Мут-эм-энет, разумеется, куда занимательней, чем выслушивать отчеты о склейке папируса и о получении ткацких станков, и если управляющий хочет добиться успеха у госпожи, успеха, ведущего к высочайшей цели, цели более высокой и более прекрасной, чем все другие, каких он когда-либо достигнет в этом доме, то пусть он потрудится говорить не таким скучным языком.

— Предоставь уже мне самому выбирать себе и цели и средства, — нелюбезно ответил ему Иосиф. — Ты мог бы, кстати, говорить обыкновенно, не одним уголком рта; мне противно на это глядеть, и вообще я предпочел бы не слушать того, что не относится к делу, супруг Цесет. Не забывай, что у нас с тобой светские, а не сердечные отношения! Доноси мне все, о чем проведает в доме и в городе. А давать мне дружеские советы я тебя не просил.

— Клянусь головами моих детей! — сказал Дуду. — Согласно нашему договору, я сообщил тебе то, что уловил из ее воздыханий по поводу скуки твоих докладов. Совет тебе дает не Дуду, а сама госпожа, с ее воздыханьями, тоскующая по некоторой занимательности.

Это было, однако, больше чем наполовину ложью, ибо на замечанье Дуду, что для победной разгадки волшебства управляющего ей следует сблизиться с ним, а не позволять ему прятаться за свои дела и за свою должность, она ответила:

— Мне приятно — и это несколько успокаивает мою душу — слышать, что он делает, когда я не вижу его.

Весьма примечательный ответ, даже, если угодно, трогательный, потому что показывает, как завидует любящая женщина наполненности мужского бытия, как ревнует существо только чувствующее к делу, занимающему такое большое место в любимой жизни и заставляющему ревнивицу ощущать страдальческую праздность собственной жизни, которая посвящена только чувству. Стремление женщины к участию в таких занятиях вытекает обычно из этой ревности и тогда, когда они не хозяйственного, а духовного свойства.

Итак, Мут, госпоже, было «приятно» вникать с помощью Иосифа в эти дела, даже под видом того, что он, по молодости лет, просит ее совета. Да и не все ли равно, о чем толкуют слова любимого, если плоть их — это его голос, если произносят их его губы, если объясняет и сопровождает их прекрасный его взгляд и даже самые холодные и сухие из них напоены его близостью, как напоено царство земное водой и солнцем. Так любая беседа становится беседой любовной — но ведь в совершенно чистом виде любовную беседу и невозможно вести, потому что тогда она свелась бы к слогам «я» и «ты» и погибла бы от чрезмерного однообразия, так что без вспомогательного разговора о других делах никак нельзя обойтись. А кроме того, как явствовало из ее чистосердечного ответа, Эни высоко ценила содержание этих бесед,

потому что оно служило пищей ее душе в те пустые, лишенные надежды, печально-вялые дни, когда Иосиф уезжал по делам вниз или вверх по реке, и не могло быть «взоров» за трапезой и не приходилось со страхом и нетерпением ждать его прихода в гарем или какой-либо другой встречи. Тогда она хваталась за эту пищу, дорожила ею и утешалась мыслью, что знает, зачем отправился любимый в тот или иной город и прилегающие к нему деревни, на ту или иную ярмарку или на рынок, что в женском своем горе праздного чувства может хотя бы назвать дела, заполняющие его мужское бытие. И она не могла не хвалиться этим своим знанием перед тараторками-подругами, а также перед служанками и Дуду, когда тот ее навещал.

— Молодой управляющий, — говорила она, — отбыл вниз по реке в Нехеб, город, где справляет свой праздник Нехбет, отбыл с двумя баржами плодов дум-пальмы, фиников, смоквы и лука, чеснока, дынь, огурцов и семян клещевины, которые он под крылами богини обменяет на лес и на кожу для сандалий, потому что они нужны Петепра для его мастерских. Посовещавшись со мной, управляющий выбрал такое время для этой поездки, когда овощи, благодаря большому спросу на них, в цене, а кожа и лес не очень дороги.

И голос ее при этих словах звучал поразительно певуче и звонко, так что Дуду, прислушиваясь, приставлял к уху согнутую ладошку и про себя думал, что скоро, видно, он сможет свернуть на боковую, ведущую к Потифару дорогу и сказать ему словечко-другое...

Зачем рам затягивать рассказ об этом первом годе, когда Мут, из гордости и стыда, еще старалась скрыть свою влюбленность от Иосифа и еще утаивала ее от внешнего мира — или мнила, что утаивает? Борьба с ее чувством к рабу, то есть борьба с самой собой, которую она некоторое время ожесточенно вела, уже окончилась, и окончилась счастливо — злосчастной победой чувства. Она боролась теперь только за то, чтобы скрыть свою страсть от людей и от возлюбленного; а в душе она отдавалась этой чудесной новизне тем безудержнее и тем восторженнее, тем, можно сказать, простодушнее, чем неведомей была до сих пор ей, изящной святой и холодной схимнице Луны, чудесная эта новизна, чем больше понадобилось времени, чтобы она, Эни, так встрепенулась и пробудилась, и чем отчужденнее вспоминала она о прежней, еще не благословенной страстью поре, в пустоту и оцепенение которой она уже не могла, уже боялась вернуться, боялась во всю силу своей разбуженной женственности. Пленительный взлет, даруемый полностью любви такой жизни, какая была у нее, столь же известен, сколь и неопишуем; а признательность за эту благодать счастья и муки ищет, на кого бы обратиться, и находит в конце концов лишь того, от кого все пошло — или кажется, что пошло. Так удивительно ли, что поглощенность им, умноженная признательностью, превращается в обожествление? Мы не раз видели, что в какие-то короткие, зыбкие мгновения Иосиф казался людям наполовину — или даже больше чем наполовину — богом. Но разве эти преходящие искусы можно было назвать «обожеванием»? Какую решительность, какую деятельную восторженность вкладывает в это слово логика любви — весьма смелая и своеобразная логика! Кто, говорит она, так перевернул мою жизнь, кто даровал ей, некогда мертвой, эти приступы жара и холода, эту радость и эти слезы, тот должен быть богом, иначе не может быть. А тот палец о палец не ударил, и все исходит от самой одержимой. Только она не может этому поверить и с благодарственными молитвами создает из своего упоения его божественность. «О небесная пора живого чувства!.. Ты сделал мою жизнь богатой — она в цвету!» Такова была обращенная к Иосифу благодарственная молитва или какая-то часть ее, которую со слезами блаженства, стоя на коленях у своего дивана, лепетала, когда ее никто не видел, Мут-эм-энет. Но почему же, если жизнь ее была так богата и так расцвела, почему же она не раз порывалась послать служанку-нубийку за ядовитой змеей, чтобы поднести змею к груди; почему она однажды и в самом деле отдала такое распоряжение, так что гадюка была уже доставлена в камышовой корзинке и лишь в последний миг Эни еще раз отступилась от своего намеренья? Да потому, что ей казалось, что в последнюю встречу она все испортила и не только была некрасива, но и вместо того, чтобы встретить возлюбленного спокойно-мило, выдала ему взглядом и дрожью свою любовь, любовь старой и некрасивой женщины,

после чего ей оставалось только умереть — себе и ему в наказание, чтобы ее смерть открыла ему тайну, за плохое хранение которой она эту смерть приняла!

Странная, несусветно дикая логика любви! Все это известно, в едва ли стоит об этом рассказывать, ибо это старо, как мир, и было старо, как мир, уже во времена жены Потифара и кажется очень новым только тому, кому, как и ей, пришла пора испытать это словно неведомое и неповторимое потрясенье. Она шептала: «О, музыка, музыка!.. О, блаженство, в ушах у меня звенят прекрасные звуки!» Это тоже известно. Это обман слуха при повышенной чувствительности экстаза, сплошь да рядом случающийся у влюбленных и юродивых и свидетельствующий о родственности, о неразграниченности этих двух состояний, одно из которых связано с божественным, а другое с весьма человеческим началом... Известны также — и совершенно незачем об этом распространяться — те лихорадочные ночи любви, которые превращаются в сплошную вереницу коротких сновидений, где любимый — а он непременно участвует в них — предстает холодным, ведет себя подозрительно и полон презрения, в сплошную цепь злосчастных, губительных, но неустанно возобновляемых уснувшей душой встреч с его образом, то и дело прерываемых резкими пробуждениями, когда, задыхаясь, жадно глотают воздух, вскакивают, зажигают свет: «О боги, о боги, что же это такое! Что же это за мука такая!..» Но разве она проклиняет его, виновника подобных ночей? Отнюдь нет. Когда утро освобождает ее от этой пытки, она, измученная, припав к краю своей постели, шепотом посылает ему такие слова:

«Спасибо тебе, мое исцеленье! Счастье мое! Моя звезда!»

Человеколюбец качает головой по поводу такого отклика на ужасную боль; он сбит с толку и сам себе кажется чуть ли не смешным со своим состраданием. Но когда первопричина муки представляется божественной, а не человеческой, тогда этот отклик возможен и естествен... А почему она такой представляется? Да потому что это первопричина особого рода, она разделена между «я» и «ты» и, связанная со вторым, одновременно находится в первом: она состоит в соединении и слиянии мира внешнего с миром внутренним, образа с душой, — то есть в союзе, от которого и в самом деле произошли боги и проявления которого отнюдь не нелепо считать божественными. Существо, благословляемое нами за те великие муки, что оно причиняет нам, и впрямь должно быть не человеком, а богом, ибо иначе мы стали бы его проклинять. В известной логике этому рассуждению никак не откажешь. Существо, от которого наше счастье и наше горе зависят в такой мере, в какой это бывает в любви, переходит уже в разряд богов, это ясно; ибо зависимость всегда была и остается источником чувства бога. А разве кто-нибудь когда-либо проклинал своего бога?.. Может быть, конечно, кто-то и пытался его проклясть. Но потом это проклятие видоизменялось и звучало в точности так, как оно приведено выше.

Вот чем можно если не успокоить, то хотя бы вразумить человеколюбца. А разве у нашей Эни не было еще и особой причины видеть в своем возлюбленном бога?.. Конечно, была, поскольку обожествление сводило на нет те унижительные чувства, которые иначе неизбежно сопутствовали бы ее слабости к рабу-чужеземцу и с которыми она так долго боролась. Бог, сошедший на землю в образе раба, узанный лишь по его неутаимой красоте и по бронзовому золоту его плеч, — она неведомо как напала на эту мысль, и напала к счастью, ибо нашла объяснение и оправдание своей одержимости. А надежда на то, что сон, который открыл ей глаза, сон, где Иосиф остановил ей кровь, надежда на то, что сон этот сбудется, находила пищу в другом образе, в другой картине, на которые она тоже напала неведомо как: в картине совоплощения бога со смертной. Возможно, что в эксцентричности этого образа и в обращении к нему была доля страха, внушенного ей сообщениями мужа об избранности и посвященности Иосифа, о венке на его голове.

ВТОРОЙ ГОД

Когда же пошел второй год, в душе Мут-эм-энет что-то смягчилось и поддалось, и она стала выказывать свою любовь Иосифу. Она уже не могла вести себя иначе: слишком сильно она любила его. Одновременно, из-за того же смягчения, она начала поверять свою страсть кое-кому из своих близких, но только не Дуду, ибо, во-первых, при его солнечной изощренности, в этом, как она, в сущности, наверно, знала, давно уже не было никакой нужды, а во-вторых, несмотря на упомянутое смягчение, ее гордость не позволяла ей излить ему душу; напротив, между ними оставалось в силе условие, что дело идет о том, чтобы разгадать волшебство ненавистного чужеземца и «добиться его падения» — оставаясь по-прежнему в ходу, это словосочетание становилось и в ее устах, и в его все менее и менее двусмысленным со дня на день. Призналась она двум женщинам из своих приближенных, внезапно сделав их, каждую особо, своими наперсницами, хотя наперсниц у нее до сих пор никогда не было, и тем самым сильно возвысив обеих — побочную жену Ме-эн-Уазехт, маленькую резвушку с непокрытыми волосами и в прозрачной сорочке, и одну старую смолоедку, по имени Табубу, рабыню службы румян и белил, седовласую и чернокожую, с похожими на бурдюки грудями, — им обеим Эни шепотом открыла свое сердце, намеренно вызвав своим поведением льстивые их расспросы: в показной задумчивости, ни слова не говоря, она вздыхала и улыбалась до тех пор, покуда эти женщины, одна во дворе, у бассейна, а другая возле уборного стола, не стали упрашивать ее, чтобы она доверила им причину своей взволнованности, после чего Мут долго еще жеманилась и ломалась, а потом, задрожав, заплетающимся языком, шепотом исповедалась в своем безумии им, которых тоже охватил трепет.

Хотя они уже, вероятно, и раньше понимали, что к чему, обе принялись всплескивать руками, закрывать ими лицо, целовать ей руки и ноги, приглушенно заворковали и закудахтали, вкладывая в эти звуки торжественное волнение, умиленность и нежную тревогу, как если бы Мут, к примеру, сообщила им, что она беременна. Так и в самом деле восприняли обе женщины эту женскую сенсацию, эту великую новость — что госпожа полюбила. На обеих напала какая-то хлопотливость, они без умолку утешали и поздравляли благословенную, гладили ее тело, словно оно стало сосудом с опасным и драгоценным содержимым, и всячески показывали ей испуганное свое восхищение этой великой переменой, этим поворотом, этим началом счастливой женской поры, поры тайн, сладостного обмана и скрашивающих будни затей. Черная Табубу, сведущая во всяких нечистых искусствах негритянских стран и в заклинании недозволенных и безымянных божеств, хотела тотчас же приступить к ворожбе, чтобы искусственно приманить юношу и повергнуть его прекрасной добычей к ногам госпожи. Но тогда еще дочь князя Май-Сахме отклонила это с решительным отвращением, в котором сказалась не только ее более высокая, по сравнению с кушитянской, цивилизованность, но и порядочность ее пусть очень и очень сомнительного чувства... Что же касается наложницы Ме, то она, напротив, не думала ни о каких колдовских средствах, считая их совершенно ненужными, и находила это дело, если отвлечься от его опасности, весьма простым.

— Счастливая, — сказала она, — о чем тут вздыхать? Разве этот красавец не купленный раб дома, хоть он и стоит во главе его, разве он с самого начала не твоя собственность? Если он тебе нравится, тебе достаточно только повести бровью, и он почтет за величайшую честь соединить свои ноги с твоими, а свою голову с твоей, чтобы ты насладились!

— Ради Сокрытого, Ме, — прошептала Мут, пряча лицо, — не говори так прямо; ты сама не знаешь, что говоришь, а мне это разрывает душу.

Эни не позволяла себе сердиться на это глупое существо, не без зависти зная, что Ме чиста, что она свободна от любви и недуга вины, и считая, что ее чистая совесть дает ей право болтать о ногах и о головах в свое удовольствие, даже если ее, Эни, это невыносимо смущает. Поэтому она продолжала:

— Видно, ты никогда не бывала в таком положении, дитя мое, и тебя никогда не постигала такая беда. Ты, наверно, только и знала, что лакомилась и судачила со своими сестрами по гарему Петепра. Иначе ты бы не говорила, что мне достаточно повести бровью, а понимала, что из-за моей одержимости его рабское и мое господское положение свелись на нет или даже обратились в свою противоположность, так что скорее уж я завишу от его прекрасных бровей, от того, приветливо ли они расправлены или же смущенно и недоверчиво супятся, приводя меня в трепет. Право же, ты ничем не лучше отсталой Табубу, которая предлагает мне пуститься с ней в негритянское колдовство, чтобы юноша достался мне неведомым для себя образом и чтобы его тело пало жертвою ворожбы. Стыдитесь, невежды, своими советами вы вонзаете меч в мое сердце и поворачиваете его внутри раны! Вы говорите так, как будто, кроме тела, у этого юноши нет души и духа, перед лицом которых приказ бровей ничуть не лучше, чем привораживание, ибо и то и другое властно только над телом и способно подчинить мне лишь тело, лишь теплый труп. Если он когда-либо и был моей собственностью и целиком зависел от моей брови, — то благодаря моей одержимости ему дарована полная свобода, глупая Ме, а я лишена своего господского положения и блаженно несу рабское его ярмо, зависимая и в своей радости и в своей муке от свободы его живой души. Вот она, правда, и я немало страдаю от того, что она не на виду, что внешне он, вопреки истине, все еще раб, а я — его повелительница. Ибо когда он называет меня госпожой своей головы и своего сердца, своих рук и своих ног, я не знаю, говорит ли он это как слуга, потому что так принято, или как живая душа. Я надеюсь на последнее, но в то же время готова отчаяться в этом. Слушай меня внимательно! Если бы на свете существовал только его рот, тогда ваши речи о приказе бровей и о ворожбе на худой конец и сгодились бы, потому что рот — это всего только тело. Но есть еще прекрасная ночь его глаз, а в глазах этих — увы, душа и свобода, и я боюсь их свободы еще и по особой причине: ведь это — свобода от недуга, связавшего меня, погибшую, печальными своими узами, и веселая насмешка над ним — не надо мной, нет, а над моим недугом, и от этого мне уничтожающе-стыдно, потому что восхищенье его свободой только усиливает мой недуг и делает мои узы еще печальнее. Понятно ли тебе это, Ме? И мало того, я должна еще бояться гнева его глаз и их презренья, потому что мои чувства к нему означают обман, означают измену царедворцу Петепра, моему и его господину, которому он по праву внушает приятное чувство доверия, — а я хочу, чтобы он унизил своего господина со мной у моего сердца! Вот чем грозят мне его глаза, и теперь ты видишь, что передо мной не только его рот и что он представляет собой не только тело! Ибо тело не входит в те сплетения обстоятельств, которыми обусловлено и оно само, и наше к нему отношение и которые это отношение осложняют, отягощая его всяческими помехами и последствиями и делая из него вопрос законности, чести и нравственности, а это подрезает нашему желанию крылья, и оно не взлетает. Ах, Ме, как много думала я об этих вещах и днем и ночью! Да, тело свободно и самостоятельно, но ни с чем не связано, и для любви должны были бы существовать только тела, чтобы они свободно и одиноко парили в пустом пространстве и сплетались в объятьях без помех и последствий, с закрытыми глазами, уста к устами. Это было бы блаженством, хотя я и презираю такое блаженство. Могу ли я желать, чтобы любимый был только самодовлеющим телом, трупом, а не человеком? Нет, этого я не могу желать, ибо я люблю не только его рот, я люблю и его глаза, и глаза даже больше, чем все другое, и поэтому мне противны ваши советы. Табубу и твой, и я с нетерпением их отвергаю.

— Мне непонятна, — сказала побочная жена Ме, — твоя разборчивость в этих делах. Я полагала, что если он тебе нравится, то вам достаточно просто соединить ноги и головы, чтобы ты насладилась.

Как будто не к этому стремилась в конечном счете и страсть Мут-эм-энет, прекрасной Мутэмане! Мысль, что ее ноги, дрожавшие и не стоявшие на месте, когда она была с Иосифом, могут покойно прижаться к его ногам, — именно это представление глубоко потрясло и даже воодушевило ее, и то, что Ме-эн-Уазехт облекла его в слова так непосредственно, не

зная и малой доли сомнений Мут, это способствовало внутреннему смягчению Эни, признаком которого были уже ее откровенные беседы с обеими женщинами, и она стала теперь выказывать свою слабость юному управляющему в речах и поступках.

Что касается поступков, то это были иносказательные действия ребяческого и, в сущности, трогательного характера, знаки внимания госпожи к рабу, сложную символику которых ему было не так-то легко увидеть в правильном свете. Однажды, например, — а после этого первого раза и часто — она вела с ним хозяйственную беседу в богатой азиатской одежде, с великим старанием сшитой рабыней-портнихой Хети из ткани, купленной в лавке какого-то бородатого сирийца в городе живых. Этот наряд отличался чуждой египетскому платью пестротой, он представлял собой два вышитых, переплетающихся шерстяных полотнища, красное и синее, и, украшенный, кроме вышивки, цветной оторочкой по всем краям, казался очень пышным и диковинным. Плечи были покрыты подлинно азиатскими замычками, а поверх головной повязки, тоже пестрой и вышитой, именовавшейся на родине этой моды санип, на Эни было обязательное прозрачное покрывало, ниспадавшее к бедрам и ниже. Так одетая, она глядела навстречу Иосифу расширенными не только свинцовым блеском, но и лукавой робостью ожиданья глазами.

— Какой у тебя странный и ослепительный вид, высокая госпожа, — сказал он со смущенной улыбкой, ибо не знал, как истолковать это новшество.

— Странный? — спросила она, тоже с улыбкой, улыбкой натянутой, нежной и растерянной. — По-моему, мой вид должен показаться тебе скорее знакомым, ибо в этом платье, — если ты имеешь в виду мой наряд, который я сегодня разнообразия ради надела, — я, наверно, похожа на дочерей твоей страны.

— Да, мне знакомы, — ответил он с опущенными глазами, — и платье, и покроем платья, но мне немного странно видеть его на тебе.

— Не находишь ли ты, что оно мне идет и красит меня? — спросила она с нерешительным вызовом.

— Еще не соткано, — сдержанно отвечал он, — такое сукно, еще не скроено такое платье, которое, будь это даже волосяной мешок, не служило бы твоей красоте, моя повелительница.

— Ну, если безразлично, что я ношу, — возразила она, — то, значит, я напрасно старалась. Я надела это платье в честь твоего прихода и чтобы достойно ответить тебе. Ведь ты, юноша из Ретену, носишь у нас египетскую одежду, подчиняясь нашему обычаю. Вот я и решила не отставать от тебя и встретить тебя в одежде твоих матерей. Так мы обменялись платьем, обменялись по-праздничному. Ведь есть в этом какая-то исконная праздничность, когда мужчины надевают женскую, а женщины мужскую одежду и разница между ними вдруг исчезает.

— Позволь мне заметить, — ответил он, — что этот обычай и этот обряд не кажется мне таким уж родным и близким. В нем есть какая-то исступленность, какое-то неблагочестие, а это отнюдь не обрадовало бы моих отцов.

— Значит, я ошиблась, — сказала она. — Что нового в доме?

Она была глубоко обижена тем, что он, казалось, не понял (а он, кстати, понял), какую жертву принесла ему и своему чувству она, дочь Амуна, наложница этого могущественного бога и поборница его суровости, когда снизошла до такого поклонения чужеземщине, только потому, что ее любимый был чужеземцем. Ей была сладостна эта жертва, ей казалось блаженством отрешиться ради него от своих политических взглядов; и она была тогда очень несчастна, оттого что он принял это так равнодушно. В другой раз она оказалась счастливее, хотя новый иносказательный ее поступок свидетельствовал даже об еще большем самоотречении.

Ее жилой покой, обычное место ее уединения в гареме, представлял собой обращенную к пустыне маленькую палату, которую можно было так назвать потому, что ее дверь с деревянным косяком была широко открыта и вид наружу прерывали два столпа с простыми круглыми возглавьями и четырехугольными абаками под карнизом, стоявшие прямо на пороге без баз.

Отсюда виден был двор с низкими белыми постройками справа, под плоскими крышами которых находились жилища побочных жен, а к этим домам примыкало высокое пилонообразное здание с колоннами. За ним, наискось, шла глинобитная, до плеч высотой стена, так что дальше виднелось только небо. Залыца была изящная, непритязательная, не очень высокая; на каменном ее полу чернели длинные тени столпов; стены и потолок были просто оштукатурены, и только под потолком лимонно-желтая штукатурка была украшена бледным фризом. В комнате этой почти ничего не стояло, кроме затейливого дивана в глубине; на диване лежали подушки, а перед ним — шкуры. Здесь Мут-эм-энет часто ждала Иосифа.

Он обычно появлялся во дворе и поднимал руки ладонями к этому покою и к отдохавшей в нем госпоже, сунув под мышку свитки счетов. Она разрешала ему войти и начать доклад; и вот однажды он сразу заметил, что в комнате что-то переменялось, о чем говорили ее глаза, глядевшие навстречу ему с таким же смущенно-радостным выражением, как в тот раз, когда на ней было сирийское платье; но он притворился, что ничего не видит, и, произнеся изысканное приветствие, заговорил о делах и говорил, покуда она не прервала его:

— Оглянись, Озарсиф! Ты не видишь у меня ничего нового?

Да, она вполне могла назвать новым то, что у нее появилось. Трудно было поверить своим глазам: на покрытом вязаной скатертью алтаре у задней стены комнаты в открытом ларце-капище стояла позолоченная статуэтка Атума-Ра!

Владыку горизонта нельзя было не узнать: он походил на свой письменный знак; он сидел, высоко подняв колени, на маленьком четырехугольном постаменте, и на плечах у него была соколиная голова, а на ней еще продолговатый солнечный диск, из которого спереди выступала вспученная головка, а сзади — кольчатый хвост очковой змеи. На треноге, сбоку от алтаря, стояли курильницы с ручками, приспособление для высекания огня и чашка с шариками благовоний.

Поразительно и почти невероятно! Вместе с тем — какой трогательный и ребячески смелый выход желанию открыться! Мут из гарема богатого говядами, овнолобого державного бога, его певица, его священная плясунья; доверенная его искусного в политике верховного плешивца; сторонница его отечественно-охранительной солнечной природы — и вдруг, в собственном своем владенье, воздвигла святилище владыке широкого горизонта, тому, кого постигали мыслью мыслители фараона, доброжелателю всего мира, чужбинолюбивому брату азиатских властителей Солнца, Ра-Горахте-Атону, богу Она у вершины треугольника! Вот как выразила себя ее любовь, вот к какому языку она прибегла, — языку общего для них обоих, для египтянки и мальчика-еврея, пространства и времени. Как же он мог ее не понять? Он уже давно ее понял, и нужно с похвалой отметить, что он был очень взволнован в это мгновение: он испытывал радость, смешанную с тревогой и страхом. И радость заставила его опустить голову.

— Я вижу твою набожность, повелительница, — сказал он тихо. — В чем-то она пугает меня. Что будет, если тебя навестит великий Бекнехонс и увидит то, что вижу я?

— Я не боюсь Бекнехонса, — ответила она с трепетным ликованием. — Фараон более велик.

— Да будет он жив и здоров, — машинально пробормотал Иосиф. — Но ведь ты, — прибавил он опять очень тихо, — ты принадлежишь владыке Эпет-Эсовета.

— Фараон — его сын во плоти, — ответила она так быстро, что было ясно: она подготовилась. — Богу, которого он любит и которого велит постичь своим мудрецам, я, мне кажется, тоже имею право служить. Есть ли в странах более древний и более великий бог? Он такой же, как Амун, а Амун такой же, как он. Амун назвал себя его именем и сказал: «Кто мне служит, тот служит Ра». Следовательно, служба Ра, я служу и Амуну!

— Как знаешь, — ответил он тихо.

— Воскурим ему, — сказала она, — прежде чем мы займемся делами дома.

И, взяв Иосифа за руку, она подвела его к изваянию и к треножнику с жертвенной утварью.

— Будь добр, — приказала она, — положи в курильницу благовония (она сказала «сентер нетер», что на языке Египта значило «божественный запах») и подожги их!

Но он заколебался.

— Мне не подобает, госпожа, — сказал он, — воскурять изваянию. У нас это запрещено.

Тогда она взглянула на него, молча, с такой откровенной болью, что он опять испугался, и взгляд ее говорил: «Ты не хочешь со мной воскурить тому, кто мне разрешает любить тебя?»

А он вспомнил Он-у-вершины, кроткое учение его учителей и тамошнего отца-первопрока, чья улыбка говорила, что тот, кто приносит жертву Горахте, приносит ее одновременно, по смыслу треугольника, и собственному своему богу. Поэтому он ответил на ее взгляд:

— Я с радостью буду твоим помощником, я положу и подожгу благовония и буду прислуживать тебе во время обряда.

И он положил в курильницу несколько шариков пахучей скипидарной смолы, высек огонь, поджег их и передал ей ручку сосуда. И покуда она услаждала нюх Атума-Ра пряным дымком, он стоял с поднятыми руками и осторожно служил этому терпимому богу, уповая на снисходительное прощенье. А грудь Эни после этого иносказательного поступка трепетала во время всего хозяйственного доклада, который затем последовал...

Такого рода действиями открывала она ему свое желание; но и от слов несчастная тоже уже не удерживалась. Да, ее порыв сообщить любимому именно то, что она так долго старалась скрыть от него хотя бы ценой жизни, стал после наступившего смягчения совершенно неодолим; и так как, кроме того, сновавший взад и вперед Дуду упорно советовал ей и подстрекал ее перевести разговор из трезвой деловой сферы в сферу личную, чтобы раскусить этого злодея и «добиться его падения», — то она все время лихорадочно теребила домоводческую оболочку беседы, фиговый ее листок, чтобы, сбросив его, свести разговор к правде и наготы «ты» и «я», — не подозревая, какие отталкивающие ассоциации вызывает у Иосифа идея «обнажения»: ханаанские ассоциации, велящие остерегаться всего недозволенного, и в том числе всякого рода хмельного бесстыдства, ассоциации, восходящие к тому изначальному месту, где произошла взаимопроникновенная встреча наготы и познания и вследствие этого взаимопроникновения установилось различие между добром и злом. Чуждая таким преданиям и при всем своем чувстве стыда и чести лишенная глубокого понимания идеи греха, для обозначения которого в ее лексиконе не было даже словесного знака, и, прежде всего, совершенно не привыкшая связывать эту идею с наготой, Мут не могла знать, какой древний, унаследованный с кровью ужас перед баалами вызывало обнажение разговора у ее юноши. Как только он пытался прикрыть их беседу одеждой деловитости, Эни снова срывала с нее этот покров, она заставляла его говорить не о делах хозяйства, а о себе самом, о своей жизни, теперешней и предшествующей, расспрашивала его о матери, о которой он уже раньше при ней вспоминал, слушала о ее вошедшей в поговорку миловидности, откуда был только один шаг до его собственной наследственной красоты, которую она, уже не сдерживаясь, сначала с улыбкой упоминала, а потом принималась проникновенно хвалить и страстно расписывать.

— Редко, — говорила она, откинувшись в широком кресле, стоявшем у хвоста львиной шкуры, а голова хищника с зияющей пастью лежала у ног Иосифа, — редко, — отвечала она себе самой, сдерживая в покое свои скрещенные на мягкой скамеечке ноги, — очень редко случается слушать рассказ о ком-либо и, внимая картинному описанию, видеть перед собой образ, благодаря которому описание оживает перед глазами. Мне странно, мне даже удивительно, слушая о них, видеть обращенными на себя глаза этой миловидной, овцы объегнившейся, ласковую ночь этих глаз, которые в дни долгого ожидания целовал твой отец, человек с запада, стирая с них слезы нетерпения своими губами; недаром ты говорил, что походишь на ту, которой он дождался, в такой степени, что она жила в тебе после своей смерти и отец любил вас друг в друге, сына и мать. Ведь ты же глядишь на меня ее глазами, Озарсиф, описывая

мне их необыкновенную красоту. А я до сих пор не знала, откуда у тебя эти глаза, покоряющие, как мне говорили, сердца людей на суше и на воде; до сих пор твои глаза были, если можно так выразиться, ни с чем не связаны. И весьма любопытно и приятно, чтобы не сказать утешительно, познакомиться с историей и происхождением того, что так трогает нашу душу.

Не следует удивляться тягостности подобных речей. Влюбленность — это болезнь, хотя и болезнь вроде беременности и родов, то есть болезнь, так сказать, здоровая, но, как и беременность, как и роды, отнюдь не безопасная. Ум женщины помутился, и хотя она, как просвещенная египтянка, выражалась ясно, даже литературно и по-своему разумно, ее способность отличать сносное от несносного сильно уменьшилась и притупилась. Отягощающим или, собственно, извиняющим обстоятельством была при этом ее вольность госпожи, привыкшей говорить что угодно в уверенности, что любое ее слово, по самой природе своей, не может быть неблагородно или безвкусно, — на что в пору здоровья можно было и впрямь положиться. И теперь, не считаясь со своим совершенно новым для нее состоянием, она и его подчинила своей привычной вольности в речах, а из этого ничего приятного не могло выйти. И, разумеется, слушать ее речи Иосифу было неприятно и оскорбительно, причем не только потому, что в них она выдавала себя, но и потому, что он воспринимал их как личную обиду. Дело не в том, что его воспитательный план исцеления, символизируемый свитками счетов, которые он держал под мышкой, рушился, как он видел, все безнадежней и безнадежней. Самым досадным для него была именно та гордая вольность, с которой она распространяла свободоречие госпожи на новые обстоятельства и говорила ему по поводу его глаз двусмысленные любезности, какие обычно говорят влюбленные своим девушкам. Надо заметить, что в женском варианте слова «господин» — то есть в наименовании «госпожа», — всегда повелительно присутствует мужской элемент. Госпожа — это, с физической точки зрения, господин в образе женщины, а с духовной — женщина мужского склада, так что в наименовании «госпожа» всегда налично известная двойственность, в которой идея мужского начала даже преобладает. С другой стороны, красота — это пассивно-женское качество, поскольку она возбуждает страсть и вселяет в душу того, кто на нее смотрит, такие деятельно-мужские мотивы, как восхищение, желанье и домогательство, так что и она тоже, только противоположным образом, создает эту двойственность, где в данном случае преобладает уже начало женское. Ну, а в области двойственности Иосиф был, конечно, как у себя дома. Он сжился с представлением, что в Иштар, как и в том, кто поменялся с ней покрывалом, в овчаре, брате, сыне и муже Таммузе, соединены дева и юноша, так что в сущности Иштар и Таммуз — это четыре, а не два образа. Но если эти воспоминания уводили в далекие и чужие края и если они были только игрой, то совершенно о том же свидетельствовали и факты, относившиеся уже непосредственно к сфере Иосифа, к собственной его действительности. Израиль — имея в виду отцовское религиозное имя в широком его понимании — тоже был девствен в двойном смысле: обрученный со своим господом, как невеста и как жених, он был и мужчиной, и женщиной. А сам он, этот одинокий, этот ревнивый бог? Разве он, двуликий, лицом, обращенным к дневному свету, — мужчина, а другим, что глядело в темноту, — женщина, разве он не был сразу и отцом, и матерью мира? Более того, разве не этой двойственностью природы бога в первую очередь и определялась половая двусмысленность отношения к нему Израиля и особенно личное отношение к нему Иосифа, очень невестинское, очень женственное?

Да, да, спору нет, все это так. Но от внимательного читателя, наверно, не ускользнуло, что с некоторых пор чувство собственного достоинства претерпело у Иосифа известные изменения, в силу которых ему было неловко чувствовать себя предметом вожделья и домогательств госпожи, делающей ему комплименты, как мужчина девушке. Это его не устраивало, и естественное возмужанье, явившееся следствием не только его двадцати пяти лет, но и его служебного положения, успеха, с каким он взял под свой надзор и контроль немалую часть хозяйственной жизни Египта, очень легко объясняет, почему это его уже не устраивало. Но слишком легкое объяснение не бывает исчерпывающим; были и другие при-

чины его неловкости; причины эти заключались в таком возмужании мальчика Иосифа, наглядным образом которого могло бы служить пробуждение мертвого Озириса благодаря той самке коршуна, что парила над ним и зачала от него Тора. Следует ли указывать на большое соответствие этого образа подлинным обстоятельствам — тому, например, что Мут, когда она плясала перед Амуном в качестве наложницы бога, надевала диадему с изображением коршуна? Можно ли сомневаться в том, что она, одержимая, сама была причиной возмужания, притязающего на привилегию вождельства и домогательства и стыдящегося принимать ухаживанья госпожи?

Поэтому в таких случаях Иосиф лишь молча поднимал на нее свои хваленые глаза, а потом переводил их на торчавшие у него под мышкой свитки, позволяя себе спросить, не пора ли, после этого отступления личного характера, вернуться к делам хозяйственным. А Мут, утвержденная в своей неприязни к этим делам подстрекателем Дуду, пропускала вопрос Иосифа мимо ушей и продолжала, как ей того хотелось, выказывать ему свою любовь. Речь идет не о единичном случае, а о многих, очень похожих одна на другую встречах второго года любви. Потеряв голову и не сдерживая себя, она говорила ему восторженные слова не только о его глазах, но и о его росте, о его голосе, о его волосах; при этом она начинала с упоминаний о его милостивой матери и удивлялась преобразующей наследственности, в силу которой преимуществу, имевшие там женский облик и склад, перешли к сыну в мужском виде, в мужском звучанье... Что ему была делать? Нужно признать, что он был с ней мил и любезен и добродушно ее увещевал; мы видим, например, как он, чтобы ее отрезвить, прибегает к рассудительным указаниям на бренность того, чем она восхищается.

— Перестань, госпожа, — убеждал он ее, — не говори так! Все эти отличия, которые ты достаиваешь внимания и созерцания, — что с ними будет? Горе одно! Право, нелишне напомнить, — напомнить и себе и каждому, кто радуется подобным вещам, — о том, что все и без того знают, но по слабости готовы забыть: из сколь ничтожного вещества все это состоит, поскольку это вообще состоит в мире, ибо оно так нестойко, что упаси бог! Подумай, что эти волосы выпадут вскоре самым жалким образом, да и эти белые зубы тоже. Эти глаза только студень из крови и воды, они вытекут, да и всему остальному суждено сморщиться и гнусно истлеть. Заметь, я считаю своим долгом не держать про себя одного эти доводы разума, а предоставить их в твое распоряжение, если ты найдешь, что они тебе пригодятся.

Но она этому не верила, из-за своего состояния она сделалась совершенно невоспитуемой. Впрочем, она не сердилась на него за такое нравоучительное порицание: слишком была она рада, что беседа идет уже не о мавританском просе и тому подобных, угнетающе почтенных вещах, а касается области, в которой она, как женщина, чувствовала себя достаточно сведущей, чтобы ее ноги не порывались бежать.

— Как странно ты говоришь, Озарсиф, — отвечала она, и губы ее ласкали при этом его имя. — Речь твоя жестока и ложна, — и ложна из-за своей жестокости; ибо хотя по разумному своему смыслу она правдива и даже неоспорима, для души и для сердца она ровно ничего не значит, она для них просто-напросто пустой звон. Ведь для них преходящее вещества — не только не лишний довод против восхищения формой, но скорее лишний довод в его пользу, потому что она примешивает к нашему восхищению ту растроганность, какой оно начисто лишено, когда относится к вещественно стойкой красоте меди и камня. К прекрасному живому существу нас влечет несравненно сильнее, чем к устойчивой красоте изображений из мастерских Птаха, и как ты уверишь сердце, что вещество жизни ничтожнее и презреннее, чем стойкое вещество подражания жизни? Никакое сердце никогда этому не поверит и с этим не согласится. Ибо долговечность мертва, и долговечно только мертвое. И если усердные ученики Птаха вставляют в глаза изваяний молнии, чтобы казалось, что эти глаза смотрят, то все равно изваяния не видят тебя, — лишь ты их видишь, — все равно они не отвечают тебе своим бытием, как некое «ты», которое есть некое «я» и подобно тебе. А трогательна только красота тех, кто подобен нам. Кому захочется положить руку на лоб истукану из мастерской

и поцеловать его в губы? Вот насколько сильней и глубже влечение к живому, пусть и недолговечному существу!.. Недолговечность! Почему ты говоришь мне о ней, Озарсиф, зачем увещаешь меня ссылками на нее? Разве для того обходят зал с мумией, чтобы дать знак закончить праздник, поскольку ничто не вечно? Нет, как раз наоборот! Ведь на лбу у нее написано: «Празднуй этот день!»

Хороший, поистине превосходный ответ, — то есть превосходный в своем роде, для беспамятства, которому подкупающим нарядом служит смысленность, сохраненная еще от прежней, здоровой поры. Иосиф только вздохнул и ничего не ответил. Он считал, что сделал все возможное, и решил не настаивать на глубинной, скрытой под внешней оболочкой мерзостности всего плотского — поняв, что беспамятство ею пренебрегает, а «душа и сердце» о ней и знать не хотят. У него были и другие заботы, кроме необходимости объяснить госпоже, что либо жизнь, как в случае изваяний, либо красота, как в случае тленного человеческого тела, непременно обманчива и что та правда, где жизнь и красота действительно надежны и неподдельно едины, принадлежит некоему другому укладу, к которому единственно и следует устремляться умом. Например, Иосифу стоило больших трудов отвергать подарки, которыми Мут-эмэнет теперь его осыпала, следуя той извечной и всегда живой тяге влюбленных, что коренится в чувстве зависимости от существа, ставшего для них богом, в инстинкте жертвоприношения, украшающего возвеличения, домогательства с подкупом. Но это не все. Любовный подарок служит и такой цели, как установление принадлежности, наложение запрета, он защищает избранное существо от всего остального охранным знаком кабальной зависимости, надевает на него ливрею недоступности для всех прочих. Если ты носишь мой дар, значит, ты мой. Наиболее предпочтительный любовный подарок — это кольцо: тот, кто его дарит, хорошо знает, чего он хочет, и тому, кто его принимает, тоже следует знать, чего от него хотят, и помнить, что любое кольцо является видимым звеном невидимой цепи. И якобы в благодарность за его заслуги и за то, что он посвятил ее в дела дома, Эни со смущенным видом подарила ему очень дорогое кольцо с резным жуком, а со временем и другие драгоценности, вроде золотых запястий, воротников с самоцветами и даже целых праздничных нарядов прекрасной выделки; вернее сказать, все это она хотела ему «подарить» и время от времени с невинными словами пыталась всучить. А он, почтительно приняв ту или иную вещь, отказывался от остального, сначала в нежных, просительных, а потом и в резких словах. И как раз благодаря этим резким словам ему открылось в его положении нечто знакомое.

Когда он, отклоняя навязываемое ему праздничное платье, довольно резко сказал ей: «Мне хватит моей одежды и моей рубахи», — он сразу узнал, какая у них идет игра. Нечаянно он ответил ей так же, как Гильгамеш, когда его, из-за его красоты, осаждала Иштар и просила: «Ну, что ж, Гильгамеш, стань супругом моим, подари мне плод свой», — просила, суля ему множество роскошных подарков в том случае, если он исполнит ее желанье. Такие узнавания в равной мере успокаивают и пугают. «Вот оно снова!» — говорит себе человек, ощущая основательность, мифическую оправданность, не просто действительность, а истинность того, что с ним происходит, — а это означает успокоение. Но он и ужасается, увидев себя лицедеем, вовлеченным в то зрелище, в тот маскарад, где разыгрывается такая-то и такая-то божественная история, и ему кажется, что все это сон, «Так, так, — думал Иосиф, глядя на бедную Мут. — По сути своей ты распутная дочь Ану, только ты, пожалуй, и сама этого не знаешь. Я буду бранить тебя, я припомню тебе многих твоих возлюбленных, которых ты погубила своей любовью, превратив одного в летучую мышь, другого в пеструю птицу, а третьего в дикого пса, так что его, пастуха стада, прогнали его собственные подпаски, а собаки рвали зубами его шерсть. Со мной случилось бы то же, что с ними, — велит мне сказать моя роль. Почему Гильгамеш это сказал, почему он обидел тебя, так что ты в гневе помчалась к Ану и уговорила его выпустить на строптивца огнедышащего небесного быка? Теперь я знаю почему, ибо в нем я вижу себя, а через себя понимаю его. Он сказал это от досады на твои повелительные ухаживания и обернулся перед тобой девой, защитив себя чистотой от твоих подарков и домогательств, Иштар бородатая...»

О ЧИСТОТЕ ИОСИФА

Покуда мы наблюдаем, как наш Иосиф, читатель камней, соединяет собственные мысли с мыслями своего предшественника, он произносит про себя слово, побуждающее нас приступить к некоему разбору, являющемуся одновременно неким подведением итогов, разбору, который мы, видя в том свой долг перед изящной словесностью, находим наиболее удобным вставить сейчас: слово это — «чистота». Понятие чистоты, целомудрия в ходе тысячелетий прочно слилось с образом Иосифа и дает классически постоянный эпитет к его имени: «целомудренный Иосиф», или даже, как символическое, родовое обозначение: «этакий Иосиф целомудренный» — вот формула милого жеманства, в которой память о нем все еще живет среди людей, отдаленных от его дней такими глубокими пропастями, и, задавшись целью точно и достоверно восстановить его историю, мы не вполне справились бы с этим делом, если бы в надлежащем месте не собрали рассеянных там и сям намеков на то, чем вызывалось и из чего складывалось знаменитое его целомудрие, намеков разнообразных и замысловатых, и не дали убедительного их обзора тому наблюдателю, который, из понятного сочувствия страданиям Мут-эм-энет, посетует на упрямство Иосифа.

Незачем говорить, что о целомудрии не может быть и речи там, где нет дееспособной свободы, то есть в случае номинальных полководцев и увечных служителей Солнца. Что Иосиф был неуцербленный, живой человек, — это предполагается само собой. Да мы и знаем, кстати, что в более зрелые годы он, при содействии царя, вступил в брак с египтянкой и что от этого брака у него было двое детей, два мальчика — Ефрем и Манассия (они еще появятся в свое время). Следовательно, в годы зрелости он уже не был целомудрен, целомудрен он был только в юности, идея которой особым образом сливалась у него с идеей целомудрия. Ясно, что девственность (ведь о ней можно говорить и применительно к молодым мужчинам) Иосиф сохранял только до тех пор, покуда утрата ее была отмечена печатью запретности, печатью искушения, падения. Позднее, когда эта печать с нее, так сказать, спала, он беззаботно утратил девственность, и следовательно, приведенный нами классический эпитет подходил к нему не всю его жизнь, а только временно.

Да не подумают также, что юношеское его целомудрие было целомудрием деревенщины, чурбана в делах любовных — то есть следствием неуклюжести, простоватости, с которой предприимчивый темперамент обычно и связывает представление о целомудрии. Предположение, будто в пикантной области беспокойный любимец Иакова был бесчувственным простофилей, не вяжется с той картиной, что первой, в самом начале, предстала нашему духовному взору, картиной, которую мы наблюдали тревожными глазами отца, когда семнадцатилетний Иосиф сидел у колодца и, охорашиваясь, заигрывал с прекрасной Луной. Знаменитое его целомудрие было отнюдь не следствием его обделенности, наоборот, оно основывалось на том, что мир и его, Иосифа, взаимоотношения с ним были пронизаны духом любви, на всевлюбленности, которая тем более заслуживала столь емкого наименования, что не останавливалась у границ земного, а каким-то привкусом, какой-то нежной примесью, какой-то неуловимой, скрытой подоплекой входила в любую, в том числе и в самую трепетную, самую священную сферу. И из того, что она туда входила, из этого-то и вытекало его целомудрие.

На ранних порах мы занимались явлением живой ревности бога в связи с теми недвусмысленно страстными преследованиями, которым, несмотря на успешное взаимоосвящение в союзе с человеческим духом, демон пустыни все еще подвергал объекты идолопоклонства и необузданных в своей пышности чувств, что на собственном опыте испытала Рахиль. Тогда мы заранее сказали: ее отпрыск, Иосиф, поймет, что бог есть бог живой, даже лучше и будет приноравливаться к этой истине податливей, чем Иаков, его целиком подвластный чувствам родитель. Так вот, целомудрие Иосифа было прежде всего выражением этого понимания, этой оглядки. Он, конечно, догадывался, что его страдания и его смерть — какие бы другие, дале-

кие цели с ними ни связывались — были карой за гордое чувство Иакова, это недопустимое подражание божественной избирательности, что они были величайшим актом ревности, направленным против бедного старика. В этом смысле наказание Иосифа относилось только к отцу и было не чем иным, как продолжением наказания Рахили, которую Иаков не переставал любить, — любить в сыне. Но ревность имеет двойной смысл и выразиться может двояко. Можно испытывать ревность к тому или иному лицу по той причине, что человек, на всю полноту чувства которого притязает, слишком равнодушен к нему; а можно ревновать это лицо по той причине, что ты сам остановил на нем свой выбор и не хочешь ни с кем делить его чувство. Третья возможность заключается в наличии и того и другого, а это-то и есть совершенная ревность, и, по существу, Иосиф был не так уж неправ, приписывая своему случаю именно совершенство. По его мнению, он был растерзан и похищен не только и даже не прежде всего для наказания Иакова — или, вернее, похищен с целью такого наказания главным образом потому, что он, Иосиф, сам был объектом сверхвластного избрания, могущественной алчности, ревнейшей облюбованности, — был им в том смысле, о котором Иаков, наверно, с тревогой догадывался, но который был весьма далек от его собственной, степенной и еще не доведенной до такого лукавства отцовской любви. Мы вполне отдаем себе отчет в том, что такая идея, что такая окраска отношений между творцом и его творением может показаться странной, даже оскорбительной и при нынешнем взгляде на вещи; ибо она так же несвойственна, как и степенному отцовскому разуму. Но она занимает свое место во времени и развитии, и, зная душу человеческую, можно не сомневаться, что многие дошедшие до нас плодотворные диалоги Того, на Кого Нельзя Глядеть (какое бы имя Он ни носил), с его учеником и любимцем, протекавшие под защитой облака, носили чрезвычайно пикантный характер, который иосифовскую точку зрения принципиально оправдывает, обуславливая ее справедливость разве что личным Его достоинством, о котором мы не станем судить.

«Я храню чистоту» — услышал однажды в саду Адониса маленький Вениамин из уст своего восторженно любимого брата, имевшего в виду и чистоту своего лица, то есть отсутствие бороды, которая разрушила бы особую красоту его семнадцати лет, и свое отношение к миру, заключавшееся и тогда и теперь в воздержанности, не имеющей ничего общего с бесчувственностью. Его воздержанность была не чем иным, как осторожностью, благочестием, религиозной деликатностью, в которых то ужасное насилие, когда были разорваны его венец и его покрывало, могло его только особенно утвердить; и надо сказать, что связанное с этой воздержанностью высокомерие совершенно лишало ее обездоленной мрачности. Речь идет не о печальном и тягостном умерщвлении плоти, в тощем образе которого целомудрие почти неизбежно видится ныне. Что существует веселое, даже шаловливое целомудрие, это и ныне в конечном счете придется признать; и если уж какая-то светлая и смелая духовность расположила Иосифа к такому целомудрию, то блаженство благочестивого невестинского самонамнения сделало решительно все, чтобы максимально облегчить ему то, что дается другим с великим трудом. В разговоре с почетной наложницей Ме-эн-Уазехт госпожа, сетуя, упомянула о насмешливости, которая почудилась ей в глазах молодого управляющего, о насмешке над печальными узами страсти, этого позорного для занемогшей недуга. То было довольно верное наблюдение; действительно, из трех зверей, охранявших, по сведениям Иосифа, сад птичницы, «Стыда». «Вины» и «Глумливого Смеха», последний был ему наиболее знаком — но не как пострадавшему, не как жертве этого зверя, что, собственно, и имелось в виду, нет, глумился и смеялся он сам, Иосиф, и ничего, кроме смеха, не находили в его глазах женщины, глядевшие на него с крыш и со стен. Такое отношение к сфере влюбленного сладострастия бесспорно встречается; оно создается сознанием высшей связанности, избранности в любви. А если кто сочтет нечеловечным, преступно-заносчивым видеть чужую страсть в смешном свете, то пусть он знает, что наша повесть приближается к тому часу, когда Иосифу стало совсем не до смеха, и что вторая катастрофа его жизни, новая его гибель, была вызвана именно той силой, которой он, по юношеской своей гордыне, считал ненужным отдавать дань.

Такова была первая причина отказа Иосифа утолить страсть жены Потифара: он был обречен с богом, он проявлял мудрую деликатность, он помнил о той особой боли, которую причиняет предательство одиноким. Второй мотив был тесно связан с первым, он был только его отражением, его, так сказать, повторением в земной, в житейской форме: это была верность, закрепленная союзом с ушедшим на запад Монт-кау, верность Потифару, нежному господину, самому высокому в ближайшем кругу.

Отождествление, озорное смешение безотносительно высшего со сравнительно, то есть для данного места, самым высоким, происходившее в голове Аврамова отпрыска, несомненно, покажется ныне нелепым и даже грубым. Тем не менее с ним придется примириться, чтобы понять, что делалось в этой ранней (хотя, с другой стороны, и поздней) голове, которая предавалась своим мыслям с таким же рассудительным достоинством и спокойствием, с такой же естественностью, как мы своим. А тучный, но благородный сановник Солнца и меланхолично себялюбивый названный супруг Мут представлялся мечтательной этой голове низким соответствием, телесным повторением неженатого и бездетного, одинокого и ревнивого бога отцов, и хранить ему, Потифару, бережную человеческую верность Иосиф, в силу этого ребяческого смешения и не без соответствующих корыстных мыслей, собирался самым решительным образом. Если прибавить к этому священный обет, который он дал Монт-кау в смертный его час, — изо всех сил поддерживать и никогда не посрамлять нежное достоинство господина, — то станет еще понятнее, что почти уже не умалчиваемые желания бедной Мут должны были показаться ему змеиным искушением изведать добро и зло и повторить глупость Адама... Это было второе.

В качестве третьего достаточно сказать, что пробужденная его мужественность не желала превращаться в пассивную женственность под натиском мужских домогательств госпожи, что она хотела быть не целью, а стрелой страсти, — и все станет ясно. И тут сразу же напрашивается четвертое, так как оно тоже касается гордости, только гордости духовной.

Иосифа страшило то, что олицетворяла в его глазах египтянка Мут и с чем он, гордясь наследственной заповедью чистоты, остерегался смешать свою кровь: старость страны, куда его продали, длительность, которая без обетования, в беспутной неизменности, глядела в дикое, мертвое, ничего не сулящее будущее, делая вид, что сейчас она поднимет лапу и прижмет к груди задумчиво стоящего перед ней сына обета, чтобы он назвал ей свое имя, какого бы пола она ни была. Ибо безнадежная дряхлость была одновременно похотью, жадной до молодой крови, а тем более молодой не только годами, но особенно своей избранностью для будущего. Об этом преимуществе Иосиф, в сущности, никогда не забывал, с тех пор как он, никто и ничто, жалкий мальчишка-раб, прибыл в Египет, и при всей своей прирожденной открытости миру, проявленной им среди детей ила, у которых он положил себе далеко пойти, Иосиф всегда сохранял некую отчужденность, некую сокровенную сдержанность, прекрасно зная, что, по существу, он не должен быть запанибрата с запретным укладом, и прекрасно в общем-то чувствуя, какого он духа дитя и какого отца сын.

Отец! Это было пятое — если не первое, если не самое главное. Он не знал, убитый старик, по печальной привычке считавший свое дитя укрытым смертью, — он не знал, где оно жило и здравствовало, одетое в совершенно чужое платье. Узнай он это, — он упал бы замертво и окоченел от горя — в этом можно было не сомневаться. Думая о третьей из трех стадий, — отрешение, возвышение и в конце концов переселение и продолжение рода, — Иосиф никогда не скрывал от себя, какое тут придется преодолеть противодействие со стороны Иакова; он знал патетическое предубеждение этого исполненного достоинства старца против «Мицраима», его отчески-детское отвращение к земле Агари, к дурацкой земле Египетской. Добрый старик совершенно неверно толковал название «Кеме», производя его, хотя оно относилось к плодородному чернозему, от надругавшегося над своим же отцом бесстыдника Хама, да и вообще держался самых преувеличенных суждений об ужасной глупости детей Египта в делах нравственных, суждений, которые Иосиф всегда подозревал в односторонности и над

которыми, оказавшись в Египте, посмеивался как над сказкой; сладострастие этих детей было ничем не хуже сладострастия прочих смертных, да и откуда взялся бы у этих стонущих от оброков роботов-земледельцев, у этих понукаемых надсмотрщиками водочерпиев, которых Иосиф знал вот уже девять лет, — откуда взялся бы у них задор пуститься во все содомские тяжкие? Короче говоря, старик торжественно заблуждался насчет поведения жителей Египта, воображая, будто они живут так, что способны растлить и сыновей бога.

Однако Иосиф отнюдь не закрывал глаза на ту долю справедливости, что была в нравственном отмежевании отца от страны безобразников, поклоняющихся животным и мертвецам, и на память ему теперь не раз приходили те благочестиво-резкие слова, в каких этот озабоченный старик рассказывал ему о людях, которые при желании расстилают свои постели у постелей соседей и меняются женами, о женщинах, которые, увидав на рынке юношу, вызывающего у них вожделение, немедленно ложатся с ним без всякого понятия о грехе. Сфера, откуда черпал эти сомнительные картины отец, была известна Иосифу: это была сфера Канаана и ужасных неистовств тамошнего культа, противного божественному разуму, сфера молеховского беспутства, пеня с пляской, бесчестья и авласавлалакавлы, где, подавая пример и подражая идолам плодородия, люди блудили в праздничном свальном буйстве. Иосиф, сын Иакова, не хотел блудить по примеру баалов, и это была пятая из семи причин его воздержания. Шестая не заставит себя ждать; только сочувствия ради следует все-таки попутно отметить печальную судьбу, постигшую любовный порыв бедной Мут. Какой, право, нужно быть злосчастной, чтобы тот, с кем она связала позднюю свою надежду, увидел эту надежду в таком превратном, таком мифическом свете и из-за своего отца услышал в зове нежности такие искусительные, такие беспутные призывы, каких в нем почти и вовсе не было; ибо страсть Эни к Иосифу имела мало общего с бааловской глупостью и с авласавлалакавлой, она была глубокой и честной тоской по его красоте и молодости, искреннейшим желанием, она была так же пристойна и непристойна, как всякая страсть, и распутна не более, чем распутна любовь. Если она позднее выродилась и обезумела, то виною тому семикратно обусловленная сдержанность, с которой она столкнулась. Судьбе было угодно, чтобы решающим для любви Эни оказалось не то, чем эта любовь являлась, а то, что она означала для Иосифа, а это и было шестое — «союз с Шеолом».

Это нужно верно понять. Духовное отношение Иосифа к случаю, когда ему хотелось вести себя умно и осторожно, не давая себе поблажек и ничем себе не вредя, определялось не только искусительно-враждебным понятием бааловской околесицы, понятием канаанским; к этой идее, значительно осложняя ее, присоединялось нечто специфически египетское, а именно — благоговение перед смертью и мертвецами, которое было, однако, не чем иным, как здешней формой бааловского блуда и носительницей которого, к несчастью для Мут, ему казалась помогающая любви госпожа. Трудно представить себе, как много значило для Иосифа древнее предостережение, изначальное «нет», тяготевшее над смешанным понятием смерти и распутства, над идеей союза с преисподней и с жителями преисподней: преступить этот запрет, «согрешить» против него, ошибиться в этом зловещем вопросе значило и в самом деле все погубить. Мы, посвященные и тесно связанные с тем, о чем говорим, хотим заставить вас, далеких, мыслить, как он, хотя такой образ мыслей, как и те серьезные препятствия, которые он создавал Иосифу, наверно, покажется более позднему разуму довольно причудливым. И все-таки это сам разум, добытый отцами разум, противился сейчас бесстыдному неразумию. Не то чтобы Иосиф был совершенно чужд неразумию; тревога, снедавшая дома бедного старика, беспочвенна не была. Но разве не нужно знать толк в грехе, чтобы быть способным на грех? Чтобы согрешить, нужно обладать умом; по существу, ум и дух — это не что иное, как понимание греха.

Бог отцов Иосифа был духовным богом, по крайней мере по той цели своего становления, ради которой он заключил союз с человеком; и, соединив свою волю к освящению с человеческой волей, он никогда не имел дела ни с преисподней, ни со смертью, ни с каким-либо

безрассудством, гнездящимся в темной области плодородия. Благодаря человеку он понял, что все это ему отвратительно, а человек, в свою очередь, понял это благодаря ему. Прощаясь на ночь с умирающим Монт-кау, Иосиф делал успокоительную уступку последним его тревогам и утешительно расписывал ему, что будет после этой жизни и как они снова встретятся, чтобы уже никогда не разлучаться, потому что они связаны историями. Но это было дружеской поблажкой тревоге Монт-кау, милосердным вольнодумством, с которым он на миг поступился истинным своим долгом, — тем решительным отказом от каких бы то ни было заглядываний в потустороннее, посредством которого его отцы и их освящавший себя в них бог резко отмежевались от соседних богов-мертвецов, коченеющих в храмах своих могил. Ибо только путем сравнения можно определить себя и узнать, кто ты, чтобы вполне стать тем, кем тебе положено быть. Таким образом, прославленная чистота Иосифа, будущего отца и супруга, вовсе не была принципиально нетерпимым отрицанием сферы любви и деторождения, которое, кстати, никак не вязалось бы с полученным праотцем обетованием, что его семя умножится, как песок на берегу моря; она была лишь наследственным велением его крови — хранить в этой сфере божественный разум и отстранять от нее рогатую глупость, авласавлалакавлу, составлявшую для него неразрывное психологическое единство с мертвопоклонством. И беда Мут была в том, что в ее домогательстве он усмотрел искушение этим сплавом разврата и смерти, искушение Шеола, поддаться которому значило бы всегубительно обнажиться.

Вот она, седьмая и последняя причина, — последняя и в том смысле, что она включала в себя все остальные, сводившиеся, по сути, к этому страху, — имя ей «обнажение». Мотив этот уже прозвучал, когда Мут пыталась сбросить с беседы фиговый листок делового повода, но сейчас мы вернемся к нему, чтобы увидеть торжественное многообразие его ассоциаций и его далеко идущие следствия.

Странная вещь происходит со смыслом слова, с его значением, когда оно разнообразно преломляется в уме, подобно тому как свет, проходя сквозь облако, разлагается на все цвета радуги. Ведь достаточно одному из этих преломлений связаться со злом, стать проклятием, чтобы такое слово приобрело дурную славу в любом своем значении, сделалось мерзким в любом своем смысле и обозначало только какую-нибудь мерзость, уже осужденное обозначать всякие мерзости. С таким же правом можно хулить невинную ясность небесного света на том основании, что в него входит злосчастный красный цвет, цвет пустыни, цвет северной звезды. Первоначально понятие наготы и обнажения было вполне невинным и светлым, никакой краснотой, никакой хулой тут и не пахло. Но после проклятой истории с Ноем в шатре, истории с Хамом и скверным сыном его Кенааном, оно, так сказать, навсегда пошатнулось, и, став в этом своем преломлении красным и подозрительным, покраснело и само по себе: больше оно уже вообще никуда не годилось, кроме как для обозначения всякой мерзости, тем более что все мерзкое, или почти все, само требовало этого имени и в нем себя узнавало. По тому, как вел себя тогда у колодца озабоченный Иаков, — с тех пор прошло уже без малого девять лет, — когда он строго отчитал сына за наготу, которой тот хотел ответить прекрасной Луне, — по тогдашней его тревоге вполне можно было судить о скверном помрачении такого по существу своему веселого понятия, как оголившийся у колодца мальчик. Обнажение в простом и прямом физическом смысле слова было поначалу так же невинно и нейтрально, как солнечный свет; это понятие покраснело лишь в переносном значении, обозначая бааловское беспутство и смертельно греховное созерцание близкого родственника. Но краснота переносного значения перешла на невинно-прямое, сделав его в силу этого взаимодействия значений настолько красным, что оно стало служить синонимом всякого кровного греха — и действительно совершенного, и совершенного лишь взглядом или желанием, так что «обнажением» в конце концов стали называть все запретное в области чувственности и плотского совокупления, но особенно — причем опять-таки, наверно, в память о надругательстве над Ноем — сыновнюю нескромность по отношению к отцу. А тут следовало уже новое отождествление, новое переосмысление названий, и главной идеей становился уже рувимовский проступок, то

есть осквернение сыном отцовского ложа, а все недозволенное, будь то взгляд, желание или действие, ощущалось уже как надругательство над отцом и даже так и называлось.

Вот как представлялось дело Иосифу, и с этим нужно считаться. То, на что подбивал его сфинкс страны мертвецов, виделось ему обнажением собственного отца, — и разве нельзя понять Иосифа, если подумать, каким злом казалась бедному старику Страна Ила и как ужаснулся бы он и встревожился, если б узнал, что дитя его не только не укрыто навеки, но подвергается подобному искушению? На глазах отца, которые, как чувствовал Иосиф, были к нему прикованы, карие, озабоченные, с натруженными прожилками под нижними веками, на его глазах совершить обнажение, забыться, как забылся Рувим, лишенный благословения за свое буйство? С тех пор благословение отошло к Иосифу, так неужели же он, Иосиф, должен был буйно его промотать, пошутив с этим двусмысленным зверем, как некогда с Валлой Рувим? Кто удивится, что внутренний его ответ на этот вопрос был «ни за что!»? Кто, повторяем мы, удивился бы этому, учитывая, как сложна, как богата отождествлениями была для Иосифа мысль об отце, а следовательно, и об оскорблении отца? Даже самому резвому, самому податливому в любовных делах человеку — покажется ли даже ему сказочной чья-либо «чистота», если она состояла в продиктованном простейшей набожностью решение избежать самой грубой, самой опасной для будущего ошибки из всех возможных?..

Таковы были семь причин, по которым Иосиф не хотел, ни за что не хотел последовать зову крови своей госпожи. Собрав их воедино, перечислив и установив важность каждой, мы оглядываем их с известным удовлетворением, каковое, впрочем, если иметь в виду тот час праздника, который мы в настоящее время справляем, совсем неуместно, так как покамест Иосиф еще отнюдь не преодолел искушения, и когда наша история впервые рассказывала себя самое, в этот час было еще очень неясно, выйдет ли он сухим из воды. Он отделался сравнительно еще дешево, так сказать, синяками, — мы это знаем. Но почему он отважился так далеко зайти? Почему не слушался он стрекочущих предостережений чистого своего друга, который уже видел зиявшую перед ним яму, почему водил дружбу с фаллическим коротышкой, который, как сводник, вытряхивал обольстительные слова из уголка своего кошелька? Одним словом, почему он при всем при том не избегал госпожи, а довел дело до того, до чего оно у них, как известно, дошло?.. Да, это было заигрыванье с миром и сочувственное любопытство к запретному; это была, кроме того, известная увлеченность мыслью о своем посмертном имени и о божественном состоянии, которое он в себе усматривал; была тут и доля самоуверенного озорства, убежденность, что, играя с огнем, он успеет отпрянуть, когда придет нужда; была тут, как оборотная, но более похвальная сторона этого, требовательность к себе, честолюбивое желание поставить себя в трудные условия, не давать себе ни малейшей поблажки, чтобы с тем большей честью выдержать испытание, показать высший класс добродетели и быть дороже, чем после более легкой, более осторожной проверки, духу отца... А может быть, это было и тайное знание своего пути и его извилин, догадка, что этот путь должен опять завершить малый свой оборот, а он, Иосиф, должен еще раз угодить в неизбежную яму, чтобы исполнилось то, что предопределено в книге замыслов.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ. ЯМА

ЗАПИСОЧКИ

Мы видим и сказали, что на третьем году своей одержимости, то есть на десятом пребывания Иосифа в доме царедворца, жена Потифара стала, и притом все неистовей, предлагать сыну Иакова свою любовь. В сущности, разница между «выказывать» второго года и «предлагать» третьего не так уж и велика; «выказывать», собственно, уже содержало в себе «предлагать», граница между тем и другим зыбка. Но она все-таки имеется, и чтобы перешаг-

нуть ее, перейти от простого поклонения и жадных взглядов, которые, правда, тоже означали уже домогательство, к прямому призыву, Эни должна была сделать над собой почти такое же большое усилие, какое потребовалось бы ей, чтобы превозмочь свою слабость и перестать вожделеть к рабу, — но все-таки, видно, немного меньшее; ибо иначе она, несомненно, предпочла бы сделать над собой усилие второго рода.

Она этого не сделала; вместо того чтобы превозмочь свою любовь, она превозмогла свою гордость, свой стыд, что было довольно-таки тяжело, но все же легче, — чуточку легче хотя бы уже потому, что в этом случае она была не так одинока, как была бы, если бы попыталась преодолеть свою страсть; тут она нашла поддержку у чадородного карлика Дуду, который сновал между нею и сыном Иакова и с великим достоинством, ибо мнил себя первым и единственным исполнителем этой роли, играл коварного наперсника, советчика и гонца, изо всех сил раздувая пламя и там и здесь. Что налицо в общем-то два пламени, а не одно, что педагогический план, которым Иосиф пытался объяснить себе, почему он не избегает госпожи, а почти ежедневно является к ней — чистейшая чепуха, так как на самом деле, зная о том или нет, он давно уже находился в божественном состоянии прорыва пелен, — это Дуду понимал. Конечно, не хуже, чем трепетавший от страха маленький Боголюб; ибо в этой области проницательность и осведомленность Дуду не только не уступала проницательности и осведомленности его сокарлика, но и превосходила их.

— Управляющий, — говорил он на одном конце своей дороги, — до сих пор ты умел добиваться счастья, это должна признать и зависть, которая мне, кстати, неведома. Ты поднялся выше тех, кто был над тобой, несмотря на свое скромное, хоть и несомненно порядочное происхождение. Ты спишь в Особом Покое Доверия и получаешь жалованье, которое некогда получал Усир Монт-кау — зерном и хлебами, пивом, гусями, холстами. Ты не в состоянии все это потребить и сбываешь свое добро на рынке, ты умножаешь свое богатство и слынешь человеком зажиточным. Но как нажито, так и прожито, как заработано, так и промотано — вот что иной раз случается, если человек не бережет своего счастья, не укрепляет его, не подводит под него незыблемых оснований, чтобы оно было таким же вековечным, как храм смерти. Часто бывает, что для увенчания счастья, для его полноты и вечной его нерушимости недостает всего-навсего какой-нибудь мелочи, и человеку достаточно протянуть руку, чтобы ее схватить. Но то ли из страха и нерешительности, то ли по небрежности или даже из чванства, глупец вместо этого прячет руку за пазуху и упрямо не высовывает ее оттуда, чтобы схватить последнее свое счастье, которым он так беззаботно пренебрегает. И каков же итог? А печальный итог тот, что все его счастье, вся его прибыль идут прахом и сравниваются с землей, так что от них и следа не остается из-за его надменности. Ибо она поссорила его с силами, которые хотели содействовать его счастью и увенчать это счастье благой своей милостью, дабы оно было вечным, но которым его пренебрежение настолько обидно, что они бушуют, как море, и взоры их мечут пламя, а сердце их, словно горы Востока, поднимает песчаную бурю; и теперь они не только отворачиваются от счастья глупца, но яростно противятся этому счастью и начисто его разрушают, что не стоит им никакого труда. Ты, я не сомневаюсь, понимаешь, сколь сильно заботит меня, как человека благородного, твое счастье, — не только твое, разумеется, но в такой же мере и особы, на которую мои слова, смею надеяться, недвусмысленно намекают. Но в общем-то это одно и то же: ее счастье — это твое счастье, а твое счастье — это ее счастье; такое слияние давно уже стало чудесной правдой, и дело идет теперь только о том, чтобы сладостно совершить его в действительности. Стоит лишь мне подумать и представить себе, каким наслаждением будет для тебя это слияние, — и у меня, даже у меня, а я человек дюжий, — кружится голова. Я не говорю о наслаждении плотском — во-первых, из целомудрия, а во-вторых, потому, что само собой разумеется, сколь велико оно будет при шелковистой коже и дивном сложении той, кого мы имеем в виду. Нет, я говорю о наслаждении души, которое безмерно усилит плотское наслаждение и возникнет от сознания, что ты, человек безусловно почтенного, но все-таки весьма скромного и притом чужеземного происхождения,

заклучил в свои объятия прекраснейшую и благороднейшую женщину обеих стран и сумел исторгнуть у нее стоны блаженства, словно бы в знак того, что ты, сын горемычных песков, покоришь землю Египетскую, которая под тобой стонет. И чем же ты платишь за это двойное блаженство, где одно придает другому такую неслыханную остроту? Ты за него вообще-ничего не платишь, ибо тебя вдобавок еще и награждают — награждают незабываемым увековечением твоего счастья, — и ты становишься воистину господином, воистину повелителем этого дома. Ибо кто обладает госпожой, — сказал Дуду, — тот истинный господин.

И он поднял ручки, как перед Потифаром, и послал воздушный поцелуй под ноги Иосифу, показывая, что уже заранее целует землю, по которой тот ходит.

Эту наглую и гнусную речь сводника Иосиф выслушал с отвращением, но все-таки он ее выслушал, и поэтому ему было, в сущности, не к лицу то высокомерие, с каким он ответил Дуду:

— Я был бы тебе признателен, карлик, если бы ты не давал воли языку и самочинно не излагал мне своих замечательных мыслей, которые не относятся к делу, а исполнял свои обязанности гонца и осведомителя. Если ты хочешь что-либо сообщить или передать мне по высшему поручению, сделай это. А нет — так я был бы признателен тебе, если бы ты удалился.

— Я бы нарушил наш договор, — возразил Дуду, — если бы удалился преждевременно, не выполнив поручения. Ибо я должен тебе кое-что передать и вручить. А немного украсить и пояснить послание собственными словами высокому гонцу и осведомителю, надеюсь, позволено.

— Что же это? — спросил Иосиф.

И тогда гном подал ему что-то, полоску папируса, продолговатую, очень узкую, на которой Мут, госпожа, намалевала несколько слов...

Ибо еще раньше, на другом конце своей дороги, этот хитрец говорил так:

— Заглядывая в твою душу, великая госпожа, твой преданнейший слуга (я имею в виду себя) сетует на медлительность, с какой движутся и продвигаются наши дела, ибо идут они мешкотно и с заминками. А это язвит сердце названного слуги досадной печалью о тебе, госпожа, ибо от этого может пострадать твоя красота. Не то чтобы она, на мой взгляд, уже пострадала — о нет, боги свидетели, она пышно цветет, устоять перед ней поистине невозможно, так что, даже став значительно меньше, она все равно осталась бы ослепительнейшей обычной человеческой красоты. На этот счет все в порядке! Но если не твоя красота, то твоя честь — а тем самым и моя честь — страдает при нынешних обстоятельствах, а проще сказать — оттого, что ты с этим молодым управляющим, который называет себя Узарсифом, но которого я назвал бы «Нефернефру», ибо он, конечно же, «прекраснейший из прекрасных»... Тебе нравится это имя, не правда ли? Я придумал его для твоего пользования, — вернее, не придумал, а подслушал и намотал на ус, чтобы отдать его в твое распоряжение; ибо оно в большом ходу и в доме и на дорогах, будь то на суше или на воде, и в городе, — да, так обычно называют этого юношу и женщины, толпящиеся на крышах и стенах, те самые, против поведения которых ничего мало-мальски существенно покамест не удалось предпринять... Продолжу, однако, хорошо продуманную свою речь! Итак, твой преданный раб казнится тревогой о твоей чести, видя, как медленно приближаешься ты с этим Нефернефру к намеченной цели, которая, как известно, состоит в том, чтобы разгадать тайну его волшебства, добиться его падения и заставить его назвать тебе свое имя. Правда, я добился того, чтобы ты и он, госпожа и раб, приближались друг к другу уже без охраны в виде писцов и горничных и беседовали непринужденно, без докучливых церемоний, с глазу на глаз, где ни случится. Это улучшает наши виды, то есть виды на то, что в один тихий и сладостный час он наконец назовет тебе свое имя и ты изнеможешь от ликования, восторжествовав над ним, негодяем, и надо всеми, кого сводят с ума его рот и его глаза. Ибо на его рот ты наложишь такую печать, что все его обворожительные речи сразу умолкнут, а

его колдовские глаза помутятся от блаженства нанесенного ему тобой поражения. Но беда в том, что этот мальчик не хочет, чтобы ты его победила, не хочет пасть благодаря тебе, его госпоже, а это уже, на мой взгляд, просто мятеж, и такую стыдливость Дуду не побоятся назвать бесстыдством. И правда! И в самом деле! Ты хочешь его победить и призываешь его к поражению, ты, дитя Амуна, цветок Южного Гарема, а он, хабирский аму, раб-чужеземец и сын отсталости, он еще упрямится, он еще не хочет того, чего хочешь ты, и прячется от тебя за какими-то дурацкими хозяйственными расчетами? Этого терпеть нельзя. Это бунтарство, это наглое неповиновение богов Азии, данников Амуна, своему владыке в его капище. Вот как изменила напасть нашего дома свое лицо и свой смысл, состоявший первоначально лишь в возвышении этого раба в доме. Теперь она превратилась в открытый мятеж богов Азии, которые отказываются платить Амуну причитающуюся ему дань поражением этого юноши и твоей, дочери Амуна, победой. До этого и должно было дойти дело. Я об этом заранее предупреждал. Но и с тебя, великая госпожа, если быть справедливым, тоже нельзя снять долю вины в том, что дело это так ужасно застряло на месте. Ведь ты же не продвигаешь его, по девичьей своей деликатности ты позволяешь этому юноше дурачить Амуна, царя богов, всякими увертками и отговорками и сопротивляться его воле из месяца в месяц. И это ужасно. Но объясняется это именно девичьей твоей стыдливостью, недостатком настойчивости и зрелого опыта в подобных делах. Прости твоему надежному слуге это замечание, но откуда тебе и в самом деле взять опыт, которого у тебя нет? Ты должна, не обвиняясь, приказать этому упрямцу явиться и прямо-таки потребовать от него дани и поражения, чтобы он не смог увильнуть. Если девичий стыд мешает тебе сделать это устно, то на свете существует письменность, существуют записочки, которые он, хочет или не хочет, поймет, прочитав, — такого, например, содержания: «Хочешь победить меня сегодня в игре в шашки? Давай поиграем вдвоем!» Такие послания называются записочками, и при всей своей девичьей иносказательности они совершенно ясны. Вели мне подать тебе письменные принадлежности, и ты напишешь то, что я советую написать, а я доставлю твою записку ему и наконец-то ускорю дело во славу Амуна!

Вот как говорил там Дуду, проворный карлик. И действительно, потеряв голову и по-девичьи подчинившись авторитету сведущего в этих делах человека, Эни, по его указанию, написала записку, так что теперь, прочитав ее, Иосиф не смог скрыть залившей его лицо краски Атума и, досадуя на этот рефлекс, весьма нелюбезно, без благодарности, прогнал прочь своего письмоносца. Но, несмотря на испуганное стрекотанье, которым другие убеждали Иосифа не принимать этого опасного вызова, он принял его и, играя в шашки вдвоем с госпожой в зале с колоннами, под изваянием Ра-Горахте, один раз загнал ее в «угол», а один раз дал ей загнать в «угол» себя, так что победа и поражение взаимно уничтожились, а итог встречи выразился нулем — к разочарованию Дуду, который увидел, что дело так и не сдвинулось с места.

Поэтому он, не жалея себя, потрудился опять и добился возможности еще раз бросить Иосифу из угла своего кошелья:

- Я должен тебе кое-что передать по особому поручению.
- Что же это? — спросил Иосиф.

И тогда-то карлик протянул ему узкую записку, о которой можно сказать, что она продвинула дело одним ужасным толчком, ибо слово, названное нами словом неведения — названное так потому, что оно не было словом уличной девки, а было словом одержимой — это слово стояло там в чистом и недвусмысленном виде — измененное, впрочем, так, как изменяется на письме все на свете, особенно если это письмо египетское, которым, естественно, пользовалась писавшая и в котором, благодаря затейливой убористости его немых обозначений гласных и повсеместно вкрапленным рисункам, обозначающим класс коротких, как согласные, звуков, всегда есть что-то от волшебного ребуса, от витиеватого полуумолчания, от хитроумного логогрифического маскарада, так что оно как бы и в самом деле создано для любовных записок, и самые откровенные вещи приобретают в нем какое-то замысловатое изящество. Решающим местом послания Мут-эм-энет, его, мы бы сказали, солью, были три

иероглифа; им предшествовало несколько других, столь же красивых, а дальше, после этих трех, следовал бегло набросанный контур львиноголовой кровати, на которой лежала мумия. Ребус значил «лежать» или «спать». Ибо на языке Кеме это только одно слово; «лежать» и «спать» — это на письме Кеме одно и то же; а вся строчка узкой этой записки, подписанной рисунком коршуна, что означало «Мут», говорила совершенно ясно и прямо: «Приди поспать со мной».

Какой документ! Бесценный, достойный уважения, трогательный, хотя и сомнительный, хотя и недобрый, зловещий. Вот оно, в первоначальной своей форме, в подлиннике, в том виде, какой придал ему язык Египта, вот оно перед нами, то слово призыва, которое, согласно преданию, обратила к Иосифу жена Потифара, — обратила сперва в этом письменном облике, обратила под влиянием Дуду, чадородного карлика, по наущению его рта-кошеля. Но если даже мы взволнованы видом этого слова, то как потрясло оно Иосифа, когда он его разобрал! Бледный, испуганный, он сжал листок в кулаке и прогнал Дуду повернутой рукояткой вперед мухогонок. Но письмо, но сладостное требование, но жадный и заманчивый зов любящей госпожи — письмо это осталось у него, и хотя Иосиф едва ли мог честно ему удивиться, он был настолько ошеломлен, настолько взбудоражен, что, увлекшись текущим часом нашего праздника и не зная исхода этой истории, впору было бы опасаться за стойкость семи противодействующих причин, перечисленных выше. А Иосиф, с которым эта история происходила, когда впервые рассказывала себя самое, он и в самом деле целиком жил текущим часом праздника, ибо никак не мог заглянуть в дальнейшее и ни в коем случае не должен был знать исхода. В том месте, где мы находимся, эта история была на распутье, и в миг, который ее решил, никто не мог поручиться за то, что семь причин и вправду не будут посрамлены и что Иосиф не впадет в грех, — тогда бабушка еще надвое гадала. Спору нет, Иосиф был полон решимости не совершать этой великой ошибки и ни за что не ссориться с богом. Но сморчок Боголюб был прав, усмотрев в том, что его друг наслаждается предоставленной ему свободой выбора между добром и злом, что-то подобное наслаждению самим злом, а не только свободой сотворить зло; а такая неосознанная склонность ко злу, понимаемая лишь как удовольствие по поводу свободы выбора, включает в себя прежде всего другую склонность — закрывать глаза на зло и даже, в некоем помрачении рассудка, предполагать в нем добро. Бог относился к Иосифу так чудесно, — да настроен ли он вообще отказывать ему в этой гордой, в этой сладостной радости, которая представилась юноше, которую он сам, может быть, и предоставил ему? А вдруг эта радость — предусмотренное средство того возвышения, ожиданием которого жил похищенный мальчик, возвышения, которое, благодаря его успехам в доме, настолько продвинулось, что теперь госпожа обратила на него взоры и жаждет назвать ему вместе со своим сладостным именем имя земли Египетской, сделать его, так сказать, властителем мира? Какой юноша, которому дарит себя любимая, не возомнит себя властителем мира? А разве не именно это, не господство над миром, готовил Иосифу бог?

Вот каким соблазнам был подвержен его к тому же не совсем уже ясный рассудок. Добро и зло вполне готовы были смешаться в его сознании; бывали мгновения, когда его соблазняло истолковать зло как добро, и хотя иероглиф после «лежать» показывал Иосифу, из какого царства шло это искушение и что поддаться ему значило нанести непростительную обиду тому, кто был не мертвым, как мумия, богом ничего не сулящей вечности, а богом будущего, — тем не менее у Иосифа были все основания не доверять силе семи причин и ходу будущих часов праздника и не обращать внимания на маленького своего друга, который шепотом заклинал его не ходить к госпоже, не принимать больше записок у злого куманька и бояться огненного быка, чье дыханье с минуты на минуту испепелит прекрасную ниву. Бесспорно, это было легче сказать, чем сделать, — избегать госпожи, ибо она была госпожа, и если она звала его, он обязан был явиться на зов. Но как радуется человек самой возможности выбрать зло, как упивается он своей свободой выбора, как любит играть с огнем. Он играет с ним не то из самоуверенной храбрости, дерзающей схватить этого быка за рога, не то из легкомыслия и ради тайного удовольствия, — кто разберет!

БОЛЬНОЙ ЯЗЫК (ИГРА И ПРОИГРЫШ)

Настала ночь на третьем году, когда Мут-эм-энет, жена Потифара, прикусила себе язык, потому что ей неудержимо хотелось сказать молодому управляющему почетного своего супруга то самое, что она уже написала ему в виде ребуса, а в то же время, из гордости и стыда, она запрещала своему языку так говорить с ним и предлагать этому рабу свою кровь, чтобы он успокоил ее. Такое уж противоречие заключала в себе ее роль госпожи, что, с одной стороны, ей было страшно так говорить с ним и предложить ему свою плоть и кровь в обмен на его плоть и его кровь, а с другой стороны, ей положено было это сделать как по-мужски домогающейся и, так сказать, бородатой стороне в любви. Поэтому она ночью прикусила себе язык сверху и снизу, так что почти даже прокусила его, и на следующий день, из-за болезненной этой помехи, лепетала, как малое дитя.

В течение нескольких дней после передачи записки она не хотела видеть Иосифа и не показывалась ему на глаза, потому что боялась взглянуть ему в глаза после того, как письменно потребовала его поражения. Но именно лишив себя его близости, она созрела для того, чтобы собственными устами сказать ему то, что было уже сказано волшебными знаками; потребность видеть его рядом с собой обернулась потребностью сказать ему те слова, которых он, раб в любви, не смел говорить, так что узнать, выражают ли они его заветные мысли, она, госпожа, могла не иначе, как сама сказав ему эти слова и предложив свою плоть и свою кровь в страстной надежде, что это соответствует сокровенным его желаниям и что она выскажет его мысли. Ее роль госпожи обрекала ее на бесстыдство; но за него она ночью заранее себя наказала, прикусивши язык, так что теперь она могла все-таки высказаться, насколько это позволяло ее наказание, то есть лепеча, как ребенок, что было даже удобно, ибо придавало предельно откровенным словам какую-то беспомощность и невинность, делая грубое неожиданно трогательным.

Вызвав через Дуду Иосифа для хозяйственной беседы и последующей игры в шашки, она приняла его в салоне Атума среди дня, когда управляющий закончил службу чтеца в Потифаровом зале, через час после трапезы. Она вышла к нему из комнаты, где спала, и когда она подошла к нему, он, пожалуй, впервые, или впервые сознательно, сделал то наблюденье, которое и мы приберегли для этого часа, — а именно — что она очень изменилась за время своей одержимости, а значит, как естественно заключить, из-за нее.

Это была своеобразная перемена, определяя и описывая которую рискуешь поразить читателя и остаться непонятым и которая дала Иосифу, когда он заметил ее, много пищи для удивления и для углубленных раздумий. Ведь жизнь глубока не только в духе, о нет, и в плоти тоже. Не то чтобы Мут постарела за это время; этому не дала случиться любовь. Стала ли она красивее? И да и нет. Скорее — нет. Даже определенно нет, — если понимать красоту как некое счастливое совершенство, вызывающее чистое восхищенье, как великолепный образ, заключить который в объятья значило бы, наверно, изведать небесное счастье, но который совсем не располагает к этому и скорей даже уклоняется от подобной мысли, потому что вызывает к ясному уму, к глазу, а не к губам, не к руке — если он вообще к чему-либо на свете призывает. При всей своей чувственной полноте красота в этом случае сохраняет какую-то отвлеченность и духовность: она утверждает самостоятельность идеи, преимущество идеи перед явлением; не она продукт и орудие своего пола, а, наоборот, пол — ее материал и средство. Женская красота может быть красотой, воплощенной в женственности, женственностью как средством выражения красоты. А что, если соотношение духа и материи изменится таким образом, что правильнее будет говорить уже не о женской красоте, а о красивой женственности, потому что первопричиной и главной идеей станет женственность, а красота будет только ее атрибутом? Что, спрашивается, если пол отнесется к красоте как к своему материалу и в ней воплотится,

а красота, следовательно, будет служить и казаться выражением женственности?.. Ясно, что это даст совершенно другой род красоты, чем описанный выше, — сомнительный, жутковатый, подчас даже близкий к уродству, но при этом обладающий притягательностью и обаянием красоты благодаря полу, который водворяется на ее место, заменяет ее и присваивает себе ее имя. Стало быть, это уже не духовно почтенная красота, открывающаяся в женственности, а красота, в которой открывается женственность, проявление пола, ведьмовская красота.

Вот какое страшное слово оказалось необходимым для определения перемены, давно уже происшедшей с телом Мут-эм-энет. Это была перемена одновременно трогательная и волнующая, дурная и умильная, перемена ведьмовская. Разумеется, при толковании этого слова нужно избегать представления о распутстве — да, повторяем, его нужно избегать, но все-таки лучше не исключать его целиком. Ведьма, конечно, не обязательно распутница. Однако и на самой очаровательной ведьме есть какой-то налет распутства — он неизбежно входит в этот образ. Новое тело Мут было ведьмовским, проникнутым любовью и полом, а значит, в чем-то и распутным телом, хотя этот последний элемент проявлялся разве что в столкновении пышности и худобы его членов. Распутницей чистой воды была, например, черная Табубу, смотрительница помад, со своими похожими на бурдюки грудями. Что же касается Мут, то ее изящно девичья грудь, пышно налившись благодаря страсти, созрела в очень большие плоды любви, тугую ядреность которых можно было назвать распутной единственно из-за ее несоответствия худобе и даже сухощавости хрупких лопаток. Плечи у Эни были нежные, узкие, детски трогательные, а руки утратили полноту и стали чуть ли не тонкими. Совершенно иначе обстояло дело с бедрами, которые, опять-таки в недозволенном, мы бы сказали, несоответствии с верхними конечностями, чрезмерно развились и раздались, раздались настолько, что представление, будто они прижимаются к рукоятке метлы, верхом на которой, сгорбившись и охватив ее слабыми ручками, с торчащими грудями и костлявой спиной, обладательница этих расцветших бедер скачет во весь опор по горам, — что такое, повторяем, представление не только могло сложиться, но и неотвязно напрашивалось. Этому способствовало и лицо Эни, окаймленной черными вьющимися волосами, с вдавленной переносицей и темными тенями щек, лицо, где уже давно царило, но только теперь приобрело полную свою отчетливость противоречие, точно определить которое стало возможно только сейчас: поистине ведьмовское противоречие между строгим, даже угрожающе мрачным выражением глаз и задорной змеистостью углубленного в уголках рта, — это волнующее противоречие, которое, достигнув высшей своей точки, сообщило ее лицу болезненную, личиноподобную напряженность, усиленную, вероятно, жгучей болью прикушенного языка. А одна из причин, по каким она прикусила себе язык, заключалась и на самом деле в том, что она знала, что будет после этого лепетать, как невинный ребенок, и что детский этот лепет может украсить и скрыть отлично известное ей ведьмовство ее нового тела.

Можно представить себе, как потрясен был при виде этой перемены ее виновник. Тогда он впервые понял, как легкомысленно он поступал, пропуская мимо ушей мольбы своего маленького чистого друга и, вместо того чтобы избегать госпожи, позволил ей превратиться из девы-лебедя в ведьму. Он постиг всю нелепость педагогического своего плана, и впервые, может быть, у него мелькнула мысль, что его отношение к этому делу в новой его жизни не менее преступно, чем было некогда его отношение к братьям. Эта мысль, выросшая из смутной догадки в твердое убеждение, объясняет многое из дальнейшего.

А покамест его нечистая совесть и взволнованная его растроганность превращением госпожи в любящую распутницу прятались за той особой, прямо-таки благоговейной почтительностью, с какой он поздоровался и заговорил с ней, волей-неволей продолжая держаться своего преступно нелепого плана и докладывая ей со счетами в руках о потребностях гарема и снабжении его теми или иными припасами, а также об увольнениях и новых назначениях в составе слуг. Это помешало ему сразу заметить болезненную поврежденность ее языка; она только слушала его с самым напряженным выраженьем лица и не произносила почти ни слова.

Но когда они сели играть за красивый резной столик для игр, на диван из черного дерева и слоновой кости — она, а он на табурет с копытообразными ножками, и, расставив изображавшие лежащих львов шашки, заговорили об игре, он уже не мог не услышать ее лепета — услышать к вящему своему потрясению; и услышав его несколько раз, так что никаких сомнений уже не могло быть, он позволил себе бережно осведомиться:

— Что я слышу, госпожа, возможно ли это? Мне кажется, ты говоришь немного невнятно?

И услышал в ответ, что у госпожи «боит яык; она сучайно пикусиа его ночью, но пусть упавяющий не обашает на это внимания!»

Вот как отвечала она — мы передаем вызванные болью детские пропуски ее речи на своем, а не на ее языке, но и на ее языке они звучали соответственно; не на шутку испугавшись, Иосиф прекратил игру и сказал, что не притронется к шашкам, покамест она не полечит язык, прополоскав рот каким-нибудь снадобьем, изготовить которое нужно тотчас же приказать знахарю Хун-Анупу. Но она и слышать об этом не хотела и насмешливо упрекнула его в том, что он ищет предлога уклониться от партии, которая уже с самого начала сложилась не в его пользу, и, не желая быть загнанным в «угол», хочет спасения ради прервать игру и скрыться у аптекаря. Короче говоря, она удерживала его на месте ломаной детской речью, томительными поддразниваниями; ибо, непроизвольно приспособив к беспомощности своего языка и самую свою манеру беседовать, она говорила во всех отношениях, как малое дитя, и даже пыталась придать своему напряженному, страдальческому лицу выражение глуповатой приятности. Мы не будем подражать дальнейшему ее лепету об иге, фафках и уветках, чтобы не показалось, будто мы издеваемся над ней, в то время как она, со смертной тяжестью в сердце, готова была пожертвовать всей своей гордостью, всей честью своего духа, уступая желанию обрести взамен этого честь своей плоти во исполнение приснившегося ей некогда сна.

У того, кто внушил ей это желание, было тоже смертельно тяжело на сердце, — и по праву. Он не отваживался поднять глаза от доски и кусал губу, ибо его совесть была против него. Играл он, однако, рассудительно, он не умел иначе, и трудно было бы сказать, кто кем управлял, — он своим разумом или его разум — им. Она тоже делала ходы шашками, поднимала, передвигала их, но все это так рассеянно, что вскоре не только была разбита наголову, но даже не заметила этого и продолжала бессмысленно играть до тех пор, пока его неподвижность не заставила ее опомниться и с напряженной улыбкой взглянуть на пуганицу своего проигрыша. Он вздумал облечь это болезненное мгновение в рассудительные и вежливые слова, возомнив, что вылечит его этим, приведет в порядок, спасет, поэтому он спокойно сказал:

— Придется, госпожа, начать снова, сейчас или в другой раз, ибо этот кон нам не удался — не удался, разумеется, потому, что я неправильно начал, и теперь, как ты видишь, никто не может продвинуться: ты не можешь, потому что я не могу, а я — потому что не можешь ты, — обе стороны проиграли эту партию, так что даже нельзя говорить о победе или пораженьи: оба победили, и проиграли оба...

Эти последние слова он сказал уже запинаясь и упавшим голосом, только по инерции, а не потому, что еще надеялся спасти и обсудить положение, ибо тем временем стало уже поздно, ее голова упала лицом на его руку, лежавшую у края шашечницы, ее волосы, в золотой и серебряной пудре, сдвинули покоившихся на доске львов, и руку его обдало горячее дыхание лихорадочной ее речи, пропащего лепета, который мы, из уважения к ее горю, не станем воспроизводить в болезненной его детскости, но смысл и бессмыслица которого были таковы:

— Да, да, не будем продолжать, нельзя продолжать, игра проиграна, и обоим нам ничего, кроме пораженья, не остается, Озарсиф, прекрасный бог из дальних пределов, мой лебедь и бык, мой горячо, мой свято, мой вечно любимый, умрем же вместе и сойдем в ночь отчаянного блаженства! Скажи, скажи мне, и говори смело, ведь ты же не видишь моего лица, потому

что оно лежит на твоей руке, наконец на твоей руке, а мои пропащие губы касаются твоей плоти и крови, они просят, они молят тебя, чтобы ты, не видя моих глаз, честно признался мне, получил ли ты записочку, которую я тебе написала, прежде чем прикусила язык, чтобы не говорить тебе того, что я написала и что я все-таки вынуждена тебе сказать, потому что я твоя госпожа и это моя обязанность — произнести слово, на которое ты не вправе осмелиться по давно уже ничтожной причине. Но я не знаю, хочется ли тебе его сказать, и это горе мое, ибо знай я, что ты, если бы только имел право, сказал бы его от всего сердца, я с великим блаженством сделала бы это вместо тебя и, как госпожа, произнесла бы его сама, хотя и шепотом, хотя и лепеча, хотя и спрятав лицо на твоей руке. Скажи, получил ли ты через карлика письмецо, которое я тебе написала, прочитал ли его? Скажи, ты был рад увидеть мои знаки, ударила ли волною счастья в берег твоей души вся твоя кровь? Любишь ли ты меня, Озарсиф, бог в образе раба, небесный мой сокол, так, как люблю тебя я, люблю уже давно, очень давно, жаждет ли твоя кровь моей так, как я жажду тебя, почему я и написала это письмо после долгой борьбы, обезумев от твоих золотых плеч, от того, что все тебя любят, но прежде всего от божественного твоего взгляда, благодаря которому тело мое изменилось, а груди выросли и стали плодами любви? Спи — со — мной! Подари, подари мне свою молодость и свою прелесть, а я подарю тебе такое блаженство, какого ты и во сне не увидишь, я знаю, что говорю! Сблизим наши головы и наши ноги, чтобы насладиться досыта, чтобы умереть друг в друге, ибо я не вынесу больше жизни врозь!

Так говорила она, забыв обо всем на свете; мы не воспроизвели ее моления в том звучанье, какое придал ему лепет раненого ее языка; каждый слог причинял ей резкую боль, однако она пролепетала все это на его руке одним духом, ибо женщины умеют терпеть всякую боль. Но нужно иметь в виду, нужно представить себе и навсегда отныне запомнить, что слово неведения, скупое слово преданья, она произнесла не здоровыми устами и не как взрослый человек, а в муках боли, на языке маленьких детей, пролепетав: «Пи!» вместо «Спи!» Ибо для того она и прикусила язык, чтобы так вышло.

А Иосиф? Он сидел и перебирал свои семь причин, перебирал их и так и этак. Не станем утверждать, что его кровь не ударяла в берег его души широкими волнами, но преград было семь, и они выдержали. В похвалу ему надо заметить, что он не был с ней слишком строг и не изображал перед ней презрения к ведьме, соблазняющей его поссориться с богом, а был с ней кроток и добр и пытался даже с почтительной любовью утешить ее, хотя в этом, как признает всякий разумный человек, заключалась для него большая опасность; ибо где кончается утешение в подобном случае? Он даже не выпрастывал своей руки, несмотря на влажное тепло шепота и связанные с ним движения губ, которые она ощущала, он не убирал ее оттуда, где она была, покуда Эни не выговорила, и даже еще немного дольше того, когда сказал:

— Госпожа, бога ради, зачем здесь твое лицо, и что ты говоришь в лихорадке от раны, — опомнись, прошу тебя, ты забыла, кто ты и кто я! Прежде всего — покой твой открыт, подумай об этом; вдруг нас увидит кто-нибудь, карлик ли, полномерный ли домочадец, и подглядит, где находится твоя голова, — прости, я не могу этого допустить, я должен, с твоего позволения, убрать свою руку и позаботиться, чтобы никто снаружи...

Он сделал, как сказал. Но она тоже стремительно поднялась с места, где его руки уже не было, и, выпрямившись, неожиданно полнозвучным голосом, со сверкающими глазами, прокричала слова, способные показать ему, с кем он имеет дело и чего можно ждать от той, которая только что сокрушенно молила его, а теперь, как львица, занесла лапу и даже перестала вдруг лепетать; при желании, стерпев боль, она могла заставить свой язык повиноваться себе, и поэтому она прокричала исступленно-отчетливо:

— Пусть будет открыта палата, пусть смотрит весь мир на меня и на тебя, которого я люблю! Ты боишься? Так знай же, что я не боюсь ни богов, ни карликов, ни людей, не боюсь, что они увидят меня с тобой, что они застанут нас вместе! Пусть придут, пусть явятся скопом и смотрят на нас! Как ветошь, брошу я к их ногам свою застенчивость и свою стыдливость, ибо

для меня они и впрямь жалкая ветошь по сравнению с моей любовью к тебе, с этой самозабвенной мукой моей души! Мне ли страшиться? В моей любви страшна я одна! Я Изида, и кто на нас будет смотреть, к тому я отвернусь от тебя и брошу на него такой страшный взгляд, что он погибнет на месте!

Вот что с яростью львицы вскричала Мут, не обращая никакого внимания на свою рану и на боль, которую у нее вызывало каждое с усилием произносимое слово. А он задернул занавески между колоннами и сказал:

— Позволь мне принять меры осторожности ради тебя, ибо мне дано предвидеть, что случилось бы, если бы нас выследили, и то, что ты хочешь бросить миру, для меня свято. А мир этого не стоит, он не стоит даже того, чтобы умереть от гнева твоего взгляда.

Но когда он, задернув занавески, снова подошел к ней в сумраке комнаты, она была уже не львицей, а снова картавым ребенком, ребенком, однако, как змея хитрым, и, извращая смысл его поступка, пролепетала самым обворожительным голосом:

— Ты затем запер нас, злодей, и укрыл тенью от мира, чтобы он уже не мог защитить меня от твоей недоброты? Ах, Озарсиф, какой ты недобрый, слов нет, чтобы сказать, что ты со мной сделал, ты изменил мое тело и мою душу настолько, что я уже и сама перестала себя узнавать! Что бы сказала твоя мать, узнай она, что делаешь ты с людьми и до чего ты доводишь их, если они перестают себя узнавать? Неужели и мой сын был бы таким прекрасным и таким злым, и должна ли я видеть его в тебе, моего злого, моего прекрасного сына, солнечного мальчика, которого я родила и который в полдень прижимается головой и ногами к голове и ногам собственной матери, чтобы с нею породить себя снова? Озарсиф, любишь ли ты меня и на небе, и на земле? Описала ли я и твою душу, написав записку, которую послала тебе, и содрогнулся ли ты, когда ее читал, как содрогалась от бесконечного восторга и от бесконечного стыда я, когда писала ее? Когда ты ободряешь меня своими устами, называя меня повелительницей твоей головы и твоего сердца, — как это понимать? Ты говоришь это, потому что так полагается, или в душевном пылу? Признайся мне в сумраке! После стольких ночей мучительных сомнений, когда я одиноко лежала без тебя, а моя кровь беспомощно зывала к тебе, ты должен спасти меня, мое спасенье, ты должен избавить меня от муки, признавшись, что ты для того говорил языком красивой лжи, чтобы тем самым сказать мне правду, сказать, что ты любишь меня!

Иосиф. Благородная госпожа, все не так... Нет, все так, как ты говоришь, только пощади себя, если ты действительно милостива ко мне, пощади себя и меня, если я смею просить, ибо у меня разрывается сердце, когда ты заставляешь больной свой язык говорить, вместо того чтобы успокоить его бальзамом, — и говорить такие жестокие слова! Как же мне не любить тебя, тебя, мою госпожу? Коленопреклоненно люблю я тебя и молю тебя на коленях не быть жестокой, не различать в моей любви к тебе смирения и пылкости, кротости и сладостности, а милостиво предоставить самим себе ее слагаемые, образующие нежное и драгоценное целое, которое нельзя расчленять и расщеплять в исследовательской жестокости, ибо его жаль! Нет, погоди, дай мне сказать тебе... Если ты так любишь слушать, когда я рассказываю тебе о том или ином деле, соблаговоли выслушать меня и по этому поводу! Хороший раб любит своего господина, если тот хоть сколько-нибудь благороден, это в порядке вещей. Но если имя господина превращается в имя госпожи и милой женщины, то такая перемена придает ему прелесть и очарование, и тогда любовь раба тоже проникается этой прелестью и становится тем сладостным смирением, той благоговейной нежностью, которые и зовутся «пылом», и горе тому жестокому, кто оскорбит ее дотошным разбором и недоброжелательным взглядом — да будет он проклят! Если я называю тебя повелительницей моей головы и моего сердца, то, разумеется, потому, что этого требует обычай, так полагается, таков порядок. Но приятен ли мне такой порядок, счастливы ли моя голова и мое сердце, что так полагается, — это дело тонкое, об этом молчат, это тайна. Милостиво ли и мудро ли ты поступаешь, нескромно спрашивая меня, какой смысл вкладываю я в эти слова, и оставляя мне только выбор между ложью и грехом

при ответе? Это неверный и жестокий выбор, я отвергаю его! Я прошу тебя на коленях явить доброту, оказать милость жизни сердца!

Госпожа. О Озарсиф, ты ужасен в своем красноречии, которое подчиняет тебе людей, заставляя их видеть в тебе бога, но которое убивает меня своей находчивостью! Страшное это божество — находчивость, дитя остроумия и красоты, — губельно обольстительное для сердца, которое любит в тоске! Ты назвал нескромным искренний мой вопрос, но как нескромен ты в красноречивом своем ответе! Красота должна была бы молчать, ради сердца она не должна была бы говорить, вокруг нее должно было бы царить молчанье, как возле священной могилы в Абоду, ибо любовь, как и смерть, хочет молчанья, да, в молчанье их сходство, и слова оскорбляют их. Ты требуешь мудрой бережности к жизни сердца, выступая как бы от его имени против меня и дотошных моих расщеплений. Но это извращение истины, ибо именно я, пытливо исследуя эту жизнь, борюсь за нее в своей беде! Что мне еще остается делать, любимый, чем мне еще помочь себе? Я тебе госпожа, мой господин и спаситель, которого я жажду, и я не могу щадить твоего сердца, не могу предоставить твою любовь самой себе, жалея ее. Я должна прикоснуться к ней с пытливой жестокостью, как прикасается к нежной деве, которая не знает самой себя, бородатый мужчина, я должна исторгнуть из ее смирения страсть, а из ее кротости пыл, чтобы она осмелилась стать самой собой и прониклась мыслью, чтобы ты спал возле меня, ибо в этом заключены все блага мира, ибо это вопрос блаженства или адской муки. Для меня стало адской мукой то, что наши тела не соединены в одно целое, и стоит тебе заговорить о своих коленях, на которых ты меня просишь не знаю о чем, меня охватывает несказанная ревность, оттого что твои колени принадлежат только тебе, а не мне тоже. Я хочу, чтобы они были рядом со мной, чтобы ты спал со мной, иначе я умру, я погибну!

Иосиф. Милое дитя, это невозможно, образумься, если твой раб волен тебя просить, не цепляйся за эту идею, ибо она, право, недобрая! Ты придаешь слишком большой, болезненно большой вес этому делу, смешению праха с прахом: в какой-то миг оно, может быть, и приятно, но чтобы оно уравнивало скверные свои последствия и все муки раскаянья, этого никак нельзя сказать, это тебе только так кажется, покуда дело не сделано, и кажется в лихорадке беспомыслия. Право же, это нехорошо и никому не может понравиться, что ты прикасаешься ко мне самым бородатым образом и, будучи госпожой, домогаешься наслажденья моей любовью; в этом есть некая мерзость, нечто недопустимое в наши дни. Ведь мое рабство не такое уж давнее, я и сам способен проникнуться мыслью, на которую ты меня наводишь, — еще как способен, уверяю тебя, только осуществить ее нам нельзя, и нельзя больше чем по одной причине, гораздо больше, чем по одной, по целой куче причин, подобной скоплению звезд в созвездье Тельца. Пойми меня верно — я не должен откусывать от заманчивого яблока, которое ты мне протягиваешь, иначе мы вкусим преступленье и все испортим. Поэтому я не молчу, а, поступаясь скромностью, говорю, и ты не суди меня за это строго, дитя мое; ведь я не вправе молчать с тобой и вынужден говорить и находить слова утешения, потому что самое для меня важное — это утешить тебя, дорогая моя госпожа.

Госпожа. Слишком поздно, Озарсиф, ты опоздал, опоздали мы оба! Ты уже не можешь идти на попятный, и я не могу, мы уже спаяны. Разве ты уже не завесил комнату, не запер нас в сумраке от всего мира, разве мы уже не стали четой? Разве ты не говоришь уже «мы» и «нас», «нас могут увидеть», связывая нас в сладостном единстве этими чудесными словечками, составляющими шифр всех блаженств, которые я тебе предлагаю и которые уже достигли в них своей полноты? Никакое свершенье не прибавит ничего нового, после того как произнесено слово «мы», ибо у нас уже есть общая тайна от мира и мы уже отделены от него этой тайной, и нам уже ничего другого не остается, как ее совершить...

Иосиф. Нет, послушай, дитя, это несправедливо, ты все искажаешь, я должен тебе возразить! Твое самозабвение заставило меня закрыть эту комнату ради твоей чести, чтобы со двора не увидели, где твоя голова, — и теперь ты изображаешь дело так, будто уже все безразлично и все как бы уже состоялось, потому что у нас есть общая тайна и нам пришлось

укрыться за занавеской? Это совершенно несправедливо, ибо у меня нет никакой тайны, я только прикрываю твою; только в этом смысле и можно говорить «мы» и «нас», а больше ничего не случилось, да и не должно случиться в будущем — на то есть куча, целое звездное скопление причин.

Госпожа. Озарсиф, прекрасный мой лжец! Ты пытаешься отрицать нашу общность и нашу тайну, после того как только что сам признался мне, что уже по собственному почину проникся мыслью, на которую я, домогаясь твоей любви, тебя навожу? И по-твоему, злодей, у тебя нет со мной тайны от мира? Разве ты не думаешь обо мне так же, как я о тебе? Но как бы ты еще стал думать обо мне и о моей близости, если бы знал, какая радость ожидает тебя в объятиях небесной богини, золотой и солнечный мальчик! Так позволь же мне сказать тебе на ухо, сообщить тебе втайне от мира, в глубоком сумраке, что тебя ждет! Я никогда не любила и никогда не принимала в свое лоно мужчины, я не истратила ни крупички из сокровищ своей любви и своих утех, все эти сокровища сохранены целиком только тебе, и они будут у тебя в таком обилии, какое и присниться не может. Слушай, что я шепчу тебе: для тебя, Озарсиф, изменилось мое тело, оно стало от макушки до пяток телом любви, а если ты будешь со мной и подаришь мне свою юность и свое великолепие, тебе покажется, что ты обнимаешь не просто земную женщину, ты изведешь, поверь моего слову, радость богов, соединяющихся с матерью, женой и сестрой, ибо я твоя мать, жена и сестра! Я масло, которое ждет твоей соли, чтобы вспыхнул светильник на ночном празднике. Я нива, которая в жажде зовет тебя, чтобы ты обрушил на нее свое мужество, плодородный поток, бык своей матери, чтобы ты затопил ее и соединился со мной, прежде чем ты покинешь меня, прекрасный бог, забыв у меня венки из лотосов на влажной земле! Слушай, слушай, что я шепчу тебе! Ведь каждым своим словом я все глубже втягиваю тебя в нашу общую тайну, и ты давно уже не можешь из нее выбраться, а если уж мы соединены этой величайшей тайной, тебе нет смысла отказываться от моего предложения...

Иосиф. Нет, милое дитя! — прости, я называю тебя так потому, что нас действительно связало тайной твое умопомрачение, из-за которого мне и пришлось закрыть эту комнату, но все равно, мой отказ от того, что ты так заманчиво мне предлагаешь, сохраняет свой смысл, свой семижды обоснованный смысл, ибо ты тянешь меня в болото, где растет разве что пустопорожний камыш, но только не хлеб! Ты хочешь превратить меня в осла прелюбодеяния, а из самой себя сделать блудливую суку, — как же мне не защищать тебя от тебя же, как не оберегать себя самого от такого гнусного превращения? Понимаешь ли ты, что случилось бы с нами, если бы мы пошли на это преступление и оно пало на нашу голову? Неужели я должен допустить, чтобы тебя задушили, а твое тело, тело любви, бросили на съедение собакам или чтобы тебе отрезали нос? Нет, этого и представить себе нельзя. А уделом осла были бы нескончаемые побои, тысячи палочных ударов в наказание за его глупое непотребство, если бы его вообще не отдали крокодилу. Вот какие вразумления грозили бы нам, окажись мы во власти злодеяния.

Госпожа. Ах, трусишка, если бы ты вообразил, сколько накопленной радости сулит тебе моя близость, ты бы не думал ни о чем другом и смеялся над любым возможным наказанием, которое, каково бы оно ни было, все равно не шло бы ни в какое сравнение с утехами, что ждут тебя со мной!

— Вот видишь, — сказал он, — дорогая подруга, до чего доводит тебя твое умопомрачение: оно временно ставит тебя ниже уровня человека; ибо преимущество, ибо почетный дар человека в том-то как раз и состоит, что он думает не только о текущем мгновенье, а задумывается и о будущем. К тому же я совсем не боюсь...

Они стояли посреди затемненной комнаты вплотную друг к другу и говорили тихо, но горячо, как люди, спорящие о чем-то очень важном, с поднятыми бровями и взволнованными, покрасневшими лицами.

— К тому же я совсем не боюсь, — сказал он с жаром, — никаких наказаний, которые могут постигнуть тебя и меня, это пустяки. Боюсь я Петепра, нашего господина, его самого, а

не его наказаний, как бояться бога не из-за того зла, которое он может тебе причинить, а ради него самого, из страха божьего. От Петепра идет весь мой свет, и всем, чего я достиг в этом доме и в этой земле, я обязан ему, — как же смогу я, даже не опасаясь, что он накажет меня, подойти к нему и взглянуть в его кроткие глаза, после того как я спал с тобой? Выслушай меня, Эни, и во имя бога вникни разумом в то, что я сейчас скажу, ибо мои слова сохранятся во времени, и когда наша история сложится, когда она появится на устах у людей, эти слова будут повторять. Ведь все, что происходит на свете, может стать историей и прекраснословной беседой, и мы вполне можем оказаться в истории. Поэтому и ты берегись, и ты пожалей свое сказанье, чтобы не стать в нем пугалом и прародительницей греха! Я мог бы говорить много и сложно, возражая тебе и собственному своему желанию; но для уст людей, если этому суждено оказаться у них на устах, я скажу тебе самое важное и самое простое, понятное любому ребенку, и скажу так: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки; нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Вот слова, которые я скажу тебе на будущее, противясь желанию, что влечет нас друг к другу. Ведь мы не одни на свете, чтобы просто насладиться кровью и плотью, тебе — моей, а мне — твоей, нет, есть еще Петепра, великий и одинокий наш господин; мы должны любовно служить его душе и не имеем права обидеть его таким поступком, надругавшись над его нежной честью и нарушив наш договор. Петепра — препятствие нашему блаженству, и точка.

— Озарсиф, — пролепетала она шепотом, прижавшись к нему и приготовившись что-то предложить. — Озарсиф, любимый мой, который давно уже связан со мною тайной, послушай меня и пойми свою Эни... Ведь я же могу его...

Это был миг, когда наконец и вправду отчетливо выяснилось, почему, собственно, и зачем Мут-эм-энет прикусила себе язык и какому давно готовому ответу хотела она придать трогательную беспомощность и болезненное очарование этим ранением: не прежде всего и не в конечном счете зову своего тела, — а если и прежде всего, то уж никак не в конечном счете ему, ибо конечным и главным поводом ранить себя и картавить, как малый ребенок, было то предложение сделки, которое она в этот миг совершила, когда, держа на плече Иосифа свою прекрасную, как произведение искусства, в пестрых кольцах и с синими жилками руку и прижавшись к этой руке щекой, пролепетала очаровательно выпяченными губами:

— Ведь я же могу его уметвить.

Он отпрянул назад, ибо это было слишком страшно в столь милых устах, и он никогда бы до этого не додумался и никак не ожидал этого от нее, хотя уже недавно видел, как львица заносит лапу, и слышал, как она грозно рычит: «Страшна я одна!»

— Ведь мы, — вкрадчиво говорила она, ластясь к отстранившемуся Иосифу, — мы можем его уметвить и убать с дооги, что тут, мой сокол, такого уж сложного? Тут нет решительно ничего сложного, ведь стоит мне глазом моргнуть, и Табубу тотчас же приготовит мне прозрачный отвар или добудет кристаллики таинственной силы, а я передам их тебе, чтобы ты подсыпал их в вино, которое он пьет, чтобы согреть свою плоть, но когда он выпьет его, он, наоборот, охладится, однако благодаря искусству негритянских умельцев никто ничего не заметит, и его переправят на запад, и тогда его больше уже не будет на свете, и нашему блаженству он уже не сможет мешать. Позволь мне это сделать, любимый, и не противясь такой невинной уловке! Разве его плоть не мертва и при жизни, разве она хоть на что-то годится, разве она не растет никому не нужной громадой? Как ненавижу я вялую его плоть, с тех пор как любовь к тебе разрывает мое сердце и моя собственная плоть стала телом любви, — я не могу этого сказать, об этом я могу только кричать. Поэтому, милый Озарсиф, давай охладим его, тут нет ровным счетом ничего сложного. Разве тебе трудно сшибить палкой какой-нибудь противный гриб, какой-нибудь трухлявый дождевик или поганку? Это даже не поступок, это просто небрежное движение руки... А когда он ляжет в могилу, когда в доме его не станет, мы будем свободны, мы будем блаженными телами любви, ни от чего не зависящими, ничем

не связанными, которые могут, ни о чем не думая и не боясь никаких последствий, сомкнуть объятия, прикинуть устами к устам. Ты был прав, мой божественный мальчик, когда сказал, что он помеха нашему блаженству и что мы не должны обижать его нашим счастьем, — я одобряю твои сомнения. Но именно поэтому ты должен признать, что его нужно охладить и устранить, чтобы покончить с твоими сомнениями и не обижать его нашими объятиями! Неузели ты не понимаеф этого, мой маёнький? Представь себе только, каково будет наше счастье, когда этой поганки не станет, когда мы останемся одни в доме, а ты, такой молодой, будешь его господином. Ты будешь им потому, что я госпожа, ибо господин тот, кто спит с госпожой. И ночью мы будем пить блаженство, а днем мы будем лежать рядом на пурпурных пуховиках, вдыхая аромат нарда, и украшенные венками девочки и мальчики будут улаждать нас изящными телодвиженьями и звуками струн, а мы, глядя на них и слушая их, будем предаваться своим мечтам, — мечтам о той ночи, которая была, и о той, которая будет. Ибо я подам тебе чашу, из которой мы будем пить, прикасаясь губами к одному и тому же месту ее золотого края, и покуда мы будем пить, наши глаза, встретившись, скажут друг другу о той радости, которую мы вкусили минувшей ночью, и о той, которую отложили до предстоящей ночи, а наши ноги сплетутся...

— Нет, выслушай же меня, Мут-в-Пустыне! — сказал он после этих слов. — Заклинаю тебя... Обычно это только так говорится: «Заклинаю тебя», но сейчас это и в самом деле необходимо, тебя действительно придется заклинать, вернее, не тебя, а демона, говорящего твоими устами, демона, который явно вселился в тебя! Не очень-то, надо сказать, жалеешь ты свое сказанье, превращая себя на будущее в блудницу, заслуживающую имени «прародительница греха». Так подумай хотя бы, что, может быть, и даже вероятней всего, мы с тобой будем в одной истории, и возьми себя в руки! Мне тоже, знаешь ли, приходится держать себя в руках, чтобы устоять против твоего сладостного натиска, хотя мне это облегчает тот ужас, который вызывает у меня безумное твое предложение убить Петепра, моего господина и твоего почетного мужа. Это же отвратительно! Не хватало еще, чтобы ты сказала, что мы связаны тайной по той причине, что ты вовлекла меня в эту мысль, сделала ее, увы, и моей мыслью. Но о том, чтобы твоя мысль мыслью и осталась, о том, чтобы мы не сотворили подобной истории, — об этом уж я позабочусь. Милая Мут! Мне совсем не нравится та жизнь с тобой в этом доме, которую ты мне сулишь после того, как мы избавимся от его господина, чтобы наслаждаться друг другом. Стоит мне только представить себе, что я живу с тобой в доме убийства твоим любовным рабом, а в господина произведен потому, что сплю с госпожой, — и я уже презираю себя. Может быть, мне и вовсе надеть женское платье из виссона, и ты еженощно будешь вызывать для своих постельных утех новоиспеченного господина, который убил с тобою отца, чтобы спать с матерью? Ведь именно так бы и получилось, по-моему: Потифар, мой господин, мне как отец, и если бы я жил с тобой в доме убийства, мне казалось бы, что я сплю с собственной матерью. Поэтому, доброе мое и дорогое дитя, заклинаю тебя самым дружеским образом утешиться и не требовать от меня такого великого зла!

— Глупец! Глупец и ребенок! — отвечала она певучим голосом. — Как ребячливы твои возраженья, как полны они страха перед любовью, страха, который я, госпожа-домогательница, должна сломить! Каждый спит с матерью — разве ты этого не знаешь? Женщина — мать вселенной, мужчина — ее сын, и каждый мужчина зачинает плод в утробе собственной матери — неужели я должна тебе излагать азы? Я Изиды, великая мать, я ношу диадему с коршуном! Мут — это мое материнское имя, и ты, прекрасный мой сын, назовешь мне свое, назовешь его сладостной, чадородной ночью вселенной...

— Нет, нет, это не так! — порывисто возразил Иосиф. — Твои сужденья и твои слова неверны, — я должен исправить твою ошибку! Отец вселенной — не сын матери, и господь он не благодаря госпоже. Ему я принадлежу, перед ним хожу я, и говорю тебе раз навсегда: я не совершу перед богом, перед господом, которому принадлежу, такого греха, я не обещу и не убью отца, чтобы совокупиться с матерью, как бесстыжий гиппопотам... А теперь, дитя

мое, я уйду. Милая госпожа, позволь мне удалиться. Я не оставляю тебя в твоём умопомрачении, конечно, нет. Я буду утешать тебя словами и всячески успокаивать, ибо это мой долг перед тобой. Только сейчас я должен покинуть тебя, чтобы присмотреть за домом моего господина.

Он отошел от нее. Она еще прокричала вдогонку ему:

— Ты думаешь, ты уйдешь от меня? Ты воображаешь, что мы ускользнем друг от друга? Я знаю, я уже знаю о твоём ревнивом боге, с которым ты обручен и венец которого носишь! Но я не боюсь этого чужого бога, я порву твой венок, из чего бы он ни был, и увенчаю тебя взамен плющом и вьющимся виноградом ради материнского праздника нашей любви! Оставайся, любимый! Оставайся, прекраснейший из прекрасных, оставайся, Озарсиф, оставайся!

И она упала и заплакала.

Он раздвинул руками занавески и быстро пошел своей дорогой. А в складках занавеса, когда Иосиф, выходя, отстранил его вправо и влево, закуталось по карлику с каждой стороны: одного звали Дуду, другого маленький Боголюб-Шепсес-Бес; ибо они встретились здесь, подкравшись с обеих сторон, и, стоя рядом у щели, одна ручка на коленке, а другая возле уха, старательно слушали, один по зловредности, другой — из трепетного страха; время от времени они скрежетали зубами и грозили кулачками, прогоняя друг друга, что изрядно мешало им слушать, однако не уступал ни тот, ни другой.

Теперь, выпрастываясь из складок за спиной Иосифа, они шипели друг на друга с поднятыми к вискам кулачками и насакивали один на другого в глухой ярости, ибо люто ненавидели друг друга из-за общей карличьей доли и несходства природы.

— Чего ты здесь ищешь, — шипел один, супруг Цесет Дуду, — что ты потерял здесь, уродец, козявка, сморчок-паучок! Зачем ты пробрался к щели, где по праву положено быть мне одному, почему не уходишь с этого места, хотя я велю тебе убраться отсюда, гнусный головастик, несчастный шут! Я тебя так отлуплю, что ты навсегда здесь останешься, недоносок, ублюдок, бессильное насекомое! Он явился сюда подслушивать и подглядывать, этот дурак набитый, он стоит здесь на страже ради своего господина и полномерного друга, ради этого красавчика, этого исчадия камыша, этого заваливающего раба, которого ввел в дом, чтобы тот надругался над домом и возвысился в нем на позор странам, а теперь еще, в довершение всего, превратил нашу госпожу в потаскуху...

— Ах ты прохвост, ах ты прощельга, ах ты хитрая гадина! — стрекотал другой, с испещренной тысячами морщинок ярости мордочкой и съехавшей набок душницей на голове. — Кто здесь подглядывает и подслушивает, чтобы выведать то, что сам же дьявольски и разжег своими записочками, кто, притаившись у этой щели, наслаждается горем и мукой полномерных людей, которые должны погибнуть по его гнусному замыслу, — кто, как не ты, чванный мерзавец, хвостун и гордец? Ну и ну, ай, ай, ай! Чучело ты садовое, попрыгун, шут гороховый, у которого все как у карлика, и только одно как у великана, — ходячая снасть мужская, бабник паршивый...

— погоди! — с бранью ответил тот. — погоди, дыра и пустое место, пробел и нехватка, никчемный мозгляк! Если ты сейчас же не уберешься отсюда, где Дуду бдительно бережет честь дома, то я здесь же обещаю тебя своим мужским оружием, и ты попомнишь меня, жалкая мразь! Но какой еще срам тебя ждет, если я сейчас схожу к Петепра и сообщу ему, какие дела творятся здесь в сумраке и какие слова нашептывает управляющий госпоже в завешенной комнате, — это статья особая, и скоро ты это узнаешь! Ведь не кто иной, как ты ввел его в дом, этого бездельника, прожужжав уши покойному управляющему своей болтовней о карличьей мудрости, ведь это же ты расхваливал ему свой наметанный глаз на людей и товары в виде людей, покуда он, вопреки моим предостережениям, не купил у этих барахольщиков их барахло и не пристроил этого подлеца в доме, чтобы тот надругался над госпожой и наставил рога великому сановнику фараона. Ты виноват в этом свинстве, ты первый, ты прежде всего! Ты заслуживаешь того, чтобы тобой угостили крокодила, и тебя действительно швырнут ему на закуску, чтобы он заел тобой твоего закадычного друга, которого отдадут ему, предварительно избив и связав.

— Ах ты поганый язык, — заверещал маленький Боголюб, дрожа и морщась от ярости, — ах ты грязная пасть, чьи речи — это злобное непотребство, идущее не от разума, а из некоего другого места! Посмей только тронуть меня, попробуй только обесчестить меня, бедного коротышку, и мои ногти вцепятся в гнусную твою рожу и выцарапают тебе глаза, ибо они остры и человек непорочный тоже небезоружен перед разбойником... Это я-то, малыш, виновен в беде, которая там стряслась! Виновата в ней эта недобрая, эта жадная тягость, знанием которой ты так кичишься и которую ты дьявольски поставил на службу своей зависти и ненависти, чтобы она стала западней для моего друга, для Озарсифа. Но разве ты не видишь, блудливый мышонок, что тебе это не удалось, что под моего красавца не подкопаешься? Уж если ты подглядывал, неужели ты проглядел, что он был стоек как новопосвященный участник таинств, и охранял свое сказанье, как настоящий герой? Что мог ты вообще увидеть у щели, что мог ты вообще подслушать своими ушами, если ты начисто лишен карличьей тонкости и твое чутье совершенно погублено твоей петушиностью? Хотел бы я знать, что ты хочешь и что можешь ты донести господину по поводу Озарсифа, если ковши твоих глухих ушей не зачерпнули, подслушивая, ничего путного...

— Хо-хо! — воскликнул Дуду. — Уж с тобой, хлюпик ты слабосильный, супруг Цесет как-нибудь потягается в тонкости и остроте слуха, а тем более если речь идет о деле, на котором он собаку съел и в котором ты ни шиша не смыслишь, стрекочущее ничтожество! Разве она не ворковала и не миловалась, эта непорочная парочка, не токовала и не приплясывала в любовном зуде? Уж в этом-то я знаю толк, а я отлично слышал, что он называл ее «дитя», и «милая», — это раб-то свою госпожу! — а она ему говорила нежнейшим голосом «сокол» и «бык» и что они во всех подробностях обсудили, как усладить им друг друга своей плотью и кровью. Теперь ты видишь, что уши Дуду чего-то стоят? Но самое ценное, что я подслушал у щели, — это то, что они в пылу страсти сговорились убить Петепра и решили пристукнуть его палкой...

— Ты лжешь! Ты лжешь! Вот видишь, то, что ты понял, — это сплошной вздор, и ты собираешься донести о них Петепра чистейшую чепуху! Подругой и милой мой юноша называл госпожу только по доброте сердечной, чтобы утешить ее в ее умопомраченье, а что касается прочего, то он с благородным укором отказался сшибить палкой хотя бы даже трухлявый гриб. Для своих лет он держался прямо-таки чудесно и покамест, несмотря на такой сладостный натиск, не запятнал своей истории ни вот настолечко...

— И поэтому ты думаешь, простофиля, — набросился на своего собрата Дуду, — что я не смогу его погубить, нажаловавшись на него господину?! В том-то и состоит тонкость, в том-то состоит мой козырь в этой игре, в которой ты, жалкий чурбан, ни шиша не смыслишь, что тут совершенно не важно, как себя этот оболтус ведет — немножко сдержаннее или немножко разнузданней, а важно только то, что госпожа по уши в него влюблена и ничего на свете так не желает, как с ним целоваться, — в этом уже его гибель, и он уже все равно не в силах себя спасти. Раб, в которого втюрилась госпожа, становится добычей крокодила при любых обстоятельствах — вот в чем вся хитрость, вот где ловушка. Если он согласится с ней целоваться — он у меня в руках. А если упрется, он только раззадорит ее страсть на свою же голову, так что все равно ему не миновать крокодила или по меньшей мере бритвы, которая отравит ему поцелуи и вылечит госпожу от ее страсти, лишив его кое-каких достатков...

— Ах ты гадина, ах ты чудовище! — пронзительно закричал маленький Боголюб. — На твоём примере можно убедиться раз навсегда, как это ужасно, когда человек карличьего племени не благочестив и не тонок, как полагается карлику, а наделся мужской честью, — тогда он непременно становится негодяем, как ты, мерзкий воитель детородной постели!

На это Дуду ответил, что после вмешательства бритвы Озарсиф станет ведь еще ближе ему, чурбану несчастному. И так они еще долго язвили друг друга ехидными колкостями, пока не сбежалась дворня. Тогда они разошлись в разные стороны — один пошел доносить на Иосифа господину, другой — предупредить Иосифа, чтобы он все-таки по возможности остерегался зияющей ямы.

ДОНОС ДУДУ

Как всем известно, Потифар, догадываясь о заносчивости Дуду, терпеть не мог этого карлика, отчего и Усир Монт-кау поглядывал на этого солидного человечка с неизменной досадой: уже упоминалось также, что царедворец старался держаться как можно дальше от зрителя своих нарядов, почти не подпуская его к себе и ограждался от него в гардеробной всякими посредниками из числа рослых слуг, которые, во-первых, благодаря своему росту ловчей надевали на эту башню из мяса платье и украшения, ибо Дуду пришлось бы для этого взбираться на лесенку, а во-вторых, именно из-за своей полномерности придавали меньше, чем Дуду, значенья определенным естественным способностям и солнечным силам и не так кичились ими, как этот карлик, на всю жизнь ошеломленный своим преимуществом и гордившийся им, как особым отличием.

Поэтому нашему коротышке было не так-то легко достичь цели, того бокового пути, свернуть на который он наконец решил, вдоволь исходив путь между госпожой и молодым управляющим, — то есть добраться до господина, чтобы открыть ему глаза на происходящее; это удалось Дуду отнюдь не сразу после его ссоры с потешным визирем у занавеса, и не днями, а неделями должен был он ждать, испрашивать, добиваться аудиенции, — должен был, несмотря на свое званье зрителя, подкупать рабов из личной прислуги хозяина или грозить им, что просто не выдаст им из-под запора того или иного украшения или наряда, чтобы поставить их перед господином в скверное положение, если они не станут твердить ему, что Дуду необходимо поговорить с ним по важному домашнему делу; да, целыми четвертями лунного месяца должен был он подобным образом трудиться, просить, топтать ногами, интриговать, прежде чем он добился той милости, которой так нетерпеливо ждал, по ошибке полагая, что если он добьется ее и воспользуется ею на этот раз, то впредь она уже никогда не потребует от него никаких усилий, поскольку такая служба, какую он собирался сослужить господину, должна навсегда обеспечить ему, Дуду, его, господина, любовь и милость.

Наконец этот рачительный коротышка, задоблив подарками двух банщиков, добился того, что не только после каждого кувшина воды, вылитого ими на грудь и спину фыркающего господина, они попеременно твердили ему: «Господин, вспомни о Дуду!», но повторяли свое заклинанье и после мытья, когда этот мокрый исполин вылезал из вделанного в пол чана на известняковые плиты, а они вытирали его надушенными полотенцами, — и после мытья продолжали они поочередно говорить ему: «Вспомни же, господин, о том, что Дуду заждался приема!» — продолжали до тех пор, пока он с отвращеньем не приказал: «Пусть войдет и доложит!» Тогда они сделали знак ожидавшим в спальне рабам-умастителям, которые тоже были задобрены, и те впустили карлика из западной палаты, где он сгорал от нетерпенья, в палату алькова. Он высоко поднял ручки ладошками к растиральной скамье, где, отдав свою плоть в распоряжение слуг, вытянулся друг фараона, и смиренно склонил набок карличью свою головку в надежде услышать хотя бы полслова из уст Петепра, поймать хотя бы беглый взгляд его глаз; однако ни того, ни другого не последовало, ибо телохранитель лишь тихонько покряхтывал под решительными руками слуг, растиравших ему плечи, бедра и ляжки, по-женски толстые руки и жирную грудь нардовым маслом, и даже повернул свою благородно-маленькую по сравнению с туловищем голову, покоившуюся на кожаной подушке, затылком к Дуду, — что было для того весьма оскорбительно; но ввиду своего многообещающего дела он не имел права огорчаться и терять бодрость.

— Десять тысяч лет тебе после твоего конца, — заговорил он, — украшенья рода людского, боец владыки! Четыре кувшина твоим внутренностям и алавастровый гроб твоему вечному образу!

— Спасибо, — ответил Петепра. Он сказал это по-вавилонски, так, как кто-нибудь из нас сказал бы: «мерси», и прибавил: — Долго ли он будет говорить?

«Он» звучало обидно. Но дело Дуду было слишком многообещающим; он не пал духом.

— Недолго, господин, недолго, наше солнце, — сказал он в ответ. — Скорее сжато и выразительно.

И по мановению маленькой руки Петепра он выставил вперед одну ногу, заложил ручки за спину, нижнюю губу втянул, а верхнюю важно выпятил и начал свой доклад, отлично зная, что закончит его уже в отсутствие обоих растиральщиков, которым Петепра довольно скоро велит удалиться, чтобы выслушать его без свидетелей.

Речь его можно было бы назвать искусной, если бы только она отличалась большей декоративностью. Он начал с похвального слова богу урожая Мину, которого кое-где чтили как разновидность высшей солнечной силы, но которому Амун-Ра вынужден был назвать свое имя, слившись с ним в одно божество Амун-Мин или Мин-Амун-Ра, вследствие чего о «своем отце Мине» фараон говорил с таким же правом, как и о «своем отце Амуне», — говорил главным образом в праздники венчанья на царство и урожая, когда в Амуне выделялось миновское начало и он становился этим плодородным богом, покровителем странствующих в пустыне, высоким, пернатым, исполненным мужской силы итифаллическим Солнцем. Его-то и призвал, на него-то степенно и сослался карлик, моля господина не сетовать на то, что он, Дуду, будучи ответственным домохозяином и писцом господской одежной, не ограничивает свою заботу о доме узким кругом своих служебных обязанностей, но как супруг и отец, породивший двух полномерных детей, названных так-то и так-то, к которым, если приметы не лгут и судя по признанию, сделанному у его груди госпожой Цесет, прибавится вскорости третий, но как человек, самолично умножающий дом и его людской состав и потому особенно преданный великому Мину (а тем самым и Амуну в миновском его проявлении) вникает во все дела дома, причем как раз с точки зрения человеческой плодовитости, и, взяв под свое начало, под свой личный надзор и учет все, чем может похвастаться дом в отношении свадеб, беременностей, ухаживаний, соитий и родов, помогает дворне в этих делах советом, поощрением, собственным, наконец, примером усердия и строгого соблюдения порядка. Ведь тут очень важен, сказал Дуду, высокий пример, — не самый высокий, разумеется, ибо понятно, что на самом вершине не могут да и не хотят браться за это дело, как ни за какое вообще. Тем необходимей путем своевременного вмешательства избегать всего, что может нарушить священный покой этой беспримерно величественной вершины и способно заменить честь прямой противоположностью чести. Зато менее высокое начальство должно, по его, карлика, мнению, направлять подчиненных своим добрым примером как в отношении усердия, так и в отношении порядка. Одобряет ли наш господин, наше солнце, сказанное его слугой до сих пор?

Петепра пожал плечами и лег на живот, подставляя растиральщикам свой могучий тыл, но потом поднял изящную свою голову и спросил, как понимать слова о нарушении покоя, а также о чести и ее противоположности.

— Сейчас твой старший слуга к этому перейдет, — ответил Дуду. И стал говорить о покойном управляющем Монт-кау, который вел честный образ жизни, своевременно женился на одной чиновничьей дочери и стал или, вернее, стал бы благодаря ей отцом, если бы обстоятельства сложились благоприятнее и этого достойного человека не постигла злая судьба, испугавшись которой он кончил жизнь одиноким вдовцом, доказав, однако, свою добрую волю. Но довольно о нем. Теперь Дуду будет говорить о прекрасном настоящем, прекрасном постольку, поскольку умерший нашел себе равноценного — или если не равноценного (ведь речь идет как-никак о чужеземце), то, во всяком случае, не худшего по своим умственным способностям преемника, и во главе дома теперь стоит юноша несомненно значительный, — с несколько странным именем, правда, но зато с приятным лицом, речистый и хитрый, — одним словом, человек явно незаурядный.

— Болван! — пробормотал Петепра, уткнувшись лицом в скрещенные руки, ибо ничто не кажется нам более глупым, чем похвала предмету, истинную цену которому нам хочется знать одним.

Дуду пропустил это мимо ушей. Возможно, что господин сказал «болван», но он не хотел этого знать, потому что ему нужно было сохранить бодрое настроенье.

У него не хватает слов, сказал он, чтобы достойно похвалить подкупающие, ослепительные, а кое для кого и смущающие качества упомянутого юноши, ибо именно благодаря им только и приобретает полный свой вес забота, возникающая из-за него и касающаяся порядка и благополучия дома, во главе которого он в силу этих своих качеств поставлен.

— Что он там мелет? — сказал Петепра, слегка приподняв голову и повернув ее как бы к растиральщикам. — Качества управляющего угрожают порядку в доме?

«Мелет» звучало столь же обидно, как и повторное «он». Но карлик не дал сбить себя с толку.

— При иных обстоятельствах, чем те, которые, увы, сложились, они отнюдь не угрожали бы ему, напротив, они могли бы стать благом дома, если бы получили, а точнее сказать, успели уже получить в прошлом то ограждение, то законное успокоение, в каком эти качества — то есть, повторяю, располагающая внешность, хитрость и красноречие — нуждаются, чтобы не сеять среди окружающих тревоги, расстройства, смуты.

И Дуду посетовал на то, что молодой управляющий, чьи религиозные взгляды, впрочем, и вообще неясны, отказывается отдать должное Мину, что, занимая такую высокую должность, он остается холост и не вступает а сообразную его происхождению постельную связь — например, с вавилоняжкой Иштарумми, рабыней гарема, — чтобы умножить дом детьми. Это достойно сожаленья и скверно; это вызывает беспокойство; это просто опасно. Ведь мало того что таким образом наносится известный ущерб представительности, это лишает челядь высокого примера усердия и порядка, а в-третьих, упомянутые уже соблазнительные качества управляющего, каковых у него никто не оспаривает, не получают при таких обстоятельствах того успокоения, того благотворного остепенения, в котором они так нуждаются, — и нуждались уже давно, — чтобы не распалить чувства, не кружить головы, не мутить умы, короче говоря — не сеять вокруг себя зла, причем вокруг себя не только на своем уровне, но и гораздо выше, в сфере величественной.

Молчание. Петепра, над которым продолжали трудиться растиральщики, ничего не ответил. Одно из двух, заявил Дуду, — либо-либо! Такого юношу нужно либо женить, чтобы его качества не могли необузданно и губительно распалить окружающих, а были бы умиротворены браком и стали бы безопасны для мира, либо — и это было бы лучше — надо пустить в ход бритву и достигнуть с ее помощью спасительного умиротворенья, чтобы уберечь высших от нарушенья покоя и от превращенья их чести в ее противоположность.

Снова молчанье. Резко повернувшись на спину, так что занятые его спиной массажисты на мгновение застыли, опешив, с поднятыми руками, Петепра поднял голову в сторону карлика. Он смерил его взглядом сверху донизу и еще раз снизу вверх — для его глаз это был недолгий путь — и мельком взглянул на кресло, где лежали его одежда, его сандалии, его опахало и другие вещи. Затем он снова перевернулся и уперся лбом в скрещенные руки.

Досада, в которой был холод ужаса, какое-то испуганное возмущенье угрозой его покою со стороны этого противного человечка, охватили его. Тщеславный этот ублюдок явно знал и хотел сообщить ему что-то такое, о чем, если это была правда, следовало, конечно, знать и ему, Петепра, но попытку карлика сообщить ему об этом он все-таки воспринял как грубое бессердечье. «Все ли благополучно в доме? Происшествий не было? Весела ли госпожа?» Речь шла явно об этом, и ему явно даже не дожидаясь его вопроса, хотели дать неприятный ответ. Он ненавидел карлика, — карлика заведомо; больше он, собственно, никого не склонен был ненавидеть, — покуда вопрос о том, говорит ли Дуду правду, далеко еще не был решен. Теперь, значит, придется отпустить растиральщиков и остаться наедине с этим мужественным блюстителем чести, чтобы тот дразнил его честь не то правдой, не то пустой клеветой. Честь — подумать только, что это такое в той связи, о какой в данном случае, несомненно, идет дело. Это честь пола, честь петуха-мужа, состоящая в том, что супруга верна супругу в знак безупречности его петушиных свойств, благодаря которой она находит с ним такое полное удовлетворение своих желаний, что не допускает и мысли о близости с другим и, не зная

ни в чем отказа, даже не видит в домогательствах третьих лиц ничего соблазнительного. Если же она все-таки спутается с другим, то это свидетельство противного: тогда честь пола оскорблена, петух становится рогоносцем, то есть каплуном, нежные ручки венчают его голову смешными рогами, и чтобы спасти все, что еще можно спасти, он должен пронзить в поединке того, от кого его жена ждала большего, а еще лучше, убить заодно и ее, чтобы таким внушительным кровопролитием восстановить в собственных глазах и в глазах мира свое мужское достоинство.

Честь. У Петепра не было никакой чести, ее не было в его плоти, он по самому своему складу не видел толка в этом петушином достоянье и терпеть не мог, когда другие, как сейчас этот недоношенный хранитель чести, чересчур настойчиво внушали ему, как она важна. Зато у него было сердце, наделенное справедливостью, то есть чувством права других; но сердце в то же время ранимое, надеющееся на бережную привязанность этих других, даже на их любовь, и обреченное горько страдать от измены. Во время этого молчанья, когда растиральщики вновь принялись за его могучую спину, а он спрятал лицо в своих толстых женских руках, в уме его пронеслось многое, касавшееся двух лиц, на чью любовь и верность он и в самом деле так твердо надеялся, что можно было сказать, что он их любит: это была Мут, почетная его жена, которую он, правда, немного и ненавидел из-за того упрека, какой она хоть и не могла ему предъявить, но все же своим присутствием предъявляла, но которой тем не менее он был бы от души рад, и рад не только из себялюбия, показать свою любезность, свое могущество; и это был Иосиф, отрадный юноша, который улучшал его самочувствие успешней любого вина и ради которого он, к своему сожалению, не хотел и не мог ответить на просьбу жены в вечерней палате доказательством своего могущества и своей любезности. Не нужно думать, будто Петепра не догадывался, в чем он ей тогда отказал; такая догадка, то есть догадка, что причины, по которым она требовала от него удаления Иосифа, были только предложениями, только маскировкой и что это требование она предъявила ему, Петепра, из страха перед самой собой, ради своей чести, — говоря между нами, такая догадка мелькнула у него уже и во время известного нам супружеского разговора. Но так как у него не было чести, ее страх значил для него меньше, чем присутствие этого утешительного юноши. Он предпочел его ей и, защитив жену от нее самой, сам устроил так, чтобы оба они предпочли друг друга ему. Петепра, и предали его.

Он это понимал. Ему было больно, ибо у него было сердце. Но он это понимал, ибо сердце его тяготело к справедливости — хотя, может быть, только удобства ради и потому что справедливость избавляет от гнева и от честолюбивой мстительности. Что она, справедливость, к тому же еще и надежнейшее убежище достоинства, он чувствовал как нельзя лучше. Кажется, этот противный страж чести хочет сообщить ему, что его достоинству угрожает измена. Как будто, думал он, достоинство перестает быть достоинством, если ему приходится, страдая от боли, закутывать свою голову, чтобы не видеть измены! Как будто у того, кому изменили, меньше достоинства, чем у изменника! А если и меньше — потому что он сам виноват, потому что он сам вызвал к жизни измену, — то на этот случай есть справедливость, чтобы благодаря ей достоинство могло признать свою вину и право других, а тем самым и восстановить себя самое.

Итак, тотчас же и заранее, что бы ему ни сообщили, дразня его честь, — евнух Петепра желал справедливости. В отличие от чести с ее плотскостью, справедливость есть нечто духовное, и, не обладая первой, он должен был обходиться второй. На духовность он всегда и надеялся во всем, что касалось этих обоих, которые, как, по-видимому, хочет сообщить ему непрошенный доносчик и подстрекатель, нарушили верность вместе. Ведь плоть их, насколько он знал, сковывали мощные узы духа, ибо оба были посвящены и в духе едины: избыточно утешенная жена, наложница Амуна, невеста его храма, плясавшая перед ним в облегающе-узком платье богини, — и юноша с венком избранности в волосах, облюбованный богом мальчик Не-Тронь-Меня. Неужели плоть возобладала над ними? Он похолодел от ужаса при этой

мысли, ибо плоть, хотя он располагал ею в таком обилие, была его врагом, и, спрашивая при возвращении: «Все ли в порядке? Ничего не случилось?», он всякий раз подспудно опасался, что в его отсутствие плоть как-то возобладала над бережно-покойной, но ненадежной духовностью, которой держался дом, и внесла в него какое-то ужасное расстройство. Но знобящий его ужас сопровождался досадой: зачем ему об этом знать, неужели его все-таки нельзя было оставить в покое? Если оба посвященных покорились за его спиной плоти и что-то скрывали от него, то как раз в этой скрытности, в этом обмане было еще достаточно бережной любви, за которую он их готов был благодарить. А сердит, и сердит несказанно, был он на этого тщеславного коротышку, на этого надменного человечка чести, пожелавшего навязать ему непрошенное знание и совершить подлое нападение на его покой.

— Скоро вы там? — спросил он. Это относилось к растиральщикам, которых он должен был прогнать, а прогонять не хотел, потому что такая необходимость была вызвана этим гнусным наушником, но удалить их он все-таки должен был. Это были, правда, два непроходимо глупых раба, они прямо-таки нарочно воспитали в себе глупость, чтобы мера ее поистине поговорочно соответствовала их грубому ремеслу и они стали и в самом деле глупы, как растиральщики. Но хотя они до сих пор несомненно ничего не поняли и вряд ли поняли бы что-либо впредь, Петепра не мог не уступить молчаливому требованию своего назойливого собеседника и не остаться с ним с глаза на глаз. Тем больше он на него сердился.

— Вы не уйдете, пока не кончите, — сказал он рабам, — и не очень-то торопитесь. Но когда вы кончите, подайте мне простыню и потихоньку уходите.

Им никогда и в голову не пришло бы, что им, даже не кончив, лучше уйти. Но так как они и вправду кончили, они по шею укрыли громадное тело своего господина льняным полотнищем, пали на свои узкие, всего в два пальца шириной лбы и вперевалку, оттопырив локти, удалились походкой, которая я сама по себе убедительно показывала их желанную и притом совершенную глупость.

— Подойди ближе, друг мой! — сказал телохранитель. — Подойди настолько близко, насколько захочешь и насколько, по-твоему, этого требует сообщение, которое ты собираешься сделать, ибо оно, мне кажется, таково, что тебе было бы неудобно стоять вдалеке от меня и кричать, — дело это, мне кажется, располагает нас к доверительно-приглушенной беседе, что я уже отношу к его достоинствам, какого бы рода оно ни было. Ты у меня ценный слуга, маленький, правда, гораздо ниже среднего роста, и с этой точки зрения существо нелепое, но у тебя есть достоинство, есть вес, есть, наконец, качества, в силу которых ты вправе, помимо своих одежных обязанностей, наблюдать за всеми делами дома и блюсти порядок в его плодородии. Не помню, впрочем, чтобы я поручал тебе это и назначал тебя на должность такого блюстителя — чего нет, того нет. Но я утверждаю тебя в этом чине задним числом, ибо не могу не считаться с твоим призванием. Насколько я понял, любовь и долг побуждают тебя сообщить мне о каких-то тревожных наблюдениях в подведомственной тебе области, о каких-то распалющихся беспорядках?

— Именно — живо отозвался противник-Иосифа на это обращение, обидную часть которого он проглотил ради его в общем-то поощрительного характера. — Заботливая верность слуги заставляет меня предстать перед тобой, господин, чтобы предостеречь тебя, наше солнце, от опасности, достаточно важной, чтобы ты, согласно моим просьбам, допустил меня пред свое лицо еще раньше, ибо мое предостережение может, того и гляди, опоздать.

— Ты пугаешь меня.

— Сожалею об этом. Но, с другой стороны, испугать тебя как раз и входит в мои намерения, ибо опасность велика чрезвычайно, и при всем пущенном мною в ход остроумии твой слуга не может с уверенностью сказать, что еще не поздно и что надругательство над тобой еще не совершено. Если же оно уже совершилось, то предостеречь тебя не поздно лишь постольку, поскольку ты еще жив.

— Разве мне грозит смерть?

— И то и другое: и позор и смерть.

— Я был бы рад второму, если бы не избежал первого, — светским тоном ответил Петепра. — И откуда же грозят мне эти беды?

— Намекая на источник опасности, — ответил Дуду, — я уже дошел до полной, не допускающей кривотолков определенности. Ты мог не понять меня, только страшась понять.

— В сколь бедственном положении я нахожусь, — возразил Петепра, — показывает мне твоя беззастенчивость. Она явно соответствует моему злополучью, и мне ничего не остается, как хвалить ревностную преданность, из которой она проистекает. Признаю, что мой страх понять тебя действительно непреодолим. Помоги же мне, друг мой, справиться с ним и скажи мне правду настолько прямо, чтобы у моего страха не осталось ни малейшей возможности спрятаться от нее!

— Хорошо же! — ответил Дуду, выставив вперед теперь уже другую ножку и упершись кулачком в бок. — Положение твое таково, что зажигательные качества молодого управляющего Озарсифа, своевременно не умиротворенные и не обузданные, раздули пожар в груди нашей госпожи, твоей супруги Мут-эм-энет, и пламя этого пожара, дымясь и треща, лижет уже потолок твоей чести, который вот-вот обвалится и погребет под собой также и твою жизнь.

Петепра натянул простыню выше, до самого носа, прикрыв ею подбородок и рот.

— Ты хочешь сказать, — спросил он из-под нее, — что госпожа и управляющий не только бросали друг на друга взгляды, но и посягают на мою жизнь?

— Именно! — отвечал карлик, с силой меняя упертый в бедро кулак. — Вот в каком положении оказался человек, недавно еще столь благополучный, как ты.

— А чем, — глухо спросил полководец, и простыня у его рта зашевелилась, — чем можешь ты доказать такое ужасное обвиненье?

— Моя бдительность, — ответил Дуду, — мои глаза и уши, зоркость, которую придала моим наблюдениям забота о чести дома, — пусть они засвидетельствуют тебе, достойный жалости господин, досадную и страшную справедливость моего сообщения. Как знать, кто из них первый — ибо отныне об этих бесконечно различных по званию людях приходится говорить именно так: «они», — как знать, кто из них первый бросил взгляд на другого? Взгляды их встретились и преступно утонули друг в друге — этого достаточно. Мы должны, великий господин, отдавать себе полный отчет в том, что Мут-в-Пустыне одинока в постели; а что касается управляющего, то он как раз отличается зажигательностью. Какой раб заставит подобную госпожу дважды себя просить? Для этого потребовалась бы такая любовь, такая преданность господину госпожи, какую найдешь, конечно, не у высшего управляющего, а только у следующих за ним по чину смотрителей... Вина? Что толку допытываться, кто первый поднял глаза на другого и в чьем уме зародилось это страшное злодеянье? Вина юного управляющего состоит в первую очередь не в том, что он сделал, а в самом его существовании, в таком его существовании в доме, при котором его качества оказывают свое зажигательное действие направо и налево, не утихомирившись ни супружеским ложем, ни бритвой; а если госпожа воспылала любовью к слуге, то за это он отвечает головой, ибо вина его такова же, как если бы он надругался над непорочной, и соответственно следует с ним обойтись. Но именно так дело, увы, и обстоит: у них царит полное согласие. Записочки, в которые я сам заглядывал, так что могу поручиться за их страстность, между ними так и снуют. Под предлогом обсуждения хозяйственных дел они встречаются то тут, то там: в гостиной гарема, где госпожа в угоду рабу поставила изображение Горахте, в саду и беседке на насыпи, даже в личном покое госпожи в этом самом доме, — во всех этих местах они тайно видятся, и разговоры у них давно уже идут не о почтенных вещах, а о пустяках, это сплошное воркованье и жаркий шепот. Сколь сильно они в этом преуспели и дошло ли дело до того, что один уже наслаждался плотью и кровью другого, так что предотвращать уже нечего и остается одна только месть, этого я с полной определенностью сказать не могу. Но я готов головой поручиться перед любым богом и перед

тобой, униженный господин, ибо я подслушал это у щели собственными ушами, за то, что они, воркуя, сговариваются убить тебя палочными ударами, чтобы, освободив от тебя дом, предаваться в нем радости на украшенной венками постели, как господин с госпожой.

После этих слов Петепра полностью закутал голову простыней, и лица его уже вовсе не стало видно. Так прошло довольно много времени, и Дуду даже заскучал было, хотя поначалу ему было приятно глядеть, как его господин лежит бесформенной глыбой, покрывшись своим стыдом, исчезнув под ним. Внезапно, однако, Петепра откинул простыню до бедер и, приподнявшись лицом к карлику, оперся маленькой своей головой на маленькую свою ладонь.

— Я глубоко благодарен тебе, смотритель моих ларей, — начал он, — за инвентаризации («инвентаризации» было иностранное, вавилонское слово), предпринятые тобой, чтобы спасти мою честь или установить, что она уже потеряна и спасти можно разве что жизнь, — спасти не ради самой жизни, а ради мести, которой она грозно должна отныне служить. Боюсь, что из-за мысли о наказании я упущу из виду столь же важную мысль о награде, которой я обязан отблагодарить тебя за твои сообщения. Гневу и ужасу моему, ими вызванному, равно мое удивление по поводу подвигов твоей любви и преданности. Да, я не стану скрывать от тебя своего изумления, хотя мне и следовало бы умерить его, я это понимаю; ведь как часто человек неказистый, вниманием и доверием к которому мы никак не можем похвастаться, делает для нас доброе дело! И все-таки я не могу избавиться от недоверчивого удивления. Ты же урод и ублюдок, потешный карлик, которому должность смотрителя дана скорее для смеха, чем всерьез, полусмешной-полупротивный кривляка, особенно смешной и особенно противный из-за своего хвастовства. Так разве не граничит с невероятным, разве не переходит даже этой границы твое убеждение, что именно тебе удалось проникнуть в тайную жизнь высочайших после меня лиц в доме и прочитать, например, записочки, которые, согласно твоей жалобе, так и снуют между молодым управляющим и госпожой? Могу ли я, вправе ли я не сомневаться в существовании этих записок, если мне кажется невероятным, чтобы ты ухитрился в них заглянуть? Для этого тебе, мой дорогой, понадобилось бы вкрасться в доверье к избранному лицу, которому доверено было носить эти письма, а как я могу признать это хоть сколько-нибудь вероятным при виде твоего неопровержимого безобразья?

— Боязнь, — отвечал Дуду, — поверить в свой позор и в плачевное свое унижение заставляет тебя, бедный мой господин, искать причин не доверять своему слуге. При этом ты довольствуешься очень плохими причинами — так велик твой трепетный страх правды, которая, впрочем, показывает тебе настолько язвительное, настолько гнусное свое лицо, что твой трепет вполне понятен. Убедись же в неосновательности своего сомнения! Мне не нужно было втираться в доверье к избранному лицу, которое носило их пыльные письма, ибо этим избранным лицом был я сам.

— Поразительный пассаж! — сказал Петепра. — Ты, такой маленький, такой смешной человек, носил их письма? Мой респект перед тобой заметно возрастает уже от одних этих слов; но все-таки он должен еще расти и расти, чтобы я к тому же и поверил твоим словам. Значит, госпожа так доверяет тебе и ты с ней на такой дружеской ноге, что она могла поручить тебе свою вину и свое счастье?

— Именно! — отвечал Дуду, смело выставив вперед другую ножку и упираясь в бок другим кулачком. — Мало того что она передавала через меня свои письма, она писала их с моих слов. Ибо она понятия не имела ни о каких записочках и только благодаря мне, человеку светскому, узнала об этом нежном приеме.

— Кто бы подумал! — продолжал удивляться телохранитель. — Я все больше убеждаюсь в том, что недооценивал тебя, и мой респект перед тобой неудержимо растет. Ты сделал это, я полагаю, чтобы довести дело до крайности и посмотреть, как далеко зайдет госпожа в своей провинности.

— Разумеется, — подтвердил Дуду. — Я действовал так из любви к тебе, как верный твой слуга, мой униженный господин. Иначе я разве стоял бы сейчас перед тобой и побуждал тебя к мести?

— Но как же удалось тебе, — пожелал знать Потифар, — такому комичному и противному человечку, каким ты на первый взгляд кажешься, завоевать расположение госпожи и завладеть ее тайной?

— Это произошло одновременно, — отвечал карлик. — И то и другое. Как все добрые люди, я досадовал и гневался в Амуне на хитрое возвышенье иноземца, питая к нему и к коварному его сердцу великое недоверье — по праву, как ты, конечно, признаешь теперь, когда он мерзко тебя обманывает, оскверняет твоё почетное ложе и превращает тебя, который делал ему добро за добром, в посмешище резиденции, а вскоре, пожалуй, и обеих стран. И вот, терзаясь гневом и недоверьем, я пожаловался твоей жене Мут на такую досадную несправедливость и указал ей на этого негодяя, обратив на него её вниманье. Ибо сперва она не понимала, какого слугу я имею в виду. Но потом она как-то несуразно вняла горьким моим жалобам и стала вести какие-то странно щекотливые речи, все больше обнаруживая свою скрытую под покровом заботы влюбленность, и я понял, что у нее просто-напросто свербит чрево, что она втрескалась в этого раба, как последняя судомойка, — вот до чего довел он своим существованием гордую женщину, — и что если за это дело не возьмется такой человек, как я, который с умом к ней подладится, чтобы затем, в надлежащий час, разоблачить подлый их заговор, от твоей чести ничего не останется. Поэтому, видя, что мысли твоей жены крадутся такими темными путями, я стал красться за ними, как вор в ночи, которого хотят накрыть, когда он крадет, и, надоумив ее насчет записочек, чтобы испытать ее и узнать, как далеко она зашла и на что способна, — увидел, что все мои тревожные ожидания превзойдены; ибо благодаря слепому доверью, которое она ко мне питала, думая, будто я, человек большого светского опыта, готов служить ее похоти, я, к ужасу своему, убедился, что этот гнусный разжигатель и вправду сделал нашу благородную госпожу способной на все и что малейшее промедление таит в себе угрозу не только твоей чести, но и твоей жизни.

— Так, так, — сказал Петепра, — ты обратил её вниманье и надоумил её — понимаю. Насчет госпожи все ясно! Но чтобы ты завоевал доверье также и управляющего, — этому я, глядя на твою убогую внешность, никак не могу поверить, это все еще кажется мне совершенно невыносимым.

— Твое неверье, побитый господин, — возразил Дуду, — должно было бы сложить оружие перед фактами. Я оправдываю его твоей боязнью правды, а также твоей священной, особенной статью, которая, как ты согласишься, причиной всем этим бедам; она же мешает тебе познать людей и понять, что их мнение о другом человеке и их тяга к нему, будь он большого роста или умеренного, очень зависит от его готовности угождать их страстям и желаньям. Стоило мне только изобразить такую готовность и умело предложить ему свои услуги опытного и молчаливого посредника между его страстью и страстью нашей госпожи, как этот дуралей сразу же попался на удочку, и у нас завязались с ним такие нежные отношения, что он от меня уже ничего не таил, и теперь я мог не только следить за всеми подробностями их преступной игры, но и поощрять, но и подогревать эту игру мнимым пособничеством, чтобы, видя, как далеко они зашли и до какого преступления способны дойти, накрыть их в самый последний миг. Терпеливо крадучись, я сумел выяснить одно общее их убеждение, один любопытный взгляд, на котором основана их игра, — а именно, что господин тот, кто спит с госпожой. Такова, бедный мой господин, их блудливая и человекоубийственная гипотеза; они ежедневно обсуждают ее, и из нее, я слышал это из их уст, выводят высшее свое право убить тебя палкой, чтобы затем, как госпожа и господин по любви, справлять в этом очищенном доме праздники роз. И вот, когда они зашли так далеко и я, сделавшись их поверенным, услышал из их уст такие ужасы, мне показалось, что этот нарыв пора проколоть, и, направившись, посрамленный мой господин, к тебе, которому я и в беде верен, я сообщил тебе обо всем, чтобы мы их накрыли.

— Так мы и поступим, — сказал Петепра. — Мы наведем на них ужас, — ты, милый карлик, и я, и они поплатятся за свое преступление. Как нам, по-твоему, расправиться с ними, какие наказания кажутся тебе достаточно мучительными и унижительными, чтобы им-то их и подвергнуть?

— Я склонен быть милостивым, — отвечал Дуду, — по крайней мере, в отношении нашей прекрасной грешницы Мут, ибо многое находит оправдание в постельном ее одиночестве, и хотя твои дела по ее вине плохи, тебе, говоря между нами, не пристало поднимать шум. Кроме того, я уже говорил, что если госпожа влюбилась в раба, то взыскивать нужно с раба, ибо самым своим существованием виновен он в этой мизерии и должен за нее заплатить. Но и к рабу я склонен быть милостивым и не требую даже, чтобы его отдали, предварительно связав, крокодилу, как он того заслуживает своим столь мизерабельно обернувшимся счастьем. Ибо Дуду помышляет не столько о мести, сколько о надежной мере, которая положит конец зажигательности юного управляющего; его достаточно будет связать и, пресекая зло в корне, пустить в ход бритву, чтобы он не смог быть с Мут-эм-энет и его прекрасный рост утратил в ее глазах какой-либо смысл. Я с удовольствием исполню эту умиротворяющую операцию, если его, конечно, надлежащим образом свяжут.

— Очень благородно с твоей стороны, — сказал Петепра, — что ты берешься и за это, после того как столько для меня сделал. Не кажется ли тебе, мой маленький, что таким образом справедливость восторжествует на свете даже во многих отношеньях, поскольку благодаря этой мере ты получишь перед изувеченным управляющим некое преимущество, которое вознаградит тебя, человека такой диковинной природы, за твой недостаточный рост?

— Да, в этом есть доля правды, — ответил Дуду, — заслуживающая, пожалуй, попутного замечания. Не отрицаю.

Он скрестил ручки, выпятил одно плечо и принялся задорно подбрасывать выставленную вперед ножку, все веселее качая головой и бросая по сторонам победные взгляды.

— А не кажется ли тебе, — продолжал Петепра, — что он уже не сможет оставаться во главе дома, после того как ты отомстишь ему таким убавлением?

— Конечно, не сможет, — засмеялся Дуду, не переставая подбрасывать ножку и качать головой. — Стоять во главе дома и распорядиться всей челядью должен не умиротворенный преступник, а полносильный человек, способный представлять господина в любом деле и заменять его во всем, за что он не хочет и не может браться!

— Таким образом, — добавил военачальник, — мне сразу становится ясно, каким повышением смогу я достойно вознаградить и отблагодарить тебя, мой славный слуга, за преданное соглядатайство и за то, о чем ты донес мне, чтобы спасти меня от позора и смерти.

— Надеюсь! — воскликнул Дуду, вконец обнаглев. — Надеюсь, ты понял, кем должен стать Дуду, и полагаю, что тебе все ясно относительно благодарности и преемственности. Ты не впадешь в преувеличение, сказав, что я спас от позора и смерти не только тебя, но и нашу прекрасную грешницу! Пусть же она знает, что это я, вымолив ее у тебя ради ее постельного одиночества, даровал ей жизнь и что, следовательно, она живет и дышит только благодаря моему милосердию и покровительству! Ибо если я захочу и она ответит мне черной неблагодарностью, я всегда смогу разгласить ее позор и ее преступление городу и стране, после чего тебе придется все-таки удушить ее и сжечь ее нежное тело или, по меньшей мере, отрезать ей нос и уши и в таком виде отправить ее к родным. Пусть же она, проказница и разбойница, не делает глупостей, пусть отвернется от бессмысленной теперь красоты и обратит свои глаза-самоцветы на хитроумного утешителя, на господина госпожи, на маленького и ловкого управляющего Дуду!

Говоря это. Дуду бросал по сторонам все более победные взгляды, поводил плечами и бедрами, приплясывал и вообще вел себя ни дать ни взять как токующий тетерев, который, находясь на волосок от гибели, кружится в своем призывном самозабвенье, слепой и глухой. Но и случилось с Дуду примерно то же, что с тетеревом, к которому подбегает охотник. Ибо внезапно, одним прыжком, Петепра сбросил простыню и стал на ноги, — совершенно голый, громада мяса с маленькой головой, а вторым прыжком оказался у кресла, где лежали его вещи, и схватил свой почетный жезл. Мы уже видели у него в руке эту или подобную ей красивую палицу, знак полководческого отличия — обшитый золоченой кожей валик, окан-

чивающийся пиниевой шишкой, — символ власти, а также, собственно, фетиш жизни, предмет женского культа. Эту-то дубинку господин внезапно схватил и, замахнувшись, опустил ее на плечи и спину Дуду; он колотил его так, что карлик лишился и слуха и зренья уже по другим причинам, чем прежде, и только визжал, как поросенок.

— Ай, ай! — кричал он, сжимаясь и приседая. — Ай, больно! Я умираю, я весь в крови, трещат мои косточки, помилуй своего верного слугу!

Но помилованья не последовало.

— Вот тебе, вот тебе, дурак и срамник, получай по заслугам, подлец, выболтавший мне свои козни! — кричал Петепра, гоня его нещадными ударами из одного угла спальни в другой, откуда этот верный слуга не нашел двери и не пустился что было сил наутек.

УГРОЗА

История утверждает, что жена Потифара, требуя, чтобы Иосиф спал с ней, «говорила ему так» ежедневно. Значит, он давал ей такую возможность? Значит, и после дня больного языка он не избегал ее близости, а по-прежнему встречался с ней в разных местах и в разное время дня? Да, так он и вел себя. Он должен был так вести себя, ибо она была госпожа, то есть господин в женском обличье, и могла вызывать его и требовать к себе, когда хотела. А кроме того, он обещал ей, что не покинет ее в ее умопомраченье и будет, как только может, утешать ее речами, потому что таков его долг перед ней. Он это понимал. Чувство долга приковывало его к ней, и в душе он признавал, что ведь это же он сам, по своей дерзости, довел дело до того, до чего оно дошло, и что его план исцеления был преступным вздором, последствия которого нужно теперь преодолеть и по возможности уладить, какой бы опасной, какой бы безнадежно трудной ни представлялась эта задача. Значит, это похвально, что он не скрывался от одержимой, а «ежедневно» или, предположим, почти ежедневно ощущал на себе дыхание огненного быка, по-прежнему отважно подвергая себя, наверно, одному из самых сильных соблазнов, какие когда-либо одолевали юношей? Да, пожалуй, хотя и небезотнотительно, хотя и отчасти. Среди внутренних его побуждений были и похвальные, это можно признать. Похвалы заслуживало двигавшее им чувство вины и долга; далее, отвага, с какой он уповал в этой беде на бога и на семь причин; еще, если угодно, упрямство, которое тоже стало определять его поведение, требуя от него, чтобы его разум померился силами с безумьем женщины: ведь она выразила готовность, она грозила ему порвать венки, который он носит ради своего бога, и увенчать его взамен своим венком. Это ему казалось бесстыдством, и, забегаая вперед, мы скажем, что прибавилось и еще кое-что, заставившее его воспринимать всю эту историю как спор между богом и богами Египта, — точно так же, как со временем и для нее забота об Амуне сделалась или была сделана другими побудительной причиной ее желанья... Таким образом, если он не позволял себе увиливать, а считал необходимым выстоять, не отступая во славу бога ни перед чем, — то это можно понять и даже одобрить.

Все это хорошо. Но все-таки не так уж безоговорочно хорошо, ибо была и другая причина, по которой он следовал за ней, встречал ее, ходил к ней и которая, как он отлично знал, похвалы не заслуживала: причину эту можно назвать любопытством и легкомыслием, а можно и неохотой окончательно отказаться от зла, желанием продлить свободу выбора между добром и злом, отнюдь, правда, не намереваясь взять сторону зла... Не находил ли он, при всей серьезности и опасности своего положения, удовольствия в уединенье с госпожой на том уровне короткого «дитя мое», право на который давала ему ее беззаветная страсть? Догадка банальная, однако вполне правомерная наряду с более благочестивыми, более мечтательными объяснениями его поведения, такими, например, как очень озорная и очень будоражающая идея его мертвости, его обожествленности в качестве Узарсифа и вытекающего отсюда состоянья священной готовности, над которой, впрочем, опять-таки тяготело проклятье ослиности.

Одним словом, он ходил к госпоже. Он держался с ней стойко. Он сносил ее непрерывные просьбы «спи со мной!». Мы говорим: он их сносил, потому что это не пустяк и не шутка противостоять одержимой, ласково успокаивать ее и держать наготове семь доводов для защиты от ее желанья, которому ведь так отвечала его божественная мертвость. Право же, хочется простить сыну Иакова менее похвальные причины его поведения, представляя себе, как тяжело ему приходилось с несчастной, которая каждодневно так его донимала, что в иные мгновенья он понимал Гильгамеша, который в конце концов, в ярости и отчаянье, бросил в лицо Иштар вырванный член быка.

Ибо эта женщина совсем переродилась и становилась все неразборчивей в средствах, помогаясь соединенья голов и ног. К своему предложенью убить господина, чтобы затем, став госпожой и господином по любви, блаженствовать в доме, украшая себя прекрасными нарядами и цветами, она, правда, больше не возвращалась, видя, что эта идея донельзя ему отвратительна, и опасаясь непоправимо отдалить его от себя ее повтореньем. Несмотря на свое хмельное и помраченное состояние, Мут понимала, что, решительно отклонив эту дикую мысль, он был самым естественным, самым очевидным образом прав и мог, безусловно, гордиться своим возмущенным отказом исполнять требование, возобновить которое уже не большим, уже не лепечущим языком даже ей было бы очень и очень трудно. Зато доводом, что его упрямство лишено смысла, ибо они все равно связаны тайной, упоительное свершенье которой уже ничего не изменит, — этим доводом она допекала его снова и снова, равно как и посулами несказанных блаженств, что ждут его в любовных объятьях, так как она все сберегла для него одного; а когда он, в ответ на столь сладостные домогательства, твердил ей: «Дитя мое, нам нельзя», она принималась донимать его сомненьями в его мужественности.

Не то чтобы она искренне в ней сомневалась — это едва ли было возможно. Но какое-то формальное, какое-то разумное основание для такой насмешки его поведение давало ей. Иосиф не мог растолковать ей семь своих причин должным образом; большей их части она бы не поняла; а то, на что он ссылался взамен, поневоле казалось ей неубедительным и скучным, производило на нее впечатление вымученной отговорки. Что толку было ее бедственной страсти в нравоучительном изреченье, которым он хотел ответить ей раз навсегда, чтобы его ответ остался на устах у людей, если это событие станет историей, — что-де его господин все доверил ему и ничего не заказал в доме, кроме нее, своей жены, и что поэтому он, Иосиф, не сотворит такого зла и не согрешит с нею? Это был шаткий довод и для ее бедственной страсти совершенно неосновательный, и даже если бы они оказались в истории, то, по убеждению Мут-эм-энет, мир всегда бы считал справедливым, что такая пара, как Иосиф и она, соединила, несмотря на почетного супруга и полководца, головы и ноги, и каждому это доставило бы куда большее удовольствие, чем какое-то изречение.

Что говорил он еще? Он говорил, например, такие слова:

— Ты хочешь, чтобы я пришел к тебе ночью и спал с тобой. Но как раз ночью наш бог, которого ты не знаешь, обычно являлся нашим отцам. А вдруг он пожелает явиться мне этой ночью и застанет меня у тебя — что со мной станет?

Но ведь это была детская болтовня. Или он говорил:

— Я боюсь из-за Адама, который был изгнан из сада за такой малый грех. Какое же наказание постигнет меня?

Ей это казалось столь же убогим, как и такой его ответ:

— Ты не все знаешь. Мой брат Рувим потерял первородство из-за своего буйства, и отец отдал первородство мне. Он отнял бы его у меня, узнай он, что ты превратила меня в осла.

Ей это не могло не казаться жалким, даже сомнительным, и ему не приходилось удивляться, если в ответ на такие притянутые за волосы извиненья она со слезами боли и гнева давала понять ему, что начинает думать, — да ничего другого ей и не остается предположить, — что венчик, который он носит, это всего-навсего соломенный венчик бессилья. Повторяем, она не верила и, пожалуй, не могла верить в то, что говорила. Это был, скорее, вызов, в отчаянье

брошенный чести его плоти, и взгляд, которым он на него ответил, в равной степени устыдил ее и воспламенил, еще взволнованней и отчетливей выразив то, что Иосиф облек в такие слова:

— Ты думаешь? — сказал он горько. — Ну, что ж, тогда отступись! Но только если бы твоя догадка была справедлива, мне было бы легко, и этот соблазн не походил бы на змея и на рычащего льва. Поверь мне, женщина, я уже думал о том, чтобы покончить с твоими страданиями, приняв ту статью, какую ты ошибочно мне приписываешь, и поступив как тот юноша в одной из ваших историй, который причинил себе боль острым листом мечевидного тростника и бросил в реку, рыбам на корм, обвиняемое, чтобы доказать свою невиновность. Но для меня это не выход; мой грех был бы столь же велик, как если бы я пал, и богу я тогда тоже ни на что не годился бы. Нет, он хочет, чтобы я выстоял цел и невредим.

— Ужасно! — восклицала она. — Озарсиф, о чем ты думал? Не делай этого, мой возлюбленный, мой прекрасный, это была бы страшная беда! Я никогда не думала так, как сказала! Ты любишь меня, ты любишь меня, тебя выдает твой казнящий меня взгляд и твое кощунственное намеренье! О милый, приди и спаси меня, останови льющуюся мою кровь, которой так жаль!

Но он отвечал: «Нельзя».

Тогда она бесновалась и начинала угрожать ему пыткой и смертью. Вот до чего она дошла, и это мы, к печали своей, имели в виду, когда сказали, что она делалась все неразборчивей в средствах, которыми его допекала. Он понимал теперь, с кем он имеет дело и что означал ее звонкий возглас: «В моей любви страшна я одна!» Исполинская кошка поднимала лапу, и угрожающе высовывались из бархатных гнезд ее когти, чтобы его растерзать. Если он не покорится, говорила она, если не оставит ей божественный свой венец, чтобы получить за него венец ее радости, она уничтожит, она должна будет уничтожить его. Она очень просит его поверить ее словам, не принимать их за пустой звук, ибо она, как он видит, на все способна и ко всему готова. Она обвинит его перед Петепра в том, в чем он, Иосиф, отказывает ей, уличив его в разбойничьем посягательстве на свою добродетель. Обвинив его в том, что он взял ее силой, причем этот ложный донос доставит ей высшее наслаждение, она сумеет и притвориться опозоренной жертвой насилия, чтобы никто не усомнился в ее показаньях. Ее слово и ее клятва, он может быть в этом уверен, будет иметь в доме как-никак больший вес, чем его, и никакое отпирательство ему не помажет. Кроме того, она убеждена, что он и не станет отпираться, а молча возьмет вину на себя, ибо это он виноват в том, что она дошла до такой ярости отчаянья, — виноват своими глазами, своим ртом, своими золотыми плечами, своим отказом любить, — и он должен согласиться, что совершенно не важно, в какое обвиненье облечена эта вина, ибо любое обвиненье оправдывается правдой его вины, и должен быть готов принять поэтому смерть. Но смерть эта будет такая, что он все-таки раскается в своем молчанье и, быть может даже, в своем жестоком отказе любить. Ибо когда дело идет о мести, такие люди, как Петепра, особенно изобретательны, и распутника, овладевшего госпожой, ждет такая изощренная казнь, что ничего более жестокого и придумать нельзя.

И она рассказывала ему, как он умрет из-за ее доноса, — она расписывала ему его смерть то звонким, певучим голосом, то на ухо, шепотом, который можно было принять за любовный лепет.

— Не надейся, — шептала она, — что расправа будет короткой, что тебя столкнут со скалы или повесят вниз головой, так что кровь сразу же хлынет тебе в мозг и ты дешево отделаешься. Нет, такой милости не жди, когда тебе, по приказу Петепра, для начала расколшат палками спину. Ибо когда я обвиню тебя в подлом насилии, сердце его, как горы Востока, поднимет песчаную бурю, и беспредельны будут его жестокость и злость. Ужасно быть брошенным крокодилу и беззащитно, ибо ты связан, лежать в камышах, когда к тебе жадно приближается хищник, чтобы, подмяв тебя под свое мокрое брюхо, начать свой обед с твоих бедер или, например, с плеч, так что дикие твои крики сольются с его довольным чавка-

нем, потому что тебя никто не услышит или не станет слушать. Так бывало с другими, ты это слышал, ты испытывал поверхностное, не очень глубокое сострадание и в общем-то мирился с этим, потому что это не касалось твоей собственной плоти. Ну, а теперь, начав с плеч или бедер, зверь принялся уже за тебя, за твою плоть — так владей же собой, удержишься от нечеловеческого крика, вырывающегося у тебя из груди, — не зови, любимый, меня, которая хотела целовать тебя в те места, куда вонзят это мокрое чудище свои гнусные зубы!.. А может быть, поцелуи будут другими. Может быть, тебя, мой красавец, положат на спину, зажмут твои руки и ноги железными скобами, навалят на твое тело всего, что хорошо горит, да и подожгут, и в муках, которых никто не опишет, которые, задыхаясь от боли и жалобных стонов, узнаешь лишь ты один, потому что все остальные будут на них только смотреть, обуглятся на медленном огне твоя прекрасная плоть... Вот как может быть, мой любимый, а может быть, тебя живьем бросят в яму вместе с двумя большими псами, а яму закроют бревнами и засыпят землей, и опять никто не в силах вообразить, даже ты сам, покуда предстоящее не свершится, что со временем произойдет в темноте между вами тремя... А знаешь ли ты о двери зала и о ее стержне? После моей жалобы ты будешь молиться и вопить о пощаде, потому что в глаз тебе воткнут дверной стержень, который будет поворачиваться у тебя в голове всякий раз, когда твоему мстителю вздумается пройти через эту дверь... Таковы лишь некоторые из наказаний, которые не минуют тебя, если я предъявлю тебе свое обвинение, как я готова, дойдя до предела отчаянья, поступить; а тебе уже не обелить себя после моей клятвы. Из жалости к себе самому, Озарсиф, — оставь мне твой венок!

— Госпожа и подруга, — отвечал он на это, — ты права, я не смогу обелить себя, если ты вздумаешь очернить меня перед моим господином подобным образом. Но из наказаний, которыми ты угрожаешь мне, Петепра придется выбрать какое-то одно; он не может подвергнуть меня всем сразу, а это уже известное ограничение его мести и моих мук. Мало того, в пределах этого ограничения мои муки будут ограничены человеческими возможностями, и какими бы эти границы ни были, — широкими или узкими, — переступить их страдание не может, ибо оно конечно. И блаженство, и страдание ты изображаешь мне безмерными, но ты преувеличиваешь, ибо и то и другое довольно быстро доходит до границ человеческих возможностей. Безмерной следовало бы назвать только ошибку, какую я совершил бы, если бы поссорился с господом, с богом, которого ты не знаешь, а потому и не можешь понять, что значит быть покинутым богом. Вот почему, дитя мое, я не могу выполнить твоего желанья.

— Горе твоему уму! — кричала она певучим голосом. — Горе ему! А вот я не умна! Я обезумела от безмерного желанья твоей плоти и крови, и я сделаю то, что говорю! Я любящая Изиды, и взгляд мой — это смерть. Берегись, берегись, Озарсиф!

ПРИЕМ ДАМ

Ах, она, наверно, казалась великолепной, бедная Мут, когда стояла перед ним и грозила ему звонким своим голосом. А между тем она была слаба и беспомощна, как ребенок, она совершенно не жалела своего достоинства и сказанья и в конце концов начала посвящать в свою страсть, в свое бессилие перед этим юношей всех и вся. Да, дело дошло до этого: не только смолоедка Табубу, не только побочная жена Ме-Эн-Уазехт были теперь посвящены в ее любовь и в ее беду, но и Рененутет, жена главного смотрителя говяд Амуна, но и Неит-эм-хат, супруга главного банщика фараона, но и Ахуаре, благоверная Какабу, писца среброхранилищ и смотрителя царского среброхранилища, одним словом, все подруги, весь двор, половина города. Это было свидетельством великого перерождения, если на исходе третьего года своей любви она без стыда и оглядки сообщала, если, не стесняясь, навязывала всем и каждому то, что поначалу хранила в груди, хранила так гордо и так боязливо, что скорее бы умерла, чем призналась в этом любимому или кому бы то ни было. Да, не только степенный карлик Дуду

переродился в этой истории, переродилась и Мут, госпожа, переродилась до полной утраты не только самообладания, но и цивилизованности. Это была одержимая, бесноватая, совершенно вышедшая из себя, не причастная уже к цивилизованному миру и чуждая его мерам, готовая отдать свои груди на растерзанье хищникам, оголтелая, ликующая, задыхающаяся, размахивающая тирсом менада. До чего она только не дошла? Говоря между нами и забегаая вперед, даже до того, что стала колдовать с черной Табубу. Но об этом позже. Сейчас мы только с сочувственным удивлением отметим, что она трубила о своей любви и о неутоленном своем желанье направо и налево, не в силах сдержать себя ни перед кем, будь он высокого или низкого звания, так что вскоре о ее беде судачила вся дворня, и повара — помешивая в котлах и ощипывая птицу, а привратники — сидя на кирпичной скамье, говорили друг другу:

— Госпожа наша зарится на молодого управляющего, а он воротит от нее нос. Ну и дела!

Ибо именно такой вид приобретает подобное дело в посторонних умах и устах в силу того плачевного противоречия, что существует между священно-строгим и прекрасным своей болью представлением слепой страсти о себе самой, с одной стороны, и впечатлением, производимым ею на людей трезвых, для которых ее неспособность и нежеланье себя утаить — такой же скандал, такое же посмешище, как пьяный на улице...

Все пересказы нашей истории, за исключением, правда, наиболее нами уважаемого, но и самого скупого — и Коран, и семнадцать персидских песен, о ней повествующих, поэма Фирдуси, Разочарованного, которой он посвятил свою старость, и утонченно-зрелое изложение Джамии, — все они, как и бесчисленные произведения кисти и резца, знают о приеме, который примерно в это время устроила первая и праведная жена Потифара, чтобы, поведав и объяснив своим подругам, но-амунским дамам высшего света, свои страдания, вызвать сочувствие, да и зависть своих сестер. Ибо любовь, какой бы несчастной она ни была, — это не только бич и проклятье но одновременно и великое сокровище, которое не хочется скрывать. Упомянутые песни не свободны от ошибок, подчас они грешат неверными подробностями, прикрасами, где красивость, к которой они тяготеют, идет в ущерб строгой правде. Но насчет приема дам они не врут; и если они в этом случае, эффекта ради, отклоняются от той формы, в которой наша история первоначально рассказывала себя самое, и даже, из-за своих отклонений, взаимно уличают друг друга во лжи, то все же выдумали этот эпизод не их певцы, а сама наша история, точнее — жена Потифара, бедная Эни, и хитрость, с какой она задумала его и устроила, находилась в самом разительном, но и в самом закономерном противоречии с одержимым ее состоянием.

Нам, знающим тот отверзший глаза сон, что приснился Мут-эм-энет в начале трех лет любви, связь между ним и этой ее выдумкой, ход мыслей, который привел ее к этому грустному и остроумному способу открыть глаза и подругам, совершенно ясны; и действительность сна (а приметы его подлинности, право же, бросаются в глаза) служит нам лучшим доказательством не только историчности приема дам, но и того, что наиболее нам близкое и наиболее уважаемое нами предание умалчивает о нем единственно по своей лапидарной сдержанности...

Прологом к приему дам была болезнь Мут-эм-энет. То была довольно туманная по своим признакам болезнь, поражающая во всех историях безответно влюбленных царевен и принцев, болезнь, которая обычно «смеется над искусством самых знаменитых врачей». Мут заболела, потому что таков закон, потому что так полагалось и надлежало, а положенному и надлежащему противостоять трудно; а еще потому, что ей очень нужно было (кстати, у царевен и принцев из других историй это тоже, кажется, сплошь да рядом главный мотив недуга), — ей непременно нужно было привлечь к себе внимание, взволновать окружающих и вызвать расспросы — настойчивые, даже назойливые расспросы со всех сторон, мольбы ответить во имя жизни и смерти, ибо для единичных, более или менее искренних в своей озабоченности вопросов перемены, давно уже происходившие в ее внешности, давали повод и раньше. Она

заболела из-за упорного желания занять свет своей одержимостью, занять его счастьем и мукой своей любви к Иосифу, — ибо что с точки зрения строго научной эта болезнь никаких других причин не имела, явствует хотя бы из того, что, когда пришлось принимать дам, Мут без труда поднялась со своего ложа и исполняла обязанности хозяйки — чему, впрочем, не следует удивляться, так как этот прием, безусловно, входил в программу болезни.

Итак, Мут не на шутку, хотя как-то непонятно, заболела и слегла. Два эlegantных врача, доктор из книгохранилища Амуна, тот самый, которого уже приглашали к старому управляющему Монт-кау, и еще один мудрец из храма, лечили ее, побочные жены Петепра, ее сестры из Дома Замкнутых, ухаживали за ней, а ее подруги по ордену Хатхор и по Южному Гарему Амуна навещали ее. С визитами являлись дамы Рененутет, Нект-эмхат, Ахуаре и многие другие. Прибывала на носилках и Нес-ба-мет, настоятельница ордена, супруга великого Бекнехонса, «предводителя жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта». И все, сидя у постели одержимой поодиночке или же по две и по три, словоохотливо выражали ей свое соболезнование и расспрашивали ее — кто от чистого сердца, кто равнодушно, учтивости ради, а кто и со злорадством.

— Эни, поющая таким сладостным голосом! — говорили они. — Ради Сокрытого, что с тобой и зачем ты, о злая, нас так огорчаешь? Как верно то, что жив царь, верно и то, что ты давно уже не та, какой ты была, и мы — а мы носим тебя в душе, — мы все замечаем в тебе перемены, признаки недомогания, которые, разумеется, не нанесли урона твоей красоте, но тем не менее внушают нам заботливую тревогу. Да избавят тебя боги от сглаза! Мы все видели и с горячими слезами сообщали друг другу, что твой недуг сказался в исхудании, которое, правда, коснулось не всех частей твоего тела — иные из них, наоборот, еще пышней расцвели, но зато другие действительно стали слишком худыми: похудели, например, щеки; к тому же и глаза твои стали глядеть как-то оцепенело, а твой знаменитый змеистый рот искажен мукой. Все это мы, подруги твои, видели и, плача, обсуждали между собой. А теперь недомогание твое дошло до того, что ты слегла, что ты не ешь и не пьешь, и твоя болезнь смеется над искусством врачей. Когда мы об этом узнали, мы, право, забыли обо всем на свете, так велик был наш ужас! Мы засыпали вопросами мудрецов из книгохранилища, твоих врачей Те-Гора и Пете-Бастета, и они ответили нам, что уже почти исчерпали свое искусство и близки к беспомощности, Им известно всего лишь несколько средств, от которых еще можно ждать какой-то пользы, ибо надо всеми другими, примененными ранее, твое недомоганье безжалостно посмеялось. Велико, наверно, то горе, что снедает и гложет тебя, как мышшь, которая губит дерево, подточив корень. Во имя Амуна, милая, правда ли это, снедает ли тебя какое-то горе? Назови его нам, своим подругам, покамест оно, проклятое, не убило тебя!

— Допустим, — отвечала слабым голосом Эни, — что у меня есть какое-то горе, — что толку мне называть его вам? При всей своей доброте, при всем своем сочувствии, вы не сможете избавить меня от него, и, вероятно, мне ничего другого не останется, как умереть.

— Значит, это правда, — восклицали они, — но неужели горе, которое изводит тебя, действительно так велико?

И дамы звонкоголосо удивлялись, как это может быть. Такая женщина, как она! Она, принадлежащая к сливкам общества стран, богатая, волшебной красивой, которой завидуют женщины царства! Чего ей не хватает? В чем она должна себе отказывать? Подруги Мут этого не понимали. Они упорно расспрашивали ее, одни из сострадания, другие из любопытства, злорадства, любви к сильным ощущениям, — и больная долго уклонялась от ответа, устало и безнадежно отказываясь говорить потому, что они ведь ей все равно не помогут. В конце концов, однако, — ну, ладно, — она заявила, что даст им ответ всем вместе, одним разом, когда дамы в полном составе придут к ней в гости, и что она их пригласит в ближайшее время. Ибо если она, даже без аппетита, немного поест, подкрепитя, например, птичьей печенкой и овощами, она, надо надеяться, найдет в себе силы подняться с постели, чтобы открыть подругам причину своего недомоганья и происшедших с ней перемен.

Сказано — сделано. Уже в следующей лунной четверти — это было незадолго до нового года и великого праздника Опета, во время которого в доме Потифара суждено было произойти столь важным событиям, — Эни действительно пригласила гостей и устроила в покоях потифаровского гарема тот дамский прием, о котором так много, но не всегда верно пелось впоследствии, — довольно большой послеобеденный прием, которому придавало особый блеск присутствие Нес-ба-мет, супруги Бекнехонса и Первой из жен гарема, и где не было недостатка ни в чем — ни в цветах, ни в благовониях, ни в прохладных, частью хмельных, частью же только освежающих напитках, ни в многообразных пирожных, засахаренных фруктах и тягучих сладостях, которые подавались молодыми служанками в приятно облегчающих одеждах, с черными косицами на затылках и покрывалами на щеках — новшеством, вызвавшим дружное одобренье. Великолепный оркестр, состоявший из девушек с арфами, лютнями и двойными флейтами, одетых в широкие, тонкие, как паутина, платья, сквозь которые виднелись вязаные набедренные кушаки, играл в фонтанном дворе, где непринужденными группами, частью между ломившимися от блюд поставцами, на скамейках и креслах, частью же на пестрых циновках, разместилось подавляющее большинство дам. Однако и знаковая нам колонная палата, откуда, кстати, изображение Атума-Ра снова убрали, тоже была заполнена ими.

Подруги Мут были красивы и нарядны: душистый жир, подтаивая, стекал у них с макушек по распущенным, но скрученным бахромой волосам, сквозь которые проступали золотые диски серег; тела их были приятно смуглы, блестящие их глаза доставали до висков, их носики самым недвусмысленным образом свидетельствовали об их заносчивости и резвости, а фаянсовые и самоцветные узоры их воротников и запястий, кисея, обтягивавшая их милые груди и сотканная, казалось, из солнечного золота или лунного света, были самой совершенной выделки. Они нюхали лепестки лотосов, угощали друг друга лакомствами и болтали щебечуще-звонкими и теми хриловато-низкими голосами, которые тоже часто бывают у женщин в этих широтах, — у Нес-ба-мет, например, жены Бекнехонса, был именно такой голос. Болтали они о близком празднике Опета, о великом передвижении святой тройки на стругах и в капищах, на суше и на воде, об ублажении бога в Южном Доме Утех, где они, дамы, будут плясать, бить в бубен и петь перед Амуном как его наложницы и обладательницы сладостных голосов. Эта тема была и важной и приятной; и все-таки она была сейчас только поводом, позволявшим заполнить болтовней ожиданье того мгновения, когда наконец хозяйка дома даст им ответ, когда она взволнует их, назвав причину своей болезни.

Она сидела среди них у бассейна с видом страдальницы, вымученно улыбаясь змеистым ротиком, и ждала, когда придет ее миг. Как во сне и по образцу сна готовилась она открыться своим подругам и как во сне была уверена, что ее представление удастся. Оно совпало с разгаром угощенья. В украшенных цветами корзинах лежали наготове прекрасные плоды: душистые золотые шары, в обилье таившие под ворсистой кожурой освежающий сок, индийские цитрусы, китайские яблоки — лакомства очень редкие; а рядом были приготовлены чудесные ножички для фруктов — с украшенными насечкой лазуритовыми рукоятками и гладкими-прегладкими лезвиями, на которые хозяйка дома обратила особенное внимание. По ее приказу они были наточены и направлены чрезвычайно остро — настолько, в самом деле, остро, что, наверно, никогда на свете не бывало еще таких острых ножичков. Они были так тонки, так остры, что ими без труда можно было сбрить самую жесткую бороду — только для этого потребовалась бы величайшая сосредоточенность, ибо стоило бреющемуся зазеваться или вздрогнуть — и не миновать ему самых тягостных неприятностей. Вот как были отточены эти ножички — прямо-таки опасно; казалось, достаточно лишь приблизить к лезвию кончик пальца — и сразу же брызнет кровь... И это все, что было приготовлено? Отнюдь нет. Было еще дорогое заморское вино с Кипра, десертное, огненно-сладкое, которое предполагалось подать к апельсинам; и предназначавшиеся для него прекрасные кубки из кованого золота и муравленной оловом расписной глины были даже первым, что по знаку хозяйки роздали

гостям в фонтанном дворе и в колонной палате хорошенькие служанки, единственную одежду которых составляли пестрые набедренные кушаки. А кто же должен был разлить по кубкам островное вино? Те же хорошенькие? Нет, решила хозяйка, этим и угощению и гостям была бы оказана слишком малая честь. — Мут распорядилась иначе.

Она снова сделала знак, и золотые яблоки и премилые ножички были розданы дамам. То и другое вызвало восторженный щебет: хвалили фрукты, хвалили изящные ножички, точнее сказать — именно их изящество, ибо о главном их свойстве никто не знал. Все тотчас же принялись чистить плоды, чтобы добраться до сладкой мякоти; вскоре, однако, вниманье гостей было отвлечено от этого занятия, и глаза их устремились вверх.

Еще раз подала знак Мут-эм-энет, и тут уж на сцену вышел сам виночерпий; это был Иосиф. Да, ему поручила эти обязанности влюбленная, но, потребовав от него, как господа, чтобы он собственноручно разливал кипрское, она не посвятила его в прочие свои приготовления, так что он не знал, какому признанию служит. Мы знаем, ей было больно обманывать его таким умолчанием и преднамеренно злоупотреблять его образом; но уж очень ей нужно было открыться подругам, излить им душу. Поэтому она и предъявила ему такое требование и однажды, когда он снова самым бережным образом отказал ей в своей близости, сказала ему:

— Тогда, Озарсиф, ты, может быть, согласишься оказать мне хотя бы такую услугу — собственноручно разливать послезавтра на моем дамском празднике девятижды отменное вино из Алашии — во-первых, в знак его отменности, во-вторых, в знак того, что ты меня все-таки немножечко любишь, а в-третьих, в знак того что я имею какой-то вес в этом доме, коль скоро глава его прислуживает мне и моим гостям?

— Разумеется, госпожа, — отвечал он. — Это я с радостью сделаю. С величайшим удовольствием буду я разливать вино, если тебе так угодно. Ибо я готов служить тебе душой и телом во всех делах, кроме греховного.

Вот почему сын Рахили, молодой управляющий Петепра, неожиданно появился во дворе среди чистивших фрукты дам, появился в белом и тонком праздничном платье, с пестрым микенским кувшином в руке, поздоровался, совершил возлиянье и принялся, обходя сидевших, наполнять кубки. Все дамы, и те, что уже имели случай его лицезреть, и те, что еще не встречались с ним, забыли при виде его не только свое занятие, но, так сказать, и самих себя; теперь они только и знали, что глядели на виночерпия, а коварные ножички между тем делали свое дело, и дамы, все как одна, ужасно обрезали себе пальцы — причем они даже не сразу заметили эту неопрятную неприятность, ибо порез таким переостренным лезвием почти нечувствителен, тем более в том состоянии полной рассеянности, в каком сейчас находились подруги Эни.

Некоторые объявляют эту известную по многим изображениям сцену апокрифической, не принадлежащей той истории, которая действительно произошла. Напрасно; ибо сцена эта правдива и в ней нет решительно ничего невероятного. Если учесть, что, с одной стороны, дело шло о красивейшем в своем окружении юноше, а с другой — о самых острых, какие, наверно, когда-либо видел мир, ножичках, то становится ясно, что этот эпизод не мог протекать иначе, то есть бескровнее, чем он действительно протекал, и что та рожденная сновиденьем уверенность, с какой Мут рассчитала и предугадала эти события, была совершенно оправдана. Со страдальческим лицом, этой маской из хмурости и змеистости, взирала она на содеянное, на это тихо начавшееся кровопролитье, замеченное поначалу ею одной, так как лица похотливо глазевших дам следили за юношей, который постепенно удалялся по направлению к колонной палате, где, как по праву была уверена Мут, должно было произойти в точности то же самое. Только когда любимый скрылся из виду, она, нарушая тишину, спросила с ехидной озабоченностью:

— Душеньки мои, что с вами, что вы делаете? Вы же проливаете свою кровь!

Это было ужасное зрелище. Так как у многих быстрые эти ножички врезались в руку чуть ли не да вершок, то кровь не только сочилась, но лилась и текла; ручки с золотыми яб-

локами были сплошь залиты красной влагой, она впитывалась в нежные, как лепесток, ткани платьев на коленях, образуя там лужицы и стекая на кончики ножек, на каменный настил. Как принялись дамы ахать и охать, причитать, визжать, закатывать глаза, когда заметили это после притворно удивленного возгласа Мут-эм-энет! Некоторые, не переносившие вида крови, особенно собственной, готовы были упасть в обморок и только благодаря цитварному маслу и нюхательным флакончикам, с которыми суетились между ними хорошенькие служанки, не потеряли сознания. Да и вообще пострадавшим была оказана необходимая помощь; хорошенькие тотчас же прибежали с тазиками, полотенцами, уксусом, корпией и разорванными на полосы холстинами, так что вскоре дамский кружок стал напоминать лазарет или перевязочный пункт — и здесь, и в колонном покое, куда на мгновенье отлучилась Мут-эм-энет, чтобы убедиться, что и там все в крови. Рененутет, супруга смотрителя говяд, оказалась среди тяжело раненных, и на время ее ручку пришлось прямо-таки умертвить, насильно отделив ее, так что она даже пожелтела, от общего жизнеброжения тугой повязкой, чтобы остановить кровь. Сильно порезалась и Нес-ба-мет, низкоголосая жена Бекнехонса. Ее платье было испорчено, и она громко кого-то бранила, покуда две девушки — одна черная, другая белая — утешали и врачевали ее.

— Любезнейшая настоятельница и вы, мои душеньки, — лицемерно заговорила Мут-эм-энет, когда тишина и порядок более или менее восстановились, — как это могло получиться, как это случилось, что вы у меня так порезались и это красное происшествие обесчестило дамский мой праздник? Хозяйке невыносимо неприятно, что это произошло у меня в доме, — но как же это могло произойти? Бывает, конечно, что за фруктами кто-нибудь и порежется, — но чтобы порезались все сразу, а некоторые и до кости? Такого еще, насколько я знаю мир, не бывало, и, наверно, это останется в истории общества стран единичным случаем, — так я, по крайней мере, надеюсь. Но утешьте меня, мои милые, скажите мне, как это могло получиться?

— Ничего, пустяки, — ответила своим басом за остальных женщин Нес-ба-мет. — Пустяки, Эни, все обошлось еще довольно благополучно, хотя красный Сет и испортил наши предвечерние платья, а некоторые из нас еще бледны от потери крови. Не огорчайся! Мы верим, что намеренья у тебя были самые добрые, и твой прием фешенебелен во всем, вплоть до мелочей. Но все-таки, моя милочка, ты позволила себе поступить весьма необдуманно — я говорю без обвиняков и за всех. Поставь себя на наше место! Пригласив нас, чтобы открыть нам причину своего недуга, который смеется над искусством врачей, ты заставляешь нас ждать своего признания, — следовательно, наши нервы и так уже напряжены, и мы прячем свое любопытство за искусственной болтовней. Ты видишь, я откровенна, я без жеманства, от имени всех нас, говорю самоочевидную правду. Ты угощаешь нас золотыми яблоками — очень хорошо, очень похвально, даже у фараона они бывают не каждый день. Но как раз в тот миг, когда мы собираемся их очистить, ты приказываешь, чтобы в наш чувствительный круг вступил этот виночерпий, — кто бы он ни был, хотя я полагаю, что это ваш молодой управляющий, которого и на суше, и на водных дорогах называют «Нефернефру»; достаточно позорно и то, что мы, высокородные дамы, вынуждены разделять мнение и вкус людей плотин и каналов, но в данном случае о вкусах не приходится спорить, ибо и лицом и телом этот юноша небесно хорош, и если внезапное появление среди стольких нервных женщин даже и менее очаровательного юноши способно уже и само по себе вызвать у них шок, — то как же не остолбенеть от восторга, когда перед тобой появляется такой красавчик и наклоняет над твоим кубком кувшин? Тут уж нельзя требовать от гостей, чтобы они помнили о своих ножичках и берегли свои пальцы от грозящей им незадачи! Мы доставили тебе много хлопот своими порезами, но я не могу не сказать тебе, Эни со сладостным голосом, что ты сама виновата в этом конфузе, и не могу не упрекнуть тебя за твои шокирующие распоряженья.

— Совершенно справедливо! — воскликнула Рененутет, смотрительша говяд. — Придется тебе, милочка, принять этот упрек, ибо своей затеей ты сыграла с нами такую шутку,

которую мы все будем долго еще вспоминать — и если не со злостью, то только потому, что у тебя по твоей невинности и в мыслях ничего подобного не было. Но в том-то и беда, милочка, что ты совершенно забыла о бережной осмотрительности и должна, если ты справедлива, винить за неловкость этого красного происшествия себя самое. Не ясно ли, что умноженная женственность столь многочисленного дамского общества оказывает, в свою очередь, влияние на каждое отдельное женское начало, предельно повышая его чувствительность? В такой круг ты неожиданно вводишь нечто мужское — и в какой момент? В момент, когда все чистят яблоки! Милая моя, да могло ли это сойти бескровно, — сама посуди! И вдобавок это был не кто-нибудь, а этот виночерпий, ваш молодой управляющий, настоящий красавец! Мне стало при виде его совершенно не по себе — я говорю как есть, без обиняков, ибо в такой час и при таких обстоятельствах избыток чувств требует выхода и можно позволить себе высказаться начистоту. Я женщина, отдающая должное всему мужскому, и поскольку это и так уже вам известно, то я просто бегло упомяну, что, кроме своего супруга, директора говяд, мужчины в расцвете сил, я общаюсь также с одним известным вам офицером-телохранителем и с одним молодым жрецом дома Хонсу, захаживающим также и в мой дом, — вы же и без того это знаете. Но все это не мешает мне быть, так сказать, начеку в отношении мужской стати, усматривая в ней что-то божественное, — и особую слабость питаю я к кравчим. В кравчем всегда есть что-то от бога или от любимца богов, — не знаю, почему мне так кажется, — это связано с его должностью, с его повадкой. Ну, а уж этот нефертем, этот голубой лотос, этот исполненный шарма юнец с кувшином... Милые мои, я обомлела. Я была совершенно уверена, что вижу бога, и от благочестивой радости не чуяла под собой земли. Я вся превратилась в зрение и, заглядевшись, всадила ножичек в палец до самой кости. Кровь моя полилась ручьем, а я и не заметила, так я забылась. Но это еще полбеды, ибо я уверена, что теперь, как только я начну чистить фрукты, в душе моей тотчас возникнет образ твоего смазливого, твоего окаянного кравчего, и я опять, замечтавшись, раскрою себе руку. Так что лучше уж мне вообще отказаться от фруктов, которые нужно чистить, хотя я большая до них охотница. Вот что ты наделала, душенька, опрометчивой своей затеей!

— Да, да! — закричали все дамы, и не только дамы фонтанного двора, но и дамы колонной палаты, которые во время речей Нес-ба-мет и Рененутет перешли во двор. — Да, да! — кричали они наперебой высокими и низкими голосами. — Так оно и есть, так оно и было, говорившие совершенно правы, мы чуть не зарезали себя в замешательстве при виде твоего кравчего. Вместо того чтобы назвать нам причину своего недомогания, для чего ты нас и пригласила, ты сыграла с нами, Эни, такую шутку!

Тогда Мут-эм-энет придала своему голосу всю его певучую силу и воскликнула:

— Дуры! — воскликнула она. — Я не только назвала — я показала вам причину смертельного моего недуга и всех моих бед! Поглядите же на меля, если вы не могли наглядеться на него! Вы видели его лишь несколько мгновений и, потеряв голову, изранили себя так, что все вы еще бледны от красной беды, в которую ввергнул вас его вид. А я должна или вольна видеть его ежедневно и ежечасно — каково же мне в этой непрестанной беде? Я спрашиваю вас: как мне быть? Ибо этот мальчик, о слепые, которым я напрасно дала прозреть, этот управляющий и кравчий моего мужа — он и есть мое горе и моя смерть, он очаровал меня насмерть своими глазами и устами, и только из-за него, сестры, проливаю я, бедная, свою алую кровь и умру, если он не остановит ее. Ибо вы при виде его порезали себе только пальцы, а мне любовь к его красоте изрезала сердце, и я исхожу кровью!

Мут пропела это срывающимся голосом и, бессильно рыдая, упала в кресло.

Можно представить себе праздничную взбудораженность, которую сообщило это признание хору подруг! В точности так же, как раньше Табубу и Ме-эн-Уазехт, отнеслись они к потрясающей новости, что Мут полюбила, и соответственно повторили в своем обращении с одержимой знакомый нам образец: они окружили ее, гладили, осыпали растроганной разноголосицей поздравлений и соболезнований. Но взгляды, которыми они украдкой при этом

обменивались, свидетельствовали еще кое о чем, кроме нежного участия, — а именно о недоброй разочарованности тем, что больше ничего не стряслось и что все это притязательное горе сводится к самой обыкновенной влюбленности в раба; о молчаливом недоброжелательстве, об общеженской ревности, но в первую очередь о злорадной удовлетворенности тем, что с Мут, с этой гордой и чистой, с этой непорочной, как Луна, невестой Амуна, случилась на старости лет такая обыкновенная беда, что, томясь по смазливом слуге, она не сумела даже не проболтаться, а беспомощно выдала всем свое снижение до обычного дамского уровня, возопив: «Как мне быть?» Это льстило подругам, хотя от них и не ускользнуло, что за таким беззаветным, во всеуслышание, признанием крылось все еще прежнее самомнение, склонное видеть в самых обыкновенных вещах, если только они выпали на долю Мут, нечто из ряда вон выходящее, способное потрясти мир, — а это уже злило подруг.

Но если все это отчасти и выражалось во взглядах, которыми обменивались дамы, то их торжество по поводу такой сенсации, такого чудесного великосветского скандала было все же достаточно велико, чтобы сделать их способными к искреннему участию, к женскому сочувствию одержимой сестре, а поэтому они обступили подругу, принялись ее обнимать, затараторили, утешая и поздравляя влюбленную и многословно удивляясь счастью юноши, которому дано пробудить подобные чувства в груди своей госпожи.

— Да, милая Эни, — заливались они, — ты вразумила нас, и нам вполне понятно, что это не шутка для женского сердца, если женщина поневоле вольна ежедневно лицедреть такого красавца — не диво, что и ты наконец-то потеряла сердечный покой! Счастливец! Что столько лет не удавалось ни одному мужчине, того он достиг своей молодостью: он взволновал твою душу, святая подруга! Ему это и во сне не снилось, но сердце не знает предрассудков, оно не спрашивает о чине и званье. Он не княжеский сын, не офицер, не тайный советник, он все-навсего управляющий твоего мужа, но он смягчил твое сердце, и в этом его чин и отличие, а то, что он чужеземец, что он из Азии, что он так называемый еврей, это придает делу особую пикантность, особый шик. Как обрадовались мы, дорогая, как стало у нас легко на душе, когда мы узнали, что все твое горе, все твое недомогание в том лишь и состоят, что тебе пришлось по вкусу этот красавец! Прости, если мы перестанем бояться за тебя и начнем бояться за него; ведь что он может лишиться рассудка от такой чести, это сейчас, пожалуй, единственное основание для беспокойства, — а в остальном дело кажется нам довольно простым!

— Ах, — рыдала Мут, — если бы вы знали! Но вы не знаете, и я знала, что вы еще долго ничего не будете знать и ничего не поймете, даже когда я вам открою глаза. Ведь вы же понятия не имеете о том, как обстоит с ним дело и что это такое — ревность бога, которому он принадлежит и венец которого носит, а потому не снисходит до того, чтобы остановить мою кровь, кровь египетской женщины, и не внемлет душою моим призывам! Ах, сестры, лучше бы вы не заботились о его рассудке, а отдали бы всю свою заботливость мне, которой суждено умереть из-за его божественной неприступности.

Тут подруги забросали ее вопросами по поводу этой неприступности, не веря своим ушам, что слуга не сходит с ума от такой чести, а отказывает госпоже. Взгляды, которыми они обменивались, свидетельствовали, пожалуй, и об одном ехидном предположении, что, мол, их Эни как-никак слишком стара для этого красавца и он морочит ей голову благочестивыми отговорками, потому что она ему не по вкусу. И многие обольщались мыслью, что они-то уж пришлось бы ему по вкусу; но все-таки в их отклике преобладало искреннее возмущенье строптивостью раба-чужеземца, и Нес-ба-мет, например, басистая настоятельница, объявила этот случай, с такой точки зрения, скандальным и нетерпимым.

— Уже как женщина, — сказала она, — я, дорогая моя, на твоей стороне, и твое горе — это мое горе. Но, кроме того, дело это, по-моему, политическое, храмово-государственное, ибо в нежелании этого сопляка (прости, ты любишь его, но я называю его так в праведном гневе, а не для того, чтобы оскорбить твои чувства) — в его нежелании принести тебе дань своей молодости налицо непокорность прямо-таки противодержавная, равнозначная мятеж-

ному отказу какого-нибудь городского баала Ретену или страны фенехийцев выплачивать надлежащий оброк Амуну, на что следовало бы, само собой разумеется, ответить немедленным карательным походом, даже если бы его стоимость и перекрывала размеры дани, — чтобы поддержать честь Амуна. Вот в каком свете, милочка, видится мне твое горе, и, возвратясь домой, я сразу же обсужу это вопиющее проявление кенанитского бунтарства со своим супругом, предводителем жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта, и спрошу у него, какими мерами следует, по его мнению, положить конец подобному беспорядку.

На этом, под оживленную болтовню расходившихся дам, и кончился тот ставший знаменитым и лишь сейчас наконец-то описанный в соответствии с подлинным его ходом прием, благодаря которому главным образом Мут-эм-энет и умудрилась сделать свою несчастную страсть предметом городских сплетен; и хотя в иные, белее светлые мгновенья Мут и ужасалась такому итогу, но, с другой стороны, все более перерождаясь, она находила в нем какое-то упоенье; ведь большинство влюбленных считает, что их чувству не оказано должной чести, если о нем, пусть даже с издевкой и презрением, не говорят всюду и все: о нем нужно раструбить на весь мир. К тому же подруги, порознь или небольшими компаниями, часто навещали ее теперь, чтобы узнать о состоянии ее горя, утешить ее и помочь ей советами, которые, однако, глупо пренебрегали фактическими, совершенно особыми обстоятельствами, так что страдальце оставалось только пожимать плечами и отвечать: «Ах, дети, вы болтаете, вы даете советы, а ведь вы ничего в этом не смыслите: тут особый случай», — что опять-таки злило фиванских дам, которые потом говорили между собой: «Если она думает, что это не нашего ума дело и какой-то особый случай, то пусть она помалкивает и не посвящает нас в свои заботы!»

А еще ее навещал, прибывая на носилках в гарем Потифара со стражей сзади и спереди, первосвященник Амуна, великий Бекнехонс, которого жена уведомила об этом деле и который отнюдь не был склонен отнестись к нему легкомысленно, а, напротив, усматривал в нем высшие интересы. Этот могущественный плешивец, этот священный сановник в леопардовой шкуре поучал Мут, вышагивая с выпяченной грудью и задранным вверх подбородком перед ее львиногогим креслом, и рассуждал так: никакие личные и моральные соображения не идут в счет при разборе этой истории, которую, при всей ее огорчительности с точки зрения нравственных правил и общественного порядка, нужно, коль скоро уж она началась, довести до конца но соображеньям более значительным. Как священник, наставник душ и поборник благочестивой строгости, а также как друг Петепра и его сотоварищ при дворе, он должен осудить Мут за вниманье, уделяемое ею этому юноше, и воспротивиться желаниям, которые тот у нее вызывает. Однако строптивное поведение чужеземца, его отказ отдать причитающуюся с него дань оскорбительны для храма, который вынужден требовать, чтобы это дело было как можно скорее улажено во славу Амуна. Поэтому он, Бекнехонс, должен, совершенно не считаясь ни с какими личными мнениями, повелительно потребовать от своей дочери Мут, чтобы она, не останавливаясь ни перед чем, добилась от этого упрямого покорности — не ради собственного удовольствия, хотя и таковое, — правда, без его, Бекнехонса, одобрения — она попутно получит, а для удовлетворения храма; в случае же необходимости к этому нерадивому юноше следует применить меры принудительного характера.

Что такое духовное напутствие, что такое полномочие на ошибочный шаг пришлось Мут по сердцу, что она ухитрилась увидеть в нем усиление своей позиции по отношению к любимому, — это с огорчительной ясностью показывает нам, до чего она дошла, — она, которая еще недавно, в полном соответствии со своей цивилизованностью, ставила свое счастье и свою боль в зависимость от свободы его живой души, а теперь, в беспомощности своего чувства, пала так низко, что мысль о храмово-полицейском насилии над возлюбленным доставляла ей какую-то отчаянную, какую-то извращенную радость. Да, ей впору было уже колдовать с Табубу.

Но Иосиф тоже не остался в неведении насчет точки зрения храма Амуна; ибо для верного Бес-эм-хебчика не существовало щелок настолько узких, чтобы нельзя было, спрятавшись

в них, тайно присутствовать при разговоре великого Бекнехонса с Мут-эм-энет и, подслушав своими чуткими карличьими ушами его наставления, незамедлительно передать их своему подопечному. Тот узнавал их и находил в них лучшее подтверждение своего взгляда, что все это не что иное, как тяжба между державой Амуна и господом богом и что ни в коем случае, чего бы это ни стоило и как бы ни противоречила такая необходимость адамовскому желанью, его бог, его господь не должен тут потерпеть поражение.

СУКА

Так вот и получилось, что, переродившись и обезумев от любовной муки, гордая Мут-эм-энет снизошла до действий, которые она еще совсем недавно так благородно отвергла; что, скатившись на уровень кушитянки Табубу, она согласилась пуститься с ней на тайные и неблаговидные ухищренья, а проще сказать — на приворотное колдовство, и принести для этого жертву одному отвратительному божеству преисподней, имени которого она даже не знала, да и не хотела знать, — Табубу называла его просто «сука», и этого было достаточно.

От этого призрака ночи, от этой, как можно было заключить, гнусной кикиморы и мегеры, негритянка обещала добиться, благодаря своему заклинательскому искусству, сочувственного исполнения желаний госпожи, и Мут в конце концов дала на это согласие — в знак того, что она отказалась от души любимого и готова была радоваться, если ей доведется обнимать только его тело, то есть теплый труп, — а если и не радоваться, то, уж во всяком случае, печально этим довольствоваться; ибо ворожкой и колдовством можно, разумеется, приворотить и прибрать к рукам только тело, но никак не душу, и нужна высокая степень безутешности, чтобы утешиться теплым трупом и мыслью, что насыщает любовь главным образом тело и что без души тут, пожалуй, все-таки легче обойтись, чем без тела, как ни жалко то насыщенье, которое может доставить труп.

Что Мут-эм-энет в конце концов пошла на отсталые предложения смолоедки и согласилась ведьмачить с Табубу, было связано, впрочем, и с природой ее собственного тела, с его ведьмовством, в котором она, как мы видели, вполне отдавала себе отчет и разительные приметы которого казались ей свидетельством ее сословного права, больше того, ее обязанности подтвердить такое его свойство делами. Нельзя забывать, что ее новое тело было порождено, было сотворено любовью, то есть горестно-страстным усилением женственности Мут; да и вообще ведьмовство — это не что иное, как чрезвычайно усиленная, как непозволительно прелестная, доведенная до крайности женственность; из этого следует не только то, что ведьмачили всегда по преимуществу и даже исключительно женщины, так что мужчин-ведьмаков почти не бывает, но, естественно, и то, что любовь играла тут всегда важнейшую роль, будучи издавна средоточием всякого чародейства и что любовные чары — это, собственно, сущность всяческой магии, ее естественнейший и главнейший предмет.

Доля распутности в облике Мут, с должной деликатностью также нами отмеченная, способствовала, наверно, тому, что она оказалась настроена и сочла даже своей обязанностью прибегнуть к чародейству, позволив Табубу приступить к своему сомнительному обряду; ибо божество, которому обряд этот посвящался, было, по словам негритянки, олицетворением распутства, божественной распутницей и распутной богиней, высшей совокупностью и воплощеньем всех отталкивающих качеств, так или иначе связанных с понятием распутства, чудовищем с нечистоплотнейшими привычками, архираспутницей. Такие божества существуют и должны существовать в мире, ибо у мира есть стороны, которые, хоть они и покрыты кровью и грязью и, кажется, мало подходят для обожествленья, однако, так же как и другие, более привлекательные, нуждаются в вечном представительстве и предстательстве, в духовном, так сказать, воплощенье или в олицетворенной духовности, поэтому имя и природа божества оказываются подчас омерзительными, и сука и госпожа соединяются в одном лице: ведь дело идет

об архисуке, а ей как таковой присущи качества владычицы, госпожи, — и то воплощение грязной развращенности, которое она собиралась призвать на помощь, Табубу и в самом деле называла «благая госпожа сука».

Чернокожая эта женщина считала своим долгом подготовить Мут к тому, что своеобразный стиль задуманного обряда не будет соответствовать светским привычкам знатной дамы; заранее извинившись за это перед ее благородством, она попросила Мут примириться на сей раз ради успеха дела с тем грубым тоном, которого никак нельзя будет избежать, поскольку никакого другого «благая госпожа сука» не признает и без весьма бесстыдных оборотов речи с ней не поладишь. Не отличается этот обряд и особой опрятностью, — предусмотрительно сообщила Табубу, — ибо часть необходимых для него предметов очень неаппетитна, — кроме того, дело не обойдется без ругательств и похвальбы; пусть госпожа будет готова ко всему этому и пусть она на это не сердится, а если и рассердится, то не подаст виду; ведь тем-то и отличается такой насильственный акт от привычного ей богослужения, что он жесток, заносчив и жуток: не по умыслу человека, не потому, что это ему по вкусу, а просто в силу бесстыдной природы призываемой, природы госпожи-суки, служенье которой не может не быть грубым и чье архираспутство уже само предопределяет малую пристойность обряда. Впрочем, заметила Табубу, радению, предпринимаемому с тем, чтобы, насильственно приворожив юношу, добиться лишь телесной его покорности в любви, особая деликатность даже и не пристала...

Мут побледнела и прикусила губу при этих словах — наполовину от ужаса, ужаса человека цивилизованного, наполовину же от ненависти к этой неряхе, которая сама навязывала и наконец навязала ей свою приворотную ворожбу, а теперь, когда она, Мут, поддалась на ее уговоры, весьма оскорбительно напомнила ей о презренности такого решения. Человеку очень давно известно, что его совратители, пытающиеся принизить его, всегда, когда их попытки удаются, пугают и оскорбляют его еще и наглостью, с какой они начинают говорить об этой новой, еще непривычной для соблазненного ступени. Гордость требует от него в этом случае, чтобы он ничем не выдал своего страха и своего смущения, а отвечал: «Ну что ж, пусть будет, как будет, — я же знал, на что иду, когда решил принять твой совет». Примерно так и ответила Мут, упрямо выказав первоначально чуждую ей решимость приворотить любимого колдовством.

Ей пришлось потерпеть еще несколько дней: во-первых, потому, что чародейка должна была сделать кое-какие приготовления и под рукой не было всех необходимых принадлежностей обряда, к которым относились не только такие жуткие и не вдруг добываемые предметы, как кормило погибшего корабля, перекладина виселицы, тухлое мясо, те или иные части тела казненного преступника, но в первую очередь клочок волос с головы Иосифа, который хитростью и подкупом Табубу должна была предварительно заполучить в домово́й цирюльне: а во-вторых, потому, что нужно было дождаться полнолу́нья, чтобы благодаря полной поддержке этого двойственного, по отношению к солнцу женского, а относительно земли мужского, светила, которое в силу такой двойственности служит порукой известного единства вселенной и годится в переводчики между бессмертным и смертным началом, действовать уверенней и с большими видами на успех. Кроме Табубу, исполнительницы жертвенного обряда, и Мут, просительницы, в этом акте насилия должны были участвовать еще одна девушка-арапка в качестве служки и наложница Ме-эн-Уазехт в роли свидетельницы. Местом действия была избрана плоская крыша гарема.

Страшный, желанный ли или желанный, но страшный, ожидаемый с нетерпеливым стыдом, — любой день когда-нибудь да приходит и становится днем жизни, принося предстоящее. Пришел и большой день богато надеждами паденья Мут-эм-энет, когда она, в горе, изменила своему достоинству и унизилась до недостойных действий. Ибо когда часы этого дня, как прежде дни, были выжданы и преодолены один за другим; когда солнце скрылось, его посмертная слава померкла, земля окуталась мраком, а над пустыней, невероятно большая, вста-

ла луна, сменяя своим заемным сияньем гордый и неподдельный свет, который угас, и заменяя сверкающий день сомнительными ухищрениями своей печальной и бледной магии; когда она, медленно уменьшаясь, всплыла к вершине вселенной, когда жизнь угомонилась, а в Потифаровом доме, свернувшись калачиком и с умиротворенными лицами, все тоже самозабвенно припали к материнской груди сна, — тогда четверем не спавшим женщинам, у которых на эту ночь было назначено тайное женское дело, пришло время собраться на крыше, где Табубу с помощницей уже все приготовили, чтобы принести жертву.

Поднимаясь по лестницам дома, по той, что вела из фонтанного двора на низкий второй этаж, и затем по другой, более узкой, на крышу, Мут-эм-энет — она была в белом, закрывавшем плечи плаще и держала в руке горящий факел, — так торопилась, что побочная жена Ме, тоже с белопламенным факелом, едва поспевала за ней. Как только Эни вышла из спальни, она сразу же, высоко подняв светильник, пустилась бежать; она бежала с откинутой назад головой, с оцепенелым взглядом, с открытым ртом, подобрав подол платья правой рукой.

— Почему ты так мчишься, милая? — прошептала Ме. — Ты задохнешься, я боюсь, ты оступишься, не спеши, будь осторожна с огнем!

Но первая и праведная жена Петепра отвечала:

— Я должна мчаться, только бегом, только задыхаясь должна я взять этот подъем — не задерживай меня, мне это велит дух, так должно быть, чтобы мы мчались, Ме!

Она сказала это, тяжело дыша, с вытаращенными глазами, размахивая светильником над головой; от просмоленной кудели метнулось несколько искр, и спутница Мут, тоже захватившаяся, испуганно попыталась выхватить у нее кружащую огонь рукоять, но Мут стала сопротивляться, и опасность поэтому лишь увеличилась. Это было уже на верхних, выходящих на крышу ступеньках, и Мут из-за этой схватки действительно оступилась и упала бы, если бы ее не приняла в объятия Ме; так, шатаясь, обнявшись и размахивая светильниками, женщины проковыляли через узкую лазейку на темную крышу.

Их встретил ветер и хриплый голос жрицы, которая здесь распорядилась до их прихода. А с этого мгновенья она распорядилась уже без умолку, распорядилась хвастливо, самовластно и грубо, и в ее похвальбу, доносясь из выбеленной луною пустыни востока, вторгались то вой шакалов, а то и далекий, глухо-раскатистый рык рыскающего льва. Ветер дул с запада, от спящего города, с реки, в которой серебряно переливался высокий месяц, с берега мертвых и его гор. Он шумел здесь наверху в открытых ему продушинах, дощатых навесах, устроенных для притока в дом прохладного воздуха. Еще на крыше имелось несколько конусообразных сосудов для зерна, но сегодня, кроме этих обычных предметов, здесь были и другие — принадлежности предстоявшего обряда, в том числе такие, из-за которых приходилось радоваться ветру; ибо на треногах и на полу синели куски гнилого мяса, готового и, когда ветер утихал, тотчас же начинавшего испускать смрад. Что было еще припасено для этой унылой службы, смог бы узнать, смог бы углядеть внутренним зрением даже слепой, даже тот, кто, придя сюда, не стал бы оглядываться и не хотел ничего видеть, как Мут-эм-энет, которая и сейчас и позднее только косилась вытаращенными глазами куда-то вверх, опустив уголки полуоткрытого рта. Ибо Табубу, до пояса черно-голая, с седыми лохмами, которые трепал ветер, опоясанная ниже распутно болтающихся грудей козьей шкурой (так же была одета и ее молодая помощница), перечислила эти припасы, выкрикивая, как рыночный зазывала, их названья и назначение своим суетливым ртом сплетницы, где только и было зубов, что два клыка.

— «Вот и ты, женщина! — залопотала она, хлопоча и распорядясь, когда ее госпожа, спотыкаясь, вышла на крышу. — Добро пожаловать, просительница, отвергнутая, бедная, истомленная жаждой, ступа, которой отказывает пест, влюбленная бабища, — подойди к очагу! Возьми, что тебе дают! Возьми в руку несколько крупинки соли, повесь на ухо лавровую ветку, а потом присядь около очага, он на ветру пылает вовсю; для твоего блага пылает он, жалкая, для того, чтобы помочь тебе в известных пределах!

Я веду речь! Я вела ее здесь наверху, я владычествовала как жрица и до твоего прихода. А теперь я продолжу ее, я продолжу ее громко и не стесняюсь, ибо, когда борешься с этой

вот, чопорность неуместна и вещи нужно бесстыдно называть их именами, отчего я тебя, молящая, и называю вслух горемыкой, отвергнутой и беднягой. Ты села, и соль у тебя в руке, а лавровая ветка за ухом? И у твоей подруги тоже, и она тоже сидит у алтаря рядом с тобой? Так приступим к жертвенному обряду, жрица и служка! Ибо все готово для пира: и украшенья, и беспорочные дары.

Где стол? Он стоит там, где стоит, напротив очага, надлежаще украшенный листьями и ветками, плющом и злаками, злаками, которые любит она, званая и уже близкая, злаками, скрывающимися в темноте лушины мучнистые зерна. Потому-то они и венчают стол и украшают подставки, где заманчиво смердит угощение... Приставлено ли гнилое кормило к столу?.. Приставлено, да... А с другой стороны — что мы видим с другой стороны? С другой стороны мы видим бревно от креста, на который вздымают преступника, — в твою честь, о беспутница, ибо тебе по нраву все низменное и подлое, и чтобы тебя соблазнить, поставлено оно к столу с другой стороны... Но неужели тебя не попотчуют, неужели не усладят ни кусочком от повешенного, ни пальчиком, ни ушком?.. Как бы не так! Погляди, меж двумя прекрасными ломтями смолы лежат, украшая твой стол, гниющий палец и хрящеватое ухо негодяя, восковые, покрытые запекшейся кровью, как раз по твоему вкусу, чудовище, тебе в приманку... А эти клоки волос на алтаре, блестящие, похожие друг на друга по цвету, — они не с головы того повешенного разбойника, нет, они с других голов, голов далеких и близких, но мы тут соединили близкое и далекое, и ты будешь куда как довольна, если поможешь, ночная богиня, которую мы зовем!..

А теперь — тишина, ни слова, ни звука! Сидящим у очага глядеть на меня, и никуда больше, ибо неизвестно, с какой стороны она подкрадется! Я приказываю благоговейно молчать. Погаси и этот светильник, девка!.. Вот так... Где наш двуострый нож?.. Вот он... А наша дворняга?.. Она еще лежит на полу, похожая на молодую гиену, со связанными лапами и обмотанной тряпками мордой, влажной мордой, которая так любила рыться во всяких отбросах... Дай сначала смолу! Черными кусками бросит ее проворная жрица в огонь, чтобы его свинцовый дым устремился к тебе, дольняя госпожа, жертвенным чадом!.. А теперь возлияние, подай мне сосуды в должной последовательности: воду, коровье молоко и пиво, — я лью, я подливаю, я правлю обряд. В этом пойле, в этой смеси, в этой пузырящейся луже стоят мои черные ноги, и теперь я должна принести в жертву собаку, это очень мерзкая жертва, но не мы, люди, ее придумали; мы знаем только, что она тебе милее любой другой.

Давай-ка сюда этого проныру, этого грязного звереныша, и мы перережем ему глотку! Вот так. А теперь вспорем брюхо и окунем руки в теплые внутренности, от которых, благодаря свежести лунной ночи, устремляется пар к тебе, владычица. Вымазанные кровью, облепленные требухой, мои руки поднимаются к тебе, госпожа, ибо я сделала их твоим подобием. С этим приветствием я смиренно и скромно призываю тебя отведать жертвенных яств, предводительница ночной нечисти! Покамест мы еще торжественно и учтиво просим тебя оказать милостивое внимание нашему угощению и нашим беспорочным дарам. Согласна ли ты исполнить нашу просьбу подобру-поздорову? Не то, так и знай, жрица покажет тебе свою силу, она возьмет тебя в оборот, она заставит тебя плясать под свою дудку. Приблизься! Выскочи из удавки или явись окровавленная — угробив ли роженицу, поболтав ли с самоубийцами, бредя ли со свалки мертвецов, где ты, как призрак, глодала тела, или же приди сюда, вымаравшись в грязи, с глухого распутья, где ты, одержимая болезненной похотью, обнимала казненного нечестивца...

Знаю ли я тебя, узнаешь ли ты себя, слушая мою речь? Попадают ли в тебя мои слова уже вернее и метче? Ты видишь, мне прекрасно известны твои повадки, твои неопишуемые привычки, твои несказанные яства и напитки и все твои невероятные услады? Или нужно, чтобы мои кулаки нанесли тебе еще более точный, еще более умелый удар, а мои уста совсем уже беспощадно дали названья свинскому твоему естеству?.. Чудище ты, шлюха и потаскуха, морок ночной с гноящимися глазами! Срамница, сальная распутница преисподней, житель-

ница живодерен, которая копошится и ползает среди мертвечины, обгладывая и слюняво облизывая вонючие кости! Ты утоляешь последнюю похоть повешенного, когда он издыхает, и в ненасытности влажного своего чрева блудишь с олицетворенным отчаянием, — блудишь пугливо, обессилев от пороков, дрожа от малейшего дуновения ветра, преследуемая виденьями, одолеваемая всеми страхами ночи... Страшилище, не имеющее себе равных! Я тебя поняла, назвала, привлекла, привела?.. Да, это она! Она улучила миг, когда луну затмила полоска облака! Ее приход подтверждается громким лаем пса перед домом! Из очага с силой вырывается пламя! А подругу просительницы схватили судороги! В какую сторону глядят ее выкаченные глаза? В какую сторону они глядят, оттуда богиня и приближается!

Мы приветствуем тебя, госпожа. Не взыщи! Мы одариваем тебя по своему разумению. Помоги, если тебе по сердцу это нечистое угощение и эти беспорочно мерзкие дары! Помоги вот этой болящей, вот этой отвергнутой! Она изнывает по юноше, который не хочет того, чего хочет она. Помоги ей, чем только сможешь, ты должна это сделать, ты у меня в плену! Приневоль тело упрямца, пусть он, сам не зная как, явится к ней на ложе, пусть его шея прижмется к ее ладоням, чтобы она наконец насладились тем терпким запахом юности, по которому так тоскует!

А теперь скорей отрезанные волосы, дура! Сейчас, перед лицом богини, я принесу любовную жертву и сотворю волшебство сожженья. Ах, эти красивые пряди с близкой головы и с далекой, блестящие, мягкие! Отходы тел, частица плоти, — я, жрица, сложу, свяжу, сплету, случу их кровавыми моими руками, случу многократно и от всего сердца, — вот так, а теперь я их брошу в огонь, и вот он уже пожирает их, торопливо потрескивая... Но почему же лицо твое искажено болью и отвращением, просительница! Наверно, тебя тошнит от неприятного духа паленого? Это ваша плоть, нежная моя госпожа, это пары воспламененного тела — так пахнет любовь!.. Ну и хватит! — сказала она просто. — Радение совершено на славу. Пусть он, красавец твой, придется тебе по вкусу! Госпожа-Сука дарует его тебе благодаря искусству Табубу, которое, право же, стоит вознаграждения.

Сбросив с себя всякую заносчивость, дикарка отошла в сторону, двумя пальцами, тыльной их стороной, высморкала после работы нес и погрузила выпачканные жертвоприношением руки в тазик с водой. Луна была ясная. Наложница Ме, упавшая недавно от страха в обморок, уже пришла в себя.

— Она еще здесь? — осведомилась она, дрожа...

— Кто? — спросила Табубу, которая, как врач после кровавого вмешательства, мыла свои черные руки. — Сука? Не беспокойся, побочная жена, ее уже и след простыл. Ей сюда вообще не хотелось приходить, она просто должна была мне повиноваться, потому что я так бесстыдно с ней обращаюсь и так метко определяю ее сущность словами. Да и ничего, кроме того, к чему я вынудила ее, учинить она здесь не может, ибо под порогом дома зарыто три средства, отвращающих зло. Но мое поручение она выполнит, в этом можно не сомневаться. Ведь она же приняла жертву, а кроме того, ее связывает огненное колдовство сплетенных волос.

Тут госпожа Мут-эм-энет, все еще сидевшая у очага, глубоко вздохнула и поднялась. Перед падалью, в которую превратилась собака, стояла она теперь в своем белом плаще, все еще с лавровой веткой за ухом, сложив руки под приподнятым подбородком. После того как она услышала запах горящих волос Иосифа, смешанных с ее волосами, уголки ее полуоткрытого рта опустились еще горестнее, такие тяжелые, словно их тянули вниз какие-то гири, и грустно было глядеть, как она, печально и скованно шевеля губами, заговорила этим измученным ртом и певуче завела плач, вознося его к небу:

— Услышьте, чистые духи, которых мне так хотелось бы видеть благосклонно взирающими на мою великую любовь к Озарсифу, ибрийскому юноше, услышьте и увидите, как больно мне участвовать в этом дикарстве и какой смертной тоской лег мне на сердце этот невообразимо тяжелый отказ, на который я волей-неволей решилась, потому что твоей госпо-

же, Озарсиф, милый мой сокол, этой несчастной, этой отчаявшейся женщине, ничего другого не оставалось! Ах, чистые, как угнетающе тяжело, как позорно подобное отречение, подобный отказ! Ведь я же отказалась от его души, когда наконец в полном отчаянье пошла на приворотное колдовство, — от твоей души, Озарсиф, возлюбленный мой, — о, как бедственно горек подобный отказ для любви! Я отказалась от твоих глаз, это всего плачевней, я не могла поступить иначе, у меня, у беспомощной, не было выбора. Мертвы и закрыты будут для меня твои глаза, когда мы сомкнем объятия, и только пухлый твой рот будет зато моим — в униженном своем блаженстве я буду его целовать и целовать без конца. Ибо дыхание твоего рта, это правда, мне всего дороже на свете, но еще дороже, дороже вселенной, мой солнечный мальчик, мне был бы один-единственный взгляд твоей души — вот о чем мой вскипающий во мне плач! Услышьте его, чистые духи! В глубокой скорби я возношу его к вам от очага негритянского колдовства. Смотрите, как я, женщина высшего звания, вынуждена была в любви унижаться до отсталости и купить наслаждение ценою счастья, чтобы получить хотя бы его — если уж не счастье его взгляда, то хотя бы наслаждение его рта! Но как горько, как больно мне от такого отказа, — об этом, о чистые, позвольте мне, княжеской дочери, не молчать, а громко проплакать, прежде чем я заплачу за искусственно выколдованное наслаждение, упившись бездушным блаженством с его сладостным трупом! Оставьте мне в этом паденье надежду, чистые духи, и сокровенную, тайную-претайную мысль, что в конечном счете наслаждение и счастье, быть может, не так уж и резко отделены друг от друга, что из наслаждения, если только оно достаточно глубоко, может расцвести счастье, что от неотразимых поцелуев наслаждения мертвый мой мальчик откроет глаза, чтобы одарить меня взглядом своей души, и мы тем самым обманем условие колдовства! Чистые духи, которым я посылаю свой плач, оставьте мне тайную эту опору в моем унижении, не отнимайте у меня только надежды на этот обман, на маленький этот обман...

И Мут-эм-энет подняла руки к небу и, судорожно рыдая, упала на шею своей подруге, наложнице Ме, которая свела ее вниз.

НОВЫЙ ГОД

Любопытство слушателей узнать то, что каждый и так уже знает, достигло тем временем, несомненно, своей вершины. Час, когда оно должно быть удовлетворено, настал, — это главный час праздника и поворот нашей истории, существующий с тех пор, как она пришла в мир и впервые рассказала себя самое: час и день, когда Иосиф, вот уже три года управляющий Потифара и вот уже десять лет его собственность, с великим трудом избежал грубейшей ошибки, какую он мог совершить, и довольно-таки дешево отделался от страшного искушения, — правда, малый оборот его жизни при этом вновь завершился, и он оказался в яме еще раз — по собственной, как он признавал, вине, в наказание за поведение, которое своей вызывающей опрометчивостью, чтобы не сказать — дерзостью, слишком походило на поведение прежней его жизни.

Параллель между его виной перед этой женщиной и его виной перед братьями вполне правомерна. Снова он в своем желанье «изумлять» людей зашел чересчур далеко, снова, по своему легкомыслию, позволил разрастись, опасно переродиться и выйти из повиновения той силе своей привлекательности, которой вправе был радоваться, пользуясь ею и умножая ее во славу бога; в первой жизни эта сила приняла отрицательную форму ненависти, на этот раз — чрезмерно положительную, а потому опять-таки пагубную форму страсти. В своем ослеплении он содействовал второй так же, как первой, и, дав поблажку тем своим чувствам, что шли навстречу все возраставшему чувству женщины, еще и разыгрывал из себя воспитателя, — он, которого и самого-то явно нужно было воспитывать и воспитывать. Что это заслуживало возмездья, нельзя отрицать; но нельзя и не отметить с тихой ус-

мешкой, что кара, по праву его за это постигшая, очень уж способствовала его дальнейшему счастью, большему и более ослепительному, чем прежде, разрушенное. А веселит нам душу то проникновение в высшую психологию, которым мы обязаны такому ходу событий. Старо, ибо оно восходит к прологам, к подготовительным началам истории, предположение, что несовершенство созданного всякий раз доставляет ехидное удовлетворение тем высшим кругам, у которых упрек: «Что есть человек и какой тебе от него прок?» — вертелся на языке испокон веков — тогда как создателя это несовершенство смущает, вынуждая его отдать дань царству строгости и провозгласить торжество карающей справедливости; он явно делает это не столько по собственному желанью, сколько под неким моральным давлением, уйти от которого ему неудобно. Так вот, наш пример отрадно доказывает, что, с достоинством уступая такому нажиму, высшая благодать одновременно ухитряется оставить с носом царство обиженной строгости. Она исцеляет тем же, чем бьет, и превращает несчастье в плодородную почву обновленного счастья.

Днем решения и поворота был великий праздник приема Амуна-Ра в Южном Гареме, день, когда начинала прибывать вода в Ниле, официальный день нового года в Египте. Официальный, подчеркиваем; ибо естественный новый год, то есть день, когда священный круг замыкался, когда звезда Пес опять появлялась на небе с востока, а воды вздымались, отнюдь не совпадал с таковым; в этом отношении в Египте, который вообще-то терпеть не мог беспорядка, порядка почти никогда не было. Случалось, правда, в ходе времен, в жизни людей и царских домов, что естественный новый год вдруг да совпадал с календарным; но затем требовалось тысяча четыреста шестьдесят лет, чтобы этот прекрасный случай согласия вновь повторился, и должно было миновать около сорока восьми людских поколений, которым не было суждено оказаться его современниками, с чем, впрочем, они, так уж и быть, примирились бы, если бы у них не было никаких других забот. Тот век, на который пришлась египетская жизнь Иосифа, тоже не был призван созерцать эту красоту, это единство действительности и официальности, и дети Кеме, что плакали и смеялись тогда под солнцем, привыкли к тому, что тут царит такая несогласованность, — они не обращали на это внимания. Не то чтобы они праздновали новый год, то есть начало поры затопленья ахет, в самую что ни на есть пору урожая шему, — чего не было, того не было; но на зимнюю пору перет, называвшуюся также порой сева, новый год все-таки приходился, и если дети Кеме не усматривали в этом ничего особенного, так как беспорядок, который продлится еще тысячу лет, приходится считать порядком, то Иосифу, в силу его внутренней отрешенности от нравов земли Египетской, это казалось всякий раз немного смешным, и в праздновании неестественного нового года он участвовал так же, как участвовал во всем, чем жили и что делали здесь внизу, — то есть с оговоркой и с той самой снисходительностью, с которой, как он был уверен, относилось небо к его открытости миру. Нельзя, кстати сказать, не подивиться человеку, который при такой критической отрешенности от мира, куда его занесло, среди людей, чье житье-бытье представлялось ему, в сущности, сплошной глупостью, прилагал такие серьезные усилия для того, чтобы преуспеть так, как преуспел Иосиф, и сделать им столько добра, сколько ему суждено было сделать.

Но как бы ни относился к нему отрешенный ум — серьезно или несерьезно, — день официального начала разлива отмечался по всей земле Египетской, а в Новет-Амуне, в стовратной Уазе в особенности, с великой торжественностью, представление о которой дают лишь самые большие и многолюдные наши государственные, общенародные и национальные праздники. С раннего утра весь город был на ногах, и его и без того огромное население — как известно, оно переваливало далеко за сто тысяч — сильно возрастало благодаря сельским жителям верховьев и низовьев, стекавшим сюда, чтобы отпраздновать большой день Амуна у престола этого державного бога, смешаться с горожанами и с разинутым ртом, прыгал на одной ноге, поглядеть на величественные зрелища, пышностью которых государство платило обобранному и закабаленному барщиннику за убогую скудость целого года и укрепляло его в

патриотических чувствах на новый, наступающий год кабалы; чтобы, потев в сутолоке, дыша запахами сожженного жира и наваленных горами цветов, наполнить сверкающие всеми красками радуги, мощенные алавастром, затянутые навесами и оглашаемые песнопениями притворы храмов, снабженных ради такого дня невероятными количествами еды и питья, чтобы на этот раз набить себе брюхо за счет бога или, вернее, за счет верховных властей, которые целый год выжимали из них все соки, а сегодня ободряли их расточительным добродушием, и чтобы, пусть вопреки рассудку, потешить себя надеждой, что теперь так будет всегда, что теперь начались времена радости и блаженства, золотой век дарового пива и жареных гусей, что барщинник никогда больше не увидит у себя податного писца, сопровождаемого нубийцами с пальмовыми прутьями, а будет всегда жить так же, как храм Амуна-Ра, где можно было увидеть пьяную женщину с непокрытыми волосами, дни которой проходили в праздничном угаре, потому что она скрывала в себе царя богов.

В действительности к закату солнца вся Уазе была совершенно пьяна, так что люди в забытии шатались по улицам, горланили песни, бесчинствовали. Но в часы чудес раннего и позднего утра, когда из дворцовых ворот выезжал фараон, «чтобы принять честь своего отца», как гласила официальная формула, и Амун начинал свой знаменитый путь по Нилу к Опет-реситу, Южному Дому Утех, — в эти часы город сохранял еще свежесть и ликовал чинно, с радостным благоговением и благочестивым любопытством взирая на весь этот державный и божественный блеск, призванный дать сердцам его детей и гостей новый запас будничного долготерпенья и гордо-испуганной преданности отечеству и выполнявший эту задачу почти так же успешно, как победоносное возвращение прежних царей из нубийских и азиатских военных походов, сцены которых были увековечены барельефами на стенах храмов и которые сделали великой землю Египетскую, хотя жестокое закабаление барщинников с них-то и началось.

В торжественный этот день фараон выезжал в венце и перчатках; пышно, как восходящее солнце, выходил он из своего дворца и на высоко плывущих носилках, под балдахином и страусовыми опахалами, окутанный пряными облаками благовоний, которыми, оборачиваясь к этому доброму богу, оведали его шагавшие впереди кадильщики, направлялся в дом своего отца, чтобы глядеть на его красоту. Голоса чтецов-священников заглушались ликованием подпрыгивающей толпы зрителей. Барабанщики и рожечники, шумя, открывали шествие, состоявшее из царских родственников, сановников, единственных и истинных друзей, а также просто друзей царя и замыкаемое воинами со знаменами, копьями и секирами. Живи так же долго, как Ра, отрада Амуна! Но где было лучше стоять, глотать пыль, выворачивать себе шею и пялить глаза — здесь или, может быть, в Карнаке, возле увешанного флагами дома Амуна, куда в конце-то концов все и текло? Ибо сегодня показывался и сам бог; странный, уродливый, скорченный болванчик, он покидал священнейшую каморку, находившуюся в глубине его огромной могилы, за всеми передними дворами, просто дворами и все более тихими и низкими палатами, и следовал по все более высоким и красочным покоям наружу, — следовал на своем овноголовом струге, священно укрытый своим закутанным капищем, которое несли на длинных шестах двадцать четыре плешивца в накрахмаленных верхних набедренниках, тоже окуриваемый и тоже под опахалами, через море света и море звуков, навстречу сыну.

Очень важно было увидеть «полет гусей» — древнейший обряд, совершаемый в прекрасном месте сретенья, на площади перед храмом. Какое это было, право, красивое и веселое место! На золотых, увенчанных головным убором бога шестах развевались пестрые флаги. Горы цветов и плодов громоздились на жертвенниках перед ларями священной тройки, отца, матери и сына, и здесь же стояли статуи предшественников фараона, царей Верхнего и Нижнего Египта, доставленные сюда разделенной на четыре стражи прислугой солнечного Амунова струга. Возвышаясь над толпой благодаря золотым подножиям и глядя в разные стороны, — на восток, на запад, на юг и на север, — жрецы рассылали диких гусей по четырем странам света, чтобы эти птицы сообщили богам каждой из них, что Гор, сын Усира и Исет,

надел на голову и белый и красный венец. Ибо некогда, взойдя на престол стран, рожденный смертью воспользовался именно таким способом оповещения богов, и несметными столетиями на празднике повторялся этот обряд, а ученые и народ разными приемами давали полету гонцов многообразные толкованья, касавшиеся общих и частных судеб.

Каких только прекрасных таинств и обрядов не совершал на этом месте фараон после полета гусей! Он приносил жертвы перед изваяниями древних царей. Он надрезал золотым серпом полбенный сноп, который подавал ему жрец, и благодарно-просительно складывал колосья к ногам отца. Под гуденье чтецов и певчих, склонившихся над своими книгами-свитками, он одарял его из курильницы с длинной ручкой божественным благоуханьем. Затем величество этого бога садилось на свой престол и в полной неподвижности принимало благословения двора, облеченные в редкие, выпретенные обороты речи и подчас приносимые богу в виде затейливых поздравительных писем, сочинителями которых были не сумевшие почему-либо явиться чины — слушать их было сущее наслаждение.

Это было, однако, лишь первое действие праздника, становившегося все красивее и красивее. Теперь святая тройка двигалась к Нилу, ее ладьи, на плечах двадцати четырех плешивцев каждая, снова взмывали вверх, а фараон, из сыновней скромности, шел, словно человек, пешком за ладьей своего отца Амуна.

Толпа устремлялась к реке, теснясь около шествия трех божеств, впереди которого, следом за трубачами и барабанщиками, шагал в леопардовой шкуре первый из жрецов — Бекнехонс. Разносились песнопенья, курился ладан, качались высокие опахала. Достигнув берега, священные струги переходили на три корабля, — это были широкие и длинные корабли, ослепительной красоты все, как один, но самым неопишваемым был корабль Амуна: из кедров, сваленных в кедровых горах и самолично — так говорили — доставленных через горы князьями Ретену, обитый серебром, с золотым балдахином посередине, с золотыми мачтами и обелисками, украшенный венками со змеями на форштевне и ахтерштевне, полный всяческих истуканов и священных предметов, о большинстве которых народ и сам давно уже не имел никакого понятия, — такой страшной древности были эти символы, — что, однако, не ослабляло, а, напротив, усиливало его почтение к ним и его радость при виде их.

Роскошные корабли Великой тройки были судами не самоходными, гребцов на них не было, их тянули вверх по Нилу к Южному Гарему на канатах легкие галиоты и береговая прислуга. Принадлежать к этой прислуге считалась большой удачей, из которой можно было весь следующий год извлекать практические выгоды. Вся Уазе, кроме умирающих и вконец одряхлевших (ибо грудных младенцев их матери несли на спине или на груди), огромная, следовательно, толпа людей, брела с береговой прислугой; сопровождая божественную процессию, она и сама выстраивалась как процессия. Впереди, распевая гимны, шел один из служителей Амуна; за ним, со щитами и дротиками, следовали воины бога; приплясывая, барабаня, кривляясь, отпуская всякие, подчас непристойные шутки, сновали в толпе расфуфыренные, приветствуемые взрывами хохота негры (они знали, что их презирают, и вели себя глупей, чем то свойственно их природе, подлаживаясь к нелепому представлению народа о них); рядами двигались жрецы-музыканты, не давая покоя своим погремущкам и систрам, обвитые гирляндами жертвенные животные, боевые колесницы, знаменосцы, лютнисты, высокопоставленные жрецы со слугами, — и, напевая, прихлопывая в ладоши, шагали с ними горожане и земледельцы.

Так, радуясь и ликуя, толпа направлялась к стоявшему у реки дому с колоннами; здесь божественные корабли приставали, а священные струги, снова взмыв на плечи, под звуки барабанов и длинных труб, проплывали во главе нового шествия в прекрасный Дом Рожденья, где их, с приседаньями и затейливыми телодвижениями, помахивая ветками, торжественно встречали земные наложницы Амуна, тонкоодетые дамы высокого ордена Хатхор, которые затем плясали, били в бубны и вполне сладостными голосами пели перед своим высоким супругом — скорченным, запеленатым болванчиком в закутанном ларчике. То был великий ново-

годний прием в гареме Амуна, отличавшийся богатейшим угощением, частыми приношениями яств и обильными возлияниями, нескончаемым чествованием бога и многозначительными, хотя в большей своей части никому уже не понятными церемониями в самых внутренних, внутренних и предвнутренних покоях Дома Объятий и Родов, в его наполненных пестрыми рельефами и шепотом иероглифов палатах, в его портиках с папирусообразными колоннами розовою гранита, в облицованных серебром шатровых залах и открытых народу дворах со статуями. Если учесть, что к вечеру это шествие с таким же блеском и ликованием возвращалось по воде и по суше в Карнак; если иметь также в виду, что во всех храмах весь день не прекращались пиршества, ярмарочная торговля, народные увеселенья и театральные действия, где жрецы в масках изображали истории богов, то легко представить себе пышность новогоднего праздника. Вечером столица упивалась беззаботностью и хмельной верой в золотой век. Береговая прислуга бога, в венках, умащенная маслом и очень пьяная, шаталась по улицам и пользовалась своим правом вытворять все, что ни придет в голову.

ПУСТОЙ ДОМ

Нужно было хотя бы в общих чертах описать ход праздника Опега и официального разлива Нила, чтобы познакомить слушателей с общественной обстановкой, в какой вершился великий час нашей истории, той частной истории, о которой у нас, собственно, и идет речь. Самого приблизительного представления об этой обстановке достаточно, чтобы понять, как занят был в тот день царедворец фараона Петепра. Ведь он находился среди ближайших околных его величества, Гора во дворце, царя, у которого ни в этой, ни в будущей жизни никогда не было такого множества первосвященнических обязанностей, как в тот день, — да, да, среди ближайших околных, а точнее — среди единственных друзей царя. Ибо в это новогоднее утро его производство в столь редкий придворный чин стало действительностью: оно было отмечено приветственными посланиями, обращения которых ему было воистину приятно читать. Весь день номинальный полководец находился вне своего дома, каковой, кстати сказать, подобно прочим домам столицы, вообще опустел; ибо, как мы подчеркнули, дома оставались везде только неподвижные калеки и умирающие. В числе последних были и священные родители с верхнего этажа, Гуий и Туий: их путь уже ни при каких обстоятельствах не шел дальше насыпи в саду и беседки, да и туда они уже редко ходили. Ибо то, что они вообще еще жили, граничило с чудом; они вот уже десять круговоротов с часу на час ждали смерти, а все еще, слепышкой и бобром, она — со своими щелками глаз, а он со своей старомодной бородкой, скрипели во мраке своего единоутробия — потому ли, что вообще некоторые старики все живут и живут и никак не находят в себе силы умереть; или потому, что они боялись Царя Преисподней и сорока носителей ужасных имен из-за своего неуклюжего примирительного поступка, — кто знает!

Итак, они остались дома, на верхнем этаже, с детьми, им прислуживавшими — двумя дурашливыми девочками, которые заменили прежних, когда те со временем огрубели; а вообще-то и дом и двор, как все другие в столице, поистине вымерли. — Так уж и вымерли? — Мы вынуждены, говоря об их пустоте, сделать еще одну, всего одну, но важную оговорку: Мут-эм-знет, первая и праведная жена Потифара, тоже не покинула дома.

Как удивится этому тот, кто знаком с распорядком новогоднего дня! Она не участвовала в прекрасном служенье своих сестер, наложниц Амуна. Не раскачивалась в пляске, с рогами и солнечным диском на голове, в облегающе-узком платье Хатхор, не вторила серебряной трещотке сладостным голосом. Она предупредила о своем неучастье начальницу и передала свои извиненья высокой покровительнице ордена Тойе, жене бога, сославшись на то самое состояние, которым некогда оправдалась Рахиль, когда, сидя на спрятанных в соломе терафимах, не встала перед Лаваном: к несчастью, как раз в этот день, передала Мут, она будет

нездоровая, нездоровая в интимное смысле; надо сказать, что знатные дамы отнеслись к такого рода помехе с большим пониманием, чем Потифар, которому она тоже это сказала и который, по недостатку человеческой отзывчивости, обнаружил такое же тупоумие, как в свое время Лаван, чурбан неотесанный.

— Что значит нездоровая? У тебя болят зубы или, может быть, у тебя гипохондрия? — спросил он, употребив принятое в высшем обществе нелепо-медицинское обозначение скверного самочувствия.

А когда она ему наконец растолковала, в чем дело, он не признал этого обстоятельства достаточным оправданием.

— Это не в счет, — сказал он точь-в-точь как Лаван, если читатели помнят. — Это не болезнь, на которую можно сослаться, не участвуя в празднике бога. Другая женщина притащилась бы и полуживая, только бы не отсутствовать, а ты хочешь отсидеться из-за такого обычного, из-за такого нормального обстоятельства.

— Страданье вовсе не должно быть каким-то сверхъестественным, друг мой, чтобы нас извести, — ответила Мут и поставила своего супруга перед выбором — уволить ее либо от общего празднества, либо от частного, в узком кругу, приема гостей, которым, по случаю назначения телохранителя «единственным другом», должен был завершиться день нового года здесь, в доме. Выдержать и то и другое, заявила она, ей не по силам. Если она, находясь в таком состоянии, выйдет плясать перед богом, то к вечеру свалится с ног и уже в домашних развлечениях никак не сможет участвовать.

С недовольством он в конце концов позволил ей пощадить себя днем, чтобы вечером она исполняла обязанности хозяйки, — с недовольством, потому что кое о чем догадывался, мы можем утверждать это с уверенностью. Ему было не по себе, у него, царедворца, отнюдь не было спокойно на душе, оттого что жена его уединилась в доме из-за своего мнимого недомогания: он думал об этом с неудовольствием, думал с каким-то смутным дурным предчувствием, с тревогой за свой покой и за прочность духовных уз, в которых покоился его дом, и вернулся с праздника бога раньше, чем это требовалось для вечернего приема, вернулся с привычным и уверенно заданным, но с робким по существу своему вопросом на устах: «Все ли благополучно дома? Весела ли госпожа?» — чтобы на этот раз наконец получить на него тот страшный ответ, которого он втайне всегда ожидал.

Мы забегаем этими словами вперед, потому что, пользуясь выражением смотрительши говяд Рененутет, все и так уже всем известно, и о занимательности речь может идти разве что в отношении отдельных подробностей. Никого не удивит и сообщение, что в беспокойстве и недовольстве царедворца участвовала мысль об Иосифе и что в связи с нездоровьем и уединением жены Петепра внутренне оглядывался на него, Иосифа, и на его местонахождение. Так же поступаем и мы, спрашивая себя не без тревоги за нерушимость семи причин: остался ли дома и он?..

Нет, не остался; он никак не мог бы этого сделать, это самым общезаметным образом противоречило бы его правилам и привычкам. Известно, как египетский Иосиф, вот уже десять лет назад уведенный в страну мертвецов, истый египтянин в свои двадцать семь лет, — если не по своему религиозному, то по своему житейскому укладу, — уже три года из них облаченный в совершенно египетскую одежду, так что иосифовскую форму сохраняло и оспаривало теперь египетское содержание, — известно, как он, дитя и житель египетского года, приспособившись, хотя и внутренне отрешенно, с приветливой светскостью справлял его причудливые обряды и праздники его идолов в надежде на снисходительность человека, который привел теленка на это поле. Новогодний же праздник, большой день Амуна, был таким поводом к общительности и жизнелюбивой терпимости в первую очередь; сын Иакова проводил его, как все здесь внизу, с утра в праздничном платье, и даже — символически, в честь обычая, и чтобы не отличаться от других — выпив немного больше, чем то требовалось для утоления жажды. Но это он сделал позднее, днем, ибо сначала у него были служебные обязан-

ности. Как управляющий важного сановника, он, входя в свиту свиты, участвовал в царском шествии от западного дома горизонта к Великой Обители Амуна, а оттуда, в составе водной процессии, направился к храму Опета. Обратный путь божественного семейства совершался не в столь строгом порядке, как путь вверх по реке; при желании от этой процедуры можно было увильнуть, и, как тысячи египтян, Иосиф провел день, слоняясь по улицам, с любопытством задерживаясь то на храмовой ярмарке, то на жертвенном пиршестве, то среди зрителей божественного действия, — с мыслью, впрочем, что еще засветло, вернее даже, в конце дня, до всех остальных домочадцев, он должен будет возвратиться домой, чтобы, исполняя обязанности главы хозяйства, ответственного за обобщающий надзор, убедиться путем осмотра длинной кладовой (где он некогда получал у писца, ведавшего питейным поставцом, угощение для Гуия и Туий) и палаты пиров в готовности дома к новому торжеству и празднованию повышения в чине.

Он собирался и считал важным произвести этот осмотр, эту проверку в одиночестве, без помех, в еще пустом доме, прежде чем подчиненная ему челядь — писцы и слуги — вернется с праздника. Так, считал Иосиф, ему положено, и для вящего обоснования своего намеренья он перебирал в уме всякие назидательные изречения, которых вообще-то не существовало на свете и которые он с этой целью сочинял сам, притворяясь, что дело идет об испытанной народной мудрости, такие, например, как: «Званье непростое — бремя золотое»; «За то и почет, что хлопот полон рот»; «Последний при счете, да первый в работе» — и тому подобные золотые правила. А придумывать их и твердить он начал с тех пор, как дорогой, во время водной процессии, узнал, что его госпожа отказалась по нездоровью участвовать в пляске Хатхор и осталась дома одна — ибо покуда он этого не знал, он и думать не думал ни о каких изречениях и не выдавал их себе за опыт народа; не было у него и того отчетливого теперь ощущения, что, согласно этой крылатой мудрости, он должен первым, опередив других слуг, вернуться в пустой дом, чтобы последить за порядком.

Он мысленно употребил это выражение — «следить за порядком», хотя оно и казалось ему несколько зловещим и хотя какой-то внутренний голос советовал ему его избегать. Да и вообще, как честный молодой человек, Иосиф не обманывал себя на тот счет, что со старыми этими назиданиями для него связана некая большая, ошеломляющая опасность — ошеломляющая, однако, не только как опасность, но и как радость, как самый благоприятный случай. — Для чего же благоприятный? — Для того, маленький шептун Боголюб, чтобы так или иначе окончательно решить дело, ставшее делом чести для бога и для Амуна, чтобы схватить огнедышащего быка за рога и во имя бога пойти на все. Вот для чего, мой боязливый дружок, это благоприятный, это ошеломляюще-благоприятный случай, а все остальное карличий вздор. «Слуги еще в пирах — бары уже в трудах» — вот каких чеканных, каких почтенных правил держится молодой управляющий Иосиф, и ни дурацкий карличий стрекот, ни каверзное одиночество госпожи не собьют его с толку...

Такой ход его мыслей не дает никаких оснований быть за него спокойным. Не будь известна развязка этой истории, так как в свое время, разыгрываясь, она уже досказала себя до конца, а это всего только праздничное повторенье и пересказ, храмовое, так сказать, действие, — не будь известна ее развязка, у слушателя, пожалуй, выступила бы испарина на лбу от тревоги за Иосифа! Но что значит «повторенье»? Повторенье в празднике — это уничтожение разницы между «было» и «есть»; и если тогда, когда наша история рассказывала себя самое, в этот ее час нельзя было тешиться уверенностью, что ее герой дешево отделается, что он не допустит всегубительного разрыва с богом, то и сейчас тоже преждевременная беспечность совсем неуместна. Плач женщин, которые хоронят в пещере прекрасного бога, не становится менее пронзительным оттого, что наступит час, когда этот бог воскреснет. Ведь вот сейчас-то он мертв и растерзан, а каждому часу праздника причитается полная мера сиюминутности в горе и радости, в радости и горе. Разве не праздновал часа своего почета Исав, разве не пыжился, не задирали ноги, шагая так, что и смех и горе было глядеть на его хвостовство? Ведь

тогда история еще не продвинулась для него настолько, чтобы ему положено было плакать и выть. И наша история все еще не продвинулась настолько, чтобы ход мыслей Иосифа, чтобы его золотые пословицы не вызывали у нас тревоги, от которой испарина жемчужинами выступает на лбу.

Еще сильней выступает она, если заглянуть в празднично опустелый дом Потифара. Женщина, оставшаяся там в одиночестве, женщина, которой суждено изображать мать греха, — не справляет ли она часа самой пылкой своей уверенности? Разве ее решимость пойти на все меньше, чем у сына Иакова, разве нет у нее повода быть уверенной в горько-блаженном торжества своей страсти, разве нет у нее всех оснований для мрачной, для пламенной надежды, что скоро она заключит в объятия своего юношу? Мало того что ее желание узаконено высочайшей духовной инстанцией, что оно защищено честью и солнечной силой Амуна, — ему обеспечена поддержка и снизу, обеспечена благодаря тому мерзкому насилию, которым княжеская дочь, спору нет, уронила свое достоинство, но унижительным условиям которого она в глубине души надеется устроить подвох, с женской хитростью рассудив, что в любви тело и душа разграничены, может быть, на так уж и резко и что в телесно отрадном объятье она умудрится завоевать и душу своего юноши, прибавить к наслаждению счастье. Поскольку в нашем рассказе эта история происходит заново, то жена Потифара сейчас так же, как «тогда» (которое превратилось в «сейчас»), связана часом происходящего и не может знать, что ее ждет впереди. Но что Иосиф придет к ней в пустой дом, это она знает, в этом она пылко уверена. Госпожа-Сука «приворотит» его, то есть он дорогой узнает, что Мут не участвует в празднике, что она осталась одна в умолкшем доме, и у него возникнет, им завладеет мысль вернуться домой в такое время, когда это многозначительное, это необычайное положение еще продолжается. Что за беда, если эта мысль завладеет им и определит его путь только по милости Суки; ведь Иосиф, — так рассуждает охваченная желанием женщина, — ни о Суке, ни о дикарских ухищрениях Табубу и знать не знает; он подумает, что навязчивая мысль пойти к Мут в пустой дом исходит от него самого, что его неодолимо «влечет» навестить ее в ее одиночестве, а если он будет такого мнения, если сочтет эту мысль своей собственной и будет уверен, что действует по собственному почину, — разве тем самым обман не станет уже правдой его души и разве это не будет уже подвохом богине-распутнице? «Меня тянет», — говорит подчас человек; но кто его тянет, кого он отличает от себя самого, сваливая ответственность за свои поступки на некую силу, не являющуюся им самим? Это не кто иной, как он сам, это только он сам вместе со своим желаньем! Какая разница — сказать «я хочу» или сказать «мне хочется»? Да и нужно ли вообще сказать «я хочу», для того чтобы действовать? Разве поступок вытекает из желания? Разве желанье не выявляется, напротив, только в поступке? Иосиф придет и, придя, узнает, что он хотел прийти и почему он хотел. А если он придет, если он услышит зов самого благоприятного случая и откликнется на этот зов, то, значит, все уже решено, и Мут уже победила, и она увенчает его плющом и вьющимся виноградом!

Таковы воспаленно-хмельные мысли жены Потифара. Глаза ее неестественно велики и чрезмерно блестят, ибо с помощью палочки слоновой кости она густо насурьмила ресницы и брови. Несмотря на блеск, они глядят хмуро и отрешенно, эти глаза, но зато рот непоколебимо змеится улыбкой торжествующей уверенности. При этом губы ее делают еле заметные сосательные и жевательные движения, потому что во рту у нее тают шарики смешанного с медом олибана, которые она глотает благоухания ради. На ней платье тончайшего полотна, сквозь него просвечивает ее слегка ведьмовское тело любви, и от складок этого платья, так же как от ее волос, веет тонкими кипарисовыми духами. Находится она в своей комнате в доме господина, в том предназначенном для нее покое, который одной внутренней стеной примыкает к семидверному вестибюлю с зодиакальным полом, а другой к северной колонной палате Петепра, где тот обычно читает с Иосифом книги. Одним углом этот будуар соприкасается со столовой-гостиной, которая примыкает к семейной столовой и где сегодня вечером должен состояться прием по случаю присвоения Петепра нового придворного звания. Мут не затво-

рила двери, ведущей из ее комнаты в северную палату, отворена также одна из двух дверей, ведущих оттуда в гостиную. По этим-то покоям и ходит в уверенном своем ожидании женщина, чье одиночество в доме разделяют лишь старики, ожидающие наверху своей смерти. Порою, ходя из комнаты в комнату, невестка их Эни поминает священных родителей взглядом, который ее хмурые в своем преувеличенном блеске глаза-самоцветы устремляют к расписанному потолку. Она часто возвращается из гостиной и из колонной палаты в полумрак своего покоя, куда свет проникает сквозь каменную резьбу высоко расположенных окон, и вытягивается на облицованном зеленым камнем диване, пряча лицо в подушках. В курильницах комнаты тлеют коричневое дерево и мирра, и через открытые двери пахучий дымок проникает также в послеобеденный зал, в гостиную.

Вот как обстоит дело с колдуньей Мут.

Если же снова взглянуть на умершего сына Иакова, то он пришел домой прежде всей челяди — это известно и так. Он пришел и мог из этого заключить, что он хотел прийти или что его тянуло прийти — не все ли равно! Обстоятельствам не удалось отвлечь его от сознания долга, от мысли, что ему подобает, что он обязан прекратить свои развлечения раньше всех и заняться домом, во главе которого его поставили. Он, впрочем, помедлил и исполненье долга, одобренного и предписанного столькими мудрыми поговорками, откладывал дольше, чем можно было бы ожидать. Правда, он пришел в еще пустой дом; но не так много времени оставалось уже до возвращения остальных, по крайней мере тех, кто не был отпущен в город на вечер, а должен был прислуживать в доме и во дворе, — всего какой-нибудь зимний час или даже меньше того, причем нужно учесть, что зимние часы в этой стране гораздо короче летних.

Он провел этот день совсем не так, как ожидавшая его Мут — на солнце и в шуме, в пестроте и суете идольского веселья. В глазах у него рябило от шествий, от храмовых представлений, от толп народа. Его нос, нос Рахили, сохранял запахи жертвенных костров, цветов, испарений множества возбужденных, разгоряченных прыжками радости и пиршествom чувств людей. Уши его были еще полны звуков литавр и рожков, ритмичных рукоплесканий, гомона неистового разгула надежд. Он ел и пил, и чтобы не впасть в преувеличение, его состояние лучше всего определить как состояние юноши, который в опасности, являющейся одновременно благоприятным случаем, склонен видеть, скорее, благоприятный случай, чем опасность. У него был венок из голубых лотосов на голове и отдельно еще цветок во рту. Сгибая и разгибая руку в запястье, он обмахивал плечи белым конским волосом пестрой мухогонки и тихонько напевал: «У работника веселье — у хозяина похмелье» — в полной уверенности, что это старинная народная мудрость и что только мелодию к этому изречению придумал он сам. Так на исходе дня вернулся он во владения своего господина, отворил дверь из литой бронзы, пересек зодиакальную мозаику передней и вошел в прекрасную, с помостом, гостиную, где все уже заранее было самым роскошным образом приготовлено к вечеру Петепра.

Молодой управляющий Иосиф пришел проверить, все ли на месте, поглядеть, не заслуживает ли выговора питейный писец Хамат. Он обошел колонную палату, осматривая кресла, столики, амфоры в подставках, пирамидально нагруженные печеньем и фруктами поставцы. Проверил, в порядке ли светильники, стол с венками, цветочными оплечьями и подобранными к кушаньям благовониями, позвякал, поправляя их на подносах, золотыми кубками. Он уже все окинул хозяйским взглядом и раз-другой звякнул кубками, как вдруг обомлел от страха; из некоторого отдаления до него донесся голос, полнозвучный, звонкий, певучий голос, и голос этот произнес его имя, то имя, которым он назвал себя в этой стране:

— Озарсиф!

Всю свою жизнь помнил он этот миг, когда в пустом доме до него долетел издали звук его имени. Он стоял, с мухогонкой под мышкой, держа в руках два золотых кубка, которыми он, проверяя их блеск, едва звякнул, стоял и слушал, ибо ему казалось, будто он думает, что ослышался. Но это ему, видимо, только казалось, ибо он очень долго прислушивался, застыв

со своими кубками, когда его очень долго не звали снова. Наконец по комнатам еще раз разнесся певучий оклик:

— Озарсиф!

— Вот я! — ответил он. Но так как голос его хрипло сорвался, он откашлялся и повторил:

— Я слушаю!

Снова последовало несколько мгновений молчания, во время которых он ни разу не шевельнулся. А потом запело и зазвенело:

— Значит, это тебя, Озарсиф, я услышала, и значит, ты раньше всех других вернулся с праздника в пустой дом?

— Ты это говоришь, госпожа, — ответил он, ставя кубки на место и входя через открытую дверь в северный покой Петепра, чтобы его, Иосифа, лучше слышали в примыкавшей справа палате. — Да, это так, я уже вернулся, чтобы посмотреть, все ли в порядке в доме. Кто всех главней, тот себя не жалеет. Ты, конечно, знаешь эту прописную истину, и поскольку господин мой поставил меня во главе дома, поскольку он ни о чем, кроме хлеба, который ест, при мне не заботится, ибо он отдал все в руки мои, воистину не пожелав быть больше меня в этом доме, — то я предоставил челяди еще немного повеселиться, а сам, не жалея себя, решил отказаться от остальных радостей дня, чтобы заблаговременно прийти в дом согласно мудрому правилу: «Людей не неволь, а себе не позволяй!» Впрочем, не буду хвалиться перед тобой, ибо пришел я не намного раньше других и мой выигрыш времени не стоит даже упоминания — так мало в нем толку. Они, того и гляди, сейчас явятся, и вот-вот вернется уже сам Петепра, единственный друг бога, твой супруг, благородный мой господин...

— А за мной, — раздался голос из полутемного покоя, — почему, присматривая за всем в доме, ты не хочешь присмотреть и за мной, Озарсиф? Ты ведь слышал, наверно, что я осталась одна и недомогаю? Переступи порог и войди ко мне!

— Я с радостью, — отвечал Иосиф, — переступил бы порог и навел на тебя, госпожа, если бы не было такого беспорядка в палате приемов, где множество мелочей требует моего безотлагательного вмешательства...

Но голос прозвенел:

— Войди ко мне! Госпожа приказывает.

И тогда Иосиф переступил порог и вошел.

ЛИЦО ОТЦА

Тут наша история умолкает. То есть умолкает она в настоящем своем виде, в этом своем праздничном воспроизведении, ибо когда она происходила в оригинале, рассказывая себя самое, она отнюдь не молчала, а продолжалась в полумраке покоя как взволнованный обмен репликами или даже как такой диалог, где оба говорят одновременно, но мы накидываем на это покров деликатности и человеческого сочувствия. Ведь тогда она совершалась сама по себе, без свидетелей, а сегодня, сейчас, она разыгрывается перед многочисленной публикой — все согласятся, что это существенная разница для чувства такта. Точнее сказать, не молчал, да и не смел молчать Иосиф; он говорил, не переводя дыхания, невероятно гладко и ловко, призвав на помощь всю обаятельную находчивость своего ума, чтобы уговорить эту женщину отказаться от ее желанья. Но тут-то и кроется главная причина нашей уклончивости. Ибо он запутался при этом в одном противоречии — или, вернее, при этом распуталось одно противоречие, весьма затруднительное и неприятное для человеческих чувств, — противоречие между духом и телом. Да, под возраженья женщины, под ее высказанные и невысказанные возраженья, его плоть восставала против его духа, и, произнося самые складные и самые умные речи, он превращался в осла; а это потрясающее противоречие, обязывающее к величайшей повест-

вовательской бережности, — разглагольствующая мудрость, которая безжалостно уличена во лжи плотью и предстает в обличье орла!

То мертвобожественное состояние, в каком он бежал (известно ведь, что ему удалось бежать), давало женщине особый повод впасть в отчаянье и безумную ярости разочарования: ведь ее возделенье уже встретило в нем мужскую готовность, и крик, с которым она, покинутая, терзала и ласкала в припадке восторженной боли оставшуюся у нее в руках часть его платья (известно, что он оставил у нее какую-то часть одежды), — этот неоднократно вырывавшийся у египтянки крик горя и ликования гласил: «Ме'эни нахтеф!» — «Я видела его силу!»

А вырваться и бежать от нее в самый последний и решительный миг удалось ему потому, что он, Иосиф, увидел лицо отца — об этом сообщают все подробные изложения нашей истории, и мы подтверждаем, что это правда. Да, да, когда, несмотря на все свое красноречие, он был уже на волосок от гибели, ему явился образ отца. То есть образ Иакова? Да, конечно, Иакова. Но это не был образ с замкнуто-личными чертами, и увидел его Иосиф не в том или ином месте пространства. Нет, он увидел его в уме и умом: это был мысленный, символический образ, образ отца в самом широком и общем смысле — черты Иакова смешались в нем с отцовскими чертами Потифара, но было в нем вместе с тем сходство и со скромно умершим Монт-кау, и были еще какие-то, куда более величественные, выходящие за пределы всех этих сходств черты. Отцовскими глазами, карими и блестящими, с нежными жилками у нижних век, глядело это лицо на Иосифа пристально и тревожно.

Это спасло его; или, вернее (будем судить разумно и припишем эту заслугу не какому-то видению, а ему самому) — или, вернее, он спас себя, поскольку этот образ был рожден его духом. Он вырвался из положения, определить которое можно только как далеко зашедшее и весьма близкое к поражению, — вырвался к нестерпимому горю женщины, прибавим мы, справедливо распределяя свое сочувствие, — и это его счастье, что его телесная ловкость не уступала его красноречию, ибо поэтому он ухитрился в два счета выскользнуть из своего платья («плаща», «одежды»), за которое его схватили в любовном отчаянье, и, хоть это не очень-то подобало управляющему, убежать прочь — в северную палату, в столовую для гостей и дальше — в переднюю.

За его спиной бесновалось любовное разочарование, наполовину уже счастливое — «Ме'эни нахтеф!» — но нестерпимо обманутое. Она выделявала с оставшейся у нее в руках, еще теплой одеждой что-то ужасное: покрывала поцелуями, увлажняла слезами, разрывала зубами, топтала ногами это ненавистное, это милое платье, обходясь с ним почти так же, как обошлись некогда братья с нарядом сына в долине Дофана.

— Любимый! — кричала она. — Куда ты? Не уходи! О сладостный мальчик! О мерзкий раб! Будь проклят! Умри! Измена! Насилье! Держите беспутника! Держите убийцу чести! На помощь! На помощь госпоже! На меня напало чудовище!

Ну, вот. Ее мысли — если можно говорить о мыслях, когда налицо только горячка гнева и слез, — ее мысли свернули на то обвиненье, каким она не раз угрожала Иосифу, когда, делаясь страшной в своей похоти, заносила над ним, как львица, смертоносную лапу — убийственное обвинение в том, что он оскорбил госпожу чудовищным посягательством. Дикое это воспоминанье всколыхнулось в покинутой, она бросилась на него, она выкрикнула его изо всех сил, надеясь, как это бывает с людьми, усилием голоса сделать неправду правдой, — и мы, справедливости ради, порадуемся, что боль обиженной женщины нашла себе такой выход, получила пусть ложное, но столь же страшное, как и сама эта боль, выраженье, способное ужаснуть, способное заразить сочувственной жаждой мести кого угодно. Крики ее звучали пронзительно.

В передней были уже люди. Солнце садилось, и большая часть челяди Петепра уже вернулась с праздника на усадьбу и в дом. Поэтому хорошо еще, что, прежде чем он достиг вестибюля, у беглеца нашлось место и время собраться с мыслями. Слуги стояли, прислушиваясь, скованные страхом, ибо крики госпожи доносились наружу, и, хотя молодой управляющий

вышел из гостиной неторопливо и прошел сквозь их толпу спокойной походкой, они все равно не могли не усмотреть какой-то связи между ущербом в его одежде и криками в покое хозяйки. Сначала Иосиф хотел удалиться направо, в свою комнату, в Особый Покой Доверия, чтобы привести себя там в порядок; но так как на дороге стояли слуги, а кроме того, в нем победила потребность уйти из дома на свежий воздух, он пересек переднюю и через открытую бронзовую дверь вышел во двор, где царило оживление съезда, ибо как раз в это время к гарему прибывали носилки тараторок-наложниц, которые, под надзором писцов Дома Замкнутых и евнухов-нубийцев, также выезжали поглядеть на зрелища праздника и теперь возвращались в свою почетную клетку.

Куда он собирался уйти, так дешево отделавшись? На улицу, через те ворота, в какие он однажды вошел. А куда потом? Этого он сам не знал и был рад, что впереди у него еще двор, где можно было идти так, словно ты куда-то идешь. Он почувствовал, что его тянут за платье — это был сморчок Боголюб, который подавленно верещал: «Погибла нива! Бык ее сжег! Пепел! Пепел! Ах, Озарсиф!» Это было примерно на полпути от главного зданья к воротам наружной стены. Малыш вцепился в одежду Иосифа, и тот оглянулся. Его догнал голос женщины, госпожи, которая, белея, стояла на возвышенье ступеней перед дверью дома, окруженная слугами, стекавшимися вслед за ней из передней. Она простирала руку в его сторону, и продолжением ее руки за ним бежали люди, тоже протягивая руки к нему. Они схватили его и привели его назад, в гущу сбежавшейся к дому дворни — ремесленников, привратников, людей конюшен, сада и кухни, столовой прислуги в серебристых набедренниках. Плачущего карлика, который вцепился в его платье, он тащил за собой.

И перед челядью почечного своего супруга, столпившейся во дворе за нею и перед ней, жена Потифара держала ту известную речь, которая всегда вызывала неодобрение человечества и которую мы также, при самом добром своем отношении к Мут-эм-энет и ее преданью, не можем не осудить — не за неправду ее утверждений, которая могла все-таки сойти за облачение правды, а за демагогию, которой она не побрезгала, чтобы распалить своих слушателей.

— Египтяне — кричала она. — Дети Кеме! Сыновья Потока и Черной Земли!

Что это значило? Перед ней стояли обыкновенные люди, к тому же почти все немного навеселе. Их чистокровность детей Хапи, поскольку она вообще существовала, ибо среди них находились и мавры из Куша, и люди с халдейскими именами, была природным, не зависящим от них качеством, которое, кстати сказать, несколько не помогало им, если они бывали нерадивы на службе: тогда спины им полосовали, совершенно не глядя на преимущество их происхождения. А теперь вдруг к этому преимуществу, остававшемуся обычно в тени и не имевшему ни для кого из них никакой практической ценности, подчеркнуто и льстиво взывали, используя их честолюбие, их египетскую гордость против того, кого нужно было уничтожить любой ценой. Призыв этот показался им странным, но он не преминул оказать своего действия, тем более что пары ячменного пива повысили их впечатлительность.

— Братья египтяне! (Так вдруг и братья! Это проняло их, они блаженствовали.) Видите ли вы меня, вашу госпожу и мать, первую и праведную жену Петепра? Вы видите меня на пороге дома, и мы с вами хорошо знаем друг друга, не так ли, вы — меня, а я — вас?

«Мы» и «друг друга»! Это ласкало слух, у них был сегодня, право, хороший день.

— Но вы знаете и этого юношу-ибрийца, который ходит полуголым в такой знаменательный вечер, потому что верхнее его платье вот оно, у меня в руках... Вы узнаете его, поставленного над вами, уроженцами этой земли, назначенного управлять домом великого мужа стран? Глядите, с горемычной чужбины он явился в Египет, явился в прекрасный сад Усира, к престолу Ра, к горизонту доброго духа. Этого чужеземца привели к нам в дом («к нам»! опять, подумать только!), — чтобы он посмеялся над нами и покрыл нас позором. Ибо это ужасное дело совершено: я сидела одна в своем покое, одна в доме, оправданная перед Амуном своим нездоровьем, и одиноко стерегла пустой дом. И вот этот негодяй, этот ибрийский злодей воспользовался моим одиночеством, чтобы поступить со мной так, как ему хотелось, и опозорить

меня: этот раб хотел спать с госпожой, — закричала она визгливо, — насильственно спать! Но я стала громко кричать, когда он захотел это сделать, чтобы удовлетворить рабское свое желанье, — я спрашиваю вас, братья египтяне, слышали ли вы, как я кричала изо всех сил, чтобы доказать, как того требует закон, что я сопротивлялась и в ужасе защищалась? Вы это слышали! Но так как и он, блудодей, это слышал, преступная отвага его иссякла, и он вырвался из своего плаща, который я держу в руках как улику и за который я хотела его удержать, чтобы вы схватили его, и, не совершив злодеянья, бежал от меня, так что я, благодаря своему крику, стою перед вами чистой и непорочной. А он, поставленный над вами и надо всем этим домом, он стоит сейчас вон там, как злодей, который поплатится за свою вику и предстанет перед судом, как только вернется мой господин и супруг. Наденьте ему колодки на руки!

Такова была не только неправдивая, но, увы, и подстрекательская речь Мут-эм-энет. Потифарова челядь стояла в смущенье и замешательстве, одурев уже и от дарового храмового пива, а от услышанного и вовсе. Разве все они не слышали, не знали, что она бегаёт за красивым управляющим, а он ей не поддается? А тут вдруг оказывается, что он посягнул на госпожу, захотел овладеть ею силой? Голова у них шла кругом — и от пива, и от этой истории, ибо она была несуразна, а все они от души любили юного управляющего. Кричать она, конечно, кричала; все они это слышали, и все они знали закон, по которому женщина считается невиновной, если она во время нападения на ее честь громко кричала. К тому же в руках у нее была верхняя одежда управляющего, по виду которой можно было заключить, что она действительно осталась ей в залог, когда он вырвался; но сам он стоял с опущенной головой и молчал.

— Почему вы медлите?! — раздался почтенно-мужественный голос, голос Дуду, важного коротышки, который тоже был тут как тут в своем праздничном, крахмально-оттопыренном набедреннике... — Разве вы не слышали приказа госпожи, нашей чудовищно оскорбленной и чуть не поруганной госпожи — надеть колодки на этого мальчишку-ибрийца? Вот они, я захватил их с собой. Ибо, услышав ее законные крики, я сразу смекнул, что к чему, и мигом сбегал за колодками в бичевальную кладовую, чтобы за ними дело не стало. Вот они! Довольно пялить глаза, наденьте скорее колодки на мерзкие руки этого негодяя, купленного однажды вопреки дельному совету по совету болвана и так долго начальствовавшего над нами, чистокровными египтянами! Клянусь обелиском, его препроводят в Дом пыток и Казни!

Это был желанный час Дуду, женатого карлика, и он наслаждался им вволю. Нашлись и два челядинца, которые, взяв у Дуду колодки, надели их под смешные теперь причитания Шепсес-Беса на Иосифа; колодки эти представляли собой веретенообразную чурку, намертво схватывавшую и отягощавшую своим весом защелкнутые в особой прорези руки узника.

— Бросьте его на псарню! — приказала Мут с рыданием в голосе. А потом она опустилась наземь там, где стояла, перед открытыми воротами дома, и положила платье Иосифа рядом с собой.

— Вот я сижу, — говорила она нараспев, наполняя звуками темнеющий двор, — вот я сижу на пороге дома, а возле меня лежит вопиющая эта одежда. Отойдите от меня все и не советуйте мне вернуться в дом хотя бы за моим тонким платьем, чтобы избежать простуды из-за вечерней свежести. Я останусь глуха к таким просьбам, ибо я хочу сидеть здесь возле моего залога до тех пор, пока не придет Петепра и чудовищная эта обида не будет искуплена.

СУД

Каждый час, гордый ли, горестный ли, велик по-своему. Когда Исаву дано было бахвалиться и высоко задирать ноги, тогда, конечно, шел час его возвышенья, его почета. Но когда он выбежал из шатра — «Проклятье! Проклятье!» — и сел на корточки, чтобы заплакать крупными, как орехи, слезами, — разве этот час был для косматого брата менее велик и тор-

жествен?.. Глядите, вот он, мучительнейший час Петепра, час, которого он однако, в сущности, всегда ожидал: охотясь ли на птиц на бегемотов и на зверей пустыни, читая ли старых добрых авторов, он всегда смутно готов был к такому часу и только не знал его подробностей, хотя они, как оказалось, когда срок наконец исполнился, в большой мере зависели от него, — и право же, он оказался тут на высоте положения.

Он въехал во двор с факелами, на колеснице, управляемой его возничим Нетернахтом, — раньше, как мы уже сказали, чем это требовалось для вечернего приема, из-за своих предчувствий. Это было одно из тех многих возвращений, во время которых он всегда ждал беды, только на этот раз беда и в самом деле пришла. «Все ли благополучно в доме? Весела ли госпожа?» — Вот именно, нет. Госпожа трагически сидит на пороге твоего дома, а твой утешительный чашник лежит на псарне с колодками на руках.

Так, так, таким, значит, образом это произошло. Ну, что ж, возьмем это на себя! Что Мут, его жена, как-то страшно сидела перед дверью дома, он увидел еще издали. Тем не менее, вылезая из своей блестящей повозки, он задал привычные эти вопросы, но на сей раз они остались без ответа. Помогавшие ему слуги опустили головы и промолчали. Так, так, именно этого он всегда ждал, хотя бы другие подробности этого часа и сложились иначе, чем ему думалось... Покуда одни слуги уводили его упряжку, а другие по-прежнему стояли на освещенном факелами дворе поодаль от господина, этот нежный, рувимоподобный великан поднялся с опахалом и почетным жезлом в руке по ступенькам к сидевшей.

— Что бы значила, дорогая подруга, — спросил он с вежливой осторожностью, — эта картина? Ты сидишь в легкой одежде у порога, а рядом с тобой лежит какой-то непонятный предмет?

— Да, это так! — отвечала она. — Твое описание, правда, вяло, невыразительно, ибо картина эта гораздо сильнее и ужасней, чем в твоей, мой супруг, передаче, но по существу твое утверждение верно: я действительно сижу здесь, а рядом со мною действительно лежит предмет, значение которого тебе, к ужасу твоему, придется понять.

— Помоги мне в этом! — ответил он.

— Я сижу здесь, — сказала она, — в ожидании твоего суда — над гнуснейшим преступлением, какое когда-либо видели эти страны, а может быть, и все царства народов.

Он особым образом сложил пальцы, чтобы отвратить зло, и стал спокойно ждать объяснения.

— Этот раб-ибриец, — пела она, — которого ты ввел в наш дом, вздумал со мной потешиться. Я молила тебя в вечерней палате, я обнимала твои колени, чтобы ты прогнал своего чужеземца, ибо я не ждала от него ничего хорошего. Но напрасно, слишком дорог был тебе этот раб, и ты заставил меня уйти ни с чем. Ну, а теперь этот развратник напал на меня, вздумав причинить мне наслаждение в твоём пустом доме, и он был уже в состоянии мужской готовности. Ты не веришь мне, тебе это кажется невероятным? Погляди же на этот знак, истолкуй же его, как должно! Знак сильнее, чем слово; его нельзя толковать вкривь и вкось, ибо он говорит недвусмысленным языком вещей. Гляди! Разве это не платье твоего раба? Проверь как следует, ибо я обелена перед тобой этим знаком. Когда я закричала под натиском этого чудовища, он испугался и побежал от меня, но я схватила его за платье, и он от страха оставил его у меня в руках. Вот оно, перед твоими глазами, — доказательство его мерзости, а вдобавок доказательство его бегства и того, что я подняла крик. Ибо если бы он не пустился бежать, у меня не осталось бы его платья, а если бы я не подняла крика, он бы не пустился бежать. Кроме того, вся твоя дворня может засвидетельствовать, что я кричала, — спроси этих людей!

Петепра стоял опустив голову и молчал. Затем он вздохнул и сказал:

— Это очень печальная история.

— Печальная? — повторила она с угрозой.

— Я сказал: «очень печальная», — ответил он. — Но она даже ужасна, и я искал бы, пожалуй, еще более сильного определения, если бы из твоих слов нельзя было заключить,

что благодаря твоему знанию законов и присутствию духа она окончилась еще сравнительно благополучно, ибо могло быть и хуже.

— А бесчестному этому рабу ты никаких определений не подыскиваешь?

— Он бесчестный раб. Так как речь сейчас идет о его поведении, то определение «очень печальное» относилось, конечно, в первую очередь к нему. И надо же, чтобы эта беда поразила меня не в какой-нибудь другой, а непременно в сегодняшний вечер — в вечер прекрасного дня моего производства в единственные друзья, когда я возвращаюсь домой, чтобы отметить милость и любовь фараона небольшим торжеством, на которое вот-вот съедутся гости. Признай, что это жестоко!

— Петепра! Есть ли у тебя сердце?

— Почему ты об этом спрашиваешь?

— Потому что в этот несказанный час ты можешь говорить о своем новом придворном званье и о том, как ты отпразднуешь его получение.

— Но ведь я же сделал это только для того, чтобы резче противопоставить несказанность часа приятности дня и тем самым подчеркнуть эту несказанность. Такова уж, видно, природа несказанного, что о нем самом нельзя говорить, и, чтобы его выразить, нужно говорить о другом.

— Нет, Петепра, у тебя нет сердца.

— Вот что я тебе скажу, моя дорогая, есть обстоятельства, в которых известную бессердечность в пору прямо-таки приветствовать — и ради затронутого лица, и ради самих обстоятельств, справиться с которыми куда легче, наверно, без особого сердечного пыла. Как же сейчас поступить в этом очень печальном, в этом ужасном деле, обезобразившем день моего почета? Дело это нужно без промедленья уладить и прекратить, ибо, во-первых, я прекрасно понимаю, что ты не поднимешься с этого вообще-то невозможного места, не получив должного удовлетворения за такую невыразимую неприятность. А во-вторых, со всем этим нужно покончить до приезда моих гостей, которые уже очень скоро придут. Следовательно, я должен сейчас же устроить домашний суд, и суд мой, хвала Сокрытому, может быть скорым, ибо только твое слово, моя подруга, тут что-то значит, а всякое другое вообще не имеет веса, благодаря чему приговор последует тотчас. Где Озарсиф?

— На псарне.

— Так я и думал. Привести его ко мне. Позвать на суд священных родителей с верхнего этажа, даже если они уже спят! Всей дворне собраться перед Высоким Креслом, установив его здесь, где сидит госпожа, чтобы она поднялась лишь после того, как я совершу суд!

Эти распоряжения были поспешно выполнены; единственным затруднением оказался первоначальный отказ единоутробных родителей Гуия и Туий явиться, куда их звали. Они были уведомлены о переполохе в доме нежной своей прислужкой: своими вытянутыми трубочкой губами стеблерукие девочки донесли им о событиях, подобных которым эти старики, как и их искупительный сын, царедворец света, издавна втайне ждали; и вот теперь они испугались и не хотели идти, чуя в расследовании этого дела предвосхищение суда перед подземным царем и зная, что оба они слишком слабы умом, чтобы привести в свое оправдание какие-то доводы, кроме слов «намеренья у нас были самые добрые». Поэтому они передали, что они близки к смерти и уже не в силах присутствовать на домашнем суде. Но их сын, господин дома, разгневался, топнул даже ногой и потребовал, чтобы они приволоклись в любом состоянии; ибо если они собираются испустить дух, то место, где, требуя правосудия, сидит и плачет невестка их Мут, как раз и подходит для этого.

Вот они и приковыляли к воротам, опираясь на приставленных к ним девочек, — с дрожащей серебряной бородкой, со страшно трясущейся головой, старый Гуий; с унылой улыбкой, то влево, то вправо, как будто она чего-то искала, поднимая слепые щелки своего белого, большого лица, старая Туий, — приковыляли и стали во зле судейского кресла сына, где они сначала, в великом волнении, упорно бормотали: «Намеренья у нас были самые добрые», — а потом успокоились. Мут, госпожа, сидела со своим залогом и знаком возле изножья кресла, за

которым помахивал опахалом одетый в красное мавр, а рядом с ним стояли рабы-светоносцы. Но и двор тоже был освещен факелами, ибо там собралась вся челядь, которую не отпустили из дому на праздничный вечер; к ступеням, в колодках, подвели Иосифа, а с ним вцепившегося в его набедренник Зе'энх-Уэн-нофре и так далее; в твердой надежде, что час его радости станет еще прекраснее, к ступеням важно проследовал и Дуду; карлики стали по обе стороны от преступника.

Тонким своим голосом Петепра произнес чеканно и быстро:

— Начинается суд, но мы торопимся. Я призываю тебя, ибисоголовый бог, который написал закон людей, тебя, белая обезьяна с весами, а также тебя, владычица Ма'ат, украшенная страусовыми перьями заступница правды. Жертвы, которыми мы как просители обязаны вас почитать, будут принесены вам позднее, я за это ручаюсь, они за нами. А сейчас время не терпит. Я начну суд над этим домом, ибо это мой дом, и начну его так.

Сказав это с поднятыми руками, он уселся удобнее, оперся на локоть и, поглаживая маленькой рукой подлокотник, продолжил:

— Невзирая на прочные заслоны, которыми этот дом отгородился от зла, несмотря на непроницаемость его отворотных изречений и добрых правил, беда ухитрилась проникнуть в него и на время разрушить прекрасные чары мира и нежной бережности, во власти которых он находился. Этот случай следует назвать очень печальным и даже ужасным, тем более что такая беда дала себя знать как раз в тот день, когда милость и любовь фараона соблаговолили украсить меня великолепным званием Единственного Друга и когда, следовательно, я должен был бы видеть сплошную учтивость и благотворное доброжелательство, но никак не ужас пошатнувшегося порядка. Ну, что ж! Давно уже проникшая сквозь преграду беда тайно подтачивала прекрасный уклад дома, чтобы он рухнул и сбылась угроза древних писаний, что богатые станут бедными, бедные богатыми, а храмы придут в запустенье. Давно уже, повторяю, украдкой вгрызалось в устои моего дома зло, скрытое от большинства, но не укрывшееся от глаз господина, который дому одновременно и мать и отец, ибо взгляд его подобен лучу, что оплодотворяет корову, а дыхание его слова подобно ветру, что в знак божественной своей плодovitости переносит пыльцу от дерева к дереву. И так как всякое становление и процветание вытекает из лона его присутствия, как мед из сотов, из-под его надзора не выходит ничто, и даже то, чего большинство не видит, перед его взглядом как на ладони. Запомните это по случаю сегодняшней незадачи! Ибо мне отлично известна сопутствующая моему имени молва, будто я не знаю никаких дел на свете, кроме как есть и пить. Но это вздорная болтовня. Я все знаю, так и запомните; и если эта незадача, над которой я сейчас вершу суд, заново усилит ваш страх перед господином и его всевидящим оком, то о ней можно будет сказать, что при всей своей прискорбности она имела и свою хорошую сторону.

Он поднес к носу малахитовый пузырек с благовониями, который носил поверх воротника на цепочке, и, освежившись, продолжил:

— Итак, мне были известны пути, которыми следовало проникшее в этот дом зло. Но не укрылись от меня и пути тех, кто поощрял его с надменным коварством, прокладывая ему путь из зависти и ненависти, — и не только поощрял, но даже предательски открыл ему лазейку, чтобы оно пробралось в дом через заслон добрых правил. Эти предатели стоят перед моим креслом в карличьем облике моего бывшего зрителя ларей и нарядов, именуемого Дуду. Он сам вынужден был признаться мне во всех кознях, которыми он впустил в дом это жадное зло и прокладывал ему путь. Вынесем же ему приговор! Я не стану наказывать его лишением силы, которую солнечному владыке заблагорассудилось соединить с его ублюдошной внешностью, — ее я не хочу трогать. Пусть этому изменнику отрежут язык.

— Пол-языка, — поправился он, брезгливо отмахиваясь, так как Дуду жалобно завопил. — Но поскольку, — прибавил он, — я привык, чтобы мои наряды и драгоценные камни находились на попечении карлика, а мои привычки отнюдь не должны страдать из-за этого недоразумения, то я назначаю писцом одежной другого карлика моего дома, Зе-энх-Уэн-нофре-Нетерухотпе-эмпер -Амуна — пусть он отныне смотрит за моими ларями!

Маленький Боголюб, с заплаканным из-за Иосифа, красным, как киноварь, носиком на сморщенном личике, подпрыгнул в знак радости. Но Мут, госпожа, повернула голову к Высокому Креслу и прошептала сквозь зубы:

— Что это за приговоры, супруг мой? Они же затрагивают дело только с самого краю и совершенно несущественны! Что можно подумать о твоем правосудии и как мне подняться с этого места, если ты судишь подобным образом?

— Терпенье, — ответил он так же тихо, наклонившись к ней с кресла. — Каждый получит по заслугам и расплатится за свою вину. Сиди спокойно! Скоро ты сможешь подняться, и довольна ты будешь так, словно судила сама. Ведь я сужу вместо тебя, моя дорогая, только без излишнего сердечного пыла, — будь этому рада! Ибо если бы, при своем неистовстве, приговор вынесло сердце, оно было бы обречено на вечное раскаянье.

Тихо сказав ей это, он выпрямился и снова повысил голос:

— Соberись с духом, Озарсиф, бывший мой управляющий, ибо я перехожу к тебе и сейчас ты услышишь свой приговор, которого, наверно, уже давно со страхом ждешь, — я нарочно продлил время твоего ожидания, чтобы больнее тебя наказать. Я собираюсь обойтись с тобой строго и подвергнуть тебя жестокому наказанию, — помимо того, которое уготовано тебе в собственной твоей душе, ибо отныне тебя преследуют по пятам три зверя, носящих безобразные имена. Зовут их, насколько я помню, одного «Стыд», другого «Вина», а третье — «Глумливый Смех». Это, конечно, они заставляют тебя стоять перед моим креслом с опущенной головой и потупив глаза, что я уже давно вижу, ибо за все время мучительного ожидания, тебе навязанного, я ни разу не выпустил тебя из поля моего тайного зренья. Ты стоишь в колодках с низко опущенной головой и молчишь, да и как тебе не молчать, если твои оправдания никому не нужны и свидетельствует против тебя госпожа, одного непререкаемого слова которой было бы уже достаточно, чтобы решить дело, а кроме того, неопровержимым языком вещей тебя уличает знак твоего платья, доказывающий, что ты, вконец обнаглев, посягнул на госпожу, а когда она захотела призвать тебя к ответу, вынужден был оставить свою одежду в ее руке. Я спрашиваю тебя: какой тебе смысл говорить что-либо в свою защиту наперекор слову госпожи и однозначному показанию вещей?

Иосиф молчал и опустил голову еще ниже.

— Конечно, нет смысла, — ответил вместо него Петепра. — Ты должен онеметь, как ягненок, который немеет, когда его стригут, — ничего другого тебе сегодня не остается, хотя вообще-то ты говоришь куда как ловко и складно. Благодарю, однако, бога своего племени, этого Баала или Адона, равносильного, по-видимому, заходящему солнцу, за то, что он уберет тебя в твоей наглости и, не дав твоему мятежу достигнуть вершины, вытолкнул тебя из твоего платья, — благодарю, повторяю, его, ибо иначе тебя сейчас бросили бы на съедение крокодилу или твоим уделом была бы медленная смерть на костре, если не под стержнем, на котором вращается дверь. О таких наказаниях, конечно, не может быть и речи: поскольку от худшего ты уберешься, я не вправе их применять. Но не думай, что я не намерен обойтись с тобой строго, и услышь после умышленно продленного ожидания мой приговор! Я брошу тебя в темницу, где томятся узники царя и которая находится в островной крепости Цави-Ра, посреди реки; ибо отныне ты принадлежишь не мне, а фараону и становишься царским рабом. Я отдам тебя под надзор начальника темницы, человека, с которым шутки плохи и которого ты, пожалуй, не так-то скоро подкупишь мнимой своей благотворностью, так что поначалу, во всяком случае, тебе будет там очень несладко. Впрочем, в сопроводительном письме я дам этому чиновнику кое-какие особые указания, соответствующим образом тебя описав. В это место искупленья, где никто не смеется, тебя доставят завтра утром на корабле, и больше ты не увидишь моего лица, после того как в течение многих приятных лет тебе было дозволено находиться рядом со мной, наполнять мне кубок и читать мне хороших авторов. Это, наверно, причинит тебе боль, и я не удивился бы, если бы твои низко опущенные глаза оказались сейчас полны слез. Но как бы то ни было, завтра тебя доставят в это очень суровое место. А на псарню тебе незачем

возвращаться. Это наказание ты уже отбыл, и ночь там пускай лучше проведет Дуду, которому завтра укоротят язык. Ты же можешь спать, как обычно, в Особом Покое Доверия, какой, однако, на эту ночь получит наименование «Особый Покой Заключения». Далее, поскольку на тебе колодки, то справедливость требует, чтобы на Дуду надели такие же, если, конечно, найдутся вторые. А если в доме только одни, то пускай их носит Дуду. Таково мое слово. Домашний суд окончен. Всем отправиться на свои места для приема гостей!

Никто не удивится, если мы скажем, что по оглашении такого приговора все, кто был во дворе, пали на лицо свое и подняли руки, выкликая имя своего кроткого и мудрого повелителя. Иосиф тоже благодарно пал наземь, даже Гуий и Туий, поддерживаемые девочками-служанками, почтили сына земным поклоном, а если вы спросите о Мут-эм-энет, госпоже, то она тоже не составила исключения: она склонилась над изножьем судейского кресла и спрятала лоб на ногах своего супруга.

— Не за что, подруга моя, — сказал он, — благодарить. Я рад, если мне удалось угодить тебе этой расправой и оказать тебе услугу своим могуществом! А теперь мы можем отправиться в палату приемов, чтобы отпраздновать день моего почета. Ибо, благоразумно высидев днем дома, ты сберегла силы для вечера.

Вот как спустился Иосиф в темницу и яму во второй раз. А как он снова поднялся из этой дыры к вышней жизни, о том пусть поведают дальнейшие песни.

ИОСИФ-КОРМИЛЕЦ

ПРОЛОГ В ВЫСШИХ СФЕРАХ

Как обычно в подобных случаях, в высших сферах царило тогда лукавое удовлетворение, сдержанное злорадство, сквозившее при встречах во взглядах из-под скромно опущенных ресниц и в уголках губ. Вот и опять переполнилась чаша долготерпенья, настал черед справедливости, и вопреки Собственному Желанию, наперекор Своему же замыслу, пришлось под натиском царства строгости (дай волю этому царству, и мира, пожалуй, вообще не стало бы, хотя и на чересчур мягком фундаменте сплошной кротости и безграничного милосердия построить мир тоже никак нельзя было) — пришлось, к величественному Своему огорчению, вмешаться и навести порядок, разрушить, уничтожить, снова сровнять с землей — точь-в-точь как во время потопа, как в день серного ливня, когда щелочное озеро поглотило нечестивые города.

Теперешняя уступка справедливости была, правда, иного объема и стиля, она не достигла такой суровости, как в памятный миг величайшего раскаянья и нещадного затопления или хотя бы как в тот раз, когда люди Содома, с их порочным представлением о красоте, чуть было не взыскали с двоих из нас некий несказанный оброк. На сей раз не сгнули, не провалились в тартарары ни человечество, ни какая-то его вопиющим образом извратившая свои пути часть, о нет, ибо на сей раз речь шла всего-навсего об одном, особенно, правда, красивом и заносчивом, особенно отмеченном участием, пристрастием и далеко идущими замыслами представителе той породы, которую нам посадили на шею, следуя одному странному, слишком хорошо известному наверху рассуждению, издавна вызывавшему там, помимо горечи, не совсем несправедливую надежду, что вскорости горечь станет уделом того, кто выносил и осуществил эту обидную мысль. «Ангелы, — так звучала она, — созданы по нашему образу и подобию, только бесплодны. Животные, наоборот, плодятся, но они не созданы по нашему образцу. Сотворим же человека — подобие ангелов, но существо плодовитое».

Абсурд. Мало сказать — излишество: нелепость, причуда, чреватая горечью и раскаянием. Спору нет, «плодовиты» мы не были. Мы были личными слугами света и заодно тихими царедворцами, а что касается истории о том, как мы когда-то входили к дочерям человеческим, то это беспардонная мирская сплетня. Но что бы нам ни приписывали и каких бы побочных, довольно-таки любопытных сверхживотных значений ни имело это животное преимущество «плодовитости» — мы, «бесплодные», во всяком случае, не пили кривду, как воду, — и Он еще увидит, до чего доведут Его эти его плодовитые ангелы: пожалуй, даже до признания, что Всемогущему, который умеет владеть собой и мудро радеет о собственной беззаботности, следовало бы навсегда удовольствоваться нашим почтенным существованием.

Всемогущество и неограниченность воли и выдумки при сотворении простым «Да будет» имели, разумеется, свою опасную сторону, — опасную даже для всеразумия, которого тоже может оказаться недостаточно, чтобы избежать ошибок и несомненных ненужностей при проявлении этих абсолютных качеств. Из-за простой неугомонности, простой потребности в действии, простой тяги сделать «после этого еще и то», «после ангелов и животных еще и животных-ангелов» оказалось возможным впасть в неразумие и создать нечто весьма

ненадежное и конфузное, к которому затем, именно потому что оно явно не удалось, питали в почтенном Своем упрямстве особую слабость и относились с оскорбительным для небес участием.

Но только ли по Собственной воле и вполне ли самостоятельно совершили этот неприятный творческий акт? В высших сферах тайком и шепотом высказывались предположения, отрицавшие такую самостоятельность, — недоказуемые, но весьма правдоподобные предположения, согласно которым причиной всему был великий Семаил, тогда, перед ярким своим падением, еще очень близкий к Престолу. Все это вполне могло произойти по его наущению — а почему? Потому что ему было важно осуществить и пустить в мир зло, сокровеннейшую свою мысль, никому больше не ведомую, и потому что обогатить репертуар мира злом можно было не иначе, как создав человека. О зле, об этой великой выдумке Семаила, не могло быть и речи в связи с плодящимися животными, а тем более — в связи с нами, бесплодными подобиями Бога. Чтобы оно пришло в мир, нужно было именно то существо, которое там, как все полагают, и предложил создать Семаил: подобие Бога, но при этом плодящееся, то есть человек. Кстати сказать, тут не было даже никакого обмана Творческого Всемогущества, поскольку Семаил, по своему высокомерию, не стал, по-видимому, замалчивать последствий предложенной им креации, то есть появления зла, а, как полагают в сферах, заявил о них громко и напрямик, не преминув отметить, что благодаря его затее живая сущность Творца станет еще более живой. И в самом деле, достаточно было только подумать о возможности являть милость и сострадание, чинить суд и расправу, о появлении заслуги и вины, награды и наказания — или, того лучше, о возникновении добра, связанном с возникновением зла; для того чтобы выйти из лона возможностей и обрести бытие, добро тогда действительно должно было дожидаться своей противоположности, да и вообще сотворение мира основывалось в значительной мере на отделении и даже началось с отделения света от тьмы, так что Всемогущий поступал вполне последовательно, переходя от этого чисто внешнего разделения к созданию мира нравственного.

Мнение, что великий Семаил польстил Престолу и убедил его последовать своему совету именно этими доводами, было широко распространено в высших сферах — а ведь совет-то на самом деле был очень хитрый, такой хитрый, что просто смех берет, и притом с подвохом, несмотря на всю громогласную откровенность, которая была только прикрытием этого лукавства, этого коварного замысла, встретившего в сферах некоторое даже сочувствие. А заключался замысел Семаила вот в чем. Если наделенные плодовитостью животные не были сотворены по образцу Бога, то и мы, придворные подобия Божьи, тоже не были, строго говоря, созданы по Его образцу, так как плодовитости у нас, слава Богу, не было и в помине. Свойства, распределившиеся между ними и нами, божественность и плодовитость, были первоначально соединены в самом Творце, и, значит, настоящим его подобием явилось бы только то существо, которое как раз и предлагал создать Семаил, ибо оно тоже соединило бы в себе оба свойства. Однако с этим-то существом, с человеком, в мир и пришло зло.

Как не посмеяться над такой шуткой? Именно создание, всех более, если угодно, похотевшее на создателя, принесло с собой зло. По совету Семаила Бог сотворил себе зеркало, которое не льстило, вот уж не льстило ему, и которое он потом не раз, в смущенье и досаде, собирался разбить вдребезги, но все же так и не разбивал — потому, наверно, что не мог заставить себя вновь погрузить в небытие то, что однажды, как-никак, сотворил, и потому, видимо, что промахи были ему дороже удач; и еще потому, может быть, что не хотел признать окончательности своей неудачи, если дело шло о чем-то созданном Им до такой степени по Собственному подобию; и, наконец, потому, наверно, что зеркало — это средство самопознания, и на примере одного из сынов человеческих, некоего Авирама или Авраама, Он увидел, что двусмысленное это творение сознает себя средством самопознания Бога.

Таким образом, человек был порождением любопытства Бога к Себе Самому — любопытства, которое Семаил умно в Нем предугадал и, благодаря своему совету, умело использо-

вал. Досада и смущение были тут необходимым и постоянным следствием, — особенно в тех отнюдь не редких случаях, когда зло соединялось с дерзким умом и воинственной логикой, как уже у Каина, основоположника братоубийства, чья состоявшаяся постфактум беседа с Богом была довольно точно известна и часто передавалась в сферах из уст в уста. Нельзя сказать, чтобы с честью вышел из этой беседы Тот, кто пожелал спросить сына Евы: «Что ты сделал? Голос брата твоего вопиет ко Мне от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». Ибо Каин ответил: «Да, я убил своего брата, это весьма печально. Но кто сотворил меня таким, каков я есть, ревнивым до такой степени, что в данном, например, случае исказилось лицо мое и я уже не знал, что творил? Ну, а Ты разве не ревнивый бог, и разве ты не создал меня по образу своему и подобию? Кем заложена в меня злая тяга к поступку, который я чудовищным образом совершил? Ты говоришь, что на тебе одном весь мир, а взять на себя наш грех ты не хочешь?..» Недурно. Так и кажется, что Каин, или Кайин, посовещался загодя с Семаилом, хотя очень может быть, что этот пылкий хитрец даже и не нуждался ни в чьих наставлениях. Возразить было трудно, оставалось только разгромить или же напустить на себя сердитую веселость. «Беги! — было сказано Каину. — Ступай своей дорогой! Ты будешь изгнанником и скитальцем, но я отмечу тебя знаком, чтобы все знали, что ты принадлежишь мне и чтобы никто тебя не убил...» Короче говоря, Кайин более чем дешево отделался благодаря своей логике; о наказании и речи быть не могло. Даже насчет изгнания и скитаний говорилось больше для виду, ведь Каин поселился в земле Нод, на восток от Эдена, и преспокойно производил на свет детей, для чего он, собственно, и был так нужен.

В другие разы, как известно, приходилось наказывать и в величественном огорчении компрометирующей повадкой «самого похожего» создания принимать страшные меры — но случалось и награждать, и награждать тоже страшно, то есть чрезмерно, безудержно, разнузданно награждать, — достаточно вспомнить о Енохе или Ханоке и о тех невероятных, надо бы уж тихонько сказать: ни с чем не сообразных наградах, которые достались этому малому. В сферах царило мнение, — хотя делились им, конечно, с большой осторожностью, — что в отношении награды и наказания там, внизу, дело обстоит не совсем благополучно и что учрежденным по наущению Семаила нравственным миром управляют без должной серьезности. В сферах готовы были считать, а иногда и считали, что к миру нравственному Семаил относится куда серьезней, чем Он.

Нельзя было скрыть, хотя это всячески скрывалось и утаивалось, что награды, нередко ни с чем не соразмерные, служили нравственным прикрытием и оправданьем благословений, объяснявшихся, если говорить правду, каким-то первичным доброжелательным пристрастием и едва ли имевших что-либо общее с миром нравственным. А наказания?.. Здесь, например, в земле Египетской, наказание было ниспослано, и порядок был наведен — явно неохотно и огорченно, явно в угоду миру нравственному. Какой-то любимчик-сновидец, какой-то воображала, какой-то отпрыск того, кто напал на мысль, что он есть средство самопознания Бога, угодил в яму, в подземелье, в дыру, причем угодил уже во второй раз, потому что глупость его пошла в рост и он позволил любви, как прежде ненависти, пойти в рост и перерасти себя самого; и глядеть на это было приятно. Но не заблуждались ли мы, присные, когда испытывали удовольствие, глядя на эту разновидность серного ливня?

Говоря между нами, не заблуждались, не заблуждались, в сущности, ни мгновения. Мы доподлинно знали или уверенно предполагали, что строгость тут напускная, в угоду лишь царству строгости, что наказанием, этим атрибутом мира нравственного, воспользовались тут для того, чтобы открыть тупик, имевший только один, подземный выход на свет; что наказанием, да позволено будет сказать, злоупотребили как средством дальнейшего возвышения и ублаженья. Если при встречах мы тихо опускали наши лучистые ресницы и так выразительно отводили книзу уголки губ, та причиной тому было понимание этой механики. Наказание как путь к большему величию — эта высочайшая шутка, задним, правда, числом, бросала свет и на те дерзости, на те провинности, которые «вынудили» наказание, послужили для него по-

водом, и свет этот отнюдь не был светом мира нравственного; ибо и сами эти дерзости, сами эти провинности, кем бы, Бог весть кем, ни были они внушены, оказывались уже средством и орудием нового, непомерного возвышенья.

Весьма сведущими в этих уловках присные считали себя благодаря своей, пусть ограниченной, причастности ко всезнанию, — хотя из почтения пользоваться ею приходилось, конечно, лишь с большой осторожностью и даже не без самоуничтожения и притворства. Очень тихим голосом можно и должно прибавить, что, по их мнению, они знали и больше — о многообразных вещах, шагах, делах, намерениях, происках и секретах, назвать которые пустой болтовней придворных никак нельзя было, но при упоминании о которых подавать голос вообще запрещалось и уместен был даже не шепот, а род беседы, очень близкий к молчанию: еле заметное шевеление губ — губ, слегка искривленных ехидной улыбкой. Какие же это были вещи, слухи и замыслы?

Они были связаны со своеобразным, не подлежащим, разумеется, критике, но все-таки поразительным распределением наград и наказаний, уже упомянутым, — со всем тем комплексом покровительства, благосклонного пристрастия, избирательности, который ставил под сомнение весь нравственный мир, это следствие вызванного к жизни зла и вместе добра, то есть следствие сотворения человека. Они были связаны, далее, с не вполне подтвердившимся, но хорошо обоснованным, распространявшимся легким движением губ слухом, что идея «похожего» создания, человека, была не последней идеей, нашептанный Семаилом Престолу; что отношения между Престолом и этим низвергнутым то ли не совсем прекратились, то ли однажды возобновились — каким образом, неизвестно. Неизвестно было, состоялась ли, втайне от присных, поездка в тартарары и, таким образом, обмен мыслями произошел там, или же сам изгнанник изыскал, а может быть даже, и многократно изыскивал возможность покинуть свое местожительство и снова держать речи перед Престолом.

Во всяком случае, свой хитрый, рассчитанный на компрометацию прежний совет он сумел дополнить и продолжить новым советом, причем, как, вероятно, и тогда, дело шло лишь о том, чтобы всполошить и воспламенить имевшиеся уже в зачатке, но медлившие желанья и мысли, которые нуждались только в толчке увещания.

Чтобы верно понять, что тут разыгрывалось, нужно вспомнить кое-какие факты и сведения, относящиеся к прологам и предпосылкам текущей истории. Речь идет не о чем ином, как о «романе души», кратко изложенном там имеющимися для этого словами, — первозданной души человеческой, которая, как и бесформенная материя, была одной из первичных стихий и своим «грехопадением» сотворила необходимую основу для всех событий, могущих явиться предметом повествования. Говорить о сотворении в данном случае вполне правомерно; разве не в том состояло грехопадение, что душа, одержимая какой-то меланхолической чувственностью, которая в принадлежащей к высшему миру первозданной стихии поражает и потрясает, пожелала любовно проникнуть в бесформенную и даже упрямо цеплявшуюся за свою бесформенность материю, чтобы вызвать из нее формы, которые бы доставили ей, душе, плотскую радость? И разве Всевышний не пришел им на помощь в их намного превосходившей их силы любовной борьбе, разве не сотворил он поддающийся изложению мир событий, мир форм и смерти? Он совершил это из сочувствия страданиям своей беспутной соданности — совершил из отзывчивости, позволяющей сделать вывод о какой-то их органической и эмоциональной близости — а если такой вывод напрашивается, то надо его и сделать, сколь бы смелым и даже кощунственным он ни казался, поскольку речь идет как-никак о беспутстве.

Следует ли связывать с Ним идею беспутства? Ответом на подобный вопрос может быть только громкое «нет!», и таков был бы ответ всех хоров Его присных — хотя после этого ответа уголки ротиков скромненько опустились бы. Объявлять беспутством лишь милосердно-творческое пособничество беспутству было бы, несомненно, скоропалительным преувеличением. Преждевременно это было бы потому, что достоинству, духовности, величию и абсолютности Бога, существовавшего не только раньше, но и вне мира, сотворение конечного мира форм,

мира жизни и смерти, не наносило еще ни малейшего ущерба, а если и наносило, то именно самый малый, и значит, о беспутстве в полном и собственном смысле слова покамест никак нельзя говорить всерьез. Несколько иначе обстояло дело с идеями, замыслами, желаньями, которые, хотя о них можно было только догадываться, носились в воздухе теперь и составляли предмет тайных диалогов с Семаилом, прикидывавшимся, будто он по собственному почину сообщает Престолу совершенно новую для того мысль, но, видимо, отлично знавшим, что с этой мыслью уже потихоньку заигрывали. Он явно рассчитывал на универсальность заблуждения, что если одна и та же мысль осеняет двоих, то мысль эта хороша.

Нет смысла в дальнейших недомолвках, довольно уж ходить вокруг да около. Ухватив себя одной рукою за подбородок и красноречиво протянув к Престолу другую, великий Семаил предложил воплотить Всевышнего в каком-либо покамест отсутствующем, но удобообразуемом избранном народе, воплотить по образцу других магически могущественных и живых своей телесностью национальных и племенных богов этой земли. Не случайно подвернулось тут слово «живой»; ибо главный довод преисподней был в точности тот же, что и в свое время, когда предлагалось сотворить человека, а именно: если духовный, находящийся вне мира и над миром Бог последует ее, преисподней, совету, то он станет Богом еще более живым, живым как раз в более грубом, в более телесном смысле слова. Заметьте: главный довод; ибо умная преисподняя приводила и другие, с большим или с меньшим правом предполагая, что там, где она их приводила, все они и так уже тайно оказывали свое действие и только ждали воспламеняющего толчка.

Областью чувств, к которой они обращались, было честолюбие — честолюбие, по необходимости связанное с унижением, направленное вниз; ибо в Высочайшем Случае, когда наверху для честолюбия нет пищи, оно может быть только честолюбием уравнивания, желая быть таким же, как другие, честолюбием отказа от исключительности. Преисподней легко было взывать к ощущению, что Собственная абстрактность и всеобщность немного пресна и даже постыдна, — ощущению, неизбежно возникавшему при самосравнении духовного, возвышающегося над миром мирового Бога с магической чувственностью национальных и племенных богов и будившему честолюбивую потребность в значительном самоунижении и самоограничении, потребность придать Своему бытию некую чувственную пряность. Пожертвовать несколько худосочным величием духовной вседейственности ради полнокровноплотской жизни в божественном народе и стать таким же, как другие боги, — таково было тайное стремление Всевышнего, нерешительное его желание, которому Семаил пошел навстречу хитрым своим советом, — и разве непозволительно, объясняя это искушение и уступку ему, привлечь в качестве параллели роман души, ее любовный союз с материей, и виновницу такого союза — «меланхолическую чувственность», короче говоря — ее грехопадение? Да тут, по сути, и привлекать нечего: она напрашивается сама, эта параллель, особенно благодаря сочувственно-творческой помощи, оказанной тогда беспутной душе и, несомненно, придавшей великому Семаилу для его совета злобной отваги.

Подоплекой этого совета были, разумеется, злоба и страстное желание поставить в неловкое положение; ибо если человек вообще, человек как таковой уже был для Создателя источником постоянной неловкости, то это неудобство стало бы и вовсе несносным при плотском Его слиянии с определенной человеческой общиной, при котором он стал бы живым настолько, что обрел бы биологическое бытие. Преисподняя слишком хорошо знала, что направленное вниз честолюбие, что попытка стать таким, как другие боги, а именно — племенным богом, народом, то есть соединение мирового Бога и племени, не доведет до добра — разве лишь после множества окольных путей, неловкостей, разочарований и огорчений. Слишком хорошо знала она, — это, несомненно, знал наперед и Тот, Кому давались советы, — что после авантюрного эпизода биологической жизни во плоти какой-то одной общины или племени, после сомнительных, хотя и полнокровных радостей по-земному весомого, реализуемого в жизнедеятельности определенной общины, обслуживаемого магией, благоухоженного, вся-

чески подбадриваемого и поддерживаемого божественного бытия, неизбежно наступит всемирный миг покаянного поворота, когда потусторонность, опомнившись, откажется от такого динамического ограничения, возвратится в потусторонность и вернет себе свое могущество и свою духовную вседейственность. Но Семаил — и лишь он один — лелеял мысль, что даже этот равнозначный мировому перевороту возврат будет сопровождаться неким отрядным для архиехидства конфузом.

Случайно или неслучайно избранное и выращенное для слияния с ним племя было таково, что, с одной стороны, став его плотью и богом, мировой Бог не только лишился своего перевеса над другими племенными богами этой земли, не только стал им равен, но оказался значительно менее могущественным и в куда менее почетном, чем они, положении, — чему преисподняя и радовалась. С другой стороны, и снижение до уровня племенного бога, и весь этот эксперимент биологически радостной жизни протекали с самого начала вопреки рассудку, наперекор убеждениям самого избранного народа, и возврат к старому, восстановление перевеса потусторонности над богами этого мира не могли произойти без его, народа, действительной духовной помощи. Вот это и забавляло ехидного Семаила. Стать божественной плотью этого своеобразного племени было, с одной стороны, небольшое удовольствие; по сравнению с другими племенными богами хвастаться Ему, как говорится, не приходилось. Ущерб тут был неизбежен. Но, с другой стороны, и именно в связи с только что сказанным, общее свойство человеков быть орудием самопознания Бога получило у этого племени особую остроту. Беспокойное стремление установить природу Бога было врожденной его чертой; с самого начала в нем жил росток понимания потусторонности, вседейственности, духовности Творца, благодаря чему Он был пространством мира, а мир не был Его пространством (точно так же как рассказчик является пространством истории, а история не является пространством рассказчика, в силу чего тот волен ее разбирать) — жизнеспособный росток, которому суждено было со временем, ценой великих усилий, развиться в полное познание истинной природы Бога. Позволительно ли предположить, что «избрание» оттого и последовало, что исход биологической авантюры был известен Творцу не хуже, чем его хитроумному советчику и что, значит, Он сам умышленно уготовил себе конфуз и назидание? Предполагать это, наверно, даже должно. Для Семаила, во всяком случае, вся соль заключалась в том, что избранный народ, будучи хоть и втайне, хоть и в зачатке, но уже с самого начала умней, так сказать, чем его племенной Бог, прилагал все силы растущего своего разума к тому, чтобы помочь Ему выйти из неподобающего положения и вернуться к потусторонне-вседейственной духовности — причем преисподняя так и не доказала, что обратный путь от грехопадения к привычной почтенности был возможен только благодаря этой усиленной человеческой поддержке, а самостоятельно, собственными средствами, его не нашли бы...

Проницательность присных до таких далей не доходила, на это ее не хватало; хватало ее только на пересуды о тайных беседах с Семаилом и об их предмете, да еще на то, чтобы превратить ангельское недовольство «самым похожим» творением вообще в особую неприязнь к подраставшему избранному народу, — хватило ее и на осторожное злорадство по поводу маленького потопа и серного дождичка, которые, к собственному огорчению, пришлось напустить на одного отмеченного особыми, далеко идущими намерениями отпрыска этого племени с плохо, впрочем, скрытым намерением сделать наказание неким промежуточным средством.

Все это выражалось в опускании уголков ротика и в почти незаметном движении головы, которыми хористы призывали друг друга прислушаться к тому, что делается внизу, где этого отпрыска, со связанными за спиной руками, везли на парусно-гребном струге вниз по великой реке Египта в темницу.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ДРУГАЯ ЯМА

ИОСИФ ЗНАЕТ СВОИ СЛЕЗЫ

Иосиф тоже вспоминал о потопе — по закону соответствия верха и низа. Мысли обеих сфер встречались или, если угодно, шли параллельно на большом расстоянии друг от друга — с той только разницей, что здесь, внизу, на волнах Иеора, под духовным гнетом тяжелых бед, отпрыск человеческий думал об этом начале и образце всех возмездий с куда большей проникновенностью и ассоциативной энергией, чем то когда-либо удалось бы там, наверху, не знающему ни боли, ни бед племени, которое просто любило немного посплетничать.

Об этом мы сейчас расскажем подробнее. Осужденный лежал, и лежал довольно-таки неудобно, в дощатом сарае, заменявшем каюту и трюм на маленьком, из дерева акации, со смоленной палубой, грузовом судне, так называемой бычьей ладье, одном из тех, на каких, наверно, прежде и сам он, учась обобщающему надзору и став преемником управляющего, возил на рынок товары дома то вверх по реке, то вниз. Экипаж судна состоял из четырех гребцов, которые при встречном или утихом ветре, когда опускали укрепленную на перилах форштенья двойную мачту, ложились на весла, кормчего и двух самых последних дворовых людей Петепра, которые вообще-то служили охраной, но, выполняя также обязанности матросов, возились с канатами и определяли фарватер. К ним нужно прибавить главного, Ха'ма'та, питейного писца, под чье начало и были отданы судно и доставка узника в Цави-Ра, крепость на острове. Глубоко за пазухой Ха'ма'т носил запечатанное письмо, которое, по поводу провинившегося своего домоправителя, написал его господин смотрителю темницы, военачальнику и «писцу приказов победоносного войска», по имени Май-Сахме.

Путь был далекий и долгий — Иосиф невольно вспоминал свое другое, раннее путешествие, когда он — с тех пор прошло уже семь лет и три года — вместе с купившим его стариком, а также с Мибсамом, зятем старика, Эфером, его племянником, и его сыновьями Кедаром и Кедмой впервые доверился этим волнам и за девять дней доплыл из Менфе, где жил Закутанный, в Но-Амун, город, где жил царь. Но далеко за Менфе, далеко за золотой Он и даже за Пер-Бастет, город кошачий, предстояло ему проплыть на этот раз вспять; ибо горькая цель пути, Цави-Ра, находилась глубоко в земле Сета и Красного Венца, то есть Нижнего Египта, уже в Дельте, в одном из рукавов округа Мендес, или Джедета, и то, что его везли в этот мерзкий козлийный округ, прибавляло какое-то особое чувство опасности к той общей подавленности и грусти, которая владела Иосифом, хотя и сопровождалась, с другой стороны, торжественным ощущением судьбы и задумчивой игрой мыслей.

Ибо играть сын Иакова и его праведной не переставал никогда в жизни и двадцатисемилетним мужчиной играл так же, как неразумным мальчиком. А самой его любимой и самой приятной ему формой игры был намек, и когда его жизнь, за которой так внимательно наблюдали, оказывалась богата намеками, когда обстоятельства оказывались достаточно прозрачны, чтобы разглядеть высшую их закономерность, он бывал уже счастлив, потому что прозрачные обстоятельства не могут ведь быть вовсе уж мрачными.

А его обстоятельства были и в самом деле достаточно мрачными; с глубокой печалью размышлял он о них, лежа со связанными локтями на циновке в сарае-каюте, на крышу которой были навалены съестные припасы команды: дыни, кукурузные початки, хлебы. Повторялось прежнее, давно знакомое, страшное положение: снова лежал он беспомощно в путах, как некогда пролежал три ужасных дня черной луны в круглой яме, среди червей и мокриц колодца, вымарываясь, как овца, собственным калом; и хотя состояние Иосифа было на этот раз более терпимым, не столь плачевным, ибо связали его, так сказать, лишь формально, лишь для порядка, из какой-то невольной почтительной осторожности, затянув служивший для этой цели пеньковый канат не слишком уж туго, все же падение было не менее глубоким, не менее ошеломительным, перемена была не менее неправдоподобной и резкой: тогда посадили так,

как ему и не снилось, — не то что не думалось, — отцовского баловня и любимчика, который только и знал, что умаслялся елеем радости, теперь так поступили с успевшим уже возвыситься в царстве мертвых Узарсифом, с привыкшим к изысканности, к благам культуры и к платью из плоеного царского полотна вершителем обобщающего надзора и жильцом Особого Покоя Доверия — для него это тоже было неожиданным ударом.

Какая там теперь плоеная изысканность, какой там модный передник и дорогая куртка (ведь она же стала говорящим «доказательством») — ничего, кроме рабского набедренника, точно такого же, как у корабельной прислуги, ему не оставили. Какой там изящный парик, не говоря уж о финифтевом воротнике, запястьях и нагрудной цепи из тростника и золота! Все эти прекрасные дары культуры пошли прахом, и единственным оставшимся у него бедным украшением была ладанка на бронзовой нашейной цепочке, та самая, которую он носил в стране отцов и с которой семнадцатилетний Иосиф угодил в яму. Остальное было «сброшено» — про себя он употреблял именно это многозначительное слово, слово-намеком, поскольку намеком, проявлением печальной закономерности было и то, что сейчас происходило: ехать туда, куда он ехал, не полагалось с нагрудными или наручными украшениями; ибо настал час, когда сбрасываются покровы и побрякушки, час сошествия в ад. Цикл завершился, не только малый, часто замыкающийся цикл, но и большой, повторяющийся одно и то же гораздо реже: ведь круги проходили один в другом, и середина у них была общая.

Малый год опять замыкал свой круг, солнечный год, поскольку илоносные воды снова убыли, и (не по календарю, а в практической действительности) стояло время сева, время мотыки и плуга, время разрытой земли. Когда Иосиф поднимался с циновки и, с разрешения своего сторожа Ха'ма'та, руки за спину, словно он держал их там по собственной воле, прогуливался, вдыхая звонкоголосый воздух реки, по палубе, или же сидел там на бухте каната, он видел, как на плодородных прибрежных землях крестьяне творят суровое и опасное дело, требующее всяческих мер искупленья и предосторожности, печальное дело пахоты и посева, печальное потому, что сев — это время печали, время похорон бога злаков, погребенья Усира во мраке лишь очень дальних надежд, время плакать — и, глядя на погребавших зерна крестьян, Иосиф тоже нет-нет да плакал, ибо его тоже погребали во мраке лишь очень дальних надежд — в знак того, что вот и большой год замкнул свой круг и принес повторение, обновление жизни, сошествие в бездну.

Это была бездна, куда уходит Истинный сын, Этура, подземная овчарня, Аралла, царство мертвых. Через яму колодца он пришел в преисподнюю, в страну мертвого оцепенения; а теперь оттуда путь его лежал снова в боор, в нижеегипетскую темницу — глубже спуститься уже нельзя было. Возвращались дни черной Луны, огромные, равновеликие годам дни, в течение которых преисподняя имеет власть над погребенным красавцем. Он шел на убыль и умирал; но через три дня он должен был вырасти снова. В колодец бездны Аттар-Таммуз погружался вечерней звездой: но он непременно должен был вернуться оттуда звездой утренней. Это называют надеждой, а надежда — сладостный дар. Но есть в ней все-таки и что-то запретное, потому что она умаляет достоинство священного мига, предвосхищая еще не наступившие часы праздника, часы круговорота. У каждого часа есть своя честь, и не живет по-настоящему тот, кто не умеет отчаиваться. Иосиф держался такого взгляда. Его надежда была даже уверенностью, знанием; но он был дитя мгновения, и он плакал.

Он знал свои слезы. Ими плакал Гильгамеш, когда пренебрег желанием Иштар и та «уготовила ему плач». Иосиф был измучен обрушившейся на него бедой, натиском обезумевшей женщины, тяжелым кризисом в апогее этого натиска, полной, наконец, переменой всех своих обстоятельств и в первые дни даже не просил у Ха'ма'та разрешения погулять по палубе среди кипучей суеты проезжей дороги Египта, а лежал один на своей циновке в будке и предавался мечтам. Он перебирал в мыслях стихи таблиц:

Иштар разъярилась, поднялась к Ану — требовать у паря богов мести. «Создай быка мне, пусть мир он растопчет, дыханьем ноздрей опалит землю, пусть иссушит поля, пусть нивы погубит».

«Создам я быка тебе, госпожа Аширта, ибо тебя обидели тяжко. Но будет голод, семь лет мякины, от дыханья быка, от громкого топа. Запаслась ли зерном ты, наготовила ль пищи, чтобы годы нужды спокойно встретить?»

«Я зерном запаслась, наготовила пищи».

«Будет тебе бык, госпожа Аширта, ибо тебя обидели тяжко!»

Странное поведение! Если из-за неприступности Гильгамеша Ашера хотела погубить землю и призывала на нее огнедышащего быка, то было довольно-таки нелепо запастись пищей, чтобы пережить семь лет мякины, которые как раз благодаря быку и наступят. Но, как бы то ни было, она это сделала и на вопрос Ану ответила утвердительно, ибо ей очень нужен был бык, чтобы отомстить; и больше всего Иосифу нравилась, больше всего занимала его тут именно предусмотрительность, которую даже в ярости должна была проявить богиня, чтобы заполучить своего быка. Предусмотрительность, осторожность — эта идея была нашему мечтателю близка и всегда важна, хотя он подчас по-ребячески против нее прегрешал. К тому же это была чуть ли не господствующая идея земли, где он рос, словно у родника, земли Египетской, земли боязливой, всегда и в большом и в малом, озабоченной тем, чтобы каждый свой шаг, любой свой поступок надежно оградить волшебным знаком или волшебным словом от притаившихся бед; а поскольку Иосиф давно уже был египтянином и его плоть, как и его одежда, состояла уже сплошь из египетского материала, то присущая этой стране идея осторожности и предусмотрительности глубоко вошла в его душу, где она всегда была и по-другому родной. Могучие корни имела она и в его собственных, изначальных традициях, — коль скоро грех был почти равнозначен отсутствию осторожности: грехом была глупость и смехотворная неуклюжесть в обращении с богом; мудрость, напротив, заключалась в предвиденье, в охранительном предвосхищенье. Не потому ли слыл премудрым Ной-Утнапиштим, что предвидел потоп и спасся от него, построив свой ящик? Ковчег, великий ларь, ароон, в котором творение божье переждало лихую годину, был для Иосифа исконным примером, первым образцом всякой мудрости, то есть всякой заботливой предусмотрительности. Но через ярость Иштар, через огнедышащего быка и через предотвращение голода благодаря запасам еды мысли его приходили в необходимое соответствие высшему ходу мыслей о великом потопе, и он со слезами вспоминал о потопе малом, который обрушился на него потому, что, не будучи настолько глуп, чтобы предать бога и окончательно с ним рассориться, он преступно не проявил достаточной осторожности.

Как и в первой яме, большой год назад, он, раскаиваясь, признавал свою вину, и ему было очень жаль отца, очень жаль Иакова, и он сгорал от стыда перед ним, потому что так провинился и в стране отрешения снова угодил в яму. Как прекрасно он уже возвысился в отрешенье, и вот, из-за недостатка мудрости, от его возвышенья ни следа не осталось, так что третий этап, переселенье и продолженье рода, откладывался на самый неопределенный срок! Искренне сокрушаясь духом, Иосиф просил прощения у «отца», чей образ уберег его в последний миг от самого худшего. Но с Ха'ма'том, писцом питейного поставца и своим стражем, который частью от скуки, частью же чтобы насладиться унижением того, кто сумел так перерасти его в доме, неоднократно присаживался к нему поболтать — с Ха'ма'том он держался очень уверенно и даже надменно, ничем не выдавая своего уныния. Да, только благодаря своему умению выставлять вещи в нужном ему свете Иосиф уже через несколько дней пути заставил Ха'ма'та, как мы увидим, снять с него путы и разрешить ему свободно передвигаться, хотя тот и опасался, что с его стороны это будет прямой изменой долгу сторожа.

— Клянусь жизнью фараона! — говорил Ха'ма'т, усаживаясь в будке возле циновки Иосифа. — Что стало с тобой, бывший управляющий, и как низко ты опустился по сравнению со всеми нами, над которыми ты так быстро возвысился! Просто не веришь глазам своим, глядя на тебя, и хочется только покачать головой. Ты лежишь, как пленный ливиец или как пленник из горемычного Куша, со связанными локтями, и хотя ты совсем еще недавно управлял домом, теперь тебя отдали, так сказать, на съеденье собаке Аменте. Да сжалится над

тобой Атум, онский владыка! Как же ты себя обратил в пепел — пользуясь выражением, принятым в вашей горемычной Сирии, которое мы невольно у тебя переняли, — клянусь Хонсом, больше мы у тебя ничего не станем перенимать, ни одна собака не возьмет у тебя отныне и куска хлеба, вот как низко ты пал! А отчего? Только из-за своего легкомыслия и распутства. Ты захотел быть важным лицом в таком доме, а сам не сумел даже обуздать свою похоть, и овладеть тебе приспичило не кем иным, как священной госпожой, хотя по стати она почти равна Хатхор — это уж верх бесстыдства. Никогда не забуду, как во время суда ты стоял перед господином с опущенной головой, потому что тебе нечего было сказать в свое оправданье и ты не знал, как себя обелить, — да и как бы ты мог себя обелить, если против тебя вопиюще свидетельствовала измятая куртка, которую ты оставил в руках госпожи, когда тщетно пытался вскочить на нее, пытался, кстати сказать, явно весьма неумело, так что это выглядит жалко во всех отношениях! Помнишь ли ты, как ты впервые пришел ко мне в кладовую за угощением для стариков с верхнего этажа? Ты сразу же задрал нос, когда я предупредил тебя, чтобы ты не пролил питья старичкам на ноги, и до некоторой степени смутил меня, показав своим видом, что с тобой ничего подобного не может случиться. Ну, а теперь ты себе самому пролил на ноги что-то такое, отчего они цепенеют и пристают к месту — вот как! Я же знал, что долго ты не сможешь держать поднос. А почему ты не смог? Из-за своего варварства! Потому что ты грязный заяц, необузданный дикарь из горемычной страны Захи, тебе невдомек умеренность и мудрость страны людей, и ты не внял душой нашим нравоучительным изречениям, которые вообще-то разрешают забавляться, но только не с замужними женщинами, потому что это опасно для жизни. В слепом и безрассудном своем вожделье ты бросился на самое госпожу — так будь еще рад, что тебя не сделали сразу же бледным трупом, — это, пожалуй, единственная причина, которая у тебя осталась для радости!

— Сделай мне одолжение, воспитанник книгохранилища Ха'ма'т, — отвечал Иосиф, — не говори о вещах, в которых ты ничего не смыслишь! Ужасно, когда какое-то тонкое и трудное, слишком деликатное для толпы дело становится предметом пересудов и всякий, кому не лень, чешет язык и несет грязную околесицу, — это просто нестерпимо, просто гнусно, причем не столько даже в отношении людей, о которых судачат, сколько в отношении самой сути дела, которой попросту жаль. Это грубо и некрасиво с твоей стороны и отнюдь не свидетельствует о высокой культуре Египта — говорить так со мной, — не потому, что еще вчера я был твоим управляющим и ты сгибался передо мной в три погибели, не об этом я веду сейчас речь. Тебе следовало бы взять в толк, что дело, касающееся меня и госпожи, должно быть известно мне куда лучше, чем тебе, до ушей которого дошли только самые внешние его обстоятельства, — так зачем же ты лезешь ко мне со своими назиданиями? К тому же довольно-таки смешно искусственно противопоставлять грубую похоть моей плоти умеренности Египта, о которой весь мир вот уж невысокого мнения; а когда ты употребил слово «вскочить», не постеснявшись соотнести его со мной, ты, конечно же, думал скорей о козле, к которому мы сейчас плывем и которому на его празднике отдаются дочери Египта, — вот они, истинная умеренность, истинный разум! Я тебе вот что скажу: может статься, что когда-нибудь обо мне будут говорить как о человека, сохранившем чистоту среди народа, не уступавшего похотливостью жеребцам и ослам, — вот что может статься, Ха'ма'т. Может статься, что во всем мире девушки будут грустить обо мне перед своей свадьбой, принося мне в дар пряди своих волос и заводя жалобную песню, в которой оплакивается моя молодость и повествуется история юноши, устоявшего перед натиском охваченной страстью женщины, но поплатившегося за это доброй славой и жизнью. Вот какие обряды в мою честь видятся мне, когда я лежу здесь и обо всем размышляю. Посуди же теперь, какими убогими должны мне казаться твои разглагольствования о моем жребии! Зачем ты смакуешь мое несчастье? Я был рабом Петепра, который меня купил. Теперь я, по его приговору, раб фараона. Значит, я стал больше, чем был, значит, я выгадал! Почему ты так глупо смеешься? Согласен, сейчас мой путь идет вниз. Но разве путь вниз не почетен и не торжествен, и разве эта бычья ладья не кажется тебе стругом Усира, который

спускается, чтобы озарить дольную овчарню, и приветствует жителей пещер, совершая свой ночной путь? Знай же, что я усматриваю тут поразительное сходство! Если ты считаешь, что я расстанусь со страной живых, ты, может быть, и прав. Но кто поручится, что я не услышу запаха травы жизни и не выйду завтра из-за края мира, как грядет жених из своей палаты, сияя так, что у тебя заслезятся глаза?

— Ах, бывший управляющий, я вижу, ты прежний и в горе, беда только, что никто не знает, как это объяснить — «прежний», говоря о тебе; на ум приходят цветные мячи, которые подбрасывают и ловят танцовщицы: неразличимые в отдельности, они образуют в воздухе ослепительную дугу. Откуда у тебя, несмотря на твой жребий, берется чванство, ведомо лишь богам, с которыми ты обходишься так, что человека благочестивого берет сразу и смех и оторопь и кожа у него пупырится, как у гуся. Ты осмеливаешься болтать о невестах, посвящающих твоей памяти волосы, хотя такая честь подобает только богам, и сравниваешь это судно, судно твоего позора, с вечерним стругом Усира — и добро бы, клянусь Сокрытым, ты только сравнивал одно с другим! Так нет же, ты вплетаешь еще словечко «поразительный» — говоря, что это судно поразительно похоже на струг Усира, ты тем самым заставляешь простую душу подозревать, что оно и впрямь на него похоже, а ты, чего доброго, действительно Ра, когда он зовется Атум и переходит в свой ночной струг, — отсюда и гусиная кожа. Однако появляется она не только от смеха, не только от оторопи, но также, и даже главным образом, скажу я тебе, от досады, от злости, от негодования на твою наглость, на то, как ты позволяешь себе отражаться в самом высоком и смешивать себя с ним, словно ты — это оно и есть, отчего твое «я» образует в воздухе какую-то ослепительную дугу, при виде которой начинаешь раздраженно моргать глазами. Ведь каждый мог бы вести себя, как ты, но человек скромный так не ведет себя, он чтит богов и молится им. Я подсел к тебе отчасти из сострадания, отчасти же от скуки, чтобы немного с тобой побеседовать, но коль скоро ты даешь мне понять, что ты Атум-Ра и великий Усир-наструте, я оставляю тебя одного, ибо меня раздражает твое богохульство.

— Поступай, как находишь нужным, Ха'ма'т из книгохранилища и из продовольственной кладовой! Я вовсе не умолял тебя подсесть ко мне, ибо мне так же хорошо и даже, может быть, чуточку лучше быть одному, а уж развлекаться я, как ты и сам видишь, умею, — и если бы ты умел развлекаться, как я, ты не подсаживался бы ко мне, но и не глядел бы косо на развлечение, которое я себе позволяю, а ты мне — нет. Не позволяешь ты мне его якобы из благочестия, а на самом деле просто по недоброжелательности, и благочестие — это только фиговый листок, которым прикрывается твоя недоброжелательность, — прости мне такое неожиданное для тебя сравнение! Ведь в конце концов самое главное — это чтобы человек развлекался, а не проживал свою жизнь как тупая скотина, и все дело в уровне его развлечения. Ты был не совсем прав, сказав, что каждый мог бы вести себя так, как я, — то-то и оно, что не каждый, причем вовсе не оттого, что ему мешает скромность, а потому, что в нем нет и намека на высшее, потому что ему отказано в душевной с ним связи, потому что жизнь его лишена небесной игры, как речь бывает лишена игры словесной. В высшем существе он по праву видит нечто совсем иное, чем в себе самом, и служить ему он может только скучной осанной. А услышав более задушевное славословие, он зеленеет от зависти и подходит к образу высшего существа с ханжескими слезами: «О всевышнее, прости этого богохульника!» Такое поведение куда пошлее, Ха'ма'т из продовольственной кладовой, и тебе не следовало бы так поступать. Дай-ка мне лучше поесть, ибо время обеда уже пришло и я не прочь подкрепиться.

— Не премину, если пришло время, — отвечал писец. — Я не стану морить тебя голодом. Я должен доставить тебя в Цави-Ра живым.

Поскольку пользоваться своими связанными в локтях руками Иосиф не мог, Ха'ма'т, как сторож, должен был его кормить, ничего другого Ха'ма'ту не оставалось. Он должен был, сидя на корточках возле Иосифа, собственноручно совать ему в рот хлеб и подносить к его губам кубок с пивом, и каждый раз Иосиф отпускал замечания по этому поводу.

— Да, вот ты сидишь на корточках, долговязый Ха'ма'т, и кормишь меня, — говаривал он. — Это довольно любезно с твоей стороны, хотя ты и делаешь это со смущенным видом и с явным неудовольствием. Я пью за твое здоровье, но не могу не подумать о том, как низко ты пал, если должен поить меня и кормить, как маленького. Разве ты это делал, когда я был твоим начальником и ты сгибал передо мной спину? Тебе приходится прислуживать мне, как никогда прежде, и значит, похоже все-таки на то, что я стал больше, а ты, наоборот меньше. Перед нами старый вопрос — кто важнее и больше: охраняемый или охраняющий. Без сомнения, первый. Разве не охраняют царя его слуги, и разве не сказано о праведнике: «Ангелам Его ведено хранить тебя на дорогах твоих»?

— Вот что я тебе скажу, — ответил Ха'ма'т наконец через несколько дней, — я по горло сыт обязанностью насыщать тебя, когда ты разеваешь рот, как галчонок в гнезде, ибо ты разеваешь его еще и для противных речей, от которых мне делается и вовсе тошно. Я просто тебя развяжу, чтобы ты не был таким беспомощным, а я не был твоим слугой и ангелом, это не дело писца. Когда мы будем поближе к твоему новому месту, я тебя снова свяжу и передам смотрителю темницы военачальнику Май-Сахме, как полагается, связанным. Но поклянись не говорить смотрителю, что ты разгуливал без пут и что я, вопреки своему долгу, был милослив; иначе меня обратят в пепел.

— Наоборот. Я скажу ему, что ты был мне жестоким стражем и что не было дня, чтобы ты не наказывал меня скорпионами!

— Глупости, это тоже ненужная крайность! Тебе бы только поиздеваться над человеком. Ведь я же не знаю, что сказано в запечатанном письме, которое я ношу у самого тела, и мне неизвестно, как распорядились тобой. То-то и беда, что никто не знает, как тобою распорядились! А начальнику темницы скажи, что я был умеренно суров и человечно-неумолим.

— Так и скажу, — ответил Иосиф, и локтям его дали свободу до тех пор, пока судно не спустилось в страну змеи Уто и разветвившегося семью рукавами потока и, добравшись до округа Джедета, не приблизилось к островной крепости Цави-Ра, — тут Ха'ма'т снова связал ему локти.

НАЧАЛЬНИК ТЕМНИЦЫ

Узилище Иосифа, вторая его яма, которой он достиг после примерно семнадцати дней пути и где, по его соотносительному расчету, он должен был провести три года, прежде чем ему вознесут главу, было скопищем безрадостных зданий, почти сплошь заполнявших поднимавшийся в мендесском рукаве Нила остров нагромождением кубических, образующих дворы и закоулки казарм, стойл, складов и казематов, над которыми в одном из углов возвышался мигдол, башенная цитадель, — видимо, местопребывание смотрителя острога, начальника узников и коменданта гарнизона, «писца победоносного войска» Май-Сахме, а посредине — пилон храма Уэпвавет, единственной, благодаря украшавшим его флагам, отрады для глаз среди этого безобразия, окруженного высокой, локтей в двадцать, стеной из необожженного кирпича с острыми выступами бастионов и закруглениями защитных балконов. Пристань и ворота с часовыми за загородками находились где-то сбоку, и, стоя на высоком носу бычьей ладьи, Ха'ма'т еще издали махал солдатам своим письмом, а когда поравнялся с воротами, стал кричать, что доставил каторжника, которого должен сдать лично начальнику воинов и главному тюремщику.

Молодые наемники не'арин, — это было военное обозначение, несамостоятельно образованное из семитского слова, — копыеносцы с сердцевидными защитными листками из кожи поверх набедренников и со щитом на спине отворили ворота и впустили прибывших — Иосифу казалось, будто его снова, вместе с купившими его измаильтянами, пропускают через стенные ворота пограничной крепости Зел. Тогда он был мальчиком и робел перед чудесами и

ужасами Египта. Теперь он был хорошо знаком с этими чудесами и ужасами, он был египтянином от головы до пят — с оговоркой, разумеется, той внутренней оговорки, которую неизменно вызывали в нем нелепости страны его отрешения, а из юноши он успел уже превратиться в мужчину. Но теперь он шел на привязи, как Хапи, это живое повторение Птаха, во дворе храма в Менфе, пленник земли Египетской, как и тот божественный бык; два челядинца Петепра держали концы стянувшей его локти веревки и вели его перед собой, позади Ха'ма'та, который в воротах держал ответ перед каким-то вооруженным палкой нижним чином (тот, видимо, и приказал пропустить их), а потом был направлен им к какому-то высшему, вооруженному дубинкой и уже шагавшему к ним через двор. Тот взял письмо и, пообещав отнести его начальнику, велел им подождать.

И они ждали, ждали под любопытными взглядами солдат, в маленьком четырехугольнике двора, в скудной тени от двух-трех выцветших, зеленых лишь у самой макушки пальм, красноватые круглые плоды которых лежали у их подножий. Сын Иакова был задумчив. Он вспоминал слова Петепра о начальнике темницы, под чей надзор тот его отдавал: это человек, с которым шутки плохи. Знакомства с главным тюремщиком Иосиф ждал с понятной тревогой, но полагал, что мнимый военачальник, возможно, и вовсе не знает его, а судит о его любви к шуткам только по должности, что было хоть и вероятным, но все же не обязательным выводом. Тревога Иосифа искала успокоения в мысли, что иметь дело он будет, во всяком случае с человеком — а в его глазах это означало какую-то доступность, какую-то уживчивость при любых обстоятельствах и было залогом того, что, как бы ни подходил этот человек для должности начальника тюрьмы или каким бы суровым ни сделала его служба, с ним все-таки, с божьей помощью, можно будет тем или иным образом, пусть в каком-то одном отношении, но пошутить.

К тому же Иосиф хорошо знал детей земли Египетской, страны мертвенного оцепенения и могильных богов, которая и на таком мрачном фоне сохраняла немало ребячливости и простодушия, что и облегчало здесь жизнь. Еще имелось письмо, которое сейчас читал смотритель и где Потифар «соответствующим образом описывал» ему препровождаемого преступника. Иосиф уповал на то, что это описание представит его в не слишком ужасном свете и не имеет целью обратить против него наиболее устрашающие качества коменданта. Но, как обычно у людей благословенных, и частные надежды, и самые общие упования были направлены у него не на внешние обстоятельства, а на себя самого, на счастливые тайны своей природы. Нет, он отнюдь не застрял на той мальчишеской ступени слепой требовательности, когда думал, что все люди должны любить его больше самих себя. Однако он продолжал думать, что ему дано поворачивать к себе мир и людей самой лучшей и самой светлой их стороной, — что, как нетрудно увидеть, было упованием, скорей, на себя, чем на мир. Правда, на взгляд Иосифа, его «я» и мир находились в согласии, составляя в известном смысле одно целое, так что мир был не просто миром, который существует сам по себе, а его, Иосифа, миром, который можно сделать добрей и приветливей. Обстоятельства были могущественны. Но Иосиф верил, что они подвластны личному началу, что оно определяет больше, чем безличная сила обстоятельств. Если он, по примеру Гильгамеша, называл себя человеком боли и радости, то потому, что, зная сопряженность радостного своего назначения со всяческой болью, он в то же время не верил в боль, — настолько черную, настолько мутную боль, чтобы сквозь нее не пробился его сокровеннейший свет, свет бога, который в нем живет.

Вот на что уповал Иосиф. Проще говоря, он уповал на бога и с этой верой в душе готовился взглянуть в лицо Маи-Сахме, своего тюремщика, пред каковое он довольно скоро и предстал со своими стражами, после того как они провели его по низкому крытому переходу к подножию крепостной башни и к воротам, этого оборонительного сооружения, где на часах стояли другие, в шлемах с пупышами, воины, которые, когда путники приблизились, сразу распахнули перед начальником решетку ворот.

Он появился в сопровождении верховного жреца Уэпвавет, тощего плешивца, с которым только что играл в шашки. Сам он оказался коренастым человеком лет сорока, в надетом,

вероятно нарочно для этой процедуры, нагруднике, на который чешуей были нашиты маленькие металлические изображения львов, и в коричневом парике, с круглыми карими глазами, черными, очень густыми бровями, маленьким ртом и коричневато-красным лицом, покрытым, как и его предплечья, черной растительностью. У этого лица было на редкость спокойное, даже сонное, но умное выражение, и спокойно, даже монотонно звучала речь коменданта, когда он, выходя из ворот с пророком воинственного божества, явно продолжал обсуждать с ним ходы сыгранной партии, окончания которой, видимо, и пришлось ждать прибывшим. В руке он держал распечатанное письмо носителя опахала.

Остановившись, он снова развернул свиток, чтобы в него заглянуть, и когда он опять поднял лицо, Иосифу оно показалось чем-то большим, чем лицо человека, — олицетворением мрачных обстоятельств и пробивающегося сквозь них божественного света, как раз тем ликом жизни, который она являет человеку боли и радости; ибо черные его брови грозно нахмурились, а на маленьких губах заиграла улыбка. Но он тотчас же согнал со своего лица и улыбку и мрачность.

— Ты вел судно, которое доставило вас из Уазе? — обратился он, широко раскрыв круглые глаза и подняв брови, невозмутимо монотонным голосом к писцу Ха'ма'ту.

Тот ответил утвердительно, и комендант взглянул на Иосифа.

— Ты бывший домоправитель великого царедворца Петепра?

— Да, это я, — ответил Иосиф совершенно просто.

И все же это был довольно сильный ответ. Он мог бы ответить: «Ты это говоришь», или «Мой господин знает правду», или цветистее: «Маат говорит твоими устами». Но слова «Да, это я», — сказанные хоть и просто, но с сосредоточенной улыбкой, были прежде всего некоторой вольностью — ибо с начальством не говорили в первом лице, а говорили: «Твой слуга», или совсем уничижительно: «Этот ничтожный слуга», но кроме того, слово «я» вносило какую-то тревожную ноту — в сочетании со словом «это», будившим смутное подозрение, что его содержание не исчерпывается домоправительством, которое нужно было подтвердить по смыслу вопроса, то есть что ответ не вполне совпадает с вопросом, а выходит за его пределы и надо задать следующий вопрос: «Что ты за человек?» или даже: «Кто ты?»... Короче говоря, слова «да, это я» были издавна идущей, издавна знакомой и общепонятной формулой самораскрытия, акта, искони облюбованного преданиями и так свойственного игре богов, акта, с которым воображение само собой связывает ряд однородных реакций и следствий, от опускания глаз до испуганного падения на колени.

И на спокойном лице Май-Сахме, лице человека на вид не пугливого, показалось легкое замешательство, а кончик его маленького, хорошо вылепленного носа чуть-чуть побледнел.

— Так, так, значит, это ты, — сказал Май-Сахме, и если в тот миг он и сам толком не знал, какой смысл вкладывал он в слово «это», то мечтательная его забывчивость усиливалась, вероятно, тем, что перед ним стоял самый привлекательный двадцатисемилетний красавец обеих стран. Красота — впечатляющее качество; особый род легкого страха она непременно вызывает даже в самой спокойной, вообще-то не склонной к страхам душе и вполне способна придать сказанным с сосредоточенной улыбкой словам «да, это я» мечтательный смысл.

— Ты, видно, птица легкомысленная, — продолжал комендант, — и выпал из гнезда по глупости, по опрометчивости. Жить наверху, в городе фараона, где все так интересно и где твоя жизнь могла быть нескончаемым праздником, и ни за что ни про что угодить сюда, в эту ужасную скуку! Ведь здесь царит ужасная скука, — сказал он и снова на один миг грозно нахмурил брови, причем на губах его, словно одно не обходилось без другого, опять заиграла полуулыбка. — Разве ты не знал, — продолжал он, — что в чужом доме не заглядываются на женщин? Разве ты не читал изречений из книги мертвых, а также суждений и поучений божественного Имхотепа?

— Они мне знакомы, — отвечал Иосиф, — ибо и вслух, и про себя я читал их бесчисленное множество раз.

Однако комендант, хотя и потребовал ответа, не слушал.

— Вот это был человек, — сказал он, — повернувшись к сопровождавшему его священнослужителю, — вот это добрый спутник в жизни, мудрец Имхотеп! Врачом, зодчим, жрецом и писцом — всем он был, Тут-анх-Джхути, живой образ Тота. Я чту этого человека, прямо скажу, и если бы мне дано было пугаться, — а мне это, может быть к сожалению, не дано, для этого я слишком спокоен, — я, наверно, задрожал бы перед таким средоточием учености. Он уже бесконечно давно умер, божественный Имхотеп, — такие люди бывали на свете только в раннюю пору, на заре стран. Повелитель его был древнейший царь Джосер; разумеется, это Имхотеп построил для него вечный дом, ступенчатую пирамиду близ Менфе, шестиярусную, в сто двадцать, наверно, локтей высотой; но известняк плох, у нас в каменоломне, где работают преступники, он не так плох, а у великого зодчего не было под рукой ничего лучшего. Однако зодчество составляло лишь небольшую часть его мудрости и умения, он знал все замки и ключи храма Тота. Он был также врачом и тайноведцем природы; знаток твердого и жидкого, он утолял боль и приносил покой страждущим. Видимо, и сам он был очень спокойного нрава и не пуглив. Но кроме того, он был тростинкой в руке бога, писцом мудрости — причем и целителем и писцом он был одновременно, сразу, а не то что сегодня одним, а завтра другим, он был, я бы сказал, писцом-врачом, что нужно особенно подчеркнуть, ибо, по-моему, это необычайно важно. Врачебное искусство и письмо с выгодой для себя заимствуют свет друг у друга, и если они идут рука об руку, оба преуспевают больше. Врач, воодушевленный мудростью письма, умнее утешит страждущих; а писец, знающий жизнь и немощи тела, его соки и силы, его задатки и порядки, всегда превзойдет того, кто ничего не знает об этом. Мудрец Имхотеп был таким врачом и таким писцом. Это божественный муж; ему следовало бы воскурять ладан. Я думаю, что когда его смерть уйдет в прошлое еще чуть подальше, так и начнут делать... Впрочем, и жил-то он в Менфе, городе очень интересном.

— Но и ты не ударишь лицом в грязь перед ним, комендант, — отвечал главный жрец, к которому тот обращался. — Ведь не в ущерб воинской службе ты занимаешься еще и врачебным искусством, помогая страждущим и болящим, а кроме того, ты прекрасно пишешь, прекрасно и по форме и по содержанию, причем все эти занятия ты совмещаешь самым спокойным образом.

— Дело тут не в спокойствии, — ответил Май-Сахме, и невозмутимое лицо его с круглыми, умными глазами несколько помрачнело. — Иной раз мне, может быть, и нужна была бы молния испуга. Да откуда ей здесь быть?.. А вы? — обратился он вдруг, подняв брови и укоризненно закачав головой, к двум дворовым рабам Петепра, которые держали концы веревки Иосифа. — Вы что тут делаете? Вы собираетесь на нем пахать или играть с ним в лошадки, как малые дети? Как же ваш управляющий сможет ходить на каторжные работы, если он будет связан, как вол, которого привели на убой! Развяжите его, болваны! Здесь не щадя сил работают на фараона, в каменоломне или на стройке, а не разлеживаются со связанными руками. Что за неразумие!.. Эти люди, — обратился он, поясняя, опять к священнослужителю, — представляют себе узилище местом, где можно разлеживаться со связанными руками. Они понимают все буквально, так уж им свойственно, и, как дети, придираются к слову. Если им скажут, что кого-то бросили в узилище, куда бросают узников царя, они убеждены, что он и в самом деле плюхнулся в какую-то яму, где полно крыс и лязгают цепи, а узники лежат и крадут дни у великого Ра. Такое смешение слова с действительностью есть, на мой взгляд, главный признак невежества и отсталости. Я часто встречал его у смолоедов горемычного Куша, да и у крестьян, возделывающих наши поля, но никак не в городах. Спору нет, в этом буквальном понимании речи есть какая-то поэзия, поэзия простоты и сказки. Существуют, насколько я могу судить, два вида поэзии: в основе одного лежит народная простота, в основе другого — дух письменности. Второй вид, несомненно, выше, но я считаю, что он не может существовать без содружества с первым, нуждаясь в нем, как в почве, подобно тому как вся красота высшей жизни и великолепия самого фараона нуждаются в слое обыденной, убогой жизни, чтобы расцвести над нею и удивлять мир.

— Как питомец книгохранилища, — сказал писец питейного поставца Ха'ма'т, поспешивший собственноручно освободить локти Иосифа, — я несколько не повинен в смешении слова с действительностью и лишь для формы, церемонии ради, решил передать тебе, комендант, узника связанным. Он и сам подтвердит, что уже в пути я почти все время избавлял его от веревки.

— Это было всего-навсего разумно с твоей стороны, — ответил Маи-Сахме. — Тем более что преступление преступлению рознь, и на убийство, воровство, нарушение границы, неуплату налогов или растрату их сборщиком нужно смотреть другими глазами, чем на провинности, где замешана женщина, о которых нужно судить сдержаннее.

Он снова наполовину развернул письмо и заглянул в него.

— У нас тут, — сказал он, — речь идет, как я вижу, об истории с женщиной, и я не был бы офицером и воспитанником царских конюшен, если бы приравнял такое дело к бесчестным выходкам черни. Конечно, неумение различать между словом и действительностью, готовность все понимать буквально есть признак ребяческой отсталости, но такое смешение нет-нет да случается и у людей образованных; хотя известно, что в чужом доме нельзя заглядываться на женщин, потому что это опасно, на них все же заглядываются, потому что мудрость — это одно, а жизнь — это другое; и как раз благодаря опасности такое поведение становится даже делом чести. К тому же в любовной истории участвуют двое, что всегда несколько затемняет вопрос о виновности, и если вчуже он и кажется ясным, потому что одна сторона — мужчина, конечно, — берет всю вину на себя, то и тут тоже нужно иметь голову на плечах и отличать слово от действительности. Когда я слышу о соращении женщины мужчиной, я тихонько ухмыляюсь, ибо меня это смешит, и про себя думаю: о великое троеначалие! Известно же, кто испокон веков наделен способностью соращать — как раз не мы, простаки... Знаешь ли ты историю о двух братьях? — обратился он прямо к Иосифу, подняв к нему круглые карие глаза, ибо был значительно меньше ростом, чем тот, и толстоват. Густые свои брови он тоже поднял как можно выше, словно это помогало свести на нет разницу в росте.

— Я отлично знаю ее, мой комендант, — отвечал Иосиф. — Мало того что я часто читал ее другу фараона, своему господину, мне приходилось и переписывать ее для него красивым почерком, черными чернилами и красными.

— Ее будут еще много раз переписывать, — сказал комендант. — Это превосходное, образцовое сочинение, причем образцовое не только по своему слогу, придающему убедительность некоторым неправдоподобным, если судить трезво, местам, таким, например, как рассказ о царице, которая забеременела от попавшей к ней в рот щепки персей, что слишком противоречит врачебному опыту, чтобы в это можно было сразу поверить. История эта Образцова вообще, в ней, как в форме, отлилась сама жизнь. Взять, например, то место, когда жена Анупа, увидев силу юноши Баты, прижимается к нему и говорит: «Пойдем, ляжем вместе, позабудем часок! А за это я сошью тебе два красивых наряда!» или когда Бата кричит своему брату: «Горе мне, она все рассказала не так, как было!» — и, оскотив себя на его глазах листом мечевидного тростника, бросает свой мужской член на съедение рыбам, — это захватывающе! Потом события становятся снова неправдоподобными, но все-таки это возвышает душу, когда Бата превращается в быка Хапи и говорит: «Я стану самым чудесным Хапи, и вся страна на меня не нарадуется», — а потом называет себя и говорит: «Я Вата! Смотри, я живу, и я священный бык бога». Конечно, это грубый вымысел; но в каких странных формах предвосхитительного воображения не отливается иной раз изменчивая жизнь!

Он помолчал, внимательно глядя в пустоту, со спокойным лицом, чуть приоткрыв маленький рот. Потом он снова заглянул в письмо.

— Вы можете представить себе, отец мой, — сказал он, поднимая голову к плешивцу-жрецу, — что прибытие такого новичка служит мне неким живительным развлечением среди однообразия этой крепости, где человеку, уже и от природы спокойному, грозит, можно сказать, опасность впасть в сонливость. Те, кого обычно мне доставляют, либо уже осуж-

денных, либо для предварительного заключения, покуда весы правосудия колеблются и дело еще не разобрано, всякие там обиратели могил, разбойники с большой дороги и похитители кошельков, не способны предотвратить эту опасность. Случай, когда преступление относится к области любви, выделяется на таком фоне самым увлекательным образом. На этот счет не может быть никаких сомнений, и насколько я знаю, даже иноземные народы самого чуждого нам склада ума сходятся на том, что эта область принадлежит к наиболее увлекательным, наиболее замысловатым и таинственным сторонам человеческой жизни. У кого не было своего поразительного и достойного размышления опыта в царстве Хатхор? Рассказывал ли я вам о своей первой любви, которая была одновременно и второй моей любовью?

— Нет, комендант, ни разу, — сказал жрец. — Первая была уже и второй? Удивительно, как это могло произойти.

— Или вторая была все еще первой, — отвечал комендант. — Как вам угодно. Все еще, или снова, или вечно, — кто скажет, какое слово тут верно? Да и не в этом дело.

И с невозмутимым, даже сонным видом, скрестив руки, а свиток письма сунув под мышку, склонив голову набок, приподняв над карими, выпуклыми глазами могучие брови, размеренно и старательно шевеля округленными своими губами, Маи-Сахме начал рассказывать Иосифу и его стражам, жрецу Уэпвавет, а также нескольким стоявшим рядом и подошедшим солдатам ровным-преровным голосом:

— Мне было двенадцать лет, и я был питомцем писарского училища при царских конюшнях. Я был довольно мал ростом и тучен; таков я и ныне, и такова мера, положенная моей жизни до смерти и после смерти; но сердце и ум отличались у меня восприимчивостью. Однажды я увидел одну девушку, которая в обеденный час принесла своему брату, моему соученику, хлеб и пиво, потому что мать его заболела. Его звали Имезиб, он был сыном чиновника Аменмоса. А свою сестру, которая принесла ему его рацион, три хлеба и две кружки пива, он называл Бети, из чего я предположительно заключил, что ее зовут Нехбет, что и подтвердилось, когда я об этом спросил Имезиба. А занимало это меня потому, что она сама меня занимала, и я не мог оторвать от нее глаз, покуда она не ушла: от ее кос, от узких глаз, от изгиба ее рта, особенно же от ее рук, которых не закрывало платье, изящно-полных, полных ровно настолько, насколько это красиво, рук — они произвели на меня самое сильное впечатление. Но в течение дня я и сам не знал, как поразила меня Бети, я узнал это только ночью, когда лежал среди своих товарищей в спальне, положив рядом с собой платье и сандалии, а в головах мешок с книгами и письменными принадлежностями, как то полагалось. Ибо мы и во сне не должны были забывать книг, которые давили нам на головы снизу. Но я все-таки ухитрился их забывать, и мои сны совершенно не зависели от их давления. Мне приснилось со множеством самых правдоподобных подробностей, будто я обручен с дочерью Аменмоса Нехбет, будто наши отцы и матери договорились об этом между собой, и теперь она будет моей сестрой во браке и хозяйкой моего дома, а ее рука будет лежать на моей. Я радовался этому сверх всякой меры, как еще никогда в жизни не радовался. Внутренности ходили у меня ходуном от радости по поводу этого сговора, скрепленного тем, что наши родители велели нам сблизить наши носы — это было так сладостно. И сон мой отличался такой живостью, такой естественностью, что вообще не уступал действительности, и даже когда ночь миновала, когда я уже проснулся и умылся, он странно морочил меня и казался мне явью. Ни раньше, ни позже со мной не случалось такого, чтобы и после пробуждения сон пленял меня своей живостью и чтобы я, бодрствуя, продолжал верить в него. Еще несколько утренних часов я жил в столь же твердом, сколь и блаженном убеждении, что я обручен с девушкой Бети, и лишь медленно, поскольку я сидел в зале для письменных работ и учитель, ободрения ради, ударил меня по спине, уходило прочь счастье моих внутренностей. Началом отрезвления была мысль, что хотя сговор и сближение наших носов были лишь сном, незамедлительному осуществлению этого сна ничто не препятствует и мне нужно только попросить своих родителей переговорить на этот счет с родителями девушки Беги; ибо некоторое время мне еще казалось, что после этого сна такое

требование совершенно естественно и ни у кого не вызовет удивления. Лишь позже, лишь постепенно я отрезвел, к холодному своему разочарованию, настолько, чтобы понять, что осуществление этой, казалось бы, вполне осуществимой мечты — сушая блажь и в силу обстоятельств совершенно исключено. Ведь я же был всего-навсего мальчишка-школяр, которого колотили, словно папирус, моя карьера писца и офицера только еще начиналась, к тому же я был создан для этой и для той жизни слишком низкорослым и толстым, и мое обручение с Нехбет, которая была на добрых три года старше меня и со дня на день могла обручиться с человеком куда более высокого чина, чем я, показалось мне, когда счастливый морок рассеялся, смехотворной затеей.

— Поэтому, — спокойно продолжал комендант, — я отказался от мысли, которая никогда не пришла бы мне в голову, если бы не предстала во сне прекрасной действительностью, и по-прежнему нес службу ученья в училище при конюшнях, где меня часто понукали ударами по спине. Двадцать лет спустя, когда я давно уже был произведен в писцы приказов победоносного войска, меня с тремя спутниками послали в Сирию, в горемычную страну Хару для осмотра и отбора лошадей, которых в счет дани нужно было отправить на грузовых судах в конюшни царя. Из гавани Хазати я проехал в покоренный Секмем и в город, именуемый, если мне не изменяет память. Пер-Шеан, где находился наш гарнизон, начальник которого, пригласив своих соотечественников и писцов-ремонтёров, устроил для них в своем прекрасном доме вечерний прием с вином и венками. Собрались египтяне и городская знать, мужчины и женщины. Тут-то я и увидел одну девушку, родственницу этой египетской семьи со стороны хозяйки дома, чья сестра была матерью девушки, которая, приехав издалека, из Верхнего Египта, где в области первого порога жили ее родители, гостила здесь со своими слугами и служанками. Отец ее был очень богатым купцом из Суэнета, доставлявшим товары горемычной страны Кази, слоновую кость, леопардовые шкуры и черное дерево, на рынки Египта. Когда я увидел эту девушку, дочь торговца слоновой костью, когда я увидел ее во цвете ее молодости, со мной во второй раз за мою жизнь случилось то, что впервые случилось много лет назад, в училище для мальчиков, а именно: я не мог оторвать от нее глаз, потому что она произвела на меня необычайное впечатление, и счастье того давно забытого сна вернулось ко мне в такой поразительной полноте сходства, что при виде этой девушки внутренности заходили у меня ходуном в точности так же. Однако я робел перед ней, хотя солдату робеть не к лицу, и долгое время не отваживался даже узнать ее имя и кто она.

Когда же я это сделал, я узнал, что она дочь Нехбет, дочери Аменмоса, которая вскоре после того, как я увидел ее и обручился с нею во сне, вышла замуж за того суэнетского торговца слоновой костью. Но девушка Нофрура — так ее звали — совсем не походила на мать ни чертами лица, ни цветом кожи и кос, ибо была в общем гораздо темнее, чем та. На Нехбет она была похожа разве что милым станом; но мало ли на свете девушек такого сложения! И все-таки вид ее тотчас же вызвал во мне те же глубокие чувства, которых я с тех пор не испытывал, так что, пожалуй, можно сказать, что я уже любил ее в ее матери, а мать ее снова полюбил в ней. Я даже допускаю и в некотором роде жду, что если еще через двадцать лет мне случится, не зная того, встретить дочь Нофрура, мое сердце сразу же потянется к ней, как к ее матери и к ее бабке, и всегда и вечно это будет одна и та же любовь.

— Это и в самом деле примечательное влечение сердца, — сказал жрец, как бы не замечая из деликатности того странного обстоятельства, что начальник так спокойно и так монотонно поведал здесь эту историю. — Но если дочери торговца слоновой костью тоже суждено иметь дочь, то жаль, что она будет не твоей дочерью, ибо если мальчишеский сон, приснившийся тебе, когда у тебя под головой лежал мешок с книгами, не мог стать действительностью, то при возвращенье Нехбет, или, вернее, при возобновлении твоих чувств к ней, действительность вполне могла вступить в свои права.

— О нет, — качая головой, ответил Маи-Сахме. — Разве пара такой богатой, такой красивой девушке какой-то коренастый писец-ремонтёр? Она вышла замуж за какого-

нибудь окружного наместника или за какого-нибудь сановника, стоящего у ног фараона, например, за смотрителя казначейства с воротником из золота славы на шее, тут ничего не поделаешь. Не забывайте также, что к девушке, чью мать ты уже любил, относишься до некоторой степени по-отцовски, так что брачному с ней союзу препятствуют и помехи внутренние. А кроме того, мысли, на которые вы намекнули, вытеснялись у меня, пользуясь вашим выражением, примечательностью этого случая. Размышляя о его примечательности, я не мог прийти к решениям, благодаря которым внучка моей первой любви стала бы моей собственной дочерью. Да и следовало ли так желать этого? Ведь тогда я отнял бы у себя ожидание, в каком ныне живу, ожидание, что когда-нибудь, сам не зная того, я встречу дочь Нофрура и внучку Нехбет и что она также произведет на меня такое необыкновенное впечатление. Поэтому и на склоне дней моих мне, может быть, дано будет на что-то надеяться, тогда как в противном случае ряд моих повторяющихся влечений сердца, наверно, преждевременно кончился бы.

— Это возможно, — согласился, помедлив, служитель бога. — Но историю о матери и дочери или, вернее, историю твоей истории с ними ты мог бы, по крайней мере, изложить на папирусе, придав ей с помощью тростинки изящную форму для обогащения нашей утешительной словесности. Третье появление единого женского образа и твою любовь к нему ты мог бы, по-моему, просто присочинить и представить дело так, словно и это уже состоялось.

— Попытки такого рода, — невозмутимо отвечал комендант, — делались, и если я так складно все излагаю в нашей беседе, то объясняется это именно предварительной письменной подготовкой. Трудность состоит лишь в том, что для изображения встречи с внучкой Бети мне пришлось бы отнести свое писание к будущему времени, а значит, перенестись в более поздний свой возраст, а это требует усилий, которые меня пугают, хотя вообще-то солдат никаких усилий не должен пугаться. Но главное, я боюсь, что я человек слишком спокойный, чтобы вдохнуть в свое повествование ту волнующую силу, какая есть, например, в образцовой истории о Двух Братьях. А замысел этот слишком мне дорог, чтобы рискнуть испортить его... Впрочем, — прервал он себя с укоризной, — сейчас здесь происходит прием узника. Сколько вьючных животных, — спросил он Иосифа, обращаясь к нему как можно надменнее, — требуется, по-твоему, чтобы доставить пищу в каменоломню пятистам каменотесам и грузчикам с их офицерами и надсмотрщиками?

— Понадобится, пожалуй, — отвечал Иосиф, — двенадцать волов и пятьдесят ослов.

— Пожалуй. А сколько человек приставил бы ты к канатам, если глыбу в четыре локтя длиной и два шириной, а высотой в один локоть нужно было бы тащить до реки пять миль?

— Вместе с путепрокладчиками, подносчиками воды для смачивания земли под катком и носильщиками бревна, которое нужно то и дело подкладывать под камень, — ответил Иосиф, — я бы смело взял для этого сто человек.

— Зачем так много?

— Это тяжелый камень, — отвечал Иосиф, — и если уж запрягать не волов, а людей, потому что люди дешевле, нужно нарядить достаточное их количество, чтобы по дороге один отряд грузчиков сменял у канатов другой и не было случаев смерти из-за внутреннего излияния пота; никто не надорвется, не задохнется, и не будет страждущих и болящих.

— Конечно, этого лучше избегать. Но ты забываешь, что выбирать мы можем не только между волами и людьми, что к нашим услугам еще и варвары красной земли, ливийцы, пунтийцы, жители сирийских песков, и притом в любом количестве...

— Отданный под твое начало, — отвечал Иосиф с достоинством, — и сам родом оттуда. Он дитя одного царя стад из тех мест верхнего Ретену, которые именуются Кана-ан, его просто похитили и увели вниз, в землю Египетскую.

— Зачем ты мне это говоришь? Это же сказано в письме. И почему ты называешь себя «дитя», вместо того чтобы сказать «сын»? Это отдает изнеженностью и самолюбованием,

что совсем не к лицу осужденному, даже если его провинность не задевает его чести, а относится к нежной области. Ты боишься, по-видимому, что, поскольку ты родом из горемычной страны Захи, я стану впрягать тебя в самые тяжелые глыбы, покамест пот не изольется у тебя внутрь и ты не умрешь сухой смертью. Это столь же нескромная, сколь и неуклюжая попытка читать мои мысли. Я был бы плохим начальником острога, если бы не умел находить каждому наилучшего по его способностям и по его опыту применения. Твои ответы довольно ясно показывают, что некогда ты управлял домом важного лица и в промыслах кое-что понимаешь. И твое стремление не допускать, чтобы люди надрывались, даже если они не дети, — я хочу сказать: не сыновья Хапи и Черной Земли, — отнюдь не противоречит собственным моим желанием и свидетельствует о хозяйственной сметке. Я назначу тебя надсмотрщиком над каким-нибудь отрядом каторжан, занятым в каменоломне или даже во внутренней службе и в письмоводстве; ведь, конечно, ты быстрее других высчитаешь, сколько мер полбы войдет в амбар такой-то величины или сколько зерна ушло на такое-то количество пива и сколько на такое-то число хлебов, чтобы узнать меновую стоимость пива и хлеба, и тому подобное... Было бы весьма желательно, — пояснил он отверзателю уст Уэпвавет, — чтобы я освободился от части этих обязанностей и, перестав вникать в каждое дело, приобрел больше досуга для своих попыток утешительно, а может быть даже, и волнующе запечатлеть на папирусе историю трех влечений, которые были одним и тем же влечением... Вы, люди из Уазе, — сказал он провожатым Иосифа, — убирайтесь теперь восвояси и плывите обратно — против течения, но с северным ветром. Веревку свою возьмите с собой, вместе с моим приветом другу фараона, вашему господину!.. Меми! — приказал он наконец чину с дубинкой, приведшему сюда путников, — укажи этому царскому рабу, приговоренному к каторжным работам в должности младшего управляющего, отдельное пристанище, выдай ему верхнее платье и вручи ему посох в знак его надзирательского достоинства. Как ни высоко он уже стоял, он все-таки спустился к нам, и ему придется подчиниться железным правилам Цави-Ра.

А все, что осталось у него от его высокого положения, мы неумолимо используем, в точности так же, как физические силы стоявших низко. Ибо это принадлежит уже не ему, а фараону. Дай ему поесть!.. До свидания, отец мой, — попрощался он со жрецом и, повернувшись, направился к своей башне.

Такова была первая встреча Иосифа с начальником темницы Май-Сахме.

О ДОБРОТЕ И УМЕ

Ну, вот вы и успокоились, как успокоился Иосиф, насчет нрава тюремщика, в чье распоряжение передал его прежний господин. При всем однообразии своей невозмутимости, это был человек самобытного обаяния, и наша повесть, которая стремится осветить всех и вся, недаром не спешила сейчас отвести свой светильник от его раз и навсегда коренастой фигуры, а довольно долго направляла луч на нее, дав вам время запечатлеть в своей памяти его до сих пор почти неизвестную человечность; ибо в этой истории, которая снова разыгрывается сейчас совершенно правдиво, так же, как она протекала в действительности, его еще ждала, хотя и это почти неизвестно, некая служебная, однако совсем немаловажная роль. Ведь после того как Май-Сахме несколько лет был острожным начальником Иосифа, ему привелось еще долгое время находиться вблизи Иосифа в качестве его помощника, участвуя в управлении праздником веселых и великих событий, на точное и достойное изложение которых да подвигнет нас муза.

Об этом дальше. Но если к начальнику темницы предание применяет почти ту же формулу, что и к Потифару, говоря, что он «не смотрел ни за чем, что было у него в руках», ибо вскоре все происходившее в яме происходило там благодаря Иосифу, то понимать это нужно правильно, в совсем ином смысле, чем в случае со священной башней из мяса и царедворцем

Солнца, который оттого не принимал участия ни в каком деле, что по титулованной своей неподлинности находился вне человечества и, будучи в безвыходно замкнутом своем бытии чужд всякой действительности, называл своим делом чистую форму. Май-Сахме, напротив, был вполне деятельным человеком, с сердечной теплотой, хотя и очень спокойно принимавшим участие во множестве дел, а лучше сказать: в людях; ибо он был прилежным врачом, который ежедневно рано вставал, чтобы посмотреть испражнения недужных солдат и каторжников, лежавших в особом больничном сарае; а его надежно укрепленный служебный покой, находившийся в башне крепости Цави-Ра, представлял собой настоящую, полную всевозможных ступок и терок, гербариев, колб, тиглей, шлангов, испарительных кювет и перегонных реторт лабораторию, где с таким же сонным и умным выражением лица, с каким в день прибытия Иосифа он поведал историю трех влечений, комендант, справляясь с книгой «На пользу людям» и другими сводами древнего опыта, готовил свои средства для промывания желудка, свои отвары, пилюли и припарки, помогающие при задержке мочи, опухлях на затылке, отвердении позвоночника и перегреве сердца, а кроме того, читая и размышляя, разбирал такие общие, возвышающиеся над частными случаями проблемы, как, например, вопрос о том, действительно ли сосудов, попарно идущих от сердца к отдельным частям человеческого тела и столь склонных закупориваться, затвердевать, воспаляться, а порой и не принимать лекарств, — действительно ли этих сосудов всего двадцать два или же, как он все более и более склонялся предположить, целых сорок шесть; или, к примеру, вопрос о том, являются ли черви в теле, которых он пытался умертвить своими снадобьями, причиной определенных болезней или же, наоборот, их следствием, поскольку при закупорке одного или нескольких сосудов образуется опухоль, которая, не находя выхода, загнивает и при этом, что вполне естественно, превращается в червей.

Хорошо, что комендант брался за такие дела, ибо хотя по чину они скорее подобали бы его партнеру по шашкам, жрецу Уэпвавет, нежели ему, солдату, знаний священнослужителя в области свойств тела едва хватало на осмотр и богоугодное заклятие жертвенных животных, а что касается лечения, то его методы всегда несколько односторонне сводились к колдовству и заговорам, элементу, впрочем, необходимому, поскольку заболевание любого органа, будь то селезенка или позвоночник, бесспорно вызывалось и тем, что эту часть тела, добровольно или нехотя, покинуло божество, ей покровительствующее, уступив место враждебному бесу, который вел там теперь свою разрушительную работу, почему его и требовалось оттуда изгнать действенным заклинанием. Известных успехов жрец добивался тут с помощью очковой змеи, которую он хранил в особой корзинке и нажатием на затылок превращал в волшебную палочку, и ввиду этих успехов Май-Сахме брал у него иногда змею во временное пользование. Но в общем-то комендант держался проверенного мнения, что сама по себе, в чистом виде, магия помогает редко и нуждается в материальном подспорье светских знаний и средств, чтобы, в сочетании и в единстве с ними, достичь желаемой цели. Так, например, от засилья блох, допекавших в Цави-Ра всех и каждого, заговоры жреца никогда никого не спасали, а если и спасали, то лишь на столь короткое время, что облегчение вполне могло быть основано на обмане чувств; и беда эта пошла на убыль только тогда, когда Май-Сахме, не пренебрегая, правда, и заклинаниями, велел все опрыскать едким натром, а кроме того, разбросать повсюду древесный уголь, смешанный с растертой травой бебет. Он же распорядился покрыть запасы еды на складах слоем кошачьего жира — от мышей, которых было немногим меньше, чем блох. Он спокойно рассудил, что мыши, приняв запах жира за запах живой кошки, испугаются и не станут трогать запасов, — и так оно и случилось.

Санитарный барак крепости был всегда заполнен ранеными и больными, поскольку работа в каменоломне, находившейся в пяти милях от реки, в глубине страны, была очень тяжелая, как вскоре мог убедиться Иосиф, много раз проводя там по нескольку недель в роли надсмотрщика отряда солдат и каторжан, которые рубили, ломали, тесали и волочили камень. Ибо гарнизону жилось не слаще, чем каторжанам, и воины Цави-Ра, как местные жители, так и чужеземцы, когда они бывали свободны от сторожевой службы, несли те же обязанности,

что и узники, и так же как узники сносили удары понукающей палки. Правда, ранения, истощение, внутреннее излияние пота признавали у них с несколько большей готовностью, чем у осужденных, и в крепостной госпиталь их препровождали несколько раньше, чем тех, которые должны были терпеть до конца, то есть до падения наземь, причем до третьего падения, ибо первое и второе обычно считались притворством.

Кстати смазать, в этом отношении при Иосифе порядок стал мягче, сперва только в его отряде. А потом, когда сбылись слова, что начальник темницы отдал в руки Иосифу всех узников, и в каменоломне он появлялся уже как главный, что ли, надсмотрщик и заместитель коменданта, это смягчение распространилось на всех. Ибо, помня об Иакове, о далеком своем отце, для которого он умер, помня, как тот не одобрял служильни Египетской, Иосиф распорядился, чтобы уже после второго падения человека браковали и возвращали на остров; а первое по-прежнему считалось притворством, даже если одновременно наступала смерть.

Итак, лазарет никогда не знал недостатка в страждущих и болящих: у одного была сломана кость, другой «не мог опустить взгляд на свой живот», у третьего тело было, как сыпью, покрыто распухшими следами укусов мух и комаров, у четвертого желудок, если приложить к нему палец, начинал перекачиваться, как масло в кожаном мехе, у пятого от каменной пыли гноились глаза; и комендант брался за все эти случаи, не отступая ни перед одним и находя для каждого из них, если только это не была сама смерть, свое средство. На сломанные кости он накладывал лубок, при неспособности человека опустить взгляд на свой живот он пытался помочь больному смягчительными припарками, места укусов он смазывал гусиным жиром с примесью растительного лекарственного порошка, при болезненном перекачивании желудка он предписывал разжевывать, запивая их пивом, семена клещевины, а для всяких глазных болезней у него имелась отличная мазь из Библа. Чтобы подкрепить целебное средство и притеснить вкравшегося в ту или иную часть тела беса, пускалось в ход, правда, и некоторое колдовство; состояло оно, однако, не столько в заговорах и прикосновениях оцепеневшей очковой змеей, сколько в действии личных токов Маи-Сахме, которые были токами покоя и успокаивали больного, так что тот не страшился уже своей болезни, — а страх этот был вреден, — и, перестав корчиться, произвольно перенимал выражение лица коменданта: открывал округленный рот и поднимал брови с умной невозмутимостью. Так, обретя покой, больные и лежали в ожидании выздоровления или смерти; ибо и смерти Маи-Сахме учил их не страшиться, и даже когда лицо больного становилось лицом бледного трупа, он все еще, мирно вытянув руки, подражал хладнокровному своему врачу и без дрожи в губах глядел из-под задумчиво поднятых бровей вперед, туда, где была жизнь после жизни.

В этом-то исполненном покоя и неустрашимости лазарете Иосиф часто появлялся с комендантом в качестве его провожатого и помощника; ибо из каменоломни тот вскоре отозвал его для внутренней службы, и утверждение, что начальник темницы отдал всех узников в руки Иосифу, благодаря которому и происходило все происходившее в яме, надо понимать так, что уже скоро, примерно через полгода после своего прибытия в острог, бывший управляющий Потифара сам собой, без какого-либо особого назначения, сделался вершителем обобщающего надзора в канцелярии и попечителем всей крепости, так что все документы и счета — а их, как повсюду в стране, было здесь бесконечное множество — касались ли они закупок зерна, масла, ячменя, убойного скота и распределения таковых между стражей и каторжниками, или пивоварения и выпечки хлеба в Цави-Ра, или даже доходов и расходов храма Уэпвавет, отгрузки тесаного камня и так далее, проходили, к облегчению всех, кто занимался этим прежде, через его, Иосифа, руки, а отчитывался он только перед комендантом, этим спокойным человеком, с которым у него с самого начала установились дружеские, а со временем и самые теплые отношения.

Ибо в глазах Маи-Сахме подтвердились слова, какими Иосиф ответил ему при первом допросе, те исконно-драматические слова самораскрытия, которые вдруг нарушили его покой и даже, чего никогда не случалось, в каком-то широком, в каком-то очень расплывчатом

смысле испугали его, так что он и сам почувствовал, как побледнел у него кончик носа; за этот испуг комендант был до некоторой степени благодарен тому, кто помог ему испугаться, ибо подспудно его спокойствие желало испуга, казавшегося умной его скромности завидным, но не доставшимся ей даром, оно ожидало его, как ожидал Май-Сахме нового появления девушки Нехбет в ее внучке и третьего своего потрясения. Широкий, расплывчатый смысл имело и его ощущение правдивости слов, которыми открылся ему Иосиф, и определить, как нужно понимать слово «это» в неизменно пугающей формуле «Да, это я», Май-Сахме не сумел бы, но он и не сознавал, что не может определить этого, ибо не считал нужным отдавать себе отчет в своих ощущениях. В этом и состоит различие между его обязанностями и нашими. В свое раннее, хотя, с другой стороны, уже весьма позднее время Май-Сахме мог в полном спокойствии, хотя и с подобающим страхом, ограничиваться догадкой и верой. Древнейшая повесть выразила это в утверждении, что господь простер к Иосифу милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Словечко «и» можно истолковать в том смысле, что милость, оказанная богом сыну Рахили, как раз в том и состояла, что его тюремщик к нему благоволил. Но было бы не совсем верно ставить милость и благоволение в такую связь. Не следует думать, что бог оказал Иосифу милость, заставив коменданта благоволить к нему; нет, приязнь и доверие — одним словом, вера, которую внушали ему вид и повадка Иосифа, вытекала из безошибочного чувства божественной милости, присущего человеку доброму, то есть из ощущения божественности этого узника; ведь таково уж свойство и, можно сказать, признак доброго человека — ощущать божественное начало с умным благоговением, что очень сближает, а по сути, даже и отождествляет доброту с умом.

Кем же считал Май-Сахме Иосифа? Неким воплощением праведности, праведником, желанным пришельцем; зачинателем нового времени — сначала только в том скромном смысле, что этот узник, сосланный сюда по таким интересным причинам, нарушит скуку скучного этого места, где уже с давних пор и кто знает, как долго еще, обречен служить комендант; и если начальник Цави-Ра так резко осуждал и даже объявлял признаком отсталости смешение слова с действительностью, то происходило это, может быть, как раз оттого, что сам он легко впадал в такую путаницу и, стоило ему чуть ослабить внимание, плохо отличал метафорическое от истинного. Иначе говоря, уже каких-то слабых намеков, напоминаний и аналогий в чертах того или иного явления было ему достаточно, чтобы увидеть в нем всю полноту, всю действительность напоминаемого, а в случае с Иосифом этой полнотой и действительностью был образ долгожданного спасителя, пришедшего покончить со скучной стариной и, к ликованиему человечеству, положить начало новой эпохе. Но образ этот, намек на который виден был в Иосифе, овеян ореолом божественности, — а такая идея опять-таки чревата соблазном спутать метафорическое с истинным, признак предмета с самим предметом. И так ли уж он сбивает с толку, этот соблазн? Где божественность, там и бог, — там, как сказал бы Май-Сахме, если бы он вообще что-то говорил, а не ограничивался догадкой и верой, какой-то бог — бог в маске, которую, однако, нужно внешне, да и мысленно уважать, даже если из-за невольной прекрасной, писано красивой наружности маскировка оказывается неполной, не вполне, так сказать, удастся. Май-Сахме не был бы сыном Черной Земли, если бы не знал, что существуют сколки бога, его одушевленные копии, которые надлежит принципиально отличать от неодушевленных, безжизненных и чтить как живые образы бога, например. Хапи, менфийский бык, или сам фараон на горизонте своего дворца. Привычка к таким вещам немало способствовала тем догадкам, какие возникали у Май-Сахме насчет естества и обличья Иосифа, — а мы знаем, что тот отнюдь не стремился положить конец подобным догадкам, а напротив, любил ставить людей в тупик.

Для письмоводства и для архива появление Иосифа было поистине благодатно; ибо хотя о коменданте отнюдь нельзя было сказать, что он ни за какие дела не брался, — из-за спокойной его страсти к медицине и к литературе порядок в канцелярии, который так ценило фиванское начальство, и в самом деле, как он и сам знал, страдал, а это угрожало его служебному положению и уже стоило ему нескольких писем из столицы со столь же вежливым,

сколь и неприятным в своей иносказательности выговором. Как раз в этом отношении Иосиф предстал перед ним как желанный пришелец, зачинатель перемен, человек формулы «Да, это я». Да, это он привел в порядок счета; да, это он внушил письмоводителям Май-Сахме, усердно предававшимся игре в кегли и в пальцы, что если комендант отвлечен более высокими занятиями, это все же не причина запускать дела, а, наоборот, причина вести их с особенным рвением; да, это он заботился о том, чтобы в столицу уходили такие отчеты и докладные записки, которые начальству было воистину приятно читать. В его руке посох надсмотрщика был подобен застывшей в волшебную палочку змее кобре; ибо ему достаточно было дотронуться им до стенки пифоса, чтобы сразу же, не считая, сказать: «Сюда войдет сорок мешков пшеницы»; а если требовалось определить, сколько кирпичей понадобится для постройки помоста, ему достаточно было прикоснуться посохом к своему лбу, чтобы сказать: «Понадобится пять тысяч кирпичей». Иной раз он определял это верно, иной раз не совсем. Но если однажды он оказался так поразительно прав, то это уже бросало свой отсвет и на позднейшую неточность и скрадывало ее в глазах людей.

Одним словом, сказав: «Да, это я», — Иосиф не солгал коменданту, и теперь хозяйству и учету не шло в ущерб даже то, что Май-Сахме отнимал время у Иосифа, часто призывая его в башню, в свою аптеку и сочинительскую. Ибо он любил его общество и не только охотно обсуждал с ним такие вопросы, как вопрос о числе сосудов и о червях — являются ли они причиной болезни или, наоборот, ее следствием, — но и заставлял его переписывать, как это Иосиф делал для прежнего своего господина, на тончайший папирус, черными и красными чернилами, как можно изящнее, сказку о Двух Братьях, что, по мнению Май-Сахме, подобало Иосифу не только благодаря его красивому почерку, но особенно ввиду личной его судьбы. Ибо особенно интересовал коменданта новоприбывший потому, что его провинность касалась любви — а к этой области, более всего привлекающей к себе отрадную словесность, Май-Сахме относился с горячим и глубоким, хотя и спокойным участием: сколько времени приходилось не в ущерб службе урывать от нее ради частных желаний Май-Сахме сыну Иакова, видно из того, что начальник часами обсуждал с ним, как лучше всего утешительным, а по возможности и волнующим, если не пугающим образом изложить на папирусе историю своей триединой, частично еще ожидаемой любви; главная, более других занимавшая его трудность состояла тут в том, что для предвосхищения и включения в повесть ожидаемого события ему пришлось бы вести рассказ от лица по меньшей мере шестидесятилетнего старика, а это грозило бы свести на нет волнующее начало, и так уже потерпевшее ущерб из-за его, Май-Сахме, прирожденного спокойствия.

Но и собственное приключение Иосифа, приведшее его в узилище, его история с женой царедворца также была предметом беллетристического сочувствия коменданта, и когда Иосиф ее рассказывал, он всячески щадил одержимую, но не щадил себя, не смягчал собственной вины, которую ставил в связь со своей прежней виной перед братьями, а тем самым и перед отцом, царем стад, что шаг за шагом вводило Иосифа в историю его юности и его происхождения, позволяя умным, круглым глазам египтянина заглянуть в чужеродные, весьма и весьма туманные истоки такого явления, как его помощник, каторжник Озарсиф, чье странное и явно составленное из каких-то намеков имя он не оспаривал и произносил с нежностью доброго человека, хотя никогда не считал его настоящим именем нового узника, а сразу же увидел в нем псевдоним, игривую перифразу слов «Да, это я».

Историю жены Потифара он был бы рад изложить на папирусе по правилам утешительной словесности и часто беседовал с Иосифом о наилучших для этого способах и путях. Но, начиная писать, он всякий раз сбивался на образцовую историю о Двух Братьях, и на том его попытки и кончались.

Много дней успело уйти в прошлое, и уже около года минуло с тех пор, как первенец Рахили прибыл в острог Цави-Ра, когда в этой крепости случилось событие, которое было лишь частью тяжких событий в большом мире и, правда, не сразу, но несколько позже принесло Иосифу, а также его тюремщику и другу Май-Сахме необычайные перемены.

ГОСПОДА

Однажды, когда Иосиф в привычный утренний час пришел с деловыми бумагами в башенное жилище начальника, чтобы с ним посоветоваться, — вообще-то эти совещания протекали совершенно так же, как у Петепра со старым управляющим Монт-кау, сводясь обычно к односложному: «Ладно, ладно, мой милый», — Май-Сахме, даже не взглянув на счета, отстранил их рукой, и по его необычайно высоко взлетевшим бровям, а также по пухлым его губам, разомкнутым сегодня шире обычного, сразу стало видно, что он поглощен каким-то особенным происшествием и в пределах природного своего спокойствия взволнован.

— Отложим это до другого раза, Озарсиф, — сказал он, имея в виду бумаги. — Сейчас не время. Знай, что во вверенном мне остроге не все обстоит так же, как вчера и позавчера. Кое-что произошло, произошло затемно и без шума, по особым, тихонько переданным приказам. Узнай от меня, что у нас пополнение, и пополнение неприятное. Под покровом ночи доставлены два человека для предварительного заключения под стражей — это необычные люди, то есть люди высокопоставленные, я хочу сказать: высокопоставленные прежде и совсем недавно низложенные, попавшие в беду люди. Ты испытал паденье, но их паденье страшнее, потому что они стояли гораздо выше. Узнай от меня то, что я тебе говорю, а об остальном лучше не спрашивай.

— Но кто же они? — спросил все-таки Иосиф.

— Их зовут Меседсу-Ра и Бин-эм-Уазе, — робко ответил начальник.

— Вот так так! — воскликнул Иосиф. — Какие же это имена! Ведь таких имен не бывает!

У него были основания удивляться, ибо Меседсу-Ра значило «ненавистный богу Солнца», а Бин-эм-Уазе — «скверный в Фивах». Только очень и очень странные родители могли дать своим сыновьям подобные имена.

Комендант возился с какими-то отварами, не глядя на Иосифа.

— Я думал, — ответил он, — тебе известно, что совсем не обязательно и вправду носить то имя, каким ты себя называешь или тебя порой называют. Имя создается обстоятельствами. Сам Ра меняет свое имя в зависимости от своего состояния. Так, как я их назвал, этих господ называют в их бумагах, а также в приказах, которые мне вручены. Так называют их в протоколах ведущегося по их делу дознания, да и сами они называют себя так по своим обстоятельствам. Вот тебе и весь сказ.

Иосиф стал быстро думать. Он вспомнил о вращении сферы, о верхе, который становится низом и вновь поднимается в круговороте, о взаимозаменяемости противоположностей, о замыкании круга. «Ненавистный богу» было равнозначно Мерсу-Ра — «Его любит бог», а «Гнусный в Фивах» значило то же, что и «Прекрасный в Фивах» — Нефер-эм-Уазе. Но благодаря дружбе Потифара он достаточно хорошо знал двор фараона и друзей дворца Мерима'т, чтобы вспомнить, что Мерсу-Ра и Нефер-эм-Уазе были потерявшиеся среди почетных званий имена Верховного Пирожника фараона, главного пекаря, «князя Менфийского», и его Начальника Питейных Писцов, главного виночерпия, «правителя Абодского».

— Настоящие имена тех, кого отдали в твои руки, — сказал он, — звучат, по-видимому, так: «Что кушает мой господин?» и «Что пьет мой господин?».

— Ну да, ну да, — ответил комендант. — Достаточно протянуть тебе край полы, чтобы ты завладел всем плащом — или думал, что завладел им. Знай же, что знаешь, а об остальном не спрашивай!

— Что же случилось? — спросил все-таки Иосиф.

— Оставь это, — ответил Май-Сахме. — Говорят, — прибавил он, глядя в сторону, — что в хлебе фараона оказались куски мела, а в вине нашего доброго бога попались мухи. Что это бросает тень на главных ответственных лиц и что они переведены на положение последс-

твенных узников под именами, подобному положению приличествующими, — это ты и сам можешь себе сказать.

— Куски мела? Мухи? — повторил Иосиф.

— Их затемно, — продолжал комендант, — доставили сюда под сильной охраной на судне для путешествий со знаком подозрительности на носу и на парусе и передали мне под строгий, хотя и почетный надзор на время дознания, покуда не выяснится их вина или невиновность — неприятное и весьма ответственное дело! Я поместил их в домике с коршуном — направо отсюда, у задней стены, где коршун раскинул крылья на коньке крыши, благо этот домик был как раз пуст, — по их привычкам он и сейчас пуст: на простых солдатских табуретках сидят они там с раннего утра за горьким пивом, и никаких других удобств в этом домике нет. Тяжко мне с ними, и как решится их дело, — превратят ли их вскоре в бледные трупы или его величество добрый бог опять вознесет им голову, — никто не может сказать. Соответственно этой неопределенности нам и надлежит с ними обращаться, отдавая должное их прежнему чину в умеренных пределах, да и по нашим возможностям. Я, знаешь ли, назначу тебя к ним надзирателем, чтобы ты раза два в день смотрел, все ли у них в порядке, и хотя бы для формы узнавал их желанья. Такие господа любят форму, и если у них спрашивают, чего они желают, они чувствуют себя уже лучше, и уж не так важно, выполняются ли эти желанья. У тебя есть необходимая тонкость, необходимое *savoir vivre*, — он употребил аккадское выражение, — чтобы надлежащим образом с ними беседовать и обращаться с ними соответственно их подозрительности. Здешние мои поручики были бы с ними либо слишком грубы, либо чрезмерно подобострастны. А нужно держаться чего-то среднего. Уместна была бы, по-моему, почтительность с хмурым оттенком.

— По части хмурости, — сказал Иосиф, — я не очень силен. Лучше придать почтительности оттенок насмешливый.

— И это неплохо, — отвечал комендант. — Ведь если ты таким тоном спросишь их, не угодно ли им чего-нибудь, они сразу поймут, что спросил ты их больше в шутку и что требуемого они здесь, конечно, все равно не получают или получают лишь символически, как они к тому и привыкли. Однако сидеть на солдатских табуретках среди голых стен они не должны. Нужно поставить им две кровати с подушками — и если не два, то, по крайней мере, одно кресло с подушечкой для ног, чтобы они хотя бы по очереди могли в нем сидеть. Кроме того, ты должен изображать их визиря — визиря «Что мой господин кушает?» и визиря «Что мой господин пьет?» и выполнять их требования с грехом пополам. Если они спросят гусяного жаркого, подай им жареного аиста. Если они спросят пирожных, дай им подслащенного хлеба. А если потребуют вина, принеси им немного виноградного сока. Во всем нужно угождать им наполовину и символически. Сходи к ним сейчас, нанеси им визит с тем или иным оттенком почтительности. С завтрашнего дня делай это один раз утром и один раз вечером.

— Слушаю и повинуюсь, — ответил Иосиф и направился из башни в сторону стены, к домику с коршуном.

Стоявшие у домика стражники с крестьянскими лицами подняли при виде Иосифа свои кинжалы и ослабились, ибо он был им по душе. Затем они отодвинули тяжелый деревянный засов, после чего Иосиф и вошел к придворным господам, которые сидели на табуретках среди голых стен своего узилища, уставившись себе в живот и сложив руки на головах. Он приветствовал их изысканным образом, не столь, правда, замысловато, как это некогда впервые сделал у него на глазах писец великих ворот Гор-ваз, но по правилам моды — подняв в их сторону руку и выразив улыбкой формальное желание, чтобы они жили, покуда жив Ра.

Едва увидев его, они вскочили и засыпали его вопросами и жалобами.

— Кто ты, юноша? — восклицали они. — Ты пришел с добрым или с дурным умыслом? Хорошо, что ты пришел! Хорошо, что вообще кто-то пришел! Твои манеры учтивы, они позволяют заключить, что ты способен почувствовать всю невозможность, всю нестерпимость, всю несносность нашего положения! Знаешь ли ты, кто мы? Тебя уведомили? Мы — это

князь Менфийский, это правитель Абуду, Верховный Смотритель Сладостей фараона и тот, кто стоит еще выше, чем Первый Писец Его Питейного Поставца, будучи главным Виночерпием, который подает Ему кубок в самых торжественных случаях, — пекарь из пекарей, верховный кравчий и владыка украшенной листьями грозди! Известно ли тебе это? Поэтому ли ты пришел? Представляешь ли ты себе, как мы жили, — в окруженных садами, сплошь облицованных лазуритом и диоритом домах, где мы спали на пуховых постелях, меж тем как искусные слуги чесали нам пятки? Что с нами станется в этой яме? Нас посадили в пустоту, где мы с ночи сидим взаперти и никто о нас не заботится! Проклятье сердца крепости Цавира! Ничего, ничего, ничего здесь нет! У нас нет зеркала, у нас нет бритвы, у нас нет ларца с помадами, у нас нет купальной комнаты, у нас нет, наконец, уборной, отчего нам приходится подавлять свои нужды, которые волнение, кстати сказать, обостряет, и терпеть боль — это нам-то — архипекарю и владыке виноградной лозы! Дано ли твоей душе почувствовать вопиющую нелепость такого положения? Ты пришел, чтобы нас освободить и вознести нам голову, или же ты пришел только посмотреть, предельно ли велико наше злополучье?

— Высокие господа, — отвечал Иосиф, — успокойтесь! Я пришел с добрым умыслом, ибо я уста и помощник коменданта, уполномоченный им вершить надзор. Он назначил меня также вашим слугой, который будет ждать ваших распоряжений, а так как мой господин человек спокойный и добрый, то о моем собственном нраве вы можете судить по его выбору. Вознести голову я вам не могу; сделать это может лишь фараон — как только выяснится ваша невиновность, насчет которой я почтительно полагаю, что она существует на свете, а значит, может и выясниться...

Тут он прервал свою речь и немного подождал. Они оба смотрели ему в лицо: один помутневшим от слез и горя, но храбрым взглядом, другой стеклянно вытаращив глаза, в которых боролись лживость и страх.

Пекарь, вопреки ожиданию, вовсе не походил на мешок с мукой, а виночерпий на виноградную лозу. Наоборот, дородством мог похвастаться виночерпий; он был мал ростом и тучен, и багрово алело его лицо между крыльями туго натянутого на лоб наголовника, перед которыми торчали его могучие, украшенные камешками уши. По округлым его щекам, заросшим теперь, к сожалению, колючей щетиной, было видно, что если их умастить и поскоблить, они довольно весело заблестят — да и вообще выражение замешательства и тоски на физиономии главного кравчего не могло начисто лишить ее природной веселости. Главный пекарь был, по сравнению с ним, наоборот, долговяз и стоял понурился голову; лицо его казалось бледным, хотя, может быть, опять-таки лишь сравнительно и потому еще, что оно было окаймлено черной как смоль прической, из-под которой выглядывали широкие золотые серьги. Но в лице пекаря были и совершенно явные черты причастности к преисподней: длинноватый его нос глядел несколько вкось, да и рот его, тоже как-то криво утолщаясь и удлиняясь, был нескладно скошен в одну сторону, а между бровями притаилось что-то злое.

Не следует думать, что Иосиф отметил различие в физиономиях своих подопечных с немудреным благорасположением к открытости и ясности первой и со столь же дешевым отвращением к фатальному чекану второй. Его образование и благочестие заставляли его принять к сведению приметы обоого рода, и веселые и тревожно-сомнительные, с одинаковым уважением к судьбе, более того, они требовали, чтобы к олицетворению подземной сомнительности он отнесся с еще большей внутренней вежливостью, чем к человеку жизнерадостному.

Плоеные, с большим количеством пестрых завязок придворные одежды господ в дороге измялись и загрязнились; но оба еще носили знаки своей высокой должности: кравчий — воротник из золотых виноградных листьев, а пекарь — нагрудный знак из золотых колосьев, изгибающихся внутри серпа.

— Ни я, — повторил Иосиф, — не могу вознести вам голову, ни комендант. Единственное, что мы сможем сделать, — это немного, в меру своих возможностей, уменьшать тяготы, на которые вас обрекло печальное стечение обстоятельств, и начало этому, заметьте, уже по-

ложено, положено как раз тем, что в первые часы вы испытывали во всем недостаток. Впредь у вас хоть в чем-то да не будет недостатка, и после полного отсутствия чего бы то ни было вам покажется это приятнее, чем все, что у вас имелось, когда вы еще умащались елеем радости и чего это гадкое место никогда не сможет вам предоставить. Вы видите, господин правитель Абуду и князь Менфийский, с каким добрым намерением держали вас до сих пор в черном теле. Не пройдет и часа, как здесь будут стоять две, хотя и простые, кровати. К табуреткам прибавится кресло для поочередного пользования. Вы получите бритву, увы, правда, только каменную, — заранее прошу извинить, — и очень хорошую помаду для глаз, черную, но с зеленоватым отливом — ее готовит сам комендант, и по моему ходатайству он с удовольствием уделит вам некоторую толику. Что касается зеркала, то вам не дали его поначалу тоже с добрым намерением, ибо будет гораздо лучше, если оно отразит вас в опрятном виде, а не в теперешнем. У вашего слуги — так я называю себя — есть медное, довольно ясное зеркало, и он вам охотно одолжит его на время вашего здесь пребывания, которое ведь так или иначе не может не быть коротким. Вам будет приятно, что его рамка и ручка образуют знак жизни. Кроме того, по правую сторону домика вас будут ежедневно, если вы пожелаете, купать в воде два стражника, которых я для этого к вам приставлю, а по левую вы сможете отправлять свои нужды, что сейчас, видимо, и является первоочередным делом.

— Превосходно, — сказал чашник. — Превосходно для этого часа и при таких обстоятельствах! Юноша, ты явился, как утренняя заря после ночи и как прохладная тень после палящей жары. Будь счастлив! Здоровья тебе и долгих лет жизни! Тебя приветствует владыка винограда! Веди нас налево!

— А что ты хотел сказать, — спросил пекарь, — отнеся к нашему здесь пребыванию слова «так или иначе» и «не может не быть коротким»?

— Я хотел сказать, — отвечал Иосиф, — «безусловно», «во всяком случае» или «наверняка». Я хотел выразить уверенность.

И на этом он простился с обоими господами до следующего раза, поклонившись пекарю немного даже почтительнее, чем чашнику.

Позднее в тот же день он пришел опять, принес им для развлечения шашки и осведомился, хорошо ли они кушали, на что они ответили чем-то вроде «как сказать!» и требованием гусяного жаркого, после чего он посулил им нечто вроде гуся — жареную водяную птицу — и тех своеобразных пирожных, какие только и можно в этом гадком месте найти. Кроме того, им было разрешено, когда заблагорассудится, часами стрелять под охраной в цель и играть в кегли во дворе перед домиком. Они очень благодарили Иосифа, просили его также поблагодарить коменданта за его мягкость, позволившую им почувствовать всю приятность некоторого подобия удобств после полного отсутствия таковых вначале, и, проникшись доверием к Иосифу, которого они засыпали своими речами и жалобами, никак не отпускали его от себя — и в этот день, и в следующие, всякий раз, когда он их навещал, чтобы осведомиться об их здоровье и выслушать их приказы; но при всей своей разговорчивости они обнаруживали такое же боязливое нежелание распространяться о том, что привело их сюда, какое при первых же своих словах выказал комендант.

Особенно страдали они из-за своих позорных имен и всячески просили Иосифа не верить, что это хоть в каком-либо смысле подлинные их имена.

— Это очень деликатно с твоей стороны, Озарсиф, милый юноша, — говорили они, — что ты не называешь нас навязанными нам нелепыми именами, под которыми нас препроводили в этот острог. Но мало того что они не слетают с твоих губ, ты не должен называть нас так даже мысленно, даже про себя, твердо веря, что на самом деле мы носим не эти непристойные, а совершенно противоположные имена. Тем самым ты оказал бы нам большую услугу, ибо мы все равно боимся, что эти искаженные имена, начертанные несмываемой тушью в наших документах и в наших судебных делах письменами правды, постепенно приобретут правдивость и останутся за нами навечно!

— Не беспокойтесь, высокие господа, — отвечал Иосиф, — все пройдет, и, в сущности, это даже к лучшему, что при нынешних преходящих обстоятельствах вам дали прозвища и не опорочили в письменах правды ваших настоящих имен. Благодаря этому в бумагах и обвинительных грамотах упомянуты как бы не вы, да и сидите здесь тоже в некотором роде не вы: все ваши лишения терпят «Богомерзость» и «Отброс Фив».

— Ах, терпим их все-таки мы, хотя и инкогнито, — безутешно вздохнули они в ответ. — Ведь ты же сам по своей деликатности величаешь нас прекрасными нашими чинами и почетными званиями, которыми мы были обличены при дворе: менфийским сиятельством и князем хлеба называешь ты нас по своей учтивости, а также великим, торжественным и превосходительным давилыщиком виноградной крови. Знай же, если ты этого еще не знаешь, что все эти звания были с нас сняты перед отбытием в острог, и что по сути мы так же наги, как в тот час, когда солдаты окатывают нас водой справа от домика; ничего от нас не осталось, кроме «отброса» и «богомерзости» — вот что ужасно!

И они заплакали.

— Как же это случилось, — спросил Иосиф, глядя в сторону, точь-в-точь как комендант во время боязливых своих объяснений, — как же это случилось и как это могло случиться, что фараон стал для вас подобен верхнеегипетскому леопарду и гневному морю, а его сердце, подобно горе Востока, обрушило на вас песчаную бурю, и вы в одну ночь лишились чинов и были препровождены к нам подследственными острожниками?

— Мухи, — всхлипнул чашник.

— Куски мела, — сказал главный пекарь.

И при этом они тоже боязливо отвели глаза в сторону, один в одну, другой в другую. Но трем парам глаз в домине было тесно, а поэтому взоры нечаянно встречались и поспешно расходились, чтобы там, куда они убегали, снова нечаянно встретиться с чужим взором — это была тягостная игра. Иосиф хотел прекратить ее своим уходом, видя, что из них ничего, кроме «мух» и «кусков мела», не вытянешь. Но они не давали ему уйти, задерживая его речами, которые должны были убедить его в неосновательности направленных против них подозрений и в нелепости того, что их называют Меседсу-Ра и Бин-эм-Уазе.

— Прошу тебя, милейший юноша из Кана-ана, дорогой ибрим, — говорил чашник, — выслушай меня и посуди, возможно ли это, могу ли я, Веселый-и-Добрый-в-Фивах, иметь какое-либо отношение к подобному делу? Это абсурдно и противоестественно; что это клевета и недоразумение, вытекает из природы вещей. Я владыка листьев жизни и ношу обвитый листьями посох перед фараоном, когда он следует к торжественной трапезе, во время которой струится кровь Озириса. Я провозглашаю здравицы, размахивая над головой этим посохом. Я человек венка, венка на голове, венка на пенном кубке! Погляди на мои щеки, вот сюда, где они вылощены — пусть дешевой бритвой! Не похожи ли они на тугую ягоду, когда солнце согревает в ней свой священный сок? Я живу и даю жить другим, желая им здоровья и долгой жизни! Разве у меня вид человека, который снимает с бога мерку для гроба? Разве я похож на осла Сета? Это животное не впрягают в плуг смеете с волом, лен не соединяют с шерстью в одежде, на виноградной лозе не растут фиги, и что не вяжется, то уж не вяжется! Прошу тебя, посуди же, призвав на помощь здравый смысл, который отличает белое от черного, одну вещь от другой, возможное от невозможного, — посуди же, могу ли я быть совиновым в этой вине и причастным к тому, к чему непричастен!

— Я вижу, — говорил затем, глядя в сторону, князь Мерсу-Ра, главный пекарь, — что слова правителя Абоду произвели на тебя, способный юноша из Захи, должное впечатление; они убедительны, и твое суждение будет несомненно в его пользу. Поэтому я тоже взываю к твоей справедливости, и я уверен, что, разбирая и мой случай, ты не окажешься неразумнее самого себя. Понимая, что подозрение, которое пало на таких благородных людей, как мы, несовместимо со священным характером должности верховного кравчего, ты должен признать, что оно столь же мало и даже еще меньше соответствует священному характеру моей долж-

ности, которая, пожалуй, намного священнее. Священность ее очень ранняя, очень древняя, очень почтенная, — может быть, и существует священность более высокая, но более глубокой нет. Она совершенна, ибо совершенна любая вещь, к которой можно отнести прилагательное, образованное от нее самой: это священная и священнейшая священность. Она подобна пещере и пропасти, куда гонят жертвенных свиней и бросают сверху факелы, чтобы поддержать пылающий там вечный огонь, который, горя, превращается в теплотворную и плодоносную силу. Поэтому я ношу перед фараоном факел, но я не размахиваю им над головой, а строго, как жрец, несу его перед собою и перед ним, когда он идет к столу, чтобы вкусить плоти погребенного бога, который вздымается навстречу серпу из клятвоприимных глубин.

Тут пекарь испугался, и вытаращенные его глаза метнулись еще дальше в сторону, к самым уголкам, один к внешнему, другой к внутреннему. Он часто пугался своих собственных слов и пытался взять их назад или хотя бы чуть-чуть изменить, но при этом только еще глубже запутывался. Ибо слова его были направлены вниз, и повернуть их назад он не мог.

— Прости, я не это хотел сказать, — начал он снова, — я хотел сказать это не так, и очень надеюсь, что ты, умный мальчик, чье знание света мы призываем в свидетели нашей невиновности, не понял меня превратно. Я говорю, но, перебирая потом в уме собственные слова, я начинаю бояться, не покажется ли тебе, что направленное против меня подозрение я пытаюсь опровергнуть некоей посвященностью, которая настолько велика и глубока, что как бы уже и опасна, а потому не способна служить защитой от этого подозрения. Прошу тебя, напряги свой разум и не впади в ошибку, полагая, будто чрезмерная сила какого-либо доказательства обрекает это доказательство на бессилие, а то и вовсе делает его доказательством противоположного! Было бы ужасно, а для непредвзятости твоего суждения просто губительно, если бы у тебя возникли такие мысли! Погляди на меня, — хоть я и не гляжу на тебя, а рассматриваю свои доказательства. Это я-то виновен? Это я-то замешан в подобном деле? Разве я не властитель хлеба, не слуга странницы-матери, что с факелом ищет свою дочь, приносящей плоды, всеблагой, согревающей, зеленеющей, которая, отвергнув дурманную кровь, отдала предпочтение мучному напитку, принесла людям семена пшеницы и ячменя и впервые взрылила землю изогнутым плугом, благодаря чему вместе с более мягкой пищей на земле взошли и более мягкие нравы, тогда как прежде люди питались шишками камыша или даже пожирали друг друга? Я принадлежу ей и свято ей предан, той, что ветром отметаает на току плевелы от пшеницы и отделяет почтенное от презренного, законодательнице, которая учреждает правопорядок и кладет конец произволу. Рассуди же теперь разумно, мог ли я пойти на такое мрачное дело! Выскажи свое мнение, учитывая эту несообразность, состоящую, впрочем, вовсе не в том, что названное дело мрачно, ибо так же, как хлеб, правопорядок идет от мрака и неотделим от дольного лона, где обитают богини мести, в силу чего священный закон можно назвать псом богини, тем более что пес и в самом деле ей посвящен, почему и меня, который тоже посвятил себя ей, можно было бы назвать псом...

Тут хлебник снова страшно испугался, отчего зрачки его метнулись в другую сторону, и стал уверять, что не хотел этого сказать или хотел сказать не так. Но Иосиф попросил обоих успокоиться и не тратить на него столько сил. Он ценит, сказал он, их доверие и польщен тем, что они изложили ему свое дело, или если не дело, то причины, по каким оно не могло быть их делом. Но, во всяком случае, не его дело, продолжал он, брать на себя роль их судьбы, ибо он приставлен к ним лишь служителем, который обязан выслушивать, как они к тому привыкли, их приказанья. Правда, кроме того, они привыкли, чтобы их приказанья еще и выполнялись, но это, к сожалению, уже не в его возможностях. Однако хотя бы наполовину их жизнь, таким образом, соответствует их привычкам. И он спросил, не будут ли они так любезны напутствовать его еще каким-нибудь приказаньем.

Нет, сказали они печально, приказаний не будет; никакие приказания не придут в голову, если знаешь, что они останутся без последствий. Ах, но почему он уже уходит! Пусть лучше он скажет им, как долго, по его мнению, протянется расследование их дела и долго ли придется им прозябать в этой дыре.

Он тотчас же сказал бы им всю правду, отвечал он, если бы знал это. Но он этого, понятно, не знает и может только, ни к чему себя не обязывая, прикинуть, что решения их судьбы надо ждать — самое большее и самое меньшее — тридцать и десять дней в общей сложности.

— Ах, как долго! — посетовал чашник.

— Ах, как недолго! — воскликнул пекарь, но тотчас же страшно испугался своего голоса и стал уверять, что он тоже хотел сказать «как долго!». Но чашник подумал и заметил, что подсчет Иосифа и в самом деле основателен: ведь через тридцать дней и семь дней и три дня, считая от дня их прибытия, наступит прекрасный праздник рождения фараона, а это, как известно, день милости и суда, когда и им, всего вероятнее, вынесут приговор.

— Я об этом не задумывался, — отвечал Иосиф, — и не строил на этом свои расчеты, у меня было просто такое наитие. Но коль скоро великое рождение фараона приходится, как нарочно, на этот день, вы должны признать, что мои слова уже начинают сбываться.

О ЗМИЕ КУСЛИВОМ

С тем он и ушел, качая головой по поводу своих подопечных и их «дела», о котором ему уже и тогда было известно больше, чем он имел право показывать. Ибо никто в обеих странах не имел права и не осмеливался показывать, что он знает об этом больше, чем полагалось знать людям; и все же, как ни старались замять, как ни окутывали в верхах опасное это дело туманом иносказаний, «мух», «кусков мела» и неузнаваемо измененных имен «Богомерзкий» и «Отброс Уазе», о нем очень скоро заговорили по всему царству, и, пользуясь предписанными оборотами речи, каждый вскоре отлично знал, что кроется за этими преуменьшениями и прикрасами, — а крылась за ними история, при всей своей мрачности не лишенная притягательно-популярного, чтобы не сказать праздничного характера, поскольку она представала повторением и возвратом, иными словами, сегодняшней реальностью того, что установлено и знакомо с незапамятной древности.

Говоря напрямик, посягнули на жизнь фараона — посягнули несмотря на то, что дни старого этого бога были и без того сочтены и склонности Его величества воссоединиться с Солнцем не могли, как вы знаете, воспрепятствовать ни предписания волшебников и ученых книгохранилища, ни даже, владычица дороги Иштар, которую заботливо прислал Ему с евфратских берегов Его брат и тесть, царь Ханигалбата, или Митанни, Тушратта. Что Великий Дом, Си-Ра, Сын Солнца и Владыка Венца, Неб-ма-Ра-Аменхотеп был стар и болен и едва дышал, не давало повода не посягать на его жизнь, а давало, если угодно, прекрасный повод посягать на нее, что, конечно, не делало этого замысла менее мрачным.

Все знали, что первоначально сам Ра, бог Солнца, был царем обеих стран или, вернее, даже властителем земли и человечества и правил ими во всем своем благословенном величии, покуда находился в юном, зрелом и позднезрелом возрасте и даже на протяжении значительной части старости, и в ее раннюю, и в ее уже не столь раннюю пору. Лишь когда он совсем одряхлел и к Его величеству, хотя и в самой драгоценной форме, приблизилась старческая немощь и хворь, этот бог почел за лучшее проститься с землей и вернуться на небеса. Ибо постепенно кости его превращались в серебро, мясо в золото, а волосы в чистейший лазурит; прекрасная эта форма старческого одряхления была все же сопряжена с муками и страданиями, прекратить которые не удалось даже богам, испробовавшим тысячу средств, ибо от превращения в серебро, в золото и в камень в столь позднем возрасте не спасает никакое лекарство. Но и при таких обстоятельствах дряхлый Ра по-прежнему держался за свою земную власть, хотя мог бы заметить, что из-за его старческой немощи она слабеет и вокруг него распространяется бесстрашие, даже наглость.

Тогда-то Изида, великая владычица островов, Исет, хитроумнейшая из хитроумных, решила, что ее час настал. Ее знание, как и знание самого Ра, царя-перестарка, охватывало небо

и землю. Не знала она лишь одного, лишь один изъян был в ее всезнании: неведомо было ей последнее и самое тайное имя Ра, самое важное его имя, знание которого давало власть над этим богом. Ибо у него имелось очень много имен, и каждое последующее окутывала большая тайна, чем предыдущее, но выяснить их все-таки можно было. Самого же последнего и самого главного своего имени бог вообще не выдавал, и кому он это имя назвал бы, тот превзошел бы бога могуществом намного и, захвативши власть, его заставил пасть.

Поэтому-то Исет придумала, а придумав, сотворила кусливого змия, чтобы тот укусил Ра в золотое мясо я нестерпимая боль от укуса, унять которую сможет только та, кем этот змий создан, заставила бога назвать свое имя великой Исет. Как она решила, так и совершила. Змий укусил Ра, и в тисках боли старику ничего не осталось, как выдавать одно за другим свои потаенные имена, надеясь, что на каком-то из очень уж потаенных богиня помирится. Однако она не отступалась от него до тех пор, покуда он не назвал ей и самого тайного своего имени и ее власть над ним не стала совершенной. А тогда ей уже ничего не стоило вылечить его от укуса; но выздоровел он лишь с грехом пополам, насколько вообще может выздороветь столь дряхлое существо, и вскоре затем избрал небесную долю, старикам подобающую...

Вот каково было древнее предание, известное в Кеме любому ребенку; оно говорило в пользу каких-то действий против фараона, чье состояние чрезвычайно, просто-таки до неразличимости, походило на состояние того усталого бога. Особенно же, и притом глубоко лично волновали эти давние дела некую обительницу фараонова Дома Утех, того закрытого и тщательно охраняемого павильона, весьма изящно пристроенного ко дворцу Мери-мая, куда фараон еще нет-нет да и приказывал себя отнести, конечно, только затем, чтобы потрепать за подбородок ту или иную из тамошних фавориток или одержать над нею победу на тридцатипольной доске, наслаждаясь при этом плясками, игрой на лютне и пеньем ее благоуханных подруг. Часто он забавлялся шашками как раз с той, которая проявляла к старинной истории Изиды и Ра интерес чисто личный и даже загорелась желанием ее воспроизвести. Ни одна повесть, будь то и самая сведущая в мельчайших подробностях этой истории, не называет имени упомянутой женщины. Оно вытравлено и вырублено из всех преданий; ночь вечного забвения скрывает его. Между тем временами она пользовалась особым, по сравнению с другими побочными любимицами, расположением фараона и двенадцать или тринадцать лет назад, когда тот еще иной раз благоволил производить потомство, родила ему сына, Нофер-ка-Птаха, — это имя сохранилось, — который, как отпрыск божества, воспитывался самым изысканным образом и ради которого ей, побочной любимице, дано было право носить диадему с коршуном — не такую, правда, чудесную, как у самой Тейе, Великой Супруги царя, но все-таки золотую диадему. Это обстоятельство, а также материнская слабость к отпрыску божества Нофер-ка-Птаху сыграли для нее роковую роль. Ибо диадема соблазняла ее путать себя с хитроумной Исет, а поскольку в predetermined такой путаницей ход мыслей вмешалась еще и честолюбиво-слепая любовь к полукровному дитятку, в ее недалеком, но находчивом и взбаламученном старинной былью уме родилось решение наслать на фараона кусливого змия, устроить дворцовый переворот и вместо и так уже хилого Гора Аменхотепа, этого урожденного преемника Солнца, посадить на престол стран плод собственного чрева, Нофер-ка-Птаха.

Подготовка к удару, целью которого было низложить династию, открыть новую эпоху и возвести эту побочную любимицу, чье имя так и нельзя назвать, в сан богини-матери, зашла и в самом деле очень далеко. Очагом заговора был Дом Утех фараона, но через нескольких желавших переворота чиновников гарема и офицеров стражи ворот поддерживалась связь, с одной стороны, с самим дворцом, где заговорщикам удалось приобрести некоторое число друзей, частью весьма высокопоставленных, таких, как один из Первых Возничих царя, как Управляющий Плодохранилищем Бога, Глава Жандармов, Смотритель Говяд, Начальник Благовоний из Казнохранилища Владыки обеих стран, и тому подобных, а с другой стороны — со

столицей вне стен дворца, где через жен этих офицеров в заговор вовлекли мужскую родню фараоновых фавориток, которая подстрекательскими речами настраивала жителей Уазе против старого Ра, состоявшего только из золота, серебра и лазурита.

Всего заговорщиков, тайно вынашивавших этот замысел, было семьдесят два — число многообещающе predetermined, ибо некогда заговорщиков, вместе с красным Сетом заманивших Усира в ларь, было тоже семьдесят два, да и у тех, в свою очередь, имелись вполне космические причины составить именно это число. Ибо как раз столько пятидневных недель образуют год, складывающийся, если не считать пяти добавочных, из трехсот шестидесяти дней; и ровно семьдесят два дня длится засушливая пятая часть года, когда измерительный шест показывает самый низкий уровень потока-кормильца и бог уходит в свою могилу. И значит, если где-нибудь в мире составляется заговор, заговорщиков должно быть ровно семьдесят два. А если заговор терпит неудачу, можно не сомневаться, что при несоблюдении этого числа неудача была бы еще основательней.

Нынешний, например, потерпел неудачу, хотя следовал наилучшему образцу и все необходимые приготовления делались с величайшей осмотрительностью. Начальник Благовоний ухитрился даже похитить из книгохранилища фараона некую волшебную грамоту и, руководствуясь ею, изваять из воска фигурки, которые, будучи украдкой разбросаны там и сям, должны были содействовать успеху предприятия, ибо они вызывали повсюду магическое ослепление и замешательство. Было решено, отравив фараона хлебом или вином или тем и другим сразу, воспользоваться неизбежной суматохой для дворцового переворота, который, в сочетании с мятежом в городе, привел бы к провозглашению новой эпохи и к восхождению на престол стран рожденного вне брака Нофер-ка-Птаха. А потом все сорвалось. То ли в последний миг один из семидесяти двух решил, что верность больше пойдет на пользу его карьере и красоте изображений на его гробнице, то ли с самого начала на совещаниях соглядатайствовал провокатор — но список участников заговора, довольно неприятный список, ибо в нем значился ряд истинных друзей бога, а также посетителей Утреннего Покоя, — список этот, в общем верный, хотя и не свободный от отдельных ошибок и qui pro quo, попал к фараону, и ответные действия были быстрыми, тихими и решительными. Изида Дома Утех была без проволоочки задушена евнухами, ее сына сослали в дальний конец Нубии, и покуда тайная комиссия расследовала всю эту затею и вину каждого, разоблаченные заговорщики, которых, вдобавок к жестокому искажению их личных имен, собирательно называли «гнузность страны», исчезли в различных узилищах, где в непривычных условиях и ждали решения своей судьбы. Вот каким образом Главный Пекарь фараона и его Чашник угодили в темницу, где томился Иосиф.

ИОСИФ ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ КАК ТОЛКОВАТЕЛЬ

И вот, когда они уже просидели там тридцать и семь дней и утром их, как всегда, навестил Иосиф, чтобы осведомиться, каково они почивали, и спросить, не прикажут ли они чего-нибудь, он застал обоих господ в настроенье одновременно беспокойном, подавленном и горьком. Вообще-то они уже начали привыкать к своему опрощению и перестали жаловаться, ибо человеку совсем не нужно жить так, как они жили, среди лазурита и диорита и со слугами для чесания пяток; ведь в конце концов, если у тебя есть справа купальня, а слева уборная и ты можешь вместо великосветской соколиной охоты пострелять из лука и поиграть в чурки, это тоже не так уж плохо. Но сегодня к обоим явно вернулась прежняя избалованность, и едва к ним вошел Иосиф, они снова принялись горько жаловаться, говоря, что во всем, даже в самом необходимом, испытывают нужду и что их здешняя жизнь, сколь искренне они ни пытались к ней приспособиться, все равно оказывается на поверку собачьей жизнью.

Этой ночью, сказали они оба сразу в ответ на участливый вопрос Иосифа, каждому из них приснился свой сон; то были сны выразительнейшей живости, необычайно убедитель-

ные, незабываемые, странно глубокомысленные, подлинно вещие сны, отмеченные знаком «Пойми меня правильно» и прямо-таки требующие истолкования. Дома у каждого из них был собственный толкователь снов, опытный специалист по всяческим порождениям ночи, чуткий ко всякой подробности видения, хоть мало-мальски значительного и пророческого, вооруженный к тому же лучшими сонниками как вавилонского, так и отечественного происхождения, с которыми он всегда мог справиться, если у него самого иссякали идеи. При нужде, в трудных и беспрецедентных случаях, они, пекарь и чашник, могли созвать консилиум храмовых прорицателей и ученых книжников, которые общими усилиями наверняка добрались бы до сути дела. А здесь, а теперь? Вот им приснились сны, каждому свой, разительные, странные, переполняющие душу сны, и в этой проклятой яме нет никого, кто разгадал бы их сновидения и обслужил их, важных господ, так, как они привыкли к тому. Это нужда куда тяжелее, чем недоступность пуховиков, гусяного жаркого и соколиной охоты, и показывает им всю плачевность, всю невыносимую унижительность их положения.

Слушая их, Иосиф немного надул губы.

— Господа, — сказал он, — если вас для начала может утешить чье-то сочувствие, то во мне вы видите человека, который сочувствует вашему горю. Но кроме того, нужде, что вас угнетает и оскорбляет, несомненно можно помочь. Я ваш слуга и попечитель и приставлен к вам, так сказать, на все случаи — почему же, в конце концов, и не на случай сновидений? Я не совсем несведущ в этой области и могу похвастаться родственной короткостью со снами — не сочтите это выражение нескромным, а сочтите его точным, ибо в моем роду и в моей семье никогда не было недостатка в многозначительных снах. Мой отец, царь стад, увидел на определенном месте, в дороге, первостепенной важности сон, навсегда наложивший на него печать достоинства, и слушать, как отец рассказывает об этом сне, было величайшим удовольствием. Да и я сам в предшествующей своей жизни сталкивался со снами настолько часто, что братья даже дали мне кличку, добродушно намекавшую на эту мою особенность. Вы уже так наловчились довольствоваться малым — так почему бы вам не удовольствоваться мною и не рассказать мне ваши сны, чтобы я попытался их разгадать?

— Ну да, — сказали они, — все это так. Ты приятный юноша, и когда ты говоришь о снах, твои красивые и даже прекрасные глаза, устремляясь вдаль, так затуманиваются, что мы почти готовы поверить в твою способность помочь нам. Но при всем при том видеть сны и толковать сны — это разные вещи!

— Не скажите, — отвечал Иосиф, — не скажите! Сновидение означает какое-то единство сна и толкования, какую-то целостность, где сновидец и толкователь только с виду существуют раздельно, каждый сам по себе, а на деле они неразделимы и даже тождественны, ибо вместе они составляют единое целое. Кто видит сон, тот и толкует его, а кто хочет его толковать, тот должен прежде его увидеть. Вы жили в роскошных условиях избыточного разделения дел, господин хлебный князь и ваше превосходительство чашник, поэтому сны видели вы, а толковать их вы предоставляли вашим домашним пророкам. По сути же и по самой природе вещей каждый сам себе толкователь сна, и чужими услугами в этом деле он пользуется только изящества ради. Я открою вам тайну сновидений: толкование предшествует сну, и наш сон вытекает из толкования. Недаром человек отлично знает, когда толкователь неверно толкует ему его сон, недаром кричит: «Убирайся, недотепа! Я найду себе другого толкователя, который скажет мне правду!» Так вот, сделайте опыт со мной, и если я оплошаю и мое толкование не сойдется с вашим собственным знанием, прогоните меня прочь, к стыду моему и сраму!

— Я не стану рассказывать, — ответил главный пекарь. — Я привык к лучшему и предпочитаю в этом, как и во всем прочем, перебиться, чем брать в толкователи тебя, простого любителя.

— А я расскажу! — сказал виночерпий. — Ибо, честное слово, я так жажду получить толкование, что готов довольствоваться первым встречным, а тем более если он умеет так многообещающе-туманно глядеть и может похвастаться некоторой короткостью со снами.

Приготовься, юноша, слушать и толковать, но соберись с силами, и я тоже соберусь с силами, чтобы найти для своего сна надлежащие слова и не погубить его жизнь своим рассказом. Ибо в нем была такая живость, такая ясность, такая неподражаемая острота, — а ведь известно, увя, как блекнут подобные сны от слов, превращаясь в мумию, в засохшее и запеленатое подобие того, чем они были, когда они снились, когда зеленели, цвели и плодоносили, как та виноградная лоза, что предстала передо мной в этом сне, к изложению которого я, таким образом, уже приступил. Ибо мне снилось, будто я нахожусь с фараоном на его винограднике, под навесом из лоз его виноградника, где мой господин почивал. А передо мною была лоза, я и сейчас еще ее вижу, то была особенная лоза, и было на ней три ветви. Пойми меня: она зеленела, и листья ее были подобны рукам человеческим, но хотя в беседке уже повсюду висели ягоды, та лоза еще не цвела и не плодоносила, а произошло это с нею лишь у меня на глазах во сне. Понимаешь, она развилась и расцвела у меня на глазах, среди ее листьев появлялись прекрасные пучки цветов, а на трех ее ветвях грозди, которые созревали со скоростью ветра, и пурпурные их ягоды были тугими, как мои щеки, ибо налились соком, как никакие другие. И я порадовался и стал срывать ягоды правой рукой, потому что в левой у меня была фараонова чаша, наполовину наполненная охлажденной водой. Туда я старательно выжал сок из ягод, вспомнив при этом, кажется, что ты, юноша, иногда выжимал нам в воду немного виноградного сока, когда мы спрашивали вина, и подал чашу в руку фараона. И это все, — заключил он тихо, разочарованный своими словами.

— Это немало, — ответил Иосиф, открывая глаза, которые были закрыты, покуда он слушал кравчего, склонив к нему ухо. — Итак, была чаша, а в ней была прозрачная вода, и ты собственноручно выжал сок из ягод лозы с тремя ветками и подал чашу владыке венцов. Это был чистый дар, и в нем не было мух. Истолковать?

— Да, истолкуй! — воскликнул чашник. — Я сгораю от нетерпения.

— Вот тебе мое истолкование, — сказал Иосиф. — Три ростка — это три дня. Через три дня тебе дадут воду жизни, и фараон вознесет тебе голову и снимет с тебя позорные имена, так что тебя будут звать, как прежде, «Справедливый-в-Фивах», и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараону в руку его, по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. И это все.

— Превосходно! — воскликнул толстяк. — Это приятное, превосходное, образцовое истолкование, меня обслужили, как никогда в жизни не обслуживали, и ты, милый юноша, оказал моей душе неоценимую услугу. Три ветви — три дня! Как ты это так сразу определил, умница!.. И снова «Честный-в-Фивах» и опять, по прежнему обыкновению, друг фараона! Спасибо тебе, дорогой, спасибо тебе от всей души.

И он сел и заплакал от радости.

Но Иосиф сказал ему:

— Правитель Абодский, Нефер-эм-Уазе! Я предсказал тебе будущее по твоему сну, — это было мне легко и приятно. Я рад, что мог дать тебе радостное истолкование. Скоро тебя начнут осаждать поздравлениями по случаю твоего очищения; но здесь, в темнице, я первый твой поздравитель. Я был вашим слугой и дворецким тридцать семь дней и буду им, по указанию коменданта, еще три дня, осведомляясь, не прикажете ли вы чего-нибудь, и создавая вам, насколько это позволяют условия, подобия удобств. Я приходил к вам в домик утром и вечером и был вам как ангел божий, если можно так выразиться, в чью грудь вы изливали свои страдания и кто утешал вас в непривычных условиях. Но я не вызывал у вас особого любопытства. А между тем я тоже не рожден для этой дыры, я не выбирал ее, а попал в нее сам не знаю как, и бросили меня сюда узником и царским рабом за вину, которая вовсе и не вина, а чистое недоразуменье пред богом. Душа у вас была слишком полна собственными страданиями, чтобы вы могли питать любопытство еще и к моим. Но не забывай меня и моих услуг, правитель-чашник, а вспоминай обо мне, когда ты будешь блистать, как прежде! Упомяни обо мне фараону, скажи ему, что я сижу здесь по чистому недоразумению, похлопчи за меня, попроси, чтобы он

милостиво вывел меня из этого узилища, где я так томлюсь. Ибо меня украли, просто-напросто украли еще мальчиком с моей родной земли, чтобы доставить вниз, в землю Египетскую, и еще раз украли, чтобы доставить вниз, в эту яму, — и я, как Луна, когда некий отвратный демон задерживает ее движение, чтобы она не могла, сияя, предшествовать своим братьям-богам. Сделаешь ли ты это для меня, правитель-чашник, упомянешь ли там обо мне?

— Да, да, тысячу раз да! — закричал толстяк. — Обещаю, что упомяну о тебе при первой же возможности, как только предстану перед фараоном, и буду напоминать ему о тебе каждый следующий раз, если мои слова западут ему в душу не вдруг! Я был бы трубказубой свиньей, если бы не вспомнил тебя или не упомянул о тебе наилучшим образом, ибо независимо от того, украд ты или украден, — это мне безразлично, — ты должен быть упомянут, упомянут и помилован, милый мой мальчик!

И он обнял Иосифа и поцеловал его в губы и в обе щеки.

— А что мне тоже приснился сон, — сказал долговязый, — об этом здесь, кажется, совершенно забыли. Я не знал, ибрим, что ты такой искусный толкователь, а то бы я не отверг твоей услужливой помощи. Теперь я тоже склонен рассказать тебе свой сон, поскольку это возможно сделать словами, и ты растолкуй мне его. Приготовься же слушать!

— Я слушаю, — ответил Иосиф.

— Приснилось мне, — начал пекарь, — вот что, сейчас скажу. Мне приснилось — вот видишь, какой у меня был забавный сон, ибо как мог я, князь Менфийский, который, право же, не сует свою голову в печь, как мог я, словно какой-то мальчишка-подручный, словно какой-то разносчик пышек и кренделей... так вот, во сне я нес на голове три корзины со всякой сдобой, три мелких, ловко вставленных одна в другую корзины со всевозможными изделиями дворцовой пекарни, и в верхней печеная фараонова пища, всякие там коржи и рогульки, лежали открыто. Тут, махая крылами, поджав на лету когти, с вытянутыми шеями и вытаращенными глазами, прилетели птицы небесные и давай каркать. И, обнаглев, эти птицы бросались на корзину и клевали пищу на моей голове. Я хотел поднять свободную руку и помахать ею над корзинами, чтобы отпугнуть эту сволочь, но мне это не удавалось, рука отнялась. И они продолжали долбить, овевая меня резким запахом гнили...

Тут пекарь, по своему обыкновению, испугался, побледнел и попробовал улыбнуться своим нескладным уголком рта.

— То есть ты не должен, — сказал он, — представлять себе этих птиц, а также их запах, их клювы, их вытаращенные глаза слишком уж мерзкими. Это были птицы как птицы, и если я сказал «они долбили» — не помню точно, сказал ли я так, но вполне мог сказать, — то для лучшего понимания моего сна оговорюсь, что это слово было выбрано несколько опрометчиво. Мне следовало бы сказать: «они поклевывали». Птички поклевывали у меня в корзине, думая, видимо, что я хочу их покормить, ведь на верхней моей корзине не было ни крышки, ни покрывала, — короче говоря, все было в моем сне довольно естественно, за исключением того, что я, князь Менфийский, сам носил на голове булочные изделия, да еще, пожалуй, того, что мне не удавалось помахать рукой, но может быть, я этого и не хотел, потому что радовался прилетевшим птичкам. И это все.

— Истолковать и тебе? — спросил Иосиф.

— Как хочешь, — ответил пекарь.

— Три корзины, — сказал Иосиф, — это три дня. Через три дня фараон выведет тебя из этого дома и вознесет тебе голову, прикрепив тебя к дереву или к отвесному столбу, и птицы небесные будут клевать с тебя твое мясо. И это, к сожалению, все.

— Что ты говоришь! — закричал пекарь. Он сел, закрыл руками лицо, и сквозь его украшенные кольцами пальцы брызнули слезы.

Но Иосиф стал утешать его, говоря:

— Не плачь так уж горько, сиятельный хлебодар, и ты тоже не исходи слезами радости, владыка венка! Примите оба с достоинством то, что вам выпало, то, что вам суждено и дано!

Мир тоже един и целостен, и если в нем есть верх и низ, добро и зло, то этой двойственности не нужно придавать слишком большое значение, ибо в сущности бык не отличается от осла, они тождественны и составляют вместе единое целое. Вы видите по слезам, которые пролиivate оба, что разница между вами, господами, не так велика. Ты, преосвященный выкликатель здравии, не зазнавайся, ибо добр ты лишь до некоторой степени, и невиновность твоя, думается мне, состоит в том, что к тебе просто не обратились со злым делом, потому что ты болтлив и тебе не доверяли, так что ты о нем даже и не узнал. И хоть ты это обещал, ты не вспомнишь обо мне, когда вернешься в свой мир, говорю тебе наперед. Или вспомнишь очень нескоро, когда тебя ткнут носом в воспоминание обо мне. И вот когда ты обо мне вспомнишь, вспомни и о том, как я сказал тебе наперед, что ты не будешь обо мне вспоминать. А ты, главный булочник, не отчаивайся! Ибо ты, думается мне, посвятил себя злу, сочтя его велением чести и спутав его, как то вполне может случиться, с добром. Следовательно, ты от бога, когда бог внизу, а твой товарищ от бога, когда бог вверху. Но от бога вы оба, и вознесение главы — это вознесение главы, даже если оно происходит на крестовине Усира, на которой, вероятно, подчас появляется и осел в знак того, что Сет и Озирис — это одно и то же!

Так говорил господам сын Иакова. А через три дня после того, как он истолковал им их сны, обоих увезли из темницы и обоим вознесли голову — кравчому почетно, а пекарю позорно, ибо его прикрепили к дереву. И кравчий совершенно забыл Иосифа, потому что ему не хотелось вспоминать о темнице, а значит, и об Иосифе.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПРИЗЫВ

НЕБ-НЕФ-НЕЗЕМ

После этих историй Иосиф оставался в темнице и во второй своей яме еще два года, благодаря чему и достиг тридцатилетнего возраста, когда его вытащили оттуда с величайшей, по истине захватывающей дух поспешностью, так как на этот раз сновидцем оказался сам фараон. Ибо по прошествии двух лет фараону приснился сон — точнее, два сна; но так как по сути они сводились к одному и тому же, то вполне можно сказать: фараону приснился сон, — это не важно, это пустяк, подчеркнуть нужно не это, а главное; главное же состоит в том, что если тут сказано «фараон», то слово это имеет иной личный смысл, чем в то время, когда пекарь и чашник видели свои вещие сны. Ибо «фараон» говорится всегда, и всегда есть фараон; но при этом он приходит и уходит, подобно тому как всегда есть, но тоже уходит и приходит солнце; а тем временем, то есть вскоре после того как обоим подопечным Иосифа по-разному вознесли голову, фараон как раз ушел и пришел, — мы намекаем на то, какие события, томясь в бооре острога, куда доносился лишь слабый их отголосок, пропустил Иосиф, — смену престола, плачевный закат эпохи и ликующий рассвет новой эры, от которой, даже если и прежняя, в пределах земного, была довольно счастливой, люди ждут поворота к счастью, веря, что отныне вместо несправедливости воцарится справедливость и «луна будет восходить правильно» (как будто она уже не восходила правильно раньше), короче — что отныне жизнь будет сплошным смехом и удивлением, а это для всех достаточное основание неделями прыгать и пить после дней траура, пепла и вретипа, которые объясняются, однако, не просто лицемерным приличием, а искренней скорбью об уходе старой эпохи. Ибо человек существо сложное...

Столько же лет, сколько дней провели в Цави-Ра его архикравчий и его главный булочник, то есть сорок, сидел на престоле, строил и блистал Амунов сын, сын Тутмоса и дочери Митаннийского царя, Неб-мара-Аменхотеп III Ниммуриа, затем он умер и воссоединился с солнцем, пережив напоследок мрачную историю с семьюдесятью двумя заговорщиками, которые хотели заманить его в гроб. Но вот он и без того попал в гроб, гроб, разумеется, великолепный, обитый гвоздями из чистого золота, и попал туда соленым и просмоленным,

увековеченным с помощью можжевельника, скипидара, кедровой смолы, стираксы и фисташковой смолки и укутанным полотняными пеленами длиною в четыреста локтей. Семьдесят дней длилось приготовление Озириса, прежде чем его на золотых, влекомых волами салазках, на которых покоилась гребная лодка, где, в свою очередь, стоял львиноногий, осененный балдахинном катафалк, в сопровождении спереди кадилыщиков и водокропильщиков, а сзади на вид совершенно убитой горем свиты, доставили к его богатому покоям и благоустроенному Вечному Жилищу в горЕ, перед дверью которого над мертвецом был совершен богоугодный обряд «отверзания уст» копытцем посвященного Гору тельца.

Царицу и весь штат придворных уже не замуровывали вместе с царем в его многопалатной обители, чтобы они там умерли с голоду и истлели; времена, когда это считалось необходимым или просто приличным, давно прошли, этот обычай был забыт и повсюду искоренился — а почему? Чем он был плох и отчего о нем теперь никто и знать не хотел? Отдавая щедрую дань старине, над высоким мертвецом усердно колдовали, все отверстия его тела до отказа начинали защитными амулетами, а копытцем орудовали с педантичной обстоятельностью. Но замуровывать придворный штат — нет, этого не было и в помине; мало того что от этого отказались, перестав считать прекрасным прекрасное некогда, — никто и знать не хотел, что этот обычай когда-то соблюдался и казался прекрасным, и ни у тех, кого прежде заживо хоронили, ни у тех, кто прежде их хоронил, не возникало о нем даже отдаленных мыслей. Он явно уже не выдерживал света стоявшего дня, как ни назови этот день — поздним или ранним, — и это поразительно. Многим покажется поразительным я самый этот древний обычай хоронить заживо. Но куда поразительней то, что в один прекрасный день его по общему, молчаливому, даже бездумному согласию просто-напросто перестали принимать в расчет...

Придворные сидели, уткнув головы в колени, и весь народ предавался скорби. Но потом страна поднялась от негритянской границы до устьей и от пустыни до пустыни, чтобы восславить новую, не знающую несправедливости эру, когда луна будет восходить правильно; поднялась, чтобы, ликуя, приветствовать новое наследное солнце, приятно-некрасивого мальчика, которому, если наш расчет верен, было только пятнадцать лет, отчего на некоторое время бразды правления должны были перейти не к нему, а к вдовствующей богине и матери Гора Тейе, — поднялась, наконец, для участия в великих празднествах его вступления на престол и венчания венцами Верхнего Египта и Нижнего, справлявшихся с тяжелой истовостью отчасти во Дворце Запада в Фивах, отчасти же, и притом в наиболее священной своей части, в месте венчания Пер-Монте, куда на небесном струге «Звезда обеих стран», с ослепительной свитой, под ликование берегов, поднялись по реке молодой фараон и его величественно украшенная перьями мать. Когда он вернулся оттуда, он носил следующие титулы: «Сильный боевой бык, любимец обеих богинь, величественный на царстве в Карнаке; золотой сокол, поднявший венцы в Пер-Монте; царь Верхнего и Нижнего Египта: Нефер-Хеперу-Ра-Уанра, что значит: «Прекрасен обличьем своим Он, который Единствен и для которого он единствен»; сын Солнца, Аменхотеп; божественный властитель Фив, величественный постоянством, живущий вечно, любимый Амуном-Ра, владыкой неба; первосвященник ликующего на горизонте в силу своего имени «Жар, что пылает в Атоне».

Так назывался молодой фараон после венчания на царство, и была эта совокупность имен, как согласились Иосиф и Май-Сахме, нелегко доставшимся примирительным итогом упорных и долгих переговоров между приверженным к терпимой идее Атума-Ра двором и официально-воинственной храмовой державой Амуна, которая добилась нескольких низких поклонов в сторону властителя старины, но только ценой явных уступок властителю вершины треугольника Она, так что царственный мальчик объявил себя даже Верховным Смотрителем Ра-Горахте и к тому же вплел в шлейф своих титулов поучительно-враждебное старине имя «Атон»... Его мать, вдовствующая богиня, называла своего сильного боевого быка, не имевшего с таковым ни малейшего сходства, просто «Мени». Народ же, как слышал Иосиф, нашел ему другое имя, ласковое и ласкательное. «Неб-неф-незем» — называл его народ —

«Владыка благоухания» — нельзя было с определенностью сказать почему. Возможно, потому, что было известно, как он любит цветы своего сада и сколь часто погружает свой носик в их аромат.

Итак, все эти дела и связанный с ними веселый угар Иосиф, томясь в дыре, пропустил, и трехдневное пьянство солдат Май-Сахме было единственным отзвуком этих событий в его, Иосифа, узилище. Он отсутствовал, его, так сказать, не было на земле, когда на смену одному дню пришел другой, день завтрашний стал нынешним днем, а тем самым высочайшая завтрашняя вершина высочайшей сегодняшней. Он знал только, что это случилось, и снизу, из своей ямы, следил за высшим. Он знал, что малолетняя сестра Неб-неф-незема во браке, опять-таки митаннийская принцесса, которую письменно высватал ему у царя Тушратты еще его, Неб-неф-незема, отец, скрылась на Западе, едва достигнув назначенной ей страны, — ну, что ж, к подобным исчезновениям Сильный Боевой Бык Мени успел привыкнуть. Вокруг него в смертях никогда не было недостатка. Все его братья и сестры умерли, частью еще до его рождения, частью же, в том числе один брат, уже на его памяти, и осталась у него только одна, родившаяся гораздо позже, чем он, сестрица, которая, однако, обнаруживала столь сильное тяготение к Западу, что ее почти не случалось видеть. Да и сам он, судя по его изображениям, изготовленным учениками Птаха из известняка и песчаника, вовсе не должен был жить вечно и бесконечно. Но поскольку было крайне необходимо, чтобы он, прежде чем, в свою очередь, покинет землю, продолжил солнечный род, его еще при жизни Небмара-Аменхотепа обручили вторично — с дочерью знатных египтян, по имени Нефертити, которая стала теперь его Великой Супругой и Повелительницей обеих стран и получила от него лучезарное прозвище «Нефер-нефруатон», что значит «Атон прекрасней всего прекрасного».

И этот свадебный праздник, проходивший под ликование берегов, Иосиф пропустил, сидя внизу, но он знал о нем и следил за юной высочайшей вершиной. Он слышал, например, от своего коменданта Май-Сахме, который по своему служебному положению многое узнавал, что сразу нее после того как он поднял венцы в Пер-Монте, фараон, с разрешения своей матери, отдал приказ поскорее завершить постройку карнакского дома Ра-Горахте-Атона, затеянную его ушедшим на Запад отцом, и прежде всего воздвигнуть в открытом дворе этого храма огромный, на высоком постаменте, каменный обелиск, чья солнечная идея, согласная с учением Она-на-вершине-треугольника, была явным вызовом богу Амуну. Не то чтобы Амун был вообще против соседства других богов. Ведь его карнакское великолепие находилось в окружении множества часовен и храмов: закутанного Птаха, оцепенелого Мина, сокола Монту и всяких других; причем Амун не только благосклонно терпел близ себя их культ, но, верный своей охранительной идее, даже одобрял многочисленность богов Египта, при условии, разумеется, что он, царь богов и самый богатый бог, будет над всеми над ними царем и что время от времени они будут свидетельствовать ему свое почтение, за что он даже готов был отблагодарить их при случае ответным визитом. Но тут ни о каких свидетельствах почтения не могло быть и речи, ибо в заложенном чертоге Солнца не предвиделось никаких изображений, кроме упомянутого обелиска, грозившего столь дерзко вознестись ввысь, словно все еще продолжались времена строителей пирамид, когда Амун был мал, а Ра, в светозарных своих местах, очень велик, и словно Амун не успел с тех пор вобрать в себя Ра и стать Амун-Ра, державным богом и царем богов, среди которых, как один из многих, Ра-Атум имел право или, пожалуй, для охраны устоев, даже обязан был продолжать свое существование, — но без дерзости, не называя себя новым богом Атоном и не поднимая вокруг себя философской шумихи, как то подобало только самому Амуну-Ра, а вернее сказать, не подобало и ему, поскольку думать вообще не полагалось и надлежало помириться на том, что именно Амун — государь и владыка исконного множества богов Египта.

Однако уже при жизни Небмара при дворе, отдавая дань моде, много думали и всю философовали, и похоже было, что теперь эта мода распространится. Юный фараон издал и в память сооружения обелиска велел высечь на камнях указ, свидетельствующий о мудрству-

ющем старании определить сущность солнечного божества на новый, противотрадиционный лад, и притом с той долей четкости, которая не лишена расплывчатости. «Живет, — гласило это определение, — Ра-Гор обоих светозарных мест и ликует в светозарном месте в имени своем «Шу», что и есть Атон»...

Это было темно, хотя говорило о свете и желало быть очень ясным. Это было сложно, хотя имело своей целью упрощение и единообразие. Ра-Горахте, как всякий бог Египта, обладал тройным обликом: животным, человеческим и небесным. Он изображался в виде человека с соколиной головой, на которой стоял солнечный диск. Но и как небесное светило он был тройствен в своем рожденье из ночи, в зените своей мужественности и в смерти на западе. Он жил жизнью, которая рождается, умирает и воспроизводит себя, то есть жизнью, идущей к смерти. Но у кого были уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы читать письмена камней, тот понимал, что поучительное воззвание фараона разумело жизнь бога иначе, не как приход и уход, не как становление, гибель и новое становление, не как обреченную смерти, а потому фаллическую жизнь, да и вообще не как жизнь, поскольку жизнь всегда обречена смерти, а как чистое бытие, как неизменный, не знающий ни падений, ни взлетов источник света, источник, от образа которого человек и птица со временем отпадут, так что останется лишь чистый, лучащийся жизнью солнечный диск, чье имя Атон.

Это понимали или не понимали, но, во всяком случае, горячо обсуждали по городам и весям и те, у кого были какие-то предпосылки, чтобы об этом высказываться, и те, кто за полным отсутствием таких предпосылок мог только болтать. Болтали об этом повсюду, вплоть до ямы Иосифа; даже солдаты Май-Сахме болтали об этом и узники в каменоломне, как только им удавалось перевести дух, и всем было ясно, что это неприятно Амуну-Ра, как неприятен ему сооружаемый под носом у него обелиск, как неприятны дальнейшие действия фараона, связанные с этим философским определением имени, которые и в самом деле зашли весьма далеко. Так, например, округ, где выростал новый дом Солнца, должен был именоваться «Блеск великого Атона»; ходил даже слух, что сама Узет, сами Фивы будут именоваться отныне «Город блеска Атона», и толкам об этом конца не было. Даже умирающие в больничном баране Май-Сахме собирали последние силы, чтобы завести об этом речь, — не, говоря уж о тех, кто страдал только от укусов насекомых или от рези в глазах, так что комендантский метод покоя оказался в серьезной опасности.

Владыка благоухания, казалось, не мог угомониться и вершил свое дело, то есть дело своего поучительно любимого, бога, строительство храма, настойчиво в поспешно, приведя в движение всех каменотесов от слоновьего острова Джебу до самой Дельты. Однако этого всеохватывающего усердия было недостаточно, чтобы построить Атонов дом так, как то подобало Вечной Обители. Фараон настолько торопился и был настолько нетерпелив, что отказался от применения тех требовавших тщательной отделки и к тому же неудободоставляемых каменных глыб, что шли на гробницы богов, и приказал возводить храм неизменного света из небольших камней, которые можно было передавать друг другу бросками, отчего потом понадобилось большое количество известкового раствора, чтобы сгладить стены для расписных барельефов, каковыми те должны были украситься. Амун, как повсюду говорили, над этим посмеивался.

Таким образом, до отсутствовавшего сына Иакова эхо описанных событий докатывалось уже потому, что и на каменоломню Май-Сахме легло бремя спешного фараонова строительства и ему, Иосифу, приходилось проводить там много времени, держа в руках посох надсмотрщика и следя за тем, чтобы кирка и клинья ни мгновения не лежали без дела, дабы комендант не получал от начальства неприятно иносказательных писем. А в остальном, помогая спокойному своему начальнику, Иосиф по-прежнему вел сносную жизнь каторжанина, и жизнь эта была однотонна, как речь начальника, но насыщена ожиданием. Ибо многого можно было ждать, и близкого, и далекого — сначала близкого. Время шло для него так, как оно и вообще-то идет, знакомым нам образом, не так чтобы быстро, но и не так чтобы медленно; ведь

оно идет медленно, особенно когда живешь ожиданием, а посмотришь назад — и кажется, что оно прошло очень быстро. Он жил там, покуда, не обратив, впрочем, на это особого внимания, не достиг тридцатилетнего возраста. А потом настал день крылатого, запыхавшегося гонца, день, который, пожалуй, научил бы Май-Сахме пугаться, если бы комендант не подозревал и раньше, что с Иосифом может случиться что-то особое.

СПЕШНЫЙ ГОНЕЦ

Пришло судно с лотосом на высоком носу и с пурпурным парусом, — легкое, оно прилетело, подгоняемое с каждого борта пятью гребцами, отмеченное знаком царского дома, скоростная ладья из собственной фараоновой флотилии. Она с изяществом причалила к пристани Цави-Ра, и с нее спрыгнул на берег человек — молодой, такой же легкий и стройный, как принесшее его судно, с худым лицом и длинными, жилистыми ногами.

Грудь его так и ходила под полотном, он запыхался или, вернее, казался запыхавшимся, то есть делал вид, что тяжело дышит. Ведь настоящей причины тяжело дышать у него не было, так как он прибыл на судне, а не прибежал пешком; тяжелое его дыхание было притворным и показным, он тяжело дышал по долгу службы. Правда, потом он побежал или полетел через ворота и дворы Цави-Ра с такой скоростью, безостановочно прокладывая себе путь короткими, негромкими возгласами, сразу же приводившими часовых в бездеятельное замешательство, и требуя во что бы то ни стало самого начальника, — потом, повторяем, он побежал или полетел к указанной ему цитадели настолько стремительно, что, несмотря на его стройность, поддельная затрудненность дыхания вполне могла смениться у него подлинной. Ибо крылышки из листового золота, прикрепленные сзади к его сандалиям и к его шапочке, разумеется, не помогали ему передвигаться, а были лишь внешним знаком его торопливости.

Иосиф, занимавшийся в писарской, заметил прибытие судна, спешку и беготню, но не придал им значения, даже когда ему на все это указали. Он продолжал просматривать ведомости с начальником канцелярии, покуда, тоже уже запыхавшись, не прибежал кто-то из солдат и не передал ему приказа бросить все дела, даже самые важные, и немедленно явиться к коменданту.

— Не премину, — сказал он, но прежде все-таки вместе с канцеляристом просмотрел до конца ведомость, которую держал в руках, а потом уже, конечно, не шажком, но и не стремглав — предчувствуя, наверно, что вскоре всякое быстрое и свободное движение будет ему уже не к лицу, — направился к комендантской башне.

Кончик носа Май-Сахме был беловат, когда Иосиф вошел в аптечное помещенье, его густые брови были вскинуты выше обычного, а округлые губы разомкнуты.

— Вот и ты, — сказал он Иосифу притихшим голосом. — Тебе следовало бы уже быть здесь. Сейчас тебе объяснят, в чем дело!

И он указал рукой на крылоносца, который стоял рядом с ним — собственно даже, не стоял, то есть не стоял спокойно, а все время шевелил руками, головой, плечами и ногами, словно бежал на месте, чтобы отдышаться или, пожалуй, верней, запыхаться.

— Твое имя Озарсиф? — спросил он тихо и торопливо, направив на Иосифа свои быстрые, близко посаженные глаза. — Ты тот помощник коменданта, который занят надзором и кому был доверен уход за некими жителями здешнего домика с коршуном два года назад?

— Да, это я, — сказал Иосиф.

— Тогда ты без всяких сборов отправишься со мной, — отвечал тот, еще быстрее двигая ногами и руками. — Я Первый Скороход фараона, я его Спешный Гонец и прибыл на его быстрогоходной ладье. Ты обязан немедленно взойти на нее вместе со мной, чтобы я доставил тебя ко двору, ибо ты должен предстать перед фараоном!

— Я? — спросил Иосиф. — Как это может быть? Я для этого слишком ничтожен.

— Ничтожен или нет, — но такова прекрасная воля фараона, таков его приказ. Не переводя дыхания доставил я этот приказ твоему начальнику, и не переводя дыхания ты должен явиться на зов.

— Я брошен в эту темницу, — возразил Иосиф, — правда, по недоразумению и, так сказать, украден, отчего и нахожусь здесь внизу. Но я здесь каторжанин, и хотя моих оков не видно, они на мне. Как мне выйти за эти ворота и стены к твоей скоростной ладье?

— Все это ровным счетом ничего не значит, — зачастил скороход, — по сравнению с прекрасным приказом. Он все это мгновенно уничтожает и одним махом разрывает любые оковы. Нет ничего, что устояло бы перед чудесной фараоновой волей, но будь спокоен, это более чем невероятно, что ты устоишь перед ней, и более чем вероятно, что тебя вскоре вернут сюда, на твою каторгу. Не думаю, чтобы ты оказался умнее величайших ученых и чародеев из фараонова книгохранилища и посрамил ясновидцев, пророков и толкователей из дома Ра-Го-рахте, которые изобрели солнечный год.

— Это зависит от бога, будет ли он со мной или нет, — ответил Иосиф. — А что, фараону приснился сон?

— Твое дело не спрашивать, а отвечать, — сказал гонец, — и горе тебе, если ты не сумеешь ответить. Тогда ты, по-видимому, упадешь еще ниже, чем просто в это узилище.

— Почему меня подвергают такому испытанию, — спросил Иосиф, — и откуда узнал обо мне фараон, чтобы затребовать меня своим прекрасным приказом?

— Тебя назвали, упомянули и указали в этом затруднительном положении, — ответил тот. — Подробности ты сможешь узнать только в дороге. Теперь ты должен не переводя дыхания следовать за мной, чтобы незамедлительно предстать перед фараоном.

— Уазе далека, — сказал Иосиф, — и далек отсюда дворец Мерима'т. Как ни быстроходна твоя скоростная ладья, скороход, фараону придется подождать, прежде чем воля его исполнится и прежде чем я предстану перед ним для испытанья, и возможно, что ко времени моего прибытия он уже забудет свой прекрасный приказ и перестанет считать его таким прекрасным.

— Фараон близко, — возразил гонец. — Прекрасному солнцу мира угодно сиять в Оне-на-вершине-треугольника; туда оно направилось на струге «Звезда обеих стран». Через несколько часов моя скоростная ладья прилетит и примчится к цели. Вперед, и ни слова больше.

— Но мне нужно прежде постричься и надеть лучшее платье, коль скоро я должен стоять и устоять перед фараоном, — сказал Иосиф. В остроге он носил свои собственные волосы, а одежда его была из самого простого холста.

Но гонец ответил:

— Это можно сделать на судне, покуда мы будем лететь и мчаться. Обо всем позаботились. Если ты думаешь, что из-за одного спешного дела позволительно отложить другое и что их не следует укладывать вместе во времени, чтобы таковое сберечь, ты просто не знаешь, что значит не переводя дыхания исполнять прекрасный приказ фараона.

Тогда призванный обратился с прощальными словами к начальнику и назвал его при этом «мой друг».

— Ты видишь, мой друг, — сказал он, — как обстоит дело и что я отбываю по истечении трех лет. Меня поспешно выпускают из ямы и вытаскивают из колодца по старому образцу. Этот гонец полагает, что я снова упаду к тебе, но я этого не думаю, а раз я этого не думаю, то этого и не будет. А потому прощай и прими мою благодарность за доброту и спокойствие, которыми ты скрасил этот застой моей жизни, эту покающую беспросветность, и еще за то, что я был твоим братом по ожиданью. Ибо ты ждал третьего появления Нехбет, а я ожидал своей судьбы. Прощай, однако же, ненадолго! Кто-то вспомнил меня, после того как надолго забыл, и вспомнил, когда его ткнули носом в память обо мне. А я буду, не забывая, помнить тебя, и если бог моего отца со мной, в чем я не сомневаюсь, чтобы его не обидеть, я вытащу тебя из

этой дыры и скуки. Есть три прекраемых образа, которые живут в мыслях твоего каторжника; они называются «отрешение», «возвышение» и «переселение и продолжение рода». Когда бог возвысит меня, — а я опасался бы обидеть его, если бы не ждал этого с уверенностью, — обещаю помочь тебе последовать за мной, в более живительные условия, в которых твое спокойствие не выродится в сонливость и к тому же улучшатся виды на третье появление Нехбет. Хочешь, это будет договор между тобою и мной?

— Спасибо тебе, что бы ни случилось! — сказал Май-Сахме и обнял Иосифа, чего до сих пор ни разу не позволял себе и насчет чего у него было предчувствие, что и позднее, по противоположным причинам, у него тоже не будет такого права. — На мгновение, — сказал он, — мне показалось, будто я испугался, когда прибежал этот гонец. Но на самом деле я не испугался, ибо как может лишиться нас самообладания то, к чему мы готовы? Спокойствие в том лишь и состоит, что мы ко всему готовы, и когда это приходит, не пугаемся. Другое дело — растроганность, — для нее остается место даже когда самообладание не поколеблено, и я очень тронут тем, что ты обещаешь вспомнить меня, придя на свое царство. Да пребудет с тобой мудрость владыки Хмуну! Прощай!

Едва комендант произнес последнее слово, гонец, переступавший все время с ноги на ногу, схватил Иосифа за руку, и, нарочито тяжело дыша, побежал с ним из башни через закоулки и дворы Цави-Ра вниз к ладье, помчавшейся, как только они в нее прыгнули, с огромной скоростью, и в этой быстроте, под крышей маленькой, в виде павильона, каюты на кормовой палубе, Иосиф был не только пострижен, припомажен и переодет, но вдобавок еще услышал от крылатого о том, что произошло в Оне, городе солнца, и почему послали за ним, Иосифом: он узнал, что фараону действительно приснился весьма важный сон, но призванные гадатели не оказали царю никакой помощи, чем вызвали у него смятение и навлекли на себя немилость, так что в конце концов Нефер-Эм-Уазе, Владыка Питейного Поставца, представ перед фараоном, упомянул о нем, Иосифе, в том смысле, что уж он-то, может быть, и найдет выход из этого затруднительного положения и что попытка не пытка. Что именно приснилось фараону, гонец мог сообщить лишь в той явно искаженной и очень сумбурной форме, в какой это и дошло до слуха челяди из, зала для совещаний, где потерпели поражение ученые толкователи: один раз величеству этого бога приснилось будто бы, что семь коров сожрали семь колосьев, а другой раз — что семь коров были, наоборот, сожраны семью колосьями, — короче говоря, такие вещи, которые и во сне-то никому не привидятся, но это все же послужило Иосифу каким-то указанием, и его мысли стали играть образами пищи, голода и предусмотрительности.

О СВЕТЕ И ЧЕРНОТЕ

А на самом деле произошло и заставило призвать Иосифа следующее.

Годом раньше — к концу второго года, что Иосиф провел в темнице, — Аменхотеп, четвертый царственный носитель этого имени, достиг шестнадцатилетнего возраста, а тем самым и совершеннолетия, так что регентство его матери Тейе истекло и управление странами само собой перешло к преемнику Великолепного Небмара. Пришел конец положению, которое в глазах народа и всех заинтересованных лиц было отмечено знаком раннего, утреннего солнца, юного, вышедшего из лона ночи дня, когда светозарный сын еще больше сын, чем мужчина, когда он еще послушен матери и прячется под ее крылом, прежде чем подняться к зенитной полноте своей мужественности. Тут мать Исет отступает назад и отказывается от владычества, хотя ей и остается вся честь родившей и предшествовавшей, вся честь источника жизни и власти, а мужчина навсегда остается ей сыном. Она передает ему власть; но он властвует ради нее, как она властвовала ради него.

Тейе, мать-богиня, что правила и берегла жизнь стран уже в те годы, когда на ее супруга напала дряхлость Ра, сняла с себя плетеную бороду Усира, которую она носила, как гру-

дастый фараон Хатшепсут, и передала ее едва возмужавшему сыну Солнца, на чьем лице эта борода производила почти такое же странное впечатление, когда он привязывал ее в особо торжественных случаях, — одновременно, кстати сказать, обязывавших его появляться хвостатым, то есть прикреплять к своему набедреннику сзади шакалий хвост, эту животную принадлежность, по каким-то забытым, но таинственно-священным и древним причинам входившую в исконное облачение царя, принадлежность, о которой двор знал, что она ненавистна юному фараону, поскольку ношение первобытного хвоста неблагоприятно сказывалось на его желудке и вызывало у его величества приступы тошноты, заставлявшие его бледнеть и даже порой зеленеть, — но это уже имело прямое отношение к припадкам, которым он был и без того, совершенно независимо от хвоста, по самой природе своей, подвержен...

Никак нельзя было ожидать, чтобы переход царской власти от матери к сыну не сопровождался сомнениями в его своевременности, да и в дальнейшей необходимости лишать юное солнце защиты родительского крыла. Были эти сомненья у самой матери бога, были они у высших ее советчиков, и всячески старался раздуть их один уже знакомый нам важный сановник — суровый Бекнехонс. Великий Пророк и Верховный Жрец бога Амуна. Да не подумают, что Бекнехонс был слугой царского венца и, по примеру многих своих предшественников, занимал одновременно с должностью первосвященника должность визиря, главы управления странами. Уже царь Небмара, Аменхотеп Третий, почел за благо отделить духовную власть от светской и назначить визирями Юга и Севера мирян. Но как уста державного бога, Бекнехонс имел право на ухо регентши, и она склоняла таковое к нему с предписанной вежливостью, хоть и отлично знала, что слышит голос политического соперничества. Она принимала деятельное участие в упомянутом решении своего супруга разделить то, что было так грозно объединено; ей казалось необходимым ограничить власть несговорчивого карнакского синклита и помешать тому давно уже грозившему засилью, борьба с которым издревле была наследственной царской обязанностью. Что Тутмос, дед Мени, увидел у ног сфинкса вещий сон и освободил сфинкса от песка, назвав своим отцом, которому он обязан престолом, владыку этого древнего исполина, Гармахиса-Хепере-Атума-Ра, это, как все понимали и как научился понимать Иосиф, было не чем иным, как иероглифической аллегорией этой борьбы, религиозным обоснованием политического самоутверждения. И всем было ясно, что становление нового светозарного бога Атона, которое началось еще при дворе сына Тутмоса и вызывало такой сочувственный интерес у его внука, имело целью лишить Амуна-Ра его насильственного союза с солнцем, обеспечивавшего Амуну общепринятость, и низвести этого могучего бога до уровня местного божества, градохранителя Уазе, каковым тот и был до своего политического шахматного хода.

Считать, что религия и политика — вещи совершенно разные, ничего общего между собой не имеющие и иметь не смеющие, что примесь политики обесценивает и уличает в фальши религию, и наоборот, — это значит не видеть единства мира. На самом деле они меняются платьем, подобно тому как попеременно носят свое покрывало Иштар и Таммуз, и когда одно говорит языком другого, это глаголет целостность мира. Глаголет она и на других языках, например, через произведения Птаха, через украшающие мир творения вкуса и мастерства, творения, которые тоже глупо считать чем-то особым, выпадающим из единства мира, не связанным с религией или политикой. Иосиф прекрасно знал, что юный фараон — даже по собственному почину и без поучающего вмешательства матери — относился к изобразительному украшателю мира с ревностным и даже рьяным вниманием — в полном соответствии с теми усилиями, которых ему стоило создание правдивого и чистого мысленного образа бога Атона, — и что он был сторонником поразительной новизны в этой области, ибо отказ от косности отвечал, по его мнению, желаниям и духу возлюбленного его божества. Это явно было его, фараона, любимым делом, которым он занимался ради него самого, исходя из своих понятий о правдивом и о веселом в мире изображениях.

Но разве поэтому оно не имело никакого отношения к политике и религии? Сколько люди себя помнили, или, как любили говорить дети Кеме, миллионы лет, мир изображений

подчинялся священно-обязательным и, если угодно, довольно-таки окостенелым законам, защитником и блюстителем которых был Амун-Ра, или, от его имени, его несговорчивое жречество. Ослабить, а тем более вовсе порвать эти оковы образов ради новой правды и нового веселья, открытых фараону богом Атоном, значило нанести сокрушительный удар Амуну-Ра, чья политика и религия были неразрывно связаны с определенными изобразительными канонами. В либеральных суждениях фараона, поучавшего, как надо изображать, целостность мира говорила языком прекрасного вкуса, одним из языков, на которых она выражает себя. Ибо с целостностью мира, с его единством человек имеет дело всегда и на каждом шагу, знает он о том или нет.

Что же касается малолетнего царя Аменхотепа, который мог о том знать, то для него целостный мир был явно слишком велик, мальчик был слишком слаб для этого бремени. Он часто бывал бледен и зелен даже тогда, когда ему хвоста не навязывали, — не навязывали ни в прямом, ни в переносном смысле, и голова болела у него так, что иной раз он не мог открыть глаза, а то и удержаться от рвоты. Тогда ему приходилось целыми днями лежать в темноте — это ему-то, чьей любовью были свет и оканчивающиеся животворно-ласковыми руками лучи, лучи его отца Атона, золото, соединяющее небо с землей. Разумеется, это вызывало тревогу, если подобные приступы то и дело мешали правящему царю не только представлять, как он был обязан, например, участвуя в церемониях жертвоприношений и освящений, но даже принимать вельмож и пришедших с докладом советников. Увы, более того: никогда нельзя было сказать наперед, что произойдет с его величеством при исполнении этих обязанностей, на виду у его вельмож и советников или даже у столпившегося народа. Не раз при этом случалось, что фараон, сжимая большие пальцы рук четырьмя другими и закатывая под полузакрытыми веками глаза, впадал в какое-то странное забытие, которое длилось, правда, недолго, но все же прерывало начатую церемонию или совещание самым затруднительным образом. Сам он объявлял эти приступы внезапными приходами своего отца, бога, и не столько боялся, сколько ждал их, ждал довольно-таки нетерпеливо и жадно! Ибо от них он возвращался к действительности, обогащенный поучениями и откровениями из первых рук, прояснявшими истинную и прекрасную природу Атона.

Нет, следовательно, ничего удивительного или неправдоподобного в возникшем было намерении оставить достигшее совершеннолетия юное солнце в прежнем, утреннем состоянии осененности материнским ночным крылом. Намеренье это, однако, так и не созрело, от него, несмотря на возражения Амуна, в конце концов отказались. Против него были такие же веские доводы, как и в его пользу. Не следовало признаваться миру, что фараон болен или настолько немощен, что не может править; это было не в интересах наследственно царствующего солнечного рода и могло вызвать опасные недоразумения внутри державы и в обложенных данью областях. Но кроме того, хворь фараона носила характер, не позволявший видеть в ней уважительную причину для дальнейшей опеки над ним, — характер священный, скорее способствовавший, чем вредивший его популярности и, значит, куда выгодней было не объявлять этот недуг причиной неправомерности, а использовать в борьбе против Амуна, чье тайное стремление соединить двойной венец со своим головным убором из перьев и основать собственную династию только и ждало удобного случая.

Потому-то мать-ночь и предоставила сыну всю полноту могущества полуденной его мужественности. При очень пристальном взгляде, однако, оказывается, что сам он, Аменхотеп, принял это событие с двойственным чувством — что он испытывал тогда не только гордость и радость, но также и некоторую подавленность и, в общем, пожалуй, предпочел бы по-прежнему пребывать под крылом. По одной частной причине он ждал своего совершеннолетия даже с ужасом: дело в том, что по обычаю в начале своего правления фараон, как верховный военачальник, лично предпринимал грабительский поход в азиатские или негритянские земли, по успешном завершении которого его торжественно встречали у границы, после чего, вернувшись в столицу, он не только приносил в жертву сильному Амуну-Ра, бросившему

к его ногам князей Захи и Куца, добрую часть своей военной добычи, но и собственноручно закалывал ему полдюжины пленников — по возможности знатных, а на худой конец и нарочито повышенных в званье.

На выполнение всей этой процедуры «владыка благоухания» чувствовал себя совершенно неспособным и сразу же менялся в лице, бледнел и зеленел, как только о ней заходила речь и стоило ему лишь подумать о ней. Он испытывал отвращение к войне, которая была, может быть, делом Амуна, но никак не «моего отца Атона», недвусмысленно представшего своему сыну в одном из тех священно-тревожных приступов забвения «Владыкою мирной жизни». Мени не мог ни мчаться на колеснице, ни грабить, ни одаривать Амуна добычей, ни закалывать ему пленников княжеского или якобы княжеского рода. Он не мог и не хотел делать этого даже символически, даже только для вида, и запрещал изображать себя на стенах храмов и проезжих воротах стреляющим с колесницы в испуганных врагов или схватившим их одной рукой за вихры, а другой заносящим над ними увесистую дубинку. Все это было ему, то есть его богу, а потому и ему, нестерпимо и чуждо. Двор и государство не сомневались, что кровопролитный дебют ни в коем случае не состоится и что в конце концов от него придется отделаться под благовидным предлогом. Можно было объявить, что окрестные страны земного круга и так уже настолько покорно лежат у ног фараона и выплачивают ему дань настолько исправно и в таком изобилии, что ни в каком военном походе нет надобности и свой приход к власти фараон решил прославить именно отказом от подобных действий. Так оно и случилось.

Но и после этой поблажки вступление в полуденную полосу по-прежнему вызывало у Мени смешанные чувства. Он понимал, что как самодержец должен соприкоснуться со всей полнотой единого мира, со всеми его языками и говорами, тогда как до сих пор ему, Мени, дозволено было видеть мир только под одним определенным, и притом облюбованным углом зрения — религиозным. Не занятый земными делами, он мог среди цветов и диковинных деревьев своего сада мечтать о своем преисполненном любви боге, создавая его мыслью и размышляя о том, как лучше определить именем и воплотить в изображении его сущность. Это было весьма ответственное и трудоемкое занятие, но он любил его и готов был терпеть головную боль, которую оно у него вызывало. А теперь он должен был заниматься и занимать свои мысли тем, что вызывало у него головную боль отнюдь не желанную. Ежеутренне, когда его голова и тело пребывали еще в полусне, к нему являлся визирь Юга, рослый человек с бородкой и двумя золотыми нашейными кольцами, Рамос по имени, и после вступительного, раз навсегда установленного, похожего на литанию витиеватого приветствия в течение многих часов, во всеоружии великолепно изготовленных свитков, докучал ему текущими административными делами — судебными приговорами, налоговыми ведомостями, сооружением каналов, закладкой новых зданий, вопросами снабжения строевым лесом, вопросами устройства каменоломен и рудников в пустыне и тому подобным, сообщая фараону, какова его, фараона, прекрасная воля во всех этих делах, и затем восхищаясь его прекрасной волей с воздетыми вверх руками. То была прекрасная воля фараона — проехать по такой-то и такой-то дороге в пустыне, чтобы указать удобные для колодцев и стоянок места, заранее уже определенные другими, более сведущими в этих вопросах людьми. То была его восхитительно прекрасная воля — призвать к ответу эль-кабского городского голову и спросить у него, почему он так неисправно и даже не сполна поставляет причитающиеся с него золото, серебро, крупный рогатый скот и холсты фиванской казне. То была также высочайшая его воля — не далее как послезавтра отправиться в горемычную Нубию, чтобы там торжественно заложить или открыть храм, посвященный чаще всего Амуну-Ра и, значит, на его взгляд, совершенно не стоивший той усталости и головной боли, которую приносила ему эта утомительная поездка.

Вообще обязательная храмовая служба и громоздкий церемониал державного бога отнимали большую часть времени и сил фараона. Внешне на то была его прекрасная воля, но внутренне он никак не мог желать того, что мешало ему думать об Атоне и вдобавок навязывало

вало ему, Мени, общество сурового наместника Амуна — Бекнехонса, которого он терпеть не мог. Тщетно пытался он назвать свою столицу «Город блеска Атона»; к народу это название не пробивалось, жречество не пропускало его, и Узет была и оставалась Новет-Амуном, городом великого Овна, который рукою царственных своих сыновей покорил чужие страны и сделал богатой землю Египетскую. Уже тогда фараон втайне подумывал о том, чтобы перенести свою резиденцию из Фив в другое место, где ему бы не кололо глаза изображение Амуна, светившееся в Фивах на всех стенах, воротах, колоннах и обелисках. Он, однако, еще не думал об основании нового, собственного, целиком посвященного Атону города, а только имел в виду переселить двор в Он-на-вершине-треугольника, где чувствовал себя гораздо лучше. Там, неподалеку от храма Солнца, у него был приятный дворец, не такой блестящий, как Мерима'т на западе Фив, но предоставлявший все удобства, в каких нуждалась его изнеженность; и придворным летописцам часто случалось отмечать отбытие Доброго Бога на судне или в коляске в Он. Там, правда, сидел визирь Севера, в чьих руках находилась исполнительная и судебная власть над всеми округами между Сиутом и устьями и который тоже спешил вызвать у него головную боль. Но уж зато от кажденья Амуну, да еще под надзором Бекнехонса, Мени был здесь избавлен и мог в свое удовольствие беседовать с учеными плешиивцами из дома Атума-Ра-Горахте о природе этого великолепного бога, своего отца, и о его внутренней жизни, каковая, несмотря на огромный его возраст, была еще настолько кипуча и деятельна, что оказалась способна прекраснейше измениться, очиститься и преобразиться, и что, если можно так выразиться, из старого бога благодаря работе человеческой мысли медленно, но все совершеннее, выступал новый, несказанно прекрасный бог, чудесный, светящийся всему миру Атон.

Хорошо бы целиком отдаться ему и быть только его сыном, родовспомогателем, провозвестником и последователем, а не быть, кроме того, еще и царем Египта и преемником тех, кто так далеко продвинул пограничные камни Кеме и сделал ее мировой державой. Перед ними и перед делами их ты был в долгу; ты должен был держать равнение на них и на их дела, и можно было подозревать, что Амунова наместника Бекнехонса, который это неустанно подчеркивал, ты потому и терпеть не мог, что тут он был прав. Иначе говоря, юный фараон и сам это подозревал; это было подозрение тайной его совести. Он подозревал, что основание мировой державы и помощь при рождении мирового бога не только разные вещи, но что второе, возможно даже, находится в каком-то противоречии с царской обязанностью хранить и охранять полученное наследие. Также и головная боль, закрывавшая ему глаза, когда визири Юга и Севера донимали его государственными делами, была связана с подозрением, или, собственно, даже не с настоящим подозрением, а с тенью подозрения, что она, то есть головная боль, коренится не столько в усталости и скуке, сколько в смутном, но тревожном понимании противоречия между уходом в любимую атоновскую теологию и обязанностями царя земли Египетской. Другими словами, то была головная боль от беспокойной совести, боль к тому же именно так и понимаемая, что отнюдь не успокаивало, а, наоборот, обостряло эту боль и усугубляло тоску по утраченному состоянию утренней осененности материнским крылом ночи.

Несомненно, не только ему снилось тогда лучше, но и стране. Ибо земной стране всегда живется лучше, и она все равно расцветает пышнее при матери, если даже для небесных дел больше толку от мыслей сына. Таково было тайное убеждение Аменхотепа, внушенное ему, наверно, самим духом земли Египетской, самой верой Черной Земли в Изиду. В мыслях своих он не отождествлял вещественного, земного, естественного благополучия мира с его духовно-религиозным благополучием, смутно опасаясь, что они не только не совпадают одно с другим, но и в корне противоречат друг другу, отчего так трудно, так до головной боли тяжело, неся ответственность за то и за другое сразу, быть одновременно царем и жрецом. Вещественно-естественное благополучье и процветание было делом царя, хотя вообще-то лучше бы оно было делом и заботой царицы, чтобы жрец-сын мог на свободе, не отвечая за вещественное

благополучье, радеть о духовном и предаваться своим солнечным мыслям. Царская ответственность за материальный мир угнетала юного фараона. Его царство образно рисовалось ему черной полосой египетской пашни между двумя пустынями — черной и плодородной от животворной влаги. А он предавался мечтам о чистом свете, о золотом, солнечном юноше высоты — и совесть его была неспокойна. Неукоснительно являлся к нему визирь Юга, которому докладывали обо всем, даже о раннем восходе звезды Пса, показывающем, что начала прибывать вода, — неукоснительно осведомлял его этот Рамос о состоянии Нила, о видах на разлив, на оплодотворенье, на урожай, и Мени, хотя он внимательно, даже озабоченно слушал визиря, казалось, что тому следовало бы с этими делами обращаться, как прежде, к матери, к Изиде-царице, которой они были ближе и под чьим присмотром они лучше устранивались. Однако и для него, так же как для страны, было важнее всего, чтобы черные дела плодородия находились в благословенном порядке и чтобы тут не было никаких неполадок и срывов; если бы что-нибудь такое случилось, вина была бы на нем. Недаром держал народ царя, который был сыном бога, а значит, надо полагать, от имени бога обеспечивал бесперебойность священно-насущных процессов, никому, кроме него, не подвластных. Просчеты и бедствия в области черноты непременно заставили бы народ разочароваться в том, кто самим своим существованием должен был бы предотвратить их, и поколебали бы его авторитет, который был нужен ему, чтобы добиться победы прекрасного ученья, ученья об Атоне и о его небесно-светозарной природе.

Получалось каверзное положение. Он был чужд дольней черноте и любил только горный свет. Но если бы в кормящей черноте что-то разладилось, погибла бы его репутация учителя света. Вот почему чувства юного фараона были такими двойственными, когда мать-ночь сняла с него свое крыло и доверила ему царство.

СНЫ ФАРАОНА

Итак, фараон снова подался в ученый Он-на-вершине, уступая непреодолимой потребности выйти из сферы Амуна и побеседовать с плешивцами храма Солнца в Гармахи-се-Хепере-Атуме-Ра, об Атоне. Согнувшись и ласково вытянув вперед губы, придворные летописцы записали, как сообщил Его величество царь об этом прекрасном решении, после чего сел в большую коляску из электра, сел вместе с Нефертити, по прозвищу Нефернефру-атон, царицей стран, чье тело было плодоносно и которая обнимала его величество одной рукой, — и как он, светясь, помчался в прекрасный свой путь, а за ним, в других колясках, мать бога Тейе, сестра царицы Неземмут, собственная его сестра Бакетатон и множество придворных особ обоего пола с опахалами из страусовых перьев за спинами. Не пустовал на отдельных участках пути и небесный струг «Звезда обеих стран», и летописцы не преминули отметить, что под его балдахином фараон скушал жареного голубя и протянул косточку царице, которая и отдала ей должное, а также вкладывал, в рот царице сладости, предварительно окуная таковые в вино.

В Оне Аменхотеп остановился в своем дворце близ храма и первую ночь, устав с дороги, проспал там без сновидений. Следующий день он начал с жертвоприношения Ра-Горахте, которого одарил хлебом и пивом, вином, птицами и ладаном, затем выслушал многословного визиря Севера, а потом, несмотря на разыгравшуюся из-за его многословия головную боль, посвятил весь остаток дня вожделенным разговорам со слугами бога. Главным предметом этих совещаний, сильно занимавшим как раз тогда Аменхотепа, была птица бенну, называемая также «Отпрыск огня», так как считалось, что у нее нет матери и что она приходится себе же, собственно, и отцом, поскольку смерть и возникновение для нее равнозначны, и сжигая себя в гнезде из мирры, она встает из пепла молодой. Это происходит, утверждали некоторые учителя, раз в пятьсот лет, и происходит в онском храме Солнца, куда эта птица, похожая

будто бы и на орла и на цаплю, но с пурпурно-золотым оперением, прилетает в таких случаях с Востока, из Аравии или даже из Индии. Другие считали, что она приносит туда сделанное из мирры яйцо самого большого размера, какое она только может поднять, куда прячет умершего своего отца, то есть, собственно, себя самое, и кладет это яйцо на алтарь Солнца. Обе точки зрения вполне могли сосуществовать — многое сосуществует на свете, и разные вещи могут быть одинаково справедливы, как разные формы выражения одной и той же правды. Но фараон хотел, во-первых, узнать или, по крайней мере, исследовать, какая уже прошла часть пятисотлетия, протекающего между рожденьями и яйценосными появлениями потомка огня, то есть сколь далеки последний прилет бенну, с одной стороны, и ближайшее прибытие этой птицы, с другой, — короче говоря, какой стоит на дворе месяц фениксовского года. Мнение жрецов преимущественно склонялось к тому, что прошло около половины этого промежутка; ведь если бы начало его было близко, то сохранилась бы память о последнем появлении бенну, а ее-то как раз не сохранилось. Если бы, наоборот, приближались конец и новое начало этого периода, то следовало бы принять в расчет скорое или даже непосредственно предстоящее возвращение времясчислительной птицы. Однако никто не рассчитывает повидать ее на своем веку, а потому, считали жрецы, напрашивается такой срединный вывод. Некоторые шли еще дальше и предполагали, что эта срединность постоянна и что тайна феникса в том-то и заключается, что расстояния от его последнего возвращения, с одной стороны, и от следующего, с другой, всегда одинаковы и всегда друг другу равны. Но не эта тайна была для фараона главным, насущным вопросом. Насущным вопросом, выяснение которого занимало его главным образом и который он полдня выяснял с зеркальноголовыми жрецами, было положение, что мирровое яйцо огненной птицы, куда та прячет тело своего отца, не становится от этого тяжелее. Ибо она и так делает яйцо самого большого размера и веса, какое только может поднять, а если она способна поднять его и после того, как туда спрятан отец, то ясно, что тело отца не прибавило яйцу веса.

На взгляд юного фараона, это был замечательный, поразительный факт, факт мировой важности, достойный самого кропотливого выяснения. Если к одному телу прибавляли другое и оно не делалось тяжелее, это значило, что существуют невещественные тела или, лучше сказать, бесплотные реальности, нематериальные, как солнечный свет, или, еще лучше сказать, существует духовность; и духовность эта была эфирно воплощена в бенну-отце, — ибо, вобрав его в себя, мирровое яйцо самым замечательным и самым многозначительным образом меняло свою природу яйца. Яйцо вообще было предметом исключительно женской сферы, у птиц клали яйца только самки, и не было более яркого выражения материнско-женского начала, чем большое яйцо, из которого некогда вышел мир. А бенну, солнечная птица, не имея матери и доводясь сама себе отцом, создавала свое яйцо сама, яйцо антимира, мужское, отцовское яйцо, и клала его как выражение отцовства, духа и света на алавастровый стол солнечного божества.

Фараон готов был без конца разбирать это обстоятельство и его значение для постигаемой мыслью природы Атона с хранителями солнечного календаря из храма Ра. Он предавался этому занятию до поздней ночи, до самозабвения, он упивался золотой нематериальностью отцовского духа, и когда жрецы, выбившись из сил, уже опустили свои блестящие головы, он все еще никак не мог насытиться разговором и все не отпускал их, словно боялся остаться один. В конце концов он все-таки отпустил шатавшихся и клевавших носом жрецов и ушел в свою спальню, где при свете лампы его давно уже дожидался особый раб для раздевания и одевания, пожилой человек, который был приставлен еще к мальчику и называл его просто «Мени», не забывая, однако, о прочих формальных изъявлениях благоговения. Тот быстро и ласково помог ему приготовиться ко сну, пал ниц и удалился, чтобы спать за порогом. А фараон, улегшись на подушки своей кровати, которая стояла на помосте посреди комнаты и была настоящим произведением искусства, так как спинку ее украшали тончайшие инкрустации из слоновой кости, изображавшие шакалов, козерогов и божка Беса, — фараон сразу же уснул

сном усталого человека — но ненадолго. Ибо после нескольких часов глубокого покоя он стал видеть сны, такие странные, жуткие, нелепые в своих живых подробностях сны, какие снились ему только в детстве, когда у него болело горло и его лихорадило. Но сны его были отнюдь не о невесомом отце бенну и о нематериальном луче солнца, а о вещах совершенно противоположного рода.

Во сне он стоял на берегу Хапи-кормильца, на пустынном месте, среди болота и кочек. На нем был красный венец Нижнего Египта и привязная борода, а с набедренника у него свисал хвост. Он стоял в полном одиночестве, с тяжестью на сердце, опираясь на посох. Вдруг что-то заплескалось неподалеку от берега и семиглаво вылезло из воды: на сушу вышли, семь коров, которые, видимо по примеру буйволиц, лежали в реке, и выходили они одна за другой, цепочкой, без быка, всемером; быка не было, было только семь коров. Чудесные коровы, белая, черная, со светлой спиной, еще серая, да со светлым животом, да две пятнистых, цветом нечистых, — прекрасные, гладкие, тучные коровы, с полным выменем, с моргающими глазами Хатхор и высокими, изогнутыми, как лира, рогами, они начинали спокойно пастись в камышах. Царь никогда не видел такого дивного скота, не видел нигде в стране; лоснящаяся пышность их плоти была просто великолепна, и сердце Мени хотело порадоваться их виду, но не порадовалось, а осталось таким же тяжелым и озабоченным, — чтобы вскоре наполниться даже страхом и ужасом. Ибо цепочка на этих семи не кончилась. Новые коровы выходили из воды, и не было перерыва между этими и прежними: еще семь коров вышли на сушу, и тоже без быка, но какой бык пожелал бы таких коров? Фараон содрогнулся, когда они показались, — это были самые безобразные, самые худые, самые истощенные коровы, каких он когда-либо видел, под сморщенной кожей у них выпирали кости, вымя у каждой напоминало пустой мешок, а соски походили на нитки; ужасен и удручающ был их вид, несчастные, казалось, едва держались на ногах, но вдруг они обнаружили бесстыжий, наглый, назойливо-жестокый нрав, который как бы и не вязался с их слабостью, но, с другой стороны, как нельзя лучше к ней подходил, ибо это был дикий нрав голода. Фараон видит: убогое стадо подбирается к гладкому, гнусные коровы вскакивают на прекрасных, как то иногда делают коровы, изображая быка, и при этом жалкие животные пожирают, проглатывают, начисто и бесследно уничтожают великолепных, — но потом стоят на том же месте такие же тощие, как прежде, нисколько не пополнив.

На этом сон кончился, и фараон проснулся в поту и в тревоге. Он сел, оглядел с сильно бьющимся сердцем мягко освещенную спальню и понял, что это был сон, но такой красноречивый, задевающий за живое, что его назойливость, похожая на назойливость изголодавшихся коров, заставила сновидца похолодеть. Его больше не тянуло в постель, он поднялся, надел белошерстный халат и стал расхаживать по комнате, размышляя об этом назойливом, хоть и нелепом, но до осязаемости четком, виденье. Он был бы рад разбудить раба-спальника, чтобы, рассказать ему этот сон, вернее, чтоб испытать, удастся ли облечь увиденное в слова. Однако он был слишком деликатен, чтобы беспокоить старика, которого заставил ждать себя до поздней ночи, и он сел в стоявшее возле кровати кресло с коровьими ножками, поплотнее закутался в свой лунно-серебристый халат и, прижавшись спиной к уголку кресла, а ноги положив на скамеечку, незаметно задремал снова.

Но, едва забывшись, он снова увидел сон — ничего нельзя было поделать, он опять, или все еще, одиноко стоял на берегу в венце и с хвостом, а перед ним лежало вспаханное поле черной земли. И вот он видит: плодородная земля взморщивается и немного вздымается, и из нее вырастает стебель, а на стебле, один за другим, поднимаются семь колосьев, все семь на одном стебле, тучные и тугие, полные зерен, золотисто клонящиеся от тяжести. Тут сердце хочет повеселеть, но повеселеть не может, ибо колосья на стебле не перестают подниматься: появляется еще семь колосьев, безотрадных, пустых, сухих и мертвых колосьев, опаленных восточным ветром, черных от изгарины и ржавчины, и когда они убого показываются среди тучных, те исчезают, словно поглощенные этими новыми, и похоже на то, что жалкие колосья

действительно поедают своих тучных собратьев, точно так же как раньше семь тощих коров сожрали семь гладких, но и тощие колосья не становятся от этого полней и тучнее. Фараон увидел это воочию, до осязаемости отчетливо, но, востроенувшись в кресле, обнаружил, что это снова был сон.

Еще раз до смешного удивительный, полный тихого безумия сон, но он так назойливо бередил душу каким-то предостережением и указанием, что до самого утра, по счастью уже недалекого, фараон больше не мог, да и не хотел уснуть, и все время, то в кресле, то в кровати, размышлял о еще не разъясненной ясности этих двух, выросших на одном стебле снов, — теперь уже твердо решив ни в коем случае не обходить их молчанием и не хоронить в собственной памяти, а поднять по их поводу шум и забить тревогу. Он был в венце, с посохом и хвостом, это были царские сны, сны, без сомнения, государственной важности, очень примечательные, напоенные заботой сны, нужно было во что бы то ни стало предать их широкой огласке и сделать все для того, чтобы надлежаще к ним подступиться и разглядеть их явно угрожающий смысл. Мени был прямо-таки возмущен своими снами, он ненавидел их, чем дальше, тем больше. Царь не мог примириться с такими снами, — хотя, с другой стороны, присниться они могли, пожалуй, только царю. При нем, при Нефер-Хеперу-Ра-Уанра-Аменхотепе, такого не должно было быть, чтобы какие-то мерзкие коровы пожирали прекрасных, тучных, а безотрадные, покрытые ржой колосья съедали колосья золотисто-упругие; при нем не должно было происходить ничего, что соответствовало бы этим отвратным картинам в мире событий. Ибо в противном случае вина пала бы на него, пошатнулся бы не чей-нибудь, а его авторитет, сердца и уши не вняли бы провозглашению Атона, и в барыше был бы Амун. Свету грозила опасность со стороны черноты, невесомой духовности она грозила со стороны материи, это не подлежало никакому сомнению. Тревога фараона была велика; она приняла вид гнева, а гнев то и дело сгущался в решенье разгадать и узнать эту опасность, чтобы достойно встретить ее.

Первым, кому фараон изложил свои сны, насколько они вообще поддавались изложению, был старик, который ночью спал у порога, а утром явился, чтобы одеть и причесать своего господина и обвязать ему голову повязкой. Раб лишь удивленно покачал головой, а потом заявил, что все это оттого, что Добрый Бог так поздно отходит ко сну, да еще возбужденный бесконечными «спекуляциями», как он не совсем грамотно выразился. Он, видимо, невольно воспринимал эти тревожные сны как некое наказание за то, что Мени заставляет старого своего слугу так долго ждать и не спать. «Ах, барашек!» — с досадливой усмешкой сказал фараон, легонько хлопнув его ладонью по лбу, и пошел к царице, но царицу из-за ее беременности тошнило, и она слушала мужа с пятого на десятое. Затем он навестил Тейе, мать-богиню, которую застал за косметическим столиком, в окружении хлопотавших над ней камеристок. Ей он тоже рассказал свои сны и сделал при этом наблюдение, что рассказывать их с каждым разом трудней, а не легче, — но и у нее тоже он не нашел утешения и поддержки... Тейе всегда бывала немного насмешлива, когда он приходил к ней с царскими своими заботами, — что в данном случае дело шло о такой заботе, он не сомневался и заранее ждал той иронической улыбки, которая тотчас же появилась на лице матери. Хотя вдова царя Небмара сложила с себя регентство и передала сыну всю полноту его полуденной власти добровольно и по тщательном размышлении, она не могла скрыть своей ревности к этой власти, а Мени обладал мучительным свойством все замечать, и поэтому от него не ускользала та горечь, проявлениям которой он как раз и способствовал своими попытками смягчить ее детскими просьбами о помощи и совете. «Зачем твое величество обращается ко мне, которая ушла на покой? — говаривала Тейе. — Ты фараон, так будь же им и стой на собственных ногах, а не на моих. Спрашивай своих слуг, визирей Юга и Севера, если тебе что-нибудь невдомек, и пусть они объявляют тебе твою волю, если ты не знаешь ее, а я старуха и свое отслужила».

Так же отнеслась она к его снам и сейчас.

— Я слишком отвыкла от власти и от ответственности, мой друг, — ответила она, улыбаясь, — чтобы судить, по праву ли придаешь ты этим историям такой вес. Недаром сказано:

«Тьма сокрывается перед обилием света». Позволь же матери скрыться. Позволь мне даже скрыть свое мнение по поводу того, достойные ли это сны и подобают ли они твоему положению? Сожрали? Поглотили? Одни коровы других? Пустые колосья — полные? Это не сновиденье, ибо такого нельзя ни увидеть, ни представить себе, ни бодрствуя, ни, по-моему, во сне. Наверно, твоему величеству приснилось что-то другое, но ты забыл свой сон и сейчас заменил его невероятной картиной невообразимой прожорливости.

Напрасно уверял Мени, что он ясно видел глазами сна именно это, а не что-то другое и что эта ясность была полна смысла, нуждающегося в срочном истолкованье. Напрасно говорил он ей о своем страхе перед уроном, который понесет «учение», то есть Атон, если сны беспрепятственно растолкуют себя сами, иными словами, сбудутся, станут той самой действительностью, какую они облекли в одежду виденья. Он снова убедился, что, в сущности, мать равнодушна к его богу и держит его сторону только разумом, только по политическим и династическим причинам. Она всегда укрепляла сына в его сердечной нежности, в его духовной страсти к богу Атону; но сегодня он лишний раз заметил, — как давно замечал и как, из-за своей чуткости, замечал, увы, все, — что делала она это только по расчету, используя его сердце как женщина, которая смотрит на мир лишь с политической, а не, как он, прежде всего с религиозной точки зрения. Это обидело Мени и причинило ему боль. Он покинул мать, посоветовавшую ему, если он действительно считает свой сон о коровах и о колосьях государственно важным, обратиться по этому поводу во время утренней аудиенции к Птахемхебу, визирю Юга. Да и вообще, по ее мнению, в толкователях снов здесь не было недостатка.

За учеными гадателями он послал давно и ждал их с нетерпением. Но их приему предшествовал прием Великого Деловода, который пришел доложить фараону о делах «Красного Дома», то есть нижнеегипетского казнохранилища, но был прерван уже после приветственного гимна, чтобы выслушать сначала рассказанные дрожащим голосом, с запинками и поисками слов сны, а затем предложение высказаться по двум вопросам: во-первых, считает ли и он, как его господин, эти сны государственно важными, и, во-вторых, если да, то в каком отношении. Тот не знал, что сказать, или, вернее, очень складно и длинно сказал, что затрудняется что-либо сказать и в снах ничего не смыслит, — после чего попытался вернуться к делам казны. Но Аменхотеп все задерживал его на вопросе о снах, явно не желая и не будучи в состоянии говорить или слушать о чем-либо другом, и свои попытки объяснить ему, какие это были выразительно-убедительные или убедительно-выразительные сны, оставил только тогда, когда доложили о прибытии ученых и предсказателей.

Озабоченный, даже одержимый ночным своим переживанием, царь сделал перворядную церемонию из их приема — который потом, по существу, так жалко прошел. Он не только приказал остаться Птахемхебу, но и распорядился, чтобы на аудиенции толкования присутствовали все придворные чины, сопровождавшие его в поездке в Он. Знатных этих лиц был добрый десяток: Великий Домоправитель, Смотритель Царских Нарядов, Главный Белильщик и Мойщик Дворца, так величаемый Сандалиеносец Царя, очень важный сановник, Главный Цирюльник Бога, он же «Хранитель Исполненных Волшебства», то есть обоих царских венцов, и Тайный Советник царского убранства, Смотритель всех лошадей фараона, новый Главный Пекарь и «князь Менфийский», по имени Аменемопет, Главный начальник Писцов Питейного Поставца, Нефер-эм-Уазе, которого одно время звали Бин-эм-Уазе, и много носителей опахала одесную. Все они прибыли в Палату Совета и Ответа и разместились двумя равными группами по обе стороны прекрасного фараонова престола, стоявшего на высоте одной ступеньки под балдахином с тонкими, в лентах, столбиками. К престолу подвели специалистов по снам и пророков, — их было шестеро, все они имели более или менее близкое отношение к храму Жителя Горизонта, и некоторые из них участвовали во вчерашнем совещании о птице фениксе. Люди их звания уже не падали, как то было принято в прежние времена, перед престолом на живот, чтобы поцеловать землю. Престол был еще такой же, как при

строителях пирамид и как еще много раньше, — похожее на ящик кресло с низкой спинкой, перед которой стояла подушка; на нем было только чуть больше резных украшений, чем в седой древности. Но хотя престол стал наряднее, а фараон могущественнее, землю перед ними уже не целовали, — чего не было, того не было. С этим дело обстояло так же, как с обычаем заживо хоронить в царской могиле придворных, — это уже не было хорошим тоном. Чернокнижники только молитвенно воздели руки и вразнобой, довольно нескладно пробормотали длинную формулу верноподданнического приветствия, в которой уверяли царя, что обликом он походит на своего отца Ра и освещает обе страны своей красотой. Ибо лучи его величия проникают и в подземелья, и нет места на свете, которое укрылось бы от его всевидящего глаза и от всеслышащих миллионов его ушей, — он слышит и видит все, и все, что слетает с его уст, подобно речам Гора-на-горизонте, ибо его язык — это весы стран, а его губы точнее, чем язычок на верных весах Тота. Он Ра всем своим телом (говорили они не в лад, голосами неодинаковой громкости) и Хепре в истинном своем облике, живой образ своего отца, нижнеегипетского Атума Онского — «о Нефер-Хеперу-Ра-Уанра, владыка красоты, благодаря которому мы дышим!»

Кое-кто управился раньше других. Наконец все умолкли и стали слушать. Поблагодарив их, Аменхотеп, сначала в общих словах, сказал им, по какому поводу он их созвал, а затем принялся рассказывать собранию, состоявшему из двадцати примерно знатных или ученых лиц, свои несуразные сны — в четвертый раз. Для него это была пытка, рассказывая, он то и дело краснел и заикался. Придать этой истории такую гласность заставило его неотвязное чувство ее грозной значительности. Теперь он в этом раскаивался, видя, как все, что было исполнено смысла и, на его внутренний взгляд, оставалось исполненным смысла, оказывалось внешне довольно нелепым. И правда, с чего бы это вдруг такие прекрасные и сильные коровы позволили проглотить себя таким несчастным и слабым? И как это и чем это могли одни колосья сожрать другие? Но снилось ведь ему это, это, а не иное! Сны были свежи, естественны и убедительны ночью; днем и на словах они выглядели, как плохо препарированные мумии с истлевшими лицами; с этим нельзя было выходить на люди. Ему было стыдно, и он с трудом довел свой рассказ до конца. Затем он робко и с надеждой взглянул на ученых гадателей.

Они многозначительно кивали головами, но постепенно, сначала у одного, потом у другого, задумчивое это движение сменилось удивленным покачиванием головы из стороны в сторону. Это особые и едва ли когда-либо встречавшиеся сновидения, заявили они через своего старосту; разгадка снов затруднительна. Нет, они не отчаиваются в ней, — не снились еще такие сны, которых они не смогли бы истолковать. Но они просят дать им время подумать и милостиво разрешить им удалиться на совещание. К тому же нужно доставить необходимые справочники. Нет такого ученого, который помнил бы все разновидности снов. Быть ученым, осмеливались они заметить, не значит держать все знания в голове, — в голове для этого не хватит места, — а значит обладать книгами, где знания записаны. А они ими обладают.

Аменхотеп разрешил им уйти на совещание. Двор получил приказ быть наготове. Полных два часа — столько времени продолжался консилиум — царь провел в большой тревоге. Затем собрание было возобновлено.

«Да живет миллионы лет фараон, любимый владычицей правды Маат в ответ на его любовь к этой богине, не терпящей лжи!» Сама Маат пособляет им, ученым экспертам, когда они оглашают итог и приносят свое толкование фараону, покровителю правды. Во-первых: семь прекрасных коров — это семь принцесс, которых Нефернефруатон-Нофертити, царица стран, постепенно родит. А то, что тучный скот был съеден хилым, означает, что эти семь дочерей еще при жизни фараона умрут. Это, однако, не значит, поспешили они добавить, что царские дочери умрут в молодые годы. Просто фараону суждено жить так долго, что он переживет всех своих детей, какого бы возраста те ни достигли.

Аменхотеп глядел на них с открытым ртом. О чем они говорят, спросил он их притихшим голосом. Они ответили, что им было дозволено истолковать первый сон. Но это толкование,

возразил он по-прежнему слабым голосом, никак не связано с его сном, оно не имеет вообще никакого отношения к этому сну. Он не спрашивал их, родит ли ему царица сына и престолонаследника или дочь и еще дочерей. Он спрашивал их об истолковании красивых и безобразных коров. — Дочери, отвечали они, как раз и есть истолкование. Не следует ожидать, что в истолковании сна о коровах появятся снова коровы. В истолковании коровы превратились в царских дочерей.

Фараон успел уже закрыть рот и даже довольно плотно его сжать, и он только слегка приоткрыл его, приказывая им перейти ко второму сну.

Ко второму, сказали они. Семь полных колосьев — это семь цветущих городов, которые фараон построит; семь же сухих и взъерошенных — это развалины этих городов. Известно, пояснили они поспешно, что все города со временем превращаются в развалины. Так вот, фараон будет жить столь долго, что сам еще увидит развалины городов, им же построенных.

Тут уж терпение Мени лопнуло. Он не выпался, рассказывать увядающие сны снова и снова было мучительно, и, два часа ожидая заключения ученых, он достаточно истомился. И теперь он так вознегодовал на то, что их истолкования оказались чистейшим вздором и никаким боком не коснулись истинного смысла его видений, что больше не стал сдерживать свой гнев. Он спросил еще, сказано ли то, что сообщили ему мудрецы, в их книгах. Когда же они ответили, что их заключения надежно соединяют книжные сведения с выводами их собственной сообразительности, он вскочил с кресла, чего во время аудиенций никогда не случалось, так что придворные втянули головы в плечи и закрыли ладонями рты, и со слезами в голосе назвал смертельно испуганных пророков шарлатанами и невеждами.

— Прочь! — закричал он, почти рыдая. — И вместо золота, которым мое величество щедро наградило бы вас, если бы услышало из ваших уст правду, возьмите фараонову немилость! Ваши истолкования ложны, фараон это знает, потому что сны снились ему, и хотя смысл снов ему неизвестен, он способен отличить правдивое истолкование от такого неполноценного. Прочь с глаз моих!

Два дворцовых офицера выпроводили бледных гадателей. А Мени, так и не садясь, объявил своему двору, что эта неудача отнюдь не заставит его махнуть на такое дело рукой. Господа были, к сожалению, свидетелями постыдной несостоятельности, но — порукой тому его скипетр! — не далее как завтра он призовет других знатоков снов, на этот раз из храма Джухути, писца Тота, девятикратно великого владыки Хмуну. От жрецов белого павиана можно ждать более достоверного истолкования того, что, как говорит ему его внутренний голос, нужно истолковать любой ценой.

Новый опрос состоялся на следующий день при тех же обстоятельствах. Он прошел еще более убого, чем предыдущий. Снова, с теми же внутренними затруднениями и затруднениями речи, фараон выставил напоказ мумии своих снов, и снова светила науки кивали и качали головами в ответ. Не два, а три долгих часа пришлось царю и двору ждать результатов тайного совещания, разрешения на которое испросили и сыновья Тота; а потом эти специалисты не пришли даже к соглашению между собой, их мнения относительно снов разделились. На каждый сон, заявил их староста, имеется по два истолкования, которые только и можно принимать в расчет; никакие другие, сказал он, просто немыслимы. По одной теории, семь тучных коров — это семь царей фараонова семени, а семь безобразных — это семь князей горемычной чужбины, которые на них ополчатся. Но произойдет это в далеком будущем. С другой стороны, прекрасные коровы могут означать такое же число цариц, которые будут взяты в гарем фараоном или каким-нибудь его поздним преемником и (на что указывают истощенные коровы) умрут, к несчастью, одна за другой.

А колосья?

Семь золотых колосьев обозначали, по убеждению одних, семерых героев Египта, которые позднее падут на войне от рук семи вражеских и, как на то указывали обуглившиеся колосья, гораздо менее могучих бойцов. Другие считали, что семь полных колосьев и семь пустых подобны

четырнадцати детям, которых родят фараону те чужеземные царицы. Но между детьми вспыхнет ссора, и семеро слабых, как более хитрые, погубят семерых сильных...

На этот раз Аменхотеп даже не вскочил с кресла. Он продолжал сидеть в нем, только согнулся и закрыл лицо руками, и стоявшие справа и слева от балдахина придворные склонили к фараону уши, чтобы услышать, что он бормочет себе в ладони. «О портачи, портачи!» — прошептал он несколько раз, а потом сделал знак стоявшему ближе других визирю Севера, чтобы тот наклонился к нему и получил какое-то тихое приказание. Птахемхеб выполнил это приказание, громким голосом объявив экспертам, что фараон хотел бы знать, не стыдно ли им.

Они сделали все, что в их силах, отвечали они.

Визирю пришлось еще раз наклониться к царю, и на этот раз выяснилось, что он получил приказание сообщить волшебникам, чтобы они покинули зал. Они удалились в великом смущении, недоуменно переглядываясь, как будто один хотел спросить другого, случалось ли с ним когда-нибудь что-либо подобное. Оставшийся на месте двор пребывал в испуге и замешательстве, ибо фараон по-прежнему сидел согнувшись, закрыв рукою глаза. Когда он наконец отнял ее от глаз и выпрямился, лицо его было искажено горем, а подбородок дрожал. Он сказал придворным, что был бы рад их пощадить и что, лишь преодолевая себя, повергает их в скорбь и печаль, но что он не может скрывать от них правду, а правда заключается в том, что их господин и царь глубоко несчастен. Его сны, несомненно, носили государственно важный характер, и их истолкование — это вопрос жизни. Полученные же объяснения никуда не годятся; они совершенно не подходят к его снам, и те не узнают себя в них, как должны узнавать себя друг в друге сон и его истолкование. После этих двух неудачных, поставленных с таким размахом опытов он вообще сомневается в том, что получит когда-либо действительно верное истолкование, которое он сразу бы признал верным. По это значит, что он вынужден предоставить снам истолковать себя самим, то есть сбывься, и сбывься, возможно, на горе государству и религии, без каких-либо предупредительных мер. Страны в опасности; а фараона, которому это открылось, оставляют на престоле одного, без помощи и совета.

Лишь один миг длилось после этих слов тягостное молчанье. Затем Нефер-эм-Уазе, главный чашник, который долго боролся с собой, выступил из хора друзей и попросил милостивого дозволения говорить перед фараоном. «Грехи мои вспоминаю я ныне», — начал он, согласно преданию, свою речь; эти слова так и повисли в воздухе, они слышны и сегодня. Великий виноградарь не имел в виду грехов, которых он не совершал; ибо в темницу он угодил некогда незаслуженно и не участвовала замысле, согласно которому змий Исет должен был укусить одряхлевшего Ра. Он имел в виду другой грех — что, твердо пообещав одному человеку упомянуть его, он не сдержал своего слова, потому что забыл этого человека. А теперь он вспомнил о нем и говорил о нем перед балдахином. Он напомнил фараону (едва ли о том помнившему) об «еппи» (он употребил это смягчающее заимствование), которое случилось с ним, чашником, два года назад, еще при царе Небмара, когда он, Нефер-эм-Уазе, вместе с одним богомерзким преступником, чье имя лучше не называть и чья душа и тело разрушены, нечаянно попал в островной острог Цави-Ра. Там к ним был приставлен один юный азиат, хабир, помощник коменданта, носивший чудное имя Озарсиф, сын одного боголюбивого восточного царя стад, рожденный тому некоей миловидной красавицей, что заметно было и по облику юноши. Так вот, этот юноша — самый одаренный специалист по снам, какого он, Превосходный-в-Фивах, когда-либо в жизни встречал. Ибо им обоим, его виновному товарищу и ему, незапятнанно-чистому, одновременно привиделись сны — сложнейшие, многозначительнейшие сны, каждому свой, и надлежаще истолковать эти сны было в высшей степени трудно. Но упомянутый Озарсиф, который дотоле никогда не хвастался своим даром, истолковал им их сны с необыкновенной легкостью, предсказав пекарю, что того ждет дерево, а ему самому, чашнику, — что благодаря своей сверкающей чистоте он снова войдет в милость и будет восстановлен в должности. Так оно в точности и случилось, и сегодня он, Нефер, вспоминает свой

грех — что он гораздо раньше не обратил внимания и не указал пальцем на этот безвестный талант. Он спешит выразить уверенность, что если кто-либо способен истолковать столь важные фараоновы сны, то это юноша, вероятно все еще прозябающий в Цави-Ра.

Движенье среди друзей царя, движенье на лице и в позе фараона. Еще несколько вопросов и ответов, которыми быстро обменялись царь и толстяк чашник, — и вот уже отдан прекрасный приказ, чтобы первый спешнокрылый гонец немедленно отправился на многоспешной ладье в Цави-Ра и с величайшим спехом доставил гадателя-чужеземца в Он, перед лицо фараона.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. КРИТСКАЯ БЕСЕДКА

ВВЕДЕНИЕ

Когда Иосиф прибыл в тысячелетний город моргающих глаз, стояла опять пора посева, пора погребенья бога, как стояла она тогда, когда он совершил второе свое падение в яму, где прожил три больших дня, прожил в сносных условиях под началом спокойного коменданта Май-Сахме. Все шло правильно: миновало ровно три года, мир вернулся к той же, что и тогда, точке круговорота, и дети Египта только что снова справили тот праздник вспаханной земли и воздвиженья позвоночного столпа бога, что приходился на неделю между двадцать вторым и последним днями месяца хойака.

Иосиф был рад увидеть снова золотой Он, где когда-то, три года и еще десять лет назад, он мальчиком останавливался с измаильтянами, останавливался на пути, которым они вели его, и вместе с ними внимал учению о прекрасной фигуре — треугольнике и о кроткой природе владыки широкого горизонта Ра-Горахте. Теперь Иосиф снова держал путь через треугольное пространство ученого города, чьи солнечные иглы сверкали по обоим бортам ладьи, к вершине, то есть к большому, высившемуся в конце и на пересеченье боковых сторон обелиску, который еще издали, затмевая золотым блеском все остальное, приветствовал их граненым своим колпаком.

Сыну Иакова, так долго не видевшему ничего, кроме стен своего узилища, было недосуг дать волю глазам и насладиться картиной хлопотливого города, — недосуг уже и по внешним причинам, ибо его проводник, крылатый гонец, не давал ему ни минуты роздыха; но и внутренне, по его, Иосифа, настроению, ему было недосуг глазеть по сторонам. Ибо замыкался еще один круг, и приближалось еще одно повторенье: он снова должен был стоять перед самым высоким. Когда-то самым высоким лицом в ближайшем его окружении был Петепра, перед которым ему привелось говорить в пальмовом саду, и тогда постараться стоило. Теперь говорить ему предстояло с самим фараоном, с самым высоким лицом здесь внизу, и постараться стоило того больше. Постараться же надо было ради господина, чтобы помочь ему в осуществлении его замыслов, а не загубить их своей неуклюжестью, что значило бы совершить величайшую глупость и по нехватке веры надругаться над законами жизни. Только нетвердо веруя в желание бога высоко его вознести, можно было оплошать и упустить случай, который сейчас представился; а потому Иосиф с волнением ждал будущего и не замечал окрестной суеты города, хотя его ожидание было уверенностью и страха в нем не было, ибо в наличии веры, которая была началом всякой благочестивой удачливости, — веры в то, что бог относится к нему с веселой любовью и уготовил ему важную роль, — в ее наличии он нисколько не сомневался.

Следуя за ним тоже с волнением, хоть нам и известно, что было дальше, мы не станем упрекать его за эту уверенность, а примем его таким, каким он был и каким мы уже давно его знаем. Есть избранники, которые из-за какого-то самоуничтожительного, вечно сомневающегося смирения никак не могут поверить в свое избранничество и, не доверяя своим чувствам, отвергают его с гневом и скорбью, — более того, чувствуют себя даже несколько уязвленными

ми в своем неверии, если в конце концов все же возвысятся. И есть другие, для которых на свете нет ничего более естественного, чем их избранность, — сознательные любимцы богов, никаким своим возвышениям и успехам не удивляющиеся. Какому роду избранников ни отдавай предпочтения, не верящему в свой дар или самоуверенному, — Иосиф принадлежал ко второму, и хорошо еще, что не к третьему, который также существует на свете: не к тем, кто, лицемеря перед богом и перед людьми, притворяется недостойным даже перед самим собой и в чьих устах слово «милость» таит в себе все же больше чванства, чем вся самоуверенность неудивляющихся...

Путевой дворец фараона в Оне находился восточнее храма Солнца и соединялся с ним аллеей смоковниц и сфинксов, по которой и следовал бог, когда благоволил покадить своему отцу. Дом жизни был сооружен легким и веселым, без применения камня, подобавшего только Вечным Обителям, — это был дом, как все дома жизни, кирпичный и деревянный, но, конечно, такой красоты и такого изящества, какие только могла вообразить себе богатая культура Кеме, и стоял он среди садов, огражденных ослепительно белой стеной, перед высокими воротами которой на золоченых шестах колыхались от слабого ветра пестрые вымпелы.

Было за полдень, время обеда уже миновало. Хотя быстроходная ладья не останавливалась и ночью, ей потребовалось еще и утро, чтобы достигнуть Она. На площади перед воротами стены была сутолока, ибо туда, только чтобы постоять в ожидании зрелища, пришли из города толпы народа, и множество полицейских, привратников и возниц, которые, судача, стояли возле своих бивших копытами, фыркавших, а иногда и залиvisto ржавших упряжек, преграждая Дорогу этим зевакам, а кроме того, тут не было недостатка в разносчиках и лоточниках, торговавших подкрашенными сладостями, пряжеными лепешками, скарабеями на память и дюймовыми статуэтками царя и царицы. Не без труда прокладывали себе путь спешный гонец и тот, кого он доставил. «Приказ! Приказ! На прием, на прием!» — кричал то и дело крылатый, пытаясь нагнать на людей страху своей профессиональной одышкой, которой он в пути все-таки поступился. Прокричав это и во внутреннем дворе выбежавшим навстречу слугам, после чего те понимающе подняли брови, он провел Иосифа к подножию парадной лестницы, вверху которой, перед входом в приподнятый помостом павильон, вырос и опустил на них усталый взгляд какой-то дворцовый чин, — видимо, один из младших придворных. Вот, доставлен прорицатель из Цави-Ра, — на лету бросил через ступени гонец, — прорицатель, которого ведено было привезти как можно скорее; тогда чин столь же устало смерил Иосифа сверху донизу испытующим взглядом, словно после этого объяснения от его воли еще хоть как-то зависело, допустить Иосифа или нет, а потом кивнул опять-таки с видом человека, принявшего самостоятельное решение, как будто он мог и вернуть доставленного. Гонец еще наскоро наставил Иосифа, чтобы тот, представ перед фараоном, дышал тоже учащенно и через силу, создавая у царя прекрасное впечатление, будто он, Иосиф, бежал к нему всю дорогу без отдыха, но Иосиф не принял этого наставленья всерьез. Поблагодарив длинноногого за то, что он прибыл за ним и доставил его сюда, Иосиф поднялся по ступенькам к придворному, который в знак приветствия не кивнул, а покачал головой, а потом приказал ему следовать за собой.

Миновав красочно расписанную картинами переднюю с четырьмя изящными, в лентах, колоннами, они вошли в фонтанный, также поблескивавший округлыми колоннами прекрасного лощеного дерева зал, где стояли вооруженные часовые и который открывался вперед и в стороны широкими проходами между опорами. Придворный повел Иосифа напрямик в проходные сени с тремя углубленными, одна возле другой, дверями и провел его через среднюю дверь. Они оказались в очень большом зале, насчитывавшем чуть ли не двенадцать колонн, с небесно-голубым потолком, расписанным летящими птицами. Посреди зала стоял открытый, красно-золотой домик, похожий на садовый бельведер, и в нем видны были стол, а вокруг стола кресла с разноцветными подушками. Слуги в набедренниках опрыскивали и подметали там пол, выносили тарелки для фруктов, наполняли курильницы и светильники на треногах,

чередовавшихся с широкоухими алавастровыми вазами, расставляли золотокованные кубки по полкам поставца и взбивали подушки. Было ясно, что фараон здесь откушал и удалился куда-то на покой, — то ли в сад, то ли в глубину дома. Иосифу все это было далеко не так ново и удивительно, как, по-видимому, полагал его проводник, время от времени испытующе поглядывавший на него сбоку.

— Умеешь ли ты вести себя? — спросил он, когда они вышли из зала направо и оказались в домовом саду, где в узорчатый каменный пол были вделаны четыре бассейна.

— С грехом пополам, и то если уж нужда придет, — усмехаясь, ответил Иосиф.

— Ну, так нужда пришла, — сказал придворный. — Значит, ты сумеешь хотя бы для начала приветствовать бога?

— Лучше бы я не умел это делать, — отвечал Иосиф, — ибо, наверно, всего приятнее научиться этому у тебя.

Чин сперва сохранял суровость, а потом вдруг рассмеялся, чего никак нельзя было ожидать, но сразу же, правда, придал расплывшемуся своему лицу прежнее, сухое и суровое выражение.

— Ты, как я погляжу, — сказал он, — плут и шутник, этакий жулик-скотокрад, умеющий смешить людей своими штучками. Наверно, твое ясновиденье и гаданье — это тоже чистейшее жульничество и шарлатанство?

— О, в ясновиденье и гаданье я не силен, — возразил Иосиф. — Это не по моей части и от меня не зависит, просто иной раз у меня это как-то само собой получается. Да я никогда и не обольщался на этот счет. Но когда фараон срочно вызвал меня именно ради этого, я и сам стал более высокого мнения о своих способностях.

— Это сказано, видимо, мне в назидание? — спросил придворный. — Фараон молод и милостив. Если кого-то осветит Солнце, то это еще не доказательство, что он не мошенник.

— Оно нас не только освещает, оно позволяет нам и показать себя, — ответил на ходу Иосиф, — одному так, а другому иначе. Желая тебе, чтобы ты нравился себе на солнце!

Провожатый поглядел на него сбоку, и поглядел не один раз. В промежутках он смотрел вперед, но вдруг, не без поспешности, словно забыв на что-то взглянуть или же решив еще раз быстро проверить увиденное, снова поворачивал голову к своему спутнику, так что тому в конце концов пришлось ответить на такие упорные взгляды сбоку. Иосиф сделал это с улыбкой и кивнул головой, как бы говоря: «Да, да, так оно и есть, не удивляйся, глаза тебя не обманывают». Быстро и словно бы испуганно придворный повернул голову снова вперед.

После домового сада они оказались в освещенном сверху коридоре, одна стена которого была расписана сценами жатвы и жертвоприношений, а другая, благодаря проемам между пилястрами, открывала вид на различные покои, в том числе на Палату Совета и Ответа, где возвышался балдахин и назначение которой дворецкий объяснил Иосифу, когда они проходили мимо нее. Он стал разговорчивей. Он даже сообщил своему спутнику, где тот найдет фараона.

— После второго завтрака, — сказал он, — его величество направилось в критский садовый зал, — критский потому, что его разукрасил один заморский художник. У его величества получают сейчас наставления главные царские ваятели Бек и Аута. Там же и Великая Матерь. Я передам тебя в передней дежурному камердинеру, чтобы он доложил о твоём прибытии.

— Так мы и сделаем, — сказал Иосиф, и никакого другого смысла слова его не имели.

Но, снова покачав головой, шагавший рядом с ним провожатый вдруг разразился беззвучным, судорожно-затяжным смехом, от которого у него мелко дрожала одежда на животе, и, кажется, не вполне совладал с этим приступом даже тогда, когда они, пройдя коридор, вошли в переднюю, где от вышитой золотыми пчелами дверной занавески, у которой он подслушивал, отделился маленький, сгорбленный придворный в великолепном набедреннике, с опухавшим под мышкой. У дворецкого все еще как-то жалобно дрожал голос от внутреннего смеха, когда он стал объяснять угодливо засеменившему к ним камердинеру, кого он привел.

— А, званый и долгожданный всезнайка и умник, — зашепелявил коротышка высоким голосом, — который умнее всех ученых книгохранилища. Отлично, отлично, ве-ли-колепно, — говорил он, так и не разгибаясь, то ли потому, что был горбат от рожденья и не мог выпрямиться, то ли потому, что церемонная придворная служба приучила его к этой позе. — Я доложу о тебе, я тотчас же доложу о тебе, как же иначе? Тебя ждет весь двор. Фараон, правда, занят, но о тебе я все равно доложу немедля. Я перебую фараона, прервав ради тебя на полуслове его наставления художникам, чтобы уведомить его о твоём прибытии. Наверно, это тебя несколько удивляет. Смотри, чтобы твое удивленье не перешло в замешательство, а то ты наговоришь глупостей, хотя для этого тебе, может быть, никакого замешательства вовсе не требуется. Заранее предупреждаю тебя, что фараон очень раздражается, когда ему говорят глупости по поводу его снов. Поздравляю тебя. Итак, тебя зовут?..

— Меня звали Озарсиф, — ответил Иосиф.

— Тебя так зовут, ты хочешь сказать, тебя так зовут! Довольно странно, что тебя всегда так зовут. Пойду доложу и назову твое имя. *Merci beaucoup*, друг мой, — сказал он, пожимая плечами, дворецкому, который тотчас же удалился, а сам, не разгибая спины, шмыгнул за занавеску.

Оттуда глухо доносились голоса, особенно один, юношески нежный и ломкий, который потом умолк. Вероятно, горбун угодливо шепелявил что-то на ухо фараону. Потом он вернулся с поднятыми бровями и прошептал:

— Фараон зовет тебя!

Иосиф вошел.

Он оказался в лоджии, не настолько большой, чтобы по праву носить название «садовый зал», которое ей дали, но на редкость красивой. Опираясь на две колонны, выложенные цветным стеклом и сверкающими камнями и обвитые листьями винограда, написанными так живо, что их можно было принять за настоящие, с полом, на плитах которого были изображены то дети верхом на дельфинах, то каракатицы, эта лоджия выходила тремя большими открытыми окнами в сады, чью красоту она целиком вбирала в себя. Там видны были светящиеся клумбы тюльпанов, какие-то чужеземные, с удивительными цветами кусты и посыпанные золотым песком дорожки, которые вели к лotosовым прудам. Глазам открывалась глубокая перспектива островков, мостиков и беседок, а вдали сверкали изразцы, которыми был облицован летний домик. Сама веранда сияла красками. Ее боковые стены были покрыты росписью, совершенно непохожей на обычную египетскую. Эта роспись являла глазу людей и нравы нездешних мест, явно островов моря. Сидели и шествовали какие-то женщины в роскошных, пестрых и твердых юбках, с обнаженной над узким корсажем грудью, и волосы их, завитые выше начальника, ниспадали на плечи длинными косами. Им прислуживали пажы в невиданных нарядах, держа в руках остроконечные кружки. Какой-то маленький царевич с осиной талией, в двухцветных панталонах и барашковых сапожках, с украшенной лохматыми перьями короной на кудрях, самодовольно шагал по сказочно пышным травам, стреляя из лука в бегущих животных, движение которых художник передал тем, что они не касались земли копытами, а парили над ней. На других картинах над спинами беснующихся быков вырвались в воздухе акробаты, забавляя взиравших на них с балконов и из окаймленных пилястрами окон дам и мужчин.

Такая же печать чужеземного вкуса лежала и на художественных изделиях, служивших здесь услугой для глаз, на глиняных, расписанных мерцающими красками вазах, на инкрустированных золотом барельефах слоновой кости, на великолепных, чеканной работы кубках, на чернокаменной голове быка с золотыми рогами и глазами из горного хрусталя. Когда вошедший поднял руки, взгляд его сосредоточенно и скромно обошел открывшуюся перед ним сцену и лиц, о присутствии которых его уведомили.

Вдова Аменхотепа-Небмара восседала прямо напротив него на высоком, с высокой скамеечкой кресле, против света, перед средним из сводчатых, доходивших чуть ли не до пола

окон, так что ее лицо, бронзовость которого и без того подчеркивалась одеждой, казалось в тени еще темнее. Однако Иосиф узнал ее своеобразные черты, уже знакомые ему по нескольким царским выездам: изящно изогнутый носик, толстые, окаймленные морщинами горькой умудренности губы, дугообразные, подведенные кисточкой брови над маленькими, глянцеви́то-черными, глядевшими холодно и внимательно глазками. На матери не было золотой коршуновой диадемы, в которой сын Иакова видел ее во время официальных церемоний. Ее несомненно уже поседевшие волосы — ибо ей было под шестьдесят — окутывала, не закрывая золотой скобки, охватывавшей лоб и виски, серебристая сетка, с макушки которой, извиваясь, спускались две вздыбившиеся на лбу золотые змеи — сразу две, словно она унаследовала и змею своего слившегося с богом супруга. Круглые пластинки из тех же драгоценных камней, из каких был изготовлен ее воротник, украшали уши Тейе. Эта маленькая энергичная женщина сидела очень прямо, очень осанисто и степенно, так сказать, на старый, иератический лад, утвердив руки на подлокотниках кресла, а ноги, вплотную одна к другой, на высокой скамеечке. Ее умные глаза встретились с глазами почтительно вошедшего Иосифа, но, бегло скользнув по нему вниз, с понятным и даже предписанным равнодушием тотчас же снова повернулись к сыну, причем горькие борозды вокруг ее толстогубого рта сложились в насмешливую улыбку по поводу того ребяческого волнения и любопытства, с какими фараон глядел на этого хваленного и долгожданного толкователя.

Молодой царь земли Египетской сидел слева у расписной стены на львиногом, обильно обложенном подушками кресле с косо́й спинкой, от которой он оторвался, с живостью подавшись вперед, засунув под сиденье ноги и охватив подлокотники своими тонкими, в скарабеех руками. Нужно прибавить, что эта похожая на стойку перед прыжком, полная напряженного внимания поза, в какой Аменхотеп, повернувшись направо, причем его серые, с поволокой глаза раскрылись как только могли широко, — что эта поза, в какой Аменхотеп разглядывал новоприбывшего толкователя своих сновидений, возникла не вдруг, а складывалась постепенно, рывками, в течение целой минуты, — вот как долго это длилось, — и дошла до того, что в конце концов фараон и в самом деле приподнялся с кресла и передал всю свою тяжесть вцепившимся в подлокотники рукам, пальцы которых выдавали его напряжение своей игрой. При этом предмет, лежавший у него на коленях, какой-то струнный инструмент, упал с тихим и глухим звоном на пол, но тотчас был поднят и подан фараону одним из стоявших перед ним художников, которых он поучал. Поднявшему пришлось несколько мгновений держать инструмент в протянутых к фараону руках, прежде чем тот, закрывая глаза, взял его, и, откинувшись на подушки кресла, принял, по-видимому, снова ту позу, в которой он дотоле совещался с художниками: позу чрезвычайно небрежную, расслабленную и удобную, ибо в сиденье его кресла имелась впадина для подушки, слишком мягкой для того, чтобы фараон в ней не утонул, и поэтому он сидел не только откинувшись в сторону, но и очень глубоко, бессильно свесив с подлокотника одну руку, а большим пальцем другой тихо теребя струны чудесной маленькой лютни, что лежала у него на коленях, и закинув ногу на ногу, отчего его обтянутые полотном колени высоко задрались, а кончик одной ноги покачивался тоже на довольно большой высоте. Золотая застежка сандалии проходила между большим и вторым пальцем.

ДИТЯ ПЕЩЕРЫ

Нефер-Хеперу-Ра-Аменхотепу было тогда столько лет, сколько было тридцатилетнему сейчас Иосифу, когда он «пас скот вместе с братьями своими», то есть семнадцать. Однако казался он старше, причем не только потому, что в его местах люди быстрее созревают, и не только из-за слабого здоровья, но также из-за ранней необходимости соприкасаться со всей полнотой единого мира, из-за разнообразных впечатлений, отовсюду осаждавших его душу, из-за своего фанатически ревностного, наконец, радения о божестве. При описании его лица,

глядевшего из-под круглого синего парика с царской змеей, который был на нем сейчас поверх полотняной шапочки, никакие тысячелетия не отпугнут нас от того точного сравнения, что оно походило на лицо молодого английского аристократа из несколько уже отцветшего рода: длинное, надменно-усталое, с тяжелым, значит, отнюдь не срезанным и все-таки слабым подбородком, с узкой, немного вдавленной переносицей, делавшей еще заметнее широкие, чуткие ноздри, и с непроглядно-мечтательными, всегда полузакрытыми глазами, утомленность которых поразительно не вязалась с краснотой его очень толстых губ, краснотой не искусственной, а природной, болезненной. Таким образом, в этом лице была смесь мучительно запутанной духовности и чувственности — с оттенком ребячливости и, возможно даже, озорства и распущенности. Красивым и прекрасным его никак нельзя было назвать, но какой-то тревожно-притягательной силой оно обладало; не приходилось удивляться, что народ Египта относился к фараону с нежностью и давал ему цветистые имена.

Не красивым, а скорее необычным и местами немного несуразным казалось и едва достигавшее среднего роста фараоново тело, когда оно, очень отчетливо вырисовываясь под легкой, хотя и изысканно драгоценной одеждой, с небрежностью, которая шла, однако, не от невоспитанности, а от оппозиционного стиля жизни, возлежало в подушках: длинная шея, узкая и дряблая грудь, наполовину прикрытая великолепным воротником из каменных лепестков, тонкие, в чеканных браслетах руки, с малолетства несколько вздутый живот, которого не прятал открытый спереди гораздо ниже пупа, но зато сзади высокий, облежавший почти всю спину набедренник с украшенным змейками и бахромой передним клапаном. К тому же ноги его были не только слишком коротки, но и вообще непропорциональны из-за чрезмерно полных бедер и очень худых, чуть ли не куриных голеней. Аменхотеп требовал, чтобы скульпторы не только не приукрашивали этой его особенности, но даже преувеличивали ее, дорожа правдой. Никак не верилось, что главной страстью этого избалованного мальчика, явно принимавшего драгоценное свое происхождение как нечто само собой разумеющееся, было познание высшего, и, стоя в стороне, Авраамов потомок дивился, в сколь разных, в сколь чужих и чуждых друг другу людях живет на земле забота о боге.

Итак, Аменхотеп вновь повернулся, чтобы отпустить их, к обоим художникам — простоватым крепышам, один из которых был занят тем, что закрывал влажным полотнищем поставленную на постамент, но еще не законченную глиняную статуэтку, каковую он и показывал заказчику.

— Сделай это, любезный Ауа, — услышал Иосиф снова тот нежный и ломкий, несколько высоковатый, то медлительно-торжественный, то, наоборот, торопливый голос, к которому он прислушивался еще снаружи, — сделай это, как указал тебе фараон, сделай ее милой, живой и прекрасной, как того хочет отец мой на небесах! В твоей работе еще есть погрешности, погрешности не ремесленного, — ты очень искусен, — а духовного свойства. Мое величество указало тебе на них, и ты их исправишь. Ты изобразил мою сестру, сладчайшую принцессу Бакетатон в слишком еще старой, мертвой манере, наперекор Отцу, чью волю я знаю. Сделай ее милой и легкой, изобрази ее в согласии с истиной, а истина — это свет, и фараон в ней живет, ибо он вобрал ее в себя! Пусть одной рукой сестра подносит ко рту какой-нибудь плод сада, например, гранат, а другая рука пусть свободно повиснет — не с плоской, повернутой к бедру ладонью, а с согнутыми пальцами, ладонью назад, — так угодно богу, что живет в моем сердце и которого я знаю, как никто другой, потому что из него я и вышел.

— Этот раб, — отвечал Ауа, одной рукой закутывая глиняную фигуру, а другую воздев к царю, — сделает все в точности так, как велит и как научил меня, к счастью моему, фараон, единственный сын Ра, прекрасное дитя Атона.

— Спасибо тебе. Ауа, большое и дружеское спасибо. Это важно, ты понимаешь? Ибо подобно тому как отец мой находится во мне, а я в нем, все должны слиться в одно целое в нас, такова цель. А твое произведение, если оно будет создано в надлежащем духе, может немного помочь тому, чтобы все слилось воедино в нем и во мне... А ты, любезный Бек...

— Помни, Аута, — раздался тут низкий, почти мужской голос вдовствующей богини с ее высокого кресла, — помни всегда, что фараону трудно добиться от нас понимания и что порой он говорит несколько больше, чем хочет сказать, дабы сделать для нас понятнее то, что он хочет сказать. Он вовсе не хочет сказать, чтобы ты изобразил, как сладчайшая принцесса Бакетатон ест, как она надкусывает плод; ты только вложи ей этот гранат в руку, а руку слегка приподними, чтобы можно было предположить, что она собирается поднести плод ко рту; такой новизны будет достаточно, и именно это хочет сказать тебе фараон, говоря, чтобы ты показал, как она ест. Кое-что нужно убавить и в словах его величества о том, что висящая рука должна быть повернута согнутой ладонью решительно назад. Отверни ее только немного, только на пол-оборота от бедра, это как раз то, что он имеет в виду и что сулит тебе достаточное количество похвал и порицаний. Это для ясности.

Сын ее одно мгновение помолчал.

— Ты понял? — спросил он потом.

— Я понял, — ответил Аута.

— В таком случае ты поймешь, — сказал Аменхотеп, опустив взгляд на лежавший у него на коленях лироподобный инструмент, — что, смягчая мои слова. Великая Мать говорит, конечно, несколько меньше, чем она хочет сказать. Руку с плодом ты можешь поднести ко рту уже довольно близко, а что касается свободной руки, то ведь и так получится только пол-оборота, если ты отвернешь ее от бедра ладонью назад, ибо совсем наружу ладонями руки никто не держит и ты погрешил бы против светозарной истины, если бы изобразил сестру в такой позе. Теперь ты видишь, сколь мудро смягчила Мать мои слова.

С лукавой улыбкой поглядев на инструмент и обнажив при этом маленькие, слишком бесцветные и прозрачные при таких толстых губах зубы, он бросил взгляд на Иосифа, который в ответ улыбнулся. Улыбались, впрочем, также царица и ваятели.

— А ты, любезный Век, — продолжал фараон, — поезжай туда, куда я тебе велел! Поезжай в Иабу, поезжай в Страну Слонов и привези оттуда побольше красного гранита, что там родится, самого лучшего, с зернами кварца и с черноватым блеском, ты же знаешь, какой я люблю. Фараон хочет украсить карнакский дом своего отца так, чтобы он превосходил дом Амуна если не размерами, то хотя бы благородством камня и чтобы название «Блеск Атона» закрепилось за храмовым округом, подготавливая тот день, когда, может быть, сама Узет, вся целиком, станет в устах людей «Городом блеска Атона». Ты знаешь мои мысли, и я уповаю на твою любовь к ним. Поезжай, мой любезный, поезжай тотчас! Фараон будет сидеть здесь среди подушек, а ты отправишься в далекие края, вверх по реке, и претерпишь все тяготы, каких стоит получение красного камня, а затем доставка его на судно и перевозка в Фивы в прекрасном обилии. Вот как обстоят дела, и пусть они так обстоят. Когда ты отправишься?

— Завтра утром, — отвечал Бек, — устроив дела жены и дома. А любовь к нашему Сладчайшему Господину, прекрасному отпрыску Атона, сделает мое путешествие и мои труды такими легкими, как будто я усядусь в мягчайшие подушки.

— Отлично, отлично, а теперь ступайте, художники! Идите и приступите каждый к своему труду. У фараона важные дела, он только внешне покоится в подушках, внутренне же он напряжен, занят и озабочен. Ваши заботы, как они ни прекрасны, ничтожны в сравнении с его заботами. Прощайте, идите!

Он подождал, покуда мастера почтительно удалятся, но тем временем уже глядел на Иосифа.

— Подойди поближе, друг! — сказал он, когда занавеска с пчелами закрылась за ними. — Пожалуйста, подойди поближе, любезный хабир из Ретену, не бойся и не пугайся своих шагов, подойди совсем близко! Это Мать Бога, Тейе, которая живет миллионы лет. А я фараон. Но ты не думай больше об этом, чтобы не бояться. Фараон — бог и человек, но второе для него столь же важно, сколь и первое, и ему даже радостно, радостно порой до гнева и до упрямства, показывать себя человеком и стоять на том, что одной своей стороной он та-

кой же человек, как все; ему приятно дать щелчок по носу брюзгам, которые хотят, чтобы он всегда вел себя только как бог.

И он в самом деле щелкнул в воздухе тонкими пальцами.

— Но я вижу, что ты не боишься, — продолжал он, — и не пугаешься собственных шагов, а шагаешь ко мне со спокойным изяществом. Это приятно, ибо у многих, когда они стоят перед фараоном, душа уходит в пятки, их покидает отвага, колени у них подгибаются, и они уже не отличают жизни от смерти. У тебя голова не кружится?

Иосиф, улыбаясь, покачал головой.

— Это может быть по трем причинам, — сказал юный царь. — Либо потому, что твое происхождение по-своему благородно, либо потому, что ты видишь в фараоне человека, как то нравится ему, если при этом не забывают и о его божественности, либо же потому, что ты чувствуешь отсвет божества на себе самом, ибо ты поистине писанный красавец — мое величество заметило это сразу, как только ты вошел, и хотя я не удивился, поскольку мне уже сказали, что ты сын некоей миловидной красавицы, это все-таки привлекло мое внимание. Ведь это же доказывает, что тебя любит тот, кто сам же и придает внешности красоту, кто благодаря Своей красоте и ради Своей красоты наделяет глаза жизнью и зрением. Красивых можно назвать любимцами света.

Он благосклонно оглядывал Иосифа, скосив голову.

— Разве он не чудо как красив, разве он не прекрасен, как светозарный бог, маменька? — спросил он Тейе, которая подпирала щеку тремя пальцами своей маленькой, смуглой, сверкавшей камнями руки.

— Ты призвал его к себе ради приписываемой ему мудрости и способности толковать сны, — возразила она, глядя в пустоту.

— Одно с другим связано, — быстро и запальчиво ответил Аменхотеп. — Об этом фараон много размышлял и многое узнал, беседуя с гонцами, которые прибывали к нему из чужих и далеких стран, с чародеями, жрецами и посвященными, которые приносили ему вести о мыслях людей с востока и запада. Ибо чего только ему не приходится слушать и узнавать, чтобы проверить, выбрать и использовать все полезное для совершенствования учения и познания образа истины по воле его небесного отца! Красота, маменька, и ты, милейший аму, связана с мудростью, и связана посредством света. Ибо свет — это средство, это средоточие роднящих лучей, которые расходятся на три стороны — к красоте, к любви и к познанию истины. Все они в нем едины и свет — это их триединство. Чужеземцы познакомили меня с учением об изначальном, рожденном из пламени божестве, прекрасном божестве любви и света, и имя ему было «Блеск первородный». Это прекрасное, полезное учение, ибо из него явствует тождество света и любви. Но свет — это и красота, так же как истина и знание, и если вы хотите узнать средство достижения истины, то это любовь... Правду ли говорят о тебе, что, услышав сон, ты способен его истолковать? — спросил он Иосифа, краснея, ибо устыдился собственной пылкости.

— Не обо мне, господин, следует говорить в этой связи! — ответил Иосиф. — Способен на это не я. Способен на это один бог, а он делает это порой через меня. Все мое время, есть время видеть сны, и есть время их толковать. Когда я был мальчиком, я видел сны, и братья, мои враги, бранили меня сновидцем. Теперь, когда я стал мужчиной, пришло время толковать сны. Мои собственные сны теперь истолковываются, а истолковывать чужие сны бог меня сподобляет.

— Значит, ты юноша-прорицатель, так называемый вдохновенный агнец? — осведомился Аменхотеп. — Кажется, тебя можно отнести к этой категории. Испустишь ли ты дух с последними своими словами, в самозабвенном восторге предсказав царю будущее, чтобы царь торжественно похоронил тебя и записал твои пророчества на память потомству?

— Нелегко, — сказал Иосиф, — ответить на вопрос Великого Дома, на него нельзя ответить ни «да», ни «нет», а можно разве только «и да, и нет». Твой раб удивлен и до глуби-

ны сердца тронут тем, что ты благоволишь видеть в нем агнца, вдохновенного агнца. К этому имени я приучен с детства моим отцом, другом бога, называвшим меня «агнец» потому, что мою милостивую мать, ради которой он служил в Синеаре, за попятным потоком, звездную красавицу, что родила меня под знаком Девы, звали Рахиль, что значит «объягнившаяся овца». Это, однако, еще не дает мне права решительно подтвердить твое. Великий Господин, предположение, сказавши: «Да, это я», или «Да, таковым я являюсь»; ибо таковым я являюсь и вместе с тем не являюсь, поскольку являюсь им я как таковой, иными словами, поскольку, осуществляясь в частном, общая форма до неузнаваемости видоизменяется, так что знакомое становится незнакомым. Не жди, что с последним своим словом я испущу дух, потому что так положено. Твой раб, вызванный тобою из ямы, этого не ждет, ибо это имеет отношение только к форме, но не ко мне, в котором она видоизменяется. Не стану я, в отличие от образцового юноши-прорицателя, впадать и в самозабвенный восторг, если бог сподобит меня предсказать фараону будущее. Когда я был мальчиком, мне действительно ничего не стоило прийти в восторг, и я доставлял много забот отцу, закатывая глаза точь-в-точь как это делают всякие там рогатые и голые ведуны и гадатели. С годами сын от этого отучился и, даже толкуя сны, он верен разуму бога. В самом истолковании снов есть уже достаточная доля восторга; так незачем еще и бесноваться. Толкование должно быть толковым и ясным, а не какой-то авла-савлалакавлый.

Говоря, Иосиф не глядел на мать, но краешком глаза он увидел, что она одобрительно кивает головой со своего высокого кресла. Раздался даже почти мужской, низкий и энергичный голос ее изящного тела:

— Чужеземец говорит фараону дельные и достойные внимания слова.

Иосифу ничего не осталось, как продолжать, ибо царь промолчал и повесил голову, надув губы, как мальчик, которого слегка отчитали.

— А спокойствие при толкованье и гаданье, — продолжал он после похвалы, — связано, по мнению этого ничтожного раба, с тем, что форма и традиция осуществляются не иначе как через «я», не иначе как через единично-частное, которое, по-моему, и накладывает на них печать божьего разума. Ибо традиционные образцы идут из глубины, что внизу, и нас связывают. А «я» от бога и принадлежит духу, а дух свободен. Для цивилизованной жизни связывающие нас дольные образцы должны преисполниться божественной свободой нашего «я», и не может быть цивилизации без того и другого.

Аменхотеп, высоко подняв брови, взглянул на мать и стал аплодировать, похлопывая двумя пальцами одной руки по ладони другой.

— Ты слышишь, маменька? — заговорил он. — Мое величество пригласило очень рассудительного и одаренного молодого человека. Вспомни, пожалуйста, что именно я, и притом по собственному усмотрению, призвал его ко двору! Фараон тоже очень одарен и развит для своих лет, но он не уверен, что сумел бы так складно сопоставить вяжущий образец глубины с достоинством небес. Ты, значит, — спросил он, — не связан вяжущим образцом беснующегося агнца и не станешь надирать фараону сердце традиционными предсказаниями ужасной беды и вторжения чужеземных народов, когда все, что было внизу, окажется наверху?

Он вздрогнул.

— Это известно, — сказал он бледнеющими губами. — Но мое величество должно щадить себя, оно плохо переносит все дикое и нуждается в приятном и нежном. Страна погибла, она охвачена мятежом, бедуины рыщут по ней, богатые стали бедными, а бедные богатыми, законов больше нет, сын убивает отца, а брат — брата, звери пустыни пьют из водоотводов, люди смеются смехом смерти, Ра отвернулся, никто не знает, когда полдень, ибо не видно тени солнечных часов, нищие поедают жертвенные дары, царя волокут в плен, и остается только одно утешение, что придет спаситель и все поправит! Так вот, этой песни фараон не услышит? Можно ли надеяться, что обновление традиционного единично-особенным исключит подобные страсти?

Иосиф улыбнулся. Именно сейчас он произнес те запечатленные слова, которые так часто хвалили как пример вежливости и находчивости:

— Бог даст ответ во благо фараону.

— Ты говоришь «бог», — продолжал допытываться фараон. — Ты уже много раз говорил «бог». Какого бога ты имеешь в виду? Поскольку ты родом из Аму и Захи, ты, по-видимому, имеешь в виду быка полей, которого на Востоке называют Баалом, господом?

Улыбка Иосифа стала загадочной. Он покачал головой.

— Мои отцы, мечтатели бога, — ответил он, — заключили союз с другим господом.

— Тогда это может быть только Адонаи, — быстро сказал царь, — воскресающий жений, о котором плачет флейта в ущельях. Ты видишь, фараон хорошо разбирается в богах человеческих. Он должен все испытать и узнать, он должен, как золотоискатель, добывать из груди нелепиц крупницы истины, чтобы они помогали ему усовершенствовать учение о его достопочтенном отце. Фараону тяжело, но ему и хорошо, очень хорошо, и такова доля царя. Я понял это благодаря своей одаренности. Кому тяжело, тому должно быть и хорошо, но только ему. Ибо если тебе только хорошо, то это тошнотворно; но если тебе только тяжело, то это тоже не годится. Так же как во время большого праздника дани мое величество сидит рядом со своей Сладчайшей супругой в прекрасном Павильоне Присутствия, а посланцы народов — мавры, ливийцы и азиаты — проходят мимо меня нескончаемой вереницей с приношениями со всего мира, с золотом в слитках и кольцах, со слоновой костью, серебром в виде ваз, страусовыми перьями, коровами, виссоном, гепардами и слонами, — точно так же сидит Владыка Венцов в прекрасном своем дворце посреди мира, с подобающими ему удобствами, принимая в дар мысли всей населенной земли. Как мне было уже угодно упомянуть, певцы и пророки чужих богов, сменяя друг друга, прибывают к моему двору отовсюду — из славной своими садами Персии, где считают, что земля станет некогда плоской и ровной, а у всех людей будут одинаковые обычаи, законы и язык; из Индии, страны, где родится ладан, из сведущего в звездах Вавилона и с островов моря. Они все навещают меня и проходят мимо моего престола, и мое величество беседует с ними, как сейчас оно беседует с тобой, недюжинным агнцем. Они докладывают мне о раннем и о позднем, о старом и о новом. Иногда они оставляют на память замечательные подарки и божественные регалии. Видишь эту штуку?

И он поднял с колен выпуклый струнный инструмент и показал его Иосифу.

— Лютня, — определил тот. — Фараону и впрямь подобает держать в рунах знак прелести и доброты.

А сказал он это потому, что письменным знаком египетского слова «ноферт», которое переводится как «прелесть» или «доброта», служит лютня.

— Я вижу, — ответил царь, — что ты разбираешься в искусствах Тота и что ты писец. Я думаю, что это связано с достоинством «я», в котором осуществляется вяжущий образец глубины. Но эта штука обозначает не только прелесть и доброту, но и нечто другое, а именно лукавство одного чужеземного бога, который доводится не то братом, не то другой ипостасью Ибисоголовому и еще ребенком изобрел этот инструмент, встретившись с одним животным. Ты знаешь, что это за раковина?

— Это панцирь черепахи, — сказал Иосиф.

— Верно, — подтвердил Аменхотеп. — С этим мудрым животным и встретился в детстве этот хитрый, родившийся в пещере среди скал бог, и оно пало жертвой его хитроумия. Дерзко отняв у него полый панцирь, он натянул на панцирь струны и прикрепил к нему, как видишь, два рога: так получилась лира. Я не говорю, что это именно тот инструмент, который был изготовлен лукавым богом. Не утверждал этого и тот, кто привез его мне и подарил, один мореплаватель с Крита. Просто, наверно, в шутку и в знак благочестивой памяти эта лютня сделана по образцу той, да и была она лишь придачей ко множеству историй, которые критянин рассказал фараону об этом младенце пещеры. Ибо малыш то и дело выпрастывался из пеленок и убегал из пещеры, чтобы выкинуть какую-нибудь штуку. Так, например, хоть

в это и не верится, он увел с холма, где они паслись, говяд своего брата, бога Солнца, когда тот закатился. Их было пятьдесят, и он гонял их во всех направлениях, чтобы их следы спутались; а собственные свои следы он изменил, подвязав к ногам огромные, из плетеных веток сандалии, — он оставил исполинские следы и в то же время вообще не оставил следов, и это, видимо, правомерно; ибо он был хоть и ребенком, но богом, и детству его вполне подобали какие-то непонятные следы исполинских размеров. Угнав говяд, он укрыл их в пещере, — не в той, где родился, а в другой, благо пещер там множество, — но двух коров он по дороге зарезал и зажарил у реки на сильном огне. Он съел их, грудной младенец, и эта исполинская трапеза ребенка вполне подходила к его следам.

— Сделав все это, — продолжал в той же, более чем удобной позе Аменхотеп, — вороватый младенец улизнул в свою родную пещеру и улегся в пеленки. Когда же бог Солнца снова взошел и хватился своих говяд, он принялся гадать себе, ибо он был богом-гадателем, и узнал, что это мог натворить только его новорожденный брат. Он вошел к нему в пещеру, пылая гневом. При звуке его шагов разбойник сжался в комок в своих божественно благоухавших пеленках и притворился, что спит сном невинности, обняв одной рукой лиру. И как ловко лгал этот лицемер, когда его солнечный брат, которого никакие уловки не могли ввести в заблуждение, с угрозами призвал его к ответу за воровство! «У меня, — лепетал он, — совсем другие заботы: сладкий сон, материнское молоко, пеленки, чтобы укутать плечи, да теплые омовенья». А потом, по словам мореплавателя, он поклялся великой клятвой, что о говьядах и знать не знает. — Я тебе не наскучил, маменька? — прервал себя царь, повернувшись к восседавшей на престоле богине.

— С тех пор как я избавилась от заботы об управлении странами, — отвечала она, — у меня много лишнего времени. Я могу убить его на истории чужеземных богов с таким же толком, как на что-либо другое. Только мир, кажется мне, вывернулся наизнанку: обычно царь слушает рассказы, а твое величество рассказывает само.

— А почему бы и нет? — возразил Аменхотеп. — Фараон должен учить. И если он чему-то научился, ему не терпится научить этому других. Моя матушка недовольна, конечно же, тем, — продолжал он с движением пальцев, как бы объясняя ей ее же слова, — что фараон не спешит рассказать этому разумно-вдохновенному агнцу свои сновиденья, чтобы услышать наконец правду о них. Ибо в том, что я получу от него правдивое истолкование, меня уже почти уверили его утешительная внешность и некоторые его высказывания. Кроме того, мое величество не боится его прорицаний, ибо он обещал мне, что гадать будет не по образцу бесноватых юношей, не ужасая меня пророчествами вроде того, что нищие станут пожирать жертвенные дары. И разве ты не знаешь удивительного свойства души человеческой добровольно оттягивать исполнение самого большого желания, когда это желание должно наконец-то сбыться? Оно и так исполняется, говорит себе человек, и окончательное его исполнение зависит лишь от меня; поэтому я с таким же успехом могу еще немного помешкать, ибо само желанье и ожиданье мне как-то даже полюбились, и его до некоторой степени жаль. Такова человеческая природа, и поскольку фараон считает важным быть человеком, он поступает так же.

Тейе улыбнулась.

— Как бы твое дорогое величество ни поступило, — сказала она, — мы найдем это прекрасным. Поскольку этот прорицатель не имеет права задавать тебе вопросы, задам вопрос я: сошло ли с рук злокозненному младенцу его клятвопреступление или дело на этом не кончилось?

— Не кончилось, — отвечал Аменхотеп, — не кончилось, если верить моему рассказчику. Связав вора, солнечный брат привел его к отцу, великому богу, чтобы младенец признался в содеянном, а отец его наказал. Но и там этот хитрец стал отрицать свою вину в лукавых, мнимоблагочестивых речах. «Я, — лепетал он, — высоко чту Солнце и всех других богов, я люблю тебя и боюсь брата... А ты защити младшего, помоги мне, ребенку!» Так притворялся

он, хитро выпячивая прекрасные преимущества младшего, но при этом одним глазом подмигивал отцу, который в конце концов громко рассмеялся и только приказал наглецу показать и выдать брату украденных говяд, чем тот и удовлетворился. Правда, когда старший обнаружил недостачу двух коров, гнев его вспыхнул с новой силой. Но куда он угрожал и бранился, младший играл на своей черепахе — вот на этой — и под бряцанье струн его песни звучали так сладостно, что брань утихла и солнечный бог загорелся одним желанием: завладеть лирой. И она досталась ему; ибо они заключили между собой договор: говяды остались разбойнику, а лиру получил его брат — и получил навеки.

Фараон умолк и с улыбкой поглядел на памятный дар, лежавший у него на коленях.

— Весьма поучительным образом, — сказала мать, — отсрочил фараон исполнение самого заветного своего желания.

— Поучительно это постольку, — отвечал царь, — поскольку доказывает, что боги-дети только притворяются детьми, и притворяются из озорства. Ведь и этот сын пещеры, стоило лишь ему захотеть, оказывался ловким и сведущим юношей, находчивым помощником богов и людей. Каких только неведомых прежде вещей он не изобрел: письмо и счет, маслоделие и убедительно-хитроумную речь, которая не чурается и лжи, но лжет с обаянием! Мой знакомец, мореплаватель, почитал его как своего покровителя. Ибо это, по словам критянина, бог благоприятного случая и счастливой находки, даритель благословения и благоденствия, полученного тем честным или даже немного нечестным путем, какой предоставит жизнь, вожатый и устроитель, который ведет людей извилистыми дорогами мира, с улыбкой оглядываясь назад и подняв жезл. Даже мертвых, сказал мореплаватель, он уводит в их лунное царство и управляет даже сновиденьями, ибо ко всему прочему он владыка сна, закрывающий этим своим посохом глаза людей, и в общем, при всей своей хитрости, добрый волшебник.

Взгляд фараона упал на Иосифа — тот стоял перед ним, откинув назад и одновременно немного склонив к плечу свою красивую и прекрасную голову, и глядел наискось вверх, на расписную стену, с ненапряженной и рассеянной улыбкой, как бы говорившей, что всего этого ему можно и не слушать.

— Известны ли тебе истории этого плутоватого бога, прорицатель? — спросил Аменхотеп.

Иосиф поспешно переменял позу. В виде исключения он вел себя неподобающим при дворе образом и теперь показал, что отдает себе в этом отчет. Показал он это даже несколько подчеркнуто, так что у фараона, который всегда все замечал, создалось впечатление, что испуг спохватившегося Иосифа был наигранным и что именно этого впечатления Иосиф и добивался. Фараон продлил свой вопрос, направив на Иосифа свои серые, с поволокой, как можно шире раскрытые глаза.

— Известны ли, высочайший государь? — отозвался тот. — И да, и нет — разреши твоему рабу ответить надвое!

— Ты довольно часто просишь о таком разрешении, — заметил фараон, — вернее, ты его даешь себе сам. Все твои речи содержат утвердительный и вместе с тем отрицательный ответ. Должно ли это мне нравиться? Ты являешься Бесноватым Юношей и вместе с тем не являешься им, потому что им являешься ты. Бог проделок известен тебе и вместе с тем неизвестен, потому что — что? Известен он тебе или нет?

— И тебе, владыка венцов, — отвечал Иосиф, — он в известном смысле известен издавна, поскольку ты назвал его далеким братом и даже другой ипостасью Джхути, ибисоголового писца и друга Луны. Так что же, известен он тебе или нет? Он тебе знаком. А это больше, чем известен, и благодаря знакомству мои «да» и «нет» тоже взаимно уничтожаются и становятся равнозначны. Нет, я не знал сына пещеры. Владыки проделок. Никогда мудрый Елиезер, Старший Раб моего отца и мой учитель, который вправе был говорить о себе, что земля скакала ему навстречу, когда он отправился за невестой для отвергнутой жертвы, отца моего отца... прости! Это долгая история, сейчас твоему слуге не время рассказывать тебе обо всем на свете. И все же ему запомнились, у него стоят в ушах слова божественной матери: так

уж ведется в мире, что царь слушает рассказы, а не рассказывает сам. Я знаю множество проделок, которые доказали бы тебе, тебе и Великой Владычице, что дух плутоватого бога всегда был присущ людям и мне знаком.

Аменхотеп шутливо кивнул головой матери, словно бы говоря: «Ну и ну!»

— Богиня разрешает тебе, — сказал он затем, — поведать нам о какой-нибудь проделке, если ты думаешь, что сумеешь позабавить нас этим перед толкованием снов.

— Ты даруешь людям дыхание, — с поклоном сказал Иосиф. — Я воспользуюсь им, чтобы тебя развлечь.

И со скрещенными руками, выпрастывая порой одну кисть для большей живости описаний, он принялся рассказывать фараону:

— Космат был Исав, мой дядя, горный козел, близнец отца моего, заставивший его пропустить себя вперед при рождении, — это был увалень красношерстный, а тот был гладок и тонок, шатролюбивый баловень матери, радетель бога, пастух, а не зверолов, как Исав; Иаков всегда был благословен, задолго до того часа, когда мой дед, отец обоих, решил передать дальше наследственное благословение, ибо жизнь его шла на убыль: старик был слеп, старые глаза уже не хотели его слушаться, никак не хотели, и видел он уже только руками, ощупью, а не взглядом. Вот он и призвал к себе своего старшего. Красного, любить которого себя заставлял. «Возьми, — сказал он, — свой лук, доброчестный мой сын, косматый мой первенец, и настреляй мне дичи, и свари мне из своей добычи острое кушанье, чтобы я поел и благословил тебя, на славу подкрепившись для благословенья едой!» Тот к пошел охотиться. А тем временем мать обложила гладкие члены младшего шкурой козленка и дала ему кушанье из мяса козленка, остро приправленное. И с этим кушаньем он вошел в шатер к господину своему и сказал: «Вот и я, отец мой, Исав, твой космач, который настрелял и сварил тебе дичи; поешь и благослови первенца своего!» — «Дай мне оглядеть тебя зрячими моими руками, — сказал слепец, — действительно ли ты космач мой Исав, ибо сказать это может каждый!» И он ощупал его и нашупал шкуру — повсюду, где не было платья, Иаков был космат, как Исав, хотя и не красен — но руки этого не могли видеть, а глаза не хотели. «Да, сомнений нет, это ты, — сказал этот старик, — я узнаю твою шерсть. Важно знать, гладок ты или космат, и как хорошо, что не нужно глаз, чтобы определить эту разницу: достаточно рук. Ты Исав, а потому накорми меня, и я тебя благословлю!» И он понюхал сына и поел и дал не тому, но именно тому, кому следовало, всю полноту не подлежащего отмене благословения. С ним Иаков и удалился. А потом пришел с поля Исав, он кичился и хвастался великим своим часом. У всех на виду сварил и приправил он свою дичь и понес ее отцу, но не в добрый час вошел этот простофиля в шатер, ибо его, неправедно праведного, незаконно заслуженного наследника, встретили как обманщика, потому что благодаря материнской хитрости его давно опередил наследник законно незаслуженный. Исав получил только проклятие, он был обречен жить в пустыне, ибо ничего другого, после того как Иаков унес благословение, для него не осталось. Ну и смех это был, ну и потеха, когда он сидел и вопил с высунутым языком, роняя в пыль крупные слезы, пентюх несчастный, которого околпачил дух многоопытности и ловкости.

Сын и родительница засмеялись: она — звучно, альтиом, он — пронзительно и даже, пожалуй, фальцетом. Оба при этом качали головами.

— Подумать только, какая гротескная история! — воскликнул Аменхотеп. — Варварская побасенка — превосходная по-своему, хотя и несколько удручающая, так что даже не знаешь, как к ней и отнестись, и тебя разбирает и смех и сочувствие. Незаслуженно законный, говоришь ты, и незаконно заслуженный? Это, право, недурно, это замысловато и остроумно. Не дай бог никому обладать незаслуженно законными правами, чтобы ему в конце концов не пришлось вопить с высунутым языком, роняя в пыль крупные слезы! А как тебе нравится мать, маменька? Козлиные шкурки на гладкие места — вот как она помогла старику и его зрячим рукам, чтобы он благословил не того, но именно того, кого следовало! Признай, что я призвал ко двору весьма оригинального агнца!.. Еще об одной проделке, хабир, тебе разрешается

рассказать моему величеству, дабы я мог судить, не была ли первая хороша лишь случайно и действительно ли дух ловкого бога тебе не только известен, но и близок. Говори же!

— Фараон молвит слово, — сказал Иосиф, — и дело готово. Благословенному пришлось бежать от ярости околпаченного, ему пришлось уехать, уехать в Нахараим, в страну Синеар, где у него жили родственники: Лаван, персть земная, хмурый деляга, и его дочери, одна красноглазая, а другая миловиднее, чем звезда, и она стала единственным, кроме бога, сокровищем беглеца. Но суровый дядя заставил его служить за звездную свою дочь семь лет, и они промелькнули для него как семь дней, а когда он отслужил их, Лаван подсунил ему в темноте сначала другую свою дочь, которой тот не хотел, но потом, правда, отдал ему и обещанную, Рахиль, объягнившуюся овцу, ту, что родила меня в сверхъестественных муках, и меня назвали Думузи, праведным сыном. Это между прочим. Когда же звездная дева оправилась от родов, отец захотел уйти со мной и с десятью сыновьями, рожденными ему неправедной женой и служанками, — или, вернее, притворился, что хочет уйти, притворился перед дядей, которому это не улыбалось, потому что ему шло на пользу благословение Иакова. «Отдай мне весь крапчатый скот своего стада! — сказал Иаков Лавану. — Пусть он будет моим, а весь одноцветный твоим — таково мое скромное условие». На том они и порешили. Но что сделал Иаков? Он взял прутьев от деревьев и кустов и вырезал в их коре белые полосы, отчего прутья стали пятнистыми. Он положил их в водопойные корыта, куда приходил пить и возле которых, напившись, зачинал скот. Иаков неизменно заставлял овец глядеть во время совокупления на пестрое, и это, через глаза, влияло на них таким образом, что они приносили пятнистый приплод. Так он сделался весьма и весьма богат, а Лаван остался ни с чем, одуроченный духом хитроумного бога.

Снова донельзя веселились, качая головами, мать и сын. У царя от смеха болезненно вздулась жилка на лбу, а в его полузакрытых глазах сверкали слезы.

— Маменька, маменька, — сказал он, — моему величеству очень смешно и весело! Он взял прутья с пестрой нарезкой и повлиял на овец через глаза! Недаром, видно, существует выражение «веселая пестрота»! Фараона такая пестрота веселит. Жив ли он еще, твой отец? Это был, скажу я тебе, ловкач. Значит», ты сын плута и миловидной красавицы?

— Красавица тоже была плутовкой и воровкой, — уточнил Иосиф. — Прodelок не чуралась и ее миловидность. Ведь украла же она, в угоду супругу, идолов хмурого своего отца и, спрятав их в верблюжьей соломе, села на них и сладкоголосо сказала: «Я нездорова, у меня месячные, поэтому я не могу встать». А Лаван искал до изнеможения.

— Одно другого лучше! — воскликнул, раздражаясь смехом, Аменхотеп. — Нет, послушай, маменька, ты должна признать, что я призвал действительно оригинального агнца, красивого и забавного... Теперь пора, — определил он внезапно. — Фараон расположен услышать от этого разумного юноши толкование своих затруднительных снов. Я хочу услышать его, прежде чем на моих глазах окончательно высохнут эти слезы душевной беседы! Ибо куда глаза мои влажны от непривычного смеха, я не боюсь ни снов, ни их истолкования, чего бы оно ни сулило. Ведь этот потомственный плут не напророчит фараону всяких глупостей, вроде тех, что напророчили ему педанты из книгохранилища, и всяких ужасов. И даже если правда, которую он скажет, печальна, то не так она прозвучит в этих веселых устах, чтобы мои слезы сразу же совершенно изменили свой смысл. Прорицатель, нужно ли тебе какое-нибудь орудие или приспособление для твоей работы? Может быть, котел, который принимает сны и откуда выходит истолкование?

— Решительно ничего, — отвечал Иосиф. — Между землей и небом нет ничего, что понадобилось бы мне, чтобы сделать свое дело. Я гадаю бесхитростно, скромно и честно, как уж положит на душу бог. Фараону стоит только рассказать.

Царь откашлялся, поглядел несколько смущенно на мать и с легким поклоном извинился перед ней за то, что ей придется еще раз выслушать его сны. Затем, сверкая влажными глазами, в которых медленно высыхали слезы смеха, он добросовестно рассказал свои потускневшие видения в шестой раз — первое и второе.

ФАРАОН ПРОРОЧЕСТВУЕТ

Иосиф слушал без напускного напряжения, спокойно и скромно. Он, правда, не открывал глаз, когда фараон говорил, — но только этим он и обнаружил свою сосредоточенную углубленность в его рассказ; больше того, он еще несколько мгновений не открывал глаз, когда фараон кончил и выжидательно затаил дух. Он даже заставил его еще немного подождать, не открыв глаз и тогда, когда, как он знал, на него уставились в ожиданье глаза царя. Очень тихо было в критской лоджии. Только, звонко кашлянув, побренчала своими подвесками мать-богиня.

— Ты спишь, агнец? — спросил наконец Аменхотеп нерешительным голосом.

— Нет, вот я, — ответил Иосиф, не слишком поспешно открывая глаза перед фараоном. Впрочем, взглянул он скорее, так сказать, сквозь него, чем на него, или, вернее, взгляд его задумчиво оттолкнулся от царя и снова ушел в себя, что очень и очень украшало черные глаза Рахили.

— Что же ты скажешь по поводу моих снов?

— Твоих снов? — отвечал Иосиф. — Ты хочешь сказать — твоего сна. Видеть сон дважды не значит видеть два сна. Тебе снился один и тот же сон. Если же он снился тебе дважды, сначала в одном виде, а потом в другом, то это только подтверждает, что твой сон непременно исполнится, и притом скоро. К тому же вторая его форма лишь объясняет и уточняет смысл первой.

— Так ведь мое величество сразу и подумало! — воскликнул Аменхотеп. — Маменька, ведь это как раз и была моя первая мысль, что, как говорит это агнец, оба сна представляют собой по сути один! Мне приснился цветущий скот и убогий, а потом словно бы кто-то сказал мне: «Ты меня верно понял? Вот что имелось в виду!» И тогда мне приснились колосья, пышные и горелые. Ведь и человек, бывает, скажет что-нибудь, а потом объяснит еще раз, другими словами: мол, так-то и так. Маменька, этот вещий и вовсе не бесноватый юноша положил хорошее начало гаданью. Портachi из книгохранилища сразу же начали не с того, и ничего путного от них не приходилось и ждать. Ну, что ж, продолжай, прорицатель, толкуй! Каков единый смысл моего двойного царского сна?

— Смысл его един, как едины обе страны, а сон двойствен, как твой венец, — ответил Иосиф. — Разве не это хотел ты сказать последними своими словами и не это ли ты хоть и неточно, но не случайно сказал? То, что ты имел в виду, ты выдал словами «царский сон». Во сне на тебе были венец и хвост, я это услышал в темноте. Ты был не Аменхотепом, а Нефер-Хеперу-Ра, царем. Бог говорил с царем через его сны. Он поведал фараону свои намерения, чтобы тот знал их и принял сообразные этому указанию меры.

— Именно! — воскликнул Аменхотеп снова. — Это мне было яснее ясного! Маменька, с самого начала мне было ясно, как день, то, что говорит это недюжинный агнец, — что сны снились не мне, а царю, — если только одно можно отделить от другого и если для того, чтобы царь видел сны, не нужен именно я. Разве фараон этого не знал, разве он не клялся тебе в то же утро, что его двойной сон важен для государства и потому должен быть во что бы то ни стало разгадан? Но послан он был царю не как отцу, а как матери стран; ведь царь двоякого пола. Сон мой касался житейских потребностей и дольней черноты — я знал это и знаю. Но ничего больше я покамест не знаю, — опомнился он внезапно. — В чем дело, почему мое величество совершенно забыло, что больше оно ничего покамест не знает и что толкованье еще впереди? У тебя есть способность, — повернулся он к Иосифу, — создавать отрадное впечатление, будто все уже наилучшим образом решено и устроено, а ведь покамест ты нагадал мне лишь то, что я и без того знал. Но что значит мой сон и что он хотел мне сказать?

— Фараон ошибается, — ответил Иосиф, — думая, что он этого не знает. Этот раб способен предсказать ему только то, что он уже знает. Разве ты не видел, как вылезали из воды

коровы — одна за другой, цепочкой, гуськом, сначала упитанные, а потом тощие, без перерыва, без остановки? Что выходит вот так же из вместилища вечности, друг за дружкой, не бок о бок, а гуськом, и нет промежутка между идущими, и нет разрыва в цепи?

— Годы! — воскликнул Аменхотеп, подавшись вперед и щелкнув пальцами.

— Разумеется, — сказал Иосиф. — Не нужно никакого котла, не нужно закатывать глаза и бесноваться, чтобы сказать, что коровы — это годы, семь лет и семь. Ну, а колосья, что затем выросли, один за другим, в таком же количестве, — это, по-твоему, что-то совсем иное и никак не поддается разгадке?

— Нет! — воскликнул фараон и щелкнул пальцами снова. — Это тоже годы!

— Так, во всяком случае, говорит разум божий, а с ним никак нельзя не считаться. Но что касается колосьев, семи полных и семи пустых, которыми обернулись коровы во втором обличье твоего сна, то уж в этом случае, наверно, понадобится котел, и притом большой, как луна, чтобы оттуда вышло на свет, в чем тут дело и при чем тут красота семи первых коров и уродство семи последующих. Не соблаговолит ли фараон приказать, чтобы сюда доставили котел на треножнике?

— Да ну тебя с твоим котлом! — воскликнул царь снова. — Разве сейчас время говорить о каком-то котле и разве нам нужен котел? Тут все ясно, как на ладони, и прозрачно, как драгоценный камень чистой воды! Красота и уродство коров связаны с колосьями, с урожаем и неурожаем. — Он замолчал и широко открыл глаза, уставившись в пустоту. — Будет семь сытых лет, — проговорил он рассеянно, — и семь лет голода.

— Непременно и вскорости, — сказал Иосиф, — ибо это было тебе объявлено дважды. Фараон направил свой взгляд на него.

— Ты не испустил дух после пророчества, — сказал он с некоторым восхищением.

— Если бы это не звучало так крамольно и мерзко, — отвечал Иосиф, — следовало бы подивиться, что не испустил дух фараон, ибо произнесено пророчество им.

— Нет, это ты только так говоришь, — возразил Аменхотеп, — ты, как истый потомок плутов, просто внушил мне, будто я сам предсказал будущее, истолковав свои сны. Почему же я не смог сделать это до твоего прихода, почему я тогда только знал, что неверно, но верной отгадки не знал? А в том, что это толкование верно, я нисколько не сомневаюсь, и в этом толковании единый мой сон себя узнает. Ты поистине вдохновенный агнец, но совершенно недюжинный. Ибо ты не раб вяжущего образца глубины, ты не стал предсказывать мне сперва проклятую, а потом благословенную пору, наоборот, ты предсказал мне сперва благоденствие, а потом наказание, и в этом твоя оригинальность!

— Твоя, властелин стран, — отвечал Иосиф, — все дело в тебе. Ведь это ты увидел во сне сначала тучных коров, а потом жалких и сначала прекрасные колосья, а потом ржавые; значит, оригинален единственно ты.

Аменхотеп выбрался из углубления своего кресла и прыгнул на пол. Быстро шагая своими странными, толстыми и одновременно тонкими ногами, бедра которых просвечивали сквозь батист, он подошел к престолу своей матери.

— Итак, матушка, — сказал он, — царские мои сны мне истолкованы, и правду я знаю. Теперь мне смешно и вспомнить всю ту ученую дребедень, которую моему величеству хотели выдать за правду, весь этот вздор насчет дочерей, городов, царей и четырнадцати детей, а ведь раньше он приводил меня в отчаяние своей нелепостью. Зная благодаря этому вещему юноше правду, я могу смеяться над галиматьей болтунов. Однако правда сурова. Моему величеству предсказано, что во всей земле Египетской наступит семь лет великого изобилия, а после них семь лет такого голода, что прежнее изобилие совершенно забудется и голод поглотит землю, как тощие коровы поглотили тучных коров и как колосья горелые поглотили золотые колосья, ибо одновременно это было предсказание о том, что никто не будет помнить о предшествовавшем голоду изобилии, что память об изобилии будет поглощена ужасом голода. Вот что поведано фараону его снами, представлявшими собой один сон и посланными ему как матери

стран. Не могу понять, почему мне это до сих пор не было ясно. Но теперь все открылось с помощью этого хоть и своеобразного, но неподдельного агнца. Ибо если для того, чтобы царь увидел сон, нужен был я, то для того, чтобы агнец предсказал будущее, нужен был он, и бытие наше — это только стык небытия и вечного бытия, и наша временность — это только проявление вечности. Только, но все-таки и не только! Это еще вопрос, и я хотел бы предложить его мыслителям из храма отца моего — придает ли вечное особую ценность временно-единичному или, наоборот, единично-частное вечному. Это вопрос из прекрасной категории неразрешимых вопросов, которые можно бесконечно разбирать ночи напролет...

Увидев, что Тейе качает головой, он запнулся.

— Мени, — сказала она, — твое величество неисправимо. Ты приставал к нам со своими снами, считая их государственно важными и желая во что бы то ни стало истолковать их, чтобы они не истолковали без помех сами себя. А теперь, получив или думая, что получил наконец разгадку, ты ведешь себя так, как будто этим уже все сделано, ты забываешь свое пророчество, не успев его произнести, и уходишь в прекрасные неразрешимости и далекие отвлеченности. Разве это по-матерински? Едва ли, впрочем, и по-отцовски, и я жду не дожусь, чтобы этот раб отправился на свое место, а мы остались одни, ибо тогда я смогла бы высказать тебе свое недовольство с престола матери. Возможно, что этот прорицатель знает свое ремесло, и то, что он пророчит, вполне возможно. Что после каких-то богатых или хотя бы сносных времен Кормилец вдруг артачился и по нескольку раз подряд отказывал в благословении полям, отчего в странах воцарялись нужда и голод, это случалось; это действительно случалось, и даже семь раз подряд, как о том свидетельствуют летописи прежних поколений царей. Это может случиться опять, и потому тебе это приснилось. Но возможно, что приснилось это тебе потому, что случиться должно. Если и ты, дитя мое, такого же мнения, то матери приходится удивляться, что, радуясь получению разгадки и даже в известном смысле самостоятельно до нее додумавшись, ты, вместо того чтобы тотчас же созвать на совет всех своих вельмож и советчиков и вместе с ними изыскать меры предупреждения грозящей беды, ты вместо того тотчас пускаешься в такие роскошные рассуждения, как это, например, о стыке небытия и бытия вечного.

— Но, маменька, у нас есть время! — воскликнул Аменхотеп с пылким жестом. — Когда нет времени, тогда, конечно, нельзя не спешить, но мы можем не спешить, ибо времени у нас предостаточно. Семь лет! Вот что замечательно, вот из-за чего впору плясать и потирать руки от радости, что этот самобытный агнец не держался гадкой схемы и не предсказал сначала проклятую, а уж потом благословенную пору, а предсказал сначала благословенную, и притом продолжительностью в семь лет! Ты бранила бы меня по праву, если бы засуха и пора тощих коров началась завтра. Тогда и правда надо было бы, не теряя ни мгновения, искать выхода и предупредительных мер, — хотя, если честно признаться, мое величество не представляет себе, какими мерами можно предотвратить недород. Поскольку, однако, в царстве черноты нам отпущено сначала семь тучных лет, а тем временем любовь народа к фараонову материнству будет расти как дерево, сидя под которым он сможет провозглашать ученье отца, я не вижу причин в первый же день... Твои глаза, прорицатель, — прервал он себя, — говорят, и взгляд твой настойчив. Ты хочешь что-то прибавить к нашему с тобой толкованию?

— Ничего, — отвечал Иосиф, — кроме просьбы отпустить теперь твоего раба на его место, в темницу, где он отбывал каторгу, и в яму, откуда ты вытащил его ради своих снов. Ибо его дело закончено, и ему не подобает присутствовать долее в месте величия. Он будет жить в дыре, питая душу воспоминаниями о том золотом часе, когда он стоял перед прекрасным Солнцем стран — фараоном и перед Великой Матерью, ее я называю во вторую очередь только из-за несовершенства слова, которое принадлежит времени и связано последовательностью, тогда как изображение наслаждается одновременностью. И поскольку словесные упоминания повинуются времени, то первое из них причитается фараону, однако второе не является вторым, ибо мать жила раньше, чем сын. Это по поводу очередности. Что же касается моего нич-

тожества, то в том месте, куда оно сейчас возвратится, оно будет мысленно продолжать этот разговор великих, вмешаться в который в действительности было бы преступлением. Фараон, стану я говорить себе молча, был, разумеется, прав, когда радовался перемене и прекрасной поре, которая должна предшествовать проклятому времени засухи. Но куда как права была и мать, что жила раньше, чем он, заметившая, что с первого же дня благословенной поры, сразу же со дня истолкования, нужно думать и совещаться о предстоящей беде — не для того, чтобы ее предотвратить, нет, ведь предотвратить решенного богом нельзя, — а чтобы предусмотрительно принять меры предосторожности. Ибо обещанное нам благодатное время — это не только отсрочка тяжкого наказания, не только передышка перед ним, но и единственная возможность принять меры предосторожности, чтобы подрезать крылья черной птице беды и ослабить, отразить надвигающееся злополучье, стараясь не только ограничить его, но еще и извлечь из него какое-то благо. Так или примерно так буду я говорить в своем узилище с самим собой, поскольку мне совершенно не подобает вставлять замечания в беседу великих. Какая великая и чудесная вещь предусмотрительность, буду твердить я тихонько, способная обратить во благо даже беду! И как милостив бог, позволяющий царю, благодаря его снам, так далеко видеть во времени — не только на семь, но сразу на четырнадцать лет вперед, — ведь это же позволяет и обязывает проявить предусмотрительность! Ибо четырнадцать лет — это хоть и дважды по семи лет, но один временной отрезок, и начинается он не с середины, а с начала, то есть сегодня, и, значит, сегодня можно обозреть все. А обозреть значит осведомленно предусмотреть.

— Это поразительно, — заметил Аменхотеп. — Ты высказался или не высказывался? Ты высказался, не высказываясь, а только дав нам подслушать твои думы, причем думы, которые ты только думаешь думать. А получается так, словно ты высказался. Мне кажется, ты сделал некое плутовское открытие и выкинул штуку еще невиданную.

— Все бывает когда-нибудь в первый раз, — ответил Иосиф. — Но давно уже существуют на свете осведомленная предусмотрительность и умение использовать срок с толком. Если бы бог предпослал благословенной поре проклятую и если бы начиналась эта проклятая пора завтра, помочь ничем нельзя было бы, и бед, которых наделали бы людям эти мякинные годы, не поправило бы и дальнейшее изобилие. Но, к счастью, все обстоит иначе, и время есть — не для того, чтобы его проматывать, а для того, чтобы восполнить недостаток благодаря изобилию и установить равновесие между изобилием и недостатком, приберегши избыток, чтобы им прокормиться в нужде. Вот на что указывает порядок появления коров — сначала тучных, а потом тощих, и тот, кому дано это обозреть, хозяин обобщающего обзора, призван и обязан быть кормильцем в нужде.

— По-твоему, хлеб нужно копить и собирать в амбары? — спросил Аменхотеп.

— Самым решительным образом! — с уверенностью сказал Иосиф. — В совершенно иных количествах, чем когда-либо за все время существования стран! Хозяин обобщающего обзора должен быть надсмотрщиком изобилия. Пусть он строжайше угнетает его и, пока оно длится, отнимает у него долю за долей, чтобы стать потом и хозяином нужды. Фараон — это источник изобилия, и любовь народа легко примирится с тем, что он управляет изобилием с угнетающей строгостью. Но зато, когда он сможет раздавать хлеб в голод, исполненная веры любовь народа возрастет так, что ему останется только сидеть в ее тени и учить! Пусть хозяин обобщающего обзора будет тенистой сенью царя.

Тут глаза Иосифа случайно встретились с глазами Великой Матери, маленькой, смуглой, все еще божественно-прямо, нога к ноге, восседавшей на высоком своем престоле, — с ее умными, пронизательными глазами, которые, отливая в темноте темным блеском, глядели на него, Иосифа, в то время как складки вокруг ее толстых губ образовали насмешливую улыбку. Он строго опустил веки при виде этой улыбки, скромно зажмурившись.

— Насколько я понял тебя, — сказал Аменхотеп, — ты, как и Великая Мать, считаешь, что я должен безотлагательно созвать совещание своих вельмож и советчиков, которые определили бы, как обуздать изобилие, чтобы справиться с голодом.

— Фараону, — возразил Иосиф, — не очень-то везло с совещаниями, когда требовалось истолковать его двойной венценосный сон. Он истолковал его сам — и нашел правду. Только ему ниспосланы предсказание и дар обобщающего обзора, — только ему, стало быть, и подобает вершить обобщающий обзор и управлять изобилием, которое предстоит перед засухой. Меры нужно принять необычные и размаха невиданного, а совещания обычно склоняются к умеренным и привычным. Кто видел и разгадал сон, тот пусть принимает и выполняет решения.

— Фараон не выполняет того, что он решает, — холодно сказала Мать Тейе, глядя в пространство между Иосифом и сыном. — Это невежественное представление. Даже если предположить, что он самостоятельно решит все, что можно решить после этих снов — и то при условии, что после этих снов решать что-то нужно, — исполнение он все равно поручит вельможам, которые на то и поставлены: визирям Юга и Севера, управляющим житницами и скотными дворами и смотрителям казначейства.

— Именно так, — с удивлением сказал Иосиф, — я и собирался говорить с самим собою в пещере узилища, мысленно продолжая беседу великих, и точь-в-точь этими словами, включая «невежественное представление», хотел я себе возразить, вложив их в уста Великой Матери себе в наказание. Я расту в собственных глазах, слыша, как она говорит буквально то, что у себя в дыре, в одиночестве, я заставил бы ее сказать. Ее речь я возьму с собой, и когда я буду жить там внизу, питая душу воспоминаниями об этом возвышенном часе, я про себя отвечу ей и скажу: «Да, все мои представления невежественны, но одно исключение все-таки есть: я не думаю, будто фараон, прекрасное Солнце стран, сам исполняет свои решения, а не предоставляет исполнять их испытанным слугам такими словами: «Я фараон! Ты будешь как я, и я даю тебе полную власть в этом деле, ибо в нем ты испытан, и ты будешь посредничать между мной и людьми, как посредничает луна между солнцем и землей, и обратишь во благо и мне, и странам волю судьбы», — нет, этого я не думаю, невежество мое не настолько обширно, с этим исключением она должна примириться, и мысленно я отчетливо слышу, как фараон все это говорит — говорит не многим слугам, а одному». И еще я скажу, когда меня никто не будет слышать: «Много слуг в этом случае не нужно; пусть будет один, как одна под Солнцем Луна, посредница между верхом и низом, которая знает сны Солнца. Чрезвычайные меры начинаются уже с выбора того, кто должен их принимать, — иначе они будут не чрезвычайными, а привычно-умеренными и недостаточными. А почему? Потому что тогда их будут принимать не с полной верой и не из осведомленной предусмотрительности. Расскажи свои сны многим людям — они им поверят и не поверят, у каждого будет только какая-то доля веры, только какая-то доля предусмотрительности и если все эти доли сложить, никак не получится ни полной веры, ни полной предусмотрительности, которые тут нужны и которые могут быть только у одного. Поэтому пусть фараон найдет разумного и мудрого мужа, проникшегося духом снов, духом обобщающего обзора и предусмотрительности, и поставит его над всею землею Египетской, повелев ему: «Будь как я», — чтобы о нем можно было сказать словами песни: «Он видел все до самых рубежей дальних, он изобилье умерял, как никто прежде, чтоб тенью царя осенить во дни недорода». Таковы мои будущие слова, которые я буду молча говорить в яме, ибо было бы грубейшей нескромностью произнести их сейчас перед лицом богов. Дозволит ли фараон рабу своему удалиться с его глаз и уйти с солнца в тень?

И, повернувшись к пчелиной занавеске, Иосиф протянул к ней руку, он как бы спрашивал, можно ли ему выйти. Что на него пристально глядели глаза богини-матери и что борозды, которые житейский опыт провел около ее губ, углубились в насмешливой улыбке, этого он нарочно не замечал.

«НЕ ВЕРЮ!»

— Останься, — сказал Аменхотеп. — Побудь еще немного, мой друг! Ты довольно мило играл на своем изобретении, на открытии, что можно говорить, не говоря, или не говорить и все-таки говорить, заставляя других подслушивать свои мысли, и очень порадовал меня этим новшеством, мало того что ты навел мое величество на истолкование державных снов. Фараон не может отпустить тебя без награды, ты сам понимаешь. Спрашивается только, чем ему тебя наградить — это моему величеству еще неясно; подари я тебе, например, эту черепаховую лиру, изобретение Владыки проделок, награда была бы, по-моему, да и по-твоему, конечно, слишком мала. Все же, пока суд да дело, возьми ее, друг мой, возьми ее под мышку, она тебе к лицу. Маленький ловкач отдал ее брату-прорицателю, а ты тоже прорицатель, правда, и ловкач тоже. Но кроме того, мне очень хотелось бы оставить тебя при своем дворе, если ты пожелаешь, и присвоить тебе какое-нибудь прекрасное звание, скажем: «Первый Толкователь Сновидений Царя» или другое, такое же пышное, чтобы скрыть и предать забвению твое настоящее имя. Как, кстати сказать, тебя зовут! Бен-эзне, наверно, или Некатиджа, вероятно?

— Как меня зовут, — отвечал Иосиф, — так меня не звали, и ни моя мать, звездная дева, ни мой отец, друг бога, не называли меня так. Но когда враги мои братья бросили меня в яму и я умер для отца, ибо меня похитили в эту страну, тогда то, что из меня стало, приняло другое имя и называется Озарсиф.

— Это любопытно, — отозвался Аменхотеп, откинувшись на подушки своего сверхудобного кресла, меж тем как Иосиф, с подарком мореплавателя под мышкой, стоял перед ним. — Значит, по-твоему, не следует носить всегда одно и то же имя, а нужно приспособлять его к обстоятельствам, считаясь с тем, что с тобой стало и в каком ты положении? Что ты на это скажешь, маменька? Моему величеству это, пожалуй, нравится, ибо мне нравятся неожиданные суждения, такие, от которых человек, живущий в плену избитых суждений, лишь рот разинет, хотя если послушать его, тоже разинешь рот — только от зевоты. Фараона слишком уж долго зовут так, как его зовут, и его имя давно уже не в ладу с тем, чем он стал, и с его обстоятельствами, и втайне он уже некоторое время носится с мыслью принять новое, более верное имя и сложить с себя старое, сбивающее с толку. Я еще не говорил тебе, маменька, об этом намерении, ибо было бы неловко сообщить тебе это с глазу на глаз. Но в присутствии этого прорицателя Озарсифа, которого тоже некогда звали иначе, я сообщаю это тебе, пользуясь подходящим случаем. Разумеется, я не хочу поступать опрометчиво, это произойдет не завтра. Но произойти это вскоре должно, ибо с каждым днем мое имя становится все более лживым, все более оскорбительным для небесного моего отца. Это позор, и терпеть его долго не вмоготу, — что мое имя включает в себе имя Амуна, похитителя престола, бога, который утверждает, будто он поглотил Ра-Горахте, владыку Она и родоначальника царей Египта, и теперь правит сам как державный бог и как Амун-Ра. Пойми, маменька, что моему величеству становится не вмоготу называться его именем, вместо того чтобы носить имя, удобное Атону; ибо я вышел из него, в ком соединено то, что было, и то, что будет. Амун, видишь ли, — это настоящее, а моему отцу принадлежит прошлое и будущее, и мы оба одновременно стары и молоды, с незапамятных времен и во веки веков. Фараон — гость в мире, ибо он дома в тех первобытных временах, когда цари воздевали руки к своему отцу Ра, во временах сфинкса Гор-эм-ахета. Дома он и во временах, что наступят и которые он предсказывает — когда все люди обратят свои взоры к Солнцу, единственному богу, своему благому отцу, вняв наконец учению сына, который знает его заповеди, потому что вышел из него и потому что в жилах сына течет отцовская кровь. Ну-ка, погляди сюда! — сказал он Иосифу. — Подойди поближе и погляди! — И, отстранив закрывавший его худую руку батист, он показал Иосифу синие жилки на внутренней стороне предплечья. — Это кровь Солнца!

Рука заметно дрожала, хотя Аменхотеп поддерживал ее другой рукой. В том-то и дело было, что и та рука тоже дрожала. Иосиф внимательно рассмотрел то, что ему показывали, после чего снова немного отошел от царского кресла. Богиня-мать сказала:

— Ты волнуешься, Мени, это не на пользу здоровью твоего величества. После гаданья и всех этих разговоров тебе следовало бы отдохнуть, воспользовавшись отпущенным тебе временем, чтобы дать созреть твоим решениям как по поводу мер против возможного злополучья, так и по весьма важному вопросу перемены имени, тобою затронутому, а также, между прочим, относительно надлежащей награды этому прорицателю. Ляг в постель!

Но царь не захотел лечь в постель.

— Маменька, — воскликнул он, — от всего сердца прошу тебя, не требуй этого от меня сейчас, когда я так многообещающе разошелся! Уверяю тебя, мое величество полно сил, и ни малейшего признака усталости я не замечаю. Я взволнован прекрасным самочувствием и благодаря волнению прекрасно себя чувствую. Ты говоришь в точности так, как няньки в детские мои годы, — стоило мне развеселиться, они говорили: «Ты переутомился, наследник стран, тебе пора в постель». Тогда я приходил от этого в бешенство и начинал брыкаться от ярости. А теперь я большой и почтительно благодарю тебя за твою заботу. Но чутье мне говорит, что эта аудиенция может принести и другие прекрасные плоды и что куда лучше, чем в постели, мои решения созреют в беседе с этим ловким гадателем, которому я благодарен уже за одно то, что он представил мне случай поведать тебе о своем намерении принять более правдивое имя, включающее в себя имя Единственного, и называться Эхнатоном, чтобы мой отец был доволен тем, как меня зовут. Все должно называться его именем, а не именем Амуна, и если госпожа стран, которая наполняет дворец красотой, сладчайшая Тити, счастливо разрешится вскоре от бремени, то царское дитя, независимо от того, будет ли это принц или принцесса, следует назвать Меритатон, чтобы его любил тот, кто олицетворяет любовь, — хотя бы я и накликал этим неприятный визит карнакского владыки, который явится ко мне с жалобой и начнет нудно стращать меня гневом овна, — как-нибудь вынесу. Все вынесу из любви к отцу моему небесному.

— Фараон, — сказала мать, — ты забываешь, что мы не одни и что эти вещи, требующие ума и выдержки, лучше было бы обсуждать не при этом прорицателе из народа.

— Ничего, маменька! — ответил Аменхотеп. — Он из семьи по-своему благородной, это он сам дал нам понять, — сын плута и миловидной красавицы, в чем есть, по-моему, какая-то привлекательность, а то, что его уже в детстве называли агнцем, свидетельствует и об известной изысканности. Детей из низших слоев так не называют. Кроме того, мне кажется, что он способен многое понять и на многое ответить, но прежде всего — что он любит меня и готов мне помочь, как уже помог мне в истолковании снов, а также своим оригинальным мнением, что имя должно зависеть от обстоятельств и самочувствия. Все было бы чудесно, если бы мне только больше нравилось имя, которым он себя называет... Не хочу быть нелюбезным и огорчать тебя, — повернулся он к Иосифу, — но меня лично огорчает имя, тобою принятое — Озарсиф, ведь это же имя мертвеца: умершего быка, например, зовут Озар-Хапи, оно содержит в себе имя Усира, страшного властелина мертвых, сидящего с весами на судейском кресле, который только справедлив, но безжалостен и перед чьим приговором дрожит запуганная душа. Вообще вся эта старая вера — сплошное запугивание, а сама она мертва, это, так сказать, Озарвера, и сын моего отца не верит в нее!

— Фараон, — послышался снова голос матери, — мне опять приходится призывать тебя к осторожности, и я не стесняюсь сделать это в присутствии чужеземного толкователя, коль скоро ты удостоил его такого продолжительного приема и только на основании его слов, что в детстве его называли агнцем, сделал вывод о его высоком происхождении. Так пусть он услышит, что я призываю тебя к мудрости и умеренности. Довольно того, что ты всячески стараешься ослабить Амуна и противишься его всевластию, постепенно и по возможности отделяя его от Ра, от единственного жителя горизонта — Атона, уже для этого нужен вели-

чайший ум, нужно политическое чутье, нужно, наконец, хладнокровье, ибо запальчивая опрометчивость не доведет до добра. Но да остережется твое величество посягать и на веру народа в Усира, царя преисподней, к которому он привязан как ни к какому другому божеству, потому что перед ним все равны и каждый надеется войти в него со своим именем. Пощади пристрастие большинства, ибо все, что ты дашь Атону, умалив Амуна, ты сам же и отнимешь у него, оскорбив Усира!

— Ах, маменька, уверяю тебя, народ только воображает, что он так привязан к Усиру! — воскликнул Аменхотеп. — Что хорошего в том, что, держа путь к судейскому креслу, душа должна пройти семижды семь полей ужаса, осаждаемых демонами, которые на каждом шагу спрашивают с нее одно из трехсот шестидесяти неудобозапоминаемых заклинаний, — бедная душа должна знать их наизусть и назвать каждое в положенном месте, иначе ее не пропустят и сожрут прежде, чем она доберется до престола, где ее, впрочем, опять-таки вполне могут сожрать, если весы покажут, что у нее слишком легкое сердце, ибо в этом случае она будет передана чудовищному псу Аменте. Что тут, скажи на милость, хорошего — это же не имеет ничего общего с любовью и добротой небесного моего отца! Перед Усиром, царем преисподней, все равны, — да, равны в страхе! А перед Ним все будут равны в радости. Так же обстоит дело и с всеобщностью Амуна и Атона. Амун тоже хочет стать с помощью Ра всеобщим богом и объединить мир в своем культе. В этом они сходятся. Амун хочет добиться единства мира властью нерушимого страха, а это ложное и мрачное единство, которого отец мой не хочет, ибо он хочет объединить своих детей в радости и в нежности!

— Мени, — сказала мать приглушенно, — было бы лучше, если бы ты поберег себя и твое величество не говорило так много о радости и о нежности. Я по опыту знаю, что такие речи опасны для тебя, они выводят тебя из равновесия.

— Я же говорю, маменька, только о вере и неверии, — ответил Аменхотеп, снова выпрастываясь из подушек и становясь на ноги. — О них веду я речь, и мой дар говорит мне, что неверие, пожалуй, еще важнее, чем вера. Для веры нужно большое неверие, ибо где возьмешь истинную веру, покуда ты веришь во всякий вздор? Если я хочу научить народ истинной вере, я должен отнять у него иные поверья, к которым он привязан, — это, может быть, и жестокость, но жестокость из любви, и мой небесный отец мне эго простит. Да, что прекраснее, вера или неверие, и чему отдать предпочтение? Верить — это великое блаженство для души. Но не верить — это, пожалуй, еще восхитительнее, — я это открыл, мое величество извело это, и ни в какие поля страха, ни в каких демонов, ни в какого Усира с его носителями ужасных имен, ни в каких пожирательниц там внизу я не верю! Не верю! Не верю! — пропел и продолжал напевать фараон, приплясывая и кружась на странных своих ногах и щелкая пальцами разведенных в стороны рук.

Он тяжело дышал.

— Почему ты дал себе такое мертвецкое имя? — спросил он, останавливаясь возле Иосифа и переводя дух. — Если отец считает тебя мертвым, то это ведь не значит, что ты мертв.

— Я должен молчать для него, — ответил Иосиф, — и своим именем я посвятил себя молчанию. Кто посвящен и сбережен, тот посвящен и сбережен дольным богам. Дольнее неотделимо от посвященных и избранных, — они его принадлежность, — и именно поэтому на нем лежит отсвет небесного царства. Все жертвы приносятся дольным богам, но в том-то и тайна, что тем самым они по-настоящему и приносятся небесным богам. Ибо бог — это все вместе.

— Бог — это свет и милый солнечный диск, — сказал Аменхотеп растроганно, — лучи которого обнимают страны и опутывают их узами любви, — а от любви слабеют руки, и только у злых, чья вера направлена вниз, руки сильны. Ах, насколько больше было бы в мире любви и добра, если бы исчезла вера в дольное царство и в пожирательщиц с лязгающими зубами! Никто не разуверит фараона в том, что люди многого не делали бы и не считали при-

ятым делать, если бы вера их не была направлена вниз. Ты, наверно, знаешь, что у деда моего земного отца, у царя Ахеперура, были очень сильные руки и он мог натянуть ими лук, которого больше никто во всей стране натянуть не мог. Он пошел войной на царей Азии и захватил семерых живьем; их он повесил на носу своего корабля вниз головой, — волосы их свисали, и все они глядели на мир выкатившимися, окровавленными глазами. Но это было лишь началом всего, что он с ними сделал; мне и говорить об этом не хочется, а он это сделал. То была первая история, которую рассказали ребенку мои прислужники, чтобы влить в него царский дух, — а я кричал во сне после этих вливаний, и врачам из книгохранилища пришлось вливать в меня нечто другое, какое-то противоядие. Так вот, неужели, по-твоему, Ахеперура обошелся бы так со своими врагами, если бы он не верил в поля страха, в призраки, в Усировых носителей ужасных имен и в собаку Аменте? Люди, скажу я тебе, беспомощные создания. Сами они ни до чего не додумываются и своей головой ничего не решают. Они всегда только подражают богам, сообразуя свои поступки со своими представлениями о богах. Очисти божество, и ты очистишь людей.

Прежде чем ответить на эту речь, Иосиф взглянул на мать и по ее направленным на него глазам прочел, что она рада была бы услышать его возражения.

— Труднее трудного, — сказал он потом, — возразить фараону, ибо одарен он сверх меры и все, что он сказал, настолько верно, что впору только качать головой и бормотать «правильно, правильно», а то и вовсе умолкнуть, не добавив ни слова к высказанной им правде. Известно, однако, что фараон не любит, чтобы беседа прекращалась, застряв на каком-то верном положении, а желает, чтобы она, оторвавшись от него, шла дальше, еще дальше, чем это верное положение, и привела, может быть, к более далекой истине. Ибо то, что верно, не есть истина. Истина бесконечно далека, и любой разговор бесконечен. Он представляет собой странствие в вечность и без передышки или после короткой передышки и нетерпеливого «правильно, правильно!» отрывается от каждой стадии правды, как отрывается Луна от стадий своего вечного странствия. А это, совершенно независимо от моей воли и от уместности подобных воспоминаний, наводит меня на мысль о деде моего земного отца, деде, которого мы дома называли не совсем земным именем, лунным странником, отлично зная, впрочем, что в действительности его звали Авирам, что значит «мой отец величав» или, может быть, «отец величавого», а прибыл он из Ура, из Халдеи, страны башни, где ему не понравилось и он не ужился, — нигде он не уживался, отсюда и прозвище, которое мы дали ему.

— Ты видишь, матушка, — вставил тут царь, — что мой предсказатель по-своему высокого рода? Мало того что его самого называли агнцем, у него был еще прадед, которому давали неземные имена. Люди из низших слоев и из гущи народа обычно вообще не знают своих прадедов... Значит, он странствовал в поисках истины, твой прадед?

— Насколько деятельно, — ответил Иосиф, — что в конце концов открыл Бога и заключил с Ним союз, чтобы они освятились один в другом. Но и вообще это был человек деятельный, человек сильных рук, и когда с Востока, сжигая и грабя страну, напали цари-разбойники, когда они увели в плен брата его Лота, он, не долго думая, двинулся на них с тремястами восемнадцатью воинами и Старшим своим Рабом Елиезером, то есть с тремястами девятнадцатью, и, разбив их наголову, отогнал их за Дамашки и отнял у них брата своего Лота.

Мать кивнула головой, а фараон опустил глаза.

— Он отправился в поход, — спросил Аменхотеп, — перед тем как он открыл бога или после того?

— Он как раз был занят этой работой, — ответил Иосиф, — занят ею, не давая ей ослабить себя. Что поделать с царями-разбойниками, которые грабят и жгут? Божественному миру их не научишь, для этого они слишком глупы и злы. Только побив их, можно научить их той истине, что у божественного мира сильные руки. Ведь и перед богом тоже отвечаешь за то, чтобы на земле хоть как-то исполнялась его воля, а не все было во власти разбойников и убийц.

— Я вижу, — сказал Аменхотеп, по-детски приуныв, — будь ты одним из моих пестунов, когда я был ребенком, ты тоже рассказывал бы мне истории о свисающих волосах и выкатившихся кровавых глазах.

— Неужели так бывает, — спросил Иосиф, задавая этот вопрос самому себе, — что фараон ошибается, а его предположения, несмотря на его чрезвычайную одаренность и раннюю зрелость, не оправдываются? Этого никак не ждешь, но, видимо, порой это случается, показывая, что, помимо божественной, у него есть и человеческая сторона. Ведь люди, недоодевшие ему рассказами о пресловутых подвигах, — продолжал Иосиф беседу с самим собой, — были, конечно, сторонниками войны ради войны и всяческого бранелюбия; а его прорицатель, поздний потомок лунного странника, пытается напомнить войне о божественном мире, а среди мира, как истинный посредник между сферами, между верхом и низом, замолвить слово за боевую силу. Меч глуп, но и Кротость я не назвал бы умной. Умен посредник, который советует ей быть сильной, чтобы в конце концов не оказаться в глупом положении перед богом и перед людьми. Как мне хотелось бы высказать фараону эти мои мысли!

— Я слышал, — сказал Аменхотеп, — что ты говорил самому себе. Это еще одна твоя хитрость, еще одно изобретение — говорить с самим собой, как будто у других нет ушей. У тебя под мышкой подарок критского мореплавателя — может быть, поэтому тебе и приходят в голову всякие уловки и дух плутоватого бога передается твоим речам.

— Может быть, — ответил Иосиф. — Слово фараона — слово этого часа. Может быть, очень может быть, отнюдь не исключено, — и с этим надо считаться, — что ловкий этот бог сейчас здесь и хочет напомнить о себе фараону, сказать, что это он привел снизу сны к его царскому ложу и что он же, при всей своей веселости, друг луны, провожающий вниз души умерших. Он умеет замолвить слово за дальнее перед горним и за горнее перед дальним, услужливый посредник между землей и небом. Разобщенность ему претит, и, в отличие от всех других, он знает, что можно быть правым и в то же время неправым.

— Ты возвращаешься к своему дяде, — спросил Аменхотеп, — к несправедно правому, незаслуженно законному наследнику, который на посмешище миру ронял в пыль крупные слезы? Оставь эту историю! Она забавна, но удручающа. Ведь почему-то забавное нас всегда удручает, а золотая серьезность окрыляет и радует.

— Это сказал фараон, — ответил Иосиф, — и пусть он будет вправе это сказать! Свет серьезен и строг, и сила, которая устремляется снизу к его чистоте, должна быть действительно силой, и силой мужественной, а не сплошной нежностью, — иначе она ложна и слишком поспешна, и дело кончится слезами.

Он не стал после этих слов глядеть на мать в упор, но украдкой он взглянул на нее, только чтобы увидеть, кивает ли она одобрительно головой или нет. Кивать она не кивала, но ему показалось, что она на него пристально смотрит, а это было, пожалуй, еще лучше.

Аменхотеп не слушал. Он развалился в кресле в одной из своих сверхвольных поз, тенденциозно направленных против старого стиля и амуновской чинности: положив локоть на спинку, а другую руку на выпяченное бедро, закинув ногу на ногу и вытянув носок верхней ноги, — и перебирал в уме собственные слова.

— Кажется, — сказал он, — мое величество сделало очень талантливое замечание, заслуживающее того, чтобы к нему прислушались, — о забавном и серьезном, о гнетущем и радостном. Забавно, странно и жутковато также посредничество луны между землею и небом. Но исполнены золотой серьезности и неложны лучи Атона, которые воистину соединяют их, оканчиваясь добрыми руками, ласкающими творенье отца. Единственный бог — это круг Солнца, откуда в мир изливаются истина и надежная любовь.

— Весь мир прислушивается к речам фараона, — отвечал Иосиф, — и никто не пропускает мимо ушей ни одного его слова, когда он учит. Это бывает с другими, даже если их речи в виде исключения достойны такого же внимания, как фараоновы, но ни в коем случае не с владыкой венцов. Его золотая речь напоминает мне одну из наших историй, а именно о

том, как Адам и Ева, первые люди, пришли в ужас при наступлении первой ночи. Они в самом деле подумали, что земля станет снова пустынной и дикой. Ибо свет обособляет вещи и ставит каждую на ее место, — он создает пространство и время, а ночь вносит беспорядок, неразбериху и тохувабоху. Несказанно испугались они, когда день стал угасать и отовсюду начала подступать мгла. Они пали ниц. Но бог дал им два камня: один от непроглядного мрака, другой от мертвенной тени. Он потер для них камни один о другой, и на тебе, появился огонь, огонь недр, внутренний, древнейший огонь, юный, как молния, и более старый, чем Ра, и огонь этот стал гореть, сжигая хворост и внося в ночь лад и порядок.

— Отлично, превосходно! — сказал царь. — Я вижу, у вас в запасе не только плутовские истории. Жаль, что ты не рассказал мне еще и о счастье первых людей в то утро, когда бог, прогнав прочь мрачное чудище, воссиял перед ними снова весь целиком, ибо, наверно, радость их была несказанна. Свет, свет! — закричал он, выйдя из своей небрежной позы, и рывками стал бегать по залу, то поднимая выше головы украшенные браслетами руки, то вдруг прижимая их ладонями к сердцу. — Блаженная ясность, сотворившая глаз, чтобы он ее встретил, зренье и зримость, самопознание мира, который узнает себя только благодаря тебе, свет, любовно отделяющий одно от другого! Ах, маменька и ты, дорогой прорицатель, как беспримерно великолепен, как единствен в мире отец мой Атон и как бьется у меня сердце от гордости и волнения, потому что я из него вышел и он сподобил меня раньше, чем кого бы то ни было, понять его красоту и любовь! Ведь если нет равных ему в величье и доброте, то в любви к нему никто не может сравниться со мною, с его сыном, которому он доверил свое учение. Когда он восходит на небосклоне, когда он поднимается с божественного востока, сверкая венцом царя богов, ликуют все твари земные, павианы благоговейно приветствуют его поднятыми руками, и все зверье на свете начинает во славу его бегать и прыгать. Ибо каждый день — это пора благодати, это радостный праздник после проклятой поры ночи, когда он отворачивается от нас и мир погрязает в самозабвенье. Ужасно, когда мир забывает себя самого, даже если это и нужно для его освежения. Люди лежат по своим каморкам, с закутанными головами, они дышат через рот, и один глаз не видит другого. Незаметно забирает у них из-под головы их добро вор, бродят львы, кусаются змеи. Но он приходит и закрывает людям рты, и снимает веки с зениц, и поднимает людей на ноги, чтобы они умылись, оделись и занялись своим делом. Светла земля, идут под парусами суда вверх по реке и вниз, и все дороги открыты при его свете. Рыбы прыгают перед ним в море, ибо и к ним проникают его лучи. Он далеко, ах, он далеко безмерно, но, несмотря на это, лучи его и на море и на суше, и они связывают все твари земные узами его любви. Ведь не будь он так высоко и далеко, как мог бы он быть надо всем и везде в Своем мире, который им расчленен и благодаря ему так разнообразно прекрасен: страны Сирия, Нубия, Пунт и страна Египет; чужедальные страны, где Нил смыкается с небом, отчего он обрушивается на их людей и, как море, вздымает на их горах волны, орошая поля их городов, тогда как у нас он поднимается из земли и удобряет пустыню, чтобы мы ели. Да, разнообразны дела твои. Господи! Ты сотворил времена года и населил пространство и время несчетными множествами живых существ, чтобы они жили в тебе, коротая век, отпущенный им тобою, в городах, деревнях и селениях, на проезжих дорогах и возле рек. Ты разделил их и дал им разные языки, и у всех у них своя речь и свои обычаи, но все они объяты тобой. Одни коричневы, другие красны, третьи черны, а четвертые как кровь с молоком — вот сколь несходными предстают они в тебе, а ты предстаешь нам в них. Носы у них крючковатые, или приплюснутые, или даже вовсе торчком; одеваются они в пестрое или белое, в шерсть или в лен, кто как умеет и считает нужным; но все это не основание для взаимных насмешек и ненависти, а просто интересно и основа только для любви и поклонения. О бог, добрый в своей основе, как полно радости и здоровья все, что ты создал и кормишь, и какой восторг, какой разрывающий сердце восторг перед всем этим внушил ты фараону, своему любимому сыну, который провозглашает тебя. Ты сотворил семя в мужчине, и благодаря тебе дышит мальчик во чреве женщины. Ты успокаиваешь его, чтобы он не плакал, добрая нянька и внутренняя

кормилица! Ты создаешь то, чем живут комарики, а также блошка, червячок и сын червячка. Довольно, и даже более чем довольно, сердцу того, что скот резвится на твоём пастбище, что деревья и растения налились соками что они благодарят и славят тебя цветами, а бесчисленные птицы благоговейно кружат над болотами. Но стоит мне подумать о мышке, что сидит в своей норке, где ты припас ей все, что ей нужно, и, маленькая, с жемчужными глазками, чистит свой носик обеими лапками, — стоит мне подумать о ней, и я не могу удержаться от слез. И уж совсем нельзя думать мне о цыпленке, что пищит уже в скорлупе, из которой он выйдет на свет, когда бог сотворит его окончательно — тут он вылупится из яйца и запищит что есть сил, бегая на своих лапках перед яйцом с величайшей поспешностью. О нем мне и вовсе лучше не вспоминать, чтобы не пришлось вытирать лицо тонким батистом, ибо оно будет залито слезами любви... Мне хочется поцеловать царицу, — воскликнул он вдруг и остановился, задрав голову кверху. — Сейчас же позвать Нофертити, которая наполняет дворец красотой, госпожу стран, милую мою супругу!

СЛИШКОМ БЛАЖЕННО

От стоянья перед фараоном сын Иакова устал уже почти так же, как в тот раз, когда ему довелось исполнять обязанности Немого Слуги при стариках в увеселительном домике. Именно этого при всей своей чуткости к комарикам, цыплетам, мышонку и сыну червячка юный фараон, по-видимому, не замечал — то была царская, несколько забывчивая чуткость. Ни ему, ни подавно богине-матери на ее высоком престоле не приходило и, видимо, не могло прийти в голову предложить Иосифу сесть, в чем его тело испытывало большую потребность и к чему так и призывали многочисленные, весьма удобные табуреты критской лоджии. Стоять было довольно тяжело, но если знаешь, что дело стоит того, на многое закрываешь глаза и стараешься выстоять, — вряд ли это слово было когда-либо более к месту, чем в этом, хотя и столь давнем и раннем случае.

Вдовствующая богиня потрудились хлопнуть в ладоши, когда ее сын изъявил свою волю. Согнувшись в три погибели, с угодливыми ужимками, вышмыгнул из-за пчелиной занавески подслушивавший в передней придворный. Он закатил глаза, когда Тейе бросила ему: «Фараон зовет Великую Супругу», — и удалился. Аменхотеп стоял спиной к залу перед одним из сводчатых окон, и учащенно, всей грудью дыша после своих славословий солнцу, смотрел на уходившие вдаль сады. Мать глядела на него озабоченно, повернувшись к нему лицом. Не прошло и нескольких минут, как появилась та, кого он потребовал, — она была, по-видимому, неподалеку. Отворилась вместе с росписью неприметная дотоле дверь в стене справа, две служанки припали к ее порогу, и между ними, осторожно ступая, со слабой улыбкой и опущенными веками, мило и робко вытянув вперед длинную шею, всплыла в лоджию носившая плод солнца госпожа стран. Она не сказала ни слова во время своего краткого выхода. В синей скуфейке на волосах, округло удлинявшей ее затылок и оттенявшей ее большие, тонкие, изящной вылепки уши, в эфирном плиссе обтекавшего ее платья, сквозь которое виднелись пупок и бедра, тогда как грудь ее была прикрыта наплечником и блестящим лепестковым воротником, она нерешительно приблизилась к своему молодому супругу, который, все еще не отдышавшись, взволнованно к ней повернулся.

— Вот и ты, золотая голубка, милая моя сестрица постельная, — сказал он дрожащим голосом, обнял ее и поцеловал в глаза и губы, отчего поцеловались также и змеи у них на лбу. — Мне захотелось увидеть тебя и хотя бы походя выразить тебе свою любовь, это как-то вдруг нашло на меня во время беседы. Не обременителен ли тебе мой зов? Не тошнит ли тебя сейчас из-за твоего священного состояния? Наверно, моему величеству не следовало бы спрашивать тебя об этом, ибо своим вопросом я задеваю твое нутро, напоминая ему о тошноте, а тем самым, может быть, и вызывая ее. Видишь, как тонок царь, как он все понимает. Я

был бы так благодарен Отцу, если бы тебе удалось сегодня удержать при себе наш изысканный завтрак. Но довольно об этом... Вон там, ты видишь, сидит на престоле Вечная Мать, а этот вот с лирой — чужеземный волшебник и прорицатель, который истолковал мне мои государственно важные сны и знает множество плутовских историй, так что я, вероятно, оставлю его при дворе, назначив его на какую-нибудь высокую должность. Он был брошен в темницу явно по ошибке, как это случается. Мой чашник, Нефер-эм-Уазе, тоже был брошен в темницу ошибочно, тогда как его товарищ, умерший князь печева, был виноват. Из двоих, брошенных в темницу, один, по-видимому, всегда невиновен, а из троих двое. Это я говорю как человек. А как бог и царь я говорю, что темницы тем не менее нужны. Опять-таки как человек я сейчас снова целую тебя, священная моя любимица, в глаза, щеки и губы, и ты не удивляйся, что я делаю это не только при матери, но и при гадателе-чужеземце, ведь ты же знаешь, что фараон любит подчеркнуто показывать свою человечность. Я думаю в этом отношении пойти еще дальше. Ты этого еще не знаешь, и маменька тоже еще не знает, поэтому я пользуюсь случаем и ставлю вас в известность. Я собираюсь, я ношу с мыслью назначить увеселительную прогулку на царском струге «Звезда обеих стран», прогулку на глазах у народа, который отчасти из любопытства, отчасти же по приказу столпится на берегах. И я хочу, не спросясь у первопророка Амуна, сидеть с тобой, священное мое сокровище, под балдахином, держать тебя у себя на коленях и то и дело при всем народе горячо целовать. Это рассердит карнакского владыку, но зато вызовет ликование у народа и прекрасно поведает ему не только о нашем счастье, но, что важнее, о сущности, духе и доброте небесного моего отца. Я рад, что рассказал наконец о своем намерении. Но не думай, что я позвал тебя из-за этого! Это сообщение вырвалось у меня как-то случайно. Позвал я тебя единственно потому, что мною вдруг овладело неодолимое желание выразить тебе свою нежность. Я ее выразил. Ступай же, сокровище моего венца! Фараон безмерно занят, он должен посоветоваться о делах величайшей важности со своей любимой, бессмертной маменькой и с этим юношей-мужем, который, да будет это тебе известно, не больше не меньше как вдохновенный агнец. Ступай и будь осторожна, избегай толчков и испуга! Пусть тебя развлекут плясками и игрой на лютне! Его нужно в любом случае назвать Меритатон, если ты благополучно родишь и если это тебе по душе. Я вижу, это тебе по душе. Тебе всегда по душе все, чего фараон хочет. Если бы всему миру было по душе то, чего фараон хочет и чему он учит, дела мира обстояли бы лучше. Прощай, лебединая шея, утреннее облачко с золотым краем, — пока!

Царица уплыла. Расписная дверь закрылась за ней и сразу неразличимо слилась со стеной. Растроганный и смущенный Аменхотеп вернулся на свое кресло с подушками.

— Счастливы страны, — сказал он, — которым досталась такая госпожа и такой счастливый, благодаря ей, фараон! Вправе ли я сказать это, маменька? Согласен ли ты со мной, предсказатель? Если ты останешься при моем дворе толкователем царских снов, я женю тебя, это мое решение. Я сам выберу тебе невесту сообразно твоему чину, из высших кругов. Ты не знаешь, как приятно быть женатым. Как показали тебе мои замыслы относительно публичной прогулки, это для моего величества наглядный символ моего человеческого начала, к которому я несказанно привязан. Ведь фараон, да будет тебе известно, не высокомерен, — а уж кому тогда и пристало высокомерие? В тебе, друг мой, при прочих твоих приятных повадках, есть какое-то высокомерие, — я говорю «какое-то», потому что не знаю характера твоего высокомерия, но оно, как я подозреваю, связано с твоими словами о том, что ты неким образом не то сохранен, не то посвящен молчанью и дольнему царству, словно ты жертва и на лбу у тебя венчик из растения под названием «Не-Тронь-Меня» — поэтому-то мне и пришло в голову тебя женить.

— Я в руках Самого Высокого, — отвечал Иосиф. — Как он ни поступит со мной, все будет благодеянием. Фараон не знает, как необходимо было мне высокомерие, чтобы удержать меня от недоброго дела. Сохранен я только богу, он жених нашего племени, а мы невеста его. Но если о звезде говорят: «Вечером женщина, а утром мужчина», — то, вероятно, и невеста, когда приходит срок, становится женихом.

— Сыну плута и миловидной красавицы, — оказал царь светским тоном, — такая двойственность, пожалуй, к лицу. Однако, — прибавил он, — шутки в сторону, поговорим о самом важном! Ваш бог — кто он таков и как обстоит с ним дело? Ты забыл или не пожелал просветить меня на этот счет. Его открыл, ты говоришь, праотец твоего отца? Это звучит так, словно он нашел истинного и единственного бога. Возможно ли, чтобы так далеко от меня и так задолго до меня кто-то узнал, что истинный и единственный бог — это солнечный диск, создатель зренья и зримости, мой вечный небесный отец?

— Нет, фараон, — с улыбкой отвечал Иосиф. — Он не остановился на солнечном диске. Он был странник, и даже солнце было только стоянкой на его трудном пути. Он был беспокоен и полон неудовлетворенности — если ты назовешь такие качества высокомерием, ты отметишь это осуждающее слово печатью почета и безусловной необходимости. Ибо высокомерие моего предка состояло во мнении, что человек должен служить только самому высшему. Поэтому его помыслы и желанья пошли дальше Солнца.

Аменхотеп изменился в лице. Он сидел, наклонившись вперед, выпятив к тому же вперед украшенную синим париком голову, и сжимал подбородок концами пальцев.

— Теперь, маменька, слушай! Слушай, заклиная тебя! — произнес он тихо, но при этом даже не повернул голову к матери: серые его глаза, не моргая, вперились в Иосифа с таким напряжением, словно хотели прорвать туманную свою пелену.

— Ну, дальше! — сказал он. — Хватит! Хватит, и дальше! Он, значит, не остановился? Он пошел за пределы Солнца? Говори! Не то я буду говорить сам, хотя и не знаю, что я окажу.

— У него нашлось необходимое высокомерие, чтобы создать себе трудную жизнь, — сказал Иосиф, — поэтому он и оказался миропомазанником. Он не раз испытывал искусительнейший соблазн поклонения, ибо поклоняться хотел, но достойным поклонения он считал только самое высокое и самого высокого. Его искушала мать-земля, приносящая плоды и творящая жизнь. Но он увидел ее жажду, удовлетворить которую способен лишь небо, и его взор направился кверху. Его искушали толкотня туч, бешенство бури, стремительность ливня, синяя молния, притягиваемая влагой, грохочущий голос грома. Но он лишь качал головой в ответ на их призывы, ибо душа его твердила ему, что все они только второстепенны. Они, говорила ему его душа, были ничуть не лучше, чем он сам, — и может быть даже еще ничтожнее при всем их могуществе. Он тоже, думал он, по-своему могуществен, и может быть, даже еще могущественнее, и если они возвышаются над ним, то только в пространстве, но никак не духом. Поклоняться им, говорил он себе, значит поклоняться чему-то слишком низкому и слишком близкому, а это ужасно, и тогда уж лучше не поклоняться вообще ничему.

— Хорошо, — сказал Аменхотеп почти без голоса, теребя свой подбородок. — Хорошо, хватит, нет, дальше! Матушка, слушай!

— Да, какие только величественные картины не искушали моего праотца! — продолжал Иосиф. — Среди них было и скопище звезд, пастух и стадо. Они-то были и далеко и высоко, и жизнь их была величественна. Но они, он видел, рассеивались по манию утренней звезды — та была, спору нет, и красива, и двуснасна, и богата историями, но, увы, слаба, слишком слаба для того, чье появление она возвещала, и поэтому она бледнела перед ним и гасла. Бедная утренняя звезда!

— Оставь при себе свое соблезнование! — приказал Аменхотеп. — Тут в пору торжествовать! Ведь перед кем она бледнела и кто появлялся по ее предсказанью? — спросил он как только мог гордо и грозно.

— Ну, конечно, солнце, — ответил Иосиф. — Какой соблазн для того, кто жаждет поклоняться! Перед добротой и жестокостью солнца повсюду, куда ни глянешь, сгибались в три погибели народы земли. Как славно, как это отдохновение и покойно присоединить к их поклонению свое собственное и согнуться заодно с ними! Однако осторожность моего предка была безгранична, а его требовательность неисчерпаема. Важен, сказал он, не отдых и не

покой, единственное, что важно — это избежать величайшей опасности для чести человека, которая заключена в том, что он согнется слишком рано и не перед самым высоким. «Ты могуществен, — сказал он баалу Шамашу-Мардуку, — и огромна сила твоего благословения и твоего проклятья. Но что-то во мне, черве, превосходит тебя и не велит мне принимать свидетельство за то, о чем оно свидетельствует. Чем больше свидетельство, тем больше моя ошибка, если я, соблазнившись, буду поклоняться ему, а не тому, о чем оно свидетельствует. Свидетельство божественно, но оно не бог. Свидетельством являюсь и я с моими мечтами и помыслами, идущими дальше солнца и устремленными к тому, о чем они свидетельствуют еще убедительнее, чем даже оно, и чей жар сильнее, чем жар солнца».

— Матушка, — прошептал Аменхотеп, не отрывая глаз от Иосифа, — что я сказал? Нет, нет, я этого не сказал, я это лишь знал, это было сказано мне. Когда на меня в последний раз нашло и мне открылось, как улучшить учение, — ведь оно не доведено до конца, и я никогда не утверждал, что оно совершенно, — я услышал голос отца моего, который сказал мне: «Я жар, заключенный в Атоне. Но своим жаром я мог бы напитать миллионы солнц. Именуя меня Атоном, знай, что это наименование нуждается в улучшении и что ты не называешь меня моим последним именем. Последнее мое имя: «Владыка Атона». Вот что услышал фараон, любимое дитя отца, вот что он вынес из своего наития. Но он молчал об этом и благодаря молчанию забыл. Фараон вложил истину в свое сердце, ибо отец — это истина. Но фараон ответствен за торжество учения, он хочет, чтобы оно было принято всеми людьми, и он опасается, что довести совершенство и чистоту какого-либо учения до совершенства и чистоты голой истины значит сделать это учение неудобопреподаваемым. Это большая опасность, ее не поймут те, кто не несет такой ответственности, как фараон, и легче всего сказать ему: «Ты вложил в свое сердце не истину, а учение». Но ведь учение — это единственное средство приблизить людей к истине. Совершенствовать его, разумеется, нужно; но если усовершенствовать его настолько, что оно уже не будет средством приближения к истине, не станет ли как раз тогда-то — я спрашиваю отца и вас — и в самом деле основателен упрек в том, что в сердце вложено было учение в ущерб истине? Поймите, фараон показывает людям изготовленный художниками образ почтенного своего отца — золотой диск, откуда выходят лучи, которые, оканчиваясь добрыми руками, ласкают тварей земных, и говорит: «Молитесь! Это Атон, мой отец, чья кровь течет в моих жилах и который открылся мне, но хочет быть отцом всем вам, чтобы вы стали в нем добры и прекрасны». И прибавляет: «Простите, дорогие, что я суров с вашими мыслями! Я был бы рад пощадить вашу простоту. Но так уж суждено. Поэтому я говорю вам: не образу молитесь, когда ему молитесь, не ему пойте гимны, когда поете их, а тому, чьим образом он является, — понятно ли вам? — настоящему диску солнца, отцу моему небесному, Атону, ибо образ еще не есть он». Это и так довольно жестоко; и так этим людям предъявлено нелегкое требование, и понятно оно десятку из сотни. А уж если учитель скажет: «Я должен потребовать от вас еще одного усилия истины ради, как мне ни жаль вашей простоты. Образ есть образ образа и свидетельство свидетельства. Не к настоящему солнечному диску на небе надлежит вам устремляться мыслью, когда вы кадите и воздаете хвалу его образу, — и не к нему тоже, а к владыке Атона, к его жару, к тому, кто направляет его пути», — если учитель скажет так, то учение пойдет слишком далеко, из десятка человек его уже не поймет ни один. Поймет это только сам фараон, который остается за пределами любого числа, но тем не менее должен учить многочисленных своих подопечных. Твоему праотцу, предсказателю, было легко, хотя он и создал себе трудную жизнь. Он мог создавать себе трудную жизнь, когда заблаговременно рассудится, и стремился к истине ради самого себя и собственной гордости, ибо он был всего-навсего странник. А я царь и учитель, я не вправе думать о том, чему я не могу научить. Зато учитель быстро научается не думать о неудобопреподаваемом.

Тут мать Теие откашлялась, забренчала подвесками и, глядя прямо вперед, в пустоту, сказала:

— Фараон заслуживает похвалы, если он проявляет в делах веры государственную мудрость и бережно щадит простоту многочисленных своих подданных. Поэтому я и советовала

ему не оскорблять привязанности народа к Усири, царю преисподней. К тому же между бережностью и знанием нет никакого противоречия, и, поучая, вовсе не нужно притуплять знание. Никогда жрецы не учили толпу всему, что они знали. Они сообщали ей полезное, мудро не выпуская из священных пределов того, от чего ей не было проку. Поэтому в мире одновременно существовали знание и мудрость, правда и бережность. Мать считает, что так и должно остаться.

— Спасибо, маменька, — оказал Аменхотеп, скромно ей поклонившись. — Спасибо за совет. Это очень ценный совет, и он будет вечно в чести. Однако мы говорим о разных вещах. Мое величество говорит об узах, которыми сковывает мысли о боге учительство. А твое — о государственной мудрости, разграничивающей ученье и знание. Но фараон не хочет быть высокомерным, а ничего высокомернее, чем такое разграничение, нет. Да, нет на свете большего высокомерия, чем разделять детей Отца на посвященных и непосвященных и учить двояко: толпе на потребу мудро, а в узком кругу соответственно знанию. Мы должны говорить то, что знаем, а свидетельствовать о том, что мы видели. Фараон хочет одного — улучшить учение, а эта задача затрудняется необходимостью учить. И все-таки мне было сказано: «Не называй меня Атоном, ибо это наименование нуждается в улучшении. Называй меня Владыкой Атона». А я забыл это из-за молчания. Погляди, однако, что делает Отец для своего любимого сына! Он посылает ему гонца, гадателя снов, чтобы, истолковав ему его сны, сны, пришедшие снизу, и сны, пришедшие сверху, сны, важные для государства, и сны, важные для неба, разбудить в нем то, что он знает, и растолковать ему то, что ему уже было сказано. Да, как любит Отец родное свое дитя, царя, если ниспосылает ему прорицателя, которому исстари заповедано помнить, что человеку подобает стремиться к предельно высшему!

— Насколько мне известно, — холодно сказала Тейе, — твой прорицатель прибыл снизу, из ямы острога, а вовсе не сверху.

— Ах, это, по-моему, просто-напросто плутовство, что он прибыл снизу, — воскликнул Аменхотеп. — А кроме того, верх и низ мало что значат для Отца, который заходит и делает нижнее верхним, ибо где он светит, там и верх. Поэтому-то его гонцы разгадывают дольные и горние сны с одинаковой ловкостью. Дальше, прорицатель! Разве я сказал: «Хватит»? Я сказал: «Дальше!» Когда я сказал «хватит», я хотел сказать «дальше»! Так, значит, тот странник с Востока, от которого ты ведешь свой род, не остановился, дойдя до Солнца, а пошел еще дальше?

— Да, духовно, — ответил Иосиф с улыбкой. — Ведь во плоти он был всего лишь червь на земле, слабее, чем многое рядом с ним и над ним. И все-таки он не стал сгибаться и преклоняться ни перед одним из этих явлений, ибо они были такими же творениями и свидетельствами, как и он. Всякое бытие, говорил он, это творение, а творению предшествует дух, о котором оно свидетельствует. Неужели я сотворю такую глупость и стану кадить какому-то творению, хотя бы и самому мощному, коль скоро я сам творение, и притом сознательное, а другие, хоть и суть творения, но не знают об этом? Разве нет во мне частицы того, о чем свидетельствует все сущее, частицы бытия того бытия, которое больше своих творений и вне их? Оно вне мира, и если оно составляет пространство мира, то мир не составляет его пространства. Солнце далеко, до него, наверно, триста шестьдесят тысяч миль, но лучи его с нами. А тот, кто указал ему путь, дальше, чем далеко, и все же в такой же мере близко — ближе, чем близко. Далеко или близко — это для него безразлично, ибо у него нет ни пространства, ни времени, и если в нем сразу весь мир, то сам он не в мире, а в небе.

— Ты слышала, мама? — спросил Аменхотеп тихим голосом, со слезами на глазах. — Ты слышала весть, посланную мне моим небесным отцом с этим юношей-мужем, который сразу же, как только вошел, показался мне каким-то особенным, и теперь толкует мне мои сны? Я хочу сказать, что сказал не все, что было сказано мне в наитии: умолчав об этом, я это забыл. После слов «Называй меня не Атоном, а Владыкой Атона» я услышал еще и такие слова: «Не зови меня своим отцом на небе, это наименование нужно улучшить. Своим отцом

в небе должен ты величать меня!» Вот что я услышал, но я замкнул это в себе, ибо из страха за учение боялся правды. Но тот, кого я вытащил из темницы, открыл темницу правды, чтобы она вышла оттуда, светлая и прекрасная, и учение обнялось с правдой, подобно тому как я обнимаю этого предсказателя.

И с мокрыми ресницами, выбравшись из своего углубленного кресла, он обнял Иосифа и поцеловал его.

— Да, — восклицал он, забежав опять с прижатыми к сердцу руками по критскому залу, от занавески с пчелками к окнам и снова назад, — да, да, в небе, а не на небе, дальше, чем далеко, и ближе, чем близко, бытие бытия, которое не знает смерти, не рождается и не умирает, а всегда существует, постоянный свет, который не восходит и не заходит, неиссякаемый источник жизни, света, красоты и истины, — вот каков Отец мой, вот каким открывается Он фараону, своему сыну, что припал к Его груди и которому Он показывает все, что Он сотворил. А Он сотворил все, и Его любовь живет в мире, хоть мир и не знает Его. Но фараон — свидетель Его света и Его любви, и своим свидетельством он даст блаженство и веру всем людям, хотя покамест они любят темноту больше, чем пробивающийся сквозь нее свет. Они поступают дурно, потому что не понимают света. Но Сын, вышедший из Отца, научит их понимать Его. Свет — это золотой дух, отцовский дух, и сила вздымается к Нему из материнских глубин, чтобы очиститься в его пламени и стать духом в Отце. Бог невеществен, как Его солнечный свет. Он — дух, и фараон учит вас почитать Его в духе и в истине. Сын знает Отца, как Отец Сына, и по-царски вознаградит всех, кто любит Его, верит в Него и чтит Его заповеди, — он возвысит их при дворе и озолотит, ибо они любят Отца в Сыне, что из Него вышел. Да и мои слова не мои, а Отца моего, который послал меня сюда, чтобы все стали едины в любви и свете, как едины я и Отец...

Он улыбнулся слишком блаженно, смертельно при этом побледнев, прислонился, заложив руки за спину, к расписной стене, закрыл глаза и, хотя он не переставал держаться на ногах, его уже явно здесь не было.

МУЖ РАЗУМНЫЙ И МУДРЫЙ

Матерь Тейе, сойдя со ступеньки, спустилась со своего кресла в зал и мелкими твердыми шагами приблизилась к унесенному забытьем фараону. Поглядев на него и небрежно-ласково, тыльной стороной пальцев погладив его по щеке, чего он, вне всяких сомнений, не почувствовал, она повернулась к Иосифу.

— Он возвысит тебя, — сказала она с горькой усмешкой. Но таковы уж, видно, были толстый ее рот и его складки, что усмешка у нее всегда получалась горькая.

Иосиф испуганно глядел на Аменхотепа.

— Не беспокойся, — сказала сана, — он нас не слышит. Он священно нездоров и отсутствует, это не страшно. Я знала, что этим кончится, очень уж много он говорил о радости и о нежности. Такие речи всегда этим кончаются, а иногда и священно-худшим. Когда он заговорил о мышке и о цыпленке, я поняла, что так случится, а уж когда он поцеловал тебя, у меня и вовсе не осталось сомнений. Ты должен приписать этот поцелуй священной его болезни.

— Фараон любит целовать, — заметил Иосиф.

— Да, чересчур, — отвечала она. — Я полагаю, ты достаточно умен, чтобы понять, какая в этом опасность для царства, имеющего внутри сверхмогущественного бога, а за рубежами — притаившихся завистников и мечтающих о мятеже данников. Поэтому я была довольна, когда ты рассказывал ему о своем предке, которого размышления о боге не сделали слабым.

— Я не воин, — сказал Иосиф, — да и предок мой был им только при крайней нужде. Мой отец был житель шатров и охотник до глубоких раздумий, а я его сын от праведной и любимой. Правда, из братьев, которые меня продали, многие оказались способны на весьма

грубые дела. Воителями были близнецы, которых мы называем так, несмотря на то что между ними год разницы. Впрочем, и Гаддиил, сын побочной жены, тоже ходил, по крайней мере в мои времена, с более или менее воинственным видом.

Тейе покачала головой.

— У тебя есть привычка, — сказала она, — ссылаться чуть что на свою родню, — как мать, я назвала бы это избалованностью. В общем, ты, кажется, много о себе мнишь и примешь любое возвышение как должное?

— Позволь мне. Великая Госпожа, — сказал Иосиф, — ответить на это, что никакое возвышение не застанет меня врасплох.

— Тем лучше для тебя, — заметила она. — Я ведь сказала, что он возвысит тебя, и возвысит, вероятно, весьма неумеренно. Он этого еще не знает, но когда он вернется, он это будет знать.

— Фараон возвысил меня, — ответил Иосиф, — уже тем, что удостоил меня этой беседы о боге.

— Та-та-та-та! — сказала она нетерпеливо. — Ты на это рассчитывал и подводил его к ней с первого же слова! Передо мной нечего прикидываться ребенком или агнцем, как называли тебя те, кем ты избалован. Я женщина хитрая, передо мной не стоит напускать на себя невинность. «Сладкий сон и материнское молоко, пеленки да теплые омовенья» — это твои заботы, так, что ли? Не морочь мне голову! Я ничего не имею против хитрости, я ценю ее и не упрекаю тебя за то, что ты не упустил своего часа. Ваша беседа о боге была, кстати, беседой и о богах, и ты недурно рассказал о боге-плуте, об этом лукавом пройдохе, владыке выгоды.

— Прости, Великая Мать, — ответил Иосиф, — это фараон о нем рассказал.

— Фараон, — возразила она, — восприимчив и чуток. То, что он рассказывал, внушило ему твое присутствие. Он говорил об этом боге, ощущая тебя.

— Я не лукавил перед ним, царица, — сказал Иосиф, — и не стану лукавить, как бы он насчет меня ни решил. Клянусь жизнью фараона, я никогда не предаю его поцелуя. Много воды утекло с тех пор, как меня поцеловали в последний раз. Это было в Дофане, мой брат Иегуда поцеловал меня там на глазах у детей Измаила, моих покупателей, чтобы показать им, как дорог ему этот товар. Тот поцелуй милый твой сын погасил своим поцелуем. А мое сердце наполнилось желанием служить ему и помогать изо всех сил и в полную меру полученных от него на то полномочий.

— Да, служи и помогай ему! — сказала она и, подойдя к нему вплотную, маленькая, решительная, положила руку ему на плечо. — Обещаешь ли ты это матери? Знай, этот ребенок доставляет много хлопот и тревог — впрочем, ты это знаешь. Ты мучительно умен и даже говорил о несправедливой праведности, приписав изворотливому брату мнение, будто можно иметь на что-либо право и все-таки его не иметь.

— До сих пор этого еще не знали, — отвечал Иосиф. — Таков новый закон судьбы, что можно идти праведным, то есть верным, путем, и быть неправедным, то есть неподходящим для этого пути, путником. Доселе так не было, а отныне будет всегда. Ко всякому новому закону подобает относиться с благоговением. И с любовью, если он так обаятелен, как твой прелестный сын.

Оттуда, где стоял фараон, донесся вздох, и мать повернулась к сыну. Он шевельнулся, поморгал глазами, оторвал спину от стены, и его щеки и губы стали снова обычного своего цвета.

— Решения, — послышался его голос. — Сейчас нужно принять здесь решения. Мое величество сослалось там на то, что мне некогда, что я должен вернуться, чтобы немедленно принять решения и объявить свою царскую волю. Простите мне мое отсутствие, — сказал он с улыбкой и, добравшись с помощью матери, до своего кресла, погрузился в подушки. — Прости, маменька, прости и ты, милый гадатель! Фараон, — прибавил он, задумчиво улыба-

ясь, — мог бы и не извиняться, ибо он ни в чем не ограничен, а кроме того, он не сам ушел, его увели. Но он все-таки извиняется, из любезности. Ну, а теперь за дела! У нас есть время, но мы не можем позволить себе терять его. Сядь в свое кресло, Вечная Мать, почтительно тебя об этом прошу! Тебе не пристало быть на ногах, если твой сын возлежит. А юноша с дольным именем пусть еще немного постоит перед фараоном, ибо мы займемся делами, вытекающими из моих снов, — они тоже пришли снизу, из дольной обители, и рождены заботой о высшем, — а он, как мне кажется, благословен и снизу, и сверху... Итак, ты считаешь, Озарсиф, — спросил он, — что нужно умерять изобилие для восполнения последующей нехватки и всюю запастись хлебом, чтобы раздавать его в годы засухи, благодаря чему низшее не причинит вреда высшему?

— Совершенно верно, милый мой господин, — ответил Иосиф, и от этого чуждого этикету обращения на глазах фараона тотчас же засверкали слезы. — Таково безмолвное указание снов. Никаких имеющихся амбаров и зернохранилищ не хватит, их много в стране, но их слишком мало. Повсюду надо строить новые житницы, чтобы их было столько же, сколько звезд на небе. И везде надо посадить чиновников, которые будут умерять изобилие и взыскивать оброк, причем взыскивать не по произвольной оценке, не брезгающей порою и взяткой, а по твердым, священным правилам, — и сыпать надо хлеб в житницы фараона, чтобы запастись им в городах столько, сколько песку морского, и хлеб этот надо хранить, чтобы, имея готовую пищу в годы дороговизны, страна не погибла от голода на благо Амуну, который стал бы жаловаться народу на фараона и говорить: «Виноват царь, это наказание за новое учение и новую веру». — Если же я говорю: «раздавать», то я за то, чтобы именно раздавать хлеб, а не раздать его сразу, и раздавать его нужно маленьким людям и бедным, а богатым и важным хлеб нужно продавать. Ведь годы мякины — это годы дороговизны, и если Нил низок, то цены высоки, и продавать богатым нужно по дорогой цене, чтобы согнуть богатство, чтобы согнуть всех в стране, кто еще важничает при фараоне, — пусть только он будет богат в земле Египетской, и пусть он станет золотым и серебряным!

— Кто должен продавать? — воскликнул Аменхотеп испуганно. — Сын бога, царь?

Но Иосиф ответил:

— Ни в коем случае! Тут я как раз и имею в виду того разумного и мудрого мужа, которого фараон должен выбрать из своих слуг, того исполненного духа предусмотрительности владыку обобщающего надзора, что видит все до самых границ страны и даже дальше того, потому что границы страны ему не границы. Пусть фараон поставит его главным, пусть он поставит его над землею Египетскою, сказавши ему: «Будь как я», чтобы тот умерял изобилие, покуда оно будет длиться, и восполнял нехватку, когда она появится. Пусть он будет как Луна между фараоном, нашим прекрасным Солнцем, и дольной Землей. Он должен возводить житницы, управлять полчищами чиновников, устанавливать меру оброка. Пускай он высчитывает и определяет, когда нужно раздавать и когда продавать, пускай заботится о том, чтобы маленькие люди ели и внимали учению фараона, и пускай прижимает богатых на благо венцам, чтобы фараон становился все более золотым и серебряным.

Мать-богиня засмеялась у себя в кресле.

— Ты смеешься, маменька, — сказал Аменхотеп. — А мое величество находит пророчества этого прорицателя действительно интересными. Фараон глядит свысока на эти дольные дела, но его очень и очень интересует эта причудливая игра Луны на Земле. Расскажи мне, прорицатель, поскольку мы держим совет, подробней о том, как должен, по-твоему, действовать этот посредник, этот веселый и находчивый юноша, если я назначу его владыкой надзора!

— Я не дитя Кеме и не сын Иеора, — ответил Иосиф, — я прибыл сюда издалека. Но давно уже одежда моего тела сделана целиком из египетского материала, ибо уже семнадцати лет я спустился сюда с посланными мне богом проводниками-мидианитами и прибыл в твой город, в Но-Амун. Хотя родом я издалека, я кое-что смыслю в делах этой страны и в ее

историях, я знаю, как все сложилось, как из отдельных округов образовалось царство, а из старого новое, в котором еще упорно, вопреки веку, отстаивают свои права остатки старого и отжившего. Отцы фараона, князя Узет, побившие и прогнавшие чужеземных царей и сделавшие Черную Землю достоянием венца, вынуждены были платить окружным правителям и царькам, которые помогали им в этой борьбе, земельными наделами и высокими званиями, отчего иные из них и поныне называют себя царями наряду с фараоном и упрямо держатся за свои земли, не принадлежащие, вопреки духу времени, фараону. Поскольку эти обстоятельства и истории достаточно хорошо мне известны, мне легко предсказать, как будет действовать фараонов посредник, хозяин обобщающего надзора и цен, как он воспользуется этим случаем. Когда наступят семь лет мякины, когда у этих гордых князьков, у этих переживших свой век царьков не будет ни хлеба, ни семян, а у него будет в изобилие и то и другое, он заломит такие цены, что у них на глаза навернутся слезы, он выжмет из них все соки, и земля их в конце концов отойдет, как и подобает, к венцам, а они превратятся из незамиранных царей в оброчников.

— Хороша — низким и твердым голосом сказала мать-богиня.

Фараон очень развеселился.

— Ну и плут же твой юноша, твоя посредница Луна, волшебник! — засмеялся он. — Мое величество до этого не додумалось бы, но оно находит это великолепным. Но ты ничего не сказал относительно храмов, которые так непомерно богаты у нас в стране, — не должен ли мой наместник прижать и порастрясти, как того требуют справедливость и плутовской нрав, также и храмы? Прежде всего я хотел бы порастрясти богатства Амуна, который никогда не платил оброка, пускай бы мой поверенный сразу же обложил его данью на общих основаниях!

— Если этот человек будет очень умен, что я и предвижу, — отвечал Иосиф, — он пощадит храмы и в годы изобилия не станет взимать оброка с богов Египта, поскольку старинный обычай велит освобождать от налогов имущество божье. Мерами предосторожности не нужно раздражать прежде всего Амуна, чтобы он не настраивал народ против засыпки хлеба в амбары, уверяя его, что все это направлено против богов. Когда придет голод, храмы вынуждены будут платить по ценам хозяина цен, этого достаточно, от царских доходов они ничего не получают, и поэтому фараон будет более богатым и золотым, чем они все, если его посредник мало-мальски смыслит в своих обязанностях.

— Мудро! — кивнула головой мать-богиня.

— Если я в этом человеке не ошибусь, — продолжал Иосиф, — а как я могу ошибиться в избраннике фараона? — он направит свой взгляд и за рубежи страны и постарается подавить изменников и связать с престолом фараона колеблющихся. Когда мой предок Аврам спустился в Египет со своей женой Сарой (что значит «царица» и «героиня») — когда они спустились сюда, у них дома был голод, и дороговизна стояла в странах Ретену, Амор и Захи. А в Египте царило изобилие. Но разве это не может повториться? Когда для нас наступит время тощих коров — кто поручится, что и там не наступит время мякины? Сны фараона были так предостерегающе яркие, что их смысл может относиться ко всей земле, и дело тут вполне может обстоять так же, как и с потопом. А тогда народы станут приходить на поклон в землю Египетскую, чтобы добыть здесь хлеба и семян, ибо у фараона будут запасы. Придут люди, люди отовсюду и неведомо откуда, люди, которых никто не чаял увидеть здесь; они придут, гонимые нуждой, явятся к твоему поверенному, владыке надзора, и скажут ему: «Продай нам, иначе будем проданы и преданы мы, ибо мы и дети наши умираем от голода и не знаем, как жить дальше, если ты не продашь нам хлеба из твоих житниц!» И тогда продавец даст им ответ и обойдется с ними сообразно тому, что это будут за люди. Как обойдется он с иными сирийскими и фенехийскими князьями, я осмелюсь, пожалуй, и предсказать. Ведь я же знаю, что некоторые из них не любят, как то подобало бы им, господина своего фараона, и на верность их положиться нельзя: эти двурушники клянутся в преданности фараону, а сами заигрывают

с хетитами и, заботясь о собственной выгоде, служат и вашим и нашим. Таких, видится мне, владыка надзора приберет, когда придет время, к рукам. Он заставит их заплатить за хлеб и за семена не только серебром и не только лесом: если они хотят жить, им придется в уплату или в залог доставить в землю Египетскую своих сыновей и дочерей, и это привяжет их к престолу фараона достаточно прочно, чтобы впредь можно было полагаться на их верность.

Фараон от удовольствия запрыгал в кресле, как маленький.

— Маменька, — воскликнул он, — ты тоже думаешь об ашдодском царе Милькили, который более чем ненадежен и держится настолько ужасных взглядов, что любит фараона не всей душой и склонен, как мне писали, к измене? Я думаю все время о нем. Все хотят, чтобы я послал войско против Милькили и обагрил свой меч, — Горемхеб, главный мой военачальник, требует этого два раза в день. Но я этого не хочу, ибо владыка Атона не хочет крови. Так вот, ты слыхала, как этот сын плута предсказал нам, что скоро мы, может быть, сумеем принуждать таких злых царей к верности и привязывать их к престолу без всякого кровопролития, просто торговыми сделками? Превосходно, превосходно! — восклицал он, похлопывая подлокотник ладонью. Вдруг он стал серьезен и торжественно встал с кресла, но, в чем-то усомнившись, сел снова.

— Есть, маменька, одно затруднение, — сказал он досадливо, — связанное со званием и должностью, которые я хочу дать моему другу и посреднику, владыке предусмотрительности и раздачи. Где для него вакансия? Штат, к сожалению, укомплектован, и все лучшие должности замещены. У нас есть оба визиря, есть смотрители зернохранилищ и говяд, есть Великий Писец казначейства и все такое прочее. Где же взять должность, на которую я смог бы посадить своего друга, и подходящий ему чин?

— Это пустяки, — небрежно ответила мать, равнодушно отвернув голову. — И в древности, и в более поздние времена было принято, — и этот обычай, если твоему величеству угодно, можно в любой день восстановить, — чтобы между фараоном и вельможами стоял посредник, Верховные Уста, начальник начальников и смотритель смотрителей, через которого передавалась воля царя, наместник бога. Верховные Уста — это вполне традиционно. Не надо находить затруднения там, где их нет, — сказала она и отвернула голову еще дальше.

— И правда ведь! — воскликнул Аменхотеп. — Я это знал, да забыл, потому что уже давно не было у нас Верховных Уст, Луны между Небом и Землей, и выше всех стояли визири Юга и Севера. Спасибо тебе, маменька, большое-пребольшое спасибо!

И он снова встал с кресла с очень торжественным видом.

— Подойди ближе к царю, — сказал он, — Озарсиф, посланец и друг! Подойди ко мне вот сюда и слушай, что я тебе скажу! Добрый фараон боится тебя испугать. Поэтому я прошу тебя, возьми себя в руки, чтобы выслушать фараона! Возьми себя в руки заранее, еще до того, как я скажу свое слово, чтобы потом не упасть в обморок от ощущения, будто тебя уносит на небо крылатый бык! Ты взял себя в руки? Ну, тогда слушай: этот человек — ты! Ты мною избран, и никто другой, тебя я приближаю к себе и назначаю владыкой надзора, дав тебе величайшие полномочия, чтобы ты умерял изобилие и восполнял нехватку в годы мякины. Можешь ли ты этому удивляться, может ли по-настоящему поразить тебя такое решение? Ты истолковал мне мои дольные сны без книги и без котла, в точности так, как, по-моему, и нужно было их толковать, и после пророчества ты не испустил дух, как то обычно делают вдохновенные агнцы, а это для меня знак того, что ты сбережен, чтобы принять меры, вытекающие, как ты ясно увидел, из твоего толкования. Ты истолковал мне и мои горние сны в полном соответствии с известной моему сердцу правдой, ты объяснил мне, почему отец мой просил меня, чтобы я называл его не Атоном, а Владыкой Атона, ты открыл моей душе разницу между отцом на небе и отцом в небе. Но ты не только мудрец, ты и плут, и ты показал мне, как можно, благодаря дороговизне, обобрать окружных правителей и привязать к фараонову престолу колеблющихся князей Сирии. И поскольку всему этому бог тебя вразумил, мужа более разумного и мудрого, чем ты, нет, и мне нет никакого смысла долго искать другого поблизости

или на стороне. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Ты очень испуган?

— Я долго жил, — отвечал Иосиф, — рядом с человеком, который не умел пугаться, потому что он был воплощенным спокойствием, — я говорю о своем острожном начальнике. Он учил меня, что спокойствие — это только способность быть ко всему на свете готовым. Я в руках фараона.

— А в твоих руках будут страны, и ты будешь перед людьми как я! — сказал Аменхотеп с волнением. — Возьми для начала вот это! — сказал он и, порывисто вращая его на сгибе пальца и дергая, снял с руки перстень и надел его на руку Иосифа. В широкое кольцо был вправлен овальный, редкой красоты, светившийся, как ясное небо в солнечный день, камень лазурит, на котором в царской картуши было вырезано имя Атона. — Пусть он будет знаком, — разволновался Мени и сразу же побледнел снова, — наместнических твоих полномочий, и всякий, кто увидит его, пусть трепещет и знает, что каждое слово, сказанное тобой любому из моих рабов, будь то высшему или низшему, — это все равно что собственное мое слово. У кого бы ни была просьба к фараону, пусть всякий идет с ней к тебе и говорит сначала с тобой, ибо ты мои Верховные Уста и слову твоему все обязаны повиноваться и следовать, потому что с тобой пребывает мудрость и разум. Я фараон! Я ставлю тебя над всей землей Египетскою, и без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей в обеих странах. Разве что престолом я буду выше тебя, но я приобшчу тебя к блеску и пышности моего трона! Ты будешь ездить на второй из моих колесниц, сразу же за моей, и скороходы будут бежать рядом с тобой и провозглашать: «Внемлите и трепещите, это отец стран!» Ты будешь стоять перед моим престолом, и у тебя будет верховная, неограниченная власть... Я вижу, ты качаешь головой, маменька, ты отворачиваешь ее, бормоча что-то похожее на «это уж через край». Но хватить через край иногда ах как чудесно, и фараону сейчас как раз и хочется хватить через край! Ты, агнец божий, получишь такое званье, какого еще никогда не слышали в Египте, и пусть в этом титуле мертвецкое твое имя бесследно исчезнет. У нас уже есть два визиря, но я установлю для тебя неслыханное доселе званье «Великий Визирь». Но это еще далеко не все, ты будешь именоваться также «Друг Урожая Божьего», «Пища Египта» и «Тенистая Сень Царя», а кроме того, «Отец фараона» и как мне еще придет в голову, — только сейчас мне больше ничего не приходит в голову от радостного волнения... Не качай, маменька, головой, дай мне один-единственный раз насладиться, ведь я же хватил через край сознательно и по собственной воле! Ведь это же чудесно, что все произойдет так, как в той чужеземной песне, в которой поется: «Отец Инлиль назвал свое имя «Владыка стран» — пусть возьмет он мои полномочья, пусть вершит он всеми делами моими — пусть и земля его будет обильна, и сам процветает — слово его нерушимо, приказ его свят — и слова его ни один бог не изменит». Как поется в этой песне, в этом чужеземном гимне, так пусть и будет! — это доставляет мне бесконечное наслаждение! «Князь внутренних дел» и «Наместник бога» — вот как ты будешь назван при введении в должность... Здесь мы тебя никак не можем озолотить, здесь нет даже более или менее приличной сокровищницы, из запасов которой я наградил бы тебя золотом, цепями и воротниками. Нам нужно немедленно вернуться в Узет, это можно сделать только там, во дворце Мерима'т, во дворе под балконом. Да и жену ведь надо найти тебе, и притом из высших слоев общества, — то есть, конечно, множество жен, но прежде всего первую и праведную. Мое решение женить тебя остается в силе. Ты увидишь, как это приятно!

Он энергично, по-мальчишески резко хлопнул в ладоши.

— Эйе, — крикнул он, учащенно дыша, вышмыгнувшему из-за занавески горбуну. — Мы едем! Фараон и весь двор возвращаются сегодня же в Новет-Амун! Поторопитесь, это прекрасный приказ! Сейчас же приготовьте мой струг «Звезда обеих стран», на котором я поеду с Вечной Матерью, со Сладчайшей Супругой и с этим Аденом моего дома, избранником, который отныне, будет как я в земле Египетской. Расскажи это другим! Предстоит великое озлащение!

Горбун все время подслушивал за занавеской, но до сих пор он не верил своим ушам. Сейчас он поверил им, и что тут он растаял, изошел по-кошачьи в истоме, поцеловал кончики всех своих пальцев, — это вполне можно себе представить.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ПОРА ДОЗВОЛЕНИЙ

СЕМЬ ИЛИ ПЯТЬ

Хорошо, что беседа между фараоном и Иосифом, беседа, приведшая к возвышению умершего и, значит, сделавшая его великим на Западе, — что эта знаменитая и вместе с тем почти неизвестная беседа, которую Великая Матерь не без основания определила как беседу о боге и о богах, воспроизведена теперь от начала и до конца, во всех ее изгибах, поворотах и отступлениях и подробнейше раз навсегда запечатлена на бумаге, так что каждый может теперь проследить ее действительный ход, а если кто какое-нибудь место забудет, ему достаточно заглянуть в книгу и восстановить в памяти то, что из нее выпало. Лаконизм имевшегося доселе изложения этой беседы граничит с почтенным неправдоподобием. Что после истолкования Иосифом снов и его совета царю найти разумного, мудрого и предусмотрительного мужа фараон сразу ответил: «Нет столь разумного и мудрого мужа, как ты; тебя я ставлю над всей землею Египетской!» — и самым восторженным, скажем даже: самым необузданным образом осыпал его почестями и званиями, — это всегда представлялось нам слишком сокращенным, скудным и засушенным изложением событий, выпотрошенным, забальзамированным и закутанным трупом правды, а не ее живым телом; нам недоставало тут слишком многих мотивов восторга и безудержной милости фараона, и когда мы, преодолев страх своей плоти, решились спуститься в ад, добраться через пучину тысячелетий до колодезного луга жизни Иосифа, в наши намерения входило прежде всего подслушать эту беседу и вынести ее наверх во всей ее полноте, такой, какой она тогда действительно была в Оне, в Нижнем Египте.

Разумеется, мы не против пропусков. Они полезны и необходимы, ибо долго совершенно невозможно рассказывать жизнь так, как она когда-то рассказывала себя самое. К чему это привело бы? Это привело бы к бесконечности и было бы выше человеческих сил. Кто задался бы такой целью, тот не только никогда не кончил бы, но, обезумев от подробностей, увяз бы уже в начале. На прекрасном празднике повествования и воспроизведения пропуски играют важную и непременною роль. Мы тоже мудро прибегаем к ним на каждом шагу, разумно намереваясь довести до конца затею, и так уже отдаленно напоминающую попытку выпить море, но все-таки не настолько нелепую, чтобы мы и буквально, и в самом деле пытались выпить море подробностей.

Что случилось бы с нами без пропусков, когда Иаков служил у беса Лавана семь, тринадцать и пять, то есть двадцать пять лет, — каждый мельчайший отрезок которых был заполнен богатой подробностями и, в сущности, достойной повествования жизнью? И что случилось бы с нами без разумного этого правила теперь, когда наше суденышко, влекомое мерным теченьем рассказа, снова дрожит на краю водопада глубиной в семь и семь предсказанных лет? Говоря между нами и забегаая вперед — с числом этим дело обстояло не совсем так скверно и не совсем так прекрасно, как утверждало пророчество. Пророчество исполнилось — это сомнению не подлежит. Но исполнилось оно с живой неточностью, а не точь-в-точь. Подлинная жизнь всегда проявляет известную самостоятельность, порой настолько большую, что пророчество в ней невозможно или как раз в ней-то и можно узнать. Разумеется, жизнь связана пророчеством; но в пределах связанности она движется свободно, и это почти всегда вопрос доброй воли — считать или не считать, что пророчество сбылось. Ну, а мы имеем дело со временем и с людьми, которые, конечно же, полны доброй воли даже при неточностях признать проро-

чество исполнившимся и, ради его исполнения, допустить, что дважды два — пять, если эта поговорка уместна в данном случае, когда число пять требовалось скорей приравнять к чуть большему числу, а именно к семи, что было нетрудно, поскольку пять — число по меньшей мере столь же уважаемое, как семь, и ни одному разумному человеку не пришло в голову увидеть в замене семи пятью хотя бы неточность.

В действительности предсказанная семерка имела вид, скорее, пятерки. Но ни тому, ни другому числу живая жизнь не отдала решительного предпочтения, тем более что тучные и тощие годы выходили из своего лона совсем не с такой аккуратностью и не так резко отличаясь друг от друга, как тучные и тощие коровы в фараоновом сне. Тучные и тощие годы, которые потом пришли, были, как то свойственно всему живому, не все одинаково тучны и тощи. Среди тучных попадался год-другой, который, конечно, нельзя было назвать тощим, но при некотором критицизме вполне можно было назвать умеренно тучным. Тощие, правда, были все достаточно тощи, их было наверняка пять, если не семь; но выпадали среди них годы, не достигавшие последней степени убожества и более или менее близкие к сносным, в которых, не будь предсказания, может быть, вовсе и не распознали бы мякинно-голодных. А так их, благодаря доброй воле, тоже засчитывали.

Следует ли из всего этого, что предсказание не исполнилось? Отнюдь нет. Его исполнение неоспоримо, ибо налицо факты — факты нашей истории, факты, из которых она состоит, факты, без которых ее не существовало бы в мире, факты, без которых за отрешением и возвышением не могло бы последовать переселение рода. В земле Египетской и окрест нее бывали и в самом деле достаточно тучные и достаточно тощие времена — годы тучные и годы более или менее тощие, так что у Иосифа была полная возможность умерять изобилие и унимать вопиющий голод, ведя себя, как Утнапиштим-Атрахасис, как многомудрый Ной, как муж предусмотрительный и заботливый, чей ковчег лишь покачивается на волнах потопа. При этом Иосиф был верным слугой самого высокого, его министром, и он озлащал фараона своими делами.

ОЗЛАЩЕНИЕ

Но покамест озлащен был он сам — ибо выражением «стать человеком из золота» дети Египта обозначали именно то, что произошло с Иосифом, когда после прекрасного приказа фараона он вместе с этим богом, с Великой Матерью, со Сладчайшей Супругой и с принцессами Неземмут и Бакетатон совершил на царском струге «Звезда обеих стран», и притом под ликование берегов, путешествие в Узет, в столицу, где вместе с солнечной семьей направился во Дворец Запада Мерима'т, расположенный со своими садами и с озером своих садов у подножья яркоцветных гор пустыни. Здесь он получил жилье, слуг, наряды и все, что ему угодно было, и уже на другой день над ним был произведен прекрасный обряд введения в должность и озлащения, начавшийся торжественным выездом двора, во время которого проданный в рабство ехал и в самом деле на второй фараоновой колеснице, сразу же за самим царем, в окружении его сирийской и нубийской охраны, отделенный от повозки бога только отрядом скороходов, кричавших: «Абрек!», «Поберегись!», «Великий Визирь!» и «Глядите на Отца Страны!» — чтобы народ знал, что происходит и кто это сидит во второй колеснице. Народ глядел и понимал, что фараон кого-то очень вознес, на что у него, вероятно, имелись свои причины, ибо даже его прекрасная прихоть была для того причиной вполне достаточной. А так как с подобными возвышениями и назначениями всегда как-то связывалась идея новой ары и лучшей жизни, люди Узет ликовали на крышах и прыгали на одной ноге у обочин проспектов. Они кричали: «Фараон! Фараон!» и «Неб-неф-незем!» и «Велик Атон!», и если прислушаться, то Многие выкрикивали это имя с более звонким звуком — «Адон, Адон!», что, несомненно, относилось к Иосифу. По-видимому, распространился слух об его азиатском

происхождение, и потому некоторые — особенно женщины — считали уместным приветствовать Иосифа именем сирийского «господа» и жениха, не в последнюю очередь, впрочем, и потому, что вознесенный был так красив и молод. Заметим, кстати, что из всех его титулов это имя особенно привилось, и по всей земле Египетской его всю жизнь называли Аденом — и когда говорили о нем, и когда говорили с ним.

После этого великолепного выезда процессия, переправившись через реку на стругах, вернулась на западный берег и ко дворцу, где и началось неизменно чудесное, а потому и на этот раз неотразимое для взора и для сердца празднество озлащения. Оно проходило так: фараон и та, что наполняла дворец любовью, царица Нефернефруатон, показывались у так называемого «окна появления», — это было, собственно, не окно, а подобие балкона, обращенная к одному из внутренних дворов замка веранда-портик перед большой приемной, особенно богато выстроенная из лазурита и малахита и украшенная бронзовыми уреями, с выступом из прекрасных, лотосоподобных, обвитых вымпелами колонн и с обложенным пестрыми подушками парпетом. На него-то и опирались их величества, осыпая всякого рода подарками, которые подавали им чиновники казначейства, стоявшего внизу, под террасой, дароприимца, каковым сейчас являлся, стало быть, сын Иакова. То было зрелище, навсегда оставшееся в памяти у каждого, кто его видел. Все утопало в пестроте и блеске, в щедрой милости и благочестивом восторге. Ажурное великолепие архитектуры; вымпелы на изящных деревянных столбах, расписных или в позолоте, колыхавшиеся под солнечным небом на легком ветру; синие и красные опахала и веера заполнявшей двор знатной челяди, которая, красуясь роскошно оттопыренными набедренниками, прислуживала, приветствовала, ликовала, благоговела; женщины, бьющие в тамбурины; мальчики с так называемой детской прядью, нанятые специально для того, чтобы непрестанно прыгать в знак радости; толпа писцов, которые с самым, как обычно, ласковым видом, записывали тростинками все, что происходило; видневшийся через трое открытых ворот, полный упряжек наружный двор, где приплясывавшие лошади покачивали высокими пестрыми султанами, а сзади, лицом к внутреннему двору, в почтительном поклоне высоко поднимали руки возницы; взиравшие на все это извне желто-красные фиванские горы с синими и фиолетовыми тенями скал, а на великолепном балконе, стало быть, нежная, улыбающаяся с усталым изяществом, божественная чета в высоких, с матерчатými затыльниками венцах, которая непрерывно и с явным удовольствием осыпала счастливец обильным и благодатным дождем драгоценностей: нитками золотых бус, золотыми львами, золотыми запястьями, золотыми кинжалами, начальниками, воротниками, скипетрами, вазами и топорами из чистого золота, — а так как всего этого он один, конечно, не мог подхватить, к нему было приставлено несколько рабов, которые под громкое изумление толпы нагромоздили на земле перед ним целую кучу сверкавшего на солнце золота, — все это было действительно зрелищем, не имеющим себе равных по красоте, и если бы не неумолимый закон пропусков, мы описали бы увиденное гораздо подробней.

Когда-то в Стране, Откуда Нет Возврата, у беса Лавана, собирал сокровища Иаков; так же поступал в этот день и его любимец в веселой стране мертвых, куда его продали и где он умер. Ведь столько золота бывает, разумеется, лишь в преисподней, и только благодаря этому золоту славы Иосиф стал сразу же состоятельным человеком. Правда, выпрашивая при меновой торговле золото у фараона, чужеземные цари утверждали, как правило, что в земле Египетской этот металл дешевле пыли дорожной. Но ведь это же экономическая ошибка — думать, что даже самые богатые запасы золота способны уменьшить его ценность.

Да, для отрешенного, отторгнутого от семьи Иосифа то был большой день, исполненный благодати житейской, и нам хотелось бы только, чтобы Иаков, старый его отец, на все это поглядел, — поглядел, конечно, со смесью тревоги и гордости, но все-таки больше с гордостью, чем с тревогой. Иосифу этого тоже хотелось; недаром сказал он впоследствии: «Скажите отцу моему о моей славе!»... Еще получил он от фараона грамоту, написанную хоть и не самим, конечно, царем, но все же по его указанию «Истинным Писцом», его Тай-

ным Секретарем, грамоту несколько, правда, неуклюже-казенную, но как произведение каллиграфического искусства просто восхитительную, а по содержанию самого милостивого свойства. Она гласила:

«Приказ царя Озарсифу, начальнику того, что дает небо, родит земля и производит Нил, начальнику всего во всей стране и Действительному Начальнику Поручений! Мое Величество с большим удовольствием выслушало твои речи о небесных и о земных делах, произнесенные тобой несколько дней назад в Оне, в Нижнем Египте, во время беседы, которую соблаговолил вести с тобой царь. В этот прекрасный день ты воистину порадовал сердце Нефер-Хеперу-Ра тем, что он воистину любит. Твои речи были Моему Величеству, чрезвычайно приятны, ибо, соединив в них земное с небесным, ты заботой о первом одновременно проявил большую заботу и о втором, а кроме того, способствовал совершенствованию учения о Моем Отце в небе. Поистине ты умеешь говорить вещи, чрезвычайно приятные Моему Величеству, и то, что ты говоришь, веселит Мое сердце. Мое Величество знает также, что ты говоришь все, что Моему Величеству нравится. О Озарсиф, Я бесконечно твержу тебе: Возлюбленный своего господина! Дароприимец своего господина! Любимец и наперсник своего господина! Поистине владыка Атона любит Меня, коль скоро он дал тебя Мне. Вечная жизнь Нефера-Хеперу-Ра тому порукой: стоит тебе, письменно или устно, высказать Моему Величеству какое-либо желание. Мое Величество тотчас исполнит его».

И, предвосхищая самое главное, по здешним понятиям, из возможных желаний, грамота заканчивалась уведомлением, что фараон приказал немедленно приступить к выдалбливанию, а также к архитектурной отделке и разрисовке Вечной Обители, то есть могилы для Иосифа, в западных горах.

После того как Иосиф прочел это послание, в большой колонной палате, находившейся позади «окна появления», в присутствии всего двора, состоялась великая церемония введения в должность, и вдобавок к перстню уполномочения и ко всему дарованному уже золоту фараон, в знак милости, повесил на шею своему фавориту, поверх его белоснежного придворного платья, конечно, не шелкового, как утверждают иной раз по неосведомленности, а из тончайшего царского полотна, тяжелую золотую цепь, а кроме того, приказал визирю Юга прочитать длинный перечень пожалованных Иосифу титулов, которые должны облекать отныне его мертвецкое имя. Большинство этих озлащений уже знакомо нам по предварительным высказываниям фараона и по почетной грамоте, где обращения «Начальник того, что дает небо» и ему подобные были официальными. Самыми яркими среди прочих были, пожалуй, «Тенистая Сень Царя», «Друг Урожая бога» и «Пища Египта» («Ка-не-Ка-ме» на тамошнем языке). «Великий Визирь», хотя и неслыханное дотоле звание, и «Исключительный друг царя» (в отличие от «Единственных») в сравнении с ними просто меркли. Но этим дело не ограничилось, ибо фараону, как мы знаем, захотелось хватить через край. Иосиф именовался «Адон царского дома» и «Адон надо всею землею Египетскою». Он именовался «Верховные Уста», «Князь посредничества», «Множитель учения», «Добрый пастырь народа», «Двойник царя» и «Наместник Гора». Ничего подобного дотоле вообще не бывало, да и впоследствии никогда не случалось, и случиться могло, видимо, только в правление такого порывистого и склонного к сумасбродным решениям молодого монарха. Был и еще один титул, ставший, скорее, именем собственным и призванный не столько прикрыть, сколько заменить мертвецкое имя Иосифа. Потомство толковало этот титул и вкривь и вкось, да и наиболее почтенное предание тоже дает неправильный перевод, способный вызвать только недоразумения. Там сказано, что Фараон назвал Иосифа «тайным советником» [в немецкой Библии; в русской Библии (изд. 1956 г.) соответствующее место (Бытие, 41, 45) переведено так: «И нарек фараон Иосифу имя: Цафнафпанеах»]. Это некомпетентное переложение. У нас на письме это имя имело бы такой вид: «Дже-п-нута-эф-онх», что проворными устами детей Египта произносилось как «Джепнутеэфонех», с небным звуком «х» в конце. Наиболее броская составная часть этого сочетания — «онх» или «онех», слово, изображаемое крестом с петлей, знаком жизни, ко-

торый боги подносили к носу людям, особенно своим сыновьям — царям, чтобы продлить их дыхание. Имя, полученное Иосифом в придачу ко множеству титулов, было именем жизни. Оно значило: «Говорит бог (Атон, его не нужно было называть): «Да будет с тобою жизнь!» Но этим смысл его не исчерпывался. Для всякого уха, которое слышало его тогда, оно означало не только «Живи сам», но и «Дари жизнь, распространяй жизнь, дай людям пищу для продления жизни!». Одним словом, то было имя, связанное с насыщением, ибо владыкой насыщения Иосиф был назначен прежде всего. Все его имена и званья, бели они не затрагивали его отношения к фараону лично, говорили так или иначе о сохранении жизни, о питании стран, и все они, включая это главное, вызвавшее столько толков и пересудов, могли быть переданы одним прозвищем «Кормилец».

УТОПЛЕННОЕ СОКРОВИЩЕ

Когда сын Иакова был облачен во все эти имена, его, разумеется, окружили, и вам самим вольно представить себе подобострастно-восторженные поздравления окруживших его льстецов. Людям свойственно воодушевляться и восхищаться прихотью произвола, непосредственным выбором, категорическим и безапелляционным «Кому хочу, потакаю», сводящими на нет даже зависть и делающими угодничество чуть ли не искренним. Никто толком не знал, почему, собственно, фараон так невероятно возвысил и обласкал какого-то юного чужеземца, но никто этого и знать не желал. Впрочем, прорицательское искусство было в чести, и если Иосифу посчастливилось отличиться и побить местные рекорды, то этим уже кое-что объяснялось. Кроме того, известна была слабость фараона к людям, которые «внимали его словам», то есть способны были вникнуть в его богословские идеи и показать свою восприимчивость к «учению», и все знали, что такое понимание — не важно, подлинное или притворное, — всегда вызывает у него живейшую благодарность. Видимо, и тут этому малому повезло, да и какой-то природный ум, какой-то опыт у него, конечно, тоже нашлись. Как бы то ни было, не приходилось сомневаться, что с фараоном он повел дело как величайший пройдоха, если в мгновение ока опередил их всех; и перед удачливой хитростью, не меньше чем перед произволом, так гнули спину, так угодничали, так заискивали, так лебезили, так расшаркивались, так расстилались, так рассыпались мелким бесом вокруг Иосифа, что только держись. Один из друзей, поэт, сочинил в его честь даже хвалебную песнь, которую сам же, под тихий аккомпанемент арфы, исполнил, и слова ее были такие:

Ты, жив, ты цел и невредим,
Ты не беден, ты не убог.
Ты долговечен, как течение часов,
Твои замыслы надежны, твоя жизнь длинна.
Твоя речь изысканна.
Твое око видит, что хорошо.
Ты слышишь то, что приятно.
Ты видишь хорошее, ты слышишь приятное.
Тебя хвалят в среде советников.
Ты стоишь твердо, а враг твой пал.
Кто язвит тебя словом, того больше нет.

Мы находим этот гимн посредственным. Но как произведение одного из них придворные находили его довольно хорошим.

Иосиф принимал все это как человек, которого никакое возвышение не застанет врасплох, с приветливой серьезностью, отдававшей рассеянностью и болью. Ибо мысли его были

не здесь, не в фараоновом зале. Они были у волосяного дома на далеких высотах, в соседней роще господней, с маленьким, в блестящем шлеме волос, братом правой руки, которому он рассказывал сны; или в поле во время уборки, под навесом, с товарищами, от которых он тоже не утаивал снов; или же в долине Дофана, у колодца, куда он отнюдь не мирно попал. В своей отрешенности он чуть не проглядел одной пары глаз, подмигивавших ему из толпы стоявших вокруг, а между тем, если бы он не ответил на это приветствие, подмигивавший не на шутку встревожился бы.

Дело в том, что среди поздравителей был владыка венка Нефер-эм-Уазе, носивший некогда противоположное имя. Можно представить себе, как смущен, как потрясен был игрою судьбы этот толстяк, когда он в столь неожиданных, столь неправдоподобно изменившихся обстоятельствах приносил поздравления молодому своему служителю скверных времен. Он имел право надеяться, что новый фаворит будет к нему расположен и не станет «язвить его словом», — ведь ему, Неферу, он обязан призывом фараона и благоприятнейшим в жизни случаем. Но эта надежда немного ослаблялась сознанием, что он слишком поздно указал на него пальцем, вспомнив о нем, в точности как было предсказано, только тогда, когда его, Нефера, ткнули носом в это воспоминание. Кроме того, виночерпий опасался, что новому фавориту напоминания об узилище так же неприятны, как ему самому; поэтому во время церемонии поздравления он ограничился тем, что с осторожной фамильярностью прищурил один глаз, ибо это могло означать все, что угодно, и был удовлетворен, когда Адон ответил на это подмигиванье.

Кстати о встречах: тут невольно приходит мысль еще об одной, тоже возможной и даже более пикантной, однако сейчас время подтвердить и признать справедливым молчание, которое не всем изложениям и версиям иосифовской истории удалось сохранить. Имеется в виду Потифар или Путифера, правильнее Петепра, великий скопец, купивший Иосифа, его господин и судья, доброжелательно бросивший его в темницу. Присутствовал ли он при процедуре озлащенья и окруженья, почтил ли и он Иосифа при дворе — выразив ему, скажем, признательность человека, который, будучи сам неспособен на какое-то дело, высоко ценит того, кто от этого дела отказался, хоть и был на него куда как способен? Расписать встречу такого рода весьма соблазнительно; но расписывать тут нечего, ибо ничего подобного не было. Щемяще прекрасный мотив свидания после разлуки играет в нашей истории триумфальную роль, и в этом отношении впереди у нас много чудес, которых мы ждем не дождемся. Сейчас, однако, этот мотив умолкает, и молчание, хранимое относительно царедворца Солнца и особенно относительно его достойной сожаления почетной жены Мут-эм-энет в этом месте рассказа авторитетной на Западе версией, — это молчание не является пропуском, а если является им, то лишь постольку, поскольку опущено отрицание, то есть недвусмысленное утверждение, что чего-то не было, то есть что после ухода из дома Петепра Иосиф не встречался ни с господином, ни с госпожой.

Народ и ему в угоду поэты, племя чрезмерно угодливое, на все лады разукрашивали историю об Иосифе и жене Потифара, этот очень, правда, весомый, но все-таки лишь эпизод в жизни сына Иакова, они дополняли ее трогательными продолжениями, хотя катастрофой она вполне исчерпала себя, и отводили ей непомерно большое место внутри повести, превращая таковую в слащавый роман со счастливым концом. Если бы все шло так, как в этих поэмах, то, упрятав Иосифа в темницу, искусительница, которую обычно именуют «Зюлейка», по поводу чего можно только пожать плечами, в раскаянье удалилась бы в «хижину», где жила бы лишь для искупленья своих грехов, а кроме того, стала бы, ввиду смерти мужа, вдовой. А когда Юсуфа (то есть Иосифа) освобождали бы из темницы, он не велел бы снимать с себя «цепи» до тех пор, покуда все знатные женщины страны не подтвердят перед фараоновым тронем его невиновности. Поэтому у престола и в самом деле собрали бы всю женскую часть египетской знати, и в числе прочих, покинув хижину своего покаяния, прибыла бы «Зюлейка». Весь цветник дам единодушно объявил бы Иосифа князем невинности и украшением чистоты. А затем

взяла бы слово «Зюлейка» и в глубоком униженье, во всеуслышанье, признала бы себя преступницей, а Иосифа ангелом. Она — заявила бы она без утайки — совершила позорное преступление, но теперь она очищена и готова нести бремя стыда и позора. Таковое она и несла бы в своей хижине еще долгие годы, седея и старясь. И только в тот праздничный день, когда в землю Египетскую помпезно прибывал отец Иаков, — то есть когда в действительности у Иосифа было уже два сына, — эта пара встретилась бы опять; Иосиф простил бы старуху, и в награду за это силы небесные восстановили бы ее прежнюю прельстительную красоту, после чего Иосиф, к величайшему своему блаженству, женился бы на ней, так что в конце концов они, по давнему желанью, все-таки «соединили бы ноги и головы».

Все это мускус и персидская розовая вода. К фактам это не имеет ни малейшего отношения. Во-первых, Потифар не так скоро умер. С чего бы безвременно умирать человеку, избавленному особой своей статью от расточительной траты сил, сосредоточенному на себе, живущему только для себя и часто подкрепляющемуся охотой по перу? Если о нем со дня домашнего суда наша история умалчивает, то это, конечно, означает некое исчезновение со сцены, но вовсе не смерть. Нельзя забывать, что за время заточения Иосифа произошла смена престола, а таковая обычно влечет за собой смену двора или хотя бы части двора. После похорон Небмара Великолепного Петепра, которому, как мы знаем, положение мнимого, без настоящих полномочий полководца доставляло немало неприятностей, ушел в звании Единственного Друга в частную жизнь. Он больше не являлся ко двору, во всяком случае мог не являться, и в дни озлащения Иосифа, из очень и очень свойственного ему, Петепра, чувства такта, по-видимому, уклонился от этого. Если он не встречался с ним и впоследствии, то причина заключалась отчасти в том, что резиденция Иосифа, как Владыки Предусмотрительности и Насыщения, находилась, как мы увидим, не в Фивах, а в Мемфисе, отчасти все в той же тактичной уклончивости. Если же с годами, по какому-нибудь торжественному случаю, их встреча все-таки состоялась, то можно быть уверенным, что она прошла без подмигиванья, при полном самообладании обеих сторон, игнорировавших прошлое с одинаковой выдержкой: именно такое поведение и отразилось в молчанье авторитетнейшего источника.

То же относится к Мут-эм-энет, и по столь же веским причинам. Что Иосиф не встречал ее больше, это уж несомненно, но столь же несомненно и то, что ни в какие хижины она на покаяние не удалялась и в бесстыдстве во всеуслышанье не обвиняла себя, что к тому же было бы ложью. После краха отчаянной попытки уйти от своего почетного существования в человеческое житье-бытье важная эта дама, орудие испытания Иосифа, — испытания, которое он выдержал не так уж блестяще, но все-таки выдержал, — вынуждена была навсегда вернуться к тому образу жизни, что казался ей до ее беды вполне естественным, ибо никакого другого она и не знала; она даже закоснела в нем еще прочнее, еще более гордо, чем когда-либо прежде. Благодаря замечательной мудрости, проявленной Петепра при катастрофе, отношение жены к нему скорее стало теплей, чем ухудшилось. Благодарная ему за то, что суд он вершил, как бог, возвысившись над человеческим сердцем, она была ему с той поры безупречно верной почетной супругой. Возлюбленного она не проклинала за страдания, которые он ей причинил или которые она из-за него себе причинила; ведь любовные страдания — это страдания особого рода, и никто еще не сожалел о том, что их испытал. «Ты сделал мою жизнь богатой, — она в цвету!» Так молилась Эни в муке своей, и из этого видно, каковы эти особенные, настраивающие даже на благодарственную молитву муки любви. Как бы то ни было, она жила и любила, — любила, правда, несчастливо, но какое это, собственно, имеет значение и не будет ли тут жалость глупой назойливостью? Эни не требовала жалости и была слишком горда, чтобы жалеть себя самое. Но жизнь ее уже отцвела, отцвела решительно и окончательно. Формы ее тела, ставшего было телом ведьмы любви, быстро преобразились опять — но к ним не вернулась лебединая красота ее юности, в них появилось что-то схимническое. Да, холдной лунной схимницей с девственно преобразившейся грудью была отныне Мут-эм-энет, неприступно изящная и — надо прибавить — изуверски набожная. Мы все помним еще, как

однажды, во время мучительного расцвета ее жизни, она вместе со своим возлюбленным кадила доброжелательно ко всему миру и к чужеземцам Атуму-Ра, владыке широкого горизонта, надеясь на благосклонность онского бога к ее страсти. Это прошло. Теперь горизонт ей снова был узок, суров и ограничен отечественными пределами; больше, чем когда-либо, была она теперь предана говядолюбивому владыке Эпет-Эсовета и его охранительной солнечной природе, только духовным наставлениям главного его плешивца, заклятого врага всяких новшеств и рассуждений великого Бекнехонса открыт был теперь доступ к ее душе, и уже одно это отдаляло ее от двора Аменхотепа Четвертого, где хорошим тоном становилась религия нежного, всеобъемлющего восторга, вообще ничего общего не имевшая в ее глазах с набожностью. Она оправляла теперь праздник священной твердости, постоянного равновесия, каменноглазой вечности, когда в узком платье Хатхор, с трещоткой в руке, плыла перед Амуном в размеренном танце и все еще сладостным даже при плоской уже груди голосом запевала в хоре благородных его наложниц. И все-таки на дне ее души лежало сокровище, которым она втайне гордилась больше, чем всей своей религиозной и светской славой, и которого, признавалась ли она себе в том или не признавалась, не отдала бы ни за какие блага на свете. Сквозь глубину утопленное это сокровище озаряло пасмурный день ее схимы и, несмотря ни на какую примесь поражения, незаменимо дополняло ее религиозную, ее светскую гордость гордостью человеческой, гордостью жизни. То было воспоминание — не столько даже о нем, который, как ей довелось услышать, стал владыкой над землею Египетской. Он был только орудием, как орудием была и она, Мут-эм-энет. То было, почти независимо от него, сознание своей оправданности, сознание, что она цвела и горела, любила и страдала.

ВЛАДЫКА НАД ЗЕМЛЕЮ ЕГИПЕТСКОЙ

Владыка над землею Египетской — мы пользуемся этим выражением в духе общепринятой неумеренности апофеоза и в смысле того прекрасного «хватить через край», которое позволил себе фараон ради истолкователя своих сновидений. Но пользуемся мы им не на авось, не с краснобайской бездумностью, а с той разумной оглядкой, к которой обязывает нас верность действительности. Ведь наше дело не врать, а повествовать, а это занятия все же очень и очень разные, какому из них ни отдавай предпочтение. Поначалу вранье производит, конечно, всегда больший эффект, но настоящую пользу приносит слушателям только вдумчивое, осмысленное повествование.

Иосиф стал очень важным лицом при дворе и в стране, это, несомненно, и личное доверие, которое связывало его после беседы в Критском Садовом Покое с монархом, то есть его положение фаворита, делало границы его власти неопределенно широкими. Но настоящим Владыкой над землею Египетской или, как то выражают иногда преданье и песня, «Начальником стран», он никогда не был. При всем его сказочном возвышении, при всех его громких титулах главные отрасли управления в стране его отрешенности оставались по-прежнему в руках царских сановников, часть которых ведала ими еще при царе Неб-ма-ра, и было бы чистейшей фантазией полагать, будто сыну Иакова подчинялись, например, судопроизводство, искони находившееся в ведении верховного судьи и визиря, а ныне — обоих визирей, или, скажем, внешняя политика, — последствия которой были бы, вероятно, счастливее известных историку, если бы за нее взялся Иосиф. Нельзя забывать, что хотя по внешней своей культуре он и стал египтянином, по сути величие царства Египетского нисколько его не трогало, и каких благодетелей ни оказывал он туземцам, как ни считался он с их общественным мнением, внутреннее его внимание было всегда приковано к религиозно-личному, к всемирно-кровному, к осуществлению замыслов и намерений, имевших весьма и весьма мало общего с благоденствием и горестями Мицраима. Можно не сомневаться, что сны фараона и их разгадку он тотчас связал с этими замыслами и намерениями, с идеей ожидания и прокладыванья

пути, и явная доля целеустремленности в его поведении перед фараоновым тронном могла бы, пожалуй, подействовать охлаждающе и нанести ущерб той симпатии, которую и нам хочется сохранить за сыном Рахили, если бы слушатели не учитывали, что Иосиф считал своим долгом содействовать этим намерениям и помогать богу в их исполнении изо всех сил.

Чего бы ни означали его титулы, назначен он был министром съестных припасов и земледелия и в этой должности провел важные реформы, из которых особенно запомнился закон о земельной ренте. Но за круг этих обязанностей он никогда не выходил, и даже если принять во внимание, что дела казначейства и управление зернохранилищами были слишком тесно связаны с его ведомством, чтобы его, Иосифа, власть не распространялась и на них, то все равно такие эпитеты, как «Владыка над землею Египетской» и «Начальник стран», остаются неправдоподобной прикрасой истинного положения. Нужно, правда, учесть и другое. При обстоятельствах, царивших в первые решающие десять или четырнадцать лет его власти, — обстоятельствах, в ожидание которых его и облекли чином, — значение именно его должности могло и вправду возрасти чрезвычайно и затмить значение всех остальных должностей. Голод, свирепствовавший в течение пяти или семи — скорее, пяти — лет после возвышения Иосифа как в Египте, так и в соседних странах, делал человека, знавшего о его приближении и принявшего необходимые меры предосторожности, благодаря чему люди как-никак выживали, практически важнейшим лицом в государстве, а его распоряжения более существенными, чем любые другие. И, помня, что критика, если только она достаточно глубока, в конечном счете часто приводит к подтверждению народной молвы, мы не станем возражать против того, что положение Иосифа, по крайней мере несколько лет, и в самом деле было равносильно положению «Владыки земли Египетской», без которого никто не мог шевельнуть ни рукой, ни ногою в обеих странах.

А на первых порах, непосредственно после вступления в должность, он совершил на судне и в коляске в окружении целого штаба писцов, набранного им преимущественно из молодых, еще не закосневших в служебной рутине людей, инспекционное путешествие по всему Египту, чтобы узнать обо всех делах Черной Земли из первых рук и, прежде чем принимать какие-либо меры, стать вправду владыкой обобщающего надзора. Имущественные отношения были там внизу странно неопределенны и двусмысленны. По идее, любая земля, как и вообще все, принадлежала фараону. Страны, включая завоеванные или обложенные данью, до «горемычной страны Нубии» и до границы Митаннии, были, в сущности, его частной собственностью. Но при этом подлинно государственные земли, «имения фараона», были особым царским имуществом, отличным как от латифундий, подаренных прежними царями своим вельможам, так и от небольших поместий и крестьянских наделов, считавшихся личной собственностью своих хозяев, хотя, строго говоря, налицо были откуп и аренда, правда, со свободным наследованием. Исключение составляли лишь храмовые земли, уголья Амуна, действительно свободные от всяких оброков, и остатки более древней системы особых привилегий, владения отдельных, все еще сильных или независимо ведущих себя князей, родовые именья, выступавшие там и сям островками патриархального уклада и, подобно угольям бога, желавшие, чтобы их рассматривали как неограниченную собственность владельцев. Но принципиально оставляя в покое уголья бога, Иосиф очень сурово обходился с упорствующими баронами, земли которых он с самого начала, не церемонясь, включил в свою систему оброков и заготовок, а со временем и вовсе конфисковал в пользу венца. Неверно было бы утверждать, что своеобразные аграрные отношения так называемого нового царства, то есть то поразительное для других народов положение, что в стране Нила все земли, кроме земель жрецов, принадлежали царю, — сложились благодаря мероприятиям сына Иакова. В действительности он лишь завершил уже и без того далеко зашедший процесс, закрепив, юридически выяснив и полностью прояснив существовавшие и до него отношения.

Хотя во время своего путешествия он не побывал в негритянских и сирийско-кенаанитских землях и ограничился посылкой уполномоченных в эти края, на инспекцию ушло

все же дважды, если не трижды семнадцать дней, ибо многое нужно было взять на заметку и подчинить обобщающему надзору. Затем он вернулся в столицу, где вместе со своими чиновниками занял на улице Сына казенное здание, и там-то, заблаговременно, еще до нового урожая, был издан тот знаменитый, сразу же громко объявленный по всей стране земельный закон, который именем фараона предписывал всем, невзирая на лица и независимо от урожая, сдавать пятую его часть, в срок и без напоминаний — или же после весьма внушительных напоминаний — в царские амбары. Одновременно дети Египта могли заметить, что по всей стране, в больших и малых городах и в их окрестностях, хранилища эти, с большой затратой рабочей силы, умножаются и расширяются в невиданной мере — даже, в пору было подумать, в избытке; ведь поначалу многие из них, естественно, пустовали. Тем не менее их строили и строили, ибо избыток их был рассчитан на тот избыток, который, как говорили, предсказал новый Адон Заготовок и Друг Урожая Бога. Повсюду, куда ни падал взгляд, высились густые, часто в виде просторных, образующих двory четырехугольников, ряды конусообразных хранилищ с отверстиями для засыпки зерна вверху и надежными дверями для разгрузки внизу; и сооружены они были особенно прочно: на террасоподобных площадках из утрамбованной глины — для защиты от сырости и мышей. Кроме того, было еще множество подземных ям для зерна, тщательно вырытых, с почти незаметными входами, с которых, однако, не спускала глаз полицейская стража.

Приятно оказать, что оба мероприятия — и закон о налоге, и такое усиленное строительство сыпных складов — пользовались несомненной популярностью. Налоги, разумеется, существовали всегда, в различных видах. Не зря любил старик Иаков, который ни разу там не был, но составил себе некий патетический образ этой страны, говорить о «служильне Египетской», хотя его неодобрение и недостаточно учитывало особые условия преисподней. Рабочая сила детей Кеме принадлежала царю, это было главное, и ею пользовались для возведения огромных усыпальниц и невероятно пышных зданий — конечно, и для этого тоже. Но прежде всего она нужна была для земляных работ, насущно необходимых в этой сверхсамобытной стране оазисов, для содержания в порядке водных путей, для рытья канав и каналов, для укрепления плотин, для ухода за шлюзами — то есть для дел, исполнение которых, поскольку от этого зависело общее благополучие, нельзя было доверить недостаточной рассудительности и случайному личному прилежанию подданных. Поэтому государство заставляло своих детей заниматься этими делами, они должны были выполнять для него эту работу. А сделав — платить налоги за сделанное. Они должны были платить налоги за каналы, озера и канавы, которыми они пользовались, за оросительные машины и рукава для поливки, которые им служили, и даже за смоковницы, которые росли на их оплодотворенной земле. Они платили налоги за дом и усадьбу и за все, что производили дом и усадьба. Они платили налоги мехами и медью, лесом, веревками, папирусом, полотном и, конечно, испокон веков хлебом. Оброк, однако, взимался неравномерно, по усмотрению окружных начальников и деревенских старост, в зависимости, правда, и от того, велик или мал был Кормилец, то есть Хапи, поток, — это тоже, спору нет, разумно принималось в расчет; но не было недостатка и в несправедливых побряжках, с одной стороны, и жестоких поборах, с другой, и сплошь да рядом процветали лихоимство и кумовство. Так вот, можно сказать, что в этом отношении администрация Иосифа с первого же дня туго натянула вожжи — с одной стороны, и приотпустила — с другой, сосредоточив все внимание на хлебе и весьма снисходительно относясь к прочим повинностям. Свое полотно высшего, среднего и низшего качества, свое масло, свой папирус и свою медь можно было оставить себе, если только ты на совесть выполнил хлебную разверстку, отдав пятую часть урожая зерна. Эта успокаивающе ясная и одинаковая для всех норма не могла восприниматься как тяжкое бремя в стране, где средний урожай сам-тридцать. Кроме того, эта норма обладала известным духовным очарованием, в ней был отголосок мифа, ибо в основу ее было умышленно положено священное число дополнительных, то есть сверх трехсот шестидесяти, дней года. И наконец, народу нравилось, что Иосиф смело взыскивал ее и со все

еще строивших из себя независимых правителей удельных князьков, которых он, кроме того, для пользы государства обязывал произвести в их имениях отвечающие требованиям времени усовершенствования. Ибо царивший там дух упрямой отсталости выражался и в том, что в их поместьях, причем не только по лености хозяев, но также в угоду их принципам и тенденциям, орошение оставалось на низком, старинном уровне, отчего земли не давали того, что могли бы дать. Таким землевладельцам Иосиф вменил в обязанность улучшение каналов и водоемов, памятуя при этом об одном из внуков Евера — Салефе, который, как рассказывал ему, Иосифу, Елиезер, первым «отвел воду на поле свое» и был изобретателем орошения.

Что же касается чрезвычайных заготовительных мероприятий, то есть строительства амбаров, то нужно еще раз напомнить о свойственной Египту идее осторожности и заботливой предусмотрительности, чтобы стало понятно, почему и это распоряжение Иосифа пришлось по душе детям Кеме. Его наследие, предание о потопе и о мудром сооружении ковчега, спасшем от полной гибели род человеческий и некоторые роды животных, соединилось тут с охранительно-оборонительным инстинктом старой, легко ранимой цивилизации, старость которой пришлась на трудные времена. Дети этой цивилизации были склонны видеть в зернохранилищах Иосифа даже что-то волшебное; ведь они привыкли страховать себя от дремлющей зловредности демонов как можно более надежной системой магических знаков и заклинаний; поэтому идеи «осторожность» и «волшебство» вполне могли сойти в их уме одна за другую, окружая даже такую трезвую меру, как иосифовское амбаростроительство, ореолом волшебства.

Одним словом, преобладало мнение, что, введя в должность этого молодого отца урожая и Владыку Тенистой Сени, фараон, при всей своей молодости, сделал удачный ход. С годами авторитет Иосифа значительно вырос, но и вначале ему пошло на пользу то, что уже и в этом году Нил был очень велик, благодаря чему при новой администрации удалось снять значительно более высокий, чем обычно, урожай — особенно пшеницы, полбы и ячменя — и начесать с метелок дурры большое количество проса. Мы сомневаемся в том, что год, благополучье которого было уже обеспечено к тому дню, когда Иосиф стоял перед фараоном, позволительно подвести под пророчество и присчитать к годам тучных коров. Но позднее это случилось, — видимо, из-за стремления довести число благодатных лет до семи, чего, однако, и таким путем не вполне удалось добиться. Во всяком случае, Иосифу повезло, что он принял дела в пору довольства и изобилия. Ум народа всегда был почтенно-нелогичен, и таким он остался. Он способен заключить, что министр сельского хозяйства, назначенный министром в урожайный год, — хороший министр.

Поэтому, когда сын Иакова проезжал по улицам Узет, народ приветствовал его поднятыми руками и кричал ему: «Адон! Адон!», «Ка-не-Кеме!», «Живи бесконечно долго. Друг Урожай Бога!» Многие кричали даже «Хапи! Хапи!», поднося при этом ко рту сложенные большой и указательный пальцы правой руки, что было уже, пожалуй, лишним и объясняется главным образом их детским восхищением его красотой.

Выезжал он, однако, редко, потому что был очень занят.

УРИМ И ТУММИМ

Шаги и решения нашей жизни определены склонностями, симпатиями, строем и опытом души, которые окрашивают все наше естество и накладывают отпечаток на всякое наше действие, так что оно гораздо правдивее объясняется ими, чем теми разумными доводами, какие мы приводим в его пользу не только другим, но и самим себе. Что вскоре после своего вступления в должность Иосиф — вопреки желанию фараона, предпочитавшего держать его всегда вблизи от себя, чтобы беседовать с ним о своем отце в небе и с его помощью улучшать учение, — что, стало быть, Верховные Уста Царя и Владыка Его Запасов очень скоро перенес

свою резиденцию и все свое письмоводство из столичного Новет-Амуна в северный Менфе, Дом Закутанного, — это произошло по той поверхностно правдивой и, видимо, уважительной причине, что толстостенный Менфе был «Весами Стран», их серединой, символом устойчивого равновесия земли Египетской, а следовательно, городом, которому самой судьбой назначено быть местом обобщающего надзора, где владыке надзора всего удобней и полезней расположиться. Правда, с «Весами Стран» и центром тяжести дело было не совсем чисто, ибо Мемпи находился довольно-таки далеко на севере, поблизости от Она, города моргающих глаз, и от городов семи устий, и даже если за южный рубеж земли Египетской принять остров Слонов и остров Пилак и не включать в нее страну негров, то и тогда город царя Мира, где была погребена его красота, отнюдь не был Весами Стран, ибо находился для этого слишком далеко на севере, подобно тому как Фивы — слишком далеко на юге. Но такова уж была слава древнего Менфе, так уж принято было считать, что он сохраняет равновесие земли Египетской и образует ее середину; что оттуда удобней всего глядеть в обе стороны, и в ту, откуда течет река, и в ту, куда она течет, было аксиомой, на которую, принимая свое решение, опирался египтянин Иосиф, и сам фараон не мог возразить против того, что торговать с сирийскими приморскими городами, которые посылают суда за зерном в «житницу», как именовали они страну черноты, гораздо легче, находясь в Менфе, а не в Пер-Амуне. Все это было совершенно верно, и, однако, то были только разумные доводы, оправдывавшие решение Иосифа жить в Менфе и просить на то согласия фараона. Настоящие, решающие доводы таились в его душе. Они были настолько глубоки, что касались его отношения к смерти и жизни. Можно сказать так: то были доводы светлой приязни, но с темною подоплекой.

Давно это было, но все мы помним еще, как однажды мальчиком, в одиночестве, огорченный разладом с братьями, глядел он с холма близ Кириаф-Арбы на белевший в лунном свете город в долине и на махпелах, двойную пещеру, могилу в скалах, которую купил Азрам и где покоились кости предков. Мы хорошо помним, какие чувства своеобразно смешались тогда в его душе при виде того и другого, могилы и уже уснувшего многолюдного города: молитвенное благоговение перед смертью и перед прошлым соединилось у него с немного насмешливой, но все же искренне-дружеской тягой к «городу», ко всей той человеческой массе, что день-деньской наполняла кривые переулки Хеврона чадом и криком, а теперь, храпя, свернувшись калачиком, покоилась в каморках домов. Рискованной натяжкой покажется попытка не только связать этот ранний порыв, охвативший его в короткие минуты созерцания, с теперешним его поведением, но и прямо вывести второе из первого. И все же у нас есть доказательства, что эта ссылка верна — слова, сказанные Иосифом однажды, между тем временем и нынешним, купившему его старику, когда они вместе были в могильной столице Меифе. Если он невзначай сказал тогда, что ему нравится это поселение, чьим мертвецам незачем было переправляться через реку, потому что оно само находилось на западном берегу, и что из всех египетских поселений ему, Иосифу, подошло бы, пожалуй, именно оно, — то это, хоть он и сам о том не подозревал, было чрезвычайно характерно для первенца Рахили, и его радость по поводу того, что тамошние жители, настроенные однообразной своей множественностью на насмешливый лад, благодушно и лихо упростили древнее могильное имя города «Мен-нефру-Мира» в «Менфе», — эта радость была чуть ли не его сутью, она открывала глубочайшие глубины его естества, нечто и в самом деле безусловно глубокое, хотя оно и определяется лишь явно веселым словом — «симпатия». Ведь симпатия — это встреча смерти и жизни: истинная симпатия возникает только тогда, когда чувство смерти уравнивается чувством жизни. Чувство одной лишь смерти родит оцепенение и мрачность; чувство одной лишь жизни родит плоскую обыденность, в которой тоже нет остроумия. Остроумие и симпатия возникают лишь в том случае, когда благоговение перед смертью окрашено и проникнуто приветливостью к жизни, а приветливость к жизни углублена и облагорожена благоговением перед смертью. Так и обстояло дело с Иосифом; таковы были его остроумие и его приветливость. Двойное благословение, которое было ему дано, благословение небесное свыше и благосло-

вение бездны, лежащей долу, о котором Иаков говорил и на смертном одре, говорил чуть ли не с таким видом, словно он его и давал, тогда как в действительности он его лишь констатировал, — это и был Иосиф. Исследуя нравственный мир, — а это мир запутанный, — нельзя обойтись без некоторой учености. Об Иакове всегда было известно, что он «тум», то есть «честен» и живет в шатрах. Но «тум» — слово на редкость многозначное и словом «честный» переводится лишь с грехом пополам, ибо смысл его охватывает оба начала, положительное и отрицательное, «да» и «нет», свет и тьму, жизнь и смерть. Оно встречается в примечательной формуле «урим и туммим», где, в противоположность светлому, утвердительному «урим», явно обозначает темную, омраченную смертью сторону мира. «Тум» или «туммим» — это одновременно и попеременно светлое и мрачное, горнее и дольнее, а «урим» только веселое в чистом виде. По сути, значит, «урим и туммим» не выражает противоречия, а показывает тот загадочный факт, что если, взяв нравственный мир за целое, выделить из него некую часть, этой части по-прежнему будет противостоять целое. Не так-то легко разобраться в нравственном мире, нелегко хотя бы потому, что солнечное здесь сплошь да рядом отдает преисподней. Исав, например, Красный, степняк и охотник, был, несомненно, человеком солнца и преисподней. Но хотя Иаков, младший его близнец, будучи пастухом и человеком луны, отличался от него кротостью, нельзя забывать, что главную часть своей жизни он провел в преисподней, у Лавана, и способы, какими он стал там золотым и серебряным, определяются словом «честные» более чем неточно. Он был, конечно, не «урим», а именно «тум», человеком боли и радости, как Гильгамеш. Им же был и Иосиф, чье умение быстро приспособиться к солнечной преисподней земли Египетской равным образом не говорит о сплошном «урим» его натуры. «Урим и туммим» можно перевести, пожалуй, как «да — да, нет», то есть как «да — нет», но с коэффициентом второго «да». Поскольку одно «да» и одно «нет» взаимно уничтожаются, то с чисто математической точки зрения остается, правда, только дополнительное «да», но чистая математика бесцветна, и темный оттенок итогового «да», этот явный след уничтоженного математикой «нет», уж во всяком случае, пропадает при такой калькуляции... Все это, как мы сказали, запутанно. Лучше всего повторить, что в Иосифе результатом встречи жизни и смерти была та симпатия, которая прежде всего и побудила его испросить у фараона разрешения жить в могильном, радующем игрою ума городе Менфе.

Позабывшись в первую очередь о Вечной Обители для своего «Исключительного Друга» (она строилась), царь подарил ему там, в самом богатом квартале, чудесный дом для жизни — с садом, приемной, фонтанным двором и всеми удобствами той поздней ранней поры, не говоря уж о множестве слуг для кухни, передней, конюшни и зала, нубийцев и египтян, которые эту виллу подметали, опрыскивали водой, чистили и украшали цветами и состояли — под чьим же началом? Это отгадает, наверно, и самый тупой тугодум в нашей аудитории. Иосиф сдержал слово честней и точней, чем это сделал по отношению к нему чашник Нефер-эм-Уазе; он полностью выполнил обещанное им при прощанье одному человеку — что вызовет его и возьмет к себе, если будет возвышен, и уже из Фив, когда был еще там, сразу по возвращении из инспекционной поездки, написал, с согласия фараона, Май-Сахме, начальнику Цави-Ра, и пригласил его быть своим экономом и домоправителем, чтобы заниматься всеми делами в доме, за которые человек в теперешнем чине Иосифа братья никак не мог. Да, у того, кто некогда, став преемником управляющего, осуществлял обобщающий надзор в доме Петепра и на кого возложили ныне надзор куда более важного свойства, у того имелся теперь свой вершитель надзора за всем, что ему принадлежало, за повозками и лошадьми, за кладовыми, кухней и челядью, и был им Май-Сахме, спокойный муж, который, получив письмо бывшего своего каторжника, не испугался просто потому, что ему вообще не было дано пугаться, и, не дожидаясь даже прибытия новоназначенного начальника темницы, большими перегонами поспешил в Менфе, этот несколько устаревший и отставший от верхнеегипетских Фив, но, по сравнению с Цави-Ра, все же невероятно интересный город, где когда-то подвизался многосторонний мудрец Имхотеп и где его поклоннику досталось ныне такое прекрасное место.

Здесь он сразу же стал во главе дома Иосифа, собрал слуг, сделал необходимые закупки и приготовления, и когда Иосиф прибыл из Уазе и был встречен у прекрасных ворот виллы своим управляющим, он нашел свою резиденцию уже благоустроенной, и благоустроенной наилучшим образом, как то подобает прижизненному дому вельможи. Оборудованы были даже лазарет на случай появления болящих и страждущих и фармацевтическая комнатка, где его домоправитель мог вволю толочь и смешивать всякие снадобья.

Встреча была очень сердечной, хотя никаких объятий на виду у выстроившейся в знак приветствия челяди, разумеется, не состоялось. Они состоялись раз и навсегда при прощанье, в тот единственный подходящий для этого час, когда Иосиф уже не был подчиненным Маи-Сахме, а тот еще не был его подчиненным. Управляющий оказал:

— Добро пожаловать, Адон, вот твой дом. Он дан тебе фараоном, а тот, кого ты устроил на должность, тщательно устроил его. Тебе остается только выкупаться, умаститься и сесть за еду. А я от души благодарю тебя за то, что ты вспомнил обо мне и вывел меня из скуки, как только возвысился и все вышло так, как раб твой всегда предчувствовал, благодарю тебя за то, что ты поставил меня в такие живительные условия, за которые я буду каждодневно на совесть служить.

А Иосиф ответил:

— Спасибо и тебе, добрый муж, за то, что ты явился на мой зов и согласен быть моим домоправителем в моей новой жизни! Все вышло так, как вышло, потому что я не обидел бога отца моего ни малейшим сомнением в том, что он будет со мной. Но не называй себя моим рабом, ибо мы будем друзьями, как прежде, когда я ходил под тобой, и вместе переживем добрые и недобрые часы жизни, спокойные и волнующие, — особенно ты понадобишься мне в волнующие, в которых, во всяком случае, недостатка не будет. Благодарю тебя заранее за верную службу. Но она не должна поглощать тебя настолько, чтобы у тебя не оставалось времени взять в руки тростинку, как ты это любишь, у себя в комнате и поискать для истории трех любовных влечений утешительную и отрадную форму. Писательство — великое дело! Но, пожалуй, это еще более великое дело, если сама твоя жизнь есть история, а что мы находимся в истории, и притом в превосходной, в этом я убеждаюсь чем дальше, тем больше. Ты тоже в ней, потому что я взял тебя к себе, в эту историю, и если в будущем люди услышат или прочтут о домоправителе, который был со мною и помогал мне в волнующие часы, пусть они знают, что домоправителем этим был ты, спокойный муж Маи-Сахме.

ДЕВУШКА

В начале когда-то бог навел крепкий сон на человека, которого поместил в саду Востока, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотию. А из ребра бог создал женщину, рассудив, что негоже человеку быть одному, и привел ее к человеку, чтобы она была около него спутницей его и помощницей. И сделано это было от чистого сердца.

Привод женщины расписан учителями куда как подробно — все происходило так-то и так-то, учат они, делая вид, будто они это знают, — возможно, впрочем, что они знают это и вправду. Бог, уверяют они, вымыл женщину, отмыл ее дочиста (ведь как бывшее ребро, она была, вероятно, немного липкой), умастил, поддурманил ей лицо, завил волосы и по сильному желанию ее украсил ей голову, шею и руки жемчугами и драгоценными камнями, в том числе сердоликом, топазом, алмазом, яшмой, бирюзой, смарагдом и ониксом. В таком приукрашенном виде, в сопровождении тысяч ангелов, под песнопенья и звуки лютен, привел он ее к Адаму, чтобы вверить ее человеку на будущее. Тут начался праздник и пир, вернее сказать, праздничный пир, в котором, кажется, и сам бог участвовал запросто, и планеты водили хоро-вод под собственную же музыку.

То было первое свадебное торжество, хотя нигде не сказано, что это была уже и свадьба. Бог создал женщину помощницей Адаму, просто чтобы она была около него, и ни о чем

другом явно не помышлял. Родить в муках детей он обрек ее лишь после того, как она вместе с Адамом поела от дерева и у них обоих открылись глаза. Между праздником привода жены и тем, что Адам познал ее и она родила ему хлебопашца и овчара, по чьим стопам ходили Исав и Иаков, — в этом промежутке очередь еще истории о дереве, о плодах и о змее, о познание добра и зла, — и для Иосифа она была тоже раньше на очереди. Он тоже познал женщину лишь после того, как узнал, что хорошо и что дурно, — узнал от змеи, которая рада была научить его очень и очень хорошему, но все же дурному. Он устоял перед ней и сумел дожидаться поры, когда хорошее перестало уже быть злом.

Никак нельзя снова не вспомнить о бедной змее и теперь, когда солнечные часы показывают час свадьбы Иосифа, свадьбы, которую он сыграл с другой, так что ноги и головы он соединил с ней — а не с той. Чтобы не было так грустно, мы нарочно упомянули о той, другой, уже раньше, в подходящем для этого месте, сообщив, что она снова стала холодной лунной схимницей и что ей давно уже ни до чего не было дела. Пусть гордая набожность, вновь ею овладевшая, прогонит ту горечь, которая иначе мучила бы сегодня при мысли о ней нас всех. Душевному ее покою способствовало и то, что свадьба Иосифа происходила не рядом, в Фивах, а в далеком его доме, в Менфе, куда фараон, который с самого начала горячо взялся за это дело, специально пожаловал, чтобы лично участвовать в праздничном пире и в хороводе планет. Он довольно точно сыграл роль бога в этом деле, начиная с рассуждения, что негоже человеку быть одному; ведь он сразу же сообщил Иосифу, как это приятно быть женатым, хотя, правда, в отличие от бога, мог сослаться на собственный опыт, ибо у него была Нофертити, утреннее его облачко с золотым краем. А бог всегда был одинок и заботился только о человеке. Зато заботился фараон об Иосифе совсем как бог и, едва возвысив его, стал искать ему достаточно представительную партию, то есть очень благородную и политически выгодную, но при этом приятную, а такие сочетания встречались не так уж часто. Но как бог Адаму, он подобрал своему созданию невесту, привел ее к нему под звуки арф и кимвалов и принял сам участие в свадьбе.

Кто же была эта невеста, супруга Иосифа, и как ее звали? Все это знают, но это несколько не уменьшает удовольствия, доставляемого нам нашим сообщением, и, как мы уверены, не может уменьшить радости слушателей по поводу того, что им сообщают об этом снова. К тому же многие, вероятно, это забыли и, не зная, что знают это, не смогут ответить на поставленный нами вопрос. То была девушка Аснат, дочь онского жреца Солнца.

Вот как высоко хватил фараон, делая выбор, — выше он не смог бы хватить. Жениться на дочери первосвященника Ра-Горахте считалось чем-то неслыханным, чуть ли не святотатством, — хотя, с другой стороны, ни брак, ни материнство не были этой девушке, конечно, заказаны и никто не хотел, чтобы она век вековала безмужней девственницей. Тем не менее тот, кому она доставалась, казался каким-то, пусть необходимым и желанным, но все-таки темным, близким к злодейству разбойником. Ее не отдавали, ее умыкали — так верилось, так думалось, если дело касалось ее, даже тогда, когда все происходило самым законным, самым любовным образом, и не было на свете родителей, которые, выдавая свое дитя замуж, понимали бы столько шуму, сколько ее родители. Особенно, искренне или притворно, отчаивалась и выходила из себя мать; она неустанно подчеркивала непостижимость происходящего, ломала руки и с таким видом, словно ее самое не то изнасиловали, не то собираются изнасиловать, по обычаю пересыпала свои жалобы клятвенными обещаниями мести — больше, правда, ритуальными, чем искренними.

А происходило это все оттого, что девичество солнечной дочери облекалось особой бронею святости и неприкосновенности — неприкосновенности, по сути, однако, ждущей прикосновения. Храня девственность строже, чем любая другая, она была девой из дев, девушкой в первую очередь, воплощением девчества. Наричательное имя «девушка» стало даже собственным ее именем: так звали и называли ее всю жизнь, и, лишая ее девственности, супруг, по всеобщему понятию, совершал божественное преступление — причем существительное в

этом словосочетании смягчалось, облагораживалось и в какой-то степени стиралось прилагательным. Однако отношения между зятем и родителями девушки, особенно ее ломающей руки матью, даже будучи в частной жизни самыми дружескими, оставались внешне всегда напряженными; в известном смысле те так никогда и не признавали принадлежности их дочери мужу, и в брачном договоре, как правило, оговаривалось, что дочь не обязана находиться при мрачном своем умыкателе безотлучно, а может на определенную, не такую уж малую часть года возвращаться к солнечным своим родителям, чтобы снова жить у них дево́й, — условие это выполнялось не всегда буквально, чаще лишь символически, когда супруга, как то и вообще водится, гостила в родительском доме.

Если у первосвященнической четы было несколько дочерей, то все это относилось по преимуществу к старшей и в меньшей мере к младшим. Шестнадцатилетняя же Аснат была единственной дочерью, и можно себе представить, какое это было божественное кощунство, какое злодейство — жениться на ней! Отцом ее. Великим Пророком Ра-Горахте, был, конечно, уже не тот кроткий старик, что в первый, вместе с измаильтянами, приезд Иосифа в Он занимал золотой престол у подножья большого обелиска перед крылатым солнечным диском. Отцом ее был избранный его преемник, человек тоже добродушно-веселый — таковым каждый служитель Атума-Ра обязан был быть по своей должности, и если в его натуре этого не было, то благодаря необходимому притворству это постепенно становилось его натурой. Как известно, по воле случая его звали так же, как того царедворца света, что когда-то купил Иосифа, то есть Потифаром, или Петепра, — и какое имя могло бы больше подойти человеку его положения, чем это, означавшее «Его подарил Солнце»? Имя его свидетельствует о том, что он был рожден для этой должности и что его заранее готовили к ней. Вероятно, он был сыном того старика в золотой скуфейке, а Аснат, следовательно, его внучкой. Что касается ее имени, которое она писала «Нс-нт», то оно было связано с богиней Нейт из Саиса, города в Дельте; оно значило «Принадлежащая Нейт», и следовательно, «девушка» была явно подопечной этой воительницы, чей фетиш представлял собой щит с двумя крест-накрест пригвожденными к нему стрелами и которая также в человеческом облике носила на голове связку стрел.

Носила ее и Аснат. Ее волосы или искусно стилизованный парик, выделка которого в этой стране всегда оставляла немного неясным, платок это или прическа, были всегда украшены стрелами, либо прикрепленными сверху, либо воткнутыми; что же касается щита, точного образа ее чрезвычайной девственности, то он часто встречался в ее украшениях, которые на шее, на кушаке и на руках изображали этот знак неприступности со скрещенными стрелами.

Но при всей этой внешне подчеркнутой готовности к боевому отпору Аснат была не только очаровательным, но и очень благонравным, кротким и послушным ребенком, до безволия покорным воле своих знатных родителей, фараона, а потом и супруга, и отличительной чертой ее характера было как раз это сочетание священно-чопорной замкнутости с явной уступчивостью и терпимым приятием женского своего жребия. Лицо у нее было типично египетской вылепки, тонкокостное, с несколько выдающейся вперед нижней челюстью, но и не лишенное своеобразных черт. Щеки ее еще сохраняли детскую полноту, полными были и губы с плавным углубленьем между подбородком и ртом, лоб у нее был чистый, носик несколько полноватый, а большие, красиво подведенные глаза глядели каким-то странно пристальным, словно она прислушивалась, взглядом, похожим немного на взгляд глухих, хотя глуха она отнюдь не была: взгляд этот выражал лишь внутреннюю сосредоточенность, настроенное ожидание приказа, который, может быть, скоро раздастся, смутно-внимательную готовность услышать зов судьбы. Оправдываяще противоречила этому выражению глаз ямочка на щеке, всегда появлявшаяся, когда Аснат говорила, — и в общем лицо ее было неповторимо приятно.

Приятным и в известной мере неповторимым было и сложенье ее тела, проглядывавшего сквозь тканый воздух одежды и отличавшегося необычайно тонкой от природы, поис-

тине осиной талией при соответственно широком тазе и удлиненном животе, то есть лоне, вполне способном родить. Тугая грудь и равномерно тонкие, с большими кистями, руки, которые она обычно держала вытянутыми во всю их длину, довершали этот девичий, янтарного цвета портрет.

Среди цветов и жизнью цветов жила девушка Аснат до того, как ее похитили. Любимым ее местопребыванием был берег Священного Озера в округе отцовского храма, холмистые, богатые цветами луга. Как ковер, росли там нарциссы и анемоны, и ничего на свете она так не любила, как бродить со своими подругами, дочерьми онских жрецов и сановников, по этим лугам у зеркальной воды, рвать цветы, сидеть в траве, плести венки, устремив из-под высоко поднятых бровей прислушивающийся взгляд вдаль, отчего на щеке у нее появлялась ямка, и ждать того, что должно было прийти. И это пришло; однажды явились гонцы фараона и потребовали от тяжело кивавшего головой отца Потифара, от ломавшей руки и совсем обезумевшей матери, чтобы они отдали щитоносную деву в жены Джепнутеэфонеху, наместнику Гора, Тенистой Сени царя. Покорная идее своего существования, она сама воздела руки к небу, призывая его на помощь, словно похититель схватил ее за ее тонкую талию и тащит в колесницу.

Все это было лишь маскарадом, лишь данью условностям; мало того что воля и сватовство фараона были приказом, брак с его фаворитом, с Верховными Устами Царя, считался почетным, желанным браком; родители невесты не могли бы сделать для своей дочери большего, чем то, что сделал для Иосифа фараон, не могли бы хватить выше, чем хватил царь, и не было никаких причин не то что для отчаяния, но даже для огорчения, выходящего за пределы естественной грусти родителей, выдающих замуж единственное дитя. Просто так полагалось — поднять по поводу девичества Аснат и ее похищения как можно больше шума и выставить жениха в самом темном свете, хотя родители могли радоваться и, вероятно, действительно радовались тому совпадению (об этом недвусмысленно уведомил их фараон), что девственность встречалась тут с девственностью и что жених был тоже по-своему девой, сберегшим себя предметом упорной ревности, невестой, из которой теперь грядет жених. Свое жениховство он должен был согласовать с богом своего отца, женихом своего племени, с богом, чью ревность он так долго щадил, а теперь, Значит, перестал щадить или щадил лишь постольку, поскольку вступал в особый, образцово девственный брак — если это можно считать ограничением. Пожалуй, нам незачем тревожиться по поводу этого шага, несмотря ни на какие осложнения, которыми он был чреват; ведь Иосиф вступал в брак с египтянкой, в брак с Шеолом, в брак измаиловского толка, имевший, стало быть, прецедент, хотя и прецедент сомнительный, требующий всяческого снисхождения, на которое он, Иосиф, видимо, твердо рассчитывал. Учители и толкователи неоднократно на это досадовали и пытались замолчать этот факт. Чистоты ради они представляли дело так, будто Аснат была не родная дочь Потифара и его жены, а найденный, брошенный в корзине и потом прибывшееся к берегу дитя Дины, поруганной некогда дочери Иакова, и значит, женою Иосифа оказывалась его же племянница, но это не ахти как поправляло дело, поскольку племянница-то была кровью и плотью вертявого Сихема, поклонявшегося баалам ханаанитянина. Кроме того, никакое почтение к учителям не помешает нам считать историю о найденном в камышах ребенке Дины тем, чем она является, а именно — благочестиво-хитроумной интерполяцией. Девушка Аснат была родной дочерью Потифара и его жены, чистокровной египтянкой, и сыновья, которых она потом подарила Иосифу, его наследники Ефрем и Манассия, были самыми обыкновенными полугиптянами, — и пусть думают об этом все, что угодно. Но и это еще не все. Благодаря своей женьитьбе на дочери Солнца сын Израиля приблизился к храму Атума-Ра, приблизился как жрец, что тоже входило в намерения фараона, когда он затевал этот брак. Было почти немислимо, чтобы человек, занимающий такой высокий, как у Иосифа, государственный пост, не подвизался одновременно в качестве высокопоставленного жреца и не получал доходов от храма, и как супруг Аснат, Иосиф тоже делал то и другое, что бы там ни говорили по этому поводу: он

стал, грубо выражаясь, владельцем идолопоклоннического прихода. В парадном его гардеробе была теперь леопардовая шкура, и при случае, как лицу официальному, ему приходилось кадить кумиру, соколу Горахте с солнечным диском на голове.

С тех пор мало кто вникал в эти вещи, и многие, наверно, поразятся, услышав, как их называют своими именами. Но для Иосифа явно наступила пора дозволений, и можно не сомневаться, что он сумел уладить все это с тем, кто отторг его от семьи, переселил в Египет и там вознес. Может быть, Иосиф предполагал в нем приверженность к философии треугольника, согласно которой жертва, принесенная на алавастровый стол предупредительного Горахте, не наносит ущерба никакому другому божеству. В конце концов речь шла не о первом попавшемся храме, а о храме владыки широкого горизонта, поэтому Иосиф мог повернуть дело так, что, мол, ошибкой и глупостью, то есть грехом, было бы как раз навязывать богу его отцов более узкий горизонт, чем Атуму-Ра. И наконец, нельзя забывать, что из этого бога недавно вышел Атон, которого, — как соглашался Иосиф с фараоном, — молясь, нужно было называть не Атоном, а владыкой Атона и не «отче наш на небесех», а «отче наш в небесех». Вот на что мог сослаться отторгнутый от дома и вознесшийся на чужбине Иосиф, когда в определенных, не частых, впрочем, случаях надевал свою леопардовую шкуру и шел кадить.

Своеобразен был жребий первенца Рахили, отчужденного любимца Иакова. Дарованная ему индульгенция была уступкой мирским обстоятельствам, которые, со своей стороны, помешали образоваться «колону Иосифа», как образовались колена Иссахара, Дана и Гада. Его роль и задача в замысле были ролью и задачей перенесенного в большой мир хранителя, кормильца и спасителя рода, как мы увидим, и все говорит за то, что он сознавал или, во всяком случае, чувствовал эту миссию, видя в мирской своей отчужденности не отверженность, а лишь целенаправленную обособленность, и что на этом-то и основывалась его вера в снисходительность владыки замыслов.

У ИОСИФА СВАДЬБА

Итак, девушка Аснат была послана с двадцатью четырьмя особо отобранными рабынями вверх в Менфе, в дом Иосифа, на девственную свадьбу, куда из Она поднялись и ее высокопреподобные, убитые непостижимым разбоем родители и куда из Новет-Амуна спустился сам фараон, чтобы, участвуя в таинствах этого бракосочетания, собственноручно передать своему фавориту его редкостную невесту и, как опытный супруг, снова заверить его, что женитьба сулит много приятного. Надо заметить, что из двадцати четырех молодых и красивых служанок, прибывших с Аснат и вместе с ней перешедших в собственность Темного Жениха, что невольно наводит на мысль о приближенных царя, которых прежде заживо с ним хоронили, — что двенадцать из них обязаны были ликовать, рассыпать цветы и играть на музыкальных инструментах, а другие двенадцать — плакать и колотить себя в грудь; ибо свадебные церемонии, происходившие в доме славы Иосифа и особенно в освещенном факелами квадрате фонтанного двора, куда выходили все комнаты, — эти обряды очень смахивали на похороны, и если мы не описываем их во всех подробностях, то причиной тому некая оглядка на старого Иакова, который так ошибочно считал своего любимца, навек семнадцатилетнего, сокрытым смертью и при виде многого из того, что сейчас учинилось на его свадьбе, всплеснул бы руками. Это подтвердило бы его достопочтенные предубеждения против «Мицраима», Страны Ила, и их-то мы и надеемся до некоторой степени пощадить, описывая эти обряды без обстоятельности, которая была бы равнозначна их одобрению.

За его спиной можно признать, что между свадьбой и смертью, брачным ложем и могилой, лишением девственности и убийством существует известное родство — отчего в каждом женихе есть что-то от умыкающего свою жертву бога смерти. Сходства между судьбой девушки, закутанной жертвы, переступающей важный жизненный рубеж между девичеством и

замужеством, и судьбой зерна, брошенного в недра земли, чтобы оно там истлело и вышло из тленья на свет таким же девственным, как прежде, зерном, — сходства этого, конечно, нельзя отрицать; и срезанный серпом колос — это печальная аллегория насильственной оторванности дочери от матери, — которая, впрочем, тоже когда-то была девой и жертвой и тоже была срезана серпом, так что в судьбе дочери оживает заново ее собственная судьба. Поэтому в продуманном управляющим Май-Сахме убранстве дома, вернее, окаймленного колоннадой фонтанного двора, серп играл заметную роль; столь же значительную роль играли в зрелищах, показанных гостям перед свадебным пиром и после него, зерно, семена: мужчины высыпали его на каменные плиты и под определенные возгласы поливали из заранее приготовленных кувшинов водой; женщины носили на голове сосуды, один отсек которых был наполнен семенами, тогда как в другом горела свеча. Ведь праздник этот протекал вечером, и что в увешанных пестрыми тканями и украшенных миртовыми ветками помещениях горело много факелов, было в порядке вещей. Но этих огней, почти неизбежно создающих представление, будто они должны освещать покои, куда дневному свету нет доступа, было здесь такое подчеркнутое обилие, что оно, конечно же, не вызывалось практической необходимостью и находилось в прямой связи с упомянутым представлением. В каждой руке по факелу или в одной руке два носила время от времени мать невесты, жена Потифара, если ее можно назвать так, не вызвав недоразумения, трагического вида женщина, с головы до ног закутанная в темно-фиалковую одежду, и факельщиками были все мужчины и женщины, участвовавшие в большом шествии, главном акте праздника, которое следовало сначала через все комнаты дома, а затем, в фонтанном дворе, где как высочайший гость, в самой небрежной позе, между Иосифом и закутанной в такое же, как у матери, фиалковое покрывало Аснат, сидел фараон, — развевалось или, вернее, свертывалось в искусную и действительно достопримечательную факельную пляску; двигаясь налево девятью витками спирали, хоровод дымящих огней кружился вокруг фонтана; и то, что через руки пляшущих, повторяя все изгибы вращающегося лабиринта, пробегала красная лента, не помешало им увенчать свой выход подлинным фейерверком ловкости, когда они стали перебрасывать факелы из центра винта к его краям и обратно, без единого промаха.

Нужно увидеть это воочию, чтобы представить себе весь соблазн поведать об этом подробнее, чем того требует наше намерение соблюдать при описании свадьбы Иосифа сдержанность — из бережного уважения к старику, которого, окажись он здесь, многое, конечно, повергло бы в ужас. Но ведь он был далеко и был защищен представлением о вечной семнадцатилетности Иосифа. К тому же с чисто зрелищной стороны ловкая игра факелами, несомненно, доставила бы ему удовольствие, если бы даже остальное и не пришлось ему по душе. Его склад ума был отцовским, и он, мягко сказать, не одобрил бы той заметной роли, которую играло на свадьбе его сына начало материнское, мнимоограбленная и сама в лице своей дочери похищенная, гневная и грозная мать девушки Аснат. Сказывалось это, в числе прочего, и в том, что мужчины и юноши, участвовавшие в спиральной пляске и в шествии, по крайней мере большинство их, были одеты по-женски, точнее говоря, так же, как невеста-мать, — а это в благочестивых глазах Иакова было бы, конечно, бааловской мерзостью. Они явно отождествляли себя с ней, мысленно перевоплощались в нее; закутанные в такие же фиалковые покрывала, как негодующая родительница, они тоже изображали негодование, время от времени беря факел в левую руку и грозно размахивая кулаком правой руки, что казалось особенно страшным из-за надетых ими масок, непохожих, правда, на почтенное лицо супруги Потифара, но леденивших сердце выражением злости и скорби — а тут еще размахиванье кулаками. Кроме того, у многих под покрывалом были поддельные, большие, как у беременных, животы — что изображало не то мать, все еще или снова уже носящую под сердцем девушку-жертву, не то дочь с новой девушкой-жертвой под сердцем, — они, наверно, и сами толком не знали, кого именно.

Мужчины и юноши с поддельными животами — это, конечно, было не для Иакова бен Ицхака, да и мы не хотим, чтобы в обстоятельствах нашего отчета об этом усматривали одоб-

ренье подобных обрядов. Но для Иосифа, обособленного и пущенного в мир Иосифа, наступило время вольностей; сама его свадьба была одной из больших вольностей, и в определяющем этот час духе дозволения и снисходительности повествуем мы о ее подробностях.

А они были, таким образом, отчасти веселого и озорного, отчасти же похоронного свойства — подобно тому как листья мирта, которыми, помимо покоев, были украшены все участники празднества (у иных были целые пучки миртовых веток в руках) — это принадлежность богов любви и мертвецов одновременно. Ликовавших и веселившихся под звуки кимвалов и бубнов в большом шествии было столько же, сколько таких, которые по всем правилам изображали горе и скорбь, ведя себя в точности так, словно они шагали в похоронной процессии. Надо, однако, добавить, что радость и скорбь участников праздника имели определенную градацию. Что касается скорби, то некоторые группы ограничивались, например, намеком на состояние неприкаянности и скитальчества: с заплечными мешками, опираясь на посохи, довольно-таки безутешно ковыляла она мимо царского кресла, мимо новобрачных и мимо высокопреподобных родителей, но при этом не голосили и не выжимали из себя слез. Различные степени наблюдались и в изображении веселья. Оно принимало отчасти импозантные, полные достоинства формы, и приятно было глядеть, например, как люди расставляли перед почетными креслами прекрасные глиняные кувшины и торжественно опрокидывали их на восток и на запад, хором выкликая при этом — одни: «Излейся!», другие: «Восприми благодать!» Это было прекрасно. Но очень часто, и в течение вечера все больше и больше, радость и смех приобретали иную окраску, где задняя мысль всякого свадебного торжества, мысль о естественно-предстоящем, грубо прибывалась наружу; иными словами, идея мерзостного разбоя и убийства и идея плодородия смыкались друг с другом в своем непристойном аспекте, так что не было недостатка ни в прозрачных намеках, ни в подмигиваньях, ни в скользких недомолвках, ни в громком смехе над негромкими сальностями. Были в свадебном шествии и животные: лебедь и конь, при виде которых невеста-мать плотнее закутывалась в пурпуровое свое покрывало. Но что сказать по поводу того, что среди этих тварей имелась и супоросая свинья, к тому же со всадницей — толстой, полуобнаженной старухой самого двусмысленного вида, не перестававшей отпускать бесстыдные шуточки? Неприличная эта наездница играла в свадебной церемонии хорошо знакомую, популярную и важную роль, да и раньше она уже играла ее, поскольку прибыла с матерью Аснат из Она и уже в дороге, чтобы развеселить убитую горем, прожужжала ей уши непристойными шуточками. Такова была ее роль и обязанность. Она звалась «утешительницей» — этим прозвищем, выполняя обычай, величали ее со всех сторон, и она отвечала на него грубыми жестами. В течение всего вечера она почти не отходила от принципиально безутешной матери, стараясь ее все же утешить, то есть нашептывая скабрёзности, запас которых был поистине неистощим, рассмешить. И это ей удавалось, потому что должно было удаваться: слушая ее шепот, оскорбленная, охваченная отчаянием и гневом мать нет-нет да и прятала смех в складках своего скорбного покрывала, и когда это случалось, все раздражались смехом и шумно приветствовали искусную «утешительницу». Но поскольку горе и гнев матери были в основном лишь традиционно-показными, то надо полагать, что и смех ее был всего-навсего уступкой обычаю и что, дай она волю своим чувствам, нашептыванья «утешительницы» вызвали бы у нее лишь отвращенье. Непритворной веселостью ее могла быть разве только в той мере, в какой непритворна естественная, а не мифически преувеличенная грусть матери, отдающей замуж дочь.

После всего этого, во всяком случае, понятно наше намерение не слишком распространяться насчет подробностей свадьбы Иосифа. Если мы своему намерению не верны, то вовсе не потому, что одобряем такие обряды. Да и на самих молодых, подавших друг другу руки на коленях у фараона, весь этот спектакль почти не произвел впечатления, и они куда больше глядели друг на друга, чем следили за неизбежным ритуалом праздника. Иосиф и Аснат очень понравились друг другу и прониклись взаимным расположением с первого взгляда. Разумеется, при таком, решенном другими представительном браке любовь отнюдь не первое дело; она

должна прийти, и со временем, при доброй воле обеих сторон, приходит. Ей очень помогает уже одно сознание заданной связанности, но в этом случае условия для ее возникновения были просто на редкость благоприятны. Не только по терпеливому своему безволию с готовностью принимала Аснат свой жребий, то есть похитителя и убийцу ее девственности, который, схватив ее за специально для этого созданную тонкую талию, уносил ее в свое царство. Темно-прекрасный, умный и приветливый фаворит фараона внушал ей приязнь, способность которой перерасти в более глубокую близость не вызывала у нее сомнений, и мысль, что он должен стать отцом ее детей, была подобна раковине, выращивающей жемчужину любви. Так же обстояло дело и с обособленным от своего клана Иосифом в его состоянии чрезвычайной вольности. Он восхищался богом, поражаясь щедро мирской непредубежденности этого повеленья — как будто вечная мудрость не отдавала просто-напросто должного его собственной открытости миру — и предоставлял Ему уладить вытекающий из этого повеленья щекотливый вопрос об отношении детей Шеола к избранному народу. Но не нужно сетовать на вышедшего из девы жениха за то, что мысли его были заняты не столько ожидаемыми детьми, этой смесью бога и мира, сколько запретными доселе неизведанностями, которым они, во всяком случае, должны быть обязаны своим появлением на свет. Что было некогда злом и не могло состояться, было ныне добром. Но погляди на существо, благодаря которому зло становится добром, погляди на него, когда у него такие прислушивающиеся глаза и такое милое, янтарного цвета лицо, как у девушки Аснат, и ты почувствуешь, что полюбишь, нет, что ты уже любишь его.

Фараон шагал между ними, когда в конце праздника новообразованное факельное шествие, к которому присоединились теперь все гости, направилось под ликование и плач масок, рассыпавших миртовые ветки и размахивавших кулаками, к спальне, где новобрачным были постелены цветы и тонкие ткани. Когда родители, бормоча заклинания, прощались у порога с Аснат, всадница-утешительница стояла позади жены Потифара, чуть наискось от нее, и шептала через плечо охваченной отчаянием и гневом матери такое, что та и сквозь слезы смеялась. И разве действительно не смешно и не грустно то, чего по шаблону требует от людей телесное естество — скрепить любовь печатью, а в случае представительного брака — научиться любить? Колеблющимися тенями при свете лампы сливались смешное и возвышенное и в эту брачную ночь, когда девственность встретилась с девственностью и венец и покрывало наконец порвались — не без труда порвались. Ибо щитоносицей, упрямой девственницей была та, кого обнимали темные руки, «девушка», как ее называли, и с кровью и болью зачат был первенец Иосифа, Манассия, что значит: «Бог заставил меня забыть все мои узы и отчий дом».

ОМРАЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

То был первый год тучных коров и пышных колосьев — вообще-то счет годам велся от вступления на престол бога, но теперь среди детей Египта распространилось и это летосчисление. Исполнение началось еще до пророчества, но убедительно заявило оно о себе тогда, когда следующий год, значительно превзойдя богатством и благодатью прошлый, поднявшийся лишь над средним уровнем, оказался поистине обильным, счастливым, чудесным годом избыточных урожаев; Нил был очень высок и прекрасен — не слишком высок и совсем не так дик, чтобы уносить с собою поля земледельца; но и ни на одно деление глубономерного шеста не ниже, чем надо бы, стоял он над нивами, тихо опуская на них свой тук, и на диво хороши были поля к концу посевной трети года, и на диво богатые хлеба были убраны в его третьей трети. Последовавший затем год выдался уже не такой роскошный; более или менее близкий к среднему уровню, вполне удовлетворительный, даже достойный похвал, он отнюдь не был поразительным годом. Но поскольку пятый год снова почти сравнялся со вторым и, во всяком случае, не уступал первому, а четвертый тоже заслуживал оценки «отлично», если не высшей,

можно представить себе, как росла популярность Иосифа, начальника всего, что дает небо, и с какой радостной добросовестностью исполнялся всеми, не только его чиновниками, но и самими плательщиками, его закон о земельном налоге, отнимавший у хозяина прекрасную пятую часть урожая. «В каждом городе, — читаем мы, — он положил хлеб полей, окружающих его», — это значит, что зерно, собранное в окрестностях, из года в год стекалось в амбары волшебной предусмотрительности, которые во всех городах и на их окраинах построил Адон, — построил в не слишком большом, как оказалось, количестве; они наполнялись, и ему приходилось строить еще и еще — вот как прибывал оброк и вот как добр был тогда кормилец Хапи к своей стране. И скоплено было хлеба действительно столько, сколько песку морского, этим своим утверждением сказанье и песня ничуть не грешат против истины. Но когда они добавляют, что хлеб перестали считать, ибо не стало счета, то это уже восторженное преувеличение. Дети Египта никогда не переставали считать, писать и учитывать, — это было не в их натуре и произойти не могло. Даже запасы, обильем своим не уступающие морскому песку, были для этих поклонников белого павиана прекраснейшим поводом всласть испещрять папирус бесконечными слагаемыми, и что касается подробных ведомостей, которых Иосиф требовал от своих сборщиков и начальников житниц, — то их он получал самым неукоснительным образом.

Было пять лет избытка; но некоторые и даже многие насчитывали целых семь. Спорить из-за этого разнобоя бесполезно. Если часть наблюдателей высказалась в пользу пяти — это основывалось, возможно, на соответствии цифры пять священному числу избыточных дней года, а заодно и приспособленной к этому числу норме Иосифова налога. С другой стороны, пять лет тучности одним махом — праздник такой редкий, что хочется, не долго думая, украсить его числом семь. Возможно, стало быть, что семь приравняли к пяти, но даже чуть-чуть вероятней, что пять назвали семью — рассказчик честно признается тут в своей неуверенности, так как не в его нраве говорить с видом знатока о том, чего он толком не знает. Поэтому нельзя, конечно, с уверенностью сказать, сколько лет было Иосифу в определенный момент последовавшей затем поры голода — тридцать семь или уже тридцать девять. Несомненно лишь то, что ему было тридцать, когда он стоял перед фараоном — несомненно для нас и по существу; ведь сам он едва ли мог дать на этот счет точную справку; и было ли ему, значит, в тот более поздний, волнующий момент далеко за тридцать или уже почти сорок — об этом он, как дитя своих широт, конечно, не очень задумывался, или даже вообще не задумывался, что и примиряет нас с собственной неосведомленностью.

Во всяком случае, он достиг тогда зрелого возраста, и если бы его мальчиком похитили не в Египет, а в Вавилонию, он давно бы уже носил черную, завитую и умощенную бороду — которая пришлась бы ему весьма кстати при некоей игре в прятки. Тем не менее мы, пожалуй, благодарны египетскому обычаю, оставившему лицо Рахили без бороды. Если упомянутая игра могла длиться так долго, то это показывает, как все же преобразили резец времени, но визна материи, наконец, чужое солнце неизменный чекан.

До того как Иосифа вытащили из второй ямы и он предстал перед фараоном, внешность его оставалась более или менее юношеской. Теперь, после женитьбы, в тучные годы, когда бог дал ему с девушкой Аснат детей и та, на женской половине его менфийского дома, родила ему сперва Манассию, а после Ефрема, он немного отяжелел, вернее, несколько раздался, но отнюдь не обрюзг: рост его был достаточно высоким, чтобы сгладить эту прибавку в весе, а властность его осанки, смягченная веселым лукавством глаз и приятным выражением спокойно, как у Лавановой дочери, улыбающихся губ, тоже способствовала тому, чтобы о нем всегда говорили: «Редкостной красоты мужчина! Чутьочку, может быть, полноват, но определенно хорош!»

Его полнота вполне отвечает духу этой эпохи изобилия, склонность которой к паразитически повышенной жизнедеятельности сказывалась во всем. Дала она себя знать, в частности, в животноводстве, где резко возросла плодовитость, напоминая человеку образованному

древние слова песни: «Дважды в году будут козы с приплодом, овцы твои приносить будут двойню». Но и женщины Египта, и в городах, и на ровной земле, вероятно, просто благодаря хорошему питанию — рожали гораздо чаще обычного. Правда, природа, пользуясь невнимательностью переобремененных обязанностями матерей и насылая на грудных младенцев неведомые дотоле болезни, ответила на это повышением детской смертности, чтобы предотвратить перенаселенность. Но уж зато жизнь была теперь ключом.

Отцом стал и фараон — владычица стран была беременна уже и в день толкования снов, но ее счастливые роды угодно было отнести к исполнению пророчества. На свет появилась дорогая принцесса Меритатон — красоты ради врачи, едва не переусердствовав, удлинители ей сзади податливый еще череп, и ликованье во дворце и по всей стране было тем громче, что за ним скрывалась разочарованность приобретением принцессы, а не престолонаследника. Этим путем он так никогда и не был приобретен, всю жизнь у фараона рождались только дочери, всего их было шесть. Никто не знает, каким законом определяется пол живого существа; налицо ли он у зародыша сразу или только позднее, после некоторой неопределенности, перевешивает та или другая чаша весов, — об этом мы ничего резонного не можем сказать, что неудивительно, поскольку даже мудрецы Вавилона и Она не имели на этот счет никаких, ну хотя бы тайных сведений. Но трудно избавиться от чувства, что исключительно женское, так сказать, отцовство Аменхотепа не было чистой случайностью, а в какой-то мере соответствовало натуре этого привлекательного правителя.

Оно, если даже в этом и не признавались, не могло не омрачать его супружеского счастья, хотя тон, разумеется, задавала бережная взаимная неясность, поскольку и в самом деле оба могли сказать друг другу то, что сказал когда-то Иаков нетерпеливой Рахили: «Разве я бог, который не хочет дать тебе того, чего ты так жаждешь?» Одну из сладчайших принцесс, четвертую, назвали даже из чистой нежности прозвищем царицы стран — Нефернефруатон. Но то, что пятую назвали почти так же, а именно Нефернефрура — это свидетельствует уже об известном ослаблении наскучившей, видимо, изобретательности. Имена остальных, придуманные в иных случаях очень любовно, мы знаем тоже как нельзя лучше; но, разделяя легкую досаду на женское однообразие их вереницы, мы не испытываем никакого желания их приводить.

Если учесть, что во главе солнечного дома все еще стояла Великая Мать Тейе; что у царицы Нофертити была сестра Незенмут; что у царя тоже была сестра, Сладчайшая Принцесса Бакетатон и что к ним с годами прибавилось шесть дочерей царя, то получится картина настоящего бабьего царства, где единственным мужчиной был болезненный Мени и которое как-то не соответствовало его фениксовским мечтам о нематериальном отцовском духе света. Невольно вспоминается одно из лучших замечаний, сделанных Иосифом во время Великой Беседы, — что сила, устремляющаяся снизу вверх в чистоту света, должна быть действенной силой, мужским началом, а не сплошной нежностью.

Царское счастье Аменхотепа и его «золотой голубки», Сладчайшей Владычицы стран, слегка омрачалось, таким образом, тем, что у них не было сына. Счастлив был и разбойничий брак Иосифа с девушкой Аснат, счастлив и гармоничен — с одним, однако, ограничением противоположного свойства. Им суждено было иметь только сыновей: одного, двух, а потом и больше, на которых уже не падает свет нашей истории; но все шли сыновья, и если у похищенной это вызывало огорчение и разочарование, то как же было не огорчаться и ее супругу, который с радостью сотворил бы ей хотя бы одну дочь, когда бы человеку дано было творить, а не только производить на свет. Аснат была просто помешана на дочери, вернее, на дочерях, ибо предпочла бы иметь одних дочерей. Ей страстно хотелось родить заново щитоносную деву, которой она была; ничего она так горячо не желала, как воскресения девушки из смерти своей девственности, и поскольку в этом желании ее упорно и непрестанно укрепляла ограбленная и гневная мать, — как тут было не появиться пусть легкому, но непреходящему, хотя, конечно, сдерживаемому в границах приязни и уваженья, недовольству браком?

Сильнее всего оно сказалось, пожалуй, в самом начале, когда родился старший сын Иосифа, — разочарование было безмерно, его можно смело назвать преувеличенным, и возможно, что какая-то доля раздраженности Иосифа обрушившимися на него упреками вкралась в имя, которое он дал мальчику. «Я забыл, — как бы говорило оно, — отчий свой дом и все, что у меня позади, а ты и твоя обиженная мать — вы ведете себя не только так, словно тебя постигла полная неудача, но и так, словно я во всем виноват!» Таков примерно был, по видимому, смысл поразительного имени «Манассия», но слишком серьезного значения этому имени и тому, что оно утверждало, не следует придавать. Если бог заставил Иосифа забыть все его связи с прошлым и отчий дом, почему тот же Иосиф вздумал дать своим родившимся в Египте сыновьям еврейские имена? Потому что считал, что в дурацкой стране внуков такие имена покажутся изящными? Нет! А потому, что сын Иакова, даже если он давно жил в совершенно египетской оболочке, не только ничего не забыл, но неизменно носил в душе именно то, в забвенье чего он себя упрекал. Имя «Манассия» было не чем иным, как словесным знаком вежливости и того противоположного глупости такта, который Иосиф с успехом проявлял всю свою жизнь. То было членораздельное признание отрешенья, обособленья и переселенья в мир, назначенного ему богом по двум причинам. Первой была ревность, второй — план спасенья. Насчет второй Иосиф мог только строить догадки; зато первая была ему при его уме совершенно ясна, и ума у него хватило даже настолько, чтобы разглядеть, что причина это действительно первая, а вторая — лишь подвернувшаяся возможность соединить страсть и мудрость. Слово «разглядеть» может показаться неприличным — имея в виду объект. Но есть ли занятие более религиозное, чем изучение душевной жизни бога? Нельзя прожить, не идя навстречу высшей политике политикой земной. Если все эти годы Иосиф, словно мертвец, нет, будучи мертвецом, не подавал отцу голоса, то руководствовался он продуманной политикой, тонким проникновением в вышеупомянутую душевную жизнь; точно так же обстояло дело и с именем его первенца. «Если нужно забыть, — как бы говорит это имя, — изволь, я забыл!» Но он не забыл.

На третьем году изобилия появился на свет Ефрем... Мать, то есть девушка, сначала не хотела даже взглянуть на него, да и теща была больше чем недовольна. Но Иосиф совершенно спокойно дал ему имя, которое значило: «Бог позволил мне вырасти в стране моего изгнания». Это он мог и в самом деле сказать. В сопровожденье скороходов, под славословья величавших его Аденом жителей Менфе, разъезжал он в легкой повозке между роскошным особняком, которым управлял Май-Сахме, и своим служебным помещением в центре города, где трудились триста писцов, и собирал в амбары зерно в таком количестве, что его уже и сосчитать было почти невозможно. Он был великим начальником и Исключительным Другом Великого Царя. Аменхотепу Четвертому, который, успев, к злобной досаде карнакского храма, сложить с себя свое амуновское имя и принять взамен имя Эх-н-Атон («Это благоугодно Атону»), подумывал уже о том, чтобы вообще покинуть Фивы и, самочинно основав новый, целиком посвященный Атону город, сделать его своей резиденцией, — фараону хотелось видеть Тенистую Сень ученья как можно чаще, чтобы обсуждать с ним горные дела и дела дольные, и если великому сановнику Иосифу приходилось по многу раз в году, то по суше, то по воде, ездить в Новет-Амун на доклад к Гору, во дворец, где они потом долгие часы задушевно беседовали, то и фараон, посещая золотой Он или выезжая на поиски подходящего места для своего нового города, города горизонта, неукоснительно заезжал в Менфе и останавливался у Иосифа, что всегда доставляло много хлопот домоправителю Май-Сахме, хотя и не лишало его спокойствия.

Дружба между нежным потомком строителей пирамид и сыном Иакова, основа которой была заложена некогда в критской беседке, переросла за эти годы в такую сердечную близость, что молодой фараон называл Иосифа «дядюшкой», обнимал и похлопывал его по спине. Этот бог любил простоту, а Иосиф, по врожденной своей сдержанности, соблюдал в их дружбе вежливую дистанцию, часто смеша царя своей церемонностью даже в самые интим-

ные минуты. Их отцовское невезение, то, что у одного родились лишь дочери, а у другого лишь сыновья, служило им не раз предметом бесед. Но недовольство его щитоносной девственницы и ее гневной матери не очень мешало Иосифу радоваться подраставшим у него на мирской чужбине внукам Иакова, а отсутствие престолонаследника редко в ту пору печалило фараона, пребывавшего в самом веселом расположении духа. Ведь в материнском царстве черноты все шло чудесно, так что его авторитет учителя отцовского света значительно укрепился, и он мог благоденствовать под сенью процветания, провозглашая бога, которого возлюбил душой и всячески, в беседах и в одиночестве, старался как можно лучше придумать.

Когда он так, уточняя и сравнивая, обсуждал с Иосифом священные свойства отца своего Атона, это напоминало богословско-дипломатические переговоры, которые когда-то проходили в Салеме между Авраамом и Мелхиседеком, священником Эль-эльона, всевышнего или даже единственного бога, и установили, что этот Эль совершенно то же или примерно то же лицо, что бог Авраама. И как раз тогда, когда беседа приближалась к подобному соглашению, придворная чопорность, от которой при общении со своим высоким другом Иосиф никогда не был вполне свободен, особенно заметно давала себя знать.

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ФАМАРЬ

ЧЕТВЕРТЫЙ

Женщина сидела у ног Иакова, богатого историями старика, в дубраве Мамре, что в столичном Хевроне или поблизости от него, в стране Канаан. Они часто сидели на этом месте — будь то в волосяном доме, у входа, там же, где отец когда-то сидел со своим любимцем и тот выманил у него разноцветное покрывало, будь то под деревом наставленья или у края соседнего колодца, где мы впервые, при луне, встретили этого хитрого мальчика и где, как мы видели, опираясь на посох, с тревогой искал его глазами отец. Почему же это, здесь ли, там ли, сидит с ним, подняв к нему лицо, женщина и слушает его речь? Откуда взялась женщина, молодая и строгая, которую так часто можно увидеть у его ног, и что же это за женщина?

Имя ее было Фамарь... Оглядывая лица наших слушателей, мы замечаем лишь на очень немногих, всего на нескольких, проблеск осведомленности. Подавляющее большинство тех, кто пожелал узнать все подробности этой истории, явно не знает или не помнит даже главных ее фактов. Нам следовало бы на это посетовать, — если бы такая общая неосведомленность не была, с другой стороны, приятна и на руку повествователю, так как придает его занятию большую важность, Вы, значит, и вправду не помните, то есть никогда, насколько вам известно, не знали, кто такая Фамарь. Сначала ханаанская женщина, туземка и больше никто, а потом сноха Иегуды, сына Иакова, четвертого отпрыска, внучатная, так сказать, невестка благословенного; но прежде всего его почитательница и его ученица в науке о мире и боге, ловившая каждое его слово и взиравшая на торжественное его лицо с таким благоговением, что сердце осиротевшего старика тоже широко открылось ей и он даже немного влюбился в нее.

Ибо в ней своеобразно смешались строгость и религиозная истовость (которой нам еще придется дать более сильное определение), с одной стороны, и душевно-телесная тайна астартической привлекательности, с другой, — а известно, до сколь преклонного возраста чутки к этим качествам природы, с нежностью и достоинством преданные своим чувствам.

После смерти Иосифа, вернее, в силу этого душераздирающего и казавшегося сперва совершенно неприемлемым переживания, Иаков стал еще величавее. Как только он свыкся со своей бедой, как только его спор с богом исчерпал себя, а жестокая воля этого бога проникла в его поначалу судорожно запершуюся от нее душу, она обогатила его жизнь, пополнила запас его историй, делая его задумчивость — если он впадал в задумчивость — еще выразительней, еще совершенней по живописности, чем она и всегда была, так что при виде ее люди

благоговейно робели и шептали друг другу: «Глядите, Израиль вспоминает свои истории!» Выразительность поражает, с этим уж ничего не поделаешь. Связь, существующая тут, неразрывна, и выразительность, пожалуй, всегда немного старается поразить, но в этом нет ничего смешного, если дело идет не о пустом фиглярстве, а налицо подлинное богатство историями и выразительность говорит лишь о подлинно пережитом. Тогда уместна разве что почтительная улыбка.

У туземки Фамари не было и этой улыбки. Ее глубоко поразила величественность Иакова, как только она, Фамарь, вошла в его крут, что произошло вовсе не благодаря Иуде, четвертому сыну Лии, и его сыновьям, два из которых, один за другим, были женаты на ней. Это, как и сопутствовавшие обстоятельства, жуткие и полузагадочные, то есть гибель обоих сыновей Иуды, — известно. Но неизвестно, поскольку хроника обходит это молчанием, отношение Фамари к Иакову, а оно было непременно предпосылкой того любопытного побочного эпизода нашей истории, который мы вставляем сейчас в свою повесть и который еще раз напоминает нам, что и вся эта история, заслуживающая, пожалуй, эпитета «соблазнительная», поскольку она соблазняет нас пуститься в такие подробности, — история Иосифа и его братьев, — тоже представляет собой лишь привлекательную вставку в эпос несравненно больших размеров.

Было ли у Фамари, туземки, дочери простых бааловских землепашцев, что жила в эпизоде некоего эпизода, представление об этом факте? Отвечаем: конечно, было. Ее неприличное и вместе с тем великолепное, проникнутое глубокой серьезностью поведение тому доказательством. Недаром дважды, с известной навязчивостью, слетало у нас с языка слово «вставка». Оно — девиз этого часа. Оно было паролем и девизом Фамари. Самое себя хотела она вставить — и с поразительной решимостью вставила — в большую историю, в величайшее бытие, от которого, узнав о нем от Иакова, не давала отставить себя, чего бы ей это ни стоило. Не вырвалось ли уже у нас и слово «соблазнять»? Вырвалось, и неспроста. Это тоже девиз. Ибо, соблазнив, вставила себя Фамарь в ту большую историю, одним из вставных эпизодов которой является эта; она сыграла роль обольстительницы и придорожной блудницы, чтобы только не быть отставленной, и, не шадя себя, унизилась, чтобы возвыситься... Как это было?

Когда именно, по тому или иному пустяковому поводу, получила Фамарь впервые доступ к боголюбивому Иакову и прониклась благоговением перед ним, — этого никто толком не знает, — возможно, что это случилось еще до смерти Иосифа; и уже не без содействия Иакова была она принята в род и отдана в жены первенцу Иуды, юному Иру. Но сердечным и каждодневным общеньем между стариком и Фамарью стало, во всяком случае, после этого страшного удара, когда Иаков медленно и нехотя оправился от него и ограбленное его сердце втайне уже искало нового чувства. Тогда он впервые заметил Фамарь и приблизил к себе ради ее восхищенья.

Тогда почти все одиннадцать его сыновей были уже женаты, старшие давно, младшие недавно, и имели детей от своих жен. Вскоре подошла очередь даже Вениамина-Бенони, сыночка смерти: как только он перестал быть карапузом и возмужал, лет через семь после того, как он потерял своего единоутробного брата, Иаков пристроил его, высватав ему сначала Махалию, дочь некоего Арама, слывшего «внуком Фарры», а значит, потомком Авраама или одного из его братьев; а потом еще девушку Арбафь, дочь человека по имени Симрон, которого называли не больше не меньше как «сыном Авраама», подразумевая под этим, что он ведет свой род от Авраамова семени со стороны какой-то побочной жены. В родословных невесток Иакова было немало прикрас и вымыслов, на которых ради кровного единства религиозного рода более или менее упорно настаивали, хотя надежной основы они не имели, да и пускались в ход только в отдельных случаях. Жен Левия и Иссахара считали «внучками» Евера, — возможно, они ими и были; при этом они вполне могли происходить от Асура или Элама. Гад и быстроногий Неффалим, по примеру отца, привезли себе жен из Харана, из Месопотамии,

но что они действительно были правнучками Нахора, Авраамова дяди, — этого они сами не утверждали, это им приписывали. Лакомка Асир женился на смуглянке из племени Измаила — тут было как-никак родство, хотя и сомнительное. Завулон, от которого можно было ожидать женитьбы на финикиянке, на самом деле вступил в брак с мидианиткой — корректный, следовательно, лишь постольку, поскольку Мидиан был сыном Хеттуры, второй жены Авраама. Но разве большой Рувим не взял уже себе в жены просто-напросто ханаанеянку? Так же поступил, как мы знаем. Иуда, и так же поступил Симеон, ибо его Буна была похищена из Шекема. Что касается Дана, сына Валлы, которого называли змеем и аспидом, то его жена была, как известно, моавитянкой, из племени, иными словами, того Моава, которого родила от собственного отца, то есть братом своим, старшая дочь Лота. Это был тоже не такой уж безупречный союз, да и о кровном родстве тут не могло быть речи, потому что Лот был не «братом» Аврама, а только его прозелитом. Впрочем, он тоже происходил от Адама, и даже, несомненно, от Сима, коль скоро прибыл из Междуречья. Кровное родство всегда можно обнаружить, если твое поле зрения достаточно широко.

Итак, все сыновья, как мы знаем, «привели жен своих в отчий дом», а это значит, что по мере того как шли дни, стойбище вокруг волосяного дома Иакова, в роще Мамре, близ Кириаф-Арбы и наследственной усыпальницы, выросло, и потомки, согласно обетованию, так и кишели у колен Иакова, когда величественный старик это разрешал, а он по доброте своей это порой разрешал и ласкал внуков. Ласкал же он главным образом детей Вениамина, ибо Туртурра, коренастый парнишка, все с теми же доверчивыми серыми глазами и металлически блестящим шлемом густых волос, стал вскоре отцом пятерых сыновей, рожденных ему его арамеянской, и одновременно других малышей, которых приносила ему дочь Симрона, а Иаков оказывал предпочтение внукам Рахили. Но, не считаясь ни с их наличием, ни с отцовским достоинством Бенони, он обращался со своим младшим все еще как с ребенком, опекал его, как малолетнее дитя, и всячески ограничивал его свободу передвиженья, чтобы с ним ненароком не случилось беды. Он редко отпускал даже в город, в Хеврон, даже в поле, а не то что в поездку по стране, того, кто остался у него от Рахили, которого он любил, правда, далеко не так, как Иосифа, так что мог не опасаться из-за него ревности сверху, но который, когда тот, прекрасный, погиб в пасти дикого зверя, стал единственным сокровищем его тревоги и его недоверья, отчего Иаков поистине не спускал с него глаз и не мог и часа прожить, не зная, где Вениамин и что он делает. Тот с грустной покорностью сносил этот надоедливый надзор, не способствовавший его авторитету супруга, и, выполняя капризы Иакова, являлся к отцу по нескольку раз в день; ибо если он этого не делал, отец сам приходил поглядеть на него — приходил, опираясь на посох и хромя из-за раненого бедра, а между тем — и Вениамин, разумеется, это знал, ибо в двойственном поведении старика это сказывалось, — чувства, питаемые к нему Иаковом, были очень и очень противоречивы и представляли собой странную смесь бережности и злопамятства, поскольку отец, в сущности, не переставал видеть в нем матереубийцу, орудие, которым воспользовался бог, чтобы отнять у него, Иакова, Рахиль.

Имелось, правда, у Бенони и одно большое преимущество перед всеми живыми еще братьями — помимо того, что он был самым младшим; и для склонного к мечтательным ассоциациям Иакова преимущество это было, пожалуй, лишним поводом не отпускать Вениамина из дому; тот находился дома, когда Иосиф погиб в мире, а насколько мы знаем Иакова, эта равнозначность пребывания дома невинности, безусловному неучастию в злодеянии, совершенном вне дома, вполне могла приобрести в его уме символический характер, требовавший, чтобы Вениамин был всегда дома, в знак и в доказательство этой невинности, того, что только на него, младшего, не падало неумное, неизбывное подозрение, которым, как знали другие, томился Иаков, — подозрение, как они знали, оправданное, хотя и неверное — будто растерзавший Иосифа вепрь был зверем о десяти головах; и Вениамину надлежало оставаться «дома» в знак того, что уж одиннадцати-то голов у этого зверя наверняка не было.

А может быть, не было и десяти, о том знал бог, а богу вольно было молчать, и со временем, когда прошло много дней и много лет, этот вопрос потерял важность. Потерял прежде

всего потому, что, перестав спорить с богом, Иаков постепенно пришел к мнению, что бог вовсе не заставлял его принести в жертву своего Исаака, а что он, Иаков, принес его в жертву по собственному почину. Покуда сильна была первая боль, эта мысль не приходила ему в голову; ему казалось только, что с ним поступили жестоко и несправедливо. Но когда боль утихла, когда горе стало привычным, когда смерть показала свои преимущества, — ведь под ее защитой и в ее лоне вечно семнадцатилетнему Иосифу уже ничто не грозило, — эта мягкая, патетическая душа не на шутку уверовала в свою способность принести авраамовскую жертву. Иаков уверовал в это к чести бога и к своей собственной. Бог не ограбил его, как злодей, не выманивал у него хитростью самого дорогого, он только принял то, что ему сознательно и героически предложили, — самое дорогое. Хотите — верьте, хотите — нет, но Иаков убеждал себя в этом, он твердил себе в угоду своей гордости, что в тот час, когда он проводил Иосифа в Шекем, он совершил заклание Исаака и добровольно, из любви к богу, пожертвовал тем, кого слишком сильно любил. Он не всегда в это верил — сокрушаясь и вновь проливая слезы, он порой признавался себе, что никогда не смог бы для бога оторвать от своего сердца того, кто был ему так дорог. Но желание верить в это иногда побеждало; а разве при таком желании не было более или менее безразлично, кто растерзал Иосифа?

Подозрение — да, конечно, оно все-таки оставалось, оно еще томило, хотя уже слабо и не ежечасно; в позднейшие годы оно порой засыпало и затихало. Жизнь под подозрением, подозрением наполовину ложным, сперва представлялась братьям более жалкой, чем она оказалась потом. Отношения их с отцом нельзя было не назвать добрыми. Он беседовал с ними и преломлял с ними хлеб; он принимал участие в их делах, в радостях и заботах их хижин, он глядел на них, и лишь иногда, лишь временами и уже довольно редко мелькала в стариковском его взгляде сопутствующая подозрению неискренность и мрачность, при виде которой они, запинаясь, опускали глаза. Но что из того? Человеку достаточно знать, что к нему питают недоверие, и он уже опускает глаза. Это не всегда означает сознание вины; в этом может выразиться и стыдливая невиновность, и сочувствие к одержимому недоверием. И в конце концов подозрение надоедает.

От него в конце концов отмахиваешься, особенно если его подтверждение не изменит не только того, что однажды случилось, но и обетованного будущего, того, что есть и чему суждено быть. Пусть десятиглавый Каин, пусть братоубийцы, братья все равно были тем, кем они были, сыновьями Иакова, данностью, с которой надлежало считаться, Израилем. Имя, завоеванное им у Иавока, имя, из-за которого он хромал, Иаков решил и привык не относить к своей особе, а употреблять в более широком значении. Почему бы и нет? Ведь это было его имя, он упорно боролся за него до рассвета и, значит, имел право распоряжаться им по своему усмотрению. Израиль — так следовало впредь называть не только его самого, благословенного, но и всю его прямую и побочную родню от второго до самого что ни на есть последнего поколения, его потомков, его племя, его народ, который должен был стать несметным, как звезды и как песок морской. Дети, игравшие, когда им это разрешалось, у колен Иакова, — они были Израилем, он называл их обобщающим этим именем, называл к своему облегчению, потому что не мог запомнить всех их имен; особенно плохо запоминал он имена детей измаильтянских и чистокровно ханаанских жен. Но «Израилем» были и эти жены, в том числе моавитянка и рабыня из Шекема; и прежде всего, и в первую голову «Израилем» были их мужья, одиннадцать братьев, лишившиеся, правда, зодиакального своего числа из-за извечной братней вражды и героической жертвенности, но все же внушительно многочисленное содружество, сыновья Иакова, родоначальники тех несметных потомков, коленам которых они некогда тоже дадут свои имена, — важные люди пред господом, каковы бы ни были качества каждого и почему бы они ни опускали глаза перед подозрением. Не все ли это было равно, коль скоро они так или иначе оставались «Израилем»? Ибо Иаков знал задолго до того, как это было запечатлено письменами, — письменами это потому и запечатлено, что он это знал, — что, даже согрешив, Израиль всегда пребудет Израилем.

Но в Израиле, одиннадцатиглавом льве, одна голова наследовала благословение прежде других, как унаследовал его прежде Исава Иаков — а Иосиф был мертв. На одном держалось обетование, вернее, держалось бы, если бы Иаков дал кому-то благословение, чтобы именно от него пришло то благо, которому отец давно искал имя и нашел неокончательное, не известное никому, кроме молодой женщины, что сидела у ног Иакова. Кто же из братьев был этим избранником, от которого ожидалось благо? Этим благословенным не по любви — ибо любовь умерла? Не старший, Рувим, который бушевал, как вода, и однажды уподобился бегемоту. Не Симеон и Левий, отъявленные грубияны, тоже имевшие на счету незабываемую провинность. Ведь в Шекеме они вели себя, как дикие язычники, и показали себя в городе Еммора настоящими головорезами. Эти трое были прокляты, поскольку Израиль вообще мог быть проклят; они отпадали. И следовательно, избранником должен был стать тот четвертый, который за ними следовал, — Иуда. Он им и стал.

АСТАРОТ

Знал ли он, что он им был? Он мог высчитать это по пальцам, и он делал это часто буквально, но всегда испытывая страх перед своим преемничеством, мучительно сомневаясь в том, что он достоин его, и даже опасаясь, что оно в нем погибнет. Мы знаем Иегуду; мы видели среди голов братьев его страдальческую, с оленьими глазами, львиную голову еще в те времена, когда Иосиф был у отцовского сердца, и в часы гибели Иосифа мы тоже наблюдали за ним. На круг он вел себя в этом деле неплохо: не так хорошо, разумеется, как Вениамин, который был «дома»; но почти так же хорошо, как Рувим, не желавший мальчику смерти и выхлопотавший ему яму, чтобы его оттуда украсть. Но вытащить его из ямы и даровать ему жизнь — это было желанье и предложенье также Иуды; ведь именно он предложил продать брата, раз уж не удалось в эти времена поступить по образцу Ламеха из песни. Мотивировка Иуды страдала искусственностью и непринципиальностью большинства мотивировок на свете. Иегуда прекрасно понимал, что оставить мальчика погибать в дыре ничуть не лучше, чем пролить его кровь, и хотел спасти его. Если он, Иуда, опоздал, выступив со своим предложеньем уже после того, как измаильтяне сделали свое дело и освободили Иосифа, — тут была не его вина, и он мог сказать, что вел себя в этом проклятом деле сравнительно похвально, поскольку хотел помочь мальчишке удрать.

И все же это преступление мучило его больше, чем тех, кто и вовсе ничего не мог привести в свое оправдание, — да и как же могло быть иначе? Преступления следовало бы совершать только тупицам; им все нипочем, они продолжают жить как ни в чем не бывало, с них все как с гуся вода. Зло для тупиц. В ком есть хоть намек на тонкость, пусть лучше, если он только может, не прикладывает к злу рук, ибо он за это поплатится и никакие доказательства совестливого его поведения в подобном деле ему не помогут: наказан он будет как раз из-за своей совестливости.

Иуду вина перед Иосифом и отцом мучила страшно. Он страдал от нее, ибо был способен страдать, как нам сразу сказали оленьи его глаза и четкие очертания тонких его ноздрей и полных губ, она приносила ему в наказание несчастья и беды — вернее, все свои несчастья и беды он объяснял ей, видя в них расплату за участие, за соучастие в преступленье — что свидетельствует уже о странном высокомерии совести. Ведь он же видел, что другие. Дан, скажем, Гаддиил или Завулон, не говоря уж о диких близнецах, отделались дешево, что они вышли сухими из воды и горя не знали, а это могло бы навести его на мысль, что беды, постигавшие его самого и его сыновей, может быть, вовсе не связаны с его участием или соучастием в преступленье, а порождены им самим. Но нет, ему хотелось, чтобы они были наказанием, выпавшим на долю ему одному, и он свысока глядел на тех, кто благодаря своей толстокожести был избавлен от мук. А это и есть своеобразное высокомерие совести.

Все выпавшие на его долю муки были отмечены знаком Астарот, и ему не приходилось удивляться, что они шли именно из этой области, поскольку он и прежде всегда был мучим владычицей, то есть подчинялся ей, нисколько ее не любя. Иуда верил в бога своих отцов, в Эль-эльона, Всевышнего, в Шаддаи, могущественного господа Иакова, скалу и пастыря, в Иагве, из чьих ноздрей, когда он гневался, вылетал пар, а из уст, сверкая, огонь. Он услаждал его запахами съедобных даров и всегда, когда это казалось уместным, приносил ему в жертву быков и молочных ягнят. Но кроме того, он верил и в племенных элохимов, — что было бы не так уж и страшно, если бы он только им не служил. Как поглядишь, сколь поздно еще и в сколь далекие от начал времена приходилось учителям с проклятиями убеждать народ Иакова отмежеваться от чужих богов, баалов и Астарот, и не участвовать в жертвенных пирах мавитян, проникаешься впечатлением досадной нестойкости и склонности к рецидивам веротступничества вплоть до самого позднего колена и не удивляешься, что такой ранний, такой близкий еще к источнику отпрыск, как Иегуда бен Иекев, верил в Астарот, в эту необычайно популярную и повсеместно, хотя и под разными именами, почитаемую богиню. Она была его госпожой, он нес ее иго, такова была печальная — печальная для его ума и для его назначения — действительность, так как же было ему не верить в нее? Он не приносил ей жертв, жертв в узком смысле слова, то есть не сжигал для нее быков и молочных ягнят. Но жестокий ее бодец добивался от него более печальных, более страстных жертв, жертв, которые он приносил ей не радостно, не с легким сердцем, а только по принуждению; ибо ум его не соглашался с его возделеньем, и не было случая, чтобы, высвобождаясь из объятий какой-нибудь храмовой служительницы, он не сгорал от стыда и не предавался мучительнейшим сомнениям в своей пригодности к преемничеству.

Когда же братья сообща устранили Иосифа, Иуда стал считать муки Аштарти карой за свое злодеяние; ибо муки эти усилились, они не только терзали его изнутри, но и одолевали извне, и вернее всего будет сказать, что с тех пор он искупал свое преступление в аду — в одном из имеющихся на свете адов, в аду пола.

Многие подумают, наверно: ну, это еще не самый страшный ад. Но кто так думает, тому неведома жажда чистоты, а без такой жажды ада вообще нет, ни этого, ни какого-либо еще. Ад существует для чистых; это закон нравственного мира. Ведь ад существует для грешников, а погрешить можно только против своей чистоты. Будучи скотом, нельзя совершить грех и получить хоть какое-то представление об аде. Так уж устроено, и ад населен, несомненно, лишь самыми лучшими людьми, что, конечно, несправедливо, но что значит наша справедливость!

История женитьбы Иуды и браков его сыновей и их гибели в браке — история крайне странная, жуткая и, собственно, неясная, так что говорить об этом сплошь недомолвками приходится не только из деликатности. Мы знаем, что четвертый сын Лии рано женился, — этот шаг он сделал из любви к чистоте, чтобы, связав и ограничив себя, обрести мир; но тщетно: в расчет не были приняты госпожа и ее бодец. Его жене, чье имя до нас не дошло, — наверно, ее редко называли по имени, она была просто дочерью Шуи, того хананеянина, с которым Иуда познакомился через своего друга и главного пастуха Хиру из деревни Одоллам, — этой его жене приходилось много из-за него плакать и многое ему прощать, что несколько облегчалось, правда, счастьем материнства, трижды ей улыбнувшись, — недолгим счастьем, ибо мальчики, которых она дарила Иуде, были только поначалу милыми, а потом становились скверными — полбеда еще младший, Шела, родившийся не сразу после первых: он был только человеком болезненным; зато старшие, Ир и Онан, были вдобавок и скверными людьми, болезненно скверными и скверно болезненными, к тому же красивыми и притом наглыми, — словом, это была беда в Израиле.

Такие парни, как эти двое, болезненные и прожженные, но притом миловидные, — это в таком месте анахронизм и свидетельство опрометчивой поспешности природы, которая на мгновение забылась, запомнила, что к чему. Иру и Онану жить бы в старом и позднем мире, одряхлевшем мире насмешливых наследников, скажем, в дурацкой земле Египетской. Не ко

времени были они у самого истока устремленного вдаль становленья и не могли не погибнуть. Это следовало понять Иуде, отцу их, чтобы никого, кроме, пожалуй, себя самого, который их породил, не винить. А он винил за их скверный нрав дочь Шуи, их мать, а себя лишь постольку, поскольку считал, что совершил глупость, взяв в жены коренную баалопоклонницу. А истребление своих сыновей он приписывал женщине, которой отдал их одного за другим в мужья и которую обвинил в том, что, служа Иштар, она уничтожает своих любимых и они умирают от ее любви. Это было несправедливо — и в отношении его жены, вскорости умершей от горя из-за всего этого, и, безусловно, в высшей степени несправедливо в отношении Фамари.

ФАМАРЬ УЗНАЕТ МИР

Да, это была Фамарь. Это она сиживала у ног Иакова, сиживала уже с давних пор, пораженная его внешностью, и внимала ученью Израиля. Она сидела всегда очень прямо, ни на что не опираясь, то на скамеечке, то на ступеньке колодца, то на узловатых корнях дерева наставленья, отведя плечи назад, вытянув шею, с двумя напряженными складками между бархатными бровями. Родом она была из окрестностей Хеврона, из маленького поселка на солнечном склоне горы, кормившегося виноградарством и отчасти скотоводством. Там стоял дом ее родителей, мелких землевладельцев, и они посылали девушку к Иакову с жареным зерном, свежими сырами, чечевицей и крупой, за которые он платил медью. Так она впервые и попала к нему, по пустяковому поводу, но на самом деле ведомая высшим стремленьем.

Она была по-своему красива, то есть не смазлива, а красива красотой строгой и неприступной, на которую, кажется, и сама досадовала, — досадовала по праву, ибо было в ее красоте волновавшее мужчин колдовство, и складки между бровями как раз и пытались унять такое волнение. Она была высокого роста и почти худа, но ее худоба волновала мужчин больше, чем самая пышная плоть, так что волнение это было, собственно, даже не плотским, а, как бы сказать, демоническим. У нее были карие пытливые глаза редкой красоты, почти совершенно круглые ноздри и гордый рот.

Удивительно ли, что она вскружила голову Иакову и он приблизил ее к себе в награду за ее восхищенье? Это был старик, любивший предаваться своим чувствам, и он только и ждал случая еще раз предаться им; а чтобы вновь пробудить у нас, стариков, чувство или хотя бы какое-то бледное и смутное подобие чувств нашей молодости, нужно уже что-то из ряда вон выходящее, придающее нам силы своим восхищением, нечто астартическое и в то же время проникшееся религиозной жаждой нашей мудрости.

Фамарь была искательницей. Складки между ее бровями выражали не только досаду на ее красоту, но и томительную тревогу о правде и благе. Где в мире не встретишь заботы о боге? Она жива и на царских престолах, и в беднейших горных поселках. Фамарь была одной из ее носительниц, и беспокойство, внушаемое ею мужчинам, злило и раздражало ее как раз из-за этого высшего беспокойства, которое она носила в себе. Религиозно обездоленной эту местную поселянку никак нельзя было назвать. Но завещанный ей предками культ лесов, лугов и природы не удовлетворял ее пыливости уже и до того, как она услышала Иакова. Она не могла пробавляться баалами и богами плодородия, ибо, догадываясь о существовании в мире чего-то другого, высшего, душа ее напряженно это выслеживала. Бывают такие души: стоит лишь появиться в мире чему-то преобразующе новому, как они, по одинокой своей чувствительности, им загораются и начинают стремиться к нему. Их беспокойство не первично, как беспокойство урского странника, гнавшее его в пустоту, где ничего не было, так что новое он должен был извлечь из себя самого. Эти души иного склада. Но уж если новое появится в мире, оно тревожит их чуткость даже издалека, и они не могут к нему не рваться.

Фамари не нужно было рваться в какую-то даль. Товары, которые она приносила в шатер Иакову, чтобы получить за них меру меди, были, конечно, лишь уловкой духа, лишь при-

крытием ее беспокойства. И вот, подружившись с ним, она часто, очень часто сидела у ног этого торжественного, богатого историями старика, сидела очень прямо, не спуская с него своих пытливых, широко раскрытых глаз, застыв и оцепенев от внимания, так что серебряные серьги висели у впалых ее щек совершенно недвижно, а он рассказывал ей мир, то есть свои истории, которые он смело и поучительно представлял историей мира — разветвленное родословие, выросшую из бога и направляемую богом семейную хронику.

Он поведал ей о начале, тоху и боху, и об их разделении словом божьим; о трудах шести дней — как море по воле бога наполнилось рыбой, пространство под твердью небесной, где стояли светила, птицами, а зеленая земля скотом и зверьем и всякими гадами. Он передал ей бодрый и благодаря множественному числу особенно веселый призыв бога к самому себе, предприимчивый его замысел: «Сотворим человека!» — и ей казалось, что сказал это он сам или, во всяком случае, что бог, которого, как нигде больше в мире, называли всегда «бог», и только, — что бог был при этом очень похож на Иакова, чему, кстати, отнюдь не противоречило добавление: «По образу нашему и подобию!» Она слушала о рае на востоке и о деревьях рая — дереве жизни и дереве познания, о совращенье, о первом у бога приступе ревности: как испугался он, что человек, познавший уже добро и зло, вкусит, пожалуй, еще и от дерева жизни и станет совсем как наш брат. Тут наш брат поспешил изгнать человека и поставил перед раем херувима с мечом разящим. А человеку он хоть и дал в удел труд и смерть, чтобы тот был образом нашим и подобием, — похожим на нас, правда, не чересчур, а лишь чуточку больше, чем рыбы, птицы и скот, — но дал все же с тайным заданием уступать нашей ревности и походить на нас все больше и больше.

Так он рассказывал ей. Все это не отличалось ясностью и последовательностью, а было, скорее, таинственно и великолепно, как сам Иаков, который об этом повествовал. Она узнала о братьях-врагах и об убийстве в поле. О детях Каина и об их коленах, разделившихся на земле на три ветви: живущих в шатрах со стадами, кующих себе латы из меди и, наконец, играющих на свирели и гуслях. То было временное деление. Но от Сифа, что родился взамен Авеля, тоже пошло много колен — вплоть до Ноя, Ноя Премудрого: обманывая себя самого и свой всегубительный гнев, бог сподобил его спасти творенье, и поэтому он пережил потоп со своими сыновьями Симом, Хамом и Иафетом, от которых пошло новое деление мира, ибо каждый из этих троих положил начало бесчисленному множеству колен; Иаков знал их наперечет — названья народностей и мест, где они селились, потоком лились из его повествующих уст; широкий вид открывался перед Фамарью на многолюднейшее потомство и его поселения — и вдруг сужался до поразительно знакомых пределов. Ибо Сим родил в третьем колене Евера, а тот, в пятом, Фарру, и так появились на свет Аврам и два его брата, но главное — Аврам!

Ведь это его сердце бог наполнил тревогою о себе, чтобы он, неустанно трудясь над богом, сотворил его мыслью и создал ему имя, это Аврама бог сделал своим благодетелем и вознаградил творенье, сотворившее своим духом творца, неслыханными обетами. Он заключил с ним союз для обоюдного совершенствования, чтобы один освящался в другом все больше и больше, и даровал ему право выбирать наследника, благословлять и проклинать, чтобы тот благословлял благословенное и проклинал преданное проклятью. Он предначертал ему далекое будущее, где его имя станет благословением для всех племен земных. И посулил ему безмерное отцовство, хотя до восьмидесяти шестого года своей жизни Аврам был бесплоден, ибо Сара не приносила ему детей.

И он взял в жены прислужницу-египтянку и родил с ней сына и назвал его Измаилом. Но это было непутевое, сбившееся с благой дороги создание, чье место в пустыне, и праотец не поверил заверениям бога, что у него будет от праведной еще один сын, Исаак, а пал на лицо свое и рассмеялся, ибо ему было уже сто лет, а у Сары уже прекратилось обыкновенное женское. И все-таки ей дарован был этот смех — рожденье Ицхака, неугодной жертвы, о котором сказано было сверху, что он произведет на свет двенадцать князей, что оказалось не совсем верно. Бог порой оговаривался и выражался неточно. Не Исааку или лишь косвенно Исааку

были обязаны эти двенадцать своим появлением на свет. Родил их, собственно, только он сам, тот, чьим торжественным повестям внимала эта туземка, Иаков, брат Красного: родил их с четырьмя женами, служа в Синеаре у беса Лавана.

Не раз доводилось ведь слышать Фамари о братьях-врагах, о красном охотнике и о кротком пастухе; слышала она и о восстановившем справедливость великом обмане и о бегстве вора — причем об Елифазе, сыне обиженного, и о встрече с ним на дороге рассказывалось, достоинства ради, со щадящей сдержанностью. Сдержанной и склонной к преуменьшениям становилась речь Иакова и еще в одном случае — когда он говорил о милых свойствах Рахили и о своей любви к ней. Упомянув о Елифазе, он щадил самого себя и свое унижение перед этим мальчиком изображал для красоты не самыми яркими красками. А заговаривая о той, кого так сильно любил, он щадил Фамарь, ибо был немного влюблен в нее и чувствовал, что при женщине лучше не расхваливать другую женщину.

Зато о великом сне с лестницей, приснившемся похитителю благословения в Лузе, его ученица узнала во всех великолепных подробностях, хотя такое чудесное вознесенье главы было не совсем объяснимо без предшествовавшего ему глубокого униженья. Ловя каждое слово, слушала она, как об этом повествовал сам наследник, и глядела, глядела во все глаза на человека, что нес Авраамово благословение и волен был передать его дальше кому-то другому, который станет господином над своими братьями и к чьим ногам падут дети его же матери. И снова внимала она словам: «И благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные». И сидела, застыв.

Да, чего только не узнала она в эти часы, и как выразительно были поведаны ей эти истории — все до единой! Перед нею тянулись годы службы в стране грязи и золота, сначала четырнадцать, потом сверхурочные, покуда не стало их двадцать пять и покуда благодаря неправедной, праведной и их служанкам не собралось одиннадцать сыновей, включая пленительного. Услыхала она и о совместном их бегстве, о погоне Лавана и его поисках. О продолжавшейся до рассвета борьбе с волооком, после которой Иаков всю жизнь хромал, как кузнец. О Шекеме и его ужасах, о том, как дикие близнецы убили мужа и загубили тельца и были до некоторой степени прокляты. О смерти Рахили, всего в одном переходе от постоянного двора, из-за сыночка смерти. О безответственном бурленьи Рувима и о том, как он тоже был проклят, насколько может быть проклят Израиль. И затем историю Иосифа, которого отец слишком любил, но, как истинный герой божий, отправил в путь, сознательно и твердо принося в жертву самое дорогое.

Это «некогда» было еще свежо, и тут голос Иакова дрожал, тогда как при изложении более ранних и самых ранних, совсем уже погребенных временем событий он был эпически невозмутим и даже при передаче самых жестоких и тяжелых историй сохранял радостную торжественность, ибо все это были истории божьи и рассказывать их было делом священным. Совершенно, однако, ясно, — иначе быть не могло, — и об этом следует знать, что во время таких уроков внемяющую душу Фамари потчевали не только историческим, погребенным во времени «некогда», не только священным «однажды». «Некогда» — слово неограниченное, двуликое; оно смотрит назад, далеко назад, в торжественно сморкающиеся дали, и оно смотрит вперед, далеко вперед, в дали, не менее торжественные в силу того, что они будут, чем те, другие, торжественные в силу того, что они были. Некоторые это отрицают, они находят торжественным только «некогда» прошлого, а «некогда» будущего кажется им презренным. Это ханжи, а не благочестивые люди, это глупцы с мутной душой. Иаков был не из их десятка. Кто не чтит «некогда» будущего, тот недостоин «некогда» прошлого и к нынешнему дню относится тоже неверно. Таково наше ученое мнение, если нам позволено вставить его в те наставленья, что давал Фамари Иаков бен Ицхак и которые полны были этого двойного «некогда» — да и как же иначе, если он рассказывал ей мир, а девиз мира именно «некогда» — и повествовательское, и пророческое? Ей впору было благодарить, и она действительно благодарила его такими словами: «Тебе показалось мало, господин, рассказать мне о том, что было, и ты пове-

дал рабыне своей еще и далекое будущее». Да, он делал это совершенно произвольно, ибо во всех его историях с самого начала присутствовал элемент предсказания, так что их нельзя было излагать, не пророчествуя.

О чем он говорил ей? Он говорил ей о Шилохе.

Было бы ошибкой полагать, что о герое Шилохе Иаков завел речь лишь на смертном одре, по какому-то предсмертному наитию. Никаких наитий он тогда вообще не сподоблялся, а лишь изрекал давно подготовленное, то, что уже полжизни обдумывал и что смертный его час должен был лишь освятить. Это относится не только к благословеньям и похожим на проклятие суждениям о сыновьях, но и к упоминанию некоего обетованного героя, названного им «Шилох» и занимавшего его мысли задолго до появления Фамари, хотя говорил он о нем только с ней и больше ни с кем — в благодарность за ее великое внимание и за то, что был влюблен в нее остатками своих сильных некогда чувств.

Кого или что подразумевал он под Шилохом?

Странное дело — как он такое выдумал! «Шилох» было поначалу просто названием города, огороженного стеною округа в более северной части страны, где в случае своей победы в войне собирались обычно для дележа добычи туземцы — не такого уж, следовательно, священного места. Но оно называлось местом покоя и отдыха, ибо слово «Шилох» означает именно это; мир означает оно и отрадную передышку после кровавой усобицы, и звук его благословен, и оно годится равно для имени человека и для названия места. И если Сихем, княжеский сын, носил то же имя, что и его город, то и слово «Шилох» могло служить именем человека и сына человеческого, названного Царством Мира, то есть именем миротворца. Иакову он виделся пришельцем, обещанным человечеству в древнейших и постоянно обновляемых посулах и предсказаниях, обещанным женскому лону, обещанным в благословении Ноя Симу, обещанным Аврааму, в чьем семени должны были благословиться все народы земли — примирителем и помазанником, повсеместным, от моря до моря и от реки до конца мира, властителем, перед кем склонятся все, как один, цари и за кем пойдут все, как один, народы, героем, который некогда родится от избранного семени, чтобы навеки занять престол его царства.

Его-то, грядущего, он и называл Шилохом, — и давайте вообразим, давайте хорошенько представим себе, как, связывая в эти часы поучений отдаленно-начальное с отдаленнейшим будущим, говорил о Шилохе Иаков, человек впечатляющей впечатлительности. Это было значительно, это было исполнено силы; Фамарь, женщина, единственная, кому выпала честь это слышать, сидела не шевелясь; даже самый внимательный глаз не нашел бы, что серьги ее хоть разок покачнулись. Она слушала мир, скрывавший в раннем обетованное позднее, огромную, разветвленную, полную историй историю, через которую тянулась пурпурная нить предвестья и ожидания, тянулась от одного «некогда» к другому, от самого давнего «некогда» к самому нескорому, где в спасительной космической катастрофе, оглашая вселенную громовым грохотом, столкнутся две враждующие звезды, звезда силы и звезда права, чтобы стать одной звездой, озаряющей человечество мягким и мощным светом, — звездой мира. Это была звезда Шилоха, сына человеческого, того сына наследственного избрания, который был обетован семени женщины и должен был растоптать голову змея. А Фамарь была женщиной, и значит, женщиной обетованья, ибо каждая женщина — это женщина обетованья, средство падения и лона блага. Астарта и мать бога, — и сидела она у ног мужчины, отца, на которого, благодаря восстановившей порядок уловке, пало благословенье и который должен был передать его дальше в историю кому-то в Израиле. Кому же? Над чьим теменем предстояло отцу поднять свой рог, чтобы помазать наследника? У Фамари имелись пальцы, чтобы высчитать это. Трое были прокляты, а любимец, сын праведной, мертв. Не любовью определялся порядок наследования, а где нет любви, там остается одна справедливость. Справедливость была тем рогом, из которого миро избрания должно было излиться на темя четвертого. Иуда — он был наследник.

ИСПОЛНЕННАЯ РЕШИМОСТИ

С этой поры отвесные складки между бровями Фамари приобрели еще один, третий смысл. Они говорили теперь не только о ее злости на собственную красоту, не только о напряженной пытливости, но также и о решимости. Подтверждаем еще раз — Фамарь твердо решила, чего бы это ни стоило, вставить себя с помощью женского своего естества в историю мира. Вот как честолюбива она была. В эту непоколебимую и, поскольку все непоколебимое мрачновато, довольно мрачную решимость вылилось все ее религиозное рвение. У иных натур знание немедленно превращается в волю, более того, они затем, наверно, и стремятся к знанию, чтобы питать им свою волю, дать ей какую-то цель. Фамари достаточно было только узнать о мире и целеустремленности мира, чтобы принять категорическое решение связать с этой целеустремленностью женское свое естество и войти в мировую историю.

Само собой разумеется, в историю мира входит каждый. Стоит лишь тебе появиться на свет — и так или иначе, плохо ли, хорошо ли, ты уже вносишь крохотной своей жизнью какой-то вклад в целостный мировой процесс. Но большинство скромно остается на периферии, где-то далеко в стороне от главного события, не участвуя в нем, и, по сути, радуясь своей непричастности к его достославным действующим лицам. Фамарь презирала таких людей. Как только ее научили, она захотела или, вернее, она вняла учению, чтобы узнать, чего она хочет и чего не хочет. Она не хотела быть в стороне. Эта девушка хотела выйти на столбовую дорогу, дорогу обетованья. Она хотела войти в эту семью, включиться своим лоном в цепь поколений, которая вела к благу, уходя в даль времен. Она была женщиной обетованья, и пророчество относилось к ее семени. Она хотела быть одной из праматерей Шилоха.

Ни больше, ни меньше. Глубоко и прочно врезались между бархатными ее бровями отвесные складки. У них было уже три смысла, но не заставил себя ждать я четвертый, состоявший в завистливо-зломном пренебрежении к дочери Шуи, жене Иегуды. Этой бабище, оказавшейся на столбовой дороге и занявшей достославное место совершенно незаслуженно, без знания и воли (ибо знание и волю Фамарь считала заслугой), этому ничтожеству, сподобившемуся войти в историю, она не только не желала добра, но, не пытаясь даже скрыть это от самой себя, ненавидела ее самой женской ненавистью и желала бы ей, опять-таки вполне сознательно, смерти, если бы это еще имело смысл. Но это не имело смысла, ибо та родила Иуде уже трех сыновей, так что Фамари следовало бы желать смерти всем троим, чтобы поправить дело и освободить себе место рядом с наследником. Как наследника она и любила Иуду, и желала его — это была любовь честолюбия. Никогда, наверно, ни позже, ни тем более раньше, ни одна женщина не любила и не желала мужчину в такой мере не ради него самого, а ради определенной идеи, как Фамарь Иуду. То была новая основа любви, такого еще не бывало на свете, — любви, идущей не от плоти, а от мысли, любви, можно поэтому сказать, демонической, употребляя эпитет, приложимый и к тому волнению, которое, без всякого участия плоти, внушала мужчинам сама Фамарь.

Свое астартическое обаяние, вообще-то ее злившее, она, пожалуй, умышленно направила бы на Иуду, достаточно хорошо зная о его рабстве у этой владычицы, чтобы не сомневаться в победе. Но было уже поздно, — а «поздно» всегда означает: «не вовремя». Она опоздала, ее честолюбивая любовь пришлась не ко времени. В этом месте цепи она уже не могла включиться, не могла выйти на столбовую дорогу. Поэтому Фамарь должна была сделать во времени, в поколениях шаг вперед или вниз, она должна была сама переменить поколение, направив свое целеустремленное желанье туда, где ей хотелось бы стать матерью, — а мысленно ею легко было стать, поскольку в высокой сфере мать и возлюбленная всегда составляли единое целое. Короче говоря, с Иуды, наследника-сына, она должна была перевести взгляд на его сыновей, наследников-внуков, — которым она почти желала смерти, чтобы

родить их, и притом лучших, самой, — сначала, разумеется, только на старшего, на мальчика Ира, ибо он был наследник.

Лично ее положение во времени облегчало ей этот шаг вниз. Для Иуды она была бы не слишком молода, а для Ира она была не так уж стара. И все же она сделала этот шаг неохотно. Ее удерживала от него непорядочность этого поколения, его болезненная, хотя и милая испорченность. Но ее честолюбие справилось с этой трудностью, оно должно было справиться с ней, иначе она была бы очень им недовольна. Оно сказала ей, что обетование не всегда выбирает многообещающие или хотя бы просто чистые пути; что порой, без всякого для себя ущерба, оно не гнушается неполноценно-сомнительным, даже скверным, что больное не обязательно порождает больное, что от него может взять начало проверенное, облагороженное, направленное ко благу бытие, особенно если на помощь придет та облагораживающая сила решимости, которая была у Фамари. К тому же отпрыски Иуды были ведь только выродившимися мужчинами. А все зависело от женщины, все дело было в том, чтобы здоровое начало укрепило именно самое ненадежное место цепи. К лону женщины относилось первое обетование. Что толку было в мужчинах!

Но чтобы достичь цели, ей пришлось снова подняться во времени к третьему колену; иначе ничего не получалось. Да, она направила на упомянутого юнца астартическое свое обаяние, но его реакция оказалась ребяческой и порочной. Ир хотел только шутить с ней, а когда она в ответ нахмурила брови, он отступился и серьезного шага не сделал. Обратиться к Иуде, на ступеньку выше, не позволила ей деликатность; ведь желала или желала бы она, собственно, именно его, и если он этого не знал, то она это знала, и ей стыдно было желать его сына, которого она хотела бы ему родить. Поэтому она обратилась к Иакову, главе рода и своему учителю, к его исполненной достоинства и, разумеется, хорошо ей известной слабости к ней, Фамари, к слабости, которую она скорее ублажала, чем уязвляла, добиваясь приема в его семью и желая стать женой его внука. Она сделала это на том же месте, в шатре, где когда-то Иосиф уламывал старика подарить ему разноцветное платье, и ей оказалось легче добиться своего, чем ему.

— Наставник и господин, — говорила она, — дорогой и великий отец мой, выслушай рабыню свою, будь так добр, снизойди к ее просьбе, к ее непритворно страстной мольбе! Ты избрал меня и возвысил над дочерьми этой земли, ты дал мне знания о мире и о единственном и всевышнем боге, ты открыл мне слепые дотоле глаза, ты образовал меня, и я считаю себя твоим твореньем. За то, что это выпало мне на долю, за то, что я нашла милость перед твоими очами, за то, что ты утешил меня и ласково заговорил со своей рабыней, да вознаградит тебя за все это господь, да вознаградит тебя сполна бог Израилев, к которому я пришла благодаря тебе и под чьими крылами обрела надежду и бодрость! Ибо, всячески оберегая душу свою от забвенья историй, которые ты дал мне увидеть, я буду хранить их в сердце всю свою жизнь. Своим детям и детям детей, если бог мне пошлет их, я поведаю эти истории, чтобы дети мои не погубили себя и никогда не творили себе кумиров, похожих на мужчину, на женщину, на скот земной, на птицу небесную, на гада или на рыбу; чтобы, подняв глаза и увидев солнце, луну и звезды, они не отступились от бога и не стали служить сонму светил. Твой народ — это мой народ, и твой бог — это мой бог. А потому, если он даст мне детей, их отцом никогда не будет мужчина из какого-нибудь чужого народа божьего. Иные из твоего дома, господин мой, берут себе в жены дочерей этой земли, одной из которых была и я, и приводят их к богу. Что же касается меня, родившейся теперь заново, меня, твоего творенья, то я не могу быть рабыней во браке человеку невежественному, поклоняющемуся кумирам из дерева и камня, которые изваяны руками умельца и лишены зренья, слуха и обонянья. Вот что натворил ты, отец мой, просветив меня и образовав: ты сделал душу мою разборчиво-тонкой, и я уже не могу жить жизнью невежественной толпы и не могу, выйдя замуж за первого встречного, отдать женское свое естество какому-то пентюху перед богом, как, наверно, по простоте сердечной и поступила бы при других обстоятельствах, — таковы невыгоды утонченности, таковы трудности,

которые приносит с собой благо родство. А потому не сочти это наглостью, если твоя дочь и рабыня говорит тебе об ответственности, которую ты взял на себя, просветив и образовав ее; ты перед нею теперь почти в таком же долгу, как она перед тобой, потому что ты в ответе за ее благородство.

— Твои слова, дочь моя, — отвечал он, — исполнены силы и вполне разумны; не согласиться с ними нельзя. Но скажи мне, куда ты клонишь, ибо я этого еще не вижу, и поведай мне, что ты имеешь в виду, ибо это мне невдомек!

— Твоему народу, — сказала она, — принадлежу я душой и только ему могу я принадлежать плотью, женскою своею статью. Ты открыл мне глаза — позволь мне открыть глаза тебе! Есть у вашего ствола побег — Ир, первенец четвертого твоего сына, он как пальма у ручья, как стройная тростинка в низине. Поговори же с Иудой, со своим львом, чтобы он дал меня ему в жены!

Для Иакова это было полной неожиданностью.

— Вот куда ты клонишь, — отвечал он, — вот что ты имеешь в виду? Право, право же, мне это и в голову не пришло бы. Ты говорила мне об ответственности, которую я взял на себя, просветив тебя и образовав, и сама же загоняешь меня в тупик моей ответственностью. Конечно, я могу поговорить со своим львом и замолвить перед ним слово, но могу ли я быть за это в ответе? Мой дом примет тебя с распростертыми объятьями и скажет тебе: «Добро пожаловать!» Но разве я для того просветил и образовал тебя, чтобы обречь тебя на несчастье? Я не люблю злословить о ком-либо в Израиле, но ведь сыновья дочери Шуи — неудачное племя, это шалопаи перед господом, и я предпочитаю на них не глядеть. Право, мне трудно решиться и выполнить твою просьбу, ибо если эти юнцы и пригодны для брака, в чем я сомневаюсь, то, во всяком случае, не с тобой.

— Со мной, — сказала она твердо, — со мной, если даже больше ни с кем, — одумайся, отец мой и господин! Иуде на роду было написано иметь сыновей. Каковы бы они ни были, они от доброго семени, ибо в них семя Израиля, через них нельзя перепрыгнуть и нельзя заставить их выпасть, если только они не выпадут сами, не выдержав испытания жизнью. И им тоже суждено иметь сыновей, по меньшей мере одного сына, и суждено это, по меньшей мере, одному из них, первенцу Иру, тростинке и пальме. Я люблю его и хочу возвысить его своей любовью, сделать его героем в Израиле.

— Героиня, — возразил он, — ты сама, дочь моя, и я на тебя полагаюсь.

Так он пообещал ей замолвить за нее слово у своего льва Иуды, хотя сердце его было полно противоречивых чувств. Он любил эту женщину всеми оставшимися у него силами души и был рад одарить ее мужественностью, которая восходит к нему. Но ему было и жаль, и совестно, что мужественность эта не лучшего свойства. А в-третьих, он сам не знал почему, вся эта история внушала ему глухой ужас.

«НЕ БЛАГОДАРЯ НАМ!»

Иуда не оставался со своими братьями при отце, в роще Мамре, а, подружившись с человеком по имени Хира, пас скот ближе к равнине, на выгонах Одоллама, и там же жили в браке первенец его Ир с Фамарью, в браке, заключенном благодаря Иакову, который призывал к себе четвертого своего сына и замолвил перед ним слово за решительную просительницу. Почему Иуда должен был встать на дыбы? Он согласился на этот брак несколько, правда, хмуро, но согласился без долгих слов, и Фамарь, таким образом, была выдана замуж за Ира.

Нам не к лицу заглядывать за занавес этого брака; уже и тогда ни у кого не было охоты это делать, и всегда человечество излагало эти факты резко и лаконично, воздерживаясь от каких бы то ни было обвинений и соболезнований, справедливое распределение которых

всегда представлялось ему делом слишком уж затруднительным. Несчастье породили, с одной стороны, честолюбивое отношение к истории, соединенное со свойствами астартического характера, а с другой — юношеское бессилие, не выдержавшее серьезного испытания жизнью. Самое лучшее — последовать примеру предания, резко и лаконично сообщив, что вскоре после свадьбы первенец Иуды Ир умер, или — как это сказано там — что его умертвил господь: ну, конечно, от господ все, и все, что происходит на свете, можно определить как дело его рук. Этот юноша умер в объятиях Фамари от горлового кровотечения, которое вызвало бы смерть, даже если бы он и не захлебнулся кровью; иные даже порадуются, что умер он, по крайней мере, не как собака, не в одиночестве, а в объятиях жены, хотя и это достаточно тягостная картина, — женщина, обрызганная кровью, в которой были жизнь и смерть ее молодого супруга. Нахмутив брови, она встала, омылась и потребовала в мужья второго сына Иуды — Онана.

В решимости этой женщины всегда было что-то ошеломляющее. Она поднялась к Иакову и пожаловалась ему на свою беду, она пожаловалась ему в известной мере на бога, так что старик смутился за Иа.

— Мой муж умер, — сказала она. — Ир, твой внук, скоропостижно, в мгновение ока! Можно ли это понять? Как может бог сделать такое?

— Он все может, — ответил Иаков. — Смирись! Порою он делает самое невероятное, ибо всемогущество — это, если подумать, великий соблазн. Смотри на это как на пережиток хаоса! Иногда он вдруг нападет на кого-нибудь и умертвит его ни за что ни про что, без всякого объяснения.

— Я мирюсь, — возразила она, — с произволом бога, но не со своей участью, ибо вдовства своего не признаю, не могу, не имею права признать. Если выпал один, его должен сразу заменить следующий, чтобы не погасла искра, которая еще жива во мне, и чтобы от мужа моего остались на земле имя и след. Я забочусь не о себе и не об умерщвленном, а об общем и вечном. Ты должен, отец-господин, замолвить перед Израилем слово и установить правило, что если один из братьев умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен заменить умершего и жить с нею. А первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле!

— А если он не захочет, — возразил Иаков, — жениться на невестке?

— В этом случае, — твердо сказала Фамарь, — она должна выйти и во всеуслышание заявить: «Деверь мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда нужно призвать его и поговорить с ним. И если он станет и скажет: «Не хочу взять ее», — пусть она при всех подойдет к нему, и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лицо его и скажет: «Так надо поступать с каждым, кто не созидает дома брату своему». И пусть ему будет имя «Разутый»!

— Тогда он, пожалуй, одумается, — сказал Иаков. — И ты права, дочь моя, мне легче будет замолвить слово перед Иудой, чтобы он дал тебе в мужья Онана, если я возведу это в правило и сошлюсь на закон, который провозглашу под деревом наставленья.

Брак с деверем, введенный по ходатайству Фамари, был делом историческим. Да, историческое манило эту деревенскую девушку. Без вдовства получала она в мужья юнца Онана, хотя Иуду этот примирительный брак по боковой линии не очень-то радовал, а деверя, о котором шла речь, и того меньше. Вызванный отцом с одолламского пастбища, Иегуда долго упорствовал, считая, что не следует повторять со вторым того, что так злосчастно кончилось с первым. К тому же, — говорил он, — Онану всего двадцать лет, и если он вообще создан для брака, то уж, во всяком случае, не созрел для него и не склонен к нему.

— Но она снимет с него сапог и сделает все прочее, если он откажется восстановить дом своего брата, и его будут всю жизнь звать «Разутый».

— Ты делаешь вид, Израиль, — сказал Иуда, — будто так водится, хотя сам только что ввел это, и я знаю, по чьему совету.

— Устами этой девушки говорит бог, — ответил Иаков. — Он привел ее ко мне, чтобы я познакомил ее с ним и чтобы он мог говорить ее устами.

Тогда Иуда перестал спорить и женил сына.

Заглядывать в альковы — ниже достоинства этого рассказчика. Итак, не вдаваясь в подробности — второй сын Иуды, юноша в своем роде, то есть в каком-то сомнительном роде, красивый и миловидный, человек волевой, волевой в смысле органичной строптивости, равнозначной приговору самому себе и отрицанию жизни в нем самом. Не собственной его жизни, ибо себя он очень любил и наряжался и подкрашивался самым шегольским образом; но всякому продолжению жизни после него и благодаря ему он внутренне говорил «нет». Известно, что он был недоволен ролью супруга-заменщика, восстанавливающего себя не себе, а своему брату. Это верно: на словах и даже в мыслях он мог изображать дело именно так. Но в действительности, которую слова и мысли только перефразируют, все это потомство Иуды всегда знало, что оно представляет собой тупик и что по каким бы дорогам ни пошла жизнь, она должна будет, она захочет, она сумеет, она посмеет пойти дальше, во всяком случае, не благодаря им. Не благодаря нам! — говорили они в один голос и были по-своему правы. Жизнь и созревание могли идти своими дорогами; братья на это плевали. Особенно плевал на это Онан, и смазливая его миловидность выражала лишь себялюбие того, на котором все кончится.

Вынужденный вступить в брак, он решил посмеяться над лоном. Но он не учел честолюбья, астартически вооруженного честолюбья Фамари, которое противостояло его строптивости, как одна грозная туча другой, и породило с нею разряжающую молнию смерти. Он умер в ее объятиях от внезапного удара, в один миг. Мозг его сковало, и он скончался.

Фамарь поднялась и сразу потребовала, чтобы теперь ей дали в мужья младшего сына Иуды, Шелу, которому было только шестнадцать лет. Если кто-либо назовет ее самой поразительной фигурой всей этой истории, мы не осмелимся ему возразить.

На этот раз она не добилась своего. Заколебался уже и сам Иаков — хотя лишь в ожидании выразительного протеста Иуды, протеста, который не заставил себя долго ждать. Иуду называли львом, но за последнего своего мальчика, чего бы тот ни стоил, он вступился, как львица, и не дал согласия.

— Ни за что! — сказал он. — Чтобы он тоже погиб у меня, — да? — кровавой смертью, как первый, или бескровной, как второй? Нет, не приведи бог, ни в коем случае! Я повинуюсь твоему приказу, Израиль, и поспешил подняться к тебе с равнины, от свойственников, среди которых дочь Шуи родила мне этого сына и где она теперь лежит больная. Ибо она больна и должна умереть, и если Шела тоже умрет у меня, я буду гол. Тут нет никакого неповиновения, ибо ты, конечно, не отдашь мне такого приказа, ты просто высказываешь соображение, в котором сам сомневаешься. Но у меня нет сомнений, и я скажу сразу, скажу от своего и от твоего имени: «Нет и нет». Что думает эта женщина, неужели я отдам ей и своего барашка, чтобы она поглотила его? Это Иштар, убивающая своих возлюбленных! Это ненасытная пожирательница юнцов! К тому же он еще дитя малолетнее, и не место этому ягненку в загоне ее объятий.

И действительно, Шелу никак нельзя было представить себе женатым — по крайней мере теперь. Безусый, высокоголосый, самодовольно-никчемный, он походил больше на ангела, чем на дитя человеческое.

— А сапог и все прочее, — помедлив, напомнил Иаков, — если этот мальчик откажется воздвигнуть дом брату своему?

— На это у меня найдется ответ, господин мой, — сказал Иуда. — Если эта хищница не наденет сейчас одежду скорби, не угомонится и не захочет, как то подобает вдове, потерявшей двух мужей, скромно скорбеть в доме отца своего, я сам — не будь я твоим четвертым сыном — сниму с нее при всем народе сапог и, сделав все остальное, открыто назову ее вампиром, чтобы ее побили камнями или сожгли.

— Ты слишком далеко заходишь в своем недовольстве, — сказал уязвленный Иаков.

— Слишком далеко? А как далеко зашел бы ты, если бы у тебя захотели отнять твоего Вениамина, отправив его, например, в опаснейший путь? А ведь он не последний твой сын, а только младший. Ты охраняешь его с посохом в руках, ты не спускаешь с него глаз, чтобы он не потерялся, ему и отлучиться почти нельзя. Ну, так Шела — это мой Вениамин, и я противлюсь, все во мне противится его выдаче!

— Давай, — сказал Иаков, на которого этот довод сильно подействовал, — решим дело полюбовно, чтобы выиграть время, не оскорбляя твоей снохи. Не будем отказывать ей, а дадим ее желанию остыть. Ступай и скажи ей: мой сын Шела слишком еще мал и даже отстал от своих лет. Поживи вдовою в доме отца своего, покуда мальчик не вырастет, и тогда я отдам его тебе, чтобы он восстановил семья своему брату. Так мы утихомирим ее желание на несколько лет, ибо напомнить о нем она сможет лишь по их истечении. А вдруг она привыкнет к вдовству и вообще не станет напоминать? Ну, а если все-таки напомнит, мы уговорим ее подождать, более или менее справедливо заявив ей, что сын твой все еще недостаточно вырос.

— Пусть будет так, — сказал Иуда. — Мне совершенно безразлично, что мы ей скажем, только бы уберечь нежную надменность от жарких объятий Молоха.

СТРИЖКА ОВЕЦ

Как сказал Иаков, так и поступили. Фамарь выслушала ответ своего свекра, нахмурилась брови и пристально глядя ему в глаза. Но она покорилась. Скорбящей вдовою, не подавая вестей о себе, прожила она в доме отца год, и еще год и даже еще один. После двух лет у нее было полное право повторить свое требование; но она нарочно ждала и третий год, чтобы ей не ответили, что Шела все еще мал. Терпение этой женщины было столь же недюжинным, как ее решимость. Но решимость и терпение — это, по-видимому, одно и то же.

Когда же Шела достиг девятнадцатилетнего возраста и, следовательно, расцвета доступной ему мужественности, она пришла к Иуде и сказала:

— Срок исполнился, пришло время дать меня в жены твоему сыну, а его мне в мужья, чтобы он восстановил своему брату имя и семья. Вспомни свое обязательство!

Но еще до того как истек первый год ожидания, овдовел сам Иуда: дочь Шуи умерла, умерла с горя, убитая служением мужа Астарте, гибелью сыновей и тем, что ее же в этом и обвиняли. У Иуды остался один Шела, и он менее, чем когда-либо, был расположен отправить его в опаснейший путь. Поэтому он сказал:

— Обязательство? Я, дорогая моя, не давал тебе никаких обязательств. Значит ли это, что я отпираюсь от собственных слов? Нет,нисколько. Но я никак не думал, что ты будешь настаивать на этом спустя столько времени, ибо мои слова были просто успокоительной отговоркой. Если тебе нужна еще одна успокоительная отговорка — изволь, но лучше обойтись без нее, тебе пора бы уже успокоиться самой. Шела, правда, повзрослел, но немного, и теперь ты дальше от него по возрасту, чем была тогда, когда я успокоил тебя отговоркой. Ты годишься ему чуть ли не в матери.

— Вот как? — спросила она. — Ты, я вижу, указываешь мне мое место.

— Твое место, — сказал он, — по-моему, в доме твоего отца, где тебе пристало и впредь жить вдовой, скорбящей о двух мужьях.

Она поклонилась и ушла. Но тут-то все и начинается.

Не так-то легко было выключить эту женщину, заставить ее свернуть с дороги — чем дольше мы глядим на нее, тем больше дивимся ей. Своим положением во времени она распорядилась свободно. Сначала она спустилась ко внукам, которых проклинала, потому что они стояли поперек дороги тем, которых ей хотелось произвести на свет, — теперь она решила снова поменять поколение и подняться опять — в обход того единственного, кто еще остался

от внучатного поколения и кого не хотели отдать ей, чтобы он либо вывел ее на столбовую дорогу, либо погиб. Ибо она не могла допустить, чтобы искра ее погасла и чтобы ее, Фамарь, отстранили от наследия бога.

Для Иуды, сына Иакова, события разворачивались вот как. Вскоре после того дня, когда лев снова превратился в львицу и защитил своего детеныша, год вступил в пору стрижки овец и праздника урожая шерсти, праздника, на который, для жертвенного бражничества, собирались то в одном, то в другом месте пастухи и овцеводы целого округа; на этот раз таким местом был избран горный поселок Тимнах, и туда, чтобы постричь овец и повеселиться, спускались сверху и поднимались снизу пастухи и хозяева стад. Иуда поднялся туда вместе со своим другом и старшим овчаром Хирой из Одоллама, тем самым, через которого он познакомился с дочерью Шуи; они тоже хотели постричь овец и повеселиться, по крайней мере Хира; ибо Иуде было не до веселья, как и всегда. Он жил в аду, в наказание за преступление, в котором когда-то участвовал, и то, как погибли его сыновья, вполне отвечало духу этого ада. Он был удручен своим преемничеством и предпочел бы, чтобы в пору праздника и веселья год вообще не вступал; ибо если ты раб ада, то всякая праздничность приобретает лишь адский смысл и ведет лишь к осквернению преемничества. Но что поделаешь? Только тот, кто болен телом, не в долгу перед жизнью. А если ты болен душой — это не считается, никто этого не понимает, и ты должен участвовать в жизни и проводить время с другими. Поэтому Иуда пробыл в Тимнахе три дня, приносил жертвы и пировал.

Домой он спускался один; он больше всего любил ходить один. Мы знаем, что он шел пешком, ибо при нем была довольно-таки дорогая трость с набалдашником, а трость нужна не для верховой езды, а для ходьбы. Опираясь на трость, он шагал вниз по тропинкам холмов, мимо виноградников и селений, в красноватом сиянье угасавшего дня. Дорога была ему отлично знакома; держа путь к свойственникам в Одоллам, он проходил мимо Энама, или селенья Энаим у подножья гор, где и дома, и глинобитная стена, и ворота были залиты праздничным светом закатного неба. У ворот притаилась какая-то женщина; подойдя ближе, он увидел, что она закутана в кетонет пассим, покрывало обольстительниц.

Первая его мысль была: я один. Вторая: пройду мимо. Третья: ну ее в преисподнюю! Надо же было этой кедеше, этой жрице радости попасться на моем мирном пути! Это на меня похоже. Но мне наплевать, ибо я не только тот, на кого это похоже, но и тот, кто на это зол, кто способен изменить самому себе и пройти мимо. Старая песня! Неужели ее нужно петь вечно? Так, со стоном, поют прикованные к веслам рабы-каторжане. Там, наверху, я спел ее, стеная, с девкой-танцовщицей и мог бы уж на некоторое время насытиться. Как будто ад бывает когда-нибудь сыт! Позорное, нелепое любопытство к полнейшей чепухе! Что она скажет и как поведет себя? Пусть это узнает тот, кто придет сюда после меня. Я пройду мимо.

И он остановился.

— Владычица в помощь! — сказал он.

— Пусть она придаст тебе силы, — прошептала она.

Тут его уже схватил ангел желаний, и, услышав ее шепот, он задрожал от любопытства к этой женщине.

— Шептунья с большой дороги, — сказал он дрожащими губами, — кого ты ждешь?

— Я жду, — отвечала она, — веселого сладострастника, который разделит со мною тайны богини.

— Тогда я более или менее подойду, — сказал он, — ибо я сладострастник, хотя и невеселый. У меня нет страсти к сладострастию, зато у сладострастия есть страсть ко мне. Я думаю, что при твоём ремесле вожделье тоже не очень-то вожделье и ты просто довольна, если оно есть у других.

— Мы жертвовальницы, — отвечала она. — Но кого надо, мы умеем принять как надо. Ты хочешь меня?

Он прикоснулся к ней.

— А что ты мне дашь? — задержала она его.

Он засмеялся.

— В знак того, что я сладострастник, не лишенный веселости, — сказал он, — я подарю тебе на память козла из стада.

— Но у тебя его нет с собой.

— Я тебе пришлю его.

— Так все говорят сначала. А потом перед тобой другой человек, который не помнит своего слова. Мне нужен залог.

— Какой же?

— Перстень, что у тебя на пальце, перевязь, что у тебя на шее, и трость, что у тебя в руке!

— Ты недурно заботишься о владычице, — сказал он. — Бери!

И он пропел с ней песню у дороги на вечерней заре, и она скрылась за стеной. А он пошел домой и на следующее утро сказал Хире, своему пастуху:

— Вот, значит, какое дело. У энаимских ворот, у селенья Энам, попалась мне одна потаскушка из храмовых, и было в глазах у нее под кетонетом что-то такое — ну, да что говорить, ведь мы же мужчины! Будь добр, доставь ей козла, которого я ей обещал, и получи у нее мои вещи, что мне пришлось ей оставить, — перстень, палку и перевязь. И козла выбери хорошего, стоящего, чтобы эта девка не называла меня скрягой. Возможно, она опять сидит у ворот, а нет — так расспроси тамошних жителей.

Хира выбрал козла, чертовского безобразия и великолепия, с кольчатými рогами, раздвоенным носом и длинной бородой, и отвел его в Энаим, к воротам, где никого не было.

— Блудница, — спросил он в поселке, — что сидела за стеной у дороги, — где она? Вы же должны знать вашу блудницу!

Но ему ответили:

— Здесь не было и нет никакой блудницы. Такого добра у нас вообще нет. У нас городок приличный. Ищи в каком-нибудь другом месте козу для твоего козла, не то полетят камни!

Хира передал это Иуде, который только пожал плечами.

— Если ее нельзя найти, — сказал он, — это ее вина. Никто не вправе сказать, что мы не пытались вернуть ей мой долг. Правда, вещи мои пропали. На палке был набалдашник из хрустала. Отведи козла назад в стадо!

И он забыл об этом. А спустя три месяца обнаружилось, что Фамарь беременна.

Такого скандала давно не было в этих местах. Она жила вдовой в родительском доме и носила одежду скорби, а теперь вдруг выяснилось, ибо этого уже нельзя было скрыть, что она вела себя бесстыдно и заслуживает смерти! Мужчины глухо негодовали, женщины визгливо поносили и проклинали ее. Ибо Фамарь всегда смотрела на них на всех свысока и держалась так, словно она чем-то лучше. До Иуды сразу дошел этот ропот; «Ты знаешь, ты знаешь? Твоя сноха Фамарь вела себя так, что этого ей уже и не скрыть. Она брюхата от блуда!»

Иуда побледнел. Оленьи его глаза выпучились, ноздри затрепетали. Грешники бывают очень нетерпимы к греховности мира: к тому же он был зол в душе на эту женщину, потому что она сожрала двух его сыновей и потому что он не сдержал обещания, которое дал ей относительно третьего.

— Она предалась пороку, — сказал он. — Пусть будет медным небо над ее головой и железной земля под ее ногами! Надо ее сжечь! Уже давно ее впору было послать на костер, но теперь ясно, что она гнусная преступница в Израиле, осквернившая свою одежду скорби. Надо вывести ее за дверь отчего дома и сжечь дотла. А кровь ее падет на нее!

И, широко шагая, он пошел впереди размахивавших руками доносчиков, к которым по дороге, тоже размахивая руками, присоединялись жители ближайших деревень, так что к вдовьему дому Иуда привел за собой жадную толпу, оглашавшую воздух бранью и свистом. Слышно было, как внутри дома стонут и завывают родители Фамари, но самой ее не было слышно.

Войти в дом и привести развратницу отрядили троих мужчин. Напрягши плечи и руки, опустив подбородок на грудь и сжав кулаки, они пошли за Фамарью, чтобы сначала выставить ее на позор, а потом сжечь. Но вскоре они вернулись без Фамари, хотя и не с пустыми руками. Один нее кольцо, он нес его двумя пальцами, оттопырив другие. Второй держал прямо перед собой трость, схватив ее как раз посередине. У третьего болталась на руке алая перевязь. Они подали эти вещи Иегуде, который стоял впереди, и сказали:

— Вот что велела нам передать тебе Фамарь, твоя сноха: «Я понесла свой залог от того, кто оставил в залог эти предметы. Ты узнаешь их? Так знай же: я не та женщина, которая позволит отстранить себя и своего сына от наследия бога!»

Лев Иуда глядел на эти вещи, а люди, столпившись вокруг него, заглядывали ему в лицо, и если до сих пор он был бледен от злости, то сейчас он медленно побагровел до самых корней волос, и даже глаза его налились кровью. И он не сказал ни слова. Тут какая-то женщина рассмеялась, а за нею еще одна, а потом какой-то мужчина, а потом много мужчин и женщин, и наконец, неудержимо и оглушительно, вся толпа; корчась от хохота, люди задирали к небу разинутые рты и кричали: «Это ты. Иуда! Иуда снохач! Ха-ха-ха, хи-хи-хи, хо-хо-хо!»

А что же четвертый сын Лии? Он тихо сказал, стоя среди толпы: «Она правее меня». И, склонив голову, удалился.

Когда же пришел час Фамари, спустя полгода, она родила двух близнецов, которые выросли в мощных мужчин. Она отняла у Израиля двух сыновей, спустившись во времени, но, поднявшись, дала взамен двух несравненно лучших. Особенно мощен был вышедший первым Фарес, который оставил в мире и в истории такое потомство, что только держись. Еще в седьмом колене он родил Вооза, мужа миловидной, олицетворение мощи. Вооз и его жена очень возвысились в Ефрафе и прославились в Вифлееме, ибо их внуком был вифлеемец Иессей, отец семерых сыновей и одного младшего, смуглого, с красивыми глазами. Тот искусно играл на гуслях и умело владел пращой и поверг в прах исполина, — будучи уже тайно помазан на царство.

Все это — дела далекого будущего, относящиеся к той большой истории, для которой история Иосифа — всего только вставка. Но вставкой в историю Иосифа была и остается история женщины, никому не позволившей выставить себя прочь и вышедшей на столбовую дорогу с ошеломляющей решительностью. Вот она, высокая и суровая, стоит на склоне родимого своего холма и, держа одну руку на бедре, а другой защищая глаза, глядит на распаханные поля, над которыми, преломившись в нависших тучах, широким потоком разливаются сверкающие лучи.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. СВЯЩЕННАЯ ИГРА

О ДЕЛАХ ВОДНЫХ

У всех детей Египта, даже у самых мудрых и сведущих, были о природе их бога-кормильца, то есть о той ипостаси божества, которую племя Аврама именовало «Эль Шаддаи», богом пищи, а в стране черной земли называли «Хапи», что значит «льющийся через край», «набухающий», — у этих детей были о свойствах потока, создавшего их диковинную, похожую на оазис между пустынями страну, о свойствах реки, поддерживавшей их жизнь и их веселую, несмотря на поклонение смерти, цивилизацию, короче говоря, о реке Ниле — самые детские представления. Они верили и веками учили своих потомков, что Нил, бог знает где и как, вытекает из преисподней, чтобы направиться к «большому зеленому», то есть к безмерно-огромному океану, каким они считали Средиземное море, и что убыль воды после оплодотворяющего разлива тоже равнозначна возврату в подземное царство... Короче говоря, тут у них царило суевернейшее невежество, и лишь благодаря тому, что во всем окружающем мире с

просвещением дело обстояло тогда не лучше, а местами и хуже, они вообще выживали при такой темноте. Правда, несмотря на нее, они воздвигли пышную и могущественную державу, повсюду вызывавшую восхищение и продержавшуюся много тысячелетий, создали немало прекрасных вещей и, в частности, весьма ловко управлялись с предметом своей непросвещенности — потоком-кормильцем. И все-таки нам, знающим все гораздо лучше и даже досконально, приходится пожалеть, что никого из нас не было тогда на месте, чтобы озарить светом мрак их умов и дать им просвещенную справку о том, как в действительности обстоит дело с водой Египта. Сколько шуму наделало бы в жреческих школах и в ученых кругах страны сообщение, что Хапи вовсе не берет своего начала в преисподней, отвергаемой нами, кстати сказать, как предрассудок, а вытекает из больших озер тропической Африки и что для того, чтобы стать богом пищи, Нил должен сначала напиться, вобрав в себя все воды, стекающие на запад с эфиопских Альп. Сбегая там в период дождей с гор, насыщенные каменным крошевом ручьи сливаются в два потока, представляющие собой, так сказать, предысторию будущей реки: в Голубой Нил и Атбару, которые лишь позже, пространственно позже, у Хартума и Бербера, сходятся в общем русле и превращаются в просто Нил, животворный поток. Ибо в середине лета единое это русло постепенно наполняется такой массой воды и взвешенного в ней ила, что река широко затопляет берега, отчего ее и называли «избыточная»; и лишь через несколько месяцев, так же постепенно, она снова входит в свои пределы. А оставшийся от разлива слой ила образует, как то было известно и в жреческих школах, плодородную почву страны Кеме.

С удивлением и, возможно, досадой на глашатаев истины услышали бы они, что Нил течет не снизу, а сверху, — с такой же, в сущности, высоты, с какой падает на землю дождь, который играет жизнетворную свою роль в других, менее замечательных странах. Там, на горемычной чужбине, Нил помещен на небе, говорили, имея в виду дождь, дети Египта. И надо признать, что в цветистой этой фразе выражена поразительная, почти просвещенная мысль: мысль о взаимосвязанности всех водных запасов земли. Разлив Нила зависит от щедрости дождей в высокогорной части Абиссинии, а дожди эти изливаются из туч, образующихся над Средиземным морем и уносимых в Абиссинию ветром. Если процветание Египта обусловлено счастливым уровнем Нила, то процветание Канаана, страны Кенаны, Верхнего Ретену, как называлась эта земля тогда, или Палестины, как обозначает родину Иосифа и его отцов наша образованность, обусловлено дождями, которые выпадают там, как правило, дважды в году: поздней осенью — ранние, ранней весной — поздние. Ибо страна эта бедна родниками, а от текущих в глубоких ущельях рек толку мало. Все зависит поэтому от дождей, особенно от поздних, воду которых собирали уже в древнейшие времена. Если их нет, если вместо западных, влажных ветров преобладают восточные и южные суховеи, урожай гибнет, наступает засуха, голод — и притом не только здесь. Ибо если нет дождя в Канаане, то сухо и в горах Эфиопии, ручьи не бегут с них, и оба предтечи Кормильца слишком истощены, чтобы сам он мог стать, как говорили дети Египта, «большим» и наполнить каналы, отводящие воду на более высокие пашни; недород и нужда постигают и страну, где Нил находится не на небе, а на земле — а это и есть взаимосвязь всех водных дел в мире.

Зная это хотя бы в самых общих чертах, не приходится удивляться, а остается лишь ужасаться тому, что голод наступает одновременно «по всей земле», «во всех странах», не только в стране ила, но и в Сирии, в стране филистимлян, в Канаане, даже в странах Красного моря, возможно также в Месопотамии и Вавилонии, и что голод «во всех странах велик». Да, если дело примет совсем дурной оборот, то за одним годом неурожая, голода и нужды может со злым упорством последовать другой такой же, и полоса злополучья может растянуться на много лет — при сказочном характере бедствия даже на семь лет, хотя и пять — это уже достаточно скверно.

ИОСИФУ НРАВИТСЯ ЖИТЬ

В течение пяти лет с ветрами, водою и урожаем дела обстояли так превосходно, что из благодарности пятерку произвели в семерку, — она этого вполне заслуживала. Но вот обстоятельства переменялись, как это, благодаря своей материнской заботе о царстве черноты, нечетко предугадал во сне фараон и как отважился четко разгадать Иосиф: Нил не сработал, поскольку в Канаане не сработали зимние дожди, особенно поздние; не сработал один раз — тут впору было горевать; не сработал два раза — тут впору было стонать; не сработал в третий раз — тут впору было ломать в отчаянные руки; и теперь ему уже ничего не стоило не сработать еще столько раз, чтобы это назвали семью годами мякины и засухи.

При таком необычайном неведении природы мы, люди, ведем себя всегда одинаково: сначала, настроенные на обыденный лад, мы заблуждаемся насчет такого явления, не понимаем, к чему оно ведет. Мы прекраснодушно считаем его мелочью и пустяком, и нам странно вспоминать свою слепоту и недогадливость после, когда мы постепенно убедимся, что дело идет о неслыханном злополучье, о первостатейном бедствии, до которого мы никак не чаяли сами дожить. Так было и с детьми Египта. Прошло много времени, прежде чем они поняли, что дожили до поры, именуемой «семью годами мякины», которую, хотя она когда-то уже наступала и даже играла довольно-таки жуткую роль в их письменных сказках, они никак не считывали увидеть воочию. И все же непонимание происходящего было в этом случае менее простительно, чем наша обычная близорукость. Ведь фараон видел сон, а Иосиф истолковал его. Разве тот факт, что предсказанные семь тучных лет действительно наступили, не был уже почти доказательством того, что наступят и тощие? Но за тучные годы дети Египта и думать забыли о тощих, как забывают люди о счете дьявола. А теперь этот счет был предъявлен — в чем они не могли не признаться себе, когда и два и три раза подряд их Кормилец оказался плачевно мал; а общественным следствием этого запоздалого понимания был значительный рост авторитета Иосифа.

Если уже наступление годов изобилия было ему очень на пользу, то как же возросла его слава, когда выяснилось, что и тощие не преминули явиться и что, следовательно, меры, которые он против них принял, внушены высшей мудростью! Во времена мякины и голода министру сельского хозяйства приходится туго, ибо темный народ, никогда не бывающий разумным и справедливым, всегда норовит дать волю эмоциям и объявить виновным в стихийном бедствии ответственного за царство черноты. Совсем, однако, другое дело, если тот предсказал это бедствие; и уж совсем другое дело — тут ему и почет и слава, — если он вовремя пустил в ход волшебные защитные средства, лишаящие это несчастье, пусть даже чреватое немалыми передрыгами, характера катастрофы.

В пришлых сынах чужбины склонности и душевные качества принявшего их народа порою выражены, пожалуй, даже ярче и нагляднее, чем в самих коренных жителях. За двадцать лет акклиматизации в стране его обособления и отрешения типично египетская идея бдительной самозащиты вошла в плоть и кровь Иосифа, но, исходя из этой идеи, он действовал не безотчетно: он держался на достаточной дистанции от нее, чтобы не просто следовать ей, а, с улыбкой видя ее популярность, действовать в расчете на популярность: такое сочетание искренности и юмора обаятельнее, чем голая искренность — искренность без дистанции, без улыбки.

Для его посева, если назвать так его налоговое обложение изобилия, пришло время жатвы, то есть время раздачи хлеба, такого тучного, такого доходного для казны дела, какого не случалось делать ни одному сыну Ра за все время существования этого бога. Ибо, как сказано в книге и как поется в песне: «И была дороговизна во всех землях, а во всей земле Египетской был хлеб». Это, разумеется, не значит, что в земле Египетской не было дороговизны; каковы были при столь огромном спросе цены на зерно, это может представить себе всякий, кто хоть

мало-мальски смыслит в законах народного хозяйства. Пусть он побледнеет, представив себе эти цены, но одновременно пусть учтет, что эта дороговизна управлялась так же, как прежде изобилие, то есть тем же приятным и хитрым человеком, который управлял изобилием; что дороговизна была у него в руках и он мог делать с ней что угодно. Он преданно обращал ее на благо фараону, но заодно и тем, кому справиться с нею было всего труднее, — маленьким людям. Для них он превратил ее в даровую дороговизну.

Это произошло благодаря сложной, невиданной дотоле системе спекуляции и благотворительности, государственного ростовщичества и казенного обеспечения, системе, которая, смешав в себе суровость с человеколюбием, казалась всякому, даже тем, кого она обирала, сказочной и божественной; ведь божественное всегда видится в двойном свете — поди скажи, жестоко оно или добродушно.

Трудно представить себе всю чрезвычайность создавшегося положения. Состояние сельского хозяйства сон о семи опаленных колосьях определил с такой аллегорической меткостью, что это была уже не аллегория, а сухая действительность. Опалены были колосья сновиденья восточным ветром, а именно хамсином, горячим зюйд-остом, — а он дул теперь в течение всей летней и уборочной поры, так называемой шему, с февраля по июнь, почти непрерывно, часто переходя в жаркий ураган и наполняя воздух пылью, которая, словно зола, покрывала зелень, и поэтому все, что ухитрялось, несмотря на бессилие некормленного Кормильца, вырасти, обугливалось от огненного дыхания пустыни. Семь колосьев? Да, так можно было сказать; их было не больше. Другими словами — ни колосьев, ни урожая не было. А что было, было в несчетном, но, собственно говоря, отлично сочтенном и учтенном количестве, — так это зерно, семена и хлеб всякого рода: было в царских складах и ссыпных ямах верховья и низовья, во всех городах и пригородах земли Египетской, и только в земле Египетской; ибо в других местах заранее не позаботились и не построили ковчега на случай потопа. Да, во всей земле Египетской, и только здесь, был хлеб: в руках государства, в руках Иосифа, начальника всего, что дает небо; и он сам стал как дающее небо и как кормящий Нил: он отворял свои амбары — не настежь, а осторожно, то и дело снова их запирая, — и давал хлеб и семена всем, кто нуждался в них, а нуждались в них все: и египтяне, и чужеземцы, что приезжали за хлебом в страну фараона, которая с большим, чем когда-либо, правом носила звание житницы мира. Он давал — это значит: он продавал имущим, продавал по ценам, которые определяли не они, а он, и так как цены его соответствовали неслыханной конъюнктуре, то, золотя и серебря фараона, он мог одновременно давать и в другом смысле: то есть малым и сирым, у которых все ребра наперечет; этим, однако, бедным крестьянам и горожанам со сточных улиц, он давал лишь самое необходимое, то, о чем они вопили, только на посев и прокорм, чтобы им жить, а не умереть.

Это было божественно и в то же время в ладу с похвальным человеческим образцом. Всегда существовали добрые чиновники, которые со справедливым умилением говорили о себе в своих эпитафиях, что в голодные времена они кормили царских подданных и помогали вдовам, не отдавая при этом предпочтения ни сильным, ни слабым, а потом, когда Нил вырастал снова, «не взымали задолженности землепашца», то есть не требовали возврата ссуд и выплаты отсроченного оброка. Иосифовское ведение дел напоминало народу эти надписи. Но в таком масштабе, при таких полномочиях и так божественно пользуясь этими полномочиями, не преуспевал еще ни один чиновник со времен Сета. Операции с зерном, проводимые десятками тысячами писцов и младших писцов, охватывали весь Верхний и Нижний Египет, но все нити сходились в Менфе, в служебном дворце Исключительного Друга и Тенистой Сени, за которым всегда было последнее слово, если дело касалось продажи, займа или пожертвования. К нему приходили богачи, у кого было много земли, и слезно просили у него семенного зерна; он продавал им его за серебро и за золото, но с непременным условием, что они поднимут на современный уровень свою оросительную систему, покончив наконец с ее патриархальной отсталостью: в этом сказывалась его преданность фараону,

самому высокому, в чью казну текло золото и серебро богачей. Доходил до него и стон бедняков о хлебе; этим он раздавал зерно из своих запасов совершенно бесплатно, чтобы они ели, а не сидели голодные: в этом сказывалась его симпатия, коренное свойство его души, о природе которого мы уже все как нельзя лучше сказали выше, так что сейчас незачем к этому возвращаться. Напомним только, что оно было связано с остроумием. И вправду, было что-то остроумное в его системе наживы и обеспечения, так что, несмотря на большую занятость, он был в ту пору всегда очень весел и часто говорил дома своей супруге Аснат, дочери солнца: «Девушка, мне нравится жить».

Продавая, как мы знаем, хлеб по дорогим ценам и за границу, он просматривал среди прочих и ведомости поставок «князьям горемычного Ретену». Ибо правители многих канаанских городов, в том числе Мегиддо и Шахурена, посылали к нему за хлебом, и посланец Аскалуну тоже молил его о хлебе для своего города, и тому тоже продали хлеб, хотя и не дешево. Но и тут коммерческая прижимистость уравнивалась радушием, и он разрешал голодающим горемыкам, сирийским и ливанским пастушьим племенам, «никудашным варварам», как выражались его писцы, переселяться со стадами в Египет, проходя через тщательно охраняемые рубежи, и обретать жизнь восточнее Нила, неподалеку от каменистой Аравии, на влажных лугах Зоана, у Танитского рукава, если они обещали не переступить за пределы выделенной им области.

Поэтому Иосифу случалось читать такие донесения с границы: «Мы пропустили через Мернептахскую крепость к прудам Мернептаха бедуинов из Едома, чтобы они кормились и кормили свой скот на пажитях фараона, прекрасного Солнца стран».

Он читал их внимательно. Все сообщения с границы он читал самым внимательным образом, и писались они, согласно его требованиям, очень подробно: все лица, пропущенные через восточные заставы в драгоценную землю Египетскую, которая стала теперь, естественно, еще драгоценнее, — то есть все, кто приходил из чужих краев за хлебом в фараонову житницу, подлежали, по приказу Иосифа, строжайшему учету, и пограничным офицерам вроде Горваза из крепости Зел, того писца великих ворот, который когда-то впустил в Египет вместе с измаильтянами самого Иосифа, ведено было составлять эти ведомости очень старательно, регистрируя не только место рождения, род занятий и имя новоприбывшего, но также имя его отца и даже отца отца, и ежедневно, аккуратно и срочно посылать эти списки в Менфе, в присутственный дом Тенистой Сени Царя.

Там их начисто, красными и черными чернилами, переписывали на дважды хороший папирус и в таком виде передавали Кормильцу. А тот, хотя у него было достаточно прочих дел, ежедневно прочитывал их сверху донизу — так же тщательно, как их составляли.

ОНИ ПРИДУТ

Это было на втором году тощих коров, в середине эпифи, что соответствует нашему маю, в отчаянно жаркий день — непомерно жаркий даже для летней трети года, а ведь в эту пору в земле Египетской всегда бывает жара: солнце жгло, как огонь, в тени мы насчитали бы сорок градусов, дул пыльный ветер, и на улицах Менфе песок пустыни запорашивал воспаленные глаза горожан. Мухам и тем было неведомо, и вялы, как мухи, были люди. За полчаса северо-западного бриза богачи отдали бы много золота и помирились бы, так уж и быть, с тем, что и бедняки от этого выиграли бы.

Но, возвращаясь в полдень из присутственного дворца домой, тоже, правда, с мокрым и запыленным лицом, Иосиф, Верховные Уста Царя, был очень возбужден и подвижен — если эти слова могут определить его состояние. Сворачивая иногда, согласно привычке, которой наместник не изменил и сегодня, с парадного проспекта, его паланкин, сопровождаемый повозками нескольких приглашенных им на обед сановников министерства, про-

нес его по грязным от сточных вод улицам бедняков, приветствовавших его очень сердечно, восторженно и непринужденно. «Джепнутеэфонех!» — кричали эти тощие, все ребра наперечет, людишки, посылая ему воздушные поцелуи. «Хапи! Хапи! Десять тысяч лет жизни тебе. Кормилец, после твоей кончины!» И они, которым предстояло отправиться в пустыню завернутыми в одну циновку, встречали и провожали его пожеланием: «Четыре прекрасных кувшина твоим внутренностям, а твоей мумии алавастровый гроб!» То была их симпатия в ответ на его симпатию.

Но вот его пронесли через расписные ворота пожалованного ему особняка в палисадник, где масличные, перечные и фиговые деревья, темная зелень кипарисов и опахала пальм, а также пестрые, похожие на стебли папируса столбы примыкавшей к дому террасы отражались в четырехугольнике оправленного камнем лotosового пруда. Широкий песчаный въезд огибал этот пруд, и когда носильщики остановились, скороходы подставили Иосифу колени и затылки, чтобы он по этим ступенькам спустился на землю. Май-Сахме, его управляющий, спокойно ждал его на террасе, вверху боковой лестницы, в обществе двух левреток из страны Пунт, Хепи и Хецес, животных очень благородных, украшенных золотыми ошейниками и дрожавших от нервного напряженья. Друг фараона взбежал по отлогой лестнице проворней обычного, проворнее, собственно, чем то подобало египетскому вельможе на виду у людей. Он даже не оглянулся на свою свиту.

— Май, — сказал он торопливо, сдавленным голосом, глядя головы собак, которые в знак приветствия положили лапы ему на грудь, — мне нужно немедленно поговорить с тобою наедине. Пройдем поскорее ко мне, а эти пусть подождут. Обед не к спеху, да и не смогу я сейчас есть, меня ждут дела поважнее, они касаются вот этого свитка, или, вернее, этот свиток касается их, я тебе все объясню, как только мы пройдем ко мне и будем одни...

— Прежде всего спокойствие, — отвечал Май-Сахме. — Что с тобой, Адон? Ты же весь дергаешься! А что ты не можешь есть, этого мне бы лучше вовсе не слышать, — ты, благодаря которому ест столько людей. Не хочешь ли ты сначала омыться от пота живой водой? Нельзя, чтобы пот застаивался в порах и полостях тела. Он разъедает и раздражает кожу, особенно если он смешан с песчаной пылью.

— Это тоже позднее. Май. Мытье и еда сейчас сравнительно несущественны, ибо да будет тебе известно то, что известно мне, известно благодаря этому свитку, который мне доставили перед самым моим отъездом из присутствия, а именно — что это наконец пришло, или, вернее — они пришли, что, впрочем, одно и то же, ибо это пришло, потому что пришли они, и спрашивается, что делать и как нам быть и как мне вести себя, ибо я страшно взволнован!

— Как же так, Адон? Прежде всего спокойствие! Того, о чем говорят, что это наконец пришло, ждут, а чего ждут, того не пугаются. Если ты согласишься сказать мне, кто пришел или что пришло, я докажу тебе, что нет никаких оснований пугаться и что уместно лишь полное спокойствие.

Обмениваясь этими словами, они быстро, хотя невозмутимый Май-Сахме и пытался идти медленнее, шагали по галерее, которая вела на фонтанный двор. Но Иосиф с Май-Сахме, в сопровождении Хепи и Хецес, завернули направо, в комнату с пестрым потолком, маляхитовой притолокой и веселыми фризами вдоль стен вверху и внизу, служившую хозяину библиотекой и отделявшую большой приемный зал дома от его спальни. Обставлена была эта комната со всей изысканностью земли Египетской: инкрустированный диван, обложенный шкурами и подушками, превосходные резные ларцы для свитков на ножках выкладной работы и в письменах, львиноногие кресла с плетеными сиденьями и спинками из тисненной золотом кожи, столы для цветов и подставки с фаянсовыми вазами и стеклянными, отливающими перламутром сосудами... Сжав локоть своего управляющего, Иосиф пружинисто приподнимался и опускался на цыпочках. Глаза его были влажны.

— Май, — воскликнул он со сдерживаемым ликованием, со спирающим дух веселым восторгом в голосе, — они придут, они здесь, они в этой стране, они прошли крепость Зел, я

это знал, я этого ждал, и все же этому не верю, у меня от волнения сдавило горло, и я сам не знаю, где я...

— Будь так добр, Адон, не пляши со мной, ведь я же человек сдержанный, а соблаговоли выразиться понятнее. Кто прибыл?

— Мои братья. Май, мои братья! — воскликнул Иосиф, покачиваясь на носках.

— Твои братья? Дикари, что разорвали твою одежду, бросили тебя в яму и продали тебя в мир? — спросил начальник темницы, которому его повелитель все это давно поведал.

— Ну да! Ну да! Те самые, кому я обязан всем своим счастьем и своим величием здесь внизу!

— Ну, Адон, ты несколько нарочито оборачиваешь дело в их пользу.

— Бог обернул его, мой дворецкий! Бог повернул его к лучшему всем на пользу, а важен конечный итог, к которому он стремился. Пока нет итога, налицо только поступки, а поступки могут казаться дурными. Но когда итог известен, о поступках нужно судить по нему.

— Это еще вопрос, господин. Имхотеп Мудрый был бы, возможно, другого мнения. А отцу твоему они выдали кровь животного за твою кровь.

— Да, это было мерзко. Он, несомненно, упал замертво. Но, видно, это должно было случиться, мой друг, иначе не могло быть, потому что так больше не могло продолжаться. Подумать только, отец мой, человек большой и мягкой души, и я, — какой я был тогда зеленый юнец! Зеленый-презеленый, полный преступного доверия и слепой требовательности. Это просто позор, до чего поздно достигают иные зрелости! Если, конечно, считать, что теперь я ее достиг. Чтобы созреть, нужна, может быть, вся жизнь.

— Возможно, Адон, что в тебе все еще много мальчишеского. И ты уверен, что это действительно твои братья?

— Уверен ли? Да в этом не может быть ни малейшего сомнения! Разве я зря отдал такой строгий приказ насчет регистрации и донесений? Это я сделал не зря, ибо если мы и назвали нашего старшего сына Манассией, то только, скажу я тебе, для проформы, и я вовсе не забыл отцовского дома, отнюдь нет, я думал о нем ежедневно и ежечасно все эти несметные годы, ведь я же обещал маленькому Вениамину в лабиринте Растерзанного, что переселю их всех к себе, когда возвышусь и буду ходить в ключах... Уверен ли я, что это они? Вот прочти, это доставлено мчащимся гонцом и опередило их на день или два. Сыновья Иакова, сына Ицхака, из рожи Мамре, что близ Хеврона: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Дан, Неффалим... для закупки хлеба... И ты говоришь о каких-то сомнениях? Это они, вдесятером. Они прибыли среди других прибывших, с караваном покупателей. Писцы не подозревали, кого они занесли в список. И сами они никак не подозревают, к кому их приведут и кто здесь ведет торговлю на правах Верховных Уст Царя в этой стране. Ах, Май, если бы ты знал, каково у меня на душе! Но я и сам этого не знаю, во мне сейчас тоху и боху, если тебе понятны эти слова. А ведь я знал, что так будет, я этого ожидал, я ждал этого много лет. Я знал это, когда стоял перед фараоном, и когда я гадал ему, я разгадал для себя, куда клонит бог и как он направит эту историю. Ах, Май, в какой истории мы находимся! Это одна из самых лучших историй! И теперь нужно, и теперь мы обязаны разукрасить ее как можно искуснее, как можно потешнее, порадев богу всем своим остроумием. С чего начать нам, чтобы это было под стать такой истории? Вот что волнует меня... Ты думаешь, они меня узнают?

— Откуда мне это знать, Адон? Думаю, что не узнают. Ведь ты же изрядно созрел с тех пор, как они тебя растерзали. Но главное, они ничего не подозревают, а это поразит их слепотой, они ни о чем не догадаются и не поверят своим глазам. Ведь одно дело — узнать, а другое дело — понять, что ты узнаешь, не правда ли? А это далеко не одно и то же!

— Верно, верно. И все-таки у меня замирает сердце от страха, что они узнают меня.

— Разве ты не хочешь, чтобы они тебя узнали?

— Только не сразу, Май, ни в коем случае не сразу! Пусть пройдет некоторое время, пусть они начнут догадываться, а уж потом я произнесу слова: «Это я». Это требуется, во-

первых, для достойного украшения божественной нашей истории, а во-вторых, сначала нужно многое проверить, выяснить, разузнать, прежде всего насчет Вениамина...

— Вениамин с ними?

— В том-то и дело, что нет! Я же говорю тебе — их десять, а не одиннадцать. А нас же двенадцать! Явились только красноглазые и сыновья служанок, а сына моей матери, малыша, нет. Ты знаешь, что это значит? При своем спокойствии ты очень туго соображаешь. Отсутствие Вена можно истолковать двояко. Оно может означать, — и пусть бы это истолкование подтвердилось, — что мой отец еще жив — представь себе, жив еще, величавый старик! — и охраняет младшего, то есть не пустил его в путь, боясь, как бы с ним не случилось в дороге беды. В пути умерла у него Рахиль, в пути умер у него я — как же ему не быть предубежденным против всяких путешествий, как не удерживать от них то последнее, что у него осталось от миловидной? Вот что это может означать. Но это может означать также, что его нет в живых, отца моего, и что они гадко ведут себя с беззащитным, что они не по-братски отталкивают его и не хотят с ним дружить, потому что он сын праведной, бедный малыш...

— Ты все называешь его малышом, Адон, не учитывая, видимо, что и он за это время тоже созрел, твой братец правой руки. А ведь если задуматься, то он сейчас мужчина во цвете лет.

— Да, возможно, да, верно. Но он все равно остается младшим, друг мой, младшим из двенадцати, как же его не называть малышом? Младший — это всегда особое дело, милое дело, в младшем есть какое-то волшебство, он баловень в мире, что почти неизбежно вызывает у старших злобную зависть.

— Если взглянуть на твою историю, дорогой мой господин, то можно подумать, что младший, собственно, ты.

— То-то и оно. Я этого не отрицаю, возможно, что в твоём замечании есть доля истины и что история допускает тут некоторую неточность, отклонение от правила. Но из-за этого-то меня и мучит совесть, и я добьюсь, чтобы меньший мой брат сполна получил ту меру почета, которая причитается младшему; и если десятеро отвергли его и обращаются с ним гадко, если они, не приведи бог, обошлись с ним так же, как когда-то со мной, — тогда да помилуют их элохимы. Май, они встретят у меня скверный прием, я не дам им узнать себя, и прекрасное «это я» так и не прозвучит; а если они узнают меня, я скажу: «Нет, злодеи, это не я!» — а они найдут во мне только строгого и чуждого судью.

— Вот так так, Адон! Теперь ты напускаешь на себя уже другой вид и заводишь другую песню. Забыв свою умиротворенность и кротость, ты вспоминаешь о том, как они с тобой поступили, а ведь ты, кажется, умеешь отличать итог от поступков.

— Я сам не знаю, Май, что я умею и чего не умею. Человек не знает заранее, как он поведет себя в своей истории, это выясняется, когда приходит время, и тогда он узнает себя самого. Мне любопытно, что я за человек и как я буду говорить с ними, ибо у меня нет об этом ни малейшего представления. Вот отчего я и дрожу, — когда мне предстояло держать ответ перед фараоном, я волновался во сто раз меньше. А ведь это мои братья. Но в том-то и дело. У меня в душе, как я тебе говорил, неопишуемая неразбериха, в ней смешались и радость, и любопытство, и страх. Как я испугался, когда прочитал в списке их имена, хотя и твердо знал наперед, что так будет, ты этого не представляешь себе, ведь ты же не умеешь пугаться. За кого я испугался — за них или за себя? Этого я не знаю. Но довольно того, что у них-то уж есть причина испугаться до глубины души. Ибо то, что случилось тогда, не пустяк и, хотя с тех пор прошло столько времени, пустяком не стало. Признаю, это было вопиющей незрелостью сказать им, что я приехал к ним следить за порядком, — я все признаю, и прежде всего что не должен был рассказывать им свои сны и что, конечно, наябедничал бы отцу, если бы они вытащили меня из ямы, — отчего они и вынуждены были оставить меня в ней. И все же, и все же то, что они были глухи, когда я взывал к ним из бездны, израненный и связанный, когда я со слезами заклинал их не наносить удара отцу, оставив меня погибать в дыре и показав

ему кровь заколотого животного, — это, друг, несмотря ни на что, было жестоко, жестоко не столько по отношению ко мне, об этом я не говорю, сколько по отношению к отцу. И если он умер с горя и в муках спустился в Шеол, — смогу ли я и тогда быть с ними добрым? Я этого не знаю, я не знаю, каков буду в этом случае, но я боюсь за себя, я боюсь, что не смогу быть с ними добрым. Если они свели седину его с печалью во гроб, то это тоже относилось бы к итогу, Май, и даже в первую очередь, и сильно омрачило бы свет, который бросает итог на поступки. Во всяком случае, этот поступок заслуживает очной ставки с итогом, ибо увидев, сколь добр итог, он, может быть, устыдится своей гнусности.

— Что ты собираешься делать с ними?

— Разве я это знаю? Я потому и прошу у тебя совета и помощи, что не знаю, как мне вести себя с ними, — у тебя, у своего домоправителя, которого я принял в эту историю, чтобы ты уделил мне немного спокойствия, когда я буду взволнован. Некоторую толику его ты вполне можешь отдать, у тебя явный избыток, ты слишком спокоен, ты только стоишь, понимаешь брови и собираешь в трубочку губы, ибо ты не способен испугаться, и поэтому тебе ничего не приходит на ум. А это такая история, где на ум должно приходиться многое, таков наш долг перед ней. Ибо встреча поступка с итогом — это беспрецедентный праздник, который надо справить на славу, со всей пышностью священного озорства, чтобы мир больше пяти тысяч лет смеялся до слез!

— Испуг и волнение, Адон, бесплодной спокойствия. Приготовлю-ка я тебе успокоительное питье. Сначала я насыплю в воду порошка, который ее не замутит. Но потом я подсыплю другого, и смесь заклокочет, и как только ты выпьешь этой шипучки, в сердце твое вернется покой.

— Я с удовольствием выпью это позже. Май, в надлежащий миг, когда мне это будет всего нужнее. Теперь послушай, что я сделал пока. Я передал с мчащимся гонцом приказ, чтобы их отделили от пришельцев, с которыми они прибыли, и не снабжали зерном в пограничных городах, а направили в Менфе, в Великое Присутствие. Я велел следить за их передвижением по стране, помещать их с их вьючными животными на хороших постоянных дворах, а также тайком заботиться о них на чужбине, которая кажется им такой же чужой и диковинной, какой казалась мне, когда я здесь умер в семнадцать лет. Я-то был гибок тогда, а им ведь, подумать только, уже под пятьдесят, если исключить Вениамина; но его с ними нет, и единственное, что я знаю, — это что его нужно доставить сюда, во-первых, чтобы я увидел его, а во-вторых, если он будет здесь, Май, то явится и отец. Короче говоря, я приказал нашим людям тайно подстилать им руки под ноги, чтобы они не споткнулись о камень, если тебе что-либо говорит это выражение. А здесь их приведут ко мне в министерство, в палату, где я принимаю посетителей.

— А не в дом твой?

— Нет, сначала не в дом, а с соблюдением всех правил в присутствии. Да и приемная палата, говоря между нами, там больше и внушительнее.

— Что же ты будешь с ними там делать?

— Вот тогда-то, наверно, мне и придется выпить твоей шипучки, ибо мне будет не по себе при мысли, что им будет не по себе, когда я наконец скажу; «Это я». Но я ни в коем случае не оплошаю, я не испорчу праздника убогим убранством, выпалив сразу же: «Это я». Нет, я повременю и буду с ними холоден.

— Ты хочешь сказать: враждебен?

— Я хочу сказать: холоден до враждебности. Боюсь, Май, что у меня не получится холодности, если я не доведу ее до враждебности. Так легче. Нужно придумать какой-нибудь повод, чтобы говорить с ними жестко, а то даже и накричать на них. Я сделаю вид, что их дело кажется мне очень подозрительным и загадочным и что сперва нужно все тщательно расследовать и выяснить и всякое такое...

— Ты будешь говорить с ними на их языке?

— Вот первые дельные слова, Май, которыми разрешилось твое спокойствие! — воскликнул Иосиф, шлепнув себя по лбу. — Очень важно, что ты обратил на это мое внимание, ибо мысленно я, дурак, говорю с ними все время по-канаански. С чего бы это мне знать канаанский язык? Это была бы величайшая оплошность! А ведь я болтаю по-канаански с детьми — боюсь, правда, что они переняли мой египетский выговор. Ну да это теперь последняя моя забота. Кажется, я говорю лишнее, то, о чем вполне уместно было бы упомянуть в более спокойной обстановке, но никак не сейчас. Разумеется, я не должен понимать канаанского языка, нужен переводчик, я распоряжусь в министерстве — превосходный, одинаково хорошо владеющий обоими языками, чтобы точно, ничего не смягчая и не огрубляя, передать им все, что я им скажу. Ибо все, что скажут они — например, большой Рувим, — ах, Рувим, боже мой, он был у пустой ямы, он хотел спасти меня, я узнал это от сторожа, кажется, я этого тебе еще не рассказывал, но я расскажу тебе это в другой раз! — что скажут они, это уж я пойму, но чтобы не выдать себя, не показать, что я понял, я должен буду отвечать им не сразу, а подождя, покуда этот скучный воображала не переведет мне их слов.

— Если ты примешь мое снадобье, Адон, у тебя все получится как нельзя лучше. И потому, я предложил бы тебе притвориться, что ты принимаешь их за соглядатаев, которые хотят высмотреть уязвимые места этой страны.

— Прошу тебя, Май, оставь при себе свои предложения! Как это тебе, при твоих добрых, круглых глазах, пришло вдруг в голову что-либо предлагать?

— Я думал, что должен что-то предложить тебе, господин.

— Сначала я тоже так думал, друг. Но теперь я понял, что в этом высокотожественном деле мне никто не может и не должен давать советы, что я обязан расцветить его совершенно самостоятельно, как велит мне сердце! Постарайся как можно более отрадным, утешительным и волнующим образом украсить свою историю о трех любовных влечениях, а мою историю предоставь украшать мне! Кто сказал тебе, что я и сам уже не напал на мысль сделать вид, будто я их считаю лазутчиками?

— Значит, мы напали на одну и ту же мысль.

— Конечно, потому что это единственно правильная мысль, и можно считать, что так и записано. Да и вообще вся эта история. Май, уже записана в книге бога, и мы вместе будем читать ее со смехом и со слезами. Ведь ты же, не правда ли, явишься в присутствие, когда они будут здесь, завтра или послезавтра, и их приведут ко мне в большую палату Кормильца, где он во многих видах изображен на стенах? Ты, конечно, войдешь в мою свиту. У меня должна быть внушительная свита во время этого приема... Ах, Май, — воскликнул возвысившийся и всплеснул поднятыми к лицу руками, теми самыми, на которые однажды глядел Бенони, когда они плели миртовый венок в роще владыки, и одну из которых украшал теперь небесно-голубой лазурит фараонова перстня «Будь как я», — ах, Май, я увижу их снова, родных моих, ибо родными они были всегда, как бы порой мы ни ссорились по общей нашей вине! Я буду говорить с ними, сыновьями Иакова, моими братьями, я услышу, жив ли еще отец, которому я так долго не подавал голоса из плена смерти, и может ли он еще услышать, что я жив и что бог принял в жертву не сына, а овна! Все я услышу, все выпрошу — как поживает Вениамин и по-братски ли относятся они к нему, и пусть они доставят мне его, и отца тоже! Ах, мой начальник острога, ставший моим начальником дома, все это слишком полно волнующей праздничности! И внести в это нужно как можно больше праздничного озорства и веселья. Ибо веселье, друг, и лукавая шутка — это самое лучшее из всего, что дал нам бог, и самый лучший ответ на запутанные вопросы, задаваемые жизнью. Бог дал их нашему духу, чтобы, благодаря им, мы заставили улыбнуться даже ее самое, суровую жизнь. То, что братья растерзали меня и бросили в яму, и то, что они теперь должны стоять передо мной, — это жизнь; и вопрос о том, следует ли судить о поступках по итогу и одобрять зло, потому что оно нужно было для благого итога, — это тоже жизнь. Такие вопросы жизнь и ставит. На них нельзя ответить серьезно. Только в веселье человеческий дух может подняться над ними, чтобы, душевно шутя над неразрешимым, вызвать улыбку, пожалуй, у самого бога, у этой величавой неразрешимости.

ДОПРОС

Иосиф был как фараон, когда он под белыми, воткнутыми в золотые, чеканной работы щиты страусовыми опахалами, которыми осеняли его мальчики в набедренниках и прическах пажей, восседал в своем кресле в палате Кормильца, окруженный главными писцами присутствия, чиновниками необычайно кичливыми, а у помоста, справа и слева, стояли на часах копьеносцы домовой стражи. Два двойных ряда оранжевых, украшенных письменами колонн с белыми основаниями и зелеными лотосовыми возглавьями тянулись перед ним к дальним, с финифтевыми карнизами входным дверям, а на просторных боковых стенах палаты, над фризом цоколя, был многократно изображен в человеческом облике разливающийся кормилец Хапи — с закрытым срамом, с одной мужской грудью и одной женской, с царской бородой, с болотными растениями на голове, а на ладонях — с жертвенными подносами, полными цветов чаши и стройных кувшинов. Рядом с изображениями бога были и картины жизни, написанные крупно и веселыми красками, которые загорались в пучках лучей, падавших сквозь каменные решетки высоких окон: посев, молотба, фараон, самолично идущий за волами во время пахоты и самолично же срезающий серпом первые золотые колосья, семь шагающих одна за другою озирисовских коров, а с коровами бык, чье имя ему известно, и все это перемежалось великолепно расположенными надписями, такими, например, как: «Да принесет мне пищу кормилец Нил, да уродится во благовремение все растущее!»

Такова была палата аудиенций, где наместник Гора выслушивал все мольбы о хлебе и семенах, подлежащие личному его рассмотрению. Здесь восседал он и на третий день после уже известной нам беседы со своим домоправителем Май-Сахме, который стоял позади него, а дотоле и вправду напоил его наконец своей шипучкой, восседал, только что отпустив косматое, бородатое и обутое в остроносые башмаки посольство из страны великого царя Муршили, то есть из Хатти, где тоже свирепствовала засуха, — отпустив довольно-таки рассеянно и небрежно, что все заметили, ибо, диктуя своему «истинному писцу», отвалил хеттским городским старостам больше пшеницы, полбы, мавританского проса и риса, и притом по более низким ценам, чем предложили сами хеттеяне. Одни объясняли это государственной мудростью, полагая, что по каким-то, значит, соображениям мировой политики понадобилось оказать внимание царю Муршили; другие приписывали это недомоганию Единственного Друга, ибо еще перед началом приема он заявил, что у него пылевой катар, и то и дело прикладывал ко рту платок.

Поверх платка, широко раскрытыми глазами, глядел он вперед, когда хеттеяне удалились и в палату ввели очередную группу азиатов: один из них выделялся высоким ростом, у другого была голова грустного льва, третий был крепок и плотен, четвертый отличался длинными, подвижными ногами, пятый и шестой не скрывали грубой воинственности, у седьмого были влажные глаза и губы, восьмой стрелял колючими взглядами, девятый обращал на себя внимание своей костлявостью, десятый — кудрявыми волосами, окладистой бородой и яркостью алой и синей, окрашенной соком багрянок ткани одежд. У каждого, таким образом, была своя особенность. Дойдя до середины палаты, они нашли своевременным поцеловать землю, и Единственному пришлось подождать, чтобы они поднялись, после чего, движением мухогомки, он сделал им знак подойти ближе. Они подошли и пали ниц снова.

— Так много? — спросил он измененным голосом, бог весть почему понизив его чуть ли не до ворчанья. — Десять человек сразу? Так почему бы уж не одиннадцать? Толмач, спроси у них, почему их не одиннадцать, а то, пожалуй, и двенадцать. Или вы понимаете по-египетски?

— Не настолько, насколько нам хотелось бы, господин наш, прибежище наше, — ответил на своем наречье один из них, с ногами бегуна, явно обладавший к тому же и подвижным

языком. — Ты как фараон. Ты как Луна, этот милосердный отец, шествующий в своем величественном облачении. Ты как первородный, по-своему прекрасный телец, Мошель, повелитель! Сердца наши единогласно славят того, кто торгует здесь хлебом, Кормильца стран, пищу мира, человека, без которого никто не мог бы дышать, и желают ему стольких лет жизни, сколько в году дней. Но язык твой, Адон, не прогневайся, мы, рабы твои, понимаем недостаточно, чтобы вести на нем торговые переговоры!

— Ты как фараон, — повторили они хором.

Покуда переводчик быстро и деловито-монотонно переводил речь Неффалима, Иосиф пожирал глазами стоявших перед ним братьев. Он узнал их всех и без труда определил каждого, как ни изменило их время. Вот большой Рувим, уже совсем седой, на столпоподобных ногах, и сильные мышцы его лица свирепо напряжены. Бог судеб, она была здесь вся целиком, истощенная ненавистью стая волков, что бросилась на него с криком: «Снять, снять!», хотя он умолял их: «Не рвите его!», они были здесь все, как один, злодеи, которые, улюлюкая, волокли его в яму, не слушая, как он растерянно вопрошал их, вопрошал самого себя, вопрошал небо: «Ах, ах, что со мной делают?!», которые продали его измаильтянам, словно безродного раба, за двадцать сребреников и у него на глазах окунули в кровь заколотого козленка остатки платья. Они были здесь, его вынырнувшие из времени братья во Иакове, убившие его из-за снов, пришедшие к нему тоже благодаря снам, и все это было похоже на сон. Перед ним стояли все шестеро красноглазых и четыре сына служанок: аспид Валлы и ее собиратель новостей, кряжистый первенец Зелфы в военном полукафтани, прямой Гад, и его брат, сластена и лакомка. Он был одним из младших, превосходя годами лишь дюжего осла Иссахара и просмоленного Завулону — а лицо его было уже все в морщинах, и много серебра было у него в бороде и в гладких, намасленных волосах. Предвечный, как они постарели! Это было трогательно, как трогательна сама жизнь. Но он испугался, когда увидел их, ибо почти невыносимо было, чтобы отец еще жил, если они уже так стары.

Со смехом, слезами и страхом в сердце глядел он на них, распознавая их всех сквозь бороды, которых иные из них в его времена вообще не носили. А они, хотя они тоже глядели на него, и не думали его узнавать, и зрячие их глаза не видели такой возможности. Однажды они продали в бескрайний мир, в неведомые дали бесстыжего своего брата, это они знали всегда, знали и сейчас. Но что этот знатный язычник, восседающий на престоле под опахалами в белой, как лепестки цветов, одежде, совсем по-египетски подчеркивавшей коричневую смуглость его лба и рук, — что этот владыка и здешний властитель торговли, к которому они пришли из нужды, украшенный цепью милости, представлявшей собой чудо златокузнечного искусства и окаймлявшей такое же чудо — нагрудник, выкованный с величайшим вкусом в виде узора из соколов, скарабеев и крестов жизни, — что этот сановник с ослепительной мухоголкой, с серебряным топориком на бедре, в прихотливо, по-здешнему, повязанном начальнике с твердыми наплечными крыльями, — что это и есть тот некогда устраненный и в конце концов пережитый отцом сновидец, такая мысль была им заказана, запрещена, недоступна, и даже то, что он непрестанно подносил к подбородку платок, — их даже это не могло навести на нее.

Он заговорил снова, и как только он останавливался, ему неукоснительно вторил переводчик, без выражения отбарабанивая по-ханаански все, что он успевал сказать.

— Состоится ли у нас торговая сделка и будет ли вам отпущен хлеб, — сказал он недовольно, — это еще неизвестно и требует выяснения, — весьма возможно, что выяснится совсем другое. Что вы не говорите на языке людей, беда невелика. Мне жаль вас, впрочем, если вы думали, что с Верховными Устами Фараона можно беседовать на вашем тарабарском наречье. Такой человек, как я, говорит по-вавилонски, по-хеттски, но вряд ли он снизойдет до хабирского и тому подобной авласавлалакавлы, и если он когда-либо знал этот язык, он постарается поскорее забыть его.

Пауза и перевод.

— Вы смотрите на меня, — продолжал он, не дожидаясь их ответа, — вы по-варварски нескромно рассматриваете меня и, молча отмечая, что я нет-нет да прикрываюсь платком, втайне заключаете, что я нездоров. Да, я немного нездоров — но что тут такого, чтобы подглядывать, выведывать и делать какие-то выводы? У меня всего-навсего пылевой катар — даже такой человек, как я, не застрахован от этого. Мои врачи меня вылечат. Врачебное искусство в Египте стоит на очень высоком уровне. Мой собственный домоправитель, управляющий частного моего дворца, вдобавок и врач. Вот увидите, он меня вылечат. А к людям, даже если они для меня совсем чужие, вынужденным в столь необычную и неприятную погоду пускаться в путь, тем более в путь через пустыню, — к таким людям я полон озабоченного сочувствия: чего только они не претерпели в пути. Откуда вы прибыли?

— Из Хеврона, великий Адон, из четырехградия Кириаф-Арбы и от теребинтов Мамре в земле Ханаан — купить пищи в земле Египетской. Мы все...

— Довольно! Кто это говорит? Кто этот маленький с блестящими губами, который вызвался говорить? Почему говорит именно он, а не вот эта, например, башня стад, — ибо телосложением он напоминает башню, — самый, по-моему, старший и самый смысленный из вас?

— Это Асир ответил тебе, господин, с твоего позволения. Асир — так зовут раба твоего, одного из нас, нашего брата. Ибо все мы братья и сыновья одного человека, мы связаны братством, и когда нам нужно держаться вместе и действовать сообща, слово берет обычно Асир, твой покорный слуга.

— Вот как. Значит, ты записной говорун и общее место. Отлично. Но, приглядевшись к вам как следует, я вижу острыми своими глазами, что вы, при всем вашем братстве, совершенно разные люди и этот, например, схож с тем, а у других есть свое сходство. Говорун ваш, отвечавший от имени всех, похож, по-моему, на этого вот в коротком кафтане, который он обшил медью, а вон у того, с глазами змеи, есть что-то общее с его тонконогим соседом, что переминается с ноги на ногу. А многих объединяет краснота воспаленных век.

Ответить взялся Ре'увим.

— Воистину ты видишь все, господин, — услышал Иосиф его голос. — Позволь объяснить тебе, в чем тут дело! Сходство и различие между нами имеют причиной то, что родились мы от разных матерей — четверо от двух и шестеро от одной. Но все мы сыновья одного человека, Иакова, раба твоего, который родил нас и послал к тебе, чтобы купить пищи.

— Он послал вас ко мне? — повторил Иосиф и закрыл носовым платком все лицо. Затем он стал снова глядеть поверх платка.

— Приятель, ты поразил меня тонкостью своего голоса при таком башнеподобном сложении, но еще больше удивил меня смысл твоих слов. Ведь всем вам время уже посеребрило волосы и бороды, а у старшего, который не носит бороды, голова зато и вовсе седая. Вы запутались в своих речах, я им не верю, ибо вы не похожи на людей, у которых отец еще жив.

— Клянусь твоим лицом, он жив, господин, — сказал Иуда. — Позволь мне подтвердить слова моего единоутробного брата! Мы говорим правду. Наш отец, твой раб, жив, он живет торжественной жизнью, и он совсем не так стар, ему, наверно, лет восемьдесят или девяносто, а это совсем не диво в нашем роду. Ибо нашему прадеду было уже сто лет, когда он породил истинного и праведного, который и был родителем нашего отца.

— Что за варварство! — сказал Иосиф дрогнувшим голосом. Он оглянулся на своего управляющего и, отвернувшись от него снова, помолчал, что вызвало всеобщее беспокойство.

— Вы могли бы, — сказал он наконец через несколько мгновений, — отвечать на мои вопросы точнее, не вдаваясь в ненужные подробности. Я спросил вас, как вам путешествовалось в таких неблагоприятных условиях, очень ли вы страдали от зноя, сохранилась ли у вас вода, не нападали ли на вас разбойники или пыльная буря абубу, не хватил ли кого-нибудь тепловой удар, — вот что я хотел узнать.

— Наше путешествие прошло вполне сносно, Адон, благодарим тебя за твой любезный вопрос. Разбойники нашему каравану не были страшны, водою мы были надежно обеспечены, и мы даже не потеряли ни одного осла, и все остались здоровы. Пыльная буря абубу умеренной неприятности — вот и все, что нам суждено было перенести.

— Тем лучше. Вопрос мой не был любезным, он был строго деловым. Ведь ничего необычного в такой поездке, как ваша, нет. В мире так много ездят. Семнадцатидневные, даже семижды семнадцатидневные поездки никому не в диковинку, и проделывать их приходится шаг за шагом, ибо земля не очень-то скачет тебе навстречу. Вот, например, купцы следуют от Гилеада дорогой, что идет от места Беисан через Иенин по долине — погодите! я же знал ее название, ну да, вспомнил: по долине Дофан, а оттуда выезжают на большой караванный путь, который ведет из Дамашки в Лейун, Рамлех и в гавань Хазати. Вам было легче. Из Хеврона вы спустились к Газе, что совсем просто, а потом двигались по берегу, все вниз и вниз, к этой стране?

— Ты это сказал, Мошель. Ты знаешь все.

— Я знаю очень многое. Отчасти благодаря острому от природы уму, отчасти же благодаря другим средствам, доступным такому человеку, как я. В Газе, однако, где вы, вероятно, присоединились к каравану, как раз и началась самая скверная часть путешествия. Там надо миновать железный город и проклятый морской берег, покрытый костями.

— Мы не глядели туда и с богом оставили позади эти страхи.

— Это меня радует. Маячил ли перед вами огненный столп?

— Порой он показывался впереди. Потом он рухнул, и тогда началась умеренно неприятная буря абубу.

— Вы, наверно, просто не хотите хвастаться ее ужасами. Она вполне могла оказаться смертельной для вас. Меня огорчает, что путешественники вынуждены терпеть такие невзгоды, спускаясь в Египет. Я говорю это по строго деловым соображениям. Но уж зато вы, наверно, были счастливы, когда добрались до наших бастионов и сторожевых башен?

— Мы громко радовались своему счастью и благодарили господу за то, что уцелели.

— Испугались ли вы крепости Зел и ее воинов?

— Мы испугались ее в почтительном смысле.

— А что произошло с вами там?

— Нам не запретили въезд, когда мы заявили, что хотим купить хлеба в этой житнице, чтобы нашим женам и детям жить и не умереть. Но нас отделили от прочих.

— Это я и хотел услышать. А вы удивлены тем, что вас отделили? Такого с вами, наверно, никогда не случалось, разве что вы сами когда-либо отделялись? И все же вас оставили вместе, в полном составе, вдесятером, если вы в полном составе, когда вас десять; ведь ни одного брата не отделили от других братьев и обособили вас только от остальных путников?

— Да, господин, так оно и было. Нам сказали, что мы нигде не сможем купить хлеба, кроме как в Мемпи, Весах Стран, и у тебя самого, владыки пищи, Друга Божьего Урожая.

— Совершенно верно. Вам помогали? Вам хорошо ехалось от границы до города Закутанного?

— Очень хорошо. За нами присматривали. Какие-то люди, то появляясь, то исчезая, указывали нам постоянные дворы и харчевни, а наутро хозяин отказывался брать с нас плату.

— Даровой хлеб и кров получает либо почетный гость, либо пленник... Нравится ли вам земля Египетская?

— Это чудесная страна, великий визирь. Ее мощь и великолепие подобны Нимродовым, она блистает красотой своего убранства, куда ни посмотришь — вверх или вниз, храмы ее величественны, а ее гробницы касаются неба. Глаза наши часто бывали мокры от слез.

— Не настолько, надеюсь, чтобы заставить вас забыть о своем ремесле и заданье и помешать вам подглядывать, выведывать и делать тайные выводы?

— Нам темна твоя речь, господин.

— Значит, вы притворяетесь, что не знаете, почему вас отделили от остальных путников, почему за вами присматривали и почему вам пришлось предстать предо мной?

— Мы были бы рады это узнать, светлейший, но мы этого не знаем.

— Вы делаете вид, будто ни о чем не догадываетесь, и совесть не шепчет вам, что вы находитесь под подозрением, что на вас пало тяжкое, мрачное подозрение, а теперь даже больше, чем просто подозрение, ибо ваша бесчестность нам отлично видна?

— Что ты говоришь, господин! Ты как фараон. Какое подозрение?

— Что вы соглядатаи! — крикнул Иосиф и, хлопнув ладонью по ручке львиного кресла, встал на ноги. Он употребил очень оскорбительное аккадское слово «дайалу», шпионы, и ткнул каждому чуть ли не в лицо мухогонку.

— Дайалу, — глухо повторил, как эхо, толмач.

Они отпрянули от него все, как один, ошеломленные, возмущенные.

— Что ты говоришь! — забормотали они хором.

— Я сказал то, что сказал! Вы соглядатаи, вы пришли, чтобы высмотреть слабые места этой страны, которые она скрывает, и выдать их тем, кто собирается напасть на нее и разграбить ее. Таково мое убеждение. Если вы надеетесь его опровергнуть, попробуйте!

Слово взял Рувим, ибо остальные усердно и дружно делали ему знаки, чтобы он оправдал их. Он медленно покачал головой и сказал:

— Что тут опровергать, повелитель? Об этом и говорить-то стоит лишь потому, что сказано это тобой, а то можно было бы просто пожать плечами. Ошибаются подчас и великие люди. Твое подозренье несправедливо. Ты видишь, мы не опускаем перед ним глаз, а глядим тебе в глаза спокойно и честно, и даже не без вежливого упрека за такое превратное о нас мнение. Ибо мы видим твое величие, а ты не видишь нашей честности. Взгляни на нас, и пусть наш вид откроет тебе глаза! Мы все сыновья одного человека из страны Ханаан, и человека превосходного, царя стад и друга господня. Наше дело правое. Мы прибыли в числе прочих пришельцев купить пищи на кольца из доброго серебра, которые ты можешь взвесить на точных весах, пищи для наших жен и детей. Вот наше желание. Дайалу, клянусь богом богов, рабы твои никогда не были.

— И все-таки вы дайалу, — ответил Иосиф и топнул сандалией. — Что вобьет себе в голову такой человек, как я, то остается в силе. Вы пришли высмотреть срам этой земли, чтобы нанести ей удар серпом. Что это поручено вам, десятерым, злобствующими царями Востока, таково мое убеждение, которое вам надлежит опровергнуть. А башнеподобный этот верзила его несколько не пошатнул, он просто голословно заявил, что оно несправедливо. Подобным оправданием такой человек, как я, удовлетвориться не может.

— Будь милостив, господин, рассуди, — сказал один из братьев, — что скорей уж тебе надлежит доказать подобное обвинение, чем нам опровергнуть его!

— Кто это из вас делает такие хитроумные замечания и жалит глазами? Я давно приметил тебя из-за твоего змеиного взгляда. Как тебя зовут?

— Даном, с твоего изволения, Адон, Даном назвали меня, когда я был рожден служанкой на колени ее госпожи.

— Очень приятно. Итак, дока Дан, судя по хитроумию твоих речей, ты, вероятно, воображаешь, что годишься в судьи, и притом в собственном деле? Но здесь правосудием ведаю я, и тот, на кого пало подозрение, должен обелить себя передо мной. Известно ли вам, жителям песков и сынам чужбины, легко уязвимое великолепие этой тонкой страны, над которой меня поставили, чтобы я отвечал за ее благо перед сидящим во дворце сыном бога? Ей всегда угрожает разнузданная жадность дикарей, постоянно высматривающих слабые ее места, всяких там беду, ментиу, антиу и пентиу. Можно ли допустить, чтобы хабиры учинили здесь то, что они время от времени учиняли за рубежом, в провинциях фараона? Я слышал о городах, на которые они нападали, как бешеные, и во гневе убивали мужа и для варвар-

ской своей забавы перерезали жилы тельца. Видите, я знаю больше, чем вы думали. Двое или трое из вас, — не скажу: все, — судя по их виду, вполне способны на такие поступки. И я должен поверить вам на слово, что у вас не было на уме ничего дурного и вы не хотели выведать тайны страны?

Они засуетились, обмениваясь взволнованными жестами. Посовещавшись, они кивнули Иуде, чтобы он отвечал и взял на себя защиту. Он сделал это с достоинством испытанного спорщика.

— Господин, — сказал он, — позволь мне держать речь и изложить тебе наши обстоятельства в полном соответствии с истиной, чтобы ты убедился, что дело наше правое. Итак, мы рабы твои, — нас двенадцать братьев, и все мы сыновья одного человека из страны...

— Постой, как же так? — воскликнул Иосиф, который уже успел сесть, а сейчас чуть не вскочил снова. — Теперь вас вдруг оказалось двенадцать? Значит, вы обманывали меня, утверждая, что вас десять человек?

— ...из страны Ханаан, — закончил Иуда уверенно и почти с таким выражением, словно это неуместная поспешность — прерывать его сейчас, когда он приготовился сказать все и начистоту. — Нас, рабов твоих, двенадцать братьев или, вернее, нас было двенадцать — мы не притворялись, будто стоим перед тобой в полном составе, мы только заявили, что все мы, десятеро, сыновья одного человека. Вообще-то нас двенадцать, но младший наш брат, не доводящийся сыном ни одной из наших матерей, а рожденный некоей четвертой, умершей столько лет назад, сколько он живет на свете, остался с отцом, а одного из нас уже нет.

— Что значит: уже нет?

— Он пропал, господин, в юном возрасте, отбившись от рук у отца и у нас, потерялся в мире.

— Этот малый был, видимо, охотник до приключений. Впрочем, какое мне до него дело. Но малыш-то, младший ваш брат, он ведь не вашей руки, — то есть я хотел сказать: не отбил-ся у вас от рук, а у вас в руках?

— Он дома, господин, он всегда дома, у отца под рукой.

— Из чего я должен заключить, что этот ваш старый отец еще жив и живется ему хорошо?

— Ты об этом, не прогневайся, Адон, уже спрашивал, и мы ответили тебе утвердительно.

— Вовсе нет! Возможно, что я уже допрашивал вас насчет того, жив ли еще ваш отец, но хорошо ли ему живется, я спрашиваю вас в первый раз.

— При благополучных обстоятельствах, — отвечал Иуда, — твоему рабу, нашему отцу, живется хорошо. Но уже несколько лет, как то известно моему господину, обстоятельства в мира гнетущие. После того как небо отказало нам в своей благодатной влаге единожды и дважды, дороговизна в нашей стране, как и в других странах, все растет и растет. Говорить о дороговизне — это значит даже преуменьшать размеры бедствия, ибо ни за какие деньги не добудешь зерна ни на посев, ни на прокорм. Наш отец богат, он живет на широкую ногу...

— Насколько богат и насколько широко он живет? Есть ли у него, к примеру, наследственная усыпальница?

— Ты это сказал, господин. Махпелах, двойная пещера. Там покоятся наши праотцы.

— Живет ли он, к примеру, настолько широко, чтобы иметь старшего раба, домоправителя, подобно тому как у меня есть домоправитель, который вдобавок и врач?

— Именно так, светлейший. У него был мудрый и многоопытный управляющий, по имени Елиезер. Его скрывает Шеол; он склонил голову и умер. Но он оставил двух сыновей: Дамасека и Елиноса, и старший, Дамасек, занял место умершего; его называют теперь Елиезер.

— Что ты говоришь, — ответил Иосиф. — Что ты говоришь...

И на мгновение взгляд его, пройдя поверх их голов, расплылся в пустоте, в просторе палаты.

— Почему ты, львиная голова, прервал свою попытку вас оправдать? — спросил он затем. — Ты не знаешь, что говорить дальше?

Иуда снисходительно усмехнулся. Он не сказал попросту, что вовсе не сам он то и дело прерывает себя.

— Твой слуга собирался и собирается, — отвечал он, — рассказать тебе о нашем житье-бытье и о нашей поездке правдиво и связно, чтобы ты убедился, что дело наше правое. Дом наш многолюден — людей, правда, в нем еще не столько, сколько песку морского, но все-таки очень много. Нас около семидесяти человек, ибо все мы главы под главенством отца, все мы женаты и у всех нас есть...

— Женаты все десять?

— Женаты все одиннадцать, господин, и у всех есть...

— Неужели и ваш младший женатый глава?

— Именно так, как ты сказал, господин. От двух жен у него восемь детей.

— Быть этого не может! — воскликнул Иосиф, не дожидаясь перевода, и, хлопнув по львиному подлокотнику, разразился смехом.

Стоявшие позади него чиновники-египтяне тоже засмеялись из подобострастия. Братья боязливо улыбнулись. Май-Сахме, его управляющий, тихонько толкнул его в спину.

— Вы утвердительно кивнули головами, — сказал Иосиф, вытирая глаза, — и я понял, что ваш младший тоже женат и тоже отец. Это замечательно. Потому-то я и смеюсь, что это замечательно — замечательно смешно. Ведь младшего обычно представляешь себе малышом, карапузом, а не женатым человеком, отцом семейства. Из этого представления и исходил я, когда смеялся, да и смех мой, как видите, был недолгим. Дело это слишком серьезно и подозрительно, чтобы смеяться. И то, что ты, львиная голова, снова запнулся в своей оправдательной речи, — это кажется мне тревожным знаком.

— С твоего разрешения, — ответил Иуда, — я продолжу ее без запинки и связно. Итак, дороговизна, которую вернее было бы назвать страшным голодом, ибо дорожать нечему, — эта беда подавила страну, начался падеж стад, и в уши нам ударил плач наших детей о хлебе, а это, господин, для ушей человеческих самые горькие и самые нестерпимые звуки, если, пожалуй, не считать сетований священной старости на то, что и она лишена насущного, привычного и подобающего; ибо мы слышали, как наш отец говорил, что еще немного, и лампада его погаснет, и ему придется спать в темноте.

— Неслыханно, — сказал Иосиф. — Это беда, чтобы не сказать: мерзость! Разве можно до этого доводить? Ни малейшей предусмотрительности, ни малейшей предосторожности, ни малейшей попытки предотвратить бедствие, которое еще существует в мире и всегда может стать действительностью! Ни малейшего воображения, ни малейшего страха и никаких запасов! Жить сегодняшним днем, не лучше скота, не заглядывая вперед, покуда в конце концов отец на старости лет не лишится привычной пищи. Стыдитесь! Разве у вас нет образования, нет историй? Разве вы не знаете, что при определенных условиях ничего не растет и не цветет, потому что земля родит одну соль и даже трава не всходит, не то что хлеб? Что жизнь тогда замирает в печали и был не покрывает корову, а осел не склоняется над ослицей? Неужели вы никогда не слышали о потопах, затопляющих землю, и что пережить их способен только мудрец, который построит себе ковчег, чтобы плавать в нем по возвратившимся хлябям? Неужели нельзя было побеспокоиться раньше, неужели нужно было ждать, чтобы все совершилось, чтобы грянула притаившаяся беда и у самой дорогой старости иссякло масло в лампаде?

Они повесили головы.

— Продолжайте! — сказал он. — Тот, что говорил, продолжай! Только ни слова больше о том, что ваш отец спит в темноте!

— Это сказано образно, Адонаи, и означает лишь, что общее злополучье коснулось и его и у него нет лепешек Для жертвы. Мы видели, как многие снаряжались в дорогу и отправлялись в эту страну, чтобы купить и привезти домой пищи из фараоновых житниц, ибо только

в Египте есть хлеб и торгуют хлебом. Но мы долго не решались заявить отцу, что тоже хотим снарядиться в деловую поездку и спуститься сюда, чтобы закупить хлеб.

— Почему не решались?

— Со свойственным его возрасту упрямством он держится за свои предвзятые мнения, в том числе и о стране твоих богов. Он упрям в своих суждениях о Мицраиме и не свободен от предрассудков насчет его обычаев.

— Надо смотреть на это сквозь пальцы и вести себя как ни в чем не бывало.

— Он, вероятно, не позволил бы нам спуститься сюда, если бы мы попросили его об этом. А потому мы сочли более благоразумным подождать, чтобы нужда навела его самого на эту мысль.

— Решать за отца и мудрить с ним тоже, пожалуй, не следует, ибо это не очень почтительно.

— Нам ничего другого не оставалось. К тому же, мы видели, он часто поглядывал на нас искоса и, открыв было рот, чтобы заговорить, снова его закрывал. Наконец он оказал нам: «Почему вы переглядываетесь и осторожничаете? Я же знаю, до меня дошел этот слух, что внизу продается хлеб и что торговля ведется на месте. Собирайтесь, не сидите сиднем, иначе мы пропадем! Выберите жеребьевкой одного или двоих из вас, и те, на кого падет жребий, Симеон или Дан, пусть отправятся в путь, спустятся туда с другими и купят пищи для ваших жен и детей, чтобы нам жить и не умереть!» — «Хорошо, — ответили мы, братья, — но двоих мало, ибо встанет вопрос о наших потребностях. Нам нужно поехать всем и показать, сколько нас, чтобы дети Египта убедились, что хлеб нам нужно отмерять не мерами эфа, а мерами хомер». Он сказал: «Ну, так поезжайте вдсятером!» — «Было бы лучше, — ответили мы, — если бы мы поехали все и показали, что у нас одиннадцать домов под твоим домом, а то нам отпустят хлеба в обрез». Но он сказал в ответ: «В своем ли вы уме? Я вижу, вы хотите сделать меня бездетным. Разве вы не знаете, что Вениамин должен оставаться дома при мне? А что, если с ним случится какое-нибудь несчастье в дороге? Вы поедете вдсятером, или мы будем спать в темноте». И мы поехали.

— Это и есть твое оправдание? — спросил Иосиф.

— Господин, — ответил Иуда, — если мой точный рассказ не устраняет твоих подозрений и не убеждает тебя в том, что мы люди порядочные и дело наше правое, мы должны будем оставить всякую надежду на оправдание.

— Боюсь, что так оно и окажется, — сказал Иосиф. — Ибо насчет вашей порядочности у меня есть свои соображения. Что же касается подозрения, под которым вы находитесь, и моей пока еще не поколебленной уверенности в том, что вы не кто иные, как соглядатаи, — ладно, я вас проверю. Точность ваших показаний — так вы говорите — должна убедить меня в том, что вы не плуты и что дело ваше правое. Отлично, пусть будет так! Приведите вашего младшего брата, о котором вы говорили! Пусть он предстанет с вами передо мной, чтобы я увидел его и воочию убедился, что ваши показания достоверны до мелочей и что ваши обстоятельства изложены точно, — и я начну сомневаться в своем подозренье, и мое обвинение постепенно заколеблется. А если нет, то, клянусь жизнью фараона, — а вам, надеюсь, известно, что это самая высокая клятва у нас в стране, — тогда не только не может быть речи ни о какой снабжении хлебом, будь то мерами эфа или мерами хомер, но окончательно подтвердится, что вы дайялу, а как поступают с дайялу, о том следовало вам помнить, когда вы брались за это занятие.

Они растерялись, лица их побледнели и пошли пятнами.

— Ты хочешь, господин, — спросили они, — чтобы мы проделали девятиили семнадцатидневный обратный путь (ибо нам земля не скачет навстречу) и, повторив это путешествие, предстали перед тобой с младшим?

— Этого еще не хватало, — возразил он. — Нет, ни в коем случае! Неужели вы думаете, что такой человек, как я, так просто и отпустит пойманных лазутчиков? Вы пленники. Я

продержу вас три дня, то есть сегодня, завтра и отчасти послезавтра, в одном из боковых покоев этого дома. За это время вы можете жеребьевкой или полюбовно выбрать того, кто поедет домой и доставит вашего младшего брата. Прочие же останутся в плену, покуда он не представит передо мной, ибо, клянусь жизнью фараона, без него вы уже не увидите моего лица.

Они глядели на носки своих ног, кусая губы.

— Господин, — сказал старший, — то, что ты велишь нам, выполнимо до того часа, когда наш гонец прибудет домой и признается отцу, что мы не получим хлеба, пока не представим младшего брата. Ты не знаешь, как он тут всполошится, ибо отец наш очень упрям, и всего упрямей стоит на том, чтобы малыш не покидал дома и никуда не ездил. Это, видишь ли, любимчик, последний ребенок...

— Но ведь это же нелепость! — воскликнул Иосиф. — Ведь если спокойно рассудить, то сразу становится ясно, что и младший может быть далеко уже не ребенком и вовсе не карапузом. Это предрассудок, которому не нужно потворствовать. Если старшие братья довольно стары, можно быть в десять раз младше и при этом все же мужчиной во цвете лет, вполне способным к поездкам! Вы думаете, ваш отец скорее согласится, чтобы вы все томились в неволе как соглядатаи, чем отпустит к вам своего младшего?

Некоторое время они молча совещались между собой, обмениваясь взглядами и пожимая плечами, пока наконец Рувим не ответил:

— Мы считаем это возможным, господин.

— Ну, а я, — оказал Иосиф и встал, — я считаю это невозможным. И такого человека, как я, вы в этом не убедите. А что касается моих слов, то они остаются в (Силе. Представьте мне своего младшего брата, таково Мое твердое условие. Ибо если это не в ваших силах, то, клянусь жизнью фараона, вас изобличат в соглядатайстве!

Он кивнул офицеру стражи, тот что-то сказал, и к братьям подошли копьеносцы и вывели их, испуганных, из палаты.

«ОНА ВЗЫСКИВАЕТСЯ»

Их не бросили ни в какую темницу или дыру, их просто заперли — в дальней комнате с цветочными колоннами, которая находилась на высоте нескольких ступенек и была, по-видимому, пустовавшей письмоводительской, хранилищем устаревших документов. Для десятерых здесь было достаточно места, и вдоль стен тянулись скамьи. Живущим в шатрах пастухам даже это помещение показалось прямо-таки барским. Что оконные проемы были решетчатые, ничего не значило, ибо они всегда бывают в решетку. Правда, у двери ходили часовые взад и вперед.

Сыновья Иакова сели на свои пятки и принялись обсуждать случившееся. У них было много времени, — до послезавтра, — чтобы избрать того, кто передаст отцу требование египтянина. Поэтому сначала они обсудили положение вообще, то есть свалившуюся на них неприятность, которую единодушно, с озабоченными лицами, назвали очень опасной и скверной. Что за злосчастная незадача — навлечь на себя такое подозрение неведомо почему! Они упрекали друг друга в том, что не догадались о приближении беды; ведь то, что их отделили на границе и, направив в Менфе, присматривали за ними в пути, это, говорили они теперь, было уже подозрительно, подозрительно как знак подозрения, хотя поначалу и казалось, скорее, свидетельством радушия. Здесь вообще их встретила смесь радушия и небезопасности, которая ставила их в тупик и смущала, но в то нее время, при всей своей тревожности и обидности, наполняла каким-то странным счастливым чувством. Они не могли раскусить того, перед кем стояли и кто заставил их опровергать это злополучное свое подозрение, подозрение, на их взгляд, нелепое и чудовищное, — будто они, честные люди, десятикратное олицетворение невинности и деловой порядочности — будто они шпионы, пробравшиеся в эту страну, что-

бы высмотреть ее срам! Но как бы то ни было, он вбил это себе в голову, и мало того что это подозрение было крайне опасно и угрожало их жизни, — оно причиняло братьям и душевную боль; ибо этот человек, этот хлеботорговец и вельможа Египта, понравился им, и совершенно независимо от угрозы их жизни, им было больно, что именно он думал о них так плохо.

Примечательный человек. Его вполне можно было назвать писанным красавцем и, не рискуя впасть в преувеличение, сравнить с первородным, по-своему прекрасным тельцом. Да и приветлив он был отчасти. Но в нем-то как раз и сосредоточилась та смесь приветливости, радушия, с одной стороны, и недоброжелательности, с другой, которой отличалось это происшествие. Он был «тум», братья сошлись на этом определении. Он был двусмыслен и двулик, он был человеком одновременности, прекрасным и могущественным, внушающим и бодрость и страх, благосклонным и вместе опасным. Его нельзя разобрать, как нельзя разобрать качество «тум», в котором встречаются небо и преисподняя. Он мог быть участливым и справился об опасностях их путешествия. Жизнь и благополучие их отца вызвали у него интерес, а услышав, что младший их брат женат, он громко смеялся на всю палату. Но потом, словно желая лишь обмануть их бдительность своей приветливостью, он бросил им в лицо прихотливо-беспочвенное, опасное для их жизни подозрение в соглядатайстве и неумолимо обрек их на заложнический плен до тех пор, покуда они не доставят для веского опровержения одиннадцатого, — как будто это и вправду может служить оправданием! Тум — никакого другого определения всему этому не было. Человек перепутья, переходящих друг в друга качеств, который одинаково в своей стихии вверху и внизу. К тому же он был и торговцем, а в дела купеческие входила уже доля воровства, и это тоже вполне соответствовало его двойственности.

Но что толку было в подобных наблюдениях, что толку было сетовать на то, что этот привлекательный человек обошелся с ними так зло? Это не улучшало их тяжкого, их бедственного положения, более грозного, как они признались друг другу, чем любое, в каком они когда-либо оказывались. И настал миг, когда на нелепое подозрение, на них павшее, они ответили собственным, отнюдь не нелепым подозрением, что то, первое, связано с подозрением, под которым они привыкли жить дома, — короче говоря, что это испытание — расплата за старую вину.

Было бы ошибкой заключить из имеющихся текстов, что это предположение они высказали друг другу лишь при Иосифе, во время второго с ним разговора. Нет, уже здесь, взаперти, оно напрашивалось у них на язык, и они говорили об Иосифе. Странное дело: ведь им же не дали ни малейшего повода хотя бы отдаленно-связать в мыслях этого хлеботорговца с тем, кого они похоронили и продали, — и все-таки они говорили о брате. Это не был процесс чисто нравственный; они перешли от одного к другому не только дорогой от подозрения к подозрению, от вины к наказанию. Тут дело было в контакте.

Спокойный Маи-Сахме был прав, говоря, что от узнавания до понимания, что ты узнаешь, еще далеко. Вступив в контакт с братской кровью, нельзя ее не узнать, особенно если ты пролил ее когда-то. Но другое дело — отдать себе в этом отчет. Тот, кто заявил бы, что сыновья узнали в хлеботорговце брата уже тогда, выразился бы весьма неудачно и по праву впал бы в очень существенное противоречие; откуда взялось бы в этом случае их безмерное изумление, когда он открылся им? Нет, они понятия не имели, почему после или даже уже во время встречи с привлекательно-опасным властителем в душе у них возник образ Иосифа и в памяти всплыла старая их вина.

На этот раз общие, связывавшие их чувства облек в слова не Асир, который сделал бы это просто для смака, а Иуда, человек совестливый. Асир решил, что он слишком мелок для этого, а Иуда — что ему это подобает.

— Братья во Иакове, — сказал он, — мы пребываем в большой беде. Чужеземцы в этой стране, мы угодили в западню, попали в яму непонятного, но губительного подозрения. Если Израиль не даст нашему гонцу Вениамина, а он, я опасаясь, его не даст, мы либо станем добычей смерти и будем, как говорят дети Египта, отведены в дом пыток и казни, либо нас

продадут в рабство — строить гробницы или отмывать золото в каком-нибудь ужасном краю, и мы никогда не увидим наших детей, и спины наши исполосует плеть служильни египетской. Что происходит с нами сейчас? Припомните, братья, почему это происходит, и узнайте бога! Ибо бог наших отцов — это бог мести, и он не забывает нас. Нам он тоже не велел забывать, но уж сам-то он никогда ничего не забудет. Почему он не сразу обрушился на нас тогда, а дал время отстояться наказанию и теперь учинил нам эту беду, спрашивайте его, не меня. Ведь мы были тогда мальчишками, и тот был мальчонкой, и кара постигает других людей. Но я говорю вам: это кара за преступление против нашего брата, ибо мы видели страданье души его, когда он взывал к нам снизу, но его не послушали. За то и постигло нас это горе.

Он высказал то, что все думали, и поэтому они все тяжело закивали головами, забормотали:

— Шаддаи, Иагу, Элоах.

А Ре’увим, опустивший на кулаки седую голову, побагровевший от огорченья, с набухшими на лбу жилами, — Рувим, почти не шевеля губами, сказал:

— Да, да, теперь вспоминайте, бормочите, вздыхайте! Разве я этого не сказал вам? Разве я тогда не говорил вам, не предостерегал вас: «Не поднимайте руку на мальчику!»? Но вы-то меня не послушались. Ну вот, теперь кровь его с нас и взыскивается.

Вообще-то добрый Рувим говорил тогда не совсем так. Но все-таки он многому помешал, помешал, прежде всего, пролить кровь Иосифа, вернее, пролить ее больше, чем то случается при нанесении красоте поверхностного ущерба, так что сказать, что кровь его взыскивается, можно было только с некоторой натяжкой. Или Рувим имел в виду кровь козленка, выданную отцу за кровь Иосифа? Как бы то ни было, у других тоже было такое чувство, что он тогда их предостерегал, предсказывая возмездие, и они снова кивали головами и бормотали:

— Правда, правда, она взыскивается.

Их накормили, довольно, кстати сказать, хорошо, кренделями и пивом, что опять-таки соответствовало смешанному духу радушия и опасности, здесь царившему, а ночью они спали на скамьях, где были даже подголовники, чтобы вознести им главу. На следующий день надлежало выбрать посланца, который, по воле этого вельможи, отправится назад за младшим, — чтобы, может быть, никогда не вернуться, если Иаков скажет «нет». На это у них и впрямь ушел весь день, ибо они не «хотели-решать дело жребием, предпочитая в столь трудном, требовавшем всестороннего обсуждения вопросе положиться на разум. Кто из них, по их мнению, пользовался у отца наибольшим влиянием и мог его убедить? Без кого им легче всего обойтись здесь в беде? Кто всех необходимей для рода, чтобы он выжил, если они погибнут? Все это нужно было выяснить и согласовать, и дело затянулось до позднего вечера. Поскольку проклятые или полупроклятые отпадали, многое заставляло остановить выбор на Иуде. Правда, отпускать его им не хотелось; но убедить отца мог именно он, да и необходимым для рода его единодушно признали все — кроме, однако, его самого, что и помешало принять соответствующее решение. Ибо он покачал лвиной своей головой и сказал, что он грешник и раб, что он недостойн и не желает выжить.

Кого же следовало назначить, на кого указать пальцем? На Дана ради его находчивости? На Гаддила ради его двужилности? На Асира, потому что он любил говорить влажными своими губами за всех — поскольку Завулон и Иссахар сами считали, что в их пользу почти нет доводов? Дело дошло в конце концов до Неффалима, сына Валлы: его зуд гонца не давал ему покоя, его ноги скорохода так и рвались в путь, а язык его шевелился уже заранее, однако и другим, и себе самому он казался фигурой недостаточно значительной, недостаточно крупной духовно, чтобы подойти для этой роли не просто в поверхностно-мифическом смысле, а по существу. Поэтому и на третье утро стрелка весов ни на кого из них еще не указала решительно и определенно; но на Неффалиме она, вероятно, по необходимости и остановилась бы, если бы новая аудиенция не показала, что они напрасно ломали себе головы, так как их грозный хлеботорговец принял другое решение.

Не успел Иосиф по окончании приема и после ухода своих сановников остаться наедине со своим управляющим Май-Сахме, как он, с пылающим еще лицом, ликуя, принялся его спрашивать:

— Ты слышал, Май, ты слышал? Он еще жив, Иаков жив еще, он может еще узнать, что я жив и не умер, он может... а Вениамин женат, и у него куча детей!

— Это была грубая ошибка, Адон, что ты сразу рассмеялся по этому поводу, не дождав-шись перевода!

— Не будем больше думать об этом! Я загладил свой промах. Нельзя в таком волную-щем деле все время сохранять рассудительность. Но вообще как все прошло? Как я держал-ся? Сносно ли я это провел? Подобающе ли я украсил эту историю божью? Позаботился ли я о праздничных мелочах?

— Ты держался довольно хорошо, Адон, на диво хорошо. Но ведь и задача была благо-дарная.

— Да, благодарная. Ты только неблагодарен. Ты остаешься спокоен и знай себе делаешь круглые глаза. Когда я встал и обвинил их — это было здорово, правда? Я это приготовил заранее, это можно было предвидеть, и все-таки это было здорово! А когда большой Рувим сказал: «Мы видим твое величие, а ты не видишь нашей невинности», — разве это не был золотой и серебряный миг?

— Но ты-то тут ни при чем, Адон, если он так сказал.

— Но ведь я на это рассчитывал! И вообще я ответствен за каждую мелочь праздника. Нет, Май, ты человек неблагодарный и тебя ничем не проймешь, ибо ты не умеешь пугаться. Ну, так вот, теперь я тебе скажу, что я вовсе не так доволен, как то изображаю, ибо я вел себя очень глупо.

— Что ты, Адон? Ты вел себя великолепно.

— В главном я сглупил и сразу же, в следующее же мгновение, заметил это сам; но тогда было уже поздно исправлять допущенную оплошность. Оставить заложниками девятерых и послать за малышом одного — это безусловно промах и ошибка гораздо более грубая, чем то, что я сразу расхохотался. Это нужно исправить. Что мне здесь делать с девятерыми, если до прибытия Бенони я не смогу ни продолжить божественного действия, ни просто-напросто ви-деть их, поскольку им нельзя будет лицезреть меня, пока они его не представят? Это бездарно, чтобы они втуне сидели здесь заложниками, тогда как дома нет хлеба, а у отца лепешек для жертвенного обряда? Нет, поступить нужно вот как, прямо противоположным образом: один пусть останется здесь заложником, тот из них, к кому отец меньше привязан, скажем, кто-ни-будь из близнецов (между нами говоря, они были самыми жестокими, когда братья разрывали меня на куски), а другие пускай отправятся домой с необходимым ввиду голода количеством хлеба, за который они, конечно, заплатят, — если бы я подарил им его, это было бы слишком уж подозрительно. Что они бросят заложника на произвол судьбы и к тому же выставят себя соглядатаями, пожертвовав им и не доставив мне младшего, в это я никогда не поверю.

— Но дело может очень затянуться, дорогой господин. Я думаю, что твой отец отпустит с ними этого женатого брата не раньше, чем кончится проданный им тобою хлеб и снова воз-никнет опасность, что лампада у них погаснет. Ты, я вижу, не торопишь этой истории.

— Да, Май, как можно торопить такую историю божью, не запасшись терпением, чтобы тщательно украсить ее! Даже если пройдет целый год, прежде чем они вернуться с Вениами-ном, я скажу, что это не слишком долго. Что такое год в сравнении с этой историей! Ведь я же потому и принял тебя в нее, что ты — само спокойствие и сможешь поделиться со мной своим спокойствием, если у меня не хватит выдержки.

— Я с радостью делаю это, Адон, почитая за честь участвовать в подобной истории. И некоторые твои выдумки я угадываю заранее. Мне кажется, ты собираешься взять с них плату за пищу, которой ты их снабдишь, но перед их отъездом тайком положить эти деньги им в тор-бы, поверх зерна, и, задавая корм ослам, они найдут их — и поразятся этой загадке.

Иосиф глядел на него широко раскрытыми глазами.

— Май, — сказал он, — это прекрасно! Это золотая и серебряная мысль! Ты угадал, ты напомнил мне подробность, которая, вероятно, и мне пришла бы еще в голову, потому что она, конечно, уместна, хотя я чуть было не упустил ее из виду. Вот уж не думал, что человек, не знающий страха, может придумать такую на редкость страшную вещь.

— Я бы не испугался, господин; но они испугаются.

— Да, испугаются, увидев в этом какое-то загадочное предвестие. И почувствуют, что кто-то желает им добра и в то же время подтрунивает над ними. Сделай это самым тщательным образом, это уже почти записано! Я поручаю это тебе: ты потихоньку сунешь им в мешки их деньги, чтобы каждый, когда они станут кормить ослов, нашел столько денег, сколько он заплатил, и это, вдобавок к заложнику, еще больше обяжет их возвратиться. Итак, до послезавтра! Нам нужно дожить до послезавтра, чтобы я смог сказать им это и исправить ошибку. Но время, день или год, — что оно перед этой историей!

ДЕНЬГИ В МЕШКАХ

На третий день братья снова стояли перед престолом Иосифа в палате Кормильца — вернее, лежали, припав лбами к каменным плитам пола, приподнимались, поднимали вверх руки и вновь падали ниц, бормоча хором:

— Ты как фараон. Твои рабы не виноваты перед тобой.

— Право же, вы похожи на сноп колосьев без зерен, — сказал он, — вы хотите подкупить меня своими поклонами. Переводчик, повтори им, на кого они похожи, — на связку пустых колосьев! Называя их пустыми, я имею в виду их лицемерие и притворство, которыми они меня не обманут. Такого человека, как я, не ослепишь никакой внешней учтивостью и никакими поклонами, его недоверия не усыпишь никакими расшаркиваниями, Покуда вы не приведете сюда и не поставите передо мной упомянутого вами младшего брата, вы будете в моих глазах мошенниками, которые не боятся бога. Я же боюсь его. Поэтому я распоряжусь вот как. Я не хочу, чтобы ваши дети голодали и чтобы ваш старый отец слал в темноте. Вы получите хлеб по числу лиц и по той цене, которая вызвана дороговизной и неумолимо определена состоянием рынка, ибо вы, вероятно, и сами не думали, что я подарю вам хлеб только потому, что вы такие-то и такие-то, сыновья одного отца, и что вас вообще-то двенадцать. Это для такого человека, как я, не причина воспользоваться состоянием рынка со всей суровостью, особенно если он имеет дело, по-видимому, с лазутчиками. Вы получите хлеба на десять домов, если сможете отвесить надлежащую плату; но отпущу я с ним домой только девятих: одного из вас свяжут, он останется у меня заложником и пробудет здесь в заключении до тех пор, покуда вы не вернетесь и не оправдаетесь передо мной, представив мне одиннадцатого из вас, когда-то двенадцатого. А заложником пусть будет первый попавшийся, например, этот вот.

И он указал мухогонкой на Симеона, который строптиво сверкнул глазами и сделал вид, что это ему нипочем.

Его стали связывать, и пока солдаты обматывали его веревками, братья окружили его и принялись ободрять. Тут-то они и вернулись к высказанному уже ранее, и речи их не предназначались для ушей Иосифа, но он их понял.

— Симеон, — говорили они, — мужайся! Он выбрал тебя, снеси это, как подобает такому мужчине, как ты, сильному Ламеху! Мы сделаем все, чтобы вернуться и вернуть тебе свободу. Не волнуйся, тебе придется не настолько туго, чтобы на это не хватило твоих недюжинных сил. Он не такой уж злодей, отчасти он добр, он не отправит тебя, не имея улики, на рудники. Разве ты не видел, что он посылал нам в узилище жареную гусятину? Да, от него можно ждать всяких неожиданностей, но бывают люди страшнее, и, может быть, ты будешь

не всегда связан, а если и всегда, то это лучше, чем отмывать золото! При всем при том нам очень тебя жаль, но что поделать, если ему угодно было, чтобы удар пал на тебя? Он мог пасть на любого из нас, и на всех нас, видит бог, пал, а тебе, по крайней мере, не нужно будет стоять перед Иаковом, не нужно будет признаваться ему: «Одного мы лишились, а младшего мы должны доставить», — от этого ты, по крайней мере, избавлен. Все это — испытание и горе, посланные нам в отмщение господом. Ибо вспомни, что говорил Иуда, когда он высказал общую нашу думу, напомнив нам, как когда-то брат взывал к нам из бездны, а мы остались глухи к его рыданиям, хотя он молил за отца, чтобы тот не упал за смертью. А ведь ты не можешь отрицать, что тогда, в час, когда мы избивали и погружали брата в колодезь, вы оба, Левий и ты, особенно усердствовали!

А Рувим прибавил:

— Мужайся, близнец, у твоих детей будет еда. Все это произошло с нами потому, что никто не послушался меня, когда я предостерегал вас: «Не поднимайте руку на мальчика!» Но где там, вас невозможно было удержать, а когда я пришел к яме, она была пуста, потому что ребенок пропал. Вот бог и спросил нас: «Где брат твой Авель?»

Иосиф это слышал. У него защекотало в носу, он засопел, потому что ему распирало грудь, глаза его наполнились вдруг слезами, и он отвернулся, сидя в кресле, а Майи-Сахме пришлось подтолкнуть его, что помогло, однако, не сразу. Когда он повернулся к ним снова, глаза его часто моргали, и говорил он теперь в нос и замедленно.

— Я возьму с вас, — сказал он, — не самую высокую плату за четверик и за вьюк, не ту, которую позволяют нам требовать дороговизна и состояние рынка. Не говорите, когда придете к отцу, что друг фараона содрал с вас втридорога. Сколько сможете увезти и сколько войдет в ваши мешки, столько зерна я и разрешаю вам взять. Я дам вам пшеницы и ячменя. Какого хотите вы ячменя — нижнеили верхнеегипетского? Я предлагаю вам ячмень из страны Уто, Змеи, он самый лучший. Еще я советую вам употребить зерно на хлеб и поменьше оставлять на посев. Засуха может продержаться, она еще продержится, и посеянное зерно пропадет. Всего доброго! Я говорю вам «всего доброго» как людям честным, ибо вы еще не избалованы, хотя и находитесь под сильным подозрением, но если вы представите мне одиннадцатого, я вам поверю и буду считать вас не одиннадцатью чудовищами хаоса, а одиннадцатью священными знаками небесного круга, — где, однако, двенадцатый? Солнце его скрывает. По-вашему, так и должно быть? Счастливого пути! Вы странные, подозрительные люди. Будьте осторожны в дороге, и сейчас, когда вы едете домой, и тем паче когда вы будете возвращаться! Ведь сейчас вы везете только необходимый хлеб, хотя и он достаточно дорог, а возвращаясь, вы будете везти младшего. Пусть бог ваших отцов будет защитой вам и оплотом! И не забывайте земли Египетской, где заманили в гроб и растерзали Усира, который, однако, стал первым в царстве мертвых и освещает овчарню преисподней!

С этими словами он вскочил с кресла аудиенций и покинул их. А девять братьев получили в письмоводительской, куда их направили, накладные, определившие плату за четверик, меру и вьюк, и, приведя с постоялого двора своих вьючных и верховых ослов, они отвесили присяжным весов деньги, каждый по десяти сребреников, так что между деньгами и гирями установилось священное равновесие, и из окошек амбаров потекли пшеница и ячмень, которыми они туго набили свои мешки, большие двойные мешки, широко растопырившиеся на боках тяжело шагающих вьючных ослов. Мешки же с кормом висели перед седлами ослов верховых. Братья хотели сразу и тронуться, чтобы не терять времени и в тот же день проделать часть пути от Менфе к границе, но чиновники подали им, для подкрепления сил, даровой обед — пивную похлебку с изюмом и баранью ножку, и ослам пришлось подождать во дворе; кроме того, братья получили провизию на первые дни пути — в нарядной, надежно сохраняющей обертке, — так уж принято, сказали им, что в стоимость хлеба входит оплата дорожных припасов, на то это и земля Египетская, страна богов, страна, которая может позволить себе такую роскошь.

А оказал им это управляющий хлеботорговца, Ман-Сахме, который тщательно следил за всем круглыми своими глазами, высоко подняв густые черные брови. Спокойный этот человек им очень понравился, тем более что он успокоил их насчет участи Симеона, сказав, что, по его мнению, она будет относительно сносной. То, что его связали у них на глазах, было, сказал он, скорее лишь внешним знаком его заложничества, и связанным его, по всей вероятности, долго не будут держать. Если они, однако, струсив, бросят его на произвол судьбы и через год, самое позднее, не вернуться со своим младшим братом, тогда он. Май, конечно, ни за что не ручается. Такой уж владыка его господин — приветливый, спору нет, но зато и неумолимый, стоит ему что-то вбить себе в голову. Он, Май-Сахме, допускает, что Симеона ждут очень большие неприятности, если они не выполнят условия господина, и тогда их семья уменьшится уже на двух человек, что, конечно, не обрадует старого их отца.

— О нет! — сказали они. И они сделают все, что в их силах. Но трудно, добавили братья, иметь дело с двумя упрямыми. Таково, говоря по чести, их мнение о его господине, ибо он тум, человек перепутья, и в его доброте, как и в его грозности, есть что-то божественное.

— Пожалуй, вы правы, — ответил он. — Сыты ли вы? В таком случае, счастливой дороги! И запомните то, что я вам сказал.

Так выехали они из города, почти молча, потому что их угнетали мысли о Симеоне и о том, как сказать отцу, что они его оставили и каков единственный способ его освободить. Но до отца было еще далеко, и они нет-нет да беседовали. Они говорили, что египетская пивная похлебка им понравилась, что хотя их и постигла беда, хлеб им достался сравнительно дешево, а это как-никак обрадует Иакова. Они вспоминали коротышку-управляющего — какой это приятно-флегматичный человек — не тум, а недвусмысленно любезный, без всяких шипов. Кто знает, впрочем, как вел бы он себя, будь он не просто Старшим Рабом, а господином и хлеботорговцем. У простых людей меньше соблазнов, им легче быть добросердечными, а величие и неограниченная власть почти непременно ведут ко всяким причудам — вот и Всевышнего, например, трудно бывает порою понять в его неистовстве. Впрочем, сегодня Мошель был почти недвусмысленно любезен, если не считать того, что он велел связать Симеона; он напутствовал их, благословил их и почти торжественно сравнил их со знаками круговорота, один из которых скрыт. Вероятно, он смыслит в звездах, наверно, он даже гадатель и книгочей. Недаром он упомянул, что у него нет недостатка в высших средствах, дополняющих его природную остроту ума. Они не удивились бы, узнав, что он звездочет. Но если светила сказали ему, что они шпионы, то это чистейший вздор.

Обмениваясь подобными замечаниями, они в тот же день сильно продвинулись к горьким озерам. Когда стемнело, они остановились на ночлег, выбрав красивое, уютное место, наполовину огражденное глинистым бугром, из которого, уходя сначала вбок, а потом вверх, росла кривая пальма. Были тут и колодец, и хижина для укрытия, и почерневшая перед нею земля свидетельствовала о том, что здесь разводили огонь и что местом этим пользовались для привала и прежде. Поскольку оно и в дальнейшем будет играть роль в нашей истории, мы отметим его пальмой, колодцем и хижинкой. Здесь братья стали устраиваться. Одни развьючивали ослов и складывали грузы. Другие черпали воду и собирали хворост для костра. А один из них, Иссахар, сразу принялся кормить своего осла: прозванный сам ослом, он питал особую симпатию к этому животному, а его верховой осел уже не раз просил корма надсадным воплем.

Сын Лии открывает свою торбу и громко вскрикивает.

— Эй! — зовет он. — Смотрите! Вот так так! Братья во Иакове! Скорее ко мне, что я нашел!

Они подходят со всех сторон, вытягивают шеи и смотрят: Иссахар нашел у себя в торбе, прямо сверху, свои деньги, десять сребреников, заплаченные им за зерно, которое он вез.

Они стоят и дивятся, качают головами, делают знаки, отвращающие несчастье.

— Да, Костлявый, что же это такое с тобой?

Вдруг они бросаются врассыпную, каждый к своей торбе. Каждый ищет, а искать и не нужно: у каждого сверху лежат его деньги.

Они так и сели на землю. Что же это такое? Они платили свяшенно-точно по весу каменных гирь; а теперь их деньги вернулись к ним. Как тут было не растеряться в недоумении? Что бы это могло значить? Приятно и смешно найти свои деньги рядом с товаром, за который ты заплатил, но в то же время это и жутко, и даже больше жутко, чем приятно, особенно если тебе и без того уже предъявлено обвинение — подозрительная это приятность, подозрительная в двух смыслах, и в смысле намерений, за нею кроющихся, и в том смысле, что ты сам предстаешь в еще более ложном свете. И при этом было тут что-то веселое, хотя, с другой стороны, и чувствовался какой-то подвох — поди тут разберись, поди скажи, почему бог так поступил с ними.

— Знаете ли вы, почему бог так с нами поступает? — спросил большой Рувим, мотнув головой, и мышцы его лица напряглись.

Они понимали, что он имел в виду. Он намекал на старую историю, причисляя эту странную находку к тем бедам, клубок которых теперь разматывался, потому что они когда-то, вопреки его предостережениям (да предостерегал ли он их?), подняли руку на мальчика. Они понимали его, потому что и сами более или менее ощущали ту же неопределенную связь. Уже одно то, что они вмешивали в дело бога и спрашивали друг друга, почему он так поступил с ними, доказывало, что у них была та же мысль. Но мыслью, считали они, следовало и ограничиться, и незачем было Рувиму еще и мотать головой. После этого происшествия явиться к отцу было еще труднее; к предстоявшим признаниям прибавилось еще одно. Симеон, Вениамин, а тут еще эта щекотливая новость, — нет, не с вознесенной главой возвращались они на родину. Если он и ухмыльнется по поводу того, что хлеб им достался даром, то все-таки его честь купца будет этим сильно задета, и даже перед ним они предстанут в совсем уже ложном свете.

Один раз они все одновременно вскочили, чтобы броситься к ослам и сразу же отвезти найденные деньги обратно. Но так же одновременно они отказались от этого намерения, поникли, махнули рукой и сели опять. «Нет смысла», — оказали они, подразумевая под этим, что возвращать деньги так же, если не более, бессмысленно, как бессмысленно то, что деньги вернулись к ним.

Они качали головами. Они делали это и во сне, то один, то другой, а то и несколько человек одновременно. Они стонали во сне — не было ни одного, кто бы дважды или трижды, не ведая того, не застонал в течение ночи. Но порой на губах то у одного, то у другого из спящих появлялась улыбка, и случалось даже, что несколько человек одновременно счастливо улыбались во сне.

В НЕПОЛНОМ СОСТАВЕ

Добрая весть! Иакову сообщили, что возвращаются домой его сыновья, что они приближаются к отцовскому шатру со своими вьючными ослими, тяжело шагающими под грузом мицраимского зерна. Те, кто известил Иакова, не заметили, что возвращаются сыновья вдесятером, а не вдесятером, как отправлялись в Египет. Девять человек — это большой отряд, особенно со всеми ослими; девять человек почти не уступают внушительностью десяти; что одного не хватает, этого, если глядеть не очень пристально, даже и не заметишь. Не заметил этого и Вениамин, стоявший рядом с отцом перед волосяным домом (супруга Махалии и Арбафи старик держал, как маленького, за руку); Вениамин не увидел ни девятерых, ни десятерых человек, он видел просто братьев, которые возвращались весьма представительным отрядом. Только Иаков сразу это заметил.

Поразительно, ведь патриарху было уже под девяносто, и никак нельзя было ждать от его погасших от старости и моргающих карих глаз с бледными прожилками у нижнего века

особенной зоркости. Когда дело касалось безразличных предметов — а что в эти годы не безразлично! — они ею и не обладали. Но ущербность старости идет гораздо больше от души, чем от тела: достаточно, мол, видели и слышали; не беда, если чувства и притупятся. Однако есть вещи, ради которых они неожиданно обретают вновь охотничью остроту, проворство, достойное считающего овец пастуха, а когда дело шло о полном или неполном составе Израиля, Иаков был зорче, чем кто бы то ни было.

— Их только девять, — сказал он твердо и все же немного дрожащим голосом и указал рукой. Очень короткое мгновение спустя он прибавил:

— Нет Симеона.

— Верно, Симеона еще не видно, — отвечал Бенони, пошарив глазами. — Я тоже не нахожу его. Сейчас он, вероятно, появится.

— Будем надеяться, — сказал старик очень твердо и снова взял за руку младшего сына. Так он дождался, чтобы они подошли к нему. Он не улыбнулся им, не сказал ни одного слова приветия. Он только спросил:

— Где Симеон?

Ну вот. Он опять явно собирался поставить их в самое затруднительное положение.

— О Симеоне потом, — ответил Иуда. — Привет тебе, отец! О нем сразу и заранее скажу только, что тебе незачем о нем беспокоиться. Вот мы и вернулись из торговой поездки к своему господину.

— Но не все, — сказал он непреклонно. — Что ж, привет вам. Но где Симеон?

— Ну, он немного отстал, — отвечали они, — и сейчас его еще нет здесь. Это связано с торговой сделкой и с причудами того, кто там...

— Может быть, вы продали сына моего за зерно? — спросил он.

— Нет, нет. Но зерно, как видит наш господин, мы привезли, зерна у нас хватит, хватит, во всяком случае, на некоторое время, и зерно очень хорошее, пшеница и нижнеегипетский ячмень высшей марки, и у тебя будут лепешки для жертв. Это первое, что мы сообщаем тебе.

— А второе?

— Второе покажется, пожалуй, довольно-таки чудным, а то и чудесным, и впору даже, если тебе угодно, назвать это неестественным. Но мы все-таки полагали, что это тебя порадует. Мы получили это хорошее зерно даром. То есть даром не сразу; мы за него заплатили, и вес наших денег священно соответствовал весу тамошних гирь. Но когда мы сделали первый привал, Иссахар нашел свои деньги у себя в торбе, а потом, представь себе, мы все нашли свои деньги, так что мы привезли и товар и деньги, чем надеемся снискать твое одобрение.

— Только моего сына Симеона вы мне не привезли. Совершенно ясно, что вы обменяли его на обыкновенную пищу.

— Что за мысли у нашего господина, и уже второй раз! Мы не способны на такие дела. Не лучше ли нам присесть с тобой, чтобы мы спокойно успокоили тебя насчет нашего брата, но прежде насыпали тебе в руку для образца немного золотого зерна и показали тебе деньги, благо и золото и серебро тоже при нас?

— Я хочу сейчас же узнать все о моем сыне Симеоне, — сказал Иаков.

Они сели с ним кружком вместе с Вениамином и стали докладывать. Как их отделили у входа в страну и направили в суматошный город Мемпи. Как их провели сквозь ряды лежащих человекозверей в большой торговый дворец, в палату подавляющей красоты, к престолу человека, правящего страной и подобного фараону, хлеботорговца, к которому приходит весь мир, человека своеобразного, избалованного великой властью, миловидного и с причудами. Как они склонились перед ним и согнулись перед этим другом фараона, кормильцем, и изложили ему свое дело, а он оказался двойственным человеком, приветливым и свирепым, говорил с ними то участливо, то вдруг очень сурово и заявил, — язык не поворачивается повторить это, — будто они лазутчики, высматривающие тайную наготу страны, — это они-то, десяток

порядочных людей! Как они почувствовали тогда потребность объяснить ему, кто же они такие на самом деле, рассказать, что все они торжественным образом сыновья одного человека и человек этот, друг бога, живет в стране Ханаан, и что, собственно, их не десять, а торжественным образом двенадцать; только один из них пропал в детстве, а младший дома, при отце. Как потому только, что сами они уже не молоды, этот человек, властелин страны, не верил, что их отец еще жив, — его пришлось заверять в этом дважды, ибо в земле Египетской не знают, вероятно, такого долголетия, какое являет их дорогой господин, там люди гибнут, вероятно, быстро от дурацкого своего распутства.

— Довольно об этом, — сказал Иаков. — Где мой сын Симеон?

К нему, отвечали братья, они и переходят, вернее, скоро перейдут. Ибо сначала, волей-неволей, они должны перейти к другому лицу, и можно только пожалеть, что он сразу не поехал с ними, вопреки их желанью и предложенью; тогда они, по всей вероятности, вернулись бы сегодня в полном составе; тогда у них было бы сразу налицо доказательство, которого потребовал этот недоверчивый человек. Ибо, обвинив их в соглядатайстве, он не отступился от своей блажи и, не веря им на слово, что происхождение их столь торжественно, потребовал, чтобы они представили ему младшего брата, — а если не представят, значит, они соглядатаи.

Вениамин засмеялся.

— Отвезите меня к нему! — сказал он. — Мне любопытно поглядеть на этого любопытного человека.

— Молчи, Бенони, — строго оборвал его Иаков, — прекрати свой ребяческий лепет! Разве таким карапузам пристало вставлять слово в подобном совете? Я все еще ничего не услышал о своем сыне Симеоне.

— Нет, услышал, — сказали они. — Если бы ты захотел, господин, если бы ты избавил нас от тягостной обстоятельности, ты мог бы уже знать о нем все.

Ведь совершенно ясно, продолжали братья, что, находясь под таким подозрением и приняв это условие, они уже не могли так просто уехать — и притом с хлебом. Пришлось оставить заложника. Сначала этот человек хотел задержать их всех и послать за их оправданием лишь одного; но благодаря своему красноречию они заставили его изменить это решение и отпустить их пока что с хлебом, задержав только одного, Симеона.

— И таким образом ваш брат, мой сын Симеон, оказался в долговом рабстве в служильне египетской, — сказал Иаков угрожающе-сдержанно.

Домоправитель владыки этой страны, отвечали они, добрый, спокойный человек, заверил их, что заложник будет жить не в таких уж плохих условиях и что связан он будет лишь временно.

— Лучше чем когда-либо, — сказал Иаков, — я понимаю теперь, почему я медлил разрешить вам эту поездку. Вы прожужжали мне уши своими разговорами о том, как вам хочется поехать в Египет, а когда я наконец дал согласие, вы злоупотребляете моей уступчивостью и возвращаетесь не все, оставив лучшего из вас в когтях тирана.

— Ты не всегда так благоприятно отзывался о Симеоне.

— Владыка небес, — сказал он, глядя вверх, — они обвиняют меня в том, что я не ценил второго сына Лии, воинственного героя! Они делают вид, будто это я продал его за меру муки, бросил в пасть Левиафана ради корма для их детенышей, — я, а не они! Как я благодарен тебе за то, что ты хотя бы дал мне силу устоять под их натиском и не уступить их легкомыслию, когда они хотели взять с собой и одиннадцатого, самого младшего! С них стало бы, что они вернулись бы ко мне без него и ответили мне: «Ведь он для тебя не так уж много и значил!»

— Напротив, отец! Если бы мы поехали все и младший был с нами и мы могли бы представить его владыке страны, поскольку его-то он и потребовал, мы вернулись бы в полном составе. Но ничего не потеряно, ибо стоит нам привезти Вениамина и поставить его перед этим хлеботорговцем фараона в палате Кормильца, как Симеон будет свободен и к тебе возвратятся оба — и малыш и герой.

— Другими словами: просядив Симеона, вы хотите теперь вырвать у меня из рук и Вениамина, чтобы отвезти его туда же, где Симеон.

— Мы хотим сделать это из-за блажи тамошнего владыки, чтобы оправдаться и выволить заложника свидетельством своей честности.

— Ах вы изверги! Вы крадете у меня моих детей и только о том и думаете, как бы раздробить Израиль. Нет Иосифа, нет Симеона, а теперь вы хотите взять и Вениамина. Вы завариваете кашу, а я ее расхлебываю, и мне это надоело!

— Нет, господин, ты излагаешь дело неверно! Вениамин вовсе не будет отдан в придачу к Симеону, наоборот, оба вернутся к тебе, как только мы представим тому человеку нашего младшего в доказательство своей правоты. Мы покорнейше просим тебя, отпусти с нами Вениамина, чтобы выволить Симеона и чтобы Израиль был опять в полном составе.

— В полном составе? А где Иосиф? Вы, не обинуясь, требуете от меня, чтобы я послал и вот этого вслед за Иосифом. Я отвечаю отказом.

Тут загорячился старший из них, Рувим, он вскипел, как вода, и сказал:

— Послушай теперь меня, отец! Выслушай меня одного, главного среди них! Отпусти мальчика не с ними, а только со мной. Если я не возвращу его тебе, пусть постигнут меня всякие беды. Если я не возвращу его тебе, убей двух моих сыновей, Ханоха и Фаллу. Убей их, повторяю, собственноручно у меня на глазах, и я бровью не поведу, если не сдержу слова и не выручу заложника!

— Ну, что ж, бушуй, бушуй! — отвечал ему Иаков. — Где ты был, когда на моего красавца напал кабан, сумел ли ты защитить Иосифа? Зачем мне твои сыновья, разве я ангел-губитель, чтобы убивать их, раздробляя Израиль еще и собственноручно? Я по-прежнему отказываюсь выполнить ваше требование и отпустить с вами моего сына, ибо брат его умер и он остался один у меня. Если бы с ним что-нибудь случилось в дороге, мир стал бы таким, что седина моя сошла бы с печалью во гроб.

Они переглянулись, сжав губы. Мило, нечего сказать, — он назвал Вениамина «своим сыном», а не их братом, и заявил, что тот остался один у него.

— А Симеон, твой герой? — спросили они.

— Я хочу сидеть здесь один, — отвечал он, — и скорбеть о нем. Разойдитесь!

— Сыновнее тебе спасибо за беседу и за прощание! — сказали они, покидая его.

Вениамин тоже пошел с ними; он гладил по плечу то одного, то другого своей короткопалой рукой.

— Не досадуйте на его слова, — просил он, — и не злитесь на его гордый нрав! Вы думаете, я польщен и горжусь тем, что он называет меня своим сыном, единственным оставшимся у него, и не соглашается отпустить меня с вами? Ведь он же, я знаю, никогда не забудет мне, что Рахиль умерла из-за моего появления на свет, и жить под надзором мне вовсе не весело. Подумайте, как много времени понадобилось ему, чтобы превозмочь себя и отпустить вас без меня, и посудите, как вы ему дороги! Так вот, теперь ему опять понадобится лишь некоторое время, чтобы уступить вам и послать меня с вами к этому человеку, ибо он не оставит, не сможет оставить нашего брата в руках язычников, а кроме того — надолго ли хватит пищи, которую вы, умники, сумели бесплатно получить там внизу? А потому не волнуйтесь! Я, малыш, еще поеду. Но теперь расскажите мне немного об этом суровом хлеботорговце, который так гадко вас обвинил и так прихотливо потребовал младшего брата. Мне впору, пожалуй, и возгордиться тем, что он непременно хочет видеть меня и ждет моего свидетельства. С чего бы это вдруг? Самый, вы говорите, главный? И выше всех живущих внизу? Какого он вида и как говорит? Ничего тут нет удивительного, если у меня вызывает такое любопытство человек, у которого вызывает такое любопытство моя особа.

ИАКОВ БОРЕТСЯ У ИАВОКА

И правда, что такое год в этой истории, и кто тут станет скупиться, у кого не хватит на нее времени и терпения! Терпелив был Иосиф, который пока что должен был жить, занимаясь государственными и торговыми делами в земле Египетской. Терпеливо волей-неволей отнормались к упрямству Иакова брата, терпелив был и Вениамин, сдерживавший свое любопытство к поездке в Египет и к любопытному хлеботорговцу. Нам лучше, чем всем им, — отнюдь, однако, не потому, что мы уже знаем, как все было. Это скорее наш минус по сравнению с теми, кто жил в этой истории, кто испытал ее на себе; ибо нам приходится создавать живой интерес там, где никаких законных оснований для него нет. Преимущество наше перед ними состоит в том, что нам дана власть над мерой времени и мы можем удлинять ее и сокращать как нам заблагорассудится. Нам не нужно отбывать год ожидания во всей его повседневности, как отбывал свои семь Иаков в Месопотамии. Ведя повествование, мы вправе просто сказать: прошел год — и пожалуйста, год прошел, и Иаков смягчился.

Ведь общеизвестно, что дела водные тогда долго еще не налаживались и засуха по-прежнему угнетала страны, лежащие окрест нашей истории. Каких только дьявольских повторений не бывает на свете, и как это задевает честь Случая, если он, такой вообще-то любитель разнообразия и скачков от блага к беде и наоборот, вдруг, как одержимый, с бесовским хихиканьем, творит одно и то же множество раз подряд! В конце концов ему все-таки приходится сделать обратный скачок — он уничтожил бы сам себя, если бы так продолжалось всегда. Но безумствовать он может долго, и семикратное безумие — это, по большому счету, не такая уж редкость.

Рассказав о движении облаков между морем и мавританскими Альпами, где находятся истоки Нила, мы, честно говоря, объяснили лишь, как это получилось, но не объяснили почему. Ибо, задавая вопрос «почему?», никогда не дойдешь до конца. Причины любого явления подобны песчаным кулисам на взморье: одна всегда заслоняет собой другую, и причина, на которой можно было бы остановиться, теряется в бесконечности. Кормилец не вырос и не разлился, потому что в мавританских горах не было дождей. А дождей не было там потому, что их не было и в Ханаане, в Ханаане же дождей не было по той причине, что море не рождало облаков, причем не рождало их семь или по меньшей мере пять лет подряд. Почему?

На то есть высшие причины, это связано уже с космосом и со светилами, которые, несомненно, определяют у нас погоду и ветры. Вот, например, пятна на солнце — причина весьма уже отдаленная. Но что солнце — не последняя и не самая высокая инстанция, это знает любой ребенок, и если уж Аврам отказался поклоняться ему как первопричине, то нам и по-прежнему зазорно остановиться на нем. Есть во вселенной высшие силы, низводящие царственный покой солнца до подчиненного движения, да и столь влиятельные пятна на его лице сами представляют собой «почему», конечное «потому что» которого отнюдь не заключено в этих высших или еще более высоких, чем эти высшие, системах. Окончательное «потому что» заключено или, лучше сказать, восседает на троне, по-видимому, в такой дали, которая и близка, потому что в ней уже едины далекое и близкое, причина и следствие; это там мы находим себя, теряя себя, и это там, по нашему предположению, находится средоточие замыслов, отказывающееся порой, ради своих целей, от жертвенных лепешек.

Засуха и дороговизна продолжали свирепствовать, и не потребовалось даже полного годового оборота, чтобы Иаков смягчился. Пища, которую таким приятным и вместе жутким образом получили даром его сыновья, была съедена; ее оказалось немного на столько людей, а новой купить на месте ни за какие деньги нельзя было. И уже на несколько месяцев раньше, чем в прошлом году, Израиль завел тот разговор, которого ждали братья.

— Не находите ли вы, — сказал он, — противоречия и несогласия между моим богатством, которое я, сломав пыльные запоры Лаванова царства, сохранил и умножил, и этой

бедой, что у нас опять уже нет ни семян для посева, ни пшеницы и ваши дети плачут и просят хлеба?

Да, отвечали они, такие уж времена.

— Странные это времена, — сказал он, — если у человека целая орава взрослых сыновей, которых он не преминул родить себе с божьей помощью, и они сидят на своих седалищах и не шевельнутся, чтобы поправить дела.

— Это ты так говоришь, отец. А что делать?

— Что делать? В Египте, как я слышу со всех сторон, торгуют зерном. Почему бы вам не отправиться в путь, не спуститься туда и не привезти нам немного хлеба?

— Верно, отец, мы-то поехали бы. Но ты забываешь, что заявил нам там внизу насчет Вениамина владыка: мы не увидим его лица, если с нами не будет нашего младшего брата, которого мы не смогли представить ему в доказательство своей честности. Этот человек, по видимому, звездочет. Он сказал, что солнце может скрыть одного из двенадцати, но не двоих сразу, и что он не взглянет на нас, покуда перед ним не предстанет одиннадцатый. Отпусти с нами Вениамина, и мы поедem.

Иаков вздохнул.

— Я знал, — сказал он, — что так и будет и что вы снова начнете мучить меня из-за этого ребенка.

И он стал громко бранить их:

— Несчастные глупцы! Кто вас тянул за язык, кто заставлял вас выбалтывать ему свои обстоятельства, чтобы он знал, что у вас есть еще один брат, мой сын, и мог его потребовать? Если бы вы, храня достоинство, ограничились делом и не болтали, он не узнал бы о Вениамине и не мог бы назначить платой за муку для лепешек кровь моего сердца. Вы заслуживаете того, чтобы я вас всех проклял!

— Не делай этого, господин, — сказал Иуда, — что станется тогда с Израилем? Пойми, что мы были в трудном положении и вынуждены были говорить ему правду, ибо он пристал к нам со своим подозрением и допрашивал нас о нашей родне! А допрашивал он нас очень подробно, он допытывался: «Жив ли еще ваш отец?», «Есть ли у вас еще один брат?», «Хорошо ли живется вашему отцу?» И когда мы сказали ему, что живется тебе не так хорошо, как подобало бы, он стал громко бранить нас, рассердившись за то, что мы допустили это.

— Гм, — сказал Иаков и погладил свою бороду.

— Нас испугала, — продолжал Иуда, — его строгость и пленило его участие. Ведь это же не пустяк, если к тебе относится с таким заботливым участием важное лицо, от которого ты сейчас зависишь. Это открывает душу человека и делает его общительным, а то и болтливым.

Да и как можно было догадаться, спросил Иегуда, что тот сразу потребует их брата и прикажет им: «Доставьте его сюда!»

Говорил в этот раз преимущественно Иуда, спорщик испытанный. Так было у них заранее решено на тот случай, если Иаков покажет, что он смягчился; ибо Ре'увим отпал, после того как разбушевался и ляпнул, чтобы Иаков убил двух его сыновей, а Левию, хотя потеря близнеца была для него тяжким ударом и превратила его как бы в половину человека, приходилось помалкивать из-за Шекема. Иуда говорил превосходно, мужественным тоном и убедительно.

— Израиль, — говорил он, — сделай над собой усилие, даже если тебе придется бороться с самим собой до рассвета, как когда-то с другим! Это поистине час Иавока, так покажи же себя героем божьим. Пойми, этот человек внизу непреклонен. Мы не увидим его, и третий сын Лии сгинет в служильне, да и о хлебе тоже нечего и думать, если Вениамина с нами не будет. Я, твой лев, знаю, как трудно тебе отпустить в дорогу залог Рахили, который «всегда был дома», и отпустить притом в Страну Ила и мертвых богов. К тому же ты, вероятно, не доверяешь этому человеку, этому владыке страны, подозревая, что он готовит нам западню и не

выпустит ни младшего, ни заложника, а может быть, и никого из нас. Но я — а я знаю людей и не жду особого добра ни от высших, ни от низших — я говорю тебе: не таков этот человек, и я убежден, я даю голову на отсечение, — он не собирается заманивать нас в западню. Да, он человек чудной и скользкий, но он располагает к себе, и при всех его заблуждениях в нем нет неискренности. Я, Иуда, ручаюсь за него, как ручаюсь за вот этого, за твоего сына, нашего младшего брата. Отпусти его со мной, и я буду ему отцом и матерью, как ты, и в дороге, и там внизу, чтобы нога его не споткнулась о камень, а пороки Египта не осквернили его души. Доверь его моей руке, и мы наконец отправимся в путь, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши! Ты потребуешь его из моих рук, и если я не приведу его к тебе и не поставлю его перед лицом твоим, то останусь я виновным перед тобою во все дни жизни. Как он сейчас с тобой, так он и будет с тобой, и он мог бы уже давно быть с тобою снова, тогда как сейчас он все еще с тобой, ибо если бы мы не медлили, мы бы уже дважды успели вернуться с заложником, со свидетелем и с хлебом!

— Дайте мне, — отвечал Иаков, — подумать до утренней зари.

А наутро он сдался и внутренне согласился отпустить Вениамина в дорогу, не в какой-нибудь Шекем, до которого можно было доехать за несколько дней, а далеко вниз, на расстояние добрых семнадцати дней пути. У него были красные глаза, и он всячески показывал, каких душевных усилий стоило ему это вынужденное решение. Но так как он не притворялся, а действительно изо всех сил боролся с тяжелой необходимостью и теперь только величаво, скорбно и ярко это показывал, его вид произвел на всех очень большое впечатление, и люди взволнованно говорили друг другу: «Глядите, Израиль превозмог себя этой ночью!»

Склонив голову к плечу, он сказал:

— Если уж тому суждено быть, если так уж написано на медных скрижалях, что все должно пасть на меня, сделайте это и поезжайте, я согласен. Возьмите с собой в подарок этому человеку, чтобы смягчить его сердце, самых лучших плодов этой земли, которыми она славится: бальзама, астрагала, густого виноградного меда, чтобы он прихлебывал его с водой или подслащивал им сладкие блюда, и скажите ему, что это пустяк! Возьмите также двойное количество денег, чтобы заплатить за новый товар и за прежний, ибо, насколько я помню, в первый раз ваше серебро оказалось снова у вас в мешках, — вдруг это оплошность. И возьмите Вениамина, — да, да, вы не ослышались, возьмите его и отвезите к этому человеку, я согласен! Я вижу по вашим лицам, что вы смущены моим решением, но оно принято, и если уж суждено Израилю быть бездетным, он готов быть бездетным. Но пусть Эль Шаддаи, — воскликнул он, воздев руки к небу, — пусть он даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина! Господи, лишь взаймы я даю его тебе на эту поездку, пусть не будет между нами никаких недоразумений, я не приношу его тебе в жертву, чтобы ты проглотил его, как другое мое дитя, я хочу, чтобы он вернулся ко мне! Помни, господи, завет, по которому душа человеческая освящается и облагораживается в тебе, а ты в ней! Не останься. Всемогущий, позади чувствительной души человеческой, похитив у меня мальчика в поездке и бросив его на растерзание этому чудищу, а сдержись, молю тебя, и честно возврати мне одолженное, — и я паду перед тобой ниц и сожгу тебе лучшие куски, чтобы усладить твоё обонянье!

Вознеся к небу такую молитву, он вместе с Елиезером (собственно, Дамасеком) принялся снаряжать в дорогу сына смерти, которому собирал пожитки, как мать; ибо уже на следующее утро братья должны были тронуться в путь, чтобы поспеть в Газу до отправления каравана, который там собирался, и это вполне отвечало радостному нетерпению Бенони, как нельзя более счастливого, что наконец-то кончится это его символическое затворничество, это его всегдашнее пребывание дома в знак невиновности, и он наконец-то увидит мир. Он не прыгал перед Иаковом и не бил землю пятками, потому что ему было не семнадцать, как тогда Иосифу, а около тридцати и он не хотел ранить это патетическое сердце своей радостью по поводу расставанья; и потому еще, что прыгать ему не позволяла лежавшая на нем тень мате-

реубийства, а из своей роли он не смел выходить. Но уж зато перед своими женами и детьми он всю хвастался дарованной ему свободой передвиженья и тем, что поедет в Мицраим, чтобы освободить Симеона своим прибытием, ибо один только он способен добиться этого от властелина страны.

Сборы же могли быть такими недолгими потому, что все необходимое для поездки через пустыню путешественникам предстояло закупить в Газе. Покамест главную их поклажу составляли подарки тюремщику Симеона, египетскому хлеботорговцу, принесенные из кладовых молодым Елиезером: ароматные смолы, виноградный сироп, мирра, орехи и фрукты. Для этих даров, прекрасными качествами которых славилась родившая их земля, был выделен особый осел.

На заре отправлялись братья во второе путешествие — в том же числе, что и в первый раз, ибо их стало на одного меньше и на одного больше. Вокруг них толпились домочадцы, а братья стояли внутри этого круга, держа за недоуздки ослов. В самой же середине стоял Иаков и обнимал то, что у него осталось от первой возлюбленной. Люди затем и собрались, чтобы поглядеть, как прощается Иаков со своим береженным, и возвысить душу зрелищем величавой боли разлуки. Долго не отпускал он от себя младшего сына, он повесил ему на шею собственный талисман, он что-то бормотал, прижавшись к его щеке и глядя вверх. А братья, с горькой и терпеливой усмешкой, глядели в землю.

— Это ты. Иуда, — сказал он наконец во всеуслышание, — это ты поручился за него и сказал мне, чтобы я потребовал его из твоих рук. Так знай же: ты освобожден от своего поручительства. Пристало ли человеку ручаться за бога? Не на тебя уповаю, ибо как воспротивишься ты гневу господню? Я уповаю на него одного, на утес и на пастыря, что он вернет мне вот этого, которого я с верой вручаю ему. Знайте все: он не изверг, который глумится над сердцем человеческим и, бесчинствуя, втаптывает его в грязь. Он великий бог, чистый и светлый, он бог завета и доверия, и если уж человек должен ручаться за него, то ты мне для этого не нужен, мой лев, я сам поручусь за его верность, и он не посрамит моего поручительства. Поезжайте, — сказал он и отстранил от себя Вениамина, — во имя бога, милосердного и верного бога! Но все-таки присматривайте за ним! — добавил он дрогнувшим голосом и повернулся к своему дому.

СЕРЕБРЯНАЯ ЧАША

Когда на этот раз Иосиф-кормилец вернулся домой из присутствия с известием в сердце, что десятеро путников из Ханаана миновали границу, его управляющий Май-Сахме сразу же догадался обо всем по его виду и спросил:

— Ну, что ж, Адон, видно, срок исполнился и ожидание кончилось?

— Исполнился срок, — отвечал Иосиф, — кончилось ожидание. Все произошло так, как должно было произойти, и они явились. Они будут здесь на третий день от сегодняшнего, и с малышом, — сказал он, — с малышом! Божья эта история некоторое время не двигалась, и нам пришлось ждать. Но ход событий не прекращается и тогда, когда кажется, что история остановилась, и солнечная тень совершает свой путь незаметно. Нужно только спокойно довериться времени, почти не заботясь о нем, — этому научили меня еще измаильтяне, с которыми я путешествовал, — и оно само даст всему созреть и ко всему подведет.

— Значит, — сказал Май-Сахме, — надо многое обдумать и подробно наметить продолженье этой игры. Угодно ли тебе, чтобы я что-нибудь предложил?

— Ах, Май, как будто я давно уже всего не продумал и не подготовил, как будто я жалел свои силы, когда сочинял! Все пойдет так, словно это уже записано и нужно только по-писанному сыграть. Неожиданностей тут не будет, будет лишь умиление при виде того, как знакомое становится действительностью. К тому же на этот раз я совсем не волнуюсь, у меня просто

празднично на душе, оттого что мы переходим к дальнейшему; разве что при мысли о словах «Это я» у меня начинает немного сильнее стучать сердце, да и то страшно мне не за себя, а за них — для них следовало бы тебе, пожалуй, приготовить свою шипучку.

— Не премину, Адон. Но хоть ты и не хочешь слышать никаких советов, я все-таки советую тебе: будь осторожен с малышом! Он не только наполовину твоей крови, он единокровный твой брат, и тут, насколько я тебя знаю, ты можешь не совладать с собой и выдать себя. Кроме того, самый младший всегда самый хитрый, и вполне может случиться, что твое «Это я» он побьет своим «Это ты» и испортит тебе всю игру.

— Ну, а если это и случится. Май?! Я даже не против такой замены. Вот было бы смеху! Так дети, бывает, сначала нагромоздят что-нибудь, а потом вдруг опрокинут одним махом и радуются. Но я не разделяю твоего опасения. Чтобы такой малыш сказал в лицо другу фараона и наместнику Гора: «Ба, да ведь ты же не кто иной, как брат мой Иосиф!» Это было бы наглостью! Нет, уж эти слова роли останутся за мной.

— Ты снова примешь их в Великом Присутствии?

— Нет, на этот раз здесь. Я хочу отобедать с ними, их нужно позвать к столу. Припаси мяса и приготовь кушаний, мой управляющий, на одиннадцать гостей больше, чем ожидается в этот день, третий от сегодняшнего. Кто приглашен на послезавтра?

— Несколько почетных глав города, — отвечал Май-Сахме, справляясь с табличкой. — Его преподобие Птахотпе, чтец из храма Птаха; воитель владыки, начальник здешнего гарнизона бога Энтеф-окер; первый землемер и межевальщик Па-неше, сосед моего господина по каменной гробнице; и несколько книжководов из Великого Продовольственного Присутствия.

— Отлично, им будет в диковинку пообедать с чужестранцами.

— Боюсь, что слишком в диковинку, Адон. Ведь, к сожалению, позволь тебе напомнить, приходится считаться с обычаями, относящимися к еде, и с некоторыми запретами. Кое-кому может показаться предосудительным есть хлеб вместе с иврим.

— Ах, оставь, Май, ты говоришь, как какой-то Дуду, — так звали одного карлика, блюстителя правил! Уж я-то знаю своих египтян — станут они бояться, как же! Тогда уж им следовало бы бояться есть и со мной, ведь ни от кого не секрет, что в детстве я пил не нильскую воду. Но есть еще и фараонов перстень «Будь как я», он все побивает. С кем я обедаю, того они тоже найдут подходящим для себя сотрапезником, и помимо всего прочего, существует учение фараона, что все люди — любимые дети его отца, а всякий, кто хочет преуспеть при дворе, не устает восхищаться этим учением. Впрочем, для соблюдения формы, ты подай нам пищу особо: египтянам особо, братьям особо и мне особо. А братьев моих посади точно по старшинству, — первым большого Рувима, а последним Бенони. Смотри, не ошибись, я их еще раз назову тебе по порядку, запиши на табличку.

— Хорошо, Адон. Только это опасно. Как им не удивиться, что ты так точно знаешь, кто у них за кем идет?

— Кроме того, поставь передо мной мою чашу, в которую я заглядываю, серебряную гадальную чашу.

— Так, так, чашу. Ты хочешь при них угадать по ней, когда они родились?

— И на это она тоже годится.

— Я хотел бы, Адон, погадать с ее помощью и по виду, который примут в чистой воде несколько кусочков золота и несколько точеных камешков, узнать, что ты замыслил и как ты собираешься подвести эту историю к словам своего самораскрытия. Боюсь, что, не зная этого, я буду тебе плохим слугой; а я должен быть хорошим слугой и помощником, чтобы не занимать без толку место в этой истории, в которую ты меня так любезно принял.

— Ты им и будешь, мой управляющий. Как же иначе? Но для начала поставь передо мной чашу, по которой я иногда, шутки ради, гадаю!

— Чашу, да, да, чашу, — сказал Май-Сахме с таким выражением глаз, словно пытался что-то вспомнить. — Итак, они приведут к тебе Вениамина, и ты увидишь среди братьев свое-

го братца. Но ведь после того, как ты отобедаешь с ними и наполнишь их мешки во второй раз, они же заберут с собой младшего и поедут с ним домой к вашему отцу, а ты так и останешься ни с чем?

— Зорче гляди в чашу. Май, получше вглядывайся в воду! Да, они снова уедут, но, может быть, они что-то забудут, из-за чего им придется вернуться?

Начальник темницы покачал головой:

— Или, может быть, они возьмут с собой что-то, чего мы хватились и из-за чего, погнавшись за ними, вернем их?

Маи-Сахме глядел на него круглыми глазами, высоко подняв черные брови, и постепенно маленький его рот расцвел улыбкой. Когда у мужчины такой маленький рот и он им улыбается, то улыбка его, даже если это человек коренастый и полный, очень похожа на женскую, и совершенно по-женски, изящно и не без очарования, улыбнулся сейчас при всей черноте своей бороды Маи-Сахме. По-видимому, он что-то увидел в чаше, ибо лукаво и понимающе подмигнул Иосифу, а тот, подмигнув ему в свою очередь, поднял руку и утвердительно-одобрительно похлопал Май по плечу; и Май, хотя это было недопустимой вольностью — но ведь в конце концов Иосиф когда-то был каторжником в его остроге, — Май тоже поднял руку, чтобы похлопать по плечу своего господина, и они довольно долго стояли так, подмигивая один другому и хлопая друг друга по плечу, в добром согласии насчет дальнейшего хода праздничной этой истории.

ЗАПАХ МИРТА, ИЛИ ОБЕД С БРАТЬЯМИ

А она пошла следующим образом и разыгрывалась, не пропуская ни одного своего часа, вот как. Сыновья Иакова прибыли в Менфе, дом Птаха, и остановились на прежнем постоялом дворе, довольные, что благополучно доставили Вениамина, которого в течение всего почти семнадцатидневного пути всячески ублажали и опекали — из почтения к чувствам Иакова и потому, что Вениамин был важней их всех, поскольку именно его потребовали в свидетели и без него они не увидели бы лица этого двойственного хлеботорговца и не вызволили бы Симеона. Это были достаточно веские причины, чтобы беречь малыша как зеницу ока, обеспечивая его всем необходимым в первую очередь и охраняя его, как драгоценную воду: на переднем плане был страх перед здешним правителем, на заднем — страх перед отцом. Но на самом заднем плане имелась еще и третья причина этого рвения: ухаживая за Вениамином, они хотели загладить свою вину перед Иосифом. Ибо мысль о нем и об их злодеянии, столь долгое время дремавшая, снова проснулась у них у всех после их первого путешествия и всего, что тогда случилось; она поднялась из-под пластов времени, словно только вчера они уничтожили одно из колен Израилевых и продали своего брата. Это висело над ними, как позднее возмездие, они ощущали это как руку, которая тянет их к ответу, и ревностная забота о втором сыне Рахили казалась им еще наилучшим способом отстранить эту руку и разогнать духов мщения.

Они надели на него красивый пестрый наряд с бахромой и напусками, чтобы представить его в нем владыке страны, намастили его похожие на шапку из выхухоли волосы, чтобы они не топорщились, превратись поистине в сверкающий шлем, и удлинили ему глаза заостренной кисточкой. Но когда в Великом Присутствии Выдачи и Снабжения, куда они обратились, их направили в собственный дом Кормильца, они испугались, ибо все неожиданное, все, что шло не так, как они представляли себе, пугало их и казалось им предвестием новых зловещих осложнений. В чем тут было дело, почему их поставили в такое особое положение, что даже на прием они должны были идти в частные покои? Добрый это знак или дурной? Может быть, это связано с теми деньгами, что каким-то темным способом вернулись к ним в прошлый раз, и теперь темное это дело, может быть, обратят против них, и, значит, они попались в ловуш-

ку и всех их за неплатеж заключат в тюрьму, и все одиннадцать будут рабами? Темные эти деньги они привезли с собой вместе с новым обменным металлом, но это мало их успокаивало. Они испытывали большое искушение повернуть назад, не показываться ему на глаза, спастись бегством — из страха прежде всего за Вениамина, который, однако, ободрял их и смело настаивал на том, чтобы они отвели его к хлеботорговцу, ибо он, Вениамин, умастился и нарядился и у него нет оснований скрываться от этого человека; да ведь и у них, говорил он, нет таких оснований, поскольку деньги вернулись к ним лишь по недоразумению, а если ты невиновен, то незачем и вести себя так, словно ты виноват.

Немного виноватым, говорили они, виноватым вообще, если и не в чем-то определенном, всегда себя чувствуешь, а потому и в том случае, когда ты как раз не виноват, чувствуешь себя тоже не совсем хорошо. Впрочем, ему, малышу, легко говорить: он ведь всегда невинно сидел дома, и ему, понятно, не случалось находить у себя в мешке темные деньги, тогда как они, которым вечно приходилось шататься по свету, не могли начисто избежать вины.

Столь общую вину, утешал их Бенони, этот человек, конечно, простит; ведь он же достаточно вращается в мире. С деньгами же дело чистое, хотя и темное, да и приехали-то они сюда, в частности, затем, чтобы их возвратить. А кроме того, нужно вызволить Симеона, это они знают не хуже, чем он, Вениамин, и купить еще хлеба. О возвращенье и бегстве нечего, следовательно, и думать, ибо тогда они прослывят здесь не только ворами, но и соглядатаями и вдобавок станут братоубийцами.

Все это, как и то, что они обязаны рисковать, даже если им всем грозит рабство, братья знали не хуже, чем он. Прекрасные дары Иакова, которые они привезли с собой, образцы плодов, составлявших славу их края, придали им бодрости, и они решили первым делом поговорить с коренастым, недвусмысленно добродушным домоправителем, если им удастся его разыскать.

Это им легко удалось. Ибо когда они подъехали к находившемуся в Прекрасном Квартале особняку хлеботорговца и, спешившись в каменных воротах, повели ослов мимо зеркального пруда к дому, с террасы, навстречу им, уже спускался этот внушавший доверие человек; он сказал им: «Добро пожаловать», похвалил их за то, что они хоть и не так скоро, но сдержали слово, и сразу же пожелал увидеть их младшего, которого и оглядел со всех сторон круглыми своими глазами, приговаривая: «Молодцом, молодцом!» Он велел своим людям отвести ослов на задний двор, а тюки со славными плодами земли Ханаанской отнести в дом и повел братьев вверх по широкой лестнице, и они тут же, робея и волнуясь, завели с ним разговор о деньгах.

Некоторые заговорили об этом, как только его увидели, чуть ли не издали, — им не терпелось.

Господин домоправитель, говорили они, дорогой господин главноуправляющий, так, мол, и так, это непонятно, но так уж случилось, и вот двойная толика денег, они люди честные. Они тогда нашли, да, нашли, заплаченные сребреники у себя в торбах, и все это время их угнетала темная эта находка. Но вот она снова здесь, полным весом, вместе с другими деньгами, платой за новую пищу. Его повелитель, друг фараона, ведь не поставит им этого в вину и не приговорит их к наказанию?

Так говорили они наперебой, хватая его даже за руки от волнения и клятвенно уверяя его, что они не войдут в прекрасную дверь дома, если он, со своей стороны, не поклянется им, что его господин не устраивает им подвоха из-за этого досадного происшествия и не взыщет с них за него.

Он же, само спокойствие, успокаивал их и говорил:

— Не волнуйтесь, друзья, и не бойтесь, все в порядке. А если случившееся и не в порядке вещей, то это приятное чудо. Мы свои деньги получили, нам этого достаточно, и у нас нет никаких оснований устраивать вам подвох. Ваш рассказ наводит меня только на одну мысль — что ваш бог и бог вашего отца шутки ради положил вам в мешки клад — никакого другого

объяснения мой разум не находит. Вероятно, вы ему благочестно и ревностно служите, и он пожелал показать вам наконец свою признательность, — ну, что ж, его можно понять. Но вы, мне кажется, очень взволнованы, это нехорошо. Я велю приготовить вам ножные ванны, во-первых, из гостеприимства, — ведь вы наши гости и будете обедать с другом фараона, — а кроме того, ножная ванна оттягивает кровь от головы и умиротворяет рассудок. Войдите же и прежде всего поглядите, кто ждет вас в палате!

А в палате стоял их брат Симеон, не связанный, нисколько не спавший с тела и не осунувшийся, а такой же здоровенный, как всегда; ему, как радостно сообщил он окружившим его братьям, жилось хорошо, и он вполне сносно для заложника коротал дни в одной из комнат Великого Присутствия, не видя, правда, больше лица Мошеля и тревожно гадая, вернутся ли они, — но всегда подкрепляясь хорошей едой и хорошим питьем. Они извинились перед вторым сыном Лии за то, что так долго не возвращались — из-за упрямства Иакова, как он, надеются они, понимает; и он понимал их и был рад им, особенно своему брату Левию; ибо одному забияке очень недоставало другого, и если они не целовались и не обнимались, то зато они то и дело, не щадя сил, пинали друг друга кулаками в плечо.

И вот все братья сели, помыли ноги, а потом управляющий отвел их в палату, где делались приготовления к обеду, — изобиловавшую цветами, столовыми украшениями и прекрасной посудой, и стал помогать им раскладывать на длинном поставце у стены, напоказ господину, привезенные ими подарки, пряности, мед, орехи и фрукты. Вскоре, однако, Маи-Сахме пришлось отлучиться, ибо как раз в это время прибыл на обед Иосиф с приглашенными египтянами, пророком Птаха, воителем владыки, начальником землемеров и книговедами. Он вошел с ними в столовую и сказал: «Здравствуйте, приятели!» А братья пали ниц как подкошенные.

Несколько мгновений он стоял молча, потирая лоб кончиками пальцев. Потом повторил:

— Здравствуйте, друзья! Встаньте же передо мной и покажите мне свои лица, чтобы я вас узнал. Ибо вы, как я могу заключить, узнали меня и видите, что я главный хлеботорговец Египта, тот самый, которому пришлось быть суровым с вами ради этой драгоценной страны. Но вы успокоили и убедили меня в своей правоте, возвратившись в должном количестве, так что теперь все братья вместе и все на месте. Это прекрасно. Вы заметили, что я говорю с вами на вашем языке? Да, теперь я могу на нем говорить. Когда вы были здесь в прошлый раз, я обнаружил, что не понимаю по-еврейски, и очень на это досадовал. Поэтому, пока вы отсутствовали, я изучал еврейский язык. Такой человек, как я, изучает язык в два счета. Так как же ваши дела? Прежде всего — жив ли еще ваш старый отец, о котором вы мне рассказывали, и хорошо ли ему живется?

Твоему рабу, отцу нашему, отвечали они, живется довольно хорошо, и он еще живет своей торжественной жизнью. Он был бы очень тронут этим любезным вопросом.

И они снова припали лбами к каменным плитам пола.

— Перестаньте, — сказал он, — вы и так уже более чем достаточно кланялись и сгибались! Покажитесь наконец. Это и есть младший ваш брат, о котором вы мне говорили? — спросил он на несколько ломаном ханаанском языке, потому что действительно немного забыл его, и подошел к Вениамину. Принарядившийся супруг благоговейно поднял на него взор своих серых, полных мягкой и светлой печали глаз.

— Да хранит тебя бог, сын мой! — сказал Иосиф и положил ладонь на его спину. — У тебя всегда были такие хорошие глаза и такая блестящая шапка волос на голове, даже тогда, когда ты был еще крошкой и разгуливал, карапуз, среди зеленых деревьев?

Он сделал глотательное движение.

— Сейчас я вернусь, — сказал он. — Мне нужно только...

И он быстро вышел — во внутренние, видимо, покои, к себе в спальню, но вскоре возвратился с вымытыми глазами.

— Я забыл свои обязанности, — сказал он, — и даже не познакомил друг с другом гостей моего дома! Господа, это покупатели из Ханаана, люди торжественного происхождения, сыновья одного замечательного человека.

И он перечислил египтянам имена сыновей Иакова, точно по порядку, очень бегло, как будто читал стихи, с легкой цезурой после каждого третьего имени, — пропустив, разумеется, свое собственное: после Завулона он сделал маленькую паузу, а потом закончил: «и Вениамин». И братья поразились, что он сумел перечислить их имена в такой последовательности, и выразили друг другу свое удивление.

Затем он назвал им имена египетских сановников, которые держались довольно натянуто. Он усмехнулся по этому поводу и сказал: «Вели подавать», — потирая руки как бы в предвкушение обеда. Но его домоправитель указал ему на разложенные дары, и он восхитился ими с непритворным радушием.

— От вашего старого отца? — спросил он. — Какая трогательная внимательность! Передайте ему величайшую мою благодарность!

Это пустяки, заявили они, это лишь образцы того, чем славится их земля.

— Нет, это очень большой подарок! — возразил он. — А главное, очень красивый! Я никогда не видел такого нежного астрагала. А таких фисташек — что они маслянисты и вкусны, видно даже издали — нигде, наверно, кроме как в вашем краю, не найдешь. Я просто не могу на них наглядеться. Ну, а теперь пора и обедать!

И Май-Сахме указал всем их места, и у братьев снова было чему удивляться; их посадили точно по возрасту, хотя, считая от хозяина дома, в обратном порядке, так что младший сидел ближе всех к нему, а за Вениамином, по возрастающему старшинству, Завулон, Иссахар, Асир и так далее вплоть до большого Рувима. Столики были расставлены углом между обегавшими эту египетскую палату колоннами, и вершиной угла был столик хозяина. Справа от него, наискось, шли места здешних сановников, а слева — чужеземцев-азиатов, так что он председательствовал у тех и у других, и по правую руку его соседом был пророк Птаха, а по левую Вениамин. Гостеприимно и в самом лучезарном расположении духа Иосиф призвал всех угощаться без церемоний, не жалея ни кушаний, ни вина.

Трапеза эта знаменита своим весельем, и действительно, вскоре от первоначальной натянутости сановных египтян и следа не осталось: оживившись, они совершенно забыли, что вообще-то это мерзость для них — есть хлеб с евреями. Первым разошелся налегавший на сирийское вино воитель владыки, начальник гарнизона Энтеф-окер; он громко, через всю треугольную палату, беседовал с прямым Гадом, который понравился ему больше других жителей песков.

Не следует удивляться, что предание оставляет тут вне поля зрения супругу Иосифа, дочь главного жреца солнца Аснат, настаивая на чисто мужском обеде, хотя по египетскому обычаю муж и жена ели вместе, да и на торжественных пиршествах хозяйка дома присутствовала. Мы подтверждаем верность старого этого рассказа — не пояснением, что, дескать, «девушка», согласно брачному договору, как раз гостила тогда у своих родителей, — что ведь вполне могло быть, — а ссылкой на распорядок дня, на образ жизни Иосифа, по большей части не позволявший возвысившемуся видеть детей и женщин в дневные часы. Трапеза с братьями и с местной знатью, хоть и весьма веселая, была не торжественным пиром, а одним из тех деловых обедов, какие другу фараона приходилось давать почти ежедневно, так что со своей супругой он обычно лишь ужинал — на женской, кстати сказать, половине дома, выкроив предварительно время для занятий с Манассией и очаровательным полукровкой Ефремом. В полдень же он ел в мужском обществе, будь то лишь высокие и высшие чиновники Велико-го Продовольственного Присутствия, или проезжие титулоносцы обеих стран, или, наконец, гости и посланцы из-за границы; одной из таких полуденных трапез у Друга Урожая Бога была и эта — то есть для постороннего глаза; ибо какие с ней связаны волнующие события, как входит она в колею одной чудесной и праздничной истории божьей и почему так заразительно весел высокий хозяин дома, это было поначалу для всех ее участников окутано мраком.

Для всех ли? Уместно ли такое обобщающее слово и стоит ли на нем настаивать? Май-Сахме, приземисто и с высоко поднятыми бровями стоявший в самом широком месте палаты и направлявший белым жезлом то туда, то сюда сновавших между столиками кравчих и хлебодаров, в счет не идет. Он знал, что к чему, но участником обеда он не был. Был ли среди обедавших кто-нибудь, для кого этот мрак таил в себе какую-то половинчатую, страшную, блаженную, невероятную, неосознанную прозрачность? Ясно уже, что, задавая этот осторожный вопрос, который, пожалуй, лучше всего и оставить вопросом, мы имеем в виду Туртурру-Бенони, младшего, сидевшего слева от хозяина дома. Чувства его не поддаются описанию. Их никогда никто не описывал, и эта повесть тоже не станет делать того, за что никто не брался, — облекать в слова некую сопровождаемую сладким страхом догадку, которая далеко еще не дерзнула стать даже догадкой, не пошла дальше смутных проблесков памяти, дальше странного, щемящего ощущения родства между двумя совершенно разными и далекими друг от друга впечатлениями, давним, забытым с детства, и нынешним. Вы только представьте себе, как все это происходило.

Они сидели на удобных табуретках, и перед каждым, наискосок, стоял столик с веселой горой еды, закусок и украшений, фруктов, пирожных, овощей, пирогов, огурцов, тыкв, роговых сосудов с цветами и сладями, а с другой стороны — изящный умывальный прибор, красивая подставка для амфор и медный таз для объедков. Слуги в набедренниках, под особым надзором купора, наполняли чаши; другие принимали у зрителя поставца главные блюда, телятину, баранину, жареную рыбу, птицу, дичь и подносили ее гостям, не отдавая им, однако, ввиду высокого звания хозяина, никакого перед ним предпочтения. Наоборот, Адон получал не только первые, но и самые лучшие куски и гораздо больше, чем остальные, — правда, лишь для того, чтобы угощать других, ибо, как то записано, «кушанья посылались им от него», то есть он посылал с приветом то одному, то другому, иной раз какому-нибудь египтянину, а иной раз кому-либо из чужеземцев, то жареную утку, то варенье из айвы, то золоченую косточку с нанизанными на нее кольцами лакомых пряженцев; самому же младшему азиату, соседу своему слева, он то и дело сам подавал куски с собственного стола; а поскольку такие знаки благоволения высоко ценились и египтяне внимательно вели им счет, то потом все это обсуждалось и перечислялось, благодаря чему до нас и дошло, что маленький бедуин действительно получил со стола господина впятеро большую долю, чем все другие.

Вениамину было совестно, он просил не потчевать его больше и виновато поглядывал на египтян и на братьев. Он не смог бы съесть столько, сколько ему подавалось, даже если бы еда и занимала сейчас его ум, — смущенный и удрученный ум, который искал, находил, терял и вдруг так несомненно находил снова, что сердце щемило от резких и быстрых толчков. Он вглядывался в безбородое, окаймленное крылатой иератической повязкой лицо хозяина, который потребовал его сюда поручителем, этого уже грузноватого египетского вельможи в белой одежде с блестящим нагрудником; глядел на этот улыбающийся во время беседы рот, в эти черные глаза, которые с шутивным блеском встречались с его глазами и порой, словно бы отступив, словно бы запрещая, закрывались — как раз тогда, когда его, Вениамина, глаза делались широкими от недоверчивой радости и от страха; глядел на вылепку этой украшенной резным лазуритом руки, протягивавшей ему блюдо или поднимавшей чашу, — и ему казалось, будто он чувствует запах детства, острый, согретый пряностью, вобравший в себя и восторженность, и ласковую задушевность, и все ошеломляющие предчувствия, и всю детскую непонятливость, и в то же время понятливость, и всю доверчивость, и все нежное беспокойство — запах мирта. Давний этот запах был неотделим от внутренних усилий, от попыток разгадать какую-то прекрасную загадку, от боязливо-гордого и покорного постижения какой-то туманной и страшной тождественности, от полумучительного-полублаженного нащупывания тождества чего-то по-приятельски близкого и чего-то более высокого, божественного, потому-то и чудился короткому носику Туртурры этот пряный дух детства, что все было так же, как тогда, только перевернуто, но разве перевернутость что-либо значит! В нынешнем, в высоком

и чужом, угадывалось давнее и знакомое, проглядывая в нем в иные мгновенья со сжимающей сердце отчетливостью.

Владыка зерна долго болтал с ним за едой — в пять раз больше, чем с египетским титлоносцем, что сидел по правую его руку. Он спрашивал его о жите-бытье, о его детях: старшего из них звали Бела, младшего покамест — Мупим. — «Мупим! — сказал владыка зерна. — Поцелуй его за меня, когда вернешься домой, ведь это же просто чудо, что у младшего есть еще младший. А кто перед ним, предпоследний по старшинству? Его зовут Рос? Прекрасно! Он от той же матери, что и младший? Да? Вот уж, наверно, они разгуливают вдвоем среди зеленых деревьев? Только бы старший не пугал младшего — ведь тот еще карапуз — бог весть каким вздором, всякими историями о боге и прочими самонадеянными выдумками. Следы за ними, отец Вениамин!»

И он рассказал ему о собственных сыновьях, рожденных ему дочерью Солнца, о Манассии и Ефреме — нравятся ли Вениамину их имена? Нравятся, сказал Вениамин и оказался у порога вопроса, почему у них такие странные имена, но у этого порога он и застрял с широко раскрытыми от изумленья глазами. Застрял, впрочем, ненадолго, ибо его сосед, правитель земли Египетской, стал рассказывать всякие забавные вещи о Манассии и Ефреме, что сболтнул один и как напроказил другой, и это напомнило Бенони такого же рода случаи с собственными детьми, и оба покатывались со смеху от этих историй.

Тем временем Вениамин собрался с духом и постучался в дверь:

— Не соблаговолит ли твое великолепие ответить мне на один вопрос и разрешить гостью одну загадку?

— Постараюсь, как смогу, — ответил тот.

— Я хотел бы только, — сказал малыш, — чтобы ты рассеял мою тревогу и успокоил мое недоумение по поводу некоей осведомленности, которую ты обнаружил, и некоей точности, которой отличались твои распоряжения. Ты знаешь наизусть наши имена, братьев моих и мое, и, помня, кто из нас старше и кто младше, можешь без запинки перечислить нас по порядку, — правда, отец говорит, что когда-нибудь во всем мире детям придется это заучивать, ибо мы — избранная богом семья. Откуда ты это знаешь и как умудрился спокойный твой управляющий усадить нас так, как он это сделал, — первородного по его первородству, а младшего по его молодости?

— Ах, — отвечал хлеботорговец, — вот чему вы удивляетесь? Это совсем просто. Видишь эту чашу, серебряную с клинописью? Я из нее пью и по ней гадаю. Хотя у меня и есть ум, который, вероятно, даже выше среднего уровня, коль скоро я являюсь тем, кем являюсь, и фараон пожелал быть выше меня лишь царским престолом, — все же без чаши я вряд ли бы обошелся. Вавилонский царь подарил ее отцу фараона — я имею в виду не себя, носящего звание «Отец фараона» (фараон, правда, называет меня обычно «дядюшка»), а его настоящего отца, то есть, сделаю еще одну оговорку, не божественного, а земного, предшественника фараона, царя Неб-ма-Ра. Ему-то вавилонский царь и подарил ее на память, и таким образом она попала к моему господину, который и соблаговолил порадовать ею меня. А чаша эта и в самом деле нужна мне, ибо обладает ценнейшими свойствами. Она показывает мне, когда я заглядываю в нее, прошлое и будущее, открывает мне тайны вещей и обнажает их связи, как, например, порядок вашего рожденья, который я без труда определил с ее помощью. Доброй долей своего ума, почти всем, что выходит за пределы среднего уровня, я обязан этой чаше. Разумеется, я не трублю об этом на весь свет, но тебе как моему соседу и гостю я это рассказываю. Ты не поверишь, но эта вещица, если умело с ней обращаться, открывает мне картины далеких мест и того, что там когда-то происходило. Хочешь, я опишу тебе могилу твоей матери?

— Ты знаешь, что она умерла?

— Братья твои рассказали мне, что она рано ушла на Запад, эта миловидная, чьи щеки благоухали, как лепестки роз. Я не притворяюсь перед тобой, что узнал это сверхъестествен-

ным путем. Но стоит лишь мне поднести гадальную мою чашу ко лбу, — видишь, вот так, — пожелав при этом увидеть могилу твоей матери, и я сразу же вижу ее с такой ясностью, что сам удивляюсь. А ясность эта — от утреннего солнца, в лучах которого встает передо мной эта картина, и еще я вижу там горы и город на горе, в утреннем свете, совсем недалеко, до него только один переход. Вот пашенки между каменными осыпями, а по правую руку холмы виноградников, а спереди — сложенная без вяжущей смеси стена. А у стены шелковичное дерево, старое уже и дуплистое, и покосившийся ствол его укреплен камнями. Никто никогда не видел ни одного дерева отчетливей, чем я сейчас эту шелковицу и ее листья, колеблемые утренним ветром. А у дерева могила и камень, который они поставили там на память. И знаешь, там кто-то стоит на коленях, а на могиле его дары — вода и сладкие хлебцы, — и это, наверно, его верховой осел под деревом, милое такое животное, белый, с говорящими ушами и челка падает на добрые его глаза. Я и сам не думал, что моя чаша покажет мне все настолько отчетливо. Это действительно могила твоей матери или нет?

— Да, это она, — ответил Вениамин. — Но скажи, господин, неужели ты видишь так ясно только осла, но не путника?

— Его я вижу, пожалуй, еще яснее, — отвечал Иосиф, — но что тут и видеть? Это какой-то хлыщ, едва достигший семнадцати лет, стоит на коленях и принес жертву. Напялил на себя, дуралей, пестрое покрывало с вытканными узорами, а в голове у него ветер, он думает, что поехал прогуляться, а едет к своей гибели, и всего в нескольких днях пути от этой могилы его уже дожидается его собственная.

— Это мой брат Иосиф, — сказал Вениамин, и серые глаза его переполнились слезами.

— О, прости! — испуганно воскликнул его сосед и отставил чашу. — Я не стал бы говорить о нем так пренебрежительно, если бы знал, что это пропавший твой брат. А по поводу того, что я сказал о могиле, о его могиле, не нужно так огорчаться и не на шутку казнить. Могила эта, правда, отверстие нешуточное, глубокое, темное; но удерживать что-либо в себе она не способна. Она, видишь ли, пуста по природе своей: пуста яма, когда она ждет добычи, но если придешь к ней, когда она ее уже дождалась, она пуста снова, — камень отвален. Я не скажу, что она не стоит слез, эта яма, нет, впору даже пронзительно голосить в ее честь, ибо она существует, нешуточное, глубоко печальное установление мира и праздничной, помнящей каждый свой час истории. Я скажу даже, что из почтения к яме не нужно и виду подавать, что знаешь о природной ее пустоте, о ее неспособности удерживать что-либо. Это было бы невежливо по отношению к такому нешуточному установлению. Надо пронзительно причитать и рыдать и быть лишь втайне, совсем втайне, уверенным, что нет на свете такого ухода в преисподнюю, за которым не следовало бы неотъемлемое от него воскресение. Какая бы это была неполная, половинчатая история, если бы ее хватало лишь до ямы, а дальше бы она не знала, как быть! Нет, мир не половинчат, а целостен, и целостен праздник, и целостность его — нерушимый источник бодрости. А потому не тревожься из-за того, что я сказал тебе о могиле твоего брата, и приободришься!

С этими словами он взял руку Вениамина за запястье и, приподняв ее, помахал ею в воздухе, так что даже повеяло ветерком.

Тут малыш и вовсе пришел в ужас. Неопикуемость его состояния достигла высшей своей точки, — сейчас стало совершенно ясно, что этого никто никогда не опишет. У него сперло дыханье, глаза его заволокло слезами, и сквозь слезы он пристально глядел в лицо владыки хлеба, напряженно нахмутив брови, — а это уж вовсе неопикуемое выражение лица: слезы при сомкнутых, да еще напряженно, бровях, — и к тому же рот его был открыт, словно для крика, но крик не раздался, а вместо этого голова малыша склонилась немного набок, рот его закрылся, брови разгладились, а его застланный слезами взгляд стал одной горячей, упорной мольбой, перед которой черные глаза опять, правда, начали запрещающе отступать за веки, но все же теперь, приободрившись, можно было при желании усмотреть во взмахе ресниц что-то похожее на доверительное подтверждение.

Попробуй тут кто-нибудь опиши, что творилось в груди Вениамина, — в груди человека, который вот-вот поверит!

— Сейчас я закончу обед, — услышал он голос правителя. — Тебе он понравился? Я надеюсь, что он всем вам понравился. Ну, а теперь мне пора в присутствие до вечера. Вы, братья, видимо, завтра утром отправитесь в обратный путь, получив товар, который я вам на этот раз предложу, — пишу на двенадцать домов, считая дом вашего отца и ваши дома. Не откажусь принять от вас за это деньги в казну фараону, — что поделаешь? Я ведь делец бога. Всего тебе лучшего, на случай, если я больше тебя не увижу! А впрочем, без всяких задних мыслей, — почему бы вам, собственно, не открыть своего сердца и не поменять вашу страну на эту, почему бы вам всем, отцу, сыновьям, женам и внукам, всем семидесяти, или сколько вас там, не поселиться в Египте и не кормиться на пажитях фараона? Вот вам мое предложение, подумайте о нем, это было бы не так уж глупо. Уж вам отвели бы хорошие пастбища, мне стоит только слово сказать, все здесь в моих руках. Я знаю: Ханаан что-то для вас значит, но в конце концов земля Египетская — это большой мир, а Ханаан — глухой угол, где ни в каком смысле не проживешь. Ведь вы подвижной народ, а не запертые в своих стенах горожане. Так перебирайтесь же сюда вниз! Здесь вам будет хорошо, и вы сможете свободно промышлять и вести торговлю. Вот мой совет, ваше дело — последовать ему или нет, а я должен спешить, чтобы внять воплю тех, кто не был предусмотрителен.

Такой деловитой речью прощался он с малышом, покуда слуга поливал ему руки водой. Затем он встал, попрощался со всеми и закончил трапезу, о которой сказано, что во время ее братья пили с ним допьяна. Но они были только веселы; напиться допьяна не отважились бы и дикие близнецы. Пьян был только Вениамин, но и он не от выпитого.

ЗАПЕРТЫЙ КРИК

Куда бодрее, чем в прошлый раз, отправлялись теперь братья в обратный путь из Мен-фе к горьким озерам и к укрепленной границе. Все сошло как нельзя лучше. Владыка страны был недвусмысленно обаятелен, Вениамин остался цел и невредим, Симеон был освобожден, а подозрение в соглядатайстве снято с них самым почетным образом: им довелось даже отобедать с правителем и его приближенными. Это настраивало их на веселый лад, вселяло в их сердца легкость и гордость) ибо так уж устроен человек: признают его невиновным в каком-нибудь прегрешенье и с похвалой подтвердят, что тут он безупречен, — а ему уже кажется, будто он вообще безгрешен, и он уже забывает, что у него имеется на совести еще кое-что. Простим это братьям. Когда их заподозрили в шпионстве, они невольно связали эту задачу со старой своей виной; так не удивительно, что, сняв с себя столь неприятное обвинение, они возомнили, будто и со старой виной все улажено.

Вскоре они могли убедиться, что им не дано так дешево отделаться, не дано без помех следовать своей дорогой с мешками, туго набитыми оплаченным хлебом на двенадцать домов, ибо за ними тащится некая бечева, которая потянет их назад, на новые беды. Но поначалу они были в превосходном настроенье и могли тешить себя сознанием своей почетно признанной невиновности. В Доме Снабжения, под спокойным присмотром Май-Сахме, их снова накормили и снабдили дорожными припасами — на добрую память. Они тронулись в путь, имея при себе все, что им требовалось, чтобы смело явиться к отцу: и Вениамина, и Симеона, и пищу, причем пища, полученная ими у великого хлеботорговца, в известной мере заменяла двенадцатого из них, которого так и не было. Но уж зато число одиннадцать они восстановили благодаря своей невиновности.

Таково было настроение братьев, точнее сказать: сыновей Лии и сыновей служанок, — его легко описать. Душевное же состояние сына Рахили остается неопишным, — нам лучше и не браться за то, на что столько тысяч лет никто не решался. Достаточно сказать, что ночью,

на постоялом дворе, малыш почти не спал, а если и засыпал, то видел какие-то сумбурные, безумные сны, которых тоже никак не определишь. То есть имя-то у них было, милое, прекрасное имя, но только совершенно безумное; имя им было «Иосиф». Бенони снился некто, в ком был Иосиф. Мыслимо ли описать это? Людям известны боги, которые, приняв облик какого-нибудь доброго знакомого, желали, чтобы с ними обращались как с этим знакомым, но не заговаривали с ними самими. А тут было наоборот: если там в человеческом, близком проглядывало божественное, то здесь высокое и божественное было прозрачной оболочкой чего-то знакомого с детских лет, и это знакомое не желало, чтобы с ним заговаривали, а отступало за веки, которые запрещающе закрывались. Нужно иметь в виду, что переодетый — это не тот, кем он переоделся и в ком он проглядывает. Это два разных лица. Узнать одного в другом вовсе не значит сделать из двоих одного и облегчить свою грудь криком: «Это он!» «Он» еще никак не получается, хотя рассудок и тщится его слепить; и крик этот не мог вырваться из Вениаминовой груди, которую он прямо-таки разрывал, хотя крика-то, собственно, еще и не было, а было отсутствие крика из-за его беспредметности, — вот этого-то и не опишешь. Несостоявшемуся, но переполнявшему грудь крику ничего не оставалось, как разрядиться ночью сумбурными, безумными снами; когда же утром он снова вернулся в свое гнетущее полубытие, оно приобрело уже такую предметность, что Вениамин не понимал, как можно уехать теперь, просто-напросто отмахнувшись от «этого». «Предвечный свидетель, нам нельзя просто так взять и уехать! — восклицал он про себя. — Мы должны остаться здесь, лицом к лицу с «этим», лицом к лицу с Великим Хлеботорговцем фараона, человеком и заместителем бога! Ведь должен же вырваться крик, которого нет только до поры до времени, и мы ведь не можем, если он у нас в груди, вернуться к отцу и жить там, как прежде, хотя этот крик вот-вот выйдет наружу и заполнит весь мир, ибо он достаточно огромен, чтобы заполнить весь мир, — не диво, что, пока он заперт в моей груди, он грозит ее разорвать!»

И, обратившись со своей заботой к большому Рувиму, Вениамин, с широко раскрытыми глазами, спросил его, действительно ли тот считает, что теперь нужно уехать домой, и не кажется ли тому, что здесь еще не все кончено, верней, ничего не кончено, и что по этой важной причине лучше остаться здесь.

— Как же так, малыш? — ответил вопросом Рувим. — И что ты подразумеваешь под словом «важная»? Все устроено и закуплено наилучшим образом, и этот человек милостиво отпустил нас, поскольку мы не преминули представить ему тебя. А теперь нужно поскорее вернуться к отцу, который ждет нас дома и боится за тебя, чтобы доставить ему купленное зерно и чтобы у него снова были лепешки для жертв. Помнишь ли ты, как рассердился этот человек, узнав о жалобах Иакова на то, что лампада его гаснет и ему приходится спать в темноте?

— Да, — сказал Вениамин, — я это помню.

И, подняв глаза, он испытующе заглянул большому брату в лицо, сильная, не прикрытая бородой мускулатура которого была, как всегда, свирепо напряжена. Но вдруг он увидел, — или это ему померещилось? — что красноватые глаза Лии отступают от его взгляда за моргающие веки, отступают, запрещая и подтверждая, в точности так, как то было вчера с другими глазами.

Он ничего больше не сказал. Возможно, что этот знак просто показался ему знакомым, потому что он видел его вчера и потом непрестанно во сне. На том разговор и кончился, они тронулись в путь — не нашлось слов доказать, что необходимо остаться, но Вениамину было очень больно. Больно было именно оттого, что этот человек милостиво их отпустил. В том-то и горе было, что он позволил им уехать, просто уехать. Ведь им нельзя было, никак нельзя было уезжать! — но, конечно, если он их отпустил, значит, им можно было, значит, они обязаны были уехать. И они уехали.

Вениамин ехал верхом рядом с Рувимом, и это было правомерно, ибо по некоторым признакам они подходили один к другому: не только как старший и младший, как великан и мальчик с пальчик, но и гораздо глубже, по своему отношению к исчезнувшему и к его исчезновению.

Мы знаем о сварливой слабости, которую Рувим всегда питал к отцовскому агнцу, и были свидетелями его особой, обособившей его от братьев повадки в часы растерзанья и погребенья Иосифа. Во всем этом он с виду вполне деятельно участвовал, как участвовал в связавшей десятерых братьев ужасной клятве — ни намеком, ни ненароком, некстати моргнув, кивнув или подмигнув, не выдавать, что на лохмотьях, посланных Иакову, была кровь животного, а не мальчика. Но в продаже Рувим не участвовал; он был в этот час не с братьями, а в некоем другом месте, и поэтому его представление об отсутствии Иосифа было еще более расплывчато, чем представление братьев, тоже довольно расплывчатое и туманное, но все-таки — в одном отношении — не настолько. Они знали, что продали мальчика странствующим купцам, и, следовательно, знали несколько больше, чем он. У Рувима было перед ними то преимущество, что он этого не знал; место же, где он находился, когда они продавали Иосифа, было пустой ямой, а пустая яма создает как-никак другое отношение к чьему-то отсутствию, чем продажа жертвы неведомо куда, в туманные дали.

Короче говоря, знал ли он сам о том или нет, все эти годы большой Рувим берег и лелеял росток ожидания, — и это, через головы всех братьев, связывало его с невиновным Вениамином, который вообще ни в чем не участвовал и для которого отсутствие предмета его восхищения всегда было только источником надежд. Разве мы не слышим, хоть и давно это было, как он, детским еще голосом, говорит убитому горем старику: «Он вернется! Или переселит нас к себе!»? С тех пор прошло добрых двадцать лет, но ожиданье осталось в его душе, как слова его остались у нас в ушах, — а ведь он не знал ни о продаже, в отличие от тех девяти, что ее совершили, ни о пустой яме, из которой похороненный все-таки мог быть украден, а знал только, как и его отец, что Иосиф умер, и уж это, казалось бы, совсем не оставляло места надежде. Но, по-видимому, надежда лучше всего приживается там, где для нее совсем нет места.

Вениамин ехал рядом с Рувимом, и во время пути тот спросил его, о чем же беседовал с ним этот человек за обедом; он, Рувим, как старший, сидел от них слишком далеко.

— О разном, — отвечал младший. — Мы рассказывали друг другу всякие забавные истории о наших детях.

— Да, вы смеялись, — сказал Рувим. — Все видели, что вы корчились от смеха. Думаю, что египтяне были очень удивлены.

— Они, наверно, знают, что он обаятельный человек, — возразил малыш, — и умеет занять любого так, что обо всем забываешь и смеешься с ним вместе.

— А мы знаем, — ответил Рувим, — что он может быть и другим и бывает иногда весьма неприятен.

— Не спорю, — сказал Вениамин. — Вам лучше об этом знать. И все-таки он желает нам добра, об этом уж лучше знать мне. Ведь в последних своих словах, которые все еще стоят у меня в ушах, он посоветовал нам и через меня пригласил всех, сколько нас есть, поселиться в Египте, спустившись с отцом на здешние пажити.

— Неужели он это говорил? — спросил Рувим. — Да, многое, нечего сказать, знает о нас и об отце такой человек. Особенно об отце. Вот уж кого он знает так знает, и все его требования попадают в самую точку. Сначала он вынуждает его отправить тебя в дорогу для нашего оправданья и ради хлеба, а потом он приглашает в Египет, в Страну Ила, его самого. Прекрасно он знает Иакова, ничего не скажешь.

— Ты смеешься над ним, — спросил в ответ Вениамин, — или над отцом? Малышу не по вкусу ни то, ни другое, мне так больно, Рувим. Рувим, послушай, что я тебе скажу, у меня такая боль в груди, оттого что мы уезжаем!

— Ну, — оказал Рувим, — не каждый же день обедать и веселиться с владыкой Египта. Это исключительный случай. А теперь пора вспомнить, что ты не ребенок, а глава дома и что твои дети плачут и просят хлеба.

У ВЕНИАМИНА!

Вскоре они достигли места, где собирались устроить полуденный привал, чтобы снова тронуться в путь уже с наступленьем прохлады. В прошлый раз они добрались сюда вечером, а теперь прибыли в полдень. Достаточно назвать пальму, колодец и хижину, чтобы определить это место и чтобы слушатель представил его себе столь же ясно, как, скажем, тот человек, с помощью своей гадальной чаши, увидал могилу Вениаминовой матери. Они рады были снова увидеть это уютное место, хотя у них и связывалось с ним воспоминание об ужасе, который их здесь когда-то загадочно поразил. Но ужаса не осталось в помине; он растворился в гармонии, в душевном покое, и они могли беззаботно предаться отдыху в тени скал.

Они еще стоят и озираются по сторонам, они еще не прикоснулись к поклаже и не начали устраиваться, а сзади, оттуда, откуда они приехали, доносится шум, нарастает гул, и слышатся возгласы: «Эй-эй!» и «Стой!» К ним ли это относится? Они стоят как вкопанные и прислушиваются к долетающим голосам так озадаченно, что даже не оглядываются. Оглядывается только один из них, это Вениамин. Что с Вениамином? Он вскидывает вверх свои короткопалые руки и издает крик, да, крик. Потом он умолкает — и надолго.

Это Маи-Сахме на конной повозке, а с ним еще несколько повозок. В них стоят вооруженные люди. Они спрыгивают наземь и запирают незамкнутый круг скал. Управляющий угрюмо шагает к братьям.

Лицо его было очень свирепо. Он нахмурил густые брови и закусил нижнюю губу с одной стороны, только с одной, что придавало ему особенно свирепый вид. Он сказал:

— Это вы, я вас догнал? Я гнался за вами по приказу своего господина на конных повозках и настиг вас там, где вы собирались укрыться и отдохнуть. Каково у вас на душе при виде меня?

— Мы сами не знаем, — отвечали смущенные братья, чувствуя, что все начинается сызнова, что снова за ними потянулась рука, чтобы привести их на суд, и что все опять смешалось и сбилось, хотя еще только что царила гармония. — Мы, право, сами не знаем. Мы рады увидеться с тобой снова так скоро, но это вышло несколько неожиданно.

— Хоть вы этого и не ожидали, — сказал он, — бояться этого вы все же, наверно, боялись. Зачем вы заплатили злом за добро, так что за вами приходится гнаться и призывать вас к ответу? Имейте в виду, дела ваши обстоят очень скверно.

— Объяснись! — сказали они. — О чем идет речь?

— И вы еще спрашиваете! — ответил он. — Не то ли это, из чего пьет и с помощью чего гадает мой господин? Вчера она была у него за обедом. Она исчезла.

— Ты говоришь о чаше?

— О ней. О серебряной чаше фараона, принадлежащей моему господину. Он пил из нее вчера в полдень. Сейчас ее нет. Ясно, что ее стащили. Кто-то ее унес. Кто же? Увы, тут не может быть сомнений. Вы поступили очень дурно.

Они молчали.

— Ты хочешь сказать, — с тихой дрожью спросил Иуда, сын Лии, — и твои слова означают, что мы похитили какой-то предмет со стола твоего господина и, как воры, его унесли?

— Иначе вашего поведения, к несчастью, нельзя назвать. Чаши нет со вчерашнего дня, и ее явно стянули. Кто мог быть причиной ее исчезновения? Увы, тут напрашивается только один ответ. Я могу только повторить вам, что дела ваши обстоят очень скверно, ибо поступили вы дурно.

Они опять молчали и, уперев кулаки в низ живота, выпускали изо рта воздух.

— Послушай, господин мой! — заговорил снова Иуда. — Почему ты не выбираешь слова и не обдумываешь свою речь, перед тем как начать ее? Она же чудовищна. Мы спрашиваем тебя вежливо, но решительно: за кого ты нас принимаешь? Неужели мы произво-

дим на тебя впечатление бродяг и жуликов? А кем же мы еще можем тебе казаться, если ты заявляешь нам, что мы взяли со стола хлеботорговца какую-то посуду, какую-то, если я не ошибаюсь, чашу и украли ее? Вот это-то я и называю чудовищным от имени одиннадцати. Ибо все мы торжественным образом сыновья одного человека, и нас, собственно, двенадцать. Но одного из нас нет налицо, иначе я назвал бы это чудовищным и от его имени. Ты говоришь, мы поступили дурно. Так вот, я не стану хвастаться, не стану лицемерно утверждать, будто мы, братья, никогда не поступали дурно и прошли через жестокую жизнь совсем без проступков. Я не говорю, что мы без вины, это было бы кощунством. Но и у вины есть свое достоинство, она, пожалуй, еще самолюбивее, чем невиновность, и красть со стола серебряные чаши — это не ее дело. Мы, господин мой, оправдались перед твоим господином и доказали ему, что дело наше правое, доставив одиннадцатого. Оправдались мы и перед тобой, ибо деньги, найденные нами в мешках поверх зерна, мы привезли тебе из страны Ханаан и подали тебе на вытянутых ладонях, но ты не захотел их взять. Не следовало ли тебе после всего этого хорошенько подумать, прежде чем обвинять нас в похищении серебра или золота со стола твоего господина?

А Рувим прибавил, вскипев:

— Почему ты не отвечаешь, домоправитель, на эту отличную речь моего брата Иегуды, а только еще сильнее закусываешь нижнюю губу, так что даже глядеть нет сил? Вот мы перед тобой. Обыщи нас. И у кого из нас ты найдешь это свое несчастное серебро, эту чашу, тому смерть. А мы, все остальные, будем, кроме того, всю жизнь твоими рабами, если ты ее найдешь!

— Рувим, — сказал Иуда, — не нужно так бушевать! При полнейшей нашей невиновности в этом деле можно обойтись и без таких клятв.

Но Май-Сахм ответил:

— Верно, зачем кипятиться? Не будем терять чувства меры. У кого я найду чашу, тот пусть останется у нас в руках нашим рабом. А вы, все остальные, не будете виноваты. Откройте, прошу вас, ваши мешки!

Они уже открывали их. Бросившись к своей поклаже и поспешно сняв ее с ослов, они развязывали и широко открывали мешки. «Лаван! — кричали они со смехом. — Лаван и обыск на горе Гилеад! Ха-ха! Пускай попотеет, пусть ищет до потери сил! Ко мне, господин управляющий! Начни обыск с меня!»

— Спокойствие, — сказал Май-Сахм. — Все будет сделано как полагается, в том порядке, в каком сумел назвать ваши имена мой господин. Начну я с этого буйного великана.

И под их насмешки, все более победоносные по мере того, как он продвигался, под громкий смех братьев, которые то и дело называли его Лаваном, ищущим до седьмого пота, и перстью земной, он шел от одного к другому по старшинству, рылся в их вещах, останавливался, наклонялся, заглядывал, подбоченясь, в мешки, качал головой или пожимал плечами, когда ничего, при всем старанье, не обнаруживал, и переходил к следующему. Так дошел он до Асира, до Иссахара, до За'вулона. Украденного ни у кого не было. Обыск подходил к концу. Остался только Вениамин.

Насмешки стали еще громче.

— Теперь он будет искать у Вениамина! — кричали братья. — Тут уж ему повезет! Он будет искать у самого невиновного, не повинного не только в этом деле, но и вообще ни в чем, ибо за всю свою жизнь он не совершил ни одного преступления! Ну, что ж, стоит поглядеть, как он обыскивает его на закуску, и любопытно, в каких словах попросит он у нас, закончив обыск...

Они умолкли все, как один. Она сверкнула в руках управляющего. Из торбы Вениамина, не очень глубоко запустив руку в зерно, он вытащил эту серебряную чашу.

— Ну, вот, — сказал он. — Она найдена у самого младшего. Начни я с другого конца, я избавил бы себя от лишнего труда и от лишних насмешек. Так молод — и уже так нечист на

руку! Конечно, я рад, что нашел пропавшую вещь; но радость моя отравлена этим примером неблагодарности и такой ранней испорченности. Младший, дела твои обстоят чрезвычайно скверно!

А остальные? Они схватились за головы, глядя на чашу выкатившимися глазами. Шипенье вырывалось у них из дрожащих губ; ибо губы их так дрожали, что не могли произнести «Что это такое?» и превращали каждое «т» в шипящий звук.

— Бенони!! — воскликнули они наконец плаксиво и возмущенно. — Оправдайся! Открой, пожалуйста, рот! Как оказалась у тебя эта чаша?

Но Бенони безмолвствовал. Он опустил на грудь подбородок, так что в глаза ему никто не мог заглянуть, и молчал.

Тогда они разодрали одежды свои. Во всяком случае, некоторые действительно разодрали свои кафтаны одним рывком от подола до груди.

— Мы опозорены! — стонали они. — Опозорены младшим! Вениамин, в последний раз просим тебя, открой рот! Оправдайся!

Но Вениамин молчал. Он не поднимал головы и не говорил ни слова. Это было неописуемое молчание.

— Раньше он вскрикнул! — сказал Дан, сын Валлы. — Теперь я вспомнил, что он неописуемо вскрикнул, когда они показались! Он вскрикнул от страха. Он знал, почему они за нами гонятся!

Тогда они стали громко поносить Вениамина и, осыпая его ругательствами, называли его воровским отродьем. «Сын воровки!» — кричали они ему, вопрошая: «Разве уже его мать не украла терафимов отца своего? Это у него в крови и передалось ему по наследству. Надо же было тебе, воровская кровь, показать себя здесь, чтобы так нас обесчестить и обратить в пепел весь род, и отца, и всех нас, и наших детей!»

— Теперь вы преувеличиваете, — сказал Май-Сахме. — Дело обстоит вовсе не так. Ведь все остальные оправданы и не виноваты. Мы не считаем вас соучастниками преступления, полагая, что малыш стащил чашу на свой страх. Вы можете беспрепятственно следовать домой, к честному своему отцу. У нас останется только укравший чашу.

Но Иуда ответил ему:

— Нет! Об этом не может быть и речи, домоправитель, ибо я хочу держать речь перед твоим господином. Пусть он выслушает речь Иуды, я полон решимости высказаться. Мы все вернемся с тобой и предстанем перед его лицом, и пусть он судит нас всех. Ибо все мы ответственны за это дело и одинаково причастны к случившемуся. Пойми, младший этот брат не был ни в чем виновен всю свою жизнь, ибо он оставался дома. Мы же, остальные, вращались в мире и бывали там виноваты. Мы не собираемся прикидываться чистенькими и не бросим его на произвол судьбы, потому что он, отправившись в путь, провинился, а мы как раз в этом деле оказались не виноваты. В дорогу, и отведи нас всех вместе с ним к престолу хлеботорговца!

— Ну что ж, — сказал Май-Сахме. — Пусть будет по-вашему.

И под охраной копейщиков они направились обратно в город, той же дорогой, по которой еще недавно ехали без забот. А Вениамин так и не сказал ни слова.

ЭТО Я

Уже вечерело, когда они подъехали к дому Иосифа; ибо управляющий, как то записано, доставил их туда, а не в Великое Письмоводство, где они сгибались и кланялись перед ним в первый раз; там его сейчас не было; он был у себя дома.

«Он был еще дома», — утверждает история, и утверждает справедливо, ибо если вчера, после веселого обеда, друг фараона вернулся в присутствие, то сегодня он с утра не покидал

дома. Он знал, что начальник темницы, его управляющий, действует, и с нетерпением ждал его. Священная игра приближалась к своему высшему взлету, и от десяти братьев зависело, будут ли они участвовать в нем, прибыв к месту действия, или же только узнают о нем с чужих слов. Было безмерно любопытно, предоставят ли они младшему вернуться с Май-Сахме одному или присоединятся к нему все. Это во многом определяло его, Иосифа, отношение к ним в будущем. Что касается нас, то мы свободны от всякого любопытства, потому что вообще знаем назубок все фазы излагаемой истории, но в данном случае еще и потому, что и в собственном нашем изложении уже установлено то, что для Иосифа было еще любопытнейшим вопросом будущего, и мы уже знаем, что братья не захотели оставить Вениамина с его виной одного. Поэтому мы можем с усмешкой и сознанием давней своей осведомленности наблюдать за Иосифом, который в томительном ожидании слонялся по дому, переходя из книжного покоя в приемную, оттуда в палату хлеба, а затем назад, через все эти комнаты, в свою спальню, где поправлял то одно, то другое в своем уборе. Его поведение очень напоминает нам суету загримированных комедиантов перед началом зрелища.

Зашел он и к похищенной своей супруге Аснат на женскую половину, поглядел вместе с нею на игры Манассии и Ефрема и поболтал с ней, не сумев скрыть от нее своего волнения перед выходом на подмостки.

— Супруг мой, — сказала она, — дорогой мой повелитель и похититель, — что с тобой? Тебе не по себе, ты прислушиваешься к чему-то и топаешь ногами. У тебя что-то на сердце? Не сыграть ли нам, чтобы ты рассеялся, в шашки, или, может быть, приказать нескольким моим служанкам развлечь тебя изящными телодвиженьями?

Но он ответил:

— Нет, девушка, благодарю тебя, не сейчас. У меня в мыслях не шашечные ходы, а совсем другие, и я не могу глядеть как зритель на пляски служанок, а должен сам, как лицедей, кривляться в игре, зрителями которой будут господь и мир. Я должен вернуться в палату приемов, ибо арена там. А для твоих служанок найдется лучшее занятие, чем пляска, ибо пришел я сюда, собственно, для того, чтобы приказать им украсить тебя сверх твоей красоты и пышней нарядить, а заодно наказать нянькам Манассии и Ефрема вымыть им руки и надеть на них вышитые рубашечки, поскольку с минуты на минуту я жду чрезвычайных гостей, которым хочу представить вас как свою семью, когда будет наконец сказано, кто же он, тот человек, которому вы принадлежите. Ну, и удивишься же ты, щитоносная дева, тонкая в талии! Будьте только послушны и приукрасьтесь, а уж обо мне вы услышите!

С этими словами он поспешил опять на мужскую половину, но ему не удалось предаться чистому ожиданию и любопытству, что он всего охотнее сделал бы, ибо в библиотеке его уже ждали заправила продовольственного ведомства, которых он сейчас мысленно проклинал за то, что, явившись к нему с делами, докладами и счетами, они лишили его чистого ожидания. И все же он был рад им, потому что ему нужны были статисты.

Солнце уже садилось, когда занятый бумагами Иосиф, прислушавшись к глухому шуму перед домом, понял, что час пробил и братья приехали. Май-Сахме, закусив нижнюю губу сильнее, чем когда-либо, вошел с чашей в руке и протянул чашу ему.

— У младшего, — сказал он. — После долгих поисков. Они ждут в палате твоего приговора.

— Все? — спросил он.

— Все, — ответил толстяк.

— Ты видишь, я очень занят, — сказал Иосиф. — Эти господа пришли ко мне не развлекаться, а по делам державным. Ты достаточно долго служишь у меня управляющим, чтобы разбираться, есть ли у меня время на такие безделицы личного свойства, когда я поглощен первоочередными заботами. Ты и те, кого ты доставил, — вы подождете.

И он снова склонился над свитком, который развернул перед ним один из чиновников. Но, не в силах прочесть ни слова, через мгновение сказал:

— Впрочем, ничто не мешает нам сразу покончить с этим пустяковым судебным делом, с этим случаем преступной неблагодарности. Прошу вас, господа, последовать за мной в палату, где виновные ждут моего приговора.

И они окружили его, и, поднявшись на три ступеньки, он вышел из этой комнаты в большую палату и прошел по ковру на возвышение, где стоял его престол; он сел на него, с чашей в руке. Над ним сразу же опустились опахала, ибо стоило ему сесть на престол, его люди непременно осеняли его ими и обмахивали. Слева, через высокое оконце, мимо колонн и сфинксов, лежащих краснокаменных львов с головой фараона, наклонный, полный пляшущих пылинок пучок лучей падал на группу грешников, которые бросились наземь в нескольких шагах от престола. По обе стороны от них торчали копья. Любопытные челядинцы, повара и спальники, опрыскиватели пола и цветоводы толпились в дверях.

— Встаньте, братья! — сказал Иосиф. — Я, право, не ожидал, что увижу вас перед собой так скоро и по такому поводу. Я многого не ожидал. Не ожидал, что вы обойдетесь со мной так, как обошлись, это вы-то, которых я принимал как важных господ. Как я ни рад, что ко мне вернулась моя чаша, из которой я пью и по которой гадаю, вы видите, что я уязвлен, что я до глубины души огорчен вашей грубостью. Мне это просто непонятно. Как могли вы решиться заплатить злом за добро столь грубым образом и посягнуть на привычки такого человека, как я, лишив его чаши, которой он дорожит, и дав с нею тягу? Безрассудство вашего поведенья равно его гнусности, ибо как вам было не знать, что такой человек, как я, сразу же хватится дорогой ему вещи и обо всем догадается? Неужели вы действительно думали, что, лишившись чаши, я не смогу угадать, где она? Так что же теперь? Надеюсь, вы признаете себя виновными?

Ответил Иуда. На этот раз и вообще говорил за всех он, больше всех испытавший в жизни, лучше всех разбиравшийся в том, что такое вина, и потому призванный самой судьбой держать речь. Ведь вина родит ум — и, пожалуй, наоборот: где нет ума, там нет и вины. По дороге он был уполномочен братьями держать речь и успел приготовиться. Стоя среди них в разодранном платье, он говорил:

— Что мы скажем моему господину и какой нам смысл перед ним оправдываться? Мы виноваты перед тобой, господин мой, — виноваты в том смысле, что чаша твоя найдена у нас, у одного из нас, а значит — у нас. Как оказалась она в суме нашего младшего брата, ни в чем не повинного, который всегда был дома, — я этого не знаю. Мы этого не знаем. Мы не в силах высказывать предположенья на этот счет перед престолом моего господина. Ты могуч, ты и добр и зол, ты можешь и вознести и низвергнуть. Мы в твоей власти. Не стоит оправдываться перед тобой, и глуп грешник, который кичится нынешней своей невиновностью, когда владыка возмездья взыскивает плату за давнее злодеянье. Недаром жаловался наш старый отец, что из-за нас он станет бездетным. Да, он был прав. Мы и тот, у кого нашли чашу, стали рабами нашего господина.

В этой речи, которая еще не была настоящей, знаменитой речью Иуды, прозвучали кое-какие намеки, но Иосиф, предпочитая в них не вдаваться, благоразумно пропустил их мимо ушей. Он ответил только на предложение о поголовном рабстве, отвергнув его.

— Нет, — сказал он, — это не по мне. Нет на свете столь скверного поведения, чтобы превратить в чудовище такого человека, как я. Вы купили старому вашему отцу хлеба в земле Египетской, и он ждет его. Я великий делец фараона, и никто не посмеет сказать, что я воспользовался вашим грехом, чтобы, задержав покупателей, прибрать к рукам и товар и деньги. Сообща ли вы согрешили или грешен только одни, этого я не стану расследовать. Когда мы веселились за столом с вашим младшим, я доверчиво выдал ему прекрасные свойства своей дорогой чаши и, погадав, рассказал ему о могиле его матери. Возможно, что он сболтнул вам об этом; возможно, что вы все вместе задумали неблагодарно похитить мое сокровище, — не потому, что позарились на серебро, так мне сдается, а чтобы овладеть волшебной силой, для того, может быть, чтобы выяснить, что случилось с вашим пропавшим, исчезнувшим братом, —

откуда мне знать? Ваше любопытство вполне понятно. Но, с другой стороны, очень возможно, что малыш согрешил на свой страх и взял чашу, ничего вам не сказав. Я не желаю этого знать и в это вникать. Украденное найдено у маленького. Он будет мне рабом. А вы ступайте с миром домой, к старому вашему отцу, чтобы он не был бездетным и чтобы у него была пища.

Вот какие слова произнес возвысившийся, и несколько мгновений стояло молчание. Затем из их хора выступил Иуда, мученик, которому они дали слово, чтобы он говорил за них. Он подошел к престолу, почти вплотную к Иосифу, и сказал:

— Выслушай меня, господин мой, ибо я хочу произнести перед тобой речь и речью своей объяснить тебе, как все было и что учинил ты, и как обстоит дело с ними и со мной, со всеми братьями. Моя речь ясно покажет тебе, что ты не можешь, не имеешь права отделить от нас и оставить у себя нашего младшего. И что мы, в особенности я. Иуда, четвертый из них, ни за что и ни в коем случае не вернемся к отцу без младшего, ни в коем случае. В-третьих, я сделаю моему господину предложение, которое позволит ему осуществить свое право возможным способом, а не невозможным. Таков будет порядок моей речи. А потому не прогневайся на раба твоего и, пожалуйста, не прерывай его речи, которую я поведу так, как подсказывают мне мой ум и моя вина. Ты как фараон. Но я начну с того, как все началось и как ты все начал, а дело было так.

Когда мы спустились сюда, посланные нашим отцом, чтобы купить пищи в этой житнице, как тысячи других людей, с нами обошлись не так, как с тысячами других: нас отделили, что показалось нам странным, и препроводили в твой город, чтобы мы предстали перед лицом моего господина. И здесь тоже все было странно, ибо странно вел себя мой господин, он был суров и милостив, то есть противоречив, и необычно расспрашивал нас о нашей родне. «Есть ли у вас дома отец, — спросил мой господин, — или еще один брат?» — «У нас есть, — ответили мы, — отец, он уже стар, и есть еще один молодой брат, самый младший, он поздно родился у отца, и отец охраняет его с посохом в руке и держит за руку, ибо брат этого младшего пропал и, по-видимому, погиб, так что от их матери у нашего отца остался лишь тот; поэтому-то он так за него и держится». И отвечал господин мой: «Доставьте его вниз ко мне! Ни один волос не упадет с его головы». — «Это невозможно, — ответили мы, — по изложенным уже причинам. Оторвать младшего от отца было бы убийством». И сурово отвечал ты своим рабам: «Клянусь жизнью фараона! Если вы не придете со своим младшим, оставшимся от миловидной матери, вы не увидите больше лица моего».

И, продолжая свою речь. Иуда сказал:

— Я опрашиваю моего господина, так ли все было и с того ли все началось или все было не так и началось не с того, что мой господин спросил о младшем и вопреки нашим возражениям настоял на его прибыть. Ибо господину моему угодно было повернуть дело так, будто, доставив брата, мы снимем с себя подозрение в соглядатайстве и докажем свою порядочность. Но что это за оправданье и что это за подозрение? Ни один человек не примет нас за лазутчиков, не такой у нас, у братьев во Иакове, вид, а если кто и примет, то это никакое не оправданье — прибытие младшего, а чистейшая прихоть, и все дело в том, что моему господину захотелось во что бы то ни стало увидеть нашего брата воочию, — а почему? Тут я умолкаю, на то воля бога.

И, продолжая, Иуда встряхнул львиной своей головой, протянул вперед руку и сказал:

— Ты видишь, в бога своих отцов этот твой раб верит, и верит, что он всеведущ. Но он не верит, что этот бог украдкой сует драгоценности в сумки своих рабов, возвращая им плату за товар в придачу к товару — такого никогда не бывало, и ни на какие примеры из прошлого в этом отношении сослаться нельзя: ни Аврам, ни Исаак, ни наш отец Иаков никогда не находили у себя в мешках серебра, которое бы им сунул туда господь, — чего не было, того не было, все это чистейшая прихоть, и окутана она той же тайной.

Так можешь ли ты, господин мой, — можешь ли ты, после того как мы с помощью голода добились от отца, чтобы он отпустил от себя малыша для этой поездки, — можешь ли ты,

который безжалостно настоял на его прибытье, ты, без чьего странного требованья ноги его никогда не было бы на этой земле, — можешь ли ты, заявивший: «С ним не случится никакой беды здесь внизу», — можешь ли ты оставить его рабом у себя, потому что в его суме нашли твою чашу?

Нет, ты не можешь этого сделать!

Мы же, и в особенности раб твой Иуда, который сейчас держит речь, мы не можем, никак не можем предстать перед лицом нашего отца без младшего. Не можем так же, как не могли предстать без него перед твоим лицом — но не по причине какой-то прихоти, а по самым важным причинам. Ибо когда твой раб, наш отец, снова призвал нас и сказал: «Пойдите, купите нам немного пищи», — а мы ответили ему: «Нельзя нам идти, если ты не отпустишь с нами младшего, ибо человек, что правит страной там внизу, строго-настрого наказал нас доставить брата, заявив нам, что иначе мы не увидим его лица», — тогда старик затянул плач, старинный, режущий сердце, как флейта, что рыдала в ущельях, и завел песнь, и пропел:

«Рахиль, миловидная в готовности, та, ради кого юность моя служила Лавану, черной луне, долгих семь лет, сердце моего сердца, умершая на дороге, в одном переходе всего от пристанища, она была женою моею и подарила мне от души двух сыновей: одного при жизни и одного в смертный свой час, Думузи-Абсу, агнца, красавца Иосифа, который сумел пленить меня так, что я все ему отдал, и Бенони, сыночка смерти, который только и остался при мне. Ибо тот, первый, ушел от меня, когда я от него потребовал этого, и крик до краев наполнил вселенную: «Растерзан, растерзан красавец!» И я упал за смертью, и с тех пор я как камень. Но этого я держу окаменелой рукою, он единственное, что у меня осталось, ибо растерзан, растерзан Единственный. Если же вы возьмете у меня и это единственное и на него, чего доброго, нападет кабан, то вы сведете седину мою во гроб с такой печалью, что мир не выдержит и рухнет под ее тяжестью. Он уже до краев полон немолкнушим криком: «Растерзан возлюбленный», и если не станет и этого, мир превратится в ничто».

Слышал ли господин мой этот плач флейты, эту отцовскую песнь? Ну, так пусть он сам и рассудит, можем ли мы, братья, явиться к старику без младшего, без маленького, и признаться ему: «Мы потеряли его, он пропал». Можем ли мы подвергнуть такому испытанию его душу, которая привязана к этой душе, и мир, который и так уже полон горя и больше не выдержит? Могу ли прежде всего я, ведущий эту речь, четвертый его сын. Иуда по имени, явиться к нему тогда — посуди сам. Ибо господин мой знает еще не все, еще далеко не все, и чует сердце раба твоего, что речь его коснется и совсем другого в этот бедственный час. Да, оно чует, что на тайну, которая кроется во всех этих прихотях, можно пролить свет только открыв некую другую тайну.

Тут среди братьев поднялся беспокойный ропот. Но лев Иуда повысил голос и, продолжая свою речь, сказал:

— Я поручился отцу, я вызвался отвечать перед ним за маленького; так же, как я подошел сейчас к престолу твоему, я подошел к отцу и поклялся ему такими словами: «Доверь его моей руке, и я буду в ответе за него, и если я не приведу его к тебе, я останусь виновным перед тобой во все дни жизни!» Вот каков был мой обет, и теперь посуди сам, прихотливый владыка, могу ли я вернуться к отцу моему без маленького, чтобы увидеть горе, которое не по силам ни мне, ни миру! Прими же мое предложение! Оставь меня вместо него рабом своим, позволь нам посильно расплатиться за грех свой, не требуй от нас непосильной расплаты; ибо я хочу расплатиться, расплатиться за всех. Вот здесь, перед тобой, прихотливый, я возьму клятву, которой мы поклялись, ужасную клятву, которой мы, братья, себя связали, — обеими руками возьму я ее и, упершись коленом, переломлю пополам. Одиннадцатый наш, агнец отца, первенец праведной, — его вовсе не растерзал зверь, это мы, его братья, продали его некогда в мир.

Именно так, а не иначе кончил Иуда свою знаменитую речь. Он стоял тяжело дыша, и бледные, хотя и с великим облегчением, потому что все было сказано, стояли позади него

братья. Это на свете не редкость — бледная облеглаженность. Но раздалось два возгласа — их издали самый большой и самый маленький. Рувим воскликнул: «Что слышу я!», а Вениамин совершенно так же, как в тот раз, когда их догнал управляющий, взметнул вверх руки и неопи-сваемо вскрикнул... А Иосиф?.. Он встал со своего престола, и по щекам его, сверкая, катились слезы. Сноп света, падавший прежде сбоку на братьев, тихо перекочевал, упал теперь через оконце в конце палаты прямо на Иосифа, и поэтому бежавшие по его щекам слезы сверкали, как алмазы.

— Пусть все египтяне выйдут отсюда, — сказал он, — все до единого. Я пригласил поглядеть на эту игру бога и мир, а теперь пусть будет зрителем только бог.

Повиновались ему неохотно. Делая глазами знаки стоявшим на возвышенье писцам, Май-Сахме обнял их сзади и вежливо выпроводил, а челядь отошла от дверей. Но что ушла она очень уж далеко, нам вряд ли поверят. Снаружи, а также в книжном покое все стояли наклонясь, боком к месту действия и приставив к уху ладонь.

А там, не обращая внимания на бежавшие по его щекам алмазы, Иосиф распростер руки и открылся братьям. Он часто открывался и ставил людей в тупик, показывая им, что в нем олицетворено нечто высшее, нежели то, чем он был, и это высшее туманно и обольстительно сливалось с собственным его «я». На этот раз он сказал просто и даже, несмотря на распростертые руки, со скромной усмешкой:

— Ребята, это же я. Ведь я же ваш брат Иосиф.

— Ну, конечно, это он! — закричал, задыхаясь от счастья, Вениамин и, бросившись вперед, к ступенькам помоста, упал на колени и стремительно обнял колени новообретенного брата.

— Иашуп, Иосиф-эль, Иегосиф! — всхлипывал он, задрал к нему голову. — Это ты, это ты, ну конечно, ну разумеется, это ты! Ты не умер, ты разрушил великую обитель мертвого мрака, ты поднялся на Седьмое Небо, и тебя назначили метатроном и Внутренним князем, я это знал, я это знал, ты высоко вознесен, и господь воздвиг тебе престол, похожий на его собственный! Но ты еще помнишь меня, сына своей матери, ты помахал в воздухе моею рукой!

— Малыш, — сказал Иосиф. — Малыш, — сказал он и, поднявши Вениамина, прижался головой к его голове. — Не говори так, не так это все велико и не так далеко, и я вовсе не достиг такой славы, и самое главное — это то, что нас снова двенадцать.

НЕ ССОРЬТЕСЬ!

И, обняв его за плечо, он спустился с ним к братьям — и правда, как обстояло дело с ними и каково им было стоять перед ним! Одни стояли, растопырив ноги, с повисшими чуть ли не до колен руками, казавшимися гораздо длинней, чем обычно, и, раскрыв рот, рыскали невидящими глазами. Другие стояли, прижав к груди кулаки, — и от тяжелого их дыханья кулаки поднимались и опускались. Если после признанья Иуды они все побледнели, то теперь лица их были багровы, как стволы сосен, багровы, как в тот раз, когда они сидели на пятках, а Иосиф явился к ним в разноцветной одежде. Если бы своим «ну конечно» и всеми своими восторгами Бенони не подтвердил сказанного этим человеком, они бы вообще ничего не поняли и ничему не поверили. Но когда сыновья Рахили, обнявшись, спускались к ним, бедным их головам ничего не оставалось, как превратить ассоциацию в тождество, узнав в человеке, которого, правда, они давно уже мысленно как-то связали с Иосифом, этого устраненного брата, — удивительно ли, что головы их прямо-таки трещали по швам? Едва лишь им удавалась судорожная попытка отождествить этого владыку и мальчика, ставшего некогда их жертвой, как единый образ снова раздваивался, — мало того что удержать его было вообще трудно; трудно это было и потому, что он вызывал у них стыд и ужас.

— Подойдите же ко мне, — сказал Иосиф, подходя к ним. — Да, да, это я. Я Иосиф, ваш брат, которого вы продали в Египет, — не горюйте об этом, так нужно было. Скажите,

жив ли еще отец мой? Скажите же мне что-нибудь и перестаньте печалиться! Иуда, ты произнес великую речь! Ее не забудут во веки веков. Я от всей души обнимаю тебя в знак поздравленья, а также приветствия, и целую львиную твою голову. Помнишь, ты поцеловал меня при минейцах, — сегодня я возвращаю тебе тот поцелуй, и теперь мы в расчете. Я целую как бы всех сразу — не подумайте, будто я сержусь на вас за то, что вы продали меня сюда! Все так и должно было случиться, и совершил это бог, а не вы, это Эль Шаддаи заблаговременно отторг меня от отчего дома и сделал, по замыслу своему, чужеземцем. Он послал меня сюда перед вами, чтобы я был вашим кормильцем, — он уготовил прекрасное избавление от голода, повелев мне кормить Израиль и с ним чужеземцев. Это хоть и жизненно важное, но очень простое, практическое дело, и петь мне осанну не за что. Ибо брат ваш никакой не герой бога, никакой не вестник благодати небесной, а всего-навсего экономай, и если ваши снопы склонялись перед моим во сне, о чем я и сболтнул вам, а звезды кланялись, то это ничего такого уж великого в себе на таило, а означало только, что отец и братья будут благодарны мне за житейскую помощь. Ведь за хлеб говорят: «Большое спасибо», а не «Осанна». Без хлеба, однако, тоже не обойдешься. Сначала хлеб, а уж потом осанна... А теперь, поняв, как прост был замысел господа, неужели вы не поверите, что я еще жив? Ведь вы же сами знаете, что яма не удержала меня, что сыны Измаила вытащили меня из нее и что вы продали меня им. Поднимите же руки и ощупайте меня, чтобы убедиться, что я жив, брат ваш Иосиф!

Двое или трое из них и впрямь дотронулись до него и осторожно провели рукой по его одежде, испуганно ухмыляясь.

— Значит, это была просто шутка и ты просто притворялся властителем, — спросил Иссахар, — а на самом деле ты всего лишь брат наш Иосиф?

— Всего лишь? — ответил тот. — Да ведь это же то, что я представляю собой в первую очередь. Поймите, я и то и другое, я — Иосиф, которого господь поставил отцом фараону и владыкою во всей земле Египетской. Я — Иосиф, облеченный великолепием этого мира.

— Верно, — сказал Завулон, — и значит, нельзя сказать, что ты — это только одно, а не другое, ты и то и другое сразу. Такое чувство у нас и было. И это хорошо, что ты не сплошь хлеботорговец, а то нам пришлось бы худо. Под своим облачением ты брат наш Иосиф, который защитит нас от гнева хлеботорговца. Но пойми, господин...

— Оставь ты свое «господин», глупец! С этим покончено!

— Пойми, что, с другой стороны, мы хотели бы, чтобы хлеботорговец защитил нас от брата, которому мы некогда причинили зло.

— Это вы причинили ему зло! — сказал Рувим, и мышцы его лица свирепо напряглись. — Неслыханные дела открылись мне сейчас, Иегосиф. Они продали тебя у меня за спиной и ни слова мне о том не сказали, и все это время я не знал, что они, сбыв тебя с рук, выручили за тебя деньги...

— Оставь это, Рувим, — сказал Дан, сын Валлы. — Ты тоже кое-что делал у нас за спиной. Ты, например, возвращался к яме, чтобы вероломно похитить мальчика. А что касается вырученных нами денег, то это был не такой уж завидный куш, как его милости Иосифу отлично известно: двадцать финикийских шекелей — вот и все, что нам, благодаря упрямству старика, досталось тогда, и мы всегда готовы отсчитать тебе твою долю.

— Не ссорьтесь, приятели! — сказал Иосиф. — Не ссорьтесь из-за этого и из-за того, что один сделал что-то тайком от другого. Ведь бог все это повернул так, как нужно. Благодаря тебе, Рувим, большой мой брат, за то, что ты пришел с веревками к яме, чтобы вытащить меня оттуда и возратить отцу. Однако меня там уже не было, и это было хорошо, ибо иначе все произошло бы не так, как требовалось. Но все произошло так, как нужно. Не будем же думать ни о чем, кроме как об отце...

— Да, да, — закивал головой и затараторил, подергивая ногами, Неффалим. — Верно, верно, возвысившийся брат наш говорит сущую правду, никуда это не годится, чтобы Иаков сидел вдалеке от нас, в волосяном своем доме или возле него, понятия не имея о том, что здесь

обнаружилось, — что Иосиф жив, что он весьма преуспел в мире и занимает у язычников блестящее положение. Представьте себе: вот он сидит, окутанный мраком неведения, а мы тем временем стоим здесь и воочию видим исчезнувшего нашего брата, мы руками касаемся его одежды и нам яснее ясного, что все было недоразумением и заблуждением: напрасно, оказывается, великое горе отца и напрасна тревога, которая, как червь, точила нам душу всю нашу жизнь. Это так потрясающе, что в пору головой пробить потолок. Как все-таки невыносимо несовершенно устроен мир, если мы здесь знаем это, а он там — нет, потому только, что от нас до него далеко и знание Иакова отделено от нашего знания толщиной тупого пространства, где правда делает лишь несколько шагов, а дальше — ни с места. О, если б можно было, сложив растрюбом руки у рта, крикнуть на расстояние семнадцати дней пути: «Эге-ге, отец! Иосиф жив, он как фараон в земле Египетской, вот новость какая!» Но как ни кричи, Иаков будет сидеть там по-прежнему и ничего не услышит. О, если б можно было запустить голубя, крылья которого быстры, как молния, с весточкой под крылом: «Знай, дело обстоит так-то и так-то!» О, если бы мир стал совершенным и все знали бы одно и то же и здесь, и там! Нет, я не в силах здесь оставаться, я этого не вынесу. Пошлите меня, пошлите меня! Я это сделаю. Я побегу быстрее, чем серна, и скажу ему прекрасную речь. Ибо какая речь прекраснее той, которая содержит последнюю новость?

Иосиф, однако, унял его пыл такими словами:

— Успокойся, Неффалим, не торопись, ты не побежишь один, и никому не будет дано право первым передать отцу то, что я велю ему передать и что давно решил, когда, бывало, ночами лежал на спине, раздумывая об этой истории. Семь дней вы будете отдыхать у меня, деля со мною все почести, мне оказываемые, и я представлю вас хозяйке моего дома, солнечной деве, и мои сыновья склонятся пред вами. А потом вы навьючите своих ослов и все, как один, вместе с Вениамином, отправитесь к моему отцу и возвестите ему: Иосиф, сын твой, не умер, он жив и говорит тебе живыми устами: «Бог сделал меня первым среди чужеземцев, и мне подвластен народ, которого я не знал. Приди ко мне, не медли и не пугайся, милый, страны могил, куда и Авраам некогда приходил во дни голода! Ибо два года уже царит голод, и никто на земле не пашет, не жнет, и продлится это еще три года или даже пять лет, а я прокормлю тебя, и ты поселишься здесь на тучных пажитях. А если ты спросишь, дозволит ли это фараон, то я отвечу тебе: твой сын обведет его вокруг пальца. Он походатайствует перед Его Величеством, чтобы поселились вы в земле Госен и на полях Зоана, против Аравии, — там-то я и прокормлю вас, тебя, и сынов твоих, и сынов сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. Ибо землю Госен — ее называют также Госем или Гошен — я давно уже облюбовал для вас, чтобы переселить и продолжить род наш, потому что это еще не настоящий, еще не заправский Египет, и вы сможете там кормиться рыбою устья и туком полей, не очень-то, к удобству своему, соприкасаясь с детьми Египта и дряхлой их мудростью и не нанося ущерба своей самобытности. И в то же время вы будете близ меня». Вот что вы скажете отцу моему от моего имени, и сказать это нужно умно и умело, щадя его окаменелый возраст, сперва — что я жив, а уж потом — чтобы он прибыл сюда с вами со всеми. Ах, если бы мне самому можно было поехать с вами и уговорить его, я бы, конечно, поехал сам. Но мне нельзя отлучиться ни на один день. Поэтому замените меня и сообщите ему, что я жив и приглашаю его сюда, с хитрой осторожностью любящих сыновей! Не говорите ему сразу: «Иосиф жив», а спросите сначала: «Каково было бы нашему господину, если бы, допустим, Иосиф оказался жив?» Чтобы он сначала подготовился. И не выпаливайте ему с бухты-барахты: «Тебе надо поселиться внизу, среди богов-трупов», а выразите это иносказательно: «В земле Госен». Сумеете ли вы без меня так схитрить? Я вас за эти дни еще натаскаю. А теперь я познакомлю вас со своей женой, солнечной девушкой, и покажу вам своих мальчиков, Манассию и Ефрема. И мы будем вдвенадцатером есть, пить, веселиться и вспоминать старые времена — не слишком, впрочем, подробно. И чтобы не забыть: придя к отцу и рассказывая ему все, что вы увидели, — не скупитесь на описания роскоши, в которой я живу здесь внизу! С его сердцем сыграли злую шутку — так пусть же теперь ему будет сыграна сладостная песнь о величии сына.

ФАРАОН ПИШЕТ ИОСИФУ

Было бы донельзя огорчительно, если бы после этих событий толпа слушателей начала редеть и рассеиваться, думая про себя: «Ну вот, прекрасное «Это я» уже прозвучало, а прекраснее ничего уже быть не может, вершина позади, теперь дело пойдет к концу, как именно, мы уже знаем, дальше это незанимательно». — Послушайтесь доброго совета, не расходитесь! Составитель этой истории, а под ним следует подразумевать того, кто составляет из ее событий единый рассказ, дал ей несколько вершин и умудрился сделать каждую следующую выше предшествующей. Он все время держится правила: лучшее впереди, и все время сулит какую-то новую радость. То, как Иосиф узнал, что его отец еще жив, было, наверно, любопытно; ну, а когда окаменевшему от горя Иакову сыграют весеннюю песнь о том, что его сын жив, и он поедет обнять Иосифа, — это будет, что же, нисколько не занимательно? Кто сейчас уйдет домой, тот пусть спросит потом других, дослушавших до конца, было это занимательно или не было. Тогда он пожалеет, и всю жизнь ему будет обидно, что он не был при том, как Иаков крест-накрест благословил своих египетских внуков и как величавый этот старик встретил свой смертный час. «Мы это уже знаем!» Глупейшие слова. Знать эту историю вольно каждому. Быть ее свидетелем — вот в чем вся соль... Но, кажется, можно было обойтись и без такого внушенья, ибо никто не тронулся с места.

Итак, когда Иосиф объяснился с братьями, а они с ним и все вместе направились оттуда, где он им открылся, к его жене, девушке Аснат, чтобы братья ей поклонились и поглядели на своих племянников с египетской детской прядью на голове, во всем особняке царило веселое оживление и раздавался радостный смех: вся челядь подслушивала, Иосиф мог никому ни о чем не сообщать и не давать никаких объяснений, ибо все уже все знали и, смеясь, кричали друг другу, что прибыли братья Кормильца, сыновья его отца из страны Захи, а это доставило всем величайшее удовольствие, тем более что можно было твердо рассчитывать на пиво и пироги по случаю такого праздничного события. Писцы же из Дома Кормленья и Распределения, тоже подслушивавшие, рассказали об этом в городе, и быстроногий Неффалим мог бы утешиться тем, что новость эта мигом обошла Менфе и все так стремительно сравнялись друг с другом в знанье, в веселом знанье того, что к Единственному приехали все его братья; на улицах многие выражали свою радость прыжками, а в богатом предместье у дома Иосифа собралась толпа, которая кричала «ура» и требовала, чтобы он показался ей со своей азиатской родней, чего в конце концов и добилась: выйдя на террасу, двенадцать братьев предстали перед теми, кто жаждал их видеть, и только нам впору посетовать на то, что жители Менфе довольствовались линзами своих глаз и, не умея обращаться со светом, как мы, не смогли запечатлеть эту группу в изображении. Сами же они от этого не страдали и не чувствовали такой необходимости как раз потому, что ничего подобного у них а в мыслях не могло быть.

Недолго пребывала чудесная эта новость и внутри стен могильного города, она голубем унеслась вдаль, и слух о ней примчался прежде всего к фараону, который, как и весь его двор, нашел ее очень занятой. Фараон, называвшийся теперь Эх-н-атон, — ибо согласно своему намеренью он отказался от тягостного амуновского имени и принял взамен то, что носил его отец в небе, — фараон уже давно приблизился к резиденции своего любимца министра, перенеся собственную из Фив, дома Амуна-Ра, на север, в то место верхнеегипетской «Заячьей округи», которое после тщательного выбора нашел пригодным для постройки нового города, целиком посвященного желанному божеству. Город этот находился несколько южнее Хмуну, дома Тота, там, где над рекой поднимался небольшой островок, прямо-таки требовавший возведения на нем затейливых павильонов, а отступавшие дугою скалы восточного берега открывали простор для закладки таких дворцов, храмов и прибрежных садов, какие подобают мыслителю-богоискателю, который, поскольку ему трудно живется, должен хотя бы хорошо

жить. Владыка благоухания нашел, что это место ему по сердцу, не советуясь ни с кем, кроме как со своим сердцем, и с тем, кто в нем жил, с тем единственным, кого надлежало здесь прославлять хвалебными песнями; и вот художникам и каменотесам его величества был отдан прекрасный приказ — с великим спехом построить здесь город, город его отца, город Горизонта, Ахет-Атон, что было жестоким ударом для Новет-Амуна, «стовратных» Фив, которые из-за отъезда двора рисковали превратиться в провинциальный город, и резким выпадом против державного карнакского бога, с чьим властным жречеством пылкая фараонова нежность к любящему вседержителю приходила уже и в тучные годы во все более глубокий разлад.

Нежная натура фараона не выдерживала этих непрестанных стычек с выступавшей во всеоружии традиций мощью воинственного национального бога; из-за противоречия между миролюбием его души и необходимостью боевой защиты открытого им высшего божества от Амунова всемогущества здоровье фараона страдало все больше и больше, и найдя, что, по счастью, в данном случае бегство нанесет врагу наиболее ощутимый ущерб, он решил стряхнуть прах Уазе с сандалий своей священной особы, даже если маменька, его мать, отчасти для присмотра за Амуном, отчасти же из-за своей привязанности ко дворцу своего супруга, бывшего царя Неб-ма-ра, останется в старой столице. Свое нетерпение уйти из сферы влияния Амуна Эхнатону пришлось сдерживать целых два года, ибо именно столько времени, несмотря на беспощадную эксплуатацию подневольных тружеников, продолжалась черновая постройка нового города, который к моменту фараонова переселения, отмеченного торжественными жертвенными дарами в виде хлеба, пива, рогатых и безрогих быков, мелкого скота, птиц, вина, фимиама и всякой прекрасной зелени, был, собственно, еще не городом, а скорее импровизированным придворным лагерем, лишь с намеками на будущую роскошь, состоявшим из дворца для царя, для Великой Супруги Нефернефруатон Нофертате и для принцесс-дочерей, дворца, где можно было разве что спать, но еще нельзя было жить по-настоящему, потому что повсюду еще трудились штукатуры, живописцы и декораторы; из храма вседержителя бога, храма очень веселого на вид, утопавшего в цветах, с развевающимися вымпелами, с семью дворами, с роскошными пилонами и великолепными колоннадами; из удивительных, далее, парков и заповедников с искусственными прудами, с деревьями и кустарниками, пересаженными в пустыню с плодородной землей береговой полосы; из белевших у реки построен на набережной; из десятка новехоньких жилых домов для атонолюбивых присных царя и ряда в высшей степени уютных каменных усыпальниц в окрестных горах, более всего готовых к приему жильцов.

Ничего больше в Ахет-Атоне покамест не было, но поскольку следовало ожидать, что переезд двора вызовет быстрый рост населения, город по-прежнему украшался и строился, когда фараон уже сидел там на троне, служил небесному своему отцу, совершал жертвенные обряды и становился отцом дочерей, умножавших женскую часть его двора: уже появилась на свет третья, Аунхсенпаатон.

Когда спешное письмо Иосифа, где тот официально извещал бога о прибытии своих братьев, с которыми был разлучен в юности, пришло в новый, необжитой еще дворец, новость эта успела уже проникнуть туда изустно, и фараон уже не раз увлеченно обсуждал ее с царицей Нофертате, с ее сестрой Незенмут, со своей собственной сестрой Бакетатон, а также со своими художниками и спальниками. На письмо он ответил незамедлительно: «Приказ смотрителю того, что дает небо, — продиктовал он, — Истинному Смотрителю Поручений, Тенистой Сени Царя и Исключительному Другу, Моему Дяде. Знай, что Мое Величество считает твое письмо таким, какие воистину приятно читать. Да будет тебе известно, что Фараон много плакал по поводу новостей, которые он узнал от тебя, и Великая Супруга Нефернефруатон, а также Сладчайшие Принцессы Бакетатон и Незенмут смешали слезы своей радости со слезами любимого Сына Моего Отца в небе. Все, что ты Мне доносишь, необыкновенно прекрасно, и твое сообщение заставляет Мое сердце прыгать от радости. По поводу того, о чем ты Мне пишешь, — что к тебе прибыли твои братья и что твой отец еще жив, — радуется небо, ве-

селится земля и ликуют сердца добрых людей, и даже сердца злых, несомненно, смягчились по этому случаю. Прими к сведению, что прекрасное дитя Атона, Нефер-Хеперу-Ра, Владыка обеих стран, находится, благодаря твоему письму, в чрезвычайно милостивом расположении духа! Пожелания, присовокупленные тобою к твоим сообщениям, были исполнены заранее, еще до того, как ты стал их записывать. Такова прекрасная Моя воля и на то дается тебе благосклонное Мое согласие, чтобы все твои родственники, сколько бы их ни было, прибыли в землю Египетскую, где ты как Я, и чтобы ты по своему усмотрению указал им землю для поселения, и пусть они кормятся ее туком. Скажи своим братьям: «Так надлежит вам поступить, и так повелевает вам Фараон, в чьем сердце живет любовь к его отцу Атону. Навьючьте ваш скот и возьмите с собой повозки из запасов царя для ваших детей и жен, и привезите отца вашего и возвращайтесь! Не жалейте своего домашнего скарба, ибо вас снабдят здесь всем, что вам нужно. Ведь Фараон знает, что культура ваша не так уж высока и ваши требования легко удовлетворить. И когда вы вернетесь в свою землю, возьмите отца вашего, и челядь его, и всех его домочадцев и привезите их ко Мне, чтобы вам пасти скот близ вашего брата, смотрителя всех дел во всей стране, ибо эта страна открыта для вас». Таково приказание Фараона твоим братьям, отданное сквозь слезы. Если бы множество важных дел не удерживало Меня в Моей резиденции Ахет-Атоне, единственной столице стран, Я взошел бы на большую Свою колесницу из электра и поспешил бы в Мен-нефру-Мира, чтобы увидеть тебя в кругу твоих родных и чтобы ты представил мне своих братьев. Но когда твои братья вернутся, ты представишь их Мне, не всех, правда, ибо это было бы утомительно для Фараона, а некоторых по выбору, чтобы Я расспросил их, и старого своего отца ты тоже представишь Мне, и Я от души награжу его Своей беседой, чтобы он жил в почете, поскольку с ним говорил Фараон. Прощай!»

Получив эту грамоту в своем менфийском доме из рук мчащегося гонца, Иосиф показал ее одиннадцати братьям, и те поцеловали кончики своих пальцев. На одну четверть луны задержались они у него в доме; уже двадцать лет отец считал его растерзанным и мертвым, и поэтому теперь не имело значения, днем раньше или днем позже узнает Иаков, что сын его жив. И челядь Иосифа прислуживала им, и его жена, дочь солнца, говорила им любезности, и они беседовали со своими благородными племянниками, носившими так называемую детскую прядь, Манассией и Ефремом, которые знали их язык и младший из которых, Ефрем, походил на Иосифа, а значит, и на Рахиль, гораздо больше, чем Манассия, — тот был вылитая мать-египтянка, — отчего Иуда сказал:

— Вот увидишь, Иаков будет благоволить к Ефрему, он станет говорить не «Манассия и Ефрем», а «Ефрем и Манассия».

Однако он посоветовал Иосифу к приезду Иакова остричь висевшую у них над ухом египетскую детскую прядь, ибо тот оскорбился бы при виде ее.

Затем, когда неделя прошла, они навьючили скот и тронулись. Из Менфе, Весов Стран, держа путь через ханаанскую землю, в Митанни уходил царский торговый караван, к которому им и надлежало присоединиться с фараоновыми повозками о двух и о четырех колесах, выданными им вместе с лошаками и возницами. Если прибавить сюда десять ослов, нагруженных всяким щепетильным товаром земли Египетской, изысканными безделушками и предметами изощреннейшей роскоши, которые Иосиф посылал в подарок Иакову, и десять ослиц, предназначенных также Иакову и навьюченных зерном, вином, вареньем, куреньями и благовонным маслом, то станет ясно, что и сами они уже составляли внушительный караван, тем более что благодаря подаркам, которыми осыпал их высокий брат, у каждого прибавилось личной поклажи. Известно ведь, что он каждому подарил перемену одежд, а Вениамину триста серебряных дебен и ни много ни мало пять перемен одежд, по числу избыточных дней года, так что если Иосиф сказал им на прощанье: «Не ссорьтесь в дороге!», то уже некоторые на то причины были. Он имел, однако, в виду скорее иное — чтобы они не вспоминали старого и не корили друг друга за то, что один сделал что-то тайком от другого. Ибо что они позавидуют Вениамину, потому что он, Иосиф, одарил своего братца правой руки гораздо щедрее,

чем их, — это ему и в голову не приходило, да и не было у них никакой зависти. Они были как агнцы и находили, что все так и должно быть. В молодости, погорячившись, они возмутились и ответили на несправедливость действием, а привело это к тому, что им пришлось навсегда примириться с несправедливостью, не смея ничего возразить против величественно-непреклонного: «Кому хочу — потокаю, кого хочу — милую».

КАК НАМ НАЧАТЬ?

Это просто поразительно, просто отрадно уму, как стройна наша история, как полна она прекрасных соответствий, как одно уравновешено в ней другим. Когда-то, через семь дней после получения Иаковом страшного знака, братья возвращались домой из долины Дофана, чтобы вместе с отцом оплакивать мертвого Иосифа, они боялись тогда увидеть отца, боялись жить с ним; боялись его наполовину ложного, но все же достаточно справедливого подозрения, что это они убили мальчика. Теперь, уже седоголовые, они снова возвращались домой, в Хеврон, с не менее чудовищной вестью, что все это время Иосиф не был мертв, что и сейчас он не мертв, а жив, и живет в почете и роскоши; и необходимость преподнести старику эту новость угнетала их почти так же. Ведь чудовищное чудовищно и потрясающее потрясающе независимо от того, идет ли дело о жизни или о смерти, и они очень боялись, что Иаков упадет за смертью, так же, как тогда, но теперь, став на двадцать лет старше, просто умрет от «радости», то есть от счастливого потрясения, от шока, так что продолжающаяся жизнь Иосифа станет причиной его смерти, и ни отец уже не увидит воочию живого Иосифа, ни Иосиф отца. Кроме того, теперь почти неизбежно должно было выйти наружу, что хоть они и не были убийцами прежнего мальчика, которыми Иаков их все это время наполовину считал, они ими как раз наполовину все-таки были и лишь случайно, благодаря находчивости измаильтян, доставивших Иосифа в Египет, не стали ими вполне. Это значительно усиливало их радостно-боязливое беспокойство, умерявшееся лишь мыслью, что милость, которую оказал им бог, удержав их с помощью своих посланцев-мидианитов от полного братоубийства, непременно произведет впечатление на Иакова и не позволит ему ни осудить, ни проклясть людей, сподобившихся такой высочайшей милости.

Вокруг этих предметов и вертелись их разговоры во время всего семнадцатидневного путешествия, которое, при всем их нетерпенье, казалось им, с другой стороны, слишком коротким, чтобы до конца обсудить, как им поосторожней уведомить Иакова и в каком свете они предстанут ему, его уведомив.

— Ребята, — говорили они между собой — ибо с тех пор, как Иосиф сказал: «Ребята, это же я», они часто называли друг друга «ребята», что раньше у них совершенно не было принято, — ребята, увидите, он у нас непременно упадет за смертью, если мы не сумеем вернуть это тонко и полегоньку! Но тонко ли, грубо ли — неужели, по-вашему, он поверит тому, что мы ему скажем? Скорее всего, он нам вообще не поверит, ведь за столько лет мысль о смерти успевает прочно утвердиться в сердце и в голове, и мысль эту не так-то легко сдвинуть с места, да еще заменить мыслью о жизни, — на круг душа не так уж и рада этому, потому что она держится за свои привычки. Брат Иосиф думает, что для старика эта новость будет великой радостью; радостью она, конечно, и будет для него — безмерной и, надо надеяться, не чрезмерной для его сил. Но способен ли человек радоваться, если пищей его целую вечность была печаль, и приятно ли ему узнать, что жизнь свою он провел в заблуждении, а дни свои в слепоте? Ибо печаль была его жизнью, а теперь все насмарку. Это более чем странно, что мы должны разубеждать его в том, в чем некогда убедили его окровавленным платьем и с чем он свыкся. И на круг он будет больше зол на нас за то, что мы отняли у него горе, чем за то, что мы его причинили ему. Разумеется, он станет упорствовать и не будет нам верить, и это, с другой стороны, хорошо и желательно. Пусть он не верит нам некоторое время, ибо поверь он нам сразу, он свалился бы за смертью. Да, как сказать это ему, чтобы радость не была для

него слишком внезапной, а разочарование в печали чересчур велико? Лучше всего было бы, если бы мы могли ничего ему не говорить, а просто отвезти его в землю Египетскую и поставить перед сыном Иосифом, чтобы старик увидел его собственными глазами и отпала нужда в словах. Но достаточно трудно будет перевезти его в Мицраим, на тучные пажити, даже когда он узнает, что Иосиф живет там; следовательно, сначала он должен узнать об этом, иначе он наверняка не поедет. А ведь у правды есть не только слова, но и знаки, например, подарки возвысившегося брата и фараоновы колесницы для нашего переезда, — мы их покажем ему, покажем, может быть, даже прежде всего, еще до того, как начнем говорить, и потом объясним ему эти знаки. А по этим знакам он поймет, что возвысившийся желает нам добра и что мы живем душа в душу с проданным братом, и старик не будет долго сердиться на нас, когда все откроется, и не захочет проклясть нас, — да и может ли он проклясть Израиль, десятерых из двенадцати? Этого он никак не может сделать, ибо это значило бы лезть на рожон, противиться решению бога, выславшего Иосифа вперед, нашим квартирьером, в землю Египетскую. А потому, ребята, не будем труса праздновать! Настанет час, и мгновенье подскажет нам, как это дело обтяпать получше. Сначала мы разложим перед ним подарки, добро египетское, и спросим: «Откуда это, отец, по-твоему, и от кого? Ну-ка, угадай! Оттуда, снизу, от великого хлеботорговца, это посылает тебе не кто иной, как он. Но если он тебе это посылает, значит, он должен, наверно, очень тебя любить? Значит, он должен, наверно, любить тебя почти так, как любит своего отца сын?» Но как только мы произнесем слово «сын», половина дела будет сделана, самое трудное будет уже позади. Потом мы еще немного поиграем этим словом и постепенно перестанем говорить: «Это посылает тебе главный хлеботорговец» и скажем: «Это посылает тебе твой сын. Иосиф посылает это тебе, потому что он жив и властвует над всей землей Египетскою!»

Так намечали они порядок действий, одиннадцать братьев, ежедневно и еженощно совещаясь в шатре, и, пожалуй, слишком быстро для их тревоги подходило к концу знакомое уже путешествие: от Менфе к пограничным крепостям, затем через ужасы пустыни в страну филистимлян, на Газу, или морскую гавань Хазати, где они отделились от каравана, к которому примкнули в Египте, и откуда направились в глубь страны, в горы, к Хеврону, короткими дневными, а чаще ночными переходами; ибо весна была в цвету, когда они возвращались, и ночи, посеребренные почти вполне прекрасной луной, были уже приятны; а поскольку разросшийся их отряд с египетскими колесницами, лошадьми и слугами, а также стадом ослов почти в пятьдесят голов повсюду вызывал любопытство и на путников глазел сбегавшийся люд, то братья, которым это было в тягость, обычно днем отдыхали, а по ночам продвигались к родине, к скипидарным деревьям рощи Мамре, где находился волосяной дом отца и стояли хижины большинства из них.

В последний, правда, день они тронулись в путь рано и в пятом часу пополудни были уже близки к цели, хотя из котловины, по которой они ехали, родового их стана еще не было видно, ибо знакомые холмы скрывали его от них. Оторвавшись от своего обоза, они ехали верхом на ослах несколько впереди его, одиннадцать задумчивых всадников, которые прекратили всякие разговоры, ибо сердца их стучали и, несмотря на все принятые решения, никто толком не знал, как начать, как сказать это отцу, чтобы его не свалить. Когда они так приблизились к нему, все, что они намечали прежде, перестало им нравиться; они нашли это нелепым и непристойным, и такие штуки, как «угадай-ка!» и «кто же он?», казались им теперь отвратительно пошлыми и совершенно неуместными; каждый про себя пренебрежительно их отвергал, и некоторые пытались в последний миг придумать взамен что-нибудь новое: может быть, послать кого-то вперед, например прыткого Неффалима, чтобы он известил Иакова, что они вот-вот придут с Вениамином и принесут великую, невероятную весть, — невероятную отчасти в том смысле, что ей невозможно поверить, отчасти же, пожалуй, и потому, что она настолько идет вразрез со всеми привычными представлениями, что ей не хочется верить, и все-таки эта живая правда господня. Так, думалось то одному, то другому, выслав вперед гонца, удобней всего подготовить к разительной новости отцовское сердце. Они ехали шагом.

ВОЗВЕЩЕНИЕ

Котловина, по которой шагали их ослы, была кремнистая, твердая, но ее сплошь украсила цветами весна. Усеянную валунами землю покрывала еще и мелкая галька; но везде, где только проглядывал мягкий комок, и, казалось, даже из камня необузданно била буйная зелень — цветы, куда ни глянь, белые, голубые, розовые, алые, цветы купами, пучки и подушки цветов, пестрое изобилие красоты. Весна позвала их, и они расцвели в свой час, расцвели даже без зимних дождей, довольно было, по-видимому, и утренней росы для их недолгой, быстро увядающей пышности. И кусты, торчавшие там и сям, тоже цвели белым и розовым, потому что пришло их время. Только легкие хлопья облаков копошились высоко в синеве неба.

На камне, о который, как волны о скалу, бились цветы, виднелась какая-то фигурка, сама похожая на цветок издали, хрупкая девочка, как скоро выяснилось, одна под небом, в красном платье, с маргаритками в волосах и с цитрой в руках, по которой сновали ее тонкие, смуглые пальцы. Это была Серах, дитя Асира; отец узнал ее уже издалека, раньше, чем все другие, и, довольный, сказал.

— Это Серах сидит на камне, моя малышка, и бренчит себе на своей балалайке. Это на нее, озорницу, похоже, она любит сидеть одна и перебирать струны. Она из породы гусельников и дударей, плутовка, бог весть откуда это у нее; такая уж у нее с пеленок страсть — петь и играть, она ловко управляет с лютней, а иной раз и напевает хвалебные песни, и голосок у нее звучнее, чем можно ожидать от такой стрекозы, так что она еще, чего доброго, прославится в Израиле, сопливая. Смотрите, вот она нас заметила, взмахнула руками и бежит нам навстречу. Эге-ге, Серах, это отец твой Асир возвращается с дядьями домой!

Девочка была уже близко: босыми ногами бежала она через цветы между глыбами камня, и от бега звенели серебряные кольца у нее на запястьях и на лодыжках и, подпрыгивая, сбился набок бело-желтый веночек на ее черной макушке. Она, запыхавшись, смеялась от радости встречи и, не переводя дыханья, выкрикивала приветственные слова; но и в самих ее возгласах, в самой ее одышке было что-то звонкое и полнозвучное, и трудно было понять, как это получалось при таком тщедушном теле.

Она была подростком, то есть не ребенком уже, но еще не девушкой, — во всяком случае, ей было двенадцать лет. Жена Асира считалась правнучкой Измаила — не унаследовала ли Серах чего-то, что заставляло ее петь, от дикого сводного брата Исаака? Или, может быть, поскольку свойства людей преобразуются в их потомках на самые странные лады, — жадные до лакомств губы отца Асира, его влажные глаза, его любопытство и его страсть к единству мыслей и чувств превратились в маленькой Серах в ее гусельничество? Вы, пожалуй, найдете это слишком смелой натяжкой — возвести меломанию ребенка к тому, что его отец жаден до лакомств, но на что не пойдешь, чтобы объяснить такой занятный природный дар, как музыкальность Серах!

Одиннадцать братьев взглянули со своих высоконогих ослов на девочку, поздоровались с ней, погладили ее, и в глазах у них появилась задумчивость. Большинство спешилось и окружило Серах; заложив руки за спину, кивая и качая головами, они приговаривали: «Так, так», «Ну, ну», «Гляди-ка!» и «Что, певунья, ты, выходит, первая бросилась нам навстречу, потому что случайно сидела здесь и тренькала на гифифе по своему обычаю?» Наконец Дан, по прозвищу змей и аспид, сказал:

— Ребята, послушайте, я вижу по вашим глазам, что у всех у нас на уме одно и то же, и сказать то, что говорю сейчас я, пристало бы, собственно, Асиру, но ему, как отцу, не приходит это в голову. Ну, а я уже не раз доказывал, что гожусь в судьи, и свойственное мне хитроумие наводит меня вот на такую мысль. Что девчонка эта, Серах-певичка, встретила нас здесь пер-

вой из всего нашего племени, — это совсем не случайность, ее послал бог, чтобы указать нам, как поступить. Все наши наметки, все наши разговоры о том, как преподнести такую новость отцу, как свалить ее на него, не свалив его навзничь, — нелепейший вздор. Серах — вот кто пусть выложит ему все на свой лад, чтобы правда предстала перед ним в облике песни, потому что это всегда самый бережный способ ее узнать, горька ли она, радостна ли или сразу и радостна и горька. Пускай Серах отправится вперед и пропоет ему все как песню, я даже если он не поверит, что эта песня — правда, то к тому времени, когда мы явимся вослед со словом и знаком, почва его души будет все-таки уже смягчена и к посеву правды вполне подготовлена, и он волей-неволей поймет, что песня и правда — это одно и то же, как поняли мы, хоть и с величайшим трудом, что фараонов хлеботорговец — это тот же человек, что и брат наш Иосиф. Ну, что? Прав ли я, выразил ли я то, что всем вам мерещилось, когда вы задумчиво глядели в пустоту поверх дурашливой головки Серах?

Да, сказали они, он прав и рассудил правильно, это указание неба и великое облегчение. И они принялись наставлять девочку, втолковывать ей, что произошло, — нелегко это было, ибо все говорили сразу, лишь изредка уступая слово кому-либо одному, и, глядя на взволнованные лица говорящих, на игру их рук, Серах переводила с одного на другого полные испуга и любопытства глаза.

— Серах, — говорили они, — такое дело. Верь или не верь, только спой, а уж мы потом придем и докажем. Но лучше бы ты поверила, тогда ты лучше споешь, это же правда, хотя и кажется невероятным, поверь своему родному отцу и всем своим дядюшкам. Подумать только, ты не знала своего дяди Иегосифа, который пропал, сына праведной, сына Рахили, ее еще звали звездной девой, а его Думузи. Ну да, ну да! Он умер для твоего дедушки Иакова задолго до твоего рожденья, потому что его поглотил мир, и его не стало, и в сердце Иакова он был мертв все эти годы. Ну, а теперь открылось, и притом самым невероятным образом, что все получилось совсем не так.

— О дивное диво, теперь открылось,
Что все совсем не так получилось, —

преждевременно запела Серах со смехом, и так ликующе звучно, что заглушила все хриплые голоса, вокруг нее раздававшиеся.

— Тише ты, озорница! — закричали они. — Нельзя же петь, не зная ничего толком, куда мы не объясним тебе, что к чему! Сначала выслушай, а потом уж заливайся! Слушай же: твой дядя Иосиф воскрес, то есть он совсем не умирал, он жив, и не просто жив, а живет так-то и так-то. Он живет в Мицраиме, в таком-то и таком-то званье. Все было заблуждением, пойми ты, и одежда в крови тоже была заблуждением, и бог дал этому делу самый неожиданный оборот. Поняла? Мы были у него в земле Египетской, и он открылся нам недвусмысленным «Это я», он говорил с нами так-то и так-то и хочет, чтобы мы все переселились к нему, и ты тоже. Запомнила ли ты это настолько, чтобы переложить в песню? Тогда нужно, чтобы ты пропела это Иакову. Наша Серах умница и сделает все как надо. Сейчас ты возьмешь свою балалайку и пойдешь с ней впереди нас, громко распевая, что Иосиф жив. Ты пройдешь между этими холмами прямо к хижинам Иакова, не глядя ни вправо, ни влево и продолжая петь. Если кто-нибудь остановит тебя и спросит, что это значит, с чего это ты вдруг поешь и играешь, ты не отвечай ему, а иди своей дорогой и пой: «Он жив!» И когда ты придешь к своему дедушке Иакову, ты сядешь у его ног и пропоешь как можно сладостнее: «Иосиф не умер, он жив». И он тоже спросит тебя, что это значит и что это за песни ты позволяешь себе напевать. Но и ему ты ничего не говори, а знай только пой и играй. А там подоспеем и мы, одиннадцать братьев, и объясним ему все толком. Будешь молодчиной, сделаешь это?

— С удовольствием, — звонко отвечала Серах. — Такого мне еще никогда не доводилось петь под игру струн, а тут можно показать, на что ты способна! Певцов кругом много, но уж этой темой завладела я первая и своей песней я всех заткну за пояс!

С этими словами она подняла с камня, на котором сидела, лютню, взяла ее в руки, растопырила над струнами острые смуглые пальцы, большой — с одной стороны, а остальные четыре — с другой, и твердо, хотя и меняя ритм шага, пошла вперед с песнью:

Пусть новою песней душа изольется,
Пускай восьмиструнный напев раздается!
Все, чем сердце полно, в эту песню войдет,
Дороже, чем золото, слаще, чем мед,
Ибо ни в золоте нет, ни в меду
Той вести весенней, с которой иду.

Слушайте, люди, певучую весть!
Поймите, какая мне выпала честь,
Какого сподобилась я удела,
Какого избранья дожидаться сумела.
Ведь петь о таких делах, как эти,
Еще никому не случалось на свете.
А я, одержав надо всеми победу,
Несу на струнах эту новость деду.

Слыша звуков сладкоречье,
Горевать невмоготу —
А тем паче если слово человечесь
Высшую дополнит немоту.
Полон звук тогда значенья,
Слово музыки полно.
Лучше песен, лучше пенья
Ничего нам не дано.

Так, распевая, она шагала к холмам и к проходу между холмами, она щипала струны и ударяла по ним, отчего они то стрекотали, а то гремели, и пела снова:

Красоту такого слова
С красотой соединив
Сладкозвучья золотого,
Буду петь я: мальчик жив!

Ах, господи боже мой, что я узнала,
Что эта девочка услышала!
Какие новости мне открыли
Те путники, что в Египте были!
Попробуй поди передай стихами,
Что рассказали отец мой с дядьями.
Они мне дали тему из тем.
Они там встретились — знаешь с кем?
Дедушка, ты сперва ничего не поймешь,
Но ты убедишься, что это не ложь.
Это кажется сказочным сном, но представь,
Это сущая правда, не сон, а явь.

Не гадалось и не мнилось,
А теперь вдруг окажись,
Что прекрасное свершилось
И что сказкой стала жизнь.
Это очень редкий случай,
Чтобы, душу ублажив,
Все мечты сбылись. Итак, еще раз лучший
Мой тебе припев: твой мальчик жив!

Впрочем, лучше, если бы сначала
Песне ты моей не доверял,
Ведь она тебя бы испугала,
Замертво у нас бы ты упал,
Как в тот раз, когда с кровавым платьем,
Ложным знаком, братья пред тобой
Вдруг предстали: ты поверил братьям,
Стал как столп ты соляной.

Ах, какой жестокой мукой
Ты терзался день за днем.
Сердце вечной мучилось разлукой,
А теперь любимец твой воскреснет в нем!

Тут один стоявший на холме человек, пастух-овчар в широкополой соломенной шляпе, сунулся к ней было с расспросами. Он давно уже глядел на нее сверху, и с удивлением ее слушал; теперь он спустился к ней, пошел с нею рядом и спросил:

— Что это вы такое поете на ходу, барышня? Очень уж это необычно звучит. Я не раз слышал, как вы поете, и для меня не новость, что вы мастерица извлекать звуки из струн, но такого странного, такого загадочного пенья мне еще не доводилось слышать. И при этом вы не перестаете шагать! Не к Иакову ли вы направляетесь, нашему господину, и не к нему ли относится то, что вы поете? Похоже, что к нему. Но что же такое вы узнали? Какое это дивное диво произошло наяву, и что означает ваш припев «мальчик жив»?

Однако она даже не взглянула в его сторону, а только, улыбаясь, покачала головой и на мгновение сняла руку со струн, чтобы приложить палец к губам. А потом затянула снова:

Пой, Серах, Асирова дочь, что тебе рассказали
Те одиннадцать, что в земле Египетской побывали!
Пой, как бог благословил их в своей доброте
И как там внизу незнакомца встретили те.
Кто же этот незнакомец такой?
Это Иосиф, дядюшка мой!
Старик! Любимый твой сын — это он;
Выше его только сам фараон.
Владыкою стран он у них называется.
Чужеземный народ перед ним пресмыкается.
Цари его хвалят наперебой,
Он стал государству первым слугой.
Власть его не знает предела,
Он все народы кормит умело,
Из тысяч амбаров он хлеб раздает,

Чтоб мир не погиб в такой недород.
Сумел он заранее все учесть;
Теперь за это ему и честь.
Алоэ и мирра — наряд его новый,
Живет он в палатах из кости слоновой,
Грядет, как жених, любим и хвалим.
Вот, старый, что стало с агнцем твоим!

Не отставая от Серах, пастух слушал ее все более удивленно. Если он видел издали еще кого-либо, служанку или работника, он делал им знак рукой, чтобы они тоже подошли и слушали. И уже вскоре девочку сопровождала сперва небольшая, но по мере приближения к стойбищу все возрастающая толпа слушателей-мужчин, женщин, детей. Дети сенили, взрослые шагали в ногу, и все лица были повернуты к ней, а она пела:

Ты думал, что звери его растерзали,
Ты хлеб свой мочил слезами печали.
Лет, кажется, около двадцати
Не мог ты покоя себе найти.
А видишь теперь, каков итог —
Деяния бога странны:
Он раны наносит, но сам же бог
Эти же лечит раны!
Неисповедимы его пути,
Творениям рук его — слава.
Он за нос сумел тебя провести,
Дразня тебя величаво.

Господним юмором мир покорен.
Вне себя от восторга Фавор и Гермон.
Бог сына забрал у тебя дорогого,
Но с тем чтобы ты обрел его снова.
Ты извивался, старый, от боли,
Потом ты свыкся с ней поневоле,
И вот тебе мальчик твой возвращен,
Уже полноват, но еще недурен.

Тебе его теперь не узнать,
Ты не будешь знать, как его величать.
Вы будете речью чужою томиться,
Не зная, кто должен кому поклониться.
Вот что господь учинить догадался,
Вот как над дедушкой он посмеялся.

Теперь она со своими спутниками подошла уже совсем близко к родным жилищам под терebinтами Мамре и увидела, что Иаков, благословенный, с достоинством восседает на циновке перед занавеской своего дома. Поэтому она придала своему инструменту более удобное и твердое положение, и если только что она умело извлекала из него шутивно-нестройные звуки, то теперь она заставила его греметь в полную силу и всей грудью, во все горло, на самом их чистом звучанье, пробела строфы:

Сладкозвучья золотого
Красоту соединив
С красотой и мощью слова,
Я вещаю: мальчик жив!

Пой, душа, ликуя, песни,
Раздавайся, струнный звон!
Не остался сын твой в бездне,
Сердцу мальчик возвращен.

Это, сердце, тот пропащий,
Кто оплакан был сполна,
Кто попал в могильный ящик
Из-под бивней кабана.

Все поникло, увядая,
Оттого, что он исчез.
А сегодня песнь иная:
Верь, отец, твой сын воскрес!

Шаг его как поступь бога,
Птиц над ним кружится хоровод.
Вся в цветах лежит дорога,
По которой он идет.

Страхи зимние забыты,
Он шагает, полон сил.
На уста и на ланиты
Прелесть лета бог излил.

Сына взгляд поймав лукавый,
Шутку господу пойми.
И хоть поздно, но со славой
К сердцу мальчика прижми!

Иаков давно уже увидел свою внучку-певунью и с удовольствием прислушивался к ее голосу. Его благосклонность к ней была даже так велика, что при ее приближении он стал одобрительно разводить и соединять ладони в лад звукам, как то порой делают слушатели, сопровождающие игру и пенье ритмическими рукоплесканиями. Подойдя к Иакову, девочка ничего не сказала, а только опустила, продолжая петь, к нему на циновку, тогда как привлеченная ею дворня остановилась в почтительном отдалении. Старик слушал, и руки его медленно опускались. Размеренные движения его головы превратились постепенно в странное покачиванье. Когда она кончила, он сказал:

— Умница, дитя мое, молодчина! Спасибо тебе, Серах, за то, что ты внимательна а покинутому старику и пришла потешить его слух своею игрой. Видишь, я знаю твое имя, хотя не помню имен всех своих внуков, ибо их слишком много. Ты же приметно из них выделяешься, ибо благодаря природному своему дару, умению петь, ты привлекаешь к себе внимание, а потому и имя твое запомнить легко. Но послушай, одаренная моя внучка, как я тебя слушал: с сердечным участием, но не без духовной тревоги. Ибо поэзия, милое дитя, это штука опасная, соблазнительная и скользкая. Распевать и распутничать — понятия, увы, довольно близкие,

и распевание песен вырождается в изысканное беспутство, если оно не обуздано заботой о боге. Прекрасна игра, но священ дух. Играющий дух — вот что такое сочинительство, и я от всего сердца хлопаю в ладоши при виде этой игры, если только дух ничего в ней не теряет и остается заботой о боге. А что напела мне ты и что я должен думать о том, кто идет по цветам, бросая лукавые взгляды, да еще сопровождаемый хорами птиц! Это, по-видимому, какое-то подобие того сомнительного бога лугов, которого местные жители именуют «господом», чем смущают и обольщают моих сородичей, детей Авраамовых. Ибо мы тоже говорим о господе, но имеем в виду совсем другое, и, не спуская глаз с души Израиля, я то и дело твержу под деревом наставления, что этот «господь» никакой не Господь, ибо люди всегда норовят спутать их и, дав себе поблажку, скатиться к богу лугов. Ибо бог есть усилие, а боги суть удовольствие. Так вот, хорошо ли это, дитя мое, что ты предоставляешь своему дарованью полную свободу и распевашь мне песни местного сочинения?

Но Серах только покачала, улыбнувшись, головкой и вместо ответа снова запела, перебирая струны:

О ком я пою и кто он такой?
Это Иосиф, дядюшка мой.
Старик! Любимый твой сын — это он;
Выше его только сам фараон.
Дедушка, ты сперва ничего не поймешь,
Но ты убедишься, что это не ложь.

Ибо, мощь и силу слова
С красотой соединив
Сладкозвучья золотого,
Я пою: твой мальчик жив!

— Дитя мое, — взволнованно сказал Иаков, — это, конечно, очень мило с твоей стороны, что ты пришла ко мне и поешь, хотя никогда в жизни не видала его, о моем сыне Иосифе, посвящая ему свой дар, чтобы доставить мне радость. Но песенка твоя звучит несуразно, и хотя сложена она ладно, в ней все-таки нет ни складу, ни ладу. Я не могу с этим согласиться, — ну, можно ли, например, петь «мальчик жив»? Это не может меня обрадовать, ведь это же пустопорожняя прикраса. Иосиф давно умер. Он растерзан, растерзан.

И Серах отвечала, изо всех сил налегая на струны:

Пой, душа, ликуя, песни,
Раздавайся, струнный звон,
Ибо сын не сгинул в бездне,
Сердцу мальчик возвращен.

Все поникло, увядая,
Оттого, что он исчез,
А сегодня песнь иная:
Верь, отец, твой сын воскрес.

Он всем народам хлеб раздает,
Чтоб мир не погиб в такой недород.
Все, как Ной, наперед он сумел учесть.
За это ему хвала и честь.

Алоэ и мирра — наряд его новый,
Живет он в палатах из кости слоновой,
Грядет, как жених, любим и хвалим.
Вот, старый, что стало с агнцем твоим!

— Серах, внучка моя, певунья ты неумная, — решительно сказал Иаков, — что мне о тебе и подумать? Но в песне тебе никак не подобало бы называть меня просто «старый». Как с поэтической вольностью я с этим, однако, примирился бы, если бы это была единственная вольность, которую ты себе позволила! Но ведь твоя песня сплошь состоит из вольностей и каких-то блажных нелепостей, которыми ты, по-видимому, хочешь меня потешить, хотя тешишься вздором значит ослеплять себя, не принося никакой пользы душе. Дозволено ли петь и вещать о делах, не имеющих никакого отношения к действительности, не есть ли это злоупотребление природным даром? Какая-то доля разумного должна же быть и в прекрасном, иначе оно становится просто глумлением над душой.

— Удивляйся, — пропела Серах, —

Удивляйся: совершилось,
Час настал, мечта сбылась.
Песня в правду обратилась,
Жизнь с поэзией слилась!

Это чудо, это диво,
Диво дивное из див.
Песнь моя прекрасна и правдива,
Я пою: твой мальчик жив!

— Дитя, — сказал Иаков, и голова его задрожала. — Милое дитя...
А она ликовала, рассыпая еще стремительней звенящие звуки:

Видишь, старик, каков итог?
Деяния бога странны:
Он раны наносит, но сам же бог
Эти же лечит раны!
Он сына забрал у тебя дорогого,
Но с тем, чтобы ты обрел его снова.

Ты извивался, старый, от боли,
Потом ты свыкся с ней поневоле.
И вдруг тебе мальчик твой возвращен:
Чуть грузен уже, но еще недурен.
Вот что господь учинить догадался,
Вот как над дедушкой он посмеялся!

Отвернувшись от нее, он протянул к ней руку, словно хотел ее остановить; его усталые карие глаза были полны слез. «Дитя, — только и повторял он. — Дитя...» И не замечал ни волнения, поднявшегося около них с внучкой, ни того, как ему о чем-то радостно докладывали. Ибо к тем любопытным, что пришли с Серах, слушая ее песнь, присоединялись все новые и новые вестники счастливого возвращения, и уже со всех сторон сбегалась дворня, а два человека поспешили к Иакову и доложили ему:

— Израиль, одиннадцать твоих сыновей вернулись из Египта с людьми и повозками, и ослов у них куда больше, чем было при отъезде!

Но вот подросли и они сами и, спешившись, подошли к Иакову, посредине Вениамин, до которого остальные десять старались дотронуться, потому что каждому хотелось собственноручно вернуть его отцу.

— Мир тебе и доброго здоровья, — сказали они, — отец наш и господин! Вот Вениамин. Мы тебе свято сберегли его, хотя порой и оказывались с ним в затруднительном положении, можешь теперь нянчить его снова. Вернулся и Симеон, твой герой. Кроме того, мы привезли в обилии пищу и богатые дары от владыки хлеба. Погляди, мы счастливо вернулись домой, и «счастливо» — это далеко еще не точное слово.

— Мальчики, — отвечал Иаков, поднявшись, — ну, конечно, добро пожаловать, мальчики.

Снова вступая во владение младшим, он обнял его одной рукой, но сделал это безотчетно, в оцепененье.

— Вы снова здесь, — сказал он, — вы все вместе вернулись из опасного путешествия, — это было бы великое мгновение при других обстоятельствах, и оно несомненно целиком заполнило бы мне душу, если бы она уже не была так поглощена. Да, я сейчас весь поглощен, и поглощен из-за этой девчушки, — это твое дитя, Асир, — которая подседа ко мне с какими-то вздорными, хотя и сладкозвучными песенками, с какой-то нелепой болтовней о моем сыне Иосифе, так что я даже не знаю, как мне сохранить при ней рассудительность, и рад вашему приезду главным образом потому, что надеюсь, что вы защитите меня от этого ребенка и от дурмана ее трескотни, ибо не потерпите, чтобы глумились над моими сединами.

— Конечно, мы этого не потерпим, — ответил Иуда, — если мы можем этому как-либо помешать. Но по общему нашему мнению, отец, — а это мнение обоснованное, — ты поступил бы лучше, допустив, пускай сначала лишь как вероятность, что в ее трескотне есть доля правды.

— Доля правды? — повторил старик, выпрямляясь. — Да как вы смеете соваться ко мне с такой чепухой и требовать от Израиля половинчатости? Что случилось бы с нами и с нашим богом, если бы мы довольствовались надеждой на случай? Правда одна, и она неделима. Трижды пропело мне это дитя: «Мальчик жив!» В ее словах не может быть никакой доли правды, если это не сама правда. Так что же это?

— Это правда, — ответили хором одиннадцать братьев, поднимая руки ладонями вверх.

— Правда! — радостно и удивленно отозвалось у них за спиной из толпы домочадцев. Детские, женские и мужские голоса ликующе повторяли: «Она пела правду!»

— Папочка, — сказал Вениамин, обнимая Иакова. — Пойми то, что ты слышишь, как пришлось это понять нам, одному раньше, другому позже: тот человек там внизу, что спросил их обо мне и так много расспрашивал их о тебе — «Жив ли еще ваш отец?», — это Иосиф, Иосиф и он — это одно и то же. Он вовсе не умирал, сын моей матери. Странствующие купцы вырвали его из когтей чудовища и отвели его в Египет, и там он вырос словно у родника и стал первым из живущих внизу — сыны чужеземцев подольщаются к нему, ибо они бы умерли с голоду без его мудрости. Тебе нужны знаки, подтверждающие это чудо? Погляди же на наш обоз! Он посылает тебе двадцать ослов, навьюченных пищей, — это дар Египта, а вон те колесницы из фараонова запаса доставят нас всех к твоему сыну. Ибо с самого начала он вел дело так, чтобы ты приехал к нему, я это разглядел, он хочет, чтобы мы пасли свой скот близ него, на тучных пажитях, но там, где еще не самый заправский Египет, в земле Госен.

Иаков сохранял полное, почти суровое самообладание.

— Это определит бог, — сказал он твердым голосом, — ибо только от него, а не от сильных мира принимает указанья Израиль. Мой Даму, дитя мое! — слетело затем с его губ. Он сплел на груди пальцы и обратил к облакам лоб; глядя туда, он медленно покачал старой своей головой.

— Мальчики, — сказал он, опуская ее снова, — эта девчушка, — я благословляю ее, и если бог услышит меня, она не вкусит смерти, а войдет в царство небесное заживо, — эта девочка пропела мне, что господь возвращает мне первенца Рахили, который хоть все еще и красив, но уже несколько грузен. Это надо понимать, по-видимому, так, что годы и египетское довольствие сделали его человеком весьма дородным?

— Не очень, дорогой наш отец, не очень, — поспешил успокоить его Иуда. — Только в пределах представительности. Прими во внимание, что тебе возвращает его не смерть, а жизнь. Смерть, если бы это было мыслимо, выдала бы его тебе таким же, каким он был; но поскольку ты получаешь его из рук жизни, он уже не прежний олененок, а матерый, по-своему прекрасный олень. Ты должен быть готов и к тому, что в своем быту он несколько отдалился от нас и носит плоеный виссон, который белее снегов Гермона.

— Пойду и увижу его, пока жив, — сказал Иаков. — Если бы он не был жив все это время, он не был бы жив и сейчас. Пусть славится имя господне.

— Пусть славится! — воскликнули все собравшиеся и хлынули к нему и братьям, чтобы поцеловать им край одежды в знак поздравленья.

Он не смотрел вниз, на их головы; глаза его были снова обращены к небу, и, глядя туда, он все качал головой. А певунья Серах сидела на циновке и пела:

Сына взгляд поймав лукавый,
Шутку господя пойми.
И хоть поздно, но со славой
К сердцу мальчика прижми!

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ. ВОЗВРАЩЕННЫЙ

ПОЙДУ И УВИЖУ ЕГО

Вот и услышала упрямая корова голос своего дитяти, теленка, которого отвел на поле, где нужно было пахать, хитрый хозяин, чтобы и корова туда пожаловала; и корова, с ярмом на шее, пошла на зов. Ей стоило это, однако, довольно большого усилия над собой из-за ее великого отвращения к полю, которое она считала полем смерти. По-прежнему довольно сомнительным было для Иакова объявленное им решение, и он радовался, что еще оставалось время хотя бы обдумать его; ибо его исполнение, разрыв с издавна привычным бытом, переселение всего рода в преисподнюю, требовало времени и потому давало время. Не такие люди были сыны Израиля, чтобы, слишком буквально поняв указание фараона насчет домашнего скарба, просто все бросить и тронуться в путь, поскольку, мол, их обеспечат всем необходимым в земле Госен. «Не жалеть домашнего скарба» означало самое большее забрать не все, ибо забрать все было невозможно; не все пожитки, не весь мелкий и крупный скот; но это отнюдь не означало бросить на произвол судьбы то, что очень отягчило бы путешествие. Многие следовало продать, причем не наспех, а с обычной медлительно-церемонной обстоятельностью. Однако согласие Иакова распродать имущество показывало, что он вполне верен своему решению, хотя заявил о нем так, что толковать его слова можно было по-разному.

«Пойду и увижу его» — это могло, конечно, при желании, означать только: «Навещу его, увижу снова лицо его, пока жив, и вернусь». Но, как всем, и в том числе самому Иакову, было ясно, слова его могли вовсе и не иметь этого смысла. Если бы речь шла только о визите свиданья ради, то скорей уж, позволим себе сказать, Его Великолепие и Его Милость Иосиф должен был бы нанести такой визит своему папочке, чтобы избавить того от немалых неудобств поездки в Мицраим; Но этому препятствовал мотив переселенья и продолженья рода, мотив, под знаком которого, как отлично понимал и сам Иаков, стояли сейчас звез-

ды. Не затем был обособлен и отрешен Иосиф, не ради того распухло от плача по нем лицо Иакова, чтобы потом наносить друг другу визиты, а ради того, чтобы Израиль переселился к Иосифу; слишком искушенным знатоком бога был Иаков, чтобы не понимать, что похищение красавца сына, что его слава там внизу, что упорный голод, вынудивший братьев податься в Египет, что все это части дальновидного замысла, не считаться с которым было бы величайшей глупостью.

Себялюбивым и самоуверенным можно, конечно, назвать поведение Иакова, который в такой всеобщей, коснувшейся многих народов и вызвавшей подлинно экономические перевороты беде, как затяжная засуха, не увидел ничего, кроме меры, призванной направить и продвинуть историю собственного его дома, явно полагая, что, когда дело идет о нем и о его родне, остальной мир должен уж кое с чем примириться. Но себялюбив и самоуверенность — это лишь неодобрительные наименования того в высшей степени достойного одобрения и плодотворного качества, более красивое имя которому — благочестие. Есть ли на свете добродетель, не поддающаяся хулительным определениям, не сочетающая в себе таких противоположностей, как смирение и зазнайство? Благочестие есть доверчивое отождествление мира с историей собственного «я» и его блага, и без непоколебимой до неприличия убежденности в особом и даже безраздельном внимании бога к этому «я», без превращения своего «я» и его блага в центр мироздания — благочестия нет; напротив, таковы неперемennые условия этой очень сильной добродетели. Ее противоположность — неуважение к себе, равнодушие к собственному «я», равнодушие, от которого и миру ничего хорошего не приходится ждать. Кто пренебрегает собой, тот быстро опустится. Кто о себе высокого мнения, как, например, Авраам, который решил, что он, а в нем человек, должен служить лишь самому высшему, тот кажется, правда, нескромным, но его нескромность будет благословеньем для многих. В этом-то и проявляется связь личного достоинства с достоинством человечества. Притязание человеческого «я» на центральное положение в мире было предпосылкой открытия бога, и лишь одновременно, если человечество, пренебрегая собой, вконец опустится, могут быть снова утрачены оба эти открытия.

Но тут нужно добавить вот что: доверчивое отождествление не есть сужение, и высокая оценка собственного «я» вовсе не предполагает его обособления, его изоляции, его безразличия ко всеобщему, внеличному и надличному, словом, ко всему, что выходит за пределы этого «я», но в чем оно себя торжественно узнает. Если благочестие — это сознание важности своего «я», то торжественность — это расширение своего «я», его слияние с вечно сущим, которое в нем повторяется и в котором оно себя узнает, — а такая утрата замкнутости и единичности не только не наносит ущерба его достоинству, не только совместима с этим достоинством, но и торжественно освящает его.

Вот почему в эту предотъездную пору, когда его сыновья заканчивали связанные с переселением дела, Иаков пребывал в весьма и весьма торжественном состоянии духа. Он собирался сейчас и вправду выполнить то, о чем мечтал во времена величайшего своего горя и о чем тогда лихорадочно твердил Елиезеру: спуститься в преисподнюю к умершему сыну. Это было событие звездное; а где «я» открывает свои границы космосу, теряется в нем, сливается с ним, — какие там могут быть обособление и изоляция? Сама идея отъезда, ухода была полна элементов непрерывности и повторяемости, существенно ее расширявших и потому возвышавших этот миг над точечной скудостью однократности. Старик Иаков был снова юношей Иаковом, который после все исправившего безрешивского обмана подался в Нахараим. Он был тем Иаковом, который после двадцатипятилетней остановки двинулся из Харрана с женами и стадами. Но он был не только самим собой, в чьей жизни, спиралью возраста, повторялось одно и то же; отъезд, уход. Он был также Исааком, который пошел в Герар к Авимелеху, в страну филистимлян. Углубляясь в прошлое еще дальше, он видел сейчас повторение изначального ухода — ухода странника Авраама из Ура и из Халдеи, ухода, который не был, собственно, изначальным, а был лишь земным отраженьем небесного странствия, лишь

земным подражаньем странствию Луны, следовавшей своим путем от одной стоянки к другой. Луны, Бел Харрана, Владыки Дороги. И поскольку Аврам, первый земной странник, сделал остановку в Харране, то сейчас было ясно, что в роли Харрана должна выступить Беэршива, где Иаков устроит первый свой лунный привал.

Мысль об Авраме, о том, что и он направился во время голода в Египет, чтобы жить там пришельцем, очень утешала Иакова; а как нуждался он в утешенье! Да, впереди была полная блаженства и боли встреча, после которой он мог спокойно умереть, потому что уже никакая радость его потом не приманит; да, возможность переселиться в Египет и пасти скот на фараоновых пажитях считалась великой милостью, которой многие добивались, и многие завидовали ему и его дому. И все же Иакову было тяжело решиться и покинуть, повинувшись решению бога, землю отцов своих и променять ее на гадкую землю богов-животных, на Страну Ила, на землю детей Хама. Непрочно и настороженно, как его отцы, оставаясь ей, как и они, наполовину чужим, осел он в стране, где закончились Аврамовы странствия; но он собирался здесь умереть и относил к этой земле, где он родился и где покоились его мертвецы, услышанное Аврамом пророчество, что его, Аврама, потомки будут пришельцами в земле не своей. А теперь оказывалось, что это предсказание, недаром связавшее себя с ужасом и мраком великим, шло дальше и явно метило в ту страну, куда теперь предстояло двинуться, — в Мицраим, в служильню Египетскую. Так Иаков всегда неодобрительно называл эту сурово управляемую страну, никогда, однако, не думая, что она станет служильней собственному его семени — как то теперь, к тревоге его, открылось ему. Его отъезд был отягощен пониманием того, что грозное продолжение слова господня: «и там поработят их и будут угнетать четыреста лет» — относилось к стране, куда лежал его путь; он вел дом свой, по всей вероятности, к многовековому рабству, и хотя все связанное со спасительным замыслом было благом, хотя все, что называется несчастьем и счастьем, растворялось в великой идее судьбы и грядущего, — отъезд, на который Иаков решился в беге, был все же, вне всякого сомнения, отъездом роковым.

Путь лежал — и это пугало — в страну могил; но, с другой стороны, именно могилы Иакову было всего тяжелей оставлять: могилу Рахили и Махпелах, двойную пещеру, наследственную усыпальницу, купленную Аврамом вместе с полем, где она находилась, у хеттеянина Ефрона за четыреста шекелей серебра общепринятым весом. Израиль был легок на подъем, как легки на подъем пастухи-овчары; но эта недвижимость — поле с пещерой — у него была, и она должна была остаться за ним. Многие из движимого своего имущества переселенцы продавали, но как раз недвижимое, поле с могилой, продаже не подлежало. Они были для Иакова залогом его возвращения. Ибо скольким бы поколениям, по мере роста его дома, ни было суждено истлеть в земле Египта, он сам был исполнен решимости потребовать от бога и от людей, чтобы его, Иакова, когда остаток дней его кончится, доставили восвояси, в тот прочный дом, который у него, нигде прочно не обосновывавшегося, был на земле, чтобы ему лежать там, где лежали его отцы и матери его сыновей — кроме одной, возлюбленной, лежавшей отдельно, в стороне, у дороги, матери возлюбленного и отнятого, который его призывал.

Разве это не хорошо, что у Иакова было время обдумать свой отъезд к похищенному? Каких только задач не задавала постигающему бога уму странная роль этого обособленного любимца! Об умозаключениях Иакова по этому поводу вы узнаете от него самого. Говоря теперь об Иосифе, он называл его не иначе, как «господин сын мой». «Я собираюсь, — говорил он, — спуститься к господину сыну в Египет. Он занимает там высокое положение». Люди, которым он это заявлял, посмеивались порой за спиной старика и подтрунивали над его отцовским тщеславием. Они не знали, сколько нешуточного самоотречения, жертвенности и твердой решимости выражалось одновременно в этих словах.

ИХ СЕМЬДЕСЯТ

Цветистая весна успела перейти в позднее лето к тому времени, когда Израиль покончил со всеми делами и мог наконец состояться отъезд из дубравы Мамре, что по соседству с Хевроном; ближайшей целью была Беэршива, и несколько дней было заранее отведено на благочестивую задержку в этом пограничном месте, где родились Иаков и его отец, месте, где решительная родительница Ревекка снарядила когда-то похитившего благословение сына в поездку в Месопотамию.

Иаков снялся со своего места и отправился в путь с имуществом своим и скотом, с сыновьями и сыновьями сыновей, с дочерьми и сыновьями дочерей. Или, как то и записано, — с женами, дочерьми, сыновьями и женами сыновей — перечисление это неточно, ибо под «женами» подразумеваются жены сыновей, а под «дочерьми» снова они же да еще дочери сыновей, как, например, певунья Серах. Семьдесят душ тронулось в путь, то есть они считали, что их семьдесят; но количество это определялось не счетом, а чувством числа, внутренним ощущением: тут царила точность лунного света, которая, как мы знаем, не подобает нашему веку, но в тот век была вполне оправданна и принималась за истину. Семьдесят было число народов мира, означенных на скрижалях господних, и что таково, следовательно, число тех, кто вышел из чресел патриарха, — это не нуждалось в ясной, как дневной свет, проверке. Но коль скоро речь шла о чреслах Иакова, то ведь не следовало, пожалуй, включать в счет жен сыновей? А их и не включали. Где вообще нет счета, там и не включают в счет, и когда налицо свяшенно предвосхищенный, основанный на прекрасном предрассудке итог, вопрос о том, что идет, а что не идет в счет, становится праздным. Нельзя даже быть уверенным, что Иаков включал в счет себя самого и что другие включали его в свое число семьдесят, а не оставляли семьдесят первым. Придется нам примириться с тем, что тот век допускал обе возможности сразу. Много поздней, например, у одного из потомков Иуды, точнее — у потомка его сына Фареса, которого целеустремленно подарила ему Фамарь, — итак, у одного из потомков Иуды, человека по имени Исаяя, было семь сыновей и один младший, который пас овец и над которым был поднят рог с миром. Что значит это «и»? Был ли он младшим из семерых или у Исаяи было восемь сыновей? Первое вероятнее, ибо гораздо прекраснее и правильнее иметь семерых сыновей, чем восьмерых. Но более чем вероятно, то есть точно известно, что число сыновей Исаяи — мы имеем в виду число семь — не менялось, когда к ним присоединялся младший, и что этому младшему удалось остаться включенным в семерку, хотя он и не помещался в ней... В другом случае у одного человека имелось целых семьдесят сыновей, ибо у него было много жен. Сын одной из этих матерей убил всех своих братьев, семьдесят сыновей старика, на одном и том же камне. По нашим сухим понятиям, он мог, будучи их братом, убить только шестьдесят девять человек, точнее даже — шестьдесят восемь, ибо еще один брат, прямо названный по имени — Йотам, тоже остался в живых. Трудно принять это на веру, но в данном случае одним из семидесяти были убиты все семьдесят, причем, кроме самого убийцы, в живых остался еще один брат — весьма яркий и весьма поучительный пример одновременности включения в счет и исключения из счета.

Иаков был, получается, семьдесят первым из семидесяти путников, если эта цифра вообще состоятельна при дневном свете. По трезвому счету она была и меньше, и больше — новое противоречие, но только так можно это представить себе и выразить. Иаков, отец, был постольку семидесятым, а не семьдесят первым, поскольку мужская часть рода составляла шестьдесят девять душ. Но она составляла шестьдесят девять душ вместе с Иосифом, который находился в Египте, и двумя его сыновьями, которые там даже и родились. Так как этих трех членов семьи среди путников не было, их нужно, хотя они и включены в счет, из числа путников вычесть. Но этим еще не исчерпываются необходимые вычеты, ибо в счет, несомненно, попали души, ко времени отъезда еще вообще не родившиеся. Оправданно это разве что в

отношение Иохебед, одной из дочерей Левия, которая находилась тогда в материнской утробе и родилась при вступлении в Египет «между стенами», стенами, разумеется, пограничной крепости. Но ясно, что в число путников включены были внуки и правнуки Иакова, которые к тому времени не только не появились на свет, но даже не были зачаты, то есть лишь предвиделись, но налицо еще не имелись. Они прибыли в Египет, как выражает это благочестивая ученость, «in lumbis patrum» [в чреслах отцов своих (лат.)] и участвовали в отъезде лишь в очень и очень духовном смысле.

Таковы необходимые вычеты. Но и в веских причинах увеличить число шестьдесят девять тоже нет недостатка. Ведь его составляло только мужское семя Иакова; но если или, вернее, но так как в расчет нужно принять его прямое потомство, то следует прибавить, — ну, понятно, не жен сыновей, а их дочерей, например, Серах, — упомянем только ее, но уж ее со всей решительностью. Не засчитать девчущку, которая первой принесла отцу известие о том, что Иосиф жив, было бы совершенно недопустимо. Она пользовалась в Израиле очень большим уважением, и никогда не высказывалось никаких сомнений в том, что благословение, которым в признательности одарил ее Иаков, исполнилось и она, не вкусив смерти, заживо вошла в царство небесное. И в самом деле, никто не может сказать, когда она умерла; жизнь ее, судя по всему, была бесконечно долгой. Есть сведения, что много поколений спустя она указала искавшему могилу Иосифа Моисею место этой могилы — в Ниле; и еще безмерно позднее она, говорят, подвизалась среди сынов Аврамовых под именем «мудрой женщины». Но как бы то ни было, — действительно ли жила одна и та же Серах в столь разные времена, или другие девочки вобрали в себя сознание маленькой этой вестницы, — что ее следовало включить в число семидесяти путников, чего бы в данном случае «семьдесят» ни означало, — с этим согласится любой.

Но даже если говорить о женах сыновей, то есть о матерях внуков Иакова, то отнюдь не обо всех можно с уверенностью сказать, что они не должны идти в счет. Мы говорим о «матерях», а не только о «женах», потому что имеем в виду Фамарь, которая, в соответствии с поговоркой «куда ты, туда и я», пошла в Египет вместе с двумя своими крепкими сыновьями, сыновьями Иуды. По большей части она шла пешком, с длинным посохом, очень широким для женщины шагом, высокая и темная, с круглыми ноздрями и гордым ртом, глядя, по своему обыкновению, вдаль, — можно ли было не включить в счет эту исполненную решимости женщину, которая не согласилась быть отстраненной? Иначе обстояло дело с обоими ее мужьями, Иром и Онаном: ни при лунном, ни при дневном свете нельзя было их зачесть, ибо они были мертвы, и если будущее Израиль и засчитывал, то уж мертвого он не включал в счет. Зато Шелах, супруг, которого она не получила, но в котором больше и не нуждалась, так как родила ему отличных сводных братьев, — Шелах был налицо и входил в число внуков Лии, — а их было тридцать два.

ПРИНЕСИТЕ ЕГО!

Итак, в согласии относительно своей семидесятичленности, Израиль отбыл из дубравы аморитянина Мамре Если учесть и все, что не шло в счет, — пастухов, погонщиков, рабов, возниц, грузчиков, — то численность каравана составляла наверняка более ста человек — это был пестрый, шумный, неповоротливый из-за своих стад, окутанный клубами пыли отряд кочевников. Разные его части передвигались разными способами, — и, говоря между нами, от присланного Иосифом парка египетских колесниц пользы было мало. Это не относится, правда, к ломовым повозкам под названьем «агольт», запряженным по большей части волами двуколками, ценность которых для перевозки домашнего скарба, бурдюков с водой и фуража, а также женщин с маленькими детьми следует благодарно признать. Но что касается собственно пассажирских повозок типа «меркобт», этих легких, подчас роскошно оборудо-

ванных и заложённых парой лошаков или лошадей колясок с изящными, открытыми сзади кузовами, обитыми тисненой кожей и состоявшими порой лишь из изогнутых и позолоченных деревянных перил, — то щегольские эти экипажи, несмотря на лучшие намеренья Иосифа и царственного его господина, оказались довольно-таки бесполезными и в большинстве своем возвращались в землю Египетскую такими же пустыми, какими оттуда прибыли. Никому не было дела до того, что ступицы их колес изображали, и притом великолепно, головы негров, а некоторые повозки были внутри и снаружи обтянуты полотном, оштукатурены и украшены лепными рельефами, нагляднейше представлявшими придворную и крестьянскую жизнь. В них можно было только стоять вдвоем, или, совсем вплотную друг к другу, втроем, что при плохих дорогах и скверных рессорах было на поверку весьма утомительно; или же нужно было сидеть на днище, спиной к упряжке, свесив ноги наружу, что мало кому улыбалось. Многие, как Фамарь, предпочитали древнейший и образцовый способ передвиженья — пеший ход с посохом. Большинство же — и мужчины, и женщины — ехало верхом: ширококопытные верблюды, костлявые лошаки, белые и серые ослы, все, как один, украшенные стеклярусом, вышитыми чепраками и болтающимися пучками сольника — это на них, поднимая пыль на дорогах, ехали люди Иакова, которым велел переселиться Иосиф, — живописное семейство в вязаной шерстяной одежде, бородатые мужчины, часто в ворсистых бурнусах и наголовниках, укрепленных на темени войлочными кольцами, женщины с черными косами на плечах, с позвякивающими серебряными и медными цепочками на запястьях, с монетами на лбу и красными от хны ногтями, державшие на руках младенцев, завернутых в большие и мягкие отороченные парчой платки; так, питаясь жареным луком, кислым хлебом и маслинами, продвигались они, чаще всего гребнем гор, по дороге, которая спускалась от Урусалима и высот Хеврона на юг, в область под названьем Негеб, что значит Сухая, и вела в Кириаф Зефер, город Книги, и в Беэршиву.

Более всего нас заботят, само собой разумеется, удобства Иакова, их отца. Как передвигался он? Думал ли Иосиф, посылая свои повозки, что величавый этот старик совершит путешествие стоя в украшенном рельефами кузове или за золочеными перилами? Нет, он этого не думал. Даже фараону, его господину, не пришлось в голову требовать этого. Указание, посланное прекрасным сыном Атона из его новехонького дворца, гласило: «Возьмите отца вашего и принесите его». Патриарха следовало нести, совершая словно бы триумфальное шествие, — вот какова была идея; и среди посланных Иосифом повозок, в большинстве своем бесполезных, имелось одно-единственное средство передвижения другого рода, предназначенное именно для этой торжественной цели — перенесенья Иакова: египетский паланкин из числа тех, какими пользовались знатные люди Кеме на улицах городов и в дальних поездках, причем необыкновенно элегантный образчик этого приспособленья, со спинкой из тонкого тростника, с изящными надписями на стенках, с богатыми занавесками и покрытыми бронзой рукоятками и даже с легким расписным деревянным ящиком сзади для защиты от ветра и пыли. Паланкин этот могли нести юноши, но его можно было также с помощью специальных поперечных жердей водрузить на спины двух ослов или лошаков, и, решившись воспользоваться им, Иаков почувствовал себя в нем очень хорошо. Но решился он на это только после Беэршивы, отмечавшей, по его представленью, рубеж между родиной и чужбиной. Дотоле его вез на себе умный дромадер с медленными глазами, к седлу которого был прикреплен ради тени небольшой навес.

Старик — и он знал об этом — являл взору очень красивое и величавое зрелище, когда, окруженный своими сыновьями, покачивался в лад убаюкивающим шагам мудрого животного на его высокой спине. Тонкий шерстяной муслин кофии зубчато ложился на лоб Иакова, складками обтекал шею и плечи и легко падал на его темно-бурую одежду, открывавшую, где она не была запахнута, вязаное нижнее платье. Серебряной его бородой играл ветер. Обращенный внутрь взгляд его мягких глаз пастуха показывал, что он обдумывает свои истории, прошлые и будущие, и никто не осмеливался мешать ему в этом заняты, разве только кто-

нибудь почтительно осведомлялся о его самочувствии. Прежде всего он ждал свидания со священным деревом, посаженным в Беэршиве Авраамом: под ним Иаков собирался приносить жертвы, учить и спать.

ИАКОВ УЧИТ И ВИДИТ СОН

Огромный этот тамариск, осенявший первобытный каменный стол и прямой каменный столп — массеу, стоял в стороне от многолюдного селения Беэршивы, в котором наши путники даже не побывали, на небольшом холме, и был, строго говоря, не посажен отцом Иакова, а преемно принят им как божье дерево элон морех, то есть дерево прорицаний, у сынов этой земли и превращен из бааловской святыни в главное святилище его единственного и высочайшего бога. Даже, возможно, зная об этом, Иаков тем не менее продолжал считать, что беэршивское дерево посажено Авраамом. В духовном смысле оно им и было посажено, а мышление патриарха было мягче и шире нашего, которое допускает либо одно, либо другое и сразу же спешит заявить: «Если это дерево уже было бааловским, — значит, посадил его не Авраам!» Такое раденье об истине скорее запальчиво и упрямо, чем мудро, и молчаливое объединенье обоих аспектов, удававшееся Иакову, гораздо достойнее.

Да и внешне то, как служил Израиль под этим деревом богу вечностей, почти не отличалось от обрядов, свойственных культу детей Ханаана, — за исключением, разумеется, всяких бесчинств и непристойных шуток, в которые неизбежно выливалось богослуженье этих детей. Вокруг священного холма, у его подножья, были разбиты палатки, и тотчас начались приготовления к закланьям, которые предстояло совершить на дольмене — упомянутом уже каменном столе первобытных времен, и к жертвенному обеду, который затем полагалось съесть сообща. Разве дети баалов поступали иначе? Разве и они не заливали алтарь кровью ягнят и козлят и не кропили ею торчавший рядышком камень? Да, они поступали так же; но дети Израиля делали это в духе иного, более просвещенного благочестия, что выражалось главным образом в том, что после трапезы они не шутили друг с другом попарно, — по крайней мере, не шутили публично.

Кроме того, Иаков наставлял их в боге под этим деревом, что отнюдь не нагоняло на них скуки, а казалось очень важным и занимательным делом даже подросткам, ибо все они обладали большими или меньшими способностями в этом отношении и с удовольствием вникали в самое заковыристое. Он поучал их, в чем различие между многоименностью баала и многоименностью бога их отцов, всевышнего и единственного. Первая и вправду означала множественность, ибо не было баала, а были только баалы, то есть владельцы, хозяева и защитники священных мест, рощ, площадей, родников, деревьев, великое множество леших и домовых, — разобщенные и связанные с определенным местом, они в совокупности своей не имели ни лица, ни индивидуальности, ни собственного имени и назывались самое большее «Мелькарт», то есть градодержцами, если таковыми считались, как, например, тирский баал. Этот назывался «баал Пеор» по своему месту, тот — «Баал Гермон», третий — «баал Меон», был, правда, и «баал Завета», что следовало использовать в Авраамовой работе над богом, а одного, курам на смех, звали даже «баал Плясун». Достоинства тут было мало, а величия всеобщности и вовсе не было. Совершенно иначе обстояло дело со множественностью имен бога отцов, которая не наносила ни малейшего ущерба личной его цельности. Его звали Эль-эльон, «всевышний бог», Эль ро'й, «бог; который видит меня», Эль олам, «бог вечностей», или, после того великого, рожденного униженьем виденья Иакова, Эль вефиль, «бог Луза». Но все это лишь меняющиеся обозначения одного и того же высочайшего божества, не связанного, как разменная множественность леших и градодержцев, с определенным местом, а присутствующего во всем, чем порознь и по частям владели баалы. Плодородие, которое те посылали, родники, которые они охраняли, деревья, где они жили и в которых слышался

их шепот, грозы, в которых они бушевали, благодатная весна, губительный суховец с востока — Он был всем, чем те были каждый в отдельности, все это находилось в Его веденье. Он был вседержителем всего этого, ибо все это исходило от Него, Он вбирал все это в свое «я», бытие всякого бытия, Элохим, многообразие как единство.

Об этом имени, Элохим, Иаков, к великому интересу семидесяти, рассуждал очень увлекательно и не без хитроумия. Ясно было, откуда шла эта черта Дана, пятого его сына; хитроумие Дана было лишь мелким сыновним ответвлением более высокого хитроумия старика. Вопрос, который разбирал Иаков, состоял в том, каким числом считать слово «элохим» — единственным или множественным и как, следовательно, говорить — «Элохим хочет» или «Элохим хотят». Признавая важность правильного оборота речи, необходимо было найти какое-то решение, и, по-видимому, Иаков нашел его, высказавшись в пользу единственного числа. Бог был один, и было бы ошибкой считать, будто «элохим» — это множественное число от «эль», «бога». Ведь множественное число от «эль» звучало бы «элим». «Элохим» было нечто совсем другое. Это слово так же не предполагало множественности, как не предполагало ее имя Авраам. Человека из Ура звали Аврам, а потом его имя путем почетного удлинения превратилось в «Авраам». То же самое и с «элохим». Это была величальная, почетно удлиненная форма, и ничего больше, — в этом слове не содержалось ни малейшего намека на то, что подходило бы под бранное определение «многобожие». Иаков неустанно твердил об этом в своих поучениях. Элохим был один. А потом все-таки получалось, что их больше, не менее трех. Три мужа явились Аврааму у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. И эти три мужа, как тотчас узнал побежавший навстречу им Авраам, были господом богом. «Владыка», — сказал он, поклонившись им до земли, «Владыка» и «ты». Но время от времени он говорил также «вы» и «ваши». И попросил их сесть в тень и подкрепиться молоком и телятиной. И они ели. А потом они оказали: «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году». Это был бог. Он был один, но он был определенно троим. Он являл многобожие, но при этом он неизменно и принципиально говорил «я», тогда как Авраам говорил то «ты», то «вы». Значит, если послушать Иакова дальше, то, вопреки предшествующему его утверждению, кое-какие резоны считать имя «Элохим» множественным числом все-таки были. Да, если послушать его дальше, то становилось заметно, что и его представление о боге было, как Авраамово, тройственно и складывалось из троих мужей, трех самостоятельных и тем не менее совпадающих в едином «я» лиц. Он говорил, во-первых, об отцовском боге, или боге-отце, во-вторых, о Добром Пастыре, который пасет овец своих — нас, и, в-третьих, о том, кого он называл «ангелом» и о котором у семидесяти складывалось впечатление, что тот осеняет нас голубиными крыльями. Они составляли элохим, тройное единство.

Не знаю, волнует ли это вас, но тем, кто слушал Иакова под уже известным нам деревом, это было очень занятно и любопытно; такой уж у них был дар. Расходясь и даже уже улегшись, на сон грядущий они долго и увлеченно рассуждали об услышанном, о почетном удлинении и тройном Авраамовом госте, о необходимости не впадать в многобожие перед лицом единого божества, чья множественность, с другой стороны, содержала в себе известный соблазн, но этот искуc в роду Иакова был нипочем даже подросткам.

Самому главе рода на каждую из трех проведенных им в Беэршиве ночей расстилали постель под священным деревом. В первые две ночи он снов не видел, зато третья принесла ему тот сон, ради которого он спал и в котором нуждался для успокоения и подкрепления сил. Он боялся земли Египетской, и ему крайне необходимо было заверение, что бояться ехать туда ему не следует, потому что бог его отцов не связан с определенным местом и пребудет с ним, Иаковым, в этой преисподней в точности так же, как был с ним в царстве Лавана. Во что бы то ни стало требовалось ему подтверждение, что бог не только спустится с ним, но и возвратит его или — сделав его многочисленным народом — вернет хотя бы его, Иакова, племя в землю отцов, в эту страну между Нимродовыми царствами, которая при всей своей непросвещенности, при всем неразумии коренных своих жителей, Нимродовым царством все-

таки не была, так что там лучше, чем где-либо, можно было служить духовному богу. Короче говоря, душе его требовалось уверение, что его разлука с этой землей не отменит обетования великого сна о лестнице, приснившегося ему на вефильском гилгале, и что бог-вседержитель будет верен слову, прозвучавшему тогда под звуки арф. Чтобы узнать это, он спал, и во сне он узнал это. Святым своим голосом бог ободрил его, как в том нуждалась его душа, и самыми приятными словами бога были слова, что Иосиф «положит руки на глаза Иакова» — про-никновенно-многозначительные слова, которые могли означать, что его могучий в мире сын защитит и пригреет старика в стране язычников, а также что некогда любимец его собственноручно закроет ему глаза, а подобного сновиденья наш сновидец давно уже не мог себе позволить.

А тут ему приснилось и это, и то, первое, и спящие глаза его увлажнились под веками. И когда он проснулся, он почувствовал прилив сил и бодрости и захотел сняться с этой стоянки, чтобы продолжить путь со всеми семьюдесятью. Теперь он сел в изящный египетский паланкин с ветрозащитной каморкой, который водрузили на спины двух белых, украшенных сольником ослов, и выглядел в нем еще лучше, еще величественней, чем на верблюде.

О ЛЮБВИ ОТКАЗЫВАЮЩЕЙ

Северо-восток Дельты соединялся с Хевроном торговой дорогой, проходившей через Беэршиву и сухие земли ханаанского юга. По ней-то и двигались дети Израиля, следуя, таким образом, несколько иным путем, чем тот, которым следовали братья в своих деловых поездках. Места здесь шли поначалу обжитые, со множеством мелких и крупных селений. Затем, правда, с умножением дней, края пошли окаянные, без единой травинки, и увидеть здесь можно было только мелькавших вдалеке разбойных скитальцев пустыни, так что боеспособные мужчины Израиля не расставались с луками. Но и в самых скверных местах цивилизация исчезала не вовсе, она сопровождала их примерно так же, как бог, хотя и с жутковатыми перерывами, где она прекращалась и бог оставался уже единственным утешеньем, — сопровождала то в виде защищенных колодцев пустыни, то в виде заложенных и хранимых духом передвиженья дорожных знаков, смотровых башен и мест для привала — до самой цели, подразумевая под ней покамест ту область, где драгоценная земля Египетская продвинула свою военную силу далеко на чужбину, область, предшествующую неприступной границе Египта и стенам крепости Зел, придирчивого ее стража.

Их они достигли через семнадцать дней — или, может быть, дней прошло больше? Они считали, что дней их пути — семнадцать, и не стали бы спорить по этому поводу с любителями точных подсчетов. Порядка семнадцати эта цифра безусловно была, если даже она была чуть выше или чуть ниже — вполне возможно, что дней прошло немного больше: учтем хотя бы пребывание в Беэршиве; да и лето еще давало себя знать, и для передвиженья, щадя Иакова, отца, пользовались только вечерними и утренними часами. Да, добрых семнадцать дней прошло с тех пор, как они покинули Мамре и отправились в путь, то есть на некоторое время перешли на положение кочевников, разбивающих шатры то там, то сям. И вот дни доставили их к крепости Зел, проходу в царство Иосифа.

Есть ли у кого-нибудь хоть малейшее опасение, связанное с этой грозной пограничной твердыней и нашими путниками, неужели кто-нибудь думает, что у них тут возникнут какие-то трудности? Того, кто так думает, впору поднять на смех. У них были и фирман, и пропуск, и удостоверение — господи боже мой! Никогда ничего подобного наверняка не имелось ни у каких сынов горемычной чужбины, стучавшихся в ворота земли Египетской, а для этих не существовало ни ворот, ни стен, ни оград, бастионы и башни Зела были для этих как воздух и пар, а придирчивость контролеров оборачивалась для них улыбчивой услужливостью. Ведь, конечно, пограничные офицеры фараона получили особые указания насчет этих людей; ука-

занья, которые не могли не смягчить их! Ведь как-никак дети Иакова были приглашены в эту страну самым менфийским владыкой хлеба, Тенистой Сенью Царя, Джебнугеэфонехом, исключительным другом фараона, приглашены на кормление и на жительство! Опасенья? Трудности? Паланкин, в котором несли старого главу рода, говорил, надо думать, сам за себя и сам представлял своего владельца, на паланкине этом были уреи, уреи из фараоновой сокровищницы. А того, кто сидел в нем, этого величаво усталого и кроткого старика, — его несли не так-то и далеко, на свиданье с сыном, весьма высоким начальником, который мог сделать бледным трупом любого, кто хотя бы только задержит этих сынов чужбины расспросами.

Одним словом, пограничные офицеры были как нельзя более любезны и слащаво-угодливы — бронзовые решетки взлетели вверх, люди Иакова проследовали между рядами поднятых рук, с обозом и семенящим скотом хлынули они по плавучему мосту на фараоновы пажити и оказались в болотистой, удобной для пастбищ местности с купами деревьев, плотинами, каналами и разбросанными кругом селеньями; это была земля Госен, которую именовали также Косен, Несем, Госем и Гошем.

Так по-разному звучало это название в устах людей, трудившихся у запруды, по которой проходила дорога, на небольшом поле, окруженном поросшими камышом канавами, когда наши путники стали расспрашивать их, чтобы убедиться в правильности избранного направления. Пробыв в пути от силы день, сказали они, путешественники уже к вечеру доберутся до Пер-Бастетского рукава Нила и до самого Пер-Бастета, Дома Кошки. Но еще ближе был богатый съестными припасами городок Па-Кос, — по-видимому, столица и рынок этой округи, которому она, вероятно, и была обязана своим названием: заглянув далеко за ее луга, за камыши болот, блестящие зеркала луж, кустистые острова и сочные равнины, можно было увидеть, как в утреннем свете на горизонте вырисовывается пилон па-косского храма. Ибо было раннее утро, когда Израиль вступил в эту землю, переночевав перед пограничной крепостью; они ехали еще несколько часов, углубляясь в день и держа путь к маячившему на горизонте строению, а потом остановились, и снятый со спин ослов паланкин Иакова был временно поставлен на землю; ибо где-то близ па-косского рынка, неподалеку отсюда находилось место, которое Иосиф назначил для свиданья и избрал местом встречи, заявив, что прибудет туда встретить своих родных.

За то, что все делалось именно так, мы ручаемся, и если слова: «Иуду послал он перед собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Госем» — соответствуют истине, то неверно было бы толковать их в том смысле, что, поехав вперед, Иуда добрался до города Закутанного и лишь тогда Иосиф велел запрягать и отправился навстречу отцу в Госен. Нет, возвысившийся был давно поблизости, он ждал здесь и вчера уже и позавчера, и послан был Иуда вперед, только чтобы разыскать его в этой округе и, указав ему местонахождение отца, помочь обоим, Иосифу и отцу, друг друга найти. «Здесь Израиль подождет господина сына, — сказал Иаков. — Спустите меня! А ты, Иегуда, сын мой, возьми трех рабов и поезжай отсюда на поиски своего брата, первенца Рахили, чтобы объявить ему место, где мы находимся!» Иуда повиновался.

Мы можем заверить слушателей, что отсутствовал он недолго, всего какой-нибудь час-другой, и потом возвратился, исполнив порученное; ибо что прибыл он не с Иосифом, а вернулся раньше, чем тот явился к отцу, явствует из вопроса, с которым обратился к нему Иаков при приближении Иосифа и который мы сейчас услышим.

Место, где ждал Иаков, было довольно приятно: он сидел в тени трех пальм, выросших как бы из одного корня, и прохладой веяло здесь от небольшого пруда, где розовыми и голубыми цветами цвел лотос и возвышались над водой тростинки папируса. Он сидел здесь в окружении своих сыновей, сначала десяти, но вскоре, когда вернулся Иуда, снова одиннадцати, а перед ним открывалась земля лугов и оград, над которой летали птицы, и старые глаза его могли издали увидеть двенадцатого.

Они увидели, что Иуда возвращается рысью с тремя рабами, что он только кивает головой и, не говоря ни слова, указывает куда-то назад. Поэтому они стали глядеть мимо него

вдаль: там что-то копошилось, издали еще маленькое, но блестящее, ослепляющее и переливавшееся красками; оно стремглав приближалось, и вот это были уже колесницы с конями в сверкающей упряжи и пестрых султанах, а впереди и в промежутках — скороходы, и позади и по бокам — тоже скороходы; весь Израиль, повернувшись к ней лицами, глядел на переднюю колесницу, над которой поднимались шести опухавшие. Все это приблизилось и приобрело свои истинные размеры, и стало различимо для тех, на кого несло. Но Иаков, который глядел вперед из-под стариковской своей руки, позвал одного из сыновей, того, что снова стоял рядом с ним, и сказал:

— Иуда!

— Вот я, отец, — отвечал тот.

— Кто, — спросил Иаков, — этот человек умеренной полноты, облеченный знатностью этого мира и вылезавший сейчас из своей колесницы и из золотого кузова своей колесницы, — его ожерелье подобно радуге, а его платье — просто как свет небесный?

— Это твой сын Иосиф, отец, — отвечал Иуда.

— Если это он, — сказал Иаков, — то я встану и пойду навстречу ему.

И хотя Вениамин и другие пытались его удержать, прежде чем помогли ему, он с трудом, но с достоинством поднялся и один, хромя сильнее обычного на бедро свое, ибо превеличивал почетную свою хромоту, пошел навстречу идущему, который ускорил шаги, чтобы сократить ему путь. Улыбающиеся губы этого человека складывали слово «отец», и он широко распростер руки; Иаков же вытянул руки вперед, словно шел ощупью, как слепец, и шевелил кистями их, как будто чего-то требовал и в то же время от чего-то оборонялся; когда же они сошлись, он не позволил Иосифу, как тот хотел, броситься ему на шею и спрятать лицо на его плече, а отстранил его от себя за плечи и, откинув голову, долго и настойчиво, с любовью и страданием, глядел и вглядывался усталыми глазами в лицо египтянина, которого сначала не узнавал. Но откуда он так глядел, глаза Иосифа медленно наполнялись слезами и переполнились ими; и когда чернота его глаз расплылась в их влаге, это оказались глаза Рахили, с которых когда-то, в похожих уже на сон далях жизни, Иаков поцелуями стирал слезы, и он узнал его, он уронил голову на плечо ставшего таким чужим Иосифа и горько заплакал.

Они стояли особняком на лугу, ибо братья боязливо держались в стороне во время их встречи, а свита Иосифа, его дворецкий, конюшие при колесницах, скороходы и опухавшие, а также любопытные из соседнего городка, уже сбегавшиеся, тоже ждали поодаль.

— Отец, простишь ли меня? — спросил сын, и чего только он не имел в виду своим вопросом — бесцеремонность, с какой он с ним обошелся и натворил дел на его голову; заносчивость любимца и скверное свое озорство, преступное доверие и слепую требовательность, сотни глупостей, за которые он платился молчанием мертвых, живя тайком от платившегося вместе с ним старика. — Отец, простишь ли меня?

Совладав с собой, Иаков оторвался от его плеча.

— Бог нас простил, — ответил он. — Ты видишь, он вернул мне тебя, и теперь Израиль может спокойно умереть, потому что ты — предо мной.

— А ты предо мной, — сказал Иосиф. — Папочка... можно мне тебя снова так называть?

— Если ты ничего не имеешь против, сын мой, — ответил Иаков чинно и даже, несмотря на старость свою и степенность, отвесил легкий поклон молодому человеку, — то я предпочел бы, чтобы ты называл меня «отец». Пусть наше сердце блюдет достоинство и не унижается до балагурства.

Иосиф понял это вполне.

— Слушаю и повинуюсь, — ответил он и поклонился в свою очередь. — Незачем, однако, говорить о смерти! — прибавил он горячо. — Жить, отец, надо нам вместе теперь, когда наказание отбыто и долгое ожидание кончилось.

— Очень уж оно было долгим, — кивнул старик, — ибо Его гнев неистов, а Его ярость — это ярость могучего бога. Видишь ли. Он настолько велик и могуч, что может ис-

пытывать только такой гнев, никак не меньший, и карает нас, слабых, так, что вопли наши льются водой.

— Его можно понять, — словоохотливо заметил Иосиф, — если в своем величии он не способен держаться какой-то меры и, не имея себе подобных, не в силах представить» себя на нашем месте. Возможно, что у Него несколько тяжелая рука, отчего даже Его прикосновение уже сокрушительно, хотя у Него вовсе нет таких жестоких намерений и Он просто хотел дать шлепка.

Иаков не мог удержаться от улыбки.

— Я вижу, — сказал он, — что мой сын даже среди чужих богов сохранил очаровательную тонкость своих суждений о боге. В том, что тебе угодно было сказать, есть, видно, доля правды. Еще Авраам часто ставил Ему на вид Его необузданность и, бывало, урезонивал Его: «Тише, господи, не надо так горячиться». Но каков уж Он есть, таков и есть, и не станет умереннее ради наших нежных сердец.

— Дружеское увещание, — отвечал Иосиф, — со стороны тех, кого Он любит, все-таки не повредит. Но теперь воздадим хвалу Его милосердию и Его миролюбию, хотя Он и не торопился их проявить! Ибо под стать Его величию только Его мудрость, то есть богатство Его мысли и глубокий смысл Его деяний. Решенья Его имеют всегда много последствий — вот что замечательно. Наказывая, Он, действительно, имеет в виду наказание, но, не переставая быть своей суровой самоцелью, оно оказывается и ступенью к событиям большей важности. На тебя, отец мой, и на меня Он жестоко обрушился, Он отнял нас друг у друга, и я для тебя умер. Это Он и имел в виду, и Он это сделал. Но вместе с тем Он имел в виду выслать меня, спасенья ради, вперед, чтобы я прокормил вас, тебя, братьев и весь твой дом, во время голода, который был послан Им неспроста и, в свою очередь, явился ступенью ко многому, а прежде всего к тому, что мы встретились снова. Все это замечательно в мудром своем сплетенье. Это мы бываем пылки или холодны, а Его страсть — это провидение, и Его гнев — это дальновидная доброта. Высказался ли твой сын о боге наших отцов примерно так, как то подобает?

— Примерно, — подтвердил Иаков. — Это бог жизни, а жизнь можно выразить, разумеется, только примерно. Говорю это тебе и в похвалу, и в оправдание. Но в моей похвале ты не нуждаешься, ибо тебя наперебой хвалят цари. Хотелось бы, чтобы жизнь, которую ты вел в отрешенье, не слишком нуждалась и в оправданье.

Когда он это говорил, взгляд его озабоченно скользил по египетскому облачению Иосифа, спускаясь от полосатого желто-зеленого убора на его голове к сверкающим украшениям, к дорогому, диковинного покроя платью, к драгоценностям на его наборном поясе и на его руке и, наконец, к золотым пряжкам его сандалий.

— Дитя, — сказал он тревожно, — сохранил ли ты свою чистоту среди народа, чья похоть подобна похоти жеребцов и ослов?

— О папочка, то есть я хочу сказать: отец, — ответил, несколько смутившись, Иосиф, — какие заботы у моего господина! Оставь это, дети Египта такие же, как другие дети, они не лучше и не хуже других. Поверь мне, только Содом в свое время особенно отличился в пороках. С тех пор как он исчез в смоле и сере, в этом отношении дела обстоят везде примерно одинаково, то есть в общем-то сносно. Тебе, наверно, случалось урезонивать бога и говорить ему: «Не надо так горячиться!» Так вот, не будет грехом, если я, дитя твое, обращусь к тебе с исполненным любви увещаньем и посоветую тебе, поскольку ты здесь: не показывай людям этой страны, какого ты о них мнения, и в осужденье им не изображай их нравов такими, какими они видятся твоей вере, не забывай, что мы здесь чужеземцы и герим и что фараон сделал меня великим среди этих детей, и займи среди них, повинувшись воле бога, достойное положение.

— Я знаю, сын мой, я знаю, — ответил Иаков и снова сделал легкий поклон. — Не сомневайся в моем почтении к миру! У тебя, — прибавил он вопросительно, — есть, говорят, сыновья?

— Конечно, отец. От моей девушки, дочери Солнца, женщины очень знатного рода. Их зовут...

— Девушки? Дочери Солнца? Это меня не смутит. У меня есть внуки от Шекема, внуки от Моава и внуки от Мидиана. Почему бы мне не иметь внуков и от дочери Она? А родоначальник их все-таки я. Как зовут твоих мальчиков?

— Манассия, отец, и Ефрем.

— Ефрем и Манассия. Это хорошо, сын мой, это очень хорошо, агнец мой, что у тебя есть сыновья, два сына, и что ты добродетельно назвал их такими именами. Я хочу поглядеть на них. Представь их мне как можно скорее, будь добр.

— Ты велишь, — сказал Иосиф.

— А знаешь ли ты, дорогое дитя, — продолжал Иаков тихо и с влажными глазами, — почему это так хорошо и так кстати пред господом?

Обняв одной рукой Иосифа за шею, он говорил ему на ухо, а сын, отвернув лицо, склонил одно ухо к губам отца.

— Иегосиф, однажды я отдал и завещал тебе разноцветное платье, потому что ты выклянчил его у меня. Ты знаешь, что оно не означало первородства и преемничества?

— Я знаю это, — ответил Иосиф так же тихо.

— А я, в глубине сердца, пожалуй, считал, что означало или почти означало, — продолжал Иаков. — Ибо сердце мое любило тебя и всегда будет любить тебя, мертв ли ты или жив, больше, чем твоих товарищей. Но бог разорвал твоё платье и осадил мою любовь могучей десницей, с которой спорить нельзя. Он отделил и отдалил тебя от моего дома; он оторвал побег от ствола и пересадил его в мир — тут остается только повиноваться. Повиноваться в своих поступках и решениях, ибо сердце не может повиноваться. Он не может отнять у меня сердце и пристрастие сердца, не отняв у меня жизни. Если твои поступки и решения не определены любовью твоего сердца, то это повиновенье. Ты понимаешь?

Иосиф повернул голову к нему и кивнул. Он увидел слезы в этих старых карих глазах, и его собственные глаза тоже увлажнились опять.

— Я слышу и я знаю, — прошептал он и снова наклонил ухо.

— Бог дал тебя, и бог тебя отнял, — тихо говорил Иаков, — и снова дал тебя, но не сполна; Он вместе и удержал тебя. Хотя Он и выдал кровь животного за кровь сына, ты все же не как Исаак, негодная жертва. Ты говорил мне о богатстве Его мысли, о высокой двузначности Его советов — ты говорил умно. Ибо мудрость — Его удел, а человеку дан ум, чтобы тщательно вдумываться в Его мудрость. Он и возвысил тебя и отверг в то же время; я говорю это тебе на ухо, любимое дитя, и ты достаточно умен, чтобы это услышать. Он возвысил тебя над твоими братьями, как тебе снилось, — я всегда, мой любимый, хранил сны твои в сердце. Но возвысил Он тебя по-мирски, не в смысле спасения и наследования благословенья — спасения ты не несешь, наследье тебе заказано. Ты знаешь это?

— Я слышу и знаю, — повторил Иосиф, на мгновение отвернув от отца ухо и повернув к нему взамен шепчущий рот.

— Ты благословен, мой любимый, — продолжал Иаков, — благословен от неба и от бездны, что внизу, благословен весельем и ударами судьбы, остроумьем и снами. Но это благословенье мирское, а не духовное. Слышал ли ты когда-либо голос отказывающей любви? Так услышь же его, повинуюсь, у самого уха. Бог тоже любит тебя, дитя, хотя он сейчас и отказывает тебе в наследье и наказал меня за то, что я предназначал его тебе втайне. Ты первороден в земных делах, ты благодетель и для чужеземцев, и для отца и братьев. Но спасутся народы не благодаря тебе, и водительство тебе не дано. Ты знаешь это?

— Я знаю, — отвечал Иосиф.

— Это хорошо, — сказал Иаков. — Это хорошо — глядеть на судьбу с веселым и восхищенным спокойствием, и на собственную судьбу тоже. А я поступлю, как бог, который одарил тебя, тебе отказав. Ты отщепенец. Ты отделен от рода и родом не будешь. Но я возвышу тебя и произведу в отцы тем, что первородные твои сыновья будут как мои сыновья. Те, ко-

торые еще у тебя родятся, будут твои, а эти мои, ибо я их приму вместо сына. Ты не похож на отцов, дитя мое, ибо ты не духовный вождь, а мирской. И все же ты будешь сидеть рядом со мною, отцом племени, как отец племен. Доволен ли ты?

— Нижайше тебя благодарю, — ответил Иосиф тихо, снова повернув к отцу рот вместо уха.

И тут Израиль перестал его обнимать.

УГОЩЕНИЕ

Стоя поодаль с разных сторон, люди Иосифа и спутники Иакова благоговейно смотрели на душевную эту беседу. Теперь они увидели, что она кончилась и что друг фараона пригласил отца тронуться в путь. Он повернулся к братьям и направился к ним, чтобы их приветствовать; но они поспешили ему навстречу и все склонились пред ним, и он обласкал Вениамина, сына своей матери.

— Теперь я хочу увидеть твоих жен и твоих детей, Туртурра, — сказал он малышу. — Я хочу увидеть всех ваших жен и детей, чтобы познакомиться с ними. Вы представите их мне и отцу, рядом с которым я при этом буду сидеть. Неподалеку отсюда я приказал соорудить шатер, чтобы вас там принять; там-то и нашел меня брат мой Иуда, и оттуда я приехал сюда. Несите же дальше дорогого господина, отца нашего, и садитесь в повозки и седла и следуйте за мной! Я поеду впереди я своей колеснице. Но если кто-нибудь захочет поехать со мною вместе. Иуда, например, который любезно меня позвал, то в колеснице хватит места и ему, и мне, и возникшему. Иуда, я приглашаю тебя. Поедешь со мной?

И тогда Иуда поблагодарил его и действительно взошел с ним на колесницу, поданную по знаку Иосифа; он поехал с Возвысившимся на его колеснице и стоял с ним в золотом кузове его колесницы, позади упряжки резвых коней с пестрыми султанами и в алой сбруе. За колесницей Иосифа следовали его окольные, а за ними дети Израиля во главе с покачивавшимся в паланкине Иаковом. А сбоку бежали люди с па-косского рынка, которые все это хотели увидеть.

Так прибыли они к расписному, устланному коврами шатру, приготовленному слугами, очень красивому и просторному, где уже выстроились у стен украшенные венками кувшины с вином на тонких тростниковых подставках, лежали подушки и стояли наготове чаши для вина, сосуды с водой, а также всевозможные пироги и плоды. Пригласив туда отца и братьев, Иосиф еще раз приветствовал их и при содействии своего знакомого реем одиннадцати дворецкого принялся угощать. Он весело пил с ними из золотых кубков, в которые слуги наливали вино через cedильные салфетки. А потом он и его отец Иаков сели на два походных стула у входа в шатер, и перед ними прошли «жены, дочери и сыновья, а также жены его сыновей», то есть жены братьев Иосифа и их отпрыски, одним словом — Израиль, чтобы он поглядел на них и познакомился с ними. Рувим, старший его брат, называл ему их имена, и он обращался ко всем с приветливыми словами. А в памяти Иакова из глубин времени всплывала другая сцена знакомства: после ночи борьбы в Пени-эле, когда он представлял свою семью космачу Исаву — сначала служанок с их четверкой, затем Лию с ее шестерыми и наконец Рахиль с тем, кто сейчас сидел рядом с ним и чья глава так высоко по-мирски вознеслась.

— Всего семьдесят, — сказал он ему с достоинством, указывая на свое племя, и тут Иосиф не спросил, семьдесят ли их с Иаковом или без него, и с ним ли самим или без него: он не спрашивал и не считал, а только весело глядел на проходивших; он привлек к своим коленам младших сыновей Вениамина — Мупима и Роса, чтобы те стояли с ним рядом, и когда ему представили Серах, Асирову дочь, очень заинтересовался ею и обрадовался, узнав, что это она первой пропела Иакову весть о том, что сын его жив. Он поблагодарил девочку и сказал, что вскоре, как только у него найдется время, она должна будет пропеть свою восьмиструнную песнь и ему, чтобы и он услышал ее. А среди жен братьев прошла Фамарь со своими Иудины-

ми отпрысками, и Рувим, который называл имена, не сумел в двух словах, стоя и наспех, объяснить, как обстоит дело с нею и с ними; пояснения были отложены до более удобного случая. Высокая и темная, шагала Фамарь, ведя за руки двух своих сыновей, и склонилась она перед Тенистой Сенью с гордостью, ибо про себя думала: «Я на столбовой дороге, а ты — нет, хоть ты и блещешь».

Когда все были представлены, слуги стали потчевать в шатре также жен, сыновей дочерей и дочерей жен. А Иосиф собрал вокруг себя и отца глав хижин и, наставляя их, отдавал распоряженья со всей мирской осмотрительностью и определенностью.

— Вы находитесь в земле Госен, на прекрасных пастбищах фараона, — сказал он, — и я устрою так, чтобы вы остались здесь, где еще не самый заправский Египет, и жили здесь, на правах герим, до поры до времени, не пуская глубоких корней, так же как прежде в земле Ханаан. Пасите свой скот на этих пажитях, постройте себе хижины и кормитесь. А тебе, отец, я уже приготовил дом, точное подобие твоего дома в Мамре, так что все в нем будет тебе привычно, — он поставлен недалеко отсюда, ближе к па-косскому рынку; ибо лучше всего жить на вольном воздухе, но неподалеку от города: так велось у отцов, среди дерев жили они, а не между стенами, но недалеко от Беэршивы и недалеко от Хеврона. В Па-Косе, Пер-Сопде и Пер-Бастете, что у рукава Нила, вы сможете продавать свои изделия — мой господин фараон позволит вам пасти скот и заниматься торговлей. Ибо я испрошу аудиенции у Его Величества и замолвлю за вас слово. Я доложу ему, что вы находитесь в Госеме и что вам несомненно следует здесь остаться, поскольку вы всегда были пастухами мелкого скота, как уже и ваши отцы. Дело в том, что пастухи овец немного противны детям Египта — не в такой мере, правда, как свинопасы, однако легкое отвращенье скотоводы у них все-таки вызывают, но это отнюдь не должно обижать вас, напротив, мы используем это, добиваясь, чтобы вам разрешили остаться здесь, в стороне от египтян, ибо овчарам место в земле Госен. Ведь и собственные стада фараона, мелкий скот бога, тоже пасутся в этой местности. А поскольку вы, братья, опытные пастухи и скотоводы, то напрашивается мысль, — и я наведу на нее Его Величество, так что она появится у него как бы сама собой, — что вас или хотя бы некоторых из вас нужно поставить здесь смотрителями его стад. Он очень мил и держится просто, и вы же знаете — он приказал мне некоторых из вас (ибо всех — это было бы для него слишком обременительно) представить ему, чтобы он задал вам вопросы, а вы отвечали на них. И если он спросит вас, чем вы кормитесь и какое ваше занятие, то знайте, что это просто формальность, что он давным-давно знает от меня, каков ваш промысел, и что я уже навел его на мысль поставить вас смотрителями над его скотом. С этой задней мыслью он и задаст вам свой формальный вопрос. А потому вы убедительно подтвердите мои слова и скажете: «Мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей, как и наши отцы». Тогда он, во-первых, распорядится, чтобы вы поселились в низменной земле Госен, а во-вторых, выскажет мысль, что я поступлю наиболее разумно, если назначу самых способных из вас смотрителями его скота; А самых способных из вас вы можете определить сами, или пусть это определит отец, дорогой наш владыка. Когда же все это будет улажено, я и тебе, отец мой, устрою особую аудиенцию у сына бога; ибо нужно, чтобы он увидел тебя во всей величавой славе твоих историй и чтобы ты увидел его, нежно пекущегося, неподходящего путника на верном пути. Да он и сам уже письменно заявил, что хочет тебя увидеть и расспросить. Не могу передать, как я рад, что представляю ему тебя, чтобы он увидел во всей его торжественности благословенного Авраамова внука. Он уже кое-что о тебе знает, например, проделку с полосами на прутьях. А ты, стоя пред ним, не правда ли, сделаешь мне любезность и, памятуя, что я занимаю среди детей Египта достойное положение, не станешь осуждающе изображать фараону, отцу этих детей, их нравы такими, какими они видятся твоей вере, это было бы промахом.

— Не беспокойся, господин сын, любимое дитя мое, — отвечал Иаков. — Твой старый отец умеет считаться с мирским величием, ибо и оно тоже от бога. Спасибо тебе за жилище, которое ты предусмотрительно приготовил мне в земле Госен. Туда-то и подастся теперь Израиль, чтобы обдумать все это и внести в сокровищницу своих историй.

ИАКОВ СТОИТ ПЕРЕД ФАРАОНОМ

Мы с удивлением замечаем, что эта история идет к концу, — кто бы подумал, что она когда-нибудь будет исчерпана и закончится? Да по сути, она и не заканчивается, как, собственно, не начиналась, она просто не может длиться до бесконечности; и поэтому раньше или позже она должна извиниться и закрыть свои повествующие уста. Не имея конца, она должна разумно поставить себе предел; ибо установление предела — это разумный акт перед лицом бесконечности, недаром говорится: «Уступит тот, кто разумнее».

Итак, обладая в общем-то, несмотря на всю неумеренность, выказанную ею при жизни, здоровым чувством меры и цели, наша история начинает готовиться к смерти и к последнему своему часу — как то начал Иаков, когда те семнадцать лет, что ему оставалось прожить, пошли на убыль и он устроил дела своего дома. Семнадцать лет — это срок, который еще дан и нашей истории, вернее, который она сама себе, из чувства разумной меры, дает. Никогда, при всей ее предприимчивости, у нее не было намеренья пережить Иакова — разве лишь ровно настолько, чтобы рассказать еще его смерть. Размеры нашей истории в пространстве и времени достойны патриархов. Старая, сытая жизнью, довольная, что всему есть предел, она вытянет ноги и смолкнет.

Но куда она длится, она будет, не унывая, заполнять свое время, и сразу же на совесть расскажет о том, что все уже знают, — что Иосиф сдержал слово и сначала представил фараону пятерых избранных братьев, а затем официально привел к прекрасному сыну Атона и своего отца Иакова, и патриарх вел себя при этом с большим достоинством, хотя и по мирским понятиям немного надменно. Подробности не замедлят последовать. Об этих аудиенциях Иосиф ходатайствовал перед владыкой благоухания лично, и примечательно то прекрасное знание египетских условий, которое обнаруживает предание своим выбором обозначающих направление слов. В землю Египетскую «спускались»; дети Израиля спустились на госенские пажити. Но, двигаясь в том же направлении дальше, ты уже «поднимался», то есть плыл вверх по реке в сторону Верхнего Египта: именно это, как совершенно правильно сказано, сделал Иосиф: он «поднялся» в Ахет-Атон, город горизонта в Заячьей округе, единственную столицу стран, чтобы известить Гора во дворце, что его, Иосифа, братья и дом его отца явились к нему, и навести Гора на мысль, что нет ничего умней, чем назначить этих опытных пастухов стражами государственного скота в земле Госен. Фараону эта осенившая его мысль доставила удовольствие, и когда пять братьев предстали перед ним, он ее высказал и назначил их собственными своего величества пастухами.

Произошло это немногими днями позднее прибытия в Египет Израиля, как только фараон снова проехал в любимый свой Он и заблистал там на горизонте своего дворца, как блистал, когда к нему впервые привели Иосифа, чтобы тот растолковал его сны. Приезда этого дождались, шадя Иакова, чтобы избавить старика от слишком долгого путешествия к фараонову трону. Иаков находился в то время в доме Иосифа в Менфе, куда прибыл вместе с пятью отобранными для аудиенции сыновьями — двумя отпрысками Лии, Рувимом и Иудой, одним сыном Валлы: Неффалимом, одним — Зелфы: Гаддилом, и вторым сыном Рахили Бенони-Вениамином. Сопровождая отца, они поднялись в город Закутанного на западном берегу и в дом Возвысившегося; здесь отца разбойника приветствовала девушка Аснат, и к нему привели его египетских внуков, чтобы он познакомился с ними и благословил их. Старик был очень взволнован.

— Господь подавляюще любезен, — сказал он. — Он дал мне увидеть лицо твое, сын мой, на что я и то никак не надеялся, а теперь он мне еще и семя твое позволяет увидеть.

И он спросил старшего мальчика, как его зовут.

— Манассия, — отвечал тот.

— А как зовут тебя? — спросил он затем меньшего.

— Ефрем, — прозвучало в ответ.

— Ефрем и Манассия, — повторил старик, назвав сперва то имя, которое услышал после. Затем он привлек Ефрема к правому своему колену, а Манассию к левому, приласкал их и поправил еврейский их выговор.

— Сколько раз я вам уже говорил, Манассия и Ефрем, — побранил их Иосиф, — чтобы вы произносили так, а не этак.

— Ефрем и Манассия, — сказал старик, — не виноваты. Ты сам стал немного косонозычен, господин сын мой. Хотите ли вы стать множеством народов во имя ваших отцов? — спросил он обоих мальчиков.

— Очень хотим, — ответил Ефрем, заметивший, что ему отдано предпочтение, и уже тогда Иаков благословил их предварительно.

Сразу после этого сообщили, что фараон прибыл в Он, город Ра-Горахте, и Тогда Иосиф с пятью избранниками поехал, а Иакова понесли к нему вниз. Если спросят, почему его, почтенного старца, приняли во вторую очередь, а братьев, как то известно, в первую, мы отметим: ради движенья по восходящей линии. Ведь в торжественном строю самое лучшее редко бывает вначале, сперва обычно идет менее значительное, затем то, что получше, а уж потом ковыляет самое достославное, вызывая оглушительные овации и восторги. Спор о том, кому идти первым, стар, но как раз с точки зрения церемониала он всегда неразумен. Первым всегда должно идти меньшее, и честолюбию, домогающемуся этого права, следовало бы с улыбкой потворствовать.

К тому же прием братьев связан был с конкретным, так сказать, деловым вопросом, который нужно было сначала уладить. Краткая же беседа Иакова с юным кумиром представляла собой лишь прекрасную формальность, так что и фараон не знал, с чего начать разговор, и не придумал ничего лучшего, чем спросить патриарха о его возрасте. Беседа с сыновьями отличалась большей продуманностью, но зато, как все почти беседы царя, была в административной своей части заранее подготовлена.

Лебезящие камергеры ввели пятерых братьев в Палату Совета и Опроса, где под украшенным лентами балдахинном, окруженный, как статистами, служащими дворца, с жезлом, хлыстом и золотым знаком жизни в руке, сидел молодой фараон. Хотя его резной, по-старинному неудобный престол принадлежал к мебели архаической, Эхнатон ухитрялся сидеть на нем в более чем небрежной позе, поскольку иератическая чинность не вязалась с его идеей любвеобильной естественности бога. Верховные Уста его. Владыка Хлеба, Джепнутеэфонех. Кормилец, стоял рядом, у правого переднего столба затейливого этого сооружения, и следил за тем, чтобы протекавшая при посредничестве толмача беседа шла так, как было намечено.

Установив связь между своими лбами и каменным полом палаты, переселенцы пробормотали не слишком растянутую похвальную речь, которую разучил с ними их брат, составив ее так, чтобы она была достаточно придворной и в то же время не оскорбляла их убеждений. Впрочем, будучи чистым витийством, эта речь не сподобилась даже перевода: фараон сразу же поблагодарил их ломким мальчишеским голосом и прибавил, что Его Величество искренне рад видеть перед своим престолом достопочтенную родню своего Истинного Дарителя Тенистой Сени и Дяди. «Какое ваше занятие?» — спросил он затем.

Отвечал Иуда, — отвечал, что они пастухи скота, кем всегда были также их отцы, и по этой причине знают толк во всем, что касается скотоводства. В эту страну они явились потому, что у них не стало пастбищ для их скота, ибо в земле Ханаанской свирепствовала дороговизна, и если им дозволено высказать просьбу перед лицом фараона, то они просят разрешить им остаться в Госене, где стоят сейчас их шатры.

На живом лице Эхнатона невольной появилась гримаска, когда переводчик произнес: «пастухи скота». Затем фараон обратился к Иосифу с заранее составленной речью:

— К тебе пришли твои родственники. Страны открыты тебе, им они тоже открыты. Пусть они живут на лучшем месте, пусть они живут в земле Госен. Моему величеству это будет весьма приятно.

И когда Иосиф взглядом напомнил ему, прибавил:

— Кроме того, мой отец в небе внушает Моему величеству одну мысль, которую сердце фараона находит прекрасной: ты, друг мой, лучше, чем кто бы то ни было, знаешь своих братьев и их способности. Поставь же их, по их способностям, над моими стадами там внизу, поставь самых способных из них зрителями царского скота! Мое величество весьма дружески и любезно приказывает тебе выписать им оклад. Мне было очень приятно.

А потом настала очередь Иакова.

Он вошел торжественно и с большим трудом, нарочно преувеличивая преклонность своих лет, чтобы уравновесить покоряющим достоинством старости Нимродову величественность и нисколько не унижить перед нею своего бога. При этом Иаков отлично знал, что придворный его сын не совсем спокоен за его поведение и опасается, что он будет держаться с фараоном надменно, а чего доброго, и заведет речь о козле Биндиди, о чем Иосиф даже по-детски упомянул в предварительных своих наставленьях. Иаков не собирался касаться этого вопроса, но ронять свое достоинство он не был намерен и защищался подавляющим своим возрастом. Кстати сказать, его не только избавили от каких бы то ни было челобитий, не ожидая от него необходимой для этого подвижности, но и решили сделать аудиенцию как можно более краткой, чтобы старику не пришлось долго стоять.

Несколько мгновений они разглядывали друг друга молча — изнеженный сын позднего времени, боговидец, который с любопытством приподнялся в своей золоченой часовенке, нарушив свою сверхудобную позу, — и сын Ицхака, отец двенадцати; они глядели друг на друга, связанные одним и тем же часом и разделенные веками, исстари венценосный мальчик, болезненно пекущийся о том, чтобы выжать из тысячелетий богословской учености розовое масло нежно-мечтательной религии любви, и многоопытный старец, чья стоянка во времени была у исходной точки необозримо далеко идущего становленья. Фараон вскоре почувствовал себя неловко. Он не привык сразу заговаривать с тем, кто стоял перед ним, и ждал предусмотренного этикетом приветственного гимна, которым ему представлялись. К тому же, как мы отлично знаем, Иаков не вовсе пренебрег этой формальностью: известно, что войдя, а также перед своим уходом он «благословил» фараона. Это нужно понимать в самом буквальном смысле: обязательное славословие патриарх заменил формулой благословенья. Он поднял не обе руки, как перед богом, а только правую и простер ее, почтенно дрожавшую, к фараону, словно бы по-отечески осеняя ею издали голову юноши.

— Да благословит тебя господь, царь земли Египетской, — сказал он голосом глубокой старости.

На фараона это произвело очень большое впечатление.

— Сколько же тебе лет, дедушка? — спросил он удивленно.

Тут Иаков снова впал в преувеличение. Известно, что он определил число своих лет цифрой сто тридцать — а это совершенно случайный ответ. Во-первых, он вообще не знал так точно своего возраста — в его местах и поныне обходятся без ясных представлений на этот счет. А кроме того, мы знаем, что всего Иакову отпущено было сто шесть лет жизни — долголетие не сверхъестественное, хотя и чрезвычайное. Следовательно, тогда он еще не дожил до девяноста и был даже очень крепок для столь почтенного возраста. И все же этот возраст давал ему возможность облечь себя перед фараоном величайшей торжественностью. Жесты его были под стать слепцу и пророку, обороты речи выпендрены. «Дней странствования моего сто тридцать лет, — сказал он и прибавил: — Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их».

Фараон содрогнулся. Ему суждено было умереть молодым, чему нежная природа его не противилась, и такие сроки жизни поистине ужаснули его.

— Бог ты мой! — сказал он с каким-то даже унынием. — И ты всегда жил в Хевроне, дедушка, в горемычном Ретену?

— По большей части, дитя мое, — ответил Иаков, и плоеные статисты по обе стороны балдахина оцепенели от неожиданности, а Иосиф увещевающе покачал головой, глядя на отца.

Тот отлично это видел, но притворился, что ничего не заметил, и, упрямо не отступаясь от темы подавляющих сроков, прибавил:

— Дней Хеврона, как утверждают мудрецы, две тысячи триста лет, и не достиг до лет его Мемпи, могильный город.

Снова Иосиф быстро покачал головой, глядя на него, но старика это нимало не беспокоило, да и фараон проявил большую уступчивость.

— Может быть, дедушка, может быть, — поспешил он ответить. — Но как мог ты назвать несчастными дни своей жизни, если родил сына, которого фараон любит, как свет своих глаз, и выше которого в обеих странах нет никого, кроме владыки венцов.

— Я родил двенадцать сыновей, — отвечал Иаков, — и этот был один из их числа. Проклятие в их среде — как благословенье, а благословенье — как проклятие. Иные отвергнуты, но остаются избранныками. А один хоть и избран, остается любовно отвергнутым. Потеряв его, я должен был его найти, а найдя, потерять. На высокое подножие выходит он из круга рожденных, но вместо него туда входят те, которых он мне родил, один впереди другого.

Фараон слушал эту сивиллину речь, которую перевод делал еще более темной, с открытым ртом. Ища помощи, он поглядел на Иосифа, но тот не поднимал глаз.

— Ну, да, — сказал он. — Ну, конечно, дедушка, ясное дело. Хороший и мудрый ответ, который фараону воистину приятно услышать. Но довольно тебе утруждать себя, стоя перед Моим величеством. Ступай с миром и живи, покуда это тебя хоть сколько-нибудь радует, живи еще несметное множество лет вдобавок к твоим ста тридцати!

А Иаков и в заключение благословил фараона простертой рукой, после чего, ни на йоту не уронив своего достоинства, торжественно удалился утомленной походкой.

О ПЛУТОВАТОМ СЛУГЕ

Дадим-ка сейчас надежный разбор административной деятельности Иосифа, чтобы раз навсегда лишить всякой почвы полукомпетентные разговоры по этому поводу, никогда не стихавшие и часто вырождавшиеся в ругань и поношения. В этих кривотолках, из-за «которых правленье Иосифа не раз называли даже «гнусным», виновато — нельзя не отметить этого — в первую очередь самое раннее изложение; нашей истории, так непохожее своим лаконизмом на ее первоначальное самоизложение, то есть на действительный ее ход.

Первое его описание сводит действия великого фараонова дельца к суровым и сухим цифрам, не дающим никакого представления о всеобщем восторге, который его действия вызвали в оригинале, и не объясняющим этого восторга, неоднократно переходившего в обожествление и, благодаря мечтательно-буквальному пониманию таких, например, титулов, как «Кормилец» или «Владыка Хлеба», заставлявшего широкие толпы народа видеть в нем некое нильское божество и даже олицетворение самого Хапи, хранителя и дарителя жизни.

Эта мифическая популярность Иосифа, к которой его естество, пожалуй, всегда стремилось, основывалась прежде всего на переливчатой смешанности, на улыбчивой двойственности его мероприятий, направленных как бы в две противоположные стороны и на очень личный манер, с магическим остроумием, связывавших разные задачи и цели. Мы говорим об остроумии, потому что в маленьком космосе нашей истории этот принцип занимает определенное место и уже на ранних порах было замечено, что остроумие обладает природой гонца на посылках и ловкого посредника между противоположными сферами и влияниями: например, между властью Солнца и властью Луны, между отцовским наследством и материнским, между благословением дня и благословением ночи и даже, чтобы выразить это прямо и в полном объеме, между жизнью и смертью. В стране, где гостил Иосиф, в стране Черной земли, это расторопно-легкое, примирительно-веселое посредничество еще не нашло настоящего воплощения в каком-либо божестве. Ближе всего к такому воплощению был Тот,

писец и поводырь мертвых, изобретатель всевозможных уловок. Лишь у фараона, которому все божественное доставлялось издалека, были сведения о более завершённой разновидности божественного этого образа, и милостью, которую Иосиф снискал у царя, он был обязан преимущественно тому обстоятельству, что фараон узнал в нем черты плутоватого сына пещеры. Владыки проделок, и по праву сказал себе, что никакой царь не может желать ничего лучшего, чем иметь министром проявление и воплощение этой выгодной идеи божества.

Дети Египта познакомились с крылатой этой фигурой через Иосифа, и если они не приняли ее в свой пантеон, то лишь потому, что соответствующее место уже занимал Джхутн, белая обезьяна. Религиозный их кругозор знакомство это все же расширило, особенно благодаря тому веселому изменению, которое претерпевала в данном случае идея колдовства и которое само по себе было уже способно вызвать мифотворческое изумление этих детей. С колдовством у них всегда связывалось представление о чем-то нешуточно-страшном, тревожном: надежно предотвратить беду, непреступно от нее защититься — в этом заключался для них смысл всякого волшебства, отчего и спекуляция Иосифа хлебом, и его островерхие зернохранилища были окружены для них ореолом волшебства. Но уж вовсе волшебной показалась им встреча предусмотрительности и беды, вернее сказать, хватка, с какой Даритель Тенистой Сени, благодаря мерам предосторожности, веревки вил из беды, извлекал из нее прибыль и выгоду, ставил ее на службу целям, которых у непроходимо глупого, занятого лишь опустошением дракона и в мыслях не было, — волшебной на непривычно веселый, хоть смейся, лад.

В народе и правда много смеялись — и смеялись восхищенно — над тем, как Иосиф, хладнокровно играя на ценах, когда дело касалось богатых и знатных, заботился о том, чтобы его господин, Гор во дворце, стал золотым и серебряным, и наполнял фараонову казну огромными ценностями, вырученными за проданное имущим зерно. В этом сказывалась проворно-услужливая преданность божества, олицетворяющего всякое беззаветное, прибыльное для господина служенье. Но рука об руку с этим шло даровое распределение хлеба среди голодающей бедноты городов, — распределение от имени юного фараона, богомечтателя, что приносило тому столько же и даже больше пользы, чем озлащенье. Это слияние социального попечительства с государственной политикой казалось очень новым, веселым и хитроумным, хотя всю прелесть его на основании первого изложения нашей истории представит себе разве лишь тот, кто умеет вникать в каждое слово и читать между строк. Связь этого изложения с его оригиналом, то есть самоизложением нашей истории на языке действия, обнаруживается в некоторых грубых оборотах явно комического звучанья, которые кажутся сохранившимися остатками народного фарса и сквозь которые проглядывает характер первоосновы. Так, бедствующие кричат Иосифу: «Хлеба дай нам! Умирать нам перед тобой, что ли? Деньги вышли!» — очень вульгарный оборот речи, не встречающийся больше нигде во всем Пятикнижии. А Иосиф ответил на это в том же стиле, а именно: «Давайте сюда ваш скот! Тогда получите». В таком тоне нуждающиеся и великий хлеботорговец фараона переговоры, само собой разумеется, не вели. Но эти обороты речи равнозначны воспоминанию о том, в каком настроенье переживал упомянутые события народ — в настроении комедийном, без малейшей тени моральных мук.

Тем не менее упрека в эксплуататорской жестокости почтенный реферат от действий Иосифа не отвел и заставил людей нравственно строгих заклеить их проклятьем. Это понятно. Мы узнаем, что в течение голодных лет Иосиф сначала прибрал к рукам, то есть собрал в казну фараона, все серебро, какое было в стране, затем взял в залог весь скот и, наконец, отнял у людей землю, прогнал их с насиженных мест, произвольно переселил и сделал государственными рабами в чужих краях. Хотя это и неприятно слышать, но на поверку дело обстояло совершенно иначе, как то недвусмысленно явствует опять-таки из некоторых насыщенных воспоминаниями мест отчета. Читаем: «И давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов и снабжал их хлебом в тот год за весь скот

их». Однако перевод этот неточен, он не передает одного оттенка, о котором оригинал заботится. Вместо слова «снабжал» там стоит слово, означающее «направлять», и «направлял их, — следует читать, — хлебом за их имущество в тот год», — выражение своеобразное, и выбрано оно с умыслом; оно взято из пастушеского словаря и переводится «оберегать», «пасти», обозначая заботливый и кроткий уход за беспомощными существами, особенно за легко приходящим в смятенье стадом овец; и для тех, у кого на мифы слух острый, это броское и, как формула, точное слово приписывает сыну Иакова роль и качества доброго пастыря, который оберегает народы, пасет их на зеленом лугу и выводит к свежей воде. Здесь, как и в тех скоморошеских оборотах, проступает краска подлинника; странный этот глагол «направлять», прокрававшийся в повествование как бы из самой действительности, выдает, в каком свете виделся народу великий фаворит фараона; сужденье народа очень отличалось от того приговора, которым нынешние моралисты государственности считают нужным осудить Иосифа, ибо «оберегать», «пасти» и «направлять» — это действия бога, известного как «владыка подземной овчарни».

В фактических данных текста ничего не нужно менять. Продавая хлеб имущим, то есть князькам и крупным землевладельцам, считавшим себя равней царям, по неумеренным конъюнктурным ценам, Иосиф стягивал «деньги», вернее, меновые ценности, в царскую казну, так что «денег» в узком смысле слова, то есть благородного металла всех видов, у этих людей вскоре не стало; «денег» же как чеканной монеты не существовало вообще, и с самого начала к взимавшимся за зерно ценностям относились и все виды скота — никакой очередности, никакой градации тут не было, и изложение, которое дает право подумать, будто «безденежье» этих людей Иосиф использовал для того, чтобы отнять у них лошадей, крупный скот и овец, оставляет желать лучшего. Скот тоже деньги; он даже преимущественно представляет собой деньги, что явствует и из современного ученого словечка «пекуниарный»; и даже еще раньше, чем своими золотыми и серебряными сосудами, имущие платили своим крупным и мелким скотом — о котором, кстати, не сказано, что он целиком, до последней коровы, перешел в фараоновы загоны и стойла. В течение семи лет Иосиф строил не загоны и стойла, а зернохранилища, и для всего равнозначного деньгам скота у него не нашлось бы ни места, ни применения. Кто не слыхал о таком экономическом явлении, как «ссуда под заклад», тому, конечно, в подобной истории не разобраться. Скот отдавался в залог или закладывался — кому какое выраженье по вкусу. По большей части он оставался на усадьбах и в поместьях, но переставал принадлежать своим хозяевам в старом смысле слова. То есть он и был, и в то же время не был уже их собственностью, он был ею лишь условно и обременительным образом, и если чего недостает первому изложению, так это вот чего: оно не создает впечатленья, — а впечатленье это очень существенно, — что все действия Иосифа были направлены на то, чтобы заколдовать понятие собственности и перевести его в неопределенное состояние владенья и невладенья, владенья ограниченного и заимообразного.

А поскольку годы засухи и плачевного мелководья множились, поскольку царица урожаев по-прежнему отворачивала грудь, почки не распускались, хлеб не рос, материнское лоно не раскрывалось и не дарило жизни детям земли, — то дело и вправду, в полном соответствии с текстом, дошло до того, что большие части Черной земли, еще остававшиеся дотоле в частных руках, перешли во владение царской казны, о чем и передано словами: «И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали Египтяне каждый свое поле». За что? За семенное зерно. Учителя сходятся на том, что случиться это должно было к концу полосы голода, когда тиски бесплодия уже немного разжались, когда дела водные пришли опять в сносную норму и поля, если бы их можно было засеять, уродили бы хлеб. Отсюда и слова просителей: «Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб; и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть и чтобы не опустела земля!» — Кто это говорит? Это связная речь, а не крик толпы. Это предложение, деловое предложение, сделанное отдельными лицами, опреде-

ленной группой, определенным, дотоле весьма непокорным, даже мятежным классом людей, крупнопоместными князьями, которым фараон Ахмос, в начале династии, давал такие громкие титулы, как «Первый царский сын богини Нехбет», и вынужден был предоставлять право независимого владения огромными латифундиями, — предложение по старинке строптивых феодалов, чье пережиточное, мешавшее объединению земель существование давно уже было для нового государства бельмом на глазу. Политик Иосиф воспользовался случаем, чтобы принорочить к требованиям времени этих гордых бар. Экспроприация и переселение, о которых нам сообщается, касались в первую очередь их: то, что происходило при этом решительном и мудром министре, было не чем иным, как ликвидацией еще имевшегося крупного землевладения и заселением более мелких поместий крестьянами-арендаторами, ответственными перед государством за обработку, ирригацию и орошение земель на уровне века; это было, следовательно, более равномерным распределением земли между народом и улучшением, благодаря правительственному надзору, агрокультуры. «Первые царские сыновья» сплошь да рядом становились именно такими крестьянами-арендаторами или перебирались в город; сельские хозяева сплошь да рядом переселялись с полей, о которых они дотоле заботились, в новонарезанные поместья помельче, а прежние владения переходили в другие руки; и если эти перемещения были в ходу и вообще если сообщается, что владыка хлеба «распределял» людей по городам, то есть по пригородным сельским округам, переселяя их с места на место, то в основе этого был хорошо продуманный воспитательный умысел, связанный как раз с тем преобразованием понятия собственности, которое одновременно сохраняло и уничтожало его.

Это существенное условие государственной семенной ссуды означало, собственно, дальнейшее взимание «прекрасной пятой части» — того самого оброка, благодаря которому Иосиф в тучные годы накопил те волшебные запасы, откуда он теперь черпал, — это было закрепление установленного тогда оброка на будущее, его увековечение. Надо, однако, иметь в виду, что этот налог, если не считать упомянутого переселения, был единственной формой, в которой выразилась «продажа» полей вместе с их владельцами — поскольку владельцы предлагали как товар и себя. Никем до сих пор не было по достоинству оценено то, что самопродажей хозяев, на которую те, чтобы не погибнуть, решились, Иосиф воспользовался лишь в очень символической степени, что слов «рабство» и «крепостная зависимость», по понятным причинам ему не нравившихся, он лично вообще не употреблял и что отсутствие прежней «свободы» земли и людей выражалось при нем лишь в неукоснительной выплате пятой части, то есть в том, что снабжаемые семенами работали уже не только на самих себя, но частично и на фараона, иными словами — на государство, на общественную погребу. В этой мере, следовательно, труд их был барщиной крепостных — так вольно определять его каждому поборнику человечности и гражданину гуманного нового времени, который готов, по законам логики, отнести это определение и к себе самому.

Оно отдаёт, однако, преувеличением, если разобраться в мере зависимости, навязанной Иосифом этим людям. Принуди он их отдавать три четверти или хотя бы половину их продукции, для них было бы ощутительнее, что они уже не принадлежат себе, а их поля — им. Но двадцать из ста — даже при самой злой воле нельзя не признать, что это значит держать эксплуатацию в известных границах. Четыре пятых урожая оставалось им на новый посев и на то, чтобы прокормить себя и своих детей, — нас простят, если мы, лицом к лицу с этим обложением и положением, говорим лишь о намеке на рабство. Тысячи лет звучат благодарственные слова, которыми приветствовали подъяремные своего угнетателя: «Ты спас нам жизнь; да обретем милость в очах твоих, и да будем рабами фараону!» Чего уж больше? Но если нужно еще больше, то да будет известно, что сам Иаков, с которым Иосиф не раз эти дела обсуждал, решительно одобрял установленный оброк, имея в виду, впрочем, именно его размеры, а не то, кому он предназначался. Когда он, говорил Иаков, станет множеством народов, которому придется поставить устав, сельские жители должны будут считать себя тоже лишь управляющими своей землей и тоже отдавать пятую часть — но никакому не Гору во дворце, а Иагве,

единственному царю и господину, которому принадлежат все поля и который дает напрокат всякую собственность. Но он, Иаков, понимает, конечно, что, управляя миром язычников, обособленный господин сын должен решать эти вопросы по-своему. А Иосиф улыбался.

Так вот, в сознании плательщиков мысль о вечной выплате оброка не вязалась с их пребыванием на прежних, наследственных землях. Как раз из-за своей мягкости эта мера была неспособна разъяснить им новое положение и заставить их согласиться с ним. Это и послужило причиной такой меры, как переселенье: оно было желательной добавкой к обложению налогом, ибо одного обложенья не хватило бы, чтобы сделать наглядной для сельских хозяев «продажу» их собственности и дать им по-настоящему почувствовать их новое отношение к ней. Земледелец, оставшийся на своем давнишнем клочке земли, не мог бы расстаться с преодоленными взглядами и в один прекрасный день, чего доброго, по забывчивости восстал бы против притязаний казны. Если же он покидал свою усадьбу, а взамен получал из рук фараона другую, то ленный характер владенья становился много нагляднее.

Самое любопытное, что владенье при этом оставалось владеньем. Признаком личной и свободной собственности является право продажи и наследования, а Иосиф сохранил это право. Во всем Египте земля принадлежала отныне фараону, но при этом ее можно было продавать и передавать по наследству. Недаром мы говорили, что мероприятия Иосифа заколдовали понятие собственности, что они поставили это понятие в неопределенное положение: внутренний взгляд, устремленный к идее «владенье», расплывался и увязал в двусмысленности. То, что пытался он охватить, не было ни отменено, ни разрушено, но оно представало в двойном свете утвержденья и отрицанья, исчезновенья и сохранности, и все только глазами моргали, пока не освоились. Экономическая система Иосифа была поразительным сочетанием обобществленья и свободы отдельного собственника, смесью, которая казалась плутовской и воспринималась как плод усилий некоего лукавого посредника-бога.

Предание подчеркивает, что эта реформа не распространялась на земли храмов: пользовавшееся государственной дотацией жречество многочисленных святынь, особенно же угодья Амуна-Ра, оставались в неприкосновенности и от налога освобождались. «Только земли жрецов, — читаем мы, — не купил». И это тоже было мудро, если мудрость — это граничащий с плутовством ум, который умеет вредить врагу по сути дела, оказывая ему уваженье по форме. Щадить Амуна и меньшие местные божества фараон, безусловно, не был настроен. Он был бы рад увидеть карнакского бога до нитки обобраным и по-мальчишески спорил из-за этого со своим Дарителем Тенистой Сени, который, однако, пользовался поддержкой маманьки, матери бога. С ее одобренья Иосиф продолжал щадить приверженность маленького человека к старым богам страны, его пиетет, который фараон, во имя ученья о своем отце в небе, готов был начисто уничтожить, и другими, не подвластными Иосифу средствами уничтожить пытался, не понимая в своем усердии, что народ примет облагораживающую новь гораздо податливей, если ему одновременно разрешат держаться за его привычно-старинные верования и культы. Что касалось Амуна, то Иосиф счел бы величайшей глупостью создать у овноголового впечатленье, что вся эта аграрная реформа направлена против него и задумана как средство его разжалования, ибо это побудило бы его подстрекать против реформы народ. Куда лучше было успокоить Амуна жестом почтительности и вежливости. События всех этих лет, изобилие, меры предосторожности и спасенье народа существенно укрепили фараона и его религиозный авторитет, а богатства, которые Иосиф, благодаря продаже зерна, добыл и все еще продолжал добывать Великому Дому, наносили косвенно такой ущерб имперскому богу, что реверанс перед его традиционной свободой от обложенья оборачивался чистой иронией и светился той самой улыбкой, которую видел народ во всех решительно действиях своего пастыря. Даже тот козырь, какой давало суровому карнакскому богу безусловное миролюбие фараона, его категорическое неприяние войны, был отнят у Амуна или, во всяком случае, потерял прежнюю силу благодаря введенной Иосифом системе ссуд и вкладов, которая хоть временно сдерживала дерзость, вызываемую у рядового человечества мягкой и

не склонной к насилью властью. Велики были опасности, уготованные кротостью позднего наследника царству Тутмоса-завоевателя, ибо вскоре по государствам пошла молва, что уже не железный Амун-Ра задает тон в земле Египетской, а ласковое, похожее не то на цветок, не то на птенца божество, которое ни за что не обагрит кровью меч царства, так что не натянуть нос этому божеству было бы противно здравому смыслу. Тенденция к неповиновению, к отложению, к измене распространялась. Волновались обложенные данью восточные провинции от страны Сеир до Кармела. Несомненно было стремление сирийских городов добиться независимости, опираясь на воинственно рвавшееся на юг Хатти, а одновременно дикари-бедуины востока и юга, тоже прослышавшие, что теперь царит добросердечие, поджигали, а порой и захватывали эти фараоновы города. Ежедневные призывы Амуна к энергичному применению силы, преследовавшие, правда, прежде всего внутривосточные цели и направленные против «ученья», были, таким образом, внешнеполитически вполне оправданны, и этот досадно убедительный довод в пользу героического старого и против утонченного нового заставлял фараона очень тревожиться о своем отце в небе. Голод же с Иосифом пришли ему на помощь; они значительно ослабили амуновскую агитацию, сковав шатких азиатских царьков экономическими цепями, и хотя проявлено тут было, пожалуй, больше целеустремленной непреклонности, чем атоновской кротости, все же не следует переоценивать этой суровости, памятуя, что она позволила фараону не обагрять меч. Вопли тех, кто оказывался привязан к фараонову престолу золотыми цепями, бывали часто достаточно пронзительны, чтобы дойти до нас, нынешних, но в общем они не вызывают у нас мук сострадания. Конечно, за хлеб в Египте посылали не только серебро и лес, туда посылали заложниками и своих молодых сограждан, — жестокость, спору нет, и все же она не разрывает нам сердце, тем более что, как нам известно, дети азиатских князей бывали превосходно устроены в аристократических интернатах Менфе и Фив и получали там лучшее воспитание, чем то, на какое могли рассчитывать у себя на родине. «Нет больше, — звучало и поныне звучит еще, — их сыновей, их дочерей и деревянной утвари их домов». Но о ком это говорилось? О Милкили, к примеру, ашдодском князе; а о нем нам известно кое-что, указывающее на то, что его любовь к фараону была не слишком надежна и очень даже нуждалась в таком подкреплении, как пребывание в Египте его детей и супруги.

Короче говоря, мы не можем заставить себя усмотреть во всем этом признаки изоцированной жестокости, которой не было в характере Иосифа, и склонны, скорее, вместе с народом, который он «направлял», видеть в этом улыбочивые уловки какого-то умного и услужливо-ловкого божества. Так воспринималась деятельность Иосифа всеми не только в Египте, но и далеко за его рубежами. Она вызывала смех и восхищение, — а чего лучшего ждать от людей человеку, чем восхищение, которое, связывая души, одновременно освобождает их и веселит?

ИЗ ПОСЛУШАНИЯ

Слушая то, что остается еще рассказать, нужно с чувством реальности учитывать возраст лиц, участвовавших в этих событиях, — возраст, превратные представления о котором не раз создавали у широкой публики песня и живопись. Это, впрочем, не относится к Иакову, которого в смертный его час всегда изображают древним и почти слепым стариком (за последние годы зрение его и в самом деле заметно ухудшилось, чем Иаков до некоторой степени дорожил, пользуясь этим для вящей торжественности своего вида и беря за образец слепого дарителя благословенья — Исаака). Что же касается Иосифа и его братьев, а также его сыновей, то утвердившееся мнение склонно задерживать их на определенной ступени возраста и продлевать их молодость, никак не соотнося этих поколений с глубокой старостью их патриарха.

Наш долг — внести необходимую поправку и, не довольствуясь сказочной расплывчатостью, указать на то, что лишь смерть, то есть противоположность всякого повествующего бытия, обеспечивает сохранность и неизменность, тогда как предмет повествования и участник истории не может в ходе ее не делаться старше, и притом быстро. Да ведь мы сами, развертывая эту историю, стали значительно старше — вот нам и лишняя причина стремиться к ясности в этом вопросе. Нам тоже, конечно, приятнее было рассказывать об очаровательном семнадцатилетнем или даже о тридцатилетнем Иосифе, чем повествовать теперь о человеке добрых пятидесяти пяти лет; и все-таки наш долг перед жизнью и перед прогрессом — призывать вас к верности правде. Покуда почитаемый и опекаемый детьми и внуками Иаков прибавлял к своим годам в округе Гошен еще семнадцать, чтобы достичь крайне почтенного, но еще не противоестественного возраста ста шести лет, обособленный любимец его. Исключительный Друг Фараона, превратился из зрелого мужчины в стареющего, чьи темные волосы и борода, если бы он первых не стриг и не прикрывал дорогим париком, а второй, по местному обычаю, наголо не сбрасывал, оказались бы с сильной проседью. Можно, однако, прибавить, что черные глаза Рахили сохранили тот приветливый блеск, который всегда доставлял удовольствие людям, и что вообще его таммузовский атрибут — красота — оставался, подобающе преобразившись, верен ему — верен благодаря двойному благословению, чьим сыном он всегда слыл: благословен он был не только свыше, не только остроумием, но и из бездны, что лежит долу и питает росток материнской радостью жизни. Таким натурам нередко выпадает на долю даже вторая молодость, до некоторой степени возвращающая внешний облик к пройденным уже стадиям жизни; и если в иных кривых зеркалах искусства Иосиф, стоящий у смертного одра Иакова, все еще сохраняет юношеское обличье, то такие изображения не совсем не соответствуют правде, поскольку за десять — пятнадцать лет до того первенец Рахили действительно был уже гораздо грузней и тучней, а к этому времени снова решительно приобрел стройность и походил на себя двадцатилетнего больше, чем на себя же сорокалетнего.

Но уж никак нельзя не назвать совершенно безответственными и безрассудными некоторых фантазмагорий кисти, где сыновья Иосифа, молодые мужчины Манассия и Ефрем, предстают перед зрителями в сцене благословения их умирающим дедом кудрявыми семи- или восьмилетними мальчиками. Ясно же, что они были тогда инфантоподобными кавалерами двадцати с лишним лет, в щегольски зашнурованной и украшенной лентами придворной одежде, в остроносых сандалиях и с камергерскими опашалами, и непонятную вообще-то бездумность этих картин можно извинить разве что несколькими мечтательными оборотами раннего текста, по смыслу которых Иаков взял внуков на колени или, вернее, Иосиф снял их с колен старика, после того как тот «поцеловал их и обнял их». Такое с ними обращение было бы довольно неприятно этим молодым людям, и очень жаль, что из-за своей тенденции остановить время для большинства лиц нашей истории, а зато Иакова сделать преувеличенно старым — стосорокасемилетним! — первоисточник дает повод для таких вздорных представлений.

Мы сейчас наглядно покажем, как проходил этот визит, второй из трех, нанесенных Иосифом отцу в последние годы его жизни. Бросим только сначала короткий взгляд на предшествующие семнадцать лет, в течение которых дети Израиля, приживаясь в земле Госен, пасли, стригли и доили овец, вели торговлю, дарили Иакову правнуков и собирались стать множеством народов. Никогда нельзя будет сказать с полной определенностью, сколько, собственно, из этих семнадцати лет пришлось еще на мякинное семилетие, потому что ведь так и не выяснено, было ли оно семилетием или «всего» пятилетием. (Мы берем это «всего» в насмешливые кавычки, ибо прекрасной значительностью пятерка нисколько не уступает семерке.) Как уже говорилось, колебания в определении сроков бедствия внесли некоторую неопределенность в эти подсчеты. На шестом году, в священное время года. Кормилец поднялся у Менфе не менее чем на пятнадцать локтей, и, попеременно краснея и зеленея, как то с ним обыкновенно случается, когда дела его хороши, обильно отложил тук — но лишь с тем, чтобы на следующий год снова оказаться совершенно истощенным и слабым, так что осталось спор-

ным, следует ли причислять эти два к их пяти костляво-тощим предшественникам, как шестой и седьмой, — или нет. Во всяком случае, к тому времени, когда этот вопрос обсуждался во всех храмах и на каждом углу, аграрная реформа Иосифа была уже завершена, и, продолжая хозяйничать на своей земле в звании Верховных Уст фараона, он пас своих овец и остригал их на одну пятаю.

Нельзя сказать, что отца и братьев он видел при этом очень уж часто. По сравнению с прежним, они жили близко от него, но все-таки между городом Закутанного, его резиденцией, и их местожительством расстояние было немалое, а он был перегружен административными делами и придворными обязанностями. Связь с родственниками была гораздо слабее, чем можно заключить на основании трех последних, быстро следовавших один за другим посещений отца, но в доме Иакова никто на это не сетовал, все молча принимали это как должное, и такое молчанье было очень красноречиво, в нем выражалось не только понимание внешних помех. Кто внимательно вслушивался в тихий разговор Иакова и первенца Рахили при встрече после долгой разлуки, сумеет придать обоюдной их сдержанности — ибо она была обоюдная — тот суровый и слегка грустный смысл, который ей подобал: смысл послушания и отказа. Иосиф был обособлен, он одновременно возвысился и отступил, — отделенный от племени, он не должен был стать племенем. Судьба миловидной его матери, судьба, имя которой было «отвергнутая готовность», повторялась в его случае видоизмененно и называлась иначе: «отказывающая любовь». Это было понято и принято, и в первую очередь сознанием этого, а не расстоянием и занятостью, объяснялась та сдержанность, о которой идет речь.

Взять хотя бы слова, с какими Иаков обратился к Иосифу, чтобы высказать некую просьбу, взять хотя бы эту цветистую фразу: «Если нашел я благоволение в очах твоих», — это же почти охлаждающий, почти постыдный образец подчеркнутой дальности, установившейся между отцом и сыном, между Иосифом и Израилем, и вспоминается, как вспоминался он Иакову, тот ранний сон на току, где вместе с одиннадцатью кокабимами перед сновидцем склонились и согнулись также луна и солнце. У братьев эти сны вызвали смертельную грусть и ненависть и толкнули их на злодеяние, за которое им пришлось тяжело расплачиваться. Но странно подумать, — а они тоже молча об этом думали, — что злодеяние это выполнило свою задачу и что они все-таки своего добились. Ведь хотя все приняло самый неожиданный оборот и хотя они лежали на брюхе перед тем, кто стал первым внизу, — продали они его все-таки не напрасно, то есть не только в мир, но и миру, — к миру он и отошел, а наследие, которое произвольно предназначал ему одержимый своим чувством отец, Иосифу не досталось: от Рахили, возлюбленной, оно перешло к Лии, постылой. А разве за это не стоило немного поклоняться и погнуть спину?

«Если нашел я благоволение в очах твоих» — слова эти Иаков сказал дорогому своему отчужденцу в первое из тех трех посещений, чувствуя, что жизнь его идет на убыль и давно вступила в ту последнюю, лишь утомленно, красновато и запоздало маячащую под горизонтом четверть, за которой — полная темнота. Он не был тогда болен и знал, что конец еще не так скоро. Но, умея оценивать свои силы и верно определяя, сколько их у него осталось, он знал, что хоть времени у него еще немного и есть, пришло уже время сделать одно свое настоятельное желанье настоящим желаньем того, кому только и было под силу его исполнить.

Поэтому он послал за Иосифом. Кого же послал он? Неффалима, разумеется, приткого сына Валлы; ибо приткость ног и языка Неффалим все еще сохранял, сохранял несмотря на свои годы, упомянуть о которых надо потому, что и возраст братьев предание окутывает покровом безразличья. Если разобраться, то возраст их колебался между сорока семью годами и семьюдесятью восемью, — причем от третьего по младшинству, родившегося перед Иосифом Завулону, которому было шестьдесят восемь, малыш Вениамин отставал не менее чем на двадцать один год. Об этом упоминается уже здесь, чтобы потом, когда Иаков соберет вокруг себя в последний свой час, чтобы проклясть их и благословить, своих сыновей, вы не воображали, будто шатер был заполнен молодыми людьми. Повторяем, однако,

что жилистость своих длинных ног, болтливую юркость своего языка, а также потребность уравнивать знание на земле и разносить новости Неффалим в свои семьдесят пять лет сохранил почти полностью.

— Мальчик, — сказал Иаков крепкому этому старику, — сходи отсюда в большой город, где живет мой сын, друг фараона, явись к нему и сообщи ему: «Иаков, отец наш, хочет поговорить с твоей милостью по важному делу». Не пугай его, чтобы он не подумал, что я уже умираю. Напротив, скажи ему: «Наш старик-отец в Госене чувствует себя, по его годам, хорошо и еще не думает умирать. Но он считает, что пришел час обсудить с тобой одно дело, которое касается его самого, хотя и не укладывается в пределы его жизни. А потому соблаговолит пожаловать к его постели, где он уже — правда, сидя — большей частью и пребывает, находясь в доме, который ты приготовил ему!» Ступай, мальчик, поскорее, и скажи ему это!

Неффалим мигом повторил поручение и отправился в путь. Если бы ему не понадобилось на дорогу нескольких дней, поскольку он шел пешком, Иосиф явился бы сразу. Ибо тот приехал в коляске, с небольшой свитой и со своим дворецким Май-Сахме, который придавал слишком большое значение участию в этой истории, чтобы не сопровождать добровольно своего господина. Но вместе с другими домочадцами Иосифа он ждал снаружи, когда тот был один у отца в шатре, в благоустроенной жилой и спальней комнате дома, ставшей теперь тем четырехугольником, в который сжалась такая вообще-то просторная арена нашей истории. Ибо там, в глубине этого покоя, в постели или возле нее, проводил Иаков последние дни своей жизни, а ходил за ним Дамасек, сын Елиезера и сам названный Елиезером, одетый в белую, подпоясанную рубаху, еще моложавый, несмотря на свою окаймленную венком седых волос лысину, человек.

Он приходился, собственно, племянником Иакову, ибо Елиезер, учитель Иосифа, был, если трезво разобраться, сводным братом благословенного от какой-то служанки. Занимал он, однако, положение слуги, хотя и более высокое, чем прочая челядь; подобно своему отцу он называл себя Старшим Рабом Иакова и управлял его домом, как Иосиф — домом фараона, а комендант Май-Сахме — домом Иосифа. Он вышел к коменданту, доложив отцу о прибытии сына, и беседовал с ним как равный с равным.

Войдя к отцу, правитель Египта опустился на колени и коснулся лбом войлока и ковра пола.

— Не надо так, сын мой, не надо, — запротестовал Иаков, сидевший с укутанными меховым одеялом коленями в глубине комнаты на своем ложе, между глиняными светильниками на деревянных подставках. — Мы находимся в мире, величие которого этот верующий старик слишком чтит, чтобы согласиться на такие почести с твоей стороны. Добро пожаловать ко мне, немощному от старости, которого оправдывает осторожность, если он не идет навстречу тебе, возвысившийся мой агнец, с отцовской почтительностью! Возьми скамеечку и сядь рядом со мной, милый, — Елиезер, Старший мой Раб, мог бы и сам поставить ее тебе, впуслав тебя, — он не то что его отец, сват, которому земля скакала навстречу, и не стал бы для меня тем, чем был тот во время кровавых слез. О каком времени я говорю? О том времени, когда ты пропал. Тогда он вытирал мне лицо влажным платком и любя выговаривал мне за невольные мои роптанья на бога. А ты был жив... Спасибо за твой вопрос, я чувствую себя хорошо. Мальчику Неффалиму, сыну Валлы, было поручено заверить тебя, что я призываю тебя не к смертному своему одру, — то есть оно будет смертным моим одром, это ложе, и качество это оно постепенно приобретает, но оно еще не обладает им в полной мере, ибо некоторые силы у меня еще есть и умереть я собираюсь еще не сейчас: до моей смерти ты успеешь еще раз-другой возвратиться отсюда в свой египетский дом и к делам государственным. Однако оставшимися у меня силами я намерен и обязан распоряжаться осмотрительно и расходовать их в меру и бережливо, ибо они еще понадобятся мне в разных случаях, особенно напоследок, и мне следует скупиться на слова и движенья. Поэтому, сын мой, этот наш разговор будет краток и ограничится самым необходимым и важным — тратиться на лишние слова значило бы идти

против бога. Возможно даже, что я уже сказал кое-что лишнее. Когда же я выскажу единственно важное, изложив это тебе в виде настойчивой просьбы, ты, если время твое позволит, посиди еще часок тихонько у будущего моего смертного одра, только чтобы нам быть рядом, не заставляя меня тратить силы на разговоры. Я молча склоню на твое плечо голову и буду думать, что это ты и о том, как родила мне тебя в Месопотамии в сверхъестественных муках единственно-праведная, как я потерял тебя и в известной мере снова обрел благодаря чрезвычайной доброте бога. А когда ты родился при вершинном солнце и лежал в подвесной колыбели, рядом с девой, что пела задыхающуюся песню изнеможенья, вокруг тебя было какое-то приветливое сиянье, значение которого я сумел распознать, и глаза твои, когда ты от моего прикосновенья открыл их, были сини тогда, как небо, и только позднее стали черными, с тем плутовским отблеском черноты, из-за которого я здесь, в хижине, вон там, у выхода, завещал тебе пестрое платье невесты. Об этом я, может быть, скажу еще в самом конце, — сейчас это, вероятно, излишне и нерасчетливо. Очень трудно сердцу экономно отличать нужные слова от ненужных. — Вот ты сейчас успокаивающе гладишь меня в знак верности своей и любви. На них-то я и положусь, — на верности твоей и любви основана моя к тебе просьба, и на них я рассчитываю, обращаясь к тебе во избежание лишних слов с деловитым ходатайством. Ибо, Иосиф-эль, возвысившийся мой агнец, пришло время мне умирать, и хотя я отнюдь еще не при последнем издыханье, Иаков все же вступил в свою предсмертную пору, в пору изъявления последней воли. Так вот, когда я сложу ноги мои и приобщусь к отцам моим, я не хотел бы, чтобы меня похоронили в Египте, не обижайся на меня, я этого не хотел бы. Лежать здесь, где мы находимся, в земле Госен, хотя здесь еще не самый заправский Египет, было бы тоже вразрез с моими желаньями. Я знаю, конечно, что после смерти у человека уже нет желаний и ему все равно, где лежать. Но покуда он жив и способен желать, для него важно, чтобы с ним после смерти случилось то, чего он хочет при жизни. Я знаю также отлично, что очень многие из нас, тысячи и тысячи, будут похоронены в Египте независимо от того, родились ли они здесь или еще в стране отцов. Но я, отец их всех и твой, я не могу заставить себя послужить им в этом примером. С ними пришел я в царство твое и в землю царя твоего, поскольку бог выслал тебя вперед открыть нам дорогу; но в смерти мне хочется отделиться от них. Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мне, как положил руку Елиезер под стегно Авраама, и поклянись мне, что выкажешь мне любовь и верность и не похоронишь меня в стране мертвецов. Я хочу лежать с моими отцами и к ним приобщиться. А потому унеси прах мой из Египта и похорони его в их гробнице, что зовется Махпелах, или Двойная пещера, в земле Ханаанской. Там лежит Авраам, почетно удлиненный, которого в пещере его рожденья вскормил принявший козье обличье ангел, он лежит там рядом с Саррой, героиней и высочайшей избранницей. Там лежит неугодная жертва, поздно зачатый Ицхак, он лежит там с Ревеккой, умной и решительной родительницей Иакова и Исава, которая все исправила. И еще там лежит Лия, первоупознанная, мать шестерых. С ними со всеми хочу я лежать, и я вижу, что мою волю ты принимаешь с сыновним благоговеньем и с готовностью к послушанью, хотя тень сомненья и немного вопроса и омрачает при этом твой лоб. Глаза мои уже не очень остры, ибо я вступил в предсмертную свою пору и взгляд мой заволакивается темнотой. Но тень, омрачающую твое лицо, — ее я прекрасно вижу, ибо знал, что она омрачит его, — как же иначе? Ведь есть же могила при дороге, у самой почти Еффрафы, что зовется теперь Вифлеем, могила, куда я положил то, что было мне милее всего на божьей земле. Так разве я не хочу лечь рядом с ней, когда ты меня покорно доставишь домой, и лежать с ней особняком у дороги? Нет, сын мой, я этого не хочу. Я любил ее, я слишком ее любил, но выше всего не чувство, не своевольная мягкость сердца, а величие и послушание. Нет, негоже мне лежать у дороги, Иаков ляжет рядом со своими отцами и рядом с Лией, первой своей женой, которая родила наследника. Черные твои глаза полны сейчас слез — я и это хорошо еще вижу — и так похожи на глаза премноговозлюбленной, что кажутся ими. Это хорошо, дитя, что ты так похож на нее в тот час, когда ты в благоволенье кладешь руку свою под стегно мое и клянешься, что похоронишь меня, как того требуют величие и послушанье, в Двойной пещере Махпелах.

Иосиф дал ему эту клятву. И когда он дал ее, Израиль согнулся над изголовьем кровати, творя благодарственную молитву. Потом обособленный посидел еще некоторое время у отца в тишине, и старик сидел рядом с ним на смертном одре, молча склонив голову ему на плечо, чтобы поберечь силы на будущее.

ЕФРЕМ И МАНАССИЯ

Несколькими неделями позже он заболел. Легкий жар румянил его столетние щеки, у него спирало дыханье, и, опершись на подушки, он полусидел в постели, чтобы легче дышать. Неффалиму не нужно было идти оповещать Иосифа, ибо тот установил осведомительную связь между Госеном и своим городом, благодаря которой дважды в день получал известия о состоянии старика. Когда же ему донесли: «Вот, отец твой болен, у него легкий жар», — он позвал обоих своих сыновей и сказал им по-ханаански:

— Приготовьтесь, мы поедем в низовье навестить вашего деда.

Они ответили:

— У нас назначена охота на газелей в пустыне, отец.

— Вы слышали, что я сказал, — спросил он по-египетски, — или не слышали?

— Мы очень рады нанести визит деду, — отвечали они и известили своих друзей, богатых менфийских щеголей, что не смогут участвовать в охоте по семейным обстоятельствам.

Сами они тоже были щеголями и детьми изощренной культуры — наманикюренные, причесанные парикмахерами, надушенные и нафабранные, с перламутровыми ногтями ног, с затянутыми талиями и развевающимися лентами спереди, по бокам и сзади набедренного. Ничего дурного в обоих не было, и их щегольство, само собой вытекавшее из общественного положенья, не нужно им ставить в упрек. Правда, Манассия, старший, был очень заносчив и своим происхождением от жрецов Солнца со стороны матери кичился еще больше, чем славой отца. Зато Ефрема, младшего, с глазами Рахили, надо представлять себе благодушно-веселым, скорее скромным, как раз в той мере, в какой скромность из веселости вытекает; ведь заносчивость не любит смеяться.

Обняв друг друга руками в кольцах, чтобы тверже стоять на ногах в прыгающей повозке, они ехали позади отца на север, в сторону устий. Маи-Сахме сопровождал Иосифа, надеясь принести пользу больному врачевными своими познаниями.

Иаков лежал в полузабытьи среди подушек, когда Дамасек-Елиезер сообщил ему о приближении его сына Иосифа. Старик сразу собрался с силами, велел этому присносущему Старшему Рабу посадить себя на постели и чрезвычайно оживился.

— Если мы нашли благоволение, — сказал он, — в очах господина сына и он навещает нас, нам не к лицу распускаться из-за небольшого жара.

И он разгладил серебряную свою бороду и поправил ее на груди.

— Молодые господа тоже с ним, — сказал Елиезер.

— Хорошо, хорошо, вот оно что, — ответил Иаков и выпрямился, готовясь к приему.

Вскоре вошел Иосиф с обоими принцами, они с церемонными приветствиями остановились у входа, а он приблизился к ложу и любовно взял в руки бледные руки старца.

— Святой папочка, — сказал он, — я прибыл с ними, потому что мне сказали, что на тебя напал легкий недуг.

— Он легок и слаб, — отвечал Иаков, — как то свойственно болезням старости. Болезни тяжелые и цветущие — удел юности и крепкой мужественности. Они рьяно набрасываются на них и резво доплясываются с ними до могилы, что никак не подобало бы почтенному возрасту. Лишь слегка дотрагивается немощная болезнь дряхлым своим перстом до старости, чтобы ее погасить. Эта болезнь немощнее, чем я; она сбита с толку преклонными моими годами, и ее недостаточно. Побывав у моего ложа вторично, ты еще раз вернешься домой раньше,

чем оно станет смертным моим одром. В первый раз я позвал и пригласил тебя к себе. На этот раз ты явился сам. Но я позову тебя еще раз, на третье и последнее свиданье и на празднество смерти.

— Пусть оно будет нескоро, и пусть еще не одно лето отпущенья переживет господин мой!

— Возможно ли это, дитя? Довольно того, что сегодня еще не пришел час этого празднества, час собрания. Устами твоими говорит придворная вежливость, а я нахожусь в предсмертной своей поре, когда неуместно красивое пустозвонство и нужны только строгость и правда. И после, в час собрания, царить будут только они, говорю это тебе наперед.

Иосиф склонил голову.

— Хорошо ли ты чувствуешь себя, дитя мое, перед господом и перед богами этой страны? — спросил Иаков. — Видишь, болезнь моя настолько слабее меня, что я могу позволить себе справляться о самочувствии других. Правда, тех только, кого я люблю. Ты, вероятно, по-прежнему усердно взыскиваешь пятину с туземцев? Это нехорошо, Иосиф, не царю должна бы принадлежать пятина, а одному господу. Знаю, возвысившийся мой, все знаю. Ты, вероятно, при случае и воскуряешь солнцу и звездам, как того требует твое положение?

— Дорогой мой отец...

— Знаю, отрешенный мой агнец, все знаю! Как это, однако, мило с твоей стороны, что между первым и третьим разом ты незвано, по собственному почину, навестил старика, не смотря на свою занятость служебными обязанностями и всякими воскуреньями! Я воспользуюсь твоим приездом, чтобы продвинуть одно дело, о котором мы так и не говорили с тех пор, как ты снова явился мне на лугу, пропавший мой сын, — тогда, любимый, я сказал тебе на ухо, что разделю тебя в Иакове и рассею в Израиле, что расщеплю тебя на племена внуков, и сыновья сына праведной будут как сыновья Лии, а ты — как один из нас, ибо ты будешь произведен в отцы, чтобы исполнились слова: «Он возвысился».

Иосиф склонил голову.

— Есть в Ханаане одно место, — возведя глаза к небу, начал вещать Иаков, подхлестываемый жаром, которому он был очень благодарен за то, что тот разогрел ему кровь, — одно место, что прежде звалось Луз, где делают чудесную синюю краску для шерсти. Но место Это уже не зовется Луз, оно названо Вефилем и Эчсагилой, Домом Вознесенья Главы. Ибо там явился мне в сновиденье бог всемогущий, когда я спал на гилгале и камень подпирал мою голову, он явился мне в обличье царя на самом верху лестницы, которая связывала небо с землей и где сновали сладкогласные ангелы звезд, он благословил меня знаком жизни и под звуки арф произнес слова безмерного утешенья, ибо он обещал мне могущественное свое пристрастье и что он расплодит и размножит меня и произведет от меня множество народов, несметных детей пристрастия. А потому, Иегосиф, два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской до моего прибытия, — они будут мои, как Рувим и Симеон, и называть их будут по моему имени; те же, что родятся у тебя позже, будут твои, и называть их будут по именам их братьев, которым они станут как сыновья. Ибо ты изгнан со своего престола в кругу двенадцати, но изгнан с такой любовью, что взамен тебе уготовлен четвертый рядом с тремя торжественнейшими.

Тут Иосиф уже приготовился поставить перед ним принцев, но старик начал вещать о Рахили, еще раз о том, как она умерла у него, когда он шел из Месопотамии, в стране Ханаан, на дороге, немного не доходя Еффрафы, и как он похоронил ее там же, у дороги в Еффрафу, которая зовется теперь Вифлеем. Говорил он это просто так, невзначай; никакой особой связи с тем, о чем шла сейчас речь, слова его не имели — разве что он хотел вызвать в этот час тень единственной своей возлюбленной и, может быть, указать потомкам Рахили их собственную, их особую святыню — ее могилу, поскольку для других местом паломничества должна была стать Двойная пещера Махпелах. Возможно также, что этим он хотел заранее оправдать ту уловку, ту замену, к которой сейчас собирался прибегнуть и задумал которую, несомненно,

уже давно, — мнения учителей о целях этого упоминания расходятся, но мы склонны думать, что никаких целей у него вообще не было и говорил он о миловидной потому просто, что, ведя сейчас торжественные речи, он мыслями уносился к своим историям, и ему было бесконечно приятно говорить о Рахили, так же как и о боге, даже несвязно; и еще он боялся, что больше ему уже не случится о ней говорить, а ему хотелось непременно сделать это еще раз.

Затем, когда он в последний раз похоронил ее у дороги, он огляделся, приставил козырьком руну ко лбу и спросил:

— А это кто?

Ибо он притворялся, что до сих пор вообще не замечал обоих своих внуков, и преувеличивал слабость своего зрения.

— Это мои знакомые тебе сыновья, святой папочка, — отвечал Иосиф, — которых бог дал мне в этой стране.

— Если это они, — сказал старик, — то подведи их ко мне, чтобы я благословил их.

Тихо прищелкивая языком, старик покачал головой.

— Миловидные мальчики, насколько я вижу, — сказал он. — Оба славны и миловидны пред богом! Наклонитесь ко мне, сокровища, чтобы я поцеловал молодую кровь ваших щек столетними своими устами! Кого это я сейчас целую — Ефрема или Манассию? Ну да все равно! Если то был Манассия, то сейчас я целую Ефрема — в щеки и в глаза. Подумай, я снова увидел лицо твое, — повернулся он к сыну, все еще обнимая Ефрема, — на что уже и не надеялся; но вот бог показал мне даже детей твоих. Будет ли преувеличением назвать его источником беспредельной доброты?

— Нет, конечно, — ответил Иосиф рассеянно; ибо он заботился о том, чтобы мальчики правильно стояли перед Иаковом, который показал, что не различает их.

— Манассия, — сказал он тихонько старшему. — Внимание! Сюда! Соблюдай порядок, Ефрем, стань вон там!

И правой своей рукой он подтолкнул его к левой руке Израиля, а левой поставил Манассию против правой руки Иакова, чтобы все было как полагается. Но что же он тут увидел — увидел с изумленьем, досадой и тихой радостью? Увидел он вот что: слепо подняв кверху глаза, отец положил левую свою руку на склоненную голову Манассии, а правую, крест-накрест, на голову Ефрема и, слепо уставившись в пустоту, тотчас же, прежде чем Иосиф успел вмешаться, начал говорить и благословлять. Он призвал тройного бога, отца, пастуха и ангела, благословить отроков, наречь на них его Иакова, имя и имя отцов его и взрастить их во множестве, чтобы они кишели, как рыба. Да, да, пусть будет так. Излейся, благословенье, священный дар, из моего сердца, через мои ладони, на ваши головы, в вашу плоть, в вашу кровь. Аминь.

Иосиф никак не мог прервать благословение, а его сыновья и не замечали, что с ними происходит. Они сейчас вообще были довольно рассеянны и немного сердиты, особенно Манассия, оттого что им пришлось отказаться от охоты из-за этой церемонии. Каждый ощущал только прикосновение благословляющей руки к своей голове, и даже если бы они могли видеть, что руки скрещены и правая лежит на младшем, а левая — на старшем, они не придали бы этому никакого значения и решили бы, что так и должно быть, что так принято в роду чужеземного деда. И тут они были не так уж неправы. Ибо Иаков, брат косматого, конечно же, повторял и подражал. Он подражал слепому в шатре, своему отцу, который отдал ему благословение, прежде чем пришел Красный. Без обмана, на его взгляд, тут нельзя было обойтись. Какая-то замена нужна была, и поэтому он поменял местами хотя бы руки, и правая легла на голову младшего, и тот стал праведным. У Ефрема были глаза Рахили, и он был явно приятнее, — это, конечно, тоже имело значенье. Но главное — он был младшим, а младшим был и он сам, Иаков, а его заменили с помощью шкур, с помощью меха. Когда он сейчас менял руки, в ушах его звенели заклинания, которые, снаряжая его, бормотала рачительная родительница, но которые доносились из куда более дальних далей и были куда древней и исконнее, чем та, учиненная Ревеккой замена: «Дитя обовью, закутаю камень, ощупай, отец, поешь, господин мой, а братья из бездны тебе покорятся».

Иосиф, как мы уже сказали, был и обрадован и уязвлен сразу. Приверженность его к плутовству сомнению не подлежала, но как государственный деятель он чувствовал себя обязанным спасти порядок и право, поскольку их еще можно было спасти. Как только старик закончил благословение, он сказал:

— Прости, отец, все не так! Я поставил перед тобой мальчиков правильно. Знай я, что ты собираешься скрестить руки, я расположил бы их иначе. Позволь обратить твое внимание на то, что левую свою руку ты положил на Манассию, старшего моего сына, а правую на Ефрема, родившегося позднее. Скверное освещение виною тому, что ты, с позволения сказать, немного облагомолвился. Не угодно ли тебе быстро поправить дело, поменяв надлежащим образом руки и сказав еще раз, ну хотя бы только «Аминь»? Ведь право на правую принадлежит не Ефрему, а Манассии.

При этом он даже прикоснулся к лежавшим еще на головах рукам старика, пытаясь почтительно положить их по правилам. Но Иаков не уступил.

— Я знаю, сын мой, я знаю, — сказал он. — И пусть так будет! Ты правишь в земле Египетской и взимаешь пятину, а в этих делах правлю я, и я знаю, что делаю. Не печалься: этот (и он приподнял левую руку) тоже умножится, и от него произойдет великий народ; но меньший его брат будет больше его, и от семени его произойдет народ величайший. Как я хотел, так и поступил, и такова даже моя воля, чтобы это вошло в поговорку и стало крылатым словом в Израиле, то есть чтобы, благословляя, говорили: «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». Запомни это, Израиль!

— Как ты прикажешь, — сказал Иосиф.

А юнцы убрали свои головы из-под благословляющих рук, подбоченились, пригладили прически и были рады, что можно выпрямиться. Замена не очень-то их тронула — и по праву, поскольку священный вымысел, приравнявший их к сыновьям Иакова и к потомкам Лии, ничего не изменил в личном их бытии. Они прожили свою жизнь знатными египтянами, и только их дети, а вернее, некоторые из их внуков, благодаря общению, религиозному воспитанию и бракам, все больше и больше примыкали к евреям, так что иные части клана, отправившегося однажды из Кеме назад в Ханаан, возводили свой род к Ефрему и Манассии. Но и в свете дальнейшего, в свете последствий уловки Иакова равнодушные этих молодых людей никак нельзя назвать неоправданным — по крайней мере, если говорить о количестве тех, кто назывался позднее их именами. Ибо, по нашим изысканиям, в пору их расцвета люди Манассии составляли на каких-нибудь двадцать тысяч душ больше, чем люди Ефрема. Но Иаков свое дело сделал и свое благословенье обманом сопроводил.

Он очень обессилел после этого празднества, и сознание его помутилось. Хотя Иосиф просил его лечь, он продолжал, выпрямившись, сидеть в постели и принялся рассказывать своему любимцу о земельном участке, который он завещает ему «преимущественно пред братьями» и который был отнят им, Иаковым, у аморреев «мечом и луком». Речь могла идти только о той пахотной земле у Шекема, что Иаков однажды, под воротами города, приобрел у подагрика Хамора или Еммора, заплатив ему за нее сто шекелей серебра, и следовательно, отнюдь не завоевав ее мечом и луком. Почему это вдруг Иаков, благочестивый житель шатров, заговорил о мече и луке? Орудий такого рода он никогда не любил и не пускал в ход и не мог простить своим сыновьям, что когда-то они по-дикарски пустили их в ход в Шекеме, — отчего как раз и приходилось сомневаться в действительности заключенной тогда сделки и в том, что Иаков вправе еще распоряжаться этим участком.

Однако, ослабев, он распорядился им, и, припав лбом к рукам отца, Иосиф поблагодарил его за его особое завещание, тронутый этим доказательством любви и одновременно тем удивительным явлением, что именно слабость побудила старика увидеть себя в роли героя-воина. Иосиф рассудил, что это признак близкого конца, и решил на этот раз не возвращаться в Менфе, а дожидаться вызова на последнее собрание в близлежащем Па-Косе.

СОБРАНИЕ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ

«Соберитесь, дети Иакова! Сойдитесь и столпитесь вокруг отца вашего Израиля, чтобы он возвестил вам, кто вы и что будет с вами в грядущие дни!»

Вот какой клич послал Иаков из шатра своим сыновьям, когда нашел, что настал час держать предсмертные речи. Ибо он управлял своей жизнью и точно знал, сколько у него осталось сил, чтобы истратить их на предсмертные речи и потом умереть. Клич этот он послал через Елиезера, старика-отрока. Старшего своего Раба; Иаков произнес ему этот призыв и заставил Дамасека несколько раз повторить его вслух, чтобы тот запомнил его не приблизительно, а слово в слово.

— «Не прибудьте», — говорил Иаков, — а «сойдитесь», и не «станьте вокруг Израиля», а «столпитесь»! А теперь повтори все еще раз и не забудь двучленного выражения «кто вы и что будет с вами»! — Ну вот, наконец-то! Боюсь, что я израсходовал слишком много сил на то, чтобы наставить тебя. Ступай же скорее!

И Дамасек подпоясался и побежал — он бегал во все стороны так быстро, что казалось, будто земля скачет ему навстречу, и прикладывал раструбом руки ко рту и кричал: «Сходитесь и собирайтесь, сыновья Иакова, какие ни на есть, и пусть вам будет хорошо и в нынешние, и в грядущие дни!» Он бегал в селения, на поля и к стадам — и к царским, над которыми были поставлены пятеро, и к прочим, бегал через болота и по лужам, забрызгивая тощие свои ноги мутной водой; ибо дело было во время спада, в пятый день первого месяца зимы, по-нашему — в начале октября, и после долгой осенней жары в Дельте прошли обильные дожди. Он все кричал и кричал в раструб рук, и голос его облетал окрестности и вторгался в жилища: «Собирайтесь, сыновья Иакова, кем бы вы ни были, чтобы сгрудиться около него в грядущие дни!» Сбегал он и в близлежащий Па-Кос, где Иосиф остановился у местного старосты, отчего у дома его стояла стража, и позорно неточно выкрикнул там слова, которые Иаков так тщательно выбрал и выстроил на вечные времена. Но свое действие слова эти, невзирая на искажение, оказывали и смущенное послушанье встречали везде. Друг фараона тоже поспешил к дому отца, а с ним Май-Сахме, его мажордом, и вдобавок множество уличных зевак, которые ждали этого клича, чтобы развлечься.

Одиннадцать братьев ждали Иосифа у входа в шатер. Он поздоровался с ними с подбавающим случаю видом, многозначительно-грустно, поцеловал сорокасемилетнего малыша Вениамина, и, не входя в дом, тихо сказал им несколько слов о состоянии отца и о том, что он, видимо, умирает и хочет произнести свою предсмертную речь. Они отвечали ему с опущенными глазами и чуть поджав губы, ибо, как обычно, боялись могучей выразительности старика, а на этот раз и предсмертной суровости величавого тирана-отца, которая ничего им не спустит, и каждый потихоньку думал: «Бог ты мой, что сейчас будет!» Сильные мышцы лица Ре'увима, семидесятилетней башни стад, были свирепо напряжены. Он когда-то побушевал с Валлой, в столь торжественный час ему наверняка предстояло услышать об этом в весьма выразительной форме, и он готовился к неминуемому. Симеон и Левий — они молодыми людьми варварски опустошили из-за сестры Шекем, с тех пор прошла, правда, целая вечность, но они могли быть уверены, что им торжественно об этом напомнят, и тоже готовились. Иегуда — он нечаянно сошелся со своею снохой и не сомневался, что у старика хватит жестокости и предсмертной суровости поставить ему это в упрек, тем более что тот сам был немного влюблен в нее. Все они — все, кроме Вениамина, которого отец нянчил, продали когда-то Думузи. Иаков не преминет пропеть и сказать по такому поводу и об этом — они ждали его укоров и ожесточались в ожидании. Ожесточались главным образом сыны Лии, ибо никто из них так и не смог простить отцу, что после смерти Рахили тот произвел в любимые и праведные не их мать, а служанку Рахили Валлу. У него тоже были свои слабости, и всю жизнь он давал своим чувствам полную волю. В истории с Иосифом, думали они упрямо, он был так же вино-

ват, как они, и ему следовало бы сначала взять это в толк, а потом уже отчитывать их за этот проступок, воспользовавшись таким великолепным случаем, как предстоящая смерть. Одним словом, их страх перед неминуемой сценой облекался в ожесточенность; она заставляла их заранее строить обиженные лица по поводу того, что предстояло в шатре; Иосиф это видел и доброжелательно успокаивал их, он ходил от одного к другому, дружески дотрагивался до них и говорил:

— Войдемте же к нему, братья, и давайте смиренно выслушаем приговор, который вынесет нам любовь, каждому свой. Выслушаем его, если понадобится, снисходительно! Снисходительность, правда, должен дарить бог человеку и отец сыну, но если ее не видно, тогда дитя должно с благоговейной снисходительностью прощать старшему всякую его слабость. Пойдемте, суд его будет правый, и все мы, поверьте, получим свое, я тоже.

И они осторожно вошли в шатер с египтянином Иосифом, который вошел, однако, отнюдь не первым, хотя они и пропускали его вперед; он шел вместе с Вениамином позади сыновей Лии и только перед детьми служанок. Вошел в шатер и Май-Сахме, его управляющий — отчасти по праву давнего своего пребывания в этой истории, которую он к тому же деятельно разукрашивал, отчасти же потому, что собрание это было весьма открытым и присутствовать на нем, как выяснилось, мог, по сути, любой: когда братья вошли в смертный покой, там стало очень тесно, ибо вместе с созвавшим их Дамасеком-Елиезером ложе господина окружали и младшие, непосредственно ухаживавшие за Иаковом слуги, а дальше повсюду стояли или лежали, пав на лицо, многочисленные его потомки. Были здесь даже женщины с детьми, причем иные кормили грудью младенцев. На стоявших у стен ларях сидели мальчишки, которые вели себя не всегда наилучшим образом, хотя всякие неподобающие действия немедленно пресекались. Кроме того, занавеска у входа была широко отдернута, благодаря чему толпившиеся у входа, то есть дворян и безбилетные зрители из городка Па-Коса, — а их собралось множество, — могли заглядывать внутрь и, так сказать, участвовали в собрании. Оттого что солнце садилось и наружная эта толпа видна была на фоне оранжевого вечернего неба, она казалась одной сплошной тенью, и лица различались с трудом. Но падающий с противоположной стороны свет двух масляных ламп, горевших на высоких подставках в изголовье и в изножье смертного ложа, позволяет нам все же отчетливо разглядеть одну выразительную фигуру там на дворе: худощавую пожилую женщину в черном, с седыми волосами под покрывалом, между двух на редкость широкоплечих мужчин. Вне всякого сомненья, это была Фамарь, исполненная решимости, со своими крепкими сыновьями. Она не вошла в дом, а остановилась снаружи на тот случай, если в предсмертных своих речах Иаков упомянет об Иудином с ней грехе. Но она явилась — да и могла ли она не явиться, когда Иаков должен был передать благословенье тому, с кем она соблудила у дороги и выбилась на дорогу! Даже если бы и не светили изнутри лампы, от нас не ускользнул бы гордый ее силуэт на фоне красочного, наполовину ненастного вечернего неба.

Тот, кто открыл ей некогда мир и большую историю, куда она включилась, он, который созвал это собрание, благословенный прежде Исава Иаков бен Ицхак, лежал на подушках, под овчиной, в глубине покоя на своем ложе, и сил у него было ровно столько, сколько ему еще требовалось, и восковую бледность лица его слегка смягчали красочный сумрак и багрянец близстоящей жаровни. Вид его был кроток и величествен. Белая повязка, которую он обычно надевал, когда приносил жертвы, обвивала его лоб. Из-под нее выбивались на висках белые волосы, переходя в столь же широкую, целиком покрывавшую грудь, густую и белую под подбородком, а ниже сероватую и более редкую бороду патриарха, в которой вырисовывался тонкий, одухотворенный, чуть скорбный рот. Он не поворачивал головы в сторону, но его нежные, с прожилками под ними глаза пытливо косились, заметно обнажая желтоватые белки. Они были обращены к входившим сыновьям, к многочисленной дюжине, перед которыми быстро открылся проход к постели. Дамасек и ухаживавшие за Иаковом слуги отошли от нее; рожденные за Евфратом и малыш, из-за которого в стране Авраама умерла его мать,

пали перед этой постелью ниц, а потом сгрудились у отцовского изголовья. Наступила полная тишина, и все взгляды нацелились на бледные губы Иакова.

Они несколько раз открылись на пробу, прежде чем образовали слова, и речь его началась тихо и через силу. Позднее он стал говорить свободнее, и голос его приобрел полнозвучность, чтобы лишь совсем под конец, когда Иаков благословлял Вениамина, ослабеть снова.

— Привет тебе, Израиль, — заговорил он, — пояс мира, круг коловращения, оплот и твердыня неба, порядок священных знаков! Послушно ты собрался и мужественно, полным числом, столпился у одра моей смерти, чтобы я судил тебя по справедливости и предсказал тебе будущее, пользуясь мудростью последнего часа. Хвала тебе, круг сыновей, за твою готовность и слава тебе за твою смелость! Будь же весь целиком благословен рукой умирающего и прославлен в своей совокупности. Благословен с благонакопленной силой и прославлен навеки! Заметь же: то, что я скажу каждому особо, по очереди, я скажу под знаком общего благословенья.

Тут речь его прервалась, и несколько мгновений он только беззвучно шевелил губами. Но потом лицо его напряглось, он наморщил лоб, и, грозя слабости, нахмурились его брови.

— Ре'увим! — призывно слетело с его губ.

И башнеподобный великан стад выступил вперед на обтянутых ремнями столпах ног, совершенно седой, с бритым, красным лицом, которое, словно у мальчика перед нагоняем, было искажено плаксивой гримасой: глядевшие из-под белых бровей глаза его часто моргали воспаленными веками, а уголки рта были так горестно-сильно оттянуты книзу, что с обеих сторон образовались желваки мышц. Он стал на колени у края кровати и склонился над ней.

— Рувим, самый большой мой сын, — начал Иаков, — ты самая ранняя моя сила и первенец моей мужественности, твоим достоянием были великое преимущество и могучее превосходство, ты был главным в кругу, ближайшим к жертве и ближайшим к царству. Это была ошибка. Мне сказал это в поле во сне один идол, пакостный зверь пустыни, мальчик с собачьей головой и прекрасными ногами, зачатый по ошибке, зачатый с несправедливой в слепой ночи, которой все едино и которой неведома различающая любовь. Так породил я тебя, мой главный, в ветреной ночи с неподлинной и усердной, в заблуждении породил я тебя и дал ей цветок, ибо случилась замена, заменили покрывало, и день показал мне, что я только совершил труд зачатия, когда мнил, что люблю, — и внутренности перевернулись во мне, и я отчаялся в душе моей.

На некоторое время речь его стала невнятна; долго он снова только шевелил беззвучно губами. Затем голос вернулся, он был даже еще сильнее, чем прежде, и порой Иаков говорил теперь уже не с Рувимом, а о нем, про него, в третьем лице.

— Он бушевал, как вода, — говорил Иаков. — Словно кипящая вода, выплескивался он из котла. Он не будет главным, не будет опорным шестом дома, и преимущества он не получит. Он взошел на ложе отца своего и осквернил постель мою, взойдя на нее. Он обнажил и высмеял срам отца, он приблизился с серпом к отцу своему и предался скверному озорству со своей матерью. Он — Хам и черен лицом и ходит нагой с неприкрытым срамом, ибо он поступил, как дракон хаоса, и уподобился повадкой гиппопотаму. Слышишь ли, начаток силы моей, в чем я виню тебя? Будь проклят, сын мой, будь проклят в благословенье! У тебя отнято преимущество, ты лишен священного сана и утратил царскую власть. Ибо ты не годишься в вожди и первородство твое отвергнуто. Ты живешь за Щелочным морем и граничишь с Моавом. Дела твои хилы, и ничтожны плоды твои. Спасибо тебе, мой старший, что ты так отважно явился сюда и так храбро выслушал мой приговор. Башне среди стад подобен ты, и ноги твои — как столпы храма, потому что я так мощно и мужественно излил свою первую силу в заблуждении ночи. Будь отечески проклят и прощай!

Он умолк, и старик Рувим отступил к остальным братьям — с яростным достоинством напрягши каждую мышцу лица и потупив глаза — как потупляла их его мать, когда прятала под веками свое косоглазие.

— Братья! — потребовал тогда Иаков. — Неразлучные на небе сыновья-близнецы!

И Симеон и Левий склонили головы. Им тоже исполнилось уже семьдесят семь и семьдесят шесть (ведь они вовсе не были близнецами, а были лишь неразлучны), но вид забияк оба сохранили в самой большой мере, какая только возможна.

— О, о, силачи, в рубцах и кровоподтеках! — сказал отец и отстранился, делая вид, что боится их. — Они целуют орудия насилия, я знать о них не хочу. Я этого не люблю, головорезы. В совет их да не внидет душа моя, и слава моя да не имеет ничего общего с их славою. Их ярость убила мужа, а их прихоть надругалась над тельцом, за это на них пало проклятье обиженных, и гибель стала уделом их. Что я говорил им? Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа! — Это я говорил вам. Будьте прокляты, дорогие мои, прокляты в благословенье. Вы будете разделены и разлучены, чтобы вам не бесчинствовать вместе во веки веков. Рассейся в Иакове, мой Левий! Тебе, сильный Симеон, выпадет все-таки страна, но я вижу, — она не будет самостоятельна и растворится в Израиле. Место твое не на виду, двойное светило, таково предсмертное прозренье благословляющего! Отойдите же!

Они отошли, довольно невозмутимо выслушав свой приговор. Они же давно знали, что так будет, и лучшего приговора не ждали. Что он был еще раз, самым недвусмысленным образом, объявлен во всеуслышанье на празднестве, это тоже не имело для них значенья, ибо все и так все знали, а «Израилем» близнецы оставались во всяком случае — их отвергали в благословенье. К тому же, как, впрочем, и все присутствующие, они были проникнуты убеждением, что отверженность — это такая же роль, как любая другая, и что у нее есть свое достоинство: каждое положение почетно по-своему — так считали и близнецы, и все остальные. Кроме того, было совершенно ясно, что отчасти отец говорил совсем не о них, а о созвездии Близнецов. Частью по врожденной своей тяге к значительному, частью же от смятенья мыслей, которое было вызвано слабостью и которому он, опять-таки из любви к значительному, торжественно поддавался, Иаков сильно спутал их с созвездием Гемини и примешал к приговору свои вавилонские воспоминания, известные всем вплоть до примостившихся на ларях мальчишек. Он явно и притом намеренно путал их порой с Гильгамешем и Эбани из песни, которые, мстя за свою сестру, в гневе и ярости растерзали на куски небесного быка и были прокляты за это злодеянье богиней Иштар. Сами они в Сихеме, или Шекеме, где вообще-то порядком накуролесили, к быкам особого внимания не проявляли, и не помнили, чтобы они перерезали жилы хоть одному; только Иаков с самого начала и всякий раз, когда вспоминал об этом, приплетал к делу быка. Но можно ли быть проклятым более почетным образом, чем если тебя при этом путают с Диоскурами, Солнцем и Луной? Такую отверженность можно принять и на людях, она лишь наполовину касается тебя лично; другой своей половиной это предсмертно-мечтательная игра мыслей.

Лучше будет сразу сказать, что звездочетно-многозначительные намеки повторно примешивались к отеческим приговорам Иакова, придавая им, наряду с возвышенностью, некоторую человеческую неточность. Тут были и умысел, и слабость, и умысел в слабости. Уже в Рувиме проглядывало что-то от Водолея. Иуда, чья очередь сейчас наступила и на мощное, решающее благословенье которого старик израсходовал столько сил, что потом вынужден был призвать на помощь бога, боясь, что не выдержит и, самое главное, не дойдет до Иосифа, — Иуда и прежде всегда именовался «Львом», но посвященная ему предсмертная речь орудовала этим титулом так неустанно и изображала мученика Иегуду в облике льва так подчеркнуто, что нельзя было не ощутить подразумевавшейся связи с эклиптической областью. В Иссахаре сквозило многое от Рака — созвездие Осликов, стоящее под этим знаком, было связано с обычным прозвищем Иссахара «Костлявый осел». В Дане каждому виделись Весы, символ суда и права, хотя облик его определялся также упоминанием о ядовитой змее; а олень-косульи черты Неффалима для большинства видоизменялись и превращались в черты Овна. Сам Иосиф не составлял исключения, напротив, астральное возвышенье было в данном случае даже двойным, ибо в его характеристике чередовались приметы Девы и приметы Тельца. Характеристика же Вениамина, когда пришла его очередь, определялась, по-види-

тому, Скорпионом: добрый малыш изображался хищным волком только потому, что Люпус находится не намного южнее Шипохвоста.

Тут особенно ярко сказалась та обезличивающая звездно-мифическая окраска, благодаря которой воителям-близнецам было так легко принять свой приговор со спокойной душой. Они жили в раннее время, но, с другой стороны, уже и в позднее, имевшее опыт во многих отношениях, в том числе относительно не безусловной надежности предсмертных пророчеств и ясновиденья. Взгляд умирающего в грядущее впечатляющ и внушает почтение; он заслуживает большого доверия, но не слишком большого, ибо полностью он не всегда подтверждается, и то внезапное уже состояние, которым он рожден, есть, по-видимому, одновременно источник ошибок. Иаков тоже не избег торжественных заблуждений, — хотя кое-что он разглядел очень точно. Потомство Рувима действительно далеко не пошло, а племя Симеона всегда нуждалось в поддержке и потерялось в Иуде. Но что сыны Левия достигнут со временем высших степеней и приобретут постоянные священнические права, — как то известно нам, находящимся хоть и в этой истории, но вместе и вне ее, — это было для предсмертного взора Иакова явно покрыто мраком. Пророчество его достопочтенно оплошало в этом пункте — да и в других. О Завулоне он сказал, что тот будет жить при берегу морском и у пристани корабельной и граничить с Сидоном. Это напрашивалось само собой, ибо пристрастие Завулона к морю и к запаху смолы было общеизвестно. Однако впоследствии область его племени отнюдь не достигла зеленой воды и никогда не граничила с Сидоном. Она находилась между морем и Галилейским озером, и от первого ее отделял Асир, а от второго — Неффалим.

Для нас такие ошибки обладают высокой ценностью. Разве иные умники не утверждают, что благословения Иакова сочинены после времен Иисуса Навина и в них следует видеть «предсказания пост фактум»? Можно только пожалеть плечами по этому поводу — не только потому, что мы сами стоим у смертного одра патриарха и слышим его слова собственными ушами, но и потому, что в пророчествах, изрекаемых на основе исторических данных, задним числом, очень легко избежать погрешностей. Самым верным доказательством подлинности пророчества остается его ошибочность...

Итак, Иаков призвал Иуду — это была великая минута, и глубокая тишина воцарилась и снаружи, перед шатром, и у нас, внутри его. Редко случается, чтобы такое многочисленное собрание охватывала такая глубокая, такая полная тишина. Древний старик простер бледную руку к четвертому сыну, который, заранее сгорая от стыда, склонил свою семидесятипятилетнюю голову, — указал на него пальцем и сказал:

— Иуда, это ты!

Да, это был он, мученик, чувствовавший себя совершенно недостойным, раб владычицы, не сладострастник, а страстотерпец, грешник, но грешник совестливый. Наверно, кто-нибудь подумает: ну, в семьдесят пять лет кабала похоти не так уже страшна, но тот, кто так думает, ошибается. Это длится до последнего вздоха. Конечно, бодец становится немного тупее, но чтобы владычица дала своему рабу вольную — такого не бывает. С глубоким стыдом склонился для благословенья Иуда — но странное дело: по мере того как над ним вершился обряд и миро обетованья изливалось из рога на его темя, он чувствовал себя все уверенней и, заметно ободряясь, говорил себе с возрастающей гордостью: «Ну вот, несмотря ни на что. В общем-то это оказалось не так и скверно, а уж благословенью явно не помешало, наверно, это не такой тяжкий грех, — чистота, по которой я томился, была, выходит, для благодати необязательна, для нее нужно было, конечно, все, весь этот ад, кто бы подумал, каплет на мою голову, боже, помилуй меня, но это я!»

На голову его не капало, а лилось ливнем. Почти безудержно тратил свои силы Иаков, благословляя Иуду, и на долю многих братьев пришлось потом лишь по несколько невразумительных, произнесенных слабым голосом слов.

— Это ты, Иегуда! Рука твоя на затылке врагов твоих — да восхвалят тебя братья твои. Более того, пусть склоняются перед тобой сыновья отца твоего, а сыны всех матерей пусть славят в тебе помазанника!

Затем пришла очередь льва. Некоторое время существовал только лев, существовали только величавые изображения льва. Иуда был львенком, детенышем львицы, истинным львом. Хищник поднимался с Добычи, он фыркал и гремел. Он возвращался на свою пустынную гору, ложился и вытягивался, как гривonosный царь и как сын яростной львицы. Кто отважился бы вспугнуть его? Никто не отважился бы! Удивительно было только, что сыновей, которых он хотел благословить, отец прославлял как хищных разбойников, а тех, которых благословить не хотел, так осуждал за то, что они породнились с орудиями насилия. Если раньше, только от слабости, он увидел витязем с мечом и луком себя, то сейчас он славил своих сыновей, сперва мученика Иуду, а под конец даже и малыша Вениамина, как кровожадных зверей и неукротимых бойцов. Знаменательно: слабость кротких и живущих духовной жизнью — это слабость к героическому.

И все же, благословляя Иуду, Иаков, вовсе не помышлял о героизме разбойном. Герой, которого он имел в виду и которого уже давно выносил в мыслях, был не из тех, чьим рычащим великолепием восторгается слабость, — Шилох было имя его. От льва до него было далеко; поэтому благословлявший сделал переход: он вставил образ некоего великого царя. Царь сидел на своем престоле, держа между ног жезл, который не мог быть ни сдвинут с места, ни отнят у властелина, покуда не придет «герой», пока не явится Шилох. Для Иуды, царя с законодательским жезлом между ног, обетованное это звание было новостью — оно было неожиданностью и для всего собрания, удивленно насторожившегося. Только одна из всех знала о нем и жадно его ждала. Мы невольно поднимаем глаза на ее силуэт — стройно и прямо стояла она, объятая темной гордостью, когда Иаков провозглашал будущее ее семени. От Иуды не должна была отойти благодать, он не должен был умереть, глаза его не должны были вытечь, покамест его величие не станет сверхвеликим, оттого что из него выйдет тот, кому покорность народов, примиритель и мирносец, человек звезды.

То, что лилось на пристыженную голову Иуды, превосходило все ожидания. Его образ или образ его племени — то ли по умыслу, то ли от смятения мыслей, а может быть, по обоим причинам сразу, то есть оттого, что это смятение было умышленно использовано для поэтического разгула, — его образ сливался и смешивался с образом Шилоха, так что никто не знал, кого имеют в виду Иаковлевы видения благодати и милости — Иуду или грядущего. Все плавало в вине — у слушавших застилало красным глаза от сверканья вина. Называлась некая земля, страна этого царя, где к виноградной лозе привязывали ослов, а к лозе лучшего винограда сынов ослиц своих. Были ли то хевронские виноградники, энгедийские холмы лоз? «Он» въезжал в город свой верхом на осле и на детеныше ломовой ослицы, — вид его не вызывал ничего, кроме пьяного, как от красного вина, веселья, и сам он походил на пьяного бога вина, который, подобрав платье, с воодушевлением топчет гроздь: их кровь пропитала его передник, его одежда в красном соку лоз. Он был прекрасен, когда шлепал ногами по алым лужам, исполняя пляску давилни, — прекраснее всех на свете, — белый, как снег, красный, как вино, черный, как черное дерево...

Голос Иакова замер. Голова его опустилась, и он глядел сейчас снизу вверх. Он очень издержался в этом благословенье, почти расточительно. Казалось, он молится о подкреплении сил. Считая относящееся к себе благословенье оконченным. Иуда отошел от ложа, пристыженный и удивленный тем, что греховность, оказывается, совсем не помеха. Совершенно новые откровенья и указанья, содержащиеся в этом благословенье, в частности слова о Шилохе, произвели сенсацию, и собрание никак не могло успокоиться. Люди оживленно перешептывались в шатре и снаружи. Снаружи даже переговаривались; слышны были голоса, взволнованно повторявшие имя Шилоха. Но все сразу смолкло, как только Иаков снова поднял руку и голову. Имя Завулону слетело с его губ.

Тот подставил голову под ладонь отца, и поскольку имя его означало «жилище», «пристанище», никто не удивился, что Иаков указал ему его пристанище и жилище: жить ему надлежало у берега, близ богатств кораблей, у границы Сидона. Вот и все, он всегда этого желал, и приговор ему был вынесен довольно вяло и машинально. Иссахар...

Иссахару суждено было уподобиться костлявому, лежащему между оград ослу. Ослики Рака были его кумовьями, но, несмотря на эту связь, отец не возлагал на него, по-видимому, больших надежд. Вскоре Иаков стал рассказывать о нем в форме прошедшего времени, которая означала будущее. Иссахар увидел, что покой хорош и что земля приятна. Он был силен и флегматичен. Он не находил ничего зазорного в том, чтобы носить грузы на своем кряже, как осел каравана. Самым удобным казалось ему служить, и он подставлял плечи, чтобы их нагружали. Вот как обстояло дело с Иссахаром. Обосновался он, виделось Иакову, на Иордане. Довольно о нем. Теперь Дан.

Дан носил весы и хитроумно судил. Он был так остер на язык и умом, что жалил и походил на гадюку. Этот сын дал Иакову повод вставить, подняв палец, небольшое зоологическое поучение присутствующим. Вначале, когда Бог создавал мир, он скрестил ежа с ящерицей, и получился аспид. Дан был аспидом. Он был змеем на дороге и аспидом на пути, незаметным в песке и крайне коварным. Геройство принимало в нем форму коварства. Коня врага он жалил в ногу, так что всадник падал назад. Таков был Дан, сын Валлы. «На помощь твою надеюсь, предвечный!»

Вот когда Иаков издал этот стон и сотворил короткую эту молитву, чувствуя, что совсем изнемог, и боясь не успеть. Он родил столько сыновей, что в последний его час на всех у него могло и не хватить сил. Но с помощью бога он выдержал бы.

Он потребовал коренастого, обшитого медью Гада.

— Гаддиил, толпа будет теснить тебя, но в конце концов оттеснишь ее ты. Тесни же ее, коренастый! — Теперь Асир!

У лакомки Асира была тучная земля между горой и Тиром. Низменность эта была до краев засыпана хлебом и купалась в масле, благодаря чему он ел тучную пищу и изготавливал из тука тонкие благовония, какие посылают друг другу для ублаженья цари. От него шли благодущие и радость ухоженного тела, которая тоже чего-то стоит. И ты тоже будешь чего-то стоить, Асир. И песня пошла от тебя, и дивное возвещенье, хвала тебе за это перед братом твоим Неффалимом, которого я сейчас призываю под свою руку.

Неффалим был серной, что прыгает через рвы, и стройной косулей. Его уделом были стремительность и проворство, он был бегущим бараном, когда тот, рогами вперед, мчится во весь опор. Проворен был и его язык, спешивший принести новость, и быстро созревали плоды Генасарской равнины. Пусть будут деревья твои, Неффалим, полны скороспелых плодов, и пусть быстрый, хотя и не такой уж великий успех будет обетованным твоим уделом.

И этот сын тоже, получив свое, отошел от постели. Старик полулежал с закрытыми глазами, в глубокой тишине, прижав к груди подбородок. А через несколько мгновений он улыбнулся. Все увидели эту улыбку и растрогались, ибо знали, что она возвещает. То была счастливая, даже лукавая улыбка, немного, правда, печальная, но потому-то и лукавая, что печаль и отказ были полны в ней любви и нежности. «Иосиф!» — сказал старик. И пятидесятишестилетний, который был когда-то тридцати-, семнадцати и девятилетним и лежал в колыбели агнцем обьягнвившейся овцы, дитя времени, прекрасный лицом, одетый по-египетски в белое, с небесным кольцом фараона на пальце, баловень удачи, склонился, чтобы на голову его легла бледная благословляющая рука.

— Иосиф, отросток мой, сын девы, сын миловидной, сын плодоносного дерева у родника, плодоносная лоза, ветви которой вьются по камню стены, привет мой тебе! Владыка весны, первородный, по-своему прекрасный телец, тебе привет мой!

Иаков произнес это громко и внятно, как торжественное обращение, которое надлежало услышать всем. Но затем он понизил голос почти до шепота, явно желая если не вовсе лишить гласности это благословение, то хотя бы ограничить ее. Только близстоящие слышали прощальное его слово обособленному; кто был подальше, довольствовался долетавшими до него отрывками, и уж вовсе ни с чем остались на первых порах находившиеся снаружи. Потом, однако, все это повторялось, распространялось и обсуждалось.

— Самый любимый, — слетало с горестно улыбающихся губ. — Смело избранный сердцем ради той единственно любимой, что в тебе жила и чьими глазами глядел ты, точь-в-точь как глядела она однажды на меня у колодца, когда впервые явилась передо мной среди овец Лавана и я отвалил для нее камень — я поцеловал ее, и пастухи ликовали: «Лу, лу, лу». В тебе я удерживал ее, любимец мой, когда всемогущий вырвал ее у меня, она жила в твоей прелести, а что может быть слаще, чем двойственное и зыбкое? Я знаю, что двойственное чуждо духу, которому мы верны, что это глупость людская. И все-таки я поддавался исконно могучему его волшебству. Да и можно ли всегда целиком принадлежать духу и избегать глупости? Двойствен ведь и сам я сейчас, Иаков я и Рахиль. Я — она, которая так трудно ушла от тебя в страну властного зова, ибо и мне сегодня суждено уйти от тебя, повинувшись ее призыву, — она призывает нас всех. И ты тоже, радость моя и тревога, прошел уже половину пути в эту страну, и все-таки ты был некогда мал, а потом юн, и был всем, что казалось прелестным моему сердцу, — строгим было сердце мое, но мягким, поэтому перед прелестным оно не могло устоять. Призванное к величию, к созерцанию алмазных вершин, оно тайно любило отраду холмов.

Речь его на несколько минут остановилась, и он улыбался с закрытыми глазами, словно дух его блуждал по отрадной холмистой местности, картина которой предстала перед ним при благословенье Иосифа.

Когда он заговорил снова, он, казалось, успел забыть, что голова Иосифа находится под его ладонью, ибо и о нем он говорил теперь некоторое время, как о ком-то третьем.

— Семнадцать лет он жил для меня и прожил для меня, по милости бога, еще другие семнадцать; в промежутке было мое оцепененье, была судьба обособленного. Прелесть его преследовали — глупо, ибо ум был неотделим от нее, и ум его посрамил их жадность. Невиданно соблазнительны женщины, которые поднимаются, чтобы смотреть на него со стен, с башен, из окон, но никакой радости они себе так и не высмотрели. Тогда люди наказали его за это и засыпали стрелами злоречья. Но тверд оставался лук его, и крепки мышцы его, и руки предвечного держали его. С восторгом будут вспоминать имя его, ибо ему удалось то, что удаётся немногим: найти благоволение в глазах бога и в глазах людей. Это благословение редкое, ведь обычно приходится выбирать и нравиться либо богу, либо людям; а ему дух прелестного посредничества даровал способность нравиться и людям и богу. Не зазнавайся, дитя мое, — нужно ли мне предостерегать тебя? Нет, я знаю, твой ум уберезет тебя от высокомерия. Ибо это благословенье приятное, но не самое высокое и не самое строгое. Пойми, драгоценная твоя жизнь видна умирающему во всей ее правде. Она была игрой и намеком, доверчивым и дружеским избраньем в любимцы, она только отдавала благодатью, но воистину избрана и призвана она не была. Веселье и грусть смешаны в ней, и это наполняет мое сердце любовью, — дитя, кто видит лишь блеск твоей жизни, тот не может любить тебя так, как отцовское сердце, которое видит и ее грусть. И вот я благословляю тебя, благословенный, во всю силу своего сердца именем Предвечного, который дал тебя и отнял и дал и теперь отнимает меня у тебя. Пусть благословения мои изольются мощнее, чем излилось благословение моих отцов на мою голову. Будь благословен, как благословен ты, благословеньями свыше и благословеньями бездны, лежащей долу, благословеньями сосцов неба и лона земли! Благословенье на темя Иосифа, и пусть греются в лучах твоего имени те, что пойдут от тебя. Пусть снова и снова широко текут песни, воспевая игру твоей жизни, ибо все-таки она была священной игрой, и ты страдал и умел прощать. И я тоже прощаю тебе, что ты заставил страдать меня. А бог да простит нас всех!

Он кончил и очень медленно снял руку с его головы. Так разлучается одна жизнь с другой, уходя; а вскоре, глядишь, и другая уходит за ней.

Иосиф отошел к братьям. Он не преувеличил, когда сказал, что тоже получит свое и что от правого предсмертного суда не уйти и ему. Он взял Вениамина за руку и подвел его к постели, потому что старик не вызвал его. Силы умирающего были явно на исходе, и руку отца Иосифу пришлось уже положить на темя братца, сама она уже не нашла бы туда дороги. Что

приговора его ожидал младший, старик, вероятно, еще помнил, но то, что бормотали слабеющие губы Иакова, никак нельзя было отнести к Малышу. Возможно, что это как-то относилось к его потомкам. Вениамин, удалось услышать, был хищным волком, который утром ест, а вечером делит добычу. Он был озадачен услышанным.

Последняя мысль Иакова была о двойной пещере на поле Ефрона, сына Цохарова, о том, чтобы его похоронили там рядом с отцами.

— Так я повелеваю вам, — прошептал он без голоса. — За нее уплачено, уплачено Аврамом сынам Хетовым четыреста шекелей серебра общепри...

Тут смерть прервала его, он вытянул ноги, откинулся на постель, и жизнь его замерла.

Они все тоже приостановили свою жизнь и свое дыханье, когда это случилось. Затем управляющий Иосифа Май-Сахме, который был и врачом, спокойно подошел к ложу. Он приник ухом к неслышному сердцу, деловито сжав рот, поглядел на перышко, которое поднес к онемевшим губам и ни одна пушинка которого не шевельнулась, и высек огонь у зрачков, уже безразличных. Тогда он повернулся к Иосифу, своему господину, и доложил ему:

— Он приобщился.

Но Иосиф кивнул головой на Иуду, показывая Май-Сахме, что докладывать следует Иуде, а не ему. И откуда этот добряк вытягивался перед Иудой и повторял: «Он приобщился», — Иосиф подошел к смертному одру и закрыл мертвецу глаза: для того он и направил к Иуде Май-Сахме, чтобы самому это сделать. Затем он припал ко лбу отца лбом и стал плакать об Иакове.

Иуда, наследник, распорядился сделать все, что полагалось: пригласить плакальщиков и плакальщиц, певцов, певиц и флейтистов, омыть, умастить и укутать тело. Дамасек-Елиезер зажег в шатре жертвенное куренье — смешанные с солью сок мирры, пахучий корень с Красного моря, гальбан и ладан; и в то время как мертвеца обволакивали пряные клубы, прощальные гости толпой повалили из шатра, смешались с теми, что стояли снаружи, и разошлись, оживленно обсуждая приговоры и прорицанья, которые оставил Иаков двенадцати.

ИАКОВА ЗАКУТЫВАЮТ

Вот история эта, песчинка за песчинкой, тихо, но безостановочно, и вытекла через стеклянное горлышко; она вся внизу, и только несколько крупинки видны еще в верхнем сосуде. Ничего не осталось из всех ее дел, кроме того, что делают с мертвым. Это, однако, не пустяки; советуем вам благоговейно проследить, как вытекут и мягко упадут в наполнившуюся склянку последние зернышки. Ибо то, что произошло с бранными останками Иакова, было совершенно необычайно и возданные им почести были почти беспримерны. Царей не носили к могиле так, как отнесли к ней его, торжественного, по указу и по наказу сына его Иосифа.

После кончины отца тот, правда, предоставил сделать первые, предварительные распоряжения своему брату Иегуде, благословенному наследнику; но сразу затем Иосиф взял это дело в свои руки, ибо только он мог справиться с ним, и принял меры, принять которые уполномочил его наскоро созванный совет братьев. Меры эти вытекали из обстоятельств; они вытекали из воли и завещанья Иакова, и то, что они вытекали из них, было Иосифу по сердцу. Ведь обособленный думал по-египетски, и пламенное его желанье почтить отца, ничего не пожалев для его останков, само собой приняло то направление, какое египетский ход мыслей определял.

Иаков не хотел быть погребенным в стране мертвых богов и заручился торжественным обещанием, что его похоронят рядом с его отцами в пещере. Это предполагало дальние проводы, которые Иосиф собирался обставить необычайно пышно и которые требовали времени: времени для необходимых приготовлений и времени для самих этих величественных проводов, путешествия по меньшей мере семнадцатидневного. Для этого труп нужно было

сохранить, сохранить по правилам египетского искусства, засолив его и замариновав, и если бы приобщившийся отвергал эту мысль, он не должен был бы настаивать на том, чтобы его отвезли домой. Именно из-за этого наказа не хоронить его в Египте его приходилось хоронить по-египетски, великолепно набитым чучелом, запеленатой озирисовской мумией — что иных, возможно, и оскорбит. Но мы ведь не прожили, как сын его Иосиф, сорока лет в Египте и не питались соками и воззреньями этой странной страны. Для него было радостью и утешением в горе, что завещанье отца позволяло ему поступить с дорогими останками согласно самым изысканным и почетным местным обычаям и обеспечить им сохранность по высшей смете.

Поэтому, едва вернувшись в менфийский свой дом, где он предавался трауру, Иосиф послал в Госен людей, которые его братья называли «врачами», хотя таковыми они не были, а были техниками по мумиям, художниками увековеченья, искуснейшими и известнейшими мастерами своего дела, недаром проживавшими в городе Закутанного. С ними прибыли плотники и каменотесы, златокузнецы и граверы, которые тотчас открыли свою мастерскую у волосяного дома кончины, покуда внутри его «врачи» делали с трупом то, что братья именовали умощением. Но это было неточное слово. Кривой железкой извлекли они через ноздри мозг и наполнили череп специями. С помощью крайне острого, из обсидиана, эфиопского ножичка, которым они, оттопырив пальцы, изящно орудовали, они вскрыли слева живот, чтобы удалить внутренности, хранимые, по обычаю, в особых алавастровых кувшинах с изображением на крышке головы похороненного. Выпотрошенное тело они основательно промыли финиковым вином и начинили самыми лучшими пряностями: миррой и корой отростков от корней лавра. Они делали это с профессиональным наслаждением, ибо смерть была областью их искусства, и радовались тому, что теперь у их пациента внутри было все гораздо чище и аппетитней, чем во время его одушевленности.

Затем они тщательно зашили разрез и положили труп в раствор селитры на целых семьдесят дней. Все это время они не работали, а только ели и пили, но платили им за каждый час. Когда положенный срок миновал и труп засолился, можно было приступить к закутыванию, труду не из легких. Четыреста локтей виссоновых, смазанных клейкой смолой повязок, бесконечных полос полотна, тончайшие из которых прилегали к самому телу, намотали они на Иакова, накладывая их то рядом, то одну поверх другой, и поместили между ними на запеленатой шее золотой воротник, а на груди плоское резное украшение из золота, изображавшее коршуна с распростертыми крыльями.

Ибо и мастера, прибывшие вместе с врачами, тоже успели продвинуться в своих работах, и в украшениях не было недостатка: кованые, листового золота полосы с выгравированными на них именем мертвеца и восхвалениями его имени были наложены поверх повязок на плечи, талию и колени и соединены с такими же продольными полосами сзади и спереди. Затем то, что было некогда Иаковом, а ныне представляло собой очищенную от всего тленного, нарядную и долговечную куклу смерти, с головы до ног обернули тонкими, гибкими пластинами из чистого золота и в таком виде водрузили в ароон, ковчег, который тем временем точно по мерке изготовили столяры, ювелиры и скульпторы, — человеческой формы, обильно украшенный драгоценными камнями и пестрой финифтью. Кукла покоилась в кукле; голова наружной была вырезана из дерева и покрыта изготовленной из толстого листового железа маской с усировской бородой.

Вот какой пышный и почетный обряд справили над Иаковом, хотя все это было не в его вкусе, а лишь во вкусе его прижившегося на чужой земле сына. Но, вероятно, так и надо — считаться с чувствами того, у кого в теле живые внутренности, ибо другому это в общем-то безразлично.

Все усилия Иосифа были направлены на то, чтобы, исполняя последнюю волю отца, как можно торжественнее посмертно почтить его, и покуда тело готовили к путешествию. Возвысившийся предпринял шаги, чтобы превратить это путешествие, громкое и знаменательное

событие, в великий триумф. Ему требовалось для этого согласие фараона, но из-за траура и из-за того, что несколько недель Иосиф умышленно не заботился о своей внешности, он не мог самолично предстать перед богом и послал к нему вверх, в город горизонта в Заячьей округе, гонца, чтобы испросить у прекрасного сына Атона разрешения проводить посмертный образ отца за границу, в страну его усыпальницы. Обязанности своего ходатая он возложил на Май-Сахме, хотя бы уже затем, чтобы дать добряку-домоправителю возможность до конца участвовать в этой истории. Кроме того, он мог вполне положиться на его спокойствие и преданность при решении той дипломатической задачи, которую заключала в себе подобная миссия. Ведь нужно было получить от фараона определенные приказания, лишь наводя его на соответствующие мысли, но ни в коем случае ни о чем не прося; нужно было добиться от него распоряжения о высокочтожественных государственных похоронах родителя его, фараона, первого слуги, или, другими словами, побудить его распорядиться о так называемом «Великом шествии».

Мы опять видим, как сильно привыкли мысли агнца Рахили идти египетскими путями. «Великое шествие» было понятием чрезвычайно египетским, популярнейшим в Кеме предствлением о праздничной церемонии, и, наряду с мыслью о бальзамировании по высшей смете, идея Великого шествия, о котором будут говорить и за Евфратом и даже на островах моря, возникла у Иосифа благодаря завещанью Иакова сразу же. Шествие это должно было соревноваться в пышности с самыми славными посольствами, когда-либо отправлявшимися за рубеж, в Вавилон, в Митанни или к великому царю Хаттушили, что в стране Хатти, и войти в анналы державы на память потомству. Получить у фараона семидесятидневный служебный отпуск, чтобы со своими сыновьями и сыновьями братьев отвезти отца через границу к могиле почетным окольным путем, для этого избранным, было самым первым и самым легким делом. Этого было недостаточно, это еще не было Великим шествием, царскими похоронами, а доставить отца к могиле мирскому сыну хотелось не иначе как царя. Фараона нужно было подвести к этому, чтобы он это разрешил, об этом распорядился; он должен был представить на похоронах чиновничество, двор и воинство воинскую силу даже особенно — для охраны во время долгого путешествия через пустыню; и фараон напал на эту мысль и распорядился об этом, когда управляющий получил у него аудиенцию, он распорядился, отчасти растрогавшись и желая отплатить заслуженнейшему своему слуге, который сделал ему столько добра, любовью и милостью, отчасти же боясь, что Иосиф вообще не вернется, если отпустить его в родную его страну без охраны египетской воинской силы. Что Мени всерьез этого опасался и что Иосиф такое спасенье учитывал, ясно проскальзывает в словах, которые, излагая его переговоры с двором, вставляет ему в уста основополагающее повествование: «И теперь хотел бы я пойти, и похоронить отца моего, и возвратиться». Возможно, что он дал это обещание предупредительно, по собственному почину; столь же возможно, что фараон потребовал его. Подозрение, что Иосиф воспользуется этим выездом, чтобы не возвратиться, между господином и слугой, во всяком случае, стояло, и фараону было приятно, что он может соединить милость с осторожностью и мощным египетским эскортом предотвратить невозвращение незаменимого.

Владыка венцов тоже был уже не первой молодости; лет его жизни миновало более сорока, и жизнь эта была нежна и печальна. Со смертью он тоже успел повстречаться: девяти лет умерла одна из его дочерей, вторая из шести, Макетатон, самая малокровная из всех, и Эхнатон, отец дочерей, пролил по этому поводу куда больше слез, чем его царица Нефернефруатон. Он много плакал и без всяких смертей, глаза у него были вообще на мокром месте, ибо он был одинок и несчастен, и драгоценность его существования, та нега и роскошь, в которой он жил, делала его лишь все более чувствительным к одиночеству и к тому, что он ни у кого не находил понимания. Правда, он любил говорить, что тот, кому живется трудно, должен жить хорошо. Но без слез у него не получалось сочетания того и другого; он жил слишком хорошо, чтобы при этом ему жилось еще и трудно, и поэтому он много о себе плакал. Утреннее

его облачко с золотым краем, его царица, и прозрачные его дочки то и дело стирали тонким батистом слезы с его уже пожилого мальчишеского лица.

Ему доставляло радость совершать жертвоприношения цветов в прекрасном дворе великолепного храма, построенного им в единственной столице Ахет-Атоне своему отцу в небе, кроткому другу природы, которого он представлял себе тоже обильно плачущим. Но радость этого обряда, сопровождавшегося хоровым пением гимнов, отравляло фараону его неверие в искренность царедворцев, которые при нем кормились и «учение» приняли, но, как показывала любая проверка, этого учения не понимали и не доросли до него. Никто не дорос до ученья о его бесконечно далеком, но нежно пекущемся о каждой мышке, о каждом червячке отце в небе, отце, всего лишь посредником и подобием которого был солнечный диск; отце, который нашептывал ему, «Эхнатону», любимейшему своему чаду, правду истинного своего естества; никто, он не скрывал этого от себя, по совести говоря, ничего не смыслил в его учении. Народа он чуждался и соприкосновения с ним страшился. С религиозными властями своей державы, храмами, жречеством, не только с Амуном, но и с другими древнейшими и испокон веков почитаемыми местными божествами, исключая разве только онскую солнечную обитель, он жил в безнадежной вражде и в болезненной увлеченности своим откровением не удерживался от насильственных и разрушительных мер, направленных опять-таки не только против Амуна-Ра, но и против Усира, владыки жителей Запада, и против матери Исет, против Анупа, Хнума, Тота, Сетеха, даже искусника Птаха, что усугубляло разлад между ним и его духовно косной, постоянно ратовавшей за сохранность и неизблемость древних порядков страной, внутри которой он становился замкнувшимся в царской роскоши чужаком.

Удивительно ли, что его серые, лишь наполовину открытые глаза были почти всегда красны от слез? И когда, явившись к нему по поручению Иосифа, Маи-Сахме передал ему в связи с известием о кончине Иакова ходатайство своего господина об отпуске, он тоже сразу заплакал, — проливать слезы он всегда был готов, и этого повода поплакать тоже не упустил.

— Как грустно! — сказал он. — Он умер, этот древний старик? Это удар, это депрессирующий удар для Моего величества. Он, помнится, навел на меня при жизни и произвел на меня немалое впечатление. В юности он был плутом, я знаю его проделки со шкурками и с прутьями, — Мое величество готово и сегодня смеяться над этим до слез. И вот, значит, жизнь его достигла цели, и мой дядюшка, смотритель всего, что дает небо, осиротел? Как это бесконечно грустно! Он сидит и плачет, твой господин, мой Исключительный Друг? Я знаю, что слезы ему не чужды, что он легко плачет, и сердце мое потому с ним, ибо у мужчины это всегда добрый и милый признак. И когда он открылся своим братьям словами «Это я», он тоже плакал, я знаю. И он испрашивает отпуск? Отпуск в семьдесят дней? Это много для похорон отца, даже если тот и был величайшим плутом. Неужели так-таки семьдесят дней? Без него так трудно! Несколько, может быть, легче, правда, чем в годы тучных и тощих коров, но все же и в эти уравновешенные времена мне будет очень тяжело без того, кто ведает за меня царством черноты, ибо Мое величество разбирается в этом плохо, — моим делом всегда был свет горний. Ах, должной благодарности за это я не дождался, — люди гораздо признательнее тому, кто заботится о черноте, чем тому, кто возвещает им свет. Не подумай, однако, что я завижусь дорогому твоему господину! Пусть будет он в странах, как фараон, до конца своих дней, ибо никакой благодарностью нельзя отблагодарить его за то, что он помог бедному Моему величеству, поскольку ему вообще можно было помочь.

Он снова немного поплакал, а потом сказал:

— Разумеется, пусть он хоронит достойного своего отца, старого плута, с надлежащими почестями и отвезет его за границу со своими сыновьями и братьями, а также и сыновьями братьев, короче говоря, со всей мужской частью своего дома, — получится целое шествие. Оно будет, пожалуй, походит на исход, и людям покажется, что он уходит из Египта со своими родными туда, откуда пришел. Такого заблуждения нужно избежать. Оно может привести

к беспорядкам в стране и к мятежным действиям, если народ ошибочно решит, что Кормилец покидает его, — я думаю, он был бы огорчен этим гораздо сильнее, чем если бы Мое величество само отправилось прочь из этой страны, которая надрыгает ему сердце черной неблагодарностью. Послушай, друг мой: разве это шествие комильфо, если оно состоит только из детей и детей детей? По-моему, ни за чем дело не стало, и проводы эти — вполне достаточный повод устроить Великое шествие. Пусть оно будет одним из самых великих, которые когда-либо отправлялись за границу, чтобы затем столь же торжественно вернуться оттуда. Да и хорош был бы я, если бы только выполнил просьбу Кормильца, Единственного моего Друга, но не перевыполнил ее, и притом щедро! Скажи ему: «Семьдесят пять дней, осыпая тебя поцелуями, дает тебе фараон на похороны твоего отца в Азии, а отправятся с тобою и с телом не только родственники твои и их домочадцы, нет, фараон назначит вполне великое шествие, и отца твоего проводят к могиле сливки Египта; я направлю туда весь мой двор, велел передать тебе Эхнатон, самых знатных моих слуг и самых знатных во всей стране, главных персон государства с их челядью, а также колесницы и воинов, огромную силу. Все они, зеница моего ока, последуют с тобою за гробом, перед тобой, позади тебя и с обеих сторон, и так же они проводят тебя обратно ко мне, когда ты сложишь свой дорогой груз в желанном месте».

ВЕЛИКОЕ ШЕСТВИЕ

Вот с какой вестью вернулся из Ахет-Атона Маи-Сахме к Иосифу, и теперь все делалось и устраивалось в соответствии с нею. Во все стороны поспешили гонцы с приглашениями, которые были равносильны приказам и рассылались высоким дворцовым чином, именовавшим себя «тайный советник утреннего покоя и тайных решений», и был назначен день, когда приглашенным из всех частей царства участникам шествия надлежало собраться в пустыне близ Менфе. Затруднительная честь выпала на этот раз слугам фараона, вельможам дома его и вельможам страны Египта. Но никто не осмеливался от нее отказаться, более того, сановники, почему-либо ее не удостоившиеся, подвергались ехидным нападкам со стороны приглашенных и заболели от огорчения. Выстроить Великое шествие, звенья и части которого стекались в пустынную равнину, было задачей нелегкой: она досталась одному военачальнику, именовавшемуся вообще-то «возничий царя, высокий в войсках», но по этому случаю, на время погребальной операции, получившему титул «строевой начальник великого похоронного шествия Озириса Иакова бен Ицхака, отца Тенистой Сени Царя». Именно этот полководец определил с помощью списка участников порядок кортежа и создал в месте сбора из сутолоки повозок и носилок, верхового и ломового тягла четко расчлененную красоту. Под его началом находились также взятые для прикрытия воины.

Порядок шествия был следующий. Его открывал отряд воинов: впереди трубачи и тимпанщики, затем нубийские лучники, вооруженные серповидными мечами ливийцы и египтяне-копейщики. Далее следовал цвет фараонова двора, представленный так многолюдно, как только возможно было это сделать, не начисто лишив бога благородного окруженья: Друзья и Единственные Друзья царя, Опахалоносцы Одесную, чины дворца ранга начальника тайн и тайного советника царских приказов, такие высокопоставленные лица, как главный пекарь и главный чашник его величества, первый стольник, смотритель царского платья, главный белильщик и мойщик Великого Дома, сандалиеносец фараона, главный его цирюльник, являвшийся одновременно тайным советником обоих венцов, и так далее.

Эта толпа подхалимов двигалась впереди катафалка, который, когда добрались до Гесе-на, тронулся в путь вместе с процессией и с тех пор, сверкая, возвышался над ней. Искрившаяся самоцветами гробовая фигура Иакова с золотым лицом и бородкой была поставлена на носилки, носилки на золоченые салазки, а салазки на повозку с закрытыми колесами, которую тащили двенадцать белых волов; так и катилась, покачиваясь, высокая эта махина, порою

под сопровождаемые флейтами плачи профессиональных плакальщиков, которые следовали за ней перед домом умершего, его родней, чья очередь и наступала теперь. Это был Иосиф со своими сыновьями и со штабом своего дома во главе с Майи-Сахме; это были одиннадцать братьев Иосифа с их сыновьями и сыновьями сынов — все мужчины Израиля следовали за гробом, а с ними, кроме ближайших слуг умершего, в частности его Старшего Раба Елиезера, собственная их челядь, так что семейный этот эскорт был очень многочислен и долог, — но какая еще толпа следовала за ним!

Ибо далее следовало высшее чиновничество обеих стран: визири Верхнего и Нижнего Египта, подчиненные Иосифа, главные книговоды Продовольственного Дома, такие лица, как Смотритель говяд и всего скота страны, носивший также звание «Смотритель Рогов, Копыт и Пера»; начальник судоходства; Истинный Глава Кабинета и Хранитель Весов Казны; генеральный инспектор всех лошадей и множество Истинных Судей и Верховных Писцов. Кто перечислит все должности и званья, исполнители и носители которых почли за честь приказанье сопровождать за границу мумию отца Кормильца, Иосифа! За государственными деятелями следовали снова воины, знамена и трубы. А замыкал шествие обоз, — поклажа, палатки, повозки с фуражом, погонщики, лошаки, — ибо каких только запасов питья и еды не требовала такая процессия для путешествия через пустыню!

Весьма великий сонм — предание утверждает это по праву, представьте себе только эту массу роскошных упряжек и носилок, эту пестроту перьев, блеск оружия, эту пыхтящую, катящуюся, марширующую толпу, оглашаемую ржаньем, криками ослов, мычаньем, трелями груб, барабанным боем и заученными плачами, над которой, возвышаясь посередине, господствует взгроможденная гробовая фигура с закутанным путником внутри. Иосиф мог быть доволен. В земле Египетской потеряло его когда-то отцовское сердце, а теперь весь Египет чтит скорбь этого сердца, неся на плечах к могиле мертвого Иакова.

Так дотянулось это удивительное и вызывавшее везде удивление шествие до восточной границы и вступило в те гибельные места, которых нельзя миновать, если хочешь добраться от пажитей Хапи до восточных провинций фараона — Хару и Еммора. Оно двигалось верхним краем Синайской горной пустыни, но затем выбрало направление, которое показалось бы каждому, кто знал цель этого пути, неожиданным: ибо вместо того чтобы направиться обычным, кратчайшим путем через страну филистимлян в приморскую Газу, а оттуда через Беэршиву в Хеврон, оно последовало по изменности, что тянется южнее гавани Хазати через Амалек на восток к Едому и к южной оконечности Щелочного моря. Обогнув его, процессия направилась по восточному его берегу к устью Иардена, затем несколько вверх по долине этой реки и оттуда, то есть с востока, со стороны Гилеада, перейдя реку, вступила в страну Хенану.

Великий крюк сделало великое похоронное шествие; он увеличил продолжительность дороги до дважды семнадцати дней, и по этой-то причине Иосиф и потребовал семидесятидневного отпуска, — потребовал, впрочем, чересчур скромно, ибо немного не уложился и в те семьдесят пять, которые, любя его, предоставил ему фараон. Сделать такой большой крюк Иосиф решил заранее и сразу же открыл это свое намерение начальнику шествия, упомянутому уже полководцу-распорядителю, который очень одобрил его. Иосиф заявил, что вторжение в страну со стороны Газы, по военной дороге, такого количества египтян с большим войском может вызвать волнения, недоразумения и трудности, и потому предпочел более глухие обходные пути. А для души его этот огромный крюк означал почетное удлинение путешествия. Ему хотелось, чтобы торжественные эти проводы потребовали как можно больше времени и усилий; чтобы как можно длиннее были дороги, по которым понесет на своих плечах его отца гордый Египет. Поэтому он и задумал продлить этот путь и исполнил задуманное.

Обогнув Содомское море и немного поднявшись против течения Иардена, они прибыли в некое место на берегу, называвшееся Горен Атад; в старину здесь был только ток с терновым плетнем, а сейчас оно стало многолюдным рынком. Рядом, у реки, был просторный луг, где

они и расположились лагерем, разбив его на виду у местных жителей, которые с любопытством на них глядели. Они пробыли там семь дней, творя ежедневно возобновляемый плач, род скорбного семидневного молебна, плач настолько горький и настолько пронзительный, что он, как того и желали, глубоко поразил туземцев, тем более что и животные носили при этом траур. «Это очень важный лагерь, — говорили местные жители, высоко поднимая брови, — и очень внушительный плач Египта!» С тех пор этот луг они называли не иначе, как «Авель-Мицраим», или «луг плача Египта».

После этой почетной задержки шествие выстроилось заново и перешло Иарден бродом, который туземцы для собственных нужд сделали еще удобопроходимее, навалив в воду камней и бревен. Салазки с гробовой фигурой Иакова были для этого сняты с колесницы, и все двенадцать сыновей перенесли их на шестах через реку.

Теперь они вступили в страну Ханаан и из душной от испарений речной долины поднялись на высоты более свежие. Они двигались по гребню гор благоустроенной дорогой и на третий день вышли к Хеврону. Опясанная стеной, лежала Кириаф-Арба у склона горы, по которому спешили вниз горожане, чтобы поглядеть на пышную толпу, явившуюся сюда со священным грузом и заполнившую долину, где находилась замурованная двойная пещера в скале, древняя наследственная усыпальница. Заложенная природой, но достроенная и расширенная человеческими руками, она была снаружи не двойной, а только с одним входом. Но стоило разбить кладку, что сейчас и было сделано, как открывался круглый наклонный провал, от которого справа и слева ответвлялись затворенные каменными плитами ходы, и ходы эти вели к двум склепам с маленькими туповерхими сводами: поэтому пещера и называлась «двойной». И если подумать, кто обрел в этих каморках вечный покой, то невольно бледнеешь, как побледнели братья, когда перед ними отверзлась эта пещера. Египтяне никаких особенных чувств не испытывали, кое у кого из них такая немудреная усыпальница вызывала, возможно, даже презренье. Но все, кто был Израилем, побледнели.

Провал и ходы были очень узки и низки, и только два человека из дома Иакова, один спереди, другой сзади. Старший его Раб и второй по старшинству, да и то с трудом, смогли внести в каморку его мумию — в которую из двух внесли они ее, в правую или в левую, это забыто. Если бы пыль и кости могли удивляться, то, конечно, этот отмеченный печатью сумасбродной чужбины пришелец вызвал бы в пещере великое удивление. А так там царило полное равнодушие, из затхлой обители которого те двое и поспешили, согнувшись, выбраться через провал на сладостный воздух жизни.

Вот дом и закрыт, отец похоронен, — десять человек неподвижно глядят на кирпич последней дыры. Что с ними? Они так бледны, эти десять, и кусают губы. Они украдкой косятся на одиннадцатого и опускают глаза. Совершенно ясно: они боятся. Они чувствуют себя покинутыми, удручающе покинутыми. Ушел отец, столетний отец этих семидесятилетних. До сих пор он еще был с ними, хотя и в закутанном виде, — теперь он замурован, и они вдруг падают духом. И вдруг им начинает казаться, что он был защитой им, только он, и стоял там, где теперь не стоит никто и ничто, между ними и воздаянием.

Они шептались о чем-то, столпившись в вечернем сумраке. Взошла луна, показались вечные светочи, сырая прохлада гор поднялась от земли между хижинами почетной свиты Иакова. Тогда они подозревали двенадцатого, Вениамина, сына Рахили.

— Вениамин, — сказали они непослушными губами, — вот какое дело. Нам нужно передать наказ приобщившегося брату твоему Иегосифу, и тебе более всего подобает передать ему этот наказ. Незадолго до смерти, в последние свои дни, когда Иосифа с ним не было, отец вызвал нас и сказал: «Когда я умру, скажите брату вашему Иосифу от моего имени: «Прости братьям твоим вину и грех их, хотя они сделали тебе зло. Ибо между ним и вами я буду после смерти, как и при жизни, и это мое тебе завещанье и последний наказ — не делать им зла и отказаться от мести за старое, даже если меня как бы и не будет меж вами. Дай им стричь овец своих, а их не стриги!»

— Правда ли это? — спросил Вениамин. — Я не участвовал в этой беседе.

— Ты ни в чем не участвовал, — отвечали они, — вот и помалкивай! Такому малышу не нужно во всем участвовать. Но ты ведь не откажешься передать своему брату, его милости Иосифу, последнюю волю отца. Пойди к нему сейчас! А мы последуем за тобой и подождем твоего ответа.

И Вениамин пошел к Возвысившемуся в палатку и смущенно оказал:

— Прости, Иосиф-эль, что я помешал тебе, но через меня братья сообщают тебе, что на смертном одре отец заклинал тебя не платить им злом за старое после его смерти, ибо и после нее он будет стоять между вами, защищая их и запрещая тебе мстить.

— Правда ли это? — спросил Иосиф, и глаза его стали влажны.

— Ну, наверно, не такая уж чистая, — ответил Вениамин.

— Ведь он же знал, что в этом нет нужды, — прибавил Иосиф, и две слезы отделились от его ресниц. — Они, вероятно, ждут тебя перед домом?

— Они здесь, — ответил малыш.

— Так выйдем к ним, — сказал Иосиф.

И он вышел туда, где мерцали звезды и серебрилась луна. Братья, стоявшие в ожиданье, пали перед ним ниц и сказали:

— Вот, мы пред тобой, слуги бога отца твоего, вот, мы рабы тебе. Прости же нам наше злодейство, как сказал тебе твой брат, и не мсти нам, пользуясь своей силой! Как ты простил нас при жизни Иакова, прости нас и после его смерти!

— Ах, братья, старые братья! — ответил он и склонился к ним, широко разводя руки. — Что за речи? Вы говорите так, словно боитесь меня, и просите, чтобы я простил вас! Разве я как бог? Там внизу говорят, правда, что я как фараон, а его называют богом, но он просто бедное, милое создание. Если вы ходатайствуете передо мной о прощенье, то, по-видимому, вы не поняли толком всей истории, в которой мы находимся. Я не браню вас за это. Можно преспокойно находиться в истории, не понимая ее. Наверно, так даже и должно быть, и это преступно, что я всегда слишком хорошо знал, какая тут шла игра. Разве вы не слышали из уст отца, когда он благословлял меня, что моя жизнь была только игрой и намеком? А вспомнил ли он, открывая вам свои приговоры, то зло, что разыгралось когда-то между вами и мной? Нет, он умолчал о нем, ибо он был тоже в этой игре, игре бога. Под его защитой я должен был вопиющей своей незрелостью подстрекнуть вас ко злу, а уж бог повернул это к добру, и, накормив множество людей, я к тому же еще немного дозрел. Но если речь вдет о прощенье человеческом, нашем, то просить о нем должен вас я, ибо вам пришлось играть злодеев, чтобы все получилось, как получилось. И теперь я, по-вашему, воспользуюсь фараоновой силой только потому, что она моя, чтобы отомстить вам за трехдневный урок колодца и снова обратить во зло то, что бог сделал добром? Мне просто смешно! Ведь смешон человек, который только потому, что у него есть сила, пускает ее в ход против права и разума. И если сегодня он еще не смешон, то в будущем он непременно станет смешон, а мы смотрим в будущее. Спите спокойно! Завтра с помощью божьей мы отправимся назад, в забавную землю Египетскую.

Так говорил он с ними, и они смеялись и плакали вместе, и все тянулись руками к нему, стоявшему среди них, и дотрагивались до него, и он тоже их гладил. И на этом кончается прекрасная, придуманная богом история об

ИОСИФЕ И ЕГО БРАТЬЯХ.